This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

ALDERMAN LIBRARY
UNIVERSITY OF VIRGINIA
CHARLOTTESVILLE, VIRGINIA

Digitized by Google

5-6

18N

1 8 9 V

Digitized by Google

Digitized by Google

СОЧИНЕНІЯ

Д. И. ПИСАРЕВА

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ

ТОМЪ ПЯТЫЙ

Цѣна каждаго тома 1 рубль

Портретъ автора и статья о его литературной дѣятельности помѣщены при шестомъ томѣ

Изданіе Ф. Павленкова

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія Высочайше утвержд. Товарищества „Общественная Польза“, Большая Подъяческая, № 39

1894

Digitized by Google

AC
65
.P5
1894
t.5-6

Digitized by Google

Оглавленіе пятаго тома.

1865.

стр.

1 Пушкинъ и Бѣлинскій 1

2) Подвиги европейскихъ авторитетовъ 123

3) Посмотримъ! 143

4) Подростающая гуманность 213

5) Погибшіе и погибающіе 253

6) Историческія идеи Огюста Конта 313

1866.

7) Популяризаторы отрицательныхъ доктринъ 465

1867.

8) Взгляды англійскихъ мыслителей на умственныя потребности современнаго общества 527

9) Льюисъ и Гексли (предисловіе къ книгѣ Гексли: «Уроки элементарной физіологіи»). 579

Digitized by Google

Digitized by Google

1865.

ПУШКИНЪ И БѢЛИНСКІЙ.

ЕВГЕНІЙ ОНѢГИНЪ.

I.

«Онѣгинъ»—говоритъ Бѣлинскій—есть самое задушевное произведеніе Пушкина, самое любимое дитя его фантазіи, и можно указать слишкомъ на немногія творенія, въ которыхъ личность поэта отразилась-бы съ такой полнотой, свѣтло и ясно, какъ отразилась въ «Онѣгинѣ» личность Пушкина. Здѣсь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здѣсь его чувства, понятія, идеалы. Оцѣнить такое произведеніе—значитъ оцѣнить самого поэта во всемъ объемѣ его творческой дѣятельности.» («Соч. Бѣл.» Томъ VIII. Стр. 509.) Дѣйствительно, «Онѣгинъ» серьезнѣе всѣхъ остальныхъ произведеній Пушкина; въ этомъ романѣ поэтъ становится лицомъ къ лицу съ современной дѣйствительностью, старается вдуматься въ нее какъ можно глубже и по крайней мѣрѣ не истощаетъ своей фантазіи въ эффектныхъ, но совершенно безплодныхъ изображеніяхъ младыхъ черкешенокъ, влюбленныхъ хановъ, высоко-нравственныхъ цыганъ и неправдоподобно-гнусныхъ измѣнниковъ, которые «не вѣдаютъ святыни и не помнятъ благостыни».

Если творческая дѣятельность Пушкина даетъ какіе-нибудь отвѣты на тѣ вопросы, которые ставитъ дѣйствительная жизнь, то безъ сомнѣнія этихъ отвѣтовъ мы должны искать въ «Евгеніѣ Онѣгинѣ». Къ разбору «Онѣгина» Бѣлинскій приступалъ съ благоговѣніемъ и, какъ онъ самъ сознается, *не безъ нѣкоторой робости*. Объ «Онѣгинѣ» Бѣлинскій написалъ двѣ большія статьи: онъ говоритъ, что «эта поэма имѣетъ для насъ, русскихъ, огромное историческое и общественное значеніе», и что «въ ней Пушкинъ является представителемъ пробудившагося общественнаго самосознанія».

Посмотримъ, насколько самый романъ оправдываетъ и объясняетъ собою всѣ эти восторги нашего геніальнаго критика. Прежде всего надо рѣшить вопросъ: что̀ за человѣкъ самъ Евгеній Онѣгинъ?—Бѣлинскій опредѣляетъ Онѣгина такъ: «Онѣгинъ—добрый малый, но при этомъ недюжинный человѣкъ. Онъ не годится въ геніи, не лѣзетъ въ великіе люди, но бездѣятельность и пошлость жизни душатъ его; онъ даже не знаетъ, чего ему надо, чего ему хочется; но онъ знаетъ и очень хорошо знаетъ, что̀ ему не надо, что ему не хочется того, чѣмъ такъ довольна, такъ счастлива самолюбивая посредственность». Самъ Пушкинъ относится къ своему герою съ уваженіемъ и съ любовью:

«Мнѣ нравились его черты,
Мечтамъ невольная преданность,
Неподражательная странность
И рѣзкій, охлажденный умъ.
Я былъ озлобленъ, онъ—угрюмъ;
Страстей игру мы знали оба:
Томила жизнь обоихъ насъ;
Въ обоихъ сердца жаръ погасъ,
Обоихъ ожидала злоба
Слѣпой Фортуны и людей
На самомъ утрѣ нашихъ дней.
Кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можетъ
Въ душѣ не презирать людей;
Кто чувствовалъ, того тревожитъ
Призракъ невозвратимыхъ дней,
Тому ужъ нѣтъ очарованій,
Того змія воспоминаній,
Того раскаянье грызетъ.
Все это часто придаетъ
Большую прелесть разговору.

Digitized by Google

Сперва Онѣгина языкъ
Меня смущалъ, но я привыкъ
Къ его язвительному спору
И къ шуткѣ, съ желчью пополамъ,
И къ злости мрачныхъ эпиграммъ.
Какъ часто лѣтнею порою,
Когда прозрачно и свѣтло
Ночное небо надъ Невою
И водъ веселое стекло
Не отражаетъ ликъ Діаны,
Воспомня прежнихъ лѣтъ романы,
Воспомня прежнюю любовь,
Чувствительны, безпечны вновь,
Дыханьемъ ночи благосклонной
Безмолвно упивались мы!
Какъ въ лѣсъ зеленый изъ тюрьмы
Перенесенъ колодникъ сонный,
Такъ уносились мы мечтой
Къ началу жизни молодой.»

(Глава I. Строфы XLV, XLVI, XLVII.)

Въ этомъ отрывкѣ Пушкинъ постоянно употребляетъ такія эластическія слова, которыя сами по себѣ не имѣютъ никакого опредѣленнаго смысла и въ которыя вслѣдствіе этого каждый читатель можетъ втиснуть какой угодно смыслъ.—Человѣкъ обладаетъ рѣзкимъ, охлажденнымъ умомъ, знаетъ игру страстей; онъ жилъ, мыслилъ и чувствовалъ; въ немъ погасъ жаръ сердца; его томитъ жизнь; его ожидаетъ злоба людей и слѣпой Фортуны;—всѣ эти слова могутъ быть приложены къ какому-нибудь очень крупному человѣку, къ замѣчательному мыслителю, даже къ историческому дѣятелю, который старался вразумить людей и котораго не поняли, осмѣяли или прокляли тупоумные современники. Обманутый хорошими эластическими словами,—тѣми словами, въ которыя онъ самъ, мыслитель и дѣятель, привыкъ вкладывать живую душу,—Бѣлинскій посмотрѣлъ на Онѣгина благосклонно и смѣло выдвинулъ его изъ безчисленной толпы дюжинныхъ личностей. Но мнѣ кажется, что Бѣлинскій ошибся. Онъ повѣрилъ *словамъ* и забылъ то обстоятельство, что люди очень часто произносятъ хорошія слова, не отдавая себѣ яснаго отчета въ ихъ значеніи или по крайней мѣрѣ придавая этимъ словамъ узкій, односторонній и нищенскій смыслъ. Въ самомъ дѣлѣ, попробуемъ задать себѣ вопросы: *чѣмъ* же охлажденъ умъ Онѣгина? *Какую* игру страстей онъ испыталъ? *На что* тратилъ и истратилъ онъ жаръ своего сердца? *Что* подразумѣваетъ онъ подъ словомъ *жизнь*, когда онъ говоритъ себѣ и другимъ, что жизнь томитъ его? *Что* значитъ, на языкѣ Пушкина и Онѣгина, *жить*, *мыслить* и *чувствовать*?

Отвѣта на всѣ эти вопросы мы должны искать въ описаніи тѣхъ занятій, которымъ предавался Онѣгинъ съ самой ранней молодости и которыя наконецъ вогнали его въ хандру.—Въ первой главѣ, начиная съ XV-ой до XXXVII строфы, Пушкинъ описываетъ цѣлый день Онѣгина съ той минуты, когда онъ просыпается утромъ, до той минуты, когда онъ ложится спать, тоже утромъ. Лежа еще въ постели, Онѣгинъ получаетъ три приглашенія на вечеръ; онъ одѣвается и въ утреннемъ уборѣ ѣдетъ на бульваръ и гуляетъ тамъ до тѣхъ поръ,

«Пока недремлющій брегетъ
Не прозвонитъ ему обѣдъ.»

Онъ ѣдетъ обѣдать въ ресторанъ Талона, и такъ какъ дѣло происходитъ зимой, то, при семъ удобномъ случаѣ, его бобровый воротникъ серебрится морозной пылью; и это достопамятное обстоятельство даетъ Бѣлинскому поводъ замѣтить, что Пушкинъ обладаетъ удивительной способностью «дѣлать поэтическими самые прозаическіе предметы».

Еслибы Бѣлинскій дожилъ до нашихъ временъ, то онъ принужденъ былъ-бы сознаться, что нѣкоторые художники далеко превзошли великаго Пушкина даже въ этой удивительной и спеціально-художественной способности. Наши великіе живописцы, господа Зарянко и Тютрюмовъ, воспѣваютъ бобровые воротники красками, и воспѣваютъ ихъ такъ неподражаемо-хорошо, что каждый отдѣльный волосокъ превращается въ поэтическую картину и въ перлъ созданія. Увидѣвъ великія произведенія этихъ великихъ живописцевъ, Бѣлинскій былъ-бы поставленъ въ трагическую альтернативу: ему пришлось-бы или преклониться передъ творческимъ величіемъ господъ Зарянки и Тютрюмова, или отречься отъ тѣхъ эстетическихъ понятій, которыя видятъ заслугу поэта въ его удивительной способности воспѣвать бобровые воротники.

Воспѣвъ бобровый воротникъ, Пушкинъ воспѣваетъ всѣ кушанья того обѣда, которымъ занимается Онѣгинъ у Талона. Обѣдъ недуренъ: тутъ появляются окровавленный ростбифъ, трюфели, которые Пушкинъ называетъ почему-то роскошью юныхъ лѣтъ, нетлѣнный пирогъ Страсбурга, живой лимбургскій сыръ, золотой ананасъ и котлеты, очень горячія, очень жирныя и возбуждающія жажду, которая утоляется шампанскимъ. Въ какомъ порядкѣ эти поэтическіе предметы слѣдуютъ одинъ за другимъ,—этого Пушкинъ намъ къ сожалѣнію не объясняетъ, и прямая обязанность нашихъ антикваріевъ и библіофиловъ состоитъ въ томъ, чтобы пополнить этотъ важный пробѣлъ посредствомъ тщательныхъ изслѣдованій.

Когда обѣдъ еще не докончонъ, когда горячій жиръ котлетъ еще недостаточно залитъ волнами шампанскаго (какого именно шампанскаго?—это тоже весьма интересный вопросъ для усердныхъ комментаторовъ), звонъ брегета доноситъ обѣдающимъ, что начался новый балетъ.

Какъ злой законодатель театра, какъ непостоянный обожатель очаровательныхъ актрисъ (объ актрисахъ, разумѣется, нечего напоминать

Digitized by Google

комментаторамъ; они, разумѣется, всѣхъ ихъ знаютъ по имени, по отчеству, по фамиліи и по самымъ подробнымъ формулярнымъ спискамъ) и какъ почетный гражданинъ кулисъ, Онѣгинъ летитъ въ балетъ. (Здѣсь я съ ужасомъ вспоминаю, что мы рѣшительно не знаемъ, какой масти была лошадь Онѣгина, и что эту великую тайну по всей вѣроятности не раскроютъ намъ никакія изслѣдованія комментаторовъ). Войдя въ театральную залу, Онѣгинъ начинаетъ обнаруживать охлажденность своего ума; окинувъ взоромъ всѣ ярусы, онъ, по словамъ Пушкина, все видѣлъ и остался ужасно недоволенъ лицами и уборомъ; потомъ, раскланявшись съ мужчинами, взглянулъ на сцену въ большомъ разсѣяньи, потомъ даже отворотился и зѣвнулъ, и молвилъ:

«Всѣхъ пора на смѣну,
Балеты долго я терпѣлъ,
Но и Дидло мнѣ надоѣлъ.»

Приведя это суровое анти-балетное восклицаніе разочарованнаго Онѣгина, Пушкинъ самъ почувствовалъ, что онъ ставитъ своего героя въ довольно смѣшное положеніе, потому что люди, дѣйствительно обладающіе рѣзкимъ и охлажденнымъ умомъ, не станутъ тратить своей иронiи на отрицаніе балетмейстера Дидло и дамскихъ уборовъ. Почувствовавъ смѣшное положеніе Онѣгина, Пушкинъ придѣлалъ къ XXI строфѣ слѣдующее юмористическое примѣчаніе: «Черта охлажденнаго чувства, достойная Чайльдъ-Гарольда. Балеты г. Дидло исполнены живости воображенія и прелести необыкновенной. Одинъ изъ нашихъ романтическихъ писателей находилъ въ нихъ гораздо болѣе поэзіи, нежели во всей французской литературѣ». Этимъ примѣчаніемъ Пушкинъ очевидно хотѣлъ показать, что онъ самъ подтруниваетъ надъ бутадой Онѣгина и не принимаетъ этой бутады за симптомъ серьезной разочарованности. Но примѣчаніе это производитъ очень слабое впечатлѣніе на внимательнаго и недовѣрчиваго читателя; такой читатель видитъ, что, кромѣ забавныхъ бутадъ, рѣзкій и охлажденный умъ Онѣгина не порождаетъ ровно ничего. Въ XXI строфѣ I-й главы Онѣгинъ отрицаетъ балеты Дидло, а въ IV и въ V-й строфахъ III главы Онѣгинъ отрицаетъ брусничную воду, красоту Ольги Ларіной, глупую луну и глупый небосклонъ. И этими немногими, весьма невинными выходками исчерпывается до самаго дна та злость мрачныхъ эпиграммъ, которою угрожалъ намъ Пушкинъ въ XLVI строфѣ I главы. Злѣе и мрачнѣе этихъ эпиграммъ мы отъ Онѣгина ничего и не услышимъ до самаго конца романа. Если всѣ эпиграммы Онѣгина были такъ-же мрачны и такъ-же злы, то немудрено, что Пушкинъ привыкъ къ нимъ очень скоро.

Продолжая проявлять свою разочарованность, Онѣгинъ уѣзжаетъ изъ театра въ то время, когда амуры, черти и змѣи еще скачутъ и шумятъ на сценѣ. Не интересуясь ихъ скаканіемъ и шумѣніемъ, онъ ѣдетъ домой, переодѣвается для бала и отправляется танцовать до утра. Въ то время, когда Онѣгинъ переодѣвается, Пушкинъ превращаетъ въ поэтическіе предметы тѣ гребенки, пилочки, ножницы и щетки, которыя украшаютъ кабинетъ «философа въ осьмнадцать лѣтъ». Философомъ-же юный Онѣгинъ оказался вѣроятно именно потому, что у него очень много гребенокъ, пилочекъ, ножницъ и щетокъ; но и самъ Пушкинъ по части философіи не желаетъ отставать отъ Онѣгина, и вслѣдствіе этого высказываетъ весьма категорически ту философскую истину, любезную Павлу Кирсанову, что можно быть дѣльнымъ человѣкомъ и думать о красотѣ ногтей. Эту великую истину Пушкинъ поддерживаетъ другой истиной, еще болѣе великой. «Къ чему, спрашиваетъ онъ, безплодно спорить съ вѣкомъ?» Такъ какъ XIX вѣкъ очевидно направляетъ всѣ свои усилія къ тому, чтобы превратить ногти въ поэтическіе предметы, то, разумѣется, относиться равнодушно къ красотѣ ногтей значитъ быть ретроградомъ и обскурантомъ... «Обычай,—продолжаетъ философъ Пушкинъ,—деспотъ межъ людей». Ну, разумѣется, и притомъ обычай всегда останется деспотомъ *межъ* такихъ философовъ, какъ Онѣгинъ и Пушкинъ. Къ сожалѣнію, число такихъ драгоцѣнныхъ мыслителей понемногу начинаетъ убывать.—Пушкинъ насказалъ-бы намъ еще много философскихъ истинъ, но Онѣгинъ уже одѣлся, уподобился вѣтреной Венерѣ, надѣвшей мужской нарядъ, и въ ямской каретѣ поскакалъ *стремглавъ* (вѣроятно вслѣдствіе охлажденности ума) на балъ. Пушкинъ, разумѣется, спѣшитъ за нимъ, и потокъ философскихъ истинъ на нѣсколько времени изсякаетъ.—На балѣ мы совершенно теряемъ изъ виду Онѣгина и рѣшительно не знаемъ, въ чемъ выразилось его несомнѣнное превосходство надъ презрѣнной толпой. Введя своего героя въ бальную залу, Пушкинъ весь предается воспоминаніямъ о ножкахъ и разсказываетъ съ неподражаемымъ увлеченіемъ, какъ онъ однажды завидовалъ волнамъ, «бѣгущимъ бурной чередою съ любовью лечь къ ея ногамъ». Недовѣрчивый читатель быть-можетъ усомнится въ томъ, чтобы волны дѣйствительно ложились къ ея ногамъ *съ любовью*, но я отвѣчу такому неотесанному читателю, что прозаическія волны превращены здѣсь въ поэтическіе предметы, и что поэтому со стороны поэта даже очень похвально приписать имъ, для пущей поэтичности, любовь къ женщинѣ вообще или къ ея ногамъ въ особенности. Что-же касается до завидованія неодушевленному предмету, прикасающемуся или приближающемуся къ красивой женщинѣ такъ или иначе, то я надѣюсь, что противъ этого даже самый неотесанный читатель не осмѣлится представить никакого скептическаго возраженія.

Digitized by Google

потому что этотъ мотивъ выясненъ и разработанъ до послѣдней тонкости глубокомысленнымъ и изящнымъ романсомъ: «ахъ, зачѣмъ я не бревно»,—романсомъ, достаточно извѣстнымъ не только грамотной, но даже и безграмотной Россіи.—Объяснивъ читателямъ, что милыя ноги привлекали его сильнѣе и даже несравненно сильнѣе, чѣмъ уста, ланиты и перси, Пушкинъ вспоминаетъ о своемъ Онѣгинѣ, везетъ его съ бала домой и укладываетъ въ постель въ то время, когда рабочій Петербургъ уже начинаетъ просыпаться. Когда Онѣгинъ встаетъ отъ сна, тогда начинается опять та-же исторія: гулянье, обѣдъ, театръ, переодѣванье, балъ и сонъ.

II.

Итакъ, Онѣгинъ ѣстъ, пьетъ, критикуетъ балеты, танцуетъ цѣлыя ночи на пролетъ,—словомъ, ведетъ очень веселую жизнь. Преобладающимъ интересомъ въ этой веселой жизни является «наука страсти нѣжной», которой Онѣгинъ занимается съ величайшимъ усердіемъ и съ блестящимъ успѣхомъ. «Но былъ-ли счастливъ мой Евгеній?»—спрашиваетъ Пушкинъ. Оказывается, что Евгеній не былъ счастливъ, и изъ этого послѣдняго обстоятельства Пушкинъ выводитъ заключеніе, что Евгеній стоялъ выше пошлой, презрѣнной и самодовольной толпы. Съ этимъ заключеніемъ соглашается, какъ мы видѣли выше, Бѣлинскій; но я, къ крайнему моему сожалѣнію, принужденъ здѣсь противорѣчить, какъ нашему величайшему поэту, такъ и нашему величайшему критику. Скука Онѣгина не имѣетъ ничего общаго съ недовольствомъ жизнью; въ этой скукѣ нельзя подмѣтить даже инстинктивнаго протеста противъ тѣхъ неудобныхъ формъ и отношеній, съ которыми мирится и уживается по привычкѣ и по силѣ инерціи пассивное большинство. Эта скука есть не что иное, какъ простое физіологическое послѣдствіе очень безпорядочной жизни. Эта скука есть видоизмѣненіе того чувства, которое нѣмцы называютъ Katzenjammer и которое обыкновенно посѣщаетъ каждаго кутилу на другой день послѣ хорошей попойки. Человѣкъ такъ устроенъ отъ природы, что онъ не можетъ постоянно обжираться, упиваться и изучать «науку страсти нѣжной». Самый крѣпкій организмъ надламывается или по крайней мѣрѣ истаскивается и утомляется, когда онъ черезчуръ роскошно пользуется разнообразными дарами природы. Всякое наслажденье притупляетъ, въ большой или меньшей степени, на болѣе или менѣе долгое время ту способность нашего организма, которая воспринимаетъ это наслажденіе. Если отдѣльные пріемы наслажденья быстро слѣдуютъ одинъ за другимъ и если эти пріемы очень сильны, то наша способность наслаждаться совершенно притупляется, и мы говоримъ, что намъ надоѣло и опротивѣло то или другое пріятное занятіе. Это притупленіе одной изъ нашихъ способностей совершается помимо всякихъ умственныхъ соображеній и совершенно независимо отъ какихъ-бы то ни было критическихъ взглядовъ на то занятіе, которое мы прежде любили и къ которому мы потомъ охладѣли.

Представьте себѣ, что вы очень любите какое-нибудь питательное и здоровое кушанье, напримѣръ пуддингъ; въ одинъ прекрасный день это любимое ваше кушанье изготовлено особенно хорошо; вы объѣдаетесь имъ и сильно разстраиваете себѣ желудокъ; послѣ этого легко можетъ случиться, что вы получите къ пуддингу непобѣдимое отвращеніе, которое, разумѣется, будетъ совершенно независимо отъ вашихъ теоретическихъ понятій о пуддингѣ. Вы знаете очень хорошо весь составъ пуддинга; вы знаете, что въ него не кладутъ никакихъ ядовитыхъ веществъ; вы видите, что другіе люди при васъ ѣдятъ его съ удовольствіемъ, и при всемъ томъ вамъ, прежнему любителю пуддинга, это кушанье не идетъ въ горло.

Отношенія Онѣгина къ различнымъ удовольствіямъ свѣтской жизни похожи, какъ двѣ капли воды, на ваши отношенія къ пуддингу. Онѣгинъ всѣмъ объѣлся и его отъ всего тошнитъ. Если не всѣхъ свѣтскихъ людей тошнитъ такъ, какъ Онѣгина, то это происходитъ единственно оттого, что не всѣмъ удается объѣсться. Какъ спеціалистъ въ «наукѣ нѣжной страсти», Онѣгинъ, разумѣется, стоитъ выше многихъ своихъ сверстниковъ. Онъ красивъ собою, ловокъ, il a la langue bien pendue, какъ говорятъ французы, и въ этихъ особенностяхъ его личности заключается вся тайна его разочарованности и его мнимаго превосходства надъ презрѣнной толпой. Другіе свѣтскіе люди, ведущіе вмѣстѣ съ Онѣгинымъ пустую и веселую жизнь, совсѣмъ не одерживаютъ побѣдъ надъ свѣтскими женщинами или одерживаютъ этихъ побѣдъ очень немного, такъ что не успѣваютъ притупить своего чувства съ этой стороны. «Наука нѣжной страсти» продолжаетъ быть для нихъ привлекательной, потому что они встрѣчаютъ въ ней серьезныя трудности, которыя они желаютъ и надѣются преодолѣть. Для Онѣгина эти трудности не существуютъ; онъ наслаждается тѣмъ, къ чему другіе только стремятся, и вслѣдствіе неумѣреннаго наслажденья онъ притупляетъ въ себѣ вкусъ и влеченіе ко всему, что́ составляетъ содержаніе свѣтской жизни.

До сихъ поръ превосходство Онѣгина заключается только въ томъ, что онъ лучше многихъ другихъ умѣлъ «тревожить сердца кокетокъ записныхъ». Легко можетъ быть, что Пушкинъ любитъ и уважаетъ своего героя именно за эту особенность его личности. Но кто имѣетъ понятіе о Бѣлинскомъ, тотъ конечно знаетъ, что

Digitized by Google

Бѣлинскій не могъ-бы относиться къ Онѣгину съ сочувствіемъ, еслибы видѣлъ въ немъ только искуснаго соблазнителя записныхъ кокетокъ.

Итакъ, посмотримъ, что будетъ дальше; посмотримъ, за какое средство ухватится объѣвшійся Онѣгинъ, чтобы побѣдить свой Katzenjammer и чтобы снова помириться съ жизнью. Когда человѣку надоѣло наслажденіе и когда этотъ человѣкъ въ то-же время чувствуетъ себя молодымъ и сильнымъ, тогда онъ непремѣнно начинаетъ искать себѣ труда. Для него наступаетъ пора тяжелаго раздумья; онъ всматривается въ самого себя, всматривается въ общество; онъ взвѣшиваетъ качество и количество своихъ собственныхъ силъ; онъ оцѣниваетъ свойства тѣхъ препятствій, съ которыми ему придется бороться, и тѣхъ общественныхъ потребностей, которыя стоятъ на очереди и ожидаютъ себѣ удовлетворенія. Наконецъ изъ его раздумья выходитъ какое-нибудь рѣшеніе, и онъ начинаетъ дѣйствовать; жизнь ломаетъ по своему его теоретическія выкладки; жизнь старается обезличить его самого и переработать по общей, казенной мѣркѣ весь строй его убѣжденій; онъ упорно борется за свою умственную и нравственную самостоятельность, и въ этой неизбѣжной борьбѣ обнаруживаются размѣры его личныхъ силъ. Когда человѣкъ прошелъ черезъ эту школу размышленія и житейской борьбы, тогда мы имѣемъ возможность поставить вопросъ: возвышается-ли этотъ человѣкъ надъ безличной и пассивной массой, или не возвышается? Но пока человѣкъ не побывалъ въ этой передѣлкѣ, до тѣхъ поръ онъ въ умственномъ и въ нравственномъ отношеніи составляетъ для насъ такую-же неизвѣстную величину, какую мы видимъ напримѣръ въ грудномъ ребенкѣ. Если-же человѣкъ, утомленный наслажденіемъ, не умѣетъ даже попасть въ школу раздумья и житейской борьбы, то мы тутъ уже прямо можемъ сказать, что этотъ эмбріонъ никогда не сдѣлается мыслящимъ существомъ и слѣдовательно никогда не будетъ имѣть законнаго основанія смотрѣть съ презрѣніемъ на пассивную массу.—Къ числу этихъ вѣчныхъ и безнадежныхъ эмбріоновъ принадлежитъ и Онѣгинъ.

«Отступникъ бурныхъ наслажденій,
Онѣгинъ дома заперся,
Зѣвая за перо взялся,—
Хотѣлъ писать, но трудъ упорный
Ему былъ тошенъ; ничего
Не вышло изъ пера его.»

(Глава I. Строфа XLIII.)

Шляться втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ по ресторанамъ и по балетамъ, потомъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, усѣсться за письменный столъ и взять перо въ руки съ тѣмъ, чтобы сдѣлаться писателемъ,—это фантазія по меньшей мѣрѣ очень странная. Браться за перо *зѣвая* и въ то-же время ожидать, что перо напишетъ что-нибудь мало-мальски сносное,—это также нисколько не остроумно. Наконецъ отвращеніе Онѣгина къ упорному труду,—отвращеніе, которое такъ откровенно признаетъ самъ Пушкинъ, составляетъ симптомъ очень печальный, по которому мы уже заранѣе имѣемъ право предугадывать, что Онѣгинъ навсегда останется эмбріономъ. Но не будемъ торопиться въ произнесеніи окончательнаго приговора. Когда человѣкъ входитъ въ новую фазу жизни, тогда онъ поневолѣ идетъ ощупью, берется за непривычное дѣло очень неискусно, переходитъ отъ одной ошибки къ другой, испытываетъ множество неудачъ и только посредствомъ этихъ ошибокъ и неудачъ выучивается понемногу работать надъ тѣми вопросами, которые настоятельно требуютъ отъ него разрѣшенія.

Онѣгинъ увидалъ, что онъ не можетъ быть писателемъ, и что сдѣлаться писателемъ гораздо труднѣе, чѣмъ пообѣдать у Талона. Эта крошечная частица житейской опытности, вынесенная имъ изъ перваго столкновенія съ вопросомъ о трудѣ, повидимому не пропала для него даромъ. По крайней мѣрѣ вторая попытка его оказывается гораздо благоразумнѣе первой.

«И снова, преданный бездѣлью,
Томясь душевной пустотой,
Усѣлся онъ съ похвальной цѣлью
Себѣ усвоить умъ чужой.»

(Строфа XLIV.)

Значитъ,—началъ читать. Это придумано недурно. Но именно эта удачная, хотя и очень простая выдумка тотчасъ раскрываетъ передъ нами ту истину, что Онѣгинъ—человѣкъ безнадежно-пустой и совершенно ничтожный.

«Отрядомъ книгъ уставилъ полку;
Читалъ, читалъ, а все безъ толку:
Тамъ скука, тамъ обманъ и бредъ,
Въ томъ совѣсти,—въ томъ смысла нѣтъ;
На всѣхъ различныя вериги;
И устарѣла старина,
И старымъ бредитъ новизна.
Какъ женщинъ, онъ оставилъ книги
И полку съ пыльной ихъ семьей
Задернулъ траурной тафтой.»

(Строфа XLIV.)

Еслибы Онѣгинъ расправился такъ бойко съ однѣми русскими книгами, то въ словахъ поэта можно было-бы видѣть злую, но справедливую сатиру на нашу тогдашнюю вялую и ничтожную литературу. Но къ сожалѣнію мы знаемъ доподлинно, изъ другихъ мѣстъ романа, что Онѣгинъ умѣлъ читать всякія книжки, и французскія, и нѣмецкія (Гердера), и англійскія (Гиббона и Байрона), и даже итальянскія (Манзони). Въ его распоряженіи находилась вся европейская литература XVIII вѣка, а онъ съумѣлъ только задернуть полку съ книгами траурной тафтой. Пушкинъ повидимому желалъ показать, что проницательный умъ и неукро-

Digitized by Google

тимый духъ Онѣгина ничѣмъ не могутъ удовлетвориться и ищутъ такого совершенства, котораго даже и на свѣтѣ не бываетъ. Но показалъ онъ совсѣмъ не то. Онъ показалъ одно изъ двухъ: или то, что Онѣгинъ не умѣлъ себѣ выбрать хорошихъ книгъ, или то, что Онѣгинъ не умѣлъ оцѣнить и полюбить мыслителей, съ которыми онъ познакомился. По всей вѣроятности Онѣгина постигли обѣ эти неудачи, т. е. и выборъ книгъ былъ неудовлетворителенъ, и пониманіе было изъ рукъ вонъ плохо. Онѣгинъ вѣроятно накупилъ себѣ всякой всячины, началъ глотать одну книгу за другой безъ цѣли, безъ системы, безъ руководящей идеи, почти ничего не понялъ, почти ничего не запомнилъ и бросилъ наконецъ это безтолковое чтеніе, убѣдивши себя въ томъ, что онъ произошелъ всю человѣческую науку, что всѣ мыслители—дурачье и что всѣхъ ихъ надо повѣсить на одну осину. Это отрицаніе конечно очень отважно и очень безпощадно, но оно кромѣ того чрезвычайно смѣшно и для отрицаемыхъ предметовъ совершенно безвредно. Когда человѣкъ отрицаетъ рѣшительно все, то это значитъ, что онъ не отрицаетъ ровно ничего и что онъ даже ничего не знаетъ и не понимаетъ. Если этимъ легкимъ дѣломъ сплошного отрицанія занимается не ребенокъ, а взрослый человѣкъ, то можно даже смѣло утверждать, что этотъ бойкій господинъ одаренъ такимъ неподвижнымъ и лѣнивымъ умомъ, который никогда не усвоитъ себѣ и не пойметъ ни одной дѣльной мысли. Онѣгинъ расправляется съ книгами такъ, какъ онъ расправился выше съ балетами Дидло и какъ онъ въ III главѣ будетъ расправляться съ глупой луной и съ глупымъ небосклономъ. Онъ произноситъ рѣзкую фразу, которую довѣрчивые люди принимаютъ за смѣлую мысль. Враждебное столкновеніе его съ книгами составляетъ въ его жизни послѣднюю попытку отыскать себѣ трудъ. Послѣ этой попытки Онѣгинъ и Пушкинъ окончательно убѣждаются въ томъ, что для высшихъ натуръ не существуетъ въ жизни увлекательнаго труда, и что чѣмъ человѣкъ умнѣе, тѣмъ больше онъ долженъ скучать. Сваливать такимъ образомъ всякую вину на роковые законы природы конечно очень удобно и даже лестно для тѣхъ людей, которые не привыкли и не умѣютъ размышлять и которые, посредствомъ этого сваливанья, могутъ безъ дальнѣйшихъ хлопотъ перечислить себя изъ тунеядцевъ въ высшія натуры. У Пушкина особенно развита эта замашка выдумывать законы природы и ставить эти выдуманные законы, какъ границу, за которую не можетъ проникнуть никакое изслѣдованіе. Спрашивается напримѣръ, отчего люди скучаютъ?—На это можно отвѣчать: оттого, что они ничего не дѣлаютъ. — А отчего они ничего не дѣлаютъ? — Оттого, что за нихъ работаютъ другіе люди.—А это отчего происходитъ? — На этотъ вопросъ также можно отыскать отвѣтъ, но только, разумѣется, тутъ придется въѣхать и въ исторію, и въ политическую экономію, и въ физіологію, и въ опытную психологію. Но у Пушкина дѣло не доходитъ даже до второго вопроса. У него сію минуту готовъ законъ природы. Пушкинскій Фаустъ говоритъ напримѣръ Мефистофелю: «мнѣ скучно, бѣсъ», а Мефистофель немедленно объясняетъ ему, что «таковъ вамъ положенъ предѣлъ» и что «вся тварь разумная скучаетъ». И Фаустъ довѣрчиво и даже съ нѣкоторымъ ужасомъ выслушиваетъ вздорную болтовню Мефистофеля, а потомъ для развлеченія приказываетъ Мефистофелю утопить испанскій трехмачтовый корабль, готовый пристать къ берегамъ Голландіи. Эта, такъ называемая, «Сцена изъ Фауста» составляетъ превосходный комментарій къ «Евгенію Онѣгину». Въ этой «сценѣ» демонизмъ, какъ понимаетъ его Пушкинъ, доведенъ уже до послѣднихъ границъ нелѣпаго и смѣшного. Тутъ уже для читателя становится ясно, что пушкинскій Фаустъ—совсѣмъ не Фаустъ и совсѣмъ не высшая натура, а просто развеселый купеческій сынокъ, которому свойственно не топить трехмачтовые испанскіе корабли, а разрушать большія зеркала въ русскихъ увеселительныхъ заведеніяхъ. Надъ Мефистофелемъ этотъ рѣзвый юноша не имѣетъ ни малѣйшей власти, но должность Мефистофеля исправляетъ при этомъ россійскомъ Фаустѣ толстый бумажникъ, наполненный кредитными билетами. Именно этотъ карманный Мефистофель и даетъ ему возможность бить зеркала для того, чтобы разнообразить жизнь и прогонять на нѣсколько минутъ роковую скуку. Отнимите у россійскаго Фауста бумажникъ, и онъ тотчасъ сдѣлается тише воды, ниже травы, скромнѣе красной дѣвушки. Вмѣстѣ съ вспышками демонической натуры пропадетъ и роковая скука. Фаустъ пойдетъ въ чернорабочіе и затеряется въ той сѣрой толпѣ, которую онъ отважно давилъ своими рысаками во времена своего господства надъ карманнымъ Мефистофелемъ.

По натурѣ своей Онѣгинъ чрезвычайно похожъ на Фауста, который въ романѣ топитъ испанскіе корабли, а въ жизни крушитъ русскія зеркала. И демонизмъ Онѣгина также цѣликомъ сидитъ въ его бумажникѣ. Какъ только бумажникъ опустѣетъ, такъ Онѣгинъ тотчасъ пойдетъ въ чиновники и превратится въ Фамусова. И тогда самый опытный наблюдатель ни за что не отличитъ его отъ той толпы, которую онъ презиралъ на томъ основаніи, что онъ будто-бы «жилъ и мыслилъ».

Итакъ, Онѣгинъ скучаетъ не оттого, что онъ не находитъ себѣ разумной дѣятельности, и не оттого, что онъ — высшая натура, и не оттого, что «вся тварь разумная скучаетъ», а

Digitized by Google

просто оттого, что у него лежатъ въ карманѣ шальныя деньги, которыя даютъ ему возможность много ѣсть, много пить, много заниматься «наукой нѣжной страсти» и корчить всякія гримасы, какія онъ только пожелаетъ состроить. Умъ его ничѣмъ не охлажденъ,—онъ только совершенно не тронутъ и неразвитъ. *Игру страстей* онъ испыталъ настолько, насколько эта игра входитъ въ «науку страсти нѣжной». О существованіи другихъ, болѣе сильныхъ страстей,—страстей, направленныхъ къ идеѣ, онъ даже не имѣетъ никакого понятія, подобно тому, какъ не имѣетъ о нихъ понятія пушкинскій Фаустъ. *Жаръ* своего *сердца* Онѣгинъ истратилъ на будуарныя сцены и на маскарадныя похожденія. Если Онѣгинъ думаетъ, что *жизнь томитъ* его, то онъ думаетъ чистый вздоръ; кого жизнь дѣйствительно томитъ, тотъ не поскачетъ на почтовыхъ за наслѣдствомъ въ деревню умирающаго дяди. *Жить*, на языкѣ Онѣгина, значитъ гулять по бульвару, обѣдать у Талона, ѣздить въ театры и на балы. *Мыслить*—значитъ критиковать балеты Дидло и ругать луну дурой за то, что она очень кругла. *Чувствовать* — значитъ завидовать волнамъ, которыя ложатся къ ногамъ хорошенькой барыни. *Кто жилъ и мыслилъ*, подобно Онѣгину, *тотъ*, разумѣется, *не можетъ не презирать людей*, живущихъ менѣе роскошно и мыслящихъ не столь оригинально. *Кто чувствовалъ*, подобно Онѣгину, *того*, разумѣется, *тревожитъ призракъ невозвратимыхъ дней*, т. е. тѣхъ дней, когда случалось видѣть вблизи ножки, ланиты, перси и разныя другія интересныя подробности женскаго тѣла.—Такимъ образомъ я отвѣтилъ на всѣ вопросы, поставленные мною въ первой главѣ, и у насъ оказался тотъ неожиданный результатъ, что Онѣгинъ совсѣмъ не «духъ отрицанья, духъ сомнѣнья», а просто коварный измѣнщикъ и жестокій тиранъ дамскихъ сердецъ. Мы увидимъ ниже, что этотъ результатъ оправдывается всѣмъ дальнѣйшимъ ходомъ романа.

III.

Пушкинъ подружился съ Онѣгинымъ и призналъ за нимъ право презирать людей въ то время, когда Онѣгинъ, постигнувъ суетность науки, задергивалъ траурной тафтой полку съ книгами. Вслѣдъ затѣмъ умеръ отецъ Онѣгина и Евгеній предоставилъ наслѣдство кредиторамъ,

«Большой потери въ томъ не видя,
Иль предузнавъ издалека
Кончину дяди-старика»

Дѣйствительно, дядя вскорѣ занемогаетъ, и,

«Прочтя печальное посланье,
Евгеній тотчасъ на свиданье
Стремглавъ по почтѣ поскакалъ
И ужъ заранѣе зѣвалъ,
Приготовляясь, денегъ ради,
На вздохи, скуку и обманъ.»

О предстоящихъ занятіяхъ съ больнымъ дядей Онѣгинъ размышлялъ такъ:

«Но, Боже мой, какая скука
Съ больнымъ сидѣть и день, и ночь,
Не отходя ни шагу прочь.
Какое низкое коварство—
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство.
Вздыхать и думать про себя:
Когда-же чортъ возьметъ тебя!»

Все это очень естественно и изложено очень хорошими стихами, но все это очевидно совершенно уравниваетъ Онѣгина съ самыми презрѣнными людьми презрѣнной толпы. Изъ-за чего суетятся, сгибаются въ дугу, актерствуютъ и подличаютъ самые презрѣнные люди? Изъ-за чего Молчалинъ ходитъ на заднихъ лапкахъ передъ Фамусовымъ и передъ всѣми его важными гостями? — Изъ-за презрѣннаго металла, которымъ поддерживается бренное существованіе. А ради чего Онѣгинъ скачетъ *стремглавъ по почтѣ* и приготовляется къ хожденію на заднихъ лапкахъ передъ умирающимъ родственникомъ? — *Денегъ ради*, отвѣчаетъ Пушкинъ съ свойственной ему откровенностью. Онѣгинъ унижается передъ дядей, Молчалинъ унижается передъ начальникомъ; побудительная причина у обоихъ одна и та-же. Съ какой-же стати Пушкинъ даетъ Онѣгину право презирать толпу, въ которой молчалинство составляетъ самую темную и грязную сторону? Если Онѣгину необходимо упражняться въ презрѣніи, то ему слѣдовалобы начать съ самого себя и даже кончить самимъ собою, т. е. сосредоточить навсегда все свое презрѣніе на собственной личности и оставить толпу въ покоѣ, потому что даже такой мелкій человѣкъ толпы, какъ Молчалинъ, все-таки стоитъ выше блестящаго дэнди Онѣгина. Молчалинъ подличаетъ потому, что въ русской жизни господствуетъ, какъ остроумно замѣтилъ Помяловскій, своеобразный экономическій законъ, вслѣдствіе котораго человѣкъ, дающій работу, считаетъ себя благодѣтелемъ человѣка, получающаго и выполняющаго работу. Очень немногія отрасли труда освободились отъ господства этого своеобразнаго закона, и, разумѣется, то поприще, на которомъ подвизается Молчалинъ, относится къ числу неосвободившихся отраслей. Подличая передъ Фамусовымъ, Молчалинъ добивается только того, чтобы у него не отняли работы и чтобы ему платили за эту работу хорошія деньги. Разумна-ли и полезна-ли сама работа—за это Молчалинъ не отвѣчаетъ, потому что не онъ ее выдумалъ. Дѣло Молчалина — трудиться, и онъ дѣй-

Digitized by Google

ствительно трудится, и его начальникъ, Фамусовъ, сознается, что Молчалинъ — дѣловой человѣкъ. Когда-же Онѣгинъ подличаетъ передъ дядей, тогда онъ ждетъ отъ дяди не работы и не задѣльной платы, а даровой подачки, что конечно несравненно унизительнѣе для человѣческаго достоинства. Онѣгину постылъ упорный трудъ, и вслѣдствіе этого каждый человѣкъ, способный трудиться, имѣетъ полное и разумное право смотрѣть на Онѣгина съ презрѣніемъ, какъ на вѣчнаго недоросля въ умственномъ и въ нравственномъ отношеніи. Получивъ наслѣдство, Онѣгинъ улучшаетъ положеніе мужиковъ:

«Яремъ онъ барщины старинной
Оброкомъ легкимъ замѣнилъ:
Мужикъ судьбу благословилъ.»

Это конечно недурно со стороны Онѣгина. Но это доказываетъ только, во-первыхъ, что Онѣгинъ не Плюшкинъ и не Гарпагонъ, и не Скупой Рыцарь; а во-вторыхъ, что полученное наслѣдство было достаточно велико. Легкій оброкъ, несмотря на всю свою легкость, все-таки давалъ Онѣгину полную возможность имѣть въ деревнѣ «обѣдъ довольно прихотливый», пить съ Ленскимъ бордо и шампанское, а потомъ, послѣ смерти Ленскаго, разъѣзжать втеченіи двухъ лѣтъ по Россіи. Еслибы наслѣдство было менѣе значительно, то по всей вѣроятности мужику не пришлось-бы благословлять судьбу, потому что Онѣгинъ врядъ-ли отказался-бы отъ бордо, отъ странствованій по Россіи и отъ разныхъ другихъ удобствъ жизни, которыя должны оплачиваться «легкимъ оброкомъ» или «старинной барщиной». Значитъ, отношенія Онѣгина къ мужикамъ украшаютъ нашего героя только отрицательнымъ достоинствомъ, то-есть, спасаютъ его отъ упрека въ корыстолюбіи.

«Два дня ему казались новы
Уединенныя поля,
Прохлада сумрачной дубровы,
Журчанье тихаго ручья...
На третій—роща, холмъ и поле
Его не занимали болѣ,
Потомъ ужъ наводили сонъ.»

(Гл. I. Стр. LIV.)

И, разумѣется, хандра стала бѣгать за нимъ, «какъ тѣнь иль вѣрная жена». Многимъ—въ томъ числѣ и Пушкину—эта способность скучать всегда и вездѣ кажется привилегіей сильныхъ умовъ, неспособныхъ удовлетворяться тѣмъ, что̀ составляетъ счастье обыкновенныхъ людей. Пушкинъ здѣсь, какъ и вездѣ, подмѣтилъ и обрисовалъ самый фактъ совершенно вѣрно; но, чуть только дѣло доходитъ до объясненія представленнаго факта, Пушкинъ тотчасъ впадаетъ въ самыя грубыя ошибки. Дѣйствительно, человѣкъ, подобный Онѣгину, испорченный до мозга костей систематической праздностью мысли, долженъ скучать постоянно; дѣйствительно, такой человѣкъ долженъ кидаться съ жадностью на всякую новизну и долженъ охладѣвать къ ней, какъ только успѣетъ въ нее вглядѣться; все это совершенно вѣрно, но все это доказываетъ не то, что онъ слишкомъ много жилъ, мыслилъ и чувствовалъ, а, совсѣмъ напротивъ, то, что онъ вовсе не мыслилъ, вовсе не умѣетъ мыслить, и что всѣ его чувства были всегда такъ-же мелки и ничтожны, какъ чувства остроумнаго джентльмэна, завидующаго счастливому бревну, на которое оперлась чья-то хорошенькая ножка. Въ области мысли Онѣгинъ остался ребенкомъ, несмотря на то, что онъ соблазнилъ многихъ женщинъ и прочиталъ много книжекъ. Онѣгинъ, какъ десятилѣтній ребенокъ, умѣетъ только воспринимать впечатлѣнія и совсѣмъ не умѣетъ ихъ перерабатывать. Оттого онъ и нуждается въ постоянномъ притокѣ свѣжихъ впечатлѣній; пока передъ его глазами мелькаютъ новыя картинки, невиданные переливы красокъ, непривычныя комбинаціи линій и тѣней, до тѣхъ поръ онъ спокоенъ, не хмурится и не пищитъ. Умъ его по обыкновенію находится въ бездѣйствіи; нашъ герой широко раскрываетъ глаза и черезъ эти раскрытыя форточки совершенно пассивно втягиваетъ въ себя впечатлѣнія окружающаго міра; когда декораціи быстро перемѣняются, тогда форточки работаютъ исправно и пассивное втягиваніе впечатлѣній мѣшаетъ нашему герою оставаться наединѣ съ самимъ собою; когда-же передвиженіе декорацій прекращается и когда вслѣдствіе этого безцѣльное глазѣніе становится невозможнымъ, тогда хроническое бездѣйствіе ума выдвигается на первый планъ, Онѣгинъ остается наединѣ съ своей умственной нищетой, и, разумѣется, ощущеніе этой безнадежной нищеты погружаетъ его въ то психическое состояніе, которое называется скукой, тоской или хандрой. Все это нисколько не величественно и ни мало не трогательно.—Постояннымъ собесѣдникомъ и пріятелемъ Онѣгина, скучающаго въ деревнѣ, становится его молодой сосѣдъ,

«По имени Владиміръ Ленскій,
Съ душою прямо геттингенской,
Красавецъ, въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ,
Поклонникъ Канта и поэтъ.
Онъ изъ Германіи туманной
Привезъ учености плоды:
Вольнолюбивыя мечты,
Духъ пылкій и довольно странный,
Всегда восторженную рѣчь
И кудри черныя до плечъ.»

(Г. II. Стр. VI.)

Плоды учености этого господина были по всей вѣроятности никуда негодны, потому что этому господину было «безъ малаго осьмнадцать лѣтъ»; а между тѣмъ онъ считалъ уже свое образованіе оконченнымъ и помышлялъ только о томъ, чтобы поскорѣе жениться на Ольгѣ Лариной, наплодить побольше дѣтей и

Digitized by Google

написать побольше стихотвореній о романтическихъ розахъ и о туманной дали. Въ чемъ заключались геттингенскія свойства его души и въ чемъ проявлялось его уваженіе къ Канту,—это остается для насъ вѣчной тайной. О его вольнолюбивыхъ мечтахъ мы также ровно ничего не узнаемъ, потому что во время своихъ свиданій съ Онѣгинымъ геттингенская душа только и дѣлаетъ, что тянетъ шампанское да вретъ эротическія глупости. Неотъемлемой собственностью Ленскаго остаются такимъ образомъ длинные черные волосы, всегдашняя восторженность рѣчи и пылкость духа съ достаточной примѣсью странности. Все это вмѣстѣ должно было дѣлать его общество совершенно невыносимымъ для всякаго мало-мальски серьезнаго и мыслящаго человѣка; но Онѣгину эта недоучившаяся пиѳія, разумѣется, очень понравилась по той простой причинѣ, что Онѣгину прежде всего было необходимо хоть чѣмъ-нибудь занять ту или другую пару форточекъ, то-есть дать какую-нибудь работу или глазамъ, или ушамъ. А такъ какъ Ленскій болталъ восторженно и неудержимо, то, стало-быть, участь онѣгинскихъ ушей была вполнѣ обезпечена.

Пушкинъ увѣрялъ насъ, что бесѣды этихъ двухъ мыслителей были чрезвычайно разнообразны:

«Межъ ними все рождало споры
И къ размышленію влекло:
Племенъ минувшихъ договоры,
Плоды наукъ, добро и зло,
И предразсудки вѣковые,
И гроба тайны роковыя,
Судьба и жизнь въ свою чреду,
Все подвергалось ихъ суду.»

(Гл. II. Стр. XVI.)

Въ этихъ бесѣдахъ могли-бы обнаружиться и особенности геттингенской души и охлажденности онѣгинскаго ума; въ этихъ бесѣдахъ могли-бы обрисоваться со всѣхъ сторонъ политическія, нравственныя и всякія другія убѣжденія Онѣгина и Ленскаго; но къ сожалѣнію въ романѣ не представлено ни одной такой бесѣды, и вслѣдствіе этого мы имѣемъ полное право крѣпко сомнѣваться въ томъ, имѣлись-ли у этихъ двухъ праздношатающихся джентльмэновъ какія-нибудь убѣжденія.

Читатели мои по всей вѣроятности знаютъ и помнятъ очень хорошо, что Пушкинъ въ «Евгеніѣ Онѣгинѣ» разсуждаетъ чрезвычайно пространно о всевозможныхъ предметахъ, очень мало относящихся къ дѣлу: тутъ и дамскія ножки, и сравненіе *ай* съ *бордо*, и негодованіе противъ альбомовъ петербургскихъ дамъ, и соображенія о томъ, что наше сѣверное лѣто—карикатура южныхъ зимъ, воспоминанія о садахъ лицея и многое множество другихъ вставокъ и украшеній. А между тѣмъ когда нужно рѣшить дѣйствительно важный вопросъ, когда надо показать, что у главныхъ дѣйствующихъ лицъ были опредѣленныя понятія о жизни и о между-человѣческихъ отношеніяхъ, тогда нашъ великій поэтъ отдѣлывается короткимъ и совершенно неопредѣленнымъ намекомъ на какія-то разнообразныя бесѣды, которыя будтобы рождали споры и влекли къ размышленію. Одинъ такой споръ очевидно охарактеризовалъ-бы Онѣгина несравненно полнѣе, чѣмъ десятки очень милыхъ, но совершенно ненужныхъ подробностей о томъ, какъ онъ игралъ на билліардѣ тупымъ кіемъ, какъ онъ садился въ ванну со льдомъ, въ которомъ часу онъ обѣдалъ, и такъ далѣе. Ни одного такого спора мы не видимъ въ романѣ. И это еще не все. Пушкинъ упоминаетъ о разнообразныхъ бесѣдахъ въ XIV строфѣ II главы, а въ XV строфѣ онъ сообщаетъ намъ такія подробности, которыя быть-можетъ дѣлаютъ величайшую честь нѣжности онѣгинскаго сердца, но которыя въ то-же время совершенно уничтожаютъ возможность серьезныхъ споровъ, влекущихъ къ размышленію.

«Поэта пылкій разговоръ,
И умъ, еще въ сужденьяхъ зыбкій,
И вѣчно вдохновенный взоръ—
Онѣгину все было ново;
Онъ охладительное слово
Въ устахъ старался удержать
И думалъ: глупо мнѣ мѣшать
Его минутному блаженству—
И безъ меня пора придетъ;
Пускай покамѣстъ онъ живетъ
Да вѣритъ міра совершенству.»

Какой-же дѣльный споръ, какой-же серьезный обмѣнъ мыслей возможенъ тогда, когда одинъ изъ собесѣдниковъ постоянно старается воздерживаться отъ охладительныхъ словъ и когда другой собесѣдникъ постоянно пылаетъ, то-есть постоянно нуждается въ охлажденіи? Если мы пересмотримъ тѣ предметы разговора, которые перечислены Пушкинымъ въ XV строфѣ, то мы немедленно убѣдимся въ томъ, что споры объ этихъ предметахъ были совершенно невозможны безъ охладительныхъ словъ со стороны Онѣгина. Если эти споры дѣйствительно влекли къ размышленіямъ, то они должны были состоять почти исключительно въ томъ, что Ленскій фантазировалъ и предавался сладостному оптимизму, а Онѣгинъ произносилъ разныя печальныя истины и охладительныя слова. Въ самомъ дѣлѣ, что́ ихъ занимало? Во-первыхъ—*племенъ минувшихъ договоры*. Хотя это выраженіе очень неудачно и неясно, однако можно понять, что тутъ дѣло идетъ объ историческихъ вопросахъ. Ясное дѣло, что Ленскій, какъ идеалистъ и какъ поэтъ, долженъ былъ строить въ области исторіи разныя красивыя и трогательныя тенденціи, а Онѣгинъ, какъ скептикъ, долженъ былъ разрѣшать эти построенія охладительными аргументами. Если даже мы примемъ слово *договоры* въ

Digitized by Google

его точномъ и буквальномъ значеніи, то и тогда споръ врядъ-ли обойдется безъ охладительныхъ словъ. Объ Анталкидовомъ мирѣ или о договорѣ Олега съ греками можно конечно разсуждать совершенно безопасно и безпристрастно, но по всей вѣроятности друзья наши не забирались въ такую глубокую древность; если-же они бесѣдовали о какомъ-нибудь договорѣ поновѣе, напримѣръ о священномъ союзѣ или о вѣнскомъ конгрессѣ, или о карлсбадскихъ конференціяхъ, то Ленскій съ большимъ удобствомъ могъ предаваться неосновательнымъ восторгамъ, противъ которыхъ необходимо было дѣйствовать охладительными словами. Во вторыхъ—*плоды наукъ*. Тутъ все зависитъ отъ того, *какіе* плоды. О математическихъ сочиненіяхъ Эйлера или Лагранжа можно разсуждать безъ охладительныхъ словъ. Но если только друзья наши брали что-нибудь поживѣе, напримѣръ систему міра Лапласа или теорію перерожденій Ламарка, то охладительныя слова становились неизбѣжными, потому что такіе ученые, какъ Лапласъ и Ламаркъ, разрушаютъ очень многія заблужденія, весьма драгоцѣнныя для юныхъ идеалистовъ и романтиковъ. А такъ какъ друзья наши врядъ-ли бесѣдовали объ аналитической геометріи, и такъ какъ по всей вѣроятности они выбирали тѣ *плоды науки*, которые, такъ или иначе, затрогиваютъ общіе вопросы міросозерцанія, то, стало быть, и о *плодахъ науки* нельзя было спорить безъ охладительныхъ словъ. Въ-третьихъ—*добро и зло*, то-есть основанія нравственности. Тутъ столкновеніе противоположныхъ убѣжденій совершенно неизбѣжно, и необходимость охладительныхъ словъ до такой степени очевидна, что нечего объ этомъ и распространяться. Въ-четвертыхъ—*предразсудки вѣковые*. Если происходилъ споръ о вѣковыхъ предразсудкахъ, то этотъ споръ могъ принимать одну изъ двухъ главныхъ формъ: или Онѣгинъ считалъ какое-нибудь мнѣніе за предразсудокъ, а Ленскій доказывалъ его разумность, или-же наоборотъ, Ленскій нападалъ на предразсудокъ, а Онѣгинъ его отстаивалъ. Въ первомъ случаѣ Ленскій, какъ юноша и поэтъ, бралъ подъ свое покровительство разныя красивыя иллюзіи, которыя Онѣгинъ, какъ человѣкъ, познакомившійся съ жизнью, отрицалъ и осмѣивалъ. Во-второмъ случаѣ Ленскій, какъ юный и горячій представитель чистой теоріи, несклоняющейся ни на какіе компромиссы, осуждалъ, съ высоты своей идеи, разныя мелкія слабости общества, которыя Онѣгинъ, какъ опытный человѣкъ, считалъ извинительными или даже неизбѣжными. Въ томъ и другомъ случаѣ Онѣгину пришлось-бы совершенно отказаться отъ спора, еслибы онъ захотѣлъ воздерживаться отъ охладительныхъ словъ. Въ-пятыхъ—*гроба тайны роковыя*. Часъ отъ часу не легче. Если возможенъ какой-нибудь споръ о *роковыхъ тайнахъ гроба*, то этотъ споръ можетъ происходить только на счетъ безсмертія души. Между Онѣгинымъ и Ленскимъ споръ безъ сомнѣніи долженъ былъ завязаться такъ, что Онѣгинъ отрицалъ, а Ленскій утверждалъ. Начиная такой споръ, Онѣгинъ очевидно затрогивалъ такой предметъ, который составлялъ для юнаго идеалиста величайшую и неприкосновеннѣйшую драгоцѣнность. Какъ бы мягко и осторожно Онѣгинъ ни выражался, во всякомъ случаѣ уже тотъ фактъ, что онъ ставилъ знакъ вопросительный тамъ, гдѣ Ленскій ставилъ точку или знакъ восклицательный,—одинъ этотъ фактъ, говорю я, долженъ былъ произвести на несчастнаго поэта гораздо болѣе потрясающее впечатлѣніе, чѣмъ всевозможныя охладительныя слова. Въ-шестыхъ—*судьба и жизнь*. Ну, это выраженіе такъ неясно и такъ растяжимо, что о немъ нечего и говорить.

Подробный анализъ тѣхъ высокихъ предметовъ, о которыхъ разговаривали Онѣгинъ и Ленскій, приводитъ меня къ тому заключенію, что они ни о какихъ высокихъ предметахъ не разговаривали, и что Пушкинъ не имѣетъ никакого понятія о томъ, что̀ значитъ серьезный споръ, влекущій къ размышленію, и какое значеніе имѣетъ для человѣка сознанное и глубоко-прочувствованное убѣжденіе. Пушкину хотѣлось, чтобы Онѣгинъ въ своихъ отношеніяхъ къ Ленскому обнаруживалъ граціозную мягкость своего характера, и Пушкинъ, какъ человѣкъ, хорошо знакомый съ граціозной мягкостью и совершенно незнакомый съ убѣжденіями, не сообразилъ того, что, навязывая своему герою это изящное свойство, онъ осуждалъ его на такую жалкую безцвѣтность, при которой возможны только пренія о погодѣ, о достоинствахъ шампанскаго, да пожалуй еще о договорахъ Олега съ греками. Еслибы Онѣгинъ дѣйствительно имѣлъ какія-нибудь убѣжденія, то, подружившись съ Ленскимъ, онъ, именно изъ привязанности къ нему, старался-бы откровенно подѣлиться съ нимъ своими взглядами на жизнь и разрушить дружескими разговорами тѣ юношескія заблужденія, которыя, рано или поздно, грубо и безжалостно разрушитъ презрѣнная житейская проза. Но Онѣгинъ, по своей неразвитости и по совершенному отсутствію убѣжденій, соблюдаетъ въ отношеніи къ Ленскому ту знаменитую политику скрыванія и педагогическаго обмана, которую постоянно прилагаютъ къ своимъ питомцамъ всѣ родители и воспитатели, отличающіеся теплотой чувствъ и ограниченностью ума.

Я уже показалъ выше, что при этой политикѣ совершенно невозможны серьезные разговоры о предметахъ, вызывающихъ на раз-

Digitized by Google

мышленіе. И такъ какъ Пушкинъ намъ дѣйствительно не сообщаетъ ни одного подобнаго разговора, то мы имѣемъ полное право утверждать, что Онѣгинъ и Ленскій были совершенно неспособны къ серьезнымъ разсужденіямъ, и что Пушкинъ, желая поставить ихъ на пьедесталъ, упомянулъ мимоходомъ о разныхъ высокихъ предметахъ, до которыхъ ни ему самому, ни его героямъ никогда не было никакого дѣла. Договоры племенъ, вѣковые предразсудки, роковыя тайны, все это—одни слова, къ которымъ критикъ долженъ относиться съ крайней недовѣрчивостью.

IV.

Любопытно замѣтить, что граціозная мягкость измѣняетъ Онѣгину именно тогда, когда она была необходима и когда охладительное слово было не только очень невѣжливо, но еще кромѣ того совершенно безполезно. Вотъ какимъ образомъ Онѣгинъ разсуждаетъ объ Ольгѣ, въ которую, какъ ему извѣстно, давно уже влюбленъ Ленскій:

«Въ чертахъ у Ольги жизни нѣтъ,
Точь въ точь въ Вандиковой Мадонѣ:
Кругла, красна лицомъ она,
Какъ эта глупая луна
На этомъ глупомъ небосклонѣ.»

(Гл. III. Стр. V.)

Эта тирада очевидно была сказана только для того, чтобы полюбоваться насмѣшливой холодностью своего взгляда на природу и на жизнь. Ленскому эта грубая и безтолковая выходка противъ Ольги показалась очень непріятной, и, кромѣ этой, совершенно безплодной непріятности, ровно ничего не вышло и не могло выйдти изъ охладительнаго слова, произнесеннаго Онѣгинымъ ни къ селу, ни къ городу, для услажденія собственнаго слуха. Впрочемъ надо и то сказать, что Ленскій самъ напрашивается на подобныя дерзости: онъ лѣзетъ къ Онѣгину съ такими конфиденціальными разговорами объ Ольгѣ, которые совершенно несовмѣстны съ серьезнымъ уваженіемъ любящаго мужчины къ любимой женщинѣ. Онъ за бокаломъ шампанскаго анализируетъ Ольгу съ пластической точки зрѣнія, и этому занятію онъ предается уже послѣ того, какъ Онѣгинъ сравнилъ эту Ольгу съ глупой луной. Вотъ его подлинныя слова:

«Ахъ, милый, какъ похорошѣли
У Ольги плечи, что за грудь!
Что за душа!»

(Гл. IV. Стр. XLVIII.)

Когда Базаровъ сказалъ своему другу нѣсколько словъ о плечахъ женщины, которую онъ видѣлъ въ первый разъ, тогда наша критика и наша публика порѣшили, что Базаровъ—ужасный циникъ. Но еслибы критика и публика потрудились перечитать «Евгенія Онѣгина», то онѣ увидѣли-бы, что идеалистъ и романтикъ Ленскій далеко перещеголялъ матеріалиста и эмпирика Базарова. Базаровъ говорилъ о незнакомой женщинѣ, Ленскій, напротивъ того,—о той дѣвушкѣ, въ которую онъ былъ влюбленъ съ дѣтства; Базаровъ говорилъ только о плечахъ, Ленскій—о плечахъ и о груди. Стало быть, упрекъ въ цинизмѣ относится по всѣмъ правамъ къ пламеннымъ идеалистамъ 20-хъ годовъ, а не къ холоднымъ реалистамъ нашего времени. Впрочемъ это совершенно естественно, потому что, какъ намъ извѣстно даже изъ прописей, праздность есть мать всѣхъ пороковъ, а въ дѣлѣ праздности Базарову конечно мудрено тягаться съ Онѣгинымъ и съ Ленскимъ. Праздность Онѣгина такъ колоссальна, что онъ даже

« — — Дома цѣлый день
Одинъ, въ разсчеты погруженный,
Тупымъ кіемъ вооруженный,
На билліардѣ въ два шара
Играетъ съ самаго утра.»

(Гл. IV. Стр. XLIV.)

При такомъ бездѣйствіи мысли вранье на разныя темы составляетъ конечно одно изъ лучшихъ украшеній жизни.

Чтобы дорисовать личность Ленскаго, надо разобрать его дуэль съ Онѣгинымъ. Тутъ читатель рѣшительно не знаетъ, кому отдать пальму первенства по части тупоумія—Онѣгину или Ленскому. Единственное возможное объясненіе этого нелѣпѣйшаго случая состоитъ въ томъ, что оба они, Ленскій и Онѣгинъ, совершенно ошалѣли отъ бездѣлья и отъ мертвящей скуки. Онѣгину захотѣлось взбѣсить Ленскаго и такимъ образомъ отмстить ему за то, что у Ларинныхъ на именины Татьяны собралось много гостей, между тѣмъ какъ Ленскій говорилъ Онѣгину, что не будетъ никого изъ постороннихъ. Чтобы исполнить свое намѣреніе, Онѣгинъ танцуетъ съ Ольгой сначала вальсъ, потомъ мазурку, потомъ котильонъ. Во время танцевъ онъ,

«Наклонясь, ей шепчетъ нѣжно
Какой-то пошлый мадригалъ,
И руку жметъ—и запылалъ
Въ ея лицѣ самолюбивомъ
Румянецъ ярче.»

(Гл. V. Стр. XLIV.)

Но, спрашивается, что-же онъ могъ видѣть? Что Онѣгинъ наклонялся къ Ольгѣ и шепталъ ей что-то, въ этомъ, кажется, нѣтъ ничего преступнаго. Кавалеры обыкновенно говорятъ съ дамами во время танцевъ, и никто не обязываетъ ихъ говорить такъ громко, чтобы каждое слово было слышно во всѣхъ концахъ залы. Пошлаго мадригала Ленскій не могъ ни видѣть, ни слышать, потому что онъ былъ произнесенъ шопотомъ. Замѣтить пожатіе руки было

Digitized by Google

также невозможно, потому что это движеніе мускуловъ совершенно неуловимо для глазъ. Что Ольга улыбалась и краснѣла—это Ленскій конечно могъ видѣть; но, во-первыхъ, во время танцевъ никто не хмурится; а во-вторыхъ, Ольга могла раскраснѣться именно отъ движенія; наконецъ, еслибы даже Ленскій могъ быть твердо убѣжденъ въ томъ, что Онѣгинъ говоритъ Ольгѣ комплименты на счетъ ея наружности, и что Ольга улыбается и краснѣетъ отъ удовольствія, то и тогда онъ не имѣлъ-бы никакого основанія сердиться ни на Онѣгина, ни на Ольгу. Въ двадцатыхъ годахъ комплименты были еще въ полномъ ходу, и дамы были еще такъ наивны, что находили ихъ лестными и пріятными. Стало быть, ни Онѣгинъ, ни Ольга не позволяли себѣ рѣшительно ничего такого, что выходило-бы изъ уровня принятыхъ обычаевъ. Но Ленскій лѣзетъ на стѣны:

«Не въ силахъ Ленскій снесть удара;
Проказы женскія кляня,
Выходитъ, требуетъ коня
И скачетъ. Пистолетовъ пара,
Двѣ пули—больше ничего—
Вдругъ разрѣшатъ судьбу его.»
(Гл. V. Стр. XLV.)

А весь ударъ состоялъ въ томъ, что Ольга не пошла танцовать съ нимъ котильонъ. А не пошла она по той законной причинѣ, что ее уже заранѣе пригласилъ Онѣгинъ. Легко можетъ быть, что въ двадцатыхъ годахъ дѣйствительно существовали такіе чудаки, которые принимали подобныя событія за жестокіе удары. Но въ такомъ случаѣ надо будетъ сознаться, что у романтиковъ двадцатыхъ годовъ была въ головѣ своя оригинальная логика, о которой мы въ настоящее время не можемъ составить себѣ почти никакого понятія. Кромѣ того не мѣшаетъ замѣтить, что женамъ этихъ чувствительныхъ и пламенныхъ романтиковъ было по всей вѣроятности очень скверно жить на свѣтѣ.

Трагедія по поводу котильона происходитъ за недѣлю съ небольшимъ до срока, назначеннаго для свадьбы Ленскаго, который зналъ и любилъ свою невѣсту съ самаго дѣтства. Если Ленскій осмѣливается оскорблять безсмысленными подозрѣніями ту дѣвушку, которую онъ знаетъ съ малыхъ лѣтъ, и если эти подозрѣнія могутъ возникнуть отъ каждаго взгляда, брошеннаго Ольгою на посторонняго мужчину, то, спрашивается, когда-же и при какихъ условіяхъ установятся между мужемъ и женою разумныя отношенія, основанныя на взаимномъ довѣріи? И если о разумномъ взглядѣ на женщину не имѣетъ никакого понятія геттингенская душа, читающая Шиллера и поклоняющаяся Канту, то, спрашивается, какая-же разница существуетъ между геттингенской душой и душою вятской или симбирской? И что за охота была Пушкину посылать Ленскаго въ туманную Германію за плодами учености и за какими-то вольнолюбивыми мечтами, когда этому Ленскому суждено было только сказать и сдѣлать въ романѣ нѣсколько плоскостей, которымъ онъ могъ-бы съ величайшимъ удобствомъ научиться не только въ своей деревнѣ, но даже и въ какой-нибудь букеевской ордѣ? Что-же касается до длинныхъ волосъ, которые Ленскій, по свидѣтельству Пушкина, привезъ съ собою также изъ туманной Германіи, то мнѣ кажется, что они, при тщательномъ уходѣ, могли-бы вырости и въ Россіи.

Пріѣхавъ домой послѣ измѣны коварной Ольги, Ленскій посылаетъ Онѣгину

... «Пріятный, благородный,
Короткій вызовъ, иль картель.»

Къ сожалѣнію, Пушкинъ не представляетъ намъ того письма, которое написалъ по этому поводу «поклонникъ Канта и поэтъ». У Пушкина сказано только, что

«Учтиво, съ ясностью холодной
Звалъ друга Ленскій на дуэль.»

Но такъ какъ вызовъ надо-же чѣмъ-нибудь мотивировать, то было-бы очень любопытно посмотрѣть, какимъ образомъ Ленскій вывернулся изъ этой задачи, то-есть, какимъ образомъ онъ ухитрился писать къ Онѣгину о небываломъ оскорбленіи. Впрочемъ рыбакъ рыбака видитъ издалека. Ленскій вѣроятно предчувствовалъ, что всякая пошлость непремѣнно найдетъ себѣ сочувственный отзывъ въ душѣ его бывшаго друга, и что слѣдовательно въ сношеніяхъ съ этимъ бывшимъ другомъ можно нарушать совершенно безбоязненно всѣ правила обыкновенной человѣческой логики. Ленскій повидимому понималъ, что Онѣгинъ, какъ свѣтскій человѣкъ, есть прежде всего машина, которая при извѣстномъ прикосновеніи непремѣнно должна произвести извѣстное движеніе, хотя-бы это движеніе при данныхъ условіяхъ было совершенно безсмысленно и даже крайне неумѣстно. Разумѣется, Онѣгинъ вполнѣ оправдываетъ надежды своего достойнаго друга. Получивши «пріятный, благородный, короткій вызовъ», онъ, какъ образованный дэнди, не требуетъ никакихъ дальнѣйшихъ объясненій и отвѣчаетъ пріятно, благородно, коротко, «что онъ *всегда готовъ*». Секундантъ Ленскаго тотчасъ уѣзжаетъ, а Онѣгинъ «наединѣ съ своей душой» начинаетъ соображать, что эта душа надѣлала премного глупостей. Онѣгинъ недоволенъ самъ собой. Пушкинъ говоритъ:

«И по дѣломъ: въ разборѣ строгомъ,
На тайный судъ себя призвавъ,
Онъ обвинялъ себя во многомъ:
Во-первыхъ, онъ ужъ былъ неправъ,
Что надъ любовью робкой, нѣжной
Такъ подшутилъ вечоръ небрежно.

Digitized by Google

А во-вторыхъ, пускай поэтъ
Дурачится: въ осьмнадцатъ лѣтъ
Оно простительно. Евгеній,
Всѣмъ сердцемъ юношу любя,
Былъ долженъ оказать себя
Не мячикомъ предразсужденій,
Не пылкимъ мальчикомъ-бойцомъ,
Но мужемъ съ честью и умомъ.
Онъ могъ-бы чувства обнаружить,
А не щетиниться, какъ звѣрь;
Онъ долженъ былъ обезоружить
Младое сердце. «Но теперь
Ужъ поздно, время улетѣло...
Къ тому-жъ—онъ мыслитъ—въ это дѣло
Вмѣшался старый дуэлистъ;
Онъ золъ, онъ сплетникъ, онъ рѣчистъ...
Конечно быть должно презрѣнье
Цѣной его забавныхъ словъ;
Но шопотъ, хохотня глупцовъ...»
И вотъ общественное мнѣнье!...
Пружина чести, нашъ кумиръ!
И вотъ на чемъ вертится міръ!»

(Гл. VI. Стр. X, XI.)

Евгеній, какъ видите, любитъ юношу всѣмъ сердцемъ; кромѣ того строгій разборъ, произведенный на тайномъ судѣ совѣсти, говоритъ ему, что мужъ съ честью и съ умомъ не сталъ бы щетиниться, какъ звѣрь, и не позволилъ-бы себѣ стрѣлять въ осьмнадцатилѣтняго разыгравшагося мальчика. На одну чашку вѣсовъ Онѣгинъ кладетъ жизнь юноши, котораго онъ любитъ всѣмъ сердцемъ, и кромѣ того здравыя требованія ума и чести, —тѣ требованія, которыя сформулированы строгимъ разборомъ тайнаго суда На другую чашку Онѣгинъ кладетъ шопотъ и хохотню глупцовъ, которыхъ натравитъ старый дуэлистъ и злой сплетникъ, достойный, по мнѣнію самого-же Онѣгина, самаго полнаго презрѣнья. Вторая чашка тотчасъ перетягиваетъ, и догадливый читатель немедленно можетъ составить себѣ очень наглядное понятіе о томъ, какъ сильно умѣетъ Онѣгинъ любить и какъ высоко цѣнитъ онъ свое собственное уваженіе.—Я долженъ убить моего друга, разсуждаетъ Онѣгинъ, я долженъ оказаться передъ тайнымъ судомъ моей совѣсти мужемъ безъ чести и безъ ума, я долженъ это сдѣлать непремѣнно, потому что, въ противномъ случаѣ, дураки, которыхъ я презираю, будутъ шептать и смѣяться.

Изъ этого процесса мысли мы видимъ ясно, что слова: «другъ», «совѣсть», «честь», «умъ», «дураки», «презирать»—не имѣютъ для Онѣгина никакого осязательнаго смысла. Какъ негръ, задавленный непосильнымъ трудомъ, тяжелыми лишеніями и ежедневными побоями, теряетъ способность любить, ненавидѣть, презирать и разсуждать, превращается въ тупое вьючное животное, способное только къ пассивному повиновенію и къ машинальной работѣ изъ подъ палки, такъ и Онѣгинъ, задавленный умственной пустотой и гнетомъ свѣтскихъ предразсудковъ, навсегда потерялъ силу и умѣнье чувствовать, мыслить и дѣйствовать, не испрашивая на то соизволенія у той толпы, которую онъ величественно презираетъ. Личныя понятія, личныя чувства, личныя желанія Онѣгина такъ слабы и вялы, что они не могутъ имѣть никакого ощутительнаго вліянія на его поступки. Поступитъ онъ во всякомъ случаѣ такъ, какъ того потребуетъ отъ него свѣтская толпа; онъ даже не подождетъ, чтобы эта толпа выразила ясно свое требованіе; онъ его угадаетъ заранѣе; онъ съ утонченной угодливостью раба, воспитаннаго въ рабствѣ съ колыбели, предупредитъ всѣ желанія этой толпы, которая, какъ избалованный властелинъ, разумѣется, даже и вниманія не обратитъ на то, какими усиліями и жертвами ея вѣрный рабъ, Онѣгинъ, купилъ себѣ право оставаться въ ея глазахъ джентльмэномъ самой безукоризненной безцвѣтности. И толпа поступаетъ совершенно справедливо, когда не обращаетъ вниманія на усилія и жертвы вѣрнаго раба; вѣрный рабъ вѣренъ только потому, что не смѣетъ сдѣлаться невѣрнымъ; онъ боится своего господина и въ то-же время вмѣстѣ съ другими, столь-же трусливыми и вѣрными рабами ежеминутно ругаетъ его за глаза, подобно тому, какъ это дѣлаютъ всѣ лакеи, проникнутые духомъ лакейства до мозга костей. Этой лакейской замашкой ругать за глаза строгаго господина объясняется то презрѣніе къ толпѣ, которымъ драпируется Онѣгинъ. Это красивое презрѣніе—чувство совершенно платоническое; оно цѣликомъ улетучивается въ словахъ; какъ только приходится дѣйствовать, такъ это презрѣніе смѣняется тотчасъ самымъ плоскимъ и раболѣпнымъ благоговѣніемъ.

Спрашивается теперь, какимъ образомъ долженъ былъ отнестись поэтъ къ этой чертѣ въ характерѣ Онѣгина? Мнѣ кажется, онъ долженъ былъ понять весь глубокій комизмъ этой черты, онъ долженъ былъ всѣми силами своего таланта подмѣтить и разработать въ этой чертѣ всѣ ея смѣшныя стороны, онъ долженъ былъ осмѣять, опошлить и втоптать въ грязь безъ малѣйшаго состраданія ту низкую трусость, которая заставляетъ неглупаго человѣка играть роль вреднаго идіота для того, чтобы не подвергнуться робкимъ и косвеннымъ насмѣшкамъ настоящихъ идіотовъ, достойныхъ полнаго презрѣнія. Поступая такимъ образомъ, поэтъ оказалъ-бы дѣйствительную и серьезную услугу общественному самосознанію; онъ-бы заставилъ толпу смѣяться надъ тѣми формулами тупоумія и безличности, на которыя она, по своей недогадливости и инерціи мысли, привыкла смотрѣть не только равнодушно, но даже благосклонно.

Такъ-ли поступилъ Пушкинъ? Нѣтъ, онъ поступилъ какъ разъ наоборотъ. Въ своемъ взглядѣ на положеніе Онѣгина онъ самъ оказался человѣкомъ свѣтской толпы и употре-

Digitized by Google

билъ всѣ силы своего таланта на то, чтобы изъ мелкаго, трусливаго, безхарактернаго и праздношатающагося франтика сдѣлать трагическую личность, изнемогающую въ борьбѣ съ непреодолимыми требованіями вѣка и народа. Вмѣсто того, чтобы сказать читателю: какъ пустъ, смѣшонъ и ничтоженъ мой Онѣгинъ, убивающій своего друга въ угоду дуракамъ и негодяямъ, Пушкинъ говоритъ: «и вотъ на чемъ вертится міръ», точно будто-бы отказаться отъ безсмысленнаго вызова значитъ нарушить міровой законъ.

Возвышая такимъ образомъ въ глазахъ читающей массы тѣ типы и тѣ черты характера, которые сами по себѣ низки, пошлы и ничтожны, Пушкинъ всѣми силами своего таланта усыпляетъ то общественное самосознаніе, которое истинный поэтъ долженъ пробуждать и воспитывать своими произведеніями. Сваливая на общія причины, на неумолимую судьбу и на міровые законы вину позорныхъ ошибокъ, отъ которыхъ каждый умный и энергическій человѣкъ можетъ уберечься силами своей собственной личности, Пушкинъ оправдываетъ и поддерживаетъ своимъ авторитетомъ робость, безпечность и неповоротливость индивидуальной мысли. Онъ подавляетъ личную энергію, обезоруживаетъ личный протестъ и укрѣпляетъ тѣ общественные предразсудки, которые каждый мыслящій человѣкъ обязанъ разрушать всѣми силами своего ума и всѣмъ запасомъ своихъ знаній. «*И вотъ на чемъ вертится міръ*!» Какъ вамъ нравится это наивное признаніе Пушкина, что для него весь міръ сосредоточивается въ тѣхъ малочисленныхъ кружкахъ фешенебельнаго общества, въ которыхъ люди, обожающіе «пружину чести», изъ благоговѣнія къ этой пружинѣ стрѣляются со своими друзьями противъ собственнаго желанія и противъ собственнаго убѣжденія?

Сдѣлавши замѣчательное открытіе, что міръ вертится на пружинѣ чести, Пушкинъ далеко превосходитъ Людовика-Филиппа, придумавшаго остроумное выраженіе «le pays légal» для обозначенія тѣхъ французовъ, которые пользовались правомъ голоса на выборахъ депутатовъ. У Людовика-Филиппа огромное большинство французовъ остается за предѣлами законной Франціи, а у Пушкина огромное большинство людей остается за предѣлами существующаго міра,—что безъ сомнѣнія гораздо болѣе остроумно.

V.

Онѣгинъ остается ничтожнѣйшимъ пошлякомъ до самаго конца своей исторіи съ Ленскимъ, а Пушкинъ до самаго конца продолжаетъ воспѣвать его поступки, какъ грандіозныя и трагическія событія. Благодаря превосходному разсказу нашего поэта, читатель видитъ постоянно не внутреннюю дрянность и мелкость побужденій, а внѣшнюю красоту и величавость хладнокровнаго мужества и безукоризненнаго джентльмэнства.

«— — Хладнокровно,
Еще не цѣля, два врага
Походкой твердой, тихо, ровно
Четыре перешли шага,
Четыре смертныя ступени.
Свой пистолетъ тогда Евгеній,
Не переставая наступать,
Сталъ первый тихо подымать.
Вотъ пять шаговъ еще ступили,
И Ленскій, жмуря лѣвый глазъ,
Сталъ также цѣлить, но какъ разъ
Онѣгинъ выстрѣлилъ... Пробили
Часы урочные: поэтъ
Роняетъ молча пистолетъ,
На грудь кладетъ тихонько руку
И падаетъ.»

(Гл. VI. Стр. XXX, XXXI.)

Господи, какъ красиво! Люди переходятъ *твердою походкою*, *тихо*, *ровно* четыре шага, *четыре смертныя ступени*. Два человѣка безъ всякой надобности идутъ на смерть и смотрятъ ей въ глаза, не обнаруживая ни малѣйшаго волненія. Такъ это красиво и такъ это старательно воспѣто, что читатель, замирая отъ ужаса и преклоняясь передъ доблестями храбрыхъ героевъ, даже не осмѣлится и не съумѣетъ подумать о томъ, до какой степени глупо все это происшествіе и до какой степени похожи величественные герои, соблюдающіе твердость и тишину походки, на жалкихъ дрессированныхъ гладіаторовъ, тратившихъ всю свою энергію на то, чтобы въ предсмертныхъ мукахъ доставить удовольствіе зрителямъ красивой позитурой тѣла. А между тѣмъ эти зрители были злѣйшими врагами гладіаторовъ, и еслибы гладіаторы направили свою энергію не на красивыя позы, а на тупоумныхъ любителей этихъ позъ, то легко могло-бы случиться, что они навсегда избавили-бы себя отъ печальной необходимости тѣшить праздныхъ дураковъ красивыми позами. Надо полагать, что гладіаторы были очень глупы и что глупость ихъ къ сожалѣнію не умерла вмѣстѣ съ ними.

Но, кромѣ общей гладіаторской глупости, поведеніе Онѣгина въ сценѣ дуэли заключаетъ въ себѣ еще свою собственную, совершенно спеціальную глупость или дрянность, которая до сихъ поръ, сколько мнѣ извѣстно, была упущена изъ виду самыми внимательными критиками. То обстоятельство, что онъ принялъ вызовъ Ленскаго и явился на поединокъ, еще можетъ быть до нѣкоторой степени объяснено, хотя конечно не оправдано,—вліяніемъ свѣтскихъ предразсудковъ, сдѣлавшихся для Онѣгина второй природой. Но то обстоятельство, что онъ, «всѣмъ сердцемъ юношу любя» и сознавая себя

Digitized by Google

кругомъ виноватымъ, *цѣлилъ* въ Ленскаго и убилъ его, можетъ быть объяснено только или крайнимъ малодушіемъ, или непостижимымъ тупоуміемъ. Свѣтскій предразсудокъ обязывалъ Онѣгина идти на встрѣчу опасности, но свѣтскій предразсудокъ нисколько не запрещалъ ему выдержать выстрѣлъ Ленскаго и потомъ разрядить пистолетъ на воздухъ. При такомъ образѣ дѣйствій и волки были-бы сыты, и овцы были-бы цѣлы. Репутація храбрыхъ гладіаторовъ была-бы спасена; Ленскій, вполнѣ удовлетворенный и обезоруженный, пригласилъ-бы Онѣгина быть шаферомъ на его свадьбѣ, а Онѣгинъ, сказавшій Ольгѣ пошлый мадригалъ и *оказавшій себя мячикомъ предразсужденій*, за всѣ эти продерзости былъ-бы наказанъ тѣмъ непріятнымъ ощущеніемъ, которое доставляетъ каждому порядочному человѣку созерцаніе пистолетнаго дула, направленнаго прямо на его собственную особу. Конечно Ленскій могъ убить или тяжело ранить Онѣгина, которому въ такомъ случаѣ не пришлось-бы быть шаферомъ на предстоящей свадьбѣ, но эта перспектива нисколько не должна была конфузить Онѣгина, если только онъ дѣйствительно былъ утомленъ жизнью и совершенно искренно тяготился ея простотой. Онѣгинъ не долженъ былъ колебаться ни одной минуты, когда ему надо было рѣшать на практикѣ вопросъ: кому жить, ему или Ленскому? Онъ ни на одну минуту не долженъ былъ ставить свою собственную опротивѣвшую ему жизнь на одну доску съ свѣжей жизнью влюбленнаго юноши. Однако онъ поступилъ какъ-разъ на оборотъ. Онъ первый сталъ поднимать свой пистолетъ и выстрѣлилъ именно въ то самое время, когда Ленскій началъ прицѣливаться.

Почему-же онъ это сдѣлалъ? Или потому, что не сообразилъ заранѣе, *какъ* ему слѣдовало распорядиться, или-же потому, что чувство самосохраненія одержало верхъ надъ всѣми предварительными соображеніями. Первое предположеніе очень неправдоподобно; сообразить было немудрено; если Онѣгинъ не умѣетъ подумать даже тогда, когда отъ его размышленій зависитъ жизнь юноши, котораго онъ любитъ всѣмъ сердцемъ, то, значитъ, онъ совсѣмъ неспособенъ шевелить мозгами. Съ этимъ трудно согласиться, хотя, разумѣется, умственныя способности Онѣгина очень неблистательны и совершенно испорчены бездѣйствіемъ. Остается второе предположеніе, которое, по моему мнѣнію, совершенно основательно. Онѣгинъ, несмотря на свое хроническое зѣваніе и несмотря на свою замашку ругать жизнь всякими скверными словами, очень любитъ эту самую жизнь и никакъ не согласится промѣнять ее не только на «покой небытія», но даже и на какую-нибудь другую жизнь, болѣе разумную и болѣе дѣятельную. Умирать ему совсѣмъ не хочется, потому что, какъ ни ругай нашу юдоль бѣдствій, а все-таки въ этой юдоли есть для богатаго собственника и устрицы, и омары, и бордо и клико, и прекрасный полъ. Устроить себѣ какую-нибудь новую жизнь ему также совсѣмъ не хочется, потому что ни для какой другой жизни онъ не годится. Онъ съ своей вѣчной скукой можетъ прожить очень спокойно, пріятно и комфортабельно лѣтъ до восмидесяти, и когда Ленскій сталъ цѣлиться, тогда Онѣгинъ смекнулъ въ одну секунду, что милую скуку позволительно ругать и проклинать, но что съ нею вовсе не слѣдуетъ разставаться преждевременно.

Пушкинъ такъ красиво описываетъ мелкія чувства, дрянныя мысли и пошлые поступки, что ему удалось подкупить въ пользу ничтожнаго Онѣгина не только простодушную массу читателей, но даже такого замѣчательнаго человѣка и такого тонкаго критика, какъ Бѣлинскій. «Мы—говоритъ Бѣлинскій—нисколько не оправдываемъ Онѣгина, который, какъ говоритъ поэтъ, былъ долженъ оказать себя не мячикомъ предразсужденій, не пылкимъ мальчикомъ-бойцомъ, но мужемъ съ честью и умомъ; но тирапія и деспотизмъ свѣтскихъ и житейскихъ предразсудковъ таковы, что требуютъ для борьбы съ собою героевъ. Подробности дуэли Онѣгина съ Ленскимъ—верхъ совершенства въ художественномъ отношеніи.»

И это все! Хорошъ приговоръ. Онъ не оправдываетъ Онѣгина, а между тѣмъ тутъ-же утверждаетъ, что только герой на мѣстѣ Онѣгина поступилъ-бы иначе. Значитъ, вполнѣ оправдываетъ, потому что мы не имѣемъ никакого права требовать отъ обыкновенныхъ людей такихъ подвиговъ нравственнаго мужества, которые превышаютъ средній уровень обыкновенныхъ человѣческихъ силъ. Но развѣ-жъ это правда? Развѣ въ самомъ дѣлѣ надо быть героемъ, чтобы умѣть любить своего друга и чтобы не убивать собственноручно, изъ низкой трусости, тѣхъ людей, которыхъ мы любимъ всѣмъ сердцемъ? Высказывая ту дикую мысль, что эти отрицательные подвиги доступны только героямъ, Бѣлинскій унижаетъ человѣческую природу и безъ всякой надобности является защитникомъ нравственной гнилости и тряпичности. А вводитъ его въ этотъ тяжелый грѣхъ крайняя впечатлительность, подкупленная тѣмъ обстоятельствомъ, что «подробности дуэли Онѣгина съ Ленскимъ—верхъ совершенства въ художественномъ отношеніи». Еслибы Бѣлинскій потрудился задать себѣ вопросъ, на что̀ потрачено это художественное совершенство и къ чему оно клонится, то онъ немедленно убѣдился-бы въ томъ, что за такіе художественные фокусы надо не превозносить, а строго порицать поэта. Фанатическія драмы Кальдерона могли быть

Digitized by Google

превосходны въ художественномъ отношеніи, но вліяніе ихъ на испанское общество было во всякомъ случаѣ отвратительно.

Къ Ленскому Бѣлинскій относится очень справедливо и безъ малѣйшей нѣжности, вѣроятно потому, что ему самому приходилось встрѣчать романтиковъ въ дѣйствительной жизни. «Люди, подобные Ленскому,—говоритъ Бѣлинскій,—при всѣхъ ихъ неоспоримыхъ достоинствахъ (?), нехороши тѣмъ, что они или перерождаются въ совершенныхъ филистеровъ, или, если сохраняютъ навсегда свой первоначальный типъ, дѣлаются тѣми устарѣлыми мистиками и мечтателями, которые такъ-же непріятны, какъ и старыя идеальныя дѣвы, и которые больше враги всякаго прогресса, нежели люди просто, безъ претензій, пошлые. Вѣчно копаясь въ самихъ себѣ и становя себя центромъ міра, они спокойно смотрятъ на все, что дѣлается въ мірѣ, и твердятъ о томъ, что счастье внутри насъ, что должно стремиться душою въ надзвѣздную сторону мечтаній и не думать о суетахъ этой земли, гдѣ есть и голодъ, и нужда, и... Ленскіе не перевелись и теперь: они только переродились. Въ нихъ уже не осталось ничего, что такъ обаятельно прекрасно (?) было въ Ленскомъ; въ нихъ нѣтъ дѣвственной чистоты его сердца (?), въ нихъ только претензіи на великость и страсть марать бумагу. Всѣ они поэты, и стихотворный балластъ въ журналахъ доставляется одними ими. Словомъ, это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди.»

Съ этими словами Бѣлинскаго я совершенно согласенъ; не вижу я только никакихъ *неоспоримыхъ достоинствъ* въ Ленскомъ, не нахожу въ немъ ничего *обаятельно-прекраснаго* и не умѣю восхищаться *дѣвственной чистотой его сердца*, потому что рѣшительно не понимаю, кому нужна эта дѣвственная чистота, какую она можетъ принести пользу и какими прочными качествами ума и характера она застрахована отъ грозящихъ и развращающихъ прикосновеній дѣйствительной жизни. Если изъ приведенной мною цитаты выбросить вонъ *неоспоримыя достоинства*, *обаятельно-прекрасное* и *дѣвственную чистоту*, то въ остаткѣ получится энергическій и строгій приговоръ послѣдовательнаго реалиста не только надъ одними романтиками, но и надъ всѣми художниками, оставляющими безъ вниманія горе и нужду современной дѣйствительности. Если, по мнѣнію Бѣлинскаго, несносны, пусты и пошлы тѣ люди, которые стремятся душою въ надзвѣздную сторону мечтаній, то очевидно не за что миловать и тѣхъ людей, которые стремятся душою въ мертвую тишину историческаго прошедшаго. И тѣ, и другіе одинаково отвертываются отъ суеты этой земли, «*гдѣ есть и голодъ, и нужда, и...*», а именно въ этомъ презрѣніи къ суетѣ земли и заключается ихъ настоящая вина. Разъ какъ они уже отвернулись отъ суеты земли, тогда уже рѣшительно все равно, въ какую-бы сторону они ни смотрѣли. Тогда они уже отрѣзанный ломоть, и о нихъ можно совершенно справедливо сказать вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ, что «*это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди*».

Не мѣшаетъ также замѣтить, что эти слова Бѣлинскаго чрезвычайно сильно задѣваютъ самого Пушкина, который втеченіи всей своей поэтической дѣятельности постоянно и систематически игнорировалъ и голодъ, и нужду, и всѣ остальныя болячки дѣйствительной жизни. Когда-же онъ случайно натыкался на какую-нибудь крошечную болячку, тогда онъ обыкновенно бралъ ее подъ свое покровительство, т. е. старался доказать ея роковую необходимость. Это пожалуй будетъ даже похуже, чѣмъ стремиться душою въ надзвѣздную сторону мечтаній.

Послѣ смерти Ленскаго Онѣгинъ отправляется странствовать по Россіи, вездѣ хмурится и пищитъ, вездѣ смотритъ съ безсмысленнымъ презрѣніемъ на занятія суетной толпы и наконецъ доходитъ до такой нелѣпости, что начинаетъ завидовать больнымъ, которыхъ онъ видитъ на кавказскихъ минеральныхъ водахъ.

«Питая горьки размышленья,
Среди печальной ихъ семьи,
Онѣгинъ взоромъ сожалѣнья
Глядитъ на дымныя струи
И мыслитъ, грустью отуманенъ:
Зачѣмъ я пулей въ грудь не раненъ?
Зачѣмъ не хилый я старикъ,
Какъ этотъ бѣдный откупщикъ?
Зачѣмъ, какъ тульскій засѣдатель,
Я не лежу въ параличѣ?
Зачѣмъ не чувствую въ плечѣ
Хоть ревматизма? Ахъ, Создатель!
Я молодъ, жизнь во мнѣ крѣпка;
Чего мнѣ ждать! Тоска, тоска!»

Размышленія Бѣлинскаго по поводу этихъ безсмысленныхъ жалобъ чрезвычайно любопытны; они даютъ намъ самое наглядное понятіе о глубокой искренности нашего великаго критика, о его необыкновенной правдивости и о его изумительной способности принимать за чистую монету каждое человѣческое слово, даже такое, въ которомъ очень нетрудно разпознать самую грубую ложь и самое нахальное шарлатанство. «Какая жизнь!—восклицаетъ Бѣлинскій.— Вотъ оно, то страданіе, о которомъ такъ много пишутъ и въ стихахъ, и въ прозѣ, на которое столь многіе жалуются, какъ-будто въ самомъ дѣлѣ знаютъ его; вотъ оно, страданіе истинное, безъ котурна, безъ ходуль, безъ драпировки, безъ фразъ,—страданіе, которое часто не отнимаетъ ни сна, ни аппетита, ни здоровья, но которое тѣмъ ужаснѣе!.. Спать ночью, зѣвать днемъ, видѣть, что всѣ изъ-за чего-то хлопо-

Digitized by Google

чутъ, чѣмъ-то заняты, одинъ—деньгами, другой—женитьбой, третій—болѣзнью, четвертый—нуждою и кровавымъ потомъ работы,—видѣть вокругъ себя и веселье, и печаль, и смѣхъ, и слезы, видѣть все это и чувствовать себя чуждымъ всему этому, подобно Вѣчному Жиду, который среди волнующейся вокругъ него жизни сознаетъ себя чуждымъ жизни и мечтаетъ о смерти, какъ о величайшемъ для него блаженствѣ; это страданіе не всѣмъ понятное, но оттого не меньше страшное. Молодость, здоровье, богатство, соединенныя съ умомъ, сердцемъ; чего-бы, кажется, больше для жизни и счастья? Такъ думаетъ тупая чернь и называетъ подобное страданіе модной причудой.»

Я безъ малѣйшаго колебанія записываюсь въ ряды *тупой черни* и вмѣстѣ съ этой *тупой чернью* радикально отрицаю и безпощадно осмѣиваю то ужасное страданіе, надъ которымъ такъ добродушно сокрушается Бѣлинскій. На Вѣчнаго Жида россійскій помѣщикъ Онѣгинъ непохожъ нисколько и сравнивать ихъ между собою нѣтъ ни малѣйшей надобности. Вѣчный Жидъ, говорятъ, былъ такъ устроенъ, что никакъ не могъ умереть; вслѣдствіе этой странной особенности своего организма онъ дѣйствительно имѣлъ полное основаніе *мечтать о смерти, какъ о величайшемъ блаженствѣ*. Но Онѣгинъ этого основанія вовсе не имѣетъ, и фантастическая фигура Вѣчнаго Жида, воплотившаго въ себѣ такое страданіе, которое далеко превышаетъ размѣры человѣческихъ силъ и человѣческаго терпѣнія, приплетена тутъ ни къ селу, ни къ городу. Бѣлинскій самъ подозрѣваетъ, что «онѣгинское страданіе» *не отнимаетъ ни сна, ни аппетита, ни здоровья*, но, по своей великодушной довѣрчивости, нашъ критикъ полагаетъ, что оно *тѣмъ ужаснѣе*.

Да, дѣйствительно ужасно! Такимъ страданіемъ страдаютъ въ водевиляхъ неутѣшныя вдовы, которыя во время пьесы плачутъ о мужѣ и сквозь слезы кокетничаютъ съ юнымъ офицеромъ, а передъ самымъ паденіемъ занавѣси вытираютъ глазки платочкомъ и объявляютъ растроганнымъ зрителямъ въ заключительномъ куплетѣ, что спасительное время и новая любовь исцѣляютъ самыя глубокія раны растерзанныхъ вдовьихъ сердецъ. У этихъ милыхъ вдовъ страданіе тоже сидитъ въ самой глубинѣ души, такъ глубоко, что не можетъ имѣть никакого вліянія на различныя отправленія физическаго организма. Сердце вдовы разбито, но тѣло ея жирѣетъ и процвѣтаетъ во все свое удовольствіе. Простое человѣческое страданіе, не водевильное и не онѣгинское, не забирается въ такую недосягаемую глубину и вслѣдствіе этого разъѣдаетъ и прожигаетъ насквозь тотъ организмъ, въ которомъ оно гнѣздится. Я долженъ признаться, что, какъ грубый реалистъ, я только это послѣднее, грубое и неглубокое страданіе считаю истиннымъ. Когда-же несчастный страдалецъ спитъ по восьми часовъ въ сутки, ѣстъ, какъ здоровый бурлакъ, и толстѣетъ отъ глубокой печали, тогда я осмѣливаюсь утверждать, что этотъ цвѣтущій мученикъ—большой шутникъ, выкидывающій самыя уморительныя колѣнца. Посудите сами: не шутникъ-ли этотъ Онѣгинъ? Вздумалъ насъ увѣрять, что онъ завидуетъ больнымъ и раненымъ! Но онъ насъ не обманетъ. Мы знаемъ очень хорошо, что зависть возможна только тогда, когда она направлена на такой предметъ, котораго завидующій человѣкъ не можетъ себѣ присвоить собственными силами. Больной можетъ завидовать здоровому, потому что больной не въ состояніи сдѣлаться здоровымъ по собственному желанію. Нищій можетъ завидовать милліонеру по той-же самой причинѣ. Но въ обратномъ направленіи зависть не имѣетъ никакого смысла, потому что здоровый человѣкъ можетъ, когда ему заблагоразсудится, разстроить свое здоровье, а милліонеръ во всякую данную минуту можетъ превратиться въ нищаго. Зачѣмъ, говоритъ Онѣгинъ, я пулей въ грудь не раненъ? — Ну, не шутъ-ли онъ гороховый? Это онъ говоритъ на Кавказѣ, и говоритъ въ то время, когда Кавказъ еще не былъ покоренъ и замиренъ. Да кто-жъ ему мѣшаетъ поступить юнкеромъ въ дѣйствующую армію и получить въ грудь нетолько одну пулю, а пожалуй даже хоть цѣлую дюжину? Но ему вовсе не хочется имѣть въ груди пулю; ему желательно только разсуждать объ удовольствіи быть раненымъ, о блаженствѣ тульскаго засѣдателя, лежащаго въ параличѣ, и о великомъ несчастьи того человѣка, который молодъ и чувствуетъ въ себѣ присутствіе крѣпкой жизни. О всѣхъ этихъ предметахъ онъ разсуждаетъ совершенно безпрепятственно; довѣрчивые люди принимаютъ его слова за чистую монету; на него смотрятъ, какъ на загадочную личность; его отдѣляютъ отъ толпы не какъ шута гороховаго, а какъ высшую натуру; значитъ, онъ катается какъ сыръ въ маслѣ, и сокрушеніе Бѣлинскаго надъ его несуществующими страданіями не имѣетъ рѣшительно никакого основанія. Бѣлинскій очевидно принялъ Онѣгина за другого, хоть бы напримѣръ за Бельтова, за того чиновника, который не дослужилъ до пряжки четырнадцати лѣтъ и шести мѣсяцевъ. Но вѣдь Бельтовъ не истратилъ своей молодости на обольщеніе записныхъ кокетокъ; Бельтовъ не былъ способенъ убить друга изъ низкой трусости; Бельтовъ никогда не мечталъ о пріятности имѣть въ груди пулю и никогда не завидовалъ ни тульскому засѣдателю, ни бѣдному откупщику. Словомъ, Бельтовъ такъ-же далекъ отъ Онѣгина, какъ творецъ Бельтова далекъ отъ Пушкина.

Я рѣшительно не могу объяснить себѣ, ка-

Digitized by Google

кимъ образомъ Бѣлинскій смѣшалъ эти два совершенно различные типа. Онѣгинъ — не что иное, какъ Митрофанушка Простаковъ, одѣтый и причесанный по столичной модѣ двадцатыхъ годовъ; у нихъ даже и внѣшніе пріемы почти одни и тѣ-же: Митрофанушка говоритъ: не хочу учиться, хочу жениться, а Онѣгинъ изучаетъ «науку страсти нѣжной» и задергиваетъ траурной тафтой всѣхъ мыслителей XVIII вѣка. Бельтовъ, напротивъ того, вмѣстѣ съ Чацкимъ и Рудинымъ изображаютъ собою мучительное пробужденіе русскаго самосознанія. Это люди мысли и горячей любви. Они тоже скучаютъ, но не отъ умственной праздности, а оттого, что вопросы, давно рѣшенные въ ихъ умѣ, еще не могутъ быть даже поставлены въ дѣйствительной жизни.

Время Бельтовыхъ, Чацкихъ и Рудиныхъ прошло навсегда съ той минуты, какъ сдѣлалось возможнымъ появленіе Базаровыхъ, Лопуховыхъ и Рахметовыхъ; но мы, новѣйшіе реалисты, чувствуемъ свое кровное родство съ этимъ отжившимъ типомъ; мы узнаемъ въ немъ нашихъ предшественниковъ, мы уважаемъ и любимъ въ немъ нашихъ учителей, мы понимаемъ, что безъ *нихъ* не могло-бы быть и *насъ*. Но съ онѣгинскимъ типомъ мы не связаны рѣшительно ничѣмъ; мы ничѣмъ ему не обязаны; это типъ безплодный, неспособный ни къ развитію, ни къ перерожденію; онѣгинская скука не можетъ произвести изъ себя ничего, кромѣ нелѣпостей и гадостей. Онѣгинъ скучаетъ, какъ толстая купчиха, которая выпила три самовара и жалѣетъ о томъ, что не можетъ выпить ихъ тридцать-три. Еслибъ человѣческое брюхо не имѣло предѣловъ, то онѣгинская скука не могла-бы существовать. Бѣлинскій любитъ Онѣгина по недоразумѣнію, но со стороны Пушкина тутъ нѣтъ никакихъ недоразумѣній.

VI.

Теперь я начинаю разбирать характеръ Татьяны и ея отношенія къ Онѣгину. Вводя насъ въ семейство Лариныхъ, Пушкинъ тотчасъ старается предрасположить насъ въ пользу Татьяны; эта, дескать, старшая, Татьяна, пускай будетъ интересная личность, высшая натура и героиня, а та, младшая, Ольга, пускай будетъ неинтересная личность, простая натура и прыничная фигурка. Довѣрчивые читатели конечно тотчасъ предрасполагаются и начинаютъ смотрѣть на каждый поступокъ и на каждое слово Татьяны совсѣмъ иначе, чѣмъ какъ они стали-бы смотрѣть на такіе-же поступки и на такія-же слова, сдѣланные и произнесенныя Ольгой. Нельзя-же въ самомъ дѣлѣ. Господинъ Пушкинъ изволятъ быть знаменитымъ сочинителемъ. Стало быть, если господинъ Пушкинъ изволятъ любить и жаловать Татьяну, то и мы, мелкіе читающіе люди, обязаны питать къ той-же Татьянѣ нѣжныя и почтительныя чувства. Однако-же я попробую отрѣшиться отъ этихъ предвзятыхъ чувствъ любви и уваженія. Я взгляну на Татьяну, какъ на совершенно незнакомую мнѣ дѣвушку, которой умъ и характеръ должны раскрываться предо мною не въ рекомендательныхъ словахъ автора, а въ ея собственныхъ поступкахъ и разговорахъ.

Первый поступокъ Татьяны — ея письмо къ Онѣгину. Поступокъ очень крупный и до такой степени выразительный, что въ немъ сразу раскрывается весь характеръ дѣвушки. Надо отдать полную справедливость Пушкину: характеръ выдержанъ превосходно до конца романа; но здѣсь, какъ и вездѣ, Пушкинъ понимаетъ совершенно превратно тѣ явленія, которыя онъ рисуетъ совершенно вѣрно. Представьте себѣ живописца, который, желая нарисовать цвѣтущаго юношу, взялъ-бы себѣ въ натурщики чахоточнаго больного на томъ основаніи, что у того больного играетъ на щекахъ очень яркій румянецъ. Точно такъ поступаетъ и Пушкинъ. Въ своей Татьянѣ онъ рисуетъ съ восторгомъ и съ сочувствіемъ такое явленіе русской жизни, которое можно и должно рисовать только съ глубокимъ состраданіемъ или съ рѣзкой ироніей.

Что я не клевещу на Пушкина, приписывая ему восторгъ и сочувствіе, это я могу доказать многочисленными цитатами. На первый случай достаточно будетъ привести XXXI стофу III-ей главы:

«Письмо Татьяны предо мною
Его я свято берегу,
Читаю съ тайною тоскою
И начитаться не могу.
Кто ей внушалъ и эту нѣжность,
И словъ любезную небрежность?
Кто ей внушалъ умильный вздоръ,
Безумный сердца разговоръ
И увлекательный, и вредный?
Я не могу понять. Но вотъ
Неполный, слабый переводъ,
Съ живой картины списокъ блѣдный
Или разыгранный «Фрейшицъ»
Перстами робкихъ ученицъ.»

Чтобы читатели поняли послѣднюю фразу, я долженъ имъ напомнить, что, какъ говоритъ Пушкинъ въ XXVI строфѣ, письмо Татьяны было написано по французски. Посмотримъ теперь, что это за письмо и при какихъ условіяхъ Татьяна почувствовала необходимость писать къ Онѣгину.

Онѣгинъ, во все продолженіе романа, былъ у Лариныхъ три раза. Въ первый разъ тогда, когда Ленскій его представилъ и когда ихъ обоихъ угощали вареньемъ и брусничной водой. Во второй разъ тогда, когда онъ получилъ письмо Татьяны. И въ третій разъ на именинахъ Татьяны. Передавая Онѣгину приглашеніе Лариныхъ на именины, Ленскій говоритъ ему:

Digitized by Google

«А то, мой другъ, суди ты самъ:
Два раза заглянулъ, а тамъ
Ужъ къ нимъ и носу не покажешь.»

Значитъ, до именинъ было дѣйствительно *только два* визита, и мы не имѣемъ никакой возможности предполагать, чтобы нѣкоторые визиты Онѣгина были пройдены молчаніемъ въ романѣ. Значитъ, Татьяна влюбилась въ Онѣгина *сразу* и рѣшилась къ нему написать письмо, проникнутое самой странной нѣжностью, видѣвши его всего только одинъ разъ. Но что же такое произошло во время этого перваго свиданья? Въ какихъ поступкахъ, въ какомъ разговорѣ обнаружились обаятельныя особенности онѣгинскаго ума и характера?

Еслибы «Евгеній Онѣгинъ» былъ сочиненъ мною, то можетъ-быть я былъ-бы въ состояніи отвѣчать на эти вопросы, которые неизбѣжно должны возникнуть въ умѣ каждаго внимательнаго читателя, неспособнаго удовлетворяться одной звучностью и плавностью стиха. Но такъ какъ я неповиненъ въ сочиненіи «Евгенія Онѣгина», то, въ отвѣтъ на эти неизбѣжные вопросы, я могу только выписать разсказъ объ этомъ первомъ визитѣ, погубившемъ прелестную Татьяну во цвѣтѣ юныхъ лѣтъ.

«— — Поскакали други,
Явились; имъ расточены
Порой тяжелыя услуги
Гостепріимной старины.
Обрядъ извѣстный угощенья:
Несутъ на блюдечкахъ варенья,
На столикъ ставятъ вощаной
Кувшинъ съ брусничною водой.»

(Гл. III. Стр. III.)

Затѣмъ слѣдуетъ пять строкъ точекъ, а потомъ: «они дорогой самой краткой домой летятъ во весь опоръ». Летя домой, они разговариваютъ между собой, и изъ ихъ разговора мы узнаемъ, что Онѣгинъ выпилъ нѣкоторое количество брусничной воды и боится отъ нея дурныхъ послѣдствій. Пожаловавшись на брусничную воду, Онѣгинъ спрашиваетъ: «скажи, которая Татьяна?»—Ленскій отвѣчаетъ:

«Да та, которая грустна
И молчалива, какъ Свѣтлана,
Вошла и сѣла у окна.»

Знакомство было очевидно самое поверхностное, когда Онѣгинъ даже не знаетъ, «*которая Татьяна*». Легко можетъ быть, что Онѣгинъ не сказалъ съ Татьяной ни одного слова; это обстоятельство тѣмъ болѣе правдоподобно, что Ленскій называетъ Татьяну молчаливой; по всей вѣроятности разговоромъ владѣла постоянно старуха Ларина; Онѣгинъ на возвратномъ пути говоритъ о ней:

«А кстати: Ларина проста,
Но очень милая старушка.»

Значитъ, онъ только объ одной старухѣ и успѣлъ составить себѣ довольно опредѣленное понятіе. А въ разговорѣ съ *простою* старухой онъ очевидно не могъ высказать ничего такого замѣчательнаго, что оправдывало-бы или объясняло-бы возникновеніе внезапнаго и страстнаго чувства въ душѣ умной и разсудительной дѣвушки. Какъ-бы то ни было, результатомъ перваго, совершенно поверхностнаго знакомства Татьяны съ Онѣгинымъ оказалось то знаменитое письмо, которое Пушкинъ *свято бережетъ* и *читаетъ съ тайною тоскою*. Татьяна начинаетъ свое письмо довольно умѣренно; она выражаетъ желаніе видѣть Онѣгина хоть разъ въ недѣлю, чтобъ только слышать его рѣчи, чтобы молвить ему слово и чтобы потомъ день и ночь думать о немъ до новой встрѣчи. Все это было-бы очень хорошо, еслибы мы знали, какія это рѣчи такъ понравились Татьянѣ, и какое слово она желаетъ молвить Онѣгину. Но къ сожалѣнію намъ достовѣрно извѣстно, что Онѣгинъ не могъ говорить старухѣ Лариной никакихъ замѣчательныхъ рѣчей, и что Татьяна не вымолвила ни одного слова. Если-же она желаетъ молвить слова, подобныя тѣмъ, которыми она наполняетъ свое письмо, то ей право не зачѣмъ приглашать Онѣгина въ недѣлю разъ, потому что въ этихъ словахъ нѣтъ никакого смысла, и отъ нихъ не можетъ быть никакого облегченія ни тому, кто ихъ произноситъ, ни тому, кто ихъ выслушиваетъ. Татьяна повидимому предчувствуетъ, что Онѣгинъ не станетъ ѣздить къ нимъ разъ въ недѣлю, чтобы говорить ей рѣчи и выслушивать слова; вслѣдствіе этого начинаются въ письмѣ нѣжные упреки; ужъ если, дескать, не будете вы, коварный тиранъ, ѣздить къ намъ разъ въ недѣлю, такъ не зачѣмъ было и показываться у насъ; безъ васъ я-бы можетъ-быть сдѣлалась вѣрной женой и добродѣтельной матерью; а теперь я, по вашей милости, жестокій мужчина, пропадать должна. Все это, разумѣется, изложено самымъ благороднымъ тономъ и втиснуто въ самые безукоризненные четырехстопные ямбы. — Ни за кого я не хочу замужъ идти, продолжаетъ Татьяна, а за тебя даже очень хочу, потому что «то въ высшемъ суждено совѣтѣ... то воля неба, я твоя», и потому что ты мнѣ посланъ Богомъ и ты мой хранитель по гробъ моей жизни. Тутъ Татьяна какъ будто спохватилась и вѣроятно подумала про себя: что-жъ это я однако за глупости пишу, и съ какой стати я это такъ раскутилась? Вѣдь я его всего на всего только одинъ разъ видѣла. Такъ нѣтъ-же вотъ, продолжаетъ она: не одинъ разъ; не такая-же я въ самомъ дѣлѣ шальная дура, чтобы вѣшаться на шею первому встрѣчному: я влюбилась въ него потому, что онъ—мой идеалъ; а я ужъ

Digitized by Google

давно мечтаю объ идеалѣ, значитъ, я видѣла его много разъ; волосы, усы, глаза, носъ—все, какъ есть, такъ, какъ должно быть у идеала; и кромѣ того въ высшемъ совѣтѣ такъ суждено; и кромѣ того во всѣхъ романахъ г-жи Коттенъ и г-жи Жанлисъ такъ дѣлается; значитъ, не о чемъ и толковать: влюблена я въ него до безумія, буду ему вѣрна въ сей жизни и въ будущей, буду о немъ мечтать денно и нощно и напишу къ нему такое пламенное письмо, отъ котораго затрепещетъ самое безчувственное сердце. Затѣмъ Татьяна бросаетъ въ сторону послѣдніе остатки своего здраваго смысла и начинаетъ взводить на несчастнаго Онѣгина самыя неправдоподобныя напраслины. «Ты въ сновидѣньяхъ мнѣ являлся».—Да я-то чѣмъ-же виноватъ? подумаетъ Онѣгинъ. Мало ли что ей могло присниться? Не отвѣчать-же мнѣ за всякую глупость, какую она во снѣ видѣла.

«Въ душѣ твой голосъ раздавался
Давно... нѣтъ, это былъ не сонъ!»

Вотъ тебѣ разъ! Даже не сонъ. Теперь она еще нагородитъ, что я къ ней на яву приходилъ. И она дѣйствительно городитъ это:

«Ты говорилъ со мной въ тиши,
Когда я бѣднымъ помогала
Или молитвой услаждала
Тоску волнуемой души.»

Это съ вашей стороны очень похвально, Татьяна Дмитріевна, что вы помогаете бѣднымъ и усердно молитесь Богу, но только зачѣмъ-же вы сочиняете небылицы? Отъ роду я никогда съ вами не говорилъ ни въ тиши, ни въ шумѣ, и вы сами это очень хорошо знаете.—Съ каждой дальнѣйшей строчкой письма Татьяна завирается хуже и хуже, по русской пословицѣ: чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ:

«И въ это самое мгновенье
Не ты-ли, милое видѣнье,
Въ прозрачной темнотѣ мелькнулъ,
Приникнулъ тихо къ изголовью?»

Да перестаньте-же наконецъ, Татьяна Дмитріевна. Вѣдь вы ужъ до галлюцинацій договорились. Во-первыхъ, я совсѣмъ не видѣнье, а вашъ сосѣдъ, русскій дворянинъ и помѣщикъ Онѣгинъ, пріѣхавшій въ деревню получить наслѣдство отъ дяди. Это дѣло совершенно практическое, и никакія милыя видѣнія подобными дѣлами не занимаются. Во-вторыхъ, за какимъ дьяволомъ я буду мелькать по ночамъ въ прозрачной темнотѣ и тихо приникать къ вашему изголовью! Мельканье — дѣло очень скучное и безполезное; а тихое приниканіе привело-бы въ неописанный ужасъ вашу добрую мамашу, которую я отъ души уважаю за ея простоту. И наконецъ могу вамъ объявить разъ навсегда, что я по ночамъ не мелькаю, а сплю, тѣмъ болѣе, что и все мое интересное страданіе, по справедливому замѣчанію Бѣлинскаго, состоитъ въ томъ, что я ночью сплю, а днемъ зѣваю. Значитъ, мелькать мнѣ некогда, и я могу вамъ сказать по совѣсти, что еслибы вы подражали моему благоразумному примѣру, то есть, крѣпко-бы спали по ночамъ, вмѣсто того чтобы мечтать о писаныхъ красавчикахъ и читать раздражающіе романчики, то вы никогда не стали-бы увѣрять меня въ томъ, что вы видали меня во снѣ, что мой голосъ раздавался въ вашей душѣ и что я приникаю къ вашему изголовью. Вы-бы тогда понимали очень хорошо, что все это—пустая, смѣшная и безтолковая болтовня.

Было-бы очень недурно и очень полезно для Татьяны, еслибы Онѣгинъ отвѣчалъ ей словесно или письменно въ томъ рѣзко-насмѣшливомъ и холодно-трезвомъ тонѣ, въ какомъ я написалъ отъ его лица нѣсколько фразъ. Такой отвѣтъ конечно заставилъ-бы Татьяну пролить несмѣтное количество слезъ; но если только мы допустимъ предположеніе, что Татьяна была неглупа отъ природы, что ея врожденный умъ не былъ еще окончательно истребленъ безтолковыми романами и что ея нервная система не была вполнѣ разстроена ночными мечтаніями и сладкими сновидѣніями,—то мы придемъ къ тому убѣжденію, что горькія слезы, пролитыя ею надъ прозаическимъ отвѣтомъ жестокаго идеала, должны были-бы произвести во всей ея умственной жизни необходимый и чрезвычайно благодѣтельный переворотъ. Глубокая рана, нанесенная ея самолюбію, мгновенно истребила-бы ея фантастическую любовь къ очаровательному сосѣду. Что-жъ, подумала-бы она, должно-быть, это въ самомъ дѣлѣ не онъ мелькалъ въ прозрачной темнотѣ. А если не онъ, такъ кто-же? Да, должно быть, никто не мелькалъ. И зачѣмъ это я ему такъ много глупостей написала? И зачѣмъ это я сама такъ много о разныхъ глупостяхъ думаю? И зачѣмъ это я по ночамъ мечтаю? И зачѣмъ это я такія книги читаю, въ которыхъ пишутъ только о мечтаніяхъ, мельканіяхъ и приниканіяхъ?

Татьяна увидала-бы ясно, что ея любовь къ Онѣгину, лопнувшая какъ мыльный пузырь, была только поддѣлкой любви, смѣшной и жалкой пародіей на любовь, безплодной и мучительной игрой празднаго воображенія; она поняла-бы въ то-же время, что эта ошибка, стоившая ей многихъ слезъ и заставляющая ее краснѣть отъ стыда и досады, была естественнымъ и необходимымъ выводомъ изъ всего строя ея понятій, которыя она черпала съ страстной жадностью изъ своего безпорядочнаго чтенія; она сообразила-бы, что ей надо застраховать себя на будущее время отъ повторенія подоб-

Digitized by Google

ныхъ ошибокъ, и что для такого застрахованія ей необходимо изломать и перестроить заново весь міръ ея идей. Необходимо или отыскать себѣ другое, здоровое чтеніе, или по крайней мѣрѣ прислониться къ дѣйствительной жизни, къ какому-нибудь хорошему и разумному дѣлу, которое могло-бы постоянно поддерживать въ ней умственную трезвость и отвлекать ее отъ туманной области наркотическихъ мечтаній. Такое хорошее и разумное дѣло отыскать не трудно; намекъ на него существуетъ даже въ нелѣпомъ письмѣ Татьяны; она говоритъ, что помогаетъ бѣднымъ,—ну, и помогай; но только займись этимъ дѣломъ серьезно и смотри на него, какъ на постоянный и любимый трудъ, а не какъ на дешевое средство стереть съ своей совѣсти кое-какіе микроскопическіе грѣшки. Имѣй въ виду при этомъ помоганіи дѣйствительныя потребности нуждающихся людей, а не то, чтобы подать бѣдному копѣечку и потомъ погладить себя за это по головкѣ. Словомъ, несмотря на пустоту и безцвѣтность той жизни, на которую была осуждена Татьяна съ самаго дѣтства, наша героиня все-таки имѣла возможность дѣйствовать въ этой жизни съ пользой для себя и для другихъ, и она непремѣнно принялась-бы за какую-нибудь скромную, но полезную дѣятельность, еслибы нашелся умный человѣкъ, который-бы энергическимъ словомъ и рѣзкой насмѣшкой выбросилъ ее вонъ изъ ядовитой атмосферы фантастическихъ видѣній и глупыхъ романовъ.

Но, разумѣется, Онѣгинъ, стоящій на одномъ уровнѣ умственнаго развитія съ самимъ Пушкинымъ и съ Татьяной, не могъ своимъ вліяніемъ охладить безпорядочные порывы ея разгорѣвшагося воображенія. Онѣгину очень понравилось сумасбродное письмо фантазирующей барышни.

«...Получивъ посланье Тани,
Онѣгинъ живо тронутъ былъ:
Языкъ дѣвическихъ мечтаній
Въ немъ думы роемъ возмутилъ;
И вспомнивъ онъ Татьяны милой
И блѣдный цвѣтъ, и видъ унылый;
И въ сладостный, безгрѣшный сонъ
Душою погрузился онъ...»

(Гл. IV. Стр. XI.)

Онѣгину представлялась возможность расположить свои отношенія къ Татьянѣ по одному изъ четырехъ слѣдующихъ плановъ: во-первыхъ, онъ могъ на ней жениться; во-вторыхъ, онъ въ своемъ объясненіи съ ней могъ осмѣять ея письмо; въ-третьихъ, онъ въ этомъ-же объясненіи могъ деликатно отклонить ея любовь, наговоривши ей при семъ удобномъ случаѣ множество любезностей на счетъ ея прекрасныхъ качествъ; въ-четвертыхъ, онъ могъ поиграть съ нею, какъ кошка играетъ съ мышкою, то-есть могъ изучить, обезчестить и потомъ бросить ее.

Жениться Онѣгинъ не хотѣлъ, и онъ самъ очень наивно объясняетъ Татьянѣ причину своего нежеланія: «Я, сколько ни любилъ-бы васъ, привыкнувъ, разлюблю тотчасъ». Соблазнять ее онъ тоже не желаетъ, отчасти потому, что онъ не подлецъ, а отчасти и потому, что это дѣло ведетъ за собою слезы, сцены и множество непріятныхъ хлопотъ, особенно когда дѣйствующимъ лицомъ является такая энергическая и восторженная дѣвушка, какъ Татьяна. Въ онѣгинскія времена уровень нравственныхъ требованій стоялъ такъ низко, что Татьяна, вышедши замужъ, въ концѣ романа считаетъ своей обязанностью благодарить Онѣгина за то, что онъ поступилъ съ ней благородно. А все это благородство, котораго Татьяна никакъ не можетъ забыть, состояло въ томъ, что Онѣгинъ не оказался въ отношеніи къ ней воромъ.—Итакъ, два плана—первый и четвертый, отвергнуты. Второй планъ для Онѣгина неосуществимъ: осмѣять письмо Татьяны онъ не въ состояніи, потому что онъ самъ, подобно Пушкину, находилъ это письмо не смѣшнымъ, а трогательнымъ. Насмѣшка показалась-бы ему профанаціей и жестокостью, потому что ни Онѣгинъ, ни Пушкинъ не имѣютъ понятія о той высшей и вполнѣ сознательной гуманности, которая очень часто заставляетъ мыслящаго человѣка произнести горькое и оскорбительное слово. Такое слово обожгло-бы Татьяну, но оно было-бы для нея несравненно полезнѣе, чѣмъ всѣ сладости, разсыпанныя въ рѣчи Онѣгина. Но время Онѣгина не было временемъ той göttliche Grobheit, которую совершенно справедливо превозноситъ Бёрне. Онѣгинъ рѣшился поднести Татьянѣ золоченую пилюлю, которая не могла подѣйствовать на нее благотворно именно потому, что она была позолочена. Рѣчь Онѣгина, занимающаго въ романѣ пять строфъ, вся цѣликомъ, какъ будто-бы нарочно, направлена къ тому, чтобы еще больше закружить и отуманить бѣдную голову Татьяны. «Я, говоритъ Онѣгинъ,—

прочелъ
Души довѣрчивой признанья,
Любви невинной изліянья;
Мнѣ ваша искренность мила (*тонъ довольно султанскій!*);
Она въ волненье привела
Давно умолкнувшія чувства.»

Съ самаго начала Онѣгинъ дѣлаетъ грубую и непоправимую ошибку: онъ принимаетъ любовь Татьяны за дѣйствительно-существующій фактъ; а ему, напротивъ того, надо было сказать и доказать ей, что она его совсѣмъ не любитъ и не можетъ любить, потому что съ перваго взгляда люди влюбляются только въ глупыхъ романахъ.

«Когда-бъ семейственной картиной (*продолжаетъ Онѣгинъ*),
Плѣнялся я хоть мигъ единый,

Digitized by Google

То вѣрно-бъ, кромѣ васъ одной,
Невѣсты не искалъ иной.»

Это все за безтолковое письмо; разумѣется, послѣ этихъ словъ сама Татьяна будетъ смотрѣть на свое посланіе, какъ на образцовое произведеніе, отразившее въ себѣ самое неподдѣльное чувство, самый замѣчательный умъ. Эти лестныя и къ сожалѣнію искреннія слова Онѣгина должны подѣйствовать на бѣдную Татьяну такъ, какъ подѣйствовала на несчастнаго Донъ-Кихота его побѣда надъ цирюльникомъ и завоеваніе мѣднаго таза, который немедленно былъ переименованъ въ шлемъ Мамбрина. Добывши себѣ трофей, Донъ-Кихотъ очевидно долженъ былъ утвердиться въ томъ печальномъ заблужденіи, что онъ—дѣйствительно странствующій рыцарь и что онъ дѣйствительно можетъ и долженъ совершать великіе подвиги. Выслушавъ комплименты Онѣгина, Татьяна точно также должна была утвердиться въ томъ столь-же печальномъ заблужденіи, что она очень влюблена, очень страдаетъ и очень похожа на несчастную героиню какого-нибудь раздирательнаго романа. Каждое дальнѣйшее слово Онѣгина подноситъ несчастному Донъ-Кихоту новые шлемы Мамбрина. Онѣгинъ объявляетъ своей собесѣдницѣ «безъ блестокъ мадригальныхъ», что онъ нашелъ въ ней свой «*прежній идеалъ*», но что, къ крайнему своему сожалѣнію, онъ, по дряблости своего сердца, никакъ не можетъ воспользоваться этой пріятной находкой:

«Напрасны ваши совершенства:
Ихъ вовсе не достоинъ я.»
. . . . . .
«И того-ль искали
Вы чистой пламенной душой,
Когда съ такою простотой,
Съ такимъ умомъ ко мнѣ писали?»
. . . . . .
Я васъ люблю любовью брата
И можетъ быть еще нѣжнѣй.»

Длинный хвалебный гимнъ Онѣгина заканчивается плоскимъ и безцвѣтнымъ нравоученіемъ, которое находится въ непримиримомъ разладѣ со всѣми предыдущими комплиментами и которое вслѣдствіе этого, разумѣется, будетъ пропущено Татьяною мимо ушей:

«Учитесь властвовать собою,
Не всякій васъ, какъ я, пойметъ...
Къ бѣдѣ неопытность ведетъ.»

— Къ какой-же бѣдѣ? должна подумать Татьяна. Благодаря моей неопытности, я написала къ нему письмо, въ которомъ онъ нашелъ очень много *ума* и очень много *простоты;* благодаря моей неопытности, я раскрыла передъ нимъ *мои совершенства*, я обнаружила передъ нимъ *чистую пламенность моей души*, я попала въ *прежніе идеалы* и возбудила въ немъ *любовь брата* и можетъ-быть другую любовь, *еще болѣе нѣжную*. А не напиши я этого письма, такъ ничего бы этого не случилось. А если онъ говоритъ, что не всякій меня пойметъ, то вѣдь мнѣ до *всякаго* нѣтъ никакого дѣла. Сердце мое наполнено навсегда моей несчастной любовью, и я до дверей холодной могилы буду влачить въ моемъ истерзанномъ сердцѣ эту несчастную любовь по тернистому пути моей мучительной жизни.

Что Татьяна разсуждаетъ именно такимъ образомъ и что ея мысли облекаются въ ея головѣ именно въ такія напыщенныя формы,— это мы видимъ между прочимъ изъ тѣхъ размышленій, которыми она занимается ночью послѣ дня своихъ именинъ, когда она сидитъ

«Одна, печально подъ окномъ
Озарена лучомъ Діаны.»—
. . . . . .
«Погибну, Таня говоритъ:
Но гибель отъ него любезна.
Я не ропщу: зачѣмъ роптать?
Не можетъ онъ мнѣ счастья дать.»

Голова несчастной дѣвушки до такой степени засорена всякой дрянью и до такой степени разгорячена глупыми комплиментами Онѣгина, что нелѣпыя слова — «гибель отъ него любезна» — произносятся съ глубокимъ убѣжденіемъ и очень добросовѣстно проводятся въ жизнь. Забыть Онѣгина, прогнать мысль о немъ какими-нибудь дѣльными занятіями, подумать о какомъ-нибудь новомъ чувствѣ и вообще превратиться какими-нибудь средствами изъ несчастной страдалицы въ обыкновенную, здоровую и веселую дѣвушку,—все это возвышенная Татьяна считаетъ для себя величайшимъ безчестьемъ; это, по ея мнѣнію, значило-бы свалиться съ неба на землю, смѣшаться съ пошлой толпой, погрузиться въ грязный омутъ житейской прозы. Она говоритъ, что «гибель отъ него любезна», и поэтому находитъ, что гораздо величественнѣе страдать и чахнуть въ мірѣ воображаемой любви, чѣмъ жить и веселиться въ сферѣ презрѣнной дѣйствительности. И въ самомъ дѣлѣ, ей удается довести себя слезами, безсонными ночами и печальными размышленіями подъ лучомъ Діаны до совершеннаго изнеможенія.

«Увы, Татьяна увядаетъ,
Блѣднѣетъ, гаснетъ и молчитъ!
Ничто ее не занимаетъ,
Ея души не шевелитъ.»

И все это въ значительной степени было результатомъ ея разговора съ Онѣгинымъ.

«Что было слѣдствіемъ свиданья?
Увы, нетрудно угадать!
Любви безумныя страданья
Не перестали волновать
Младой души, печали жадной;
Нѣтъ, пуще страстью безотрадной
Татьяна бѣдная горитъ.»

Digitized by Google

Читатель видитъ теперь, что утонченная любезность Онѣгина принесла самые богатые плоды.

VII.

Послѣ отъѣзда Онѣгина изъ деревни Татьяна, стараясь поддержать въ себѣ неугасимый огонь своей вѣчной любви, посѣщаетъ неоднократно кабинетъ уѣхавшаго идеала и читаетъ съ большимъ вниманіемъ его книги. Съ особеннымъ любопытствомъ вглядывается и вдумывается она въ тѣ страницы, на которыхъ рукою Онѣгина сдѣлана какая-нибудь отмѣтка. Такимъ образомъ она прочитала сочиненія Байрона и нѣсколько романовъ,

«Въ которыхъ отразился вѣкъ
И современный человѣкъ
Изображенъ довольно вѣрно.»

«И ей открылся міръ иной», объявляетъ намъ Пушкинъ. Слова: «*міръ иной*» должны повидимому обозначать собою новый взглядъ на человѣческую жизнь вообще и на личность Онѣгина въ особенности. Затѣмъ Пушкинъ продолжаетъ:

«И начинаетъ понемногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснѣе, слава Богу,
Того, по комъ она вздыхать
Осуждена судьбою властной:
Чудакъ печальный и опасный,
Созданье ада иль небесъ,
Сей ангелъ, сей надменный бѣсъ,
Что-жъ онъ? Ужели подражанье,
Ничтожный призракъ, иль еще
Москвичъ въ гарольдовомъ плащѣ,
Чужихъ причудъ истолкованье,
Словъ модныхъ полный лексиконъ?...
Ужъ не пародія-ли онъ?
Ужель загадку разрѣшила?
Ужели с л о в о найдено?»

(Гл. VII. Стр. XXIV, XXV.)

Невозможно понять, зачѣмъ Пушкинъ навязалъ Татьянѣ всѣ эти критическія размышленія и зачѣмъ онъ хочетъ насъ увѣрить, что ей открылся міръ иной. Этотъ «міръ иной» и эти размышленія о москвичѣ въ гарольдовомъ плащѣ не обнаруживаютъ ни малѣйшаго вліянія ни на фантастическую любовь Татьяны, ни на ея поступки. До открытія новаго міра она воображала себѣ, что влюблена по гробъ жизни; послѣ своего открытія она остается при томъ же самомъ убѣжденіи. До открытія новаго міра она безпрекословно повиновалась мамашѣ; и послѣ открытія она продолжаетъ повиноваться также безпрекословно. Это съ ея стороны очень похвально, но для того, чтобы повиноваться мамашѣ въ самыхъ важныхъ случаяхъ жизни, не было ни малѣйшей надобности открывать новый міръ, потому что и старый нашъ міръ основанъ цѣликомъ на смиреніи и послушаніи.

Пока Татьяна въ кабинетѣ Онѣгина открываетъ новые міры, одинъ изъ жителей стараго міра совѣтуетъ ея мамашѣ повезти дочь «въ Москву, на ярмарку невѣстъ». Ларина соглашается съ этой мыслью, и когда Татьяна узнаетъ объ этомъ рѣшеніи, тогда она съ своей стороны не представляетъ никакихъ возраженій. Надо полагать, что «ярмарка невѣстъ» занимаетъ очень почетное мѣсто въ томъ новомъ мірѣ, который открыла Татьяна. Но если новый міръ допускаетъ ярмарку невѣстъ, то любопытно было-бы узнать, чѣмъ онъ отличается отъ стараго міра и какая надобность была его открывать?

Въ Москвѣ Татьяна ведетъ себя именно такъ, какъ обязана вести себя благовоспитанная барышня, привезенная заботливой родительницей на ярмарку невѣстъ. Разумѣется,

«Ей душно здѣсь... она мечтой
Стремится къ жизни полевой,
Въ деревню, къ бѣднымъ поселянамъ,
Въ уединенный уголокъ, гдѣ
Льется свѣтлый ручеекъ,
Къ своимъ цвѣтамъ, къ своимъ романамъ,
И въ сумракъ липовыхъ аллей,—
Туда, гдѣ онъ явился ей.»

(Гл. VII Стр. LIII.)

Но вѣдь это все пустыя слова, и наивенъ былъ-бы тотъ читатель, который-бы принялъ ихъ за чистую монету. Куда-бы она ни стремилась мечтой—это рѣшительно все равно. Тѣло ея, затянутое въ корсетъ, во всякомъ случаѣ находится тамъ, гдѣ ему велятъ находиться, и дѣлаетъ именно тѣ движенія, которыя ему прикажутъ дѣлать. Въ то время, когда она стремится въ сумракъ липовыхъ аллей, двѣ тетушки предписываютъ ей смотрѣть налѣво, на толстаго генерала, и она смотритъ. Потомъ ей приказываютъ выйдти замужъ за этого толстаго генерала, и она выходитъ за него замужъ.

Если всѣ эти дѣйствія находятся въ строгомъ согласіи съ законами ея новаго міра, то я осмѣливаюсь думать, что она съ большимъ удобствомъ могла-бы избавить себя отъ труда производить свои открытія, потому что всѣ эти открытія были давно уже сдѣланы самыми отдаленными ея предками. Я полагаю, что въ умственной жизни Татьяны онѣгинскія книжки не произвели никакого переворота. Татьяна до конца романа остается тѣмъ самымъ рыцаремъ печальнаго образа, какимъ мы видѣли ее въ ея письмѣ къ Онѣгину. Ея болѣзненно-развитое воображеніе постоянно создаетъ ей поддѣльныя чувства, поддѣльныя потребности, поддѣльныя обязанности, цѣлую искусственную программу жизни, и она выполняетъ эту искусственную программу съ тѣмъ поразительнымъ упорствомъ, которымъ обыкновенно отличаются люди, одержимые какой-нибудь мономаніей. Она вообразила себѣ, что влюблена въ Онѣгина, и дѣйствительно влюбила себя въ него, начала пы-

Digitized by Google

лать страстью и дѣлать глупости, подобныя кувырканьямъ влюбленнаго Донъ-Кихота въ горахъ Сіерры-Морены. Потомъ она вообразила себѣ, что ея жизнь разбита, и вслѣдствіе этого начала худѣть и блѣднѣть. Потомъ, видя, что ей не удается умереть, она себѣ вообразила, что теперь она ко всему равнодушна; тогда она отдала себя въ полное распоряженіе своихъ родственницъ, которыя повезли ее на ярмарку невѣстъ и тамъ сбыли ее, какъ хорошій товаръ, толстому генералу. Очутившись въ рукахъ своего новаго хозяина, она вообразила себѣ, что она превращена въ украшеніе генеральскаго дома; тогда всѣ силы ея ума и ея воли направились къ той цѣли, чтобы на это украшеніе не попало ни одной пылинки. Она поставила себя подъ стеклянный колпакъ и обязала себя простоять подъ этимъ колпакомъ втеченіи всей своей жизни. И сама она смотритъ на себя со стороны и любуется своей неприкосновенностью и твердостью своего характера. Мнѣ, думаетъ она, очень скучно подъ колпакомъ, а я все-таки изъ подъ него не выйду ни для кого на свѣтѣ, потому что я—украшеніе генеральскаго дома; а генералъ пріобрѣлъ меня не за тѣмъ, чтобы я жила въ свое удовольствіе.

Онѣгинъ встрѣчается съ нею въ Петербургѣ въ то время, когда она, драпируясь въ свою неприкосновенность, уже украшаетъ своею добродѣтельной особой жилище толстаго генерала. Видя, что украшеніе генеральскаго дома блеститъ самыми яркими красками, Онѣгинъ проникается предосудительнымъ желаніемъ вытащить это украшеніе изъ подъ стекляннаго колпака. Но украшеніе не трогается съ мѣста и, оставаясь подъ колпакомъ, читаетъ оттуда предпріимчивому дэнди такую проповѣдь, которая доставляетъ ему очень мало удовольствія. Этой проповѣдью, какъ извѣстно, заканчивается весь романъ. Знаменитый монологъ Татьяны заключаетъ въ себѣ слѣдующій смыслъ: зачѣмъ вы не влюбились въ меня прежде? Теперь вы ухаживаете за мной потому, что я превратилась въ блестящее украшеніе богатаго дома. Я васъ все-таки люблю, но прошу васъ убираться къ чорту; свѣтъ мнѣ противенъ, но я намѣрена безусловно исполнять всѣ его требованія.

Этотъ монологъ доказываетъ ясно, что Татьяна и Онѣгинъ другъ друга стоятъ; оба они до такой степени исковеркали себя, что совершенно потеряли способность думать, чувствовать и дѣйствовать по человѣчески. Монологъ Татьяны отличается самой полной откровенностью, и именно по этой причинѣ онъ весь составленъ изъ непримиримыхъ противорѣчій. Подозрѣвая Онѣгина въ мелкомъ тщеславіи, она очевидно отказываетъ ему въ своемъ уваженіи и въ то-же время, не уважая его, она его любитъ; и въ то-же время, любя его, она его отталкиваетъ; отталкивая его изъ уваженія къ требованіямъ свѣта, она презираетъ «всю эту ветошь маскарада»; презирая всю эту ветошь, она занимается ею съ утра до вечера. Всѣ эти противорѣчія доказываютъ совершенно очевидно, что она ничего не любитъ, ничего не уважаетъ, ничего не презираетъ, ни о чемъ не думаетъ, а просто живетъ со дня на день, подчиняясь заведенному порядку и разгоняя свою непроходимую скуку разными крошечными подобіями чувствъ и мыслей,—такими подобіями, которыя могутъ выдавить изъ прекрасныхъ очей нѣсколько слезинокъ, но которыя никогда не создадутъ ни одного рѣшительнаго поступка. Само по себѣ чувство Татьяны мелко и дрябло; но по отношенію къ своему предмету это чувство точь въ точь такое, какимъ оно должно быть; Онѣгинъ—вполнѣ достойный рыцарь такой дамы, которая сидитъ подъ стекляннымъ колпакомъ и обливается горючими слезами; другого, болѣе энергическаго чувства Онѣгинъ даже не выдержалъ-бы; такое чувство испугало и обратило-бы въ бѣгство нашего героя; безумная и несчастная была-бы та женщина, которая изъ любви къ Онѣгину рѣшилась-бы нарушить величественное благочиніе генеральскаго дома. Самъ Онѣгинъ вѣроятно отшатнулся-бы отъ нея, какъ отъ неистовствующей фуріи, и уже во всякомъ случаѣ Онѣгинъ поступилъ-бы съ нею по той программѣ, которую онъ наивно раскрылъ передъ Татьяною въ липовой аллеѣ, то есть, *привыкнувъ*, *разлюбилъ бы тотчасъ*. Стоитъ же въ самомъ дѣлѣ затѣвать въ генеральскомъ домѣ скандалъ для того, чтобы доставить Онѣгину нѣсколько пріятныхъ минутъ и попользоваться его благосклонностью до тѣхъ поръ, пока онъ не привыкнетъ!

Татьяна задаетъ Онѣгину вопросъ: отчего вы меня не полюбили прежде, когда я была лучше и моложе, и когда я любила васъ? Этотъ вопросъ поставленъ очень удачно, и еслибы Онѣгинъ хотѣлъ и умѣлъ отвѣчать на него совершенно искренно, то ему пришлось бы сказать: оттого, что люди, подобные мнѣ, способны только шутить и забавляться съ женщинами. Когда вы были дѣвушкой, тогда мнѣ предстояла необходимость принять на себя, въ отношеніи къ вамъ, серьезныя обязанности; мнѣ надо было тогда взять на себя заботу о вашемъ счастьи, то есть объ удовлетвореніи всѣхъ вашихъ матеріальныхъ и умственныхъ потребностей; разъ принявши на себя эту заботу, я бы уже не имѣлъ возможности сложить ее на кого-нибудь другого; а такая перспектива приводила меня въ ужасъ, потому что я неспособенъ ни къ какому серьезному дѣлу, неспособенъ даже заботиться о матеріальномъ и умственномъ благосостояніи той женщины, которая доставляетъ мнѣ пріятныя минуты. Теперь дѣло совсѣмъ другое. Теперь я могу завести съ вами веселую

Digitized by Google

интрижку, съ таинственными свиданьями, съ пламенными объятіями и безъ всякихъ будничныхъ, то есть серьезныхъ и спокойно-дружескихъ отношеній. Эта интрижка будетъ продолжаться мѣсяцевъ пять-шесть, и потомъ я засвидѣтельствую вамъ мое почтеніе, не обращая никакого вниманія на то, любите-ли вы меня, или нѣтъ.

Когда Онѣгинъ писалъ къ Татьянѣ страстныя письма и когда онъ у нея въ домѣ бросился къ ея ногамъ, тогда онъ, разумѣется, добивался только интрижки. Пушкину представлялся очень удобный случай измѣрить глубину и силу онѣгинской любви, но Пушкинъ конечно не воспользовался этимъ случаемъ, потому что онъ не имѣлъ ни малѣйшаго желанія выставлять на показъ самыя мелкія и дрянныя стороны онѣгинскаго характера. Это полное разоблаченіе ничтожной личности было-бы неизбѣжно, еслибы на мѣстѣ Татьяны стояла энергическая женщина, любящая Онѣгина дѣйствительной, а не придуманной любовью. Еслибы эта женщина бросилась на шею къ Онѣгину и сказала ему: я твоя на всю жизнь, но, во что-бы то ни стало, увези меня прочь отъ мужа, потому что я не хочу и не могу играть съ нимъ подлую комедію,—тогда восторги Онѣгина въ одну минуту охладѣли-бы очень сильно. Можетъ-быть онъ посовѣстился-бы обнаружить сразу всю свою трусость, всю свою несостоятельность передъ серьезной заботой; можетъ-быть онъ не осмѣлился-бы отшатнуться тотчасъ отъ женщины, передъ которой онъ за минуту передъ тѣмъ самъ стоялъ на колѣняхъ; можетъ-быть даже, чувствуя невозможность отступленія, онъ рѣшился бы, скрѣпя сердце, увезти эту женщину куда-нибудь за-границу; но между невольнымъ похитителемъ и несчастной жертвой завязались-бы немедленно такія скрипучія и мучительныя отношенія, которыхъ-бы не выдержала ни одна порядочная женщина. Дѣло кончилось-бы тѣмъ, что она убѣжала-бы отъ него, выучившись презирать его до глубины души; и, разумѣется, бѣдной, опозоренной женщинѣ пришлось-бы или умереть въ самой ужасной нищетѣ, или втянуться поневолѣ въ самый жалкій развратъ. Еслибы Пушкинъ хотѣлъ и съумѣлъ написать такую главу, то она, мнѣ кажется, обрисовалабы онѣгинскій типъ ярче, полнѣе и справедливѣе, чѣмъ обрисовываетъ его теперь весь романъ. Но для того, чтобы подвергнуть онѣгинскій типъ такому жестокому и вполнѣ заслуженному униженію, самому Пушкину очевидно было необходимо стоять выше этого типа и относиться къ нему совершенно отрицательно.

VIII.

Бѣлинскій посвятилъ характеристикѣ Татьяны цѣлую отдѣльную статью. Въ этой статьѣ онъ по своему обыкновенію высказалъ много превосходныхъ мыслей, которыя даже теперь, по прошествіи двадцати лѣтъ, могутъ еще изумлять и приводить въ ужасъ неисправимыхъ филистеровъ. Но, отдавая полную справедливость превосходнымъ частностямъ этой статьи, я долженъ замѣтить, что, по своей основной идеѣ, по своему взгляду на характеръ Татьяны, она оказывается совершенно несостоятельной. Бѣлинскій ставитъ Татьяну на пьедесталъ и приписываетъ ей такія высокія достоинства, на которыя она не имѣетъ никакого права и которыми самъ Пушкинъ, при своемъ поверхностномъ и ребяческомъ взглядѣ на жизнь вообще и на женщину въ особенности, не хотѣлъ и не могъ надѣлить любимое созданіе своей фантазіи.

Главная причина неосновательнаго пристрастія Бѣлинскаго къ Татьянѣ заключается, по моему мнѣнію, въ томъ, что Бѣлинскому приходится защищать какъ самого Пушкина, такъ и Татьяну противъ тупыхъ и пошлыхъ нападеній тогдашняго филистерства. Въ увлеченіи полемики трудно сохранять постоянно трезвость критическаго взгляда. Опровергая глупыя замѣчанія филистеровъ, Бѣлинскій вдается часто въ противоположную крайность. Филистеры говорятъ напримѣръ: такой-то поступокъ отвратителенъ. Бѣлинскій, въ пику имъ, утверждаетъ, что онъ великолѣпенъ. А при ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается, что филистеры конечно городятъ ужасный вздоръ, но что и Бѣлинскій совершенно неправъ, потому что въ разбираемомъ поступкѣ нѣтъ ничего ни отвратительнаго, ни великолѣпнаго.—Это вліяніе филистерскихъ толковъ на процессъ мысли, совершавшійся въ головѣ великаго бойца Бѣлинскаго, выразилось очень ясно во многихъ мѣстахъ его критическихъ статей о Пушкинѣ. Вотъ напримѣръ, какъ разсуждаетъ Бѣлинскій о письмѣ Татьяны къ Онѣгину:

«Татьяна вдругъ рѣшается писать къ Онѣгину: порывъ наивный и благородный, но его источникъ заключается не въ сознаніи, а въ безсознательности: бѣдная дѣвушка не знала, что̀ дѣлала. Послѣ, когда она стала знатной барыней, для нея совершенно исчезла возможность такихъ наивно-великодушныхъ движеній сердца». Затѣмъ слѣдуетъ нѣсколько эстетическихъ замѣчаній о той формѣ, въ какой выразилось чувство Татьяны. Потомъ начинаются сраженія съ филистерствомъ. «Замѣчательно, продолжаетъ Бѣлинскій, съ какимъ усиліемъ старается поэтъ оправдать Татьяну за ея рѣшимость написать и послать это письмо; видно, что поэтъ слишкомъ хорошо зналъ общество, для котораго писалъ.»

Выдержавъ нѣсколько строфъ изъ «Онѣгина», Бѣлинскій продолжаетъ: «Нельзя не жалѣть о поэтѣ, который видитъ себя принужденнымъ

Digitized by Google

такимъ образомъ оправдывать свою героиню передъ обществомъ—и въ чемъ-же?—въ томъ, что составляетъ сущность женщины, ея лучшее право на существованіе,—что у нея есть сердце, а не пустая яма, прикрытая корсетомъ! Но еще болѣе нельзя не жалѣть объ обществѣ, передъ которымъ поэтъ видѣлъ себя принужденнымъ оправдывать героиню своего романа въ томъ, что она—женщина, а не деревяшка, выточенная по подобію женщины.»

Благодаря ослинымъ воплямъ филистеровъ, весь вопросъ о Татьянѣ сдвинутъ въ сторону и поставленъ совершенно неправильно. Бѣлинскій доказываетъ, что, любя Онѣгина, Татьяна имѣла полное право написать къ нему письмо. Это не подлежитъ сомнѣнію, и противъ этого могутъ спорить только филистеры. Но сущность вопроса состоитъ совсѣмъ не въ этомъ, а въ томъ: можетъ ли и должна-ли умная дѣвушка влюбляться въ мужчину съ перваго взгляда? Бѣлинскій смотритъ на Татьяну очень благосклонно за то, что у нея оказалось въ груди сердце, а не пустая яма, прикрытая корсетомъ. Это съ его стороны очень похвально, но, увлекшись этимъ достоинствомъ ея личности, Бѣлинскій совершенно забываетъ справиться о томъ, имѣлось-ли въ ея красивой головѣ достаточное количество мозга, и если имѣлось, то въ какомъ положеніи находился этотъ мозгъ. Еслибы Бѣлинскій задалъ себѣ эти вопросы, то онъ немедленно сообразилъ-бы, что количество мозга было весьма незначительно, что это малое количество находилось въ самомъ плачевномъ состояніи и что только это плачевное состояніе мозга, а никакъ не присутствіе сердца, объясняетъ собою внезапный взрывъ нѣжности, проявившейся въ сочиненіи сумасброднаго письма. Бѣлинскій благодаритъ Татьяну за то, что она — женщина, а не деревяшка; тутъ нашъ критикъ очевидно хватилъ черезъ край и, замахнувшись на филистеровъ, самъ потерялъ равновѣсіе. Развѣ въ самомъ дѣлѣ надо непремѣнно быть деревяшкой для того, чтобы, послѣ перваго свиданья съ красивымъ дэнди, не упасть къ его ногамъ? И развѣ быть женщиной значитъ писать къ незнакомымъ людямъ раздирательныя письма?

Бѣлинскій съ замѣчательной силой анализа очерчиваетъ тотъ типъ, къ которому принадлежитъ Татьяна; онъ называетъ этотъ типъ—типомъ *идеальныхъ дѣвъ*; онъ подмѣчаетъ всѣ его смѣшныя стороны и относится къ нему совершенно отрицательно. Читая это описаніе идеальныхъ дѣвъ, вы ожидаете, что онъ немедленно подведетъ Татьяну подъ эту категорію и осмѣетъ самымъ безпощаднымъ образомъ всѣ ея глупыя вздыханія объ Онѣгинѣ. Не тутъ-то было! Бѣлинскій напрягаетъ всѣ силы своего великаго таланта, чтобы провести рѣзкую раздѣлительную черту между полчищемъ идеальныхъ дѣвъ и личностью пушкинской героини; но эта задача оказывается неразрѣшимой, и всѣ аргументы Бѣлинскаго остаются очень неубѣдительными по той простой причинѣ, что они не находятъ себѣ никакой опоры въ фактахъ самаго романа. «Татьяна,—говоритъ Бѣлинскій,—существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нея могла быть или величайшимъ блаженствомъ, или величайшимъ бѣдствіемъ жизни, безъ всякой примирительной середины. При счастьи взаимности, любовь такой женщины—ровное, свѣтлое пламя; въ противномъ случаѣ—упорное пламя, которому сила воли можетъ быть не позволитъ прорваться наружу, но которое тѣмъ разрушительнѣе и жгучѣе, чѣмъ больше оно сдавлено внутри. Счастливая жена, Татьяна, спокойно, но тѣмъ не менѣе страстно и глубоко любила-бы своего мужа, вполнѣ пожертвовала-бы собою дѣтямъ, вся отдалась-бы своимъ материнскимъ обязанностямъ, но не по разсудку, а опять по страсти, и въ этой жертвѣ, въ строгомъ выполненіи своихъ обязанностей, съ этимъ спокойствіемъ, съ этимъ внѣшнимъ безстрастіемъ, съ этой наружной холодностью, которыя составляютъ достоинство и величіе глубокихъ и сильныхъ натуръ. Такова Татьяна.»

Да, такова Татьяна, сочиненная Бѣлинскимъ, но совсѣмъ не такова Татьяна Пушкина. Вся глубина пушкинской Татьяны состоитъ въ томъ, что она сидитъ по ночамъ подъ лучомъ Діаны. Вся ея исключительность—въ томъ, что она бродитъ по полямъ

> «Съ печальной думою въ очахъ,
> Съ французской книжкою въ рукахъ.»

Вся ея страстность выкипаетъ безъ остатка въ одномъ восторженномъ письмѣ. Написавши это письмо, она находитъ, что она заплатила достаточную дань молодости и что ей затѣмъ остается только превратиться въ неприступную свѣтскую даму. Во всемъ романѣ мы видимъ только два поступка Татьяны: во-первыхъ, ея письмо, во-вторыхъ, ея заключительный монологъ; только по этимъ двумъ моментамъ въ ея жизни мы должны составлять себѣ понятіе о ея характерѣ; въ антрактѣ между этими двумя рѣшительными моментами она только мечтаетъ, худѣетъ, груститъ, тоскуетъ и вообще ведетъ себя съ одной стороны, какъ идеальная дѣва, а съ другой стороны, какъ пассивный товаръ, который можно везти на ярмарку и продавать лицомъ. Что-же касается до выдающихся точекъ въ ея жизни, то, основываясь на нихъ, можно только примѣнить къ Татьянѣ извѣстныя слова Пушкина:

> «Блаженъ, кто съ молоду былъ молодъ;—
> Блаженъ, кто во время созрѣлъ.»

Digitized by Google

Въ молодости своей Татьяна отличалась эксцентрическими выходками; созрѣвши, она превратилась въ воплощенную солидность. Чрезъ такія превращенія проходятъ самые отчаянные филистеры, которые во время своего студенчества бываютъ обыкновенно самыми разбитными буршами. Возможность этого превращенія превосходно понимаетъ и самъ Бѣлинскій. «Многія изъ нихъ, говоритъ онъ объ идеальныхъ дѣвахъ, не прочь-бы отъ замужества, и при первой возможности вдругъ измѣняютъ свои убѣжденія и изъ идеальныхъ дѣвъ дѣлаются самыми простыми бабами.» Татьяна сдѣлалась не самой простой бабой, а самой блестящей дамой. Разница, кажется, не очень значительна, и превращеніе разбитного бурша въ солиднаго филистера такъ-же несомнѣнно во второмъ случаѣ, какъ и въ первомъ.

Что случилось-бы съ Татьяной, еслибы она вышла замужъ по страстной любви,—объ этомъ мы ровно ничего не знаемъ, но мы можемъ замѣтить, что у самого Бѣлинскаго на этотъ счетъ встрѣчается очень любопытное противорѣчіе. Разсматривая характеръ Татьяны отдѣльно и передѣлывая его по своему произволу, Бѣлинскій утверждаетъ, что она можетъ быть превосходной супругой и образцовой матерью. Но, анализируя тотъ-же характеръ въ связи съ характеромъ Онѣгина, Бѣлинскій приходитъ къ тому заключенію, что Онѣгинъ не долженъ былъ жениться на Татьянѣ, потому что Татьяна была-бы съ нимъ несчастнѣйшей женщиной и сдѣлалась-бы для него невыносимой обузой. «Что-бы нашелъ онъ потомъ въ Татьянѣ?—спрашиваетъ Бѣлинскій.—Или прихотливое дитя, которое плакало-бы оттого, что онъ не можетъ, подобно ей, дѣтски смотрѣть на жизнь и дѣтски играть въ любовь,—это, согласитесь, очень скучно; или существо, которое, увлекшись его превосходствомъ, до того подчинилось-бы ему, не понимая его, что не имѣло-бы ни своего чувства, ни своего смысла, ни своей воли, ни своего характера. Послѣднее спокойнѣе, но зато скучнѣе». Вотъ видите, какъ неудобно умному человѣку (Бѣлинскій считаетъ Онѣгина за умнаго человѣка) жениться на Татьянѣ. Куда ни кинь—все клинъ. А между тѣмъ она полагаетъ, что влюблена въ него, и притомъ влюблена на всю жизнь, и ни о какой другой любви не хочетъ слышать. Если, вышедши замужъ за этого любимаго человѣка, она неизбѣжно должна сдѣлаться для него невыносимой обузой, то, спрашивается, какія-же условія необходимы для того, чтобы она могла развернуть свою способность быть превосходной женой и образцовой матерью? По какому рецепту долженъ быть составленъ тотъ человѣкъ, въ котораго она могла бы влюбиться и котораго кромѣ того она могла бы осчастливить своею любовью? Кажется мнѣ, что Татьяна никого не можетъ осчастливить, и что еслибы она вышла замужъ не за толстаго генерала, а за простого смертнаго, желавшаго найдти въ ней не украшеніе дома, а добраго и умнаго друга, то ея семейная жизнь расположилась-бы по слѣдующей программѣ, очень остроумно составленной Бѣлинскимъ для нѣкоторыхъ идеальныхъ дѣвъ: «Ужаснѣе всѣхъ другихъ,—говоритъ Бѣлинскій,—тѣ изъ идеальныхъ дѣвъ, которыя не только не чуждаются брака, но въ бракѣ съ предметомъ любви своей видятъ высшее земное блаженство: при ограниченности ума, при отсутствіи всякаго нравственнаго развитія и при испорченности фантазіи, онѣ создаютъ свой идеалъ брачнаго счастья,—и когда увидятъ невозможность осуществленія ихъ нелѣпаго идеала, то вымѣщаютъ на мужьяхъ горечь своего разочарованія.» Именно такъ; и поэтому идеальной дѣвѣ Татьянѣ Дмитріевнѣ Лариной всего лучше и безопаснѣе было отправиться на ярмарку невѣстъ, чтобы потомъ превратиться въ самую простую бабу или въ самую блестящую свѣтскую даму.

Думать, что Пушкинъ способенъ создать типъ образцовой жены и превосходной матери, значитъ положительно взводить напраслину на нашего рѣзваго любимца музъ и грацій. Въ такой серьезной идеѣ Пушкинъ рѣшительно неповиненъ. На женщину онъ смотритъ исключительно съ точки зрѣнія ея миловидности. «Женщины,—говоритъ онъ въ одномъ письмѣ,—не имѣютъ характера; онѣ имѣютъ страсти въ молодости; оттого нетрудно и выводить ихъ.» Въ бракѣ онъ видитъ только «рядъ утомительныхъ картинъ, романъ во вкусѣ Лафонтена». Къ слову «женатъ» у него есть непремѣнно двѣ постоянныя риѳмы: «халатъ» и «рогатъ». За женитьбой, по его мнѣнію, неизбѣжно слѣдуетъ опошленіе; а тѣ люди, которые способны опошлиться, оказываются самыми скверными мужьями и живутъ съ своими женами, какъ кошка съ собакой. Дѣйствительно, надо быть высоко развитымъ человѣкомъ, надо быть фанатикомъ великой идеи и плодотворнаго труда, чтобы понять и выразить всю безконечную поэзію постоянной любви. У насъ всѣ романы обыкновенно оканчиваются тамъ, гдѣ начинается семейная жизнь молодыхъ супруговъ. Доведя своего героя до свадьбы, романистъ прощается съ нимъ навсегда. Когда выводится въ романѣ брачная чета, то она выводится или затѣмъ, чтобы изобразить бури семейной жизни, или затѣмъ, чтобы нарисовать сонное царство, вродѣ «Старосвѣтскихъ помѣщиковъ».

IX.

Въ началѣ этой статьи я привелъ нѣсколько восторженныхъ отзывовъ Бѣлинскаго объ огром-

Digitized by Google

номъ историческомъ и общественномъ значеніи «Евгенія Онѣгина». Теперь, разобравъ главные характеры романа, я могу рѣшить, по моему крайнему разумѣнію, вопросъ о томъ: оправдываются-ли эти восторженные отзывы Бѣлинскаго дѣйствительными достоинствами «*самаго задушевнаго произведенія*» Пушкина? Бѣлинскій говоритъ, что «Онѣгина» можно назвать энциклопедіей русской жизни». Эта поэма была, по его мнѣнію, «актомъ сознанія для русскаго общества, почти первымъ, но зато какимъ великимъ шагомъ впередъ для него! Этотъ шагъ былъ богатырскимъ размахомъ, и послѣ него стояніе на одномъ мѣстѣ сдѣлалось уже невозможнымъ.»

Если сознаніе общества должно состоять въ томъ, чтобы общество отдавало себѣ полный и строгій отчетъ въ своихъ собственныхъ потребностяхъ, страданіяхъ, предразсудкахъ и порокахъ, то «Евгеній Онѣгинъ» ни въ какомъ случаѣ и ни съ какой точки зрѣнія не можетъ быть названъ *актомъ сознанія*. Если движеніе общества впередъ должно состоять въ томъ, чтобы общество выясняло себѣ свои потребности, изучало и устраняло причины своихъ страданій, отрѣшалось отъ своихъ предразсудковъ и клеймило презрѣніемъ свои пороки, то «Евгеній Онѣгинъ» не можетъ быть названъ ни первымъ, ни великимъ, ни вообще какимъ-бы то ни было *шагомъ впередъ* въ умственной жизни нашего общества. Что-же касается до *богатырскаго размаха* и до *невозможности стоять на одномъ мѣстѣ* послѣ «Евгенія Онѣгина», то, разумѣется, читателю при встрѣчѣ съ такими смѣлыми и чисто фантастическими гиперболами остается только улыбнуться, пожать плечами и припомнить то недалекое прошедшее, которое ежеминутно, какъ упорная и плохо вылеченная болѣзнь, даетъ себя чувствовать въ настоящемъ.

Отношенія Пушкина къ изображаемымъ явленіямъ жизни до такой степени пристрастны, его понятія о потребностяхъ и о нравственныхъ обязанностяхъ человѣка и гражданина до такой степени смутны и неправильны, что «*любимое дитя*» пушкинской музы должно было дѣйствовать на читателей, какъ усыпительное питье, по милости котораго человѣкъ забываетъ о томъ, что́ ему необходимо помнить постоянно, и примиряется съ тѣмъ, противъ чего онъ долженъ бороться неутомимо. Весь «Евгеній Онѣгинъ»—не что иное, какъ яркая и блестящая апоѳеоза самаго безсмысленнаго status quo. Всѣ картины этого романа нарисованы такими свѣтлыми красками, вся грязь дѣйствительной жизни такъ старательно отодвинута въ сторону, крупныя нелѣпости нашихъ общественныхъ нравовъ описаны въ такомъ величественномъ видѣ, крошечныя погрѣшности осмѣяны съ такимъ невозмутимымъ добродушіемъ, самому поэту живется такъ весело и дышется такъ легко,—что впечатлительный читатель непремѣнно долженъ вообразить себя счастливымъ обитателемъ какой-то Аркадіи, въ которой съ завтрашняго-же дня непремѣнно долженъ водвориться золотой вѣкъ.

Въ самомъ дѣлѣ, какія человѣческія страданія Пушкинъ съумѣлъ подмѣтить и счелъ необходимымъ воспѣть? Во-первыхъ,—скуку или хандру; а во-вторыхъ,—несчастную любовь, а въ третьихъ... въ третьихъ... больше ничего, больше никакихъ страданій не оказалось въ русскомъ обществѣ двадцатыхъ годовъ. Сначала Онѣгинъ скучаетъ оттого, что онъ слишкомъ счастливъ, слишкомъ безгранично наслаждается всѣми благами жизни; потомъ Татьяна страдаетъ оттого, что Онѣгинъ не хочетъ на ней жениться; потомъ Онѣгинъ страдаетъ оттого, что Татьяна не желаетъ сдѣлаться его любовницей. Значитъ, въ русскомъ обществѣ двадцатыхъ годовъ были два капитальные порока, два такіе порока, на которые величайшій поэтъ Россіи непремѣнно долженъ былъ обратить свое просвѣщенное вниманіе. Во-первыхъ, въ тогдашней Россіи было слишкомъ много благъ жизни, такъ что русскіе юноши могли объѣдаться ими, разстроивать себѣ желудки и вслѣдствіе этого впадать въ хандру. Во-вторыхъ, русскіе мужчины и русскія женщины были такъ устроены отъ природы, что они не всегда одновременно влюблялись другъ въ друга; случалось напримѣръ такъ, что женщина уже пламенѣетъ, а мужчина еще едва начинаетъ разогрѣваться; потомъ мужчина пылаетъ, а женщина уже сгорѣла до тла и гаснетъ. Такое неудобное устройство причиняло много огорченій какъ просвѣщеннымъ россіянамъ, такъ и очаровательнымъ россіянкамъ. Романъ Пушкина бросилъ яркій свѣтъ на обѣ главныя язвы русской жизни; такъ какъ этотъ романъ былъ *богатырскимъ размахомъ*, то стоять на одномъ мѣстѣ послѣ его появленія было уже невозможно, и русское общество, вникнувъ въ страданія Онѣгина и Татьяны, немедленно сдѣлало необходимыя распоряженія, во-первыхъ, на счетъ того, чтобы количество жизненныхъ благъ было приведено въ строгую соразмѣрность съ объемомъ юношескихъ желудковъ, а во-вторыхъ, на счетъ того, чтобы просвѣщенные россіяне и очаровательныя россіянки воспламенялись взаимной любовью одновременно. Когда это равновѣсіе вошло въ надлежащую силу, тогда уничтожились хандра и несчастная любовь; въ Россіи водворился золотой вѣкъ; юноши стали вкушать блага жизни съ благоразумной умѣренностью, а дѣвы, благодаря этимъ умѣреннымъ юношамъ, стали въ надлежащее время превращаться въ счастливыхъ женъ и превосходныхъ матерей. Но золотой вѣкъ исчезъ, какъ легкое сновидѣнье; и смотрятъ юные потомки аркадскихъ жителей

Digitized by Google

на богатырскій размахъ «Евгенія Онѣгина», какъ на совершенно несообразную грезу, которую послѣ пробужденія трудно не только понять, но даже припомнить. И смекаютъ эти развращенные потомки, что если «Евгеній Онѣгинъ» есть энциклопедія русской жизни, то, значитъ, энциклопедія и русская жизнь нисколько другъ на друга непохожи, потому что энциклопедія—сама по себѣ, а русская жизнь—тоже сама по себѣ.

По нѣкоторымъ темнымъ преданіямъ и по нѣкоторымъ глубокимъ историческимъ изслѣдованіямъ позволительно напримѣръ думать, что въ Россіи двадцатыхъ головъ существовало то явленіе общественной жизни, которое извѣстно теперь подъ именемъ крѣпостного права. Интересно было-бы знать, какъ отразилось это явленіе русской жизни въ энциклопедіи? Справляемся и, узнаемъ, что Онѣгинъ, пріѣхавъ въ деревню, замѣнилъ яремъ старинной барщины легкимъ оброкомъ, и что мужикъ благословилъ судьбу; что старуха Ларина «служанокъ била, осердясь», «брила лбы» и «стала звать Акулькой прежнюю Селину»; что служанки, собирая ягоды, пѣли по барскому приказанію пѣсни для того, «чтобъ барской ягоды тайкомъ уста лукавыя не ѣли»; что «крестьянинъ, торжествуя, на дровняхъ обновляетъ путь»; что дворовый мальчикъ бѣгаетъ по двору, «въ салазки жучку посадивъ, себя въ коня преобразивъ»; что на святкахъ

«Служанки со всего двора
Про барышень своихъ гадали
И имъ сулили каждый годъ
Мужьевъ военныхъ и походъ.»

Вотъ и все, что мы можемъ почерпнуть изъ энциклопедіи касательно крѣпостного права. Надо сказать правду, на этихъ свѣдѣніяхъ лежитъ свѣтло-розовый колоритъ; помѣщикъ облегчаетъ положеніе мужика; мужикъ благословляетъ судьбу; мужикъ торжествуетъ при появленіи зимы; значитъ, любитъ зиму; значитъ, ему тепло зимой и хлѣба у него вдоволь; а такъ какъ русская зима продолжается по крайней мѣрѣ полгода, то, значитъ, мужикъ проводитъ въ торжествѣ и благодушествѣ по крайней мѣрѣ половину своей жизни. Сынъ дворовaго человѣка тоже ликуетъ и забавляется; его никто не бьетъ, его хорошо кормятъ, тепло одѣваютъ и не превращаютъ съ малыхъ лѣтъ въ казачка, обязаннаго торчать на коникѣ въ лакейской и ежеминутно бѣгать то за носовымъ платкомъ, то за стаканомъ воды, то за трубкой, то за табакеркой. Свѣтло-розовый колоритъ немного помрачается тѣмъ неожиданнымъ извѣстіемъ, что Ларина била служанокъ; но, во-первыхъ, она ихъ била только «осердясь»; а сердилась она вѣроятно очень рѣдко и только за дѣло, потому что, еслибы она была способна сердиться часто и неосновательно, то, разумѣется, проницательный Онѣгинъ, пріятель и любимецъ автора энциклопедіи, не сказалъ-бы о Лариной, что она «очень милая старушка». Во-вторыхъ, служанокъ и нельзя было не бить, потому что онѣ, какъ мы узнаемъ изъ той-же энциклопедіи, были очень большія мерзавки; онѣ были способны похищать барскія ягоды, и барыня, для огражденія священной собственности и для предохраненія мерзкихъ служанокъ отъ гнуснаго преступленія, была принуждена утруждать свою барскую голову и придумывать то замысловатое средство, которое называется въ энциклопедіи *затѣей сельской остроты* и которое пріучало служанокъ предпочитать высокія эстетическія наслажденія, какъ-то пѣніе,—низкимъ матеріальнымъ предметамъ, именно ягодамъ. Въ третьихъ, служанокъ били не больно, потому что ни самые побои, ни воспоминанія объ оныхъ не мѣшали имъ проводить святки въ пѣснопѣніяхъ, въ которыхъ онѣ имѣли случай усовершенствоваться во время лѣта, при своихъ нерѣдкихъ столкновеніяхъ съ низкими матеріальными предметами, то-есть съ ягодами.

Итакъ, основываясь на свидѣтельствѣ энциклопедіи, мы имѣемъ полное право умозаключить, что крѣпостное право доставляло весьма много пользы и удовольствія какъ помѣщикамъ, такъ и мужикамъ. Помѣщики имѣли возможность обнаруживать свое великодушіе, мужики имѣли возможность учиться у нихъ безкорыстію, служанки развивали въ себѣ эстетическое чувство и способность нравственнаго самообладанія,—словомъ, всѣ благоденствовали и взаимно совершенствовали другъ друга.

X.

Если вы пожелаете узнать, чѣмъ занималась образованнѣйшая часть русскаго общества въ двадцатыхъ годахъ, то энциклопедія русской жизни отвѣтитъ вамъ, что эта образованнѣйшая часть ѣла, пила, плясала, посѣщала театры, влюблялась и страдала то отъ скуки, то отъ любви. И только? Спросите вы.—И только! отвѣтитъ энциклопедія.—Это очень весело, подумаете вы, но не совсѣмъ правдоподобно. Неужели въ тогдашней Россіи не было ничего другого? Неужели молодые люди не мечтали о карьерахъ и не старались проложить себѣ такъ или иначе дорогу къ богатству и къ почестямъ? Неужели каждый отдѣльный человѣкъ былъ доволенъ своимъ положеніемъ и не шевелилъ ни однимъ пальцемъ для того, чтобы улучшить это положеніе? Неужели Онѣгину приходилось презирать людей только за то, что они очень громко стучали каблуками во время мазурки? И неужели не было въ тогдашнемъ обществѣ такихъ людей, которые не задергивали мыслителей XVIII вѣка траурной тафтой и которые могли смотрѣть на Онѣгина съ такимъ-же пре-

Digitized by Google

зрѣніемъ, съ какимъ самъ Онѣгинъ смотрѣлъ на Буянова, Пустякова и разныхъ другихъ представителей провинціальной фауны?—На послѣдній вопросъ энциклопедія отвѣчаетъ совершенно отрицательно. По крайней мѣрѣ мы видимъ, что Онѣгинъ на всѣхъ смотритъ сверху внизъ, и что на него самого не смотритъ такимъ образомъ никто. Всѣ остальные вопросы оставлены совершенно безъ отвѣта,

Зато энциклопедія сообщаетъ намъ очень подробныя свѣдѣнія о столичныхъ ресторанахъ, о танцовщицѣ Истоминой, которая летаетъ по сценѣ, «какъ пухъ отъ устъ Эола»; о томъ, что варенье подается на блюдечкахъ, а брусничная вода въ кувшинѣ: о томъ, что дамы говорили по-русски съ грамматическими ошибками; о томъ, какіе стишки пишутся въ альбомахъ уѣздныхъ барышень; что шампанское замѣняется иногда въ деревняхъ цымлянскимъ; о томъ, что котильонъ танцуется послѣ мазурки, и такъ далѣе. Словомъ, вы найдете описаніе многихъ мелкихъ обычаевъ, но изъ этихъ крошечныхъ кусочковъ, годныхъ только для записного антикварія, вы не извлечете почти ничего для физіологіи или для патологіи тогдашняго общества; вы рѣшительно не узнаете, какими идеями или иллюзіями жило это общество; вы рѣшительно не узнаете, что̀ давало ему смыслъ и направленіе или что̀ поддерживало въ немъ безсмыслицу и апатію. Исторической картины вы не увидите; только коллекцію старинныхъ костюмовъ и причесокъ, старинныхъ прейскурантовъ и афишъ, старинной мебели и старинныхъ ужимокъ. Все это описано чрезвычайно живо и весело, но вѣдь этого мало; чтобы нарисовать историческую картину, надо быть не только внимательнымъ наблюдателемъ, но еще кромѣ того замѣчательнымъ мыслителемъ; надо изъ окружающей васъ пестроты лицъ, мыслей, словъ, радостей, огорченій, глупостей и подлостей выбрать именно то, что̀ сосредочиваетъ въ себѣ весь смыслъ данной эпохи, что̀ накладываетъ свою печать на всю массу второстепенныхъ явленій, что̀ втискиваетъ въ свои рамки и видоизмѣняетъ своимъ вліяніемъ всѣ остальныя отрасли частной и общественной жизни.

Такую громадную задачу дѣйствительно выполнилъ для Россіи двадцатыхъ годовъ Грибоѣдовъ; что-же касается до Пушкина, то онъ даже не подошелъ близко къ этой задачѣ, даже не составилъ себѣ о ней приблизительно вѣрнаго понятія. Начать съ того, что выборъ героя въ высшей степени неудаченъ. Въ такомъ романѣ, который долженъ изобразить въ данный моментъ жизнь цѣлаго общества, героемъ долженъ быть непремѣнно или такой человѣкъ, который сосредоточиваетъ въ своей личности смыслъ и типическія особенности status quo, или такой, который носитъ въ себѣ самое сильное стремленіе къ будущему и самое ясное пониманіе настоящихъ общественныхъ потребностей. Другими словами: героемъ долженъ быть непремѣнно или рыцарь прошедшаго, или рыцарь будущаго, но во всякомъ случаѣ человѣкъ дѣятельный, имѣющій въ жизни какую-нибудь цѣль, толкающійся между людьми, суетящійся вмѣстѣ съ толпой, развертывающій и напрягающій такъ или иначе, въ честномъ или въ безчестномъ дѣлѣ, всѣ силы своего ума и своей энергіи. Только жизнь такой активной личности можетъ показать намъ въ наглядномъ примѣрѣ достоинства и недостатки общественнаго механизма и общественной нравственности.

За какими благами гонится большинство, какія средства ведутъ къ желанному успѣху, какъ относится къ различнымъ средствамъ общественное мнѣніе, изъ какихъ составныхъ элементовъ слагается это общественное мнѣніе, гдѣ кончается рутина и гдѣ начинается протестъ, каковы сравнительныя силы рутинеровъ и протестантовъ, какъ велико между ними взаимное ожесточеніе,— всѣ эти и многіе другіе вопросы, которые необходимо должны быть поставлены и рѣшены въ энциклопедіи общественной жизни, могутъ быть затронуты только тогда, когда средоточіемъ всей картины будетъ сдѣланъ боецъ и работникъ, а не сонная фигура праздношатающагося шалопая. Чичикова, Молчалина, Калиновича можно сдѣлать героями историческаго романа, но Онѣгина и Обломова—ни подъ какимъ видомъ. Чичиковъ, Молчалинъ, Калиновичъ, какъ люди, чего то добивающіеся, связаны съ обществомъ самыми крѣпкими узами, потому что они только въ обществѣ и посредствомъ общества могутъ осуществлять свои желанія. Заставляя ихъ идти по тому или другому пути, заставляя ихъ въ одномъ мѣстѣ солгать, въ другомъ сплутовать, въ третьемъ произнести чувствительную рѣчь, въ четвертомъ отвѣсить низкій поклонъ,—общество обтесываетъ ихъ по своему образу и подобію, измѣняетъ ихъ характеры, опредѣляетъ ихъ понятія и понемногу приготовляетъ изъ нихъ типическихъ представителей даннаго времени, даннаго народа и данной среды. Напротивъ того, Онѣгинъ и Обломовъ, люди обезпеченные въ своемъ матеріальномъ существованіи и неодаренные отъ природы ни великими умами, ни сильными страстями, могутъ почти совершенно отдѣлиться отъ общества. подчиниться исключительно требованіямъ своего темперамента и такимъ образомъ не отразить въ своемъ характерѣ ни дурныхъ, ни хорошихъ сторонъ даннаго общественнаго устройства. Эти люди, какъ отдѣльныя личности, не представляютъ рѣшительно никакого интереса для мыслителя, изучающаго физіологію общества. Они пріобрѣтаютъ значеніе только въ томъ случаѣ, когда они, по многочисленности, превращаются въ замѣтный статистическій фактъ. Если въ образованнѣйшей части какого-нибудь общества

Digitized by Google

встрѣчаются на каждомъ шагу сотни или тысячи Онѣгиныхъ и Обломовыхъ, то-есть людей, игнорирующихъ существованіе общества и неимѣющихъ никакого понятія ни о какихъ общественныхъ интересахъ, то, разумѣется, такой фактъ можетъ навести мыслящаго наблюдателя на очень поучительныя размышленія. Этотъ наблюдатель будетъ имѣть полное право подумать, что движеніе общественной жизни чрезвычайно вяло и слабо, потому что это движеніе не затягиваетъ въ себя и не увлекаетъ за собою тѣхъ людей, которые живутъ въ данномъ обществѣ. Но даже и въ этомъ случаѣ мыслящему писателю не-зачѣмъ приниматься за спеціальное изученіе расплодившихся Онѣгиныхъ и Обломовыхъ. Какъ-бы они ни были многочисленны, они все-таки составляютъ пассивный продуктъ, а не дѣятельную причину общественнаго застоя. Не оттого въ погребѣ сыро, что въ немъ живутъ мокрицы, а оттого въ него набрались мокрицы, что въ немъ было сыро. А отчего сыро—это уже другой вопросъ, при изслѣдованіи котораго мокрицы должны быть совершенно отодвинуты въ сторону. Не оттого общественная жизнь движется медленно, что въ обществѣ много Обломовыхъ и Онѣгиныхъ, а напротивъ того, Обломовы и Онѣгины расплодились въ обществѣ по той причинѣ, что общественная жизнь движется медленно. А почему она движется медленно—это уже другой вопросъ, при изслѣдованіи котораго надо имѣть въ виду не Обломовыхъ и Онѣгиныхъ, а Чичиковыхъ, Молчалиныхъ, Калиновичей съ одной стороны, и Чацкихъ, Рудиныхъ, Базаровыхъ съ другой стороны.

Такимъ образомъ въ произведеніи мыслящаго писателя, задумавшаго нарисовать картину даннаго общества, — фигуры, подобныя Онѣгину, могутъ быть допущены только какъ вводныя лица, стоящія на второмъ планѣ, какъ стоятъ напримѣръ Загорѣцкій и Репетиловъ въ комедіи Грибоѣдова. Первыя мѣста по всей справедливости принадлежатъ Фамусову и Скалозубу, которые даютъ читателю ключъ къ пониманію цѣлаго историческаго періода и которые, своими типическими и рѣзко обозначенными физіономіями, объясняютъ намъ и низкопоклонство Молчалина, и глупую сентиментальность Софьи, и безплодное краснорѣчіе Чацкаго. Грибоѣдовъ въ своемъ анализѣ русской жизни дошелъ до той крайней границы, дальше которой поэтъ не можетъ идти, не переставая быть поэтомъ и не превращаясь въ ученаго изслѣдователя. Пушкинъ же, напротивъ того, даже и не приступалъ ни къ какому анализу; онъ съ полной искренностью и съ очень похвальной скромностью говоритъ въ VII главѣ «Онѣгина»: «пою пріятеля младова и множество его причудъ». Дѣйствительно, въ этомъ и заключается вся его задача. Почему онъ обратилъ свое вниманіе именно на этого «пріятеля младова», а не на кого-нибудь другого,—объ этомъ вы его не спрашивайте. На то онъ и поэтъ, чтобы дѣлать въ области своего творчества все, что ему вздумается, не отдавая въ томъ отчета никому на свѣтѣ, ни даже самому себѣ. Чѣмъ объясняются причуды этого пріятеля—этимъ онъ также нисколько не интересуется.

Еслибы критика и публика поняли романъ Пушкина такъ, какъ онъ самъ его понималъ; еслибы они смотрѣли на него, какъ на невинную и безцѣльную штучку, подобную «Графу Нулину» или «Домику въ Коломнѣ»; еслибы они не ставили Пушкина на пьедесталъ, на который онъ не имѣетъ ни малѣйшаго права, и не навязывали ему насильно великихъ задачъ, которыхъ онъ вовсе не умѣетъ и не желаетъ ни рѣшать, ни даже задавать себѣ, тогда я и не подумалъ-бы возмущать чувствительныя сердца русскихъ эстетиковъ моими непочтительными статьями о произведеніяхъ нашего, такъ называемаго, *великаго поэта*. Но, къ сожалѣнію, публика временъ Пушкина была такъ неразвита, что принимала хорошіе стихи и яркія описанія за великія событія въ своей умственной жизни. Эта публика съ одинаковымъ усердіемъ переписывала и «Горе отъ ума»,—одно изъ величайшихъ произведеній нашей литературы, и «Бахчисарайскій фонтанъ», въ которомъ нѣтъ ровно ничего, кромѣ пріятныхъ звуковъ и яркихъ красокъ.

Спустя 20 лѣтъ, за вопросъ о Пушкинѣ взялся превосходный критикъ, честный гражданинъ и замѣчательный мыслитель, Виссаріонъ Бѣлинскій. Кажется, такой человѣкъ могъ рѣшить этотъ вопросъ удовлетворительно и отвести Пушкину то скромное мѣсто, которое должно принадлежать ему въ исторіи нашей умственной жизни. Вышло однако наоборотъ. Бѣлинскій написалъ о Пушкинѣ одиннадцать превосходныхъ статей и разсыпалъ въ этихъ статьяхъ множество самыхъ свѣтлыхъ мыслей о правахъ и обязанностяхъ человѣка, объ отношеніяхъ между мужчинами и женщинами, о любви, о ревности, о частной и объ общественной жизни, но вопросъ о Пушкинѣ въ концѣ концовъ оказался совершенно затемненнымъ. Читателямъ, а быть-можетъ и самому Бѣлинскому, показалось, что именно Пушкинъ породилъ своими произведеніями всѣ эти замѣчательныя мысли, которыя однако цѣликомъ принадлежали критику и которыя по всей вѣроятности вовсе не понравились-бы разбираемому поэту. Бѣлинскій преувеличилъ значеніе всѣхъ главныхъ произведеній Пушкина и каждому изъ этихъ произведеній приписалъ такой серьезный и глубокій смыслъ, котораго самъ авторъ никакъ не могъ и не хотѣлъ въ нихъ вложить.

Статьи Бѣлинскаго о Пушкинѣ сами по себѣ, какъ самостоятельныя литературныя про-

Digitized by Google

изведенія, были чрезвычайно полезны для умственнаго развитія нашего общества; но какъ восхваленія стараго кумира, какъ зазыванія въ старый храмъ, въ которомъ было много пищи для воображенія и въ которомъ не было никакой пищи для ума, эти самыя статьи могли принести и дѣйствительно принесли свою долю вреда. Бѣлинскій любилъ того Пушкина, котораго онъ самъ себѣ создалъ; но многіе изъ горячихъ послѣдователей Бѣлинскаго стали любить настоящаго Пушкина, въ его натуральномъ и необлагороженномъ видѣ. Они стали превозносить въ немъ именно тѣ слабыя стороны, которыя Бѣлинскій затушевывалъ или перетолковывалъ по своему. Вслѣдствіе этого имя Пушкина сдѣлалось знаменемъ неисправимыхъ романтиковъ и литературныхъ филистеровъ. Вся критика Аполлона Григорьева и его послѣдователей была основана на превознесеніи той всеобъемлющей любви, которой будто-бы проникнуты насквозь всѣ произведенія Пушкина. Превознося кроткаго и любвеобильнаго Пушкина, романтики и филистеры почти совершенно игнорируютъ произведенія Грибоѣдова и относятся почти враждебно къ Гоголю. Въ нѣкоторыхъ журналахъ не разъ высказывалось забавное мнѣніе, что Гоголь не зналъ великорусской жизни. Если прибавить къ этому, что нѣкоторые малороссійскіе писатели упрекаютъ Гоголя въ незнаніи малорусскаго быта, то окажется, что Гоголь совсѣмъ ничего не зналъ, и что онъ произвелъ полный переворотъ въ русской литературѣ именно своимъ незнаніемъ.

Восхищаясь своимъ возлюбленнымъ Пушкинымъ, какъ величайшимъ представителемъ филистерскаго взгляда на жизнь, наши романтики въ то-же время прикрываются великимъ именемъ Бѣлинскаго, какъ надежнымъ громоотводомъ, спасающимъ ихъ отъ всякаго подозрѣнія въ филистерскихъ вкусахъ и тенденціяхъ. Мы—за одно съ Бѣлинскимъ, говорятъ романтики, а вы, нигилисты или реалисты, вы—просто самолюбивые мальчишки, старающіеся обратить на себя вниманіе публики вашими дерзкими отношеніями къ незабвеннымъ авторитетамъ.

Благоговѣніе романтиковъ передъ Пушкинымъ доводитъ ихъ иногда до самыхъ смѣшныхъ и нелѣпыхъ крайностей. Аполлонъ Григорьевъ написалъ однажды, въ одномъ изъ своихъ писемъ, изданныхъ Страховымъ, что тремя послѣдними великими поэтами онъ считаетъ Байрона, Мицкевича и Пушкина. Довольно забавно уже то обстоятельство, что рядомъ съ Байрономъ поставлены Мицкевичъ и Пушкинъ. Это совершенно все равно, что поставить Кайданова и Смарагдова рядомъ съ Шлоссеромъ. Но еще гораздо забавнѣе то обстоятельство, что Мицкевичъ и Пушкинъ *попались* въ число великихъ поэтовъ, а Гейне *не попалъ*. Оно и понятно. Не заслуживаетъ онъ этой чести, потому что былъ свистуномъ и отрицателемъ. Понятно также, почему панегиристы Пушкина молчатъ о Грибоѣдовѣ и не долюбливаютъ Гоголя. И Грибоѣдовъ, и Гоголь стоятъ гораздо ближе къ окружающей насъ дѣйствительности, чѣмъ къ мирнымъ и тихимъ спальнямъ романтиковъ и филистеровъ.

Такъ какъ борьба литературныхъ партій сдѣлалась теперь упорной и непримиримой, такъ какъ духомъ партіи обусловливаются теперь взгляды пишущихъ людей на прежнихъ писателей даже въ тѣхъ органахъ нашей печати, которые сами вопіютъ противъ духа партіи, то и реалисты, сражаясь за свои идеи, поставлены въ необходимость посмотрѣть повнимательнѣе, съ своей точки зрѣнія, на тѣ старые литературные кумиры и на тѣ почтенныя имена, за которыя прячутся наши очень свирѣпые, но очень трусливые гонители. Мы надѣемся доказать нашему обществу, что старые литературные кумиры разваливаются отъ своей ветхости при первомъ прикосновеніи серьезной критики. Что-же касается до почтеннаго имени Бѣлинскаго, то оно повернется противъ нашихъ литературныхъ враговъ. Расходясь съ Бѣлинскимъ въ оцѣнкѣ отдѣльныхъ фактовъ, замѣчая въ немъ излишнюю довѣрчивость и слишкомъ сильную впечатлительность, мы въ то-же время гораздо ближе нашихъ противниковъ подходимъ къ его основнымъ убѣжденіямъ.

ЛИРИКА ПУШКИНА.

I.

Слишкомъ двадцать лѣтъ тому назадъ, именно въ 1844 году, была напечатана въ «Отечественныхъ Запискахъ» пятая статья Бѣлинскаго о Пушкинѣ. Вотъ оглавленіе этой статьи: «Взглядъ на русскую критику.—Понятіе о современной критикѣ. — Изслѣдованіе пафоса поэта, какъ первая задача критики.—Пафосъ поэзіи Пушкина вообще.—Разборъ лирическихъ произведеній Пушкина».—Въ этой статьѣ Бѣлинскаго встрѣчаются болѣе или менѣе опредѣленные намеки на всѣ тѣ идеи, которыми живетъ наша теперешняя реальная критика. Въ этой-же самой статьѣ Бѣлинскій предается самымъ необузданнымъ эстетическимъ востор-

Digitized by Google

гамъ. Читая внимательно эту статью, мы видимъ, какъ эстетикъ борется въ Бѣлинскомъ съ общественнымъ дѣятелемъ, и предчувствуемъ, что побѣда непремѣнно должна склониться на сторону послѣдняго. Чтобы доказать читающей публикѣ кровное родство реальной критики съ Бѣлинскимъ, я приведу изъ этой статьи, напечатанной двадцать лѣтъ тому назадъ, нѣсколько обширныхъ выписокъ.

«Гёте гдѣ-то сказалъ: «какого читателя желаю я?—Такого, который-бы меня, себя и цѣлый міръ забылъ и жилъ-бы только въ книгѣ моей.» Нѣкоторые нѣмецкіе аристархи опёрлись на это выраженіе великаго поэта, какъ на основной краеугольный камень эстетической критики. И однакожъ односторонность гётевой мысли очевидна. Подобное требованіе очень выгодно для всякаго поэта, не только великаго, но и маленькаго; принявъ его на вѣру и безусловно, критика только и дѣлала-бы, что кланялась въ-поясъ то тому, то другому поэту, ибо такъ какъ все имѣетъ свою причину и основаніе—даже эгоизмъ, дурное направленіе, самое невѣжество поэта, то, если критикъ будетъ смотрѣть на произведеніе поэта безъ всякаго отношенія къ его личности, забывъ о самомъ себѣ и цѣломъ мірѣ,—естественно, что творенія этого поэта, будь они только ознаменованы бо́льшей или меньшей степенью таланта, явятся непогрѣшительными и достойными безусловной похвалы.»

Изъ приведенныхъ словъ читатель видитъ, что у Гёте была губа не дура и что онъ придумалъ очень вѣрное средство затушевать слабыя стороны своей поэтической дѣятельности. Чистые эстетики приняли искусную выдумку Гёте за святую истину, но Бѣлинскій оказался гораздо проницательнѣе *нѣмецкихъ аристарховъ* и такимъ образомъ внесъ въ критику элементъ, совершенно враждебный эстетикѣ. Въ словахъ Бѣлинскаго мы видимъ ясное выраженіе той идеи, что поэтическій талантъ одинъ самъ по себѣ еще не даетъ поэту права пользоваться уваженіемъ и сочувствіемъ современниковъ и потомства. Бѣлинскій относится очень сурово къ *невѣжеству* поэта, къ *дурному направленію* и къ *эгоизму*. Слово *эгоизмъ* конечно употреблено неправильно; но такъ какъ этимъ словомъ Бѣлинскій очевидно хочетъ обозначить узкость ума и мелкость чувства, то съ его идеей мы можемъ совершенно согласиться. Если такимъ образомъ критика, по мнѣнію Бѣлинскаго, должна непремѣнно требовать отъ поэта широкаго умственнаго развитія, хорошаго, то-есть честнаго направленія и разумной любви къ человѣчеству, то очевидно критика Добролюбова и теперешняя критика «Русскаго Слова» по своему основному принципу совершенно соотвѣтствуютъ стремленіямъ Бѣлинскаго. Критика Бѣлинскаго, критика Добролюбова и критика «Русскаго Слова» оказываются развитіемъ одной и той-же идеи, которая съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе очищается отъ всякихъ посторонникъ примѣсей.

«При нѣмецкой апатической терпимости ко всему, что́ бываетъ и дѣлается на бѣломъ свѣтѣ,—продолжаетъ Бѣлинскій,—при нѣмецкой безличной универсальности, которая, признавая все, сама не можетъ сдѣлаться ничѣмъ, мысль, высказанная Гёте, поставляетъ искусство цѣлью самому себѣ и черезъ это самое освобождаетъ его отъ всякаго соотношенія съ жизнью, которая всегда выше искусства, потому что искусство есть только одно изъ безчисленныхъ проявленій жизни.»

Какъ вамъ это нравится, господа читатели? Уже въ 1844 году была провозглашена въ русской журналистикѣ та великая идея, что *искусство не должно быть цѣлью самому себѣ* и что *жизнь выше искусства*. А слишкомъ двадцать лѣтъ спустя, тотъ самый журналъ, который бросилъ русскому обществу эти двѣ блестящія и плодотворныя идеи, съ тупымъ самодовольствомъ возстаетъ противъ «Эстетическихъ отношеній», которыя цѣликомъ построены на этихъ двухъ идеяхъ. Этотъ поучительный фактъ доказываетъ ясно, что человѣческая мысль не можетъ стоять на одномъ мѣстѣ. Когда она не хочетъ или не умѣетъ двигаться впередъ, тогда она поневолѣ пятится назадъ. «Отечественныя Записки» хотѣли забастовать на Бѣлинскомъ. Оказывается теперь, что онѣ забыли Бѣлинскаго и подвинулись къ двадцатымъ годамъ нынѣшняго столѣтія. «Современникъ» хочетъ забастовать на Добролюбовѣ, и мы видимъ дѣйствительно, что «Современникъ» быстро забываетъ Добролюбова и также путешествуетъ въ область двадцатыхъ годовъ. Повторять слова учителя—не значитъ быть его продолжателемъ. Надо понимать ту цѣль, къ которой шелъ учитель. Идя къ извѣстной цѣли, учитель произносилъ извѣстныя слова. Въ ту минуту, когда эти слова произносились, они дѣйствительно подвигали людей впередъ къ предположенной цѣли. Но когда эти слова уже подѣйствовали, когда люди, подчиняясь ихъ вліянію, сдѣлали нѣсколько шаговъ впередъ, тогда все положеніе вопроса обрисовывается иначе, тогда произнесенныя слова теряютъ свою двигательную силу и слѣдовательно перестаютъ быть умѣстными, полезными и цѣлесообразными. Тогда надо произносить новыя слова, примѣняя ихъ къ новымъ потребностямъ времени; эти новыя слова могутъ находиться въ рѣзкомъ разногласіи съ старыми словами, и это разногласіе нисколько не мѣшаетъ ни тѣмъ, ни другимъ быть одинаково вѣрными выраженіями одной и той-же основной тенденціи.

Digitized by Google

Основная тенденція всей критической школы Бѣлинскаго, продолжающей дѣйствовать и развиваться до настоящей минуты, выражается совершенно ясно и отчетливо въ тѣхъ двухъ положеніяхъ, что *искусство не должно быть цѣлью самому себѣ* и что *жизнь выше искусства*. Изъ этихъ двухъ простыхъ и скромныхъ положеній выводятся совершенно логично и неизбѣжно всѣ самыя смѣлыя и блистательныя salto mortale моего уважаемаго сотрудника Зайцева, на котораго смотрятъ до сихъ поръ съ такимъ непритворнымъ ужасомъ и съ такимъ комическимъ недоумѣніемъ всѣ солидные тихоходы нашей періодической литературы. При тѣхъ условіяхъ, при которыхъ развивался и дѣйствовалъ Бѣлинскій, онъ конечно не могъ вывести изъ этихъ двухъ положеній всѣ ихъ логическія послѣдствія. Въ сороковыхъ годахъ онъ даже не могъ ихъ предвидѣть. Онъ ежеминутно уклоняется въ своей дѣятельности отъ этихъ двухъ основныхъ положеній, но смыслъ и сила его дѣятельности заключаются конечно не въ этихъ случайныхъ нарушеніяхъ логики. Высказать вѣрную мысль еще не значитъ послѣдовательно провести эту мысль въ анализъ всѣхъ явленій жизни, науки и искусства. Вторая задача, разумѣется, гораздо труднѣе и многосложнѣе первой. Если высказанная мысль дѣйствительно велика и плодотворна, то на ея послѣдовательное проведеніе могутъ потратиться силы нѣсколькихъ поколѣній. Эта завидная участь выпала на долю мыслямъ Бѣлинскаго. Впродолженіи двадцати лѣтъ лучшіе люди русской литературы развиваютъ его мысли и впереди еще не видно конца этой работѣ. Та тѣсная родственная связь, которая несомнѣнно существуетъ между Бѣлинскимъ и теперешними реалистами, доказываетъ, съ одной стороны, умственное величіе нашего общаго учителя, а съ другой стороны —то обстоятельство, что такъ называемый нигилизмъ есть дитя нашего времени, имѣющее своихъ законныхъ и весьма почтенныхъ родителей въ прошедшемъ періодѣ нашей умственной жизни. Проклиная нигилизмъ, солидные люди очень охотно вычеркиваютъ изъ исторіи русской литературы «Эстетическія отношенія» и Добролюбова, въ которыхъ они видятъ случайныя или болѣзненныя явленія. Теперь я попрошу солидныхъ людей, для радикальнаго уничтоженія нигилистовъ, начать работу вычеркиванія съ Виссаріона Бѣлинскаго. Года четыре тому назадъ «Русскій Вѣстникъ», какъ самый послѣдовательный и дальновидный врагъ нигилизма, дѣйствительно попробовалъ занести руку и на Бѣлинскаго. Въ 1861 году Лонгиновъ силился уличить Бѣлинскаго въ заносчивомъ невѣжествѣ. Еслибы эта попытка увѣнчалась успѣхомъ, тогда по всей вѣроятности ядъ вольнодумства былъ-бы искорененъ вполнѣ, и настоящими, здоровыми и совершенно незаподозрѣнными представителями русской мысли оказались-бы: въ прошедшемъ — Мерзляковъ и Шевыревъ, а въ настоящемъ — Лонгиновъ и Анненковъ. Вся остальная русская критика была-бы причислена къ ложнымъ и отреченнымъ книгамъ. Этотъ результатъ былъ-бы конечно очень блистателенъ и утѣшителенъ, но къ сожалѣнію усердная попытка Лонгинова осталась, по какой-то необъяснимой случайности, совершенно незамѣченной. Совѣтую солиднымъ людямъ повторить эту попытку, потому что для искорененія нигилизма необходимо убить Бѣлинскаго во мнѣніи русскаго общества.

II.

«Дѣйствительно,— продолжаетъ Бѣлинскій,— нѣмецкая критика при разсматриваніи произведеній искусства всегда опирается на само искусство и на духъ художника, и потому исключительно вращается въ тѣсной сферѣ эстетики, выходя изъ нея только для того, чтобы обращаться изрѣдка къ характеристикѣ личности поэта, а на исторію, общество,—словомъ, на жизнь не обращаетъ никакого вниманія. И оттого жизнь давно уже оставила тѣхъ нѣмецкихъ поэтовъ, которые своими произведеніями угождаютъ такой критикѣ.»

Нѣмецкая критика, противъ которой возстаютъ Бѣлинскій и сама жизнь, поступаетъ въ высшей степени благоразумно. Она тщательно поддерживаетъ тѣ перегородки, которыхъ паденіе краснорѣчиво оплакиваетъ нечестный преемникъ Бѣлинскаго въ «Отечественныхъ Запискахъ», г. Incognito. Когда эта нѣмецкая критика говоритъ объ искусствѣ, тогда она и опирается на само искусство. Если-же Бѣлинскій находитъ сферу эстетики *тѣсною*, если онъ требуетъ, чтобы критика вырвалась изъ этой *тѣсной сферы* и вступила въ безпредѣльный міръ дѣйствительной жизни — прошедшей и настоящей,— то онъ очевидно оказывается гнуснымъ сообщникомъ нынѣшней реальной критики. — Но чтобы показать солиднымъ людямъ, что Бѣлинскій еще не совсѣмъ пропащій человѣкъ, и чтобы напомнить несолиднымъ мальчишкамъ и дѣвчонкамъ, что Бѣлинскій еще не совсѣмъ послѣдовательный реалистъ, я прошу господъ читателей, солидныхъ и несолидныхъ, отыскать въ томъ-же VIII томѣ и въ той-же критической статьѣ страницу 352, на которой изображены слѣдующія строки:

«Каждое поэтическое произведеніе есть плодъ могучей мысли, овладѣвшей поэтомъ. Еслибъ мы допустили, что эта мысль есть только результатъ дѣятельности его разсудка, мы убили-бы этимъ не только искусство, но и самую возможность искусства. Въ самомъ дѣлѣ, что мудренаго было-бы сдѣлаться поэтомъ и кто-бы

Digitized by Google

не въ состояніи былъ сдѣлаться поэтомъ по нуждѣ, по выгодѣ или по прихоти, еслибъ для этого стоило только придумать какую-нибудь мысль, да и втискать ее въ придуманную-же форму? Нѣтъ, не такъ это дѣлается поэтами по натурѣ и по призванію! У того, кто не поэтъ по натурѣ, пусть придуманная имъ мысль будетъ глубока, истинна, даже свята, —произведеніе все-таки выйдетъ мелочное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое, и никого не убѣдитъ оно, а скорѣе разочаруетъ каждаго въ выраженной имъ мысли, несмотря на всю ея правдивость! Но между тѣмъ такъ-то именно и понимаетъ толпа искусство, этого-то именно и требуетъ она отъ поэтовъ! Придумайте ей, на досугѣ, мысль получше, да потомъ и обдѣлайте ее въ какой-нибудь вымыселъ, словно брильянтъ въ золото. Вотъ и дѣло съ концомъ!»

Здѣсь Бѣлинскій очевидно платитъ очень богатую дань тому эстетическому мистицизму, который проводитъ рѣзкую раздѣлительную черту между поэтами и простыми смертными. Поэтомъ надо родиться, поэтъ—высшая натура, на его высокомъ челѣ горитъ печать его высокаго призванія, процессъ творчества составляетъ непостижимую тайну, — всѣ эти глупыя фразы принимаются эстетиками за чистую монету, и даже острый умъ Бѣлинскаго не всегда умѣетъ устоять противъ одуряющей атмосферы подобныхъ фразъ. Поэты, разумѣется, очень рады производить себя въ полубоги и, видя, что имъ вѣрятъ на слово, интересничаютъ и шарлатанятъ безъ зазрѣнія совѣсти. Большая часть ихъ времени и ихъ умственныхъ силъ уходитъ на дѣлишки, на картишки, на интрижки, а между тѣмъ они стараются увѣрить и себя, и другихъ, что постоянно созерцаютъ духовными очами высокія идеи или прекрасные образы. Ни дать, ни взять, тотъ Александръ Ивановичъ, который навязываетъ Зюзюшкѣ бумажку на хвостъ, а между тѣмъ при появленіи пріятеля тотчасъ принимаетъ удрученный видъ, свойственный ревностному администратору, преобразовавшему цѣлый департаментъ. Шарлатанство поэтовъ проявляется особенно ярко въ томъ высокомъ и туманномъ слогѣ, которымъ они любятъ говорить о таинственномъ процессѣ творчества. Одинъ увѣряетъ, что онъ, какъ богъ, ходитъ по чертогамъ Зевса; другой заявляетъ, что его сердце не полый мускулъ, а родникъ, и что его стихи не риѳмованныя строчки, а волна; третій объясняетъ, что юная Татьяна и съ нею Онѣгинъ являлись ему въ смутномъ снѣ, и что онъ неясно различалъ даль свободнаго романа сквозь магическій кристаллъ. Наслушается добродушный и довѣрчивый человѣкъ этихъ удивительныхъ рѣчей, отъ которыхъ уши вянутъ, наслушается и поневолѣ погрузится въ недоумѣніе. Вѣдь вотъ, подумаетъ онъ, я тоже размышляю, тоже увлекаюсь моими мыслями, ихъ тоже излагаю иногда на бумагѣ, а между тѣмъ со мною никогда не происходитъ ничего такого, что̀ привело-бы мнѣ въ голову чертоги Зевса, или сердце, выпускающее изъ себя риѳмованную волну, или магическій кристаллъ, заключающій въ себѣ даль свободнаго романа. Не можетъ-же быть, чтобы всѣ эти стихотворцы говорили чистую и ни на чемъ неосновательную ложь; надо, стало-быть, полагать, что въ ихъ нервной системѣ дѣйствительно происходятъ какія-то такія эволюціи, которыхъ я не испытываю и неспособенъ испытать. Значитъ, они—высшія натуры, а я – низшая или обыкновенная натура. И рождается такимъ образомъ, благодаря отъявленному шарлатанству однихъ и трогательной довѣрчивости другихъ, тотъ эстетическій мистицизмъ, которымъ глубоко зараженъ Бѣлинскій и отъ котораго не совсѣмъ убережся даже Добролюбовъ. Этотъ мистическій туманъ разсѣевается однако при первомъ прикосновеніи трезвой критики.

Если для существованія искусства необходима привилегированная каста жрецовъ Аполлона, то, разумѣется, трезвая критика убиваетъ искусство, потому что она превращаетъ его въ общее достояніе всѣхъ умныхъ людей. Бѣлинскій полагаетъ, что немудрено было-бы создавать поэтическія произведенія, еслибы для этого надо было *только придумать какую-нибудь мысль, да и втискать ее въ придуманную-же форму*. На самомъ дѣлѣ всѣ поэтическія произведенія создаются именно такимъ образомъ, тотъ человѣкъ, котораго мы называемъ поэтомъ: придумываетъ какую-нибудь мысль и потомъ втискиваетъ ее въ придуманную форму. Это втискиваніе обыкновенно стоитъ поэту очень большого труда; сначала онъ набрасываетъ планъ своего будущаго произведенія, потомъ придумываетъ отдѣльныя сцены, картины и подробности, потомъ шлифуетъ языкъ или стихъ. Ни стройность плана, ни красота подробностей, ни картинность языка, ни внѣшнее изящество стиха,—словомъ, ни одно изъ достоинствъ поэтическаго произведенія не даются поэту сразу. Оконченное произведеніе обыкновенно представляетъ очень мало сходства съ первоначальнымъ замысломъ. Весь остовъ поэтическаго произведенія подвергается во время работы очень значительнымъ и глубокимъ видоизмѣненіямъ. Однѣ подробности, которыя сначала казались поэту необходимыми, оказываются излишними и неумѣстными; другія подробности, которыхъ онъ сначала не имѣлъ въ виду, оказываются необходимыми. Поэтъ, какъ плохой портной, кроитъ и перекраиваетъ, урѣзываетъ и приставляетъ, сшиваетъ и утюжитъ до тѣхъ поръ, пока не получится въ окончательномъ результатѣ нѣчто правдоподобное и благообразное.

Желающіе могутъ найти въ «Матеріалахъ для біографіи Пушкина», собранныхъ Анненъ-

Digitized by Google

ковымъ, многочисленные примѣры той тяжелой, черной работы, посредствомъ которой Пушкинъ втискивалъ придуманную мысль въ придуманную форму. Если поэтъ дѣйствительно придумываетъ и втискиваетъ, то стало-быть всякій, кто умѣетъ хорошо придумать и хорошо втиснуть, можетъ сдѣлаться замѣчательнымъ поэтомъ. Это несомнѣнно, но слѣдуетъ-ли изъ этого то заключеніе, что поэтомъ сдѣлаться легко?—Нисколько не слѣдуетъ. *Придумать мысль*, какъ выражается Бѣлинскій, совсѣмъ не легко. Умныя мысли приходятъ въ голову только умнымъ людямъ, и приходятъ сами, помимо нашей воли. Придумать мысль, то есть привести ее насильно къ себѣ въ голову, нѣтъ даже никакой возможности. Затѣмъ, когда мысль пришла въ голову, необходимо много энергіи и напряженнаго умственнаго труда для того, чтобы разсмотрѣть эту мысль со всѣхъ сторонъ и чтобы развить изъ нея всѣ ея послѣдствія. Наконецъ для того, чтобы передать другимъ людямъ ясно и отчетливо то, что́ вы сами поняли и перечувствовали, надо потратить очень много труда на втискиваніе мысли въ форму. Умъ, энергія, трудолюбіе, техническая ловкость или сноровка,—всѣ эти качества необходимы тому человѣку, который хочетъ сдѣлаться поэтомъ,—необходимы точно въ такой-же мѣрѣ, въ какой они необходимы тому человѣку, который хочетъ сдѣлаться ораторомъ, профессоромъ, адвокатомъ, историкомъ, публицистомъ, критикомъ или вообще словесныхъ дѣлъ мастеромъ по какой-бы то ни было отрасли словеснаго искусства. Такой человѣкъ, къ которому заходятъ въ голову умныя мысли, который умѣетъ задерживать и разрабатывать эти мысли въ своей головѣ и который, посредствомъ упражненія, сдѣлался мастеромъ словесныхъ дѣлъ, такой человѣкъ, говорю я, можетъ, если только пожелаетъ, сдѣлаться поэтомъ, то есть создать нѣсколько произведеній, которыя подѣйствуютъ на читателей такъ точно, какъ дѣйствуютъ на нихъ произведенія, созданныя настоящими, патентованными поэтами.

Бѣлинскій говоритъ: «у того, кто не поэтъ по натурѣ, пусть придуманная имъ мысль будетъ глубока, истинна, даже свята,—произведеніе все-таки выйдетъ мелочное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое, и никого не убѣдитъ оно, а скорѣе разочаруетъ каждаго въ выраженной имъ мысли, несмотря на всю ея правдивость».—Любопытно было-бы узнать, что́ сказалъ-бы Бѣлинскій, еслибы ему пришлось прочитать романъ «Что дѣлать?». Сказалъ-ли бы онъ объ этомъ романѣ, что онъ—произведеніе *мелочное*, *ложное*, *фальшивое*, *уродливое*, *мертвое?* Еслибы даже, паче чаянія, Бѣлинскій рѣшился произнести надъ нимъ этотъ приговоръ, то во всякомъ случаѣ онъ не имѣлъ-бы никакой возможности сказать, что этотъ романъ никого не убѣдилъ и всѣхъ разочаровалъ. Тутъ сама жизнь опровергнула-бы сужденіе Бѣлинскаго. Всѣмъ друзьямъ и врагамъ этого романа одинаково извѣстно, что онъ произвелъ на читающее общество такое глубокое впечатлѣніе, какого не производило до сихъ поръ ни одно твореніе патентованныхъ поэтовъ. Но неужели-же мы, на основаніи этого глубокаго впечатлѣнія, должны будемъ сказать, что авторъ этого романа—*поэтъ по натурѣ и по призванію*? Если Чернышевскій, трезвѣйшій изъ трезвыхъ мыслителей, окажется поэтомъ по натурѣ и по призванію, то тогда надо будетъ признать поэтами всѣхъ умныхъ людей безъ исключенія.—Значитъ, *толпа*, надъ которой смѣется Бѣлинскій, совершенно права, когда она требуетъ отъ поэта, чтобы онъ придумывалъ ей мысль получше и потомъ обдѣлывалъ эту мысль въ какой-нибудь вымыселъ, словно брильянтъ въ золото.

Бѣлинскій поясняетъ далѣе, что настоящій поэтъ является страстно влюбленнымъ въ идею, страстно проникнутымъ ею, и что онъ созерцаетъ ее не разумомъ, не разсудкомъ, не чувствомъ, но всей полнотой и цѣлостью своего нравственнаго бытія. — Все это очень хорошо, но эти страстныя отношенія къ идеѣ вовсе не составляютъ исключительной особенности поэта. Всѣ великія дѣла, совершенныя замѣчательными людьми, были совершены именно посредствомъ страсти. Развѣ Колумбъ не былъ страстно влюбленъ въ свою идею, ради которой онъ, человѣкъ очень гордый и самостоятельный, таскался впродолженіи восемнадцати лѣтъ, въ качествѣ смиреннаго и убогаго просителя, по прихожимъ разныхъ португальскихъ и испанскихъ вельможъ? Развѣ Джонъ Говардъ не былъ страстно влюбленъ въ свою идею, ради которой онъ втеченіи своей жизни шлялся по тюрьмамъ и госпиталямъ? Развѣ аболиціонистъ Джонъ Броунъ не былъ страстно влюбленъ въ свою идею, ради которой онъ на старости лѣтъ пошелъ на висѣлицу? Бокль за нѣсколько минутъ до своей смерти сокрушался исключительно о томъ, что ему не удается дописать до конца «Исторію цивилизаціи въ Англіи». Развѣ этотъ человѣкъ не былъ страстно влюбленъ въ свою идею? Когда Ньютонъ повѣрялъ свою теорію мірового тяготѣнія посредствомъ вычисленій надъ движеніемъ луны, тогда онъ подъ конецъ вычисленія почувствовалъ такое сильное волненіе, что принужденъ былъ оставить работу и попросилъ одного изъ своихъ друзей докончить за него самую простую математическую выкладку. Развѣ этотъ человѣкъ не *созерцалъ свою идею всей полнотой и цѣлостью своего нравственнаго бытія?*—Желая изслѣдовать вопросъ о питательныхъ свойствахъ сахара, докторъ Старикъ сталъ производить опыты надъ самимъ собою и такъ долго продовольствовалъ себя исключительно сахаромъ, что наконецъ занемогъ и умеръ отъ истощенія

Digitized by Google

силъ. Кажется, страстнѣе, безграничнѣе и даже безумнѣе этой любви къ идеѣ невозможно себѣ ничего вообразить. Вообще, если вы хотите собрать самые крупные и рельефные примѣры тѣхъ странныхъ отношеній, которыя могутъ существовать между человѣкомъ и идеей, то вы должны будете обратиться не къ художникамъ, а къ изслѣдователямъ или къ политическимъ дѣятелямъ. Къ чести человѣческой природы вообще, человѣческаго ума въ особенности, надо замѣтить, что до сихъ поръ, кажется, ни одинъ человѣкъ не пошелъ на смерть за то, что̀ онъ считалъ красивымъ, и что, напротивъ того, нѣтъ числа тѣмъ людямъ, которые съ радостью отдавали жизнь за то, что̀ они считали истиннымъ или общеполезнымъ. У искусства не было и не можетъ быть мучениковъ. Наука и общественная жизнь, напротивъ того, уже давно потеряли счетъ своимъ мученикамъ.

Такимъ образомъ мы видимъ, что способность влюбляться въ идею никакъ не должна считаться исключительной привилегіей художниковъ. Эта способность составляетъ тотъ священный огонь, безъ котораго вообще невозможенъ и немыслимъ сознательный прогрессъ человѣчества. Этой способностью въ гораздо сильнѣйшей степени, чѣмъ художники, обладаютъ тѣ люди, которыхъ мы привыкли называть холодными и положительными прозаиками, спокойными, суровыми и чорствыми дѣятелями жизни или науки. Вильгельмъ Оранскій, освободитель Нидерландовъ, Фердинандъ Магелланъ, съѣвшій вмѣстѣ съ своимъ экипажемъ всѣхъ мышей и всѣ кожаныя вещи своего корабля для того, чтобы довести до конца свое кругосвѣтное плаваніе, Джонъ Лильбернъ, боровшійся втеченіи всей своей жизни, словомъ и перомъ, сначала съ самовластіемъ Карла I, а потомъ съ самовластіемъ Кромвеля,— всѣ эти люди, разумѣется, любили идею гораздо страстнѣе, чѣмъ умѣли любить ее тѣ господа, которые изъ любви къ ней писали пріятные стихи или потрясательныя драмы. Если дѣятели науки и жизни не пишутъ стиховъ и драмъ, то, разумѣется, это происходитъ не оттого, что у нихъ не хватаетъ ума, и не оттого, что въ нихъ слаба любовь къ идеѣ, а напротивъ именно оттого, что размѣры ихъ ума и сила ихъ любви не позволяютъ имъ удовлетворяться созданіемъ красивыхъ беллетристическихъ произведеній. Эти люди тоже поэты, но ихъ поэмами оказываются ихъ великія дѣла, которыя, разумѣется, не только полезнѣе, но даже грандіознѣе всевозможныхъ иліадъ и всевозможныхъ шекспировскихъ драмъ. И различіе между поэтами и не-поэтами, которое хотятъ установить эстетики и вмѣстѣ съ ними полу-эстетикъ Бѣлинскій, оказывается пустымъ оптическимъ обманомъ. То извѣстное латинское изреченіе, что ораторомъ можно сдѣлаться, а поэтомъ надо родиться, оказывается чистой нелѣпостью. Поэтомъ можно *сдѣлаться* точно такъ-же, какъ можно сдѣлаться адвокатомъ, профессоромъ, публицистомъ, сапожникомъ или часовщикомъ. Стихотворецъ или вообще беллетристъ, или, еще шире, вообще художникъ — такой-же точно ремесленникъ, какъ и всѣ остальные ремесленники, удовлетворяющіе своимъ трудомъ различнымъ естественнымъ или искусственнымъ потребностямъ общества. Подобно всѣмъ остальнымъ ремесленникамъ, поэтъ или художникъ нуждается въ извѣстныхъ врожденныхъ способностяхъ; но та доза способностей, которая необходима для того, чтобы человѣкъ могъ приступить къ изученію ремесла, встрѣчается обыкновенно у всѣхъ нормальныхъ и здоровыхъ экземпляровъ человѣческой породы. Затѣмъ все остальное довершается въ образованіи художника впечатлѣніями жизни, чтеніемъ и размышленіемъ, и преимущественно упражненіемъ и навыкомъ. Какъ только эти предварительныя занятія дали человѣку способность придумывать идеи и втискивать ихъ въ формы, такъ поэтъ оказывается готовымъ къ услугамъ всѣхъ любителей легкаго чтенія.

III.

Чтобы окончательно реабилитировать Бѣлинскаго въ глазахъ солидныхъ людей, я приведу его отзывъ о стихѣ Пушкина. «И что-же это за стихъ! — восклицаетъ нашъ критикъ. — Античная пластика и строгая простота сочетались въ немъ съ обаятельной игрой романтической риѳмы; все акустическое богатство, вся сила русскаго языка явились въ немъ въ удивительной полнотѣ; онъ нѣженъ, сладостенъ, мягокъ, какъ ропотъ волны, тягучъ и густъ, какъ смола, ярокъ, какъ молнія, прозраченъ и чистъ, какъ кристаллъ, душистъ и благовоненъ, какъ весна, крѣпокъ и могучъ, какъ ударъ меча въ рукѣ богатыря».—Напрасно Бѣлинскій не прибавилъ еще, что стихъ Пушкина красенъ, какъ вареный ракъ, сладокъ, какъ сотовый медъ, питателенъ, какъ гороховый кисель, вкусенъ, какъ жареная тетерька, уноителенъ, какъ рижскій бальзамъ, и ѣдокъ, какъ сарептская горчица. Если можно сравнивать стихъ съ волною, со смолою, съ молніею, съ кристалломъ, съ весною, съ ударомъ меча, то я не вижу резона, почему не сравнить его съ вареным ракомъ, съ гороховымъ киселемъ, съ сарептской горчицей и вообще со всѣми предметами, существующими въ землѣ, на землѣ и подъ землею.— Простые смертные смотрятъ конечно съ нѣмымъ изумленіемъ на ту эстетическую оргію, которой предается Бѣлинскій; но это изумленіе въ порядкѣ вещей; простые смертные не могутъ и не должны понимать тѣхъ высшихъ красотъ,

Digitized by Google

которыми упиваются посвященные. Это существованіе высшихъ красотъ, доступныхъ только избраннымъ натурамъ, подтверждаетъ своимъ свидѣтельствомъ другой посвященный,—Гоголь, котораго слова съ особеннымъ удовольствіемъ, сочувствіемъ и уваженіемъ цитируетъ Бѣлинскій въ концѣ той-же пятой статьи о Пушкинѣ.

«Чтобы быть способнымъ понимать ихъ,—разсуждаетъ Гоголь,—нужно имѣть слишкомъ тонкое обоняніе, нуженъ вкусъ выше того, который можетъ понимать только однѣ слишкомъ рѣзкія и крупныя черты. Для этого нужно быть въ нѣкоторомъ отношеніи сибаритомъ, который уже давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, который ѣстъ птичку не болѣе наперстка и услаждается такимъ блюдомъ, котораго вкусъ кажется совсѣмъ неопредѣленнымъ, страннымъ, безъ всякой пріятности привыкшему глотать издѣлія крѣпостного повара.»

Можно было бы нахохотаться вдоволь, глядя на Гоголя и Бѣлинскаго, съ умиленіемъ и съ гастрономическимъ благоговѣніемъ бесѣдующихъ между собою о необходимости *слишкомъ тонкаго обонянія*, о смолистой тягучести пушкинскаго стиха и о непостижимыхъ достоинствахъ *птички не болѣе наперстка*. Но не до смѣха будетъ тому читателю, который подумаетъ, что не съ жиру, а съ горя бесѣдовали эти люди о птичкахъ величиною съ наперстокъ. Поневолѣ приходилось разсуждать о подобныхъ птичкахъ, когда о болѣе крупной дичи разсуждать было неудобно. Отъ недостатка упражненія въ тогдашнихъ людяхъ слабѣла способность и наконецъ замирало даже желаніе подвергать анализу такія явленія жизни, которыми нельзя *услаждаться*, какъ жареною птичкой. Удивительно не то, что Бѣлинскій поетъ нелѣпый дифирамбъ во славу жаренымъ рябчикамъ, соединяющимъ въ себѣ тягучесть смолы съ благовоніемъ весны и съ яркостью молніи, а то, что онъ еще умѣетъ находить область эстетики *тѣсной* и душной для мыслящаго критика. Удивительно то, что Бѣлинскій, въ самомъ разгарѣ своего эстетическаго восторга, не упустилъ изъ виду ни одного изъ существенныхъ недостатковъ пушкинской поэзіи. Вслѣдъ за той неистовой тирадой, которая приписываетъ пушкинскому стиху свойства смолы, весны и молніи, является слѣдующее очень вѣрное, хотя конечно черезчуръ любовное опредѣленіе характеристическихъ особенностей нашего поэта. «Въ Пушкинѣ, *напротивъ*, прежде всего увидите вы художника, вооруженнаго всѣми чарами поэзіи, призваннаго для искусства, какъ для искусства, исполненнаго любви, интереса ко всему эстетически-прекрасному, любящаго все и потому терпимаго ко всему. Отсюда всѣ достоинства, всѣ недостатки его поэзіи; и если вы будете разсматривать его съ этой точки, то съ удвоенной полнотой насладитесь его достоинствами и оправдаете его недостатки, какъ необходимое слѣдствіе, какъ оборотную сторону его-же достоинствъ.»

Въ этихъ кроткихъ и ласковыхъ словахъ заключается самое полное и безпощадное осужденіе не только одной пушкинской поэзіи, но и вообще всякаго чистаго искусства. Кто любитъ все, тотъ не любитъ ровно ничего; кто любитъ одинаково сильно истца и отвѣтчика, страдальца и обидчика, истину и предразсудокъ, тупого обскуранта и геніальнаго мыслителя, тотъ очевидно не можетъ желать, чтобы истецъ выигралъ свой процессъ, чтобы страдалецъ поборолъ обидчика, чтобы истина истребила предразсудокъ и чтобы геніальный мыслитель одержалъ рѣшительную побѣду надъ тупыми обскурантами. Всеобъемлющая, тепловатая любовь, по совершенно справедливому замѣчанію Бѣлинскаго, непремѣнно ведетъ за собою всестороннюю терпимость, возможную только при совершенно безсмысленномъ, безучастномъ и безстрастномъ взглядѣ на жизнь. Кто во всѣхъ явленіяхъ жизни ищетъ только эстетически-прекраснаго, тотъ очевидно долженъ смотрѣть на людей такъ, какъ ребенокъ смотритъ на пестрые камушки и цвѣтныя стеклышки калейдоскопа. При такихъ отношеніяхъ къ жизни не можетъ быть ни любви къ людямъ, ни вѣрнаго и глубокаго пониманія ихъ стремленій и страданій. Это ребяческое равнодушіе къ людямъ, это тупое непониманіе жизни составляютъ дѣйствительно, какъ замѣчаетъ Бѣлинскій, необходимое слѣдствіе или *оборотную сторону* тѣхъ достоинствъ, которыми восхищаются эстетики въ произведеніяхъ чистаго художника. Еслибы не было этой *оборотной стороны*, тогда чистый художникъ превратился-бы въ страстнаго бойца за ту или за другую идею, и тогда онъ уже потерялъ-бы способность угощать эстетическихъ гастрономовъ птичками величиною съ наперстокъ. Но такъ какъ эта *оборотная сторона* достойна самаго полнаго и неумолимаго презрѣнія и такъ какъ она составляетъ, по словамъ самого-же Бѣлинскаго, необходимую принадлежность самой медали, то нетрудно сообразить, что и вся медаль совсѣмъ никуда не годится.

Несмотря на всю ласковость своихъ отношеній къ Пушкину, Бѣлинскій самъ глубоко чувствуетъ неудовлетворительность этой медали. Во-первыхъ, я попрошу читателей обратить вниманіе на слово *напротивъ*, подчеркнутое мною въ моей послѣдней выпискѣ изъ Бѣлинскаго. Это слово поставлено Бѣлинскимъ потому, что онъ противополагаетъ Пушкина Шекспиру, Байрону, Гёте и Шиллеру.—Шекспиръ, по словамъ Бѣлинскаго, «*глубокій сердцевѣдецъ, міробъемлющій созерцатель*». Въ Байронѣ Бѣлинскаго поражаетъ «*ужасомъ удивленія колоссальная личность поэта, титаническая*

Digitized by Google

смѣлость и гордость его чувствъ и мыслей». Гёте — «*поэтически-созерцательный мыслитель, могучій царь и властелинъ внутренняго міра души человѣка*». Передъ Шиллеромъ Бѣлинскій преклоняется «*съ любовью и благоговѣніемъ*», какъ «*передъ трибуномъ человѣчества, провозвѣстникомъ гуманности, страстнымъ поклонникомъ всего высокаго и нравственно-прекраснаго*».

Набросавъ такимъ образомъ эти четыре характеристики, Бѣлинскій вводитъ въ это избранное общество геніальныхъ поэтовъ нашего маленькаго Пушкина. Вводя его, онъ произноситъ ту рекомендательную фразу, которую я выписалъ выше. Благосклонность этой рекомендательной фразы выставляетъ особенно рельефно то печально-комическое обстоятельство, что нашему маленькому Пушкину рѣшительно нечего дѣлать въ той знатной компаніи, въ которую онъ попалъ совершенно не кстати, по милости своего лукаваго доброжелателя, Бѣлинскаго. Нашъ маленькій и миленькій Пушкинъ неспособенъ не только вставить свое слово въ разговоръ важныхъ господъ, но даже и понять то, о чемъ эти господа между собою толкуютъ. Въ самомъ дѣлѣ, что́ такое Пушкинъ и что́ такое тѣ люди, съ которыми сводитъ его Бѣлинскій? Одинъ изъ этихъ людей—*глубокій сердцевѣдецъ*, другой—*смѣлый и гордый титанъ*, третій—*царь и властелинъ внутренняго міра*, четвертый — *трибунъ человѣчества*. Какъ видите, народъ все чиновный! Все тузы литературной колоды и у каждаго туза своя собственная физіономія. Ну, а Пушкинъ-то что́-же такое? — Пушкинъ — художникъ?! Вотъ тебѣ разъ! - Это что́-же за рекомендація? А Шекспиръ, небось, не художникъ? Байронъ— не художникъ? Гете—не художникъ? Шиллеръ—не художникъ?—Кажется, всѣ они художники, но кромѣ того каждый изъ нихъ оказывается еще крупнымъ человѣкомъ съ ясно-обозначеннымъ характеромъ и съ совершенно своеобразнымъ складомъ ума. Художественная виртуозность для каждаго изъ нихъ является только средствомъ выразить въ общепонятныхъ и привлекательныхъ формахъ то, что́ составляетъ внутреннее содержаніе, внутренній смыслъ, жизнь и силу ихъ энергическихъ и рѣзко-очерченныхъ личностей. Художественная виртуозность для нихъ то-же самое, что приличное платье для каждаго изъ насъ. Когда вы отправляетесь въ общество, вы конечно заботитесь о томъ, чтобы ваше платье было опрятно и неизорвано; но, разумѣется, вы отправляетесь въ общество не за тѣмъ, чтобы показать людямъ ваше новое платье. Бываютъ конечно и такіе господа, которые выѣзжаютъ въ свѣтъ именно съ этой послѣдней цѣлью, но такихъ господъ умные люди не уважаютъ и клеймятъ названіемъ праздношатающихся шалопаевъ или ходячихъ вѣшалокъ, или говорящихъ манекеновъ (mannequin). Еслибы, собирая свѣдѣнія о незнакомомъ вамъ человѣкѣ, вы услышали-бы о немъ отъ самыхъ близкихъ его друзей только то, что онъ отмѣнно-хорошо одѣвается, то вы безъ сомнѣнія подумали-бы о немъ, что онъ совершенно пустой, ничтожный и ограниченный человѣкъ, потому что въ противномъ случаѣ его друзья обратили-бы вниманіе не на покрой его платья, а на особенности его ума и характера. Представьте-же себѣ, что отзывъ Бѣлинскаго о Пушкинѣ совершенно равносиленъ этому отзыву близкихъ друзей о господинѣ, одѣтомъ по послѣдней модѣ. Пушкинъ — художникъ и больше ничего! Это значитъ, что Пушкинъ пользуется своей художественной виртуозностью, какъ средствомъ посвятить всю читающую Россію въ печальныя тайны своей внутренней пустоты, своей духовной нищеты и своего умственнаго безсилія. Этотъ неотразимый выводъ особенно настоятельно напрашивается на вниманіе читателя именно потому, что Бѣлинскій свелъ своего protégé Пушкина съ такими людьми, которыхъ значеніе состоитъ совсѣмъ не въ безукоризненномъ покроѣ платья.

Было-бы очень неосновательно думать, что это сопоставленіе Пушкина съ тузами поэзіи было сдѣлано нечаянно, или что Бѣлинскій самъ не предвидѣлъ тѣхъ опасныхъ послѣдствій, которыя можетъ повести за собою для литературной славы Пушкина это коварное сопоставленіе. Бѣлинскій на каждой страницѣ своихъ статей наноситъ Пушкину жестокіе удары, которые проходили и до сихъ поръ проходятъ незамѣченными только потому, что они облечены въ чрезвычайно почтительную форму и сопровождаются самыми глубокими реверансами. «И такъ какъ его назначеніе,—говоритъ Бѣлинскій о Пушкинѣ,—было завоевать, усвоить навсегда русской землѣ поэзію, какъ искусство, такъ чтобы русская поэзія имѣла потомъ возможность быть выраженіемъ всякаго направленія, всякаго созерцанія, не боясь перестать быть поэзіей и перейдти въ риѳмованную прозу,—то естественно, что Пушкинъ долженъ былъ явиться художникомъ.»—Соскоблите съ этой фразы шелуху гегелизма и переведите ее съ высокаго эстетическаго языка на общепонятный русскій языкъ, и знаете-ли, что́ вы получите?—Получите вы то, что́ я сказалъ о Пушкинѣ въ третьей части «Реалистовъ», а именно то, что Пушкинъ— просто великій стилистъ и что усовершенствованіе русскаго стиха составляетъ его единственную заслугу передъ лицомъ русскаго общества и русской литературы, если только это усовершенствованіе дѣйствительно можно назвать заслугою.

Шелухой гегелизма я называю идею органическаго развитія, которая засѣла очень глу-

Digitized by Google

боко въ головѣ Бѣлинскаго и которую онъ, всѣми правдами и неправдами, старается провести даже тамъ, гдѣ она совершенно неприложима. Увлекаясь этой идеей, онъ видитъ что-то органическое и необходимое во всѣхъ стихотворныхъ шалостяхъ Батюшкова, Жуковскаго и Пушкина. Онъ полагаетъ, что каждый изъ этихъ господъ имѣлъ и исполнилъ свое особенное назначеніе, свою спеціальную миссію въ исторіи развитія русской поэзіи. Въ настоящее время такія добродушныя мечтанія, разумѣется, кажутся намъ странными и смѣшными. Мы знаемъ очень хорошо, что во времена Батюшкова, Жуковскаго и Пушкина русская мысль спала крѣпкимъ сномъ, а русская поэзія представляла собою даже не тепличное растеніе, а просто картонную декорацію. Мы знаемъ также, что всѣ эти господа, которымъ Бѣлинскій навязываетъ миссіи и назначенія, были просто quelques gentilshommes, которые, по выраженію госпожи Сталь, se sont occupés de littérature en Russie, точно такъ, какъ они могли s'occuper en Russie разведеніемъ борзыхъ собакъ или воздѣлываніемъ тюльпановъ, или плеваніемъ въ потолокъ. Появленіе комедіи «Горе отъ ума» нисколько не опровергаетъ моей мысли о совершенной мертвенности и искусственности тогдашней поэзіи. Напротивъ, оно даже подтверждаетъ мою мысль. «Горе отъ ума» стоитъ совершенно одиноко. Оно ничѣмъ не связано ни съ тѣмъ, что было до него, ни съ тѣмъ, что существовало рядомъ съ нимъ, ни съ тѣмъ, что было послѣ него. До него былъ Озеровъ, послѣ него былъ Кукольникъ; въ одно время съ нимъ блистали стихотворныя шалости Жуковскаго и Пушкина.—Итакъ, Грибоѣдовъ оказывается преемникомъ Озерова, предшественникомъ Кукольника и сподвижникомъ романтика Жуковскаго. Какое превосходное органическое развитіе! Какъ много заимствовалъ Грибоѣдовъ у Озерова и какъ много онъ далъ Кукольнику! И какъ легко догадаться, что Грибоѣдовъ и Жуковскій были современниками!

Итакъ, шелуху гегелизма надо соскабливать съ сочиненій Бѣлинскаго. Толковать о значеніи Пушкина—напрасный трудъ. Та фраза, что Пушкинъ завоевалъ русской землѣ поэзію, или не имѣетъ никакого осязательнаго смысла, или заключаетъ въ себѣ тотъ очень скромный смыслъ, что Пушкинъ усовершенствовалъ русскій стихъ и осмѣлился заговорить въ стихахъ о *пивной кружкѣ* и о *бобровомъ воротникѣ*, между тѣмъ какъ его предшественники говорили только о *фіалахъ* и *хламидахъ*. Изъ этого слѣдуетъ очевидно то заключеніе, что Пушкинъ можетъ имѣть теперь только историческое значеніе, а для тѣхъ людей, которымъ некогда и не зачѣмъ заниматься исторіей литературы, не имѣетъ даже совсѣмъ никакого значенія.

Бѣлинскій очень ясно понималъ даже и это сокрушительное обстоятельство. «Какъ бы то ни было,—говоритъ онъ,—но по своему воззрѣнію Пушкинъ принадлежитъ къ той школѣ искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европѣ и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремленіе изслѣдованія, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдѣлались теперь жизнью всякой истинной поэзіи. Вотъ въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возможенъ только, какъ удовлетворительный отвѣтъ на тревожные, болѣзненные вопросы настоящаго.»

Если *жизнью всякой истинной поэзіи* сдѣлалось *страстное мышленіе, полное вражды и любви*, то очевидно поэзія Пушкина—уже не поэзія, а только археологическій образчикъ того, что̀ считалось поэзіей въ старые годы. Мѣсто Пушкина—не на письменномъ столѣ современнаго работника, а въ пыльномъ кабинетѣ антикварія, рядомъ съ заржавленными латами и съ изломанными аркебузами. Бѣлинскій осмѣливается высказать даже и эту печальную истину. «Каждый умный человѣкъ,—говоритъ онъ,—вправѣ требовать, чтобы поэзія поэта или давала ему отвѣты на вопросы времени, или по крайней мѣрѣ исполнена была скорбью этихъ тяжелыхъ, неразрѣшимыхъ вопросовъ. Кто поэтъ про себя и для себя, презирая толпу, тотъ рискуетъ быть единственнымъ читателемъ своихъ произведеній.» Ага! какой пассажъ! И все это съ глубокими реверансами и съ неизмѣнной ласковостью голоса! Видите, какой пакостный озорникъ этотъ Бѣлинскій, и какія онъ произноситъ дерзкія и зловѣщія пророчества? Если Бѣлинскій могъ говорить такія вещи въ *сороковыхъ* годахъ, то меня, человѣка, пишущаго въ *шестидесятыхъ* годахъ, можно упрекать не въ томъ, что я говорю неслыханныя дерзости, а развѣ только въ томъ, что я надоѣдаю читателямъ повтореніемъ слишкомъ старыхъ истинъ.

IV.

Внутреннія противорѣчія, которыми переполнены статьи Бѣлинскаго, не должны возбуждать въ читателѣ ни изумленія, ни негодованія. Читатель долженъ постоянно помнить, что Бѣлинскій стоитъ на рубежѣ двухъ противоположныхъ міросозерцаній, и въ его могучей личности совершается мучительный переходъ къ тому строю понятій, съ которымъ даже до настоящей минуты еще не съумѣли освоиться и помириться солидные люди нашей литературы. Во время такого перехода, колебанія, ошибки и внутреннія противорѣчія оказываются совершенно нена-

Digitized by Google

бѣжными даже для самыхъ сильныхъ и здоровыхъ умовъ. «Есть,—говоритъ Бѣлинскій,—всегда что-то особенно благородное, кроткое, нѣжное, благоуханное и граціозное во всякомъ чувствѣ Пушкина. Въ этомъ отношеніи, читая его творенія, можно превосходнымъ образомъ воспитать въ себѣ человѣка, и такое чтеніе особенно полезно для молодыхъ людей обоего пола. Ни одинъ изъ русскихъ поэтовъ не можетъ быть столько, какъ Пушкинъ, воспитателемъ юношества, образователемъ юнаго чувства.» — Въ концѣ своего труда о Пушкинѣ Бѣлинскій повторяетъ ту-же мысль въ слѣдующихъ словахъ: «придетъ время, когда онъ будетъ въ Россіи поэтомъ классическимъ, по твореніямъ котораго будутъ образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство».

Сопоставляя эти изреченія Бѣлинскаго съ тѣми сужденіями того-же критика, которыя были приведены и разобраны мной въ концѣ предыдущей главы, мы получаемъ тотъ неожиданный и изумительный результатъ, что «*для молодыхъ людей обоего пола особенно полезно*» чтеніе такого поэта, котораго произведенія для нашего времени уже перестали быть поэзіей; далѣе, что поэтъ, который «*рискуетъ быть единственнымъ читателемъ своихъ произведеній, будетъ въ Россіи поэтомъ классическимъ*, и наконецъ, что «*можно превосходнымъ образомъ воспитать въ себѣ человѣка*, читая творенія такого поэта, который систематически уклоняется отъ отвѣта «*на тревожные, болѣзненные вопросы настоящаго*» и который *поетъ про себя и для себя, презирая толпу.*—Еслибы мы приняли слова Бѣлинскаго о благотворномъ вліяніи Пушкина на молодыхъ людей обоего пола за выраженіе прочно-установившагося убѣжденія, то мы принуждены были-бы назвать Бѣлинскаго закоснѣлымъ поборникомъ квіетизма и индифферентизма, тупымъ обожателемъ застоя и рутины, и систематическимъ развратителемъ молодого поколѣнія. Дѣйствительно, для тѣхъ людей, въ которыхъ произведенія Пушкина не возбуждаютъ истерической зѣвоты,—эти произведенія оказываются вѣрнѣйшимъ средствомъ притупить здоровый умъ и усыпить человѣческое чувство. Кому Пушкинъ безвреденъ, тотъ не станетъ его читать; а кому онъ понравится, того онъ испортитъ въ умственномъ и нравственномъ отношеніи. Испортитъ онъ не тѣмъ, что̀ дастъ ложное направленіе силамъ молодого ума, а тѣмъ, что не дастъ имъ совсѣмъ никакого направленія, тѣмъ, что пріучитъ «*молодыхъ людей обоего пола*» обходиться въ жизни безъ всякихъ убѣжденій и относиться съ воробьинымъ легкомысліемъ къ самымъ серьезнымъ вопросамъ, поглощающимъ всѣ силы лучшихъ дѣятелей данной эпохи. Воспитывать молодыхъ людей на Пушкинѣ—значитъ готовить изъ нихъ трутней или тѣхъ сибаритовъ, которые, по словамъ Гоголя, пресытившись грубыми и тяжелыми яствами, услаждаются жареными птичками величиной съ наперстокъ.

Чтобы доказать вѣрность моей мысли на отдѣльныхъ примѣрахъ, я приступаю теперь къ анализу Пушкинской лирики. Изъ всей массы лирическихъ стихотвореній Пушкина, занимающихъ въ изданіи Анненкова до *шестисотъ* страницъ, я буду выбирать только тѣ, которыя считаются самыми лучшими, которыя заключаютъ въ себѣ поползновеніе къ мысли и которыя Бѣлинскій рекомендуетъ съ особеннымъ жаромъ молодымъ людямъ обоего пола.—Съ чего-бы начать? Возьмемъ напримѣръ стихотвореніе «19 октября», написанное въ 1825 году и пользующееся полнѣйшимъ сочувствіемъ Бѣлинскаго.—19 октября, какъ извѣстно,—день открытія лицея, въ которомъ воспитывался Пушкинъ. Въ 1825 году Пушкину было 26 лѣтъ, и онъ пользовался уже громкой извѣстностью. — Итакъ, молодой и блестящій поэтъ, полный жизни и энергіи, обращается къ своимъ бывшимъ лицейскимъ товарищамъ и бесѣдуетъ съ ними шестистопнымъ ямбомъ на пяти большихъ страницахъ. Какъ много чувства и мысли должно заключать въ себѣ это стихотвореніе! Подумайте въ самомъ дѣлѣ: человѣкъ въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ, уже познакомившійся съ волненіями и съ радостями жизни, уже провѣрившій житейскимъ опытомъ юношескія мечты, уже отбросившій прочь воздушные замки, но сохранившій юношескую смѣлость мысли и свѣжесть чувства,—такой человѣкъ, говорю я, вступаетъ въ разговоръ съ тѣми людьми, которые знали его, когда онъ былъ мальчикомъ, которые вмѣстѣ съ нимъ росли и развивались, вмѣстѣ съ нимъ мечтали о жизни, чертили роскошные планы и строили воздушные замки. Въ откровенномъ разговорѣ съ друзьями своего дѣтства поэтъ разверпетъ конечно всю свою житейскую философію. Мы узнаемъ отъ него, какъ онъ смотритъ на свое прошедшее, чего онъ требуетъ отъ будущаго, какое мѣсто отводитъ онъ своей собственной дѣятельности въ общей толкотнѣ и суетѣ житейскихъ явленій. Вообще мы вправѣ ожидать отъ поэта серьезнаго слова: тѣ люди, къ которымъ онъ обращается, знаютъ его насквозь, слѣдовательно, онъ можетъ и долженъ быть съ ними совершенно откровененъ; онъ самъ дорожитъ дружбой и уваженіемъ этихъ людей, слѣдовательно онъ по всей вѣроятности чувствуетъ потребность высказаться передъ ними такъ, чтобы они получили полное и вѣрное понятіе объ его сложившейся и возмужалой личности. Тутъ нѣтъ мѣста легкомыслію и фразерству. Если Пушкинъ вообще способенъ смотрѣть серьезно и разумно на людей и на жизнь, то эта способность должна

Digitized by Google

непремѣнно проявиться въ стихотвореніи: «19 октября 1825 года».

Въ первыхъ сорока-восьми строкахъ Пушкинъ говоритъ, что онъ проводитъ этотъ день одинъ въ своей «пустынной кельѣ», потомъ вспоминаетъ о товарищѣ, умершемъ въ Италіи, и о другомъ товарищѣ, служащемъ во флотѣ. Идей въ этихъ сорока-восьми строкахъ нѣтъ; есть только фактическія подробности и неопредѣленныя выраженія дружелюбія и чувствительности. Вслѣдъ затѣмъ онъ говоритъ:

«Друзья мои, прекрасенъ нашъ союзъ!
Онъ, какъ душа, нераздѣлимъ и вѣченъ.
Неколебимъ, свободенъ и безпеченъ
Сростался онъ подъ сѣнью дружныхъ Музъ.
Куда-бы насъ ни бросила судьбина
И счастіе куда-бъ ни повело,—
Все тѣ-же мы: намъ цѣлый міръ—чужбина,
Отечество намъ—Царское Село.»

Случалось-ли вамъ, читатель мой, бывать на оффиціальныхъ обѣдахъ, которые даются чиновниками въ честь благодѣтельнаго начальника? На такихъ обѣдахъ послѣ жаркого солиднѣйшій изъ чиновниковъ обращается обыкновенно къ герою торжества съ неистово-хвалебной и безукоризненно-оффиціальной рѣчью, которая также обыкновенно заставляетъ скромнаго героя уронить въ полный бокалъ шампанскаго такую-же безукоризненно-оффиціальную слезу умиленія. Эта неизбѣжная рѣчь приписываетъ присутствующему герою такіе изумительные подвиги усердія и человѣколюбія, которыхъ онъ никогда не совершалъ и даже, по своему чину и положенію, никогда не могъ совершить. Я долженъ признаться, что дифирамбъ Пушкина въ честь прекраснаго союза, который нераздѣлимъ и вѣченъ, какъ душа, очень сильно напоминаетъ мнѣ тонъ безукоризненно-оффиціальныхъ рѣчей, произносимыхъ послѣ жаркого во славу благодѣтельнаго начальства. Весь куплетъ состоитъ изъ гиперболъ. Какъ вамъ нравится напримѣръ тотъ возгласъ, что имъ цѣлый міръ—чужбина, и что ихъ отечество находится исключительно въ Царскомъ Селѣ? Если это не правда, то какая плоскость! Надо быть совершенно исковерканнымъ человѣкомъ, двойникомъ Онѣгина, чтобы говорить приторные и завѣдомо-ложные комплименты школьнымъ товарищамъ и друзьямъ дѣтства. Если даже тутъ нѣтъ мѣста искренности, то гдѣ-же она укроется и какіе тайники человѣческаго чувства останутся застрахованными отъ наплыва безукоризненной оффиціальности?—А если Пушкинъ говоритъ правду, то какая узкость ума и какая дряблость чувства? Человѣкъ во всемъ мірѣ любитъ только то училище, въ которомъ онъ воспитывался. Человѣкъ въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ отворачивается отъ будущаго и утѣшается только воспоминаніями дѣтства. Хорошъ мужчина, хорошъ боецъ, хорошъ общественный дѣятель! А если онъ не мужчина, не боецъ и не общественный дѣятель, то какъ-же онъ можетъ быть замѣчательнымъ поэтомъ? Итакъ, одно изъ двухъ: или это плоскій и лживый комплиментъ, или росписка въ собственномъ ничтожествѣ. Какъ то, такъ и другое одинаково недостойно умнаго и энергическаго человѣка.

Одинъ изъ послѣдующихъ куплетовъ показываетъ намъ ясно, какую цѣну мы должны придавать гиперболамъ Пушкина. Вотъ его подлинныя слова:

«Ты, Горчаковъ, счастливецъ съ первыхъ дней,
Хвала тебѣ! Фортуны блескъ холодный
Не измѣнилъ души твоей свободной:
Все тотъ-же ты для чести и друзей.
Намъ разный путь судьбой назначенъ строгой;
Ступая въ жизнь, мы быстро разошлись,
Но невзначай проселочной дорогой
Мы встрѣтились и братски обнялись.»

Поняли вы, за что Пушкинъ воздаетъ *хвалу* своему товарищу? За то, что этотъ товарищъ не отвернулся отъ него при нечаянной встрѣчѣ; за то, что онъ дружески поздоровался съ нимъ. Значитъ, этотъ поступокъ былъ для Пушкина неожиданностью, если онъ вмѣняетъ его въ заслугу своему бывшему товарищу. Значитъ, Пушкинъ ожидалъ, что одинъ изъ членовъ *прекраснаго союза, нераздѣлимаго и вѣчнаго, какъ душа*, при свиданьи съ другимъ членомъ того-же прекраснаго и душеподобнаго союза можетъ посмотрѣть на этого другого члена съ высоты своего величія и протянуть ему для пожатія кончики двухъ пальцевъ или даже совсѣмъ ничего не протянуть и при этомъ спросить сквозь зубы: кого я имѣю удовольствіе видѣть?

Еслибъ я не былъ твердо убѣжденъ въ чистотѣ пушкинскаго сердца и въ совершенной неспособности его ума къ лукавымъ сомнѣніямъ, то я подумалъ-бы, что, сравнивая *прекрасный союзъ* съ душою, Пушкинъ этимъ лукавымъ сравненіемъ старается поколебать въ своихъ читателяхъ вѣру въ безсмертіе души. Всего восемь лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ Пушкинъ разстался съ лицеемъ, и онъ уже приходитъ въ восторгъ отъ того, что *блескъ холодной фортуны не измѣнилъ свободной души* его товарища. Плохо-же онъ вѣритъ въ прочность того союза, который онъ, для пущей сладости, называетъ вѣчнымъ и нераздѣлимымъ, какъ душа. И какой-же это такой особенный *блескъ фортуны* могъ озарить его товарища втеченіи восьми лѣтъ? И могли-ли они въ это время дѣйствительно разойдтись на очень далекое разстояніе?—Ничуть не бывало. Пушкинъ никогда не былъ ни мученикомъ, ни даже нищимъ. Что-же касается до *счастливца съ первыхъ дней*, то очевидно, какъ-бы ни былъ онъ счастливъ,

Digitized by Google

онъ въ восемь лѣтъ не могъ сдѣлаться ни фельдмаршаломъ, ни министромъ, ни чрезвычайнымъ посломъ, ни генералъ-губернаторомъ. Значитъ, встрѣтившись на проселочной дорогѣ, Пушкинъ и *счастливецъ* вовсе не стояли на двухъ крайнихъ ступеняхъ общественной лѣстницы. Вся разница между ними могла состоять только въ томъ, что одинъ былъ двумя или тремя чинами старше другого. Союзъ *вѣчный и нераздѣлимый, какъ душа*, оказался столь крѣпкимъ, что не лопнулъ даже отъ этого громаднаго различія; коллежскій совѣтникъ великодушно обнялъ титулярнаго, и Пушкинъ восклицаетъ съ восторгомъ: хвала тебѣ, ваше высокоблагородіе!

Затѣмъ Пушкинъ обращается къ другому, не столь чиновному члену *прекраснаго союза*. «Съ младенчества, говоритъ онъ ему,

духъ пѣсенъ въ насъ горѣлъ,
И дивное волненье мы познали;
Съ младенчества двѣ Музы къ намъ летали,
И сладокъ былъ ихъ лаской нашъ удѣлъ;
Но я любилъ уже рукоплесканья,
Ты, гордый, пѣлъ для музъ и для души;
Свой даръ, какъ жизнь, я тратилъ безъ вниманья,
Ты геній свой воспитывалъ въ тиши.

Служенье Музъ не терпитъ суеты:
Прекрасное должно быть величаво;
Но юность намъ совѣтуетъ лукаво
И шумныя насъ радуютъ мечты...
Опомнимся, но поздно! И уныло
Глядимъ назадъ, слѣдовъ не видя тамъ.
Скажи, Вильгельмъ *), не то-ль и съ нами было,
Мой братъ родной по Музѣ, по судьбамъ?

Пора, пора! Душевныхъ нашихъ мукъ
Не стоитъ міръ, оставимъ заблужденья!
Сокроемъ жизнь подъ сѣнь уединенья!»

Если всю эту риѳмованную болтовню переложить на простой и ясный прозаическій языкъ, то получится слѣдующій, весьма тощій и блѣдный смыслъ: — мы съ тобою оба пописывали стишки; я отдавалъ свои стихи въ печать, а ты своихъ не отдавалъ; теперь и я перестану печатать мои стихотворенія. — Почему Пушкину пришла въ голову эта послѣдняя фантазія и почему онъ оставилъ ее безъ исполненія — этого недоумѣвающій читатель никогда не узнаетъ. Что̀ значатъ громкія фразы о служеніи Музъ, которое не терпитъ суеты, и о прекрасномъ, которое должно быть величаво, — это также остается неизвѣстнымъ. Вѣрнѣе всего то, что эти фразы ровно ничего не значатъ и изображаютъ собою стилистическія упражненія и риторическія амплификаціи. Какія душевныя муки принялъ на себя Пушкинъ изъ любви къ міру и чѣмъ провинился передъ Пушкинымъ неблагодарный міръ — объ этомъ также молчитъ исторія. Надо полагать, что подъ благозвучнымъ именемъ душевныхъ мукъ здѣсь подразумѣвается многотрудное исканіе риѳмы. Что-же касается до сокрытія жизни подъ сѣнь уединенія, то этой меланхолической фразой очевидно плѣнился и вдохновился Иванъ Александровичъ Хлестаковъ, приглашавшій прелестную городничиху удалиться вмѣстѣ съ нимъ подъ сѣнь струй.

Перехожу къ послѣднимъ двумъ куплетамъ, которые особенно понравились Бѣлинскому. — «Пируйте-же, говоритъ Пушкинъ,

пока еще мы тутъ!
Увы, нашъ кругъ часъ отъ-часу рѣдѣетъ,
Кто въ гробѣ спитъ, кто дальній сиротѣетъ,
Судьба глядитъ (?), мы вянемъ; дни бѣгутъ;
Невидимо склоняясь и хладѣя,
Мы близимся къ началу своему...
Кому-жъ изъ насъ подъ старость день лицея
Торжествовать придется одному?

Несчастный другъ! Средь новыхъ поколѣній
Докучный гость и лишній, и чужой,
Онъ вспомнитъ насъ и дни соединеній,
Закрывъ глаза дрожащею рукой...»

Выписавъ эти строки, Бѣлинскій разсуждаетъ о нихъ или, вѣрнѣе, восторгается ими слѣдующимъ образомъ: «Какая глубокая и вмѣстѣ съ тѣмъ свѣтлая скорбь! Каждая мысль сама по себѣ такъ исполнена поэзіи, независимо отъ формы, вполнѣ художественной, легкой и прозрачной, простой и чуждой всякихъ метафоръ! (Гм! А «*судьба глядитъ*»? Это — не метафора?) Этотъ пережившій всѣхъ друзей своихъ другъ, докучный, лишній и чужой гость среди новыхъ поколѣній, дрожащей рукой закрывающій глаза при воспоминаніи о своихъ друзьяхъ — это непросто поэтическіе стихи, это — поэтическая картина.» А по моему, эта *поэтическая картина* составляетъ именно самое крупное пятно во всемъ стихотвореніи, которое, по правдѣ сказать, есть не что иное, какъ сплошной рядъ болѣе или менѣе крупныхъ пятенъ. Эта *поэтическая картина* показываетъ намъ особенно наглядно жалкую неспособность автора возвыситься до разумнаго пониманія жизни. Авторъ думаетъ повидимому, что новыя поколѣнія будутъ уже не людьми, а орангутангами, и что вслѣдствіе этого «*несчастный другъ*» непремѣнно долженъ оказаться среди этихъ новыхъ поколѣній *докучнымъ, лишнимъ и чужимъ гостемъ*.

Автору было 26 лѣтъ, когда онъ писалъ свое стихотвореніе; рисуя поэтическую картину несчастнаго друга, закрывающаго глаза дрожащею рукою, онъ захватывалъ впередъ лѣтъ на сорокъ. И между тѣмъ, хватая такъ далеко впередъ, онъ не умѣетъ указать *несчастному другу* никакого предохранительнаго средства противъ того печальнаго положенія, которое онъ ему пророчитъ въ далекомъ будущемъ. Видя впе-

*) Кюхельбекеръ.

Digitized by Google

реди разладъ съ новыми поколѣніями и холодное одиночество, Пушкинъ даже не задаетъ себѣ вопроса о томъ, есть-ли возможность избѣгнуть этого печальнаго разлада и избавиться отъ этого тягостнаго одиночества. Онъ безъ малѣйшаго размышленія принимаетъ разладъ и одиночество за роковую необходимость. Конечно тѣмъ людямъ, для которыхъ «*цѣлый міръ — чужбина и отечество - Царское Село*», дѣйствительно на старости лѣтъ придется непремѣнно закрывать глаза дрожащею рукою. Но имъ за это надо будетъ пенять на самихъ себя, а никакъ не на новыя поколѣнія. Вольно-же было этимъ людямъ смотрѣть на весь міръ, какъ на чужбину, и сосредоточивать въ самомъ тѣсномъ и ограниченномъ кругу всѣ свои симпатіи и стремленія. Еслибы они съ ранней молодости умѣли полюбить всѣми силами своего существа тѣ идеи, въ которыхъ заключается весь смыслъ и весь интересъ текущаго историческаго періода; еслибы они въ зрѣломъ возрастѣ умѣли съ наслажденіемъ прилагать всѣ свои способности къ добыванію теоретическихъ истинъ или къ проведенію добытыхъ истинъ въ дѣйствительную жизнь; еслибы они состарѣлись и посѣдѣли въ этихъ общеполезныхъ трудахъ, — тогда цѣлый міръ былъ-бы ихъ отечествомъ, тогда лицейская годовщина не имѣла-бы для нихъ мистически-торжественнаго значенія, тогда преждевременная смерть двухъ-трехъ товарищей не приводила-бы ихъ въ отчаяніе и тогда новыя поколѣнія были-бы для нихъ не дикими орангутангами, а молодыми, нѣжными и почтительными друзьями, среди которыхъ старые и утомленные работники съ законнымъ удовольствіемъ отдыхали-бы отъ своихъ честныхъ и полезныхъ трудовъ. Такіе старики, какъ Ньютонъ, Вольтеръ, Франклинъ, Александръ Гумбольдтъ, никогда не могли чувствовать себя докучными, лишними и чужими гостями. Въ наше время также много такихъ стариковъ, которыхъ жизнь драгоцѣнна для всего образованнаго міра и которые, по своей кипучей энергіи и по своей страстной любви ко всему живому, могутъ смѣло потягаться съ любымъ юношей. И эту свѣтлую и радостную старость можетъ приготовить себѣ каждый человѣкъ, хотябы онъ былъ одаренъ очень обыкновенными умственными способностями. Для этого ему надо только постоянно и добросовѣстно, по мѣрѣ силъ своихъ, жить и работать въ кругу тѣхъ идей, которыми увлечены лучшіе люди даннаго общества. Для этого ему надо только дѣлать какъ разъ противное тому, что̀ совѣтуетъ Пушкинъ, желающій устранить суету изъ служенія Музъ, отказаться отъ душевныхъ мукъ и скрыть жизнь подъ сѣнь уединенія. Благоразумные совѣты Пушкина, разумѣется, превратятъ живого и сильнаго человѣка въ ходячую окаменѣлость и уже съ 26-лѣтняго возраста воспитаютъ въ здоровомъ мужчинѣ вялаго, плаксиваго и брюзгливаго старика, который будетъ закрывать себѣ глаза дрожащей рукой отчасти для того, чтобы проливать безполезныя и безсмысленныя слезы надъ невозвратимымъ прошедшимъ, а отчасти, и даже преимущественно для того, чтобы не видѣть отвратительныхъ молодыхъ орангутанговъ. «Но,—продолжаетъ Бѣлинскій,—не въ духѣ Пушкина остановиться на скорбномъ чувствѣ: словно торжественнымъ музыкальнымъ аккордомъ оканчивается пьеса этими полными бодраго чувства стихами:

«Пускай-же онъ съ отрадой хоть печальной
Тогда сей день за чашей проведетъ,
Какъ нынѣ *я*, затворникъ вашъ опальный,
Его провелъ безъ горя и заботъ.»

Пушкинъ,—говоритъ Бѣлинскій,—не даетъ судьбѣ побѣды надъ собой; онъ вырываетъ у ней хоть часть отнятой у него отрады.»

Переведите *торжественный музыкальный аккордъ* на общеупотребительный человѣческій языкъ и вы получите слѣдующій, очень удобоисполнимый совѣтъ: «Несчастный другъ! Когда ты останешься одинъ, то постарайся нализаться за обѣдомъ до положенія ризъ, а послѣ обѣда завались спать вплоть до слѣдующаго утра». — Если *несчастный другъ* твердо запомнитъ совѣтъ великаго художника, то можно сказать навѣрное, что, усердно прилагая этотъ совѣтъ къ дѣлу, *несчастный другъ* пріобрѣтетъ себѣ багровый носъ, который и будетъ изображать собою часть отрады, вырванную имъ у коварной судьбы. Еслибы такіе полезные совѣты были предложены топорной прозой, Бѣлинскій безъ сомнѣнія назвалъ-бы такіе совѣты вопіющей пошлостью. Но эти совѣты втиснуты въ риемованныя строчки, и Бѣлинскій называетъ ихъ «*торжественнымъ музыкальнымъ аккордомъ*». Бѣлинскій въ этихъ строчкахъ видитъ даже «*доброе чувство*». Я, напротивъ того, вижу въ нихъ во-первыхъ умственную трусость, а во-вторыхъ всю напущенность фальшиваго и неискренняго чувства. Умственная трусость состоитъ въ томъ, что Пушкинъ самъ не смѣетъ смотрѣть прямо и спокойно на ту печальную картину, которую онъ нарисовалъ. Поставивъ своего *несчастнаго друга* въ очень скверное положеніе, Пушкинъ самъ не умѣетъ найти выхода изъ этого положенія и въ тоже время не осмѣливается сознаться передъ собой и передъ читателями въ томъ, что онъ считаетъ это положеніе безвыходнымъ. Тогда онъ на-скоро отыскиваетъ ложный выходъ и выдаетъ его за истинный, хотя самъ онъ, при всей своей колоссальной неразвитости, все-таки не можетъ думать, что рюмка водки или стаканъ шампанскаго дѣйствительно соста-

Digitized by Google

вляютъ полезное лекарство противъ глубокаго огорченія.

Напущенность и неискренность чувства обнаруживаются именно въ томъ обстоятельствѣ, что Пушкинъ рѣшается поднести *несчастному другу* рюмку водки. Подумайте въ самомъ дѣлѣ: развѣ вы осмѣлитесь поступить такимъ образомъ съ тѣмъ человѣкомъ, котораго вы уважаете, котораго огорченіе вы вполнѣ понимаете и сами глубоко прочувствовали? Не покажется-ли вамъ въ такомъ случаѣ рюмка водки нелѣпой и дерзкой профанаціей того чувства и той личности, съ которыми вы имѣете дѣло? Но для Пушкина *несчастный другъ* есть лицо чисто фантастическое, придуманное только для того, чтобы закончить растянутую пьесу эффектной картиной. Поэтому Пушкинъ на самомъ дѣлѣ нисколько не сочувствуетъ фантастическому горю этого фантастическаго лица. Поэтому Пушкинъ обходится съ *несчастнымъ другомъ* самымъ нахальнымъ образомъ. Ничего, молъ, старый чортъ; хлебнешь малую толику—и всю твою печаль какъ рукой сниметъ. Съ такимъ циническимъ неуваженіемъ, съ такимъ возмутительнымъ легкомысліемъ конечно никогда не отнесутся къ огорченію бѣднаго, одинокаго старика тѣ молодые и свирѣпые орангутанги, отъ которыхъ старикъ будетъ закрываться дрожащею рукою.

Кстати объ орангутангахъ. Изъ разобранныхъ стиховъ Пушкина читатели видятъ ясно, что мысль о необходимомъ разладѣ между различными поколѣніями существовала въ нашемъ обществѣ задолго до появленія реальной критики и базаровскаго типа. Суровая и злобная реальная критика не только не старается усилить этого разлада, а напротивъ того указываетъ единственное вѣрное средство противъ этой общественной болѣзни, которую кроткій и любвеобильный Пушкинъ совѣтуетъ заливать водкой и шампанскимъ. Реальная критика доказываетъ, что любовь къ идеѣ можетъ образовать неразрывную связь между различными поколѣніями. Пушкинъ, напротивъ того, не имѣетъ никакого понятія ни объ идеѣ, ни о связывающей любви. Читатель видитъ такимъ образомъ, что весь теперешній разладъ заготовленъ нашимъ прошедшимъ, и что намъ приходится теперь сводить непріятные и убыточные счеты съ тѣмъ, что выросло и укрѣпилось задолго до нашего появленія на свѣтъ, во время обаятельнаго господства чистаго искусства, гегелевской философіи и тѣхъ историческихъ условій, которыя обнаруживаютъ всегда и вездѣ трогательную солидарность съ этими милыми явленіями умственной жизни.

V.

Пушкинъ неоднократно выражалъ свой взглядъ на призваніе поэта. Поэтъ разговариваетъ съ книгопродавцемъ, потомъ съ чернью, потомъ съ другомъ и во всѣхъ этихъ разговорахъ выказываетъ много самыхъ диковинныхъ штукъ, имѣющихъ претензію быть мыслями. Кромѣ того Пушкинъ не разъ обращается къ поэту со стороны и усматриваетъ въ немъ то орла, то эхо, то жреца. Видно, что Пушкину было очень пріятно позировать передъ зеркаломъ и примѣривать на себѣ разные риторическіе наряды. Такъ какъ эти бесѣды съ поэтомъ и о поэтѣ, то-есть съ собой и о себѣ, составляютъ все-таки самую глубокомысленную часть пушкинской лирики, то я разберу эти бесѣды одну за другой въ хронологическомъ порядкѣ. Въ стихотвореніяхъ 1824 года находится «Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ». Книгопродавцу желательно купить у поэта его произведеніе, а поэту по всей вѣроятности желательно взять за это произведеніе какъ можно дороже. Желанія обѣихъ заинтересованныхъ сторонъ одинаково естественны и законны, и поэту повидимому просто слѣдовало-бы поторговаться съ книгопродавцемъ такъ, какъ торгуются вообще всякіе поэты, прозаики и простые смертные. Но поэту, выведенному Пушкинымъ и составляющему по всей вѣроятности идеалъ Пушкина, хочется сначала поломаться, и поэтому онъ душитъ несчастнаго книгопродавца длиннѣйшими монологами, неимѣющими никакого отношенія ни къ книжной торговлѣ, ни къ цѣнѣ того товара, который поэтъ держитъ въ своемъ портфелѣ. Книгопродавецъ, разумѣется, слушаетъ болтливаго «*любимца Музъ и Грацій*» съ почтительнымъ вниманіемъ и отвѣчаетъ на его монологи приличными комплиментами, потому что предвидитъ отъ его лиры много добра или, проще, надѣется зашибить на его новой поэмѣ порядочный барышъ. Конечно поэтъ прежде всего старается заявить, что ему тяжело и больно продавать свое вдохновеніе. Когда книгопродавецъ говоритъ ему: «стишки любимца Музъ и Грацій мы вамъ рублями замѣнимъ», тогда поэтъ вздыхаетъ и притомъ столь глубоко, что книгопродавецъ изъ вѣжливости принужденъ изъявить свое участіе и осѣдомиться о причинѣ такого вздоха. Поэту только того и нужно было. Придравшись къ вопросу книгопродавца, онъ немедленно приступаетъ къ изготовленію монологовъ:

«Я былъ далеко,
Я время то воспоминалъ,
Когда, надеждами богатый,
Поэтъ безпечный, я писалъ
Изъ вдохновенья, не изъ платы.
Я видѣлъ вновь пріюты скалъ...»

Ну, и такъ далѣе; начинаются картины природы, потомъ оказывается, что какой-то демонъ обладалъ его играми и шепталъ ему дивные звуки, что его голова была полна тяжкимъ пламеннымъ недугомъ, что его соперникомъ въ

Digitized by Google

гармоніи былъ шумъ лѣсовъ и буйный вихрь, и живой напѣвъ иволги; что онъ не унижалъ постыднымъ торгомъ сладостныхъ даровъ музы и не хотѣлъ дѣлиться съ толпою пламеннымъ восторгомъ.

Видя, что поэтъ напираетъ на какую-то постыдность торга, и предчувствуя, съ содроганіемъ сердца, въ этомъ возвышенномъ разговорѣ коварнѣйшій маневръ, направленный къ тому, чтобы набить цѣну, которая очевидно должна будетъ покрыть собою не только трудъ поэта, но еще и *позоръ* торговой сдѣлки, —несчастный книгопродавецъ, не кстати освѣдомившійся о причинѣ вздоха, старается показать своему собесѣднику лицевую сторону медали и заговариваетъ о славѣ, которая, по его мнѣнію, замѣнила поэту «мечтанья тайнаго отрады». Но поэтъ твердо рѣшился ободрать книгопродавца, какъ липку, и поэтому относится къ славѣ очень сурово. «Что слава? спрашиваетъ онъ; шопотъ-ли чтеца? Гоненье-ль низкаго невѣжды? Иль восхищеніе глупца?»

Тутъ поэтъ повидимому самъ признается въ томъ, что только глупецъ можетъ восхищаться его произведеніями. Не будемъ съ нимъ спорить. Книгопродавецъ, изъ чувства самосохраненія, никакъ не хочетъ однако согласиться съ тѣмъ, что слава —звукъ пустой. Онъ напоминаетъ поэту, что «сердце женщинъ славы проситъ: для нихъ пишите».

Поэтъ, продолжая жеманиться и кривляться, увѣряетъ, что ему и до женщинъ нѣтъ никакого дѣла, тѣмъ болѣе, что для него это не диковинка. Тутъ онъ никакъ не можетъ утерпѣть, чтобы не намекнуть книгопродавцу о своихъ побѣдахъ и говоритъ:

«Глаза прелестные читали
Меня съ улыбкою любви;
Уста волшебныя шептали
Мнѣ звуки сладкіе мои.»

Но мнѣ, дескать, это все нипочемъ.

«Нечисто въ нихъ воображенье,
Не понимаетъ насъ оно,
И, призракъ Бога, вдохновенье
Для нихъ и чуждо, и смѣшно.»

Значитъ, не стоитъ съ ними и связываться. Но книгопродавецъ является галантерейнымъ защитникомъ прекраснаго пола, у котораго оказалось такое пакостное воображеніе, и спрашиваетъ:

«Ужели ни одна не стоитъ
Ни вдохновенья, ни страстей
И вашихъ пѣсенъ не присвоитъ
Всесильной красотѣ своей?»

Поэтъ отвѣчаетъ весьма пространно и восторженно, что такая отмѣнно-хорошая барыня, безъ нечистаго воображенія, дѣйствительно существуетъ, но что къ сожалѣнію она его знать не хочетъ. Книгопродавцу въ это время уже до смерти надоѣло выслушивать и почтительно одобрять безтолковые монологи. Поэтому онъ торопится придти къ практическому заключенію и говоритъ:

«Теперь, оставя шумный свѣтъ
И Музъ, и вѣтреную моду,
Что-жъ изберете вы?»

Поэтъ отвѣчаетъ: «Свободу!» Это неожиданное рѣшеніе можетъ показаться читателю чересчуръ храбрымъ и пожалуй даже неисполнимымъ. Но читатель долженъ помнить, что вѣдь эта пушкинская свобода—свобода самая смирная и неприхотливая, и даже незамѣтная въ томъ смыслѣ, что ее можно принять за нѣчто вовсе непохожее на свободу. Пушкинъ во многихъ своихъ стихотвореніяхъ прославляетъ свободу, но это обстоятельство нисколько не должно вредить его репутаціи въ глазахъ солидныхъ и добродѣтельныхъ людей. Книгопродавецъ очень хорошо понимаетъ, о какой свободѣ тутъ идетъ рѣчь, и вслѣдствіе этого очень основательно замѣчаетъ поэту, что

«Въ сей вѣкъ желѣзный
Безъ денегъ и свободы нѣтъ.»

Вы, дескать, сначала извольте мнѣ продать вашу поэмочку, а потомъ ложитесь на диванъ, задерите ноги кверху и плюйте въ потолокъ, то есть, наслаждайтесь вашей свободой до тѣхъ поръ, пока не истратите всѣхъ полученныхъ денегъ. Поэту повидимому тоже надоѣло кривляться и пустословить. Онъ отвѣчаетъ книгопродавцу прозой: «Вы совершенно правы. Вотъ вамъ моя рукопись. Условимся.»—Тѣмъ и оканчивается вся пьеса.

Не знаю, стоитъ-ли эта пьеса выше или ниже критики, но знаю навѣрное, что она стоитъ внѣ критики, потому что въ ней нѣтъ рѣшительно ни одной мысли, — ни такой, противъ которой можно было-бы спорить,—ни такой, съ которой можно было бы согласиться. Во всемъ разговорѣ нѣтъ ничего, кромѣ непроходимаго пустословія, и все это пустословіе выставляетъ поэта въ самомъ мизерномъ видѣ. Онъ оказывается похожимъ на старую кокетку, которой до смерти хочется согрѣшить, но которая при этомъ непремѣнно желаетъ, чтобы ее вовлекли въ грѣхъ почти насильно. Если Пушкинъ самъ смотрѣлъ на своего поэта съ уваженіемъ, и если онъ хотѣлъ внушить это чувство своимъ читателямъ, то мнѣ остается только подивиться какъ проницательности Пушкина, такъ и его искусству. Если-же Пушкинъ хотѣлъ дѣйствительно написать сатиру на поэтовъ, то можно замѣтить, что эта сатира длинна, скучна и страдаетъ полнымъ отсутствіемъ остроумія.

Въ 1827 году Пушкинъ написалъ стихотвореніе: «Поэтъ». Вотъ оно:

«Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,
Въ заботахъ суетнаго свѣта

Digitized by Google

Онъ малодушно погруженъ;
Молчитъ его святая лира,
Душа вкушаетъ хладный сонъ,
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожней онъ.
Но лишь божественный глаголъ
До слуха чуткаго коснется,
Душа поэта встрепенется,
Какъ пробудившійся орелъ.
Тоскуетъ онъ въ забавахъ міра,
Людской чуждается молвы;
Къ ногамъ народнаго кумира
Не клонитъ гордой головы;
Бѣжитъ онъ, дикій и суровый,
И звуковъ, и смятенья полнъ,
На берега пустынныхъ волнъ,
Въ широкошумныя дубровы...»

Хотя Бѣлинскій и превозноситъ Пушкина за то, что Пушкинъ замѣнилъ *фіалы пивными кружками*, однако нельзя не замѣтить, что нашъ поэтъ до самаго конца своей жизни не отдѣлался вполнѣ отъ стараго и совершенно безсмысленнаго миѳологическаго языка. Этотъ языкъ невыносимъ для тѣхъ писателей, которые чувствуютъ въ себѣ потребность высказывать обществу какія-нибудь опредѣленныя и ясносознанныя мысли. Но для тѣхъ писателей, которые, подобно пушкинскому поэту, полны не мыслей, а только *звуковъ и смятенья*, миѳологическій языкъ составляетъ незамѣнимое сокровище, потому что разные Аполлоны, Музы, Граціи, Киприды, Парки даютъ такимъ писателямъ, кромѣ богатаго запаса подставныхъ риѳмъ, полную возможность не высказывать въ своихъ стихахъ ровно ничего, притворяясь въ то-же время, будто они высказываютъ чрезвычайно много. Въ стихотвореніи «Поэтъ» миѳологическій языкъ оказалъ Пушкину драгоцѣнную услугу. Попробуйте выгнать изъ этого стихотворенія Аполлона, и все стихотвореніе окажется несуществующимъ, потому что тогда немедленно откроется вся его безсмысленность. Въ этомъ стихотвореніи поэтъ приведенъ въ зависимость отъ какой-то верховной, таинственной власти, неимѣющей никакихъ необходимыхъ отношеній къ интересамъ и волненіямъ живыхъ людей. Аполлонъ призываетъ поэта къ священной жертвѣ, божественный глаголъ касается до чуткаго слуха — это конечно только поэтическіе образы или, вѣрнѣе, аллегорическіе обороты рѣчи, но именно только эти аллегорическіе обороты могутъ до нѣкоторой степени заслонить, какъ отъ самого автора, такъ и отъ читателя, совершенную несостоятельность основного мотива. Называя Аполлономъ ту силу, которая побуждаетъ поэта творить, Пушкинъ, однимъ этимъ риторическимъ маневромъ, приписываетъ этой силѣ совершенно самостоятельное существованіе. По теоріи Пушкина поэтъ творитъ не тогда, когда онъ взволнованъ такъ или иначе, впечатлѣніями, воспринятыми изъ окружающей жизни, то есть изъ сношеній съ людьми, изъ созерцанія природы или изъ чтенія книгъ, а тогда, когда на него, безъ всякой посторонней и видимой причины, находитъ какое-то особенное, священное бѣшенство, во время котораго онъ бѣгаетъ по берегамъ пустынныхъ волнъ и по широкошумнымъ дубровамъ. Вся теорія, очень любезная многимъ поэтамъ и превращающая поэта въ совершенно исключительное существо, непохожее на обыкновенныхъ людей, выразилась чрезвычайно ярко въ той фикціи, что Аполлонъ требуетъ поэта къ священной жертвѣ. Эта фикція оказывается непереводимой на обыкновенный человѣческій языкъ, потому что въ дѣйствительной жизни нѣтъ такого процесса, который соотвѣтствовалъ-бы призыванію поэта къ священной жертвѣ. Уничтожая Аполлона, то есть обособленіе и олицетвореніе вдохновляющей силы, вы уничтожаете не только внѣшнюю форму, но также и все внутреннее содержаніе пушкинской пьесы.

Въ дѣйствительности, вся поэтическая дѣятельность всякаго поэта зависитъ безусловно, во-первыхъ, отъ его организма, то есть отъ склада его ума и характера, а во-вторыхъ,—отъ того общества, въ которомъ онъ живетъ. Стало быть, въ дѣйствительности между личностью поэта и его дѣятельностью никогда не бываетъ и не можетъ быть того рѣзкаго противорѣчія, которое такъ эффектно воспѣваетъ Пушкинъ. Если самъ поэтъ ничтоженъ и если онъ живетъ среди ничтожныхъ дѣтей міра, то и произведенія его окажутся вполнѣ ничтожными. Въ дѣйствительности роль *божественнаго глагола* могутъ играть, въ отношеніи къ поэту, только впечатлѣнія окружающей жизни. Но этотъ *божественный глаголъ* не умолкаетъ ни на одну минуту; жизнь постоянно волнуетъ, такъ или иначе, умъ и чувство того человѣка, который способенъ вглядываться въ ея явленія и понимать ея выразительный, но не для всѣхъ одинаково доступный языкъ. Стало быть, если человѣкъ обладаетъ *чуткимъ слухомъ* и если душа этого человѣка способна *встрепенуться, какъ пробудившійся орелъ*, заслышавъ *божественный глаголъ* жизни, то этому человѣку некогда будетъ *малодушно погружаться въ заботы суетнаго свѣта* и этой душѣ некогда будетъ *вкушать хладный сонъ*. Душа, способная слышать и понимать *божественный глаголъ* жизни, будетъ слушать его постоянно и слѣдовательно будетъ постоянно находиться въ страстно напряженномъ положеніи бодрствующаго орла.

На это можно возразить, что человѣческіе нервы не выносятъ постояннаго напряженія. Это справедливо. Поэтъ, какъ и всякій другой человѣкъ, нуждается въ отдыхѣ, но отдыхъ, то есть полоса бездѣйствія, необходимая для возстановленія потраченныхъ силъ, не имѣетъ ни малѣйшаго сходства съ *малодушнымъ погруженіемъ въ суетныя заботы свѣта*. Это

Digitized by Google

малодушное погруженіе для каждаго умнаго и замѣчательнаго человѣка бываетъ обыкновенно гораздо изнурительнѣе, чѣмъ самый напряженный процессъ творчества. Во время отдыха поэтъ, изслѣдователь или какой-нибудь другой общественный дѣятель откладываютъ въ сторону трудъ, но они все-таки постоянно остаются на той высотѣ умственнаго развитія, на которую они съумѣли поставить себя всѣмъ процессомъ своей трудовой жизни. Если поэтъ искренно презираетъ дряблость и мелочность того общества, среди котораго ему приходится жить, то это презрѣніе будетъ оставаться въ его душѣ даже и тогда, когда оно не будетъ служить ему тэмою и канвою для стихотвореній или для романовъ. Если изслѣдователь съумѣлъ отдѣлаться посредствомъ своихъ научныхъ занятій отъ различныхъ предразсудковъ, то онъ не подчинится этимъ предразсудкамъ въ то время, когда будетъ отдыхать отъ своихъ работъ. Если членъ парламента глубоко проникнутъ извѣстными политическими стремленіями, то онъ не откажется отъ этихъ стремленій тогда, когда превратится на нѣсколько недѣль въ беззаботнаго туриста или въ скромнаго сельскаго джентльмэна. Спящій атлетъ все-таки остается атлетомъ, то-есть не превращается въ плюгаваго и безсильнаго карлика, хотя, разумѣется, онъ не можетъ совершать во время сна никакихъ подвиговъ силы, ловкости и мужества.

Бываютъ конечно минуты, когда *божественный глаголъ* жизни раздается особенно громко, такъ что становится вразумительнымъ даже для тѣхъ мелкихъ, легкомысленныхъ или тупоумныхъ людей, которые не замѣчаютъ или не понимаютъ его въ обыкновенное время. Въ жизни человѣческихъ обществъ бываютъ такія торжественныя или критическія минуты, когда все общество, сверху до низу, чувствуетъ необходимость сосредоточить всѣ свои силы для ожесточенной борьбы съ внѣшними или съ внутренними врагами. Въ такія минуты появляются обыкновенно цѣлыя тучи поэтовъ, порожденныхъ тревожнымъ настроеніемъ общества. Въ 1854 году такіе скороспѣлые поэты сулили всевозможныя бѣдствія французамъ, англичанамъ и туркамъ. Въ 1858 году такіе-же точно поэты стыдили насъ тѣмъ, что мы очень долго спали, и увѣряли насъ честью, что теперь мы проснулись. Нѣтъ сомнѣнія, что и крымская война, и всѣ послѣдовавшія за нею преобразованія составляютъ очень знаменательную эпоху въ исторической жизни нашего общества; но нѣтъ также ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что всѣ поэты, ругавшіе лорда Пальмерстона и толковавшіе о нашемъ возрожденіи, не произвели ровно ничего, кромѣ утомительнаго жужжанія. *Божественный глаголъ* жизни дошелъ до нихъ тогда, когда его уже услышали и почувствовали всѣ классы русскаго общества. Поэты не сдѣлали ровно ничего для разъясненія тѣхъ событій, которыми было поражено вниманіе общества; впродолженіи нѣсколькихъ лѣтъ поэты наигрывали только различныя варіаціи на тѣ тэмы, которыя были даны имъ настоящими руководителями общественнаго сознанія.

Значитъ, хотя души мелкихъ людишекъ, вообразившихъ себя поэтами, дѣйствительно встрепенулись отъ громкихъ нотъ *божественнаго глагола*, однако эти души оказались все-таки не *пробудившимися орлами*, а только безсильными и писклявыми трясогузками. И эта участь всегда и вездѣ постигаетъ тѣхъ людей, которые стремятся быть поэтами, не умѣя и не желая предварительно сдѣлаться мыслящими людьми и честными гражданами. Такіе господа, разумѣется, готовы превознести до небесъ то стихотвореніе Пушкина, которое я разбираю въ настоящую минуту. Блестящія фигуры и фразы этого стихотворенія предоставляютъ каждому риѳмоплету полнѣйшее право быть пошлымъ дуракомъ и отъявленнымъ негодяемъ; эти фигуры и фразы даютъ ему даже драгоцѣнную возможность рисоваться своей глупостью и своимъ негодяйствомъ. — Другъ любезный, спрашиваете вы у такого господина, зачѣмъ ты баклуши бьешь? — Затѣмъ, mon cher, отвѣчаетъ онъ вамъ съ благородной гордостью, что Аполлонъ не требуетъ меня къ священной жертвѣ. — А когда-жъ онъ тебя потребуетъ? — А я почемъ знаю! Поди спроси у Аполлона. — А зачѣмъ ты пьянствуешь? — Затѣмъ, что душа моя вкушаетъ хладный сонъ. — А взятки зачѣмъ берешь? — Затѣмъ, что я малодушно погруженъ въ заботы суетнаго свѣта. — А зачѣмъ ты своего вице-директора въ плечико цѣлуешь? — Затѣмъ, что я быть-можетъ ничтожнѣе всѣхъ ничтожныхъ дѣтей міра. — Да вѣдь все это, братецъ ты мой, очень скверно. — Нисколько не скверно. Все это доказываетъ только, что я — самый настоящій поэтъ, что душа моя встрепенется, какъ пробудившійся орелъ, что у меня зазвенитъ въ ушахъ, и что я убѣгу отъ моего вице-директора въ широкошумныя дубровы. — Скатертью тебѣ дорога, любезный другъ!

VI.

Въ 1828 году Пушкинъ написалъ стихотвореніе «Чернь», въ которомъ, по словамъ Бѣлинскаго, заключается его «художническое profession de foi». Выдержками изъ этого стихотворенія любители чистаго искусства обыкновенно подкрѣпляютъ свои умозрѣнія. Я приведу это стихотвореніе вполнѣ, потому что въ немъ каждое слово есть драгоцѣнный перлъ для безпристрастной оцѣнки Пушкина.

Digitized by Google

«Поэтъ по лирѣ вдохновенной
Рукой разсѣянной бряцалъ.
Онъ пѣлъ, а хладный и надменный,
Кругомъ народъ непосвященный,
Ему безсмысленно внималъ.»

Лира и *пѣніе* составляютъ также обломки того стараго миѳологическаго балласта, съ которымъ никакъ не можетъ разстаться Пушкинъ. Превращая поэта въ *жреца Аполлона*, давая ему въ руки *вдохновенную лиру*, заставляя его *пѣть*, Пушкинъ этими ветхими побрякушками глубоко искажаетъ не только внѣшній видъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и внутренній смыслъ того явленія, которое въ наше время называется поэзіей. Современный поэтъ—не *пѣвецъ*, а *писатель* и продавецъ исписанной бумаги. Современная публика—не *слушатели*, а *читатели* и покупщики печатной бумаги. Между поэтомъ и публикой являются посредницами цѣлыя обширныя отрасли промышленности. Произведеніе поэта проходитъ черезъ типографію, черезъ мастерскую переплетчика, черезъ книжную лавку и, въ случаѣ успѣха, распространяется по цѣлой обширной странѣ, иногда даже по всему образованному міру. Когда слово поэта было пѣснью, которая безслѣдно улетала въ воздухѣ или запоминалась только немногими восторженными слушателями, тогда поэтъ имѣлъ полное право бряцать по лирѣ разсѣянной рукой, особенно если у него было нѣсколько десятковъ рабовъ, одаренныхъ менѣе разсѣянными руками и употреблявшихъ эти руки не на бряцаніе, а на паханіе и засѣваніе земли. Но когда слово поэта, пройдя черезъ печатный станокъ, пріобрѣтаетъ себѣ способность дѣйствовать на сотни тысячъ людей и управлять умственнымъ развитіемъ цѣлыхъ поколѣній, когда поэтъ призываетъ къ себѣ на помощь десятки рабочихъ рукъ, которыя набираютъ, оттискиваютъ, корректируютъ, брошюруютъ, перевозятъ и распродаютъ его произведенія, когда онъ наконецъ беретъ себѣ деньги съ своихъ читателей и обожателей,—тогда *разсѣянное* бряцаніе становится уже дѣломъ въ высшей степени неприличнымъ. Живя въ такомъ обществѣ, которое отрицаетъ рабство и слѣдовательно, по всѣмъ правиламъ здоровой логики, принуждено относиться серьезно и благоразумно къ человѣческому труду, поэтъ постоянно долженъ отдавать себѣ самый строгій отчетъ въ томъ, зачѣмъ онъ посягаетъ на трудъ наборщиковъ, печатниковъ, корректоровъ, переплетчиковъ, разносчиковъ; зачѣмъ онъ посягаетъ на деньги и на время своихъ читателей, то есть также на трудъ этихъ читателей или какихъ-нибудь другихъ людей, находящихся отъ нихъ въ экономической зависимости, и наконецъ, зачѣмъ онъ самъ тратитъ свое время и свой трудъ, которые онъ могъ-бы употребить на какое-нибудь дѣло, выгодное для него самого и полезное для общества?

Удовлетворительный отвѣтъ на всѣ эти неизбѣжные и неотразимые вопросы должно давать содержаніе и направленіе той пѣсни, которую поэтъ поетъ для толпы, или, проще и точнѣе, того произведенія, которое онъ пишетъ для своихъ читателей и продаетъ своему издателю. На самомъ дѣлѣ *разсѣянное бряцаніе* или, другими словами, безсознательное творчество въ настоящее время не только неприлично, но даже совершенно невозможно. Тѣ самые поэты, которые горячо защищаютъ *разсѣянное бряцаніе* въ теоріи, на практикѣ оказываются вовсе не разсѣянными бряцателями, а, напротивъ того, очень тщательными и усидчивыми шлифовальщиками сценъ, картинъ, подробностей, языка и стиха. Усерднѣйшій адвокатъ *разсѣяннаго бряцанія*, Пушкинъ жестоко черкалъ и перемарывалъ свои рукописи, что̀ уже нисколько непохоже ни на разсѣянное бряцаніе, ни на безсознательное творчество. Еслибы Пушкину вздумалось подражать на практикѣ тому поэту, который «по лирѣ вдохновенной рукой разсѣянной бряцалъ», то мы въ настоящую минуту конечно не имѣли-бы никакого понятія о томъ, что жилъ на свѣтѣ нѣкій Пушкинъ, о чемъ-то разсѣянно бряцавшій. Продукты разсѣяннаго бряцанія, небрежно написанные, вялые, блѣдные и неблагозвучные стихи, не нашли-бы себѣ ни издателей, ни покупателей, ни читателей, ни обожателей, ни подражателей. Имя Пушкина кануло-бы въ вѣчность вмѣстѣ съ его разсѣяннымъ бряцаніемъ. Чувство самосохраненія заставляетъ такимъ образомъ поэтовъ откладывать въ сторону горделивую разсѣянность, когда они приступаютъ къ той сторонѣ своего труда, которая затрогиваетъ особенно близко ихъ собственные интересы. Они знаютъ, что публику надо приманивать красотою и яркостью внѣшней формы; они знаютъ, что безъ этой приманки имъ не добыть себѣ ни денегъ, ни извѣстности; поэтому они и трудятся надъ внѣшней формой безъ малѣйшей разсѣянности, какъ простые чернорабочіе. Но тщательно выгораживая такимъ образомъ свои собственныя выгоды, тщательно обезпечивая за собою, посредствомъ самаго напряженнаго труда вѣрный и прибыльный сбытъ своихъ произведеній, поэты пушкинскаго закала напускаютъ на себя неизлечимую разсѣянность, какъ только заходитъ рѣчь о выгодахъ тѣхъ людей, которые покупаютъ и читаютъ ихъ произведенія. Передъ самимъ собою поэтъ совершенно правъ. На вопросъ: «зачѣмъ вы тратите трудъ и время?»—онъ можетъ отвѣчать преспокойно: «затѣмъ, чтобы пріобрѣсти деньги и извѣстность». — Резонъ совершенно достаточный. Деньги и извѣстность—такія хорошія вещи, за которыми гоняются безъ отдыха всѣ люди, не совсѣмъ задавленные нуждою, имѣющіе воз-

Digitized by Google

можность думать о чемъ-нибудь, кромѣ чорстваго куска насущнаго хлѣба. Но о томъ, чтобы оказаться правымъ передъ другими людьми, поэтъ, по своей милой *разсѣянности*, совершенно не умѣетъ и не желаетъ думать. На вопросъ: «зачѣмъ вы предлагаете вашимъ соотечественникамъ такое чтеніе, которое не даетъ имъ ни новыхъ идей, ни фактическихъ знаній?»—поэтъ отвѣтитъ вамъ: «а мнѣ какое дѣло? Chacun chez soi, chacun pour soi! Я ихъ не заставляю покупать мои произведенія».—Спросите у купца толкучаго рынка: «зачѣмъ вы, мой почтенный, торговлю ведете?»—Онъ вамъ отвѣтитъ: «затѣмъ, чтобы капиталы свои приумножить.»—Спросите у него далѣе: «а зачѣмъ вы мой почтенный, продаете такой товаръ, который никуда не годится?»—Онъ вамъ отвѣтитъ: «стало быть, годится-съ, когда покупаютъ. Наше дѣло продать-съ, а ихъ дѣло смотрѣть-съ. На то имъ отъ Бога глаза даны-съ, и насильно-съ мы никому товара нашего не всучиваемъ.»

Сходство между общественной дѣятельностью *разсѣяннаго* поэта и торговыми операціями искуснаго щукинскаго негоціанта окажется полное и поразительное, особенно если мы припомнимъ, что просвѣщенный нашъ негоціантъ очень сильно заботится о внѣшней благовидности того товара, котораго онъ никому не всучиваетъ насильно, подобно тому, какъ вдохновенный брянцатель очень сильно трудится надъ внѣшней отдѣлкой тѣхъ произведеній, которыхъ онъ также никому не навязываетъ насильно.

Пушкинъ говоритъ, что поэту *безсмысленно* внималъ *хладный* и *надменный* народъ. Всѣ три ругательные эпитета, которыми охарактеризованъ народъ, не только сами по себѣ нелѣпы, но даже совершенно противорѣчатъ тѣмъ чертамъ, которыми самъ-же Пушкинъ обрисовываетъ народъ въ томъ-же стихотвореніи. Что народъ слушаетъ *не безсмысленно*, это видно изъ того, что онъ высказываетъ о пѣснѣ поэта очень вѣрныя замѣчанія, противъ которыхъ поэтъ не находитъ никакихъ аргументовъ, кромѣ энергическихъ ругательствъ и ничтожныхъ насмѣшекъ, желающихъ быть язвительными. Что народъ не можетъ быть названъ *хладнымъ*,—видно изъ того, что онъ поддается вліянію даже той пѣсни, которой безцѣльность онъ самъ замѣчаетъ и осуждаетъ. Народъ говоритъ о поэтѣ: «зачѣмъ сердца волнуетъ, мучитъ, какъ своенравный чародѣй?». Если народъ чувствуетъ въ своемъ сердцѣ волненія и мученія въ такой сильной степени, что даже уподобляетъ поэта своенравному чародѣю, то гдѣже та *хладность*, въ которой упрекаетъ его Пушкинъ?—Что народъ не можетъ быть названъ *надменнымъ*,—видно изъ того, что этотъ народъ смиренно кается передъ поэтомъ въ своихъ грѣхахъ, проситъ поэта быть его руководителемъ и обѣщаетъ терпѣливо и внимательно выслушивать его рѣзкія наставленія. А *надменнымъ* оказывается, напротивъ того, поэтъ, который на эту смиренную просьбу народа отвѣчаетъ: «убирайтесь къ чорту!» *Хладнымъ* оказывается также поэтъ, котораго не трогаютъ ни пороки ближнихъ, ни ихъ раскаяніе, ни ихъ желаніе исправиться. *Безсмысленнымъ* оказывается опять-таки тотъ-же поэтъ, который, какъ мы увидимъ дальше, совѣтуетъ народу врачевать душевные недуги *бичами, тмами цами и топорами*. Если можно въ чемъ нибудь упрекнуть *непосвященный* народъ, то развѣ только въ томъ, что онъ, по свойственной всякому народу наклонности ротозѣйничать и кланяться въ поясъ, остановился слушать пѣніе такого отъявленнаго кретина, а потомъ у этого-же безнадежнаго кретина вздумалъ выпрашивать себѣ разумныхъ совѣтовъ.

VII.

«И толковала чернь тупая (это уже четвертое ругательное слово, измышленное любвеобильнымъ Пушкинымъ для посрамленія непосвященнаго народа): «зачѣмъ такъ звучно онъ поетъ? Напрасно ухо поражая, къ какой онъ цѣли насъ ведетъ? (Поэзія сама себѣ цѣль, т. е., когда творенія поэта раскуплены, тогда высшая и послѣдняя цѣль достигнута.) О чемъ бренчитъ? Чему насъ учитъ? Зачѣмъ сердца волнуетъ, мучитъ, какъ своенравный чародѣй? Какъ вѣтеръ пѣснь его свободна, за то, какъ вѣтеръ, и безплодна: какая польза намъ отъ ней?»

Приписывая *тупой черни* эти слова, Пушкинъ очевидно желаетъ выразить ими то, что непосвященный народъ, несмотря на всю грубость своихъ чувствъ, несмотря на силу своихъ анти-эстетическихъ предубѣжденій, невольно и даже неохотно, но все-таки подчиняется неодолимому и волшебному обаянію поэтической пѣсни. Несмотря на свои недоброжелательныя отношенія къ чистому искусству, народъ сознается, что поэтъ *поетъ звучно* и что онъ даже *волнуетъ и мучитъ сердца, какъ своенравный чародѣй*.

Заставляя чернь произносить эти послѣднія слова, Пушкинъ черезчуръ увлекся своимъ желаніемъ превознести волшебную силу поэзіи. Спрашивается: можетъ-ли дѣйствительно волновать и мучить сердца такой поэтъ, который ничему не учитъ своихъ читателей, не ведетъ ихъ ни къ какой опредѣленной цѣли и не приноситъ имъ никакой пользы? О чемъ пѣлъ или, какъ выражается *тупая чернь*, бренчалъ поэтъ,—этого мы не знаемъ, потому что Пушкинъ къ сожалѣнію не сообщаетъ намъ его пѣсни. Еслибы онъ пѣлъ о нравахъ и обязанностяхъ человѣка, о стремленіи къ свѣтлому будущему, о недостаткахъ современной дѣйствительности, о борьбѣ человѣческаго разума съ

Digitized by Google

вѣковыми заблужденіями, о сознательной любви къ отечеству и къ человѣчеству, о значеніи того или другого историческаго переворота,—то, разумѣется, его пѣніе волновало и мучило-бы сердца, но въ то-же время самый тупой, самый хладный, надменный и безсмысленный народъ не могъ-бы упрекнуть это пѣніе въ томъ, что оно ничему не учитъ, не ведетъ ни къ какой цѣли и не приноситъ никакой пользы. Еслибы оно пробуждало или усиливало въ нихъ любовь къ истинѣ, ненависть къ обману и къ эксплуатаціи, презрѣніе къ двоедушію и къ тупоумію, то народу оставалось-бы только слушать и благодарить, а поэту не было-бы ни малѣйшаго основанія ссориться съ *тупою чернью*, зараженной грубыми утилитарными предразсудками.

Чтобы объяснить себѣ размолвку, происшедшую между пѣвцомъ и его слушателями, надо предположить, что поэтъ пѣлъ о красотѣ лѣтняго утра или о томъ, что какой-нибудь *онъ* очень сильно любилъ и крѣпко цѣловалъ какую-нибудь *ее*. Воспѣваніе лѣтняго утра не могло волновать и мучить сердца, потому что подобныя воспѣванія играютъ въ поэзіи такую же скромную и невинную роль, какую играютъ въ общежитіи поучительныя бесѣды о прекрасной погодѣ. Воспѣваніе любви и поцѣлуевъ можетъ конечно волновать и мучить, но для большей точности надо было-бы сказать, что это воспѣваніе волнуетъ и мучитъ не сердца, а чувственность. Эротическія пѣсни находятъ себѣ обыкновенно многочисленныхъ и усердныхъ слушателей; если-же эротическая пѣсня пушкинскаго поэта казалась народу *безплодною*, и если онъ вмѣсто нея требовалъ себѣ такого пѣнія, которое вело-бы его къ извѣстной цѣли и приносило-бы ему осязательную пользу, если онъ не довольствовался тѣмъ, что̀ *волновало* его чувственность, то надо сознаться, что поэтъ имѣлъ дѣло съ такой *чернью*, которая стояла на необыкновенно высокой степени умственнаго развитія и отличалась замѣчательно-серьезнымъ и разумнымъ взглядомъ на жизнь.

Мнѣ могутъ возразить, что пѣснь пушкинскаго поэта не была эротической пѣснью, и что слѣдовательно неудовольствіе черни противъ этой пѣсни не доказываетъ еще, чтобы эта чернь относилась презрительно и насмѣшливо къ пріятному щекотанію чувственности. Но въ такомъ случаѣ я спрошу: какую-же пѣснь могъ пѣть поэтъ? Потрудитесь найдти, кромѣ эротической пѣсни, какую-нибудь пѣснь, которая могла-бы волновать и мучить сердце, не удовлетворяя въ то-же время всѣмъ требованіямъ утилитарнаго взгляда на жизнь. *Тупая чернь* очевидно требуетъ отъ поэта плодотворныхъ мыслей; а поэтъ, неспособный мыслить, даетъ ей яркое описаніе мелкихъ ощущеній, которыя всякому извѣстны, всякому понятны и пріятны въ дѣйствительной жизни, но въ пѣснѣ интересны только для шаловливыхъ отроковъ или для безсильно-сластолюбивыхъ стариковъ. Чернь не удовлетворяется соблазнительными картинками, и это обстоятельство конечно дѣлаетъ честь ея здоровымъ умственнымъ способностямъ. Приписавши черни слова о томъ, что пѣснь поэта волнуетъ и мучитъ сердца, Пушкинъ, совершенно неожиданно для самого себя, затронулъ вопросъ: можетъ-ли безполезная поэзія сильно дѣйствовать на человѣка? Я разсмотрѣлъ теперь этотъ вопросъ и пришелъ къ тому заключенію, что безполезная поэзія всегда бываетъ въ то-же время безсильной поэзіей, т. е. она или не производитъ совсѣмъ никакого впечатлѣнія, или дѣйствуетъ самымъ поверхностнымъ образомъ только на тѣхъ умственно-недозрѣлыхъ субъектовъ, которые способны упиваться балетными позами.—Услышавъ разсужденія черни, кретинъ, произведеиный Пушкинымъ въ поэты, начинаетъ ругаться:

«Молчи, безсмысленный народъ, поденщикъ, рабъ нужды, заботъ! (*поденщикъ*, по мнѣнію кретина,—бранное слово. Попрекать человѣка тѣмъ, что онъ бѣденъ и трудится, значитъ, по мнѣнію того-же кретина, обнаруживать благородство чувствъ и возвышенность помысловъ.) Несносенъ мнѣ твой ропотъ дерзкій. Ты—червь земли, не сынъ небесъ! (Дѣтьми небесъ оказываются, во-первыхъ, *разслѣянные* поэты, а во-вторыхъ, тѣ искусные негоціанты толкучаго рынка, которые, какъ мы видѣли въ предыдущей главѣ, обходятся съ публикой столь-же *разслѣянно*, какъ самые ревностные жрецы чистаго искусства.) Тебѣ-бы пользы все («ишь чего захотѣлъ! Тебѣ бы все хорошаго товару!» думаетъ про себя искусный негоціантъ)—на вѣсъ кумиръ ты цѣнишь Бельведерскій. Ты пользы, пользы въ немъ не зришь. Но мраморъ сей вѣдь—богъ!... («Себѣ дороже-съ! Самой настоящей англійской доброты!» распинается негоціантъ за такую гниль, которая нейдетъ у него съ рукъ.) Такъ что-же? Печной горшокъ тебѣ дороже: ты пищу въ немъ себѣ варишь».

Ну, а ты возвышенный кретинъ, ты—сынъ небесъ, ты въ чемъ варишь себѣ пищу, въ горшкѣ или въ Бельведерскомъ кумирѣ? Или можетъ-быть ты питаешься такой амброзіей, которая ни въ чемъ не варится, а присылается къ тебѣ въ готовомъ видѣ изъ твоей небесной родины? Или можетъ-быть ты скажешь, что совсѣмъ не твое дѣло разсуждать о пищѣ, и отошлешь насъ за справками къ твоему повару, т. е. къ одному изъ *червей земли*, къ одному изъ тѣхъ жалкихъ *рабовъ нужды*, которые цѣнятъ на вѣсъ твоего мраморнаго бога?—Поваръ твой, о кретинъ, скажетъ намъ навѣрное, что твоя пища варится въ горшкахъ и въ кастрюляхъ, а не въ кумирахъ, и скажетъ намъ кромѣ того, въ какую цѣну обходится тебѣ твой обѣдъ. Тогда мы узнаемъ, что ты съѣ-

Digitized by Google

даешь въ одинъ день такую массу человѣческаго труда, которая можетъ прокормить *раба нужды* съ женою и съ дѣтьми втеченіи цѣлаго мѣсяца. Тогда, поговоривши съ твоимъ поваромъ, мы увидимъ ясно, въ чемъ состоитъ несомнѣнное превосходство *дѣтей неба* надъ *червями земли*. *Червь земли* живетъ впроголодь, а *сынъ неба* пріобрѣтаетъ себѣ надежный слой жира, который даетъ ему полную возможность создать себѣ мраморныхъ боговъ и беззастѣнчиво плевать въ печные горшки неимущихъ соотечественниковъ.

«Онъ ничего не отрицаетъ,—говоритъ Бѣлинскій о Пушкинѣ,—ничего не проклинаетъ, на все смотритъ съ любовью и благословеніемъ»... «Общій колоритъ поэзіи Пушкина и въ особенности лирической — внутренняя красота и лелѣющая душу гуманность»... «Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, нѣжное, благоуханное и граціозное во всякомъ чувствѣ Пушкина»... «Никто, рѣшительно никто изъ русскихъ поэтовъ не стяжалъ себѣ такого неоспоримаго права быть воспитателемъ и юныхъ, и возмужалыхъ, и даже старыхъ читателей, какъ Пушкинъ.»

Всѣ эти сладкія слова Бѣлинскаго превращаются въ жесточайшую иронію, когда вы ставите ихъ рядомъ съ словами самого Пушкина, взятыми изъ того стихотворенія, которое самъ-же Бѣлинскій считаетъ его «поэтическимъ profession de foi». *Онъ ничего не отрицаетъ и не проклинаетъ* — кромѣ всего трудящагося человѣчества. *Онъ смотритъ съ любовью и благословеніемъ на все*—то есть на весь петербургскій beau monde и даже на всѣхъ людей comme il faut, живущихъ въ Москвѣ и въ провинціи. *Общій колоритъ поэзіи Пушкина—внутренняя красота человѣка*... проводящаго свою жизнь въ благородной праздности и посвящающаго свои досуги пищеваренію и созерцанію мраморныхъ боговъ,—и *лелѣющая душу гуманность* въ отношеніи къ дѣтямъ небесъ, которыя презираютъ и топчутъ въ грязь червей земли. *Есть всегда что-то особенно благородное* (*о да!*), *кроткое, нѣжное, благоуханное и граціозное* въ томъ презрѣніи, съ которымъ Пушкинъ кричитъ на *безсмысленный народъ*, бросая ему въ лицо, какъ сильныя ругательства, святыя слова: *поденщикъ и рабъ нужды. Никто, рѣшительно никто изъ русскихъ поэтовъ не стяжалъ себѣ такого неоспоримаго права быть воспитателемъ и юныхъ, и возмужалыхъ, и даже старыхъ читателей, какъ Пушкинъ*, потому что никто, рѣшительно никто изъ русскихъ поэтовъ не можетъ внушить своимъ читателямъ такого безпредѣльнаго равнодушія къ народнымъ страданіямъ, такого глубокаго презрѣнія къ честной бѣдности и такого систематическаго отвращенія къ полезному труду, какъ Пушкинъ.

Не для того я произвелъ это убійственное сопоставленіе, чтобы глумиться надъ священной памятью нашего великаго учителя Бѣлинскаго, а для того, чтобы показать читателямъ, до какой степени опасны и губительны бываютъ эстетическія увлеченія даже для самыхъ сильныхъ и замѣчательныхъ умовъ. Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ *какого* воспитателя рекомендуетъ Бѣлинскій всей читающей Россіи! Хороши-бы мы были, еслибы мы принимали каждое слово Бѣлинскаго за изреченіе оракула!—На ругательства *сына небесъ черви земли* отвѣчаютъ слѣдующей смиренной просьбой:

«Нѣтъ, если ты небесъ—избранникъ,
Свой даръ, божественный посланникъ,
Во благо намъ употребляй:
Сердца собратьевъ исправляй.
Мы малодушны, мы коварны,
Безстыдны, злы, неблагодарны;
Мы сердцемъ—хладные скопцы,
Клеветники, рабы, глупцы;
Гнѣздятся клубомъ въ насъ пороки:
Ты можешь, ближняго любя,
Давать намъ смѣлые уроки,
А мы послушаемъ тебя.»

Бываютъ-ли въ дѣйствительной жизни какія-нибудь явленія, соотвѣтствующія до нѣкоторой степени этому обращенію черни къ поэту?—Бываютъ, и одно изъ такихъ явленій совершилось на глазахъ тѣхъ русскихъ людей, которые живы и здоровы до настоящей минуты. Мы всѣ помнимъ очень живо тотъ пафосъ самообличенія и публичнаго покаянія, который овладѣлъ нашимъ обществомъ послѣ окончанія крымской войны и который къ сожалѣнію по прошествіи двухъ-трехъ лѣтъ снова замѣнился для большинства сонными и тупымъ самодовольствомъ катковской школы. «Въ тѣ дни, когда намъ были новы» всѣ невинныя проявленія нашей робкой и скромной полугласности, въ тѣ веселые и счастливые дни для нашего общества не существовало никакой беллетристики, кромѣ обличительной. На вниманіе публики могли разсчитывать только тѣ писатели, которые обнаружили въ своихъ произведеніяхъ искреннее или неискреннее, но во всякомъ случаѣ громкое негодованіе противъ различныхъ общественныхъ золъ, подлежащихъ вѣдѣнію нашей тогдашней полу-гласности. Даже катковская школа, всегда питавшая наклонность къ сладостному оптимизму, не въ силахъ была сопротивляться требованіямъ читающей публики; громадный и быстрый успѣхъ «Губернскихъ очерковъ» положилъ, какъ извѣстно, самое прочное основаніе могуществу «Русскаго Вѣстника». Итакъ, *тупая чернь* требовала въ то время отъ своихъ поэтовъ, чтобы они, «любя ближняго», давали ей «смѣлые уроки» и постоянно держали

Digitized by Google

передъ ея глазами длинный списокъ ея глупостей и подлостей. А что-же дѣлали въ то время поэты? Что дѣлали самые ревностные жрецы чистаго искусства?—О! какъ только *тупая чернь* ясно сформулировала свои требованія, какъ только обнаружился сильный запросъ на обличительный товаръ, на прогрессивныя стремленія и на гражданскія чувства,—такъ тотчасъ самые эѳирные мотыльки нашего поэтическаго вертограда, наперерывъ другъ передъ другомъ, стали прикладывать къ дѣлу русскую поговорку: «Куда конь съ копытомъ, туда и ракъ съ клешней». Всѣ оказались раболѣпными угодниками *тупой черни*, всѣ начали усердно поддѣлываться подъ господствующій тонъ, всѣ почувствовали неодолимую потребность заявить въ стихахъ и въ прозѣ, что они тоже любятъ отечество, что они тоже тяготятся застоемъ мысли и жизни, что они тоже печалятся о бѣдности русскаго мужика и что они вообще—не послѣдняя спица въ колесницѣ русскаго прогресса. Словомъ, *тупая чернь* сдѣлала знакъ своимъ поэтамъ, и поэты, какъ расторопные слуги, со всѣхъ ногъ кинулись исполнять приказанія своего властелина, то есть той самой *тупой черни*, съ которой такъ кавалерственно обращается неправдоподобный поэтъ, придуманный Пушкинымъ. И никому изъ жрецовъ чистаго искусства не пришло въ голову крикнуть печатно: «молчи, безсмысленный народъ!» Ни у кого не хватило храбрости открыто и рѣшительно пойдти противъ теченія. Всякій, кто только могъ двумя-тремя дешевыми гражданственными фразами заработать себѣ два-три взрыва столь-же дешевыхъ рукоплесканій, никакъ не рѣшался отказать своему мелкому тщеславію въ этомъ копѣечномъ удовлетвореніи. Въ потѣ лица своего склеивалъ жрецъ чистаго искусства какую-нибудь неуклюжую и блѣдную поддѣлку подъ некрасовскій тонъ и потомъ млѣлъ и сіялъ отъ удовольствія, когда неприхотливые слушатели встрѣчали и провожали его рукоплесканіями на публичномъ чтеніи.

Стало быть, еслибы когда-нибудь *тупая чернь* обратилась прямо къ извѣстному лицу, требуя себѣ отъ него смѣлыхъ уроковъ во имя любви къ ближнему, еслибы общественное мнѣніе цѣлой страны съ любовью и съ надеждой остановилось на имени извѣстнаго поэта и провозгласило этого поэта учителемъ и руководителемъ общества и народа, то не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что любимецъ Музъ и Грацій, не слыша подъ собою ногъ, кинулся-бы въ ту сторону, куда посылалъ-бы его народный голосъ. Если не любовь къ народу, то тщеславіе, если не тщеславіе, то боязнь быть осмѣяннымъ и оплеваннымъ заставили-бы его поступить такимъ образомъ. Тщеславіе составляетъ преобладающую, быть-можетъ даже единственную сильную страсть чистыхъ художниковъ, то есть тѣхъ художниковъ, которые воображаютъ себѣ, что всѣ ихъ способности поглощены безкорыстнымъ и безцѣльнымъ служеніемъ искусству. Не трудно себѣ представить, какъ сильно должна разыграться эта преобладающая страсть, когда художникъ увидитъ себя предметомъ всеобщаго вниманія и самыхъ напряженныхъ ожиданій, возбужденныхъ въ читающей массѣ силой и яркостью его таланта. Въ эту минуту отъ самого художника, то есть отъ того направленія, которое приметъ его дѣятельность, будетъ зависѣть—сдѣлаться идоломъ толпы или ея посмѣшищемъ. Тщеславіе конечно потянетъ его внизъ по теченію.

Спрашивается теперь, какая-же сила составитъ противовѣсъ этому тщеславію? Какая сила застрахуетъ поэта противъ того эпидемическаго увлеченія, которое обыкновенно овладѣваетъ всѣми впечатлительными людьми, когда они видятъ, какъ увлекаются той или другой идеей цѣлыя массы! Какая сила заставитъ поэта плыть противъ теченія и такимъ образомъ накликать на себя со стороны увлеченныхъ соотечественниковъ упреки, насмѣшки и оскорбленія? Какая сила наконецъ заставитъ его подвергаться еще болѣе страшной опасности, самой страшной изъ всѣхъ опасностей, угрожающихъ художнику,—опасности превратиться въ ходячій анахронизмъ и затеряться заживо въ пыльной грудѣ забытой литературной старины?

Единственной силой, которая должна отдуваться за все-про-все, оказывается любовь поэта къ чистому искусству, къ *служенію Музъ*, которое *не терпитъ суетъ*. Мечтать о томъ, чтобы это туманно-метафизическое или античномиѳологическое чувство одержало побѣду надъ всѣми искушеніями предстоящей популярности,—было-бы просто смѣшно. Достаточно припомнить, что всѣ отрасли искусства всегда и вездѣ подчинялись мельчайшимъ и глупѣйшимъ требованіямъ измѣнчиваго общественнаго вкуса и прихотливой моды. Красота художественнаго произведенія сама по себѣ—вещь чисто условная; поэтому привязанность человѣка къ этой условной и относительной красотѣ никогда не можетъ быть на столько сильной, чтобы служить ему надежной опорой въ серьезной борьбѣ съ господствующими требованіями времени и народа. Идти наперекоръ ясно-выраженнымъ желаніямъ массы можно только изъ горячей любви къ этой-же самой массѣ. Только живая, естественная и искренняя любовь человѣка къ людямъ можетъ дать передовому мыслителю или дѣятелю непоколебимую самоувѣренность, силу и мужество, необходимыя для того, чтобы встрѣтить и выдержать жестокую бурю близорукаго общественнаго негодованія и медленную пытку незаслуженнаго презрѣнія. Всякія искусственныя, тепличныя и напущенныя чувства, въ томъ

Digitized by Google

числѣ, разумѣется, и уморительная любовь художника къ служенію Музъ, нетерпящему суеты, изломаются и исчезнутъ безъ слѣда при первомъ столкновеніи съ требованіями общества, хотя-бы даже эти требованія были сами по себѣ совершенно неосновательны.

Въ стихотвореніи Пушкина выходитъ совсѣмъ наоборотъ: поэтъ торжественно отказывается отъ популярности, громко проклинаетъ *тупую чернь* и погружается въ одинокое созерцаніе чистой красоты, понятной только для посвященныхъ. Эта совершенно неправдоподобная развязка объясняется очень легко и совершенно удовлетворительно тѣмъ обстоятельствомъ, что общество, въ которомъ жилъ Пушкинъ, спало мертвымъ сномъ, такъ что Пушкинъ не имѣлъ возможности составить себѣ приблизительно-вѣрнаго понятія о томъ, что̀ такое общественное мнѣніе, что̀ такое голосъ *тупой черни* и въ какой степени заразительны и увлекательны бываютъ общественныя страсти. Можно предположить даже, что все стихотвореніе Пушкина было вызвано какой-нибудь тупой и пошлой критической статьей Булгарина, упрекавшаго его въ безнравственности и требовавшаго отъ него поучительныхъ стиховъ и медоточивыхъ разсказовъ. Булгаринъ или какой-нибудь другой артистъ того-же достоинства по всей вѣроятности показался Пушкину представителемъ массы и проводникомъ ея умственныхъ требованій; дрянное поползновеніе булгаринской клики къ пошлой нравоучительности принято Пушкинымъ за чистѣйшее выраженіе принципа утилитарности. Это предположеніе въ высшей степени правдоподобно, потому что дѣйствительно во времена Пушкина въ нашей литературѣ не было еще ни одного писателя, который постоянно и добросовѣстно защищалъ-бы интересы массъ и смотрѣлъ-бы съ чисто-утилитарной точки зрѣнія на всѣ явленія жизни, науки и искусства. Значитъ, Пушкинъ, ругая чернь и глумясь надъ идеей пользы, ратуетъ противъ такихъ вещей, которыхъ онъ никогда не видалъ въ глаза. Отсюда происходитъ та неосновательная храбрость и то комическое озлобленіе, которыя обнаруживаетъ пушкинскій поэтъ въ отношеніи къ *тупой черни*, терпящей горькую напраслину за глупости и подлости булгаринской клики.

Подобное зрѣлище намъ случилось видѣть очень недавно. Разгоряченный нанаденіями «Искры», Писемскій написалъ противъ нея огромный романъ, въ которомъ старался доказать, что отечество находится въ опасности и что молодое поколѣніе погибаетъ въ безднѣ заблужденій. Въ дѣлахъ отечества и молодого поколѣнія Писемскій оказывается совершенно такимъ-же компетентнымъ судьей, какимъ оказывается Пушкинъ въ вопросѣ о требованіяхъ общественнаго мнѣнія и объ идеѣ утилитарности. Оба говорятъ о томъ, чего они не знаютъ, и оба принимаютъ за воплощеніе принципа такую случайную и ничтожную мелочь, которая ни съ какимъ принципомъ не можетъ имѣть ничего общаго. Такія комическія ошибки конечно не дѣлаютъ особенной чести ни природному ихъ остроумію, ни широтѣ и основательности ихъ благопріобрѣтеннаго умственнаго развитія.

VIII.

Не угодно-ли послушать отвѣтъ пушкинскаго поэта:

«Подите прочь, какое дѣло
Поэту мирному до васъ!
Въ развратѣ каменѣйте смѣло:
Не оживитъ васъ лиры гласъ!
Душѣ противны вы, какъ гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имѣли вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры;
Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ!
Во градахъ вашихъ съ улицъ шумныхъ
Сметаютъ соръ—полезный трудъ!—
Но, позабывъ свое служенье,
Алтарь и жертвоприношенье,
Жрецы-ль у васъ метлу берутъ?
Не для житейскаго волненья,
Не для корысти, не для битвъ,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.»

Этими торжественными словами оканчивается стихотвореніе, и тутъ можно именно сказать, что конецъ вѣнчаетъ дѣло. Еслибы какой-нибудь злѣйшій врагъ чистаго искусства захотѣлъ закидать его грязью и погубить его во мнѣніи общества, то врядъ-ли бы онъ придумалъ для своей обвинительной рѣчи что-нибудь сильнѣе и убійственнѣе тѣхъ словъ, которыя Пушкинъ такъ простодушно и откровенно приписываетъ своему поэту.

Мирному поэту нѣтъ дѣла до умственныхъ и нравственныхъ потребностей народа; ему нѣтъ дѣла до пороковъ и страданій окружающихъ людей; ему нѣтъ дѣла до того, что эти люди желаютъ мыслить и совершенствоваться и просятъ себѣ живого слова и разумнаго совѣта у того, кто самъ себя величаетъ *сыномъ небесъ*, и въ комъ они также признаютъ *избранника небесъ* и *божественнаго посланника*. Спрашивается въ такомъ случаѣ, до кого и до чего-же ему есть дѣло?—До самого себя и до своихъ собственныхъ ощущеній? До веселой попойки съ любезнымъ другомъ Ивановымъ, до пріятной болтовни съ чудеснымъ малымъ Семеновымъ, до катанья на тройкѣ съ отличнымъ товарищемъ Андреевымъ? До золотыхъ локоновъ прелестной A, до лебединой шеи очаровательной B, до маленькой ножки несравненной C, до голубыхъ очей восхитительной $Д$?—Вѣдь 'на самомъ дѣлѣ, если отодвинуть въ сторону всѣ миѳологическія фіоритуры,—слу-

Digitized by Google

женіе Музъ, которое не терпитъ суеты, и священная жертва, къ которой Аполлонъ требуетъ поэта, окажутся просто интимной болтовней поэта съ милыми друзьями о милыхъ подругахъ и съ милыми подругами о ихъ собственныхъ прелестяхъ. Такая болтовня очень интересна для самого поэта, для его милыхъ друзей и для его милыхъ подругъ; но такъ какъ у каждаго отдѣльнаго человѣка есть свои собственные милые друзья и свои собственныя милыя подруги, то, при такомъ направленіи творческой дѣятельности, поэзія превращается въ дѣло или, вѣрнѣе, въ забаву частныхъ кружковъ и совершенно теряетъ свою способность служить высшей нравственной связью между всѣми грамотными членами извѣстной націи.

Такъ оно и было дѣйствительно у насъ, въ Россіи, въ первой четверти нынѣшняго столѣтія. Чтобы дать читателямъ легкое понятіе о томъ, какимъ граціозно-младенческимъ забавамъ предавались тогдашніе корифеи поэзіи, я приведу здѣсь небольшую выписку изъ «Матеріаловъ для біографіи Пушкина», собранныхъ Анненковымъ.

«Въ 1815 году еще продолжалась борьба, возникшая по поводу нововведенія Карамзина, и противники его направленія сосредоточились въ обществѣ «Бесѣда Любителей Русскаго Слова» (должно быть не нашего), къ членамъ которой принадлежали многіе даровитые люди; въ числѣ ихъ былъ и кн. Шаховскій. Все молодое, желавшее новыхъ формъ для поэзіи и языка и свѣжихъ источниковъ для искусства вообще, пристроилось къ другому обществу—Арзамасу. Арзамасъ порожденъ былъ шуткою и сохранялъ основной характеръ свой до конца. Одинъ веселый и остроумный разсказъ подъ названіемъ *Видѣніе во градѣ* вызвалъ его на свѣтъ. Въ разсказѣ переданъ былъ анекдотъ о нѣкоторыхъ скромныхъ людяхъ, собравшихся разъ на обѣдъ въ бѣдный арзамасскій трактиръ. Столъ ихъ былъ покрытъ скатертью, бѣлизны не совсѣмъ безпорочной, и нисколько не былъ отягощенъ изобиліемъ брашенъ. Въ срединѣ бесѣды прислужникъ возвѣстилъ имъ, что какой-то проѣзжій остановился въ трактирѣ и повидимому находится въ магнетическомъ снѣ. Хотя любопытство и приписывается исключительно прекрасному полу, но друзья Арзамаса доказали противное. Они отправились наблюдать новаго ясновидящаго у дверей и увидѣли высокаго, толстаго человѣка, который ходилъ безпрестанно по комнатѣ, произнося непонятные тирады и афоризмы. Послѣдніе они тутъ-же записали, не скрыли всѣ собственныя имена, потому-что незлобивость и добродушіе составляли и составляютъ отличительную черту Арзамаса. Едва разнеслась эта шутка, въ которой не трудно было отгадать всѣ тонкіе намеки ея, какъ авторъ получилъ отъ одного изъ своихъ друзей приглашеніе на первый *арзамасскій вечеръ*. Продолжая шутку, лица арзамасскаго вечера назвались именами изъ балладъ В. А. Жуковскаго и, на подобіе французской академіи, положили правило: всякій новоизбранный членъ обязанъ былъ сказать похвальное слово—не умершему своему предшественнику, потому что такихъ не было, а какому-либо члену «Бесѣды любителей русскаго слова» или другому извѣстному литератору. Такъ произнесены были похвальныя слова Захарову, переводчику «Авелевой смерти» Геснера, «Велисарія» г-жи Жанлисъ и «Странствованій Телемака» Фенелона, Г. А. Волкову—автору «Арфы стихогласной», и мног. др. Секретарь общества, В. А. Жуковскій, велъ журналъ засѣданій, и протоколы его представляютъ автора «Людмилы» съ другой стороны, еще неуловленной біографами (ахъ, біографы! чего вы смотрите?),—со стороны вообще веселаго характера. Это образцы самой забавной и вмѣстѣ самой приличной шутки.»

Вотъ каковы были тѣ господа, по поводу которыхъ Бѣлинскій проводилъ идею органическаго развитія. И вотъ каково было то высокое служеніе Музъ, которое налагало на поэта обязанность игнорировать и презирать потребности, пороки и страданія *тупой черни*, то-есть всего русскаго общества. Здѣсь, какъ видите, навязываніе бумажки на Зюзюшкинъ хвостъ было возведено въ принципъ и обставлено торжественными обрядами. Къ этому многотрудному и систематическому навязыванію Пушкинъ, по свидѣтельству того-же Анненкова, относился постоянно съ непоколебимой нѣжностью.

«Такъ важно было,—говоритъ Анненковъ,—вліяніе Арзамаса на литературу нашу, и надо прибавить къ этому, что Пушкинъ уже сохранилъ навсегда уваженіе какъ къ лицамъ, признаннымъ авторитетами (по части навязыванія бумажки?) въ средѣ его, такъ и къ самому способу дѣйствованія во имя идей, обсужденныхъ цѣлымъ обществомъ. Онъ сильно порицалъ у друзей своихъ попытки разъединенія (а чѣмъ такимъ они были соединены? Должно быть, общей ненавистью къ М. Каченовскому?), проявившіяся одно время въ видѣ нападокъ на произведенія Жуковскаго (это значитъ: нашихъ не тронь! и рука руку моетъ), и вообще всѣ такого рода попытки; да и къ одному личному мнѣнію, становившемуся наперекоръ мнѣнію общему, уже никогда не имѣлъ уваженія.» (Оно и видно, стало быть, что поэтъ «къ ногамъ народнаго кумира не клонитъ гордой головы». Здѣсь роль народа играетъ кружокъ, и поэтъ оказывается покорнымъ слугой этого кружка.)

Въ другомъ мѣстѣ Анненковъ говоритъ о Пушкинѣ, что «онъ сохранилъ до конца своей жизни существенныя, характеристическія черты члена старыхъ литературныхъ обществъ и уже не имѣлъ симпатіи къ произволу (а въ круж-

Digitized by Google

какъ его не было?) журнальныхъ сужденій, вскорѣ замѣстившему ихъ и захватившему довольно обширный кругъ дѣйствія.»

Эти біографическія подробности составляютъ очень выразительный комментарій къ тому *поэтическому* profession de foi, которое изложилъ Пушкинъ въ стихотвореніи «Чернь». Мы видимъ теперь довольно ясно, *во имя чего* поэтъ отвертывается отъ разумныхъ и реальныхъ требованій общества. Углубленный въ игрушечные интересы разныхъ Арзамасовъ, поэтъ приглашаетъ живыхъ людей «*смѣло каменьтъ въ развратъ*»; онъ замѣчаетъ совершенно справедливо, что *гласъ* его *лиры*, посвященной воспоминанію Зюзюшки и ея хвоста, *не оживитъ* людей, требующихъ себѣ нравственнаго обновленія. Эти люди, дерзающіе чего-то требовать, *противны* его *душѣ*, *какъ гробы*, потому что они своимъ докучливымъ ропотомъ мѣшаютъ этой арзамасской душѣ погрузиться безраздѣльно въ глубокомысленное созерцаніе зюзюшкинаго хвоста. Легко себѣ представить, какимъ *гробомъ* долженъ былъ показаться Пушкину одинъ неизвѣстный *червь земли*, написавшій къ *сыну небесъ* энергическое письмо, изъ котораго Анненковъ приводитъ слѣдующія замѣчательныя строки: «когда видишь того, кто долженъ покорять сердца людей, раболѣпствующаго передъ обычаями и привычками толпы, человѣкъ останавливается посреди пути и спрашиваетъ самого себя: почему преграждаетъ мнѣ дорогу тотъ, который впереди меня и которому слѣдовало-бы сдѣлаться моимъ вожатымъ? Подобная мысль приходитъ мнѣ въ голову, когда я думаю о васъ, а думаю я объ васъ много, даже до усталости. Позвольте-же мнѣ идти, сдѣлайте милость. Если некогда вамъ узнавать требованія наши, углубитесь въ самого себя и въ собственной груди почерпните огонь, который несомнѣнно присутствуетъ въ каждой такой душѣ, какъ ваша.»

Здоровымъ и мужественнымъ, не арзамасскимъ и не пушкинскимъ взглядомъ на жизнь проникнуты эти строки. Тому *гробу*, который просилъ у Пушкина *позволенія идти*, и всѣмъ другимъ, подобнымъ ему, *гробамъ* любвеобильный поэтъ великодушно совѣтуетъ обратиться за умственнымъ и нравственнымъ совершенствованіемъ къ бичамъ, къ темницамъ и къ топорамъ:

«Для вашей глупости и злобы
Имѣли вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры.—
Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ!»

Это невѣроятное четверостишіе слѣдуетъ выгравировать золотыми буквами на подножіи того монумента, который благодарная Россія безъ сомнѣнія воздвигнетъ изъ своихъ трудовыхъ копѣекъ своему величайшему поэту. А въ ожиданіи монумента это-же самое четверостишіе должно сдѣлаться эпиграфомъ къ тому изданію сочиненій Пушкина, по которому *молодые люди обоего пола будутъ воспитывать въ себѣ человѣка*.

Предоставивъ такимъ образомъ нравственное воспитаніе народа бичамъ, темницамъ и топорамъ, пушкинскій поэтъ объявляетъ, что подобныя ему дѣти небесъ рождены не для житейскаго волненья, не для корысти, не для битвъ, а для вдохновенія, для сладкихъ звуковъ, для молитвъ. Все это прекрасно, любезныя дѣти небесъ, но все это въ высшей степени неопредѣленно. Вы рождены для вдохновенія—очень хорошо! Но *чѣмъ* именно вы будете вдохновляться?—вотъ вопросъ, на который вамъ не мѣшало-бы пріискать отвѣтъ. Вы рождены для сладкихъ звуковъ — это тоже недурно! Но *кому* именно эти звуки будутъ казаться сладкими? Вы рождены для молитвъ—превосходно! Но *о комъ* и *о чемъ* вы будете молиться?—Если вы, дѣти небесъ, будете вдохновляться такими явленіями жизни, которыя въ каждомъ неглупомъ человѣкѣ возбуждаютъ негодованіе и отвращеніе, если вы напримѣръ будете прославлять дикое насиліе, какъ геніальную твердость, а низкую угодливость, какъ безкорыстную преданность, то легко можетъ случиться, что все ваше вдохновеніе будетъ стоять въ глазахъ вашихъ соотечественниковъ неизмѣримо ниже, чѣмъ сметаніе сора съ улицъ шумныхъ, о которомъ вы отзываетесь съ самымъ великолѣпнымъ презрѣніемъ. Если вы, дѣти небесъ, передъ толпой голодныхъ людей будете воспѣвать достоинства страсбургскаго пирога и лимбургскаго сыра, то можно сказать навѣрное, что ваши *звуки*, очень *сладкіе* для васъ самихъ и для подобныхъ вамъ тунеядцевъ, покажутся вашимъ голоднымъ слушателямъ горькой и отвратительной насмѣшкой надъ ихъ безпомощнымъ положеніемъ. Если вы, дѣти небесъ, имѣя въ своихъ амбарахъ тысячи четвертей продажной пшеницы, будете молиться о ниспосланіи на землю града или саранчи для надлежащаго повышенія рыночныхъ цѣнъ, то я не совѣтую вамъ высказывать вашу молитву во всеуслышаніе, потому что въ какіе-бы *смолисто-тягучіе* и *кристально-прозрачные* ямбы или хореи вы ни облекли вашу молитву о градѣ и о саранчѣ, во всякомъ случаѣ эта молитва не доставитъ ни малѣйшаго удовольствія вашимъ добродушнымъ и трудолюбивымъ сосѣдямъ. Такимъ образомъ вы видите, о, дѣти небесъ, что не всякое вдохновеніе возбуждаетъ въ людяхъ чувство уваженія и признательности, что не всякій сладкій звукъ оказывается сладкимъ для всѣхъ слушателей и что не всякая молитва можетъ быть названа высокимъ подвигомъ человѣколюбія. Стало-быть, ты, о, пушкинскій поэтъ, объявляя *ту-*

Digitized by Google

пой черни, что вы рождены для вдохновеній, для сладкихъ звуковъ и для молитвъ, занимаешься произнесеніемъ словъ, не заключающихъ въ себѣ никакого опредѣленнаго смысла.

Кромѣ того не мѣшаетъ замѣтить, что у Пушкина слово расходится съ дѣломъ, или поэтическое profession de foi расходится съ поэтической дѣятельностью. Объявляя категорически, что поэты рождены *не для битвъ*, Пушкинъ въ то-же время пишетъ свои два слишкомъ извѣстныя стихотворенія: «Клеветникамъ Россіи» и «Бородинская годовщина». И онъ не только написалъ и напечаталъ эти два, въ буквальномъ смыслѣ слова, *воинственныя* стихотворенія, но даже самъ придавалъ имъ серьезное европейское значеніе. «Пушкинъ,— говоритъ Анненковъ,— выразилъ во французскомъ письмѣ къ князю Н. Б. Голицыну (переводчику по-французски «Чернеца» Козлова и пьесы «Клеветникамъ Россіи») чувства, одушевлявшія его во время созданія самаго стихотворенія: «Mercі mille fois,—говоритъ онъ,— cher Prince, pour votre incomparable traduction de ma pièce de vers, lancée contre les ennemis de notre pays... Que ne traduisites-vous pas cette pièce en temps opportun? Je l'aurais fais passer en France, pour donner sur le nez à tous ces vociférateurs de la Chambre des deputés». (Тысячу разъ благодарю васъ, любезный князь, за вашъ несравненный переводъ моего стихотворенія, направленнаго противъ враговъ нашей земли... Зачѣмъ не перевели вы его во-время?—Я-бы переслалъ его во Францію, чтобы ударить по носу всѣхъ этихъ крикуновъ палаты депутатовъ.)

Видите, въ самомъ дѣлѣ, какъ это жалко, что князь Голицынъ опоздалъ сдѣлать переводъ. Попади только это стихотвореніе во Францію, тогда, само собою разумѣется, всѣ крикливые французскіе депутаты, узнавши, что въ Россіи существуетъ воинственный и сердитый стихотворецъ, monsieur Poushkine, тотчасъ понизили-бы тонъ и немедленно уразумѣли-бы, что съ Россіей ссориться опасно, ибо эта Россія можетъ засыпать Францію растянутыми стихотвореніями, тщательно переведенными съ русскаго на французскій.

Но какъ-же мы однако ухитримся помирить воинственный азартъ Пушкина съ тѣмъ категорическимъ объявленіемъ, что поэты рождены *не для битвъ?* Для чего-же въ самомъ дѣлѣ, по понятіямъ Пушкина, рождены поэты и для чего они не рождены?

Если мы окинемъ общимъ взглядомъ теорію и практику Пушкина, то мы получимъ тотъ результатъ, что поэты рождены для того, чтобы никогда ни о чемъ не думать и всегда говорить исключительно о такихъ предметахъ, которые не требуютъ ни малѣйшаго размышленія. Эта формула объясняетъ совершенно удовлетворительно какъ уклоненіе поэта отъ головоломныхъ требованій *тупой черни*, такъ и воинственный азартъ, стремившійся бить носы французскимъ депутатамъ. Поэтъ отказывается отъ тѣхъ битвъ, которыя требуютъ умственнаго труда, и кидается очень охотно въ тѣ битвы, въ которыхъ ненужно ничего, кромѣ риемованнаго крика. Въ самомъ дѣлѣ, еслибы поэту захотѣлось давать *тупой черни смѣлые уроки*, которыхъ она отъ него требуетъ, то ему пришлось-бы очень глубоко задумываться надъ явленіями общественной жизни, пришлось бы, громя пороки общества, анализировать причины этихъ пороковъ, пришлось-бы отъ ближайшихъ и частныхъ причинъ переходить къ болѣе общимъ и отдаленнымъ,—словомъ, пришлось-бы не столько *брящать*, сколько размышлять. Такая умственная работа, во-первыхъ, не всякому *брящателю* по силамъ, а во-вторыхъ, она сопряжена со многими неудобствами; вѣдь въ самомъ дѣлѣ Богъ знаетъ, до чего можно додуматься, пожалуй даже до такихъ вещей, до которыхъ совсѣмъ не слѣдуетъ додумываться. Даже Полонскій и тотъ знаетъ, что «думы съ вѣтромъ носятся, вѣтра не догнать». Напротивъ того, когда поэту приходитъ въ голову воспѣть военныя доблести русскихъ богатырей или сдѣлать строжайшій выговоръ непочтительнымъ французскимъ депутатамъ, тогда поэту не предстоитъ ни умственнаго труда, ни неудобствъ, ни опасностей. Все дѣло его состоитъ въ томъ, чтобы придумывать сильныя выраженія и громкія восклицанія.

Кто выигралъ сраженіе или взялъ штурмомъ крѣпость, тотъ обдумывалъ планъ, тотъ умѣлъ воодушевить солдатъ, тотъ подвергалъ опасности собственную жизнь, тотъ оказалъ услугу государству, тотъ можетъ быть названъ умнымъ человѣкомъ, даже героемъ, даже спасителемъ отечества. Но кто воспѣваетъ одержанную побѣду, тотъ просто перекладываетъ въ стихи газетную реляцію, тотъ оказывается не поэтомъ, а стиходѣлателемъ, тотъ не мыслитъ, а подбираетъ фразы и риемы, и тотъ рискуетъ разсмѣшить своимъ напущеннымъ восторгомъ тѣхъ самыхъ враговъ отечества, которымъ онъ стремится сокрушать носы.

IX.

Какими-же глазами смотритъ Бѣлинскій на то «*художническое* profession de foi» Пушкина, о которомъ я говорилъ до сихъ поръ? Отношенія Бѣлинскаго къ этому стихотворенію въ высшей степени неопредѣленны. «Онъ презираетъ чернь,—говоритъ Бѣлинскій о Пушкинѣ,—и на ея приглашеніе—исправлять ее звуками лиры отвѣчаетъ словами, полными благородной гордости и энергическаго негодованія.»—Затѣмъ Бѣлинскій выписываетъ—просто трудно повѣрить

Digitized by Google

глазамъ!—заключительный монологъ поэта,—тотъ самый монологъ, въ которомъ народу предоставляются въ вѣчное потомственное владѣніе *бичи, темницы, топоры*, а поэтамъ отмежевывается область *вдохновенія, сладкихъ звуковъ и молитвъ*. И Бѣлинскій въ этихъ безумныхъ словахъ находитъ *благородную гордость*.

Выписавши монологъ поэта, Бѣлинскій разсуждаетъ такъ: «Дѣйствительно, смѣшны и жалки тѣ глупцы, которые смотрятъ на поэзію, какъ на искусство втискивать въ размѣренныя строчки съ риѳмами разныя нравоучительныя мысли, и требуютъ отъ поэта непремѣнно, чтобы онъ воспѣвалъ имъ все любовь да дружбу и пр., и которые неспособны увидѣть поэзію въ самомъ вдохновенномъ произведеніи, если въ немъ нѣтъ общихъ нравоучительныхъ мѣстъ».

Зачѣмъ Бѣлинскій придумалъ здѣсь какихъ-то *глупцовъ*, которымъ онъ приписалъ какія-то глупыя требованія—этого я рѣшительно не понимаю. *Тупая чернь* никогда не требовала отъ поэта, *чтобы онъ воспѣвалъ ей все любовь да дружбу*. Она требовала отъ поэта не *общихъ нравоучительныхъ мѣстъ*, а *смѣлыхъ уроковъ*, что̀ нисколько непохоже ни на *общія нравоучительныя мѣста*, ни на *любовь да дружбу*. Еслибы *тупая чернь* состояла изъ тѣхъ *глупцовъ*, которыхъ Бѣлинскій называетъ *смѣшными и жалкими*, тогда она совершенно удовлетворилась-бы пушкинской поэзіей, потому что эта поэзія заключаетъ въ себѣ именно то, что̀ нравится *смѣшнымъ и жалкимъ глупцамъ*. Это не я говорю, это говоритъ самъ Бѣлинскій. На стр. 399 онъ объявляетъ намъ, что смѣшные и жалкіе глупцы заставляютъ поэта воспѣвать *все любовь да дружбу*, а на стр. 391 Бѣлинскій спрашиваетъ: «что̀ составляетъ содержаніе мелкихъ пьесъ Пушкина?», и отвѣчаетъ такъ: почти всегда любовь и дружба, какъ чувства, наиболѣе обладавшія поэтомъ и бывшія непосредственнымъ источникомъ счастья и горя всей его жизни».—Значитъ, *смѣшные и жалкіе глупцы* Бѣлинскаго оказываются для Пушкина не *тупой чернью*, а, напротивъ того, избранной и посвященной публикой, читающей съ восторгомъ его стихотворенія. Значитъ, Пушкинъ *отвѣчаетъ словами, полными благородной гордости*, не *смѣшнымъ и жалкимъ глупцамъ*, а честнымъ и мыслящимъ гражданамъ, которымъ непремѣнно долженъ сочувствовать и самъ Бѣлинскій; значитъ, наконецъ самъ Бѣлинскій, стараясь прикрыть промахи Пушкина, такъ запутывается въ противорѣчіяхъ, что вытащить его изъ нихъ не остается ни малѣйшей возможности. На стр. 398 онъ хвалитъ Пушкина за *благородную гордость*, а на стр. 400 оказывается, что при этой *благородной гордости* поэтъ *рискуетъ быть единственнымъ читателемъ своихъ произведеній*. Впрочемъ у эстетиковъ и полу-эстетиковъ такія противорѣчія даже не считаются противорѣчіями. Бѣлинскій въ одномъ мѣстѣ говоритъ, что стихотвореніе «Поэтъ» *превосходно*, но что мысль этого стихотворенія *совершенно ложна*.

Съ нашей реальной точки зрѣнія такое явленіе немыслимо; по нашему, если мысль совершенно ложна, то и все стихотвореніе никуда не годится; но такъ какъ эстетики обладаютъ спеціальной способностью услаждаться стихотвореніями, какъ *жареными птичками величиною съ наперстокъ*, то, разумѣется, на ихъ кабалистическомъ языкѣ слово *превосходно* можетъ имѣть гастрономическое или какое-нибудь другое, столь-же непостижимое для насъ значеніе. Та гордость, съ которой Пушкинъ гонитъ прочь *тупую чернь*, по всей вѣроятности показалась Бѣлинскому *благородной* съ какой-нибудь спеціально-эстетической точки зрѣнія. Въ этой гордости на самомъ дѣлѣ нѣтъ рѣшительно ничего благороднаго: во-первыхъ потому, что она совершенно безсмысленна, а во-вторыхъ потому, что она поддѣльна, какъ стоическое равнодушіе голодной лисицы къ недоступному винограду. Тотъ фактъ, что читающая масса значительно охладѣла къ Пушкину во время послѣдняго десятилѣтія его литературной дѣятельности, — не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. Объ этомъ фактѣ говорятъ очень откровенно и Бѣлинскій, и Гоголь, и Анненковъ, и всѣ прочіе обожатели Пушкина. Стало быть, поэтъ гонитъ отъ себя чернь заднимъ числомъ, то есть тогда, когда она сама удалилась отъ него и когда онъ увидѣлъ свою неспособность воротить ее назадъ.

Стихотвореніе «Поэту», написанное въ 1830 году, также наполнено назидательными размышленіями о незрѣлости винограда.

«Поэтъ,—говоритъ Пушкинъ,—не дорожи любовію народной! Восторженныхъ похвалъ пройдетъ минутный шумъ; услышишь судъ глупца и смѣхъ толпы холодной (это очевидно говорится по опыту); но ты останься твердъ, спокоенъ и угрюмъ (а что-же больше-то дѣлать? Вѣдь не плакать-же публично объ утраченной популярности?). Ты—царь: живи одинъ. Дорогою свободной иди, куда влечетъ тебя свободный умъ, усовершенствуя плоды любимыхъ думъ, не требуя наградъ за подвигъ благородный (поэтъ убѣдительно проситъ самого себя не нищенствовать передъ толпою и доказываетъ самому себѣ очень основательно, что получить отъ толпы подаяніе не предвидится ни малѣйшей надежды). Онѣ въ самомъ тебѣ. Ты самъ—свой высшій судъ; всѣхъ строже оцѣнить умѣешь ты свой трудъ (строже можетъ быть, но только не съ той точки зрѣнія, съ какой его цѣнятъ другіе). Ты имъ доволенъ-ли, взыскательный художникъ? Доволенъ? Такъ пускай толпа его бранитъ и плюетъ на алтарь, гдѣ твой огонь

Digitized by Google

горитъ, и въ дѣтской рѣзвости колеблетъ твой треножникъ.»

Въ этомъ стихотвореніи, которое у Бѣлинскаго также оказывается *превосходнымъ*, мнѣ особенно нравится та рѣшимость, съ которой взыскательный художникъ, въ пику равнодушной толпѣ, провозглашаетъ себя царемъ. — Вы, молъ, негодяи, не хотите называть меня въ вашихъ глупыхъ журналахъ геніальнымъ поэтомъ, а я самъ возьму да и назову себя царемъ; вотъ вы и останетесь въ дуракахъ.— Впрочемъ этотъ произвольно-зародившійся царь оказывается царемъ самаго страннаго фасона: у него нѣтъ ни придворнаго штата, ни льстецовъ, ни подданныхъ, ни средствъ дѣйствовать такъ или иначе на жизнь окружающаго общества. Этотъ своеобразный царь можетъ смѣло завести дипломатическія сношенія съ тѣми царями, которыхъ резиденція находится въ Бедламѣ или въ Бисетрѣ и которые также *живутъ одни*, потому что, вступивши на престолъ, потеряли способность жить скромно и прилично въ обществѣ здравомыслящихъ людей.

Въ 1831 г. въ стихотвореніи «Эхо» Пушкинъ жалуется на то, что поэтъ, какъ эхо, откликается на всякій звукъ живой природы, а между тѣмъ самъ не находитъ себѣ отзыва нигдѣ. Жалоба неосновательна и сравненіе неудачно. Поэтъ не находитъ себѣ отзыва только въ томъ случаѣ, когда онъ самъ не откликается на тѣ явленія, идеи, чувства и стремленія, которыя составляютъ преобладающій интересъ въ жизни его современниковъ и соотечественниковъ. Другими словами: только тотъ поэтъ рискуетъ быть единственнымъ читателемъ своихъ произведеній, который поетъ про себя и для себя, презирая толпу.

Въ стихотвореніи «Памятникъ», написанномъ въ 1836 году, Пушкинъ, уже шесть лѣтъ тому назадъ провозгласившій себя царемъ, производитъ себя въ безсмертные геніи и въ благодѣтели человѣчества. Нашъ безсмертный геній прямо говоритъ:

«Я памятникъ воздвигъ себѣ нерукотворный;
Къ нему не заростетъ народная тропа:
Вознесся выше онъ главою непокорной
Наполеонова столпа (это называется: excusez du peu!)
Нѣтъ! весь я не умру. Душа въ завѣтной лирѣ
Мой прахъ переживетъ и тлѣнья убѣжитъ —
И славенъ буду я, доколь въ подлунномъ мірѣ
Живъ будетъ хоть одинъ піитъ.
Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Руси великой,
И назоветъ меня всякъ сущій въ ней языкъ:
И гордый внукъ Славянъ, и Финнъ, и нынѣ дикой
Тунгусъ, и другъ степей—Калмыкъ,
И долго буду тѣмъ народу я любезенъ,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ (?),
Что прелестью живой стиховъ я былъ полезенъ (?)
И милость къ падшимъ призывалъ. (?)»

Превознося самого себѣ выше облака ходячаго и умилившись достаточно надъ всѣми своими человѣческими и даже гражданскими добродѣтелями, Пушкинъ вдругъ напускаетъ на себя кротость, смиреніе и равнодушіе къ той самой славѣ, въ которой онъ превзошелъ Наполеона и передъ которой преклонятся со временемъ тунгусы и калмыки:

«Велѣнью Божію, о Муза! будь послушна,
Обиды не страшись, не требуй и вѣнца,
Хвалу и клевету пріемли равнодушно
И не оспаривай глупца.»

Призывая къ себѣ на помощь дикаго тунгуса и друга степей калмыка, Пушкинъ поступаетъ очень разсчетливо и благоразумно, потому что легко можетъ случиться, что болѣе развитыя племена Россійской имперіи, именно финнъ и гордый (?) внукъ славянъ, въ самомъ непродолжительномъ времени жестоко обманутъ честолюбивыя и несбыточныя надежды искуснаго версификатора, самовольно надѣвшаго себѣ на голову вѣнецъ безсмертія, на который онъ не имѣетъ никакого законнаго права.

Любопытно замѣтить, что въ основаніе своего нерукотворнаго памятника Пушкинъ кладетъ такіе резоны, которые цѣликомъ заимствованы изъ осмѣяннаго и оплеваннаго имъ міросозерцанія *тупой черни*. Когда поэту приходится предъявлять свои права на безсмертіе, тогда онъ поневолѣ принужденъ заговорить серьезнымъ языкомъ мыслящаго реалиста; онъ признаетъ надъ собою судъ того народа, который прежде украшался обыкновенно эпитетомъ: «*безсмысленный*»; онъ заговариваетъ о *добрыхъ чувствахъ*, тогда какъ прежде у него шла рѣчь только о *сладкихъ звукахъ*; наконецъ онъ даже произноситъ слово «*полезенъ*» и соглашается такимъ образомъ вступить въ состязаніе съ *печными горшками*.

Эти невольныя уступки гордаго поэта доказываютъ очевидно, что утилитарныя аксіомы заключаютъ въ себѣ естественную, обязательную силу даже для тѣхъ поверхностныхъ умовъ, которые неспособны вывести изъ этихъ аксіомъ все основное направленіе собственной жизни и дѣятельности. Но, обнаруживая собою непоколебимую прочность утилитарныхъ истинъ, вынужденныя уступки эти конечно не могутъ принести ни малѣйшей пользы личному дѣлу самого Пушкина. Это дѣло окончательно проиграно, и уступки, сдѣланныя Пушкинымъ, даютъ мыслящимъ реалистамъ полное право осудить его безапелляціонно во имя тѣхъ самыхъ принциповъ, на которые онъ старается опереться и которые онъ слѣдовательно признаетъ истинными. «Я буду безсмертенъ,—говоритъ Пушкинъ,—потому что я пробуждалъ лирой добрыя чувства.»—«Позвольте, господинъ Пушкинъ,—скажутъ мыслящіе реалисты,—какія-же добрыя чувства вы пробуждали? Привязанность къ

Digitized by Google

друзьямъ и товарищамъ дѣтства? Но развѣ-же эти чувства нуждаются въ пробужденіи? Развѣ есть на свѣтѣ такіе люди, которые были-бы неспособны любить своихъ друзей? И развѣ эти каменные люди, – если только они существуютъ,—при звукахъ вашей лиры сдѣлаются нѣжными и любвеобильными?—Любовь къ красивымъ женщинамъ? Любовь къ хорошему шампанскому? Презрѣніе къ полезному труду? Уваженіе къ благородной праздности? Равнодушіе къ общественнымъ интересамъ? Робость и неподвижность мысли во всѣхъ основныхъ вопросахъ міросозерцанія? Лучшее изъ всѣхъ этихъ *добрыхъ чувствъ*, пробуждавшихся при звукахъ вашей лиры, есть, разумѣется, любовь къ красивымъ женщинамъ. Въ этомъ чувствѣ дѣйствительно нѣтъ ничего предосудительнаго, но, во-первыхъ, можно замѣтить, что оно достаточно сильно само по себѣ, безъ всякихъ искусственныхъ возбужденій; а во-вторыхъ, должно сознаться, что учредители новѣйшихъ петербургскихъ танцъ - классовъ умѣютъ пробуждать и воспитывать это чувство несравненно успѣшнѣе, чѣмъ звуки вашей лиры. Что-же касается до всѣхъ остальныхъ *добрыхъ чувствъ*, то было-бы несравненно лучше, если-бы вы ихъ совсѣмъ не пробуждали.»—«Я буду безсмертенъ,—говоритъ далѣе Пушкинъ,—потому что я былъ полезенъ.» – «Чѣмъ?» спросятъ реалисты, и на этотъ вопросъ не воспослѣдуетъ ни откуда никакого отвѣта.—«Я буду безсмертенъ,—говоритъ наконецъ Пушкинъ,—потому что я призывалъ милость къ падшимъ.» – «Господинъ Пушкинъ!—скажутъ реалисты,—мы совѣтуемъ вамъ обратиться съ этимъ аргументомъ къ тунгусамъ и къ калмыкамъ. Эти дѣти природы и друзья степей быть-можетъ повѣрятъ вамъ на-слово и поймутъ именно въ этомъ филантропическомъ смыслѣ ваши воинственныя стихотворенія, писанныя не во время войны, а послѣ побѣды. Что-же касается до *гордаго внука Славянъ*, до *Финна*, то эти люди уже слишкомъ испорчены европейской цивилизаціей, чтобы принимать воинственныя восклицанія за проявленіе кротости и человѣколюбія.»

X.

Я полагаю, что я могу теперь проститься съ Пушкинымъ, и что эта вторая статья (разборъ лирики) имѣетъ полное право сдѣлаться послѣдней. Принимаясь за эту работу, я вовсе не имѣлъ намѣренія представить читателямъ полный и подробный разборъ всѣхъ лирическихъ, эпическихъ и драматическихъ произведеній Пушкина. Предпринять такой объемистый и утомительный трудъ въ настоящее время значило-бы придавать вопросу о Пушкинѣ слишкомъ важное значеніе,—такое значеніе, котораго онъ уже не можетъ имѣть въ 1865 году. Приступая къ этой работѣ, я хотѣлъ только высказать громко и открыто и подкрѣпить фактическими доказательствами то мнѣніе, которое уже многіе мыслящіе люди составили себѣ о Пушкинѣ и о всѣхъ поэтахъ и художникахъ его школы.

Теперь это дѣло сдѣлано; въ такъ-называемомъ великомъ поэтѣ я показалъ моимъ читателямъ легкомысленнаго версификатора, опутаннаго мелкими предразсудками, погруженнаго въ созерцаніе мелкихъ личныхъ ощущеній и совершенно неспособнаго анализировать и понимать великіе общественные и философскіе вопросы нашего вѣка.

Если, паче чаянія, наши литературные противники представятъ мнѣ какія-нибудь дѣльныя возраженія, то я возвращусь къ вопросу о Пушкинѣ и разберу эти возраженія подробно и обстоятельно. Если-же—въ чемъ я почти не сомнѣваюсь — обожатели Пушкина отвѣтятъ мнѣ только скромнымъ молчаніемъ или безсильными воплями комическаго негодованія, то читающая публика увидитъ ясно, безъ всякихъ дальнѣйшихъ толкованій, полную ветхость того кумира, предъ которымъ, по старой привычкѣ и по обязанности службы, преклоняется до сихъ поръ все наше пишущее филистерство.

Въ заключеніе этой статьи я скажу еще нѣсколько словъ о Бѣлинскомъ. Я уже показалъ читателямъ, какимъ образомъ въ этомъ сильномъ умѣ происходила упорная борьба между реализмомъ и эстетикой. Я цитировалъ какъ тѣ мнѣнія Бѣлинскаго, въ которыхъ я соглашаюсь съ нимъ, такъ и тѣ, которыя всякаго мыслящаго реалиста заставятъ улыбнуться и пожать плечами. Но до сихъ поръ въ обѣихъ моихъ статьяхъ мнѣ приходилось гораздо чаще опровергать Бѣлинскаго, чѣмъ соглашаться съ нимъ; это обстоятельство можетъ дать о Бѣлинскомъ ложное понятіе тѣмъ читателямъ, которые мало знакомы съ его сочиненіями. Поэтому я считаю нелишнимъ дорисовать здѣсь ту сторону этой уважаемой личности, которую я поневолѣ долженъ былъ оставить въ тѣни, пока я возился съ усыпительными твореніями Пушкина. Я приведу изъ статей Бѣлинскаго нѣсколько выписокъ, характеризующихъ его взгляды на тѣ вопросы, за прямое и откровенное рѣшеніе которыхъ реальная критика подвергается до сихъ поръ самымъ ожесточеннымъ нападкамъ.

Вотъ напримѣръ что говоритъ Бѣлинскій о любви или, какъ онъ выражается, о романтизмѣ нашего времени: «Любовь зависитъ отъ сближенія, а сближеніе—отъ случайности. Не удалось здѣсь,—удастся тамъ; не сошлись съ одной, сойдетесь съ другой. Это опять не значитъ, чтобъ можно было полюбить или не полюбить по волѣ своей: это значитъ только то, что если каждый можетъ любить только извѣстный идеалъ, то никогда никакой идеалъ не является въ мірѣ въ одномъ экземплярѣ, но

Digitized by Google

существуетъ въ большемъ или въ меньшемъ числѣ видоизмѣненій и оттѣнковъ. Нашъ романтизмъ хлопочетъ не о томъ, однажды или дважды должно и можно любить въ жизни, но о томъ, чтобы не разбить другого предавшагося вамъ сердца и не быть причиной несчастья его жизни... Одинъ такъ, другой иначе; тотъ одинъ разъ въ жизни, а этотъ—десять разъ: оба равно правы, лишь-бы только на совѣсти котораго нибудь изъ нихъ не легло ничье несчастье.» Бѣлинскій говоритъ: «не сошлись съ одною, сойдетесь съ другою», а Базаровъ говоритъ: «нельзя, ну, и не надо; земля не клиномъ сошлась». Предоставляю читателю судить о томъ, велика-ли разница между обѣими формулами.

«Вѣрность,—говоритъ Бѣлинскій въ другомъ мѣстѣ,—перестаетъ быть долгомъ, ибо означаетъ только постоянное присутствіе любви въ сердцѣ: нѣтъ болѣе чувства—и вѣрность теряетъ свой смыслъ; чувство продолжается—вѣрность опять не имѣетъ смысла, ибо что за услуга быть вѣрнымъ своему счастью?»

Приглашаю тѣхъ господъ, которые возмущались безнравственностью романа «Что дѣлать?», направить свое великодушное негодованіе противъ Бѣлинскаго.

А вотъ какъ Бѣлинскій трактуетъ вѣрнаго рыцаря Тоггенбурга. «Подлинно—рыцарь печальнаго образа!.. Какъ жаль, что Шиллеръ воскресилъ его не совсѣмъ въ пору да во-время! Сердца холодныя и разочарованныя, души жестокія и прозаическія, мы жалѣемъ объ этомъ рыцарѣ, но не какъ о человѣкѣ, постигнутомъ рокомъ и несущемъ на себѣ тяжкое бремя *дѣйствительнаго* несчастья, а какъ о съумасшедшемъ.» Рѣшительно les beaux esprits se rencontrent: Базаровъ положительно удивлялся тому, что Тоггенбурга не посадили въ съумасшедшій домъ. Послѣ этого, опираясь на свидѣтельство Бѣлинскаго, осмѣлюсь спросить: неужто въ самомъ дѣлѣ съ моей стороны было неслыханной дерзостью назвать *добрякомъ* того поэта, у котораго достало добродушія на то, чтобы воспѣвать чувствительными стихами огорченія съумасшедшаго человѣка?

Вотъ, по мнѣнію Бѣлинскаго, что̀ долженъ дѣлать человѣкъ въ томъ случаѣ, если любимая имъ особа полюбила другого. «Въ такомъ случаѣ натурально, что ея внезапнаго къ нему охлажденія онъ не приметъ за преступленіе или такъ называемую на языкѣ пошлыхъ романовъ *невѣрность* и еще менѣе согласится принять отъ нея жертву, которая должна состоять въ ея готовности принадлежать ему даже и безъ любви и для его счастья отказаться отъ счастья новой любви, можетъ-быть бывшей причиной ея къ нему охлажденія. Еще болѣе естественно, что въ такомъ случаѣ ему остается сдѣлать только одно:—со всѣмъ самоотверженіемъ души любящей, со всей теплотой сердца, постигшаго святую тайну страданія, благословить *его* или *ее* на новую любовь и новое счастье, а свое страданіе, если нѣтъ силъ освободиться отъ него, глубоко схоронить отъ всѣхъ, и въ особенности отъ *него* или отъ *нея* въ своемъ сердцѣ.»

Прочитавши эти строки, можно представить себѣ, съ какимъ глубокимъ и сознательнымъ уваженіемъ отнесся-бы Бѣлинскій къ характеру и поступку Лопухова, и какую вдохновенную критическую статью написалъ-бы онъ по поводу того романа, на который такъ упорно и такъ тупо клеветали солидные люди нашей литературы. Изъ этого романа Бѣлинскій узналъ бы впрочемъ, что фантастическое и неправдоподобное *самоотверженіе* замѣняется въ подобныхъ случаяхъ совершенно удовлетворительно разумнымъ эгоизмомъ или правильнымъ пониманіемъ собственной выгоды.

А вотъ мысли Бѣлинскаго о ревности вообще и объ «Отелло» въ особенности: «Въ образованномъ человѣкѣ нашего времени шекспировъ «Отелло» можетъ возбуждать сильный интересъ, но съ тѣмъ однакожъ условіемъ, что эта трагедія есть картина того варварскаго времени, въ которое жилъ Шекспиръ и въ которое мужъ считался полновластнымъ господиномъ своей жены; всякій-же образованный человѣкъ нашего времени только разсмѣется отъ новыхъ Отелликовъ, вродѣ Марселя въ нелѣпой повѣсти Эжена Сю «Крао» и безсмысленнаго господина въ отвратительной повѣсти Дюма «Une Vengeance». Но люди, которымъ нужно доказывать, что въ наше время кинжалы, яды и даже пистолеты вслѣдствіе ревности суть не что иное, какъ пошлые театральные эффекты или результаты болѣзненнаго безумія, животнаго эгоизма и дикаго невѣжества,—такіе люди не стоятъ того, чтобъ тратить на нихъ слова.» Это мѣсто я привожу для тѣхъ господъ, которые были очень озадачены моимъ замѣчаніемъ на счетъ «Отелло», помѣщеннымъ въ статьѣ «Мотивы русской драмы».

Наконецъ вотъ вамъ еще слова Бѣлинскаго о родительской власти: «Еслибъ отецъ нашего времени сталъ отнимать у сына счастье его жизни, на основаніи собственныхъ корыстныхъ разсчетовъ,—всѣ-бы увидали, что отецъ любитъ себя, а не сына, и тѣмъ самымъ уничтожаетъ свои права надъ нимъ; ибо если нѣтъ любви, связывающей отца съ дѣтьми, то у дѣтей нѣтъ отца.» Коротко и ясно! Это мѣсто я рекомендую тому жалкому пигмею, который обвинялъ Помяловскаго въ стремленіи возстановлять дѣтей противъ родителей. Словомъ, на всѣхъ пунктахъ, кромѣ эстетики, наши противники, нападая на насъ, нападаютъ въ то-же время и на Бѣлинскаго, котораго они совершенно некстати *обзываютъ* своимъ учителемъ.

Digitized by Google

ПОДВИГИ ЕВРОПЕЙСКИХЪ АВТОРИТЕТОВЪ.

I.

Въ былое время,—когда пріемы и орудія наблюденія были очень несовершенны,—многіе умные и по тогдашнему ученые люди объясняли себѣ самымъ неосновательнымъ образомъ происхожденіе различныхъ мелкихъ животныхъ. Аристотель думалъ, что бо́льшая часть насѣкомыхъ родится сама собою изъ земли, изъ разлагающихся растеній или изъ частей тѣла другихъ животныхъ. Плутархъ полагалъ, что почва Египта порождаетъ изъ себя крысъ. Плиній принималъ за чистую истину разсказъ Виргилія о пчелахъ Аристея, родившихся изъ трупа быка. Еще въ XVII вѣкѣ ученый Кирхеръ утверждалъ очень серьезно, что мясо змѣи, высушенное и истолченное въ порошокъ, потомъ посѣянное въ землю и подвергнутое дѣйствію дождя, порождаетъ изъ себя червей, которые со временемъ превращаются въ змѣй. Но въ томъ-же XVII вѣкѣ начались основательныя изслѣдованія по вопросу о размноженіи насѣкомыхъ и другихъ мелкихъ животныхъ. Флорентійскій медикъ, Франциск Реди, доказалъ въ это время, что мелкіе червячки, покрывающіе разлагающееся мясо, родятся не изъ самаго мяса, а изъ яичекъ, положенныхъ на него различными породами мухъ. Ученикъ Франциска Реди, Валлисніери, объяснилъ точно такимъ-же образомъ присутствіе червячковъ въ различныхъ плодахъ. Современникъ Реди и Валлисніера, Сваммердамъ, произвелъ множество наблюденій надъ размноженіемъ пчелъ, вшей и разныхъ другихъ насѣкомыхъ. Оказалось, что всѣ они происходятъ отъ подобныхъ себѣ родителей и что ни одно изъ этихъ животныхъ не возникаетъ посредствомъ такъ называемаго *произвольнаго зарожденія* ни изъ земли, ни изъ растительныхъ веществъ, ни изъ тѣла другихъ животныхъ. Послѣ всѣхъ этихъ и многихъ другихъ изслѣдованій большинство ученыхъ стало относиться къ произвольному зарожденію съ крайней недовѣрчивостью и съ полнѣйшимъ презрѣніемъ.

Напуганные смѣшными ошибками старинныхъ натуралистовъ, они ударились въ противоположную крайность и смѣло причислили всякое произвольное зарожденіе къ тѣмъ миѳамъ, надъ которыми наука одержала рѣшительную побѣду. Однако въ концѣ того-же XVII столѣтія идея произвольнаго зарожденія нашла себѣ новый пріютъ, изъ котораго ее повидимому не выгонятъ никакія дальнѣйшія изслѣдованія. Дѣло въ томъ, что въ концѣ XVII вѣка Левенгукъ открылъ въ каплѣ дождевой воды цѣлый міръ микроскопическихъ животныхъ-растеній. Вслѣдъ затѣмъ тотъ-же изслѣдователь нашелъ, что міріады этихъ простѣйшихъ организмовъ, незамѣтныхъ для невооруженнаго глаза, развиваются съ изумительной быстротой во всякомъ настоѣ, то есть въ такой водѣ, въ которую положено какое-нибудь растительное вещество. Это свойство доставило микроскопическимъ животнымъ названіе *инфузорій*, то есть *наливчатыхъ* животныхъ. Возникъ, разумѣется, вопросъ: откуда берутся эти мельчайшіе организмы? Одни ученые стали поддерживать то мнѣніе, что они зарождаются въ самомъ настоѣ изъ частичекъ той матеріи, которая плаваетъ въ водѣ. Другіе высказали то предположеніе, что въ воздухѣ носятся тучи яичекъ и сѣмянъ, порожденныхъ прежними поколѣніями микроскопическихъ животныхъ и растеній, что эти яички и сѣмена падаютъ изъ воздуха въ настой и развиваются въ этомъ настоѣ. Первая доктрина называется теоріей произвольнаго зарожденія или *этерогеніей*. Вторая называется *панспермією*, то есть теоріей повсемѣстнаго присутствія зародышей. Чтобы окончательно рѣшить вопросъ въ пользу той или другой доктрины, надо было устроить такъ, чтобы настой находился въ соприкосновеніи съ воздухомъ, но чтобы этотъ воздухъ былъ совершенно очищенъ отъ всякихъ органическихъ зародышей. Если при этихъ условіяхъ въ настоѣ все-таки разовьется микроскопическое населеніе, тогда побѣда останется на сторонѣ этерогенистовъ. Если-же въ настоѣ не окажется ни растеній, ни животныхъ, тогда восторжествуютъ панспермисты. Очищеніе воздуха отъ органическихъ зародышей производится на основаніи самыхъ простыхъ соображеній. Всякому извѣстно, что изъ вареннаго яйца не выведется цыпленокъ и что вареный горохъ не даетъ ростка. Эти общеизвѣстныя явленія выражаютъ собою общій законъ, который распространяется на весь органическій міръ и состоитъ въ томъ, что всѣ растенія и всѣ животныя, всѣ сѣмена и всѣ яйца умираютъ, когда подвергаются такъ или иначе, дѣйствію очень сильнаго жара. Кромѣ того извѣстно, что очень сильныя кислоты также убиваютъ всякую органическую жизнь. Стало быть, чтобы уничтожить зародыши,

Digitized by Google

заключающіеся въ самомъ настоѣ, надо его вскипятить, а чтобы уничтожить эти зародыши въ томъ воздухѣ, который будетъ прикасаться къ настою во время опыта, надо пропускать этотъ воздухъ черезъ раскаленную трубку или черезъ пузырекъ, наполненный сѣрной кислотой. Въ тридцатыхъ годахъ нынѣшняго столѣтія нѣмецкій ученый Шульце сдѣлалъ нѣсколько опытовъ по данному вопросу, пропуская воздухъ черезъ сѣрную кислоту. Около того-же времени Шваннъ произвелъ такіе-же опыты, пропуская воздухъ черезъ раскаленную трубку. Въ обоихъ случаяхъ не получилось ни животныхъ, ни растеній; панспермисты восторжествовали и почислили вопросъ окончательно рѣшеннымъ. Парижская академія наукъ и всѣ европейскіе университеты признали произвольное зарожденіе суевѣрной фантазіей и совершенно успокоились на опытахъ Шванна и Шульце. Такимъ образомъ прошло двадцать лѣтъ. Въ концѣ 1858 года отпѣтый и похороненный вопросъ воскресъ съ новой силой. Одинъ изъ авторитетовъ ученаго міра, руанскій профессоръ Пуше, корреспондентъ парижской академіи наукъ, повторилъ со всевозможными предосторожностями опыты Шванна и Шульце, произвелъ множество самостоятельныхъ опытовъ и микроскопическихъ наблюденій и наконецъ, послѣ многолѣтнихъ трудовъ, извѣстилъ парижскую академію о томъ, что микроскопическія животныя и растенія возникаютъ и развиваются въ настояхъ при такихъ условіяхъ, при которыхъ ихъ появленіе можетъ быть объяснено только произвольнымъ зарожденіемъ. Академія взволновалась и громко выразила свое недовѣріе. Химикъ Дюма и физіологъ Мильнъ-Эдвардсъ стали утверждать въ публичномъ засѣданіи, что зародыши животныхъ и растеній попали въ аппараты Пуше изъ воздуха, что, по своей мелкости, эти зародыши могутъ пробраться въ сосуды, закупоренные самымъ тщательнымъ образомъ, и что, по своей живучести, эти зародыши могутъ съ полнымъ успѣхомъ сопротивляться жару, далеко превышающему температуру кипѣнія воды. Выдвигая противъ Пуше эти аргументы, Мильнъ-Эдвардсъ счелъ даже своимъ долгомъ извиниться передъ своими товарищами по академіи въ томъ, что разсуждаетъ въ ихъ присутствіи о вопросѣ, столь недостойномъ ихъ просвѣщеннаго вниманія. Нисколько не смущаясь величественнымъ презрѣніемъ Мильнъ-Эдвардса, Пуше подорвалъ аргументацію своихъ оппонентовъ въ самомъ основаніи. Прямыми микроскопическими наблюденіями надъ тѣми пылинками, которыя носятся въ воздухѣ, онъ доказалъ, что воздухъ не заключаетъ въ себѣ ни яичекъ, ни сѣмянъ; тѣ мельчайшія круглыя частички, которыя принимались прежними наблюдателями за яички и за сѣмена, оказались, по изслѣдованіямъ Пуше, des grains de fécule и des granules de silice, то-есть такими веществами, которыя не имѣютъ ничего общаго съ зародышами живыхъ организмовъ. Въ началѣ 1859 года итальянскій ученый Мантегацца пришелъ къ тѣмъ самымъ результатамъ, за которые боролся Пуше. Мантегацца видѣлъ собственными глазами, какъ возникали и развивались въ настоѣ *бактеріи*, одинъ изъ видовъ простѣйшихъ инфузорій. Онъ прослѣдилъ, посредствомъ самыхъ усидчивыхъ микроскопическихъ наблюденій, всѣ фазы развитія этихъ животныхъ и совершенно убѣдился въ томъ, что самыя яички формируются въ настоѣ. Академія поколебалась и 14 марта 1859 года предложила для конкурса на 1862 годъ тотъ самый вопросъ, который нѣсколько недѣль тому назадъ Мильнъ-Эдвардсъ находилъ недостойнымъ ея просвѣщеннаго вниманія. Въ августѣ того-же года вышелъ въ свѣтъ обширный ученый трудъ Пуше подъ слѣдующимъ заглавіемъ: «Hétérogénie ou Traité de la génération spontanée, basé sur des nouvelles expériences» («Этерогенія или трактатъ о произвольномъ зарожденіи, основанный на новыхъ опытахъ»). Эта книга, заключающая въ себѣ около 700 страницъ и наполненная фактическими доказательствами, убѣдила всѣхъ безпристрастныхъ спеціалистовъ. Академіи по настоящему оставалось только признаться въ томъ, что она ошибалась, и принять съ полной благодарностью новую теорію, какъ драгоцѣнный вкладъ французскаго мыслителя въ сокровищницу общечеловѣческой мысли. Ни одинъ изъ академиковъ не представилъ противъ книги Пуше ни малѣйшаго возраженія. Втеченіи шести мѣсяцевъ теорія произвольнаго зарожденія не находила себѣ во Франціи ни одного противника. Наконецъ, въ февралѣ 1860 года, на помощь къ смущенной академіи наукъ подоспѣлъ химикъ Пастёръ. Опыты этого ученаго привели его къ тому убѣжденію, что зародыши дѣйствительно носятся въ воздухѣ, но не повсемѣстно, и что число ихъ, смотря по обстоятельствамъ времени и мѣста, то увеличивается, то уменьшается. Пастеръ беретъ нѣсколько стеклянныхъ сосудовъ одинаковой величины, наливаетъ въ каждый изъ нихъ одинаковое количество настоя, кипятитъ ихъ и потомъ, во время кипѣнія воды, запаиваетъ узкія отверстія этихъ сосудовъ надъ огнемъ спиртовой лампы. Затѣмъ онъ переноситъ ихъ въ то мѣсто, гдѣ онъ хочетъ производить опыты надъ составомъ атмосферы, открываетъ ихъ тамъ, наполняетъ ихъ воздухомъ и потомъ опять запаиваетъ ихъ наглухо. Въ нѣкоторыхъ сосудахъ развивается органическая жизнь, а въ другихъ не развивается. Сравнивая число первыхъ съ числомъ вторыхъ, Пастеръ замѣчаетъ, что число вто-

Digitized by Google

рыхъ становится тѣмъ значительнѣе, чѣмъ чище и спокойнѣе воздухъ того мѣста, въ которомъ совершалось открытіе и наполненіе сосуда. Изъ двадцати сосудовъ, наполненныхъ воздухомъ у подошвы Юры, *девять* сосудовъ наполнились инфузоріями, а *одиннадцать* остались безплодными. Изъ двадцати сосудовъ, наполненныхъ воздухомъ на одной изъ вершинъ Юры, на высотѣ 850 метровъ надъ уровнемъ моря, *пять* сосудовъ наполнились инфузоріями, а *пятнадцать* остались безплодными. Наконецъ изъ двадцати сосудовъ, наполненныхъ воздухомъ на склонѣ Монблана, на высотѣ 2000 метровъ, *девятнадцать* остались безплодными и только *одинъ* наполнился инфузоріями. Изъ этихъ опытовъ Пастеръ выводитъ то заключеніе, что развитіе инфузорій въ настояхъ зависитъ отъ присутствія въ воздухѣ органическихъ зародышей: гдѣ эти зародыши особенно многочисленны, тамъ и инфузоріи развиваются особенно успѣшно; гдѣ этихъ зародышей почти совсѣмъ нѣтъ, тамъ и настой остается безплоднымъ. Свѣтила науки съ самой нѣжной любовью усыновили теорію Пастера и немедленно приняли творца этой теоріи подъ свое высокое покровительство. Отличіе Пастера отъ прежнихъ панспермистовъ состояло въ томъ, что прежніе признали *повсемѣстное* существованіе зародышей въ атмосферѣ, а Пастеръ признаетъ только *мѣстное* ихъ существованіе. Прежніе говорили *вездѣ*, а Пастеръ говоритъ *кое-гдѣ*. Поэтому доктрина Пастера, въ отличіе отъ прежней *пансперміи*, называется *полупансперміей* (demi-panspermie) или *мѣстной пансперміей* (panspermie localisée).—Въ то время, когда Пастеръ своей полу-пансперміей покорялъ сердца парижскихъ академиковъ, въ академію было прислано изъ Тулузы «*Микроскопическое изслѣдованіе воздуха*», ученая работа профессора Жоли и доктора естественныхъ наукъ Мюссе. Въ этой работѣ говорилось, что въ воздухѣ нѣтъ ни яичекъ, ни сѣмянъ. Вскорѣ послѣ того Жоли и Мюссе, посредствомъ собственныхъ опытовъ, убѣдились въ томъ, что Пуше совершенно правъ, и что произвольное зарожденіе составляетъ дѣйствительно существующій фактъ. Съ этой минуты они сдѣлались постоянными союзниками Пуше въ той упорной борьбѣ, которая завязалась по вопросу о произвольномъ зарожденіи между научной истиной съ одной стороны и парижской академіей, усыновившей Пастера съ другой стороны. Ученыя заслуги Пастера, какъ химика, не подлежатъ сомнѣнію; ученая репутація Мильнъ-Эдвардса, Дюма, Флуранса, Клода - Бернара и другихъ противниковъ этерогеніи также совершенно незыблема; но въ настоящее время поле науки до такой степени обширно и раздѣленіе научнаго труда дошло уже до такихъ размѣровъ, что изслѣдователи принуждены выбирать себѣ не только отдѣльную науку, но еще кромѣ того отдѣльную часть отдѣльной науки. Можно быть превосходнымъ зоологомъ и въ то-же время имѣть самыя общія и неопредѣленныя понятія объ отдѣльныхъ видахъ микроскопическихъ животныхъ, объ ихъ яичкахъ и о томъ, какъ они развиваются. Кто хочетъ дойти до такого совершенства, чтобы узнавать безошибочно одну породу инфузорій отъ другой и яички одной породы отъ яичекъ другой, тотъ конечно долженъ провести надъ сильнѣйшимъ микроскопомъ значительную долю своей жизни. Пастеру, какъ химику, разумѣется, объ этомъ нечего было и думать. Поэтому онъ очень удивился, когда этерогенисты потребовали отъ него, чтобы онъ показалъ и назвалъ поименно тѣ яички и сѣмена, которыя, по его мнѣнію, носятся въ воздухѣ. «Можно-ли сказать,—отвѣчалъ онъ имъ съ трогательной откровенностью:—вотъ это сѣмячко, а вотъ это яичко? И это даже не все; Пуше хочетъ кромѣ того, чтобы я сказалъ: вотъ это сѣмячко такой-то плѣсени, а вотъ это яичко такой-то инфузоріи. Право, мнѣ это кажется невозможнымъ. Можно только подмѣтить внѣшнее сходство этихъ частичекъ съ зародышами низшихъ организмовъ вотъ и все.»—Для жестокаго Пуше этого было мало, потому что онъ самъ показывалъ своимъ слушателямъ въ Руанѣ яички и сѣмена, называлъ ихъ поименно и слѣдилъ за различными фазами ихъ развитія. Изъ ученыхъ покровителей Пастера, ни Мильнъ-Эдвардсъ, ни Флурансъ, ни Бернаръ не занимались спеціально микроскопической эмбріологіей, и въ то-же время ни одинъ изъ нихъ не хотѣлъ откровенно признаться въ собственной некомпетентности. Изъ этого обстоятельства получился тотъ уродливый результатъ, что спеціалисты Пуше, Жоли и Мюссе принуждены были подвергать свои труды суду такихъ людей, которые въ данномъ отдѣлѣ науки годились имъ въ ученики, но которые зато, въ качествѣ заслуженныхъ академиковъ, были гораздо старше ихъ по чину. Изученіе природы было такимъ образомъ поставлено въ прямую зависимость отъ табели о рангахъ.

II.

Пастеръ, успѣвшій вытащить заслуженныхъ академиковъ изъ того затруднительнаго положенія, въ которое поставила ихъ невозможность опровергнуть ученый трудъ Пуше, Пастеръ, говорю я, сталъ быстро хватать одно академическое отличіе за другимъ. Въ декабрѣ 1861 академія присудила ему жекеровскую премію; черезъ годъ его выбаллотировали въ академики и вскорѣ послѣ этихъ выборовъ, въ послѣднихъ числахъ 1862 года, ему прису-

Digitized by Google

дили премію за обсужденіе вопроса о произвольномъ зарожденіи. Присужденіе этой послѣдней преміи было особенно замѣчательно. Комиссія, которой поручено было разсматривать сочиненія, представленныя на конкурсъ, была составлена изъ пяти членовъ. Вотъ ихъ имена: Мильнъ-Эдвардсъ, Флурансъ, Броньяръ, Серръ и Изидоръ Жоффруа - Сентъ - Илеръ. Первые трое были отъявленными противниками этерогеніи. Послѣдніе два не имѣли противъ нея никакихъ теоретическихъ предубѣжденій. Пуше написалъ для конкурса новую книгу подъ заглавіемъ: «Nouvelles expériences sur la génération spontanée et la résistance vitale» («Новые опыты на счетъ произвольнаго зарожденія и на счетъ живучести организмовъ»). Это сочиненіе однако не попало на конкурсъ, и Пуше въ предисловіи къ нему объясняетъ причины этого послѣдняго обстоятельства. «Хотя,—говоритъ онъ,—въ комиссіи противники этерогеніи имѣли на своей сторонѣ большинство, я однако не унывалъ. Я надѣялся, что серьезный трудъ, наполненный добросовѣстными изслѣдованіями, найдетъ себѣ достаточную защиту со стороны Жоффруа и Серра, которые одни только не имѣли предвзятыхъ намѣреній.—Жоффруа умеръ, и у меня остался одинъ Серръ, который предупреждалъ меня, что его безъ сомнѣнія отзовутъ изъ комиссіи. Я считалъ это невозможнымъ. Однако случилось именно такъ. Въ комиссію вступили Костъ и Клодъ-Бернаръ; такимъ образомъ вся комиссія оказалась составленной изъ противниковъ этерогеніи. Я все-таки оставался при прежнемъ своемъ намѣреніи. Но, когда я имѣлъ честь побывать у Мильнъ-Эдвардса, онъ сказалъ мнѣ напрямикъ: «я даю премію Пастеру, потому что я видѣлъ его опыты и они совершенно убѣдили меня». Этотъ пріемъ сразу поражалъ остракизмомъ всю провинцію. Я немедленно объявилъ знаменитому зоологу, что я отказываюсь отъ конкурса. Моему примѣру послѣдовали господа Жоли и Мюссе, двое самыхъ замѣчательныхъ и ученыхъ защитниковъ этерогеніи.» Вотъ какія удивительныя дѣла творятся въ наше время въ знаменитѣйшей изъ европейскихъ академій. Однако неугомонные этерогенисты оказались такими жестокосердыми и неделикатными людьми, что продолжали огорчать и волновать несчастную академію различными заявленіями, которыя очевидно были для нея совершенно неинтересны и даже въ высшей степени непріятны. Академіи не угодно было, чтобы микроскопическія животныя и растенія развивались сами собою въ настояхъ; академія уже достаточно ясно выразила свое полное отвращеніе къ теоріи Пуше и свое столь-же полное сочувствіе къ доктринѣ Пастера. Этерогенистамъ очевидно оставалось только взглянуть на табель о рангахъ, смириться духомъ и раскаяться въ томъ, что они, помимо старшихъ чиновниковъ науки, осмѣлились дѣлать открытія и создавать теоріи. Пуше, Жоли и Мюссе поступили какъ-разъ наоборотъ. Въ 1863 году они втроемъ отправились нарочно въ Пиренейскія горы и взлѣзли на вершину Маладетты, чтобы произвести тамъ надъ стеклянными сосудами тѣ операціи, которыя были произведены Пастеромъ на Юрѣ и на Монбланѣ. На вершинѣ Маладетты, среди вѣчныхъ снѣговъ, этерогенисты вскрыли, наполнили воздухомъ и запаяли снова восемь стеклянныхъ сосудовъ. Такъ какъ высота Маладетты вовсе не уступаетъ высотѣ того пункта на Монбланѣ, на которомъ Пастеръ производилъ свои опыты, и такъ какъ воздухъ среди вѣчныхъ снѣговъ долженъ быть одинаково чистъ въ Альпахъ и въ Пиренеяхъ, то, принимая въ соображеніе результаты, полученные Пастеромъ (изъ 20 сосудовъ 19 безплодныхъ), надо было ожидать, что всѣ восемь сосудовъ Пуше, Жоли и Мюссе останутся не населенными. Вышло какъ разъ наоборотъ. Всѣ восемь обнаружили въ себѣ на пятый день присутствіе растительной и животной жизни. Этимъ извѣстіемъ злобные этерогенисты не преминули огорчить несчастную академію. Академія, какъ и слѣдовало ожидать, заткнула себѣ уши, зажмурила глаза и, отмахиваясь руками, стала повторять на разные лады, что ея Пастеръ—отличный человѣкъ, что онъ сдѣлалъ множество превосходнѣйшихъ опытовъ, что вопросъ окончательно рѣшенъ и что отъ добра добра не ищутъ. Зоологи: Мильнъ-Эдварсъ и Катрфажъ, химики: Реньо и Сентъ-Клеръ-Девиль, и самъ непремѣнный секретарь академіи, Флурансъ, въ публичномъ засѣданіи стали распинаться за безукоризненность пастеровыхъ опытовъ. Злые люди сомнѣваются впрочемъ въ томъ, чтобы химики могли быть компетентными судьями въ запутанномъ физіологическомъ вопросѣ; злые люди припоминаютъ кромѣ того нѣкоторые опыты самого Мильнъ-Эдвардса и нѣкоторыя наблюденія самого Катрфажа, которые никакъ не могутъ быть названы безукоризненными; Мильнъ-Эдвардсъ держалъ настой въ безвоздушномъ пространствѣ и потомъ праздновалъ побѣду надъ теоріей произвольнаго зарожденія, опираясь на то обстоятельство, что въ этомъ настоѣ не появлялось ни животныхъ, ни растеній. Катрфажъ принималъ круглыя и овальныя пылинки, попадающіяся въ воздухѣ, за яички и сѣмена и успокоился на этомъ вѣрованіи, не подвергая его дальнѣйшему анализу. Наконецъ злые люди не оставляютъ въ покоѣ даже непремѣннаго секретаря академіи. О немъ разсказываются во французской печати слѣдующія двѣ легенды, которыя конечно даютъ достаточное понятіе о злости и коварствѣ его враговъ,

Digitized by Google

осмѣливѣшихся взводить на него такую напраслину: «Однажды,—пишетъ злой человѣкъ, Викторъ Менье,—одинъ этерогенистъ вручилъ одну стклянку одному изъ членовъ академіи наукъ. Эта стклянка заключала въ себѣ обильную растительность aspergillus'овъ, образовавшихъ въ ней роскошный зеленый коверъ. Къ несчастью (точно-ли это несчастье?), этерогенистъ забылъ сказать академику, своему судьѣ, названіе той вещи, которую онъ ему показывалъ.

Со стклянкой въ лѣвой рукѣ, съ лупой въ правой, приклеившись глазомъ къ увеличительному стеклу, авторитетъ долго предавался созерцанію. Затѣмъ, ставя стклянку на столъ: «хорошо!—сказалъ онъ.—Покажите-же вы мнѣ теперь эти знаменитые aspergillus, о которыхъ было говорено такъ много.»

«— T. I. R. пріѣзжалъ ко мнѣ; онъ видѣлъ мои опыты; онъ уѣхалъ окончательно убѣжденный, говорилъ тотъ-же этерогенистъ тому же академику.

«— Это не авторитетъ!

«— Но этерогенія, осмѣянная во Франціи, съ каждымъ днемъ привлекаетъ къ себѣ новыхъ приверженцевъ въ заграничныхъ академіяхъ и университетахъ.

«— (Ударяя себя въ грудь.) Нѣтъ другой академіи наукъ!

«— Но вашъ товарищъ по академіи T. C. видѣлъ и остался доволенъ.

«— Ахъ! видите-ли, надо, чтобы я самъ провѣрилъ ваши опыты.

«— Я къ вашимъ услугамъ. Я пробуду здѣсь двѣ недѣли, мѣсяцъ...

«— Нѣтъ, мои занятія... слабость моего здоровья...

«Тѣмъ дѣло и кончилось. Можетъ-быть я поступаю нескромно, но я знаю навѣрное, что я не искажаю фактовъ. Возвращаясь къ г. Флурансу (точно-ли мы разставались съ нимъ?), я замѣчу, что этотъ физіологъ въ жизни своей не сдѣлалъ ни одного опыта, относящагося къ этерогеніи.» («La science et les savants en 1864»), Однако, какія-бы неправдоподобныя легенды ни распространяли злые люди, академія, проникнутая высокимъ сознаніемъ своего генеральскаго чина, сдѣлала свое дѣло очень успѣшно. Ея непоколебимая ненависть къ этерогеніи навела такой ужасъ на огромное большинство оффиціальныхъ представителей французской науки, что очень многіе тайные доброжелатели отверженной теоріи остерегаются выражать громко свои грѣховныя симпатіи, потому что эти симпатіи съ величайшимъ удобствомъ могутъ совершенно испортить ихъ ученую карьеру. Однажды Пуше получилъ отъ *одного изъ самыхъ замѣчательныхъ профессоровъ медицинскаго факультета* сочувственное письмо, изъ котораго онъ въ своей послѣдней книгѣ напечаталъ слѣдующій отрывокъ: «Съ тѣхъ поръ, какъ я вышелъ изъ классическихъ пеленокъ, и съ тѣхъ поръ, какъ я началъ размышлять собственнымъ умомъ, я примкнулъ къ приверженцамъ произвольнаго зарожденія, и въ настоящее время я дивлюсь только тому, какимъ образомъ есть до сихъ поръ умные люди, способные удовлетвориться смѣшной выдумкой панспермiи! Но вы не надѣйтесь, чтобы кто-нибудь изъ панспермистовъ обратился на путь истины. Чѣмъ пристальнѣе я изучаю ходъ прогресса, тѣмъ сильнѣе я убѣждаюсь въ томъ, что только коса времени способна его осуществить, потому что только одна смерть побѣждаетъ упрямство ученыхъ.» Авторъ этого письма не уполномочилъ Пуше назвать его по имени. Онъ не желаетъ ссориться съ академическимъ генералитетомъ, и поэтому не осмѣливается заявить публично свое мнѣніе объ отверженномъ ученіи этерогенистовъ «Да,—замѣчаетъ по этому случаю Менье,—есть такія научныя истины, о которыхъ неудобно говорить; кто не хочетъ жертвовать собою, тому часто приходится жертвовать истиной; кто не имѣетъ мѣста и желаетъ его получить; кто лишенъ рабочихъ инструментовъ и желаетъ пріобрѣсти казенную лабораторію; кто, по недостатку средствъ, не можетъ работать и проситъ себѣ денежнаго вспомоществованія; кто, доведя работу до конца, стремится къ преміи или къ почетному отзыву; кто, живя въ захолустьѣ, мечтаетъ о томъ, чтобы его вызвали въ Парижъ; кто, будучи честнымъ человѣкомъ, желаетъ украсить свою петлицу видимыми знаками своихъ достоинствъ; кто, будучи кавалеромъ (Почетнаго Легіона), хочетъ сдѣлаться офицеромъ того-же ордена; кто, непричастный къ академіи, жаждетъ получить титулъ корреспондента; кто, сдѣлавшись корреспондентомъ, стремится сдѣлаться членомъ; кто, занимая одну каѳедру, простираетъ свои виды на другую и т. д.,—всѣ такіе ученые осуществятъ свои стремленія только въ томъ случаѣ, если они будутъ служить въ одно время, но не съ одинаковымъ усердіемъ, двумъ господамъ, напримѣръ астрономіи и господину такому-то, физіологіи и господину такому-то, химіи и господину такому-то, зоологіи и господину такому-то, искусственному разведенію устрицъ и господину такому-то.»

III.

Распря между наукой и академическими генералами продолжалась уже пять лѣтъ, когда наконецъ, въ ноябрѣ 1863 года, этерогенисты Жоли и Мюссе сдѣлали академіи слѣдующее предложеніе: «Есть возможность,—писали они,—рѣшить очень просто этотъ безконечный споръ. Пусть академія наукъ соблаговолитъ назначить

Digitized by Google

комиссію, передъ которой г. Пастеръ и мы повторимъ главные опыты, на которыхъ основываются, съ этой и съ другой стороны, столь противоположныя заключенія. Что касается до насъ, то мы считали бы себя счастливыми, еслибы знаменитое общество обратило серьезное вниманіе на ту просьбу, которую мы осмѣливаемся передъ нимъ выразить.» — Когда это письмо было прочитано въ засѣданіи академіи, тогда Пастеръ изъявилъ съ своей стороны полное согласіе. Двѣ недѣли спустя послѣ этого засѣданія, Пуше также присоединился къ прошенію своихъ союзниковъ, Жоли и Мюссе. Въ декабрѣ президентъ академіи, генералъ Моренъ, назначилъ членами комиссіи Флуранса, Дюма, Мильнъ-Эдвардса, Броньяра и Балара. Любопытно замѣтить, что этотъ генералъ Моренъ, тотъ самый, который, по мнѣнію «Московскихъ Вѣдомостей», можетъ рѣшать безапелляціонно вопросъ о классицизмѣ и реализмѣ, подобралъ для комиссіи такихъ людей, которые несчетное число разъ декламировали противъ этерогеніи и которыхъ слѣдовательно личное самолюбіе сильнѣйшимъ образомъ побуждало къ тому, чтобы оправдать Пастера и обвинить Пуше, Жоли и Мюссе. — Противъ своеобразнаго распоряженія генерала Морена не возражалъ ни одинъ изъ присутствовавшихъ академиковъ; такая манера составлять комиссіи очевидно начинаетъ обращаться въ привычку; комиссія по поводу конкурса была составлена точно такимъ-же образомъ. Флурансу, Мильнъ-Эдвардсу и Броньяру, увѣнчавшимъ Пастера и отстранившимъ отъ конкурса *всю провинцію* этерогенистовъ, предстоялъ теперь удобный случай забрать этихъ этерогенистовъ живьемъ и приковать ихъ къ тріумфальной колесницѣ великаго изобрѣтателя полупансперміи. Можно было сомнѣваться только въ одномъ: именно въ томъ, окажутся-ли этерогенисты настолько добродушными и довѣрчивыми, чтобы, по собственному желанію, отдаться въ руки тѣхъ самыхъ судей, которые уже одинъ разъ заявили блистательно въ отношеніи къ нимъ все величіе своего безпристрастія и своей компетентности. Можно было думать, что, увидѣвъ слишкомъ знакомыя имена: Мильнъ-Эдвардса, Флуранса и Броньяра, они примутъ такой составъ комиссіи за пріятную шутку со стороны генерала Морена и отвѣтятъ этому любимцу «Московскихъ Вѣдомостей», что если ему угодно шутить, то имъ нисколько не угодно тратить время на безполезное путешествіе въ Парижъ и на увеселеніе чиновныхъ благодѣтелей счастливаго полупансперміста. Однако вышло совсѣмъ не то. Этерогенисты оказались невинными дѣтьми золотого вѣка, и даже самъ Пуше, описавшій въ предисловіи къ своей книгѣ свой оригинальный разговоръ съ Мильнъ-Эдвардсомъ по поводу конкурса, даже самъ Пуше согласился подчиниться суду комиссіи, составленной генераломъ Мореномъ. Конечно такая идиллическая довѣрчивость заслуживала строгаго наказанія, и академики дѣйствительно позаботились о томъ, чтобы ихъ опрометчивые противники перечувствовали понемногу всѣ непріятности, составляющія естественное слѣдствіе ихъ непростительной неосторожности. Комиссія пригласила этерогенистовъ пріѣхать въ Парижъ въ первыхъ числа марта. Этерогенисты отвѣчали на это приглашеніе, что для полнаго успѣха ихъ опытовъ необходима лѣтняя температура, которая не можетъ быть замѣнена въ этомъ случаѣ никакими искусственными средствами; поэтому они попросили себѣ отсрочки до іюня. Пастеръ конечно не замедлилъ возликовать публично. Онъ всталъ и въ полномъ засѣданіи академіи громко выразилъ свое изумленіе по поводу той отговорки, которую представляютъ Пуше, Жоли и Мюссе. «Что касается до меня — прибавилъ онъ, — то я спѣшу объявить, что я готовъ къ услугамъ академіи: лѣтомъ, весною и во всякое другое время года, — я всегда могу повторить мои опыты.» Своей смѣлой рѣчью и своей всегдашней готовностью Пастеръ хотѣлъ оттѣнить съ самой невыгодной стороны робость и уклончивость своихъ противниковъ; друзья Пастера, разумѣется, оцѣнили вполнѣ его несокрушимую храбрость и съ великодушіемъ, достойнымъ ихъ высокаго чина, согласились дать просимую отсрочку его трепещущимъ противникамъ. Геройское мужество Пастера и позорное малодушіе этерогенистовъ объясняются совершенно удовлетворительно особенными свойствами ихъ противоположныхъ доктринъ. Представьте себѣ, что Пастеръ и Пуше производятъ одновременно одинъ и тотъ-же опытъ надъ одинаковымъ количествомъ стеклянныхъ сосудовъ, заключающихъ въ себѣ одинаковыя порціи одного и того-же настоя. Спрашивается, какой результатъ долженъ получить Пуше для того, чтобы отстоять свою теорію? Очевидно тотъ результатъ, чтобы всѣ его сосуды наполнились животными и растеніями. Если изъ сотни его сосудовъ *одинъ* останется безплоднымъ, то противники его скажутъ тотчасъ, что остальные девяносто-девять наполнились инфузоріями, только благодаря случайному присутствію органическихъ зародышей въ окружающей атмосферѣ. Полупансперміа отпразднуетъ тотчасъ шумную и блистательную побѣду. Если возникновеніе органической жизни составляетъ естественное и необходимое слѣдствіе извѣстныхъ условій, то органическая жизнь должна развиваться всегда и вездѣ, когда и гдѣ оказываются эти условія. Исключеній быть не можетъ, потому что законы природы никакихъ исключеній не допускаютъ. Поэтому понятно, что Пуше и его товарищи соглашались производить свои опыты только лѣтомъ, то есть тогда, ко-

Digitized by Google

гда соединяются всѣ условія, необходимыя для возбужденія органической жизни.—А какой-же результатъ долженъ получить Пастеръ для того, чтобы отстоять свою полупансперміи?—Какой угодно результатъ. Ему рѣшительно все равно. Его теорія особенно удобна въ томъ отношеніи, что она даетъ ему возможность выигрывать процессъ во всякомъ случаѣ. Если вся сотня сосудовъ наполнится животными и растеніями, то Пуше конечно окажется правъ, но и Пастеръ тоже окажется правъ. Пастеръ скажетъ только, что въ воздухѣ носились во время открыванія сосудовъ цѣлыя тучи органическихъ зародышей. Если вся сотня останется безплодной, то Пуше будетъ разбитъ на голову, а Пастеръ восторжествуетъ. Онъ скажетъ, что воздухъ былъ совершенно чистъ. Если въ однихъ сосудахъ появится органическая жизнь, а въ другихъ не появится, то Пуше опять будетъ разбитъ на голову, а Пастеръ не будетъ знать границъ своему ликованію. Вотъ она и есть, моя полупансперміи, скажетъ онъ съ гордостью. Въ однихъ мѣстахъ попались зародыши, а въ другихъ не попались. Вы видите такимъ образомъ, что Пастеръ непобѣдимъ и неуязвимъ. Его опыты не допускаютъ никакой неудачи, то есть нѣтъ возможности придумать такую комбинацію, при которой эти опыты повернулись-бы противъ его теоріи. Мильнъ-Эдвардсъ въ одной изъ своихъ статей, помѣщенныхъ въ январскомъ номерѣ «Annales de Zoologie» за 1865 годъ, даетъ намъ наглядное доказательство этой истины. Онъ упоминаетъ объ опытахъ Пуше, Жоли и Мюссе на вершинѣ Маладетты и находитъ, что эти опыты ровно ничего не доказываютъ въ пользу этерогеніи и противъ полупансперміи. «Если,—говоритъ онъ,—мы предположимъ, что опыты Пуше, Жоли и Мюссе были сдѣланы правильно, то и тогда эти опыты доказываютъ только, что въ томъ мѣстѣ и въ ту минуту, гдѣ и когда восемь сосудовъ этихъ натуралистовъ наполнялись воздухомъ, атмосфера заключала въ себѣ больше органической пыли, чѣмъ сколько ея было на вершинѣ Юры въ то время, когда тамъ находился Пастеръ.» Послѣ этого понятно, что Пастеръ обнаруживаетъ несокрушимую храбрость и вызывается повторять свои опыты днемъ и ночью, зимою и лѣтомъ, на экваторѣ и за полярнымъ кругомъ. Понятно также, что въ этомъ отношеніи этерогенисты никакъ не могутъ за нимъ угоняться. Покуражившись надъ малодушными этерогенистами въ академіи, Пастеръ вслѣдъ затѣмъ употребилъ всѣ усилія, чтобы очернить, опоплить и осмѣять ихъ передъ парижскимъ beau monde въ публичной лекціи, читанной по спорному вопросу въ Сорбоннѣ 7-го апрѣля 1864 года. Онъ началъ свою лекцію съ того, что обвинилъ этерогенистовъ въ матеріализмѣ и въ атеизмѣ. «Какое торжество, милостивые государи,—сказалъ онъ,—какое торжество для матеріализма, еслибы онъ могъ утверждать, что матерія дѣйствительно организуется и оживляется сама собою; матерія, которая уже заключаетъ въ себѣ всѣ извѣстныя силы... Ахъ! еслибы мы еще могли придать ей ту силу, которая называется жизнью, еслибы мы могли придать ей такую жизнь, которая видоизмѣнялась бы въ своихъ проявленіяхъ вмѣстѣ съ условіями нашихъ опытовъ, то естественнымъ образомъ мы должны были-бы придти къ обготворенію этой самой матеріи. Къ чему тогда допускать первобытное твореніе, передъ тайной котораго мы поневолѣ должны преклоняться? Къ чему тогда идея Бога-Создателя?» Доказавши добродушнымъ парижанамъ посредствомъ такихъ восклицательныхъ и вопросительныхъ тирадъ, что Пуше и его союзники—великіе грѣшники, праведный Пастеръ началъ доказывать такими-же солидными аргументами, что Пуше и его союзники—плохіе экспериментаторы, диллетанты въ наукѣ и ограниченные люди, неспособные построить ни одного правильнаго силлогизма. Чтобы убить этерогенистовъ насмѣшками, Пастеръ откопалъ въ лѣтописяхъ науки опыты Ванъ-Гельмонта, жившаго въ XVII вѣкѣ и утверждавшаго съ свойственной тогдашнимъ людямъ серьезностью, что мыши родятся отъ химическаго дѣйствія грязнаго бѣлья на хлѣбныя зерна. Этими мышами Ванъ-Гельмонта остроумный Пастеръ настойчиво колетъ глаза современнымъ этерогенистамъ; онъ проводитъ язвительную параллель между ихъ опытами и опытами Ванъ-Гельмонта, и публика, разумѣется, приходитъ въ восхищеніе, смѣется и апплодируетъ, во-первыхъ потому, что ей очень пріятно понимать совершенно ясно несостоятельность теоріи Ванъ-Гельмонта, во-вторыхъ потому, что ей еще болѣе пріятно видѣть передъ собою на каѳедрѣ любезнаго шутника, превращающагося по временамъ въ пламеннаго защитника оскорбляемой нравственности, и въ-третьихъ потому, что ей всего пріятнѣе безъ всякаго умственнаго напряженія относиться сверху внизъ къ трудамъ и размышленіямъ серьезныхъ работниковъ, подобныхъ Пуше, Жоли и Мюссе. Овладѣвши такимъ образомъ вниманіемъ и благосклонностью своихъ безхитростныхъ слушателей, искусный Пастеръ начинаетъ безбоязненно хвалить и величать самого себя, какъ разрушителя всякихъ гелмонтовскихъ фантасмагорій, и предается этому сладостному занятію до самаго конца своей лекціи. Когда лекція Пастера появилась въ печати, Викторъ Менье принялъ на себя трудъ сосчитать, сколько разъ въ этой лекціи употреблено мѣстоименіе *я*. Оказалось, что оно встрѣчается въ ней *сто тридцать семь* разъ. Еслибы Пастеру заблагоразсудилось прочитать публикѣ обширную главу изъ своей автобіографіи, то и

Digitized by Google

тогда его собственная особа врядъ-ли могла-бы играть въ его лекціи болѣе значительную роль. Даже академическіе благодѣтели краснорѣчиваго Пастера нашли послѣ этой лекціи, что полупансперміистское усердіе ихъ protégé завлекло его слишкомъ далеко и заставило его хватить черезъ край. На нѣкоторыхъ не совсѣмъ наивныхъ слушателей Пастера его тирады, его сарказмы, его самохвальство и весь догматическій тонъ его лекціи произвели самое непріязненное впечатлѣніе. «Я вошелъ сюда,—сказалъ одинъ журналистъ, обращаясь къ Менье,—не имѣя никакого опредѣленнаго мнѣнія о произвольныхъ зарожденіяхъ. Я ухожу отсюда съ полнымъ убѣжденіемъ, что Пастеръ ошибается, и я это напечатаю.» Само собою разумѣется, что далеко не всѣ журналисты взглянули на дѣло съ этой точки зрѣнія, и что у Пастера нашлось между пишущими и печатающими людьми достаточное количество панегиристовъ. «Надо было,—писалъ объ его лекціи іезуитъ Муаньо въ одномъ изъ періодическихъ изданій,—надо было обратить къ спиритуализму скептиковъ и матеріалистовъ. Пастеръ сознавалъ свою миссію; онъ чувствовалъ, что на немъ лежитъ обязанность спасать человѣческія души.» Ученые благодѣтели произвели Пастера въ академики; клерикальная партія провозглашаетъ его пастыремъ человѣческихъ душъ; немудрено, что, снискавъ себѣ своей догадливостью такую сильную и разнообразную протекцію, безукоризненный Пастеръ сдѣлается со временемъ сенаторомъ и министромъ. Что-же касается до его противниковъ, то, разумѣется, они не получатъ ничего, кромѣ всемірной и вѣчной извѣстности. О такихъ неосязательныхъ пустякахъ благоразумные люди никогда не заботятся.

IV.

Въ половинѣ іюня 1864 года этерогенисты пріѣхали въ Парижъ. Первое засѣданіе комиссіи показало имъ немедленно, съ кѣмъ они имѣютъ дѣло и въ какомъ направленіи будетъ происходить все изслѣдованіе. Мильнъ-Эдвардсъ съ свойственнымъ ему юпитерствомъ сказалъ имъ прямо: «Вы будете дѣлать то, что мы вамъ скажемъ, и такъ, какъ мы того пожелаемъ.» Флурансъ въ частномъ разговорѣ съ этерогенистами увѣрялъ ихъ, что комиссія предоставитъ имъ полную свободу въ выборѣ и въ расположеніи тѣхъ опытовъ, на которыхъ они основывали свою теорію, но въ засѣданіи комиссіи тотъ-же Флурансъ примкнулъ къ Мильнъ-Эдвардсу и къ его союзнику Броньяру. Остальные члены комиссіи, химики Дюма и Баларъ, соглашаясь съ своими товарищами, хотѣли совершенно устранить изъ программы испытанія все, что выходило за предѣлы органической химіи и относилось къ области физіологіи. Словомъ, комиссія требовала единогласно, чтобы этерогенисты сдѣлали опытъ Пастера и чтобы, кромѣ этого опыта, они не дѣлали ровно ничего. Но, какъ мы уже видѣли въ предыдущей главѣ, самъ Мильнъ-Эдвардсъ объявляетъ печатно, что опытъ Пастера, при какомъ угодно исходѣ, не даетъ никакого доказательства въ пользу произвольнаго зарожденія. Значитъ, принуждая этерогенистовъ ограничиваться опытомъ Пастера, комиссія заранѣе отнимала у нихъ всякую возможность доказать вѣрность ихъ теоріи. Комиссія заставляла этерогенистовъ играть въ такую игру, въ которой для нихъ не было выигрыша. На это этерогенисты, разумѣется, не могли согласиться. Не отказываясь повторить опытъ Пастера, они говорили въ то-же время, что этотъ опытъ самъ по себѣ ничтоженъ и что ихъ теорія основывается на множествѣ другихъ опытовъ, гораздо болѣе важныхъ и знаменательныхъ. Прежде всего, говорили они, надо заняться микрографіей воздуха. Яички крупнѣйшихъ инфузорій, покрытыхъ рѣсничными волосками, настолько велики, что сильный микроскопъ даетъ намъ возможность очень явственно различать ихъ фигуру и специфическія особенности. Эти яички извѣстны микрографамъ, подробно описаны и тщательно нарисованы ими. Значитъ, надо прежде всего, посредствомъ тщательныхъ микроскопическихъ изслѣдованій, доказать комиссіи, что яички *крупнѣйшихъ* инфузорій никогда не встрѣчаются въ воздухѣ. Когда это отсутствіе яичекъ будетъ доказано, тогда можно будетъ производить опыты, не пропуская воздухъ ни черезъ сѣрную кислоту, ни черезъ раскаленныя трубки; кромѣ того можно будетъ допустить, чтобы къ настою прикасались не кубическіе дюймы, а цѣлые кубическіе метры воздуха, что оказывается невозможнымъ, когда опытъ производится въ закупоренномъ сосудѣ или когда воздухъ проводится въ сосудъ сквозь узенькія трубочки, загроможденныя разными химическими ингредіентами. При свободномъ притокѣ цѣлыхъ массъ чистаго воздуха въ настояхъ будутъ появляться *крупныя* инфузоріи, и породы этихъ животныхъ будутъ измѣняться, смотря по тому, какое вещество положено въ настой, смотря по тому, какъ велико количество всего настоя, и смотря по тому, насколько данный настой крѣпокъ или слабъ. Форма и размѣры сосудовъ также будутъ имѣть вліяніе на характеръ микроскопической фауны и флоры. Этерогенисты хотѣли произвести въ присутствіи комиссіи множество другихъ опытовъ, о которыхъ я не буду распространяться. Приведеннаго примѣра вполнѣ достаточно, чтобы показать читателямъ, до какой степени далеко расходились между собою розовыя надежды подсудимыхъ этерогенистовъ и суровыя требо-

Digitized by Google

ванія академическаго арсопага. «Я—химикъ,—говоритъ имъ Дюма,—и согласился засѣдать въ коммиссіи для того, чтобы присутствовать при химическомъ опытѣ. До остального мнѣ дѣла нѣтъ.» —«Я—не микрографъ», возражаетъ Баларъ, когда этерогенисты заикаются о микроскопическомъ изслѣдованіи воздуха. Одинъ изъ этерогенистовъ, Мюссе, обращается наконецъ къ самому Пастеру: «Мы надѣемся по крайней мѣрѣ,—говоритъ онъ,—что г. Пастеръ покажетъ намъ тѣ зародыши, которымъ онъ приписываетъ такое важное значеніе.» «Я показывалъ ихъ всему Парижу», отвѣчаетъ Пастеръ съ неудержимой храбростью.—«Вы *нам*ъ должны ихъ показать», возражаетъ Мюссе.—На этотъ разъ Пастеръ не удостоиваетъ его отвѣта и поступаетъ въ этомъ случаѣ весьма благоразумно, потому что показать какую-нибудь штуку знающему человѣку гораздо труднѣе, чѣмъ показать ее всему Парижу. Кромѣ того даже и всему Парижу Пастеръ никогда не *показывалъ* ничего похожаго на органическіе зародыши. Онъ очень много говорилъ объ этихъ зародышахъ, но говорить и показывать — двѣ вещи разныя, а Пуше, Мюссе и Жоли держатся того правила, что соловья баснями не кормятъ. Наконецъ, видя, что ареопагъ упорствуетъ въ своемъ намѣреніи остановиться исключительно на одномъ опытѣ Пастера, этерогенисты ссылаются на букву условій, заключенныхъ ими съ академіей. Въ письмѣ Жоли и Мюссе было положительно сказано, что они просятъ академію назначить коммиссію, передъ которой они могли-бы повторить «*главные опыты*», на которыхъ основываются съ той и съ другой стороны столь противоположныя заключенія.» Когда Пастеръ съ своей стороны поддержалъ эту просьбу этерогенистовъ, тогда онъ повторилъ буквально эти же самыя слова. Когда академія назначила коммиссію, тогда она поручила ей присутствовать при тѣхъ опытахъ, которыхъ результаты считаются противными или благопріятными для доктрины произвольныхъ зарожденій. Всѣ переговоры по этому дѣлу, всѣ рѣшенія академіи напечатаны въ академическихъ отчетахъ (Comptes rendus). Этерогенисты указывали на печатные документы; они говорили, что *повторить главные опыты* не значитъ сдѣлать одинъ опытъ Пастера, и притомъ такой опытъ, который они вовсе не причисляютъ къ разряду главныхъ. Наконецъ они сдѣлали коммиссіи слѣдующее предложеніе: «Мы согласны начать съ опыта Пастера, но въ такомъ случаѣ вы даете намъ обѣщаніе присутствовать при другихъ опытахъ, которые, по нашему мнѣнію, гораздо важнѣе перваго».—Коммиссія отказалась; этимъ кончилось первое засѣданіе. Черезъ нѣсколько дней Флурансъ увѣдомилъ этерогенистовъ, что коммиссія остается при своемъ прежнемъ рѣшеніи. Въ отвѣтъ на письмо Флуранса, этерогенисты изложили ему письменно ту программу, по которой они намѣрены расположить свои опыты. Тогда коммиссія пригласила ихъ явиться въ музеумъ естественной исторіи, въ лабораторію Шевреля, въ которой должно было происходить изслѣдованіе. Этерогенисты подумали, что коммиссія принимаетъ ихъ программу, и со всѣми своими приборами, рисунками и инструментами отправились въ назначенное мѣсто. Второе засѣданіе коммиссіи открылось тѣмъ, что коммиссія пригласила Пастера приступить къ его извѣстному опыту. Пастеръ поставилъ передъ собой большой сосудъ, заключавшій около $^4/_5$ ведра раствора пивной гущи, и началъ разливать этотъ растворъ въ маленькіе стеклянные сосуды съ узкимъ горлышкомъ. Пуше спросилъ въ это время, принимаетъ-ли коммиссія ихъ программу, и не получилъ на этотъ вопросъ никакого опредѣленнаго отвѣта. Отъ нечего дѣлать этерогенисты стали вглядываться въ манипуляціи Пастера и тотчасъ подмѣтили слабыя стороны его экспериментовъ. Во-первыхъ, растворъ былъ черезчуръ жидокъ, что составляетъ одно изъ самыхъ важныхъ препятствій для зарожденія микроскопическихъ организмовъ. Во-вторыхъ, Пастеръ не взбалтывалъ большого сосуда передъ наливаніемъ жидкости въ мелкіе сосуды; понятно, что жидкость успѣла отстояться, что твердыя частицы раствора опустились на дно и что вслѣдствіе этого въ мелкихъ сосудахъ долженъ оказаться растворъ различной плотности, который, сообразно съ своей различной плотностью, дастъ непремѣнно различные результаты. Въ-третьихъ, Пастеръ кипятилъ жидкость мелкихъ сосудовъ совершенно произвольнымъ образомъ: одинъ сосудъ онъ держалъ надъ огнемъ двѣ минуты, другой—три, третій—пять, четвертый—одну и такъ далѣе. Жидкость употребленнаго раствора объясняетъ, по мнѣнію этерогенистовъ, отсутствіе органической жизни въ большей части пастеровскихъ сосудовъ, а присутствіе микроскопическихъ организмовъ въ нѣкоторыхъ изъ этихъ сосудовъ объясняется тѣмъ, что въ эти сосуды, по небрежности экспериментатора, попалъ растворъ болѣе густой или подвергнутый менѣе продолжительному кипяченію. Когда этерогенисты высказали эти замѣчанія, тогда никто изъ членовъ коммиссіи не нашелъ противъ нихъ ни одного возраженія, что однако нисколько не помѣшало всѣмъ этимъ членамъ впослѣдствіи превозносить попрежнему любезнаго Пастера, какъ искуснѣйшаго и остроумнѣйшаго экспериментатора. Наконецъ великій магикъ Пастеръ окончилъ свое переливаніе изъ пустого въ порожнее; онъ наполнилъ, вскипятилъ и запаялъ всѣ свои сосуды. Тогда этерогенисты предложили съ своей стороны сдѣлать нѣсколько опытовъ, которые они считали рѣшительными. Ареопагъ отвѣчалъ

Digitized by Google

имъ на это, что онъ будетъ смотрѣть на ихъ опыты, когда самъ сочтетъ это нужнымъ и своевременнымъ. — «Скажите-же намъ наконецъ, принимаете-ли вы нашу программу?» — спросили этерогенисты. Мильнъ Эдвардсъ до самаго конца остался вѣренъ своему юпитеровскому характеру. «Было-бы нелѣпо требовать, — отвѣтилъ онъ, — чтобы комиссія слушалась вашихъ приказаній.» Остальные члены комиссіи своимъ молчаніемъ подтвердили его величественное рѣшеніе. Этерогенисты раскланялись съ своими судьями и объявили имъ, что они считаютъ дѣло оконченнымъ. 27-го іюня Пуше, Жоли и Мюссе представили академіи письмо, которое оканчивается слѣдующими словами: «Такъ какъ мы встрѣтили совершенно неожиданныя препятствія, то мы думаемъ по совѣсти, что намъ остается только протестовать, во имя науки, и предоставить рѣшеніе нашего дѣла будущему.»

V.

Несмотря на колоссальныя усилія академіи задавить этерогенію всѣми правдами и неправдами, эта доктрина въ настоящее время принята уже многими замѣчательными учеными. Къ ней склонились, на основаніи самостоятельныхъ опытовъ, Ричардъ Оуэнъ въ Лондонѣ, Шаффгаузенъ въ Базелѣ, Мантегацца въ Павіи, Кастольди въ Миланѣ, Уайманъ въ Кембриджѣ (въ сѣверной Америкѣ). Бюхнеръ и Карлъ Фохтъ распространяютъ эту доктрину въ кругу своихъ многочисленныхъ нѣмецкихъ читателей. Словомъ, истина непремѣнно пробьетъ себѣ дорогу; но любопытно замѣтить, что это пробиваніе совершается не при содѣйствіи, а помимо и вопреки усиліямъ тѣхъ людей, которые осыпаны деньгами и почестями, какъ оффиціальные хранители, искатели и распространители научной истины. Если мы оглянемся назадъ на исторію науки въ послѣднія два-три столѣтія, то мы увидимъ съ немалымъ изумленіемъ, что почти каждое великое открытіе, почти каждая плодотворная идея встрѣчали себѣ въ ученыхъ корпораціяхъ самое грубое непониманіе, самое близорукое презрѣніе и самое недобросовѣстное преслѣдованіе. Гонителями новой истины оказывались постоянно тѣ личные или коллегіальные авторитеты, въ пользу которыхъ масса такъ называемыхъ образованныхъ обществъ такъ охотно и такъ неосторожно отказывается отъ своего естественнаго, драгоцѣннаго права вглядываться и вдумываться въ явленія природы и человѣческой жизни.—Кто въ XVII столѣтіи отвергалъ дифференціальное исчисленіе, созданное Лейбницемъ?—Парижская академія наукъ.—Кто въ это-же самое время отвергалъ законы тяготѣнія, открытые Ньютономъ? — Лейбницъ.—Кто въ XVIII столѣтіи отвергалъ существованіе аэролитовъ, то есть камней, падающихъ на землю изъ небеснаго пространства? — Парижская академія наукъ. — Кто смѣялся надъ громоотводомъ Франклина? —Лондонское Королевское Общество.—Кто относился съ презрѣніемъ къ электрическому телеграфу?— Парижская академія наукъ. — Кто осмѣялъ Пейссонеля за его наблюденія надъ животными свойствами полиповъ?—Опять-таки парижская академія наукъ.—Та-же самая академія въ 1783 году не обратила никакого вниманія на опыты маркиза Жоффруа, построившаго въ Ліонѣ первый пароходъ; и та-же академія, двадцать лѣтъ спустя, выпроводила изъ Франціи, какъ пустого прожектёра, вторичнаго изобрѣтателя пароходства, Фультона.—Когда мы видимъ такимъ образомъ, что величайшіе авторитеты умственнаго міра впадаютъ иногда въ самыя грубыя ошибки, когда мы видимъ кромѣ того, что очень многіе изъ этихъ авторитетовъ смотрятъ на свои знанія, идеи и изслѣдованія, какъ на стадо дойныхъ коровъ, которыя доставляютъ имъ молоко и масло, то есть деньги, чины и ордена, и къ которымъ вслѣдствіе этого не слѣдуетъ ни подъ какимъ видомъ подпускать постороннихъ людей, когда мы видимъ наконецъ, что академіи, зараженныя кумовствомъ, непотизмомъ и предразсудками, превращаются въ замкнутыя касты жрецовъ, — тогда мы начинаемъ понимать, до какой степени нелѣпо и непозволительно было-бы съ нашей стороны ссылаться на авторитеты въ тѣхъ дѣлахъ, въ которыхъ заинтересовано наше собственное, личное или общественное благосостояніе. — Познакомившись изъ этой небольшой статьи съ нѣкоторыми подвигами и закулисными тайнами европейскихъ авторитетовъ, читатель оцѣнитъ по достоинству то наивное подобострастіе, съ которымъ публицистъ «Московскихъ Вѣдомостей», неспособный работать силами собственнаго ума, предаетъ въ руки европейскихъ авторитетовъ, генерала Морена и господина Шмидта, вопросъ о нашемъ народномъ образованіи. Есть основаніе думать, что этотъ послѣдній вопросъ рѣшенъ авторитетами такъ-же недобросовѣстно и безпристрастно, какъ рѣшено ими дѣло французскихъ этерогенистовъ.

Digitized by Google

ПОСМОТРИМЪ!

I.

Постоянные читатели моихъ статей вѣроятно замѣтили, что при всѣхъ столкновеніяхъ моихъ съ нашими литературными противниками я обыкновенно нападаю и почти никогда не защищаюсь. Я не люблю вести оборонительную войну, потому что защищаться—значитъ въ большей части случаевъ повторять то, что̀ уже было сказано прежде, и при этомъ повтореніи соскабливать со своихъ мыслей ту грязь, которая навалена на нихъ тупоуміемъ или недобросовѣстностью журнальныхъ оппонентовъ. Это занятіе скучное, кропотливое и безплодное. Надо возиться съ запутанной аргументаціей противника, надо, какъ мошенника, ловить его съ поличнымъ на каждомъ софизмѣ, надо свѣрять его лживыя показанія съ подлинными документами, надо разсматривать въ микроскопъ такую дрянь, къ которой гадко прикоснуться, и наконецъ цѣной всѣхъ этихъ трудовъ, располагающихъ къ морской болѣзни, приходится купить тотъ тощій результатъ, что какой-нибудь N или M глупъ, какъ пробка, или вретъ хуже всякаго барона Мюнхгаузена. Покупать такой мизерный результатъ дорогой цѣной тошнотворной работы особенно непріятно въ томъ случаѣ, когда льстишь себя надеждой, что этотъ результатъ достанется читателю даромъ, при первомъ взглядѣ на труды глупаго или недобросовѣстнаго писателя. Къ сожалѣнію, эта надежда часто оказывается слишкомъ розовой. Читая самую поразительную дрянь, публика все-таки не умѣетъ распознать ея специфическихъ достоинствъ и обыкновенно нуждается въ томъ, чтобы ей объяснили, что данное произведеніе—дѣйствительно не что иное, какъ жалкая помѣсь безсильной клеветы и самодовольнаго слабоумія. Умственная беззащитность нашей публики обнаруживается какъ нельзя нагляднѣе напримѣръ въ томъ крупномъ и яркомъ фактѣ, что посредственность, подобная Каткову, можетъ пользоваться сильнымъ вліяніемъ и репутаціей умнаго человѣка, съѣвшаго собаку въ области государственной мудрости. Другой примѣръ, гораздо болѣе мелкій, но быть-можетъ еще болѣе выразительный, состоитъ въ томъ, что такой невѣроятно-слабоумный субъектъ, какъ Николай Соловьевъ, имѣетъ возможность печатать свои сочиненія въ журналахъ, которые даже по всей вѣроятности платятъ ему за эти сокровища нѣкоторое количество денегъ. Не изъ милосердія-же въ самомъ дѣлѣ держала его покойная «Эпоха» и не изъ состраданія-же унаслѣдовали его отъ «Эпохи» «Отечественныя Записки». Значитъ, есть даже и такіе читатели, которые могутъ удовлетворяться Николаемъ Соловьевымъ, и къ числу этихъ читателей принадлежатъ очевидно, во-первыхъ, редакціи «Эпохи» и «Отечественныхъ Записокъ», а во-вторыхъ—тѣ люди, которые по своимъ умственнымъ способностямъ стоятъ еще ниже этихъ двухъ редакцій. Хотя этому трудно повѣрить, однако нѣтъ сомнѣнія, что такіе люди дѣйствительно существуютъ, потому что, еслибы они не существовали, тогда обѣимъ названнымъ редакціямъ не было-бы ни повода, ни возможности оставаться редакціями. Такъ какъ редакція «Эпохи» перестала быть редакціей, то надо полагать, что она опустилась ниже возможнаго minimum'а человѣческихъ способностей; а такъ какъ редакція «Отечественныхъ Записокъ» еще продолжаетъ быть редакціей, то остается предположить, что она держится еще выше этого minimum'а и еще не коснулась той роковой точки, на которой человѣкъ превращается въ микроцефала. Стало быть, когда Н. Соловьевъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» разбираетъ мои статьи или, точнѣе, по поводу моихъ статей обнаруживаетъ звонкую пустоту своего черепа и мѣдный составъ своего лба, тогда находятся читатели, которые вѣрятъ Н. Соловьеву на-слово, во-первыхъ въ томъ, что онъ раскритиковалъ меня въ-пухъ, а во-вторыхъ въ томъ, что онъ самъ высказалъ или провелъ кое-какія идеи. Хотя мнѣ, какъ человѣку и гражданину, очень грустно имѣть такихъ ограниченныхъ ближнихъ и соотечественниковъ, однако я все-таки, даже изъ человѣколюбія и изъ любви къ согражданамъ, не унижу себя до того, чтобы защищаться противъ Н. Соловьева. Не унижу себя потому, что это униженіе было-бы совершенно безполезно. Любители Н. Соловьева очевидно должны быть людьми настолько безнадежными въ умственномъ отношеніи, что имъ нельзя ничего растолковать и что ихъ ни въ чемъ нельзя ни убѣдить, ни разубѣдить, потому что они говорятъ для процесса говоренія, слушаютъ для процесса слушанія и вообще живутъ для превращенія пищи въ животное удобреніе. Я вовсе не желаю пріобрѣтать себѣ благосклонность или уваженіе этихъ ходячихъ химическихъ лабораторій, потому что ихъ уваженіе и благосклонность никому ни на что не могутъ пригодиться. Поэтому-то я и не намѣренъ отступать

Digitized by Google

въ отношеніи къ Н. Соловьеву отъ моей обыкновенной тактики презрительнаго молчанія, несмотря на всѣ плоскія выдумки, которыя онъ распространялъ, распространяетъ и будетъ распространять насчетъ моей литературной дѣятельности.

Но въ послѣднее время у меня явился другой противникъ, въ отношеніи къ которому молчаніе неудобно и даже можетъ сдѣлаться опаснымъ. Этотъ противникъ обращается къ такой публикѣ, которой мнѣніе имѣетъ для меня значительную цѣну. Онъ пишетъ въ такомъ журналѣ, который, несмотря на множество странныхъ и безтактныхъ выходокъ, по общему составу своихъ сотрудниковъ и по общему своему направленію имѣетъ полное право считаться честнымъ и умнымъ журналомъ. Читатель конечно догадался, что журналъ этотъ — «Современникъ» и что противникомъ моимъ является Антоновичъ. Втеченіи прошлаго года я не разъ предлагалъ «Современнику» выяснить тотъ типъ, который называется новымъ типомъ и который теперь пробиваетъ себѣ дорогу какъ въ обществѣ, такъ и въ литературѣ. Мое желаніе возбудить дѣльную и плодотворную полемику завлекло меня слишкомъ далеко; я позволилъ себѣ нѣсколько рѣзкихъ выраженій (между прочимъ знаменитое *лукошко*), которыя дѣйствительно возбудили желанную полемику, но вмѣстѣ съ тѣмъ дали ей тотчасъ-же самое ложное направленіе. Читатель конечно помнитъ, какая тутъ произошла печальная оргія личныхъ перебранокъ и клеветливыхъ импровизацій. Клеветалъ г. Посторонній Сатирикъ, но бранились, разумѣется, обѣ стороны, потому что, когда человѣкъ лжетъ, тогда собесѣдникъ этого человѣка поневолѣ долженъ называть его лгуномъ или по меньшей мѣрѣ *сочинителемъ*. Я не отказываюсь взять на себя нѣкоторую долю отвѣтственности за происходившее безобразіе; я сознаюсь, что рѣзкія выраженія были неумѣстны; *лукошко* могло быть выброшено изъ моей статьи безъ всякаго для нея ущерба; однако, принимая въ соображеніе качества того писателя, который принялъ псевдонимъ *Посторонняго Сатирика*,—качества, обозначившіяся очень ярко въ разгарѣ нашей полемики, я полагаю, что съ этимъ писателемъ добросовѣстная и дѣльная полемика, клонящаяся къ выясненію и всестороннему разсмотрѣнію идей, вообще совершенно невозможна, и была-бы невозможна даже въ томъ случаѣ, еслибы я не позволилъ себѣ никакой рѣзкой выходки. Какъ-бы то ни было, я уклонился отъ полемики и сталъ желать ея прекращенія, какъ только обозначился ея неблаговидный и совершенно безплодный характеръ. Я рѣшился молчать, когда Антоновичъ въ своей статьѣ «Промахи» разобралъ *по своему* мой «Нерѣшенный Вопросъ» *). Не желая защищаться и поддерживать такимъ образомъ личный характеръ полемики, я однако съ свойственной мнѣ рѣзкостью разобралъ и осмѣялъ тѣ жалкія несообразности, которыя были высказаны Антоновичемъ по поводу «Эстетическихъ Отношеній». Мои насмѣшки заставили Антоновича направить противъ «Русскаго Слова», и преимущественно противъ меня, статью «Лже-реалисты», помѣщенную въ іюльской книжкѣ «Современника». Эта статья налагаетъ на меня обязанность защищаться, и защищаться очень серьезно.

II.

Въ самомъ началѣ своей статьи Антоновичъ отзывается о «Русскомъ Словѣ» слѣдующимъ образомъ: «До сихъ поръ оно только пробавлялось чужими, подслушанными или напрокатъ взятыми фразами, не пускаясь въ объясненіе смысла ихъ, и всѣ были увѣрены, что оно понимаетъ эти фразы и понимаетъ ихъ, какъ слѣдуетъ»... «Теперь-же «Русское Слово» вызвали на объясненіе, заставили его опредѣленно высказаться, какъ оно понимаетъ реализмъ и какъ прилагаетъ его къ различнымъ частнымъ вопросамъ.» *До сихъ поръ* и *теперь!* До какихъ это поръ? и что́ значитъ это *теперь?* Когда именно «Русское Слово» пробавлялось чужими фразами, у кого были взяты напрокатъ эти фразы, съ какихъ поръ начинается разоблаченіе «Русскаго Слова» и кто заставилъ его опредѣленно высказаться? Если для разрѣшенія этихъ вопросовъ мы обратимся къ печатнымъ фактамъ, то тотчасъ увидимъ, что вся теорія Антоновича о двухъ фазахъ въ существованіи «Русскаго Слова» есть не что иное, какъ плодъ игриваго воображенія. Если «Русское Слово» брало напрокатъ реалистическія фразы, то, разумѣется, оно могло брать ихъ только у «Современника». На самомъ-же дѣлѣ этого не было. «Русское Слово» уже въ 1861 году не разъ высказывало по поводу различныхъ статей «Современника» свои критическія замѣчанія. Въ майской книжкѣ 1861 года, въ статьѣ «*Схоластика XIX вѣка*», я доказывалъ неумѣстность тѣхъ пріемовъ, съ которыми Антоновичъ приступаетъ къ разбору лекцій Лаврова. Въ сентябрьской книжкѣ того-же года, въ статьѣ подъ тѣмъ-же заглавіемъ, я опровергалъ нѣкоторыя мысли Чернышевскаго о паденіи Римской имперіи. Вѣрны или ошибочны были мои идеи — объ этомъ я, какъ авторъ, судить не могу, но во всякомъ случаѣ, если даже я ошибался, то я ошибался самостоятельно, то-есть размышлялъ самъ, а не бралъ напрокатъ чужихъ фразъ. Въ томъ-же 1861 году нѣкоторые изъ нашихъ журналовъ сильно нападали на меня за «*Схола-*

*) Статья „Нерѣшенный вопросъ“ помѣщена въ III-мъ томѣ настоящаго изданія Сочиненій Д. И. Писарева“ подъ другимъ заглавіемъ („Реалисты“).

Digitized by Google

стику» и за статью о «Физіологическихъ эскизахъ Молешота». Они тогда-же пугали мною «Современникъ» и говорили ему, что я довожу его идеи до абсурдовъ, которые однако составляютъ логическое слѣдствіе этихъ самыхъ идей. Слѣдовательно, если я вообще компрометтирую реализмъ моей литературной дѣятельностью, то во всякомъ случаѣ я занимаюсь этимъ компрометтированіемъ очень давно и постоянно, съ перваго моего появленія на литературномъ поприщѣ. Такого періода, когда я повторялъ чужія фразы, въ моей литературной дѣятельности не было. Все, что я знаю, то конечно я не самъ открылъ, а вычиталъ въ различныхъ книгахъ, русскихъ и иностранныхъ. Но я полагаю, что точно такимъ-же путемъ пріобрѣтали себѣ свои знанія и Бѣлинскій, и Добролюбовъ, и Чернышевскій, и всѣ остальные представители нашего реализма. Всѣ они не изобрѣтали науку, а принимали ее въ готовомъ видѣ отъ западныхъ учителей и потомъ старались приспособлять ее къ пониманію своихъ россійскихъ учениковъ. Я всегда поступалъ и поступаю до сихъ поръ точно такъ-же; въ какомъ отношеніи находятся мои личныя силы къ силамъ названныхъ мною писателей,—объ этомъ я судить не могу, но я говорю только, что въ своей дѣятельности я постоянно работалъ и работаю мыслью такъ-же самостоятельно, какъ работали они. Итакъ, повторенія чужихъ фразъ въ «Русскомъ Словѣ» никогда не было. Точно также не было и тѣхъ вызываній на объясненія, которыя будто-бы, по словамъ Антоновича, заставили «Русское Слово» опредѣленно высказаться. «Русское Слово» высказывалось постоянно по собственному желанію, высказывалось тогда, когда не было никакихъ полемическихъ столкновеній, вызывающихъ на объясненія. Антоновичъ самъ признаетъ этотъ фактъ и такимъ образомъ, самъ того не замѣчая, собственноручно опрокидываетъ свое показаніе, будто-бы «Русское Слово» сначала драпировалось въ чужія фразы, а потомъ явилось въ своей позорной наготѣ, когда посторонніе люди сорвали съ него эту драпировку. Въ числѣ главныхъ преступленій «Русскаго Слова» противъ реализма Антоновичъ отмѣчаетъ мою статью о Базаровѣ, напечатанную въ 1862 году, и мои статьи: «Мотивы русской драмы» и «Нерѣшенный Вопросъ», напечатанныя въ 1864 году. Всѣ эти статьи напечатаны до нашего столкновенія съ «Современникомъ»; въ самомъ столкновеніи иниціатива принадлежала намъ, а не «Современнику». Стало-быть, ясно, что мы совершали наши преступленія сознательно, по собственному желанію, помимо всякихъ посторонніихъ побужденій и вызываній на объясненіе. Еслибы мы брали напрокатъ чужія фразы и еслибы вслѣдствіе этого мы нуждались въ снисходительности и долготерпѣніи того магазина, который снабжалъ насъ этими фразами, то мы конечно тщательно уклонялись-бы отъ всякихъ столкновеній съ «Современникомъ». Видя наше смиреніе, «Современникъ» съ своей стороны постоянно молчалъ-бы объ насъ, и при такомъ положеніи дѣлъ мы могли-бы совершенно безопасно украшать себя чужими фразами до конца нашей жизни. Мы поступали какъ-разъ наоборотъ, и поэтому слова Антоновича о повтореніи чужихъ фразъ и о вызываніи на объясненіе оказываются совершенно произвольной выдумкой, въ которой нѣтъ даже отдаленнаго сходства съ дѣйствительными фактами. Это—*первое* изобрѣтеніе, заключающееся въ статьѣ Антоновича, и притомъ это одно изъ самыхъ невинныхъ. На той-же страницѣ Антоновичъ говоритъ, что нѣкоторые изъ противниковъ реализма «забрасываютъ «Русскому Слову» весьма нехитрую удочку, на которую оно однако попадается: они иногда прихваливаютъ «Русское Слово», говорятъ, что оно не останавливается на полдорогѣ, а искренно и смѣло высказываетъ послѣдніе выводы реализма... Подстрекаемые этими похвалами, Писаревъ и Зайцевъ, наперерывъ другъ передъ другомъ, стараются отличиться какой-нибудь оригинальной нелѣпостью» и т. д. — Вотъ это *второе* изобрѣтеніе, неимѣющее за себя даже внѣшняго вида правдоподобія. Если мы съ Зайцевымъ—такіе тщеславные и пустоголовые люди, что похвалы, достающіяся намъ отъ враговъ нашей идеи, не только радуютъ насъ, но даже обнаруживаютъ видоизмѣняющее вліяніе на нашу дѣятельность, то очевидно порицанія, достающіяся намъ отъ тѣхъ-же самыхъ враговъ, должны дѣйствовать на насъ такъ-же сильно, но только въ противоположномъ направленіи. Если мы, какъ глупые ребятишки, выслушивая похвалу, охарашиваемся, куражимся и повышаемъ голосъ, то, разумѣется, выслушивая порицаніе, мы должны опускать крылья, погружаться въ уныніе и понижать тонъ. Теперь я попрошу читателя подумать: что приходится намъ чаще встрѣчать себѣ въ печати—похвалу или порицаніе?—Читатель, сколько нибудь знакомый съ нашей журналистикой, скажетъ конечно, что порицаніе составляетъ общее правило, а похвала—совершенно незамѣтное исключеніе. Каждая изъ нашихъ статей возбуждаетъ противъ себя негодованіе въ нашей прессѣ; мы постоянно идемъ на-встрѣчу этому негодованію, не обращая на него никакого вниманія, а Антоновичъ умозаключаетъ, что мы поступаемъ такимъ образомъ изъ тщеславія, и что насъ подстрекаютъ похвалы, которыхъ мы почти никогда не получаемъ. Это послѣднее замѣчаніе особенно вѣрно въ отношеніи къ Зайцеву; съ тѣхъ поръ, какъ онъ началъ писать, о немъ говорятъ постоянно, и до сихъ поръ о немъ не было сказано печатно *ни одного*

Digitized by Google

добраго слова; а между тѣмъ Антоновичъ, наперекоръ всѣмъ существующимъ фактамъ, осмѣливается утверждать, что Зайцева подстрекаютъ похвалы. Цѣль Антоновича понять не трудно: ему хочется доказать, что мы пишемъ безъ убѣжденія. Но какъ прикажете назвать тѣ средства, которыя употребляетъ нашъ противникъ, и ту логику, которой онъ старается обморочить своихъ читателей?

На стр. 55 начинается бѣглое перечисленіе нашихъ преступленій. На первомъ планѣ стоитъ, разумѣется, Базаровъ; вина моя заключается въ томъ, что я принялъ и принимаю до сихъ поръ Базарова не за карикатуру, а за превосходнаго представителя нашего поколѣнія. Я уже давно приглашалъ Антоновича объяснить, посредствомъ подробнаго и точнаго анализа, что̀ именно онъ находитъ предосудительнымъ въ характерѣ и въ убѣжденіяхъ Базарова; Антоновичъ до сихъ поръ ровно ничего не объяснилъ, и вслѣдствіе этого вопросъ о томъ, вѣренъ или невѣренъ мой взглядъ на Базарова, и чей взглядъ вѣрнѣе—мой или Антоновича,—остается попрежнему спорнымъ или нерѣшеннымъ вопросомъ. Но я теперь уже начинаю думать, что этотъ вопросъ рѣшенъ въ мою пользу, потому что Антоновичъ въ своей статьѣ «Промахи», написанной имъ послѣ полугодовыхъ сборовъ и угрозъ, не представилъ противъ моего взгляда на характеръ Базарова ни одного состоятельнаго возраженія. Антоновичъ говоритъ, что враги реализма, защищая романъ Тургенева, ссылаются на меня; Антоновичъ вспоминаетъ здѣсь времена давнопрошедшія. Враги реализма любили говорить о романѣ Тургенева три года тому назадъ; они надѣялись тогда, что этотъ романъ принесетъ имъ пользу, что онъ испугаетъ молодыхъ людей рѣзкостью изображенія и отброситъ ихъ назадъ къ сантиментальному идеализму и къ благонравному чинопочитанію. Враги реализма скоро разочаровались въ своихъ надеждахъ; когда «Русское Слово» объяснило молодымъ людямъ, что въ рѣзкихъ чертахъ базаровской физіономіи нѣтъ ничего страшнаго, порочнаго или предосудительнаго, тогда романъ Тургенева потерялъ для враговъ реализма всю свою привлекательность. Тогда началось шумное, но краткое пированіе систематической клеветы. Дѣло кончилось тѣмъ, что Клюшниковъ и Стебницкій своей тупостью и недобросовѣстностью окончательно уронили и втоптали въ грязь тѣ античныя драгоцѣнности, которыя желательно или приказано было охранять и расхваливать. О романѣ Тургенева враги реализма вспоминаютъ теперь рѣдко и неохотно, и то обстоятельство, что они до сихъ поръ ссылаются на меня, существуетъ только въ воображеніи Антоновича.

«Или вдругъ,—говорится далѣе на той-же страницѣ,—Зайцевъ провозгласитъ, что философовъ за ихъ философскія ошибки нужно подвергать тѣлеснымъ и другимъ исправительнымъ наказаніямъ, что рабство негровъ неизбѣжно и благотворно». Читатель, незнакомый со статьями Зайцева, можетъ подумать, на основаніи этихъ словъ, что Зайцевъ дѣйствительно серьезно доказывалъ необходимость сѣчь заблуждающихся философовъ. На самомъ-же дѣлѣ оказывается, что слова Зайцева о наказаніяхъ брошены въ видѣ восклицанія *), выражающаго просто глубокое презрѣніе автора къ шарлатанству нѣмецкихъ метафизиковъ. Такая риторическая фигура можетъ казаться Антоновичу неумѣстной и неизящной въ стилистическомъ отношеніи; но навязывать Зайцеву на основаніи этой фигуры мысль о необходимости тѣлесныхъ наказаній—это все равно, что придираться въ книгѣ къ шрифту и къ опечаткамъ, вмѣсто того чтобы слѣдить за идеями автора. Что риторическія фигуры, подобныя той, которую употребилъ Зайцевъ, дѣйствительно могутъ приходить въ голову честному и умному человѣку, желающему выразить какъ можно сильнѣе свое негодованіе, это я могу доказать слѣдующей выпиской изъ книги Лассаля «Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch». Прусскій либералъ, депутатъ Фаухеръ, сказалъ въ собраніи берлинскихъ работниковъ, что барышъ капиталиста есть *награда за воздержаніе* (Entbehrungslohn). «Работникамъ,—восклицаетъ по этому поводу Лассаль,—бѣднымъ работникамъ, голодающимъ работникамъ они имѣютъ дерзость публично бросать въ лицо эту безконечную насмѣшку, эту язвительную иронію?! Развѣ не существуетъ болѣе совѣсти, и развѣ-же стыдъ убѣжалъ къ звѣрямъ?—И притупленіе и оскопленіе народа уже теперь доведены съ успѣхомъ до такихъ размѣровъ, что сами работники вмѣсто того, чтобы разразиться бурей негодованія, терпѣливо выслушиваютъ это открытое глумленіе! *Зачѣмъ въ законѣ не положено наказаній* за подобныя продѣлки? развѣ систематическое притупленіе народнаго ума не есть преступленіе?» А на слѣдующей страницѣ Лассаль говоритъ Шульце-Деличу слѣдующія любезности: «Но, господинъ Шульце, всему свое время, все наказывается

*) Подлинныя слова Зайцева: «Если найдется упрямецъ, который хотя и готовъ согласиться съ тѣмъ, что міръ есть силлогизмъ, но которому сомнительно, откуда философъ почерпнулъ свои познанія о такихъ вещахъ, то философъ укажетъ ему на непосредственное усмотрѣніе, какъ на общій источникъ познанія истины, и на свой личный геній, какъ на спеціальный источникъ. Собственно-бы слѣдовало ожидать, что за подобный отвѣтъ философа прогонятъ съ пьедестала метлой, посадятъ въ водолечебницу или подвергнутъ исправительному наказанію; но, къ стыду человѣчества и XIX вѣка, это не только сходитъ имъ съ рукъ, но даже заслуживаетъ всяческое поощреніе.»

Digitized by Google

еще въ этомъ мірѣ, и наступитъ тотъ день, когда общественная совѣсть заклеймитъ васъ и ваше лицемѣріе, и вашихъ клевретовъ такъ, какъ вы того достойны. *Вамъ выжгутъ каленымъ желѣзомъ на лбу слово* «Entbehrungslohn»! Теперь Антоновичъ очевидно можетъ и даже долженъ записать Лассаля въ число свирѣпѣйшихъ деспотовъ и тупоумнѣйшихъ обскурантовъ, потому что Лассаль, какъ видите, желаетъ обогатить уголовный законъ особой статьей, направленной противъ заблуждающихся экономистовъ, и кромѣ того стремится при содѣйствіи каленаго желѣза обучать Шульце-Делича элементарнымъ истинамъ соціальной науки. Если Зайцевъ согрѣшилъ противъ заповѣдей истиннаго реализма, то Лассаль согрѣшилъ еще сильнѣе. Антоновичъ возразитъ мнѣ быть-можетъ, что экономисты, подобные Шульце-Деличу и Фаухеру, морочатъ работниковъ *умышленно*. Но на это я отвѣчу, что, анализируя ошибочную доктрину, мы не имѣемъ ни малѣйшей возможности установить ту пограничную черту, до которой простираются тупоуміе и невѣжество и съ которой начинается сознательная ложь. Шульце-Деличи и Фаухеры вѣруютъ въ неприкосновенную святость лихоимства также искренно или также неискренно, какъ Шеллинги и Гегели вѣруютъ въ свои абсолюты. Въ общемъ итогѣ, какъ абсолюты, такъ и доктрины о святости лихоимства производятъ притупленіе общественнаго сознанія. Значитъ, негодованіе Зайцева въ своей исходной точкѣ также законно, какъ негодованіе Лассаля. Что-же касается до внѣшней формы, въ которой выразилось это негодованіе, то мы ею нисколько не дорожимъ и охотно отдаемъ ее на съѣденіе тѣмъ критикамъ, которымъ угодно тратить время на мелкія стилистическія замѣчанія по неспособности къ болѣе серьезной работѣ.

Теперь о неграхъ. Зайцевъ никогда не думалъ доказывать, что американскимъ колонистамъ непремѣнно слѣдовало отправлять корабли къ берегамъ Африки, воровать или покупать тамъ негровъ, привозить ихъ въ Америку и превращать ихъ на тамошнихъ плантаціяхъ въ рабочую машину. Зайцевъ говорилъ только *) по поводу книги Катрфажа «Единство рода человѣческаго», что, когда бѣлые и негры живутъ вмѣстѣ въ одной странѣ, тогда низшей расѣ, то есть черной, предстоитъ неизбѣжно или вымираніе, или порабощеніе. Будетъ-ли порабощеніе черной расы освящено закономъ, или-же оно будетъ только заключаться въ безвыходной и безнадежной экономической зависимости,—это въ сущности все-равно для тѣхъ людей, которые способны понимать смыслъ общественныхъ явленій, не останавливаясь на ихъ внѣшней формѣ и не прельщаясь буквой либеральныхъ узаконеній.

Зайцевъ высказалъ ту, вовсе не эксцентрическую мысль, что законъ Дарвина прилагается также и къ человѣческимъ расамъ. Если Антоновичъ думаетъ, что къ человѣчеству этотъ законъ не прилагается, то Антоновичъ долженъ объяснить, на чемъ онъ основываетъ свое предположеніе. Спрашивается, какое свойство или какая сила человѣческаго организма обусловливаетъ собою это изъятіе изъ общаго закона, распространяющагося на весь органическій міръ? Всѣ извѣстные историческіе факты говорятъ самымъ краснорѣчивымъ образомъ въ пользу мнѣнія Зайцева. Бѣлая раса вездѣ и всегда играла роль желтаго таракана и пасюка: португальцы истребили гуанховъ, жителей Канарскихъ острововъ; испанцы истребили краснокожихъ обитателей Вестъ-Индіи; англичане истребили или поработили индусовъ, австралійцевъ, новозеландцевъ и сѣверо-американскихъ индійцевъ; русскіе истребили алеутовъ и многое множество разныхъ сибирскихъ инородцевъ. Всякій желающій можетъ проливать потоки слезъ надъ могилами этихъ истребленныхъ разновидностей, но называть человѣка *лжереалистомъ* за то, что онъ спокойно констатируетъ существующій фактъ, значитъ превращать науку въ ребяческое и приторное прославленіе либеральныхъ симпатій и сантиментальныхъ иллюзій. Если Антоновичъ гонится не за истиной, а за утѣшительностью, то ему слѣдуетъ сдѣлаться не только идеалистомъ, а даже супранатуралистомъ. Супранатурализмъ гораздо утѣшительнѣе реализма—въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. Но если негры—низшая раса, обреченная на гибель самой природой, то, стало быть, рабство—явленіе неизбѣжное, законное и благотворное? Ничуть не бывало. Рабство все-таки остается явленіемъ отвратительнымъ и вреднымъ. Дѣло въ томъ, что рабство разслабляетъ умъ и уродуетъ характеръ *тѣхъ бѣлыхъ людей*, которые владѣютъ рабами и которые живутъ въ рабовладѣльческомъ государствѣ. Такъ напримѣръ, рабовладѣльцы, по самому своему положенію, принуждены быть систематическими обскурантами, потому что распространеніе знаній въ низшемъ

*) Подлинныя слова Зайцева: «Несомнѣнно и признано всѣми, что невольничество есть самый лучшій исходъ, котораго можетъ желать цвѣтной человѣкъ, прійдя въ соприкосновеніе съ бѣлой расой, потому что онъ достается въ удѣлъ только наиболѣе развитымъ и сильнымъ расамъ; большая же часть ихъ не могутъ вовсе существовать рядомъ съ кавказскимъ племенемъ и вскорѣ совершенно вымираютъ.» — «Сантиментальные враги невольничества умѣютъ только цитировать тексты и пѣть псалмы, но не могутъ указать ни одного факта, который-бы показывалъ, что образованіе и свобода могутъ превратить въ умственномъ отношеніи негра въ бѣлаго.»

Digitized by Google

классѣ народа подкапываетъ рабство въ самомъ его основаніи. Далѣе, въ рабовладѣльческомъ государствѣ не можетъ быть равенства гражданъ передъ закономъ; отправленіе правосудія должно постоянно извращаться политическими соображеніями; далѣе, каждый рабовладѣлецъ окружаетъ себя цѣлымъ гаремомъ невольницъ и, привыкнувъ обращаться по султански со своими безотвѣтными одалисками, относится такъ-же грубо къ своей женѣ, искажая такимъ образомъ основной характеръ европейской семейственности. Далѣе, привыкнувъ къ безпрекословному повиновенію со стороны окружающихъ рабовъ, рабовладѣлецъ вноситъ во всѣ свои общественныя отношенія ту необузданность, которую воспитала въ немъ плантаторская жизнь. Достаточно напомнить читателю съ одной стороны подвиги глупцовъ, плюющихъ другъ другу въ лохань то есть въ физіономію, а съ другой стороны полемическіе пріемы американскихъ плантаторовъ, пускающихъ въ ходъ гуттаперчевыя палки въ засѣданіяхъ конгресса и сената. Всѣ эти аргументы противъ рабства остаются совершенно неприкосновенными во всякомъ случаѣ, каковъ-бы ни былъ нашъ взглядъ на отношенія между бѣлой и цвѣтными расами. Если, какъ говоритъ Антоновичъ, противники реализма, пользуясь словами Зайцева, приходятъ въ восторгъ и кричатъ, что реализмъ освящаетъ рабство, то эти восторженные крики доказываютъ только тупоуміе или недобросовѣстность этихъ противниковъ, на крики которыхъ ни одинъ порядочный реалистъ не будетъ обращать никакого вниманія, тѣмъ болѣе, что къ этому упражненію легкихъ и голосовыхъ хрящей давно пора привыкнуть,

«Und ihres Bellens lauter Schall
Beweist nur, dass wir reiten.»

Съ этими лающими противниками реализма Антоновичъ, неизвѣстно для чего, вступаетъ въ разговоръ, стараясь имъ доказать, «что истинный реализмъ требуетъ во всемъ свободы и устраненія всякихъ наказаній.» *Во всемъ свободы*—это неправда, потому что такимъ путемъ мы придемъ къ принципу буржуазныхъ экономистовъ: laissez faire, laissez passer,—къ тому самому принципу, противъ котораго неутомимо боролись всѣ лучшіе наши представители русскаго реализма (авторъ «Эстетич. отношеній»). Что-же касается до *устраненія всякихъ наказаній*, то эту идею «Русское Слово» постоянно выражало съ такой твердостью и опредѣленностью, съ какой врядъ-ли когда-нибудь выражалъ ее «Современникъ». Читатель можетъ справиться по этому вопросу со статьей Зайцева «Естествознаніе и юстиція», напечатанной въ 1863 году, со статьей Т. З. объ уголовныхъ законахъ европейскихъ государствъ, напечатанной въ майской книжкѣ 1864 года, и съ другой статьей того-же Т. З. о книгѣ Моро-Кристофа «Le monde des coquins», напечатанной въ январской книжкѣ 1865 года. Тогда читатель увидитъ, имѣетъ-ли Антоновичъ какое-нибудь право монополизировать въ пользу «Современника» идею невмѣняемости.

III.

Антоновичъ ставитъ мнѣ въ вину то, что я заявилъ печатно мое несогласіе съ Добролюбовымъ почти на всѣхъ пунктахъ. По своему обыкновенію Антоновичъ стращаетъ насъ врагами реализма: «Указывая на Писарева,—говоритъ онъ—эти враги могли-бы сказать: такъ вотъ каковъ Добролюбовъ! Не прошло и пяти лѣтъ послѣ его смерти, какъ въ его писаніяхъ самые горячіе приверженцы его не могутъ найти уже ни одного почти пункта, съ которымъ-бы они могли согласиться». Эти слова, еслибы они дѣйствительно были кѣмъ-нибудь произнесены, оказались-бы чистѣйшей нелѣпостью по той простой причинѣ, что я никогда не былъ ни *самымъ горячимъ*, ни даже просто *горячимъ* приверженцемъ Добролюбова.

Я давно разошелся съ Добролюбовымъ на многихъ пунктахъ. Добролюбовъ восхищался характеромъ Инсарова въ романѣ Тургенева «Наканунѣ». Я, напротивъ того, утверждалъ печатно въ 1861 г., что Инсаровъ—нелѣпая и безжизненная картонная кукла. Добролюбовъ постоянно относился къ Писемскому съ полнѣйшимъ и отчасти даже аффектированнымъ пренебреженіемъ. Я, напротивъ того, въ томъ-же 1861 году отнесся къ Писемскому съ величайшимъ уваженіемъ и поставилъ его въ моихъ критическихъ статьяхъ выше Тургенева и Гончарова. По этому случаю Антоновичъ конечно непремѣнно возликуетъ и укажетъ мнѣ на «Взбаломученное Море». Но гнусность «Взбаломученнаго Моря» нисколько не уничтожаетъ собою достоинствъ «Тюфяка», «Богатаго Жениха», «Боярщины», «Тысячи Душъ», «Брака по страсти», «Комика» и «Горькой Судьбины». Если надо безусловно осуждать всѣ произведенія писателя за то, что этотъ писатель на старости лѣтъ начинаетъ писать глупости, то придется бранить «Ревизора» и «Мертвыя Души» за то, что Гоголь подъ конецъ своей жизни съѣхалъ на «Переписку съ друзьями». «Взбаломученное Море» составляетъ только одно изъ многочисленныхъ подтвержденій той извѣстной истины, что наши знаменитости не умѣютъ забастовать во-время и продолжаютъ писать, когда имъ слѣдовало-бы отдыхать на лаврахъ. Къ числу такихъ-же, хотя и не столь ярко-позорныхъ явленій, принадлежатъ и «Призраки» Тургенева.—Далѣе, Добролюбовъ

Digitized by Google

относился крайне-снисходительно и даже любовно къ стихотворнымъ шалостямъ Фета и Полонскаго; я, напротивъ того, осмѣялъ эти шалости въ томъ-же 1861 году. Изъ всѣхъ этихъ фактовъ, которые читатель можетъ найдти въ статьяхъ: «Стоячая Вода», «Писемскій, Тургеневъ и Гончаровъ» и «Женскіе Типы въ повѣстяхъ и романахъ Писемскаго, Тургенева и Гончарова»,—изъ всѣхъ этихъ фактовъ слѣдуетъ то неотразимое заключеніе, что ни враги, ни друзья реализма не имѣютъ никакого права ни называть меня *самымъ горячимъ приверженцемъ* Добролюбова, ни радоваться, удивляться, печалиться или негодовать по случаю моего теперешняго отпаденія отъ Добролюбова: никакого отпаденія не было и быть не могло, потому что не было никогда никакой приверженности. Я всегда считалъ и до сихъ поръ считаю Добролюбова за очень умнаго и за очень честнаго человѣка; но съ очень многими изъ его мнѣній я все-таки совершенно несогласенъ. Если Антоновичъ не понимаетъ, что можно глубоко уважать человѣка и въ то-же время расходиться съ нимъ во мнѣніяхъ, если онъ думаетъ, что уважать человѣка и писателя значитъ jurare in verba magistri (клясться словами учителя) и относиться къ нему съ наивно-инстинктивнымъ благоговѣніемъ, то мнѣ остается только пожалѣть о томъ, что роль нерваго критика въ «Современникѣ» досталась такому человѣку, который не въ силахъ возвыситься до понятія объ умственной самостоятельности и о свободной оцѣнкѣ чужихъ мнѣній.

«Мы уже не говоримъ,—продолжаетъ Антоновичъ,—какъ это ограниченное самообольщеніе «Русскаго Слова» (т. е. разногласіе съ Добролюбовымъ) вредно дѣйствуетъ на тѣхъ обиженныхъ натурою читателей, которые вѣрятъ ему и вслѣдствіе этой вѣры вдохновеннымъ и поучительнымъ статьямъ Добролюбова предпочитаютъ фразистую, но несмысленную болтовню гг. Писарева и Зайцева».—Это хорошо, что вы этого *не говорите*, потому что, если-бы вы это сказали, то слова ваши оказались-бы или совершенной безсмыслицей, или одною изъ многихъ вашихъ выдумокъ. Если вы этой фразой хотите выразить ту мысль, что многіе читатели, прочитавъ Добролюбова, послѣ того читаютъ съ удовольствіемъ статьи Писарева и Зайцева, то тогда невозможно понять, что̀ именно огорчаетъ въ этомъ фактѣ васъ, какъ *горячаго приверженца* Добролюбова? Развѣ вы полагаете, что послѣ смерти Добролюбова во всѣхъ русскихъ читателяхъ должно навсегда замереть желаніе слѣдить за современнымъ движеніемъ жизни, науки и литературы? Если вы такъ думаете, то вамъ самимъ не слѣдуетъ писать, а слѣдуетъ только перепечатывать въ критическомъ отдѣлѣ «Современника» всѣ статьи Добролюбова, съ первой до послѣдней; окончивъ эту перепечатку одинъ разъ, слѣдуетъ начать ее во второй разъ, потомъ въ третій, и т. д. безъ конца. Если-же въ вашей фразѣ, которую вы *не говорите*, заключается тотъ смыслъ, что, довѣряясь указаніямъ «Русскаго Слова», простодушные читатели смотрятъ съ пренебреженіемъ на Добролюбова, какъ на отсталаго писателя, и вслѣдствіе этого совсѣмъ не читаютъ его сочиненій, то тогда ваша фраза заключаетъ въ себѣ чистѣйшую ложь. Зайцевъ въ своей статьѣ «Бѣлинскій и Добролюбовъ» (1864 г., январь) очень горячо и убѣдительно рекомендуетъ своимъ читателямъ чтеніе статей Добролюбова. Я говорю точно тоже самое въ моей статьѣ «Кукольная Трагедія» (1864 г., августъ). Вотъ мои подлинныя слова: «Грибоѣдовъ, Крыловъ въ нѣкоторыхъ изъ его лучшихъ басенъ, Пушкинъ въ «Онѣгинѣ», Лермонтовъ въ Печоринѣ, Гоголь въ первой части «Мертвыхъ Душъ», въ «Ревизорѣ» и во многихъ мелкихъ повѣстяхъ, Писемскій, Тургеневъ, Гончаровъ, Достоевскій, Некрасовъ, Островскій и *особенно* Бѣлинскій и *Добролюбовъ*, и въ заключеніе, какъ фактъ вчерашняго дня, романъ «Ч. д?» — это все сырые матеріалы, которые *каждый изъ нашихъ образованныхъ соотечественниковъ долженъ непремѣнно переработать въ своемъ умѣ*, чтобы знать, чего мы хотимъ, о чемъ мы думаемъ и съ какихъ различныхъ точекъ зрѣнія мы разсматриваемъ наше собственное положеніе » Изъ этихъ словъ вы видите, что если даже — чего Боже сохрани! — у меня есть читатели, принимающіе каждое слово на вѣру безъ критики, то и эти читатели не будутъ относиться къ Добролюбову съ пренебреженіемъ, а напротивъ того, основываясь на моихъ словахъ, проникнутся тѣмъ убѣжденіемъ, что чтеніе Добролюбова составляетъ необходимую и особенно важную часть въ общемъ образованіи каждаго русскаго человѣка. Если-же читатели, прочитавъ Добролюбова, согласятся не съ нимъ, а со мною, то въ этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ, весьма прискорбномъ для Антоновича, я съ своей стороны, при всемъ моемъ сочувствіи къ трогательной горести Антоновича, не могу видѣть ничего предосудительнаго, потому что, еслибы я считалъ добролюбовскія мнѣнія болѣе вѣрными, чѣмъ мои собственныя, тогда я, разумѣется, давно отказался-бы отъ своихъ мнѣній и примкнулъ безусловно къ Добролюбову. — Меня вообще очень изумляетъ одно обстоятельство: какъ это Антоновичъ не видитъ и не понимаетъ, что, жалуясь на тѣхъ перебѣжчиковъ, которые, покидая Добролюбова, присоединяются къ Зайцеву и Писареву,—онъ, Антоновичъ, дѣлаетъ со слезами на глазахъ и въ голосѣ публичное признаніе собственнаго безсилія. Антоновичъ самъ—безусловный послѣдователь Добролюбо-

Digitized by Google

ва; бывшіе обожатели Добролюбова, по словамъ самого Антоновича, перебѣжали или перебѣгаютъ къ другимъ писателямъ. Кто-же виноватъ въ этомъ, какъ не преемникъ и послѣдователь Добролюбова? Зачѣмъ-же этотъ преемникъ и послѣдователь не умѣетъ удержать этихъ перебѣжчиковъ въ своей школѣ? Зачѣмъ онъ не умѣетъ приковать къ себѣ умы и сердца бывшихъ обожателей Добролюбова? И если у него на такой подвигъ не хватаетъ силъ, то какое-же право онъ имѣетъ хныкать, брюзжать и ворчать на тѣхъ людей, которые работаютъ сильнѣе, искуснѣе и успѣшнѣе его? Одно изъ двухъ: или эти перебѣжчики умны, или они глупы; въ первомъ случаѣ ихъ приговоръ рѣшаетъ дѣло: кто привлекаетъ ихъ къ себѣ, тотъ и правъ; во второмъ-же случаѣ я не понимаю, изъ-за чего хлопочетъ Антоновичъ, и какая ему выгода будетъ отъ того, что глупые люди будутъ глупѣйшимъ образомъ поклонятся Добролюбову и его преемнику. Я съ своей стороны очень охотно готовъ уступить всѣхъ россійскихъ идіотовъ въ вѣчное потомственное владѣніе Каткову и Николаю Соловьеву.

Перечисливъ такимъ образомъ наши преступленія (Базаровъ, тѣлесныя наказанія философовъ, неуваженіе къ неграмъ, разногласіе съ Добролюбовымъ), Антоновичъ объявляетъ, что поэтому необходимо разграничить и послѣдователей реализма, отдѣлить между ними овецъ отъ козловъ и рѣзко установить тотъ фактъ, что кромѣ дѣйствительныхъ реалистовъ есть еще мнимые реалисты или лже-реалисты, которые считаютъ Тургенева своимъ учителемъ, а Базарова—своимъ идеаломъ, и органомъ или оракуломъ которыхъ служитъ «Русское Слово», т. е. собственно Писаревъ и Зайцевъ, занимающіеся извращеніемъ и обезображиваніемъ реализма.

Называть себя *овцами* или даже *баранами* вы можете безпрепятственно, сколько вашей душѣ или вашимъ душамъ будетъ угодно, этого названія мы у васъ оспаривать не будемъ. Но имени *реалистовъ* мы вамъ, при нашемъ полюбовномъ размежеваніи, не уступимъ по той весьма основательной причинѣ, что не вы это имя выдумали, то есть не вы первые примѣнили его къ этой партіи, которая прежде называлась свистунами, а потомъ—нигилистами. Потрудитесь припомнить, съ какого именно времени это названіе стало употребляться постоянно? Оно получило право гражданства въ концѣ прошлаго года; оно досталось вамъ по милости того самаго «Нерѣшеннаго Вопроса», противъ котораго вы такъ долго, такъ упорно, такъ горячо и—увы!—такъ безуспѣшно воюете. Если вы осмѣлитесь отрицать вѣрность этого показанія, то я приведу вамъ такихъ свидѣтелей, которыхъ вы не можете отвести, потому что они совершенно безпристрастно и одинаково сильно ненавидятъ насъ обоихъ, то есть какъ «Русское Слово», такъ и «Современникъ». Я сошлюсь на филистерскую журналистику, которая въ концѣ прошлаго года и въ началѣ нынѣшняго обсуживала съ разныхъ сторонъ терминъ *реалисты*, какъ новое явленіе, и старалась рѣшить вопросъ о томъ, слѣдуетъ-ли признать за нами это новое названіе, или не слѣдуетъ. Этому занятію предавался Николай Соловьевъ въ статьѣ «Теорія пользы и выгоды», помѣщенной въ ноябрьской книжкѣ «Эпохи». О томъ-же предметѣ толковалъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» нынѣшняго года Incognito, въ первой изъ своихъ критическихъ статей. Наконецъ «Библіотека для Чтенія» во 2-ой февральской книжкѣ нынѣшняго года, въ статьѣ «Послѣдніе цвѣты», прямо объявляетъ, что Писаревъ подиѣняетъ или уже подиѣнилъ состарѣвшійся нигилизмъ новымъ реализмомъ. Такимъ образомъ мои авторскія права не подлежатъ въ этомъ случаѣ ни малѣйшему сомнѣнію. Но этого мало, что я первый примѣнилъ этотъ терминъ; я еще кромѣ того понимаю гораздо лучше васъ его неоцѣненныя достоинства и выгоды именно для обозначенія нашей литературной партіи. Вы, то есть именно вы, Антоновичъ, а не «Современникъ» вообще, даже до сихъ поръ не знаете, почему имя *реалистовъ* особенно удобно для насъ и почему оно такъ быстро пустило корни, что вы теперь, забывъ даже его мѣсторожденіе, стараетесь его у насъ оттягать. Я объясню вамъ достоинства и выгоды этого термина. Видите-ли: сущность нашего направленія заключаетъ въ себѣ двѣ главныя стороны, которыя тѣсно связаны между собою, но которыя однако могутъ быть разсматриваемы отдѣльно и обозначаемы различными терминами. Первая сторона состоитъ изъ нашихъ взглядовъ на природу: тутъ мы принимаемъ въ соображеніе только дѣйствительно-существующія, *реальныя*, видимыя и осязаемыя явленія или свойства предметовъ. Вторая сторона состоитъ изъ нашихъ взглядовъ на общественную жизнь: тутъ мы принимаемъ въ соображеніе только дѣйствительно-существующія, *реальныя*, видимыя и осязаемыя потребности человѣческаго организма. Слово *реалистъ* выражаетъ превосходно сліяніе этихъ двухъ сторонъ, и никакое другое слово не выражаетъ этого сліянія вполнѣ удовлетворительно, потому что каждое изъ многихъ другихъ словъ направляется исключительно или на первую, или на вторую сторону. *Реалистъ*, напротивъ того, исчерпываетъ весь смыслъ нашего направленія до самаго дна, и въ то-же время онъ никого не пугаетъ и не раздражаетъ; il ne casse pas les vitres. Это слово — тихое, кроткое и глубокое: einfach, nett. und dauerhaft (просто, мило и прочно), какъ говоритъ Новалисъ о сочиненіяхъ Гёте. Вотъ почему оно вамъ понравилось, вотъ по-

Digitized by Google

чему вы тянете его къ себѣ, и вотъ почему мы вамъ его не уступимъ, тѣмъ болѣе, что вы рѣшительно не умѣете прикладывать его къ оцѣнкѣ явленій общественной жизни. Подумайте, г. Антоновичъ, какой-же вы *реалистъ*, когда рѣшаетесь хвалить *политическую экономію* Милля, которая вся построена на такъ называемомъ законѣ Мальтуса и которая все разрѣшеніе общественной задачи видитъ только въ *благоразумномъ* воздержаніи работниковъ отъ наслажденій супружеской жизни? Говоря о политической экономіи Милля, вы даже не упомянули о его мальтузіанствѣ, и вы кромѣ того, нечаянно или умышленно, изъ желанія побраниться съ «Отечественными Записками», оклеветали Ч—скаго, сказавъ о немъ, что онъ во всѣхъ существенныхъ основаніяхъ соглашается съ Миллемъ. «Русское Слово», на которое вы стараетесь смотрѣть съ высокомѣріемъ, далеко несоотвѣтствующимъ вашимъ личнымъ силамъ и знаніямъ, «Русское Слово», говорю я, могло бы предохранить васъ отъ этихъ двухъ печальныхъ ошибокъ. Въ «Русскомъ Словѣ» за 1862 годъ вы могли найдти статью Соколова по поводу книги Рошера «Начала народнаго хозяйства», а въ «Русскомъ Словѣ» за 1863 годъ—мои статьи: «Очерки изъ исторіи труда». Эти статьи объяснили-бы вамъ съ ясностью, вразумительной даже для васъ: во-первыхъ, что такое мальтузіанство, а во-вторыхъ (это вы найдете у меня), какъ смотритъ на Мальтуса Ч—скій. — Далѣе, вы не можете быть реалистомъ потому, что, говоря о явленіяхъ общественной жизни и о потребностяхъ человѣческаго организма, вы не умѣете расположить эти потребности въ той необходимой постепенности, которая вытекаетъ сама собою изъ ихъ сравнительной важности. Вы напримѣръ не понимаете, что, когда въ обществѣ есть не только голодные люди, но даже голодные классы, то обществу рано, нелѣпо, отвратительно, неприлично и вредно заботиться объ удовлетвореніи другихъ потребностей второстепенной важности, развившихся у крошечнаго меньшинства сытыхъ и разжирѣвшихъ людей. Еслибы вы прочитали внимательно и были способны понять комментаріи Ч—скаго къ политической экономіи Милля, то вы увидѣли-бы, что онъ сравниваетъ неразумное общество, имѣющее мало хлѣба и въ то-же время заботящееся о музыкальныхъ консерваторіяхъ, объ операхъ, балетахъ, картинахъ и статуяхъ, съ глупымъ дикаремъ, который ходитъ нагишомъ и босикомъ и въ то-же время украшаетъ себя золотыми браслетами и жемчужными ожерельями. Поэтому совѣтую вамъ совершенно искренно, бросьте названіе реалиста, которое вамъ совершенно не къ лицу; вы можете называть себя *овцою* или *барановъ*, а еще того лучше назовите себя *либераломъ*, и раздѣлите это почетное и комфортабельное названіе съ «Московскими Вѣдомостями», съ «Сыномъ Отечества», съ «Голосомъ», съ «Отечественными Записками»,—словомъ, со всей русской журналистикой, кромѣ «Домашней Бесѣды»—съ одной стороны и «Русскаго Слова»—съ другой.

IV.

Антоновичъ, какъ мы видѣли выше, утверждаетъ, что мы считаемъ Тургенева своимъ учителемъ, а Базарова—своимъ идеаломъ. Далѣе, онъ на пяти страницахъ развиваетъ ту-же мысль очень подробно и говоритъ, что «въ видѣ Базарова они (Зайцевъ и я) получаютъ желанный реалистическій талисманъ и ключъ къ скорому, почти механическому рѣшенію всѣхъ вопросовъ». По соображеніямъ Антоновича оказывается, что до самаго появленія тургеневскаго романа я «оставался въ невѣдѣніи относительно реализма.»—«Сколькихъ реалистовъ ни читалъ Писаревъ, ни одного изъ нихъ не могъ понять и узнать, что̀ такое реализмъ.»—Увлекаясь своимъ желаніемъ выставить мое незнаніе и непочиманіе какъ можно ярче, Антоновичъ, самъ того не замѣчая, опрокидываетъ одну изъ своихъ собственныхъ мыслей, высказанныхъ имъ немного выше. Онъ говоритъ на той-же страницѣ, что, познакомившись съ сочиненіями Добролюбова, я его не понялъ и заключилъ, что «Добролюбовъ отсталъ, что у него нѣтъ почти ни одного реалистическаго пункта. Въ такомъ положеніи оставался Писаревъ въ концѣ 1861 года и въ началѣ 1862 года до той незабвенной минуты, когда въ «Русскомъ Вѣстникѣ» появился романъ «Отцы Дѣти».» А на стр. 56 говорилось, что враги реализма причисляютъ меня къ самымъ горячимъ приверженцамъ Добролюбова. Спрашивается, какимъ же образомъ я могъ пріобрѣсти репутацію *самаго горячаго приверженца*, если я съ 1861 года, то есть съ перваго года моей литературной дѣятельности, заключилъ, что у Добролюбова *нѣтъ почти ни одного реалистическаго пункта?* Предоставляю Антоновичу выпутываться изъ этого противорѣчія всѣми выдумками и софизмами, какіе только имѣются въ его распоряженіи.—«Прочитавши одинъ этотъ романъ,—продолжаетъ Антоновичъ,—Писаревъ въ нѣсколько часовъ узналъ, что̀ такое реализмъ, и самъ сдѣлался реалистомъ, чего не случалось съ нимъ даже послѣ продолжительнаго чтенія многихъ статей Добролюбова и другихъ реалистовъ»...«Такимъ образомъ, подобно тому, какъ первымъ своимъ превращеніемъ Писаревъ обязанъ былъ Благосвѣтлову, второе его превращеніе совершилось, благодаря Тургеневу, который сдѣлался учителемъ и руководителемъ Писарева, а Благосвѣтловъ отступилъ

Digitized by Google

на задній планъ, въ роль простого совѣтника.»—Эти разсужденія Антоновича выставляютъ конечно мою личность въ самомъ смѣшномъ и жалкомъ свѣтѣ, но разсужденія эти очевидно могутъ подѣйствовать только на тѣхъ простодушныхъ читателей, которые привыкли принимать печатныя слова на вѣру безъ малѣйшей критики. Читатели менѣе простодушные потребуютъ доказательствъ, увидятъ, что доказательствъ никакихъ не представлено, и сообразятъ, что еслибы слова Антоновича сколько нибудь соотвѣтствовали истинѣ, то найдти доказательства было-бы въ высшей степени легко. Въ самомъ дѣлѣ, до появленія тургеневскаго романа я работалъ въ «Русскомъ Словѣ» слишкомъ годъ и написалъ по меньшей мѣрѣ листовъ сорокъ по самымъ разнообразнымъ предметамъ: тутъ есть и двѣ статьи о Меттернихѣ, и моя кандидатская диссертація объ Аполлоніѣ Тіанскомъ, и три статьи по естественнымъ наукамъ, по поводу сочиненій нѣмецкихъ реалистовъ: Молешота, Карла Фохта и Бюхнера, и наконецъ нѣсколько статей о современной русской литературѣ. Если я втеченіи этого перваго года не понималъ реализма, и если потомъ чтеніе тургеневскаго романа произвело во мнѣ *превращеніе*, то кто-же мѣшалъ Антоновичу показать въ моихъ первыхъ статьяхъ образчики моего непониманія и потомъ, сравнивая первыя мои статьи съ позднѣйшими, представить доказательства совершившагося во мнѣ превращенія? Антоновичъ не сдѣлалъ ни того, ни другого, и потому я полагаю, что онъ имѣетъ очень невыгодное мнѣніе о понятливости и требовательности тѣхъ читателей, въ глазахъ которыхъ онъ старается сдѣлать меня смѣшнымъ. Въ послѣдніе три года совершилось надъ нами и вокругъ насъ множество такихъ крупныхъ и важныхъ событій, которыя каждаго человѣка, способнаго мыслить, заставляютъ вглядываться, какъ можно пристальнѣе, и вдумываться, какъ можно глубже, во все, что̀ составляетъ совокупность его убѣжденій, надеждъ, желаній и плановъ. Поэтому нѣкоторыя частности дѣйствительно измѣнились въ моихъ понятіяхъ; такъ напримѣръ, мой взглядъ на отношенія искусства къ общественной жизни сдѣлался гораздо строже прежняго; нѣкоторыя черты моего образа мыслей выступили теперь рѣзче и обозначились яснѣе; но *превращенія* все-таки никакого не произошло, получилось только постепенное органическое развитіе. Но вѣдь Антоновичъ утверждаетъ совсѣмъ не то: онъ говоритъ, что превращеніе произошло со мною въ тѣ *нѣсколько часовъ*, которые я употребилъ на чтеніе тургеневскаго романа. Въ такомъ случаѣ, если Антоновичу не угодно прослыть за неискуснаго мистификатора довѣрчивой публики, то пусть онъ докажетъ, что мои статьи, написанныя въ январѣ и въ февралѣ 1862 года, отличаются существеннымъ образомъ отъ статей, написанныхъ въ апрѣлѣ и въ маѣ того-же года. Кстати о превращеніяхъ: Антоновичъ приписываетъ мнѣ два превращенія: первое — произведенное Благосвѣтловымъ, и второе — произведенное романомъ Тургенева. Мы видѣли уже, что второе превращеніе выдумано Антоновичемъ. Первое—не выдумано, но понято совершенно невѣрно. Говоря объ этомъ первомъ превращеніи, Антоновичъ основывается на письмѣ моей матери, помѣщенномъ въ мартовской книжкѣ «Современника» за нынѣшній годъ. Всѣ показанія этого письма совершенно вѣрны, но только надо ихъ понимать, а на это у Антоновича не хватаетъ остроумія или добросовѣстности. Въ письмѣ моей матери сказано, что въ апрѣлѣ 1861 года я входилъ въ сношенія съ редакціей «Странника», желая помѣстить въ этотъ журналъ переводъ одной пѣсни «Мессіады». Изъ этого совершенно вѣрнаго показанія Антоновичъ заключаетъ совершенно ошибочно, что я въ апрѣлѣ 1861 года смотрѣлъ на весь міръ глазами «Странника», который, по справедливому замѣчанію того-же Антоновича, есть не что иное, какъ родной братецъ «Домашней Бесѣды». Только на основаніи этого ошибочнаго заключенія Антоновичъ получаетъ поводъ говорить обо мнѣ, что «Писаревъ есть лучшій цвѣтокъ въ саду реализма, посаженный и выращенный Благосвѣтловымъ.»—Я дѣйствительно многимъ обязанъ Благосвѣтлову въ моемъ развитіи, но я никогда не говорилъ, что Благосвѣтловъ *первый* познакомилъ меня съ тѣми идеями, которыя я теперь провожу и защищаю въ «Русскомъ Словѣ». Антоновичъ долженъ былъ-бы сообразить, что редактору журнала некогда заниматься *насаживаніемъ лучшихъ цвѣтковъ*, некогда возиться съ совершенно необразованными и неразвитыми юношами, хотя бы эти юноши были даже очень умны отъ природы. Редакторъ обыкновенно беретъ себѣ въ сотрудники такихъ людей, въ которыхъ уже зашевелилась работа мысли и въ которыхъ эта работа представляетъ хоть что-нибудь родственное, хоть какую-нибудь точку соприкосновенія съ главными идеями редактируемаго журнала. Именно такъ случилось и со мною. Первый трудъ, которымъ я зарекомендовалъ себя въ глазахъ Благосвѣтлова, былъ переводъ поэмы Гейне «Атта Троль». Благосвѣтловъ увидалъ изъ этого перевода, что я люблю и понимаю Гейне. Этотъ симптомъ былъ уже достаточно выразителенъ, чтобы подать поводъ къ нашему ближайшему знакомству. За этимъ знакомствомъ послѣдовали работы, и если Антоновичъ потрудится просмотрѣть мои статьи, помѣщенныя въ февральской, въ мартовской и апрѣльской книжкахъ «Русскаго Слова» за 1861 годъ, то увидитъ, что въ моихъ тогдашнихъ идеяхъ не было ничего похожаго на идеи «Странника».—Но

Digitized by Google

почему-же я ходилъ въ редакцію «Странника» въ апрѣлѣ? И что-же сдѣлалъ для меня Благосвѣтловъ, если я уже до знакомства съ нимъ не сходился въ идеяхъ со «Странникомъ»? Ходилъ я въ редакцію «Странника» потому, что не имѣлъ понятія о серьезныхъ обязанностяхъ честнаго литератора. А сдѣлалъ для меня Благосвѣтловъ именно то, что своимъ вліяніемъ заставилъ меня понять, въ чемъ состоятъ эти серьезныя обязанности. Дѣло въ томъ, что наши пишущіе люди до сихъ поръ не могутъ понять, что честный писатель отнюдь не долженъ уподобляться ласковому теленку, сосущему въ одно время и съ одинаковымъ успѣхомъ двухъ или даже многихъ болѣе или менѣе разношерстныхъ матокъ. Русскій писатель обыкновенно смотритъ на литературу, какъ на свое хлѣбное ремесло, и поступаетъ со своими произведеніями, какъ сапожникъ съ сапогами, то есть продаетъ ихъ первому встрѣчному покупателю, не обращая никакого вниманія на самыя характерныя особенности этого покупателя. Примѣровъ можно привести сколько угодно, выбирая притомъ только очень извѣстныя и нисколько неопозоренныя имена. Было-бы очень несправедливо назвать покойнаго Дружинина безчестнымъ или тупоумнымъ писателемъ, а между тѣмъ извѣстно, что Дружининъ въ 1861 году помѣстилъ въ «Русскомъ Вѣстникѣ» статью о Карлейлевой исторіи Фридриха II, потомъ въ 1862 году помѣстилъ въ «Современникѣ» переводъ «Ричарда III» и наконецъ въ 1863 году опять въ «Русск. Вѣстникѣ»— продолженіе статей о книгѣ Карлейля. Такимъ образомъ Дружининъ ухитрялся мирить «Современникъ» съ «Русскимъ Вѣстникомъ».—Костомаровъ *) также не можетъ быть названъ ни безчестнымъ, ни тупоумнымъ писателемъ, а между тѣмъ онъ помѣщалъ свои статьи въ «Библіотекѣ для Чтенія» рядомъ съ романомъ Стебницкаго.—Вейнберга я также не имѣю повода заподозрить ни въ тупоуміи, ни въ безчестности, а между тѣмъ онъ помѣстилъ переводъ «Беатриче Ченчи» въ «Русск. Словѣ», а переводъ «Отелло»—въ «Библіотекѣ для Чтенія», совершенно опозоренной романомъ «Некуда». Такимъ образомъ производилось непостижимое примиреніе «Русск. Слова» съ «Библіотекой». Такое-же примиреніе устроивалъ и Глѣбъ Успенскій, который, печатая обыкновенно свои разсказы въ «Русск. Словѣ», помѣстилъ однако одинъ очеркъ въ январской книжкѣ «Библіотеки» за нынѣшній годъ. Помяловскій конечно былъ достаточно уменъ и честенъ, чтобы не сочувствовать философіи Страхова и Косицы, а между тѣмъ отдалъ «Зимній вечеръ въ бурсѣ» во «Время», и отдалъ его тогда, когда «Современникъ» еще не былъ пріостановленъ. Пониманіе настоящихъ отношеній литературы къ обществу развито до сихъ поръ такъ слабо въ нашей публикѣ, что большинство читателей, прочитавъ то, что́ я говорю о Вейнбергѣ, навѣрное возразятъ мнѣ съ простодушнымъ удивленіемъ: «да вѣдь это переводы, стало быть, все равно, куда ихъ не помѣстить». Совсѣмъ не все равно, отвѣчу я. Писатель долженъ разсуждать слѣдующимъ образомъ: если я считаю позволительнымъ выпустить мою работу въ свѣтъ, то, значитъ, я нахожу, что она исполнена добросовѣстно и что вслѣдствіе этого она можетъ хоть немного усилить успѣхъ того журнала, въ который я ее отдаю. Если-же я своей работой усиливаю успѣхъ такого журнала, который проповѣдуетъ нелѣпости или гнусности, то я становлюсь до нѣкоторой степени сообщникомъ этихъ гнусностей или нелѣпостей. Стало быть, даже и переводы слѣдуетъ помѣщать съ величайшей разборчивостью. Еслибы у насъ не было въ литературѣ людей безразличныхъ и равнодушныхъ, то бо́льшая часть нелѣпыхъ или гнусныхъ журналовъ потеряла-бы возможность существовать, потому что люди чисто-нелѣпые или чисто гнусные, дающіе колоритъ гнуснымъ или нелѣпымъ журналамъ, составляютъ у насъ, какъ и вездѣ, очень незначительное меньшинство, которое только при содѣйствіи равнодушныхъ и безразличныхъ людей можетъ обдѣлывать свои дѣлишки и выпускать въ свѣтъ разнообразныя книжки, пропитанныя ароматомъ гнусности или нелѣпости. Безразличіе и равнодушіе, составляющія до сихъ поръ преобладающія особенности нашихъ литературныхъ дѣятелей, происходятъ не отъ испорченности, не отъ систематической продажности, а просто отъ непониманія той истины, что литература—великая общественная сила, которая начинаетъ развращать общество съ той самой минуты, какъ только она перестаетъ двигать его впередъ и раскрывать передъ нимъ его острыя и хроническія болѣзни. Непониманіе это очень понятно: до 1855 года у насъ не было и быть не могло ясно обозначенныхъ и неуклонно-выдержанныхъ направленій; еслибы кто нибудь потрудился перебрать старыя книжки «Отечественныхъ Записокъ», то навѣрное нашелъ-бы тамъ, рядомъ со статьями Бѣлинскаго, множество такихъ вещей, которыя показались бы дикими даже теперешнимъ «Отечественнымъ Запискамъ». Потомъ, послѣ 1855 года, всѣ русскіе писатели сдѣлались либералами, а либеральный кодексъ извѣстенъ: отрицай розги и зуботычины, люби Росселя и Кавура, обижайся, когда евреевъ называютъ жидами, и затѣмъ, заручившись этими добродѣтельными чувствами, говори, пиши и дѣлай все, что́ угодно. На почвѣ этого либеральнаго кодекса выросли, какъ те-

*) Само собою разумѣется, что, называя Костомарова не безчестнымъ и не тупоумнымъ писателемъ, я говорю о профессорѣ Н. И. Костомаровѣ, а не о Всеволодѣ Костомаровѣ.

Digitized by Google

орія «Голоса» о томъ, что честному писателю незачѣмъ быть честнымъ человѣкомъ, такъ и теорія Альбертини о систематической несолидарности сотрудниковъ журнала между собою. Каждый либералъ готовъ безъ дальнѣйшихъ разспросовъ писать въ одномъ журналѣ съ другими либералами, съ которыми онъ не сходится ни на одномъ пунктѣ, кромѣ вышеисчисленныхъ статей либеральнаго кодекса. Привыкнувъ игнорировать своихъ сотрудниковъ и кочевать по домашнимъ обстоятельствамъ изъ одного либеральнаго журнала въ другой, либералы не слишкомъ строго смотрятъ на переходы даже и въ такіе журналы, которые съ либерализмомъ не имѣютъ ничего общаго. Извѣстно напримѣръ, какъ пламенно ненавидятъ и усердно бранятъ «Русское Слово» всѣ наши либералы; и всѣхъ этихъ пламенно-ненавидящихъ и усердно-бранящихъ либераловъ можно завтра-же приманить въ «Русское Слово», посуливъ имъ лишнихъ пять рублей полистной платы. Жаль только, что приманивать не стоитъ. И опять-таки повторяю вамъ, что это дѣлается не столько вслѣдствіе развращенности и продажности, сколько вслѣдствіе литературнаго диллетантизма, вытекающаго изъ нашей общественной неразвитости. Предложите тому-же либералу, котораго вы переманили за пять рублей, поцѣловать у васъ руку не за пять, а за пятьсотъ рублей, и вы увидите, что онъ не только не поцѣлуетъ, а даже—чего добраго—обидится. Значитъ, чувство чести въ немъ есть, но только нѣтъ умѣнья понять отношенія писателя къ обществу. Благосвѣтловъ своимъ вліяніемъ навсегда застраховалъ меня отъ безцвѣтнаго либерализма, приводящаго къ теоріямъ «Голоса» и Альбертини. Когда я ходилъ въ редакцію «Странника», я стоялъ на той низкой степени пониманія, на которой остановились напримѣръ Дружининъ и Костомаровъ. Благосвѣтловъ помогъ мнѣ подняться на высшую ступеньку, и теперь я смотрю на дѣло писателя, какъ на серьезную общественную обязанность. Такимъ образомъ Благосвѣтловъ сдѣлалъ для меня очень много. Но мое реалистическое міросозерцаніе сложилось независимо отъ Благосвѣтлова и до моего знакомства съ нимъ. *Лучшій цвѣтокъ въ саду реализма, насажденный и выращенный самимъ Благосвѣтловымъ*, оказывается такимъ образомъ безвредной шуткой, которая ко мнѣ нисколько не относится.

V.

Антоновичъ старается доказать, что я будтобы не понялъ статьи Добролюбова «Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ».—«Читая эту статью,—говоритъ онъ,—онъ (Писаревъ) остановился на той милліонной долѣ статьи, гдѣ Добролюбовъ хвалитъ Катерину; эта похвала точно гвоздемъ засѣла въ голову критика, и онъ остановился на ней собственно потому, что наслушался фразъ объ отрицаніи и обличеніи, и его обличительное рвеніе обидѣлось похвалой. Итакъ, похвала Катеринѣ составляетъ *одну милліонную* долю статьи «Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ». Справляясь съ сочиненіями Добролюбова, я усматриваю, что хвалебный анализъ характера Катерины занимаетъ въ третьемъ томѣ ровно *тридцать* страницъ (488—517); слѣдовательно, по счету Антоновича, вся статья должна заключать въ себѣ *тридцать милліоновъ* страницъ; на самомъ-же дѣлѣ она не такъ велика: въ ней всего *семьдесятъ семь* страницъ. Стало быть, похвала Катеринѣ, даже по одному объему, составляетъ почти половину статьи (выражаясь точнѣе—болѣе $^3/_8$ статьи). Но этого мало. Не трудно доказать, что эта часть статьи составляетъ настоящую ея сущность. Въ самомъ дѣлѣ, первыя *двадцать семь* страницъ составляютъ вступленіе, въ которомъ Добролюбовъ объясняется «*относительно основаній своей критики*» и полемизируетъ съ разными приверженцами школьной піитики. Оканчивая это вступленіе, Добролюбовъ самъ признается, что его «*можно было изложить на двухъ-трехъ страницахъ*, но что тогда бы этимъ страницамъ долго не пришлось увидѣть свѣта». Вступленіе вышло длинно, потому что «приходится поневолѣ перевертываться всячески съ фразой, чтобы ввести какъ-нибудь читателя въ сущность излагаемой мысли». Ясное дѣло, что извороты фразъ, необходимые только вслѣдствіе стѣсненнаго положенія нашей печати, не могутъ составлять существеннаго содержанія статьи. Если Добролюбовъ самъ говоритъ, что вступленіе могло умѣститься на двухъ-трехъ страницахъ, то мы и должны считать первыя *двадцать семь* страницъ за двѣ или за три страницы, непомѣрно раздувшіяся вслѣдствіе особыхъ обстоятельствъ, отъ автора независящихъ. Наконецъ Добролюбовъ говоритъ: «Но обратимся-же къ *настоящему предмету* нашему—къ автору «Грозы».» Ясно, кажется, что первыя *двадцать семь* страницъ къ *настоящему предмету* не относятся. Далѣе Добролюбовъ начинаетъ рисовать жизнь города Калинова и самодурство Дикого и Кабановой, то есть, онъ описываетъ ту сцену, на которой Катеринѣ приходится дѣйствовать, и знакомитъ насъ съ тѣми людьми, отъ которыхъ Катерина находится въ зависимости. Затѣмъ начинается анализъ характера Катерины. Спрашиваю я васъ теперь, господа читатели, которая изъ трехъ частей статьи можетъ быть названа главной: первая-ли, заключающая въ себѣ преліминаріи, которыя, по сознанію самого автора, могли-бы умѣститься на двухъ-трехъ страницахъ; вторая-ли, заключающая въ себѣ описаніе фона картины; или-же третья, заключаю-

Digitized by Google

щая въ себѣ анализъ характера главнаго дѣйствующаго лица? Но можетъ-быть въ этомъ анализѣ характера хвалебный элементъ занимаетъ дѣйствительно самое скромное мѣсто? Нѣтъ, господа, мой увертливый противникъ не укроется даже и въ этой послѣдней лазейкѣ. Чтобы возвеличить Катерину, Добролюбовъ повергаетъ впрахъ всѣ сильные характеры, изображавшіеся въ нашей современной литературѣ, и эту груду поверженныхъ фигуръ превращаетъ въ пьедесталъ для своей любимой героини. Къ ногамъ Катерины повергается даже Инсаровъ, тотъ самый Инсаровъ, къ которому Добролюбовъ отнесся съ величайшимъ сочувствіемъ въ своей статьѣ: «Когда-же придетъ настоящій день?»—«Русская жизнь,—говоритъ Добролюбовъ,—дошла наконецъ до того, что добродѣтельныя и почтенныя, но слабыя и безличныя существа не удовлетворяютъ общественнаго сознанія и признаются никуда негодными. Почувствовалась неотлагаемая потребность въ людяхъ, хотя-бы и менѣе прекрасныхъ, но болѣе дѣятельныхъ и энергичныхъ. Иначе и невозможно: какъ скоро сознаніе правды и права, здравый смыслъ проснулись въ людяхъ, они непремѣнно требуютъ не только отвлеченнаго съ ними согласія (которымъ такъ блистали всегда добродѣтельные герои прежняго времени), но и внесенія ихъ въ жизнь, въ дѣятельность. Но чтобы внести ихъ въ жизнь, надо побороть много препятствій, подставляемыхъ Дикими, Кабановыми, и т. п.; для преодолѣнія препятствій нужны характеры предпріимчивые, рѣшительные, настойчивые. Нужно, чтобы въ нихъ воплотилось, съ ними слилось то общее требованіе правды и права, которое наконецъ прорывается въ людяхъ сквозь всѣ преграды, поставленныя дикими самодурами. Теперь большая задача представлялась въ томъ, какъ-же долженъ образоваться и проявиться характеръ, требуемый у насъ новымъ поворотомъ общественной жизни? Задачу эту пытались разрѣшить наши писатели, но всегда болѣе или менѣе неудачно». Катерина, по мнѣнію Добролюбова, оказывается желаннымъ разрѣшеніемъ этой задачи. «Такимъ образомъ,—говоритъ Добролюбовъ,—перебирая разнообразные типы, являвшіеся къ нашей жизни и воспроизведенные литературой, мы постоянно приходили къ убѣжденію, что они не могутъ служить представителями того общественнаго движенія, которое чувствуется у насъ теперь, и о которомъ мы, по возможности подробно, говорили выше. Видя это, мы спрашивали себя: какъ-же однако опредѣлятся новыя стремленія въ отдѣльной личности? Какими чертами долженъ отличаться характеръ, которымъ совершится рѣшительный разрывъ со старыми, нелѣпыми и насильственными отношеніями жизни? Въ дѣйствительной жизни пробуждающагося общества мы видѣли лишь намеки на рѣшеніе нашихъ вопросовъ, въ литературѣ—слабое повтореніе этихъ намековъ; но въ «Грозѣ» составлено изъ нихъ цѣлое, уже съ довольно-ясными очертаніями; здѣсь является передъ нами лицо, взятое прямо изъ жизни, но выясненное въ сознаніи художника и поставленное въ такія положенія, которыя даютъ ему обнаружиться полнѣе и рѣшительнѣе, нежели какъ бываетъ въ большинствѣ случаевъ обыкновенной жизни»... «Рѣшительный, цѣльный русскій характеръ, дѣйствующій въ средѣ Дикихъ и Кабановыхъ, является у Островскаго въ женскомъ типѣ, и это не лишено своего серьезнаго значенія.» Далѣе начинается уже просто хвалебный гимнъ Катеринѣ, который и не прерывается до самаго конца статьи. Чтобы показать читателю, до какого паѳоса доходитъ Добролюбовъ, и какія непохвальныя вещи онъ превозноситъ въ разгарѣ своего увлеченія, я приведу изъ его хвалебнаго гимна два отрывка. «Катерина вовсе не принадлежитъ къ буйнымъ характерамъ, никогда недовольнымъ, любящимъ разрушать, во что бы то ни стало. (А неужели Добролюбовъ видѣлъ въ русскомъ обществѣ такихъ неугомонныхъ разрушителей, и неужели онъ вѣритъ въ ихъ существованіе? Я, признаюсь, думалъ и продолжаю думать до сихъ поръ, что такіе безпардонные буяны—не что иное, какъ бабаяга, выдуманная катковскими и скарятинскими журналами для того, чтобы пугать маленькихъ дѣтей и такихъ читателей, которые по своимъ умственнымъ способностямъ отъ маленькихъ дѣтей очень недалеко уѣхали.) Напротивъ, это характеръ по преимуществу созидающій, любящій, идеальный. (Что такое *идеальный* характеръ? И если *идеальный* характеръ противуполагается разрушителю, то, стало быть, разрушитель окажется *матеріальнымъ* характеромъ?) Вотъ почему она старается все осмыслить и облагородить въ своемъ воображеніи; то настроеніе, при которомъ, по выраженію поэта, «весь міръ мечтою благородной предъ нимъ очищенъ и омытъ», это настроеніе до послѣдней крайности не покидаетъ Катерину. (Не правда-ли, какъ приспособленъ такой характеръ къ суровымъ подвигамъ общественной дѣятельности? Какъ полезно мыть и чистить окружающихъ самодуровъ благородною мечтою для того, чтобы потомъ вступить съ ними въ борьбу!) Всякій внѣшній диссонансъ она старается согласить съ гармоніей своей души, всякій недостатокъ покрываетъ изъ полноты своихъ внутреннихъ силъ. (Если выражаться менѣе поэтическимъ языкомъ, то надо будетъ сказать очень просто, что Катерина, какъ всѣ обиженные Богомъ и воспитаніемъ мечтатели, видитъ вещи въ розовомъ свѣтѣ. Но спрашивается, въ чемъ же состоитъ задача общественнаго дѣятеля: въ томъ-ли, чтобъ игнорировать недостатки, или-же

Digitized by Google

въ томъ, чтобы видѣть, понимать и устранять ихъ?) Грубые, суевѣрные разсказы и безсмысленныя бредни странницъ превращаются у ней въ золотые, поэтическіе сны воображенія, не устрашающіе, а ясные, добрые.» Далѣе Добролюбовъ начинаетъ наслаждаться описаніемъ ясныхъ, добрыхъ, золотыхъ и поэтическихъ сновъ. Дальше выписывать не стоитъ, потому что основное направленіе хвалебнаго гимна достаточно обозначено. Вы видите, что художественное чувство завлекаетъ Добролюбова очень далеко, даже изъ рукъ вонъ какъ далеко. Онъ ставитъ Катеринѣ въ заслугу то, что она чистила и мыла благородною мечтою *грубые, суевѣрные разсказы и безсмысленныя бредни странницъ*. Порывъ художественнаго чувства миритъ Добролюбова со всѣмъ, даже съ мистицизмомъ, если только онъ облекается въ красивую форму золотыхъ, поэтическихъ, ясныхъ и добрыхъ сновъ. Имѣйте при этомъ въ виду, что Добролюбовъ обѣщаетъ показать намъ въ Катеринѣ «характеръ, которымъ совершится рѣшительный разрывъ со старыми, нелѣпыми и насильственными отношеніями жизни». Неправда-ли, какіе богатые задатки *рѣшительнаго разрыва* скрываются въ такой личности, которая сама заражена до мозга костей всѣми нелѣпостями понятій, господствующихъ въ обществѣ самодуровъ?—Этого мало, что Катерина вѣритъ странницамъ; она еще кромѣ того влюбилась въ ихъ разсказы именно потому, что постоянно мыла и чистила ихъ благородною мечтою. И отъ такой-то безнадежно-зачумленной личности Добролюбовъ ждетъ *рѣшительнаго разрыва!* — Вотъ второй отрывокъ изъ хвалебнаго гимна, посвященнаго полоумной мечтательницѣ и визіонеркѣ. «Претендованные въ другихъ твореніяхъ нашей литературы сильные характеры похожи на фонтанчики, бьющіе довольно красиво и бойко, но зависящіе въ своихъ проявленіяхъ отъ посторонняго механизма, подведеннаго къ нимъ. (Инсаровъ тоже попадаетъ въ фонтанчики.) Катерина, напротивъ, можетъ быть уподоблена большой, многоводной рѣкѣ: она течетъ, какъ требуетъ ея природное свойство; характеръ ея теченія измѣняется сообразно съ мѣстностью, черезъ которую она проходитъ, но теченіе не останавливается; ровное дно, хорошее—она течетъ спокойно, камни большіе встрѣчаются—она черезъ нихъ перескакиваетъ, обрывъ—льется каскадомъ, запружаютъ ее—она бушуетъ и прорывается въ другомъ мѣстѣ. Не потому бурлитъ она, чтобы водѣ вдругъ захотѣлось пошумѣть или разсердиться на препятствія, а просто потому, что это ей необходимо для выполненія ея естественныхъ требованій, для дальнѣйшаго теченія.» Моя страстная и упорная любовь къ Базарову вошла въ пословицу и давно сдѣлалась посмѣшищемъ всей близорукой нашей журналистики, а между тѣмъ я никогда не воспѣвалъ его такъ восторженно, велерѣчиво и метафорично, какъ Добролюбовъ поетъ Катерину. Такъ напримѣръ, я никогда не разсуждалъ о томъ, что́ предпринялъ бы Базаровъ, если-бы его *запрудили* или если бы ему пришлось *течь черезъ обрывъ*. — А теперь, господа читатели, я васъ спрашиваю: что́ вы думаете о правдивости Антоновича, имѣющаго дерзость утверждать печатно, что похвала Катеринѣ составляетъ одну *милліонную долю* въ статьѣ Добролюбова? Поставивъ передъ вами этотъ вопросъ, я на время презрительно устраняю мелкаго литературнаго фокусника Антоновича и до конца этой главы веду разговоръ съ умнымъ и честнымъ, но, по моему крайнему разумѣнію, заблуждающимся писателемъ Добролюбовымъ. Предстоитъ рѣшить вопросъ о томъ, кто изъ нашихъ любимцевъ, добролюбовскій или мой, Катерина или Базаровъ, заключаютъ въ себѣ элементы, необходимые для рѣшенія общественной задачи, поставленной русскому народу всѣмъ теченіемъ нашей исторической жизни? Добролюбовъ говоритъ, что намъ нуженъ въ настоящее время «*русскій сильный характеръ*». Я полагаю, что это мнѣніе совершенно ошибочно. Сильныхъ характеровъ у насъ всегда было много, и они до сихъ поръ существуютъ у насъ въ большомъ изобиліи. Чтобы поддержать эту мысль, которая многимъ, если не всѣмъ, читателямъ покажется парадоксомъ, я не буду ссылаться на отдѣльные историческіе примѣры; я просто разверну передъ вами карту европейской и азіятской Россіи и укажу вамъ на *всю нашу исторію*, какъ на самое краснорѣчивое выраженіе нашего колоссальнаго, желѣзнаго характера. Существенный смыслъ всей нашей исторіи заключается въ постоянной, хронической, исполинской колонизаціи, расчисткѣ и разработкѣ земель отъ Балтійскаго моря до Тихаго океана. Энергія и терпѣніе теперешнихъ американскихъ піонеровъ совершенно ничтожны въ сравненіи съ терпѣніемъ и энергіей нашихъ колонизаторовъ, ничтожны именно потому, что американецъ идетъ на борьбу съ природой, вооруженный всѣми пособіями науки и техники, а нашъ мужикъ шелъ и даже идетъ до сихъ поръ только-что не съ голыми руками. Чего не достаетъ со стороны знанія и технической снаровки, то очевидно можетъ и должно быть дополнено только упорствомъ, мозолистымъ трудомъ и сноснвостью, т. е. именно силой и энергіей характера. Чего другого, а желѣзной воли и ультраослинаго терпѣнія у насъ во всякое время было довольно. Въ каждомъ учебномъ заведеніи, въ каждомъ казенномъ присутственномъ мѣстѣ, въ каждой рабочей артели, въ каждомъ полку, въ каждомъ острогѣ—вы найдете десятки, если не сотни, желѣзныхъ характеровъ, которыхъ упорство въ принятомъ рѣшеніи не

Digitized by Google

побѣдите ни лаской, ни палкой. Всякій согласится, что Молчалинъ есть типъ; но неужели-же вы не видите, что Молчалинъ—желѣзный характеръ? Молчалинъ сказалъ себѣ: «я хочу составить карьеру»—и пошелъ по той дорогѣ, которая ведетъ къ степенямъ извѣстнымъ; пошелъ и уже не своротитъ ни вправо, ни влѣво; умирай его мать въ сторонѣ отъ дороги, зови его любимая женщина въ сосѣднюю рощу, плюй ему весь свѣтъ въ глаза, чтобы остановить его движеніе,—онъ все будетъ идти и дойдетъ—одинокій, оплеванный, измученный,—но дойдетъ. И это, по вашему, не сила характера? Да если-бы каждый изъ нашихъ прогрессистовъ былъ Молчалинымъ по силѣ характера, то... то... то лучшаго ничего и желать было-бы невозможно.—Вы скажете, что у Молчалина мелкая, низкая и даже глупая цѣль. Да вѣдь это ужъ совсѣмъ другой вопросъ. Цѣль жизни выбирается не характеромъ, а умомъ; и выборъ, удачный или неудачный, обусловливается тѣмъ умственнымъ развитіемъ и тѣми знаніями, которыми обладаетъ человѣкъ въ то время, когда ему приходится выбирать. Если бы юноша Молчалинъ имѣлъ понятіе о болѣе высокихъ разумныхъ и привлекательныхъ цѣляхъ, если-бы образованіе поставило его на ту точку зрѣнія, съ которой становится замѣтной привлекательность этихъ другихъ цѣлей, то онъ бы и выбралъ одну изъ этихъ другихъ, потому что человѣкъ никогда не довольствуется кускомъ черствaго хлѣба, если имѣетъ возможность получить кусокъ пирога. А выбравъ разъ хорошую цѣль, Молчалинъ пошелъ-бы къ ней такъ же неуклонно, какъ идетъ къ степенямъ извѣстнымъ. Вотъ мы, стало быть, и договорились. Наша общественная или народная жизнь нуждается совсѣмъ не въ сильныхъ характерахъ, которыхъ у нея за глаза довольно, а только и исключительно въ одной *сознательности*.—Какъ только наши неутомимые и неустрашимые труженики узнаютъ и поймутъ совершенно ясно, что́—ложь и что́—правда, что́—вредъ и что́—польза, кто—врагъ и кто—другъ, такъ они и пойдутъ твердыми шагами къ разумной и счастливой жизни, не останавливаясь передъ трудностями, не пугаясь опасностей, не слушая лживыхъ обѣщаній, и спокойно устраняя всѣ рогатки и шлагбаумы. Думать, что русскіе люди нуждаются не въ знаніи, а въ энергіи, значитъ считать Обломова типическимъ представителемъ русскаго народнаго характера, а такая грубая ошибка понятна только со стороны поверхностнаго писателя. И знаніе составляетъ ключъ къ рѣшенію общественной задачи не въ одной Россіи, а во всемъ мірѣ. Нѣтъ ни одного народа, у котораго замѣчался-бы недостатокъ характера, и нѣтъ также ни одного народа, который былъ-бы достаточно надѣленъ знаніемъ. Каждое важное событіе въ исторической жизни каждаго народа вызываетъ наружу тысячи проявленій самаго чистаго и высокаго героизма, и каждое событіе оканчивается самой нелѣпой и печальной развязкой, если у даннаго народа не оказывается въ наличности тѣхъ умственныхъ способностей, тѣхъ знаній и той опытности, которыя могли-бы поворотить, куда слѣдуетъ, дальнѣйшее теченіе исторической жизни. Посмотрите напримѣръ на первую французскую революцію: энергіи, героизма, любви къ отечеству и всякихъ другихъ добродѣтелей было истрачено столько, что ихъ хватило-бы на освобожденіе всѣхъ народовъ земного шара; а между тѣмъ движеніе завершилось военнымъ деспотизмомъ и позорнѣйшей реставраціей именно оттого, что не нашлось въ запасѣ положительныхъ знаній, безъ которыхъ и самый геніальный организаторъ всегда потерпитъ полнѣйшую неудачу. Итакъ, намъ необходимы исключительно люди знанія, т. е. знанія должны быть усвоены тѣми желѣзными характерами, которыми переполнена наша народная жизнь.

Но читатель помнитъ конечно, что, говоря о Молчалинѣ, я съ нѣкоторой укоризной пожелалъ нашимъ прогрессистамъ молчалинской силы характера. Выражая это желаніе я, стало быть, признавалъ тотъ фактъ, что нашимъ прогрессистамъ дѣйствительно не достаетъ характера. Да, я признаю этотъ фактъ и считаю его непоправимымъ относительно тѣхъ прогрессистовъ, которые «дѣла себѣ исполинскаго ищутъ, благо наслѣдство богатыхъ отцовъ ихъ избавляетъ отъ тяжкихъ трудовъ». Характеръ закаляется трудомъ, и кто никогда не добывалъ себѣ собственнымъ грудомъ насущнаго пропитанія, тотъ въ большей части случаевъ остается навсегда слабымъ, вялымъ и безхарактернымъ человѣкомъ. Это значитъ, что вся наша надежда покоится на тѣхъ людяхъ, которые сами себя кормятъ и изъ которыхъ дѣйствительно сформировались первые и постоянно формируются новые представители базаровскаго типа. Представивъ эти размышленія на судъ читателя, я замѣчу наконецъ, что съ основнымъ смысломъ моихъ идей согласился даже и «Современникъ», заклятый врагъ Тургенева, Базарова и «Русскаго Слова». Типъ, рѣшающій общественную задачу, воплощенъ самымъ блестящимъ и самымъ глубокимъ мыслителемъ «Современника», Чернышевскимъ, въ личности Рахметова *). Рахметовъ признанъ и всѣми остальными сотрудниками «Современника»; а на кого-же Рахметовъ больше похожъ—на Базарова, или на Катерину? Я полагаю, что смѣшно даже и задавать читателю подобный вопросъ. Характеръ Катерины

*) Недавно базаровскій типъ получилъ новое оправданіе и признаніе отъ «Современника», въ повѣсти Слѣпцова «Трудное Время», о которой стоитъ поговорить въ особой статьѣ.

Digitized by Google

промелькнулъ и теперь уже навсегда забытъ, а базаровскій типъ растетъ постоянно, не по днямъ, а по часамъ, и въ жизни, и въ литературѣ. Стало быть, незачѣмъ было и воспѣвать Катерину, какъ многоводную рѣку.

VI.

Въ своей статьѣ Антоновичъ объявляетъ, что Писаревъ «со свойственнымъ ему умѣньемъ уничтожаетъ искусство и производитъ разрушеніе эстетики».—Изъ этихъ словъ Антоновича я вижу, что онъ самымъ забавнымъ образомъ ошибается въ пониманіи того заглавія, которое я далъ моей критической статьѣ, помѣщенной въ майской книжкѣ «Русскаго Слова» за 1865 годъ. Прочитавъ заглавіе «*Разрушеніе эстетики*», Антоновичъ вообразилъ себѣ, что я самъ принимаю на себя роль разрушителя, и что *разрушеніемъ эстетики* я называю именно мою собственную статью. Если понимать по такому остроумному способу заглавія статей, то придется утверждать, что я самому себѣ приписываю *педагогическіе софизмы*, что я самого себя обвиняю въ *сердитомъ безсиліи*, что Соколовъ самого себя уличаетъ въ *экономическихъ иллюзіяхъ*, и что Антоновичъ самого себя считаетъ творцомъ *современной эстетической теоріи*. Когда надъ статьей написано крупными буквами: «*такой-то предметъ*», то люди, привыкшіе къ общеупотребительному литературному языку, понимаютъ обыкновенно эту надпись такъ, какъ будто-бы было написано: «*статья о такомъ-то предметѣ*». Такъ напримѣръ, когда надъ статьями писано: «*Маколей*» или «*Миллъ*», то читатели не ожидаютъ найдти въ книгѣ этихъ двухъ англичанъ en chair et os; они ожидаютъ найдти только разсужденіе о Маколеѣ или Миллѣ. Точно также, когда надъ статьей написано «*Разрушеніе эстетики*», то читатели ожидаютъ найдти въ книгѣ статью о томъ сочиненіи, которое разрушало эстетику. Это они дѣйствительно и находятъ, потому что во всей моей статьѣ я доказываю очень подробно, что эстетику разрушилъ Чернышевскій своей книгой «Эстетическія отношенія искусства къ дѣйствительности».

Чтобы навязать мнѣ небывалыя претензіи на разрушеніе эстетики, Антоновичъ принужденъ прибѣгнуть къ самому печальному изъ полемическихъ пріемовъ, именно къ искаженію, даже не мыслей противника, а его словъ; онъ принужденъ пуститься на такой отчаянный маневръ, какъ фальсификація печатныхъ документовъ. Антоновичъ слѣдующимъ образомъ цитируетъ мои слова: «Надо совершенно уничтожить эстетику, провозглашаетъ Писаревъ, надо отправить ее туда, куда отправлены алхимія и астрологія».—Для большей убѣдительности Антоновичъ ставитъ эти слова въ ковычки, такъ что читатель принужденъ видѣть въ этой фразѣ именно мои собственныя, *подлинныя* слова. На самомъ-же дѣлѣ оказывается, что цитата приведена невѣрно. Вотъ мои слова: «Авторъ видѣлъ, что эстетика, порожденная умственной неподвижностью нашего общества, въ свою очередь поддерживала эту неподвижность. Чтобы двинуться съ мѣста, чтобы сказать обществу разумное слово, чтобы пробудить въ разслабленной литературѣ сознаніе ея высокихъ и серьезныхъ гражданскихъ обязанностей, надо *было* совершенно уничтожить эстетику, надо *было* отправить ее туда, куда отправлены алхимія и астрологія». Во-первыхъ, Антоновичъ оторвалъ конецъ фразы отъ ея начала, а во-вторыхъ, онъ изъ этого оторваннаго конца выкинулъ слово *было*, повторенное два раза. Черезъ это весь смыслъ совершенно измѣняется, и читатель, имѣющій неосторожность полагаться на Антоновича, убѣждается въ томъ, что я дѣйствительно ставлю себѣ самому задачу разрушить эстетику, между тѣмъ какъ я, напротивъ того, говорю, что эту задачу поставилъ себѣ и рѣшилъ десять лѣтъ тому назадъ другой писатель.—Потомъ, придравшись къ словамъ: *алхимія* и *астрологія*, Антоновичъ на цѣлой страницѣ читаетъ мнѣ нравоученія, имѣющія цѣлью доказать, что объекты этихъ наукъ не уничтожились, а перешли въ вѣдѣніе химіи и астрономіи. «Ахъ,—восклицаетъ Антоновичъ,—какъ было-бы хорошо, если-бы вы, г. Писаревъ, побольше знали и побольше размышляли собственнымъ умомъ»... Это было-бы хорошо преимущественно потому, что тогда «намъ-бы не было необходимости толковать вамъ, т. е. вашимъ несчастнымъ читателямъ и почитателямъ, азбучныя истины.»—Вы, г. Антоновичъ, находите, что было-бы *ахъ, какъ хорошо*! Въ такомъ случаѣ я могу порадовать васъ тѣмъ извѣстіемъ, что ваше желаніе уже давно осуществилось, что все обстоитъ благополучно и *ахъ, какъ хорошо*, и что вамъ нѣтъ ни малѣйшей необходимости толковать моимъ *несчастнымъ читателямъ* азбучныя истины. Я скажу вамъ даже, что вы съ вашими толкованіями разыгрываете очень комическую роль той мухи, которая, «какъ откупщикъ на ярмаркѣ, хлопочетъ», или-же той мухи, которая говоритъ: «мы пахали».—Представьте себѣ, что отношенія алхиміи и астрологіи къ химіи и къ астрономіи были объяснены моимъ *несчастнымъ читателямъ* почти годъ тому назадъ въ моей статьѣ: «*Историческое развитіе европейской мысли*», напечатанной въ ноябрѣ и декабрѣ 1864 года. Вотъ, напримѣръ, что было сказано объ алхиміи: «Философскаго камня они не нашли, жизненнаго элексира не добыли, но

Digitized by Google

ихъ многовѣковыя изслѣдованія положили прочное основаніе новѣйшей химіи... Еслибы не было фантазій о философскомъ камнѣ и о жизненномъ элексирѣ, то не было-бы и тѣхъ неутомимыхъ работъ, которыя познакомили насъ съ химическими свойствами многихъ тѣлъ и проложили дорогу къ болѣе раціональнымъ изслѣдованіямъ.» Вы видите, г. Антоновичъ, что вы съ полнымъ удобствомъ можете приберечь ваши толкованія азбучныхъ истинъ для *счастливыхъ читателей и почитателей* Антоновича. — Но теперь вы конечно возликуете и закричите, что, стало быть, говоря объ униженіи эстетики, я, ни къ селу ни къ городу, сравнилъ ее съ алхиміей и астрологіей, которыя не уничтожились, а только преобразовались. Ликованіе ваше будетъ очень непродолжительно, потому что я тотчасъ укажу вамъ на слѣдующее мѣсто въ «*Разрушеніи эстетики*»: «При томъ опредѣленіи прекраснаго, которое даетъ намъ авторъ, *эстетика*, къ нашему величайшему удовольствію, *исчезаетъ въ физіологіи и гигіенѣ*». Такимъ образомъ оказывается, что мое сравненіе отличается самой строгой точностью. Эстетика преобразовывается въ часть физіологіи и гигіены такъ точно, какъ алхимія преобразовалась въ химію, а астрологія — въ астрономію. При этомъ превращеніи, разумѣется, многія части эстетики совершенно уничтожаются такъ точно, какъ уничтожились безъ остатка фантастическія стремленія и магическія формулы алхимиковъ и астрологовъ. Когда это превращеніе эстетики сдѣлается уже общеизвѣстной и общепризнанной истиной, тогда мы будемъ изучать и анализировать только тѣ пріятныя ощущенія, которыя могутъ сдѣлаться полезными или вредными для нашего здоровья и для нормальнаго развитія нашей рабочей силы. Напримѣръ, солнечный свѣтъ производитъ на меня пріятное впечатлѣніе; я обращаюсь къ физіологіи и къ гигіенѣ и требую отъ нихъ отвѣта на вопросъ: въ какой связи это пріятное ощущеніе находится съ общимъ процессомъ моей жизни, и въ какой мѣрѣ я могу предаваться этому ощущенію, не вредя своему здоровью? Физіологія и гигіена отвѣчаютъ мнѣ, что солнечный свѣтъ въ высшей степени полезенъ для органической жизни, но что излишняя яркость солнечнаго свѣта, при слишкомъ продолжительномъ дѣйствіи солнечныхъ лучей на организмъ, раздражаетъ, утомляетъ и наконецъ разслабляетъ зрѣніе и кромѣ того ведетъ за собой приливы крови къ головѣ. Опредѣлить точными измѣреніями то напряженіе свѣта, которое человѣческій организмъ можетъ выносить безъ дурныхъ послѣдствій, и то время, впродолженіи котораго онъ можетъ подвергаться дѣйствію солнечныхъ лучей безъ вреда для здоровья,—это конечно задача довольно важная, и эту задачу, разумѣется, рѣшаетъ и будетъ рѣшать физіологія, а не эстетика, несмотря на то, что мы здѣсь имѣемъ дѣло съ пріятнымъ ощущеніемъ. Положимъ далѣе, что два цвѣта, сѣроватый и пунцовый, производятъ на меня пріятное впечатлѣніе. Поддаваясь моему влеченію къ этимъ цвѣтамъ, я хочу обить свой кабинетъ сѣроватыми или пунцовыми обоями; чтобы рѣшить, которому изъ двухъ любимыхъ мною цвѣтовъ я долженъ отдать предпочтеніе, я опять обращаюсь къ гигіенѣ, и узнаю изъ нея, что пунцовый цвѣтъ рѣшительно не годится, потому что слишкомъ сильно дѣйствуетъ на зрѣніе. Положимъ далѣе, что мнѣ хочется уставить мой кабинетъ растеніями и цвѣтами, которые производятъ на меня пріятное впечатлѣніе, какъ своимъ видомъ, такъ и запахомъ. Гигіена одобряетъ мое намѣреніе, объясняя мнѣ, что растенія очищаютъ воздухъ, разлагая углекислоту, то есть, поглощая углеродъ и освобождая кислородъ, необходимый для дыханія животныхъ; въ то-же время гигіена предупреждаетъ меня однако, что пріятный запахъ очень многихъ цвѣтовъ дѣйствуетъ такъ сильно на нервы, что ведетъ за собой головокруженія и головныя боли. Положимъ наконецъ, что мнѣ приходитъ въ голову фантазія увѣшать стѣны моего кабинета картинами, и я нахожусь въ нерѣшимости, чьи-бы мнѣ пріобрѣсти пейзажи — Калама, Клода Лоррена, Айвазовскаго или Рюисдаля. Если я за рѣшеніемъ этого вопроса вздумаю также обратиться къ гигіенѣ, то, разумѣется, она не отвѣтитъ мнѣ ровно ничего. Вопросъ о сравнительномъ достоинствѣ различныхъ пейзажистовъ никогда и ни при какихъ условіяхъ не можетъ войдти ни въ физіологію, ни въ гигіену, и если только вы дадите себѣ трудъ вглядѣться и вдуматься въ этотъ вопросъ, имѣющій конечно очень важное значеніе для эстетики, то вы, разумѣется, увидите, что этотъ вопросъ въ высокой степени безплоденъ. Все, что гигіена можетъ сказать о картинахъ или о статуяхъ, ограничится тѣмъ, что эротическія изображенія могутъ разстроить здоровье и что слѣдовательно повѣсить въ кабинетѣ пейзажи благоразумнѣе, чѣмъ разукрасить его миѳологическими картинами или статуями. Если вы послушаетесь этого послѣдняго совѣта, то затѣмъ какъ для васъ, такъ и для всего свѣта рѣшительно все равно, кого-бы вы не предпочли, знаменитѣйшаго-ли пейзажиста во всей Европѣ, или-же такого живописца, который пишетъ вывѣски. Такимъ образомъ на вопросъ Антоновича: «что-же дѣлать, по разрушеніи эстетики, съ тѣми сюжетами, которыми она занимается?» — я отвѣчаю очень просто: большую часть этихъ сюжетовъ надо оставить безъ всякаго вниманія. Мы собственно только затѣмъ и стараемся доказать эстетику, чтобы сосредоточить вниманіе и умственныя силы общества на самомъ незначи-

Digitized by Google

тельномъ числѣ жгучихъ и неотразимыхъ вопросовъ первостепенной важности.

VII.

Одинъ изъ аргументовъ, заимствованныхъ мною противъ эстетики у Чернышевскаго, состоитъ въ томъ, что личные вкусы въ дѣлѣ красоты безконечно разнообразны, что всѣ они одинаково законны, и что ихъ невозможно и не слѣдуетъ приводить къ обязательному единству. Антоновичъ находитъ въ этомъ мнѣніи три нелѣпости.

Первую нелѣпость Антоновичъ видитъ въ той мысли, будто общая эстетика невозможна на томъ основаніи, что у каждаго человѣка свой личный вкусъ и своя эстетика. Антоновичъ разбиваетъ эту *первую нелѣпость* слѣдующими аргументами: физіологія возможна, хотя у каждаго человѣка свои особенные органы; логика возможна, хотя у каждаго человѣка свои особенные пріемы мышленія; общеобязательная правда существуетъ, хотя для одного правда или ложь одно, для другого—другое, и т. д. Постараюсь опровергнуть аргументацію Антоновича. Во-первыхъ, насчетъ физіологіи замѣчу моему противнику, что она возможна потому, что между отдѣльными субъектами существуетъ въ физіологическомъ отношеніи только количественное, а не качественное различіе. Одинъ человѣкъ поглощаетъ больше кислорода, другой—меньше, но всѣ безъ исключенія дышатъ кислородомъ, а не углекислотой и не водородомъ; у одного человѣка въ крови больше желѣза, у другого—меньше, но у всѣхъ безъ исключенія въ крови содержится именно желѣзо, а не мѣдь и не свинецъ; такимъ образомъ и всѣ остальныя физіологическія различія сводятся на количественныя различія; а при количественныхъ различіяхъ конечно возможны среднія цифры, которыя и выражаютъ въ глазахъ физіолога отправленія нормальнаго человѣка. Въ томъ случаѣ, гдѣ являются качественныя различія, именно при разсмотрѣніи половыхъ особенностей, физіологія принуждена раздваиваться; отправленія женскихъ органовъ разсматриваются отдѣльно отъ отправленій мужскихъ органовъ, хотя конечно пищевареніе, дыханіе и кровообращеніе, представляя у обоихъ половъ только количественныя различія, разсматриваются вмѣстѣ. Еслибы всѣ физіологическія отправленія всѣхъ отдѣльныхъ личностей отличались другъ отъ друга качественнымъ образомъ, то, разумѣется, общая физіологія человѣка была-бы невозможна, по той простой причинѣ, что эти отдѣльныя личности вовсе не принадлежали-бы тогда не только къ одной и той-же породѣ, но даже къ одному и тому-же органическому царству. Кромѣ того физіологія имѣетъ превосходный критерій для различенія нормальныхъ особенностей отъ уродствъ или *тератологическихъ* особенностей. Такая особенность, которая содѣйствуетъ отправленіямъ, необходимымъ для поддержанія жизни,—нормальна; такая, которая ослабляетъ эти отправленія,—уродлива. Этого критерія эстетика не имѣетъ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, которые не могутъ никогда поступить въ вѣдѣніе физіологіи и гигіены. Общеобязательная правда и общая логика существуютъ только до тѣхъ поръ, пока мы разсуждаемъ о видимыхъ или осязаемыхъ, вообще вещественныхъ предметахъ, явленіяхъ и свойствахъ, — и существуютъ только потому, что всѣ люди одарены одними и тѣми-же чувствами и что вслѣдствіе этого всегда возможна повѣрка, посредствомъ которой обнаруживается невѣрность утвержденія или неправильность умозаключенія. Вы говорите напримѣръ, что нашъ общій знакомый Ивановъ хромаетъ на лѣвую ногу, я говорю, что—на правую; каждый изъ насъ твердо убѣжденъ, что его мнѣніе истинно, но, разумѣется, это убѣжденіе можетъ продолжаться только до тѣхъ поръ, пока мы не увидимъ Иванова; тогда произойдетъ повѣрка, и одинъ изъ насъ увидитъ свое заблужденіе. Почти такая-же повѣрка возможна и относительно разсужденій: представьте себѣ напримѣръ, что вы пріѣхали въ какой-нибудь городъ и что васъ въ этомъ городѣ тотчасъ-же обокрали. Вы говорите, что этотъ городъ населенъ сплошь разбойниками и мошенниками. Всякій здравомыслящій человѣкъ скажетъ вамъ, что нельзя заключать отъ частнаго къ общему, и представитъ вамъ образчикъ такого разсужденія: мой пріятель раненъ въ ногу; мой пріятель—человѣкъ; слѣдовательно, всѣ люди ранены въ ногу. Вы увидите тотчасъ, во-первыхъ, что въ результатѣ получилась нелѣпость, а во-вторыхъ, что эта нелѣпость добыта тѣмъ самымъ способомъ разсужденія, который привелъ васъ къ поголовному обвиненію всѣхъ жителей города. Но въ тѣхъ вопросахъ, гдѣ повѣрка невозможна, тамъ нѣтъ ни общеобязательной правды, ни общей логики. Представьте себѣ напримѣръ, что католикъ Дюпанлу, деистъ Шлейденъ и матеріалистъ Бюхнеръ бесѣдуютъ между собою о томъ, что́ съ ними произойдетъ, когда они скончаются. Всѣ трое приходятъ къ совершенно различнымъ результатамъ, и ни одинъ изъ троихъ не можетъ убѣдить своихъ противниковъ; общая логика теряетъ свою силу и общеобязательная правда перестаетъ существовать, потому что повѣрка становится невозможной. Общеобязательная правда и общая логика возможны, во-первыхъ потому, что мы всѣ живемъ въ одномъ и томъ-же мірѣ; а во-вторыхъ потому, что мы всѣ одарены одними и тѣми-же чувствами, приводящими насъ въ соприкосновеніе съ окружающимъ міромъ.

Digitized by Google

Когда соблюдены эти два условія—одинъ міръ и одни чувства, тогда общеобязательная правда и общая логика становятся не только возможными, но даже и неизбѣжными. Въ отношеніи къ общеобязательной правдѣ вся разница между отдѣльными личностями можетъ состоять только въ томъ, что одинъ дойдетъ до этой правды собственными силами, другому помогутъ къ ней придти, а третьяго приведутъ къ ней насильно, то есть ему покажутъ правду, несмотря на его нежеланіе видѣть ее. Но эти два условія—одинъ міръ и одни чувства,—достаточныя для существованія общеобязательной истины и общей логики, далеко недостаточны для основанія общей эстетики, то есть для приведенія личныхъ вкусовъ къ обязательному единству. Вкусъ есть сложный продуктъ темперамента, воспитанія, общественнаго положенія, образа жизни, общихъ историческихъ и климатическихъ условій, и многихъ другихъ элементовъ, степень участія которыхъ въ общемъ результатѣ указать и опредѣлить не только трудно, но даже невозможно. На основаніи этихъ соображеній, я полагаю, что общая эстетика вовсе не можетъ быть поставлена на одну доску съ общей физіологіей, общей логикой и общеобязательной истиной, и что возможность послѣднихъ ровно ничего не доказываетъ въ пользу возможности первой. Общая эстетика не только не можетъ существовать въ будущемъ, но она даже никогда не существовала въ прошедшемъ. То, что̀ выдается или выдавалось за эстетику, относится къ общему вкусу, то есть къ безконечному разнообразію личныхъ вкусовъ, такъ точно, какъ относится къ этому-же разнообразію господствующая мода. Можно сказать навѣрное, что изъ десяти человѣкъ, надѣвающихъ въ первый разъ новомодный костюмъ, девять равнодушны къ особенностямъ его цвѣта и покроя, а десятый находитъ этотъ цвѣтъ и покрой смѣшными или неудобными. И между тѣмъ всѣ носятъ, и каждый, нося новое платье, становится частицей того громаднаго пресса, который насильно втискиваетъ въ новую моду отдѣльныя личности, въ томъ числѣ и его самого. Точно то-же самое можно сказать и обо всякомъ, такъ называемомъ, господствующемъ вкусѣ, а слѣдовательно и обо всякой эстетикѣ, излагающей общія формулы этого вкуса.

Вторую нелѣпость Антоновичъ видитъ въ мысли, что прекрасное не имѣетъ самостоятельнаго значенія, независимаго отъ личныхъ вкусовъ. Разбиваетъ онъ эту нелѣпость тѣмъ аргументомъ, что есть звуки, пріятные или непріятные для всякаго слуха. Я могу представить противъ этого аргумента два возраженія. *Первое.* Физика и физіологія доказываютъ конечно, что нѣкоторые звуки или сочетанія звуковъ производятъ непремѣнно въ каждомъ человѣческомъ ухѣ рѣзкое и раздражающее потрясеніе, которое всего лучше можно выразить французскимъ словомъ tiraillement. Но физика и физіологія поступили-бы черезчуръ смѣло, еслибы рѣшились сказать, что эти tirallements абсолютно-непріятны для всѣхъ людей или, другими словами, что ни одинъ человѣкъ въ мірѣ не можетъ извлекать себѣ изъ этихъ tiraillements никакого наслажденія. Еслибы физика и физіологія отваживались на такія скороспѣлыя заключенія, то существующіе человѣческіе вкусы очень часто уличали-бы ихъ въ ошибкахъ. Такъ напримѣръ, физіологія, основываясь на многихъ наблюденіяхъ, могла-бы сказать, что горечь антипатична человѣческому организму; но еслибы физіологія вздумала вывести изъ этихъ наблюденій общій законъ, то законъ этотъ оказался бы несостоятельнымъ, потому что многіе люди съ большимъ удовольствіемъ пьютъ очень горькій напитокъ, именно портеръ. Зная хорошо устройство и отправленіе человѣческихъ легкихъ, физіологъ повидимому имѣлъ-бы полное право утверждать, что вдыхать дымъ горящей травы совершенно несвойственно человѣку, и что такое вдыханіе должно составлять для человѣка настоящую пытку, а между тѣмъ очень многіе люди подвергаютъ себя этой пыткѣ не только добровольно, но даже съ особенной страстью, потому что вдыхаемый дымъ дѣйствуетъ особеннымъ образомъ на нервную систему. Рѣзкіе и нестройные звуки, быстро слѣдующіе одинъ за другимъ, сливаясь и смѣшиваясь между собою, могутъ также привести нервную систему въ особенное, возбужденное состояніе, которое многимъ людямъ можетъ казаться пріятнымъ. Почти у всѣхъ дикихъ народовъ есть своя музыка, невыносимая для европейскаго слуха, но доставляющая этимъ дикарямъ очень много удовольствія. По всей вѣроятности рѣзкіе и нестройные звуки пріятны дикарямъ именно потому, что эти звуки ошеломляютъ, опьяняютъ ихъ и помогаютъ имъ такимъ образомъ предаваться бѣшеному веселью и оргіастической пляскѣ. Какъ-бы то ни было, во всякомъ случаѣ мнѣніе Антоновича, что нѣкоторые диссонансы отвратительны для всякаго слуха, въ высшей степени произвольно и доказываетъ только крайне слабое знакомство Антоновича съ хорошими характеристиками дикихъ народовъ.

Второе возраженіе еще серьезнѣе перваго. Антоновичъ самъ замѣчаетъ совершенно справедливо, что различіе между аккордомъ и диссонансомъ имѣетъ физическое и физіологическое основаніе; физика изучаетъ законы происхожденія и распространенія звука; физіологія изучаетъ устройство нашего слухового аппарата; физика и физіологія общими силами рѣшаютъ вопросъ о томъ, какіе звуки и какія

Digitized by Google

сочетанія звуковъ должны казаться намъ стройными или нестройными. Но если этотъ вопросъ рѣшенъ физикой и физіологіей, то съ какой же стати его должна перерѣшать эстетика? Если бы эстетика вздумала противорѣчить физикѣ и физіологіи, то кто-же бы ей повѣрилъ? А если она подтвердитъ рѣшеніе физики и физіологіи, то кто-же нуждается въ ея конфирмаціи? На самомъ-же дѣлѣ эстетика не думаетъ ни опровергать, ни подтверждать рѣшенія физики и физіологіи; она просто беретъ эти рѣшенія, какъ готовый фундаментъ, на которомъ и старается утвердить свои дальнѣйшія построенія. Такимъ образомъ Антоновичъ, желая доказать возможность и необходимость эстетики, приводитъ въ примѣръ такія истины, которыя относятся къ области физики и физіологіи, точно будто-бы у насъ шла рѣчь о томъ, чтобы выкинуть изъ физики ученіе о звукѣ, а изъ физіологіи—ученіе о слухѣ. Я говорю, что прекрасное не имѣетъ самостоятельнаго значенія, независимаго отъ личныхъ вкусовъ. Антоновичъ ссылается на различіе, существующее между аккордомъ и диссонансомъ; но вѣдь эстетика старается не о томъ, чтобы установить это различіе, которое уже давно установлено положительными науками; эстетика старается установить твердыя правила, на основаніи которыхъ можно было-бы производить оцѣнку художественныхъ произведеній, въ томъ числѣ и музыкальныхъ. Эстетика имѣетъ дѣло не съ аккордами и съ диссонансами, а съ музыкальными произведеніями, которыя всѣ составлены изъ аккордовъ и которыя, несмотря на то, въ глазахъ музыкальнаго критика имѣютъ безконечно различное достоинство. *Ванька-Танька* составлена изъ аккордовъ и соната Бетховена также составлена изъ аккордовъ, а между тѣмъ музыкальные критики находятъ, что соната лучше *Ваньки-Таньки*. Чтобы опровергнуть мой тезисъ объ относительномъ значеніи прекраснаго, Антоновичъ долженъ былъ доказать напримѣръ, что этотъ приговоръ музыкальныхъ критиковъ совершенно независимъ отъ личныхъ вкусовъ. Но этого онъ не доказалъ и никогда не докажетъ, потому что этого и доказать невозможно. Очень многіе люди наслаждаются *Ванькой-Танькой* и вовсе не наслаждаются сонатами Бетховена; вы скажете имъ, что у нихъ неразвитъ музыкальный вкусъ,—многіе согласятся съ вами, но многіе согласятся и съ нами, и вопросъ останется неразрѣшеннымъ и неразрѣшимымъ, такъ точно, какъ напримѣръ вопросъ о томъ, какое вино вкуснѣе—сладкій мускатъ-люнель или старый хересъ. Цѣль всякаго наслажденія состоитъ въ томъ, чтобы освѣжить и обновить рабочую силу человѣка; всѣ наслажденія, которыя ведутъ къ этой цѣли, не вредя ни самому наслаждающемуся субъекту, ни окружающимъ людямъ, одинаково законны и совершенно равны между собою. Если-же вы мнѣ станете говорить о томъ, что сонаты Бетховена облагораживаютъ, возвышаютъ, развиваютъ человѣка, и проч., и проч., то я вамъ посовѣтую разсказывать эти сказки кому-нибудь другому, а не мнѣ, потому что я этимъ сказкамъ ни въ какомъ случаѣ не повѣрю: каждый изъ моихъ читателей знаетъ навѣрное многихъ искреннихъ меломановъ и глубокихъ знатоковъ музыки, которые, несмотря на свою любовь къ великому искусству и несмотря на свои глубокія знанія, остаются все-таки людьми пустыми, дрянными, совершенно ничтожными.

Третью нелѣпость Антоновичъ самъ выдумываетъ и приписываетъ мнѣ. «Писаревъ, вслѣдъ за Базаровымъ,—говоритъ Антоновичъ,—представляетъ себѣ, будто-бы отношеніе человѣка къ искусству и къ прекраснымъ предметамъ природы ограничивается только непосредственными чувственными ощущеніями, будто и все остальное нравится намъ такъ-же и въ такой-же формѣ, какъ нравятся напр. яблоки. Это третья нелѣпость.» Антоновичъ дѣлаетъ тутъ двѣ ошибки: во-первыхъ, онъ, употребляя общее выраженіе *искусство*, ставитъ поэзію на одну доску съ остальными искусствами, которыя должны стоять безконечно ниже поэзіи; во-вторыхъ, онъ ставитъ *прекрасные предметы природы*, въ томъ числѣ и прекрасныхъ людей,—прекрасныхъ не только по наружности но и по умственнымъ качествамъ,—рядомъ съ картинами, статуями и музыкальными пьесами. Этихъ двухъ ошибокъ я никогда не дѣлалъ. Поэтому я никогда и не говорилъ, что люди или замѣчательныя поэтическія произведенія нравятся намъ *такъ-же и въ такой-же формѣ*, какъ нравятся яблоки. Но между наслажденіемъ живописью, скульптурой и музыкой и наслажденіемъ яблоками я дѣйствительно не вижу никакого существеннаго различія, кромѣ того только, что наслажденіе тремя вышеназванными искусствами требуетъ бо́льшихъ издержекъ и бо́льшихъ хлопотъ. Теперь вы, стало быть, г. Антоновичъ, видите, какъ разлетѣлась впрахъ вся ваша аргументація, и до какой высокой степени она была нелѣпа.

VIII.

Окончивъ свое неудачное изслѣдованіе *о трехъ нелѣпостяхъ*, Антоновичъ начинаетъ разбирать тѣ мѣста «*Разрушенія эстетики*», которыя направлены собственно противъ него. Антоновичъ выписываетъ ту фразу, въ которой говорится о его умственной нищетѣ и нравственной мелкости. При словѣ *нравственной*, которое встрѣчается въ моей фразѣ два

Digitized by Google

раза, Антоновичъ дѣлаетъ въ скобкахъ два замѣчанія; первое: «*даже за нравственность ухватились*», и второе: «*опять нравственность!*»—Я рѣшительно не понимаю, на какомъ основаніи Антоновичъ считаетъ разговоръ *о нравственности* неумѣстнымъ; Антоновичъ, менѣе чѣмъ кто либо другой, имѣетъ право требовать, чтобы литература не касалась вопроса о нравственныхъ понятіяхъ и убѣжденіяхъ писателя; въ той-же самой книжкѣ, гдѣ помѣщена статья Антоновича, постоянный сотрудникъ «Современника», Посторонній Сатирикъ, разбираетъ вопросъ о томъ, «можетъ-ли безчестный человѣкъ быть честнымъ публицистомъ и фельетонистомъ?» Развѣ, разсуждая о честности, Посторонній Сатирикъ не *ухватывается за нравственность*? А когда Посторонній Сатирикъ въ іюньской книжкѣ «Современника» разсуждалъ о *морали Краевскаго*, развѣ эти разсужденія не были разговоромъ о *нравственности*? А когда Посторонній Сатирикъ вторгался въ частную жизнь Благосвѣтлова и на основаніи слуховъ и сплетенъ анализировалъ отношенія Благосвѣтлова къ графу Кушелеву-Безбородко,—отношенія, до которыхъ литературѣ и публикѣ конечно нѣтъ никакого дѣла, развѣ Посторонній Сатирикъ имѣлъ тогда въ виду не *нравственность* Благосвѣтлова, а его умственныя способности и литературныя дарованія? И вдругъ теперь Антоновичъ обнаруживаетъ нетерпѣніе и выражаетъ неудовольствіе по тому случаю, что я завожу рѣчь о его *нравственныхъ* убѣжденіяхъ, о которыхъ я почерпаю свѣдѣнія не изъ какихъ-нибудь слуховъ, а изъ его-же собственныхъ печатныхъ статей, подписанныхъ его полнымъ именемъ. Какъ-бы вы, г. Антоновичъ, ни пожимали плечами и какія-бы саркастическія замѣчанія вы ни вставляли въ мою рѣчь, это все-таки не уничтожитъ и не ослабитъ того факта, что въ вашихъ разсужденіяхъ объ аскетизмѣ и о *нѣкоторыхъ* отрицателяхъ искусства выражается, какъ я уже замѣтилъ въ «*Разрушеніи эстетики*», «*школьническій взглядъ на долгъ и на трудъ*» и что этотъ взглядъ долженъ навлечь на васъ со стороны всякаго мыслящаго человѣка совершенно справедливый упрекъ въ умственной нищетѣ и въ *нравственной* мелкости. Этотъ справедливый упрекъ вы, г. Антоновичъ, врядъ-ли успѣете отразить тѣми игривыми эпитетами, которые вы мнѣ подносите. Встрѣчая въ вашей статьѣ выраженія: «недоносокъ благосвѣтловскій, недоразвившееся дитя Тургенева, скудоумный Писаревъ»,—ваши читатели найдутъ конечно, что вы далеко превосходите меня въ искусствѣ браниться и что вы съ лихвою заплатили мнѣ за *лукошко глубокомыслія*; но упрекъ въ умственной нищетѣ и нравственной мелкости все-таки останется во всей своей силѣ, потому что можно быть величайшимъ виртуозомъ по части крѣпкихъ выраженій и въ то-же время имѣть самый школьническій взглядъ на долгъ и на трудъ.

«Разбранивши насъ,—продолжаетъ Антоновичъ,—Писаревъ сталъ расхваливать себя и Зайцева, причисливши себя къ тѣмъ *нѣкоторымъ* разрушителямъ искусства, о которыхъ мы говорили».—Знаете-ли вы, г. Антоновичъ, что ваше пламенное желаніе унизить меня какъ можно сильнѣе, доводитъ васъ до самыхъ смѣшныхъ и нелѣпыхъ крайностей. Вы говорите, что я самовольно причислилъ себя къ тѣмъ *нѣкоторымъ*; этими словами вы хотите выразить, что вы совсѣмъ обо мнѣ и не думали, что вы совсѣмъ не меня имѣли въ виду, говоря о *нѣкоторыхъ*, что вамъ до меня и дѣла никакого нѣтъ; и въ то-же время вы направляете противъ «Русскаго Слова» третью большую критическую статью, не говоря уже о множествѣ мелкихъ статей и мимоходныхъ нападеній. Если я дѣйствительно самъ *причислилъ себя* къ нѣкоторымъ, если, говоря *о нѣкоторыхъ*, вы имѣли въ виду не меня и не моихъ сотрудниковъ, то, спрашивается, о комъ-же вы говорили? Вѣдь вамъ даже и назвать, кромѣ насъ, будетъ некого. Если-же вы говорили именно о Зайцевѣ и обо мнѣ, то зачѣмъ-же вы употребляете теперь безсмысленныя выраженія, зачѣмъ вы говорите, что я *причислилъ себя*, когда я просто понялъ вашъ намекъ въ томъ единственномъ смыслѣ, въ которомъ только и можно было его понять?—Искусство полемизировать составляетъ конечно самую легкую и ничтожную часть литературной дѣятельности, а между тѣмъ вы даже и въ этомъ искусствѣ до крайности слабы; за неимѣніемъ солидныхъ аргументовъ вы ежеминутно прибѣгаете къ натяжкамъ, которыя для всѣхъ очевидны, и къ изобрѣтеніямъ, которыхъ несостоятельность тотчасъ можетъ быть доказана. Читая ваши полемическія статьи, я обыкновенно нахожусь въ недоумѣніи насчетъ того, чему мнѣ болѣе изумляться: той-ли отважности, съ которой вы нанизываете одну ложь на другую, или-же той наивности, съ которой вы сами запутываете, ловите и выдаете себя. Такимъ образомъ ваша *умственная нищета* на каждомъ шагу состязается съ вашей *нравственной мелкостью*, и читателю вашему остается только рѣшить затруднительный вопросъ: которому изъ этихъ двухъ нравственныхъ качествъ Антоновича слѣдуетъ присудить пальму первенства? —Когда читатель уже достаточно ознакомился съ этими достоинствами Антоновича, то его, разумѣется, вовсе не изумляетъ то обстоятельство, что Антоновичъ умышленно принимаетъ ироническія слова противника за серьезное выраженіе мнѣній, и что вслѣдствіе такого ребяческаго пріема онъ напримѣръ утверждаетъ, будто-бы

Digitized by Google

я назвалъ себя и своихъ сотрудниковъ людьми помѣшанными, а въ другомъ мѣстѣ даже просто глупыми людьми. Конечно, если смотрѣть на сотрудниковъ «Русскаго Слова» съ фамусовской или молчалинской точки зрѣнія, то они окажутся или помѣшанными, или глупыми людьми; но фамусовская или молчалинская точка зрѣнія, немыслимая для честнаго литератора, нисколько не пугаетъ Антоновича; онъ готовъ стать на какую угодно точку зрѣнія и забраться въ какое угодно болото, лишь-бы только доставить себѣ ребяческое удовольствіе назвать своихъ противниковъ идіотами или съумасшедшими. Чтобы потѣшить себя этой мелкой забавой, Антоновичъ совершаетъ подвиги истиннаго самоотверженія: онъ утрируетъ свою собственную непонятливость и, доводя ее до самыхъ неправдоподобныхъ размѣровъ, завоевываетъ себѣ такимъ образомъ право не понимать моихъ словъ или понимать ихъ навыворотъ и вслѣдствіе этого дивиться печатно моему тупоумію. Такъ напримѣръ, онъ прикидывается, будто не понимаетъ, зачѣмъ и въ какомъ отношеніи я сравниваю *нѣкоторыхъ* съ Архимедомъ, съ горькими пьяницами и игроками; онъ очень подробно объясняетъ мнѣ, что Архимеда сравнивать съ пьяницами и игроками нельзя, потому что заниматься математикой похвально, а заниматься виномъ и картами предосудительно. Непониманіе Антоновича, разумѣется, притворно; какую-бы крайнюю тупость я ни предположилъ въ Антоновичѣ, все-таки я никакъ не могу допустить, что онъ дѣйствительно не понялъ моей мысли. Не понять ея было невозможно, потому что моя мысль выражена подробно, ясно и выразительно даже для ребенка, если только этотъ ребенокъ имѣетъ понятіе о томъ, что̀ такое страсть. Ходъ моей аргументаціи («Разр. эст.»), клонившейся къ тому, чтобы отразить нѣкоторые упреки въ аскетизмѣ, располагается слѣдующимъ образомъ. Можно-ли назвать аскетомъ горькаго пьяницу или игрока?—Нѣтъ, нельзя.—Почему?—потому что они вовсе не борятся съ своими страстями, а, напротивъ того, отдаются имъ совершенно безраздѣльно. — Значитъ, людей, которые отдаются своимъ страстямъ, нельзя назвать аскетами?—Значитъ, нельзя.—Подходятъ-ли Архимедъ и Ньютонъ подъ разрядъ такихъ людей, которыхъ нельзя назвать аскетами? — Подходятъ. — Почему? — Потому что они занимаются своимъ дѣломъ по страсти, а не по обязанности. — Можно-ли исключить изъ этого-же разряда *нѣкоторыхъ* отрицателей искусства?—Можно.—Почему?—Потому что они отрицаютъ по страсти, а не по обязанности.—Въ какомъ-же отношеніи похожи другъ на друга пьяница, Архимедъ и *нѣкоторые*?—Мы въ нихъ замѣтили только тотъ общій отрицательный признакъ, что всѣ они—*не аскеты*, точно такъ какъ вы напримѣръ въ золотой монетѣ, въ черной доскѣ, въ красномъ винѣ и въ буланой лошади можете замѣтить тотъ общій отрицательный признакъ, что всѣ они—не бѣлые предметы. И вдругъ противникъ вашъ начинаетъ вамъ доказывать печатно, что буланую лошадь нельзя влить въ стаканъ, что на красномъ винѣ нельзя писать мѣломъ, что черную доску нельзя кормить овсомъ, что золотую монету нельзя запрягать въ дрожки, и что на основаніи всѣхъ этихъ обстоятельствъ нѣтъ ни малѣйшей возможности включать въ одну категорію монету, доску, вино и лошадь. Конечно такія возраженія противника должны показаться вамъ совершенно безсмысленными и нисколько неотносящимися къ вашему разсужденію. Возраженія Антоновича, доказывающаго мнѣ, что математика и пьянство—двѣ вещи разныя, и что Архимедъ былъ гораздо умнѣе меня, совершенно такъ-же умѣстны и основательны, какъ приведенныя возраженія о различныхъ свойствахъ вина, лошади, доски и монеты. Что Антоновичъ *притворяется* непонимающимъ—это очевидно. Но спрашивается, какая цѣль, какая выгода, какой разсчетъ притворяться такъ неискусно и неправдоподобно? Въ чемъ Антоновичу хочется убѣдить *счастливыхъ читателей* «Современника»? Въ томъ-ли, что я не понимаю различія между математикой и пьянствомъ, или-же въ томъ, что я приписываю себѣ геніальный умъ Архимеда? Если Антоновичъ дѣйствительно надѣется внушить своимъ читателямъ такія мысли, то желательно было-бы знать, что̀ должны мы думать объ умѣ Антоновича?—А если Антоновичъ не питаетъ такихъ несбыточныхъ надеждъ, то ради чего-же онъ притворяется? Остается предположить, что Антоновичъ притворяется совершенно безкорыстно, по той-же самой причинѣ, по которой люди, привыкшіе лгать, лгутъ на каждомъ шагу, даже тогда, когда ложь не можетъ доставить имъ ни малѣйшей выгоды, и даже тогда, когда ихъ тотчасъ-же могутъ уличить и осмѣять. Такая ложь становится уже совершенно невинной, но въ печати она все-таки неудобна, потому что печать существуетъ совсѣмъ не для того, чтобы давать намъ возможность предаваться публично нашимъ страннымъ, хотя-бы даже и безвреднымъ, привычкамъ. Впрочемъ, всмотрѣвшись внимательно въ 74 и 75 стр. «*Лже-реалистовъ*», я наконецъ нашелъ настоящую разгадку той странной полемической тактики, которой придерживается Антоновичъ. Въ своей полемикѣ Антоновичъ стремится только къ тому, чтобы наговорить противнику какъ можно больше такихъ словъ, которыя Антоновичъ считаетъ колкими. Заботясь исключительно о томъ, чтобы колкостей набралось какъ можно больше, Антоновичъ не обращаетъ никакого вниманія на то, что его кол-

Digitized by Google

кости взаимно истребляютъ другъ друга. Онъ становится на одну точку зрѣнія—и называетъ противника дуракомъ *); потомъ тотчасъ переходитъ на другую, діаметрально противуположную точку и называетъ противника мошенникомъ; затѣмъ онъ радуется и полагаетъ, что его противникъ теперь и дуракъ, и мошенникъ; на самомъ-же дѣлѣ оказывается, что вторая колкость уничтожила первую, и что противникъ очищенъ отъ всякаго обвиненія, благодаря излишнему усердію Антоновича. Антоновичъ думаетъ, что если написать сто разъ + *дуракъ* и сто разъ—*дуракъ*, и сложить все это вмѣстѣ, то получится *двѣсти дураковъ*; на самомъ-же дѣлѣ получается чистый нуль, потому что + *дураки* и—*дураки* взаимно уничтожаются. Предаваясь своему неосторожному усердію, Антоновичъ на стр. 74 объявляетъ, что я называю себя и своихъ сотрудниковъ глупыми и помѣшанными, а на стр. 75 Антоновичъ уже даетъ мнѣ совѣты на тотъ случай, если мнѣ *еще розъ придетъ искушеніе похвастаться нечистно добродѣтелями*. Какими-же добродѣтелями? Вѣдь я хвастался глупостью и помѣшательствомъ: развѣ это добродѣтели?—До этихъ вопросовъ Антоновичу нѣтъ никакого дѣла, его цѣль достигнута. На одной страницѣ онъ сказалъ: видите, самъ признается, что глупъ и помѣшанъ! А на другой страницѣ онъ говоритъ: видите, хвастаетъ своими добродѣтелями. Оказывается такимъ образомъ, что я и глупъ, и помѣшанъ, и хвастунъ. На самомъ дѣлѣ оказывается конечно *нуль*, но Антоновичъ очевидно не знаетъ того алгебраическаго правила, по которому + дуракъ и—дуракъ взаимно уничтожаются. Теперь понятно, для чего Антоновичъ сначала притворяется, а потомъ тотчасъ самъ-же выдаетъ себя; притворяется онъ для того, чтобы обругать противника съ одной стороны, а выдаетъ себя для того, чтобы тотчасъ-же обругать его и съ другой стороны; въ результатѣ получается тотъ комическій эффектъ, что клинъ выгоняется клиномъ, ядъ убивается ядомъ—и противникъ, къ собственному своему удивленію, остается необруганнымъ.

IX.

На стр. 76 надъ головой моей собираются мрачныя тучи. — «Еслибы вы были умны, — говоритъ Антоновичъ, — понимали реализмъ и искусство, еслибы ваша преданность реализму была разумна, вы-бы не уничтожали искусства, а напротивъ поддерживали-бы его, не только обращали-бы его въ свою пользу, старались-бы обратить его на служеніе тѣмъ разумнымъ идеямъ, которыя вы неразумно понимаете; вы-бы потребовали, чтобы искусство помогало реализму, чтобы и оно съ своей стороны и своими путями стремилось къ той-же цѣли, какую преслѣдуетъ реализмъ.»—Бѣдный г. Антоновичъ! Какъ мнѣ васъ жалко! Еслибы вы только постигнуть могли, какъ мнѣ васъ жалко, и почему мнѣ васъ жалко! Вы-ли не старались, вы-ли не потѣли, вы-ли не рылись въ моихъ статьяхъ за три, за четыре года, вы-ли не городили дурака на дуракѣ и слабоумнаго на скудоумномъ, и вдругъ—что-же? и вдругъ одинъ почеркъ вашего собственнаго пера опрокидываетъ все это гордое, все это величественное зданіе дураковъ, слабоумныхъ и скудоумныхъ, и вдругъ вы сами, ни съ того, ни съ другого, совершенно добровольно признаетесь печатно въ томъ, что я *уменъ*, что я *понимаю реализмъ и искусство* и что моя *преданность реализму разумна*. Г. Антоновичъ! Развѣ вы—Пенелопа? Развѣ вы ждете къ себѣ супруга, странствующаго по невѣдомымъ землямъ? Развѣ васъ безпокоятъ своими неумѣстными предложеніями докучливые женихи? Объясните-же мнѣ пожалуйста, съ какой статн вы теперь вдругъ распустили тотъ холстъ, который вы ткали такъ долго, такъ усердно и такъ старательно, то прикидываясь идіотомъ, то сочиняя очевидныя небылицы? Посмотримъ еще разъ, какія требованія я долженъ выполнить, чтобы оказаться умнымъ человѣкомъ, понимающимъ реализмъ и и искусство и питающимъ разумную преданность къ реализму: я долженъ не уничтожать искусство, а напротивъ поддерживать его, но только обращать его въ свою пользу, на служеніе разумнымъ идеямъ; я долженъ требовать, чтобы искусство помогало реализму, чтобы оно съ своей стороны и своими путями стремилось къ той-же цѣли, какую преслѣдуетъ реализмъ. Короче и яснѣе: я долженъ всѣми силами превращать искусство въ орудіе той идеи, которой я служу. Ну, и прекрасно: я всегда поступалъ именно такимъ образомъ. Слѣдовательно... слѣдовательно, новая Пенелопа распустила свой холстъ. Дѣйствительно, я постоянно старался и стараюсь до сихъ поръ превратить искусство въ орудіе реализма, но только при этомъ я задавалъ и задаю себѣ такой вопросъ, который повидимому ни разу не приходилъ въ голову Антоновичу. Вопросъ этотъ состоитъ въ томъ, какія отрасли искусства могутъ и какія не могутъ превратиться въ орудіе реализма. Пока мы будемъ говорить объ искусствѣ вообще, до тѣхъ поръ этотъ существенно-важный вопросъ будетъ оставаться неразрѣшеннымъ. Надо брать каждое искусство отдѣльно, и тогда нетрудно будетъ убѣдиться въ томъ, что ни скульптура, ни живопись, ни музыка, ни сценическое искусство не могутъ сдѣлаться орудіями реализма.—Почему не могутъ?—Да потому, что издержки и хлопоты, которыхъ требуетъ существованіе этихъ искусствъ, ни при какихъ условіяхъ и

*) Это у Антоновича считается колкостью.

Digitized by Google

ни при какомъ направленіи художественной дѣятельности не окупаются тѣмъ количествомъ пользы, которое можетъ быть принесено этими искусствами. *Во-первыхъ*, всѣ эти искусства требуютъ такого спеціальнаго, техническаго приготовленія и такихъ постоянныхъ упражненій, которыя поглощаютъ всю жизнь и всѣ силы человѣка, желающаго быть художникомъ. Чтобы быть хорошимъ скульпторомъ, хорошимъ живописцемъ, хорошимъ музыкантомъ или хорошимъ актеромъ, человѣкъ продолжительнымъ трудомъ долженъ пріобрѣсти себѣ и поддерживать въ себѣ такую снаровку, которая въ области его художественной дѣятельности рѣшительно необходима, а внѣ этой области также рѣшительно ни на что не годится. *Во-вторыхъ*, всѣ эти искусства возможны только при существованіи многихъ вспомогательныхъ отраслей промышленности, которыя существуютъ именно только для этихъ искусствъ и которыя, нисколько не содѣйствуя возвышенію общаго экономическаго благосостоянія, совершенно справедливо должны быть отнесены къ категоріи убыточнаго производства. Скульптору нуженъ мраморъ, который кромѣ скульптора не нуженъ никому; ему нужны особенные инструменты, которые также дѣлаются для него одного. Живописцу нужны краски и кисти; музыканту нужны музыкальные инструменты. Приготовленіемъ этихъ инструментовъ занимаются цѣлыя огромныя фабрики, которыя могли-бы производить разныя земледѣльческія и мануфактурныя машины. Актеру нужны декораціи, костюмы, парики, румяна, бѣлила. Кромѣ того скульптору и живописцу нужны натурщики и манекены; актеру нужны суфлеры и хористы, режиссеры и антрепренеры и наконецъ огромныя зданія, устроенныя и поддерживаемыя спеціально для служенія его искусству. Сочинителю музыкальныхъ пьесъ нужны люди, занимающіеся фабрикаціей инструментовъ, игрою на нихъ, пѣніемъ и проч. Эти два обстоятельства показываютъ намъ, *какъ великъ расходъ*, необходимый для того, чтобы всѣ эти искусства могли поддерживать свое существованіе. *Третье* обстоятельство покажетъ намъ, *какъ малъ доходъ*, который можетъ доставаться на долю реализма, даже при самомъ разумномъ направленіи всѣхъ этихъ искусствъ. Самый существенный недостатокъ живописи и скульптуры состоитъ, какъ извѣстно, въ томъ, что онѣ могутъ изображать только *одинъ моментъ*; слѣдить за развитіемъ дѣйствія, показывать, какимъ образомъ послѣдствія вытекаютъ изъ причинъ,—это превышаетъ ихъ силы. Этотъ недостатокъ отнимаетъ у скульптуры и у живописи всякую возможность дѣйствовать живительнымъ образомъ на общественное сознаніе. Представьте себѣ напримѣръ, что скульпторъ, проникнутый гуманными стремленіями современнаго реализма, хочетъ показать обществу, какое пагубное искаженіе и вырожденіе человѣческой породы происходитъ постоянно въ тѣхъ мастерскихъ, въ тѣхъ фабрикахъ, въ тѣхъ темныхъ, душныхъ и сырыхъ квартирахъ, въ которыхъ истощаютъ свои силы, голодаютъ и зябнутъ европейскіе работники. Онъ представляетъ на выставку нѣсколько тощихъ, безобразныхъ фигуръ, со впалой грудью, съ мускулатурой неестественно развитой въ однихъ членахъ и неестественно слабой въ другихъ, съ тупымъ и замученнымъ выраженіемъ лица, съ искривленнымъ позвоночнымъ столбомъ и съ согнутыми ногами. Подъ каждой изъ этихъ фигуръ, вылѣпленныхъ съ натуры, онъ подписываетъ названіе того ремесла, которому данный субъектъ обязанъ своимъ уродствомъ. Сдѣлавъ это, скульпторъ сдѣлалъ рѣшительно все, что только могъ сдѣлать, какъ искренній приверженецъ реализма, понимающій глубоко и вѣрно, какъ задачи вѣка, такъ и спеціальныя средства скульптуры. Но какъ вы думаете, произведутъ-ли выставленныя фигуры на публику то глубокое и потрясающее впечатлѣніе, которое желалъ произвести честный и умный художникъ? Можно сказать навѣрное, что не произведутъ. Почему? Потому что публикѣ, смотрящей на эти статуи, предоставляется угадывать слишкомъ многое; публика видитъ только одинъ результатъ; и этотъ результатъ, этотъ единственный моментъ, схваченный художникомъ, останется для публики непонятнымъ до тѣхъ поръ, пока она не воспроизведетъ своимъ воображеніемъ весь тотъ длинный рядъ трудовыхъ и голодныхъ годовъ, весь тотъ безконечный рядъ неестественныхъ усилій и лишеній, который наложилъ свою печать на тѣлосложеніе и физіономію изображенныхъ субъектовъ. Цѣль скульптора была-бы достигнута до нѣкоторой степени только въ томъ случаѣ, еслибы при выставленныхъ статуяхъ находился умный, свѣдущій и краснорѣчивый человѣкъ, который во все продолженіе выставки, по нѣскольку разъ въ день, читалъ бы публикѣ лекцію, подробно объясняющую происхожденіе и развитіе всѣхъ изображенныхъ искаженій человѣческаго типа. Такія лекціи конечно могли-бы произвести сильное и благотворное впечатлѣніе. Но нетрудно понять, что это впечатлѣніе было-бы произведено лекціями, а не статуями. Разумѣется, статуи, придавая словамъ лектора бо́льшую ясность и наглядность, могли-бы *немного* увеличить успѣхъ лекцій и усилить производимое ими впечатлѣніе; но если мы сообразимъ, что это *немногое* покупается цѣною такихъ трудовъ, на которые уходитъ вся жизнь очень умнаго, очень честнаго и очень даровитаго человѣка, глубоко вдумавшагося въ причины общественныхъ бѣдствій, то мы конечно придемъ къ тому убѣжденію, что игра не стоитъ свѣчъ, и что для реализма было-бы несравненно выгоднѣе, еслибы этотъ

Digitized by Google

умный, честный и даровитый человѣкъ служилъ ему не въ качествѣ превосходнаго скульптора, а напримѣръ въ скромной должности хорошаго преподавателя или добросовѣстнаго переводчика полезныхъ иностранныхъ книгъ. Статуи, о которыхъ я говорилъ выше, могутъ произвести потрясающее впечатлѣніе на такого человѣка, который самъ изучалъ бытъ рабочихъ классовъ и посвятилъ всѣ свои силы улучшенію ихъ участи. Поставьте передъ такими статуями Луи Блана, Лассаля или Прудона, и, разумѣется, они оцѣнятъ ихъ по достоинству и прочувствуютъ, глядя на нихъ, до глубины души все величіе того дѣла, которому они себя посвятили. Но въ томъ-то и бѣда, что статуи и картины поражаютъ и волнуютъ только тѣхъ людей, которые уже не нуждаются въ этихъ сильныхъ ощущеніяхъ, потому что они и безъ этихъ ощущеній твердо знаютъ, понимаютъ и помнятъ все, что честный и умный гражданинъ долженъ помнить, знать и понимать. Человѣкъ, еще не затронутый серьезными мыслями и глубокими чувствами, отойдетъ отъ картины или отъ статуи съ тѣмъ-же бѣднымъ и ложнымъ взглядомъ на жизнь, съ которымъ онъ и подошелъ къ нимъ. Иниціаторомъ или вербовщикомъ новыхъ адептовъ не можетъ сдѣлаться ни при какихъ условіяхъ ни скульптура, ни живопись. Кто способенъ понимать статуи и картины, носящія на себѣ печать глубокой мысли, тому эти картины и статуи не говорятъ ничего новаго; а кому ихъ основная мысль еще неизвѣстна, тому языкъ картинъ и статуй останется непонятнымъ. Музыка точно также, хотя и по другой причинѣ, не можетъ превратиться въ орудіе реализма. Существенный недостатокъ музыки заключается въ ея неопредѣленности; музыка выражаетъ различныя психическія настроенія, различные оттѣнки чувства, различные переходы отъ одного настроенія къ другому, различные переливы одного чувства въ другое; но выразить опредѣленный взглядъ на природу, на человѣка и на общество, выразить его такъ, чтобы его основныя мысли оказались понятными и убѣдительными даже для такого человѣка, который никогда не слыхалъ о нихъ прежде,— этого, разумѣется, никогда не сдѣлаетъ никакая музыка. Правда, что нѣкоторыя мелодіи, слившись навсегда со словами пѣсни, сдѣлались самой яркой вывѣской тѣхъ или другихъ политическихъ идей и тенденцій. Такъ напримѣръ, напѣвъ «Марсельезы» или «Ça ira» до такой степени живо напоминаетъ каждому образованному человѣку историческія сцены изъ первой французской революціи, что невольно можно составить себѣ совершенно ошибочное мнѣніе, будто-бы въ самомъ дѣлѣ звуки этихъ мелодій имѣютъ дѣйствительное сродство съ тогдашними идеями. Но ошибочность этого мнѣнія замѣтить не трудно: звуки выражаютъ здѣсь только бравурное и восторженное настроеніе; а такъ какъ это настроеніе способны испытывать и рыцари легитимизма, и защитники папскаго престола, и національные гвардейцы Кавеньяка, истреблявшіе въ іюнѣ 1848 года работниковъ во имя священныхъ правъ капитала, то очевидно на музыку «Марсельезы» можно положить какія угодно слова, лишь-бы только они выражали собою воинственный азартъ и готовность положить животъ за какое ни на есть, правое или неправое, дѣло. Музыка можетъ растрогать, взволновать, опечалить или развеселить человѣка, но убѣдить или переубѣдить его она даже и не пробуетъ. Такъ какъ реализму нужны исключительно люди, проникнутые извѣстными убѣжденіями, то само собою разумѣется, что музыка не можетъ сдѣлать для реализма ровно ничего.

Наконецъ сценическое искусство не имѣетъ никакого самостоятельнаго значенія. Оно зависитъ безусловно отъ поэзіи, которая съ величайшимъ удобствомъ можетъ обойдтись безъ его содѣйствія: не драма, а романъ составляетъ важнѣйшую отрасль современной поэзіи. Итакъ, изъ всѣхъ искусствъ только одну поэзію стоитъ и можно превратить въ могущественное орудіе реализма. Всѣ тѣ соображенія, которыя говорили противъ остальныхъ искусствъ, говорятъ сильно и убѣдительно въ пользу поэзіи. *Во-первыхъ*, поэту совсѣмъ не нужна спеціальная техническая подготовка. Его подготовка сливается совершенно съ тѣмъ общимъ образованіемъ, въ которомъ нуждается каждый человѣкъ, желающій приняться за какой бы то ни было общеполезный умственный трудъ. Поэту нужно знаніе отечественнаго языка, знаніе отечественной и главныхъ европейскихъ литературъ, знаніе окружающей жизни и широкое умственное развитіе. Всѣ эти знанія необходимы каждому работнику мысли, такъ что поэту не приходится тратить ни одной минуты времени и ни одной копѣйки денегъ собственно на то, чтобы воспитать въ себѣ поэта. *Во-вторыхъ*, поэтъ своей дѣятельностью не поддерживаетъ ни одной отрасли убыточнаго производства. Поэту необходимы бумага, перья, чернила, типографіи, переплетныя и книжныя лавки. Все это существуетъ не для однихъ поэтовъ, а для всѣхъ грамотныхъ людей, и все это совершенно необходимо для поддержанія и распространенія грамотности. Значитъ *расходъ* на поэзію ничтоженъ. Нетрудно доказать, что, *в-третьихъ*, *доходъ* съ поэзіи можетъ быть очень значителенъ. Нѣтъ того міросозерцанія, нѣтъ того взгляда на общественныя отношенія, котораго нельзя было-бы выразить самымъ убѣдительнымъ и увлекательнымъ образомъ въ поэтическомъ произведеніи. Итакъ, стараясь превращать поэзію въ орудіе реализ-

Digitized by Google

ма, я исполнилъ всѣ требованія Антоновича и заслужилъ вполнѣ тѣ косвенныя похвалы, которыми такъ неожиданно осыпаетъ меня мой любезный противникъ. Къ сожалѣнію, мой противникъ, при всей своей любезности, не желаетъ или не умѣетъ выражаться ясно: онъ говоритъ постоянно объ искусствѣ вообще, но всякій разъ, какъ ему приходится приводить примѣръ, чтобы доказать вліяніе искусства на развитіе общества, онъ беретъ этотъ примѣръ изъ исторіи поэзіи; такимъ образомъ нѣтъ возможности понять, за что именно онъ сражается, за всѣ-ли отрасли искусства, или-же за одну поэзію. Въ первомъ случаѣ ему слѣдовало-бы брать свои примѣры изъ исторіи живописи, скульптуры и музыки, то есть тѣхъ искусствъ, которыя особенно сильно заподозрѣны въ безполезности. Во второмъ случаѣ защищать искусство очень не трудно, тѣмъ болѣе, что на него съ этой стороны никто и не нападаетъ. Чтобы развернуть свою храбрость и полемическую бойкость въ такой легкой и безполезной борьбѣ, Антоновичъ по своему обыкновенію сочиняетъ, будто я старался уничтожить поэзію, и потомъ побѣдоносно доказываетъ мнѣ, что уничтожать ее не годится. «Но на васъ,—говоритъ мнѣ Антоновичъ,—не дѣйствуютъ никакія соображенія здраваго смысла, никакія историческія и философскія доказательства; вы затвердили фразу Базарова: «мы признаемъ только пользу, мы отрицаемъ искусство»,—и вслѣдствіе этого твердите постоянно, что искусство безполезно, что его нужно уничтожить, что всѣ художники, начиная отъ Рафаэля и Шекспира и оканчивая Брюловымъ, Гёте и Гейне, такъ-же ничтожны и безплодны для человѣчества, какъ повара Дюссо и трактирные маркеры». Любезность и добродушіе моего противника приводятъ меня въ восхищеніе. Представьте себѣ, что, упоминая о поварахъ Дюссо и о трактирныхъ маркерахъ, онъ указываетъ на мой «Нерѣшенный Вопросъ», въ которомъ было дѣйствительно употреблено сравненіе нѣкоторыхъ художниковъ съ маркеромъ Тюрей и съ поваромъ Дюссо; представьте себѣ далѣе, что онъ называетъ трехъ поэтовъ, о которыхъ тоже говорилось въ «Нерѣшенномъ Вопросѣ»; и представьте себѣ наконецъ, что именно объ этихъ трехъ поэтахъ я говорилъ съ величайшимъ уваженіемъ. Такимъ образомъ всю тираду моего противника я могу опровергнуть одной короткой выпиской изъ «Нерѣшеннаго Вопроса». Согласитесь, что мой противникъ, доставляющій мнѣ надъ собою такія легкія побѣды, долженъ быть человѣкомъ въ высшей степени любезнымъ и добродушнымъ. Вотъ что я говорю о Гейне, Гёте и Шекспирѣ: «Мы твердо убѣждены въ томъ, что каждому человѣку, желающему сдѣлаться полезнымъ работникомъ мысли, необходимо широкое и всестороннее образованіе, въ которомъ Гейне, Гёте, Шекспиръ должны занять свое мѣсто наряду съ Либихомъ, Дарвиномъ и Ляейллемъ.» Неправда-ли, господа читатели, что Либихъ, Дарвинъ и Ляйелль очень похожи на поваровъ Дюссо и на трактирныхъ маркеровъ? Но вамъ конечно угодно знать теперь, чьи-же имена были поставлены рядомъ съ именами Дюссо и Тюри? Извольте: «Вслѣдствіе этого могутъ появиться на свѣтъ великіе люди самыхъ различныхъ сортовъ: великій Бетховенъ, великій Рафаэль, великій Канова, великій шахматный игрокъ Морфи, великій поваръ Дюссо, великій маркеръ Тюря.» Тутъ взяты представители музыки, живописи и скульптуры, то-есть тѣхъ самыхъ искусствъ, которыхъ неизлечимую безполезность я подробно доказывалъ въ настоящей статьѣ на предыдущихъ страницахъ. О поэзіи-же, какъ о пригодномъ и полезномъ орудіи, я говорилъ съ полнымъ уваженіемъ какъ въ прошломъ году, такъ и сегодня. А мой любезный противникъ, не умѣя защищать живопись, скульптуру и музыку, заблагоразсудилъ взваливать на меня ложное обвиненіе въ поруганіи Шекспира, Гёте и Гейне. Этимъ маневромъ мой противникъ опять,—не помню уже, въ который это разъ,—обнаружилъ съ одной стороны свою неизмѣнную любовь къ истинѣ, а съ другой стороны свое замѣчательное умѣнье полемизировать.

X.

Наконецъ Антоновичу удается найти въ моихъ сочиненіяхъ настоящую безсмыслицу, которая впрочемъ годъ тому назадъ была уже замѣчена проницательнымъ критикомъ «Эпохи», Николаемъ Соловьевымъ, и которой происхожденіе я могу теперь объяснить самымъ удовлетворительнымъ образомъ, какъ Николаю Соловьеву и Антоновичу, такъ и всей читающей публикѣ. Въ сентябрьской книжкѣ «Русскаго Слова» за 1864 годъ, въ статьѣ «Нерѣшенный Вопросъ» на стр. 6 напечатаны слѣдующія строки: «*У реалиста* эта потребность (отдохнуть) возникаетъ очень рѣдко, и поэтому онъ стоитъ выше обыкновенныхъ людей, то-есть можетъ втеченіи своей жизни сдѣлать больше работы; а всякій согласится, что мы можемъ мѣрять умственныя силы людей только количествомъ сдѣланной ими полезной работы. *Человѣкъ вполнѣ реальный* можетъ обходиться безъ того, что называется личнымъ счастьемъ; ему нѣтъ надобности освѣжать свои силы любовью женщины или хорошей музыкой, или смотрѣніемъ шекспировской драмы, или просто веселымъ обѣдомъ съ добрыми друзьями. У него *можетъ быть развѣ* только одна слабость: хорошая сигара, безъ которой онъ не можетъ вполнѣ успѣшно размышлять.»—Нелѣпость во-

Digitized by Google

піющая! Сигара получила какое-то общее догматическое значеніе. Сигара превращена въ единственную слабость, возможную или позволительную для всѣхъ реалистовъ. Но потрудитесь обратить вниманіе на тѣ слова, которыя написаны курсивомъ: въ нихъ заключается настоящая причина всей безсмыслицы; если вы вмѣсто *реалиста* поставите *Рахметова*, вмѣсто *человѣкъ вполнѣ реальный—Рахметовъ*, и вмѣсто *можетъ быть развѣ—есть*, то вся нелѣпость совершенно уничтожится, и вы увидите, что я просто говорю о личныхъ особенностяхъ Рахметова, а совсѣмъ не объ общихъ признакахъ *реалиста* или какого-то *человѣка вполнѣ реальнаго*. Почему *Рахметовъ* превратился такъ некстати въ *реалиста* и въ *человѣка вполнѣ реальнаго*—это, я надѣюсь, Антоновичъ постигнетъ безъ моихъ поясненій. Чтобы помочь его догадливости, я напомню ему только, что вмѣсто *романа «Что дѣлать?»* намъ часто приходилось говорить *эпопея о бѣлой Арапіи;* когда надо было произнести имя автора—мы говорили *одно лицо;* когда самому Антоновичу надо было сказать *Рахметовъ*, онъ въ своей статьѣ говоритъ *Никитушка Ломов* . Если Антоновичъ понимаетъ причину всѣхъ этихъ случайныхъ явленій, то онъ понимаетъ также причину превращенія *Рахметова* въ *реалиста* и въ *человѣка вполнѣ реальнаго*. Но Антоновичъ спроситъ меня быть-можетъ, почему-же я не назвалъ Рахметова Никитушкой Ломовымъ, или почему я не выкинулъ изъ моей статьи всей главы, обезображенной и обезсмысленной неожиданнымъ превращеніемъ? Потому отвѣчу я, что я не читаю третьихъ корректуръ или такъ называемыхъ подписныхъ листовъ. Такая небрежность съ моей стороны конечно очень предосудительна, но о причинахъ такой преступной небрежности Антоновичъ можетъ навести справки въ редакціи «Русскаго Слова», а также и у Некрасова, которому было объяснено, почему письмо, помѣщенное въ мартовской книжкѣ «Современника», написано моей матерью, а не мною. Когда Антоновичъ наведетъ эти справки, то по всей вѣроятности сочтетъ себя удовлетвореннымъ. А чтобы показать моимъ читателямъ, что первая часть «Нерѣшеннаго Вопроса» дѣйствительно испытала на себѣ нѣчто вродѣ геологическаго переворота, объясняющаго совершенно удовлетворительно всевозможныя превращенія и уничтоженія смысла, я приведу изъ той-же статьи еще одну фразу, въ которой слѣды геологическаго переворота совершенно очевидны. «А, кажется, Тургеневу въ этомъ отношеніи можно повѣрить, во-первыхъ потому, что онъ зналъ вполнѣ всѣ душевныя стремленія московскихъ кружковъ; а во-вторыхъ потому, что его можно заподозрить скорѣе въ пристрастіи къ симпатичному Грановскому, чѣмъ въ преувеличенной нѣжности къ угловатымъ реалистамъ нашего времени, что на его поприщѣ никто-бы не могъ дѣйствовать лучше и плодотворнѣе». Какъ вамъ это нравится? Къ чему тутъ очутились слова: «что на его поприщѣ никто не могъ дѣйствовать лучше и плодотворнѣе»? А вотъ видите-ли: послѣ словъ: «реалистамъ нашего времени»—стояла точка. Послѣ точки слѣдовала цѣлая отдѣльная и самостоятельная фраза. Эта фраза погибла въ геологическомъ переворотѣ, и отъ нея уцѣлѣлъ только одинъ несчастный кончикъ: «что на его поприщѣ...», который, чувствуя свою сиротскую безпомощность, нашелъ удобнымъ прислониться къ предыдущему періоду. Выписавъ то мѣсто, гдѣ *Рахметовъ* превратился въ *человѣка вполнѣ реальнаго*, Антоновичъ старается изобличить все мое тупоуміе, и при этомъ увлекается такъ сильно, что самъ, того не замѣчая, направляетъ потокъ своихъ извѣстныхъ *колкостей* не на меня, а на Рахметова, и слѣдовательно на Чернышевскаго. Какъ прикажете въ самомъ дѣлѣ понимать слѣдующія изліянія? «Еслибы этотъ аскетъ-реалистъ не былъ до крайности глупъ, онъ-бы тянулъ по рюмочкѣ очищенной, потому что она еще болѣе возбуждаетъ, чѣмъ хорошая сигара; также точно, еслибы у этого аскета-реалиста была хоть капля здраваго смысла, онъ-бы зналъ, что шекспировскія драмы возбуждаютъ мозговую дѣятельность гораздо лучше и живѣе, чѣмъ сигара, что бесѣда съ друзьями и любовь къ женщинѣ могутъ быть до такой степени полезны и могутъ наводить человѣка на такія полезныя и дѣльныя мысли, какъ ни одна самая лучшая гаванская сигара въ мірѣ. Потому аскетъ-реалистъ, значитъ, просто глупъ, если онъ для своего умственнаго возбужденія сигару предпочитаетъ женской любви, шекспировскимъ драмамъ, обѣду съ пріятелями и музыкѣ.» Но тутъ Антоновичъ повидимому спохватился, что онъ бранится и унижаетъ совсѣмъ не меня; стараясь поправиться, онъ напуталъ еще больше. «А вы небось воображали,—обращается онъ ко мнѣ,—что вы нарисовали копію съ Никитушки Ломова. Но вотъ видите теперь сами, что вы поняли въ немъ только одну случайную сигару и возвели ее въ принципъ, и тѣмъ только даете всякому поводъ смѣяться надъ Ломовымъ, сущность котораго по обыкновенію осталась для васъ темной.» Эпитетъ *случайная*, приставленный къ слову *сигара*, нисколько не поправляетъ дѣла. Случайно или не случайно Рахметовъ предпочитаетъ сигару рюмочкѣ очищенной, музыкѣ, шекспировскимъ драмамъ, женской любви и обѣду съ пріятелями, все-таки онъ за это случайное или неслучайное предпочтеніе принужденъ принять на свой счетъ всѣ любезности Антоновича, объ-

Digitized by Google

ясняющаго ему очень подробно, что онъ *до крайности глупъ*, что у него нѣтъ *ни одной капли здраваго смысла*, и что онъ, *значитъ*, *просто глупъ*. Я увѣренъ въ томъ, что Антоновичъ вовсе не имѣлъ въ виду произвести такое поруганіе Рахметова, любимаго созданія Чернышевскаго; но Антоновичъ такъ непомѣрно искусенъ въ полемическомъ дѣлѣ и при своемъ искусствѣ такъ безгранично усерденъ въ этомъ дѣлѣ, что всевозможныя, ошеломляющія неожиданности бьютъ фонтаномъ изъ-подъ его быстраго пера, совершенно независимо отъ его собственнаго желанія. Если Антоновичъ полагаетъ, что сигара приписана Рахметову совершенно случайно, то Антоновичъ очень плохо понимаетъ мысли Чернышевскаго. Конечно вмѣсто любви къ сигарѣ могла быть приписана Рахметову любовь къ хорошему чаю или къ хорошему кофе, но во всякомъ случаѣ для полной обрисовки этого характера было необходимо приписать ему пристрастіе къ какому-нибудь чисто-физическому, а не умственному наслажденію. Когда Рахметовъ совершенно здоровъ, тогда умъ его всегда работаетъ сильно и успѣшно, и мысли его постоянно направлены къ тому дѣлу, которое составляетъ цѣль его жизни. Для того, чтобы его умственная работа шла какъ слѣдуетъ, онъ не нуждается ни въ какихъ вспомогательныхъ средствахъ; ему нужно только одно условіе: полное физическое здоровье; но для того, чтобы быть постоянно совершенно здоровымъ, свѣжимъ и бодрымъ, каждому человѣку необходимо соблюдать извѣстный régime, то есть, вести извѣстный образъ жизни, соотвѣтствующій всѣмъ врожденнымъ и благопріобрѣтеннымъ особенностямъ его организма. Одной изъ составныхъ частей этого régime, необходимаго Рахметову для сохраненія полной свѣжести и бодрости, оказывается хорошая сигара, и эту особенность своего темперамента Рахметовъ называетъ слабостью, единственно только потому, что хорошія сигары дорого стоятъ, и что ему не хочется тратить на свою собственную особу ни одной лишней копѣйки. Но для обыкновенныхъ людей, необладающихъ силами рахметовскаго ума и характера, простое соблюденіе извѣстнаго régime оказывается недостаточнымъ. Эти люди, находясь въ самомъ нормальномъ и веселомъ настроеніи, всетаки часто или даже постоянно нуждаются въ томъ, чтобы другіе человѣческіе умы помогали имъ думать, помогали имъ стремиться къ извѣстной цѣли, помогали имъ любить извѣстный трудъ. Когда мы безъ особенной дѣловой надобности чувствуемъ потребность поговорить съ друзьями, то мы именно ищемъ въ ихъ сочувствіи и въ ихъ разсужденіяхъ поддержки на томъ пути, по которому идемъ, и который мы давно уже признали хорошимъ и разумнымъ путемъ. Мы хотимъ, чтобы друзья укрѣпили нашу рѣшимость и отогнали отъ насъ тяжелое раздумье и мучительныя сомнѣнія. Когда мы беремъ въ руки умную книгу не для того, чтобы справиться о какомъ-нибудь фактѣ, а просто для того, чтобы насладиться пріятнымъ чтеніемъ, то мы именно обращаемся къ автору этой книги съ просьбой помочь намъ въ процессѣ нашего мышленія, обогатить насъ новыми идеями, усилить въ насъ любовь къ истинѣ и къ общественной пользѣ, вооружить насъ новыми доводами противъ заблужденія и эксплоатаціи, словомъ — подкрѣпить, освѣжить и улучшить насъ вліяніемъ своей умной, честной и развитой личности. Въ такихъ подкрѣпленіяхъ Рахметовъ вовсе не нуждается; когда онъ здоровъ, онъ всегда одинаковъ, то есть всегда одинаково сильно любитъ свою идею и всегда одинаково ясно видитъ тѣ препятствія, которыя мѣшаютъ этой идеѣ осуществиться, тѣ пособія, которыми можно воспользоваться для ея осуществленія, и ту дорогу, по которой слѣдуетъ идти къ этому осуществленію. Вслѣдствіе своей постоянной одинаковости онъ можетъ отдавать все свое время серьезной работѣ, не отдѣляя ни одного часа ни на пріятное чтеніе, ни на оживленную бесѣду съ друзьями. Онъ не зависитъ ни отъ окружающихъ людей, ни отъ умныхъ книгъ; онъ зависитъ только отъ своего собственнаго организма, и эта неизбѣжная зависимость обозначена очень рельефно въ томъ фактѣ, что онъ, при всей своей ненависти ко всякой роскоши, принужденъ курить дорогія сигары для того, чтобы поддерживать въ себѣ хорошее настроеніе, необходимое для успѣшной умственной работы.—*Ну вотъ, видите теперь сами*, г. Антоновичъ, что вы въ Никитушкѣ Ломовѣ не поняли даже и сигары; а что касается до его сущности, то она и подавно осталась для васъ темной; это совершенно очевидно, потому что, еслибы она была для васъ ясна, вы бы немедленно сообразили, что упрекать противника въ ея непониманіи—въ высшей степени недобросовѣстно, такъ какъ противникъ на эти упреки не можетъ отвѣтить ровно ничего и ни при какихъ условіяхъ не можетъ представить печатныхъ доказательствъ своего пониманія. Я вѣдь сказалъ, что Рахметовъ занимается общеполезной работой. Чего-же вы отъ меня еще хотите? Если вамъ угодно, чтобы я охарактеризовалъ яснѣе и обстоятельнѣе эту работу, то ваше ребяческое требованіе доказываетъ, какъ нельзя убѣдительнѣе, что вы сами грѣшите тѣмъ непониманіемъ, въ которомъ стараетесь заподозрить вашего противника. Я на вашемъ мѣстѣ воздержался-бы отъ подобныхъ требованій.

XI.

Въ своей статьѣ «*Современная эстетическая теорія*» Антоновичъ утверждалъ, что

Digitized by Google

«эстетическое наслажденіе есть нормальная потребность человѣческой природы», и что «невозможно придумать никакого основанія, которое могло-бы дать право воспрещать или даже порицать удовлетвореніе этой потребности». Я возразилъ на это въ «*Разрушеніи эстетики*», что такое основаніе придумать нетрудно, и указалъ на тотъ общеизвѣстный фактъ, что у огромнаго большинства людей очень нормальная и законная потребность утолять свой голодъ здоровой пищей удовлетворяется до сихъ поръ очень плохо. Дѣлая это указаніе, я полагалъ, что каждый сотрудникъ «Современника», даже и такой недальновидный, какъ Антоновичъ, пойметъ мой намекъ безъ дальнѣйшихъ поясненій. Оказывается теперь, что я слишкомъ сильно понадѣялся на сообразительность моего противника. Выписавъ мое возраженіе, Антоновичъ спрашиваетъ у меня, въ своемъ-ли я умѣ и помню-ли я начало фразы, когда пишу ея конецъ. Чтобы доказать мнѣ мое умственное банкротство, онъ пускается въ слѣдующія разсужденія: «Мы говоримъ, что эта потребность нормальна и естественна, и доказали это на основаніи физики и физіологіи. (Можно-ли взводить такую напраслину на физіологію?) Вы-же говорите, что эта потребность неестественна и позорна, и ее нужно разрушить (что такое *разрушить потребность?* это безсмыслица! я говорю только, что это потребность вздорная,— прихоть). Почему? Потому, отвѣчаете вы, что производится мало хлѣба или пищи, вслѣдствіе занятія многихъ рукъ производствомъ предметовъ искусства. Что-же изъ этого слѣдуетъ? (Я надѣялся, что вы это поймете.) Если это дѣйствительно правда (а вы въ этомъ, кажется, сомнѣваетесь?), то изъ этого по здравому смыслу слѣдуетъ только то, что нужно увеличить производство хлѣба, обративъ на него часть рукъ, прежде занимавшихся производствомъ искусства, а никакъ не слѣдуетъ, что искусство нужно уничтожить, и еще менѣе слѣдуетъ, что эстетическая потребность неестественна и позорна.» Какимъ прекраснымъ *здравымъ смысломъ* обладаетъ Антоновичъ, и какъ блистательна его аргументація! Видите-ли, по *здравому смыслу* Антоновича слѣдуетъ, что нужно обратить на производство хлѣба *часть рукъ, прежде занимавшихся производствомъ искусства*. Прекрасно! А если окажется, что и послѣ этого обращенія хлѣба производится слишкомъ мало, тогда что́ нужно сдѣлать по тому-же *здравому смыслу?*—Обратить еще часть рукъ? А если и тогда количество хлѣба окажется недостаточнымъ, и если оно будетъ оставаться недостаточнымъ до тѣхъ поръ, пока вы не обратите на полезное производство всѣ руки, занимавшіяся изготовленіемъ изящныхъ предметовъ, тогда что́ дѣлать?— Обратить всѣ руки? Такъ или нѣтъ? Если *такъ*, то больше намъ ничего и не нужно; вы можете доказывать законность эстетическихъ наслажденій и величіе искусства, сколько вамъ будетъ угодно; мы не намѣрены ни мѣшать, ни возражать вамъ, лишь-бы только на производство изящныхъ предметовъ не отвлекались тѣ руки, которыя необходимы для изготовленія предметовъ первой необходимости. Если-же вы скажете *нѣтъ*, то потрудитесь произнести это *нѣтъ* сознательно, отчетливо и твердо; скажите прямо и откровенно: пускай бѣднота голодаетъ и зябнетъ; моя потребность наслаждаться искусствомъ нормальна и законна, и я вовсе не хочу допускать, чтобы люди, удовлетворяющіе этой законной и нормальной потребности, отвлекались отъ своей теперешней работы къ изготовленію пищи и платья для разныхъ manants и misérables. — Въ сущности, все пишущее филистерство во всемъ образованномъ мірѣ разсуждаетъ именно такимъ образомъ, но только никто не осмѣливается высказать свою мысль откровенно и ясно. Если вы не можете отдѣлиться отъ филистеровъ по своимъ идеямъ, то съумѣйте-же по крайней мѣрѣ превзойти и удивить ихъ храбростью. «Вы могли-бы сказать,—говоритъ Антоновичъ,—что голодному человѣку искусство и эстетическое наслажденіе не пойдетъ на умъ (но сытымъ до этого обстоятельства конечно нѣтъ и не должно быть никакого дѣла?!); это совершенно вѣрно, это мы сами высказывали множество разъ (напрасно! вѣдь ваши читатели сыты?). Но изъ этого не слѣдовало-бы, что искусство и эстетика подлежатъ уничтоженію, а слѣдовало-бы только (о, торжество здраваго смысла!), что голодныхъ людей нужно кормить (чѣмъ?) и всѣхъ вообще обезпечить такъ (чѣмъ и какъ?), чтобы всѣ могли пользоваться удовольствіемъ, даваемымъ произведеніями искусства.» Еслибы мнѣ кто-нибудь сказалъ, что такая пошлость напечатана не въ «Эпохѣ» и не въ «Русскомъ Вѣстникѣ», а въ «Современникѣ», то я-бы такому неправдоподобному извѣстію не повѣрилъ; но теперь я читаю эту пошлѣйшую изъ пошлостей собственными глазами и поневолѣ вѣрю, что она напечатана дѣйствительно въ «Современникѣ». Итакъ, изъ того факта, что есть на свѣтѣ голодные люди, слѣдуетъ *только*—это *только* очаровательно,— что голодныхъ людей нужно кормить и всѣхъ вообще обезпечить, а потомъ, устроивъ наскоро это легкое и ничтожное дѣло, тотчасъ вести всѣхъ накормленныхъ и обезпеченныхъ людей въ театръ и на выставку картинъ и статуй. Объясните мнѣ вы, посрамленіе «Современника», что́ скрывается въ вашихъ неслыханно-глупыхъ словахъ: плоское-ли филистерское лицемѣріе, или-же круглое невѣжество и самое безнадежное тупоуміе? Дѣйствительно-ли вы думаете, что накормить всѣхъ голодныхъ и обезпечить

Digitized by Google

всѣхъ вообще самая простая и легкая штука, или-же вы только пытаетесь отвести глаза своимъ читателямъ? Впрочемъ это въ сущности все равно. Кто надѣется одурачить другихъ такимъ топорнымъ враньемъ, тотъ совершенно такъ-же глупъ, какъ и тотъ, кто произноситъ подобныя нелѣпости, принимая ихъ за основательныя разсужденія. Теперь, г. Антоновичъ, мнѣ придется толковать вашимъ *счастливымъ читателямъ* азбучныя истины соціальной науки, несмотря на то, что вамъ досталась незаслуженная честь быть сотрудникомъ того журнала, который первый произнесъ въ Россіи разумное слово о соціальныхъ вопросахъ. *Количество* производимаго хлѣба, мяса, полотна, сукна, платья, мебели и всѣхъ другихъ предметовъ первой необходимости составляетъ конечно очень важный элементъ народнаго богатства; но одинъ этотъ элементъ самъ по себѣ, какъ-бы онъ ни былъ силенъ, все-таки не можетъ упрочить благосостояніе народа. Производство можетъ быть достаточно сильно, и, несмотря на то, большинство можетъ все-таки терпѣть нужду, если производимые продукты будутъ распредѣляться въ обществѣ неравномѣрно. Неравномѣрное распредѣленіе продуктовъ неизбѣжно ведетъ за собою, изъ года въ годъ, ослабленіе производства; вслѣдствіе этого положеніе большинства съ каждымъ годомъ становится хуже, и это прогрессивное ухудшеніе продолжается до тѣхъ поръ, пока положеніе большинства становится наконецъ невыносимымъ. Тогда начинаются обширныя эмиграціи, заразительныя болѣзни и періодическія конвульсіи общественнаго организма, вызываемыя невыносимыми страданіями большинства. Западная Европа дошла именно до такого положенія, и лучшіе ея мыслители съ начала нынѣшняго вѣка сосредоточили всѣ свои умственныя силы на рѣшеніи того вопроса: какимъ образомъ *голодныхъ людей кормить и всѣхъ вообще обезпечить*? Одни говорили, что надо устроить такой общественный порядокъ, при которомъ каждый производилъ-бы столько, сколько можетъ, а получалъ-бы столько, сколько ему нужно; другіе говорили, что каждый долженъ получать вознагражденіе, соразмѣрное съ количествомъ и качествомъ сдѣланной работы; третьи говорили, что надо составить разумную ассоціацію труда, капитала и таланта; четвертые говорили, что только трудъ и талантъ имѣютъ право на вознагражденіе; пятые говорили, что въ деньгахъ заключается корень всего общественнаго зла. Всѣ эти мыслители со всѣми своими послѣдователями никакъ не могли до сихъ поръ согласиться между собою въ томъ, какое *положительное* средство надо пустить въ ходъ для рѣшенія общественной задачи. Но радикально расходясь между собою въ *положительной* сторонѣ своихъ доктринъ, всѣ они утверждали совершенно единогласно, что существующій *экономическій* порядокъ неудовлетворителенъ и оставляетъ желать очень многаго. Единогласное отрицаніе передовыхъ мыслителей, несогласныхъ между собою во всѣхъ остальныхъ пунктахъ, показываетъ ясно, что существующее положеніе дѣйствительно незавидно. А крайнее разногласіе *положительныхъ* проэктовъ показываетъ также ясно, что рѣшить общественную задачу чрезвычайно трудно. До сихъ поръ никто еще не можетъ утверждать навѣрно, что *теоретическое* рѣшеніе задачи дѣйствительно найдено. Когда это *теоретическое* рѣшеніе наконецъ найдется, тогда все-таки еще нельзя будетъ приступить тотчасъ къ кормленію голодныхъ людей, къ обезпеченію всѣхъ вообще и къ размѣщенію всѣхъ накорменныхъ и обезпеченныхъ людей по театрамъ и разнымъ другимъ увеселительно-художественнымъ заведеніямъ. Когда теоретическое рѣшеніе будетъ найдено, то надо будетъ еще втеченіи многихъ лѣтъ, можетъ-быть даже десятковъ лѣтъ, долбить общественное мнѣніе и тревожить общественную совѣсть до тѣхъ поръ, пока образованные классы, держащіе въ своихъ рукахъ общественный и умственный капиталъ націи, не будутъ перевоспитаны новыми идеями и не посвятятъ всѣ свои силы на то, чтобы осуществить теоретическое рѣшеніе въ дѣйствительной жизни. Это перевоспитаніе пойдетъ конечно чрезвычайно медленно, потому что люди, наслаждающіеся сытостью и искусствомъ, не только не питаютъ ни малѣйшей нѣжности къ рѣшенію общественной задачи, но даже, напротивъ того, видятъ въ каждой изъ подобныхъ новыхъ идей явное и дерзкое посягательство на ихъ благосостояніе, то есть на ихъ сытость и на ихъ законныя и нормальныя эстетическія наслажденія. Но успѣхъ новыхъ идей въ значительной степени ускорится тѣмъ обстоятельствомъ, что въ ряды образованнаго общества постоянно прибываютъ изъ низшихъ слоевъ такіе люди, которые, проводя свою молодость безъ сытости и безъ нормальныхъ и законныхъ эстетическихъ наслажденій, встрѣчаютъ новыя идеи съ пылкимъ, дѣятельнымъ и совершенно сознательнымъ сочувствіемъ. Спрашивается теперь: что-же должны дѣлать тѣ люди, которые берутся быть руководителями общественнаго самосознанія? Этотъ вопросъ распадается на три вопроса:

1) Что должны они дѣлать, если теоретическое рѣшеніе еще не найдено?

2) Что должны они дѣлать, если теоретическое рѣшеніе уже найдено?

3) Что должны они будутъ дѣлать, когда теоретическое рѣшеніе будетъ осуществлено?

Отвѣтъ на первый вопросъ.—Всѣми си-

Digitized by Google

лами искать теоретическаго рѣшенія и всѣми силами побуждать другихъ людей къ тому-же самому исканію, то есть изображать яркими красками страданія голоднаго большинства, вдумываться въ причины этихъ страданій, постоянно обращать вниманіе общества на экономическіе и общественные вопросы и систематически отрицать и осмѣивать все, что отвлекаетъ умственныя силы образованныхъ людей отъ главной задачи. Если въ числѣ отвлекающихъ предметовъ оказывается все искусство вообще или нѣкоторыя его отрасли, то, разумѣется, и оно подлежитъ этому систематическому отрицанію и осмѣиванію. Если-же умные и честные поэты своими трудами сосредоточиваютъ вниманіе общества на главной задачѣ, то, разумѣется, такихъ поэтовъ надо встрѣчать съ распростертыми объятіями, какъ драгоцѣнныхъ и полезнѣйшихъ союзниковъ. Но читателямъ своимъ подобные поэты не доставятъ ничего, кромѣ неотразимо-мучительныхъ ощущеній, которыя окажутся очень плодотворными, но которыя не совсѣмъ справедливо называть эстетическими наслажденіями. Неужели мы дѣйствительно наслаждаемся, когда чувствуемъ у себя на лбу капли холоднаго пота, когда у насъ на щекахъ горитъ яркій румянецъ стыда, или когда мы съ безсильнымъ скрежетомъ зубовъ оплакиваемъ кровавыми слезами нашу собственную дрянность, глупость и безхарактерность?

Отвѣтъ на второй вопросъ.—Постоянно разъяснять обществу съ разныхъ сторонъ и во всѣхъ подробностяхъ основныя начала разумной экономической и общественной доктрины, знакомить его такимъ образомъ съ найденнымъ теоретическимъ рѣшеніемъ и при этомъ всѣми возможными средствами усиливать притокъ новыхъ людей изъ низшихъ классовъ въ образованное общество; другими словами, надо вербовать агентовъ найденнаго разумнаго ученія, и надо увеличивать массу мыслящаго пролетаріата. Роль поэзіи должна въ это время состоять, съ одной стороны, въ яркомъ изображеніи невыносимыхъ неудобствъ существующаго экономическаго хаоса, а съ другой стороны —въ такомъ-же яркомъ рисованіи того блестящаго будущаго, которое приведетъ за собою найденная разумная организація. Остальныя отрасли искусства, продолжающія развлекать общество пустыми забавами, подлежатъ попрежнему самому строгому осужденію.

Отвѣтъ на третій вопросъ въ наше время невозможенъ и не имѣетъ для насъ ни малѣйшаго интереса, потому что этотъ *третій вопросъ* получитъ практическое значеніе не для насъ, а развѣ только для нашихъ внуковъ и правнуковъ, которые конечно будутъ гораздо умнѣе насъ и слѣдовательно не пойдутъ искать себѣ совѣтовъ въ нашихъ забытыхъ и истлѣвшихъ статьяхъ, романахъ и ученыхъ изслѣдованіяхъ.

Теперь вы вѣроятно видите, въ чемъ состоитъ капитальная глупость Антоновича. Онъ перескакиваетъ черезъ первый и черезъ второй вопросы, которые одни только могутъ имѣть для насъ практическое значеніе, — прямо къ третьему вопросу, который будетъ рѣшаться лѣтъ черезъ полтораста послѣ нашей смерти. Онъ съ пріятной улыбкой разсуждаетъ о томъ, что надо будетъ предпринять *послѣ того*, какъ голодные люди будутъ накормлены и всѣ вообще обезпечены. Подобныя разсужденія, разумѣется, позволительны только десятилѣтней сердобольной дѣвочкѣ, которая знаетъ, что ея мамаша очень богата, а папаша еще богаче, и что если только папаша съ мамашей захотятъ, то сію минуту могутъ всѣхъ вообще голодныхъ и неголодныхъ накормить конфектами, обезпечить изюмомъ и взять съ собою въ театръ, гдѣ дается прелестнѣйшая волшебная оперетка. Если-бы Антоновичъ въ своемъ пониманіи общественныхъ вопросовъ стоялъ хоть немного выше десятилѣтней невинности, то для него была-бы ясна, какъ день, та простѣйшая истина, что для публициста, имѣющаго въ виду интересы большинства, возможенъ въ настоящее время только одинъ вопросъ, поглощающій всѣ остальные: *какъ* накормить голодныхъ людей? *какъ* обезпечить всѣхъ вообще?—А Антоновичъ эти вопросы почислилъ рѣшенными, всѣхъ накормилъ, всѣхъ осчастливилъ, всѣхъ обезпечилъ, и боится только того, что мои грубыя, антиэстетическія статьи помѣшаютъ облагодѣтельствованному человѣчеству наслаждаться чудесами искусства. Я не буду спрашивать у Антоновича, былъ-ли онъ въ своемъ умѣ, когда писалъ свое уморительное разсужденіе? Это видно, что онъ былъ въ *свемъ* умѣ; оттого-то именно онъ и произвелъ на свѣтъ такую неправдоподобную пошлость. Il n'en fait jamais d'autres.

XII.

«Вашъ отвѣтъ,—говоритъ мнѣ Антоновичъ,—не имѣетъ опредѣленнаго смысла, а просто есть фраза, сказанная наобумъ. Ужели въ самомъ дѣлѣ отъ того мало производится хлѣба, что много рукъ занято производствомъ предметовъ искусства?»—Такъ какъ я въ своемъ возраженіи упомянулъ только о *рабочихъ рукахъ*, то Антоновичу все дѣло представляется въ томъ видѣ, что я желаю всевозможныхъ художниковъ пристроить къ сохѣ. Если мы предположимъ, что въ Россіи тысячъ двадцать различныхъ художниковъ, и если мы всѣхъ этихъ художниковъ превратимъ въ хлѣбопашцевъ, то, разумѣется, приращеніе въ общемъ итогѣ добываемаго хлѣба будетъ совершенно нечувствительно. Антоновичъ силами собственнаго своего

Digitized by Google

ума никакъ не можетъ сообразить, что, кромѣ *рабочихъ рукъ*, на развитіе производства имѣютъ еще самое значительное вліяніе *рабочіе мозги*. Присоедините къ общей массѣ производителей въ такой обширной странѣ, какъ Россія, сорокъ тысячъ рабочихъ рукъ, и вы не получите никакого замѣтнаго улучшенія въ матеріальномъ и умственномъ существованіи большинства; но пристройте къ полезному дѣлу двадцать тысячъ мозговъ,—и улучшеніе получится очень значительное. Кто-жъ вамъ велитъ превращать художниковъ и любителей искусства въ простыхъ земледѣльцевъ? Во-первыхъ это превращеніе невозможно, потому что люди, привыкшіе къ нѣкоторымъ удобствамъ жизни и совершенно незнакомые съ чисто-физическимъ трудомъ, ни за что не пойдутъ въ хлѣбопашцы. Во-вторыхъ, это превращеніе вовсе не желательно, потому что отъ своихъ образованныхъ членовъ общество должно требовать не механическаго, а умственнаго труда. Общество нуждается въ машинистахъ, въ химикахъ, въ учителяхъ, въ профессорахъ, въ публицистахъ, въ переводчикахъ. Замѣчательный профессоръ, никогда въ жизни неприкосновшійся къ сохѣ, обогащаетъ однако свое отечество цѣлыми тысячами четвертей хлѣба, потому что своимъ вліяніемъ возбуждаетъ и поддерживаетъ любовь къ честному и полезному труду во многихъ сотняхъ своихъ молодыхъ слушателей. Безполезныя отрасли искусства подрываютъ не чисто-физическій трудъ, обращенный на добываніе пищи, а тотъ умственный трудъ, который могъ-бы и долженъ былъ-бы дѣйствовать оплодотворяющимъ образомъ на развитіе производства. Кромѣ того безполезныя отрасли искусства вредны тѣмъ, что они дѣлаютъ праздность сносной и пріятной для такихъ людей, для которыхъ голая праздность и грубая роскошь, необлагороженная печатью изящества, превратились-бы очень скоро въ невыносимое мученіе. «Вообразите себѣ,—говоритъ Антоновичъ—что человѣкъ, наслаждающійся произведеніемъ искусства, самъ для себя производитъ искусство и самъ-же для себя производитъ хлѣбъ и такимъ образомъ не заѣдаетъ чужого хлѣба; земледѣлецъ въ свободное время сдѣлалъ себѣ сопѣлку, балалайку или скрипку и извлекаетъ изъ нихъ эстетическія наслажденія для себя и для своихъ знакомыхъ. Позорно или нѣтъ это наслажденіе? слѣдуетъ-ли уничтожить это искусство или нѣтъ? и наконецъ примѣняется-ли къ этому случаю ваше разсужденіе и не сильно-ли оно компрометируетъ вашу мыслительную способность?»—Охота вамъ, г. Антоновичъ, говорить такія безполезности! Мы съ вами для кого пишемъ: для земледѣльцевъ, сдѣлавшихъ себѣ сопѣлку, или для джентльменовъ, абонированныхъ въ итальянской оперѣ и выписывающихъ себѣ на чужія деньги тысячные рояли? Если вы признаете законность сопѣлки, сдѣланной въ свободное время самимъ меломаномъ, то вы и должны стараться о томъ, чтобы привести вашихъ читателей къ этой сопѣлкѣ, которая конечно безобиднѣе тысячныхъ роялей, купленныхъ на чужія деньги. Но такъ какъ съ эстетической точки зрѣнія сопѣлка стоитъ ниже рояля и оперы, то есть, ублажаетъ слухъ меломана менѣе пріятными и разнообразными звуками и аккордами, то вы должны непремѣнно замѣнить эстетическую точку зрѣнія экономической, если только желаете дѣйствительно поворотить вашихъ читателей къ той сопѣлкѣ, которой неприкосновенность вы стараетесь отстоять. Кромѣ того я вамъ замѣчу, что вы совершенно напрасно считаете вашу сопѣлку вполнѣ неприкосновенной. Вы говорите, что земледѣлецъ сдѣлалъ ее *въ свободное время* и извлекаетъ изъ нея эстетическія наслажденія также *въ свободное время*. Употребляя свое свободное время на сопѣлку, земледѣлецъ конечно не заѣдаетъ чужого хлѣба, но зато онъ несомнѣнно отнимаетъ у самого себя нѣкоторыя матеріальныя удобства и нѣкоторыя высшія и особенно плодотворныя умственныя наслажденія. Предположите, что одинъ земледѣлецъ гудитъ въ свою сопѣлку, а другой въ это самое время учится грамотѣ, а третій, выучившись грамотѣ, учитъ ей своихъ дѣтей, а четвертый, также выучившись грамотѣ, читаетъ популярный трактатъ о болѣзняхъ лошадей и рогатаго скота, а пятый, также выучившись грамотѣ, читаетъ газеты. Кто изъ этихъ земледѣльцевъ употребляетъ свое свободное время болѣе разумнымъ и полезнымъ для себя образомъ: первый-ли, предающійся своей сопѣлкѣ, или остальные четверо, превращающіе понемногу себя и своихъ дѣтей въ мыслящихъ членовъ цивилизованнаго общества? И о чемъ долженъ заботиться настоящій другъ народа: о томъ-ли, чтобы распространять между земледѣльцами вкусъ къ сопѣлкамъ, или о томъ, чтобы распространять между ними охоту къ чтенію книгъ и газетъ? Вы мнѣ скажете, что лучше сопѣлка, чѣмъ «Московскія Вѣдомости». О, разумѣется! Но я говорю вамъ не о дурныхъ книгахъ и газетахъ, а о хорошихъ. Вы мнѣ скажете далѣе, что лучше сопѣлка, чѣмъ кабакъ. Я опять-таки скажу вамъ: разумѣется! но я доказываю вамъ совсѣмъ не то, что нѣтъ на свѣтѣ ничего хуже сопѣлки, а только то, что есть очень много вещей лучше ея, и что если она отвлекаетъ человѣка отъ этихъ лучшихъ вещей, то становится очевиднымъ зломъ. Вы мнѣ скажете наконецъ, что чтеніе—не отдыхъ, потому что всетаки требуетъ нѣкотораго напряженія умственныхъ способностей. Для насъ съ вами, отвѣчу я, чтеніе дѣйствительно не отдыхъ, потому что мы съ вами чувствуемъ потребность отдохнуть именно отъ слишкомъ продолжитель-

Digitized by Google

наго чтенія или писанія. Но для того, кто утомленъ паханіемъ или молотьбой, чтеніе составляетъ превосходный отдыхъ точно такъ, какъ для насъ съ вами можетъ служить превосходнымъ отдыхомъ копаніе грядокъ или пиленіе дровъ. Если вы имѣете хоть слабое понятіе объ идеяхъ Фурье, то вы должны знать, что человѣка утомляетъ не работа сама по себѣ, а только продолжительность и однообразіе работы, и что вслѣдствіе этого, переходя во время отъ одного занятія къ другому, человѣкъ можетъ работать безпрерывно, съ утра до ночи, не только безъ утомленія, но даже съ величайшимъ удовольствіемъ и увлеченіемъ.—Вы спрашиваете у меня: позорно или нѣтъ наслажденіе сопѣлкой?—Я скажу вамъ, что вашъ вопросъ не имѣетъ опредѣленнаго смысла. Что такое *позорно?* Зачѣмъ употреблять такія звонкія, напыщенныя и неясныя выраженія, въ которыхъ высказывается только субъективное мнѣніе говорящаго лица, а не объективное свойство разсматриваемаго предмета? Еслибы вы у меня спросили, полезно-ли, разумно-ли, выгодно-ли это наслажденіе, то я вамъ отвѣтилъ бы, что можно найти много наслажденій выгоднѣе, полезнѣе и разумнѣе. Если земледѣлецъ будетъ употреблять все свое свободное время на сопѣлку, то это будетъ очень печально какъ для земледѣльца, такъ и для общества; если онъ будетъ употреблять на сопѣлку значительную часть своего свободнаго времени, то и это будетъ вовсе нехорошо; чѣмъ меньшую долю времени онъ отдаетъ сопѣлкѣ и чѣмъ бо́льшую долю онъ посвятитъ какой-нибудь ручной работѣ или чтенію, тѣмъ прочнѣе будетъ его матеріальное благосостояніе, тѣмъ шире умственное развитіе и тѣмъ полезнѣе онъ будетъ для общества, какъ работникъ, какъ гражданинъ и какъ отецъ семейства. Вы видите такимъ образомъ, что противъ вашей сопѣлки повторяются въ малыхъ размѣрахъ всѣ тѣ возраженія, которыя можно сдѣлать противъ оперы и роялей.

Вы спрашиваете далѣе: «слѣдуетъ-ли уничтожить его искусство?» То-есть какъ-же это *уничтожить?* Вырывать у него сопѣлку изъ рукъ или запрещать ему статьей закона эстетическія наслажденія—конечно не слѣдуетъ. Но знакомить какъ земледѣльца, такъ и образованное общество съ такими наслажденіями, которыя выше, разумнѣе и плодотворнѣе чистаго искусства во всѣхъ его проявленіяхъ, начиная отъ сопѣлки и кончая операми Рихарда Вагнера,—конечно слѣдуетъ. И если эти высшія, разумныя и плодотворныя наслажденія совершенно вытѣснятъ всѣ проявленія чистаго искусства, то, разумѣется, этому можно будетъ только радоваться. «Есть множество эстетическихъ предметовъ,—говоритъ далѣе Антоновичъ,—производство которыхъ ничего не стоитъ; такова напримѣръ вся природа—высшее и прекраснѣйшее изъ всѣхъ искусствъ; ею можно любоваться даромъ и въ свободное время, безъ всякаго малѣйшаго ущерба для производства хлѣба.» Что за наслажденіе красотами природы мы никому не платимъ денегъ—это великая истина; но что на созерцаніе этихъ красотъ тратится время—это также не можетъ подлежать сомнѣнію; стало быть, говорить, что эти наслажденія достаются намъ даромъ, значитъ упускать изъ виду тотъ общеизвѣстный фактъ, что для рабочаго человѣка время—деньги. Выраженіе *свободное время* до такой степени эластично, что ему нельзя придать никакого опредѣленнаго смысла. У неаполитанскаго лаццарони весь день состоитъ изъ *свободнаго времени*, а у американскаго фермера нѣтъ ни одной минуты *свободнаго времени;* первый ничѣмъ не умѣетъ наполнить свои безконечные досуги; второй извлекаетъ себѣ пользу изъ каждой минуты; лаццарони конечно больше американца наслаждается красотами природы, потому что dolce far niente есть не что иное, какъ созерцательная жизнь на лонѣ прекрасной природы. Спрашивается теперь, къ которому изъ этихъ двухъ противоположныхъ полюсовъ мы должны, по мѣрѣ нашихъ силъ, направлять живыя силы нашего народа? Чего должны мы желать: чтобы нашъ народъ фантазировалъ, какъ лаццарони, или-же чтобы онъ работалъ, какъ американецъ? Я полагаю, что отвѣчать не трудно. Чѣмъ меньше наши соотечественники будутъ любоваться природой, тѣмъ выгоднѣе это будетъ для каждаго изъ нихъ порознь и для всѣхъ насъ вмѣстѣ. Какъ-бы ни былъ малъ тотъ minimum времени, которое будетъ тратиться на созерцаніе, оно всетаки будетъ достаточно велико, потому что если-бы оно даже превратилось въ чистый нуль, то и тогда ни отдѣльныя личности, ни общество не потеряли-бы ровно ничего. Впрочемъ Антоновичъ можетъ быть спокоенъ; въ нуль оно не превратится никогда, и всѣ наши усилія направлены только къ тому, чтобы защитить отъ его неумѣренныхъ притязаній ту часть времени, которая непремѣнно должна посвящаться производительному труду. Напоминайте людямъ только о томъ, что́ для нихъ полезно, и будьте твердо увѣрены, что они сами не забудутъ того, что́ для нихъ пріятно. Я обращу вниманіе Антоновича на слѣдующія слова Кольки Люлюшина изъ превосходнаго романа А. Михайлова «Жизнь Шупова»: «Безъ воображенія нельзя существовать, но отстаивать его, воевать и заступаться за него, возвышать его насчетъ простого здраваго смысла—нелѣпость: сѣйте хлѣбъ, а васильки будутъ; мало-ли ихъ будетъ, много-ли—это не важно, безъ нихъ съ голоду не умремъ». Все, что Антоновичъ говоритъ противъ меня по вопросу объ искусствѣ, есть не что иное, какъ отстаиваніе васильковъ противъ хлѣба, который

Digitized by Google

однако до сихъ поръ совершенно заглушенъ васильками. Аргументъ о созерцаніи природы не составляетъ для меня ничего новаго; въ началѣ 1862 года, разбирая романъ Тургенева «Отцы и Дѣти», я самъ рѣшилъ вопросъ о созерцаніи природы точно такъ, какъ рѣшаетъ его теперь Антоновичъ. По поводу словъ Базарова: «природа — не храмъ, а мастерская, и человѣкъ въ ней — работникъ», я говорилъ тогда вотъ что: «Работнику надо отдыхать, и отдыхъ не можетъ ограничиться однимъ тяжелымъ сномъ послѣ утомительнаго труда... Еслибы работникъ находилъ удовольствіе въ томъ, чтобы въ свободные часы лежать на спинѣ и глазѣть на стѣны и потолокъ своей мастерской, то тѣмъ болѣе всякій здравомыслящій человѣкъ сказалъ-бы ему: глазѣй, любезный другъ, глазѣй, сколько душѣ угодно; здоровью твоему это не повредитъ, а въ рабочее время ты глазѣть не будешь, чтобы не надѣлать промаховъ.» Теперь я считаю это мнѣніе ошибочнымъ и нахожу ошибку въ томъ, что трудъ противополагается наслажденію. Разумѣется, когда трудъ *утомителенъ*, то необходимо наслажденіе, *отдѣльное* отъ труда. Но утомительность труда поддерживается такими ненормальными условіями жизни, съ которыми мы вовсе и не должны мириться. Мы сами должны устроить нашу личную жизнь такъ, чтобы трудъ и наслажденіе сдѣлались синонимами. И кромѣ того мы всѣми силами должны стараться о томъ, чтобы къ тому-же нормальному типу направлялась также и жизнь трудящагося большинства. Какъ-бы то ни было, хотя три года тому назадъ я и говорилъ тѣ глупости, которыя теперь проповѣдуетъ Антоновичъ, однако того замѣчательнаго открытія, что *природа* есть *искусство*, мнѣ сдѣлать не удалось. Такія открытія способны дѣлать только Варнекъ, Николай Соловьевъ и Антоновичъ. — «Наконецъ, — продолжаетъ Антоновичъ, — любовь между двумя полами есть тоже эстетическое наслажденіе, мѣшающее производству хлѣба; этому наслажденію всякій посвящаетъ лучшіе годы своей жизни и тратитъ на него много времени: свиданія, разговоры, нѣжности, объятія, переписка, разныя услуги возлюбленной — все это поглощаетъ время, которое съ большой пользой можно было-бы употребить на производство пищи. По вашему, это наслажденіе тоже позорно, неестественно и подлежитъ уничтоженію, какъ мѣшающее производству пищи.» — Вы это на какомъ основаніи утверждаете, г. Антоновичъ, что, по моему мнѣнію, любовь между двумя полами подлежитъ уничтоженію? Въ статьяхъ моихъ нѣтъ ни одного такого слова, которое можно было-бы истолковать въ этомъ смыслѣ. Если-же вы навязываете мнѣ такую мысль, основываясь на томъ, что я отношусь не совсѣмъ благосклонно къ эстетическимъ наслажденіямъ, то я васъ попрошу объяснить мнѣ: признаете-ли вы существованіе какихъ-нибудь наслажденій, кромѣ эстетическихъ?—Если признаете, то я вамъ объясню съ своей стороны, что я причисляю любовь между двумя полами къ не-эстетическимъ наслажденіямъ, потому что ставлю эту любовь неизмѣримо выше тѣхъ мелкихъ забавъ, которыя называю эстетическими наслажденіями. Если-же не признаете, то споръ нашъ становится безполезнымъ и смѣшнымъ, потому что превращается въ преніе о стилистическихъ тонкостяхъ. Я употребляю слова *искусство* и *эстетика* въ обыкновенномъ, общепринятомъ смыслѣ; вы-же, напротивъ того, упрятали всю *природу* въ *искусство* и хотите теперь наводнить *эстетикой* всю человѣческую жизнь. Вы дѣлаете со словами *искусство* и *эстетика* точь-въ-точь то-же самое, что сдѣлалъ Шавровъ со словами *классицизмъ* и *реализмъ*. Если васъ забавляютъ эти стилистическіе кунстштюки, то не мое дѣло мѣшать вашимъ невиннымъ забавамъ. Если-же вы серьезно думаете обвинить меня въ аскетическомъ взглядѣ на любовь, то, во-первыхъ, я напомню вамъ, что не на мнѣ, а на *васъ* лежитъ еще до сихъ поръ упрекъ именно въ аскетическомъ взглядѣ на любовь, и что этотъ упрекъ направленъ противъ васъ именно *мною*, въ первой части «Нерѣшеннаго Вопроса», за ваши безтолковыя разсужденія о сценѣ между умирающимъ Базаровымъ и Одинцовой. Могъ-ли бы я упрекать васъ въ аскетизмѣ, еслибы я самъ былъ аскетомъ по убѣжденіямъ? Во-вторыхъ, я укажу вамъ на вторую часть «Нерѣшеннаго Вопроса», въ которой подробно разбираются отношенія Базарова къ Одинцовой. Попробуйте найдти въ этой части хоть одинъ проблескъ аскетизма. Въ-третьихъ, я сошлюсь на голосъ нашихъ филистеровъ, которые печатно упрекаютъ меня въ діаметрально противуположной крайности. Вотъ напримѣръ, съ какой стороны персифлируютъ меня «Отечественныя Записки» въ статейкѣ, которую они называютъ *подражаніемъ г. Писареву*: «Засиживаться во вдовахъ, и особенно женщинамъ еще нестарымъ, я рѣшительно не совѣтую. Въ наше время людьми нужно дорожить; рабочія силы на каждомъ шагу нужны; даже много такихъ силъ нужно; потому уклоняться отъ чего-бы то ни было, что̀ можетъ восполнить этотъ недостатокъ, значитъ, по моему, зарывать таланты въ землю. Я даже молодымъ людямъ не совѣтую пренебрегать вдовами, какъ въ статьѣ о Помяловскомъ не совѣтовалъ пренебрегать кисейными барышнями.» Какъ это правдоподобно, что аскета станутъ персифлировать такимъ образомъ!— Наконецъ, въ-четвертыхъ, можно-ли говорить такую нелѣпость, что любовь мѣшаетъ производству хлѣба? Безъ сближенія двухъ половъ не было-бы дѣтей; а еслибъ не было дѣтей, то

Digitized by Google

людямъ пришлось-бы на старости лѣтъ умирать съ голоду; а еслибы сближеніе половъ производилось не по взаимному согласію, безъ любви, такъ, какъ оно производится въ Азіи, то зависимое и униженное положеніе женщины повело-бы за собою общій застой умственной жизни, который непремѣнно отразился-бы самымъ невыгоднымъ образомъ на всей экономической дѣятельности. Весь мой аскетизмъ сводится къ тому, что я говорилъ и говорю до сихъ поръ, что ни мужчина, ни женщина не должны видѣть въ любви главную цѣль и единственный смыслъ своего существованія. Это говорилъ до меня Бѣлинскій; это повторялъ Чернышевскій, и противъ этого не споритъ уже теперь никто, кромѣ отъявленныхъ пошляковъ.

Кстати о пошлякахъ: чтобы покончитъ съ моимъ остроумнымъ и добросовѣстнымъ противникомъ, я отвѣчу еще на два его обвиненія. *Первое.* Онъ говоритъ, что я ложно обвиняю его въ наклонности къ теоріи искусства для искусства. Чтобы доказать ложность моего обвиненія, онъ выписываетъ изъ своей статьи «Современная эстетическая теорія» цѣлыя три страницы разныхъ либерально-добродѣтельныхъ лоскутковъ. На всѣ эти выписки я отвѣчу слѣдующей цитатой, взятой изъ той-же статьи: «Итакъ, первая задача искусства есть воспроизведеніе дѣйствительности съ цѣлью эстетическаго наслажденія ею, а вторая—уясненіе воспроизводимой дѣйствительности; съ этой второй задачей тѣсно связана и третья, по которой искусство можетъ возвышаться до роли критика и судьи воспроизводимыхъ имъ явленій». Весь вопросъ въ томъ, признаетъ-ли Антоновичъ самостоятельное существованіе первой задачи законнымъ и похвальнымъ, или нѣтъ? Если признаетъ—онъ сходится вполнѣ съ филистерами; если не признаетъ—онъ сходится съ *нѣкоторыми горячими* и *неразсудительными* отрицателями искусства. Но такъ какъ съ одной стороны онъ самъ громко и рѣшительно заявилъ *нѣкоторымъ* свое неодобреніе; и такъ какъ съ другой стороны филистерство, въ лицѣ Н. Соловьева и другихъ, уже печатно выразило ему свою признательность, то ему уже не помогутъ никакія выписки.—*Второе.* Антоновичъ говоритъ, что я *навязалъ* ему противурѣчіе съ составителемъ «Внутр. Обозр.» въ «Современникѣ», и что составитель смѣется не надъ искусствомъ, а надъ какими-то неразумными господами. Это неправда. Г. составитель прямо противополагаетъ *высокимъ наслажденіямъ души*, надъ которыми онъ смѣется, радости нигилиста, мечтающаго объ устройствѣ общества женскаго труда, радости, которымъ г. составитель вполнѣ сочувствуетъ.

Теперь пора кончить. Я опровергнулъ, съ перваго до послѣдняго, всѣ аргументы Антоновича и доказалъ ложность всѣхъ фактовъ, на которыхъ онъ основываетъ свои обвиненія противъ *козловъ реализма*. Антоновичъ по всей вѣроятности не уймется и въ слѣдующихъ книжкахъ «Современника», пуститъ въ ходъ новыя выдумки и новыя нелѣпости, за которыя «Петербургскія Вѣдомости», привѣтствовавшія его по поводу «Лжереалистовъ», снова провозгласятъ его побѣдителемъ надъ софизмами Писарева. Какъ-бы то ни было, раскается-ли Антоновичъ въ своихъ импровизаціяхъ или-же окончательно упрочитъ въ «Современникѣ» господство систематической лжи и филистерской тупости, во всякомъ случаѣ читатели нашего журнала могутъ быть спокойны. Я не намѣренъ превращать критическій отдѣлъ «Русск. Слова» въ изслѣдованіе о печальныхъ порокахъ Антоновича. Отвѣтить ему *одинъ разъ* было необходимо, чтобы показать публикѣ размѣры его недобросовѣстности и непонятливости. Но отвѣчать *всякій разъ* было-бы недобросовѣстно въ отношеніи къ читателямъ. Поэтому я обѣщаю имъ не говорить печатно съ Антоновичемъ ни одного слова втеченіи цѣлаго года. По прошествіи-же года я снова опровергну всѣ клеветы, которыя успѣетъ въ это время сочинить противъ меня мой противникъ.

Digitized by Google

ПОДРОСТАЮЩАЯ ГУМАННОСТЬ.

(Сельскія картины.)

I.

Послѣднее десятилѣтіе нашей литературы было посвящено акклиматизированію европейскаго либерализма на обширныхъ и холодныхъ равнинахъ Россіи или, другими словами, прививанію гражданскихъ доблестей и гуманныхъ идей къ дѣвственнымъ умамъ и сердцамъ нашихъ возлюбленныхъ соотечественниковъ. Успѣхъ гуманизирующихъ операцій превзошолъ самыя смѣлыя ожиданія. Во всѣхъ нашихъ городахъ и почти во всѣхъ нашихъ селахъ уже томятся, изнываютъ, лепечутъ, граціозничаютъ и миндальничаютъ тысячи тщедушныхъ субъектовъ, въ которыхъ всѣ почтенные европейскіе либералы, отъ графа Росселя до Юліана Шмидта, будутъ принуждены узнать своихъ младшихъ братцевъ, еще робкихъ и неопытныхъ, но уже способныхъ выводить тоненькимъ дискантомъ нѣкоторыя модуляціи общелиберальнаго мяуканья. Теперешняя робость и неопытность нашихъ подростающихъ либеральчиковъ не должны внушать ни малѣйшихъ опасеній за будущее процвѣтаніе россійскаго либерализма. Роль либерала такъ многосложна, трудъ его такъ утомителенъ, путь его усѣянъ сплошь такими крупными и острыми терніями, что въ одно десятилѣтіе нѣтъ никакой возможности усвоить себѣ ту невозмутимую ясность взоровъ и ту безукоризненную солидность поведенія, которыми непремѣнно долженъ отличаться опытный либералъ, созрѣвшій въ великой школѣ балансированія, мистификаторства и самоувѣреннаго переливанія изъ пустого въ порожнее.— Главная обязанность либерала состоитъ, какъ извѣстно, въ томъ, чтобы всѣмъ выраженіемъ своей физіономіи, всѣми своими словами и всѣмъ внѣшнимъ видомъ своихъ поступковъ заявлять постоянно и ежеминутно свою пламенную и безграничную преданность великимъ идеямъ и интересамъ, которые возбуждаютъ въ немъ почти такія-же чувства, какія персидская ромашка возбуждаетъ въ клопѣ. Всѣ усилія либерала должны постоянно направляться къ тому, чтобы всѣ его поступки противорѣчили всѣмъ его словамъ, и чтобы это противорѣчіе оставалось постоянно совершенно незамѣтнымъ для той безхитростной сермяжной публики, которую слѣдуетъ ублажать и растрогивать либеральными представленіями. Если-же противорѣчіе сдѣлается черезчуръ очевиднымъ, то либералъ долженъ тотчасъ объяснить съ надлежащей торжественностью, что уваженіе его къ великимъ принципамъ остается неизмѣннымъ, но что обстоятельства мѣста и времени, къ сожалѣнію, требуютъ себѣ довольно значительныхъ уступокъ, изъ которыхъ однакоже для всей почтенной публики не произойдетъ ничего, кромѣ существенной пользы и великаго удовольствія. Либералъ долженъ постоянно стремиться и порываться впередъ, не двигаясь съ мѣста и тщательно удерживая другихъ людей отъ всего того, что становится похожимъ на дѣйствительное движеніе. Кто изъ либераловъ поумнѣе, тотъ продѣлываетъ всѣ эти артикулы совершенно сознательно, зная очень хорошо, кого онъ надуваетъ. Кто попроще,—и такихъ несравненно больше,—тотъ либеральничаетъ чистосердечно, не замѣчая въ своей особѣ и въ своей доктринѣ никакихъ внутреннихъ противорѣчій, разсуждая по наслышкѣ, поступая по привычкѣ и съ дѣтской безпечностью глядя на то, что слова и поступки взаимно уничтожаютъ другъ друга, и что знамя великихъ идей водружается надъ кучей сора.

Можете-ли вы себѣ вообразить смиренную корову, украшенную хорошимъ кавалерійскимъ сѣдломъ? – Я полагаю, что эта корова представила-бы намъ зрѣлище довольно комическое, но въ то-же время и печальное; затянутая подпруга сильно угнетала-бы ея коровью натуру и приводила-бы ее въ такое крайнее смущеніе, которое конечно выражалось-бы во всей ея огорченной наружности; глядя на такую обиженную корову, каждый добродушный человѣкъ долженъ былъ-бы сжалиться надъ ея несчастіемъ и снять съ ея спины совершенно несвойственное ей украшеніе. Но представьте себѣ, для усиленія комизма и для уничтоженія плачевности, что въ осѣдланную корову вселился бѣсъ гордости и самодовольства; представьте себѣ, что она, жестоко перетянутая подпругой, желаетъ изумить и очаровать васъ тонкостью своей коровьей таліи и легкостью своей коровьей походки; представьте себѣ, что она подражаетъ манерамъ кровнаго англійскаго скакуна, старается принять молодцоватый видъ и бравурную осанку, раздуваетъ ноздри, поднимаетъ хвостъ коломъ и пробуетъ пуститься съ

Digitized by Google

правой ноги галопомъ. Представьте себѣ такую картину, и вы получите нѣкоторое слабое понятіе о томъ неистощимомъ комизмѣ, которымъ переполнены всѣ слова, движенія и поступки добродѣтельнаго либерала, самодовольно навѣсившаго на себя то, что давитъ и гнетъ его, и что на каждомъ шагу произноситъ строжайшій приговоръ надъ самыми неистребимыми поползновеніями его мелкой душонки. Этотъ уморительный типъ добродѣтельнаго либерала или осѣдланной коровы разобранъ съ замѣчательнымъ успѣхомъ въ повѣсти Слѣпцова «Трудное время», въ которой мученикомъ либерализма является юный и просвѣщенный помѣщикъ, Александръ Васильевичъ Щетининъ. Объ этомъ господинѣ Щетининѣ, изнывающемъ подъ тяжестью собственной гуманности, я и поведу теперь разговоръ съ читателями.

II.

Щетининъ живетъ въ своемъ имѣніи и старается увѣрить себя и другихъ въ томъ, что онъ занимается хозяйствомъ, гуманизируетъ сельскихъ обывателей, интересуется европейской политикой и слѣдитъ очень внимательно за развитіемъ научной агрономіи. Занятія хозяйствомъ заключаются въ томъ, что Щетининъ по вечерамъ бесѣдуетъ съ своимъ прикащикомъ, который изъ этихъ конференцій выноситъ по всей вѣроятности то утѣшительное убѣжденіе, что надувать и обирать молодыхъ агрономовъ очень сподручно и совершенно безопасно. Гуманизированіе земледѣльцевъ производится посредствомъ тщательнаго взиманія установленныхъ штрафовъ за потравы; это взыскиваніе четвертаковъ и полтинниковъ клонится вовсе не къ тому, чтобы вознаградить помѣщика, а собственно и единственно къ тому, чтобы воспитать въ земледѣльцахъ уваженіе къ принципу собственности, чтобы развить въ нихъ чувство законности; чтобы вложить въ грубые умы пониманіе человѣческихъ правъ и обязанностей и чтобы наконецъ сдѣлать человѣка царемъ окружающей его зоологической природы, то-есть, чтобы вооружить земледѣльца хворостиной, при содѣйствіи которой онъ развивалъ-бы чувство законности и подавлялъ-бы комунистическіе инстинкты во всѣхъ деревенскихъ коровахъ, телятахъ, баранахъ и свиньяхъ. Поглощенный великимъ житейскимъ дѣломъ народнаго воспитанія, Щетининъ конечно не можетъ уже посвящать много времени политикѣ и теоретической агрономіи; поэтому и немудрено, что книжки ученыхъ журналовъ лежатъ неразрѣзанныя и что пачки русскихъ и иностранныхъ газетъ остаются нераспечатанными. Орошая потомъ лица своего обширную и еще нетронутую ниву русскихъ народныхъ силъ, Щетининъ принужденъ отказывать себѣ даже въ тѣхъ скромныхъ умственныхъ наслажденіяхъ, которыя для образованнаго человѣка составляютъ насущную потребность. Понятно, что при такихъ условіяхъ неразрѣзанность журналовъ и нераспечатанность газетъ должны быть вмѣнены Щетинину въ особенно высокую патріотическую заслугу.

У нашего гуманизатора есть жена, Марья Николаевна, женщина молодая, честная, горячая и энергическая, принявшая за чистую монету либеральные разговоры доблестнаго супруга и постоянно ожидающая, во все время своего трехлѣтняго замужества, что вотъ-вотъ начнется какая-то, несовсѣмъ извѣстная ей, но великая и святая работа, которой всѣ честные люди съ наслажденіемъ отдадутъ весь свой умъ, всю свою волю, всю свою жизнь. Но время идетъ, Щетининъ занимается потравами, и Марья Николаевна начинаетъ недоумѣвать. Ей представляется, что благосостояніе всѣхъ русскихъ людей вообще, и сельскихъ обывателей въ особенности, еще не Богъ знаетъ какъ далеко подвинется впередъ, если даже труды Щетинина утвердятъ господство мужицкихъ хворостинъ надъ всѣми деревенскими телятами. Ей кажется, что въ этой работѣ очень мало великаго и святого, и что не такими подвигами наполняется жизнь тѣхъ людей, которые дѣйствительно умѣли понять всю тяжесть долга, лежащаго на нихъ въ отношеніи къ ихъ бѣдному и невѣжественному народу. Въ то время, когда Марья Николаевна недоумѣваетъ и тревожится, къ Щетинину пріѣзжаетъ на лѣто его товарищъ по университету Рязановъ, одинъ изъ блестящихъ представителей моего возлюбленнаго базаровскаго типа. Появленіе этого новаго лица ускоряетъ неизбѣжную развязку. Прислушиваясь къ разговорамъ Рязанова съ Щетининымъ, Марья Николаевна начинаетъ смотрѣть на своего мужа совершенно трезвыми глазами и отдавать должную дань презрѣнія его игрушечному либерализму. Добродѣтельное собираніе четвертаковъ и полтинниковъ становится для нея невыносимымъ, и она рѣшается уѣхать отъ мужа, чтобы устроить себѣ полезную и разумную жизнь. Для тѣхъ проницательныхъ читателей, которые пустятся въ лукавыя соображенія, я замѣчу тотчасъ-же, что она уѣзжаетъ не съ Рязановымъ, а одна, и уѣзжаетъ вовсе не за тѣмъ, чтобы предаваться удовольствіямъ взаимной любви. Повѣсть Слѣпцова оканчивается тѣмъ, что Рязановъ и Марья Николаевна холодно прощаются между собою въ домѣ Щетинина, который, внезапно очутившись на развалинахъ своего семейнаго счастія, начинаетъ мечтать о наживаніи капитала и о расходованіи его въ пользу человѣчества, словомъ, перекладываетъ маниловскія фантазіи на языкъ совершенно образованнаго общества.—Какъ видите, между тре-

Digitized by Google

мя главными дѣйствующими лицами повѣсти разыгралась простая, но мучительная драма, тѣмъ болѣе интересная и замѣчательная, что ея составные элементы — грошовый либерализмъ, безпощадный анализъ и неподкупная честность—находятся уже теперь во многихъ русскихъ семействахъ. Не вдаваясь въ подробный разборъ замѣчательной повѣсти Слѣпцова, я постараюсь бросить бѣглый взглядъ на основную причину разыгравшейся драмы.

При первомъ-же свиданіи Щетинина съ Рязановымъ читателю становится замѣтно, что Щетининъ боится Рязанова и совершенно безуспѣшно старается держать себя съ нимъ развязно и самостоятельно. Читатель тотчасъ усматриваетъ также и причины щетининской трусливости. Щетининъ во всѣхъ отношеніяхъ—чистѣйшій нуль, существо безличное, безцвѣтное, безформенное, неспособное ни любить, ни вѣрить, ни сомнѣваться, ни знать, ни мыслить, ни дѣйствовать, а способное только вяло и безстрастно повиноваться, по силѣ инерціи, данному толчку. Щетинину, какъ и всякому другому нулю, вовсе не хочется признать себя нулемъ; онъ старается заглушить въ себѣ мучительное ощущеніе собственнаго ничтожества; онъ усиливается втянуть себя въ мысли, въ чувства и въ стремленія; не имѣя ни къ чему опредѣленныхъ влеченій, онъ кидается на все, что его окружаетъ, и обнаруживаетъ очень много внѣшней подвижности и суетливости, именно потому, что всѣ идеи и всѣ отрасли дѣятельности для него совершенно одинаковы; подвижность и суетливость его находятся въ тѣсной связи съ его вялостью и безстрастностью; онъ суетится потому, что надо себя обманывать; а потребность обманывать себя происходитъ оттого, что во всемъ его существѣ господствуютъ пустота и холодъ, которые его самого привели-бы въ ужасъ, еслибы онъ осмѣлился заглянуть въ самого себя спокойнымъ и внимательнымъ взглядомъ. Будь у него какія-нибудь страсти, онъ полюбилъ-бы тотъ или другой строй понятій, и тогда онъ потерялъ-бы возможность суетиться и разыгрывать роль услужливаго казачка передъ каждой новой варіаціей жизни или мысли. Щетининъ принадлежитъ къ числу тѣхъ людей, которые никогда не могутъ быть искренни, потому что у нихъ нѣтъ ничего такого, что они могли-бы назвать своей умственной или нравственной собственностью; ихъ мысли, ихъ чувства, ихъ желанія—все это прицѣплено, пришито и приклеено къ нимъ; при случаѣ, старый слой этой драпировки покрывается новымъ слоемъ, и это наклеиваніе и нашиваніе производится ими такъ давно, съ такой ранней юности, что они ужъ и сами не знаютъ и не спрашиваютъ, есть ли у нихъ что-нибудь свое подъ грудой истлѣвшихъ лохмотьевъ. Но что верхній слой драпировки, тотъ слой, которымъ они пародируютъ, составляетъ для нихъ постороннюю массу, вовсе не приросшую къ ихъ тѣлу, это они сами чувствуютъ, и это ощущеніе отравляетъ все ихъ существованіе. Представьте-же себѣ теперь, какое множество кошекъ скребутъ ихъ сердце, когда они встрѣчаются съ такими людьми, которые сами, со всѣми своими чувствами и убѣжденіями, вылиты какъ будто изъ одного куска металла, и которые вслѣдствіе этого съ перваго взгляда замѣчаютъ въ другихъ людяхъ каждую малѣйшую искусственность или придуманность.—Рязановъ видитъ насквозь Щетинина и понимаетъ его такъ, какъ самъ Щетининъ себя понять не можетъ. Щетининъ объ этомъ догадывается, хотя впрочемъ и не можетъ себѣ представить, до какихъ размѣровъ простирается пониманіе его товарища, и хотя врядъ-ли даже считаетъ возможнымъ, чтобы его, Щетинина, кто-нибудь умѣлъ созерцать въ томъ совершенно мизерномъ и голенькомъ видѣ, въ какомъ онъ представляется Рязанову. Но уже и неопредѣленныхъ догадокъ Щетинина достаточно для того, чтобы вогнать его въ лихорадочное состояніе, при которомъ онъ и говоритъ, и ходитъ, и смѣется совершенно неестественнымъ образомъ, какъ будто-бы все это дѣлается у него совсѣмъ не по собственному желанію, а по какому-то постороннему заказу. Рязановъ все это видитъ и, съ неумолимостью искренняго и цѣльнаго человѣка, разными хладнокровными репликами и замѣчаніями на каждомъ шагу даетъ чувствовать своему собесѣднику, что всѣ его слова и движенія не клонятся ни къ чему и появляются на свѣтъ неизвѣстно зачѣмъ. Такъ напримѣръ, Щетининъ, послѣ первыхъ объятій, начинаетъ упрекать Рязанова въ томъ, что тотъ не писалъ къ нему. Рязановъ очень хорошо понимаетъ, что эти упреки дѣлаются для разговорца, и что Щетинину на самомъ дѣлѣ вовсе даже и не хотѣлось получать отъ него писемъ. Поэтому на кислосладко-любезный вопросъ: «и не стыдно?» Рязановъ отвѣчаетъ: «Нѣтъ, братъ, не стыдно. Да что толку писать? Нынче эту манеру бросаютъ совсѣмъ.» Щетининъ пробуетъ изъ дружески-сантиментальнаго тона перейдти въ дружески-шутливый, и снова беретъ такую ноту, въ которой звучатъ фальшь и пустота. «Эхъ ты!—говоритъ онъ,—а еще сочинитель называешься.»—Шутка натянута и поэтому никуда не годится. Рязановъ тотчасъ и обнаруживаетъ эту натянутость. «Такъ что-жъ, что сочинитель? Что-жъ мнѣ для тебя письма что-ли сочинять?» Щетининъ желаетъ поправиться и продолжаетъ говорить ненужныя слова, которыхъ ненужность немедленно разоблачается. Наконецъ, въ крайнемъ смущеніи, онъ объявляетъ, что путается въ словахъ отъ радости, причиненной ему свиданіемъ. И разумѣется вретъ, потому что на самомъ дѣлѣ онъ почти совсѣмъ

Digitized by Google

не радъ, и во всемъ его поведеніи нѣтъ ничего кромѣ условныхъ знаковъ радости, изображаемой неизвѣстно для чего. Еслибы на мѣстѣ Рязанова былъ другой Щетининъ, то, услышавъ извѣстіе о причинѣ путаницы и зная навѣрное ложность этого показанія, этотъ другой Щетининъ все-таки счелъ-бы своей обязанностью прижать чувствительнаго друга къ груди своей или по крайней мѣрѣ крѣпко стиснуть его руку и взглянуть на него сладостными глазами. Но Рязановъ, какъ безчувственный скотъ, только ворочается на диванѣ, и на просьбу друга извинить его радостное замѣшательство отвѣчаетъ спокойно. «Ничего. Это даже хорошо, что ты путаешься».—То есть: галопируй, корова, на тебя смотрѣть забавно.—Можно сказать навѣрное, что въ эту минуту въ душѣ радующагося Щетинина проползло что-то похожее на ненависть къ тому другу, который посмотрѣлъ съ такимъ убійственнымъ спокойствіемъ на разсыпанные перлы его поддѣльныхъ чувствъ. Онъ задумался, потомъ, сказавши нѣсколько загадочныхъ плоскостей, началъ ходить по комнатѣ и наконецъ пустилъ новую демонстрацію нѣжности: «нѣтъ, вѣдь я тебѣ радъ, очень радъ!», точно будто-бы ему приходилось отвѣчать внутреннему голосу, который говорилъ ему: ты совсѣмъ не радъ. Но чтобы перлы дружескіе не остались не подобранными и на этотъ разъ, Щетининъ торопится насильно всунуть ихъ въ руки Рязанова. Производится крѣпкое пожатіе рязановской руки, и Щетининъ становится спокойнѣе, потому что такимъ образомъ нѣжная демонстрація получаетъ по крайней мѣрѣ внѣшній видъ приличной обоюдности.

III.

Если Щетининъ очень милъ, когда разсуждаетъ о пріятностяхъ погоды и дружелюбія, то безъ сомнѣнія онъ становится вдесятеро милѣе, когда заводитъ рѣчь о предметахъ возвышенныхъ и мудреныхъ. Рязановъ спрашиваетъ у него мимоходомъ: «а дѣти есть у тебя?» Вопросъ, кажется, очень невинный, но Щетининъ находитъ удобнымъ распространиться по этому поводу насчетъ родительскихъ обязанностей. Оказывается, что обзаводиться дѣтьми позволительно только тогда, когда для нихъ кое-что заготовлено. Рязановъ этого мнѣнія нисколько не оспариваетъ и спрашиваетъ очень добродушно: «успѣшно-ли идетъ заготовка?» Щетининъ, чувствующій въ присутствіи Рязанова хроническое смущеніе, сначала замѣчаетъ, что нельзя не копить, а вслѣдъ затѣмъ начинаетъ въ чемъ-то оправдываться: «понимаю, понимаю,—говоритъ онъ;—да только вовсе я не такой человѣкъ, какъ ты думаешь».—Хотя Рязановъ ни однимъ своимъ словомъ не выразилъ того, что считаетъ Щетинина за какого-то особеннаго человѣка, однако онъ ему не противорѣчитъ и даже изъявляетъ полное согласіе выслушать отъ самого Щетинина, какой-же онъ именно человѣкъ. Щетининъ приступаетъ къ дѣлу очень храбро. «А вотъ я какой человѣкъ... Я человѣкъ...» Но тѣмъ все объясненіе и кончается. «Да нѣтъ,—продолжаетъ Щетининъ гораздо скромнѣе,—я не могу о себѣ говорить. Чортъ знаетъ, я какъ-то не умѣю.» Рязановъ молчитъ. Тогда Щетининъ вызывается разсказать ему, что онъ дѣлалъ въ деревнѣ. Рязановъ на все согласенъ. Разсказъ оказывается очень несложнымъ. Все дѣло въ томъ, что Щетининъ подарилъ крестьянамъ землю, которой они владѣли, а крестьяне, подозрѣвая въ этомъ подвигѣ братолюбія какую-нибудь военную хитрость, не хотѣли брать подарокъ, но потомъ, склонившись на увѣщанія посредника, взяли землю и подписали уставную грамоту. Слушая этотъ трогательный разсказъ, Рязановъ, по настоящему, долженъ былъ-бы умилиться надъ безкорыстіемъ и великодушіемъ своего либеральнаго друга. Но Рязановъ, къ удивленію чувствительнаго читателя, выслушалъ все повѣствованіе съ невозмутимымъ хладнокровіемъ и потомъ произнесъ слѣдующія убійственныя слова. «Ну, такимъ манеромъ, стало быть, ты совершилъ въ предѣлѣ земномъ все земное?»—Я называю эти слова убійственными, потому что въ нихъ заключается для Щетинина и для всѣхъ подобныхъ ему, осѣдланныхъ коровъ вообще, страшная правда. Самое лучшее, что могутъ сдѣлать эти люди, имѣетъ чисто отрицательное значеніе и состоитъ въ томъ, что они отказываются отъ права парализировать чужую дѣятельность и отравлять лишними заботами чужое существованіе. Отнявши у себя возможность вредить другимъ или по крайней мѣрѣ ослабивъ эту возможность, эти люди дѣйствительно могутъ умереть совершенно спокойно, не огорчая и не волнуя себя той мучительной мыслью, что они оставляютъ на землѣ какое-нибудь недовершенное дѣло, что жизнь ихъ еще нужна ихъ согражданамъ, и что смерть ихъ причинитъ обществу какой-нибудь, хотя-бы даже микроскопическій убытокъ. Обезпечивъ за своими крестьянами средства питаться, при самомъ напряженномъ трудѣ, чернымъ хлѣбомъ, лукомъ и квасомъ, Щетининъ дѣйствительно совершилъ въ предѣлѣ земномъ все земное. Но, къ счастію для самого себя, Щетининъ неспособенъ понять, какое глубокое значенье заключается въ словахъ Рязанова; вслѣдствіе этого Щетининъ принимаетъ эти слова за одну изъ обыкновенныхъ шутливыхъ выходокъ Рязанова и отвѣчаетъ очень весело: «Какое? Нѣтъ, братъ, это еще только начало».—Рязановъ съ очень естественной недовѣрчивостью спрашиваетъ: «а еще-то что-же?»—потому что дѣйствительно что-же еще можетъ сдѣлать Щетининъ, когда земля уже подарена?—Оказывается, что *тутъ*-

Digitized by Google

то вотъ и начинается настоящее дѣло,— и притомъ, какое дѣло!—«*Соціальное, любезный другъ, соціальное*».—Услышавъ отъ своего либеральнаго друга такое мудреное слово, Рязановъ уже прямо начинаетъ надъ нимъ смѣяться, такъ точно, какъ засмѣялся-бы надъ Хлестаковымъ обитатель Петербурга, которому случилось-бы присутствовать при разсказѣ о балахъ и обѣдахъ испанскаго посланника.—«Ничего я противузаконнаго не затѣваю,—продолжаетъ Щетининъ,—никакихъ я теорій не провожу, я дѣлаю только то, что всякій изъ насъ обязанъ дѣлать.»—Приступъ очень недуренъ. Во-первыхъ, выражено полное уваженіе къ закону; во-вторыхъ, заявлено столь-же полное недовѣріе къ неосновательнымъ теоріямъ; въ-третьихъ, обнаружено сознаніе гражданскихъ обязанностей, лежащихъ на каждомъ изъ насъ. Словомъ, все было-бы превосходно, еслибы только Щетининъ съумѣлъ повести эту рѣчь дальше, приставляя одинъ округленный періодъ къ другому и тщательно наблюдая за тѣмъ, чтобы во всѣхъ этихъ періодахъ не выразилось ни одной, сколько-нибудь опредѣленной, идеи. Но я уже замѣтилъ въ самомъ началѣ этой статьи, что въ одно десятилѣтіе невозможно сформировать такихъ либераловъ, которые были-бы посвящены во всѣ тайны европейскаго шарлатанства. Кромѣ того надо принять въ соображеніе, что Рязановъ—не такая публика, передъ которой было-бы особенно удобно изливать чувствительныя фразы, незаключающія въ себѣ осязательнаго смысла. Сознавая свое печальное положеніе, Щетининъ умолкаетъ и съ горя начинаетъ царапать клеенку на диванѣ,—чего никогда не дѣлалъ покойникъ Пальмерстонъ и чего не дѣлаютъ въ настоящее время ни Россель, ни Гладстонъ, когда имъ приходится говорить публично о красотахъ англійской конституціи и о непомѣрномъ благосостояніи англійскаго пролетарія.—Хотя Щетинину еще далеко до великихъ западныхъ образцовъ, однако же и онъ не сразу признаетъ себя побѣжденнымъ, и дѣлаетъ еще нѣсколько попытокъ озадачить Рязанова балами и обѣдами испанскаго посланника. «Прежде всего,—говоритъ онъ,—ты долженъ согласиться съ тѣмъ, что всякое общественное дѣло тогда только можетъ быть прочно, когда оно основано на чисто-народныхъ началахъ.»—Рязановъ, по добротѣ души своей, соглашается безпрекословно. «Пока народъ не подалъ своего голоса,—продолжаетъ Щетининъ,—пока онъ молчитъ и только слушаетъ,—никакая пропаганда не поведетъ ни къ чему.»—Такъ какъ Рязановъ никогда не предлагалъ Щетинину сдѣлаться миссіонеромъ какой-бы то ни было, умной или глупой, идеи, то, сохраняя строго-выжидательное положеніе, Рязановъ спрашиваетъ только: «ну, такъ что-жъ?»—Эта сдержанность Рязанова окончательно губитъ его либеральнаго собесѣдника. Вздумай Рязановъ возражать, Щетининъ тотчасъ воспрянулъ-бы, и безконечная трескотня словъ благополучно устранила-бы вопросъ о томъ, чѣмъ занимался юный землевладѣлецъ въ деревнѣ, и можетъ-ли онъ вообще совершить въ предѣлѣ земномъ еще хоть что-нибудь путное. Но Рязановъ только соглашается и ждетъ; поэтому Щетининъ принужденъ приступить къ дѣлу, котораго, къ сожалѣнію, не оказывается въ наличности. «А то,—говоритъ онъ,—что слѣдовательно мы должны всѣ наши силы направить на то»... Но на что именно господа Щетинины должны направить всѣ свои силы, и какія такія силы у нихъ имѣются—этого мы конечно не узнаемъ никогда, потому что этого не знаетъ и самъ ораторъ, который, въ своемъ отчаяніи, прерываетъ свою возвышенную рѣчь самой неуклюжей диверсіей, совершенно равносильной смиренной мольбѣ о пощадѣ. «Да ты можетъ-быть спать хочешь?» спрашиваетъ Щетининъ, рѣшительно не зная, на какое *то* должны быть направлены всѣ силы господъ Щетининыхъ. Рязановъ конечно достаточно насмотрѣлся въ Петербургѣ на милыхъ людей, царапающихъ клеенку и направляющихъ на какое-нибудь непонятное и неизвѣстное имъ *то* всѣ свои несуществующія силы. Потому онъ отпускаетъ щетининскую душу на покаяніе и произноситъ великодушно: «да, братъ, хочу».—Щетининъ оправляется и придаетъ своему отступленію приличный видъ, выражая надежду, что они еще успѣютъ обо всемъ переговорить.—Рязанову въ скоромъ времени удалось познакомиться довольно близко съ щетининскими *мы* и съ *нашими силами*, которыя всѣ должны быть направлены на *то*.

Дѣйствіе происходитъ въ городѣ, въ бывшемъ дворянскомъ, а нынѣ *соединенномъ* клубѣ всѣхъ сословій, во время мирового съѣзда, засѣдающаго въ одной изъ комнатъ того-же клуба.

Картина первая: *Наши силы* направляются.

«— Какъ поживаете? говорилъ Щетининъ, раскланиваясь съ другимъ, только что вышедшимъ изъ буфета, помѣщикомъ.

— Вотъ какъ видите, отвѣчалъ тотъ.—Закусываемъ. Какъ-же намъ еще поживать? Ха, ха, ха! Вотъ съ Иванъ Павлычемъ ужъ по третьей пропустились! Да, чортъ, ихъ не дождешься, говорилъ онъ, указывая на посредниковъ.—Господа, что-же это такое наконецъ? Скоро-ли вы опростаетесь! Въ буфетѣ всю водку выпили, ужъ за хересъ принялись.

— Да велите накрывать, заговорили другіе.

— Столъ нуженъ.

— Господа, тащите ихъ отъ стола!

— Эй, человѣкъ, подай, братецъ, ведро воды, мы ихъ водой разольемъ. Одно средство.

— Ха, ха, ха!

— Нѣтъ, серьезно, господа. Ну, что это за гадость! Всѣ ѣсть хотятъ. Кого вы хотите удивить?

— Что тутъ еще разговаривать съ ними! Господа, вставайте! Засѣданіе кончилось. Дѣла къ чорту! Гоните мужиковъ! Эй, вы, пошли вонъ!

Digitized by Google

Такимъ образомъ кончилось засѣданіе. Посредники, съ озабоченными и утомленными лицами, складывали дѣла, снимали цѣпи, потягивались и уходили въ буфетъ.»

И послѣ этого есть еще люди, осмѣливающіеся говорить, что у *насъ* нѣтъ иниціативы!

Картина вторая: *Наши силы* направлены.

«Черезъ часъ послѣ обѣда дворяне ходили по комнатамъ, какъ во снѣ: всѣ что-то говорили другъ другу, кричали, пили и требовали все шампанскаго и шампанскаго... Въ одной комнатѣ хоромъ пѣли какую-то пѣсню, но потомъ образовалось два хора, такъ что ужъ никто ничего не могъ разобрать, никто никого не слушалъ. .

— Кубокъ янтарный .

— Чтобы солнцемъ не пекло...

— Полонъ давно...

— Чтобы сало не текло...

— Господа, это подлость!... Ура-а! Шампанскаго!... Пей, пей, пей!... Позвольте вамъ сказать.. Чтобы солнцемъ... Поди къ чорту... Ура! Шампанскаго!...

— Во-о-дки! вдругъ заоралъ кто-то отчаяннымъ голосомъ.

Въ другой комнатѣ сидѣлъ судья на креслѣ, а прочіе стояли. Судья произносилъ какія-то слова, а хоръ повторялъ ихъ. Два посредника держали подъ руки купца Стратонова и заставляли его кланяться судьѣ. Купецъ кланялся въ ноги и просилъ ручку. Судья накрывалъ его полою своего сюртука и произносилъ какія-то слова; хоръ подхватывалъ; третій посредникъ махалъ цѣпью.

Щетининъ съ Рязановымъ вышли на крыльцо. Смеркалось. У воротъ клуба ихъ уже дожидался запряженный тарантасъ. На дворѣ видно было, какъ одинъ помѣщикъ стоялъ упершись въ стѣну лбомъ и мучительно расплачивался за обѣдъ.»

Тотчасъ послѣ этой панорамы *нашихъ силъ* Рязановъ имѣлъ неслыханную жестокость напомнить либеральному другу въ самомъ безобидномъ тонѣ о томъ разговорѣ, который остался недоконченнымъ по случаю отхода собесѣдниковъ ко сну.

— «Что ты такое началъ разсказывать, когда я пріѣхалъ. помнишь? — про какое-то соціальное дѣло, спросилъ Рязановъ своего товарища, когда они выѣхали въ поле.»

Щетининъ могъ-бы очень резонно отвѣтить своему другу, что Римъ не въ одинъ день построился; что необходимо мѣшать пріятное съ полезнымъ; что пѣсни, пропѣтыя хоромъ, принадлежатъ къ области чистаго искусства, которое, какъ доказалъ Антоновичъ, разгоняетъ мрачныя мысли, ослабляетъ своекорыстные инстинкты и обуздываетъ неестественные порывы; что впрочемъ *мы* вообще не созрѣли; что наши молодыя силы бродятъ и кипятъ; что свѣтлое вино творится изъ мутнаго броженія; и что вслѣдствіе этого даже тотъ господинъ, который *мучительно расплачивался за обѣдъ*, можетъ еще со временемъ сдѣлаться всякихъ соціальныхъ дѣлъ мастеромъ. Словомъ, Щетинину представлялся отличный случай наговорить три короба разныхъ либеральныхъ безсмыслицъ; но неопытность Щетинина была слишкомъ велика, и блестящая панорама *нашихъ силъ* подѣйствовала на него слишкомъ подавляющимъ образомъ. Онъ даже не попробовалъ барахтаться и на ядовитый вопросъ товарища отвѣтилъ самымъ покорнымъ и болѣзненнымъ стономъ, въ которомъ слышалось и *пардонъ*, и *караулъ*:— «Нѣтъ, оставь это,— прошу я тебя: сдѣлай милость, оставь,— отвѣтилъ Щетининъ». Корова начинаетъ признаваться, что сѣдло сильно намозолило ей спину.

IV.

На другой день послѣ пріѣзда Рязанова къ Щетинину разыгрывается одна изъ самыхъ обыкновенныхъ деревенскихъ сценъ. Мужицкая телушка забрела въ барскій хлѣбъ; ее поймали и заманили на барскій дворъ; мужикъ приходитъ къ Щетинину, проситъ объ ея освобожденіи; Щетининъ требуетъ установленнаго штрафа. Разговоръ между мужикомъ и Щетининымъ происходитъ въ присутствіи Рязанова и Марьи Николаевны. За нѣсколько секундъ до начала этого разговора Щетининъ усердно рисовался передъ Рязановымъ трудностями своей общественной дѣятельности.

«Поживи-ка, братъ, здѣсь,— говорилъ онъ,— да погляди на насъ, чернорабочихъ, какъ мы тутъ съ сырымъ матеріаломъ управляемся».— «Вотъ ты тогда и увидишь,— говорилъ онъ далѣе,— что мы должны, мало того, что помогать имъ, но еще убѣждать и упрашивать, чтобы они намъ позволили имъ-же быть полезными.» —Слова Щетинина тотчасъ находятъ себѣ блистательное оправданіе. Кусокъ сырого матеріала вваливается къ нему въ переднюю и становится передъ нимъ на колѣни. Чернорабочій Щетининъ приходитъ въ негодованіе и настоятельно требуетъ отъ мужика, чтобы онъ уважалъ въ себѣ свое человѣческое достоинство. Мужикъ согласенъ уважать, лишь-бы только ему отдали его телушку, не взыскивая съ него штрафа. Щетининъ начинаетъ убѣждать и упрашивать мужика, чтобы онъ ему позволилъ быть полезнымъ сырому матеріалу.— «Ну, слушай!— говоритъ Щетининъ.— Пойми, что мнѣ твоихъ денегъ не нужно; я отъ этого не разбогатѣю! Я беру съ тебя штрафъ для твоей-же пользы, для того, чтобы ты былъ впередъ осмотрительнѣе, зря не распускалъ-бы скотины. Сами-же вы благодарить будете, что васъ уму-разуму учатъ.» Возмущаясь мужицкими колѣнопреклоненіями, какъ поруганіемъ человѣческаго достоинства, Щетининъ въ то-же время самъ требуетъ отъ мужика умственнаго раболѣпства, гораздо болѣе вреднаго, опаснаго и унизительнаго, чѣмъ всевозможныя колѣнопреклоненія. Въ старину бывали такіе воспитатели, которые заставляли ребенка нюхать розгу и спрашивали у него, чѣмъ пахнетъ? Ребенокъ долженъ былъ отвѣчать: «умомъ».

Digitized by Google

И, разумѣется, ребенокъ отвѣчалъ именно такимъ образомъ, потому что зналъ заранѣе, чего отъ него требуютъ, и чему онъ можетъ подвергнуться въ случаѣ своего нежеланія дать формальный отвѣтъ, намекающій на спасительныя свойства тѣлеснаго наказанія. Щетининъ поступаетъ съ мужикомъ точь-въ-точь такъ, какъ поступали съ ребенкомъ старинные воспитатели, которые по крайней мѣрѣ были совершенно послѣдовательны, то есть ни мало не заботились о человѣческомъ достоинствѣ и очень благосклонно смотрѣли на колѣнопреклоненія ребенка, желающаго изъявленіями покорности избавить себя отъ приближающейся розги. Въ самомъ дѣлѣ, съ одной стороны нѣтъ никакой возможности предполагать, что мужикъ убѣдится аргументаціей Щетинина; а съ другой стороны не подлежитъ сомнѣнію, что мужикъ во всемъ будетъ поддакивать Щетинину, чтобы обезоружить его своимъ смиреніемъ. Всѣ слова Щетинина мужикъ только и можетъ понимать въ томъ смыслѣ, что барину желательно видѣть мужицкую покорность, которая должна проявляться не въ цѣлованіи барскихъ ручекъ, а въ скромномъ и почтительномъ выслушиваніи безтолковыхъ барскихъ рѣчей. Мужикъ ковечно готовъ принять на себя и эту эпитимію, такъ точно, какъ онъ готовъ былъ валяться въ ногахъ и обливаться слезами. Но мужикъ очевидно долженъ считать себя обманутымъ и обиженнымъ, когда онъ видитъ, что перенесенная эпитимія не вмѣняется ему ни во что, и что вся его покорность не уменьшаетъ требуемаго штрафа ни на одну полушку. Какъ было два рубля десять конѣекъ, такъ и осталось два рубля десять копѣекъ. А что баринъ заставлялъ его нюхать розги и хвалить ихъ превосходный запахъ — это все составляетъ вторую шкуру, содранную съ вола вопреки здравому смыслу и буквѣ закона. Чего хотѣлъ Щетининъ отъ мужика? Могъ-ли онъ надѣяться на то, что мужикъ пойметъ и прочувствуетъ его разсужденія?

Конечно человѣческимъ надеждамъ законъ не писанъ, но еслибы Щетининъ потрудился самъ обдумать смыслъ своихъ словъ, то онъ увидѣлъ-бы немедленно, что, обращаясь съ ними къ мужику, онъ предполагаетъ въ своемъ собесѣдникѣ знаніе такихъ вещей, о которыхъ тотъ не можетъ имѣть никакого понятія. Щетининъ говоритъ мужику: «мнѣ твоихъ денегъ не нужно.» — «Чудесно, думаетъ мужикъ. А мнѣ мои деньги нужны. Значитъ, онѣ при мнѣ и останутся.» — Но тутъ Щетининъ объясняетъ далѣе: «я беру съ тебя штрафъ для твоей-же пользы». — «Вотъ тебѣ разъ! думаетъ мужикъ. Да какое тебѣ дѣло до моей пользы? И съ какихъ это поръ тебѣ припала охота думать о моей пользѣ? Такъ я тебѣ сейчасъ взялъ и повѣрилъ!» Эти вопросы, въ той или другой формѣ, непремѣнно должны промелькнуть въ умѣ мужика въ то самое время, когда онъ отвѣчаетъ Щетинину умиленнымъ голосомъ: — «И такъ много довольны, батюшка, Ликсанъ Васильичъ. Благодаримъ покорно!» — И на эти вопросы, очень невыгодные для Щетинина, мужикъ не можетъ найдти въ своей головѣ такіе отвѣты, которые могли-бы доказать ему, что Щетинину дѣйствительно есть дѣло до его пользы. Чтобы рѣшить вопросы въ этомъ смыслѣ, мужику надо знать, что въ западной Европѣ происходили обширныя народныя движенія, что надъ этими движеніями принуждены были задуматься высшіе классы общества, что это раздумье породило цѣлыя отрасли литературы, что новыя идеи залетѣли наконецъ въ Петербургъ, что къ этимъ новымъ идеямъ прислушался Ликсанъ Васильичъ, и что вслѣдствіе этого у Ликсана Васильича явилось стремленіе заботиться о мужицкой пользѣ. Ничего этого мужикъ не можетъ знать, и поэтому въ словахъ Щетинина онъ не можетъ видѣть ровно ничего, кромѣ самаго безсовѣстнаго и топорнаго лицемѣрія, которое онъ, мужикъ, по зависимости своего положенія, обязанъ принимать за чистѣйшее великодушіе. Можно сказать навѣрное, что, выслушавъ медовыя рѣчи Щетинина съ горькимъ заключеніемъ: «подавай 2 р. 10 к.», мужикъ унесетъ съ собою болѣе непріязненное чувство, чѣмъ въ томъ случаѣ, когда Щетининъ прямо и рѣзко отвѣтилъ-бы ему на первую его просьбу: пошелъ вонъ! неси деньги! — Тутъ дѣло шло-бы на чистоту, и мужикъ не видѣлъ-бы того, что принимаетъ за обманъ и что дѣйствительно должно казаться шарлатанствомъ даже и всякому другому, болѣе развитому и знающему человѣку. Щетининъ говоритъ, что онъ не разбогатѣетъ отъ 2 р. 10 к. Это вѣрно. Онъ дѣйствительно беретъ штрафъ не за тѣмъ, чтобы обогатиться. Штрафы совсѣмъ не для того и установлены, чтобы обогащать людей, потерпѣвшихъ убытокъ отъ потравы. Но и не для того также они установлены и взыскиваются, чтобы приносить пользу мужикамъ, распускающимъ скотину. Штрафы не имѣютъ и не могутъ имѣть никакого педагогическаго значенія. Взыскивая съ мужика деньги, Щетининъ конечно думаетъ про себя: «нѣтъ, братъ, шалишь! Попробуй-ка я дать тебѣ поблажку, такъ вы у меня всѣ поля до чиста вытравите.» — Размышляя такимъ образомъ, Щетининъ опредѣляетъ очень вѣрно цѣль и смыслъ штрафовъ, которые, вмѣстѣ со многими другими видами взысканія, существуютъ единственно для того, чтобы ограждать собственность отъ разныхъ умышленныхъ и неумышленныхъ поврежденій. Люди смѣлые и неизуродованные прививными идеями выражаютъ прямо и откровенно тѣ размышленія, которыя Щетининъ, какъ робкая и безотвѣтная жертва либерализма

Digitized by Google

старается утаить даже отъ самого себя, несмотря на то, что всѣ его дѣйствія обусловливаются именно одними этими размышленіями. Тѣ жалкія плоскости, которыя Щетининъ говоритъ о мужицкой пользѣ и объ ученіи уму-разуму, конечно никого не обморочатъ, и всего менѣе способны обмануть мужика, который, какъ я объяснилъ выше, застрахованъ отъ этого обмана именно своимъ круглымъ невѣжествомъ. Мужикъ своимъ простымъ отвѣтомъ: «*и такъ много довольны*», опрокидываетъ всю щетининскую галиматью. Дѣйствительно, мужики имѣютъ полное право сказать, что ихъ и такъ ужъ черезчуръ много учили со всѣхъ сторонъ уму-разуму; если это ученіе принесло мало пользы, то это доказываетъ ясно, что всякая дидактическая система несостоятельна, и что по этой системѣ сколько ни учи, все ничему не выучишь. Еслибы существовала какая нибудь возможность развить въ безправномъ человѣкѣ чувство законности посредствомъ взысканій, то мужики наши давнымъ-давно сравнялись-бы въ этомъ отношеніи съ самыми просвѣщенными націями земного шара. Неужто въ самомъ дѣлѣ съ нашихъ мужиковъ до сихъ поръ мало взыскивали? Неужели до сихъ поръ позволяли безнаказанно нарушать ихъ обязанности? Неужели до сихъ поръ всѣ желающіе могли свободно уклоняться отъ платежа подушныхъ податей, отъ несенія рекрутской повинности, отъ барщины, отъ оброка и отъ всякихъ другихъ денежныхъ и натуральныхъ повинностей? Ничего подобнаго, разумѣется, никогда не было и не могло быть. Если-же взысканія всегда были очень строги, если послабленій никакихъ не давалось, то очевидно слабое развитіе чувства законности обусловливается у нашихъ мужиковъ не недостаточностью взысканій, а именно тѣмъ низкимъ уровнемъ нравственнаго развитія, которое составляло общій удѣлъ всѣхъ неимущихъ классовъ нашего общества. Значитъ, какіе штрафы ни берите съ мужика, ничего вы въ немъ не разовьете, кромѣ бѣдности и ожесточенія. Въ какомъ направленіи должно дѣйствовать на умъ и чувства мужика денежное взысканіе, это мы видимъ изъ разговора между тѣмъ-же самымъ обладателемъ телушки и щетининскимъ конторщикомъ, Иваномъ Степанычемъ.—«Ну, теперь позвольте,—говоритъ мужикъ,—такъ будемъ говорить: ваша скотина зашла ко мнѣ въ огородъ.—Ну и загоняй ее!—отвѣчаетъ Иванъ Степанычъ.—Загнать недолго, да на что-жъ такъ-то?—Какъ на что? Баринъ штрафъ заплатитъ.—Ну, это тягайся тамъ съ вами еще! А незамай-же, я ей ноги переломаю, она лучше ходить не станетъ.—Вотъ ты поговори еще!—Право слово, переломаю. Что въ самомъ дѣлѣ?»

Видите, куда дѣло-то пошло? Въ мужикѣ начинаютъ шевелиться самыя противуобщественныя и воинственныя стремленія, пробужденныя той самой мѣрой, которая, по доктринѣ Щетинина, должна была образумить и гуманизировать грубаго земледѣльца. Переломаетъ онъ ноги барской скотинѣ; изъ этого, разумѣется, завяжется дѣло, гораздо болѣе важное, чѣмъ дѣло о потравѣ, и мужика накажутъ строго, какъ буйнаго и дерзкаго человѣка. И либералы, подобные Щетинину, по своей глупости или по своей подлости, будутъ возлагать на это наказаніе разныя розовыя надежды и будутъ говорить разоренному или отодранному мужику, что его разорили или отодрали для его пользы, единственно и исключительно для его собственной пользы. Но добродушный Иванъ Степанычъ смотритъ на дѣло гораздо проще и высказываетъ свои мысли безъ малѣйшей утайки. «То есть, я вамъ скажу,—говоритъ онъ тутъ-же, при мужикѣ, обращаясь къ Рязанову,—тутъ какую нужно дубину!»—Вотъ оно, великое-то слово, рѣшающее задачу!—Такъ или иначе, прямыми или косвенными путями, съ тонкими деликатностями или безъ оныхъ, всѣ сантиментально лживые либералы, подобные Щетинину, приходятъ все-таки въ концѣ концовъ къ воздыханію о дубинѣ, которая впрочемъ составляетъ попрежнему послѣднюю и высшую санкцію щетининскаго авторитета. Мужикъ говоритъ: «*тягайся тамъ съ вами еще!*» Мужикъ плохо вѣритъ въ возможность отстоять свое право въ судѣ. Ошибается-ли онъ въ этомъ случаѣ? Уже самый фактъ его недовѣрчивости свидѣтельствуетъ достаточно о тѣхъ урокахъ, которые давало прошедшее ему, его родственникамъ и всѣмъ его предкамъ. Недовѣрчивость выработалась изъ традиціи, а традиція составилась изъ опытовъ жизни Прекратилось-ли по крайней мѣрѣ теперь существованіе тѣхъ причинъ, которыя породили эту недовѣрчивость? Въ каждомъ почти номерѣ газетъ можно найдти такіе эпизоды, въ которыхъ эти причины продолжаютъ дѣйствовать. Въ той-же повѣсти Слѣпцова разсказывается одинъ крошечный случай, который по своей ничтожности не могъ-бы попасть ни въ какія газеты, который однако совершенно оправдываетъ мужицкую недовѣрчивость. Волостной старшина говоритъ съ посредникомъ.

«— А вотъ, повѣствуетъ старшина,—я забылъ вашей милости доложить: батюшка тутъ приходилъ съ садовникомъ. У нихъ опять эти пустяки вышли

— Какіе пустяки?

— Изъ телятъ. Зашли батюшкины телята къ садовнику въ огородъ; садовникъ ихъ засталъ, стало быть, это на дворъ заперъ. Батюшка, значитъ, сейчасъ приходитъ, такъ и такъ, какъ ты могъ полковничьихъ телятъ загонять?

— Какихъ полковничьихъ телятъ?

— Да то есть это батюшкиныхъ-то. Онъ такъ считаетъ, что, молъ, полковникъ я.

— Да.

— Ну, теперь это теща его выскочила, телятъ обыкновенно угнали...

Digitized by Google

— Ну, что-же?

— Кто ихъ разберетъ? Садовникъ жалится: онъ, говоритъ, у меня на шесть цѣлковыхъ овощей помялъ, а батюшка теперь за безчестіе съ него то есть требуетъ пятнадцать что-ли-то.

— Пятнадцать цѣлковыхъ, подтверждаетъ писарь.

— За какое-же безчестіе?

— Ну, тещу его, слышь, обидѣлъ.

— Какъ-же онъ ее обидѣлъ?

— Слюнявой что-ли назвалъ. Ужъ Богъ его знаетъ. Слюнявая, говоритъ, ты, смѣясь объясняетъ старшина.—Ну, а батюшка говоритъ: мнѣ, говоритъ, это очень обидно. Пятнадцать цѣлковыхъ теперь и требуетъ.

Посредникъ тоже засмѣялся; даже писарь хихикнулъ себѣ въ горсть.

— Ну, это я послѣ разберу, вставая, говоритъ посредникъ.—А теперь, братъ, вотъ что: вели-ка ты мнѣ лошадокъ привести.

— Готовы-съ.»

Весь этотъ веселый разговоръ очень замѣчателенъ. Происшествіе кажется старшинѣ до такой степени мелкимъ, что онъ даже едва не забылъ доложить о немъ посреднику; далѣе онъ называетъ этотъ случай *пустяками*, потомъ говоритъ, что телятъ *обыкновенно* угнали, и посредникъ, услышавъ объ этомъ совершенно противузаконномъ поступкѣ, спрашиваетъ: *ну, что же?* Значитъ, и посредникъ считаетъ это дѣло совершенно *обыкновеннымъ* и незаслуживающимъ дальнѣйшаго вниманія. Наконецъ вся исторія разрѣшается общимъ смѣхомъ, и посредникъ уѣзжаетъ, откладывая разбирательство дѣла до другого раза, вѣроятно потому, что изъ за такихъ пустяковъ не стоитъ себя задерживать. Теперь потрудитесь только себѣ вообразить, что вся эта исторія разыгралась въ обратномъ порядкѣ. Не *полковницкіе* телята зашли къ садовнику, а наоборотъ, садовницкіе телята зашли къ *полковнику*. *Полковникъ* загоняетъ ихъ. Садовникъ съ своей тещей идетъ на приступъ отбивать своихъ плѣнныхъ телятъ. Что-же изъ этого выходитъ? Прежде всего садовнику и его тещѣ накладываютъ въ шею домашними средствами. Потомъ ихъ обоихъ, какъ разбойниковъ, связываютъ, представляютъ въ волостной судъ. Старшина немедленно даетъ знать посреднику о томъ, что въ волости произошло необыкновенное буйство. Посредникъ пріѣзжаетъ и тотчасъ разсматриваетъ дѣло. Въ лучшемъ случаѣ садовникъ и его теща получаютъ достаточную порцію розогъ и выплачиваютъ *полковнику* значительное денежное вознагражденіе. Въ худшемъ случаѣ дѣло доходитъ до уголовнаго суда, садовникъ и его теща отправляются въ острогъ, а впослѣдствіи быть-можетъ и на поселеніе. Теперь возьмите опять исторію въ томъ видѣ, въ какомъ она разсказана у Слѣпцова, и представьте себѣ, что садовникъ вздумалъ сопротивляться, когда полковникъ съ тещей пришелъ отбивать у него телятъ. Происходитъ драка, въ которой садовникъ играетъ оборонительную роль. При всемъ томъ садовникъ оказывается виноватымъ и подвергается строгому наказанію за непочтительное обращеніе съ чиновными особами. Послѣ этого, спрашиваю я васъ, что-же остается дѣлать мужику и всякому другому чиновнику 15-го класса? Имѣютъ-ли люди дѣйствительное основаніе относиться недовѣрчиво къ судебнымъ разбирательствамъ? Объясняется-ли наклонность этихъ людей къ самоуправству ихъ собственной порочностью, или-же она находится въ зависимости отъ какихъ-нибудь другихъ внѣшнихъ, т. е. общественныхъ условій? Предложивши читателю призадуматься надъ этими вопросами, я возвращаюсь теперь къ разговору Щетинина съ хозяиномъ арестованной телушки. Въ этомъ разговорѣ Щетининъ унижается наконецъ до явной и наглой лжи. Такъ какъ мужикъ продолжаетъ упрашивать пропріэтера и никакъ не хочетъ понять, что наказаніе составляетъ *неотъемлемое право* преступника,—право, которое преступникъ никому не долженъ уступать ни за какія блага, то Щетининъ говоритъ наконецъ мужику:

«— Законъ, понимаешь? законъ.»—Мужикъ, разумѣется, отвѣчаетъ: «*слушаю-съ*», что онъ отвѣтилъ-бы и въ томъ случаѣ, когда-бы его назвали осломъ или дуракомъ.—«*Такъ что-жъ я могу сдѣлать, а? Ну?*» спрашиваетъ Щетининъ. Видите, какъ это мило! Щетининъ представляетъ мужику дѣло въ такомъ видѣ, что законъ *обязываетъ* его, Щетинина, брать установленный штрафъ и *строго запрещаетъ* ему подарить мужику 2 р. 10 к. с. Онъ-бы, извольте видѣть, и радъ былъ не взять ничего и оказать благодѣяніе, но тогда онъ самъ сдѣлается преступникомъ и подвергнетъ себя законному наказанію. Изъ своего разговора съ Щетининымъ мужикъ долженъ, стало быть, вывести то заключеніе, что въ Россіи существуютъ такіе законы, которые запрещаютъ одному человѣку дарить свои собственныя деньги другому человѣку. И вотъ какимъ образомъ Щетининъ воспитываетъ въ грубыхъ поселянахъ чувство законности. Вотъ какимъ образомъ «*мы, чернорабочіе, управляемся съ сырыми матеріалами*». Вотъ какимъ образомъ «*мы, мало того, что помогаемъ имъ, но еще убѣждаемъ и упрашиваемъ, чтобы они намъ позволили имъ-же быть полезны ми*», то есть налгать имъ въ глаза и вытащить изъ кармана два рубля десять копѣекъ.

V.

Въ тотъ-же день, за обѣдомъ, Щетининъ горько жалуется Марьѣ Николаевнѣ и Рязанову на неблагодарныхъ плотниковъ, которые за всю его щедрость и доброту заплатили ему тѣмъ, что, по своей лѣности и небрежности, испакостили ему лѣсу на пятьдесятъ рублей.

Digitized by Google

Марья Николаевна выслушиваетъ молча изліяніе огорченнаго хозяина. Рязановъ съ своей стороны не обнаруживаетъ никакого сочувствія и совершенно хладнокровно напоминаетъ Щетинину о тѣхъ законныхъ средствахъ, которыя онъ можетъ употребить противъ провинившихся работниковъ; онъ можетъ отправить ихъ, для надлежащаго вразумленія, къ становому; или же онъ можетъ черезъ посредника взыскать съ нихъ деньги за испорченный матеріалъ; имѣя въ рукахъ такія дѣйствительныя средства, Щетининъ очевидно не долженъ унывать и оплакивать свою горькую долю. Марья Николаевна, едва знакомая съ Рязановымъ, не понимаетъ того, къ чему направляется его тактика, и съ великодушнымъ негодованіемъ честной женщины вступается за работниковъ.

«— Но вѣдь они бѣдные, говоритъ она: - вы забываете... откуда-же они возьмутъ пятьдесятъ рублей?»

Рязановъ нисколько не смущается ея негодованіемъ и ведетъ свою аттаку дальше съ несокрушимымъ хладнокровіемъ.

«— Ежели, говоритъ онъ, наличныхъ денегъ не имѣютъ, то можетъ-быть окажется движимость, скотъ.

Негодованіе Марьи Николаевны конечно увеличивается. — «Ну, и..» спрашиваетъ она.

«— Продадутъ-съ, продолжаетъ Рязановъ добродушно и весело.—Что-жъ имъ въ зубы-то смотрѣть!

«— Да вѣдь это я не знаю, что̀ такое... Это варварство!» Впослѣдствіи Марья Николаевна объявляетъ, что она въ эту минуту просто готова была убить Рязанова.

Противъ слова *варварство* Рязановъ ровно ничего не имѣетъ. Онъ отвѣчаетъ: «очень можетъ быть-съ».

«— Такъ какъ-же вы предлагаете такія средства?

— Я никакихъ средствъ не предлагаю, я только напоминаю.

— Что-же вы напоминаете?

— Я ему напоминаю его обязанности. Всякое право налагаетъ на человѣка извѣстныя обязанности. Пользуешься правомъ,—исполняй и обязанности.

— Какія обязанности? Вы ему напоминаете, что онъ можетъ, если захочетъ, злоупотреблять своимъ правомъ.

— Нисколько-съ. Напротивъ, я ему напоминаю только о томъ, какъ слѣдуетъ благопріобрѣтать, а злоупотребляетъ ужъ это онъ самъ.

— Развѣ это злоупотребленіе, если онъ прощаетъ этихъ плотниковъ?

— А вы какъ-же думали? Конечно злоупотребленіе (тутъ Рязановъ могъ-бы даже сослаться на самого Щетинина, который за нѣсколько часовъ предъ тѣмъ тянулъ съ мужика штрафъ для того, чтобы не сдѣлать злоупотребленія и не погрѣшить предъ закономъ). Еслибы онъ одинъ только пользовался правомъ карать и миловать, тогда Богъ съ нимъ, пусть-бы его дѣлалъ, что хотѣлъ. Если ему Богъ далъ такую добрую душу, такъ что-жъ тутъ разговаривать. Хочешь идти по міру, ну, и ступай. Но вы не забывайте, что насъ много, что онъ, оставляя безнаказанными разныхъ мошенниковъ, поощряетъ ихъ на новыя мошенничества и подаетъ гибельный примѣръ. А отъ этого мы всѣ страдаемъ, онъ портитъ у насъ рабочія руки. Ну, хорошо еще, что я вотъ могу жить такъ, ничего не дѣлая; но еслибы я былъ рабочая рука, да я-бы... я-бы непремѣнно испортился. Я-бы сказалъ: а! такъ вотъ что! Стало быть, можно дѣлать все, что̀ хочешь. Пошелъ-бы въ кабакъ, эй! братцы, рабочія руки, пойдемте наниматься въ работу! Сейчасъ пошли-бы мы, нанялись къ кому-нибудь садъ сажать; набрали-бы денегъ впередъ, потомъ взяли-бы насажали деревья корнями вверхъ, а дорожки всѣ взрыли-бы и ушли. Ищи насъ! Что-жъ, развѣ это хорошо?»

Щетинину очень не нравятся рязановскіе монологи. Онъ чувствуетъ, что все это клонится къ какому-то неудобному для него заключенію, хотя, по слабоумію своему, и не понимаетъ, къ какому именно.

«— Богъ тебя знаетъ, наконецъ сказалъ Щетининъ,—для чего ты все это говоришь.»

Но Рязанова нельзя ни запугать негодованіемъ, ни обезоружить смиренной мольбой. Онъ продолжаетъ разворачивать зондомъ глубокую рану своего истерзаннаго товарища.

«— А для того и говорю, поясняетъ онъ,—что не хочу тебя лишить дружескихъ совѣтовъ. Вижу *я*, что другъ мой колеблется, что ему угрожаетъ опасность, что онъ можетъ сдѣлаться жертвой собственной слабости, да и намъ всѣмъ напакостить; ну, вотъ я и не могу воздержаться, чтобы не напомнить ему и не сказать: другъ. остерегись! не поддавайся искушенію, не поблажай беззаконію, ибо оно наглымъ образомъ посягаетъ на нашу собственность. Священное право поругано, отечество въ опасности... Другъ, мужайся, говорю я, и спѣши препроводить обманувшія тебя рабочія руки въ руки правосудія.

— Вотъ ты говоришь: препроводить, началъ Щетининъ:—ну, хорошо, а что-бы ты сказалъ, еслибы я въ самомъ дѣлѣ такъ поступилъ?»

Въ этихъ словахъ Щетинина скрывается слѣдующій смыслъ: «развѣ ты не видишь, что я человѣколюбивъ и великодушенъ? Похвали-же ты меня хоть сколько-нибудь за мою гуманность! Похвали хоть косвеннымъ образомъ, ругая тотъ поступокъ, котораго я, по гуманности моей, не сдѣлалъ!»—Но Рязановъ отказываетъ на отрѣзъ даже и въ косвенныхъ похвалахъ.

«— Что бы я сказалъ? говоритъ онъ,—я сказалъ-бы:вотъ примѣрный хозяинъ! и гордился-бы твоей дружбой. И еще-бы сказалъ: это человѣкъ послѣдовательный; а лучшей кто-бы могъ хвалы тебѣ сказать?»

Рязановъ отвѣчаетъ такимъ образомъ Щетинину, что его гуманность сводится къ чистѣйшей безхарактерности, которая не позволяетъ ему ни вывести изъ даннаго принципа его логическія послѣдствія, ни отбросить основной принципъ, если эти неизбѣжныя послѣдствія кажутся ему отвратительными. Щетининъ принужденъ склонить голову предъ этимъ разговоромъ.

Digitized by Google

«— Такъ-то оно такъ, со вздохомъ сказалъ Щетининъ: — да... да нѣтъ, братъ, я нахожу, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ надо поступать непослѣдовательно.» — Далѣе у Щетинина оказывается, что въ практическомъ дѣлѣ строгая послѣдовательность невозможна, и что этого нельзя и требовать. Уловка эта стара, какъ міръ; ею всегда пользовались слабоумные или недобросовѣстные люди, когда люди послѣдовательные или честные доводили ихъ до капитуляціи посредствомъ того извѣстнаго діалектическаго маневра, который называется reductio ad absurdum и состоитъ въ томъ, что основной принципъ проводится до самаго конца и превращается въ очевидную нелѣпость или въ возмутительную гнусность. Люди слабоумные, благодаря своей многочисленности, съумѣли дать обширный ходъ той жалкой и ложной мысли, будто-бы въ жизни невозможна строгая послѣдовательность. Дѣйствительно, послѣдовательность очень неудобна для тѣхъ людей, которые въ основаніе своей дѣятельности кладутъ ложный принципъ, то есть такую идею, въ которой затаено что-нибудь нелѣпое или вредное для общества. Послѣдовательность ведетъ въ этомъ случаѣ именно къ тому, что затаенная нелѣпость, развернувшись во всей своей красотѣ, покрываетъ позоромъ самого адепта невѣрной идеи. Поэтому, имѣя въ виду такую непріятную перспективу, слабоумные люди стараются зажмурить глаза и утѣшаютъ себя тѣмъ плоскимъ разсужденіемъ, что они всегда съумѣютъ измѣнить своему принципу, какъ только этотъ принципъ потащитъ ихъ въ вопіющую нелѣпость. На словахъ можно предаваться этимъ сладкимъ надеждамъ, сколько угодно, но жизнь постоянно разрушаетъ эти ребяческія фантазіи и, выводя изъ каждаго принципа всѣ его послѣдствія, даже самыя нелѣпыя и самыя безобразныя, насильно навязываетъ ихъ каждой отдѣльной личности, основавшей на данномъ принципѣ всю свою дѣятельность. На словахъ вы можете браковать все, что вамъ угодно, но у жизни есть своя собственная логика, которая переломитъ вашу непослѣдовательную брезгливость и непремѣнно вымажетъ васъ съ ногъ до головы общеобязательной краской или грязью, соотвѣтствующей основнымъ требованіямъ вашего принципа. Отъ этого окрашиванія или загрязненія вы не отвертитесь никакими хитростями, если только у васъ не достанетъ характера рѣшительно отталкнуть прочь основной принципъ. Итакъ, Щетининъ признается, что онъ не въ силахъ быть послѣдовательнымъ, или, другими словами, что онъ не хочетъ и не можетъ исполнять во всемъ ихъ объемѣ тѣ обязанности, которыя налагаетъ на него принципъ собственности. Тогда Рязановъ даетъ ему почувствовать, что по всей вѣроятности и плотники не хотятъ и не могутъ быть послѣдовательными, то есть исполнять во всемъ ихъ объемѣ тѣ обязанности, которыя налагаетъ на нихъ принципъ труда. Щетининъ находитъ это сравненіе совершенно неосновательнымъ, потому что у плотниковъ *нѣтъ никакой опредѣленной цѣли, къ которой-бы они стремились*. Произнося послѣднія слова, Щетининъ повидимому намекаетъ на то, что у него есть великая и опредѣленная цѣль, и что онъ измѣняетъ принципу собственности именно изъ любви къ этой цѣли, о которой плотники не имѣютъ понятія. Но Рязановъ сейчасъ-же выводитъ все дѣло на чистоту; онъ выражаетъ сомнѣніе въ томъ, чтобы у плотниковъ не было опредѣленной цѣли. — «Они, — отвѣчаетъ Щетининъ, — только о томъ и стараются, чтобы какъ можно меньше работать и въ то-же время какъ можно больше получать.» — Рязановъ находитъ, что это — цѣль очень опредѣленная, и вслѣдъ затѣмъ спрашиваетъ у Щетинина, къ чему-же онъ самъ-то стремится: «Къ тому, чтобы какъ можно больше работать и какъ можно меньше получать? Такъ что-ли?» — Щетининъ совершенно становится втупикъ и произноситъ коснѣющимъ языкомъ: «н-нѣ...» — «Ну, — добиваетъ его Рязановъ, — такъ что-жъ тутъ разговаривать еще! Стало быть, стремленія-то у насъ съ ними одни и тѣ-же; разница только въ томъ, что мы сознательно желали-бы ихъ приспособить къ нашему хозяйству, они-же, какъ всѣ глупорожденные, безсознательно упираются и всячески стараются схитрить. Ну, а на этотъ случай у насъ средства такія имѣются для понужденія ихъ, — средства, къ народнымъ обычаямъ приноровленныя. Вотъ въ древніе вѣка нравы были грубые, — тогда и орудія, которыми понуждались глупорожденные къ труду, тоже были неусовершенствованныя, какъ-то: исправники, становые и проч.; теперь-же, когда нравы значительно смягчены и сельскіе жители вполнѣ сознали пользу просвѣщенія, и понудительныя мѣры употребляются болѣе деликатныя, духовныя такъ сказать, а именно: увѣщанія, штрафы, уединенные амбары и такъ далѣе. Вотъ и хороводимся мы такимъ манеромъ и долго еще будемъ хороводиться, доколѣ мѣра беззаконій нашихъ не исполнится. Только зачѣмъ-же тутъ церемониться-то ужъ очень, нюни-то разводить зачѣмъ, я не понимаю. Штука эта самая простая, и весь вопросъ въ томъ, кто кого; стало быть, главная вещь, не конфузься!»

Щетининъ раздавленъ и уничтоженъ этими правдивыми словами, такъ точно какъ въ древности оказался уничтоженнымъ и раздавленнымъ благонравный юноша, которому вмѣсто ожидаемой похвалы былъ данъ весьма непріятный совѣтъ продать богатое наслѣдство и раздать деньги нищимъ. Щетининъ не находитъ больше никакого возраженія, и разговоръ прекращается.

Digitized by Google

Въ мысляхъ Марьи Николаевны этотъ разговоръ производитъ рѣшительный переворотъ.

VI.

Въ головѣ Марьи Николаевны начинается усиленная работа мысли; то, о чемъ она только что начинала догадываться, обрисовывается передъ нею совершенно ясно и пугаетъ ее слишкомъ знакомой и понятной рельефностью своихъ очертаній; смыслъ той жизни, которую она ведетъ съ своимъ супругомъ, постигнутъ; соотвѣтствующее имя или клеймо найдено и приложено къ этой разлюбезной и высокопочтенной жизни такъ крѣпко, что его не вытравишь никакими горькими слезами. Марья Николаевна становится похожа на лэди Макбетъ; она чувствуетъ на всей своей особѣ какое-то пятно и, не имѣя силъ съ нимъ помириться, въ то-же время не знаетъ, какимъ образомъ отъ него отдѣлаться. Можно себѣ представить, какія нѣжныя чувства питаетъ она къ тому милому либералу, который, пользуясь ея неопытностью, замаралъ ее чистую личность и обезсмыслилъ ея молодую жизнь. Она приходитъ къ своему мужу, какъ воплощеніе его совѣсти, и требуетъ отъ него строжайшаго отчета во всей его прошедшей дѣятельности, въ которой онъ сулилъ ей чудеса либерализма и подвиги человѣколюбія. «Когда ты хотѣлъ на мнѣ жениться,—говоритъ она ему,—ты что̀ мнѣ сказалъ тогда? Вспомни? Ты мнѣ сказалъ: «мы будемъ вмѣстѣ работать, мы будемъ дѣлать великое дѣло, которое можетъ-быть погубитъ насъ, и не только насъ, но и всѣхъ нашихъ; но я не боюсь этого. Если вы чувствуете въ себѣ силы, пойдемте вмѣстѣ.» И я пошла. Конечно я тогда еще была глупа, я не совсѣмъ понимала, что̀ ты тамъ мнѣ разсказывалъ. Я только чувствовала, я догадывалась. И я-бы пошла, куда угодно. Вѣдь ты видѣлъ, я очень любила мою мать и я ее бросила. Она чуть не умерла съ горя, а я все-таки ее бросила, потому что я думала, я вѣрила, что мы будемъ дѣлать настоящее дѣло. И чѣмъ-же все это кончилось? Тѣмъ, что ты ругаешься съ мужиками изъ-за каждой копѣйки, а я огурцы солю, да слушаю, какъ мужики бьютъ своихъ женъ—и хлопаю на нихъ глазами. Послушаю, послушаю, потомъ опять примусь огурцы солить. Да еслибы я желала быть такой, какой ты меня сдѣлалъ,—такъ я-бы вышла за какого-нибудь Шишкина, теперь у меня можетъ-быть ужъ трое дѣтей было-бы. (Это послѣднее мѣсто въ монологѣ Марьи Николаевны не совсѣмъ понятно. Почему-же Шишкинъ можетъ сдѣлать то, чего до сихъ поръ не сдѣлалъ Щетининъ? Неужели же Щетининъ такъ глубоко проникнулся ученіемъ мальтузіанцевъ, что соблюдаетъ moral restraint въ своей собственной супружеской жизни. Или неужели онъ такъ высоко понимаетъ обязанности отца, что наложилъ на себя обѣтъ цѣломудрія до тѣхъ поръ, пока для будущихъ дѣтей не будетъ подготовлено достаточное обезпеченіе? Все это очень неясно.) Тогда я по крайней мѣрѣ знала-бы, что я—мать, знала-бы, что я себя гублю для дѣтей, а теперь... Пойми, что я съ радостью пошла-бы землю копать, еслибы видѣла, что отъ этого польза не для насъ однихъ; что я не просто ключница, которая выгадываетъ каждый грошъ и только и думаетъ о томъ: ахъ, какъ-бы кто не съѣлъ лишняго фунта хлѣба! ахъ, какъ-бы... Какая гадость!»

Передъ этими строгими требованіями Щетининъ оказывается чистѣйшимъ банкротомъ. Онъ остается безгласнымъ. Онъ даже не пробуетъ защищаться. О работѣ надъ сырымъ матеріаломъ нѣтъ и помину. Впрочемъ Щетининъ до такой степени мелокъ и ничтоженъ, что онъ даже и теперь не понимаетъ ни характера своей супруги, ни глубины того отчаянія, которое слышится въ ея кровавыхъ упрекахъ. Она говоритъ ему о своей изуродованной жизни, о своихъ загубленныхъ надеждахъ, о своихъ профанированныхъ стремленіяхъ къ добру и къ истинѣ, она называетъ его жалкимъ обманщикомъ, укравшимъ и заѣвшимъ чужой вѣкъ,—а онъ въ это время все наровитъ пожать ея ручку или ухватить ее за талію, онъ думаетъ, что ее можно успокоить и ублаготворить супружескими нѣжностями.—«Нѣтъ,—говоритъ она ему далѣе,—вѣдь я это все ужъ давно, давно поняла, и все это у меня вертѣлось въ головѣ; только я какъ-то не могла хорошенько всего сообразить; ну, а теперь вотъ эти разговоры мнѣ помогли. Я тутъ очень разстроилась, взволновалась. Это совсѣмъ лишнее. И случилось потому, что я всѣ эти мысли долго очень скрывала: все хотѣла себя разувѣрить; а вѣдь, по настоящему, знаешь, надо-бы что̀ сдѣлать? Надо-бы мнѣ, ничего не говоря, просто взять да уѣхать...» Именно. Такъ и слѣдуетъ поступать съ тѣми прощалыгами, которые сулятъ вамъ золотыя горы и потомъ оставляютъ васъ на бобахъ. Марья Николаевна имѣетъ полное право поступить съ Щетининымъ гораздо строже, чѣмъ поступаютъ кредиторы съ злостнымъ банкротомъ. Банкротъ крадетъ только деньги, а Щетининъ своимъ либеральнымъ фразерствомъ укралъ у нея жизнь,—ту жизнь, которую она могла-бы отдать сильному, честному и полезному дѣятелю, и которую она теперь быть-можетъ уже не съумѣетъ устроить разумнымъ образомъ. Любимая женщина говоритъ нашему либеральному буржуа, что отъ него слѣдуетъ ей бѣжать безъ оглядки, не говоря ему ни слова, какъ бѣгутъ здоровые люди отъ зачумленнаго больного, который уже находится при послѣднемъ издыханіи и который

Digitized by Google

уже неспособенъ ни принимать лекарства, ни выслушивать слова любви и утѣшенія, ни даже узнавать своихъ ближайшихъ родственниковъ и друзей. Чѣмъ-же отвѣчаетъ онъ ей на это жестокое оскорбленіе? Пробуждается-ли въ его телячьей душѣ хоть искра мужественной гордости, хоть слабое воспоминаніе, далекій и блѣдный отблескъ тѣхъ титаническихъ стремленій, которыми онъ такъ безсовѣстно рисовался въ былые годы передъ этой же самой женщиной? Произноситъ-ли онъ хоть одно слово о трудѣ, объ общемъ благѣ, о борьбѣ, словомъ, о тѣхъ высшихъ идеяхъ, которыя должны господствовать надъ всей жизнью энергическаго мужчины, осмѣливающагося домогаться любви и уваженія честной и умной женщины? Старается-ли онъ убѣдить ее въ томъ, что онъ не обманулъ ея, что его жизнь полна, широка и разумна, и что, уѣзжая отъ него, она уѣдетъ именно отъ той дѣятельности, которую она сама-же ищетъ? Наконецъ, если онъ чувствуетъ невозможность защищаться, то способенъ-ли онъ по крайней мѣрѣ съ ужасомъ оглянуться на самого себя, оцѣнить всю свою неудовлетворительность, и потомъ, осудивши прошедшее, рвануться впередъ къ новой, чистой, высокой и плодотворной дѣятельности? Нѣтъ, ничего подобнаго не находимъ мы въ его отвѣтѣ. Титаническія стремленія были взяты на прокатъ и выражались въ былое время довольно удачно и увлекательно только потому, что у молодого человѣка обыкновенно горятъ глаза и звучитъ въ голосѣ искреннее чувство, когда ему приходится строить воздушные замки о жизни и работѣ вдвоемъ, въ присутствіи той молодой дѣвушки, которая ему нравится. Теперь цѣль жизни достигнута, молодая дѣвушка превратилась въ молодую даму, и поэтому титаническія стремленія отправлены обратно въ тотъ магазинъ, изъ котораго они были взяты на подержаніе; дорога къ этому магазину уже забыта и заросла травой, такъ что въ попыхахъ невозможно уже найти ничего такого, что хоть издали напоминало-бы прежній пылъ великодушнаго энтузіазма. Щетининъ застигнутъ врасплохъ и не находитъ у себя подъ руками ничего, кромѣ своей супружеской нѣжности, искренней и теплой, но рѣшительно неспособной превратить жалкую тряпицу въ порядочнаго человѣка. «Маша,—лепечетъ онъ,—Маша! что ты говоришь! Да вѣдь... ну... да... да вѣдь я люблю тебя, ты понимаешь это?»

Пульхерію Ивановну дѣйствительно можно было бы удержать словомъ *люблю*, если-бы она на старости лѣтъ вздумала уѣхать отъ Афанасія Ивановича для пріисканія себѣ разумной и честной дѣятельности. Марья Николаевна уходитъ въ свою комнату, повторивши Щетинину еще разъ, что она не можетъ огурцы солить. Щетининъ послѣ ея ухода погружается на нѣсколько минутъ въ мрачное недоумѣніе, потомъ отправляется вслѣдъ за своей супругой, но дверь оказывается запертой, и на его вопросъ: «можно войти?», Марья Николаевна, съ своей стороны, отвѣчаетъ вопросомъ: «Зачѣмъ?» Щетининъ видитъ, что входить дѣйствительно не зачѣмъ, и удаляется во-свояси. Черезъ нѣсколько времени онъ приходитъ въ спальню, надѣясь увидѣться съ своей супругой; но надежда его не осуществляется; Марья Николаевна проводитъ ночь у себя въ комнатѣ. На другой день Щетининъ съ Рязановымъ ѣдутъ въ городъ и созерцаютъ тамъ всю красоту *нашихъ силъ*, направленныхъ на истребленіе шампанскаго и водки. Вечеромъ они возвращаются домой, и Марья Николаевна сама приходитъ мириться съ своимъ разогорченнымъ супругомъ. Она даже проситъ у него прощенія; онъ, разумѣется, открываетъ ей свои объятія. Но эта трогательная сцена примиренія показываетъ совершенно ясно, что окончательный разрывъ неизбѣженъ. Въ этой сценѣ полное и неизлечимое ничтожество Щетинина становится еще болѣе очевиднымъ. Марья Николаевна находится въ примирительномъ настроеніи собственно потому, что она, — какъ ей кажется, — отыскала возможность пристроить себя къ полезному дѣлу, не выѣзжая изъ деревни. Когда она враждовала, то враждовала она не съ личностью своего мужа, а съ тѣмъ образомъ жизни, на который онъ обрекъ самого себя и въ который затянулъ и ее. Когда она мирится, то мирится также только съ образомъ жизни, потому что находитъ возможность произвести въ немъ необходимыя усовершенствованія. Но Щетининъ ничего этого не понимаетъ. Ему все это дѣло представляется въ томъ видѣ, что, вотъ-молъ, барыня изволили шибко прогнѣваться, а потомъ положили гнѣвъ на милость, такъ какъ все это происходитъ отъ живости ихъ характера и совершенно извиняется молодостью ихъ лѣтъ, особенно если еще принять въ соображеніе красоту ихъ наружности, предоставляющей имъ полную свободу капризовъ. Поэтому онъ выѣзжаетъ исключительно на нѣжностяхъ и на любезностяхъ, усердно выражаетъ ей теплоту своихъ чувствъ и не высказываетъ ни одной дѣльной мысли по поводу того плана, въ которомъ для Марьи Николаевны заключается настоящій узелъ всего поднятаго вопроса. Мнѣ кажется, умная женщина непремѣнно должна почувствовать глубокое отвращеніе къ тому мужчинѣ, который въ разговорѣ съ нею никогда не можетъ или не хочетъ забыть ея полъ, то есть, всегда говоритъ съ нею, какъ съ женщиной, и никогда не говоритъ съ нею, какъ умный человѣкъ съ умнымъ человѣкомъ. Если онъ не хочетъ говорить съ нею такимъ образомъ,—это

Digitized by Google

значитъ, что онъ ставитъ ее ниже себя и считаетъ ее неспособной увлекаться тѣми интересами, которые составляютъ общее достояніе всего мыслящаго человѣчества. Если не можетъ,—это значитъ, для него не существуетъ ни одной страсти выше и сильнѣе полового влеченія; это значитъ, что нѣтъ для него во всемъ мірѣ ни одной великой идеи, которую онъ любилъ-бы настолько, чтобы, вглядываясь и вдумываясь въ нее, забыть хоть на нѣсколько минутъ о пріятной наружности своей собесѣдницы и о священныхъ обязанностяхъ любезнаго кавалера. Въ первомъ случаѣ умная женщина должна чувствовать себя глубоко оскорбленной, и если она дѣйствительно умна, то она непремѣнно съумѣетъ показать мужчинѣ, третирующему ее съ высоты своего величія, что онъ ошибается въ ней очень сильно. Во второмъ случаѣ со стороны женщины обнаружится скоро полное презрѣніе къ вѣчно-любезному и слѣдовательно безнадежно-пошлому кавалеру. Именно эта участь и должна постигнуть Щетинина. Ему приходится узнать на самомъ себѣ, что женщина любитъ не любовь мужчины, а его личность, и что слѣдовательно самая безукоризненная пламенность любви неспособна реабилитировать того субъекта, который самъ по себѣ безцвѣтенъ и ничтоженъ.

— «Да, говоритъ Щетининъ Марьѣ Николаевнѣ, заглядывая ей въ лицо,—ну, такъ стало быть, стало быть, ты не сердишься. Это главное.» Эти слова исчерпываютъ до дна всю пошлость этого человѣка.—«Нѣтъ,—отвѣчаетъ Марья Николаевна;—да вѣдь я тогда не сердилась. Вѣдь это совсѣмъ не то.» И затѣмъ она, чтобы перемѣнить разговоръ, спрашиваетъ: «ну, что же тамъ въ городѣ?» Вы видите, что она уже начинаетъ уклоняться отъ объясненій съ нимъ. Она говоритъ: «вѣдь это совсѣмъ не то», и даже не пробуетъ ввести его въ міръ своихъ мыслей; она чувствуетъ, что онъ ея не пойметъ, и это чувство становится для нея самой особенно замѣтнымъ и яснымъ въ ту минуту, когда онъ заглядываетъ ей въ лицо и произноситъ свои глупѣйшія слова: «стало быть, ты не сердишься, это главное». Какъ вы въ самомъ дѣлѣ начнете толковать этому воплощенію буржуазной мелкости и ограниченности, что *это* совсѣмъ не *главное*? Ему былъ поставленъ вопросъ обо всей его жизни; ему были высказаны сомнѣнія въ его личной честности; все его тунеядческое прозябаніе было подвергнуто строжайшему осужденію; а онъ во всей этой серьезной и глубоко-торжественной сценѣ замѣтилъ только то неудобное для себя обстоятельство, что его супруга изволитъ на него сердиться. Теперь ему позволили поцѣловать ручку, и весь разговоръ оказывается забытымъ,—тотъ разговоръ, въ которомъ были затронуты самыя глубокія основы его человѣческаго достоинства. Одно изъ двухъ: или обвиненія Марьи Николаевны показались ему справедливыми, или-же онъ считаетъ ихъ незаслуженными. Въ первомъ случаѣ ея слова должны были потрясти его до глубины души, потому что эти слова отнимаютъ у него возможность уважать самого себя, а для всякаго маломальски порядочнаго человѣка самоуваженіе составляетъ необходимое условіе существованія. Во второмъ случаѣ онъ долженъ былъ заботиться не о томъ, чтобы помириться съ нею и поцѣловать ее въ губки, а о томъ, чтобы оправдаться въ ея глазахъ и снова завоевать себѣ уваженіе любимой женщины, которое для всякаго порядочнаго человѣка несравненно дороже ея любви, еслибы даже позволительно было предположить, что прочная любовь возможна безъ уваженія. Въ томъ и въ другомъ случаѣ нѣжное примиреніе для самого Щетинина не заключаетъ въ себѣ никакого смысла и не должно имѣть никакой цѣны. Еслибы онъ былъ способенъ понимать тяжесть направленныхъ противъ него обвиненій, то ему надо было или начать совершенно новую жизнь, или представить на судъ Марьѣ Николаевнѣ такія фактическія доказательства, которыя опровергали-бы всѣ ея обвиненія. Но онъ даже не знаетъ, чего отъ него требуютъ и за что на него такъ взъѣлись; онъ по неволѣ долженъ приписывать всю эту исторію раздражительности дамскаго темперамента и рѣзкой необузданности рязановскихъ разсужденій. Само собою разумѣется, что передъ грандіозностью этого тупоумія у Марьи Николаевны опускаются руки и обрывается голосъ. Если Щетининъ такъ удачно понимаетъ общій смыслъ всей коллизіи, то понятно, что Марьѣ Николаевнѣ нечего ждать отъ него совѣтовъ и помощи въ томъ дѣлѣ, въ которомъ она надѣется найдти примиреніе съ окружающей жизнью. Марья Николаевна додумалась до того убѣжденія, что грамотность составляетъ первую потребность крестьянъ; поэтому она хочетъ завести сельскую школу и полагаетъ, что полезные труды преподаванія помирятъ ее съ веселой и сытой жизнью деревенской барыни. Она разсказываетъ свой планъ Щетинину, но не возлагаетъ собственно на него самого никакихъ надеждъ; она прямо говоритъ ему, что посовѣтуется съ Рязановымъ, который навѣрно не откажется ей помогать. Щетинину не хотѣлось бы, чтобы его супруга обращалась къ Рязанову, но въ то-же время онъ, Щетининъ, не умѣетъ даже заинтересоваться ея предпріятіемъ, не умѣетъ обсудить его удобоисполнимости, не умѣетъ произнести ни одного такого слова, въ которомъ виденъ былъ-бы проблескъ самостоятельнаго ума, или искренняго сочувствія, или даже самой простой житейской опытности. Ничего, ровно ничего такого, что могло-бы обра-

Digitized by Google

тить на себя вниманіе Марьи Николаевны и вызвать между обоими супругами хоть какой-нибудь обмѣнъ мыслей. Марья Николаевна уходитъ отъ него съ тѣмъ-же, съ чѣмъ и пришла. Въ первый разъ, когда ей понадобился дѣльный совѣтъ, она принуждена обращаться за нимъ къ постороннему человѣку. Очень понятно, что этотъ человѣкъ пріобрѣтаетъ себѣ то уваженіе и довѣріе, котораго не могъ удержать за собою ея мужъ. Щетининъ становится для нея нулемъ. Она понимаетъ, что онъ стоитъ гораздо ниже тѣхъ горячихъ упрековъ, съ которыми она обращалась къ нему во время перваго объясненія.

VII.

Не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что очень многіе читатели, — напримѣръ, всѣ любители и кліенты «Московскихъ Вѣдомостей»,— назовутъ Рязанова отъявленнымъ негодяемъ, разрушающимъ семейное счастье достойнѣйшаго человѣка, а Марью Николаевну—взбалмошной бабой, неспособной оцѣнить мягкость и великодушіе нѣжнѣйшаго изъ супруговъ и щедрѣйшаго изъ землевладѣльцевъ. Все это въ порядкѣ вещей. Еслибы эти господа читатели осмѣлились осудить Щетинина, то имъ пришлось бы произнести строжайшій приговоръ надъ своими собственными особами. На это не рѣшится почти никто. Такъ какъ число этихъ читателей, закупленныхъ своимъ положеніемъ, очень значительно, и такъ какъ понятія, господствующія въ нашемъ обществѣ, составляются почти исключительно изъ ихъ пристрастныхъ сужденій, то я поставленъ въ необходимость говорить довольно подробно о такихъ простыхъ истинахъ, на которыя при другихъ условіяхъ достаточно было-бы указать мимоходомъ. Мнѣ теперь приходится доказывать то, что для мыслящихъ людей не требуетъ никакихъ доказательствъ, — именно то, что Щетининъ—совершенная дрянь и что онъ, попавши въ фальшивое положеніе, неизбѣжно долженъ былъ сдѣлаться дрянью, даже въ томъ случаѣ, еслибы природа одарила его не совсѣмъ дюжинными способностями. По правдѣ сказать, вся судьба человѣка зависитъ отъ того, какими средствами онъ поддерживаетъ свое собственное существованіе. Каждый взрослый человѣкъ воленъ наполнять свой собственный желудокъ какими угодно кушаньями, — продовольствовать собственныя легкія какимъ угодно воздухомъ и покрывать свою собственную кожу какимъ угодно слоемъ пыли и грязи. Все это такъ, но существуетъ однакоже такая наука — гигіена, которая изучаетъ тѣ условія, при которыхъ человѣческій желудокъ, человѣческія легкія и человѣческая кожа находятся въ нормальномъ или здоровомъ состояніи; та наука можетъ предсказать заранѣе тѣ послѣдствія, которыя повлечетъ за собою то или другое уклоненіе отъ правильнаго образа жизни, соотвѣтствующаго ея разумнымъ предписаніямъ. Гигіена говоритъ одному: вы испортите себѣ желудокъ; другому: вы наживете чахотку; третьему: вы совсѣмъ опаршивѣете. Говоря такимъ образомъ, она никого не оскорбляетъ, не посягаетъ ни на чьи права, не насилуетъ ничьей свободы; она только показываетъ, что изъ чего выходитъ; она только разъясняетъ причинную связь между извѣстнымъ образомъ жизни и извѣстными разстройствами организма. Раскрывая эту причинную связь, гигіена произноситъ свой строгій приговоръ не только надъ какими-нибудь эксцентрическими или болѣзненными привычками, составляющими достояніе отдѣльныхъ личностей, но даже надъ цѣлыми организованными профессіями, которыя считаются необходимыми для благосостоянія или комфорта всего общества. Такъ напримѣръ, она говоритъ прямо, что у портныхъ искривляются ноги, у часовщиковъ портится зрѣніе, у наборщиковъ образуются расширенія венъ въ ногахъ, у зеркальщиковъ развивается отъ ртути дрожаніе всѣхъ членовъ. И однакоже никто не жалуется на гигіену, что она excite à la haine et au mépris—возбуждаетъ ненависть и презрѣніе къ портнымъ, къ часовщикамъ, къ наборщикамъ и такъ далѣе.

Если образъ жизни, занятія и привычки кладутъ свою печать на кости, мускулы, кровеносную систему и нервы даннаго субъекта, то само собою разумѣется, что вліяніе тѣхъ-же условій должно распространяться также и на всю совокупность его умственныхъ отправленій. Каждая человѣческая способность и каждая человѣческая страсть, подобно каждому отдѣльному мускулу, развиваются отъ частаго упражненія и слабѣютъ или атрофируются отъ бездѣйствія. Поэтому, если можно опредѣлить заранѣе тѣ видоизмѣненія, которыя данная профессія произведетъ въ вашемъ тѣлосложеніи, то можно также обрисовать въ общихъ чертахъ тѣ перемѣны, которыя, подъ вліяніемъ этой профессіи, обнаружатся въ складѣ вашихъ понятій и стремленій. Если можно сказать навѣрное, что постоянное переписываніе бумагъ наградитъ васъ геморроемъ и сутуловатостью, то можно также выразить то печальное предположеніе, что это машинальное занятіе притупитъ ваши умственныя способности. Если можно сказать, что занятія разсыльнаго развиваютъ въ немъ силу ножныхъ мускуловъ, то почему-же не сказать, что занятія ростовщика развиваютъ въ немъ способность и привычку относиться равнодушно къ человѣческому горю, точно такъ-же,

Digitized by Google

какъ напримѣръ занятія хирурга развиваютъ въ немъ способность и привычку смотрѣть спокойно на текущую кровь и на отрѣзанныя руки и ноги. Словомъ, если возможна гигіена тѣла, то возможна также гигіена ума и характера. Само собою разумѣется, что обѣ эти науки должны постоянно стремиться къ соединенію между собою; обѣ онѣ достигнутъ своего совершенства и обнаружатъ все свое плодотворное вліяніе только тогда, когда соединеніе это, о которомъ теперь невозможно и мечтать, сдѣлается дѣйствительнымъ и общепризнаннымъ фактомъ. До сихъ поръ гигіена ума и характера находится въ совершенномъ младенчествѣ; ею занимаются только такіе люди, которыхъ никто не считаетъ за ученыхъ; для нея собираютъ матеріалы беллетристика и литературная критика; поэты и рецензенты задумываются надъ тѣми типами, въ которыхъ выражаются особенности общественной жизни, и надъ тѣми ингредіентами, изъ которыхъ эти типы слагаются. Практическіе-же люди, въ этомъ отношеніи какъ и во многихъ другихъ, бредутъ на авось, увлекаются обстоятельствами въ ту или другую сторону и не отдаютъ себѣ никакого отчета въ тѣхъ путяхъ, которые приводятъ ихъ къ неизвѣстнымъ, неожиданнымъ результатамъ; эти практическіе люди въ большей части случаевъ пріобрѣтаютъ себѣ къ лѣтамъ мужественной зрѣлости такія умственныя и нравственныя физіономіи, которыя внушили-бы имъ самимъ отвращеніе и ужасъ, еслибы они сохранили до зрѣлыхъ лѣтъ юношескую свою впечатлительность и требовательность. Какимъ образомъ пріобрѣлись эти искаженныя физіономіи, этого они не знаютъ; такихъ учебниковъ, въ которыхъ можно было-бы справиться о причинахъ умственныхъ и нравственныхъ убогостей, до сихъ поръ еще никто не составлялъ. Если-же вы, не будучи патентованнымъ составителемъ учебниковъ, попробуете изучить и описать важнѣйшія изъ этихъ причинъ, то легко можетъ случиться, что въ награду за ваше безпристрастное изслѣдованіе вы прослывете вреднымъ памфлетистомъ, желающимъ кого-то exciter à la haine et au mépris ко всѣмъ практическимъ людямъ. Впрочемъ уже давно извѣстно, что всякое новое изслѣдованіе всегда кажется сначала почтенной публикѣ неслыханно дерзкимъ посягательствомъ на какое-нибудь общественное сокровище. Чѣмъ новѣе изслѣдованіе и чѣмъ почтеннѣе публика, тѣмъ громче оказываются вопли ужаса.

Еслибы порядочные люди робѣли и отступали передъ этими воплями, то никакихъ изслѣдованій не производилось-бы, и всѣ старыя заблужденія наслаждались-бы полной неприкосновенностью. Этого нѣтъ и не должно быть. Поэтому я начинаю теперь анализъ двухъ вышеупомянутыхъ категорій съ гигіенической точки зрѣнія. Для большей наглядности и безобидности я придамъ этому анализу форму дружескаго разговора между мною и господиномъ Щетининымъ, котораго я беру въ періодѣ его студенческихъ стремленій и юношескихъ иллюзій.

— Чѣмъ вы занимаетесь въ университетѣ?—спрашиваю я у него.—Вѣдь вы, кажется, юристъ?

— Да, говоритъ онъ:—по правдѣ сказать, почти ничѣмъ. Я въ восхищеніи отъ нашего университетскаго товарищества, но факультетъ мнѣ рѣшительно не нравится.

— Отчего-жъ вы не перейдете на другой факультетъ, на такой, который вамъ нравится?

— Да куда-жъ я перейду? Въ филологи— греческаго языка не знаю; въ математики — сохрани меня Богъ! Въ натуралисты — слуга покорный! Побывалъ я у нихъ разъ въ химической лабораторіи — и закаялся. Такого напустили сѣрнистаго водорода, что меня три дня тошнило. А тамъ вѣдь у нихъ еще анатомія есть. Они у себя въ квартирѣ крысъ потрошатъ изъ любви къ наукѣ. Посудите сами, какія-же это занятія. Оно пожалуй и любопытно, да ужъ черезчуръ непріятно. Ну, въ камералисты и переходить не стоитъ. Почти то-же самое, что̀ у насъ, только предметовъ еще больше, и въ лабораторію ходить надо. Развѣ для штуки подняться въ третій этажъ и засѣсть за белуджистанскую литературу? Такъ вѣдь это именно только для штуки можно.

— Да, разумѣется. Переходить вамъ дѣйствительно некуда.

— И главное дѣло не зачѣмъ. Память у меня блестящая. Экзамены я сдаю великолѣпно. Значитъ, я свою юриспруденцію дотяну до конца, какъ слѣдуетъ, а потомъ, какъ получу дипломъ, такъ сейчасъ ее и по боку.

— Совсѣмъ по боку нельзя. А служить-то какъ-же безъ юриспруденціи?

— Я служить не буду.

— Либерализмъ одолѣваетъ?

— Какой либерализмъ! Либерализмъ этому нисколько не мѣшаетъ. Не только не мѣшаетъ, а даже побуждаетъ служить. Тутъ стало быть дѣло совсѣмъ не въ либерализмѣ. Я не буду служить потому, что намѣренъ поселиться въ деревнѣ.

— Что-жъ вы тамъ намѣрены дѣлать?

— Тамъ-то!? Да тамъ теперь самая настоящая работа и начинается. Во-первыхъ, я хочу упрочить положеніе бывшихъ моихъ крѣпостныхъ. А во-вторыхъ, буду жить тихо, скромно, спокойно, обложу себя книгами, буду понемногу улучшать хозяйство, женюсь, будемъ съ женой заниматься хозяйствомъ, музыкой, будемъ кататься на лодкѣ, будемъ

Digitized by Google

много, много читать, будемъ вмѣстѣ учить крестьянскихъ дѣтей... Да, помилуйте, теперь трудно и высказать, какъ много добра можно тамъ сдѣлать, какъ сильно можно подѣйствовать на все окружающее общество; вѣдь не звѣри-же тамъ живутъ, а люди; вѣдь теперь и тамъ уже много молодыхъ дѣятелей, получившихъ высшее образованіе; вѣдь стоитъ только дать первый толчекъ; все это проснется и двинется... Лишь-бы обстоятельства не помѣшали,—а то можно цѣлый край пересоздать. Была-бы только любовь къ дѣлу, а ея, какъ видите, достаточно.

— А вы теперь сколько получаете доходу?

— Въ хорошіе годы тысячи четыре, да только теперь эти хорошіе годы что-то рѣдки становятся. Въ прошломъ году на 2500 пришлось съѣхать.

— Ну, а съ крестьянами-то вы какъ-же раздѣляетесь? На выкупъ пойдутъ, или какъ?

— Что вы? Помилуйте! Какой выкупъ! Мои убѣжденія не позволяютъ мнѣ брать съ нихъ деньги за ту землю, которой они владѣютъ. Вѣдь еслибъ вы знали, какъ меня любятъ эти люди; вѣдь я, когда маленькій былъ, каждаго мужика въ лицо зналъ и по имени. Какъ я иду, бывало, по деревнѣ, мужикъ встрѣчается и сейчасъ къ рукѣ подходитъ; я разумѣется не даю ни подъ какимъ видомъ, и начинаются цѣлованія въ губы. Славное это было время!

— Стало-быть, землю даромъ даете?

— О, разумѣется!

— Тогда вѣдь, пожалуй, на 1500 придется съѣхать.

— Не думаю. Во-первыхъ, вамъ должно быть извѣстно, что вольнонаемный трудъ производительнѣе обязательнаго. Это — экономическая аксіома. Второе дѣло — хозяйскій глазъ. Теперь прикащикъ валитъ черезъ пень колоду, а ужъ тогда—извините. Ну, потомъ машины можно завести. Вмѣсто трехпольнаго хозяйства — плодопеременную систему. Кое-какія свободныя деньги у меня есть: заведу тирольскихъ коровъ. Однимъ словомъ, извернуться можно. Я надѣюсь даже такъ устроить, что у меня еще больше будетъ дохода, чѣмъ прежде. Главное дѣло—энергія и любовь къ дѣлу.

— Это-то все хорошо; да только вѣдь вы сейчасъ говорили, что вы этихъ людей очень любите.

— Такъ что-же? Разумѣется люблю. Ещебы я ихъ не любилъ! Да еслибы я не любилъ ихъ лично по воспоминаніямъ дѣтства, такъ я все-таки долженъ въ нихъ любить мое отечество. Вѣдь эта сермяга именно можетъ ударить себя въ грудь и сказать: «la patrie c'est moi». Если сермягѣ хорошо жить на свѣтѣ, значитъ, все отечество благоденствуетъ.

— Что вы яростный демократъ — это я давно вижу. А вы мнѣ вотъ что объясните— вы въ деревнѣ о чемъ будете заботиться: о сермягѣ или о доходѣ?

— Одно другому нисколько не мѣшаетъ. Сермяга получитъ землю, произойдутъ великія цѣлованія: *батюшка*, *отецъ родной*, *озолотилъ*, и такъ далѣе. Ну, когда все это кончится, задамъ я имъ пиръ горой, а потомъ и начну доходы свои совершенствовать.

— Кто-же вашу землю пахать будетъ? Все-таки та-же сермяга?

— Ну, разумѣется. Не могу-же я самъ тысячу десятинъ вспахать, засѣять и убрать.

— А одну можете?

— Не пробовалъ, да, я думаю, и пробовать не-зачѣмъ. Буду я вѣроятно нанимать своихъ же бывшихъ крестьянъ, и они разумѣется будутъ у меня работать съ превеликимъ удольствіемъ.

— Какую-жъ вы имъ цѣну будете давать? Что запросятъ — такъ сейчасъ вы и согласитесь?

— А вы думаете, они будутъ запрашивать?

— Я думаю, ихъ прямой интересъ состоитъ въ томъ, чтобы брать за свой трудъ какъ можно дороже, а въ чемъ будетъ состоять вашъ прямой интересъ,—это вы мнѣ потрудитесь теперь объяснить. У васъ тутъ произойдетъ столкновеніе между любовью къ сермягамъ и любовью къ доходу. Которое-же изъ этихъ двухъ чувствъ одержитъ перевѣсъ? А если они должны оставаться въ равновѣсіи, то какимъ образомъ вы ухитритесь устроить между ними примиреніе?

— Да что-жъ тутъ мудренаго? Какъ другіе хозяева дѣлаютъ, такъ и я буду дѣлать.

— Другіе хозяева не дарятъ земли, другіе хозяева не чувствуютъ никакой особенной нѣжности къ сермягѣ, другіе не говорятъ о благоденствіи отечества, другіе не собираются пересоздавать цѣлый край, и поэтому другіе могутъ торговаться *съ этими бестіями*, и дѣйствительно торгуются изъ-за каждой копѣйки, и никто имъ за это не скажетъ худого слова, потому что ихъ дѣло хозяйское; но какимъ образомъ опасный человѣкъ и яростный демократъ Щетининъ будетъ торговаться *съ этими бестіями*—этого я ужъ никакъ не умѣю взять въ толкъ.

— Я не говорилъ вамъ, что буду подражать разнымъ Плюшкинымъ и Ноздревымъ. Я буду дѣйствовать такъ, какъ дѣйствуютъ всѣ честные и хорошіе хозяева. Если мужикъ заломитъ цѣну совсѣмъ несообразную,—ну, тогда разумѣется я ему растолкую, что такъ

Digitized by Google

нельзя, что это недобросовѣстно, что такимъ образомъ онъ рискуетъ остаться безъ работы. И тутъ-же я ему объясню, какими выгодами онъ будетъ пользоваться, если согласится принять мои условія, составленныя къ нашему обоюдному удовольствію. Разговоръ со мною будетъ даже очень полезенъ для мужика; вмѣсто того, чтобы торговаться,—какъ вы выражаетесь, — *съ этими бестіями*, я просто буду читать моимъ возлюбленнымъ согражданамъ лекціи политической экономіи. Это развѣ дурно?

— Кромѣ траты времени, въ этихъ лекціяхъ не будетъ ничего дурного, по той простой причинѣ, что слушатели ваши, къ счастью для себя, не поймутъ и не захотятъ понимать ваши разсужденія.

— Въ настоящую минуту я тоже не понимаю васъ.

— Понять не трудно. Вамъ хочется убѣдить мужика въ томъ, что онъ ломитъ съ васъ несообразную цѣну и поступаетъ недобросовѣстно.

. . . . . .

И поворотится у васъ языкъ читать возлюбленнымъ согражданамъ такія лекціи политической экономіи? А если поворотится, — то будете-ли вы имѣть достаточное право презирать разныхъ Плюшкиныхъ и Ноздревыхъ, которые торгуются *съ этими бестіями?* Прочтите вы мужику вашу лекцію; она разумѣется на него не подѣйствуетъ. Вы тогда что сдѣлаете? — Вы тогда припрете мужика къ стѣнѣ тѣмъ аргументомъ, что онъ, — несообразный мужикъ, — *рискуетъ остаться безъ работы.* — Этотъ аргументъ подѣйствуетъ. Еще-бы не подѣйствовать! Аргументъ старый, испытанный, посѣдѣлый въ бояхъ, но вѣчно юный, прекрасный и убѣдительный! Но когда вы будете употреблять этотъ убѣдительный аргументъ, вы ужъ такъ и знайте, что именно вы дѣлаете. Вы тогда не думайте, что читаете возлюбленному соотечественнику «лекцію политической экономіи»...

— Богъ знаетъ, что вы говорите! И кто вамъ сказалъ, что я намѣренъ торговаться. Что запросятъ, то я и буду давать. Ну, довольны-ли вы наконецъ?

— Да я и прежде былъ очень доволенъ. Мое дѣло—сторона. А что *вы* не будете довольны вашими доходами, въ этомъ я могу увѣрить васъ заранѣе. Если вы не будете прибѣгать къ вышеупомянутому «убѣдительному аргументу», они оберутъ васъ до-чиста въ самое короткое время.

— То-есть какъ-же это? Небось потребуютъ сразу по сту рублей въ день?

— Зачѣмъ-же сразу и зачѣмъ-же по сту! Они тоже не сумасшедшіе. Сразу они увидятъ только, что вы — баринъ податливый и что васъ можно забрать въ руки. И заберутъ?

— Какъ-же это они меня заберутъ?

— Очень просто. Можно работать изо всѣхъ силъ и можно работать спустя рукава. Можно вставать на работу въ четыре часа и можно вставать въ семь часовъ. Можно тратить на обѣденный отдыхъ часъ и можно тратить три часа. Можно держать рабочихъ лошадей въ чистотѣ и въ порядкѣ и можно держать ихъ чортъ знаетъ какъ. Можно обходиться съ инструментами бережно и можно обходиться небрежно. Во всѣхъ этихъ случаяхъ мѣшкотность и небрежность для работника выгодны, потому что сберегаютъ его силы, а для хозяина убыточны, потому что количество добываемыхъ продуктовъ уменьшается и рабочіе инструменты портятся. Когда работникъ ведетъ дѣло лѣниво или небрежно, тогда хорошій хозяинъ съ него взыскиваетъ. Если-же вы по либеральности вашего образа мыслей взыскивать не намѣрены, то хозяйство ваше все пойдетъ въ разбродъ и произойдетъ именно то, что ваши работники заберутъ васъ въ свои руки. Вы ихъ будете кормить, одѣвать, обувать и постоянно будете оставаться въ чистомъ убыткѣ. Какъ вамъ нравится эта перспектива? И какъ вы полагаете,

Digitized by Google

не поворотить-ли вамъ обратно къ испытаннымъ мѣрамъ спасительной строгости?

— Послушайте! Въ самомъ дѣлѣ, совсѣмъ безъ взысканій обойтись въ хозяйственномъ дѣлѣ невозможно. Кое-какая дисциплина совершенно необходима. Иначе вѣдь это дымъ коромысломъ пойдетъ. Лѣнь, грубость, пьянство—просто хоть вонъ бѣги! Это даже и для нихъ самихъ скверно будетъ. Они совсѣмъ негодяями сдѣлаются.

— Еще-бы, разумѣется!

— Да. Ну, такъ какъ-же не взыскивать? Взысканія у меня будутъ, и, стало быть, батраки мои не заберутъ меня въ руки.

— Всѣ виды взысканія можно свести къ двумъ категоріямъ: одни—тѣлесныя наказанія, другія—денежные штрафы. Мужика можно бить или дубиной, или полтиной. Вы которое изъ этихъ орудій намѣрены пустить въ ходъ?

— Я совершенно неспособенъ драться съ мужиками.

— Драть мужиковъ и драться съ мужиками—двѣ вещи разныя. Но я не стану привязываться къ словамъ. Итакъ, вы склоняетесь къ полтинѣ?

— Если мужикъ своей небрежностью нанесетъ мнѣ убытокъ, то онъ по всей справедливости обязанъ вознаградить меня за этотъ убытокъ. Брать съ него вознагражденіе—значитъ пріучать его къ осмотрительности и къ добросовѣстности.

— Именно такъ. Напримѣръ у васъ идетъ уборка хлѣба и вы пользуетесь сухой погодой, чтобы поскорѣе свезти съ поля всю вашу пшеницу; вамъ каждый часъ дорогъ, потому что—того и гляди—начнутся дожди, хлѣбъ вымокнетъ, проростетъ и убытковъ не оберешься. Каждое замедленіе работниковъ посягнетъ прямо на ваши карманы. И вдругъ вы узнаете, что работники вышли въ поле не въ четыре часа утра, а въ шесть. Разумѣется, надо взыскать съ каждаго изъ нихъ по крайней мѣрѣ по 5 копѣекъ штрафа за каждый упущенный часъ. Такъ или нѣтъ?

— По моему такъ.

— Всѣ хорошіе хозяева, то-есть всѣ благоразумные люди, смотрящіе на работника какъ на машину, доставляющую намъ удобства къ жизни, совершенно съ вами согласятся. Но есть люди безразсудные, которые по этому поводу способны наговорить много сантиментальнаго вздора. Они скажутъ напримѣръ, что самый жалкій и зависимый батракъ—все-таки живой человѣкъ и что у него есть свои органическія потребности, за удовлетвореніе которыхъ штрафовать не годится. Они скажутъ, что, работая цѣлый длинный лѣтній день, мужикъ измучился, что ему напекло голову, что онъ долго не могъ заснуть съ вечера именно отъ головной боли, и что поэтому ему невозможно было подняться на работу въ четыре часа. Какъ все это наивно и смѣшно! Мужику напекло голову—ха, ха, ха! —У мужика голова болитъ—ха, ха, ха! – Мужику утромъ спать хочется—ха, ха, ха!—И пшеницѣ господской изъ-за этого мокнуть—ха, ха, ха! Убѣдительно васъ прошу раздѣлить со мною мою веселость. Съ какой стати вы предоставляете мнѣ одному удовольствіе смѣяться надъ безразсудными рѣчами безразсудныхъ людей.

— Я вовсе не считаю этихъ людей безразсудными и нисколько не намѣренъ смотрѣть на мужика, какъ на машину.

— Напрасно! Ну, такъ смотрите на него по крайней мѣрѣ какъ на злѣйшаго и коварнѣйшаго врага.

— И этого не хочу. Это еще грустнѣе.

— Чего-же вы наконецъ хотите? И какъ-же вы наконецъ намѣрены смотрѣть на вашихъ батраковъ? Небось скажете: какъ на младшихъ братьевъ? Вотъ одолжите-то!

— Это конечно фраза избитая и опошленная. Много нужно храбрости на то, чтобы произнести ее серьезно. И однако-же я все-таки произнесу ее: да, я твердо рѣшился смотрѣть на нихъ, какъ на младшихъ братьевъ.

— О, мой добродѣтельный юноша! О, мой храбрый и твердо рѣшившійся либералъ! Какъ живо разлетится одно изъ двухъ: или ваше родовое имущество, или ваше благопріобрѣтенное братолюбіе! Вы подумайте хорошенько:—которое изъ двухъ сокровищъ для васъ дороже? И подумавши, рѣшите заранѣе:—съ которымъ изъ нихъ вы намѣрены разстаться. И наконецъ, рѣшившись, дѣйствуйте смѣло и послѣдовательно, окончательно отложивши въ сторону несбыточныя надежды сохранить въ неприкосновенности оба сокровища разомъ. Вы не вѣрите тому, что я вамъ говорю?

— Не вѣрю.

— И намѣрены удержать и пріумножить оба сокровища?

— Намѣренъ.

— Ну, такъ слушайте-же. Я предлагалъ вамъ смотрѣть на работника, какъ на машину. Вы отказались и прогулялись на счетъ братолюбія. Вашимъ отказомъ и вашей прогулкой вы подорвали основной принципъ *наемщины*, на которой должно держаться все ваше хозяйство. Наемщина немыслима безъ двухъ условій: первое — борьба за рабочую плату; второе—борьба за исправность работы. Другими словами: надо торговаться и надо взыскивать. Безъ этого не можетъ идти ни одно хозяйство, построенное на батрачествѣ. Если я смотрю на батрака, какъ на машину, мнѣ очень удобно и торговаться съ нимъ, и взыскивать съ него. Я предлагаю ему ничтожную цѣну, онъ упирается. Что это значитъ? Это значитъ, что машина, которую я тащу къ себѣ въ домъ,

Digitized by Google

упирается по силѣ инерціи. Надо побѣдить это сопротивленіе энергическимъ усиліемъ, напримѣръ стачкой нанимателей. Когда усиліе сдѣлано и сопротивленіе побѣждено, тогда все обстоитъ благополучно. Хорошо-ли работнику при ничтожной платѣ, и какимъ образомъ онъ ухитрится свести концы съ концами, и чѣмъ онъ будетъ набивать себѣ желудокъ,—всѣ эти вопросы не имѣютъ ни малѣйшаго смысла, точно такъ, какъ не имѣетъ смысла вопросъ о томъ: пріятно-ли машинѣ стоять у меня въ комнатѣ. Такъ-же удобно совершаются необходимыя взысканія. Что я дѣлаю съ машиной, когда она начинаетъ дѣйствовать неисправно?—Я смазываю ее деревяннымъ масломъ. Что я дѣлаю съ лошадью, когда она не желаетъ бѣжать рысью?—Я смазываю ее ловкимъ ударомъ кнута. Что я дѣлаю съ работникомъ, когда онъ работаетъ вяло и небрежно?—Я также смазываю его достаточнымъ количествомъ розогъ или, при измѣнившихся обстоятельствахъ, вычетомъ изъ его задѣльной платы. Почему, отчего, зачѣмъ работникъ работаетъ вяло и небрежно—объ этомъ я не спрашиваю, точно такъ-же, какъ не интересуюсь размышленіями, страстями или огорченіями лошади, не желающей идти рысью...

— Все это чистыя теоріи и утопіи. Вы меня нисколько не убѣдите. Я рѣшился твердо и пойду впередъ по тому пути, который я себѣ выбралъ. Дальнѣйшія возраженія съ моей стороны я считаю безполезными, но мнѣ любопытно было-бы знать,—такъ просто, изъ желанія посмотрѣть на воздушные замки,—къ какимъ положительнымъ теоретическимъ заключеніямъ вы ведете вашу аргументацію. Вы старались доказать, что надо выбрать одно изъ двухъ: братолюбіе или пріумноженіе доходовъ. Представьте себѣ, что я убѣдился вашими доводами и, послѣ зрѣлаго размышленія, твердо рѣшился выбрать, во что-бы то ни стало, чистѣйшее братолюбіе. Что-же мнѣ слѣдовало-бы дѣлать?

— Работать.

— Работать! Хорошъ отвѣтъ! Вы скажите, *что* и *какъ* работать?

— Хорошъ вопросъ! Точно я могу залѣзть въ вашу шкуру, смотрѣть на вещи вашими глазами, думать вашимъ мозгомъ, и вообще понимать лучше васъ самихъ всѣ тончайшія особенности вашего ума, характера и темперамента? Я могу сказать вамъ только одно: къ чему вы расположены, тѣмъ и занимайтесь.

— А если я ни къ чему не расположенъ?

— Тогда у васъ братолюбія быть не можетъ, и тогда дальнѣйшій разговоръ становится безполезнымъ.

— Почему-же не можетъ быть братолюбія?

— Кто любитъ людей, тотъ хочетъ, во что бы то ни стало, приносить имъ пользу и слѣдовательно чувствуетъ влеченіе ко всякой дѣятельности, способной, такъ или иначе, облегчить человѣческія страданія. Если это влеченіе существуетъ, то затѣмъ остается только изъ многихъ полезныхъ отраслей труда выбрать ту, которая соотвѣтствуетъ всего больше складу вашего ума. И такая отрасль непремѣнно найдется, если только вы не идіотъ и не калѣка.

— Ну, положимъ, что такая отрасль нашлась. Дальше, что-же?

— Дальше ничего. Будете жить, будете работать, будете приносить пользу, потомъ въ свое время умрете.

— Все это я и намѣренъ дѣлать у себя въ деревнѣ. Буду работать—то есть заниматься хозяйствомъ; буду приносить пользу—устрою школу, больницу, образцовую ферму.

— Охота вамъ говорить о хозяйствѣ. Ну, какой-же вы агрономъ, какой-же вы спеціалистъ? Попробуйте наняться къ кому-нибудь въ управляющіе: возметъ-ли васъ кто-нибудь, и много ли дадутъ вамъ жалованья, и долго-ли васъ продержатъ? Неужто вы въ самомъ дѣлѣ думаете, что будете получать ваши доходы за ваши агрономическіе труды, а не за то совершенно независящее отъ васъ обстоятельство, что вамъ принадлежитъ извѣстное пространство земли. Вы будете жить въ деревнѣ доходами съ земли, которую обрабатываютъ за васъ другіе люди. Развѣ это значитъ жить собственнымъ трудомъ? Потомъ вы сюда еще приплели школу и больницу. Если вы сами намѣрены сдѣлаться школьнымъ учителемъ, то вамъ и книги въ руки: только въ такомъ случаѣ надо удовольствоваться тѣмъ жалованьемъ, которое получаютъ сельскіе учителя. Больницу же вы никогда не устроите, потому что для этого вамъ пришлось-бы отказаться отъ многихъ удобствъ жизни.

— Такъ, по вашему, что-же я долженъ сдѣлать съ имѣніемъ?

— По моему, давно пора прекратить этотъ разговоръ. Поѣзжайте къ себѣ въ деревню, откажитесь отъ глупыхъ фантазій, свойственныхъ петербургскому студенту, и превращайтесь поскорѣе въ образцоваго хозяина. Вы сами знаете очень хорошо, что для васъ въ жизни нѣтъ другой дороги.

Digitized by Google

ПОГИБШІЕ и ПОГИБАЮЩІЕ.

I.

Сравнительный методъ одинаково полезенъ и необходимъ, какъ въ анатоміи отдѣльнаго человѣка, такъ и въ соціальной наукѣ, которую можно назвать анатоміей общества.

Въ анатоміи человѣка сравнительный методъ можетъ прикладываться къ дѣлу или такъ, что сравниваются между собою одинаковые органы различныхъ животныхъ, или-же такъ, что для сравненія берутся различные органы одного и того-же животнаго. Въ анатоміи общества умѣстны и употребительны оба видоизмѣненія сравнительнаго метода. Можно сравнивать между собою соотвѣтственныя учрежденія различныхъ обществъ, напримѣръ суды Франціи съ судами Англіи, Пруссіи, Россіи и такъ далѣе; и можно также сопоставлять и разсматривать въ связи между собою различныя учрежденія одного и того-же общественнаго организма, напримѣръ французскую армію и французскіе финансы, прусскую палату депутатовъ и прусское чиновничество, англійское землевладѣніе и англійское workhouses (рабочіе дома для нищихъ).

Въ этой статьѣ я намѣренъ представить читателю сравнительно-анатомическій этюдъ, произведенный по этому второму способу. Я намѣренъ сопоставить старую бурсу съ «мертвымъ домомъ». Результаты получатся неожиданные и довольно поучительные. Берусь-же я именно за эту задачу собственно потому, что мы имѣемъ въ нашей новѣйшей литературѣ два замѣчательныя сочиненія: «Очерки бурсы» Помяловскаго и «Записки изъ Мертваго дома» Достоевскаго, — два сочиненія, изъ которыхъ можно почерпнуть самыя достовѣрныя и самыя любопытныя свѣдѣнія о русской школѣ и о русскомъ острогѣ сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ.

Читателямъ покажется быть-можетъ, что, называя бурсу русской школой, я придаю бурсѣ слишкомъ обширное значеніе. Читатели скажутъ, что гимназіи, корпуса, лицеи, университеты и академіи непремѣнно должны быть признаны русскими школами, что бурсы составляютъ самую послѣднюю категорію русскихъ школъ, и что слѣдовательно, употребляя общее выраженіе *русская школа*, надо брать не низшій сортъ, а средній выводъ, который, разумѣется, долженъ оказаться значительно лучше этого низшаго сорта.—Это правда. Надо брать средній выводъ. Но тутъ есть одно маленькое затрудненіе: тотъ средній выводъ, на который указываетъ возраженіе читателей, изображаетъ собою совсѣмъ не русскую школу, а только школу русскаго привилегированнаго меньшинства. Настоящій средній выводъ, настоящая русская школа остаются неизвѣстными по той простой причинѣ, что несоразмѣрно-громадное большинство русскаго народа обходится до сихъ поръ совсѣмъ безъ школъ. Если-же мы, во что-бы то ни стало, непремѣнно желаемъ составить себѣ приблизительное понятіе о томъ, чѣмъ могла-бы быть русская школа, школа открытая и доступная для большинства, то мы должны удариться въ область предположеній. Хорошо, ударимся. Положимъ, что, при сохраненіи всѣхъ существующихъ условій нашей общественной жизни, въ каждой русской деревнѣ открыто по крайней мѣрѣ по одному училищу. Въ какомъ-же родѣ будутъ эти училища? Чему они будутъ обучать своихъ воспитанниковъ? Отвѣчать на этотъ вопросъ не трудно, если только мы желаемъ оставаться въ границахъ правдоподобнаго. Самые пылкіе просвѣтители, не только у насъ, но даже и за-границей, въ самыхъ пылкихъ своихъ мечтаніяхъ осмѣливаются доходить только до того требованія, чтобы всѣ ихъ соотечественники и соотечественницы умѣли читать, писать и считать. Дальше этого нейдутъ покуда ни ихъ желанія, ни ихъ надежды. При настоящихъ условіяхъ дальше идти дѣйствительно невозможно, потому что не на что: денегъ не хватитъ. Итакъ, въ деревенскихъ училищахъ будутъ читать, писать и считать. Въ бурсѣ этимъ не ограничиваются; стало-быть, уровень преподаванія немедленно понижается, какъ только школа начинаетъ дѣлаться доступной для большинства. Такое-же точно пониженіе допускается и въ личномъ составѣ учителей; въ бурсѣ учительствуютъ кандидаты и магистры духовныхъ академій или по меньшей мѣрѣ люди, окончившіе курсъ въ семинаріи; въ деревенскихъ училищахъ будутъ господствовать волостные писаря, безсрочно-отпускные солдаты, пономари, и вообще такіе люди, для которыхъ буква *ѣ* составляетъ вѣчный камень преткновенія, а дѣленіе простыхъ чиселъ — крайнюю границу человѣческой премудрости. Чѣмъ невѣжественнѣе преподаватель, тѣмъ менѣе имѣетъ онъ средствъ сдѣлать ученіе привлекательнымъ для

Digitized by Google

учениковъ; а чѣмъ скучнѣе и несноснѣе ученіе, тѣмъ сильнѣе долженъ быть педагогическій терроръ, потому что, разумѣется, только боль и страхъ могутъ сколько-нибудь противодѣйствовать тому естественному отвращенію, которое внушаютъ отрокамъ и юношамъ безсмысленные уроки, непонятные даже самому преподавателю. Стало быть, въ предполагаемыхъ деревенскихъ училищахъ должно непремѣнно совершиться одно изъ двухъ: или водворится терроръ, еще болѣе сильный, чѣмъ въ бурсѣ, или-же, если развитію террора помѣшаютъ какія-нибудь внѣшнія гуманно-либеральныя вліянія, — все преподаваніе окажется безплоднымъ, и ученики будутъ выходить изъ школы съ тѣми-же самыми знаніями, съ которыми они въ нее вступили.

Въ матеріальномъ отношеніи содержаніе учениковъ также будетъ еще хуже, чѣмъ содержаніе бурсаковъ. Какъ живутъ наши мужики, во что они одѣваются, что ѣдятъ — это, я думаю, до нѣкоторой степени извѣстно, хотя и по слухамъ, моему человѣколюбивому читателю. Какъ ни скромно, какъ ни мизерно внутреннее устройство бурсы, описанной Помяловскимъ, однакоже въ этой завалящей бурсѣ есть кое какіе предметы роскоши, неизвѣстной и недоступной огромному большинству нашихъ соотечественниковъ. Такъ напримѣръ, бурсаки учатъ уроки при свѣтѣ дрянной лампы, которая одна освѣщаетъ большую комнату, вмѣщающую въ себѣ болѣе сотни учениковъ. Эта дрянная лампа составляетъ чистѣйшую роскошь, потому что въ мужицкихъ избахъ горитъ по вечерамъ не лампа и даже не сальная свѣча, а лучина, при свѣтѣ которой читать книжку и заниматься наукой еще гораздо мудренѣе. Далѣе, у каждаго бурсака есть кровать съ тюфякомъ, съ подушкой и съ одѣяломъ; это уже огромная роскошь: большинство нашихъ соотечественниковъ спитъ на лежанкахъ, на лавкахъ, на палатяхъ, подкладывая подъ голову зипунъ и покрываясь въ холодное время какимъ-нибудь дырявымъ полушубкомъ. Если мы предположимъ, что ученики деревенскихъ школъ живутъ у своихъ родителей и приходятъ въ школу только на классное время, то окажется, что огромное большинство этихъ экстерновъ живетъ, ѣстъ и одѣвается хуже бурсаковъ, изображенныхъ у Помяловскаго. Если-же мы предположимъ, что въ каждой деревнѣ устроенъ особый пансіонъ, въ которомъ постоянно живетъ учащееся юношество, то этотъ пансіонъ своей мизерностью и неопрятностью далеко превзойдетъ бурсу Помяловскаго Кромѣ того даже этотъ мизернѣйшій и грязнѣйшій пансіонъ для многихъ сельскихъ общинъ окажется совершенно непосильнымъ бременемъ.

На содержаніе бурсака казна отпускаетъ *немного*; значительная часть прилипаетъ обыкновенно къ рукамъ смотрителя, инспектора, эконома и училищной прислуги; остаткомъ поддерживается бренное существованіе бурсака; остатокъ этотъ составляетъ уже очень незначительную горсточку земныхъ благъ; но даже и по такой горсточкѣ наше общество никакъ не можетъ тратить ежегодно на *каждаго* изъ своихъ подростающихъ членовъ. Бурсакъ живетъ очень бѣдно и грязно; но у него есть тысячи ровестниковъ, которые живутъ еще бѣднѣе и грязнѣе; между этими тысячами, составляющими большинство русскаго молодого поколѣнія, есть очень много и такихъ, которыхъ бѣдность и грязь доводятъ до преждевременной смерти. Поэтому назвать бурсу русской школой вовсе не значитъ обидѣть русскую школу. Разсматривая внутреннее устройство бурсы, мы вовсе не должны думать, что имѣемъ дѣло съ какимъ-нибудь исключительнымъ явленіемъ, съ какимъ нибудь особенно-темнымъ и душнымъ угломъ нашей жизни, съ какимъ-нибудь послѣднимъ убѣжищемъ грязи и мрака. Ничуть не бывало. Бурса — одно изъ очень многихъ и притомъ изъ самыхъ невинныхъ проявленій нашей повсемѣстной и всесторонней бѣдности и убогости.

Итакъ, будемъ разсматривать бурсу и мертвый домъ; проведемъ параллель между русской школой и русскимъ острогомъ сороковыхъ годовъ.

II.

Обитатели мертваго дома или, проще, каторжники занимаются, какъ извѣстно, обязательными казенными работами, которыя составляютъ одну изъ важнѣйшихъ составныхъ частей наложеннаго на нихъ наказанія. «Самая работа, — говоритъ Достоевскій, — показалась мнѣ вовсе не такъ тяжелой, *каторжной*, и только довольно долго спустя я догадался, что тяжесть и *каторжность* этой работы — не столько въ трудности и безпрерывности ея, сколько въ томъ, что она *принужденная*, обязательная изъ-подъ палки.» Далѣе Достоевскій соображаетъ очень основательно, что эта обязательная работа сдѣлалась-бы еще болѣе ужасной и даже совершенно невыносимой, еслибы ей былъ приданъ характеръ совершенной, полнѣйшей безполезности и безсмыслицы, то есть, еслибы напримѣръ арестанта заставили переливать воду изъ одного ушата въ другой, а изъ другого — въ первый, толочь песокъ, перетаскивать кучу земли съ одного мѣста на другое, и обратно.

Спрашивается теперь, есть-ли въ жизни бурсаковъ какое-нибудь занятіе, соотвѣтствующее обязательной работѣ каторжниковъ? Каждый бывшій бурсакъ и даже каждый чита-

Digitized by Google

тель, знакомый съ очерками Помяловскаго, отвѣтитъ не задумываясь, что всѣ учебныя занятія бурсаковъ похожи, какъ двѣ капли воды, на обязательную работу каторжниковъ. Остается только рѣшить вопросъ, на какую именно работу похожи умственные труды бурсаковъ, на ту-ли, которая дѣйствительно существуетъ въ мертвомъ домѣ, или-же на ту, въ которой Достоевскій справедливо видитъ ужасный и, къ счастію, неосуществимый идеалъ каторжной работы? Мнѣ кажется, что работа бурсаковъ подходитъ довольно близко къ послѣдней категоріи, то есть къ мучительному переливанію воды изъ одного ушата въ другой, а изъ другого—въ первый. Каждому бурсаку, еще не совсѣмъ потерявшему способность размышлять, бурсацкое зубреніе должно казаться, и дѣйствительно кажется, занятіемъ совершенно безсмысленнымъ, совершенно безполезнымъ, и слѣдовательно такимъ-же мучительнымъ и невыносимымъ, какъ напримѣръ безцѣльное переливаніе воды туда и обратно. Всѣ мы знаемъ очень хорошо, что бурсаки зубрятъ или по крайней мѣрѣ зубрили жестоко. Но мнѣ кажется, немногіе изъ насъ отдаютъ себѣ совершенно ясный отчетъ въ томъ, что̀ такое зубреніе или долбленіе. При поверхностномъ и невнимательномъ взглядѣ на предметъ можетъ показаться, что между простымъ запоминаніемъ и ожесточеннымъ вызубриваніемъ урока существуетъ только количественное различіе. Профаны могутъ разсуждать такъ: прочтите урокъ два или три раза, вы его запомните и будете въ состояніи пересказать его своими словами; а прочтите тотъ-же урокъ разъ десять или пятнадцать,—и вы его вызубрите, то есть, будете знать его слово въ слово.—Профаны эти ошибаются. Запоминать и зубрить—это два совершенно различные процесса, и каждый изъ этихъ процессовъ имѣетъ свои специфическіе пріемы. Тотъ неопытный и несчастный смертный, который вздумалъ-бы зубрить урокъ, читая его со смысломъ и съ толкомъ отъ начала до конца, потратилъ-бы даромъ oleum et operam. Запоминать—значитъ вглядываться въ мысли и отдавать себѣ отчетъ въ томъ, какимъ образомъ одна мысль связывается съ другою или вытекаетъ изъ нея. Зубрить, напротивъ того, значитъ пріучать свой языкъ, свои губы и всѣ другіе органы слова къ тому, чтобы они выдѣлывали бойко, безошибочно и въ неизмѣнной послѣдовательности тотъ длинный рядъ сложныхъ движеній, который соотвѣтствуетъ писаннымъ или печатнымъ словамъ даннаго урока. Вся штука и весь букетъ состоятъ именно въ томъ, чтобы эти движенія выдѣлывались сами собою, чтобы первое движеніе съ неодолимой силой тянуло за собою второе, третье, четвертое и такъ далѣе до самаго конца, и чтобы весь этотъ рядъ движеній совершался независимо отъ размышленія; если вы, пустившись въ эти движенія, принуждены припоминать и соображать, то это значитъ, что результатъ не достигнутъ, и что урокъ непремѣнно начнетъ высказываться собственными словами, сообразно съ вашимъ личнымъ складомъ ума и съ вашимъ индивидуальнымъ оттѣнкомъ краснорѣчія. Если вы хотите что-нибудь вызубрить, то вы должны въ какіе-нибудь полтора часа совершить надъ собою ту операцію, которая втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ совершается надъ фабричнымъ, пріучающимся дѣлать машинально, руками или ногами, тѣ или другія эволюціи. Навыкъ работника состоитъ въ томъ, что извѣстныя сочетанія движеній дѣлаются у него безъ напряженія вниманія, безъ постояннаго участія воли и размышленія. Именно такіе навыки приходится пріобрѣтать зубрящему человѣку въ самое короткое время. Если каждый день у бурсака имѣется по четыре урока, то аккуратно каждый вечеръ бурсакъ долженъ пріобрѣтать себѣ по четыре совершенно различныхъ навыка, изъ которыхъ каждый не въ примѣръ сложнѣе и замысловатѣе единственнаго навыка, пріобрѣтаемаго рабочимъ втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ. Пріобрѣтаются эти навыки слѣдующимъ образомъ: вы дѣлаете сначала первыя десять движеній, то есть произносите первыя три или четыре слова урока, произносите нѣсколько разъ до тѣхъ поръ, пока они у васъ срастаются между собою на глухо; къ этимъ упроченнымъ движеніямъ вы приставляете пять или шесть новыхъ движеній, которыя черезъ нѣсколько минутъ приростаютъ къ первымъ; затѣмъ вы оставляете въ сторонѣ образовавшуюся группу словъ, и точно такимъ-же манеромъ устраиваете изъ слѣдующихъ словъ урока новую группу; затѣмъ производится склеиваніе обѣихъ группъ въ одно цѣлое; когда склейка оказывается настолько солидной, что вы, нисколько не задумываясь, произносите подъ рядъ обѣ группы, тогда вы идете дальше, постоянно приклеивая къ затвержденному началу урока новыя комбинаціи звуковъ. Взгляните со стороны на занимающихся учениковъ, и вы, при нѣкоторой наблюдательности, тотчасъ замѣтите, который изъ нихъ учитъ урокъ съ размышленіемъ и который зубритъ. Размышляющій ученикъ читаетъ книгу глазами; губы его не шевелятся, а только изрѣдка сжимаются, когда онъ, наморщивъ лобъ и прищуривъ глаза, вдумывается, припоминаетъ и резюмируетъ прочитанную страницу; онъ иногда останавливается, повертываетъ страницу назадъ, перечитываетъ вновь тѣ мѣста, въ которыхъ заключается исходная точка послѣдующихъ мыслей; на лицѣ его видна живая смѣна ощущеній; онъ обнаруживаетъ признаки недоумѣнія, онъ чего-то ищетъ, онъ чѣмъ то озабоченъ, онъ нахмуривается; потомъ онъ нападаетъ на слѣдъ той мысли, которую онъ искалъ, фи-

Digitized by Google

зіономія его проясняется, въ глазахъ его проблескивается лучъ радости и живого пониманія, и юный мыслитель нашъ спокойно и весело продолжаетъ свою пріостановившуюся работу.— Зубрило, напротивъ того, постоянно шевелитъ губами и, покачиваясь всѣмъ туловищемъ, быстро вышептываетъ одно за другимъ роковыя слова урока; чѣмъ сильнѣе становится его зубрильный пафосъ, тѣмъ яростнѣе шевелятся губы, тѣмъ громче произносятся слова и тѣмъ неукротимѣе качается туловище: зубрило шалѣетъ, глаза его мутятся, и весь онъ становится похожъ на человѣка, опившагося дурманомъ, или на дервиша, закружившагося до помраченія разсудка.

Помяловскій, видавшій на своемъ вѣку множество самыхъ чистокровныхъ зубрилъ и отвѣдавшій самъ прелести этого занятія, рисуетъ очень яркими чертами процессъ бурсацкой каторжной работы и вліяніе этой работы на матеріальное и умственное здоровье бурсаковъ. «Ученики,—говоритъ онъ,—сидя надъ книгой, повторяли безъ конца и безъ смыслу: «стыдъ и срамъ, стыдъ и срамъ, стыдъ и срамъ... потомъ, потомъ... постигли, стигли, стигли... стыдъ и срамъ...потомъ.. постигли...» Такая египетская работа продолжалась до тѣхъ поръ, пока на вѣки нерушимо не запечатлѣвался въ головѣ ученика *стыдъ и срамъ*. Сильно мучился воспитанникъ во время урока, такъ что ученіе здѣсь является физическимъ страданіемъ, которое выразилось въ пѣснѣ: «сколь блаженны тѣ народы».

«Что-же удивительнаго,—говоритъ онъ далѣе,—что такая наука поселяла только отвращеніе въ ученикѣ, и что онъ скорѣе начнетъ играть въ плевки или продѣнетъ изъ носу въ ротъ нитку, нежели станетъ учить урокъ? Ученикъ, вступая въ училище изъ-подъ родительскаго крова, скоро чувствовалъ, что съ нимъ совершается что-то новое, никогда имъ неиспытанное, какъ будто передъ глазами его опускаются свѣти одна за другою, въ безконечномъ рядѣ, и мѣшаютъ видѣть предметы ясно; что голова его перестала дѣйствовать любознательно и смѣло и сдѣлалась похожа на какой-то аппаратъ, въ которомъ стоитъ пожать пружину— и вотъ ротъ раскрывается и начинаетъ выкидывать слова, а въ словахъ—удивительно!— нѣтъ мысли, какъ бывало прежде.» «Вонъ Данило Песковъ,—продолжаетъ Помяловскій,— мальчикъ умный и прилежный, но рѣшительно неспособный долбить слово въ слово, просидѣвъ надъ книгою два часа съ половиной, поводитъ помутившимися глазами... и что-же? .. онъ видитъ, многіе измучились еще болѣе, чѣмъ онъ, многіе еще доканчиваютъ свою порцію изъ учебниковъ, озабоченно вычитывая урокъ и поднявъ голову кверху, какъ пьющія куры. Иные чуть не плачутъ, потому что невысокій баллъ будетъ выставленъ противъ ихъ фамиліи въ нотатѣ. Одинъ, желая возбудить въ себѣ энергію, треплетъ самъ себя за волоса»...

По мучительности своей, ученая бурсацкая работа далеко превосходитъ работу арестантовъ, которая, по словамъ Достоевскаго, сама по себѣ нисколько не обременительна. Съ точки зрѣнія обязательности или подневольности, работа бурсаковъ также перещеголяла работу арестантовъ. Въ первомъ томѣ своихъ «Записокъ» Достоевскій описываетъ арестантскую работу—ломаніе старой барки; придя на рѣку, арестанты разсаживаются по бревнамъ и закуриваютъ трубки; потомъ начинаютъ разсуждать о томъ, кто догадался ломать эту барку; потомъ критикуютъ проходящихъ мужиковъ; потомъ любезничаютъ съ калашницей и просятъ у нея того, чего мыши не ѣдятъ. Тутъ является приставъ надъ работами и приглашаетъ публику приступить; публика проситъ себѣ урока, говоритъ, что скорѣй скораго не сдѣлаешь, и начинаетъ дѣйствовать такъ вяло, что приставъ считаетъ необходимымъ плюнуть и отправиться за кондукторомъ, который исполняетъ желаніе публики и задаетъ ей урокъ.—Такимъ образомъ работники нисколько не надрываются; они резонируютъ, благодушествуютъ, дѣлаютъ кейфъ и даже торгуются насчетъ работъ съ своимъ ближайшимъ начальствомъ; положеніе этихъ работниковъ конечно очень тяжело и незавидно, потому что они лишены свободы и принуждены заниматься такимъ дѣломъ, которое не доставляетъ имъ ни удовольствія, ни личной выгоды; но неволя арестантовъ легка въ сравненіи съ неволей бурсаковъ; надъ послѣдними контроль по работамъ несравненно строже; арестантовъ никто не подвергаетъ взысканію за то, что они балагурятъ въ рабочее время; бурсака, напротивъ того, порютъ очень аккуратно за каждый невыученный урокъ; а что значитъ выучить урокъ—это я показалъ выше, объясняя и анализируя процессъ зубренія. Притомъ надо замѣтить, что бурсака порютъ не гуртомъ за общую неисправность работы, а порознь, за каждый невыученный урокъ; при такой раздробительной системѣ воздаянія на долю одного бурсака можетъ придтись въ одинъ день по нѣсколько сѣченій, чего съ арестантомъ ужо никакимъ образомъ случиться не можетъ, такъ какъ въ острогѣ право казнить и миловать принадлежитъ одному начальству, а въ бурсѣ эта право распредѣляется между многими учителями. «Когда приходилось,—говоритъ Помяловскій,— что три описанные учителя занимали уроки въ одинъ и тотъ-же день, то одного и того-же ученика сѣкли нѣсколько разъ. Такъ, Карася, случалось, отдирали четыре раза въ одинъ день (впродолженіи всей училищной жизни непремѣнно разъ четыреста)». Далѣе, по своей занимательности, работа бурсака стоитъ положительно

Digitized by Google

ниже ломанія барки или дѣланія кирпича, и можетъ быть поставлена на одну доску съ переливаніемъ воды изъ ушата въ ушатъ. Если мнѣ возразятъ, что бурсакъ въ этой работѣ можетъ видѣть средство добиться хорошаго аттестата и составить себѣ карьеру, то я отвѣчу, что и арестантъ, посаженный въ острогъ на извѣстное число лѣтъ, можетъ видѣть въ исправномъ переливаніи воды дорогу къ освобожденію. Въ самомъ дѣлѣ, еслибы арестантъ, осужденный на переливаніе воды, вздумалъ заупрямиться и отказался-бы отъ своей безплодной и мучительно-скучной работы, то его стали-бы наказывать, а еслибы дисциплинарныя наказанія не сломили его упрямства, то его вторично отдали-бы подъ судъ за дурное поведеніе, и время его заключенія увеличилось бы въ болѣе или менѣе значительныхъ размѣрахъ. Точно также поступаютъ и съ лѣнивымъ бурсакомъ; сначала его отечески наказываютъ, а потомъ его исключаютъ, то есть у него отнимаютъ аттестатъ и карьеру. Стало быть, интересъ работы одинаковъ для бурсака, зубрящаго «*стыдъ и срамъ*», и для арестанта, переливающаго воду изъ ушата въ ушатъ, потому что первый за небрежное выполненіе работы лишается нѣкоторыхъ выгодъ, а второй за то-же самое подвергается нѣкоторымъ невыгодамъ. Цѣль бурсака состоитъ въ томъ, чтобы доплестись всѣми правдами и неправдами до выпускного экзамена; цѣль арестанта—въ томъ, чтобы безнаказанно дожить до дня освобожденія. Обѣ эти цѣли до такой степени отдаленны, что онѣ нисколько не могутъ освѣтить и украсить собою обязательную работу. Человѣкъ можетъ работать охотно и весело только тогда, когда онъ постоянно извлекаетъ себѣ изъ работы немедленную выгоду, или когда самый процессъ работы доставляетъ ему непосредственное удовольствіе. Когда работа сама по себѣ имѣетъ какой-нибудь внутренній смыслъ, понятный для работника, тогда возможно увлеченіе работой, хотя-бы даже и обязательной. Но такъ какъ затверживаніе *стыда и срама* не имѣетъ никакого внутренняго смысла, и въ то-же время требуетъ очень сильнаго напряженія энергіи и вниманія, то далекая перспектива аттестата и карьеры становится совершенно недѣйствительной, и юношество подвигается впередъ по узкому и скорбному пути бурсацкой премудрости при содѣйствіи такихъ героическихъ средствъ, которыя могли-бы испугать даже обитателей мертваго дома и которыя даже въ мертвомъ домѣ оказались-бы необходимыми только въ томъ немыслимомъ случаѣ, еслибы начальству вздумалось пріурочить арестантовъ къ безсмысленному переливанію воды сюда и овамо.

III.

Другая сходная черта бурсы и мертваго дома состоитъ въ низерности того содержанія, которое получаютъ обитатели этихъ двухъ, одинаково воспитательныхъ или одинаково карательныхъ, заведеній. Здѣсь опять пальма первенства остается за бурсой, по крайней мѣрѣ за той бурсой, которую описалъ Помяловскій. Что ѣдятъ бурсаки и что ѣдятъ арестанты? Качества ихъ щей, каши и такъ далѣе мы, разумѣется, сравнивать не можемъ, потому что къ сочиненіямъ Помяловскаго и Достоевскаго не приложено, въ видѣ pièces justificatives, образчиковъ этихъ деликатныхъ кушаній; оба говорятъ, что скверно, а что̀ хуже, объ этомъ по описанію судить мудрено. Но есть одинъ осязательный пунктъ, который доказываетъ, что бурсакамъ было хуже жить, чѣмъ арестантамъ. Какъ-бы ни былъ дуренъ обѣдъ, но во всякомъ случаѣ если только хлѣба дается въ-волю, до отвалу, то человѣкъ обезпеченъ по крайней мѣрѣ противъ голода. Чѣмъ отвратительнѣе обѣдъ, тѣмъ важнѣе становится вопросъ о хлѣбѣ, который при дурномъ обѣдѣ дѣлается самой главной статьей питанія. И—какъ-бы вы думали?—хлѣбъ въ бурсѣ выдавался счетомъ, а въ мертвомъ домѣ давалось хлѣба, сколько угодно. «Большинство,—говоритъ Помяловскій,—не желало дѣлиться съ нимъ (съ воспитанникомъ, оставленнымъ безъ обѣда) запаснымъ хлѣбомъ; впрочемъ и дѣлиться было не изъ чего: утреннихъ и вечернихъ фриштиковъ въ бурсѣ не полагалось; *за обѣдомъ выдавали только по два ломтя хлѣба*, изъ которыхъ одинъ съѣдался въ столовой, другой уносился въ карманѣ про запасъ». По моему мнѣнію, эти скверные *два ломтя*, эта низкая плюшкинская скаредность, выжимающая сокъ изъ молодыхъ желудковъ, несравненно отвратительнѣе всевозможныхъ мордобитій и сѣченій *на воздусяхъ*. Мнѣ кажется даже, что эта скаредность вреднѣе жестокихъ наказаній по своимъ послѣдствіямъ, какъ матеріальнымъ, такъ и нравственнымъ.

Въ мертвомъ домѣ дѣло продовольствованія велось гораздо благопристойнѣе.

«Впрочемъ, — говоритъ Достоевскій,—арестанты, хвалясь своей пищей, говорили только про одинъ хлѣбъ и благословляли именно то, что хлѣбъ у насъ общій, а не выдается съ вѣсу. Послѣднее ихъ ужасало; при выдачѣ съ вѣсу треть людей была-бы голодная; въ артели-же всѣмъ доставало. Хлѣбъ нашъ былъ какъ-то особенно вкусенъ и этимъ славился во всемъ городѣ.»

Изъ разговоровъ между арестантами видно, что они питаютъ глубокое уваженіе къ своему хлѣбу. — «Бирюлина корова! — говоритъ одинъ арестантъ другому,—ишь, отъѣлся на острожномъ *чистякѣ*.» — «На волѣ не умѣли

Digitized by Google

жить,—говорится далѣе,—рады, что здѣсь до *чистяка* добрались». «*Чистякомъ*»—объясняетъ Достоевскій въ подстрочномъ примѣчаніи,—назывался хлѣбъ изъ чистой муки, безъ примѣси».—Это названіе очень выразительно. Оно показываетъ лучше всякихъ политико-экономическихъ разсужденій, какіе мы богатые люди. Хлѣбъ, испеченный изъ чистой муки, безъ примѣси разныхъ неудобоваримыхъ гадостей, вродѣ отрубей, мякины, лебеды и древесной коры, долженъ у насъ отличаться особеннымъ хвалебнымъ именемъ отъ тото обыкновеннаго хлѣба, которымъ питаются сплошь и рядомъ наши рабочіе классы. Этимъ *чистякомъ* арестанты колютъ другъ другу глаза, выражая ту мысль, что, молъ, ты, свинья, на свободѣ и не нюхалъ такихъ отборныхъ и утонченныхъ кушаній. Въ этихъ взаимныхъ попрекахъ, какъ вообще во всякихъ ругательныхъ выходкахъ, есть непремѣнно своя доля преувеличенія; но для того, чтобы такой попрекъ могъ сформироваться, ему надо все-таки имѣть нѣкоторое основаніе въ общихъ и общеизвѣстныхъ фактахъ русской жизни. Арестантъ не станетъ попрекать своего товарища тѣмъ, что вотъ, молъ, ты на свободѣ голый ходилъ, а теперь радъ, что добрался до казенной рубашки. Такой попрекъ не произвелъ-бы никакого эффекта на острожную публику, потому что такой попрекъ совершенно неправдоподобенъ. Голыхъ людей въ Россіи дѣйствительно не имѣется, но людей, набивающихъ себѣ желудокъ разной дрянью, имѣется во всякое время очень достаточное количество. Во всякомъ случаѣ спасибо мертвому дому за *чистякъ*, на которомъ можно отъѣсться. Сравнивая этотъ *чистякъ* съ несчастными *двумя ломтями* бурсы, мы узнаемъ ту поучительную истину, что въ нашей великой и обильной странѣ даже добросовѣстная раздача хлѣба должна вызвать къ себѣ нѣкоторое уваженіе и считаться едва-ли не за патріотическій подвигъ.

Если начальство бурсы рѣшалось соблюдать мудрую экономію даже при раздачѣ простого хлѣба, то, разумѣется, съ остальными предметами первой необходимости и подавно нечего было церемониться, такъ что бурсаки во всѣхъ отношеніяхъ должны были уподобляться гарнизону осажденной крѣпости или экипажу корабля, застигнутаго безвѣтріемъ въ открытомъ морѣ. Отопленіе и освѣщеніе бурсы производились съ самой примѣрной бережливостью. «Въ классѣ совершенно темно,—говоритъ Помяловскій,—потому что начальство, изъ экономическаго разсчета, зажигало лампу только въ часы занятій.» «Начальство,—говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ,—печей не топило по недѣлѣ; ученики воровали дрова, но это не всегда случалось, и товарищество, ложась подъ холодныя одѣяла, должно было покрываться своими шубами и шинелями.» Обитатели мертваго дома не испытывали ни одного изъ этихъ двухъ неудобствъ, ни темноты, ни холода. «Плацъ-маіоръ или караульные,—говоритъ Достоевскій,—являлись иногда въ острогъ довольно поздно ночью, входили тихо и накрывали и играющихъ, и работающихъ, и лишнія свѣчки, которыя можно было видѣть еще со двора.» *Лишними свѣчками* здѣсь называются собственныя свѣчи арестантовъ. Выше было сказано, что «каждый держалъ свою свѣчу и свой подсвѣчникъ, большей частью деревянный». Но если были *лишнія* свѣчи, то, стало быть, были и не лишнія, казенныя, которыми казарма должна была освѣщаться постоянно, отъ вечерней зари до утренней.

Говоря о различныхъ непріятностяхъ острожной жизни, Достоевскій упоминаетъ о мефитическомъ воздухѣ, о нечистотѣ, о множествѣ насѣкомыхъ, но о сырости и холодѣ не сказано ни слова. Значитъ, надо полагать, что топили хорошо. Разумѣется, на это были свои мѣстныя причины; на берегахъ Иртыша дрова несравненно дешевле, чѣмъ на берегахъ Невы. «Дрова въ городѣ,—говоритъ Достоевскій,—продавались по цѣнѣ ничтожной, и кругомъ лѣсу было множество.» Но каковы-бы ни были причины, во всякомъ случаѣ это нисколько не измѣняетъ того печальнаго факта, что бурсаки страдали отъ сырости и отъ холода, и въ этомъ отношеніи могли завидовать обитателямъ мертваго дома. Что-же касается до мефитическаго воздуха, до нечистоты и до паразитовъ, то здѣсь бурса и мертвый домъ нисколько не уступаютъ другъ другу. Впрочемъ, кажется, и тутъ можно отыскать одно обстоятельство, оставляющее пальму первенства за бурсой. «Наконецъ,—говоритъ Достоевскій описывая жизнь въ гошпиталѣ, — уже послѣ вечерняго посѣщенія доктора вошелъ караульный унтеръ-офицеръ, сосчиталъ всѣхъ больныхъ, и палату заперли, внеся въ нее предварительно ночной ушатъ. Я съ удивленіемъ узналъ, что этотъ ушатъ останется здѣсь всю ночь, тогда какъ настоящее ретирадное мѣсто было тутъ-же въ корридорѣ, всего только два шага отъ дверей.» Такъ какъ разсказчикъ попалъ въ гошпиталь черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ своего поступленія въ острогъ, то его удивленіе по поводу ушата было-бы немыслимо, еслибы такой-же точно обычай былъ заведенъ и въ казармѣ. Удивленіе разсказчика показываетъ ясно, что въ казармѣ ночныхъ ушатовъ не было. У Помяловскаго-же бурсацкія спальни описываются слѣдующимъ образомъ: «Съ дома, особенно съ деревень, привозились въ запасъ огромные бѣлые хлѣбы, масло, толокно, грибы въ сметанѣ, моченыя яблоки. Отъ этихъ припасовъ отдѣлялись особаго рода запахи и наполняли собою воздухъ; съ этими запахами мѣшались нецензурные міазмы; отъ стѣнъ, промерзавшихъ

Digitized by Google

зимою въ сильные морозы насквозь, несло сыростью, сальныя свѣчи въ шандалахъ дѣлали атмосферу горькой и ѣдкой, и ко всему этому надо прибавить, что въ углу у дверей стоялъ огромный ушатъ, наполненный до половины какой-то жидкостью и замѣнявшій мѣсто нечистотъ. Къ такой ядовитой атмосферѣ долженъ былъ привыкать ученикъ, и повѣритъ-ли кто, что большинство, живя въ зараженномъ воздухѣ, утрачивало наконецъ способность чувствовать отвращеніе къ нему.» Здѣсь ушатъ составляетъ постоянное явленіе, которое уже никого не удивляетъ. Пребываніе ушата въ гошпитальной палатѣ объясняется тѣмъ, что палату велѣно на ночь запирать; а запираютъ ее для того, чтобы арестанты ночью какъ-нибудь не ухитрились убѣжать. Достоевскій доказываетъ очень убѣдительно, что убѣжать нѣтъ возможности, но во всякомъ случаѣ чрезмѣрная мнительность начальства, при всей своей неосновательности, до нѣкоторой степени понятна, такъ какъ побѣги дѣйствительно случаются, и случаются иногда при такой обстановкѣ, при которой ихъ повидимому невозможно было предположить, то, разумѣется, болѣзненная мнительность поддерживается, и начальство, которому не приходится дышать вмѣстѣ съ арестантами зараженнымъ воздухомъ, запираетъ ихъ на всю ночь вмѣстѣ съ ушатомъ, придерживаясь того правила, что лишняя предосторожность, хотя-бы и совершенно безсмысленная, испортить дѣла не можетъ. Въ казарму ушата вносить незачѣмъ, и тамъ онъ дѣйствительно не вносится. Это различіе происходитъ отъ того, что, находясь у себя въ острогѣ, арестантъ окруженъ со всѣхъ сторонъ самымъ бдительнымъ надзоромъ; сдѣлавшись больнымъ, арестантъ, напротивъ того, приходитъ въ общій военный гошпиталь, въ которомъ только одна арестантская палата караулится такъ, какъ положено караулить острогъ. Поэтому больного арестанта лишаютъ даже той доли свободы, которая предоставлена здоровому арестанту. Здоровый можетъ ходить днемъ по всему острогу, а ночью — по всей своей казармѣ; больной, напротивъ того, остается почти безвыходно въ той комнатѣ, которая въ гошпиталѣ служитъ представительницей острога. Все это очень тяжело, но понятно. Что-же касается до ушата, украшающаго спальню бурсаковъ, то его уже невозможно объяснить никакой начальственной мнительностью и никакими глубокомысленными плацъ-маіорскими соображеніями. Тутъ сіяетъ во всей своей красотѣ одно голое свинство... Еслибы бурсаки вздумали просить начальство объ удаленіи ушатовъ, то можно сказать навѣрное, что просителей перепороли-бы за вольнодумство. Въ самомъ дѣлѣ, думаютъ, ушатъ поставленъ въ спальню начальствомъ; слѣдовательно, къ ушату надо питать глубокое уваженіе, и возставать противъ ушата значитъ сомнѣваться въ начальственной благосклонности и въ начальственной мудрости. Первый шагъ строптиваго юношества на этомъ гибельномъ пути отрицанія можетъ повести за собою неисчислимыя послѣдствія. Поэтому начальство непремѣнно должно отстаивать ушатъ, какъ видимое проявленіе и вещественный знакъ невещественной отеческой заботливости, предусмотрительности и распорядительности, украшающей жизнь бурсака всевозможными высокими и плодотворными наслажденіями.

О невѣроятномъ изобиліи насѣкомыхъ Достоевскій и Помяловскій сообщаютъ одинаково любопытныя свѣдѣнія. «Блохи,—говоритъ Достоевскій,—кишатъ миріадами. Онѣ водятся у насъ и зимой, и въ весьма достаточномъ количествѣ, но, начиная съ весны, разводятся въ такихъ размѣрахъ, о которыхъ я хоть и слыхивалъ прежде, но, не испытавъ на дѣлѣ, не хотѣлъ вѣрить. И чѣмъ дальше къ лѣту, тѣмъ злѣе и злѣе онѣ становятся. Правда, къ блохамъ можно привыкнуть, я самъ испыталъ это, но все-таки это тяжело достается. До того, бывало, измучаютъ, что лежишь наконецъ словно въ лихорадочномъ жару и самъ чувствуешь, что не спишь, а только бредишь.»

«Этихъ насѣкомыхъ (вшей),—говоритъ Помяловскій,—было огромное количество въ бурсѣ. Не повѣрятъ, что одинъ ученикъ былъ почти съѣденъ ими; онъ служилъ какимъ-то огромнымъ гнѣздомъ для паразитовъ; цѣлыя стада на виду ходили въ его нестриженой и нечесаной головѣ. когда однажды сняли съ него рубашку и вынесли ее на снѣгъ, то снѣгъ зачернѣлся отъ нихъ. Вообще неопрятность бурсы была поразительна; золотуха, чесотка и грязь ѣли тѣло бурсака.»

IV.

Теперь декораціи обрисованы; надо познакомиться съ физіономіями и характерами дѣйствующихъ лицъ. Такъ какъ мы замѣтили поразительное сходство въ тѣхъ условіяхъ, которыми обставлено существованіе бурсаковъ и арестантовъ, то нужно ожидать уже заранѣе, что обнаружится сходство и въ тѣхъ нравственныхъ послѣдствіяхъ, которыя развиваются изъ данныхъ условій.

Гнетъ, обязательная работа, лишенія и грязь —вотъ тѣ неудобства, которыя въ большей или меньшей степени отравляютъ собою существованіе арестантовъ и бурсаковъ. Что-же изъ этого должно получиться? И въ какихъ формахъ должно здѣсь выразиться то неистребимое чувство самосохраненія, которое вездѣ и всегда является самымъ сильнымъ двигателемъ отдѣльныхъ личностей и цѣлыхъ обществъ?

Digitized by Google

Представьте себѣ, что въ одну тѣсную кучу собрано нѣсколько десятковъ людей, которыхъ насильно держатъ впроголодь и которымъ не даютъ вообще самыхъ необходимыхъ принадлежностей матеріальнаго благосостоянія. При этомъ этихъ людей занимаютъ съ утра до вечера такими работами, отъ которыхъ нисколько не можетъ улучшиться ихъ невыносимое положеніе. Спрашивается, о чемъ должны думать эти люди, и что они должны чувствовать? Отвѣчать, кажется, не трудно. Они должны думать о томъ, нельзя-ли какимъ-нибудь образомъ промыслить себѣ какой-нибудь лакомый кусокъ, или беремя дровъ для печки, или вообще такую штуку, которая въ данную минуту доставила бы мимолетное облегченіе организму, измученному различными лишеніями. Всѣ помыслы и всѣ желанія должны быть постоянно устремлены туда, куда указываютъ неудовлетворенныя потребности организма. Осуществленіе этихъ естественныхъ и неизбѣжныхъ желаній до крайности затруднительно. Ему постоянно мѣшаютъ тѣ люди, которые наблюдаютъ за неуклоннымъ выполненіемъ обязательныхъ работъ. Отсюда, разумѣется, должна развиться глухая, но ожесточенная борьба между наблюдателями и работниками. Отсюда рождаются между тѣми и другими взаимная ненависть и взаимное недовѣріе. Наблюдатели дѣйствуютъ открытой силой; работники, какъ люди подначальные, поднимаются на разныя хитрости; замѣтивъ эти хитрости, наблюдатели стараются ихъ проникнуть и разрушить; для этого пускается въ ходъ шпіонство, болѣе или менѣе утонченное и замысловатое. Словомъ, свирѣпствуетъ война во всѣхъ своихъ видоизмѣненіяхъ и со всѣми своими неизбѣжными нравственными послѣдствіями.

Но все это — только одна сторона дѣла. Прежде всего надо конечно обмануть наблюдателей, увернуться на нѣсколько времени изъ подъ ихъ надзора, сбросить съ плечъ тяжесть обязательной работы, но затѣмъ, своротивъ съ дороги это препятствіе, надо еще предпринять что-нибудь такое, вслѣдствіе чего получались-бы продукты, соотвѣтствующіе потребностямъ истомленнаго организма. Словомъ, надо выработать или похитить. Послѣдній способъ пріобрѣтенія конечно не одобряется ни сводомъ законовъ, ни ученіемъ моралистовъ, ни даже общепринятыми житейскими обычаями. Къ сожалѣнію, надо сознаться, что организмъ, принужденный бороться съ обществомъ за свое собственное существованіе, становится обыкновенно внѣ всякихъ законовъ и обычаевъ. Органическая потребность, долго ненаходящая себѣ удовлетворенія, доводитъ желанія до такой крайней степени напряженія, что наконецъ для желающаго субъекта всѣ средства становятся безразличными, лишь-бы только они вели къ предположенной цѣли. Всѣ фанатики, какъ-бы ни были противоположны ихъ стремленія, сходны между собой по своей неразборчивости въ средствахъ, а фанатизмъ — не что иное, какъ любовь къ какой-нибудь идеѣ, дошедшей до степени непреодолимой органической потребности. Поэтому можно сказать навѣрное, что человѣкъ, измученный голодомъ и холодомъ, будетъ для удовлетворенія своихъ потребностей работать или воровать, смотря потому, который изъ этихъ двухъ промысловъ окажется для него болѣе сподручнымъ и производительнымъ. Съ особеннымъ наслажденіемъ онъ будетъ воровать у тѣхъ людей, которые заставляютъ его голодать и терпѣть холодъ; здѣсь воровство будетъ ему казаться только необходимымъ возстановленіемъ нарушенной справедливости; легко можетъ случиться, что и другіе люди, непричастные къ этому воровству, произнесутъ объ немъ почти такое-же сужденіе. Что-бы вы сказали напр., еслибы голодные бурсаки пошли воровать хлѣбъ у того эконома, который выдаетъ имъ за обѣдомъ по два ломтя? Быть-можетъ вы сказали-бы, что поступокъ бурсаковъ, по внѣшней формѣ своей, конечно неправиленъ, но что настоящимъ воромъ въ этомъ дѣлѣ оказывается экономъ, хотя онъ и не пускаетъ въ ходъ неприличныхъ воровскихъ пріемовъ. Впрочемъ я, по добротѣ души моей, не совѣтую вамъ отваживаться на такія рискованныя умствованія. Я предупреждаю васъ, что этотъ путь очень скользокъ и опасенъ. Чтобы не съѣхать по этому пути въ невѣдомую вамъ глубину мучительныхъ соціальныхъ вопросовъ, держитесь крѣпко, держитесь руками и зубами за внѣшнюю форму человѣческихъ поступковъ. Въ данномъ случаѣ немедленно приговаривайте къ розгамъ и къ исключенію тѣхъ бурсаковъ, которые посягнули на казенный хлѣбъ, и такъже немедленно приглашайте къ себѣ въ домъ, какъ знакомаго и друга, того искуснаго эконома, который изъ казеннаго хлѣба умѣетъ выкраивать шелковыя платья для своей супруги и для своихъ дочерей.

Кто усвоилъ себѣ техническую сторону хищничества и кто при этомъ постоянно голодаетъ и зябнетъ, тотъ непремѣнно постарается развернуть свои таланты во всей ихъ обширности, и никакъ не захочетъ ограничивать ихъ приложеніе узкой сферой казеннаго буфета. Кто началъ свое поприще съ набѣговъ на казенныя дрова и на казенный хлѣбъ, тотъ пойдетъ дальше, если только нужда будетъ угнетать его попрежнему. Привычка и умѣнье красть ставятъ человѣка въ разрѣзъ съ законами и обычаями; попавши разъ въ это оппозиціонное положеніе, человѣку трудно остановиться; если онъ оправдалъ въ своихъ собственныхъ глазахъ кражь хлѣба у эконома, то онъ съумѣетъ оправдать кражу съѣстныхъ припасовъ въ мелочной лавочкѣ; основная причина воровства, голодъ

Digitized by Google

продолжаетъ существовать и подавляетъ очень легко робкія возраженія совѣстливости, деликатности и справедливости. Лавочникъ конечно нисколько не виноватъ въ томъ, что бурсака дурно кормятъ; но вѣдь и самъ бурсакъ въ этомъ также нисколько не виноватъ; на него наваливаютъ мученія голода ни за что, ни про что; съ нимъ самимъ поступаютъ несправедливо, и это онъ чувствуетъ; поэтому онъ и старается перебросить на перваго встрѣчнаго, хоть напримѣръ на лавочника, часть той подавляющей тяжести, которую онъ, бурсакъ, несетъ совершенно безвинно, по волѣ благодѣтельнаго начальства. Пріучившись красть съѣстное, бурсакъ сообразитъ безъ особеннаго труда, что, посредствомъ обмѣна, всевозможные предметы могутъ быть превращаемы въ булки и въ калачи. Тогда начнется сплошное похищеніе всего, что имѣетъ какую-нибудь мѣновую цѣнность. Постоянное упражненіе въ хищничествѣ разовьетъ въ данномъ субъектѣ именно тѣ качества и способности, которыя совершенно неумѣстны въ благоустроенномъ обществѣ. Чрезмѣрное развитіе этихъ противообщественныхъ способностей и наклонностей задушитъ всякое расположеніе къ правильному и спокойному труду. Данный субъектъ пустится обирать всѣхъ, своихъ и чужихъ, начальниковъ, сосѣдей и даже товарищей. Наконецъ онъ попадется; его отпорютъ и выключатъ; онъ очутится на улицѣ безъ аттестата, безъ ремесла, съ пустымъ желудкомъ и съ очень замѣчательными хищническими инстинктами и способностями.

Живи такой субъектъ въ XVI столѣтіи, онъ отправился-бы въ Запорожскую сѣчь и сдѣлался-бы лучшимъ украшеніемъ тамошняго казачества. Но такъ какъ въ наше прозаическое время казацкіе подвиги строго запрещены уголовными законами, то предпріимчивый юноша по выходѣ изъ бурсы не превратится въ знаменитаго героя и будетъ тихо и скромно заниматься мазурничествомъ до тѣхъ поръ, пока его беззаконія не переполнятъ мѣры полицейскаго долготерпѣнія. Когда-же, несмотря на его похвальную скромность, его возрастающая слава обратитъ на себя вниманіе мѣстнаго начальства, тогда его препроводятъ, для дальнѣйшаго усовершенствованія въ наукахъ, въ одинъ изъ многихъ мертвыхъ домовъ, находящихся въ европейской или азіятской Россіи. Мертвый домъ не испугаетъ нашего юношу, который въ своемъ новомъ жилищѣ увидитъ знакомыя картины, способныя освѣжить въ его памяти дни его печальнаго отрочества. Если юноша окажется способнымъ окинуть все свое прошедшее общимъ философскимъ взглядомъ, то онъ вѣроятно сообразитъ, что мертвый домъ составляетъ для него естественное продолженіе и логическій результатъ бурсы.

V.

Въ предыдущей главѣ была проведена та мысль, что еще очень недавно бурса систематически направляла нѣкоторыхъ изъ своихъ питомцевъ къ мертвому дому. Въ подкрѣпленіе этой мысли я, правда, не могу привести никакихъ статистическихъ фактовъ, потому что подобные факты еще не собраны: мы рѣшительно не знаемъ, изъ какихъ элементовъ слагается населеніе нашихъ мертвыхъ домовъ и какъ велико число бурсаковъ, погибшихъ для общества, въ сравненіи съ общимъ числомъ юношей, обучавшихся въ былые годы въ духовныхъ училищахъ. Достовѣрныя статистическія цифры рѣшили-бы вопросъ, но когда нѣтъ цифръ, тогда слѣдуетъ принимать въ соображеніе такіе матеріалы, какъ «Очерки бурсы» Помяловскаго, котораго до сихъ поръ еще ни одинъ бывшій бурсакъ не рѣшался уличать въ искаженіи фактовъ или въ ложности основного колорита. «Надобно замѣтить,—говоритъ Помяловскій,—характеристическую черту бурсацкой морали: воровство считалось предосудительнымъ только относительно товарищества. Были три сферы, которыя, по нравственному отношенію къ нимъ бурсака, были совершенно отличны одна отъ другой. Первая сфера—товарищество, вторая—общество, то есть все, что было внѣ стѣнъ училищныхъ, за воротами его: здѣсь воровство и скандалы одобрялись бурсацкой коммуной, особенно когда дѣло велось хитро, ловко и остроумно. Но въ такихъ отношеніяхъ къ обществу не было злости или мести: позволялось красть только съѣдобное; поэтому обокрасть лавочника, разнощика, сидѣльца уличнаго — ничего, а украсть, хоть бы на сторонѣ, деньги, одежду и тому подобное—считалось и въ самомъ товариществѣ мерзостью. Третья сфера—начальство: ученики гадили ему злорадостно и съ местью. Такъ сложилась бурсацкая этика.... Теперь также понятно, отчего это въ бурсацкомъ языкѣ такъ много самобытныхъ фразъ и рѣченій, выражающихъ понятіе кражи: вотъ откуда всѣ эти *сбондили*, *сляпсили*, *сперли*, *стибрили*, *обгегорили* и тому подобныя». Нельзя сказать, чтобы эти общепризнанныя нравственныя правила бурсы отличались особенной строгостью. Но любопытно замѣтить, что эта теорія все-таки стоитъ выше той житейской практики, которую изображаетъ самъ-же Помяловскій.

По теоріи, воровство относительно товарищества считается предосудительнымъ. А на практикѣ, Аксютка обворовываетъ своихъ товарищей, пользуется между ними репутаціей извѣстнаго мазурика и въ то-же время не подвергается съ ихъ стороны никакимъ преслѣдованіямъ; съ нимъ обращаются, какъ съ хорошимъ товарищемъ и лихимъ удальцомъ. Самъ онъ постоянно веселъ, развязенъ и самодово-

Digitized by Google

ленъ, чего никакъ не могло-бы быть, если-бы все товарищество обращалось съ нимъ, какъ съ негодяемъ и отверженцемъ. А что бурсацкое товарищество дѣйствительно умѣетъ преслѣдовать тѣ преступленія, которыя возбуждаютъ его негодованіе, то это можно усмотрѣть изъ трагической исторіи фискала Семенова, выведеннаго на сцену въ первомъ очеркѣ Помяловскаго. Этого Семенова въ одинъ вечеръ избили, обокрали, высѣкли и наконецъ чуть-чуть не задушили дымомъ горящей ваты. Къ тому надо еще прибавить, что съ нимъ никто не говорилъ съ той минуты, какъ его огласили фискаломъ. Сравнивая печальную судьбу фискала Семенова съ постояннымъ ликованіемъ вора Аксютки, я прихожу къ тому заключенію, что воровство въ бурсѣ не считалось предосудительнымъ даже относительно товарищества. Что Аксютка не ограничивался похищеніемъ съѣстныхъ припасовъ—на это у Помяловскаго имѣется также достаточное количество доказательствъ. Первый шагъ Аксютки на глазахъ читателя состоитъ въ томъ, что онъ крадетъ ночью у товарища волчью шубу, которая, при поголовной бурсацкой бѣдности, должна была считаться великой драгоцѣнностью. Что такая покража совершилась, въ этомъ нѣтъ еще ничего особенно удивительнаго и характернаго. Подобные случаи возможны даже въ самыхъ приличныхъ и благоустроенныхъ заведеніяхъ, потому что въ семьѣ не безъ урода. Но замѣчательно то, что пропажа шубы осталась безъ всякихъ послѣдствій: описавши воровскую продѣлку Аксютки, Помяловскій уже не возвращается больше къ этому предмету; шуба канула въ воду, и на другой день въ бурсацкомъ товариществѣ объ этомъ событіи не было даже никакого разговора. Значитъ, приходится предположить, что подобные случаи очень нерѣдки, и что владѣлецъ украденной шубы быть-можетъ ждетъ только слѣдующей ночи, чтобы наверстать свою потерю на какомъ-нибудь изъ своихъ безпечныхъ товарищей. Если это предположеніе сколько нибудь основательно, то бурсацкая этика, о которой говоритъ Помяловскій, оказывается въ совершенномъ разладѣ съ фактами дѣйствительной бурсацкой жизни, или по крайней мѣрѣ не обнаруживаетъ на эти факты никакого регулирующаго вліянія. Мнѣ кажется, настоящая бурсацкая этика состоитъ только въ томъ, что нѣкоторыми воровскими подвигами можно хвастаться во всеуслышаніе, а другіе слѣдуетъ покрывать благоразумнымъ молчаніемъ.

Оно и понятно. Если вы обокрали вашего товарища, то не можете-же вы въ его присутствіи разсказать вашу продѣлку, за которую оскорбленный собственникъ можетъ тотчасъ-же вступить съ вами въ рукопашный бой. Что-же касается до общественнаго мнѣнія бурсы, то оно повидимому относится совершенно равнодушно ко всякимъ неправильнымъ передвиженіямъ собственности, гдѣ-бы они ни совершались и въ какихъ-бы формахъ они ни обнаруживались. Тебя обокрали, говоритъ общество,—ты самъ и вѣдайся съ воромъ, самъ разыскивай его, самъ отнимай у него твою собственность и самъ наказывай его за нарушеніе твоего спокойствія. Если-же у тебя на все это не хватитъ умѣнья и силы, если воръ вторично одурачитъ тебя или намнетъ тебѣ-же бока, то намъ, постороннимъ зрителямъ, до этого не будетъ никакого дѣла, и мы сами очень добродушно будемъ смѣяться надъ твоей неловкостью и надъ твоимъ безсиліемъ.

Такъ разсуждаютъ обыкновенно всѣ первобытныя общества, и было-бы очень удивительно, еслибы бурса разсуждала иначе. Помяловскій разсказываетъ, что нѣкоторые бурсаки умилостивляли и задобривали подарками знаменитаго вора Аксютку, чтобы онъ пощадилъ ихъ достояніе. Вотъ видите! А почему-же тѣ-же бурсаки и не думали умилостивлять и задобривать фискаловъ, несмотря на то, что фискалъ, находящійся въ союзѣ съ начальствомъ, гораздо опаснѣе вора, котораго начальство, разумѣется, не станетъ поддерживать? Потому, что въ борьбѣ съ фискаломъ каждая отдѣльная личность чувствовала за собою единодушную, горячую и энергическую поддержку всего бурсацкаго общества; фискалъ былъ всегда одинокимъ явленіемъ, поразительной аномаліей, гнуснымъ уродомъ, котораго безобразіе бросалось въ глаза всему окружающему обществу; почти каждый бурсакъ, положа руку на сердце, могъ смѣло сказать, что онъ самъ нисколько не фискалъ; поэтому всеобщее негодованіе противъ фискала было такъ неподдѣльно и неудержимо, что оно не допускало и мысли о какихъ-бы то ни было компромиссахъ съ преступникомъ. Съ воромъ, напротивъ того, каждому надо было бороться одинъ на одинъ; публика въ воровскомъ поступкѣ видѣла преимущественно его изящную сторону; публика любовалась отвагой и хитростью похитителя; почти каждый бурсакъ, положа руку на сердце, долженъ былъ признаться, что онъ также способенъ учинить похищеніе; поэтому союзъ всего общества противъ вора былъ невозможенъ, и знаменитый воръ въ бурсацкомъ мірѣ могъ играть роль грознаго божества, умилостивляемаго посильными жертвоприношеніями.

Въ мертвомъ домѣ умилостивленій не было, но воровство процвѣтало, и такъ какъ арестанты были отгорожены отъ внѣшняго міра крѣпкими стѣнами и частоколами, то это воровство имѣло совершенно междоусобный характеръ. Вороны очень смѣло выклевывалъ глаза ворону, или, говоря по-французски: les loups se mangeaient entre eux» (волки ѣли другъ друга).

Digitized by Google

«Вообще,—говоритъ Достоевскій,—всѣ воровали другъ у друга ужасно. Почти у каждаго былъ свой сундукъ съ замкомъ для храненія казенныхъ вещей. Это позволялось; но сундуки не спасали. Я думаю, можно представить, какіе тамъ были искусные воры. У меня одинъ арестантъ, искренно преданный мнѣ человѣкъ (говорю это безъ всякой натяжки), укралъ Библію, единственную книгу, которую позволялось имѣть въ каторгѣ; онъ въ тотъ-же день мнѣ самъ сознался въ этомъ, не отъ раскаянія, но жалѣя меня, потому что я ее долго искалъ.»

Кромѣ воровства, въ мертвомъ домѣ и бурсѣ процвѣтало съ безпримѣрной силой ростовщичество «Нѣкоторые,—говоритъ Достоевскій,—съ успѣхомъ промышляли ростовщичествомъ. Арестантъ, замотавшійся или разорившійся, несъ послѣднія свои вещи ростовщику и получалъ отъ него нѣсколько мѣдныхъ денегъ за ужасные проценты. Если онъ не выкупалъ эти вещи въ срокъ, то онѣ безотлагательно и безжалостно продавались; ростовщичество до того процвѣтало, что принимались подъ закладъ даже казенныя смотровыя вещи, какъ-то: казенное бѣлье, сапожный товаръ и проч.,—вещи, необходимыя всякому арестанту во всякій моментъ.»

Въ томъ-же томѣ Достоевскій даетъ намъ понятіе о величинѣ каторжнаго процента. Острожный ювелиръ и ростовщикъ, Исай Фомичъ Буштейнъ, подъ залогъ какихъ-то старыхъ штановъ и подвертокъ даетъ взаймы другому арестанту семь копѣекъ съ тѣмъ, чтобы тотъ черезъ мѣсяцъ заплатилъ ему десять копѣекъ. Три копѣйки на семь копѣекъ—это значитъ 43 процента въ мѣсяцъ. Въ годъ получится, стало быть, 516 процентовъ, то есть капиталъ увеличится слишкомъ въ шесть разъ. Это очень недурно, но, въ сравненіи съ бурсацкими процентами, это умѣренно Бурсаки и въ этомъ отношеніи умудрились перещеголять каторжниковъ. «Ростъ въ училищѣ,—говоритъ Помяловскій,—при нелѣпомъ его педагогическомъ устройствѣ, былъ безсовѣстенъ, наглъ и жестокъ. Въ такихъ размѣрахъ онъ нигдѣ и никогда не былъ и не будетъ. Вовсе не рѣдкость, а напротивъ норма, когда *десять копѣекъ*, взятыя на *недѣльный срокъ*, оплачивались *пятнадцатью копѣйками*, т. е. по общепринятому займу на годъ это выйдетъ *двадцать пять* (вѣрнѣе двадцать шесть) *разъ капиталъ на капиталъ*.» Далѣе мы видимъ сдѣлку между Карасемъ и Тавлею. Карась въ среду проситъ у Тавли пять копѣекъ. Тавля къ воскресенью требуетъ семь копѣекъ. Но Карась оставленъ безъ отпуска и поэтому желаетъ уплатить долгъ не въ ближайшее, а въ слѣдующее воскресенье.—«Тогда десять», говоритъ Тавля. И такъ капиталъ удвоивается въ одиннадцать дней.

Ростовщичество поддерживалось въ бурсѣ взяточничествомъ, которое въ свою очередь было порождено остроумной выдумкой начальства, создавшаго изъ старшихъ учениковъ цѣлую систему контроля надъ младшими. Одинъ изъ этихъ старшихъ учениковъ, *цензоръ*, долженъ былъ смотрѣть за поведеніемъ своего класса; другіе, *авдиторы*, выслушивали уроки и ставили ученикамъ баллы, на основаніи которыхъ учитель производилъ надлежащія вразумленія; третьи, *секундаторы*, были сами орудіями этихъ вразумленій; на ихъ попеченіи находились розги, и они-же сами, по приказанію учителя, сѣкли своихъ лѣнивыхъ или шаловливыхъ товарищей. Эти сангвиники занимались своимъ дѣломъ методически и съ любовью. «У печки,—говоритъ Помяловскій,—секундаторъ, по прозванію Супина, учился своему мастерству: въ рукахъ его отличныя лозы; онъ помахивалъ ими и выстегивалъ въ воздухѣ полосы, которыя должны будутъ лечь на тѣло его товарища.» Всѣ эти владыки, цензора, авдиторы и секундаторы, держались на одинаковомъ продовольствіи съ остальными бурсаками: всѣ они голодали, а между тѣмъ имъ была дана власть надъ массами; цензоръ и авдиторы могли во всякую данную минуту подвести любого изъ своихъ товарищей подъ розги, а секундаторъ могъ сѣчь бережно или во всю-ивановскую; каждый изъ этихъ властителей понималъ свою силу и давалъ ее чувствовать тѣмъ подчиненнымъ, которые осмѣливались сомнѣваться въ ея сокрушительности. Подчиненные принуждены были подольщаться къ сановникамъ и откупаться отъ ихъ взысканій деньгами и различными приношеніями. «Цензора, авдиторы, старшіе и секундаторы,—говоритъ Помяловскій,—получили полную возможность дѣлать что угодно. Цензоръ былъ чѣмъ-то вродѣ царька въ своемъ царствѣ, авдиторы составляли придворный штатъ, а второкурсные (оставшіеся въ классѣ на второе двухлѣтіе)—аристократію». «Тавля, въ качествѣ второкурснаго авдитора, притомъ въ качествѣ силача, былъ нестерпимый взяточникъ, дралъ съ подчиненныхъ деньгами, булками, порціями говядины, бумагой, книгами. Ко всему этому Тавля былъ ростовщикъ»... «Необходимость въ займѣ всегда существовала. Цензоръ или авдиторъ требовали взятки; не дать—бѣда, а денегъ нѣтъ; вотъ и идетъ первокурсный къ своему-же товарищу, но ростовщику; понятно, что въ этомъ случаѣ онъ заранѣе согласенъ на какой угодно процентъ, лишь-бы избавиться отъ прежестокихъ грядущихъ розгачей. Кредитъ обыкновенно гарантируется кулакомъ, либо всегдашней возможностью нагадить должнику, потому что рисковали на ростъ только второкурсники.»

Этого источника деморализаціи въ мертвомъ домѣ не было: арестанты могли обворовывать

Digitized by Google

другъ друга, но взяточничество было для нихъ невозможно, потому что ни одинъ изъ нихъ не могъ подводить своихъ товарищей подъ наказанія. Когда арестантъ занималъ у ростовщика, то онъ тратилъ эти деньги на свои собственныя надобности или удовольствія, а не на то, чтобы отвратить отъ своей спины карающую десницу, вооруженную *прежестокими розгачами*. Поэтому вѣроятно каторжный процентъ былъ впятеро ниже бурсацкаго. Неимовѣрная высота послѣдняго объясняется преимущественно тѣмъ страхомъ, подъ вліяніемъ котораго находился ученикъ въ то время, когда онъ обращался къ ростовщику.

Обирая своихъ подчиненныхъ, классные сановники въ то-же время и развращали ихъ, пріучая ихъ къ самому безотвѣтному раболѣпству и подвергая ихъ самымъ возмутительнымъ униженіямъ. «Пошлая, гнилая и развратная натура Тавли, говоритъ Помяловскій, — проявилась вся при деспотизмѣ второкурсія. Онъ жилъ бариномъ, никого знать не хотѣлъ, ему писались записки и вокабулы, по которымъ онъ учился; самъ не встанетъ для того, чтобы напиться воды, а кричитъ: «Эй, Катька, пить!» Подъавдиторные чесали ему пятки, а не то велитъ взять перочинный ножъ и скоблить ему между волосами въ головѣ, очищая эту поганую голову отъ перхоти, которая почему-то называлась плотью; заставлялъ говорить ему сказки, да непремѣнно страшныя (проявленіе эстетическаго чувства!), а не страшно, такъ отдуетъ (проявленіе критической разборчивости!); да и чѣмъ только, при глубокомъ развратѣ Тавли, не служили для него подъавдиторные?» Въ послѣднихъ словахъ заключается довольно ясный намекъ на — какъ-бы выразиться поутонченнѣе? — на сократическую любовь...

VI.

Человѣческая природа до такой степени богата, сильна и эластична, что она можетъ сохранять свою свѣжесть и свою красоту посреди самаго гнетущаго безобразія окружающей обстановки. Чистыя и свѣтлыя личности, подобныя Добролюбову и Помяловскому, выходятъ иногда изъ бурсы; такія-же личности проходятъ иногда, не загрязнившись, черезъ мертвый домъ. Но и въ бурсѣ, и въ мертвомъ домѣ на одного устоявшаго приходится всегда по нѣскольку десятковъ погибшихъ, развращенныхъ, разслабленныхъ, растерявшихъ здоровье, энергію и умственныя способности. Устоять противъ бурсы, должно быть, во всякомъ случаѣ гораздо труднѣе, чѣмъ удержаться невредимымъ въ мертвомъ домѣ. Въ бурсу поступаютъ малолѣтніе ребята, которыхъ силы и способности, какъ бы онѣ ни были велики и блистательны, могутъ быть направлены и въ хорошую, и въ дурную сторону, и на полезный трудъ, и на подлое надувательство, смотря потому, какимъ вліяніямъ подчинятся формирующійся характеръ и развивающійся умъ. Въ мертвый домъ, напротивъ того, попадаютъ обыкновенно взрослые люди, которые или окончательно испорчены жизнью, или уже до такой степени закалены въ борьбѣ съ враждебными обстоятельствами, что никакія постороннія вліянія не покачнутъ ихъ убѣжденій ни вправо, ни влѣво. Первыхъ уже нечего портить, а вторыхъ испортить невозможно. Къ этимъ двумъ крайнимъ разрядамъ надо впрочемъ прибавить третій, очень многочисленный разрядъ людей, попавшихъ на каторгу случайно, за какое-нибудь такое преступленіе, въ которомъ нельзя подмѣтить ни радикальной испорченности, ни фанатической любви къ непозволительной идеѣ. Къ этому третьему разряду принадлежатъ преимущественно убійцы, потому что убійство очень часто обусловливается такими страстями и порывами, которые во всякую данную минуту могутъ разыграться въ самомъ спокойномъ и кроткомъ человѣкѣ. Въ этомъ третьемъ разрядѣ могутъ попадаться люди самыхъ разнообразныхъ характеровъ, между прочимъ и такіе, которые, безъ какой-нибудь несчастной случайности, безъ какого-нибудь совершенно непредвидимаго и неотвратимаго стеченія обстоятельствъ, прожили-бы непремѣнно до глубокой старости по всѣмъ правиламъ строжайшаго благочинія. Разнообразію характеровъ соотвѣтствуетъ въ мертвомъ домѣ безконечное разнообразіе той жизни, которую вели его обитатели раньше своего соединенія подъ гостепріимной кровлей острога.

При такомъ разнообразіи стремленій, понятій, воспоминаній и надеждъ — у взрослыхъ людей, собранныхъ въ острогъ со всѣхъ концовъ Россіи и расположенныхъ заранѣе подозрѣвать другъ въ другѣ отъявленныхъ мерзавцевъ, — не можетъ проявляться особенно сильная наклонность къ взаимному сближенію. Корпоративный духъ въ острогѣ долженъ быть очень слабъ. Яркія и крѣпкія личности должны конечно подчинять своему вліянію людей безцвѣтныхъ и ничтожныхъ, такъ точно, какъ это дѣлается само собою во всякомъ обществѣ; но въ мертвомъ домѣ не должно существовать такой силы, которая пригоняла-бы къ одному общему идеалу и шлифовала-бы на одинъ образецъ всѣ индивидуальные умы и характеры. Острожное общество такъ рыхло и разсыпчато, въ немъ такъ мало однородности и компактности, что оно, какъ общество, не можетъ подчинить своихъ членовъ никакимъ общеобязательнымъ законамъ, запрещеніямъ или предписаніямъ. Это полное безсиліе общества особенно ярко выражается въ томъ обстоятельствѣ, что это обще-

Digitized by Google

ство даже не пробуетъ защищать себя противъ своихъ собственныхъ измѣнниковъ и шпіоновъ. Во II томѣ своихъ «Записокъ» Достоевскій разсказываетъ, какимъ образомъ арестанты заявляли претензію, то есть жаловались плацъ-маіору на дурное качество пищи. Большинство сговорилось между собою, выстроилось на острожномъ дворѣ и черезъ унтеръ-офицера послало доложить маіору, что «желаетъ говорить и лично просить его насчетъ нѣкоторыхъ пунктовъ». Маіоръ пріѣхалъ и тотчасъ началъ ругаться; арестанты не произнесли ни одного слова, и претензія разстроилась, потому что многіе струсили и объявили себя довольными. Кромѣ того нѣсколько человѣкъ во время претензіи оставались въ кухнѣ и не хотѣли принимать въ общей демонстраціи никакого участія. Когда все дѣло кончилось и когда маіоръ перепоролъ тѣхъ людей, которыхъ ему угодно было считать зачинщиками, тогда арестанты не обнаружили никакого неудовольствія, ни противъ тѣхъ, которые сидѣли въ кухнѣ, ни противъ тѣхъ, которые первые объявили себя довольными и разстроили общее предпріятіе. Явная измѣна, подводившая подъ розги смѣлыхъ и стойкихъ товарищей, осталась такимъ образомъ совершенно безнаказанной. Это обстоятельство очень удивляетъ автора «Записокъ», потому что авторъ совершенно ошибочно примѣняетъ къ мертвому дому тѣ понятія о товариществѣ, которыя мы обыкновенно выносимъ съ собою въ жизнь изъ учебныхъ заведеній. Но эти понятія къ населенію мертваго дома совершенно непримѣнимы. Гдѣ существуетъ хоть какое-нибудь товарищество, тамъ непремѣнно должны существовать ненависть и презрѣніе къ фискальству. Безъ этого условія товарищество немыслимо, и солидарность между отдѣльными личностями невозможна. А въ мертвомъ домѣ не было ничего похожаго на преслѣдованіе доносчиковъ. «Что-же касается вообще доносовъ,— говоритъ Достоевскій,— то они обыкновенно процвѣтаютъ. Въ острогѣ доносчикъ не подвергается ни малѣйшему униженію; негодованіе къ нему даже немыслимо. Его не чуждаются, съ нимъ водятъ дружбу, такъ что, еслибы вы стали въ острогѣ доказывать всю гадость доноса, то васъ-бы совершенно не поняли.»

Не можетъ быть, чтобы то лицо, которое само страдаетъ отъ доноса, не чувствовало ненависти противъ доносчика. Это было-бы совершенно неестественно. Боль всегда вызываетъ злобу противъ причины боли. Но тутъ-то именно и обнаруживается разница между товариществомъ и такимъ обществомъ, въ которомъ нѣтъ солидарности. Въ товариществѣ боль одного лица отражается на всѣхъ остальныхъ; всѣ заступаются за одного, и одинъ долженъ дѣйствовать, какъ всѣ; доносчикъ оказывается общимъ врагомъ, и съ нимъ не смѣютъ водить дружбу даже тѣ люди, которымъ его поступокъ не внушаетъ особенно сильнаго отвращенія. Въ такомъ обществѣ, какъ населеніе мертваго дома, дѣло идетъ совсѣмъ иначе: тутъ всякій злится и мститъ собственными средствами только за свои собственныя обиды. Очень можетъ быть, что многіе презираютъ и ненавидятъ доносчика, но эти чувства обнаруживаются въ разсыпную, урывками, такъ что выраженія этихъ чувствъ сливаются съ общимъ потокомъ ругательствъ, безпрестанно оглашающихъ собою различныя обители мертваго дома. Изъ того, что доносчиковъ не преслѣдуютъ, никакъ нельзя выводить то заключеніе, что всѣ арестанты—подлецы, способные сами, при первомъ удобномъ случаѣ, превратиться въ фискаловъ. Ничуть не бывало. Терпимость въ отношеніи къ доносчикамъ доказываетъ только, что между арестантами нѣтъ единодушія и взаимнаго довѣрія. Каждый держитъ себя особнякомъ и думаетъ про себя: это не мое дѣло. Сунусь я одинъ ругать или бить доносчика—а вдругъ меня никто не поддержитъ, и останусь я въ дуракахъ; надо мною-же всѣ будутъ смѣяться, да и шпіонъ нагадитъ мнѣ по-своему.

При полномъ отсутствіи товарищества въ мертвомъ домѣ, каждый можетъ совершенно безпрепятственно оставаться самимъ собою, можетъ также, слѣдуя собственному влеченію, совершенствоваться или развращаться. Никому до этого не будетъ дѣла; каждый занятъ самимъ собою и каждый требуетъ только съ своей стороны, чтобы имъ какъ можно меньше занимались другіе; весь тонъ арестантскихъ разговоровъ носитъ на себѣ печать общей скрытности и несообщительности: арестанты болтаютъ, шутятъ, смѣются, ругаются, но разговоръ и брань вертятся постоянно на самыхъ незначительныхъ предметахъ, вовсе не затрогивающихъ за живое тѣхъ людей, которые разговариваютъ и бранятся; кромѣ того смѣхъ и шутки большинству арестантовъ рѣшительно не нравятся; ровная и сдержанная угрюмость составляетъ въ мертвомъ домѣ преобладающій колоритъ именно потому, что эта угрюмость всего лучше соотвѣтствуетъ внутренней разъединенности такихъ людей, которые принуждены жить вмѣстѣ, въ одной комнатѣ, не чувствуя никакихъ взаимныхъ симпатій и не желая имѣть другъ съ другомъ никакихъ общихъ интересовъ. Въ бурсѣ отношенія между обществомъ и отдѣльной личностью складываются совсѣмъ не такъ, какъ въ мертвомъ домѣ. Въ бурсѣ товарищество очень сильно, быть можетъ даже сильнѣе, чѣмъ въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ. Всякое школьное товарищество есть, въ большей или меньшей степени, оборонительный или наступательный союзъ учениковъ противъ начальства. Чѣмъ свирѣпѣе начальство и чѣмъ сильнѣе ненавидятъ его ученики, тѣмъ тѣснѣе смы-

Digitized by Google

каются они между собою, чтобы выручать другъ друга въ бѣдѣ и чтобы общими силами причинять непобѣдимому врагу множество мелкихъ непріятностей. Такъ какъ свирѣпость и скаредность бурсацкаго начальства доходила до фантастическихъ размѣровъ, то союзъ противъ этого начальства былъ совершенно необходимъ для спасенія здоровья и даже можетъ-быть жизни учениковъ. Союзъ этотъ, разумѣется, былъ очень тѣсенъ, потому что общая ненависть была велика, а общая опасность постоянно висѣла, какъ дамокловъ мечъ, если не надъ головами, то по крайней мѣрѣ надъ спинами всѣхъ бурсаковъ.

Начальство мертваго дома было также достаточно свирѣпо и скаредно, и спины арестантовъ находились также въ постоянной опасности, но союза однако-же не было, во-первыхъ потому, что арестанты, какъ люди опытные, понимали непобѣдимость общаго врага, а во-вторыхъ потому, что слишкомъ большое разнообразіе уже сформированныхъ характеровъ и умовъ заранѣе уничтожало всякую возможность соглашенія. Бурсаки, напротивъ того, лѣзли въ неравный бой со всей неразсчетливой заносчивостью молодости; имъ прежде всего хотѣлось насолить начальству, не обращая вниманія на то, что за это соленіе будетъ расплачиваться ихъ собственная шкура; страсть брала верхъ надъ благоразуміемъ, и легко можетъ быть, что именно эти взрывы страсти спасали бурсаковъ отъ окончательнаго отупѣнія и отъ неизлечимаго идіотизма. Далѣе, заключеніе и поддерживаніе тѣснаго товарищескаго союза было особенно удобно и легко потому, что въ бурсѣ, какъ въ чисто сословномъ заведеніи, было очень мало внутренняго разнообразія. Въ бурсу поступали дѣти, выросшія при очень сходныхъ условіяхъ, воспитанныя въ одинаковыхъ понятіяхъ, учившіяся читать по однѣмъ и тѣмъ-же книгамъ, игравшія дома въ однѣ и тѣ-же игры, слышавшія отъ взрослыхъ одни и тѣ-же нравоученія, словомъ, въ бурсу поступали цвѣтки одной и той-же почвы, или одного поля ягоды. Имъ было уже очень не трудно спѣться между собою и выработать, при содѣйствіи начальственнаго гнета, одинъ общій идеалъ, который для всѣхъ вновь поступающихъ учениковъ сдѣлался уже строго обязательнымъ. Хотя идеалъ былъ выработанъ при самыхъ каторжныхъ условіяхъ жизни, однако-же бурсаки горячо полюбили этотъ идеалъ и стали имъ гордиться, продолжая въ то-же время ненавидѣть и презирать бурсу, то есть ту форму, въ которую ихъ возлюбленный идеалъ былъ отлитъ. Бурсацкій идеалъ имѣетъ свои хорошія стороны; его можно назвать превосходнымъ оборонительнымъ оружіемъ, посредствомъ котораго богатая и сильная натура можетъ защитить себя отъ притупляющаго вліянія бурсацкой атмосферы, созданной тупоумной рутиной. Единственная обязанность идеальнаго бурсака состоитъ въ томъ, чтобы безгранично и неутомимо ненавидѣть гнетущую силу, проводя эту ненависть во всѣ поступки жизни и дѣйствуя постоянно наперекоръ всѣмъ начальственнымъ приказаніямъ и запрещеніямъ.

Суровый и дикій идеалъ бурсаковъ хорошъ именно тѣмъ, что поддерживаетъ въ своихъ поклонникахъ мужество, энергію, стойкость, расторопность, свободу сужденій, и вообще такія качества, которыя были-бы безпощадно истреблены начальственной системой безгласности, раболѣпства и чинопочитанія. Но, во-первыхъ, бурсацкій идеалъ не всякому по силамъ; а во-вторыхъ, этотъ идеалъ многими своими сторонами могъ прирости къ человѣку на-глухо и совершенно изуродовать на всю жизнь умъ и характеръ даннаго субъекта. Въ бурсу поступало много дѣтей слабаго сложенія, кроткаго и уступчиваго характера; эти личности, робкія, нѣжныя, стыдливыя, чувствительныя, пріученныя къ материнскимъ ласкамъ и способныя плакать на-взрыдъ отъ сердитаго взгляда или отъ насмѣшливаго слова, попадали въ бурсѣ подъ перекрестный огонь, который совершенно сбивалъ ихъ съ толку и въ короткое время превращалъ въ подлецовъ и идіотовъ, несмотря на то, что они, по своимъ природнымъ задаткамъ, могли-бы сдѣлаться людьми честными и очень неглупыми. Съ одной стороны, этихъ дѣтей тиранило начальство; съ другой стороны, ихъ презирало товарищество за то, что въ нихъ не было бурсацкой суровости и воинственности. Начальство требовало отъ этихъ простодушныхъ младенцевъ того, чего оно не рѣшилось-бы требовать отъ закаленныхъ или *отпѣтыхъ* бурсаковъ; изъ такихъ птенцовъ, ошеломленныхъ бурсацкими нравами, начальство, при пособіи кое-какихъ коварно-ласковыхъ словъ, очень легко могло изготовить себѣ фискаловъ. Первое фискальство можетъ быть сдѣлано случайно, вслѣдствіе ребяческой довѣрчивости, вслѣдствіе неумѣнья отмалчиваться и отнѣкиваться; но когда первый шагъ сдѣланъ, тогда душа уже продана чорту, и отступленіе становится невозможнымъ, потому что товарищество не умѣетъ прощать и въ раскаяніе фискаловъ не вѣритъ. Тогда несчастному мальчику приходится уже, изъ чувства самосохраненія, городить ложь на ложь и подлость на подлость, до тѣхъ поръ, пока наушничество и пролазничество не сдѣлаются для него второй натурой.

Надо сказать правду, что, кромѣ начальства, въ развращеніи такихъ личностей виновато и само товарищество, которое на первыхъ порахъ отталкиваетъ и озадачиваетъ робкаго новичка своей суровостью и неумолимостью. Тѣмъ матушкинымъ сынкамъ, которымъ удастся избѣгнуть сѣтей начальства, въ бурсѣ предстоитъ

Digitized by Google

также незавидная участь. Примкнувши къ товариществу, они стараются поддѣлаться подъ его замашки, напускаютъ на себя искусственное ухарство, отдаютъ себя въ полное распоряженіе настоящихъ удальцовъ, съ которыми у нихъ по натурѣ нѣтъ ничего общаго, и такимъ образомъ, отказавшись отъ всякой нравственной самостоятельности, пріучаются на всю жизнь плясать по чужой дудкѣ и носить маски, совершенно несоотвѣтствующія природнымъ наклонностямъ. Подъ ихъ напускнымъ молодечествомъ скрывается самая жалкая безцвѣтность, которая и обнаружится немедленно, какъ только эти недоразвившіяся личности выйдутъ изъ-подъ вліянія товарищества и вступятъ въ дѣйствительную жизнь.

Для сильныхъ характеровъ, для настоящихъ головорѣзовъ бурсацкій идеалъ опасенъ тѣмъ, что онъ можетъ наградить ихъ на всю жизнь буйными инстинктами и дикими привычками, совершенно неудобными въ цивилизованномъ обществѣ и до крайности тяжелыми для всѣхъ окружающихъ людей. Если бурсакъ, вырвавшись изъ бурсы на свободу, останется вѣренъ своему идеалу, то онъ рискуетъ сдѣлаться горькимъ пьяницей, уличнымъ буяномъ, дикимъ самодуромъ въ семействѣ и несноснѣйшимъ человѣкомъ для всѣхъ своихъ знакомыхъ и друзей. А между тѣмъ ему очень трудно отрѣшиться отъ такого идеала, передъ которымъ онъ благоговѣлъ втеченіи многихъ лѣтъ. Для того, чтобы это отреченіе сдѣлалось возможнымъ, бурсаку необходимо встрѣтиться съ такими людьми и съ такими идеями, которые идутъ прямо въ разрѣзъ всѣмъ бурсацкимъ преданіямъ и убѣжденіямъ. Тогда пелена спадетъ съ глазъ умнаго, даровитаго и энергическаго бурсака, которому бурса дала драгоцѣнную способность терпѣть, злиться и выжидать благопріятную минуту. Тогда, и только тогда, здоровая бурсацкая сила, взлелѣянная всевозможными невзгодами, перестанетъ тратиться на глупые подвиги ухарства и, пристроившись къ полезному дѣлу, развернется во всю свою ширину. Это значитъ, что бурсакъ, какъ-бы онъ ни былъ уменъ, даровитъ и крѣпокъ, можетъ сдѣлаться свѣтлой личностью только за предѣлами бурсы. Въ самой-же бурсѣ лучшіе изъ бурсаковъ подавлены своимъ идеаломъ, а мы уже видѣли, что этотъ идеалъ очень хорошъ для борьбы, но никуда не годится при обыкновенныхъ условіяхъ мирной трудовой жизни. Не годится онъ также и для той высшей борьбы, въ которой умные и честные люди поражаютъ заблужденія и разбиваютъ софизмы своихъ недальновидныхъ или недобросовѣстныхъ современниковъ. Но хорошъ и великъ бурсацкій идеалъ тѣмъ, что онъ, какъ твердая скорлупа, охраняетъ до поры до времени и сберегаетъ для великой житейской борьбы такія силы, которыя, оставаясь безъ прикрытія, непремѣнно испортились-бы въ затхлой атмосферѣ зубренія и слѣпого послушанія.

VII.

Послѣ всего, что было говорено выше, читателя уже не должно удивлять то обстоятельство, что въ мертвомъ домѣ встрѣчается больше привлекательныхъ и симпатичныхъ характеровъ, чѣмъ въ бурсѣ. Въ тѣхъ четырехъ очеркахъ, которые успѣлъ написать Помяловскій, выведено на сцену нѣсколько сильныхъ натуръ, одаренныхъ блестящими способностями и желѣзной волей, но эти натуры находятся постоянно въ осадномъ положеніи, онѣ вѣчно враждуютъ не только съ начальствомъ, но и между собою; добродушію, дружелюбію, мягкимъ и нѣжнымъ чувствамъ человѣческой природы въ бурсѣ рѣшительно нѣтъ мѣста; всѣ игры бурсаковъ—*постные*, *скоромные*, *швычи* и, *щипчики*, и т. д.—основаны на томъ, чтобы наносить другъ другу боль самыми разнообразными средствами; во время рекреаціи ученики старшаго класса, отъ нечего дѣлать, отправляются *дуть приходчину*, т. е. колотить младшій классъ; идя въ баню, бурсаки наровятъ изобидѣть всякаго встрѣчнаго, и монастырскаго сторожа, и ломового извощика, и барочныхъ мужиковъ, и уличныхъ собакъ, и даже жильцовъ тѣхъ домовъ, мимо которыхъ лежитъ ихъ путь. «Шествіе ихъ.—говоритъ Помяловскій,—знаменуется порчей разныхъ предметовъ, безъ всякаго смысла и пользы для себя, а просто изъ эстетическаго наслажденія разрушать и пакостить». «Старуха бросается отъ нихъ опрометью на другую сторону улицы и шепчетъ съ ужасомъ: «Господи! да это никакъ бурса тронулась!» «Хорошо,—прибавляетъ Помяловскій,—что она догадалась перейти на другую сторону, а то нашлись-бы охотники сдѣлать ей *смазь*, и *верховную*, и *боковую*, и *всеобщую*.» Подъ вліяніемъ тяжелой жизни, наполненной лишеніями, нравственными обидами и физическими страданіями, въ бурсакѣ развивается и созрѣваетъ хроническая потребность срывать зло на правыхъ и на виновныхъ, на людяхъ и на животныхъ, и вообще на всемъ, что можно растерзать и исковеркать. Разумѣется, эта потребность сама себя питаетъ и поддерживаетъ; бурсаки всего чаще срываютъ его другъ на другѣ и, увеличивая собственными безобразіями массу своихъ страданій, увеличиваютъ въ то-же время и количество того зла, которое должно быть сорвано. Это очень откровенно и наглядно выражено Помяловскимъ по поводу избіенія приходчины. «Впрочемъ,—говоритъ онъ,—въ такихъ случаяхъ большинство только удовлетворяло своей потребности побить кого-нибудь, дать вытряску, лупку, волосянку, отдуть, отвалять, взъерепенить, отмордасить, чтобы чувствовать, что въ

Digitized by Google

твоихъ рукахъ пищитъ что-то живое, страдаетъ и проситъ пощады, и все это дѣлается не изъ мести, не изъ вражды, а просто изъ любви къ искусству.»

Опредѣленной вражды тутъ дѣйствительно нѣтъ, но любовь къ искусству *взъерепенитъ* и *мордаситъ* развилась именно отъ того, что бурсакъ постоянно озлобленъ на всѣхъ и на все. Теперь представьте же вы себѣ, какова должна быть злость той приходчины, которая должна пищать, страдать и просить пощады. Что должна чувствовать эта приходчина послѣ ухода истребителей? Она должна клокотать и задыхаться отъ злости, тѣмъ болѣе, что злость ея безсильна, и что многіе изъ этой избитой приходчины навѣрное въ тотъ-же день уже были высѣчены учителями, которымъ также ничѣмъ нельзя было отмстить. Что-же это за жизнь! Утромъ поретъ учитель, вечеромъ лупятъ ученики. И куда-же долженъ вылиться весь запасъ накипѣвшей злости? А разумѣется, онъ выльется въ нѣдра той-же избитой и пересѣченной приходчины. Ученики начнутъ придираться другъ къ другу; затѣятся междоусобныя потасовки, и озлобленіе будетъ постоянно возрастать вмѣсто того, чтобы успокоиваться. Было-бы очень удивительно, еслибы при такихъ условіяхъ въ бурсѣ могли выработаться или только сохраниться кроткіе и любвеобильные характеры.

Самыми яркими и замѣчательными личностями въ очеркахъ Помяловскаго являются Аксютка и Гороблагодатскій. Съ Аксюткой мы уже отчасти знакомы: онъ—знаменитый воръ, мастеръ своего дѣла, веселый и остроумный изобрѣтатель мазурническихъ продѣлокъ и притомъ человѣкъ, освободившійся отъ всякихъ предразсудковъ,—такой человѣкъ, который крадетъ все и у всѣхъ: у лавочника онъ тащитъ булки, малиновое варенье, картофель, и при этомъ не забываетъ наплевать, для пущей игривости, въ кадушку съ капустой; у товарищей онъ крадетъ книги, бумагу, платье и тутъ-же кладетъ на мѣсто украденныхъ вещей камни или грязь, чтобъ оскорбить собственника не только убыткомъ, но еще и насмѣшкой; укравши у товарища мѣшокъ съ толокномъ, Аксютка, ради глумленія, самъ-же подчуетъ собственника его-же добромъ; у училищнаго солдата Аксютка воруетъ голенищи и потомъ самъ-же дразнитъ его голенищами; у своей невѣсты похищаетъ шелковый платокъ и три мѣдныхъ гривны. Впрочемъ, собственно говоря, у Аксютки даже никакой невѣсты и не было, и однако-же несомнѣнно то, что онъ былъ «уволенъ въ городъ для свиданія съ своей невѣстой, Ириной Вознесенской», у которой онъ и укралъ вышеупомянутыя вещи. А какимъ образомъ Ирина Вознесенская въ одно и то-же время можетъ быть и не быть невѣстой Аксютки—это исторія хитрая и любопытная, которую стоитъ разсмотрѣть внимательно, тѣмъ болѣе, что она съ своей стороны бросаетъ нѣсколько лучей свѣта на причины бурсацкой дикости и наглости. Дѣло все въ томъ, что за дьячковской дочерью, Ириной Вознесенской, закрѣплено мѣсто ея покойнаго отца; это значитъ, что ея мужъ сдѣлается дьячкомъ въ томъ приходѣ, гдѣ служилъ ея отецъ; такъ какъ приходъ не можетъ долго оставаться безъ дьячка, то Ирина Вознесенская должна выходить замужъ немедленно, тотчасъ послѣ смерти отца. А чтобы найти жениха, Ирина вмѣстѣ съ матерью отправляются въ разсадникъ женіховъ, то есть въ бурсу, валятся въ ноги инспектору, какъ стражу этого прекраснаго вертограда, подносятъ ему ливанъ и смирну, или точнѣе ромъ, чай, сахаръ, грибы, яблоки, холстъ и серебряный рубль, и наконецъ, задобривъ цербера медовыми лепешками, умоляютъ его одолжить жениха и даже не *жениха*, а *женіховъ*... «Да не озорниковъ какихъ, батюшка!»—прибавляетъ старуха, продолжая выражаться *во множественномъ числѣ*. Просьба старухи показываетъ, что достоинства бурсаковъ достаточно извѣстны русскому духовенству. Инспекторъ черезъ цензора вызываетъ къ себѣ женіховъ, которыхъ оказывается пять человѣкъ. Двоихъ инспекторъ бракуетъ, одного за нетрезвое поведеніе, другого за несовершеннолѣтіе. Остальные трое одобряются инспекторомъ и получаютъ отъ него отпускные билеты, гдѣ прописано, что каждый изъ нихъ уволенъ въ отпускъ для свиданія съ своей невѣстой, Ириной Вознесенской.

Такимъ образомъ Ирина Вознесенская въ одинъ и тотъ-же день, по волѣ бурсацкаго начальства, оказалась невѣстой троихъ женіховъ. Въ число одобренныхъ претендентовъ попалъ Аксютка, о которомъ инспекторъ повидимому думалъ, что онъ совсѣмъ не озорникъ. На другой день женихи всѣ вмѣстѣ отправляются къ невѣстѣ, но, къ сожалѣнію, Помяловскій пропускаетъ сцену смотринъ и прямо сообщаетъ читателю окончательные результаты. Оказывается, что претенденты размежевались полюбовно: Аксютка отправился къ *своей невѣстѣ* собственно за тѣмъ, чтобы поѣсть и украсть; поэтому онъ совершенно удовольствовался угощеніемъ, шелковымъ платкомъ и мѣдными гривнами. Другой претендентъ, Васенда, имѣлъ болѣе серьезныя намѣренія, но ему не понравились ни невѣста, ни приданое, ни закрѣпленный приходъ. Третій, Азинусъ, женился.

Такимъ образомъ дѣло обошлось благополучно. Но вѣдь могло оно разыграться совершенно иначе. Можно себѣ представить два любопытные случая: во-первыхъ тотъ, что ни одинъ изъ женіховъ не пожелалъ-бы обвѣн-

Digitized by Google

чаться съ дѣвицей Вознесенской, а во-вторыхъ тотъ, что всѣ трое прельстились-бы невѣстой, приданымъ и закрѣпленнымъ приходомъ.

Въ первомъ случаѣ чрезвычайно интересно было-бы знать, что́ предпринялъ-бы инспекторъ. «Чтожъ вы, подлецы,—сказалъ бы онъ вѣроятно,—въ дуракахъ меня что-ли оставить хотите? Нѣтъ, врете: сунулись въ женихи, такъ теперь и вѣнчайтесь, такіе-сякіе!» Но тутъ инспекторъ вспомнилъ-бы, что вѣдь ихъ, подлецовъ или жениховъ, все-таки нѣсколько, и что нельзя-же ихъ всѣхъ перевѣнчать съ Ириной Вознесенской, какъ-бы ни было такое наказаніе полезно и внушительно въ педагогическомъ отношеніи. Надо непремѣнно выбрать одного, чтобы этого избраннаго сдѣлать козломъ отпущенія. Но какимъ-же образомъ выбрать? Приказать имъ развѣ, чтобы они кинули между собою жребій и чтобы Ирина Вознесенская досталась тому, кому измѣнитъ счастье? Или можетъ-быть просто принять въ соображеніе списокъ балловъ и обречь на жертву того, кто учится и ведетъ себя хуже всѣхъ остальныхъ? Женить человѣка за дурное поведеніе, наказать человѣка женитьбой — это конечно очень мило, остроумно и даже водевильно, но и тутъ есть серьезное затрудненіе. Женихъ въ церкви непремѣнно долженъ самъ сказать «*da*» и очень легко можетъ случиться, что озорникъ, осужденный на женитьбу, въ пику начальству, скажетъ «*нѣтъ*», презирая всѣ могущіе воспослѣдовать прежестокіе розгачи. Чѣмъ хуже онъ ведетъ себя, и слѣдовательно чѣмъ больше онъ заслуживаетъ наказаніе, тѣмъ правдоподобнѣе, что онъ, по озорству своему, осмѣлится отъ него уклониться. Скажетъ «*нѣтъ*», и кончено дѣло, хоть ты колъ на головѣ теши! Что тутъ прикажете дѣлать? Не знаю, рѣшительно не знаю. Я никогда не былъ инспекторомъ бурсы, поэтому никакъ не могу себѣ представить, что́бы я сталъ предпринимать, еслибы упорство моихъ питомцевъ лишило меня возможности презентовать Иринѣ Вознесенской жениха, за котораго я уже получилъ наличную плату деньгами, вещами и колѣнопреклоненіями.

Второй возможный случай также достаточно интересенъ, хотя и менѣе затруднителенъ для инспектора бурсы. Спрашивается, какимъ образомъ примирить притязанія троихъ молодцовъ, которые, опираясь на свои отпускные билеты, всѣ трое захотѣли-бы серьезно считать себя женихами Ирины Вознесенской? Можно было-бы пожалуй предоставить рѣшеніе вопроса самой невѣстѣ, но какія-же она можетъ имѣть основательныя причины для того, чтобы выбрать себѣ одного изъ троихъ юношей, которыхъ она видитъ въ первый разъ въ жизни. А между тѣмъ проживаться въ городѣ ей неприходится; кромѣ того дьяческое мѣсто не можетъ стоять вакантнымъ, покуда Ирина Вознесенская будетъ изучать своихъ претендентовъ; наконецъ и бурсаковъ не станутъ-же отпускать къ ней въ гости до тѣхъ поръ, пока она соблаговолитъ рѣшиться; однимъ словомъ, надо выбирать немедленно, имѣя въ виду и тотъ шансъ, что любезный супругъ въ первый-же день медоваго мѣсяца можетъ подбить своей сожительницѣ оба глаза или стащить въ кабакъ ея заячій салопъ, или провороваться и попасть подъ судъ. Если нѣтъ возможности сдѣлать выборъ съ полнымъ знаніемъ дѣла, если бракъ совершается при такихъ условіяхъ, при которыхъ не можетъ возникнуть чувство, способное заглушить всякія опасенія,—то невѣстѣ всего лучше оставаться совершенно пассивнымъ лицомъ до самаго конца всей исторіи. Тогда по крайней мѣрѣ, въ случаѣ неудачи, ей можно будетъ плакаться на судьбу, а не на собственную оплошность. Можно будетъ во время подбиванія глазъ или пропиванія салопа утѣшать себя тѣмъ размышленіемъ, что не было другого выхода и что все это сдѣлалось помимо ея воли. Жизнь Ирины Вознесенской, — бѣдной, некрасивой и уже очень немолодой дочери деревенскаго дьячка,—уже давно должна была пріучить ее той безотвѣтной и полусонной покорности, которая составляетъ послѣднее утѣшеніе или по крайней мѣрѣ послѣднее убѣжище забитыхъ и затертыхъ личностей, обиженныхъ природой и людьми. Для такой личности, махнувшей рукой на себя и на жизнь, каждое проявленіе энергіи и самостоятельности составляетъ очень тяжелый и даже мучительный трудъ. Поэтому Ирина Вознесенская врядъ-ли согласилась-бы воспользоваться правомъ выбора, еслибы такое право было ей предоставлено претендентами и начальствомъ бурсы.

Но такой утонченной деликатности нельзя даже и ожидать ни отъ претендентовъ, ни отъ начальства. Инспекторъ знаетъ очень хорошо, что Ирина наглухо прикрѣплена къ своему мѣсту, безъ котораго ей нечѣмъ будетъ кормиться; знаетъ онъ также очень твердо, что судьба Ирины въ его рукахъ, и что отъ него зависитъ наградить Ириною достойнѣйшаго изъ претендентовъ, если только Ирина дѣйствительно въ какомъ-нибудь отношеніи можетъ исправлять должность награды. Этого права инспекторъ вѣроятно не захочетъ выпустить изъ своихъ рукъ, потому что власть и могущество во всѣхъ своихъ малѣйшихъ проявленіяхъ веселятъ сердце и возвышаютъ духъ всякаго начальствующаго человѣка. Бурсаки съ своей стороны, желая вырваться изъ бурсы и влюбившись въ прелести прихода, приданаго и независимой жизни, вовсе не будутъ великодушничать и отдаваться на произволъ

Digitized by Google

Ирины. Они будутъ спорить между собою, оставляя невѣсту въ пассивно-выжидательномъ положеніи, и споръ ихъ по всей вѣроятности будетъ рѣшенъ или какой-нибудь полюбовной сдѣлкой, съ распитіемъ нѣсколькихъ косушекъ на счетъ счастливаго соперника, или, что̀ еще правдоподобнѣе, безапелляціоннымъ приговоромъ инспектора, который въ этомъ случаѣ превратитъ Ирину въ премію низкопоклонства, искуснаго лицемѣрія и быть можетъ даже усерднаго фискальства.

Въ разсказѣ Помяловскаго всѣ эти затрудненія сглаживаются сами собою, но любопытно обратить вниманіе на тѣ причины, которыя отклонили отъ брака одного изъ претендентовъ, Васенду, имѣвшаго серьезное намѣреніе жениться. «Васенда,—говоритъ Помяловскій, — какъ человѣкъ положительный и практическій, нашелъ невыгоднымъ закрѣпленное мѣсто, приданое и обязательства, а невѣсту черезчуръ заматорѣвшей во днѣхъ своихъ, на видъ рябой, длинной и черствой. Онъ рѣшился остаться въ камчаткѣ (*камчаткою* назывались заднія скамейки класса, составлявшія жилище неисправныхъ лѣнтяевъ) до лучшей суженой.»

Эти слова даютъ вамъ нѣкоторое понятіе о красотѣ той сцены, которая называется *смотринами* и въ которой живая и свободная человѣческая личность продается и покупается съ соблюденіемъ всѣхъ торговыхъ правилъ и ухватокъ толкучаго рынка. Эта сцена особенно миловидна тѣмъ, что тутъ сразу даже и не разберешь, кто кого покупаетъ, кто кого продаетъ, кто кого забираетъ въ кабалу. Всѣ дѣйствующія лица (кромѣ Аксютки, пришедшаго ѣсть и красть) играютъ роль страдательную, зависимую и подневольную. Всѣ они подавлены какой-то высшей силой, которая заставляетъ ихъ насиловать самыя естественныя и неистребимыя наклонности человѣческой природы. Стоитъ только сличить то, чего хотятъ всѣ дѣйствующія лица этой сцены, съ тѣмъ, что они дѣлаютъ, чтобы убѣдиться въ томъ, что всѣ они—жертвы, всѣ, кромѣ Аксютки, и что всѣхъ ихъ, кромѣ того-же Аксютки, продаетъ, покупаетъ и кабалитъ, давитъ и унижаетъ внѣшняя сила, неимѣющая въ данной сценѣ ни одного представителя.

Въ самомъ дѣлѣ, чего хочетъ старуха Вознесенская? Она хочетъ добыть для своей дочери смирнаго, честнаго, трезваго и работящаго мужа. А что̀ она дѣлаетъ? Поступаетъ-ли она сообразно съ своимъ желаніемъ? Напротивъ того. Она привлекаетъ къ своей дочери бурсаковъ, которыхъ она сама-же считаетъ озорниками и отъ которыхъ она навѣрное перебѣжала-бы на другую сторону улицы, подобно старухѣ, попавшейся на встрѣчу бурсакамъ, во время ихъ побѣднаго шествія въ баню. Она бросаетъ свою дочь на шею такому человѣку, котораго обѣ онѣ, и старуха, и дочь, видятъ въ первый разъ. Она встрѣчаетъ разомъ троихъ гостей и передъ всѣми тремя разсыпаетъ одинаковыя любезности, потому что каждый изъ нихъ можетъ оказаться тѣмъ суженымъ, которому достанется право карать и миловать ея дочь. Положеніе старухи, какъ видите, совершенно пассивно и до послѣдней степени зависимо. Тутъ съ ея стороны нѣтъ ничего похожаго на обыкновенную ловлю жениховъ; она ловитъ то, чего ей вовсе не хочется поймать; ловитъ то, въ чемъ она боится найдти несчастіе для себя и для своей дочери.

Чего хочетъ эта дочь? Подобно всякой другой дѣвушкѣ, Ирина хочетъ пріобрѣсти себѣ мужа красиваго, веселаго, кроткаго, расторопнаго, способнаго хорошо кормить и одѣвать ее, вообще такого, который-бы понравился ей и полюбилъ ее.—А что̀ она дѣлаетъ? Она принимаетъ съ заискивающимъ видомъ и съ стереотипной улыбкой всѣхъ уродовъ и всѣхъ негодяевъ, которыхъ заблагоразсудитъ прислать къ ней въ гости инспекторъ бурсы. Наружность посѣтителей можетъ ей не нравиться; она можетъ думать про себя, что они по всей вѣроятности окажутся негодяями. но все это ровно ничего не значитъ; несмотря на свое отвращеніе, несмотря на свои мучительныя предчувствія, она съ невозмутимымъ смиреніемъ должна изображать своей особой вещь, которую пришли разсматривать и оцѣнивать покупатели. Въ ея роли нѣтъ также ни малѣйшей активности и ничего похожаго на завлеканіе поклонниковъ.

Чего хотятъ покупатели, Васенда и Азинусъ? Но, во-первыхъ, какіе-же они покупатели? На какіе достатки могутъ они купить человѣка? Какъ-бы ни были дешевы въ наше время человѣческое счастье, человѣческая жизнь, человѣческая любовь, человѣческая совѣсть,—все же эти вещи дороже трехъ-копѣечной сайки, а Васендѣ и Азинусу даже и трехъ-копѣечная сайка обыкновенно оказывается не по карману. Васендѣ и Азинусу для совершенія купли надо заложить, закабалить или продать собственныя особы. Они приходятъ къ госпожѣ Вознесенской именно для того, чтобы устроить такую сдѣлку. Одно это обстоятельство уже достаточно устраняетъ всякое помышленіе о ихъ активности. Но во всякомъ случаѣ чего-же они хотятъ? Подобно всѣмъ другимъ молодымъ людямъ ихъ возраста, они желали-бы, чтобы ихъ любила и ласкала молодая и красивая женщина. Это физіологическое влеченіе къ молодости, къ свѣжести и къ красотѣ не можетъ быть истреблено ни однимъ изъ талисмановъ, которыми располагаетъ бурса: ни голодомъ, ни грязью, ни розгами, ни даже тамошней наукой. Это влеченіе несомнѣнно существуетъ въ обоихъ претендентахъ, являющихся къ Иринѣ Вознесенской. А

Digitized by Google

между тѣмъ, что̀ дѣлаютъ эти претенденты? Познакомившись съ своей *общей невѣстой*, они видятъ прежде всего, что Ирина—дѣвица, *заматорѣвшая во днѣхъ своихъ, на видъ рябая, длинная и черствая*. Тогда они оба кладутъ на одну чашку вѣсовъ корявую наружность и преклонныя лѣта Ирины, а на другую начинаютъ накладывать стаметовыя юбки, шелковые платки, заячьи салопы, коровъ и овецъ, доходы закрѣпленнаго мѣста и всѣ другія сокровища, принадлежащія невѣстѣ. Уложивши все, какъ слѣдуетъ, Васенда находитъ, что первая чашка все-таки перетягиваетъ; поэтому онъ отступается отъ невѣсты. Но еслибы вы на вторую чашку вѣсовъ прибавили нѣсколько стаметовыхъ юбокъ, двѣ-три коровы, два-три десятка рублей годового дохода,—то Васенда, *какъ человѣкъ практическій и положительный*, переломилъ-бы свое физіологическое отвращеніе къ рябой и черствой дѣвицѣ и, скрѣпя сердце, отдалъ-бы себя въ кабалу за очень дешевую цѣну. Азинусъ поступилъ именно такимъ образомъ, и, разумѣется, не потому, что рябое лицо казалось ему привлекательнымъ, и также не потому, что влеченіе къ красотѣ и къ молодости въ немъ не существовало. Рѣшился онъ на свой неблестящій бракъ потому, что и въ бурсѣ оставаться было скверно, и впереди не предвидѣлось ничего утѣшительнаго. Браки по разсчету, покупки и продажи живыхъ и полнокровныхъ человѣческихъ личностей, совершаются каждый день въ самыхъ богатыхъ и знатныхъ слояхъ европейскихъ обществъ. Но эти торговыя сдѣлки имѣютъ такъ-же мало общаго съ поступками Азинуса и Васенды, какъ мало общаго имѣютъ дѣйствія Ирины и старухи Вознесенскихъ съ кокетствомъ богатыхъ барышень и съ маневрами богатыхъ маменекъ. Въ блестящихъ бракахъ по разсчету обѣ стороны по своему остаются въ выигрышѣ, то есть, обѣ получаютъ дѣйствительно то, къ чему онѣ стремились: одна сторона покупаетъ себѣ красоту и наслаждается ею; другая за противныя старческія ласки вознаграждаетъ себя блестящими нарядами, каретой, балами и театрами,—словомъ, всѣми прелестями утонченнаго комфорта. Но что-же получаютъ другъ отъ друга monsieur и madame Азинусъ? Ни красоты, ни довольства, ни того, что̀ наполняетъ жизнь наслажденіемъ, ни того, что̀ дѣлаетъ пустую жизнь сколько-нибудь сносной. Оба собираются взаимно отравить другъ другу жизнь, оба предвидятъ, что не принесутъ другъ другу ничего, кромѣ заботъ, обидъ и огорченій, и оба дѣлаютъ рѣшительный шагъ, получая отъ общества за весь этотъ подвигъ хроническаго самоистязанія возможность жить въ дрянной избенкѣ, одѣваться въ дрянныя ветошки и набивать животъ чуть-чуть не сѣномъ. Такой бракъ слѣдуетъ назвать не бракомъ по разсчету, а бракомъ изъ-подъ палки, и палкой является тутъ для обѣихъ сторонъ бѣдность, не та иная бѣдность, при которой нельзя завести себѣ собственныхъ лошадей и французскаго повара, а та настоящая, неприличная бѣдность, при которой можно голодать и зябнуть, нищенствовать и воровать, страдать отъ болѣзни и обходиться безъ медицинской помощи, безъ мягкой постели, безъ чистаго и сухого воздуха.

«Въ свѣтскихъ искусственныхъ бракахъ,—говоритъ Помяловскій,—большей частью оскорбляется женщина; но въ бурсацкихъ—и женщина, и мужчина. Въ свѣтскихъ мужчина говоритъ: «я сытъ и есть у меня имя, иди за меня—ты будешь сыта и получишь имя»; въ бурсацкихъ-же не то; женихъ кричитъ: «ѣсть нечего»; невѣста кричитъ: «съ голоду умираю»—и исходъ одинъ: соединиться обѣимъ сторонамъ.» И соединиться для того, чтобы, грызя другъ друга взаимными попреками, прожить всю жизнь впроголодь! Исходъ прелестенъ, и прелести этого исхода достаточно извѣстны бурсакамъ, насмотрѣвшимся на семейныя заботы и семейные раздоры, какъ въ домѣ своихъ родителей, такъ и у всѣхъ своихъ ближайшихъ знакомыхъ. И однакоже вообразите себѣ, что этотъ исходъ, этотъ бракъ изъ-подъ палки, это отвратительное взвѣшиваніе стаметовыхъ юбокъ и корявой наружности являются въ жизни бурсаковъ радостнымъ и счастливымъ событіемъ, которое воодушевляетъ цѣлый классъ, возбуждаетъ ликованіе въ Камчаткѣ, наводитъ на всѣхъ учениковъ веселыя думы и охватываетъ трепетомъ наслажденія все училище «*отъ двѣнадцатилѣтняго мальчика до двадцати-двухъ годовалаго парня, отъ послѣдняго лѣнтяя до перваго ученика*». Женихи считаются *героями дня*. Камчатка гордится ими. *Магическое слово «женихи» быстрѣе ласточки облетаетъ по всѣмъ классамъ, сладостно волнуя бурсацкія души.*

Все, что̀ подчеркнуто, принадлежитъ Помяловскому.—Это всеобщее ликованіе составляетъ, разумѣется, только слабое отраженіе гордой и непомѣрной радости, переполняющей сердца женіховъ, которые дѣйствительно сами считаютъ себя *героями дня*, и въ тяжелой сценѣ *смотринъ*, унизительной для всѣхъ заинтересованныхъ сторонъ, видятъ одинъ изъ самыхъ свѣтлыхъ и блестящихъ эпизодовъ своей жизни. Быть женихомъ изъ-подъ палки—такая великая честь, и попасть на смотрины—такое несказанное благополучіе, что, забывая свой возрастъ, къ этой чести и къ этому благополучію порывается даже четырнадцатилѣтній мальчикъ, котораго забраковалъ инспекторъ и жестоко осмѣяли за эту преждевременную прыткость товарищи.

Что-же все это значитъ? Неужели-же бур-

Digitized by Google

сакъ неспособенъ влюбиться въ женщину? Неужели въ бурсакѣ дѣйствительно истреблено влеченіе къ молодости и красотѣ? Это невозможно, такъ точно какъ невозможно истребить въ человѣкѣ влеченіе къ здоровой и обильной пищѣ, къ теплому и удобному платью, къ мягкой и чистой постели. Влеченіе къ удобствамъ жизни не исчезаетъ никогда, и человѣкъ всегда сохраняетъ способность отличать пріятное отъ непріятнаго, и даже различать довольно тонкіе оттѣнки въ своихъ пріятныхъ ощущеніяхъ. Но когда человѣкъ поставленъ въ такое положеніе, при которомъ самыя пріятныя ощущенія для него рѣшительно недоступны, тогда онъ поневолѣ привыкаетъ пробавляться тѣмъ вторымъ, третьимъ или четвертымъ сортомъ наслажденій, который оказывается для него сподручнымъ Спускаясь на нижнія ступеньки общественной лѣстницы, мы находимъ тамъ такія положенія, при которыхъ человѣкъ страдаетъ съ утра до вечера, и съ вечера до утра, то отъ холода, то отъ голода, то отъ копоти, то отъ насѣкомыхъ, то отъ непомѣрной и однообразной работы, то отъ грубаго обращенія. Для такого человѣка облегченіе привычныхъ страданій оказывается уже наслажденіемъ, хотя намъ съ вами это наслажденіе показалось-бы очень ощутительнымъ страданіемъ. Бурсакъ можетъ считать счастливымъ тотъ день, когда его не оставили безъ обѣда, не прибили и не высѣкли, но еслибы насъ съ вами заставили прожить штукъ десять такихъ счастливыхъ дней, то мы считали-бы себя очень жестоко наказанными. Когда общій колоритъ жизни мраченъ и грязенъ, когда глубокія, сильныя и чистыя наслажденія недоступны, тогда человѣкъ привыкаетъ считать пустой прихотью тѣ изъ своихъ собственныхъ законныхъ потребностей, которыя, при данныхъ условіяхъ, не могутъ найти себѣ удовлетворенія. Такія суровыя отношенія человѣка къ самому себѣ необходимы, потому что они одни даютъ ему силы переносить тяжесть безотраднаго существованія; давая волю своимъ неудовлетворимымъ стремленіямъ и въ то-же время не имѣя возможности выбиться изъ подъ гнета тѣхъ условій, которыя мѣшаютъ удовлетворенію,— человѣкъ домучилъ-бы себя до сумасшествія и до самоубійства. Но если, при данныхъ условіяхъ, человѣку необходимо насиловать, переламывать, истощать и уродовать свою природу, то во всякомъ случаѣ невозможно находить эти крутыя мѣры полезными для человѣческаго совершенствованія. Осажденный гарнизонъ поступаетъ очень благоразумно, если, въ ожиданіи скорой помощи, онъ тратитъ съѣстные припасы съ самой крайней скупостью; но эта скупость, необходимая при данныхъ обстоятельствахъ, во всякомъ случаѣ дѣйствуетъ на здоровье людей разрушительнымъ образомъ.

То-же самое можно сказать и о бурсакахъ. Они были-бы невыносимо несчастливы, еслибы грязь и безобразіе ихъ существованія постоянно поражали ихъ такъ-же сильно, какъ они могутъ поражать свѣжаго человѣка, смотрящаго на дѣло со стороны.—Привычка къ грязи и примиреніе съ тусклыми и мутными удовольствіями составляютъ для бурсаковъ единственное спасеніе отъ самаго убійственнаго отчаянія. Но это спасеніе достается имъ не даромъ. Они должны обезобразить себя для того, чтобы приноровиться къ условіямъ жизни, невыносимымъ для нормальнаго человѣка. Отказываясь по необходимости отъ высшихъ наслажденій, человѣческая природа бѣднѣетъ, вянетъ и черствѣетъ. Становясь непомѣрно суровымъ къ самому себѣ, называя прихотью свое собственное и законное желаніе, человѣкъ пріучается быть неумолимымъ въ отношеніи къ другимъ. Онъ топчетъ въ грязь чужія чувства такъ точно, какъ его собственныя чувства топтались въ грязь желѣзнымъ гнетомъ обстоятельствъ. Что скажетъ напримѣръ Азинусъ, когда лѣтъ черезъ двадцать сынъ его захочетъ жениться на любимой дѣвушкѣ, несоотвѣтствующей финансовымъ или политическимъ планамъ родителя? Азинусъ припомнитъ свои смотрины и тотъ восторгъ, съ которымъ онъ летѣлъ въ домъ совершенно незнакомой дѣвушки, и ту неустрашимость, съ которой онъ отнесся къ рябой физіономіи Ирины Вознесенской.

«Дуракъ,—скажетъ онъ своему сыну.—Развѣжъ тебѣ не все равно, что одну взять дѣвку, что другую? За тебя нашъ благочинный хочетъ свою Степаниду отдать, а ты рыло воротишь. Глупъ ты, молодъ, мало каши ѣлъ, мало вѣниковъ объ тебя изломали,—оттого и дуришь. А ты-бы посмотрѣлъ, какъ я на твоей матери женился. И рожа то у ней хуже Степанидиной была, и старше-то она была лѣтъ на семь, и добра-то за нею никакого не было,—да взялъ-же я ее, да еще земли подъ собой не слышалъ отъ радости. А ты рыло воротишь! Меня передъ благочиннымъ погубить стараешься! Ну, не оселъ-ли ты послѣ этого? На моемъ мѣстѣ другой отецъ съ тобой языкомъ-то и говорить-бы не сталъ.»—И затѣмъ начинаются крикъ, шумъ, избіеніе непокорнаго сына, и все это происходитъ отъ того, что человѣкъ всегда прикидываетъ чужія чувства и страсти на собственный аршинъ, укороченный или изломанный враждебными обстоятельствами. Разсмотрѣвши исторію Аксюткиной невѣсты, я теперь возвращаюсь къ самому Аксюткѣ и къ Горо-благодатскому.

VIII.

Великъ и славенъ Аксютка своими воровскими подвигами, но еще больше славы и ве-

Digitized by Google

личія доставляетъ ему та кровопролитная война, которую онъ ведетъ съ жестокимъ учителемъ Лобовымъ. Эта война ведется самымъ оригинальнымъ образомъ и оказывается кровопролитной для одного Аксютки. Обладая отличными способностями, Аксютка начинаетъ вдругъ превосходно учиться. Лобовъ восхищается его успѣхами и сажаетъ его на первую скамейку. Аксютка тотчасъ перестаетъ учиться и постоянно получаетъ нули въ авдиторскихъ нотатахъ. Лобовъ начинаетъ его пороть и впродолженіи нѣсколькихъ недѣль проливаетъ его кровь за каждый невыученный урокъ. Аксютка съ непоколебимой стойкостью выдерживаетъ лобовскія внушенія и наконецъ отсылается въ Камчатку, въ страну безнадежныхъ лѣнтяевъ, которыхъ начальство уже не удостоиваетъ сѣченія. Повидимому всего выгоднѣе для Аксютки было-бы успокоиться въ Камчаткѣ и навсегда забыть о существованіи учебныхъ книгъ и учительскихъ розогъ. Но Аксютка на это рѣшиться не можетъ. Ему непремѣнно надо лицедѣйствовать въ классѣ, обращать на себя вниманіе и изумлять товарищество своимъ геройствомъ. Попавши въ Камчатку, онъ снова начинаетъ учиться, и появляется въ нотатахъ съ полными баллами. Покаялся, думаетъ Лобовъ и переводитъ Аксютку на первую скамейку. Но Аксютка обнаружилъ признаки раскаянія только для того, чтобы завязать съ Лобовымъ повую борьбу. Начинается опять рядъ нулей; надъ Аксюткой свистятъ лобовскія розги; Аксютку гонятъ въ Камчатку, и опять разыгрывается съ начала та-же самая исторія. Наконецъ Лобовъ видитъ ясно, что Аксютка, жертвуя собственной спиной, дразнитъ и дурачитъ его для потѣхи всего лихого бурсачества. Тогда Лобовъ, услявши Аксютку въ Камчатку, рѣшительно запрещаетъ ему учиться.

«— Ты, животное,—говоритъ Лобовъ,—потѣшаешься надо мною: когда тебя порютъ, у тебя въ нотатѣ нули, когда шлютъ въ Камчатку— пятки. Знаю я тебя: ты добиваешься того, чтобы опять перейдти на первую парту, чтобы потомъ снова бѣсить меня нулями? Врешь-же! Не бывать тебѣ на первой партѣ, и пока у тебя снова не будутъ нули, до тѣхъ поръ не ходи въ столовую.»

Каково должно быть торжество Аксютки, когда Лобовъ произноситъ эти слова? Учитель признается публично, при всемъ классѣ, что Аксютка *потѣшается надъ нимъ*, что Аксютка *нарочно бѣситъ его нулями*. Учитель разсказываетъ публично всю тактику Аксютки. Значитъ, учитель понялъ наконецъ и объявилъ всѣмъ ученикамъ, что Аксютка рѣшительно не боится его, Ивана Михайловича Лобова, передъ которымъ трепещетъ вся неустрашимая бурса. Лобовъ сдается на капитуляцію и проситъ себѣ только милости: «храбрый Аксютка, оставь меня въ покоѣ и позволь мнѣ не пороть тебя!»—«Ни за что!» возражаетъ Аксюткаи, сидя въ Камчаткѣ, учится отлично, единственно для того, чтобы добраться снова до лобовскихъ розогъ. Лобовъ старается истребить аксюткино прилежаніе голодомъ, но Аксютка непобѣдимъ и съ этой стороны. Онъ не ходитъ въ столовую, но воруетъ съ удвоеннымъ искусствомъ все, что́ можно украсть, поддерживаетъ кое-какъ свое существованіе и, на-зло Лобову, продолжаетъ учиться великолѣпно.

Чѣмъ кончается эта изумительная борьба— объ этомъ Помяловскій не говоритъ, но довольно и того, что́ было разсказано до сихъ поръ. Этихъ фактовъ совершенно достаточно для того, чтобы почувствовать самое почтительное изумленіе передъ громадной силой Аксюткина характера. Человѣкъ терпитъ голодъ и розги, человѣкъ самъ напрашивается на розги, человѣкъ учится и старается для полученія розогъ, и всѣ эти удивительныя эволюціи производятся съ той единственной цѣлью, чтобы сказать себѣ и товарищамъ: «а я все-таки поставилъ на своемъ! Хочу дурачиться, и буду дурачиться, и никакой Лобовъ меня не испугаетъ.»

Чѣмъ ничтожнѣе цѣль, тѣмъ изумительнѣе та настойчивость, съ которой эта цѣль преслѣдуется. Если человѣкъ, ради пустѣйшаго изъ своихъ капризовъ, добровольно и неоднократно подвергаетъ себя очень сильной физической боли, то передъ чѣмъ-же отступитъ этотъ человѣкъ, когда въ немъ заговоритъ настоящая страсть, и когда онъ увидитъ передъ собой дѣйствительное наслажденіе? Чѣмъ вы запугаете такого человѣка, который въ бурсѣ, безъ всякихъ средствъ обороны, нарочно дразнитъ и бѣситъ учителя, вооруженнаго всѣми орудіями школьной инквизиціи и имѣющаго полную возможность запороть до полу-смерти непочтительнаго ученика? Заставьте такого человѣка, какъ Аксютка, полюбить полезное дѣло, съумѣйте найти приложеніе для его громадной энергіи, бросьте въ его свѣтлый умъ плодотворныя мысли, — и этотъ училищный воръ былъ-бы великимъ человѣкомъ. Гибель такихъ умныхъ, даровитыхъ, блестящихъ и энергическихъ личностей, какъ Аксютка, неизбѣжна, но неизбѣжна она только потому, что огненный потокъ великихъ людей, очищающихъ и увлекающихъ за собою все, что́ способно мыслить, желать и увлекаться,—до сихъ поръ не проложилъ себѣ дороги въ низшіе бѣднѣйшіе и грязнѣйшіе слои нашего общества. Но пока солнышко взойдетъ, до тѣхъ поръ роса глаза выѣстъ, и многія сотни Аксютокъ сгніютъ на нарахъ мертвыхъ домовъ, въ ожиданіи очищающихъ, обновляющихъ и увлекающихъ идей.

Другой сильный характеръ бурсы, Гороблa-

Digitized by Google

годатскій, обреченъ также на вѣрную гибель, несмотря на то, что въ немъ имѣется гораздо больше хорошихъ качествъ, чѣмъ въ мазурикѣ-Аксюткѣ. Въ Гороблагодатскомъ мы видимъ самое чистое и самое прекрасное воплощеніе дикаго бурсацкаго идеала. Ненависть этого человѣка къ угнетающей рутинѣ безпредѣльна; честность его въ отношеніи къ товарищамъ безпредѣльна. «Онъ,—говоритъ Помяловскій,—не взялъ ни одной взятки, безпристрастно и справедливо отмѣчалъ подъавдиторнымъ баллы, не куражился надъ ними, часто защищалъ слабосильныхъ, любилъ вмѣшиваться въ ссоры и хотя деспотически, но всегда справедливо рѣшалъ ихъ; онъ постоянно солилъ ростовщикамъ и взяточникамъ. Товарищество его любило и уважало.» Но въ ненависти своей страстный и сильный характеръ Гороблагодатскаго доходитъ до безпощадной свирѣпости, для которой бурса, переполненная всѣмъ, что способно возмущать честнаго человѣка, представляетъ конечно самое обширное поприще. Первый очеркъ Помяловскаго («Зимній вечеръ въ бурсѣ») показываетъ намъ, какимъ образомъ Гороблагодатскій доѣзжаетъ двухъ подлецовъ, ростовщика Тавлю и фискала Семенова.

Желая насладиться мученіями Тавли, Гороблагодатскій играетъ съ нимъ въ камушки со щипчиками. Интересъ игры состоитъ въ томъ, что выигравшій имѣетъ право щипать руку проигравшаго. Такъ какъ Тавля и Гороблагодатскій—оба силачи, то щипчики ихъ ужасны и называются *съ пылу горячіе*. Отъ этихъ щипчиковъ краснѣетъ, синѣетъ, чернѣетъ и пухнетъ рука побѣжденнаго партнера. Гороблагодатскій проигрываетъ. Тавля закатываетъ ему сотню жесточайшихъ щипчиковъ и потомъ насмѣшливо спрашиваетъ у него, не хочетъ-ли онъ сыграть еще партію? Гороблагодатскій говоритъ: «Давай!»—и выигрываетъ.—«Съ пылу горячіе!»—провозглашаетъ побѣдитель такимъ зловѣщимъ голосомъ, что товарищамъ становится страшно.—«Конца не будетъ!»—произноситъ Гороблагодатскій, и начинается истязаніе. Товарищи смотрятъ и молчатъ. У Тавли душа уходитъ въ пятки. Получивши сотню баснословныхъ щипчиковъ, Тавля начинаетъ отпрашиваться.—«Послѣ двухъ сотъ проси пощады»,—отвѣчаетъ истребитель ростовщиковъ. Тавля продолжаетъ уговаривать побѣдителя, но побѣдитель велитъ ему молчать: «Скажи только слово,—говоритъ Гороблагодатскій,—еще двѣсти закачу.» Тавля начинаетъ плакать. Послѣ двухсотъ Гороблагодатскій приказываетъ Тавлѣ просить прощенія и побѣждаетъ его упрямство жестокимъ щипкомъ. Истерзанный Тавля смиряется и при всей собравшейся публикѣ проситъ прощенія. Гороблагодатскому этого мало. Страданія и покорность Тавли нисколько не укрощаютъ его ненависти. Черезъ нѣсколько времени Тавля играетъ *въ постные*. Эта игра состоитъ въ томъ, что одинъ изъ играющихъ, закрывши голову руками, подставляетъ спину подъ удары и старается угадать, кто его ударилъ. Угадалъ—тогда ложится ударившій; не угадалъ—ложись опять прежній страдалецъ. Въ этой занимательной игрѣ Тавлѣ пришлось лечь подъ удары. Тогда къ кучкѣ играющихъ примкнулъ Гороблагодатскій, а за нимъ потянулись и другіе силачи класса. Тавлѣ не повезло. Онъ четыре раза ошибся при угадываніи, и поэтому получилъ пять такихъ ударовъ, которые чуть-чуть не переломили ему становой хребетъ. Онъ сталъ протестовать: «Чтожъ это, братцы? Убить что-ли хотите?» Протестъ и слово *братцы* не тронули черствaго сердца Гороблагодатскаго. Онъ отвѣчалъ кровавой насмѣшкой: «Значитъ, любимъ тебя, почитаемъ.» Тавля возражаетъ: «Другихъ такъ не бьютъ»—«А тебя вотъ бьютъ!»—отвѣчаетъ ему кто-то, по всей вѣроятности тотъ-же его неизмѣнный доброжелатель, потому что проще, осторожнѣе и свирѣпѣе этого отвѣта трудно что-нибудь придумать. Наконецъ Тавля угадываетъ и говоритъ съ неудовольствіемъ, что онъ не хочетъ больше играть. Гороблагодатскій на прощаніе ввертываетъ ему еще шпильку: «Отчего-же, душа моя?»—спрашиваетъ онъ добродушно и ласково.

Въ тотъ-же вечеръ во время темноты, сберегающей казенное масло, бурсаки сѣкутъ очень сильно фискала Семенова. Ему даютъ семьдесятъ розогъ, и при этомъ товарищескомъ подвигѣ Тавля играетъ одну изъ главныхъ ролей. Онъ зажимаетъ рукою ротъ Семенова. Семеновъ, терпя горькую муку, кусаетъ его за руку и узнаетъ его голосъ, потому что укушенный Тавля начинаетъ ругаться. Послѣ сѣченія Семеновъ идетъ къ инспектору и доноситъ ему на Тавлю. Инспекторъ приходитъ въ классъ съ четырьмя солдатами и даетъ Тавлѣ полтораста розогъ. Тутъ повидимому всѣ симпатіи Гороблагодатскаго должны склониться на сторону Тавли, который, такъ сказать, положилъ животъ за бурсацкое отечество и потерпѣлъ мученичество за величіе и славу товарищеской общины. Но не тутъ-то было. Свирѣпость Гороблагодатскаго такъ велика, что его ненависть къ инспектору и къ его креатурѣ Семенову нисколько не мѣшаетъ ему ненавидѣть въ эту-же минуту и Тавлю и радоваться его неудачѣ. Помяловскій говоритъ, что Гороблагодатскій съ наслажденіемъ смотрѣлъ на Тавлю, который не могъ ни стать, ни сѣсть послѣ экзекуціи.

Теперь читатель можетъ себѣ вообразить, до какой степени неудобно фискалу Семенову сидѣть въ одной комнатѣ съ Гороблагодатскимъ, безпощаднымъ истребителемъ всякихъ мерзостей. Встрѣтившись съ Семеновымъ, Гороблагодатскій даетъ ему затрещину. Потомъ во

Digitized by Google

время игры *въ постные* Гороблагодатскій схватываетъ Семенова сзади и насильно кладетъ его подъ жестокіе удары, которые валятся на Семенова безъ счета и не въ очередь, потому что его бьютъ не какъ играющаго, а какъ фискала, исключеннаго изъ всякихъ товарищескихъ забавъ и стоящаго внѣ закона. Черезъ нѣсколько времени Семенова сѣкутъ. Кѣмъ придумана такая необычайная штука—это оставлено у Помяловскаго во мракѣ неизвѣстности. Но мудрено себѣ представить, чтобы такое патріотическое дѣло совершилось безъ участія Вани Гороблагодатскаго. Всего правдоподобнѣе даже то, что ему принадлежитъ первая мысль объ этой кровавой экзекуціи. Мое предположеніе совершенно соотвѣтствуетъ какъ серьезности его характера, такъ и блестящимъ способностямъ его изобрѣтательнаго ума. Когда инспекторъ при содѣйствіи четырехъ сильныхъ солдатъ отнялъ у Тавли возможность стоять и сидѣть, тогда Гороблагодатскій такъ сильно прочувствовалъ наказаніе, данное Тавлѣ, что вознамѣрился *«идти къ Семенову и избить его окончательно»*. Но онъ раздумалъ, потому что въ головѣ его родился новый и болѣе удобный планъ мщенія. Онъ устроилъ Семенову *пфимфу*. *Пфимфой* называется въ бурсѣ свертокъ бумаги въ видѣ конуса, набитый ватой. Трое заговорщиковъ отправились ночью подъ предводительствомъ нашего Вани къ постели спящаго Семенова, осторожно вставили ему въ носъ отверстіе *пфимфы*, зажгли вату съ широкаго конца и начали дуть въ этотъ конецъ. Послѣ двухъ дуновеній Семеновъ, обожженный и прокопченный дымомъ до самой глубины легкихъ, лишился чувствъ. На другой день его замертво стащили въ больницу, гдѣ онъ никакъ не могъ объяснить причины своей болѣзни. Если Семенову послѣ этой передѣлки удалось выздоровѣть, и если онъ не догадался покинуть навсегда враждебную бурсу, то можно сказать навѣрное, что Гороблагодатскій не оставилъ его въ покоѣ. Изъ всѣхъ сообщенныхъ подробностей читатель видитъ ясно, что этотъ человѣкъ не могъ и не умѣлъ прощать.

Любопытно было-бы узнать, какимъ образомъ Гороблагодатскій относится къ Аксюткѣ. Эти двѣ личности, одинаково умныя и сильныя, но не одинаково честныя, должны жестоко ненавидѣть другъ друга. Постоянныя столкновенія между ними тѣмъ болѣе неизбѣжны, что они сидятъ въ одномъ классѣ. Эта борьба между двумя самыми блестящими личностями, представителями бурсацкой цивилизаціи, наполнена самыми оригинальными и занимательными эпизодами. Къ сожалѣнію, Помяловскій не сообщаетъ объ этой борьбѣ рѣшительно никакихъ свѣдѣній. Аксютка и Гороблагодатскій совсѣмъ не встрѣчаются между собой, точно будто они живутъ на двухъ разныхъ планетахъ. Въ первомъ очеркѣ Помяловскаго господствуетъ Гороблагодатскій; тутъ не упоминается ни разу даже имя Аксютки. Въ двухъ слѣдующихъ очеркахъ царствуетъ Аксютка; тутъ имя Гороблагодатскаго упоминается мимоходомъ, раза два или три. Еслибы «Очерки бурсы» были совершенно законченнымъ сочиненіемъ, то молчаніе Помяловскаго объ отношеніяхъ двухъ героевъ бурсы оказалось-бы со стороны автора очень важной ошибкой. Но такъ какъ Помяловскій хотѣлъ написать около десяти или двѣнадцати очерковъ, а успѣлъ написать только четыре, то осуждать автора за пробѣлы было-бы несправедливо; и слѣдовательно остается только пожалѣть о томъ, что замѣчательный трудъ Помяловскаго не могъ быть доведенъ до конца.

По выходѣ изъ бурсы Гороблагодатскій навѣрное погибнетъ такъ или иначе. Попадетъ-ли онъ въ мертвый домъ—этого я не знаю. Но что онъ не сноситъ своей буйной головы и шибко напакоститъ себѣ и другимъ—это врядъ-ли можетъ подлежать сомнѣнію. Гороблагодатскій придетъ къ погибели конечно не тѣмъ путемъ, по которому бѣжитъ Аксютка. Гороблагодатскій останется навсегда безукоризненно-честнымъ человѣкомъ. Кто терпѣлъ голодъ, имѣлъ подъ руками возможность взяточничать и не пользовался выгодами своего положенія, тотъ навѣрное выйдетъ чистъ и невредимъ изъ всевозможныхъ испытаній. Кого въ молодыхъ лѣтахъ не развратила бурса, того врядъ-ли развратитъ послѣдующая жизнь. Но Гороблагодатскаго, честнаго, умнаго и сильнаго человѣка, загубятъ вынужденная праздность, дикое безобразіе пьянаго разгула и безтолковыя схватки съ мелкими проявленіями общественнаго зла. Гороблагодатскій учится въ бурсѣ хорошо. Поэтому для него есть надежда получить аттестатъ. Хорошо. Получитъ онъ аттестатъ, пристроится къ мѣсту, возьмется за добросовѣстное исполненіе своихъ почтенныхъ обязанностей. Но развѣ-же эти обязанности, очень почтенныя, но очень скромныя, тихія и однообразныя, могутъ удовлетворить Гороблагодатскаго? Къ этимъ обязанностямъ можно только привыкнуть, въ эту идиллію можно только втянуться, а Гороблагодатскому необходимо пристраститься. Ему нужна борьба. Его кипучая природа требуетъ себѣ такой жизни, которая держала-бы въ постоянномъ напряженіи всю нервную систему,—такой жизни, въ которой цѣной великихъ трудовъ и тяжелыхъ страданій покупались-бы минуты невыразимаго наслажденія, непонятнаго и недоступнаго для мелкихъ и вялыхъ людишекъ. Не имѣя возможности создать себѣ такую полную и дѣятельную жизнь, Гороблагодатскій, подавленный избыткомъ своихъ собственныхъ непристроенныхъ силъ, будетъ поневолѣ разгонять свою хроническую скуку тѣми нехитрыми средствами, которыя окажутся у него

Digitized by Google

подъ руками. Прежде всего подъ руками окажется водка; нашъ скучающій богатырь приметъ ее въ соображеніе, тѣмъ болѣе, что онъ и въ бурсѣ считалъ ее вѣрнѣйшимъ средствомъ *отъ всѣхъ скорбей*. Далѣе, въ пьяныя минуты подъ руками будетъ оказываться жена, пріобрѣтенная вмѣстѣ съ закрѣпленнымъ мѣстомъ, и слѣдовательно врядъ-ли способная внушать мужу особенно сильную привязанность. Въ этой женѣ Гороблагодатскій будетъ усматривать различные пороки, за искупленіе которыхъ онъ примется со свойственной ему энергіей; борьба съ недостатками супруги будетъ служить Гороблагодатскому очень сильнымъ средствомъ развлеченія, но отъ этой борьбы получится немного пользы, какъ для семейнаго счастья нашего героя, такъ и для всего направленія его жизни. Живя въ какомъ-нибудь бѣдномъ сельскомъ приходѣ, Гороблагодатскій будетъ встрѣчаться съ различными, очень возмутительными проявленіями насилія, произвола, несправедливости и вымогательства. Какъ честный и страстный человѣкъ, онъ будетъ протестовать, не жалѣя и не выгораживая самого себя. Протесты эти, при всей своей искренности и безкорыстности, будутъ очень узки, поверхностны и безплодны. Гороблагодатскій, подобно всѣмъ неразвитымъ людямъ, будетъ сражаться съ внѣшними симптомами зла, съ недобросовѣстными или тупоумными личностями, вмѣсто того, чтобы дѣйствовать противъ настоящихъ причинъ зла, противъ тѣхъ общихъ условій и идей, вслѣдствіе которыхъ тупоумныя и недобросовѣстныя личности могутъ играть важныя роли и отравлять жизнь своихъ умныхъ и честныхъ ближнихъ. Донъ-Кихотская борьба Гороблагодатскаго съ подлецами и съ дураками окончится полнѣйшимъ пораженіемъ нашего героя; его замнутъ, затрутъ, отрѣшатъ отъ должности, сошлютъ куда-нибудь на покаяніе, у него отнимутъ насущный хлѣбъ; его доведутъ до самаго нищенства, и эта погибель будетъ тѣмъ болѣе ужасна, что она останется совершенно безплодной. Тысячи такихъ безалаберныхъ погибелей проведутъ по одной лишней морщинкѣ на лицѣ тѣхъ самодовольныхъ идіотовъ, съ которыми боролись эти побѣжденные протестанты.

Чего-же недостаетъ Гороблагодатскому для того, чтобы сдѣлаться полезнымъ дѣятелемъ и занять въ ряду мыслящихъ работниковъ то мѣсто, на которое онъ имѣетъ право по своимъ способностямъ и по желѣзной силѣ своего характера? На этотъ вопросъ я смѣло отвѣчаю, что ему недостаетъ *развитія* или, проще, *знаній*. Отвѣчаю я такъ, несмотря на то, что меня еще въ прошломъ году упрекали печатно, изъ дружескаго лагеря, въ зловредныхъ стремленіяхъ основать на умственномъ развитіи новую аристократію. Если считать такой упрекъ за что-нибудь серьезное, то его пришлось-бы распространить на всѣхъ тѣхъ людей, которые желаютъ и требуютъ для народа грамотности. Сила грамотности очевидно заключается не въ тѣхъ каракулькахъ, которыя человѣкъ разбираетъ въ книгѣ или выводитъ перомъ на бумагѣ, а въ тѣхъ знаніяхъ, къ которымъ каракульки открываютъ доступъ. Но знанія поверхностныя, шаткія или ограниченныя, неразрушающія въ умѣ человѣка ни одного стараго заблужденія и не обогащающія его новыми идеями,—составляютъ только лишній балластъ для памяти. Значитъ, желая для народа грамотности, мы требуемъ для него такихъ знаній, изъ которыхъ могли-бы выработаться прочныя положительныя убѣжденія. Грамотность драгоцѣнна для насъ только какъ дорога къ развитію. Но если мы желаемъ народу развитія, то, разумѣется, мы считаемъ это развитіе за благо, потому что съ какой же стати мы стали-бы желать народу того, что само по себѣ не имѣетъ никакого достоинства. Если-же развитіе есть благо, то приходится согласиться, что меньшинство, обладающее этимъ благомъ, стоитъ въ болѣе выгодномъ положеніи и можетъ работать на общую пользу съ бо́льшимъ успѣхомъ, чѣмъ то большинство, которое не пріобрѣло себѣ этого сокровища.

Гдѣ-же тутъ аристократизмъ? — Никто не думаетъ говорить, что всякій развитый человѣкъ честнѣе и умнѣе всякаго неразвитаго. Я говорю только, что умъ и честность развитаго человѣка приносятъ обществу и самому обладателю этихъ качествъ гораздо больше пользы и наслажденій, чѣмъ умъ и честность человѣка неразвитаго. Эту мысль, которая, по своей простотѣ и очевидности, похожа даже на общее мѣсто, можно повести дальше и выразить болѣе опредѣленнымъ образомъ. Можно сказать, что безъ развитія сильный умъ и сильный характеръ становятся не только безполезными, но даже вредными, какъ для общества, такъ и для самого даннаго субъекта. Посредственность уживается лучше генія съ такой обстановкой, при которой умъ и страсти осуждены на бездѣйствіе. Тихій и скромный бурсакъ Васенда проживетъ на свѣтѣ гораздо приличнѣе, благоразумнѣе и безобиднѣе для себя и для всѣхъ, чѣмъ даровитый и замѣчательный Гороблагодатскій, который насолитъ себѣ, насолитъ другимъ и въ то-же время не произведетъ никакой существенной перемѣны во всемъ томъ, что́ стѣсняло, волновало и бѣсило его. Это неумѣнье сильныхъ натуръ мириться съ пошлостями жизни драгоцѣнно тѣмъ, что оно выводитъ замѣчательныхъ людей на лучшую дорогу, заставляетъ ихъ искать и иногда помогаетъ имъ найдти тѣ знанія, при содѣйствіи которыхъ они могутъ раз-

Digitized by Google

вернуть въ полезной работѣ всѣ свои силы. Но для тѣхъ людей, которымъ выходъ на лучшую дорогу не удается, это неумѣнье помириться становится обильнымъ источникомъ мученій и ошибокъ. Гороблагодатскій не можетъ сдѣлаться Васендой; онъ не можетъ урѣзать отъ своего ума и отъ своихъ страстей тѣ излишки, которымъ некуда дѣваться при данныхъ условіяхъ. Но если нѣтъ возможности превратить себя въ тихую и приличную посредственность, зато есть полная возможность убить въ себѣ дикимъ разгуломъ всѣ порывы къ лучшей жизни и вмѣстѣ съ этими неумѣстными порывами убить всѣ способности своего ума; словомъ, можно превратить себя въ ходячую развалину, и эту операцію продѣлываютъ надъ собою такъ или иначе почти всѣ замѣчательные люди, которые, нуждаясь въ знаніяхъ, сами не умѣютъ понять, чего именно имъ недостаетъ. Такимъ людямъ нечѣмъ успокоить свою тревогу, потому что знанія составляютъ единственный ключъ ко всякой широкой и разумной дѣятельности, какая-бы она ни была, теоретическая или практическая, ученая или соціальная.

IX.

Бурса распоряжается съ своими даровитѣйшими воспитанниками очень безцеремонно: однихъ она развращаетъ голодомъ, на подобіе Аксютки; другимъ, неприступнымъ съ нравственной стороны, она навсегда засоряетъ головы и загораживаетъ дорогу къ образованію. Такимъ образомъ молодая жизнь такъ или иначе оказывается изломанной. Блестящія исключенія изъ этого правила не должны подкупать насъ въ пользу бурсы, во-первыхъ потому, что эти исключенія очень малочисленны, а во-вторыхъ потому, что всѣ они относятся къ такимъ личностямъ, которыя по выходѣ изъ бурсы сворачивали въ сторону съ торной бурсацкой дороги. Эти личности, подобныя Добролюбову и Помяловскому, развиваются и совершенствуются именно только тогда, когда стараются какъ можно быстрѣе и полнѣе забыть все то, чѣмъ наградила ихъ alma mater бурса. Только эти блестящіе ренегаты бурсы и привлекли вниманіе общества на замкнутый бурсацкій міръ. Принимая этихъ ренегатовъ за образчики, общество расположено было думать, что бурса—таинственная лабораторія, въ которой рутинныя педагогическія средства, на удивленіе почтенной публики, даютъ превосходнѣйшіе результаты и выковываютъ *сердца изъ золота и стали*. Общество забывало, что бурсу слѣдуетъ судить по тѣмъ ея продуктамъ, которые остаются навсегда въ предначертанной для нихъ колеѣ. Объ этихъ продуктахъ я распространяться не желаю; но замѣчу мимоходомъ, что ими не совсѣмъ доволенъ былъ Иванъ Аксаковъ, который въ этомъ дѣлѣ можетъ быть болѣе компетентнымъ судьей, чѣмъ я.

Посмотримъ теперь, какъ дѣйствуетъ на своихъ воспитанниковъ мертвый домъ. Объ одномъ изъ обитателей этого дома Достоевскій говоритъ не только съ уваженіемъ, но даже съ самымъ горячимъ восторгомъ. «Его мѣсто на нарахъ,—говоритъ авторъ «Записокъ»,—было рядомъ со мною. Его прекрасное, открытое, умное и въ то-же время добродушно-наивное лицо съ перваго взгляда привлекло къ нему мое сердце, и я такъ радъ былъ, что судьба послала мнѣ его, а не другого кого-нибудь въ сосѣди. Вся душа его выражалась на его красивомъ, можно даже сказать, прекрасномъ лицѣ. Улыбка его была такъ довѣрчива, такъ дѣтски простодушна; большіе черные глаза были такъ мягки, такъ ласковы, что я всегда чувствовалъ особое удовольствіе, даже облегченіе въ тоскѣ и въ грусти, глядя на него.» «Трудно представить себѣ,—говорится далѣе о томъ-же каторжникѣ,—какъ этотъ мальчикъ во все время своей каторги могъ сохранить въ себѣ такую мягкость сердца, образовать въ себѣ такую строгую честность, такую задушевность, симпатичность, не загрубѣть, не развратиться. Это впрочемъ была сильная и стойкая натура, несмотря на всю видимую свою мягкость. Я хорошо узналъ его впослѣдствіи. Онъ былъ цѣломудренъ, какъ чистая дѣвочка, и чей-нибудь скверный, циническій, грязный или несправедливый, насильственный поступокъ въ острогѣ зажигалъ огонь негодованія въ его прекрасныхъ глазахъ, которые дѣлались отъ того еще прекраснѣе. Но онъ избѣгалъ ссоръ и брани, хотя былъ вообще не изъ такихъ, которые-бы дали себя обидѣть безнаказанно, и умѣлъ за себя постоять. Но ссоръ онъ ни съ кѣмъ не имѣлъ: его всѣ любили и всѣ ласкали. Сначала со мной онъ былъ только вѣжливъ. Мало-по-малу я началъ съ нимъ разговаривать; въ нѣсколько мѣсяцевъ онъ выучился прекрасно говорить по русски, чего братья его не добились во все время своей каторги. Онъ мнѣ показался чрезвычайно скромнымъ и деликатнымъ, и даже много уже разсуждавшимъ. Вообще скажу заранѣе: я считаю Алея далеко необыкновеннымъ существомъ и вспоминаю о встрѣчѣ съ нимъ, какъ объ одной изъ лучшихъ встрѣчъ въ моей жизни. Есть натуры, до того прекрасныя отъ природы, до того награжденныя Богомъ, что даже одна мысль о томъ, что они могутъ когда-нибудь измѣниться къ худшему, вамъ кажется невозможной. За нихъ вы всегда спокойны. Я и теперь спокоенъ за Алея. Гдѣ-то онъ теперь?»

Этотъ Алей, при благопріятныхъ обстоятельствахъ, сдѣлался-бы навѣрное украшеніемъ и гордостью отборнаго кружка, составленнаго изъ

Digitized by Google

самой лучшей, самой умной и самой честной университетской молодежи. Характеристика Алея возбуждаетъ собою два вопроса: во-первыхъ, какимъ образомъ такая личность дошла до каторги, а во-вторыхъ, какими средствами этотъ двадвати-лѣтній юноша могъ сохранить въ острогѣ свои превосходныя качества? Алей — младшій сынъ дагестанскаго татарина; у него было на родинѣ пять старшихъ братьевъ, которымъ онъ, по молодости своихъ лѣтъ, повиновался безпрекословно; однажды эти старшіе братья повезли его съ собою на грабежъ. «Уваженіе къ старшимъ,—говоритъ Достоевскій,—въ семействахъ горцевъ такъ велико, что мальчикъ не только не посмѣлъ, но даже и не подумалъ спросить, куда они отправляются.» Набѣгъ удался, но потомъ вся исторія раскрылась; Алея вмѣстѣ съ братьями осудили, подвергли тѣлесному наказанію и сослали въ каторгу: впрочемъ, принимая въ соображеніе молодость его лѣтъ, судъ назначилъ Алею *только* четыре года каторжной работы; но послѣ этихъ четырехъ лѣтъ Алею предстояло поселиться въ Сибири; возвращеніе на родину, подъ прекрасное небо Дагестана, къ матери и сестрамъ, было навсегда отрѣзано бѣдному мальчику за избытокъ его послушности, въ которой впрочемъ онъ рѣшительно не могъ отказать своимъ старшимъ родственникамъ.

Итакъ, скажемъ вмѣстѣ съ читателемъ: по дѣломъ вору мука! и перейдемъ ко второму вопросу: что поддерживало Алея на каторгѣ?— Мнѣ кажется, что его съ одной стороны спасалъ отъ развращенія постоянный трудъ, а съ другой стороны, что и товарищи его по каторгѣ вовсе не были такими заразительно скверными людьми, какихъ мы, добропорядочные и сытые граждане, привыкли себѣ воображать подъ именемъ каторжниковъ или арестантовъ.—Алей трудился постоянно; у него, какъ и у большей части его товарищей, была своя работа, совершенно отличная отъ казенной или обязательной. «Между прочимъ,—говоритъ Достоевскій,— у него было много способностей механическихъ; онъ выучился порядочно шить бѣлье, тачать сапоги и впослѣдствіи выучился, сколько могъ, столярному дѣлу.» Трудъ не былъ запрещенъ; но запрещалось имѣть при себѣ въ острогѣ инструменты, безъ которыхъ работа невозможна; но инструменты все-таки имѣлись, работа принимала такимъ образомъ характеръ запрещеннаго плода. Арестанты принуждены были спасать себя отъ праздности и деморализаціи, вопреки распоряженіямъ начальства. При такихъ условіяхъ арестантская промышленность не могла развиваться; надо было ограничиваться такими отраслями труда, которыя не требуютъ большихъ и громоздкихъ инструментовъ; надо было вести работу такъ, чтобы во всякую данную минуту можно было скрыть всѣ слѣды и признаки ея; кто попадался съ инструментами или съ деньгами, тотъ терялъ все свое достояніе и кромѣ того ложился подъ розги. «Но послѣ каждаго обыска тотчасъ-же пополнялись недостатки, немедленно заводились новыя вещи, и все шло постарому.» Борясь постоянно съ этими искусственно-созданными трудностями и опасностями, арестанты нетолько продолжали работать, но даже умѣли выучиваться новымъ ремесламъ. «Многіе изъ арестантовъ приходили въ острогъ ничего не зная, но учились у другихъ и потомъ выходили на волю хорошими мастеровыми. Тутъ были и сапожники, и башмачники, и портные, и столяры, и слесаря, и рѣзчики, и золотильщики.»

Тѣхъ людей еще нельзя считать безнадежно-погибшими, у которыхъ проявляется такое сильное стремленіе къ труду. Но любопытно замѣтить, что, выучиваясь ремеслу и пріобрѣтая себѣ возможность сдѣлаться честнымъ и полезнымъ гражданиномъ, арестантъ нарушалъ приказанія начальства. Арестанта можно и должно было сѣчь за то, что онъ на будущее время старался избавить себя отъ печальной необходимости воровать и грабить. Впрочемъ арестанты, по своей скотской безчувственности, не боялись розогъ и оказывались неисправимыми, несмотря на добросовѣстныя старанія острожнаго начальства отвадить ихъ отъ ремесленной дѣятельности. Они чувствовали, что работа спасала отъ преступленій, и что безъ работы арестанты, по выраженію Достоевскаго, поѣли-бы другъ друга, какъ пауки въ стклянкѣ. Начальственное преслѣдованіе рабочихъ инструментовъ обусловливалось по всей вѣроятности тѣмъ опасеніемъ, что арестанты могутъ передраться и искалѣчить другъ друга разными ножами, ножницами, шилами и другими острыми орудіями; нельзя сказать, чтобы это опасеніе было совершенно неосновательно; самъ Достоевскій разсказываетъ, что однажды одинъ арестантъ пырнулъ своего товарища шиломъ; но опираться на такіе случаи и преслѣдовать изъ за нихъ рабочія орудія—значитъ пускать въ ходъ такое лекарство, которое оказывается хуже самой болѣзни.

Осуждая арестантовъ на праздность и на скуку, начальство значительно усиливало въ нихъ задорное настроеніе; еслибы начальству удалось окончательно очистить острогъ отъ рабочихъ инструментовъ, то драки стали-бы затѣваться каждый день, и за неимѣніемъ острыхъ орудій арестанты ухитрились-бы наносить другъ другу тяжелыя раны колѣнами или даже просто кулаками. Главное соображеніе, мѣшавшее развитію ссоръ между каторжниками, состояло въ томъ, что каждый изъ нихъ имѣлъ свои тайны, которыя могли быть раскрыты обыскомъ; поэтому всѣ старались отвращать такіе скандалы, за которыми должно было по-

Digitized by Google

слѣдовать появленіе разгнѣваннаго начальства. Когда начиналась ругань между двумя арестантами, то масса публики тщательно наблюдала затѣмъ, чтобы противники отъ словеснаго препирательства не переходили къ кулачнымъ упражненіямъ. Диспутантовъ прерывали именно тогда, когда они входили въ азартъ; все это дѣлалось потому, что каждый берегъ себя и свое собственное трудовое гнѣздо. У каждаго были кое-какія крошечныя удобства, которыми онъ дорожилъ и которыя онъ могъ потерять въ случаѣ начальственнаго разгрома. Поэтому всѣ вмѣстѣ, общими силами, унимали другъ друга и поддерживали у себя миръ и благочиніе. Эта причина, предотвращавшая безчисленное множество дракъ и скандаловъ, совершенно перестала - бы дѣйствовать, еслибы начальство достигло своей цѣли и конфисковало всѣ орудія, необходимыя для работы.

Страдая отъ самой безвыходной скуки и потерявши уже все, что только можно было потерять, арестанты дѣйствительно поѣли - бы другъ друга, какъ пауки въ банкѣ. Другая причина, побудившая начальство преслѣдовать орудія, могла состоять въ томъ предположеніи, что арестанты своими инструментами перепилятъ желѣзныя рѣшотки, проломаютъ каменныя стѣны, прорoютъ подземныя галлереи и наконецъ разбѣгутся на всѣ четыре стороны. Противъ этого соображенія можно возразить, что геній побѣговъ дается очень немногимъ, и что эти немногіе избранные, подобные барону Тренку или Латюду, умѣютъ устраивать побѣги при такихъ обстоятельствахъ, которыя въ глазахъ обыкновенныхъ людей считаются непреодолимыми препятствіями. Побѣждая то, что кажется непобѣдимымъ, эти люди конечно ухитрятся промыслить или даже смастерить себѣ то орудіе, въ которомъ они нуждаются. Поэтому отбирать орудія у цѣлаго острога только для того, чтобы удержать отъ побѣга какого-нибудь геніальнаго бѣгуна, способнаго просверлить незамѣтнымъ образомъ цѣлыя каменныя горы,— значитъ стѣснять и деморализировать сотни невинныхъ для того, чтобы доконать одного виновнаго, который все-таки съумѣетъ поставить на своемъ. Кромѣ того, и это самое важное, побѣгъ изъ казармы невозможенъ, потому что всѣ предварительныя операціи, перепиливаніе рѣшотокъ или ломаніе стѣнъ, должны производиться въ присутствіи нѣсколькихъ десятковъ человѣкъ самаго разнокалибернаго характера. Въ такомъ обществѣ никакой заговоръ не можетъ составиться и никакая тайна не можетъ удержаться. Достоевскій описываетъ одинъ побѣгъ, окончившійся поимкой бѣжавшихъ арестантовъ; но этотъ побѣгъ устроился безъ всякихъ романическихъ проломовъ и подкоповъ. Двое арестантовъ просто подговорили конвойнаго ефрейтора и убѣжали вмѣстѣ съ нимъ. Рабочіе инструменты нисколько не содѣйствовали этому побѣгу.

Впрочемъ я можетъ - быть совершенно напрасно тружусь надъ пріисканіемъ общепонятныхъ причинъ, внушавшихъ начальству мертваго дома тѣ или другія распоряженія. Начальство того мертваго дома, о которомъ пишетъ Достоевскій, распоряжалось часто такъ оригинально, что невозможно пріискать никакихъ причинъ, кромѣ начальственнаго желанія и добродѣтельной ненависти къ нарушителямъ закона, лишеннымъ всѣхъ правъ состоянія. Такъ напримѣръ, Достоевскій разсказываетъ, что плацъ-маіоръ врывался въ острогъ иногда даже по ночамъ, и если замѣчалъ, что арестантъ спитъ на лѣвомъ боку или навзничь, то на утро его наказывалъ: «Спи, дескать, на правомъ боку, какъ я приказалъ». Несмотря на такія нашествія, несмотря на всѣ трудности, опасности, наказанія, арестанты все-таки работали на себя, по собственному желанію и для собственной выгоды. Это обстоятельство даетъ арестантамъ огромное преимущество надъ бурсаками, у которыхъ обязательная работа была, а собственной работы никакой не было и быть не могло. Впрочемъ въ свободные часы, когда арестанты могли считать себя до нѣкоторой степени безопасными со стороны начальственныхъ визитовъ,—казармы каторжниковъ превращались въ огромныя мастерскія. Каждый углублялся въ мирное, честное и разумное занятіе; каждый желалъ, чтобы ему не мѣшали другіе, и вслѣдствіе этого каждый, въ свою очередь, старался не мѣшать сосѣдямъ. Въ такія минуты мертвый домъ былъ несравненно приличнѣе и благоразумнѣе, чѣмъ бурса во время рекреаціи. Вѣрнѣе было-бы сказать, что мертвый домъ въ свободные часы былъ совершенно приличенъ, между тѣмъ какъ бурса не знала, куда дѣвать свое свободное время, и доходила въ минуты рекреаціоннаго ирака до фантастическихъ нелѣпостей. «Въ классѣ такъ темно,—говоритъ Помяловскій, - что за два шага не распознать лица человѣческаго. Всякія игры прекращались въ эти часы, и бурсакъ могъ развлекаться звуками странными и разнообразными. Общее впечатлѣніе было дико. Звуки мѣшаются. Раздается крикъ какого-то несчастнаго, которому вѣроятно *въѣхали въ загорбокъ;* слышенъ напѣвъ на *Господи воззвахъ*, *гласъ осьмый;* вырывается изъ концерта патетическая нота въ *верхнее* ге; кого-то еще треснули по рожѣ; у печки поютъ: «отроцы семинаріи, посредѣ кабака стояще, пояху: подавай, наливай; мы книги продадимъ, тебѣ деньги отдадимъ»; слышенъ плачъ; *грогочетъ* какая-то тварь, т. е ржетъ по лошадиному, выдѣлывая: и-и-го-го-го-го! Ругань виситъ въ воздухѣ, крики и хохотъ, козлоглагольствуютъ, грогочутъ, поютъ на гласы

Digitized by Google

и вкушаютъ затрещины.» Тутъ-же придумывается для разнообразія избіеніе приходчины.

Такихъ явленій въ мертвомъ домѣ нѣтъ, и возможны такіе эпизоды только въ бурсѣ и, въ слабѣйшей степени, въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ; возможны собственно потому, что педагоги считаютъ полную праздность превосходнымъ отдыхомъ послѣ умственныхъ занятій. Полная праздность всегда порождаетъ дикія развлеченія, которыя не доставляютъ ни пользы, ни удовольствія самимъ развлекающимся субъектамъ. Этими дикими развлеченіями медленно и нечувствительно, но неизбѣжно уродуются умы и характеры. Заставьте человѣка выдерживать каждый день, впродолженіи пяти или шести лѣтъ, часа по три бурсацкой рекреаціи, и этотъ человѣкъ непремѣнно огрубѣетъ и ожесточится. Еслибы Алей попалъ въ бурсу, то вся его грація, воспѣтая Достоевскимъ и устоявшая противъ вліянія мертваго дома, истрепалась и уничтожилась-бы въ водоворотѣ смазей, салазокъ и затрещинъ, отъ которыхъ невозможно увернуться и за которыя непремѣнно надо расплачиваться той-же монетой. Каторжники работаютъ; поэтому каждый изъ нихъ хочетъ и можетъ сосредоточиваться въ самомъ себѣ и уединяться отъ товарищей, продолжая сидѣть съ ними въ одной комнатѣ и на однѣхъ нарахъ. Бурсаки, напротивъ того, развлекаются, т. е. озорничаютъ другъ надъ другомъ, вслѣдствіе чего обособленіе личности становится невозможнымъ.

X.

Достоевскій говоритъ, что Алея *всѣ любили и всѣ ласкали*. Это значитъ, что каторжники умѣли цѣнить красоту тѣхъ качествъ, которыми отличался Алей. Это значитъ, что каторжники вообще были способны любить безкорыстно чистое, свѣжее, кроткое и прекрасное существо. Это обстоятельство въ значительной степени помогло Алею сохранить себя во всемъ блескѣ своей нравственной чистоты. Это-же обстоятельство показываетъ ясно, что товарищи Алея были не Богъ знаетъ какіе безнадежно-гнусные люди. Мыслящему читателю врядъ-ли есть надобность доказывать, что преступникъ, лишенный всѣхъ правъ состоянія, все-таки не перестаетъ думать и чувствовать по-человѣчески. Но не всѣхъ читателей можно называть мыслящими, и потому говорить о человѣческомъ достоинствѣ каторжниковъ въ наше время не только необходимо, но даже и до нѣкоторой степени опасно. Если вы скажете, что каторжникъ не лютый звѣрь и не грязная гадина, что въ немъ не замерли лучшіе инстинкты человѣческой природы, что онъ способенъ подняться на ноги и начать новую жизнь, то суровые мудрецы, солидные моралисты и непогрѣшимые censores morum сочтутъ себя оскорбленными до глубины души: они подумаютъ, что вы ставите ихъ на одну доску съ презрѣннымъ каторжникомъ; они закричатъ во все горло, что вы унижаете добродѣтель и прославляете порокъ; они обвинятъ васъ въ томъ, что вы потворствуете воровству, поощряете убійство и стараетесь подорвать авторитетъ закона, карающаго похитителей чужой собственности и чужой жизни. Въ виду такого жалкаго неразумія, заявляющаго себя публично и торжественно, съ аплобомъ и съ величественнымъ самодовольствомъ, становится необходимымъ говорить подробно, но съ нѣкоторой осторожностью, о тѣхъ истинно-человѣческихъ чувствахъ, которыя подмѣчены Достоевскимъ въ несчастныхъ обитателяхъ мертваго дома. Описывая человѣческія чувства каторжниковъ, я постоянно долженъ упрашивать читателя, чтобы онъ не увлекался примѣромъ арестанта и не старался подражать его преступленіямъ. При такихъ условіяхъ интересы истины будутъ соглашены съ требованіями осторожности, и самые строгіе цѣнители литературныхъ заслугъ не рѣшатся заподозрить меня въ посягательствѣ на чистоту и непорочность читающей публики.

Хорошія черты, собранныя Достоевскимъ, особенно драгоцѣнны потому, что онѣ вырываются у него почти невольно, и что онъ сообщаетъ ихъ читателю безъ всякой предвзятой мысли. Большая часть этихъ подробностей брошена мимоходомъ, такъ что авторъ самъ не вглядывался въ нихъ и не ставилъ ихъ въ заслугу каторжникамъ.

Итакъ: *первая черта*—любовь каторжниковъ къ Алею.

Вторая черта. На каторгѣ былъ одинъ старикъ изъ раскольниковъ, безукоризненно честный и чрезвычайно добродушный. «Во всемъ острогѣ,—говоритъ Достоевскій,—старикъ пріобрѣлъ всеобщее уваженіе, которымъ нисколько не тщеславился. Арестанты называли его дѣдушкой и никогда не обижали его.» «Вотъ этому-то старику мало по малу почти всѣ арестанты начали отдавать свои деньги на храненіе. Въ каторгѣ почти всѣ были воры, но вдругъ всѣ почему-то увѣрились, что старикъ никакъ не можетъ украсть.» Это уваженіе къ старости и къ честности, это безграничное довѣріе, это слово *дѣдушка* заключаютъ въ себѣ такъ много глубоко-трогательной теплоты и задушевности, что мой добродѣтельный читатель рискуетъ увлечься и разчувствоваться, если я, соблюдая долгъ осторожности, не напомню ему о надлежащемъ презрѣніи къ клейменнымъ лицамъ и къ бритымъ головамъ.

Третья черта. «Помню,—говоритъ Достоевскій,—какъ однажды одинъ разбойникъ, хмельной (въ каторгѣ иногда можно было напиться),

Digitized by Google

началъ разсказывать, какъ онъ зарѣзалъ пятилѣтняго мальчика, какъ онъ обманулъ его сначала игрушкой, завелъ куда-то въ пустой сарай, да тамъ и зарѣзалъ. Вся казарма, до селѣ смѣявшаяся его шуткамъ, закричала какъ одинъ человѣкъ, и разбойникъ принужденъ былъ замолчать; не отъ негодованія закричала казарма, а такъ, потому что *не надо* было *про это* говорить, потому что говорить *про это* не принято.» Фактъ замѣчателенъ, но объясненіе, прибавленное авторомъ, ровно ничего не объясняетъ и рѣшительно не выдерживаетъ критики. Почему авторъ знаетъ, что казарма закричала *не отъ негодованія?* И что это за резонъ выраженъ словами: *а такъ?* И если разсказъ разбойника ни въ комъ не возбуждалъ негодованія и отвращенія, то почему-же *не надо* и *не принято* было говорить о такихъ предметахъ?—На эти вопросы авторъ опять отвѣтитъ: *такъ*, но кто-же удовлетворится подобнымъ отвѣтомъ?—Мнѣ кажется, что казарма закричала именно отъ негодованія, потому что ей показалось черезчуръ отвратительнымъ, во-первыхъ умерщвленіе беззащитнаго ребенка, а во-вторыхъ, наглое хвастовство. Слушатели почувствовали, что это хвастовство глубоко оскорбляетъ ихъ человѣческое достоинство. За кого-же, дескать, этотъ оселъ насъ принимаетъ, если онъ думаетъ, что мы будемъ любоваться такими мерзостями? Достоевскій полагаетъ, что «*про это* говорить не принято».—То есть, про что-же именно? Про какое *это*? Если подъ словомъ *это* Достоевскій подразумѣваетъ вообще убійство, то онъ ошибается и самъ себя опровергаетъ. Въ томъ-же томѣ Лучка разсказываетъ товарищамъ очень подробно, какъ онъ зарѣзалъ одного сердитаго плацъ-маіора, и всѣ его слушаютъ, и никто на него не кричитъ. Значитъ, объ убійствѣ говорить можно, и, значитъ, крикъ казармы въ первомъ случаѣ былъ направленъ не противъ нарушенія каторжнаго этикета, а противъ отвратительности разбойническихъ излiяній.

Четвертая черта. Арестанты любятъ докторовъ за ихъ гуманное обращеніе и вспоминаютъ со вздохами и съ умиленіемъ о тѣхъ начальникахъ, въ которыхъ замѣтны были хоть какіе-нибудь проблески добродушія.—«Душа человѣкъ! Отца не надо!»—говорятъ арестанты, вспоминая поручика Смекалова который однако наказывалъ ихъ за провинности, но только при этомъ не смотрѣлъ на нихъ, какъ на отверженцевъ и не придирался ко всякимъ пустякамъ. «Даже - говоритъ Достоевскій – подъчасъ какой-то маниловщиной отзывались воспоминанія о добрѣйшемъ поручикѣ.» Значитъ, самая ничтожная ласка находитъ себѣ доступъ къ сердцу арестанта. Гдѣ-же тутъ закоренѣлость и неисправимость? Но при этомъ осторожность все-таки заставляетъ меня напомнить читателю, что подражать арестантамъ не годится.

Пятая черта. Наканунѣ Рождества во всемъ острогѣ господствуетъ торжественная тишина. Всѣ арестанты ведутъ себя особенно чинно и спокойно. Нѣтъ ни балагурства, ни карточной игры. Кто нарушаетъ общее строгое спокойствіе, того унимаютъ и бранятъ за неуваженіе къ празднику. Словомъ, арестанты хотятъ, чтобы у нихъ, въ ихъ тѣсной и душной острожной сферѣ, было то-же самое, что дѣлается въ мірѣ свободныхъ и добропорядочныхъ людей. Арестанту очень хочется поддержать въ своихъ собственныхъ глазахъ свое человѣческое достоинство, и онъ приступаетъ къ этой задачѣ съ тѣми средствами, которыя даетъ ему въ руки его нероскошное умственное развитіе. Въ какихъ-бы формахъ ни проявлялось это стремленіе уважать въ самомъ себѣ человѣка,—оно во всякомъ случаѣ показываетъ, что, несмотря на всю безвыходную грязь и тоску острожнаго прозябанія, арестантъ все-таки не хочетъ и не можетъ окончательно махнуть на себя рукой.

Шестая черта. Въ самый день Рождества изъ города привозятъ и приносятъ въ острогъ цѣлыя горы подаяній въ видѣ всевозможныхъ сдобныхъ печеній. Начинается дѣлежъ. «Не было ни спору, ни брани —говоритъ Достоевскій;—дѣло вели честно, по ровну. Что пришлось на нашу казарму, раздѣлили уже у насъ; дѣлилъ Акимъ Акимычъ и еще другой арестантъ; дѣлили своей рукой и своей рукой раздавали каждому. Не было ни малѣйшаго возраженія, ни малѣйшей зависти отъ кого нибудь; всѣ остались довольны; даже подозрѣнія не могло быть, чтобъ подаяніе можно было утаить или раздать его не поровну.»

Седьмая черта. На святкахъ арестанты устроили театръ. «Унтеръ-офицеръ взялъ съ арестантовъ слово что все будетъ тихо, и вести будутъ себя хорошо. Согласились съ радостью и *свято исполняли обѣщаніе; льстило тоже очень, что вѣрятъ ихъ слову*». Это все прекрасно; но ты, читатель, все-таки не забывай, что ты, въ лицѣ арестантовъ, обязанъ ненавидѣть и презирать порокъ и преступленіе.

Восьмая черта. Ссыльные поляки, гнушаясь арестантами, не хотѣли ходить на ихъ театральные спектакли. Наконецъ, изъ любопытства, они рѣшились одинъ разъ посмотрѣть на арестантскія затѣи. «Брезгливость поляковъ ни мало не раздражала каторжныхъ, а встрѣчены они были четвертаго января очень вѣжливо. Ихъ даже пропустили на лучшія мѣста.» Такое спокойное и простое великодушіе могло-бы сдѣлать честь даже какому-нибудь очень образованному и блестящему обществу.

Digitized by Google

Девятая черта. Театромъ своимъ арестанты восхищаются, какъ дѣти. Ихъ наивная радость, превосходно описанная въ XI главѣ I тома, доказываетъ двѣ вещи: во-первыхъ то, что вся ихъ прежняя жизнь была чрезвычайно однообразна и бѣдна пріятными впечатлѣніями, а во-вторыхъ, что эти люди, несмотря на свой каторжническій санъ, представляютъ собою въ умственномъ отношеніи совершенно дѣвственную почву, на которой искусный воспитатель, при нѣкоторомъ стараніи, могъ бы возрастить богатую жатву хорошихъ мыслей, великодушныхъ чувствъ и честныхъ намѣреній. Если для нихъ ново и драгоцѣнно самое ничтожное эстетическое наслажденіе, то, значитъ, ясно, что умъ ихъ спалъ глубокимъ сномъ во все то время, когда они совершали преступленія. А если умъ ихъ ничѣмъ не былъ пробужденъ и затронутъ съ самаго ихъ рожденія, то, спрашивается, какую же силу они могли противопоставить тѣмъ искушеніямъ, которыя осаждаютъ со всѣхъ сторонъ голоднаго и безпомощнаго бѣдняка? Далѣе, если для нихъ новы *всѣ впечатлѣнія бытія*, то можно-ли ихъ считать погибшими людьми? Погибшимъ можно назвать только того человѣка который весь поглощенъ одной страстью, вредной для общества. Плюшкинъ, для котораго не существуетъ на свѣтѣ ничего, кромѣ денегъ,—погибшій человѣкъ, хотя онъ никогда не попадетъ на каторгу. Но каторжникъ, способный отдаваться всевозможнымъ впечатлѣніямъ съ порывистой страстностью ребенка, можетъ воскреснуть и начать новую жизнь, лишь-бы только общество рѣшилось дружелюбно протянуть ему руку помощи. Но вы, читатели, разумѣется, подобной глупости не сдѣлаете, потому что вы обязаны помнить то огромное разстояніе, которое отдѣляетъ васъ, честныхъ людей, отъ презрѣнныхъ обитателей мертваго дома.

Десятая черта. Преступниковъ, наказанныхъ шпицрутенами, приводили обыкновенно въ гошпитальную палату, и тутъ больные арестанты, принимая ихъ на свое попеченіе, ухаживали за ними самымъ тщательнымъ образомъ. «Всю ночь ухаживали за ними арестанты,—говоритъ Достоевскій о наказанномъ разбойникѣ Орловѣ, - перемѣняли ему воду, переворачивали его съ боку на бокъ, давали лекарство, точно они ухаживали за кровнымъ роднымъ, за какимъ-нибудь своимъ благодѣтелемъ.» «Молча помогали несчастному и ухаживали за нимъ, особенно если онъ не могъ обойтись безъ помощи. Фельдшера уже сами знали, что сдаютъ битаго въ опытныя и искусныя руки. Помощь обыкновенно была въ частой и необходимой перемѣнѣ смоченной въ холодной водѣ простыни или рубашки, которой одѣвали истерзанную спину, особенно если наказанный самъ уже былъ не въ силахъ наблюдать за собой, да кромѣ того въ ловкомъ выдергиваніи занозъ изъ болячекъ, которыя за-частую остаются въ спинѣ отъ сломавшихся объ нее палокъ.»

Еслибы я захотѣлъ приводить здѣсь всѣ хорошія черты, подмѣченныя Достоевскимъ въ отдѣльныхъ личностяхъ, то мнѣ еще долго не пришлось-бы кончить. Но я нарочно ограничился только тѣми чертами, которыя относятся къ общей массѣ каторжниковъ и характеризуютъ собою господствующее настроеніе. Взятыя порознь, эти черты очень мелки и незначительны; но если сложить ихъ всѣ вмѣстѣ, и если дополнить ихъ тѣми нравственными свойствами, съ которыми эти мелкія черты неразрывно связаны, то получится общій результатъ, далеко не отвратительный. Говоря о каторгѣ, слѣдуетъ перевернуть извѣстную пословицу: не мѣсто краситъ человѣка, а человѣкъ мѣсто,—пословицу, которая впрочемъ нигдѣ и никогда не оказывается вѣрной. О каторгѣ можно сказать, что тутъ не люди портятъ мѣсто, а мѣсто портитъ людей. Острогъ ужасенъ не тѣмъ, что въ немъ живутъ ужасные люди, а тѣмъ, что эти люди, совсѣмъ не ужасные, терпятъ въ немъ значительныя лишенія и стѣсненія, которыя притупляютъ ихъ умы и портятъ ихъ характеры. Когда начальству угодно будетъ устранить нѣкоторыя изъ этихъ лишеній, тогда острогъ, превращаясь по-немногу въ мастерскую и въ ремесленную школу, утратитъ большую часть своей отвратительности и начнетъ приносить дѣйствительную пользу тѣмъ заключеннымъ, которымъ не удалось пріобрѣсти себѣ на свободѣ ни техническихъ знаній, ни житейской сноровки. Мертвый домъ, описанный Достоевскимъ, заключаетъ въ самомъ себѣ задатки своего усовершенствованія. Эти задатки развернутся, и нравственность арестантовъ улучшится, какъ только имъ дадутъ возможность смѣло и открыто заниматься собственной работой.

Въ бурсѣ, описанной Помяловскимъ, я не замѣтилъ такихъ задатковъ развитія. Начальство можетъ конечно замѣнить розги карцеромъ, карцеръ—еще какимъ-нибудь другимъ болѣе деликатнымъ наказаніемъ. Начальство можетъ улучшить столъ воспитанниковъ, истребить сырость и грязь, вентилировать комнаты и зажигать лампы на цѣлый вечеръ. Все это конечно значительно облегчитъ участь бурсаковъ, но основное зло бурсы останется нетронутымъ, потому что оно неизлечимо. Это основное зло заключается въ той антипатіи, которая существуетъ между умами учениковъ и бурсацкой наукой. Эту антипатію невозможно искоренить, потому что бурсацкую науку невозможно сдѣлать привлекательной. Всѣ лучшія силы общества устремлены совсѣмъ не на тѣ занятія, которыя могутъ сформировать хорошихъ бурсацкихъ преподавателей. Общество интересуется совсѣмъ не тѣмъ.

Digitized by Google

что́ интересовало его нѣсколько столѣтій тому назадъ. То, что̀ оставляется безъ вниманія лучшими умами и самыми блестящими талантами, поневолѣ облекается въ такія сухія и черствыя формы, которыя никому не могутъ нравиться и которыя приходится навязывать ученикамъ насильно, посредствомъ розогъ, или посредствомъ карцера, или при содѣйствіи какихъ-нибудь еще болѣе утонченныхъ и облагороженныхъ средствъ угнетенія. Ученики воспринимаютъ неохотно, забываютъ немедленно и выносятъ съ собою въ жизнь вмѣсто полезныхъ знаній отвращеніе къ умственному труду. Очень жаль, но счастливыя времена Абеляра все-таки остаются невозвратимыми.

ИСТОРИЧЕСКІЯ ИДЕИ ОГЮСТА КОНТА.

ВВЕДЕНІЕ.

Огюстъ Контъ, одинъ изъ величайшихъ мыслителей нашего вѣка, родился въ Монпелье въ 1798, а умеръ въ Парижѣ въ 1857 году. Жилъ онъ въ бѣдности, работалъ много и мыслилъ всегда честно и самостоятельно, не стараясь угождать ни политическимъ партіямъ, ни академическимъ котеріямъ, ни прихотливому вкусу такъ называемой образованной толпы. Самое цвѣтущее время дѣятельности Конта относится къ тридцатымъ годамъ нашего столѣтія, — къ той эпохѣ, когда буржуазное правительство Луи-Филиппа, мѣняя безпрестанно Гизо на Тьера и Тьера на Гизо, занималось безплодной политической эквилибристикой между клерикально-реакціонерной партіей съ одной стороны и революціонно-республиканской съ другой стороны. Контъ смотрѣлъ одинаково недоброжелательно на всѣ три партіи, споривпія между собою за политическое господство. Онъ видѣлъ, что реакціонеры совершенно напрасно стараются воскресить мертвую и разлагающуюся идею; онъ понималъ, что республиканцы, за неимѣніемъ опредѣленной и положительной доктрины, не съумѣютъ воспользоваться побѣдой, когда имъ удастся ее одержать; онъ чувствовалъ глубокое презрѣніе къ эквилибристамъ, которые, давно забывши о существованіи или даже о возможности политическихъ принциповъ, удерживали за собой власть единственно для того, чтобы не выпускать ее изъ своихъ рукъ. Онъ полагалъ, что политическія нелѣпости и неблаговидности его времени будутъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока политика не превратится въ науку,—въ такую-же точную и положительную науку, въ какую превратилась напримѣръ астрономія со временъ Коперника, Кеплера и Ньютона или химія со временъ Пристли и Лавуазье. Мысль создать положительную политику, открыть въ жизни человѣческихъ обществъ незыблемые естественные законы и научнымъ путемъ выработать такую общественную организацію, которая мирила-бы въ высшемъ единствѣ всѣ разумныя требованія, эта титаническая мысль овладѣла Контомъ, когда онъ былъ очень молодъ Мысль эта родилась въ немъ по всей вѣроятности подъ вліяніемъ идей извѣстнаго Сенъ-Симона, съ которымъ онъ былъ очень близокъ въ молодости, и подъ руководствомъ котораго онъ работалъ впродолженіи цѣлыхъ шести лѣтъ. Впрочемъ Сенъ-Симонъ во всякомъ случаѣ направилъ только вниманіе молодого Конта на общественныя задачи текущаго времени. Путь, которымъ пошелъ Контъ къ рѣшенію этихъ задачъ, съ самаго начала былъ совершенно самостоятеленъ; какъ только Контъ составилъ себѣ, въ общихъ чертахъ, опредѣленный планъ умственной дѣятельности, такъ онъ тотчасъ разошелся и даже поссорился съ Сенъ-Симономъ и со всѣми его послѣдователями.

Основная мысль Конта, исходная точка, съ которой начались всѣ его изслѣдованія и умозрѣнія, состоитъ въ томъ, что явленія общественной жизни подлежатъ естественнымъ законамъ, что они сложнѣе всѣхъ остальныхъ явленій природы, что они, въ большей или меньшей степени, подчиняются вліянію всѣхъ остальныхъ явленій, и что вслѣдствіе этого къ изученію ихъ можетъ приступить, съ нѣкоторой надеждой на успѣхъ, только такой мыслитель, который знаетъ основательно всѣ категоріи явленій, менѣе сложныхъ, и который вооруженъ всѣми методами, доставляющими современному изслѣдователю возможность проникать въ тайники органической и неорганической природы.

Что человѣческія общества живутъ и развиваются по законамъ, это мысль далеко не новая; нѣтъ того философствующаго историка, который не повторялъ-бы ее на разные лады; но не трудно замѣтить, что почти у всѣхъ философствующихъ историковъ эта мысль остается мертвой буквой. Спросите у Гизо, или у Лорана, или у Галлама, или у Гервинуса: «имѣете-ли вы, господа, понятіе о дифференціальномъ ис-

Digitized by Google

численіи, занимались-ли вы когда-нибудь химіей, слѣдите-ли вы за современными успѣхами физіологіи?—Всѣ эти философствующіе историки примутъ вашъ вопросъ за неумѣстную шутку и отвѣтятъ вамъ холодно и презрительно, что они—историки, а не химики, не физіологи и не математики. Изъ ихъ отвѣта вы поймете, что все ихъ образованіе заключается въ знаніи тѣхъ языковъ, на которыхъ написаны лѣтописи, грамоты и разные другіе историческіе документы. Вооружившись этими знаніями, они прямо приступаютъ къ чтенію источниковъ и вслѣдъ затѣмъ, разумѣется, начинаютъ излагать намъ, подъ именемъ историческихъ законовъ, свои личныя размышленія, болѣе или менѣе остроумныя, но нисколько не опирающіяся ни на изслѣдованіе коренныхъ свойствъ человѣческаго организма, ни на основательное знаніе общихъ космическихъ законовъ. Еслибы философствующимъ историкамъ было какое-нибудь дѣло до космическихъ законовъ, до человѣческаго организма и до раціональныхъ методовъ научнаго изслѣдованія, то они понимали-бы очень хорошо, что имъ невозможно обойтись ни безъ физіологіи, ни безъ химіи, ни даже безъ дифференціальнаго исчисленія.

У Конта мысль о необходимости открыть законы историческаго развитія не осталась мертвой буквой. Онъ получилъ въ политехнической школѣ превосходное математическое образованіе и потомъ, втеченіи всей его жизни, математика оставалась постоянно его хлѣбнымъ ремесломъ. Онъ изучилъ самымъ тщательнымъ образомъ астрономію, физику, химію и біологію; не довольствуясь знаніемъ этихъ наукъ въ ихъ современномъ положеніи, онъ обратился къ ихъ исторіи, и прочиталъ подлинныя сочиненія тѣхъ изслѣдователей, которыхъ трудами эти науки подвигались впередъ. Усвоивъ себѣ эти обширныя знанія, выучившись владѣть всѣми методами научнаго изслѣдованія и прослѣдивши развитіе всѣхъ главныхъ наукъ отъ самой ихъ колыбели, Контъ имѣлъ полное право приступить къ явленіямъ общественной жизни, съ цѣлью открыть тѣ законы, по которымъ они совершаются. Основной законъ исторіи нашелся, и нашелся, именно благодаря тому обстоятельству, что Конту была уже достаточно извѣстна исторія положительныхъ наукъ. Контъ замѣтилъ, что всѣ наши положительныя знанія проходятъ въ своемъ развитіи три главныя фазы: теологическую, метафизическую и положительную.

Сначала человѣкъ объясняетъ себѣ неизвѣстное явленіе природы какъ сознательное и умышленное дѣйствіе какой-нибудь личности, похожей въ своихъ общихъ чертахъ на самого человѣка; такъ напримѣръ, когда во время осады Трои началась въ греческомъ лагерѣ моровая язва, греки объяснили себѣ это явленіе тѣмъ, что богъ Аполлонъ, прогнѣвавшись на нихъ за неуваженіе къ его жрецу Хризесу, началъ пускать въ нихъ невидимыя стрѣлы; когда гремѣлъ громъ, тогда греки думали, что Зевесъ, великій отецъ боговъ и людей, бросаетъ съ неба особенные громовые снаряды, выкованные для него богомъ огня Вулканомъ; когда на небѣ появлялась заря, тогда греки думали, что богиня Эосъ своими розовыми пальцами отворяетъ тѣ ворота, изъ которыхъ должна выѣхать колесница Солнца или Феба.

Затѣмъ человѣкъ начинаетъ объяснять себѣ каждое явленіе какой-нибудь безличной силой, которой, несмотря на ея безличность, приписываются однако разныя стремленія, симпатіи и антипатіи. Отчего, спрашивали древніе и средневѣковые физики, вода поднимается въ насосѣ? Оттого отвѣчали они, что природа страшится пустоты. Отчего кусокъ свинца падаетъ внизъ, а дымъ и пламя поднимаются кверху? Оттого, что каждое тѣло стремится занять свое естественное мѣсто. Отчего человѣкъ заболѣваетъ? Оттого, что болѣзнь вселяется въ его тѣло. Отчего больной выздоравливаетъ? Оттого, что природа и врачъ побѣждаютъ болѣзнь и выгоняютъ ее изъ его тѣла. Если природа можетъ чувствовать страхъ, если тѣла, подобныя свинцу или дыму, могутъ испытывать стремленія или желанія, если болѣзнь входитъ въ человѣка и выходитъ изъ него, если ее можно побѣждать и выталкивать въ шею, и если такимъ занятіямъ предается природа, то очевидно природа, болѣзнь и тѣло оказываются близкими родственниками и прямыми наслѣдниками Аполлона, Зевеса и другихъ олимпійцевъ. Существенная разница состоитъ только въ томъ, что собственныя имена замѣнены нарицательными. Неполныя олицетворенія отвлеченныхъ понятій—это въ сущности тѣ-же боги, полинявшіе отъ времени и отъ житейскихъ превратностей.

Наконецъ, переходя изъ метафизической фазы въ положительную, человѣкъ начинаетъ понимать, что онъ забавлялъ себя игрою словъ, которая, мѣшая во многихъ случаяхъ ясной и правильной постановкѣ вопросовъ, заставляла его тратить время и силы на безплодную борьбу съ совершенно непреодолимыми трудностями. Увидавши неосновательность прежнихъ объясненій, человѣкъ убѣждается понемногу въ томъ, что его способность объяснять явленія природы имѣетъ опредѣленныя границы, черезъ которыя его уму никогда не удастся перешагнуть; человѣкъ признаетъ ту великую истину, что онъ можетъ только наблюдать явленія и подмѣчать, въ какомъ порядкѣ одно явленіе слѣдуетъ за другимъ, или какимъ образомъ одно явленіе совмѣщается съ другимъ. На вопросъ: почему данныя явленія слѣдуютъ одно за другимъ именно въ такомъ, а не въ другомъ порядкѣ, у него нѣтъ отвѣта и никогда его не будетъ. Онъ, разумѣется, можетъ сказать вамъ: таковъ

Digitized by Google

законъ природы; но это конечно не отвѣтъ, потому что вопросъ именно въ томъ и состоитъ: почему существуетъ въ природѣ вотъ этотъ законъ, а не какой-нибудь другой?—Вы спрашиваете напримѣръ у современнаго физика: почему свинцовая пуля, которую я выпускаю изъ рукъ, падаетъ на землю?—*Почему*, отвѣчаетъ вамъ физикъ, этого я не знаю, но я могу вамъ сказать, что существуетъ общій законъ, по которому всѣ тѣла во всей вселенной взаимно притягиваютъ другъ друга пропорціонально массамъ и обратно пропорціонально квадратамъ разстоянія. Такъ какъ ваша пуля меньше земного шара, то земной шаръ и притягиваетъ ее къ себѣ; еслибы она была больше земного шара, то случилось-бы наоборотъ, то есть, не пуля упала-бы на землю, а земля упала-бы на пулю. Но *почему* все это происходитъ такъ, а не иначе, *почему* тѣла взаимно притягиваютъ другъ друга, и притягиваютъ именно такъ, какъ я это объяснилъ, этого я не знаю, этого не знаетъ никто, это останется вѣчной тайной для всѣхъ людей, и поэтому совершенно безполезно и нелѣпо задавать себѣ или другимъ подобные вопросы.—Когда человѣческія знанія вступили въ этотъ послѣдній, положительный періодъ своего развитія, тогда они уже не испытываютъ больше радикальныхъ переворотовъ, относящихся къ самому основному ихъ характеру; они только растутъ и совершенствуются, по мѣрѣ того, какъ накопляются фактическія подробности и улучшаются орудія наблюденія.

Замѣтивъ такимъ образомъ три фазы въ развитіи всѣхъ положительныхъ наукъ (кромѣ математики, въ которой теологической фазы не было), Контъ путемъ своихъ историческихъ занятій скоро пришелъ къ тому убѣжденію, что общественная жизнь человѣчества въ каждую данную эпоху находится въ прямой зависимости отъ тѣхъ способовъ и пріемовъ, посредствомъ которыхъ люди объясняютъ себѣ явленія природы. Господствующее міросозерцаніе кладетъ свою печать на всѣ отрасли общественной жизни; когда измѣняется міросозерцаніе, тогда и въ общественной жизни происходятъ соотвѣтственныя перемѣны; когда борятся между собой два различныя міросозерцанія, тогда и общественная жизнь наполняется тревогами и волненіями; когда одно изъ борющихся міросозерцаній одерживаетъ окончательную побѣду надъ другимъ, тогда и въ общественной жизни водворяются спокойствіе и единодушіе. Такъ какъ міросозерцаніе есть не что иное, какъ сумма объясненій, относящихся ко всѣмъ различнымъ явленіямъ природы, и такъ какъ эти объясненія проходятъ черезъ три фазы, то не трудно сообразить, что тѣ-же самыя три фазы могутъ быть отмѣчены и во всей исторической жизни человѣчества. Вся исторія распадается на три великіе періода: теологическій, метафизическій и положительный. Каждый изъ этихъ періодовъ характеризуется господствомъ соотвѣтствующаго міросозерцанія; при переходѣ изъ одного періода въ другой измѣняются понемногу, вмѣстѣ съ міросозерцаніемъ, всѣ идеи, учрежденія, обычаи, нравы и вкусы.

Контъ полагаетъ, что западная Европа пришла къ концу метафизическаго періода и стоитъ на рубежѣ положительной фазы; вся безалаберщина умственнаго, нравственнаго и политическаго міра объясняется, по мнѣнію Конта, смѣшеніемъ и хаотической борьбой теологическихъ, метафизическихъ и положительныхъ элементовъ. Безалаберщина эта прекратится и борьба окончится благополучно только тогда, когда положительные элементы окончательно одолѣютъ своихъ противниковъ и совершенно утвердятъ свое господство надъ обществомъ. Поэтому задача всѣхъ искреннихъ друзей человѣчества состоитъ именно въ томъ, чтобы всѣми силами содѣйствовать этой окончательной побѣдѣ тѣхъ элементовъ, которые одни заключаютъ въ себѣ способность долговѣчности и безпредѣльнаго совершенствованія. Ввести человѣчество въ положительную фазу значитъ пріучить всѣхъ людей къ положительному объясненію всѣхъ явленій природы. Для этого надо очевидно свести въ одну цѣльную философскую доктрину всѣ главные результаты строго-научныхъ изслѣдованій, и потомъ изъ этой доктрины выработать систему общественнаго воспитанія, направленную къ самому широкому распространенію всѣхъ добытыхъ и сгруппированныхъ знаній.

Взглянувши съ этой точки зрѣнія на общественную задачу нашего времени, Контъ въ своемъ капитальномъ трудѣ «Cours de philosophie positive» («Курсъ положительной философіи») представилъ ту основную доктрину, на которой должно быть построено новое общественное образованіе. Книга Конта заключаетъ въ себѣ шесть большихъ томовъ: въ первомъ, послѣ общаго введенія, излагается математическая философія; во второмъ — астрономическая и физическая философія; въ третьемъ—химическая и біологическая философія; въ четвертомъ—догматическая часть общественной физики; въ пятомъ—историческая часть общественной физики; въ шестомъ — окончаніе исторической части и общее заключеніе.

Завершивъ свой громадный трудъ, Контъ не съумѣлъ остановиться во-время и повредилъ своему собственному дѣлу настолько, насколько отдѣльная личность можетъ повредить такому дѣлу, въ которомъ заинтересовано все человѣчество. Контъ доказалъ себѣ и другимъ почти съ математической точностью, что положительное или строго-реальное образованіе составляетъ самую важную потребность современныхъ об-

Digitized by Google

ществъ,—такую потребность, отъ удовлетворенія которой зависитъ рѣшеніе всѣхъ остальныхъ общественныхъ задачъ. Контъ установилъ далѣе ту философскую доктрину, которая должна сдѣлаться основой общественнаго образованія. Этими трудами теоретическая сторона дѣла оказывается законченной. Затѣмъ Конту надо было устремить всѣ свои силы на то, чтобы теорія воплотилась въ жизни; надо было перейти къ практической сторонѣ дѣла; надо было всевозможными средствами дѣйствовать на общественное мнѣніе до тѣхъ поръ, пока необходимость новаго образованія не вошла-бы глубоко и окончательно въ сознаніе заинтересованныхъ обществъ. А потомъ надо было ждать, пока новое образованіе принесетъ свои результаты. Ждать пришлось-бы долго; по всей вѣроятности пришлось-бы даже умереть, не дождавшись со стороны общества сильныхъ проявленій умственной возмужалости и полноправности; но дѣлать все-таки было нечего; только сама нація, доразвившаяся до положительнаго міросозерцанія, можетъ дать вполнѣ удовлетворительное рѣшеніе всѣмъ общественнымъ задачамъ, поставленнымъ ей различными обстоятельствами ея историческаго существованія. Въ какую сторону и какими средствами рѣшитъ она эти задачи это уже ея дѣло. Ни одинъ мыслитель въ мірѣ не можетъ и не долженъ присвоивать себѣ право рѣшать эти задачи заранѣе изолированными силами своего личнаго ума, потому что нѣтъ и не можетъ быть на свѣтѣ такого генія, который одинъ, самъ по себѣ, былъ-бы умнѣе цѣлой націи, когда всѣ силы этой націи развернуты и пущены въ ходъ положительнымъ образованіемъ. Контъ упустилъ изъ виду эту простую истину. Онъ вообразилъ себѣ, что его индивидуальный умъ можетъ замѣнить собой въ рѣшеніи общественной задачи коллективный умъ цѣлой націи или даже всего человѣчества. Онъ вообразилъ себѣ, что можетъ самъ предусмотрѣть, опредѣлить и начертить ту политическую и соціальную программу, до которой додумается коллективный умъ, просвѣщенный и укрѣпленный положительнымъ образованіемъ. Получилось конечно полное и печальное фіаско. Контъ вдался въ произвольныя умствованія, измѣнилъ своей собственной строго-научной методѣ, написалъ *Положительную Политику*, въ которой нѣтъ ничего положительнаго, создалъ новую религію, которая однимъ ни на что не нужна, а другихъ не можетъ удовлетворить, провозгласилъ себя *первосвященникомъ человѣчества* (Grand-prêtre de l'humanité) и наконецъ умеръ, оставивъ послѣ себя горсть вѣрующихъ адептовъ, которые своими наивными поступками и плоскими догматическими трактатами продолжаютъ до сихъ поръ, по мѣрѣ силъ, доставлять *обильную пищу* насмѣшкамъ всѣхъ реакціонеровъ и *метафизиковъ*, чувствующихъ глубокую и сознательную ненависть къ основнымъ, великимъ и плодотворнымъ идеямъ *Положительной философіи*.

Наивные обожатели Конта, какъ основателя религіи и какъ первосвященника человѣчества, должны конечно скоро затеряться въ несмѣтной толпѣ различныхъ, болѣе или менѣе эксцентрическихъ сектъ. Но, кромѣ этихъ наивныхъ обожателей, у Конта есть еще мыслящіе ученики, которые, глубоко понимая, уважая и стараясь распространять идеи *Положительной философіи*, видятъ въ то-же время въ *Положительной Политикѣ* и во всѣхъ дальнѣйшихъ подвигахъ Конта печальныя, хотя естественныя заблужденія великаго ума, прельщеннаго и ослѣпленнаго своей собственной великостью. Провозгласивши себя папой позитивизма, Контъ отринулъ и отлучилъ отъ своей церкви этихъ невѣрующихъ учениковъ, но не трудно понять, что успѣхъ и дальнѣйшее развитіе контовскихъ идей зависятъ именно отъ нихъ, а не отъ простодушныхъ адептовъ. Во главѣ разумныхъ послѣдователей Конта стоитъ въ настоящее время во Франціи извѣстный ученый Литтре. Въ Англіи успѣху контовскихъ идей содѣйствуетъ въ значительной степени Джонъ-Стюартъ Милль, съумѣвшій оцѣнить Конта тогда, когда Контъ, только что выпустившій въ свѣтъ первые томы своей *Положительной философіи*, былъ еще совершенно неизвѣстенъ. Репутація Конта растетъ; *Положительная философія* въ прошломъ году *) вышла въ свѣтъ вторымъ изданіемъ; о позитивизмѣ (т. е. философской школѣ, а не о религіозной сектѣ) говорятъ въ журнальныхъ статьяхъ и въ отдѣльныхъ книгахъ. Главный боецъ позитивизма, Литтре, работаетъ неутомимо, и нѣкоторые изъ самыхъ крупныхъ мыслителей Франціи и Англіи, Тенъ, Вашро, Гербертъ Спенсеръ, считаютъ нужнымъ подвергать его работы подробной и внимательной критикѣ.—Словомъ, дѣло Конта подвигается впередъ, но если напримѣръ принять въ соображеніе ту быстроту, съ которой имена и мысли Бокля и Дарвина облетѣли въ послѣднее время весь образованный міръ, то надо будетъ сознаться, что дѣло Конта подвигается впередъ съ изумительной медленностью. Въ Германіи Контъ до сихъ поръ извѣстенъ очень мало; еще въ 1862 г. Бюхнеръ, познакомившись съ Контомъ по книгѣ вѣрующаго адепта Констанъ-Ребека, отозвался о творцѣ *Положительной философіи* благосклонно-покровительственнымъ тономъ, какъ о добродушномъ, смѣломъ и честномъ, но довольно ограниченномъ и чудаковатомъ мечтателѣ. Россія до сихъ поръ не имѣетъ о Контѣ никакого по-

*) Статья эта писалась въ 1865 г.

Digitized by Google

нятія, несмотря на то, что мы въ послѣднее десятилѣтіе слѣдили довольно внимательно за всѣми движеніями европейской мысли.

Причины той поразительной медленности, съ которой распространяются идеи Конта, заключаются, по моему мнѣнію, во-первыхъ, въ особенныхъ свойствахъ самаго *Курса положительной философіи* и, во-вторыхъ, въ непрактичности контовскихъ учениковъ и популяризаторовъ. *Курсъ положительной философіи* не доступенъ большинству читающаго общества ни по цѣнѣ, ни по объему, ни по содержанію, ни по изложенію. Стоитъ онъ 45 франковъ; у насъ, въ Россіи, больше 12 руб. Это разъ. Заключаетъ онъ въ себѣ шесть большихъ томовъ, т. е. гораздо больше 3,000 страницъ довольно мелкой печати; надо быть очень неустрашимымъ любителемъ чтенія, чтобы не почувствовать сильнаго замиранія сердца при видѣ этой груды печатной бумаги. Это два. Обыкновенный читатель, получившій наше общее литературное образованіе, начинаетъ разсматривать *Курсъ положительной философіи* и замѣчаетъ, къ крайнему своему огорченію, что первые три тома этой книги составляютъ для него тарабарскую грамоту; въ самомъ дѣлѣ, прошу покорно наслаждаться чтеніемъ математической, физической и астрономической философіи, когда рѣшеніе квадратныхъ уравненій составляетъ крайній предѣлъ вашей математической премудрости, когда даже эта премудрость, отъ недостатка упражненія, давно успѣла изгладиться изъ вашей памяти. Это три. Наконецъ обыкновенный читатель пробуетъ начать чтеніе прямо съ четвертаго тома, но и тутъ становится втупикъ. Для тѣхъ людей, для которыхъ историческія сочиненія Маколея, Шлоссера или Мишле составляютъ серьезное чтеніе и для которыхъ Гизо и Бокль являются въ видѣ nec plus ultra головоломности, для тѣхъ людей, говорю я, Огюстъ Контъ оказывается совершенно неудобочитаемымъ. Представьте себѣ, что въ *исторической* части общественной физики вы не встрѣтите *почти ни одного* собственнаго имени; все изложеніе идетъ чисто отвлеченнымъ путемъ; вы имѣете передъ собою анализъ идей и учрежденій, безъ малѣйшаго упоминанія объ извѣстныхъ вамъ историческихъ дѣятеляхъ, народахъ и событіяхъ; при этомъ языкъ Конта постоянно до такой степени сухъ, ровенъ, безстрастенъ и однообразенъ, что вы легко можете принять его философію исторіи за какую-нибудь диссертацію о коническихъ сѣченіяхъ; недостаетъ только чертежей и алгебраическихъ формулъ; если вы сравните его математическую философію съ исторической частью общественной физики, то въ изложеніи, въ языкѣ вы не замѣтите ни малѣйшей разницы. Это четыре. Читатель согласится, что этихъ четырехъ обстоятельствъ слишкомъ достаточно, чтобы удержать большинство образованнаго общества въ почтительномъ отдаленіи отъ *Курса положительной философіи*. Но именно тутъ-то и начинается обязанность популяризаторовъ. Если въ какихъ-нибудь темныхъ подземельяхъ, недоступныхъ для нашихъ легкомысленныхъ ближнихъ, хранятся, за тяжелыми запорами, необъятныя сокровища мысли, то именно популяризаторы обязаны вооружиться храбростью и терпѣніемъ, сойти въ подземелья, сбить прочь тяжелые запоры и вынести по частямъ на свѣтъ Божій затаившіяся драгоцѣнности. Однако ни Литтре, ни Милль не поступаютъ такимъ образомъ. Они живутъ въ подземельѣ, какъ у себя на квартирѣ, составляютъ тамъ каталоги всѣмъ скрытымъ богатствамъ и приглашаютъ своихъ читателей спускаться вслѣдъ за ними и знакомиться съ драгоцѣнностями въ томъ мѣстѣ, въ которомъ онѣ находятся до сихъ поръ.

Пока популяризаторы будутъ держаться подобной тактики, до тѣхъ поръ идеи Конта будутъ оставаться для общества мертвымъ капиталомъ. Литтре въ 1863 году издалъ очень хорошую и довольно большую книгу подъ заглавіемъ «Auguste Comte et la Philosophie positive». Милль въ нынѣшнемъ году помѣстилъ въ «Westminster Review» двѣ превосходныя статьи о философской дѣятельности Конта. И Литтре, и Милль говорятъ единогласно, что самыя замѣчательныя и плодотворныя мысли Конта заключаются въ исторической части общественной физики, и что Контъ именно только въ этой части является истинно оригинальнымъ и совершенно независимымъ отъ трудовъ прежнихъ мыслителей. Между тѣмъ ни Милль, ни Литтре даже не дѣлаютъ попытки изложить читателямъ содержаніе этой самой замѣчательной части; оба они отсылаютъ читателя къ книгѣ самого Конта. Но что читатель ихъ не послушается, въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія. Въ доказательство этой мысли привожу слѣдующій фактъ. Французскій публицистъ Dupont-White помѣстилъ въ «Revue des deux Mondes» за нынѣшній годъ двѣ статьи о позитивизмѣ по поводу книги Литтре. Когда человѣкъ берется разсуждать о философской доктринѣ печатно, тогда, я думаю, можно ожидать отъ него, что онъ обратится къ подлиннымъ источникамъ этой доктрины и познакомится съ нею по сочиненіямъ самого основателя. Однако не тутъ-то было. Dupont-White преспокойно удовлетворился книгой Литтре и, основываясь на ней, толкуетъ о позитивизмѣ вкривь и вкось, то есть именно такъ, какъ можетъ толковать о кунсткамерѣ человѣкъ, незамѣтившій въ ней слона. Если люди, имѣющіе претензію философствовать печатно, продолжаютъ питать къ сочиненіямъ Конта почтительную робость, несмотря на всѣ заманчивыя приглашенія Литтре и Милля, то нетрудно себѣ

Digitized by Google

представить, какъ мало подѣйствуютъ эти приглашенія на обыкновенныхъ читателей.

Оставляя въ сторонѣ историческія идеи Конта, Литтре и Милль разсуждаютъ очень пространно о положительномъ методѣ вообще, о классификаціи наукъ, о раздѣленіи ихъ на абстрактныя и конкретныя, о взглядѣ Конта на психологію и на политическую экономію, и такъ далѣе. Принимаясь знакомить съ Контомъ русскихъ читателей, я считаю полезнымъ поступить какъ-разъ наоборотъ. О положительномъ методѣ, о классификаціи наукъ, и такъ далѣе, я не скажу ни одного слова, потому что, въ самомъ дѣлѣ, какой интересъ могутъ имѣть для нашихъ читателей философскія разсужденія о методѣ и о классификаціи такихъ наукъ, о которыхъ эти читатели имѣютъ самыя смутныя понятія и съ которыми журналъ, при всемъ своемъ добромъ желаніи, никакъ не можетъ ихъ познакомить, если только онъ не хочетъ превратиться въ собраніе элементарныхъ учебниковъ. Напротивъ того, на историческія идеи Конта, о которыхъ молчатъ Литтре и Милль, я обращу все мое вниманіе, и если мнѣ удастся выполнить мою задачу удовлетворительно, то я смѣю надѣяться, что Россія узнаетъ и оцѣнитъ Конта гораздо точнѣе, чѣмъ цѣнитъ и знаетъ его въ настоящее время западная Европа.

I.

Дикарь невольно объясняетъ себѣ всевозможныя явленія природы тѣмъ самымъ процессомъ, какимъ обусловливаются въ его глазахъ его собственные поступки. Онъ знаетъ, по ежеминутному опыту, что каждому его движенію предшествуетъ всегда желаніе сдѣлать это движеніе. Онъ садится, потому что *хочетъ* сѣсть, беретъ въ руки палку, потому что *хочетъ* ее взять, бьетъ свою жену, потому что *хочетъ* ее бить, и такъ далѣе. Причину каждаго изъ своихъ дѣйствій онъ понимаетъ; причины-же всѣхъ окружающихъ явленій требуется угадать; очень естественно, что это угадываніе на первый разъ будетъ состоять въ простомъ подкладываніи подъ каждое явленіе такой-же точно причины, какая объясняетъ собою собственныя тѣлодвиженія философствующаго дикаря. Молнія разбила дерево. Почему она его разбила? Потому что *хотѣла* разбить. Ураганъ разметалъ шалашъ дикаря. Почему? Потому что *хотѣлъ* сдѣлать дикарю непріятность.—Какъ только дикарь начинаетъ задавать себѣ вопросы: «*почему?*», такъ онъ непремѣнно начинаетъ отвѣчать на нихъ именно такимъ образомъ, и всякіе другіе отвѣты сначала оказываются радикально невозможными, потому что сначала онъ, путемъ непосредственнаго внутренняго чувства, знаетъ только самого себя, и кромѣ самого себя не знаетъ ровно ничего. Такъ какъ молнія и ураганъ дѣлаютъ такія штуки, которыя самому дикарю приходятся не подъ силу, и такъ какъ всѣ ихъ штуки, по мнѣнію дикаря, вытекаютъ изъ опредѣленныхъ желаній, то очевидно молнія и ураганъ оказываются живыми существами, которыя настолько-же сильнѣе дикаря, насколько ихъ штуки превышаютъ его личные подвиги. Къ этимъ сильнымъ существамъ дикарь становится въ извѣстныя почтительныя отношенія, онъ старается задобрить ихъ просьбами и подарками. Онъ надѣется, посредствомъ разныхъ любезностей, направлять волю этихъ сильныхъ существъ сообразно съ своими личными разсчетами и внушать имъ такія желанія, которыя вели-бы за собою, съ ихъ стороны, поступки, соотвѣтствующіе его выгодамъ. Однимъ словомъ, начинается извѣстное обоготвореніе явленій и силъ природы, органическихъ и неорганическихъ. Человѣкъ вступаетъ въ теологическій періодъ развитія.

Первобытные пріемы теологическаго философствованія не только естественны и неизбѣжны, но еще кромѣ того чрезвычайно полезны и необходимы. Безъ нихъ дальнѣйшее умственное развитіе дикаго человѣка было-бы совершенно невозможно. Развиваться—значитъ постепенно прокладывать себѣ путь къ вѣрному пониманію той связи, которая существуетъ между явленіями природы. Чтобы приближаться къ этому вѣрному пониманію, надо собирать наблюденія. А такія наблюденія, которыя могутъ пригодиться для общихъ выводовъ, возможны только тогда, когда наблюдатель смотритъ на явленія съ какой-нибудь опредѣленной точки зрѣнія, то есть, когда онъ подходитъ къ явленію съ какой-нибудь уже готовой теоріей.

Эта послѣдняя мысль конечно изумляетъ читателя, привыкшаго думать, что за наблюденія слѣдуетъ, напротивъ того, приниматься безъ всякихъ предвзятыхъ идей. Предвзятыя идеи дѣйствительно вредны, когда онѣ мѣшаютъ нашей искренности, то есть, когда мы, любя эти идеи, стараемся, во что-бы то ни стало, увидать ихъ оправданіе въ дѣйствительности, которая на самомъ дѣлѣ нисколько имъ не соотвѣтствуетъ. Если мы такимъ образомъ умышленно закрываемъ глаза, то, разумѣется, мы становимся плохими наблюдателями. Но мѣшаетъ намъ въ этомъ случаѣ не предвзятая *теорія*, а наше нелѣпое *пристрастіе* къ этой теоріи. Теорія-же сама по себѣ только помогаетъ намъ наблюдать; стараясь убѣдиться въ томъ, вѣрна-ли теорія, или нѣтъ, мы обращаемъ вниманіе именно на тѣ стороны явленій, къ которымъ наша теорія имѣетъ какое-нибудь отношеніе. Каждое явленіе природы само по себѣ такъ сложно, что мы никакъ не

Digitized by Google

можемъ охватить его разомъ со всѣхъ сторонъ; когда мы приступаемъ къ явленію безъ всякой теоріи, то мы рѣшительно не знаемъ, на какую сторону явленія слѣдуетъ смотрѣть. Явленіе мозолитъ намъ глаза и все-таки не пробуждаетъ въ нашемъ умѣ никакой опредѣленной мысли. Если-же у насъ составлена какая-нибудь фантастическая теорія, то явленіе прежде всего разрушаетъ ее и вслѣдъ затѣмъ заставляетъ насъ построить немедленно новую теорію, которая при вторичномъ наблюденіи по всей вѣроятности также развалится и замѣнится третьей теоріей, такой-же непрочной, какъ и обѣ первыя. Каждая изъ нашихъ догадокъ оказалась несостоятельной именно потому, что въ объясняемомъ явленіи есть какіе-нибудь признаки, несогласные съ этими догадками. Стало быть, убѣждаясь въ несостоятельности нашихъ догадокъ, мы каждый разъ узнаемъ новые признаки, которые безъ этихъ догадокъ остались-бы намъ неизвѣстными. Отбрасывая одну догадку за другой, мы наконецъ доходимъ до вѣрнаго рѣшенія задачи, если задача разрѣшима, или-же убѣждаемся въ необходимости прекратить наши поиски, если вопросъ нашъ, по самой сущности своей, не допускаетъ отвѣта.

Итакъ, для собиранія наблюденій дикарю необходима теорія; разумной теоріи онъ составить себѣ не можетъ, потому что разумная теорія составляется на основаніи наблюденій; но у него есть свои догадки, составленныя невольной и естественной дѣятельностью его воображенія, и эти жалкія, нелѣпыя догадки являются для него той необходимой ниткой, на которую онъ нанизываетъ свои наблюденія. При своихъ несложныхъ матеріальныхъ потребностяхъ дикарь не можетъ интересоваться всѣми окружающими животными, растеніями и минералами, какъ полезными предметами; огромное большинство этихъ предметовъ не приноситъ ему ни малѣйшей пользы и также не можетъ сдѣлаться для него ни вреднымъ, ни опаснымъ; безкорыстной любознательности, воодушевляющей нашихъ натуралистовъ, у дикаря быть не можетъ; поэтому ясно, что онъ остался-бы навсегда безучастнымъ къ окружающему міру, еслибы его живая фантазія не заставляла его въ каждомъ ручьѣ, въ каждомъ деревѣ, въ каждой ящерицѣ или лягушкѣ усматривать присутствіе какой нибудь особенной, великой и таинственной силы, которая можетъ оказывать на его жизнь и на всѣ его различныя предпріятія гибельное или благодѣтельное вліяніе. Лягушка, какъ простая лягушка, была-бы оставлена безъ вниманія; но лягушка, превращенная фантазіей дикаря въ высшее существо, становится интересной и достойной изученія. Фантазія выталкиваетъ дикаря изъ его умственной апатіи; фантазія создаетъ теологическое объясненіе природы, и только одна фантазія можетъ дать человѣческому уму тотъ первый необходимый толчокъ, безъ котораго летаргическій сонъ человѣческой мысли навсегда остался-бы ненарушеннымъ.

Дикарь—существо очень безсильное, беззащитное и несчастное. Каждый ливень промачиваетъ его до костей; каждая буря разноситъ въ дребезги его хижину; каждая неблагопріятная перемѣна погоды поражаетъ его въ источникахъ его существованія и можетъ осудить его на голодную смерть; многіе хищные звѣри далеко превосходятъ его быстротой, силой мускуловъ и опаснымъ могуществомъ естественнаго оружія; въ борьбѣ съ такими звѣрями дикарь обыкновенно остается побѣжденнымъ; законовъ природы онъ не знаетъ, и поэтому не можетъ направить почти ни одного явленія такъ, какъ того требуютъ его матеріальные интересы. Я говорю *почти*, потому что на самомъ дѣлѣ всѣ извѣстные намъ дикари все-таки умѣютъ по крайней мѣрѣ развести огонь или приготовить себѣ какое-нибудь оружіе, посуду, одежду. Конечно и это умѣнье было пріобрѣтено ими не вдругъ; было время, когда они были еще невѣжественнѣе и слѣдовательно еще несчастнѣе. Но объ этомъ времени мы не можемъ составить себѣ никакого опредѣленнаго понятія; поэтому незачѣмъ намъ и забираться въ такую недосягаемую глубину древности и умственной безпомощности.

Еслибы дикарь смотрѣлъ на свое собственное положеніе совершенно трезвыми глазами, еслибы онъ могъ отдавать себѣ ясный отчетъ въ своемъ собственномъ безсиліи, еслибы онъ могъ измѣрить своимъ умомъ всю глубину своего хроническаго несчастія, то безъ сомнѣнія у него опустились-бы руки, и онъ погрузился-бы въ такое безвыходное уныніе, которое совершенно парализировало-бы всю его дѣятельность и очень скоро положило-бы конецъ его существованію. Но тутъ опять подоспѣваетъ къ нему на выручку его пылкое воображеніе. Онъ твердо увѣренъ въ томъ, что, при помощи различныхъ заклинаній, приношеній и манипуляцій, онъ, по своему благоусмотрѣнію, можетъ ворочать всѣми силами органической и неорганической природы. Эта увѣренность конечно обманываетъ его на каждомъ шагу, но эти ежеминутныя разочарованія объясняются въ его глазахъ тѣмъ, что онъ въ своихъ заклинаніяхъ и манипуляціяхъ сдѣлалъ случайную ошибку, отъ которой онъ на будущее время постарается уберечься. Надежда задобрить силы природы остается въ полной неприкосновенности, потому что убить эту надежду можетъ только идея незыблемыхъ естественныхъ законовъ, а до этой идеи очень далеко не только дикарямъ, но и многимъ цивилизованнымъ европейцамъ. Чѣмъ слабѣе и невѣжественнѣе дикарь, тѣмъ размашистѣе его на-

Digitized by Google

дежды; такимъ образомъ бодрость его поддерживается его иллюзіями тогда, когда она не можетъ основываться на сознаніи дѣйствительнаго господства надъ силами природы. Обращаясь къ своимъ воображаемымъ покровителямъ съ просьбой о прямомъ содѣйствіи въ какомъ-нибудь житейскомъ предпріятіи, дикарь сильно и чистосердечно вѣритъ въ исполнимость своего желанія, преимущественно потому, что для него еще не существуетъ понятіе о *чудѣ*, какъ о нарушеніи общаго закона и какъ о необыкновенномъ вмѣшательствѣ сверхъестественныхъ силъ въ обыкновенныя земныя событія. Чтобы составить себѣ понятіе о чудѣ, надо сначала сколько-нибудь освоиться съ понятіемъ о законѣ, потому что гдѣ нѣтъ никакихъ общихъ правилъ, тамъ не можетъ быть и никакихъ исключеній. Гдѣ все управляется произволомъ и страстями личностей, тамъ прямое вмѣшательство личности въ пользу своего любимца оказывается въ порядкѣ вещей и не заключаетъ въ себѣ ровно ничего удивительнаго. Когда самыя простыя и обыденныя явленія объясняются волей и дѣятельностью таинственныхъ покровителей, тогда и самое очевидное нарушеніе въ обыкновенномъ порядкѣ этихъ явленій никому не должно казаться особенно удивительнымъ. Представьте себѣ напримѣръ, что въ одинъ прекрасный день солнце послѣ полудня вмѣсто того чтобы направляться къ западу, поворотило назадъ на востокъ, и къ вечеру скрылось подъ горизонтомъ на томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ оно взошло утромъ. Поразительнѣе и ужаснѣе этого чуда трудно что-нибудь придумать. Во всѣхъ образованныхъ странахъ нашей планеты такое чудо произвело-бы паническій страхъ, о которомъ невозможно составить себѣ даже приблизительное понятіе. Всѣ жители этихъ образованныхъ государствъ поняли-бы, что въ движеніи земли произошла какая-то существенная перемѣна, вслѣдствіе которой можно ежеминутно ожидать столкновенія нашей планеты съ другими небесными тѣлами. Паническій страхъ оказался-бы тѣмъ сильнѣе, что онъ распространился-бы сверху внизъ, изъ образованныхъ классовъ въ массу, которая вслѣдствіе этого ни откуда не могла-бы ожидать себѣ успокоенія и вразумленія. Напротивъ того, на совершенно дикій народъ, находящійся подъ исключительнымъ господствомъ теологической философіи, поворотъ солнца къ востоку произвелъ бы довольно слабое впечатлѣніе. Дикари конечно замѣтили-бы это явленіе, потому что не замѣтить его невозможно, но они врядъ-ли почувствовали-бы особенно-сильное безпокойство. Они вообразили-бы, что солнечному богу понадобилось зачѣмъ-нибудь воротиться поскорѣе домой, сочинили-бы по этому случаю какой-нибудь болѣе или менѣе замысловатый миѳъ, и совершенно успокоились-бы на этомъ остроумномъ объясненіи. Можно сказать навѣрное, что вулканическое изверженіе или даже сильная буря съ грозою и съ градомъ подѣйствовали-бы на воображеніе дикарей гораздо болѣе потрясающимъ образомъ, чѣмъ такое очевидное нарушеніе самыхъ важныхъ и общеизвѣстныхъ законовъ природы.—Въ невѣжествѣ дикарей заключается какъ ихъ слабость, такъ и та сила, которая даетъ имъ возможность вырваться изъ этого невѣжества. Слабость состоитъ въ неумѣніи дѣйствовать на природу; а сила—въ умѣніи надѣяться и этими фантастическими надеждами поддерживать нравственную бодрость, для которой въ данномъ періодѣ развитія не можетъ быть никакой другой болѣе реальной опоры.

II.

Самая первобытная и грубая форма миѳической философіи называется *фетишизмомъ* и состоитъ въ прямомъ и непосредственномъ одушевленіи и обоготвореніи всѣхъ видимыхъ явленій и предметовъ окружающей природы. Все, что обнаруживаетъ самостоятельное движеніе или издаетъ изъ себя звуки, становится въ глазахъ дикаря живымъ существомъ; первая волынка, которую увидѣли негры, первый европейскій корабль, первое ружье, первые часы были для нихъ животными, болѣе или менѣе сильными, страшными и опасными; естественныя явленія конечно объясняются точно такимъ-же образомъ, такъ что въ идеяхъ чистаго фетишиста нѣтъ качественныхъ разграниченій между стихійнымъ и органическимъ міромъ, между растеніемъ и животнымъ, между животнымъ и человѣкомъ, между человѣкомъ и божествомъ. Весь міръ фетишиста проникнутъ однимъ животворящимъ принципомъ,—тѣмъ самымъ принципомъ, котораго присутствіе онъ чувствуетъ въ своемъ собственномъ тѣлѣ. Видя свое собственное *я* во всемъ, что его окружаетъ, фетишистъ съ одной стороны, относится къ животнымъ такъ, какъ онъ относился-бы къ существамъ, способнымъ понимать его, а съ другой стороны, обращается съ своими богами такъ непочтительно, какъ онъ могъ-бы обходиться съ равнымъ себѣ человѣкомъ. Такъ напримѣръ, каффры, охотясь за слономъ, кричатъ ему для смягченія его гнѣва: «не убивай насъ, великій предводитель, не наступи на насъ, могущественный предводитель!» О львѣ разсказываютъ въ Сенегамбіи, что онъ изъ любезности не нападаетъ на женщинъ, и что онъ вообще не трогаетъ тѣхъ людей, которые вѣжливо съ нимъ раскланиваются. О кайманѣ разсказываютъ, также въ Сенегамбіи, что онъ собираетъ въ извѣстные дни своихъ родныхъ и знакомыхъ и дѣлитъ съ ними добычу въ осо-

Digitized by Google

бывъ собраніяхъ, въ которыхъ предсѣдательствуетъ старшій и знатнѣйшій изъ каймановъ *). Убивая какое-нибудь сильное животное, негръ боится, что ему будутъ мстить родственники убитаго, подобно тому, какъ это дѣлается въ мірѣ людей.

Уравнивая себя съ животными, фетишистъ уравниваетъ себя также и съ богами. Онъ боится своихъ боговъ, но въ то же время и самъ считаетъ возможнымъ внушать имъ страхъ; онъ дѣйствуетъ на нихъ не только просьбами и подарками, но и угрозами, и тѣлесными наказаніями, когда они ведутъ себя въ отношеніи къ нему черезъ-чуръ невнимательно. Извѣстно напримѣръ, что тунгусы, калмыки, камчадалы и нѣкоторые другіе сибирскіе инородцы сѣкутъ своихъ идоловъ, когда не получаютъ отъ нихъ желаемой помощи. Негры, живущіе по берегамъ бѣлаго Нила, питаютъ къ своимъ царямъ религіозное уваженіе, которое однако имѣетъ для этихъ царей свою очень невыгодную сторону: эти негры приписываютъ своимъ царямъ способность управлять погодой, и поэтому убиваютъ ихъ въ случаѣ засухи за неискусное или злонамѣренное управленіе. Фелупы, живущіе по рѣкѣ Гамбіи, считаютъ своихъ царей за боговъ, или по крайней мѣрѣ за всесильныхъ чародѣевъ, и вслѣдствіе этого за каждое народное несчастіе подвергаютъ ихъ тѣлесному наказанію.

Фетишистъ видитъ боговъ на каждомъ шагу и вслѣдствіе этого обращается съ ними запросто. Его окружаютъ со всѣхъ сторонъ таинственныя силы и капризныя воли, но ежеминутныя столкновенія съ этими волями и силами вовсе не производятъ на него того потрясающаго впечатлѣнія, которое испытываетъ на себѣ болѣе развитой человѣкъ при встрѣчѣ съ тѣмъ, что̀ кажется ему сверхъестественнымъ. Вся жизнь фетишиста составляетъ одну безпрерывную галлюцинацію, въ которой неопредѣленный страхъ и безпричинная надежда ежеминутно чередуются между собою, возникая и пропадая по поводу каждаго ничтожнѣйшаго событія. Теологическое объясненіе предмета неразлучно для фетишиста съ первымъ взглядомъ на этотъ предметъ; творческая фантазія работаетъ одновременно съ органами чувствъ; миѳъ готовъ тотчасъ, какъ только явленіе обратило на себя вниманіе; поэтому можно сказать почти безошибочно, что фетишистъ дѣйствительно видитъ и слышитъ все то, что̀ создаетъ его воображеніе; онъ ничего не выдумываетъ нарочно; процессъ выдумыванія совершается у него такъ-же непосредственно и непроизвольно, какъ совершается въ нашемъ мозгу сужденіе о разстояніи и о величинѣ тѣхъ предметовъ, которые попадаются намъ на глаза. Онъ не можетъ смотрѣть на вещи, не пускаясь въ теологическія философствованія; поэтому ясно, что теологическая философія въ періодъ фетишизма господствуетъ надъ человѣческимъ умомъ съ болѣе неотразимой силой, чѣмъ во всѣ послѣдующія фазы историческаго развитія. Съ одной стороны, эта первобытная форма теологической философіи доступна нетолько людямъ, но и высшимъ животнымъ, напримѣръ обезьянамъ, лошадямъ и собакамъ; а съ другой стороны, пантеизмъ Спинозы и Гете есть не что иное, какъ фетишизмъ, превращенный въ стройную философскую систему.

Это изумительное соприкосновеніе величайшихъ мыслителей съ зоологическимъ міромъ доказываетъ самымъ убѣдительнымъ образомъ, что въ объясненіи причинъ и сущности видимыхъ явленій нашъ умъ съ самыхъ первыхъ дней своего младенчества не можетъ подвинуться впередъ ни на одинъ шагъ. Какъ только мы сходимъ съ положительной почвы, то есть, какъ только мы забываемъ, что мы можемъ изучать съ успѣхомъ только связь и соотношенія между видимыми явленіями, а не причины и сущность этихъ явленій, такъ мы тотчасъ, думая создать что-нибудь новое, воспроизводимъ міросозерцаніе бушменовъ и лошадей. Если васъ очень озадачиваетъ мысль о томъ, что животныя философствуютъ и находятся въ фазѣ фетишизма, то потрудитесь напримѣръ пустить по полу волчокъ въ присутствіи молодого и впечатлительнаго щенка. Вы увидите, что щенокъ начнетъ кидаться на него, лаять, визжать, отскакивать отъ него прочь со всѣми признаками ужаса, изумленія и негодованія; словомъ, будетъ вести себя совершенно такъ, какъ бы онъ велъ себя при столкновеніи съ живымъ существомъ, отъ котораго можно ожидать себѣ непріятности и которое можно запугать лаемъ и другими шумными выраженіями храбрости. Очевидно щенокъ видитъ въ волчкѣ живое существо, то есть, объясняетъ себѣ всякое движеніе тѣмъ самымъ началомъ жизни, которое онъ чувствуетъ въ собственномъ тѣлѣ. Человѣкъ до такой степени хорошо знаетъ фетишизмъ животныхъ, что онъ на этомъ философскомъ методѣ ихъ строитъ даже для медвѣдя ловушку, замѣчательную по своей простотѣ. Надъ ульемъ вѣшаютъ толстый чурбанъ, такъ чтобы онъ закрывалъ отверстіе улья. Медвѣдь приходитъ за медомъ и отодвигаетъ чурбанъ въ сторону; чурбанъ возвращается назадъ и толкаетъ медвѣдя въ морду; медвѣдь съ нѣкоторой досадой отбрасываетъ его прочь; чурбанъ опять возвращается на свое мѣсто, и на этотъ разъ уже довольно сильно поражаетъ медвѣжью физіономію; медвѣдь свирѣпѣетъ, и, разумѣется, чѣмъ больше онъ горячится, чѣмъ безпощаднѣе онъ колотитъ чурбанъ своими лапами, тѣмъ оглуши-

*) Waiats. «Anthropologie der Naturvölker». Band II. S. 178—179.

Digitized by Google

тельнѣе становятся тѣ удары, которые сыпятся на его собственную морду. Кончается тѣмъ, что ошеломленный медвѣдь сваливается съ того дерева, на которомъ находится улей. Отчего-же медвѣдь такъ неразсудительно воюетъ съ безчувственнымъ чурбаномъ? Именно отъ того, что медвѣдь, какъ фетишистъ, не наблюдаетъ, а философствуетъ, и видитъ въ движущемся и колотящемъ чурбанѣ задорное живое существо, которое слѣдуетъ унять и зашибить до смерти.

Огюстъ Контъ полагаетъ даже, что нѣкоторыя избранныя животныя (quelques animaux choisis) могутъ даже при соприкосновеніи съ человѣкомъ возвыситься до слабаго начала политеизма (un faible commencement de polytheisme), но такъ какъ Контъ оставляетъ эту мысль недоказанной и необъясненной, то я рѣшительно не знаю, на чемъ онъ основываетъ свое предположеніе, и никакъ не могу поручиться за то, чтобы между животными дѣйствительно существовали политеисты. Хотя политеизмъ повсемѣстно развивался изъ фетишизма, однако разница между этими двумя формами миѳической философіи до такой степени значительна, что съ перваго взгляда историку трудно даже понять, какимъ образомъ эти двѣ почти противоположныя системы могутъ находиться между собою въ прямой, преемственной связи. У фетишиста вся матерія живетъ своей собственной, внутренней жизнью; у политеиста, напротивъ того, матерія становится пассивнымъ орудіемъ невидимыхъ существъ, непривязанныхъ къ опредѣленному мѣсту; фетишистъ напримѣръ прямо одушевляетъ и обоготворяетъ рѣку, то есть массу текущей воды; политеистъ, напротивъ того, представляетъ себѣ, что масса воды, на которую онъ смотритъ, какъ на простую воду, находится подъ управленіемъ особеннаго невидимаго бога, живущаго обыкновенно въ рѣкѣ, какъ въ своемъ царствѣ, но способнаго также путешествовать по всему міру. Въ поэмахъ Гомера дѣйствуютъ настоящіе боги политеизма, принимающіе на себя образъ человѣка тогда, когда они вступаютъ въ сношенія съ людьми; но въ «Иліадѣ» появляется также и чистый фетишъ, какъ остатокъ болѣе древняго періода; именно, за Ахиллесомъ гонится рѣка Скамандръ, сочувствующая троянцамъ. Скамандръ гонится за Ахиллесомъ не въ видѣ человѣка, не съ копьемъ или съ мечомъ въ рукѣ, а въ видѣ рѣки; онъ хочетъ не заколоть или изрубить греческаго героя, а потопить его въ своихъ волнахъ; здѣсь дѣйствуетъ именно разъярившаяся стихія, а не богъ, управляющій этой стихіей.

Спрашивается теперь, какимъ-же образомъ могъ совершиться переходъ отъ прямого обоготворенія матеріи къ ея подчиненію высшимъ и невидимымъ существамъ?— Этотъ переходъ, самый важный и самый трудный во всей исторіи человѣческой мысли, обусловливается тѣми простѣйшими и естественными наблюденіями и сообщеніями, которыя непремѣнно долженъ дѣлать на каждомъ шагу самый слабый и неразвитой человѣческій умъ. Входя ежедневно въ дубовую рощу, дикарь непремѣнно долженъ наконецъ замѣтить, что всѣ деревья этой рощи до нѣкоторой степени похожи между собою; гоняясь ежедневно за буйволами или за оленями, дикарь непремѣнно долженъ наконецъ замѣтить, что всѣ олени или всѣ буйволы имѣютъ приблизительно однѣ и тѣ-же ухватки и привычки. Не зная никакихъ объясненій, кромѣ теологическихъ, дикарь очевидно принужденъ объяснять себѣ замѣченное сходство тѣмъ обстоятельствомъ, что всѣ дубы находятся подъ управленіемъ одного бога, всѣ олени повинуются приказаніямъ другого, всѣ буйволы признаютъ надъ собою господство третьяго. Всѣ отдѣльные дубы, буйволы и олени черезъ это еще не перестанутъ тотчасъ быть фетишами; надъ ними установится только вторая инстанція боговъ, къ которымъ можно будетъ обращаться съ жалобами и просьбами и которые вслѣдствіе этого отнимутъ понемногу у подчиненныхъ фетишей всякое значеніе божественности. Міросозерцаніе теперешнихъ негровъ находится именно на рубежѣ между полнымъ фетишизмомъ и чистымъ политеизмомъ. Каждый горшокъ и каждый камушекъ могутъ сдѣлаться для негра предметомъ обожанія, и въ то-же самое время у негра есть высшіе, невидимые боги, и у нѣкоторыхъ племенъ, неимѣвшихъ еще никакихъ постоянныхъ сношеній ни съ магометанами, ни съ европейскими миссіонерами, есть даже понятіе о творцѣ всей вселенной. Кромѣ того мы можемъ замѣтить въ греческой миѳологіи, составляющей извѣстный типъ самаго богатаго и развитого политеизма, ясные слѣды древняго фетишизма; во-первыхъ, къ числу чистыхъ фетишей принадлежатъ *океанъ* и *земля*, которые постоянно остаются стихіями и не принимаютъ на себя человѣческаго образа. Во вторыхъ, такими-же чистыми фетишами оказываются домашніе боги, лары и пенаты, которыхъ божественность была привязана наглухо къ куску дерева, камня или глины.

Изъ этихъ примѣровъ видно, что переходъ отъ фетишизма къ политеизму совершается чрезвычайно медленно, и что фетиши очень долго и упорно отстаиваютъ свое существованіе. Будучи гораздо малочисленнѣе фетишей и завѣдуя гораздо болѣе обширными департаментами, боги политеизма гораздо меньше фетишей вмѣшиваются въ событія вседневной человѣческой жизни. Бо́льшая часть мелкихъ ежедневныхъ событій совершается, по мнѣнію политеиста, сама собою и складывается сообразно съ обыкновенными свойствами окружающихъ предметовъ. Если напримѣръ глиняный горшокъ, падая на полъ, разбивается, то политеистъ не

Digitized by Google

приписываетъ этого событія высшимъ силамъ, а видитъ въ немъ естественный результатъ столкновенія между твердымъ деревомъ и хрупкой глиной; такимъ образомъ естественный элементъ отдѣляется отъ сверхъ-естественнаго; образуется понятіе о свойствахъ вещества и о законахъ, по которымъ совершаются обыкновенно различныя явленія; вмѣстѣ съ тѣмъ возникаетъ понятіе о *чудѣ*, которое для фетишиста не существовало и которое становится возможнымъ только тогда, когда боги не окружаютъ смертнаго со всѣхъ сторонъ и не вмѣшиваются ежеминутно въ каждое событіе его жизни. У фетишиста вмѣшательство боговъ было правиломъ; у политеиста оно становится исключеніемъ, довольно частымъ, но тѣмъ не менѣе изумительнымъ. Чтобы такимъ образомъ отвыкнуть понемногу отъ ежеминутныхъ и повсемѣстныхъ соприкосновеній съ богами, фетишисту надо было очевидно направить сначала свое обожаніе на такіе предметы, которые, хотя и видимы, однако по своей отдаленности не могутъ имѣть съ своими поклонниками никакихъ короткихъ отношеній. Такими предметами оказываются для фетишистовъ небесныя тѣла. Сабеизмъ или поклоненіе звѣздамъ (astrolâtrie) составляетъ обыкновенно естественный переходъ отъ фетишизма къ политеизму, потому что, поклоняясь небеснымъ тѣламъ, далекимъ и недоступнымъ, фетишистъ самъ хорошенько не знаетъ, чему именно онъ кланяется: обоготворенной звѣздѣ или-же невидимому существу, управляющему этой звѣздой. Разница между фетишемъ и богомъ становится здѣсь нечувствительной. Привыкнувъ поклоняться звѣздамъ, люди уже безъ особеннаго труда осваиваются съ понятіемъ о далекихъ и невидимыхъ богахъ, неимѣющихъ опредѣленнаго мѣстопребыванія. Съ этого времени появляются первые признаки метафизическаго мышленія, потому что политеисту приходится, во-первыхъ, олицетворять и обоготворять отвлеченныя понятія, а во-вторыхъ, воображать себѣ въ каждомъ отдѣльномъ предметѣ отвлеченное свойство, образующее таинственную связь между этимъ неодушевленнымъ предметомъ и высшимъ, сверхъестественнымъ существомъ, въ которомъ заключается причина движенія и жизни.

III.

Умственное развитіе человѣчества начинается съ теологическихъ объясненій природы; политическое развитіе человѣчества начинается съ военныхъ предпріятій; какъ въ области мысли, такъ и въ области практической жизни, первобытному человѣку ненавистенъ правильный и терпѣливый трудъ, ведущій за собою медленное, но вѣрное пріобрѣтіе знаній или богатствъ. Въ области мысли первобытный человѣкъ умѣетъ только фантазировать, то есть давать совершенно произвольныя толкованія такимъ явленіямъ, въ которыя онъ не въ силахъ вглядываться и вдумываться; въ области матеріальныхъ интересовъ первобытный человѣкъ умѣетъ только отнимать у другихъ тѣ предметы, въ которыхъ онъ нуждается. Такъ какъ эти *другіе* въ ранніе эпохи до-исторической жизни отличаются точно такими-же вкусами и способностями, такъ какъ они точно такъ-же ненавидятъ трудъ и любятъ грабежъ, то очевидно первобытнымъ людямъ почти нечего и грабить другъ у друга. У нихъ нѣтъ почти ничего, кромѣ собственнаго тѣла; поэтому они и стараются отнимать другъ у друга это единственное достояніе. Побѣдитель обыкновенно убиваетъ и съѣдаетъ побѣжденнаго врага. Длинный рядъ столѣтій тратится такимъ образомъ на истребительныя войны людей какъ между собою, такъ и съ дикими животными родныхъ лѣсовъ. Въ этой суровой школѣ безчеловѣчной войны и кровожадной охоты совершается первоначальное политическое воспитаніе нашей породы. Воспитаніе это заключается въ томъ, что дикіе фетишисты пріучаются соединять въ общихъ предпріятіяхъ свои индивидуальныя силы. Эти общія предпріятія въ то время могутъ быть только военными. Когда раздѣленіе труда не существуетъ, когда каждый взрослый человѣкъ доставляетъ собственными усиліями себѣ и своему семейству все, что необходимо для поддержанія жизни, и когда вся экономическая дѣятельность взрослаго заключается только въ убиваніи, обдираніи и разрѣзываніи дикихъ животныхъ, тогда очевидно отдѣльныя личности составляютъ общество и подчиняются какой-нибудь власти только за тѣмъ, чтобы отразить постороннее насиліе, или-же за тѣмъ, чтобы съ полнымъ успѣхомъ ограбить и передушить своихъ сосѣдей. Эта первобытная ассоціація разбойниковъ и людоѣдовъ относится къ цивилизованному обществу такъ точно, какъ первобытныя фантазіи фетишиста относятся къ міросозерцанію современнаго естествоиспытателя.

Какъ разбойничья ассоціація, такъ и грубый фетишизмъ, при всемъ своемъ крайнемъ безобразіи, составляютъ двѣ совершенно необходимыя и единственно-возможныя исходныя точки всего дальнѣйшаго развитія, съ одной стороны политическаго, съ другой стороны—умственнаго. Члены цивилизованнаго общества связаны между собою своими потребностями, которыя могутъ находить себѣ удовлетвореніе только въ обществѣ; но эти потребности, какъ матеріальныя, такъ и нравственныя, возникаютъ и укрѣпляются въ человѣкѣ только тогда, когда онъ живетъ въ обществѣ; у дикаря потребности очень несложны, и онъ умѣетъ удовлетворять ихъ безъ посторонней помощи; стало быть, втянуть дикаря въ общество могутъ только

Digitized by Google

чувство самосохраненія и хищныя влеченія; то-есть оборонительная и наступательная войны составляютъ неизбѣжную, хотя и непохвальную, цѣль всякаго первобытнаго общества.

Какъ въ отношеніи къ умственному, такъ и въ отношеніи къ политическому развитію, дикарь при самомъ началѣ своего поприща попадаетъ въ заколдованный кругъ (cercle vicieux), который разбивается въ первомъ случаѣ теологической философіей, а во второмъ—воинственными инстинктами. Въ дѣлѣ умственнаго развитія вопросъ ставится такъ: чтобы наблюдать, нужна теорія; а чтобы составить теорію, нужны наблюденія. Теологическая философія выводитъ человѣка изъ этого затрудненія, давая ему готовую теорію, составленную силою фантазіи, помимо наблюденія. Въ дѣлѣ политическаго развитія вопросъ ставится слѣдующимъ образомъ: чтобы войти въ общество, надо чувствовать извѣстныя потребности, а чтобы воспитать въ себѣ эти потребности, надо сначала пожить въ обществѣ. Воинственные инстинкты устраняютъ это затрудненіе, составляя хищныя шайки изъ тѣхъ людей, которые еще неспособны смотрѣть на общество, какъ на ассоціацію производителей и потребителей. Соединившись въ хищныя шайки, дикари переходятъ понемногу отъ охотничьей жизни къ пастушеской и отъ пастушеской къ земледѣльческой. Какимъ образомъ совершаются эти переходы, то есть какой побудительной причиной они обусловливаются и какія обстоятельства наводятъ дикарей на плодотворную мысль приручать животныхъ и разводить хлѣбныя растенія—этого мы по всей вѣроятности никогда не узнаемъ. По этимъ вопросамъ возможны только предположенія, недопускающія никакой обстоятельной повѣрки. О томъ, какъ совершились эти переходы у теперешнихъ цивилизованныхъ народовъ, мы конечно не имѣемъ и не можемъ имѣть никакихъ историческихъ свѣдѣній. Прямыя наблюденія надъ теперешними дикарями также не могутъ дать намъ на эти вопросы никакихъ точныхъ отвѣтовъ. Въ территоріяхъ, принадлежащихъ Сѣверо-Американскимъ штатамъ, нѣкоторыя индійскія племена переходятъ конечно отъ бродячей, охотничьей жизни къ осѣдлому, земледѣльческому быту; изучить причины и условія этихъ переходовъ очень удобно; но къ чему-же приведетъ это изученіе? Эти индійцы находятся въ соприкосновеніи съ иностранной высоко развитой цивилизаціей; именно вліяніе этой цивилизаціи заставляетъ ихъ переходить отъ одного быта къ другому: эта-же самая цивилизація даетъ имъ въ готовомъ видѣ тѣ знанія, тѣ сѣмена и тѣ орудія, которыя необходимы для перехода. Словомъ, въ задачу введенъ новый элементъ, который измѣняетъ ее такъ радикально, что самое тщательное изученіе *этой* задачи нисколько не можетъ подвинуть насъ впередъ въ вопросѣ о томъ, какъ совершались переходы въ жизни дикарей, неимѣвшихъ соприкосновеній съ высшими цивилизаціями. Если-же отправиться въ область гипотезъ, то, разумѣется, самой правдоподобной окажется та, которая объясняетъ эти переходы приращеніемъ народонаселенія и увеличившимися потребностями питанія. Контъ вооружается противъ этой гипотезы, старается доказать ея нераціональность и противупоставляетъ ей свою собственную гипотезу. Но какъ возраженія Конта, такъ и его собственная попытка объяснить переходъ отъ бродячей жизни къ осѣдлой замѣчательны по своей неудачности.

Главное возраженіе Конта состоитъ въ томъ, что никакая потребность, какъ-бы она ни была сильна, не можетъ создать въ человѣкѣ новую способность. «Въ данномъ случаѣ, — говоритъ Контъ,—человѣкъ постарался-бы избавиться отъ избытка населенія болѣе частымъ употребленіемъ тѣхъ ужасныхъ средствъ, къ которымъ онъ обращается даже въ болѣе цивилизованныя времена, вмѣсто того, чтобы промѣнять кочевую жизнь на земледѣльческую до тѣхъ поръ, пока его не подготовило къ тому достаточнымъ образомъ его умственное и нравственное развитіе». Конту былъ совершенно неизвѣстенъ дарвиновскій принципъ *естественнаго выбора*,—принципъ, который, безъ сомнѣнія, произведетъ переворотъ не только въ ботаникѣ и въ зоологіи, но и въ пониманіи исторіи. *Ужасныя средства*, о которыхъ упоминаетъ Контъ, заключались конечно въ истребительныхъ войнахъ, въ человѣческихъ жертвоприношеніяхъ и въ людоѣдствѣ. Очень правдоподобно, что всѣ эти средства дѣйствительно употреблялись, и что цѣлыя многочисленныя племена, заводя между собою непримиримую вражду за охотничьи мѣста или за пастбища, то есть вообще за средства пропитанія, совершенно стирали другъ друга съ лица земли. Исторія Сѣверо-Американскихъ туземцевъ переполнена такими примѣрами. *Естественный выборъ* уничтожаетъ такимъ образомъ тѣ племена, которыя не могутъ приспособиться къ новымъ условіямъ жизни, и сохраняетъ тѣ племена или тѣ остатки племенъ, которые умѣютъ найдти выходъ изъ даннаго затрудненія. Сотни или тысячи сильныхъ и даровитыхъ дикарей погибаютъ именно отъ того, что они даровиты и сильны, именно отъ того, что дикая, кочевая жизнь развила въ ихъ крѣпкихъ организмахъ такія неукротимыя страсти, которыя не могутъ уложиться въ узкую и скромную рамку осѣдлаго существованія. Сживаются-же съ новыми условіями и оставляютъ по себѣ потомство быть можетъ именно посредственныя, вялыя и флегматическія натуры, у которыхъ нѣтъ преобладающей органической страсти къ приключеніямъ,

Digitized by Google

тревогамъ и опасностямъ кочевого быта. Легко можетъ быть, что переходъ отъ пастушества къ земледѣлію требуетъ со стороны дикарей не какой-нибудь новой способности, а только нѣкотораго ослабленія старыхъ страстей. Естественный выборъ уничтожаетъ тѣхъ людей, въ которыхъ эти страсти особенно сильны, и тогда переходъ становится возможнымъ. Но такъ какъ дѣйствующей силой въ естественномъ выборѣ является непремѣнно гнетъ внѣшнихъ обстоятельствъ и преимущественно голода, вытекающаго изъ многолюдства, то возраженіе Конта оказывается несостоятельнымъ. Объяснительная гипотеза Конта еще болѣе неудачна. «Непосредственное обожаніе внѣшняго міра, — говоритъ Контъ, — болѣе спеціально направленное по своей природѣ къ ближайшимъ и самымъ употребительнымъ предметамъ, должно конечно развивать въ высокой степени эту долю, сначала очень слабую, человѣческихъ наклонностей, которая инстинктивно привязываетъ насъ къ родной землѣ. Трогательная скорбь, которую такъ часто выражалъ въ древнихъ войнахъ побѣжденный, поставленный въ необходимость оставить боговъ-покровителей, относилась преимущественно не къ отвлеченнымъ и общимъ существамъ, которыхъ онъ могъ найдти вездѣ, какъ напримѣръ Юпитера, Минерву, и пр.; — эта скорбь прилагалась гораздо больше къ такъ называемымъ домашнимъ богамъ, и преимущественно къ богамъ очага, то есть къ чистымъ фетишамъ.»

Невозможно понять, какимъ образомъ обожаніе ближайшихъ предметовъ можетъ развить въ *кочевомъ* племени наклонность къ *осѣдлой* жизни или привязанность къ родной землѣ. Представьте себѣ, что какой-нибудь киргизъ обожаетъ ближайшіе предметы, напримѣръ то сѣдло, на которомъ онъ сидитъ, или ту кибитку, въ которой путешествуютъ его семейство и весь его домашній скарбъ; спрашивается, почему-же киргизъ, изъ обожанія къ сѣдлу и къ кибиткѣ, не прикрѣпитъ это обожаемое сѣдло къ одному опредѣленному мѣсту и не превратитъ обожаемую кибитку въ неподвижное жилище? — Сколько-бы онъ ни обожалъ эти ближайшіе предметы, это обожаніе нисколько не помѣшаетъ ему постоянно перевозить ихъ съ собою съ одного мѣста на другое. Какимъ образомъ обожаніе киргиза можетъ направиться на извѣстный холмъ, лугъ или ручей, то есть вообще на опредѣленную мѣстность, это также совершенно непонятно. Сегодня киргизъ пришелъ на стоянку; дня черезъ три онъ переходитъ на другое мѣсто; неужели-же въ эти три дня онъ можетъ проникнуться къ данной мѣстности такимъ обожаніемъ, которое заставитъ его передѣлать всѣ свои привычки и отказаться отъ того образа жизни, который завѣщали ему его предки? — Чтобы полюбить данную мѣстность, надо предварительно сдѣлаться осѣдлымъ жителемъ. Любовь къ родной землѣ есть *слѣдствіе* осѣдлой жизни, поэтому объяснять переходъ къ земледѣлію любовью къ землѣ — значитъ принимать слѣдствіе за причину. *Трогательная скорбь* древнихъ грековъ, разлучающихся съ родиной и съ домашними фетишами, ровно ничего не доказываетъ. Домашній фетишъ сдѣлался для нихъ эмблемой родины именно потому, что они уже съ незапамятныхъ временъ сдѣлались осѣдлымъ народомъ. Это значеніе фетишей доказываетъ только то, что вмѣстѣ съ образомъ жизни народа изиѣняется характеръ его религіи. Но чтобы фетишъ могъ внушить любовь къ родной землѣ кочевому народу, то есть такимъ людямъ, у которыхъ, собственно говоря, никогда не было родной земли, этого конечно не съумѣетъ доказать ни одинъ мыслитель и ни одинъ діалектикъ въ цѣломъ мірѣ. Причины, побудившія дикихъ фетишистовъ приняться за земледѣліе, остаются такимъ образомъ неразъясненными, и неудача Конта доказываетъ намъ особенно наглядно, что всего благоразумнѣе совершенно отказаться отъ рѣшенія такихъ вопросовъ, которые не допускаютъ прямого изслѣдованія. Весь періодъ фетишизма такъ далекъ отъ насъ и такъ мало понятенъ намъ по своему характеру, что всѣ наши гипотезы, относящіяся къ этому періоду, оказываются въ высшей степени сомнительными.

IV.

Подъ вліяніемъ наблюденій и невольныхъ обобщеній фетишизмъ превращается понемногу въ политеизмъ; матерія перестаетъ жить самостоятельной жизнью и подчиняется волѣ многихъ высшихъ невидимыхъ существъ, надѣленныхъ всѣми человѣческими страстями, слабостями и потребностями. Эта вторая фаза теологической философіи гораздо болѣе первой доступна изученію. Политеизмъ наполняетъ собою всю древнюю исторію; подъ вліяніемъ политеизма сложились великія теократіи Индіи и Египта, развернулась умственная жизнь древней Греціи и выросло политическое могущество Рима. Вступая въ періодъ политеизма, люди были дикарями, едва знакомыми съ первыми начатками грубой промышленности и патріархальной общественности. Выходя изъ періода политеизма, люди живутъ уже въ огромныхъ государствахъ, имѣютъ чрезвычайно сложныя системы административныхъ и судебныхъ учрежденій, обсуживаютъ и рѣшаютъ запутанные общественные вопросы, пускаются въ дальновидныя политическія соображенія, ведутъ обширную торговлю, фабрикуютъ предметы самой утонченной роскоши, сооружаютъ громадныя зданія, создаютъ великолѣпнѣйшія статуи

Digitized by Google

и картины, пишутъ поэмы и эпиграммы, философскія разсужденія и историческія сочиненія, математическіе трактаты и критическіе комментаріи.—Вступая въ періодъ политеизма, всѣ люди были одинаково грубы и дики; всѣ были похожи одинъ на другого, какъ по образу жизни, такъ и по умственному развитію. Выходя изъ этого періода, люди распадаются уже на множество различныхъ категорій и подраздѣленій: тутъ есть уже знать и чернь, аристократы и демократы, монархисты и республиканцы, ученые и невѣжды, жрецы и поклонники, милліонеры и голодные пролетаріи. Словомъ, тутъ мы узнаемъ *цивилизацію* со всѣми ея роскошными задатками будущаго развитія и со всѣми ея грязными и кровавыми пятнами, которыя потомкамъ придется отмывать или залечивать. Всѣ эти проявленія цивилизаціи возникли или по крайней мѣрѣ развернулись во время господства политеизма; на всѣхъ этихъ проявленіяхъ лежитъ печать его вліянія. Разсмотрѣть со всѣхъ сторонъ это вліяніе—значитъ опредѣлить настоящій характеръ и историческое значеніе политеизма.

Развитіе *науки* начинается подъ господствомъ политеизма. Наукой называется сознательное и систематическое исканіе законовъ природы. Чтобы приступить къ этому исканію, надо прежде всего предположить, что неизмѣнные законы существуютъ или по крайней мѣрѣ могутъ существовать. Это первое предположеніе было невозможно въ періодъ фетишизма, когда каждая частица матеріи жила своей личной, измѣнчивой и капризной жизнью, когда напримѣръ рѣка мерзла или не мерзла, вѣтеръ дулъ или не дулъ, градъ падалъ или не падалъ, смотря по личнымъ желаніямъ или соображеніямъ тѣхъ фетишей, которые назывались рѣкою, вѣтромъ или градомъ. Фетишизмъ допускалъ только тѣ случайныя и разрозненныя наблюденія, которыя врываются въ сознаніе человѣка и укореняются въ его памяти помимо его собственнаго желанія. Человѣкъ не могъ не замѣтить напримѣръ, что рѣка замерзаетъ именно тогда, когда онъ, человѣкъ, чувствуетъ сильное ощущеніе холода; онъ не могъ не замѣтить, что во время замерзанія рѣки деревья всегда обнажены и земля покрыта поблекшей, желтой травой; онъ не могъ не замѣтить, что въ это-же время и дни всегда становятся короче ночей. Эти наблюденія, невольныя и неизбѣжныя, конечно не могутъ быть названы даже и началомъ науки; однако-же эти наблюденія наносятъ жестокій ударъ первобытному фетишизму и такимъ образомъ сворачиваютъ съ дороги то препятствіе, при существованіи котораго наука не можетъ ни развернуться, ни даже возникнуть. Фетишистъ видитъ, что и вода, и деревья, и трава, и температура воздуха, и величина дней и ночей измѣняются одновременно, и эту одновременность онъ замѣчаетъ не одинъ разъ, не два раза, а постоянно, изъ года въ годъ. Ему приходится непремѣнно предположить одно изъ двухъ: или вода, деревья, трава, воздухъ, солнце сговариваются между собою, или-же они находятся подъ командой у какого-нибудь высшаго начальника; въ сущности, оба предположенія сводятся къ одному, именно—къ тому, что какая-то причина заставляетъ постоянно воду, деревья, траву, воздухъ и солнце дѣйствовать заодно; а такъ какъ первобытный человѣкъ не можетъ себѣ представить никакой причины, кромѣ чьей-нибудь личной воли, то въ результатѣ и получается непремѣнно очень большой и очень сильный начальникъ, который не живетъ ни въ водѣ, ни въ деревьяхъ, ни въ травѣ, ни въ воздухѣ, ни въ солнцѣ, а гдѣ-то внѣ этихъ предметовъ и надъ ними.—Но всякій дикарь знаетъ очень хорошо, что начальникъ только тогда и можетъ называться начальникомъ, когда у него есть подчиненные. На что-же бы это въ самомъ дѣлѣ было похоже, еслибы главному начальнику приходилось самому бѣгать ко всѣмъ фетишамъ и напоминать водѣ, что ей пора мерзнуть, травѣ, что ей пора желтѣть, деревьямъ, что имъ пора ронять листья на землю? Необходимо предположить, что у главнаго начальника множество разныхъ помощниковъ и адъютантовъ, изъ которыхъ одинъ завѣдуетъ рѣками, другой моремъ, третій вѣтромъ, четвертый травой, пятый деревьями, шестой солнцемъ, и такъ далѣе. Когда вся эта іерархія оказывается окончательно сформированной, тогда, разумѣется, фетиши сначала превращаются въ жалкое и безгласное податное сословіе, а потомъ мало по малу совершенно утрачиваютъ свое существованіе. Тогда матерія становится простой, бездушной матеріей, подчиненной высшему начальству; тогда становятся возможными разсужденія о свойствахъ этой матеріи; тогда рождается понятіе о постоянныхъ законахъ, которые главный начальникъ конечно всегда можетъ отмѣнить или пріостановить, но которыхъ онъ однако обыкновенно не отмѣняетъ и не пріостанавливаетъ.

Сознательное, *научное* изслѣдованіе такимъ образомъ получаетъ нѣкоторый просторъ, но само собою разумѣется, что просторъ этотъ очень невеликъ, и что послѣдовательное проведеніе новорожденной идеи о постоянныхъ законахъ совершенно невозможно и даже немыслимо, потому что это послѣдовательное проведеніе разрушило-бы не только все зданіе политеистической миѳологіи, но даже и общій фундаментъ всякой теософіи. «Законъ самъ по себѣ, — думаетъ догадливый политеистъ, — а все-таки если я хорошенько попрошу главнаго

Digitized by Google

начальника или даже кого-нибудь изъ старшихъ помощниковъ то они, какъ добрые люди, пріостановятъ для меня дѣйствіе закона и сдѣлаютъ напримѣръ такъ, что вѣтеръ утихнетъ, что молнія не ударитъ въ мой домъ, что голодная саранча не опустится на мою пшеницу.» Само собою разумѣется, что это размышленіе политеиста кладетъ предѣлъ научному изслѣдованію и подвергаетъ очень серьезной опасности тѣхъ слѣпыхъ мыслителей, которымъ удается въ собственномъ умѣ перешагнуть черезъ этотъ предѣлъ. Какъ только возникаетъ *сознательное* изслѣдованіе, такъ обозначается тотчасъ-же естественная и непримиримая вражда между наукой и теософіей,— вражда, которая можетъ окончиться только совершеннымъ истребленіемъ одной изъ воюющихъ сторонъ. Все, что̀ выигрываетъ наука, то теряетъ теософія; а такъ какъ наука со временъ до-историческаго фетишизма выиграла очень много, то надо полагать, что ея противница потеряла также немало. Дѣйствительно, вся исторія человѣческаго ума, а слѣдовательно и человѣческихъ обществъ есть не что иное, какъ постоянное усиленіе науки, соотвѣтствующее такому-же постоянному ослабленію теософіи, которая при вступленіи человѣчества въ исторію пользовалась всеобъемлющимъ и безраздѣльнымъ могуществомъ.

Несмотря на этотъ вѣчный и роковой антагонизмъ, теософія, сама того не замѣчая и не желая, постоянно вручала своей противницѣ оружіе и собирала для нея матеріалы, которыми наука постоянно пользовалась со свойственными ей одной неподкупностью, неумолимостью, неблагодарностью и коварствомъ.

Полудикій человѣкъ, только-что отдѣлавшійся отъ грубѣйшаго фетишизма, не могъ приняться прямо за астрономическія наблюденія или за анатомическія изслѣдованія. Какой интересъ онъ могъ находить въ движеніи небесныхъ свѣтилъ или въ расположеніи сердца, печени, селезенки и легкихъ въ тѣлѣ барана? Во-первыхъ, никто не могъ ему объяснить, что его прапраправнуки будутъ нуждаться въ астрономическихъ познаніяхъ для навигаціи, а въ анатомическихъ свѣдѣніяхъ—для леченія болѣзней. Во-вторыхъ, еслибы даже кто-нибудь и могъ дать ему эти объясненія, то онъ по всей вѣроятности отвѣчалъ-бы очень спокойно, что желаетъ жить для самого себя, а не для своихъ прапраправнуковъ, которыхъ ему никогда не придется увидѣть въ глаза. Что-же касается до безкорыстной любознательности, то она для круглаго невѣжды и для человѣка, никогда не мыслившаго, совершенно невозможна, потому что въ наукѣ, какъ и во многихъ другихъ отрасляхъ человѣческой дѣятельности, l'appetit vient en mangeant. Такимъ образомъ наука рисковала остаться на мели, но къ ней подоспѣла на помощь добродушная теософія, ухитрившаяся внушить своему полудикому воспитаннику ту заманчивую мысль, что звѣзды имѣютъ постоянное и самое рѣшительное вліяніе на всю его судьбу и что по внутренностямъ зарѣзаннаго барана можно читать, какъ по раскрытой книгѣ, всю будущность отдѣльныхъ личностей или даже цѣлыхъ племенъ. Чѣмъ глубже невѣжество человѣка, чѣмъ слабѣе работаетъ его мысль, чѣмъ полновластнѣе господствуетъ надъ его умомъ теософія, созданная его фантазіей, тѣмъ рельефнѣе и непоколебимѣе проявляется въ человѣкѣ та простодушная увѣренность, что весь міръ сотворенъ именно для него, и что все высшее начальство постоянно заботится объ его участи, постоянно слѣдитъ за его поведеніемъ, постоянно подаетъ ему разные сигналы и постоянно готово отвѣчать ему тѣмъ или другимъ путемъ на всѣ его скромные или нескромные вопросы. Этихъ сигналовъ и отвѣтовъ политеистъ ищетъ и въ узорахъ звѣзднаго неба, и въ полетѣ различныхъ птицъ, и въ кишкахъ жертвеннаго животнаго, и въ безсвязныхъ словахъ полоумной пиѳіи, и въ безтолковыхъ сновидѣніяхъ, почерпнутыхъ изъ переполненнаго желудка. Кто во всемъ видитъ совѣтъ сверху или предзнаменованіе, тотъ, разумѣется, на всякую мелочь долженъ обращать вниманіе. Понятно, что эта постоянная внимательность, возбужденная теософіей, собираетъ безсознательно богатый запасъ сырыхъ матеріаловъ, которыми рано или поздно съумѣетъ воспользоваться наука. Ученая дѣятельность великаго Гиппократа представляетъ намъ очень яркій примѣръ того искусства, съ которымъ наука прямо изъ рукъ теософіи беретъ собранные ею матеріалы, составляющіе для самой теософіи мертвый капиталъ. Больные, лежавшіе въ храмахъ Асклепія или Эскулапа и получившіе облегченіе, имѣли привычку послѣ выздоровленія описывать свои страданія и оставлять эти описанія въ храмѣ для прославленія вылечившаго ихъ божества. Въ этихъ храмахъ набрались цѣлыя груды подобныхъ описаній; Гиппократъ объѣхалъ всѣ эти храмы, тщательно изучилъ накопившіяся въ нихъ описанія, провѣрилъ ихъ своими личными наблюденіями и составилъ, на основаніи этихъ богатыхъ матеріаловъ, тѣ великолѣпныя характеристики различныхъ болѣзней, которыя своей точностью и наглядностью до сихъ поръ изумляютъ и восхищаютъ лучшихъ представителей медицины.

V.

Съ *искусствомъ* теософія всегда жила въ добромъ согласіи, а политеизмъ, болѣе чѣмъ какая либо другая фаза теософіи, своимъ вліи-

Digitized by Google

яніемъ благопріятствовалъ и содѣйствовалъ развитію всѣхъ различныхъ отраслей художественнаго творчества. Политеизмъ вызывалъ постоянную и напряженную дѣятельность человѣческаго воображенія, которому приходилось рѣшать безапелляціонно всѣ вопросы общаго міросозерцанія. Не трудно понять, что политеизмъ предоставлялъ работѣ воображенія гораздо больше простора, чѣмъ фетишизмъ. Фетишистъ, одушевляя прямо видимые предметы, принужденъ былъ ограничивать свои фантазіи тѣмъ, что онъ дѣйствительно видѣлъ, или покрайней мѣрѣ тѣмъ, что ему мерещилось. Для политеиста, напротивъ того, не существовало никакой границы; онъ фантазировалъ совсѣмъ не о тѣхъ предметахъ, которые находились передъ его глазами; для него былъ открытъ міръ невидимыхъ существъ, въ которомъ онъ, разумѣется, могъ распоряжаться, какъ ему было угодно. Фетишъ былъ привязанъ къ извѣстному мѣсту, и поэтому объ немъ трудно было сочинить какіе-нибудь сложные и замысловатые миѳы; трудно въ самомъ дѣлѣ было напримѣръ придумать, что дерево вышло замужъ за камень и потомъ вмѣстѣ съ этимъ камнемъ ведетъ войну противъ рѣки. Эти выдумки показались-бы нескладными и неправдоподобными самому грубому фетишисту, который видѣлъ-бы, что дерево, камень и рѣка не имѣютъ между собою ни малѣйшаго соприкосновенія. Напротивъ того, невидимымъ существамъ можно было съ величайшимъ удобствомъ приписывать всевозможные свадьбы, ссоры, драки, кутежи, путешествія и всякія другія приключенія, составляющія весь интересъ обыкновенной жизни тогдашняго времени. Словомъ, самое роскошное развитіе миѳологіи возможно только въ періодъ политеизма. Тутъ это роскошное развитіе не только возможно, но даже и необходимо.

Еслибы догматическая часть политеизма заключалась только въ сухой и безцвѣтной номенклатурѣ боговъ, управляющихъ различными департаментами природы, то политеизмъ очевидно не могъ-бы имѣть никакого опредѣленнаго вліянія ни на умственную жизнь отдѣльныхъ личностей, ни на общественную жизнь цѣлыхъ націй. Поэты непремѣнно должны были довершить дѣло теософовъ; когда для объясненія какого-нибудь явленія теософы создавали новое божество, тогда поэты тотчасъ овладѣвали этимъ новымъ созданіемъ и обрабатывали во всѣхъ подробностяхъ его физіономію, его костюмъ, его характеръ, его наклонности и атрибуты, его отношенія къ людямъ, его положеніе въ общей іерархіи безсмертныхъ и всѣ различныя приключенія его жизни, въ которыхъ обнаруживаются его индивидуальныя особенности. Постоянно опираясь такимъ образомъ на поэзію, теософія конечно постоянно должна была относиться къ ней съ величайшей благосклонностью. Художники и преимущественно поэты считались въ древности любимцами боговъ и самыми компетентными истолкователями ихъ воли. Разрабатывая такимъ образомъ миѳы, поэзія кромѣ того должна была заодно съ теософіей выяснять и распространять нравственное ученіе, вытекающее изъ основныхъ догматовъ господствующей доктрины. Эта задача досталась на долю поэзіи только тогда, когда уже совершилось превращеніе фетишизма въ политеизмъ.

Фетишизмъ не могъ имѣть значительнаго вліянія на нравственныя понятія людей, и вслѣдствіе этого поэзія фетишистовъ, не имѣя возможности прислониться съ этой стороны къ господствующей теософіи, принуждена была оставлять почти нетронутой область частной и общественной нравственности, которую она со временъ политеизма навсегда присоединила къ своимъ владѣніямъ. Почему фетишизмъ не дѣйствовалъ на нравственныя понятія — объяснить не трудно. Какое дѣло могло быть какому-нибудь фетишу, напримѣръ рѣкѣ, камню, дереву,—до того, хорошо или дурно будетъ вести себя одинъ человѣкъ въ отношеніи къ другому человѣку? Фетишъ могъ требовать себѣ извѣстныхъ знаковъ уваженія и оскорбляться непочтительными поступками, направленными личностями противъ него, но онъ никакъ не могъ превратиться въ повсемѣстнаго блюстителя справедливости, цѣломудрія и всякой нравственной чистоты, не могъ именно потому, что имѣлъ слишкомъ частное значеніе, былъ прикрѣпленъ къ опредѣленному мѣсту и окруженъ множествомъ другихъ, равносильныхъ фетишей. Дикарь легко могъ вообразить, что рѣка сердится, когда въ нее бросаютъ какую-нибудь гадость, но ему никакъ не могло придти въ голову, что рѣка будетъ на него въ претензіи, если онъ украдетъ у своего сосѣда топоръ или лопату,—не могло придти потому, что онъ, дикарь, нисколько не прогнѣвался-бы на своего сосѣда, еслибы тотъ обокралъ какое нибудь третье лицо. Наблюденія путешественниковъ подтверждаютъ, какъ нельзя лучше, вѣрность этихъ замѣчаній. Нравственныя понятія чрезвычайно смутны у всѣхъ первобытныхъ народовъ. Многіе невиннѣйшіе поступки считаются тяжелыми преступленіями, и въ тоже время многіе поступки, чрезвычайно вредные для отдѣльныхъ личностей и для цѣлаго общества, кажутся предосудительными только тому человѣку, которому они наносятъ прямой ущербъ. Такъ напримѣръ, у камчадаловъ, по словамъ Вайца («Anthropologie der Naturvölker», I, 324), не позволяется ткнуть ножомъ въ кусокъ угля или отскребать ножомъ снѣгъ отъ башмаковъ и въ то-же время многіе

Digitized by Google

грубѣйшіе пороки считаются совершенно позволительными. Въ той-же книгѣ Вайцъ разсказываетъ, что у одного бушмена спросили: «что такое добро и что такое зло?»—Бушменъ подумалъ и отвѣчалъ: «когда я ворую женъ у другихъ людей, — это добро, а когда у меня воруютъ жену—это зло».—Понятіе добра отожествляется такимъ образомъ съ пріятнымъ ощущеніемъ, а понятіе зла—съ непріятнымъ; въ своемъ *основномъ принципѣ* разсужденіе бушмена совершенно вѣрно, но бушменъ грѣшитъ тѣмъ, что у него не хватаетъ предусмотрительности, вслѣдствіе чего онъ и рискуетъ поплатиться за минутное наслажденіе продолжительными страданіями. Такъ напримѣръ, идя *дѣлать добро* (то есть воровать чужихъ женъ), онъ рискуетъ *надѣлать очень много зла* (т. е. сильно помять себѣ бока кулаками и дубинами обворованныхъ мужей). Это отсутствіе предусмотрительности составляетъ единственное существенное различіе между нравственными понятіями бушмена съ одной стороны и послѣдовательнаго европейскаго утилитариста съ другой стороны. Изъ этого основного различія вытекаютъ всѣ остальныя несходства ихъ нравственнаго кодекса. Существенное-же сходство ихъ нравственныхъ понятій заключается въ томъ, что бушменъ, какъ грубый фетишистъ, и послѣдовательный утилитаристъ, какъ человѣкъ, совершенно освободившійся отъ теософической опеки, оба не ожидаютъ себѣ свыше ни награды за добро, ни наказанія за зло. У бушмена область междучеловѣческихъ отношеній еще не подошла подъ господство теософіи; у утилитариста эта область уже вышла изъ-подъ этого господства; бушменъ и утилитаристъ, сходные между собою по *основному принципу* нравственности, стоятъ на двухъ крайнихъ ступеняхъ историческаго развитія; и бушменскому племени, если оно двинется впередъ по дорогѣ къ практическому позитивизму или утилитаризму, придется на долю отказаться отъ того *основного принципа*, къ которому со временемъ, черезъ нѣсколько столѣтій, непремѣнно надо будетъ придти обратно. Бушмену надо сначала ввести въ нравственныя понятія элементъ теософической опеки, и это введеніе совершается именно тогда, когда изъ фетишизма вырабатывается политеизмъ. Когда человѣкъ составляетъ себѣ понятіе о такихъ существахъ, которыя издали управляютъ стихіями, посылаютъ дождь и градъ, бурю и саранчу, урожай и голодъ, здоровье и болѣзнь, радость и горе, удачу и неудачу, тогда человѣку уже очень не трудно вообразить себѣ, что эти существа, одаренныя необыкновенной зоркостью, чуткостью и воспріимчивостью, способны управлять судьбою своихъ поклонниковъ и то наказывать, то награждать людей за ихъ поступки въ отношеніи къ другимъ людямъ. Тогда возникаетъ понятіе нравственнаго закона; санкціей этого закона оказывается воля безсмертныхъ; и поэзія, прислоняясь къ теософіи, начинаетъ разъяснять и обобщать отдѣльныя статьи установившагося кодекса.

Доктрина политеизма, состоявшая цѣликомъ изъ яркихъ и конкретныхъ образовъ и не заключавшая въ себѣ никакихъ туманныхъ отвлеченностей и логическихъ тонкостей, была въ высшей степени доступна пониманію массъ и вслѣдствіе этого пользовалась въ свое время такой громадной популярностью, какой не достигла впослѣдствіи никакая другая философія. Можно сказать безъ преувеличенія, что въ тѣ времена, когда слагались гомеровскія пѣсни, всѣ греки, отъ перваго до послѣдняго, отъ самаго богатаго до самаго бѣднаго, отъ самаго умнаго до самаго глупаго, одинаково пламенно и простодушно вѣрили въ одни и тѣ-же миѳы и плѣнялись одними и тѣми-же идеалами красоты, мужества, смѣтливости и всякихъ другихъ физическихъ и нравственныхъ совершенствъ. Въ цвѣтущее время западной теософіи такого полнаго единодушія между массой и ея вождями не было и не могло быть, потому что высшія теософическія умозрѣнія, поглощавшія силы вождей, постоянно оставались непонятными для массы, которая удовлетворялась попрежнему довольно грубымъ политеизмомъ. Обширная популярность стараго политеизма очевидно составляла одну изъ самыхъ важныхъ причинъ процвѣтанія искусства. Художникъ тѣхъ временъ могъ обращаться съ своими произведеніями къ уму и чувству цѣлаго народа, и цѣлый народъ, отъ правителя государства до послѣдняго пастуха, видѣлъ въ даровитомъ художникѣ достойнаго выразителя общенародныхъ и всѣмъ понятныхъ, дорогихъ и близкихъ идей, вѣрованій и стремленій. Всякій аѳинскій ремесленникъ могъ восхищаться совершенно сознательно мускулами Геркулеса или грудью Венеры; но, чтобы понимать выраженіе лица рафаэлевскихъ мадоннъ, надо предварительно познакомиться съ такими мыслями и съ такими чувствами, которыми мужику заниматься некогда и не зачѣмъ.

Такимъ образомъ мы видимъ, что процвѣтаніе искусства во времена политеизма обусловливается четырьмя главными причинами: *первая*—толчокъ, данный политеизмомъ человѣческому воображенію; *вторая*—участіе поэзіи въ вырабатываніи догматическихъ подробностей; *третья*—подчиненіе междучеловѣческихъ отношеній теософическому вліянію; *четвертая*—обширная и единственная въ своемъ родѣ популярность политеизма.—Этими четырьмя причинами объясняются очень удовлетворительно всѣ чудеса греческой поэзіи и греческой скульптуры.

Digitized by Google

VI.

Въ древнемъ мірѣ *война* была неизбѣжна и необходима. Въ періодъ фетишизма война вывела отдѣльныя семейства изъ уединенія и сгруппировала ихъ въ небольшія общества. Въ періодъ политеизма война должна была связать эти разрозненныя группы людей въ большія государства, внутри которыхъ сдѣлался-бы возможнымъ обширный, постоянный и плодотворный обмѣнъ продуктовъ и идей.

Европеецъ XIX вѣка, мало знакомый съ физіономіей и характеромъ древности, можетъ усомниться въ необходимости этого связыванія; онъ можетъ подумать, что всякаго рода обмѣны и сношенія были совершенно совмѣстимы съ существованіемъ множества отдѣльныхъ и независимыхъ политическихъ тѣлъ. Въ самомъ дѣлѣ, кто-же мѣшаетъ напримѣръ нѣмцу завести банкирскій домъ во Франціи, англичанину—открыть мишинную фабрику въ Россіи, русскому—слушать лекціи въ нѣмецкомъ университетѣ, и такъ далѣе? Нѣтъ очевидно никакой надобности соединять Россію, Германію, Францію и Англію въ одну громадную имперію для того, чтобы облегчить или усилить международныя сношенія.

Разсужденіе это очень вѣрно, но къ древности оно не прилагается. Въ древности существовали только двѣ политическія формы: на востокѣ—огромныя монархіи, въ которыхъ гражданинъ имѣлъ право жить до тѣхъ поръ, пока начальство не посадитъ его на колъ, и владѣть имуществомъ до тѣхъ поръ, пока начальство не отберетъ его въ казну; на западѣ—крошечныя республики, величиной съ небольшой русскій уѣздъ,—республики, въ которыхъ гражданинъ пользовался болѣе обширными правами, но въ которыхъ всѣ права принадлежали именно только коренному гражданину, а никакъ не пріѣзжимъ иностранцамъ. Каждый гражданинъ становился безправнымъ иностранцемъ на разстояніи какихъ-нибудь тридцати или сорока верстъ отъ той площади, на которой онъ, какъ членъ державнаго народа (peuple souverain), рѣшалъ судьбу цѣлаго государства. Аѳиняинъ былъ иностранцемъ въ Мегарѣ, въ Ѳивахъ, въ Коринѳѣ, въ Аргосѣ, въ Спартѣ, словомъ—во всѣхъ греческихъ городахъ, кромѣ Аѳинъ. Само собою разумѣется, что Аѳины въ этомъ отношеніи платили взаимностью гражданамъ Мегары, Ѳивъ, Коринѳа и всѣхъ остальныхъ греческихъ республикъ. А каково было положеніе человѣка, живущаго въ чужомъ городѣ,—это видно всего лучше изъ аѳинскаго закона объ *андролепсіи*. Если какого-нибудь аѳинянина убивали за-границей и если городъ, въ которомъ было совершено убійство, отказывался наказать преступниковъ, то родственникамъ убитаго, по закону объ *андролепсіи*, предоставлялось право захватить въ Аѳинахъ трехъ гражданъ провинившагося города и потащить ихъ въ аѳинскій судъ, гдѣ съ ними тотчасъ расправлялись, какъ съ убійцами Этотъ законъ доказываетъ очень ясно двѣ вещи: вопервыхъ, что убійства иностранцевъ во всѣхъ греческихъ городахъ оставались очень часто безнаказанными; и во-вторыхъ, что различныя республики считали себя въ положеніи хронической вражды между собою и что вслѣдствіе этого личность иностранца никогда не находилась въ полной безопасности и постоянно изображала собою заложника, съ котораго во всякую данную минуту могутъ содрать шкуру за неизвѣстныя ему провинности его соотечественниковъ. Мудрено-ли послѣ этого, что грекъ, родившійся въ одномъ городѣ, не имѣлъ права жениться на гречанкѣ, родившейся въ сосѣднемъ городѣ? Мудрено-ли, что два города острова Крита должны были заключить между собою формальный и торжественный договоръ для того, чтобы браки между ихъ жителями сдѣлались возможными и законными? Мудрено-ли, что въ Аѳинахъ всѣ жители иностраннаго происхожденія (*метики*) были обложены поголовной податью и продавались въ рабство, когда не могли ее уплатить? Мудрено-ли, что греческая республика почти никогда не давала права гражданства иностранцу или даже его потомкамъ, хотя-бы они родились въ городѣ, прожили въ немъ цѣлое столѣтіе и много разъ проливали за него кровь въ сраженіяхъ? Мудрено-ли напримѣръ, что крошечная и безсильная Мегара даровала съ самаго своего основанія право гражданства только двумъ особамъ: Геркулесу и Александру Македонскому? Мудрено-ли наконецъ, что при такихъ условіяхъ сильное движеніе продуктовъ и идей было невозможно, что заниматься обширной торговлей значило быть отчаяннымъ мошенникомъ, и что объединяющія завоеванія были совершенно необходимы для того, чтобы цивилизація и политика могли выбиться изъ грязной колеи греческихъ мелкопомѣстныхъ сплетенъ, перебранокъ и дракъ?

Итакъ, *война была необходима*, и всякія чувствительныя декламаціи противъ *древнихъ* войнъ такъ-же остроумны, какъ напримѣръ сокрушенія о томъ, что семилѣтній ребенокъ неспособенъ рѣшить квадратныя уравненія. Съ этой стороны политеизмъ сильно помогалъ историческому движенію, во-первыхъ, возбуждая въ людяхъ воинственныя наклонности, во-вторыхъ, поддерживая въ войскахъ необходимую дисци-

Digitized by Google

плину, и въ-третьихъ, ослабляя истребительный характеръ древнихъ войнъ.

Боги политеизма были чисто національными богами, которыхъ значеніе возрастало или понижалось вмѣстѣ съ политическимъ могуществомъ ихъ поклонниковъ. Каждая нація старалась доставить своимъ богамъ господство надъ чужими богами; каждая нація была твердо увѣрена, что ея боги сражаются вмѣстѣ съ нею противъ ея враговъ и вмѣстѣ съ нею торжествуютъ побѣду или терпятъ пораженіе и подпадаютъ подъ иго безсмертныхъ покровителей враждебнаго народа. Вслѣдствіе этого религіозный элементъ примѣшивался постоянно въ большей или меньшей степени ко всѣмъ войнамъ, происходившимъ въ древности между различными національностями. Защищаясь противъ персовъ, греки чувствовали, что они защищаютъ своихъ олимпійцевъ; потомъ, нападая на персовъ, греки мстили имъ за разрушеніе и поруганіе своей святыни. Войны противъ персовъ и вообще противъ такъ называемыхъ варваровъ всегда доставляли олимпійцамъ величайшее удовольствіе; весь Олимпъ безраздѣльно былъ въ этомъ случаѣ заодно съ греческими войсками. Напротивъ того, войны между отдѣльными греческими городами всегда были антипатичны олимпійцамъ; затѣвая междуусобную войну, греки чувствовали, что религіозныя вѣрованія не могутъ служить имъ опорой, и вслѣдствіе этого постоянно смотрѣли на подобныя войны, какъ на общенародное страданіе и даже какъ на преступленіе, которое часто становилось неизбѣжнымъ, но никогда не могло сдѣлаться законнымъ и похвальнымъ. Естественныя бѣдствія, поражавшія Грецію во время пелопонезской войны, — неурожаи, землетрясенія, повальныя болѣзни,—постоянно объяснялись гнѣвомъ боговъ, возмущенныхъ раздорами избранной и возлюбленной націи.

Когда лучшіе люди Греціи—философы, поэты, ораторы,—напрягали всѣ свои усилія, чтобы положить конецъ безплодному и кровопролитному междуусобію, тогда они постоянно становились на почву общенародныхъ вѣрованій, рисовали яркими красками естественную противоположность между Греціей и Персіей, льстили національной гордости грековъ, разжигали ихъ ненависть противъ восточныхъ варваровъ и этой глубокой ненавистью старались сплотить ихъ разрозненныя силы въ непобѣдимый наступательный союзъ. Съ точки зрѣнія отвлеченно-добродѣтельной филантропіи, такая тактика была конечно въ высшей степени предосудительна. Но, становясь на точку зрѣнія положительной исторической науки, мы принуждены сознаться, что благоразумнѣе и общеполезнѣе этой тактики въ данную минуту ничего нельзя было придумать. Устранить войну было невозможно; надъ этимъ безполезно было и задумываться; можно было выбирать только одно изъ двухъ: или ежедневныя мелкія драки, не ведущія за собою никакихъ результатовъ, кромѣ увѣчья и смертоубійства, или-же огромныя завоевательныя войны, очень кровопролитныя, очень убыточныя, но зато дѣйствительно способныя разбить тѣ китайскія стѣны, которыми огораживалась со всѣхъ сторонъ каждая древняя національность. Передовые люди Греціи постоянно стремились къ послѣднему, то есть къ большой завоевательной войнѣ, и они были совершенно правы, хотя, разумѣется, они при этомъ руководствовались не историко-философскими соображеніями о цивилизующемъ вліяніи войны, а узко-національными страстями и предубѣжденіями. Если можно было чѣмъ-нибудь связать между собою перессорившихся грековъ, то можно было связать ихъ именно только общей ненавистью ихъ къ другимъ народамъ. Политеизмъ подогрѣвалъ эту ненависть и такимъ образомъ оказывалъ людямъ существенную услугу. Конечно исключительный греческій патріотизмъ, основанный на ненависти и на презрѣніи ко всему остальному человѣчеству, долженъ теперь казаться намъ очень узкимъ, мелкимъ и жалкимъ. Но даже и этотъ патріотизмъ покажется намъ очень широкимъ и величественнымъ, если мы сравнимъ его съ патріотизмомъ аѳинскимъ или ѳивскимъ, основаннымъ на ненависти и на презрѣніи ко всѣмъ варварамъ и кромѣ того даже ко всѣмъ остальнымъ грекамъ. Эти уѣздные патріотизмы были гораздо смѣшнѣе, глупѣе и вреднѣе теперешнихъ лихтенштейнскихъ или рейбсъ-лобенштейнъ-эберсдорфскихъ патріотизмовъ. Парализируя до нѣкоторой степени эти безчисленные патріотизмы вліяніемъ общихъ вѣрованій, общихъ праздниковъ, общихъ оракуловъ, политеизмъ приносилъ людямъ несомнѣнную пользу.

Боги политеизма стояли очень близко къ своимъ поклонникамъ и очень часто вступали съ ними въ прямыя сношенія; оракулы и различныя гаданія, имѣвшія государственное значеніе только во времена политеизма, давали каждому вѣрующему полную возможность во всякую данную минуту заглядывать въ будущее и заводить разговоръ съ правителями вселенной. Въ тѣ времена, когда въ полудикихъ людяхъ еще слаба была привычка повиноваться какой-бы то ни было власти, эти ежедневныя сношенія съ богами были чрезвычайно полезны для поддержанія той дисциплины, безъ которой война превратилась-бы въ безтолковую, безцѣльную и безплодную драку. Начальникъ войска, стоявшій на одной степени развитія съ своими воинами и вѣрившій совершенно искренно въ оракулы, въ гаданія, въ пророческіе сны, естественнымъ образомъ давалъ всѣмъ этимъ неопредѣленнымъ намекамъ такія толкованія, которыя въ дан-

Digitized by Google

ную минуту соотвѣтствовали его собственнымъ стратегическимъ соображеніямъ. Эти соображенія, освященныя такимъ образомъ божественнымъ авторитетомъ, конечно получали для воиновъ такую обязательную силу, которая была-бы немыслима, еслибы начальнику приходилось дѣйствовать на своихъ подчиненныхъ голымъ страхомъ наказанія. Кромѣ того поддерживать дисциплину палкой, напримѣръ въ греческихъ войскахъ, было довольно затруднительно, потому что въ качествѣ простыхъ воиновъ сражались за отечество лучшіе, знатнѣйшіе и даровитѣйшіе граждане Греціи, богачи, аристократы, философы, поэты, политики, историки и ораторы. Только такіе воины, шедшіе въ бой съ полнымъ и сознательнымъ воодушевленіемъ, могли разбивать непріятеля, превосходившаго ихъ числомъ разъ въ двадцать или въ тридцать; только такимъ составомъ греческихъ армій объясняются побѣды, одержанныя ими надъ персами при Марафонѣ и при Платеѣ. А при такомъ составѣ армій дисциплина конечно могла поддерживаться только идеями и вѣрованіями, а не шпицрутенами.

Разогрѣвая воинственныя страсти и укрѣпляя дисциплину, политеизмъ въ то-же время ослабляетъ истребительный характеръ международныхъ столкновеній. Когда фетишисты дерутся между собой, тогда они стараются преимущественно о томъ, чтобы зарѣзать, изжарить и съѣсть непріятеля; война между людьми имѣетъ въ это время почти такой-же характеръ, какъ война людей съ дикими животными; вліяніе теософической доктрины проявляется только въ томъ, что побѣдитель приглашаетъ своихъ фетишей къ себѣ на пиръ и угощаетъ ихъ человѣческимъ мясомъ, добытымъ во время сраженія или послѣ побѣды. О какихъ-бы то ни было политическихъ или экономическихъ отношеніяхъ между побѣдителями и побѣжденными не можетъ быть и рѣчи тогда, когда побѣжденный изображаетъ своей особой кусокъ мяса, болѣе или менѣе жирный и болѣе или менѣе удовлетворительный въ гастрономическомъ отношеніи. Возможность примиренія между побѣдителями и побѣжденными является только тогда, когда область между-человѣческихъ отношеній подчиняется вліянію господствующей теософической доктрины. Этотъ общій прогрессъ въ господствующемъ міросозерцаніи, съ своей стороны, становится возможнымъ только тогда, когда настоятельныя, ежедневныя требованія желудка начинаютъ получать себѣ болѣе правильное и болѣе обильное удовлетвореніе. Что идетъ впереди, матеріальное или умственное совершенствованіе, рѣшить довольно трудно; но можно сказать навѣрное, что значительные успѣхи въ общемъ міросозерцаніи совершенно невозможны тамъ, гдѣ физическія условія не допускаютъ никакихъ существенныхъ улучшеній матеріальнаго быта. У народовъ, дошедшихъ до политеизма, людоѣдство и связанныя съ нимъ человѣческія жертвоприношенія, то есть приглашеніе фетишей на приготовленный пиръ, обыкновенно исчезаютъ. Войны ведутся не за тѣмъ, чтобы превратить побѣжденнаго врага въ такое кушанье, а за тѣмъ, чтобы подчинить его господству побѣдителя; вмѣсто звѣрской кровожадности главнымъ двигателемъ войны является властолюбіе; на человѣка, въ которомъ видѣли прежде кусокъ мяса, начинаютъ смотрѣть, какъ на рабочую силу; словомъ, систематическое людоѣдство замѣняется такимъ-же систематическимъ порабощеніемъ побѣжденныхъ людей. Это порабощеніе находится въ полной гармоніи съ основнымъ характеромъ политеизма: какъ побѣдители господствуютъ надъ побѣжденными, такъ точно и боги побѣдителей господствуютъ надъ богами побѣжденныхъ,—надъ богами, которые однако, отступая на задній планъ, нисколько не теряютъ своего божественнаго достоинства; несмотря на религіозный характеръ политическихъ войнъ, побѣда однихъ политеистовъ надъ другими не ведетъ за собою никакихъ религіозныхъ преслѣдованій и никакого насильственнаго обращенія побѣжденныхъ къ теософическому міросозерцанію побѣдителей. Послѣ побѣды совершается обыкновенно простое, механическое сліяніе политеистическихъ доктринъ; если напримѣръ у побѣжденныхъ было двадцать боговъ, а у побѣдителей—пятнадцать, то послѣ побѣды въ государствѣ, составившемся изъ побѣдителей и побѣжденныхъ, окажется всего тридцать пять боговъ, причемъ, разумѣется, богамъ побѣдителей достанутся высшія мѣста, а богамъ побѣжденныхъ—низшія. Религіознаго антагонизма не будетъ ни малѣйшаго, тѣмъ болѣе, что сами побѣжденные увидятъ въ своемъ собственномъ пораженіи ясное доказательство превосходства чужихъ покровителей. Отсутствіе религіозной ненависти облегчитъ въ очень значительной степени сліяніе побѣдителей и побѣжденныхъ въ одинъ народъ; двѣ различныя націи превратятся понемногу въ два различныя сословія, отдѣленныя другъ отъ друга тонкими и шаткими перегородками, которыя, рано или поздно, будутъ подточены и опрокинуты естественнымъ развитіемъ промышленной дѣятельности и политической жизни.

Для обширныхъ и прочныхъ завоеваній искренній политеизмъ удобнѣе и полезнѣе всѣхъ остальныхъ формъ теософическаго міросозерцанія. Монотеизмъ не соотвѣтствуетъ потребностямъ завоевательной эпохи именно потому, что онъ составляетъ высшую фазу умственнаго развитія, наступающую обыкно-

Digitized by Google

венно тогда, когда обширныя завоеванія уже окончены и когда различныя націи, соединенныя подъ однимъ господствомъ, уже успѣли подѣйствовать другъ на друга обмѣномъ вѣрованій, обычаевъ и понятій. Войны искреннихъ и ревностныхъ монотеистовъ отличаются обыкновенно самой систематической и чисто-истребительной жестокостью. Политеистъ въ богахъ своего врага видитъ все-таки боговъ, которыхъ онъ уважаетъ, хотя и старается подчинить ихъ господству своихъ собственныхъ безсмертныхъ покровителей. Для монотеиста, напротивъ того, всякіе чужіе боги — непримиримые враги, съ поклонниками которыхъ невозможны никакіе компромиссы и необязательны никакіе договоры. Монотеисты поступали именно такимъ образомъ вездѣ, гдѣ они дѣйствовали подъ исключительнымъ вліяніемъ своего теософическаго міросозерцанія. Для примѣра достаточно будетъ вспомнить о томъ, какимъ образомъ евреи покорили Палестину или какимъ образомъ распоряжались испанцы въ Андалузіи съ маврами, а въ Америкѣ—съ индѣйцами. Въ концѣ прошлаго столѣтія искренніе и ревностные монотеисты, вандейцы и шуаны, воевали съ невѣрующими гражданами французской республики; эта война была очень похожа на дѣйствія испанцевъ въ Андалузіи и въ Америкѣ; благочестивые роялисты старались вразумлять плѣнныхъ вольтеріанцевъ—сдираніемъ кожи, ломаніемъ костей, поджариваніемъ на медленномъ огнѣ, закапываніемъ въ землю и всякими другими инквизиторскими затѣями. Еслибы завоеватели древняго міра, Александръ Македонскій, Сципіонъ, Лукуллъ, Помпей, Цезарь, были искренними и ревностными монотеистами, они навѣрное пролили-бы въ десять разъ больше крови, и цѣной этой крови не купили-бы никакихъ прочныхъ политическихъ результатовъ.

VII.

Вся экономическая жизнь древнихъ обществъ была построена на *рабствѣ*, и положительная философія, къ немалому ужасу всѣхъ добродѣтельныхъ либераловъ, доказываетъ неопровержимо, что въ свое время рабство было такъ же неизбѣжно и необходимо, какъ завоевательныя войны. Во-первыхъ, дикій фетишистъ не могъ-же сразу превратиться въ расиновскаго героя, объявляющаго своему врагу, что, побѣдивши его оружіемъ, онъ вслѣдъ затѣмъ желаетъ немедленно побѣдить его деликатностью и великодушіемъ. Чтобы воздержаться отъ зарѣзыванія и пожиранія плѣнниковъ, суровому побѣдителю надо было непремѣнно имѣть въ виду, что, оставаясь въ живыхъ, плѣнники доставятъ ему значительную выгоду, далеко перевѣшивающую мимолетное гастрономическое наслажденіе. А въ чемъ-же могла состоять эта выгода? Очевидно только въ той работѣ, къ которой можно было приневолить плѣнниковъ, или-же—въ томъ выкупѣ, который можно было вытребовать за нихъ отъ ихъ родственниковъ. Но когда была завоевана цѣлая страна, тогда выкупъ становился невозможнымъ, потому что все имущество жителей само собою превращалось въ собственность побѣдителей; тогда побѣжденные могли откупиться отъ смерти только своимъ личнымъ трудомъ, и рабство было неизбѣжно. Еслибы побѣдителямъ не приходила въ голову простая и естественная мысль обратить въ свою пользу трудъ побѣжденныхъ, то безпрестанныя истребительныя войны могли-бы стереть съ лица земли всю нашу породу, такъ точно, какъ это случилось съ очень многими племенами сѣверо-американскихъ индѣйцевъ, имѣвшихъ привычку замучивать до смерти своихъ военно-плѣнныхъ. Можно сказать безъ преувеличенія, что рабство спасло нашу породу отъ истребленія, и что лѣнь, корыстолюбіе и властолюбіе побѣдителей очень долго были единственнымъ возможнымъ двигателемъ экономическаго и даже нравственнаго совершенствованія. Клинъ надо было выбивать клиномъ; кровожадность людоѣда можно было вытѣснить только низкими своекорыстными инстинктами рабовладѣльца.

Далѣе, рабство составляетъ ту единственную школу, которая могла переработать неукротимый темпераментъ дикаря и превратить лѣнивое и кровожадное животное въ разсудительнаго и трудолюбиваго ремесленника. Эта школа отличалась крайней суровостью, но рекомендовать въ отношеніи къ дикарю мягкія воспитательныя средства могутъ только тѣ добродушные люди, которые полагаютъ, что дикарь отличается отъ нашего простолюдина только оригинальностью своего костюма и отсутствіемъ нѣкоторыхъ элементарныхъ знаній по части общественнаго этикета. Кромѣ того мягкія воспитательныя средства возможны только тогда, когда воспитатель по своему умственному развитію стоитъ гораздо выше своего воспитанника; но такъ какъ рабовладѣлецъ и рабъ были оба одинаково первобытными людьми, то, разумѣется, они и должны были дѣйствовать другъ на друга самыми первобытными средствами. Полное отвращеніе къ труду, совершенное отсутствіе предусмотрительности и звѣрская страстность составляютъ общіе отличительные признаки всѣхъ дикихъ народовъ. Когда всѣ обитатели нашей планеты были одарены этими наклонностями, тогда, разумѣется, всѣ хотѣли воевать и бражничать, и никто не хотѣлъ работать. Но такъ какъ кому-нибудь непремѣнно надо было работать, то, разумѣется, роль рабочей скотины досталась слабѣйшимъ членамъ каждой отдѣльной семьи, то-есть женщинамъ.

Digitized by Google

Нѣтъ ни одного дикаго народа, у котораго женщина не была-бы порабощена и завалена непосильной работой. Слѣдовательно, когда какой-нибудь древній завоеватель покорялъ какую-нибудь страну и порабощалъ ея жителей, тогда фактъ порабощенія не былъ совершенно новымъ явленіемъ; рабство не вводилось вновь, оно только распространялось и видоизмѣнялось. Если-же мы поставимъ себѣ вопросъ: которая изъ двухъ формъ рабства полезнѣе, порабощеніе-ли женщинъ мужчинами, или-же порабощеніе одной націи другой націей, то намъ во всѣхъ отношеніяхъ придется отдать предпочтеніе второй формѣ. Рабство женщинъ, доставляющее мужчинамъ возможность драться и кутить, можетъ продолжаться безгранично долго; въ этомъ рабствѣ нѣтъ никакихъ задатковъ развитія; это рабство само себя поддерживаетъ; оно могло-бы прекратиться только тогда, когда измѣнились-бы вкусы мужчины, а этимъ вкусамъ нѣтъ никакого основанія измѣняться, если только ихъ не измѣнитъ давленіе внѣшнихъ обстоятельствъ. Женщина будетъ надрываться надъ работой, мужчина будетъ буянить или бить баклуши, и семья будетъ жить въ грязи и въ нуждѣ до тѣхъ поръ, пока не произойдетъ завоеваніе и пока не возникнетъ новая форма рабства. Невозможно даже и представить себѣ, чтобы какое-нибудь другое событіе могло положить конецъ мелкимъ дракамъ и глупой праздности безпечныхъ дикарей Завоеваніе приноситъ съ собою вынужденный миръ, желѣзный гнетъ и обязательный трудъ. Дикарямъ приходится очень тяжело; они отказываются работать и бунтуютъ; ихъ усмиряютъ жестокими казнями; страданія нѣсколькихъ поколѣній оказываются необходимыми для того, чтобы перевоспитать дикую природу, чтобы укротить воинственные порывы и чтобы создать привычку къ правильному труду. Наконецъ, когда характеръ населенія переработанъ, когда привычка къ миролюбивымъ промышленнымъ занятіямъ пріобрѣтена, тогда рабъ начинаетъ мечтать не о томъ, чтобы воевать и лежать на боку, какъ дѣлали его славные предки,—а о томъ, чтобы работать на самого себя, то есть потреблять вмѣстѣ съ своимъ семействомъ продукты собственнаго труда. Тогда историческая роль рабства оказывается законченной; уродливыя стороны этого отжившаго учрежденія начинаютъ мозолить глаза всѣмъ честнымъ мыслителямъ даннаго общества и напоминаютъ о себѣ различными болѣзненными явленіями во всѣхъ отрасляхъ промышленной, политической и умственной жизни. Сами рабовладѣльцы начинаютъ замѣчать, что доброе, старое время невозвратимо, и наконецъ рабство такъ или иначе, путемъ законнаго преобразованія или насильственнаго переворота, уходитъ въ область исторіи.

Впрочемъ паденіе рабства невозможно до тѣхъ поръ, пока не прекратится завоевательная дѣятельность господствующихъ классовъ. Война и рабство, взаимно поддерживая другъ друга, идутъ постоянно рука объ руку. Съ одной стороны, война постоянно наполняетъ невольничьи рынки дешевымъ человѣческимъ товаромъ. Съ другой стороны, даровой трудъ, придавая всѣмъ хозяйственнымъ и промышленнымъ операціямъ самый простѣйшій и первобытный характеръ, позволяетъ богачамъ и аристократамъ направлять всѣ ихъ умственныя силы на далекія военныя предпріятія. Паденіе рабства непремѣнно парализировало-бы дѣятельность завоевателей, потому что тогда внутреннія заботы тотчасъ одержали-бы перевѣсъ надъ внѣшними. Но именно по этой причинѣ паденіе рабства и немыслимо тогда, когда господствуетъ завоевательная политика; тогда завоеватели берегутъ рабство, какъ зѣницу ока; они совершенно справедливо видятъ въ немъ необходимый фундаментъ своего военнаго могущества и, чтобы отстоять этотъ фундаментъ, готовы рѣшиться на самыя тяжелыя пожертвованія и кинуться въ самую опасную борьбу. Достаточно вспомнить, съ какой непоколебимой энергіей Крассъ и Помпей подавляли возмущеніе невольниковъ и гладіаторовъ. Когда возмутились противъ Рима итальянскіе города, тогда Римъ пошелъ на уступки. Но уступки невольникамъ были для него немыслимы; сенатъ понималъ очень хорошо, что если фундаментъ начнетъ шевелиться и заявлять свои человѣческія права, то произойдетъ немедленно радикальный переворотъ, послѣ котораго новымъ людямъ придется перестраивать за-ново все общественное зданіе, по новому плану и на немыслимыхъ для сенаторовъ основаніяхъ. Общественный порядокъ, построенный на рабствѣ, никогда не можетъ считать себя совершенно прочнымъ; онъ постоянно подвергается болѣе или менѣе сильнымъ конвульсіямъ, въ которыхъ обнаруживаются намеки на предстоящій переворотъ и задатки будущаго обновленія. Еслибы къ естественнымъ затрудненіямъ, вытекающимъ изъ самаго существованія рабства, присоединились еще какія-нибудь религіозныя затрудненія, еслибы проявилось несогласіе между идеей рабства и направленіемъ господствующей теософической доктрины, то быть-можетъ государственнымъ людямъ древности не удалось-бы поддержать рабовладѣльческій порядокъ вещей до окончанія завоевательной эпохи. Къ счастью для воинственныхъ рабовладѣльцевъ, политеизмъ былъ въ этомъ отношеніи очень удобенъ, уступчивъ и сговорчивъ. Онъ не требовалъ отъ своихъ адептовъ религіозной нетерпимости и въ то-же время не воспитывалъ въ нихъ чувства религіознаго равенства. Боги побѣжденныхъ вхо-

Digitized by Google

дили въ пантеонъ побѣдителя, но занимали въ этомъ пантеонѣ низшія мѣста. Неравенство между людьми освящалось такимъ образомъ неравенствомъ, существовавшимъ въ мірѣ боговъ, и въ то-же время между рабомъ и господиномъ не оставалось мѣста для взаимной религіозной ненависти. Многочисленныя возмущенія рабовъ были постоянно направлены только противъ невыносимыхъ жестокостей и злоупотребленій; до полнаго догматическаго отрицанія рабства никогда не возвышались въ древнемъ мірѣ даже сами рабы. Это отрицаніе созрѣло впослѣдствіи подъ вліяніемъ монотеистическихъ доктринъ, которыя по своему основному направленію настолько-же враждебны войнѣ и рабству, насколько политеизмъ имъ благопріятенъ. Конечно и война, и рабство могутъ втеченіи цѣлыхъ столѣтій уживаться вмѣстѣ съ монотеизмомъ, но это значитъ только, что какія-нибудь мѣстныя особенности, климатическія или этнографическія, мѣшаютъ господствующей доктринѣ развить изъ себя и провести въ общественное сознаніе тѣ практическія требованія, которыя вытекаютъ изъ нея прямымъ логическимъ путемъ.

Особенно важно и благопріятно для рабства и для завоевательной политики было то обстоятельство, что обѣ власти, свѣтская и духовная,—или, другими словами, *практическая* и *теоретическая* *),—во все *время господства политеизма* сосредоточивались въ однѣхъ рукахъ. Кто управлялъ дѣлами государства, тотъ былъ верховнымъ судьей и въ области вѣрованій. Истолкованіе доктрины находилось въ рукахъ того самаго класса, который пользовался плодами завоеваній и извлекалъ себѣ личную выгоду изъ обязательнаго труда. Въ тѣхъ древнихъ обществахъ, которыя по географическимъ особенностямъ своего положенія были избавлены отъ необходимости вести постоянныя войны, напримѣръ въ Египтѣ и въ Индіи, жрецы давали направленіе всей внутренней и внѣшней политикѣ. Въ тѣхъ обществахъ, напротивъ того, для которыхъ война была постояннымъ занятіемъ, напримѣръ въ Греціи и въ Римѣ, военные правители государства были сами жрецами или по крайней мѣрѣ держали жрецовъ въ полномъ повиновеніи. Въ обоихъ случаяхъ раздвоенія властей не существовало; жрецъ и правитель сливались въ одномъ лицѣ или по крайней мѣрѣ въ одномъ господствующемъ классѣ, съ той только разницей, что въ первомъ случаѣ политическая дѣятельность являлась однимъ изъ аттрибутовъ жреца, а во второмъ случаѣ жреческая дѣятельность являлась однимъ изъ аттрибутовъ воина. Въ обоихъ случаяхъ это вліяніе властей вело за собою тотъ естественный результатъ, что теософическая доктрина очень искусно приноровлялась къ потребностямъ текущей политики и превращалась въ орудіе господства въ первомъ случаѣ—для жрецовъ, во второмъ—для завоевателей. Такъ какъ рабство было выгодно для господствующаго класса, то, разумѣется, оно не могло встрѣтить себѣ никакихъ возраженій со стороны доктринъ, которыхъ храненіе и комментированіе находились въ рукахъ того-же господствующаго класса.

*) Контъ постоянно употребляетъ выраженія pouvoir temporel и pouvoir spirituel. Если переводить эти слова буквально, то надо будетъ переводить: *свѣтская власть* и *духовная власть*. Но эти слова имѣютъ по-русски слишкомъ спеціальное значеніе, и поэтому я предпочитаю употреблять болѣе общія выраженія: *практическая власть* и *теоретическая власть*. Мое намѣреніе оправдывается тѣмъ, что самъ Контъ въ пятомъ томѣ своей «Положительной философіи» говоритъ: «principaux pouvoirs politiques, soit temporels ou pratiques, soit même spirituels ou théoretiques». Temporel и pratique, spirituel и théoretique оказываются равносильными терминами.

VIII.

Сохраняя свои общія типическія свойства, политеизмъ проявляется въ трехъ различныхъ историческихъ формахъ. Представителями этихъ трехъ формъ могутъ служить Индія, Греція и Римъ. Въ первой мы видимъ чистую теократію. Во второй—военный политеизмъ, задержанный въ своемъ развитіи. Въ третьемъ—военный политеизмъ, развернувшій всѣ свои силы и принявшій строго опредѣленное и совершенно послѣдовательное завоевательное направленіе.

Основной характеръ *чистой теократіи* заключается въ строгой наслѣдственности всѣхъ общественныхъ должностей и всѣхъ отраслей частной промышленности. При этомъ общественномъ устройствѣ вся нація распадается на извѣстное число строго разграниченныхъ кастъ, въ которыя никому не позволяется входить со стороны и изъ которыхъ никому не позволяется выходить вонъ. Сынъ жреца долженъ быть жрецомъ; сынъ воина—воиномъ; сынъ пастуха—пастухомъ, и такъ далѣе. На личныя способности и наклонности при этомъ не обращается никакого вниманія, тѣмъ болѣе, что принципъ кастъ, освященный многовѣковой древностью установившагося обычая, получаетъ себѣ кромѣ того сверхъестественную санкцію посредствомъ какого-нибудь замысловатаго космогоническаго мноа. Такъ напримѣръ, индѣйскій политеизмъ выводитъ существованіе кастъ изъ того обстоятельства, что Брама создалъ людей изъ *различныхъ* частей своего тѣла и такимъ образомъ самъ отъ вѣка установилъ между людьми естественное неравенство.

Наслѣдственность занятій неизбѣжна въ такое время, когда все воспитаніе основано исключительно на механическомъ подражаніи

Digitized by Google

очень понятно, что ребенокъ съ малыхъ лѣтъ присматривается къ отцовскому ремеслу, потомъ, подростая, начинаетъ помогать отцу въ его занятіяхъ и наконецъ, сдѣлавшись юношей, оказывается достаточно приготовленнымъ, чтобы работать вмѣстѣ съ отцомъ или даже чтобы совершеннно замѣнить его, если ему уже пора на покой. Наслѣдственность занятій существуетъ въ очень обширныхъ размѣрахъ даже въ современныхъ европейскихъ обществахъ. Почти всѣ хлѣбопашцы занимаются своимъ дѣломъ по наслѣдству и навѣрное ведутъ эту ненарушимую преемственность занятій съ такихъ отдаленныхъ временъ, до которыхъ не восходятъ даже самыя баснословныя генеалогіи древнѣйшихъ аристократическихъ фамилій. Но если фактъ наслѣдственности существуетъ повсемѣстно, то возведеніе этого факта въ обязательный принципъ все таки становится возможнымъ только при особенныхъ и исключительныхъ обстоятельствахъ, парализирующихъ развитіе военной дѣятельности. Когда страна лежитъ въ тепломъ климатѣ и обладаетъ плодородной почвой, когда она защищена со всѣхъ сторонъ морями, горами или пустынями, тогда она становится колыбелью ранней цивилизаціи, которая, развившись до чистой теократіи, останавливается и замираетъ въ этой политической формѣ. Создавши себѣ множество боговъ, то есть, возвысившись до политеизма, обитатели тихой и плодородной страны начинаютъ нуждаться въ посредникахъ, то-есть въ такихъ людяхъ, которые умѣли-бы передавать богамъ просьбы простыхъ поклонниковъ и склонять въ ту или въ другую сторону волю боговъ точнымъ соблюденіемъ всѣхъ мельчайшихъ условій необходимаго мистическаго этикета. Важное умѣнье дипломатизировать съ богами и съ поклонниками требуетъ сначала особенныхъ способностей, а потомъ продолжительнаго навыка. Поэтому надо полагать, что первыми жрецами сдѣлались люди, одаренные пылкимъ воображеніемъ и изворотливымъ умомъ; потомъ эти первые жрецы должны были передать свое прибыльное искусство своимъ дѣтямъ, и жреческія обязанности, подобно всякому другому ремеслу, должны были понемногу превратиться въ неотъемлемое достояніе извѣстныхъ родовъ. Эти жреческія фамиліи были очевидно поставлены въ такое выгодное положеніе, что, даже обладая самыми обыкновенными способностями, онѣ непремѣнно должны были захватить въ свои руки обѣ отрасли политическаго господства—теоретическую и практическую. Для этого требовалось только одно условіе: отсутствіе внѣшней войны. Соблюденіе этого необходимаго условія становится очень правдоподобнымъ, если взять въ разсчетъ почву, климатъ и географическое положеніе разсматриваемой страны. Изобиліе плодовъ земныхъ избавляетъ жителей отъ необходимости идти за добычей въ чужія земли; а естественныя границы страны—моря, горы и пустыни—ограждаютъ ее отъ посторонннихъ вторженій; такимъ образомъ жители могутъ очень легко обойдтись какъ безъ наступательной, такъ и безъ оборонительной войны. Отсутствіе настоятельной необходимости въ войнѣ даетъ жрецамъ полную возможность укоренить понемногу въ умахъ соотечественниковъ то убѣжденіе, что ихъ страна—лучше всѣхъ земель въ мірѣ, что всѣ иностранцы—поганые люди, съ которыми не должно имѣть никакихъ сношеній, что мореплаваніе—смертный грѣхъ, что путешествовать—значитъ осквернять себя соприкосновеніемъ съ погаными землями и съ погаными людьми, и что вообще порядочный человѣкъ долженъ непремѣнно жить дома, вести себя скромно—и кормить жрецовъ до отвалу. Задача жрецовъ значительно облегчается естественнымъ пристрастіемъ неразвитыхъ людей ко всему знакомому и родному и такимъ-же естественнымъ отвращеніемъ ихъ ко всему незнакомому и чужому. Жрецамъ надо только возвести эти самородные инстинкты на степень религіознаго догмата; какъ только это дѣло сдѣлано, такъ страна уже обведена прочной китайской стѣной, подъ прикрытіемъ которой роскошное растеніе теократіи можетъ процвѣтать втеченіи цѣлыхъ тысячелѣтій.

Междуусобныя войны не могутъ помѣшать развитію теократіи; всѣ приготовленія къ междуусобной войнѣ должны происходить передъ глазами самихъ жрецовъ; слѣдовательно, если жрецы не одобряютъ этой войны, то они имѣютъ полную возможность задавить ее въ самомъ зародышѣ, дѣйствуя на отдѣльныя группы соотечественниковъ то просьбами, то совѣтами, то угрозами, то различными хитростями. Принимая на себя благообразную роль примирителей, устраняя поводы къ несогласіямъ и разбирая возникающія ссоры между отдѣльными личностями или даже между цѣлыми деревнями, жрецы значительно усиливаютъ и упрочиваютъ свое вліяніе на массу. Огромное преимущество жрецовъ передъ всѣми остальными жителями страны состоитъ въ томъ, что они имѣютъ очень много свободнаго времени; ихъ обязанность, по мнѣнію ихъ добродушныхъ соотечественниковъ, состоитъ въ томъ, чтобы постоянно бесѣдовать съ высшими существами, выслушивать и запоминать ихъ волю, угождать всѣмъ ихъ желаніямъ, и вообще всѣми возможными средствами поддерживать полную гармонію между населеніемъ страны и безсмертными его покровителями. Мыслители прошлаго столѣтія относились, какъ извѣстно, очень непочтительно къ этимъ своеобразнымъ занятіямъ жрецовъ; люди XVIII вѣка говорили со свойственной имъ рѣзкостью, что жрецы просто морочили людей, разсказывая имъ, ради денегъ и ради

Digitized by Google

власти, такія сказки, которымъ сами нисколько не вѣрили. Это мнѣніе, соблазнительное по своей простотѣ, оказывается при ближайшемъ разсмотрѣніи очень шаткимъ и поверхностнымъ. Спрашивается: почему и какимъ образомъ жрецы могли знать, что тѣ исторіи, которыя они разсказываютъ людямъ,—чистыя небылицы, и что тѣ магическія церемоніи, которыя они совершаютъ, не имѣютъ ни малѣйшаго вліянія на естественный ходъ событій? Что жрецы выдавали людямъ свои гипотезы за несомнѣнныя истины—это очевидно; но если мы заподозримъ жрецовъ въ томъ, что они, публикуя свои гипотезы, были сами твердо убѣждены въ ихъ совершенной ложности, то мы точно также должны будемъ приписать такую-же сознательную недобросовѣстность тѣмъ безчисленнымъ современнымъ ученымъ, которыхъ теоріи оказываются несостоятельными передъ судомъ болѣе проницательныхъ или болѣе осторожныхъ изслѣдователей.

Знать достовѣрно ложность какой-нибудь теоріи можетъ только тотъ человѣкъ, который знаетъ истинное объясненіе или по крайней мѣрѣ знаетъ нѣсколько фактовъ, совершенно несовмѣстныхъ съ данной теоріей. Но развѣ-же жрецы могли обладать такими обширными знаніями, которыя могли-бы доказать имъ несостоятельность теософическаго міросозерцанія? Еслибы они, полудикіе люди, возвысились вдругъ до положительнаго пониманія природы, то въ этомъ исполинскомъ прыжкѣ человѣческаго ума на самую вершину историческаго развитія конечно надо было-бы видѣть еще болѣе необъяснимое чудо, чѣмъ всѣ тѣ чудеса, о которыхъ жрецы простодушно разсказывали простодушнымъ поклонникамъ. Далѣе, если мы даже допустимъ существованіе этого невозможнѣйшаго изъ всѣхъ невозможныхъ чудесъ, то передъ нами возникнетъ еще одна непобѣдимая психологическая трудность: если жрецы знали истинное объясненіе всей космической загадки, то какая надобность имъ была выдумывать ложное объясненіе и тщательно прятать истинное? Имъ хотѣлось богатства и власти? Прекрасно. Но истинное объясненіе доставило-бы имъ въ изобиліи и то, и другое. Куда-бы они ни повели народъ, въ фантастическую-ли область миѳологіи, или въ свѣтлый міръ реальнаго знанія, во всякомъ случаѣ *они*, а не другіе люди, оказались-бы вождями народа и воспользовались-бы безпрепятственно всѣми выгодами и преимуществами, которыя достаются вездѣ и всегда на долю вождей. Когда извѣстное направленіе уже принято, когда въ жреческомъ сословіи уже составились свои опредѣленныя традиціи, когда народъ уже сжился съ миѳологическими сказками и съ магическими обрядами, тогда конечно жрецамъ гораздо легче и выгоднѣе поддерживать мелкими плутнями авторитетъ установившихся понятій и привычекъ, чѣмъ прокладывать серьезнымъ умственнымъ трудомъ новыя дороги. Но вѣдь было-же время, когда *всѣ* дороги были новыми. Въ это время жрецы шли по той единственной дорогѣ, которая была для нихъ возможна, и шли съ самымъ искреннимъ убѣжденіемъ, что эта дорога дѣйствительно ведетъ къ истинѣ, къ добру и къ началу всѣхъ началъ. Эти первобытныя времена недоступны изслѣдованіямъ историка. Вездѣ, гдѣ историкъ видитъ теократію, онъ застаетъ ее уже въ томъ періодѣ ея существованія, въ которомъ она, являясь вреднымъ тормазомъ умственнаго и общественнаго движенія, охраняетъ съ старческимъ упорствомъ огромные запасы миѳическихъ преданій, магическихъ церемоній, безполезныхъ обычаевъ и уродливыхъ учрежденій. Но само собою разумѣется, что теократія не могла отличаться этими свойствами съ самаго начала своего существованія. Ей непремѣнно надо-же было сначала *собирать* тѣ сокровища, которыя она впослѣдствіи стала *охранять*. Ей непремѣнно надо-же было сначала *пріобрѣсти* чѣмъ-нибудь то слѣпое довѣріе массъ, на которое она впослѣдствіи стала опираться. Нѣтъ и не можетъ быть такой дряхлой старухи, которая въ свое время не была-бы молодой дѣвушкой. Теократія также имѣла свой періодъ молодости, дѣятельной силы и поэтической искренности. Теократія въ свое время была прогрессивнымъ и благодѣтельнымъ элементомъ. Это мнѣніе историкъ можетъ высказать даже a priori, потому что еслибы этого не было, то теократія никакимъ образомъ не могла-бы привиться къ народной жизни и пустить въ нее глубокіе корни. Дарвиновскій законъ естественнаго выбора прилагается къ жизни идей и учрежденій такъ точно, какъ и къ жизни органическихъ существъ. Сохраняется только то, что само по себѣ крѣпко и приспособлено къ обстоятельствамъ времени и мѣста.

Не трудно объяснить, въ чемъ именно заключалось благотворное вліяніе возникающей теократіи. Это вліяніе вытекало именно изъ того условія, которое составляло, какъ я замѣтилъ выше, огромное преимущество жрецовъ надъ массой. Обезпечивая матеріальное благосостояніе нѣкоторыхъ избранныхъ личностей, избавляя этихъ даровитыхъ родоначальниковъ будущей жреческой касты отъ физическаго труда и отъ всякихъ мелкихъ житейскихъ заботъ, народъ требовалъ отъ своихъ избранниковъ, чтобы они безраздѣльно предавались изученію теософическихъ тайнъ, которыя въ то время какъ массѣ, такъ и ея избранникамъ казались единственнымъ ключомъ къ разрѣшенію всевозможныхъ космическихъ, нравственныхъ, юридическихъ, технологическихъ и соціальныхъ вопросовъ. Спрашивается: чѣмъ должны были наполнить свои безконечные досуги тѣ даровитые

Digitized by Google

люди, которые самымъ добросовѣстнымъ образомъ желали оправдать довѣріе соотечественниковъ? Какимъ образомъ могли они приняться за изученіе тѣхъ таинственныхъ особъ, съ которыми имъ велѣно было вступить въ постоянныя сношенія? Старыхъ книгъ у нихъ не было; торной дороги для нихъ не существовало; значитъ, надо было пробивать эту дорогу силами собственнаго ума и воображенія; средство для этого имѣлось только одно: принимая всю природу за раскрытую книгу, надо было вглядываться, вслушиваться, вдумываться, вживаться во всѣ окружающія явленія. Соприкосновеніе неиспорченнаго человѣческаго ума съ живой природой никогда не можетъ оставаться совершенно безплоднымъ. Вмѣстѣ съ громаднымъ количествомъ галлюцинацій, ошибочныхъ гипотезъ и безобразныхъ миѳовъ основатели древнихъ теократій вынесли изъ своей тихой созерцательной жизни нѣсколько замѣчательныхъ наблюденій, которыхъ не могли-бы собрать и удержать въ памяти ни воины, постоянно погруженные въ тревоги боевой жизни, ни чернорабочіе, задавленные грубымъ мускульнымъ трудомъ. Всѣмъ извѣстно, что древнѣйшія въ мірѣ астрономическія наблюденія принадлежатъ жрецамъ Индіи, Египта и Ассиріи. Всѣмъ извѣстно также, что медицина, ариѳметика, геометрія и пластическія искусства родились въ тѣхъ-же жреческихъ коллегіяхъ. Ни въ какомъ другомъ мѣстѣ они и не могли родиться. Для ихъ рожденія необходимо было существованіе особаго класса людей, освобожденныхъ отъ всякихъ практическихъ заботъ и приковавныхъ личными выгодами къ наблюденію, созерцанію и размышленію. Такъ какъ полудикимъ политеистамъ никакъ не могла придти въ голову блистательная мысль устроить академію наукъ или какое-нибудь общество любителей естествознанія, то само собой разумѣется, что первая корпорація изслѣдователей и мыслителей могла появиться на свѣтъ только въ видѣ жреческаго сословія.

Но, родившись въ жреческихъ коллегіяхъ, науки и искусства не могли въ нихъ развиваться. Основатели теократіи были пытливыми изслѣдователями и смѣлыми мыслителями; отдаленные потомки ихъ сдѣлались безсильными и тупыми буквоѣдами; превращеніе это было неизбѣжно. Первые жрецы сами прокладывали дорогу и сами завоевывали себѣ вліяніе на массу. При этомъ они имѣли дѣло съ живой природой. Приготовляя себѣ преемниковъ, они конечно передавали имъ безъ разбору всѣ свои наблюденія, всѣ свои галлюцинаціи и всѣ свои рискованныя гипотезы. Преемники все это старались запомнить и потомъ, принимаясь за свою многостороннюю жреческую дѣятельность, усиливались согласить объясненія предковъ съ своими собственными наблюденіями. Такимъ образомъ составлялись новыя гипотезы, которыя опять передавались преемникамъ и опять подвергались съ ихъ стороны различнымъ повѣркамъ и комментированіямъ. Общественное могущество жрецовъ росло конечно вмѣстѣ съ запасомъ ихъ наблюденій и изобрѣтеній. Всякое крошечное открытіе, сдѣланное жрецами, принималось народомъ за внушеніе свыше и за чудесное проявленіе божественной благосклонности. Такъ какъ подобныя открытія дѣлались только жрецами, свободными отъ житейскихъ заботъ, то, разумѣется, въ народѣ скоро должно было составиться понятіе о высшемъ сверхчеловѣческомъ значеніи жреческаго сословія. Постоянно увеличиваясь, могущество жрецовъ должно было наконецъ дойти до того maximum'а, дальше котораго идти невозможно. Остановившись на этой вершинѣ, жреческое сословіе начинаетъ быстро деморализироваться. Оно заботится не о новыхъ открытіяхъ и усовершенствованіяхъ, а только о томъ, чтобы сохранить за собою свое *относительное* превосходство надъ массой. Это превосходство основано преимущественно на томъ, что масса очень невѣжественна. Значитъ, для сохраненія желаннаго превосходства надо поддерживать это спасительное невѣжество. Достигши вершины своего могущества, жрецы имѣютъ уже за собою цѣлый громадный кодексъ теософическихъ гипотезъ и преданій, сложившихся при ихъ предшественникахъ. Такъ какъ эти гипотезы и преданія составляютъ тотъ путь, по которому жреческая каста пришла къ своему величайшему могуществу, то жрецы конечно должны питать къ нимъ почтительную нѣжность и должны особенно сильно стараться о томъ, чтобы въ народѣ эта почтительная нѣжность доходила до совершенно слѣпого и страстнаго обожанія. Такимъ образомъ между человѣческимъ умомъ и живой природой воздвигаются мертвыя книги, написанныя даровитыми невѣждами и годныя только на то, чтобы служить образчикомъ міросозерцанія, господствовавшаго въ далекой древности. Для того, чтобы человѣческій умъ не вырвался какъ нибудь изъ узкаго круга старыхъ преданій, жрецы ставятъ каждому изъ своихъ соотечественниковъ въ непремѣнную обязанность жить такъ, какъ жили его предки, заниматься тѣмъ же ремесломъ, употреблять тѣ-же орудія, носить такое-же платье, питаться такой-же пищей, и такъ далѣе. Затѣмъ умственное движеніе совершенно замираетъ; народъ повертывается спиной къ будущему и видитъ свой идеалъ въ прошедшемъ. Такое положеніе вещей можетъ продолжаться безконечно долго, и только постоянныя столкновенія съ высшими формами цивилизаціи могутъ со временемъ вывести изъ болѣзненнаго усыпленія несчастный народъ, задавленный свинцовой тяжестью бездушной и безтолковой теократіи.

Digitized by Google

IX.

Война спасаетъ древній міръ отъ теократической спячки. Война разрушаетъ принципъ наслѣдственности, потому что, когда дѣло идетъ о спасеніи отечества отъ внѣшнихъ враговъ, тогда всѣ здоровые люди берутся за оружіе, и тогда уже неудобно разбирать, чей отецъ былъ воиномъ, чей—купцомъ и чей — свинопасомъ. Въ сраженіяхъ обнаруживаются личныя качества бойцовъ — сила, ловкость, храбрость, хладнокровіе, смѣтливость, распорядительность,—и самыя очевидныя выгоды цѣлаго народа требуютъ того, чтобы каждому бойцу давалось мѣсто, соотвѣтствующее его личнымъ достоинствамъ, а не общественному положенію его родителей. Поэтому у народа, ведущаго частыя войны, касты непремѣнно перемѣшиваются и понемногу сглаживаются. Но война можетъ дѣйствовать на развитіе народа совершенно различнымъ образомъ, смотря по тому, какое она приметъ направленіе: безцѣльно-безалаберное или систематически-завоевательное. Въ первомъ случаѣ развертываются преимущественно умственныя способности даннаго народа; во второмъ случаѣ—его общественныя учрежденія. Греція и Римъ воплотили въ своей исторіи эти двѣ различныя стороны военнаго политеизма.

Территорія Греціи изрѣзана по всѣмъ направленіямъ горными хребтами и глубокими заливами; участки удобной земли разбросаны по всей странѣ и отдѣлены другъ отъ друга естественными перегородками; на каждомъ изъ такихъ участковъ возникло и развилось населеніе, имѣвшее мало постоянныхъ сношеній съ сосѣдями и вслѣдствіе этого успѣвшее выработать себѣ свои собственныя учрежденія, свою опредѣленную физіономію и очень энергическое чувство своей политической полноправности и самостоятельности. Всѣ эти поселенія были связаны между собою единствомъ языка, теософической доктрины и національнаго характера; свободные жители всѣхъ этихъ поселеній гордились именемъ эллиновъ и противополагали себя, какъ членовъ одного великаго народа, всѣмъ остальнымъ людямъ, которыхъ они называли варварами и считали созданными для вѣчнаго рабства. Но, сознавая свое національное единство въ области мысли, греки никакъ не могли и не умѣли осуществить это единство въ политической жизни. Ни одно изъ мелкихъ греческихъ поселеній не хотѣло пожертвовать въ пользу этого единства ни одной частицы своей отдѣльной автономіи и ни одной мельчайшей подробности своей внутренней организаціи. Каждый городокъ готовъ былъ защищать свою независимость до послѣдней капли крови, какъ противъ азіятскихъ варваровъ, такъ и противъ своихъ ближайшихъ греческихъ сосѣдей; каждому городку хотѣлось господствовать надъ другими городками, и ни одному изъ нихъ не хотѣлось покоряться другимъ. Если мы при этомъ возьмемъ въ соображеніе, что всѣ жители этихъ отдѣльныхъ городковъ были одинаково храбры, одинаково воинственны, одинаково корыстолюбивы, одинаково тщеславны, одинаково сильны, ловки и развиты въ физическомъ отношеніи, одинаково вооружены и одинаково искусны во всѣхъ воинскихъ эволюціяхъ, то мы конечно поймемъ, что, во-первыхъ, постоянныя войны между этими людьми были совершенно неизбѣжны, и что, во-вторыхъ, эти безконечныя войны не могли привести ни къ какому прочному политическому результату, то есть, не могли окончиться соединеніемъ всей Греціи въ одно стройное и могущественное государство, способное завоевать весь остальной образованный міръ. — «Такъ напримѣръ,—говоритъ Контъ,—аѳинское племя во время самаго блистательнаго своего преобладанія въ Архипелагѣ, въ Азіи, во Фракіи и т. д. было принуждено довольствоваться центральной территоріей, едва-ли равнявшейся французскому департаменту средней величины и окруженной со всѣхъ сторонъ многочисленными соперниками, которыхъ дѣйствительное покореніе въ то время справедливо считалось неисполнимымъ. Аѳины могли съ большей надеждой на успѣхъ предпринять завоеваніе напримѣръ Египта или Малой Азіи, чѣмъ завоеваніе не только Спарты, но даже Ѳивъ или Коринѳа, или даже можетъ-быть маленькой сосѣдней республики Мегары.»

При такихъ условіяхъ война не могла быть для грековъ серьезнымъ государственнымъ дѣломъ; война была для нихъ дѣломъ страсти; въ войнѣ ихъ съ персами можно видѣть взрывъ національной ненависти противъ дерзкихъ азіятскихъ варваровъ, осмѣлившихся ворваться въ прекрасную Элладу; въ ихъ междуусобныхъ войнахъ можно видѣть постоянное проявленіе ихъ узкихъ своекорыстныхъ страстей. Въ первомъ случаѣ война была подвигомъ патріотическаго энтузіазма и даже отчасти дѣломъ необходимой обороны; во второмъ случаѣ война была просто организованнымъ грабежемъ, который не оправдывался и не облагораживался никакой высшей идеей. Войны второй категоріи случались гораздо чаще первыхъ войнъ; этими безплодными, но очень упорными драками между единокровными сосѣдями или даже между гражданами одного города переполнена вся исторія древней Греціи; эти драки вытекали изъ топографическихъ условій: сосѣдъ былъ тутъ-же, подъ рукой, за ближайшимъ холмомъ или ручьемъ; а чтобы колотить перса, надо было снаряжать цѣлый флотъ и отправляться въ другую часть свѣта. Но если драки съ сосѣдями были дѣломъ сподручнымъ, то во всякомъ случаѣ не надо было обладать особенной геніаль-

Digitized by Google

ностью, чтобы оцѣнить по достоинству все безобразіе и всю пошлость этихъ ежедневныхъ потасовокъ. Греки отъ природы были очень не глупы; поэтому умнѣйшіе изъ грековъ никакъ не могли предаваться всѣмъ сердцемъ и всѣмъ помышленіемъ тѣмъ мелкимъ разбойническимъ продѣлкамъ, которыя находили себѣ постоянную пищу въ неугомонныхъ страстяхъ раздражительной массы и узколобыхъ аристократовъ. Даже эта масса и эти аристократы, постоянно возбуждавшіе своей пылкостью или заносчивостью разныя волненія и междуусобныя войны, смотрѣли на эти кровавыя событія, какъ на страданія и посрамленіе великаго греческаго народа. Лучшіе умы древней Греціи относились къ этимъ событіямъ совершенно отрицательно; но въ то-же время, зная политическую жизнь своей страны и характеръ своихъ соотечественниковъ, они не видѣли никакой возможности искоренить это зло практической дѣятельностью. Не видя въ государственныхъ занятіяхъ своего времени никакой великой цѣли и никакой руководящей идеи, сильные умы должны были отвернуться отъ политической практики и наполнить свою жизнь или общими теоретическими размышленіями о мірѣ, о человѣкѣ и объ обществѣ, или созерцаніемъ и воспроизведеніемъ всѣхъ прекрасныхъ явленій физической природы и человѣческаго характера. Политическая безтолковщина древней Греціи насильно толкала лучшихъ и даровитѣйшихъ ея гражданъ въ умозрительную философію и въ чистое искусство. Для позитивиста абсолютное зло и абсолютное добро не существуютъ. Позитивистъ понимаетъ, что чистое искусство и умозрительная философія, очень вредныя и предосудительныя въ XIX столѣтіи, могли быть, и даже дѣйствительно были, не только полезны, но даже необходимы для историческаго развитія человѣческаго ума и человѣческой общественности, — такъ же точно, какъ были полезны, неизбѣжны и необходимы война и рабство, которыя точно также сдѣлались теперь очень вредными и предосудительными явленіями. Въ древнихъ теократическихъ обществахъ наука и искусство были орудіями; современные реалисты стараются также превратить ихъ въ орудія. Теократы пользовались искусствомъ и наукой, какъ средствами основать и упрочить свое господство надъ массой. Выше и привлекательнѣе этой цѣли они не могли себѣ ничего представить. Когда каждый человѣкъ видѣлъ въ чужомъ или незнакомомъ человѣкѣ своего естественнаго врага, тогда конечно никто не могъ работать для общаго блага. Кромѣ того, когда всѣ отрасли науки и промышленности лежали въ колыбели, тогда самый человѣколюбивый дѣятель въ мірѣ былъ не въ состояніи вообразить себѣ, что мышленіе и творчество могутъ обнаружить чувствительное вліяніе на матеріальный бытъ и на характеръ всей нашей породы. Стало быть, наука и искусство сначала непремѣнно должны были оказаться мелкими орудіями мелкихъ и дрянныхъ страстей. Прямо изъ рукъ этихъ мелкихъ и дрянныхъ страстей наука и искусство никакъ не могли перейдти въ руки той великой страсти, которая воодушевляетъ современныхъ реалистовъ.

Откуда-же взялось-бы вдругъ, во-первыхъ, широкое и горячее человѣколюбіе и, во-вторыхъ, понятіе о преобразовательной силѣ науки, техники и поэзіи?—Чтобы пріобрѣсти себѣ великую способность наслаждаться любовью къ людямъ и общеполезной дѣятельностью, человѣку необходимо было очень долго воспитывать себя въ такой школѣ, которая постепенно утончала и облагораживала-бы его наслажденія. Личное наслажденіе и общеполезная дѣятельность (которую тупые моралисты называютъ на своемъ безсмысленномъ жаргонѣ *долгомъ*) дѣйствительно сливаются въ высшемъ единствѣ, но на эту точку соединенія не можетъ сразу прыгнуть звѣрообразный политеистъ, умѣющій наслаждаться только кровопролитной дракой, дикимъ пьянствомъ, животнымъ сладострастіемъ, безпечной праздностью и самыми грубыми формами господства надъ другими людьми. Для такого человѣка могло считаться прогрессомъ даже умѣнье цѣнить красоту формъ и красокъ въ женщинѣ, въ лошади, въ оружіи, въ костюмѣ, въ домашней утвари и такъ далѣе. Еще болѣе значительный прогрессъ можно видѣть въ умѣньи наслаждаться словами и содержаніемъ пѣсни, легенды или сказки У героевъ троянской войны эти умѣнья были уже развиты въ высокой степени. Только къ этимъ умѣньямъ и могли прислониться, для своего дальнѣйшаго развитія, зародыши науки и искусства, перенесенные въ Грецію изъ теократическаго Египта. То, что въ Египтѣ было политическимъ орудіемъ, должно было на первыхъ порахъ сдѣлаться въ Греціи пріятной забавой. Скульптура, которая въ Египтѣ поражала массу мрачной таинственностью своихъ произведеній—символическихъ фигуръ, получеловѣческихъ, полузвѣриныхъ,—превратилась въ Греціи въ свѣтлое, радостное и общепонятное прославленіе человѣческой красоты. Научныя наблюденія, хранившіяся египетскими жрецами въ глубокой тайнѣ и служившія имъ оружіемъ для подавленія невѣжественныхъ массъ, въ школахъ греческихъ философовъ сдѣлались доступными для каждаго желающаго. Ни греческое искусство, ни греческая философія не имѣли никогда серьезной и ясно-обозначенной общественной тенденціи. Величественные портики, красивыя статуи, стройныя философскія системы были нужны греку только для того, чтобы наполнять и разнообразить жизнь пріятными ощущеніями. Въ наше

Digitized by Google

время, когда наука и литература сдѣлались великими общественными силами, такое отношеніе къ знанію и къ творчеству было-бы совершенно непозволительно. Но во времена Писистрата или Перикла единственнымъ двигателемъ человѣческаго ума на пути сознательнаго изслѣдованія было именно то удовольствіе, которое умнѣйшіе изъ тогдашнихъ людей находили въ процессѣ собственнаго мышленія. Освобожденіе науки и искусства отъ узкихъ и корыстныхъ теократическихъ соображеній составляетъ такой необходимый и такой громадный успѣхъ, безъ котораго не были-бы возможны никакія дальнѣйшія усовершенствованія. Благодаря этому освобожденію, греческій мыслитель могъ искать истину для самой истины, не обращая никакого вниманія на то, противорѣчитъ ли она или нѣтъ старымъ преданіямъ или существующему общественному устройству. Это чистое и безкорыстное стремленіе къ истинѣ, невозможное въ древнихъ теократіяхъ, сдѣлалось доступнымъ для греческихъ мыслителей только потому, что они были простыми гражданами, частными людьми, не связанными единствомъ интересовъ ни съ жрецами, ни съ администраторами. А существованіе этого класса совершенно свободныхъ мыслителей, занимающихся мышленіемъ изъ любви къ истинѣ, обусловливается, какъ мы видѣли выше, во-первыхъ тѣмъ, что война разбила теократическія формы въ самомъ зародышѣ, и во-вторыхъ тѣмъ, что политическая безалаберщина оттолкнула лучшихъ людей Греціи отъ государственныхъ занятій.

Свободные мыслители древней Греціи оказали людямъ двѣ громадныя услуги: во-первыхъ, они довели геометрію до высокой степени совершенства и заложили своими математическими открытіями тотъ прочный и необходимый фундаментъ, на которомъ стоятъ вся наука и вся положительная философія нашего времени; во-вторыхъ, они своими метафизическими системами совершенно расшатали доктрину политеизма и сдѣлали первую смѣлую попытку выйдти на новую дорогу изъ-подъ тяжелой теософической опеки. Попытка оказалась неудачной, по недостатку фактическихъ знаній; но смѣлость греческихъ мыслителей не пропала даромъ и вызвала, много столѣтій спустя, такихъ подражателей, у которыхъ, кромѣ живого стремленія къ истинѣ, кромѣ умственной неустрашимости, есть еще громаднѣйшій арсеналъ сдѣланныхъ открытій, собранныхъ опытовъ и неопровержимыхъ обобщеній. Что было у греческихъ мыслителей смутнымъ угадываніемъ, то сдѣлалось для новѣйшихъ подражателей ихъ яснымъ, отчетливымъ и спокойнымъ пониманіемъ. Попытка, неудавшаяся грекамъ, совершенно удалась современнымъ европейцамъ.

X.

Въ римскомъ политеизмѣ религія совершенно подчинена политикѣ, которая имѣетъ строго-завоевательное направленіе, обусловленное характеромъ и географическимъ положеніемъ римскаго народа. Римъ обязанъ своими обширными завоеваніями не столько храбрости легіоновъ, сколько хладнокровной разсчетливости сената и народа. Храбростью отличались всѣ древніе обитатели Европы; и самнитяне, и греки, и македоняне, и галлы, и иберійцы—всѣ они были чрезвычайно воинственны и неудержимо храбры, а между тѣмъ только однимъ римлянамъ досталось господство надъ древнимъ міромъ. Завоевателей въ древности было очень много, но результаты ихъ подвиговъ исчезали обыкновенно вмѣстѣ съ ихъ личностями и не могли образовать никакой прочной связи между покоренными народами. Всѣ великія монархіи передней Азіи—вавилонская, ассирійская, персидская—были только конгломератами народовъ, платящихъ дань общему побѣдителю, но нисколько не связанныхъ между собой единствомъ законовъ, обычаевъ, вѣрованій, образованія, промышленной жизни и административныхъ учрежденій. Александръ Македонскій первый задумалъ произвести дѣйствительное сліяніе между побѣжденными національностями, и его завоеванія, несмотря на крайнюю непродолжительность его собственной жизни и несмотря на бездарность его преемниковъ, распространили греческую цивилизацію въ передней Азіи и въ сѣверовосточной Африкѣ. Но прочное покореніе и глубокое объединеніе рѣзко обозначенныхъ народностей древняго міра составляли такую колоссальную задачу, которая далеко превышала силы отдѣльной личности и которую могъ рѣшить втеченіи нѣсколькихъ столѣтій только цѣлый народъ, одаренный всѣми важнѣйшими качествами воина и администратора. Такимъ народомъ оказались римляне.

Римляне не были ни фанатиками, ни мыслителями, ни художниками, ни героями; они были преимущественно ростовщиками и кляузниками. Добродѣтельный Катонъ называетъ божественнымъ того человѣка, который втеченіи своей жизни пріобрѣтаетъ больше богатствъ, чѣмъ сколько оставили ему его предки. Пламенный патріотъ Брутъ, зарѣзавшій Цезаря, бралъ или, точнѣе, дралъ съ своихъ должниковъ по *сорока восьми* процентовъ. «Лихоимство,—говоритъ Тацитъ,—было у насъ стариннымъ порокомъ и самой обыкновенной причиной нашихъ раздоровъ и нашихъ возмущеній. Законы противъ лихоимства нарушались самими сенаторами, изъ которыхъ ни одинъ не былъ чистъ отъ подобныхъ злоупотребленій.» Трудно себѣ представить, чтобы римляне могли когда-нибудь

Digitized by Google

серьезно составлять законы противъ лихоимства. Законы XII таблицъ предоставляютъ, напротивъ того, кредитору такую безграничную власть надъ должникомъ, которая многимъ новымъ историкамъ показалась даже неправдоподобной и которая конечно могла дѣйствовать на ростовщиковъ только самымъ поощряющимъ образомъ. Вотъ текстъ закона, какъ переводитъ его Мишле: «Пусть его (должника) зовутъ въ судъ. Если онъ не пойдетъ, возьми свидѣтелей, заставь его. Если онъ будетъ медлить и попробуетъ бѣжать, захвати его. Если старость или болѣзнь мѣшаютъ ему явиться, дай ему лошадь, но носилокъ не нужно. За богача—пусть ручается богачъ; за пролетарія—кто захочетъ. Когда долгъ признанъ и дѣло обсуждено,—тридцать дней отсрочки. Потомъ пусть его схватятъ и ведутъ къ судьѣ. Закатъ солнца закрываетъ судъ. Если онъ не удовлетворяетъ требованіямъ суда, если никто за него не ручается, кредиторъ уведетъ его къ себѣ и привяжетъ его ремнями или цѣпями, вѣсомъ въ пятнадцать фунтовъ,—меньше пятнадцати фунтовъ, если того хочетъ кредиторъ. Пусть узникъ кормится своей пищей. Или-же дайте ему фунтъ муки или больше, смотря по вашему желанію. Если онъ не заплатитъ, держите его въ оковахъ шестьдесятъ дней; между тѣмъ приводите его въ судъ три раза въ базарные дни и объявляйте публикѣ, на какую сумму простирается долгъ. На третій базарный день, если окажется нѣсколько кредиторовъ, пусть они разрѣжутъ тѣло должника. Если они отрѣжутъ больше или меньше, пусть они за то не подвергаются отвѣтственности. Если они хотятъ, они могутъ продать его въ чужія земли, за Тибръ.»—Текстъ закона самъ по себѣ такъ выразителенъ, что онъ лучше всякихъ пространныхъ разсужденій обрисовываетъ народный характеръ римлянъ, неустрашимо доводившихъ свое уваженіе къ священнымъ правамъ капитала до хладнокровнаго и методическаго разрѣзыванія несостоятельнаго человѣческаго тѣла, которое въ эту тяжелую минуту могло успокоивать себя тѣмъ разсужденіемъ, что его рѣжутъ на самомъ законномъ основаніи и съ соблюденіемъ всѣхъ предписанныхъ формальностей. У римлянъ былъ еще другой законъ, изъ котораго усматривается, что римляне умѣли превращать въ наличныя деньги даже своихъ родныхъ и законныхъ дѣтей. Этотъ законъ говоритъ, что отецъ имѣетъ право продать сына въ рабство *только три раза*. Это значитъ, что сынъ, проданный своимъ отцомъ и отпущенный на волю покупщикомъ, возвращается подъ власть отца, который имѣетъ полное право продать его *вторично*; если второй покупщикъ также отпуститъ его на волю, то отецъ опять овладѣваетъ имъ и можетъ продать его *въ третій разъ*. Послѣ *третьей* продажи отецъ уже теряетъ надъ сыномъ всякую власть.—Существованіе такого закона доказываетъ очевидно, что многіе отцы дѣйствительно торговали своими дѣтьми, и что общественное мнѣніе относилось къ подобной торговлѣ очень снисходительно. Ясное дѣло, что законодателю никогда не приходитъ въ голову фантазія ограничивать извѣстными постановленіями такіе поступки, къ которымъ данное общество не обнаруживаетъ ни малѣйшей наклонности.

Кляузничество римлянъ наложило свою печать на всѣ явленія ихъ частной, общественной и государственной жизни. Постоянно стараясь поживиться чужимъ достояніемъ, нарушая на каждомъ шагу чужія права, римляне въ то-же время обнаруживали самое глубокое уваженіе къ формальной сторонѣ всякихъ договоровъ, условій, законовъ, обычаевъ, традицій и церемоній. Объявляя какому-нибудь народу войну, римляне всегда устраивали такъ, что эта война, чисто завоевательная съ ихъ стороны, принимала видъ вынужденной обороны. Римляне всегда прикидывались обиженными и надѣялись этимъ маневромъ обезпечить за собою содѣйствіе высшихъ силъ. При объявленіи войны соблюдались всегда извѣстныя формальности.

До какихъ ребяческихъ уловокъ доводило римлянъ ихъ стремленіе сражаться постоянно за правое дѣло—это всего лучше видно изъ ихъ поступка съ самнитянами. Самницкій генералъ, Кай Понцій, окружилъ римскую армію въ узкомъ горномъ проходѣ и, вмѣсто того, чтобы уничтожить ее, заключилъ съ консуломъ Постуміемъ миръ, выгодный для самнитянъ. Сенатъ отказался утвердить этотъ договоръ, отговариваясь тѣмъ, что этотъ договоръ, заключенный безъ вѣдома народа и безъ участія жрецовъ-феціаловъ, не имѣетъ никакой обязательной силы. Это мнѣніе было высказано самимъ Постуміемъ, который требовалъ только, чтобы для соблюденія закона феціалы выдали самнитянамъ, съ должными церемоніями, его, Постумія, и всѣхъ другихъ предводителей, подписавшихъ неутвержденный договоръ. Желаніе Постумія было исполнено. Феціалы отвезли ихъ въ непріятельскій лагерь, раздѣли ихъ до-гола и связали ихъ по рукамъ и по ногамъ, причемъ Постумій приказалъ затянуть ремень потуже для того, чтобы вся церемонія была исполнена съ безукоризненной добросовѣстностью. «Такъ какъ эти люди,—заговорилъ феціалъ, введя плѣнниковъ въ собраніе самнитянъ,—безъ воли римскаго народа обѣщали заключить мирный договоръ (заключенный договоръ превратился въ обѣщаніе) такъ какъ въ этомъ случаѣ они впали въ оплошность, то, чтобы снять съ римскаго народа отвѣтственность за нечестивое преступленіе, я выдаю вамъ этихъ людей.» У Постумія былъ приготовленъ для самнитянъ новый сюрпризъ; въ то время, когда феціалъ договаривалъ свою рѣчь,

Digitized by Google

связанный консулъ ухитрился толкнуть его ногой и крикнулъ тотчасъ, что онъ, человѣкъ, выданный самнитянамъ, нанесъ оскорбленіе римскому жрецу, и что вслѣдствіе этого римляне имѣютъ законное основаніе вести съ самнитянами войну. Въ поведеніи Постумія обнаруживаются очень ярко, какъ мужество, такъ и пронырство римлянъ. Постумій смѣло и весело идетъ на встрѣчу мучительной смерти и въ то-же время тщательно наблюдаетъ за точнымъ исполненіемъ мельчайшихъ формальностей, выгораживающихъ римскій народъ отъ всякой нравственной отвѣтственности передъ богами и передъ людьми. Правда, что самнитяне тотчасъ освободили выданныхъ имъ полководцевъ; но на такое великодушіе никакъ нельзя было разсчитывать, и Постумій съ своей стороны принялъ, какъ мы видѣли, всѣ мѣры, чтобы вывести изъ терпѣнія тѣхъ людей, отъ которыхъ зависѣла его участь.

Передъ началомъ каждой войны римскій феціалъ отправлялся на границу враждебнаго народа и, произнося объявленіе разрыва, бросалъ копье на непріятельскую землю. Это было очень удобно, пока римляне воевали исключительно съ итальянцами. Но не за долго до начала пуническихъ войнъ римлянамъ пришлось сразиться съ Пирромъ, царемъ эпирскимъ, ворвавшимся въ Италію. Посылать феціала въ Грецію было неудобно, а между тѣмъ отказаться отъ исполненія старой церемоніи было слишкомъ страшно. Римляне вывернулись изъ этого затрудненія посредствомъ юридической фикціи. Они заставили одного эпирскаго перебѣжчика купить въ окрестностяхъ Рима поле, которое и должно было изображать сначала Эпиръ, а потомъ и всѣ остальныя непріятельскія земли. Передъ каждой войной феціалъ, произнося приличную рѣчь, бросалъ въ это поле копье, и затѣмъ всѣ формальности, относящіяся къ объявленію войны, считались исполненными. Кляузничая такимъ образомъ съ людьми, римляне старались даже такими-же уловками перехитрить боговъ и судьбу. Однажды сенатъ отыскалъ въ сивиллиныхъ книгахъ предсказаніе, что галлы два раза должны овладѣть городомъ. Чтобы предотвратить это бѣдствіе, сенатъ приказалъ зарыть живьемъ двухъ галловъ, мужчину и женщину, въ самой серединѣ Рима. Такъ какъ галлы подъ предводительствомъ Бренна уже одинъ разъ овладѣли Римомъ и такъ какъ зарытые галлы, по мнѣнію сената, также овладѣли римской землей, то предсказаніе оказалось исполненнымъ, и римляне успокоились.

XI.

Типическія особенности римскаго характера—спокойная разсудительность, хладнокровная разсчетливость, мужественная настойчивость и мошенническая изворотливость—выработались или по крайней мѣрѣ развернулись съ полной силой во время двухсотлѣтней внутренней борьбы патриціевъ и плебеевъ. Въ греческихъ республикахъ аристократы и чернь постоянно вели между собой истребительныя войны и при каждомъ удобномъ случаѣ призывали другъ противъ друга военныя силы другихъ народовъ. Въ Римѣ, напротивъ того, такая-же точно борьба окончилась безъ кровопролитія, и не только никогда не отдавала города на жертву иностранцамъ, но даже ни разу не помѣшала враждующимъ сословіямъ вести общими силами упорныя завоевательныя войны. Духъ холоднаго формализма и разсчетливаго кляузничества избавилъ Римъ отъ бѣдствій междуусобной войны, которая навѣрное отняла-бы у римлянъ возможность завоевать впослѣдствіи тогдашній образованный міръ. Патриціи и плебеи, глубоко проникнутые любовью къ сутяжничеству и уваженіемъ къ внѣшнимъ формамъ легальности, старались преимущественно о томъ, чтобы перехитрить и переупрямить другъ друга. Плебеи медленно, разсчетливо и осторожно подвигались впередъ; патриціи упорно отстаивали каждый клочокъ своихъ привилегій, торговались изъ-за каждой мелочи, оттягивали время разными благовидными уловками, развлекали своихъ противниковъ разными хитростями и медленно уступали ихъ легальному натиску. Эта продолжительная борьба оказалась для обѣихъ сторонъ такой превосходной школой политическаго пронырства, послѣ которой римлянамъ сдѣлалось уже очень нетрудно справляться съ другими націями, руководствуясь извѣстнымъ девизомъ: «Divide et impera» («Раздѣляй и господствуй»).

Во всѣхъ своихъ завоевательныхъ предпріятіяхъ римляне дѣйствовали постоянно съ той осмотрительностью и разсчетливостью, которыя составляютъ основныя свойства ихъ національнаго характера. Они никогда не бросались, очертя голову, въ далекія или рискованныя предпріятія; они никогда не вели войнъ изъ-за принциповъ, никогда не увлекались ни любовью къ славѣ, ни ненавистью, ни дружбой, и постоянно имѣли въ виду только осязательныя выгоды—деньги, земли и рабочую силу. Въ ихъ войнахъ нѣтъ ничего похожаго на блистательные подвиги Александра. Политика сената обыкновенно умѣла такъ хорошо изолировать врага и такъ ловко выбирать удобную минуту для начала войны, что успѣхъ нападенія оказывался почти независимымъ отъ личныхъ талантовъ полководца. Самая трудная часть завоевательной карьеры Рима заключается конечно въ ея началѣ, то-есть въ покореніи Италіи. Когда Италія была завоевана, тогда уже можно было сказать заранѣе, что весь древній міръ сдѣлается добычей римлянъ, тѣмъ болѣе, что всѣ земли этого древняго міра уже

Digitized by Google

давно были истощены многими вѣками безпорядочныхъ войнъ и самой скверной администраціи. Завоеваніе Италіи шло туго и медленно; римлянамъ пришлось потратить на это дѣло около четырехъ столѣтій. Непобѣдимое упорство и неизмѣнная послѣдовательность римской политики втеченіи всего этого продолжительнаго и многотруднаго періода объясняются преимущественно тѣмъ обстоятельствомъ, что дѣла республики постоянно находились въ рукахъ цѣлаго привилегированнаго сословія, а не отдѣльныхъ личностей и не народной массы.

Аристократическій образъ правленія можетъ сдѣлаться, и обыкновенно дѣлается, для народа тяжелѣе самаго безумнаго личнаго деспотизма; привилегированное сословіе можетъ устроить такую утонченную, многостороннюю и систематическую эксплоатацію массъ, въ которой вовсе не нуждается единичный деспотъ. Съ этой точки зрѣнія аристократія хуже всякой тиранніи. Эти обыкновенные плоды свои аристократическій образъ правленія принесъ и въ Римѣ. Но если взглянуть на римскую республику съ точки зрѣнія ея завоевательной карьеры, то надо будетъ согласиться, что эта карьера была возможна только при аристократическомъ правительствѣ; еслибы дѣлами Рима завѣдывала масса, то эта масса, не имѣя возможности посвящать все свое время политическимъ размышленіямъ, непремѣнно, въ большей или меньшей степени, стала-бы дѣйствовать по свободному вдохновенію, уступая напору хорошихъ или дурныхъ страстей и увлекаясь доводами краснорѣчивыхъ ораторовъ. Можно сказать навѣрное, что римскій народъ все-таки не обнаружилъ-бы той подвижности и того легкомыслія, которыми прославились напримѣръ аѳиняне; но трудно также предположить, чтобы, находясь въ рукахъ народной массы, римская политика могла сохранять постоянно тотъ характеръ неумолимой разсудочности и безстрастной послѣдовательности, которымъ она отличалась втеченіи многихъ вѣковъ и безъ котораго побѣды римскихъ полководцевъ оказались-бы безплодными.

Еслибы Римъ былъ монархіей, то послѣдовательная политика была-бы еще менѣе возможна, потому что для этого надо было-бы предположить, что на римскомъ престолѣ появляются, одинъ за другимъ, нѣсколько десятковъ царей, одинаково даровитыхъ, разсчетливыхъ, безстрастныхъ и безсовѣстныхъ. Всѣ эти качества, очень рѣдкія въ отдѣльныхъ личностяхъ и никогда не встрѣчающіяся въ цѣлыхъ массахъ, очень обыкновенны въ тѣхъ сословіяхъ, которыхъ члены съ малыхъ лѣтъ воспитываются для общественной дѣятельности и потомъ служатъ государству втеченіи всей своей жизни то въ совѣтѣ, то на полѣ сраженія. Эти сословія до такой степени пріучаются видѣть въ своихъ собственныхъ интересахъ интересы всего отечества, что они систематически разнуздываютъ свои эгоистическіе инстинкты, систематически подавляютъ въ себѣ всѣ добрыя чувства и вмѣняютъ себѣ въ высокую патріотическую заслугу это сознательное искаженіе человѣческаго образа. На что не рѣшился-бы деспотъ, на то рѣшается аристократія, потому что она сама для себя составляетъ то общественное мнѣніе, которое оправдываетъ и одобряетъ ея рѣшимость. Только въ рядахъ аристократіи могутъ составиться крѣпкія политическія традиціи; только аристократія, подвергающаяся медленному обновленію снизу, можетъ соединить старческую осторожность съ юношеской энергіей и во всякую данную минуту дѣйствовать противъ своихъ враговъ то волчьимъ ртомъ, то лисьимъ хвостомъ. Словомъ, всѣ дурныя стороны аристократическаго правительства пришлись какъ нельзя болѣе кстати, когда Римъ вступилъ на поприще завоевательныхъ войнъ.

Побѣда плебеевъ надъ патриціями уничтожила, правда, кастическій характеръ римской аристократіи, но все государственное устройство римской республики осталось попрежнему аристократическимъ, съ тѣмъ только измѣненіемъ, что элементъ богатства сталъ на одну доску съ элементомъ родовой знатности. Высшія государственныя должности перестали быть исключительнымъ достояніемъ патриціевъ, но продолжали попрежнему сосредоточиваться въ рукахъ немногихъ фамилій, по той простой причинѣ, что дѣтямъ богачей, консуловъ или сенаторовъ было очень нетрудно остановить на себѣ вниманіе избирателей и побѣдить на выборахъ бѣдныхъ или незнатныхъ соискателей. Вслѣдствіе этого высшія должности въ нѣкоторыхъ фамиліяхъ могли-бы считаться почти наслѣдственными, и, сообразно съ этимъ обстоятельствомъ, все воспитаніе направлялось въ этихъ семействахъ къ тому, чтобы приготовлять военачальниковъ и администраторовъ. Связанные между собою узами родства и единствомъ общихъ аристократическихъ интересовъ, молодые воины и старые сенаторы такъ хорошо понимали другъ друга и дѣйствовали съ такимъ единодушіемъ, что смѣлая предпріимчивость первыхъ и холодная разсчетливость вторыхъ взаимно поддерживали и дополняли другъ друга во всѣхъ важнѣйшихъ случаяхъ римской исторіи. Такъ какъ жреческія должности принадлежали тому же высшему классу военачальниковъ и правителей, то понятно, что всѣ возможные авторитеты, теоретическіе и практическіе, гражданскіе и военные, тянули всѣ силы народа въ одну и ту-же сторону, на одну и ту-же завоевательную дорогу.

Покоряя своихъ сосѣдей, Римъ умѣлъ немедленно превращать своихъ побѣжденныхъ враговъ въ вѣрныхъ союзниковъ и въ полезныя

Digitized by Google

орудія для дальнѣйшихъ завоеваній. Сами итальянцы покорили для Рима Италію, и тѣ-же итальянцы завоевали впослѣдствіи подъ начальствомъ римскихъ полководцевъ весь образованный міръ. Дѣло въ томъ, что во всѣхъ распоряженіяхъ римскаго сената преобладалъ постоянно элементъ политическаго разсчета. Не увлекаясь чувствомъ ненависти и злорадства, сенатъ вовсе не хотѣлъ унижать, давить и порабощать побѣжденныхъ враговъ, въ содѣйствіи которыхъ онъ постоянно нуждался для расширенія своего господства. Одной силой оружія Римъ конечно не могъ держать въ повиновеніи всю Италію, а между тѣмъ только господство надъ военными силами Италіи могло доставить Риму побѣду надъ другими государствами. Поэтому сенатъ поневолѣ долженъ былъ предоставлять итальянцамъ кое-какія права, заключать съ ними особыя условія и вообще воздерживаться въ отношеніи къ нимъ отъ тѣхъ грубыхъ проявленій насилія, которыя считались въ древности естественнымъ послѣдствіемъ побѣды. Располагая всѣми вооруженными силами Италіи, римская аристократія блистательнымъ образомъ выполнила свою задачу; она скрутила и обобрала весь тогдашній историческій міръ, въ томъ числѣ и своихъ собственныхъ соотечественниковъ, доблестныхъ гражданъ города Рима. Въ то время, когда римскіе легіоны покоряли и опустошали Азію, пауперизмъ въ Италіи и въ Римѣ былъ доведенъ до такихъ колоссальныхъ размѣровъ, до какихъ врядъ-ли возвысилась даже современная Англія, находящаяся также подъ управленіемъ родовой и денежной аристократіи. «У дикихъ звѣрей,— говорилъ Тиверій Гракхъ,—есть пещеры, въ которыя они могутъ удаляться, а у людей, проливающихъ свою кровь за Италію, нѣтъ въ Италіи ничего, кромѣ солнечнаго свѣта и того воздуха, которымъ они дышатъ. Безъ постоянныхъ жилищъ они бродятъ по всей странѣ вмѣстѣ съ женами и дѣтьми. Полководцы ихъ обманываютъ, когда они убѣждаютъ ихъ сражаться за могилы предковъ и за домашніе очаги. Развѣ хоть у одного изъ этихъ людей есть своя домашняя святыня и семейная гробница? Они дерутся и умираютъ только затѣмъ, чтобы поддерживать чужую роскошь. Ихъ называютъ владыками міра, а между тѣмъ у нихъ нѣтъ комка земли, который составлялъ-бы ихъ собственность.»

Весь государственный механизмъ Рима былъ приспособленъ къ завоевательной войнѣ; завоевательная война была необходима для того, чтобы поддержать въ механизмѣ порядокъ и стройность. Консулы только на то и годились, чтобы водить легіоны въ аттаку; сенатъ только тѣмъ и былъ замѣчателенъ, что умѣлъ ссорить между собою враговъ римской республики и награждать своихъ союзниковъ, обирая въ ихъ пользу своихъ противниковъ. Когда всѣ противники, которыхъ можно было покорить и обобрать, оказались покоренными и обобранными, когда всѣ враги римской республики превратились въ ея подданныхъ, тогда римское государственное устройство оказалось совершенно несостоятельнымъ и быстро обнаружило всѣ признаки полнаго разложенія. Въ Италію были снесены со всѣхъ сторонъ горы серебра, золота и всякихъ драгоцѣнностей; такого колоссальнаго и систематическаго грабежа не видѣлъ еще и по всей вѣроятности никогда больше не увидитъ міръ. «Гдѣ богатства тѣхъ народовъ,—говоритъ Цицеронъ въ своей рѣчи pro lege Manilia,—которые теперь доведены до нищеты? Странный вопросъ! Развѣ вы не видите, что Аѳины, Пергамъ, Кизикъ, Милетъ, Хіосъ, Самосъ, вся Азія, Ахаія, Греція, Сицилія свезены цѣликомъ въ наши загородные дворцы?» — Вмѣстѣ съ драгоцѣнностями римскіе генералы захватывали несмѣтныя массы невольниковъ; цѣлыя населенія продавались въ рабство, и такъ какъ число покупателей было очень ограниченно, то, разумѣется, дешевизна людей доходила до самыхъ комическихъ размѣровъ. Послѣ подвиговъ Лукулла въ Азіи раба можно было купить за четыре драхмы (меньше рубля серебромъ). Встрѣчаясь съ такими цифрами, читатель перестаетъ удивляться тому, что римляне тратили рабовъ на гладіаторскія игры, или тому, что Веллій Полліонъ кормилъ своихъ любимыхъ рыбъ живыми рабами. Это продовольствованіе рыбъ могло показаться Полліону выгоднымъ даже въ экономическомъ отношеніи, потому что, когда взрослый и здоровый человѣкъ цѣнится въ цѣлковый, тогда этотъ человѣкъ очевидно не имѣетъ даже значенія рабочей силы. Вытягивая изъ провинцій рабочее населеніе и платя за человѣка по четыре драхмы, римскіе олигархи этими поступками объявляли громогласно всему міру, что только они, олигархи, имѣютъ право жить на свѣтѣ и потреблять продукты человѣческаго труда; что необходимой должна считаться только та доля труда, которая удовлетворяетъ потребностямъ и прихотямъ олигарховъ, и что затѣмъ вся остальная масса наличной трудовой силы должна продаваться за безцѣнокъ, какъ вещь, совершенно излишняя и ни на что негодная *). Этимъ образомъ дѣйствій римская олигархія очевидно обрекла всѣ провинціи на голодную смерть и на запустѣніе. Придя къ такому поразительному политическому и экономическому абсурду, римская республика непремѣнно должна была погибнуть; вопросъ могъ состоять только въ томъ, погибнетъ-ли она одна, или-же погубитъ вмѣстѣ съ собой всѣ свои обширныя владѣнія.

*) Аристократы нашего времени, мальтузіанцы, говорятъ даже, что изобиліе рабочей силы очень вредно. Веллій Полліонъ оказывается благодѣтелемъ человѣчества.

Digitized by Google

Имперія рѣшила этотъ вопросъ въ томъ смыслѣ, что погибнуть должны только одни отжившія республиканскія учрежденія.

Превращеніе республики въ имперію, или, другими словами, переходъ верховной власти отъ привилегированнаго сословія къ одной всесильной личности,—оказалось для провинцій истиннымъ благодѣяніемъ. Этого не отрицаетъ даже Тацитъ, несмотря на всю свою ненависть къ цезарямъ. Что благоразумные императоры не допускали въ провинціяхъ тѣхъ грабительствъ, которыми отличались аристократы республиканскихъ временъ,—это само собою разумѣется и никѣмъ не оспаривается. Но даже отъявленные негодяи, вродѣ Калигулы, Нерона или Домиціана, были для провинцій менѣе вредны и опасны, чѣмъ республиканская олигархія. Тиранія самыхъ звѣрообразныхъ императоровъ разыгрывалась только въ самомъ Римѣ и обрушивалась преимущественно на богатыхъ и знатныхъ людей. Провинціалы были очень довольны именно тѣми императорами, которые въ Римѣ пріобрѣли себѣ репутацію людоѣдовъ. Когда нѣкоторые губернаторы посовѣтовали Тиверію увеличить подати, наложенныя на провинціаловъ, Тиверій отвѣчалъ имъ, что «хорошій пастухъ долженъ стричь, а не обдирать своихъ овецъ». Домиціанъ, по словамъ Свѣтонія, такъ искусно умѣлъ держать въ рукахъ провинціальныхъ губернаторовъ, что они въ его время отличались небывалымъ безкорыстіемъ и неслыханной честностью. Проконсулы временъ республики посылались въ провинціи на кормленіе, не получая отъ государства никакого жалованья и пользуясь совершенно неограниченной властью. Они обращались съ провинціей, какъ съ непріятельской страной, и никто не могъ требовать отъ нихъ отчета, кромѣ ихъ сообщниковъ и родственниковъ, засѣдавшихъ въ сенатѣ. Губернаторы временъ имперіи, напротивъ того, получили опредѣленные оклады жалованья, были снабжены инструкціями, ограничивавшими ихъ власть, и подчинены строгому надзору со стороны приближенныхъ людей императора, неимѣвшихъ ничего общаго съ аристократическимъ сословіемъ. Вся внутренняя политика императоровъ, хорошихъ и дурныхъ, постоянно была направлена къ тому, чтобы унижать жалкіе остатки старой сенаторской аристократіи. Лучшіе изъ императоровъ достигали этой цѣли тѣмъ, что предоставляли права гражданства провинціаламъ, или тѣмъ, что старались ограничить власть господъ надъ рабами. Худшіе деспоты просто душили и обирали богатыхъ аристократовъ, знаменитые предки которыхъ душили и обирали провинціаловъ. Тѣ факты, что Калигула произвелъ своего любимаго жеребца Инцитата въ сенаторы или что Домиціанъ созвалъ полное собраніе сената для обсужденія вопроса о рыбномъ соусѣ, оказываются вовсе не симптомами умственнаго разстройства, а, напротивъ того, очень злыми насмѣшками деспотовъ надъ обломками аристократіи, которая, окончивъ свою завоевательную задачу, потеряла смыслъ своего существованія и лишилась всѣхъ своихъ прежнихъ достоинствъ. Калигула и Домиціанъ нисколько не ошиблись въ своихъ современникахъ, предположивши въ нихъ способность глотать съ пріятной улыбкой всевозможныя оскорбленія, идущія сверху; извѣстно, что сенаторы Калигулы торжественно благодарили своего повелителя за ту честь, которая была оказана ихъ сословію производствомъ Инцитата. Извѣстно также, что сенаторы Домиціана произносили по вопросу о соусѣ длинныя, серьезныя и горячія рѣчи.—Удары цезарей сыпались большей частью на такія физіономіи, которыя умѣли выражать только одно подобострастное умиленіе.

Имперія убила аристократію, но сама не поставила на ея мѣсто никакой новой идеи, ничего, кромѣ полновластной личности, которая почти всегда оказывалась совершенно неблагонадежной и вела себя до крайности неприлично. Весь періодъ имперіи можетъ быть названъ продолжительнымъ разложеніемъ стараго римскаго механизма, приспособленнаго для завоевательной войны и пришедшаго въ совершенную негодность на другой-же день послѣ окончательной побѣды. Прекративши насильственнымъ образомъ безплодныя войны между цивилизованными націями древняго міра, римское господство произвело сближеніе враждовавшихъ народностей. Это сближеніе совершилось именно въ періодъ имперіи. Тутъ перемѣшались между собою и національности, и религіи, и философскія школы, и юридическія понятія, и сословія. Въ общемъ результатѣ получилась очень мутная помѣсь, изъ которой однако, при содѣйствіи варваровъ, выработались мало по малу новыя формы болѣе прочной и богатой цивилизаціи. Греческая философія распространилась по всей имперіи и подготовила превращеніе политеизма въ монотеизмъ. Матеріалы для этого превращенія нашлись въ самой миѳологіи грековъ и римлянъ, въ которой существовало съ незапамятныхъ временъ понятіе Судьбы, подчинявшей своему таинственному вліянію поступки и желанія людей и боговъ. Когда созрѣвающій человѣческій умъ началъ подмѣчать въ различныхъ явленіяхъ природы строгую правильность и неизмѣнное постоянство, тогда понятіе Судьбы постепенно выдвинулось на первый планъ, обрисовалось яснѣе, получило опредѣленные личные аттрибуты и превратило всю толпу боговъ и богинь въ безгласную и послушную толпу слугъ и служанокъ. Этому перевороту должно было въ значительной степени содѣйствовать то обстоятельство, что національные боги, не умѣвшіе защитить своихъ поклонниковъ отъ римскаго

Digitized by Google

оружія и склонившіеся передъ величіемъ Юпитера Капитолійскаго, потеряли въ глазахъ порабощенныхъ націй большую часть своего прежняго авторитета. Насколько римскій императоръ былъ сильнѣе мелкихъ національныхъ царей, настолько-же новый богъ долженъ былъ оказаться сильнѣе прежнихъ національныхъ боговъ. Когда въ Римъ сбѣжались съ разныхъ концовъ древняго міра десятки религій, тогда мелкое соперничество разнокалиберныхъ культовъ и жрецовъ пробудило въ очень многихъ умахъ стремленіе къ какому-нибудь болѣе широкому, высокому и чистому единству, которое положило-бы конецъ скандальнымъ жреческимъ интригамъ, рекламамъ, фокусамъ и ссорамъ. Философія въ періодъ имперіи приняла теологическое направленіе и, стараясь отыскать въ языческихъ миѳахъ высшій символическій смыслъ, выработала, подъ прикрытіемъ старыхъ именъ, новое монотеистическое ученіе. Видя передъ собою ту колоссальную деморализацію, которою римская имперія далеко превзошла всѣ остальныя историческія эпохи, философы очень добросовѣстно стремились къ тому, чтобы обновить и образумить общество вліяніемъ философскихъ доктринъ. Философы старались устроить какое то царство разума, въ которомъ верховная власть будетъ принадлежать мыслителямъ и въ которомъ всѣ люди будутъ добродѣтельны и счастливы, какъ кроткія и послушныя овцы. Чтобы ввести людей въ это царство благонравія и блаженства, философамъ надо было выработать и распространить сильную и убѣдительную нравственную доктрину, а для этого имъ непремѣнно надо было выдти въ ту или другую сторону изъ области метафизики, въ которой обрѣталась греческая философія послѣ своего разрыва съ господствующимъ политеизмомъ. Построить какую-бы то ни было нравственную доктрину можно только или на вѣрѣ, или на знаніи. Чтобы считать одни поступки обязательными, а другіе предосудительными, человѣкъ долженъ или воображать себѣ, что надъ нимъ есть высшая сила, посылающая ему награды и наказанія, или знать, посредствомъ точнаго изслѣдованія окружающей природы и собственнаго организма, что одни поступки приносятъ ему пользу, а другіе—вредъ. Знанія философовъ были такъ отрывочны и недостаточны, что на нихъ невозможно было построить нравственную и соціальную доктрину. Метафизика по своему обыкновенію привела всѣхъ искреннихъ мыслителей только къ систематическому сомнѣнію, превратившему наконецъ весь внѣшній міръ въ призракъ и въ обманъ чувствъ. Такими діалектическими тонкостями невозможно было дѣйствовать на массы и реформировать общественную жизнь. Поэтому когда философія почувствовала въ себѣ призваніе къ практической дѣятельности, тогда она поневолѣ откинулась назадъ, къ теологіи, и въ этой области остановилась на той доктринѣ, которая по своей раціональности стояла выше древнихъ миѳовъ и была болѣе способна внести въ общество единодушіе, порядокъ и нравственную чистоту. Философы и народныя массы встрѣтились въ своихъ стремленіяхъ на монотеизмѣ, и хотя смѣлыя надежды философовъ далеко не осуществились, однако тѣмъ не менѣе человѣчество вступило въ новую фазу своего историческаго развитія. Вмѣстѣ съ основной доктриной измѣнились по обыкновенію всѣ отрасли умственной дѣятельности, всѣ государственныя учрежденія и всѣ важнѣйшія формы общественной жизни. Здѣсь оканчивается древняя исторія и начинается средневѣковой періодъ, наполненный такими явленіями, о которыхъ древность не имѣла понятія.

XII.

Вѣрованія политеистовъ имѣли чисто національное значеніе; каждое отдѣльное политическое тѣло имѣло своихъ спеціальныхъ покровителей, которыхъ господство не распространялось на сосѣдей. Умилостивленіе этихъ національныхъ боговъ жертвоприношеніями и различными церемоніями составляло прямую обязанность существующаго правительства. Обѣ власти, духовная или теоретическая (pouvoir spirituel) и свѣтская или практическая (pouvoir temporel), во времена политеизма оставались неразлучными и сосредоточивались въ однѣхъ рукахъ. Переходъ къ монотеизму разорвалъ древнюю связь, существовавшую между религіей и народностью. Верховное существо монотеистовъ уже не могло быть спеціальнымъ покровителемъ отдѣльнаго племени; это верховное существо сдѣлалось творцомъ и правителемъ всего міра, отцомъ и судьей всѣхъ людей, безъ различія національностей. Не имѣя никакого мѣстнаго или племеннаго характера, монотеизмъ можетъ сдѣлаться общей религіей многихъ народовъ, разбросанныхъ по различнымъ частямъ свѣта, управляющихся различными законами и составляющихъ множество независимыхъ политическихъ тѣлъ.

Единственной связью между этими различными народами окажутся ихъ общія вѣрованія; въ тѣ времена, когда теологическое міросозерцаніе безраздѣльно господствуетъ надъ умами людей, эта единственная связь имѣетъ очень важное значеніе; народы, связанные общими вѣрованіями, считаютъ себя до нѣкоторой степени членами одной общей семьи и противуполагаютъ себя всему остальному міру, который, по ихъ мнѣнію, коснѣетъ въ пагубномъ заблужденіи. У народовъ, связанныхъ единствомъ теософической доктрины, пробуждается конечно стремленіе поддерживать эту связь,

Digitized by Google

сохраняя въ чистотѣ первобытное ученіе и взаимно предостерегая другъ друга отъ такихъ нововведеній и умозаключеній, которыя такъ или иначе могутъ нарушить эту драгоцѣнную чистоту. Возникаетъ потребность совѣщаться или переписываться о религіозныхъ дѣлахъ; обнаруживается необходимость создать какую нибудь центральную власть, къ которой можно было-бы обращаться съ разныхъ сторонъ за рѣшеніемъ спорныхъ догматическихъ или дисциплинарныхъ вопросовъ. Словомъ, космополитическій характеръ монотеизма, при благопріятныхъ историческихъ обстоятельствахъ, естественнымъ образомъ приводитъ за собою учрежденіе такой власти, которая по возможности старается сдѣлать себя независимой отъ отдѣльныхъ національныхъ правительствъ. Когда національныя правительства сильны и и бдительны, тогда эти старанія оказываются неудачными; когда-же въ политическомъ мірѣ господствуетъ безпорядочная борьба личныхъ страстей и частныхъ интересовъ, тогда эти старанія увѣнчиваются полнымъ успѣхомъ, что́ и случилось дѣйствительно въ средневѣковой Европѣ, гдѣ, какъ извѣстно, космополитическая власть папъ впродолженіи нѣсколькихъ столѣтій боролась съ національными правительствами за верховное господство.

Въ этой средневѣковой борьбѣ папъ съ императорами и съ королями Огюстъ Контъ усматриваетъ то раздѣленіе властей, которое, по его мнѣнію, должно сдѣлаться основаніемъ будущаго національнаго общественнаго устройства, примиряющаго въ себѣ всѣ разумныя требованія порядка и прогресса. Чтобы понять взглядъ Конта на раздѣленіе властей, надо сначала познакомиться съ его мнѣніями о тѣхъ обязанностяхъ, которыя нормально-организованное общество должно налагать на лучшихъ своихъ мыслителей. Философы древней Греціи мечтали о томъ, чтобы сосредоточить въ своихъ рукахъ всѣ отрасли верховной власти; они полагали, что господство по всѣмъ правамъ должно принадлежать разуму, и что народъ будетъ счастливъ только тогда, когда его дѣлами будутъ завѣдывать самые геніальные и глубокомысленные изъ его соотечественниковъ. Къ этой мечтѣ греческихъ философовъ Контъ относится очень недоброжелательно. Онъ полагаетъ, что геніальный мыслитель въ большей части случаевъ оказался-бы очень посредственнымъ, или даже никуда негоднымъ администраторомъ. Фридрихъ II сказалъ однажды, что, еслибы онъ захотѣлъ разорить въ конецъ какую-нибудь провинцію, то предоставилъ-бы ея управленіе своимъ друзьямъ-Философамъ. Упоминая мимоходомъ объ этихъ извѣстныхъ словахъ, Контъ говоритъ, что они превосходно выражаютъ собой чистѣйшую истину, потому что для занятія вседневными практическими дѣлами простое и трезвое благоразуміе гораздо полезнѣе, чѣмъ глубокомысліе и геніальность. Дѣло мыслителей—прокладывать новые пути, вырабатывать новые принципы, обогащать и освѣжать жизнь новыми руководящими идеями. Дѣло администраторовъ—идти по этимъ вновь проложеннымъ дорогамъ и прикладывать данныя общія идеи къ мелкимъ и случайнымъ обстоятельствамъ мѣста и времени. Мыслитель ищетъ общихъ законовъ и обращаетъ мало вниманія на частныя особенности изучаемыхъ явленій; администраторъ, напротивъ того, постоянно имѣетъ дѣло съ конкретными подробностями, отъ которыхъ въ большей части случаевъ зависитъ успѣхъ или неуспѣхъ его распоряженій. Поэтому мыслителю, превратившемуся въ администратора, пришлось-бы насиловать свою природу, и еслибы даже ему удалось приневолить себя къ аккуратному и кропотливому выполненію мелкихъ практическихъ обязанностей, то во всякомъ случаѣ лучшая и драгоцѣннѣйшая часть его умственныхъ силъ осталась-бы неприложенной къ дѣлу и слѣдовательно пропала-бы даромъ для человѣчества. Кромѣ того въ правительствѣ, составленномъ изъ мыслителей, высшія мѣста все-таки ни въ какомъ случаѣ не достались-бы первоклассныхъ геніямъ. Подвиги и силы тѣхъ геніевъ, которые дѣйствительно производятъ перевороты въ общественномъ сознаніи, большей частью не могутъ быть оцѣнены по достоинству современниками, именно потому, что геній слишкомъ далеко хватаетъ впередъ и слишкомъ рѣзко противурѣчитъ установившимся теоріямъ. Не умѣя понять геніальнаго мыслителя, современники видятъ въ немъ или безтолковаго фантазера, или вреднаго шарлатана; пониманіе начинается только тогда, когда многолѣтняя работа мыслителя приведена къ концу и разъяснена обществу другими мыслителями, менѣе даровитыми, чѣмъ первый мыслитель, но болѣе понятливыми, чѣмъ масса равнодушныхъ и недовѣрчивыхъ современниковъ. Когда это пониманіе становится всеобщимъ, тогда уже поздно призывать генія въ верховный совѣтъ, потому что геній уже умеръ или по крайней мѣрѣ превратился въ дряхлаго старика. Стало быть, правительство философовъ было-бы во всякомъ случаѣ правительствомъ философствующихъ посредственностей, неспособныхъ сдѣлать ничего великаго ни въ области мысли, ни въ области практической жизни. Наконецъ особенно важно то обстоятельство, что, присвоивъ себѣ господство надъ обществомъ и превратившись въ правительство, мысль тотчасъ начинаетъ слабѣть и развращаться; для того, чтобы сохранять всю свою силу и всю свою свѣжесть, мысль должна постоянно оставаться чисто-прогрессивной силой, вѣчно недовольной тѣмъ, что́ существуетъ, вѣчно критикующей

Digitized by Google

несовершенства настоящаго, вѣчно стремящейся къ болѣе полной и къ болѣе разумной жизни. Если мысль выйдетъ изъ этого положенія систематической оппозиціи, если она присвоитъ себѣ прямое господство, то она, подобно всякому другому правительству, проникается инстинктомъ самосохраненія и незамѣтнымъ образомъ, мало по малу, направитъ всѣ свои усилія къ тому, чтобы поддерживать тотъ порядокъ вещей и тотъ строй понятій, которые создали ея политическое могущество. Однимъ словомъ, еслибы греческіе философы успѣли осуществить свою мечту, то ихъ идеальное государство очень скоро превратилось-бы въ неподвижную теократію, систематически подавляющую внутри себя всякую самодѣятельность индивидуальной мысли.

Итакъ, стремленія греческихъ философовъ ошибочны. Спрашивается теперь, какимъ-же образомъ должно выражаться въ нормально-организованномъ обществѣ оплодотворяющее вліяніе сильной мысли?

Отвергая честолюбивыя мечты греческихъ философовъ, Контъ полагаетъ въ то-же время, что дѣйствительныя отношенія этихъ философовъ къ обществу были также совершенно ненормальны, именно потому, что эти философы дѣйствовали въ разсыпную и не имѣли никакого оффиціальнаго характера. По соображеніямъ Конта оказывается, что лучшіе мыслители даннаго общества должны составить изъ себя теоретическую власть, совершенно независимую отъ практической, но имѣющую, подобно всякому другому правительству, свою внутреннюю іерархическую организацію. Эта теоретическая власть должна завѣдывать воспитаніемъ въ самомъ обширномъ смыслѣ этого слова; то есть, внушивши подростающему поколѣнію извѣстныя понятія, чувства и стремленія, она должна своимъ постояннымъ вліяніемъ на общество и на отдѣльныя личности направлять своихъ бывшихъ воспитанниковъ къ неуклонному примѣненію усвоенныхъ идей къ дѣйствительной жизни.

Не трудно понять, что идея Конта объ организованной и независимой теоретической власти нисколько не лучше той мечты греческихъ философовъ, которую самъ-же Контъ разбиваетъ самыми побѣдоносными и неопровержимыми аргументами. Геніямъ приходится оставаться за штатомъ какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ, потому что въ обоихъ случаяхъ высшія мѣста въ правительственной іерархіи будутъ доставаться не тѣмъ мыслителямъ, которые умнѣе остальныхъ, а тѣмъ, которые умѣютъ пріобрѣсти себѣ наиболѣе обширную извѣстность. Мысль, какъ здѣсь, такъ и тамъ, превратится въ консервативную силу и сдѣлается тормазомъ, вмѣсто того чтобы быть двигателемъ. Организованная іерархія Конта непремѣнно разовьетъ въ себѣ тѣ естественные инстинкты, которые свойственны всякому правительству, практическому или теоретическому,—разовьетъ ихъ именно потому, что она—организованная іерархія и слѣдовательно, подобно всякому другому организму, поставлена въ необходимость отстаивать прежде всего свое собственное органическое существованіе. Въ конечномъ результатѣ получилась-бы чистѣйшая теократія, или-же получился-бы чистый нуль, то есть независимая теоретическая власть, придуманная Контомъ, принуждена была-бы или захватить въ свои руки всѣ отрасли политическаго господства, или-же отказаться отъ своей независимости и подчиниться свѣтскому правительству. Двѣ независимыя верховныя власти не могутъ существовать рядомъ въ одномъ и томъ-же обществѣ; онѣ могутъ только бороться между собою, и борьба ихъ рано или поздно непремѣнно должна кончиться тѣмъ, что одна власть уничтожитъ и прогонитъ другую. Такъ точно было и въ средневѣковой Европѣ. Если-же Контъ при всей своей необыкновенной проницательности принялъ ожесточенную борьбу за полюбовное размежеваніе, то эту странную ошибку можно объяснить тѣмъ обстоятельствомъ, что Контъ, увлеченный своей собственной политической утопіей, постарался увидѣть въ исторіи оправданіе этой утопіи и, находясь въ этомъ далеко не безпристрастномъ настроеніи, повѣрилъ съ особеннымъ удовольствіемъ чувствительнымъ розсказнямъ католическихъ писателей, подобныхъ монсиньору Боссюэту и графу де-Местру. На этихъ двухъ изобрѣтателей Контъ дѣйствительно ссылается очень часто, причемъ онъ обыкновенно называетъ ихъ «l'illustre de Maistre», «le grand Bossuet».

XIII.

По мнѣнію Конта, великая политическая задача католицизма состояла въ томъ, чтобы, устраняя опасныя мечты греческой философіи о верховномъ господствѣ разума, доставить мыслителямъ правильное и постоянное вліяніе на теченіе общественныхъ дѣлъ.

«Вмѣсто того,—говоритъ Контъ,—чтобы увѣковѣчивать между людьми дѣла и людьми мысли печальную борьбу, которая должна была истощать самыя драгоцѣнныя силы человѣческой цивилизаціи, надо было устроить между ними постоянное соглашеніе, которое могло-бы превратить ихъ гибельный антагонизмъ въ полезное соперничество, единодушно направленное къ наилучшему удовлетворенію главныхъ общественныхъ потребностей; надо было по возможности назначить для каждой изъ двухъ великихъ силъ въ совокупности политической системы правильное участіе, со-

Digitized by Google

вершенно отдѣльное и независимое, хотя и направленное къ одной общей цѣли; надо было пристроить обѣ силы къ такому назначенію, которое соотвѣтствовало-бы ихъ характеристическимъ особенностямъ.» — Вслѣдъ затѣмъ читатель узнаетъ, къ крайнему своему удивленію, что католицизмъ побѣдилъ эту громадную трудность самымъ восхитительнымъ образомъ (de la manière la plus admirable) и что онъ, несмотря на множество препятствій, произвелъ то фундаментальное раздѣленіе властей, въ которомъ здравая философія, наперекоръ современнымъ предразсудкамъ, должна видѣть величайшее усовершенствованіе общественнаго организма.

Если мы отдадимъ себѣ ясный отчетъ въ томъ, что̀ такое — практическая власть и что̀ такое — теоретическая власть, то мы немедленно сообразимъ, что средневѣковой католицизмъ о раздѣленіи властей не имѣлъ и не могъ имѣть ни малѣйшаго понятія. Практической властью называется та власть, которая собираетъ налоги, ведетъ войны, заключаетъ трактаты, издаетъ законы, чеканитъ монету, преслѣдуетъ преступниковъ и творитъ надъ ними судъ и расправу. Отличительный признакъ этой практической власти заключается въ томъ, что въ случаѣ надобности она можетъ и должна поддерживать вооруженной силой каждое изъ своихъ распоряженій или требованій. Теоретической властью, напротивъ того, можно назвать только ту силу, которая вырабатываетъ и формируетъ общественное мнѣніе. Такой силой можетъ быть только мысль, не имѣющая за собою никакихъ внѣшнихъ вспомогательныхъ средствъ и дѣйствующая на общество исключительно своей собственной, внутренней разумностью и убѣдительностью. Раздѣленіе властей существуетъ только въ тѣхъ обществахъ, въ которыхъ мысль не терпитъ никакихъ преслѣдованій и не получаетъ никакого покровительства со стороны матеріальной силы, находящейся въ распоряженіи практической власти. На общеупотребительномъ политическомъ языкѣ раздѣленіе властей называется свободой мысли и свободой совѣсти. Такимъ раздѣленіемъ властей пользуются въ настоящее время только Англія и Америка. Но это раздѣленіе властей совершенно несовмѣстно съ какой бы то ни было *организаціей* теоретической власти. Всякая организація непремѣнно подчиняетъ волю отдѣльной личности волѣ начальника или рѣшенію большинства. Но что-же вы будете дѣлать, если найдется такая личность, которая захочетъ дѣйствовать по своему, не обращая вниманія ни на приказанія начальника, ни на рѣшенія своихъ товарищей?—Вы сдѣлаете одно изъ двухъ: или вы предоставите этой своенравной личности полную свободу, или-же вы употребите противъ нея матеріальную силу, которая переломитъ ея своенравіе какими-нибудь энергическими внушеніями, напримѣръ розгами, или тюремнымъ заключеніемъ, или смертной казнью. Въ первомъ случаѣ я осмѣлюсь спросить васъ: куда-же дѣвалась ваша организація, и на что же она нужна, если каждая отдѣльная личность дѣлаетъ въ области мысли все, что̀ ей вздумается?—Во второмъ случаѣ вы мнѣ позволите спросить у васъ: куда дѣвалось раздѣленіе властей, и можно-ли называть вашу организованную власть *теоретической*, если она пускаетъ въ ходъ матеріальную силу? *Бичи*, *темницы*, *топоры* — развѣ это все *теоретическія* средства? Всѣ эти средства вы можете заимствовать только у практической власти, и всѣми этими средствами вы можете пользоваться только въ такомъ случаѣ, если это вамъ будетъ положительно разрѣшено практической властью. Значитъ, пользуясь этими средствами, вы ставите ваше sanctum sanctorum, вашу теоретическую святыню подъ покровительство практической власти; а кто требуетъ покровительства, тотъ, разумѣется, подчиняется контролю, потому что въ самомъ дѣлѣ гдѣ-же вы найдете такихъ полоумныхъ людей, которые, зажмуривъ глаза, согласились бы покровительствовать неизвѣстно чему? Стало быть, верховнымъ судьей въ дѣлѣ теоріи оказывается самымъ естественнымъ и неизбѣжнымъ образомъ практическая власть. Гдѣ-же послѣ этого ваша самостоятельность? Ясное дѣло, что надо выбирать одно изъ двухъ: или организацію, или независимость. Эти два условія взаимно исключаютъ другъ друга.

Контъ, какъ настоящій французъ, дорожитъ преимущественно единствомъ и порядкомъ; его смущаютъ и приводятъ въ негодованіе хаотическое разнообразіе и дерзкая пестрота личныхъ сужденій; онъ отзывается съ непритворнымъ отвращеніемъ объ *умственной анархіи* нашего времени; сокрушаясь надъ этой *анархіей*, въ которой нѣтъ ничего печальнаго и предосудительнаго, онъ очень мало заботится о сохраненіи независимости, и, разсуждая очень пространно и торжественно о раздѣленіи властей, самъ на каждомъ шагу, во имя единства и порядка, отступаетъ отъ этого основного принципа своей политической философіи. Непомѣрное пристрастіе Конта къ любезному единству и порядку внушаетъ ему пламенную нѣжность и глубокое уваженіе къ средневѣковой католической системѣ, которую онъ прямо называетъ *образцовымъ произведеніемъ политической мудрости* (le chef-d'oeuvre politique de la sagesse humaine); Контъ боится даже, что онъ, по недостатку мѣста, не успѣетъ достаточно передать читателю въ своемъ общемъ философскомъ трактатѣ то *глубокое восхищеніе*, которымъ онъ *уже давно проникнутъ* въ отношеніи къ основному плану средневѣковой общественности.

Digitized by Google

Контъ выражаетъ наконецъ ту мысль, что было-бы чрезвычайно полезно сосредоточить всѣ политическія разсужденія и споры между двумя главными направленіями, — католическимъ и положительнымъ; всѣ остальныя доктрины онъ сваливаетъ въ одну кучу и называетъ презрительнымъ именемъ протестантской метафизики; эта метафизика, по его мнѣнію, порождаетъ только безплодныя и безконечныя пренія, радикально враждебныя всякому здравому политическому плану. Но вслѣдъ затѣмъ Контъ тотчасъ-же признается, что положительную школу составляетъ въ данную минуту одна его собственная особа, изъ чего слѣдуетъ очевидное заключеніе, что бесѣдовать и спорить о политикѣ имѣютъ разумное право только графъ де-Местръ съ одной стороны и Огюстъ Контъ съ другой стороны. Такъ какъ обѣ компетентныя стороны питаютъ одинаково сильную любовь къ единству и къ порядку, то можно поручиться заранѣе, что свобода мысли будетъ задавлена во всякомъ случаѣ, какимъ бы результатомъ ни закончилась борьба между обожателями Пія IX и новымъ папой позитивизма. Къ счастію для современнаго человѣчества, такъ называемая протестантская метафизика, къ которой отнесены безъ разбора и Вольтеръ, и Фейербахъ, и Фурье, и Прудонъ,—вовсе не намѣрена подавать въ отставку и уступать поле сраженія *здравымъ политическимъ планамъ* графа де-Местра и Огюста Конта. Дѣло отрицанія далеко еще не кончено даже въ западной Европѣ; а когда начнется дѣло созиданія, то оно будетъ производиться вовсе не по тѣмъ планамъ, которые Контъ считаетъ здравыми. Политическія тенденціи Конта кладутъ ложный розовый колоритъ на всѣ средневѣковыя учрежденія, которыя онъ подвергаетъ тщательному и подробному анализу. Общій взглядъ Конта на средневѣковую систему совершенно невѣренъ; симпатіи его направляются къ тому политическому организму, который по мѣрѣ силъ своихъ поддерживалъ и упрочивалъ въ европейскихъ обществахъ нищету и тупоуміе. Несмотря на эти капитальныя ошибки Конта, его историческій анализъ заключаетъ въ себѣ множество чрезвычайно глубокихъ и вѣрныхъ замѣчаній. Даже тамъ, гдѣ онъ ошибается и приходитъ въ совершенный разладъ съ исторической истиной, онъ все-таки остается сильнымъ и оригинальнымъ мыслителемъ, котораго заблужденія и натяжки оказываются болѣе интересными и поучительными, чѣмъ самыя безукоризненно вѣрныя словоизліянія добродѣтельныхъ, умѣренныхъ и аккуратныхъ либераловъ нашего времени.

Въ средневѣковомъ обществѣ было немыслимо то раздѣленіе властей, которое Огюсту Конту желательно въ немъ усматривать. Еслибы это раздѣленіе дѣйствительно существовало, то папы не имѣли бы ни малѣйшей возможности преслѣдовать и истреблять еретиковъ. Папы могли-бы дѣйствовать противъ нихъ только увѣщаніями и аргументами, а въ крайнемъ случаѣ—ругательствами и проклятіями; но такъ какъ еретики, по своему извѣстному упрямству, стали-бы навѣрное платить папамъ той-же монетой, то, разумѣется, знаменитое католическое единство очень быстро расползлось-бы въ разныя стороны, и средневѣковая Европа огорчила-бы великихъ организаторовъ де-Местра и Конта такой-же безпорядочной пестротой разнообразнѣйшихъ сектъ, какой украшается въ настоящее время Сѣверная Америка, не имѣющая ни малѣйшаго понятія о высокихъ прелестяхъ единства, системы и порядка. Папы въ самое цвѣтущее время своего могущества безпрестанно обращаются къ императору и къ королямъ за такими аргументами, которые всегда дѣйствуютъ на еретиковъ сильнѣе всякихъ увѣщаній, ругательствъ и даже проклятій. По приглашенію папъ свѣтская власть безпрестанно вѣшаетъ и сжигаетъ неугомонныхъ споршиковъ то по одиночкѣ, то цѣлыми сотнями. Въ началѣ XIII вѣка самый могущественный изъ папъ, Иннокентій III, напускаетъ на южную Францію десятки тысячъ вооруженныхъ крестоносцевъ, которые жгутъ города, рѣжутъ людей, насилуютъ женщинъ и наконецъ всѣми этими подвигами благополучно возстановляютъ нарушенное единство католической системы, этого *образцоваго произведенія политической мудрости*. Немного позднѣе преемникъ Иннокентія III, Григорій IX, учреждаетъ инквизицію, которая начинаетъ неусыпно заботиться о поддержаніи великаго единства и поддерживаетъ его тѣмъ, что постоянно передаетъ заподозрѣнныхъ людей въ распоряженіе свѣтской власти, всегда имѣющей въ готовности весьма достаточное количество висѣлицъ и костровъ. Пока свѣтская или практическая власть находитъ для себя удобнымъ оказывать теоретической власти эти дружескія услуги, до тѣхъ поръ любезное Огюсту Конту единство кое-какъ держится, хотя постоянно трещитъ и скрипитъ то въ Англіи, то во Франціи, то въ Германіи. Какъ только предупредительная любезность практической власти истощается, такъ тотчасъ же разрушается великое единство и начинается ненавистное для Огюста Конта протестантское безобразіе. Ясно, кажется, что средневѣковая теоретическая власть держалась впродолженіи нѣсколькихъ столѣтій не своимъ собственнымъ могуществомъ, не внутренней разумностью и убѣдительностью своей основной идеи, а только искусственной и чисто внѣшней поддержкой матеріальной силы, то есть практической власти. Есть-ли послѣ этого какая-нибудь возможность говорить серьезно о раздѣленіи властей?

Въ теоретическихъ трактатахъ очень легко и удобно раздѣлять то, что̀ нераздѣлимо въ дѣй-

Digitized by Google

ствительной жизни. Но при всемъ томъ средневѣковые мыслители даже въ своихъ теоретическихъ разсужденіяхъ никогда не думали провозглашать взаимную независимость обѣихъ властей. Одни изъ этихъ мыслителей поддерживали притязанія папъ, другіе отстаивали права императоровъ и королей. Первые были гораздо смѣлѣе и послѣдовательнѣе вторыхъ. Первые объявляли очень откровенно, что папѣ принадлежитъ верховная власть надъ всѣми государями и надъ всѣми народами. Вторые превозносили божественныя права свѣтскихъ властителей, но въ то-же время никакъ не осмѣливались утверждать, что императоры и короли не обязаны повиноваться папамъ. Они просто обходили молчаніемъ щекотливый вопросъ о столкновеніяхъ между обѣими властями, совѣтовали государямъ уважать папу, какъ отца, и успокаивались на той обманчивой надеждѣ, что любовь и уваженіе будутъ устранять всякіе поводы къ взаимнымъ неудовольствіямъ. Эта нерѣшительность имперіалистовъ доказываетъ какъ нельзя лучше совершенную невозможность провести ясную пограничную черту между обѣими властями даже въ теоретическомъ разсужденіи. Клерикальная партія, напротивъ того, не обнаруживала никакихъ колебаній, именно потому, что раздѣленіе властей вовсе не входило въ ея разсчеты. Вся программа этой партіи была въ высшей степени проста и послѣдовательна: надо было безъ дальнѣйшихъ церемоній превратить императоровъ и королей въ папскихъ приказчиковъ, которыхъ папа могъ-бы по своему благоусмотрѣнію штрафовать и выгонять въ отставку. Эти стремленія папъ къ клерикальной диктатурѣ высказывались во всеуслышаніе, какъ самими папами, такъ и всѣми публицистами ультрамонтанскаго лагеря. Но поддерживать такія неумѣренныя притязанія послѣ скандальнаго раскола, совершившагося въ XV вѣкѣ, и въ особенности послѣ реформаціи было уже довольно затруднительно. Потерявши свое господство надъ умами довѣрчивыхъ массъ и нуждаясь для своего существованія въ милостивомъ покровительствѣ свѣтской власти, папы, изъ чувства самосохраненія, должны были предать благоразумному забвенію средневѣковыя теоріи о низложеніи императоровъ и о разрѣшеніи подданныхъ отъ присяги. Знаменитые діалектики и дипломаты католицизма, іезуиты, постарались соорудить новую теорію папской власти, приспособленную до нѣкоторой степени къ измѣнившимся условіямъ времени. Однако и въ этой новой теоріи, составленной нарочно для того, чтобы пощадить самолюбіе королей и народовъ,—обѣ власти остаются нераздѣленными, и папа попрежнему является верховнымъ судьей свѣтскихъ правителей. Различіе между старой и новой теоріей состоитъ только въ томъ, что Григорій VII и Иннокентій III *прямо* присвоивали папѣ свѣтскую власть, между тѣмъ какъ іезуиты, напротивъ того, считаютъ свѣтскую власть *косвеннымъ послѣдствіемъ* духовной власти. Вся разница заключается въ процессѣ доказательствъ, что-же касается до результатовъ, то въ нихъ не оказывается никакой перемѣны.

Изъ всего этого разсужденія получается тотъ очевидный результатъ, что короли совершенно самостоятельны... если только они безпрекословно повинуются папѣ. Если-же они выходятъ изъ повиновенія, то они, разумѣется, становятся тотчасъ вредными *для спасенія душъ*, превращаются въ рабовъ грѣха и слѣдовательно утрачиваютъ всякую возможность пользоваться самостоятельностью. Тогда, разумѣется, папа съ крайнимъ прискорбіемъ беретъ ихъ подъ свою спасительную опеку, какъ малолѣтнихъ или слабоумныхъ. Повидимому въ этой теоріи все обстоитъ совершенно благополучно, и *спасеніе душъ* обезпечено какъ нельзя лучше противъ всевозможныхъ враждебныхъ случайностей. Несмотря на всѣ эти достоинства, папа Сикстъ V нашелъ эту теорію столь оскорбительной для величія римскаго престола, что немедленно внесъ сочиненіе іезуита Беллармина въ списокъ тѣхъ вредныхъ и безнравственныхъ книгъ, которыхъ чтеніе запрещается послушнымъ дѣтямъ католической церкви. Несмотря на всѣ перевороты, совершившіеся въ политическомъ и въ религіозномъ мірѣ, Сикстъ V въ шестнадцатомъ столѣтіи не думалъ отказываться отъ притязаній своихъ великихъ предшественниковъ. «Мы возведены,—пишетъ онъ,—на верховный престолъ справедливости, и мы обладаемъ неограниченнымъ господствомъ надъ всѣми королями и государями земли, надъ всѣми народами не по человѣческому, а по божескому установленію.»

Если Контъ называетъ мечты греческихъ философовъ безразсудными, то онъ долженъ, выражаясь математическимъ языкомъ, назвать мечты средневѣковыхъ клерикаловъ безразсудными въ квадратѣ или въ кубѣ, потому что конечно ни Пиѳагоръ, ни Платонъ никогда не мечтали о томъ, что они обладаютъ или будутъ обладать неограниченнымъ господствомъ надъ всѣми государями и народами земли.

XIV.

Важнѣйшая заслуга католицизма, по словамъ Конта состояла въ томъ, что онъ, учредивши чисто-нравственную власть, ввелъ постепенно нравственность въ политику, въ которой господствовали до того времени грубая сила и своекорыстный разсчетъ. Контъ полагаетъ, что въ древнемъ мірѣ нравственность была подчинена политикѣ, между тѣмъ какъ въ новомъ мірѣ, напротивъ

Digitized by Google

того, политика подчиняется нравственности. Эту перемѣну Контъ приписываетъ католицизму. За нее католицизму стоило-бы дѣйствительно сказать большое спасибо, еслибы только эта перемѣна дѣйствительно была произведена. Но ничего похожаго на подобную перемѣну нельзя отыскать ни въ средневѣковой исторіи, ни въ новой исторіи, ни въ той самоновѣйшей исторіи, съ которой мы знакомимся по газетамъ. Гдѣ-жъ они, эти Аристиды и Катоны политическаго міра? Гдѣ они, эти добродѣтельные и безкорыстные администраторы, отказывающіеся, во имя высшихъ нравственныхъ принциповъ, отъ удобнаго случая поживиться за счетъ слабаго сосѣда клочкомъ земли или нѣсколькими милліонами военной контрибуціи? Вмѣсто ожидаемыхъ и требуемыхъ Аристидовъ и Катоновъ мы получаемъ двухъ Наполеоновъ, Луи-Филиппа, Меттерниха, Пальмерстона, Баха, Мантейфеля, Бисмарка, Шмерлинга, Гайнау, Радецкаго, Морни и обильную коллекцію разныхъ другихъ, столь-же миловидныхъ воплощеній современной политической добросовѣстности и деликатности. Всѣ эти свѣтила государственной мудрости оказали нѣкоторымъ сообразительнымъ людямъ XIX вѣка ту дѣйствительно капитальную услугу, что отбили у нихъ всякую охоту гоняться за тѣмъ неуловимымъ призракомъ отвлеченной нравственности, который къ сожалѣнію увлекалъ за собой Огюста Конта втеченіи всей его жизни. Сообразительные люди нашего времени поняли наконецъ, что справедливость водворится во всѣхъ междучеловѣческихъ отношеніяхъ не тогда, когда всѣ жители нашей планеты проникнутся высокими добродѣтелями, а тогда, когда каждый нахалъ будетъ встрѣчать себѣ очень чувствительный отпоръ со стороны тѣхъ безотвѣтныхъ личностей, надъ которыми онъ во времена ихъ безотвѣтности привыкъ куражиться и озорничать. Поэтому сообразительные люди во всей Европѣ только о томъ и заботятся, чтобы положить конецъ овечьей безотвѣтности большинства и организовать достаточную силу отпора во всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ такая сила требуется условіями общественнаго механизма.

Въ современной политикѣ принципъ выгоды никогда не совпадаетъ съ принципомъ справедливости; частная жизнь въ малыхъ размѣрахъ представляетъ собой картину точно такого-же разлада. Глядя на эти явленія, одни мыслители умозаключаютъ, что принципы выгоды и справедливости по самой природѣ своей осуждены вести между собой вѣчную вражду; дойдя до такого убѣжденія, мыслители эти становятся на сторону справедливости и начинаютъ требовать отъ своихъ послѣдователей и отъ всѣхъ людей, чтобы они постоянно зарѣзывали свои собственныя выгоды на алтарѣ добродѣтели, нравственности и человѣколюбія. Если, разсуждаютъ мыслители, каждый человѣкъ во всякую данную минуту будетъ готовъ отдать ближнему послѣднюю рубашку, то, разумѣется, на свѣтѣ не будетъ ни голодныхъ, ни раздѣтыхъ, ни ограбленныхъ, ни избитыхъ людей. Разсужденіе очень основательное и добродушное, —но къ сожалѣнію бѣдные классы общества, какъ больные, чающіе движенія воды, ждутъ безуспѣшно почти двѣ тысячи лѣтъ, чтобы въ ихъ богатыхъ соотечественникахъ пробудилось эксцентрическое желаніе снимать съ себя въ пользу ближняго послѣднюю рубашку. Желаніе это не пробуждается, и люди до сихъ поръ постоянно производятъ сниманіе рубашекъ не надъ собой, а надъ своими безсильными и неопытными ближними, которые на юмористическомъ языкѣ филантроповъ называются младшими братьями. Въ виду такихъ выразительныхъ фактовъ, другіе мыслители, болѣе дальновидные, сообразили, что, если бѣднымъ классамъ общества надо будетъ для улучшенія своей участи ожидать терпѣливо, пока старшіе братья украсятся добродѣтелями,—то дѣло этихъ бѣдныхъ классовъ всего лучше будетъ теперь-же сдать въ архивъ съ полной увѣренностью, что оно рѣшится послѣ дождика въ четвергъ. Эти другіе мыслители поняли, что требовать отъ старшихъ братьевъ ненависти къ собственнымъ выгодамъ — значитъ требовать психологической невозможности и слѣдовательно — умышленно или неумышленно — увѣковѣчивать то положеніе вещей, благодаря которому процвѣтаетъ сниманіе рубашекъ, совершенно неспособное улучшить положеніе младшихъ, подвергающихся этому сниманію. Мыслители поняли, что принципъ выгоды въ настоящее время даетъ неудовлетворительные результаты только потому, что онъ недостаточно обобщенъ, и что огромное большинство—именно всѣ младшіе братья—по своему развитію и по своему положенію находятся въ невозможности руководствоваться въ жизни этимъ великимъ принципомъ. Если *каждый* будетъ постоянно стремиться къ своей собственной выгодѣ, и если *каждый* будетъ правильно понимать свою собственную выгоду, то конечно никто не будетъ снимать рубашку съ самого себя, но зато это добродѣтельное сниманіе окажется излишнимъ, потому что каждый будетъ отстаивать твердо и искусно собственную рубашку, и вслѣдствіе этого каждая рубашка будетъ украшать и согрѣвать именно то тѣло, которое ее выработало Такимъ образомъ если принципъ личной выгоды будетъ съ неуклонной послѣдовательностью проведенъ во всѣ отправленія общественной жизни, то каждый будетъ пользоваться всѣмъ тѣмъ, и только тѣмъ, что принадлежитъ ему по самой строгой справедливости. Чѣмъ силь-

Digitized by Google

нѣе работаетъ мысль въ этомъ направленіи, тѣмъ сознательнѣе становится стремленіе къ личной выгодѣ,—тѣмъ искуснѣе и безобиднѣе производится полюбовное размежеваніе соприкасающихся интересовъ,—тѣмъ рѣшительнѣе обнаруживается вліяніе просвѣщеннаго общественнаго мнѣнія на всѣ распоряженія практической власти,—и слѣдовательно тѣмъ неотразимѣе оказывается преобладаніе великихъ нравственныхъ принциповъ надъ мелкими политическими разсчетами. Всѣ эти превосходные результаты достигаются не искорененіемъ эгоизма, а, напротивъ того,—систематическимъ превращеніемъ всѣхъ гражданъ, съ перваго до послѣдняго, въ совершенно послѣдовательныхъ и правильно разсчитывающихъ эгоистовъ. При такомъ взглядѣ на вещи, нравственное воспитаніе отдѣльной личности или цѣлаго общества не имѣетъ никакого самостоятельнаго значенія; нравственное совершенствованіе оказывается только однимъ изъ неизбѣжныхъ послѣдствій умственнаго развитія: что содѣйствуетъ работѣ мысли, то возвышаетъ нравственность; что притупляетъ умъ, то ведетъ къ нравственному паденію.

Контъ, при всемъ своемъ глубокомысліи, не съумѣлъ однако-же отдѣлиться отъ толпы тѣхъ рутинныхъ моралистовъ, которые уже Богъ знаетъ сколько вѣковъ ведутъ комическую борьбу съ человѣческимъ эгоизмомъ, то есть съ самымъ великимъ, плодотворнымъ и неистребимымъ свойствомъ нашей животной природы. Къ счастью для насъ, наши зоологическіе предки оставили намъ такую богатую закваску эгоистической силы, которая не поддается никакимъ морализаторскимъ попыткамъ и которая будетъ волновать и мучить личность и общество до тѣхъ поръ, пока коллективный умъ человѣчества не отыщетъ для нея широкаго и правильнаго исхода. Еслибъ не было у насъ этой неугомонной зоологической страстности, этой неутолимой жажды личнаго наслажденія, то спиритуалисты съ одной стороны и мальтузіанцы съ другой стороны давнымъ-давно успѣли-бы превратить въ кастратовъ огромное большинство нашей породы. Человѣчество спасалось отъ гибели на каждомъ шагу именно тѣми грубыми животными страстями, противъ которыхъ вооружаются средневѣковые моралисты и вмѣстѣ съ ними позитивистъ Контъ. Нравственная доктрина Конта обрисовывается очень ярко словомъ *альтруизмъ*, которое онъ самъ придумалъ для того, чтобы, въ противоположность къ *эгоизму*, обозначить способность жить для другихъ—vivre pour autrui. Въ этой доктринѣ онъ сходится съ средневѣковымъ католицизмомъ, которому онъ и свидѣтельствуетъ свое почтеніе за мнимое проведеніе этой доктрины въ политическую жизнь. Но мораль Конта и его средневѣковыхъ друзей вытекаетъ изъ такого превратнаго взгляда на человѣческую природу, что каждая попытка приложить эту мораль къ дѣйствительности вовлекаетъ моралистовъ въ безвыходныя противорѣчія съ ихъ собственнымъ ученіемъ. Именно эти роковыя противорѣчія убили теоретическую власть средневѣковыхъ моралистовъ.

Въ самомъ дѣлѣ, въ чемъ заключались общественныя обязанности средневѣкового аббата? Отказываясь отъ всякой личной выгоды и отъ всякаго личнаго наслажденія, отъ богатства, отъ власти, отъ комфорта, отъ почестей, отъ любви, отъ семейной жизни,—онъ долженъ былъ постоянно побуждать всѣхъ своихъ ближнихъ къ такимъ-же точно подвигамъ аскетическаго самоотреченія. Но у ближняго были свои собственныя понятія и тенденціи: ему хотѣлось наѣдаться до отвалу, напиваться до безчувствія, наслаждаться до изнеможенія и драться съ каждымъ подобнымъ себѣ буяномъ. Такими ближними были почти всѣ феодальные бароны, то есть именно тѣ люди, на которыхъ средневѣковому аббату было необходимо дѣйствовать, если только этотъ аббатъ относился серьезно къ своимъ обязанностямъ и чувствовалъ искреннее желаніе сколько-нибудь осмыслить и облагородить окружающую жизнь вліяніемъ своихъ возвышенныхъ нравственныхъ доктринъ. Но, чтобы господствовать надъ умами сильныхъ и богатыхъ буяновъ, чтобы не превратиться въ ихъ шута и лакея, аббату было необходимо или удивлять ихъ какими-нибудь сверхъестественными подвигами самоистязанія, или же стоять съ ними наравнѣ по своему богатству, по своему могуществу и по своему положенію въ обществѣ. Путь самоистязанія такъ узокъ и прискорбенъ, что на него вступало всегда самое незначительное меньшинство даже въ тѣ времена, когда аскетическое воодушевленіе принимало до нѣкоторой степени эпидемическій характеръ. Поэтому аббатамъ, чистосердечно преданнымъ своей доктринѣ, но не чувствовавшимъ въ себѣ присутствія факирскихъ наклонностей, приходилось поневолѣ стремиться къ богатству и къ разнымъ другимъ суетнымъ благамъ для того, чтобы этими благами поддерживать достоинство своего сана и вліяніе всей корпораціи на общественныя дѣла. Этимъ и начинался рядъ роковыхъ внутреннихъ противорѣчій. Аббатъ гнался за богатствомъ, чтобы доставить силу и вѣсъ такой доктринѣ, которая отъ своихъ адептовъ требуетъ презрѣнія къ богатству. Вслѣдствіе этого каждому желающему представлялся ежеминутно удобный случай уличать аббата въ вопіющемъ разладѣ между словами и поступками. Изъ этого перваго противорѣчія развивалось множество другихъ противорѣчій, еще болѣе крупныхъ и скандальныхъ. Въ средніе вѣ-

Digitized by Google

ка основаніе богатства и могущества заключалось въ обладаніи населенными землями. Аббаты и епископы превратились въ феодальныхъ бароновъ. Вступая во владѣніе, баронъ обязанъ былъ приносить присягу своему сюзерену, то есть тому высшему властителю, который считался настоящимъ собственникомъ даннаго помѣстья и которому баронъ обязанъ былъ помогать во время войны. Желая владѣть землею, аббаты и епископы должны были подчиняться тѣмъ условіямъ, съ которыми было связано это владѣніе. Они должны были являться по требованію сюзерена съ опредѣленнымъ числомъ вооруженныхъ людей, несмотря на то, что основная доктрина была совершенно враждебна не только наступательнымъ, но и оборонительнымъ войнамъ. Такъ какъ земли, находившіяся во владѣніи епископовъ и аббатовъ, принадлежали императору, королямъ, герцогамъ и разнымъ другимъ свѣтскимъ владѣтелямъ, то эти-же владѣтели присвоили себѣ право производить въ аббаты и въ епископы, кого имъ было угодно. Духовныя должности стали отдаваться придворнымъ любимцамъ или продаваться съ аукціоннаго торга. Въ X вѣкѣ случалось нерѣдко, что ребята 5—10 лѣтъ попадали по протекціи въ епископы. «Школьники и безбородые мальчишки,—пишетъ Бернаръ Клервальскій,—по знатности своего происхожденія, производятся въ церковныя должности и, выдерживая экзаменъ подъ ферулою учителя, радуются болѣе своему избавленію отъ розогъ, чѣмъ полученію епископскаго сана.» Эти явленія вытекали очень естественно изъ того обстоятельства, что епископы и аббаты владѣли обширными помѣстьями; а владѣніе это было необходимо для того, чтобы представители теоретической власти могли дѣйствовать на своихъ современниковъ. Между тѣмъ искреннѣе моралисты никакъ не могли переносить тѣхъ безобразій, которыя позволяла себѣ практическая власть, торговавшая духовными должностями и назначавшая въ епископы малолѣтнихъ ребятъ.

Для прекращенія этихъ безобразій понадобилось начать колоссальную борьбу между папствомъ и имперіей. Для достоинства клерикаловъ, для самостоятельности ихъ корпораціи, для утвержденія и распространенія ихъ доктрины—эта борьба была совершенно необходима, но въ то же время всякая борьба, всякія честолюбивыя стремленія, всякія воинственныя манифестаціи прямо противоположны духу и буквѣ ихъ основной доктрины. Клерикаламъ представлялась такимъ образомъ очень печальная дилемма: покориться свѣтской власти—значило обречь себя на безсиліе и деморализацію; а возстать противъ этой власти—значило нарушить самые основные законы той морали, которая составляетъ единственную gaison d'être клерикальной корпораціи. Руководствуясь тѣмъ естественнымъ инстинктомъ самосохраненія, который живетъ въ каждомъ индивидуальномъ и коллективномъ организмѣ,—клерикальная корпорація выбрала второй путь. Этотъ путь привлекъ папство сначала къ высшей точкѣ его могущества, а потомъ—къ окончательной погибели, потому что противорѣчіе между доктриной и жизнью сдѣлалось очевиднымъ для самыхъ довѣрчивыхъ простаковъ. Борьба папства съ имперіей относится къ самому цвѣтущему времени средневѣкового католицизма; если въ католицизмѣ дѣйствительно существовало стремленіе подчинять политику нравственности, то это стремленіе должно было выразиться особенно сильно именно въ это время. Между тѣмъ оказывается, что весь этотъ періодъ наполненъ такой борьбой, которую, съ точки зрѣнія католической морали, надо признать за величайшую безнравственность. Папы пускаютъ въ ходъ противъ императоровъ и королей чистореволюціонныя средства, между тѣмъ какъ имъ, папамъ, было строго приказано повиноваться предержащимъ властямъ. Значитъ, политика преобладаетъ надъ нравственностью, вмѣсто того чтобы подчиняться ей. Дѣло дошло до того, что папа Урбанъ II уговорилъ принца Генриха, сына императора Генриха IV, взбунтоваться противъ отца и вести съ нимъ кровопролитную войну. То ожесточеніе, съ которымъ сынъ сталъ преслѣдовать отца, называлось на языкѣ папы *внушеніемъ свыше* и выполненіемъ божественной воли. Папы очевидно утвердились сразу очень прочно на томъ основательномъ разсужденіи, что цѣль оправдываетъ средства. Это разсужденіе дѣлаетъ величайшую честь ихъ политическимъ способностямъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ оно отнимаетъ у насъ всякую возможность приписывать католицизму внесеніе нравственности въ политику, потому что иначе намъ пришлось-бы воздать такую-же точно похвалу Николаю Макіавелли и ордену іезуитовъ.

XV.

Втянувшись въ упорную борьбу съ императорами, великіе папы XII и XIII столѣтій сдѣлались предводителями политической партіи и стали поступать такъ, какъ поступаютъ вездѣ и всегда политическіе дѣятели. Папы постоянно дѣлали то, чего требовали отъ нихъ обстоятельства. Во всемъ своемъ поведеніи они обнаружили очень много искусства, энергіи, твердости и неустрашимости и очень мало добросовѣстности и нравственной разборчивости. Такъ напримѣръ, Григорій IX напалъ на сицилійскія владѣнія Фридриха II въ то время, когда Фридрихъ находился въ Палестинѣ и

Digitized by Google

слѣдовательно, въ качествѣ крестоносца, имѣлъ полнѣйшее право считать себя совершенно неприкосновеннымъ для всякаго христіанскаго государя. Иннокентій IV преслѣдовалъ того-же Фридриха съ такой страстной и неутомимой ненавистью, которая привела въ ужасъ добродушнаго Людовика IX, дѣлавшаго безуспѣшныя попытки помирить папу съ императоромъ. Послѣ смерти Фридриха Иннокентій сталъ проповѣдывать крестовый походъ противъ сына его, Конрада; примасъ Германіи, архіепископъ майнцскій, былъ отрѣшенъ отъ должности за то, что на воинственныя прокламаціи папы онъ осмѣлился отвѣчать словами Іисуса Христа: «вложи мечъ твой въ ножны!» Жизнь и доктрина разошлись между собой такъ далеко, что указанія на доктрину превратились въ политическія преступленія. Видя истребительныя наклонности папы, одинъ епископъ и одинъ аббатъ сговорились между собой зарѣзать Конрада Послѣ смерти Конрада папа объявилъ себя опекуномъ его сына, двухлѣтняго Конрадина. Въ качествѣ опекуна, Иннокентій на-чисто обобралъ своего питомца, давши предварительно торжественное и публичное письменное обѣщаніе сохранить его права въ полной неприкосновенности. Преемники Иннокентія продолжали его политику, и дѣло кончилось тѣмъ, что Сицилія досталась французскому принцу, Карлу Анжуйскому, а Конрадинъ, которому папство торжественно обѣщало свое покровительство, погибъ на эшафотѣ по приказанію новаго сицилійскаго короля, возлюбленнаго сына римской церкви. Итакъ, преобладаніе нравственности надъ политикой оказывается чистѣйшимъ миѳомъ.

Убѣдившись въ политическомъ безсиліи средневѣковой морали, посмотримъ теперь, какія именно стороны этой нравственной доктрины привлекаютъ къ себѣ особенное сочувствіе Огюста Конта.

Прежде всего Конту очень нравится то, что средневѣковые моралисты проповѣдывали людямъ смиреніе. Контъ полагаетъ, что человѣческую гордость слѣдуетъ постоянно унижать какъ можно сильнѣе; онъ надѣется, что *новая общественная философія утвердитъ и даже усовершенствуетъ въ значительной степени этотъ важный отдѣлъ нравственнаго ученія*. Надежды Конта основываются на томъ обстоятельствѣ, что положительныя науки ежеминутно убѣждаютъ человѣка въ слабости и ограниченности его ума. Къ какимъ полезнымъ или пріятнымъ результатамъ приведетъ людей это постоянное униженіе гордости, этого Контъ не объясняетъ; но догадаться очень не трудно, почему смиреніе такъ дорого Конту. Тутъ дѣйствуетъ очевидно неистощимая любовь къ дисциплинѣ и къ субординаціи, которыя, какъ извѣстно, развертываются въ полномъ блескѣ именно тогда, когда забитыя, разоренныя и задавленныя массы утрачиваютъ всякое сознаніе своего человѣческаго достоинства. Тогда надъ милліонами смиренныхъ людей господствуетъ горсть такихъ личностей, къ которымъ проповѣдь смиренія вовсе не относится. Въ средніе вѣка моралисты умѣли смирять только тѣхъ, которые уже были слишкомъ достаточно смирены обстоятельствами жизни. На бароновъ, на рыцарей, на всѣхъ сытыхъ и пьяныхъ средневѣковыхъ буяновъ проповѣдь смиренія совсѣмъ не дѣйствовала. А каково было смиреніе самихъ проповѣдниковъ — это можно видѣть напримѣръ изъ слѣдующаго случая: въ 1063 году, въ праздникъ Рождества, фульдскій аббатъ въ Госларскомъ соборѣ подрался во время обѣдни съ гильдесгеймскимъ епископомъ изъ за рѣшенія вопроса о томъ, кому изъ нихъ сидѣть возлѣ примаса Германіи, архіепископа майнцскаго. Дѣло происходило въ присутствіи малолѣтняго короля, Генриха IV. Герцогъ баварскій помирилъ воинственныхъ прелатовъ, и побѣда осталась за аббатомъ. Но на слѣдующій годъ епископъ принялъ свои мѣры заблаговременно и въ Троицынъ день спряталъ въ алтарѣ отрядъ вооруженныхъ людей. Въ то время, когда разставлали кресла, эти воины кинулись на людей фульдскаго аббата и обратили ихъ въ бѣгство. Люди аббата воротились съ новыми силами, и въ церкви произошла кровопролитная свалка, причемъ проповѣдники смиренія,— аббатъ и епископъ, оба ободряли бойцовъ воинственными жестами и восклицаніями.

Далѣе Конту очень нравятся суровыя отношенія средневѣковой морали къ самоубійству, на которое древніе философы смотрѣли съ большимъ уваженіемъ. Въ самоубійствѣ конечно нѣтъ ничего похвальнаго и полезнаго для общества, но такъ какъ каждый человѣкъ очень достаточно защищенъ противъ самого себя инстинктомъ самосохраненія и такъ какъ вслѣдствіе этого самоубійство всегда и вездѣ бываетъ чрезвычайно рѣдко, то нѣтъ рѣшительно никакихъ основаній придавать особенно важное значеніе суровымъ или снисходительнымъ взглядамъ моралистовъ на это преступленіе. Самоубійцами дѣлаются обыкновенно или помѣшанные, или неизлечимо больные, или осужденные на смерть. Во всѣхъ этихъ людяхъ общество почти ничего не теряетъ или по крайней мѣрѣ теряетъ только то, что́ оно само готовилось у себя отнять. Но Контъ возмущается въ самоубійствѣ не тѣмъ реальнымъ убыткомъ, который наносится обществу, а преимущественно фактомъ неповиновенія, непозволительнымъ нарушеніемъ должной субординаціи. Поэтому онъ выражаетъ надежду, что при господствѣ положительной философіи самоубійство будетъ осуждаться еще строже, и что это осужденіе окажется вполнѣ дѣйстви-

Digitized by Google

тельнымъ, несмотря на то, что позитивиста уже нельзя будетъ пугать загробными мученіями. Здѣсь намъ представляется превосходный случай измѣрить всю колоссальность того деспотизма, которому, по мнѣнію Конта, можно и должно подчинять людей для ихъ-же собственнаго благополучія. Контъ говоритъ, что «люди должны быть непобѣдимо привязаны къ жизни, такъ чтобы они не могли избавлять себя отъ ея мучительныхъ послѣдствій внезапной катастрофой, предоставляющей каждому опасную способность уничтожать по своему произволу ту необходимую реакцію, которую общество разсчитывало на него произвести». Слова *необходимая реакція* очевидно обозначаютъ наказаніе, на столько тяжелое, что виновный предпочитаетъ ему лишеніе жизни. Преступникъ, поставленный въ такое положеніе, видитъ въ обществѣ своего злѣйшаго врага; между преступникомъ и обществомъ порваны всѣ связи; нѣтъ мѣста для другихъ чувствъ, кромѣ взаимной ненависти; чтобы вырваться изъ рукъ своего неумолимаго преслѣдователя, преступникъ прибѣгаетъ къ самому отчаянному средству. И въ эту-то минуту, когда человѣкъ, отвергнутый обществомъ, бросаетъ ему свое послѣднее проклятіе, въ эту минуту Контъ считаетъ возможнымъ тотъ шансъ, что преступника удержитъ уваженіе къ господствующему суровому взгляду на самоубійство. Для того чтобы этотъ шансъ былъ дѣйствительно возможенъ, надо систематически съ самой колыбели превращать человѣка въ автомата, который будетъ не только поступать, но даже чувствовать и думать исключительно такъ, какъ того требуютъ законы и обычаи даннаго общества. Такая дрессировка составляетъ для Конта вѣнецъ его желаній. Онъ желаетъ этой дрессировки не для того, чтобы уничтожить самоубійства; напротивъ того, уничтоженіе самоубійствъ имѣетъ въ его глазахъ огромную важность именно потому, что оно выражаетъ собою полный успѣхъ дрессировки. Личность выдрессирована такъ, что прививныя чувства и мысли становятся сильнѣе естественныхъ инстинктовъ, и что страхъ предъ общественнымъ мнѣніемъ продолжаетъ дѣйствовать тогда, когда разорваны всѣ связи съ обществомъ и когда уже замолчалъ даже голосъ самосохраненія. Выше этого идеала не поднимался еще ни одинъ теоретикъ деспотизма въ цѣломъ мірѣ.

Какъ рѣшительный противникъ эманципаціи женщинъ, Контъ восхищается тѣми отношеніями, которыя установила между обоими полами средневѣковая мораль. Контъ съ особеннымъ удовольствіемъ настаиваетъ на томъ обстоятельствѣ, что католицизмъ, устраняя женщину отъ священнодѣйствія, къ которому ихъ допускала отчасти классическая древность,— стремится такимъ образомъ привязать женщинъ къ домашнему очагу, на которомъ и должны сосредоточиваться всѣ ихъ помышленія и вся ихъ дѣятельность. Отведя женщинамъ ихъ настоящее мѣсто, католицизмъ, по мнѣнію Конта, значительно улучшилъ ихъ общественное положеніе и доставилъ имъ со стороны мужчинъ то уваженіе, которое составляетъ выдающуюся черту въ рыцарскихъ нравахъ. Средневѣковая жизнь дѣйствительно произвела въ судьбѣ женщинъ довольно важныя улучшенія, но эти улучшенія не могутъ быть приписаны католицизму, который вообще относился къ женщинѣ очень сурово и презрительно. Средневѣковые моралисты любили попрекать своихъ современницъ грѣхомъ неосмотрительной Еввы и совѣтовали имъ очень серьезно оплакивать, не осушая глазъ, тотъ поступокъ легкомысленной прародительницы, благодаря которому человѣчество утратило свое первобытное блаженство. Строгіе моралисты утверждали также, что женщины, унаслѣдовавъ отъ Еввы ея легкомысліе, составляютъ и будутъ составлять постоянно самое серьезное препятствіе на пути человѣчества къ нравственному совершенству и къ вѣчной жизни. Изъ такого суроваго взгляда на женщину никакъ не могло развиться чувство почтительной и страстной рыцарской любви. Это чувство и не развилось-бы никогда, если бы католическая мораль не нашла себѣ рѣшительнаго противувѣса въ характерѣ германской расы. При какихъ условіяхъ сформировался этотъ характеръ, мы не знаемъ, но достовѣрно извѣстно то, что уваженіе къ женщинѣ встрѣчается въ древнѣйшихъ германскихъ легендахъ и законахъ, сложившихся задолго до вторженія германцевъ въ предѣлы Римской имперіи. По баварскимъ законамъ за оскорбленіе, нанесенное женщинѣ, платится болѣе высокій штрафъ, чѣмъ за оскорбленіе мужчины, потому, говоритъ законъ, что женщина не можетъ сама защитить себя оружіемъ. Кто пожметъ свободной женщинѣ палецъ или руку, тотъ, по салическому закону, долженъ заплатить 15 солидовъ золота (около 375 рублей) кто пожметъ женщинѣ руку выше локтя, — платитъ вдвое (Laurent. «Les barbares et le catholicisme», p. 36). Скандинавскія саги заключаютъ въ себѣ множество эпизодовъ самой почтительной любви между сильными королями съ одной стороны и простыми пастушками съ другой стороны. Все это такіе задатки, изъ которыхъ рыцарскимъ нравамъ вовсе не трудно было развиться. Здѣсь и также во многихъ другихъ случаяхъ Контъ обращаетъ слишкомъ мало вниманія на характеръ расы, помимо котораго невозможно составить себѣ ясное понятіе о средневѣковыхъ идеяхъ, обычаяхъ и учрежденіяхъ.

Воздавши католицизму должную дань уваженія за привязываніе женщинъ къ домашнему очагу, Контъ выражаетъ надежду, что эманципаторскія попытки нашего времени потерпятъ

Digitized by Google

полнѣйшую неудачу, и что подъ господствомъ позитивизма женщины всѣхъ классовъ общества будутъ предаваться исключительному исполненію высокихъ обязанностей супруги и матери. Люди, желающіе обезпечить за женщинами экономическую дѣятельность, обыкновенно указываютъ барынямъ и барышнямъ на кухарокъ и прачекъ, умѣющихъ добывать себѣ хлѣбъ собственнымъ трудомъ. Контъ поступаетъ какъ разъ наоборотъ: онъ указываетъ прачкамъ и кухаркамъ на барынь и барышень, которыя навѣрное никакъ не ожидали и не надѣялись превратиться для кого бы то ни было въ образецъ, достойный подражанія. Контъ говоритъ съ своей обыкновенной серьезностью и торжественностью, что «въ высшихъ классахъ общества женщины могли съ большимъ удобствомъ слѣдовать своему истинному назначенію и вслѣдствіе этого должны нѣкоторымъ образомъ сдѣлаться естественнымъ типомъ, къ которому со временемъ будутъ по возможности стремиться съ разныхъ сторонъ всѣ другія формы женскаго существованія». Итакъ, всѣмъ женщинамъ предписывается, во имя положительной философіи, стремиться къ благородной праздности, которая, по изслѣдованіямъ Конта, оказывается необходимой для безукоризненнаго выполненія высокихъ обязанностей супруги и матери. Супруга, какъ извѣстно, должна своимъ сознательнымъ сочувствіемъ подкрѣплять и ободрять своего мужа, работающаго на пользу общества и обязаннаго твердо стоять за то, что̀ онъ считаетъ правдой. Мать, какъ извѣстно, должна пріучать своихъ дѣтей къ труду и къ честному пониманію человѣческихъ и гражданскихъ обязанностей. По теоріи Конта оказывается, что хорошей супругой и хорошей матерью будетъ только та женщина, которая сама никогда не трудилась, никогда не принимала никакого участія въ общественной жизни, не несла на себѣ никакой серьезной обязанности и не умѣла полюбить дѣятельной любовью ни одной великой идеи. Такая женщина особенно способна дѣлить со своимъ мужемъ его заботы, способна потому, что сама не имѣетъ объ этихъ заботахъ никакого понятія. Такая женщина особенно способна внушить своему сыну любовь къ труду, способна потому, что сама не осквернила своихъ нѣжныхъ рукъ никакой работой. Такая женщина особенно способна воодушевить мужа, брата или сына на смѣлое и честное выполненіе великаго гражданскаго долга, способна потому, что сама безраздѣльно погружалась мыслью и чувствомъ въ повѣрку копѣечныхъ счетовъ, представляемыхъ кухарками, прачками, портнихами и обойщиками.

Далѣе Контъ восхищается тѣмъ, что католицизмъ освятилъ неразрушимость брака. Эта неразрушимость,—разсуждаетъ Контъ,—превосходно соотвѣтствуетъ истиннымъ потребностямъ нашей природы; безъ этой неразрушимости «наша краткая жизнь потратилась-бы на безконечный и обманчивый рядъ плачевныхъ попытокъ». Опасность *потратить* на глупости *краткую жизнь* обусловливается такими общественными явленіями, надъ которыми самая возвышенная нравственная доктрина не можетъ имѣть ни малѣйшаго контроля. Устранить эту опасность католицизмъ былъ не въ силахъ. Въ самомъ дѣлѣ, тратить жизнь на *плачевныя попытки*, то есть устраивать свадьбы и разводы по нѣскольку разъ въ годъ, могутъ только тѣ мужчины и женщины, которые не имѣютъ никакихъ серьезныхъ занятій и обязанностей и которые живутъ на всемъ на готовомъ, присвоивая себѣ и поглощая въ изобиліи продукты чужого труда. Кто самъ зарабатываетъ себѣ пропитаніе, тому некогда бѣгать по городамъ и селамъ для пріобрѣтенія новыхъ интересныхъ знакомствъ, способныхъ повести за собою *плачевную попытку*. Кто занятъ съ утра до вечера серьезными заботами, тотъ ищетъ себѣ серьезнаго сочувствія, а не гаремныхъ развлеченій, годныхъ только для тѣхъ людей, которые съ утра до вечера страдаютъ болѣзненной скукой тунеядца. *Плачевныя попытки* для трудящагося человѣка были-бы положительно непріятны, еслибы даже онѣ были возможны, то есть, еслибы даже у него было на то достаточно свободнаго времени. Работникъ, какъ человѣкъ, принужденный смотрѣть на жизнь серьезно, умѣетъ цѣнить дружбу и вносить элементъ дружбы во всѣ свои отношенія къ близкимъ и симпатичнымъ ему людямъ; при такихъ условіяхъ о *плачевныхъ попыткахъ* нечего и заикаться, потому что всякому извѣстно, что старый другъ лучше новыхъ двухъ и что никому никогда не приходило въ голову разорвать сношенія съ вѣрнымъ и испытаннымъ другомъ изъ любви къ разнообразію или вслѣдствіе неопредѣленной надежды отыскать себѣ новаго друга, еще болѣе доброкачественнаго. Слѣдовательно, если мы видимъ, что въ какомъ-нибудь обществѣ господствуетъ наклонность къ *плачевнымъ попыткамъ*, то причину этого уродливаго явленія мы должны искать никакъ не въ томъ, что данное общество не обсыпано благодѣяніями средневѣковой морали. Причину надо искать гораздо глубже, въ экономическомъ и соціальномъ строѣ даннаго общества. Лечить это общество надо также не регламентаціей половыхъ отношеній, а радикальными экономическими преобразованіями. Прежде всего надо замѣтить, что *плачевнымъ попыткамъ* нигдѣ и никогда не можетъ предаваться все населеніе страны сверху до низу. *Плачевныя попытки*—занятіе барское, доступное только самому незначительному меньшинству, и чѣмъ ярче обозначается наклонность къ *плачев-*

Digitized by Google

нымъ попыткамъ, тѣмъ незначительнѣе по своему числу то меньшинство, которое имъ предается. Проще и яснѣе, — чѣмъ неравномѣрнѣе распредѣляются богатства, тѣмъ сильнѣе свирѣпствуетъ развратъ, потому что съ одной стороны меньшинство, желая разогнать свою скуку, требуетъ себѣ птичьяго молока и пускается во всякія затѣи, а съ другой стороны большинство, постоянно имѣя передъ собою перспективу голодной смерти, оказывается въ высшей степени способнымъ питать всевозможныя затѣи своей собственной плотью и кровью. Словомъ, меньшинство выдвигаетъ купцовъ, а большинство поставляетъ товаръ. Когда историкъ говоритъ о господствѣ *плачевныхъ попытокъ* въ данномъ обществѣ, то онъ при этомъ постоянно имѣетъ въ виду только меньшинство, которое такимъ образомъ играетъ роль *всего общества*, отбрасывая массу націи на самый задній планъ,—туда, куда историку дѣйствительно незачѣмъ и заглядывать, потому что въ этихъ сферахъ жизнь и движеніе мысли остановились и оцѣпенѣли подъ гнетомъ нужды и непомѣрнаго воловьяго труда. Настоящее зло именно и состоитъ въ тяжеломъ положеніи массъ.. Изъ этого основного зла развивается множество всякихъ нарывовъ и прыщей, которые могутъ служить для историка драгоцѣнными симптомами существующей болѣзни, но которые никакъ не допускаютъ отдѣльнаго или частичнаго леченія. Однимъ изъ этихъ второстепенныхъ нарывовъ оказывается наклонность къ *плачевнымъ попыткамъ*,—наклонность, которая устоитъ противъ всякой возвышенной морали и погибнетъ только тогда, когда та или другая реформа нанесетъ рѣшительный ударъ сложному механизму, парализующему производительность народнаго труда. Когда не будетъ тунеядцевъ, тогда не будетъ и пороковъ, развивающихся изъ тунеядства. Что-же касается до запрещенія разводовъ, то оно никакимъ образомъ не можетъ положить конецъ *плачевнымъ попыткамъ*, потому что настоящіе любители такихъ *попытокъ* всего менѣе заботятся о томъ, чтобы принимать насебя какія нибудь обязательства. Развода можетъ желать только такой человѣкъ, который, будучи связанъ съ одной особой, полюбилъ серьезно другую и вслѣдствіе этого считаетъ необходимымъ дать этой другой прочное общественное положеніе. Напротивъ того, люди, забавляющіе себя разнообразіемъ, не имѣютъ никакой причины добиваться развода, потому что брачныя узы никогда не мѣшали любовнымъ шалостямъ и даже придавали этимъ шалостямъ всю прелесть запрещеннаго плода, особенно привлекательнаго для скучающихъ тунеядцевъ.

Контъ утверждаетъ,—по поводу неразрушимости брака,—что огромное большинство нашей породы состоитъ изъ безцвѣтныхъ личностей, для которыхъ полная самостоятельность даже обременительна и которымъ гораздо удобнѣе подчиняться неодолимой необходимости и жить по предписанной программѣ, чѣмъ выбирать себѣ дорогу и составлять планъ дѣйствій собственнымъ умомъ. Это разсужденіе показываетъ ясно, что неразрушимость брака является только одной крошечной частицей той благодѣтельной опеки, которая, по мнѣнію Конта, должна осчастливить безцвѣтное большинство. Какъ неразрушимость брака, такъ и запрещеніе самоубійства особенно драгоцѣнны Конту именно потому, что обозначаютъ собою искорененіе личнаго своеволія и торжество спасительной субординаціи. Безцвѣтность большинства служитъ оправданіемъ опеки, но само собою разумѣется, что опека въ свою очередь будетъ поддерживать, упрочивать и даже усиливать эту безцвѣтность, великодушно снимая съ безцвѣтныхъ людей тяжелую обязанность задумываться надъ задачами жизни. Такимъ образомъ опека и безцвѣтность будутъ взаимно увѣковѣчивать другъ друга, и атрофія головного мозга сдѣлается одной изъ важнѣйшихъ причинъ прочнаго человѣческаго благосостоянія, подобно тому, какъ атрофія ногъ считается у китайцевъ однимъ изъ важнѣйшихъ условій физической красоты.

Наконецъ Контъ объяснилъ намъ, что католицизмъ замѣнилъ энергическій, но дикій патріотизмъ древнихъ болѣе возвышеннымъ чувствомъ человѣколюбія или всеобщаго братства. Вслѣдъ затѣмъ Контъ оговаривается на счетъ религіозныхъ антипатій, которыя на самомъ дѣлѣ значительно стѣсняли проявленіе доброжелательныхъ чувствъ. Эта оговорка Конта почти совершенно уничтожаетъ его главную мысль. Если положить на одну чашку вѣсовъ всю массу ненависти, порожденной и взлелѣянной католицизмомъ, а на другую—всю массу любви, выработанной имъ-же, то по всей вѣроятности первая чашка перетянетъ. О крестовыхъ походахъ и обо всѣхъ другихъ войнахъ съ сарацинами и съ сѣверными язычниками говорить незачѣмъ; эти войны могли быть порождены національной ненавистью и политической необходимостью; хотя въ такомъ случаѣ онѣ, разумѣется, не имѣли бы того истребительнаго характера, который былъ имъ приданъ вліяніемъ католицизма. Гораздо важнѣе отношенія средневѣковыхъ европейцевъ къ евреямъ, которые жили съ ними рядомъ, въ однихъ и тѣхъ же городахъ, и которые конечно могли-бы слиться съ ними, войти въ составъ отдѣльныхъ европейскихъ націй и превратиться въ полезныхъ и счастливыхъ гражданъ, еслибы ихъ не преслѣдовала религіоз-

Digitized by Google

ная ненависть католиковъ, поощряемыхъ сентенціями соборовъ и пастырскими посланіями папъ и епископовъ. Еще важнѣе отношенія католиковъ къ еретикамъ; здѣсь католицизмъ является прямо силой, разрывающей всѣ гражданскія и родственныя связи; здѣсь католицизмъ вооружаетъ одну половину народа противъ другой; здѣсь онъ превращаетъ своихъ адептовъ въ шпіоновъ, доносчиковъ и палачей; словомъ, здѣсь онъ производитъ на свѣтъ такое нравственное безобразіе, о которомъ классическая древность не имѣла понятія. Шпіоны, доносчики и палачи были конечно и въ Греціи, и въ Римѣ, но тамъ занимались этими дѣлами люди, продавшіе свою совѣсть за наличныя деньги; на нихъ такъ и смотрѣли даже тѣ особы, которыя пользовались ихъ услугами. Католицизмъ, напротивъ того, выдумавши новое преступленіе *ересь*, ухитрился превратить доносы и пытки въ доблестные подвиги и въ священную обязанность. Инквизиторы очень серьезно считали себя благодѣтелями человѣчества, а несчастные люди, поддерживавшіе дѣятельность инквизиторовъ своими доносами, совершенно искренно были убѣждены въ томъ, что исполняютъ важнѣйшій долгъ честнаго человѣка. Если мы примемъ въ соображеніе, что ереси возникали и плодились въ каждомъ городишкѣ или мѣстечкѣ, и что при всеобщей напуганности ревностныхъ католиковъ ересью могло показаться имъ каждое неосторожное слово, произнесенное сдуру или съ-пьяну, то мы поймемъ, что чувства ненависти и взаимнаго недовѣрія, порожденныя ежедневными усиліями проповѣдниковъ и моралистовъ, должны были совершенно заглушать чувство общаго человѣколюбія, предписанное буквою и духомъ основной доктрины. Не мѣшаетъ также припомнить здѣсь и ту знаменитую вражду между гвельфами и гибеллинами, которая родилась и выросла подъ вліяніемъ вѣковой борьбы папства и имперіи. Здѣсь не было даже и догматическаго разногласія. Здѣсь папа, какъ глава политической партіи, пользовался противъ своихъ *политическихъ* противниковъ тѣмъ оружіемъ, которое онъ, какъ глава церкви, имѣлъ право употреблять только противъ враговъ религіи. Все это приносило очень мало пользы нравственному совершенствованію европейцевъ, но все это вытекало самымъ логическимъ образомъ изъ основныхъ свойствъ той системы, которую Контъ называетъ le chef-d'oeuvre politique de le sagesse humaine. Если существуетъ *организованная* теоретическая власть, то она должна заботиться о своемъ самосохраненіи и вслѣдствіе этого должна, отложивъ въ сторону нравственную разборчивость, бить своихъ враговъ всѣмъ тѣмъ, что попадается ей подъ руку, то есть всѣмъ тѣмъ, что человѣческая глупость оставляетъ въ ея распоряженіи. Отъ такой власти, которая ежеминутно борется за свое существованіе, смѣшно даже и требовать, чтобы она развивала въ своихъ приверженцахъ чувство всеобщаго человѣколюбія. Эта власть прежде всего постарается превратить своихъ приверженцевъ въ солдатъ, готовыхъ биться за нее на жизнь и на смерть во всякую данную минуту съ кѣмъ бы то ни было и какими бы то ни было, честными или безчестными, средствами. Того требуетъ логика вещей, и слѣдовательно о всеобщемъ человѣколюбіи нечего и думать, потому что этому чувству можетъ научить людей только свобода, посвященная разумному и общественному труду.

Католическое милосердіе, по мнѣнію Конта, даетъ людямъ самое лучшее средство облегчать по возможности страданія, неизбѣжныя въ общественной жизни и относящіяся преимущественно къ распредѣленію богатствъ. Этому трогательному милосердію Контъ съ горечью противуполагаетъ тѣ *чисто матеріальныя или политическія мѣры, безсильныя и тираническія и способныя повести за собою самыя тяжелыя общественныя потрясенія*, — словомъ, тѣ мѣры, къ которымъ желаютъ прибѣгнуть безразсудные соціалисты. Само собою разумѣется, что католики оказываются несравненно мудрѣе и добродѣтельнѣе соціалистовъ, и что позитивистамъ предписывается подражать католикамъ. Рѣшеніе задачи о голодныхъ людяхъ возлагается на будущую теоретическую власть, которая дастъ богачамъ превосходное нравственное воспитаніе и обяжетъ ихъ такимъ образомъ осыпать бѣдное человѣчество всевозможными благодѣяніями. Это наивное рѣшеніе, эта апологія богадѣленъ, милостыни и нищенства показываетъ ясно, что Контъ не имѣлъ никакого понятія о тѣхъ простѣйшихъ законахъ, по которымъ совершаются въ обществѣ движеніе и накопленіе продуктовъ труда. И еслибы контовскія идеи были проведены въ жизнь, то онѣ дали-бы совсѣмъ не тѣ результаты, которыхъ ожидалъ отъ нихъ Контъ. Но нетрудно понять, что эти идеи неприложимы. Чисто-нравственное вліяніе оказывается всегда совершенно безсильнымъ, если оно идетъ наперекоръ личнымъ выгодамъ тѣхъ людей, на которыхъ слѣдуетъ дѣйствовать, и если кромѣ того оно ежеминутно парализируется тѣми разнообразными искушеніями, которыя порождаетъ весь строй общественной жизни. При такихъ условіяхъ сами вліятели развращаются до мозга костей и становятся на одинъ уровень съ тѣми людьми, которыхъ требовалось облагородить. Эту истину доказали своимъ примѣромъ католическіе монахи, аббаты, епископы, кардиналы и папы. Эту же истину испыталъ-бы на себѣ немедленно контовскій pouvoir spirituel, еслибы только онъ дѣйствительно могъ организоваться. Поэтому для рѣшенія задачи о голодныхъ

Digitized by Google

людяхъ необходимо соблюденіе двухъ условій. Во-первыхъ, задачу эту должны рѣшить непремѣнно тѣ люди, которые въ ея разумномъ рѣшеніи находятъ свои личныя выгоды, то есть, ее должны рѣшать сами работники. Во-вторыхъ, рѣшеніе задачи заключается не въ воздѣлываніи личныхъ добродѣтелей, а въ перестройкѣ общественныхъ учрежденій.

Этихъ двухъ условій не выполнили ни Контъ, ни его средневѣковые друзья. Впрочемъ надо и то сказать, что Контъ, подобно католическимъ моралистамъ, мирится очень добродушно съ пауперизмомъ, видя въ немъ неизбѣжное и слѣдовательно нормальное явленіе. Это, по его соображеніямъ, одно изъ inconvenients inséparables de l'état social. Это значитъ, что соціальная задача для него неразрѣшима, и что слѣдовательно съ нимъ нечего и толковать о такихъ вопросахъ, въ которыхъ онъ ровно ничего не понимаетъ.

XVI.

Все, что Контъ говоритъ объ историческомъ развитіи нравственности, составляетъ самое слабое и въ то-же время единственное слабое мѣсто его великаго историко-философскаго труда. Основная причина его ошибокъ заключается въ той совершенно несостоятельной мысли, что нравственность можетъ развиваться и совершенствоваться сама собой, независимо отъ успѣховъ знанія и отъ различныхъ улучшеній въ экономической жизни общества. Конечно Контъ понималъ очень хорошо, что области знанія, промышленности и нравственности находятся въ постоянномъ сообщеніи между собой и вслѣдствіе этого постоянно дѣйствуютъ другъ на друга; но ошибка его заключалась именно въ томъ, что онъ принималъ нравственность за отдѣльную область, въ которой могутъ совершаться самостоятельныя измѣненія и которая посредствомъ этихъ измѣненій можетъ дѣйствовать на другія области и на всю совокупность человѣческаго существованія и развитія.

Неосновательность этого мнѣнія доказать не трудно. Въ самомъ дѣлѣ, основной принципъ всей человѣческой дѣятельности заключается вездѣ и всегда въ стремленіи человѣка къ собственной выгодѣ, то есть къ тому, что соотвѣтствуетъ потребностямъ его организма. Этотъ основной принципъ не измѣняется нигдѣ и никогда, но поступки, въ которыхъ проявляется стремленіе къ выгодѣ, могутъ быть безконечно разнообразны, во-первыхъ—потому, что пониманіе выгоды бываетъ неодинаково, а во-вторыхъ—потому, что средства, находящіяся въ распоряженіи человѣка, бываютъ также неодинаковы. Пониманіе собственной выгоды есть не что иное, какъ практическій выводъ изъ всего міросозерцанія, то есть изъ совокупности всѣхъ взглядовъ человѣка на природу, на самого себя и на окружающихъ людей. Особенности-же міросозерцанія зависятъ, во-первыхъ, отъ количества собранныхъ наблюденій, и во-вторыхъ—отъ логическаго достоинства теорій, построенныхъ на основаніи добытыхъ фактическихъ знаній; вѣрность и разумность даннаго міросозерцанія увеличиваются или тогда, когда наростаетъ запасъ фактовъ, или тогда, когда совершенствуются логическіе пріемы. Эти двѣ категоріи улучшеній относятся одинаково къ области умственнаго развитія и обнаруживаютъ одинаково сильное вліяніе на пониманіе личной выгоды. Наблюденія и размышленія человѣка надъ природой и надъ собственнымъ организмомъ не только даютъ ему пониманіе личной выгоды, но въ то-же время показываютъ ему и тѣ пути, по которымъ онъ долженъ идти къ этой выгодѣ. Совокупность этихъ путей называется промышленностью и составляетъ прикладную отрасль умственнаго развитія. Составивъ себѣ извѣстное пониманіе личной выгоды и приноровившись къ тѣмъ средствамъ, которыми достигается выбранная цѣль, человѣкъ втягивается въ извѣстный образъ жизни и пріобрѣтаетъ себѣ извѣстный комплектъ привычекъ. Та часть этого комплекта, которая обнимаетъ собой отношенія человѣка къ другимъ людямъ, называется *нравственностью*. Спрашивается теперь, какія причины могутъ произвести въ пріобрѣтенныхъ привычкахъ какія-бы то ни было измѣненія?—Привычки, а слѣдовательно и нравственность могутъ измѣниться только тогда, когда измѣняются основанія привычекъ, то есть *пониманіе* или *средства*. Улучшиться эти привычки могутъ только тогда, когда совершится какое-нибудь открытіе, или возникнетъ болѣе раціональная гипотеза, или будетъ сдѣлано какое-нибудь изобрѣтеніе,—вообще тогда, когда расширится міръ человѣческой мысли или усилится господство человѣка надъ природой. Высшая точка нравственнаго развитія будетъ достигнута тогда, когда *пониманіе* выгоды сдѣлается безукоризненно вѣрнымъ, и когда *средства* уравновѣсятъ желанія, то есть тогда, когда человѣкъ дойдетъ до крайнихъ предѣловъ теоретическаго знанія и практическаго могущества. Составные элементы нравственности заключаются такимъ образомъ въ чистой и въ прикладной наукѣ.

Контъ смотритъ на это дѣло иначе. Объявляя непримиримую вражду принципу личной выгоды, Контъ видитъ главную задачу нравственности въ систематическомъ ослабленіи эгоизма. Эта борьба съ эгоизмомъ должна состоять въ особен-

Digitized by Google

ныхъ упражненіяхъ, клонящихся къ искусственному удерживанію страстей и къ такому-же искусственному расшевеливанію доброжелательныхъ влеченій. Если оказывается такимъ образомъ крайняя необходимость дрессировать и гонять на кордѣ человѣка, какъ манежную лошадь, то, разумѣется, надо создать особенный организованный классъ берейторовъ, обязанныхъ хранить и совершенствовать великіе принципы манежной выѣздки. Этотъ классъ берейторовъ называется у Конта pouvoir spirituel и занимается не возвышеніемъ уровня человѣческихъ знаній и даже не распространеніемъ знаній уже добытыхъ, а именно формированіемъ добродѣтельныхъ привычекъ и придумываніемъ разныхъ морализирующихъ упражненій. Чтобы эта нравственная гимнастика имѣла какіе-нибудь шансы успѣха, теоретическая власть непремѣнно должна быть организована и приведена къ строгому единству, потому что какія-бы то ни было привычки могутъ получить обязательную силу только въ томъ случаѣ, если каждая отдѣльная личность будетъ постоянно встрѣчаться съ этими привычками во всемъ окружающемъ обществѣ. Напротивъ того, іерархическая органическая организація и строгое единство были-бы совершенно излишни и даже невозможны, еслибы настоящее значеніе нравственности было опредѣлено вѣрно и еслибы вслѣдствіе этого теоретическая власть дѣйствовала не на привычки людей, а на ихъ убѣжденія, и дѣйствовала-бы не силою авторитета, а очевидностью строгихъ доказательствъ. Признавая необходимость дрессировки и берейторовъ, Контъ нашелъ въ средневѣковой организаціи именно то, что онъ считалъ особенно драгоцѣннымъ: онъ нашелъ тамъ цѣлое громадное министерство, старавшееся регламентировать нравственность и не обращавшее никакого вниманія ни на реальныя свойства природы и человѣка, ни на условія мѣста и времени. Этого было довольно, чтобы очаровать и ослѣпить Конта. Увлекшись своими морализаторскими пристрастіями, онъ увидалъ въ средневѣковой системѣ небывалое раздѣленіе властей и еще болѣе небывалое преобладаніе справедливости надъ политическимъ разсчетомъ. Кромѣ того онъ въ своемъ увлеченіи приписалъ необыкновенную плодотворность и дѣйствительность разнымъ нравственнымъ сентенціямъ и декретамъ, которые оставались всегда мертвой буквой и которые, по своей противуположности съ естественными человѣческими наклонностями и потребностями, ни въ какомъ случаѣ не могли принести людямъ ни малѣйшей пользы. Эти ошибочныя мнѣнія Конта, выходящія изъ его невѣрнаго взгляда на нравственность и изъ его неосновательной ненависти къ эгоизму, я постарался опровергнуть на предыдущихъ страницахъ. Теперь я снова обращаюсь къ тѣмъ глубокимъ и разумнымъ идеямъ Конта, съ которыми я совершенно согласенъ.

Вся исторія человѣческой мысли представляетъ намъ колоссальную борьбу разсудка съ воображеніемъ,—борьбу, которая не кончена до сихъ поръ, но въ которой окончательная побѣда разсудка не подлежитъ уже ни малѣйшему сомнѣнію. Съ тѣхъ поръ какъ началась достовѣрная исторія, разсудокъ постоянно одерживаетъ побѣды, а воображеніе, дѣлая одну уступку за другой, постоянно отодвигается назадъ, оставляетъ разсудку все больше и больше простора и при этомъ занимаетъ новыя укрѣпленныя позиціи, которыя его неутомимый противникъ беретъ приступомъ, несмотря на самое упорное и продолжительное сопротивленіе. Въ началѣ исторіи воображеніе было всесильно; во времена *фетишизма* для разсудка не было мѣста; самыя простыя и мелкія явленія объяснялись фантастическимъ образомъ; однако-же разсудокъ, опираясь на свидѣтельство пяти чувствъ, сдѣлалъ свое дѣло и выбилъ воображеніе изъ самой крѣпкой его позиціи; воображеніе отодвинулось назадъ, предоставило разсудку объясненіе простѣйшихъ явленій и построило себѣ новую твердыню—систему *политеизма*. Укрѣпившись тѣми наблюденіями, которыя сдѣлались возможными послѣ паденія фетишизма, разсудокъ повелъ свою аттаку противъ политеизма и подрылъ его тѣмъ аргументомъ, что постоянство и правильность, замѣчаемыя во всѣхъ явленіяхъ природы, несовмѣстны съ гипотезой о существованіи многихъ правителей, способныхъ расходиться между собою въ своихъ мнѣніяхъ, желаніяхъ и дѣйствіяхъ. Тогда воображеніе еще разъ отступило назадъ и выработало себѣ ту доктрину, которая наложила свою печать на средневѣковой періодъ. Разсудокъ конечно не угомонился. Такъ какъ средневѣковая доктрина была уступкой, которую воображеніе принуждено было сдѣлать разсудку, то, разумѣется, эта доктрина была для разсудка менѣе стѣснительна, чѣмъ политеизмъ. Поэтому водвореніе средневѣковой доктрины было полезно для умственнаго развитія Европы. Однако-же несомнѣнно то, что вслѣдъ за торжествомъ новой доктрины надъ политеизмомъ умственное движеніе пріостановилось на нѣсколько столѣтій; съ III вѣка до XI-го Европа не произвела ничего новаго и оригинальнаго ни въ наукѣ, ни въ литературѣ. Замѣчательно, что эта пріостановка произошла раньше нашествія варваровъ. Этотъ упадокъ умственной дѣятельности объясняется съ одной стороны общимъ политическимъ и экономическимъ разслабленіемъ Римской имперіи и съ другой стороны — направленіемъ новой доктрины, требовавшей отъ своихъ адептовъ высокихъ добродѣтелей и относившейся не только равнодушно, но даже презрительно и враждебно къ

Digitized by Google

научнымъ и литературнымъ занятіямъ, заподозрѣннымъ въ порожденіи умственной гордости. Умные и даровитые люди рождались конечно и въ тѣ вѣка, которые считаются эпохой самаго глубокаго невѣжества и варварства; потребность работать умомъ не замирала никогда; но этой потребности средневѣковая доктрина открыла новую форму удовлетворенія. Умные, даровитые и даже геніальные люди въ то время были необходимы для того, чтобы развить главныя подробности доктрины, чтобы устранить внутреннія противорѣчія и разномыслія, чтобы поддерживать письмами и поученіями общее единодушное воодушевленіе, чтобы привлекать постоянно новыхъ адептовъ, чтобы основать великое европейское единство и чтобы надъ этимъ единствомъ поставить тотъ сильный и стройный политическій организмъ, который впослѣдствіи далъ папамъ возможность побѣждать императоровъ и королей. Этотъ политическій организмъ надо было сформировать, и дѣло это было тѣмъ болѣе трудно, что въ прошедшемъ не существовало ни одного такого учрежденія, которое можно было-бы взять за образецъ. Это формированіе производилось втеченіи цѣлаго тысячелѣтія и было закончено во второй половинѣ XI вѣка папой Григоріемъ VII. Во все это время практическія заботы этого созиданія постоянно поглощали умственныя способности тѣхъ замѣчательныхъ людей, которые въ другое время и при другихъ обстоятельствахъ могли-бы сдѣлаться Ньютонами, Колумбами, Гарвеями или Шекспирами. Диспуты о разныхъ очень возвышенныхъ и неудобопонятныхъ матеріяхъ не прекращались никогда, даже въ самыя мрачныя времена европейскаго невѣжества. Само собою разумѣется, что эти диспуты не дали никакихъ осязательныхъ результатовъ, то есть не обогатили человѣчества новыми знаніями, но считать эти диспуты совершенно безполезными—было-бы очень неосновательно. Они пробудили и развернули въ тогдашнихъ людяхъ расположеніе и способность къ упорному умственному труду; они выучили ихъ слѣдить за всѣми изгибами и изворотами мысли и выводить изъ даннаго положенія всевозможныя близкія и отдаленныя послѣдствія; они заставили ихъ уважать силу человѣческой мысли, которую ревностные моралисты окончательно стерли-бы съ лица земли, еслибы она не оказалась необходимой для созерцанія высшихъ истинъ и для посрамленія разномыслящихъ диспутантовъ; они одни наконецъ подготовили и сдѣлали возможнымъ то искреннее, страстное и трогательное уваженіе, съ которымъ глубоко вѣрующіе діалектики католическаго міра преклонились передъ твореніями проклятаго и великаго язычника Аристотеля.

Умственная эмансипація начинается съ того времени, когда творенія Аристотеля сдѣлались необходимой составной частью и даже фундаментомъ клерикальнаго образованія. Схоластика, обруганная, осмѣянная и превращенная въ синонимъ безсмыслицы счастливыми писателями XVIII вѣка, была первымъ шагомъ средневѣкового ума на пути къ окончательному освобожденію. Дѣло въ томъ, что традиціонная доктрина стала нуждаться въ поддержкѣ со стороны той діалектики, которую средневѣковые мыслители почерпнули изъ Аристотеля. Доктрина, гордившаяся въ былое время девизомъ credo quia absurdum, заключила тѣсный союзъ съ философіей, надѣясь превратить ее въ послушное оборонительное оружіе. Разсчетъ оказался очень невѣрнымъ. Когда мыслителю приказано употребить всю силу его логики на то, чтобы развить изъ даннаго положенія всѣ его послѣдствія, то нѣтъ ни малѣйшаго основанія утверждать, что мыслителю ни подъ какимъ видомъ не придетъ въ голову лукавая и опасная мысль начать изслѣдованіе съ повѣрки того самаго положенія, которое было выдано ему за аксіому, не требующую никакихъ доказательствъ. Можетъ-быть сотни мыслителей обнаружатъ самое похвальное умственное благонравіе и не дотронутся своимъ діалектическимъ оружіемъ до тѣхъ основныхъ положеній, которыя довѣрены ихъ защитѣ. Но если даже на цѣлую тысячу благонравныхъ мыслителей придется хоть одинъ нескромный и недовѣрчивый искатель истины и если этотъ неустрашимый искатель сдвинетъ съ мѣста хоть одинъ тезисъ общеобязательной традиціи, то его дѣла не затушуетъ никогда вся благонравная тысяча.

Средневѣковая доктрина никакъ не могла обходиться безъ содѣйствія метафизики; на метафизикѣ было построено все ея ученіе, въ которомъ уже не было общедоступной и яркой конкретности и рельефности, составлявшихъ силу и популярность древняго политеизма. Метафизикой должна была средневѣковая доктрина защищаться противъ своихъ внутреннихъ враговъ. Метафизика пропитала насквозь всю эту доктрину и понемногу раскрошила весь тотъ строй понятій и гипотезъ, къ которому она была призвана на помощь. Сначала возникло отрицаніе разныхъ дисциплинарныхъ подробностей, потомъ родилась критика политической организаціи, наконецъ дошло дѣло до анализа основной доктрины. Это постепенное разрушеніе продолжается съ XII вѣка до нашего времени, а между тѣмъ средневѣковая организація теоретической власти все еще существуетъ, несмотря на то, что передовые умы уже давно освободились изъ-подъ ея господства.

Живучесть средневѣковой іерархіи обусловливается нѣкоторыми замѣчательными особенностями ея внутренней организаціи. Въ этомъ

Digitized by Google

отношеніи особенно важно то обстоятельство, что клерикальное сословіе пополнялось постоянно изъ всѣхъ классовъ общества, не исключая и низшихъ. Сильныя дарованія прокладывали сыну простого крестьянина дорогу къ высшимъ клерикальнымъ должностямъ и даже къ папскому престолу. Не стѣсняясь въ выборѣ своихъ членовъ никакими посторонними соображеніями, не требуя отъ нихъ ни знатности происхожденія, ни богатства, словомъ—ничего, кромѣ личныхъ достоинствъ, клерикальная корпорація постоянно имѣла въ своемъ распоряженіи огромное количество сильныхъ умовъ и твердыхъ характеровъ и кромѣ того втеченіи многихъ вѣковъ постоянно притягивала къ себѣ и обращала въ свою пользу тѣ дарованія, которыя могли-бы составить ей опасную оппозицію или конкуренцію, еслибы оставались непристроенными къ ея оффиціальной дѣятельности. Набирая себѣ отовсюду даровитыхъ защитниковъ, клерикальная корпорація подвергала ихъ долговременному вліянію тѣхъ идей, за которыя они должны были бороться; она формировала по своему ихъ умъ и характеръ, втягивала ихъ въ кругъ клерикальныхъ понятій и стремленій, испытывала и упражняла ихъ силы на низшихъ ступенькахъ іерархической лѣстницы и допускала ихъ къ вліятельнымъ должностямъ только тогда, когда они, проникнутые насквозь духомъ и тенденціями системы, не имѣли уже ни желанія, ни возможности выбиться изъ традиціонной колеи и пуститься въ какія-нибудь опасныя умствованія или нововведенія. Консервативное направленіе всей корпораціи, соотвѣтствующее вполнѣ характеру самой доктрины, поддерживалось даже тѣмъ, что замѣщеніе всѣхъ должностей производилось не по выбору снизу, а по назначенію сверху. Высшія должностныя лица, дававшія такимъ образомъ импульсъ всему клерикальному организму, были конечно особенно сильно расположены къ охраненію традиціоннаго порядка, во-первыхъ потому, что этотъ порядокъ доставлялъ имъ всѣ наслажденія обширной власти, а во-вторыхъ потому, что они, по давности своего служенія, имѣли возможность сильнѣе своихъ подчиненныхъ втянуться въ корпоративные интересы и проникнуться преданіями клерикальной политики. Безграничная преданность общему дѣлу, доходившая у клерикаловъ до самыхъ грандіозныхъ размѣровъ, объясняется преимущественно тѣмъ, что ихъ безбрачное состояніе отнимало у нихъ возможность увлекаться частными, семейными интересами. Клерикалу, какъ холостяку, надо было или вдаться въ безобразный кутежъ, или посвятить свою жизнь тѣмъ интересамъ корпораціи, которые онъ, по всему складу своихъ понятій, принималъ за высшіе интересы всего человѣчества. Многіе конечно шли по первому пути и превращали жизнь въ грязную оргію, но такъ какъ клерикальная корпорація постоянно забирала въ себя самыхъ умныхъ и даровитыхъ людей, то она и была всегда богата такими личностями, которымъ непремѣнно надо было любить, мыслить и дѣйствовать и которыя должны были обратить на служеніе интересамъ корпораціи всю силу, страстность и глубину своихъ неудовлетворенныхъ стремленій. Безбрачное состояніе клерикаловъ было особенно необходимо для того, чтобы корпорація не превратилась въ замкнутую касту. Еслибы принципъ наслѣдственности водворился въ іерархіи, то, разумѣется, онъ произвелъ-бы немедленное пониженіе ея интеллектуальнаго могущества, и личныя дарованія, оттѣсненныя отъ клерикальныхъ должностей, проложили-бы себѣ какую-нибудь новую дорогу и, привлекая къ себѣ вниманіе и довѣріе общества, подорвали-бы такимъ образомъ значеніе теоретической власти, потерявшей возможность побѣждать своихъ противниковъ превосходствомъ ума и таланта.

XVI.

Средневѣковая организація свѣтскаго общества, то есть феодальная система, сформировалась, по мнѣнію Конта, вслѣдствіе того, что военная дѣятельность, имѣвшая въ древности завоевательный характеръ, начала принимать оборонительное направленіе. Когда римскіе легіоны столкнулись на востокѣ съ парфянами, а на сѣверѣ—съ германцами, тогда дальнѣйшее расширеніе римскихъ владѣній должно было прекратиться. Съ одной стороны, нравы азіятскихъ народовъ, не затронутыхъ эллинизмомъ, были такъ несходны съ нравами римлянъ, что слiяніе между ними было-бы невозможно даже и въ томъ случаѣ, еслибы всѣ военныя предпріятія римлянъ противъ восточныхъ сосѣдей увѣнчивались постоянно полнымъ успѣхомъ. Съ другой стороны, германцы были еще такъ мало привязаны къ землѣ и, въ случаѣ военной неудачи, такъ легко могли покинуть свои жилища и перейти на новыя мѣста, что превратить ихъ въ подданныхъ Римскаго государства не было никакой возможности. Поэтому важнѣйшей обязанностью римскихъ императоровъ сдѣлалось естественнымъ образомъ постоянное охраненіе римскихъ границъ, ежегодно подвергавшихся опустошительнымъ набѣгамъ со стороны неукротимыхъ сѣверныхъ варваровъ. Охраненіе это было тѣмъ болѣе затруднительно, что сѣверная граница Римской имперіи была очень длинна, и почти на всемъ своемъ протяженіи соприкасалась съ жилищами воинственныхъ народовъ германскаго племени. Такъ какъ характеръ оборонительной войны состоитъ именно въ томъ, что инiціатива принадлежитъ противнику, который выбираетъ самъ, по сво-

Digitized by Google

ему благоусмотрѣнію, время и мѣсто своего нападенія,—то, разумѣется, римляне, державшіеся на своихъ границахъ въ оборонительномъ положеніи, принуждены были постоянно поджидать враговъ на всѣхъ пограничныхъ пунктахъ и во всякую данную минуту. Начальники пограничныхъ земель должны были имѣть въ своемъ распоряженіи достаточное количество вооруженныхъ людей, ежеминутно готовыхъ вступить въ сраженіе съ варварами; кромѣ того эти начальники нуждались въ довольно-обширной автономіи; имъ надо было ежеминутно соображаться съ быстро-измѣняющимися обстоятельствами и дѣйствовать рѣшительно, на свой страхъ, не сносясь съ центральнымъ правительствомъ и не дожидаясь отъ него инструкцій и разрѣшеній, которыя въ большей части случаевъ оказывались-бы ненужными или неудобными по своей запоздалости. Начальникъ, постоянно защищающій свой край по своему собственному плану и такими силами, которыя разъ навсегда отданы въ его распоряженіе, долженъ почувствовать рано или поздно, что связь его съ центральной властью слабѣетъ и даже можетъ оборваться, если онъ самъ захочетъ воспользоваться обстоятельствами. Въ честолюбивыхъ желаніяхъ никогда не бываетъ недостатка, и дѣйствительно многіе губернаторы римскихъ провинцій старались отдѣлиться отъ имперіи или по крайней мѣрѣ превратить свою должность въ наслѣдственное достояніе своего семейства.

Если-бы Римская имперія была въ силахъ пересоздать свою внутреннюю организацію сообразно съ измѣнившимися обстоятельствами, то ей пришлось-бы въ III или въ IV вѣкѣ раздробиться такъ точно, какъ раздробилась впослѣдствіи монархія Карла Великаго. Только это раздробленіе могло спасти ее отъ варваровъ; оно было необходимо, потому что централизація, очень удобная для наступательной войны, никуда не годится для оборонительныхъ дѣйствій. Но перерожденіе было уже невозможно. Съ одной стороны, натискъ варваровъ былъ черезчуръ стремительный; съ другой стороны, экономическое изнеможеніе имперіи дошло до такихъ размѣровъ, что число ея жителей стало уменьшаться съ ужасающей быстротой; чѣмъ больше народа погибало отъ голода и отъ разныхъ болѣзней, порожденныхъ лишеніями и страданіями, тѣмъ хуже становилось положеніе тѣхъ, которые оставались въ живыхъ. Фиску, какъ существу безличному и отвлеченному, не было никакого дѣла до народныхъ бѣдствій. Чего не могли заплатить мертвые, то раскладывалось на живыхъ; чѣмъ меньше становилось число работниковъ и плательщиковъ, тѣмъ обременительнѣе дѣлались налоги; чѣмъ больше накоплялось недоимокъ, тѣхъ сильнѣе становились нажимающіе снаряды; пытки сдѣлались необходимымъ вспомогательнымъ средствомъ финансоваго управленія. Народъ былъ до такой степени забитъ, разоренъ, задавленъ и опутанъ громадной сѣтью бюрократической администраціи, что даже послѣднее отчаянное лекарство противъ общественныхъ болѣзней, вооруженное возстаніе, сдѣлалось для него недоступнымъ. Его энергія была убита. При такомъ положеніи дѣлъ остановить вторженіе варваровъ не было никакой возможности. Поэтому феодальная система сложилась только тогда, когда варвары завоевали Римскую имперію и усѣлись въ различныхъ ея провинціяхъ. Послѣ этого завоеванія необходимость оборонительной войны нисколько не прекратилась. Завоевателямъ имперіи грозили со всѣхъ сторонъ новые враги, искавшіе себѣ также добычи или удобныхъ земель для поселенія. Съ юга на Европу надвигались сарацины; съ сѣвера разсыпались по всѣмъ европейскимъ моремъ легкіе корабли скандинавскихъ пиратовъ; съ востока на Германію кидались венгры; въ самой Германіи до временъ Карла Великаго разбойничали саксы; съ береговъ Балтійскаго моря дѣйствовали славяне и пруссы. Всѣ эти разноплеменные враги тревожили Европу отъ VII до XI вѣка, то есть именно въ то время, когда вырабатывалась феодальная организація. Постоянно ведя оборонительныя войны, европейское общество естественнымъ образомъ вылилось въ тѣ формы, которыя всего лучше приспособлены къ оборонѣ. Само собою разумѣется, что характеръ и обычаи германскаго племени наложили на эти формы печать своего вліянія и придали имъ тѣ типическія особенности, съ которыми феодальная система появляется въ средневѣковой исторіи. Безпорядочная и безтолковая воинственность феодальныхъ владѣтелей, обращавшихъ ежеминутно другъ противъ друга тѣ силы, которыми необходимо было отражать общаго врага,—обусловливалась конечно не раздробленіемъ территоріи, а именно темпераментомъ германскихъ завоевателей, еще не укрощенныхъ цивилизаціей и не примѣнившихся къ потребностямъ мирной и разумной общественной жизни. Еслибы вырабатываніе феодальной организаціи досталось на долю какому-нибудь другому народу, болѣе благовоспитанному, то, разумѣется, въ исторіи феодализма оказалось-бы меньше безполезнаго кровопролитія, и временное назначеніе феодализма было-бы выполнено быстрѣе, то есть необходимость постоянныхъ оборонительныхъ войнъ миновалась-бы раньше вслѣдствіе того, что безпокойные сосѣди, отбитые на всѣхъ пунктахъ, были-бы направлены, силою оружія, на дорогу мирнаго гражданскаго и промышленнаго развитія.

Когда прекратились завоевательныя предпріятія римлянъ, тогда положеніе рабовъ стало

Digitized by Google

медленно измѣняться къ лучшему. Невольничьи рынки пополнялись почти исключительно военноплѣнными и вообще всѣми беззащитными людьми, которые захватывались въ непріятельской странѣ римскими легіонами. Пока война была постояннымъ занятіемъ римлянъ и производилась въ самыхъ грандіозныхъ размѣрахъ, сопровождаясь опустошеніемъ цѣлыхъ обширныхъ и богатыхъ государствъ, до тѣхъ поръ рыночная цѣна рабовъ держалась такъ низко, что римскіе вельможи могли покупать себѣ цѣлыя арміи или, какъ говоритъ Плиній, цѣлыя націи невольниковъ, которыхъ жизнь не цѣнилась почти ни во что и которыхъ матеріальное благосостояніе такимъ образомъ не было гарантировано даже личнымъ интересомъ владѣльца. Чтобы охарактеризовать одной чертой тогдашнюю дешевизну человѣческой жизни, достаточно упомянуть о гладіаторскихъ играхъ, которыя для развлеченія державнаго народа губили въ нѣсколько часовъ тысячи молодыхъ, здоровыхъ, сильныхъ и ловкихъ людей. Когда кончились опустошительныя завоеванія, тогда притокъ новыхъ рабовъ прекратился, и такъ какъ привычка расходовать людей безъ счету успѣла пустить въ жизни аристократовъ очень глубокіе корни, то, разумѣется, скоро оказался чувствительный недостатокъ рабочихъ рукъ. Запросъ на людей усилился, а подвоза не было и не предвидѣлось; вслѣдствіе этого цѣна раба должна была повыситься и, соразмѣрно съ этимъ повышеніемъ, должно было улучшиться его положеніе, потому что владѣльцу становилось уже убыточно засѣкать раба до смерти или посылать его на арену за неудачное приготовленіе соуса или за разбитіе какой-нибудь вазы. Такъ какъ рабы для каждаго землевладѣльца были совершенно необходимы, и такъ какъ число рабовъ продолжало быстро уменьшаться вслѣдствіе скаредности хозяевъ, то очевидно покупка рабовъ съ каждымъ десятилѣтіемъ должна была становиться все болѣе и болѣе затруднительной, вслѣдствіе чего владѣльцы должны были все крѣпче и крѣпче держаться за тѣхъ людей, которые уже находились въ ихъ рукахъ. Идя по этому пути, надо было наконецъ придти къ тому убѣжденію, что продавать раба вообще невыгодно, и что рабъ долженъ быть наглухо привязанъ къ той землѣ, которую онъ обрабатываетъ. Конечно это убѣжденіе, превращавшее рабство въ крѣпостную зависимость, не могло имѣть вліянія на судьбу тѣхъ людей, которые окружали особу хозяина и составляли его дворню. Этихъ людей незачѣмъ было прикрѣплять къ землѣ, но продавать ихъ также было невыгодно, потому что дворня состояла обыкновенно изъ ремесленниковъ, а ремесленники при всеобщемъ упадкѣ промышленной предпріимчивости и расторопности съ каждымъ годомъ становились рѣже и цѣннѣе.

Уже одно то обстоятельство, что рабы перестали быть предметомъ вседневной торговли, значительно улучшило ихъ положеніе. Хозяину рабъ дѣлался необходимымъ не только для работы, но и для завода. Хозяинъ для своей-же собственной выгоды долженъ былъ давать рабу возможность производить на свѣтъ и выкармливать здоровыхъ дѣтей. Хозяинъ для этого долженъ былъ доставлять рабу по меньшей мѣрѣ хоть тѣ удобства жизни, которыми пользовались въ благоустроенныхъ скотныхъ дворахъ быки и бараны. Въ сравненіи съ тѣмъ, что было прежде, когда хозяину выгодно было въ три-четыре года выжимать изъ раба всю его рабочую силу и потомъ выбрасывать его вонъ, въ видѣ негоднаго калѣки,—въ сравненіи съ этимъ прежнимъ рабствомъ, говорю я, новое положеніе раба, получившаго одинаковыя права съ быками и баранами, составляло значительное усовершенствованіе. Прикрѣпленный навсегда къ участку земли или къ особѣ хозяина, рабъ могъ уже не только исполнять обязанности заводскаго производителя, но и завязывать прочныя отношенія съ любимой женщиной и вообще пользоваться по крайней мѣрѣ нѣкоторыми правами мужа и отца. Его не разлучали съ женой; малолѣтнихъ дѣтей не отрывали отъ матери; вслѣдствіе этого въ рабскомъ населеніи становится возможнымъ развитіе лучшихъ человѣческихъ чувствъ, за которыми непремѣнно должно слѣдовать постоянно возрастающее сознаніе собственнаго человѣческаго достоинства,—сознаніе, заключающее въ себѣ зародыши грознаго и неподкупнаго суда надъ всѣми неправдами порабощенія и эксплоатаціи.

Католицизмъ узаконилъ и освятилъ семейныя отношенія несвободныхъ людей; бракъ крѣпостного крестьянина получилъ одинаковую силу съ бракомъ барона или короля. Кромѣ того католицизмъ вообще предписалъ крѣпостнымъ исполненіе тѣхъ-же самыхъ нравственныхъ законовъ, которые были обязательны для сильныхъ, знатныхъ и богатыхъ людей. Равенство обязанностей предполагаетъ равенство правъ, и хотя средневѣковые моралисты вовсе не желали придти къ этому послѣднему заключенію, однако-же оно было неизбѣжно, и къ нему стремились постоянно тѣ люди, для которыхъ оно было особенно обаятельно и интересно. Сравнивая свое поведеніе съ поведеніемъ своего барона, какой-нибудь честный мужикъ легко могъ придти къ той мысли, что онъ, мужикъ, исполняетъ въ отношеніи къ барону всѣ свои нравственныя обязанности, и что, напротивъ того, баронъ всѣ свои обязанности ежеминутно нарушаетъ; мужикъ легко могъ сообразить, что увлекающагося или заблуждающагося барона не мѣшало-бы, для его же собственной пользы, наставлять на путь истины матеріальной силой,

Digitized by Google

составляющей самое общеупотребительное лекарство противъ всякихъ мужицкихъ заблужденій или увлеченій. Мужикъ видѣлъ, какъ его баронъ круто и рѣшительно расправлялся съ своими обидчиками, не обращая вниманія на ихъ высокое положеніе въ свѣтскомъ обществѣ или даже въ церковной іерархіи; мужикъ зналъ, что его баронъ воюетъ съ епископомъ или отсиживается въ своемъ крѣпкомъ замкѣ отъ королевскаго войска. Этотъ примѣръ непремѣнно долженъ былъ дѣйствовать заразительно на такого человѣка, для котораго сопротивленіе составляло насущную необходимость, потому что этому человѣку приходилось отстаивать не богатство, а послѣдній кусокъ черствaго хлѣба, облитаго потомъ и слезами. Такимъ образомъ обѣ средневѣковыя власти, теоретическая и практическая, оказали мужику по одному невольному, но тѣмъ не менѣе капитальному благодѣянію; первая, наложивши на мужика нравственныя обязанности, воспитала въ немъ чувство собственнаго достоинства; вторая поясняла ему, посредствомъ наглядnаго обученія, какими способами слѣдуетъ защищать это достоинство противъ посягательствъ различныхъ нахаловъ и буяновъ. Мужикъ оказался ученикомъ понятливымъ и даровитымъ.

Одинъ изъ самыхъ популярныхъ средневѣковыхъ романовъ, «Roman de Rou», рисуетъ слѣдующими крупными чертами господствующее настроеніе угнетенныхъ массъ. «Господа,—размышляетъ грубое мужичье,—не дѣлаютъ намъ ничего, кромѣ зла; мы отъ нихъ не можемъ добиться ни добросовѣстности, ни справедливости, они всѣмъ владѣютъ, все себѣ позволяютъ, все поѣдаютъ, а насъ заставляютъ жить въ бѣдности и въ печали. Для насъ каждый день—тяжелый день; нѣтъ у насъ ни одного спокойнаго часа; мы завалены повинностями и поборами, оброками и барщиной. И съ какой стати мы все это терпимъ? Вырвемся изъ-подъ ихъ власти; мы - такіе-же люди, какъ они; у насъ тѣ-же члены, тотъ-же ростъ, та-же сила, то-же терпѣніе, и насъ сто противъ одного. Будемъ защищаться противъ рыцарей, будемъ крѣпко стоять другъ за друга, и никто надъ нами не станетъ барствовать, и мы будемъ рубить себѣ лѣсъ, будемъ ловить дичь въ лѣсу и рыбу въ прудахъ, и будемъ все дѣлать по своему, и въ лѣсахъ, и на лугахъ, и на водѣ.» (Laurent, «Féodalité et l'église», p. 599.) Размышленія, приписанныя мужикамъ, вовсе не выдуманы самимъ поэтомъ; такія размышленія существовали въ живой дѣйствительности и приносили обильные плоды. Всѣ обиженные классы средневѣкового общества постоянно волновались, и, разумѣется, только одни эти волненія вынудили у господствующаго сословія такія уступки, которыя расшатали феодальную систему и выработали изъ себя основные элементы новой государственной и общественной жизни, очень неудовлетворительной, но по крайней мѣрѣ способной развиваться и совершенствоваться. Требованія мужиковъ и мѣщанъ были обыкновенно чрезвычайно умѣренны; они желали мира, правильнаго суда и точнаго опредѣленія денежныхъ и натуральныхъ повинностей. Обѣ власти, феодальная и клерикальная, видѣли въ такихъ требованіяхъ неслыханную и непростительную дерзость. Рыцари дѣйствовали противъ этихъ претензій силою оружія, а папы и епископы — силою самыхъ усердныхъ молитвъ и самыхъ торжественныхъ проклятій.

Въ концѣ XII вѣка (1172 г.) въ низшихъ слояхъ французской націи началось обширное движеніе, направленное противъ безтолковыхъ феодальныхъ междоусобій и противъ безсовѣстныхъ барскихъ притѣсненій. Плотникъ Дюранъ пришелъ къ епископу города Пюи и объявилъ ему, что Мадонна приказала ему, Дюрану, проповѣдывать людямъ миръ; въ доказательство своихъ словъ Дюранъ показывалъ пергаментъ, полученный имъ съ неба; на пергаментѣ была нарисована Мадонна, держащая на рукахъ младенца; кругомъ изображенія было написано: «Агнецъ божій, принявшій на себя грѣхи міра, пошли намъ миръ!»—Епископъ прогналъ отъ себя посланника Мадонны; народъ сначала посмѣялся надъ его проповѣдью, однако черезъ нѣсколько дней къ Дюрану присоединилось больше ста человѣкъ; въ началѣ слѣдующаго, 1173, года число его учениковъ дошло до пяти тысячъ; черезъ нѣсколько мѣсяцевъ движеніе охватило всю Францію. Послѣдователи Дюрана называли себя *братьями мира* и устроили себѣ особенный костюмъ,—бѣлый полотняный или шерстяной капюшонъ. Когда *братьевъ мира* или *капюшонниковъ* оказалось уже очень много, тогда они взялись за свое дѣло очень серьезно и съ большой энергіей. Они рѣшились силой оружія водворить и поддерживать миръ на всемъ пространствѣ своего отечества. Началось радикальное исправленіе феодальныхъ нравовъ посредствомъ матеріальной силы. *Братья мира* стали давать генеральныя сраженія тѣмъ баронамъ, которые, не слушая ихъ увѣщаній, продолжали нарушать общественное спокойствіе своими глупыми раздорами. Особенно ревностно и успѣшно *братья мира* занялись преслѣдованіемъ наемныхъ дружинъ, такъ называемыхъ *рутьеровъ* или *брабансоновъ*, составившихъ себѣ печальную знаменитость самыми безобразными злодѣяніями. Въ одномъ сраженіи *братья мира* истребили отъ десяти до двѣнадцати тысячъ этихъ бандитовъ. Пропаганда Дюрана усилилась до такой степени, что въ его братство стали поступать мужчины и женщины изъ всѣхъ сословій: монахи, аббаты, епископы,

Digitized by Google

рыцари, графы надѣвали бѣлый капюшонъ и клялись охранять общественное спокойствіе; безтолковыя феодальныя войны очевидно начали тяготить даже самихъ бойцовъ.

Неизвѣстно, чѣмъ-бы кончилось движеніе *капюшонниковъ*, еслибы оно не возстановило противъ себя всѣхъ высшихъ сословій, принявши чисто-соціальное направленіе, находившееся впрочемъ въ самой тѣсной логической связи съ его основными стремленіями. Если *капюшонники* хотѣли водворить миръ, то, разумѣется, имъ невозможно было смотрѣть равнодушно на ту постоянную глухую войну, которую каждый феодалъ велъ ежедневно съ своими крестьянами, заваливая ихъ работой, отнимая у нихъ имущество и подвергая ихъ, по своему благоусмотрѣнію, тѣлеснымъ и всякимъ другимъ наказаніямъ. *Братья мира* вмѣшались въ домашнія дѣла земледѣльческой аристократіи. «До того дошло ихъ неистовое безуміе,—пишетъ въ своей хроникѣ одинъ благочестивый канонникъ,—что глупый этотъ народъ предписалъ графамъ обращаться съ подданными снисходительнѣе прежняго.» Такое неистовое безуміе, клонившееся дѣйствительно къ уничтоженію крѣпостной зависимости, заслуживало конечно самаго строгаго наказанія. Представители обѣихъ властей сообразили наконецъ, что наряжаться въ бѣлые капюшоны и кокетничать съ идеями всеобщаго мира — значитъ подкапывать тотъ самый порядокъ, который даетъ имъ деньги, господство и всѣ прочія житейскія удовольствія. Бароны и епископы соединили всѣ свои силы противъ общаго врага и въ началѣ XIII вѣка стерли съ лица земли опасныхъ негодяевъ, осмѣлившихся завести рѣчь о какой-то безнравственной снисходительности. При этомъ удобномъ случаѣ нѣкоторые прелаты обезсмертили свои имена тѣмъ пламеннымъ усердіемъ и той спасительной свирѣпостью, съ которыми они принялись вырѣзывать и выжигать изъ сознанія французской націи *неистовое безуміе* и ядовитую ересь плотника Дюрана.

Этотъ разсказъ показываетъ ясно, до какой степени правы тѣ почтенные люди, которые утверждаютъ у насъ и заграницей, что все происходитъ къ лучшему въ этомъ лучшемъ изъ міровъ, что демократія нуждается въ долговременномъ пребываніи подъ разнообразными педагогическими ферулами, и что простой народъ всѣми своими добрыми чувствами и помышленіями обязанъ исключительно благотворному вліянію обѣихъ властей, теоретической и практической, въ особенности первой, — впрочемъ и второй, тоже въ особенности. Въ самомъ дѣлѣ, еслибы теорія и практика, соединившись вмѣстѣ, не урезонили глупаго плотника Дюрана, то Франція имѣла-бы несчастье пользоваться съ XIII вѣка свободой промышленности, равенствомъ гражданъ предъ закономъ и разными другими преждевременными затѣями, которыя, по соображеніямъ всѣхъ философствующихъ историковъ, въ томъ числѣ и Конта, имѣли право утвердиться на земномъ шарѣ никакъ не раньше XVIII столѣтія. Епископы и бароны спасли Францію отъ этой ужасной опасности и, совершивши въ золотой вѣкъ своего господства цѣлый рядъ такихъ-же блестящихъ и полезныхъ подвиговъ, упрочили за собой безсмертное право на уваженіе и признательность всего человѣчества вообще, и философствующихъ историковъ въ особенности. Милль говоритъ, что тѣ люди, которые сомнѣваются въ возможности превратить исторію въ науку, отложатъ свои сомнѣнія, познакомившись съ трудами Конта. Дѣйствительно, Контъ убѣждаетъ и увлекаетъ читателя силою своего отвлеченнаго анализа Но какъ только читатель обращается къ живымъ историческимъ фактамъ, такъ въ умѣ его пробуждаются снова прежнія сомнѣнія и прежній взглядъ на исторію, какъ на громадный арсеналъ, изъ котораго всѣ политическія партіи могутъ брать себѣ всевозможные аргументы.

XVII.

Клерикально-военная организація средневѣкового европейскаго общества въ самый цвѣтущій періодъ своего существованія заключала въ себѣ зародыши неизбѣжнаго и близкаго разложенія. Обѣ власти, духовная или теоретическая (pouvor spirituel) и свѣтская или практическая (pouvoir temporel), не могли жить между собою въ добромъ согласіи, потому что между ними не было и никогда не могло быть ясно обозначенной пограничной линіи. Папы враждовали постоянно съ императорами и съ королями; въ разгарѣ борьбы обѣ воюющія стороны старались какъ можно торжественнѣе взводить другъ на друга такія скандальныя обвиненія, которыя, возобновляясь изъ года въ годъ, непремѣнно должны были поколебать и наконецъ уничтожить почтительныя чувства самыхъ простодушныхъ и благочестивыхъ людей. Разрушительнѣе всякихъ обвиненій дѣйствовали тѣ общія теоріи, которыми папа и императоръ поражали другъ друга и которыя черезъ нѣсколько времени были обращены съ полнымъ успѣхомъ какъ противъ папы, такъ и противъ императора. Папы утверждали постоянно, что подданные имѣютъ полное право и даже обязаны поднимать оружіе противъ государя, запятнавшаго себя ересью или снисхожденіемъ къ еретикамъ. Свѣтскіе владыки съ своей стороны утверждали такъ-же настойчиво, что папы не имѣютъ никакого права вмѣшиваться въ область международныхъ отношеній, политики и государственнаго управленія. Понятно, какіе результаты должны были развиться

Digitized by Google

изъ подобныхъ разсужденій, провозглашавшихся во всеуслышаніе.

Если подданные, для спасенія своихъ душъ, обязаны сопротивляться царствующему еретику, то, разумѣется, на этихъ подданныхъ налагается священная обязанность тщательно контролировать все поведеніе владѣтельной особы для того, чтобы замѣтить во-время приближеніе опасности, то есть зловѣщіе признаки ереси. А что̀ такое ересь? Вѣрнѣе было-бы спросить: что такое не ересь? Другими словами, есть-ли такой поступокъ, который въ случаѣ надобности не могъ бы превратиться въ обвинительный пунктъ. Если властелинъ не соблюдаетъ постовъ, онъ—еретикъ. Если онъ держитъ при себѣ, въ качествѣ лейбъ-медика, ученаго еврея или араба, онъ — еретикъ. Если онъ не вѣшаетъ и не сжигаетъ евреевъ, колдуновъ, сарациновъ и вольнодумцевъ,—онъ еретикъ. Если онъ женится на дочери такого владѣтеля, на котораго сердится папа,—онъ еретикъ. Наконецъ всякое нарушеніе божескаго закона, всякая несправедливость, всякое притѣсненіе, всякій тяжелый налогъ, всякая безполезная война могутъ также съ полнымъ удобствомъ превратиться въ ересь. Клерикалы имѣли, правда, обыкновеніе смотрѣть сквозь пальцы на такіе проступки, которые не заключали въ себѣ прямыхъ посягательствъ на выгоды ихъ корпораціи. Но нетрудно было предвидѣть, что народъ, пріученный своими пастырями разсуждать о ересяхъ высшаго начальства, обратитъ непремѣнно развернувшуюся силу анализа именно противъ тѣхъ проступковъ, къ которымъ пастыри относятся равнодушно и которые тѣмъ не менѣе ложатся самымъ тяжелымъ бременемъ на его экономическое существованіе,—словомъ, ультрамонтанская теорія сопротивленія вѣнценоснымъ еретикамъ, проведенная въ народное сознаніе съ самыми возвышенными и трансцедентальными цѣлями, порождаетъ изъ себя самымъ логическимъ путемъ, при содѣйствіи папскихъ посланій и соборныхъ уложеній, тѣ знаменитыя droit de résistance и droit d'insurrection, которыя были провозглашаемы въ концѣ прошлаго столѣтія французскими національными собраніями.

Съ другой стороны, императорская теорія о невмѣшательствѣ папы въ свѣтскія дѣла приводитъ къ такимъ-же точно неожиданно-радикальнымъ результатамъ. Если папѣ не должно быть никакого дѣла до политики, то онъ теряетъ всякое право и всякую возможность блюсти чистоту доктрины. Предположимъ, что король ведетъ войну со своимъ сосѣдомъ, преступнымъ покровителемъ проклятыхъ еретиковъ. Давши другъ другу достаточное количество кровопролитныхъ сраженій и взявши другъ у друга достаточное количество укрѣпленныхъ городовъ, воинственные сосѣди начинаютъ переговоры. Папа запрещаетъ заключать миръ, доказывая совершенно основательно, что между католикомъ и еретикомъ не должно быть никакихъ трактатовъ и никакихъ сношеній, кромѣ истребительной войны. Папѣ отвѣчаютъ, что это—совсѣмъ не его дѣло. Католическая держава становится добрымъ сосѣдомъ неисправимаго еретика. Нарушеніе доктрины оказывается очевиднымъ, и блюстителю ея чистоты велѣно хранить скромное молчаніе. Далѣе еретики сосѣдняго государства пріѣзжаютъ въ католическіе города, заводятъ въ нихъ свои лавки, мастерскія, конторы и, расположившись, начинаютъ отправлять открыто свои поганыя церемоніи. Папа, глядя на это безобразіе, приказываетъ епископамъ дѣйствовать. Епископы отдаютъ своимъ подчиненнымъ приказаніе хватать, вѣшать, жечь, однимъ словомъ,—возстановлять чистоту и порядокъ. Подчиненные отвѣчаютъ: «нельзя; не велѣно. Заключенъ трактатъ о взаимной вѣротерпимости». Епископы обращаются къ высшимъ властямъ.—Власти отвѣчаютъ: «сидите смирно. Это не ваше дѣло—политика». Далѣе одинъ изъ еретиковъ пускаетъ въ продажу книгу, въ которой излагаются неподходящія умствованія. Епископы опять приходятъ въ азартъ. Имъ опять говорятъ: «не волнуйтесь. Это—политика».—Оно конечно, все это политика, но вѣдь посредствомъ политики можно дойти и до вѣротерпимости, и до индифферентизма, и до скептицизма, и такъ далѣе, и такъ далѣе, вплоть до Молешота и Бюхнера. А епископы вмѣстѣ съ папой во все это время должны сидѣть сложа ручки и потупивъ глазки. Спрашиваю я васъ, развѣ это хорошо? И на что̀ это похоже? И какія-же послѣ этого дѣйствительныя права остаются за папою и за епископами? Права возводить очи къ небу и произносить чувствительныя рѣчи? Согласитесь, что на такихъ правахъ далеко не уѣдешь, тѣмъ болѣе, что этими самыми правами пользуется безпрепятственно самый скромный изъ протестантскихъ пасторовъ.

Само собою разумѣется, что папы не желали прокладывать дорогу французскимъ революціонерамъ, что императоры не питали никакой нѣжности къ философіи Фейербаха. Но дѣло въ томъ, что идеи растутъ и развиваются своими собственными силами, не спрашивая позволенія у тѣхъ людей, которые въ первый разъ выпустили ихъ на свѣтъ. Произнося какое нибудь сужденіе, вы отдаете вашу мысль всѣмъ вашимъ слушателямъ, и тутъ начинается длинный рядъ такихъ умозаключеній, которыхъ вы никакъ не могли предвидѣть. Чѣмъ многочисленнѣе ваша аудиторія, тѣмъ разностороннѣе будетъ обсужденіе и разсматриваніе вашей мысли и тѣмъ многочисленнѣе будутъ тѣ послѣдствія и приложенія, къ которымъ ваша мысль послужитъ поводомъ. Аудиторія папъ и импе-

Digitized by Google

раторовъ была безконечно велика; они говорили передъ цѣлыми народами, и ихъ мысли обсуждались и комментировались многими поколѣніями. Мудрено-ли, что отъ такой аудиторіи не ускользнулъ ни одинъ изъ возможныхъ выводовъ, и что коллективный умъ Европы оказался гораздо сильнѣе и дальновиднѣе единичныхъ умовъ ея средневѣковыхъ наставниковъ? А если это нисколько немудрено, то немудрено и то, что Европа вывела изъ папскихъ и королевскихъ теорій такія умозаключенія, которыхъ не замѣчали и не желали получить ни короли, ни папы.

Кромѣ основного антагонизма, существовавшаго между обѣими властями, теоретической и практической,—въ каждой изъ этихъ властей скрывались еще источники внутреннихъ раздоровъ, вслѣдствіе которыхъ общее разложеніе всей системы становилось еще болѣе неизбѣжнымъ. Враждуя съ императоромъ и съ королями, папа кромѣ того ссорился постоянно со своими подчиненными, то есть—епископами, аббатами и докторами теологіи, стоявшими за права и за самостоятельность отдѣльныхъ національныхъ церквей. Ведя борьбу съ папою, императоръ и короли кромѣ того враждовали постоянно со своими вассалами, съ разными герцогами, графами и баронами, которые то старались расширить свои права, то принуждены были защищаться противъ захватовъ центральной власти.

Средневѣковое statu quo никакъ не могло быть прочнымъ, потому что оно состояло изъ зародышей нѣсколькихъ политическихъ системъ, взаимно исключавшихъ другъ друга: каждый изъ этихъ зародышей стремился къ развитію, а чтобы развиться, ему надо было задушить и проглотить другіе зародыши, образовавшіе вмѣстѣ съ нимъ данное statu quo. При такихъ условіяхъ борьба была неизбѣжна, и результатомъ борьбы должно было оказаться развитіе какого-нибудь одного зародыша и подавленіе остальныхъ, что во всякомъ случаѣ вело за собою радикальное измѣненіе средневѣковой общественности.

Всѣ враждущіе элементы средневѣковаго общества стояли на почвѣ одной общей доктрины, которая для всѣхъ была одинаково обязательна и ненарушима. Интересы у всѣхъ враждующихъ элементовъ были, напротивъ того, различны или, вѣрнѣе, взаимно противуположны. Задача каждой воюющей стороны состояла въ томъ, чтобы ссылками на общеобязательную доктрину оправдать свои собственныя притязанія и опровергнуть притязанія противниковъ. Другими словами, надо было посредствомъ искусной аргументаціи приноровить доктрину къ интересамъ. На первый взглядъ можетъ показаться, что аргументація тутъ ни на что не нужна. Всякому извѣстно, что право сильнаго—самое лучшее и самое надежное изъ всѣхъ возможныхъ правъ. Ну, стало быть, кто сильнѣе—тотъ ступай и бери себѣ преспокойно все, что̀ ему желательно получить; а слабѣйшій въ это время пускай ссылается на высокія истины и аргументируетъ съ горя, сколько душѣ его будетъ угодно. Это вѣрно: сила всегда рѣшаетъ дѣло. Но теперь возникаютъ два вопроса. Во-первыхъ, что̀ значитъ быть сильнѣйшимъ? И во-вторыхъ, какими средствами можно привлечь на свою сторону силу, рѣшающую дѣло? Въ такой борьбѣ, какую вели между собою разнородные элементы средневѣковаго общества, быть сильнѣйшимъ значитъ очевидно имѣть въ своемъ распоряженіи бо́льшую толпу людей и бо́льшую массу матеріальныхъ средствъ. Какимъ-же образомъ собрать эти средства и сгруппировать людей? Приказать людямъ, чтобы они пришли и принесли съ собою деньги и продукты? Это средство очень просто и употребляется съ полнымъ успѣхомъ сильными и организованными правительствами современной Европы,—правительствами, которыя внутри государства не встрѣчаютъ себѣ никакихъ соперниковъ. Но когда споръ идетъ именно о томъ, кому быть въ данной странѣ правительствомъ—папѣ или королю, папѣ или епископамъ, королю или баронамъ,—тогда простое приказаніе оказывается безсильнымъ и неумѣстнымъ. Тогда первый и самый важный актъ борьбы,—собираніе силъ, отъ которыхъ будетъ зависѣть исходъ дѣла,—принимаетъ видъ состязательнаго процесса, причемъ роль присяжныхъ достается всей массѣ народонаселенія,—той самой безгласной, задавленной и невѣжественной массѣ, на которую сильные міра до борьбы и послѣ побѣды не обращаютъ обыкновенно никакого вниманія. Подкупить этихъ присяжныхъ нѣтъ возможности. Чѣмъ вы подкупите цѣлый народъ, отъ котораго кромѣ того вы сами ожидаете себѣ всѣхъ благъ земныхъ, и богатства, и власти, и славы? Запугать ихъ тоже невозможно, потому что они сами должны составить ядро той силы, которая будетъ запугивать и увлекать другихъ. Остается одно средство—убѣдить, то есть написать на своемъ знаменіи имя любимой идеи и доказать всѣми правдами и неправдами искусной и увлекательной аргументаціи, что сущность вашего дѣла дѣйствительно соотвѣтствуетъ его обольстительной вывѣскѣ. Значитъ, аргументація необходима для собиранія силъ и слѣдовательно для успѣшнаго исхода всей борьбы. Лютеръ увлекъ своей аргументаціей сотни слушателей, эти сотни сообщили свое увлеченіе десяткамъ тысячъ, десятки тысячъ потянули за собою милліоны,—и пошло, и пошло, и образовалась наконецъ та грозная сила, которая произвела громадный

Digitized by Google

переворотъ и втеченіи столѣтія выдерживала съ полнымъ успѣхомъ натискъ католическихъ державъ.

Аргументація начала играть въ исторіи особенно важную роль съ того времени, какъ массы начали размышлять. Аргументація сохранитъ свое преобладающее вліяніе до тѣхъ поръ, пока массы не выучатся распознавать безошибочно свои собственныя выгоды. Когда водворится это безошибочное распознаваніе, основанное на отчетливомъ пониманіи законовъ природы, тогда масса перестанетъ служить орудіемъ честолюбивыхъ аргументаторовъ. Тогда невозможно будетъ увлекать массу въ такія движенія, въ которыхъ она исправляетъ должность кошки, вытаскивающей изъ горячей золы каштаны для прожорливой мартышки. Но что̀ будетъ невозможно тогда, въ счастливыя времена трезваго благоразумія и положительнаго знанія, то было неизбѣжно въ періодъ разложенія средневѣковыхъ идей и учрежденій. Тогда каждый изъ состязавшихся общественныхъ элементовъ аргументировалъ напропалую, строилъ на общемъ фундаментѣ обязательной доктрины свою собственную хитрую теорію, обращался къ массамъ во имя высшихъ неземныхъ интересовъ, фанатизировалъ простыхъ людей пламенными рѣчами, натравливалъ ихъ другъ на друга и заливалъ рѣками человѣческой крови ту землю, на которой онъ хотѣлъ основать свое господство и на которой для фанатизированной массы готовилась попрежнему мрачная будущность неблагодарнаго труда и безотвѣтнаго повиновенія.

XVIII.

Необходимость искусной аргументаціи породила цѣлые многочисленные классы и корпораціи ученыхъ, записныхъ, неутомимыхъ и неистощимыхъ аргументаторовъ, мастеровъ діалектическаго дѣла, безстрашныхъ рыцарей рогатаго силлогизма, которые во время продолжительнаго разложенія средневѣковыхъ формъ незамѣтно прибрали къ рукамъ обѣ отрасли власти—теоретическую и практическую. Споры папъ съ національными церквами рѣшались сочиненіями и рѣчами докторовъ теологіи, посѣдѣвшими надъ фоліантами Аристотеля, Ѳомы Аквинскаго и Альберта Великаго. Споры королей съ графами и баронами рѣшались приговорами опытныхъ юристовъ или легистовъ, потратившихъ лучшіе годы жизни на изученіе всѣхъ тонкостей Юстиніанова кодекса, знаменитыхъ римскихъ юрисконсультовъ и безчисленныхъ особенностей феодальнаго обычнаго права (droit coutumier). Главное достоинство легистовъ и теологовъ состояло въ томъ, что они всегда знали заранѣе, на чью сторону должны склониться вѣсы правосудія, и что вся ихъ кружевная, художественная аргументація приводила ихъ аккуратно къ тому окончательному рѣшенію, къ которому слѣдовало придти, принимая въ соображеніе обстоятельства времени, мѣста и политической атмосферы. Кого надо было уморить—тотъ умиралъ; кого надо было отрѣшить отъ должности—тотъ отрѣшался; кого надо было обобрать—тотъ и обирался; и все это совершалось съ соблюденіемъ всѣхъ законовъ формальной логики и съ подведеніемъ неизмѣримаго количества цитатъ, статей, пунктовъ, папскихъ буллъ и соборныхъ уложеній. Что-же касается до враждебныхъ столкновеній королей съ папами, то здѣсь, при рѣшеніи этихъ спорныхъ вопросовъ, волны юридическаго краснорѣчія сливались съ потоками теологической учености на черезполосныхъ владѣніяхъ государственной исторіи и каноническаго права. Такимъ образомъ испытанные въ бояхъ аргументаторы вѣдали и рѣшали важнѣйшіе вопросы тогдашняго мудренаго времени, богато одареннаго всевозможной путаницей идей, страстей, интересовъ и стремленій. Аргументаторы эти, несмотря на различіе костюма, образа жизни и общественнаго положенія, всѣ безъ исключенія были метафизиками. Это обстоятельство приводитъ меня къ вопросу о томъ, что такое метафизика, и въ чемъ состоятъ типическія особенности метафизическаго мышленія?

По времени своего развитія и процвѣтанія метафизика занимаетъ середину между теософіей и положительной наукой. Метафизика родилась тогда, когда теософія склонилась къ упадку,—и начала дряхлѣть тогда, когда возмужала положительная наука. Это историческое положеніе метафизики опредѣляетъ собою всѣ основныя черты ея характера Метафизика могла возникнуть именно только въ такое время и только при подобныхъ обстоятельствахъ. Спрашивается: что̀ можетъ сдѣлать человѣческій умъ, въ которомъ уже пробудилась потребность размышлять и у котораго въ то-же время еще нѣтъ достаточныхъ и достовѣрныхъ свѣдѣній ни объ явленіяхъ и законахъ окружающаго міра, ни о размѣрахъ собственныхъ силъ?—Обрѣтаясь въ счастливомъ невѣдѣніи трудностей и невозможностей, такой умъ съ юношеской самонадѣянностью будетъ бросаться какъ-разъ на самые неразрѣшимые вопросы, во-первыхъ потому, что эти вопросы имѣютъ особенно величественную физіономію, а во-вторыхъ потому, что для ихъ постановки не требуется никакихъ предварительныхъ точныхъ знаній. — Соображая очень основательно, что свидѣтельства пяти чувствъ не могутъ дать на величественные вопросы никакихъ отвѣтовъ, начинающій умъ относится съ презрительнымъ равнодушіемъ къ опыту и наблюденію и для отысканія истины полагается исключительно на свою собственную логическую силу. Отважно пускаясь въ работу, умъ производитъ цѣлыя груды логическихъ вы-

Digitized by Google

кладокъ, недопускающихъ никакой повѣрки и неимѣющихъ никакого соотношенія съ явленіями и законами существующаго міра. Вся масса этихъ логическихъ построеній называется метафизикой. Но, чтобы вести какое-бы то ни было логическое разсужденіе, надо непремѣнно имѣть исходную точку. Чтобы построить логическимъ путемъ систему мірозданія, метафизикъ непремѣнно долженъ положить въ основаніе всего изслѣдованія какую-нибудь несомнѣнную непоколебимую аксіому, такъ точно, какъ Архимедъ, чтобы перевернуть землю, непремѣнно долженъ былъ отыскать сначала твердую точку опоры. Эту необходимую аксіому, эту твердую точку опоры сама логика создать не можетъ, потому что логика вообще не создаетъ ничего, а только разрабатываетъ уже созданный и собранный матеріалъ. Откуда-же возьметъ метафизикъ ту аксіому, безъ которой не можетъ начаться его работа? Онъ долженъ брать ее непремѣнно изъ области воображенія или изъ той области опыта и наблюденія, на которую онъ съ высоты своего призрачнаго величія бросаетъ убійственно-презрительные взгляды.

Если мы теперь припомнимъ, что метафизика составляетъ промежуточную инстанцію между увядающей теософіей и расцвѣтающей наукой, то намъ не трудно будетъ сообразить, что метафизику приходится брать матеріалы для логическихъ работъ съ одной стороны изъ теософіи, съ другой стороны—изъ положительной науки. Самой метафизикѣ принадлежитъ только та діалектическая паутина, которую она прикрѣпляетъ къ различнымъ твердымъ тезизамъ, изготовленнымъ теософіей или наукой. Достоинство діалектическаго построенія можетъ быть очень различно, но во всякомъ случаѣ оно находится въ прямой зависимости отъ достоинства тѣхъ тезисовъ, которые были положены въ основаніе. Если основные тезисы вѣрны, вся система имѣетъ нѣкоторые шансы оказаться правдоподобной. Если основные тезисы фантастичны, общій результатъ будетъ навѣрное очень уродливъ. Находясь на рубежѣ двухъ областей, метафизика имѣетъ вообще двусмысленный, подвижной и измѣнчивый характеръ. Чѣмъ ближе стоятъ ея отдѣльные представители къ области традиціонныхъ доктринъ, тѣмъ сильнѣе оказывается въ ихъ произведеніяхъ элементъ фантазіи, потому что тѣмъ большее количество тезисовъ берется изъ теософіи. По мѣрѣ того какъ мы приближаемся къ настоящему времени, по мѣрѣ того какъ усиливается преобладаніе положительной науки, метафизическія системы становятся трезвѣе, разумнѣе и скромнѣе, потому что всѣ или почти всѣ тезисы берутся изъ опыта и наблюденія. Ѳома Аквинскій и Альбертъ Великій съ одной стороны, Гельвецій и Фейербахъ съ другой стороны, оказываются всѣ четверо несомнѣнными метафизиками, несмотря на то, что первые двое стоятъ твердо на почвѣ традиціи, а послѣдніе примыкаютъ самымъ тѣснымъ образомъ къ даннымъ положительнаго знанія. Между двумя обозначенными крайностями можно было-бы вставить всѣ промежуточныя звенья, такъ что Гельвецій оказался-бы законнымъ потомкомъ Ѳомы Аквинскаго, и такъ что мы увидѣли-бы ясно, какимъ образомъ потокъ метафизическаго мышленія постоянно очищался отъ остатковъ традиціи и постоянно обогащался тезисами положительной науки.

У читателя родился теперь быть можетъ вопросъ: да почему-же Ѳома Аквинскій—метафизикъ? И если онъ метафизикъ, то гдѣ-же ясная граница между метафизикомъ и чистымъ теологомъ?

На это я отвѣчу, что въ той фазѣ теологической философіи, къ которой относится дѣятельность Ѳомы Аквинскаго, требуемую границу показать довольно трудно, потому что нѣкоторая доля метафизики примѣшивается неизбѣжно ко всякой теософіи, кромѣ чистаго первобытнаго фетишизма, о которомъ я говорилъ подробно въ началѣ этой статьи. Впрочемъ существенное различіе обоихъ элементовъ обнаружится тотчасъ, если мы попробуемъ сравнить Ѳому Аквинскаго съ какимъ-нибудь основателемъ религіи, напримѣръ съ Магометомъ. Магометъ объявляетъ аравитянамъ, что онъ—посланникъ Аллаха, и что Аллахъ даетъ людямъ такія-то и такія-то приказанія. При этомъ Магометъ нисколько не старается доказать своимъ слушателямъ посредствомъ логическихъ аргументовъ разумность или правдивость своихъ словъ. Онъ не разсуждаетъ, не диспутируетъ, а приказываетъ и требуетъ себѣ безусловнаго повиновенія во имя своего исключительнаго положенія, то есть во имя своего посланничества. Позднѣйшіе вѣрующіе комментаторы Корана, напротивъ того, нисколько не думаютъ присвоивать себѣ тѣ исключительныя права, которыми пользовался самъ Магометъ. Слова учителя эти комментаторы принимаютъ на вѣру, какъ несомнѣнную истину, но они не могутъ и не хотятъ требовать, чтобы читатели принимали ихъ собственные комментаріи также на вѣру. Эти комментаторы не выдаютъ своихъ произведеній за внушенія Аллаха и поэтому хотятъ дѣйствовать на читателей одной внутренней силой логической убѣдительности. Въ сочиненіяхъ такихъ комментаторовъ оказываются обязательными для мусульманскихъ читателей только основные тезисы, взятые цѣликомъ изъ Магомета. Что-же касается до діалектическихъ узоровъ, которыми обставлены или опутаны эти тезисы, то они обязательны настолько, насколько въ нихъ соблюдены законы человѣческой логики. Этимъ діалектическимъ узорамъ можно противупоставлять другіе узоры, вовсе на нихъ не похожіе, оставаясь

Digitized by Google

при всемъ томъ безукоризненнымъ вѣрующимъ сектаторомъ Магомета. Если мы обратимся теперь къ Ѳомѣ Аквинскому, то мы увидимъ, что онъ, какъ двѣ капли воды, похожъ на вышеуказанныхъ комментаторовъ и нисколько не похожъ на Магомета. Вслѣдствіе этого онъ вмѣстѣ съ комментаторами Корана попадаетъ въ разрядъ метафизиковъ, то есть такихъ людей, которые размышляютъ, диспутируютъ, аргументируютъ и умозаключаютъ, обращаясь постоянно не къ вѣрѣ, а къ разсудку слушателей и читателей, обязанныхъ вѣрить только основнымъ тезисамъ, а не прибавленіямъ и поясненіямъ толкователя.

До сихъ поръ я говорилъ о *чистой* метафизикѣ, которая, опираясь на нѣсколько тезисовъ, недостаточныхъ по количеству или никуда негодныхъ по качеству, старалась съ юношеской смѣлостью и съ безкорыстной любовью къ истинѣ постигнуть и уловить абсолютную сущность міроздавія и человѣческаго духа. Полновластно господствуя втеченіи нѣсколькихъ столѣтій надъ всѣми передовыми умами средневѣковой Европы, метафизическое мышленіе просочилось понемногу во всѣ отрасли общественной жизни, пробралось въ оцѣнку всѣхъ междучеловѣческихъ отношеній и породило изъ себя многія видоизмѣненія *прикладной* метафизики, направленной къ различнымъ житейскимъ цѣлямъ, похвальнымъ и предосудительнымъ, высокимъ и низкимъ, крупнымъ и мелкимъ. Что въ высшихъ слояхъ умственнаго міра называлось схоластикой и считалось вѣнцомъ человѣческой жизни, то, спустившись внизъ и принявши грязновато-практическій колоритъ, превратилось въ юридическое кляузничество, крючкотворство, пронырство и пролазничество. Когда нравы смягчились и частныя войны стали выходить изъ употребленія, тогда прикладной метафизикой стали рѣшаться всѣ спорные вопросы, и тогда для сутяжничества наступила такая лафа, какой невозможно отыскать во всѣхъ остальныхъ періодахъ всемірной исторіи. Такъ какъ логика, по самой сущности своей, прикладывается ко всякому дѣлу, то, разумѣется, по поводу барана, пойманнаго въ чужомъ огородѣ, можно было пускаться въ такое же безбрежное море діалектическихъ изворотовъ и хитрыхъ цитатъ, въ какомъ плавали отцы Констанскаго собора, стараясь засудить Гусса и опредѣлить точныя границы папской власти. Впрочемъ господство метафизики не могло сдѣлаться прочнымъ и постояннымъ ни въ высшей области умозрѣнія, ни въ болѣе скромной сферѣ практической жизни. Метафизика сама, своей собственной дѣятельностью, неизбѣжно должна была подрыть, опрокинуть и раскрошить основныя причины своего могущества. Понятно напримѣръ, что огромное значеніе средневѣковыхъ юристовъ или легистовъ обусловливалось преимущественно непроходимой путаницей частныхъ законовъ, обычаевъ, правъ, привилегій и монополій, которые ежеминутно сталкивались, перекрещивались и переплетались между собою въ каждомъ городкѣ и въ каждой деревушкѣ. Легисты быть можетъ вовсе не имѣли опредѣленнаго намѣренія привести этотъ хаосъ къ простотѣ и единству. Легисты во всякомъ данномъ случаѣ старались только рѣшать спорный вопросъ въ пользу своихъ патроновъ. Но въ результатѣ этихъ частныхъ усилій получалось все-таки упрощеніе и объединеніе. Существуютъ, положимъ, два взаимно-противоположные обычая въ двухъ сосѣднихъ мѣстностяхъ. Легистъ, чтобы выиграть одинъ процессъ, опирается на обычай A и во имя его торжественно отрицаетъ обычай B, усиливая свое отрицаніе множествомъ почтенныхъ цитатъ, которыя у всякаго мало-мальски порядочнаго легиста всегда имѣются на-готовѣ. Затѣмъ тотъ-же легистъ или его товарищъ, чтобы выиграть другой процессъ, превозноситъ до небесъ обычай B и торжественно хоронитъ обычай A подъ цѣлой грудой самыхъ авторитетныхъ цитатъ. Потомъ представляется третій случай, въ которомъ оба обычая, и A, и B, безпощадно отрицаются, какъ очевидныя злоупотребленія, осужденныя давнымъ-давно римскими законами, каноническимъ правомъ, папскими буллами, соборными уложеніями, историческими примѣрами и юридическими прецедентами. Каждое изъ трехъ рѣшеній заносится въ лѣтописи Ѳемиды и становится такимъ фактомъ, на который навѣрное будутъ опираться въ случаѣ надобности легисты слѣдующихъ поколѣній. Каждая изъ трехъ тропинокъ превратится понемногу въ торную дорогу. Такимъ образомъ получится наконецъ тотъ результатъ, что оба мѣстные обычая утратятъ свою обязательную силу и понемногу придутъ въ забвеніе. Жители обѣихъ мѣстностей увидятъ, что обычай составляетъ для нихъ самую ненадежную гарантію; вслѣдствіе этого въ нихъ зародится стремленіе къ болѣе опредѣленному и однородному законоположенію, которое установило-бы какую-нибудь границу произвольнымъ умствованіямъ прикладной метафизики. Когда это стремленіе сдѣлается достаточно общимъ и достаточно сознательнымъ, тогда оно воплотится въ дѣйствительной жизни и нанесетъ могуществу прикладной метафизики роковой ударъ, послѣ котораго юристы потеряютъ возможность стряпать новый законъ для каждаго новаго случая.

О *чистой* метафизикѣ можно сказать то-же самое. Она сама губитъ свое господство. Обиліе метафизическихъ системъ, взаимно истребляющихъ другъ друга, приноситъ мыслящимъ людямъ полное разочарованіе, подрываетъ въ ко-

Digitized by Google

нецъ авторитетъ основныхъ тезисовъ, недопускающихъ повѣрки опыта, и порождаетъ ту гибельную для метафизики мысль, что для нашего ограниченнаго ума многіе величественные вопросы останутся навсегда совершенно неразрѣшенными.

XIX.

Съ XIII вѣка въ европейской исторіи начинаютъ играть важную и почетную роль два разряда метафизическихъ корпорацій, во-первыхъ—университеты, и во-вторыхъ—парламенты *). Университеты отстаиваютъ противъ папъ самостоятельность національныхъ церквей. Парламенты, въ ущербъ могущественнымъ и непокорнымъ феодаламъ, стараются расширить права королевской власти. Парламенты и университеты вмѣстѣ аргументируютъ за короля противъ всепоглощающихъ притязаній папы. Обѣ метафизическія корпораціи на всѣхъ пунктахъ одерживаютъ рядъ громкихъ и блистательныхъ побѣдъ. Въ началѣ XIV вѣка французскій король Филиппъ Красивый, при содѣйствіи метафизиковъ, судитъ и захватываетъ въ плѣнъ ретиваго папу Бонифація VIII, послѣдняго представителя необузданныхъ клерикальныхъ стремленій. Бонифацій умираетъ. Его преемникъ, Климентъ V, поселяется въ южной Франціи, въ городѣ Авиньонѣ, и становится покорнѣйшимъ слугою французскаго короля и окружающихъ его метафизиковъ. Въ это время метафизики засуживаютъ до смерти орденъ тампліеровъ, который считается опаснымъ для государства и кромѣ того обладаетъ огромными богатствами, весьма привлекательными для короля Филиппа. Папа безпрекословно ратификуетъ смертный приговоръ, произнесенный докторами и легистами. Преемники Климента продолжаютъ жить въ Авиньонѣ и повиноваться метафизикамъ, засѣдающимъ въ судахъ и университетахъ французскаго королевства и управляющимъ дѣйствіями французскаго правительства. Въ XV вѣкѣ начинается великій расколъ; въ католическомъ мірѣ появляются два папы, — одинъ римскій, другой авиньонскій. Кто разсудитъ между ними? Разсудятъ университетскіе метафизики. Они собираются въ Констансѣ, судятъ папъ, отрѣшаютъ ихъ отъ должности и даютъ католическому міру новаго папу, Мартина V.

Въ это время парламентскіе метафизики потихоньку расширяютъ королевскую прерогативу и длинными рядомъ незамѣтныхъ, осторожныхъ и строго-послѣдовательныхъ стѣсненій и захватовъ доводятъ владѣтельныхъ герцоговъ и графовъ французскаго королевства до горькой необходимости превратиться въ ревностныхъ искателей придворныхъ должностей и королевскихъ улыбокъ.

Два столѣтія кропотливой метафизической работы произвели въ положеніи европейскихъ обществъ слѣдующія капитальныя перемѣны.

Къ концу XV вѣка папа превращенъ въ мелкаго итальянскаго владѣтеля, который хлопочетъ только о томъ, чтобы округлять свою область и набивать карманы своимъ племянникамъ и побочнымъ дѣтямъ.

Національныя церкви пріобрѣли себѣ почти полную независимость отъ папы и въ то-же время подчинились въ очень значительной степени господству свѣтской власти.

Аристократія на всемъ материкѣ Европы стѣснена, обуздана и унижена.

Королевская власть получила рѣшительное преобладаніе надъ всѣми остальными свѣтскими и духовными элементами, заявившими въ средневѣковыхъ обществахъ какія-бы то ни было притязанія на господство.

Англія въ своемъ развитіи отклонилась отъ этого пути. Въ Англіи оффиціальная церковь также подчинилась государству, но окончательное преобладаніе досталось не королю, а земледѣльческой аристократіи.

Здѣсь не мѣшаетъ остановиться, чтобы разсмотрѣть и обсудить замѣчательное разногласіе, возникшее по поводу Англіи между двумя величайшими историко-философами текущаго столѣтія, Контомъ и Боклемъ.

Контъ видитъ въ развитіи Англіи *замѣчательную политическую аномалію* и отдаетъ рѣшительное предпочтеніе тому пути, по которому шло развитіе Франціи и вообще всей континентальной Европы. Онъ говоритъ, что королевская власть, спасая Европу отъ политической анархіи, содѣйствовала въ то-же время такому радикальному истребленію средневѣковыхъ формъ, какое не могло-бы совершиться подъ господствомъ аристократіи. Хотя каждый изъ двухъ элементовъ, — аристократія и корона, — одержавши побѣду, старался возстановить въ свою пользу старый порядокъ, однако же, по мнѣнію Конта, эти вредныя реставраціонныя попытки со стороны аристократіи гораздо болѣе опасны, чѣмъ со стороны королевской власти, потому что въ первомъ случаѣ онѣ оказываются несравненно болѣе успѣшными и прочными, чѣмъ во второмъ. Сравнивая совершенно новыя бюрократическія формы, господ-

*) Я употребляю здѣсь слово *парламентъ* не въ англійскомъ, а во французскомъ смыслѣ. Во Франціи парламентами назывались, какъ извѣстно, не собранія выборныхъ представителей націи, а просто высшія судебныя мѣста, имѣвшія впрочемъ нѣкоторыя политическія права. Англійскому парламенту соотвѣтствовали во Франціи Etats Généraux, которыя однако собирались рѣдко и никогда не имѣли постояннаго вліянія на государственныя дѣла.

Digitized by Google

ствующія на всемъ монархическомъ материкѣ Европы, съ безчисленнымъ множествомъ старыхъ средневѣковыхъ обычаевъ и учрежденій, сохранившихся въ аристократической Англіи, читатель долженъ согласиться, что въ замѣчаніи Конта есть значительная доля правды.

Бокль, напротивъ того, находитъ развитіе Англіи особенно естественнымъ, здоровымъ и правильнымъ. Объясняя причины, побудившія его приняться именно за исторію Англіи, онъ объявляетъ положительно, что руководствуется «вовсе не тѣми побужденіями, которыя удостоиваютъ названія патріотизма». Онъ изучаетъ исторію Англіи, чтобы добраться до общихъ законовъ человѣческаго развитія; а выбралъ онъ именно Англію потому, что «изъ всѣхъ странъ Европы только въ одной Англіи правительство было наиболѣе спокойно, а народъ наиболѣе дѣятеленъ; только здѣсь свобода народная поконлась на болѣе широкомъ основаніи; каждый могъ говорить, что́ думаетъ, и дѣлать, что́ угодно, — слѣдовать своимъ наклонностямъ и распространять свои мнѣнія; только здѣсь были менѣе сильны преслѣдованія за вѣру, и потому только въ Англіи легче наблюдать движеніе и развитіе человѣческаго духа, нестѣсненнаго тѣми ограниченіями, которымъ онъ подвергнутъ во всѣхъ другихъ странахъ; здѣсь проповѣдываніе ересей менѣе опасно и исполненіе еретическихъ обрядовъ болѣе обыкновенно; здѣсь враждебныя вѣроисповѣданія процвѣтаютъ другъ подлѣ друга, возвышаются и падаютъ безъ всякаго препятствія, по желанію народа, нестѣсняемаго ни требованіями церкви, ни надзоромъ правительства; здѣсь всѣ интересы, всѣ классы предоставлены самимъ себѣ; здѣсь впервые подверглось нападенію во все вмѣшивающееся ученіе такъ называемой покровительственной системы и въ первый разъ было отвергнуто,—словомъ, всѣ опасныя крайности, къ которымъ ведетъ вмѣшательство, были избѣгнуты: деспотизмъ и бунтъ равно рѣдки; такъ какъ уступка признана основнымъ началомъ политики, то развитіе народное наименѣе нарушается властью привилегированныхъ классовъ, вліяніемъ отдѣльныхъ сектъ или насиліемъ деспотическихъ правителей.»

По своему тону эти слова Бокля напоминаютъ отчасти тѣ дифирамбы, которые поются во славу блаженной англійской конституціи Маколеемъ и всѣми подобными ему панегиристами буржуазіи. Но при ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается совсѣмъ не то. Бокль говоритъ не о благосостояніи англійскаго народа,—что́ было-бы конечно безсовѣстно и нелѣпо,—а только о самодѣятельности его и объ отсутствіи стѣсненій,—то есть о такихъ особенностяхъ англійской жизни, которыя врядъ-ли рѣшится отрицать самый горячій противникъ англомановъ и доктринеровъ. Англоманія, насажденная во Франціи послѣдователями Монтескьё и сподвижниками Гизо, а у насъ—катковской школой публицистовъ и профессоровъ, вызвала противъ себя очень сильную реакцію, которая въ свою очередь зашла слишкомъ далеко или по крайней мѣрѣ приняла ложное направленіе. Выдавать англійскую конституцію за панацею всѣхъ общественныхъ золъ было конечно нелѣпо; пересаживать на европейскій материкъ такія учрежденія, подъ покровомъ которыхъ расцвѣли всѣ прелести колоссальнаго пауперизма, было-бы безразсудно. Указывать самымъ энергическимъ образомъ на общественныя болѣзни Англіи, въ которой доктринеры усматривали земной рай, было необходимо. Но при этомъ надо было останавливаться на чистомъ отрицаніи. Надо было говорить просто, что въ Англіи очень много дурного, не прибавляя и не подразумѣвая той мысли, что это дурное не существуетъ на континентѣ или существуетъ въ болѣе скромныхъ размѣрахъ. Ставить какую-нибудь континентальную страну выше Англіи или даже игнорировать тѣ огромныя преимущества, которыя отличаютъ Англію отъ всѣхъ остальныхъ европейскихъ земель, значило впадать въ очень вредный и опасный парадоксъ. Франція, подобно всѣмъ другимъ континентальнымъ странамъ, не имѣетъ никакой основательной причины чваниться своимъ историческимъ развитіемъ и предпочитать его развитію Англіи. Конечно старыхъ формъ въ Англіи больше, чѣмъ во Франціи; но при этомъ остается спросить, въ какомъ отношеніи новѣйшіе наполеоновскіе чиновники и жандармы полезнѣе или пріятнѣе для народа, чѣмъ старые англійскіе муниципалитеты, шерифы и констебли? Громадные бюджеты Фульда съ ординарными, экстраординарными, добавочными и дополнительными расходами составляютъ конечно самое новое изобрѣтеніе финансовой науки, но врядъ-ли найдется даже во Франціи, пристрастной ко всякимъ новостямъ, много людей, способныхъ признать эту крупную новость за великое благодѣяніе. Систематическое развращеніе литературы посредствомъ субсидій и интимидацій составляетъ также совершенно новое явленіе, въ которомъ нѣтъ ничего средневѣкового и въ которомъ все-таки трудно найти что-нибудь хорошее.

Вопросъ о новыхъ и старыхъ формахъ надо оставить въ сторонѣ. Тотъ масштабъ, которымъ Контъ измѣряетъ сравнительное достоинство двухъ общественныхъ движеній, французскаго и англійскаго, неудобенъ потому, что у Конта есть при этомъ своя затаенная мысль, управляющая всѣмъ ходомъ его анализа. Контъ возлюбилъ Францію за то, что она, по его мнѣнію, ближе всѣхъ другихъ частей Европы подошла къ своему окончательному обновленію, то есть къ учрежденію положительнаго или

Digitized by Google

позитивнаго порядка вещей. Но такъ какъ контовскій régime positif составляетъ самую неосуществимую и самую непривлекательную изъ всѣхъ утопій, то пристрастіе Конта къ Франціи оказывается лишеннымъ достаточнаго основанія, потому что французскій народъ такъ-же безконечно далекъ отъ *окончательнаго обновленія*, какъ и всѣ остальные народы земного шара.

Оставляя въ сторонѣ затаенную мысль и неудобный масштабъ Огюста Конта, мы должны будемъ признаться, что Англія во всѣхъ отношеніяхъ опередила Францію, несмотря на тѣ громадныя усилія и пожертвованія, которыми Франція оплачивала свое прогрессивное движеніе. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно будетъ взглянуть именно на самое больное мѣсто Англіи—на ея пауперизмъ. Положеніе англійскаго работника очень тяжело—это правда. Но, во-первыхъ, положеніе французскаго работника, напримѣръ ліонскаго ткача, нисколько не легче; а во вторыхъ, въ Англіи для удовлетворительнаго рѣшенія рабочаго вопроса имѣется въ наличности несравненно болѣе матеріаловъ, чѣмъ во Франціи или въ какой-бы то ни было другой странѣ европейскаго материка. Эти матеріалы заключаются именно въ привычкѣ англійскаго народа къ самодѣятельности и къ самой широкой политической и гражданской свободѣ.

Мнѣ случалось иногда слышать и читать разсужденія о томъ, что когда человѣкъ умираетъ съ голода, тогда ему нѣтъ никакого дѣла до политическихъ правъ и гарантій. Разсужденія эти основательны. Когда человѣкъ *буквально* умираетъ отъ голода или отъ чего нибудь другого, напримѣръ отъ водяной или чахотки,—тогда ему дѣйствительно нѣтъ никакого дѣла ни до конституціи, ни до митинговъ, ни до habeas corpus, ни до свободы печати. Но когда человѣкъ живъ и до нѣкоторой степени здоровъ, когда онъ бьется, какъ рыба объ ледъ, когда онъ старается всѣми силами улучшить свое положеніе и отбиться отъ гнетущей бѣдности, тогда для него имѣютъ огромное значеніе законы и обычаи той земли, въ которой ему приходится жить и дѣйствовать. Въ настоящее время уже дознано, что ассоціація, въ той или въ другой формѣ, составляетъ самое надежное наступательное и оборонительное оружіе противъ бѣдности. Но гдѣ-же ассоціацію легче составить, гдѣ легче найти для нея способныхъ членовъ, гдѣ она будетъ дѣйствовать съ бо́льшимъ успѣхомъ—въ такой-ли странѣ, гдѣ предпріимчивость и смѣтливость народа воспитана и укрѣплена всѣмъ ходомъ его исторіи, и гдѣ всѣ жители могутъ свободно собираться и разсуждать о частныхъ и общественныхъ дѣлахъ,—или-же въ такой странѣ, гдѣ народъ впродолженіи многихъ столѣтій былъ систематически отучаемъ отъ всякой иниціативы, и гдѣ за народомъ, какъ за шаловливымъ ребенкомъ, смотрятъ ежеминутно сотни заботливыхъ благодѣтелей, наставниковъ и гувернеровъ? Отвѣтъ, кажется, ясенъ. Существующіе факты подтверждаютъ мысли, которыя могутъ быть выведены путемъ апріорическаго разсужденія. Кто у кого беретъ уроки по рабочему вопросу—Англія у Франціи, или наоборотъ? Наоборотъ, какъ разъ наоборотъ!—Общества взаимнаго страхованія, общества взаимнаго вспоможенія, общества для оптовыхъ закупокъ пищи и сырья, кредитныя учрежденія для рабочихъ классовъ, грандіозныя стачки, кооперативныя общества,—все это впервые приняло серьезные размѣры въ Англіи, несмотря на то, что первая мысль о многихъ изъ этихъ комбинацій родилась у мыслителей европейскаго материка. Дѣло въ томъ, что во Франціи, и на материкѣ вообще, мысль и жизнь, теорія и практика отдѣлены другъ отъ друга такой пустыней, чрезъ которую не хватаетъ самый сильный человѣческій голосъ, и въ которой изъ году въ годъ погибаютъ отъ различныхъ притѣсненій отважные чудаки, дерзающіе черезъ нее перебираться.

До какой степени Франція отстала отъ Англіи даже по рабочему вопросу, которымъ обыкновенно попрекаютъ коварный Альбіонъ, видно уже изъ того факта, что во Франціи очень недавно (именно въ 1864 году) отмѣненъ уголовный законъ, положительно запрещающій всякія стачки между работниками. Поучительно будетъ также припомнить, съ одной стороны, громадные англійскіе митинги, которые собираются и расходятся совершенно безпрепятственно,—а съ другой стороны—тѣ тонкости и хитрости, которыя въ прошломъ году (1865) были пущены въ ходъ парижскими извозчиками для того, чтобы устроить стачку, не нарушая закона противъ собраній, заключающихъ въ себѣ болѣе двадцати человѣкъ. При этомъ надо взять въ разсчетъ, что громадные митинги собираются и расходятся безпрепятственно въ такой странѣ, въ которой большинство жителей не имѣетъ избирательныхъ правъ, между тѣмъ какъ хитрости извозчиковъ устраиваются тамъ, гдѣ существуетъ и процвѣтаетъ поголовная подача голосовъ. Въ первой странѣ народъ безправенъ, во второй – онъ полновластенъ; повидимому въ первой должно существовать гораздо больше стѣсненій, чѣмъ во второй; а между тѣмъ выходитъ совсѣмъ наоборотъ. Безправный народъ дѣлаетъ, что̀ ему угодно; а полновластный народъ безъ разрѣшенія полиціи не смѣетъ толковать о своихъ собственныхъ дѣлахъ. Чѣмъ объяснить себѣ такое удивительное противорѣчіе?

Мнѣ кажется, что оно объясняется именно только крайней болѣзненностью того самаго

Digitized by Google

развитія, которое Контъ считаетъ нормальнымъ. На современной Франціи лежитъ гнетъ ея ужаснаго тысячелѣтняго прошедшаго, и этого гнета она до сихъ поръ не могла сбросить съ себя никакими конвульсивными потрясеніями. Французы умѣютъ побѣждать, но послѣ побѣды, когда разобрана послѣдняя баррикада, они тотчасъ торопятся возложить все свое упованіе на какого нибудь отца и благодѣтеля, который въ награду за ихъ добродушіе черезъ нѣсколько лѣтъ непремѣнно заставитъ ихъ соорудить новыя баррикады, имѣющія повести за собою новое упованіе и новое добродушіе. Французы много разъ мѣняли своихъ правителей. но имъ никогда не приходило въ голову, что въ пользу этихъ правителей они, французы, постоянно отказываются отъ такихъ правъ, которыя каждый человѣкъ непремѣнно долженъ удерживать при самомъ себѣ, если онъ не желаетъ превратиться въ самое жалкое, ничтожное и зависимое существо. Англичанинъ, напротивъ того, сросся съ этими необходимыми правами до такой степени, что для него безъ нихъ немыслимо существованіе, и что его правительство, выбранное меньшинствомъ націи, все-таки считаетъ всякое посягательство на эти общія права дѣломъ въ высшей степени рискованнымъ.

Это основное различіе двухъ характеровъ выработалось на глазахъ исторіи.

Въ Англіи со временъ Вильгельма Завоевателя королевская власть была очень сильна. Въ это самое время французскіе короли были очень слабы. Въ Англіи аристократія должна была заключить съ народомъ наступательный и оборонительный союзъ противъ короля. Во Франціи, напротивъ того, король принужденъ былъ опираться на народъ, чтобы сдерживать и подавлять аристократовъ. Борьба англійскихъ аристократовъ съ королемъ, не только наступательная, но и оборонительная, во всякомъ случаѣ должна была принимать внѣшній видъ и дѣйствительный характеръ хроническаго возмущенія. Вслѣдствіе этого англійскіе аристократы неизбѣжно должны были, такъ или иначе, охотно или неохотно, играть роль агитаторовъ и демагоговъ. Иначе имъ нечего было и дѣлать; иначе имъ не зачѣмъ было и соединяться съ народомъ. Напротивъ того, дѣйствія французскихъ королей противъ аристократіи, даже самыя произвольныя и наступательныя, всегда могли облечься въ приличную форму и прослыть за необходимое подавленіе аристократическихъ мятежей. Вслѣдствіе этого французскимъ королямъ не было ни малѣйшей надобности обращаться въ этой борьбѣ къ какимъ-бы то ни было революціоннымъ средствамъ, способнымъ заронить въ народные умы опасныя сѣмена кичливаго самосознанія. Во Франціи угнетенный народъ апеллировалъ на графа или барона къ королю; каждое облегченіе народныхъ страданій принимало форму милости, пожалованной сверху за благонравіе и смиреніе. Въ Англіи главнымъ источникомъ всякаго угнетенія былъ самъ король, на котораго можно было апеллировать только къ собственному вооруженному кулаку; каждая льгота имѣла характеръ уступки, вырванной народомъ и его вождями сознательно и насильно, съ открытымъ нарушеніемъ всѣхъ законовъ благонравія и смиренія. Такимъ образомъ своенравный англичанинъ изворачивался постоянно собственными средствами, а кроткій французъ уповалъ преимущественно на силу, сообразительность и великодушіе начальства. Спустя нѣсколько столѣтій оригинальная метода англійской апелляціи была перенесена и во Францію; но это случилось очень недавно, всего лѣтъ восемьдесятъ тому назадъ, и случилось тогда, когда привычки упованія пустили уже въ характеръ французовъ очень глубокіе, быть можетъ даже неистребимые, корни. Впродолженіи цѣлаго столѣтія французъ въ тяжелыя минуты своей жизни твердилъ добродушную поговорку: «Si le roi savait!» Съ этой поговоркой онъ не желаетъ разставаться и вслѣдствіе этого усердно стремится создать себѣ такое правительство, которое будетъ все знать, во все вмѣшиваться и съ утра до вечера учить всѣхъ кротости и хорошимъ манерамъ. А до сихъ поръ французу приходится только повторять: «Si le comité savait!» «Si le consul savait!» «Si l'empereur savait!» «Si le roi savait!» «Si le président savait!» «Si l'empereur savait!» И потомъ опять то-же канитель съ начала. Есть у французовъ великіе и смѣлые мыслители, которымъ эта канитель давно надоѣла, но французы обращаютъ на нихъ мало вниманія и утверждаютъ торжественно, что Бастіа и Викторъ Кузенъ не въ примѣръ глубокомысленнѣе Фурье и Прудона. Рождаясь въ нѣдрахъ буржуазіи, эти сужденія спускаются внизъ къ народу и приносятъ свои сочные и сладкіе плоды. Народъ тупѣетъ и восхищается славой второй имперіи, и будетъ восхищаться до тѣхъ поръ, пока бюджеты Фульда не переполнятъ мѣру буржуазнаго терпѣнія. Тогда начнутся опять поиски такого правительства, которое обладало-бы всевѣдѣніемъ и всеприсутствіемъ. Потративъ на эти поиски нѣсколько столѣтій, народъ конечно перевоспитается и пріобрѣтетъ себѣ тотъ складъ ума и характера, которымъ англичане обладаютъ въ настоящую минуту. Изъ чего слѣдуетъ то неотразимое заключеніе... что благосклонный читатель самъ подведетъ итоги всѣхъ предшествующихъ разсужденій.

XX.

Впродолженіи нѣсколькихъ столѣтій различные элементы средневѣковаго общества спо-

Digitized by Google

рили между собою и обижали другъ друга такъ, какъ это дѣлается въ кругу добрыхъ знакомыхъ и родственниковъ, которымъ вмѣстѣ тошно, а порознь скучно. Нанося другъ другу очень чувствительные удары, враждующіе элементы вовсе не думали и не желали истреблять другъ друга и перестраивать заново всю систему. Старая машина скрипѣла и раскленвалась; несообразности ея мозолили каждому глаза, но никому еще не приходило въ голову, что приближается начало такого генеральнаго разрушенія, которое наполнитъ собою всю жизнь многихъ поколѣній. Первымъ систематическимъ отрицателемъ старой машины, увлекшимъ за собою значительное число послѣдователей и оставившимъ послѣ себя прочное дѣло, былъ Лютеръ. У него было, правда, много предшественниковъ, не уступавшихъ ему ни въ умѣ, ни въ смѣлости; но эти предшественники своей дѣятельностью успѣли только высушить тѣ сырыя дрова, которыя Лютеру удалось наконецъ зажечь.

Систематическое отрицаніе Лютера хватало очень далеко. Въ области мысли онъ былъ очень робокъ. Онъ вѣрилъ въ колдовство. Онъ имѣлъ личныя непріятности съ чортомъ. Онъ проповѣдывалъ преслѣдованіе еретиковъ. Онъ всѣми силами старался унизить человѣческій умъ и подавить его пытливость. Въ политической жизни онъ дѣйствовалъ смѣлѣе, но смѣлость эта была чисто вынужденная. Отложиться отъ Рима значило конечно рѣшиться на радикальную мѣру. Но Лютеръ шагнулъ такъ широко только потому, что тутъ не было никакой возможности сдѣлать полшага или четверть шага. Римъ по своему обыкновенію не поддавался ни на какіе компромиссы и требовалъ себѣ полной покорности, въ которой слышался для Лютера непріятный запахъ тюрьмы и костра. Отступать назадъ было поздно; на поддержку сильныхъ людей можно было разсчитывать: значитъ, надо было шагнуть. И Лютеръ дѣйствительно сдѣлалъ тотъ огромный шагъ, которымъ онъ, поворачивая къ первымъ вѣкамъ христіанства, отрицалъ, во имя основной доктрины, всѣ историческія учрежденія западной церкви. Нравственныя послѣдствія этого шага были громадны. Но непосредственная перемѣна, произведенная Лютеромъ, была ничтожна. Онъ только сформулировалъ громко и откровенно то отношеніе національныхъ церквей къ Риму, которое de facto начинало уже устанавливаться во всемъ католическомъ мірѣ. Вездѣ церковь была уже болѣе или менѣе подчинена государству. Лютеръ возвелъ это подчиненіе въ догматъ, что конечно доставило немалое удовольствіе его покровителю, Фридриху Мудрому, и разнымъ другимъ, мудрымъ и немудрымъ герцогамъ и курфюрстамъ. Умственная робость Лютера составляетъ главную причину его практическихъ успѣховъ. За нимъ пошли очень многіе, потому что его отрицаніе очень многимъ было по плечу и очень немногихъ могло озадачить и отпугнуть. Но понятно всякому, что въ дѣлѣ систематическаго отрицанія—лиха бѣда начать. Всякій отрицатель говоритъ обыкновенно: я пойду до сихъ поръ и здѣсь остановлюсь. И всякій отрицатель находитъ себѣ послѣдователей и преемниковъ, которые ведутъ его дѣло дальше, повторяя тѣ же самыя слова передъ новой границей, чрезъ которую въ свою очередь перешагнутъ ихъ предпріимчивые ученики.

Хотя Лютеръ былъ очень яростнымъ врагомъ свободной мысли, однако-же его собственный протестъ противъ всей тысячелѣтней исторіи клерикальной корпораціи основывается исключительно на правѣ свободнаго личнаго изслѣдованія. Еслибы у Лютера спросили, почему онъ осмѣливается осуждать дѣло великихъ папъ и мудрыхъ учителей, то Лютеръ отвѣчалъ-бы конечно: потому что это дѣло противорѣчитъ духу основной доктрины. И затѣмъ начались-бы цитаты. Но тутъ можно было-бы остановить Лютера и возразить ему, что всѣ тексты, на которые онъ ссылается, существовали за много вѣковъ до его рожденія, что всѣ они прилежно читались и заучивались наизусть многими тысячами умныхъ, ученыхъ и благочестивыхъ людей, и что, несмотря на все это, эти умные, ученые и благочестивые люди соорудили то клерикальное зданіе, которое онъ, Лютеръ, желаетъ опрокинуть. Затѣмъ можно было-бы спросить у Лютера, неужели онъ, простой и ничтожный августинскій монахъ, считаетъ себя умнѣе тѣхъ великихъ комментаторовъ, которые назывались: Doctor admirabilis, Magister Sententiarum, Doctor Angelicus, Doctor subtilis и т. д.? На это Лютеръ былъ-бы принужденъ отвѣчать такъ: очень можетъ быть, что каждый изъ этихъ людей во сто разъ умнѣе меня, но къ сожалѣнію я никакъ не могу взять на прокатъ ихъ великіе умы и замѣнить ими мой собственный ничтожный умишко. Какъ-бы ни были велики или малы мои способности, во всякомъ случаѣ я могу размышлять только моимъ собственнымъ умомъ, и мои размышленія привели меня именно къ этимъ результатамъ. Лютеру конечно было очень желательно конфисковать въ свою пользу право свободнаго изслѣдованія и уложить навсегда человѣческую мысль въ ту новенькую коробочку, которую онъ для нея приготовилъ собственнымъ умомъ. Но такое желаніе было-бы въ высшей степени наивно, потому что, разумѣется, было неизмѣримо легче перешагнуть черезъ самого Лютера, чѣмъ черезъ ту гору великихъ авторитетовъ, черезъ которую Лютеръ перебросилъ своихъ послѣдователей. Старый тормазъ, сдерживавшій личную критику, былъ оборванъ самимъ Лютe-

Digitized by Google

ромъ, и поправить это дѣло было уже невозможно, потому что подобные торможенія изготовляются тысячелѣтіями и еще потому, что умственное движеніе, создавшее Лютера, клонилось совсѣмъ не къ тому, чтобы превратить этого Лютера въ папу протестантизма. Протестантскія секты стали плодиться съ замѣчательной быстротой, и каждая послѣдующая секта оказывалась обыкновенно смѣлѣе и радикальнѣе предыдущей. Каждая была вполнѣ убѣждена въ томъ, что она произнесла послѣднее слово; держась такого взгляда на собственную дѣятельность, каждая секта чувствовала приливы ужаса и добродѣтельной ярости, когда вдругъ оказывалось, что можно произнести новое слово, еще болѣе послѣднее. Входить въ догматическія подробности я не считаю нужнымъ, но замѣчу мимоходомъ, что самыя крайнія протестантскія секты, послѣдователи Социна и Чаннинга, антитринитаріи или унитаріане, сами того не замѣчая, совершенно вышли за предѣлы основной доктрины и составляютъ переходъ отъ протестантизма къ философскому деизму. Словомъ, принципъ свободнаго изслѣдованія развернулся и, помимо воли отдѣльныхъ личностей, породилъ изъ себя всѣ свои логическія послѣдствія, не стѣсняясь даже тѣмъ медленнымъ огнемъ, на которомъ свободный изслѣдователь Жанъ Кальвинъ три часа жарилъ, въ свободномъ городѣ Женевѣ, свободнаго изслѣдователя Михаила Сервета.

Не трудно себѣ представить, какой ужасъ и какая ярость обуревали католиковъ въ то время, когда съ неудержимой силой развертывался принципъ свободнаго изслѣдованія. Католики думали положительно, что въ европейскія націи вселились легіоны бѣсовъ. Событія трехъ послѣднихъ столѣтій до сихъ поръ составляютъ для католическихъ мыслителей камень преткновенія и неразрѣшимую загадку. Что Европой овладѣло безуміе — это для нихъ очевидно, но съ какой стати нашло на нее это безуміе, и отчего оно до сихъ поръ не проходитъ, и какъ объяснить себѣ хроническое помѣшательство десяти поколѣній — это все такіе вопросы, передъ которыми становится въ тупикъ вся мудрость Бональдовъ, Шатобріановъ и де-Местровъ. Успѣхи протестантовъ пробудили въ католикахъ XVI вѣка чувство самосохраненія. Надо было, во что бы то ни стало, спасаться отъ наплыва еретическихъ сомнѣній, которыя могли, чего добраго, смыть съ лица земли всѣ сооруженія Григорія VII и Иннокентія III. Спасаться можно было только подъ покровительство королевской власти, укрѣпившейся на развалинахъ средневѣкового общества. Католицизмъ дѣйствительно смиренно отдался подъ защиту свѣтской власти и вслѣдствіе этого окончательно и безпрекословно подчинился ея господству, возмущаясь противъ него только въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда это господство становилось опаснымъ для его существованія. Тѣ времена, когда представители клерикальной власти распекали королей за безнравственное поведеніе, прошли безвозвратно. Франциск I, сгнившій за-живо отъ избытка своего цѣломудрія, считался постоянно образцомъ добродѣтели и нравственности и жилъ со своими клерикалами въ неразрывной дружбѣ, несмотря даже на то, что онъ заключилъ союзъ съ турецкимъ султаномъ и помогалъ деньгами нѣмецкимъ протестантамъ, воевавшимъ съ Карломъ V. Клерикаламъ мудрено было придираться къ такимъ мелочамъ въ то время, когда во Францію уже врывался кальвинизмъ и когда по ту сторону Ла-Манша Генрихъ VIII съ полнымъ успѣхомъ провозглашалъ себя папою Англіи собственно для того, чтобы обвѣнчаться съ хорошенькой англичанкой.

Читателю можетъ быть покажется страннымъ, что клерикальная власть, до крайности любезная къ Франциску, вздумала контролировать поступки Генриха. Я напомню читателю, что здѣсь клерикальная власть попалась между двухъ огней. Генрихъ VIII былъ женатъ на Катеринѣ Аррагонской и требовалъ себѣ у папы развода, а Катерина была родная тетка Карла V, такъ что согласиться на разводъ значило-бы нанести оскорбленіе самому сильному государю тогдашней Европы. Папа не согласился, и равнодушіе англичанъ къ римскому престолу оказалось до такой степени значительнымъ, что Генрихъ, не имѣя вокругъ себя ни одного полка постоянной арміи, рѣшился изъ-за любовной фантазіи произвести религіозный переворотъ.—И переворотъ совершился безпрепятственно. Тѣсный союзъ католицизма съ королевской властью казался великимъ благополучіемъ для обѣихъ сторонъ. Въ самомъ дѣлѣ, чего-же лучше: короли будутъ защищать доктрину матеріальной силой, а доктрина, въ свою очередь, будетъ оправдывать и освящать въ глазахъ народа всѣ распоряженія королевской власти. При этихъ глубокихъ политическихъ соображеніяхъ было упущено изъ виду только то ничтожное обстоятельство, что такая доктрина, которая сама нуждается въ защитѣ со стороны матеріальной силы,—ровно ничего не можетъ оправдывать и освящать своимъ авторитетомъ. Вслѣдствіе этого ничтожнаго обстоятельства знаменитый союзъ сдѣлался гибельнымъ для обѣихъ заинтересованныхъ сторонъ. Съ одной стороны, клерикалы, ублажая своихъ покровителей, превращая всѣ ихъ страсти и капризы въ высокія добродѣтели, постоянно превознося то, что и безъ того стояло высоко, и постоянно принижая то, что и безъ того было принижено и задавлено,—словомъ, дѣлаясь самыми гибкими и

Digitized by Google

послушными орудіями возрастающаго деспотизма, —клерикалы окончательно уронили и обезчестили себя въ глазахъ всѣхъ людей, имѣвшихъ даже инстинктивныя и смутныя понятія о чести и объ общественной пользѣ. Съ другой стороны, короли, рѣшившись защищать идеи, осужденныя умственнымъ движеніемъ времени, взяли на себя тяжелую обузу, которой бремя не уравновѣшивалось никакими выгодами. Королямъ, какъ покровителямъ клерикальной корпораціи, приходилось преслѣдовать и истреблять тысячи такихъ людей, которые, увеличивая своимъ трудолюбіемъ массу народнаго богатства, ничѣмъ не нарушали общественнаго спокойствія. Казни еретиковъ производились въ грандіозныхъ размѣрахъ, разоряли промышленную жизнь богатыхъ и цвѣтущихъ областей, сокращали доходы королевской казны и наконецъ, переполняя мѣру народнаго терпѣнія, вели за собою самыя серьезныя политическія потрясенія, въ которыхъ королевская власть ровно ничего не могла выиграть и въ которыхъ она обыкновенно очень много проигрывала. Междоусобныя войны, опустошавшія Францію въ XVI столѣтіи, обязаны своимъ происхожденіемъ клерикальной политикѣ Генриха II и его преемниковъ. Возстаніе Нидерландовъ, нанесшее первый ударъ колоссальному могуществу испанской монархіи, было возбуждено тѣснымъ союзомъ Карла V и Филиппа II съ увядающими идеями католицизма. Такъ какъ протестантизмъ, превращаясь въ господствующую доктрину, принималъ немедленно всѣ замашки католицизма, то здѣсь умѣстно будетъ замѣтить, что союзъ англійскихъ королей съ епископальной церковью противъ всевозможныхъ диссидентовъ содѣйствовалъ въ очень значительной степени той катастрофѣ, которая погубила Карла I. Союзъ королей съ клерикалами естественнымъ образомъ велъ за собою противоположный союзъ между агитаторами и диссидентами. Борьба значительно упростилась: всѣ средневѣковые элементы сгруппировались вокругъ свѣтской власти и увидѣли себя лицомъ къ лицу съ тѣми новыми силами, которыя въ то время начинали сознавать и заявлять свое существованіе.

XXI.

Съ XIV столѣтія общій ходъ событій направляется во всей западной Европѣ къ свѣтской диктатурѣ, которая на материкѣ должна была принять автократическую, а въ Англіи—олигархическую форму. Протестантское движеніе помѣшало этой неизбѣжной диктатурѣ утвердиться въ началѣ XVI столѣтія. Слабѣйшій изъ двухъ свѣтскихъ элементовъ, боровшихся между собою за верховное господство, нашелъ себѣ въ протестантизмѣ неожиданную точку опоры и вслѣдствіе этого протянулъ борьбу еще на цѣлое столѣтіе. Въ Англіи Генрихъ VIII, какъ представитель слабѣйшаго элемента, обратился къ протестантизму, провозгласилъ себя главою церкви, и этимъ смѣлымъ поступкомъ, вытекавшимъ изъ любовнаго каприза, значительно усилилъ королевскую власть, которая развернула все свое могущество во время блестящаго царствованія Елизаветы. Въ это же самое время во Франціи аристократія, какъ слабѣйшій элементъ, бросилась въ гугенотское движеніе и надѣлала своимъ королямъ очень много хлопотъ. Какъ въ Англіи, такъ и во Франціи борьба все-таки кончилась пораженіемъ слабѣйшаго элемента, потому что сильнѣйшій элементъ пустилъ въ ходъ свою обыкновенную тактику: онъ обратился къ народу и при его содѣйствіи одержалъ полную побѣду. Во Франціи вступленіе на престолъ Генриха IV, который, въ угоду націи, принялъ католическую религію, нанесло рѣшительный ударъ гугенотамъ, какъ политической партіи. Нантскій эдиктъ далъ искреннимъ протестантамъ свободу вѣроисповѣданія; вслѣдствіе этого неискренніе протестанты, то есть честолюбивые аристократы, превращавшіе религію въ политическое оружіе, остались безъ солдатъ и одинъ за другимъ отправились ко двору искать себѣ доходныхъ мѣстъ и знаковъ отличія. Въ Англіи долгій парламентъ положилъ конецъ произволу Карла I. Какъ въ Англіи такъ и во Франціи побѣда была одержана націей; но плодами побѣды воспользовались въ Англіи — аристократія, а во Франціи — король. Впрочемъ и во Франціи, и въ Англіи, послѣ побѣды обнаружились попытки ограничить могущество того элемента, которому въ ближайшемъ будущемъ должна была принадлежать диктатура. Во Франціи парламентскіе метафизики или, яснѣе, юристы начали вмѣшиваться въ распоряженія верховной власти и, во имя общественной пользы, стали дѣлать королямъ очень серьезныя и рѣзкія замѣчанія, которыя на оффиціальномъ языкѣ того времени назывались remontrances. За подобныя дерзости юристовъ посылали въ Бастилію; тогда народъ выражалъ свое неудовольствіе какимъ нибудь шумнымъ скандаломъ; но такъ какъ эти скандалы производились всегда безсвязно и безтолково, то они и не привели за собою никакихъ прочныхъ послѣдствій. Волненія фронды оказались послѣднимъ громкимъ протестомъ Франціи противъ надвигавшейся диктатуры. Въ этомъ протестѣ дѣйствовали за-одно тщеславные аристократы, добивавшіеся табуретовъ для своихъ супругъ, парламентскіе педанты, защищавшіе тощую идею легальности, и голодные бѣдняки, стоявшіе за интересы собственныхъ желудковъ Такой неестественный союзъ не могъ сдѣлать

Digitized by Google

ничего путнаго; вслѣдъ за временами Фронды наступила диктатура Людовика XIV, которая совершенно раздавила идею легальности, набила мякиной милліоны французскихъ желудковъ и разрѣшила во всѣхъ отношеніяхъ только однихъ аристократовъ, имѣвшихъ неизреченное счастье присутствовать при petits-levers и petits-couchers и даже держать въ рукахъ королевскія рубашки.

Въ Англіи подобныя попытки проявились сильнѣе, чѣмъ во Франціи. Во времена пуританской республики вожди народа закрыли палату лордовъ. Но самъ народъ еще довольно смутно понималъ свои собственныя выгоды. Реставрація была встрѣчена съ восторгомъ, и лучшимъ людямъ Англіи пришлось искать себѣ новой родины за Антлантическимъ океаномъ, гдѣ гнетъ укоренившихся привычекъ не мѣшалъ имъ осуществлять самые широкіе демократическіе планы. Послѣ вторичнаго изгнанія Стюартовъ, въ 1688 году, преобладаніе аристократіи окончательно установилось въ Англіи.

Когда во всей Европѣ окончилась борьба между короной и аристократіей, тогда началось между этими двумя элементами довѣрчивое и дружелюбное сближеніе. Въ Англіи пэры приняли королевскую власть подъ свое высокое покровительство. На материкѣ Европы короли стали смотрѣть на свое дворянство, какъ на опору своего авторитета. Словомъ, наступилъ золотой вѣкъ всеобщей преданности. Всѣ элементы, наполнившіе средневѣковую исторію шумомъ своихъ противурѣчивыхъ притязаній, стали пировать и веселиться въ полномъ единодушіи. Короли, клерикалы и аристократы сомкнулись въ неразрывный союзъ. Исключенной изъ этого союза оказалась только та черноземная сила, которая отправляла денежныя и натуральныя повинности. Пригласить эту силу на общій пиръ любви и дружбы не оказалось никакой возможности, во-первыхъ потому, что эта сила въ одно мгновеніе ока проглотила бы всѣ приготовленные деликатесы, а во-вторыхъ потому, что эта сила, по необъяснимой странности своего характера, умывалась очень рѣдко и одѣвалась въ какія-то весьма непрезентабельныя и даже до нѣкоторой степени неправдоподобныя лохмотья. Кромѣ того эта же сила обладала врожденной наклонностью къ самымъ труднымъ и грязнымъ работамъ; по всѣмъ этимъ причинамъ рѣшено было оставить ее за штатомъ. Что-же касается до метафизики, то она, по всегдашней подвижности, двусмысленности и эластичности своей натуры, раздвоилась, такъ что одни изъ ея представителей стали восхищаться деликатесами благороднаго пиршества, а другіе въ это-же время начали подвергать сомнѣнію врожденную наклонность черноземной силы къ самымъ труднымъ и грязнымъ работамъ. Одни стали говорить, что все идетъ къ лучшему въ этомъ лучшемъ изъ міровъ, а другіе рѣшились возражать, что бальный залъ—не міръ и что за предѣлами теплаго и свѣтлаго зала многое идетъ дурно и съ каждымъ годомъ становится хуже. Разсужденія воспослѣдовали весьма интересныя и поучительныя, но объ нихъ рѣчь впереди, потому что въ настоящее время слѣдуетъ разсмотрѣть видоизмѣненія, произведенныя въ общей европейской политикѣ прочнымъ утвержденіемъ той диктатуры, которая положила конецъ средневѣковой борьбѣ общественныхъ элементовъ.

Сказать: «L'Etat—c'est moi!» было не трудно, но въ самомъ дѣлѣ замѣнить собственной особой коллективный умъ цѣлой націи было очень мудрено и даже совсѣмъ невозможно. Когда центральная власть довела до совершеннаго ничтожества всѣ враждебные ей элементы, тогда въ рукахъ короля сосредоточилась такая необъятная масса дѣлъ, которая далеко превосходила размѣры обыкновенныхъ человѣческихъ силъ. Быстрое развитіе промышленной жизни и возрастающая сложность международныхъ отношеній съ каждымъ годомъ увеличивали число, разнообразіе и трудность политическихъ, финансовыхъ и административныхъ задачъ, постоянно требовавшихъ немедленнаго разрѣшенія. Самый сильный и обширный умъ не могъ рѣшать всѣ эти задачи собственными силами; необходимы были необыкновенныя способности и самая напряженная дѣятельность даже для того, чтобы только обозрѣвать и контролировать рѣшенія, пріисканныя другими людьми. Эти способности и эта охота къ труду встрѣчаются вообще довольно рѣдко, въ особенности у такихъ личностей, которымъ нѣтъ надобности прокладывать себѣ собственными усиліями дорогу къ власти, къ богатству и къ различнымъ наслажденіямъ жизни. Поэтому легко могло случаться, и дѣйствительно случалось очень часто, что король не могъ и не желалъ тратить драгоцѣнное время на прочитываніе и обдумываніе скучныхъ и головоломныхъ смѣтъ, докладовъ и проэктовъ. Самъ Людовикъ XIV, авторъ фразы: «l'Etat—c'est moi!» занимался преимущественно сначала выдѣлываніемъ балетныхъ па, а потомъ —перебираніемъ четокъ и чтеніемъ латинскихъ молитвъ. Понятно, что въ такихъ рукахъ не могла сосредоточиваться центральная власть, получившая дѣйствительно самое полное господство надъ всѣми отправленіями общественной жизни. Королю были необходимы не только послушные и расторопные чиновники, способные исполнить данное приказаніе, но и настоящіе государственные дѣятели, способные самостоятельно обдумывать и создавать цѣлые обширные планы. Короли нуждались не въ агентахъ, а въ министрахъ, и министры дѣйствительно начинаютъ играть въ исторіи очень значительную роль съ того времени, какъ установилась въ Европѣ королевская автократія. Политика европей-

Digitized by Google

ихъ государствъ обусловливается обыкновенно, съ этого времени не личными взглядами королей, а соображеніями министровъ. Такъ напримѣръ, благочестивый король Людовикъ XIII былъ вовсе не прочь отъ того, чтобы всѣми силами истреблять протестантовъ внутри государства и за его предѣлами; между тѣмъ Франція во время его царствованія предоставляла своимъ гражданамъ полную свободу вѣроисповѣданія и очень дѣятельно помогала нѣмецкимъ протестантамъ деньгами и оружіемъ. Все это дѣлалось по мысли и по желанію великаго министра, кардинала Ришельё.

Министры должны были непремѣнно быть или по крайней мѣрѣ казаться даровитыми и свѣдущими людьми. Знатность рода тутъ не могла приниматься въ соображеніе. Самые недальновидные умы понимали очень хорошо, что безъ личныхъ способностей и безъ обширныхъ знаній невозможно ворочать громадную и сложную административную машину. Поэтому ни въ одномъ европейскомъ государствѣ аристократическіе предразсудки, несмотря на всю свою силу, не возвысились до грандіозно-нелѣпой попытки ввести въ назначеніе министровъ принципъ наслѣдственности или сдѣлать министерскія мѣста доступными только для высшихъ дворянскихъ фамилій. Во Франціи простолюдинъ (roturier) не могъ дослужиться до офицерскаго чина; но всѣ важнѣйшіе гражданскіе чиновники, интенданты, контролеры или министры были обыкновенно простолюдинами. Въ той-же Франціи множество должностей продавалось отъ короны въ наслѣдственную собственность. Но никому изъ французскихъ королей въ самыя тяжелыя минуты безденежья не приходила въ голову остроумная мысль продать съ аукціона должности министровъ, хотя, разумѣется, нашлись-бы покупатели, готовые заплатить за такія вліятельныя мѣста очень хорошія деньги. Идеи вѣка и духъ времени проникаютъ слабо и медленно въ міръ блестящихъ салоновъ. Но духъ времени необходимъ даже для тѣхъ людей, которые не имѣютъ понятія о его существованіи; безъ его содѣйствія самыя сильныя лица ежеминутно рискуютъ очутиться въ самомъ жалкомъ и смѣшномъ положеніи; онѣ будутъ отдавать такія приказанія, которыя не могутъ быть приведены въ исполненіе; онѣ будутъ получать отъ сдѣланныхъ распоряженій совсѣмъ не тѣ результаты, которыхъ онѣ добивались и ожидали. Поэтому оказалась очевидная необходимость впустить духъ вѣка въ королевскіе совѣты, и представителями этого духа явились министры, которые, родившись въ бѣдности, проведя молодость среди лишеній и упорнаго труда, имѣли по крайней мѣрѣ хоть какое-нибудь понятіе о темныхъ и грязныхъ закоулкахъ народной жизни. Разумѣется, очень немногіе министры являлись вполнѣ достойными представителями вѣка; очень немногіе проникались лучшими идеями своего времени и рѣшались защищать во что бы то ни стало дѣйствительныя потребности своихъ соотечественниковъ, но по крайней мѣрѣ всѣ они знали до нѣкоторой степени, что́ возможно и что́ невозможно въ данную минуту. Даже и эти скромныя знанія, проникая въ область высшей политики, часто спасали Европу отъ очень тяжелыхъ испытаній.

Дѣятельность министровъ естественнымъ образомъ должна была понизить значеніе королевской власти, тѣмъ болѣе, что короли обыкновенно не имѣли возможности контролировать административную тактику министровъ съ достаточнымъ знаніемъ дѣла. Вмѣшательство королей въ политику выражалось обыкновенно въ той формѣ, что министръ впадалъ въ немилость и получалъ отставку вслѣдствіе какой нибудь мелкой дворцовой интриги. Извѣстно напримѣръ, что Людовикъ XIV и Людовикъ XV находились оба подъ вліяніемъ своихъ духовниковъ и своихъ любовницъ, которые по своему благоусмотрѣнію тасовали министровъ и поворачивали въ разныя стороны внѣшнюю политику Франціи. Поэтому министрамъ надо было постоянно вести рядомъ двѣ дипломатическія игры, одну—общеевропейскую, другую—версальскую; то есть, кромѣ великихъ государственныхъ вопросовъ, надо было еще постоянно изучать мелкія особенности придворной тактики. Даже такой великій человѣкъ, какъ Ришельё, признавался, что выслѣживаніе и распутываніе мелкихъ придворныхъ интригъ и сплетенъ доставляло ему гораздо больше хлопотъ, чѣмъ обдумываніе крупныхъ вопросовъ европейской политики. Понятно, что эти отношенія королей къ важнымъ государственнымъ дѣламъ не могли оставаться тайной для общества. Эти отношенія разбирались, обсуживались, осмѣивались, и въ общемъ результатѣ получался очевидный ущербъ для королевскаго авторитета.

XXII.

Въ цвѣтущія времена средневѣкового порядка постоянныя и правильныя международныя сношенія не существовали, а въ экстренныхъ случаяхъ естественнымъ посредникомъ между враждующими государствами являлся папа, въ лицѣ своихъ легатовъ. Съ XIV вѣка европейское могущество папъ стало быстро понижаться, и въ-то же время постоянныя сношенія между различными державами стали гораздо болѣе необходимыми, чѣмъ прежде, во времена промышленнаго застоя и умственной неподвижности. Для удовлетворенія этой возрастающей потребности появились дипломатическіе агенты, которые вмѣстѣ съ министрами забрали въ свои руки всѣ нити евро-

Digitized by Google

пейской политики. Первымъ значительнымъ подвигомъ дипломатовъ было заключеніе Вестфальскаго мира, окончившаго собою тридцатилѣтнюю войну и окончательно отдѣлившаго отъ папскаго престола половину Европы. Легко можетъ быть, что вѣнскій конгрессъ былъ послѣднимъ значительнымъ подвигомъ европейской дипломатіи; по крайней мѣрѣ съ того времени совершилось много такихъ событій, которыя захватывали врасплохъ всевозможныхъ Талейрановъ и Меттерниховъ и разстраивали всѣ тончайшія соображенія этихъ проницательныхъ и дальновидныхъ господъ; съ того времени сдѣлалось черезчуръ очевиднымъ то обстоятельство, что ходомъ событій управляютъ совсѣмъ особенныя силы, составляющія для дипломатовъ вѣчную загадку, и дипломатія, чтобы не попадаться ежеминутно въ просакъ, соглашается новидимому принять на себя безобидную роль зрителя, дающаго оффиціальныя названія совершившимся фактамъ. Но въ первые вѣка послѣ реформаціи дипломаты спасли Европу отъ многихъ страданій, и спасли ее именно тѣмъ извѣстнымъ презрѣніемъ ко всякимъ принципамъ, которое составляетъ самый естественный аттрибутъ истиннаго дипломата. Противуположные принципы,—католицизмъ и протестантизмъ, — стараясь побѣдить и уничтожить другъ друга, пролили въ то время очень много крови, и пролили-бы ея еще гораздо больше, еслибы международныя отношенія находились въ рукахъ людей, проникнутыхъ глубокими убѣжденіями. Люди, глубоко убѣжденные, въ то время были похожи на Филиппа II испанскаго, объявлявшаго торжественно, что онъ скорѣе согласится царствовать надъ пустыней, чѣмъ надъ страной еретиковъ. Десятокъ такихъ людей, поставленныхъ на высокія мѣста, могли превосходно воспользоваться фанатическими страстями массъ и дѣйствительно превратить Европу въ пустыню.

Такъ-бы оно и случилось, еслибы напримѣръ католическія державы обратили вниманіе на протестъ папы, который послѣ тридцатилѣтняго кровопролитія все-таки отказался подписать Вестфальскій миръ, позволявшій протестантамъ существовать на бѣломъ свѣтѣ. Къ счастью для Европы, ея королями были въ это тяжелое время люди безпечные и безхарактерные, и политическими дѣлами заправляли министры и дипломаты,—люди, вышедшіе изъ низшихъ классовъ общества и превосходно выучившіеся впродолженіи долгой и трудной служебной карьеры предпочитать мелкія выгоды всевозможнымъ великимъ идеаламъ, принципамъ и убѣжденіямъ. Такіе люди хорошо понимали, что царствовать надъ пустынями неудобно, потому что тамъ не съ кого будетъ собирать подати; вслѣдствіе такихъ соображеній яростные вопли принциповъ были оставлены безъ вниманія, и надъ замиренной Европой воцарилась система мелкихъ компромиссовъ, ловкихъ сдѣлокъ и осторожныхъ взаимныхъ надувательствъ. Эту систему дипломаты называютъ системой политическаго равновѣсія, но ее можно было-бы также назвать системой организованнаго недовѣрія. Какъ только какая-нибудь держава такъ или иначе начинаетъ усиливаться, такъ всѣ остальныя державы должны тотчасъ усматривать себѣ въ этомъ усиленіи косвенную угрозу, вслѣдствіе которой слѣдуетъ сообразно съ обстоятельствами принимать различныя мѣры, болѣе или менѣе рѣшительныя и энергическія. Эта политическая теорія очень обременительна для всѣхъ европейскихъ государствъ и не приноситъ никакой пользы ни одному изъ нихъ; но надо признаться, что она составляетъ неизбѣжный переходъ отъ старой феодальной воинственности къ счастливымъ и уже недалекимъ временамъ разумнаго миролюбія и промышленной солидарности. Средневѣковая воинственность угасла уже давно; въ исторіи трехъ послѣднихъ столѣтій рѣдко можно встрѣтить такія безцѣльныя войны, какія загорались въ средніе вѣка исключительно отъ избытка рыцарской отважности и барской праздности. Крупно-нелѣпыя личности, подобныя Карлу XII и Наполеону I, представляютъ собою одинокія явленія, совершенно непохожія на все то, что ихъ окружаетъ. Безкорыстная страсть къ войнѣ уже начинала угасать въ то время, когда протестантское движеніе охватало Европу. Тутъ война сдѣлалась неизбѣжной не потому, что людямъ нравились военныя упражненія, а потому, что каждый изъ противуположныхъ принциповъ считалъ войну единственнымъ средствомъ самосохраненія. Когда-же завязались продолжительныя и упорныя войны, тогда война очень скоро сдѣлалась самымъ выгоднымъ и даже единственнымъ выгоднымъ ремесломъ, потому что грабить, рѣзать и жечь гораздо пріятнѣе, чѣмъ быть ограбленнымъ, зарѣзаннымъ и сожженнымъ. Война, бывшая сначала средствомъ для очень многихъ людей, превратилась въ самостоятельную цѣль. Плохо уснувшіе инстинкты разрушенія и грабежа поднялись снова во всемъ средневѣковомъ величіи, и въ XVII столѣтіи, во времена Галилея и Кеплера, на историческую сцену выступили такіе артисты живодерства, какъ напримѣръ Тилли, Мансфельдъ, Папенгеймъ и въ особенности несравненный герцогъ Фридландскій, Валленштейнъ. Вторая половина того-же столѣтія наполнена войнами Людовика XIV, которому во что-бы то ни стало хотѣлось уничтожить голландскую республику, какъ вредный притонъ протестантизма и вольнодумства. Вильгельмъ Оранскій понималъ, что побѣда Франціи можетъ надѣлать всей Европѣ очень много зла, и поэтому, вступивши въ 1688 г. на англійскій престолъ, онъ составилъ противъ

Digitized by Google

Людовика сильную коалицію, которая сломила его усердіе въ пропагандированіи деспотизма. Война была продолжительная и кровопролитная, но никакъ нельзя утверждать, что воюющія стороны воевали изъ любви къ искусству. У каждаго лагеря были свои принципы, которые никакъ не могли ужиться между собою въ мирѣ, и которыхъ борьба далеко не кончена даже въ настоящее время. Въ началѣ XVIII вѣка испанскій престолъ оказался вакантнымъ; само собою разумѣется, что ни одинъ изъ двухъ враждебныхъ лагерей не могъ безъ боя уступить другому цѣлое королевство; началась новая война, которая также вовсе не похожа на безцѣльныя средневѣковыя свалки. Затѣмъ между Франціей и Англіей начинаются войны, имѣющія совершенно новый, меркантильный характеръ,—войны, направленныя къ тому, чтобы убить торговлю противника и на ея развалинахъ основать свое собственное торговое могущество. Эти войны вытекали изъ ошибочныхъ взглядовъ на торговлю, но уже одна возможность такихъ ошибокъ показываетъ ту преобладающую важность, которую интересы промышленности упрочили за собою съ XVIII вѣка въ политикѣ передовыхъ европейскихъ государствъ. Другія войны XVIII в., напримѣръ семилѣтняя война и безплодныя усилія Англіи подавить американское возстаніе, составляютъ естественныя послѣдствія той диктатуры, которая можетъ распоряжаться по своему благоусмотрѣнію кровью и деньгами безотвѣтнаго народа. Вообще исторія всѣхъ войнъ, предпринятыхъ и веденныхъ втеченіи трехъ послѣднихъ столѣтій, даетъ тотъ выразительный результатъ, что народные инстинкты постоянно склонялись къ миру, диктатура вызывала войну, а министры вмѣстѣ съ дипломатами, подобно всякимъ метафизикамъ, старались лавировать и балансировать между двумя непримиримыми и несогласимыми крайностями.

XXIII.

Задолго до реформаціи въ Европѣ уже были такіе люди, умственныя требованія которыхъ не могли удовлетвориться протестантскимъ движеніемъ. Уже въ XIII вѣкѣ философія Аверроэса находила себѣ ревностныхъ почитателей въ Италіи и во Франціи; за эту философію пошли на костеръ въ началѣ XIV столѣтія нѣкоторые черезчуръ смѣлые парижскіе метафизики; объ этой философіи достаточно будетъ замѣтить, что Аверроэсъ или, правильнѣе, Ибнъ-Рошдъ, будучи самъ мусульманиномъ, открыто смѣялся надъ Магометомъ, презиралъ Коранъ и относился съ самымъ крайнимъ недовѣріемъ ко всему фантастическому. Эти тенденціи, переложенныя на европейскіе нравы, привились довольно прочно тамъ, гдѣ повидимому имъ всего менѣе слѣдовало-бы находиться,—именно въ высшихъ слояхъ итальянскаго духовенства. Достовѣрно извѣстно, что папы и кардиналы XV вѣка сами считали себя очень искусными актерами и отъ души удивлялись несокрушимому легковѣрію своей громадной публики. Папамъ и кардиналамъ было, разумѣется, неудобно популяризировать тѣ идеи, которыми они сами были проникнуты; но въ то же время имъ невозможно было играть роль съ утра до вечера, и притомъ каждый день, втеченіе многихъ лѣтъ; необходимо было по временамъ снимать тяжелую маску, бросать другъ на друга откровенно насмѣшливые взгляды и при затворенныхъ дверяхъ наслаждаться такой умственной пищей, которая соотвѣтствовала ихъ настоящимъ понятіямъ и наклонностямъ. Поэтому, строго запрещая распространеніе такой пищи въ обширныхъ кругахъ обыкновенныхъ потребителей, папы и кардиналы поощряли ея изготовленіе и держали при себѣ, въ видѣ придворной забавы, такихъ мыслителей и поэтовъ, которыхъ по настоящему, во имя всѣхъ неприкосновенныхъ истинъ, слѣдовало-бы зажарить самымъ тщательнымъ образомъ. Правда, что эти мыслители и поэты понимали свое положеніе и не обнаруживали никакихъ нескромныхъ наклонностей къ распространенію своихъ идей. Они относились къ непросвѣщенной массѣ съ самымъ величественнымъ презрѣніемъ, а на собственныя идеи они смотрѣли, какъ на свое личное сокровище и утѣшеніе; имъ никакъ не приходило въ голову, что между этими идеями и умами массы можетъ произойти химическое соединеніе, способное развить изъ себя самыя удивительныя и неожиданныя послѣдствія. Они не добивались этого химическаго соединенія, но, любя свои идеи, они, разумѣется, дѣлились ими съ тѣснымъ кружкомъ друзей и учениковъ.

Такимъ образомъ непозволительныя тенденціи жили тихо и незамѣтно до тѣхъ поръ, пока не отыскалась для нихъ удобная форма, въ которой онѣ смѣло могли выступить на свѣтъ. Такой формой оказалась страсть къ изученію классической древности. Эта страсть въ XV вѣкѣ охватила Италію и затѣмъ всю Европу. Изучать литературу грековъ и римлянъ—тутъ очевидно не было ничего предосудительнаго; въ страсти къ классическимъ литературамъ можно было признаваться открыто; поэтовъ и мыслителей древности можно было читать съ восхищеніемъ и комментировать съ восторгомъ передъ цѣлыми сотнями любознательныхъ учениковъ. О древности можно было говорить свободно; тутъ можно было, съ одной стороны, давать полную волю собственной критикѣ и, съ другой стороны, публично преклоняться передъ той свободой мысли и широтой взгляда, которыя характеризуютъ лучшихъ представителей древней философіи: кромѣ того тутъ можно было, подъ видомъ

Digitized by Google

восхищенія литературными красотами, заявлять свое пламенное и безграничное сочувствіе идеямъ и явленіямъ, діаметрально противуположнымъ и враждебнымъ всему тому, чему приказано было безусловно сочувствовать. Даже въ совершенно невинномъ благоговѣніи къ чистотѣ и изяществу цицероновскаго языка можно было скрыть тонкій и тѣмъ болѣе язвительный намекъ на грубость и безобразіе той варварской латыни, на которой были написаны грозныя буллы величайшихъ папъ и ужасные фоліанты Ѳомы Аквинскаго, Дунса Скотта и всѣхъ другихъ свѣтилъ католической теологіи. Вообще можно сказать, что ревностное изученіе классическихъ литературъ значительно увеличило во всей Европѣ число насмѣшливыхъ взглядовъ и лукавыхъ улыбокъ. Особенно важно было то обстоятельство, что открылась возможность постоянно увеличивать это число, не подвергаясь ни малѣйшей опасности и не нарушая никакихъ правилъ субординаціи и благочестія.

Реформація застала Германію въ полномъ разгарѣ классическихъ увлеченій. Знаменитѣйшіе изъ тогдашнихъ гуманистовъ, въ особенности Эразмъ Роттердамскій, отнеслись къ протестантскому движенію съ самымъ глубокимъ равнодушіемъ. По ихъ мнѣнію, не стоило ссориться съ Римомъ и поднимать шумъ на всю Европу, чтобы ограничиться тѣми мелочами, на которыхъ остановился Лютеръ. Эразмъ остался вѣренъ католицизму такъ точно, какъ онъ остался-бы вѣренъ буддизму, еслибы буддизмъ позволялъ ему жить спокойно и размышлять въ теплomъ кабинетѣ о различныхъ проявленіяхъ человѣческой глупости. Эразмъ и подобные ему книжники нисколько не желали и не считали возможнымъ обращать массу на путь истины. Вѣчное раздвоеніе между массой и мыслителями казалось имъ неизбѣжнымъ. Осуждать ихъ за это не слѣдуетъ. Они сдѣлали свое дѣло именно въ качествѣ книжниковъ и гордыхъ аристократовъ умственнаго міра. Прежде чѣмъ популяризировать философскую доктрину систематическаго отрицанія, надо было выработать ее. А чтобы выработать ее, надо было предварительно устроить такую лабораторію, въ которой можно было-бы работать съ полной безопасностью. Кромѣ того надо было сформировать такихъ людей, которые могли и желали-бы заняться этой серьезной и суровой работой. Надо было унести и спрятать свободную мысль въ самыя тихія убѣжища книжной науки,—въ такія мѣста, въ которыя-бы не заглядывала тупая ненависть бѣснующихся сектаторовъ, подобныхъ Кальвину. Надо было въ глубокой тишинѣ передавать немногимъ избраннымъ любовь къ свободному анализу для того, чтобы эта любовь сохранилась во всей своей чистотѣ до тѣхъ болѣе счастливыхъ временъ, когда прекратятся крики и драки фанатиковъ, и когда свободному мыслителю можно будетъ произнести во всеуслышаніе свое глубоко-обдуманное слово.

Хотя протестантское движеніе возбудило на нѣсколько десятилѣтій такія страсти, которыя совершенно враждебны свободному изслѣдованію, однако же по всей вѣроятности практическіе успѣхи Лютера, Кальвина и другихъ сектаторовъ заронили въ умы кабинетныхъ мыслителей ту смутную и робкую надежду, что когда нибудь настанетъ и для ихъ любимыхъ идей время практическихъ успѣховъ. Если масса убѣждается доводами Лютера и отказывается отъ папы, то со временемъ она можетъ убѣдиться доводами другого мыслителя и отказаться отъ Лютера. Если масса могла пойдти за Лютеромъ, то стало-быть она не осуждена на вѣчную умственную неподвижность, и стало-быть мыслитель можетъ искоренять самыя застарѣлыя ея заблужденія, если только съумѣетъ спускаться до уровня ея пониманія. Кромѣ того протестантская полемика въ первый разъ показала кабинетнымъ мыслителямъ, что̀ такое книгопечатаніе, и чѣмъ оно можетъ сдѣлаться въ рукахъ сообразительнаго и предпріимчиваго человѣка. Узнавши такимъ образомъ впечатлительность массы и силу книгопечатанія, кабинетные мыслители, далеко опередившіе протестантовъ смѣлостью и послѣдовательностью своихъ идей, непремѣнно должны были, рано или поздно, выйдти изъ своихъ тихихъ убѣжищъ въ открытое житейское море.

Продолжительныя бѣдствія религіозныхъ войнъ, послѣдовавшихъ за протестантскимъ движеніемъ, нанесли жестокій ударъ тому самому усердію, которое побуждало пылкихъ людей браться за оружіе. Въ практической жизни прямой опытъ дѣйствуетъ неотразимо на самыхъ необузданныхъ супранатуралистовъ. Когда оказалось безсильнымъ даже такое героическое лекарство, какъ Варѳоломеевская ночь, тогда враждебнымъ сектамъ поневолѣ пришлось сознаться въ томъ, что всѣ онѣ одинаково дорожатъ своими идеями, и что ни одной изъ нихъ не удается ни переубѣдить, ни истребить всѣхъ своихъ противниковъ. За разгаромъ воинственныхъ страстей послѣдовало общее утомленіе и желаніе мира во что бы то ни стало. Фанатизмъ подъ конецъ XVI вѣка смѣнился во Франціи такимъ замѣчательнымъ равнодушіемъ, что образовалась цѣлая могущественная партія такъ называемыхъ *политиковъ* или религіозныхъ примирителей, смотрѣвшихъ на догматическіе вопросы съ чисто-государственной точки зрѣнія. «Многимъ, — писалъ Дюплесси Морне въ началѣ XVII вѣка,—теперь надо сперва сказать, что есть религія, прежде чѣмъ сказать— какая». Двумя самыми яркими воплощеніями этого индифферентизма являются два величайшіе правителя старой Франціи, Генрихъ IV и

Digitized by Google

кардиналъ Ришельё. Пользуясь такимъ удобнымъ положеніемъ дѣлъ, свободный анализъ въ первый разъ выступилъ открыто передъ французскимъ обществомъ. Въ 1588 году Монтень издалъ свои «Essais», въ которыхъ очень мягко и вѣжливо выражаются совершенно скептическія отношенія къ самымъ почтеннымъ идеямъ католичества. «Дѣйствительно,—говоритъ онъ напримѣръ,—у насъ нѣтъ другого мѣрила истинному и разумному, кромѣ примѣра и понятія о мнѣніяхъ и обычаяхъ страны, гдѣ мы живемъ: вотъ совершенная религія, совершенное благоустройство, совершенное и удовлетворительное пользованіе всѣмъ». Въ 1601 году появилась книга Шаррона: «De la sagesse». Объ этой книгѣ Бокль сообщаетъ намъ слѣдующія подробности: «Шарронъ припоминаетъ своимъ соотечественникамъ, что ихъ религія зависитъ отъ случайныхъ условій ихъ рожденія и воспитанія, и что, еслибы они родились въ магометанской землѣ, они были-бы такими-же ревностными магометанами, какъ теперь христіанами. Этими соображеніями онъ доказываетъ всю нелѣпость соболѣзнованій о различіи религій, такъ какъ это различіе есть результатъ обстоятельствъ, независящихъ отъ людей. Слѣдуетъ также замѣтить, что каждая изъ этихъ различныхъ религій объявляетъ себя единственно-истинной, и всѣ онѣ основаны на сверхъ-естественныхъ притязаніяхъ, какъ-то: тайнахъ, чудесахъ, пророчествахъ, и т. п. Люди, именно потому, что забыли все это, сдѣлались рабами своего собственнаго легковѣрія, которое составляетъ главнѣйшее препятствіе всякому истинному знанію и которое можно устранить только принятіемъ широкой и общей точки зрѣнія, которая показала-бы намъ, какъ всѣ народы равно упорно держатся за понятія, въ которыхъ воспитаны. Если мы взглянемъ нѣсколько глубже,—говоритъ Шарронъ,—то увидимъ, что каждая изъ великихъ религій основана на той, которая ей предшествуетъ. Такимъ образомъ религія евреевъ основана на египетской; христіанство есть результатъ іудейства, а изъ двухъ послѣднихъ естественно происходитъ исламъ. Вотъ почему,—присовокупляетъ авторъ,—мы должны возвыситься надъ притязаніями враждебныхъ сектъ и, не пугаясь будущихъ наказаній, не увлекаясь надеждой на будущее блаженство, довольствоваться практической религіей, состоящей въ исполненіи обязанностей жизни, и, нестѣсняемые догматами какого-нибудь отдѣльнаго вѣрованія, стремиться къ тому, чтобы душа вошла сама въ себя и, усиліемъ самосозерцанія, восторгалась несказаннымъ величіемъ существа изъ существъ, высшей причины всего творенія.» *)

Размышленія Шаррона до такой степени понравились французамъ, что книга его въ шесть лѣтъ выдержала три изданія. Изъ этого обстоятельства мы уже видимъ ясно, что та почва, на которой впослѣдствіи пришлось дѣйствовать Вольтеру, начала подготовляться очень рано. Подготовленіе продолжалось, тѣми или другими путями, втеченіи всего XVII столѣтія. Въ 1637 году Декартъ издалъ свой «Discours de la Méthode», написанный такимъ увлекательнымъ языкомъ, который до сихъ поръ считается образцомъ ясности, изящества и живости. Въ этомъ сочиненіи мыслитель прямо и совершенно сознательно обращается къ обществу, минуя тѣхъ патентованныхъ философовъ, по мнѣнію которыхъ вся истина замурована на вѣчныя времена въ старыхъ фоліантахъ. «Если,—говоритъ Декартъ,—я пишу по-французски, на языкѣ моихъ соотечественниковъ, а не по-латыни, не на языкѣ моихъ учителей, то это дѣлается потому, что я надѣюсь, что тѣ люди, которые руководствуются своимъ естественнымъ и неиспорченнымъ разумомъ, оцѣнятъ лучше мои мнѣнія, чѣмъ тѣ люди, которые вѣрятъ исключительно старымъ книгамъ.»—Въ такихъ словахъ уже слышатся ноты вольтеровскаго свиста; общество признается верховнымъ судьей, здравый смыслъ становится выше авторитетовъ.—Въ области мысли Декартъ не только является самымъ неутомимымъ разрушителемъ, но онъ даже съ крайней догматической рѣзкостью возводитъ разрушеніе старыхъ идей въ основной принципъ, безъ котораго мыслителю не позволяется сдѣлать ни одного шагу на пути изслѣдованія и умозрѣнія. «Когда я, - говоритъ онъ въ томъ-же «Discours», предназначенномъ для всей массы мыслящихъ читателей,—приступилъ къ изысканію истины, я нашелъ, что лучшее средство для этого—отбросить все, что́ я прежде получилъ, и отказаться отъ моихъ старыхъ мнѣній съ тѣмъ, чтобы положить имъ новое основаніе; я думалъ, что такимъ образомъ легче выполню великую задачу жизни, чѣмъ еслибы держался старыхъ началъ, которыя я принялъ въ молодости, не разсматривая, дѣйствительно-ли они вѣрны». — *Отбросить все, что я прежде получилъ*! При этомъ нѣтъ никакихъ ограничительныхъ оговорокъ! И это высказывается самымъ яснымъ и увлекательнымъ французскимъ языкомъ! Не чувствуете-ли вы, мой читатель, что морозъ подираетъ васъ по кожѣ? Я положительно это чувствую.

Впродолженіи всего XVII вѣка Голландія была постояннымъ безопаснымъ убѣжищемъ свободныхъ мыслителей. Германію опустошала въ это время тридцатилѣтняя война; въ Англіи свободную мысль преслѣдовали сначала Стюарты вмѣстѣ съ епископальной церковью, а потомъ—пуритане; во Франціи, даже до вступ-

*) Русскій переводъ. Бокль Т. I. Стр. 391, 392.

Digitized by Google

ленія на престолъ Людовика XIV, свободные мыслители никакъ не могли считать себя безопасными, потому что кардиналъ Ришельё, недававшій духовенству ни малѣйшаго вліянія на важныя государственныя дѣла, вовсе не былъ расположенъ ссориться съ клерикалами изъ-за того, чтобы спасти отъ наказанія какого-нибудь одного попавшагося вольнодумца. Когда же началось правленіе Людовика XIV, тогда свободная мысль совершенно замерла во Франціи слишкомъ на пятьдесятъ лѣтъ. Но въ это самое время она снова съ небывалой силой пробудилась въ Англіи, гдѣ Карлъ II началъ рѣшительно поощрять самыя смѣлыя отрицательныя доктрины. «Самымъ опаснымъ врагомъ духовенства,—говоритъ Бокль,—въ XVII вѣкѣ былъ конечно Гоббесъ, тончайшій діалектикъ эпохи, писатель, отличающійся необыкновенной ясностью и между англійскими метафизиками уступающій только Беркли. Этотъ глубокій мыслитель издалъ нѣсколько сочиненій, неблагопріятныхъ церкви и прямо противоположныхъ началамъ, которыя существенно необходимы для власти духовенства. Духовенство, какъ и слѣдовало ожидать, ненавидѣло его; его ученіе было объявлено въ высшей степени опаснымъ, и онъ былъ обвиненъ въ желаніи ниспровергнуть народную религію и испортить народную нравственность. Это зашло такъ далеко, что каждаго, кто осмѣливался думать самостоятельно, клеймили именемъ гоббиста или, какъ иногда выражались, гоббіанца. Такая открытая вражда духовенства была достаточной рекомендаціей передъ Карломъ. Король еще до своего вступленія на престолъ принялъ многія изъ началъ Гоббеса и послѣ возстановленія оказывалъ ему почтеніе, которое возмущало нѣкоторыхъ. Онъ защищалъ его отъ враговъ, даже не безъ нѣкоторой аффектаціи повѣсилъ портретъ его въ своей комнатѣ въ Вайтголлѣ и назначилъ пенсію этому страшнѣйшему изъ всѣхъ дотолѣ появлявшихся враговъ церковной іерархіи.»

Здѣсь особенно выразителенъ тотъ фактъ, что во второй половинѣ XVII вѣка вольнодумцы уже имѣли въ Англіи свою коллективную кличку, вполнѣ соотвѣтствующую слову *вольтерьянецъ*, возникшему въ слѣдующемъ столѣтіи. Огюстъ Контъ относится къ Гоббесу съ большимъ уваженіемъ, называетъ его l'illustre Hobbes, горячо защищаетъ его память противъ обвиненій въ раболѣпствѣ передъ свѣтской властью, говоритъ, что это клевета, взведенная на великаго мыслителя англійскими аристократами и клерикалами, и наконецъ провозглашаетъ Гоббеса настоящимъ отцомъ отрицательной философіи. Большая часть сочиненій Гоббеса была написана и напечатана въ Голландіи, гдѣ Гоббесъ жилъ во все время протектората Кромвеля. Послѣ Гоббеса работали въ томъ-же направленіи и въ той-же гостепріимной странѣ Бенедиктъ, Спиноза и Пьеръ Бэль (Bayle).

Когда кончилась ихъ дѣятельность, тогда отрицательная доктрина оказалась окончательно выработанной во всѣхъ своихъ основныхъ чертахъ. Преемникамъ этихъ людей оставалось только размѣнять на мелкую монету и пустить въ общее обращеніе всю груду ихъ антикатолическихъ идей. За эту работу принялись съ необыкновеннымъ рвеніемъ и съ изумительнымъ искусствомъ талантливые французскіе писатели XVIII вѣка, во главѣ которыхъ стоялъ Вольтеръ. Задача этихъ писателей состояла совсѣмъ не въ томъ, чтобы открывать міру новыя истины, а въ томъ, чтобы сдѣлать уже добытыя истины неотъемлемымъ достояніемъ каждаго читающаго человѣка. Еслибы всѣ истины были открыты, еслибы всѣ заблужденія были опровергнуты, то весь міръ все-таки оставался-бы въ самой глубокой тьмѣ невѣжества и суевѣрія до тѣхъ поръ, пока великія открытія и опроверженія лежали-бы тихо и смирно въ большихъ и мудреныхъ книгахъ, непонятныхъ и незанимательныхъ для простыхъ смертныхъ. Чтобы придать открытіямъ и опроверженіямъ полную и широкую практическую вліятельность, чтобы извлечь изъ нихъ силу, разгоняющую позорный и вредный сонъ человѣческаго ума, чтобы оплодотворить ими жизнь цѣлыхъ великихъ народовъ,—надо было втеченіи нѣсколькихъ десятилѣтій постоянно придумывать для этихъ открытій и опроверженій новыя формы, разнообразныя, легкія, граціозныя, смѣшныя, пестрыя, яркія, блестящія, какія угодно, но только непремѣнно такія, которыя бросались-бы въ глаза, дразнили любопытство, врѣзывались въ память и незамѣтно овладѣвали-бы всѣмъ существомъ очарованнаго читателя. И все это было исполнено. И міръ узналъ въ первый разъ, что такое литература, и что могутъ сдѣлать съ цѣлымъ вѣкомъ великіе мастера словеснаго дѣла,—мастера, которыхъ нельзя назвать ни поэтами, ни учеными, ни философами. Писателей XVIII вѣка называютъ, правда, философами, и они сами очень любили украшать себя этимъ именемъ, но на самомъ дѣлѣ они нисколько не философы, а просто умные и талантливые литераторы, превосходно понявшіе или угадавшіе потребности своего времени. Какой-же напримѣръ философъ самъ Вольтеръ? Въ чемъ состоитъ его философская система? Еслибы кто-нибудь задалъ ему этотъ вопросъ, онъ навѣрное отдѣлался-бы отъ этого вопроса какой-нибудь шуткой и оказался-бы совершенно правымъ, потому что его задача состояла совсѣмъ не въ томъ, чтобы сооружать системы, а въ томъ, чтобы съ утра до вечера, втеченіи пятидесяти лѣтъ, вести убійственную партизанскую войну про-

Digitized by Google

тивъ всѣхъ средневѣковыхъ заблужденій и несправедливостей. Но философомъ его все-таки называть не годится. Вольтеръ до конца своей жизни оставался деистомъ, но многіе изъ его сподвижниковъ пошли дальше и дошли наконецъ до nec plus ultra.

Я предоставляю Боклю нарисовать намъ печальную картину ихъ гибельныхъ заблужденій. «Между писателями низшаго разряда,—говоритъ Бокль,—Дамилавилль, Делейръ, Марешаль, Нежонъ, Туссенъ были ревностными распространителями холоднаго и мрачнаго ученія, которое, чтобы погасить надежду на будущую жизнь, изгоняетъ изъ души человѣческой возвышенное чувство ея безсмертія, и—странно сказать!—даже нѣкоторые изъ величайшихъ умовъ не могли ускользнуть отъ этой заразы. Атеизмъ открыто защищался Кондорсе, Д'Аламберомъ, Дидро, Гельвеціемъ, Лэландомъ, Лапласомъ, Мирабо и Сенъ-Ламберомъ. Дѣйствительно, все это такъ полно согласовалось съ общимъ настроеніемъ, что въ обществѣ люди хвастались тѣмъ, что въ другой странѣ и въ другое время было-бы рѣдкимъ и исключительнымъ заблужденіемъ, эксцентрическимъ мнѣніемъ, которое зараженные имъ старались-бы скрывать. Въ 1764 году Юмъ встрѣтилъ въ домѣ барона Гольбаха общество знаменитѣйшихъ французовъ, жившихъ тогда въ Парижѣ. Великій шотландецъ, знавшій общее настроеніе, воспользовался случаемъ представить доводы противъ возможности существованія атеиста въ настоящемъ смыслѣ этого слова. Что касалось до него, онъ никогда не встрѣчалъ атеиста. «Вы были довольно несчастливы,—сказалъ Гольбахъ,—но въ настоящее время вы видите ихъ здѣсь за столомъ семнадцать». Надо полагать, что, услышавъ эти ужасныя слова, *великій шотландецъ* поспѣшно зажалъ свои великія уши и тоскливо повѣсилъ свой великій носъ.

Когда отрицательныя доктрины произвели полный переворотъ въ мірѣ идей, тогда образовалась, подъ предводительствомъ Руссо, политическая школа, которая прямо напала на существующія учрежденія, во имя того воображаемаго совершенства и блаженства, которыми пользовался человѣкъ, находясь въ естественномъ состояніи. «Revenons à la nature!» было постояннымъ боевымъ крикомъ этой школы, которая знала натуру очень плохо, но которая зато мѣтко попадала въ слабую и гнилую сторону общества, дошедшаго дѣйствительно до послѣднихъ предѣловъ нелѣпой, безобразной и болѣзненной искусственности. Вмѣстѣ съ школою Руссо на существующія учрежденія стали нападать, съ другой стороны, менѣе страстнымъ, но болѣе разсудительнымъ образомъ солидные и серьезные экономисты, которые доказывали что правительство своимъ вмѣшательствомъ жестоко тормозитъ народную промышленность и само себя разоряетъ своими собственными усиліями. Около этого-же времени образовался расколъ въ средѣ юристовъ; нашлось множество смѣлыхъ судей и адвокатовъ, которые вслѣдъ за маркизомъ Беккаріа стали жестоко нападать на варварство средневѣковыхъ казней, на безобразіе пытки, на несправедливость и неразумность всего уголовнаго судопроизводства. Старое общественное зданіе очевидно не могло устоять противъ всѣхъ этихъ горячихъ нападеній, которымъ сочувствовали въ значительной степени сами оффиціальные хранители традицій и существующихъ учрежденій.

Digitized by Google

1866.

ПОПУЛЯРИЗАТОРЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХЪ ДОКТРИНЪ.

I.

Въ статьѣ «Времена метафизической аргументаціи» *) было брошено нѣсколько отрывочныхъ замѣчаній о французской литературѣ XVIII вѣка. Чтобы выяснить и дополнить эти замѣчанія, я постараюсь теперь опредѣлить общій характеръ того великаго умственнаго движенія, которое положило конецъ средневѣковому порядку вещей.

Во время продолжительнаго царствованія Людовика XIV французы совершенно разучились отстаивать свои права волненія фронды были забыты; дворянство служило при дворѣ и танцовало менуэты; парламенту было объяснено разъ навсегда, что Людовикъ XIV — не король, а государство; галликанская церковь, въ лицѣ своего величайшаго свѣтила, Боссюта, провозглашала торжественно, что пассивное повиновеніе королю, наперекоръ папѣ, наперекоръ всему и всѣмъ,составляетъ самую священную обязанность настоящаго христіанина. Людовикъ XIV впродолженіи пятидесяти лѣтъ слишкомъ дѣлалъ все, что̀ ему было угодно. Хотѣлъ тратить милліоны на постройку версальскихъ дворцовъ — и тратилъ; хотѣлъ вести безтолковыя войны — и велъ; хотѣлъ опустошать въ своемъ собственномъ королевствѣ цѣлыя области, населенныя мирными и трудолюбивыми протестантами,—и опустошалъ. Словомъ запрету не было ни въ чемъ, и удовольствія получались самыя разнообразныя. Дѣло короля состояло въ томъ, чтобы выдумывать затѣи и требовать денегъ: это значило, что король заботится о своей славѣ, поощряетъ промышленность и кормитъ бѣдняковъ, доставляя имъ возможность строить фонтанчики и павильончики, плести кружева дѣлать огромные парики и вышивать золотомъ атласные жилеты и бархатные кафтаны.

Счастливая Франція, осыпаемая впродолженіи многихъ десятковъ лѣтъ такими истинно-великими благодѣяніями, преуспѣла до того, что дальше преуспѣвать было уже невозможно. Дальше оставалась одна только голодная смерть. Тѣ люди, на которыхъ лежала обязанность представлять фиску деньги по первому востребованію, видѣли, что съ каждымъ годомъ собираніе доходовъ становится болѣе затруднительнымъ, и что этому горю не помогаютъ никакія военныя экзекуціи. Эти люди занимали сами очень теплыя мѣста, и поэтому они вовсе не были расположены ни къ вольнодумству, ни къ сантиментальности; но и этимъ людямъ нельзя было не замѣтить, что все государственное хозяйство идетъ изъ рукъ вонъ дурно, и что рабочія силы націи находятся при послѣднемъ издыханіи. Министры, интенданты, епископы, генеральные откупщики, всѣ чувствовали болѣе или менѣе смутно, что *такъ* нельзя продолжать. Бѣдность была такъ широко распространена, что она мозолила глаза всѣмъ, кромѣ Людовика, который ограждался отъ непристойныхъ зрѣлищъ постоянными стараніями раззолоченной и улыбающейся придворной толпы. Когда какая-нибудь печальная истина упорно выглядываетъ на свѣтъ изъ каждой прорѣхи существующаго порядка, когда эту истину нельзя замазать никакой штукатуркой, ни оффиціальными софизмами, ни бюрократическими палліативами, ни величественнымъ игнорированіемъ, ни внушительной строгостью, тогда, рано или поздно, эта истина высказывается во всеуслышаніе и овладѣваетъ всѣми умами. Чтобы высказать то, что̀ ощущается всѣми, не надо обладать особенной геніальностью; но чтобы заговорить о такомъ предметѣ, о которомъ всѣ думаютъ и о которомъ никто не смѣетъ произнести ни одного слова, надо отличаться отъ другихъ недюжинной любовью къ истинѣ или къ тѣмъ интересамъ, которые страдаютъ отъ общаго молчанія.

При Людовикѣ XIV общеобязательное молчаніе было нарушено тремя тихими и почтительными голосами. О несовершенствахъ господствующей системы заговорили архіепископъ Фенелонъ, маршалъ Франціи Вобанъ и чиновникъ руанскаго суда Буагильберъ. Всѣмъ тремъ демократическія тенденціи были совершенно не по чину, да и не по темпераменту. Всѣ трое хлопотали не о какихъ-нибудь размашистыхъ

*) Подъ этимъ заглавіемъ въ сборникѣ «Лучъ», изданномъ въ 1866 г., были помѣщены послѣднія главы «Историческихъ Идей» Огюста Конта (гл. XVII—XXIII). *Изд.*

Digitized by Google

теоріяхъ, а только о томъ, чтобы у народа не совсѣмъ были отняты средства питаться, плодиться, работать и платить подати. Самымъ дерзновеннымъ сочиненіемъ Фенелона были «Приключенія Телемака». Но это сочиненіе, уносящее читателя въ Грецію и въ глубокую древность, казалось столь дерзновеннымъ самому автору, что онъ вовсе не считалъ возможнымъ выпускать его въ свѣтъ. Книга эта была напечатана безъ вѣдома автора, который написалъ ее исключительно для своего воспитанника, герцога бургонскаго, внука Людовика XIV. Печатаніе этой книги было остановлено парижской полиціей и оказалось возможнымъ только въ голландскомъ городѣ Гагѣ. Ядовитость этой ужасной книги состоитъ въ томъ, что она воспѣваетъ добродѣтели и мудрость такихъ благодѣтельныхъ монарховъ, которые не ведутъ разорительныхъ войнъ и не забавляются великолѣпными постройками, а развиваютъ земледѣліе, поощряютъ торговлю и водворяютъ въ народѣ патріархальную простоту нравовъ. Злостность этого памфлета была такъ очевидна, что Людовикъ XIV отнялъ у Фенелона мѣсто воспитателя и запретилъ ему, какъ обличителю и критикану, являться ко двору. Другой конечно за такое неистовство просидѣлъ-бы лѣтъ двадцать въ Бастиліи, но Фенелону при всей его преступности многое можно было простить за его архіепископское достоинство. Чрезъ три года послѣ исторіи о Телемакѣ герцогу бургонскому пришлось проѣзжать черезъ городъ Камбре, въ которомъ находилась епископская резиденція Фенелона. Король былъ такъ великодушенъ, что позволилъ герцогу повидаться съ преступнымъ обличителемъ войнъ и построекъ; но такъ какъ герцогъ былъ очень молодъ, а Фенелонъ очень лукавъ и опасенъ, то имъ строго запрещено было оставаться вмѣстѣ безъ свидѣтелей. Такимъ образомъ разрушительная ярость Фенелона была обуздана.

Другимъ разрушителемъ оказался на старости лѣтъ знаменитый инженеръ Вобанъ. Основавши на своемъ вѣку тридцать-три новыя крѣпости и перестроивши триста старыхъ крѣпостей, Вобанъ долженъ былъ не только изъѣздить всю Францію вдоль и поперекъ, но еще кромѣ того жить болѣе или менѣе долго въ различныхъ мѣстностяхъ своего отечества. Онъ внимательно всматривался во все, что̀ его окружало, вездѣ находилъ бѣдность и злоупотребленія, вездѣ подмѣчалъ однѣ и тѣ-же причины народныхъ страданій и наконецъ рѣшился изложить результаты своихъ наблюденій въ политико-экономическомъ трактатѣ подъ заглавіемъ: «Projet d'une dîme royale» («Проэктъ королевской десятины»). Въ этой книгѣ онъ старался доказать, что основная причина народныхъ бѣдствій заключается въ неравномѣрномъ распредѣленіи налоговъ, т. е. въ томъ, что чернь и бѣдняки платятъ безконечно много, а богатые и знатные люди, духовенство, дворянство и чиновничество избавлены отъ всякихъ денежныхъ и натуральныхъ повинностей. Эту книгу, въ которой привилегированные тунеядцы были названы *порожденіемъ ехидны*, старый маршалъ представилъ самому королю съ тѣмъ трогательнымъ и смѣлымъ простодушіемъ, которымъ отличаются только малолѣтніе ребята и геніальные люди. Вобанъ конечно судилъ короля по самому себѣ; и, разумѣется, онъ оказывалъ Людовику XIV слишкомъ много чести. Книгу Вобана запретили, конфисковали и уничтожили. Старикъ не вынесъ этого удара и умеръ чрезъ одиннадцать дней послѣ уничтоженія книги. Умеръ онъ конечно не отъ того, что на него прогнѣвался повелитель Франціи, не отъ того, что этотъ гнѣвъ могъ преградить ему дорогу къ дальнѣйшему повышенію или даже отнять у него тѣ преимущества, которыми онъ пользовался. Вобана сразило то, что онъ принужденъ былъ въ одну минуту жестоко разочароваться. Вѣрованія всей его жизни погибли передъ его глазами. Онъ былъ увѣренъ, что король не знаетъ и что *порожденія ехидны* отводятъ ему глаза отъ народныхъ страданій. И вдругъ оказалось, что король не хочетъ знать, и что всѣ *порожденія ехидны* пользуются его сознательнымъ покровительствомъ. Во что̀-же превращались при такихъ условіяхъ всѣ труды и всѣ подвиги честнаго патріота и храбраго солдата Вобана? Какой смыслъ получали его тридцать-три крѣпости, сто сорокъ сраженій и пятьдесятъ-три осады? Онъ думалъ прежде, что онъ сражался за свое отечество. Теперь оказывалось, что своими побѣдами онъ усилилъ и возвеличилъ самыхъ опасныхъ враговъ и самыхъ ненасытныхъ грабителей Франціи. Сдѣлавши такое открытіе, молодой человѣкъ круто повернулъ-бы въ противоположную сторону всѣ свои мысли и всю свою жизнь. Но такому старику, какъ Вобанъ, оставалось только назвать себя старымъ дуракомъ и умереть, проклиная день и часъ своего рожденія.

Буагильберъ въ книгѣ своей «Détail de la France sous le règne de Louis XIV» («Подробное описаніе Франціи въ царствованіе Людовика XIV») доказывалъ, подобно Вобану, что для спасенія и благосостоянія государства необходимо равномѣрное распредѣленіе податей. Финансовое искусство, по еретическимъ мнѣніямъ Буагильбера, должно было состоять не въ выжиманіи денегъ всѣми правдами и неправдами, а въ разумномъ возвышеніи производительныхъ силъ націи. За эти дерзкія умствованія Буагильберъ потерялъ свое мѣсто, но такъ какъ у него была при дворѣ сильная протекція, то его скоро простили и снова опредѣлили къ прежней должности.

Такимъ образомъ королевская власть, въ лицѣ

Digitized by Google

Людовика XIV, получила свое первое предостереженіе слишкомъ за восемьдесятъ лѣтъ до начала революціи. Раскаяться и исправиться было еще очень возможно. Впродолженіи всей первой половины XVIII вѣка политическія стремленія самыхъ смѣлыхъ французскихъ мыслителей были чрезвычайно умѣренны. Просвѣщенный и заботливый деспотизмъ, обуздывающій ярость клерикаловъ и расходующій разумнымъ образомъ государственные доходы,—составлялъ вѣнецъ ихъ желаній. Еслибы преемники Людовика XIV были похожи на Петра I или на Фридриха II прусскаго, еслибы они понимали необходимость радикальныхъ преобразованій, то вся литература оказалась-бы ихъ усердной союзницей. Руссо сталъ-бы воспѣвать высокія совершенства феодальной системы, французскій народъ продолжалъ-бы гордиться своими вѣрноподданническими чувствами, и революція сдѣлалась-бы ненужной и невозможной. Но Филиппъ Орлеанскій и Людовикъ XV хотѣли наслаждаться жизнью и не умѣли возвыситься до какихъ-бы то ни было твердыхъ и опредѣленныхъ политическихъ убѣжденій. Ихъ ребяческіе капризы, ихъ скандальная бездарность, ихъ самодовольная фривольность доказали наконецъ французамъ, что возлагать все упованіе на добродѣтели и таланты Людовиковъ—дѣло очень рискованное и неблагоразумное. Людовикъ XIV, Филиппъ Орлеанскій и Людовикъ XV оказались такимъ образомъ самыми замѣчательными популяризаторами отрицательныхъ доктринъ,—такими популяризаторами, безъ содѣйствія которыхъ ни Вольтеръ, ни Монтескьё, ни Дидро, ни Руссо не нашли бы себѣ читателей и даже не вздумали-бы приняться за свою критическую дѣятельность. Популяризаторская работа Людовика XIV оказалась до такой степени успѣшной, что народъ обезумѣлъ отъ радости, узнавши о его смерти. Конечно никто, кромѣ самого Людовика XIV, не могъ насадить и воспитать такія нѣжныя чувства въ сердцахъ французскаго народа, гордившагося своей пламенной привязанностью къ династіи Бурбоновъ. А безъ этого основного фундамента, заложеннаго самимъ Людовидомъ XIV, развитіе и распространеніе отрицательныхъ доктринъ было бы невозможно. Смѣлые и проницательные мыслители могли-бы правда понимать нелогичности и неточности господствующаго міросозерцанія; они могли бы замѣчать неразумность установившихся междучеловѣческихъ отношеній; но они постоянно чувствовали-бы свое одиночество, и врядъ-ли даже рѣшились-бы дѣлиться съ массой своими непочтительными размышленіями. Масса не стала-бы ихъ слушать. Масса заставила бы ихъ молчать, потому что масса очень охотно мирится со всякими несообразностями, если только она къ нимъ привыкла, и если онѣ не причиняютъ ей терзуръ невыносимой боли. Но такъ какъ французскіе Людовики и Филиппы позаботились о томъ, чтобы эта боль сдѣлалась дѣйствительно невыносимой, то размышленіе, анализъ и отрицаніе оказались настоятельной потребностью для самыхъ обыкновенныхъ умовъ, и масса, вынужденная своими правителями, направилась поневолѣ къ древу познанія добра и зла.

II.

Открытіе Америки, кругосвѣтное плаваніе Магеллана и астрономическія изслѣдованія Коперника, Кеплера и Галилея показали ясно всѣмъ знающимъ и мыслящимъ людямъ, что міроздание устроено совсѣмъ не по тому плану, который рисовали впродолженіи многихъ столѣтій папы, кардиналы, епископы и доктора всѣхъ высшихъ схоластическихъ наукъ. Разрывъ между свободной мыслью изслѣдователей и вѣковыми традиціями католицизма и протестантизма былъ очевиденъ, но очевиденъ только для тѣхъ немногихъ людей, которые серьезно посвящали себя научнымъ занятіямъ. Массѣ до этого разрыва не было никакого дѣла, и она продолжала подчиняться традиціямъ, которыхъ несостоятельность была доказана съ математической точностью. Увлечь массу вслѣдъ за передовыми мыслителями могла только невыносимая боль, причиненная ей ея любезными традиціями. Такая боль дѣйствительно явилась къ услугамъ массы въ видѣ тѣхъ преслѣдованій, которымъ остроумный король Людовикъ XIV вздумалъ подвергнуть протестантовъ въ концѣ XVII вѣка. Всѣ мы конечно слышали слово *драгонады*, и всѣ мы знаемъ, что этимъ словомъ обозначаются какія-то скверныя штуки, которыя продѣлывались французскими драгунами надъ французскими протестантами. Но далеко не всѣ мы знаемъ, до какихъ предѣловъ простиралась сквернность этихъ штукъ. Представьте себѣ, что на мирныхъ и беззащитныхъ гражданъ напускали солдатъ, которымъ было дано право забавляться надъ ними, какъ угодно, лишь-бы только эти граждане не умирали на мѣстѣ отъ солдатскихъ увеселеній; представьте себѣ далѣе, что тогдашніе солдаты, получивши такія завидныя права, обнаружили остроуміе и тонкую изобрѣтательность краснокожихъ индѣйцевъ, захватившихъ въ плѣнъ злѣйшаго и опаснѣйшаго врага. Что они насиловали женъ и дочерей протестантовъ въ присутствіи родителей и мужей, это уже само собою разумѣется и составляетъ только добродушно-комическую прелюдію ихъ веселыхъ шалостей. Настоящія-же шалости были болѣе серьезнаго характера: солдаты втыкали въ упорныхъ еретиковъ булавки съ ногъ до головы, рѣзали ихъ перочинными ножами, рвали носы раскаленными щипцами, вырывали ногти

Digitized by Google

на пальцахъ рукъ и ногъ, лили въ ротъ кипятокъ, ставили ноги въ растопленное сало, которое постепенно доводилось до кипѣнія. «Одного изъ протестантовъ,—говоритъ Вокль, — по имени Ріо, они крѣпко связали, сжали пальцы на рукахъ, воткнули булавки подъ ногти, жгли порохъ въ ушахъ, проткнули во многихъ мѣстахъ ляшки и налили уксусу и насыпали соли въ раны.» Въ это-же самое время такіе-же точно эпизоды разыгрывались, по приказанію Іакова II, въ Шотландіи надъ тамошними пресвитеріанцами. Такія вещи, совершающіяся не въ глухомъ застѣнкѣ, не по приговору судьи, не по правиламъ уголовной практики, а на улицахъ или въ частныхъ домахъ, по свободному вдохновенію пьяныхъ солдатъ, — могли-бы произвести очень непріятное впечатлѣніе даже на такую страну, которая была-бы сплошь заселена фанатическими и совершенно невѣжественными католиками. Но Франція Людовика XIV уже гордилась своей блестящей литературой, своимъ высоко-развитымъ искусствомъ, своими утонченными и отполированными манерами. Эта Франція была уже достаточно вылечена отъ средневѣкового фанатизма страданіями междуусобныхъ войнъ и ужасами Варѳоломеевской ночи. Отмѣненіе Нантскаго эдикта и драгоннады не могли быть особенно пріятны даже и для католическаго населенія страны. Протестанты были народъ трудолюбивый, промышленный, торговый и зажиточный; у нихъ было много дѣловыхъ сношеній и связей со всѣмъ промышленнымъ и торговымъ міромъ Франціи; всѣ эти связи должны были вдругъ оборваться; при этомъ конечно многимъ католическимъ купцамъ и фабрикантамъ пришлось ухватиться за карманъ и усомниться въ излишнемъ усердіи великаго короля. Во всей торговлѣ должно было произойдти такое замѣшательство, которое вѣроятно доказало многимъ искреннимъ католикамъ, что фанатическія преслѣдованія ведутъ за собою чувствительныя неудобства.

Вслѣдъ за отмѣненіемъ Нантскаго эдикта полмилліона протестантовъ выселились изъ Франціи. Они бѣжали въ Голландію, въ Швейцарію, въ Пруссію, въ Англію и даже въ Сѣверную Америку. Можно себѣ представить, какое потрясающее впечатлѣніе должны были производить на всѣхъ ближайшихъ сосѣдей Франціи эти длинныя вереницы переселенцевъ, изъ которыхъ многіе были истомлены нуждой и голодомъ и изъ которыхъ каждый сообщалъ какія-нибудь новыя подробности о разыгравшихся сценахъ угнетенія, грабежа, насилія и мученительства. Въ томъ поколѣніи, которое видѣло этихъ измученныхъ бѣглецовъ, еще были живы страшныя преданія о насиліяхъ и опустошеніяхъ тридцатилѣтней войны; сближая эти свѣжія преданія съ тѣми картинами, которыя развертывались теперь передъ его глазами, всякій лавочникъ, всякій ремесленникъ, всякій простой мужикъ могъ думать, что подвигается новая тридцатилѣтняя война католиковъ съ протестантами. Такой войны не могъ желать ни одинъ здравомыслящій человѣкъ, тѣмъ болѣе, что слѣды этой войны были еще слишкомъ замѣтны на всемъ пространствѣ германской территоріи. Но, глядя на французскихъ изгнанниковъ, каждый неглупый человѣкъ легко могъ сообразить, что война, подобная тридцатилѣтней, будетъ постоянно, какъ дамокловъ мечъ, висѣть надъ Европой до тѣхъ поръ, пока протестанты и католики не перестанутъ ненавидѣть и преслѣдовать другъ друга. Когда масса была наведена на подобныя мысли живыми и яркими впечатлѣніями дѣйствительной жизни, тогда проповѣдь всеобщей терпимости становилась въ высшей степени умѣстной, и давнишняя борьба передовыхъ мыслителей противъ фанатизма получала возможность увѣнчаться самымъ блистательнымъ успѣхомъ. Мыслители, опираясь на общензвѣстные факты, могли сказать массѣ громко и торжественно, что ея страданіямъ и преступленіямъ не будетъ конца до тѣхъ поръ, пока не уничтожится въ ея коллективномъ умѣ то основное заблужденіе, изъ котораго развиваются фанатическій энтузіазмъ и фанатическая ненависть. При всей своей ребяческой нѣжности къ основному заблужденію, несогласному съ дознанными законами природы, масса всетаки была расположена терпѣливо слушать серьезныя поученія мыслителей, потому что воспоминанія о тридцатилѣтней войнѣ и блѣдныя лица французскихъ бѣглецовъ поневолѣ наводили массу на непривычныя для нея размышленія. Католическіе и протестантскіе клерикалы съ своей стороны старались по мѣрѣ силъ помогать мыслящимъ проповѣдникамъ терпимости разными мелкими гадостями и прижиками, которыя каждый день напоминали понемногу массѣ о крупныхъ страданіяхъ и преступленіяхъ, вытекающихъ вмѣстѣ съ фанатизмомъ изъ основного заблужденія.

Драгоннады одобрялись безусловно самыми блестящими представителями галликанской церкви.

L'illustre Bossuet былъ ревностнымъ и краснорѣчивымъ панегиристомъ этихъ энергическихъ распоряженій. Либералъ и филантропъ Фенелонъ, часто критиковавшій дѣйствія правительства въ письмахъ къ вліятельнымъ лицамъ, во всю свою жизнь не сказалъ ни одного слова противъ преслѣдованія протестантовъ. Подобные факты постоянно вели общество къ тому убѣжденію, что клерикалы давно и навсегда разучились служить дѣлу любви и милосердія, и что ихъ одряхлѣвшая корпорація съ каждымъ годомъ становится болѣе вредной для общественнаго развитія. На этомъ убѣжденіи

Digitized by Google

разсуждающая масса начала сходиться съ передовыми умами. Мыслители замѣтили признаки такого зарождающагося взаимнаго пониманія и, пользуясь благопріятными условіями времени, заговорили противъ суевѣрія и фанатизма такимъ смѣлымъ и вразумительнымъ языкомъ, какого никогда еще не слыхала Европа.

Въ то самое время, когда Людовикъ XIV безобразничалъ и неистовствовалъ во Франціи, одинъ изъ его вѣрноподданныхъ, протестантъ Пьеръ Бэйль, издавалъ въ Голландіи журналы, книги и брошюры, въ которыхъ общепонятнымъ, живымъ и увлекательнымъ французскимъ языкомъ провозглашалась полная автономія разума и доказывалась совершенная непримиримость его требованій съ духомъ и буквой традиціонныхъ доктринъ. Живя въ свободной странѣ, Бэйль все-таки не могъ высказываться вполнѣ откровенно. Его убѣжденія испугали и оттолкнули бы его современниковъ. Эти убѣжденія пришлись не по вкусу даже Вольтеру. Поэтому Бэйль, не вдаваясь въ догматическое изложеніе своихъ собственныхъ идей, ограничивался постоянно вѣжливой, осторожной, но очень остроумной и язвительной критикой тѣхъ понятій, во имя которыхъ сооружались костры и опустошались цвѣтущія области. Тонъ Бэйля отличался обыкновенно почтительностью и смиреніемъ, но въ этой смиренной почтительности слышится для каждаго мыслящаго читателя бездонная глубина сомнѣнія и отрицанія. Бэйль высказывалъ не все, что думалъ; но даже и то, что онъ высказывалъ, бывало иногда изумительно смѣло. Такъ напримѣръ, уже въ 1682 году онъ утверждалъ печатно, что невѣріе лучше суевѣрія; поэтому онъ требовалъ отъ государства неограниченной терпимости даже и для крайнихъ еретиковъ. Это требованіе повторялось не разъ въ его брошюрахъ, написанныхъ по поводу преслѣдованія французскихъ протестантовъ. Далѣе тотъ-же неустрашимый мыслитель задавалъ себѣ и обсуживалъ съ разныхъ сторонъ вопросъ: можетъ ли существовать государство, составленное изъ атеистовъ? На этотъ вопросъ Бэйль не даетъ прямого отвѣта, но весь процессъ его доказательствъ очевидно клонится къ тому результату, что нравственность можетъ существовать независимо отъ культа. — Эти мысли Бэйля остаются очень смѣлыми даже и для нашего времени. Въ журналѣ Бэйля «Nouvelles de la république des lettres» забавлялся иногда анти-клерикальными шалостями остроумный писатель Фонтенель. Въ 1686 году, въ то самое время, когда французскіе протестанты терпѣли жестокое преслѣдованіе, въ журналѣ Бэйля появилась сатирическая аллегорія Фонтенеля, въ которой осмѣивался весь споръ католиковъ съ протестантами. «Письмо, — говоритъ Геттнеръ, — писанное будто-бы въ Батавіи, разсказываетъ, что на островѣ Борнео спорили о престолонаслѣдіи двѣ сестры: Меро (Mero, Rome) и Энегъ (Endgue, Genéve), т. е. католицизмъ и протестантизмъ. Меро признана была безъ затрудненія, но скоро невыносимымъ гнетомъ и притѣсненіями оттолкнула отъ себя всѣ болѣе свободные умы; всѣ подданные должны были сообщать ей самыя тайныя свои мысли, приносить ей всѣ свои деньги; высшая милость, которую оказывала королева, было цѣлованіе ноги, но прежде, чѣмъ ихъ допускали къ этому, они должны были преклониться передъ костями умершихъ любимцевъ. Тогда выступила новая королева, Энегъ. Она уничтожаетъ всѣ эти жестокія нововведенія, требуетъ себѣ престола, называетъ себя настоящей дочерью недавно умершей королевы и доказываетъ эти притязанія своимъ сходствомъ съ матерью, между тѣмъ какъ Меро съ своей стороны сильно заботилась о томъ, чтобы скрывать и подмѣнивать портреты матери». — Въ томъ же 1686 году появилась книга Фонтенеля «Entretiens sur la pluralité des mondes» («Разговоры о множествѣ міровъ»). Эта книга развивала въ популярной формѣ тѣ самыя мысли, за которыя въ началѣ XVII столѣтія сгорѣлъ на кострѣ Джіордано Бруно. Фонтенель старался провести въ сознаніе всего читающаго общества астрономическія открытія Коперника и философскія идеи о природѣ, созданныя творческой фантазіей Декарта. Тутъ, разумѣется, было объяснено подробно, что неподвижныя звѣзды — не лампады, прицѣпленныя къ небесному своду для освѣщенія земли, а великіе центры самостоятельныхъ планетныхъ системъ, составленныхъ изъ такихъ небесныхъ тѣлъ, на которыхъ по всей вѣроятности развивается своя собственная, богатая и разнообразная органическая жизнь. Эта мысль, за которую римская инквизиція сожгла Джіордано Бруно, очень благополучно сошла съ рукъ Фонтенелю, несмотря на то, что его книга, изданная при Людовикѣ XIV, произвела на читающую публику сильное впечатлѣніе и понравилась даже легкомысленнымъ свѣтскимъ людямъ, совершенно неспособнымъ къ серьезнымъ умственнымъ занятіямъ. Въ 1687 году Фонтенель издалъ «Исторію оракуловъ», въ которой онъ разбиралъ хитрости языческихъ жрецовъ, стараясь при этомъ навести читателя на разныя поучительныя размышленія о современной дѣйствительности. Хранители общественной нравственности поняли наконецъ, куда клонятся литературныя забавы Фонтенеля. Тутъ всплыла на верхъ и аллегорія о двухъ царицахъ острова Борнео. Ключъ къ ея пониманію отыскался, и Фонтенелю было поставлено на видъ, что его ожидаетъ Бастилія. Фонтенель тотчасъ-же раскаялся, исправился, сталъ изливать на іезуитовъ потоки хвалебныхъ стихотвореній и съ тѣхъ поръ навсегда пересталъ

Digitized by Google

огорчать хранителей общественной непорочности. За такое благонравіе Фонтенель сподобился прожить на свѣтѣ сто лѣтъ. Онъ умеръ въ 1757 году, когда Вольтеръ уже господствовалъ надъ общественнымъ мнѣніемъ всей Европы.

III.

Людовикъ XIV умеръ въ 1715 году. Вольтеру было въ это время съ небольшимъ двадцать лѣтъ, и онъ уже былъ на столько извѣстенъ въ парижскомъ обществѣ своей язвительностью, что, когда по рукамъ стала ходить рукописная сатира противъ покойнаго короля,—эта сатира была приписана Вольтеру, который впрочемъ былъ совершенно неповиненъ въ ея сочиненіи. За это мнимое преступленіе Вольтеръ попалъ на годъ въ Бастилію. Въ 1726 году Вольтеръ еще разъ посидѣлъ въ Бастиліи за ссору съ шевалье де-Роганомъ, который впрочемъ былъ самъ кругомъ виноватъ и вообще дѣйствовалъ въ отношеніи къ Вольтеру самымъ безчестнымъ и позорнымъ образомъ. Второе заключеніе Вольтера продолжалось недолго: по словамъ Бокля—полгода, а по мнѣнію Геттнера—всего двѣнадцать дней. Кто изъ нихъ правъ, Бокль или Геттнеръ, этого я не знаю, да это и не важно. Если мы примемъ цифру Бокля, какъ болѣе крупную, то и тогда окажется, что Вольтеръ, прожившій на свѣтѣ почти 84 года и сражавшійся съ самыми сильными человѣческими предразсудками слишкомъ 60 лѣтъ, просидѣлъ въ тюрьмѣ всего полтора года, да и то по такимъ причинамъ, которыя съ его литературной дѣятельностью не имѣютъ ничего общаго. Этими двумя ничтожными заключеніями ограничиваются всѣ враждебныя столкновенія Вольтера съ предержащими властями. Вся остальная жизнь его протекла весело, спокойно, въ почетѣ и въ довольствѣ. Онъ велъ переписку почти со всѣми европейскими государями, въ томъ числѣ и съ папами. Онъ со всѣхъ сторонъ получалъ пенсіи и знаки отличія. Онъ былъ gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, камергеромъ Фридриха Великаго, оффиціальнымъ исторіографомъ Франціи и членомъ французской академіи. Онъ пускался во всякія спекуляціи, игралъ на биржѣ, принималъ участіе въ государственныхъ займахъ и поставкахъ для войска; онъ хитрилъ, барышничалъ, кляузничалъ и даже мошенничалъ. Онъ нажилъ и сохранилъ большое состояніе. Онъ дошелъ до такихъ извѣстныхъ степеней, которымъ могъ-бы позавидовать даже Молчалинъ. И при всемъ томъ онъ постоянно оставался Вольтеромъ,—тѣмъ неутомимымъ бойцомъ, тѣмъ великимъ публицистомъ, который не имѣетъ себѣ равнаго въ исторіи, и котораго имя до сихъ поръ наводятъ на всѣхъ европейскихъ піетистовъ самый комическій ужасъ. — Какимъ образомъ могъ Вольтеръ гоняться за двумя зайцами и успѣшно ловить ихъ обоихъ? Какимъ образомъ могъ онъ въ одно и то-же время стоять во главѣ философской оппозиціи и пользоваться милостивымъ расположеніемъ всѣхъ высшихъ начальствъ?—Это замѣчательное явленіе, которое теперь сдѣлалось уже навсегда невозможнымъ, объясняется, по моему крайнему разумѣнію, только тѣмъ обстоятельствомъ, что сила человѣческой мысли и возможныя послѣдствія умственнаго движенія были въ то время еще очень мало извѣстны всѣмъ начальствующимъ лицамъ и корпораціямъ.

Правители XVIII вѣка, подобно средневѣковымъ государямъ и папамъ, не боялись мысли и преслѣдовали оппозиціонныхъ мыслителей, не какъ нарушителей общественнаго спокойствія, а какъ нахаловъ, осмѣливающихся думать и говорить дерзости. Наказанія клонились совсѣмъ не къ тому, чтобы предотвратить вредъ, могущій произойти отъ дѣятельности писателя; объ этомъ вредѣ никто и не думалъ. Какой, дескать, вредъ можетъ сдѣлать ничтожный и голодный прохвостъ, марающій бумагу для того, чтобы зашибить нѣсколько грошей на хлѣбъ и на дрова. Наказанія имѣли только тотъ смыслъ, что, молъ, не смѣй ты, бестія и прощалыга, соваться съ твоими глупыми разсужденіями туда, гдѣ тебя не спрашиваютъ. Наказанія были мщеніемъ за дерзость и поэтому обусловливались исключительно силою того гнѣва, которымъ обуревалась важная особа, имѣющая власть карать и миловать. Вслѣдствіе этого самой опасной была для писателей именно та отрасль литературы, которая была всего ничтожнѣе и всего менѣе могла дѣйствовать на общественную жизнь въ какомъ бы то ни было направленіи. Всего больше доставалось сочинителямъ сатиръ или пасквилей, направленныхъ противъ отдѣльныхъ личностей. Напишите вы, напримѣръ, игривые стишки о томъ, что дворецкій маркиза А обладаетъ сизымъ носомъ и толстымъ брюхомъ,—васъ почти навѣрное засадятъ въ тюрьму, потому что маркизъ А сочтетъ себя оскорбленнымъ въ лицѣ своего любимаго лакея и, пылая благородной амбиціей, непремѣнно выхлопочетъ на ваше имя lettre de cachet. Попробуйте-же вы, напротивъ того, не затрогивая брюха и носа, самымъ осязательнымъ образомъ перевернуть вверхъ дномъ вашей книгой всѣ господствующія въ оффиціальныхъ сферахъ понятія о юстиціи, о финансовомъ управленіи, о сословныхъ отношеніяхъ, о международномъ правѣ, о какомъ нибудь другомъ предметѣ первостепенной важности,—и опасность окажется для васъ гораздо менѣе значительной, чѣмъ въ первомъ случаѣ. Если-же вамъ желательно, чтобы эта опасность уменьшилась до нуля, то сдѣлайте вотъ что: посвятите вы вашу книгу тому самому начальствующему лицу, ко-

Digitized by Google

тораго идеи вы подвергаете самой разрушительной критикѣ; кромѣ того разсыпьте въ вашемъ введеніи и въ примѣчаніяхъ множество самыхъ восторженныхъ и самыхъ голословныхъ комплиментовъ всѣмъ тѣмъ сильнымъ особамъ, которыхъ систему вы отрицаете на-повалъ. Книга ваша пройдетъ тогда совершенно безпрепятственно. Всѣ вліятельныя лица скажутъ, что ваши идеи конечно довольно опрометчивы, но что вы сами—человѣкъ благовоспитанный, скромный и почтительный, и что слѣдовательно нѣтъ никакой надобности огорчать васъ запрещеніемъ вашей книги или препровожденіемъ вашей особы въ Бастилію.

Съ тѣхъ поръ какъ существуютъ человѣческія общества и вплоть до самаго XVIII вѣка, литература считалась постоянно забавой, очень тонкой и благородной, пожалуй даже возвышенной, но совершенно лишенной всякаго серьезнаго значенія, политическаго или общественнаго. Писатель могъ быть художникомъ или мудрецомъ, но въ глазахъ дѣловыхъ людей онъ всегда оставался балясникомъ, кривляющимся для собственнаго удовольствія и потѣхи публики. Литература стояла на одной доскѣ съ музыкой, живописью и скульптурой. Она могла украшать жизнь фешенебельнаго общества, но никто не повѣрилъ-бы, что она можетъ отливать эту жизнь въ совершенно новыя формы.

Въ XVIII столѣтіи чтеніе сдѣлалось насущной потребностью для тѣхъ классовъ общества, которые распоряжаются судьбою народовъ. Тотъ матеріалъ, которымъ удовлетворяется эта новая потребность, получилъ очень важное значеніе. Фабриканты этого матеріала сдѣлались изготовителями общественнаго мнѣнія. Книги, журналы и газеты образовали между тысячами и десятками тысячъ индивидуальныхъ умовъ такую тѣсную и крѣпкую связь, которая до того времени была невозможна и немыслима. Съ тѣхъ поръ какъ народилось на свѣтъ невиданное диво—общественное мнѣніе цѣлой націи, цѣлой большой страны—съ этихъ поръ, говорю я, писатели сдѣлались для европейскихъ обществъ тѣмъ, чѣмъ были для крошечныхъ греческихъ республикъ ораторы.

«Я думаю,—говорилъ въ нижней палатѣ членъ англійскаго парламента, Данверзъ, я думаю, Великобританіей управляетъ власть, о верховномъ преобладаніи которой до сихъ поръ не было слышно ни въ какой вѣкъ, ни въ какой странѣ. Власть эта, сэръ, не состоитъ въ неограниченной волѣ одного государя, ни въ силѣ войска, ни во вліяніи духовенства,—это также не власть юбокъ; это—власть печати, сэръ. Матеріалы, которыми наполняются наши еженедѣльныя газеты, читаются съ бо́льшимъ уваженіемъ, чѣмъ акты парламента; а мнѣніе каждаго изъ этихъ писакъ имѣетъ въ глазахъ толпы больше значенія, чѣмъ мнѣніе лучшихъ политическихъ людей королевства.» Эти слова были произнесены въ 1738 году, и Бокль говоритъ, что это—самое раннее указаніе на возникающую власть печати, которая въ первый разъ во всемірной исторіи сдѣлалась выразительницей общественнаго мнѣнія. Въ половинѣ XVIII вѣка Малербъ, директоръ департамента по дѣламъ печати, вступая во французскую академію, говорилъ такъ: «литература и философія теперь снова завоевали себѣ ту свободу, какую онѣ имѣли въ древней Греціи; *онѣ даютъ народамъ законодателей;* благородное одушевленіе овладѣло всѣми умами; пришло время, когда каждый, способный мыслить и писать, *чувствуетъ себя обязаннымъ направить свои мысли къ общему благу*». Академическія рѣчи всегда переполняются общими мѣстами, пріятными для слушателей, для правительства, для академіи и для всѣхъ вообще присутствующихъ и отсутствующихъ, живыхъ и умершихъ. Поэтому-то именно слова Малерба и должны имѣть въ нашихъ глазахъ особенную знаменательность. Если та мысль, что литература и философія *даютъ народамъ законодателей*, сдѣлалась общимъ мѣстомъ, очень приличнымъ въ оффиціальной академической рѣчи, произнесенной важнымъ и солиднымъ чиновникомъ, начальникомъ французской печати, то, разумѣется, взглядъ на писателей какъ на милыхъ забавниковъ окончательно смѣнился тѣмъ серьезнымъ взглядомъ, вслѣдствіе котораго каждый мыслящій писатель *чувствуетъ себя обязаннымъ направить свои мысли къ общему благу*. Если-же мы воротимся назадъ, не очень далеко, всего только къ эпохѣ Людовика XIV, то мы увидимъ, что литература все еще продолжаетъ забавлять публику (divertir le public, какъ говоритъ о самомъ себѣ Пьеръ Корнель) и ни о какомъ общемъ благѣ не смѣетъ подумать. Кто стоитъ на первомъ планѣ во французской литературѣ XVII вѣка?—Корнель, Расинъ, Буало, Мольеръ. За какія заслуги?—За чувствительныя трагедіи, за веселыя комедіи, за ничтожныя сатиры, и преимущественно за чистоту языка и за изящество стиховъ. Правда, что въ «*Тартюфѣ*» Мольера можно уже замѣтить отдаленный пророческій намекъ на будущую роль литературы. Кто стоитъ на первомъ планѣ во французской литературѣ XVIII вѣка?—Вольтеръ, Монтескьё, Дидро, Руссо, Гельвецій, Бомарше. За что?—За такія произведенія, которыя затрогиваютъ съ разныхъ сторонъ самые важные и глубокіе вопросы міросозерцанія частной нравственности общественной жизни. Ясно, стало быть, что перемѣна совершилась именно на рубежѣ двухъ столѣтій, XVII и XVIII. Впечатлѣніе, произведенное книгами Фонтенеля и журналами Бэйля, можетъ считаться поворотнымъ пунктомъ въ великомъ превращеніи литературы изъ милой забавы въ серьезное дѣло.

Digitized by Google

Такъ какъ дѣятельность Вольтера и его ближайшихъ преемниковъ вплоть до 1789 года была первымъ яркимъ проявленіемъ серьезной и вліятельной литературы, превратившейся въ общественную силу, то, разумѣется, отношенія этой дѣятельности къ тогдашнимъ властямъ были еще очень неясны, неопредѣленны и подвержены многимъ колебаніямъ. Власти видѣли, что народилась на свѣтъ новая сила, но онѣ еще не знали, что̀ это за сила, и чего отъ нея можно ожидать, и до какихъ размѣровъ можетъ дойти ея развитіе, и какимъ образомъ слѣдуетъ съ нею обращаться. Власти смотрѣли на возрастающую силу литературы не со страхомъ, а скорѣе съ любопытствомъ и даже съ тщеславнымъ удовольствіемъ. Властямъ было пріятно видѣть, что подъ ихъ господствомъ плодятся такія чудеса, о которыхъ прежнія времена не имѣли понятія. Въ простотѣ души своей, тогдашнія власти играли съ великими идеями такъ же весело и беззаботно, какъ невинныя дѣти могутъ играть съ заряженными пистолетами. Конечно иногда задавались писателямъ сильныя острастки, но именно эти-то острастки и обнаруживаютъ всю невинность и беззаботность тогдашнихъ властей; въ этихъ острасткахъ не было ничего систематическаго; онѣ давались отъ полноты начальственной досады и для проявленія начальственнаго величія; ихъ можно было всегда предотвратить выраженіями покорности и благовоспитанности, а также вліяніемъ личныхъ связей и сильныхъ протекцій. Словомъ, замѣчая совершенно новое положеніе литературы, тогдашнія власти, по старой привычкѣ, все-таки продолжали обходиться съ этой обновившейся литературой такъ, какъ взбалмошная барыня обходится съ комнатной собачкой. У тогдашнихъ властей не хватало характера и послѣдовательности ни на то, чтобы обольстить и усыпить писателей постоянной любезностью, ни на то, чтобы запугать и раздавить ихъ желѣзной строгостью. Поэтому писатели очень сильно ненавидѣли правительство и очень мало боялись его.

Бокль съ большимъ негодованіемъ говоритъ о тѣхъ преслѣдованіяхъ, которымъ подвергалась въ прошломъ столѣтіи французская литература. Такое негодованіе какъ нельзя болѣе понятно со стороны англійскаго радикала, для котораго неограниченная свобода печати сдѣлалась насущной потребностью организма. Но отъ глубокомысленнаго историка, подобнаго Боклю, мы имѣемъ право ожидать и требовать болѣе объективнаго взгляда на дѣло. Если мы просто будемъ сравнивать положеніе современныхъ писателей съ положеніемъ писателей прошлаго столѣтія, то мы найдемъ, быть можетъ, что положеніе первыхъ почетнѣе и безопаснѣе. Но если мы вслѣдствіе этого выведемъ заключеніе, что положеніе литературы съ прошлаго столѣтія улучшилось, и что мы должны сокрушаться надъ жестокими страданіями нашихъ предшественниковъ, то мнѣ кажется, что мы сдѣлаемъ ошибку. Какъ граждане болѣе благоустроенныхъ государствъ, современные европейцы дѣйствительно счастливѣе своихъ дѣдовъ; но какъ писатели, современные европейцы встрѣчаютъ себѣ больше препятствій и терпятъ больше преслѣдованій. Сравните общіе уголовные законы и уголовное судопроизводство прошлаго столѣтія съ общими уголовными законами и уголовнымъ судопроизводствомъ нашего времени. Вы найдете громадную разницу: съ одной стороны—пытка и мучительныя смертныя казни; съ другой стороны — почти полная отмѣна простой смертной казни, пенитенціарная тюрьма и судъ присяжныхъ. Положимъ, что пенитенціарная система не Богъ знаетъ какое совершенство, но во всякомъ случаѣ гораздо удобнѣе сидѣть въ тюрьмѣ, чѣмъ умирать на колесѣ или на кострѣ. Кромѣ того гораздо удобнѣе защищаться передъ присяжными, чѣмъ давать показанія въ застѣнкѣ. Значитъ, улучшеніе есть, и значительное. Спросите-же вы теперь, распространяется-ли это улучшеніе на писателей? То есть, задайте себѣ два вопроса: поступали-ли съ писателями XVIII вѣка по всей строгости тогдашнихъ уголовныхъ законовъ? и поступаютъ-ли съ теперешними писателями по всей строгости теперешнихъ уголовныхъ законовъ? На первый вопросъ исторія XVIII вѣка отвѣтитъ вамъ: «нѣтъ». На второй вопросъ современная дѣйствительность отвѣтитъ вамъ: «да». Съ теперешними писателями обращаются точно такъ-же, какъ съ теперешними обыкновенными преступниками. Съ писателями XVIII вѣка, напротивъ того, обращались гораздо деликатнѣе и гуманнѣе, чѣмъ съ тогдашними обыкновенными преступниками.

Значитъ, положеніе писателей, а слѣдовательно и литературы, ухудшилось съ прошлаго столѣтія, хотя въ то же время всякому человѣку, писателю и не писателю, жить удобнѣе въ XIX вѣкѣ, чѣмъ въ XVIII. Жить удобнѣе, но писать труднѣе. При этомъ, разумѣется, Англію невозможно принимать въ разсчетъ, потому что въ Англіи писатель, какъ писатель, не можетъ сдѣлаться преступникомъ и не имѣетъ никакого отношенія къ уголовнымъ законамъ. Бокль собралъ много примѣровъ тѣхъ жестокихъ преслѣдованій, въ которыхъ онъ обвиняетъ французскихъ администраторовъ прошлаго столѣтія. Въ чемъ-же состоятъ эти преслѣдованія?—Въ томъ, что сочиненіе конфискуется или сжигается par la main du bourreau (рукою палача), авторъ сажается въ крѣпость, въ тюрьму. На долго-ли по крайней мѣрѣ сажается? Лѣтъ на тридцать или двадцать? Увы, нѣтъ! Всего чаще на нѣсколько мѣсяцевъ. Былъ-ли хоть одинъ изъ тогдашнихъ

Digitized by Google

писателей сожженъ, колесованъ, повѣшенъ, или по крайней мѣрѣ сосланъ на галеры? Подвергался-ли хоть одинъ писатель пыткѣ? Ни одинъ. А между тѣмъ пытка была тутъ какъ нельзя болѣе умѣстна. Большая часть самыхъ знаменитыхъ и смѣлыхъ книгъ выходила тогда въ свѣтъ безъ имени автора, и авторъ въ случаѣ переполоха обыкновенно отрекался отъ своего сочиненія. Вотъ тутъ-то бы и слѣдовало вывертывать ему руки и сокрушать ноги для полученія чистосердечнаго признанія. Еслибы въ XVIII столѣтіи смотрѣли на литературу такъ-же сурово, какъ смотрятъ на нее въ XIX, то многимъ энциклопедистамъ пришлось-бы побывать въ застѣнкѣ.

Самое строгое наказаніе, обрушившееся въ прошломъ столѣтіи на французскаго писателя, изображено у Бокля слѣдующимъ образомъ: «Де-Форжъ напримѣръ, писавшій противъ ареста претендента на англійскій престолъ, былъ только за это заключенъ на три года въ подземелье, имѣвшее 8 квадратныхъ футовъ». А въ примѣчаніи добавлена та подробность, что свѣтъ доходилъ къ преступнику только сквозь расщелину церковной лѣстницы. По нашему теперешнему масштабу это—сущіе пустяки. Латюдъ высидѣлъ больше двадцати лѣтъ въ разныхъ тюрьмахъ единственно за то, что, желая пріобрѣсти себѣ протекцію маркизы де-Помпадуръ, пустилъ въ ходъ очень плоскую и неискусную мистификацію. Нѣкоторыя изъ тюремъ Латюда были не лучше того подземелья, въ которомъ сидѣлъ де-Форжъ.— Драматическій писатель Фаваръ былъ посаженъ въ крѣпость за то, что его жена, актриса Шантильи, не хотѣла сдѣлаться любовницей Мориса Саксонскаго. Долго-ли онъ просидѣлъ, этого я не знаю, но ужъ и то достаточно выразительно, что его посадили за такую провинность. Наконецъ надобно еще замѣтить, что lettres de cachet (приказы объ арестованіи) для нѣкоторыхъ важныхъ особъ составляли предметъ выгодной торговли. За извѣстную сумму денегъ можно было получить бланкъ и написать на немъ имя того лица, которое, по соображеніямъ покупщика, должно было переселиться въ Бастилію. Однажды случилось, что двое супруговъ смертельно надоѣли другъ другу; обѣ заинтересованныя стороны отправились хлопотать о lettres de cachet, и обѣ достигли своей цѣли, такъ что мужа посадили въ тюрьму по ходатайству жены, а жену—по ходатайству мужа. Ясное дѣло, что личная свобода гражданъ ставилась ни во что. Человѣка сажали въ тюрьму, человѣка забывали въ тюрьмѣ на десятки лѣтъ, власти забывали даже, за что былъ посаженъ человѣкъ,—и никто не находилъ это особенно удивительнымъ. Но маломальски извѣстный и замѣчательный писатель не могъ быть такимъ образомъ забытъ и заброшенъ. Его помнили, объ немъ хлопотали, его вытаскивали на свободу. Словомъ, въ тогдашнемъ обществѣ, въ которомъ было сносно жить только привилегированнымъ классамъ, писательство было знакомъ отличія, дававшимъ нѣкоторыя льготы и преимущества. Чѣмъ самостоятельнѣе и смѣлѣе былъ писатель, тѣмъ значительнѣе была его извѣстность, и тѣмъ бережнѣе обходились съ нимъ власти, потому что онъ въ ихъ глазахъ получалъ значеніе аристократа. Все это происходило, разумѣется, отъ неопытности властей, но именно вслѣдствіе этой неопытности оффиціальныхъ дѣятелей Вольтеръ имѣлъ возможность вести свою пропаганду подъ покровительствомъ важныхъ особъ, охранявшихъ общественную нравственность.

Кому дороги результаты вольтеровской дѣятельности, тотъ не долженъ ставить Вольтеру въ упрекъ его хитрости, ухаживанія и заискиванія. Всѣ эти маневры помогали успѣху главнаго дѣла; сгибаясь часто въ дугу, вмѣсто того чтобы драпироваться въ мантію маркиза Позы, Вольтеръ въ то-же время никогда не упускалъ изъ виду единственной цѣли своей жизни. Онъ льстилъ своимъ высокимъ покровителямъ и превращалъ ихъ въ свои орудія. Вольтеръ былъ достаточно мелоченъ, чтобы искать знаковъ отличія и тщеславиться ими, но его страстная любовь къ идеѣ была такъ сильна, эта любовь такъ безраздѣльно господствовала надъ всѣми его поступками, что онъ невольно, по непреодолимому влеченію и безъ малѣйшей борьбы, обращалъ на служеніе своей идеѣ всѣ связи и протекціи, которыя ему удавалось пріобрѣтать.—Никому изъ высокихъ покровителей Вольтера даже и не приходило въ голову, чтобы существовала какая-нибудь возможность подкупить или обезоружить Вольтера и отвлечь его ласками или почестями отъ той смертельной борьбы, которую онъ велъ противъ клерикализма. Кто покровительствовалъ Вольтеру, тотъ самъ становился подъ его знамя, подчинялся его могуществу и обязывался по меньшей мѣрѣ не мѣшать распространенію раціонализма. Въ мірѣ мысли Вольтеръ не дѣлалъ никому ни малѣйшей уступки, да никто не осмѣливался и требовать отъ него такихъ уступокъ. Зато въ своихъ пріемахъ и аллюрахъ Вольтеръ былъ гибокъ и эластиченъ, какъ хорошо закаленная стальная пружина. Въ своей частной жизни онъ готовъ былъ разыгрывать безпрекословно всѣ тѣ комедіи, которыхъ могло потребовать отъ него окружающее общество. Эта эластичность и гибкость составляютъ одну изъ основныхъ причинъ и изъ важнѣйшихъ сторонъ его значенія. Именно это умѣнье не тратить силъ на мелочи и не раздражать окружающихъ людей изъ-за пустяковъ доставило его пропагандѣ неотразимое могущество и безпримѣрное распространеніе. На массу робкихъ и вялыхъ умовъ,

Digitized by Google

которые вездѣ и всегда рѣшаютъ дѣло въ качествѣ хора и черноземной силы, дѣйствовало чрезвычайно успокоительно и ободрительно то обстоятельство, что антиклерикальныя идеи проповѣдуются не какимъ-нибудь чудакомъ, сорванцомъ или сумасбродомъ, а солиднымъ и важнымъ бариномъ, господиномъ Вольтеромъ, отлично устраивающимъ свои дѣлишки и ведшимъ дружбу съ самыми знатными особами во всей Европѣ. Поэтому нельзя не отдать должной дани уваженія даже и тому чичиковскому элементу, который безспорно занимаетъ въ личности Вольтера довольно видное мѣсто. Чтобы имѣть какое-нибудь серьезное значеніе, пропаганда Вольтера должна была адресоваться не къ лучшимъ людямъ, не къ избраннымъ умамъ, а ко всему читающему обществу, ко всему грамотному стаду, ко всевозможнымъ дубовымъ и осиновымъ годовамъ, ко всевозможнымъ картофельнымъ и тѣстообразнымъ характерамъ. Всей этой толпѣ надо было говорить впродолженіи многихъ лѣтъ: «ослы, перестаньте-же вы наконецъ лягать другъ друга въ рыло за такіе пустяки, которыхъ вы сами не понимаете и которыхъ никогда не понимали ваши руководители!» — Принимаясь за такое дѣло, стараясь вразумить такихъ слушателей, надо было запастись колоссальнымъ терпѣніемъ и затѣмъ пустить въ ходъ всѣ средства, способныя вести къ успѣху, всѣ безъ исключенія, бѣленькія, сѣренькія и черненькія. Однимъ изъ самыхъ могущественныхъ средствъ была наружная благонадежность и сановитость господина Вольтера. Надо было пріобрѣсти эту внушительную сановитость во что бы то ни стало, хотя-бы даже отъ этого произошелъ большой ущербъ для идеальной чистоты характера. Вольтеру это пріобрѣтеніе не стоило большого труда, потому что характеръ его никогда не отличался идеальной чистотой. Этотъ пронырливый характеръ, соединенный съ бойкимъ, острымъ, неутомимымъ, но очень не глубокимъ умомъ, былъ превосходно приноровленъ къ той задачѣ, за которую взялся Вольтеръ. Съ одной стороны, живой умъ, пристрастившійся на всю жизнь къ одной очень не хитрой идеѣ, спасалъ Вольтера отъ той тины, въ которую тянулъ его чичиковскій элементъ характера; съ другой стороны, чичиковскій элементъ предохранялъ Вольтера отъ смѣшного и вреднаго для общаго дѣла донъ-кихотства, которое могло развиться изъ необузданной любви къ идеѣ. Такимъ образомъ Вольтеру удалось соблюдать постоянно ту золотую умѣренность, которую презираетъ и отвергаетъ могучій творческій геній, но которая съ неотразимой силой привлекаетъ къ себѣ умы и сердца респектабельной буржуазіи, стоявшей въ то время на очереди и составлявшей собою громадную аудиторію знаменитаго популяризатора.

IV.

Геттнеръ очень сильно нападаетъ на Вольтера за различныя проявленія его уклончивости. «И что наконецъ сказать о томъ,—спрашиваетъ онъ въ пылу добродѣтельнаго волненія,—что онъ всегда, если приходила опасность, дерзко и лживо отказывался отъ своихъ книгъ, вмѣсто того чтобы честно и мужественно признавать ихъ своими? 13 августа 1763 г. Вольтеръ пишетъ къ Гельвецію: «не нужно никогда ставить своего имени; я не написалъ даже и «Pucelle». «И этой коварной лживостью онъ пользуется всегда съ изобрѣтательностью, не слишкомъ завидной.»

Добродѣтельное негодованіе Геттнера смѣшно до послѣдней степени. Послѣ этого остается только ругать подлецомъ того цыпленка, который съ *коварной лживостью* улепетываетъ отъ повара, вмѣсто того чтобы *честно и мужественно* стремиться въ его объятія. Конечно поваръ былъ-бы очень доволенъ *честностью* и *мужествомъ* добродѣтельнаго цыпленка, но трудно понять, какую-бы эта *честность* и это *мужество* могли принести пользу, во-первыхъ, пернатому Аристиду, а во вторыхъ—всей его цыплячьей породѣ. Положимъ, что Вольтеръ исполнилъ-бы желанія Геттнера и признался бы *честно и мужественно* въ своихъ литературныхъ грѣхахъ. Что-же бы изъ этого вышло? Вольтера засадили-бы въ Бастилію. Кому-же бы это было выгодно, философамъ или іезуитамъ? Развѣ вольтеріанцы разгромили бы Бастилію, освободили-бы своего предводителя? Ни чуть не бывало. Вольтеръ просидѣлъ бы въ каморкѣ нѣсколько мѣсяцевъ, разстроилъ-бы свое здоровье и потратилъ-бы даромъ то время, которое онъ могъ-бы употребить на дальнѣйшее преслѣдованіе клерикаловъ. И все это только для того, чтобы лишній разъ удивить парижскую полицію *честностью и мужествомъ*. Нечего сказать: цѣль великая и достойная!

Герои свободной мысли такъ недавно выступили на сцену всемірной исторіи, что до сихъ поръ еще не установлена та точка зрѣнія, съ которой слѣдуетъ оцѣнивать ихъ поступки и характеры. Историки все еще смѣшиваютъ этихъ людей съ бойцами и мучениками супранатурализма. Вольтера судятъ такъ, какъ можно было-бы судить напримѣръ Іоанна Гусса. Когда Вольтеръ уклоняется отъ той чаши, которую Гуссъ спокойно и смѣло выпиваетъ до дна, тогда Вольтера заподозрѣваютъ и обвиняютъ въ недостаткѣ мужества и честности. Это совершенно несправедливо. Утилитариста невозможно мѣрять той мѣркой, которая прикладывается къ мистику. Для Гусса отречься отъ своихъ идей значило отказаться отъ вѣчнаго блаженства и кромѣ того потянуть за собою въ геенну огненную тысячи слабыхъ людей,

Digitized by Google

которыхъ отреченіе Гусса сбило-бы съ толку и поворотило-бы назадъ къ заблужденіямъ папизма. Поэтому Гуссу былъ чистѣйшій разсчетъ идти на костеръ, повторяя тѣ формулы, которыя онъ считалъ истинными и спасительными. Для Вольтера, напротивъ того, важно было только то, чтобы его идеи западали какъ можно глубже въ умы читателей и распространялись въ обществѣ какъ можно быстрѣе и шире. Хорошо. Книга напечатана, раскуплена и прочтена. На книгѣ нѣтъ имени автора, а между тѣмъ она производитъ сильное впечатлѣніе. Значитъ, дѣйствуютъ сами идеи, не нуждаясь въ томъ обаяніи, которое было-бы имъ придано именемъ извѣстнаго писателя. Только такое дѣйствіе и соотвѣтствуетъ вполнѣ цѣли и направленію вольтеровской пропаганды. Эта пропаганда должна была пріучить людей къ тому, чтобы они, не преклоняясь передъ авторитетами, цѣнили внутреннюю разумность и убѣдительность самой идеи. Затѣмъ начинается тревога. Разъискиваютъ автора. Призываютъ къ допросу Вольтера. Вольтеръ отвѣчаетъ: «знать не знаю, вѣдать не вѣдаю». Скажите на милость, кому и чему онъ вредитъ этимъ отвѣтомъ? Онъ только отнимаетъ у іезуитовъ и у полицейскихъ сыщиковъ возможность помучить оппозиціоннаго мыслителя. Это съ его стороны очень нелюбезно, но вѣдь онъ никогда и не обязывался увеселять своей особой іезуитовъ и сыщиковъ. А читателей отреченіе Вольтера нисколько не обманываетъ и не смущаетъ; читатели посмѣиваются и говорятъ между собою: «Какъ-же! Держи карманъ! Дурака нашелъ! Такъ сейчасъ онъ тебѣ и признается!» Конечно все это очень похоже на тактику бурсаковъ въ отношеніи къ начальству; но что же дѣлать? Бываютъ такія времена, когда цѣлое общество уподобляется одной огромной бурсѣ. Виноваты въ этомъ не тѣ люди, которые лгутъ, а тѣ, которые заставляютъ лгать.

Описывая старческіе годы Вольтера, Геттнеръ находитъ новую пищу для добродѣтельнаго негодованія. «Какъ прискорбно, — говоритъ онъ, — что при всемъ томъ и въ это послѣднее и самое блестящее время Вольтера не было недостатка въ пятнахъ! Онъ попрежнему отпирается отъ своихъ книгъ. Мало того, онъ причащается, ходитъ на исповѣдь, чтобы избавиться отъ клерикальныхъ преслѣдованій, между тѣмъ какъ вся его дѣятельность направлена къ уничтоженію этихъ ученій и обычаевъ. Фарнгагенъ несправедливо извиняетъ эти хитрости и притворство, эти засады и внезапныя нападенія, это искусное умѣнье идти впередъ и быстро исчезать, — извиняетъ, какъ позволительныя и необходимыя вспомогательныя средства партизанской войны. Эту временную покорность не только люди благочестивые считали безбожной дерзостью, но даже и люди его партіи осуждали, какъ вещь жалкую и трусливую.»

Что *люди благочестивые* были недовольны — въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Но я опять таки повторю, что Вольтеръ не подрядился утѣшать *людей благочестивыхъ*. Чтобы узнать, похвальны-ли, или предосудительны поступки Вольтера, огорчающіе Геттнера, надо только поставить вопросъ: помогали они или мѣшали успѣху его общественной работы? Придется отвѣтить: помогали, потому что избавляли знаменитаго популяризатора отъ клерикальныхъ преслѣдованій, которыя доставляли-бы ему лишнія хлопоты, портили бы ему кровь, разстроивали-бы его здоровье и такимъ образомъ отвлекали-бы его отъ общественныхъ занятій. Значитъ, позволяя себѣ мелкія хитрости, Вольтеръ, сознательно или безсознательно, повиновался естественному чувству самосохраненія.

Здѣсь опять свободные мыслители смѣшиваются съ сектаторами и вѣрующими адептами. Еслибы то, что дѣлалъ Вольтеръ, было сдѣлано кальвинистомъ или лютераниномъ, тогда дѣло другое, тогда можно было-бы говорить о вещи *жалкой и трусливой*, потому что лютеране и кальвинисты, подобно католикамъ, придаютъ очень важное значеніе всѣмъ внѣшнимъ подробностямъ культа. Но со стороны Вольтера тутъ нѣтъ ничего похожаго на отступничество, потому что Вольтеръ питаетъ самое полное равнодушіе ко всякому культу со всѣми его подробностями. Вольтеръ вовсе не хотѣлъ сдѣлаться основателемъ какой-нибудь новой философской религіи; онъ также вовсе не пылалъ фанатической ненавистью къ существующему культу; онъ ненавидѣлъ только ту своекорыстную или тупую исключительность, которая порождаетъ убійства, религіозныя преслѣдованія, междуусобныя распри и международныя войны. *Терпимость* была первымъ и послѣднимъ словомъ его философской проповѣди. Поэтому онъ, нисколько не краснѣя и не изнѣмая самому себѣ, могъ подчиняться всевозможнымъ формальностямъ, предписаннымъ мѣстными законами или обычаями. Геттнеру слѣдовало-бы все это знать и понимать, тѣмъ болѣе, что онъ въ своей книгѣ выписываетъ изъ «Essai sur les moeurs et l'esprit des nations» слѣдующія размышленія Вольтера объ англійскихъ деистахъ: «Эти люди согласны со всѣми другими въ общемъ почитаніи единаго Бога; они отличаются только тѣмъ, что у нихъ нѣтъ никакихъ твердыхъ положеній ученія и никакихъ храмовъ, и что они, вѣря въ Божію справедливость, одушевлены величайшей терпимостью. Они говорятъ, что ихъ религія — религія чистая и такая-же старая, какъ свѣтъ; у нихъ нѣтъ никакого тайнаго культа, *и потому они безъ упрековъ*

Digitized by Google

совѣсти могутъ подчиниться и публичнымъ религіознымъ обычаямъ.»—Кто читалъ Вольтера, тотъ знаетъ, что онъ сочувствовалъ англійскимъ деистамъ больше, чѣмъ какимъ-бы то ни было другимъ мыслителямъ; говоря о нихъ и за нихъ, онъ говоритъ о себѣ и за себя; поэтому подчеркнутыя мною слова окончательно рѣшаютъ вопросъ и доказываютъ ясно, что, *подчиняясь публичнымъ религіознымъ обычаямъ*, Вольтеръ не дѣлалъ никакихъ *жалкихъ и трусливыхъ вещей.*

V.

Вольтеръ ненавидѣлъ всякія метафизическія тонкости, которыя,—сказать по правдѣ,—были ему рѣшительно не по силамъ. Вольтера ни подъ какимъ видомъ нельзя назвать великимъ или даже просто замѣчательнымъ мыслителемъ. Его умъ хваталъ очень недалеко и былъ совершенно неспособенъ прослѣдить какую-бы то ни было идею до самаго конца, до самыхъ послѣднихъ и отдаленныхъ ея развѣтвленій. По своимъ умственнымъ силамъ Вольтеръ стоялъ гораздо ниже многихъ людей, убившихъ всѣ свои прекрасныя дарованія на безплодныя метафизическія построенія. Вольтеръ былъ совершенно застрахованъ отъ всякой метафизической заразы своей—извините за выраженіе!—своей ограниченностью, соединенной съ колоссальнѣйшимъ тщеславіемъ и съ неподражаемымъ искусствомъ персифлированія.

Умъ Вольтера становился вступикъ на первыхъ двухъ-трехъ шагахъ отвлеченнаго философствованія; Вольтеръ терялъ возможность слѣдить за ходомъ мысли, и тутъ немедленно подоспѣвало къ нему на выручку драгоцѣнное тщеславіе. Не могъ же онъ, онъ, Аруэ-де-Вольтеръ, онъ, великій Вольтеръ, признать свое безсиліе и попросить пардона! Поэтому онъ тотчасъ рѣшалъ безапелляціонно, что тутъ совсѣмъ нечего и понимать. Затѣмъ онъ высовывалъ метафизику языкъ и отдѣлывалъ его такъ ловко прелестнѣйшими шутками и насмѣшками, что метафизикъ, который быть-можетъ былъ гораздо умнѣе Вольтера, оставался въ дуракахъ и окончательно погибалъ во мнѣніи всей читающей публики. Вся дѣятельность Вольтера изображаетъ собою возмущеніе простого здраваго смысла противъ ошибочныхъ увлеченій и безплодныхъ фейерверковъ человѣческой геніальности. Основатели различныхъ метафизическихъ школъ, напримѣръ Декартъ и Лейбницъ, и даже свѣтила схоластики, Ѳома Аквинскій, Рожеръ Бэконъ, Альбертъ Великій, обладали безспорно громадными умственными силами, но всѣ они имѣли несчастье, по обстоятельствамъ времени, потратить бо́льшую часть или даже всю совокупность своихъ силъ на такія работы, которыя, во-первыхъ, не могли получить никогда никакого практическаго приложенія, и во вторыхъ, по своей крайней трудности и головоломности, должны были навсегда остаться непонятными и недоступными для огромнаго большинства обыкновенныхъ или посредственныхъ человѣческихъ умовъ. Человѣческая посредственность, въ лицѣ самаго блестящаго и самаго ловкаго своего представителя, Вольтера, произнесла рѣшительный и безповоротный приговоръ отверженія надъ всѣми этими громадными, титаническими, изумительными, но совершенно безполезными трудами. Задача Вольтера была чисто-отрицательная. Изъ той громадной кладовой, въ которой хранятся умственныя сокровища человѣчества, надо было выкинуть много разнаго добра; вмѣстѣ съ этимъ добромъ надо было выбросить и тѣ шкафы, въ которыхъ оно лежало, выбросить для того, чтобы на будущее время человѣческія силы не тратились больше на обогащеніе этихъ ненужныхъ шкафовъ новымъ содержаніемъ. Чтобы произвести это выбрасываніе съ должной рѣшительностью и безтрепетностью, надо было во всѣхъ осужденныхъ шкафахъ не видѣть ни одной хорошей или привлекательной черты. Надо было ненавидѣть сплошной и цѣльной ненавистью; презирать самымъ чистымъ и искреннимъ презрѣніемъ, неразбавленнымъ никакими проблесками снисхожденія или состраданія. А такимъ образомъ ненавидитъ и презираетъ только *непониманіе*, потому что нѣтъ того человѣческаго чувства, нѣтъ того человѣческаго поступка, нѣтъ той человѣческой мысли, въ которыхъ при полномъ и всестороннемъ пониманіи нельзя было-бы найти хоть чего-нибудь достойнаго уваженія или любви, или по крайней мѣрѣ теплаго сожалѣнія. Но такъ какъ безпощадное выбрасываніе бываетъ иногда совершенно необходимо, то и непониманіе оказываетъ иногда человѣчеству драгоцѣнныя и незамѣнимыя услуги. Еслибы Вольтеръ былъ способенъ понимать логическую красоту и величественность тѣхъ метафизическихъ построеній, которыя ему надо было осмѣять и выбросить, то въ его сарказмахъ не было-бы той непринужденности, той неподдѣльной искренности, той самодовольной граціи, той заразительной веселости, которыя сообщали имъ неотразимую силу и обезпечивали собою успѣхъ всей отрицательной работы. Вольтеръ не былъ-бы Вольтеромъ, еслибы у него было побольше ума и поменьше тщеславія. Въ такомъ случаѣ мысли его были-бы болѣе глубоки, а приговоры менѣе рѣшительны. По этимъ двумъ причинамъ дѣйствіе его на толпу было-бы менѣе сильно. Такимъ образомъ чуть-ли не всѣ недостатки Вольтера, какъ умственные, такъ и нравственные, шли на пользу его популяризаторской работы.

Когда Вольтеръ осмѣиваетъ различныя дурачества умныхъ и глупыхъ людей, тогда онъ ве-

Digitized by Google

ликолѣпенъ и неотразимъ. Но когда онъ начинаетъ кропать что-то похожее на собственную систему, когда онъ самъ стремится сооружать и мудрствовать, тогда у читателя съ невѣроятной быстротой увядаютъ уши. Особенно печально становится положеніе читателя тогда, когда Вольтера удручаютъ высшіе вопросы общаго міросозерцанія. Тутъ уже переполняется мѣра читательскаго терпѣнія.

Вольтеръ—деистъ. Это-бы еще ничего. Даже трогательно и похвально. Еслибы онъ, подобно Магомету, крикнулъ просто во всеуслышаніе: «*Аллахъ есть Аллахъ!*» все обстояло-бы совершенно благополучно и всякія возраженія сдѣлались-бы невозможными. Но Вольтеръ къ несчастью томится желаніемъ доказывать основной тезисъ своей доктрины. Ему, изволите-ли видѣть, какъ философу, никакъ не возможно принимать что-бы то ни было на вѣру, а такъ какъ онъ доказывать рѣшительно не умѣетъ, и такъ какъ тутъ вообще на доказательствахъ далеко не уѣдешь, то передъ несчастнымъ читателемъ совершается настоящее столпотвореніе вавилонское. Гипотезы подпираются гипотезами: сравненія, сантиментальныя восклицанія и эффектныя вопросительныя тирады принимаются за доказательства; на какомъ-нибудь одномъ лядащемъ фактѣ, невѣрно подмѣченномъ и неправильно истолкованномъ, сооружается цѣлая сложная теорія; самъ того не замѣчая, нашъ философъ на каждомъ шагу путается въ грубыхъ противорѣчіяхъ; самъ того не замѣчая, онъ ежеминутно перепрыгиваетъ съ одной точки зрѣнія на другую; словомъ, получается такая мерзость запустѣнія, которая жестоко компрометируетъ почтенный тезисъ, не допускающій и не требующій никакихъ доказательствъ.

Любимымъ конькомъ Вольтера является идея о цѣлесообразности и предустановленности всего существующаго. Въ самомъ дѣлѣ, глазъ созданъ для того, чтобы видѣть, ухо—для того, чтобы слышать, зубы—для того, чтобы жевать, желудокъ—для того, чтобы переваривать пищу. Сдѣлавши заразъ столько открытій, Вольтеръ торжествуетъ побѣду надъ дерзновенными скептиками, и затѣмъ начинаются чувствительныя восклицанія о томъ, какъ это все разсчитано, предусмотрѣно, приспособлено и направлено. Все это очень назидательно и убѣдительно, но только Вольтеру слѣдовало-бы набрать побольше примѣровъ и повести процессъ доказательства хотя-бы напримѣръ такимъ образомъ: баранъ созданъ для того, чтобы ѣсть траву; волкъ — для того, чтобы ѣсть барана; мужикъ—для того, чтобы убивать и обдирать волка; маркизъ — для того, чтобы тузить и разорять мужика; а Людовикъ XIV — для того, чтобы сажать маркиза въ Бастилію и конфисковать его наслѣдственное имѣніе. Въ этой лѣствицѣ живыхъ существъ каждый пристроенъ къ своему мѣсту, каждый что-нибудь дѣлаетъ и каждый щедро одаренъ необходимыми для того снарядами или орудіями. Значитъ, цѣлесообразность выдержана великолѣпно. Остается только поставить и разрѣшить вопросъ: для кого или для чего нужна эта прекрасная цѣлесообразность, къ чему она ведетъ и съ какой стати сгруппированы эти живыя существа, которыя постоянно обижаютъ и терзаютъ, и даже истребляютъ другъ друга? Для кого сооружена вся лѣствица—для барана, для волка, для мужика, для маркиза или для Людовика XIV? Такъ какъ баранъ, волкъ и мужикъ играютъ тутъ совершенно страдательныя роли, отъ которыхъ они охотно отказались бы, то лѣствица построена очевидно не *для* нихъ, а скорѣе *противъ* нихъ. Значитъ, она построена для маркиза и для Людовика XIV? Прекрасно; но въ такомъ случаѣ только маркизъ, пока онъ не попалъ еще въ Бастилію, и Людовикъ XIV могутъ восхищаться порядкомъ, красотой, гармоніей и цѣлесообразностью природы. Для мужика всѣ эти прелести не существуютъ. Еслибы мужику вздумалось философствовать по Вольтеру, то онъ пришелъ-бы къ такимъ результатамъ, которые привели-бы Вольтера въ неописанный ужасъ. Если сообразилъ-бы мужикъ, что въ природѣ все сдѣлано и дѣлается съ тонкимъ разсчетомъ и съ умысломъ, то стало быть, когда природа заставляетъ насъ страдать, она также поступаетъ умышленно. «Вотъ меня,—продолжалъ-бы мужикъ,—эта милѣйшая природа донимаетъ каждый день съ тѣхъ поръ, какъ я себя запомню, то голодомъ, то холодомъ, то палками; такъ это она стало-быть все нарочно надо мною куражилась. Спасибо за угощеніе!»—«Позвольте, господинъ мужикъ,—заговорилъ бы Вольтеръ, понимая, что дѣло принимаетъ самый неблагополучный оборотъ, — позвольте! Васъ терзаетъ не природа, васъ терзаютъ люди.»—«Господинъ Вольтеръ,—отвѣчаетъ мужикъ,—людей произвела та-же природа. Если въ природѣ все разсчитано, предусмотрѣно и цѣлесообразно, то она можетъ и должна отвѣчать за каждое изъ своихъ созданій.»

Читатели мои, я самъ вижу, что мужикъ неистовствуетъ, но увѣряю васъ, что тутъ виноватъ не мужикъ, а Вольтеръ. Ученіе о цѣлесообразности въ природѣ ведетъ за собою ужасныя заключенія, подрывающія или по крайней мѣрѣ извращающія основной тезисъ вольтеровской доктрины. И отъ этихъ заключеній вы ничѣмъ не отвертитесь до тѣхъ поръ, пока въ мірѣ будетъ существовать страданіе. А страданіе неистребимо, потому что вся органическая жизнь основана на безпрерывномъ взаимномъ истребленіи живыхъ и чувствующихъ существъ. Самъ того не замѣчая и не желая, Вольтеръ подвергаетъ себя опасности пасть ницъ передъ кровожаднымъ Молохомъ или передъ индѣй-

Digitized by Google

скимъ Шивою, на которомъ надѣто ожерелье изъ человѣческихъ костей. Вся бѣда состоитъ въ томъ, что вольтеровскую доктрину невозможно *доказать*. Ее можно только *принимать на вѣру*. Кто можетъ—тотъ и вѣрь. Кто не можетъ... ну, тотъ вѣроятно и самъ знаетъ, что̀ ему дѣлать.

Прогуливаясь съ философскими цѣлями по кунсткамерѣ мірозданія, Вольтеръ конечно не могъ оставить незамѣченнымъ такого слона, какъ страданіе или зло. Вольтеръ понималъ, что этотъ слонъ очень опасенъ для его доктрины, и много было потрачено безплоднѣйшихъ усилій на то, чтобы придать проклятому слону сколько-нибудь благопристойную и почтенную наружность. Сначала Вольтеръ, идя по слѣдамъ англійскихъ мыслителей, Шэфтсбёри, Попа и Болинброка, старался доказать, что зло совсѣмъ не существуетъ, и что все на свѣтѣ идетъ такъ, какъ оно должно идти. Тутъ можно было разыгрывать варіаціи на ту тему, что страданія даютъ особенную цѣну наслажденію, и что они также необходимы въ жизни, какъ темныя краски въ картинѣ. Метафоръ и красивыхъ словъ можно было набрать довольно, но сама по себѣ эта позиція была такъ слаба и неудобна, что Вольтеръ впослѣдствіи бросилъ ее и даже самымъ жестокимъ образомъ осмѣялъ жалкіе и плоскіе софизмы тѣхъ приторныхъ оптимистовъ, которые не съумѣли исправиться и образумиться вмѣстѣ съ нимъ. Что Вольтеръ честно и рѣшительно отказался отъ тѣхъ ошибочныхъ мнѣній, которыя онъ самъ защищалъ очень долго и очень упорно,—это конечно дѣлаетъ величайшую честь его прямодушію. Но ни малѣйшей чести не дѣлаетъ его философской сообразительности то обстоятельство, что для побѣды надъ очевиднымъ заблужденіемъ ему понадобился сильный толчокъ изъ окружающаго міра. Вольтера поразило то знаменитое землетрясеніе, которое въ 1755 г. разрушило Лиссабонъ. Задумываясь надъ этимъ ужаснымъ событіемъ, онъ понялъ наконецъ, что зло, существующее въ природѣ, не можетъ быть замаскировано и затушевано никакими сладостными метафорами. Но чтобы додуматься до этихъ заключеній, не было никакой надобности созерцать погибель португальской столицы. Разрушеніе Лиссабона не прибавило рѣшительно ничего существеннаго къ тому запасу опыта, которымъ давно располагали всѣ современники Вольтера, начиная отъ академиковъ и кончая деревенскими старухами. Для кого-же могла быть новостью та истина, что силы природы очень часто разрушаютъ человѣческое благосостояніе и посягаютъ на человѣческую жизнь? Градъ, засуха, саранча, наводненія, пожары отъ грозы, скотскіе падежи, моровыя язвы—все это было достаточно извѣстно всему міру за нѣсколько тысячелѣтій до лиссабонскаго землетрясенія. Каждая десятина, выбитая градомъ, каждая хижина, сожженная молніей, каждая телушка, околѣвшая отъ заразы, могли-бы сказать Вольтеру точь-въ-точь то-же самое, что̀ прокричало ему разрушеніе Лиссабона. Вольтеръ поступилъ въ этомъ случаѣ такъ, какъ обыкновенно поступаетъ толпа. Онъ прошелъ спокойно и равнодушно передъ тысячами мелкихъ явленій и потомъ остановился съ наивнымъ изумленіемъ передъ однимъ крупнымъ фактомъ, въ которомъ не было ничего новаго и удивительнаго, кромѣ величины. Чтобы какъ-нибудь примирить несомнѣнное существованіе зла со своей основной доктриной, Вольтеръ ухватывается обѣими руками за будущую жизнь. Наконецъ умствованія утомляютъ Вольтера, и онъ смиряется духомъ. «Вопросъ о происхожденіи зла,—говоритъ онъ,—остается неразрѣшимой путаницей, отъ которой нѣтъ другого спасенія, какъ довѣріе къ Провидѣнію.» «Высшее существо сильно, — говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ,—мы слабы, мы также необходимо ограничены, какъ высшее существо необходимо безконечно; зная, что одинъ лучъ ничего не значитъ противъ солнца, я покорно подчиняюсь высшему свѣту, который долженъ просвѣтить меня во мракѣ міра.» И давно-бы такъ слѣдовало распорядиться. Не за чѣмъ было съ самаго начала портить чистый медъ вѣрующаго смиренія гнуснымъ дегтемъ философскаго высокомѣрія.

Вольтеръ на старости лѣтъ очень сильно воевалъ съ молодыми французскими писателями, дошедшими до крайняго скептицизма. Несмотря на всѣ эти добродѣтельныя усилія, клерикалы и піетисты всей Европы до сихъ поръ считаютъ Вольтера патріархомъ и коноводомъ французскихъ скептиковъ и матеріалистовъ. И надо сказать правду, клерикалы и піетисты нисколько не ошибаются. На Вольтерѣ воспитывались всѣ молодые люди, способные и желавшіе рѣшать силами собственнаго ума высшіе вопросы міросозерцанія. Благодаря литературной дѣятельности Вольтера, тѣ антиклерикальныя идеи, которыя до того времени переходили потихоньку отъ одного мыслителя къ другому, получили небывалое распространеніе и сдѣлались общимъ достояніемъ всей читающей Европы. По милости Вольтера сомнѣніе проникло въ тысячи свѣжихъ и пылкихъ головъ. Всѣхъ своихъ читателей Вольтеръ хотѣлъ привести къ всеобщей терпимости и остановить на точкѣ зрѣнія деизма. Первая цѣль была достигнута, но вторая была недостижима: всякое движеніе идетъ обыкновенно гораздо дальше, чѣмъ того желалъ первый коноводъ; каждое движеніе обыкновенно вырывается изъ рукъ перваго защитника, который очень часто становится тормазомъ и при этомъ почти никогда не достигаетъ своей цѣли, если только движеніе съ са-

Digitized by Google

наго начала было серьезно и соотвѣтствовало дѣйствительнымъ потребностямъ времени и даннаго общества. Въ числѣ тѣхъ многихъ тысячъ, которыя восхищались остроуміемъ вольтеровскихъ памфлетовъ противъ католицизма, непремѣнно должно было оказаться хоть нѣсколько десятковъ серьезныхъ, сильныхъ и послѣдовательныхъ умовъ. Для этихъ умовъ очень скоро сдѣлались невыносимыми тѣ внутреннія противорѣчія, на которыхъ Вольтеру угодно было благодушно почивать, какъ на побѣдныхъ лаврахъ. Эти умы не могли переваривать ту неестественную смѣсь поклоненія авторитету и знанія, которой упивался Вольтеръ. Имъ надо было что-нибудь одно, или credo quia absurdum, или отрицаніе всего того, что̀ не можетъ быть положительно доказано. Имъ надо было или воротиться къ положительнымъ вѣрованіямъ, или миновать всевозможные Геркулесовы столбы и выйдти въ открытый океанъ совершенно свободнаго и строго-реальнаго изслѣдованія. За погибшія души этихъ людей долженъ отвѣчать популяризаторъ Вольтеръ, потому что онъ первый взбунтовалъ ихъ противъ клерикаловъ, у которыхъ въ это время, также по наущенію Вольтера, была отнята возможность придерживать и придавливать человѣческую мысль благонадежными мѣрами спасительной строгости. Виновность Вольтера нисколько не уменьшается тѣмъ обстоятельствомъ, что онъ не одобрялъ крайнихъ выводовъ, добытыхъ его учениками. Поставивши этихъ учениковъ въ такое положеніе, въ которомъ не могутъ удержаться сильные и послѣдовательные умы, Вольтеръ обязанъ отвѣчать за всѣ дальнѣйшія умозрѣнія французскихъ мыслителей. Деизмъ Вольтера составляетъ только станцію на дорогѣ къ дальнѣйшимъ выводамъ Дидро, Гольбаха и Гельвеція.

VI.

Чтобы составить себѣ понятіе о громадныхъ заслугахъ Вольтера, надо судить его не какъ мыслителя, а какъ практическаго дѣятеля, какъ самаго ловкаго изъ всѣхъ существовавшихъ до сихъ поръ публицистовъ и агитаторовъ. Вольтеръ особенно великъ не тѣми идеями, которыя онъ развивалъ въ своихъ книгахъ и брошюрахъ, а тѣмъ впечатлѣніемъ, которое онъ производилъ на своихъ современниковъ этими книгами и брошюрами. Силою этого впечатлѣнія Вольтеръ сдѣлалъ Европѣ такой подарокъ, котораго цѣна растетъ до сихъ поръ, и будетъ увеличиваться постоянно съ каждымъ столѣтіемъ. Вольтеръ подарилъ Европѣ ея общественное мнѣніе. Онъ цѣлымъ рядомъ самыхъ наглядныхъ примѣровъ показалъ европейскимъ обществамъ, что ихъ судьба находится въ ихъ собственныхъ рукахъ, и что имъ стоитъ только размышлять, желать и настаивать для того, чтобы управлять по своему благоусмотрѣнію всѣмъ ходомъ историческихъ событій, крупныхъ и мелкихъ, внѣшнихъ и внутреннихъ. Вольтеръ открылъ европейскимъ обществамъ тайну ихъ собственнаго могущества. Вольтеръ доказалъ Европѣ, что она можетъ и должна быть живой, дѣятельной и самосознательной личностью, а не мертвымъ и пассивнымъ матеріаломъ, надъ которымъ различные канцеляріи, дипломаты и полководцы обнаруживаютъ свои таланты и производятъ свои эксперименты. Что же именно дѣлалъ Вольтеръ для того, чтобы разрѣшить эту громадную задачу, отъ рѣшенія которой зависитъ дальнѣйшая постановка всѣхъ прочихъ общественныхъ задачъ?—Вольтеръ писалъ, но писалъ такъ, какъ до него не умѣли и не смѣли писать; онъ затрогивалъ такіе вопросы, къ которымъ никто изъ его современниковъ не могъ относиться равнодушно; онъ разрабатывалъ эти вопросы такимъ неотразимо увлекательнымъ образомъ, что его читали десятки, а можетъ-быть и сотни тысячъ людей. Знаменитость Вольтера росла и выросла наконецъ до такихъ размѣровъ, до которыхъ никогда, ни прежде, ни послѣ, не доходила извѣстность простого писателя. «Русская императрица,—говоритъ Кондорсе въ біографіи Вольтера,—короли прусскій, датскій, шведскій старались заслужить похвалу Вольтера и поддерживали его благія дѣла; во всѣхъ странахъ вельможи, министры, стремившіеся къ славѣ, искали одобренія фернейскаго философа (Вольтера) и довѣряли ему свою надежду на успѣхи разума, свои планы распространенія свѣта и уничтоженія фанатизма. Во всей Европѣ онъ основалъ союзъ, котораго онъ былъ душой. Воинственнымъ крикомъ этого союза было: «разумъ и терпимость!» Совершена-ли была гдѣ-нибудь большая несправедливость, оказалось-ли кровавое преслѣдованіе, нарушалось-ли человѣческое достоинство,—сочиненіе Вольтера передъ всей Европой выставляло виновныхъ къ позорному столбу. И какъ часто рука притѣснителей дрожала отъ страха передъ этимъ вѣрнымъ мщеніемъ.»—Цитируя эти слова Кондорсе, Геттнеръ говоритъ, что они совершенно справедливы. Итакъ, сила Вольтера была очень велика. Но эта сила была основана исключительно на довѣріи и сочувствіи читающаго общества. Значитъ, чѣмъ выше поднимался Вольтеръ, тѣмъ больше вѣсу пріобрѣтали мнѣнія и желанія общества. *Рука притѣснителей дрожала* очевидно не передъ Вольтеромъ. Вольтеръ былъ только докладчикомъ, а судьей являлась читающая Европа. Но для того, чтобы этотъ судъ былъ дѣйствительно страшенъ для притѣснителей, надо было, чтобы голосъ докладчика во всякую данную минуту находилъ себѣ десятки тысячъ внимательныхъ слушателей. Чтобы вызвать къ жизни обще-

Digitized by Google

ственное мнѣніе и чтобы всегда поддерживать его дѣятельность тамъ, гдѣ оно еще не привыкло вмѣшиваться постоянно въ общественныя дѣла и гдѣ весь строй существующихъ учрежденій враждебенъ такому вмѣшательству,—необходима необыкновенная сила таланта и непоколебимая твердость убѣжденій со стороны того человѣка, который при такихъ невыгодныхъ условіяхъ осмѣливается принять на себя великія обязанности публициста. Сосредоточивши на себѣ вниманіе всей Европы, Вольтеръ сдѣлалъ возможнымъ существованіе общественнаго мнѣнія, затѣмъ онъ самъ сдѣлался руководителемъ этого вновь созданнаго общественнаго мнѣнія и показалъ, что общество можетъ и обязано контролировать и судить своихъ опекуновъ. А что такое общество? Вы, я, наши братья и сестры, дяди и тетки, отцы и матери, родственники и знакомые, родственники родственниковъ и знакомые знакомыхъ, и такъ далѣе—вотъ вамъ и общество. Каждый изъ насъ порознь слабѣе встрѣчнаго полисмэна. Но всѣ мы вмѣстѣ непобѣдимы и неотразимы. Судите же теперь, какой глубокой благодарностью обязаны мы тѣмъ великимъ людямъ, которые соединяютъ насъ между собой обаятельной силой живого и горячаго слова и которые, сплотивши насъ въ одну громадную и неотразимую лавину, ведутъ и направляютъ насъ туда, гдѣ мы можемъ спасать нашихъ братьевъ или увеличивать и упрочивать нашими приговорами наше собственное матеріальное и умственное благосостояніе. Величайшимъ изъ этихъ великихъ людей надо признать Вольтера, потому что онъ первый соединилъ и повелъ за собой читающую Европу къ свѣтлому будущему, и еще потому, что послѣ его смерти не появлялось ни одного человѣка, который былъ-бы равенъ ему по глубинѣ и обширности своего вліянія.

Когда во время революціи прахъ Вольтера былъ перенесенъ въ Пантеонъ, тогда пьедесталъ его памятника получилъ слѣдующую надпись: «Тѣни Вольтера. Поэтъ, историкъ, философъ, онъ расширилъ предѣлы человѣческаго ума и научилъ его быть свободнымъ. Онъ защитилъ Каласа, Сирвана, де-ла-Барра и Монбальи; онъ сражался съ атеистами и съ фанатиками; онъ внушалъ терпимость; онъ отстаивалъ права человѣка противъ феодальнаго рабства.» Защищеніе Каласа и другихъ подсудимыхъ поставлено на ряду съ самыми замѣчательными подвигами Вольтера. Такъ оно и должно быть. Роль Вольтера въ этихъ четырехъ уголовныхъ процессахъ имѣетъ громадное общественное значеніе, не говоря уже о томъ, что она дѣлаетъ величайшую честь человѣколюбію и великодушію Вольтера. Вмѣшательство Вольтера въ первый разъ показало всей Европѣ, что надъ высшими трибуналами есть еще одна инстанція, которая можетъ пересматривать и кассировать приговоры, судить и осуждать недобросовѣстныхъ или тупоумныхъ судей, оправдывать и реабилитировать невинныхъ, пострадавшихъ отъ судейской оплошности или злонамѣренности. Въ Тулузѣ сынъ Жана Каласа, Маркъ Антонъ, повѣсился въ домѣ своего отца. Жанъ Каласъ былъ протестантъ, а Тулуза населена самыми ревностными католиками. Наперекоръ всякому здравому смыслу и правдоподобію, какой-то негодяй распустилъ въ городѣ слухъ, что Маркъ Антонъ повѣшенъ своими родителями за намѣреніе перейти въ католицизмъ. Самоубійцу превратили въ мученика. Трупъ его, выставленный въ церкви, сталъ творить чудеса. Семейство Каласовъ попало въ тюрьму, было заковано въ цѣпи и отдано подъ судъ. Не имѣя никакихъ доказательствъ, кромѣ народнаго говора и чудесъ святого самоубійцы, тулузскій парламентъ приговорилъ Жана Каласа, 72-лѣтняго старика, къ колесованію. Приговоръ былъ приведенъ въ исполненіе. Дѣти Каласа разосланы по монастырямъ и обращены силой въ католицизмъ. Имѣніе казненнаго конфисковано, и вдова его осталась одна, безъ земли и безъ средствъ къ существованію. Значитъ, правосудіе удовлетворено, и дѣло кончено. Некому поднимать его и некуда его вести дальше. Тулузскій парламентъ—верховное судебное мѣсто, и приговоры его, не нуждаясь ни въ чьей конфирмаціи, не могутъ быть оспариваемы правильнымъ апелляціоннымъ порядкомъ. Но Вольтеръ впутывается въ этотъ благополучно оконченный процессъ—Вольтеру нѣтъ дѣла до юридической правильности и до канцелярскаго порядка. Вольтеръ раскапываетъ всю исторію съ самаго начала, печатаетъ свое знаменитое сочиненіе о терпимости, излагаетъ въ немъ процессъ Каласа, какъ возмутительный примѣръ католическаго фанатизма, доведеннаго до людоѣдства, пишетъ письма къ знаменитымъ адвокатамъ, къ министрамъ, къ государямъ,— словомъ, работаетъ за Каласовъ неутомимо и безкорыстно цѣлые три года, и все это дѣлаетъ Вольтеръ, кумиръ всей мыслящей Европы, слабый и больной семидесятилѣтній старикъ. А ему-то что за дѣло? Что онъ за оберъ-прокуроръ? По какому праву мѣшаетъ онъ тулузскому парламенту колесовать, съ соблюденіемъ всѣхъ законныхъ формальностей, тѣхъ французовъ, которые, живя въ Тулузѣ, имѣютъ безразсудство не нравиться ему, всесильному тулузскому парламенту? Такіе вопросы предлагались конечно многими непоколебимыми приверженцами спасительной юридической правильности, и на такіе вопросы пылкіе обожатели фернейскаго философа отвѣчали по всей вѣроятности, что Вольтеръ, по праву мыслящаго человѣка и честнаго гражданина, обращается къ верховному суду обще-

Digitized by Google

ственнаго мнѣнія и требуетъ отъ французской націи, чтобы она защищала своихъ дѣтей отъ произвола парламентскихъ совѣтниковъ, ослѣпленныхъ религіозной ненавистью или запуганныхъ криками фанатической уличной толпы. Подобные разговоры велись вездѣ, гдѣ люди умѣли читать и понимать французскія книги, а въ Парижѣ эти разговоры велись такъ громко, что государственный совѣтъ предписалъ тулузскому парламенту выслать документы по дѣлу Каласа. Весь процессъ былъ пересмотрѣнъ, и приговоръ тулузскаго парламента объявленъ несправедливымъ. Почти въ одно время съ Каласомъ попалъ подъ судъ протестантъ Сирванъ, котораго также безъ малѣйшаго основанія подозрѣвали въ томъ, что онъ утопилъ въ колодцѣ свою дочь, насильно обращенную въ католицизмъ мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ. Сирванъ имѣлъ довольно вѣрное понятіе о французскомъ правосудіи, и постарался убѣжать. Его заочно приговорили къ смерти. Имѣніе его конфисковали. «Вольтеръ,—говоритъ Геттнеръ,— и здѣсь явился защитникомъ и мстителемъ. Правительства бернское и женевское, русская императрица, короли польскій, прусскій и датскій, ландграфъ гессенскій, герцоги саксонскіе по вызову Вольтера прислали несчастному семейству богатую помощь. Вольтеръ обратился прямо къ тулузскому парламенту, который опять по закону былъ высшей судебной инстанціей въ дѣлѣ Сирвана; исходъ процесса Каласа далъ перевѣсъ свободномыслящей партіи, и Сирванъ былъ оправданъ.» Семнадцатилѣтняго мальчика де-ла-Барра обвинили въ томъ, что онъ будто-бы вмѣстѣ съ своимъ товарищемъ д'Эталлондомъ изломалъ и опрокинулъ деревянное распятіе, стоявшее на мосту въ городѣ Аббевилѣ. Прямыхъ уликъ не оказалось; но зато нашлись добрые и благочестивые люди, которые припомнили съ сокрушеніемъ сердца, что однажды де-ла-Барръ и д'Эталлондъ, встрѣтившись съ процессіей, не сняли передъ нею шляпъ, и что кромѣ того де-ла-Барръ какъ-то разъ у себя на квартирѣ пѣлъ легкомысленные куплеты, направленные противъ чести Святой Маріи Магдалины. Показанія добрыхъ и благочестивыхъ людей рѣшили участь безразсудныхъ молокососовъ. Считая ихъ преступленіе вполнѣ доказаннымъ, судъ приговорилъ де-ла-Барра къ колесованію, что и было исполнено въ 1765 году. Д'Эталлонду же было оказано нѣкоторое снисхожденіе. Судъ приказалъ вырѣзать у него языкъ и отрубить ему руки. Д'Эталлондъ не пожелалъ воспользоваться этими милостями и ухитрился бѣжать. Прибѣжалъ онъ прямо къ Вольтеру, къ общепризнанному и возлюбленному патріарху всѣхъ европейскихъ вольнодумцевъ. Тутъ онъ съоткровенностью ребенка разсказалъ всѣ подробности дѣла. Вольтеръ препроводилъ д'Эталлонда въ Пруссію и рекомендовалъ его Фридриху II, который принялъ его къ себѣ на службу и далъ ему офицерскій чинъ. Вольтеръ, съ своей стороны, въ превосходномъ мемуарѣ раскрылъ передъ читающей Европой всѣ закулисныя пружины той грязной интриги, которая погубила де-ла-Барра. Эти пружины состояли въ томъ, что одинъ вліятельный господинъ, Беллеваль, началъ строить куры теткѣ де-ла-Барра, настоятельницѣ женскаго монастыря. Получивши на свои авансы презрительный отказъ, Беллеваль рѣшился мстить и направилъ на молодого вѣтренника де-ла-Барра всѣхъ клерикаловъ и тартюфовъ города Аббевиля и его окрестностей. Въ результатѣ получилось колесованіе. Старуха Монбальи выпила не въ мѣру и умерла отъ апоплексическаго удара. Зѣваки и сплетники города Сентъ-Омера увидали въ этой скоропостижной смерти слѣды насилія и взвели подозрѣніе на сына покойницы и на его жену. Подозрительныя личности были арестованы и отданы подъ судъ. Доказательствъ не нашлось никакихъ, но судьи, стремясь къ исправленію общественной нравственности, не пожелали останавливаться на разныхъ мелочныхъ соображеніяхъ и смѣло приговорили обоихъ обвиненныхъ къ мучительной казни. Монбальи колесовали и сожгли, но казнь его жены была отложена по случаю ея беременности. Въ это время Вольтеръ послалъ мемуаръ объ этомъ дѣлѣ въ министерство. Процессъ пересмотрѣли, казненнаго Монбальи объявили невиннымъ. Жену его приговоренную къ смерти, освободили.

Эти четыре процесса слѣдовали одинъ за другимъ, съ очень короткими промежутками времени. Самый ранній изъ нихъ, процессъ Каласа, былъ рѣшенъ въ 1762 году и перерѣшенъ въ 1765 году. Самый поздній, процессъ Монбальи, разыгрался въ 1770 году. Едва успѣвало утихнуть волненіе, возбужденное въ обществѣ однимъ вопіющимъ насиліемъ, какъ начинались немедленно толки о новой, такой-же очевидной и возмутительной несправедливости. Втеченіи восьми лѣтъ раскрылось четыре юридическія убійства, и высшія государственныя власти за одно съ общественнымъ мнѣніемъ страны оффиціально признали ихъ убійствами. Два изъ этихъ убійствъ были совершены на югѣ Франціи и два—на сѣверѣ. Значитъ, суды были одинаково ревностны, проницательны и справедливы на всемъ пространствѣ французской территоріи. Четыре гадости были открыты по иниціативѣ частнаго человѣка, дряхлаго и больного старика. Но сколько-же гадостей оставалось въ неизвѣстности? Сколько ихъ совершилось въ послѣднія десятилѣтія? Сколько еще совершится въ ближайшія двадцать или тридцать лѣтъ? И кто можетъ сказать навѣрное,

Digitized by Google

что эти будущія гадости не обрушатся ни на него, ни на его ближайшихъ родственниковъ и друзей? Вѣдь нельзя-же въ самомъ дѣлѣ тащить всѣ рѣшенные процессы къ Вольтеру, да и самъ Вольтеръ всетаки не способенъ воскрешать своими защитительными мемуарами колесованныхъ и сожженныхъ людей. Питая свой духъ такими мрачными и неуспокоительными размышленіями, каждый французъ, способный подмѣчать и обобщать явленія общественной жизни, долженъ былъ придти къ тому результату, что суды его родины, какъ двѣ капли воды, похожи на аулы предпріимчивыхъ горцевъ, которые безъ малѣйшей опасности для самихъ себя распространяютъ ужасъ и опустошеніе по всѣмъ окружающимъ мѣстностямъ. Послѣ этого не трудно было добраться и до того практическаго заключенія, что общество, уже возвысившееся до самосознанія, обязано изъ чувства самосохраненія сосредоточить всѣ свои силы противъ этихъ воинственныхъ ауловъ и противъ всего того, что̀ поддерживаетъ и упрочиваетъ ихъ существованіе.

Вступаясь за мучениковъ французскаго правосудія, Вольтеръ не развивалъ никакихъ отвлеченно широкихъ теорій. Онъ просто и спокойно проводилъ самыя широкія теоріи въ дѣйствительную жизнь. Онъ не разсуждалъ о souveraineté du peuple. Онъ прямо и рѣшительно прикладывалъ ее къ дѣлу. Онъ не проповѣдывалъ противъ стараго зла, а фактически уничтожалъ его. Процессы Каласа и всѣхъ другихъ вольтеровскихъ protégés нанесли старому порядку болѣе жестокіе удары, чѣмъ могли бы то сдѣлать десятки томовъ самой тонкой, остроумной и разрушительной теоретической критики. Защитительные мемуары Вольтера были уже не словами, а дѣлами. Это уже не подготовленіе переворота, а настоящее его начало. Здѣсь живая сила общественнаго мнѣнія, живая воля мыслящаго и энергическаго народа дѣйствительно, на самомъ дѣлѣ, стали выше всѣхъ существующихъ законовъ. Съ этой минуты эти старые, средневѣковые законы могутъ уже считаться отмѣненными. Затѣмъ остается только облечь совершившійся фактъ въ юридическую форму. Объ этомъ уже позаботились дѣятели учредительнаго собранія, открывшаго свои засѣданія черезъ одиннадцать лѣтъ послѣ смерти Вольтера.

Блестящую кампанію, открытую Вольтеромъ противъ старыхъ французскихъ судовъ, тѣсно связанныхъ со всей совокупностью старыхъ общественныхъ учрежденій, закончилъ достойнымъ образомъ Бомарше, знаменитый авторъ «Севильскаго цирульника» и «Свадьбы Фигаро». Бомарше находился въ гораздо менѣе выгодномъ положеніи, чѣмъ Вольтеръ. Во-первыхъ, Вольтеръ былъ знаменитѣйшимъ человѣкомъ во всей Европѣ, а Бомарше, вступая въ борьбу съ парижскимъ парламентомъ, былъ еще совершенно неизвѣстенъ. Во-вторыхъ, Вольтеръ вступался за другихъ, а Бомарше—за самого себя. Въ-третьихъ, вольтеровскіе процессы были процессами уголовными: тутъ шло дѣло о человѣческой жизни и о чести цѣлыхъ семействъ; тутъ являлись въ видѣ декорацій и аттрибутовъ цѣпи, застѣнки, орудія пытки, костры и висѣлицы; тутъ было чѣмъ расшевелить въ читающей публикѣ любопытство, сочувствіе и негодованіе. Процессъ Бомарше, напротивъ того, былъ простымъ тяжебнымъ дѣломъ, возникшимъ изъ-за незначительной денежной суммы и запутаннымъ происками и интригами обѣихъ состязавшихся сторонъ. Бомарше по-настоящему при обыкновенныхъ условіяхъ не могъ-бы даже разсчитывать на сочувствіе публики, потому что онъ самъ былъ далеко не правъ, хотя, разумѣется, противники его были еще болѣе виноваты. Но ненависть общества ко всѣмъ частямъ стараго государственнаго порядка была такъ безпредѣльна, что общество все простило смѣлому Бомарше и тотчасъ превратило его въ героя и въ великаго дѣятеля, какъ только оно увидѣло въ немъ человѣка, способнаго наносить господствующей системѣ сильные и мѣткіе удары. Дѣло было вотъ какъ. Финансистъ Дюверне, находившійся въ постоянныхъ дѣловыхъ сношеніяхъ съ ловкимъ и предпріимчивымъ Бомарше, умирая, призналъ въ своихъ бумагахъ, что онъ остался долженъ Бомарше пятнадцать тысячъ ливровъ. Наслѣдникъ Дюверне, графъ Ла-Блашъ, вздумалъ оспаривать этотъ долгъ. Бомарше, никогда не отличавшійся уступчивостью, началъ процессъ въ концѣ 1771 года. Въ 1772 году дѣло, рѣшенное первой инстанціей въ пользу Бомарше, перешло въ парламентъ, извѣстный въ исторіи подъ именемъ парламента Мопу. Это было собраніе, произвольно созданное королемъ Людовикомъ XV и его министромъ Мопу; оно замѣняло собой парижскій парламентъ, который за свою непокорность королевской власти былъ уничтоженъ и отправленъ въ изгнаніе. Бомарше отправился къ докладчику этого парламента, Гезману, но не успѣлъ повидаться съ нимъ и окольными путями получилъ тотъ благой совѣтъ, что для умилостивленія докладчика слѣдуетъ поднести подарокъ его женѣ. Бомарше съ благодарностью принялъ этотъ совѣтъ и представилъ госпожѣ Гезманъ сто луидоровъ, золотые часы съ алмазами и пятнадцать луидоровъ для передачи какому-то секретарю. Бомарше, какъ непобѣдимый кремень и кулакъ, велъ все это дѣло съ такой цинической откровенностью, что обязалъ госпожу Гезманъ отдать назадъ всѣ сокровища, если процессъ будетъ проигранъ. Госпожа Гезманъ, которой подобныя объясненія и сдѣлки были нипочемъ, совершенно согласилась на эти условія. Процессъ проигрался, потому что Ла-Блашъ съ

Digitized by Google

своей стороны порадовалъ докладчика болѣе убѣдительнымъ приношеніемъ. Бомарше потребовалъ назадъ свои дары. Madame Гезманъ отдала ему часы и сто луидоровъ, но съ пятнадцатью луидорами она почему-то ни подъ какимъ видомъ не хотѣла разстаться. Бомарше, взбѣшенный донельзя проигрышемъ процесса, тотчасъ-же такъ громко разблаговѣстилъ скандальную исторію о луидорахъ, что самъ Гезманъ очутился въ очень неудобномъ и опасномъ положеніи. Гезманъ рѣшился на отчаянный маневръ. Рѣшительно отрицая всю исторію о часахъ и о деньгахъ, онъ подалъ въ парламентъ форменную жалобу на Бомарше, какъ на клеветника. Теперь Бомарше очутился въ тискахъ: если съ его стороны не было клеветы, то значитъ была попытка подкупить членовъ суда. Альтернатива была печальная. Дѣло, какъ видите, пакостное во всѣхъ своихъ подробностяхъ. Бомарше вышелъ изъ этого дѣла побѣдителемъ, героемъ, мученикомъ, любимцемъ всей Европы, добродѣтельнымъ Цицерономъ и чуть-чуть не отцомъ отечества. «Бомарше,—говоритъ Геттнеръ,—обратился къ публикѣ съ четырьмя мемуарами. Неумолимо и съ непреклоннымъ мужествомъ, гнѣвомъ и одушевленіемъ преслѣдуя врага во всѣхъ его убѣжищахъ и укрѣпленіяхъ, остроумный до наглости и шутовства и въ то-же время доходящій въ нравственномъ раздраженіи до истинно-поразительной возвышенности, онъ приводитъ цѣлое общественное мнѣніе въ самое живое движеніе, дѣлаетъ свой интересъ интересомъ всѣхъ, становится мстителемъ нарушенной справедливости и съ проницательностью злобы выставляетъ всѣ тѣ страшныя интриги и преступленія, отъ которыхъ страдало тогда французское правосудіе. Впечатлѣніе, произведенное этими мемуарами, прошло всѣ слои населенія, даже всю Европу. Первый мемуаръ въ первые-же два дня проданъ былъ въ числѣ десяти тысячъ экземпляровъ; со второго мемуара его процессъ сдѣлался, какъ тогда выражались, la cause de la nation, можно даже сказать—процессомъ всего образованнаго міра.» Въ своемъ четвертомъ мемуарѣ Бомарше высказалъ уже самымъ категорическимъ образомъ, какъ общепризнанную истину, мысль о верховномъ господствѣ націи. «La nation,—говоритъ онъ,—n'est pas assise sur les bancs de ceux pui prononcent; mais son oeil majestueux plane sur l'assemblée. Si elle n'est jamais le juge des particuliers, elle est en tout temps le juge des juges.» («Нація не сидитъ на скамьяхъ тѣхъ людей, которые произносятъ приговоры; но ея величественный взоръ носится надъ собраніемъ. Если она никогда не бываетъ судьей частныхъ лицъ, то она бываетъ судьей судей.») Кажется, ясно и выразительно. Слышатся даже ноты той вкрадчивой лести державному народу, безъ которой впослѣдствіи не могла обойтись ни одна рѣчь революціонныхъ ораторовъ. А между тѣмъ когда Бомарше писалъ свой четвертый мемуаръ, тогда еще жили на свѣтѣ старики, помнившіе вѣкъ того короля, который считалъ себя государствомъ. Къ числу этихъ стариковъ принадлежалъ и самъ Вольтеръ. Все разстояніе отъ чисто-турецкаго деспотизма до самодержавія народа было пройдено двумя поколѣніями. Крупные то были люди! Умѣли они и веселиться, и работать. Парламентъ Мопу въ началѣ 1774 года приговорилъ къ ошельмованію (blâme) какъ госпожу Гезманъ, такъ и ея противника Бомарше. Ошельмованіе это влекло за собою потерю всѣхъ гражданскихъ правъ и состояло въ томъ, что осужденнаго ставили на колѣни, а президентъ произносилъ во всеуслышаніе установленную формулу: «la cour te blâme et te déclare infâme» («судъ шельмуетъ тебя и объявляетъ тебя безчестнымъ»). Собственно говоря, рѣшеніе парламента было совершенно справедливо: онъ ошельмовалъ одну сторону за то, что она брала взятки, а другую—за то, что она ихъ предлагала. Мудрѣе этого и Соломонъ ничего бы не придумалъ. Но французской націи было въ то время не до мудрости парламентскихъ совѣтниковъ и не до справедливости отдѣльныхъ приговоровъ. Нація стремилась въ то время всей силой своихъ мыслей и желаній къ полному обновленію всѣхъ своихъ учрежденій и къ неограниченному господству надъ всѣми отправленіями своей жизни. Когда, находясь въ такомъ напряженномъ ожиданіи грядущихъ событій, нація слышала сильную и вѣрную музыку, тогда нація называла музыканта героемъ и великимъ дѣятелемъ, нисколько не освѣдомляясь о томъ, ведетъ ли этотъ драгоцѣнный музыкантъ трезвую и цѣломудренную жизнь. Нація была права въ своемъ инстинктѣ. Когда цѣлое общество переживаетъ тяжелый и мучительный кризисъ, тогда тихія добродѣтели частной жизни отступаютъ на самый задній планъ, оставляя поле дѣйствій совершенно открытымъ для тѣхъ могучихъ и блестящихъ дарованій, отъ которыхъ зависитъ рѣшеніе великой общественной задачи, поставленной на очередь медленнымъ и грознымъ теченіемъ историческихъ событій. Поэтому немудрено, что нація совершенно забыла поступокъ Бомарше и запомнила только его великолѣпные мемуары. «Бомарше,—говоритъ Геттнеръ,—явился передъ судомъ; но общественное мнѣніе сдѣлало изъ осужденія Бомарше осужденіе парламента. Бомарше получилъ безчисленное множество визитовъ. На другой-же день послѣ осужденія принцъ Конти пригласилъ заклейменнаго на блистательный пиръ. «Nous sommes,—говорилъ принцъ въ своемъ письмѣ,—d'assez bonne maison pour donner l'exemple á la France de la manière dont on doit traiter un grand citoyen tel que vous.» («Мы изъ достаточно хорошаго дому,

Digitized by Google

чтобы подать Франціи примѣръ, какимъ образомъ слѣдуетъ обращаться съ великимъ гражданиномъ, подобнымъ вамъ.») Вездѣ, куда ни показывался Бомарше, онъ принимаемъ былъ съ восторженными криками. Парламентъ Мопу не могъ сопротивляться этому удару. Нападенія въ стихахъ и прозѣ становились все многочисленнѣе и сильнѣе. Онъ влачилъ свое существованіе еще нѣсколько мѣсяцевъ, презираемый и гонимый всѣми.

Принцъ королевской крови Конти не умѣлъ составить себѣ даже и приблизительнаго понятія о томъ результатѣ, къ которому ведетъ блистательная дѣятельность великихъ гражданъ, подобныхъ Бомарше. Въ простотѣ своей доброй души принцъ Конти во всемъ этомъ дѣлѣ не видѣлъ ничего, кромѣ чувствительнаго пораженія, нанесеннаго парламенту Мопу. Принцъ рѣшительно не понималъ того, что общество, узнавшее свою собственную силу и сломившее этой силой одно изъ важнѣйшихъ государственныхъ учрежденій, войдетъ во вкусъ и будетъ подавлять своимъ могуществомъ все то, что̀ не соотвѣтствуетъ его потребностямъ. Райское простодушіе высшей французской знати,— простодушіе, до котораго нашъ испорченный вѣкъ уже не можетъ возвыситься, выразилось еще рельефнѣе по поводу того-же великаго гражданина въ дѣлѣ о его знаменитой комедіи «Свадьба Фигаро». Комедія эта была окончена въ 1781 году. Слухи и толки о ней ходили по всему Парижу. Бомарше читалъ ее во многихъ аристократическихъ отеляхъ. Слушатели были въ восторгѣ. Но Людовикъ XVI рѣшительно не позволялъ этой комедіи появиться на сценѣ. Бомарше три года интриговалъ противъ этого запрещенія и наконецъ побѣдилъ сопротивленіе короля, и, разумѣется, побѣдилъ только потому, что короля осадили со всѣхъ сторонъ просьбами и воплями королева, принцы и принцессы, которымъ чрезвычайно желательно было посмотрѣть, какимъ образомъ Фигаро при всей парижской публикѣ высшихъ и низшихъ сортовъ будетъ отдѣлывать своими убійственными насмѣшками привилегію дворянства и всѣ закоренѣлыя несообразности стараго феодальнаго порядка. Геттнеръ замѣчаетъ очень основательно, что «теперь никакая театральная цензура не потерпѣла-бы подобной пьесы». Комедія была дана въ первый разъ 27 апрѣля 1784 года. И затѣмъ театральная дирекція впродолженіи десяти недѣль каждый день просвѣщала добрыхъ парижанъ «Свадьбою Фигаро». Примѣру Парижа послѣдовали театры всѣхъ большихъ и маленькихъ провинціальныхъ городовъ. Словомъ, по милости принцевъ и принцессъ, критика старыхъ учрежденій сдѣлалась доступной всѣмъ французамъ, имѣвшимъ возможность заплатить какой-нибудь четвертакъ за мѣсто въ театральномъ райкѣ. Всѣ эти французы увидѣли ясно, до какой степени всѣ они единодушны въ своей ненависти къ старому злу. Всѣ они почувствовали и поняли, что учрежденія, осужденныя и осмѣянныя цѣлой націей, не могутъ существовать. А между тѣмъ принцы и принцессы продолжали простодушничать. 19 августа 1785 года они сами разыграли «Свадьбу Фигаро» въ маломъ Тріанонѣ. Королева Марія-Антуанета исполнила роль Розины; а графъ д'Артуа, будущій король Карлъ X, изобразилъ Фигаро и очень мило осмѣялъ все то, на чемъ основывалось его собственное величіе и благосостояніе. Эти люди утѣшались такими забавами за *четыре года* до того переворота, который однихъ повелъ на эшафотъ, а другимъ приготовилъ разореніе и двадцатилѣтнее изгнаніе.

VII.

Втеченіи всей второй половины XVIII вѣка вниманіе французскаго общества сосредоточивается почти исключительно на литературѣ, и притомъ преимущественно на серьезныхъ ея отрасляхъ. Героями дня и властителями думъ являются писатели. У французовъ въ это время нѣтъ ни великихъ полководцевъ, ни смѣлыхъ преобразователей, ни даже благоразумныхъ правителей. Франція Людовика XV гордится только своими книгами. Книгъ у нея дѣйствительно очень много; онѣ быстро и безостановочно появляются одна за другой; онѣ покупаются и читаются на расхватъ; онѣ обсуживаютъ съ самыхъ различныхъ сторонъ самые важные и интересные вопросы; онѣ говорятъ о религіи и о нравственности, о природѣ и о человѣкѣ, о государствѣ и обществѣ, о правахъ и обязанностяхъ, о душѣ и объ умственныхъ способностяхъ, объ англійской конституціи и о республиканскихъ добродѣтеляхъ, о земледѣліи и промышленности, о собственности и о распредѣленіи богатствъ. По всѣмъ этимъ вопросамъ книги поражаютъ своихъ читателей смѣлостью и неслыханностью сужденій, которыя при всемъ своемъ разнообразіи оказываются всѣ до одной совершенно непримиримыми съ общеобязательнымъ кодексомъ традиціонныхъ доктринъ и съ укоренившимися формами государственной и общественной жизни. Ударъ слѣдуетъ за ударомъ. Подъ этими ударами падаютъ одно за другимъ въ самыхъ различныхъ областяхъ знанія коренныя заблужденія, на которыхъ выросли и сложились любимыя привычки, условные идеалы, игрушечныя радости и копѣечныя огорченія читающаго общества. Каждый ударъ вызываетъ бурю разнородныхъ страстей то въ обществѣ, то въ правительственныхъ сферахъ; и безъ какого-нибудь удара не проходитъ почти ни одного года, такъ что умы читателей находятся въ постоянномъ напряженіи и въ

Digitized by Google

безвыходной тревогѣ. Чтобы составить себѣ нѣкоторое понятіе о томъ обиліи сильныхъ умственныхъ впечатлѣній, которое переживала тогдашняя публика, и о той быстротѣ, съ которой самыя разнообразныя впечатлѣнія смѣняли и тѣснили другъ друга,—надо посмотрѣть, въ какомъ хронологическомъ порядкѣ появлялись на свѣтъ самыя замѣчательныя произведенія отрицательной философіи. Я буду называть только тѣ сочиненія, которыя вошли въ исторію литературы, и вошли не столько за свое абсолютное достоинство, сколько за свое историческое значеніе. Стало-быть мы здѣсь будемъ имѣть дѣло только съ такими книгами, которыя въ свое время произвели на читателей сильное и глубокое впечатлѣніе.

Въ 1748 году Монтескьё издаетъ «L'esprit des lois» («Духъ законовъ»), въ которомъ превозноситъ до небесъ англійскую конституцію, совершенно непохожую на учрежденія старой французской монархіи и составляющую для Франціи самую недостижимую изъ всѣхъ возможныхъ утопій. Книга въ полтора года выдерживаетъ *двадцать-два* изданія.

Въ томъ же году Дидро издаетъ свои «Pensées philosophiques» («Философскія размышленія»). Парламентъ сжигаетъ эту книгу. Ее тотчасъ-же издаютъ вновь и распространяютъ тайно.

Вдохновившись *размышленіями* Дидро, Ла-Меттри около этого-же времени издаетъ въ Голландіи двѣ книги, проникнутыя такимъ яростнымъ матеріализмомъ, котораго не можетъ выдержать даже голландское общество и изгоняетъ Ла-Меттри изъ своей среды. Непозволительныя его книги называются: «Histoire naturelle de l'âme» («Естественная исторія души») и «L'homme machine» («Человѣкъ-машина»).

Въ 1749 году Дидро издаетъ «Письмо о слѣпыхъ» («Lettre sur les aveugles») и попадаетъ за него на три мѣсяца въ Венсенскую крѣпость.

Въ 1749 году Руссо издаетъ «Discours sur les sciences et les arts», въ которомъ онъ доказываетъ, что цивилизація развратила человѣка. Руссо получаетъ премію отъ дижонской академіи и сразу становится европейской знаменитостью.

Въ 1751 году выходитъ первый томъ «*Энциклопедіи*».

Въ 1752 году—второй томъ «*Энциклопедіи*». Поднимается жестокая буря. Сорбонна осуждаетъ книгу. Парижскій архіепископъ издаетъ противъ нея (т. е. противъ книги) пастырское посланіе. На оба тома накладываютъ запрещеніе. Вслѣдствіе всего этого «*Энциклопедію*» покупаютъ и читаютъ, по словамъ современника и очевидца Барбье, всѣ парижскіе лавочники и тряпичники.

Въ 1753 году Дидро издаетъ «Interprétation de la nature» («Истолкованіе природы»), а Руссо издаетъ «Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes» («Разсужденіе о причинахъ и основаніяхъ неравенства между людьми»).

Въ томъ-же 1753 году выходитъ третій томъ «*Энциклопедіи*». Поссорившись съ духовенствомъ, правительство стало относиться къ этому изданію довольно благосклонно.

Въ 1754 году Кондильякъ издаетъ «Traité des sensations» («Трактатъ объ ощущеніяхъ»). Всѣ отправленія психической дѣятельности выводятся изъ чувственныхъ ощущеній. Психологія сводится на физіологію нервной системы.

Въ 1755 году Морелли издаетъ «Code de la nature» («Кодексъ природы»). Проэктъ новаго общественнаго устройства. Всѣ люди уравниваются въ правахъ. Дѣтямъ дается общественное воспитаніе. Земля и рабочіе инструменты составляютъ общую собственность. Денегъ нѣтъ и быть не должно. Трудъ обязателенъ для всѣхъ. Трудъ соразмѣряется съ силами, а вознагражденіе продуктами—съ потребностями каждаго человѣка по извѣстной формулѣ: à chacun selon ses forces, à chacun selon ses besoins. Любопытно замѣтить, что министръ Войе-д'Аржансонъ, которому въ 1755 году было больше шестидесяти лѣтъ, прочитавши «Code de la nature», назвалъ его *книгою книгъ* и поставилъ автора этой книги гораздо выше Монтескьё. Это тотъ самый д'Аржансонъ, который принесъ въ засѣданіе Королевскаго совѣта мужицкій хлѣбъ, испеченный изъ мякины и коры, и сказалъ Людовику XV: «Вотъ, государь, какой хлѣбъ ѣдятъ ваши подданные!»—Король отвѣчалъ съ большой находчивостью: «Будь я на ихъ мѣстѣ, я-бы давно взбунтовался».—Если книга Морелли подѣйствовала на шестидесятилѣтняго министра, то не трудно себѣ представить, какъ сильно должна была она поразить болѣе молодыхъ и впечатлительныхъ читателей.

Въ 1757 году Вольтеръ издаетъ «Essai sur les moeurs et l'esprit des nations»,—книгу, за которую Бокль не совсѣмъ основательно называетъ Вольтера величайшимъ изъ всѣхъ европейскихъ историковъ. Во всякомъ случаѣ не подлежитъ сомнѣнію, что эта книга составляетъ первый опытъ бытовой исторіи и кладетъ основаніе всей новѣйшей исторіографіи. При этомъ Вольтеръ конечно не упускаетъ изъ виду своей любимой идеи, такъ что всю его книгу можно назвать огромнымъ и убійственно остроумнымъ памфлетомъ противъ суевѣрія, фанатизма, клерикализма и туманныхъ отвлеченностей.

Съ 1754 по 1756 годъ выходятъ четвертый, пятый и шестой томы «*Энциклопедіи*». Главные редакторы ея, Дидро и д'Аламберъ, стараются, не измѣняя основной идеѣ, вести дѣло немного осторожнѣе.

Digitized by Google

Въ 1757 году выходитъ седьмой томъ «*Энциклопедіи*», въ которомъ редакторы, ободренные затишьемъ, дѣйствуютъ смѣлѣе. Д'Аламберъ пишетъ къ Вольтеру, что седьмой томъ будетъ сильнѣе всѣхъ предыдущихъ. Вольтеръ кланяется и благодаритъ, но клерикалы бьютъ тревогу во всѣхъ своихъ журналахъ, и правительство принимаетъ ихъ сторону.

Въ 1758 году Гельвецій издаетъ книгу «De l'esprit» («О разумѣ»). Изъ ощущеній физической боли и физическаго удовольствія выводятся всѣ человѣческіе страсти, чувства и поступки. Эгоизмъ признается единственнымъ двигателемъ всякой человѣческой дѣятельности, какъ самой преступной, такъ и самой возвышенно-честной и героической. Добромъ называется то, что́ согласно съ общимъ интересомъ, а зломъ—то, что́ вредитъ этому интересу и подрываетъ существованіе общества. Человѣкъ дѣлаетъ добро и зло вслѣдствіе одинаковыхъ побужденій, т. е. вслѣдствіе того удовольствія, которое доставляетъ или обѣщаетъ ему данный поступокъ. Противъ этой книги поднимается жестокая буря; іезуиты и янсенисты преслѣдуютъ ее общими силами; парижскій архіепископъ совершенно справедливо видитъ въ ней отрицаніе свободной воли и нравственнаго закона. Сорбонна повторяетъ и усиливаетъ эти обвиненія; государственный прокуроръ усматриваетъ въ книгѣ Гельвеція собраніе самыхъ опасныхъ ученій, пущенныхъ въ ходъ «*Энциклопедіи*». Книгой недовольны даже и сами философы; Вольтеръ, Дидро, Бюффонъ и Гриммъ осуждаютъ ее, какъ собраніе парадоксовъ, или отзываются о ней насмѣшливо.

Въ 1759 году книгу Гельвеція публично сжигаютъ по опредѣленію парламента; цензора Терсье, дозволившаго ея печатаніе, отставляютъ отъ службы. Между тѣмъ книга раскупается; въ самое короткое время она выдерживаетъ *пятьдесятъ* изданій; ее переводятъ почти на всѣ живые языки Европы. Гельвецій становится европейской знаменитостью

Въ томъ-же 1759 году, черезъ мѣсяцъ послѣ сожженія книги Гельвеція, слѣдственная комиссія, наряженная по дѣлу объ «*Энциклопедіи*», приводитъ свои работы къ благополучному окончанію. Привилегія, выданная отъ правительства въ 1746 году на изданіе «*Энциклопедіи*», уничтожается; продажа вышедшихъ и слѣдующихъ томовъ запрещается «во вниманіе того, что польза, приносимая искусству и наукѣ, совершенно не соотвѣтствуетъ вреду, приносимому религіи и нравственности».

Въ томъ-же 1759 году Кенэ издалъ книгу «Essai sur l'administration des terres», которая вмѣстѣ съ книгой «Tableau économique», изданной въ 1758 году, составляетъ основаніе теоріи *физіократовъ*, т. е. экономистовъ, старавшихся обратить вниманіе правительства на земледѣліе, какъ на единственный источникъ народнаго богатства. Этихъ экономистовъ можно назвать продолжателями Вобана и Буагильбера. Подобно этимъ двумъ писателямъ, они нисколько не возстаютъ противъ деспотизма, не требуютъ никакихъ конституціонныхъ гарантій и желаютъ только, чтобы правительство сдѣлалось хорошимъ хозяиномъ, понимающимъ свои собственные интересы. Направленіе всей школы характеризуется слѣдующими словами, составляющими эпиграфъ къ главному сочиненію Кенэ «Tableau économique»: «Pauvres paysans, pauvre royaume; pauvre royaume, pauvre roi». («Когда бѣдны мужики, тогда бѣдно государство; когда бѣдно государство, тогда бѣденъ король.») Средства, предлагавшіяся физіократами для устраненія бѣдности, признаны теперь односторонними и неудовлетворительными; важное значеніе этихъ писателей обусловливается не положительными ихъ проэктами, а отрицательной стороной ихъ дѣятельности; всѣ они твердятъ обществу постоянно, что Франція бѣдна и быстрыми шагами идетъ къ окончательному разоренію. Эти слова, подкрѣпленныя множествомъ прилежно собранныхъ фактовъ, дѣйствуютъ на общество, и дѣйствуютъ такъ сильно, что уже въ 1759 году Вольтеръ въ своихъ письмахъ жалуется на охлажденіе общества къ изящной словесности. «Грація и вкусъ,—говоритъ онъ,—кажется, изгнаны изъ Франціи и уступили мѣсто запутанной метафизикѣ, политикѣ мечтателей, громаднымъ разсужденіямъ о финансахъ, о торговлѣ, о народонаселеніи, которыя не прибавятъ государству ни одного экю, ни одного лишняго человѣка.» Надо полагать, что *грація и вкусъ* прибавляютъ государству и то, и другое!

Въ 1761 году Руссо издаетъ свой романъ «La nouvelle Héloïse». *Грація и вкусъ* торжествуютъ, нескотря на успѣхи экономистовъ. Романъ распродается съ безпримѣрной и невѣроятной быстротой. Основные мотивы «Новой Элоизы»—любовь, добродѣтель и сельская природа. Знатныя дамы проводятъ надъ этимъ романомъ цѣлыя ночи на пролетъ, забывая о балѣ, который ожидаетъ ихъ, и о запряженной каретѣ, которая стоитъ у подъѣзда. Въ библіотекѣ для чтенія является такое множество читателей, требующихъ себѣ «Новую Элоизу», что плата назначается за чтеніе этой книги не по днямъ, а по часамъ: за часъ платится по 12 су.

Въ 1762 году Руссо издаетъ книгу «Emile ou de l'éducation» («Эмиль или о воспитаніи»). Въ этой книгѣ находится знаменитое profession de foi du vicaire savoyard (исповѣданіе вѣры савойскаго викарія), въ которомъ Руссо опровергаетъ клерикаловъ съ одной стороны и матеріалистовъ съ другой стороны. Блистательный успѣхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ буря въ

Digitized by Google

клерикальныхъ и правительственныхъ сферахъ. Въ парламентѣ начинаютъ говорить, что вмѣстѣ съ книгами слѣдуетъ сжигать и авторовъ. Книгу сжигаютъ; автора посылаютъ арестовать, но онъ бѣжитъ за-границу. Женева, въ которой Руссо ищетъ себѣ пристанища, гонитъ его вонъ. Бернъ поступаетъ точно такъ-же. Наконецъ Руссо находитъ себѣ пріютъ въ княжествѣ Нефшательскомъ, которое въ то время принадлежало Пруссіи. Между тѣмъ отъ всѣхъ этихъ преслѣдованій цѣна «Эмиля» быстро растетъ. Книга, стоившая сначала восемнадцать ливровъ, продается за два луидора. Ее перепечатываютъ въ Голландіи и распространяютъ въ безчисленномъ множествѣ экземпляровъ. Одинъ офицеръ, увлеченный идеями «Эмиля», стремится бросить службу и учиться столярному ремеслу. Самъ Руссо отклоняетъ его отъ этого намѣренія. Начитавшись «Эмиля», знатныя барыни начинаютъ сами кормить своихъ дѣтей. Это кормленіе входитъ въ моду и производится въ гостиныхъ собственно для того, чтобы посторонніе мужчины видѣли, во-первыхъ, сокровища материнской нѣжности, а во-вторыхъ — красоту обнаженной груди. Въ томъ-же 1762 году Руссо издаетъ книгу: «Du contrat social ou principes du droit politique» («Объ общественномъ договорѣ или принципы государственнаго права»). Этой книгой Руссо кладетъ основаніе республиканской школѣ, такъ точно какъ Монтескьё своимъ «Духомъ законовъ» положилъ основаніе конституціонной школѣ. «Contrat social» сдѣлался впослѣдствіи настольной книгой Робеспьера и былъ положенъ въ основаніе той конституціи, которую выработалъ конвентъ въ 1793 году. «Эмиль» и «Общественный договоръ» доставили своему автору громадную популярность. «Трудно выразить,—писалъ Юмъ изъ Парижа въ 1765 году,—даже вообразить народный энтузіазмъ къ нему. Никто никогда не обращалъ на себя въ такой степени народное вниманіе. Вольтеръ и всѣ другіе совершенно затемнены имъ». Въ томъ же 1762 году Вольтеръ написалъ свое сочиненіе о *терпимости* въ защиту казненнаго Каласа. О впечатлѣніи, произведенномъ этой книгой на весь образованный міръ, уже было говорено выше.

Въ 1764 году правительство запрещаетъ изданіе какихъ-бы то ни было сочиненій по вопросамъ, касающимся государственнаго управленія.

Въ 1766 г. выходятъ послѣдніе десять томовъ *«Энциклопедіи»*. Клерикалы плачутъ и шумятъ. Правительство сажаетъ книгопродавцевъ на недѣлю въ Бастилію. Продажа книги продолжается. Министръ Шуазель и директоръ книжной торговли Малербъ тянутъ руку энциклопедистовъ и успѣваютъ разными придворными хитростями склонить короля къ снисходительности. Правительство рѣшается смотрѣть сквозь пальцы на продажу *«Энциклопедіи»*, которая расходится великолѣпно. Уже въ 1769 году было распродано *тридцать тысячъ* экземпляровъ, и чистый барышъ книгопродавцевъ-издателей дошелъ до 2,6 0,393 ливровъ, несмотря на то, что печатаніе стоило 1,158,958 ливровъ.

Въ томъ-же 1766 году Гурнэ издалъ книгу «Essai sur l'esprit de la législation favorable à l'agriculture» («Опытъ о духѣ законодательства, благопріятнаго для земледѣлія»). Гурнэ принадлежитъ къ одному лагерю съ Кенэ. Это опять разсужденія о финансахъ, о бѣдности и о народномъ хозяйствѣ,—разсужденія, совершенно враждебныя *граціямъ* и *вкусу*. Это—протесты противъ барщины, противъ обременительныхъ налоговъ, противъ цеховыхъ стѣсненій, противъ внутреннихъ таможенъ, противъ мелочной и произвольной правительственной регламентаціи.

Въ 1767 году правительство угрожаетъ смертной казнью каждому писателю, котораго сочиненія клонятся къ возбужденію умовъ. Въ то-же время писателямъ запрещается, подъ страхомъ смертной казни, разсуждать о финансахъ.

Въ томъ же 1767 году Мерсье де-ла-Ривьеръ издаетъ книгу: «L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques» («Естественный и необходимый порядокъ гражданскихъ обществъ»). Авторъ обсуживаетъ, съ точки зрѣнія физіократовъ, всевозможные вопросы государственнаго управленія и народнаго хозяйства. Правительственныя запрещенія и угрозы остаются мертвой буквой.

Въ 1768 году Кенэ издаетъ книгу «Physiocratie ou constitution naturelle du gouvernement le plus avantageux au genre humain» («Физіократія или естественное устройство правленія, самаго выгоднаго для человѣческаго рода»). Задача поставлена широко, и на запрещенія правительства обращается мало вниманія.

Въ томъ же 1768 году Гольбахъ издаетъ книгу «Lettres à Eugenie ou préservatif contre les préjugés» («Письма къ Евгеніи или предохранительное средство противъ предразсудковъ»). Эта книга, подобно всѣмъ остальнымъ сочиненіямъ Гольбаха, выходитъ въ свѣтъ безъ имени автора, потому что всѣ произведенія этого писателя проповѣдуютъ такой необузданный матеріализмъ, который приводитъ въ ужасъ даже многихъ философовъ вольтеровской школы.

Въ 1770 году Галіани издаетъ «Dialogues sur le commerce des blés» («Діалоги о хлѣбной торговлѣ»). Здѣсь начинается полемика съ физіократами, которые сосредоточивали все свое вниманіе на земледѣліи. Галіани выдвигаетъ впередъ вопросъ о промышленномъ трудѣ

Digitized by Google

и о фабричномъ работникѣ. Въ книгѣ Галіани заключается уже, по мнѣнію Геттнера, зародыши новѣйшей соціальной науки.

Въ 1770 году Гольбахъ издаетъ книгу «Système de la nature» («Система природы»). Бокль считаетъ появленіе этого сочиненія важной эпохой въ исторіи Франціи. Объ этой книгѣ принято говорить не иначе, какъ съ добродѣтельнымъ ужасомъ и негодованіемъ. Даже Гёте, который никогда не былъ ни клерикаломъ, ни даже деистомъ, говоритъ, что онъ едва могъ выносить присутствіе этой книги и содрогался передъ нею, какъ передъ привидѣніемъ. Вольтеръ, Фридрихъ Великій и д'Аламберъ были глубоко возмущены «Системою природы». Вольтеръ старался уничтожить ее серьезными аргументами и легкими сарказмами. Однако-же книга устояла, и самъ Вольтеръ былъ принужденъ признаться печатно, что она распространена во всѣхъ классахъ общества и что ее читаютъ ученые, невѣжды и женщины. Изъ всѣхъ первоклассныхъ дѣятелей французской литературы только одинъ Дидро совершенно одобрилъ книгу Гольбаха.

Въ 1773 году Бомарше печатаетъ свои защитительные мемуары. Ихъ сжигаетъ палачъ, и, разумѣется, они вслѣдствіе этого раскупаются съ удвоенной быстротой.

Въ 1774 году Тюрго, самый замѣчательный изъ физіократовъ, издаетъ свои «Recherches sur la nature et l'origine des richesses» («Изслѣдованіе о природѣ и происхожденіи богатствъ»).

Въ томъ же 1775 году Бомарше ставитъ на сцену «Севильскаго цирюльника», въ которомъ плебей Фигаро дурачитъ и осмѣиваетъ знатныхъ господъ.

Въ 1776 году Мабли издаетъ книгу «De la législation ou principes des lois» («О законодательствѣ, или принципы законовъ»). Всѣ люди, по мнѣнію Мабли, имѣютъ одинаковое право развивать свои способности и наслаждаться своимъ существованіемъ. Кто удерживаетъ для самого себя излишекъ, необходимый для жизни его ближняго, тотъ, по мнѣнію Мабли, вноситъ въ общество понятіе войны, извращаетъ божественный порядокъ міра и оказывается безбожникомъ.

Въ 1778 году старикъ Вольтеръ пріѣзжаетъ въ Парижъ. Его встрѣчаютъ такъ, какъ не встрѣчали никогда владѣтельныхъ особъ. Демонстраціи парижанъ до такой степени замѣчательны и такъ ярко характеризуютъ тогдашнее настроеніе умовъ, что я считаю необходимымъ привести здѣсь слова очевидца Гримма, внесенныя Геттнеромъ въ его «Исторію литературы XVIII вѣка».

«Сегодня, 31 марта, знаменитый старикъ въ первый разъ былъ въ академіи и въ театрѣ. Огромная толпа людей слѣдовала за его экипажемъ даже во дворы Лувра, желая его видѣть. Всѣ двери, всѣ входы академіи были заняты; потокъ раскрылся только, чтобы дать ему мѣсто, и потомъ быстро сомкнулся снова и съ громкой радостью привѣтствовалъ его. Вся академія вышла ему на встрѣчу въ первую залу,— честь, которой не получалъ еще никто изъ ея членовъ, даже никто изъ иностранныхъ государей. Ему назначили мѣсто директора и выбрали его единогласно директоромъ... Когда онъ ѣхалъ отъ Лувра къ театру, это было совершенно похоже на тріумфъ. Все было переполнено людьми обоего пола, всякаго возраста и званія. Едва только показывалась издали карета, раздавался всеобщій радостный кличъ; съ приближеніемъ его восклицанія, аплодисменты и восторгъ удвоивались. Наконецъ, когда толпа видѣла уже почтеннаго старика, отягощеннаго столькими годами, столькой славой, видѣла, какъ онъ, поддерживаемый съ обѣихъ сторонъ, выходилъ изъ экипажа, умиленіе и удивленіе достигали высшей степени. Всѣ улицы, всѣ балюстрады домовъ, лѣстницы, окна были усыпаны зрителями, и едва останавливалась карета, какъ все лѣзло на колеса и на экипажъ, чтобы посмотрѣть вблизи на знаменитаго человѣка. Въ самомъ театрѣ, гдѣ Вольтеръ вошелъ въ каммергерскую ложу, суматоха радости, казалось, стала еще больше. Онъ сидѣлъ между г-жей Дени и г-жей де-Виллетъ. Знаменитѣйшій изъ актеровъ, Бризаръ, подалъ дамамъ лавровый вѣнокъ съ просьбой увѣнчать старика. Но Вольтеръ тотчасъ положилъ вѣнокъ въ сторону, хотя публика громкими криками и рукоплесканіями заставляла его оставить на головѣ. Всѣ дамы стояли. Вся зала наполнилась пылью отъ передвиженія человѣческой массы. Только съ трудомъ можно было начать пьесу. Когда занавѣсъ упалъ, шумъ поднялся снова. Старикъ всталъ съ своего мѣста, чтобы благодарить, и тогда посреди сцены явился на высокомъ пьедесталѣ бюстъ великаго человѣка; его окружили всѣ актеры и актрисы съ вѣнками и гирляндами изъ цвѣтовъ; на заднемъ планѣ стали воины, выходившіе въ пьесѣ. Имя Вольтера раздавалось изъ всѣхъ устъ; это было восклицаніе радости, благодарности и удивленія; зависть, ненависть, фанатизмъ и нетерпимость должны были скрыть свою злобу, и общественное мнѣніе въ первый разъ быть-можетъ высказалось свободно и въ полномъ блескѣ. Бризаръ положилъ на бюстъ первый вѣнокъ, за нимъ слѣдовали другіе, наконецъ г-жа Вестрисъ обратила къ виновнику торжества нѣсколько стиховъ, написанныхъ маркизомъ Сен-Маркомъ, которые торжественно высказывали, что лавровый вѣнокъ даетъ ему сама Франція. Минута, когда Вольтеръ оставлялъ театръ, была, если можно, еще трогательнѣе, чѣмъ его вступленіе. Казалось, онъ изнемогалъ подъ тяжестью лѣтъ

Digitized by Google

и лавровъ. Кучера просили ѣхать потише, чтобъ можно было идти за нимъ: большая часть народа провожала его съ криками: «Да здравствуетъ Вольтеръ!»

Послѣ этого торжества, разумѣется, не осталось во всемъ Парижѣ ни одного блузника, которому было-бы неизвѣстно имя Вольтера и который не имѣлъ-бы по крайней мѣрѣ самаго общаго и неопредѣленнаго понятія о его заслугахъ. Каждый блузникъ зналъ по меньшей мѣрѣ то, что Вольтеръ—писатель, и что писатель своими трудами можетъ сдѣлаться идоломъ и гордостью цѣлаго народа. Это уже очень важно и многознаменательно, когда одно имя повторяется съ благоговѣніемъ во всѣхъ слояхъ общества.

Черезъ два мѣсяца послѣ своего тріумфальнаго шествія Вольтеръ умираетъ. Во избѣжаніе всякихъ выразительныхъ демонстрацій, правительство на нѣсколько времени запрещаетъ актерамъ играть драмы Вольтера и не позволяетъ журналистамъ упоминать о его смерти.

Между тѣмъ событія идутъ своимъ чередомъ, и положеніе съ каждымъ годомъ становится болѣе напряженнымъ. Я закончу мой хронологическій перечень слѣдующими тремя фактами.

Въ 1781 году министръ Неккеръ печатаетъ свой «Compte rendu» (Отчетъ) о состояніи французскихъ финансовъ. Отчетъ этотъ клонился къ тому, чтобы сломить сопротивленіе привилегированныхъ классовъ и самого короля давленіемъ общественнаго мнѣнія. Поэтому этотъ отчетъ имѣетъ чисто обличительное направленіе и производитъ на общество потрясающее впечатлѣніе. Болѣе 6,000 экземпляровъ раскупается въ первый-же день; а потомъ постоянная работа въ двухъ типографіяхъ не успѣваетъ удовлетворять всѣхъ требованій изъ столицы, изъ провинцій и изъ-за границы. Отчетъ Неккера лежитъ въ карманѣ у каждаго аббата и на туалетѣ у каждой дамы. Другое сочиненіе Неккера «Administration des finances» расходится въ 80,000 экземпляровъ.

27 апрѣля 1784 года была дана въ первый разъ комедія Бомарше «Свадьба Фигаро». «Съ ранняго утра,—говоритъ Геттнеръ, - Théâtre Français былъ осаждаемъ массами. Знатныя дамы обѣдали въ актерскихъ ложахъ, чтобы обезпечить себѣ хорошія мѣста; въ толпѣ, какъ разсказываютъ достовѣрныя извѣстія, три человѣка были задавлены. Впечатлѣніе было неслыханное въ исторіи сцены. Шестьдесятъ-восемь представленій даны были безъ перерыва одно за другимъ».—Гриммъ опредѣляетъ слѣдующимъ образомъ значеніе комедій Бомарше: «Много и вѣрно говорено было о великомъ вліяніи Вольтера, Руссо и энциклопедистовъ, самый народъ мало однако читалъ этихъ писателей. Но представленіе «Свадьба Фигаро» и «Цирульника» безвозвратно предало правительство, судъ, дворянство и финансовый міръ на осужденіе всего населенія, всѣхъ большихъ и маленькихъ городовъ.»

Въ 1787 году архіепископъ тулузскій, Ломени де-Бріенъ, бывшій въ то время первымъ министромъ, представилъ парижскому парламенту королевскій эдиктъ, предоставлявшій протестантамъ всѣ тѣ гражданскія права, которыми до того времени пользовались только одни католики. Парламентъ, несмотря на свое тогдашнее оппозиціонное настроеніе, безпрекословно внесъ эдиктъ въ протоколъ и придалъ ему такимъ образомъ силу закона. Итакъ, король, парламентъ и церковь, въ лицѣ архіепископа тулузскаго, признали необходимость полной вѣротерпимости. Такимъ неслыханнымъ чудомъ Франція была обязана исключительно своей литературѣ, которая тихо и незамѣтно переработала всѣ понятія не только въ обществѣ, но даже и въ высшихъ правительственныхъ сферахъ. Людовикъ XVI былъ также сыномъ своего вѣка, и роль Людовика XIV была ему не только не по силамъ, но и не по убѣжденіямъ. Старый порядокъ опротивѣлъ даже и самому королю.

VIII.

Сухая и сжатая хроника, наполняющая предыдущую главу, необходима читателю для того, чтобы онъ могъ бросить общій взглядъ на всю совокупность разнообразныхъ умственныхъ впечатлѣній, пережитыхъ читающей Франціей, а вслѣдъ за нею и всей мыслящей Европой во второй половинѣ прошлаго столѣтія. Разсматривая внимательно эту хронику, читатель увидитъ три различныя теченія идей,—три теченія, дѣйствовавшія на умы съ одинаковой силой и въ одно время.

Во-первыхъ, работы экономистовъ Кенэ, Гурнэ, Мерсье-де-ла-Ривьера и многихъ другихъ. Эти люди критикуютъ терпѣливо, внимательно и добросовѣстно тѣ части и отрасли феодальнаго порядка, которыя соприкасаются съ народнымъ хозяйствомъ и дѣйствуютъ на произвольныя силы Франціи. Этимъ людямъ часто недостаетъ ширины взглядовъ, но зато они всегда превосходно знаютъ тѣ факты, о которыхъ они говорятъ. Ихъ можно упрекнуть въ односторонности, но никогда нельзя заподозрить въ поверхностномъ диллетантизмѣ.

Во-вторыхъ, труды энциклопедистовъ, продолжающихъ дѣло Вольтера и уничтожающихъ послѣднія основанія клерикализма и піетизма.

Въ-третьихъ, дѣятельность писателей, рисующихъ яркія картины того всеобщаго благополучія, къ которому должно стремиться человѣчество и которое не можетъ быть достигнуто при существованіи старыхъ учрежденій. Самымъ

Digitized by Google

сильнымъ представителемъ этого послѣдняго направленія является Жанъ-Жакъ Руссо.

Объ экономистахъ я распространяться не буду, во-первыхъ потому, что для этого пришлось бы вдаваться въ очень подробныя изслѣдованія о хозяйственныхъ нелѣпостяхъ старой французской монархіи, а во-вторыхъ потому, что уже въ 1776 году идеи французскихъ физіократовъ были совершенно опрокинуты знаменитой книгой Адама Смита о народномъ богатствѣ. Такъ какъ главное сочиненіе Кенэ «Tableau économique» вышло въ 1758 г., то, стало быть, могущество физіократовъ продолжалось всего восемнадцать лѣтъ. Главная-же ихъ ошибка состояла въ томъ, что они видѣли въ землѣ единственный источникъ народнаго богатства и трудъ земледѣльца считали единственнымъ производительнымъ трудомъ, имѣющимъ право на исключительное поощреніе со стороны государства. Слово *физіократія* значитъ *господство природы*. Французскіе экономисты прошлаго столѣтія придали своему ученію это названіе потому, что они старались доставить рѣшительное преобладаніе тѣмъ интересамъ, которые опираются на землю, на почву, на производительныя силы самой природы.

Гораздо обширнѣе было вліяніе представителей общественныхъ теорій и энциклопедистовъ. Ихъ идеи глубоко волновали всю Европу и, облекаясь постоянно въ новыя формы, продолжаютъ дѣйствовать и развиваться до нашего времени. Поэтому я считаю необходимымъ остановиться здѣсь сначала на дѣятельности Руссо, а потомъ—на міросозерцаніи энциклопедистовъ.

Въ настоящее время всѣ или почти всѣ мыслящіе люди убѣждены въ томъ, что человѣчество постоянно идетъ впередъ, совершенствуется и развивается. Кто признаетъ теорію прогресса, тотъ знаетъ также, что этотъ прогрессъ совершается не по произволу отдѣльныхъ личностей, а по общимъ и неизмѣннымъ законамъ природы. Но въ пониманіи обѣихъ великихъ идей—прогресса и законности—надо тщательно избѣгать двухъ нелѣпыхъ крайностей, ведущихъ за собою самый безсмысленный оптимизмъ. Человѣчество подвигается впередъ—это вѣрно; но никакъ не слѣдуетъ думать, что каждый шагъ человѣчества есть непремѣнно шагъ впередъ, и каждое движеніе—движеніе къ лучшему. Напротивъ того, человѣчество подвигается впередъ не по прямой линіи, а зигзагами; каждый успѣхъ покупается цѣною многихъ ошибочныхъ попытокъ. Правда, что ошибки эти не пропадаютъ совершенно даромъ; онѣ увеличиваютъ запасъ опытности; онѣ до нѣкоторой степени предохраняютъ отъ ошибокъ въ будущемъ; но ошибки все-таки остаются ошибками; и въ ту минуту, когда нація гонится за призракомъ или отворачивается отъ своей существенной выгоды,—никакъ невозможно утверждать что нація поступаетъ очень благоразумно и что ея дѣла улучшаются.

То-же самое надо сказать и объ идеѣ законности. Никакъ не слѣдуетъ утверждать, что отдѣльныя личности своими поступками, своими личными качествами, складомъ ума и особенностями характера не могутъ подѣйствовать ни въ дурную, ни въ хорошую сторону на общее теченіе событій. Напротивъ того, отдѣльныя личности постоянно дѣйствуютъ то въ дурную, то въ хорошую сторону, но ихъ вліянія взаимно уравновѣшиваются и становятся незамѣтными, если мы беремъ для разсмотрѣнія достаточно большіе періоды времени, напримѣръ цѣлыя тысячелѣтія. Еслибы мы могли напримѣръ взглянуть на положеніе Европы въ 2866 году, то мы, разумѣется, никакъ не могли-бы опредѣлить, въ какомъ направленіи подѣйствовали на европейскую цивилизацію личный характеръ и военные таланты Наполеона I. Оказалось-бы, что всѣ слѣды его вліянія совершенно изглажены, и Европа прошла въ тысячелѣтіе какъ-разъ тотъ путь, который она должна была пройдти по вѣчнымъ и незыблемымъ законамъ природы. Но если вы теперь, въ 1866 году, вздумаете утверждать, что умъ и характеръ Наполеона I не имѣли вліянія на ходъ событій, то вамъ скажутъ, что, будь напримѣръ у Наполеона I поменьше военныхъ талантовъ и тщеславія, да побольше благоразумія, тогда-бы вся Европа съ 1807 г. наслаждалась глубокимъ миромъ, и тогда не было-бы той бѣшеной католической реакціи, которая могла развернуться въ полномъ блескѣ только подъ покровительствомъ торжествующаго легитимизма. У Наполеона была своя историческая задача, не особенно завидная и блестящая, но все-таки такая, которую можно было выполнить хорошо и выполнить дурно. Послѣ того какъ революція была остановлена на всемъ ходу, военная диктатура сдѣлалась сначала возможной, а потомъ неизбѣжной; но можно было воспользоваться ею благоразумно и воспользоваться нелѣпо; то или другое употребленіе доктрины зависѣло уже вовсе не отъ великихъ и общихъ причинъ, а просто отъ личныхъ особенностей диктатора. Наполеонъ выполнилъ свою задачу отвратительно дурно, и тѣ люди, которымъ приходится жить въ ближайшія десятилѣтія, чувствуютъ на себѣ дурныя послѣдствія его ошибокъ. То-же самое можно сказать и о всякой другой исторической задачѣ, достающейся на долю отдѣльной личности; каждая задача можетъ быть рѣшена и очень хорошо, и очень дурно, и съ грѣхомъ пополамъ. Въ половинѣ XVIII вѣка стояла на очереди важная задача. Надо было повернуть противъ феодальнаго государства то отрицаніе, которое въ первой половинѣ столѣтія дѣйствовало исключительно противъ клерикальной партіи. Надо было громко объявить людямъ, что

Digitized by Google

пора перейти отъ смѣлыхъ мыслей къ смѣлымъ дѣламъ. Эту задачу рѣшилъ Руссо. Слово его было достаточно громко и увлекательно. Люди встрепенулись и передъ ними открылась перспектива новой жизни. А между тѣмъ нельзя не пожалѣть о томъ, что рѣшеніе этой капитальной задачи досталось именно Жанъ-Жаку Руссо. Нельзя не сказать, что Европа осталась бы въ большихъ барышахъ, еслибы Руссо умеръ въ цвѣтѣ лѣтъ, не напечатавши ни одной строки. Руссо рѣшилъ задачу, но на свое рѣшеніе онъ положилъ грязные слѣды своей бабьей, плаксивой, взбалмошной, расплывающейся, мелочной и въ то-же время фальшивой, двоедушной и фарисейской личности. У Руссо былъ тотъ талантъ, былъ тотъ умъ, были тѣ страсти, которые были необходимы для рѣшенія задачи. Но кромѣ того у Руссо было многое множество болѣзней, слабостей, пошлостей и гнусностей, безъ которыхъ основатель французской соціальной науки могъ-бы обойтись съ величайшимъ удобствомъ для самого себя и съ огромной пользой для своего дѣла. Такъ напримѣръ, Руссо не было ни малѣйшей необходимости страдать разстройствомъ мочевого пузыря и хронической безсонницей. Дѣло всеобщей перестройки очевидно выиграло-бы, еслибы ея первымъ мастеромъ былъ человѣкъ совершенно здоровый, крѣпкій, веселый, дѣятельный и неутомимый.

Читатели мои ужасаются или смѣются. Можно-ли въ самомъ дѣлѣ толковать о мочевомъ пузырѣ, когда разсматривается рѣшеніе великой исторической задачи? Что общаго имѣетъ мочевой пузырь Руссо съ идеями «Эмиля» и «Общественнаго договора»?—Къ сожалѣнію, эти вещи имѣютъ между собой гораздо больше точекъ соприкосновенія, чѣмъ вы предполагаете, господа идеалисты. Я докажу вамъ это словами самого Руссо. Въ 1752 году была дана съ большимъ успѣхомъ на придворномъ театрѣ комическая опера Руссо: «Деревенскій гадатель». Король, которому очень понравилась музыка, выразилъ желаніе, чтобы Руссо былъ ему представленъ. Теперь выступаетъ на сцену мочевой пузырь. «Вслѣдъ за мыслью о представленіи,—говоритъ Руссо въ своихъ «Признаніяхъ» (которыя Устряловъ напрасно назвалъ въ русскомъ переводѣ «Исповѣдью»),—я задумался надъ необходимостью часто выходить изъ комнаты вслѣдствіе моей болѣзни, что заставило меня много страдать въ вечеръ, проведенный въ театрѣ, и что могло мучить меня и на слѣдующій день, когда мнѣ предстояло быть въ галлереѣ или въ комнатахъ короля среди всѣхъ вельможъ, ожидающихъ появленія его величества. *Эта болѣзнь была главной причиной*, по которой я держалъ себя въ сторонѣ отъ собраній и которая не позволяла мнѣ ходить въ гости къ женщинамъ. Одна мысль о томъ положеніи, въ которое могла поставить меня эта потребность, была способна усилить ее до такой степени, что мнѣ сдѣлалось-бы дурно, или дѣло не обошлось-бы безъ скандала, которому я предпочелъ-бы смерть. Только люди, знакомые съ такимъ состояніемъ, могутъ понять, какъ страшно подвергать себя такой опасности». — Самъ Руссо, какъ видите, признается, что *болѣзнь была главной причиной*, удалявшей его отъ людей. Надо замѣтить, что эта болѣзнь была у него врожденной. Значитъ, онъ съ самаго дѣтства чувствовалъ въ обществѣ постоянное безпокойство. Эта совершенно опредѣленная боязнь должна была наконецъ породить въ немъ общую неразвязность и застѣнчивость; эти особенности вызывали шутки и насмѣшки товарищей; отъ этихъ шутокъ и насмѣшекъ робость должна была увеличиваться, и къ ней должна была присоединяться злобная недовѣрчивость къ людямъ и, какъ подкладка этой недовѣрчивости, тоскливо-сантиментальное стремленіе къ какимъ-то лучшимъ людямъ, сладкимъ, чувствительнымъ, нѣжнымъ и слезливымъ. Всѣ «Признанія» Руссо составляютъ одну длиннѣйшую и скучнѣйшую жалобу на то, что люди не умѣютъ его понимать, не умѣютъ любить, стараются всячески изобидѣть, составляютъ противъ него заговоры и причиняютъ его прекрасной душѣ такія страданія, которыя имъ, простымъ и грубымъ людямъ, даже совершенно недоступны. И Руссо напрягаетъ всѣ свои силы, чтобы наплевать на людей и удалиться въ пустыню, на лоно природы, которая никому не мѣшаетъ *часто выходить изъ комнаты*. Но Руссо такъ мелоченъ, что онъ никакъ не можетъ дѣйствительно наплевать на людей; его тревожитъ каждая свѣтская сплетня, какъ бы она ни была невинна или глупа; въ каждомъ словѣ и въ каждомъ взглядѣ онъ отыскиваетъ себѣ оскорбленіе; на каждомъ шагу онъ, отшельникъ и мудрецъ, вламывается въ амбицію, лѣзетъ объясняться, выказываетъ свое достоинство, визжитъ, плачетъ, кидается въ объятія, и вообще надоѣдаетъ всѣмъ своимъ знакомымъ до такой степени, что всѣ дѣйствительно начинаютъ тяготиться его присутствіемъ. Руссо ненавидитъ то общество, въ которомъ онъ живетъ, но въ этой ненависти нѣтъ ничего высокаго и прекраснаго. Онъ ненавидитъ въ немъ не тѣ крупныя препятствія, которыя парализуютъ полезную дѣятельность; онъ ненавидитъ только какія-то мелкія несовершенства отдѣльныхъ личностей, безчувственность злодѣя Дидро, суровость негодяя Гольбаха, высокомѣріе изверга Гримма, неискренность мерзавки д'Эпине. Въ «Признаніяхъ» радикала Руссо вы не найдете ни одной сильной, и глубоко-прочувствованной политической ноты но зато найдете груды замысловатыхъ сообрьженій о коварныхъ происках Дидро и Голь-

Digitized by Google

баха противъ репутаціи кроткаго и добродѣтельнаго Жанъ-Жака.

Политическая дряблость радикала Руссо была такъ велика, что онъ по какому-то ничтожному личному поводу напалъ печатно на Дидро и объявилъ публикѣ о своемъ разрывѣ съ нимъ въ то самое время, когда Дидро, какъ редакторъ «Энциклопедіи», несъ на себѣ всю тяжесть правительственныхъ и клерикальныхъ преслѣдованій. Сенъ-Ламберъ, которому Руссо, по старой дружбѣ, послалъ свою ядовитую брошюру, отвѣчалъ ему убійственнымъ письмомъ, котораго не дай Богъ никому получить отъ стараго друга. «Поистинѣ,милостивый государь,—пишетъ Сенъ-Ламберъ,—я не могу принять вашего подарка. При чтеніи того мѣста вашего предисловія, гдѣ вы, по поводу Дидро, приводите выписку изъ экклезіаста, книга выпала у меня изъ рукъ... Вамъ не безъизвѣстны преслѣдованія, которыя онъ терпитъ, а вы примѣшиваете голосъ стараго друга къ крикамъ зависти. Не могу скрыть отъ васъ, милостивый государь, какъ возмущаетъ меня подобная жестокость... Милостивый государь, мы слишкомъ расходимся въ нашихъ принципахъ, чтобъ имѣть возможность сойтись когда-нибудь. Забудьте мое существованіе; это не должно быть для васъ трудно... Я-же, милостивый государь, обѣщаю вамъ забыть вашу особу и помнить только ваши таланты.» И Руссо самодовольно выписываетъ это письмо въ своихъ «Признаніяхъ», считая себя и въ этомъ случаѣ жертвой человѣческой испорченности.

Болѣзнь Руссо развивала въ немъ любовь къ уединенію, а уединеніе развивало мечтательность. Руссо самъ разсказываетъ, какимъ образомъ онъ въ лѣсахъ Монморанси окружалъ себя идеальными существами и проливалъ сладостныя слезы надъ великими добродѣтелями Юліи и Сенъ-Пре, героевъ «Новой Элоизы». Болѣзнь внушала Руссо отвращеніе къ дѣятельной и тревожной жизни: въ то время, когда все кругомъ Руссо кипѣло ожесточенной борьбой, самъ Руссо мечталъ только о томъ, какъ бы найти себѣ гдѣ нибудь спокойный уголокъ и устроить вокругъ себя любезную идиллію. Такъ какъ борьба, требующая постоянныхъ и разнообразныхъ столкновеній съ людьми, была рѣшительно не по силамъ больному мечтателю, то онъ и не могъ никогда пристраститься къ такой цѣли, которая можетъ быть достигнута только путемъ упорной и продолжительной борьбы. У Руссо, у этого кумира якобинцевъ, не было въ жизни никакой опредѣленной цѣли. Онъ вовсе не желалъ ввести въ сознаніе общества тѣ или другія идеи. Еслибы у него было это желаніе, то онъ, подобно Вольтеру, писалъ бы до послѣдняго издыханія и устроивалъ-бы всю свою жизнь такъ, какъ того требовали удобства писанія и печатанія. Но этого не было. Онъ бросилъ литературную дѣятельность, какъ только получилъ возможность жить потихоньку на заработанныя деньги. Выбирая себѣ мѣсто жительства, онъ обращаетъ вниманіе только на красоту окружающей природы, а совсѣмъ не на ту степень свободы, которой пользуется въ данной странѣ печатное слово. Не угодно ли вамъ полюбоваться на идеалъ счастливой жизни, нарисованной рукой самого Руссо. «Лѣта романическихъ плановъ прошли,—говоритъ онъ въ «Признаніяхъ»,—дымъ пустого тщеславія скорѣе отуманивалъ меня, чѣмъ льстилъ мнѣ, мнѣ оставалась одна послѣдняя надежда — жить безъ принужденія, въ вѣчной праздности. Это жизнь блаженныхъ на томъ свѣтѣ, и я отнынѣ полагалъ въ ней мое высочайшее счастье въ этомъ мірѣ»... «Праздность, которую я люблю,—поясняетъ онъ далѣе,—не есть праздность лѣнивца, который, сложа руки, остается въ совершенномъ бездѣйствіи, ни о чемъ не думая, ничего не дѣлая. Это—праздность ребенка, находящагося безпрестанно въ движеніи и все-таки ничего не дѣлающаго, и праздность болтуна, который мелетъ всякій вздоръ, между тѣмъ какъ руки его остаются въ покоѣ. Я люблю заниматься пустяками, начинать сто вещей и не кончать ни одной, ходить куда вздумается, каждую минуту перемѣнять планы, слѣдить за мухою во всѣхъ ея пріемахъ, желать сдвинуть скалу, чтобы посмотрѣть, что подъ нею, съ жаромъ принять работу, которой хватитъ на десять лѣтъ, и бросить ее черезъ десять минутъ, цѣлый день предаваться бездѣлью безъ порядка и безъ послѣдовательности и во всемъ подчиняться только минутному капризу.»

Врядъ-ли можно найдти другого знаменитаго человѣка, который съ такимъ искреннимъ самодовольствомъ любовался-бы публично своей собственной дрянностью и тряпичностью. Вы видите изъ его словъ, что когда онъ писалъ «Эмиля» и «Общественный договоръ», тогда онъ только *отуманивалъ себя дымомъ пустого тщеславія*. Теперь дымъ разсѣялся, и Руссо понялъ, что *вѣчная праздность ребенка* составляетъ его настоящее призваніе. Не умѣя быть героемъ и бойцомъ, Руссо не умѣетъ также цѣнить и понимать бойцовъ и героевъ. Сила, энергія, смѣлость, настойчивость, эластичность, изворотливость, неутомимость,—всѣ эти качества, драгоцѣнныя съ точки зрѣнія бойца, въ глазахъ Руссо не имѣютъ никакого значенія. Онъ дорожитъ только красивыми чувствами, трогательными изліяніями, чистотой цѣломудреннаго сердца, кротостью голубинаго нрава, способностью созерцать, благоговѣть, ныть и обливаться теплыми слезами восторга. Онъ влюбленъ въ какую-то добродѣтель и желаетъ, чтобы всѣ люди были по возможности добродѣтельны. Но при этомъ онъ

Digitized by Google

самого себя считаетъ за очень добродѣтельнаго человѣка и даже умиляется до слезъ надъ красотами своей души. Это обстоятельство ясно показываетъ читателю, что возлюбленная добродѣтель Руссо заключается именно *только* въ тонкости прекрасныхъ чувствъ, потому что эта добродѣтель не помѣшала ему отдать пять человѣкъ своихъ собственныхъ дѣтей въ воспитательный домъ, и вообще не заставила его сдѣлать ни одного сколько-нибудь замѣчательнаго поступка, ничего такого, что можно было-бы хоть издали сравнить съ великими подвигами человѣколюбія, сдѣланными злымъ насмѣшникомъ Вольтеромъ, который никогда не толковалъ печатно о добродѣтели.

Итакъ, идеалъ Руссо былъ совершенно ложенъ; та мѣрка, которой онъ измѣрялъ достоинства людей, никуда не годится. Этотъ ложный идеалъ и эта негодная мѣрка, обязанные своимъ происхожденіемъ болѣзненному состоянію автора, бросаютъ совершенно фальшивый колоритъ на самыя замѣчательныя произведенія Руссо, на «Эмиля» и на «Общественный договоръ». Въ лицѣ своего идеальнаго воспитанника, Эмиля, Руссо формируетъ не гражданина, не мыслителя, не героя той великой борьбы, которая должна перестроить и обновить общество, а только здороваго и невиннаго ребенка, который съумѣетъ до конца своей жизни уберечь отъ козней общества свою невинность и свое здоровье. Руссо боится до крайности, чтобы его Эмиль не провелъ ночи въ объятіяхъ камеліи; но онъ нисколько не боится того, что вся жизнь Эмиля можетъ пройдти безслѣдно въ сонной идиллической безпечности, которая къ тридцатилѣтнему возрасту превратитъ Эмиля въ Афанасія Ивановича.

Въ своемъ «Общественномъ договорѣ» Руссо считаетъ необходимымъ, чтобы законодатель и правительство дѣлали гражданъ добродѣтельными. Это стремленіе кладетъ въ идеальное государство Руссо зерно злѣйшаго клерикальнаго деспотизма. Руссо думаетъ, что людей надо искусственнымъ образомъ пріучать къ добродѣтели. Это — огромная ошибка. Каждый здоровый человѣкъ добръ и честенъ до тѣхъ поръ, пока всѣ его естественныя потребности удовлетворяются достаточнымъ образомъ. Когда же органическія потребности остаются неудовлетворенными, тогда въ человѣкѣ пробуждается животный инстинктъ самосохраненія, который всегда бываетъ и всегда долженъ быть сильнѣе всѣхъ привитыхъ нравственныхъ соображеній. Противъ этого инстинкта не устоятъ никакія добродѣтельныя внушенія. Поэтому государству не зачѣмъ и тратить силы и время на подобныя внушенія, которыя въ однихъ случаяхъ не нужны, а въ другихъ—безсильны. Государство исполняетъ свою задачу совершенно удовлетворительно, когда оно заботится только о томъ, чтобы граждане были здоровы, сыты и свободны, то-есть, чтобы они на всемъ протяженіи страны дышали чистымъ воздухомъ, чтобы они раньше времени не вступали въ бракъ, чтобы всѣ они имѣли полную возможность работать и потреблять въ достаточномъ количествѣ продукты своего труда и чтобы наконецъ всѣ они могли пріобрѣтать положительныя знанія, которыя избавляли бы ихъ отъ разорительныхъ мистификацій всевозможныхъ шарлатановъ и кудесниковъ. Если же государство не ограничивается этими заботами, если оно врывается въ область убѣжденій и нравственныхъ понятій, если оно старается навязать гражданамъ возвышенныя чувства и похвальныя стремленія, то оно притупляетъ гражданъ, превращая ихъ въ послушныхъ ребятъ или въ безсовѣстныхъ лицемѣровъ. Оффиціальныя хлопоты о добродѣтеляхъ открываютъ широкую дорогу религіознымъ преслѣдованіямъ. Это мы видимъ уже въ теоретическомъ трактатѣ Руссо. Четвертая книга «Общественнаго договора» говоритъ, что въ государствѣ должна существовать религія, обязательная для всѣхъ гражданъ. Кто не признаетъ государственной религіи, того слѣдуетъ выгонять изъ государства, не какъ безбожника, а какъ нарушителя закона. Кто призналъ эту религію и однакоже дѣйствуетъ противъ нея, тотъ подвергается смертной казни, какъ человѣкъ, солгавшій передъ закономъ. Этими двумя принципами можно оправдать и узаконить все, что угодно: и драгонады, и инквизицію, и изгнаніе мавровъ изъ Испаніи, и вообще всевозможныя формы религіозныхъ преслѣдованій. И герцогъ Альба, и Торквемада, и Ле-Телье могутъ прикрыть всѣ свои подвиги тѣмъ аргументомъ, что они наказываютъ не еретиковъ, а государственныхъ преступниковъ. Именно этимъ аргументомъ и оправдывались въ Англіи, при Елисаветѣ, преслѣдованія, направленныя противъ католиковъ. Руководствуясь принципами Руссо, Робеспьеръ погубилъ на эшафотѣ много такихъ людей, которые были очень полезны Франціи, напримѣръ Дантона, Демулена, Шомета, Анахарсиса Клоца. Онъ обвинялъ ихъ правда въ различныхъ заговорахъ и сношеніяхъ съ Питтомъ, но врядъ ли даже онъ самъ вѣрилъ въ существованіе этихъ заговоровъ. Настоящей причиной его ненависти къ этимъ людямъ было то обстоятельство, что всѣ они были скептиками, и что вслѣдствіе этого Робеспьеръ, какъ послушный ученикъ Руссо, признавалъ ихъ недостойными жить въ добродѣтельной Французской республикѣ.

IX.

Изъ энциклопедистовъ я возьму только Дидро и Гольбаха. Оба они—здоровые, веселые, тру-

Digitized by Google

долюбивые люди, безгранично преданные своимъ идеямъ. Оба они гораздо моложе Вольтера: Дидро — на девятнадцать, а Гольбахъ — на двадцать-девять лѣтъ. Дидро воспитывался въ коллегіи іезуитовъ и хотѣлъ сначала поступить въ духовное званіе, но потомъ, когда способности его развернулись, онъ совершенно отказался отъ этого намѣренія, сталъ заниматься съ особеннымъ жаромъ математикой, древними и новыми языками и наконецъ рѣшительно объявилъ своему отцу, что никогда не выберетъ себѣ опредѣленной профессіи. Отецъ его, богатый и солидный буржуа, разсердился и вздумалъ запугать его лишеніями. Дидро остался въ Парижѣ безъ копѣйки денегъ и началъ заниматься литературными работами по заказу книгопродавцевъ. Потомъ женился по любви на бѣдной дѣвушкѣ и окончательно разсорился съ отцомъ. Наконецъ, въ 1746 году, Дидро сошелся съ книгопродавцемъ Ле-Бретономъ, у котораго была въ рукахъ привилегія на изданіе англійской «Энциклопедіи» Чамберса во французскомъ переводѣ, но не было подъ руками людей, способныхъ взяться за переводъ этой книги. Дидро, которому было въ это время 33 года и который уже давно чувствовалъ въ себѣ силы взяться за большой и важный трудъ, посовѣтовалъ Ле-Бретону издать оригинальную французскую энциклопедію и составилъ для этого изданія самый широкій планъ. Онъ задумалъ дать французскому обществу не какую-нибудь простую справочную книгу, не какое-нибудь мертвое собраніе техническихъ терминовъ и отрывочныхъ фактовъ, а такое произведеніе, которое вмѣстило бы въ себѣ всю философію вѣка и показало-бы ясно жизненное значеніе новаго міросозерцанія, смѣло объявляющаго войну клерикальному деспотизму. Работа началась съ 1749 года и продолжалась по 1766 годъ. Впродолженіи первыхъ восьми лѣтъ Дидро раздѣлялъ труды редакціи съ д'Аламберомъ, но въ 1757 году, когда седьмой томъ «Энциклопедіи» вызвалъ противъ себя жестокую бурю, д'Аламберъ счелъ благоразумнымъ удалиться отъ такого опаснаго предпріятія, и вся тяжесть редакціонной работы и отвѣтственности упала на одного Дидро. Сотрудники чувствовали ежеминутно припадки трусости; Ле-Бретонъ позволялъ себѣ, во избѣжаніе столкновеній съ властями, смягчать въ статьяхъ слишкомъ рѣзкія выраженія, и Дидро все это долженъ былъ улаживать и устраивать, ободрять сотрудниковъ, обуздывать книгопродавца, хлопотавшаго только о барышахъ, вести дружбу и тонкую политику съ властями, хитрить и уступать въ однѣхъ статьяхъ и потомъ наверстывать сдѣланныя уступки подъ другими рубриками. Все это онъ выполнилъ съ блестящимъ успѣхомъ. При этомъ онъ относился такъ добросовѣстно къ мельчайшимъ подробностямъ своего дѣла, что для удовлетворительнаго описанія различныхъ ремеслъ и промысловъ онъ проводилъ цѣлые дни въ мастерскихъ, разсматривалъ съ величайшимъ вниманіемъ различныя машины и усвоилъ себѣ всѣ техническіе пріемы работниковъ. Книгопродавцы, какъ мы видѣли выше, выручили за «Энциклопедію» больше двухъ съ половиною милліоновъ ливровъ чистаго барыша, а Дидро за всю свою семнадцатилѣтнюю работу получилъ 20,000 ливровъ единовременно, да по 2,500 ливровъ за каждый томъ. Впрочемъ Дидро былъ некорыстолюбивъ; онъ съ безпредѣльной щедростью помогалъ своимъ друзьямъ деньгами и перомъ; онъ охотно поправлялъ и передѣлывалъ чужія рукописи, приставлялъ къ нимъ предисловія и вообще разбрасалъ множество блестящихъ мыслей по разнымъ книгамъ своихъ единомышленниковъ. Дѣло не въ томъ, говорилъ онъ часто, кѣмъ сдѣлана вещь, мною или другимъ; надо только, чтобы она была сдѣлана, и сдѣлана хорошо. Философскія убѣжденія Дидро дались ему не сразу. Онъ купилъ ихъ цѣной тяжелыхъ сомнѣній и продолжительной умственной борьбы. Его сочиненія указываютъ на три фазы въ его развитіи. Въ 1745 году въ сочиненіи «Essai sur le mérite et sur la vertu» («Опытъ о заслугахъ и о добродѣтели») онъ является философствующимъ католикомъ и доказываетъ, что добродѣтель можетъ основываться только на религіи. Въ 1747 году въ «Прогулкѣ скептика» онъ, по словамъ Геттнера, «*бросается въ пропасть большого сомнѣнія*» и утверждаетъ, что нѣтъ въ человѣческой жизни другой цѣли, кромѣ чувственныхъ наслажденій. Затѣмъ начинаются попытки спасти что-нибудь изъ прежнихъ вѣрованій, и Дидро на нѣсколько времени становится деистомъ; но эти попытки не удовлетворяютъ его, и съ 1749 года онъ уже на всю жизнь остается крайнимъ матеріалистомъ. Этими послѣдними убѣжденіями проникнуты всѣ его работы, помѣщенныя въ «Энциклопедіи». Умирая въ 1784 году, онъ сказалъ, что *сомнѣніе есть начало философіи*. Это были его послѣднія слова.

Баронъ Гольбахъ, богатый человѣкъ, получившій въ Парижѣ очень основательное образованіе, занимался естественными науками, въ особенности химіей, кормилъ философовъ великолѣпными обѣдами и часто помогалъ имъ своими обширными знаніями. Онъ писалъ для «Энциклопедіи» химическія статьи и печаталъ матеріалистическія книги, никогда не выставляя на нихъ своего имени. Знаменитая его «Système de la nature» вышла въ свѣтъ тогда, когда Гольбаху было уже сорокъ-семь лѣтъ. Въ нѣкоторыхъ частяхъ этого сочиненія Гольбаху помогалъ Дидро. Принимая въ соображеніе тотъ ужасъ, которымъ эта книга поразила всю философствующую Европу, мы можемъ утверждать

Digitized by Google

положительно, что «Système de la nature» составляетъ послѣднюю, крайнюю вершину въ развитіи отрицательныхъ доктринъ XVIII вѣка.

Гольбахъ думаетъ, что все совершается въ природѣ по вѣчнымъ и неизмѣннымъ законамъ. Эта идея служитъ фундаментомъ для всѣхъ его остальныхъ построеній. Человѣкъ, по его мнѣнію, не можетъ освободиться отъ законовъ природы даже въ своей мысли. Какъ для чувствованія, такъ и для мышленія необходима, по мнѣнію Гольбаха, нервная система, соприкасающаяся съ внѣшнимъ міромъ посредствомъ органовъ и аппаратовъ зрѣнія, слуха, вкуса, осязанія и обонянія. Безъ органовъ и нервной системы нѣтъ ни мышленія, ни чувствованія, такъ точно, какъ безъ музыкальнаго инструмента нѣтъ музыкальнаго звука и слѣдовательно нѣтъ также и отдѣльныхъ качествъ звука— нѣжности или пронзительности, пѣвучести или писклявости, протяжности или отрывистости. Представить себѣ мысль, отрѣшенную отъ необходимыхъ условій ея проявленія, то-есть отъ нервной системы, это, по мнѣнію Гольбаха, все равно, что представить себѣ звукъ, существующій независимо отъ инструмента. Это значитъ вообразить себѣ дѣйствіе безъ причины... Матерія, по мнѣнію Гольбаха, неистребима; ни одна частица ея не можетъ исчезнуть; но частицы эти безпрестанно передвигаются, и вслѣдствіе этого передвиженія формы и комбинаціи безпрестанно разрушаются и возникаютъ. Передвиженія частицъ совершаются по тѣмъ-же вѣчнымъ и неизмѣннымъ законамъ, которыми обусловливается теченіе великихъ небесныхъ свѣтилъ. Это значитъ, что если частица матеріи сто милліоновъ разъ будетъ поставлена въ одинаковое положеніе, то она сто милліоновъ разъ пойдетъ по одному и тому-же пути и вступитъ въ однѣ и тѣ-же комбинаціи. Тѣ частицы матеріи, которыя входятъ въ составъ человѣческаго тѣла, подчиняются, по мнѣнію Гольбаха, въ своихъ движеніяхъ такимъ-же точно вѣчнымъ и неизмѣннымъ законамъ. Изъ этого правила нѣтъ исключенія. Какъ частицы желудочнаго сока вступаютъ въ химическія соединенія съ частицами пищи *по необходимости*, такъ кровяные шарики поглощаютъ кислородъ *по необходимости*, такъ точно и частицы мозга передвигаются и претерпѣваютъ химическія измѣненія *по необходимости*. Результатомъ этихъ передвиженій и химическихъ измѣненій оказывается процессъ мышленія, который слѣдовательно также, по мнѣнію Гольбаха, отличается всегда характеромъ непреклонной *необходимости*. Человѣкъ поступаетъ такъ или иначе, потому что желаетъ такъ или иначе; желаніе обусловливается предварительнымъ размышленіемъ, а размышленіе есть неизбѣжный результатъ данныхъ внѣшнихъ впечатлѣній и данныхъ особенностей мозга. Значитъ, что-же такое преступленіе и что такое наказаніе? Природа, по мнѣнію Гольбаха, не знаетъ ни того, ни другого; въ природѣ нѣтъ ничего, кромѣ безконечной цѣпи причинъ и слѣдствій, — такой цѣпи, изъ которой невозможно выкинуть ни одного звена.

Повидимому Гольбахъ долженъ быть самымъ ужаснымъ и отвратительнымъ человѣкомъ. Иначе какимъ образомъ могъ-бы онъ быть и матеріалистомъ? Однако-же, къ удивленію всѣхъ любителей доброй нравственности, Гольбахъ оказывается человѣкомъ хорошимъ. «Я,—говоритъ Гриммъ,—рѣдко встрѣчалъ такихъ ученыхъ и разносторонне образованныхъ людей, какъ Гольбахъ; я никогда не встрѣчалъ людей, у которыхъ было-бы такъ мало тщеславія и самолюбія. Безъ живой ревности къ успѣху всѣхъ наукъ, безъ стремленія, ставшаго у него второй природой, сообщать другимъ все, что̀ казалось ему важно и полезно, онъ-бы никогда не выказалъ своей безпримѣрной начитанности. Съ его ученостью было-бы то-же, что̀ съ его богатствомъ. Его никогда-бы не угадали, еслибы онъ могъ ее скрыть, не вредя своему собственному наслажденію и особенно наслажденію своихъ друзей. Человѣку такихъ взглядовъ не должно было стоить большого труда — вѣрить въ господство разума, потому что его страсти и удовольствія были именно таковы, каковы они должны быть, чтобы дать перевѣсъ хорошимъ правиламъ. Онъ любилъ женщинъ, любилъ удовольствія стола, былъ любопытенъ; но ни одна изъ этихъ склонностей не овладѣвала имъ вполнѣ. Онъ не могъ ненавидѣть никого; только тогда, когда онъ говорилъ о распространителяхъ угнетенія и суевѣрія, его врожденная кротость превращалась въ ожесточеніе и жажду борьбы.»

Оканчивая эту статью, я совѣтую читателямъ, заинтересовавшимся умственной жизнью прошлаго столѣтія, прочитать книгу Геттнера «Исторія всеобщей литературы XVIII вѣка». Въ этой книгѣ читатели найдутъ толковое, безпристрастное и занимательное изложеніе біографическихъ фактовъ и философскихъ доктринъ въ связи съ общей картиной времени.

Digitized by Google

1867.

ВЗГЛЯДЫ АНГЛІЙСКИХЪ МЫСЛИТЕЛЕЙ НА УМСТВЕННЫЯ ПОТРЕВНОСТИ СОВРЕМЕННАГО ОВЩЕСТВА.

I.

Со временъ такъ называемаго возрожденія наукъ и искусствъ Англія пользовалась постоянно всѣми благодѣяніями превосходнаго классическаго образованія. Каждый реепектабельный отецъ семейства считалъ своимъ священнымъ долгомъ помѣщать своихъ сыновей въ такія школы и коллегіи, въ которыхъ изученіе латинскихъ и греческихъ писателей процвѣтало самымъ роскошнымъ образомъ. Въ этихъ школахъ или гимназіяхъ и коллегіяхъ или университетахъ не существовало почти никакихъ научныхъ занятій, кромѣ изученія чистой математики и классической древности. Преподаватели древнихъ языковъ и литературъ предавались своему дѣлу съ такой добросовѣстной любовью и съ такимъ доблестнымъ увлеченіемъ, что воспитанники не только выучивались свободно читать и понимать самыхъ трудныхъ греческихъ и латинскихъ писателей, но даже и сами становились латинскими и греческими писателями, т. е. прозой Цицерона или стихомъ Пиндара писали классныя сочиненія на заданныя темы.

Основательное знаніе древнихъ языковъ и литературъ считалось необходимымъ приготовленіемъ ко всякой такъ называемой либеральной профессіи. Безъ классическаго образованія молодой человѣкъ не могъ сдѣлаться ни юристомъ, ни медикомъ, ни священникомъ; въ порядочномъ обществѣ человѣкъ, лишенный классическаго образованія, считался неучемъ, неспособнымъ не только судить о политикѣ или о литературѣ, но даже поддерживать обыкновенный свѣтскій разговоръ.

Такъ было во времена Елисаветы, и въ такомъ же положеніи остается дѣло общаго образованія въ Англіи до настоящаго времени. Если классическое образованіе дѣйствительно развертываетъ и укрѣпляетъ самымъ удовлетворительнымъ образомъ всѣ умственныя способности учащагося юношества, если оно дѣйствительно формируетъ молодыхъ людей, въ высокой степени годныхъ ко всякому полезному труду, если оно дѣйствительно составляетъ одинаково превосходную подготовку ко всякимъ дальнѣйшимъ спеціально-научнымъ занятіямъ, —то, разумѣется, англичанамъ остается только радоваться на свои учебныя заведенія и тщательно оберегать господствующую въ нихъ систему отъ всякихъ преобразовательныхъ попытокъ, которыя очевидно могутъ только нарушить ея благородную классическую чистоту.

Англичанъ невозможно упрекнуть въ легкомысленномъ пристрастіи къ нововведеніямъ. Англичанамъ несвойственно увлекаться идеями и ломать установившіяся житейскія формы только потому, что онѣ не соотвѣтствуютъ новымъ идеямъ. Англичане перестроиваютъ ту или другую часть стараго общественнаго зданія только тогда, когда они начинаютъ чувствовать дѣйствительное неудобство или предвидятъ въ ближайшемъ будущемъ дѣйствительную опасность. То, что старо и въ то-же время крѣпко, удобно и практично, то тѣмъ болѣе дорого англичанину, чѣмъ дольше прожило на свѣтѣ. Господствуя въ Англіи втеченіи нѣсколькихъ столѣтій, классическое образованіе срослось со всѣми національными привычками и воспоминаніями англичанъ, со всѣми особенностями ихъ ума и характера, со всѣми ихъ литературными пріемами и преданіями. Нападать на классическое образованіе значитъ возставать противъ такой системы, которая имѣетъ свое блистательное прошедшее, и на сторонѣ котораго находятся всѣ предвзятыя симпатіи общества. На такой подвигъ не отважится безъ достаточныхъ побудительныхъ причинъ ни одинъ здравомыслящій англичанинъ, тѣмъ болѣе, что англійское

Digitized by Google

общество никогда не прощаетъ яркой умственной оригинальности даже геніальнымъ людямъ, подобнымъ Байрону или Боклю.

Еслибы классическое образованіе, господствующее въ Англіи до настоящей минуты, сколько-нибудь удовлетворяло умственнымъ потребностямъ даже того незначительнаго меньшинства, которое имѣетъ возможность выбирать и покупать себѣ самый лучшій и самый дорогой сортъ интеллектуальнаго развитія, то это меньшинство, влюбленное въ историческое прошедшее своей родины, конечно съумѣло-бы оградить отъ всякихъ реформаторскихъ предложеній и попытокъ почтенную старину, на которой лежитъ священная пыль многихъ столѣтій. Между тѣмъ не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что старину критикуютъ, что противъ нея раздаются въ англійской печати почтительные, но очень твердые голоса, и что англійское общество внимательно прислушивается къ тѣмъ полновѣснымъ замѣчаніямъ, которымъ подвергается господствующая учебная система.

Мы полагаемъ, что нашимъ читателямъ будетъ небезполезно познакомиться какъ съ существеннымъ смысломъ и общимъ направленіемъ этихъ замѣчаній, такъ и съ тѣмъ поучительнымъ фактомъ, что такія замѣчанія дѣйствительно высказываются въ Англіи публично людьми извѣстными, почтенными и въ высшей степени способными составить себѣ основательное мнѣніе о томъ, какія именно занятія развертываютъ и укрѣпляютъ умственныя силы человѣческаго ума.

Книга Юманса «Новѣйшая культура, ея настоящія стремленія и потребности» («Modern culture, its true aims and requirements»), изданная въ Лондонѣ въ началѣ нынѣшняго 1867 года, даетъ намъ по этому вопросу обильный запасъ самыхъ любопытныхъ матеріаловъ. Эта книга составлена преимущественно изъ публичныхъ лекцій, читанныхъ въ недавнее время первоклассными англійскими мыслителями и учеными. Вслѣдъ за лекціями напечатано нѣсколько мелкихъ статей, извлеченныхъ изъ сочиненій различныхъ очень извѣстныхъ писателей; вся книга заканчивается протоколами показаній, данныхъ пятью натуралистами въ коммисіи англійскихъ публичныхъ школъ. Имена этихъ натуралистовъ Карпентеръ, Ляйелль, Фарадей, Оуэнъ и Гукеръ—извѣстны всему читающему міру. Лекціи, мелкія статьи и показанія приходятъ съ разныхъ сторонъ къ одному и тому-же результату, именно—къ тому изумительному заключенію, что господствующая система общаго образованія нуждается въ самыхъ обширныхъ и глубокихъ преобразованіяхъ.

II.

Въ первой лекціи профессоръ Тиндалль доказываетъ необходимость ввести въ систему общаго образованія основательное изученіе физики. Изложенію своего предмета Тиндаль предпосылаетъ общія размышленія о неизбѣжности и необходимости перемѣнъ во всякомъ дѣлѣ, созданномъ людьми и выработанномъ исторіей.

«Я не думаю,—говоритъ Тиндалль,—чтобы нашему вѣку или какому-бы то ни было другому отдѣльному вѣку было суждено основать систему воспитанія, годную для всѣхъ вѣковъ. Основы человѣческой природы по всей вѣроятности неизмѣнны. но этого нельзя сказать о тѣхъ формахъ, въ которыхъ проявляется духъ человѣчества. Онъ бываетъ то воинственнымъ, то миролюбивымъ, то религіознымъ, то расположеннымъ къ скептицизму, и исторія не что иное, какъ перечень его видоизмѣненій. Таковъ законъ природы во всемъ мірѣ, и поэтому нельзя объяснять опрометчивостью или страстью къ разрушенію то обстоятельство, что составные элементы человѣческой культуры измѣняются съ теченіемъ времени, и что требованія настоящаго расходятся съ требованіями прошедшаго. Если вы не рѣшились утверждать, что міръ прошедшаго или какая-нибудь отдѣльная часть его были совершенно законченнымъ выраженіемъ человѣческой зрѣлости; что мудрость человѣка уже дошла до высшей точки своего развитія; что умъ нынѣшняго дня обладаетъ болѣе ограниченными силами или располагаетъ болѣе узкимъ горизонтомъ, чѣмъ умъ прежнихъ временъ, - то вы не имѣете никакого основанія требовать, чтобы мы принимали безусловно системы прошедшаго; и вы также не имѣете права разрывать мои связи съ тѣмъ міромъ и вѣкомъ, въ которыхъ я живу, и сосредоточивать мою умственную жизнь на созерцаніи минувшаго времени. Кто можетъ порицать меня, если я дорожу той увѣренностью, что міръ до сихъ поръ молодъ, что у него лежитъ впереди громадное поприще, что англичанинъ нынѣшняго дня сдѣланъ изъ такого-же хорошаго матеріала, какъ древній грекъ или римлянинъ, и что у него имѣется такое-же высокое и самостоятельное назначеніе? Принимая съ благодарностью то, что̀ древность можетъ намъ предложить, мы никогда не должны забывать, что нынѣшнее столѣтіе имѣетъ такое-же точно законное право на свои формы мышленія и на свои методы образованія, какое имѣли на свои формы и методы всѣ предшествующія столѣтія, и что намъ открыты теперь тѣ-же источники могущества, какіе были открыты человѣчеству въ какой-бы то ни было другой періодъ міровой жизни.»

Если примѣръ прошедшаго не долженъ служить абсолютно обязательнымъ закономъ для

Digitized by Google

настоящаго, если, напротивъ того, всякое усовершенствованіе въ области мысли и жизни основано на томъ, что настоящее самостоятельно обсуживаетъ идеи и дѣйствія прошедшаго, открываетъ въ нихъ ошибки и старается ихъ избѣгать, то, разумѣется, вопросъ о пригодности или непригодности физики въ системѣ общаго образованія долженъ рѣшиться не на основаніи прецедентовъ, а посредствомъ тщательнаго разсмотрѣнія естественныхъ и существующихъ въ данное время потребностей человѣческаго ума. Прійдя къ вопросу именно съ этой стороны, Тиндалль утверждаетъ, что раціональное преподаваніе физики составляетъ только осмысленное продолженіе тѣхъ уроковъ, которые сама природа даетъ каждому ребенку съ первой минуты его рожденія.

«Первый опытъ,—говоритъ Тиндалль,—каждаго человѣка есть физическій опытъ: всасывающій насосъ не что иное, какъ подражаніе первому дѣйствію каждаго новорожденнаго ребенка. Я не думаю, чтобы уваженіе этого ребенка къ родителямъ уменьшилось, или чтобы онъ сдѣлался менѣе хорошимъ гражданиномъ, когда его созрѣвшая опытность покажетъ ему, что атмосфера помогла ему вытянуть изъ груди матери первый глотокъ молока. Ребенокъ растетъ и продолжаетъ производить опыты: онъ тянется руками къ лунѣ, и неудача научаетъ его уважать разстояніе. Съ теченіемъ времени его маленькіе пальцы пріобрѣтаютъ достаточно механическаго такта, чтобы держать ложку; онъ засовываетъ ее къ себѣ въ ротъ, поранивает себѣ десны и знакомится такимъ образомъ съ непроницаемостью матеріи; онъ роняетъ ложку и прыгаетъ отъ удовольствія слыша, какъ она ударяется объ столъ. Опытъ, сдѣланный нечаянно, повторяется съ умысломъ, и юный Ньютонъ составляетъ себѣ такимъ образомъ первыя понятія о звукѣ и тяготѣніи. Случаются однако огорченія и наказанія на пути юнаго изслѣдователя; онъ неизбѣжно дѣлаетъ ошибки, а природа также непремѣнно уличаетъ его въ этихъ ошибкахъ. Онъ падаетъ съ лѣстницъ, обжигаетъ себѣ пальцы, порѣзываетъ руку, обвариваетъ языкъ и такимъ путемъ изучаетъ условія своего физическаго благосостоянія. Такого образа дѣйствій держится природа, и ея воспитанникъ дѣлаетъ изумительные успѣхи. Его наслажденія на время остаются чисто-физическими, и лавка кондитера стоитъ для него на первомъ планѣ человѣческаго благополучія; но цвѣты болѣе утонченной жизни уже начинаютъ распускаться, и связь между причиной и слѣдствіемъ возникаетъ въ умѣ ребенка. Онъ начинаетъ замѣчать, что теперешнее положеніе вещей не есть окончательное, но зависитъ отъ другого, которое было прежде и въ свою очередь смѣнится чѣмъ-нибудь новыхъ. Онъ становится задачей для самого себя, и чтобы удовлетворить своему только-что пробудившемуся любопытству, онъ предлагаетъ всевозможные несообразные вопросы. Потребности и стремленія человѣческой природы выражаются въ этихъ раннихъ порывахъ ребенка.»

При той системѣ образованія, которая господствуетъ въ Англіи, эти ранніе порывы ребенка въ большей части случаевъ остаются совершенно безплодными; взрослые не хотятъ и не умѣютъ ими пользоваться для того, чтобы незамѣтнымъ образомъ, безъ усилій и безъ борьбы, снабжать ребенка разнообразными свѣдѣніями; пока ребенку дозволяется бѣгать и шалить на свободѣ, до тѣхъ поръ взрослые или совсѣмъ не отвѣчаютъ на многочисленные вопросы ребенка, или отвѣчаютъ на нихъ какими-нибудь безсмыслицами, успокоивая себя тѣмъ общеизвѣстнымъ разсужденіемъ, что ребенокъ, когда выростетъ, въ свое время самъ разузнаетъ подробно все то, о чемъ онъ разспрашиваетъ. Ребенокъ подростаетъ; его сажаютъ за книгу, о которой ему уже давно толковали, какъ объ источникѣ всякаго знанія; но во всѣхъ своихъ азбукахъ и учебникахъ ребенокъ не находитъ ничего похожаго на тѣ отвѣты, которыхъ онъ такъ усиленно и такъ напрасно добивался отъ взрослыхъ; тотъ книжный міръ, въ который его втягиваютъ и вгоняютъ насильно при постоянномъ содѣйствіи увѣщаній, упрековъ и наказаній, не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ міромъ живыхъ явленій, съ тѣмъ міромъ красокъ, звуковъ и ощущеній, деревьевъ и цвѣтовъ, звѣрей и птицъ, желаній и волненій, радости и горя, который знакомъ и дорогъ ему съ колыбели и который уже успѣлъ породить въ его горячей головѣ сотни смѣлыхъ и мудреныхъ вопросовъ. Книжная работа, которой отдаленная цѣль при всѣхъ своихъ великихъ достоинствахъ остается непостижимой для ребенка, на долгое время отвлекаетъ его мысли отъ живой природы и кладетъ конецъ тому естественному развитію любознательности и наблюдательности, которое при своевременномъ и тщательномъ содѣйствіи умнаго наставника могло-бы легко и свободно ввести подрастающаго ученика въ сферу серьезныхъ научныхъ занятій. Въ школѣ ребенка знакомятъ насильно съ тѣмъ, что̀ никогда не могло его интересовать, чего онъ никогда не видалъ въ глаза и о чемъ предшествующая жизнь не дала ему даже самаго отдаленнаго понятія; и въ то-же время въ его головѣ оставляютъ совершенно неразобраннымъ и неразъясненнымъ тотъ хаосъ образовъ, представленій и понятій, который порожденъ вліяніемъ жизни, и въ которомъ самъ ребенокъ чувствуетъ настоятельную потребность опознаться и оріентироваться. Такимъ образомъ жизнь съ минуты рожденія вела умственное развитіе ребенка по одному пути; школа поворачиваетъ или по крайней мѣрѣ старается поворотить его на

Digitized by Google

другой путь; понятно, что̀ должно произойти и дѣйствительно происходитъ вслѣдствіе этого поворачиванія: силы воспитателя сталкиваются съ силами ребенка и взаимно парализуютъ другъ друга; начинается борьба тамъ, гдѣ могло-бы и должно было-бы существовать самое полное единодушіе и самое искреннее взаимное сочувствіе; воспитатель видитъ препятствіе въ любознательности ребенка, направленной совсѣмъ не на тѣ вопросы, которые рѣшаются въ школьныхъ учебникахъ; ребенокъ съ своей стороны видитъ скучнаго и несноснаго мучителя въ томъ самомъ человѣкѣ, который при другихъ условіяхъ педагогической организаціи могъ-бы сдѣлаться для него неисчерпаемымъ источникомъ живѣйшихъ умственныхъ наслажденій; чѣмъ даровитѣе ребенокъ, чѣмъ сильнѣе работаетъ въ его молодой головѣ пробудившаяся мысль, чѣмъ тревожнѣе и неугомоннѣе его самородная любознательность: тѣмъ противнѣе покажется ему міръ грамматическихъ отвлеченностей, міръ склоненій и спряженій, правильныхъ и неправильныхъ глаголовъ, толстыхъ лексиконовъ и запутанныхъ конструкцій; чѣмъ даровитѣе ребенокъ, тѣмъ сильнѣе бываетъ та ломка, которой онъ подвергается въ школѣ при первомъ столкновеніи съ мертвымъ книжнымъ ученіемъ. Легко можетъ быть, что эта ломка до нѣкоторой степени неизбѣжна, потому что умъ ребенка долженъ непремѣнно рано или поздно пріучиться къ книжнымъ отвлеченностямъ, безъ которыхъ невозможны дальнѣйшія научныя занятія, но не подлежитъ сомнѣнію то, что учебная система, господствующая въ Англіи, относится съ непозволительнымъ высокомѣріемъ къ естественнымъ наклонностямъ и умственнымъ потребностямъ того живого матеріала, надъ которымъ она производитъ свои отважныя манипуляціи. «Нѣсколько дней тому назадъ,—говоритъ Тиндалль,—одинъ магистръ словесности, молодой человѣкъ, получившій современное образованіе, заявилъ мнѣ, что въ первыя двадцать лѣтъ своей жизни онъ не пріобрѣлъ никакихъ свѣдѣній о свѣтѣ, теплотѣ, магнетизмѣ или электричествѣ; изъ этихъ двадцати лѣтъ двѣнадцать было потрачено посреди древнихъ, и въ это время была порвана всякая связь между его умомъ и явленіями природы.»

Этотъ перерывъ пришелся какъ разъ въ то время, когда, по мнѣнію внимательныхъ и компетентныхъ наблюдателей, молодой умъ всего болѣе способенъ пріучаться исподволь къ индуктивному методу мышленія, то-есть къ внимательному разсматриванію и осторожному обобщенію отдѣльныхъ фактовъ. Какъ сильна именно въ это время отъ 8-ми лѣтъ до 20-ти, потребность вглядываться и вдумываться въ явленія окружающей природы, это видно изъ любопытнаго примѣра, приведеннаго въ лекціи Тиндаля.

Въ одной земледѣльческой школѣ въ Гемпширѣ было составлено между воспитанниками общество, которое собиралось разъ въ недѣлю для чтенія и обсужденія статей и докладовъ, написанныхъ самими членами по различнымъ вопросамъ. У этого общества были свой предсѣдатель, свой казначей и даже свой ежемѣсячный журналъ, печатавшійся въ небольшой училищной типографіи. При засѣданіяхъ общества присутствовали обыкновенно многіе изъ учителей. Однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ обычаевъ въ этихъ еженедѣльныхъ собраніяхъ было то, что послѣ окончанія очередныхъ занятій каждый членъ общества имѣлъ право предлагать вопросы по каждому дѣлу, о которомъ онъ желалъ собрать какія-нибудь свѣдѣнія. Вопросы эти или записывались заранѣе въ особую книгу, или писались на клочкѣ бумаги во время самаго засѣданія и потомъ вручались секретарю, который обязанъ былъ прочитать ихъ вслухъ. Послѣ этого кто изъ присутствующихъ чувствовалъ себя способнымъ разрѣшать недоумѣніе товарища или ученика, тотъ и давалъ требуемый отвѣтъ. Понятно, что, благодаря этому обычаю, въ кругу учениковъ господствовалъ постоянно самый живой и плодотворный обмѣнъ мыслей и знаній. Что̀ было прочтено или подмѣчено однимъ, то скоро становилось достояніемъ всѣхъ. Въ собраніяхъ общества присутствовали ребята отъ 8 до 18 лѣтъ, и вотъ въ какомъ родѣ были предлагавшіеся вопросы:

Въ чемъ состоятъ обязанности королевскаго астронома?

Что̀ такое морозъ?

Почему громъ и молнія случаются лѣтомъ чаще, чѣмъ зимой?

Отчего происходятъ падающія звѣзды?

Какая причина того ощущенія, которое называется бѣганіемъ мурашекъ по кожѣ?

Какая причина смерчей?

Какая причина икоты?

Если полотенце намочено водой, то почему мокрая часть становится темнѣе, чѣмъ была прежде?

Что такое ланкаширскія вѣдьмы?

Падаетъ-ли роса или поднимается?

Какъ устроенъ гидравлическій прессъ?

Когда въ воздухѣ больше кислорода: зимой или лѣтомъ?

Что̀ это за кольца мы видимъ вокругъ горящаго газа и вокругъ солнца?

Что̀ такое громъ?

Почему черную шляпу можно сдвинуть съ мѣста, образовавъ вокругъ нея магнетическій кругъ, а бѣлую нельзя?

Отчего происходитъ испарина?

Какая разница между душою и умомъ?

Digitized by Google

Противно-ли правиламъ вегетаріанизма ѣсть яйца?

Эти восемнадцать вопросовъ выписаны Тиндаллемъ на удачу изъ той книги, въ которую они вносились. Изъ этихъ восемнадцати вопросовъ только три, о королевскомъ астрономѣ, о ланкаширскихъ вѣдьмахъ и о правилахъ вегетаріанизма, не относятся къ области естествознанія. Огромное-же большинство этихъ вопросовъ, возникшихъ безо всякихъ посторонникъ вліяній и начальственныхъ внушеній, можетъ быть разрѣшено только тогда, когда ученикамъ будутъ сообщены предварительно довольно обширныя свѣдѣнія по части физики, химіи и физіологіи. Списокъ этихъ вопросовъ показываетъ довольно ясно, въ какомъ именно направленіи работаетъ молодая мыслъ и развертывается самородная дѣтская любознательность.

Нетрудно понять, что ребенокъ, поставившій вопросъ, не удовлетворится короткимъ и категорическимъ отвѣтомъ. Когда онъ спрашиваетъ о росѣ, падаетъ-ли она, или поднимается, то онъ требуетъ себѣ не справки по этому предмету, а подробнаго объясненія даннаго феномена,—такого объясненія, которое дало-бы ему возможность понять, какимъ путемъ совершается образованіе росы. Если вы просто отвѣтите ему: роса падаетъ, то онъ тотчасъ же спроситъ у васъ: какъ-же она падаетъ и откуда она берется? Если вы захотите удовлетворить его любознательность, то вы будете принуждены объяснить ему тѣ законы, по которымъ совершается испареніе воды и обратный переходъ водяныхъ паровъ въ капельно-жидкое состояніе; далѣе вы должны будете познакомить его съ явленіями лучеиспусканія и теплопроводности; и наконецъ вамъ придется дать ему понятіе о тѣхъ сложныхъ процессахъ, которые происходятъ въ организмѣ каждой ничтожнѣйшей былинки. Когда все это будетъ сдѣлано, то вопросъ о росѣ окажется исчерпаннымъ, но зато самый процессъ вашего объясненія породитъ въ свою очередь такое множество новыхъ вопросовъ, что отвѣтить на нихъ можно будетъ только полнымъ и систематическимъ курсомъ физики, химіи и физіологіи,—курсомъ, который по всей вѣроятности будетъ выслушанъ вашимъ юнымъ собесѣдникомъ съ благоговѣйнымъ вниманіемъ и съ живѣйшимъ наслажденіемъ.

Еслибы вмѣсто вопроса о росѣ мы взяли вопросъ о громѣ, о морозѣ, объ испаринѣ, о мокромъ полотенцѣ, или вообще какой бы то ни было изъ пятнадцати вопросовъ, врѣзывающихся въ область естествознанія, то мы пришли-бы къ тому-же самому выводу, то есть мы убѣдились-бы въ томъ, что въ этомъ случаѣ надо или систематически подавлять самородную любознальность молодого ума, отсылая ребенка къ учебнику латинской грамматики и запрещая ему тратить драгоцѣнное время на пустые разговоры, или же удовлетворять его любознательность подробными объясненіями, которыя неизбѣжно должны превратиться въ полные курсы по различнымъ отраслямъ естествознанія.

Тиндалль придаетъ важное значеніе тому обстоятельству, на которое обыкновенные педагоги обращаютъ очень мало вниманія, именно тому, что дѣти, слушая курсъ физики, вызванный ихъ собственными вопросами, будутъ учиться и напрягать свое вниманіе съ удовольствіемъ.

«Привлекать удовольствіе на сторону умственнаго труда—это дѣло величайшей важности,—говоритъ онъ,—потому что упражненіе ума, подобно тѣлесному упражненію, зависитъ въ своей цѣнности отъ того расположенія духа, при которомъ оно совершается. Каждый медикъ знаетъ, что идея здороваго упражненія не исчерпывается простымъ механическимъ движеніемъ, и что самымъ здоровымъ упражненіемъ оказывается то, при которомъ наслажденіе самымъ его процессомъ заставляетъ насъ забыть обо всѣхъ дальнѣйшихъ его цѣляхъ. Можно-ли напримѣръ замѣнить чѣмъ-нибудь восторженное ликованіе дѣтскихъ игръ, въ которыя дѣти играютъ изъ чистой любви къ игрѣ, безо всякаго помышленія о физіологическихъ законахъ, между тѣмъ какъ благосклонная природа незамѣтно для играющихъ идетъ къ своимъ цѣлямъ, обращая дѣтямъ на пользу даже ихъ собственную безсознательность? Вы можете устроить болѣе систематическія движенія, вы можете придумать средства для болѣе полнаго напряженія каждаго отдѣльнаго мускула, но вы не можете создать радость и веселье игры, а гдѣ ихъ нѣтъ, тамъ пропала освѣжающая прелесть и живительность упражненія. Почти то-же самое можно сказать и объ умственномъ воспитаніи. Зачѣмъ-же такъ рѣзко отрывать умы дѣтей отъ ихъ здоровой и радостной дѣятельности, зачѣмъ закрывать имъ наглухо дорогу къ тому изученію, къ которому направлены самыя раннія ихъ стремленія и при которомъ собственная охота учащихся оказывала-бы сильное содѣйствіе укрѣпленію ихъ способностей? Зачѣмъ доводить эту исключительность до такихъ размѣровъ, что человѣкъ, если его не просвѣтитъ какое нибудь учрежденіе, вродѣ того, въ которомъ мы теперь собраны, можетъ дожить до зрѣлыхъ лѣтъ, оставаясь въ абсолютномъ невѣжествѣ касательно того, управляется-ли матеріальный міръ закономъ или случаемъ, и не происходятъ-ли въ самомъ дѣлѣ тѣ феномены, которые вызывали его дѣтскіе вопросы, отъ проказъ какихъ-нибудь гномовъ или другихъ силъ того-же разбора?»

Digitized by Google

Доказавъ естественность и законность тѣхъ желаній и умственныхъ позывовъ, которыхъ удовлетвореніе невозможно безъ систематическаго преподаванія физики, Тиндалль старается дать общее понятіе о той пользѣ, которую это преподаваніе принесетъ умственному развитію учащихся. Изученіе физики, по словамъ Тиндалля, состоитъ изъ двухъ процессовъ, взаимно дополняющихъ и постоянно сиѣняющихъ другъ друга. Человѣкъ наблюдаетъ сначала единичные факты, подмѣчаетъ въ нихъ однородныя стороны, отыскиваетъ ихъ общую причину и составляетъ себѣ такимъ образомъ понятіе о законѣ, въ силу котораго одно явленіе вызываетъ собою другое. Этотъ процессъ, посредствомъ котораго человѣкъ идетъ отъ факта къ причинѣ, называется *индукціей* или *наведеніемъ*. Добравшись до такой формулы, которая кажется ему закономъ, человѣкъ начинаетъ разсуждать такъ: если законъ вѣренъ, то за такимъ-то явленіемъ неизбѣжно должно слѣдовать такое-то. Здѣсь умъ человѣка идетъ отъ найденной или угаданной причины къ ожидаемому послѣдствію; этотъ процессъ называется *дедукціей* или *выводомъ* и служитъ повѣркой для предшествующей индукціи; этотъ процессъ совершается въ головѣ экспериментатора, когда онъ производитъ опытъ, стараясь узнать посредствомъ этого опыта, дѣйствительно-ли вѣренъ найденный имъ законъ.

Теперь понятно, что изученіе физики можетъ сдѣлаться полезной умственной работой только тогда, когда ученикъ самъ дѣйствительно будетъ заниматься индукціей и дедукціей, то есть разсматривать явленія съ разныхъ сторонъ, сравнивать ихъ между собою, добираться до ихъ причины, отыскивать законы и потомъ придумывать и производить опыты для повѣрки отысканнаго закона. Надо, чтобы ученикъ непремѣнно искалъ и находилъ, ошибался и самъ замѣчалъ свои ошибки, дѣлалъ неправильныя обобщенія и потомъ ломалъ себѣ голову, отыскивая причины той неудачи, которая получится при повѣркѣ индукціи. Словомъ, надо, чтобы ученикъ шелъ по тому самому тернистому пути изслѣдованія, по которому шли въ свое время безъ путеводителя и компаса великіе умы, создавшіе науку. Только при такомъ живомъ и практическомъ изученіи физики, только при постоянномъ непосредственномъ соприкосновеніи съ тѣми явленіями, которыя составляютъ собою матеріалъ науки, можетъ быть рѣчь о томъ особомъ вліяніи, которое положительная наука, подобная физикѣ, производитъ на умъ ученика, и о тѣхъ особыхъ умственныхъ пріемахъ и навыкахъ, которые пріобрѣтаются ученикомъ въ строгой школѣ положительнаго знанія. Если-же ученикъ будетъ изучать физику по учебнику, то тутъ не будетъ со стороны ученика ни индукціи, ни дедукціи; положительная наука не произведетъ на его умственныя способности никакого особеннаго вліянія; его мысль не усвоитъ себѣ никакихъ новыхъ пріемовъ и навыковъ; получится только обогащеніе памяти множествомъ различныхъ формулъ и приступовъ къ доказательствамъ; образовательная и воспитательная сила положительнаго знанія утратится безслѣдно и безвозвратно. Ученикъ пройдетъ весь учебникъ, съ первой страницы до послѣдней, и все-таки не выучится размышлять такъ какъ размышляютъ естествоиспытатели. Количество извѣстныхъ ему фактовъ значительно увеличится, но способности наблюдать и сравнивать явленія, подводить ихъ подъ общія правила и провѣрять эти правила опытами останутся по всей вѣроятности въ томъ самомъ положеніи, въ какомъ онѣ находились до начала учебныхъ занятій. Учителю конечно гораздо легче дать въ руки ученику учебную книгу и наблюдать за исправнымъ выучиваніемъ уроковъ, чѣмъ устраивать такой планъ занятій, при которомъ ученикъ самъ могъ-бы дорабатываться и додумываться до основныхъ законовъ природы; но тутъ дѣло совсѣмъ не въ томъ, чтобы облегчать задачу учителя; его задача должна быть трудной, чтобы быть плодотворной. Чтобы приносить пользу, учитель долженъ быть человѣкомъ даровитымъ и трудолюбивымъ, а для такого человѣка невыносимо механическое задаваніе и выслушиваніе мертвыхъ книжныхъ уроковъ; для такого человѣка невыносима именно та легкость педагогической задачи, за которой гонятся и которую устраиваютъ себѣ всѣми правдами и неправдами бездарные рутинеры. Напротивъ того, руководить молодой умъ на пути живого наблюденія и изслѣдованія, укрѣплять его силы постепенно усложняющимися упражненіями, слѣдить за его побѣдами и неудачами—это такая обязательная работа, за которую можетъ приняться съ удовольствіемъ и съ пользой для самого себя свѣтлый и дѣятельный умъ. Тиндалль представляетъ изъ своей собственной педагогической практики такіе факты, которые показываютъ ясно, чего именно онъ требуетъ отъ хорошаго преподавателя физики или какой-бы то ни было другой положительной науки.

«Одной изъ обязанностей, выпавшихъ на мою долю,—говоритъ Тиндалль,—во время того періода, о которомъ я говорилъ, было преподаваніе математики въ одномъ классѣ, и я находилъ обыкновенно, что Эвклидъ и древняя геометрія вообще, когда они обращаются къ разуму, составляютъ учебное занятіе, очень привлекательное для молодежи. Я имѣлъ обыкновеніе отвлекать мальчиковъ отъ рутины книги и обращаться къ ихъ самодѣятельности, предлагая имъ для разрѣшенія вопросы, не включенные въ эту рутину. Сначала это свертываніе съ проторен-

Digitized by Google

ной дороги возбуждало обыкновенно небольшое неудовольствіе; ученики чувствовали себя такъ, какъ чувствуетъ себя ребенокъ, попавшій въ общество незнакомыхъ людей; но ни разу не случалось со мною, чтобы это неудовольствіе оказалось продолжительнымъ. Когда мальчикъ былъ совершенно обезкураженъ, я ободрялъ его, разсказывая ему анекдотъ о Ньютонѣ, который говорилъ, что онъ отличается отъ другихъ людей только своимъ терпѣніемъ; или о Мирабо, которому слуга доказывалъ, что какое-то дѣло невозможно, и который на эти доводы отвѣчалъ приказаніемъ никогда впередъ не употреблять этого глупаго слова. Ободренный такимъ образомъ, мальчикъ возвращался къ своей работѣ съ улыбкой, въ которой быть-можетъ выражалась доля сомнѣнія, но которая тѣмъ не менѣе доказывала рѣшимость попытаться снова. Я видѣлъ, какъ загорались его глаза, и наконецъ слышалъ, какъ онъ восклицалъ: «я нашелъ, сэръ!» съ такимъ удовольствіемъ, которое только своими размѣрами отличалось отъ восторга Архимеда. Сознаніе собственныхъ умственныхъ силъ, пробужденное такимъ образомъ, имѣло громадную цѣну, и, воодушевленный этимъ сознаніемъ, классъ дѣлалъ изумительные успѣхи. Я часто давалъ мальчикамъ на выборъ продолжать занятія по книгѣ или пробовать силы надъ другими предложеніями, которыхъ не было въ учебникѣ. Ни разу не случалось такъ, чтобы ученики выбрали книгу. Я всегда былъ готовъ помочь, когда мнѣ казалось, что помощь необходима, но мои предложенія обыкновенно отклонялись. Мальчики отвѣдали сладость интеллектуальныхъ завоеваній и искали побѣдъ, пріобрѣтенныхъ собственными силами. Я видѣлъ ихъ геометрическіе чертежи, нацарапанные на стѣнахъ или вырѣзанные на бревнахъ частокола, которымъ былъ обнесенъ рекреаціонный дворъ; видѣлъ я также безчисленное множество другихъ наглядныхъ свидѣтельствъ того живого интереса, который возбуждали къ себѣ эти занятія. Что касается до опытности въ дѣлѣ преподаванія, то я въ это время былъ совершеннымъ птенцомъ; я ничего не зналъ о правилахъ педагогики, какъ ее называютъ нѣмцы; но я былъ проникнутъ тѣмъ духомъ, о которомъ я говорилъ въ началѣ этого разсужденія, и старался сдѣлать геометрію *средствомъ*, а не *отраслью* образованія. Опытъ оказался успѣшнымъ, и нѣкоторые изъ самыхъ обаятельныхъ часовъ моей жизни были доставлены мнѣ наблюденіями надъ сильнымъ и радостнымъ разцвѣтаніемъ мыслительной силы, возбужденной и вызванной вышеописаннымъ способомъ.

«И далѣе то удовольствіе, которое мы всѣ испытывали, удвоилось, когда мы стали прикладывать наши математическія знанія къ разрѣшенію физическихъ задачъ. Многіе предметы, встрѣчавшіеся на каждомъ шагу, получали для насъ такимъ образомъ новую занимательность и новое значеніе. Качель, качальная доска, напряженіе веревокъ въ исполинскомъ шагѣ, паденіе и подскакиваніе ножного мячика, выгоды маленькаго мальчика сравнительно съ большимъ при крутыхъ поворотахъ, въ особенности въ скользкую погоду—все это становилось предметомъ изслѣдованія. Предположивъ, что дама стоитъ передъ зеркаломъ, которое по своей величинѣ равняется всему ея росту, мы должны были узнать, какая именно часть этого зеркала дѣйствительно полезна дамѣ? И мы съ большимъ удовольствіемъ узнавали тотъ экономическій фактъ, что она можетъ обойтись безъ нижней половины зеркала и при этомъ все-таки увидѣть всю свою фигуру. Насъ также глубоко интересовало то, что по жужжанію пчелы мы опредѣляли сколько разъ въ минуту маленькое насѣкомое взмахиваетъ крыльями. Производя наши изслѣдованія надъ маятникомъ, мы интересовались узнать, какимъ это образомъ полковникъ Сабинъ посредствомъ маятника опредѣлилъ фигуру земли, и мы также были очень озадачены тѣмъ заключеніемъ, которое позволялъ намъ сдѣлать тотъ-же маятникъ, именно той мыслью, что еслибы ежедневная скорость движенія земли была въ семнадцать разъ больше теперешней, то на экваторѣ центробѣжная сила оказалась-бы совершенно равной силѣ тяготѣнія, и что слѣдовательно тамошній житель имѣлъ-бы одинаковое стремленіе падать и къ верху, и къ низу. Всѣ эти вещи были для насъ источниками изумленія и наслажденія; мы не могли не восхищаться настойчивостью человѣка, совершившаго такіе подвиги; и потомъ, когда мы припоминали, что мы сами одарены тѣми-же силами и можемъ трудиться на томъ-же обширномъ полѣ, тогда разростались въ насъ надежды, что когда-нибудь впослѣдствіи мы также съумѣемъ подвинуть дѣло немного впередъ и присоединимъ къ добытымъ завоеваніямъ результаты нашихъ собственныхъ побѣдъ.

«Я знаю, что мнѣ слѣдуетъ извиниться передъ вами въ томъ, что я такъ долго останавливался на этомъ предметѣ. Но дни, прожитые мною въ средѣ этихъ юныхъ философовъ, произвели на меня глубокое впечатлѣніе. Въ ихъ обществѣ я пріобрѣлъ кое-какія свѣдѣнія о себѣ самомъ и о человѣческой природѣ, и составилъ себѣ нѣкоторое понятіе о призваніи учителя. Если есть въ Англіи профессія неизмѣримой важности, то, по моему мнѣнію, это — профессія школьнаго учителя. И если есть положеніе, въ которомъ недобросовѣстность и бездарность производятъ самый серьезный вредъ, понижая нравственный строй и возбуждая презрѣніе и хитрость тамъ, гдѣ должны быть вызваны уваженіе и благородная правдивость, то это — положеніе школьнаго учителя. Когда человѣкъ, расширившій свой умъ и свое сердце, входитъ въ об-

Digitized by Google

щество мальчиковъ; когда онъ вливаетъ въ нихъ струю своей личности, и когда онъ въ повышеніи ихъ чувствъ и понятій замѣчаетъ дѣйствіе своего собственнаго характера, тогда нечего и говорить о томъ, что его положеніе почетно. Это—благословенное положеніе. Такой человѣкъ — благодать для самого себя и для всего, что́ его окружаетъ. Я полагаю, что такихъ людей можно найти въ Англіи, и что разыскивать ихъ обязаны тѣ, кто въ настоящее время занимается устройствомъ учебной части. Потому что какія бы средства образованія ни были выбраны, физическія или филологическія, успѣхъ всегда будетъ зависѣть главнымъ образомъ отъ того количества жизни, любви и серьезности, которое самъ учитель принесетъ съ собою къ своему призванію.»

При разумномъ, практическомъ методѣ преподаванія физика приноситъ ученику ту пользу, что пріучаетъ его къ внимательному наблюденію и къ осмотрительному обобщенію окружающихъ фактовъ. Занимаясь физикой, ученикъ усваиваетъ себѣ индуктивный способъ мышленія, съ которымъ его не можетъ познакомить ни математика, ни латинскій синтаксисъ, ни греческая просодія, ни даже чтеніе божественнаго Гомера или божественнаго Платона. Индуктивный способъ мышленія былъ почти совершенно неизвѣстенъ всей классической древности; древніе мыслители старались отгадывать тамъ, гдѣ необходимо было наблюдать и изучать. Индукція развилась вмѣстѣ съ успѣхами естествознанія; она проявилась въ этихъ успѣхахъ и она-же ихъ породила; поэтому физика вмѣстѣ съ другими отраслями естествознанія остается до сихъ поръ и по всей вѣроятности останется навсегда для всѣхъ подрастающихъ поколѣній единственной возможной школой индуктивнаго мышленія. Чтобы выучиться наблюденію, надо наблюдать; чтобы выучиться обобщенію, надо обобщать; а когда мы стараемся по мѣрѣ нашихъ силъ наблюдать и обобщать тѣ явленія, которыя насъ окружаютъ и такъ или иначе возбуждаютъ наше любопытство и привлекаютъ къ себѣ наше вниманіе, тогда это значитъ, что мы занимаемся или стараемся заниматься той или другою отраслью естествознанія, потому что всѣ окружающія насъ явленія составляютъ достояніе той или другой науки, доразвившейся до извѣстныхъ результатовъ путемъ индукціи, то есть наблюденія и обобщенія. Если мы хотимъ учиться наблюденію и обобщенію, то мы можемъ выбрать для нашихъ упражненій въ этихъ процессахъ или органическую природу, или неорганическую природу. Если мы выберемъ органическую природу, то мы при нашей непривычкѣ наблюдать и обобщать тотчасъ запутаемся въ лабиринтѣ тѣхъ сложныхъ отправленій, изъ которыхъ состоитъ жизнь растенія или тѣмъ болѣе животнаго. Кромѣ того мы скоро замѣтимъ, что и растенія, и животныя вмѣстѣ со всей неорганической природой подчинены какимъ-то общимъ законамъ, которые намъ необходимо предварительно узнать для того, чтобы имѣть возможность изучать впослѣдствіи собственно-органическія отправленія въ жизни растеній и животныхъ. Эти общіе законы, тѣ законы, по которымъ совершается движеніе, распространяются свѣтъ, звукъ и теплота, — составляютъ предметъ физики. Эти законы проще тѣхъ законовъ, по которымъ совершаются органическія отправленія. Эти законы имѣютъ болѣе обширный кругъ дѣйствія. Чтобы добраться до этихъ законовъ, нѣтъ надобности знать предварительно какіе-нибудь другіе законы. Надо только вычислять и измѣрять, то есть усвоить себѣ тѣ навыки и пріемы, которые даетъ намъ изученіе ариѳметики, алгебры и геометріи. По всѣмъ этимъ причинамъ первый шагъ въ дѣлѣ индуктивнаго мышленія долженъ быть сдѣланъ посредствомъ изученія физики, которая въ свою очередь должна отворить намъ двери въ другія высшія области естествознанія. Во всѣхъ этихъ областяхъ господствуетъ одинъ и тотъ-же духъ, — духъ спокойнаго и безпристрастнаго изслѣдованія,—духъ чистой, безкорыстной и неустрашимой любви къ истинѣ, какова-бы она ни была и въ какомъ-бы суровомъ видѣ ни представилась она непривычнымъ глазамъ новопосвященнаго адепта. Кто входитъ въ эти области естественнымъ путемъ наблюденія и размышленія, тотъ пріучается любить истину во что бы то ни стало, стремиться къ ней силами своего ума и характера, принимать ее съ покорностью и признательностью изъ рукъ соперника или врага, мыслить честно и смѣло, не подкупая себя никакими постороннними соображеніями, и ставить всегда и вездѣ великую общую цѣль,— отъисканіе истины, — выше мелкихъ и дрянныхъ впушеній личнаго самолюбія. Если умственный трудъ можетъ сдѣлаться школой для характера, то больше всѣхъ другихъ проявленій умственнаго труда способно сдѣлаться такой школой изученіе природы, требующее отъ своихъ адептовъ строгой правдивости, неподкупной зоркости, тонкой проницательности и желѣзнаго терпѣнія. Что́ говорится объ изученіи природы вообще, то, разумѣется, прилагается въ частности и къ физикѣ, составляющей необходимое начало и первую ступень этого изученія.

Тиндалль думаетъ, что изученіе физики одинаково необходимо для всѣхъ классовъ общества.

«Какъ орудіе умственнаго развитія, — говоритъ онъ, — изученіе физики полезно всѣмъ: по своему отношенію къ спеціальнымъ занятіямъ цѣнность этого изученія еще болѣе осязательна, хотя и не такъ велика. Съ какой стати

Digitized by Google

напримѣръ члены парламента должны оставаться несвѣдущими касательно такихъ предметовъ, по поводу которыхъ они призваны издавать законы? Въ этой странѣ практической физики зачѣмъ они должны быть неспособными составить себѣ самостоятельное мнѣніе о какомъ-нибудь физическомъ вопросѣ? Зачѣмъ сенаторъ при обсужденіи научнаго вопроса долженъ отдавать себя на произволъ спорящихъ сторонъ, заинтересованныхъ въ дѣлѣ, до тѣхъ поръ, пока благодѣтельная дремота не избавитъ его отъ дикаго шума непонятныхъ преній, происходящихъ передъ нимъ въ залѣ комитета? То образованіе, которое оставляетъ подобные пробѣлы, нарушаетъ свои обязанности передъ Англіей. Что касается до нашего рабочаго народа, рабочаго въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова, то изученіе физики было-бы ему полезно не только какъ средство интеллектуальнаго развитія, но также и какъ нравственное вліяніе, способное предохранить этихъ людей отъ привычекъ, унижающихъ человѣческое достоинство. Исправленіе человѣка зависитъ чаще отъ косвеннаго, чѣмъ отъ прямого дѣйствія воли. Чтобы сломить силу искушенія, воля должна найти себѣ противъ него оплотъ въ какомъ-нибудь опредѣленномъ положеніи своей силы. Пьяница напримѣръ находится въ опасномъ положеніи, пока онъ только говоритъ или божится, что будетъ воздерживаться отъ пьянства. Его мысли, если онѣ не привлечены какой-нибудь другой силой, будутъ постоянно возвращаться къ кабаку, и, чтобы избавлять его постоянно отъ этого притяженія, вы должны дать ему какой-нибудь противуположный интересъ. Придавая предметамъ, окружающимъ постоянно рабочаго человѣка, такую занимательность, которая будетъ вызывать его на размышленіе, вы откроете ему новыя наслажденія, и каждое изъ этихъ наслажденій сдѣлается для него точкой опоры въ борьбѣ съ искушеніемъ. Кромѣ того наши мануфактуры и плавильни представляютъ обширное поле для наблюденій, и еслибы тѣ, которые въ нихъ работаютъ, сдѣлались способными при содѣйствіи предварительнаго образованія оцѣнивать то, что они видятъ, то наука обогатилась-бы неисчислимыми пріобрѣтеніями. Кто можетъ сказать, какіе Самсоны умственнаго міра работаютъ въ настоящую минуту съ закрытыми глазами въ нашихъ манчестерскихъ и бирмингамскихъ кузницахъ и заводахъ? Дайте этимъ Самсонамъ зрѣніе, надѣлите ихъ кое-какими знаніями по части физики—и вы умножите шансы открытій и тѣмъ самымъ расширите поприще будущаго національнаго процвѣтанія. Въ нашихъ многоразличныхъ техническихъ операціяхъ мы часто играемъ такими силами, которыя въ случаѣ нашего незнанія становятся причинами нашей погибели. Въ локомотивѣ дѣйствуютъ такіе двигатели, о которыхъ по всей вѣроятности никогда не мечталъ строитель и которые однако достаточно сильны, чтобы превратить машину въ истребительное орудіе. Далѣе, когда мы подумаемъ объ умственномъ развитіи того народа, который трудится въ нашихъ угольныхъ копяхъ, тогда мы перестанемъ изумляться тѣмъ ужаснымъ взрывамъ, которые случаются тамъ отъ времени до времени.

«Еслибы эти люди обладали достаточными физическими свѣдѣніями, то, безъ сомнѣнія, изъ среды самихъ работниковъ вышла-бы такая система предосторожностей, вслѣдствіе которой эти потрясающія событія перестали-бы повторяться. Еслибы они обладали знаніемъ, то ихъ личные интересы доставили-бы имъ необходимый стимулъ для его практическаго приложенія, и такимъ образомъ двѣ цѣли оказались-бы достигнутыми въ одно и то-же время—возвышеніе людей и уменьшеніе бѣдствій.»

Приверженцы классическаго образованія никогда не рѣшались утверждать, что вся нація сверху до низу должна учиться греческой и латинской грамматикѣ, читать древнихъ поэтовъ и философовъ и писать стихи на двухъ мертвыхъ языкахъ. Напротивъ того, эти приверженцы говорили и продолжаютъ говорить положительно при каждомъ удобномъ случаѣ, что классическое образованіе годится только для высшихъ сословій, для людей богатыхъ и знатныхъ или по крайней мѣрѣ для обезпеченныхъ людей, которымъ нѣтъ надобности искать себѣ хлѣбную работу и въ виду этой необходимой работы торопиться окончаніемъ подготовительнаго ученія. Приверженцы классическаго образованія хотѣли и хотятъ до сихъ поръ, чтобы въ каждомъ человѣческомъ обществѣ существовали двѣ совершенно различныя и рѣзко разграниченныя системы умственнаго развитія — одна дорогая, основательная, утонченная, самаго высокаго сорта и самой отличной доброты, созданная для господъ и богачей, и другая дешевенькая, плохенькая, сшитая на живую нитку и существующая для всякихъ разночинцевъ. Первая ни при какихъ условіяхъ не могла и не должна была даже въ самомъ отдаленномъ будущемъ спускаться къ народу. Второй точно такъ-же было на вѣчныя времена запрещено подниматься къ избранному обществу. Переходовъ и промежуточныхъ оттѣнковъ между первой и второй системой не допускалось никакихъ. Приверженцы классическаго образованія попадали такимъ образомъ въ очень странное и до нѣкоторой степени фальшивое положеніе. Чѣмъ больше они прославляли изученіе классической древности, какъ единственную годную подготовку ко всякой серьезной умственной дѣятельности, тѣмъ яснѣе просвѣчивалъ въ ихъ разсужденіяхъ тотъ основной мотивъ, что они очень добросовѣстно стараются всѣми силами

Digitized by Google

навсегда отрѣзать народу путь ко всякому серьезному и здоровому умственному труду.

Изъ словъ Тиндалля мы видимъ, что защитники естествознанія поступаютъ какъ-разъ наоборотъ. Говоря объ умственныхъ потребностяхъ націи, они дѣйствительно подразумѣваютъ всю націю и не стараются отдѣлить нѣсколькихъ избранныхъ отъ громаднаго большинства народа. Для нихъ нѣтъ ни избранныхъ, ни отверженныхъ. Они хотятъ, чтобы богачъ и бѣднякъ, лордъ и простой работникъ были способны понимать другъ друга, чтобы основы ихъ умственнаго развитія и существенныя черты ихъ образа мыслей были одинаковы, чтобы между ними было какъ можно больше точекъ соприкосновенія, чтобы число этихъ точекъ увеличивалось съ каждымъ новымъ поколѣніемъ, и чтобы то различіе, которое неизбѣжно будетъ существовать между образованіемъ высшихъ и богатѣйшихъ сословій, было различіемъ, способнымъ постоянно уменьшаться,—различіемъ, состоящимъ не въ качествѣ умственнаго закала, а только въ количествѣ свѣдѣній, добытыхъ изъ школьнаго ученія и изъ прочитанныхъ книгъ. Ни одинъ здравомыслящій человѣкъ не затруднится рѣшить, которая изъ двухъ противуположныхъ партій готовитъ націи болѣе спокойную будущность и болѣе счастливое развитіе.

III.

Послѣ лекціи Тиндалля помѣщена въ книгѣ Юманса лекція доктора Добени о необходимости химіи, какъ составной части общаго образованія. Добени, подобно Тиндаллю, сосредоточиваетъ вниманіе своихъ слушателей нестолько на практическую приложимость химіи, сколько на то вліяніе, которое основательное изученіе этой науки можетъ оказывать на умственное развитіе учащихся. Не придавая своимъ разсужденіямъ ни малѣйшаго полемическаго оттѣнка, отзываясь постоянно о классическомъ образованіи со всѣми наружными признаками глубокаго уваженія, Тиндалль, Добени и всѣ остальные натуралисты, которыхъ размышленія помѣщены въ книгѣ Юманса, постоянно поражаютъ любителей классицизма на ихъ собственной почвѣ, ихъ собственнымъ оружіемъ. Любители классицизма говорятъ: мы очень хорошо знаемъ, что англичанинъ нашего времени можетъ съ большимъ удобствомъ прожить свой вѣкъ, не прочитавши ни одной строки Горація или Анакреона; мы очень хорошо знаемъ, что знаніе двухъ древнихъ языковъ не нужно ни для того, чтобы заниматься ремесломъ, ни для того, чтобы завѣдывать фабрикой, ни для того, чтобы вести дѣла торговой фирмы, ни для того, чтобы служить въ арміи или во флотѣ, ни для того, чтобы дебютировать въ парламентѣ или защищать кліента передъ судомъ, словомъ, ни для одного изъ тѣхъ многихъ практическихъ занятій, которымъ предаются граждане Великобританскаго королевства. Все это мы знаемъ какъ нельзя лучше; но мы дорожимъ древними языками, грамматиками и литературами, какъ драгоцѣннымъ и незамѣнимымъ образовательнымъ средствомъ, какъ такой умственной пищей, которая изощряетъ, развертываетъ и укрѣпляетъ самымъ неподражаемымъ образомъ всѣ силы и способности учащейся молодежи.—Мы васъ понимаемъ, отвѣчаютъ на это натуралисты, и мы постараемся вамъ доказать, что наши науки, именно какъ образовательное средство, стоятъ гораздо выше той умственной пищи, которую вы считаете незамѣнимой.

Добени полагаетъ, что для тѣхъ многочисленныхъ умовъ, которые неспособны задумываться надъ отвлеченными истинами, наполняющими область математики, химія можетъ сдѣлаться превосходной школой мышленія, потому что здѣсь умъ работаетъ надъ осязательными явленіями и въ каждую данную минуту можетъ повѣрять свой теоретическій выводъ фактами живой дѣйствительности. Лучше всѣхъ другихъ физическихъ наукъ химія развиваетъ, по мнѣнію Добени, привычки къ точному наблюденію; она пріучаетъ человѣка обращать самое строгое вниманіе на всѣ мельчайшія особенности каждаго явленія; постоянно сдерживая порывы фантазіи указаніями опыта, она въ то-же время возбуждаетъ силу воображенія настолько, насколько это необходимо для того, чтобы человѣкъ могъ формировать новыя комбинаціи изъ впечатлѣній, полученныхъ извнѣ; и наконецъ она воспитываетъ въ учащемся способность открывать въ явленіяхъ сходство и различіе и распредѣлять пеструю массу существующихъ фактовъ по рубрикамъ и категоріямъ естественной классификаціи.

При изученіи химіи непосредственная работа надъ міромъ дѣйствительныхъ явленій еще болѣе необходима, чѣмъ при изученіи физики. Учиться химіи по книжкѣ безъ лабораторіи все равно, что совсѣмъ ей не учиться. Учиться химіи по книжкѣ—значитъ заваливать память плохо понятыми научными терминами и формулами. Такія занятія могутъ развить въ учащемся только печальную способность удовлетворяться неполнымъ и неяснымъ пониманіемъ изучаемаго предмета. Вмѣсто того чтобы укрѣплять мыслительную силу, такія занятія могутъ только отучать молодой умъ отъ серьезнаго мышленія.

Проникши въ лабораторію и вступивъ такимъ образомъ на путь опытнаго изслѣдованія, учащійся конечно начинаетъ съ повѣрки тѣхъ простѣйшихъ истинъ, которыя вычитаны имъ изъ первыхъ главъ учебника. Учащійся произво-

Digitized by Google

дитъ опыты, описанные въ книгѣ, и дѣйствуетъ по указанной программѣ, стараясь держаться къ ней какъ можно ближе; но при этомъ онъ не можетъ дѣйствовать машинально: самые простые опыты удаются только въ томъ случаѣ, когда соблюдены всѣ необходимыя условія, и когда все вниманіе экспериментатора съ начала до конца остается постоянно сосредоточеннымъ на производящейся комбинаціи. Учебная книга не можетъ предвидѣть всѣ тѣ мелкія случайности, которыя могутъ помѣшать успѣху даннаго опыта; наткнувшись на неудачу, начинающій экспериментаторъ становится втупикъ, припоминаетъ всѣ мельчайшія подробности своего несостоявшагося опыта и старается отыскать причину неуспѣшнаго окончанія. Повтореніе опыта производится съ усиленной тщательностью; вниманіе учащагося устремляется преимущественно на ту сторону дѣла, въ которой оказалась, по его мнѣнію, оплошность; въ случаѣ новой неудачи начинается новое изслѣдованіе причинъ, и такимъ образомъ, дѣлая ошибки и потомъ отыскивая и исправляя ихъ, экспериментаторъ дополняетъ указанія учебника своими собственными наблюденіями, усвоиваетъ себѣ техническую сноровку своего дѣла и знакомится со всѣми тѣми особенностями различныхъ тѣлъ, которыя такъ или иначе могутъ видоизмѣнить своимъ вліяніемъ окончательные результаты его манипуляцій. Въ то-же время, чѣмъ ближе учащійся знакомится съ тайнами лабораторіи, тѣмъ чаще напрашивается къ нему въ голову соблазнительная мысль свернуть на минуту съ той проторенной дороги, на которую указываетъ учебникъ, заглянуть мелкомъ въ какой-нибудь неизслѣдованный уголокъ химическаго дѣла и произвести какой-нибудь замѣчательный опытъ. Воображеніе учащагося разыгрывается; ему начинаетъ казаться, что онъ можетъ придумать новую комбинацію, посредствомъ которой ему удастся вырвать у природы одну изъ многихъ ея неразоблаченныхъ тайнъ; онъ приступаетъ къ работѣ съ горячностью, свойственной молодому изслѣдователю, и вдругъ блистательныя надежды смѣняются горькимъ разочарованіемъ; выведенныя заключенія оказываются скороспѣлыми и неосновательными; воздушный замокъ не выдерживаетъ тѣхъ испытаній, черезъ которыя должна быть проведена въ химической лабораторіи каждая привлекательная гипотеза. Юный экспериментаторъ приходитъ къ тому спасительному убѣжденію, что роскошный полетъ воображенія долженъ постоянно регулироваться указаніями трезваго разсудка и правильно понятаго опыта. Онъ не отказывается придумывать новыя комбинаціи; его работа постоянно наталкиваетъ его на новыя гипотезы; но путемъ неудачъ и разочарованій онъ пріучается сдерживать свою фантазію въ должныхъ границахъ и приходитъ понемногу къ тому равновѣсію различныхъ умственныхъ силъ, которое необходимо для успѣшнаго отправленія всякихъ серьезныхъ обязанностей. Въ немъ развиваются умственная требовательность и строжайшая добросовѣстность; въ немъ растетъ и крѣпнетъ непреодолимое стремленіе отдавать себѣ самый точный и подробный отчетъ въ каждой мельчайшей особенности своего дѣла; ему становится отвратительнымъ всякое умственное неряшество, всякое неумѣніе или нежеланіе довести мысль до конца, всякое поверхностное геніальничанье, чуждающееся терпѣливаго чернаго труда и удовлетворяющееся кое-какими натянутыми аналогіями и искусственными полудоказательствами.

Чтобы показать, какое упорство въ преслѣдованіи и повѣркѣ своей мысли развивается въ умномъ человѣкѣ подъ вліяніемъ постоянныхъ и усидчивыхъ химическихъ занятій, Добени разсказываетъ въ общихъ чертахъ исторію одного изъ важнѣйшихъ открытій, сдѣланныхъ знаменитымъ химикомъ Деви. Въ настоящее время извѣстно, что электричество вольтова столба разлагаетъ воду на ея составныя части, водородъ и кислородъ. Это открытіе, доказавшее связь между электрическимъ притяженіемъ и химическимъ сродствомъ, далось сэру Гемфри Деви путемъ продолжительныхъ и разнообразныхъ экспериментовъ.

Сначала Деви находилъ постоянно, что къ кислороду разложенной воды примѣшивается кислота, а къ водороду—щелочь и даже известь. Деви предположилъ, что эти постороннія частицы отдѣляются отъ стѣнокъ сосуда и отъ другихъ тѣлъ, приходящихъ въ соприкосновеніе съ разлагаемой водой. Онъ сообразилъ, что стеклянный сосудъ производитъ соду, а хлопчатая бумага, которой были соединены полюсы электрическаго аппарата, порождаетъ соляную кислоту. Тогда вмѣсто стекляннаго сосуда онъ взялъ агатовый, а вмѣсто хлопчатой бумаги — волокна аміанта или горнаго льна. Вода разложилась, но, несмотря на принятыя предосторожности, у положительнаго полюса опять появилась соляная кислота, а у отрицательнаго—сода. Деви повторилъ опытъ много разъ, и всякій разъ получались приблизительно одинаковые результаты. Деви заключилъ, что агатъ разлагается, и замѣнилъ его чистымъ золотомъ. При разложеніи воды щелочь продолжала появляться попрежнему. Тогда Деви подвергнулъ ту воду, которую онъ употребилъ для своихъ экспериментовъ, самому тщательному химическому анализу, несмотря на то, что эта вода была дистиллирована. Въ кварѣ воды оказалось семь десятыхъ грана соляного вещества. Деви еще разъ самымъ тщательнымъ образомъ дистиллировалъ воду въ серебряныхъ сосудахъ,

Digitized by Google

представляя себѣ, что уже послѣ этой послѣдней операціи неоткуда будетъ взяться никакой посторонней примѣси. Разложивъ воду посредствомъ электрическаго тока, Деви нашелъ однако-же, что попрежнему получаются на обоихъ противоположныхъ полюсахъ кислота и щелочь. Но вмѣсто соды получился амміакъ, а вмѣсто соляной кислоты — селитряная. Тогда Деви остановился на томъ предположеніи, что оба эти вещества составились изъ соединенія азота, заключающагося въ окружномъ воздухѣ, съ обѣими составными частями разложенной воды, т. е. съ кислородомъ и водородомъ. Чтобы провѣрить эту гипотезу, потребовалось еще послѣднее, рѣшительное испытаніе. Надо было отдѣлить воду отъ соприкосновенія съ атмосфернымъ воздухомъ; поэтому Деви произвелъ разложеніе воды въ безвоздушномъ пространствѣ, подъ колоколомъ воздушнаго насоса. А чтобы успѣху опыта не помѣшалъ воздухъ, находящійся въ самой водѣ. Деви до начала разложенія выгналъ изъ нея весь воздухъ посредствомъ тщательнаго кипяченія. Повидимому всѣ причины неудачи были устранены, а между тѣмъ успѣхъ опыта еще разъ оказался неполнымъ: селитряная кислота появилась снова, хотя и въ гораздо меньшихъ доляхъ, чѣмъ при прежнихъ опытахъ. Для Деви такой неполный успѣхъ равнялся полному неуспѣху; никакіе приблизительные результаты не могли его удовлетворить; для него было немыслимо объяснить себѣ вкравшуюся погрѣшность какимъ-нибудь правдоподобнымъ предположеніемъ и потомъ успокоиться на этомъ непровѣренномъ предположеніи. Ему надо было во что бы то ни стало устранить погрѣшность и доказать самому себѣ, не путемъ логическихъ выкладокъ и разсужденій, а неопровержимымъ свидѣтельствомъ осязательныхъ фактовъ, что случившаяся погрѣшность обусловливается именно той или другой причиной. Деви объяснилъ себѣ неудачу послѣдняго опыта тѣмъ обстоятельствомъ, что по всей вѣроятности воздухъ недостаточно хорошо былъ вытянутъ изъ подъ того колокола, подъ которымъ производилось разложеніе воды.

Чтобы вполнѣ обезпечить себя съ этой стороны, Деви сначала вытянулъ воздухъ, потомъ наполнилъ колоколъ чистымъ водородомъ и затѣмъ еще разъ опорожнилъ колоколъ самымъ тщательнымъ образомъ. Наконецъ долговременные труды великаго изслѣдователя увѣнчались самымъ полнымъ успѣхомъ. Впродолженіи двадцати четырехъ часовъ подъ рядъ Деви подвергалъ воду, поставленную подъ опорожненный колоколъ, дѣйствію вольтаическаго электричества, и во все это время не получилось ничего, кромѣ чистаго кислорода и чистаго водорода. Самый строгій химическій анализъ не могъ показать ни малѣйшихъ слѣдовъ щелочи и кислоты, которыя такъ долго преслѣдовали неутомимаго экспериментатора.

Мы не будемъ распространяться о научномъ значеніи того опыта, который такъ долго не удавался геніальному изслѣдователю. Для насъ въ настоящую минуту интересна только психологическая сторона разсказаннаго эпизода. Для насъ важенъ преимущественно тотъ комплектъ умственныхъ привычекъ, тотъ строй умственной выдержки или дисциплины, тотъ колоритъ отношеній человѣка къ своему труду, который обнаруживается съ поразительной яркостью въ этомъ величественномъ столкновеніи и въ этой глубоко драматической борьбѣ анализирующей мысли съ слѣпыми силами матеріи, подчиненными на вѣчныя времена незыблемымъ и нерушимымъ законамъ.

Мы привыкли называть геніями тѣхъ людей, которые сдѣлали какое-бы то ни было важное открытіе въ области науки Та идея, которую мы связываемъ со словомъ *геній*, состоитъ, по нашему мнѣнію, изъ двухъ главныхъ и существенно различныхъ элементовъ. Во-первыхъ, чтобы изъ разсмотрѣнія и сличенія такихъ фактовъ, которые находятся передъ глазами у цѣлой толпы изслѣдователей, вывести такую идею, которая не приходила въ голову ни одному изслѣдователю, надо обладать необыкновенной силой умственныхъ способностей. Эта сила по всей вѣроятности родится вмѣстѣ съ человѣкомъ и не можетъ быть привита никакимъ воспитаніемъ, какъ бы оно ни было раціонально устроено. Но эта сила сама по себѣ недостаточна для того, чтобы превратить остроумную и привлекательную гипотезу въ общепризнанную научную истину. Блестящія гипотезы сами по себѣ не имѣютъ никакого значенія ни въ наукѣ, ни въ практической жизни; онѣ каждый день возникаютъ и лопаются, какъ мыльные пузыри, не оставляя послѣ себя никакого прочнаго слѣда, и авторы ихъ считаются совсѣмъ не геніями, а только остроумными фантазерами, если у нихъ недостаетъ знаній, умѣнія и терпѣнія на то, чтобы защитить свою идею противъ всевозможныхъ сомнѣній, возраженій и опроверженій. Наткнувшись на счастливую идею, человѣкъ долженъ доказать ея вѣрность себѣ и другимъ. Чтобы серьезно доказывать какую-бы то ни было новую и оригинальную мысль, и чтобы этими доказательствами одержать побѣду надъ всѣми ея противниками,—надо собирать факты, надо разсматривать ихъ съ той или другой стороны, надо подвергать ихъ тому или другому освѣщенію, надо изучать и критиковать ихъ; словомъ, надо трудиться много и долго, терпѣливо и послѣдовательно, со смысломъ и съ знаніемъ дѣла. Это умѣнье трудиться и бороться за идею составляетъ второй необходимый элементъ геніаль-

*

Digitized by Google

ности, и этотъ второй элементъ можетъ быть пріобрѣтенъ посредствомъ разумнаго и цѣлесообразнаго воспитанія каждымъ здоровымъ и неглупымъ человѣкомъ. Если человѣкъ съ молодыхъ лѣтъ занимается такимъ дѣломъ, въ которомъ каждый шагъ впередъ требуетъ хладнокровія и терпѣнія, и если это дѣло привязываетъ къ себѣ человѣка, то можно сказать навѣрное, что этотъ человѣкъ скоро выучится размышлять и дѣйствовать хладнокровно и терпѣливо. Если человѣкъ изучаетъ серьезно и съ любовью такую науку, которая во всѣхъ своихъ подробностяхъ можетъ служить образцомъ и школой послѣдовательнаго и осмотрительнаго мышленія, то навѣрное этотъ человѣкъ, самъ того не замѣчая, подчинится дисциплинирующему дѣйствію этой любимой науки, и на всю жизнь внесетъ въ міръ собственной мысли ту послѣдовательность и ту осмотрительность, съ которыми онъ освоился въ сферѣ своихъ научныхъ занятій.

Съ одной стороны не трудно понять, что громадный умъ, не выдрессированный основательнымъ научнымъ образованіемъ, не выдержанный въ школѣ строгаго и точнаго мышленія, не закаленный въ привычкахъ къ упорному и отчетливому труду, останется въ большей части случаевъ яркимъ, но безплоднымъ явленіемъ: изъ такого громаднаго ума выработается по всей вѣроятности блестящій диллетантъ, который пробѣжитъ черезъ всѣ области человѣческаго знанія, набросаетъ въ каждую изъ нихъ по нѣскольку остроумныхъ гипотезъ и ни на одной изъ этихъ областей не остановится для того, чтобы оплодотворить ту или другую изъ нихъ усидчивымъ и послѣдовательнымъ трудомъ. Съ другой стороны не подлежитъ сомнѣнію, что обыкновенный умъ, усвоившій себѣ хорошіе пріемы и навыки, можетъ работать съ успѣхомъ и съ пользою на всѣхъ поприщахъ научной и практической дѣятельности. Если два послѣднія соображенія будутъ признаны вѣрными, то надо будетъ согласиться, что изъ двухъ составныхъ элементовъ геніальности второй, тотъ, который пріобрѣтается воспитаніемъ, важнѣе перваго, то есть того, который дается самой природой.

Еслибы мы даже, принимая въ разсчетъ ту скупость, съ которой природа производитъ геніальныхъ людей, пришли къ тому убѣжденію, что первый элементъ драгоцѣннѣе второго, то и въ этомъ случаѣ мы все-таки должны были-бы признаться, что въ практическомъ отношеніи второй важнѣе перваго. Понятно—почему. Мы до сихъ поръ не имѣемъ подъ руками такихъ мѣръ, посредствомъ которыхъ мы могли-бы увеличить число счастливыхъ рожденій, дающихъ міру геніальныхъ дѣтей. Напротивъ того, мы уже знаемъ достовѣрно по теоретическимъ соображеніямъ и по многократнымъ опытамъ, что извѣстная система умственныхъ занятій развиваетъ въ человѣкѣ всѣ тѣ свойства и привычки, которыя одинаково необходимы для общеполезной дѣятельности и генію, и обыкновенному здоровому уму. Поэтому всѣ наши размышленія о необходимости перваго элемента не заставятъ насъ принять никакого практическаго рѣшенія. Напротивъ того, когда мы убѣдимся въ необходимости второго элемента, и когда мы поймемъ, что этотъ второй элементъ необходимъ для всей массы размышляющихъ людей,—тогда мы всей тяжестью просвѣщеннаго общественнаго мнѣнія склонимся на сторону тѣхъ воспитывающихъ научныхъ занятій, посредствомъ которыхъ въ человѣкѣ развивается съ ранней молодости способность къ добросовѣстному мышленію, къ упорному и отчетливому изслѣдованію и къ терпѣливому труду.

«Я,—говоритъ Добени, окончивъ свой разсказъ объ открытіи Деви,—тѣмъ болѣе былъ расположенъ остановиться на этомъ особомъ родѣ изслѣдованія, что здѣсь философскій характеръ сэра Гемфри Деви представляется далеко не въ томъ свѣтѣ, въ какомъ его обыкновенно разсматриваютъ поверхностные наблюдатели. Онъ является здѣсь не такой личностью, которая внезапнымъ внушеніемъ своего генія схватывала сразу блестящія открытія, производившія переворотъ въ цѣлой наукѣ, а, напротивъ того,—такимъ дѣятелемъ, который долгимъ и многотруднымъ путемъ изслѣдованія доходилъ до осуществленія мечты, представившейся сначала въ неясныхъ очеркахъ его могучему уму.»

«Если мы признаемъ, что двумя важнѣйшими услугами, оказанными этимъ великимъ мыслителемъ его любимой наукѣ, были: открытіе щелочныхъ и землистыхъ основаній и исправленіе нашихъ взглядовъ на сущность хлорина, — первое, какъ важнѣйшій вкладъ его въ область научныхъ фактовъ, а второе, какъ важнѣйшее усовершенствованіе, сдѣланное имъ въ логикѣ науки,—то мы найдемъ, что въ обоихъ этихъ случаяхъ результаты были добыты очень терпѣливымъ изслѣдованіемъ, многими мелкими и повидимому пустыми манипуляціями и такой настойчивостью въ стремленіи къ цѣли, которую не могли побѣдить никакія препятствія, усѣевавшія на каждомъ шагу его путь.

«Учащемуся полезно получить во-время то указаніе, что таковъ обыкновенно удѣлъ генія, не только тогда, когда онъ посвящаетъ свои силы наукѣ, но и тогда, когда онъ работаетъ въ какой-нибудь другой отрасли умственной дѣятельности; это правило одинаково подтверждается примѣрами Деви и Либиха, или примѣрами Фокса и Шеридана. Въ силу закона, господствующаго надъ нашей физической природой, мы можемъ переваривать, уподоблять и комбинировать съ большей или меньшей лег-

Digitized by Google

костью матеріалы, находящіеся у насъ подъ рукою, но мы не можемъ создавать ихъ въ точномъ смыслѣ этого слова; такъ точно ни одинъ умъ, какъ-бы онъ ни былъ могучъ, ни одно воображеніе, какъ-бы оно ни было плодовито, не могутъ идти съ успѣхомъ къ какой-бы то ни было хорошей цѣли, если они не пользуются въ обширныхъ размѣрахъ запасами знаній, собранныхъ другими людьми, и если они не располагаютъ умственнымъ фондомъ, составленнымъ изъ собственныхъ опытовъ и наблюденій.»

Доказавъ пользу химіи, какъ образовательнаго средства, Добени дѣлаетъ нѣсколько замѣчаній о значеніи химіи въ ряду другихъ естественныхъ наукъ и о необходимости знать химію для того, чтобы изучать жизнь растеній и животныхъ, и для того, чтобы отдавать себѣ отчетъ въ тѣхъ измѣненіяхъ, которыя совершались и совершаются постоянно на поверхности земного шара. Далѣе Добени говоритъ о тѣхъ практически полезныхъ свѣдѣніяхъ, которыя химія можетъ дать людямъ, стоящимъ на самыхъ различныхъ ступеняхъ общественной лѣстницы. Затѣмъ Добени пускается въ общія размышленія о той системѣ образованія, которая господствуетъ въ Англіи.

«Кто находитъ,—говоритъ онъ,—что дѣтей слѣдуетъ учить только тому, что было сказано и сдѣлано другими людьми,—для того примѣръ китайцевъ можетъ служить поучительнымъ предостереженіемъ. Мы здѣсь видимъ націю, отодвинувшуюся назадъ на пути цивилизаціи вслѣдствіе того, что она полагалась исключительно на мудрость своихъ предковъ, слѣдовала въ техническомъ производствѣ тѣмъ правиламъ, которыя были ей переданы изъ далекаго прошедшаго, и посвящала большую часть своихъ ученыхъ досуговъ изученію всѣхъ тонкостей такого языка, которому повидимому можно выучиться вполнѣ только проработавши надъ нимъ цѣлую жизнь.

«Надо впрочемъ отдать справедливость этому народу въ томъ отношеніи, что онъ лучше другихъ націй можетъ оправдать свое пристрастіе къ старинными понятіямъ и обычаямъ. Задолго до того времени, когда Европа вышла изъ варварства, Китай обладалъ искусствомъ книгопечатанія, порохомъ и компасомъ, его жители одѣвались въ шелкъ, что считалось у насъ царственной роскошью даже во времена королевы Елисаветы, довели до совершенства обработку фарфора и поставили на высокую степень развитія земледѣліе и многія отрасли промышленности. Обширная Китайская имперія пользовалась патріархальнымъ управленіемъ; у нея была аристократія, основанная исключительно на разумномъ принципѣ интеллектуальнаго превосходства, засвидѣтельствованнаго публичными состязаніями; въ этой имперіи существовала полная система внутреннихъ сообщеній посредствомъ дорогъ и каналовъ; и былъ составленъ сводъ законовъ, который, даже съ нашей теперешней точки зрѣнія, оказывается проникнутымъ, по мнѣнію компетентныхъ судей, практическимъ благоразуміемъ и европейскимъ здравомысліемъ. Слѣдуетъ-ли удивляться тому, что, окруженный ордами простыхъ дикарей, и не получая никакихъ благопріятныхъ свѣдѣній о болѣе отдаленныхъ націяхъ, Китай воспиталъ въ себѣ преувеличенное уваженіе къ своему матеріальному и умственному превосходству и вообразилъ себѣ, будто-бы при его высокомъ положеніи перемѣны составляютъ единственную опасность, отъ которой должно остерегаться?—И между тѣмъ послѣ десяти вѣковъ застоя какое зрѣлище представляетъ намъ эта нація? Народонаселеніе изнѣженное и униженное, стоящее позади насъ даже въ тѣхъ отрасляхъ промышленности, которыми оно преимущественно гордится, и неспособное усвоить себѣ въ какихъ-бы то ни было размѣрахъ изобрѣтенія другихъ народовъ; обезьянье племя, грязное и чувственное;—и классъ педантовъ, равнодушныхъ ко всякой отвлеченной наукѣ и способныхъ интересоваться только тѣми подробностями, которыя обѣщаютъ какую-нибудь осязательную и непосредственную выгоду. Я конечно не имѣю намѣренія сравнивать философію Конфуція съ философіей Аристотеля или литературныя произведенія монгольской націи съ созданіями, порожденными высшимъ умственнымъ типомъ, до котораго когда-либо возвышалось человѣчество. Но дурныя послѣдствія, на которыя я указывалъ, произошли, какъ мнѣ кажется, не отъ низкаго достоинства тѣхъ образцовъ, съ которыхъ китайцы производили копіи, а отъ ихъ рабскаго подчиненія этимъ образцамъ.»

Это указаніе на примѣръ китайцевъ тѣмъ болѣе выразительно и поучительно что его дѣлаетъ профессоръ Оксфордскаго университета, знаменитѣйшаго разсадника тѣхъ идей и стремленій, благодаря которымъ Англія рискуетъ уподобиться Китаю. Въ лекціи Тиндалля мы уже видѣли выраженіе той-же идеи, которую здѣсь развиваетъ Добени. Тиндаль также протестовалъ очень громко противъ подобострастныхъ отношеній къ мудрости далекаго прошедшаго. Тотъ-же мотивъ проходитъ, какъ мы увидимъ ниже, черезъ всѣ замѣчательнѣйшія лекціи, собранныя въ книгѣ Юманса.

«Защитники чисто классическаго образованія,—говоритъ далѣе Добени—упускаютъ изъ виду нѣкоторыя соображенія, помимо которыхъ трудно добраться до правильнаго заключенія по такому предмету.

«Во-первыхъ, какъ я уже замѣтилъ, желательно воспитывать и развивать способность

Digitized by Google

тщательно наблюдать, ясно понимать и правильно классифицировать встрѣчающіеся предметы. Всѣ эти дарованія всего лучше могутъ быть развиваемы въ ранній періодъ жизни, и ничто не можетъ развернуть ихъ такъ полно, какъ курсъ химическаго изученія.

«Во-вторыхъ, тѣ многія неотразимыя вліянія, которыя принуждаютъ учащагося окунуться въ дѣятельную жизнь тотчасъ послѣ выхода изъ школы или университета, часто мѣшаютъ ему усвоить себѣ сколько-нибудь здравыя понятія о физической наукѣ, если эта наука не входитъ въ составъ его школьнаго образованія.

«Наконецъ очень значительная часть человѣчества по складу своего ума неспособна заниматься науками, преподаваемыми въ нашихъ университетахъ, съ тѣмъ успѣхомъ, который требуется для того, чтобы эти занятія могли принести ожидаемую отъ нихъ пользу.

«Въ учебномъ заведеніи, предназначенномъ для воспитанія юношества цѣлой страны, какъ-бы высоко ни поднимались требованія, дающія права на отличіе, во всякомъ случаѣ уровень общеобязательныхъ требованій долженъ стоять низко; между тѣмъ достовѣрно извѣстно, что большинство молодыхъ людей, учащихся въ университетѣ, дойдя до этого общеобязательнаго уровня безъ малѣйшихъ усилій, нисколько не старается идти дальше и подниматься выше.

«И это равнодушіе съ ихъ стороны не должно быть приписано ни отсутствію доброй воли, ни недостатку умственныхъ способностей, потому что эти-же самые люди въ своей послѣдующей жизни обнаруживаютъ большую рачительность и значительное здравомысліе въ качествѣ приходскихъ священниковъ, или должностныхъ лицъ, или даже членовъ законодательнаго собранія. Ихъ прежняя умственная апатія въ отношеніи ко всѣмъ академическимъ занятіямъ происходила, какъ я думаю, въ значительной степени оттого, что они были неспособны углубляться въ философію древняго міра или привязываться душой къ его ораторамъ, историкамъ или поэтамъ.

«Если съ этой неспособностью къ литературнымъ занятіямъ соединяется одинаковое нерасположеніе къ отвлеченному изученію или къ высшимъ отраслямъ математики, то всякій легко пойметъ, что такіе юноши мало подвинутся впередъ съ того пункта, на которомъ они остановились въ школѣ, и что время, которое они проведутъ въ университетѣ, будетъ потрачено преимущественно на охоту, рыбную ловлю и другія еще менѣе полезныя забавы.

«Людямъ такого умственнаго склада особенно полезно изученіе опытныхъ наукъ, потому что сильно практическія стремленія ихъ умовъ, мѣшающія имъ предаваться съ успѣхомъ главнымъ университетскимъ занятіямъ, дѣлаютъ ихъ преимущественно способными наблюдать явленія природы и кромѣ того въ большей части случаевъ оказываются сопряженными съ той сообразительностью и проницательностью, которыя необходимы для истолкованія подмѣченныхъ фактовъ.»

V.

Теперь мы перейдемъ въ область біологіи, то есть будемъ объяснять по тѣмъ матеріаламъ, которые даетъ книга Юманса, образовательное вліяніе тѣхъ наукъ, которыя занимаются явленіями органической природы. Всѣ живые организмы, существующіе на земномъ шарѣ, распадаются, какъ извѣстно, на два огромныя царства,—растительное и животное. Первымъ изъ этихъ двухъ царствъ занимается ботаника, вторымъ—зоологія. Въ обѣихъ этихъ наукахъ, находящихся въ тѣснѣйшемъ родствѣ между собой, господствуютъ одни и тѣ-же методы изслѣдованія; знаніе обѣихъ наукъ одинаково необходимо всякому, кто желаетъ имѣть сколько-нибудь отчетливое понятіе о томъ, что совершается въ природѣ, вокругъ него и въ немъ самомъ. Поэтому доказывать отдѣльно сначала важность ботаники, потомъ важность зоологіи—значило-бы впадать въ неизбѣжныя повторенія, очень утомительныя и нисколько неубѣдительныя для читателя.

Въ книгѣ Юманса четыре лекціи (Генри—о ботаникѣ, Гексли — о зоологіи, Паджета — о физіологіи и самого Юманса—объ изученіи человѣка) посвящены защитѣ біологическихъ наукъ противъ тѣхъ застарѣлыхъ предубѣжденій, которыя до сихъ поръ поддерживаются даже въ Англіи непризванными руководителями общественнаго мнѣнія,—людьми, посѣдѣвшими надъ словарями и грамматиками и старающимися убѣдить себя и другихъ въ томъ, что трудъ цѣлой ихъ жизни принесъ очень много пользы ихъ соотечественникамъ. Защитники естествознанія говорятъ самымъ скромнымъ и умѣреннымъ тономъ; всѣ они, наперерывъ другъ передъ другомъ, свидѣтельствуютъ свое глубокое уваженіе тѣмъ чисто литературнымъ занятіямъ, которыя до сихъ поръ господствовали въ англійскихъ школахъ и коллегіяхъ; и всѣ они только позволяютъ себѣ замѣтить, что преобладаніе классическихъ языковъ и литературъ черезъ-чуръ исключительно, и что не мѣшало-бы отвести уголъ для... для чего-же именно?.. тутъ каждый изъ адвокатовъ произноситъ имя той науки, которую онъ защищаетъ, и не говоритъ ни слова о тѣхъ наукахъ, которыя защищаются его товарищами. Вслѣдствіе этого каждое требованіе, взятое отдѣльно,

Digitized by Google

кажется очень скромнымъ и удобоисполнимымъ. Отчего-бы въ самомъ дѣлѣ не ввести въ училище преподаваніе ботаники въ размѣрѣ двухъ-трехъ уроковъ въ недѣлю, не стѣсняя для этого новаго учебнаго предмета ни греческую грамматику, ни переводы съ латинскаго на греческій, ни сочиненіе латинскихъ стиховъ? Но бѣда состоитъ въ томъ, что если одно требованіе покажется вамъ законнымъ, то и другое, и третье, и четвертое требованія точно также покажутся вамъ основательными и разумными. Если вы убѣдитесь тѣми доказательствами, которыя приводятся въ пользу ботаники, то вамъ нечего будетъ возразить адвокатамъ физики, химіи, физіологіи и зоологіи. Если вы отворите дверь одной отрасли естествознанія, то въ эту дверь надо будетъ впустить и всѣ остальныя отрасли, потому что всѣ естественныя науки находятся въ тѣсной связи между собой и постоянно опираются одна на другую.

Поэтому скромность тѣхъ требованій, которыя высказываются англійскими натуралистами, никого не должна вводить въ заблужденіе. Совокупность этихъ требованій клонится положительно къ полному и самому радикальному перевороту въ той системѣ общаго образованія, которая господствовала въ Англіи со временъ реформаціи.

Какъ ботаника, такъ и зоологія распадаются на двѣ главныя части—абстрактную и конкретную. Первая занимается изслѣдованіемъ общихъ законовъ, подъ вліяніемъ которыхъ совершаются жизненныя отправленія всѣхъ растеній и всѣхъ животныхъ. Вторая занимается описаніемъ частныхъ явленій, то есть тѣхъ формъ, въ которыхъ выражается на земномъ шарѣ растительная и животная жизнь и въ которыхъ проявляется дѣйствіе общихъ законовъ, открытыхъ абстрактной частью науки.

Абстрактная часть обоихъ главныхъ отдѣловъ біологіи въ свою очередь распадается на три части.

Первая изъ нихъ, *морфологія* или *анатомія*, занимается обобщеніями, законами или принципами, относящимися къ формѣ или организаціи растеній и животныхъ. Вторая, *физіологія*, занимается обобщеніями, законами или принципами, относящимися къ тѣмъ процессамъ, которыхъ совокупность образуетъ жизнь растеній и животныхъ. Третья, *таксономія*, занимается принципами классификаціи растеній и животныхъ.

Какимъ образомъ производятся изслѣдованія въ области морфологіи—это показываетъ очень наглядно Гексли въ своей лекціи объ изученіи зоологіи. Гексли беретъ морского рака, разсматриваетъ его и обращаетъ вниманіе слушателей на тотъ общеизвѣстный фактъ, что такъ называемый хвостъ рака состоитъ изъ шести отдѣльныхъ твердыхъ колецъ и изъ седьмой вѣерообразной оконечности. Отдѣливъ отъ этого хвоста одно изъ колецъ, Гексли замѣчаетъ, что къ его нижней поверхности прикрѣплена пара членовъ, и что каждый изъ нихъ состоитъ изъ трехъ частей, связанныхъ между собою суставами. Разсматривая каждое кольцо отдѣльно, Гексли убѣждается въ томъ, что всѣ они устроены одинаково: къ каждому кольцу прикрѣплено по два членика, и каждый членикъ заключаетъ въ себѣ три отдѣльныя части. Если мы возьмемъ напримѣръ второе кольцо хвоста, то, разсматривая отдѣльно всѣ части этого кольца, мы можемъ найдти строго соотвѣтствующія имъ части въ третьемъ, четвертомъ или пятомъ кольцѣ. Эти части, взаимно соотвѣтствующія другъ другу, называются на языкѣ анатомовъ *гомологичными* частями. Если мы попробуемъ сравнить второе кольцо съ шестымъ, то мы замѣтимъ между ними значительное сходство и въ то-же время нѣкоторое различіе. Самыя кольца очень похожи другъ на друга, и каждое изъ нихъ снабжено парой членниковъ, состоящихъ изъ трехъ отдѣленій; но въ шестомъ кольцѣ первое отдѣленіе каждаго членика укорочено и утолщено, а послѣднія два отдѣленія расширены и сплющены. Почти такіе-же результаты даетъ намъ сравненіе среднихъ колецъ съ первымъ кольцомъ, примыкающимъ прямо къ грудному щиту рака. Рядъ этихъ простыхъ наблюденій, доступныхъ каждому зрячему человѣку, приводитъ насъ къ тому предположенію, что хвостъ рака составленъ изъ нѣсколькихъ кусковъ, въ которыхъ одинаковый основной планъ подвергается различнымъ измѣненіямъ. Отъ хвоста изслѣдователь переходитъ къ передней части тѣла. Съ перваго взгляда трудно найдти какое-нибудь сходство между сплошнымъ щитомъ, покрывающимъ голову и грудь животнаго, и хвостомъ, составленнымъ изъ семи отдѣльныхъ кусочковъ. Затрудненіе еще болѣе увеличивается, когда изслѣдователь, поворотивъ рака брюхомъ вверхъ, видитъ, что къ нижней поверхности его тѣла прикрѣплены сначала длинные усы или шупальца, потомъ шесть паръ челюстей, окружающихъ собою ротъ животнаго, и наконецъ пять паръ ногъ, изъ которыхъ передняя пара заканчивается большими клешнями. Повидимому нѣтъ возможности отыскать въ этой сложной системѣ разнообразныхъ органовъ рядъ колецъ, снабженныхъ парами трехъ суставчатыхъ членниковъ. Однакожъ, отдѣляя отъ тѣла животнаго его ноги, изслѣдователь замѣчаетъ, что каждая пара прикрѣплена къ ясно обозначенному отрѣзку на нижней поверхности щита. Вглядываясь въ эту нижнюю поверхность, изслѣдователь убѣждается въ томъ, что она составилась изъ слiянія нѣсколькихъ отдѣльныхъ колецъ. Разсматривая отдѣльно каждую

Digitized by Google

пару ногъ, усовъ или челюстей, изслѣдователь видитъ, что всѣ эти члены составлены по тому же основному плану, который былъ подмѣченъ въ членикахъ, прикрѣпленныхъ къ нижней поверхности хвоста. Въ концѣ концовъ получается тотъ результатъ, что тѣло рака составлено изъ двадцати колецъ, то есть, что на каждую пару членовъ приходится по одному кольцу; изъ этихъ двадцати колецъ шесть заднихъ остаются свободными и подвижными, а четырнадцать переднихъ срастаются наглухо, такъ что ихъ верхнія части образуютъ сплошной щитъ, въ которомъ не видно уже никакихъ швовъ или спаекъ.

Но какимъ путемъ можно доказать, что все это дѣйствительно правда, и что планъ, подмѣченный изслѣдователемъ въ организаціи морского рака, не навязанъ природѣ досужей фантазіей самого же изслѣдователя? Если давать волю такимъ предположеніямъ, что въ одномъ мѣстѣ кое-что прибавлено, а въ другомъ убавлено, а въ третьемъ измѣнено,—то можно будетъ безъ особеннаго труда, подмѣтить въ чемъ угодно какой угодно основной планъ. Чтобы этотъ будто-бы подмѣченный планъ имѣлъ сколько-нибудь серьезное научное значеніе, надо сначала доказать, что природа дѣйствительно строитъ по этому плану, то есть, что всѣ различные органы рака дѣйствительно выработались изъ колецъ, снабженныхъ парными члениками! Словомъ, анатомъ долженъ обратиться къ исторіи развитія или къ эмбріологіи, чтобы отыскать надежное подтвержденіе тѣмъ заключеніямъ, которыя добыты путемъ разсматриванія и разсѣченія взрослыхъ животныхъ.

Обращаясь къ фактамъ эмбріологіи, изслѣдователь находитъ, что ракъ сначала былъ яйцомъ, полужидкой массой желтка, заключенной въ прозрачную оболочку; въ этой каплѣ желтка, которая по величинѣ своей едва равнялась булавочной головкѣ, не видно было ни малѣйшихъ признаковъ тѣхъ сложныхъ и разнообразныхъ органовъ, которыми одарено взрослое животное. Черезъ нѣсколько времени на одной сторонѣ желтка появилось крошечное накопленіе клѣточекъ, которое постепенно разрослось и начало дѣлиться поперечными полосками на кусочки. Эти кусочки сдѣлались основой будущихъ колецъ; на нижней поверхности каждаго изъ этихъ кусочковъ появилось по двѣ бородавки, изъ которыхъ начали развиваться будущіе членики. Сначала всѣ эти членики совершенно похожи другъ на друга, но чѣмъ дальше идетъ процессъ развитія, тѣмъ болѣе они расходятся между собою до тѣхъ поръ, пока наконецъ они пріобрѣтаютъ свою окончательную форму, причемъ также переднія кольца или кусочки сливаются и срастаются въ одинъ сплошной щитъ.

Морфологическія наблюденія, подтвержденныя такимъ образомъ неопровержимымъ свидѣтельствомъ эмбріологіи, дѣлаются основаніемъ классификаціи. Принимая того-же морского рака за исходную точку своихъ изслѣдованій надъ животнымъ царствомъ, зоологъ замѣчаетъ, что нѣкоторыя животныя очень похожи на рака, другія менѣе похожи, третьи еще менѣе, и такъ далѣе, пока наконецъ онъ доберется до такихъ животныхъ, которыя совершенно не похожи на рака или, вѣрнѣе, имѣютъ съ нимъ только тѣ общіе признаки, которыми всякое животное отличается отъ растенія. Изъ животныхъ, очень сходныхъ между собою, составляется тѣсная группа, называемая родомъ; нѣсколько родовъ, имѣющихъ значительное количество общихъ признаковъ, составляютъ семейство; изъ нѣсколькихъ семействъ, болѣе сходныхъ между собою, чѣмъ съ другими семействами, образуется порядокъ, а изъ нѣсколькихъ порядковъ составляется классъ.

Сравнивая различныя животныя формы съ морскимъ ракомъ и собирая въ одну группу сходныя и родственныя явленія, натуралистъ составляетъ себѣ наконецъ понятіе о классѣ скорлуповатыхъ или ракообразныхъ животныхъ. Онъ сравниваетъ этотъ классъ съ другими классами и замѣчаетъ, что нѣкоторые классы имѣютъ съ нимъ больше сходства, чѣмъ другіе. Эти болѣе сходные классы, — насѣкомыя, пауки, многоножки, — включаются вмѣстѣ съ ракообразными въ обширную область членистыхъ или суставчатыхъ животныхъ. Наконецъ эти членистыя животныя вмѣстѣ съ червями и глистами входятъ въ составъ еще болѣе обширной группы, такъ называемаго подцарства кольчатыхъ (Annulosa).

Это составленіе группъ, соподчиненныхъ другимъ, болѣе обширнымъ группамъ, которыя въ свою очередь соединяются въ другія еще болѣе обширныя группы, совершенно необходимо для того, чтобы изслѣдователь не растерялся въ безконечномъ разнообразіи единичныхъ явленій, и чтобы онъ могъ окинуть общимъ взглядомъ все поле своей науки.

Для этого составленія группъ, кромѣ морфологическихъ или анатомическихъ наблюденій, необходимы еще и физіологическія изслѣдованія. Гексли показываетъ примѣръ физіологическихъ изслѣдованій надъ тѣмъ-же морскимъ ракомъ, который уже послужилъ ему исходной точкой для морфологическихъ и таксономическихъ соображеній. «Еслибы,—говоритъ Гексли,—мы подстерегли это животное въ его природной стихіи, мы бы увидѣли, что оно дѣйствительно карабкается своими сильными ногами по затопленнымъ утесамъ, среди которыхъ оно любитъ жить, или что оно плаваетъ, сильно ударяя воду своимъ большимъ хвостомъ, котораго око-

Digitized by Google

нечность распущена въ видѣ вѣерообразнаго весла; схватите его, и вы увидите, что его большія клешни служатъ ему такимъ наступательнымъ оружіемъ, которое не можетъ быть оставлено безъ вниманія; повѣсьте передъ нимъ кусокъ мяса, и оно жадно начнетъ ѣсть это мясо, раздирая и размельчая его своими многочисленными челюстями. Положимъ, что мы знали нашего рака только какъ безжизненную массу, какъ органическій кристаллъ – если мнѣ позволено будетъ употребить такое выраженіе,— и что вдругъ мы увидѣли съ его стороны проявленіе всѣхъ этихъ способностей: какія удивительно новыя идеи и новые вопросы возникли бы по этому случаю въ нашихъ умахъ! Великій новый вопросъ сложился-бы такъ: «какимъ образомъ все это происходитъ?» Главнѣйшей изъ новыхъ идей оказалась-бы идея приноровленія къ цѣли, понятіе о томъ, что на составныя части животныхъ тѣлъ слѣдуетъ смотрѣть не какъ на безсвязные куски, а какъ на орудія, работающія вмѣстѣ и выполняющія извѣстную задачу. Посмотримъ еще разъ на хвостъ рака съ этой новой точки зрѣнія. Морфологія научила насъ тому, что этотъ хвостъ—рядъ сегментовъ, составленныхъ изъ гомологичныхъ частей, подвергшихся различнымъ видоизмѣненіямъ, подъ которыми и сквозь которыя можно различить общій планъ строенія. Но если я посмотрю на ту-же часть съ физіологической точки зрѣнія, я увижу, что этотъ хвостъ—превосходно устроенное орудіе движенія посредствомъ котораго животное можетъ быстро подвигаться впередъ и назадъ. Но какимъ образомъ пускается въ ходъ эта замѣчательная двигательная машина? Еслибы я вдругъ убилъ одно изъ этихъ животныхъ и вынулъ изъ него всѣ мягкія части, я-бы нашелъ, что скорлупа сдѣлалась совершенно безжизненной и что она потеряла всякую способность двигаться, такъ точно, какъ ее потеряетъ мельничная механика, когда разорвана ея связь съ паровой машиной или съ водянымъ колесомъ. Но еслибы я вскрылъ рака и вынулъ изъ него внутренности, оставляя нетронутымъ бѣлое мясо, я-бы замѣтилъ, что ракъ попрежнему можетъ сгибаться и вытягивать хвостъ. Еслибы я отрѣзалъ хвостъ, я-бы пересталъ замѣчать въ немъ какія бы то ни было произвольныя движенія; но еслибы я ущипнулъ частицу мяса, я бы замѣтилъ въ немъ очень любопытное измѣненіе — каждая фибра сдѣлалась-бы короче и толще. Этимъ актомъ сокращенія тѣ части, къ которымъ прикрѣплены оконечности фибры, конечно сближаются между собою, и, смотря по отношеніямъ ихъ точекъ прикрѣпленія къ центрамъ движенія различныхъ колецъ, хвостъ сгибается или вытягивается. Тщательныя наблюденія надъ только-что вскрытымъ ракомъ показали-бы, что всѣ его движенія происходятъ отъ той-же самой причины, отъ сокращенія и утолщенія этихъ мясныхъ волоконъ, которыя обозначаются техническимъ именемъ мускуловъ. Тутъ мы, стало быть, имѣемъ капитальный фактъ. Движенія рака обусловливаются сокращаемостью мускуловъ. Но почему мускулъ сокращается именно въ эту минуту, а не въ другую? Почему цѣлая группа мускуловъ сокращается тогда, когда ракъ хочетъ вытянуть хвостъ, а другая—тогда, когда онъ хочетъ согнуть его? Что порождаетъ, направляетъ и контролируетъ двигательную силу? Опытъ,—великое орудіе, которымъ добывается истина въ естественныхъ наукахъ, отвѣчаетъ за насъ на этотъ вопросъ. Въ головѣ рака лежитъ маленькій кусокъ той особенной ткани, которая называется нервнымъ веществомъ. Нити подобнаго вещества соединяютъ этотъ мозгъ рака съ мускулами прямо или косвенно. Если эти соединяющія нити будутъ перерѣзаны, а мозгъ останется нетронутымъ, то способность производить такъ называемыя произвольныя движенія уничтожится въ тѣхъ частяхъ, которыя лежатъ ниже разрѣза; и съ другой стороны, если нити останутся неприкосновенными, а мозгъ будетъ уничтоженъ, то способность произвольныхъ движеній также исчезнетъ. Откуда выходитъ то неизбѣжное заключеніе, что сила, порождающая эти движенія, сосредоточена въ мозгу и распространяется вдоль по нервнымъ нитямъ.»

Мы видѣли на отдѣльномъ примѣрѣ тотъ путь, по которому производятся въ обѣихъ областяхъ біологической науки морфологическія, таксономическія и физіологическія изслѣдованія. Теперь не трудно будетъ отвѣчать на вопросъ: почему, насколько и въ какомъ отношеніи полезно знакомить учащихся съ этими изслѣдованіями?

Всѣ эти изслѣдованія производятся посредствомъ наблюденія и опыта. Чтобы сдѣлать хорошее наблюденіе, надо видѣть все то и только то, что дѣйствительно находится въ данномъ случаѣ передъ глазами наблюдателя. По-видимому это очень легко, но на самомъ дѣлѣ это очень трудно. «Заблужденія,—говоритъ американскій ученый, Томасъ Гилль,—происходятъ въ свѣтѣ не столько отъ нелогическаго размышленія, сколько отъ невѣрнаго наблюденія и невнимательнаго слушанія. Ясно показывающій и умный свидѣтель, который можетъ объяснить точно, что именно онъ видѣлъ, и который видѣлъ все, что стоило видѣть, который можетъ пересказать отчетливо все, что онъ слышалъ, и который слышалъ все, что было при немъ сказано, встрѣчается рѣже, чѣмъ хорошій юристъ или судья. Большинство людей видятъ столько-же своимъ предрасположеннымъ воображеніемъ, сколько своими гла-

Digitized by Google

зами, и не знаютъ, какъ отдѣлить свои собственныя фантазіи или свое ошибочное истолкованіе факта отъ самаго факта, подлежавшаго наблюденію. Медики рѣдко могутъ получить отъ больного описаніе его ощущеній, не смѣшанное съ его собственными теоріями, относящимися къ причинамъ этихъ ощущеній; юристы почти никогда не получаютъ отчета о томъ, что̀ дѣлалъ человѣкъ, безъ примѣси догадокъ о побудительныхъ причинахъ его поступковъ; ученые люди знаютъ очень хорошо, что народное показаніе о какомъ бы то ни было мелкомъ явленіи совершенно недостовѣрно. Словомъ, мы оказали-бы большую услугу наукѣ, искусству, юриспруденціи, терапіи, литературѣ, и всему умственному и нравственному положенію общества, еслибы мы могли воспитать поколѣніе людей, которые умѣли и желали-бы тщательно и добросовѣстно пользоваться своими пятью чувствами и давать вѣрные отчеты о ихъ свидѣтельствѣ.»

Почти то-же самое говоритъ Милль въ своей логикѣ:

«Одинъ человѣкъ отъ невниманія или отъ неумѣнія обратить вниманіе, куда слѣдуетъ, видитъ только половину того, на что̀ онъ смотритъ; другой утверждаетъ гораздо больше того, что̀ онъ видитъ, смѣшивая видѣнное съ тѣмъ, что̀ онъ создаетъ воображеніемъ или догадками; третій отмѣчаетъ родовые признаки всѣхъ обстоятельствъ, но, не умѣя оцѣнить ихъ степень, оставляетъ количество каждаго обстоятельства неопредѣленнымъ и неизвѣстнымъ; четвертый видитъ цѣлое, но производитъ такое неуклюжее дѣленіе этого цѣлаго на части, бросая въ одну кучу то, что̀ слѣдовало-бы раздѣлить, и раздѣляя то, что̀ надо было-бы разсматривать въ связи, что результатъ получается такой-же, а иногда и того еще хуже, какъ еслибы не было сдѣлано никакой попытки анализа.»

Изъ этихъ мыслей, высказанныхъ компетентными судьями, не трудно вывести то заключеніе, что сдѣлать человѣка хорошимъ наблюдателемъ—значитъ оказать ему на всю жизнь очень немаловажную услугу, и притомъ оказать ее не ему одному, а всему тому обществу, въ которомъ этому человѣку придется жить. Но еслибы вы захотѣли нарочно придумать цѣлую систему умственной гимнастики, клонящейся исключительно къ развитію наблюдательности, то и тогда вамъ не удалось-бы придумать ничего лучше и цѣлесообразнѣе естественно-научныхъ занятій, которыя, упражняя наблюдательность самымъ разностороннимъ образомъ, сверхъ того даютъ еще учащемуся массу самыхъ разнообразно полезныхъ знаній. Всѣ естественно-научныя истины не только добыты сильнѣйшимъ и многовѣковымъ напряженіемъ человѣческой наблюдательности, но даже и усвоиваются учащимся только по мѣрѣ того, какъ онъ развиваетъ въ себѣ способность наблюдать. Можно конечно заучить всѣ термины ботанической или зоологической классификаціи; ихъ можетъ, пожалуй, заучить даже и такой человѣкъ, который не только не разрѣзалъ ни одного растенія или животнаго, но и не видалъ ни одного анатомическаго рисунка. Но это знаніе терминовъ будетъ мертвымъ и безсмысленнымъ знаніемъ. Положите передъ этимъ человѣкомъ, совершавшимъ такой величественный подвигъ кретинизирующаго долбленія, какое угодно растеніе или животное и попросите его опредѣлить, къ какому классу, порядку и семейству слѣдуетъ его причислить, и вашъ знатокъ терминовъ немедленно станетъ втупикъ. Всѣ заученные термины и признаки перепутаются въ его головѣ, и торжество его учености ограничится тѣмъ, что онъ не назоветъ пчелу млекопитающимъ или не причислитъ курицу къ классу насѣкомыхъ. И даже этимъ скромнымъ торжествомъ онъ будетъ обязанъ не тѣмъ мудренымъ словамъ, которыя онъ выдолбилъ по книжкѣ, а тому запасу естественно-научныхъ знаній, который находится въ общемъ обращеніи и съ которымъ каждый изъ насъ поневолѣ знакомится еще въ дѣтствѣ все-таки путемъ непосредственнаго наблюденія Работа наблюденія никакъ не можетъ быть передѣлана за учащагося его преподавателемъ или составителемъ его учебника. Кто самъ наблюдалъ, тотъ и знаетъ, но никакъ не можетъ передать свое живое знаніе тому человѣку, который не хочетъ или не можетъ наблюдать. Какъ бы ни была изобразительна лекція Гекели о хвостѣ морского рака, однако люди, наполнявшіе его аудиторію, никакъ не вынесутъ изъ его лекціи то ясное и полное понятіе о строеніи этого животнаго, которое имѣетъ самъ профессоръ. Чтобы возвыситься до этого яснаго и полнаго понятія, слушатели должны сами двинуться впередъ по тому пути, по которому идетъ Гекели. Они должны вскрыть нѣсколько десятковъ, а можетъ-быть и нѣсколько сотенъ ракообразныхъ животныхъ и просидѣть нѣсколько недѣль съ микроскопомъ въ рукѣ надъ развивающимися яйцами рака. Они должны долго работать надъ собой и часто приниматься сызнова за одно и то-же наблюденіе единственно для того, чтобы выдрессировать свое вниманіе и чтобы устранить тѣ ошибки, о которыхъ говоритъ Гилль, и которыя происходятъ то отъ разсѣянности, то отъ неукрощенной ретивости воображенія. Этой суровой дисциплины не выдержалъ-бы ни одинъ учащійся, еслибы его занятія были только гимнастическими упражненіями, направленными къ развитію наблюдательности. Но такъ какъ цѣль учащагося состоитъ не въ томъ, чтобы развить свои спо-

Digitized by Google

собности, а въ томъ, чтобы пріобрѣсти себѣ знанія, такъ какъ эти знанія имѣютъ для него самостоятельное и очень важное значеніе, и такъ какъ самый процессъ пріобрѣтенія знаній и борьбы съ трудностями въ высшей степени увлекателенъ, то учащійся находитъ въ себѣ силы для продолженія настойчивыхъ и добросовѣстныхъ занятій, побѣждаетъ въ себѣ лѣнь и разсѣянность, развиваетъ въ себѣ тонкую наблюдательность и въ то-же время формируетъ себѣ твердый характеръ, достойный мыслящаго работника.

VI.

О естественно-научномъ изученіи человѣка говорится, какъ я уже замѣтилъ выше, въ двухъ лекціяхъ, изъ которыхъ одна читана Паджетомъ, а другая—Юмансомъ, самимъ составителемъ сборника. Предметъ дѣйствительно такъ важенъ, что о немъ можно было и стоило говорить очень подробно, тѣмъ болѣе, что всѣ противники естествознанія возстаютъ всего сильнѣе именно противъ приложенія естественно-научнаго метода къ изученію самого человѣка. Это приложеніе считается у нихъ профанаціей человѣческаго достоинства.

Если преподаваніе физіологіи войдетъ въ программу общаго образованія, то, по мнѣнію Паджета, получатся двѣ категоріи выгодъ: во-первыхъ, выгоды для самой науки, и во-вторыхъ, выгоды для учащихся. Первая выгода для науки произойдетъ отъ того, что увеличится число компетентныхъ наблюдателей, способныхъ двигать науку впередъ подмѣчаніемъ тѣхъ фактовъ, надъ которыми онъ работаетъ. Вторая выгода, болѣе важная, состоитъ въ томъ, что физіологи и спеціалисты по другимъ наукамъ, въ содѣйствіи которыхъ нуждается физіологія, будутъ въ состояніи понимать другъ друга и соединять свои знанія для того, чтобы общими силами рѣшать трудныя и запутанныя физіологическія задачи. Въ настоящее время науки разрослись такъ широко, и раздѣленіе труда въ области научныхъ занятій приняло такіе значительные размѣры, что физіологу рѣдко удается обнять и усвоить себѣ вполнѣ даже всѣ отрасли своей собственной науки. О томъ, чтобы физіологъ былъ въ то-же время физикомъ или химикомъ, не можетъ быть и рѣчи; а между тѣмъ въ каждомъ процессѣ, совершающемся въ живомъ организмѣ, обнаруживается дѣйствіе механическихъ, химическихъ или электрическихъ силъ; при рѣшеніи какого бы то ни было новаго физіологическаго вопроса необходимо опредѣлить, какая доля участія принадлежитъ каждой изъ этихъ разнородныхъ силъ въ общемъ результатѣ. Чтобы опредѣлить эту долю участія, надо быть коротко знакомымъ съ дѣйствіемъ всѣхъ этихъ силъ или надо обращаться за совѣтомъ къ спеціалистамъ по части механики, физики или химіи. Первое невозможно потому, что на изученіе четырехъ обширныхъ наукъ во всей ихъ полнотѣ не хватитъ никакой человѣческой жизни, никакого трудолюбія и никакой геніальности. А второе въ настоящее время затруднительно потому, что механикъ, физикъ, химикъ и физіологъ теряютъ другъ друга изъ виду и почти совершенно утрачиваютъ возможность понимать другъ друга съ той самой минуты, какъ они начинаютъ знакомиться съ положительной наукой. Единственнымъ общимъ достояніемъ всѣхъ этихъ ученыхъ оказывается ихъ школьное образованіе, которое даетъ имъ возможность разсуждать между собою о красотахъ Катулла и Анакреона, но рѣшительно не помогаетъ имъ понимать другъ друга тогда, когда заходитъ рѣчь объ ихъ спеціальныхъ изслѣдованіяхъ. Труды физика читаются и обсуживаются только физиками, труды химика—только химиками, и такъ далѣе, именно потому, что общее образованіе не устанавливаетъ между спеціалистами никакой прочной умственной связи. Понятно само собою, что такое узкое обособленіе различныхъ наукъ совершенно уничтожаетъ значительную долю того живительнаго вліянія, которое каждое сколько-нибудь замѣчательное изслѣдованіе могло-бы производить на всю совокупность положительнаго знанія. Понятно также, что это зло можетъ быть устранено только самой обширной реформой общаго образованія.

Третья выгода, которую принесло-бы общераспространенное преподаваніе физики, состоитъ въ томъ, что молодые люди, способные посвятить себя этой наукѣ, съ ранней молодости поняли-бы свое настоящее назначеніе и пристроили-бы себя къ полезной работѣ, вмѣсто того чтобы тратить силы на безплодные поиски и неудачныя попытки. Въ такихъ молодыхъ людяхъ физіологія находила-бы себѣ постоянно готовый комплектъ усердныхъ работниковъ, между тѣмъ какъ въ настоящее время физіологія въ Англіи, по признанію Паджета, вербуетъ себѣ новыхъ дѣятелей только благодаря различнымъ счастливымъ случайностямъ, благодаря тому напримѣръ, что книга, или разговоръ, или публичная лекція заинтересовали молодого человѣка, стоящаго на распутьи и способнаго сдѣлаться хорошимъ физіологомъ.

Мы переходимъ теперь къ тѣмъ выгодамъ, которыя повсемѣстное преподаваніе физіологіи доставитъ учащимся, то есть всему образованному обществу. Прежде всего распространеніе физіологическихъ знаній научитъ людей отно-

Digitized by Google

ситься благоразумно къ собственному здоровью. Всякій желаетъ быть здоровымъ, всякій тяготится болѣзнью, всякій во время болѣзни готовъ обратиться къ первому встрѣчному медику или даже знахарю, всякій готовъ пить съ вѣрой и надеждой самую горькую микстуру или неустрашимо пачкаться самой вонючей мазью, но почти никто не знаетъ и не хочетъ знать тѣхъ условій, которыхъ точное соблюденіе навѣрное избавило-бы его отъ необходимости валяться въ постели, охать, платить деньги доктору и аптекарю, и за эти же деньги переносить разнообразныя непріятности. Фанатическая вѣра въ лекарей и въ лекарства и близорукое презрѣніе къ самымъ элементарнымъ правиламъ гигіены очевидно происходятъ отъ того, что люди не имѣютъ никакого понятія о важнѣйшихъ процессахъ, совершающихся въ человѣческомъ организмѣ. Такъ называемые образованные люди наравнѣ съ простымъ народомъ не задаютъ себѣ вопроса о томъ, что̀ такое живой организмъ, а поступаютъ они съ своимъ организмомъ такъ, какъ поступаетъ ребенокъ со своей деревянной лошадкой: пока лошадка стоитъ на ногахъ, до тѣхъ поръ на ней можно ѣздить верхомъ, а если лошадка сломалась и повалилась на бокъ, то надо при содѣйствіи папаши или мамаши позвать столяра и отдать ему лошадку на излеченіе. Въ своихъ болѣзняхъ люди видятъ обыкновенно прямое послѣдствіе какой-нибудь единичной ошибки или неосторожности: человѣкъ ушибся, простудился, промочилъ ноги, объѣлся—и заболѣлъ, дальше этого люди не идутъ въ своихъ изслѣдованіяхъ о причинахъ болѣзни. Если вы будете говорить имъ, что организмъ медленно портился неправильнымъ и неестественнымъ образомъ жизни, если вы будете искать причину болѣзни въ душной комнатѣ, въ сидячей жизни, въ просиживаніи ночей за работой или за картами, если вы будете доказывать человѣку, что болѣзнь развивалась въ немъ задолго до той минуты, когда онъ свалился въ постель, и что эту болѣзнь нельзя уничтожить пилюлями и каплями, потому что этими лекарствами невозможно создать организмъ, который не разстраивался-бы при нарушеніи его естественныхъ потребностей,—то всѣ ваши разумныя слова произведутъ самое слабое и поверхностное впечатлѣніе, потому что этимъ разсужденіямъ о потребностяхъ организма не къ чему прислониться въ головѣ паціента. Невозможно дѣйствовать постоянно по такой программѣ, въ вѣрности которой человѣкъ не способенъ убѣдиться силами собственнаго ума. Поэтому старая привычка обращаться съ собственнымъ организмомъ какъ съ деревянной лошадкой, равнодушной ко всѣмъ окружающимъ условіямъ, непремѣнно рано или поздно одержитъ побѣду надъ уваженіемъ больного къ совѣтамъ добросовѣстнаго медика; жизнь войдетъ въ старую колею, и правила гигіены забудутся впредь до новой болѣзни. Взглядъ на организмъ, какъ на деревянную лошадку, имѣетъ особенно печальную важность въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣло идетъ о гигіеническихъ мѣрахъ, необходимыхъ для того, чтобы предохранить здоровье цѣлыхъ обществъ. Медики твердятъ всѣмъ и каждому и доказываютъ статистическими цифрами, что всевозможныя заразительныя болѣзни гнѣздятся и развиваются съ особенной силой именно въ самыхъ грязныхъ частяхъ многолюдныхъ городовъ; несмотря на всѣ эти проповѣди, самыя необходимыя санитарныя распоряженія встрѣчаютъ себѣ со стороны общества такъ мало дѣятельнаго сочувствія, что они большей частью остаются на бумагѣ въ видѣ красивыхъ проэктовъ и начинаютъ приводиться въ исполненіе только тогда, когда общество, перепуганное извѣстіемъ о приближающейся холерѣ, на короткое время отдаетъ себя въ полное распоряженіе медиковъ. Это равнодушіе общества къ его собственнымъ драгоцѣннѣйшимъ интересамъ происходитъ очевидно отъ незнанія и исчезаетъ только тогда, когда здоровыя физіологическія свѣдѣнія сдѣлаются необходимымъ достояніемъ каждаго образованнаго человѣка. Нельзя ни требовать, ни ожидать, чтобы когда-бы то ни было каждый образованный человѣкъ зналъ физіологію на столько, на сколько знаютъ ее въ настоящее время врачи. Такой обширный объемъ знаній вовсе и не требуется для того, чтобы образованная масса гораздо лучше теперешняго понимала тѣ условія, отъ соблюденія которыхъ зависитъ ея здоровье. Необходимо не то, чтобы каждый образованный человѣкъ, ни съ кѣмъ не совѣтуясь, зналъ, какой именно образъ жизни полезенъ для его здоровья, а только то, чтобы этотъ образованный человѣкъ умѣлъ отличать голосъ науки отъ выкрикиваній дерзкаго уличнаго шарлатанства, чтобы онъ зналъ, куда обратиться за совѣтомъ, чтобы онъ могъ понять, что данный совѣтъ дѣйствительно благоразуменъ, и чтобы онъ былъ способенъ убѣдиться въ томъ, что онъ серьезно обязанъ передъ самимъ собою, передъ своимъ семействомъ и передъ обществомъ слѣдовать тому совѣту, который онъ самъ призналъ хорошимъ и дѣльнымъ. Когда основныя истины физіологіи перестанутъ быть исключительной собственностью врачей и ученыхъ, тогда взглядъ общества на многія такъ называемыя мелочи вседневной жизни сдѣлается гораздо серьезнѣе и строже. Въ настоящее время общество смотритъ въ высшей степени снисходительно на всевозможныя нарушенія самыхъ необходимыхъ санитарныхъ правилъ;

Digitized by Google

во всѣхъ европейскихъ столицахъ единственнымъ поборникомъ общественной гигіены является полиція, и общественное мнѣніе позволяетъ всякому желающему уклоняться отъ выполненія самыхъ разумныхъ ея предписаній. Въ настоящее время въ большихъ городахъ трудно купить какіе-бы то ни было съѣстные припасы, въ которыхъ не оказалось-бы какого нибудь подлога или какой нибудь помѣси, и общество, браня купцовъ, по старой привычкѣ продолжаетъ потреблять всякую дрянь и не принимаетъ никакихъ разумныхъ мѣръ противъ этого медленнаго отравленія. Въ настоящее время рабочіе классы во всѣхъ большихъ городахъ помѣщаются въ темныхъ, сырыхъ, тѣсныхъ и холодныхъ подвалахъ, изъ которыхъ разныя тифозныя и возвратныя горячки распространяются по всѣмъ окрестностямъ, и достаточные люди, которымъ также приходится знакомиться съ этими болѣзнями, довольствуются тѣмъ, что вздыхаютъ о страданіяхъ меньшей братіи или въ лучшемъ случаѣ устраиваютъ благотворительные спектакли и лотереи. Въ настоящее время моды, преимущественно женскія, систематически идутъ наперекоръ всѣмъ законамъ физіологіи. Въ настоящее время школы выпускаютъ въ свѣтъ слабыхъ и дряблыхъ юношей, едва способныхъ принести какую-бы то ни было пользу себѣ или обществу, а родители ихъ освѣдомляются только о томъ, какія права и преимущества предоставляются воспитанникамъ того или другого учебнаго заведенія. Словомъ, бросивъ бѣглый взглядъ на различныя стороны и отправленія общественной жизни, мы могли-бы подумать, что общество страдаетъ необузданнымъ идеализмомъ и неизлечимымъ презрѣніемъ къ матеріи. Нѣтъ той мелочи, нѣтъ той глупости, нѣтъ той безсмысленной фантазіи, на которую образованные люди не обращали-бы гораздо больше вниманія, чѣмъ на свое собственное здоровье. Поступая такъ, какъ будто-бы они считаютъ землю юдолью плача, а свою жизнь — временемъ изгнанія,—эти люди въ то-же время строятъ дороги, освѣщаютъ города газомъ, толкуютъ объ искусственномъ травосѣяніи, изобрѣтаютъ и заказываютъ машины, составляютъ акціонерныя компаніи, бросаются за деньгами всюду, гдѣ есть малѣйшая возможность или только неопредѣленная надежда ихъ добыть,—словомъ, стараются всѣми силами собирать тѣ разнородные матеріалы, изъ которыхъ извлекается наслажденіе жизнью. При этомъ забывается только одно условіе, именно то, что наслаждаться жизнью могутъ только здоровые люди, и что весь утонченный комфортъ, созданный современной цивилизаціей для немногихъ избранныхъ, даже этимъ избраннымъ не можетъ замѣнить безумно растраченнаго здоровья. Понятно, что здѣсь корень зла заключается не въ ошибочно восторженномъ презрѣніи къ земнымъ наслажденіямъ, а только въ совершенномъ незнаніи тѣхъ условій, которыя должны быть соблюдены для того, чтобы наслажденіе жизнью сдѣлалось возможнымъ даже для немногихъ избранныхъ. Кто не знаетъ, тому слѣдуетъ учиться. На эту тему приходится говорить съ утра до вечера втеченіи многихъ столѣтій всѣмъ людямъ, принимающимъ къ сердцу дѣйствительные интересы человѣчества.

Возвращаюсь къ лекціи Паджета. Другая выгода, доставляемая преподаваніемъ физіологіи, обусловливается, по мнѣнію Паджета, тѣмъ, что физіологія до сихъ поръ принадлежитъ къ числу неустановившихся наукъ и состоитъ въ значительной степени изъ гипотезъ, болѣе или менѣе правдоподобныхъ, но еще не вполнѣ доказанныхъ. Въ другихъ положительныхъ наукахъ, напримѣръ въ астрономіи и въ физикѣ, ученикъ знакомится съ обильнымъ запасомъ истинъ, давнымъ-давно доказанныхъ,—такихъ истинъ, въ которыхъ ни одинъ знающій человѣкъ не сомнѣвается и противъ которыхъ ни откуда не можетъ послышаться ни одного сколько-нибудь серьезнаго возраженія. Въ этихъ окончательно изслѣдованныхъ областяхъ знанія нѣтъ мѣста для дальнѣйшихъ открытій и усовершенствованій; здѣсь, въ нѣкоторыхъ отдѣлахъ физики и астрономіи, не только отыскана сама истина, но также отысканъ на вѣчныя времена и наилучшій, то есть самый строгій и убѣдительный способъ ея доказыванія. Изучая эти отдѣлы, ученикъ получаетъ ясное понятіе о томъ, что такое положительная наука въ ея установившемся видѣ, въ состояніи того высшаго спокойствія, которымъ сопровождается несомнѣнное обладаніе истиной. Но такъ какъ вмѣстѣ съ астрономіей и физикой не преподается и не можетъ преподаваться исторія этихъ наукъ, то ученику остается совершенно неизвѣстной физіономія положительной науки, находящейся въ періодѣ развитія и борьбы. Этотъ пробѣлъ, котораго не могутъ пополнить физика и астрономія, пополняется преподаваніемъ физіологіи. Изучая послѣднюю, ученикъ съ молодыхъ лѣтъ освоивается съ той мыслью, что наши теперешнія знанія недостаточны и ограничены, что граница этихъ знаній находится въ постоянномъ колебаніи, и что усилія мыслящихъ работниковъ съ каждымъ годомъ отодвигаютъ эту границу дальше и дальше впередъ, постоянно покоряя человѣческому уму новые участки изъ обширной и неизмѣримой области неизвѣстнаго. Ученикъ, слушающій хорошій курсъ физіологіи, не только узнаетъ о томъ, что на границѣ знанія происходитъ ожесточенная борьба между человѣческимъ умомъ и безчисленными трудностями изучаемаго пред-

Digitized by Google

мета, но даже присутствуетъ при этой борьбѣ, слѣдитъ за ея главнѣйшими фазами и проникается горячимъ желаніемъ впослѣдствіи принять въ этой великой борьбѣ дѣятельное участіе. Такія впечатлѣнія, падающія на воспріимчивый умъ юношей, едва начинающихъ выходить изъ дѣтскаго возраста, не могутъ оставаться совершенно безплодными. Такими впечатлѣніями опредѣляется часто направленіе цѣлой жизни, и если оно дѣйствительно опредѣлится ими, то можно будетъ поручиться за то, что жизнь будетъ потрачена съ наслажденіемъ на честное, великое и полезное дѣло. Колеблющееся положеніе современной физіологіи можетъ принести учащимся также и ту пользу, что оно пріучитъ ихъ къ умственной осторожности и разовьетъ въ нихъ спасительную способность останавливаться на чистомъ сомнѣніи въ тѣхъ случаяхъ, когда вопросъ еще не дозрѣлъ до окончательнаго разрѣшенія въ положительномъ или въ отрицательномъ смыслѣ. Наперекоръ глубокомысленной русской пословицѣ объ отрѣзываніи и отмѣриваніи, масса образованныхъ людей отрѣзываетъ, то есть рѣшаетъ вопросы, не отмѣривши ни разу, а только услышавши о томъ, что какіе-то люди когда-то произвели всѣ необходимыя измѣренія. Эта дурная привычка, происходящая отъ совершеннаго отсутствія научнаго образованія, производитъ большую путаницу во всѣхъ различныхъ отрасляхъ общественной жизни. «Для успѣховъ истины,—говоритъ Паджетъ, служитъ большимъ препятствіемъ то, что многіе люди съ одинаковой настойчивостью держатся за такія положенія, которыя доказаны, и за такія, которыя не доказаны, и даже за такія, которыя по самой своей сущности не допускаютъ доказательствъ. Они повидимому думаютъ (и общепринятое образованіе дѣйствительно способно породить такой взглядъ), что можно отвѣчать рѣшительно *да* или *нѣтъ* на каждый вопросъ, который можетъ быть поставленъ; и что вопросъ, получившій такой отвѣтъ, окончательно рѣшенъ и превратился въ неприкосновенную истину; мнѣ не зачѣмъ приводить примѣры этого заблужденія, потому что его вредныя послѣдствія замѣчаются повсемѣстно въ тѣхъ бѣдствіяхъ, которыя порождаются опрометчивыми и настойчивыми сужденіями.»

VIII.

Изъ остальныхъ лекцій, помѣщенныхъ въ книгѣ Юманса, я упомяну еще о лекціи Уиуэлля (Whewell), въ которой разсматривается вліяніе научныхъ открытій на воспитаніе ума. Можно сказать, что эта лекція подводитъ итоги всей книгѣ Юманса и, разсматривая вопросъ объ умственныхъ потребностяхъ современнаго общества съ исторической точки зрѣнія, показываетъ самымъ опредѣленнымъ образомъ, въ какую сторону клонятся естественныя стремленія цивилизованнаго міра, въ чемъ заключаются пробѣлы существующаго образованія и подъ вліяніемъ какихъ обстоятельствъ производятся серьезныя попытки пополнить эти несомнѣнно обозначившіеся пробѣлы. Тѣ лекціи, о которыхъ я говорилъ до сихъ поръ, разсматриваютъ программу общаго образованія только по отношенію къ той или другой отдѣльной наукѣ; лекція Уиуэлля, напротивъ того, бросаетъ общій взглядъ на всю совокупность знаній, изъ которыхъ слагается общее образованіе, и ставитъ очень ясно вопросъ о томъ, находится-ли это образованіе въ соотвѣтствіи съ современнымъ положеніемъ науки. Этотъ вопросъ, поставленный ясно и просто, допускаетъ конечно только отрицательный отвѣтъ, который, разумѣется, заключаетъ въ себѣ рѣшительный приговоръ осужденія надъ существующей системой общаго образованія.

Уиуэлль думаетъ, что каждое значительное усовершенствованіе въ дѣлѣ умственнаго образованія было результатомъ какого-нибудь важнаго научнаго открытія или цѣлой группы такихъ открытій. Когда передовые геніи вырываютъ у природы одну изъ ея великихъ тайнъ, тогда эта побѣда является заключительнымъ актомъ такой борьбы, въ которой силы человѣческаго ума развертывались до небывалыхъ размѣровъ или по крайней мѣрѣ дѣйствовали по какому-нибудь новому плану. Кто хочетъ быть образованнымъ человѣкомъ, тотъ долженъ очевидно имѣть ясное понятіе обо всѣхъ важнѣйшихъ умственныхъ интересахъ своей эпохи, долженъ знать, до какихъ границъ дошла мысль его предковъ и его современниковъ, какія побѣды она одерживала и къ какимъ методамъ она приноравливалась. Если одерживается новая побѣда и создается новый методъ, то вмѣстѣ съ тѣмъ становится возможнымъ и необходимымъ новое расширеніе тѣхъ рамокъ, въ которыхъ было заключено до этого времени умственное образованіе. Люди, желающіе дисциплинировать и укрѣпить свой умъ новымъ методомъ, или, другими словами, люди, желающіе усвоить себѣ современное образованіе въ полномъ его объемѣ, должны конечно обратиться къ изученію того открытія, которое въ данную минуту составляетъ единственное существующее приложеніе новаго метода. Такимъ образомъ ясно, что открытіе и расширеніе программы умственнаго образованія находятся въ причинной связи между собою.

Выразивъ основную мысль своей лекціи въ отвлеченной формулѣ, Уиуэлль переходитъ къ изложенію тѣхъ историческихъ фактовъ, на которыхъ она построена. Первый важный шагъ

Digitized by Google

впередъ въ дѣлѣ умственнаго образованія, первый изъ тѣхъ шаговъ, которые засвидѣтельствованы исторіей,—былъ сдѣланъ, по мнѣнію Уиуэлля, тогда, когда Сократъ и Платонъ одержали побѣду надъ модными воспитателями аѳинскаго юношества, то есть надъ такъ называемыми софистами. Эти модные воспитатели учили молодого человѣка хорошо писать, хорошо говорить и поступать во всѣхъ случаяхъ жизни такъ, какъ того требовало мелкое житейское благоразуміе. Въ ихъ философіи, излагавшейся въ самой увлекательной формѣ, не было никакихъ твердыхъ принциповъ; они сами ни во что не вѣровали, ничего не знали и во всемъ сомнѣвались какъ-разъ настолько, насколько это было нужно для того, чтобы, не возмущая противъ себя толпы, пріобрѣсти себѣ безо всякаго умственнаго труда репутацію очень умныхъ людей. Образованіе, которое они давали аѳинской молодежи, было вообще очень похоже на то образованіе, которое до сихъ поръ называется блестящимъ и которое даже въ настоящее время дается свѣтскимъ людямъ, не имѣющимъ надобности добывать себѣ кусокъ хлѣба физическимъ или умственнымъ трудомъ. Сократъ и Платонъ не захотѣли останавливаться на блестящей внѣшности этого образованія; они не захотѣли также цѣнить его со стороны его практической пригодности; они потребовали отъ модной философіи, господствовавшей въ школахъ, твердыхъ принциповъ— и принциповъ этихъ не оказалось. Они спросили у софистовъ, въ чемъ состоитъ основная истина, изъ которой вытекаютъ всѣ второстепенныя положенія ихъ доктрины, и софисты не дали имъ никакого удовлетворительнаго отвѣта. Въ діалогахъ Платона повторяются постоянно одни и тѣ-же вопросы: *что* мы знаемъ? *Какъ* мы это знаемъ? *Какимъ путемъ мышленія* мы доходимъ до этого знанія? *Изъ какихъ принциповъ* вытекаетъ это знаніе?

Чтобы ставить такіе глубокіе вопросы и не удовлетворяться фразами, имѣющими только внѣшній видъ отвѣтовъ, чтобы искать положительной истины и отличать ее отъ условныхъ понятій, находившихся въ общемъ обращеніи, чтобы во имя этой искомой истины объявлять ожесточенную войну этимъ укоренившимся условнымъ понятіямъ,—надо было имѣть какой-нибудь образчикъ такой истины, которая заслуживала-бы названіе вѣчной и необходимой и которую можно было-бы путемъ строгихъ доказательствъ доводить до самой полной и несомнѣнной очевидности. Образчикъ такой истины дѣйствительно существовалъ во времена Сократа и Платона; умы лучшихъ людей того поколѣнія, къ которому принадлежали эти мыслители, находились подъ свѣжимъ вліяніемъ великихъ геометрическихъ открытій, положившихъ прочное основаніе этой отрасли математики. Самъ Платонъ былъ замѣчательнымъ геометромъ и быть-можетъ лучше всѣхъ своихъ современниковъ понималъ важность серьезныхъ математическихъ занятій для общаго строя и направленія всей умственной жизни тогдашняго образованнаго міра. «Онъ,—говоритъ Уиуэлль,—неоднократно убѣждаетъ своихъ соотечественниковъ предаваться этимъ занятіямъ, онъ обѣщаетъ имъ, что изученіе геометріи поведетъ ихъ къ вѣрному понятію о себѣ; объясняетъ, какимъ образомъ это сдѣлается; онъ указываетъ на новыя отрасли математической науки, которыя должны быть созданы съ этой цѣлью; онъ не разъ ссылается на опредѣленія, аксіомы и доказательства геометрическихъ предложеній; онъ дѣлаетъ слѣдующую надпись надъ воротами садовъ Академіи, гдѣ сходились его ученики, чтобы слушать его поученія: «*пусть не входитъ сюда никто, не учившійся геометріи*».

Изученіе геометріи показало Платону, что въ мірѣ существуютъ истины, стоящія выше всякаго сомнѣнія, и что эти истины вполнѣ доступны человѣческому пониманію. Принимая этотъ несомнѣнный и совершенно осязательный фактъ за исходную точку своихъ умозрѣній, Платонъ старался убѣдить своихъ слушателей въ томъ, что человѣкъ, способный возвышаться до познанія истины, обязанъ стремиться къ этому познанію и смотрѣть на него, какъ на высшее изъ благъ, доступныхъ ему на землѣ. Вдумываясь въ геометрическія истины, только-что открытыя имъ самимъ и его современниками, и всматриваясь въ тотъ путь, которымъ человѣческій умъ добирается до этихъ истинъ, Платонъ успѣлъ даже найти точку опоры для всей своей философской системы, и въ особенности для знаменитой доктрины о предварительномъ существованіи и о неразрушимости человѣческой души. Въ одномъ изъ діалоговъ Платона Сократъ и фессаліецъ Менонъ стараются открыть, что такое добродѣтель. Такъ какъ попытки Менона отвѣчать на этотъ вопросъ оказываются неудачными, то Сократъ спрашиваетъ наконецъ: можемъ-ли мы *открывать* что бы то ни было? И если можемъ, то какимъ образомъ это дѣлается?

Отвѣчая себѣ на эти вопросы, Сократъ говоритъ, что мы можемъ открывать истины, и что онъ немедленно покажетъ своему собесѣднику, какимъ образомъ дѣлаются открытія. Затѣмъ онъ подзываетъ къ себѣ мальчика, рисуетъ на пескѣ геометрическую фигуру и задаетъ ему различные вопросы на счетъ проведенныхъ линій. Мальчикъ сначала становится втупикъ, но потомъ, всмотрѣвшись въ чертежъ, начинаетъ соображать правильно и отвѣчаетъ удовлетворительно. «Ты видишь,—говоритъ при этомъ Сократъ Менону,—я ничего не говорю ему. Онъ идетъ къ истинѣ, но я не учу

Digitized by Google

его. Онъ находитъ истину въ своемъ собственномъ умѣ Онъ не учится отъ другого, онъ припоминаетъ то, что онъ уже зналъ прежде. Его знаніе — припоминаніе. Его наука — обращеніе къ прошлому. Изъ этого выводится то заключеніе, что душа мальчика жила и мыслила задолго до рожденія того тѣла, съ которымъ она связана въ данную минуту.» Въ *Федонѣ* Сократъ, бесѣдующій со своими учениками за нѣсколько минутъ до своей смерти, выводитъ изъ геометріи доказательство въ пользу безсмертія души. Онъ разсуждаетъ такъ: «если человѣкъ путемъ размышленій можетъ доходить до познанія незыблемыхъ истинъ, то, стало быть, человѣческій разумъ заключаетъ въ себѣ принципы вѣчной истины, и слѣдовательно долженъ быть самъ вѣчнымъ и неразрушимымъ.»

Мы видимъ такимъ образомъ, что вліяніе геометрическихъ открытій и того метода, которымъ они были сдѣланы, проникло очень глубоко въ самую сущность философской системы Платона. Можно сказать положительно, что эта философская система не могла-бы даже возникнуть или по крайней мѣрѣ не произвела-бы никакого прочнаго впечатлѣнія на тогдашнее общество, еслибы не существовало того импульса, который именно въ это время былъ данъ лучшимъ умамъ древней Греціи быстрымъ и роскошнымъ развитіемъ геометрическихъ изслѣдованій. Вмѣстѣ съ философіей Платона, созданной подъ вліяніемъ математическаго метода, въ греческія школы проникло преподаваніе геометріи, которая съ этого времени уже не переставала считаться необходимой составной частью серьезнаго и основательнаго образованія. Это значитъ, что расширеніе программы общаго образованія оказалось естественнымъ слѣдствіемъ такого-же расширенія, сдѣланнаго въ области научныхъ изслѣдованій.

Научное наслѣдіе древней Греціи перешло цѣликомъ къ новой Европѣ; всѣ открытія, сдѣланныя великими греческими математиками, сдѣлались на вѣчныя времена достояніемъ математической науки; такъ какъ наша наука получила очень многое отъ древнихъ грековъ, то и наше образованіе получило также очень многое отъ древне-греческаго образованія; преподаваніе геометріи перешло въ полномъ своемъ составѣ и почти въ неизмѣнномъ видѣ изъ древнихъ греческихъ школъ въ новыя европейскія. Римляне, напротивъ, сдѣлали очень мало для развитія науки, если мы будемъ понимать это послѣднее слово только въ смыслѣ точнаго, положительнаго и реальнаго знанія; именно потому вліяніе римлянъ оставило также очень мало слѣдовъ въ существующихъ системахъ образованія. Этотъ фактъ можетъ служить отрицательнымъ доказательствомъ той мысли, на которой построена лекція Уиуэлля. Но у римлянъ была своя спеціальность, въ которой они являются оригинальными мыслителями и прокладываютъ самостоятельные пути. Этой спеціальностью была юриспруденція, доктрина о правахъ и обязанностяхъ человѣка, живущаго въ гражданскомъ обществѣ. Эту спеціальность конечно невозможно поставить на одну доску съ тѣми науками, которыя посвящены изученію дѣйствительно существующихъ, вѣчныхъ и непоколебимыхъ законовъ природы. Въ юриспруденціи исходной точкой изслѣдованія служитъ не объективная истина, а условное положеніе, которое кажется истиннымъ людямъ одной эпохи, но которое черезъ нѣсколько столѣтій можетъ оказаться совершенно несостоятельнымъ передъ судомъ болѣе просвѣщеннаго потомства. Какъ бы то ни было, римляне работали очень усердно и съ большимъ успѣхомъ въ области юриспруденціи; этимъ дѣломъ занимались передовые умы римскаго общества, какъ во время республики, такъ и при императорахъ; въ умственной жизни римской націи юриспруденція стояла именно на томъ мѣстѣ, на которомъ стоитъ наука въ жизни другихъ народовъ, менѣе поглощенныхъ чисто-политическими и мелкими житейскими заботами. Тѣ силы, которыя въ другихъ, болѣе богатыхъ цивилизаціяхъ тратятся на научныя открытія, уходили въ Римѣ на юридическія изслѣдованія, въ которыхъ обнаруживалось конечно много остроумія, діалектической ловкости и логической точности. Въ соотвѣтствіи съ этой оригинальной стороной римской изслѣдовательской дѣятельности находится то оригинальное направленіе, которое получило римское образованіе. Юридическая казуистика, замѣнявшая собою науку, проникла въ школы; каждый молодой римлянинъ, принадлежавшій къ хорошему обществу, долженъ былъ сдѣлаться до нѣкоторой степени юристомъ. Этой стороной своей умственной жизни Римъ подѣйствовалъ очень сильно и продолжаетъ дѣйствовать до сихъ поръ на европейскія общества. Благоговѣйнымъ изученіемъ римскихъ юрисконсультовъ занимались изъ году въ годъ, втеченіи всѣхъ среднихъ вѣковъ, десятки тысячъ студентовъ, собиравшихся со всѣхъ концовъ Европы въ аудиторіи болонскаго, пизанскаго, падуанскаго и другихъ знаменитыхъ италіанскихъ университетовъ. Бо́льшая часть европейскихъ университетовъ до сихъ поръ предается комментированію римскихъ юристовъ. Можно сказать навѣрное, что до сихъ поръ по меньшей мѣрѣ половина всѣхъ молодыхъ людей, получающихъ высшее образованіе на пространствѣ цѣлой Европы, проходитъ черезъ юридическіе факультеты. Это обстоятельство объясняется конечно очень удовлетворительно притягательной силой административной, адвокатской и судейской карьеръ, внѣ которыхъ большин-

Digitized by Google

ство родителей не видитъ никакого вѣрнаго пристанища для своихъ дѣтей. Но дѣло не въ томъ. Для насъ важно въ настоящую минуту только то, что введеніе юридическаго элемента въ образованіе начинается съ того времени, когда юридическія изслѣдованія привлекли къ себѣ силы передовыхъ умовъ. Значитъ и здѣсь мы видимъ еще разъ, что направленіе научной дѣятельности и программа образованія находятся въ причинной связи между собою.

Образовательныя средства, заимствованныя нами отъ двухъ великихъ націй древняго міра,—математика и юриспруденція,—могутъ конечно въ значительной степени укрѣпить и развить молодой умъ, пріучая его къ строгой логической послѣдовательности. Но какъ математика, такъ и юриспруденція упражняютъ умъ только въ дедуктивномъ способѣ мышленія. Въ наше время такая односторонность умственнаго развитія тѣмъ болѣе неумѣстна, что почти всѣ великія открытія, составляющія гордость и силу новой европейской науки, добыты путемъ индукціи. Молодой умъ, воспитанный исключительно на математикѣ и на юриспруденціи, оказался-бы совершенно неспособнымъ не только принимать дѣятельное участіе въ трудахъ передовыхъ умовъ, обогащающихъ науку своими изслѣдованіями, но даже слѣдить за этими трудами и отдавать себѣ ясный отчетъ въ томъ, какимъ образомъ производится эта работа. Разобщенный своимъ одностороннимъ развитіемъ съ тѣмъ умственнымъ движеніемъ, въ которомъ заключается существенный смыслъ нашего времени, такой умъ могъ-бы легко погрузиться въ позорное бездѣйствіе или даже превратить себя въ слѣпое орудіе узкихъ и мелкихъ страстей и интересовъ, находящихся въ совершенномъ разладѣ съ общимъ дѣломъ человѣчества. Нельзя не замѣтить при этомъ, что дѣйствительно юристы и математики, совершенно поглощенные своими спеціальными занятіями, становятся часто не только индифферентистами, но даже ретроградами и реакціонерами.

Развитіе положительной науки, которой неотразимое господство надъ умами усиливается и расширяется съ каждымъ годомъ, несмотря на всевозможныя мелкія и крупныя препятствія, — начинается съ XVI столѣтія. Труды Галилея, Декарта, Бекона и Ньютона могутъ быть названы великимъ поворотнымъ пунктомъ въ исторіи человѣческой мысли. Европейская или, вѣрнѣе, общечеловѣческая наука идетъ до сихъ поръ по той дорогѣ, которую проложили для нея эти великіе люди, и до сихъ поръ нѣтъ даже ни малѣйшаго основанія думать, чтобы она когда-нибудь имѣла возможность или была поставлена въ необходимость свернуть съ этой дороги. Кто ненавидитъ положительную науку, тотъ долженъ ненавидѣть и проклинать до сихъ поръ ея великихъ законодателей, если только желаетъ быть послѣдовательнымъ. Такіе послѣдовательные люди дѣйствительно находятся до сихъ поръ даже въ ученой Германіи. Не дальше какъ въ 1857 г. нѣмецкій пасторъ, докторъ Францъ, издалъ книжку о *претензіяхъ точнаго естествознанія* и старался доказать своимъ читателямъ, что такъ называемые законы природы совсѣмъ не существуютъ, что земля стоитъ неподвижно въ центрѣ мірозданія, что вокругъ нея вертятся всѣ небесныя тѣла, и что Коперникъ и Ньютонъ своими попытками ввести математическія вычисленія въ область астрономіи и физики не сдѣлали ничего, кромѣ самой вредной и непроходимой путаницы.

Въ XVII столѣтіи картезіанская философія завоевала себѣ господство надъ умами во Франціи и въ континентальной Европѣ. Декартъ былъ признанъ противникомъ и побѣдителемъ Аристотеля. Картезіанизмъ былъ для того времени новой истиной, которой знамя было поднято противъ устарѣлыхъ заблужденій. Въ чемъ заключалась отличительная особенность новаго ученія, это показываетъ намъ между прочимъ въ очень осязательной формѣ слѣдующій эпизодъ изъ остроумной книги Фонтенеля «Множество міровъ» («La pluralité des mondes»). Фонтенель сводитъ всѣхъ мудрецовъ древности въ театръ; тамъ даютъ балетъ, въ которомъ Фаэтона уноситъ вѣтеръ. Мудрецы ломаютъ себѣ головы надъ вопросомъ, какимъ образомъ это дѣлается, что танцоръ, играющій роль Фаэтона, поднимается кверху. Одинъ изъ мудрецовъ говоритъ: «у Фаэтона есть таинственное свойство, которое его уноситъ»; это говоритъ приверженецъ Аристотеля. Другой говоритъ: «Фаэтонъ составленъ изъ нѣкоторыхъ чиселъ, которыя заставляютъ его подниматься кверху»: это—пиѳагореецъ. Третій говоритъ: «у Фаэтона есть стремленіе къ потолку театра, и онъ не можетъ успокоиться, пока не отправится туда»; это—адептъ той философіи, которая объясняла вселенную любовью и ненавистью. Четвертый говоритъ: «у Фаэтона нѣтъ естественнаго стремленія летать, но онъ находитъ болѣе удобнымъ летѣть, чѣмъ оставлять пустоту въ верхней части театра»; это—извѣстная средневѣковая доктрина объ отвращеніи природы къ пустотѣ. Наконецъ приходитъ Декартъ и вмѣстѣ съ нимъ другіе новые мыслители. Они говорятъ: «Фаэтонъ поднимается потому, что его тянутъ кверху веревками, и что въ это самое время гири, потяжелѣе самаго Фаэтона, опускаются внизъ за кулисами». Прежнія системы или приписывали природѣ чисто человѣческія страсти и побужденія, или объясняли видимыя явленія какой-то туманной кабалистикой, въ которой терялся самъ ея изобрѣтатель, и которая во всякомъ случаѣ была еще непонятнѣе и запутаннѣе,

Digitized by Google

чѣмъ сами объясняемыя явленія. Новая философія, напротивъ того, старается объяснить, и дѣйствительно объясняетъ все, что происходитъ въ мірозданіи, дѣйствіемъ тѣхъ механическихъ, физическихъ и другихъ силъ, надъ которыми мы можемъ производить безчисленное множество всевозможныхъ опытовъ и наблюденій. Механическая теорія міра, съ которой Декартъ познакомилъ континентальную Европу, появилась и утвердилась въ Англіи въ той формѣ, которую ей придали геніальныя работы Ньютона, и въ которой она осталась на вѣчныя времена неотъемлемымъ достояніемъ общечеловѣческой науки. Послѣ колоссальнаго толчка, даннаго человѣческой мысли міровыми геніями XVII вѣка, умственное движеніе не прерывалось ни на минуту и продолжается до нашего времени съ постоянно возростающей быстротой,—съ такой быстротой, которая не имѣетъ себѣ ничего подобнаго въ лѣтописяхъ человѣческаго развитія. Открытія слѣдуютъ за открытіями; наблюденія и изслѣдованія перекрещиваются и сталкиваются между собою, провѣряя и подтверждая другъ друга; цѣлыя огромныя науки выходятъ одна за другой.

Та новая жизнь, которая проникла въ науку и создала въ ней рядъ невиданныхъ чудесъ, еще не успѣла пробраться въ школу. Современное образованіе еще не вылилось въ форму, которой настоятельно требуетъ теперешнее положеніе науки. Въ настоящее время образованіе и наука находятся въ разладѣ между собою. Но вся исторія человѣческаго развитія показываетъ ясно, что такой разладъ не можетъ сдѣлаться прочнымъ и постояннымъ. Его существованіе въ данную минуту или, пожалуй, даже въ данное столѣтіе объясняется именно небывалой громадностью того переворота, того броженія, которые совершаются до сихъ поръ и еще долго будутъ совершаться въ высшихъ сферахъ научной дѣятельности. Но потребность водворить гармонію между наукой и школой существуетъ несомнѣнно, усиливается съ каждымъ годомъ, сознается яснѣе и отчетливѣе, и заявляется громче и рѣшительнѣе голосами самыхъ компетентныхъ цѣнителей. Трудно сомнѣваться въ томъ, что эта потребность найдетъ себѣ быстрое и полное удовлетвореніе.

ЛЬЮИСЪ И ГЕКСЛИ.

(Предисловіе къ книгѣ Гексли: «Уроки элементарной физіологіи»).

Въ нашей литературѣ за послѣднія пять-шесть лѣтъ господствовала сильная и разносторонняя популяризаторская дѣятельность. Рабочихъ силъ было мало, но почти всѣ наличныя силы направлялись къ тому, чтобы такъ или иначе, посредствомъ переводовъ, извлеченій или компиляцій, знакомить общество съ результатами европейской науки. Хотя наши популяризаторы были малочисленны и недостаточно приготовлены къ своей высокой дѣятельности, однако ихъ дружнымъ усиліямъ удалось воспитать въ обществѣ уваженіе къ положительной наукѣ, удалось создать запросъ на такія знанія, которыми въ былое время способны были интересоваться только самые заклятые спеціалисты. Что дѣятельность нашихъ популяризаторовъ, компиляторовъ, переводчиковъ и издателей не можетъ считаться совершенно безуспѣшной,—это доказывается тѣми воплями и доносами, которые уже успѣла вызвать противъ себя въ нашемъ отечествѣ положительная наука. Если проницательное зрѣніе и чуткій слухъ нашихъ разнообразныхъ обскурантовъ уже подмѣтили для себя опасность въ развивающейся любви нашего общества къ естествознанію; если уваженіе къ микроскопу и къ химическому анализу уже включено нашими обскурантами въ число самыхъ важныхъ примѣтъ неблагонамѣреннаго и безпокойнаго человѣка,—то ясное дѣло, что знаніе становится силой и знаменемъ даже у насъ, въ Россіи.

Если дѣятельность нашихъ популяризаторовъ дѣйствительно заронила въ наше общество зародыши потребностей и стремленій, способныхъ жить и развиваться, то прямая обязанность всѣхъ людей, сознательно преданныхъ дѣлу добра и правды, состоитъ въ томъ, чтобы по мѣрѣ силъ охранять зародившееся умственное движеніе отъ всѣхъ ошибочныхъ уклоненій, въ высшей степени свойственныхъ первымъ шагамъ только-что пробудившейся мысли. Усилія популяризаторовъ клонились къ тому, чтобы возбудить въ обществѣ любознательность. Но для чего надо было возбуждать эту любознательность? Для чего надо было наглядными и осязательными примѣрами убѣждать неразвитыхъ читателей въ томъ, что истины положительной науки могутъ

Digitized by Google

сдѣлаться доступными и занимательными для всякаго мало-мальски грамотнаго человѣка?— Неужели только для того, чтобы неразвитые читатели разнообразили свои безконечные досуги чтеніемъ легкихъ и пріятныхъ книжекъ и статеекъ по физикѣ, химіи, ботаникѣ или зоологіи? Неужели только для того, чтобы «*Физіологія обыденной жизни*» Льюиса или «*Иллюстрированная жизнь животныхъ*» Брэма, или «*Растеніе*» Шлейдена появились на письменномъ столикѣ свѣтской барыни рядомъ съ романами Понсонъ-дю Террайля и съ историческими скандальностями Капфига? Однимъ словомъ, неужели расположеніе общества къ естествознанію было до сихъ поръ простой модой, которая завтра можетъ смѣниться неожиданной нѣжностью къ спиритизму или къ метафизикѣ? Неужели мы, популяризаторы, старались пустить въ ходъ эту моду только для того, чтобы впродолженіи двухъ-трехъ сезоновъ пококетничать передъ публикой въ качествѣ модныхъ писателей?

Нѣтъ. Мы до сихъ поръ смотрѣли и всегда будемъ смотрѣть очень серьезно на нашу дѣятельность. Цѣль нашей дѣятельности до сихъ поръ стояла и всегда будетъ стоять въ нашихъ глазахъ очень высоко, какъ-бы ни были недостаточны наши личныя силы и какъ-бы ни было мучительно для насъ ясное пониманіе этой недостаточности. Мы старались излагать научные факты живо и занимательно, мы старались переводить общедоступныя и увлекательно написанныя естественнонаучныя книжки совсѣмъ не для того, чтобы плодить на Руси безполезныхъ диллетантовъ, способныхъ оцѣнивать живость и занимательность журнальныхъ статеекъ и переводныхъ книжекъ. Диллетантъ, упивающійся втеченіи всей своей жизни занимательными книжками Фохта, Бюхнера, Льюиса, Росмесслера и другихъ даровитыхъ популяризаторовъ; диллетантъ, читающій постоянно только для своего личнаго наслажденія и совершенно неспособный перейти отъ пассивнаго воспринииманія впечатлѣній къ самостоятельному изученію, къ упорному и усидчивому труду,—вызываетъ въ насъ тѣ-же чувства презрительнаго состраданія, съ которыми мы смотримъ на человѣка, посвятившаго всю свою жизнь созерцанію картинъ и статуй, чтенію нашихъ лирическихъ поэтовъ или благоговѣйному слушанію квартетовъ и симфоній.

Мы глубоко убѣждены въ томъ, что Россія нуждается въ мыслящихъ, знающихъ и неутомимыхъ работникахъ по всѣмъ многочисленнымъ отраслямъ чистой и прикладной науки. Мы видимъ и знаемъ, что наше юношество дома и въ школѣ развивается при такихъ невыгодныхъ условіяхъ, которыя въ большей части случаевъ мѣшаютъ ему отыскать себѣ вѣрную и прямую дорогу общеполезнаго труда. Мы хотѣли и хотимъ до сихъ поръ уравновѣсить эти невыгодныя условія живительнымъ и освѣжающимъ вліяніемъ литературы. Мы хотимъ, чтобы литература вносила постоянно чистую струю естествознанія въ ту умственную атмосферу, въ которой гибнутъ силы молодыхъ людей, способныхъ сдѣлаться мыслителями и работниками. Мы хотимъ, чтобы до каждаго развивающагося ума доходили обаятельныя свѣдѣнія о такихъ областяхъ знанія, въ которыхъ умные люди съ постоянно возрастающимъ успѣхомъ и наслажденіемъ отыскиваютъ истину на пользу своимъ ближнимъ. Но мы никакъ не хотимъ, чтобы развивающіеся умы остановились надолго или навсегда на собираніи этихъ обаятельныхъ свѣдѣній. Мы сообщаемъ эти свѣдѣнія именно для того, чтобы возбудить въ развивающемся умѣ желаніе идти трудной дорогой основательнаго изученія въ тѣ области знанія, о которыхъ мы ему разсказываемъ. Если это желаніе не возбуждается, это значитъ, что вся наша дѣятельность пропала даромъ. Если-же это желаніе дѣйствительно возбуждено, то развивающійся умъ долженъ проститься съ популяризующей литературой такъ точно, какъ ученикъ, успѣшно окончившій курсъ въ низшемъ училищѣ, прощается со своими учителями для того, чтобы перейти въ высшее учебное заведеніе и отдать себя въ руки новыхъ, болѣе свѣдущихъ наставниковъ. Тотъ человѣкъ, которому популяризующая естественнонаучная литература принесла дѣйствительную пользу, долженъ перейти отъ чтенія популярныхъ книгъ и статей къ изученію строго научныхъ сочиненій и къ практическимъ занятіямъ въ лабораторіяхъ и въ анатомическихъ театрахъ.

Чтобы достойнымъ образомъ выполнять свое просвѣтительное назначеніе, литература во всякую данную минуту должна удовлетворять всѣмъ умственнымъ потребностямъ читающихъ людей, стоящихъ на самыхъ различныхъ ступеняхъ развитія. Однихъ она должна заинтересовать занимательнымъ изложеніемъ научныхъ истинъ. Другимъ, уже заинтересованнымъ, она должна давать возможность приступить къ серьезному изученію предмета. Третьимъ, уже втянувшимся въ изученіе, она должна сообщать тѣ отвѣты, которые даются авторитетами науки на многочисленные частные вопросы, ежеминутно возникающіе передъ учащимся. Для первой категоріи читателей должны существовать въ достаточномъ изобиліи занимательныя статьи и популярныя книжки; для второй—хорошіе учебники; для третьей—дѣльныя монографіи и изслѣдованія. Въ Россіи, гдѣ всѣ эти три отрасли научной литературы находятся еще въ колыбели, въ Россіи, гдѣ почти не появляются ни хорошія популяризаціи, ни хорошіе учебники, ни хорошія монографіи, безчисленные пробѣлы, оставляемые въ научномъ образованіи націи туземными

Digitized by Google

дѣятелями, должны конечно пополняться скромными усиліями трудолюбивыхъ и добросовѣстныхъ переводчиковъ.

Та книга, къ переводу которой приложено это предисловіе, предназначается для второй категоріи читателей. Подъ именемъ «*Уроковъ элементарной физіологіи*» Гексли издалъ не популярную книгу для любителей легкаго и пріятнаго чтенія, а очень хорошій учебникъ для тѣхъ людей, которые, не боясь труда и твердо рѣшившись напрягать свое вниманіе, желаютъ серьезно пріобрѣсти себѣ основательныя свѣдѣнія о различныхъ процессахъ, совершающихся въ тѣлѣ живого человѣка. Кто ожидаетъ найти въ книгѣ Гексли тѣ достоинства, которыя нравились читающей публикѣ въ «*Физіологіи обыденной жизни*» Льюиса, тому мы предсказываемъ полное разочарованіе. Въ «*Урокахъ элементарной физіологіи*» нѣтъ ни того игриваго литературнаго изложенія, ни тѣхъ занимательныхъ анекдотическихъ подробностей, которыя очень мало относятся къ физіологіи и которымъ однако-же книга Льюиса въ очень значительной степени обязана своимъ блестящимъ успѣхомъ. Кто требуетъ отъ книги только пріятнаго препровожденія времени, тотъ не одолѣетъ и десяти страницъ въ «*Урокахъ элементарной физіологіи*». Но кто уже дѣйствительно понимаетъ цѣну положительнаго знанія и кто серьезно хочетъ учиться для того «*Уроки*» Гексли сдѣлаются настольной книгой, потому что въ нихъ онъ найдетъ ясное, сжатое и чрезвычайно дѣльное изложеніе фактовъ именно въ томъ видѣ, какъ понимаютъ ихъ въ настоящую минуту лучшіе европейскіе изслѣдователи.

Я вовсе не думаю и не желаю возвеличивать Гексли въ ущербъ Льюису. Обѣ книги замѣчательно хороши, каждая въ своемъ родѣ, и каждая изъ нихъ вполнѣ достигаетъ той цѣли, къ которой стремились ихъ авторы. Я только констатирую тотъ фактъ, что эти двѣ книги принадлежатъ къ двумъ существенно различнымъ родамъ, и что цѣли обоихъ авторовъ были существенно различны. Литературныя украшенія и анекдотическія подробности, совершенно умѣстныя и даже необходимыя въ такой книгѣ, которая должна пробудить и расшевелить любознательность неразвитого читателя, оказываются излишними и только затемняютъ сущность дѣла въ томъ случаѣ, когда писатель обращается къ публикѣ, уже достаточно убѣдившейся въ необходимости приступить къ серьезному изученію предмета. Книгу Льюиса можно только читать, а книгу Гексли можно и должно непремѣнно изучать.

«*Уроки элементарной физіологіи*» написаны въ высшей степени ясно. Каждое слово обдумано и взвѣшено. Каждый эпитетъ стоитъ на своемъ мѣстѣ и дѣйствительно характеризуетъ тотъ предметъ, о которомъ авторъ хочетъ дать намъ точное понятіе. Всѣ отдѣлы науки расположены въ строжайшей систематической послѣдовательности, такъ что читателю нѣтъ надобности ни забѣгать впередъ, ни возвращаться назадъ для того, чтобы во всякую данную минуту вполнѣ понимать описанія и объясненія автора. Несмотря на всѣ эти достоинства, чѣмъ внимательнѣе вы будете читать Гексли и чѣмъ настойчивѣе вы будете его перечитывать, тѣмъ сильнѣе будетъ укореняться въ вашемъ умѣ то убѣжденіе, что никакая книга, какъ-бы она ни была превосходно написана, какими-бы роскошными рисунками она ни была снабжена, не можетъ дать вамъ полнаго и отчетливаго понятія о тѣхъ безконечно сложныхъ и переплетающихся между собой процессахъ, которыхъ совокупность называется жизнью. Я сказалъ: *не смотря на всѣ эти достоинства*. Я выразился неудачно. Вѣрнѣе было-бы сказать: *благодаря всѣмъ этимъ достоинствамъ*, потому что истинныя достоинства хорошаго физіологическаго трактата естественнымъ образомъ должны вести за собой тотъ общій результатъ, чтобы учащійся почувствовалъ себя неудовлетвореннымъ книжными объясненіями, и чтобы въ немъ зародилась непреодолимая потребность видѣть собственными глазами и разсматривать со всѣхъ сторонъ тѣ живыя явленія, на которыя книга могла дѣлать только болѣе или менѣе отдаленные намеки.

Подобно всѣмъ мыслящимъ натуралистамъ, Гексли придаетъ огромное значеніе практическому знакомству учащихся съ живыми фактами, составляющими предметъ ихъ изученія. Одинъ мѣсяцъ дѣльныхъ занятій въ лабораторіи или анатомическомъ театрѣ перевѣшиваетъ въ его глазахъ цѣлыя горы прочитанныхъ книгъ. Такого рода занятія рано или поздно должны сдѣлаться, по его мнѣнію, необходимой составной частью каждой сколько-нибудь раціональной системы общаго образованія. Въ одной публичной лекціи, читанной въ Кенсингтонскомъ музеумѣ, Гексли высказываетъ свои мысли о томъ методѣ, по которому должно производиться изученіе какой-бы то ни было отрасли естествознанія. Такъ какъ эти мысли примѣняются ближайшимъ образомъ къ изученію біологическихъ наукъ, и преимущественно физіологіи, то я считаю не лишнимъ познакомить съ ними читателей, которымъ онѣ, по моему мнѣнію, дадутъ возможность понять, съ какой именно точки зрѣнія самъ Гексли смотритъ на свои «*Уроки элементарной физіологіи*».

Гексли считаетъ образцовымъ тотъ способъ, по которому анатомія преподается обыкновенно въ медицинскихъ школахъ. Въ составъ этой методы преподаванія входятъ три элемента: лек-

Digitized by Google

ціи, демонстраціи и экзамены. Польза лекцій состоитъ, во-первыхъ, въ томъ, что онѣ гораздо сильнѣе книги возбуждаютъ любовь студентовъ къ наукѣ, разумѣется въ томъ случаѣ, если онѣ читаются сколько-нибудь даровитымъ, добросовѣстнымъ и уважаемымъ профессоромъ. Во-вторыхъ, лекціи направляютъ вниманіе учащихся на выдающіяся точки предмета и въ тоже время поневолѣ заставляютъ ихъ знакомиться со всѣмъ предметомъ, не позволяя имъ преждевременно пристраститься къ изученію какой-нибудь отдѣльной части. Для того, чтобы лекція достигла своей цѣли, Гексли считаетъ необходимыми нѣкоторыя спеціальныя предосторожности. Самая увлекательная ораторская рѣчь можетъ быть очень плохой, потому что вниманіе слушателей, поглощенное стройнымъ теченіемъ фразъ и періодовъ, не будетъ останавливаться на основныхъ положеніяхъ лекціи, вслѣдствіе чего общее впечатлѣніе останется по всей вѣроятности довольно смутнымъ. По мнѣнію Гексли, всего полезнѣе сосредоточивать сущность всей лекціи въ немногихъ сжатыхъ предложеніяхъ, которыя записываются студентами подъ диктовку профессора. Когда предложеніе продиктовано и записано, тогда профессоръ развиваетъ и поясняетъ его, рисуя при этомъ въ случаѣ надобности чертежи, особенно вразумительные для студентовъ именно потому, что эти чертежи возникаютъ тутъ-же подъ рукой профессора, который можетъ отдать себѣ и своимъ слушателямъ строжайшій отчетъ въ каждой отдѣльной черточкѣ. При такомъ методѣ преподаванія чисто литературныя достоинства лекціи конечно совершенно подчиняются серьезнымъ интересамъ дѣла. Во время слушанія учебнаго курса, составленнаго по такому методу, Гексли считаетъ усердное чтеніе ученыхъ сочиненій излишнимъ и даже вреднымъ. На обыкновенный вопросъ студентовъ о томъ, какія книги имъ слѣдуетъ читать, Гексли отвѣчалъ обыкновенно:

«Никакихъ. Записывайте ваши замѣтки тщательно и въ полномъ объемѣ; старайтесь понимать ихъ совершенно отчетливо; приходите ко мнѣ за объясненіемъ того, что остается для васъ непонятнымъ; и я-бы предпочелъ, чтобы вы не развлекали вашихъ мыслей чтеніемъ.»

Чего Гексли не ожидаетъ отъ чтенія книгъ, то онъ требуетъ отъ демонстраціи, то-есть отъ наглядnаго изученія предмета въ анатомическомъ театрѣ. «Великое благо, доставляемое научнымъ образованіемъ, — говоритъ Гексли,—со стороны-ли умственной дисциплины, или со стороны знанія — зависитъ отъ того, насколько умъ студента приводится въ непосредственное соприкосновеніе съ фактами, насколько онъ усвоиваетъ себѣ умѣнье обращаться за отвѣтами прямо къ природѣ и пріобрѣтать посредствомъ своихъ чувствъ конкретныя представленія о тѣхъ свойствахъ предметовъ, которыя выражаются и всегда будутъ выражаться на человѣческомъ языкѣ только приблизительно.

«Нашъ взглядъ на природу и наша манера говорить о ней измѣняются съ года на годъ; но фактъ, однажды усмотрѣнный, связь между причиной и слѣдствіемъ, однажды подмѣченная на живомъ примѣрѣ, составляютъ такое достояніе, которое не измѣняется и не пропадаетъ, а, напротивъ того, образуетъ точки опоры для новыхъ истинъ, группирующихся вокругъ нихъ путемъ естественнаго сродства. Поэтому великая задача научнаго преподавателя состоитъ въ томъ, чтобы напечатлѣть основные и неоспоримые факты науки не только словами въ умѣ, но и чувственными впечатлѣніями въ зрѣніи, слухѣ и осязаніи учащагося до такой степени прочно, чтобы впослѣдствіи каждый употребленный терминъ или сформулированный законъ вызывали въ немъ немедленно живые образы тѣхъ особенныхъ анатомическихъ или другихъ фактовъ, посредствомъ которыхъ былъ доказанъ законъ или поясненъ терминъ»... «Я понимаю, что процессъ дѣйствительныхъ зоологическихъ демонстрацій представляетъ значительныя практическія трудности.

«Разсѣченіе животныхъ вовсе не привлекательно и требуетъ большой траты времени; кромѣ того не легко доставать необходимое количество экземпляровъ, подлежащихъ анатомированію. Ботаникъ находится въ гораздо болѣе выгодномъ положеніи: его матеріалы легко добываются; они чисты, не вредны для здоровья и могутъ разсѣкаться въ частномъ домѣ и во всякомъ другомъ мѣстѣ. И этимъ обстоятельствомъ объясняется, я полагаю, тотъ фактъ, что ботаника преподается гораздо основательнѣе и успѣшнѣе, чѣмъ ея сестра — зоологія. Но будь это трудно или легко, все-таки, если зоологія должна изучаться серьезно, то необходимо прибѣгать къ демонстраціи и слѣдовательно производить разсѣченія. Безъ этого ни одинъ человѣкъ не можетъ усвоить себѣ никакихъ здоровыхъ свѣдѣній объ организаціи животныхъ.»

Объ экзаменахъ Гексли говоритъ очень коротко, что необходимы экзамены письменные и словесные, и что ихъ польза въ настоящее время не оспаривается никѣмъ.

Если Гексли для основательнаго изученія предмета считаетъ необходимыми лекціи, демонстраціи и экзамены, то спрашивается, какую роль онъ отводитъ въ дѣлѣ изученія физіологіи своей собственной книгѣ или даже вообще лучшему изъ всѣхъ возможныхъ учебниковъ. Не трудно понять, что эта роль оказывается очень скромной: люди, подобные Гексли,

Digitized by Google

цѣнятъ только основательное знаніе и относятся съ глубочайшимъ презрѣніемъ къ той ошибочной и вредной мысли, что для массы читателей должно существовать какое-то особенное знаніе изъ пятаго въ десятое,—знаніе, которое можетъ быть схвачено на-лету, кое-какъ, безъ усидчиваго труда, безъ собственныхъ наблюденій и опытовъ и безъ всякаго напряженія умственныхъ способностей. По мнѣнію людей, подобныхъ Гексли, къ знанію ведетъ только одинъ путь, и на этомъ пути не существуетъ почтовыхъ лошадей и экипажей, при содѣйствіи которыхъ богачъ могъ-бы сберечь свои силы и обогнать утомленнаго бѣдняка, принужденнаго тащиться пѣшкомъ.

Для желающихъ учиться книга также не можетъ быть такимъ чудеснымъ талисманомъ, который разомъ перенесъ-бы ихъ къ далекой цѣли ихъ усилій и избавилъ-бы ихъ отъ необходимости подчиняться сложной системѣ занятій, составляющей, по мнѣнію Гексли, единственную вѣрную дорогу къ положительному знанію. Книга можетъ только до нѣкоторой степени замѣнить собой лекціи. Кто потребуетъ отъ книги слишкомъ многаго, кто пожелаетъ, чтобы она замѣнила ему наглядное изученіе и практическія занятія въ лабораторіи или препаровочной, тотъ не получитъ отъ нея даже и того, что она можетъ дать и непремѣнно дастъ читателю, умѣющему сдерживать свои требованія въ границахъ возможнаго.

Книга Гексли безъ сомнѣнія даетъ читателю все то, что можетъ дать превосходная книга, но при этомъ, во избѣжаніе безсмысленныхъ разочарованій, надо постоянно имѣть въ виду, что въ дѣлѣ изученія какой-бы то ни было положительной науки всякая книга, какъ-бы она ни была хороша, должна непремѣнно оставлять читателя неудовлетвореннымъ, указывая ему вдаль на необозримо длинный рядъ опытовъ и наблюденій, цѣною которыхъ покупается прочное и плодотворное знаніе.

Лучшая похвала, которую можно сказать книгѣ Гексли, состоитъ именно въ томъ, что эта книга не успокоиваетъ читателя и не замаскировываетъ отъ него тѣхъ трудностей, которыми усѣяна дорога основательнаго изученія.

КОНЕЦЪ ПЯТАГО ТОМА.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Литературный процессъ при 6-мъ томѣ не помѣщенъ.

Digitized by Google

Слова и иллюзіи гибнутъ — факты остаются.

Д. Писаревъ

Digitized by Google

СОЧИНЕНІЯ

Д. И. ПИСАРЕВА

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

ВЪ ШЕСТИ ТОМАХЪ

ТОМЪ ШЕСТОЙ

Цѣна каждаго тома 1 рубль

Портретъ автора и статья о его литературной дѣятельности помѣщены при шестомъ томѣ

Изданіе Ф. Павленкова

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія Высочайше утвержд. Товарищества „Общественная Польза“, Большая Подъяческая, № 39

1894

Digitized by Google

Digitized by Google

Оглавленіе шестого тома.

1867.

1) Очерки изъ исторіи европейскихъ народовъ. 1
2) Образованная толпа 221
3) Борьба за жизнь 283

1868.

4) Романы Андре Лео 345
5) Старое барство 419
6) Мистическая любовь. 449
7) Французскій крестьянинъ въ 1789 году. 519

Приложеніе.

8) Литературный процессъ по 2-й части «Сочиненій Д. И. Писарева». . 549

Digitized by Google

Digitized by Google

Дмитрій Ивановичъ Писаревъ.

(ЛИТЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА).

I.

Больше тридцати лѣтъ прошло уже съ той поры, какъ эпоха 60-хъ годовъ канула въ вѣчность, а между тѣмъ приходится сказать, что знаемъ мы о ней очень мало. За тридцать истекшихъ лѣтъ успѣли сложиться нѣсколько легендъ, распространиться нѣсколько слуховъ и сплетенъ, но до научнаго анализа движенія еще очень далеко. А, казалось, давно-бы пора приступить къ оцѣнкѣ хотя-бы «Русскаго Слова» и «Современника» безъ предвзятой мысли, безъ вниманія къ легендамъ. Вѣдь одинъ тотъ ужасъ, который многіе чувствуютъ при словѣ «60-ые годы», показываетъ, что эпоха эта оставила рѣзкіе слѣды въ мозгу переживавшихъ ее и даже во всей жизни. Публика съ 60-ми годами знакома преимущественно по романамъ. Она все еще читаетъ «Взбаломученное море» Писемскаго,—это произведеніе громаднаго, но одряхлѣвшаго, впавшаго въ ипохондрію таланта,—«Некуда» Н. Лѣскова и тѣ безчисленные беллетристическіе доносы, которые то и дѣло украшаютъ собой страницы нашихъ консервативныхъ органовъ, гдѣ 60-мъ годамъ присваиваются спеціальныя наименованія, вродѣ «Вавилонское Столпотвореніе», «Смутныя времена», «Разнуздались» и пр., и пр. Научный анализъ однако все еще заставляетъ себя ждать.

Поэтому-то «смутность», неопредѣленность и неустойчивость чувствуется во всемъ, что̀ написано у насъ о 60-хъ годахъ. А казалось-бы, къ чему особенно путать въ этомъ вопросѣ? Взгляды любого изъ дѣятелей той эпохи просты, изложены они ясно и рѣзко, выводы изъ нихъ сдѣланы или легко могутъ быть сдѣланы, предшествующія событія мы знаемъ, послѣдующія одинаково никакой таинственности изъ себя не представляютъ. Особенно грандіознаго, великаго, такого, что̀ было-бы трудно понять, въ 60-ые годы не дѣлалось и не говорилось. И это-то странное неумѣніе оцѣнить такое въ сущности простое и искреннее движеніе, какъ движеніе 60-хъ годовъ, является очень нехорошимъ знакомъ и говоритъ, что мы *не хотимъ* знать истины. Не хотятъ ее знать и тѣ изъ насъ, кто полагаетъ, что 60-ые годы представляли изъ себя поразительный расцвѣтъ всероссійской добродѣтели, не хотятъ ее знать и тѣ, кто считаетъ дѣятелей того времени какими-то гигантами и титанами, а главное не хотятъ ее знать тѣ, кто убѣдился или позволилъ себя убѣдить, что 60-ые годы были «навожденіемъ». Вѣдь стоитъ только допустить въ голову такую мысль и укрѣпиться въ ней, какъ всякая возможность научнаго анализа исчезаетъ и вмѣсто историческаго эпизода передъ нами спиритическій сеансъ. А выяснить, чѣмъ же были 60-ые годы, надо и какъ можно обстоятельнѣе надо это сдѣлать, чтобы съ одной стороны уничтожить возможность слезливыхъ восторговъ (ахъ, люди!... ахъ, время!..), а съ другой—ожесточенныхъ нападокъ и брызганья слюнями. Едва-ли не безполезно звать назадъ къ 60-мъ годамъ и увѣрять, будто въ нашей русской жизни только и свѣту что въ этомъ окошкѣ, но еще глупѣе и безсмысленнѣе нападать на нихъ какъ на что-то апокалипсическое. Мнѣ-же, которому по разнымъ причинамъ пришлось ознакомиться довольно подробно съ журналистикой 60-хъ годовъ,—а журналистика въ то время была нервомъ жизни и общественной мысли,—хотѣлось-бы дать этой эпохѣ самую простую «читательскую» характеристику или просто сообщить свои впечатлѣнія безъ всякаго мудрствованія лукаваго.

Прежде всего мнѣ прямо странетъ тотъ взглядъ, что 60-ые годы были какими-то разбойниками, произвольно вторгшимися въ мирную русскую жизнь и надѣлавшими всяческихъ хлопотъ. Никогда ничего подобнаго

Digitized by Google

въ исторіи не бываетъ, и произвольное произвольно лишь до той поры, пока мы его считаемъ таковымъ. Вопросъ объ *освобожденіи крестьянъ* разбирался во все время царствованія императора Николая въ *восьми* комитетахъ, и освобожденіе имѣло на своей сторонѣ не только самого государя, но и лучшихъ его министровъ—Канкрина и Киселева. *Эмансипація личности собственно* началась совсѣмъ не съ 60-хъ годовъ, а гораздо раньше, когда массы русской молодежи побывали въ Парижѣ послѣ 12-го года и заразились тамошнимъ духомъ и либерализмомъ. *Народническое движеніе*, народолюбіе, демократизмъ опять-таки не выдуманы 60-ми годами, а стали созрѣвать уже въ періодъ сороковыхъ годовъ и началѣ 50-хъ, выраженіемъ чего явился «Антонъ Горемыка» Д. Григоровича и «Записки Охотника» Тургенева, — произведенія, до которыхъ очень далеко какъ по художественности, такъ и въ смыслѣ вліянія, и разсказамъ Марка Вовчокъ (М. Марковичъ), и повѣстямъ Рѣшетникова, Левитова и т. д. *Гражданскую* струю трудно было бы не видѣть въ стихахъ Некрасова, появившихся до «навожденія», въ послѣднихъ статьяхъ Бѣлинскаго, особенно тѣхъ, которыя относятся къ 1846—48 гг., и во всемъ, что̀ вышло изъ подъ пера автора «Кто виноватъ?». *Реализмъ* искусства выдуманъ опять-таки не Добролюбовымъ и не Писаревымъ, чистое искусство было похоронено уже Бѣлинскимъ, а краса нашего реализма, гр. Л. Толстой, выступилъ съ своимъ «Дѣтствомъ» въ 1852 г. (въ «Современникѣ»). *Обличительная литература* не сходила со сцены во все время царствованія Николая I и имѣла такихъ представителей, какъ Гоголь («Мертвыя Души» и «Ревизоръ»), Лермонтовъ («На смерть Пушкина», «1-ое января», «Дума» и т. д.), Островскій.

Но вѣдь всѣ перечисленные выше элементы и составляютъ то, что̀ мы называемъ *духомъ* 60-хъ годовъ. Что же особеннаго сдѣлали «семинаристы», какъ любитъ выражаться Н. Страховъ? Все равно какъ при императорѣ Николаѣ вопросъ объ освобожденіи крестьянъ неустанно разбирался въ одномъ тайномъ комитетѣ за другимъ, а при императорѣ Александрѣ II сразу же перешелъ въ жизнь, такъ и принципы, выработанные въ 40-ые годы и даже раньше, стали проникать въ жизнь въ эпоху 60-хъ. Въ царствованіе Николая I совершилась громадная, хотя и закулисная работа; Александръ II немедленно по восшествіи на престолъ приказалъ поднять занавѣсъ, допустивъ обсужденіе, хотя и тайныхъ, но совсѣмъ не новыхъ вопросовъ. Для дѣйствія машины, повторяю, все было готово уже раньше—и уголь, и вода, и паръ; оставалось только соединить двигатель съ проводомъ, какъ немедленно же задвигались всѣ рычаги и завертѣлись всѣ колеса. Кого-же и за что̀ тутъ винить?

Ставши на эту историческую точку зрѣнія, мы увидимъ, что ожесточаться на 60-е годы совсѣмъ нечего: духовная ихъ зависимость отъ 40-хъ слишкомъ очевидна. Если ужъ на то пошло, то Бѣлинскій, Гоголь, Тургеневъ болѣе погрѣшили, чѣмъ ихъ ученики: они первые раскачали тяжелое тѣло, т. е. дремавшую россійскую мысль; послѣ нихъ оставалось лишь примѣнять и распространять, а выдумывать эмансипацію, гражданственность, реализмъ, народничество было уже нечего. Главная принципіальная работа вплоть до «сужденія съ точки зрѣнія пользы» была сдѣлана раньше.

Но, разумѣется, когда принципъ переходитъ въ жизнь, онъ по необходимости становится уже,—непримиримѣе, и враждебнѣе, чѣмъ прежде, относится къ другимъ принципамъ, стоящимъ у него поперекъ дороги. 40-ые годы и красотѣ поклонялись, и мужику глубоко сострадали. 60-ые—прежде всего *рабочіе* годы и какъ отъ таковыхъ смѣшно и странно требовать, чтобы они являлись передъ нами во фракѣ, бѣлыхъ перчаткахъ и съ цитатой изъ Пушкина или Гюго на устахъ. Имъ было не до того, имъ надо было по красивому и изящно нарисованному типу выстроить зданіе. Естественно, что они пачкались въ пыли и мусорѣ и, отбросивши комфортъ и эстетику, изо всѣхъ силъ принялись стучать молотками и топорами. Подойдите вы къ человѣку, увлеченному физической или другой работой, и попросите его вмѣстѣ съ вами полюбоваться на голубое небо, на струю свѣтлой лазури и т. д.—вамъ придется услышать вѣроятно очень невѣжливое: «а ну тебя!»...

Психологія торопливаго труда, труда одушевленнаго во имя вполнѣ ясно сознанной цѣли, но вполнѣ опредѣленной программѣ, и притомъ неотложнаго — такова психологія 60-хъ годовъ. Другой нечего и искать. И если кому не нравится, какъ люди работаютъ молоткомъ и топоромъ, тому нечего читать шестидесятниковъ, а слѣдуетъ обратиться къ другой эпохѣ, когда играютъ на лирѣ и воспѣваютъ мечтательную луну. И такихъ эпохъ очень даже достаточно.

Посмотрите, повторяю, на 60-ые годы не «съ точки зрѣнія», а такъ, какъ они могутъ представиться хладнокровному и даже незаинтересованному наблюдателю, отбросьте въ сторону легенды о нигилистахъ, которыми васъ пугала нянюшка, тѣмъ болѣе,

Digitized by Google

что нигилистъ—слово глупое и ничего не выражающее, и вы увидите прежде всего оживленную работу и своеобразную серьезность и идейность жизни. Передъ вами оживетъ цѣлое поколѣніе, если хотите не совсѣмъ «уклюжее», не совсѣмъ изящное, совершенно не созерцательное,—поколѣніе, на долю котораго выпала преимущественно черная работа ликвидаціи крѣпостного права и крѣпостныхъ отношеній вообще. Вѣдь и Левъ Толстой былъ тогда мировымъ посредникомъ и училъ ребятишекъ въ яснополянской школѣ. Другіе составляли справочныя книжки, энциклопедическіе словари, популяризировали науку. Инженеру, проводящему желѣзную дорогу, нѣтъ дѣла до того, что ему придется срубить вѣковой дубъ, подъ сѣнью котораго еще вчера цѣловались влюбленные, или что онъ, прорывъ канаву, испортитъ чудный видъ и остановитъ журчанье ручейка. Съ этой точки зрѣнія шестидесятники относились къ красотѣ и чистому искусству. То и другое они замѣнили «обществомъ», общественными вопросами, отвѣтственностью человѣка передъ себѣ подобными и т. д. Имъ положительно некогда было штудировать философскія системы, Петрарку и Пушкина, Тассо и Гоголя, зато надо было вырѣшить и не принципіально, а подробно и практически вопросъ о нормѣ надѣла, присяжныхъ и т. д. Всю эту черную утомительную работу они сдѣлали и вдругъ отъ насъ видятъ одну черную неблагодарность. За что? За то, что были въ поту и съ мозолями на рукахъ, а современные поэты, подобно Мюссе, не могутъ писать иначе, какъ въ бѣлыхъ перчаткахъ и съ полубутылкой клико передъ собой?..

Работа, тѣмъ болѣе торопливая и черная, всегда развиваетъ въ человѣкѣ своего рода ригоризмъ. Сосредоточенный, внимательный работникъ всегда кажется диллетанту и ограниченнымъ, и узкимъ потому, что ему, этому сосредоточенному и внимательному работнику, не всегда есть время и охота полюбоваться на мечтательную луну, погрустить о роковой тайнѣ бытія и пр. Этотъ рабочій, трудовой ригоризмъ очень характеренъ для 60-хъ годовъ. Вы его найдете и у Чернышевскаго, и у Добролюбова, и у Писарева, ну, а второстепенные дѣятели доводили его до крайности и подчасъ прямо ругались, когда имъ очень уже надоѣдали съ кисло-сладкими воззваніями къ Музѣ, Лунѣ, Звѣздамъ, Богинѣ Красоты, Вѣчности и пр. По части манеръ и пріятнаго обхожденія тутъ дѣйствительно есть недочетъ. Журнальныя статьи того времени зачастую писались сплеча, фразы подбирались рѣзкія, бьющія въ носъ, то и дѣло вставлялись для украшенія стиля словечки очень рѣшительныя... Но вѣдь тогда было не до пріятнаго обхожденія—это во-первыхъ, а во вторыхъ соединить въ себѣ сразу и чернорабочаго, и джентльмэна подъ силу очень немногимъ. Прямолинейность въ довершеніе всего—ошибка, а не преступленіе, и наша обязанность—указывать ошибки, крайности, увлеченія, но не винить.

Многія «ошибки», по тщательномъ разсмотрѣніи, могутъ вѣроятно оказаться очень простительными. Возьмите напр. отношеніе 60-хъ годовъ къ наукѣ вообще, естествознанію въ частности. И той, и другимъ увлекались. Лучшія, серьезнѣйшія вещи читались, перечитывались не только спеціалистами, а просто интеллигентными людьми. Мы далеки отъ такой научности и еще дальше отъ попытокъ и стремленія перестроить жизнь на научномъ основаніи. Л. Толстой напр. прямо презираетъ медицину, а къ естествознанію относится очень скептически. Но работникъ такъ смотрѣть на дѣло не можетъ. Каждый его шагъ, каждое его соприкосновеніе съ дѣйствительностью убѣждаютъ его, что единственная опора труда—это знаніе, что чѣмъ это знаніе ближе къ основнымъ потребностямъ жизни, тѣмъ оно полезнѣе. Отсюда восторгъ передъ естествознаніемъ.

Я смѣло могу не раздѣлять его. Но если предложить на выборъ: блужданіе въ дебряхъ метафизики, всестороннее разсмотрѣніе вопроса о смыслѣ и цѣли жизни,—вопроса, все равно неразрѣшимаго, съ одной стороны и физику или агрономію съ другой, особенно въ то время, когда элементарнѣйшія потребности человѣка не находятъ себѣ удовлетворенія,—я буду скорѣе сочувствовать восторгу передъ агрономіей, чѣмъ передъ красивыми, грандіозными и нерѣшимыми задачами метафизики. Это случится, разумѣется, лишь въ томъ случаѣ, если «я» смотрю на себя прежде всего какъ на работника и на отвѣтственное передъ обществомъ лицо.

Но вѣдь такіе-то «я» и собрались въ литературномъ штабѣ 60-хъ годовъ.

Благодаря отсутствію научнаго анализа, къ движенію 60-хъ годовъ преобладаетъ отрицательное отношеніе, даже въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ прямой злобы и ненависти. Подъ часъ подсмѣиваются и улыбаются, какъ улыбается человѣкъ, значительно одряблѣвшій и одряхлѣвшій, съ лысиной, съ мѣшочками подъ глазами, съ пустымъ сердцемъ и пустой жизнью — смотря на свой портретъ, снятый въ юности, когда онъ страдалъ, любилъ и вѣрилъ. Что-то скорбное есть въ этой улыбкѣ.

Digitized by Google

Если не считать тѣхъ, кто при словѣ «60-ые годы» начинаетъ звонить во всѣ колокола, и тѣхъ еще, кто при томъ-же словѣ теряетъ здравый смыслъ отъ накипающаго въ его душѣ благороднаго негодованія, то мнѣніе большинства сводится повидимому къ тому, что въ ту эпоху мы слишкомъ увлекались и наивно вѣрили, что все можетъ быть сдѣлано сейчасъ-же: сейчасъ-же запоютъ птицы, сейчасъ-же заблагоухаютъ цвѣты и весна жизни вступитъ въ свои права..

Съ этой точки зрѣнія, благодаря ея распространенности и внѣшней правильности, слѣдовало-бы посчитаться обстоятельнѣе, чѣмъ я могу это сдѣлать въ данномъ мѣстѣ. Конечно въ ту эпоху люди увлекались и вѣрили больше чѣмъ теперь, но представлять себѣ, что они только и дѣлали, что танцовали воинственные и побѣдные танцы,—совсѣмъ напрасно. Неужели кто нибудь полагаетъ, что Добролюбовъ, написавшій свои статьи о темномъ царствѣ, допускалъ возможность исчезновенія этого темнаго царства «въ одинъ моментъ». Онъ искренне желалъ темному царству отправиться къ праотцамъ, но его силу и живучесть онъ сознавалъ яснѣе другихъ. Перечтите «Свистокъ». Скептическая точка зрѣнія на отрадные факты здѣсь преобладаетъ, и не тотъ-же ли Добролюбовъ печатно спросилъ: «развѣ можетъ надолго удержаться весна въ нашемъ холодномъ, чахоточномъ климатѣ?». Этотъ вопросъ былъ поставленъ въ 61-мъ году, въ самый разгаръ движенія. И Писаревъ прекрасно понималъ, что движеніе захватило лишь верхи, что для прочности ему надо проникнуть въ массу, а это—долгая исторія и долгая работа. Герой 60-хъ годовъ является скорѣе тоскующимъ при видѣ громадности лежащихъ передъ нимъ препятствій, чѣмъ ликующимъ отъ мысли, что мы все зло закидаемъ шапками. Вѣдь только близорукій оптимистъ могъ увѣрять, что «мы созрѣли»; умные люди видѣли, что до зрѣлости еще очень далеко. Припомните кстати, какъ тосковалъ Базаровъ.

Но если исторически невѣрно то мнѣніе, что люди 60-хъ годовъ преимущественно танцовали и хлопали въ ладоши при видѣ несущагося по дебрямъ и степямъ Россіи прогресса,—то вѣрно, что тѣ-же люди никогда не позволяли жизни угнетать и удручать себя, хотя и сознавали, что работа, предстоящая имъ, велика и серьезна, что шансы на успѣхъ есть, хотя и ничтожные. Они не обѣщали скорой побѣды и скораго наступленія пира жизни—иначе они были бы фразерами и презрѣнными болтунами; они знали, что «въ одинъ моментъ» не поумнѣютъ и не пріобрѣтутъ ни гражданской выправки, ни гражданскаго мужества 100 милліоновъ русскихъ людей, изъ которыхъ 99 м. находились въ первобытномъ состояніи; но они вѣрили, что въ концѣ концовъ доброе, разумное, честное побѣдитъ злое, глупое, подлое, и требовали, чтобы каждый шелъ по истинному пути. Передъ смертью Добролюбовъ написалъ маленькое стихотвореніе, кончающееся словами:

...Я умираю,
Но спокоенъ я душою,
И тебя благословляю:
Шествуй тою-же стопою!...

Читатель понимаетъ, что вѣра въ торжество добра и истины сама по себѣ значитъ очень мало, говоритъ о прекрасномъ сердцѣ, природной мягкости, но ей ничего не стоитъ переродиться въ высокія фразы, краснорѣчивыя сентенціи и слезливую сентиментальность. Добро — ахъ! Истина—ахъ! Справедливость—ахъ! Съ этими формулами далеко не уйдешь. Только та вѣра въ торжество добра, истины и справедливости имѣетъ цѣну, которая основана на знаніи. А знать нужно многое, и прежде всего дѣйствительность жизни. Нужно соразмѣрить свои силы и свои удары. Нужно опредѣлить шансы успѣха и неудачи. Самонадѣянность, хотябы проистекающая изъ благороднѣйшихъ побужденій, всегда одинаково вредна. Общественный дѣятель, руководящій умами какъ полководецъ, не долженъ увлекаться. И очевидно, что лучшіе люди 60-хъ годовъ страдали скорѣе скептицизмомъ, чѣмъ легкомысліемъ. Ни бубновъ, ни барабановъ мы не слышимъ въ ихъ статьяхъ, но видимъ ясное сознаніе необходимости работать въ истинномъ направленіи, не скрывая отъ себя громадности работы, не предаваясь легкомысленнымъ упованіямъ. Это не наше «полегоньку» и «потихоньку», festina lente и прочія глупости, это нѣчто большее: для защиты праваго дѣла надо напрягать всѣ свои силы, всѣ свои способности, работать не покладая рукъ, не печалиться отъ неудачъ и вѣрить въ неминуемое торжество справедливости, хотя бы и тамъ, далеко, въ туманѣ голубого дня.

Мысль, что ты стоишь на сторонѣ праваго дѣла, что его конечная побѣда настолько-же обусловлена твоими личными усиліями, какъ и исторической необходимостью, какъ и роковымъ ходомъ нашей общественной эволюціи,—единственная, которая въ состояніи придавать человѣку неисчерпаемую вѣру и сдѣлать его жизнь нравственной въ лучшемъ смыслѣ этого слова. Истинная нравственность не можетъ не ос-

Digitized by Google

новываться на знаніи исторіи и современности: человѣкъ только помогаетъ исторической эволюціи, но не создаетъ ее. Защищать папство и католицизмъ въ XVI-мъ вѣкѣ было не только глупо, но и безнравственно; защищать цезаризмъ во Франціи въ XIX вѣкѣ не только глупо, но и безнравственно. Нравственное поведеніе—то, которое содѣйствуетъ развитію общества; безнравственное (хотя-бы проистекающее изъ честнѣйшихъ и прекраснѣйшихъ мотивовъ)—то, которое тормозитъ развитіе общества.

Вотъ эта-то простая и элементарная этика 60-хъ годовъ совершенно забыта нами. И понятно почему. Люди 60-хъ годовъ сознавали громадность бѣдствія, мы-же запуганы и подавлены имъ. Поэтому то мы и говоримъ, что то была эпоха увлеченія...

Оцѣнивая 60-е годы (я имѣю въ виду рѣдкіе случаи оцѣнки безъ страсти и раздраженія), мы, какъ кажется, прибѣгаемъ къ одному пріему, вообще говоря, правильному, но пользоваться которымъ надо съ величайшей осторожностью. Мы говоримъ: «60-ые годы не оправдали надеждъ, возлагавшихся на нихъ, не имѣли серьезнаго и продолжительнаго успѣха, слѣдовательно они виновны, хотя быть-можетъ и заслуживаютъ снисхожденія». По моему искреннему убѣжденію, оцѣнивать историческія явленія по ихъ успѣху и неуспѣху—можно и должно. Это даже существенный, правильный и реальный критеріумъ, безъ котораго мы непремѣнно запутаемся въ дебряхъ метафизики и высокихъ фразъ. Но, къ сожалѣнію, этотъ критеріумъ нельзя употреблять съ такой-же легкостью, какъ аршинъ или фунтъ. По интересующему насъ вопросу замѣтимъ прежде всего, что мы, люди 80-хъ и 90-хъ годовъ, далеко не компетентны въ оцѣнкѣ успѣха или неуспѣха эпохи, слишкомъ близкой отъ насъ, нашего, такъ сказать, «наканунѣ». Въ исторіи то и дѣло бываютъ временныя остановки и временные повороты назадъ. Такъ случилось напр. во Франціи съ раціоналистическимъ движеніемъ, которому сначала сочувствовали «всѣ монархи Европы», а потомъ въ періодъ реакціи униженнымъ и стоптаннымъ въ грязь. Но реакція не помѣшала тому-же раціоналистическому движенію возродиться впослѣдствіи и вновь вызвать къ себѣ полное сочувствіе... Дидро и его научное трезвое міросозерцаніе, совершенно непонятое современниками, получило истинное свое признаніе лишь въ наши дни. Геній Вольтера, униженный въ періодъ 1800—1830 гг., опять расправилъ свои орлиныя крылья и воспарилъ надъ землей въ періодъ 1831—1848 гг., и т. д. Разумѣется, все истинное, правдивое, нужное для жизни должно имѣть успѣхъ, иначе оно неистинно, неправдиво, не нужно, но—увы!—исторія, эта капризная mobile donna, сегодня оттолкнетъ, завтра привлечетъ, потомъ опять оттолкнетъ. Только историкъ, имѣющій передъ собой весь циклъ развитія явленія, можетъ смѣло оцѣнивать по успѣху и неуспѣху; современникъ долженъ быть скромнѣе.

Не что-же дѣлать ему? Не можетъ-же онъ положить печать молчанія на свои уста и воздержаться отъ личнаго мнѣнія въ ожиданіи, что жизнь выскажется и грядущія столѣтія разъяснятъ все? Конечно не можетъ. Поэтому, кромѣ скромности, я позволю себѣ напомнить ему правило, пользовавшееся всеобщимъ признаніемъ со стороны лучшихъ людей 60-хъ годовъ. Правило это гласитъ: *Только то міросозерцаніе можетъ разсчитывать на побѣду и торжество въ жизни, только то міросозерцаніе полезно, истинно и нравственно, которое, опираясь на знаніе дѣйствительности и исторіи, соотвѣтствуетъ прогрессивнымъ и неустранимымъ потребностямъ жизни.*

Съ этой точкой зрѣнія можно уже, какъ кажется, добиться кое-чего, и, примѣняя ее, мы постараемся оцѣнить дѣятельность одного изъ самыхъ яркихъ представителей 60-хъ годовъ—Дмитрія Ивановича Писарева.

II.

Имя Писарева еще и въ настоящее время пользуется значительной популярностью. Его читаютъ и стараются читать, несмотря на то, что экземпляры первыхъ двухъ изданій его сочиненій давно уже стали библіографической рѣдкостью. Чѣмъ-же, спрашивается, онъ ударилъ такъ сильно по сердечнымъ струнамъ?

Надо замѣтить, что главный штабъ литературы относится къ Писареву нѣсколько свысока. Одинъ изъ представителей генералитета, разобравъ міросозерцаніе нашего публициста, говоритъ: «разумѣется, не здѣсь надо искать причину успѣха Писарева. Мы не должны забывать ни его удивительнаго литературнаго таланта, ни остраго критическаго чутья». Другой полагаетъ, что «Писаревъ представляетъ собою поразительный примѣръ громаднаго вліянія человѣка, невооруженнаго ничѣмъ, кромѣ своего пера». Третій думаетъ, что «къ Писареву не примѣнимъ обычный пріемъ критика, такъ какъ сущность его сводится къ громадному и своеобразному литературному таланту»...

Я привелъ эти мнѣнія совсѣмъ не для того,

Digitized by Google

чтобы ихъ опровергать, мнѣ хочется только дополнить ихъ, въ чемъ я и полагаю задачу нижеслѣдующихъ строкъ. Самое главное, именно «поразительный», «удивительный», «громадный», «своеобразный» и пр. литературный талантъ является общепризнаннымъ, и доказывать, что Писаревъ хорошо писалъ, по меньшей мѣрѣ напрасно. Не обращая вниманія ни на чье мнѣніе, разверните любую страницу сочиненій Писарева и прочтите ее. Вы найдете прежде всего поразительный обращикъ русскаго языка, который явится передъ вами во всей своей красотѣ и могуществѣ. Равный по силѣ и выразительности стиль я нахожу лишь у Герцена. Никто, какъ Писаревъ, не съумѣлъ такъ приблизить литературный языкъ къ разговорному, и приблизить безъ униженія, безъ дерзкихъ и ненужныхъ нововведеній. Такой языкъ какъ нельзя лучше подходитъ къ задачѣ, съ самаго начала сознанной и поставленной себѣ Писаревымъ. Задача эта заключалась въ томъ, чтобы распространять полезныя знанія среди массы, чтобы привлечь къ участію въ благахъ знанія и культуры многомилліонное населеніе «дорогого отечества», спускаясь постепенно все къ низшимъ и низшимъ его слоямъ. Главное свое назначеніе Писаревъ видѣлъ именно въ популяризаціи, о чемъ онъ и говоритъ въ слѣдующихъ строкахъ письма къ матери: «общія разсужденія и высшіе взгляды составляютъ совершенно безполезную роскошь и мертвый капиталъ для такого общества, которому недостаетъ самыхъ простыхъ и элементарныхъ знаній. Поэтому обществу надо давать эти необходимыя знанія, т. е. знакомить публику съ лучшими представителями европейской науки. Мнѣ эта задача во всѣхъ отношеніяхъ по душѣ и по силамъ.» Писаревъ не ошибался. Такія его статьи, какъ «Прогрессъ въ мірѣ животныхъ и растеній», «Историческія идеи Огюста Конта» и т. п., еще и въ настоящее время могутъ быть прочитаны каждымъ съ большой пользой для себя. И такое занятіе необидно даже для самолюбія. Писаревъ даетъ читателю настоящую популяризацію, а не поддѣлку подъ нее. Онъ пишетъ не для маленькихъ, а для большихъ; онъ не просто замѣняетъ спеціальные научные термины общедоступными, а, разлагая мысль на ея составные элементы, знакомитъ съ ними съ такой послѣдовательностью и постепенностью, что ея нельзя не понять. Онъ дѣлаетъ даже больше этого: всякую мысль онъ беретъ не только въ ея научномъ значеніи, а между прочимъ и въ практическомъ. Какую роль можетъ играть та или другая мысль въ жизни, какъ повліяетъ она на поведеніе, какое мѣсто должна она занять въ общемъ міросозерцаніи человѣка? Отвѣчая на эти вопросы, Писаревъ дѣлаетъ все, что можетъ сдѣлать наибольшаго популяризаторъ. Равнаго ему въ этой области по ясности, силѣ и выразительности изложенія не было еще въ Россіи, да и теперь что-то не видать. Популяризація, повторяю, не есть писаніе для дѣтей, не замѣна слова «прогрессъ» словомъ «совершенствованіе», а нѣчто гораздо большее и трудное Истинная популяризація, какъ литературная задача, ничѣмъ не отличается отъ литературныхъ задачъ вообще и сущность ея сводится къ тому, чтобы сдѣлать мысль одинаково доступной какъ разсудку, такъ чувству и воображенію человѣка. У истиннаго популяризатора есть непремѣнно художественная закваска, и, перечтя хотя-бы маленькій, но удивительный по изяществу отрывокъ Писарева о пчелахъ, всякій убѣдится, что такая закваска была у нашего критика.

Въ минуту уныніе и грусти Тургеневъ, видѣвшій мало здороваго въ жизни своей родины, возлагалъ всѣ свои упованія на могучій русскій языкъ; онъ называлъ его языкомъ великаго народа. Тургеневъ быть-можетъ и правъ, но надо договорить его мысль и прибавить, что этимъ могучимъ русскимъ языкомъ мало кто умѣлъ владѣть до настоящаго времени, а въ наши дни онъ очевидно претерпѣваетъ грустный процессъ газетнаго вырожденія. Стиль Писарева по отсутствію цвѣтистыхъ украшеній, по своей удивительной простотѣ, по близости къ разговорному языку, но безъ его небрежности, можетъ служить образцомъ, и, перефразируя мысль Тургенева, можно смѣло сказать, что такой стиль принадлежалъ недюжинному человѣку.

Но какъ ни высоко я ставлю талантъ изложенія, какъ ни дорогъ для меня хорошій русскій языкъ, я и не думаю даже ставить его въ голову заслугъ Писарева. Загадка, почему онъ, несмотря на недостатки своего образованія, несмотря на свою молодость (онъ умеръ 27 лѣтъ), несмотря на увлеченія и ошибки, все еще пользуется вліяніемъ и будетъ долго еще пользоваться имъ,—разрѣшается для меня очень просто. Главную заслугу Писарева *я вижу въ реализмѣ и трезвости его мышленія.*

Мы переживаемъ схоластическое время, и признаковъ этой схоластичности столько, что я право затрудняюсь съ чего начать. Зная, что степи нашего юга заносятся пескомъ, что земледѣліе наше падаетъ и грозитъ частымъ повтореніемъ голодныхъ страшныхъ годовъ, что продолжительность жизни достигаетъ у насъ всего 30-ти лѣтъ въ среднемъ, когда просвѣщенные европейскіе

Digitized by Google

народы, къ коимъ по учебнику географіи принадлежимъ и мы, перешли уже за 40, что растетъ земледѣльческій пролетаріатъ, что безграмотность заставляетъ задуматься всѣхъ способныхъ думать,—мы въ то же время или совсѣмъ не интересуемся ничѣмъ, или интересуемся Шопенгауэромъ и метафизикой. Горе не въ Шопенгауэрѣ и не въ метафизикѣ (увлеченію которыми, кстати сказать, очень радуются всѣ болтуны съ Волынскимъ и Львомъ Тихомировымъ во главѣ),— горе въ томъ, что мы точно маленькіе ребята спрашиваемъ себя: «что дѣлать, какъ вести себя, что нравственно и что безнравственно?», и отводимъ этимъ вопросамъ ту роль, которой они не могутъ имѣть въ жизни нормально мыслящаго человѣка. Голодъ, холодъ и нищета народа—вотъ наши реальные враги, и мы знаемъ, что голодъ, холодъ и нищета существуютъ, а между тѣмъ толкуемъ столько-же о просвѣщеніи, фосфоритахъ, кредитѣ, сколько о все возрождающей силѣ любви и непротивленіи злу насиліемъ. Въ результатѣ получается очень глупая вещь. Мы, хорошіе, честные (допустимъ) люди, не знаемъ, что дѣлать, и смотримъ на кончикъ носа, а вотъ князь Мещерскій, «Московскія Вѣдомости» и пр. знаютъ, что имъ дѣлать...

Я еще вернусь къ этой интересной темѣ, пока-же, указавъ съ какой точки зрѣнія я буду разбирать міросозерцаніе Писарева, позволю себѣ въ немногихъ строкахъ ознакомить читателя съ его біографіей.

Все еще и теперь существуютъ попытки представить намъ Писарева отчаяннымъ «нигилистомъ», непричесаннымъ и неумытымъ, съ свирѣпымъ, почти звѣрскимъ выраженіемъ лица, способнымъ даже на такую вещь, какъ ворваться въ чужую квартиру, наговорить хозяину грубостей и уйти нераскланявшись.

Это ложь и клевета. Люди, дѣйствительно знавшіе и видѣвшіе Писарева, описываютъ его иначе. Вотъ напр. что говоритъ Шелгуновъ: «Разъ утромъ,—пишетъ этотъ послѣдній,—я зашелъ къ Благосвѣтлову. Въ первой комнатѣ у конторки стоялъ щеголевато одѣтый, совсѣмъ еще молодой человѣкъ, почти юноша, съ открытымъ яснымъ лицомъ, большимъ, хорошо очерченнымъ умнымъ лбомъ и съ большими, умными, красивыми глазами. Юноша держалъ себя нѣсколько прямо, точно его что-то поднимало, и во всей его фигурѣ чувствовалась боевая готовность. Это былъ Писаревъ». Итакъ, передъ читателемъ—щеголевато (даже!) одѣтый юноша. Это было въ 61-мъ году. Пять лѣтъ спустя, когда Писаревъ перенесъ уже и заключеніе въ домѣ умалишенныхъ, и слишкомъ четырехъ-лѣтнее одиночное заключеніе въ петропавловской крѣпости, съ нимъ часто встрѣчался А. М. Скабичевскій, и Скабичевскій хоть и упоминаетъ о нѣсколькихъ несообразныхъ поступкахъ Писарева, совершенныхъ имъ послѣ выхода изъ тюрьмы, немедленно-же прибавляетъ: «все это скоро прошло, и Писаревъ, быстро освоившись съ свободой, вошелъ въ свою колею». Да и вообще это былъ настоящій выдержанный джентльмэнъ въ лучшемъ смыслѣ слова, съ котораго до конца дней не сходилъ свѣтскій лоскъ полученнаго имъ барскаго воспитанія.

Воспитаніе-же на самомъ дѣлѣ было барское.

Родившись 2-го октября 1840 г. въ средѣ дворянской старинной семьи, въ родовомъ имѣніи Знаменскомъ, Писаревъ, какъ единственный сынъ и наслѣдникъ, сразу увидѣлъ себя окруженнымъ всевозможными удобствами, комфортомъ и попеченіями. Время тогда было мрачное, крѣпостническое, но ребенокъ видѣлъ лишь хорошія, радостныя стороны жизни. Къ «мужику» его не подпускали, не подпускали и мужика къ нему. Приставленная къ барчуку нянька Ѳекла не пользовалась особенными его симпатіями и очевидно ни чѣмъ не умѣла его заинтересовать: ни сказками о Милитрисѣ Кирибетьевнѣ, ни унылыми русскими пѣснями. Народный элементъ, оставившій столько поэтическихъ воспоминаній въ душѣ многихъ изъ славныхъ нашихъ людей (напр. Пушкина и Достоевскаго), совершенно отсутствовалъ въ воспитаніи Писарева. Дѣломъ воспитанія исключительно и безраздѣльно, и даже съ ревнивымъ деспотизмомъ занялась мать. Институтка, прекрасно говорившая по французски и мало освѣдомленная въ русскомъ языкѣ, лишенная всякихъ реальныхъ знаній, но безконечно любящая и преданная—мать Писарева отдавала ребенку всю свою душу и, подчиняясь понятіямъ эпохи и окружавшей ее барской среды, задумала сдѣлать изъ ребенка лучшее, что могла. Это лучшее было «enfant d'une bonne maison» и «enfant bien élevé». Требовалось, чтобы мальчикъ безукоризненно говорилъ по-французски и по-нѣмецки, былъ скромный, послушный, нравственный, обладалъ манерами, съ которыми не совѣстно показаться въ гостиную, умѣлъ отвѣтить на заданный ему вопросъ, не сближался съ тѣмъ, кто ниже его въ общественномъ отношеніи, и въ концѣ концовъ сдѣлалъ-бы себѣ карьеру дипломата или лейбъ-гвардіи гусара. Много вообще любви, старанія, за-

Digitized by Google

ботъ потрачено было матерью на воспитаніе сына, и если любовь извиняетъ все, то и въ данномъ случаѣ она должна извинить всѣ недостатки.

У Писарева были двѣ сестры, но онъ былъ общимъ любимцемъ. Единственный сынъ и наслѣдникъ, онъ въ дѣтствѣ сосредоточивалъ на себѣ все вниманіе и заботы взрослыхъ. Любовались имъ многочисленные дяди, не менѣе многочисленныя тетки и всякіе родственники и родственницы, наѣзжавшіе гостить въ просторный знаменскій домъ, баловала и любила его безъ памяти старуха-бабушка, обожала прислуга, боготворила съ какимъ-то страстнымъ увлеченіемъ, съ ревнивой исключительностью совершенно влюбленная въ него мать. Онъ былъ центральнымъ свѣтиломъ знаменскаго міра, и пріѣзжій, коротко знакомый съ порядками въ домѣ, могъ легко заключить по выраженію лица выбѣгавшихъ ему на встрѣчу слугъ, здоровъ или боленъ малютка. Въ результатѣ всего этого баловства, вниманія, французскихъ діалоговъ—изящный и самоувѣренный барчукъ съ прекрасными манерами, добрымъ, отчасти даже счастливымъ сердцемъ, правдивый и искренній, съ головой, наполненной глупыми исторійками о добродѣтельныхъ и недобродѣтельныхъ мальчикахъ, о добродѣтельныхъ и недобродѣтельныхъ дѣвочкахъ, нѣсколько вялый въ физическомъ отношеніи, нѣсколько плаксивый и вмѣстѣ съ тѣмъ самоувѣренный и ласковый.

Очень можетъ быть, что въ результатѣ этого дворянскаго, нереальнаго, тепличнаго воспитанія изъ Писарева дѣйствительно выработался-бы блестящій дипломатъ или лейбъ-гвардіи гусаръ, но къ *счастью* его родители разорились, и надо было подумать о чемъ нибудь менѣе блестящемъ, но болѣе хлѣбномъ для единственнаго сына и наслѣдника. Его, уже 11-ти-лѣтняго мальчика, отправили въ Петербургъ, въ гимназію, гдѣ онъ и поступилъ въ третій классъ. Послушный ребенокъ, не смѣвшій безъ спеціальнаго на то разрѣшенія мамаши проглотить ложку варенья или конфетку, поселился въ домѣ богатаго дяди и изъ подъ одной нѣжной ферулы попалъ подъ другую, не менѣе нѣжную и не менѣе безтолковую. Но онъ, разумѣется, чувствовалъ одну нѣжность и былъ счастливъ. Онъ учится, онъ—первый ученикъ, онъ чисто и хорошо одѣтъ, онъ прекрасно говоритъ по-французски. Онъ доволенъ. Безпокоятъ его въ гимназическіе годы лишь успѣхи его конкурента на мѣсто перваго ученика, какого то Петрова или Иванова, но къ счастью Петровъ или Ивановъ не совсѣмъ благополученъ по части греческаго языка и получаетъ за extemporale четверки, а Писаревъ—всегда 5. Слѣдовательно и здѣсь все идетъ какъ нельзя лучше:

«Я—писалъ впослѣдствіи Писаревъ—принадлежалъ въ гимназіи къ разряду овецъ; я не злился и не умничалъ, уроки зубрилъ твердо, на экзаменѣ отвѣчалъ краснорѣчиво и почтительно и въ награду за всѣ эти несомнѣнныя достоинства былъ признанъ преуспѣвающимъ... Хотя я и до сихъ поръ не сообщилъ фактическихъ подробностей о моемъ *развитіи*, но я осмѣливаюсь думать, что изъ всего того, что я наговорилъ, проницательный читатель уже составилъ себѣ приблизительное и притомъ довольно вѣрное понятіе о томъ, что я смыслилъ при поступленіи моемъ въ университетъ; скажу я ему еще, что любимымъ занятіемъ моимъ было раскрашиваніе картинокъ въ иллюстрированныхъ изданіяхъ, а любимымъ чтеніемъ—романы Купера и особенно очаровательнаго Дюма. Пробовалъ я читать «Исторію Англіи» Маколея, но чтеніе и подвигалось туго, и казалось мнѣ подвигомъ, требующимъ сильнаго напряженія умственныхъ силъ... На критическія статьи журналовъ я смотрѣлъ, какъ на кодексъ гіероглифическихъ надписей, прилагавшихся къ книжкѣ исключительно по заведенной привычкѣ, для вида и для счета листовъ; я былъ твердо убѣжденъ, что этихъ статей никто понимать не можетъ, и что природѣ человѣка совершенно несвойственно находить въ чтеніи ихъ малѣйшее удовольствіе. Я долженъ признаться, что въ отношеніи къ нѣкоторымъ журналамъ я даже до сего дня не исцѣлился отъ этого спасительнаго заблужденія... Началъ я также, будучи ученикомъ седьмого класса, читать «Холодный Домъ», одинъ изъ великолѣпнѣйшихъ романовъ Диккенса, и не дочиталъ: длинно такъ и много лицъ, и ничего не сообразишь, и шутитъ такъ, что ничего не поймешь; такъ на томъ и оставилъ, порѣшивъ, что «Les trois mousquetaires» не въ примѣръ занимательнѣе. Ну, а русскіе писатели—Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Кольцовъ? Читатель, мнѣ стыдно за моихъ домашнихъ воспитателей, стыдно и за себя—зачѣмъ я ихъ слушалъ. Русскихъ писателей я зналъ только по именамъ. «Евгеній Онѣгинъ» и «Герой нашего времени» считались произведеніями безнравственными, а Гоголь—писателемъ сальнымъ и въ приличномъ обществѣ совершенно неумѣстнымъ. Тургеневъ допускался, но конечно я понималъ его такъ-же хорошо, какъ понималъ геометрію, Маколея и Диккенса. «Записки Охотника» ласкали какъ-то мой слухъ, но остановиться и задуматься надъ впечатлѣніемъ было для меня немыслимо. Словомъ, я шелъ путемъ самаго благовоспитаннаго юноши.»

Основываясь на этомъ блестяще нарисованномъ портретѣ, читатель смѣло можетъ понять, какъ 15-ти-лѣтній гимназистъ Писаревъ очень любитъ катать яйца, очень интересуется новой формой, данной военнымъ до генераловъ включительно, и въ восторгѣ отъ того, что числится первымъ ученикомъ въ классѣ.

По обыденной логикѣ вещей Писаревъ, закончивъ гимназію съ медалью, разумѣется, и имѣя въ своей головѣ «логариемы и конусы, усѣченныя пирамиды и неусѣченные параллелопипеды, гекзаметры «Одиссеи» и

Digitized by Google

асклепіадовскіе стихи Горація» и много еще другихъ премудростей,—поступилъ студентомъ на историко-филологическій факультетъ Петербургскаго университета. И здѣсь два года продолжалась прежняя блаженная дремота, хотя Писаревъ уже начинаетъ рваться къ знанію, только не знаетъ, за что приняться ему. Его «очень привлекаютъ» кельтическая поэзія и лекціи Сухомлинова; питая научный идеалъ, онъ переводитъ Страбона, составляетъ статью о Гумбольдтѣ, занимается исторіей и литературой, мечтаетъ о магистерствѣ. Его ближайшіе товарищи, такіе-же рьяные жрецы науки, какъ онъ, но съ еще спеціальнымъ, аскетическимъ оттѣнкомъ въ своихъ стремленіяхъ, поощряютъ его въ его занятіяхъ, совѣтуютъ не читать болтуна Добролюбова и переводить неболтуна Страбона. Писаревъ слушается съ той почтительностью, тѣмъ-же отсутствіемъ скептицизма, которыя характеризуютъ его дѣтскіе и гимназическіе годы.

Бѣдный юноша! Ему тяжело подчасъ и даже невыносимо тяжело въ дебряхъ кельтической поэзіи, онъ ничего не понимаетъ въ брошюрѣ Штейнталя, которую переводитъ, читаетъ историческіе словари,—почтенные запыленные словари, которыхъ не можетъ охватить руками, страдаетъ за Страбономъ и В. Гумбольдтомъ, но что прикажете дѣлать: noblesse oblige, научный идеалъ обязываетъ, профессора толкуютъ о пользѣ и величіи научныхъ занятій, товарищи описываютъ радужными красками счастье, приносимое имъ изученіемъ средней исторіи. Бѣдный юноша чувствуетъ себя невѣждой, не понимаетъ терминовъ, съ которыми такъ свободно обращаются его друзья. Самолюбіе его затронуто: надо учиться во что-бы то ни стало...

Есть много грустныхъ зрѣлищъ на свѣтѣ, но что можетъ быть грустнѣе того, когда талантливая, богато одаренная натура—одинъ изъ тѣхъ блестящихъ метеоровъ, которые такъ рѣдко залетаютъ на нашу все еще по нищенски живущую планету,—даромъ, на вѣтеръ разбрасываетъ свою молодость, свои недюжинныя силы и, будучи орломъ, навьючиваетъ на себя ослиную ношу свѣтскаго воспитанія сначала, чистой науки потомъ... Присмотритесь къ жизни вообще и вы увидите, какія гигантскія усилія ума и мускуловъ тратитъ неразсчетливое невѣжественное человѣчество на сооруженіе крѣпостей, на изобрѣтеніе дальнобойныхъ орудій, на писаніе толстыхъ схоластическихъ трактатовъ, и вамъ невольно жаль станетъ этихъ даромъ истраченныхъ недюжинныхъ силъ. Но сооружаютъ крѣпости, изобрѣтаютъ дальнобойныя орудія, пишутъ большіе (т. е. взрослые) люди. Зачѣмъ-же обижать маленькихъ? Вѣдь при нормальномъ воспитаніи каждый изъ этихъ маленькихъ долженъ бы въ концѣ концовъ сдѣлаться знающимъ, мужественнымъ, полезнымъ гражданиномъ, онъ безъ краски на лицѣ могъ-бы вспоминать о съѣденномъ имъ въ періодъ дѣтства и юности чужомъ хлѣбѣ, такъ какъ онъ сознавалъ-бы, что способенъ сторицей расплатиться съ ближними. Но нѣтъ! Тунеядецъ невольный сначала, онъ по необходимости превращается въ тунеядца вольнаго потомъ. Вѣдь онъ ничего не знаетъ и ничего не умѣетъ, онъ—ходячая химическая лабораторія съ большими чувственными аппетитами, выросшими на почвѣ лѣнивой и ненужной умственной работы...

Къ счастью, Писаревъ былъ слишкомъ богато одаренъ, чтобы не выбраться на вѣрную дорогу. А вѣрная дорога для человѣка—та, гдѣ, послушный призванію своей природы, онъ съ наименьшими для себя усиліями и наибольшимъ для себя наслажденіемъ можетъ приносить человѣчеству наибольшую пользу, содѣйствуя прогрессивнымъ стремленіямъ вѣка (разъ таковыя имѣются въ наличности).

Писаревъ рожденъ былъ для карьеры писателя. Время должно было опредѣлить, въ какую форму выльется его исключительное литературное дарованіе, какую окраску приметъ его проповѣдь, станетъ ли онъ защищать «покой и забвенье», «чистую красоту и чистое искусство», или явится передъ нами бойцомъ за права личности, защитникомъ всего общеполезнаго и общественно необходимаго. Талантъ—всегда искра божія, но вѣдь искра божія можетъ зажечь и скирдъ труженика, и свѣчу передъ образомъ «Чистой Матери», и маякъ спасительный. Талантъ стихіенъ, какъ молнія, и въ томъ фактѣ, что эта стихійная, роковая сила все-же въ большинствѣ случаевъ служитъ истинѣ и справедливости, всякій можетъ почерпнуть намекъ на то, что на сторонѣ конечной побѣды истины и справедливости стоитъ историческая необходимость и роковой ходъ исторической эволюціи.

«Поэты родятся», но «родятся» и журналисты. Само собою разумѣется, что путемъ усиленнаго труда, путемъ утомительной настойчивости можно выработать изъ себя все, что угодно—скрипача, романиста, скульптора,—нельзя выработать въ себѣ лишь одной способности, безъ которой нѣтъ и не можетъ быть искусства, т. е. творчества. Можно сдѣлаться кѣмъ угодно, нельзя лишь сдѣлаться поэтомъ. Для этого нужны спеціальныя дарованія, а ихъ даетъ лишь «природа-мать»...

Digitized by Google

Все равно какъ музыканту нуженъ исключительный слухъ, художнику—зрѣніе, способное различать оттѣнки и переливы самыхъ близкихъ другъ другу цвѣтовъ, архитектору—чувство симметріи, такъ и журналистъ не можетъ обойтись безъ спеціальныхъ дарованій.

Такихъ дарованій у Писарева было въ избыткѣ, и несомнѣнно, что, выступивъ въ литературѣ, онъ нашелъ наконецъ свою настоящую дорогу.

Уже въ немъ-ребенкѣ можно было ясно различить силу и способность выраженія; едва начиная лепетать, онъ «любилъ уже закруглять и отдѣлывать свои фразы». 7-ми лѣтъ онъ принялся за писаніе своего чудовищнаго «Романьола», просиживая цѣлые дни за этимъ безконечнымъ произведеніемъ своей фантазіи. Все это его собственное, природное, неотъемлемое. А та страсть, съ которой онъ всегда защищалъ свои мнѣнія, та постоянная готовность спорить до слезъ, какой онъ отличался уже въ тѣ годы, когда у другихъ едва начинаетъ пробуждаться умъ? Вѣра въ свою мысль, потребность развивать ее, еще высшая потребность—распространять эту мысль и привлекать на ея сторону, а иногда просто порабощать ей другихъ—вотъ качество, безъ котораго писатель—простой поденщикъ и ремесленникъ.

Но, разумѣется, надо было много пережить и испытать, прежде чѣмъ взяться за великое дѣло поученія другихъ. Писаревъ пережилъ и испыталъ многое.

Если читатель потребуетъ, чтобы я ясно и съ полной опредѣленностью объяснилъ переворотъ, происшедшій въ Писаревѣ—его метаморфозу изъ благонамѣреннаго юноши въ передового журналиста, изъ благовоспитанной размазни—въ бойца и литературнаго рыцаря, смѣло вызывавшаго на бой всѣ темные призраки жизни, то я скажу, что такое требованіе отзывается метафизикой. Если Ньютонъ и Абель стали математиками, а не драматургами, если Дарвинъ и Гёксли прославились какъ естествоиспытатели, а не какъ повара, то причина этого—въ нихъ самихъ прежде всего и въ обстоятельствахъ времени, натолкнувшихъ ихъ на природное призваніе и позволившихъ этому призванію развиться. Обязанность біографа указать на моменты, способствовавшіе самоопредѣленію личности, не больше. Сущность же и смыслъ самоопредѣленія—тайны устройства мозга, посягать на раскрытіе которой преждевременно. Моментовъ, способствовавшихъ самоопредѣленію Писарева, было нѣсколько.

Прежде всего *духъ времени*, и этотъ могущественнѣйшій факторъ какъ въ жизни всего общества, такъ и каждой отдѣльной личности. Духъ времени—и спасеніе, и проклятіе, смотря по тому, каковъ онъ. Могучій и радостный, онъ приподнимаетъ каждаго, влагая въ душу бодрость и вѣру; унылый и удрученный, онъ заталкиваетъ человѣка въ уголъ, въ лучшемъ случаѣ заставляя его поощрять книжную промышленность и торговлю, въ худшемъ—превращая его въ разбойника пера и печати, большой дороги или картежнаго притона. Но ни винить, ни благодарить за духъ времени нельзя отдѣльное поколѣніе.

Какъ сложился духъ времени 60-хъ годовъ?

Всякій, изучавшій исторію, знаетъ, какое громадное опредѣляющее значеніе имѣетъ тотъ фактъ, когда общество — это обыкновенно *разрозненное* цѣлое, отдѣльные элементы котораго даже шапочно незнакомы другъ съ другомъ и лишь «пущаютъ промежду себя революцію» вродѣ конкуренціи—сговорится по поводу хотя-бы одного только вопроса и дѣйствительно, душевно заинтересуется имъ. Чтобы вывести общество изъ обычнаго для него полусоннаго и чувственнаго состоянія, необходимо общепонятное и общедорогое знамя, общепонятный и общедорогой лозунгъ. Теперь напр. у насъ знаменъ и лозунговъ, говоря безъ преувеличенія, милліонъ двѣсти тысячъ. Наше общество—оркестръ безъ капельмейстера, гдѣ каждый дудитъ въ свою собственную дудку, настраиваетъ свой собственный инструментъ и съ недовѣріемъ посматриваетъ на своего сосѣда, личность котораго, вообще говоря, подозрительна. Одинъ идетъ пахать землю, другой поступаетъ на службу въ департаментъ, третій пишетъ... пишетъ... четвертый защищаетъ возмущающую душу диссертацію о прилагательныхъ Плавта (фактъ!), пятый готовитъ диссертацію (очевидно, чтобы не ударить лицомъ въ грязь!) о союзахъ въ трагедіяхъ Софокла. Общаго дѣла и общаго знамени нѣтъ. Повидимому всѣ—по крайней мѣрѣ громадное большинство могло бы согласиться на положеніи, что всѣмъ кушать надо, но такъ какъ каждому кажется, что если всѣ будутъ кушать, такъ ему мало останется, то не могутъ согласиться даже на этомъ. Въ 60-ые же годы было общеинтересное знамя и общеинтересный лозунгъ. Я говорю объ отмѣнѣ крѣпостного права.

Полагаю, что ни для кого не секретъ, сколько по истинѣ мужественныхъ и высокихъ усилій потратила русская интеллигенція для освобожденія крестьянъ. Вопросъ созрѣвалъ втеченіи 90 лѣтъ (немного долго), и въ концѣ концовъ власть и интеллигенція сошлись въ общемъ благомъ дѣлѣ. Освобожденіе крестьянъ

Digitized by Google

янъ было одинаково важно для мужика, барина, чиновника, разночинца. Вся предшествующая жизнь зиждилась на крѣпостномъ правѣ, уничтоженіе его знаменовало коренное измѣненіе и преобразованіе всего русскаго бытія. Была значитъ почва, на которой можно было сойтись, и почва, на которой можно было разойтись. То и другое одинаково важно, такъ какъ не любовь и не ненависть губятъ дѣло, а индифферентизмъ и малодушіе, т. е. то состояніе, въ которомъ какъ разъ теперь обрѣтаемся мы. Крестьянская эмансипація сосредоточила силы, дала направленіе мысли, опредѣлила ходъ «общеполезныхъ и общественно необходимыхъ работъ». Она явилась цементомъ общественной мысли и общественной эмоціи, пробудила страсти, вызвала невѣроятное оживленіе. На этомъ пирѣ мысли и чувства доставалась своя доля и свое мѣсто каждому.

Но—думается—эмансипація крестьянъ была только частностью или, если можно такъ выразиться, отдѣльнымъ рукавомъ того широкаго историческаго потока, который, затопивъ Европу, добрался наконецъ и до насъ. Имя этого потока—эмансипація личности вообще. Освобожденіе крестьянъ, эмансипація женщины, судъ присяжныхъ и пр., и пр. было не болѣе, какъ частностями эмансипаціи личности.

«Совершенно понятно почему,—говорилъ я въ другомъ мѣстѣ,—идея эмансипаціи личности такъ страстно пропагандировалась русской журналистикой съ самой минуты ея сознательнаго пробужденія и проходитъ красной нитью черезъ сочиненія лучшихъ нашихъ критиковъ и публицистовъ. На Западѣ личность сознала себя уже въ XVI вѣкѣ и потребовала себѣ вниманія и уваженія, хотябы въ области религіозныхъ вѣрованій. Карлейль увѣряетъ, что новую исторію надо начинать со словъ Лютера: «hier stehe ich und anders kann ich nicht. Gott helfe mir», т. е.: «я настаиваю на томъ, что это истина, иначе думать и вѣрить я не могу. Богъ да поможетъ мнѣ». Лютеръ сказалъ, что онъ имѣетъ право толковать священное писаніе, какъ *онъ* его понимаетъ, и вѣрить сообразно съ *своимъ* разумомъ. Французская революція признала личность, какъ политическую единицу, и лишь особенныя обстоятельства ограничили понятія личности принадлежностью къ одному классу собственниковъ—буржуа. Въ буржуазной-же средѣ личность достигла и экономической независимости, но опять это была не простая человѣческая личность, а собственница. Какъ бы то ни было, втеченіи XIX вѣка Европа добилась правовой эмансипаціи личности и могла всѣ усилія свои сосредоточить на томъ, чтобы дать праву реальность, т. е. обезпечить его въ экономическомъ отношеніи.

«У насъ по этой части все шло шиворотъ на выворотъ. Мы учились у Запада, жадно прислушивались къ тому, что проповѣдуется съ берлинскихъ каѳедръ и парижскихъ трибунъ, читали Жоржъ Занда, Блана и пр., а между тѣмъ государственная жизнь покоилась на крѣпостномъ правѣ, т. е. на полнѣйшемъ отрицаніи личности, семья—на идеяхъ Домостроя, отрицавшихъ личность жены и дѣтей передъ воплощеніемъ патріархальнаго права, т. е. отцомъ. Это противорѣчіе сразу бросалось въ глаза и въ 40-хъ, и 60-хъ годахъ не менѣе ярко, чѣмъ въ 20-хъ или даже въ предыдущемъ столѣтіи.

«Въ экономическомъ отношеніи крѣпостная Россія была сравнительно обезпечена и не безъ основанія вѣрила, что служитъ житницей Европы, способной уморить послѣднюю съ голоду, разъ та поведетъ себя нехорошо. Поэтому думать о вопросахъ экономическихъ было преждевременно, пока крѣпостная личность не получитъ права гражданства.»

«Мужицкая» реформа, повторяю, была только лозунгомъ и отдѣльнымъ моментомъ общеевропейскаго историческаго потока...

Обстоятельства личной жизни Писарева поставили его очень рано съ глазу на глазъ съ вопросомъ о правахъ личности. Мы видѣли, какое кисейное и безтолковое воспитаніе получилъ онъ. Но въ его ученическіе годы произошло одно событіе—еще не упомянутое мной — именно онъ влюбился ребенкомъ въ свою кузину Раису, и эта-то любовь, вѣрнѣе противодѣйствіе этой любви и дало первый толчокъ къ пробужденію мысли.

Дѣтская влюбленность Писарева успѣла постепенно обратиться въ любовь и сосредоточила возлѣ себя всѣ его помыслы и вожделѣнія. Съ самаго дня отъѣзда въ гимназію онъ писалъ Раисѣ свои откровенныя хорошія письма; пріѣзжая домой на каникулы, онъ столько-же радовался свиданію съ матерью, сколько свиданію съ той, образъ которой наполнялъ его дѣтскія и юношескія грезы.

Но тутъ-же на первыхъ порахъ онъ попадаетъ въ положеніе Ромео и видитъ цѣлый заговоръ, направленный противъ его счастья, противъ всего его будущаго. Жизни безъ Раисы онъ въ то время представить себѣ не могъ. А между тѣмъ семья и всѣ старыя патріархальныя традиціи сыновней покорности и безусловной власти родительской заявили ему, что такъ не будетъ и что такъ быть не должно.

Digitized by Google

Любовь къ Раисѣ и противодѣйствіе этой любви и дали плоть и кровь тѣмъ отвлеченнымъ, теоретическимъ воззрѣніямъ, которыя усвоилъ онъ себѣ за это время, подчиняясь общему настроенію.

Съ какой точки зрѣнія могъ онъ защищать противъ матери, противъ семьи, противъ всего въ мірѣ наконецъ—свою любовь?

Этой точкой зрѣнія должно было явиться нравственное достоинство личности, ея право на собственное счастье...

Работа духа и мысли началась, но началась и семейная трагедія со всѣми ея тяжелыми, неизбѣжными послѣдствіями. Въ мирную, любовную жизнь Писаревыхъ впервые вторглись невеселые мотивы. Отцы и дѣти, какъ въ большинствѣ тогдашнихъ русскихъ семействъ, стояли другъ противъ друга, не понимая другъ друга, обмѣниваясь то недоумѣвающими, то враждебными взглядами...

Читатель долженъ прибавить къ этому живыя впечатлѣнія обновленной въ то время университетской жизни, которая, разставшись съ своимъ формализмомъ и оффиціозностью, пошла по новой дорогѣ и стала интересной, безпокойной, вдохновляющей. Профессора, какъ бы устыдившись своей вялости и апатіи, которымъ они предавались всецѣло въ предшествовавшую эпоху муштровки и дисциплины, перестали трепать все тотъ-же единожды составленный и многократно читанный курсъ и вмѣсто традиціонной симпатіи начальства постарались пріобрѣсти расположеніе своихъ слушателей. А эти слушатели были людьми хотя и молодыми, но уже охваченными общимъ возбужденіемъ, безпокойствомъ и порывами. Писаревъ, какъ членъ кружка жрецовъ чистой науки, попытался было взглянуть на своихъ новыхъ товарищей не-жрецовъ съ презрѣніемъ и высокомѣріемъ, но скоро убѣдился, что тѣ были дѣльные люди. «Новые студенты—говоритъ онъ—оперялись чрезвычайно быстро, такъ что черезъ какіе-нибудь два мѣсяца послѣ поступленія они оказывались хозяевами университета и сами поднимали въ студенческихъ кружкахъ дѣльные вопросы и серьезные споры. Они затѣвали концерты въ пользу бѣдныхъ студентовъ, приглашали профессоровъ читать публичныя лекціи для той-же благотворительной цѣли; они устроили студенческую библіотеку; а мы, старые студенты, считавшіе себя цвѣтомъ университета и солью русской земли, мы остались въ сторонѣ, изобразили на лицахъ своихъ иронію и стали повторять стихъ Грибоѣдова: «шумите вы и только». Но скоро оказалось, что иронія наша никуда не годится, потому что новые студенты распоряжаются умно и успѣшно; оказалось, что движеніе и мысль пошли мимо насъ, и что мы отстали и превращаемся въ книжниковъ и фарисеевъ.»

Соединивши воедино всѣ эти разнообразные моменты—разрывъ съ семьей во имя свободы своего «я», общественное возбужденіе, проникшее и за мирныя стѣны университета, невольное утомленіе отъ глупой и схоластической премудрости, которую Писаревъ по своей наивности считалъ за науку,—мы получимъ, кажется, достаточную коллекцію уважительныхъ для метаморфозы причинъ. Разумѣется, смѣло можно вообразить себѣ человѣка достаточно крѣпколобаго, на котораго ничто—даже громы небесные не подѣйствуютъ. Но вѣдь Писаревъ весь былъ затаенная страсть, скрытая вольница, затянутая въ крѣпкій корсетъ свѣтскаго воспитанія. Замѣтимъ, что въ это-же время (1859 г.) онъ сталъ работать (совершенно случайно) въ журналѣ Кремпина «Разсвѣтъ», издававшемся для дѣвицъ.

Однако всѣ эти распри и треволненія, всѣ эти раздоры и сердечныя муки, эта быстрая и рѣшительная ломка всѣхъ унаслѣдованныхъ понятій тяжело отразились на молодомъ организмѣ. Онъ не выдержалъ; Писаревъ сошелъ съума и попалъ на нѣсколько мѣсяцевъ въ домъ умалишенныхъ, къ счастію не на долго, всего на 4 мѣсяца. Послѣ этого онъ вернулся къ семьѣ и журналистикѣ.

Утверждаютъ, что существуетъ особаго рода журнальный ядъ и журнальный микробъ, болѣе извѣстные подъ именемъ литературнаго зуда, разъ заразившись которыми, человѣкъ на всю жизнь становится безнадежнымъ или счастливымъ писателемъ, своего рода маттоидомъ пера. Относительно бездарностей замѣчаніе это какъ нельзя болѣе вѣрно. Даже и въ наше время полной литературной прострации журнальные и газетные маттоиды безчисленны. Что-же должно было быть тогда, когда писатели играли въ обществѣ первенствующую роль, когда имъ поклонялись, за ними ухаживали, ихъ—это самое важное—слушали. «Тогда—говоритъ Шелгуновъ—и время было такое, что на пиру русской природы первое мѣсто принадлежало литератору. Никогда ни раньше, ни позже литераторъ не занималъ у насъ въ Россіи такого почетнаго положенія.»

Литературная слава и вліяніе привлекали всѣхъ, и, Боже мой, сколько народу выступило тогда на поприще пера и печати. Имена этихъ второстепенныхъ тружениковъ давно забыты и нечего возстановлять ихъ. Большинство изъ нихъ покинули поприще съ разбитыми надеждами, обиженнымъ честолюбіемъ. Они были замѣтны еще при яркомъ блескѣ общественнаго возбужденія, сіяя заимство-

Digitized by Google

ваннымъ блескомъ, и скрылись во мракѣ, какъ только свѣтъ погасъ. Не то случилось съ Писаревымъ. Журнальная зараза была для него счастьемъ, потому что онъ нашелъ себя. Онъ сразу занялъ по праву принадлежавшее ему первое мѣсто. Природа и жизненный опытъ позволили ему не идти въ ряду другихъ, прикрываясь именами авторитетовъ, а самому встать во главѣ того движенія, которое раньше мы назвали эмансипаціей личности.

Онъ высоко ставилъ призваніе журналиста и оцѣнивалъ его дѣятельность, какъ поэтъ, какъ человѣкъ призванія, а не ремесленникъ или поденщикъ.

«Для меня,—пишетъ онъ,—журналистъ есть высшій идеалъ человѣка и благороднѣйшее существо. Я, какъ хорошій ремесленникъ, горжусь своимъ ремесломъ точно такъ-же, какъ имъ гордится въ Германіи каждый сапожникъ и булочникъ. Впрочемъ, если обстоятельства заставятъ отправиться въ мѣста отдаленнѣйшія и бросить журналистику, то и тутъ плакать нечего: куда-бы меня ни отправили, вѣдь дороги всюду есть, а средства на проѣздъ можно будетъ найти. Вѣдь я не безрукій и не безголовый человѣкъ. Работа найдется, а если будетъ работа, то средства будутъ. Неужели я только и способенъ быть, что литераторомъ? Въ случаѣ надобности, съумѣю быть и конторщикомъ, и домашнимъ учителемъ. Но, разумѣется, это лишь въ случаѣ безусловной крайности.»

«Журналистика—пишетъ онъ отъ 24 дек. 64 г.—мое призваніе. Это я твердо знаю. Написать въ мѣсяцъ отъ 4 до 5 печатныхъ листовъ я могу незамѣтно и уже нисколько не утруждая себя; форма выраженія дается мнѣ теперь еще легче, чѣмъ прежде, но только я становлюсь строже и требовательнѣе къ себѣ въ отношеніи мысли, больше обдумываю, стараюсь яснѣе отдавать себѣ отчетъ въ томъ, что пишу.»

Какъ извѣстно, начиная съ 1861 г., Писаревъ сдѣлался постояннымъ сотрудникомъ и даже помощникомъ редактора «Русскаго Слова». Успѣхъ его статей превзошолъ самыя смѣлыя и нетерпѣливыя ожиданія. Имъ зачитывались большіе и малые, мужчины и женщины. Дальнѣйшая его біографія обращается въ постоянное литературное горѣніе. Писаревъ жегъ свой талантъ съ обоихъ концовъ. Впрочемъ и время было такое, что не жаль было жечь его. Весело было работать для внимательныхъ и возбужденныхъ слушателей, жадно ловившихъ каждое твое слово; весело и отрадно было сознавать, что ни одна трезвая, хорошая мысль не пропадетъ даромъ, а найдетъ себѣ сочувственный откликъ въ читательскомъ сердцѣ. Да, была тогда на свѣтѣ рѣдкая разновидность рода человѣческаго—*читатели*,—исчезнувшая и вымершая въ настоящее время порода людей. «Писатель пописываетъ, читатель почитываетъ»—такова формула грустной современности. «Писатель мыслитъ и пишетъ, читатель мыслитъ и дѣйствуетъ»—такова формула давноминувшаго. Сердечная связь между публикой и литературой необходима для благополучія обоихъ. Шапочное знакомство, взаимный обмѣнъ недоумѣвающими, а подчасъ и враждебными взглядами, писаніе «занятнаго» и исканіе «занятнаго» едва ли полезно для кого нибудь. Какъ истинный журналистъ, Писаревъ не только любилъ дѣло, онъ любилъ читателя, и на такое къ себѣ вниманіе читатель того времени имѣлъ полное право.

«Теперь къ моему характеру — пишетъ онъ 17 янв. 1865 года — присоединилась еще одна черта, которой въ немъ прежде не существовало. *Я началъ любить людей вообще, а прежде, и даже очень недавно, мнѣ до нихъ не было никакого дѣла.* Прежде я писалъ отчасти ради денегъ, отчасти для того, чтобы доставить себѣ удовольствіе; мнѣ пріятно было излагать мои мысли, и больше я ни о чемъ не думалъ и не хотѣлъ думать. А теперь мнѣ представляется часто, что мою статью читаетъ гдѣ-нибудь въ глуши очень молодой человѣкъ, который еще меньше моего жилъ на свѣтѣ и очень мало знаетъ, а между тѣмъ желалъ-бы что-нибудь узнать. И вотъ, когда мнѣ представляется такой читатель, то мною овладѣваетъ самое горячее желаніе сдѣлать ему какъ можно больше пользы, наговорить ему какъ можно больше хорошихъ вещей, надавать ему всякихъ основательныхъ знаній и главное возбудить въ немъ охоту къ дѣльнымъ занятіямъ.»

«Это навѣрное отражается и въ изложеніи моихъ статей, и въ выборѣ ихъ сюжетовъ, и это придаетъ процессу работы особенную прелесть для меня самого. Работа перестаетъ быть дѣломъ одной мысли и начинаетъ удовлетворять потребности чувства»...

Вернемся однако къ жизни Писарева. Отсылая за подробностями къ его біографіи, я ограничусь самымъ существеннымъ и необходимымъ. Въ 1862 году въ іюлѣ мѣсяцѣ за одну статейку, напечатанную имъ въ подпольномъ органѣ, онъ попалъ въ крѣпость, гдѣ и просидѣлъ 4 года съ половиной. Оторванный отъ семьи и общества, отъ своихъ литературныхъ друзей и развлеченій юности, Писаревъ однако не упалъ духомъ. Напротивъ того:

«Во время пяти-лѣтняго заключенія—читаемъ мы въ его біографіи—въ крѣпости развернулись всѣ лучшія стороны писаревской души и таланта. Какъ это ни изумительно, однако таковъ фактъ, что лучшія статьи написаны здѣсь, что здѣсь ни на минуту не прекращалась работа мощнаго духа. Перечтите такія статьи, какъ «Наша университетская наука», «Реалисты», «Романъ кисейной дѣвушки», «Промахи незрѣлой мысли»—гдѣ-же тутъ хотя-бы тѣнь вполнѣ законнаго унынія и тоски? Нравственное мужество 22-хъ-лѣтняго литератора не было ни на іоту сломлено страшнымъ испытаніемъ. Работа ума, кипучая, напряженная, торжествующая, продолжалась безъ перерыва, міросозерцаніе развивалось въ томъ направленіи, которое было указано предшествовавшей жизнью. Прибавьте ко всему этому то, что цѣлыхъ два года Писаревъ совершенно не зналъ, что съ нимъ сдѣлаютъ: отправятъ-ли его въ ссылку, или оставятъ на мѣстѣ. Но и эта неопредѣленность по-

Digitized by Google

ложенія—самая мучительная изъ всѣхъ пытокъ—не сломила его. Онъ засѣлъ за работу въ тотъ день, какъ захлопнулись за нимъ двери каземата, и съ той-же работой, съ такими-же планами вышелъ изъ крѣпости. Написанныя имъ за эти годы статьи, проходя всевозможныя цензурныя мытарства, печатались въ «Русскомъ Словѣ».»

Отмѣчу любопытный фактъ, что наибольшее число листовъ и статей (притомъ самыхъ блестящихъ), написанныхъ Писаревымъ, относится къ 1865 году, или третьему году его заключенія. Это фактъ, не требующій комментарій.

Но какъ ни былъ полонъ мужества молодой литераторъ, минуты унынія и тяжелаго раздумья находили и на него. Однажды онъ написалъ матери слѣдующія строки изъ крѣпости:

«Я—человѣкъ полный жизни; мнѣ необходимо, чтобы жизнь затрогивала меня съ разныхъ сторонъ, а между тѣмъ жизнь моя полтора года тому назадъ остановилась и замерзла въ одномъ положеніи. Сначала самая остановка эта, самый застой жизни былъ для меня новымъ и очень сильнымъ впечатлѣніемъ, но теперь я уже извлекъ изъ этого новаго положенія все, что можно было извлечь. Я развился и окрѣпъ въ моемъ уединеніи, и теперь я чувствую, что мнѣ было-бы очень полезно и пріятно перейти въ какую нибудь новую сферу жизни. Я залежался на одномъ мѣстѣ и потому буду чрезвычайно радъ, когда меня куда нибудь сдвинутъ. Куда—я объ этомъ не спрашиваю. Я ко всему съумѣю привыкнуть и всегда найду возможность быть спокойнымъ и довольнымъ.»

Къ счастью, пятилѣтній срокъ заключенія былъ сокращенъ. Писарева выпустили на свободу нѣсколько ранѣе, чѣмъ предполагалось. Увы!—однако мерзость жизни какъ будто ожидала его на порогѣ крѣпости и съ ожесточеніемъ набросилась на него немедленно послѣ освобожденія. Въ 66-мъ году «Русское Слово» появилось только въ январѣ; но затѣмъ Благосвѣтлову было разрѣшено издавать «Дѣло», гдѣ Писаревъ успѣлъ напечатать лишь одну статью («Очерки изъ исторіи европейскихъ народовъ») и затѣмъ, разсорившись съ редакторомъ, остался не у дѣлъ. Напряженная работа, неустанное горе утомили его и надорвали его силы. Перейдя работать въ «Отечественныя Записки», онъ снова ободрился, но судьба уже вычеркнула его изъ списка живыхъ. 27-ми лѣтъ отъ роду онъ утонулъ на лѣтнихъ купаньяхъ въ Дубельнѣ лѣтомъ (4-го іюля) 1868 года, холодныя волны поглотили одинъ изъ самыхъ мощныхъ талантовъ земли русской.

III.

Я долженъ охарактеризовать теперь міросозерцаніе Писарева. Но предварительно мнѣ хочется сказать нѣсколько словъ о міросозерцаніи нашихъ дней. Какъ ни разнообразно оно въ томъ или другомъ общественномъ слоѣ, у того или другого отдѣльнаго человѣка,—во всѣхъ его проявленіяхъ есть одна общая черта: наклонность къ пессимизму, своего рода утомленіе личности. Далеко не съ вѣрой и упованіемъ смотримъ мы на жизнь, увы!—вѣра и упованіе давно уже утеряны нами. Мы всѣ проникнуты скорѣе сознаніемъ своего безсилія, чѣмъ силы.

Наше время склонно къ пессимизму. Шопенгауэра, котораго знать не хотѣли при его жизни, читаютъ и перечитываютъ. Доходятъ даже до восточныхъ мудрецовъ, цитируютъ Конфу-тзе и Лао-тзи, восторгаются Буддой и пр., и это самоуглубленіе, этотъ излишній интересъ къ нравственнымъ вопросамъ жизни какъ нельзя лучше показываетъ, что мы утеряли всякую бодрость и склонны къ безплодному, хотя и всестороннему разсмотрѣнію вопроса: «что-же намъ дѣлать?». Мы стоимъ на точкѣ зрѣнія личности, мы требуемъ для себя всего, мы не желаемъ признавать «общественныхъ» ограниченій своему «я» — отсюда наша неудовлетворенность, наше шатаніе мысли, наше странствованіе по пустынѣ Аравійской. *Мы по необходимости пессимисты, ибо утеряли реализмъ мышленія.*

Отсутствіе пессимистическаго мышленія и бросается прежде всего въ глаза у людей 60-хъ годовъ. Этимъ они обязаны прежде всего тому, что не страдали страшной и общей болѣзнью нашихъ дней—гипертрофіей личности, ея самообожаніемъ, ея наклонностью ставить себя превыше всего земного и небеснаго. Мы—личники и, какъ таковые, претерпѣваемъ всѣ муки, сопряженныя съ этимъ узкимъ міросозерцаніемъ. Вѣдь если я самъ кажусь себѣ выше лѣса стоячаго и чуть чуть пониже облака ходячаго, то что въ дѣйствительности можетъ удовлетворить меня. L'appetit vient en mangeant. Мое я, воображающее себя вселенной, не признающее надъ собой никакихъ ограниченій, вѣчно голодаетъ, вѣчно жаждетъ, сколько-бы ни кормили и ни поили его. Съ нами (простите за комплиментъ) случилось то-же самое, что и съ европейцами, исторія умственнаго развитія которыхъ прекрасно доказываетъ, что эмансипація личности—палка о двухъ концахъ, и много много еще надо потрудиться, прежде чѣмъ эта эмансипація станетъ не призрачной, а реальной. Разумѣется, какъ и все, дѣло происходило у насъ въ меньшемъ масштабѣ: мы менѣе развиты, чѣмъ европейцы, у насъ нѣтъ ихъ политическихъ правъ, нѣтъ исторической выдержки. Оттого то картина нашей эмансипаціи по необходимости была мизернѣе. Но—безразлично—большая или маленькая, мизерная или внушительная, эмансипація произошла. Это слу-

Digitized by Google

чилось въ 60-хъ годахъ, и освобожденіе крестьянъ, повторяю, было лишь частностью, отдѣльнымъ рукавомъ широкаго историческаго потока. Развитіе ежедневной прессы и прессы вообще, усилившееся до поразительной степени вліяніе слова, высшіе женскіе курсы, паденіе крѣпостного права, появленіе на всѣхъ поприщахъ общественной дѣятельности разночинца,—все это говоритъ намъ, какъ насущна, неотложна была эмансипація личности, какъ смѣло рвалась эта личность впередъ... и вдругъ...

Совершенно какъ на Западѣ—за акціей началась реакція.

Процессъ, происшедшій въ Европѣ, описанъ Брандесомъ въ слѣдующихъ словахъ: «Личность освобождается. Не довольствуясь пребываніемъ въ мѣстѣ, указанномъ случаемъ или рожденіемъ, не удовлетворяясь обработкой унаслѣдованнаго клочка земли, человѣкъ при наступленіи демократіи впервые чувствуетъ въ буквальномъ смыслѣ слова міръ открытымъ для себя. Какой прогрессъ сравнительно со всѣми прежними эпохами! Сразу кажется, какъ будто все сдѣлалось возможнымъ и какъ будто самое слово «невозможность» утратило всякій смыслъ. Но въ то самое время, когда возможность достиженія такимъ образомъ возросла, силы не возросли въ той же степени; изъ сотни тысячъ людей, передъ которыми открылись такимъ неожиданнымъ образомъ карьеры, лишь одинъ можетъ-быть былъ въ состояніи достичь желанной цѣли—а кто возьмется увѣрить человѣка, что не ему именно и суждено быть этимъ избранникомъ? Разнузданная меланхолія является естественнымъ послѣдствіемъ разнузданнаго желанія. А къ великой, бѣшеной скачкѣ на призы и не всякій безъ исключенія имѣетъ доступъ; всѣ люди, чувствующіе себя связанными по какой либо причинѣ съ старымъ порядкомъ вещей, и болѣе утонченныя, менѣе толстокожія натуры, которыя охотнѣе мечтаютъ, чѣмъ дѣйствуютъ, чувствуютъ себя исключенными изъ жизни и сторонятся отъ нея. По мѣрѣ того, какъ они все больше и больше сосредоточиваются въ себѣ, въ нихъ пробуждается вмѣстѣ съ погруженіемъ въ рефлексію болѣе сильное самосознаніе, а, какъ результатъ его, и болѣе интенсивная способность къ страданію. Наиболѣе развитой организмъ вѣдь и страдаетъ болѣе всѣхъ другихъ. Сюда же присоединяется и то, что въ то время, какъ старое общество разлетается на куски, личность лишается полезнаго давленія, удерживавшаго ее въ извѣстныхъ соціальныхъ рамкахъ и мѣшавшаго ей придавать себѣ безграничную цѣну и значеніе. Такимъ образомъ возможность для самообожанія открывается всюду, гдѣ самообладаніе не настолько сильно, чтобы замѣнить вліяніе прежней общественной организаціи. И въ то время, когда все кажется возможнымъ, все кажется и дозволеннымъ вмѣстѣ съ тѣмъ. На каждый запретъ у него готовъ отвѣтъ, который вмѣстѣ съ тѣмъ является и страшнымъ вопросомъ,—началомъ всякаго человѣческаго знанія и человѣческой свободы,—вопросомъ: «Почему?»

У насъ было то самое, только въ меньшихъ, гораздо меньшихъ размѣрахъ. Изъ блаженной для многихъ обстановки крѣпостного права, изъ подъ государственной опеки эпохи Николая I-го мы какъ будто перешли въ жизнь, гдѣ можетъ свободно происходить игра нашихъ силъ и страстей. Оказалось однако, что исторія только поманила насъ и очень скоро, какъ строгій гувернеръ, замѣтила: «пошалили и будетъ». Наша эмансипація оказалась построенной на песцѣ. Новыя экономическія отношенія, конкуренція и пр. утомили и ожесточили насъ. Усталые, запыленные, бредемъ мы теперь по тернистому пути отъ рожденія до могилы, и какъ-бы ни прикрывали своего разочарованія, оно существуетъ. Оно то между прочимъ и не позволяетъ намъ сосредоточиться на реальныхъ задачахъ жизни и реальныхъ интересахъ современности, хотя спасеніе, разумѣется, только тамъ, только въ томъ, что дѣйствительно нужно, что дѣйствительно полезно.

Въ обществѣ, уклонившемся отъ реальныхъ задачъ жизни, по необходимости должно проявиться съ одной стороны тупоголовое самодовольство, съ другой—неудовлетворенность, посылающая человѣка то въ интеллигентную колонію, то въ преждевременную могилу. Квартетъ изъ сотрудника «Гражданина», интеллигентнаго колониста, кафешантанной пѣвички и шестнадцатилѣтняго юноши, покупающаго револьверъ, даетъ свои музыкально-вокальныя представленія ежедневно и неустанно.

Ко всему этому можно привыкнуть, но трудно со всѣмъ этимъ примириться. Что утѣшительнаго въ точкѣ зрѣнія Чехова, увѣряющаго, что мы — обреченное поколѣніе; что утѣшительнаго въ ученіи Толстого, старающагося убѣдить насъ, что «счастье—внутри», въ то время когда не безъ большого основанія мы ищемъ опоры для него внѣ насъ? Надо-же искать какого нибудь другого исхода, искать хотя бы во имя спасенія своей личности, которую такъ энергично затягиваетъ житейская тина. Въ той или другой формѣ долженъ возродиться пережитый нами тридцать лѣтъ тому назадъ *реализмъ мышленія, какъ проявленіе общественнаго на-*

Digitized by Google

чала въ личности. Личность опять должна найти для себя «спасительное давленіе», и это давленіе должно исходить отъ общества.

Я не желаю переоцѣнивать 60-ые годы и увѣрять читателя, что всѣ тогдашніе дѣятели ходили со звѣздой во лбу. Дураковъ и подлецовъ было и тогда не мало, глупостей и пошлостей говорилось въ изобиліи. Но звучала одна струна, искупающая многое, и мы постараемся поближе ознакомиться съ этой струной—хотя бы по произведеніямъ одного только Писарева.

Прежде всего замѣтимъ, что онъ былъ мужественный человѣкъ. Его мужество съ одной стороны отражалось на его міросозерцаніи, съ другой—зависѣло отъ этого послѣдняго и находило въ немъ свою опору. Недавно ему была дана такая характеристика:

«Честолюбіе не мучило его, но онъ зналъ себѣ цѣну и требовалъ ея признанія. Быстрый, имѣющій мало подобныхъ себѣ въ исторіи литературы успѣхъ не вскружилъ ему головы, а напротивъ, какъ здоровому человѣку, придалъ еще больше силъ, еще больше желанія работать на томъ поприщѣ, гдѣ его сразу встрѣтили съ изумленіемъ и восторгомъ, злобою, негодованіемъ и завистью. Въ немъ была чудная черта мужества жизни, не дававшая ему впадать въ уныніе. Онъ сильно и бодро смотрѣлъ въ глаза будущему, готовый на все, удачи и неудачи, радости и испытанія. Перечтите его письма изъ крѣпости, припомните его гордыя слова послѣ прекращенія «Русскаго Слова». Только непомѣрная работа подточила его силы и мужество, но не неудачи. Годъ или два полнаго отдыха, вотъ все, что ему нужно было, чтобы засвѣтить попрежнему, но—увы!—не въ наше торгашеское время можно отдохнуть, и сколько силъ, сколько талантовъ упало измученными среди дороги, сколько плетутся по ней, утерявъ бодрость и вѣру отъ простого переутомленія...

Обычныя явленія нашей русской душевной жизни, извѣстныя подъ именемъ «больная совѣсть», «больной умъ», «больная душа», не были, къ счастью, знакомы Писареву. Живя въ душной атмосферѣ, привыкшіе вдыхать всякую копоть и всякій чадъ, иные выработали совершенно особенное мѣрило для людей. Они цѣнятъ и такихъ, кто совершенно подавленъ жизнью, кто утерялъ всякую смѣлость и бодрость душевную, кто не смѣетъ признать своего права на личное счастье, кто ушелъ въ уголъ и страдаетъ тамъ, униженный и пригнетенный. Отчасти они правы. Но для жизни безконечно дороже другіе—бодрые и смѣлые, готовые на борьбу и побѣду, съ сильно развитымъ чувствомъ своего достоинства, своихъ неотъемлемыхъ правъ на свѣжій воздухъ, на широкое, человѣческое существованіе.»

Источникомъ этого мужества является между прочимъ трезвость мысли. Быть трезвымъ мыслителемъ возможно только при томъ условіи, чтобы не только съ полнымъ вниманіемъ и уваженіемъ относиться къ фактамъ дѣйствительной жизни, но также провѣрять ими свои теоретическіе выводы и выкладки, свои симпатіи и антипатіи, свою любовь и ненависть, и стремленія. Я не хочу этимъ сказать, чтобы люди, разсуждающіе на практическомъ основаніи, никогда не ошибались. Errare humanum est. Но все же крупицы истины всегда есть тамъ, въ основу чего положены документы человѣческой жизни. «Слова и иллюзіи гибнутъ, факты остаются». Они могутъ являться передъ нами въ новыхъ комбинаціяхъ, подвергнуться новой критической провѣркѣ, послужить основаніемъ новаго вывода—но только въ нихъ можемъ мы найти полное обезпеченіе противъ схоластичности. Отчего напримѣръ слава Дидро такъ распустились въ наше время? Причина ясна: Дидро былъ почти единственнымъ мыслителемъ XVIII вѣка, который вѣрилъ въ изслѣдованіе. Для практики въ стилѣ, для пріобрѣтенія исторической перспективы мы можемъ читать Вольтера и Руссо, но близокъ и родствененъ намъ по духу лишь Дидро, предчувствовавшій, куда пойдетъ XIX вѣкъ. Теоріи, созданныя настроеніемъ, могутъ быть пріятны и утѣшительны, какъ была пріятной и утѣшительной система Гегеля, идея Мальтуса и пр. Но работникъ ищетъ не утѣшенія для сердца, а облегченія для своихъ мускуловъ.

Есть въ жизни XIX-го вѣка одинъ крупнѣйшій фактъ, не видѣть котораго значитъ не видѣть ровно ничего. Фактъ этотъ—прогрессъ бѣдности. Надо положительно обладать безнадежными умственными способностями, чтобъ не замѣтить этого крупнѣйшаго факта и пытаться заслонить его младенчески - философическими разсужденіями на тему о пространствѣ и времени, смерти и жизни, духѣ и матеріи. Ни въ чемъ такъ рѣзко не проявляется схоластичность нашего мышленія и его грустное состояніе, какъ въ томъ, что въ годину страшнаго голода основываются метафизическіе журналы и съ развязностью проповѣдуется: «къ счастью, интересъ россійскаго общества къ нравственнымъ и философскимъ вопросамъ значительно возросъ». Неправда ли, преинтересный эпизодъ! Констатируется «интересъ къ нравственности» въ то время, когда, несмотря на всѣ слезливыя, трагическія, душераздирающія сообщенія изъ «мѣстностей, пострадавшихъ отъ неурожая», русское общество нехотя и вяло несло свои гроши на пользу народу, достаточно поработавшему для него и все еще держащему его на своихъ плечахъ! Не схоластика ли это въ самомъ дѣлѣ?.. Крупнѣйшаго факта нашей современности мы не признаемъ и какъ будто отказываемся признать его и роль, какую играетъ онъ въ нашемъ міросозерцаніи? Повидимому онъ бы долженъ былъ занимать первое мѣсто, под-

Digitized by Google

чинить себѣ наши системы воспитанія, нашу общественность и, правильно и широко понятый, даже нашу нравственность, однако ничего этого нѣтъ.

Я употребилъ выраженіе «прогрессъ бѣдности» и теперь долженъ ограничить его въ томъ смыслѣ, что бѣдность существовала всегда, вопросъ же объ ней только обострился въ настоящее время. Но это-то и важно, что онъ обострился, это-то и показываетъ, на чемъ должны сосредоточиться усилія исторіи, куда идетъ ея эволюція (хотимъ ли мы этого или не хотимъ—безразлично), на какой почвѣ будутъ разыгрываться грядущія трагедіи, предупредить которыя какими нибудь раціональными путями лежитъ на обязанности каждаго мыслящаго человѣка. И въ этомъ отношеніи при большей энергіи и мужествѣ мы могли бы почесть себя счастливыми, потому что исторія раскрыла намъ свою завѣсу и откровенно показала, что̀ будетъ она дѣлать слѣдующія 50—100 лѣтъ.

Мы можемъ бить слѣдовательно навѣрняка, зная, что всякое наше разумное усиліе для побѣды надъ нищетой есть усиліе историческое, память о которомъ (если ужъ это кого нибудь прельщаетъ) занесетъ на свои страницы исторія. Но мы счастливы еще и въ томъ отношеніи, что исторія XIX вѣка не можетъ сыграть съ нами той злой и скверной шутки, которую она не разъ играла надъ многими и многими изъ нашихъ предковъ. Вѣдь на самомъ дѣлѣ бываютъ эпохи, когда мудрено или почти совершенно невозможно быть нравственнымъ въ широкомъ смыслѣ этого слова. Возьмите напримѣръ эпоху паденія Западной Римской имперіи. Что̀ могъ дѣлать тогда нравственный и добродѣтельный человѣкъ? Поддерживать имперію? Но вѣдь это только затягивало бы родовыя муки исторіи, эволюція которой очевидно обусловливала побѣду германскихъ варваровъ. Содѣйствовать германскимъ варварамъ? Но это было бы измѣной и предательствомъ родинѣ. Человѣкъ стоялъ возлѣ трупа и по необходимости заражался мертвымъ ядомъ. Прогрессъ, эволюція, рокъ, необходимость были на сторонѣ Одоакра, Алариха, Теодориха. Они и ихъ косматые воины носили въ себѣ жизнь. Гонорій и Ромулъ Августулъ носили въ себѣ смерть. Быть истинно нравственнымъ въ то время, т. е. содѣйствовать историческому прогрессу, значило, повторяю, быть предателемъ и измѣнникомъ своей родины. Обреченные на служеніе смерти, а не жизни, реакціи, а не прогрессу, торможенію исторіи, а не ея развитію—даже лучшіе римскіе люди эпохи упадка поневолѣ впадали въ пессимизмъ и отчаяніе, создавали стоическія, гностическія и пр. «выстраданныя» теоріи. Чтобы спастись отъ страшнаго противорѣчія, въ какое поставила ихъ исторія, они углублялись въ самихъ себя, сидѣли годами надъ вопросомъ: «что̀ же намъ дѣлать?», гибли героями на поляхъ битвы съ германцами, чувствуя, что эти геройскіе подвиги только длятъ предсмертныя корчи имперіи и ставятъ лишнюю преграду молодой жизни, смѣло рвавшейся впередъ,—жизни, которой грядущее обѣщало счастье, удачу, любовь и наслажденіе. Все, что̀ могли сдѣлать лучшіе люди той эпохи, это быть нравственными въ самихъ себѣ и по необходимости безнравственными въ историческомъ смыслѣ. Прекрасные семьяне, честные граждане, они тормозили исторію тѣмъ больше, чѣмъ прекраснѣе и честнѣе были они!.. Но мы не находимся въ такомъ положеніи. Правила Христа и принципъ самоуваженія, чувство справедливости и роковой ходъ исторіи—все это соединилось въ томъ, чтобы (будемъ надѣяться) сплести на умную, позитивную голову XX-го вѣка безсмертный вѣнокъ отъ всѣхъ трудящихся и обремененныхъ.

Всякій понимаетъ, что вопросъ о бѣдности—вопросъ частный. Есть нѣчто болѣе широкое—это вопросъ труда, его успѣшности, его облагораживающаго или унижающаго вліянія на человѣка. Если мы снесемъ въ архивъ всѣ декораціи исторіи, не позволимъ оглушать себя ея бубнами и литаврами, то увидимъ, что въ любую эпоху этотъ вопросъ труда, сознанный или несознанный, являлся центральнымъ и узловымъ. Если для большинства исторія все еще выражается той формулой, что «Александръ пошелъ, Дарій побѣжалъ, Александръ шелъ, Дарій бѣжалъ, Александръ дошелъ, Дарій добѣжалъ» и потомъ оба умерли, одинъ 326 г., другой 323 г.,—то виноваты въ этомъ академическій синклитъ и умственное убожество самаго большинства.

Реальное мышленіе XIX-го вѣка вопросъ о трудѣ ставитъ въ голову другихъ вопросовъ, потому что этотъ вопросъ самый важный и вліятельный. Любопытно взглянуть, какъ смотрѣлъ на это Писаревъ.

Въ одной изъ лучшихъ своихъ статей онъ изложилъ свои воззрѣнія на ходъ всемірной исторіи, и нѣсколько цитатъ покажутъ, что это были за воззрѣнія:

«Исторія человѣчества представляетъ намъ безконечное разнообразіе лицъ и событій, идей и стремленій, политическихъ системъ и нравственныхъ переворотовъ. Подъ этимъ разнообразіемъ формъ кроются двѣ *основныя* потребности человѣка,—двѣ такихъ потребности, безъ удовлетворенія которыхъ не могъ

Digitized by Google

бы ни улучшить свое матеріальное и интеллектуальное положеніе, ни даже поддерживать бренное существованіе личности и породы»... Что же это за потребность? «Первая заключается въ томъ, что человѣкъ долженъ предохранить свое тѣло отъ разрушительныхъ вліяній окружающей природы», вторая—«въ томъ, что человѣкъ долженъ (ради наилучшаго удовлетворенія первой) сближаться съ человѣкомъ, помогать ему въ его предпріятіяхъ и въ свою очередь находить въ немъ естественнаго помощника и защитника.»

Очевидно, что чѣмъ полнѣе и легче удовлетворяются обѣ основныя потребности, тѣмъ лучше для человѣка, однако—«лѣтописи и легенды наполнены разсказами о великихъ подвигахъ завоевателей. На равнинахъ Египта возвышаются до сихъ поръ колоссальныя пирамиды. Въ первомъ случаѣ мы видимъ, что густыя массы людей встрѣчаются съ другими густыми массами такихъ же людей и что естественные союзники и помощники истребляютъ другъ друга съ особеннымъ удовольствіемъ. Во второмъ случаѣ мы видимъ, что люди борятся съ внѣшней природой, преодолѣваютъ страшныя трудности и препятствія для того, чтобы обтесать и наложить кучу камня, которая не даетъ имъ ни пищи, ни одежды, ни жилища».

Достигнуть осуществленія завѣтнѣйшихъ стремленій своего сердца человѣкъ можетъ лишь въ томъ случаѣ, когда, не упуская ни на минуту изъ вида своихъ основныхъ потребностей, онъ будетъ совершенствовать все то, что способствуетъ ихъ удовлетворенію, и устранитъ все, что препятствуетъ этой цѣли. Кажется и просто, и ясно, однако трудъ до сей поры не приносилъ человѣку счастья, и большая его часть потрачена на вѣтеръ. Завоеватели побѣждали, разгромляли, воздвигали пирамиды, а въ результатѣ—безконечная лѣтопись исторіи, ея запыленныя, въ большинствѣ случаевъ никому ненужныя страницы, и тамъ, и здѣсь памятники глупости и минутнаго величія среди пустынь ливійскихъ. Невольно припоминается чудное стихотвореніе Шелли:

«Я встрѣтилъ путника. Онъ шелъ изъ странъ далекихъ
И мнѣ сказалъ: «Вдали, гдѣ вѣчность сторожитъ
Пустыни тишину, среди песковъ глубокихъ
Обломокъ статуи распавшейся лежитъ.
. . . . И сохранилъ слова обломокъ изваянья:
«Я—Озимандія, я—мощный царь царей!
Взгляните на мои великія дѣянья,
Владыки всѣхъ временъ, всѣхъ странъ и всѣхъ морей!»
Кругомъ нѣтъ ничего... Глубокое молчанье...
Пустыня мертвая... И небеса надъ ней.»

Писаревъ, какъ мы видѣли только что, въ своемъ пониманіи всеобщей исторіи всталъ на вполнѣ реальную точку зрѣнія. Развитію ея посвящена вся упомянутая нами статья, гдѣ тщательно опредѣляются всѣ тѣ условія общественной жизни, которыя мѣшаютъ труду исполнить свое назначеніе и обезпечить человѣческое счастье. Замѣчу кстати, что Писаревъ выказалъ здѣсь основательное знакомство съ политической экономіей, безъ помощи которой если вообще и возможно толковать исторію, то развѣ въ предѣлахъ гимназическаго курса. Писаревъ разбираетъ теоріи Мальтуса, Рикардо, Милля, опираясь на положеніе, мало популярное въ его время, что единственнымъ факторомъ въ образованіи цѣнности является человѣческій трудъ. Очень остроумно по поводу формальнаго пониманія исторіи замѣчаетъ онъ, что «переходъ отъ одного вида войны къ другому и отъ одной формы рабства къ другой называется благозвучнымъ именемъ историческаго прогресса». Вполнѣ реалистически существеннѣйшимъ факторомъ прогресса онъ считаетъ приростъ населенія, такъ какъ только многочисленное населеніе обезпечиваетъ непрерывность труда и возможность ассоціацій. Къ сожалѣнію, мнѣ некогда слѣдить за аргументами Писарева, почему я ограничусь лишь тѣмъ, что напомню читателю конецъ статьи:

«Человѣческое общество въ первоначальной его формѣ можно представить себѣ въ видѣ пирамиды, разгороженной на нѣсколько этажей. Въ самомъ нижнемъ работаютъ люди, добывающіе сырые матеріалы, и ихъ этажъ составляетъ основаніе всего строенія. Во второмъ этажѣ совершается механическая и химическая переработка добытыхъ матеріаловъ. Въ третьемъ дѣйствуютъ люди, занимающіеся перевозкой и устраивающіе пути сообщенія. Въ четвертомъ обитаютъ всѣ разнообразные классы людей, живущихъ производительнымъ трудомъ нижняго этажа... Равновѣсіе этой общественной пирамиды будетъ тѣмъ устойчивѣе, чѣмъ обширнѣе будутъ нижніе два этажа въ сравненіи съ верхними и чѣмъ значительнѣе вѣсъ нижнихъ этажей будетъ превышать тяжесть верхнихъ. И такъ какъ специфическая сила человѣка заключается не въ мускулахъ, а въ мозгу, то вѣсомъ человѣка въ переносномъ смыслѣ слова можетъ быть названа сумма его дѣятельныхъ умственныхъ способностей, почему въ массахъ земледѣльцевъ и фабричныхъ должна сосредоточиваться и обращаться больше знаній, чѣмъ въ другихъ кучкахъ людей.»

Digitized by Google

Разумѣется, этимъ признаніемъ за трудомъ первенствующей роли въ жизни далеко не исчерпывается реализмъ Писарева. Онъ стремился разработать свою излюбленную идею съ полной ясностью и вразумительностью. Съ первыхъ же шаговъ своей литературной дѣятельности онъ, не называя ея, явился ея горячимъ адептомъ. Онъ дебютировалъ, какъ извѣстно (не считая пробъ пера вродѣ «Идеализма Платона»), статьей «Схоластика XIX-го вѣка», одно заглавіе которой многознаменательно. Въ своей постоянной полемикѣ съ Антоновичемъ онъ защищаетъ свой реализмъ со всѣмъ блескомъ полемическаго таланта и излагаетъ profession de foi въ «Реалистахъ», этой рѣшительной статьѣ, имѣющей такое же значеніе для 60-хъ годовъ, какъ и «Темное царство» Добролюбова.

Принципъ реализма, къ какой бы сферѣ общественной жизни и дѣятельности мы ни прилагали его, требуетъ демократизаціи искусства, науки, философіи и всевозможныхъ благъ жизни. Это строго необходимый выводъ изъ посылки, что «нижній этажъ долженъ быть тяжелѣе». Для кого—спрашиваетъ напр. Писаревъ—существуетъ литература? и отвѣчаетъ:

«Для незначительнаго кружка избранныхъ, такъ какъ гг. литераторы не желаютъ спуститься до той жаждущей умственной пищи части общества, которая стоитъ на рубежѣ двухъ элементовъ — народа и интеллигенціи, и «какъ будто призваны быть передатчиками и проводниками идей и знаній сверху внизъ». Словомъ, средніе и низшіе слои интеллигенціи игнорируются журналистикой. Какъ-же подойти къ нимъ, какъ-же сблизиться съ ними? Для этого прежде всего надо стоять на почвѣ практической дѣятельности, на почвѣ факта, надо почаще прибѣгать къ здравому смыслу вмѣсто отвлеченныхъ и книжныхъ теорій».

«Отвлеченности (т. е. идеализмъ, спиритуализмъ, супранатурализмъ и пр.) могутъ быть интересны и понятны только для ненормально развитого, очень незначительнаго меньшинства. Поэтому ополчаться всѣми силами противъ отвлеченности въ наукѣ мы имѣемъ полное право по двумъ причинамъ; во-первыхъ, во имя цѣлостности человѣческой личности, во-вторыхъ, во имя того здороваго принципа, который, постепенно проникая въ общественное знаніе, нечувствительно сглаживаетъ грани сословій и разбиваетъ кастическую замкнутость и исключительность. Умственный аристократизмъ—явленіе опасное именно потому, что онъ дѣйствуетъ незамѣтно и не высказывается въ рѣзкихъ формахъ. Монополія знаній и гуманнаго развитія представляетъ конечно одну изъ самыхъ вредныхъ монополій. Что за наука, которая по самой сущности своей недоступна массѣ? Что за искусство, котораго произведеніями могутъ наслаждаться только немногіе спеціалисты? Вѣдь надо-же помнить, что не люди существуютъ для науки и искусства, а что наука и искусство вытекли изъ естественной потребности человѣка наслаждаться жизнью и украшать ее всевозможными средствами. Если наука и искусство мѣшаютъ жить, если они разъединяютъ людей, если они кладутъ основаніе кастамъ, такъ и Богъ съ ними, мы ихъ знать не хотимъ; но это не правда: истинная наука ведетъ къ осязательному знанію, а то, что осязательно, что можно ощупать руками, разсмотрѣть глазами, то пойметъ и десятилѣтній ребенокъ, и простой мужикъ, и свѣтскій человѣкъ, и ученый спеціалистъ.»

Со страстью молодости, съ полной вѣрой въ себя борется онъ съ грандіозной арміей схоластиковъ XIX вѣка—этимъ грустнымъ наслѣдіемъ среднихъ вѣковъ, и его краснорѣчивая защита реализма не утеряла своей цѣны и въ настоящее время. Развѣ роль, которую играютъ теперь всевозможные метафизики,—не торжество схоластики? Ищутъ душу. Что за прекрасная и возвышенная задача, во имя которой смѣло можно забыть и хроническій голодъ, и безпросвѣтную тьму невѣжества многомилліоннаго народа русскаго!

Я не имѣю возможности изложить въ подробности реализмъ Писарева и ограничусь лишь важнѣйшими его сторонами. Въ области философіи Писаревъ держится положенія, которое, будучи правильно понято, устраняетъ всякое метафизическое словоизверженіе. «Невозможность очевиднаго проявленія исключаетъ дѣйствительность существованія», говоритъ онъ, становясь такимъ образомъ на сторону Дидро и Юма. Слово «исключаетъ» быть-можетъ и покажется нѣсколько смѣлымъ, но что другого могъ сказать человѣкъ, для котораго практическія неотложныя задачи жизни играли всегда первую роль? Писать и говорить о томъ, чего мы не видимъ, не слышимъ и не осязаемъ, можно много, и люди цѣлые вѣка занимались этимъ, но что полезнаго и нужнаго оставили намъ вся схоластика и вся метафизика? Нѣсколько великихъ именъ, къ которымъ мы однако не можемъ чувствовать состраданія за даромъ потраченныя ими усилія,—груды фоліантовъ, которые если и читаютъ, то лишь потому, что наука все еще гнѣздится въ кружковщинахъ и находится на содержаніи у государства. Въ практическомъ отношеніи для насъ важно лишь то, что мы можемъ познать, а познаемъ мы лишь черезъ проявленіе.

Съ той-же горячностью къ неотложнымъ задачамъ жизни Писаревъ смотритъ на человѣка прежде всего, какъ на *работника*. Всемірная исторія даетъ намъ грандіозную картину борьбы трудового начала со всевозможными стоящими на его пути препятствіями. Несмотря ни на что, оно должно побѣдить, если человѣчество не захочетъ окончить смертью свою скучную жизнь. Каждый изъ насъ прежде всего—работникъ и, какъ таковой, стремится къ тому, чтобы трудъ его былъ по возможности успѣшнѣе и наиболѣе содѣйствовалъ его личному счастью. Дости-

Digitized by Google

женіе такой цѣли налагаетъ нѣкоторыя обязательства, тщательно перечисленныя Писаревымъ. Сущность этихъ обязательствъ сводится къ экономіи силъ.

«Мнѣ кажется,—говоритъ Писаревъ,—что въ русскомъ обществѣ начинаетъ вырабатываться въ настоящее время самостоятельное направленіе мысли. Я не думаю, чтобы это направленіе было совершенно ново и вполнѣ оригинально, но самостоятельность его заключается въ томъ, что оно находится въ самой неразрывной связи съ дѣйствительными потребностями нашего общества». Прежде было иначе; отцы и дѣды забавлялись мартинизмомъ, масонствомъ и вольтерьянствомъ, мыслительная работа была нужна имъ отъ скуки, для ради препровожденія времени, но «мы теперь знаемъ, что дѣлаемъ, и можемъ дать себѣ отчетъ, почему мы беремъ это, а не другое». У насъ есть дѣйствительныя потребности: «во-первыхъ, мы бѣдны, а во-вторыхъ — глупы». Глупость и бѣдность не какія-нибудь мечтательныя бѣдствія, а бѣдствія реальныя, и, чтобы побѣдить ихъ, надо притянуть къ живой, полезной дѣятельности всѣ силы русскаго общества. Гдѣ же и въ чемъ она, эта живая, полезная дѣятельность? «Во-первыхъ, извѣстно, что значительная часть продуктовъ труда переходитъ изъ рукъ рабочаго населенія въ руки непроизводящихъ потребителей. Увеличить количество продуктовъ, остающихся въ рукахъ рабочаго,—значитъ уменьшить его нищету и дать ему средства къ дальнѣйшему развитію... Во-вторыхъ, можно дѣйствовать на непроизводящихъ потребителей, но конечно надо дѣйствовать на нихъ не моральной болтовней, а живыми идеями, и поэтому надо обращаться только къ тѣмъ личностямъ, которыя желаютъ взяться за полезный и увлекательный трудъ, но не знаютъ, какъ приступить къ дѣлу и къ чему приспособить свои силы. Тѣ люди, которые по своему положенію могутъ и по своему личному характеру желаютъ работать умомъ, должны расходовать свои силы съ крайней осмотрительностью и разсчетливостью, т. е. они должны браться только за тѣ работы, которыя могутъ принести обществу дѣйствительную пользу. Такая *экономія умственныхъ силъ* необходима вездѣ и всегда, потому что человѣчество еще нигдѣ и никогда не было настолько богато дѣятельными умственными силами, чтобы позволять себѣ въ расходованіи этихъ силъ малѣйшую расточительность. Между тѣмъ расточительность всегда и вездѣ была страшная, и оттого результаты до сихъ поръ всегда получались самые жалкіе. У насъ расточительность также очень велика, хотя и расточать-то намъ нечего. У насъ до сихъ поръ всего какой-нибудь двугривенный умственнаго капитала, но мы, по нашему извѣстному молодечеству, и этотъ несчастный двугривенный ставимъ ребромъ и расходуемъ безобразно. Намъ строгая экономія еще необходимѣе, чѣмъ другимъ, дѣйствительно образованнымъ, народамъ, потому что мы, въ сравненіи съ ними,—нищіе. Но, чтобы соблюдать такую экономію, надо прежде всего уяснить и себѣ до послѣдней степени ясности, что полезно обществу и что безполезно. Экономія-же умственныхъ силъ и есть не что иное, какъ строгій и послѣдовательный реализмъ.»

Мартышкинъ трудъ, хотя-бы и происходящій въ потѣ лица,—не работа, а глупость, и, чтобы избѣжать ея, надо быть прежде всего мыслящимъ человѣкомъ. На обязанности критической мысли лежитъ прежде всего опредѣлить, что дѣйствительно общеполезно. Чтобы не быть расточителями, мы должны съ уваженіемъ отнестись къ предыдущему опыту человѣчества, пользоваться имъ въ видахъ экономіи. Но вмѣстѣ съ тѣмъ выборъ общеполезнаго зависитъ отъ влеченія нашей природы.

«Послѣдовательный реализмъ,—говоритъ Писаревъ,—безусловно презираетъ все, что не приноситъ существенной пользы; но слово «польза» мы принимаемъ совсѣмъ не въ томъ узкомъ смыслѣ, въ какомъ навязываютъ намъ наши литературные антагонисты. Мы вовсе не говоримъ поэту «шей сапоги», или историку — «пеки пироги», но мы требуемъ непремѣнно, чтобы поэтъ, какъ поэтъ, и историкъ, какъ историкъ, приносили каждый въ своей спеціальности дѣйствительную пользу. Мы хотимъ, чтобы созданія поэта ясно и ярко рисовали передъ нами тѣ стороны общественной жизни, которыя необходимо знать для того, чтобы основательно размышлять и дѣйствовать. Мы хотимъ, чтобы изслѣдованіе историка раскрывало намъ настоящія причины процвѣтанія и успѣха отжившихъ цивилизацій. Мы читаемъ книги единственно для того, чтобы посредствомъ чтенія расширять пробѣлы нашего личнаго опыта. Если книга въ этомъ отношеніи не даетъ намъ ровно ничего, ни одного новаго факта, ни одного оригинальнаго взгляда, ни одной самостоятельной идеи, если она ничѣмъ не шевелитъ и не оживляетъ нашей мысли, то мы называемъ такую книгу пустой и дрянной книгой, не обращая вниманія на то, писана-ли она прозой, или стихами, и автору такой книги мы всегда съ искреннимъ доброжелательствомъ готовы посовѣтовать, чтобы онъ принялся шить сапоги или печь кулебяки.»

Такова сущность реализма Писарева. Я уже говорилъ, что этотъ реализмъ выросъ на демократическомъ основаніи, на признаніи труда первенствующимъ факторомъ жизни и стремленіи доставить массамъ счастье и знаніе. Позволю себѣ еще одну небольшую цитату, гдѣ Писаревъ особенно ярко развилъ свои демократическія убѣжденія. Онъ говоритъ:

«Трагическія недоразумѣнія между наукой и жизнью будутъ повторяться до тѣхъ поръ, пока не прекратится гибельный разрывъ между трудомъ мозга и трудомъ мускуловъ. Пока наука не перестанетъ быть барской роскошью, пока она не сдѣлается насущнымъ хлѣбомъ каждаго здороваго человѣка, пока она не проникнетъ въ голову ремесленника, фабричнаго рабочаго и простого мужика,—до тѣхъ поръ бѣдность и безнравственность трудящейся массы будутъ постоянно усиливаться, несмотря ни на проповѣди моралистовъ, ни на подаянія филантроповъ, ни на выкладки экономистовъ, ни на теоріи соціалистовъ. Есть въ человѣчествѣ только одно зло—невѣжество, противъ этого зла есть только одно лекарство — наука, но это лекарство надо принимать не гомеопатическими дозами, а сорокаведерными бочками. Слабый пріемъ этого лекарства увеличиваетъ страданія больного организма. Сильный пріемъ ведетъ за собою радикальное исцѣленіе. Но трусость человѣка такъ велика, что спасительное лекарство считается ядовитымъ.»

IV.

Всякій знаетъ, что главныя усилія своего громаднаго и блестящаго таланта Писаревъ

Digitized by Google

посвятилъ тому широкому историческому потоку, который носитъ названіе эмансипаціи личности. На тему объ этой эмансипаціи Писаревъ писалъ такъ много и ярко, съ такимъ искусствомъ отстаивалъ освобожденіе женщины, семьи, дѣтей, личности изъ подъ ферулы Домостроя и идеаловъ попа Сильвестра, что для многихъ словомъ «эмансипація» исчерпывается вся работа нашего публициста. На предыдущихъ страницахъ я старался показать, что дѣло обстоитъ нѣсколько иначе, и что если вопросы, связанные съ эмансипаціей, разработаны Писаревымъ наиболѣе ярко и выпукло, то все-же этой разработкой далеко не исчерпываются его заслуги. По поводу эмансипаціи можно наговорить очень много пустозвонныхъ фразъ и заслужить очень много аплодисментовъ, но для трезваго и мыслящаго человѣка центръ задачи не въ эмансипаціи, а въ тѣхъ условіяхъ, которыя позволяютъ эмансипированной личности держаться прямо и твердо. Еще въ 1817 г. напр. были эмансипированы прибалтійскіе крестьяне и изъ крѣпостныхъ переименованы въ свободныхъ. Въ результатѣ получился однако скверный анекдотъ, такъ какъ освобожденные не получили ни клочка земли и немедленно-же попали въ горшую прежней кабалу помѣщикамъ. Не то-же ли самое происходитъ на Западѣ, гдѣ ко всевозможнымъ «свободамъ» жизнь прибавила и еще одну—свободу умирать на мостовой или въ рабочей тюрьмѣ послѣ въ потѣ и трудѣ проведенной жизни? Какъ и всему, «эмансипаціи» нужна «обстановка», безъ которой она обращается въ звукъ пустой. Если-бы Писаревъ этого не понималъ, то его слѣдовало-бы забыть и сдать въ архивъ. Но, къ счастью, съ нимъ не случилось этого, такъ какъ онъ не былъ пустозвоннымъ болтуномъ и къ аплодисментамъ вообще относился очень скептически. Защищая свободу личности, требуя для нея полноты счастья и развитія, перестраивая воспитаніе, проповѣдуя необходимость образованія для женщинъ, Писаревъ никогда не забывалъ, что эмансипація личности возможна лишь при эмансипаціи *труда*. Если личность будетъ свободна, но трудъ ея будетъ въ кабалѣ, то ничего хорошаго не произойдетъ. Оттого-то Писаревъ и не терпѣлъ либерализма, такъ какъ либерализмъ требуетъ эмансипаціи личности, но не работника. Пусть всякій, кто интересуется этимъ вопросомъ, перечтетъ внимательно «Посмотримъ» или нѣкоторыя другія его статьи и онъ воочію убѣдится, что Писаревъ полностью понималъ непримиримое противорѣчіе между свободной личностью и закабаленнымъ работникомъ. Это большая заслуга съ его стороны, отмѣтить которую мнѣ представляется необходимымъ. Разумѣется, такой громадный талантъ могъ-бы сдѣлать гораздо больше въ этомъ направленіи, могъ-бы показать намъ съ полной очевидностью, что безъ свободы труда нѣтъ въ сущности никакой реальной свободы, но Писаревъ не успѣлъ. Онъ умеръ, какъ знаетъ читатель, 27-ми лѣтъ отъ роду. Судьба отрѣзала нить его жизни въ то время, когда онъ все съ болѣе и болѣе сосредоточеннымъ вниманіемъ присматривался къ судьбѣ погибшихъ и погибающихъ и стремился въ условіяхъ труда найти разгадку неисчислимыхъ золъ современности.

Что могло бы выйти изъ него?

Вопросъ этотъ можетъ показаться нѣсколько страннымъ, вродѣ предложенія читателю погадать вмѣстѣ на гущѣ или разложить карты дѣвицы Ленорманъ. Но какъ ни страненъ этотъ вопросъ, я позволю себѣ заняться имъ; почему—объясню ниже.

Въ статьѣ «Посмотримъ», написанной въ 65-мъ году, Писаревъ задается вопросомъ: что же должны дѣлать тѣ люди, которые берутся быть руководителями общественнаго самосознанія, и отвѣчаетъ такъ:

Надо, *во-первыхъ*: «всѣми силами искать теоретическаго рѣшенія (вопроса о бѣдности) и всѣми силами побуждать къ тому-же самому исканію другихъ людей, изображать яркими красками страданія большинства, вдумываться въ причины этихъ страданій, постоянно обращать вниманіе общества на экономическіе общественные вопросы и систематически отрицать, заплевывать и осмѣивать все, что отвлекаетъ умственныя силы образованныхъ людей отъ *этой главной задачи*.

Надо, *во-вторыхъ*, постоянно разъяснять обществу съ разныхъ сторонъ и во всѣхъ подробностяхъ основныя начала разумной экономической и общественной доктрины... всѣми возможными средствами усиливать притокъ новыхъ людей изъ низшихъ классовъ въ образованное общество.

Читатель понимаетъ теперь, что Писаревъ не даромъ сказалъ:

«Конечная же цѣль всего нашего мышленія и всей дѣятельности каждаго честнаго человѣка состоитъ все-таки въ томъ, чтобы разрѣшить навсегда неизбѣжный вопросъ о голодныхъ и раздѣтыхъ людяхъ; внѣ этого вопроса нѣтъ ничего, о чемъ бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать.»

Этой высокой и славной цѣли должны служить наука, искусство, литература, поэзія, такъ какъ для публициста, имѣющаго въ виду интересы большинства, возможенъ

Digitized by Google

въ настоящее время *только* одинъ вопросъ, поглощающій всѣ остальные: «какъ накормить голодныхъ людей? какъ обезпечить всѣхъ вообще». («Посмотримъ».)

На этой то почвѣ и выросъ утилитаріанизмъ Писарева. Оттого-то онъ и отрицалъ напр. музыку и живопись, которыя являются излишней роскошью, — сладкимъ пирогомъ для низшаго общества.

Я не скрываю, разумѣется, того факта, что Писаревъ то и дѣло отвлекался отъ главной задачи, но—повторяю—она была глубоко сознана имъ, а обстоятельства времени должны были лишь увеличить въ его глазахъ ея цѣнность.

Теперь понятно, чѣмъ онъ могъ бы быть. Трезвое мышленіе, ненависть къ фразамъ, значительный интересъ къ историческому прошлому, сознаніе безусловной необходимости рѣшить вопросъ о бездомныхъ и раздѣтыхъ — все это вело Писарева къ тому, чтобы перенести центръ тяжести своей работы съ проповѣди эмансипаціи на проповѣдь обстановки эмансипированной личности. Слѣпая судьба помѣшала ему сдѣлаться плодотворнѣйшимъ писателемъ земли русской.

Я потому такъ подробно остановился на только что разобранной сторонѣ міросозерцанія Писарева, что наша критика совершенно забыла о ней и даже вскользь не разбираетъ ея. А между тѣмъ она имѣетъ свое значеніе, и значеніе немалое. Повторяю, всѣ эти прекрасныя высокія вдохновляющія слова: «свобода личности», «эмансипація», «критицизмъ» и пр.,—не болѣе, какъ звукъ пустой, разъ, употребляя ихъ, мы не опредѣляемъ ту единственную почву, при которой свободная, эмансипированная и критическая личность можетъ появляться, совершенствоваться и жить на благо себѣ и своему кредитору — человѣчеству. Единственная же почва для свободной личности — это почва свободнаго труда, безъ чего немыслима ни равноправность, ни истинное сотрудничество всѣхъ людей для пользы каждаго. Въ одной изъ своихъ статей, гдѣ онъ требуетъ прежде всего общеполезнаго труда, наконецъ въ «Реалистахъ», гдѣ любовь, знаніе и трудъ на почвѣ общечеловѣческой кооперації выставляются идеаломъ личной жизни каждаго,—Писаревъ совершенно ясно выразилъ свое *пониманіе* «единственно возможной почвы», но кромѣ этого пониманія ему оставалась еще впереди громадная работа—разработать этотъ вопросъ во всей его подробности и довести своего читателя не только до пониманія, но и до *признанія*. Этой громадной работы онъ сдѣлать не успѣлъ и, занятый текущими дѣлами, быть-можетъ не всегда даже удѣлялъ ей должное вниманіе. Вѣдь никогда не надо забывать, что онъ былъ не кабинетнымъ мыслителемъ, а человѣкомъ, находившимся въ самой свалкѣ жизни, для котораго имѣетъ смыслъ и значеніе не только то, что важно для столѣтія, но и то, что важно какъ вопросъ дня, какъ извѣстное хотя бы переходящее настроеніе общественной мысли. Онъ долженъ былъ столько же заботиться о созданіи истинныхъ героевъ, сколько и о разрушеніи ложныхъ. Какъ ни ничтожны были всѣ эти Ключниковы, Станицкіе и пр., приходилось писать и о нихъ; какъ ни можетъ *показаться* второстепеннымъ вопросъ объ эмансипаціи женщины—для извѣстныхъ дней, для извѣстныхъ эпохъ онъ играетъ первенствующую роль. Истинный публицистъ, ни на минуту не упуская изъ виду вѣчнаго и существеннѣйшаго, не можетъ и не долженъ стѣсняться поводомъ. Его задача—содѣйствовать торжеству вѣчнаго и существеннѣйшаго, сосредоточивать на немъ вниманіе общества, но въ достиженіи этой цѣли онъ совершенно свободенъ. Онъ долженъ дѣйствовать по линіи наименьшаго сопротивленія, долженъ всѣми доступными для него способами — кромѣ безчестныхъ разумѣется—воплощать свою мысль въ самые доступные образы, долженъ направлять свои резервы въ самые нужныя и слабыя мѣста. Что удивительнаго, если въ пылу битвы, въ самой свалкѣ жизни онъ сосредоточитъ свои удары не на самомъ важномъ пунктѣ противника, а на томъ, который временно и случайно сталъ таковымъ. Понятія прогрессивнаго и регрессивнаго, передового и отсталаго мѣняются по десятилѣтіямъ. Вольтеръ—прогрессистъ, хотя нашимъ прогрессистамъ съ нимъ дѣлать нечего. Иногда самый маленькій вопросъ, благодаря обстоятельствамъ, вдругъ заполняетъ всю сферу общественнаго сознанія, и, будь это, какъ оно случилось когда то въ Испаніи, вопросомъ объ ассенизаціи Мадрита, публицистъ не можетъ игнорировать его. Съ этой исторической точки зрѣнія даже такая то и дѣло предававшаяся анафемѣ статья Писарева, какъ «Пушкинъ и Бѣлинскій», можетъ быть признана мастерской. Для того чтобы закрѣпить за жизнью *демократическое начало*, требовалось примѣниться и къ области искусства. На комъ же сильнѣе, поразительнѣе можно было это сдѣлать, чѣмъ на Пушкинѣ. Вѣдь обожаніемъ его жили пятидесятые года, и въ пятидесятые годы Пушкинъ считался отцомъ чистаго искусства, вѣчнымъ, недосягаемымъ образцомъ. Нужно было уничтожить этотъ авторитетъ, чтобы дать дорогу тому общеполез-

Digitized by Google

ному домократическому искусству, о которомъ мечталъ Писаревъ и котораго требовали обстоятельства времени. Была сдѣлана ошибка въ формѣ, но не въ сущности: Писаревъ въ этой «анафемской» статьѣ блестяще рѣшилъ вопросъ объ отношеніи *искусства* къ массѣ, о тѣхъ новыхъ элементахъ, которые должна ввести въ область служенія красотѣ демократическая идея нашихъ дней; но мы согласимся, разумѣется, что Пушкинъ, какъ образецъ враждебнаго для массы искусства, выбранъ неудачно.

Но это между прочимъ. Находясь въ свалкѣ жизни и подчиняясь запросамъ своей эпохи, Писаревъ сосредоточилъ сущность своихъ усилій на самомъ вопросѣ эмансипаціи. Что значило быть свободнымъ, самостоятельнымъ человѣкомъ? Вѣдь этого всѣ хотѣли. Хотѣлъ крестьянинъ, только что выбравшійся изъ подъ крѣпостной ферулы, хотѣла дѣвушка, стремившаяся къ самостоятельной жизни, труду, образованію, хотѣли того же семейный и общественный строй, по крайней мѣрѣ въ нижнемъ своемъ теченіи. Игнорировать этотъ вопросъ, относиться къ нему съ академической высоты было бы неудобно или преступно. Всѣ хотѣли быть эмансипированными, и вотъ требовалось найти тѣ философскіе, психологическіе, нравственные устои, держась которыхъ личность могла бы быть свободной. Эти устои изложены Писаревымъ въ статьѣ «Реалисты».

Писаревъ обращается здѣсь къ *людямъ, которые по своему положенію могутъ и по своему личному характеру желаютъ* взяться за полезный и увлекательный трудъ, сущность котораго сводится къ тому, чтобы уничтожить два основныхъ зла нашей жизни: нашу глупость и нашу бѣдность. Мы вѣдь очень бѣдны, но и въ то же время очень расточительны. «У насъ до сихъ поръ всего какой нибудь двугривенный умственнаго капитала, но мы по нашему извѣстному молодечеству и этотъ несчастный двугривенный ставимъ ребромъ и расходуемъ безобразно». Нуженъ слѣдовательно полезный и увлекательный трудъ, и нуженъ онъ отъ всякаго, кто хочетъ и можетъ трудиться. Но увлекательнымъ можетъ быть только трудъ, который соотвѣтствуетъ прежде *всего наклонностямъ человѣка*.

Въ этой послѣдней формулѣ и скрывается вся сущность писаревской эмансипаціи. Онъ смотрѣлъ на жизнь трезво и просто. Человѣкъ былъ въ его глазахъ существомъ, руководящимся наслажденіемъ и страданіемъ. Благо — все то, что увеличиваетъ сумму наслажденія; зло — все то, что увеличиваетъ сумму страданія. Главнымъ источникомъ наслажденія долженъ быть трудъ, работа, но лишь въ томъ случаѣ, когда между личностью и работой существуетъ гармонія. Когда мнѣ хочется писать, когда у меня есть влеченіе къ творчеству — то при обязанности переписывать бумаги или утрамбовывать мостовую я ни счастливымъ, ни довольнымъ быть не могу.

Надо прежде всего опредѣлить свою наклонность, свое влеченіе или «познать самого себя», какъ училъ Сократъ, потому что очевидно не всѣ люди способны удовлетворяться тѣмъ-же. Но при какихъ-же условіяхъ сокровенная сущность человѣческой личности можетъ открыться ей самой? По-видимому это такъ трудно, а вмѣстѣ съ тѣмъ и необходимо, чтобы ни одна крупица силы человѣческой не пропадала даромъ, чтобы каждая крупица находила наилучшее свое примѣненіе. Чахлая, истощенная, умственно забитая, человѣческая личность никогда, развѣ при самой счастливой случайности, не найдетъ самой себя, своего призванія, никогда не проложитъ своей собственной тропы къ своему счастью. Она потащится за другими и будетъ всю жизнь свою играть на томъ инструментѣ, который ей всунутъ въ руки. Она не посмѣетъ ни жить, ни любить, ни работать по своему. Но физическое здоровье, умственная самостоятельность и экономическая обезпеченность могутъ помочь личности снять повязку съ глазъ и взглянуть на міръ божій и самое себя прямо и просто, а не черезъ призму традиціи, предразсудка и своего общественнаго положенія.

Приходится начинать со школы — этой лабораторіи будущихъ поколѣній. Вполнѣ сообразно съ требованіями своей теоріи, Писаревъ удѣлялъ школѣ много вниманія. Въ чемъ, спрашиваетъ онъ, зло нашего воспитанія? Въ неуваженіи къ личности, въ боязни передъ человѣкомъ. «Надо,—говоритъ онъ,—прежде всего беречь въ ребенкѣ его самого, надо уважать въ немъ то, что не можетъ быть пріобрѣтено никакими усиліями и не можетъ быть куплено ни за какія деньги,—словомъ, его личность, его оригинальность, данную ему отъ природы. Человѣкъ,-дѣйствительно уважающій человѣческую личность, долженъ уважать ее и въ своемъ ребенкѣ. Все воспитаніе должно измѣниться подъ вліяніемъ этой идеи.»

Въ томъ-же направленіи должно дѣйствовать и общественное воспитаніе. «Безличность, безгласность, умственная лѣнь и вслѣдствіе этого умственное безсиліе, вотъ — пишетъ Писаревъ — болѣзни, которыми страдаетъ наше общество, наша критика, вотъ что мѣшаетъ развитію молодого

Digitized by Google

ума, вотъ что заставляетъ людей сильныхъ, ставшихъ выше этого мѣщанскаго уровня, страдать и задыхаться въ тяжелой атмосферѣ рутинныхъ понятій, готовыхъ фразъ и безсознательныхъ поступковъ.»

Отъ этого же зла должно оберегать личность и ея самообразованіе, саморазвитіе, процессъ котораго по пословицѣ: «вѣкъ живи, вѣкъ учись»—не имѣетъ предѣла, кромѣ предѣла жизни человѣческой.

Только при этихъ-то условіяхъ личность можетъ быть личностью, т. е. чѣмъ-то особеннымъ, оригинальнымъ, а не клѣточкой общества, только при этихъ условіяхъ можетъ развернуться все богатство человѣческой природы, ея красота и величіе. А пока школа боится ребенка и спѣшитъ положить на него штампъ, пока общество изгоняетъ изъ своей среды (не мытьемъ, такъ катаньемъ) всѣхъ, кто не похожъ на установленный типъ, пока режимъ своей мощной рукой ставитъ всѣхъ и каждаго въ одну сѣрую однообразную шеренгу,—словомъ, пока сущность нашего бытія сводится къ милитаризму, фабрикѣ, канцеляріи, мечтать о личности и признаніи правъ индивидуальности — рано. Пріуготовленными и предназначенными выходимъ мы уже изъ утробы матери. Робость однихъ и эгоизмъ другихъ закрѣпляютъ путемъ безчисленныхъ внушеній тѣ понятія, которыми мы будемъ жить, во имя которыхъ будемъ любить и ненавидѣть. И пойдетъ сѣренькая жизнь, унылая и безсознательная, пока что нибудь не дастъ намъ встряски, какъ Ивану Ильичу, не выбьетъ насъ изъ колеи и не заставитъ, безпокойно осматриваясь вокругъ, торопливо спрашивать себя: «да что это, да какъ это, да чѣмъ я жилъ, да во что вѣрилъ?»

Пойдемъ однако дальше. Личность, допустимъ, путемъ критической работы, правильнаго воспитанія, непротиводѣйствія или даже содѣйствія со стороны общества достигла наконецъ того, что, избавившись отъ внушеній, стала собой и поняла свои наклонности, свое назначеніе. Ея обязанность, какъ члена общества,—работать. Какой-же избрать трудъ? Въ виду нашей бѣдности и глупости и слѣдуетъ стремиться къ общенеобходимому и, налагая на свою индивидуальность извѣстнаго рода стѣсненія, не уничтожать себя, не забывая въ то-же время о цѣломъ. Словомъ, *обязанность критической личности—опредѣлить, что дѣйствительно общеполезно, и обязанность мыслящаго человѣка—совершать общеполезную работу, слѣдуя влеченію своей натуры, провѣренному и руководимому критической мыслью. Общеполезно же прежде всего то, что дѣлаетъ насъ умнѣе и богаче.*

Таковы публицистическіе взгляды Писарева. Извиняюсь, что такъ долго останавливался на нихъ; но кто-же виноватъ, что истекшія 25 лѣтъ не принесли намъ ни внимательнаго любовнаго разбора, ни безпристрастной оцѣнки міросозерцанія одного изъ лучшихъ нашихъ публицистовъ. Будемъ относиться къ этому міросозерцанію свободно и критически, но какъ примирить вышеприведенныя выдержки и изложенія цѣлыхъ статей съ постояннымъ упрекомъ Писареву, будто-бы онъ *не понимаетъ* значенія внѣшнихъ условій, будто-бы онъ держится *исключительно* почвы морали и индивидуальной проповѣди, будто-бы наконецъ *все* спасеніе онъ видитъ въ изученіи естественныхъ наукъ? На отдѣльныхъ фразахъ, вырвавшихся въ пылу полемики, можно построить какіе угодно упреки и похитроумнѣе, но надо обращать вниманіе не на отдѣльныя фразы, а на общій духъ сочиненій. А этотъ общій духъ есть демократическій (но не народническій) реализмъ. Забываютъ, и кажется всегда, что, принимаясь проповѣдывать, Писаревъ всегда дѣлалъ ту оговорку, что съ этой своей проповѣдью онъ обращается къ «людямъ, которые по своему положенію могутъ и по своему личному характеру желаютъ», и имъ указываетъ ближайшую цѣль дѣятельности—критическое самосовершенствованіе для общаго блага. Но самая эта оговорка показываетъ, что за группой могущихъ и желающихъ лежитъ цѣлая громадная жизнь, для которой мало проповѣди, морали и самосовершенствованія индивидовъ.

На «публицистикѣ» Писарева выросла и его «критика». Въ человѣкѣ онъ цѣнитъ прежде всего его личность, оберегать, лелѣять и развивать которую онъ ставитъ въ священнѣйшую обязанность школѣ и обществу. Въ художественномъ произведеніи онъ цѣнитъ прежде всего личность автора, его индивидуальность. Бэконъ сказалъ когда-то: «ars est homo additus naturae» — т. е., «искусство это — человѣкъ, приданный природѣ». То-же говоритъ и Писаревъ.

«Поэтъ,—пишетъ онъ,—какъ человѣкъ страстный и впечатлительный, непремѣнно долженъ всѣми силами своего существа *любить* то, что кажется ему добрымъ, истиннымъ и прекраснымъ, *ненавидѣть* святой и великой ненавистью ту огромную массу мелкихъ и дрянныхъ глупостей, которая мѣшаетъ идеямъ истины, добра и красоты облечься въ плоть и кровь и превратиться въ живую дѣйствительность».

Digitized by Google

Личность человѣка создается прежде всего критикой, работой самосознанія. Критика и самосознаніе создаютъ и личность художника.

«Чтобы любовь и ненависть поэта—продолжаетъ Писаревъ—были чисты отъ всякихъ примѣсей личной корысти и мелкаго тщеславія, необходимо много передумать и многое узнать»...

Воспитавъ въ себѣ любовь и ненависть, критически ихъ провѣривъ, много передумавъ и много узнавъ, поэтъ перестаетъ безцѣльно творить, какъ при тѣхъ-же условіяхъ перестаетъ и безцѣльно жить обыкновенный человѣкъ.

«Когда—читаемъ мы дальше—поэтъ охватилъ своимъ сильнымъ умомъ весь великій смыслъ человѣческой жизни, человѣческой борьбы и человѣческаго горя, когда онъ вдумался въ причины, когда онъ уловилъ крупную связь между отдѣльными явленіями, когда понялъ что̀ надо и что́ можно сдѣлать, въ какомъ направленіи и какими пружинами можно дѣйствовать на умы читающихъ людей, тогда безсознательное и безцѣльное творчество дѣлается для него безусловно невозможнымъ». («Реалисты».)

Опять и въ этихъ чудныхъ строкахъ передъ вами *синтезъ* индивидуальнаго и общественнаго начала, а не какая нибудь узколобая, односторонняя и ложная крайность. Поэтъ—не птица, а человѣкъ; художникъ—творецъ, но и гражданинъ вмѣстѣ съ тѣмъ.

Какъ развиваетъ Писаревъ свои мысли и требованія, какъ, пользуясь образомъ Базарова, создаетъ онъ своихъ реалистовъ,—я разъяснять не буду. Въ заключеніе мнѣ хочется сказать лишь нѣсколько словъ о *духѣ* его произведеній, взятомъ внѣ частностей и внѣ временной обстановки той эпохи.

Какъ-бы ни восторгались мы Пушкинымъ, ни защищали Щедрина, какъ-бы ни казалась намъ односторонней проповѣдь естествознанія вродѣ несомнѣнной панацеи—духъ Писарева не можетъ быть чуждымъ намъ. Мы нашли другихъ враговъ и другихъ друзей, перестали такъ вызывающе и смѣло смотрѣть на жизнь, значительно меньше вѣримъ въ силы отдѣльнаго человѣка, посвящаемъ много праздныхъ часовъ мыслямъ и тоскѣ о неминуемой смерти (вмѣсто того чтобы сосредоточить всѣ свои усилія на созданіи счастливой жизни),—и все-же то самое, что вдохновляло Писарева, что сдѣлало изъ него историческую величину, то и теперь остается самымъ крупнымъ и основнымъ явленіемъ нашего бытія. Я говорю о демократизаціи жизни, о развитіи самосознанія и самоуваженія въ массѣ, о стараніяхъ этой массы выбраться изъ ея положенія, о средствахъ къ этому и о поддержкѣ такому порыву. Эмансипація личности замѣнилась эмансипаціей массъ. Демократическій же духъ у того и другого теченія остается тѣмъ-же самымъ, такъ какъ въ наше время эмансипировать личность можно лишь на той же почвѣ, какъ и массу, т. е. всѣхъ — именно на почвѣ труда.

Увлекаясь своей пропагандой среди лицъ средняго состоянія,—тѣхъ, кто желаетъ и можетъ отдать свою жизнь полезному и увлекательному труду, Писаревъ не забывалъ никогда, что слово «масса», «народъ», написано на знамени нашего времени. Онъ требуетъ общедоступной и общепонятной литературы, требуетъ общеполезной и общедоступной науки. Мало того, онъ хочетъ объединить трудъ мозга и мускуловъ. «Пока,—говоритъ онъ,—наука не перестанетъ быть барской роскошью, пока она не сдѣлается насущнымъ хлѣбомъ каждаго здороваго человѣка, пока она не проникнетъ въ голову ремесленника, фабричнаго работника и простого мужика, до тѣхъ поръ бѣдность и безнравственность трудящейся массы будутъ постоянно усиливаться.» Если мы и не склонны придавать такъ много значенія наукѣ, то сущность этихъ строкъ, ихъ демократизмъ и для насъ можетъ быть камнемъ краеугольнымъ міросозерцанія. Мы согласны съ тѣмъ, что «трагическія недоразумѣнія между наукой и жизнью будутъ повторяться до тѣхъ поръ, пока не прекратится гибельный разрывъ между трудомъ мозга и трудомъ мускуловъ», согласны и съ тѣмъ, что «монополія знаній и гуманнаго развитія составляетъ одну изъ самыхъ вредныхъ монополій», что это «не наука, которая по самой сущности своей недоступна и ненужна массѣ, и это не искусство, произведеніями котораго могутъ наслаждаться только немногіе спеціалисты». Можемъ ли мы отказаться отъ этихъ мыслей, зная, что человѣчество все еще во тьмѣ и невѣжествѣ, а наука, вмѣсто того чтобы служить массѣ, помогаетъ такъ рѣшительно тому, чтобы люди съ возможной легкостью уничтожали другъ друга? Мы и не отказались...

Выдающійся литературный талантъ Писарева и его смѣлый демократическій духъ—вотъ что, за исключеніемъ кое-какихъ шероховатостей, цѣнно и на долго еще будетъ цѣнно въ его произведеніяхъ. Тамъ есть чѣмъ вдохновиться, есть чѣмъ подпереть свой духъ, мечты и вѣру. Читая его, мы какъ-бы вновь переживаемъ свою юность съ ея увлеченіями, восторгами, ошибками

Digitized by Google

и прозрѣніемъ, опять проникаемся обаяніемъ памятной, полной борьбы, наслажденій и успѣха жизни и очарованіемъ безпокойной работы духа, рвущагося къ истинѣ, и этого жара молодости, этихъ безсонныхъ счастливыхъ ночей.

Мы знаемъ больше и понимаемъ больше. Изслѣдованіе человѣка охватило такіе горизонты, о которыхъ было совершенно невозможно раньше даже мечтать. Но вмѣстѣ съ тѣмъ даже лучшіе и самые смѣлые изъ насъ стали осторожнѣе, осмотрительнѣе, робче. Чувствуя недостатокъ своихъ силъ, боясь ошибиться въ своихъ порывахъ, мы призвали себѣ на помощь пониманіе историческаго процесса и убѣдились, что эта великая сила, роковымъ и необходимымъ образомъ открывая будущее для массы, для народа, согласна поддерживать наши старанія о торжествѣ справедливости. Исторія доказала, что все, чего мы хотимъ хотя въ лучшія минуты нашего бытія, не только благородно, хорошо, честно, но и неизбѣжно.

Но, пріобрѣтя такой оплотъ, мы вмѣстѣ съ тѣмъ по части вдохновенія, вѣры въ себя и личныя силы утеряли такъ много, что это обидно и грустно. Если прежде люди цѣнили себя слишкомъ высоко, мы наоборотъ склонны къ фатализму. Источникъ одушевленной дѣятельности исчезъ, и съ грустной, подчасъ прямо жалкой улыбкой смотримъ мы вокругъ себя.

Иногда попадается въ руки забытая тетрадь съ пожелтѣвшими уже страницами, съ сѣрыми вмѣсто черныхъ строками, размашисто и торопливо написанными. Очевидно время не ждало, очевидно человѣкъ, подчиняясь внутреннему непреоборимому импульсу, какъ въ бреду, записывалъ свои мысли, стремясь охватить своимъ умомъ все, готовый на борьбу со всѣми препятствіями и влекомый потокомъ своей вдохновенной мысли, уносился все выше и выше туда, въ область утопій и счастливаго грядущаго. Это юность съ своими несоразмѣрными размахами, своей гордостью и самонадѣянностью и вмѣстѣ съ тѣмъ той истиной, которая доступна безкорыстному, страстному мышленію. Надо читать такія тетради и вливать свѣжіе соки въ свое вялое сердце. А сочиненія Писарева какъ разъ и есть тетрадь пылкой и вѣрующей юности...

Евгеній Соловьевъ.

Digitized by Google

ОЧЕРКИ
ИЗЪ ИСТОРІИ ЕВРОПЕЙСКИХЪ НАРОДОВЪ.

ИТАЛЬЯНЦЫ.

I.

РАЗСЛАБЛЕНІЕ РИМСКАГО ОБЩЕСТВА.

Въ V-мъ столѣтіи нашей эры западная римская имперія находилась при послѣднемъ издыханіи. Столица государства уже нѣсколько разъ была ограблена варварами. Провинціи, въ томъ числѣ и Италія, были доведены до той крайней степени раззоренія, послѣ которой земля отказывается кормить человѣка и осуждаетъ своихъ обитателей на выселеніе и вымираніе. Провинціи страдали очень сильно отъ нашествія варваровъ, которые рѣзали и порабощали людей, жгли города и села, вытаптывали поля, уводили или истребляли домашній скотъ и вообще старались превращать обработанную землю въ голую пустыню. Но варваровъ было бы не трудно отразить, если бы другія причины, начавшія дѣйствовать гораздо раньше варварскихъ нашествій, не довели римскія провинціи до состоянія полной беззащитности. Этихъ причинъ было много, но всѣ онѣ группируются въ двѣ главныя категоріи, изъ которыхъ одна заключаетъ въ себѣ политическія ошибки, а другая — экономическія нелѣпости.

Политическія ошибки Рима вытекаютъ изъ того обстоятельства, что Римъ, завершивъ свои завоеванія, остался вѣренъ своему завоевательному характеру. Въ послѣдніе годы республики ни римскій сенатъ, ни римскій народъ не хотѣли допустить и мысли о томъ, чтобы всѣмъ завоеваннымъ народамъ были даны одинаковыя политическія права, равныя правамъ самихъ завоевателей. Когда страна была завоевана, тогда завоевателю принадлежало все, что въ ней заключалось: и собственность, и честь, и жизнь побѣжденнаго непріятеля. Римляне хотѣли пользоваться этими правами завоевателя. Это было съ ихъ стороны совершенно естественно. И это естественное желаніе, не встрѣчая себѣ нигдѣ ни малѣйшаго отпора, осуществилось во всемъ своемъ объемѣ и повело самымъ прямымъ путемъ къ полному истощенію провинцій и къ безпримѣрной деморализаціи обѣихъ сторонъ—побѣдителей и побѣжденныхъ. Чтобы держать провинціи въ повиновеніи и успѣшно собирать съ жителей каждый годъ установленныя подати, нисколько несоразмѣрныя съ наличными силами плательщиковъ, надо было предоставлять цѣлыя арміи въ полное распоряженіе мѣстныхъ правителей. Эти арміи въ каждую данную минуту могли превратиться въ орудіе личнаго честолюбія, вырвать верховное господство изъ рукъ римскаго сената и передать его въ твердыя руки того или другого смѣлаго, искуснаго и счастливаго полководца. Рано или поздно, кто нибудь изъ мѣстныхъ правителей долженъ былъ перейти черезъ Рубиконъ, подраться съ другими мѣстными правителями и послѣ побѣды надъ ними положить въ самомъ Римѣ основаніе военному деспотизму. Если военный деспотизмъ господствовалъ въ провинціяхъ, то онъ непремѣнно, рано или поздно, долженъ былъ распространить свое господство и на столицу. Когда это случилось, тогда переворотъ сдѣлался неизбѣжнымъ.

Этотъ переворотъ доставилъ провинціямъ нѣкоторое облегченіе, впрочемъ очень небольшое, и во всякомъ случаѣ не на столько значительное, чтобы вдохнуть въ нихъ новую жизнь и поставить ихъ на путь прогрессивнаго развитія. Во времена имперіи упадокъ провинцій продолжался, но только не съ такой быстротой, съ какою двинуло его сначала республиканское правительство. Существенная разница между республиканской и цезарской системой заключалась въ томъ, что сенатъ, составленный

Digitized by Google

изъ аристократовъ, постоянно покрывалъ и оправдывалъ всѣ насильственные подвиги, совершавшіеся аристократами, между тѣмъ какъ императоръ, напротивъ того, не питалъ ни малѣйшаго сочувствія къ злоупотребленіямъ своихъ чиновниковъ, съ которыми у него не могло быть никакихъ общихъ интересовъ и никакого пріятельскаго знакомства. Но разумѣется, императору, при всемъ его добромъ желаніи, невозможно было за всѣмъ усмотрѣть; найти хорошихъ и добросовѣстныхъ помощниковъ было трудно; обращаться къ общественному мнѣнію страны въ то время никто не умѣлъ и не считалъ удобнымъ. Поэтому злоупотребленія продолжались. Впрочемъ главное зло заключалось не въ плутняхъ и насиліяхъ чиновниковъ, а въ той безгласности и умственной безжизненности, на которую были обречены римскія провинціи, какъ во времена республики, такъ и при императорахъ.

Когда какой нибудь народъ дѣлался подданнымъ римской республики, тогда онъ, вмѣстѣ съ національной независимостью, терялъ свои лучшія человѣческія способности и лишался всякой возможности имѣть на будущее время умныхъ, честныхъ, даровитыхъ и смѣлыхъ гражданъ. Лучшіе люди покореннаго народа, тѣ люди, изъ которыхъ формируются мыслители и дѣятели, находились въ безвыходномъ положеніи. Они очень рады были бы помириться съ совершившимся фактомъ и сдѣлаться отъ всей души римскими патріотами, но эта дорога была для нихъ закрыта. Римскій гражданинъ смотрѣлъ на грека или на еврея, какъ на существо низшее, для котораго существуютъ особенные законы и особенныя, позорныя и мучительныя казни. Римская республика не могла быть отечествомъ для грека или для еврея, потому что она обращалась съ нимъ, какъ съ вьючнымъ скотомъ, и ни при какихъ условіяхъ не позволяла ему ни дѣломъ, ни совѣтомъ имѣть вліяніе на ея общественныя дѣла. Съ другой стороны, греческій или еврейскій патріотизмъ былъ чрезвычайно опаснымъ анахронизмомъ. Такіе мѣстные патріотизмы клонились къ вооруженному возстанію и слѣдовательно вызывали противъ себя строжайшія преслѣдованія со стороны римскихъ администраторовъ. Такимъ образомъ, высшимъ стремленіямъ человѣческой природы не было никакого выхода. Осмысленный трудъ на пользу общества былъ невозможенъ. Человѣческому уму оставалось дѣлать только одно изъ двухъ: или углубляться въ самого себя и заниматься самоусовершенствованіемъ, которое при всѣхъ своихъ несомнѣнныхъ достоинствахъ не приноситъ обществу никакой непосредственной пользы, или посвятить всѣ свои силы на искусное наживаніе и веселое проживаніе денегъ. Такъ или иначе, преслѣдуя высшія цѣли самоусовершенствованія, или ограничиваясь земными удовольствіями, человѣкъ принужденъ былъ думать только о себѣ и жить только для себя, потому что его связи съ обществомъ были насильственно разорваны.

Экономическія нелѣпости, которыми страдала и отъ которыхъ умерла греко-римская цивилизація, совершенно исчерпываются однимъ общеизвѣстнымъ словомъ: *рабство*. При существованіи рабства, физическій трудъ достается только тѣмъ людямъ, которые по своему положенію не могутъ отъ него уклониться. Этотъ трудъ, невыгодный, тяжелый и мучительный, становится кромѣ того позорнымъ, именно потому, что имъ занимаются исключительно паріи общества, люди безправные, забитые и неимѣющіе ни малѣйшей возможности защищать свое человѣческое достоинство. Кто силенъ и богатъ, тотъ пріобрѣтаетъ себѣ рабовъ и заставляетъ ихъ работать; кто слабъ и бѣденъ, но свободенъ, тотъ старается прокормить себя попрошайничествомъ, нищенствомъ, подличаньемъ, пожалуй даже воровствомъ и разбоемъ, но только отнюдь не работой; кто порабощенъ, тотъ работаетъ по неволѣ, но чувствуетъ къ своему труду точно такое же презрѣніе и отвращеніе, какое обнаруживаютъ къ нему высшіе классы общества.

Рабъ знаетъ, что его прилежаніе обогатитъ только его господина и не доставитъ ему, рабу, ни удовольствія, ни почета, ни лишняго куска пищи, ни повышенія въ чинѣ. Прямой разсчетъ раба состоитъ не въ томъ, чтобы сдѣлать работу какъ можно лучше, а только въ томъ, чтобы потратить на эту работу какъ можно меньше мускульной и мозговой силы. Въ каждомъ процессѣ работы можно было бы придумать сотни усовершенствованій, и придумать ихъ не трудно, потому что существующіе недостатки и неудобства бросаются въ глаза каждому работнику. Стоило бы только немного подумать. Да, но кто же возьметъ на себя этотъ трудъ, какъ бы онъ ни былъ ничтоженъ? Рабъ? Съ какой стати? Во-первыхъ, онъ не привыкъ размышлять. А во-вторыхъ, на что ему нужны какія бы то ни было усовершенствованія? Свободный мыслитель? Это еще неправдоподобнѣе. Этотъ мыслитель считаетъ для себя стыдомъ вглядываться и вдумываться въ подробности рабскаго труда. Когда промышленная дѣятельность находится въ рукахъ рабовъ, тогда усовершенствованія въ орудіяхъ и въ процессахъ работы невозможны, или по крайней мѣрѣ очень неправдоподобны. И это еще не все. Въ этомъ случаѣ, промышленная виртуозность непремѣнно должна по немногу утрачиваться. Когда рабъ учитъ другого раба какому нибудь ремеслу, тогда учитель ведетъ свое преподаваніе спустя рукава, а ученикъ воспринимаетъ изъ пятаго въ десятое, на столько, на сколько это необходимо для избѣжанія слишкомъ невыносимыхъ побоевъ. Переходя такимъ образомъ изъ однихъ лѣнивыхъ и неумѣлыхъ

Digitized by Google

рукъ въ другія руки, еще болѣе неумѣлыя и лѣнивыя, искусство постоянно грубѣетъ и искажается, вслѣдствіе чего общество постоянно бѣднѣетъ, и начинаетъ замѣчать свое несчастіе только тогда, когда оно становится уже неисправимымъ. Если бы это вырожденіе искусства проявлялось только въ какихъ нибудь высшихъ и самыхъ утонченныхъ отрасляхъ промышленной техники, то съ нимъ кое-какъ можно было бы помириться. Но вѣдь искусство необходимо всякому ремесленнику, не только ювелиру или золотошвейкѣ, но и сапожнику, и портному, и пряхѣ, и кожевнику. И всѣ эти ремесленники нуждаются совершенно одинаково въ томъ поощреніи и возбужденіи, котораго нѣтъ и не можетъ быть у рабовъ. Безъ этого поощренія и возбужденія теряется искусство. Представьте же себѣ теперь положеніе того общества, въ которомъ работники разучиваются понемногу выдѣлывать кожи, шить сапоги, приготовлять посуду, мебель, рабочіе инструменты, оружіе, словомъ все то, что совершенно необходимо для цивилизованной жизни. Такое общество идетъ къ самоуничтоженію и къ варварству. Именно въ такомъ положеніи находилась римская имперія. Упадокъ былъ поразительно замѣтенъ во всемъ, начиная отъ высшихъ проявленій гражданской жизни, науки и поэзіи, и кончая низшими отраслями ремесленнаго труда. Потомки рѣшительно ни въ чемъ не могли сравняться съ своими предками, и даже не осмѣливались имъ подражать.

Безсиліе римской имперіи въ борьбѣ съ варварами становится совершенно понятнымъ, если мы примемъ въ соображеніе то обстоятельство, что эта имперія изъ конца въ конецъ была населена почти исключительно обезсмысленными рабами и совершенно развращенными тунеядцами. Вооружить рабовъ было очень опасно, наполнить легіоны свободными гражданами было невозможно, потому что эти негодяи нарочно уродовали себя, лишь бы только уклониться отъ военной службы. Эта уловка свободныхъ римлянъ оставила даже слѣды въ языкѣ. Изъ латинскихъ словъ pollex truncus, отрубленный большой палецъ, составилось французское слово poltron— трусъ. Правительству оставалось только отдаться въ руки своимъ врагамъ. Оно такъ и сдѣлало, и впродолженіе послѣдняго столѣтія своего существованія римская имперія защищалась отъ однихъ варваровъ оружіемъ другихъ варваровъ, которыхъ начальники распоряжались по своему произволу императорскою короной.

Одинъ изъ такихъ начальниковъ, Одоакръ, сказалъ: довольно! и западная римская имперія перестала существовать; смерть ея была до такой степени естественна, что обошлась безъ малѣйшей борьбы и безъ всякаго кровопролитія.

Не умѣя защищаться, римляне не умѣли даже и кормить себя. Самыя плодородныя земли южной Европы, западной Азіи и сѣверной Африки были сосредоточены въ рукахъ немногихъ богачей, которые не умѣли и не хотѣли заниматься сельскимъ хозяйствомъ. Здѣсь опять отличались рабы, и ихъ безтолковый трудъ доводилъ самыя богатыя почвы до совершеннаго истощенія. Видя постоянное уменьшеніе дохода, хозяинъ приказывалъ наконецъ прекратить хлѣбопашество и превращалъ всѣ свои поля въ пастбища, а бывшихъ земледѣльцевъ въ пастуховъ. При этомъ конечно многіе рабы оказывались излишними, и хозяинъ, чтобы не кормить ихъ по напрасну, продавалъ ихъ за безцѣнокъ, или даже отпускалъ ихъ на волю и ставилъ ихъ такимъ неожиданнымъ благодѣяніемъ въ довольно затруднительное положеніе. Доходы увеличивались вслѣдствіе этого превращенія, но количество пищи, добываемой съ извѣстнаго пространства земли, уменьшалось; а такъ какъ подобныя превращенія совершались въ очень значительныхъ размѣрахъ, то и населеніе убывало очень быстро, по мѣрѣ того какъ римское государство отодвигалось назадъ отъ земледѣльческаго къ скотоводческому быту. Чѣмъ больше людей умирало отъ голода и отъ заразительныхъ болѣзней, тѣмъ менѣе остающіеся въ живыхъ были способны бороться, съ одной стороны, съ природою, — съ другой съ агентами государственнаго фиска, требовательность котораго нисколько не уменьшалась. Природа создавала непроходимыя болота на такихъ мѣстахъ, гдѣ были прежде плодороднѣйшія поля, цвѣтущіе сады и богатыя деревни. А сборщики податей захватывали и продавали безъ церемоніи все, что имѣло какую нибудь мѣновую цѣнность. При этомъ неисправнаго плательщика били, сѣкли и пытали, чтобы добраться до его припрятанныхъ денегъ, или чтобы убѣдиться въ его дѣйствительной несостоятельности.

II.

ОБНОВЛЯЮЩАЯ СИЛА ВАРВАРСТВА.

Благодаря рабству и презрѣнію къ промышленной дѣятельности, отравляющее и мертвящее вліяніе военнаго деспотизма дѣйствовало на римлянъ такъ глубоко и сильно, какъ оно уже не можетъ дѣйствовать на новыя европейскія общества. Въ наше время, когда промышленная дѣятельность стоитъ на первомъ планѣ и пользуется всеобщимъ уваженіемъ, мысль всегда можетъ найдти себѣ полезное приложеніе, и нація, при самыхъ невыгодныхъ условіяхъ, во всякомъ случаѣ можетъ сосредоточивать свое вниманіе на сельскомъ хозяйствѣ, на механикѣ, на технологіи, можетъ развивать свои фабрики, совершенствовать породы рогатаго скота, придумывать новыя земледѣльческія орудія, акклиматизировать новые виды животныхъ и растеній, изобрѣтать новыя краски, новыя ткани, новые химическіе процессы. Словомъ, нація при самыхъ невыгодныхъ условіяхъ, можетъ все-таки уве-

Digitized by Google

личивать массу своего богатства, и, что еще гораздо важнѣе, она, пріобрѣтая эти богатства, можетъ поддерживать и развивать въ себѣ привычку и способность къ серьезному умственному труду. Но для древнихъ обществъ, построенныхъ на рабствѣ, эта возможность не существовала. Въ этихъ обществахъ свободный гражданинъ, обезпеченный въ своемъ существованіи, могъ, не роняя своего достоинства, заниматься только или политикой, или философіей, или свободными художествами. Когда водворялся военный деспотизмъ, тогда политика отнималась прочь. Оставались философія и художества. Но философія имѣла какой нибудь смыслъ только тогда, когда она готовила человѣка для дѣятельной и общеполезной жизни, то есть все-таки для политической карьеры. Когда философія лишалась этой единственной цѣли, она живо превращалась въ безсмысленное фразерство или въ болѣзненную мечтательность. Вмѣсто мыслящихъ гражданъ, она начинала формировать риторовъ или мистиковъ. Что же касается до художествъ, то они, по своей извѣстной гибкости, примѣнялись ко всему, и, находясь въ деморализованномъ обществѣ, становились немедленно ревностными пропагандистами низости и нелѣпости. Такъ какъ при рабскомъ трудѣ прикладныя науки не могли ни возникнуть, ни развиваться, то понятно, что въ обществѣ, подчинившемся военному деспотизму, должны были съ изумительной быстротой атрофироваться или искажаться умственныя способности, лишенныя всякаго правильнаго и здороваго упражненія.

Вотъ какими красками Амміанъ Марцеллинъ, писатель, жившій въ концѣ IV вѣка, рисуетъ нравы и образъ жизни тѣхъ классовъ общества, которые одни имѣли возможность думать, чувствовать и дѣйствовать за всѣхъ своихъ современниковъ и соотечественниковъ.

«Они, римскіе магнаты, говоритъ Амміанъ, соперничаютъ между собою въ тщеславномъ стремленіи къ титуламъ и прозваніямъ; они тщательно выбираютъ или придумываютъ себѣ самыя напыщенныя и звонкія имена: Ребуррусъ или Фабуніусъ, Пагоніусъ или Тарразіусъ, чтобы эти имена поражали слухъ толпы изумленіемъ и уваженіемъ. Изъ пустого честолюбиваго желанія увѣковѣчить свою память, они воздвигаютъ себѣ множество статуй изъ мѣди и изъ мрамора, и притомъ еще непремѣнно требуютъ, чтобы эти статуи были покрыты золотыми листами; отличіе это въ первый разъ было оказано консулу Ацилію послѣ того, какъ онъ своимъ оружіемъ и дарованіями разрушилъ могущество царя Антіоха. Та хвастливость, съ которой они высчитываютъ и по всей вѣроятности преувеличиваютъ доходы съ имѣній, принадлежащихъ имъ во всѣхъ провинціяхъ съ восхода солнца до заката, возбуждаетъ справедливое негодованіе каждаго, кто припоминаетъ, что ихъ бѣдные и непобѣдимые предки не отличались отъ послѣдняго солдата ни изысканностью стола, ни роскошью одежды. Магнаты нашего времени измѣряютъ свою знатность и свое достоинство вышиною своихъ колесницъ и тяжелымъ великолѣпіемъ своего платья. Ихъ длинныя мантіи изъ шелка и пурпура развѣваются по вѣтру; и когда онѣ распахиваются, случайно или умышленно, тогда онѣ обнаруживаютъ нижнюю одежду, богатыя туники, расшитыя изображеніями различныхъ звѣрей. Въ сопровожденіи пятидесяти прислужниковъ, взрывая подъ собой мостовую, они носятся по улицамъ города съ такой неистовой быстротою, какъ будто бы они путешествовали на почтовыхъ лошадяхъ; примѣру сенаторовъ смѣло подражаютъ матроны и дамы, которыхъ крытые экипажи рыщутъ постоянно по огромному пространству города и предмѣстій. Когда эти высокородныя особы удостоиваютъ своимъ посѣщеніемъ публичныя бани, тогда онѣ при самомъ входѣ принимаютъ громкій и дерзко-повелительный тонъ и конфискуютъ въ свою частную собственность тѣ удобства, которыя устроены для всего римскаго народа. Если въ этихъ мѣстахъ, гдѣ толпится самое смѣшанное общество, они встрѣчаютъ какого нибудь презрѣннаго сводника, они выражаютъ ему свою любовь нѣжными объятіями; и въ то же время они высокомѣрно отвергаютъ привѣтствія своихъ согражданъ, которымъ доступна только честь поцѣловать ихъ руку или приложиться къ ихъ колѣнямъ. Освѣжившись въ банѣ, они тотчасъ надѣваютъ свои кольца и другіе знаки своего достоинства; выбираютъ изъ своего частнаго гардероба, составленнаго изъ тончайшихъ тканей и достаточнаго для цѣлой дюжины людей, тѣ одежды, которыя наиболѣе пріятны ихъ фантазіи; и затѣмъ до своего ухода сохраняютъ ту же неприступную осанку, которая быть можетъ показалась бы извинительною со стороны великаго Марцелла, послѣ завоеванія Сиракузъ.

Иногда впрочемъ эти герои отваживаются на болѣе трудныя предпріятія; они посѣщаютъ свои владѣнія въ Италіи и доставляютъ себѣ, руками своихъ рабовъ, удовольствія охоты. Если когда нибудь, особенно же въ жаркій день, у нихъ достало мужества проплыть въ расписанной галерѣ отъ Лукринскаго озера къ ихъ роскошнымъ виллamъ на морскомъ берегу близъ Путеоли или Кайеты, они сравниваютъ свои экспедиціи съ походами Цезаря и Александра. Но случится ли мухѣ сѣсть на шелковыя складки ихъ позолоченныхъ зонтиковъ, или солнечный лучъ прокрадется сквозь какую нибудь неохраненную и незамѣтную скважину — они оплакиваютъ свои невыносимыя страданія и сокрушаются самымъ напыщеннымъ образомъ о томъ, что они не родились въ землѣ Киммеріанъ, въ странѣ вѣчнаго мрака. Во время этихъ переѣздовъ въ деревню весь корпусъ дворни передвигается

Digitized by Google

вслѣдъ за бариномъ. Какъ пѣхота и конница, тяжело и легко вооруженныя войска, авангардъ и арьергардъ располагаются на походѣ подъ предводительствомъ своихъ отдѣльныхъ начальниковъ, такъ точно старшіе лакеи, которые несутъ палку, какъ эмблему своей власти, распредѣляютъ и устраиваютъ длинную процессію рабовъ и прислужниковъ. Багажъ и гардеробъ двигаются впереди, за ними непосредственно слѣдуетъ множество поваровъ и низшихъ слугъ, занятыхъ работами по кухнѣ и по столовой. Главная армія состоитъ изъ смѣшанной толпы рабовъ, къ которымъ присоединяется случайное стеченіе праздныхъ или зависимыхъ плебеевъ. Шествіе заключается любимымъ отрядомъ евнуховъ, расположенныхъ по старшинству, начиная стариками и кончая юношами. Ихъ многочисленность и ихъ увѣчность возбуждаютъ ужасъ негодующаго зрителя и заставляютъ его проклинать память Семирамиды, которая первая изобрѣла жестокое искусство нарушать намѣренія природы и истреблять въ зародышѣ надежды будущихъ поколѣній.

Въ отправленіи домашняго правосудія римскіе nobiles обнаруживаютъ утонченную чувствительность ко всякой личной обидѣ и презрительное равнодушіе ко всему остальному человѣчеству. Если они потребовали себѣ теплой воды, и рабъ недостаточно быстро исполняетъ ихъ приказаніе, ему немедленно даютъ триста розогъ. Но если бы тотъ же рабъ учинилъ умышленное убійство, баринъ кротко замѣтилъ бы ему, что онъ негодяй и что онъ непремѣнно будетъ наказанъ, если еще разъ попадется въ такой провинности. Гостепріимство было прежде добродѣтелью римлянъ, и всякій иностранецъ, который могъ указать на свои заслуги или на свои несчастія, получалъ себѣ помощь или награду отъ ихъ великодушія. Въ настоящее время, когда чужеземецъ, занимающій у себя на родинѣ почетное мѣсто, входитъ въ домъ гордаго и богатаго сенатора — его привѣтствуютъ, на первой аудіенціи, такими теплыми выраженіями сочувствія и такими добродушными распросами, что онъ уходитъ, восхищенный привѣтливостью своего знатнаго друга, и глубоко сожалѣя и томъ, что онъ такъ долго откладывалъ свое путешествіе въ Римъ, естественную столицу имперіи и утонченныхъ нравовъ. Увѣренный въ благопріятномъ пріемѣ, онъ повторяетъ свое посѣщеніе на слѣдующій день и дѣлаетъ то оскорбительное открытіе, что его личность, его имя и его родина давно забыты. Если онъ рѣшается продолжать, онъ понемногу зачисляется въ толпу зависимыхъ людей, и ему позволяютъ воздавать постоянное и безплодное поклоненіе высокомѣрному патрону, неспособному ни къ благодарности, ни къ дружбѣ и едва соизволяющему замѣтить его присутствіе, его уходъ, или его возвращеніе. Когда богачи приготовляютъ торжественное народное угощеніе, когда они празднуютъ съ безразсудной и вредной расточительностью свои частные пиры — тогда выборъ гостей становится предметомъ заботливаго обсужденія. Рѣдко отдается предпочтеніе людямъ скромнымъ, умѣреннымъ и образованнымъ; и составители списковъ, руководствуясь обыкновенно корыстными побужденіями, ухитряются внести въ число приглашенныхъ темныя имена самыхъ негодныхъ людей. Постоянными и самыми любимыми спутниками знатныхъ людей бываютъ тѣ паразиты, которые занимаются выгоднѣйшимъ изъ всѣхъ искусствъ, искусствомъ льстить; которые яростно рукоплещутъ каждому слову и каждому поступку своего безсмертнаго патрона; смотрятъ съ восхищеніемъ на его мраморныя колонны и мозаичные полы и усиленно превозносятъ пышность и изящество, на которыя его пріучаютъ смотрѣть, какъ на составную часть его собственнаго достоинства. На римскихъ столахъ птицы, бѣлки, или рыбы необыкновенной величины, привлекаютъ къ себѣ всеобщее вниманіе и любопытство; ихъ тщательно взвѣшиваютъ на вѣсахъ, чтобы убѣдиться въ ихъ тяжести. Въ то время, когда благоразумные гости чувствуютъ отвращеніе къ пустому и скучному повторенію подобныхъ церемоній, общество приглашаетъ нотаріевъ засвидѣтельствовать посредствомъ форменнаго акта достовѣрность такого чудеснаго событія. Другое средство прокрадываться въ дома и общество знатныхъ пріобрѣтается профессіей игрока. Союзники по игрѣ связаны между собой тѣсными и неразрушимыми узами дружбы, или точнѣе, сообщничества.

Значительная степень искусства въ игрѣ *тессерарюнъ* прокладываетъ вѣрную дорогу къ богатству и къ славѣ. Знатокъ этой высокой науки, посаженный за обѣдомъ или въ собраніи ниже сановника, обнаруживаетъ своей осанкой такое удивленіе и негодованіе, какое могъ чувствовать Катонъ, когда голоса своенравнаго народа отказали ему въ преторствѣ. Патриціи рѣдко заботятся о пріобрѣтеніи знаній; ихъ пугаютъ труды ученыхъ занятій, и они пренебрегаютъ ихъ выводами; они читаютъ только сатиры Ювенала да еще многословныя и сказочныя исторіи Марія Максима. Библіотеки, доставшіяся имъ по наслѣдству отъ отцовъ, заперты отъ дневного свѣта, какъ мрачныя гробницы. Но дорогіе театральные инструменты, флейты, огромныя лиры и гидравлическіе органы сооружаются для ихъ удовольствія; и гармонія вокальной и инструментальной музыки безпрестанно раздается въ римскихъ дворцахъ; въ этихъ дворцахъ звукъ предпочитается смыслу, и забота о тѣлѣ ставится выше заботы о разумѣ. Самое легкое и неосновательное подозрѣніе въ заразительной болѣзни избавляетъ самыхъ близкихъ друзей отъ обязанности провѣдывать больного; и даже слугамъ, которые изъ приличія

Digitized by Google

посылаются для освѣдомленій, позволяется возвратиться домой не иначе, какъ послѣ церемоніи предварительнаго омовенія. Но эта эгоистическая и позорная робость иногда побѣждается болѣе повелительной страстью корыстолюбія. Надежда на выгоду можетъ побудить богатаго сенатора, удрученнаго подагрой, даже къ поѣздкѣ въ Сполето; всякое чувство гордости и достоинства умолкаетъ, когда заходитъ рѣчь о наслѣдствѣ или просто о подаркѣ по завѣщанію; богатый и бездѣтный гражданинъ является самымъ могущественнымъ изъ римлянъ; искусство добиваться подписи къ выгодному завѣщанію, или иногда ускорять минуту его выполненія, извѣстно во всѣхъ своихъ подробностяхъ; случилось, что въ томъ же домѣ, хотя и въ различныхъ комнатахъ, мужъ и жена, съ похвальнымъ намѣреніемъ обмануть другъ друга, каждый съ своей стороны предписывали въ одно и тоже время своимъ повѣреннымъ объявить ихъ взаимныя, но противуположныя распоряженія. Бѣдность, которая смѣняетъ собою и наказываетъ безразсудную роскошь, часто принуждаетъ вельможъ прибѣгать къ самымъ унизительнымъ уловкамъ. Когда они желаютъ получить взаймы, тогда они говорятъ тѣмъ униженнымъ и умоляющимъ языкомъ, которымъ говоритъ рабъ въ комедіяхъ, но когда отъ нихъ требуютъ уплаты, тогда они пускаютъ въ ходъ царственную и трагическую декламацію, свойственную потомкамъ Геркулеса. Если требованіе повторяется, они легко находятъ себѣ какого нибудь надежнаго сикофанта, который по ихъ наущенію, взводитъ на дерзкаго кредитора обвиненіе въ отравѣ или въ колдовствѣ; и выпускаютъ его изъ тюрьмы только тогда, когда онъ подпишетъ квитанцію въ полученіи всей суммы. Эти пороки, искажающіе нравственный характеръ римлянъ, смѣшаны съ ребяческимъ суевѣріемъ, уродующимъ ихъ умственныя способности. Они довѣрчиво выслушиваютъ предсказанія гадателей, которые приписываютъ себѣ умѣнье читать по внутренностямъ жертвъ знаменія будущаго величія и благоденствія; есть много такихъ людей, которые не рѣшаются ни купаться, ни обѣдать, ни выходить на площадь, не справившись, по всѣмъ правиламъ астрологіи, о положеніи Меркурія и о фигурѣ мѣсяца. Довольно странно, что это пустое легковѣріе встрѣчается часто у такихъ безбожныхъ скептиковъ, которые подвергаютъ нечестивымъ сомнѣніямъ, или отрицаютъ существованіе Верховной силы».

Что оставалось дѣлать обществу, доведенному длиннымъ рядомъ роковыхъ ошибокъ до этой послѣдней степени разслабленія?—Общественная организація, выработанная исторіей, должна была уничтожиться, и народъ, раскрошившись на свои мельчайшія составныя части, долженъ былъ обновиться посредствомъ варварства, подобно тому, какъ истощенное поле обновляется, оставаясь подъ паромъ и заростая впродолженіе нѣсколькихъ лѣтъ сорными травами.

Но въ чемъ же именно состоитъ обновляющая сила варварства, и какимъ образомъ совершается этотъ процессъ обновленія?

Дѣло состоитъ, какъ мнѣ кажется, въ томъ, что варварство измѣняетъ тѣ условія, при которыхъ происходитъ между людьми борьба за существованіе. Эта борьба разыгрывается вездѣ, и въ дѣвственномъ лѣсу, и въ благоустроенномъ государствѣ. Но въ первомъ изъ этихъ мѣстъ побѣждаетъ тотъ, кто богаче другихъ одаренъ естественными преимуществами, а во второмъ тотъ, кому такъ или иначе удалось занять выгодную и удобную позицію. Въ лѣсу вамъ необходимы для побѣды физическая сила, ловкость, смѣтливость, хитрость, зоркій глазъ, чуткое ухо, дерзкая отвага и спокойное мужество. Въ благоустроенномъ обществѣ, вы, обладая всѣми этими качествами, можете все-таки остаться побѣжденнымъ, что и случается ежегодно и повсемѣстно съ очень многими сильными, смѣлыми и даровитыми личностями. Въ цивилизованномъ обществѣ побѣда очень часто выходитъ изъ такого стеченія обстоятельствъ, которое нисколько не зависитъ отъ личныхъ качествъ побѣдителя. Римскій магнатъ былъ по всей вѣроятности слабѣе каждаго изъ своихъ взрослыхъ рабовъ; если бы имъ случилось побороться или подраться между собой, рабъ навѣрное одолѣлъ бы своего господина; многіе рабы были умнѣе и даровитѣе своихъ господъ; многіе были образованнѣе ихъ; а между тѣмъ господинъ всегда и вездѣ, при каждомъ столкновеніи, побѣждалъ сотни и тысячи своихъ рабовъ и постоянно отбиралъ у нихъ добычу, то есть продукты ихъ труда; причина этихъ постоянныхъ побѣдъ заключалась очевидно въ томъ, что господину, какъ бы онъ ни былъ обиженъ природой, постоянно помогала вся общественная организація.

Поголовное возстаніе рабовъ мгновенно превращаетъ прежнихъ побѣдителей въ самыхъ несчастныхъ и безпомощныхъ побѣжденныхъ. Множество магнатовъ, шутовъ, прихлебателей и приживалокъ гибнетъ подъ ударами бунтовщиковъ. Ни магнаты, ни ихъ кліенты не умѣютъ драться; у нихъ нѣтъ ни силы, ни храбрости; они падаютъ почти безъ сопротивленія, какъ только общественная организація теряетъ свое могущество. Тѣ магнаты и кліенты, которые остаются въ живыхъ, умираютъ въ скоромъ времени отъ непривычныхъ лишеній; они не умѣютъ ни работать, ни грабить; никто не хочетъ кормить магната за его знатное происхожденіе; никто не нуждается въ низкихъ поклонахъ прихлебателя; никто не награждаетъ шута за его каламбуры и гримасы. Всякій думаетъ о самомъ себѣ; всякій надѣется на собственные кулаки, всякій захватываетъ себѣ все, что при-

Digitized by Google

ходится ему подъ силу. Въ такія времена горе слабому, горе лѣнивому, горе трусу, горе беззащитному ребенку, горе одинокой женщинѣ, горе дряхлому старику, горе больному или слабоумному!—Такія времена переполнены кровью и грязью, дикимъ разбоемъ и коварнымъ обманомъ. Но въ эти ужасныя времена личная сила и энергія развертываются во всю свою ширину, потому что онѣ ведутъ ко всему, и потому что безъ нихъ человѣкъ обреченъ на вѣрную и быструю гибель.

Въ такія времена все слабое, вялое и хилое постоянно стирается съ лица земли. Все сильное, суровое и мужественное растетъ, плодится, процвѣтаетъ и богатѣетъ. Тѣ страсти и способности, которыя были прежде затаены и заморожены въ самыхъ низшихъ, въ самыхъ задавленныхъ классахъ общества, вырываются наружу съ неудержимой силой и порождаютъ изъ себя невиданныя явленія, которымъ уже никто и ничто не мѣшаетъ развиваться, очищаться и совершенствоваться. Дикое самоуправство и хаотическая борьба между отдѣльными личностями продолжаются нѣсколько столѣтій. Въ этой борьбѣ побѣждаютъ постоянно естественныя преимущества—сила, ловкость, храбрость и хитрость. Каждый старается пріобрѣтать эти спасительныя преимущества для себя и для своихъ дѣтей. Каждый старается прежде всего сдѣлаться здоровымъ и крѣпкимъ животнымъ; между тѣмъ какъ во времена цивилизованной дряхлости, каждый старается прежде всего понравиться важнымъ особамъ. Во времена варварства природа сама сортируетъ людей и производитъ надъ ними строгую операцію естественнаго выбора. Этотъ естественный выборъ, продолжаясь нѣсколько столѣтій, совершенно пересоздаетъ и перевоспитываетъ ту націю, которая была испорчена и разслаблена политическими и экономическими ошибками своего прошедшаго. Потомки робкихъ, вялыхъ и безсильныхъ людей оказываются храбрыми, предпріимчивыми, свободными и неукротимыми богатырями, передъ которыми открывается необозримая перспектива самаго свѣтлаго, богатаго и разнообразнаго гражданскаго развитія.

Такой процессъ обновленія посредствомъ варварства пережила Италія впродолженіи тѣхъ пяти столѣтій, которыя отдѣляютъ Одоакра отъ Отона Великаго.

III.

ЛОНГОБАРДЫ И КАРЛЪ ВЕЛИКІЙ.

Послѣ паденія западной имперіи начались немедленно громадныя измѣненіи въ составѣ землевладѣльческой аристократіи. Сдѣлавшись королемъ Италіи, Одоакръ роздалъ своимъ воинамъ, доставившимъ ему престолъ, третью часть итальянской территоріи. Всѣ эти земли были отняты у римскихъ магнатовъ, которымъ принадлежала вся Италія.

Отъ 489 до 493 года, Италію завоевали остготы подъ предводительствомъ Теодориха. За этимъ завоеваніемъ послѣдовала новая раздача земель, которыми предводители варварскихъ племенъ обыкновенно награждали своихъ воиновъ.

Отъ 534 до 552 года, остготы вели ожесточенную войну съ византійцами. Эта война кончилась почти совершеннымъ истребленіемъ остготскаго народа. Италія подчинилась на короткое время восточнымъ императорамъ.

Въ 568 году произошло новое нашествіе варваровъ. Лонгобарды нанесли послѣдній ударъ старой римской аристократіи. «Всѣ римляне, говоритъ лонгобардскій историкъ, Павелъ Варнефридъ, которые остались въ живыхъ, были раздѣлены между воинами, превращены въ данниковъ и принуждены отдавать лонгобардамъ третью часть жатвы».

Всѣ воины лонгобардской арміи сдѣлались землевладѣльцами. Предводители отрядовъ сдѣлались правителями городовъ и прилегающихъ къ нимъ областей. Эти правители носили титулъ *герцоговъ* и господствовали надъ простыми землевладѣльцами, которые назывались солдатами или воинами, milites. Герцоги въ свою очередь подчинялись королю. Но чѣмъ выше мы поднимаемся по этой лѣстницѣ, тѣмъ слабѣе становится зависимость подчиненныхъ лицъ. Власть помѣщиковъ надъ земледѣльцами была неограничена; власть герцоговъ надъ помѣщиками была слаба; власть короля надъ герцогами была почти ничтожна. Такъ какъ число простыхъ воиновъ лонгобардской арміи было довольно значительно и такъ какъ далеко не вся Италія была завоевана лонгобардами, то для удовлетворенія всѣхъ требованій оказалось необходимымъ раздробить громадныя помѣстья римскихъ вельможъ. Это раздробленіе сразу должно было измѣнить весь характеръ сельскаго хозяйства. Пастбища должны были снова превратиться въ пахатныя земли.

Положеніе низшихъ классовъ также должно было измѣниться къ лучшему. Вмѣсто изнѣженныхъ сибаритовъ, тратившихъ свои доходы на разныя утонченныя прихоти, во главѣ общества очутились простые и грубые люди, которые не знали и не хотѣли знать никакихъ удовольствій, кромѣ войны и охоты. Это удовольствіе они доставляли себѣ ежедневно. Всѣ помѣщики, по закону, имѣли полное право вести между собою войны. Каждое оскорбленіе, каждое нарушеніе границъ, каждая потрава подавали поводъ къ микроскопическимъ войнамъ. Эти войны раззоряли и огорчали крестьянъ, но эти же самыя войны давали имъ возможность улучшать свое положеніе, ослаблять свою зависимость, заключать съ помѣщикомъ выгодныя условія и возвышаться постепенно до полной свободы.

Digitized by Google

Положеніе римскаго раба было безвыходно и безнадежно. Находясь въ обширномъ имѣніи своего господина, онъ не могъ ни бѣжать, ни взбунтоваться. Прежде чѣмъ онъ добѣжалъ бы до границы имѣнія, его бы схватили и привели назадъ; прежде чѣмъ онъ успѣлъ бы сговориться съ своими товарищами на счетъ бунта, надсмотрщики подмѣтили бы его маневры, заковали бы его въ цѣпи и посадили бы его въ подземную тюрьму. Если бы даже рабу удалось добраться до сосѣдняго имѣнія, то его бы схватили и тамъ, потому что въ благоустроенномъ государствѣ ни одинъ разсудительный рабовладѣлецъ не станетъ принимать подъ свое покровительство бѣглаго раба. Если бы даже рабу удалось взбунтовать своихъ товарищей, то и тогда вся исторія кончилась бы мучительной казнью мятежниковъ, потому что всѣ силы общества тотчасъ направились бы противъ нарушителей спокойствія и задушили бы зло въ колыбели. Римскому рабу оставалось только терпѣть и проклинать часъ своего рожденія. Для раба порядокъ и спокойствіе были хроническимъ зломъ, которымъ увѣковѣчивались его страданія. Когда порядокъ и спокойствіе исчезли, тогда рабъ вздохнулъ свободнѣе, потому что для него открылось тогда множество выходовъ.

Послѣ нашествія лонгобардовъ, рабамъ пришлось жить въ небольшихъ имѣніяхъ, владѣльцы которыхъ вели между собою постоянныя войны. Терпя притѣсненія отъ своего господина, рабъ могъ бѣжать къ сосѣду, съ которымъ этотъ господинъ велъ войну. Сосѣдъ нуждался въ рабочихъ рукахъ и желалъ насолить своему врагу; поэтому онъ съ удовольствіемъ принималъ его бѣглаго раба. Господинъ не имѣлъ при этомъ никакой возможности преслѣдовать бѣглеца и рыскать за нимъ по имѣніямъ своихъ враговъ. Земская полиція также не могла этимъ заниматься по той простой причинѣ, что она не существовала. Законы седьмого лонгобардскаго короля, Ротариса, грозятъ смертной казнью бѣглымъ земледѣльцамъ, а также и сторожамъ рѣчныхъ пристаней и перевозовъ, если эти сторожа будутъ пропускать бѣглецовъ. Существованіе этихъ законовъ доказываетъ ясно, что побѣги были очень многочисленны. Строгость этихъ законовъ доказываетъ также ясно, что правительство, не имѣя возможности ловить бѣглецовъ, старалось подѣйствовать на нихъ страхомъ. Но страхъ никогда не дѣйствуетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда есть множество шансовъ скрыть преступленіе. Само собою разумѣется, что побѣги продолжались, и что помѣщики были принуждены постепенно улучшать положеніе рабовъ для того, чтобы удерживать у себя рабочія руки.

У каждаго помѣщика была своя дружина, составленная изъ свободныхъ людей, которымъ помѣщикъ предоставлялъ, за извѣстную ежегодную плату, участокъ земли. Эти дружинники арендаторы ходили съ помѣщикомъ на войну и дѣлили съ нимъ награбленную добычу. Когда помѣщикъ съ своей дружиной отправлялся въ походъ, тогда семейство помѣщика оставалось въ его укрѣпленномъ домѣ или замкѣ. Если бы рабы въ это время пожелали взбунтоваться, то имъ было бы очень легко овладѣть барскимъ домомъ и истребить барское семейство. Во избѣжаніе такихъ непріятныхъ случаевъ помѣщикъ принужденъ былъ обращаться довольно сносно съ своими рабами, въ рукахъ которыхъ онъ оставлялъ почти каждый день свое беззащитное семейство.

Помѣщику приходилось часто выдерживать въ своемъ замкѣ настоящую осаду. Если бы въ это время рабы передались на сторону непріятеля, то помѣщику пришлось бы очень плохо. Противъ такихъ измѣнъ помѣщикъ могъ застраховать себя только человѣколюбивымъ обращеніемъ.— Кто не понималъ этой простой истины, тотъ самъ и расплачивался за свою непонятливость.

Когда помѣщикъ былъ разбитъ въ сраженіи, когда дружина его была уничтожена, тогда ему надо было или согласиться на невыгодный и позорный миръ, или набрать изъ рабовъ новую дружину. А вооружить раба значило освободить его. Такъ это обыкновенно и дѣлалось. Въ случаѣ крайней опасности, рабы получали свободу и съ радостью шли драться за своего освободителя.

Въ мирное время эти освобожденные люди обработывали землю, нанимая ее у помѣщика, на различныхъ условіяхъ. Землевладѣльцы скоро принуждены были замѣтить, что при этой арендной системѣ земля даетъ имъ больше дохода, чѣмъ при системѣ обязательнаго труда. Тогда явилось со стороны землевладѣльцевъ желаніе замѣнять барщину опредѣленнымъ оброкомъ.

Такимъ образомъ множество различныхъ причинъ содѣйствовало переходу земледѣльцевъ отъ рабства къ крѣпостной зависимости, и потомъ отъ крѣпостной зависимости къ полной свободѣ. Подробности этихъ двухъ переходовъ очень мало извѣстны. Тутъ не было никакихъ систематическихъ реформъ, никакихъ общихъ законодательныхъ распоряженій. Все сдѣлалось само собою, по естественной логикѣ событій. Рабство и крѣпостная зависимость уничтожились въ одной мѣстности раньше, въ другой позднѣе; современные лѣтописцы не интересовались этимъ вопросомъ и не могли слѣдить за его частичнымъ разрѣшеніемъ; поэтому лѣтописцы молчатъ, а историкъ принужденъ ограничиваться общими догадками и не можетъ сказать навѣрное, когда именно началось это движеніе и когда оно кончилось. Достовѣрно извѣстно только то, что процессъ освобожденія продолжался очень долго, именно потому, что въ немъ не было ничего систематическаго; ни господа, ни сами рабы не знали, куда они идутъ. Время было тревожное; каждый старался извлекать себѣ изъ этихъ тре-

Digitized by Google

вогъ возможно большую пользу; и это живое стремленіе каждой отдѣльной личности переработало понемногу всѣ междусословныя отношенія. Во время постоянныхъ войнъ, крупныхъ и мелкихъ, иностранныхъ и междуусобныхъ, на долю простого народа доставалось конечно много лишеній, трудовъ, опасностей и страданій; но тутъ по крайней мѣрѣ всегда была возможность сопротивляться, барахтаться, пользоваться счастливыми случайностями и подвигаться впередъ къ лучшему будущему. У римскаго раба, напротивъ того, не было даже этого послѣдняго утѣшенія. И римскій рабъ, и средневѣковый вилланъ терпѣли оба горькую долю; но безнадежныя страданія перваго убивали въ немъ всякую энергію, между тѣмъ какъ тяжелая борьба послѣдняго со всевозможными враждебными обстоятельствами развивала въ немъ мужество, предпріимчивость, изворотливость и желѣзное терпѣніе.

Тѣже самыя продолжительныя и разнообразныя смуты, подъ вліяніемъ которыхъ родилась и выросла свобода сельскихъ жителей, повели также за собою политическое обособленіе итальянскихъ городовъ.

Въ концѣ VIII столѣтія Карлъ великій попробовалъ возстановить западную римскую имперію и дѣйствительно соединилъ подъ своимъ господствомъ Францію, Германію и Италію. Личныя дарованія Карла были громадны; дѣятельность его была изумительна, твердость его характера доходила иногда до жестокости. И несмотря на это, ему все-таки не удалось создать ничего прочнаго; вскорѣ послѣ его смерти имперія его разсыпалась на мельчайшіе кусочки. Послѣ Карла Великаго, въ IX и въ X вѣкѣ, политическій хаосъ оказался еще нелѣпѣе и ужаснѣе, чѣмъ въ VII и VIII вѣкѣ, до централизаторскихъ экспериментовъ великаго французскаго императора.

Хотя Карлъ былъ представителемъ цивилизаціи, хотя онъ старался облагодѣтельствовать своихъ подданныхъ мудрыми и справедливыми законами, однако нельзя не замѣтить, что онъ тянулъ человѣчество назадъ, а не впередъ. Ему хотѣлось воскресить умершую цивилизацію Рима, воскресить такія бытовыя формы, которыхъ негодность была уже достаточно доказана ихъ долгой и мучительной агоніей. Если бы желанія Карла исполнились, то римская цивилизація воскресла бы только затѣмъ, чтобы тотчасъ же снова предаться разложенію. Это разложеніе могло бы продолжаться нѣсколько столѣтій; но чѣмъ дольше бы оно тянулось, чѣмъ искуснѣе даровитые правители поддерживали бы разрушающееся зданіе разными частичными подстройками и подпорками, тѣмъ хуже бы это было для человѣчества, потому что разрушеніе было все-таки неизбѣжно, и переходъ черезъ варварство былъ все-таки необходимъ. Чѣмъ дольше задерживался этотъ переходъ, тѣмъ больше набиралось разнородныхъ элементовъ для будущаго безпорядка, тѣмъ упорнѣе и мучительнѣе должна была оказаться впослѣдствіи борьба между умирающими старыми формами и народившимися новыми стремленіями. Именно такимъ образомъ и подѣйствовало на Европу блестящее царствованіе Карла Великаго. Хаосъ увеличился послѣ его смерти именно потому, что онъ придалъ новую силу тѣмъ элементамъ, которые были побѣждены и непремѣнно должны были умереть. Но къ счастью для Европы, политика Карла не нашла себѣ достойныхъ подражателей; дѣти и внуки великаго человѣка оказались пигмеями, и вредъ, нанесенный Карломъ, не успѣлъ развиться до степени опасной и продолжительной болѣзни. Благодаря этому обстоятельству, Европѣ не пришлось превратиться въ подобіе византійской имперіи.

Карлъ старался создать большое политическое цѣлое въ то время, когда всѣ мельчайшіе элементы общества инстинктивно стремились къ индивидуальной самостоятельности. Нѣтъ того великаго человѣка, который могъ бы побѣдить и пересоздать всѣхъ своихъ современниковъ, хотя и случается очень часто, что великій человѣкъ лучше цѣлаго общества понимаетъ и угадываетъ настоящія потребности времени. Но въ данномъ случаѣ противъ Карла оказался не только инстинктъ современниковъ, но и дѣйствительный смыслъ событій. Историкъ долженъ сознаться, что естественныя стремленія тогдашняго варварскаго общества соотвѣтствовали вполнѣ не только его собственнымъ, минутнымъ выгодамъ, но и всѣмъ великимъ интересамъ европейскаго развитія.

Политическая опытность тогдашнихъ первоклассныхъ геніевъ была такъ недостаточна, ихъ знанія такъ ничтожны, ихъ идеи такъ узки и односторонни, что Карлъ великій, со всѣми своими мудрецами, не могъ ни въ какомъ случаѣ, создать (a priori) для своего государства такую систему учрежденій, которая не стѣснила бы во всѣхъ отношеніяхъ здоровое развитіе различныхъ общественныхъ элементовъ. Если бы даже Карлъ и его совѣтники были въ состояніи пересмотрѣть всю исторію, съ тѣмъ, чтобы отыскать въ ней образецъ государственнаго устройства, то и тогда они все-таки остались бы почти не при чемъ, и ужь во всякомъ случаѣ не отыскали бы ничего дѣйствительно хорошаго. Въ той части исторіи, которую могъ изучать Карлъ великій, господствуютъ двѣ политическія формы: огромныя монархіи и крошечныя республики, заключавшіяся цѣликомъ въ стѣнахъ одного города. Послѣдняя форма очевидно не годилась для людей, желавшихъ соорудить большое государство.

Такъ какъ во времена Карла великаго никто не подозрѣвалъ возможности очень многихъ политическихъ комбинацій, наиболѣе сложныхъ и наиболѣе удовлетворительныхъ, то надо было желать въ интересахъ будущаго, чтобы отсут-

Digitized by Google

ствіе прочнаго порядка продолжалось какъ можно дольше, чтобы отдѣльные общественные элементы обособлялись, выяснялись и боролись между собою, и чтобы такимъ образомъ открывался на цѣлыя столѣтія широкій просторъ для самыхъ разнообразныхъ опытовъ политической и общественной организаціи. Тогдашніе теоретики не могли сдѣлать для общества ничего хорошаго, потому что у нихъ было черезчуръ мало матеріаловъ для составленія теорій и черезчуръ мало привычки и умѣнья обращаться даже съ тѣми скудными матеріалами, которые имѣлись въ наличности. Могли ли напримѣръ тогдашніе теоретики составить себѣ понятіе объ обществѣ безъ рабовъ и даже безъ крѣпостныхъ? Разумѣется, не могли. Но такъ какъ будущее доказало, что общество безъ рабовъ и безъ крѣпостныхъ не только можетъ существовать, но даже стоитъ по своему богатству и по своему могуществу неизмѣримо выше всякаго рабовладѣльческаго общества, то мы, зная это будущее, можемъ теперь утверждать, что пораженіе тогдашнихъ теоретиковъ, желавшихъ положить конецъ хаотической борьбѣ живыхъ силъ, было для человѣчества величайшимъ благополучіемъ, не смотря на то, что это пораженіе значительно увеличило собою безпорядокъ. Въ то время было совершенно необходимо, чтобы общество постоянно волновалось до самой глубины, потому что только во время такихъ долговременныхъ и глубокихъ волненій могли сложиться сами собою такіе новые и неожиданно оригинальные результаты, о которыхъ не смѣлъ подумать ни одинъ тогдашній мыслитель. Въ спокойное время эти результаты не могли получиться, потому что тогда зародыши новыхъ явленій обращали бы на себя постоянное вниманіе сильныхъ людей, возбуждали бы ихъ неосновательныя опасенія и подвергались бы систематическому истребленію или искаженію.

Но общественное броженіе, необходимое для успѣшнаго и разнообразнаго политическаго развитія, могло возникнуть только изъ соперничества или изъ борьбы различныхъ общественныхъ элементовъ, а соперничать или бороться между собой эти элементы могли только тогда, когда они пользовались индивидуальной независимостью. Поэтому раздробительныя тенденціи, преобладавшія въ современникахъ Карла великаго, имѣютъ свое законное оправданіе, хотя, разумѣется, тогдашніе люди искали себѣ личной самостоятельности совсѣмъ не для того, чтобы приготовить Европѣ лучшее будущее.

IV.

ОБОСОБЛЕНІЕ ИТАЛЬЯНСКИХЪ ГОРОДОВЪ.

Если бы Карлъ Великій не мѣшалъ своимъ современникамъ, то всѣ города, всѣ монастыри его монархіи сдѣлались бы почти независимыми государствами, соединенными между собой запутанною сѣтью самыхъ разнообразныхъ условій, обязательствъ и договоровъ. Каждый помѣщикъ присвоилъ бы себѣ право заключать какіе угодно союзы, вести какія угодно войны, чеканить свою монету, налагать и собирать подати, судить, казнить и миловать по своему благоусмотрѣнію всѣхъ обитателей своего помѣстья, словомъ, въ концѣ VIII вѣка водворился бы тотъ порядокъ, или вѣрнѣе тотъ безпорядокъ, который установился въ X вѣкѣ. Такимъ образомъ человѣчество выиграло бы для своего развитія почти два столѣтія, которыя оказались потраченными на уничтоженіе несвоевременныхъ, безплодныхъ и мертворожденныхъ созданій великаго цивилизатора и централизатора Карла. Желая увеличить свое могущество, стараясь подчинить всѣхъ и все своему личному контролю, Карлъ до такой степени ослабилъ свое государство, что оно оказалось неспособнымъ отражать набѣги норманновъ, сарациновъ и венгровъ. Представители центральной власти вели постоянную, глухую или открытую борьбу съ мѣстными владѣльцами; эта повсемѣстная борьба связывала тѣ силы, которыя должны были направляться противъ внѣшнихъ враговъ. Враги пользовались этими благопріятными обстоятельствами и опустошали цѣлыя провинціи съ такими ничтожными силами, которымъ каждый помѣщикъ могъ бы оказать сопротивленіе, если бы онъ въ это самое время не былъ занятъ отстаиваніемъ своей независимости противъ королевскаго или императорскаго чиновника. — Чиновникъ желалъ прежде всего усмирить бунтовщиковъ; бунтовщикамъ, то есть помѣщикамъ, хотѣлось прежде всего осадить дерзкаго узурпатора; землевладѣльцы и агенты центральнаго правительства считали другъ друга за самыхъ опасныхъ враговъ, гораздо болѣе опасныхъ, чѣмъ норманны или сарацины; питая другъ къ другу такія нѣжныя чувства, они могли только мѣшать и вредить общему національному дѣлу, когда имъ случалось соединяться вмѣстѣ, вокругъ одного знамени. Они выдавали и подводили другъ друга, гдѣ только это было возможно. Поэтому норманнамъ и венграмъ случалось разбивать такія арміи, которыя были гораздо сильнѣе ихъ по числу и нисколько не уступали имъ въ храбрости и въ знаніи военнаго дѣла. Раздоры и взаимное недовѣріе начальниковъ оказывались самыми лучшими и самыми вѣрными союзниками слабаго непріятеля. Безпомощность Италіи, Франціи и Германіи кончилась только тогда, когда мѣстные элементы одержали рѣшительную побѣду надъ центральною властью. Набѣги венгровъ и сарациновъ въ значительной степени содѣйствовали этому перевороту и обнаружили особенно сильное вліяніе на политическое обособленіе италіянскихъ городовъ.

Въ первой половинѣ IX вѣка сарацины завоевали Сицилію, потомъ перешли на материкъ,

Digitized by Google

укрѣпились на берегахъ рѣки Гарильяно и оттуда начали опустошать всю южную Италію, до самыхъ воротъ Рима. Въ концѣ того же вѣка другая колонія сарациновъ пріютилась въ сѣверной Италіи, не далеко отъ Ниццы, и занялась опустошеніемъ Піемонта. Наконецъ въ началѣ X вѣка Италію стали грабить венгры. Ни у сарациновъ, ни у венгровъ не было охоты дѣлать въ Италіи завоеванія; и тѣ, и другіе вели партизанскую войну безъ всякаго опредѣленнаго плана; имъ хотѣлось только пакостить и грабить вездѣ, гдѣ можно было застать въ расплохъ мирныхъ жителей; вся армія ихъ состояла исключительно изъ легкой кавалеріи; раздѣляясь на мелкіе отряды, они смѣло углублялись въ непріятельскую страну и нисколько не старались обезпечить себѣ отступленіе; они не возили съ собой никакихъ обозовъ; все что имъ было нужно, съѣстные припасы и фуражъ, они каждый день отнимали у жителей насильно, не заботясь о завтрашнемъ днѣ и зная навѣрное, что завтра можно будетъ гдѣ нибудь въ другомъ мѣстѣ повторить туже исторію. Когда противъ нихъ собирались дружины помѣщиковъ и ополченія городовъ, тогда они старались уклониться отъ сраженія, разсыпались по всей странѣ, обходили войско, вышедшее къ нимъ на встрѣчу, нападали на беззащитные города и села, лежащіе далеко внутри страны, и такимъ образомъ все-таки достигали своей цѣли, то есть грабили, рѣзали и жгли во все свое удовольствіе. Войско помѣщиковъ и городовъ конечно пускалось за ними въ погоню; но сарацины и венгры перелетали съ мѣста на мѣсто такъ быстро, что пѣхота и тяжеловооруженная конница, изъ которыхъ были составлены тогдашнія арміи, не могли за ними угоняться и большею частью приходили на выручку тогда, когда городъ былъ уже разграбленъ и зажженъ, жители—перебиты, а враги въ другомъ мѣстѣ и въ совершенной безопасности.

Воевать такимъ образомъ было черезчуръ невыгодно. Такъ какъ нашествія сарациновъ и венгровъ повторялись очень часто и всегда одинаково успѣшно впродолженіе цѣлыхъ десятковъ лѣтъ, то наконецъ итальянцы принуждены были замѣтить, что самая многочисленная, самая храбрая и превосходно вооруженная армія ничего не можетъ сдѣлать съ такимъ неуловимымъ врагомъ, который постоянно умѣетъ проскользнуть у нея между руками. При этомъ не трудно было сообразить, что страна будетъ совершенно обезпечена противъ этихъ грабителей только тогда, когда въ каждомъ городкѣ, въ каждой деревушкѣ разовьются мѣстныя средства самозащиты. Надо было устроить такъ, чтобы ни одно поселеніе никогда не могло быть захвачено врасплохъ. Для этого прежде всего необходимы были укрѣпленія. Запастись ими было совсѣмъ не мудрено и не разорительно, тѣмъ болѣе, что тутъ требовались не Богъ знаетъ какія чудеса фортификаціоннаго искусства; самая простая кирпичная стѣна составляла непобѣдимое препятствіе для дикихъ наѣздниковъ, у которыхъ не было и не могло быть ни лѣстницъ, ни стѣнобитныхъ орудій. Затѣмъ надо было, чтобы всѣ взрослые мужчины каждаго населеннаго мѣста завели себѣ оружіе, выбрали себѣ опытныхъ распорядителей и выучились всѣмъ необходимымъ военнымъ эволюціямъ, посредствомъ которыхъ они могли бы, безъ всякой посторонней помощи, во всякую данную минуту, отразить внезапное нападеніе. Со стороны сарациновъ и венгровъ только одно первое нападеніе и было опасно; предпринять и довести до конца правильную осаду они были совершенно неспособны.

Чтобы окружить городъ стѣной, надо было предварительно выпросить разрѣшеніе у короля или у императора. Но въ данномъ случаѣ требованія необходимости были такъ очевидны, и центральная власть такъ глубоко чувствовала свое безсиліе въ борьбѣ съ летучими отрядами венгровъ и сарациновъ, что ея подозрительность принуждена была молчать. Втеченіе IX и X вѣка городамъ, деревнямъ и монастырямъ выдано было множество императорскихъ и королевскихъ грамотъ, разрѣшавшихъ имъ строить укрѣпленія. Выстроивши стѣны, надо было ихъ караулить и защищать; слѣдовательно надо было организовать милицію; это право всегда давалось городамъ вмѣстѣ съ разрѣшеніемъ укрѣпляться. Получивши позволеніе заботиться о собственной безопасности, каждый городъ раздѣлился на нѣсколько кварталовъ; всѣхъ кварталовъ было обыкновенно отъ четырехъ до шести; каждый изъ нихъ прилегалъ къ одной изъ городскихъ заставъ и назывался по ея имени; жители каждаго квартала обязаны были защищать свои ворота, и свою долю общей городской стѣны. Но ограничиваться одной защитой стѣнъ было невозможно; могли представиться такіе случаи, когда будетъ необходимо преслѣдовать врага или выходить къ нему навстрѣчу, чтобы спасти отъ опустошительныхъ подвиговъ поля, виноградники, фруктовые сады, принадлежащіе гражданамъ. Кромѣ того, могла оказаться необходимость идти на помощь къ осажденнымъ жителямъ другого города. Поэтому надо было сформировать городскія милиціи такъ, чтобы онѣ могли драться съ непріятелемъ не только изъ-за стѣнъ, но и въ открытомъ полѣ. Каждый кварталъ обязалъ своихъ богатѣйшихъ гражданъ являться на службу верхомъ и въ полномъ вооруженіи. Другіе граждане, побѣднѣе, были вооружены арбалетами и сражались пѣшкомъ, третій отрядъ составлялъ тяжелую пѣхоту; онъ носилъ желѣзные шлемы и щиты и дрался копьями. Остальные граждане были вооружены мечами. Когда ударяли въ набатъ, тогда всѣ вооруженные люди города были обязаны собираться на площадь своего квартала. Эта обязанность ле-

Digitized by Google

жала на всѣхъ здоровыхъ гражданахъ отъ 18 до 70 лѣтъ.

Городскія милиціи, составленныя такимъ образомъ изъ купцовъ и ремесленниковъ, которымъ некогда и невозможно было пріобрѣтать себѣ опытность старыхъ солдатъ—могли быть сильны и грозны только своимъ воодушевленіемъ. А воодушевленіе, способное замѣнить собою дисциплину и привычку къ военному дѣлу, возможно только тогда, когда каждый солдатъ знаетъ, за что онъ дерется, и твердо увѣренъ въ добросовѣстности и даровитости полководца. Поголовное ополченіе должно имѣть своихъ выборныхъ начальниковъ и свои совѣщательныя собранія. Построивши укрѣпленія и создавши себѣ свое собственное войско, каждый городъ непремѣнно долженъ былъ выработать себѣ свою особенную политическую организацію, свое самостоятельное правительство, которое распоряжалось бы созданнымъ войскомъ сообразно съ дѣйствительными интересами и желаніями самихъ горожанъ.

Если бы граждане итальянскихъ городовъ сразу обнаружили такія претензіи, клонящіяся къ раздробленію государства, то императоръ или король соединился бы противъ нихъ съ герцогами, баронами и прелатами и, по всей вѣроятности, одержалъ надъ ними побѣду, вслѣдствіе которой ихъ стѣны были бы срыты, а милиціи обезоружены, не смотря ни на какія нашествія венгровъ и сарациновъ. Но горожане не заявляли никакихъ систематическихъ требованій; они сами не знали, куда они идутъ; при каждомъ удобномъ случаѣ они совершенно добросовѣстно заявляли свою полную преданность тому государственному тѣлу, отъ котораго они медленно отдѣлялись; въ нихъ дѣйствовала неотразимая логика обстоятельствъ и событій. Каждый слѣдующій шагъ такъ неизбѣжно вытекалъ изъ предыдущаго, что ни одинъ изъ этихъ шаговъ не могъ никого испугать или протнѣвать. Противъ венгровъ и сарациновъ понадобились стѣны; къ стѣнамъ понадобились вооруженные люди; этимъ людямъ нуженъ былъ хорошій начальникъ; начальника надо было сначала выбирать, а потомъ контролировать. Все это было очень просто, логично, естественно и законно.

Кромѣ того центральной власти некогда было заниматься городами. Междуусобныя войны обращали на себя все ея вниманіе Сначала раздоры происходили между потомками Карла великаго. Потомъ, послѣ низложенія Карла толстаго, сильнѣйшіе изъ итальянскихъ магнатовъ, маркизъ Фріульскій и герцогъ Сполетскій, стали оспаривать другъ у друга престолъ Италіи, отдѣлившійся въ 887 году отъ остальныхъ частей Карловой имперіи. Въ эти распри вмѣшались король Бургундскій и герцогъ Прованскій, и у Италіи впродолженіи семидесяти лѣтъ было почти постоянно по два короля, которыхъ претензіи взаимно противорѣчили другъ другу и которыхъ дѣйствительная власть была почти ничтожна. Въ это смутное время итальянскіе города могли съ большимъ удобствомъ расширять и упрочивать свои привилегіи.

Въ 961 году Италія снова соединилась съ Германіей. Отонъ великій, король германскій, низложилъ итальянскаго короля, Беренгара II, подчинилъ себѣ его королевство, принялъ въ Павіи ломбардскую желѣзную корону, потомъ отправился въ Римъ и получилъ изъ рукъ папы Іоанна XII императорскую корону. Съ этого времени начинается непрерывное существованіе такъ называемой священной римской имперіи, самой блестящей и самой странной изъ всѣхъ, когда либо существовавшихъ политическихъ фикцій. Императоръ считался главой всего христіанскаго, или по крайней мѣрѣ, всего католическаго міра, ему былъ врученъ свѣтскій мечъ, такъ точно, какъ папѣ принадлежалъ мечъ духовный; вся лѣстница феодальныхъ властей заканчивалась императоромъ; отъ него шла санкція всякаго владѣнія; всѣ короли считались его вассалами; только одинъ папа могъ считать себя независимымъ отъ него, или даже выше его, настолько, насколько духъ выше тѣла. Такова была теорія, и эту теорію всѣ признавали; даже французскіе короли охотно соглашались съ тѣмъ, что императоръ—глава христіанскаго міра. Но громкія слова оставались словами. На дѣлѣ вассальныя отношенія королей къ императорамъ никогда не существовали и рѣшительно ни въ чемъ не выражались. На дѣлѣ священная *римская* имперія находилась въ *Германіи*; на дѣлѣ императоръ выбирался нѣмецкими князьями, располагалъ вполнѣ только силами своихъ собственныхъ, наслѣдственныхъ владѣній, и очень часто оказывался слабѣе своихъ вассаловъ, т. е. тѣхъ нѣмецкихъ князей, которые его выбирали и которые всегда очень плохо ему повиновались. На дѣлѣ царствованіе каждаго императора было почти постоянной борьбой за императорскую власть, то съ папой, то съ нѣмецкими князьями, то съ итальянскими городами. На дѣлѣ каждый императоръ принужденъ былъ пробиваться въ Римъ съ оружіемъ въ рукахъ, и по дорогѣ завоевывать вновь сѣверную и среднюю Италію, которая, по общепризнанной теоріи, постоянно составляла неотдѣлимую часть священной римской имперіи.

Этотъ хроническій разладъ теоріи съ дѣйствительной жизнью набрасываетъ чрезвычайно оригинальный колоритъ на всѣ событія средневѣковой итальянской исторіи.

Этотъ разладъ и вытекающая изъ него фантастичность священно-римско-императорскихъ учрежденій начинаются со временъ Отона великаго.

Италія отдалась Отону добровольно. Но Отонъ не могъ жить постоянно въ своемъ новомъ королевствѣ.

Digitized by Google

Важныя государственныя дѣла призывали его въ Германію, а между тѣмъ во время отсутствія, итальянскіе магнаты могли пріобрѣсти себѣ полную независимость и возобновить прежніе раздоры за итальянскую корону. Надо было какимъ нибудь образомъ удерживать ихъ въ повиновеніи. Если бы Отонъ жилъ не въ X, а въ XVII или въ XIX вѣкѣ, то онъ просто оставилъ бы въ Италіи нѣсколько десятковъ тысячъ нѣмецкихъ солдатъ подъ начальствомъ такого генерала, на вѣрность и распорядительность котораго онъ могъ положиться. Это средство очень просто и удобно, но въ X вѣкѣ оно было неприложимо. Армія Отона состояла изъ его нѣмецкихъ вассаловъ, у которыхъ были въ Германіи свои владѣнія, и которые, именно за эти владѣнія, обязаны были служить подъ знаменами своего сюзерена Отона. Срокъ ихъ службы былъ строго опредѣленъ. Отслуживъ свое время—всего нѣсколько недѣль,—баронъ раскланивался съ своимъ сюзереномъ и отправлялся домой. У каждаго вассала были дома свои собственныя государственныя дѣла, которыя для него были также важны, какъ для Отона дѣла Германіи, заставившія его выѣхать изъ италіянскаго королевства. Никто изъ нѣмецкихъ бароновъ не былъ расположенъ бросать свои дѣла на неопредѣленное время и оставаться съ войскомъ въ чужой землѣ, въ угоду честолюбивымъ фантазіямъ сюзерена. У каждаго простого воина было также въ Германіи свое хозяйство, къ которому онъ желалъ и имѣлъ право воротиться послѣ истеченія опредѣленнаго служебнаго срока. Нѣкоторые бароны и многіе воины пожалуй согласились бы остаться навсегда въ Италіи, но только съ тѣмъ, чтобы имъ была дана новая осѣдлость, по меньшей мѣрѣ равноцѣнная той, которою они владѣли въ Германіи и которую они рѣшились покинуть. Какому нибудь герцогу надо было отмежевать цѣлую провинцію, графу—отдать городъ, барону—отвести замокъ и хорошее помѣстье, простому воину—предоставить участокъ земли съ жилыми строеніями. Словомъ, для того чтобы пристроить такимъ образомъ въ Италіи нѣсколько тысячъ нѣмцевъ, надо было обобрать и пустить по міру жителей цѣлой области, и притомъ самыхъ воинственныхъ жителей, тѣхъ, которые владѣли землей и отбывали за нее феодальную повинность военной службой. Эта насильственная мѣра была немыслима въ такой странѣ, которая съ полнымъ довѣріемъ, добровольно изъявила свою покорность. Такой мѣрой Отонъ немедленно превратилъ бы новорожденную преданность итальянцевъ въ непримиримую ненависть. Надо было пріискать другое средство.

Отонъ видѣлъ очень ясно, что для удержанія Италіи, ему необходимо опираться на чисто-итальянскіе интересы и заключить прочный союзъ съ которымъ нибудь изъ двухъ общественныхъ элементовъ, споривщихъ между собой за преобладаніе,—именно, съ магнатами или съ городами. Соединяться съ магнатами для Отона было неудобно; магнаты были его естественными соперниками; сильнѣйшіе изъ нихъ сами могли мечтать о желѣзной коронѣ, которая доставалась не разъ герцогамъ Сполетскимъ или маркизамъ Фріульскимъ. Болѣе слабые могли желать, и дѣйствительно желали, распаденія итальянскаго королевства на нѣсколько независимыхъ герцогствъ и графствъ, въ которыхъ они, магнаты, оказались бы полновластными хозяевами. Желанія горожанъ, напротивъ того, были гораздо скромнѣе; у нихъ еще не было никакихъ далекихъ политическихъ замысловъ, они хотѣли только защищаться собственными средствами отъ грабителей и обидчиковъ, устроить у себя свой собственный правильный судъ и оградить свою промышленность и торговлю отъ произвольнаго вмѣшательства чиновниковъ и вельможъ. При соблюденіи этихъ немногихъ условій они съ радостью готовы были признавать надъ собою господство императора. Отонъ принялъ горожанъ подъ свое покровительство и, не раздражая магнатовъ слишкомъ крутыми и стѣснительными мѣрами, повелъ дѣла такъ, что всѣ города, находившіеся въ его итальянскихъ владѣніяхъ, одинъ за другимъ завели у себя муниципальное самоуправленіе. До воцаренія Отона города находились подъ управленіемъ графовъ, которые часто ссорились съ горожанами и старались удержать за собой свою деспотическую власть; у этихъ графовъ не было никакой военной силы, кромѣ городской милиціи, которая готова была защищать графа противъ внѣшнихъ враговъ, но нисколько не была расположена поддерживать его требованія въ ущербъ своимъ собственнымъ интересамъ. При каждомъ столкновеніи графа съ горожанами, графъ долженъ былъ или уступать, или просить себѣ помощи у императора. Въ первомъ случаѣ права горожанъ расширялись безъ дальнѣйшихъ хлопотъ, добытыя льготы передавались слѣдующему поколѣнію, какъ сокровище, которое уже ни подъ какимъ видомъ не должно быть выпущено изъ рукъ и не можетъ быть отнято безъ вопіющаго нарушенія справедливости. Во второмъ случаѣ императоръ Отонъ разсматривалъ дѣло и, рѣшая по совѣсти, всегда рѣшалъ его въ пользу горожанъ, потому что горожане дѣйствительно всегда были правы въ своихъ требованіяхъ, хотя эти требованія часто шли на перекоръ заведеннымъ порядкамъ, нарушали собою установившіеся обычаи. Горожане никогда не хлопотали о томъ, чтобы какъ нибудь закабалить графа или наложить на него какую нибудь повинность; имъ хотѣлось только располагать свободно собственными особами и пользоваться безпрепятственно продуктами собственнаго труда. Отону было очень нетрудно держать ихъ сторону, и его рѣ-

Digitized by Google

шенія никому не могли показаться деспотическими выходками; даже сами графы, которыхъ власть медленно подрывалась дѣйствіями Отона, не могли видѣть въ нихъ проявленія систематической вражды; Отонъ не выгонялъ ихъ изъ городовъ, не оспаривалъ ихъ власти, ничѣмъ не стѣснялъ ихъ, и даже не подавалъ никакой помощи ихъ непокорнымъ вассаламъ; онъ только предоставлялъ графамъ вѣдаться съ этими вассалами и улаживаться съ ними миролюбивымъ образомъ, по обоюдному соглашенію; онъ оставался только безпристрастнымъ, и этого безпристрастія было достаточно для того, чтобы упрочить за горожанами полную побѣду, чрезвычайно важную по своимъ послѣдствіямъ.

V.

РАСПАДЕНІЕ ИТАЛЬЯНСКАГО КОРОЛЕВСТВА.

Отонъ великій умеръ въ 973 году, въ Германіи. Послѣ его смерти сынъ его, Отонъ II, впродолженіе семи лѣтъ не заглядывалъ въ свои итальянскія владѣнія. Наконецъ въ 980 году онъ явился въ Италію, повоевалъ довольно неудачно съ греками и умеръ въ 983 году. Затѣмъ Италія втеченіе тринадцати лѣтъ снова не видала у себя ни своего государя, ни его намѣстника, и вообще ничего такого, что сколько нибудь напоминало бы ей о существованіи центральной власти. Справившись съ своими врагами въ Германіи, Отонъ III въ 996 году вступилъ Италію и пробылъ тамъ нѣсколько мѣсяцевъ; потомъ онъ, въ слѣдующемъ году, снова явился въ Италію и прожилъ въ ней около трехъ лѣтъ. Отлучившись на нѣсколько мѣсяцевъ въ Германію, онъ въ 1000 году возвратился въ Италію и наконецъ умеръ въ Римѣ въ 1002 г. Съ его смертью пресѣклась династія Отона великаго. Эта династія царствовала въ Италіи сорокъ лѣтъ, но изъ этихъ сорока лѣтъ она провела въ Италіи около восемнадцати лѣтъ. Остальные двадцать два года были проведены въ Германіи.

Во время отсутствія государя, общія дѣла итальянскаго королевства оставались безъ движенія; никто не издавалъ никакихъ общихъ законовъ; никто не собиралъ государственныхъ чиновъ; никто не начиналъ войны съ иностранцами, хотя бы интересы итальянскаго королевства требовали того самымъ настоятельнымъ образомъ; живя въ Германіи, императоры не получали даже изъ Италіи никакихъ доходовъ. Словомъ, вліяніе нѣмецкихъ императоровъ на Италію выражалось во время ихъ отсутствія только въ томъ, что мѣсто итальянскаго короля было все-таки занято и что слѣдовательно сильнѣйшіе магнаты не имѣли возможности драться между собою изъ за этого мѣста.

Такимъ образомъ, королевская власть превращалась въ фикцію. Магнаты, прелаты и города продолжая признавать надъ собой господство Отоновъ, въ то же время пріучались пользоваться всѣми тѣми правами, которыя принадлежатъ верховной власти. Они судили и казнили преступниковъ; они издавали свои мѣстные законы; они воевали и мирились другъ съ другомъ, ни у кого не спрашивая на то позволенія; они придумывали и собирали налоги, и потомъ расходовали собранныя суммы по собственному благоусмотрѣнію.

Въ то время большая часть городовъ сѣверной и средней Италіи выработали себѣ слѣдующее внутреннее устройство. Во главѣ управленія они поставили двухъ консуловъ, которые каждый годъ выбирались народомъ. Во время войны эти консулы командовали милиціей, а въ мирное время рѣшали тяжебныя дѣла, унимали нарушителей общественнаго спокойствія и наказывали преступниковъ. Въ важныхъ случаяхъ консулы обязаны были созывать *совѣтъ довѣренности* (credenza), которому поручено было завѣдывать городскими финансами, контролировать дѣйствія консуловъ и вести различные переговоры города съ другими правительствами. Другой совѣтъ, болѣе многочисленный и заключавшій въ себѣ обыкновенно не менѣе ста членовъ, назывался сенатомъ, или большимъ совѣтомъ, или спеціальнымъ совѣтомъ, или народнымъ совѣтомъ. Онъ обязанъ былъ приготовлять и обсуживать тѣ указы или законопроекты, которые потомъ представлялись на утвержденіе народному собранію, сходившемуся на площади, при звонѣ большого колокола. Этому собранію, которое называлось *парламентомъ*, принадлежала верховная власть во всѣхъ возможныхъ дѣлахъ. Но почти во всѣхъ итальянскихъ городахъ было запрещено закономъ представлять народному собранію такія предложенія, которыя не были предварительно разсмотрѣны и одобрены въ совѣтѣ credenza и въ сенатѣ. Члены этихъ двухъ совѣтовъ также выбирались народомъ.

Послѣ смерти Отона III нѣмецкіе князья признали своимъ королемъ герцога баварскаго Генриха, который вступилъ на престолъ подъ именемъ Генриха II. Тутъ между итальянцами и нѣмцами произошло недоразумѣніе. Итальянцы полагали, что они были связаны только съ династіей Отона великаго. Нѣмцы напротивъ того утверждали, что Италія на вѣчныя времена соединилась съ Германіей и обязана всегда признавать своимъ королемъ того человѣка, на котораго ей будутъ указывать нѣмецкіе князья. Генрихъ II держался нѣмецкой теоріи; но это нисколько не помѣшало итальянскимъ магнатамъ собраться въ Павіи и выбрать себѣ въ короли Ардуина, маркиза или маркграфа иврейскаго. Ломбардскіе города были тогда настолько самостоятельны и сильны, что уже соперничали и враждовали между собою; Миланъ находился въ постоянной ссорѣ съ Павіей. Такъ какъ избра-

Digitized by Google

ніе Ардуина было сдѣлано въ Павіи, то Миланъ принялъ сторону Генриха II и пригласилъ его явиться въ Италію. Архіепископъ миланскій, одинъ изъ богатѣйшихъ и сильнѣйшихъ италіянскихъ прелатовъ, созвалъ своихъ союзниковъ и приверженцевъ на Ронкальскомъ полѣ, на которомъ во времена ломбардскихъ королей собирались народныя собранія, и провозгласилъ Генриха королемъ Италіи.

Въ 1004 году Генрихъ вступилъ въ свое новое королевство и принялъ итальянскую корону изъ рукъ архіепископа миланскаго въ томъ самомъ городѣ, въ которомъ магнаты выбрали Ардуина. Въ самый день коронаціи пьяные нѣмецкіе солдаты стали оскорблять павійскихъ гражданъ; ударили въ набатъ, взялись за оружіе и начали драться; улицы тотчасъ покрылись баррикадами, дворецъ, въ которомъ находился Генрихъ, былъ осажденъ, толпа вооруженныхъ гражданъ шла на приступъ, и тѣлохранители короля съ трудомъ выдерживали ихъ натискъ, хотя придворные Генриха продолжали храбриться и говорили, что весь этотъ уличный шумъ надѣлала чернорабочая сволочь, которую немедленно разгонятъ, усмирятъ и проучатъ нѣмецкіе воины. Главныя силы Генриха стояли въ это время за гододомъ; услышавъ шумъ, нѣмцы пошли выручать своего короля; но добраться до дворца было очень трудно, потому что по дорогѣ надо было брать и разрушать десятки баррикадъ. Чтобы отвлечь гражданъ отъ дворца, нѣмцы подожгли нѣсколько домовъ; огонь быстро разлился по всему городу; граждане бросились тушить пожаръ и спасать свое имущество, своихъ женъ и дѣтей. Пользуясь суматохой, Генрихъ благополучно выбрался изъ дворца и присоединился къ своему войску. Затѣмъ началось усмиреніе сволочи, доставившей королю и его придворнымъ слишкомъ сильныя и неожиданныя ощущенія. Павія сгорѣла до тла, и многія сотни ея жителей погибли подъ ударами нѣмецкихъ солдатъ. Генрихъ поспѣшно удалился отъ ея развалинъ, составивъ себѣ сразу осязательное понятіе о вѣрноподданническихъ чувствахъ итальянскихъ горожанъ.

Павійцы скоро выстроили себѣ городъ за-ново, и еще крѣпче прежняго стали держаться за Ардуина.

Генрихъ втеченіе десяти лѣтъ не показывался въ Италіи. У Ардуина не было ни войска, ни денегъ. Нѣкоторые города стояли на его сторонѣ, но не давали ему надъ собою никакой дѣйствительной власти, и даже не пускали его, своего признаннаго короля, въ свои стѣны. Миланцы признавали своимъ королемъ Генриха и подъ этимъ предлогомъ опустошали земли павійцевъ, которые, признавая Ардуина, съ своей стороны не упускали случая напакостить миланцамъ. На самомъ же дѣлѣ и миланцы, и павійцы уже пользовались полной независимостью; имъ не было никакого дѣла ни до Генриха, ни до Ардуина; и настоящею причиной ихъ продолжительныхъ войнъ было вовсе не желаніе видѣть на итальянскомъ престолѣ того или другого претендента, а просто то мелкое недоброжелательство, которое очень часто возникаетъ между близкими сосѣдями и поддерживается каждый день множествомъ мелкихъ взаимныхъ оскорбленій, захватовъ, насмѣшекъ и попрековъ.

Въ 1014 году Генрихъ снова посѣтилъ Италію и принялъ въ Римѣ императорскую корону. Затѣмъ онъ уже не вмѣшивался больше въ итальянскія дѣла до самаго конца своей жизни. Ардуинъ, вскорѣ послѣ вторичной поѣздки Генриха въ Италію, добровольно отрекся отъ престола и постригся въ монахи. Генрихъ II умеръ въ 1024 году, и тогда итальянцы снова попробовали отдѣлиться отъ Германіи, къ которой они никогда не чувствовали ни малѣйшей нѣжности. Они предложили корону сначала Роберту, королю французскому, потомъ Вильгельму, герцогу аквитанскому. Оба отказались. Оба сообразили по всей вѣроятности, что не стоитъ ввязываться въ опасную и убыточную войну съ нѣмцами изъ за такой короны, которая не доставляетъ своему обладателю никакихъ существенныхъ выгодъ и удовольствій, ни денегъ, ни власти. Послѣ неудачныхъ переговоровъ съ Робертомъ и съ Вильгельмомъ, итальянцы признали королемъ Конрада II, короля германскаго.

Можетъ возникнуть вопросъ: на что имъ нуженъ былъ король, который ни во что не вмѣшивался и почти никогда не находился въ своемъ королевствѣ? Отвѣчать на этотъ вопросъ нетрудно. Имъ нуженъ былъ отсутствующій и недѣйствующій король именно для того, чтобы сдѣлать невозможнымъ существованіе присутствующаго и дѣйствующаго короля. Они хотѣли забросить свою корону за тридевять земель, на голову къ иностранцу именно для того, чтобы эта корона не досталась какому нибудь сильному туземцу, который, чего добраго, превратилъ бы политическую фикцію въ живую дѣйствительность. Правда, они сами отдавали корону своему земляку Ардунну но, во первыхъ, это было сдѣлано только въ пику нѣмцамъ; во вторыхъ, они терпѣли Ардуина только потому, что у него былъ сильный соперникъ, отнимавшій у него всякую возможность сдѣлаться опаснымъ; и въ третьихъ, сами приверженцы Ардуина постоянно заботились о томъ, чтобы этотъ присутствующій туземецъ былъ во всѣхъ отношеніяхъ также невиненъ и безвреденъ, какъ отсутствующій иностранецъ.

Въ это время итальянцы очень мало заботились о судьбѣ итальянскаго правительства. Можно сказать, что въ это время итальянцы по немногу переставали быть итальянцами, и становились миланцами, павійцами, брешіанцами, кремонянами, и такъ далѣе. Всѣ эти возникающіе

Digitized by Google

народцы хлопотали только о томъ, чтобы какъ можно лучше устроить свое отдѣльное, городское правительство. До общихъ италіянскихъ дѣлъ они не дотрогивались, тѣмъ болѣе, что всѣ эти общія дѣла ограничивались возложеніемъ желѣзной ломбардской короны на ту или другую голову, которой почти никогда не приходилось размышлять объ интересахъ Италіи. Если королевская власть не дѣлала Милану никакихъ притѣсненій и не вмѣшивалась въ его внутреннія дѣла, то миланскіе патріоты были совершенно удовлетворены и охотно мирились съ ея существованіемъ. Чтобы пойдти дальше, чтобы спросить: зачѣмъ существуетъ королевская власть? миланскимъ патріотамъ надо было бы стать на общеитальянскую точку зрѣнія, а это было уже невозможно, именно потому, что городской партикуляризмъ сдѣлалъ уже слишкомъ большіе успѣхи.

При этомъ надо замѣтить, что уничтоженіе королевскаго сана въ Италіи было довольно затрудительно. Итальянцамъ пришлось бы столкнуться съ любимой игрушкой средневѣковаго общества, съ блестящей фикціей священной римской имперіи. Императору непремѣнно надо было короноваться въ Римѣ. Эта коронація изображала собою высшую таинственную связь между императоромъ и папой, между матеріальною силой и религіозной святыней. Безъ этой коронаціи король германскій не имѣлъ бы уже ни малѣйшаго основанія называться *римскимъ императоромъ* и считаться главой христіанскаго міра. Но если бы Италія разорвала свою связь съ Германіей и уничтожила у себя королевское достоинство, то германскому королю была бы заперта дорога въ Римъ. Ему пришлось бы или торговаться насчетъ пропуска съ десятками мелкихъ республикъ, или идти на проломъ и брать приступомъ каждую ничтожную деревушку. При такихъ условіяхъ, путешествіе въ Римъ сдѣлалось бы на столько затруднительнымъ и убыточнымъ, что германскіе короли очень скоро отказались бы отъ императорскихъ почестей. Всѣ эти послѣдствія можно было предвидѣть заранѣе; поэтому можно сказать навѣрное, что посягательство итальянцевъ на королевское достоинство переполошило бы всѣхъ любителей величественной фикціи и превратилось бы въ такой же европейскій вопросъ, какимъ является въ XI вѣкѣ борьба императоровъ съ папами. Итальянцамъ пришлось бы для уничтоженія королевскаго сана не только произнести свое торжественное рѣшеніе въ народномъ собраніи, но еще кромѣ того поддержать это рѣшеніе силою оружія, въ упорной и ожесточенной борьбѣ съ нѣмцами, которые очень дорожили своей фантастической имперіей. Фикція продолжала существовать, потому что никому не хотѣлось тратить деньги и силы на ея разрушеніе.

Во времена Конрада II итальянское общество состояло изъ слѣдующихъ главныхъ элементовъ:

Выше всѣхъ стояли непосредственные вассалы короля: герцоги, графы и маркизы, господствовавшіе de jure надъ городами и надъ ихъ округами.

Рядомъ съ этими свѣтскими магнатами стояли высшіе сановники церкви: архіепископы, епископы и нѣкоторые аббаты, бывшіе также феодальными владѣтелями многихъ городовъ.

Далѣе слѣдовали простые дворяне, помѣщики или *вавассоры*, подчиненные магнатамъ или прелатамъ и находившіеся такимъ образомъ въ двойной вассальной зависимости, во первыхъ, отъ какого нибудь вельможи, а во вторыхъ, отъ короля.

Помѣщикамъ или вавассорамъ были подчинены сельскіе жители, находившіеся въ тройной вассальной зависимости и называвшіеся *вавассинами*.

Еще ниже вавассиновъ, но въ зависимости отъ тѣхъ же помѣщиковъ, находились крѣпостные крестьяне, приписанные къ землѣ (glebae adscripti) и составлявшіе неотдѣлимую составную часть помѣстья.

Наконецъ въ самомъ низу общественнаго зданія помѣщались рабы, которыхъ можно было продавать и покупать поштучно.

Всѣ эти классы общества перессорились и передрались между собою въ первой половинѣ XI вѣка.

Сначала зашевелились вавассоры. Когда города высвободились изъ подъ власти магнатовъ, тогда вавассоры очутились дѣйствительно въ странномъ положеніи, очень оскорбительномъ для ихъ дворянской гордости. Горожане были люди низкаго происхожденія. Они вели свой родъ отъ завоеваннаго племени. Они были потомками римскихъ рабовъ, вольноотпущенныхъ и пролетаріевъ, всякой уличной сволочи, на которую вавассоръ, потомокъ германскаго завоевателя, смотрѣлъ съ самымъ искреннимъ презрѣніемъ. По основнымъ феодальнымъ законамъ, горожане были не вассалами, а подданными магната. Они были taillables et corvéables à merci, то есть, магнатъ могъ гонять ихъ на барщину и облагать ихъ какими угодно оброками и натуральными повинностями. Горожане были поставлены на одну доску не съ вавассорами, и даже не съ вавассинами, а съ крѣпостными крестьянами. Вся разница между тѣми и другими состояла по закону въ томъ, что крестьяне, прикрѣпленные къ деревнямъ, обязаны были заниматься земледѣліемъ, а горожане, прикрѣпленные къ городамъ, обязаны были заниматься промышленностью и торговлей. Но именно это послѣднее обстоятельство и разрушило понемногу мудрыя предначертанія феодальнаго закона. Какъ ни старались магнаты стричь свое стадо въ плотную, однако купцамъ и ремесленникамъ

Digitized by Google

все-таки удалось разжиться, потому что торговые обороты умѣютъ ускользать отъ самаго бдительнаго контроля, и деньги всегда находятъ возможность спрятаться отъ самаго корыстолюбиваго и безсовѣстнаго деспота. Коммерческія предпріятія развиваютъ въ людяхъ смѣтливость и отвагу; нажитыя деньги внушаютъ человѣку довѣріе къ собственнымъ силамъ и уваженіе къ собственному уму. Обогатившись своимъ трудомъ, человѣкъ желаетъ защищать свое богатство, какъ отъ мѣстнаго тирана, такъ и отъ всякихъ пришлыхъ грабителей. Когда это естественное желаніе возникаетъ разомъ въ нѣсколькихъ тысячахъ людей, одинаково смѣтливыхъ, дѣятельныхъ и предпріимчивыхъ, и живущихъ вмѣстѣ, въ одномъ городѣ, на пространствѣ какихъ нибудь двухъ или трехъ квадратныхъ верстъ, — тогда очень скоро пріискиваются и необходимыя средства самозащищенія. Эти средства дѣйствительно нашлись, и вооруженныя милиціи городовъ заставили понемногу всѣхъ магнатовъ и прелатовъ отказаться отъ тѣхъ неограниченныхъ правъ, которыя были имъ предоставлены основными законами. Горожане сдѣлались хозяевами своихъ городовъ, а прелаты и магнаты превратились въ почетныхъ гостей, которымъ всѣ въ городѣ низко кланялись, но которымъ никто не повиновался. Видя, что сила не на ихъ сторонѣ, магнаты и прелаты избрали благую часть. Они уступили гражданамъ на всѣхъ пунктахъ, признали безъ дальнѣйшей борьбы совершившійся фактъ ихъ освобожденія, и расположивъ ихъ такимъ образомъ въ свою пользу, стали налегать на своихъ вассаловъ, то есть на помѣщиковъ или вавассоровъ. Такимъ образомъ, благородные вавассоры очутились въ гораздо болѣе зависимомъ и стѣсненномъ положеніи, чѣмъ городскіе простолюдины. Магнаты и прелаты стали отнимать у нихъ, по своему произволу, ихъ помѣстья, въ которыхъ вавассоры видѣли свое родовое имущество. Горожане охотно помогали въ этихъ случаяхъ своимъ бывшимъ патронамъ и съ радостью унижали помѣщиковъ, которые, во время своего пребыванія въ городахъ, отличались обыкновенно невыносимымъ высокомѣріемъ и непобѣдимою наклонностью ко всевозможнымъ буйнымъ выходкамъ.

Архіепископъ миланскій Эрибертъ довелъ наконецъ, при помощи горожанъ, своихъ вассаловъ до такого отчаянія, что они всѣ разомъ взялись за оружіе. Вслѣдъ за ними поднялись помѣщики во всей Ломбардіи. Первое сраженіе между горожанами и вавассорами произошло на улицахъ Милана. Горожане побѣдили и выгнали дворянъ изъ города. Но какъ только дворяне вышли за городъ, къ нимъ подоспѣли на помощь союзники со всѣхъ концовъ Ломбардіи. Въ открытомъ полѣ перевѣсъ оказался на сторонѣ помѣщиковъ. Архіепископъ вмѣстѣ съ горожанами былъ разбитъ при Кампо-Мало.

Тогда въ это дѣло вмѣшался Конрадъ II. Онъ пришелъ съ войскомъ въ Павію, собралъ тамъ сеймъ, принялъ сторону вавассоровъ и даже посадилъ подъ арестъ архіепископа Эриберта и трехъ епископовъ, шедшихъ по слѣдамъ этого воинственнаго и властолюбиваго прелата. Но тутъ обнаружилось немедленно безсиліе королевской власти. Арестованные прелаты убѣжали и воротились въ свои города. Конрадъ погнался за Эрибертомъ и подошелъ къ Милану. Миланцы заперли ворота, отразили всѣ аттаки Конрада и отстояли такимъ образомъ своего задорнаго архипастыря.

Пользуясь общей суматохой, вавассины также взялись за оружіе, чтобы улучшить свое положеніе и обуздать непомѣрную заносчивость своихъ ближайшихъ начальниковъ, вавассоровъ. За вавассинами потянулись крѣпостные и рабы, требуя всеобщаго освобожденія. Общество взволновалось такимъ образомъ до самаго дна. Результаты этого волненія были недурны. Рабовъ отпустили на волю; положеніе крестьянъ значительно улучшилось; крѣпостные превратились въ свободныхъ арендаторовъ; даже сами вавассоры остались въ барышахъ, потому что магнаты признали ихъ наслѣдственныя права на помѣстья. Увидѣвъ на дѣлѣ могущество и храбрость горожанъ, многіе помѣщики отложили въ сторону свою аристократическую гордость и пожелали получить право гражданства для себя и для своихъ потомковъ въ тѣхъ городахъ, возлѣ которыхъ находились ихъ помѣстья. Когда большая часть итальянскихъ дворянъ приписалась такимъ образомъ къ городамъ, тогда распаденіе Италіи на множество самостоятельныхъ республикъ оказалось довершеннымъ.

Конрадъ II умеръ въ 1039 году. Вскорѣ послѣ его смерти состоялось замиреніе Ломбардіи, но возстановленное спокойствіе продолжалось всего два года. Помѣщики, приписавшіеся къ Милану, ухитрились занять всѣ важныя городскія должности. Консулы, начальники милиціонныхъ отрядовъ, хранители городскихъ воротъ, всѣ были изъ дворянъ, и всѣ оказывали особенное благоволеніе людямъ своего сословія. Горожане признавали военную опытность дворянъ, поэтому сразу слишкомъ довѣрчиво уступили имъ первенство во всемъ. Дворяне не замедлили зазнаться и набуянить. Въ 1041 году, одинъ дворянинъ, среди бѣлаго дня, отколотилъ палкой на улицѣ кого-то простого гражданина. Тутъ мѣра терпѣнія переполнилась. Весь народъ принялъ сторону обиженнаго, поднялъ оружіе и отставилъ отъ должности всѣхъ своихъ начальниковъ, заподозрѣнныхъ въ аристократическихъ тенденціяхъ. Во главѣ возмутившагося народа очутился однако же дворянинъ Ланцоне; его сдѣлали предсѣдателемъ совѣта довѣренности (credenza); вслѣдъ затѣмъ народъ выбралъ себѣ новыхъ консуловъ изъ плебеевъ и подъ ихъ

Digitized by Google

начальствомъ пошелъ штурмовать укрѣпленные дома дворянъ, не хотѣвшихъ признавать совершившійся переворотъ. Многіе изъ этихъ домовъ выдержали правильную осаду, и потомъ были срыты до основанія; на улицахъ произошло нѣсколько кровопролитныхъ сраженій, послѣ которыхъ дворяне бѣжали изъ города вмѣстѣ съ своими семействами. За городомъ они собрали вокругъ себя своихъ деревенскихъ вассаловъ, и тогда перевѣсъ оказался на ихъ сторонѣ. Война затянулась на нѣсколько лѣтъ. Дворяне не въ силахъ были овладѣть Миланомъ; а миланцы, въ свою очередь, не могли выбить дворянъ изъ ихъ укрѣпленныхъ замковъ. И тѣ, и другіе старались держать другъ друга на пищѣ св. Антонія и съ величайшимъ усердіемъ опустошали по нѣскольку разъ въ годъ роскошныя поля, сады и луга Ломбардіи. Наконецъ Ланцоне, который во все это время пользовался полною довѣренностью гражданъ—отправился въ Германію и обратился къ королю Генриху III съ просьбой о помощи. Королю было очень пріятно вмѣшаться въ дѣла города, который уже считалъ себя совершенно самостоятельнымъ. Король предложилъ Ланцоне 4.000 всадниковъ, и даже настоятельно потребовалъ, чтобы ихъ немедленно впустили въ городъ, когда они придутъ изъ Германіи. Ланцоне воротился въ Миланъ и объявилъ объ этой предстоящей помощи своимъ согражданамъ, которые уже сильно страдали отъ голода. Но вслѣдъ затѣмъ онъ повидался съ вождями дворянской партіи и объяснилъ имъ, что съ приходомъ четырехъ тысячъ нѣмцевъ свобода Милана подвергнется жестокой опасности. Убѣжденія Ланцоне подѣйствовали. Свобода города была уже дорога даже для дворянъ, не смотря на то, что они еще очень недавно сдѣлались его гражданами. Впустить въ городъ войско собственнаго короля значило, по ихъ единодушному мнѣнію, погубить свободу. Чтобы избавить Миланъ отъ этой опасности, дворяне поспѣшно заключили миръ съ горожанами, раздѣлили съ ними полюбовно городскія должности и отправили къ начальнику нѣмецкаго отряда извѣстіе о томъ, что Миланъ уже не нуждается въ его услугахъ.

VI.

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ГИЛЬДЕБРАНДА.

Царствованіе Генриха III составляетъ введеніе къ великой борьбѣ папъ съ императорами. Въ моихъ историческихъ статьяхъ я уже не разъ говорилъ объ этой борьбѣ и старался объяснить читателямъ ея значеніе. Но мнѣ кажется, что мой взглядъ грѣшилъ до нѣкоторой степени односторонностью. Я видѣлъ въ папахъ только представителей средневѣковаго суевѣрія и относился къ нимъ слишкомъ враждебно. Я упускалъ изъ виду, что умственная апатія гораздо хуже самаго мрачнаго суевѣрія и гораздо вреднѣе самаго кровожаднаго фанатизма. Эта умственная апатія, погубившая византійскую имперію, угрожала средневѣковой Европѣ въ то время, когда варвары, основавшіе прочныя гражданскія общества и занявшіеся земледѣліемъ и промышленностью, начали по немногу утрачивать свою дикую и безпокойную воинственность. Въ это время безкорыстная любознательность еще не существовала, практическая польза научныхъ изслѣдованій была еще неизвѣстна; процессъ мышленія былъ для большинства людей тяжелымъ и мучительнымъ трудомъ; чтобы расшевелить тогдашніе умы, здоровые и свѣжіе, но лѣнивые и неповоротливые, надо было насильно поставить передъ каждымъ человѣкомъ такіе вопросы, разрѣшеніе которыхъ было совершенно необходимо для его благополучія и для спокойствія его совѣсти. Надо было поставить эти вопросы такъ, чтобы человѣкъ не могъ отъ нихъ увернуться, чтобы онъ непремѣнно былъ принужденъ рѣшить ихъ такъ или иначе, отвѣтить на нихъ да или нѣтъ.

У средневѣковаго человѣка былъ свой нравственный кодексъ, въ которомъ ясно и отчетливо были записаны всѣ его обязанности; средневѣковый человѣкъ зналъ, что онъ долженъ дѣлать, какъ семьянинъ, какъ членъ феодальнаго общества, какъ благочестивый сынъ католической церкви. Всѣ вопросы жизни были рѣшены заранѣе, и человѣкъ былъ спокоенъ; готовыя рѣшенія удовлетворяли всѣмъ нехитрымъ и немногосложнымъ требованіямъ его ума, его чувства, его совѣсти и его воображенія. Средневѣковой человѣкъ очень дорожилъ своимъ умственнымъ спокойствіемъ, охранялъ его всѣми зависящими отъ него средствами, и въ каждомъ случайномъ нарушителѣ этого спокойствія, въ каждой невольно сомнѣвающейся личности видѣлъ непримиримаго врага и отъявленнаго злодѣя. Между тѣмъ вся политическая и умственная будущность Европы, и даже всего человѣчества зависѣла отъ нарушенія того самодовольнаго спокойствія, которое составляло гордость и радость средневѣковыхъ людей. Весь нравственный кодексъ правъ и обязанностей долженъ былъ, втеченіе многихъ столѣтій, подвергаться, съ первой строки до послѣдней, самой упорной, самой тщательной, самой строгой, самой разносторонней и радикальной критикѣ. Безъ этого невозможно было никакое усовершенствованіе. И эту критику должны были производить сами же средневѣковые люди, по мнѣнію которыхъ данный кодексъ стоялъ неизмѣримо выше всякой критики.

Какъ же могло это сдѣлаться? Повидимому это было невозможно, повидимому умственное спокойствіе было неразрушимо; повидимому критикѣ не откуда было родиться и нечѣмъ было питаться. Въ самомъ дѣлѣ, готовыя рѣшенія должны были оставаться обязательными и не-

Digitized by Google

прикосновенными до тѣхъ поръ, пока въ нихъ не обнаружилось бы безъисходное и неистребимое внутреннее противорѣчіе. Для рожденія и развитія критики было необходимо, чтобы весь міръ средневѣкового человѣка раскололся пополамъ, и чтобы на каждой изъ двухъ половинокъ очутилось по одной изъ самыхъ священныхъ обязанностей, предписанныхъ человѣку его кодексомъ. Тогда средневѣковому человѣку поневолѣ пришлось бы выбирать; а чтобы сдѣлать выборъ, надо разсматривать, сравнивать, взвѣшивать, оцѣнивать, анализировать; надо много, долго и добросовѣстно размышлять, и размышлять именно о тѣхъ высшихъ вопросахъ жизни, которые разъ на всегда были почислены рѣшенными.

Въ XI вѣкѣ міръ средневѣкового человѣка дѣйствительно раскололся.

Папа поссорился съ императоромъ, и ссора ихъ затянулась на три столѣтія. Жизнь сама приступила къ средневѣковому человѣку съ мучительно неотразимыми вопросами. Куда идти, направо или налѣво? Кому измѣнить, папѣ или императору? Чѣмъ остаться, благочестивымъ католикомъ или вѣрнымъ подданнымъ?—Хочешь или не хочешь, а надъ этими вопросами надо задуматься, нельзя, невозможно не задуматься. Нейтралитетъ здѣсь немыслимъ. Устраниться отъ борьбы значитъ измѣнить обоимъ: и папѣ, и императору, значитъ нарушить всѣ обязанности, значитъ погубить себя не только въ глазахъ обѣихъ враждебныхъ партій, но даже въ глазахъ собственной совѣсти. Надо обсудить вопросъ и затѣмъ рѣшиться. Но что такое въ данномъ случаѣ значитъ *обсудить вопросъ?* Это значитъ разобрать и рѣшить силами собственнаго индивидуальнаго ума, кто правъ и кто виноватъ, папа или императоръ. А для этого надо выяснить себѣ, что такое государство? что такое религія и чѣмъ она должна быть? въ чемъ состоитъ назначеніе человѣка?—Словомъ, надо окунуться въ самыя глубокія пучины философіи, догматики, исторіи, политики и юриспруденціи.

Конечно только самое незначительное меньшинство способно отважиться на такой подвигъ изслѣдованія и выполнить его во всемъ его объемѣ. Но и того довольно, что это меньшинство, состоящее изъ самыхъ сильныхъ головъ даннаго общества, находитъ себѣ, въ самыхъ животрепещущихъ фактахъ современной дѣйствительности, достаточныя побужденія для такого напряженнаго и серьезнаго умственнаго труда, въ которомъ могутъ развернуться и закалиться великолѣпнѣйшія и полезнѣйшія силы человѣческаго ума. И того довольно, что это геніальное меньшинство, работая въ самыхъ глубокихъ тайникахъ философской и догматической учености, не разобщается съ интересами массы, и трудится постоянно надъ такими вопросами, которые, въ это же время, волнуютъ и озабочиваютъ простыхъ людей, старающихся во что бы то ни стало отыскать себѣ какое нибудь практическое рѣшеніе. Когда первоклассные умы работаютъ изъ всѣхъ силъ, и когда масса интересуется если не процессомъ, то по крайней мѣрѣ окончательными результатами ихъ трудовъ, тогда можно смѣло утверждать, что въ данномъ обществѣ кипитъ живая и свѣжая умственная дѣятельность, которая постоянно будетъ усиливаться и очищаться и наконецъ, рано или поздно, подчинитъ навсегда своему вѣчно-обновляющему вліянію всѣ отправленія общественной жизни.

Во время великой борьбы средневѣковыхъ властей, настоящіе интересы человѣчества, интересы, непонятные тогдашнимъ мыслителямъ и дѣятелямъ, но понятные всякому просвѣщенному европейскому историку, требовали не того, чтобы папа или императоръ одержалъ побѣду, а того, чтобы они взаимно уравновѣшивали другъ друга, чтобы борьба между ними тянулась какъ можно дольше, и чтобы они оба, такимъ образомъ, были поставлены въ необходимость постоянно возбуждать и усиливать умственное движеніе. Въ великой средневѣковой борьбѣ не было ни прогрессистовъ, ни ретроградовъ. Здѣсь историкъ не можетъ найти и не долженъ искать такой партіи, которая постоянно заслуживала бы его сочувствіе. Послѣ побѣды, на чью бы сторону она ни склонилась, побѣдитель оказался бы во всякомъ случаѣ злѣйшимъ врагомъ умственнаго движенія и политической свободы. А во время борьбы, обѣ партіи были одинаково полезны, потому что каждая изъ нихъ самымъ фактомъ своего существованія мѣшала торжеству своего противника, устраняла возможность примиренія и разрушала умственное спокойствіе средневѣковаго человѣка. Въ этомъ отношеніи, мрачный фанатикъ Григорій IX, учредитель инквизиціи, оказывалъ Европѣ такую же важную услугу, какъ и его противникъ, умный и высокообразованный Фридрихъ II.

Мысль о верховномъ господствѣ папы надъ всѣми правителями христіанскаго міра родилась, развернулась и ворвалась въ жизнь съ изумительной быстротой. Эту баснословно грандіозную мысль воспиталъ въ своей горячей головѣ нѣмецкій монахъ Гильдебрандъ. Сдѣлавшись папою подъ именемъ Григорія VII, тотъ же Гильдебрандъ выпустилъ свою любимую идею на свѣтъ и навсегда перессорилъ между собою высшихъ представителей обѣихъ властей, свѣтской и духовной. При всемъ моемъ уваженіи къ *общимъ причинамъ*, я долженъ сказать рѣшительно, что великая борьба императоровъ съ папами, борьба, повлекшая за собою неисчислимыя послѣдствія, была порождена личностью монаха Гильдебранда. И мнѣ кажется, что эта личность была не только ближайшимъ поводомъ къ борьбѣ, но даже настоящей причиной борьбы.

Digitized by Google

Если бы въ XI вѣкѣ не было на свѣтѣ одного геніальнаго фанатика, въ которомъ необузданная сила воображенія соединялась съ непоколебимымъ упорствомъ и съ проницательнымъ умомъ великаго государственнаго человѣка, если бы, говорю я, не случилось такой рѣдкой комбинаціи блестящихъ и почти противуположныхъ качествъ, то дѣло могло бы обойтись безъ борьбы, и вся исторія европейской цивилизаціи могла вылиться въ другую, неизвѣстную намъ форму.

Читатели мои, воспитавшіе свои историческія убѣжденія на Боклѣ, принимаютъ конечно мои слова за жалкій и притомъ очень избитый софизмъ. Они подумаютъ вѣроятно, что послѣ этого для довершенія нелѣпости и позора, мнѣ остается только утверждать, что реформацію сдѣлалъ Лютеръ, а французскую революцію графъ Мирабо.

Позвольте. Будемъ разсуждать спокойно, не оскорбляя другъ друга заранѣе рѣзкими приговорами.

Какъ далеко простирается вліяніе личнаго ума и личнаго характера на общее теченіе историческихъ событій? Это вопросъ очень важный, очень трудный, до сихъ поръ нерѣшенный и совершенно недопускающій никакихъ гуртовыхъ отвѣтовъ. Чтобы сколько нибудь приблизиться къ удовлетворительному разрѣшенію этого вопроса, надо тщательно воздерживаться отъ преждевременныхъ обобщеній, надо разсматривать и обсуживать каждое важное событіе отдѣльно, не увлекаясь тѣми готовыми формулами, которыя уже выведены изъ разсмотрѣнія другихъ событій. Мы конечно знаемъ очень хорошо, что въ развитіи реформаціи и революціи отдѣльныя личности были только болѣе или менѣе даровитыми выразителями общихъ подробностей и исполнителями общихъ желаній. Но что же изъ этого слѣдуетъ? Имѣемъ ли мы право утверждать, что это всегда такъ бываетъ, и что иначе и быть не можетъ? Имѣемъ ли мы право тотчасъ же переносить на всѣ историческія событія тѣ идеи, къ которымъ насъ привело внимательное изученіе двухъ фактовъ?—Мнѣ кажется, что такой образъ дѣйствій былъ бы съ нашей стороны черезчуръ опрометчивымъ.

И такъ, будемъ разсматривать положеніе и поступки Григорія VII совершенно независимо отъ того, что мы знаемъ о дѣятельности другихъ крупныхъ личностей, напримѣръ Лютера и Мирабо.

До Карла великаго положеніе римскихъ папъ было очень неблистательно. Они формально признавали себя подданными греческаго императора, согласіе котораго считалось необходимымъ при посвященіи каждаго новаго папы. Городъ Римъ находился подъ управленіемъ префекта, который былъ подчиненъ экзарху равенскому, намѣстнику греческаго императора въ Италіи. Папа могъ конечно своимъ личнымъ характеромъ заслужить себѣ любовь и уваженіе жителей; ему, какъ епископу, было очень удобно пріобрѣсти себѣ значительное вліяніе въ городѣ; но никакой оффиціально-признанной власти онъ не имѣлъ, все свое могущество онъ долженъ былъ самъ завоевывать себѣ святостью своей жизни, превосходствомъ своего ума и силою характера. Лонгобарды постоянно тѣснили Римъ и нѣсколько разъ пробовали присоединить его къ своимъ владѣніямъ. Греки почти совсѣмъ не защищали его. Въ началѣ VIII вѣка, иконоборческая ересь, водворившаяся въ Константинополѣ, прервала сношенія Рима съ восточной имперіей. Въ это же время Риму пришлось такъ плохо отъ лонгобардовъ, что папы стали постоянно обращаться къ франкамъ съ просьбой о помощи. Папа Стефанъ II вздумалъ даже написать къ отцу Карла великаго, Пипину, и ко всему франкскому народу письмо отъ имени апостола Петра. Этотъ маневръ даетъ намъ очень невыгодное понятіе о тогдашнемъ могуществѣ папы. Папа находится въ опасности и для полученія помощи дѣйствуетъ на воображеніе своей паствы именемъ апостола; стало быть, папа думаетъ, что его собственный авторитетъ недостаточенъ, что одинъ простой разсказъ объ его опасномъ положеніи не тронетъ читателей его письма, что его просьба или его приказанія останутся недѣйствительными. Конечно Стефанъ II оскорблялъ добрыхъ франковъ такимъ предположеніемъ. Франки и ихъ потомки французы всегда были расположены защищать папу и не потеряли этой благочестивой наклонности даже до нашихъ временъ, не смотря на легкомысленныя разсужденія Вольтера и его послѣдователей. Когда превратности судьбы привели Пія IX въ Гаэту, тогда французы тотчасъ отправились очищать Римъ отъ новыхъ лонгобардовъ. Но уже одно то обстоятельство, что Стефанъ счелъ нужнымъ пустить въ ходъ такое эстраординарное средство, показываетъ, до какой степени слаба была увѣренность папы въ собственномъ авторитетѣ.

Значитъ, авторитетъ былъ юнъ, слабъ, подверженъ сомнѣніямъ и колебаніямъ.

Тотъ же Стефанъ II возложилъ на Пипина корону меровинговъ и далъ ему и его сыновьямъ титулъ римскихъ патриціевъ. Предшественникъ Стефана, Захарія, одобрилъ низложеніе послѣдняго меровинга и вступленіе новой династіи на французскій престолъ. Впослѣдствіи конечно эти факты можно было перетолковать въ томъ смыслѣ, что папы уже въ VIII вѣкѣ распоряжались королевскими коронами и господствовали надъ Римомъ. Но въ свое время эти факты вовсе не имѣли такого обширнаго значенія. Пипинъ, подобно всякому узурпатору, чувствовалъ потребность къ чему нибудь прислониться и чѣмъ нибудь придать своей власти пріятный колоритъ законности, безъ котораго онъ пожалуй могъ бы обойтись, но который все-таки успо-

Digitized by Google

коительнымъ образомъ дѣйствовалъ на его нервы. Къ кому же ему было обратиться за желаемымъ одобреніемъ и поощреніемъ? Не къ сосѣднимъ же государямъ? Вѣдь это значило бы признать за ними право вмѣшиваться въ дѣла Франціи. Это было бы ни съ чѣмъ несообразно и очень унизительно для національной чести и для самого Пипина. Оставалось только обратиться къ папѣ, потому что его вмѣшательство было неопасно, и ему, какъ представителю религіи, можно было оказывать какіе угодно знаки уваженія, безъ ущерба для собственнаго достоинства. Папа самъ нуждался въ помощи Пипина; стало быть, можно было разсчитывать навѣрное, что онъ произнесетъ именно тѣ слова, которыя Пипину желательно было отъ него услышать.

Что же касается до производства Пипина и его дѣтей въ римскіе патриціи, то есть въ правители города Рима, то тутъ мы опять имѣемъ дѣло съ отчаяннымъ маневромъ, похожимъ на письмо съ того свѣта. Папа, какъ утопающій, хватается за всевозможныя соломинки. Онъ со страху готовъ произвести Пипина не только въ патриціи, но пожалуй даже и выше, лишь бы только Пипинъ согласился унять лонгобардовъ; это производство показываетъ только слабость и робость папы, шаткость его авторитета, на который онъ самъ не смѣетъ еще полагаться, но оно нисколько не доказываетъ того, что назначеніе римскихъ правителей когда нибудь прежде дѣйствительно зависѣло отъ папы. Исторія говоритъ положительно, что оно зависѣло отъ восточнаго императора; когда же прерывались сношенія Рима съ Византіей, тогда оно переходило къ римскому народу, который видѣлъ въ папѣ своего епископа, но никакъ не государя.

При Карлѣ великомъ папы держали себя тише воды, ниже травы. Скромность ихъ доходила до такихъ размѣровъ, что они позволяли Карлу хозяйничать и командовать даже въ области догмата. Скромность ихъ не измѣнила имъ даже тогда, когда Карлъ приказалъ одному изъ своихъ придворныхъ богослововъ написать книгу противъ почитанія иконъ.

За эту неизмѣнную покорность, Карлъ наградилъ папу цѣлою областью, которая однако ни при самомъ Карлѣ, ни при его потомкахъ, не поступала дѣйствительно подъ власть папы. При карловингахъ папѣ не удалось сдѣлаться владѣтельной особой; всѣ его права остались на бумагѣ, но за то папа сдѣлался самымъ богатымъ помѣщикомъ во всемъ Римѣ; ему было уступлено, на правахъ собственника, но не государя, значительное пространство земли въ бывшемъ равеннскомъ экзархатѣ, присоединенномъ къ новой западной имперіи.

Богатство стало привлекать на папскій престолъ такихъ людей, которые вовсе не отличались чистотой нравственности и нисколько не желали отрекаться отъ грѣховныхъ прелестей бреннаго міра. Въ IX вѣкѣ духовное званіе сдѣлалось самой вѣрной дорогою къ деньгамъ, къ почестямъ и ко всевозможнымъ житейскимъ удовольствіямъ. Всѣ епископы, всѣ монастыри, всѣ приходскія церкви сдѣлались богатыми и сильными землевладѣльцами. Мухи, разумѣется, со всѣхъ сторонъ полетѣли туда, гдѣ былъ собранъ медъ. Со свойственною имъ азартностью и предпріимчивостью, эти мухи—любители доходныхъ и почетныхъ мѣстъ — стали бороться между собою всѣми возможными средствами. Въ Римѣ, гдѣ хранился медъ самаго высокаго достоинства, пылкость любителей дошла наконецъ до того, что въ X вѣкѣ почти ни одному папѣ не удалось ни добраться до престола честнымъ путемъ, ни умереть на престолѣ естественною смертью. Въ началѣ X вѣка всѣ папы были креатурами трехъ знатныхъ и богатыхъ женщинъ, имѣвшихъ безчисленное множество любовниковъ. Затѣмъ папскимъ престоломъ распоряжался, впродолженіе двадцати-двухъ лѣтъ, Альберикъ, сынъ одной изъ этихъ женщинъ, Марозіи. Далѣе начинается господство трехъ Оттоновъ, продолжавшееся до начала слѣдующаго столѣтія. Въ это время папы зависѣли то отъ нѣмцевъ, то отъ знатныхъ римлянъ, смотря потому, гдѣ находился императоръ—въ Италіи или въ Германіи. Когда императоръ являлся въ Римъ, тогда онъ обыкновенно сгонялъ прочь папу, опозореннаго множествомъ гнусныхъ поступковъ, и сажалъ на его мѣсто какого нибудь приличнаго итальянскаго или нѣмецкаго прелата. Какъ только императоръ уходилъ изъ Рима, такъ римляне тотчасъ возмущались, римскіе магнаты начинали разбойничать, и новый папа, для спасенія своей жизни, бѣжалъ безъ оглядки, послѣ чего въ Римѣ начиналась новая борьба за очистившуюся вакансію. Тогда снова являлся императоръ; Римъ украшался висѣлицами и эшафотами, и на папскомъ престолѣ водворялось нѣкоторое благообразіе, вплоть до новаго удаленія императора въ Германію. Во все это время политическое значеніе папства было совершенно ничтожно; римляне ненавидили и презирали папу; они постоянно пробовали устроить у себя республиканское правительство, и ихъ попытки оказывались неудачными только потому, что Оттоны, при каждомъ своемъ появленіи въ Римѣ, уничтожали безъ остатка всѣ зародыши республиканской организаціи. Что же касается до папъ, то они, при всей своей ненависти къ идеѣ римской республики, сами по себѣ не могли ничего сдѣлать противъ нея, и умѣли только приносить императорамъ слезныя жалобы на своеволіе римскаго народа. Подвергаясь презрѣнію простыхъ людей, защищая съ трудомъ свою жизнь противъ властолюбивыхъ магнатовъ, искавшихъ папскаго престола для себя или для своихъ родственниковъ, папы X вѣка не могли и думать о какомъ бы то ни было соперничествѣ съ императорами. Папы

Digitized by Google

заботились только о томъ, чтобы какъ нибудь усидѣть на своемъ мѣстѣ; эта задача была на столько замысловата, что поглощала всѣ ихъ умственныя силы, и все-таки оставалась неразрѣшенною; многимъ папамъ приходилось летѣть съ престола въ тюрьму, гдѣ ихъ оставляли безъ пищи, или гдѣ имъ просто затягивали горло веревкой. Сила папъ заключалась въ это время или въ покровительствѣ императора, или въ родственныхъ связяхъ съ богатыми и знатными римскими фамиліями. Когда папѣ измѣняли эти двѣ опоры, тогда паденіе его становилось неизбѣжнымъ. Папское достоинство само по себѣ не только не доставляло папѣ никакого могущества, но даже не ограждало его собственной личности отъ самаго грубаго насилія.

VII.

ГИЛЬДЕБРАНДЪ.

Въ XI вѣкѣ папскимъ престоломъ владѣли, впродолженіи тридцати-двухъ лѣтъ (1012—1044) графы Тускуланскіе, потомки знаменитой Марозіи. Послѣдній папа изъ этой фамиліи, Бенедиктъ IX, попалъ на престолъ десятилѣтнимъ мальчикомъ. Жизнь этого юнаго папы была до такой степени неприлична и переполнена преступленіями, что римляне наконецъ, въ 1044 году, выгнали его изъ города и выбрали на его мѣсто Іоанна, епископа сабинскаго, который принялъ имя Сильвестра III. Бенедиктъ привелъ въ Римъ вооруженную шайку своихъ вассаловъ, и Сильвестръ принужденъ былъ бѣжать. Бенедиктъ снова захватилъ папскую тіару и вслѣдъ за тѣмъ продалъ ее одному священнику Іоанну, который считался въ Римѣ особенно благочестивымъ и добродѣтельнымъ человѣкомъ; этотъ покупатель принялъ имя Григорія VI.

Бенедиктъ въ скоромъ времени нарушилъ условіе, заключенное съ Григоріемъ и, получивши отъ него деньги, не отступился отъ своихъ притязаній на папское достоинство. Сильвестръ, съ своей стороны, считалъ себя законнымъ папою. Всѣ трое претендентовъ нашли возможность войдти въ Римъ и укрѣпиться въ различныхъ городскихъ кварталахъ. Бенедиктъ засѣдалъ въ церкви св. Іоанна, Григорій — въ церкви св. Маріи, а Сильвестръ — въ церкви св. Петра. Такія чудеса были уже на столько обыкновенны, что римляне даже перестали имъ удивляться. Папы ссорились и воевали между собой больше года. Въ 1046 году ихъ помирилъ германскій король, Генрихъ III. Онъ вошелъ въ Италію съ войскомъ и собралъ въ городкѣ Сутри соборъ, который отрѣшилъ отъ должности всѣхъ троихъ папъ и возвелъ на престолъ епископа бамбергскаго, рекомендованнаго самимъ королемъ. Передъ этимъ епископомъ, принявшимъ имя Климента II, опиравшимся на нѣмецкія войска, стушевались остальные претенденты. Климентъ II короновалъ Генриха императорской короной, и съ этого времени до самой смерти Генриха III право назначать папъ принадлежало одному императору. Римскій народъ и римское духовенство были устранены отъ выборовъ; ближайшіе преемники Климента — Дамазъ II, Левъ IX и Викторъ II, были назначены Генрихомъ III.

Самые ревностные католики не видѣли въ этомъ энергическомъ вмѣшательствѣ императора ничего незаконнаго и предосудительнаго; папы, назначенные Генрихомъ, были люди почтенные и благочестивые; они управляли дѣлами церкви спокойно и благоразумно, пользовались общимъ уваженіемъ и не встрѣчали себѣ нигдѣ ни сопротивленія, ни соперниковъ. Съ восшествія на престолъ Климента II до смерти Генриха III, не было въ католическомъ мірѣ ни одного антипапы; ревностные католики радовались этому прекращенію скандаловъ, благословляли имя Генриха III и желали отъ души, чтобы водворенное имъ благообразіе упрочилось при его преемникахъ. Такъ какъ папство до того времени никогда не было великою силой, способною бороться съ свѣтскими правителями, то католики не имѣли никакой возможности и никакого основанія сокрушаться о томъ, что папа находится въ зависимости отъ императора. Гораздо лучше, почетнѣе и безопаснѣе было зависѣть отъ императора, чѣмъ отъ распутной женщины или отъ какого нибудь атамана разбойниковъ. А что папа можетъ быть независимъ и силенъ, что онъ можетъ опираться на одно религіозное чувство католической Европы, объ этомъ никто не умѣлъ составить себѣ даже приблизительное понятіе. Эти обильные источники папскаго могущества надо было еще открыть; они были неизвѣстны, и до нихъ невозможно было добраться въ такое время, когда папы, въ своей собственной столицѣ, жили какъ разбойники и умирали въ тюрьмѣ мучительною смертью. Дѣятельность Гильдебранда начинается въ послѣдніе годы царствованія Генриха III.

Послѣ смерти Льва IX, римляне уполномочили Гильдебранда ходатайствовать передъ императоромъ о назначеніи въ папы того прелата, котораго онъ, Гильдебрандъ, найдетъ наиболѣе достойнымъ. Являясь такимъ образомъ представителемъ народа и духовенства, Гильдебрандъ указалъ Генриху на епископа айхштетскаго, и Генрихъ, уважая личный характеръ ходатая и находя его выборъ совершенно основательнымъ, охотно исполнилъ его желаніе. Епископъ айхштетскій сдѣлался папою, подъ именемъ Виктора II. При Викторѣ II и при трехъ слѣдующихъ папахъ — при Стефанѣ IX, при Николаѣ II и при Александрѣ II — Гильдебрандъ пользовался постоянно неограниченнымъ вліяніемъ на всѣ дѣла церковнаго управленія. Онъ былъ единственнымъ совѣтникомъ и полновластнымъ министромъ папъ впродолженіе двадцати лѣтъ. Въ это время онъ

Digitized by Google

выработалъ и провелъ въ жизнь цѣлый рядъ законодательныхъ мѣръ первостепенной важности, которыя всѣ клонились къ тому, чтобы возвысить духъ надъ матеріей, сдѣлать клириковъ настоящими представителями духовнаго начала, и затѣмъ подчинить ихъ господству весь католическій міръ. Генрихъ III умеръ въ 1056 году.

Въ 1058 году, Стефанъ IX объявилъ, по совѣту Гильдебранда, что бракъ несовмѣстенъ съ священствомъ, что всѣ жены священниковъ—наложницы, и что всѣ священники, которые не разведутся съ своими женами, немедленно отлучаются отъ церкви.

Въ 1059 г. преемникъ Стефана, Николай II собралъ соборъ въ Латеранѣ, и, также по совѣту Гильдебранда, торжественно запретилъ клирикамъ принимать отъ свѣтскихъ людей какія бы то ни было церковныя бенефиціи...

На этомъ же соборѣ право выбирать папу было предоставлено кардиналамъ. Остальная часть римскаго духовенства и народъ должны были, по словамъ декрета, соображаться съ ихъ указаніями, и весь процессъ выбора долженъ былъ совершаться «съ соблюденіемъ должнаго уваженія къ королю Генриху, будущему императору, и при содѣйствіи его нунція, канцлера Ломбардіи, — которымъ апостольскій престолъ предоставилъ личную привиллегію участвовать въ выборѣ своимъ согласіемъ».

Въ 1061 году, послѣ смерти Николая II, Гильдебрандъ сдѣлалъ еще шагъ впередъ. Подъ его руководствомъ совершились выборы новаго папы Александра II, и при этомъ, не смотря на опредѣленіе латеранскаго собора, избиратели не испрашивали согласія ни у Генриха, ни у его матери, управлявшей государствомъ во время его продолжительнаго малолѣтства, ни у его нунція, канцлера Ломбардіи.

Германскій дворъ, въ отвѣтъ на это оскорбленіе, выбралъ другого папу, Кадалоо, епископа парискаго, которому удалось, при помощи враговъ Гильдебранда, проникнуть въ Римъ и одержать побѣду надъ войсками Александра. Кадалоо утвердился въ Ватиканѣ и принялъ имя Гонорія II. Но потомъ его выгналъ изъ Рима герцогъ тосканскій, и Александръ II воротился въ свой дворецъ.

Послѣ смерти Александра, въ 1073 году, папою сдѣлался самъ Гильдебрандъ, подъ именемъ Григорія VII.

Новому папѣ незачѣмъ было выдвигать впередъ какія нибудь новыя требованія. Ему надо было только поддерживать и развивать тѣ идеи, которыя, по его же совѣту, были торжественно заявлены его предшественниками. Безбрачіе духовенства и его полное освобожденіе отъ феодальной зависимости — этихъ двухъ принциповъ было совершенно достаточно для того, чтобы соорудить теократическое зданіе невиданныхъ размѣровъ. Заручившись этими двумя принципами, надо было только идти на проломъ, не поддаваясь ни на какія соглашенія, не принимая никакихъ половинныхъ уступокъ, не смущаясь никакими препятствіями, презирая всѣ опасности и разбивая хладнокровно тысячи человѣческихъ существованій. Для всего этого требовалась конечно необыкновенная сила характера. Но эта сила, еще въ большей степени, необходима была прежде, тогда, когда Гильдебрандъ, черезъ своихъ предшественниковъ въ первый разъ формулировалъ свои основные принципы. Эти принципы, съ самаго начала, не могли разсчитывать ни на чью дѣятельную поддержку, потому что они, какъ выраженіе самаго чистаго и самаго строгаго спиритуализма, шли въ разрѣзъ со всѣми земными интересами.

Декретъ о безбрачіи духовенства возбудилъ противъ себя цѣлую бурю; многіе священники и даже нѣкоторые епископы были обвѣнчаны законнѣйшимъ образомъ; всѣ ихъ семейныя связи обрывались теперь вдругъ, по необъяснимому для нихъ капризу папы; ихъ жены теряли всякую респектабельность; ихъ дѣти оказывались побочными дѣтьми; съ такимъ неожиданнымъ ударомъ невозможно было помириться добровольно; миланское духовенство отказалось повиноваться, сославшись на указанія св. Амвросія, положительно разрѣшившаго браки священниковъ, и наконецъ противупоставило папскому декрету рѣшеніе мѣстнаго собора, созваннаго нарочно для обсужденія этого вопроса. Кого поражалъ и оскорблялъ папскій декретъ—это было ясно; но кого онъ могъ расположить въ свою пользу—это было покрыто мракомъ неизвѣстности. Нанося жестокій ударъ женатымъ священникамъ, декретъ о безбрачіи никакъ не могъ разсчитывать на особенное сочувствіе монашествующаго духовенства. При прежнемъ порядкѣ, монахъ пользовался особеннымъ уваженіемъ, какъ человѣкъ, наложившій на себя добровольно такіе тяжкіе обѣты, которые не всякому священнику оказываются по силамъ. При прежнемъ порядкѣ, женатый клирикъ стоялъ выше мірянина, а монахъ выше женатаго клирика. Послѣ папскаго декрета, всѣ клирики должны были сдѣлаться монахами, и слѣдовательно прежнимъ монахамъ приходилось спуститься съ третьей ступеньки на вторую. Сдѣлавшись обязательнымъ, монашескій подвигъ долженъ былъ потерять въ глазахъ массы часть своей грандіозности. Вѣсъ духовенства въ цѣломъ его составѣ долженъ былъ увеличиться, но спеціальный вѣсъ монашества долженъ былъ уменьшиться, именно потому, что монахъ дѣлался обыденнымъ явленіемъ для жителей каждой деревни. Стало быть, монахамъ не было никакого особеннаго интереса ратовать въ пользу декрета о безбрачіи. Народъ конечно уважалъ клириковъ, отказывавшихся отъ брака, больше чѣмъ женатыхъ священниковъ, обремененныхъ семейными заботами и по-

Digitized by Google

груженныхъ въ хозяйственныя дрязги; но при рѣшеніи спорныхъ догматическихъ вопросовъ, народъ обыкновенно соглашался съ своимъ духовенствомъ и считалъ еретиками тѣхъ людей, которыхъ духовенство клеймило этимъ названіемъ. Ни папа, ни его ближайшіе совѣтники, не могли имѣть прямыхъ сношеній съ народными массами. Естественными и необходимыми посредниками между массами и бывшимъ духовнымъ начальствомъ были все-таки простые священники и монахи. Поэтому провести при помощи массъ реформу, непріятную для низшаго духовенства, было очень мудрено. Проходя черезъ руки низшаго духовенства, извѣстіе о реформѣ легко могло превратиться въ ужасную вѣсть о томъ, что папа сдѣлался еретикомъ и колдуномъ, продалъ душу дьяволу и поклялся ему погубить чистоту католическаго ученія. Массы повѣрили бы этому извѣстію, во-первыхъ потому, что въ тогдашней Европѣ кромѣ клириковъ, почти совсѣмъ не было грамотныхъ людей, во-вторыхъ потому, что обвиненіе въ ереси и въ колдовствѣ было въ то время очень обыкновенно и наконецъ, въ третьихъ потому, что Римъ уже давно изумлялъ всю Европу самыми разнообразными скандалами. Словомъ, Стефанъ IX и Гильдебрандъ очутились бы въ самомъ двусмысленномъ и опасномъ положеніи, если бы противники ихъ реформы осмѣлились дѣйствовать единодушно и съумѣли найдти себѣ искусныхъ и твердыхъ вождей.

На что же собственно разсчитывалъ Гильдебрандъ, пускаясь въ такое рискованное предпріятіе?

Гильдебрандъ понималъ инстинктомъ своего генія, что никто изъ его мелкихъ противниковъ не устоитъ противъ его желѣзной воли; онъ вѣрилъ въ силу своей идеи; онъ вѣрилъ также въ безграничную твердость собственной личности; онъ зналъ, что онъ съумѣетъ и не побоится пустить въ ходъ всѣ возможныя, пожалуй даже самыя революціонныя средства; вокругъ него группировалась горсть слѣпо преданныхъ ему фанатиковъ, ярыхъ и неустрашимыхъ спиритуалистовъ, находившихся подъ обаяніемъ его генія и готовыхъ, по первому его слову, отправиться на край свѣта за мученическимъ вѣнцомъ. Самъ онъ, въ случаѣ неудачи, вовсе не прочь былъ отъ того, чтобы погибнуть за свое дѣло. Послѣ этого, чего же ему было бояться, и отчего же ему было не начать такой борьбы, въ которой повидимому всѣ шансы были противъ него?

Но сама собою эта борьба папства съ естественными стремленіями низшаго духовенства не могла ни возникнуть, ни рѣшиться въ ту сторону, въ которую ее рѣшилъ суровый геній Гильдебранда. Десятки посредственностей могутъ сдѣлать работу одного титана въ томъ случаѣ, когда приходится плыть по теченію человѣческихъ интересовъ и страстей. Но сдѣлать дѣло, совершенно противное человѣческой природѣ, приневолить тысячи людей къ тому, что нисколько не соотвѣтствуетъ ихъ выгодамъ и потребностямъ, это доступно только титану, поглощенному односторонним міросозерцаніемъ.

Тутъ титанъ оказывается незамѣнимымъ. Только ошибка титана можетъ сдѣлаться заразительной для всѣхъ его современниковъ и видоизмѣнить своимъ вліяніемъ бытовыя формы многихъ послѣдующихъ столѣтій.

Возстановивъ противъ себя низшее духовенство, Гильдебрандъ на слѣдующій годъ завязалъ еще болѣе опасную борьбу со всѣми феодальными властями. Каждый епископскій престолъ, каждая церковь, каждый монастырь имѣли по одному или по нѣсколько помѣстій, находившихся въ феодальной зависимости отъ императора, отъ королей, отъ герцоговъ, или отъ какихъ нибудь другихъ свѣтскихъ лицъ. Епископъ, аббатъ или священникъ, вступая въ должность, приносилъ этому свѣтскому сюзерену установленную и общеобязательную присягу въ вѣрности. Если сюзеренъ былъ дурно расположенъ къ новому духовному лицу, то онъ могъ не принять его присяги и отказать ему такимъ образомъ въ правахъ на помѣстье. Безъ помѣстья сама должность не имѣла никакой привлекательности. Поэтому во избѣжаніе такихъ непріятныхъ столкновеній между поступающимъ на мѣсто клирикомъ и сюзереномъ помѣстья установился тотъ обычай, что поступающій выпрашивалъ предварительно согласіе сюзерена и становился епископомъ или аббатомъ только тогда, когда былъ увѣренъ, что отъ него не уйдутъ земли, приписанныя къ епископскому престолу или къ монастырю. Такимъ образомъ матерія одерживала рѣшительную и самую скандальную побѣду надъ духомъ. Короли, герцоги, графы, бароны, умѣвшіе только драться и безчинствовать, сдѣлались раздавателями церковныхъ должностей, насажали на епископскія и аббатскія мѣста своихъ родственниковъ и любимчиковъ, и наконецъ повели обширную торговлю этими мѣстами, до которыхъ всегда было много охотниковъ.

Въ этомъ дѣлѣ даже мысль о реформѣ не могла возникнуть безъ вмѣшательства какого нибудь геніальнаго, неподкупно-честнаго и неустрашимаго спиритуалиста. Одни продавали мѣста, другіе ихъ покупали; одни оказывали милости, другіе ими пользовались. Грѣхъ и выгода дѣлились пополамъ, къ обоюдному удовольствію заинтересованныхъ сторонъ, которыя сосредоточивали въ своихъ рукахъ всю матеріальную силу и весь нравственный авторитетъ средневѣкового общества. Кто же могъ протестовать и требовать реформы? Кто могъ поднять этотъ вопросъ и поддержать его?

Вы скажете пожалуй, что это могъ сдѣлать народъ, который не продавалъ и не покупалъ

Digitized by Google

мѣстъ, не награждалъ своихъ фаворитовъ и самъ не пользовался наградами отъ богатыхъ милостивцевъ. Народъ дѣйствительно протестовалъ кое-гдѣ ересями и возстаніями, но его протесты были всегда до такой степени разрознены и необдуманы, что они не могли имѣть никакого существеннаго вліянія на измѣненіе заведеннаго порядка. Довѣрчивая масса находилась совершенно въ рукахъ людей, продающихъ и покупающихъ доходныя мѣста; эта масса съ ужасомъ сторонилась отъ тѣхъ немногихъ обличителей, которые выдвигались изъ ея среды. Массу можно было усовѣстить копьями и запугать огнемъ чистилища. Съ этой стороны, продавцамъ и покупателямъ, милостивцамъ и фаворитамъ нечего было бояться.

Добродѣтельныя посредственности, честные, но черезчуръ наивные аскеты, могли протестовать и дѣйствительно протестовали чувствительными проповѣдями, въ которыхъ доказывалась феодальному міру необходимость покаяться, исправиться, проникнуться уваженіемъ къ святынѣ, прекратить предосудительную торговлю мѣстами, на будущее время раздавать должности достойнымъ людямъ, а не искуснымъ льстецамъ и не щедрымъ разсыпателямъ звонкой монеты.

Феодальный міръ восхищался краснорѣчіемъ проповѣдниковъ, одобрялъ возвышенность ихъ чувствъ, проливалъ слезы умиленія и давалъ себѣ торжественное обѣщаніе выстроить нѣсколько новыхъ церквей, если удастся сорвать хорошую сумму денегъ съ будущихъ покупщиковъ церковныхъ должностей. Дальше обѣта построить церковь или сходить на богомолье никакое раскаяніе феодальнаго міра не могло простираться, потому что дѣйствительное исправленіе равнялось для него самоуничтоженію. Самые честные люди не смѣли желать этого дѣйствительнаго исправленія; имъ хотѣлось, чтобы ихъ современники прониклись добродѣтельными стремленіями, но ихъ пугала такая перестройка общественныхъ отношеній, которая отняла бы у этихъ современниковъ возможность обогащаться разными неправдами. Эта перестройка казалась невозможною, потому что она должна была простираться слишкомъ далеко, затронуть интересы и права самыхъ сильныхъ особъ, и такимъ образомъ приготовить обществу длинный рядъ мучительныхъ потрясеній, которыхъ исходъ не могъ быть угаданъ заранѣе.

Чтобы прекратить скандальную торговлю церковными должностями, надо было перевернуть всѣ установившіяся отношенія между церковью и государствомъ, надо было отнять у мірянъ всякое вліяніе на выборъ и назначеніе клириковъ, и при этомъ, надо было прежде всего уничтожить общепризнанное и освященное вѣками право императора утверждать выбраннаго папу.

Но общее теченіе событій шло совсѣмъ не къ тому, чтобы ослабить это право императора. Напротивъ того, императоръ Генрихъ III, безъ всякаго насилія, получилъ право не только утверждать выбраннаго папу, но даже прямо выбирать и назначать его. Онъ пользовался этимъ правомъ такъ честно, умѣренно и благоразумно, что никому не давалъ повода къ жалобамъ и къ сопротивленію.

Никто не могъ сказать, чтобы какой нибудь императоръ когда нибудь посадилъ на папскій престолъ недостойнаго любимца или богатаго покупателя. За то каждый могъ припомнить, какимъ образомъ папа Бенедиктъ IX сначала купилъ свою тіару у представителей народа и духовенства, а потомъ перепродалъ ее за хорошую цѣну Григорію VI. Если бы дѣла были предоставлены своему естественному теченію, если бы добродѣтельныя посредственности, занимавшія въ это время папскій престолъ, не нашли себѣ геніальнаго руководителя, умѣвшаго создавать событія, вмѣсто того, чтобы подчиняться имъ,— то папы, къ концу XI вѣка, сдѣлались бы, въ отношеніи къ нѣмецкимъ императорамъ, тѣмъ, чѣмъ были, въ отношеніи къ своимъ государямъ, византійскіе патріархи. Это совершенное подчиненіе папства было тѣмъ болѣе неизбѣжно, что на германскомъ престолѣ появлялись, одинъ за другимъ, впродолженіе двухъ столѣтій, отъ Генриха III до Фридриха II, то есть до половины XIII вѣка, люди необыкновенно даровитые, твердые, мужественные и дѣятельные.

Освобожденіе церкви отъ феодальной зависимости представляло еще и другія трудности. Церковь владѣла землями. На эти земли феодалы-сюзерены имѣли самыя безспорныя права. Если клирики не хотѣли дѣлаться вассалами землевладѣльца, то ихъ никто къ этому и не принуждалъ. На ихъ личную свободу не посягалъ никто. Но какъ же распорядиться съ землею? Если клирикъ не желаетъ присягать сюзерену, то онъ долженъ или отказаться отъ земли, или отнять ее насильно у законнаго владѣтеля. Гильдебрандъ конечно очень радъ былъ обречь себя и всѣхъ своихъ сослуживцевъ на добровольную бѣдность, но сослуживцы смотрѣли на дѣло совсѣмъ другими глазами, и нисколько не желали покупать себѣ такой цѣною нравственную самостоятельность.—При своемъ безграничномъ презрѣніи къ матеріи, Гильдебрандъ не могъ уважать право собственности, поэтому онъ былъ готовъ, безъ дальнѣйшихъ церемоній, обобрать свѣтскихъ сюзереновъ въ пользу церкви, если только эта споліація была необходима для независимости духовенства. Но свѣтскіе владѣльцы не чувствовали ни малѣйшаго презрѣнія къ матеріи и готовы были драться на смерть за свои священныя права. Куда ни кинь, вездѣ получался въ результатѣ клинъ; весь теократическій планъ Гильдебранда былъ составленъ изъ неразрѣшимыхъ задачъ.

Превратить всѣхъ членовъ цѣлой многочислен-

Digitized by Google

ной корпораціи въ ангеловъ, или по меньшей мѣрѣ въ строгихъ аскетовъ — первая невозможность.

Развязать или разрубить узелъ феодальной зависимости, то есть пустить по міру клириковъ, или обобрать воинственныхъ магнатовъ — вторая невозможность.

Подчинить папѣ и императора, и королей — третья невозможность.

Эти три невозможности выходятъ изъ одной общей причины, именно изъ того обстоятельства, что никакое человѣческое общество не можетъ подчинить всѣ отправленія своей жизни одной идеѣ, какъ бы ни была эта идея возвышенна и прекрасна. У человѣческаго организма есть свои потребности, влеченія и страсти, которыхъ не можетъ задавить никакая доктрина. Въ теоріи всѣ средневѣковые люди утверждали единогласно, что человѣкъ прежде всего долженъ заботиться о спасеніи своей души. Но въ дѣйствительной жизни почти никто не подчинялъ своихъ поступковъ этой высшей цѣли. Для спасенія души, отъ человѣка вообще, а отъ клирика въ особенности, требовалось цѣломудріе. Но живой организмъ побуждалъ человѣка вообще, а слѣдовательно и клирика, искать себѣ любви и наслажденія. Для спасенія души отъ человѣка требовалось презрѣніе къ земнымъ благамъ. Но земныя блага соотвѣтствовали потребностямъ человѣческаго организма, и человѣкъ вмѣсто суроваго презрѣнія чувствовалъ къ нимъ самую страстную нѣжность. Для спасенія души отъ человѣка требовалось самоуничтоженіе, умерщвленіе собственной воли и пассивное повиновеніе высшимъ духовнымъ авторитетамъ. Но здоровый организмъ чувствовалъ свою силу, вырабатывалъ себѣ принципы кулачнаго права и крѣпко держался за эти любезные принципы даже во время своихъ объясненій съ высшими авторитетами. Всѣ эти самородные протесты буйнаго организма противъ возвышенной доктрины подвергались въ теоріи рѣшительному осужденію и назывались человѣческими слабостями. Но теорія оставалась теоріей, и ни у кого не доставало духу начать противъ этихъ *слабостей* серьезную истребительную войну. Многіе искреніе спиритуалисты уходили отъ этихъ ненавистныхъ слабостей въ уединеніе монастырской кельи, но никому не приходила въ голову титанически-смѣлая мысль перестроить весь міръ по такому плану, въ которомъ для этихъ слабостей не было бы мѣста. За подобную перестройку всего менѣе могли приняться тѣ папы, которыхъ характеры были цѣликомъ составлены изъ человѣческихъ слабостей. Невозможность этой перестройки была очевидна для всѣхъ людей, начиная отъ самыхъ близорукихъ и кончая самыми проницательными. Чтобы усомниться въ этой невозможности, чтобы довести въ себѣ это сомнѣніе до полнаго и страстнаго отрицанія и чтобы наконецъ на этомъ отрицаніи построить всю свою дѣятельность — надо было обладать совершенно исключительной умственной организаціей, такою организаціей, которая можетъ сформироваться одинъ разъ въ тысячу лѣтъ. Не явись такая организація въ половинѣ XI вѣка, не выскажи она съ высоты папскаго престола самыхъ неосуществимыхъ требованій, — тогда обѣимъ властямъ не изъ за чего было бы бороться между собою; ихъ поссорили не выгоды, а принципы, проведенные до самаго конца съ такой неумолимой послѣдовательностью, которая клонилась къ совершенному уничтоженію человѣческихъ слабостей. Воздержаться отъ этого послѣдовательнаго проведенія принциповъ было очень нетрудно; этимъ умѣньемъ воздерживаться обладаютъ и посредственности, вслѣдствіе своего малодушія, и геніальные люди, вслѣдствіе своей способности отличать возможное отъ невозможнаго. Нарушить это воздержаніе могла только странная личность, въ которой послѣдовательность, смѣлость, энергія и разсудительность первокласснаго генія соединялись съ близорукостью или даже съ ослѣпленіемъ неизлечимаго мономана. Когда эта личность произнесла свои роковыя требованія, когда этотъ великій средневѣковый enfant terrible высказалъ послѣдніе выводы изъ общепризнанныхъ основныхъ идей, тогда борьба сдѣлалась неизбѣжной, потому что преемники странной личности уже не могли отступить назадъ, не могли изгладить произведенное впечатлѣніе, не могли и не смѣли уличить величайшаго изъ своихъ предшественниковъ въ грубыхъ и дерзкихъ заблужденіяхъ. Съ точки зрѣнія доктрины, никакихъ заблужденій тутъ и не было; требованіями Гильдебранда нарушались только законы человѣческой природы, о которыхъ нисколько не заботились тогдашнія теоріи. Стало быть преемники Гильдебранда были поставлены въ необходимость защищать его требованія, которыхъ они однако сами не рѣшились бы выдвинуть.

VIII.

ЗАМОКЪ КАНОССА И КРѢПОСТЬ ТРИБУККО.

Послѣ многихъ безуспѣшныхъ переговоровъ и энергическихъ письменныхъ столкновеній съ молодымъ королемъ Генрихомъ IV, нисколько не желавшимъ сдѣлаться слугою папы, Григорій VII, въ 1076 году, собралъ въ Римѣ соборъ, отлучилъ непокорнаго короля отъ церкви, объявилъ его недостойнымъ и неспособнымъ царствовать и разрѣшилъ его подданныхъ отъ присяги. Этотъ поступокъ Григорія не имѣетъ себѣ въ прошедшемъ ничего подобнаго. До него никто изъ папъ не считалъ себя въ правѣ распоряжаться коронами. Никто изъ предшественниковъ Григорія не чувствовалъ въ себѣ на то ни достаточно смѣлости, ни достаточно силы. Неслыханная мѣра,

Digitized by Google

пущенная въ ходъ Григоріемъ VII, увѣнчалась самымъ блистательнымъ успѣхомъ. Противъ Генриха поднялась большая часть Германіи. Къ искреннимъ фанатикамъ присоединились всѣ политическіе враги молодого короля. Генриху скоро сдѣлалось такъ плохо, что онъ въ началѣ 1077 года принужденъ былъ пробраться тайкомъ въ Италію и принести Григорію повинную голову. Григорій находился въ это время въ замкѣ Каноссѣ, принадлежавшемъ графинѣ Матильдѣ Тосканской, самой яростной и самой могущественной защитницѣ папскаго престола. Григорій собирался отправиться въ Германію и доканать Генриха своимъ присутствіемъ. Генрихъ послалъ въ Каноссу къ папѣ самыхъ важныхъ итальянскихъ магнатовъ и прелатовъ, чтобы ихъ заступничествомъ выпросить себѣ прощеніе. Это ходатайство итальянскихъ прелатовъ показываетъ намъ очень ясно, что, преслѣдуя Генриха IV, Григорій нисколько не опирался на единодушное сочувствіе всей клерикальной корпораціи. Григорій возвеличивалъ эту корпорацію противъ ея собственной воли. Очень многіе клирики, и притомъ изъ самыхъ знатныхъ, рѣшительно не одобряли его ссоры съ королемъ и отъ души желали, чтобы дѣла вошли въ свою старую колею. Когда магнаты и прелаты стали просить у папы пощады для Генриха, Григорій сначала не хотѣлъ ничего слышать. Потомъ онъ смягчился. «Если, сказалъ онъ, раскаяніе его чистосердечно, то пусть онъ, въ знакъ своего сокрушенія, сложитъ съ себя въ мои руки свою корону и всѣ знаки своего королевскаго достоинства, и пусть онъ объявитъ тогда, что, послѣ своей неявки на судъ собора, онъ признаетъ себя недостойнымъ сана и титула короля.»—Съ точки зрѣнія Генриха и его союзниковъ, свѣтскихъ и духовныхъ, въ этой резолюціи не было рѣшительно никакого смягченія; но съ точки зрѣнія Григорія, Матильды и другихъ искреннихъ спиритуалистовъ, смягченіе было очень большое: папа соглашался взять назадъ приговоръ отлученія. Чего же больше?—Логика Григорія была непобѣдима. Если, разсуждалъ онъ, Генрихъ — ревностный католикъ, то, имѣя въ виду высшее благополучіе—примиреніе съ церковью, — онъ долженъ съ радостью отказаться отъ престола и отъ всѣхъ суетныхъ благъ земного величія; если же для него корона дороже примиренія съ церковью, то значитъ, нѣтъ въ немъ истиннаго благочестія, и его надо погубить до конца. Кто хотѣлъ казаться благочестивымъ католикомъ, тотъ не могъ ничего возражать противъ этого разсужденія. Но парламентеры Генриха продолжали умолять папу, чтобы онъ не разбивалъ своимъ гнѣвомъ надломленнаго человѣка. Тогда папа смягчился еще больше и позволилъ Генриху явиться лично въ Каноссу и обнаружить тамъ передъ самимъ папою искренность и силу своего раскаянія.

Получивши отъ своихъ ходатаевъ такой отвѣтъ, Генрихъ подумалъ по всей вѣроятности, что все можетъ уладиться полюбовно и что для этого стоитъ только потѣшить сердитаго старика умилительною выставкой королевской покорности. Генрихъ отправился въ Каноссу и твердо рѣшился подвергнуть себя возможнымъ унизительнымъ формальностямъ, удовлетворить всѣмъ требованіямъ папскаго тщеславія, выпить горькую чашу покаянія до самого дна, лишь бы только уломать старика, и потомъ, при его содѣйствіи, поправить свои разстроенныя дѣла. Чаша дѣйствительно оказалась неумѣренно горькою.

Замокъ Каносса былъ обнесенъ тремя стѣнами. Свита короля принуждена была остановиться, не доходя до первой стѣны, но самого Генриха впустили за вторую стѣну; здѣсь, на дворѣ, ему предложили заняться подвигами покаянія. Время для такихъ подвиговъ было выбрано неудачно; дѣло происходило въ двадцатыхъ числахъ января; современники-очевидцы говорятъ положительно, что морозы стояли очень порядочные—разумѣется, по италіянскому масштабу,—и что земля была покрыта снѣгомъ. На Генрихѣ не было не только царскихъ украшеній, но даже и мало-мальски порядочнаго платья; онъ былъ одѣтъ въ какое-то гнусное вретище, которое почти совсѣмъ не защищало его отъ холода; онъ явился на дворъ замка босикомъ и безъ шапки, по церемоніалу, установленному для кающихся грѣшниковъ. На дворѣ онъ началъ класть поклоны, плакать, рыдать, бить себя въ грудь и произносить жалкія слова. Онъ думалъ вѣроятно, что папа продержитъ его въ такомъ положеніи два часа, потомъ прикажетъ привести его къ себѣ. Въ такомъ ожиданіи прошелъ цѣлый день. Во все это время никто не вынесъ королю изъ замка ни куска хлѣба, ни стакана вина. Спутники короля, остававшіеся далеко, за двумя оградами, также не могли ничѣмъ облегчить его положеніе. Такимъ образомъ Генрихъ соблюдалъ до поздняго вечера самый строгій постъ. Когда наступила ночь, Генриха выпроводили за ограду, и онъ отправился къ своимъ спутникамъ обогрѣваться, ужинать и бранить суроваго старика всѣми отборнѣйшими крѣпкими выраженіями, какія только были въ ходу между тогдашними лагерными героями.—На другой день Генрихъ опять въ томъ же костюмѣ и съ соблюденіемъ того же строгаго поста продежурилъ на дворѣ до поздней ночи. На третій день повторилась таже исторія. Можно было подумать, что Григорій рѣшился уморить своего бывшаго врага медленной смертью. На четвертый день, Генрихъ по всей вѣроятности едва волочилъ ноги. Трудно себѣ вообразить такое желѣзное тѣлосложеніе, которое могло бы выдержать безнаказанно трехъ-дневное стояніе босыми ногами на снѣгу или на мерзлой землѣ. Наконецъ на четвертый день Григорій потребовалъ къ себѣ измученнаго и больного короля, прочиталъ

Digitized by Google

ему длиннѣйшее и грознѣйшее наставленіе, заставилъ его пролить много слезъ и совершить много колѣнопреклоненій, и снялъ съ него приговоръ отлученія,

Но—съ условіемъ! — Это условіе было прелестно. На Генриха налагалась обязанность подчиниться суду имперскихъ князей, которые должны были собраться, по приказанію папы; если Генрихъ оправдается передъ судомъ князей и папы, то онъ останется королемъ; если же судъ признаетъ его виновнымъ—онъ потеряетъ корону и будетъ наказанъ по всей строгости церковныхъ законовъ; впредь до приговора суда, Генриху не позволялось ни носить королевскія украшенія, ни принимать участіе въ государственныхъ дѣлахъ.

Такимъ образомъ, неумолимый папа не только унизилъ и измучилъ короля, но еще и показалъ ему наглядно, что его униженія и страданія не имѣютъ никакой цѣны, нисколько не вмѣняются ему въ заслугу и рѣшительно не заглаживаютъ тѣхъ поступковъ, которые на языкѣ строгихъ католиковъ назывались его преступленіями. — Всѣ просьбы прелатовъ, расположенныхъ къ Генриху, и всѣ мученическіе подвиги кающагося короля привели только къ тому, что папа согласился простить неявку Генриха на судъ римскаго собора. Все земное величіе лежало у ногъ Григорія VII, и Григорій не поколебался ни на минуту. Онъ не принялъ никакихъ уступокъ, не согласился ни на какіе компромиссы, не подалъ ни малѣйшей надежды на примиреніе. Онъ остался непреклонно твердымъ представителемъ отвлеченной идеи, во имя которой онъ требовалъ себѣ полнаго, безраздѣльнаго, безграничнаго, безусловнаго господства. Эти требованія были неосуществимы, но великая историческая заслуга Григорія VII именно въ томъ и состоитъ, что онъ своими явно неосуществимыми требованіями поднялъ такую борьбу, которая совершенно разбила узкое міросозерцаніе средневѣковаго человѣка.

Знаменитое покаяніе Генриха IV въ Каноссѣ обозначаетъ собою кульминаціонный пунктъ папскаго могущества. Ни прежде, ни послѣ этого событія, папство никогда не одерживало надъ свѣтской властью такой яркой и выразительной побѣды. А это событіе произошло двадцать лѣтъ спустя послѣ смерти того императора, который назначалъ папъ по своему благоусмотрѣнію. Изъ крайняго подчиненія папство сразу поднялось на высшую точку своего могущества. Можно ли сомнѣваться въ томъ, что это внезапное возвышеніе было дѣломъ одного человѣка?

Конечно Гильдебрандъ не могъ создать ни невѣжества, ни легковѣрія, ни страстности и впечатлительности своихъ современниковъ. Всѣ эти свойства, составляющія необходимую подкладку для его дѣятельности, существовали сами по себѣ, совершенно независимо отъ ума и характера какихъ бы то ни было крупныхъ или даже колоссальныхъ историческихъ дѣятелей. Міросозерцаніе средневѣковыхъ людей было также выработано за долго до рожденія Гильдебранда. Но это міросозерцаніе было на столько эластично и опредѣленно, что оно открывало самый широкій просторъ для иниціативы крупныхъ и сильныхъ личностей.

Матеріалы для дѣятельности Григорія VII конечно находились въ современномъ ему обществѣ. Но воспользоваться этими матеріалами такъ или иначе—это зависѣло уже отъ личнаго ума и характера самаго дѣятеля. Дѣятельность Григорія VII не вытекала *неизбѣжно* изъ данныхъ обстоятельствъ мѣста и времени. Эти обстоятельства дѣлали ее только *возможной*, но возможной не для перваго встрѣчнаго, не для всякаго здравомыслящаго человѣка, а напротивъ того, только для колоссальной и совершенно необыкновенной личности. Массы готовы были выслушивать съ уваженіемъ самыя громадныя притязанія духовной власти, но чтобы убѣдиться на дѣлѣ въ томъ, какъ далеко простирается эта почтительная довѣрчивость современниковъ, и чтобы закинуть свои требованія такъ высоко, какъ это сдѣлалъ Григорій VII—надо было обладать безграничной смѣлостью и невозмутимой самоувѣренностью. Можно сказать, что Григорій въ своихъ требованіяхъ не только дошелъ до крайнихъ предѣловъ, допускавшихся легковѣріемъ его современниковъ, но даже переступилъ эти предѣлы. Многіе современники Григорія, при всей своей умственной покорности, не могли слѣдовать за нимъ и нашли, что его притязанія превосходятъ всякую мѣру. Вся Ломбардія и большая часть итальянскихъ епископовъ, а наконецъ и сами римляне рѣшительно объявили себя противъ папы и вступили съ нимъ въ открытую войну.

Жестокое униженіе свѣтской власти въ Каноссѣ произошло не отъ безвыходнаго положенія Генриха, а преимущественно отъ ошибочнаго разсчета. Генрихъ еще имѣлъ возможность бороться съ своими врагами, но онъ считалъ болѣе благоразумнымъ дѣйствовать переговорами и уступками, чѣмъ подвергать свою корону случайностямъ такой борьбы, въ которой перевѣсъ матеріальной силы находился на сторонѣ его противниковъ. Каносса доказала ему, что переговоры невозможны, и что всѣ сколько нибудь возможныя уступки будутъ отвергнуты съ гнѣвомъ или съ презрѣніемъ. Своимъ пребываніемъ въ Каноссѣ Генрихъ еще больше запуталъ свои дѣла; его друзья получили поводъ усомниться въ его мужествѣ; а враги его, къ длинному списку его преступленій противъ церкви, прибавили нарушеніе того обѣщанія, цѣной котораго Генрихъ купилъ себѣ прощеніе папы. За то Генрихъ получилъ достаточно ясное понятіе о своемъ собственномъ положеніи и о настоящихъ замыс-

Digitized by Google

лахъ папы. Этого было довольно. Выбравшись изъ Каноссы, Генрихъ быстро привелъ въ порядокъ свои дѣла, разбилъ возмутившихся князей въ нѣсколькихъ сраженіяхъ и въ 1080 г. окончательно укротилъ сторонниковъ папы въ Германіи. Въ это же самое время войска ломбардскихъ городовъ, поддерживавшихъ Генриха, одержали рѣшительную побѣду надъ войсками графини Матильды. Въ 1081 году Генрихъ снова вошелъ въ Италію, но уже совсѣмъ не для того, чтобы пріобрѣтать себѣ простуду подвигами покаянія. Генрихъ шелъ въ Римъ грознымъ властелиномъ, достойнымъ сыномъ Генриха III — чтобы выгнать изъ Рима Григорія VII и посадить на его мѣсто Гвиберта, архіепископа Равенскаго, принявшаго имя Климента III. Въ 1084 году, Генрихъ дѣйствительно вошелъ въ Римъ, принялъ изъ рукъ Климента императорскую корону и осадилъ замокъ св. Ангела, въ которомъ сидѣлъ Григорій, по прежнему не хотѣвшій слышать объ уступкахъ и переговорахъ. Если бы Григорій попался въ руки своего давнишняго врага—ему, Григорію, пришлось бы вѣроятно очень плохо. Но его выручилъ Робертъ Гискаръ, предводитель норманновъ, завоевавшихъ южную Италію и Сицилію въ сороковыхъ годахъ XI вѣка. Робертъ прогналъ войска императора, сжегъ и разграбилъ Римъ и увелъ съ собою папу въ Салерно, гдѣ Григорій и умеръ въ маѣ 1085 года, проклиная до послѣдней минуты Генриха и антипапу Гвиберга.

Пока Григорій VII былъ живъ, многіе члены клерикальной корпораціи боялись и ненавидѣли его, какъ суроваго деспота, не щадившаго никакихъ человѣческихъ слабостей. Эта боязнь и эта ненависть заставляли многихъ прелатовъ держаться отъ него подальше, относиться враждебно къ его планамъ, и даже дѣйствовать заодно съ Генрихомъ IV. Когда же Григорій умеръ, тогда разумѣется ненависть и боязнь, возбужденныя его личнымъ характеромъ, немедленно утихли, и его властолюбивая идея обрисовалась передъ глазами духовенства во всей своей обаятельности. Имя Григорія VII сдѣлалось знаменемъ, вокругъ котораго сомкнулась вся клерикальная корпорація.

Впродолженіи двухсотъ лѣтъ всѣ преемники Григорія VII идутъ по его слѣдамъ и гонятся за его любимою мечтой съ такою напряженною страстностью, которая находится въ рѣзкой дисгармоніи съ ихъ почтенными лѣтами и съ ихъ монашескими обѣтами. Принимая наслѣдіе великаго папы, дряхлые старики оживаютъ, воодушевляются и становятся энергическими бойцами до послѣдней минуты своей жизни. Всѣмъ имъ грезится замокъ Каносса, всѣмъ имъ хочется, чтобы какой нибудь король или императоръ, одѣтый въ грязныя лохмотья, ползалъ передъ ними на колѣняхъ и обливалъ ихъ туфли слезами раскаянія или безсильной злости. Побѣда надъ свѣтской властью и господство надъ католическимъ міромъ, господство во что бы то ни стало, господство нераздѣльное и безграничное— вотъ признанная цѣль папской политики отъ Григорія VII до Бонифація VIII. Для достиженія этой цѣли всѣ средства оказываются одинаково дозволенными и похвальными; личныя выгоды, личная безопасность и личная добросовѣстность папъ постоянно и ежеминутно приносятся въ жертву отвлеченному принципу. Преемники Григорія VII очень часто поступаютъ безсовѣстно, но почти всегда безкорыстно. Обманъ и насиліе употребляются ими не затѣмъ, чтобы обогатить себя и своихъ родственниковъ, а только затѣмъ, чтобъ возвеличить папскій престолъ, на которомъ каждому изъ этихъ задорныхъ стариковъ придется просидѣть очень недолго. Это безсовѣстное безкорыстіе продолжается до Бонифація VIII, то есть до тѣхъ поръ, пока сами папы не убѣдились окончательно въ неосуществимости своей идеи. Послѣ Бонифація папы отказываются понемногу отъ мечты Гильдебранда, наслаждаются жизнью, поощряютъ поэтовъ, живописцевъ и музыкантовъ и набиваютъ карманы своимъ племянникамъ или побочнымъ дѣтямъ.

Ближайшіе пріемники Григорія VII взбунтовали противъ Генриха IV двоихъ его сыновей, сначала старшаго, Конрада, потомъ второго, Генриха, которому удалось свергнуть отца и вступить на его престолъ, подъ именемъ Генриха V. Главнымъ яблокомъ раздора между Генрихомъ IV и папами былъ вопросъ объ *инвеституpахъ*, то есть о правѣ назначать епископовъ и аббатовъ.

Когда Генрихъ V утвердился на престолѣ при содѣйствіи клерикальной партіи, тогда папа Пасхалисъ II потребовалъ отъ него, чтобы онъ отказался отъ инвеституръ.

Генрихъ рѣшительно отклонилъ это требованіе. Церквамъ — говорилъ онъ — отдано громадное количество земель и регальныхъ правъ. Отказываясь отъ инвеституръ, король сразу теряетъ на вѣчныя времена большую часть своего королевства. Эта часть можетъ перейдти Богъ знаетъ куда, въ руки его злѣйшихъ враговъ, и онъ, король, принужденъ смотрѣть на это и молчать. Можетъ ли король собственными руками приготовить себѣ и своимъ наслѣдникамъ такое невыносимое положеніе?

Пасхалисъ отвѣчалъ, что духовенство будетъ довольствоваться десятиною и добровольными пожертвованіями, и что всѣ уступленныя земли, вмѣстѣ съ регальными правами, отойдутъ обратно къ королю и къ его преемникамъ.

Генрихъ возразилъ на это, что онъ ни подъ какимъ видомъ не рѣшится ограбить такимъ образомъ церковь.

Пасхалисъ далъ королю клятвенное обѣщаніе, что онъ, папа, собственной своей властью отберетъ у церквей всѣ ихъ помѣстья и оброчныя статьи и потомъ возвратитъ ихъ королю.

Digitized by Google

На такихъ условіяхъ Генрихъ согласился отказаться отъ инвеституръ.

Тѣмъ и кончились предварительные переговоры.

Въ 1111 году Генрихъ явился въ Римъ для коронаціи. Чтобы отклонить отъ себя всякое подозрѣніе въ посягательствѣ на церковную собственность, Генрихъ въ ватиканскомъ соборѣ, въ присутствіи папы, духовенства и народа, приказалъ прочитать слѣдующій декретъ: «Мы Божіею милостію, Генрихъ, августѣйшій императоръ римлянъ, отдаемъ Св. Петру, всѣмъ епископамъ и аббатамъ и всѣмъ церквамъ, все, что наши предшественники, короли или императоры, имъ уступили или отдали, въ надеждѣ вѣчнаго возмездія. Будучи грѣшными, и боясь строгаго суда, мы отнюдь не желаемъ отнимать у церкви эти дары.»—Послѣ чтенія этого декрета, Генрихъ обратился къ папѣ и пригласилъ его исполнить данное обѣщаніе. Тогда всѣ епископы и аббаты, какъ итальянскіе такъ и нѣмецкіе, закричали въ одинъ голосъ, что папа замышляетъ богопротивную ересь, и что они рѣшительно не хотятъ ему повиноваться, если онъ осмѣлится произвести обѣщанный переворотъ. Пасхалисъ объявилъ тогда Генриху, что онъ не въ силахъ идти навстрѣчу такому страстному негодованію.

Генрихъ разсердился и посадилъ подъ арестъ папу вмѣстѣ со многими изъ высшихъ церковныхъ сановниковъ. Но одинъ кардиналъ и одинъ епископъ ускользнули изъ собора, гдѣ происходила эта бурная сцена, пробрались въ городъ и и возмутили римлянъ, которые, на другой день утромъ, съ оружіемъ въ рукахъ, пошли освобождать Пасхалиса и его товарищей по заключенію. Произошла жаркая схватка, въ которой жизнь Генриха подвергалась опасности; наконецъ королевскія войска одолѣли, но Генрихъ отошелъ прочь отъ Рима и увелъ съ собою своихъ плѣнниковъ. Пасхалисъ вмѣстѣ съ шестью кардиналами просидѣлъ подъ арестомъ два мѣсяца въ крѣпости Трибукко; съ нимъ обращались очень дурно и ему намекали очень часто, что Генрихъ скоро прикажетъ его казнить вмѣстѣ съ кардиналами, если онъ не уступитъ ему въ спорѣ объ инвеституратъ. Въ этихъ угрозахъ не было ничего особенно неправдоподобнаго; Пасхалисъ зналъ хорошо, какъ непочтительно поступалъ Генрихъ V съ своимъ отцомъ; Пасхалисъ видѣлъ и чувствовалъ, что съ нимъ самимъ обращаются, какъ съ преступникомъ; поэтому онъ могъ ожидать, что его дѣйствительно, если не убьютъ, то по крайней мѣрѣ уморятъ въ тюрьмѣ. Онъ согласился на всѣ условія Генриха. Онъ уступилъ Генриху право назначать епископовъ и аббатовъ, объявилъ полное прощеніе всѣмъ сторонникамъ Генриха и обѣщалъ никогда не отлучать его самого отъ церкви. Папа и кардиналы получили свободу только тогда, когда трактатъ, заключающій въ себѣ эти условія, былъ подписанъ и скрѣпленъ печатями, когда всѣ плѣнники подтвердили его клятвою, данною на святыхъ дарахъ, и когда Пасхалисъ собственноручно возложилъ на Генриха императорскую корону.—Отмстивши такимъ образомъ папству за Каноссу, Генрихъ V возвратился въ Германію. Но тутъ обнаружилось то сильное неизгладимое впечатлѣніе, которое было произведено на умы клерикаловъ дѣятельностью Григорія VII. Кардиналы и епископы, уже возстановленные противъ Пасхалиса его раззорительнымъ проэктомъ о церковныхъ помѣстьяхъ, закричали теперь, что папа позоритъ церковь, уступая такъ малодушно лучшія завоеванія Григорія VII, за которыя пролиты рѣки крови и отправлены въ адъ тысячи христіанскихъ душъ, отлученныхъ отъ церкви. Тѣ прелаты, которые вмѣстѣ съ папою сидѣли въ крѣпости и были спасены его уступками, не оказывали Пасхалису никакой нравственной поддержки противъ недовольныхъ. Всѣ ревностные католики требовали, чтобы папа нарушилъ обѣщаніе, которое было вырвано у него насильно.—Пасхалисъ принужденъ былъ созвать въ латеранскомъ дворцѣ вселенскій соборъ, который уничтожилъ привиллегію, данную Генриху V, и произнесъ противъ него приговоръ отлученія. Пасхалисъ не мѣшалъ собору дѣйствовать такимъ образомъ, но, съ своей стороны, онъ остался вѣренъ данной клятвѣ и не подтвердилъ приговора, направленнаго противъ императора. Пасхалисъ очевидно еще не стоялъ на той точкѣ зрѣнія, которая вмѣняла папамъ въ священную обязанность нарушеніе клятвъ, невыгодныхъ для клерикальной корпораціи. Совѣтники Пасхалиса именно за то и негодовали на него, что онъ неспособенъ былъ подняться на эту высоту политическаго пониманія.

Преемникъ Пасхалиса, Геласій II, отлучилъ Генриха отъ церкви въ 1118 году и вслѣдъ за тѣмъ бѣжалъ во Францію, чтобы не подвергнуться мщенію отлученнаго императора, который во все время своего царствованія былъ очень силенъ въ Германіи и въ Италіи, несмотря на свои жестокія распри съ духовенствомъ. Наконецъ въ 1122 году, обѣ партіи, утомленныя многолѣтней борьбой, заключили миръ въ Вормсѣ.

По этому договору клирики должны были получать церковныя должности отъ духовной власти, а помѣстья, приписанныя къ ихъ церкви, — отъ свѣтской власти. Вопросъ объ инвеституратъ остался нерѣшеннымъ ни въ ту, ни въ другую сторону; и миръ, заключенный вслѣдствіе обоюднаго утомленія, былъ годенъ только на то, чтобы, въ ближайшемъ будущемъ, возбудить новыя войны.—Въ самомъ дѣлѣ, назначеніе должностныхъ лицъ можетъ принадлежать только какой нибудь одной власти; если же оно принадлежитъ двумъ различнымъ властямъ, то участіе одной изъ двухъ должно превратиться въ пустую формальность. Но такъ

Digitized by Google

какъ каждая изъ двухъ властей желаетъ, чтобы такое превращеніе совершилось не съ ней самой, а съ ея противницей, то борьба становится неизбѣжной. Духовная власть будетъ требовать, чтобы приписанныя помѣстья предоставлялись непремѣнно каждому клирику, получившему церковную должность. А свѣтская власть будетъ утверждать, что она имѣетъ право отказывать въ помѣстьяхъ тѣмъ должностымъ лицамъ, которыхъ выборъ она не одобряетъ. Такіе споры рѣшаются обыкновенно не аргументами, а оружіемъ.

IX.

АРНОЛЬДЪ БРЕШІАНСКІЙ.

Генрихъ V умеръ въ 1125 году. Его ближайшіе преемники: Лотарь и Конрадъ III, были заняты междоусобными войнами въ Германіи, и поэтому имѣли мало вліянія на итальянскія дѣла.

Въ это время продолжительные раздоры папъ съ императорами начали приносить свои естественные плоды. Въ Италіи стали появляться умные люди, которые, не примыкая ни къ папѣ, ни къ императору, постарались и съумѣли подвергнуть внимательной и добросовѣстной критикѣ противоположныя притязанія обѣихъ враждующихъ сторонъ.

Съ одной стороны, этимъ людямъ очень не нравилось то господство грубой матеріальной силы, которое называлось феодальнымъ порядкомъ и находило себѣ верховнаго представителя и защитника въ особѣ римско-германскаго императора. Съ другой стороны, эти люди рѣшительно осуждали теократическую утопію Гильдебранда.

Критика этихъ людей имѣла конечно чисто-теологическій характеръ. Въ то время теологія была вѣнцомъ всѣхъ человѣческихъ знаній и давала отвѣты на всевозможные вопросы жизни. Быть мыслителемъ значило быть теологомъ. Критиковать какую нибудь теорію или какое нибудь учрежденіе — значило разсматривать вопросъ, на сколько эта теорія или это учрежденіе согласуются съ идеями и предписаніями, изложенными въ каноническихъ книгахъ. Дальше этого критика самыхъ смѣлыхъ мыслителей не могла и не хотѣла идти. Несмотря на свою сдержанность и ограниченность, эта критика имѣла очень важное значеніе, потому что, во имя текста каноническихъ книгъ, она рѣшительно опрокидывала умствованія тѣхъ живыхъ авторитетовъ, которые присвоивали себѣ исключительное право понимать и комментировать эти книги. Исходная точка этой критики въ XII столѣтіи была таже самая, съ какой въ XVI вѣкѣ отправились многочисленные основатели различныхъ протестантскихъ сектъ.

Итальянскіе мыслители XII вѣка, принадлежавшіе сами къ духовенству, направили свои первые удары именно на замыслы и дѣйствія клерикальной корпораціи, а не на уродливыя и безнравственныя особенности феодальнаго порядка,—это обстоятельство объясняется двумя главными причинами. Во первыхъ, эти мыслители, при чисто-теологическомъ характерѣ своего образованія и своихъ изслѣдованій, придавали особенно важное значеніе всему тому, что дѣлало, говорило и думало духовенство; заблужденія духовенства были гораздо болѣе вредны и опасны, чѣмъ безнравственность и нелѣпости, наполнявшія собою досуги знатныхъ феодальныхъ буяновъ, грабителей и святотатцевъ. Послѣднія были слѣдствіемъ, между тѣмъ какъ первыя были причиною. Послѣднія были только симптомомъ болѣзни, между тѣмъ какъ первыя отравляли собою лекарство и слѣдовательно уничтожали возможность выздоровленія. Такъ думали свободные мыслители, и такія думы вели ихъ къ тому практическому заключенію, что надо прежде всего побѣдить болѣзнь въ тѣхъ людяхъ, на которыхъ лежитъ обязанность лечить нравственные недуги остального общества.

Во вторыхъ, Италія, благодаря роскошному развитію городской жизни, уже въ XII столѣтіи успѣла избавиться отъ самыхъ мрачныхъ явленій феодальнаго порядка. Крѣпостная зависимость уже не существовала. Большая часть магнатовъ добровольно приписалась къ городамъ. Тѣ феодалы, которые еще сохраняли свою самостоятельность, не могли безнаказанно грабить на большихъ дорогахъ купцовъ и путешественниковъ, потому что эти люди были гражданами сильныхъ и воинственныхъ республикъ, всегда готовыхъ заступиться за своихъ обиженныхъ членовъ. Конечно насилія и самоуправства было все-таки еще черезчуръ достаточно и внутри городовъ, и въ сношеніяхъ между различными городами, но эти крупныя несовершенства зависѣли уже не столько отъ дурного качества учрежденій, сколько отъ необузданной страстности и умственной неразвитости самихъ гражданъ. Надо было морализировать и гуманизировать людей, а такъ какъ единственнымъ двигателемъ нравственнаго совершенствованія могло быть — по мнѣнію тогдашнихъ мыслителей—только духовенство, то опять таки надо было прежде всего искоренять заблужденія, водворившіяся въ умахъ самихъ клириковъ.

По своему географическому положенію, Италія была совершенно обезпечена противъ императорскаго деспотизма. Императоръ не могъ жить въ Италіи, и во время его отсутствія, итальянцы всегда могли передѣлывать по своему всѣ политическія и общественныя задачи, рѣшенныя императоромъ во время его мимолетнаго пребыванія на аппенинскомъ полуостровѣ. Императоры обыкновенно понимали свое безсиліе и воздерживались отъ излишествъ. Клерикальный деспотизмъ, напротивъ того, былъ для Италіи очень опасенъ. Папа жилъ постоянно въ самомъ центрѣ

Digitized by Google

Италіи и держалъ во всѣхъ ея городахъ, мѣстечкахъ и деревняхъ такихъ ревностныхъ, искусныхъ и вліятельныхъ агентовъ, какихъ никогда не могъ имѣть въ своемъ распоряженіи ни одинъ императоръ. Эти агенты, пользовавшіеся повсемѣстнымъ уваженіемъ, могли значительно исказить характеръ свободныхъ учрежденій, развившихся во всѣхъ городахъ сѣверной и средней Италіи.

По всѣмъ этимъ причинамъ, свободные мыслители XII вѣка сосредоточили свое вниманіе на борьбѣ съ тенденціями папства. Эту борьбу открылъ своими смѣлыми проповѣдями монахъ Арнольдъ, уроженецъ города Брешіи, изучавшій философію и богословіе во Франціи, подъ руководствомъ знаменитаго Абеляра. Арнольдъ обладалъ всѣми качествами, необходимыми для громаднаго успѣха; сила его краснорѣчія была увлекательна; все, что онъ говорилъ, сославляло его глубокое убѣжденіе, за которое онъ готовъ былъ спорить, сражаться, страдать и умереть; его частная жизнь была такъ чиста и безукоризненна, что самые строгіе аскеты ни къ чему не могли въ ней придраться; его знанія были настолько обширны, что онъ легко опровергалъ самыми почтенными цитатами всѣ аргументы своихъ противниковъ; кромѣ священнаго писанія, онъ изучилъ литературу древняго Рима и могъ такимъ образомъ вызывать передъ своими слушателями историческія воспоминанія, къ которымъ тогдашніе итальянцы были особенно неравнодушны; всѣ стороны его богато-одаренной личности возбуждали къ себѣ самое восторженное сочувствіе во всѣхъ людяхъ, способныхъ смотрѣть на вещи собственными глазами и размышлять собственнымъ умомъ. Являясь передъ своими слушателями то глубокимъ ученымъ, то смѣлымъ трибуномъ, то смиреннымъ христіаниномъ, то вдохновеннымъ учителемъ чистой нравственности, оставаясь вездѣ и всегда вѣрнымъ самому себѣ и своимъ убѣжденіямъ, облекая въ свои пламенныя рѣчи то, что шевелилось и созрѣвало понемногу во всѣхъ свѣжихъ умахъ— Арнольдъ вскорѣ послѣ своего перваго появленія у себя на родинѣ, въ Брешіи, обратилъ на себя вниманіе всей Италіи и собралъ вокругъ себя толпу искренно убѣжденныхъ послѣдователей, которые отъ разсужденій готовы были перейдти къ поступкамъ.

Это умственное движеніе могло принять опасные размѣры; клерикалы всполошились и задушили его во время. Въ 1139 году, латеранскій соборъ, созванный Иннокентіемъ II, проклялъ Арнольда Брешіанскаго, какъ основателя новой ереси такъ называемыхъ *политиковъ*. Арнольдъ бѣжалъ изъ Италіи въ Швейцарію, въ окрестности Констанца. Клерикалы не оставили его въ покоѣ. Св. Бернардъ Клервальскій, великій искоренитель ересей и вольнодумства, написалъ къ епископу констанцкому письмо о томъ, что въ его епархіи укрывается ядовитый человѣкъ, способный взбунтовать своимъ присутствіемъ самое кроткое стадо овецъ.

«Вы увидите въ немъ — писалъ Бернардъ— человѣка, который открыто возмущается противъ духовенства, довѣряясь тиранической власти военныхъ людей,—человѣка, который возстаетъ даже противъ епископовъ и изливаетъ свою ярость на все духовное сословіе. Зная это, я полагаю, что въ такой великой опасности всего лучше и всего спасительнѣе будетъ для васъ поступить по предписанію апостола, который говоритъ: *измите злаго отъ васъ самихъ*. Другъ церкви впрочемъ желалъ бы лучше заключить его въ оковы, чѣмъ обратить въ бѣгство, потому что, продолжая блуждать, онъ можетъ надѣлать еще больше вреда. Нашъ господинъ папа, услышавъ о злыхъ дѣлахъ этого человѣка, далъ письменное приказаніе схватить его, когда онъ находился еще среди насъ; но никто не захотѣлъ сдѣлать такое доброе дѣло.»

Въ Констанцѣ *доброе дѣло* также осталось не сдѣланнымъ, несмотря на трогательные вопли Бернарда. Продолжительная борьба папъ съ императорами породила во всей католической Европѣ глухое, но глубокое умственное броженіе, благодаря которому идеи Арнольда вездѣ находили себѣ горячихъ поклонниковъ. Эти поклонники не въ силахъ были бороться съ фанатическимъ большинствомъ, подстрекаемымъ разными пастырскими посланіями и воззваніями, въ родѣ письма св. Бернарда; но они всегда могли укрыть любимаго учителя отъ его преслѣдователей и, въ случаѣ надобности, препроводить его потихоньку въ какую нибудь другую область, въ которой клерикальныя страсти еще не были возбуждены. Когда фанатики зашумѣли въ Констанцѣ, Арнольдъ благополучно перебрался въ Цюрихъ и продолжалъ проповѣдывать тамъ евангельскую нравственность и политическую свободу.

Между тѣмъ, дѣло Арнольда не заглохло и въ Италіи, не смотря на его отсутствіе. Его единомышленники продолжали работать въ самомъ Римѣ, въ центрѣ клерикальнаго могущества, на глазахъ у самого папы. Въ 1143 году имъ удалось нанести папѣ жестокій ударъ. Римляне всегда любили вспоминать о славномъ прошедшемъ своего родного города; эти воспоминанія имѣли всегда живое политическое значеніе, потому что потомки, воодушевляясь историческими картинами, проникались страстнымъ желаніемъ хоть сколько нибудь поравняться съ предками. Наслушавшись разсказовъ о республиканскихъ доблестяхъ и о военной славѣ, римляне начали злиться и волноваться; имъ захотѣлось испробовать надъ кѣмъ нибудь свое могущество и свою храбрость; они затѣяли войну съ жителями сосѣдняго городка Тиволи; тиволяне разбили войско, пожелавшее воскресить славу древнаго Рима;

Digitized by Google

римляне разсердились еще больше, собрали новые легіоны, и порѣшили стереть Тиволи съ лица земли; на этотъ разъ тиволянамъ пришлось плохо, и римляне уже думали, что сдѣлали первый шагъ къ завоеванію вселенной, какъ вдругъ папа Иннокентій II принялъ тиволянъ подъ свое покровительство и приказалъ завоевателямъ идти домой. Завоеватели разъярились тогда не на шутку. *Политики* во-время подлили масла въ огонь разными искусными соболѣзнованіями, упреками, насмѣшками и восторженными рѣчами. Дворяне дѣйствовали за одно съ народомъ; они разсыпались по площадямъ и стали кричать во всеуслышаніе, что папа нарочно отнимаетъ у римлянъ ихъ славу и уничтожаетъ потихоньку ихъ привиллегіи; толпа кинулась со всѣхъ сторонъ въ Капитолій, выбрала себѣ тамъ сенаторовъ и воскресила римскую республику, къ которой римляне порывались еще во времена Отоновъ. Это народное движеніе такъ огорчило Иннокентія II, что онъ заболѣлъ и вскорѣ умеръ.

У республиканскаго правительства было много враговъ. Многіе дворяне и простые граждане держали сторону папы, отчасти изъ религіознаго усердія, отчасти по тому, что сенатъ занимался серьезнымъ преслѣдованіемъ буяновъ и грабителей. Съ этими защитниками папы, очень похожими на защитниковъ бывшаго неаполитанскаго короля Франциска II,—республиканцы принуждены были вести уличную войну. Очень часто приходилось осаждать, брать приступомъ и разрушать укрѣпленныя башни, въ которыхъ отсиживались, вмѣстѣ съ своими вооруженными кліентами, благородные враги порядка и общественнаго спокойствія.

Кромѣ того папы находились въ союзѣ съ королемъ Обѣихъ - Сицилій и настоятельно требовали у него помощи противъ непокорныхъ римлянъ.

Чтобы сколько нибудь уравновѣсить шансы, республиканскій сенатъ послалъ депутацію къ германскому королю Конраду III съ просьбой одобрить сдѣланныя преобразованія и пріѣхать лично въ Римъ для принятія императорской короны. Конрадъ не отвѣчалъ сенату на его письмо.

«Если сыновья и вѣрноподданные—вторично писалъ сенатъ къ Конраду—могутъ позволить себѣ судить дѣйствія своего государя и отца, то мы изумляемся, что ваше королевское величество не отвѣчали на тѣ письма, которыми мы извѣщали васъ о нашихъ распоряженіяхъ. Между тѣмъ, всѣ наши поступки направлены нашею вѣрностью къ вашей чести. Сенатъ по милости Божіей возстановленъ. Константинъ и Юстиніанъ со славою управляли имперіей при содѣйствіи этого сената и римскаго народа. Мы желаемъ и мы стараемся устроить такъ, чтобы вы могли управлять подобно имъ, и чтобы вы могли получить обратно всѣ тѣ почести, которыя вамъ принадлежатъ и которыя были у васъ отняты.... Мы положили основаніе этому новому порядку, потому что мы поддерживаемъ миръ и правосудіе въ пользу всѣхъ тѣхъ, кто дорожитъ этими благами; мы захватили башни, крѣпости и дома тѣхъ господъ, которые, вмѣстѣ съ Сицилійцемъ и папою, хотѣли сопротивляться вашей державѣ; одни изъ этихъ укрѣпленій мы вѣрно хранимъ отъ вашего имени; другія срыты нами до основанія. Пусть ваша премудрость вспомнитъ, какъ много зла причинили императорамъ, вашимъ предшественникамъ, папскій дворъ и тѣ дворяне, о которыхъ мы говоримъ. Эти же самые люди, за одно съ Сицилійцемъ, готовятъ вамъ впереди еще большія бѣдствія».

Планъ римскихъ *политиковъ*, сформированныхъ въ школѣ ересіарха Арнольда, состоялъ очевидно въ томъ, чтобы тѣшить нѣмецкихъ королей краснорѣчивыми выраженіями покорности, и выманивать у нихъ такимъ образомъ, если не дѣятельную помощь, то по крайней мѣрѣ доброжелательный нейтралитетъ. Этотъ планъ былъ неосуществимъ; эпистолярное краснорѣчіе сената никого не могло обмануть; величественныя сближенія Конрада съ Константиномъ и съ Юстиніаномъ никакъ не могли доказать нѣмецкому королю, что его интересы совпадаютъ съ желаніями римскихъ республиканцевъ, и что новый сенатъ заботится очень сильно о процвѣтаніи его могущества, и изъ любви къ нему ссорится съ папою и съ сицилійскимъ королемъ. Искреннихъ союзниковъ сенатъ могъ найти себѣ только въ республиканцахъ сѣверной и средней Италіи; ему надо было не разсыпаться въ безполезныхъ нѣжностяхъ передъ Конрадомъ, который никакъ не могъ ему сочувствовать, а завести сношенія съ Венеціей, съ Генуей, съ Пизою съ Флоренціей и съ Миланомъ. Только хорошо организованная федерація свободныхъ италіанскихъ городовъ могла сопротивляться съ успѣхомъ и нѣмцамъ, и папѣ, и Сицилійцу. Но чтобы возвыситься до такой разумной политической комбинаціи, надо было прежде всего посмотрѣть на современную дѣйствительность трезвыми глазами, назвать каждую вещь ея настоящимъ именемъ, отказаться отъ всякихъ фикцій и отложить попеченіе объ умершемъ и истлѣвшемъ величіи древняго Рима. Кромѣ того надо было, чтобы римляне выяснили себѣ и ограничили свои собственныя желанія. Имъ хотѣлось еще, кромѣ политической свободы, чтобы Римъ былъ столицей всемірной имперіи и резиденціей первосвященника, господствующаго надъ католическою Европой. Этого было уже черезчуръ много заразъ. Одни желанія мѣшали другимъ. Тщеславіе сталкивалось съ любовью къ свободѣ. Императоръ и папа никакъ не могли согласиться на то, чтобы изображать своими высокими особами живыя, но невинныя украшенія вѣчнаго города, находящагося подъ управленіемъ республиканскаго сената. Гонялись та-

Digitized by Google

кимъ образомъ за многими зайцами, римляне постоянно оставались не причемъ. Этихъ средневѣковыхъ римлянъ можно назвать ложными классиками въ политикѣ.

Конраду некогда было идти въ Италію. Онъ продолжалъ отмалчиваться отъ наивно-хитрыхъ риторическихъ упражненій римскаго сената. Папа Люцій II началъ надѣяться, что римляне, оставшись безъ союзниковъ, не осмѣлятся защищать противъ него свои республиканскія учрежденія. Однажды, въ 1145 году, Люцій собралъ своихъ приверженцевъ, надѣлъ на себя полное святительское облаченіе, окружилъ себя священниками и монахами, и во главѣ всей этой военной и духовной толпы, двинулся торжественно-медленнымъ шагомъ къ Капитолію, гдѣ засѣдаетъ сенатъ. Народъ сначала оторопѣлъ передъ этимъ величественнымъ зрѣлищемъ и не зналъ, на что рѣшиться. Но потомъ, когда процессія уже подошла къ капитолійскому холму, римляне вдругъ сообразили, что папа идетъ въ Капитолій совсѣмъ не для того, чтобы обрадовать сенаторовъ пастырскимъ благословеніемъ. Римлянамъ сдѣлалось совѣстно отдавать свое правительство на жертву папскимъ солдатамъ. Римляне схватились за камни и начали дѣйствовать ими такъ искусно, что зашибли очень серьезно самого Люція. Папа упалъ; спутники его отступили; сенатъ остался нетронутымъ, а Люцій черезъ нѣсколько дней умеръ отъ полученной раны.—Преемникъ Люція, Евгеній III, попробовалъ примириться съ республиканцами; онъ призналъ ихъ сенатъ, съ тѣмъ условіемъ, чтобы римляне признали городского префекта, назначеннаго отъ папы. Разумѣется, это совмѣстное существованіе двухъ правительствъ въ одномъ городѣ было невозможно и безсмысленно. Власть папы оказалась на столько ничтожною, что онъ заблагоразсудилъ удалиться изъ Рима и заняться путешествіями по Италіи и по Франціи. Послѣ отъѣзда папы, республиканцы почувствовали себя полными хозяевами своего города и вызвали изъ Швейцаріи великаго учителя, Арнольда Брешіанскаго. Ересіархъ, отлученный отъ церкви, явился въ столицу католическаго міра; за нимъ шли двѣ тысячи швейцарцевъ, проникнутыхъ его идеями и рѣшившихся помогать ему во всѣхъ его предпріятіяхъ; римляне встрѣтили Арнольда съ восторгомъ, къ великому соблазну благочестивыхъ папистовъ; проклятый еретикъ сдѣлался полновластнымъ законодателемъ римской республики.

Умѣя возбуждать народный энтузіазмъ, Арнольдъ, къ сожалѣнію, не обладалъ способностью строить прочныя политическія зданія. У него было слишкомъ много воображенія и слишкомъ мало практической смѣтливости. Подъ его руководствомъ римляне продолжали разъигрывать археологическія комедіи и гоняться за призракомъ древняго римскаго величія. Арнольдъ учредилъ въ Римѣ сословіе всадниковъ, занимавшее средину между сенаторами и плебеями,—воскресилъ должность консуловъ, которые должны были предсѣдательствовать въ сенатѣ, — и доказалъ народу, что для полноты благополучія и для большаго сходства съ древнимъ Римомъ необходимо завести трибуновъ, обязанныхъ защищать интересы плебеевъ. Политическое значеніе папы, по совѣту Арнольда, было совершенно уничтожено, а власть императора подвергнута значительнымъ ограниченіямъ. Все это, не смотря на рабское копированіе умершихъ учрежденій, могло бы пожалуй жить, развиваться и приносить хорошіе плоды, если бы только не было на свѣтѣ людей, желавшихъ разрушить до основанія это новое государственное устройство. Но такіе люди существовали; ихъ было очень много, они были очень сильны, и Арнольдъ, вмѣстѣ съ своими послѣдователями, не могъ не знать о ихъ существованіи. Арнольду было достаточно извѣстно, что папа былъ злѣйшимъ врагомъ римской республики, и что нѣмецкіе императоры также смотрѣли на нее очень косо. Значитъ, прежде чѣмъ заботиться о внутреннемъ украшеніи новаго зданія, надо было припасти средства для жестокой борьбы за право самобытнаго политическаго существованія. Прежде чѣмъ утѣшаться классическими названіями правителей и чиновниковъ, надо было задать себѣ вопросъ: какъ мы встрѣтимъ и чѣмъ мы прогонимъ сѣверныхъ варваровъ, которые рано или поздно непремѣнно придутъ къ намъ ломать наши величественныя декораціи и рвать наши прелестныя тоги?—Къ этому вопросу, въ которомъ заключалась вся будущность ихъ скороспѣлой республики, римляне, и вмѣстѣ съ ними Арнольдъ, относились съ невѣроятнымъ легкомысліемъ. Они почему-то были увѣрены, или по крайней мѣрѣ старались себя увѣрить, что сѣверный варваръ съ великимъ удовольствіемъ надѣнетъ на себя приготовленный для него костюмъ и приметъ самое благодушное участіе въ веселомъ археологическомъ представленіи. Нѣмецкій императоръ, по ихъ мнѣнію, въ одну минуту долженъ былъ повѣрить имъ на слово—во первыхъ, что онъ—прямой наслѣдникъ Константина и Юстиніана, а во вторыхъ, что Константинъ и Юстиніанъ благоговѣли передъ республиканскими учрежденіями. Римляне очевидно полагали, что борьба съ нѣмецкимъ императоромъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ имѣть для нихъ счастливаго исхода; считая себя такимъ образомъ не въ силахъ отразить опасность, они зажмуривали глаза и старались обманывать и убаюкивать себя пріятной надеждой, что опасность совсѣмъ не существуетъ или разсѣется сама собою.

А между тѣмъ у римлянъ была подъ руками возможность одолѣть императора. Впереди было еще достаточно времени, чтобы сгруппировать

Digitized by Google

всѣ матеріалы для самой напряженной борьбы за новорожденную римскую свободу. Арнольдъ явился въ Римъ въ 1145 году, а нѣмцы вошли въ Италію въ 1154. Въ девять лѣтъ Арнольдъ, при своемъ увлекательномъ краснорѣчіи, при своей безпредѣльной неустрашимости, при своей изумительной способности воспламенять массы, овладѣвать ихъ умами и пробуждать въ народѣ высшія и безкорыстнѣйшія стремленія,—Арнольдъ могъ бы навсегда закрыть нѣмцамъ дорогу въ Италію. Если бы Арнольдъ объѣхалъ въ это время всѣ свободные города Ломбардіи и Тосканы, если бы онъ принялъ на себя обязанность объяснить всѣмъ италіянскимъ республиканцамъ, что имъ всѣмъ грозитъ одна и таже опасность, противъ которой необходимо дѣйствовать съ полнымъ единодушіемъ,—то федерація свободныхъ городовъ состоялась бы непремѣнно, и Римъ былъ бы спасенъ вмѣстѣ съ остальною республиканской Италіей. Ломбардская лига состоялась, подъ неотразимымъ вліяніемъ событій, безъ иниціативы какого нибудь передового генія—въ 1167 году. Но назначеніе геніальныхъ людей именно въ томъ и состоитъ, чтобы ускорять естественное движеніе событій и постигать раньше другихъ тѣ общественныя потребности, которыя впослѣдствіи сдѣлаются осязательно-понятными для самыхъ обыкновенныхъ умовъ. Такъ какъ въ 1167 году необходимость лиги была ясна для всѣхъ свободныхъ гражданъ сѣверной Италіи, то, разумѣется, эту лигу можно было бы заключить пятнадцатью годами раньше, если бы въ это время какой нибудь сильный умъ ускорилъ, съ этой стороны, развитіе общественнаго самосознанія. За отсутствіе такого практическаго ума поплатились очень дорого и Ломбардія, и Римъ, и въ особенности самъ Арнольдъ.

X.

ФРИДРИХЪ БАРБАРОССА.

Въ началѣ 1152 года Конрадъ III умеръ, и германская корона досталась его племяннику, Фридриху Барбароссѣ, человѣку молодому, храброму, дѣятельному, властолюбивому и очень даровитому. Германія уже давно страдала отъ соперничества двухъ сильныхъ владѣтельныхъ домовъ, изъ которыхъ одинъ господствовалъ надъ Швабіей и Франконіей, а другой — надъ Баваріей и Саксоніей. Къ швабо-франконскому дому принадлежали тѣ императоры, которые во все время своего царствованія боролись съ папами. Саксоно-баварскій домъ, напротивъ того, отличался своей постоянной преданностью интересамъ церкви. Съ половины XII вѣка сторонники первой династіи стали называть себя *гибелинами*, а приверженцы второй — *гвельфами*. Слово *гибелины* происходитъ отъ имени замка Waiblinga или Gueibelinga, составлявшаго родовую собственность франконской династіи. Слово *гвельфы* происходитъ отъ имени Гвельфъ или Вельфъ, которое встрѣчалось особенно часто въ семействѣ герцоговъ баварскихъ. Вступленіе Фридриха Барбароссы на германскій престолъ помирило на время обѣ враждебныя партіи, потому что Фридрихъ находился въ очень близкихъ родственныхъ отношеніяхъ съ обоими домами. Послѣ смерти Конрада онъ сдѣлался главою гибелинской династіи; въ тоже время онъ былъ двоюроднымъ братомъ Генриха-Льва, герцога саксонскаго, и племянникомъ Гвельфа VI, герцога баварскаго. Силы Германіи, не развлекаемыя междоусобными войнами, соединились подъ предводительствомъ молодого короля и двинулись на Италію—съ тѣмъ, чтобы совершенно уничтожить республиканскую свободу ея богатыхъ и многолюдныхъ городовъ.

Папа Евгеній III не замедлилъ пожаловаться Фридриху на своеволіе римлянъ и обязался немедленно возложить на него императорскую корону, какъ только онъ явится въ Римъ. Въ отвѣтъ на эту любезность Фридрихъ обѣщалъ проучить римскихъ вольнодумцевъ, уничтожить ихъ глупую республику и распорядиться насчетъ Арнольда Брешіанскаго со всею подобающей энергіей.

Къ воплямъ папы присоединились жалобы нѣкоторыхъ итальянскихъ магнатовъ, которые увѣряли короля, что имъ житья нѣтъ отъ сосѣднихъ республикъ. Фридрихъ окончательно убѣдился въ томъ, что Италія зазналась, и что ее слѣдуетъ наставить на путь истины. Онъ объявилъ всѣмъ своимъ нѣмецкимъ вассаламъ, что раньше истеченія 1154 года имъ предстоитъ отправиться вмѣстѣ съ нимъ за Альпы.

Звѣри бѣжали на ловца со всѣхъ сторонъ. Вслѣдъ за магнатами, Фридриху принесли свою жалобу нѣкоторые республиканцы. Весною 1153 года Фридрихъ предсѣдательствовалъ на имперскомъ сеймѣ въ Констанцѣ. Вдругъ къ его ногамъ бросились двое гражданъ ломбардскаго города Лоди. По обычаю, установленному для просителей, они держали въ рукахъ кресты; голосъ ихъ прерывался отъ рыданій, когда они стали умолять Фридриха, чтобы онъ возвратилъ свободу ихъ родному городу, который слишкомъ сорокъ лѣтъ тому назадъ былъ взятъ и разрушенъ миланцами. Просители описали королю тѣ притѣсненія, которымъ подвергались жители раззореннаго города; эти жители были поселены въ четырехъ разныхъ слободахъ, обложены тяжелыми податями, лишены всякихъ политическихъ правъ и доведены такимъ образомъ почти до положенія крѣпостныхъ крестьянъ. Фридрихъ былъ деспотъ по своему характеру. Но у него не было недостатка въ хорошихъ качествахъ; онъ умѣлъ быть великодушнымъ и старался, по своему крайнему усмотрѣнію, дѣйствовать разумно и справедливо. Онъ принялъ къ сердцу жалобу угнетенныхъ лодійцевъ, обнадежилъ плачу-

Digitized by Google

щихъ просителей и тотчасъ же приказалъ своему канцлеру написать и отправить къ миланцамъ королевскій указъ о немедленномъ освобожденіи всѣхъ жителей бывшаго города Лоди отъ всѣхъ налоговъ и стѣсненій, которымъ они подвергались со стороны завоевателей. Одинъ изъ придворныхъ чиновниковъ короля, Сихерій, тотчасъ повезъ изготовленный указъ въ Италію.

Сихерій заѣхалъ сначала въ тѣ слободы, въ которыхъ жили порабощенные лодійцы. Здѣсь онъ объявилъ мѣстному начальству и обывателямъ, что король возвратилъ лодійцамъ всѣ ихъ прежнія права, и что указъ, заключающій въ себѣ эту королевскую милость, будетъ немедленно переданъ миланскому правительству. Лодійцы ахнули, и ахнули не отъ радости, а отъ изумленія и ужаса. Просители, плакавшіе въ Констанцѣ у ногъ Фридриха Барбароссы, дѣйствовали по свободному вдохновенію, безо всякаго полномочія отъ своихъ согражданъ. Намѣренія этихъ просителей были очень чисты и возвышенны, но поступокъ ихъ былъ такъ неосторожень, что ихъ сограждане не знали теперь, какъ раздѣлаться съ его вѣроятными послѣдствіями. Лодійцамъ дѣйствительно жилось очень плохо подъ властью Милана. Они всѣ мечтали объ освобожденіи, какъ о высшемъ и драгоцѣннѣйшемъ благѣ. Но они понимали очень хорошо, что для этого требуется не кусокъ пергамента, а сильная армія. Указъ Фридриха могъ только возбудить въ Миланѣ взрывъ сильнѣйшаго негодованія, которое прежде всего должно было обрушиться на голову непокорныхъ подданныхъ, осмѣлившихся подавать жалобы на своихъ господъ.

Слободы, въ которыхъ жили лодійцы, находились почти у самыхъ воротъ Милана и не были защищены стѣнами. Уступая первому порыву гнѣва, миланцы могли прямо съ городской площади, на которой имъ будетъ прочитано письмо Фридриха, отправиться къ слободамъ, и сжечь до тла жилища, сады и жатвы непокорныхъ подданныхъ. Подобный подвигъ былъ въ высшей степени возможенъ, потому что въ Миланѣ господствовалъ державный народъ, который, какъ извѣстно, обыкновенно увлекается порывами страсти и очень рѣдко подчиняется въ своихъ дѣйствіяхъ голосу благоразумнаго разсчета. Можно было предвидѣть, что миланцы не испугаются Фридриха, а напротивъ того, изъ чувства національной гордости, захотятъ показать ему наглядно, что они ни въ грошъ не ставятъ его угрозы и указы. Это наглядное показываніе всего удобнѣе могло быть произведено надъ бѣдными лодійцами. Впослѣдствіи миланцамъ придется пострадать отъ Фридриха и пожалѣть о необузданномъ порывѣ гнѣва; но истребленнымъ или раззореннымъ лодійцамъ отъ этого поздняго раскаянія будетъ не легче. Лодійцы стали упрашивать Сихерія, чтобы онъ уничтожилъ королевскій указъ, или, по крайней мѣрѣ, удержалъ его при себѣ до тѣхъ поръ, пока самъ Фридрихъ не явится съ войскомъ въ Италію. Сихерій, разумѣется, отвѣтилъ имъ, что они просятъ невозможнаго, и немедленно отправился съ указомъ въ Миланъ.

Миланскіе консулы собрали народъ на городскую площадь для слушанія королевской грамоты. Произошла бурная сцена. Взрывъ негодованія былъ громаденъ. Граждане вырвали письмо изъ рукъ герольда, разорвали, оплевали его и ногами вшоптали его въ грязь. Всѣ клялись защищать свободу и честь родины до послѣдняго издыханія. Многіе порывались задушить и растерзать Сихерія, такъ что консуламъ и благоразумнымъ гражданамъ едва удалось увести его съ площади и выпроводить за городъ.

Души лодійцевъ пребывали въ это время въ ихъ пяткахъ. Они заблаговременно отправили женъ и дѣтей со всѣми цѣнными пожитками въ Кремону и въ Павію, которыя обѣ находились въ постоянной контрѣ съ Миланомъ. Сами взрослые мужчины проводили только ночи въ своихъ жилищахъ. Днемъ они бродили по лѣсамъ, чтобы не попасться въ руки миланцамъ, которые, по ихъ мнѣнію, непремѣнно должны были явиться рано или поздно.

Весь этотъ страхъ оказался однако совершенно излишнимъ. Натѣшившись надъ королевскимъ указомъ, миланцы успокоились и не захотѣли обижать перетрусившихся лодійцевъ. Кромѣ того, несмотря на свою стычку съ королевскимъ посломъ, миланцы отправили даже къ Фридриху тотъ денежный подарокъ, который обыкновенно посылался королямъ при ихъ восшествіи на престолъ. Свидѣтельствуя такимъ образомъ Фридриху свое почтеніе, миланцы и не думали извиняться передъ нимъ въ топтаніи его указа. Подарки и топтаніе очень дружелюбно уживались между собою въ головѣ средневѣковыхъ политиковъ. Первые изображали собою уваженіе независимыхъ горожанъ къ центральной власти, превратившейся въ политическую фикцію; второе обозначало собою пламенную любовь этихъ горожанъ къ автономіи, развившейся незамѣтнымъ образомъ до размѣровъ живого, реальнаго и неопровержимаго факта.

Въ 1154 году, окончивъ уборку хлѣба, миланцы пошли опустошать земли своихъ всегдашнихъ недруговъ, павійцевъ и кремонянъ, которые не задолго передъ тѣмъ старались повредить имъ при дворѣ новаго короля. Вскорѣ послѣ начала этихъ военныхъ дѣйствій, Фридрихъ Барбаросса перешелъ черезъ Альпы съ очень сильною арміей. Подойдя къ Піаченцѣ, Фридрихъ, по заведенному обычаю, остановился на Ронкальскомъ полѣ, обнесъ свой лагерь стѣною, и въ этомъ укрѣпленномъ лагерѣ созвалъ сеймъ итальянскаго королевства. Началось разбирательство различныхъ жалобъ и притязаній.

Digitized by Google

Два ломбардскіе города, Лоди и Комо, были завоеваны миланцами. Представители обоихъ этихъ городовъ явились на сеймъ и стали жаловаться королю на своихъ угнетателей. Миланскіе консулы представили свои оправданія и возраженія. Депутаты другихъ городовъ стали говорить за нихъ или противъ нихъ, и такимъ образомъ Фридрихъ увидѣлъ, что Ломбардія распадается на двѣ враждебныя партіи. На одной сторонѣ стояли города Миланъ, Крема, Брешія, Піаченца, Асти и Торитона; на другой—Павія, Кремона и Новара. Фридрихъ рѣшился поддерживать вторую партію, потому что она была слабѣе первой и слѣдовательно менѣе опасна для королевской власти, которую Фридрихъ желалъ возстановить во всемъ ея первобытномъ величіи. Однакоже Фридрихъ не произнесъ на ронкальскомъ сеймѣ никакого рѣшительнаго приговора по дѣлу о городахъ, завоеванныхъ миланцами. Онъ только приказалъ прекратить тѣ военныя дѣйствія, которыя были начаты не задолго до его прихода. Миланцы сочли нужнымъ повиноваться, и даже выпустили плѣнниковъ, захваченныхъ на павійской территоріи.

Затѣмъ Фридрихъ пошелъ къ Новарѣ, и, такъ какъ надо было идти черезъ миланскую область, то онъ приказалъ миланскимъ консуламъ составить для его арміи удобный маршрутъ и заготовить для нея по дорогѣ, на станціяхъ, достаточное количество квартиръ и съѣстныхъ припасовъ. Исполнить это порученіе было трудно. Дорога, по которой должна была идти армія Фридриха, была совершенно опустошена недавними столкновеніями миланцевъ съ павійцами; кромѣ того, крестьяне бѣжали опрометью отъ нѣмцевъ, которые имѣли обыкновеніе отнимать у хозяевъ насильно и безплатно хлѣбъ, скотъ и даже домашнюю утварь. Спасаясь изъ деревень въ лѣса или въ укрѣпленные города, крестьяне конечно уносили или увозили съ собою все, что можно было захватить. Поэтому нѣмцамъ приходилось странствовать въ разоренной пустынѣ и терпѣть во всемъ недостатокъ, несмотря на добросовѣстныя усилія миланскихъ консуловъ, облеченныхъ по волѣ Фридриха въ званіе провіантмейстеровъ. Къ довершенію несчастія, начались проливные дожди; люди и лошади вязли въ грязи, подвигались впередъ втрое медленнѣе и утомлялись втрое больше, чѣмъ обыкновенно; хорошія квартиры и обильная пища, при такихъ условіяхъ, были особенно необходимы; а между тѣмъ взять ихъ было неоткуда. Нѣмцы злились, ругались, и во всѣхъ неудобствахъ похода усматривали злые умыслы коварныхъ итальянцевъ. Дойдя до мѣстечка Розаты, Фридрихъ такъ разсердился на погоду и на дорогу, что приказалъ миланскимъ консуламъ убираться къ чорту и увести съ собою всѣхъ жителей мѣстечка, которое должно было сдѣлаться добычею солдатъ. Консулы принуждены были повиноваться. Взрослые люди, старики и дѣти, женщины съ грудными ребятами на рукахъ, здоровые и больные, всѣ вышли изъ Розаты, не захватывая съ собой никакого имущества, и поплелись пѣшкомъ, ночью, подъ холоднымъ осеннимъ дождемъ, по непроходимо грязной дорогѣ, въ Миланъ, до котораго было слишкомъ пятнадцать верстъ. Къ разсвѣту розатскіе выходцы добрались до Милана истомленные, промоченные до костей, не зная, гдѣ пріютиться и какимъ образомъ добыть себѣ пропитаніе. Чувствуя неодолимую потребность сорвать на комъ нибудь свое зло, они стали громко жаловаться на миланскихъ консуловъ, обвиняя ихъ въ томъ, что они своей безтолковостью разсердили короля Фридриха и погубили Розату. Миланскій народъ принялъ горячо къ сердцу страданія разоренныхъ соотечественниковъ; ихъ размѣстили по домамъ, обогрѣли, успокоили, накормили и обезпечили на столько, что они могли, не боясь голода и холода, приняться за пріискиваніе какихъ нибудь постоянныхъ занятій въ Миланѣ или въ его окрестностяхъ. При своей впечатлительности и горячности, народъ повѣрилъ жалобамъ выходцевъ, бросился къ дому Герардо Нигро, одного изъ консуловъ, и разрушилъ его до основанія. Въ это же самое время, нѣмецкіе солдаты, разграбивъ Розату, стирали ее съ лица земли.

Новые депутаты отправились изъ Милана въ нѣмецкій лагерь, объявили Фридриху, что народъ наказалъ консуловъ за ихъ нерасторопность, и предложили ему значительную сумму денегъ, съ тѣмъ условіемъ, чтобы онъ призналъ права миланской республики на города Лоди и Комо. Это посольство не понравилось Фридриху. Все, что говорили ему послы, казалось ему беззаконіемъ и дерзостью. Во-первыхъ, что это за народъ, наказывающій своихъ начальниковъ и объявляющій объ этомъ смѣло и торжественно ему, будущему римскому императору, настоящему и единственному источнику всякой земной власти? Во-вторыхъ, какъ они, эти мѣщане, смѣютъ подкупать императора деньгами? Въ третьихъ, что это за права миланской республики на обладаніе другими городами? Надо еще посмотрѣть, имѣетъ ли эта произвольно зародившаяся республика какія нибудь права на самостоятельное существованіе. Выслушавъ миланскихъ депутатовъ, Фридрихъ окончательно убѣдился въ томъ, что Италія погибнетъ въ пучинѣ заблужденій и анархіи, если твердый и мудрый правитель не примется за ея политическое перевоспитаніе. Фридрихъ былъ такъ великодушенъ, что обрекъ самого себя на этотъ тяжелый и опасный трудъ.

Желая показать миланцамъ, что они должны трепетать и благоговѣть, а не разсуждать вкривь и вкось о какихъ-то правахъ какой-то респуб-

Digitized by Google

лики, Фридрихъ, въ отвѣтъ на любезности ихъ депутатовъ, провелъ свою армію черезъ самыя плодородныя земли миланской области и разрушилъ на своемъ пути все, что могло быть разрушено. Опустошительное шествіе Фридриха закончилось тѣмъ, что онъ сжегъ два моста, построенные миланцами черезъ рѣку Тичино, и срылъ до основанія два укрѣпленные замка, Трекалу и Галіату, защищавшіе миланскую границу со стороны наварской области.

Подвиги нѣмецкой арміи навели миланцевъ на поучительныя размышленія, но не возбудили въ нихъ желанія покориться грозному королю. Миланцы тщательно укрѣпили свой городъ и всѣ замки своей территоріи, закупили на случай осады огромное количество съѣстныхъ припасовъ и отправили пословъ въ сосѣдніе города, для возобновленія старыхъ союзныхъ договоровъ.

Уже въ концѣ 1154 года обозначились такимъ образомъ первыя основанія будущей ломбардской лиги. Уже въ это время въ Миланѣ, въ первенствующемъ городѣ Ломбардіи, зашевелилась мысль о неизбѣжности серьезной борьбы съ нѣмцами. Это обстоятельство подтверждаетъ мою мысль о томъ, что спасеніе римской республики было очень возможно и что оно находилось въ рукахъ Арнольда Брешіанскаго, который не съумѣлъ воспользоваться выгодами своего положенія.

Въ февралѣ 1155 года Фридрихъ подошелъ къ Тортонѣ и приказалъ этому городу отступиться отъ союза съ Миланомъ и заключить союзный договоръ съ Павіей. Правительство тортонской республики отвѣчало Фридриху, что у нихъ не принято покидать старыхъ друзей въ несчастіи.

Фридрихъ объявилъ Тортону въ опалѣ и немедленно началъ осаду этого города. Напротивъ городскихъ стѣнъ, король приказалъ поставить нѣсколько висѣлицъ, предназначенныхъ для плѣнныхъ тортонянъ, которые считались мятежниками и слѣдовательно подлежали смертной казни. Эти висѣлицы дѣлали свое дѣло послѣ каждой стычки, но Тортона продолжала защищаться съ образцовымъ мужествомъ. Когда Миланцы узнали объ опасномъ положеніи своихъ вѣрныхъ союзниковъ, они тотчасъ послали въ Тортону двѣсти человѣкъ отборныхъ воиновъ. Фридрихъ простоялъ передъ Тортоною два мѣсяца, выстроилъ множество хитрѣйшихъ осадныхъ машинъ и потерялъ достаточное количество храбрыхъ воиновъ. Наконецъ Тортона сдалась отъ недостатка воды.

Единственный колодезь, которымъ пользовались жители, находился между городомъ и непріятельскимъ лагеремъ; осаждающіе набросали въ этотъ колодезь кучи разной мерзости, трупы людей, лошадей и собакъ; потомъ они напустили въ воду значительное количество растопленной смолы и сѣры; вода сдѣлалась такъ горька, что даже люди, умирающіе отъ жажды, не въ состояніи были ее пить. На Святой недѣлѣ, пользуясь четырехдневнымъ перемиріемъ, заключеннымъ для празднованія Пасхи, мѣстное духовенство вышло изъ Тортоны, отправилось въ нѣмецкій лагерь и стало умолять Фридриха, чтобы онъ, наказывая мятежный и преступный городъ, заслужившій свою горькую участь, сдѣлалъ исключеніе для клириковъ и позволилъ бы имъ немедленно удалиться куда нибудь въ такое мѣсто, гдѣ благонравіе жителей и обиліе хорошей воды радуютъ сердце каждаго добропорядочнаго человѣка. Просьбы духовенства не убѣдили и не разжалобили Фридриха. Онъ отправилъ просителей обратно въ городъ и продолжалъ свои осадныя операціи.

Однако Фридрихъ не рѣшился поступить съ населеніемъ цѣлаго города по всей строгости тѣхъ имперскихъ законовъ, которые онъ прилагалъ во время осады къ отдѣльнымъ личностямъ тортонскихъ плѣнниковъ. Онъ позволялъ тортонянамъ выдти изъ города и унести съ собой тѣ вещи, которыя они могли захватить за одинъ разъ. Затѣмъ солдаты Фридриха разграбили и сожгли городъ. Истомленныя двухмѣсячными трудами и лишеніями, тортоняне, худые какъ скелеты, едва передвигая ноги, потащились въ Миланъ. Тамъ ихъ приняли съ распростертыми объятіями, какъ героевъ, выдержавшихъ первую серьезную борьбу за общее дѣло. Граждане оказали тортонянамъ самое широкое гостепріимство, а консулы Милана обязались, отъ имени своей республики, выстроить Тортону заново, какъ только удалится отъ ея развалинъ нѣмецкая армія.

Послѣ разрушенія Тортоны Фридрихъ принялъ въ Павіи ломбардскую корону и потомъ отправился въ Римъ.

Въ это время римляне, по своему обыкновенію, старались угодить и Богу, и мамону, фантазировали на разныя республиканскія темы, и собирались свидѣтельствовать свое почтеніе императору, — слушали съ восторгомъ проповѣди еретика Арнольда, отлученнаго отъ церкви, и продолжали признавать папу высшимъ авторитетомъ въ дѣлѣ религіи. Въ началѣ 1155 года папа Адріанъ IV, возмущенный этимъ хаосомъ внутреннихъ противорѣчій, поразилъ Римъ интердиктомъ, то есть запретилъ всѣмъ членамъ римскаго духовенства совершать въ Римѣ обряды богослуженія. Когда, въ концѣ того же XII столѣтія, папа Иннокентій III наложилъ интердиктъ на Англію и на Францію, тогда Іоаннъ Безземельный и Филиппъ Августъ приняли тотчасъ такія энергическія мѣры, что англійскіе и французскіе клирики не осмѣлились повиноваться папѣ и продолжали совершать богослуженіе почти во всѣхъ провинціяхъ, пораженныхъ интердиктомъ. Но въ Римѣ ни у кого недоставало сообразительности и энергіи на то,

Digitized by Google

чтобы распорядиться такимъ образомъ. Ни Арнольдъ, ни республиканскій сенатъ не приняли никакихъ мѣръ противъ выполненія папскаго декрета. Церкви закрылись. Народъ оробѣлъ, растерялся. Вмѣсто того чтобы воспользоваться популярностью и краснорѣчіемъ Арнольда для ободренія унывающихъ римлянъ, сенатъ сталъ искать спасенія въ уступкахъ и попросилъ Арнольда удалиться изъ города для того, чтобы Римъ могъ помириться съ папою. Арнольдъ, съ своей стороны, вмѣсто того, чтобы собрать всѣ силы для рѣшительной борьбы, по первому приглашенію остроумнаго сената удалился изъ Рима на лоно сельской природы, въ замокъ какого-то кампанскаго дворянина.

Подойдя къ Риму, Фридрихъ велѣлъ тотчасъ отыскать и схватить Арнольда, для того чтобы передать его въ полное распоряженіе папѣ. Фридриху было, разумѣется, очень пріятно, что онъ такою бездѣлицей можетъ доставить папѣ великое удовольствіе. Получивши Арнольда, Адріанъ, разумѣется, приказалъ сжечь его какъ можно скорѣе. Приговоръ былъ приведенъ въ исполненіе въ концѣ мая, рано утромъ, у воротъ del Popolo, недалеко отъ трехъ самыхъ длинныхъ и населенныхъ улицъ Рима. Римляне вооружились и сбѣжались къ костру, когда уже все было кончено. Они поглазѣли, пожалѣли, покричали и разошлись по домамъ.

Депутаты отъ республиканскаго правительства явились въ лагерь Фридриха и разсыпали передъ нимъ жемчугъ своего краснорѣчія. Распространившись достаточно о древнемъ величіи Рима, депутаты объяснили Фридриху, что вѣчный городъ недавно сбросилъ съ себя несправедливую власть монаховъ, и теперь снова можетъ и долженъ подчинить весь міръ своему господству. Во имя всѣхъ великихъ подвиговъ, совершенныхъ древними и новыми римлянами, во имя всѣхъ ихъ блестящихъ надеждъ и роскошныхъ претензій, депутаты потребовали отъ Фридриха, чтобы онъ, до своего вступленія въ Римъ, далъ клятвенное обѣщаніе соблюдать всѣ обычаи и древніе законы Рима, охранять гражданъ отъ своеволія варваровъ и заплатить пять тысячъ ливровъ серебра тѣмъ чиновникамъ, которые, отъ имени римскаго народа, увѣнчаютъ его въ Капитоліи. Все это говорилось серьезно и торжественно тому самому человѣку, по приказанію котораго Арнольдъ Брешіанскій сдѣлался мученикомъ итальянской свободы.

Фридрихъ, разумѣется, далъ почувствовать краснорѣчивымъ депутатамъ всю тяжесть своего презрѣнія къ ихъ заносчивому и тупоумному безсилію. Онъ отвѣчалъ на ихъ требованія, что онъ, какъ государь, идетъ въ Римъ предписывать законы, и никому не давалъ и не дастъ права стѣснять его дѣйствія какими бы то ни было условіями. Осыпавъ новыхъ республиканцевъ насмѣшками и упреками за жалкое пародированіе древняго Рима, Фридрихъ прогналъ отъ себя депутатовъ, предоставляя имъ размышлять на досугѣ о гнусномъ равнодушіи сѣверныхъ варваровъ къ самымъ величественнымъ историческимъ воспоминаніямъ. Однакоже Фридрихъ не тронулъ республиканскихъ учрежденій Рима. Онъ только занялъ своими войсками Ватиканскій холмъ, на которомъ находился соборъ св. Петра, необходимый для коронаціи.

Когда совершилась эта церемонія, Фридрихъ тотчасъ удалился въ свой лагерь, расположенный за стѣнами города, а римляне, обидѣвшись тѣмъ, что императоръ обошелся безъ ихъ согласія и осмѣялъ ихъ депутатовъ, бросились толпою къ Ватикану и перебили тѣхъ нѣмцевъ, которые не успѣли выбраться изъ города. Фридрихъ, услышавъ объ этомъ движеніи, вышелъ изъ лагеря, напалъ на римлянъ, дрался съ ними впродолженіи нѣсколькихъ часовъ, положилъ на мѣстѣ до тысячи республиканцевъ и разсѣялъ остальную часть городской милиціи. Даже и послѣ этой рѣшительной побѣды Фридрихъ не сталъ вмѣшиваться въ римскія дѣла и не произвелъ никакой перемѣны въ республиканскомъ управленіи. Напротивъ того, онъ на другой же день послѣ сраженія удалился вмѣстѣ съ папою отъ Рима къ Тиволи. Лѣтніе жары привели за собою лихорадки, которыя заставили Фридриха уйдти какъ можно скорѣе изъ римской Кампаньи. Дойдя до Анконы, Фридрихъ былъ принужденъ распустить большую часть арміи, потому что срокъ службы окончился, и нѣмецкіе бароны торопились воротиться домой. Оставивъ при себѣ сильный отрядъ, достаточный для того, чтобы совершить приличнымъ образомъ отступленіе, Фридрихъ самъ двинулся къ Альпамъ и чуть-чуть не погибъ при переходѣ черезъ рѣку Адижъ. На этой рѣкѣ вероняне устраивали обыкновенно для императорскихъ армій плавучій мостъ, въ нѣкоторомъ разстояніи отъ Вероны, которая такимъ образомъ избавлялась отъ печальной необходимости отворять свои ворота нѣмецкимъ буянамъ и грабителямъ. Веронянамъ пришло въ голову, что они посредствомъ этого моста могутъ сразу отмстить Фридриху за всю Италію. Они построили мостъ такъ, что лодки, изъ которыхъ онъ былъ составленъ, были едва связаны между собою и должны были разъѣхаться отъ перваго сильнаго толчка. Повыше моста они заготовили нѣсколько здоровенныхъ плотовъ, связанныхъ изъ огромныхъ строевыхъ деревьевъ. Эти плоты рѣшено было пустить внизъ по теченію быстрой рѣки, такъ, чтобы они разнесли мостъ въ дребезги и разрѣзали отрядъ Фридриха пополамъ. Съ каждою изъ двухъ половинъ отряда вероняне легко могли управиться собственными средствами. Замыселъ этотъ разстроился единственно оттого, что плоты опоздали на нѣсколько минутъ. Они разбили мостъ тогда, когда весь отрядъ Фридриха былъ

Digitized by Google

уже за рѣкою. Фридрихъ видѣлъ ясно, какая западня была устроена для него трудами добрыхъ веронскихъ гражданъ, но у него было такъ мало воиновъ, что ему невозможно было заняться наказаніемъ виновныхъ. Онъ поспѣшно отправился дальше и благополучно вернулся въ свою Германію.

XI.

РОНКАЛЬСКІЙ СЕЙМЪ.

Тортона не долго оставалась разрушенною. Какъ только Фридрихъ двинулся изъ Павіи въ Римъ для принятія императорской короны — миланскіе консулы созвали въ Миланѣ *парламентъ* (народное собраніе), напомнили ему, что тортоняне, изъ любви къ общему дѣлу, пожертвовали всѣмъ своимъ достояніемъ, и предложили ему обсудить, не пора ли будетъ исполнить въ отношеніи къ нимъ естественную обязанность вѣрныхъ союзниковъ. Парламентъ рѣшилъ, что надо немедленно выстроить Тортону заново на счетъ миланской общины. Государственная казна миланской республики не была на столько богата, чтобы сооружать на свой счетъ цѣлый городъ. Но парламентъ, составленный изъ всѣхъ взрослыхъ гражданъ Милана, вовсе и не хотѣлъ сваливать на казну эти экстраординарные расходы. Рѣшаясь оказать тортонянамъ такую безпримѣрно широкую помощь, миланцы просто и совершенно сознательно налагали на себя обязанность развязать свои кошельки и высыпать изъ нихъ столько денегъ, сколько потребуется на данное предпріятіе. У кого не было кошелька, тотъ обязывался принести въ общую складчину свое время, свой трудъ, силы своего ума и своихъ рукъ.

Миланцы сразу откомандировали къ развалинамъ Тортоны цѣлую треть своего городского населенія. Изъ шести миланскихъ частей двѣ, Тичинская и Верчельская, цѣликомъ отправились на работы. Дворяне и горожане, конные и пѣшіе, всѣ пошли вмѣстѣ. Пока одни работали, другіе принуждены были драться, потому что павійцы, упорные враги Милана и вѣрные союзники Барбароссы, всячески старались помѣшать возстановленію мятежной Тортоны. Отдежуривъ такимъ образомъ три недѣли, обѣ части воротились домой, а къ нимъ на смѣну пришли другіе двѣ части—Ренцская и Римская. Когда всѣ части перебывали на работахъ, тогда на мѣстѣ грязныхъ и закопченныхъ развалинъ оказался новый, красивый и крѣпкій городъ, въ который миланцы съ торжествомъ ввели своихъ возлюбленныхъ друзей и союзниковъ, пострадавшихъ за общее дѣло республиканской свободы.

Наградивъ добродѣтель, миланцы стали наказывать порокъ, то есть павійцевъ, кремонянъ и другихъ итальянскихъ союзниковъ императора. Втеченіе 1156 и 1157 годовъ миланцы одержали надъ всѣми этими супостатами рядъ блестящихъ побѣдъ, вслѣдствіе которыхъ вліяніе Фридриха оказалось почти уничтоженнымъ на всемъ пространствѣ Ломбардіи. Черезъ два года послѣ возвращенія Фридриха въ Германію, всѣ слѣды его грознаго нашествія были заглажены, и миланцы сдѣлались снова хозяевами сѣверной Италіи.

Весною 1157 года Фридрихъ началъ приготовляться къ новому походу, направленному спеціально противъ миланцевъ. Онъ пригласилъ всѣхъ имперскихъ князей явиться съ войскомъ въ городъ Ульмъ, къ троицыну дню 1158 года съ тѣмъ, чтобы прямо изъ Ульма идти въ Италію.

Походъ состоялся въ назначенное время, и армія, собравшаяся въ Ульмѣ, оказалась до такой степени многочисленной, что начальники признали удобнымъ раздѣлить ее на четыре большіе отряда, которые пошли черезъ Альпы по четыремъ различнымъ дорогамъ.

Первый ударъ обрушился на Брешію, находившуюся въ союзѣ съ Миланомъ. Но у Брешіанцевъ не хватило мужества подражать Тортонянамъ. Черезъ двѣ недѣли послѣ вступленія Фридриха на ихъ территорію, они стали просить мира, заплатили значительную контрибуцію и покинули миланцевъ на произволъ судьбы. Остановившись лагеремъ въ Брешіанской области, Фридрихъ потребовалъ къ себѣ на судъ мятежныхъ миланцевъ; депутаты отъ Милана явились по этому приглашенію, попробовали оправдать дѣйствія своей республики, и, по своему обыкновенію, предложили императору денежный подарокъ. Фридрихъ не принялъ отъ нихъ ни оправданій, ни денегъ, объявилъ миланцевъ врагами священной римской имперіи и приказалъ арміи готовиться къ осадѣ нечестиваго города.

Въ то время, когда нѣмецкая армія приближалась къ Милану, лодійцы толпами окружили императора, и, держа въ рукахъ кресты, стали умолять его со слезами, чтобы онъ позволилъ имъ наконецъ возстановить свой городъ, который, какъ извѣстно, былъ разрушенъ миланцами. Фридрихъ назначилъ имъ для новаго города холмъ Монтегецоне, находившійся въ четырехъ миляхъ отъ стараго Лоди. На этомъ холмѣ онъ приказалъ положить въ своемъ присутствіи первые камни городскихъ стѣнъ, и къ концу года лодійцы, за этими стѣнами, могли уже собственными средствами отстаивать отъ миланцевъ свою независимость.

Въ началѣ августа войско Фридриха, состоявшее изъ 100,000 пѣхоты, окружило Миланъ со всѣхъ сторонъ. Пользуясь удобнымъ случаемъ, кремоняне и павійцы натѣшились досыта надъ роскошными нивами и садами Миланской области; они вырывали или сожигали виноградныя лозы, смоковницы и масличныя деревья,

Digitized by Google

разрушали дома и хозяйственныя строенія, и убивали плѣнниковъ, которыхъ имъ удавалось захватить. Имъ хотѣлось не грабить, а истреблять; ими управляло не корыстолюбіе, а ненависть и жажда мщенія за недавнія побѣды миланцевъ.

Блокада Милана не привела за собою тѣхъ рѣшительныхъ послѣдствій, которыхъ можно было ожидать отъ энергіи обѣихъ воюющихъ сторонъ и отъ естественной непримиримости боровшихся принциповъ. Осажденные очень скоро начали чувствовать недостатокъ съѣстныхъ припасовъ; вслѣдъ за голодомъ въ городѣ появились заразительныя болѣзни. Въ началѣ сентября, миланцы послали къ Фридриху депутатовъ съ просьбою о мирѣ.

Надо полагать, что осаждающая армія находилась также не въ блистательномъ положеніи. По крайней мѣрѣ, Фридрихъ обнаружилъ въ своихъ требованіяхъ такую умѣренность, которая совершенно не соотвѣтствовала ни его личному характеру, ни его постояннымъ политическимъ стремленіямъ. Миланцы съ радостью приняли его условія, и миръ былъ заключенъ 7-го сентября.—По этому трактату миланцы признали независимость городовъ Лоди и Комо, поклялись быть вѣрными императору, обязались выстроить ему на свой счетъ дворецъ и выплатить ему, въ три срока, втеченіе года, девять тысячъ марокъ. Кромѣ того, они отказались отъ регальныхъ правъ, которыми они владѣли въ своемъ городѣ и въ миланской области. Императоръ обязался не вводить арміи въ Миланъ и удалиться отъ стѣнъ города послѣ полученія заложниковъ, которыхъ миланцы должны были ему выдать впредь до уплаты обѣщанной контрибуціи. Далѣе онъ утвердилъ право миланцевъ выбирать себѣ консуловъ въ народномъ собраніи, съ тѣмъ условіемъ, чтобы эти консулы, при вступленіи въ должность, присягали въ вѣрности императору. Наконецъ онъ призналъ право миланцевъ заключать союзы съ другими городами и согласился распространить условія мирнаго договора на тѣ города, которые въ данную минуту находились въ союзѣ съ Миланомъ.

Подписывая этотъ договоръ, миланскіе политики горевали преимущественно о томъ, что ихъ республика теряетъ свои завоеванія—Лоди и Комо. Остальныя условія — о присягѣ всего города, о присягѣ консуловъ, о регальныхъ правахъ—казались имъ простымъ и невиннымъ освѣженіемъ старыхъ обычаевъ, которые, правда, начали поростать мохомъ забвенія, но при всемъ томъ никогда не теряли своего историческаго права на существованіе. Писанный законъ былъ весь цѣликомъ на сторонѣ императора; исторія всѣми своими хартіями оправдывала его требованія. Миланцы не могли предъявить ни одного такого документа, который освобождалъ бы ихъ отъ присяги, или отдавалъ бы въ ихъ распоряженіе регальныя права. Вся автономія Милана и другихъ итальянскихъ республикъ была явленіемъ незаконнорожденнымъ и не помнящимъ родства. Вслѣдствіе этого обстоятельства, всѣ итальянскіе республиканцы—кромѣ венеціянцевъ — поневолѣ были очень уступчивы въ области теоріи, гдѣ они дѣйствительно не могли найдти для своихъ притязаній никакой опоры. Такъ какъ большая часть условій въ договорѣ съ Фридрихомъ имѣла чисто-теоретическій характеръ, то есть заявляла отвлеченныя верховныя права императора, то миланцы принуждены были признать справедливость этихъ условій.

Но для Фридриха заключенный договоръ былъ сносенъ только въ ожиданіи лучшаго. Фридрихъ вовсе не былъ расположенъ удовлетворяться отвлеченнымъ заявленіемъ своихъ верховныхъ правъ. Цѣль и задача всей его жизни именно въ томъ и состояла, чтобы осуществить на самомъ дѣлѣ всѣ тѣ притязанія императорской власти, которыя со временъ Карла Великаго обратились въ пустые звуки. Для Фридриха всѣ теоретическія условія договора были зародышами, заключавшими въ себѣ способность къ безконечному развитію.—Фридрихъ желалъ имѣть въ Миланѣ дворецъ. На что онъ ему былъ нуженъ? Не на то же, въ самомъ дѣлѣ, чтобъ отдавать его въ наймы и получать съ него доходъ?—Имѣя свой дворецъ, императоръ могъ пріѣзжать иногда въ Миланъ и проводить въ городѣ по нѣсколько недѣль. Живя въ Миланѣ, императоръ могъ и долженъ былъ пріобрѣтать нѣкоторое вліяніе на городскія дѣла. Уѣзжая изъ Милана, императоръ могъ оставить въ своемъ дворцѣ чиновника для окончанія какихъ нибудь дѣлъ, поступившихъ на разсмотрѣніе самого государя. Словомъ, при благопріятныхъ обстоятельствахъ и при нѣкоторомъ искусствѣ, можно было понемногу придѣлать къ невинному дворцу—императорскаго намѣстника съ цѣлымъ придворнымъ штатомъ.

Конечно, дворецъ самъ по себѣ ничего не значитъ, и ничего не можетъ сдѣлать. Но тутъ все идетъ одно къ одному: и дворецъ, и консульская присяга, и регальныя права. — Консулы выбирались каждый годъ, и слѣдовательно каждый годъ должны были приносить присягу. Но гдѣ должна была совершаться эта церемонія—въ Германіи или въ Миланѣ? Путешествіе въ Германію, при тогдашнихъ путяхъ сообщенія, было на столько затруднительно и даже опасно, что его не стоило предпринимать единственно для того, чтобы совершить простой обрядъ. Если же церемонія присяги должна была совершаться въ Миланѣ, то разумѣется, тутъ необходимо было присутствіе довѣреннаго лица, которое отъ имени императора наблюдало бы за надлежащимъ исполненіемъ всѣхъ предписанныхъ формальностей. Однимъ изъ важнѣйшихъ ре-

Digitized by Google

гальныхъ правъ было право чеканить монету. Другія регальныя права заключались въ собираніи нѣкоторыхъ опредѣленныхъ доходовъ. Отказываясь отъ этихъ регальныхъ правъ въ пользу императора, миланцы очевидно давали императору поводъ ввести въ ихъ городъ цѣлый штатъ чиновниковъ для завѣдыванія монетнымъ дѣломъ и всѣми оброчными статьями, которыя становились собственностью императорской казны. Представители высшей центральной власти очевидно не могли подчиняться консуламъ и народному собранію; такимъ образомъ, въ городѣ оказалось бы два правительства, которыхъ неизбѣжныя столкновенія подавали бы поводъ къ постояннымъ вмѣшательствамъ со стороны императора. Эти вмѣшательства, разумѣется, могли по немногу вытравить всѣ признаки республиканской свободы.

Трактатъ, заключенный Фридрихомъ съ миланцами, долженъ былъ или оказаться мертвою буквой почти во всѣхъ своихъ частяхъ, или обогатиться понемногу такими дополнительными и объяснительными условіями, при которыхъ миланская автономія сдѣлалась бы невозможною. Тотчасъ послѣ заключенія мира, Фридрихъ созвалъ на Ронкальскомъ полѣ сеймъ и при его содѣйствіи началъ воздѣлывать зародыши, вложенные въ мирный договоръ. — Сеймъ составился многочисленный и блестящій. Съѣхались архіепископы и епископы, князья, герцоги, маркизы графы и наконецъ консулы и судьи всѣхъ итальянскихъ городовъ, признававшихъ верховную власть императора.

Разсужденіями сейма стали конечно управлять тѣ люди, на сторонѣ которыхъ находился перевѣсъ образованія, то есть клирики и юрисконсульты. Благодаря вліянію этихъ двухъ корпорацій, сеймъ отличился безпримѣрной покорностью, такою покорностью, что самъ Фридрихъ не рѣшился воспользоваться всѣми уступками сейма въ ихъ полномъ объемѣ. Архіепископъ миланскій, въ своемъ отвѣтѣ на тронную рѣчь императора, выразился:

«Вамъ однимъ—сказалъ онъ, обращаясь къ Фридриху—слѣдуетъ заботиться о законахъ, о справедливости и о чести имперіи; вамъ предоставлено полное право предписывать народу новые законы; ваша воля сама по себѣ составляетъ основаніе справедливости; ваше письмо, приговоръ, указъ—немедленно становятся для народа закономъ. Не должна-ли, въ самомъ дѣлѣ, награда слѣдовать за трудомъ, и не долженъ-ли пользоваться наслажденіями власти тотъ, на комъ лежитъ тяжелая обязанность защищать насъ отъ враговъ?»

Юрисконсульты, сформированные Болонскимъ университетомъ, окончательно подкосили тѣхъ членовъ сейма, которые были расположены защищать права народа. Рѣчи пламенныхъ обожателей юстиніановскаго кодекса лились на магнатовъ и на консуловъ, какъ безконечные потоки холоднаго осенняго дождя. Не умѣя слѣдить за тонкой нитью извилистой юридической аргументаціи, не понимая мудреныхъ научныхъ терминовъ, не зная ни римскаго права, ни его исторіи, изнемогая отъ скуки и отъ безплодныхъ усилій сосредоточить свое вниманіе — военные и торговые люди, засѣдавшіе на сеймѣ, доходили наконецъ до безсознательнаго и безчувственнаго состоянія, въ которомъ они готовы были согласиться на все, лишь бы выбраться поскорѣе изъ подъ дождя болонскихъ изслѣдованій и доказательствъ. Практическіе люди—магнаты и консулы—помнили только смутно, что господинъ болонскій докторъ разсказываетъ имъ о римскихъ законахъ и учрежденіяхъ, и что слѣдовательно всѣ описываемые порядки должны быть превосходны, потому что у римлянъ, завоевавшихъ всю вселенную, или около того, разумѣется не могло быть въ государственной жизни ничего дурного, несправедливаго или нелѣпаго. И практическіе люди соглашались на все. Да и какъ могли они не согласиться? Чуть только они затѣяли бы споръ, болонскіе доктора тотчасъ завели бы снова свои машины часа на три или на четыре, и наконецъ, рано или поздно, практикамъ, доведеннымъ до одуренія, все-таки пришлось бы сдаться на капитуляцію и просить пощады. А тутъ же кстати и нѣмецкіе солдаты были подъ бокомъ на тотъ случай, если бы практикамъ вздумалось твердо стоять на своемъ, не прельщаясь никакими юстиніановскими сентенціями.

По требованію Фридриха, юристы подняли на сеймѣ вопросъ о регальныхъ правахъ, уже затронутый договоромъ съ миланцами. Сеймъ рѣшилъ, что регальныя права должны принадлежать императору, и что подъ этимъ именемъ должны подразумѣваться: право собирать таможенныя пошлины; fodero или право брать даромъ для войска съѣстные припасы; право содержать пристани, мельницы и рыбныя ловли; право собирать какіе бы то ни было доходы съ большихъ рѣкъ.—Кромѣ того, сеймъ рѣшилъ, что подданные должны платить императору подушную подать.

Всѣ эти рѣшенія сейма находились въ совершенной гармоніи съ духомъ и съ буквою римскаго права; но ихъ невозможно было помирить съ живыми явленіями тогдашней дѣйствительности. Достоинства и владѣнія герцоговъ, графовъ и маркизовъ уже давно сдѣлались наслѣдственными; многіе города уже давно чеканили свою монету; таможни, пристани, мельницы, рыбныя ловли и всякіе рѣчные доходы давно находились въ рукахъ городовъ или помѣщиковъ, которые привыкли смотрѣть на нихъ, какъ на свою неотъемлемую собственность. Перевертывать сразу весь этотъ установившійся порядокъ было такъ трудно и опасно, что Фридрихъ не

Digitized by Google

рѣшился присвоить себѣ на самомъ дѣлѣ всѣ тѣ права, которыя сеймъ представлялъ ему въ теоріи. Онъ оставилъ регальныя права въ рукахъ прежнихъ владѣльцевъ, съ тѣмъ условіемъ, чтобы они, пользуясь доходами, платили ежегодный оброкъ императору, какъ верховному сюзерену.

Сеймъ призналъ, что право выбирать консуловъ и судей принадлежитъ императору, съ тѣмъ, чтобы выборъ соотвѣтствовалъ желаніямъ народа. Зародышъ, заключавшійся въ консульской присягѣ, началъ такимъ образомъ развертываться очень удачно. Пользуясь своимъ правомъ, Фридрихъ назначилъ въ каждый епархіальный городъ по одному новому судьѣ, который получилъ названіе *подесты*.

Создавая эту новую должность, Фридрихъ опредѣлилъ, что подеста непремѣнно долженъ быть уроженцемъ другого города для того, чтобы онъ, при отправленіи своихъ судебныхъ обязанностей, не поддавался родственному пристрастію и не увлекался духомъ мѣстныхъ партій.

Наконецъ сеймъ отнялъ право войны и мира у всѣхъ городовъ и магнатовъ. Если бы смѣлые приговоры и рѣшительныя запрещенія могли пересоздать въ одну минуту всю физіономію дѣйствительной жизни,—то ронкальскій сеймъ положилъ бы конецъ всѣмъ частнымъ войнамъ на всемъ пространствѣ сѣверной и средней Италіи.

XII.

РАЗРУШЕНІЕ КРЕМЫ И МИЛАНА.

На ронкальскомъ сеймѣ законные представители итальянскаго королевства признали за императоромъ такую обширную власть, которая, повидимому, исключала всякую мысль о возможности сопротивляться ему или связывать его державную волю условіями какихъ нибудь трактатовъ. Послѣ опредѣленій ронкальскаго сейма, на которомъ, въ числѣ прочихъ, присутствовали и миланскіе депутаты — Фридрихъ имѣлъ полное право смотрѣть на свой мирный договоръ съ миланцами, какъ на любопытный памятникъ недавнихъ, но уже осужденныхъ и окончательно отвергнутыхъ анархическихъ заблужденій. Фридрихъ воспользовался этимъ правомъ не обращать вниманіе на условія трактата. Онъ ввелъ нѣмецкій гарнизонъ въ замокъ Треццо, находившійся на миланской территоріи, неприкосновенность которой была положительно гарантирована трактатомъ. Онъ отдѣлилъ отъ миланской республики городъ Монцу, находившійся съ давнихъ поръ подъ ея господствомъ. Онъ отдалъ одному изъ своихъ приверженцевъ графства Мартезану и Сепріо, которыя также составляли часть неприкосновенной миланской территоріи. Онъ приказалъ разрушить укрѣпленія города Кремы, который, въ качествѣ постояннаго союзника миланской республики, былъ огражденъ трактатомъ отъ произвольныхъ распоряженій императорскаго правительства. Наконецъ Фридрихъ переполнилъ мѣру миланскаго долготерпѣнія: онъ послалъ въ Миланъ своего канцлера для того, чтобы посадить подесту на мѣсто выборныхъ консуловъ. Послѣднія два приказанія—о разрушеніи кремской крѣпости и о водвореніи въ Миланѣ подесты—были отданы въ одно время и произвели одинаково-сильный взрывъ въ обоихъ городахъ—въ Кремѣ и въ Миланѣ. Кремаски и миланцы взялись за оружіе и прогнали императорскихъ чиновниковъ. Побѣда, одержанная учеными юрисконсультами на ронкальскомъ сеймѣ, была очень замѣчательна, не только по своей легкости, но также и по своей совершенной безплодности. На сеймѣ оппозиція покорилась и умолкла; законы, предложенные приверженцами Фридриха, были приняты единогласно, болонскіе аргументы убѣдили или оглушили всѣхъ членовъ собранія; повидимому все было кончено; повидимому нѣмцамъ оставалось только загребать обѣими руками обильные плоды итальянской покорности. Но все это было только повидимому. На самомъ же дѣлѣ настоящія трудности именно тогда только и начинались, когда надо было вводить въ мелкія подробности дѣйствительной жизни общіе законы, единогласно принятые и утвержденные всѣми представителями націи. Жизнь, молчавшая на сеймѣ, проснулась во всемъ своемъ непобѣдимомъ могуществѣ, когда чужая рука дотронулась до ея собственныхъ созданій и отправленій. Жизнь не умѣла аргументировать, но умѣла крѣпко стоять за то, что ей было дорого и необходимо. Жизнь спокойно уступила болонскимъ докторамъ поле отвлеченныхъ политическихъ соображеній, согласилась со всѣми ихъ доводами, подписала всѣ ихъ протоколы, и потомъ вдругъ начала бушевать, когда ее, на основаніи всѣхъ этихъ соображеній, доводовъ и протоколовъ, стали связывать по рукамъ и по ногамъ. Труды болонскихъ теоретиковъ оказались потерянными; жизнь ни въ чемъ не убѣдилась, ничему не повѣрила, ни отъ чего не отказалась; всѣ ея привычки, страсти и потребности остались на прежнихъ мѣстахъ и сохранили прежнюю силу, всѣ юридическія разсужденія прошли мимо ея ушей.

Прогнавши императорскаго канцлера, миланцы пошли на замокъ Треццо, занятый нѣмецкимъ гарнизономъ, и взяли его приступомъ. Фридрихъ объявилъ миланцевъ и всѣхъ ихъ союзниковъ мятежниками и врагами имперіи. На этотъ разъ у миланцевъ оказалось немного союзниковъ. Къ нимъ примкнули только кремаски и брешіанцы. Даже тортоняне, облагодѣтельствованные миланскою республикой, не могли или не осмѣлились дѣйствовать съ ней заодно.

Фридриху незачѣмъ было подходить къ Милану и осаждать его. Фридрихъ могъ дѣйствовать издали, на вѣрняка, не подвергая своего

Digitized by Google

дѣла случайностямъ сраженія. Миланская область была окружена со всѣхъ сторонъ территоріями враждебныхъ городовъ, которые ни сколько не были расположены снабжать миланцевъ съѣстными припасами. Чтобы заморить миланцевъ голодомъ, Фридриху стоило только постоянно выжигать въ Миланской области обѣ жатвы, лѣтнюю и осеннюю, и кромѣ того содержать сильные караулы на всѣхъ дорогахъ, ведущихъ къ Милану, такъ чтобы ни одинъ возъ съ хлѣбомъ и ни одна голова скота не могли проскользнуть въ опальный городъ. Противъ этой тактики миланцы ровно ничего не могли предпринять; гибель ихъ была неизбѣжна; чтобы спастись отъ голода, имъ надо было бы завоевать всю сѣверную Италію и прогнать Фридриха за Альпы, что, очевидно, было для нихъ совершенно невозможно. Что же касается до отдѣльныхъ побѣдъ, то онѣ были для миланцевъ совершенно безполезны, потому что не отнимали у Фридриха возможности дѣлать опустошительные набѣги на миланскую территорію и предавать смертной казни предпріимчивыхъ мужиковъ, которые, соблазняясь высокими цѣнами, пробовали пробираться съ хлѣбомъ или скотомъ въ Миланъ изъ сосѣднихъ областей.

Съ маленькимъ городкомъ Кремою можно было распорядиться быстрѣе и рѣшительнѣе.

Въ іюлѣ 1159 года Фридрихъ подошелъ къ его стѣнамъ и началъ осадныя работы. Миланцы тотчасъ прислали въ Крему 400 человѣкъ вспомогательнаго войска подъ начальствомъ одного изъ консуловъ, обязавшись при этомъ содержать этотъ отрядъ на свой счетъ, во все время осады. Кремаски дѣлали постоянныя вылазки, мѣшали осаднымъ работамъ, портили машины и одинъ разъ нанесли нѣмцамъ такое чувствительное пораженіе, что Фридрихъ разсердился и приказалъ повѣсить напротивъ стѣнъ нѣсколько человѣкъ плѣнниковъ изъ осажденнаго города. Кремаски увидѣли это выраженіе неудовольствія и въ отвѣтъ на него немедленно повѣсили на своихъ стѣнахъ равносильное число плѣнныхъ нѣмцевъ. Тогда Фридрихъ объявилъ имъ черезъ герольда, что ужь теперь онъ ни за что не смилуется надъ ними и послѣ взятія города не дастъ никому никакой пощады. Вслѣдъ затѣмъ сорокъ человѣкъ кремскихъ заложниковъ, оставшихся во власти императора послѣ сентябрскаго мира съ миланцами, отправились на висѣлицу. Тутъ же подвернулись подъ расходившуюся руку и пошли по той же дорогѣ шестеро депутатовъ, отправленныхъ изъ Милана для переговоровъ съ Піаченцою. Въ числѣ этихъ депутатовъ умеръ на висѣлицѣ племянникъ миланскаго архіепископа, того самаго, который на Ронкальскомъ сеймѣ краснорѣчиво прославлялъ нѣмецкое трудолюбіе, и достойный прелатъ узналъ теперь, что это трудолюбіе можетъ совершаться въ ущербъ его ближайшимъ родственникамъ.

Еще не всѣ кремскіе заложники были перевѣшаны. Оставалось еще десятка два несовершеннолѣтнихъ. Придерживаясь того эпикурейскаго правила, что разнообразіе возвышаетъ цѣну наслажденій, Фридрихъ придумалъ для тѣхъ новую комбинацію, гораздо болѣе занимательную, чѣмъ простая висѣлица. Онъ приказалъ привязать ихъ къ подвижной деревянной башнѣ и потомъ покатить эту башню, наполненную вооруженными воинами, къ стѣнамъ осажденнаго города. Кремаскамъ представилась мучительная дилемма: стрѣлять по башнѣ—значило своими руками убивать собственныхъ дѣтей, а не стрѣлять—значило отдать городъ тѣмъ воинамъ, которые сидѣли внутри башни. Какъ бы ни распорядились кремаски, Фридрихъ получалъ во всякомъ случаѣ выгоду или удовольствіе, то есть, захватывалъ осажденный городъ, или подвергалъ его мятежныхъ жителей самой жестокой нравственной пыткѣ. Кремаски дѣйствительно выдержали эту пытку; живя въ желѣзномъ вѣкѣ, они поступили какъ желѣзные люди; святая обязанность защищать отечество перевѣсила въ нихъ всѣ остальныя соображенія.

Чѣмъ громче кричали привязанные дѣти, тѣмъ дружнѣе и сильнѣе работали кремскія катапульты, бросавшія въ подвижную башню огромныя каменныя глыбы. Наконецъ, башня зашаталась; еще нѣсколько ударовъ, и она навѣрное похоронила бы подъ своими развалинами пріютившихся въ ней нѣмецкихъ воиновъ. Фридрихъ приказалъ отвезти ее прочь отъ городской стѣны. Заложниковъ отвязали отъ расшатавшейся башни. Изъ нихъ девять человѣкъ было убито и двое тяжело ранено.

Осада ничтожнаго городка затянулась на полгода. Наконецъ начальникъ кремскихъ инженеровъ, Маркезе, польстился на выгодныя предложенія Фидриха и передался на его сторону. Зная всѣ условія мѣстности, какъ свои пять пальцевъ, эта перелетная пташка повела осадныя работы такъ успѣшно, что сопротивленіе скоро сдѣлалось невозможнымъ. Въ январѣ 1160 года, кремаски положили къ ногамъ императора свою покорность, умоляя его только о томъ, чтобы онъ не отдавалъ ихъ въ руки кремонянъ, ихъ злѣйшихъ враговъ. Фридрихъ, въ минуты гнѣва, умѣлъ выдумывать и приводить въ исполненіе самыя утонченно-жестокія мѣры. Но когда борьба была окончена, тогда у него не поднималась рука на то, чтобы хладнокровно давить побѣжденныхъ и обезоруженныхъ враговъ. Такъ случилось и теперь. Фридрихъ нарушилъ грозное обѣщаніе, данное кремаскамъ черезъ герольда, въ горячую минуту, при началѣ осады. Онъ не только выпустилъ кремасковъ изъ города на всѣ четыре стороны, но даже позволилъ имъ захватить тѣ вещи, которыя они могли унести за одинъ разъ на собственныхъ плечахъ. Словомъ, кремаски приняли точно такія условія, какія,

Digitized by Google

лѣтъ пять тому назадъ, были предоставлены тортонянамъ. Послѣ удаленія жителей, нѣмцы, разумѣется, сожгли и разрушили оставленный городъ. Въ этомъ послѣднемъ удовольствіи Фридрихъ уже никакъ не могъ себѣ отказать. Мятежный городъ непремѣнно долженъ былъ исчезнуть съ лица земли.

Покончивъ съ Кремою, Фридрихъ спеціально занялся Миланомъ. Однако въ 1160 году Фридрихъ былъ принужденъ распустить почти все нѣмецкое войско, утомленное продолжительною кампаніей, и поддерживать войну силами однихъ итальянскихъ городовъ и магнатовъ. Миланцамъ удалось на время вздохнуть свободнѣе. Они разбили императора при замкѣ Кассано и успѣли благополучно собрать съ своихъ полей обильныя жатвы. Но торжество ихъ продолжалось недолго. Въ половинѣ 1160 года къ императору снова собралась изъ Германіи сто-тысячная армія, и Фридрихъ, въ іюлѣ и въ сентябрѣ, выжегъ на корню всѣ миланскіе хлѣба, сначала пшеницу, а потомъ просо и сорго. Увлеченный процессомъ борьбы, Фридрихъ, по своему обыкновенію, свирѣпствовалъ надъ плѣнниками: однимъ онъ рубилъ руки, другихъ отправлялъ на висѣлицу. Такъ же точно поступалъ онъ и съ крестьянами, старавшимися провозить въ Миланъ съѣстные припасы изъ сосѣднихъ областей. Къ довершенію несчастія, около этого времени пожаръ истребилъ въ Миланѣ двѣ части, то есть цѣлую треть города, и какъ разъ ту треть, въ которой находились огромные запасные магазины, переполненные хлѣбомъ 1160 года. Вслѣдствіе уничтоженія обѣихъ жатвъ и вслѣдствіе этого пожара, миланцы уже въ началѣ зимы 1161 года остались безъ хлѣба. До новой уборки можно было двадцать разъ умереть съ голоду, и кромѣ того надо было предвидѣть заранѣе, что и на будущій годъ обѣ жатвы не уйдутъ отъ рукъ нѣмецкой арміи. Миланцы кое-какъ перебились до весны, то отнимая насильно съѣстные припасы у жителей сосѣднихъ областей, то наполняя себѣ желудки разной неудобоваримой дрянью; наконецъ не стало силъ терпѣть, тѣмъ болѣе, что и впереди надѣяться было не на что. Миланцы послали къ императору своихъ депутатовъ и объявили ему, что они, для доказательства своего смиренія, готовы въ шести мѣстахъ разрушить городскую стѣну и подчиниться подестѣ, назначенному отъ короны. Фридрихъ потребовалъ безусловной покорности. Консулы и, вмѣстѣ съ ними, нѣкоторые непоколебимые патріоты, рѣшили, что надо умирать за свободу отечества. Но масса была измучена. Массѣ хотѣлось ѣсть, а не удивлять міръ геройскими добродѣтелями. Масса настояла на томъ, что надо сдаться. 1 марта 1162 года миланскіе консулы, отправившись къ императору, котораго главная квартира находилась въ Лоди. Они положили передъ императоромъ свои обнаженные мечи и объявили ему, что городъ сдается безусловно, и что всѣ миланцы будутъ исполнять буквально всѣ императорскія приказанія. Три дня спустя, триста миланскихъ рыцарей, по приказанію Фридриха, сложили къ его ногамъ свои мечи и отдали ему тридцать шесть городскихъ знаменъ. Въ это же время, Джунтеллино, начальникъ инженеровъ, вручилъ ему городскіе ключи. Императоръ не сказалъ ни слова о своемъ окончательномъ рѣшеніи и потребовалъ только, чтобы къ нему явились граждане, занимавшіе консульскія мѣста въ послѣдніе три года, и чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ ему представили всѣ знамена, еще остававшіяся въ Миланѣ.

Всѣ миланцы, носившіе оружіе, пошли въ Лоди хоронить свою свободу. Лодійцы могли насладиться вдоволь униженіемъ своихъ бывшихъ повелителей и угнетателей. Граждане трехъ городскихъ частей шли впереди и держали въ рукахъ кресты, по обычаю умоляющихъ. За ними ѣхалъ, на восьми волахъ, покрытыхъ широкими красными коврами, священная колесница — *кароччіо*, на которой находилось главное знамя республики, прикрѣпленное къ высокой красной мачтѣ. Граждане трехъ остальныхъ частей замыкали шествіе и также держали въ рукахъ кресты. Когда кароччіо приблизилось къ императору, миланскія трубы пропѣли свою лебединую пѣсню, и мачта, стоявшая на колесницѣ, склонилась вмѣстѣ съ священнымъ знаменемъ къ подножію престола. По приказанію Фридриха, мачту подняли снова; каррочіо и вмѣстѣ съ нимъ восемьдесятъ четыре знамени были отданы нѣмцамъ. Одинъ изъ миланскихъ консуловъ сталъ тогда умолять Фридриха о пощадѣ. Весь миланскій народъ бросился на колѣни и залился слезами. Одинъ изъ миланскихъ магнатовъ, графъ Бландрата, служившій въ арміи императора во все время послѣдней войны, выхватилъ крестъ изъ рукъ какого-то миланца и также бросился на колѣни передъ престоломъ вымаливать пощаду побѣжденному Милану. Даже нѣмцы, страстные охотники грабить и жечь италіянскіе города, не выдержали и расчувствовались. Весь дворъ, вся армія утирали слезы, глядя на тысячи изнеможенныхъ людей, рыдавшихъ у ногъ побѣдителя. Если бы Фридрихъ вздумалъ въ эту минуту пустить дѣло Милана на голоса, то право могло случиться, что нѣмцы рѣшили бы простить негоднымъ миланцамъ всѣ ихъ продерзости и неистовства. Но Фридрихъ молчалъ и всѣми мускулами своей мужественной физіономіи выражалъ суровость, равнодушіе и какую-то затаенную, непоколебимую рѣшимость. Жена Фридриха въ это время находилась вмѣстѣ съ нимъ въ Лоди, но ей было запрещено присутствовать при сдачѣ карроччіо, потому что императоръ боялся, что она своей чувствительностью испортитъ ему всю церемонію и собьетъ его самого съ толку. Миланцы не смѣли подходить къ ея окнамъ, но

Digitized by Google

падали бросали въ ту сторону свои кресты; само собою разумѣется, что изъ этого смиреннаго крестобросанія ровно ничего не вышло. Императрица сидѣла смирно въ своихъ покояхъ и не смѣла тревожить суроваго супруга своими просьбами и слезами.

Достаточно намозоливъ себѣ колѣни и наплакавшись досыта, миланцы встали и принесли императору установленную присягу. Затѣмъ Фридрихъ отобралъ себѣ четыреста заложниковъ и въ томъ числѣ бывшихъ консуловъ, а всѣмъ остальнымъ гражданамъ приказалъ идти домой, сломать всю городскую стѣну и засыпать рвы, такъ чтобы онъ, императоръ, могъ свободно войдти съ арміей въ покорный Миланъ. Въ тоже время Фридрихъ послалъ въ Миланъ двѣнадцать коммиссаровъ для принятія присяги отъ тѣхъ гражданъ, которые во время сдачи знаменъ оставались дома.

Прошло десять дней. Миланцы все еще не знали, что съ ними будутъ дѣлать. Императоръ въ это время перешелъ съ арміей изъ Лоди въ Павію и очень мало заботился о томъ тревожномъ ожиданіи, въ которомъ находилось все миланское населеніе. Вдругъ, 16-го марта, консулы получили приказаніе вывести изъ Милана всѣхъ жителей. Консулы повиновались. Многіе граждане со страху разбѣжались въ Павію, въ Лоди, въ Бергамо, въ Комо и во всѣ другіе ломбардскіе города. Прошло еще девять дней. Городъ стоялъ совершенно пустой.

Наконецъ 25 марта императоръ подошелъ къ Милану съ своей арміей и объявилъ народу свое милостивое рѣшеніе. Оказалось, что Миланъ долженъ быть срытъ до основанія, и что имя миланцевъ должно совершенно исчезнуть съ лица земли. Дѣло разрушенія было немедленно поручено злѣйшимъ врагамъ Милана. Фридрихъ раздѣлилъ весь городъ между своими италіянскими воинами. Восточная часть досталась лодійцамъ; Римская — кремонянамъ; Тичинская — павійцамъ; Верчельская—новарцамъ; Комская—комаскамъ; Новая—вассаламъ графствъ Сепріо и Мартезаны. Разрушители принялись за работу съ такимъ радостнымъ усердіемъ, что къ началу апрѣля, когда Фридрихъ поѣхалъ обратно въ Павію, только пятидесятая часть города оставалась на своемъ мѣстѣ. Въ одну недѣлю богатѣйшій городъ Италіи превратился въ кучу пепла и мусора.

Фридрихъ дорожилъ своей побѣдой. Въ 1159 году, начиная свою послѣднюю войну противъ миланцевъ, онъ далъ обѣтъ не надѣвать императорской короны до тѣхъ поръ, пока Миланъ будетъ сопротивляться. Теперь Миланъ былъ уничтоженъ. Со всѣхъ концовъ Италіи съѣхались въ Павію депутаты отъ провинцій, епископы, графы, маркизы, подесты и консулы съ усерднѣйшими поздравленіями. Фридрихъ вышелъ ко всѣмъ этимъ сладкорѣчивымъ господамъ съ императорской короной на головѣ.

Брешіанцы и піачентинцы, послѣдніе друзья миланцевъ, оставшихся безъ родины и безъ пріюта—почислили дѣло свободы окончательно проиграннымъ и рѣшились во всемъ повиноваться императору. Они сломали свои башни, разрушили стѣны, засыпали рвы, заплатили огромныя контрибуціи и подчинились подестамъ, назначеннымъ отъ короны.

Генуя, одна изъ первыхъ морскихъ державъ тогдашней Европы, прислала Фридриху поздравительную депутацію, увѣрила его въ своемъ безпредѣльномъ и неизмѣнномъ повиновеніи, и даже воспылала такимъ неудержимымъ усердіемъ, что даромъ предложила ему свои услуги для завоеванія Сициліи, которая до тѣхъ поръ еще никогда не принадлежала нѣмецкимъ императорамъ. Италія была воспитана. Воплощенное трудолюбіе было увѣнчано. Теперь можно было приняться за наслажденія. Всѣ шипы были обломаны, и розу можно было мять безъ малѣйшей осторожности.

XIII.

ВЕРОНСКАЯ КОНФЕДЕРАЦІЯ.

Грозный рыжебородый императоръ дѣйствительно сдѣлалъ очень много для политическаго воспитанія Италіи. Но съ Фридрихомъ случилось то, что случается очень часто со всякими педагогами. Его уроки подѣйствовали совсѣмъ не такъ, какъ онъ желалъ. Итальянцы, погубившіе Миланъ своей упорной враждой и разрушившіе его своими собственными руками, вовсе не были расположены сдѣлаться рабами нѣмцевъ и отказаться отъ своей республиканской автономіи. Они были увѣрены, что нѣмцы будутъ постоянно ихъ добрыми союзниками, а императоръ—сильнымъ и безкорыстнымъ покровителемъ ихъ свободы. Фридрихъ живо вылечилъ ихъ отъ этого ребяческаго заблужденія.

Въ концѣ лѣта 1162 года императоръ уѣхалъ въ Германію и оставилъ въ Италіи своего намѣстника, Райнальда, канцлера имперіи и архіепископа кельнскаго. Канцлеръ и архіепископъ Райнальдъ обнаружилъ замѣчательное безпристрастіе. Онъ сталъ обирать и угнетать безразлично всѣхъ ломбардовъ, какъ тѣхъ, которые сопротивлялись императору, такъ и тѣхъ, которые постоянно сражались подъ ихъ знаменами. Примѣръ такого безпристрастія былъ уже отчасти поданъ самимъ императоромъ, который до своего отъѣзда изъ Италіи уничтожилъ выборныхъ консуловъ въ Болоньѣ, въ Феррарѣ, въ Фаэнцѣ, въ Имолѣ, въ Пармѣ, въ Комо и въ Новарѣ, не смотря на то, что эти города не были въ союзѣ съ миланцами. Подесты, назначенные императоромъ, на мѣсто выборныхъ консуловъ, чувствовали свою независимость отъ тѣхъ населеній, надъ которыми они должны были чинить судъ и расправу. Поставленные выше контроля мѣстныхъ обществъ, они старались угождать только

Digitized by Google

императору и его намѣстнику. Центральная власть требовала отъ мѣстныхъ правителей, чтобы все было спокойно, и чтобы граждане платили исправно какъ можно больше налоговъ. До всего остального центральной власти не было никакого дѣла. Подеста могъ набивать себѣ карманы, могъ строить себѣ дворцы, могъ гонять свободныхъ гражданъ къ себѣ на барщину, могъ сажать ихъ въ тюрьмы, могъ вѣшать и колесовать ихъ, не отдавая никому отчета въ своихъ распоряженіяхъ. При подестахъ жители Ломбардіи платили въ шесть разъ больше того, что требовалось съ нихъ при выборныхъ консулахъ. Эти деньги шли конечно не на общеполезныя предпріятія и учрежденія, а на домашніе расходы подесты, намѣстника и императора. Всѣмъ ломбардцамъ было плохо, но миланцамъ и кремаскамъ приходилось особенно тяжело. Мѣстные правители считали себя обязанными дѣйствовать въ отношеніи къ нимъ безсовѣстно и безчеловѣчно.

Кремаски и миланцы были обложены такими поборами, что имъ самимъ, для удовлетворенія всѣхъ личныхъ и хозяйственныхъ потребностей оставалась всего одна треть собираемой жатвы. Между тѣмъ кремская и миланская территоріи были совершенно опустошены во время войны; скотъ, виноградники, фруктовые сады, хозяйственныя строенія — все это было уничтожено, и все это надо было заводить вновь; все это требовало расходовъ, а деньги уходили постоянно въ бездонные карманы мѣстныхъ правителей и канцлера Райнальда. Кромѣ того, гражданъ Милана гоняли насильно на казенныя работы; ихъ заставляли строить для императора замки и дворцы изъ камней миланскихъ развалинъ. Сопротивленіе было невозможно; о возстаніи нечего было и думать; у миланцевъ было отобрано оружіе, и они были поселены въ четырехъ различныхъ мѣстечкахъ, открытыхъ со всѣхъ сторонъ первому встрѣчному усмирителю. Многіе миланцы не въ силахъ были терпѣть свое униженіе и уходили изъ своей разворенной родины въ другіе итальянскіе города; тамъ они передавали своимъ новымъ знакомымъ всѣ подробности своего великаго народнаго горя, и разсказы ихъ медленно подготовляли матеріалы для новой бури. Всѣ города сѣверной и средней Италіи чувствовали на себѣ руку нѣмецкаго правительства. Всѣ они жалѣли о своей поблекшей свободѣ и прислушивались, съ глубокимъ сочувствіемъ, къ разсказамъ тѣхъ людей, которыхъ страданія были живымъ укоромъ для каждаго италіянца, измѣнившаго общему дѣлу во время послѣдней войны.

Миланскихъ выходцевъ принимали радушно и почтительно даже въ тѣхъ городахъ, которые безпредѣльно ненавидѣли Миланъ во время его могущества. Бергамо, Комо, даже Лоди, Павія и Кремона начали сочувствовать миланцамъ, когда увидѣли, что доведено до нищеты цѣлое населеніе богатой и плодородной области.

Въ концѣ 1163 года Фридрихъ снова пріѣхалъ въ Италію съ блестящею придворною свитой, но безъ арміи. Онъ былъ увѣренъ, чтона этотъ разъ нигдѣ не встрѣтитъ сопротивленія. Онъ не ошибся. Ему дѣйствительно пришлось услышать только робкіе стоны и смиренныя жалобы.

Въ началѣ 1164 года онъ проѣзжалъ изъ Лоди въ Монцу, гдѣ строился для него великолѣпный дворецъ. Узнавши о томъ, что его ждутъ, миланцы вышли толпою на дорогу и простояли въ ожиданіи императорскаго поѣзда цѣлую ночь, подъ холоднымъ дождемъ, чуть не по колѣно въ грязи. Наконецъ показался императоръ. Миланцы бросились на колѣни передъ его лошадьми и, заливаясь слезами, стали умолять его о томъ, чтобы онъ облегчилъ ихъ участь и усовѣстилъ сколько нибудь мѣстныхъ администраторовъ. Фридриха повидимому тронули слезы просителей; онъ даже приказалъ отпустить тѣхъ заложниковъ, которые были взяты послѣ сдачи Милана; но, не желая утомлять и тревожить себя мелкими дрязгами, онъ великодушно предоставилъ разсмотрѣніе всѣхъ жалобъ своимъ агентамъ, то есть, тѣмъ самымъ мѣстнымъ начальникамъ, противъ которыхъ эти жалобы были направлены.

Города Веронской Маркіи также попробовали жаловаться и получили отъ императора доброжелательный совѣтъ постоянно обращаться съ своими просьбами и претензіями къ мѣстному начальству, которое собственно для того и существуетъ, чтобы воздавать каждому по его заслугамъ. Фридрихъ не имѣлъ причины раскаяваться въ томъ, что не взялъ съ собою нѣмецкой арміи. — Но вдругъ оказалось, что города Веронской Маркіи недовольны императорской резолюціей. Когда императоръ уѣхалъ въ Эмилію — города Верона, Виченца, Падуя и Тревиза обсудили сообща свое положеніе и заключили между собою союзъ для того, чтобы ограничить неумѣренныя притязанія нѣмецкаго правительства, отмѣнившаго или нарушившаго множество вѣковыхъ правъ, привиллегій, обычаевъ и законовъ. Венеція, никогда не подчинявшаяся нѣмецкимъ императорамъ, также приступила къ этому союзу, потому что возрастающее могущество Фридриха становилось для нея опаснымъ.

Условившись съ венеціянцами, веронскіе конфедераты взялись за оружіе, прогнали отъ себя императорскихъ намѣстниковъ и начали воевать съ сосѣдними магнатами, не желавшими присоединиться къ ихъ лигѣ. Какъ только Фридриху донесли объ этомъ, онъ тотчасъ воротился въ Павію и собралъ милиціи тѣхъ ломбардскихъ городовъ, на вѣрность которыхъ онъ всего болѣе могъ разечитывать. Павійцы, новарцы, кремоняне, кодійцы и ломаски пошли подъ начальствомъ императора опустошать веронскую территорію. Армія веронской лиги вышла къ нимъ навстрѣчу. Тутъ Фридрихъ замѣтилъ, что его войска идутъ за нимъ неохотно и обнаруживаютъ сочув-

Digitized by Google

ствіе къ дѣлу мятежниковъ, которыхъ они должны были усмирять или истреблять. Фридрихъ понялъ, что онъ находится въ рукахъ своей итальянской арміи, которая въ рѣшительную минуту можетъ передаться на сторону мятежниковъ, задержать его самого въ плѣну и выдавить изъ него какія угодно уступки въ пользу ломбардскихъ городовъ. Эта мысль до такой степени поразила Фридриха, что онъ тайкомъ убѣжалъ изъ своего собственнаго лагеря и поспѣшно уѣхалъ въ Германію за нѣмецкой арміей.

Отсутствіе Фридриха продолжалось два года. Въ это время веронскіе конфедераты укрѣпили свои города и замки, втянули въ свою лигу многихъ магнатовъ веронской епархіи и пріобрѣли себѣ особенно полезнаго союзника въ лицѣ папы Александра III, который, вступивъ на престолъ въ 1159 году, съ этого времени находился постоянно въ открытой борьбѣ съ императоромъ, державшимъ сторону его противника, антипапы Виктора III. Уже предшественникъ Александра III, Адріанъ IV, по многимъ вопросамъ велъ съ императоромъ непріятную переписку, не смотря на то, что императоръ великодушно подарилъ ему опаснаго еретика и демагога, Арнольда Брешіанскаго. Вопросъ объ инвеститурахъ, кое-какъ замятый Генрихомъ V, опять всплылъ на верхъ, принявши новую форму. Опять обозначилась невозможность провести между обѣими властями такія границы, которыми обѣ стороны были бы навсегда довольны. Адріанъ умеръ именно въ то время, когда споръ начиналъ дѣлаться горячимъ и рисковалъ превратиться въ обмѣнъ ругательствъ и проклятій.

Послѣ смерти Адріана голоса кардиналовъ раздѣлились. Одна партія, болѣе многочисленная, выбрала кардинала Ролланда, который принялъ имя Александра III. Другая, составлявшая сильное меньшинство, провозгласила папою кардинала Октавія, который назвалъ себя Викторомъ III. Это двойное избраніе произошло въ 1159 году, въ то время, когда Фридрихъ осаждалъ Кремy. Республиканскія учрежденія продолжали существовать въ Римѣ, но неизвѣстно — для кого и зачѣмъ они существовали. Послѣ смерти Арнольда они потеряли всякій смыслъ. Республиканскій сенатъ подчинился римскимъ дворянамъ, сталъ потакать ихъ продѣлкамъ и совершенно утратилъ уваженіе и довѣріе народа. Когда Александръ и Викторъ стали спорить между собою о папскомъ престолѣ, тогда обнаружился полный разладъ между римскимъ народомъ и его республиканскимъ правительствомъ. Народъ стоялъ за Александра, а сенатъ вмѣстѣ съ дворянами поддерживалъ Виктора. Викторъ захватилъ своего противника въ плѣнъ, но народъ отбилъ его вооруженною силой, послѣ чего Александръ ушелъ изъ Рима, гдѣ самовластно хозяйничали сенатская и дворянская партія, имѣвшая въ своемъ распоряженіи множество укрѣпленныхъ башенъ. Викторъ, тщеславный и изворотливый интриганъ, заботился только о томъ, чтобы сначала какъ нибудь добыть, а потомъ какъ нибудь удержать папскую тіару. Чувствуя незаконность своего избранія, онъ началъ подольщаться къ императору, которому, разумѣется, было пріятно и выгодно имѣть дѣло съ любезнымъ, уступчивымъ и безгласнымъ папою. Въ 1160 году Фридрихъ созвалъ въ Павіи соборъ и пригласилъ на этотъ соборъ обоихъ папъ, собираясь рѣшить, кому изъ нихъ должна принадлежать тіара. Викторъ явился въ Павію, и Фридрихъ вмѣстѣ съ своими епископами, призналъ его папою. Александръ, изгнанный изъ Рима и бродившій по итальянскимъ городамъ, отвѣчалъ, напротивъ того, на приглашеніе императора, что законный преемникъ св. Петра не подлежитъ суду соборовъ и земныхъ правителей. Тогда начались, разумѣется, взаимныя проклятія. Соборъ, созванный Фридрихомъ, проклялъ Александра; а Александръ, съ своей стороны, отлучилъ отъ церкви императора и разрѣшилъ его подданныхъ отъ присяги. Все это произошло раньше паденія Милана.

Партія Александра III была очень сильна. Его признавали Франція и Англія. Всѣ искреннѣе католики во владѣніяхъ самого Фридриха находили, что императоръ поддерживаетъ незаконнаго папу единственно для того, чтобы черезъ это подставное лицо господствовать надъ церковью. Всѣ клерикалы, дорожившіе самостоятельностью и могуществомъ своей корпораціи, смотрѣли съ величайшимъ негодованіемъ на угодливость антипапы, готоваго ради своихъ личныхъ выгодъ отказаться отъ грандіозныхъ принциповъ Григорія VII. Сторону Фридриха, въ его борьбѣ съ законнымъ папою держали только тѣ духовныя особы, для которыхъ осязательное и питательное блюдо чечевицы было дороже самыхъ величественныхъ отвлеченныхъ правъ. Такія особы вездѣ и всегда имѣются въ слишкомъ достаточномъ количествѣ, но онѣ никогда не могутъ составить собою силу своей партіи, потому что онѣ всегда согласны съ побѣдителемъ и начинаютъ дѣйствовать только тогда, когда можно лягать мертваго врага и заниматься дѣлежемъ добычи. Фридрихъ имѣлъ такимъ образомъ очень смѣлыхъ, дѣятельныхъ и упорныхъ враговъ, и очень трусливыхъ друзей, которые всегда готовы были поздравлять его съ одержанными побѣдами, но съ своей стороны ничего не дѣлали для того, чтобы переработать убѣжденія народа и дать отпоръ неутомимой пропагандѣ искреннихъ папистовъ. Клерикальные враги Фридриха не дремали тогда, когда сѣверная Италія начала волноваться. Представители гильдебрандовскихъ тенденцій заключили тѣсный союзъ съ защитниками и возстановителями республиканской свободы. Этотъ союзъ не могъ быть особенно прочень. Послѣ побѣды онъ непремѣнно долженъ былъ разрушиться. Но онъ былъ удобенъ именно тѣмъ,

Digitized by Google

что давалъ обѣимъ сторонамъ возможность одержать побѣду надъ сильнымъ и воинственнымъ императоромъ. Клерикаламъ нужна была здоровая дубина, которая переломила бы мечъ Фридриха Барбароссы. Этой дубиной оказались для нихъ итальянскіе республиканцы. Республиканцамъ для побѣды необходимо было только единодушіе и одновременное воодушевленіе. Эти ингредіенты были имъ доставлены трудами клериковъ.

Когда партія Александра III соединилась съ ломбардскими республиканцами, тогда во всѣхъ городахъ сѣверной Италіи началась стройная, постоянная и неуловимая дѣятельность многихъ сотенъ самыхъ искусныхъ и самыхъ вліятельныхъ агитаторовъ и дипломатовъ. Гдѣ нужно было разогрѣть республиканскія страсти, тамъ говорилось съ жестами и со слезами о неистовствахъ нѣмецкаго тирана, угнетающаго прекрасную Ломбардію и даже поднявшаго свою святотатственную руку на вѣковыя права католической церкви. Гдѣ граждане сомнѣвались въ законности сопротивленія, тамъ церковь благословляла и ободряла бойцовъ, готовыхъ идти на смерть за ея святое дѣло. Гдѣ существовала между различными городами застарѣлая ненависть, не позволявшая имъ соединиться и сражаться вмѣстѣ подъ однимъ знаменемъ—тамъ говорилось всѣмъ и каждому о христіанской любви и о священной обязанности прощать обиды. Словомъ, воспріимчивыя нивы ломбардскихъ умовъ обрабатывались ревностными проповѣдниками такъ искусно, что общее возстаніе противъ нѣмецкаго господства становилось неизбѣжнымъ.

Въ это же самое время партія Александра III оказывала Ломбардіи еще и ту услугу, что оттягивала силы Фридриха то въ Германію, то въ Римъ, до тѣхъ поръ, пока всѣ элементы вооруженнаго возстанія окончательно созрѣли въ угнетенныхъ городахъ сѣверной Италіи.

XIV.

ЛОМБАРДСКАЯ ЛИГА.

Фридрихъ перешелъ черезъ Альпы съ сильною нѣмецкой арміей въ концѣ осени 1166 года. Войска веронской лиги были готовы сражаться, но императоръ хотѣлъ сначала усыпить и разъединить конфедератовъ переговорами. Поэтому онъ далъ городамъ нѣсколько неопредѣленно благосклонныхъ обѣщаній и пошелъ на югъ къ Феррарѣ и Болоньѣ. Прошло полгода, наступила весна, и во все это время не случилось ни одного столкновенія между нѣмцами и ломбардскими мятежниками. Въ началѣ апрѣля вероняне пригласили депутатовъ отъ угнетенныхъ городовъ съѣхаться для совѣщаній въ монастырь Пундито, находившійся между Бергамо и развалинами Милана. Кромѣ членовъ веронской лиги на этотъ съѣздъ прислали своихъ уполномоченныхъ города Кремона, Бергама, Брешія, Мантуя и Феррара. Явилось также нѣсколько миланскихъ гражданъ, пользовавшихся полной довѣренностью своихъ несчастныхъ соотечественниковъ. Миланцы напомнили съѣзду, какъ бился, какъ страдалъ, какъ изнемогъ и погибъ ихъ родной городъ въ неравной борьбѣ за то самое общее дѣло, о защитѣ котораго пріѣхали совѣщаться ломбардскіе депутаты. Миланцы увѣрили депутатовъ, что въ ихъ согражданахъ не угасли подъ нѣмецкимъ гнетомъ ни прежнее мужество, ни прежняя любовь къ отечеству и свободѣ. Миланцы погребовали, чтобы ихъ городъ былъ возстановленъ, и чтобы имъ, такимъ образомъ, снова дана была возможность проливать свою кровь за свободу и благосостояніе всей Ломбардіи. Многіе изъ депутатовъ, выслушавшихъ это требованіе, получили свое полномочіе отъ такихъ городовъ, которые всегда были заклятыми врагами Милана. Но теперь были уже не тѣ времена, когда ломбардскіе города бѣсились отъ жиру и лѣзли въ драку, чтобы обнаружить другъ надъ другомъ свое молодечество. Общее горе притупило мелкія враждебныя страсти и уничтожило воспоминаніе о прежнихъ взаимныхъ оскорбленіяхъ. Чиновники Фридриха съ одной стороны, и клирики съ другой — объяснили горожанамъ, что пора наконецъ взяться за умъ. Чувствуя на себѣ руку первыхъ и слушая поученія вторыхъ, горожане убѣдились понемногу въ необходимости единодушія. Депутаты всѣхъ городовъ обѣщали миланцамъ склонить своихъ согражданъ къ тому, чтобы они возстановили стѣны Милана и съ оружіемъ въ рукахъ охраняли его жителей до тѣхъ поръ, пока эти жители не будутъ въ состояніи защищаться снова собственными средствами. Затѣмъ депутаты составили форму той присяги, которая требовалась отъ членовъ конфедераціи. Эту формулу рѣшено было представить народному собранію каждаго города; если народное собраніе одобритъ и утвердитъ ее, то всѣ граждане должны будутъ повторить эту присягу, и городъ окажется присоединеннымъ къ союзу. Этой присягой города обязывались, въ теченіе двадцати лѣтъ, постоянно помогать другъ другу противъ всякаго, кто осмѣлится нападать на привиллегіи, пріобрѣтенныя городами отъ начала царствованія Генриха IV до вступленія на престолъ Фридриха Барбароссы. Убытки и потери, понесенные въ войнѣ каждымъ членомъ союза, должны были распредѣляться на весь союзъ, который, такимъ образомъ, подчинялъ себя системѣ взаимнаго страхованія.

Послѣ съѣзда депутатовъ миланцы недѣли три находились постоянно въ самой мучительной тревогѣ. Они переживали тѣ ощущенія, которыя, четырнадцать лѣтъ тому назадъ, достались на долю лодійцамъ послѣ проѣзда Сихерія. Они были увѣрены, что молва о ихъ преступныхъ надеждахъ и еще болѣе преступныхъ сношеніяхъ съ

Digitized by Google

мятежниками разнеслась по всей странѣ и ужь конечно дошла до ихъ близкихъ сосѣдей, павійцевъ, которыхъ преданность императору оставалась совершенно непоколебимой, не смотря на все то, что дѣлалось вокругъ нихъ во всей Ломбардіи. Миланцы боялись не безъ основанія, что павійцы примутъ на себя обязанность смирить и наказать ихъ самымъ жестокимъ образомъ. Въ Павіи дѣйствительно много толковали о томъ, что слѣдуетъ отправиться къ беззащитнымъ миланскимъ мѣстечкамъ, выжечь ихъ до тла и перерѣзать жителей, чтобъ впередъ не смѣли сговариваться съ бунтовщиками. Но доблестное намѣреніе павійцевъ осталось невыполненнымъ. Надо полагать, что клерикальная дипломатія сдѣлала тутъ свое дѣло и какимъ нибудь образомъ помѣшала этому замыслу развиться и созрѣть.

27 апрѣля безоружные миланцы все еще съ великимъ страхомъ посматривали на павійскую дорогу. Вдругъ въ мѣстечко Св. Діонисія въѣхали десять рыцарей съ знаменами бергамской общины; за ними показались знаменщики Брешіи, Кремоны, Мантуи, Вероны и Тревизы. Далѣе шли милиціи этихъ городовъ и везли съ собою цѣлый обозъ оружія для миланцевъ, которые вдругъ сообразили, что теперь они спасены, и что отечество ихъ воскресаетъ изъ пепла. Радостная вѣсть быстро облетѣла всѣ четыре мѣстечка; жители сбѣжались со всѣхъ сторонъ, вооружились, снова почувствовали себя свободными гражданами великой республики и съ криками преступнаго восторга кинулись во весь опоръ къ развалинамъ Милана. Пришедшія милиціи были уже теперь войсками *ломбардской лиги*. Онѣ расположились лагеремъ у миланскихъ развалинъ и стали работать вмѣстѣ съ миланцами надъ очищеніемъ засыпанныхъ рвовъ и надъ возстановленіемъ разрушенныхъ стѣнъ. Тѣ же самые крестьяне, которые въ 1162 году разрушили одну изъ частей Милана, строили теперь этотъ городъ заново, вмѣстѣ съ его обитателями. Войска ломбардской лиги ушли только тогда, когда возстановленныя укрѣпленія уже давали миланцамъ возможность отражать враговъ безъ посторонней помощи.

Павію невозможно было втянуть въ беззаконную ломбардскую лигу. Союзники знали это и не хотѣли тратить время на безполезныя попытки тѣмъ болѣе, что они легко могли обойдтись безъ содѣйствія павійцевъ. Но городъ Лоди былъ положительно необходимъ для ломбардской лиги. Этотъ городъ лежитъ между Кремоною и Миланомъ. Въ этомъ городѣ находилась главная квартира императора во время его послѣдней войны съ миланцами. Если бы этотъ городъ остался въ рукахъ Фридриха, то Фридрихъ могъ бы отрѣзать Миланъ отъ лиги, и по прежнему морить его голодомъ, опустошая миланскую территорію неожиданными набѣгами. Отдѣлить лодійцевъ отъ императора было не легко. Лодійцы видѣли въ Барбароссѣ своего благодѣтеля и освободителя, а къ ломбардской лигѣ относились совершенно недоброжелательно. Кремонянамъ, которые постоянно были друзьями и покровителями лодійцевъ, было поручено вести съ ними переговоры на счетъ ихъ присоединенія къ лигѣ.

Первое посольство отъ Кремоны кончилось полной неудачей. Лодійцы закричали всѣ въ одинъ голосъ—и консулы, и совѣтники, и граждане, что они за своего возлюбленнаго императора, отца и благодѣтеля, всегда готовы будутъ жертвовать всѣмъ на свѣтѣ, имуществомъ, жизнью, женами и дѣтьми. Кремонскіе послы раскланялись и уѣхали ни съ чѣмъ.

Второе посольство также потратило даромъ всѣ сокровища самаго убѣдительнаго краснорѣчія. Лодійцы пылали усердіемъ и твердили свою старую пѣсню. Тогда кремоняне созвали депутатовъ отъ Милана, отъ Бергама, отъ Брешіи и отъ Мантуи, и объяснили имъ, что просьбы и аргументы на лодійцевъ не дѣйствуютъ. Депутаты рѣшили, что надо добыть Лоди силою.

Собрались милиціи этихъ городовъ, окружавшихъ Лоди со всѣхъ сторонъ. Но прежде начала военныхъ дѣйствій кремоняне отправили въ Лоди послѣднее посольство, которому поручено было сказать, что дальнѣйшее упорство подвергнетъ Лоди всѣмъ ужасамъ войны, осады и быть можетъ разрушенія. Лодійцы отвѣчали, что они готовы погибнуть, если у кремонянъ, ихъ бывшихъ друзей и постоянныхъ сподвижниковъ, хватитъ жестокости преслѣдовать ихъ за то, что они хотятъ свято исполнять долгъ вѣрности и благодарности.

Получивъ отрицательный отвѣтъ, союзники тотчасъ осадили городъ и въ скоромъ времени довели лодійцевъ до того, что имъ приходилось или умереть съ голода, или присягнуть ломбардской лигѣ. Лодійцы сдались, произнесли требуемую присягу и остались полными хозяевами своего города, сдѣлавшись съ этого времени вѣрными членами лиги. Тогдашніе итальянцы были еще до такой степени прямодушны и честны, что данная клятва послужила для союзниковъ совершенно достаточнымъ обезпеченіемъ. Имъ послѣ этой клятвы уже незачѣмъ было ни выгонять лодійцевъ изъ ихъ города, ни ставить въ этотъ городъ свой гарнизонъ.

Союзъ быстро разростался. Осенью 1167 г., вскорѣ послѣ вразумленія лодійцевъ, къ союзу принадлежали уже пятнадцать значительныхъ городовъ, а именно: Венеція, Верона, Виченца, Падуя, Тревиза, Феррара, Брешія, Бергамо, Кремона, Миланъ, Лоди, Піаченца, Парма, Модена и Болонья. При такомъ составѣ союзу уже не страшно было помѣряться силами съ императоромъ, тѣмъ болѣе, что первому приходилось вести у себя дома оборонительную войну, между тѣмъ какъ послѣдній принужденъ былъ вести постоянно наступательную войну въ чужой землѣ, гдѣ все было ему враждебно—и люди, и климатъ.

Digitized by Google

Именно въ 1167 году климатъ чужой земли жестоко далъ себя знать великолѣпной арміи Фридриха Барбароссы. Фридрихъ въ концѣ іюля вздумалъ осаждать Римъ, въ которомъ господствовалъ въ это время его неутомимый противникъ Александръ III. Осада окончилась полнымъ успѣхомъ; Александръ бѣжалъ на югъ къ сицилійскому королю; римляне покорились императору, но въ нѣмецкомъ лагерѣ открылась *маремская лихорадка*, которая, въ короткое время, уничтожила почти всю армію и всѣхъ самыхъ надежныхъ совѣтниковъ и чиновниковъ Фридриха. Императоръ остался почти ни съ чѣмъ и сталъ поспѣшно пробираться на сѣверъ съ ничтожными остатками своего войска. При этомъ онъ тщательно обходилъ области городовъ, присоединившихся къ ломбардской лигѣ, и направлялся къ Павіи. Дорога его лежала черезъ территорію маленькаго городка Понтремоли, который нисколько не участвовалъ въ волненіяхъ Ломбардіи. Этотъ городокъ вздумалъ покуражиться надъ императоромъ и рѣшительно запретилъ ему идти черезъ свои земли. Фридрихъ очутился въ безвыходномъ положеніи. Его отрядъ былъ такъ слабъ, что не было никакой возможности идти напроломъ. Фридрихъ не зналъ, что дѣлать, и куда дѣваться. Наконецъ его выручилъ одинъ изъ мѣстныхъ магнатовъ, маркизъ Маласпина; онъ вышелъ къ нему на встрѣчу и повелъ его въ Павію черезъ горныя ущелья, находившіяся въ его владѣніяхъ.

Въ Павіи императоръ собралъ сеймъ, но результатъ этого собранія оказался такъ же похожимъ на настоящій сеймъ, какъ мизерный отрядъ Фридриха, спасовавшій передъ Понтремоли, былъ похожъ на настоящую армію. По приглашенію императора явилось всего пятеро магнатовъ, да депутаты отъ четырехъ городовъ—Павіи, Новары, Комо и Верчелли. На этомъ маленькомъ кусочкѣ сейма Фридрихъ произнесъ молніеносную рѣчь противъ гнусныхъ ломбардскихъ мятежниковъ, поклялся наказать ихъ такъ, какъ никто никого никогда не наказывалъ, и даже для большей картинности бросилъ посреди собранія свою перчатку, какъ залогъ будущей безпощадной борьбы. Всѣ города, присоединившіеся къ конфедераціи, кромѣ Кремоны и Лоди—были объявлены врагами имперіи. Собраніе во всѣхъ этихъ случаяхъ старалось сочувственно шумѣть и вообще изображать собою настоящій сеймъ, многочисленный и оживленный.

Послѣ закрытія сейма Фридрихъ пошелъ съ своими итальянскими вассалами опустошать миланскую область. Въ это время ломбардская лига собрала свой сеймъ и рѣшила выгнать изъ Италіи ея иноземнаго угнетателя. Войска лиги пошли на встрѣчу къ императору, но Фридрихъ уклонился отъ сраженія, ушелъ изъ миланской области и бросился грабить и жечь территорію Піаченцы. Союзники за нимъ; онъ отъ нихъ; въ такихъ движеніяхъ прошла вся зима. Фридрихъ вездѣ старался испортить, уничтожить или стянуть плохо лежавшую собственность мятежныхъ подданныхъ; а когда собственники являлись на мѣсто его подвиговъ съ достаточнымъ количествомъ дреколья, тогда онъ увертывался и переносилъ свою дѣятельность въ другія, хуже охраненныя земли, откуда его, вслѣдъ затѣмъ, также выгоняли за непочтительное обращеніе съ собственностью. Наконецъ Фридрихъ и самъ замѣтилъ, что преемнику Августа и Константина Великаго несовсѣмъ прилично заниматься похищеніемъ мужицкой скотины, поджиганіемъ ничтожныхъ деревушекъ и разными другими подвигами мелкаго мародерства.

Весною 1168 года онъ уѣхалъ въ Германію такъ быстро и съ такой таинственностью, что его собственные итальянскіе воины узнали о его отъѣздѣ только тогда, когда его не было уже въ Италіи. Его опять обидѣли во время этого путешествія жители одного маленькаго итальянскаго городка, Сузы. Эти дерзкіе люди остановили его, отобрали у него всѣхъ заложниковъ, которыхъ онъ велъ съ собою, и отпустили его только тогда, когда убѣдились, что въ его свитѣ нѣтъ ни одного итальянца.

Всѣ воспитательные труды Фридриха Барбароссы пошли прахомъ. Несчастная Италія каменѣла въ развратѣ анархическихъ заблужденій.

Послѣ таинственнаго отъѣзда императора въ Германію, его партія, и безъ того малочисленная, окончательно разстроилась. Новара, Верчелли и Комо примкнули къ ломбардскому союзу. Ихъ примѣру послѣдовали одинъ за другимъ магнаты, засѣдавшіе на послѣднемъ императорскомъ сеймѣ. Даже маркизъ Маласпина, выручившій Фридриха въ окрестностяхъ Понтремоли, не устоялъ противъ общаго теченія и подружился съ мятежниками. Неизмѣнно вѣрными вассалами императора остались только одинъ городъ и одинъ магнатъ: Павія и маркизъ Монферратскій.

Чтобы парализировать дѣятельность этихъ послѣднихъ приверженцевъ императора, ломбарды рѣшились построить между Монферратомъ и павійскою областью укрѣпленный городъ, который долженъ былъ перервать сообщеніе между обѣими территоріями. Имя, данное этому городу, показываетъ ясно, какъ сильно было въ республиканской партіи вліяніе клерикальной корпораціи. Городъ былъ названъ Александріею, въ честь Александра III, котораго ломбарды считали вождемъ и верховнымъ покровителемъ своей лиги. Въ половинѣ 1168 г. всѣ войска Кремоны, Милана и Піаченцы расположились лагеремъ у слиянія рѣчекъ Танаро и Бормиды и принялись за построеніе новаго города. Они вырыли широкій ровъ, впустили въ него воды двухъ сосѣднихъ рѣкъ, соорудили достаточное количество домовъ, и потомъ согнали въ новорожденную Александрію жителей восьми

Digitized by Google

окрестныхъ деревень. Этимъ жителямъ лига предоставила право устроить у себя свободное республиканское правительство. Кромѣ того лига попросила папу учредить въ новомъ городѣ отдѣльную епархію. Александрія расцвѣла такъ быстро, что уже въ первый годъ своего существованія могла выставлять въ поле до 15,000 конныхъ и пѣшихъ воиновъ. Еще до основанія Александріи къ союзу присоединились города Тортона и Асти, лежащіе недалеко отъ того мѣста, гдѣ лига считала нужнымъ построить себѣ новый оплотъ.

Итальянскія войны начинали надоѣдать нѣмецкимъ феодаламъ. Фридрихъ былъ принужденъ оставлять между своими походами довольно значительные антракты. Послѣ 1168 года онъ, впродолженіе цѣлыхъ шести лѣтъ, совсѣмъ не показывался въ Италіи, и ломбарды остались ненаказанными.

Дѣла ломбардскаго союза шли превосходно. Если бы ломбарды обладали достаточною дозой политической предусмотрительности, если бы они съумѣли воспользоваться вполнѣ выгодами своего положенія, то могли бы навсегда избавить Италію отъ чужеземнаго господства и навсегда упрочить за ней всѣ удобства національной независимости. Для этого стоило только превратить временный союзъ ломбардскихъ городовъ въ вѣчную и хорошо организованную федерацію равноправныхъ республикъ, не зависящихъ ни отъ какого призрака, подобнаго священной римской имперіи. Но основаніе этой федераціи требовало двухъ главныхъ условій, которыя оба при тогдашнемъ уровнѣ политическаго развитія были одинаково неисполнимы.

Во первыхъ, требовалось уничтоженіе той политической фикціи, которая связывала между собой Италію и Германію, двѣ страны, не сходныя ни по климату, ни по характеру жителей, ни по ихъ языку, ни по складу и направленію всей общественной жизни и зарождающейся умственной культуры. Во вторыхъ, отдѣльные итальянскіе города должны были признать надъ собою общее федеральное правительство и отказаться, въ пользу этого правительства, отъ извѣстной доли своей муниципальной автономіи.

Но тогдашніе люди были чрезвычайно робки въ области мысли, и неукротимо смѣлы въ дѣйствительной жизни. Ихъ умъ несъ на себѣ кротко и терпѣливо всю тяжесть старыхъ понятій, выработанныхъ далекимъ прошедшимъ и давно потерявшихъ свой живой смыслъ и свое первобытное значеніе. Ихъ воля въ тоже время возмущалась противъ всякаго стѣсненія и вступала въ упорную борьбу съ каждымъ препятствіемъ, нарушавшимъ свободную игру ихъ могучихъ страстей. Они готовы были каждый годъ давать императору по нѣскольку генеральныхъ сраженій, но посягнуть на существованіе цѣлой политической системы, убить критикой такую идею, съ которою жили и умерли ихъ родители и предки—это было для нихъ совершенно немыслимо. Всѣ ихъ политическія понятія находились подъ верховнымъ господствомъ теологіи. Имъ былъ неизвѣстенъ тотъ чисто-утилитарный взглядъ на общественную жизнь, который характеризуетъ собою настоящее время. Встрѣчаясь съ какимъ нибудь учрежденіемъ, теперешніе европейцы прежде всего задаютъ себѣ вопросъ: на что оно нужно? Кому, чѣмъ и какъ оно приноситъ пользу? Если этотъ вопросъ не находитъ себѣ удовлетворительнаго отвѣта, то ненужное учрежденіе осуждается общественнымъ мнѣніемъ и рано или поздно падаетъ, не смотря на то, что у этого учрежденія имѣется замѣчательное, или даже блестящее прошедшее. Люди XII вѣка, напротивъ того, уважали въ теоріи каждое учрежденіе, которому удалось очень долго прожить на свѣтѣ. Они, не зная навѣрное, какъ сложилось и выработалось то или другое старое учрежденіе, утверждали, что его основатели обладали разными сверхъестественными достоинствами и дарованіями, которыя и упрочили за ихъ созданіемъ его изумительную долговѣчность. Какъ же могли простые люди накладывать руку на то, что было создано нечеловѣческимъ разумомъ? Если старое учрежденіе ломывалось въ новую жизнь, если оно давило и стѣсняло проявленія свѣжихъ силъ, развернувшихся недавно, подъ вліяніемъ новыхъ условій, то люди защищали самостоятельность и оригинальность настоящаго отъ притязаній прошедшаго, люди устраивали противъ стараго учрежденія разные заборы и частоколы, которые должны были удерживать его въ извѣстныхъ границахъ, люди вступали даже въ борьбу съ старымъ учрежденіемъ и заставляли его попятиться назадъ. Но при этомъ все-таки никогда не поднимался и не могъ подняться вопросъ: быть или не быть тому старому учрежденію, которое однакоже не доставляло живымъ людямъ ничего, кромѣ хлопотъ, убытковъ и огорченій. Поэтому ломбардскіе союзники, имѣвшіе полную возможность навсегда запереть нѣмецкому королю входъ въ Италію, никакъ не могли подумать объ уничтоженіи священной римской имперіи.

Города боролись съ императоромъ изъ за того, чтобы упрочить за собою полную самостоятельность, оставаясь въ тоже время въ номинальной зависимости отъ имперіи. Стремясь къ этой цѣли, которая была понятна и дорога каждому гражданину, ломбардскіе города никакъ не могли добровольно отказаться отъ какой бы то ни было доли своей автономіи. Господство центральнаго союзнаго правительства, составленнаго по выбору изъ лучшихъ ломбардскихъ гражданъ, было все таки невыносимо для отдѣльныхъ городовъ и не могло быть принято ими добровольно. Миланецъ хотѣлъ, чтобы важнѣйшіе государствен-

Digitized by Google

ные вопросы—о войнѣ и мирѣ, о налогахъ, о сношеніяхъ съ другими державами—рѣшались непремѣнно миланскими гражданами, въ миланскихъ совѣтахъ, на миланской городской площади. Онъ никакъ не хотѣлъ отдавать рѣшеніе этихъ вопросовъ собранію, составленному изъ миланцевъ, лодійцевъ, кремонянъ, веронянъ, тревизанцевъ, падуанцевъ, вичентинцевъ и другихъ союзниковъ,—такому собранію, въ которомъ миланцы одни, сами по себѣ, окажутся совершенно ничтожнымъ меньшинствомъ. Ему казалось невыносимо позорнымъ то обстоятельство, что его Миланъ долженъ будетъ платить деньги, вооружаться воевать и мириться не тогда, когда онъ, Миланъ, самъ того желаетъ, а тогда, когда позволятъ или прикажутъ всѣ эти лодійцы, падуанцы, кремоняне, которыхъ онъ и знать совсѣмъ не хочетъ. Также точно думалъ, въ свою очередь, каждый гражданинъ Лоди, Вероны, Піаченцы, Тревизы и всѣхъ другихъ союзныхъ городовъ.

При такой безграничной щекотливости муниципальнаго самолюбія прочная и сложная организація союза была невозможна Ломбардская лига была сильна и могла дѣйствовать рѣшительно только тогда, когда надъ ней висѣла общая и очевидная опасность, одинаково понятная всѣмъ союзнымъ городамъ. Тутъ являлось общее воодушевленіе; всѣ силы напрягались, всѣ жертвы были ничтожны, потому что каждый гражданинъ стоялъ за свой собственный городъ, и защищалъ свое собственное достоинство, свое личное политическое могущество и значеніе. Но когда опасность изчезала или удалялась, тогда лига засыпала; каждый городъ составлялъ себѣ свои отдѣльные политическіе планы, преслѣдовалъ свои частныя цѣли, вступалъ въ соглашенія съ естественными врагами союза и готовъ былъ поссориться изъ за каждой бездѣлицы съ тѣми сосѣдями, которые недавно защищали вмѣстѣ съ нимъ общее дѣло ломбардской независимости. Исторія Александріи представляетъ разительный примѣръ этого политическаго неряшества. Когда Фридрихъ ушелъ въ Германію, тогда союзники, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ только-что выдержанной войны, принялись за дѣло очень горячо; работа закипѣла у нихъ подъ руками; и городъ они выстроили, и ровъ вырыли, и воду въ него провели, и жителей согнали, и съ папой вошли въ сношенія насчетъ учрежденія новой епархіи; одного только не успѣли сразу сдѣлать—обнести городъ хорошей каменной стѣной. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, все вдругъ! Отложили эту часть работы до будущаго сезона, а покуда, чтобы городъ не оставался совсѣмъ безъ укрѣпленій, насыпали вокругъ него земляной валъ. Послѣ этого прошло шесть лѣтъ. Кажется, въ это время можно было построить превосходнѣйшую стѣну. Между тѣмъ стѣна не строилась, и когда Фридрихъ, въ 1174 году, пришелъ осаждать Александрію, онъ увидѣлъ передъ собою тотъ самый мизерный валъ, который былъ насыпанъ на время въ ожиданіи лучшаго. Союзники въ шесть лѣтъ *не успѣли* построить стѣну, успѣвши однакоже въ одно лѣто построить цѣлый городъ, въ которомъ помѣщалось по меньшей мѣрѣ, сорокъ тысячъ жителей. Ясное дѣло, что во время шестилѣтняго антракта ломбардская лига была погружена въ летаргическій сонъ. Лига не имѣла ни общественной казны, ни правильнаго сейма; она не собирала съ своихъ членовъ никакихъ налоговъ; когда необходимо было обсудить какое нибудь общее дѣло, тогда съѣзжались консулы и подесты союзныхъ городовъ; но рѣшенія этого съѣзда еще не имѣли обязательной силы для членовъ союза; эти рѣшенія представлялись въ каждомъ отдѣльномъ городѣ на разсмотрѣніе народному собранію, которое всегда могло отказать имъ въ своемъ согласіи. Члены союзнаго съѣзда назывались *ректорами общества городовъ* и выбирали изъ своей среды президента. Власть ихъ была очень ограничена. Обязательства каждаго города, приступающаго къ союзу, были въ высшей степени эластичны и неопредѣленны. Городъ обязывался не заключать съ императоромъ и съ его приверженцами отдѣльнаго мира или перемирія, и вести съ нимъ войну безъ фальши, съ добросовѣстнымъ напряженіемъ всѣхъ силъ, до тѣхъ поръ, пока общая цѣль союза будетъ достигнута. При этомъ ничего не говорилось о томъ числѣ войскъ, которое городъ долженъ выставить противъ общаго врага, для того чтобы напряженіе силъ дѣйствительно могло считаться добросовѣстнымъ. Предполагалось, что каждый городъ, изъ чувства самосохраненія, будетъ пускать въ ходъ всѣ свои силы; но это предположеніе часто оказывалось ошибочнымъ.. Случалось даже не разъ, что города прямо нарушали свои обѣщанія и, соблазнившись лестными предложеніями императора, заключали съ нимъ отдѣльный миръ въ то самое время, когда лига всего болѣе нуждалась въ ихъ единодушномъ и добросовѣстномъ содѣйствіи.

XV.

ОСАДА АЛЕКСАНДРІИ И СРАЖЕНІЕ ПРИ ЛИНЬЯНО.

Фридрихъ никакъ не хотѣлъ признать себя побѣжденнымъ. Осенью 1174 года онъ снова перешелъ черезъ Альпы съ сильнымъ нѣмецкимъ войскомъ. Маленькому, но дерзкому городку Сузѣ пришлось немедленно раскаяться въ томъ, что шесть лѣтъ тому назадъ его жители обошлись непочтительно съ императоромъ, растерявшимъ въ Италіи своихъ храбрыхъ сподвижниковъ. Фридрихъ запомнилъ обиду и выжегъ Сузу до тла.

Затѣмъ онъ направился къ городу Асти, принадлежавшему къ ломбардской лигѣ и постоянно обижавшему вѣрнаго союзника императора, маркиза Монферратскаго. Узнавши о вступленіи

Digitized by Google

Фридриха въ Италію, ломбардская лига встрепенулась; ректоры собрались на съѣздъ и послали въ Асти депутатовъ съ просьбой держаться противъ императора упорно и мужественно, и съ обѣщаніемъ прислать на выручку сильное войско, какъ только осажденному городу придется плохо. Ломбарды вообще не любили сталкиваться съ нѣмцами въ открытомъ полѣ и старались по возможности утомлять и ослаблять ихъ арміи продолжительными осадами. Но астійцы обманули ожиданія союзниковъ. Они были перепуганы до крайности слухами о необыкновенной свирѣпости нѣмецкой арміи и о какихъ-то особенно ужасныхъ фламандцахъ, которые всѣхъ побѣждаютъ и никому не даютъ пощады. Какъ только Фридрихъ подошелъ къ ихъ городу, они даже не попробовали сопротивляться и тотчасъ поднесли ему городскіе ключи. Изъ Асти императоръ двинулся въ Александрію, которая оскорбляла его самымъ фактомъ своего существованія и, слѣдовательно, непремѣнно должна была подвергнуться совершенному разрушенію.

Александрійцы не оробѣли, не смотря на дурной примѣръ, поданный имъ сосѣднимъ городомъ Асти, и не смотря на мизерность того земляного вала, которымъ наградили ихъ ломбардскіе союзники. Познакомившись съ этимъ валомъ, Фридрихъ подумалъ, что городъ не выдержитъ перваго приступа: свирѣпые нѣмцы и ужасные фламандцы со всѣхъ сторонъ полѣзли на жалкія александрійскія укрѣпленія; но граждане отбивали ихъ на всѣхъ пунктахъ, прогнали ихъ обратно въ лагерь, и даже сожгли ихъ осадныя машины. Тогда Фридрихъ началъ блокаду, не обращая никакого вниманія на проливные дожди, отъ которыхъ всѣ окрестности Александріи превратились въ одну сплошную трясину. Рѣки разливались, затопляли нѣмецкій лагерь, портили машины, съѣстные припасы, платье и оружіе; солдаты валялись въ грязи и умирали цѣлыми сотнями отъ всевозможныхъ лихорадокъ и горячекъ; за каждымъ кускомъ хлѣба и за каждою вязанкою сѣна приходилось посылать сильные отряды, которые очень часто возвращались съ пустыми руками, потому что жители, зная безцеремонность нѣмецкихъ солдатъ, прятались со всѣмъ своимъ имуществомъ въ укрѣпленные города; видя въ лагерѣ вѣрную смерть отъ голода или отъ болѣзней, солдаты стали разбѣгаться, и армія Фридриха грозила быстро превратиться въ фикцію, подобную священной римской имперіи, за призрачное величіе которой она должна была стоять по поясъ въ грязи и сражаться съ гибельными итальянскими лихорадками.

Упорство Фридриха продолжалось четыре мѣсяца. Александрійцы, видя истощеніе своихъ запасовъ, обратились къ союзу съ просьбой о помощи. Ломбардскій съѣздъ, засѣдавшій въ Моденѣ, рѣшилъ, что надо отбить нѣмцевъ и ввезти въ Александрію большой обозъ съѣстныхъ припасовъ. На этотъ разъ съѣздъ опредѣлилъ въ точности, сколько воиновъ — конныхъ и пѣшихъ — долженъ выставить каждый союзный городъ; съѣздъ сдѣлалъ также раскладку той суммы денегъ, которая должна быть употреблена на закупку припасовъ. Консулы всѣхъ городовъ обязались клятвой исполнить всѣ эти требованія съѣзда.

Въ 1175 году, въ половинѣ великаго поста, союзная армія собралась подъ Піаченцою и оттуда двинула къ Александріи два транспорта припасовъ — одинъ сухимъ путемъ на возахъ, а другой на баркахъ вверхъ по рѣкѣ По и ея притокамъ. Въ началѣ страстной недѣли союзники расположились у Тортоны въ тринадцати верстахъ отъ императорскаго лагеря.

Фридриху невозможно было продолжать блокаду. Онъ рѣшился сдѣлать послѣднее отчаянное усиліе и при этомъ дошелъ до такого самоотверженія, что не пожалѣлъ даже своей императорской чести. Онъ предложилъ осажденнымъ перемиріе на послѣдніе дни страстной недѣли. Потомъ, когда перемиріе было заключено, и когда александрійцы спокойно предавались молитвѣ и благочестивымъ размышленіямъ, Фридрихъ ночью ввелъ своихъ воиновъ въ городъ черезъ подземный ходъ, который уже давно былъ прорытъ нѣмецкими инженерами отъ лагеря до самой городской площади. Какъ ни хитро была устроена эта послѣдняя ловушка, однакоже и здѣсь получилась неудача. Александрійцы переполошились во время, высыпали изъ домовъ съ оружіемъ въ рукахъ, перебили всѣхъ нѣмцевъ, уже вылѣзшихъ изъ подкопа, замѣтили, что площадь подрыта, продавили тотъ слой земли, который лежалъ надъ тоннелемъ, и похоронили такимъ образомъ всѣхъ воиновъ, которые находились еще въ подземельѣ. Ободренные своей побѣдой, они отворили ворота, сдѣлали сильнѣйшую вылазку, опрокинули императорскія войска, шедшія на приступъ, и сожгли большую деревянную башню, изъ которой осаждающіе осыпали ихъ укрѣпленія камнями и стрѣлами.

Все это произошло въ ночь съ пятницы на субботу. На слѣдующую ночь Фридрихъ собрался въ путь, зажегъ свой оставленный лагерь и въ самое Свѣтлое воскресенье направился къ Павіи съ своей измученной и малочисленной арміей. Ему надо было идти мимо ломбардскаго лагеря, и союзники были такъ сильны, что могли не только отрѣзать ему отступленіе, но даже совершенно уничтожить всѣхъ его нѣмцевъ и фламандцевъ. Въ этомъ отчаянномъ положеніи Фридрихъ обнаружилъ замѣчательную находчивость и глубокое пониманіе тѣхъ внутреннихъ противорѣчій, изъ которыхъ слагался образъ мыслей его современниковъ. Фридрихъ подошелъ къ ломбардской арміи, и потомъ въ виду непріятеля, уже выстроившагося въ боевой порядокъ, приказалъ своимъ солдатамъ остановиться и заняться

Digitized by Google

устройствомъ лагеря. Союзники увидѣли, что императоръ не хочетъ сражаться и стали въ тупикъ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ тутъ распорядиться? Можно ли нападать на императора, который спокойно и довѣрчиво расположился отдыхать въ виду своихъ подданныхъ? Не будетъ-ли такое нападеніе гнусною измѣной и преступнымъ посягательствомъ на самыя святыя чувства человѣческой природы?—Озадаченные этими вопросами, союзники оказались самыми почтительными и любезными мятежниками. Они не тронули нѣмцевъ и добровольно выпустили изъ рукъ всѣ выгоды своего положенія. Обѣ арміи провели цѣлыя сутки въ самомъ близкомъ сосѣдствѣ. На другой день утромъ нѣкоторые итальянскіе дворяне, жившіе въ ладу съ обѣими партіями, попробовали устроить примиреніе. Императоръ отвѣчалъ, что, сражаясь за права имперіи, онъ готовъ однакоже отдать спорные вопросы на рѣшеніе посредникамъ, назначеннымъ съ обѣихъ сторонъ. Союзники объявили въ свою очередь, что они также согласны подчиниться рѣшенію третейскаго суда, лишь бы только при этомъ не были нарушены права римской церкви и муниципальной свободы.

Обѣ стороны согласились въ выборѣ шестерыхъ посредниковъ и, начавши переговоры, условились между собою распустить немедленно обѣ арміи. Это послѣднее условіе было особенно выгодно для императора: армія его ни въ какомъ случаѣ не могла устоять противъ союзныхъ силъ, а распуская ее, онъ обнаруживалъ свою великодушную довѣрчивость и, спасая себя отъ вѣрнаго пораженія, разогрѣвалъ въ тоже время почтительныя чувства ломбардскихъ мятежниковъ. Переговоры были вообще гораздо опаснѣе для ломбардскаго союза, чѣмъ сраженія. Во время переговоровъ, императору удалось перетянуть на свою сторону городъ Комо и поколебать довѣріе союзниковъ къ Кремонѣ. Императоръ назначилъ кремонскихъ консуловъ суперарбитрами въ разбираемомъ спорѣ и обѣщалъ положиться на ихъ рѣшеніе въ томъ случаѣ, если выбранные посредники не успѣютъ согласиться между собою. Союзники послѣ этого стали смотрѣть косо на кремонянъ, приняли въ соображеніе ихъ старинную привязанность къ императору и припомнили тутъ же, что кремонская милиція пришла выручать Александрію уже послѣ начала переговоровъ и послѣ распущенія обѣихъ армій.

Если бы Фридриху удалось затянуть переговоры, то въ ломбардскомъ союзѣ обнаружились бы, по всей вѣроятности, очень серьезныя несогласія. Но клерикальная партія вмѣшалась въ дѣло и положила конецъ всѣмъ преждевременнымъ миролюбивымъ фантазіямъ, подъ прикрытіемъ которыхъ императоръ разстраивалъ лигу и набиралъ себѣ въ Германіи новую армію. Переговоры, начавшіеся въ лагерѣ, были перенесены въ Павію, куда вслѣдъ за императоромъ пріѣхали, по его приглашенію, уполномоченные легаты отъ папы Александра III.

Фридрихъ далъ этимъ легатамъ публичную аудіенцію на павійской площади, въ присутствіи павійскаго парламента или народнаго собранія. Одинъ изъ легатовъ, епископъ города Остіи, произнесъ строгую нравоучительную рѣчь, въ которой были подробно перечислены тяжелыя преступленія Фридриха противъ его святой матери, римской церкви. Епископъ убѣдительно совѣтовалъ императору раскаяться, исправиться и пожалѣть о собственной душѣ, подвергающейся самой смертельной опасности, и о христіанскомъ мірѣ, изнемогающемъ подъ гнетомъ невыносимыхъ страданій. Павійцы, принимавшіе постоянное участіе во всѣхъ тяжелыхъ преступленіяхъ императора, старались показать своими громкими восклицаніями, что они все-таки умѣютъ сочувствовать невыносимымъ страданіямъ, о которыхъ повѣствовалъ строгій и краснорѣчивый епископъ. Фридрихъ тоже обнаружилъ признаки глубокаго сокрушенія и отвѣчалъ легатамъ, что для прекращенія невыносимыхъ страданій онъ готовъ рѣшиться на самыя значительныя пожертвованія.

Затѣмъ начались совѣщанія уже не на площади, а въ дворцовыхъ покояхъ, при затворенныхъ дверяхъ, потому что профанамъ не слѣдовало знать, какимъ образомъ папскіе легаты расхваливаютъ невыносимость страданій, стараясь сбыть ее съ рукъ за самую выгодную цѣну, и какимъ образомъ императорскіе министры отпускаютъ имъ по золотникамъ монету разстроганнаго императора, т. е. его самыя значительныя пожертвованія. Вообще, когда два принципа, желающіе казаться одинаково величественными и непоколебимыми, принуждены торговаться между собою, тогда слѣдуетъ затворять двери какъ можно плотнѣе, чтобы процессъ діалектической борьбы и искуснаго лавированія оставался навсегда неизвѣстнымъ наивной публикѣ. *Самыя значительныя пожертвованія* Фридриха оказались недостаточными для излеченія *невыносимыхъ страданій*, и легаты уѣхали изъ Павіи, объявляя во всеуслышаніе, что примиреніе императора съ церковью невозможно. Вмѣстѣ съ легатами уѣхали и представители ломбардской лиги, которая ни подъ какимъ видомъ не хотѣла мириться съ мучителемъ церкви. Прекращеніе переговоровъ было очень счастливымъ событіемъ для республиканцевъ, потому что императоръ старался только выиграть время, перессорить союзниковъ и потомъ напустить на отдѣльные города новую армію, формировавшуюся въ Германіи.

Въ ожиданіи этой арміи, Фридрихъ прожилъ въ Павіи цѣлый годъ. Во все это время военныя дѣйствія ограничивались опустошеніемъ полей, и даже эти опустошенія производились въ очень скромныхъ размѣрахъ; Фридриху не съ чѣмъ

Digitized by Google

было пускаться въ обширныя предпріятія, а ломбарды никогда не умѣли или, по своей почтительности, не осмѣливались вести наступательную войну.

Наконецъ, въ маѣ 1176 года нѣмецкая армія перешла черезъ Альпы и вступила въ городъ Комо, державшій сторону императора. Узнавши о ея приближеніи, Фридрихъ поспѣшно выѣхалъ изъ Павіи, проѣхалъ тайкомъ черезъ миланскую территорію, и потомъ, принявши начальство надъ арміей, повелъ ее къ замку Линьяно, находившемуся въ графствѣ Сепріо.

Миланцы видѣли, что первый ударъ направляется противъ нихъ. Они уже давно понимали, что императоръ не даромъ поселился въ Павіи, и что онъ заготовляетъ матеріалы для такихъ серьезныхъ столкновеній, въ которыхъ должна окончательно рѣшиться судьба республиканской Ломбардіи. Миланцы заблаговременно приняли всѣ мѣры для самой упорной обороны. Въ январѣ 1176 г. они потребовали отъ союзныхъ городовъ повторенія тѣхъ клятвенныхъ обязательствъ, по которымъ, въ случаѣ опасности, всѣ силы союза должны были идти на помощь къ осажденному городу. Потомъ они сформировали два отборные кавалерійскіе отряда. Одинъ состоялъ изъ девяти сотъ воиновъ и назывался *когортою смерти*. Другой, составленный изъ трехъ сотъ молодыхъ людей, принадлежавшихъ къ лучшимъ миланскимъ фамиліямъ, долженъ былъ защищать главное знамя республики, и назывался поэтому *когортою каррочіо*. Оба отряда дали торжественную клятву умирать за отечество на полѣ сраженія и не отступать ни подъ какимъ видомъ. До изобрѣтенія огнестрѣльнаго оружія, когда военное искусство находилось въ младенчествѣ, и когда всѣ сраженія рѣшались исключительно рукопашными схватками—серьезное выполненіе патріотическаго обѣта, даннаго обѣими когортами, дѣйствительно могло принести миланской республикѣ самую существенную пользу.

Въ послѣднихъ числахъ мая миланцы узнали, что императоръ съ своей новой арміей находится въ двадцати верстахъ отъ ихъ города. Въ это время къ миланцамъ успѣли присоединиться только войска Піаченцы и по нѣсколько воиновъ изъ Вероны, изъ Брешіи, изъ Новары и изъ Верчелли. Миланцы однакоже не стали дожидаться остальныхъ союзниковъ и пошли вмѣстѣ со своимъ каррочіо на встрѣчу къ непріятелю. Столкновеніе произошло 29 мая возлѣ замка Линьяно. Сначала когорта каррочіо поколебалась, и нѣмцы подъ начальствомъ самого Фридриха, рубившагося въ первомъ ряду, подошли очень близко къ священной миланской колесницѣ. Тутъ когорта смерти повторила громко свою великую клятву и бросилась на императорское войско съ такою яростью, что общій видъ сраженія немедленно перемѣнился. Самъ императоръ, опрокинутый съ лошади, куда-то исчезъ; главное знамя его очутилось въ рукахъ миланцевъ; по рядамъ нѣмецкой арміи пробѣжалъ тревожный слухъ о томъ, что императоръ убитъ; все миланское войско воодушевилось и кинулось на нѣмцевъ вслѣдъ за когортою смерти; нѣмцы не выдержали и побѣжали; миланцы преслѣдовали ихъ на разстояніи десяти верстъ и наконецъ загнали ихъ въ рѣку Тичино, въ которой многіе изъ бѣглецовъ утонули. Особенно плохо пришлось комоскамъ, измѣнившимъ общему дѣлу ломбардскаго союза; почти вся милиція города Комо легла на полѣ сраженія, или была истреблена во время преслѣдованія; богатый лагерь императорской арміи весь цѣликомъ достался побѣдителямъ. Словомъ, пораженіе было такое рѣшительное, какого Фридрихъ Барбаросса еще никогда не испытывалъ.

Впродолженіе нѣсколькихъ дней друзья и враги императора рѣшительно не знали, куда онъ дѣвался. Его не было ни на линьянскомъ полѣ, среди убитыхъ, ни въ Миланѣ, въ числѣ плѣнниковъ. Жена его, находившаяся въ Павіи, уже носила по немъ трауръ и молилась объ упокоеніи его гордой и неукротимой души. Наконецъ онъ самъ явился въ Павію, и его исчезновеніе объяснилось очень просто. Ошеломленный ударомъ, свалившимъ его съ лошади, онъ очнулся только тогда, когда сраженіе было уже окончено, и когда ломбарды, добивавшіе разбитыхъ нѣмцевъ, находились въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Линьяно, по дорогѣ къ рѣкѣ Тичино. Тутъ Фридрихъ сообразилъ конечно, глядя на груды своихъ убитыхъ сподвижниковъ, что ему остается только уходить какъ можно скорѣе и осторожнѣе, чтобы не попасться въ плѣнъ. Разными глухими тропинками, перелѣсками и оврагами онъ сталъ пробираться къ Павіи и благополучно дошелъ до этого города тогда, когда уже никто не смѣлъ сомнѣваться въ его смерти.

Ломбардская война продолжалась уже двадцать два года. Семь нѣмецкихъ армій, одна за другою, приходили въ Италію защищать права священной римской имперіи. Эти арміи, въ общей сложности, заключали въ себѣ, по меньшей мѣрѣ, полмилліона людей, оторванныхъ отъ родной земли и отъ производительныхъ занятій. Изъ этого полумилліона воротились на родину очень не многіе; большинство погибло не столько отъ оружія республиканцевъ, сколько отъ болѣзней и лишеній, составлявшихъ неизбѣжное слѣдствіе такого климата, къ которому не могли привыкнуть нѣмецкіе солдаты, и такой системы войны, при которой цѣлыя обширныя и богатыя области опустошались и выжигались безъ малѣйшей надобности. Двѣ арміи, пятая и шестая—та, которая ходила въ Римъ, и та, которая осаждала Александрію—были почти совершенно истреблены — одна маремскою лихорадкой, другая —голодомъ и различными болѣзнями. Трудовъ и пожертвованій было вообще принесено такъ мно-

Digitized by Google

го, что дальнѣйшія требованія становились уже неудобоисполнимыми. Самъ Фридрихъ дѣлалъ съ своей стороны все, что было возможно; никто изъ его злѣйшихъ враговъ не могъ и не хотѣлъ сомнѣваться ни въ его храбрости, ни въ его распорядительности, ни въ его настойчивости, ни въ его умѣньѣ переносить спокойно и хладнокровно самыя тяжелыя неудачи. Чего только онъ не придумывалъ для укрощенія Италіи? Выигрывалъ сраженія, выжигалъ поля, бралъ и разрушалъ до основанія богатые города, назначалъ въ Ломбардію своихъ чиновниковъ, давая имъ полное право грабить и вѣшать гражданъ, вѣшалъ самъ плѣнниковъ и заложниковъ, созывалъ сеймы, говорилъ рѣчи, напускалъ на своихъ противниковъ всю непобѣдимую ученость болонскихъ юристовъ — и все-таки, въ двадцать два года, отодвинулся отъ своей цѣли, вмѣсто того, чтобы подойти къ ней ближе. Всѣ усилія Фридриха привели за собою только тотъ результатъ, что Ломбардія начала понимать цѣну своей независимости и, повинуясь голосу этого возникающаго самосознанія, выработала себѣ такую организацію, которая при своей рыхлости и неповоротливости, все-таки однимъ фактомъ своего существованія совершенно обезпечивала свободу отдѣльныхъ ломбардскихъ республикъ. Миланъ, съ которымъ Фридрихъ поссорился при первомъ своемъ вступленіи въ Италію, Миланъ, стертый Фридрихомъ съ лица земли—этотъ самый Миланъ стоялъ на своемъ прежнемъ мѣстѣ, во всемъ своемъ прежнемъ величіи, по прежнему боготворилъ свою свободу и обнаруживалъ способность наносить своимъ обидчикамъ такіе удары, отъ которыхъ могла разсыпаться въ дребезги самая сильная и благоустроенная армія. Пора было наконецъ понять настоящій смыслъ всѣхъ этихъ событій; пора было уступить необходимости, прекратить безплодную трату человѣческихъ силъ и откровенно помириться съ существованіемъ свободныхъ ломбардскихъ городовъ, какъ съ такимъ фактомъ, который созданъ потребностями цѣлаго народа и не можетъ быть уничтоженъ произволомъ отдѣльной личности.

Послѣ линьянскаго сраженія Фридрихъ серьезно сталъ думать о мирѣ.

XVI.

ПЕРЕГОВОРЫ И МИРЪ.

Ломбардская война чрезвычайно замѣчательна по совершенно анонимному характеру. Въ этой войнѣ мы не видимъ, на сторонѣ побѣдителей, ни одного блестящаго имени, ни одной крупной личности, управляющей ходомъ событій. Дѣйствуютъ цѣлые народы — миланцы, вероняне, кремоняне, лодійцы и др. Ихъ страсти, ихъ любовь къ свободѣ, ихъ мужество, ихъ терпѣніе, взрывы ихъ патріотическаго восторга или негодованія, ихъ подвиги и ихъ ошибки обусловливаютъ собою всѣ различныя фазы упорной двадцатидвухлѣтней борьбы. Можно разсказать очень подробно всю эту борьбу съ начала до конца, не назвавши ни одного ломбардскаго полководца или государственнаго человѣка. Почему ломбардскіе города—Тортона, Крема, Миланъ, Александрія, выдерживали такія осады, которыя своею продолжительностью губили силы императорскихъ армій? Не потому, что въ этихъ городахъ сидѣли геніальные инженеры и замѣчательные коменданты, а потому, что всѣ граждане, отъ консула до поденьщика, готовы были для спасенія отечества питаться по нѣсколько недѣль крысами, лягушками, травою и вареными подошвами.

Почему Ломбардія, порабощенная и задавленная Фридрихомъ, послѣ разрушенія Милана, поднялась противъ своихъ притѣснителей и завоевала себѣ снова всю свою прежнюю свободу? Не потому, что въ городскихъ совѣтахъ сидѣли глубокомысленные и дальновидные администраторы, а потому, что весь народъ кипѣлъ неукротимымъ негодованіемъ, чувствовалъ глубоко каждое изъ наносимыхъ ему оскорбленій и бросался въ опасность, не справляясь о томъ, какъ велики силы его обидчиковъ.

Почему Миланъ поднялся изъ своихъ развалинъ? Не потому, что государственные люди взвѣсили тѣ выгоды, которыя его существованіе доставляло Ломбардіи, а потому, что миланцы страстно любили свой родной городъ, и потому что ихъ патріотическое чувство нашло себѣ отголосокъ въ груди всѣхъ ломбардовъ, поднявшихъ оружіе за свою потерянную свободу.

Почему ломбардскіе союзники упустили Фридриха въ окрестностяхъ Тортоны, когда его армія, ослабленная неудачною осадой Александріи, могла быть совершенно уничтожена? Не потому, что ломбардскіе полководцы руководствовались какими нибудь ошибочными разсчетами, а потому, что ломбардская армія, изображавшая собою цвѣтъ ломбардскаго народа, чувствовала къ особѣ императора невольное и непобѣдимое уваженіе.

Почему миланцы разбили подъ Линьяно сильную императорскую армію, только-что пришедшую изъ Германіи и слѣдовательно еще не успѣвшую раскиснуть подъ вліяніемъ итальянскаго климата и лагерныхъ неудобствъ? Не потому, что планъ сраженія былъ составленъ какимъ нибудь даровитымъ и опытнымъ спеціалистомъ, а потому что лучшая часть миланской арміи, т. е. народа, поклялась умереть за отечество и вспомнила свою клятву въ рѣшительную минуту.

Именно потому я и представилъ читателямъ довольно подробный отчетъ объ осадахъ и сраженіяхъ, что во всѣхъ этихъ операціяхъ проявлялись во время ломбардской войны не сухія выкладки полководцевъ, а живые порывы великихъ и вѣчно юныхъ, вѣчно современныхъ народныхъ чувствъ.

Digitized by Google

Руководствуясь непосредственными внушеніями своего патріотическаго чувства, ломбарды умѣли побѣждать своихъ притѣснителей, и—что еще труднѣе—умѣли также переносить сильныя пораженія, не отчаяваясь въ успѣхѣ своего дѣла. Но когда побѣда была одержана, тогда одно голое чувство при всей своей пламенности, рѣшительно не могло вразумить ломбардовъ, какимъ образомъ слѣдуетъ пользоваться побѣдой, т. е. на какихъ условіяхъ можно помириться съ побѣжденнымъ врагомъ. Послѣ сраженія при Линьяно обозначилась вполнѣ существенная разница между воюющими сторонами. Когда побѣждалъ императоръ, тогда онъ преслѣдовалъ своихъ враговъ неутомимо и безпощадно, принуждалъ ихъ къ безусловной сдачѣ, срывалъ до основанія цѣлые города, разбрасывалъ бывшихъ мятежниковъ въ беззащитныя слободы и деревни, смирялъ ихъ непомѣрными налогами и каторжными работами, словомъ, выжималъ изъ своей побѣды весь ея сокъ, до послѣдней капли, такъ что побѣжденные враги долго не могли собраться съ силами для новой борьбы. Ломбарды поступали совсѣмъ наоборотъ; уничтоживъ нѣмецкую армію, они тотчасъ успокоились и прекратили военныя дѣйствія, они не пошли осаждать Павію, не постарались отрѣзать Фридриху сообщеніе съ Германіей и не предприняли ровно ничего ни противъ маркиза Монферратскаго, ни противъ другихъ итальянскихъ приверженцевъ императора. Теряя свою армію, Фридрихъ терялъ только возможность опустошать ломбардскія поля и разрушать ломбардскіе города; вмѣстѣ съ своей арміей онъ нисколько не терялъ возможности защищать свою личность и свою корону. Послѣ десяти пораженій, подобныхъ линьянскому дѣлу, его личность и его корона оставались бы попрежнему въ совершенной безопасности по той простой причинѣ, что ихъ охраняла простодушная почтительность самихъ побѣдителей. Ломбарды могли въ пылу сраженія сбить Фридриха съ лошади, но они были совершенно неспособны идти къ Павіи съ ясно сознаннымъ намѣреніемъ взять нѣмецкаго императора въ плѣнъ и повелительнымъ тономъ продиктовать ему условія мирнаго договора. Послѣ сраженія при Линьяно, ничто не принуждало Фридриха просить мира и дѣлать побѣдителямъ уступки. У Фридриха не было арміи, а ломбарды, по своей скромности, осмѣливались вести только оборонительную войну; при такихъ условіяхъ военныя дѣйствія прекращались сами собою, именно тогда, когда это прекращеніе было особенно необходимо для Фридриха; и это естественное перемиріе, состоявшееся безъ всякихъ взаимныхъ обязательствъ и безъ всякихъ пожертвованій со стороны императора, должно будетъ продолжаться до тѣхъ поръ, пока самому императору будетъ угодно и выгодно возобновить свои посягательства на ломбардскую свободу. Во время наступившаго затишья, Фридрихъ могъ преспокойно жить въ Павіи, важничать, куражиться, разстроивать ломбардскій союзъ дипломатическими интригами и собирать въ Германіи новую армію—словомъ, открыто, въ присутствіи самихъ ломбардовъ заготовлять снова тѣ цѣпи, которыя одинъ разъ уже были разорваны республиканцами сѣверной Италіи.

Каштаны, добытые изъ горячей золы руками храбрыхъ ломбардовъ, попали на столъ къ его святѣйшеству Александру III. Фридрихъ, разбитый при Линьяно, послалъ своихъ уполномоченныхъ не къ *ректорамъ общества городовъ*, а къ папѣ. Папа объявилъ сначала на публичной аудіенціи, что онъ ни подъ какимъ видомъ не оставитъ своихъ союзниковъ и не заключитъ съ императоромъ отдѣльнаго мира. Однакоже папа не отказался вести переговоры и очень скоро сошелся съ уполномоченными Фридрих въ опредѣленіи тѣхъ условій, на которыхъ императоръ можетъ получить его пастырское прощеніе и благословеніе. Окончательное заключеніе мира между папою и императоромъ было, правда отложено до рѣшенія ломбардскаго вопроса, но роль папы совершенно измѣнилась съ той минуты, какъ онъ условился съ уполномоченными Фридриха. Цѣль папы была уже достигнута; ему уже нечего было желать и ожидать отъ продолженія военныхъ дѣйствій, ему и его клерикамъ уже не за что было гнѣваться на императора и не зачѣмъ было разогрѣвать воинственныя страсти республиканцевъ; теперь надо было перемѣнить тонъ, заговорить о сладости мира и напомнить ломбардамъ о повиновеніи предержащимъ властямъ; вчерашніе агитаторы должны были сегодня превратиться въ миротворцевъ, въ усыпителей и въ тайныхъ враговъ республиканскаго воодушевленія, которое теперь одно мѣшало папѣ наслаждаться вполнѣ плодами выгоднаго и почетнаго мира.

Папа обѣщалъ императорскимъ посламъ поѣхать немедленно въ Ломбардію и, въ качествѣ предсѣдателя ломбардскаго конгресса, заняться соглашеніемъ противуположныхъ интересовъ, волновавшихъ до сихъ поръ священную имперію. Такимъ образомъ папа принималъ на себя обязанности посредника. Это обстоятельство показываетъ довольно ясно, что онъ уже не считалъ себя воюющей стороною, не смотря на то, что онъ торжественно отказывался отъ заключенія отдѣльнаго мира. Въ ожиданіи окончательнаго примиренія положено было прекратить военныя дѣйствія на всемъ пространствѣ Италіи. Хотя и незамѣтно было, чтобы до заключенія этого форменнаго перемирія, почтительные ломбарды позволили себѣ какую нибудь наступательную дерзость, однако не трудно понять, кто нуждался въ этомъ условіи, и чьи интересы имъ ограждались. Ломбарды получили такимъ образомъ на свою долю горячую золу и обожженыя руки. Каштаны же отодвинулись отъ нихъ въ

Digitized by Google

туманную даль неопредѣленнаго будущаго и остались по прежнему въ распоряженіи важныхъ особъ—папы и императора.

Ломбарды ухитрились дѣйствовать такъ искусно, что побѣда не усилила, а ослабила ихъ партію. Вскорѣ послѣ дѣла при Линьяно, два города, Кремона и Тортона, соблазнились великодушными предложеніями императора и, отдѣлившись отъ мятежнаго союза, бросились въ распростертыя объятія Фридриха Барбароссы. Тортоняне такъ расчувствовались, что забыли даже, какъ они, по милости этого самого Фридриха, открывающаго имъ свои объятія, пили нѣсколько недѣль отравленную воду, и потомъ тащились въ Миланъ, не имѣя на свѣтѣ ни кола, ни двора, ни родины, ни гражданскихъ правъ.

Примѣру Кремоны и Тортоны послѣдовала Равенна, которая впрочемъ никогда не помогала ломбардамъ, хотя и принадлежала къ ихъ союзу.

Фридрихъ такъ мало нуждался въ мирѣ, что очень долго торговался съ ломбардами насчетъ того, въ какомъ городѣ назначить мѣстопребываніе конгресса. Ломбарды предлагали Болонью, Піаченцу, Феррару или Падую. Императоръ возражалъ, что всѣ эти города, принадлежащіе къ ломбардской лигѣ, не могутъ считаться нейтральными — и предлагалъ съ своей стороны Павію или Равенну, которыхъ нейтралитетъ былъ также болѣе чѣмъ сомнителенъ. Наконецъ обѣ стороны согласились вести переговоры въ Венеціи, которая сначала принадлежала къ союзу, а потомъ осаждала Анкону за одно съ императорскими войсками. Венеція держала себя особнякомъ отъ Ломбардіи и не признавала надъ собою власти нѣмецкихъ императоровъ. У Венеціи были свои спеціальные интересы и своя самостоятельная политика. Поэтому Венеція могла служить нейтральнымъ полемъ для обѣихъ договаривающихся сторонъ.

Папа пріѣхалъ въ Венецію въ концѣ марта 1177 года. До начала конференцій, ломбарды потребовали отъ венеціанскаго дожа и отъ народа клятвеннаго обѣщанія не впускать въ городъ императора во все время переговоровъ. Ломбардскіе депутаты боялись, что въ присутствіи императора исчезнетъ вся ихъ смѣлость и настойчивость, и получится снова тотъ печальный результатъ, къ которому девятнадцать лѣтъ тому назадъ пришли члены знаменитаго ронкальскаго сейма. Дожъ и народъ исполнили желаніе ломбардовъ, и конференціи открылись въ половинѣ мая, почти черезъ годъ послѣ сраженія при Линьяно. Этотъ годъ былъ потерянъ ломбардами и выигранъ императоромъ.

Ломбардскіе депутаты высказали свои желанія *въ предварительной петиціи*, поданной императору, который, во время конференцій, жилъ въ окрестностяхъ Равенны. Ломбарды соглашались платить деньгами или натурой тѣ подати, которыя требовались съ итальянскихъ городовъ на содержаніе императорской арміи, въ то время, когда императоръ шелъ въ Римъ для коронаціи. Они соглашались также присягать императору и выставлять, по его требованію, извѣстное число вооруженныхъ людей. За все это они желали, чтобы императоръ призналъ ихъ право выбирать себѣ консуловъ, поддерживать и увеличивать городскія укрѣпленія и возобновлять, когда имъ заблагоразсудится, договоръ ломбардскаго союза, обязаннаго защищать своихъ членовъ противъ всякаго обидчика, и даже противъ самаго императора, если императоръ будетъ нападать на церковь или на союзные города. Наконецъ они желали получить отъ императора полную амнистію за все прошедшее и оставить всѣ регальныя и феодальныя права въ рукахъ прежнихъ владѣльцевъ.

Въ отвѣтъ на эту петицію императоръ черезъ своихъ уполномоченныхъ предложилъ ломбардамъ выбрать одно изъ двухъ—или подчиниться рѣшеніямъ Ронкальскаго сейма, или воротиться къ тому положенію, въ которомъ находились города во время царствованія Генриха IV, то есть тогда, когда воспоминаніе о зависимости городовъ было еще очень свѣжо, и когда внутренняя организація ломбардскихъ республикъ только-что начинала вырабатываться. Мудрая политика ломбардовъ, которые выпрашивали себѣ амнистію и, слѣдовательно, сами признавали себя бунтовщиками—придавала Фридриху такую силу и бодрость, что онъ совершенно забывалъ линьянское сраженіе и заявлялъ съ своей стороны притязанія, едва ли осуществимыя даже послѣ самой блестящей побѣды.

Говорить съ ломбардами о Ронкальскомъ сеймѣ—значило бросать имъ въ глаза горькую и оскорбительную насмѣшку, потому что вся война, со всѣми своими безчисленными бѣдствіями, была только однимъ постояннымъ протестомъ республиканской Ломбардіи противъ ронкальскихъ постановленій, придуманныхъ заучившимися и раболѣпствующими юристами. Поворачивать богатые и могущественные города назадъ къ фазѣ ихъ безсильнаго дѣтства—значило просто отказываться отъ примиренія. На такія предложенія слѣдовало отвѣчать повтореніемъ линьянскаго урока въ улучшенномъ и дополненномъ видѣ. Но ломбарды, по своей всегдашней скромности, пустились въ почтительную аргументацію и стали доказывать императорскимъ уполномоченнымъ, что на Ронкальскомъ сеймѣ императоръ просто отдавалъ приказанія, во всѣхъ отношеніяхъ невыгодныя для городовъ, — и что Генрихъ IV, постоянно воевавшій съ величайшими изъ папъ, былъ лютымъ тираномъ, котораго распоряженія не должны имѣть никакой обязательной силы для добрыхъ католиковъ. Само собою разумѣется, что ни Фридрихъ, ни его уполномоченные не убѣдились этими доводами. Споръ затянулся, и всѣ члены конференціи увидѣли ясно

Digitized by Google

невозможность придти къ какому бы то ни было удовлетворительному соглашенію. Но папѣ хотѣлось предаться въ полномъ спокойствіи пожиранію добытыхъ каштановъ. Поэтому онъ постарался своимъ личнымъ вліяніемъ и происками своихъ безчисленныхъ агентовъ склонить императора и ломбардовъ къ заключенію перемирія, во время котораго все должно было оставаться по старому. Въ концѣ іюня уполномоченные Фридриха подписали вѣчный миръ съ церковью и шестилѣтнее перемиріе съ ломбардскимъ союзомъ. Это перемиріе можно было назвать шестилѣтней отсрочкой, данной императору, для того чтобы онъ могъ собраться съ силами и потомъ наводнить Ломбардію новыми толпами нѣмцевъ и фламандцевъ.

Послѣ окончанія переговоровъ, послѣ размѣна взаимныхъ ратификацій и торжественныхъ клятвъ, императоръ въѣхалъ въ Венецію, публично расцѣловалъ священныя туфли Александра III, отслушалъ молебенъ, во время котораго папа снялъ съ него приговоръ отлученія,— потомъ проводилъ папу къ его лошади, подержалъ ему стремя, хотѣлъ, по установленному церемоніалу, вести папскую лошадь подъ уздцы вплоть до монастыря Св. Николая, въ которомъ находилась квартира папы. Но Александръ обнаружилъ съ своей стороны большую любезность и уволилъ императора отъ исполненія этой послѣдней обязанности. Пока папа кушалъ такимъ образомъ каштаны, ломбарды съ наслажденіемъ потирали свои обожженныя руки и добродушно гордились торжествомъ Александра III, какъ прекраснѣйшимъ и важнѣйшимъ результатомъ линьянской побѣды.

Вскорѣ послѣ этого примиренія, папа поѣхалъ въ Римъ, гдѣ безсильный республиканскій сенатъ добровольно призналъ надъ собой его господство, а императоръ отправился въ Германію.

Во время шестилѣтняго перемирія Фридрихъ не показывался въ Италіи, но издали продолжалъ интриговать противъ ломбардскаго союза, не совсѣмъ безуспѣшно. Въ началѣ 1183 года, онъ возобновилъ свой договоръ съ Тортоною и придалъ ему всевозможную гласность, чтобы показать ломбардскимъ городамъ, какую хорошую цѣну онъ готовъ платить отступникамъ, покинувшимъ общее дѣло союза. Приманка подѣйствовала, и въ ряды отступниковъ вошла Александрія, обязанная ломбардской лигѣ своимъ существованіемъ. Чтобы умилостивить императора, Александрія рѣшилась загладить грѣхъ своего незаконнаго рожденія. Въ назначенный день всѣ александрійцы вышли изъ города и отдали себя въ распоряженіе императорскаго чиновника, ожидавшаго ихъ за воротами. Этотъ чиновникъ ввелъ ихъ обратно въ городъ и объявилъ имъ, съ надлежащей торжественностью, что императоръ по своему безпредѣльному великодушію даруетъ имъ новое отечество, которое съ этой минуты будетъ называться не Александріей, а Цезареей.— Цезарейцы получили позволеніе управляться по прежнему выборными консулами. Кромѣ того императоръ обязался защищать Цезарею, въ случаѣ нападенія со стороны сосѣдей, то есть членовъ ломбардскаго союза.

Перемиріе должно было окончиться 1-го августа 1183 г. Но при дворѣ Фридриха образовалась сильная партія, желавшая мира. Во главѣ этой партіи стоялъ старшій сынъ императора, Генрихъ. Отецъ обѣщалъ молодому человѣку сдѣлать его своимъ соправителемъ, и молодой человѣкъ боялся, чтобы возобновленіе войны не помѣшало императору исполнить данное обѣщаніе. Генрихъ убѣдилъ своего отца отправить уполномоченныхъ въ Піаченцу, гдѣ засѣдалъ весною 1183 года съѣздъ ломбардскихъ ректоровъ. Уговорившись съ ними объ условіяхъ мира, императорскіе послы пригласили консуловъ и ректоровъ въ Констансъ на имперскій сеймъ. Тамъ окончились переговоры въ присутствіи самого императора, и обѣ стороны подписали трактатъ вѣчнаго мира 25 іюня 1183 года. — Въ Констансѣ императоръ принялъ всѣ тѣ условія, на которыя онъ никакъ не хотѣлъ согласиться шесть лѣтъ тому назадъ, въ Венеціи. Всѣ желанія ломбардовъ осуществились.—Ни о постановленіяхъ Ронкальскаго сейма, ни о временахъ Генриха IV не было и помину.

Императоръ уступилъ городамъ всѣ регальныя права, которыми они владѣли въ минуту заключенія трактата. Онъ призналъ за городами право собирать войска, укрѣпляться какъ угодно и чинить собственною властью судъ и расправу по всѣмъ дѣламъ, какъ гражданскимъ, такъ и уголовнымъ. Онъ позволилъ городамъ поддерживать существованіе ломбардской лиги и возобновлять союзный договоръ, когда имъ заблагоразсудится. Наконецъ онъ обѣщалъ не жить ни въ какомъ ломбардскомъ городѣ такъ долго, чтобы его пребываніе сдѣлалось для даннаго города убыточнымъ или обременительнымъ.

Всѣ эти уступки были очень важны. Но Фридрихъ, разумѣется, не могъ отказаться рѣшительно и безвозвратно отъ тѣхъ властолюбивыхъ плановъ, для осуществленія которыхъ онъ погубилъ сотни тысячъ нѣмцевъ и итальянцевъ. Онъ постарался украсить констанскій трактатъ нѣсколькими статейками, въ которыхъ затаено его желаніе втереться снова въ итальянскія дѣла и понемногу отобрать назадъ сдѣланныя уступки.—За городами было признано право выбирать себѣ консуловъ, но при этомъ постановлено, чтобы выбранныя лица были утверждаемы въ своей должности императорскимъ легатомъ, или мѣстнымъ епископомъ, если онъ былъ въ тоже время графомъ даннаго города. Далѣе, признавая за городами право самостоятельнаго суда, императоръ выговорилъ себѣ право назначать въ каждомъ городѣ по одному судьѣ, къ которому можно

Digitized by Google

было подавать апелляцію по гражданскимъ процессамъ, если цѣнность процесса превышала сумму 25 ливровъ.—Наконецъ города обязались поддерживать силою оружія права имперіи надъ тѣми итальянскими магнатами и республиками, которые не принадлежали къ ломбардскому союзу. Такимъ образомъ императоръ удерживалъ за собой право вмѣшиваться и во внутреннюю жизнь, и во внѣшнюю политику тѣхъ городовъ, съ которыми онъ заключалъ миръ. При благопріятныхъ обстоятельствахъ это право могло окрѣпнуть, развернуться и приготовить для республиканской Ломбардіи много новыхъ хлопотъ, хроническихъ страданій и кровопролитныхъ сраженій.

Въ 1184 году Фридрихъ пріѣхалъ въ Италію и тутъ подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ заключеннаго мира начался живой обмѣнъ любезностей между грознымъ императоромъ и самыми закоренѣлыми мятежниками. Миланцы больше всѣхъ другихъ ломбардовъ старались показать Фридриху, какъ они рады его видѣть и какъ они дорожатъ его добрымъ расположеніемъ. Фридрихъ съ своей стороны желалъ выразить имъ свою благосклонность и для этого позволилъ имъ выстроить заново городокъ Крему, который съ 1160 г. оставался разрушеннымъ. Кремоняне, заклятые враги кремасковъ, помѣшали возстановленію этого города въ то время, когда ломбардскій союзъ хозяйничалъ въ сѣверной Италіи; теперь, когда самъ императоръ простилъ жителей разрушеннаго города, кремоняне разсердились и выразили свое негодованіе такъ дерзко, что Фридрихъ рѣшился ихъ наказать. Онъ въ первый и въ послѣдній разъ въ жизни принялъ подъ свое начальство миланскую милицію, взялъ съ собой миланское каррочіо, вошелъ въ кремонскую область, сжегъ нѣсколько замковъ и заставилъ кремонянъ просить пощады.

Вслѣдъ затѣмъ Фридрихъ предоставилъ миланцамъ право *выбирать* себѣ подесту и облекать его въ званіе городского графа, не дожидаясь ни откуда разрѣшенія или утвержденія. Въ это же время Фридрихъ женилъ своего сына Генриха на Констанціи, наслѣдницѣ Сицилійскаго королевства. Въ 1188 году Фридрихъ отправился въ Палестину воевать съ невѣрными, а въ 1189 году 10 іюня Фридрихъ утонулъ въ маленькой, но очень быстрой и холодной рѣченкѣ Салефѣ.

XVII.

КОНСУЛЫ И ПОДЕСТЫ.

Мы видѣли выше, что въ началѣ XI вѣка многіе помѣщики приписались къ итальянскимъ городамъ и получили въ нихъ право гражданства. Во время войны съ Фридрихомъ Барбароссою каждая ломбардская республика имѣла свое дворянство, воинственное, храброе, буйное и властолюбивое. Пока продолжалась упорная война съ опаснѣйшимъ врагомъ ломбардской свободы, нравственныя свойства и стремленія дворянъ были очень полезны общему дѣлу, потому что дворяне гораздо менѣе остальныхъ гражданъ были расположены молчать и благоговѣть передъ такъ называемымъ преемникомъ Юстиніана и Константина Великаго.

Каждый помѣщикъ, обладавшій укрѣпленнымъ замкомъ, искалъ себѣ и часто находилъ такую полную независимость, о которой никогда не могъ мечтать ремесленникъ или купецъ, выросшій въ городѣ. Каждый помѣщикъ хотѣлъ быть въ своемъ имѣніи владѣтельною особой, и эта цѣль въ XII вѣкѣ вовсе не могла считаться недостижимой. Богатый и сильный помѣщикъ не хотѣлъ признавать надъ собой никакой посторонней власти и не подчинялъ своей личной воли никакимъ законамъ кромѣ того договора съ королемъ или съ императоромъ, на основаніи котораго онъ, помѣщикъ, владѣлъ своимъ имѣніемъ. Императоръ или король, по мнѣнію помѣщика, былъ только первымъ между равными (primus inter pares), и эти равные имѣли полное право сопротивляться ему, если онъ своими распоряженіями нарушалъ ихъ выгоды или затрогивалъ ихъ дворянскую честь.

Въ случаѣ надобности каждый помѣщикъ былъ способенъ окружить себя вооруженными людьми, запереться въ укрѣпленномъ замкѣ и отбиваться до послѣдней крайности отъ нападеній. О такой единичной борьбѣ ни одинъ простой гражданинъ не могъ и подумать. Простые граждане могли сопротивляться только въ массѣ, только тогда, когда негодованіе охватывало цѣлый городъ и возбуждало противъ иностранныхъ угнетателей поголовное возстаніе. Каждый гражданинъ отдѣльно чувствовалъ себя безсильнымъ и былъ поставленъ въ необходимость переносить многія несправедливости, молча и скрѣпя сердце, потому что не могъ надѣяться, чтобы всѣ его сограждане поднялись разомъ за нанесенное ему оскорбленіе. Именно въ этихъ случаяхъ дворяне, приписавшіеся къ городамъ, являлись драгоцѣнными представителями индивидуальной дерзости и запальчивости, воспитанной въ уединеніи мрачныхъ и неприступныхъ замковъ. Дворяне первые поднимали гвалтъ, отражали силу силой и увлекали за собою сотни и тысячи оскорбленныхъ гражданъ, не рѣшавшихся выдвинуться впередъ и обнаружить свое собственное неудовольствіе.

Читатель помнитъ конечно, что послѣ разрушенія Милана первая мысль о возможности и о необходимости новой борьбы съ императоромъ родилась въ веронской мархіи. Въ этой провинціи составилась веронская конфедерація, изъ которой развилась впослѣдствіи ломбардская лига. Эта провинція отличается гористымъ мѣстоположеніемъ. Горы, крутыя холмы и дикія скалы подходятъ очень близко къ самымъ богатымъ и цвѣ-

Digitized by Google

тущимъ городамъ. На этихъ горахъ, холмахъ и скалахъ мѣстные дворяне устроили себѣ неприступные замки, которые дали имъ возможность сохранить всю свою независимость и пріобрѣсти сильнѣйшее вліяніе надъ окружающими городами. Сначала это вліяніе создало веронскую конфедерацію и освободило Ломбардію отъ нѣмцевъ; а потомъ это же самое вліяніе подчинило ломбардскія республики господству многихъ мелкихъ туземныхъ тирановъ.

Война была единственнымъ серьезнымъ занятіемъ и любимою забавой тогдашнихъ итальянскихъ дворянъ. Только войною они могли прославить свое имя, составить себѣ карьеру или добыть себѣ богатство. Война соотвѣтствовала вполнѣ всѣмъ особенностямъ ихъ темперамента, всѣмъ ихъ потребностямъ и наклонностямъ; она одна давала достаточную пищу всѣмъ способностямъ ихъ ума, не требуя отъ нихъ въ тоже время никакихъ предварительныхъ свѣдѣній и усидчивыхъ трудовъ; одна война вела въ то время ко всему, чего только могло пожелать пылкое дворянское сердце, даже и къ верховной власти. Престолы возникали и падали съ такой замѣчательной быстротой, и короны такъ часто доставались счастливымъ бойцамъ, что каждому предпріимчивому помѣщику XII вѣка было въ высшей степени позволительно мечтать объ основаніи или завоеваніи какого нибудь королевства и даже располагать всѣ свои поступки сообразно съ этими безпредѣльно властолюбивыми мечтами. Это было особенно позволительно тѣмъ помѣщикамъ, владѣнія которыхъ были окружены со всѣхъ сторонъ крошечными и вѣчно волнующимися республиками. Мудрено, почти невозможно было устоять противъ властолюбивыхъ фантазій, когда для ихъ осуществленія требовалось только, чтобы человѣкъ давалъ волю всѣмъ своимъ хищнымъ инстинктамъ, съ которыми онъ и безъ того не въ силахъ былъ управиться. Воевать надо было и для того, чтобы добыть какую нибудь корону, и потому, что буйство и озорство веселило сердце тогдашняго человѣка, и наконецъ просто потому, что больше нечего было дѣлать въ безграмотное время такой особѣ, которая по своему благородному происхожденію не могла заниматься ни торговлей, ни ремесломъ.

Простые граждане могли также желать войны, когда они считали ее необходимой для благосостоянія или для чести обожаемой родины; простые граждане могли даже увлекаться сильными ощущеніями такой игры, въ которой тысячи людей ставятъ на карту свою жизнь. Но при этомъ простые граждане никогда не могли упускать изъ виду убыточную и бѣдственную сторону войны, отрывавшей ихъ отъ работы, путавшей ихъ торговыя предпріятія и никогда не вознаграждавшей ихъ за понесенныя утраты и пожертвованія. Для простыхъ гражданъ война была во всякомъ случаѣ зломъ, и они сами понимали это очень хорошо; они всегда желали мира, хотя и нарушали его очень часто разнообразными вспышками своихъ еще неукротившихся страстей.

Дворяне напротивъ того, какъ солдаты отъ рожденія, по страсти и по ремеслу, любили войну со всѣхъ сторонъ и находили ее выгодной и привлекательной во всѣхъ отношеніяхъ. Они понимали, что продолжительный миръ погрузитъ ихъ въ ничтожество, подчинитъ ихъ дѣйствію общихъ законовъ и посадитъ имъ на голову разныхъ плебеевъ, разбогатѣвшихъ за прилавкомъ или за банкирской конторкой. Эта неукротимая воинственность дворянъ была очень полезна, когда надо было поднять всю Ломбардію противъ Фридриха Барбароссы и его намѣстниковъ. Но эта воинственность не могла же исчезнуть безъ слѣда на другой день послѣ заключенія констанскаго мира. Она продолжала существовать, продолжала искать себѣ пищу и, не брезгая ничѣмъ, вовлекла Ломбардію въ безконечный рядъ нелѣпѣйшихъ междоусобій, которыя очень многимъ ясновельможнымъ рыбакамъ доставили желанную возможность воспользоваться мутностью взволнованной воды. Поселяясь въ городахъ, дворяне вовсе не желали безусловно подчиняться мѣстнымъ законамъ и правительству. Они запасались заранѣе всѣми средствами сопротивленія. Каждый дворянинъ строилъ свой городской домъ такъ, что онъ оказывался похожимъ на маленькую крѣпость. Массивныя стѣны, сложенныя изъ огромныхъ кусковъ дикаго камня, тяжелыя двери, обложенныя толстыми желѣзными досками, узкія окна, похожія на бойницы и едва пропускавшія свѣтъ и воздухъ въ темныя комнаты дворянскаго жилища — все было приноровлено къ тому, чтобы городской домикъ въ случаѣ надобности могъ укрыть своего хозяина отъ представителей правосудія и выдержать настоящую осаду. При каждомъ дворянскомъ домѣ, построенномъ въ солидномъ стилѣ, находилась обыкновенно башня, которая относилась къ дому такъ, какъ цитадель относится къ укрѣпленному городу. Когда вражеская сила, дѣйствовавшая во имя закона, взламывала желѣзныя двери и проникала въ домъ, тогда благородный хозяинъ удалялся съ своими сподвижниками въ башню и тамъ выдерживалъ новую осаду, которая обыкновенно стоила очень дорого осаждающему отряду. Въ башнѣ имѣлось всегда, на случай подобныхъ столкновеній, достаточное количество съѣстныхъ припасовъ, стрѣлъ, камней и всякаго другого оружія.

У дворянина, сдѣлавшаго какое бы то ни было преступленіе, никогда не могло быть недостатка въ смѣлыхъ защитникахъ, готовыхъ драться за него до послѣдней капли крови. Каждый дворянскій родъ составлялъ плотную ассоціацію, которая вся цѣликомъ вступалась за каждаго изъ

Digitized by Google

своихъ членовъ, въ томъ числѣ и за самыхъ отъявленныхъ негодяевъ. Провинившаяся особа бѣжала немедленно къ признанному главѣ своего рода и объявляла ему, что приключилась бѣда, за которую ей предстоитъ близкое знакомство съ висѣлицей. Патріархъ оставлялъ преступника въ своемъ крѣпкомъ домѣ и посылалъ гонцовъ ко всѣмъ своимъ родственникамъ объявить, что произошелъ крупный случай, и что надо собираться для защиты близкаго человѣка. Родственники вооружались, захватывали съ собою всю дворню, всѣхъ своихъ друзей, знакомыхъ и прихлебателей и бѣжали со всѣхъ сторонъ въ твердыню патріарха. Случалось иногда, что цѣлая улица была застроена домами одного рода; тогда родичи запирали свою улицу цѣпями, устраивали баррикады и задавали воинамъ правительства генеральное сраженіе, которое далеко невсегда оканчивалось пораженіемъ и усмиреніемъ благородныхъ инсургентовъ. Простые граждане, купцы и ремесленники, не пристроившіеся къ родовымъ ассоціаціямъ въ качествѣ слугъ или прихлебателей, составляли въ каждомъ городѣ большинство, но такъ какъ члены этого большинства не были связаны между собою тѣсными взаимными обязательствами, то они при столкновеніяхъ съ дворянами обыкновенно оставались въ накладѣ и терпѣли горькую муку отъ предпріимчивыхъ родичей, всегда готовыхъ поднять знамя бунта и залить улицы города кровью своихъ незнатныхъ соотечественниковъ. Эти члены большинства желали, чтобы правительство было какъ можно сильнѣе и расправлялось съ дерзкими нарушителями общественнаго спокойствія самымъ рѣшительнымъ и безпощаднымъ образомъ, нисколько не стѣсняясь знатностью, многочисленностью и отважностью того рода, который бралъ преступника подъ свое покровительство. Члены большинства всегда хватались за оружіе и бѣжали помогать должностнымъ лицамъ, встрѣтившимъ сопротивленіе со стороны дворянскаго рода. Но члены большинства находили, что правительство дѣйствуетъ слишкомъ робко, часто смотритъ сквозь пальцы на непозволительные безпорядки, часто дѣлаетъ виновнымъ незаконныя послабленія и даже иногда грѣшитъ явнымъ пристрастіемъ.

Выборные консулы были очень хороши во время общенародной борьбы съ императоромъ, потому что въ этихъ представителяхъ народа кипѣли тѣ самыя страсти, которыя одушевляли всѣхъ ломбардскихъ гражданъ. Но послѣ констанскаго мира, когда главной задачей каждаго ломбардскаго правительства сдѣлалось строгое подавленіе внутреннихъ безпорядковъ—выборные консулы стали казаться недостаточными. Если консулъ былъ дворяниномъ, то всѣ дворянскіе роды, жившіе въ городѣ, были его родственниками, или его друзьями, или его личными и родовыми врагами. Родственникамъ и друзьямъ консулъ спускалъ съ рукъ всевозможныя непозволительныя продѣлки. Враговъ, напротивъ того, онъ давилъ всею тяжестью той силы, которая была вручена ему совсѣмъ не для личнаго мщенія. Если даже консулъ изъ дворянъ былъ справедливъ, какъ Аристидъ, то всегда находились люди, которые подозрѣвали его, то въ излишней мягкости къ роднымъ и друзьямъ, то въ непомѣрной суровости къ врагамъ. Эти подозрѣнія были такъ правдоподобны и оправдывались такъ часто, что народъ привыкъ смотрѣть на выборныхъ консуловъ, какъ на людей партіи, отъ которыхъ невозможно ожидать безпристрастнаго суда и общеполезной административной дѣятельности. Если же консулъ былъ плебеемъ, непристроеннымъ ни къ какой родовой ассоціаціи, тогда обнаруживалось другое неудобство. Отслуживъ свой годовой срокъ, такой консулъ долженъ былъ воротиться въ ряды народа, и слѣдовательно сдѣлаться вмѣстѣ съ своимъ семействомъ беззащитной жертвой всей той ненависти, которую онъ могъ возбудить противъ себя во время своего консульства справедливымъ и строгимъ преслѣдованіемъ знатныхъ буяновъ, грабителей и убійцъ. Трудно было предположить, чтобы, имѣя въ виду такую печальную будущность, консулъ постоянно думалъ только о пользѣ общества и всегда дѣйствовалъ съ той безпощадной и неустрашимой энергіей, которая была необходима для огражденія личной и имущественной безопасности жителей. Въ каждомъ городѣ было всегда по нѣсколько консуловъ. Въ Миланѣ напримѣръ ихъ было двѣнадцать человѣкъ. Они могли принадлежать, или всѣ къ одной партіи, или къ разнымъ партіямъ. Въ первомъ случаѣ ихъ консульство должно было ознаменоваться такимъ систематическимъ преслѣдованіемъ враждебныхъ партій, вслѣдствіе котораго эти партіи были бы принуждены бѣжать изъ города. Во второмъ случаѣ одни консулы стали бы дѣйствовать въ пику другимъ; вмѣсто правосудія получилось бы перекрестное преслѣдованіе партій, и наконецъ эта глухая вражда скоро перешла бы въ открытую войну между законными членами одного и того же правительства.

По всѣмъ этимъ причинамъ, всѣ ломбардскіе города, одинъ за другимъ, сначала значительно ограничили власть консуловъ, а потомъ и совсѣмъ уничтожили у себя эту должность.

Консулы уступили свое мѣсто *подестамъ*.

Подеста выбирался *одинъ* на цѣлый городъ. Его призывали непремѣнно изъ чужого города. Онъ отбывалъ свой годовой срокъ и потомъ уѣзжалъ домой. Два главныя свойства подесты—единственность и чужеземность — соблюдались всѣми итальянскими городами, устроившими у себя этотъ новый образъ правленія. Безъ этихъ свойствъ, особенно безъ чужеземности, подеста не былъ подестою. Основная мысль этого учреж-

Digitized by Google

денія состояла именно въ томъ, чтобы поставить надъ городомъ верховнаго судью, нисколько не связаннаго съ мѣстными партіями и не имѣющаго никакого основанія бояться ихъ мщенія въ будущемъ. Затѣмъ каждый отдѣльный городъ развивалъ эту основную мысль по своему, то есть придумывалъ различныя второстепенныя условія, которымъ долженъ былъ удовлетворять иногородецъ, выбираемый въ подесты. Болонцы требовали напримѣръ, чтобы подеста былъ дворяниномъ; чтобы ему было отъ роду больше тридцати шести лѣтъ; чтобы онъ пользовался хорошей репутаціей; чтобы онъ не состоялъ въ родствѣ съ избирателями, и чтобы у него не было недвижимой собственности въ предѣлахъ болонской республики. Выборы болонскаго подесты производились въ сентябрѣ. Для этихъ выборовъ назначалось по жребію сорокъ избирателей изъ членовъ двухъ совѣтовъ— генеральнаго и спеціальнаго. Этихъ избирателей запирали вмѣстѣ, назвавши имъ предварительно тотъ городъ, изъ котораго по опредѣленію обоихъ совѣтовъ слѣдовало взять подесту. Въ двадцать четыре часа выборы должны были большинствомъ двадцати семи голосовъ подарить городу новаго подесту. Если въ указанный срокъ требуемое большинство еще не было получено, то избирателей выпускали, а на мѣсто ихъ запирали новый комплектъ, назначенный также по жребію. Когда же выборы были окончены, тогда писалось къ выборному лицу письмо отъ имени болонской республики; въ этомъ письмѣ его извѣщали о результатѣ выборовъ и просили пріѣхать для занятія той важной должности, которой почтила его республика.

Самая важная обязанность каждаго подесты состояла въ томъ, чтобы умѣрять уголовными наказаніями рѣзвость и пламенность мѣстнаго дворянства. Собственно для этого и призывали подесту. Собственно для этого и произведено было повсемѣстное уничтоженіе консульства. Однако же, не смотря на то, что подестатство было прямо и очевидно направлено противъ дворянства— всѣ итальянскіе подесты безъ исключенія выбирались постоянно изъ дворянъ. Нетрудно объяснить себѣ причины этого страннаго явленія. Выбирая себѣ правителей изъ чужого города, граждане, разумѣется, останавливались на тѣхъ именахъ, которыя стояли на виду и пользовались общеитальянской извѣстностью. А такая извѣстность пріобрѣталась конечно не скромными семейными добродѣтелями — не честностью, не кротостью, не аккуратностью, — а преимущественно громкими военными подвигами или яркими политическими талантами. Упрочить за своимъ именемъ такую извѣстность могли только тѣ семейства, которыя у себя на родинѣ стояли долго во главѣ правленія. Эти семейства принадлежали къ дворянству, или по крайней мѣрѣ вмѣстѣ съ своею извѣстностью, пріобрѣтали себѣ помѣстья и дворянское достоинство. Кромѣ того граждане, желая имѣть въ лицѣ подесты суроваго усмирителя дворянъ, требовали отъ него, чтобы онъ былъ храбрымъ и опытнымъ воиномъ, способнымъ осаждать и штурмовать твердыни благородныхъ хищниковъ. Подеста былъ судьею въ томъ смыслѣ, въ какомъ назывались судьями правители еврейскаго народа. Онъ былъ главнокомандующимъ республиканскихъ войскъ и водилъ эти войска то противъ внѣшнихъ, то противъ домашнихъ враговъ города. Если же подеста долженъ былъ обладать опытностью и дарованіями полководца, то, разумѣется, всего естественнѣе было выбирать подесту изъ того сословія, которое занималось исключительно войною, какъ любимымъ и единственнымъ своимъ ремесломъ.

Иногородный дворянинъ, избранный въ подесты, пріѣзжалъ обыкновенно въ свою новую резиденцію съ отрядомъ своихъ собственныхъ воиновъ, которые оставались при немъ въ качествѣ тѣлохранителей и дѣйствовали оружіемъ вмѣстѣ съ гражданами противъ нарушителей общественнаго спокойствія. Узнавъ о томъ, что въ городѣ совершилось какое нибудь важное преступленіе, подеста вывѣшивалъ изъ оконъ своего дворца *гонфалонъ* (штандартъ) *правосудія*, приказывалъ трубачамъ скликать гражданъ къ оружію и потомъ выѣзжалъ самъ верхомъ съ своими тѣлохранителями и собравшимся народомъ къ тому мѣсту, гдѣ укрывался преступникъ. Начиналась осада мятежнаго дома; подеста велъ своихъ сподвижниковъ на приступъ и, взявъ домъ, немедленно разрушалъ его до основанія; но, еще до расправы съ строеніемъ, подеста часто безъ дальнѣйшихъ толковъ и разспросовъ вѣшалъ самого хозяина на мѣстѣ преступленія, привязывая роковую веревку къ желѣзной рѣшеткѣ его собственнаго окна, изъ котораго онъ за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ пускалъ стрѣлы и каменья въ охранителей законнаго порядка. Народъ смотрѣлъ съ удовольствіемъ на такія казни и хвалилъ подесту за его энергію. Ненависть народа къ благороднымъ обитателямъ укрѣпленныхъ домовъ была уже такъ сильна, что передъ нею умолкла даже національная гордость. Ломбардскіе республиканцы пріучались переносить равнодушно и даже благосклонно присутствіе иногородныхъ воиновъ, которые по приказанію своего начальника, подесты, хватали, убивали и вѣшали коренныхъ туземцевъ.— Сами того не замѣчая, республиканцы въ своей борьбѣ съ аристократіей шли быстрыми шагами къ системѣ военнаго деспотизма. Чтобы сдѣлаться деспотомъ, подестѣ надо было только превратить свою годовую власть въ пожизненную. Ему позволялось имѣть тѣлохранителей — стало быть, превращеніе было очень возможно. Оно могло совершиться даже безъ особенно сильныхъ потрясеній; народъ, выбиравшій себѣ каждый

Digitized by Google

годъ новаго властителя и смотрѣвшій съ удовольствіемъ на его самовластные, хотя и справедливые поступки, могъ легко помириться съ тою мыслью, что одинъ властитель, также очень справедливый и добродѣтельный, будетъ распоряжаться въ городѣ нѣсколько десятковъ лѣтъ. Все дѣло въ томъ, чтобы поворачивать народныя привычки не вдругъ.

Въ веронской маркіи дворянство было такъ сильно, что цѣлыя республики распадались на два враждебные лагеря, называвшіеся именами своихъ воинственныхъ и высокородныхъ предводителей. Въ Виченцѣ боролись между собою партіи графовъ Виченцы и синьоровъ дель-Виваріо; въ Веронѣ враждовали Монтеккіо и Санъ-Бонифаціо; въ Феррарѣ — Салингверо и Аделарди. Въ этихъ городахъ обѣ партіи были достаточно сильны, чтобы уравновѣшивать другъ друга и поддерживать въ республикѣ кровопролитную анархію; но ни та, ни другая партія не была въ состояніи образовать изъ своихъ приверженцевъ сильное и прочное правительство. Поэтому пришлось и этимъ республикамъ призывать къ себѣ иногороднаго подесту, совсѣмъ не для того, чтобы усмирять и унижать мѣстное дворянство, а просто для того, чтобы составить хоть какое нибудь правительство. Призваніе подесты было единственной возможной формой компромисса и перемирія между враждующими партіями. Обѣ стороны назначали отъ себя по одному комиссару, и эти два комиссара вмѣстѣ выбирали такого подесту, котораго ни та, ни другая партія не могла заподозрить въ пристрастіи.

XVIII.

СИНЬОРЫ ДИ-РОМАНО И МАРКИЗЫ Д'ЭСТЕ.

Въ первой половинѣ XII вѣка въ арміи императора служилъ бѣдный нѣмецкій рыцарь, Этцелинъ, не имѣвшій за душой ничего, кромѣ той лошади, на которой онъ сидѣлъ верхомъ. Этотъ Этцелинъ отличился во время одного изъ итальянскихъ походовъ, обратилъ на себя вниманіе высшаго начальства и въ награду за свою храбрость получилъ отъ императора два помѣстья въ веронской маркіи — Романо и Онару. Сынъ Этцелина, Альберикъ разными искусными продѣлками пріобрѣлъ себѣ новыя земли. Наслѣдникъ Альберика, Эччелино, такъ успѣшно пошелъ по слѣдамъ отца, что его стали считать главою гибелинской партіи въ веронской маркіи и къ имени его присоединили прилагательное *первый*, признавая за нимъ такимъ образомъ силу и значеніе владѣтельной особы. Земли этого Эччелино лежали между территоріями Вероны, Виченцы и Падуи и по своему пространству и по числу жителей не уступали ни одной изъ этихъ трехъ республикъ.

Эччелино I или Заика былъ современникомъ Фридриха Барбароссы и во все время ломбардской войны держалъ себя такъ ловко, что не потерялъ ни одного клочка изъ своихъ владѣній. Вскорѣ послѣ смерти Фридриха Эччелино-Заика нашелъ себѣ новый случай обогатить свою фамилію и, разумѣется, не выпустилъ этого случая изъ рукъ.—Эччелино былъ очень друженъ съ однимъ падуанскимъ магнатомъ, Тизолино ди-Кампо-Санъ-Піетро. Многолѣтняя дружба была скрѣплена брачнымъ союзомъ. Тизолино былъ женатъ на дочери Эччелино-Заики, и у него были отъ этой жены взрослыя дѣти. Опекуны одной богатой наслѣдницы, Чечиліи Рикко, предложили руку своей воспитанницы старшему сыну Тизолино, то есть внуку стараго синьора Эччелино ди-Романо. Тизолино счелъ долгомъ посовѣтоваться на счетъ этого предложенія съ своимъ вѣрнымъ другомъ и многоуважаемымъ тестемъ. Вѣрный другъ одобрилъ предполагаемый союзъ и пожелалъ своему молодому внуку всякаго благополучія. Но въ тоже время онъ подумалъ про себя, что будетъ гораздо выгоднѣе пріобрѣсти руку Чечиліи Рикко не для внука, носящаго фамилію Кампо-Санъ-Піетро, а для сына, который подъ именемъ Эччелино II-го будетъ поддерживать и увеличивать блескъ династіи Романо. Старый Заика подкупилъ опекуновъ Чечиліи, увезъ богатую невѣсту въ свой замокъ къ Бассано и, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, обвѣнчалъ ее съ своимъ сыномъ, къ немалому изумленію довѣрчиваго Тизолино, который конечно никакъ не могъ себѣ представить, чтобы сѣдой дѣдъ, стоящій уже у дверей могилы, рѣшился оскорбить своего роднаго внука и обмануть самаго преданнаго изъ своихъ друзей. Все семейство Кампо-Санъ-Піетро было глубоко возмущено этой измѣной и дало себѣ клятву мстить всѣми возможными способами. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ свадьбы молодая жена Эччелино поѣхала безъ мужа осматривать свои владѣнія, лежавшія въ падуанской области. Свита ея была немногочисленна. Герардо, старшій сынъ Тизолино, тотъ самый, который долженъ былъ жениться на Чечиліи, подкарауливъ свою молодую тетку, разогналъ ея людей, увезъ ее въ свой замокъ и изнасиловалъ ее. Послѣ этого онъ отправилъ ее обратно къ мужу, которому Чечилія откровенно разсказала о случившемся съ нею несчастіи. Эччелино развелся съ своей опозоренной женой, но при этомъ удержалъ за собою ея обширныя помѣстья и вскорѣ женился на другой богатой невѣстѣ, которая своимъ приданымъ также значительно увеличила его могущество. Въ это время Эччелино-Заика умеръ, поссоривъ на смерть семейства Романо и Кампо-Санъ-Піетро.

Эччелино II пользовался правами гражданства въ городѣ Виченцѣ и былъ однимъ изъ главныхъ дѣятелей партіи Виваріо. Въ 1194 году противникамъ этой партіи удалось назначить та-

Digitized by Google

кого подесту, который открыто держалъ ихъ сторону. Этотъ подеста выгналъ изъ города всю партію Виваріо. Дѣло конечно не обошлось безъ серьезнаго сопротивленія. Эччелино далъ подестѣ сраженіе на улицахъ города и при этомъ зажегъ нѣсколько домовъ. Огонь разлился очень быстро и уничтожилъ значительную часть города; однако подеста одолѣлъ, и Эччелино ушелъ съ своими приверженцами въ замокъ Бассона. Изгнанная партія сгруппировалась тѣснѣе прежняго вокругъ синьора де-Романо, который, открывая въ своихъ владѣніяхъ пріютъ для всѣхъ своихъ пострадавшихъ соотечественниковъ, своимъ расчитаннымъ великодушіемъ пріобрѣлъ себѣ новыя права на ихъ уваженіе, благодарность и преданность. Вероняне находились въ союзѣ съ Эччелино; они стали хлопотать о примиреніи обѣихъ вичентинскихъ партій. Благодаря этому ходатайству, изгнанники воротились въ Виченцу, и обѣ партіи рѣшили, что на будущее время каждая изъ нихъ будетъ назначать своего подесту. Такимъ образомъ въ Виченцѣ оказалось два враждебные лагеря и двое полновластныхъ правителей, которымъ надо было или дѣйствовать безпристрастно, или вступать между собою въ открытую войну. Заключенное условіе не долго удерживало свою силу. Въ 1197 году въ Виченцѣ опять оказался одинъ подеста, и Эччелино снова принужденъ былъ бѣжать изъ города. На этотъ разъ республика объявила ему войну и послала свою милицію осаждать одинъ изъ его замковъ, Маростику. Эччелино заключилъ наступательный и оборонительный союзъ съ Падуей и, нуждаясь въ деньгахъ для войны, заложилъ падуанцамъ свое помѣстье, Онару, за значительную сумму. Падуанцы напали на вичентинцевъ, разбили ихъ при Карминьяно и захватили у нихъ 2000 человѣкъ въ плѣнъ. Въ слѣдующемъ 1198 году, вероняне, недавно поддерживавшіе синьора Эччелино, соединились съ вичентинцами, опустошили падуанскую область и выжгли окрестности Падуи вплоть до самыхъ ея стѣнъ, такъ что искры пожара, по словамъ очевидца, летѣли въ самый городъ. Падуанцы перепугались и, не посовѣтовавшись съ своимъ союзникомъ, стали просить мира; всѣ плѣнники, заключенные при Карминьяно, были выпущены на волю, и миръ дѣйствительно состоялся. Тогда и Эччелино попросилъ веронянъ, бывшихъ своихъ союзниковъ, снова помирить его съ Виченцою; чтобы показать веронянамъ свое полное довѣріе, онъ отдалъ имъ въ заложники своего малолѣтняго сына и позволилъ имъ ввести гарнизонъ въ замки Бассона и Ангарани. Вероняне возвратили довѣрчивому синьору всю свою благосклонность; веронскій подеста помирилъ изгнанниковъ съ гвельфскою партіей, господствовавшей въ Виченцѣ, и потомъ отдалъ назадъ синьору Эччелино и сына, и оба замка. Но падуанцы очень разсердились на Эччелино за это примиреніе и конфисковали Онару, находившуюся у нихъ въ залогѣ.

Такимъ же безсмысленнымъ характеромъ отличаются войны, опустошавшія въ это же самое время южную часть веронской мархіи, гдѣ усиливался, въ окрестностяхъ Феррары, гвельфскій домъ маркизовъ д'Эсте. Во времена Фридриха Барбароссы главою гвельфской партіи въ Феррарѣ былъ Гуліельмо Аделарди. У этого Аделарди не было наслѣдниковъ мужескаго пола, и онъ завѣщалъ всѣ свои обширныя владѣнія своей семилѣтней племянницѣ, Маркезеллѣ. Находясь предъ смертью въ кроткомъ идиллическомъ настроеніи, послѣдній Аделарди вообразилъ себѣ, что въ Феррарѣ водворится вѣчный миръ, если его племянница и наслѣдница выдетъ замужъ за Салингверру, предводителя мѣстныхъ гибелиновъ. Желая сдѣлаться миротворцемъ и благодѣтелемъ отечества, умирающій призвалъ къ себѣ въ домъ своего родового врага, помирился съ нимъ и сдалъ ему съ рукъ на руки маленькую Маркезеллу, какъ будущую его невѣсту. Салингверра сталъ воспитывать ее со всевозможною заботливостью, какъ курицу, которая должна была въ ближайшемъ будущемъ снести ему множество золотыхъ яицъ. Но феррарскіе гвельфы вовсе не раздѣляли тѣхъ миролюбивыхъ стремленій, которымъ поддался ихъ умирающій предводитель. Примиреніе съ гибелинами казалось имъ по прежнему тяжелымъ преступленіемъ, которымъ оскорбляется память родителей, завѣщавшихъ имъ свою старую родовую ненависть, какъ драгоцѣнное наслѣдство. Примиреніе было невозможно въ особенности и потому, что очень многіе гвельфы и гибелины послѣ окончанія вражды рѣшительно не знали бы, что изъ себя дѣлать, куда дѣвать свои силы и свое время, къ чему себя пріурочить и съ какой точки зрѣнія смотрѣть на собственныя личности, оказавшіяся вдругъ заштатными и ни на что негодными. Чувствуя невозможность примиренія, феррарскіе гвельфы конечно не желали, чтобъ Салингверра получилъ богатое наслѣдство и такимъ образомъ упрочилъ бы за собой перевѣсъ надъ своими всегдашними противниками. Гвельфы ухитрились выкрасть Маркезеллу изъ дома ея воспитателя и нареченнаго жениха; затѣмъ они передали похищенную дѣвочку въ руки маркизу Обиццо д'Эсте, объявили маркиза ея женихомъ и, не дожидаясь совершенія брака, ввели нареченнаго жениха во владѣніе всѣми помѣстьями покойнаго Аделарди. Маркезелла умерла, не достигнувъ совершеннолѣтія. По завѣщанію Гуліельмо, имѣніе должно было перейти къ дѣтямъ его сестры. Но маркизъ д'Эсте, предки котораго уже со временъ Отона Великаго считались владѣтельными особами—маркизъ д'Эсте, одинъ изъ сильнѣйшихъ итальянскихъ магнатовъ, держалъ очень крѣпко то, что разъ попадало въ его руки. Племянники Гуліельмо по женской линіи не ста-

Digitized by Google

ли даже и хлопотать о возвращеніи наслѣдства. Маркизъ приписался къ Феррарѣ и сдѣлался безспорнымъ главою тамошнихъ гвельфовъ, такъ что вся эта партія во всей веронской маркіи стала называться *партіей маркизовъ*. Салингверра, глубоко огорченный тѣмъ, что богатая невѣста ушла у него изъ рукъ, напалъ на гвельфовъ съ удвоенной яростью, и междуусобная война затянулась въ Феррарѣ на сорокъ лѣтъ (1180—1220). Въ это время партіи десять разъ выгоняли другъ друга изъ города; десять разъ все имущество побѣжденныхъ разграблялось, и всѣ ихъ дома разрушались до основанія, такъ что феррарскіе каменьщики и плотники всегда были завалены работой.

Читателю извѣстно, что гвельфами назывались сторонники папы, а гибелинами—приверженцы императора. Изъ десятой главы этого очерка читатель знаетъ также происхожденіе и значеніе этихъ названій. Но читателя, по всей вѣроятности, не удовлетворяютъ эти свѣдѣнія. Ему угодно знать подробно, чего же именно добивались эти двѣ партіи? Что они хотѣли сдѣлать съ папой и съ императоромъ? Какія общія перемѣны произошли бы въ Италіи и въ Европѣ, если бы гвельфы или гибелины одержали полную побѣду надъ своими противниками? Какую политическую программу заявляла каждая изъ двухъ партій? И въ какомъ отношеніи эти двѣ программы были непримиримы между собою?

Обѣ враждебныя партіи были склеены изъ множества мелкихъ и самыхъ разнохарактерныхъ кусочковъ. Обѣ партіи конечно имѣли свои политическія знамена, вокругъ которыхъ онѣ собирались; но ни та, ни другая партія не имѣла своего особеннаго образа мыслей, которымъ она рѣшительно отличалась бы отъ своей соперницы. Большая часть гвельфовъ были во всѣхъ отношеніяхъ похожи, какъ двѣ капли воды, на большую часть гибелиновъ. Съ одной стороны, гибелины вовсе не были врагами католической церкви, за которую стояли гвельфы; съ другой стороны, гвельфы нисколько не хотѣли разрушать священную римскую имперію, которую защищали гибелины. Далѣе, гвельфы вовсе не старались осуществлять теократическіе планы Григорія VII, а гибелины нисколько не были расположены придавать императорской власти ту силу, которую она имѣла при Карлѣ и при Оттонѣ. Гвельфы кричали: мы за папу! и при этомъ ничего не говорили о тѣхъ отношеніяхъ, которыя должны установиться между папой и и императоромъ. Гибелины кричали: мы за императора! и также оставляли нетронутымъ вопросъ о взаимныхъ отношеніяхъ между обѣими властями. Чего же хотѣли Гвельфы? Они хотѣли побѣдить и уничтожить гибелиновъ. А чего хотѣли гибелины?—Побѣдить и уничтожить гвельфовъ. А потомъ? — Потомъ ничего. Полная побѣда надъ противниками составляла крайній пунктъ ихъ политическихъ выкладокъ, размышленій, плановъ, стремленій и мечтаній. Политическія партіи, какъ мы понимаемъ ихъ теперь, стараются побѣдить своихъ противниковъ, для того чтобы своротить съ своей дороги препятствіе, мѣшающее осуществленію ихъ высшихъ и болѣе обширныхъ плановъ. Для гвельфовъ и для гибелиновъ, напротивъ того, побѣда была не средствомъ, а высшей и единственной цѣлью. Гвельфизмъ и гибелинизмъ вообще были только условными формами, въ которыя отливались враждебныя страсти, возбужденныя чисто-личными столкновеніями, обидами и взаимно противоположными властолюбивыми замыслами. Въ каждомъ городѣ имѣлось всегда достаточное количество сильныхъ и знатныхъ особъ, которымъ было тѣсно жить вмѣстѣ въ одной маленькой республикѣ. Эти важныя особы составляли вокругъ себя партію и старались выжить своихъ соперниковъ. Завязывалась борьба, и воюющія стороны искали себѣ союзниковъ въ сосѣднихъ городахъ, гдѣ также существовали свои партіи, также нуждавшіяся въ союзникахъ. Если, напримѣръ, виченцкіе Виваріо соединились съ веронскими Монтеккіо, то, разумѣется, веронскіе Санъ-Бонифаціо должны были соединиться съ врагами своихъ враговъ, то есть съ виченцкою партіей графовъ Виченцы. Если первая коалиція рѣшилась подать помощь феррарскимъ Салингверрамъ, то феррарскіе Аделарди очень естественно должны были обратиться съ просьбой о помощи къ противникамъ первой коалиціи, то есть къ Санъ-Бонифаціо и къ графамъ Виченцы. Постепенно расширяясь такимъ образомъ, каждая изъ двухъ коалицій могла охватить сначала всю веронскую или тревизантскую маркію, потомъ всю Ломбардію и наконецъ всю свободную Италію. Каждая изъ двухъ коалицій непремѣнно должна была получить какое нибудь общее названіе, не имѣющее однакоже никакого опредѣленнаго политическаго значенія и нисколько не мѣшающее каждому отдѣльному члену той и другой коалиціи преслѣдовать свои частныя, мелкія и узкія цѣли. Одна могла назваться *бѣлой розой*, другая—*алой розой*, какъ это случилось въ Англіи. Или одна могла назваться *бѣлыми*, другая—*черными*, какъ это случилось въ Тосканѣ. Тутъ отсутствіе общей идеи въ каждой изъ коалицій было бы очевидно. Имена гвельфовъ и гибелиновъ до нѣкоторой степени замаскировали это отсутствіе и навели даже самихъ членовъ коалиціи на ту мысль, что у нихъ дѣйствительно, кромѣ частной городской вражды, есть еще какая-то общая міровая задача. На эту мысль обѣ итальянскія коалиціи были наведены не одними именами гвельфовъ и гибелиновъ, но и тѣми историческими условіями, при которыхъ онѣ образовались и получили свои имена.

Во время великой борьбы Гильдебранда и его преемниковъ съ Генрихами IV и V въ Италіи,

Digitized by Google

въ Германіи и во всей католической Европѣ были дѣйствительно настоящіе, серьезные и глубоко убѣжденные гвельфы и гибелины, хотя имена эти еще не существовали. Невозможно представить себѣ болѣе пламеннаго гвельфа, чѣмъ графиня Матильда тосканская. Въ это же время Ломбардія была полна страстными гибелинами, которыхъ глубоко возмутило извѣстіе о каносскомъ покаяніи.

Когда Фридрихъ Барбаросса старался поработить Ломбардію, тогда у него были въ Италіи и вѣрные союзники, и упорные враги; каждая изъ этихъ двухъ партій имѣла впереди общую, великую и серьезную цѣль. Боевые клики: «*запапу и свободу!*» и «*за императора!*» имѣли свой живой и глубокій смыслъ.

Послѣ констанскаго мира, враждебныя страсти не могли сразу вступить въ дружескія сношенія съ Миланомъ, сражавшимся постоянно за папу и за свободу. Павійцы и миланцы еще злились другъ на друга за тѣ страданія, которыми наградила ихъ недавно оконченная война. Обѣ партіи, папско-республиканская и императорская, сплотившіяся во время упорной и продолжительной войны, еще не успѣли разложиться и стояли другъ противъ друга съ незаржавленнымъ оружіемъ въ рукахъ и съ неостывшею ненавистью въ душѣ. Къ этимъ-то двумъ, еще не разложившимся партіямъ, быстро примкнули, во всѣхъ ломбардскихъ городахъ, всѣ задорныя, жадныя и властолюбивыя личности, искавшія готоваго оружія для выполненія своихъ частныхъ плановъ и для пораженія своихъ личныхъ или семейныхъ враговъ, которымъ не было никакого дѣла ни до папы, ни до императора. Личные замыслы и личныя страсти раздули вражду, которую уже не поддерживало больше въ данную минуту общее расположеніе великихъ европейскихъ силъ—папства и имперіи. Ловкія личности воспользовались для своихъ мелкихъ цѣлей тѣмъ злобнымъ воодушевленіемъ, которое осталось въ бойцахъ послѣ окончанія серьезной войны. Къ гибелинамъ пристали тѣ, которые хотѣли напакостить какому нибудь гвельфу; гвельфами назвались тѣ, которымъ было досадно на какого нибудь гибелина. Возьмемъ извѣстный намъ примѣръ Романо и Кампо-Санъ-Піетро. Они были друзьями, родственниками и членами одной политической партіи. Оба были ревностными гибелинами. Вдругъ произошла скверная исторія съ Чечиліей Рикко. Романо былъ главнымъ коноводомъ гибелинской партіи; при своемъ громадномъ богатствѣ и вліяніи онъ могъ натравить всѣхъ своихъ друзей, то есть почти всѣхъ мѣстныхъ гибелиновъ на семейство Кампо-Санъ-Піетро. Послѣднему, очевидно, надо было для собственнаго спасенія перебѣжать въ лагерь гвельфовъ. Но разумѣется, онъ сдѣлался гвельфомъ не потому, что глубокія размышленія убѣдили его въ законности папскихъ притязаній и въ необходимости обуздывать властолюбіе нѣмецкихъ императоровъ. Сдѣлавшись гвельфомъ съ досады или со страху, онъ тѣмъ не менѣе долженъ былъ поддѣлываться подъ общій тонъ своихъ новыхъ союзниковъ, то есть въ случаѣ столкновенія между императоромъ и папой, онъ долженъ былъ становиться на сторону послѣдняго. Главная же его обязанность состояла всегда въ томъ, чтобы въ качествѣ гвельфа донимать въ своемъ родномъ городѣ тѣхъ людей, которые называли себя гибелинами. Пылкостью своей ненависти къ этимъ людямъ онъ пріобрѣталъ себѣ право считаться гвельфомъ и пользоваться, въ случаѣ надобности, содѣйствіемъ всѣхъ остальныхъ гвельфовъ.

Императоръ Генрихъ VI умеръ въ 1197 году. Послѣ его смерти въ Германіи началась междоусобная война за императорскій престолъ. Въ 1208 году одинъ изъ претендентовъ, Отонъ, герцогъ аквитанскій, представитель гвельфской, саксоно-баварской династіи, былъ признанъ императоромъ и отправился въ Италію короноваться. Когда онъ вошелъ въ веронскую мархію, Эччелино II ди-Романо велъ тамъ упорную войну съ маркизомъ Аццо VI д'Эсте. Въ 1207 году маркизъ д'Эсте былъ провозглашенъ синьоромъ города Феррары. Ловкіе приверженцы маркиза доказали феррарскимъ гражданамъ, что этотъ переворотъ необходимъ для торжества гвельфской партіи, и отчасти краснорѣчіемъ, отчасти запугиваніемъ и насиліемъ принудили ихъ отказаться отъ республиканскаго самоуправленія. Но маркизу пришлось выѣхать изъ Феррары, чтобы подать помощь Виченцѣ, осажденной синьоромъ ди-Романо. Пользуясь отсутствіемъ маркиза, Салингверра воротился въ Феррару съ своими гибелинами и выгналъ всѣхъ приверженцевъ фамиліи д'Эсте. Обѣ партіи готовились къ рѣшительному сраженію въ то время, когда Отонъ вступилъ въ мархію и пригласилъ къ себѣ въ лагерь главныхъ предводителей.

И гвельфы, и гибелины очутились въ очень странномъ положеніи. Въ качествѣ императора Отонъ IV былъ главою гибелинской партіи; по своему рожденію онъ былъ естественнымъ предводителемъ гвельфовъ; кромѣ того онъ находился въ самыхъ лучшихъ отношеніяхъ съ папою Иннокентіемъ III. Значитъ, гвельфы и гибелины должны были открыть другъ другу объятія и расковать мечи свои на рала. Отонъ принялъ одинаково хорошо и маркиза, и Эччелино—перваго за то, что онъ всегда былъ вѣрнымъ другомъ саксоно-баварской династіи, съ которою онъ, маркизъ, находился даже въ родствѣ, а второго за то, что онъ въ качествѣ гибелина отстаивалъ права имперіи. Когда Эччелино и Салингверра стали жаловаться на маркиза и потребовали себѣ судебнаго поединка, чтобы доказать торжественно преступность коварнаго Аццо, императоръ пригласилъ ихъ замолчать и забыть

Digitized by Google

навсегда старыя дрязги, потерявшія свой смыслъ, съ тѣхъ поръ какъ искренній другъ церкви вступилъ на престолъ Карла Великаго. Чтобы окончательно успокоить главныхъ бойцовъ, Оттонъ осыпалъ ихъ монаршими милостями, которыя, по правдѣ сказать, стоили ему не очень дорого. Маркиза д'Эсте онъ сдѣлалъ правителемъ анконской мархіи, а синьору Эччелино подарилъ городъ Виченцу. Оттонъ обвинилъ Виченцу въ возмущеніи, взыскалъ съ нея контрибуцію въ шестьдесятъ тысячъ ливровъ и назначилъ Эччелино подестою, ректоромъ и депутатомъ имперіи въ этомъ городѣ. Эччелино потребовалъ себѣ отъ виченцевъ присяги въ вѣрности; многіе граждане, во избѣжаніе этой присяги, ушли въ Верону, и Эччелино конфисковалъ въ свою пользу все имущество этихъ эмигрантовъ. Такимъ образомъ уже два города: Феррара и Виченца начали знакомиться.

Тотчасъ послѣ своей коронаціи, Оттонъ IV поссорился съ Иннокентіемъ III, и папа выдвинулъ противъ императора новаго претендента, молодого сицилійскаго короля Фридриха, сына Генриха VI и внука Фридриха Барбароссы.

Гвельфы и гибелины попали снова въ фальшивое положеніе. Всѣ гвельфскіе города Ломбардіи: Миланъ, Парма, Піаченца, Болонья, Александрія, Тортона, Верчелли и другіе стали поддерживать природнаго гвельфа Оттона и сдѣлались такимъ образомъ врагами папы, принявшаго подъ свое покровительство послѣдняго представителя гибелинской династіи. Гибелинскіе города Ломбардіи, Павія и Кремона, оказались усердными союзниками папы, и противниками царствующаго императора. Маркизъ Монферратскій, предшественникъ котораго всегда сражался за Фридриха Барбароссу, сталъ также на сторону его внука. Маркизъ Аццо д'Эсте остался вѣренъ принципу гвельфизма и объявилъ войну своему родственнику, Оттону IV, какъ только тотъ поссорился съ папою.

Въ 1215 году Латеранскій соборъ подъ предсѣдательствомъ Иннокентія III приказалъ миланцамъ отложиться отъ императора Оттона, преданнаго церковному проклятію. Миланцы не послушались. Въ слѣдующемъ году два кардинала пріѣхали въ Миланъ и отъ имени папы приказали правительству республики дѣйствовать за одно съ Фридрихомъ противъ отлученнаго Оттона. Миланцы остались по прежнему союзниками царствующаго императора, продолжая при этомъ считать и называть себя гвельфами. Истощивъ все свое пастырское краснорѣчіе, кардиналы уѣхали изъ Милана и наложили на него интердиктъ. Итакъ гвельфы за свой гвельфизмъ навлекли на себя церковное наказаніе. Одинъ этотъ случай доказываетъ достаточно ясно, что ни у гвельфовъ, ни у гибелиновъ не было никакой опредѣленной политической программы. И тѣ, и другіе руководствовались почти всегда своей любовью или своей ненавистью къ личностямъ и къ династіямъ, споривщимъ между собою за императорскую корону. Это замѣчаніе относится къ искреннимъ гвельфамъ и гибелинамъ, то есть къ республиканцамъ, у которыхъ не могло быть намѣренія прибрать къ рукамъ свой родной городъ и уничтожить его свободныя учрежденія. Но кромѣ этихъ искреннихъ гвельфовъ и гибелиновъ, ненавидѣвшихъ или любившихъ Фридриха Барбароссу и его потомство, было конечно въ обѣихъ партіяхъ много промышленниковъ и пріобрѣтателей, которые подобно маркизу д'Эсте и синьору ди-Романо любили только свои личныя выгоды и ненавидѣли только учрежденія, мѣшавшія имъ обогащаться грабежомъ и утѣшать себя безчинствами.

XIX.

ДОМИНИКАНЦЫ ВЪ ЛОМБАРДІИ.

Оттонъ IV умеръ въ 1218 году. Фридрихъ въ концѣ 1220 года принялъ въ Римѣ императорскую корону изъ рукъ папы Гонорія III и поклялся отправиться въ Палестину, чтобы отнять у невѣрныхъ Іерусалимъ, который слишкомъ тридцать лѣтъ тому назадъ былъ взятъ султаномъ Саладиномъ. Затѣмъ дѣла имперіи и церкви пришли въ надлежащій порядокъ, такъ что гвельфы получили возможность быть настоящими гвельфами, а гибелины—настоящими гибелинами. Папа сталъ пилить Фридриха безпрестанными напоминаніями о крестовомъ походѣ; а Фридрихъ, у котораго была бездна хлопотъ и въ Сициліи, и въ Германіи, и въ Ломбардіи, слишкомъ семь лѣтъ отдѣлывался разнообразными отговорками и торжественными обѣщаніями немедленно сѣсть на корабль и летѣть на помощь къ угнетеннымъ палестинскимъ христіанамъ. Кончилось тѣмъ, что папа Григорій IX осенью 1227 года разразился противъ Фридриха неожиданнымъ приговоромъ отлученія. Послѣ этого рѣшительнаго поступка папа тотчасъ сблизился съ ломбардскими гвельфами, которые не признавали Фридриха итальянскимъ королемъ и не позволяли ему короноваться желѣзною короной, хранившейся въ миланской области, въ городѣ Монцѣ. Предвидя впереди сильныя столкновенія съ энергическимъ внукомъ Барбароссы и узнавши, что Фридрихъ намѣренъ созвать въ Кремонѣ сеймъ итальянскаго королевства, миланцы стали хлопотать о возобновленіи ломбардской лиги, совершенно разстроившейся послѣ констанскаго мира.—Второго марта 1226 года депутаты Милана, Болоньи, Піаченцы, Вероны, Брешіи, Фаэнцы, Мантуи, Верчелли, Лоди, Бергамо, Турина, Александріи, Виченцы, Падуи и Тревизы собрались въ одной церкви мантуанской области и возобновили на двадцать пять лѣтъ ломбардскую лигу. Всѣ города, выславшіе депутатовъ на съѣздъ, поклялись помогать другъ другу всѣми

Digitized by Google

силами въ случаѣ какого бы то ни было посторонняго нападенія. Присоединеніе Виченцы къ возобновленному ломбардскому союзу доказываетъ, что Эччелино II, не смотря на многочисленныя проскрипціи и конфискаціи, не успѣлъ утвердить въ этомъ городѣ свое господство.

Для противодѣйствія ломбардской лиги Парма, попавшая въ руки гибелиновъ, Кремона и Модена составили свой отдѣльный союзъ и обязались защищать права императора.

Тогда депутаты или ректоры ломбардской лиги рѣшили на сеймѣ, чтобы ни одинъ изъ городовъ, присоединившихся къ лигѣ, не выбиралъ себѣ подесты изъ гибелиновъ или изъ подданныхъ императора. Это рѣшеніе показываетъ, что вторая ломбардская лига пошла дальше первой и не побоялась открытаго и полнаго разрыва съ имперіей. Тотъ же сеймъ запретилъ ломбардскимъ гражданамъ принимать отъ императора и отъ его приверженцевъ пенсіи, подарки и ленныя владѣнія.

Григорій IX поддерживалъ это настроеніе ломбардскихъ союзниковъ всѣми средствами своего духовнаго вліянія. Нищенствующіе монахи, недавно начавшіе свою дѣятельность и обратившіе на себя благоговѣйное вниманіе массъ неслыханной строгостью своихъ уставовъ и дикой восторженностью своихъ проповѣдей, — разсыпались по городамъ и селамъ Ломбардіи, собрали и увлекли за собой тысячи довѣрчивыхъ слушателей, изобличили Фридриха въ поразительномъ сходствѣ съ апокалипсическимъ звѣремъ и доказали добрымъ католикамъ, какъ дважды два четыре, что міръ гибнетъ въ пучинѣ беззаконія и что для спасенія погибающаго міра ломбарды непремѣнно должны покаяться, исправиться, низринуть проклятыхъ гибелиновъ въ преисподнюю, и главное предать суду священной инквизиціи еще болѣе проклятыхъ еретиковъ, расплодившихся въ сѣверной Италіи, подъ именемъ *катаровъ* или *патариновъ*.—Папство дѣйствительно находилось въ очень опасномъ положеніи и имѣло достаточныя основанія прибѣгать для своей защиты къ самымъ экстраординарнымъ средствамъ —къ нищенствующимъ орденамъ и къ инквизиціи.—Фридрихъ II въ самомъ дѣлѣ долженъ былъ казаться Григорію IX отвратительнѣе и ужаснѣе самаго гнуснаго и кровожаднаго чудовища. Во-первыхъ, у Фридриха былъ канцлеръ, Петръ де-Винеисъ, величайшій писатель своего времени, разсылавшій по всей Европѣ такіе циркуляры, которые уничтожали весь эффектъ папскихъ проклятій и ругательныхъ посланій. Во-вторыхъ, Фридрихъ въ трехъ дняхъ пути отъ Рима завелъ обширную колонію сицилійскихъ мусульманъ, которые по первому востребованію могли выставить къ его услугамъ двадцатитысячную армію, совершенно нечувствительную къ самымъ грознымъ проявленіямъ папскаго неудовольствія. Де-Винеисъ объявлялъ на всю Европу, что папа искажаетъ факты и проклинаетъ въ припадкахъ жалкой старческой злости самаго усерднаго и добросовѣстнаго защитника высшихъ католическихъ интересовъ. А мусульманская когорта Фридриха могла, со дня на день, подойдти къ Риму и увести папу на югъ въ какой нибудь крѣпкій замокъ сицилійскаго королевства. При такихъ условіяхъ какъ же можно было папскимъ проповѣдникамъ не приравнивать Фридриха къ ползающей гадинѣ и къ рыкающему льву, и даже къ болѣе мудренымъ животнымъ, не встрѣчающимся въ учебникахъ зоологіи?

Еще опаснѣе Фридриха и его краснорѣчиваго канцлера, его безчувственныхъ мусульманъ— была глухая работа освобождающейся мысли. Вся южная Франція и сѣверная Италія были глубоко затронуты еретическими доктринами; ни осужденіе Абеляра, ни казнь его любимаго ученика, Арнольда Брешіанскаго не остановили умственнаго движенія. Ересь росла и въ глубину, и въ ширину; еретики становились съ каждымъ десятилѣтіемъ смѣлѣе въ своемъ анализѣ, и число ихъ постоянно увеличивалось. Они думали и говорили, что папа и прелаты не могутъ, по своему благоусмотрѣнію, отворять и затворять простымъ смертнымъ двери въ царство небесное; они обвиняли папу и прелатовъ въ самовольномъ и беззаконномъ захватѣ свѣтской власти; они съ презрѣніемъ смотрѣли на индульгенціи; они отрицали чистилище; они критиковали католическія легенды.—Догматическая сторона ихъ системы была еще болѣе ужасна. «Они признавали —говоритъ Сисмонди—во вселенной двѣ творческія силы,—силу невидимаго міра, которую они называли добрымъ Богомъ, и силу видимаго міра, которую они называли злымъ Богомъ. Это— система Манеса (такъ называемый манихеизмъ) о вѣчности духа и матеріи. Первому они приписывали новый завѣтъ, второму—ветхій; и чтобы доказать, что послѣдній дѣйствительно созданъ Богомъ зла, они выставляли на видъ всѣ изложенныя тамъ преступленія и тѣ качества Бога ревниваго, мстительнаго и грознаго, которыя евреи усматривали въ Верховномъ Существѣ. Они не допускали тѣлеснаго сошествія Спасителя на землю; онъ, говорили они, сошелъ на землю только духовнымъ образомъ и никогда не облекался въ тѣло. Въ людяхъ они видѣли ангеловъ, утратившихъ свое первобытное величіе; но ихъ души, послѣ нѣсколькихъ переселеній, должны возвратиться къ своей прежней славѣ. Таковы были по крайней мѣрѣ мнѣнія нѣкоторыхъ изъ этихъ сектаторовъ; потому что повидимому ихъ вѣрованія не были однообразны, изъ чего слѣдуетъ заключить, что они представляли каждому вѣрующему свободу обсуживать свою собственную вѣру.

Какъ велика была притягательная сила еретическихъ доктринъ — можно видѣть изъ того обстоятельства, что хитрый пройдоха Эччелино II

Digitized by Google

на старости лѣтъ сдѣлался патериномъ. Въ двадцатыхъ годахъ XIII вѣка онъ отказался отъ міра, раздѣлилъ свои владѣнія между своими сыновьями, Альберикомъ и Эччелино III, и такъ ревностно сталъ заботиться о спасеніи своей грѣшной души, что его прозвали Эччелино-Монахомъ. Но этотъ монахъ былъ еретикомъ, и въ 1231 году папа Григорій IX послалъ къ сыновьямъ стараго отшельника буллу, въ которой онъ приказывалъ имъ представить отца въ судилище инквизиціи, если онъ не отречется отъ ереси. Булла эта кажется осталась безъ послѣдствій. Что старый грѣховодникъ передъ концомъ своей жизни занялся отмаливаніемъ своихъ грѣховъ—въ этомъ конечно нѣтъ ничего особенно замѣчательнаго. Личности, подобныя синьору Эччелино, всегда стараются услужить и Богу, и мамону и обыкновенно начинаютъ устроивать себѣ уютный уголокъ на томъ свѣтѣ, когда земная жизнь перестаетъ доставлять утомленному организму обильныя и живыя наслажденія. Но что старикъ, истратившій всю свою жизнь на политическія интриги, выучившійся смотрѣть хладнокровно на игру человѣческихъ страстей, желаній и заблужденій, застраховавшій себя достаточно противъ всякихъ порывовъ юношескаго энтузіазма и давно потерявшій способность увлекаться блескомъ и оригинальностью новизны, что такой старикъ, предавшись душеспасительнымъ размышленіямъ, бросился на ту крутую и узкую тропинку, по которой шло гонимое меньшинство—это фактъ чрезвычайно выразительный и краснорѣчивый. Это значитъ, что чистый католицизмъ уже въ XIII столѣтіи началъ превращаться въ политическую машину, годную на то, чтобы запугивать и держать въ повиновеніи неразмышляющія народныя массы,—но уже не соотвѣтствующую умственнымъ и нравственнымъ потребностямъ тѣхъ отдѣльныхъ личностей, которыя, задумываясь надъ загробной вѣчностью, старались сами оцѣнить достоинства общеизвѣстныхъ положеній и предписаній, защищаемыхъ оффиціальными руководителями.

При такихъ обстоятельствахъ возможно ли было нищенствующимъ проповѣдникамъ, ученикамъ Франциска и Доминика, не говорить объ испорченности міра и о необходимости очистить его кострами инквизиціи?

Ревностныя проповѣди, повторяясь каждый день, принесли свои плоды. Въ началѣ 1228 года миланское народное собраніе рѣшило наказывать еретиковъ изгнаніемъ и конфискаціей всего имущества. Это рѣшеніе повидимому довольно милостиво, но при этомъ надо сообразить, что изгнанный еретикъ имѣлъ очень мало шансовъ найдти себѣ безопасное убѣжище въ какомъ нибудь другомъ итальянскомъ городѣ, или даже въ какомъ бы то ни было отдаленномъ уголкѣ католической Европы. Правда, что еретиковъ было много, но преслѣдователей было вездѣ несравненно больше, и вниманіе ихъ было доведено до высшей степени напряженія. Уступая требованіямъ задорныхъ проповѣдниковъ, миланцы въ 1231 году обнародовали у себя эдиктъ папы и императора, осуждавшій еретиковъ на смертную казнь. Наконецъ, въ 1233 году Миланъ въ первый разъ украсился кострами, очищающими міръ отъ умственной и нравственной заразы. Въ этомъ же году миланскій подеста, Ольдрадо изъ Трессено, построилъ на городской площади общественный дворецъ и на фасадѣ этого зданія, надъ барельефомъ, изображающимъ его, подесту, на конѣ, приказалъ помѣстить латинское двустишіе, въ которомъ строитель дворца съ самодовольною игривостью объявляетъ потомству, что онъ первый, исполняя свою обязанность, жарилъ катаровъ.

Qui solium struxit,
Catharos, ut debuit, uxit.

Проповѣдями своими противъ еретиковъ прославились въ особенности трое доминиканцевъ: Петръ изъ Вероны, Роландъ изъ Кремоны и Левъ изъ Переи. Всѣ трое считались святыми людьми. Костры загорались вездѣ, гдѣ они появлялись и начинали говорить. Одинъ изъ этихъ ревнителей устроилъ въ Миланѣ частное общество, котораго члены обязывались подслушивать, подсматривать выслѣживать и разоблачать всякое еретическое коварство. Льву удалось сдѣлаться миланскимъ архіепископомъ. Мѣстный капитулъ, глубоко убѣжденный въ томъ, что святой человѣкъ стоитъ безконечно выше земного честолюбія, вручилъ ему право назначить новаго прелата. Левъ воспользовался этимъ правомъ и объявилъ изумленнымъ членамъ капитула, что онъ не знаетъ никого достойнѣе самого себя. Увѣнчавъ свои добродѣтели архіепископскою митрой, святой человѣкъ сдѣлался скоро самымъ буйнымъ и горячимъ коноводомъ дворянской партіи.

Нищенствующіе монахи считали себя способными и обязанными пересоздать весь міръ по тому аскетическому идеалу, къ которому они стремились сами вслѣдъ за Франциском и Домиником. Ихъ пламенный энтузіазмъ кидался съ яростными обличеніями на все, что не соотвѣтствовало ихъ строгимъ требованіямъ. Многіе доминиканцы декламировали въ Ломбардіи противъ роскоши, хотя вся роскошь тогдашнихъ людей состояла развѣ только въ томъ, что они ходили не босикомъ и подкладывали себѣ подъ голову во время сна не камень, а подушку.

Величайшей слабостью XIII вѣка была его неукротимая воинственность. Въ своей жизни тогдашніе люди были очень умѣренны, но за то война губила у нихъ изъ году въ годъ безобразно-много рабочихъ силъ и готовыхъ продуктовъ, тѣмъ болѣе, что побѣдители всегда разрушали до основанія дома, башни и замки побѣжденныхъ. Съ самоувѣренностью искреннихъ фанатиковъ нищенствующіе монахи вообразили себѣ, что они

Digitized by Google

могутъ искоренить войну такъ же успѣшно, какъ они искореняютъ ересь. Проповѣдники стали доказывать своимъ слушателямъ, что у католика не должно быть никакихъ враговъ, кромѣ тѣхъ чудовищъ, которыя искажаютъ чистоту его религіи. Особенно отличился своими проповѣдями противъ войны доминиканецъ Іоаннъ изъ Виченцы. Онъ началъ свою дѣятельность въ Болоньѣ, въ 1233 году. Вокругъ него собрались толпами граждане, крестьяне окрестныхъ деревень, и въ особенности воины, сознававшіе повидимому съ глубокимъ сокрушеніемъ грѣховность своихъ обыкновенныхъ занятій. Держа въ рукахъ кресты и знамена, толпа всюду слѣдовала за своимъ учителемъ, ловила и затверживала его слова, и готова была исполнять каждое его приказаніе. Закоренѣлые враги, ежедневно нарушавшіе спокойствіе Болоньи своими раздорами, бросались къ ногамъ проповѣдника, обнимались между собою и давали клятву забыть старую вражду и простить другъ другу взаимныя оскорбленія. Іоаннъ сразу сдѣлался важнымъ политическимъ дѣятелемъ. Правители Болоньи уполномочили его пересмотрѣть городское уложеніе и вычеркнуть изъ него тѣ статьи, которыя, по его мнѣнію, могли подать поводъ къ новымъ раздорамъ. Болонскіе граждане думали, что хорошіе законы немедленно пересоздадутъ всѣ ихъ страсти, понятія и привычки и въ одну минуту превратятъ задорныхъ буяновъ въ кроткихъ и благоразумныхъ любителей тишины и порядка. Іоаннъ раздѣлялъ вполнѣ ихъ пріятное заблужденіе и съ величайшимъ самодовольствомъ исполнялъ обязанности полновластнаго законодателя.

Изъ Болоньи онъ отправился въ Падую, гдѣ уже разнесся слухъ о премудромъ и святомъ доминиканцѣ, укрощающемъ человѣческія страсти и водворяющемъ на грѣшной ломбардской землѣ золотой вѣкъ кротости и благочестія. Падуанское начальство вышло на встрѣчу къ Іоанну съ городскимъ каррочіо, усадило его на священную колесницу и ввезло его въ городъ, какъ тріумфатора. Народъ, собравшійся на площади, выслушалъ съ восторгомъ проповѣдь мира и тотчасъ же рѣшилъ предать вѣчному забвенію всѣ частныя распри. Іоанна упросили принять въ Падуѣ законодательную власть, и монахъ, сдѣлавшійся государственнымъ человѣкомъ, быстро осчастливилъ городъ такими законами, вслѣдствіе которыхъ всѣ граждане непремѣнно должны были любить и уважать другъ друга. Падуанцы остались очень довольны, а Іоаннъ пошелъ дальше и осыпалъ такими же благодѣяніями Тревизу, Фельтро, Беллуно и синьеровъ Камино, Конельяно, Романо и Санъ-Бонифаціо. Всѣ города, черезъ которые проходилъ усердный миротворецъ, предоставляли ему полное право перестроивать всѣ существующіе законы. Виченца, Верона, Мантуя и Брешія съ простодушнымъ восторгомъ подчинялись его законодательскимъ экспериментамъ. Читатель легко можетъ себѣ вообразить, насколько долженъ быть проченъ миръ и законный порядокъ въ такихъ республикахъ, въ которыхъ и народъ, и правительство, услышавъ хорошо произнесенную рѣчь, разѣваютъ ротъ, развѣшиваютъ уши и отдаютъ себя въ полное распоряженіе краснорѣчиваго оратора. Читатель видитъ конечно, что дѣятельность доминиканца Іоанна заключаетъ въ себѣ неизлечимое внутреннее противорѣчіе, осуждающее ее на совершенную безплодность; его проповѣдь могла произвести сильное впечатлѣніе только на очень страстныхъ слушателей, мало размышлявшихъ и увлекавшихся всѣмъ, что въ данную минуту поражаетъ ихъ чувства и воображеніе; но эта ребяческая впечатлительность и подвижность, необходимая для успѣха краснорѣчивой проповѣди, въ которой всѣ мысли стары, какъ міръ, эта же самая впечатлительность и подвижность, свойственная въ большей или меньшей степени всѣмъ народамъ, едва затронутымъ цивилизаціей — составляетъ настоящую причину той безтолковой воинственности, которой тяготятся сами воюющіе народы, и противъ которой вооружался простодушный доминиканецъ Іоаннъ. Значитъ, чѣмъ блистательнѣе были успѣхи миротворца, тѣмъ безполезнѣе была вся его дѣятельность. Но миротворецъ, разумѣется, сіялъ самодовольствомъ, находился въ прямыхъ письменныхъ сношеніяхъ съ папой Григоріемъ IX и получалъ отъ него постоянно самыя обширныя полномочія. Чтобы окончательно искоренить въ Ломбардіи плевелы междуусобной войны, Іоаннъ, предписавшій свои законы цѣлому десятку республикъ, созвалъ къ 28 августа 1233 г. торжественное собраніе ломбардовъ на пакварскую равнину, у рѣки Адижа, въ четырехъ верстахъ отъ Вероны.

Въ назначенный день, вся пакварская равнина покрылась искателями человѣколюбія и мира. Можно сказать навѣрное, что ни одинъ изъ нѣмецкихъ преемниковъ Константина и Юстиніана, ни при какомъ торжественномъ случаѣ своей жизни не видалъ передъ собою и вокругъ себя такого моря человѣческихъ головъ, какое окинулъ взоромъ доминиканецъ Іоаннъ съ своей высокой каѳедры, поставленной среди равнины. Одинъ современный писатель говоритъ, что на равнину собралось слишкомъ четыреста тысячъ человѣкъ, и Сисмонди не находитъ въ этой цифрѣ ничего неправдоподобнаго. На пакварской равнинѣ присутствовало все населеніе Мантуи, Вероны, Брешіи, Падуи и Виченцы; Тревиза, Венеція, Феррара, Модена, Реджіо, Парма и Болонья выслали также значительную часть своихъ гражданъ; епископы всѣхъ названныхъ городовъ, кромѣ Венеціи, Феррары и Пармы,—патріархъ аквилейскій, маркизъ д'Эсте, синьоры Романо и всѣ магнаты веронской маркіи находились также въ собраніи со всѣми своими вассалами и дружинниками.

Digitized by Google

Іоаннъ взобрался на свою непомѣрно-высокую каѳедру и заговорилъ. Говорилъ онъ долго, громко и горячо. Доказывалъ онъ трогательно и убѣдительно, что война противна духу католичества, нарушаетъ всѣ законы, божескіе и человѣческіе, и огорчаетъ до глубины души кроткаго и миролюбиваго пастыря, засѣдающаго въ Римѣ.

Окончивъ свою громовую проповѣдь, которую конечно могла услышать развѣ только десятая доля присутствующихъ, Іоаннъ приказалъ всѣмъ собравшимся ломбардамъ обмѣняться между собой взаимнымъ прощеніемъ обидъ, обручилъ для большей прочности заключеннаго мира маркиза д'Эсте съ дочерью Альберика ди-Романо и произнесъ самыя страшныя проклятія противъ тѣхъ негодяевъ, которые снова возьмутся за оружіе.

Блестящій успѣхъ пакварскаго представленія окончательно убѣдилъ Іоанна въ томъ, что онъ великій государственный человѣкъ, способный держать въ своихъ могучихъ рукахъ судьбу всей Италіи. Прямо съ пакварской равнины онъ отправился въ Виченцу, вошелъ въ городской совѣтъ и потребовалъ, чтобы вичентинцы предоставили ему неограниченную власть надъ республикой, съ титулами графа и герцога. Объ Іоаннѣ ходили уже въ это время самые удивительные слухи; о немъ говорили, что онъ своими молитвами воскресилъ великое множество мертвецовъ; вичентинцы не осмѣлились ни въ чемъ отказать великому чудотворцу и немедленно вручили ему диктаторскую власть въ полной увѣренности, что онъ дѣйствуетъ по внушеніямъ свыше. Изъ Виченцы Іоаннъ отправился въ Верону, вытребовалъ себѣ верховную власть и въ этомъ городѣ, и воспользовался этой властью, чтобы арестовать, осудить и сжечь на площади шестьдесятъ еретиковъ, принадлежавшихъ къ самымъ знатнымъ и вліятельнымъ семействамъ республики. Въ это время вичентинцы начали замѣчать, что въ распоряженіяхъ чудотворца нѣтъ ничего особенно премудраго, спасительнаго и божественнаго. Предоставляя Іоанну верховную власть, они надѣялись, что онъ удовлетворитъ всѣмъ требованіямъ различныхъ сословій, распредѣлитъ между всѣми гражданами общественныя должности, захваченныя дворянствомъ, расширитъ права народа и вообще выработаетъ для республики такую конституцію, которая навсегда положитъ конецъ всѣмъ междуусобнымъ раздорамъ. Когда же они увидѣли, что ихъ новый графъ и герцогъ по своему властолюбію и тщеславію можетъ выдержать сравненіе съ любымъ виченцкимъ магнатомъ, когда они замѣтили, что Іоаннъ серьезно хочетъ прибрать ихъ къ рукамъ и думаетъ удержать за собой диктатуру до конца своей жизни, тогда обожаніе быстро превратилось въ ненависть и презрѣніе, и разсказы о воскресшихъ мертвецахъ стали встрѣчать себѣ упорное недовѣріе и открытыя насмѣшки. Падуанцы были также настроены враждебно къ проповѣднику, передъ которымъ они недавно благоговѣли. Падуанцы смѣялись надъ своими сосѣдями, вичентинцами, отдавшими себя въ кабалу монаху, подстрекали ихъ къ возстанію, обѣщали послать къ нимъ на помощь сильный отрядъ. Этими переговорами управлялъ падуанскій монахъ, Джордано, пользовавшійся въ Падуѣ всеобщимъ уваженіемъ и смотрѣвшій съ завистью на внезапное возвышеніе Іоанна. Пока Іоаннъ судилъ и рядилъ въ Веронѣ, вичентинцы взбунтовались противъ него подъ предводительствомъ своего подесты, Угуціо Пиліо. Миротворецъ вздумалъ поддержать свое разрушающееся господство силою оружія. Онъ прибѣжалъ въ Виченцу съ веронскими солдатами, взялъ приступомъ дворецъ подесты и отдалъ его своимъ сподвижникамъ на разграбленіе. Но въ это время подоспѣла падуанская милиція; солдаты Іоанна разбѣжались, а самъ миротворецъ попался въ плѣнъ. Его скоро выпустили по требованію папы, но съ этого времени исчезло все его могущество. Ломбарды осмѣяли его честолюбивые замыслы и скоро забыли о его существованіи. Народные кумиры вообще возвышаются и падаютъ очень быстро, но по всей вѣроятности ни одному изъ любимцевъ народа не удалось превзойти въ этомъ отношеніи доминиканца Іоанна изъ Виченцы. Его первое появленіе въ Болоньѣ, его законодательскіе подвиги въ республикахъ восточной Ломбардіи, его безпримѣрное торжество на пакварской равнинѣ, его превращеніе въ графа и въ герцога и его комически-жалкое паденіе— все это уложилось въ одинъ годъ. Въ 1232 году онъ былъ еще ничтожнымъ и неизвѣстнымъ монахомъ. Въ 1234 году онъ уже снова былъ ничтожнымъ монахомъ, на котораго никто не хотѣлъ обращать вниманіе.

Исторія доминиканца Іоанна предвѣщала ломбардскимъ республикамъ незавидную будущность. Народъ, среди котораго могутъ разыгрываться подобныя исторіи, неспособенъ долго сохранять свою свободу. Увлекаясь любовью или ненавистью, поддаваясь ребяческому страху или несбыточнымъ надеждамъ, такой страстный и впечатлительный народъ будетъ непремѣнно бросать свою свободу къ ногамъ каждой выдающейся личности до тѣхъ поръ, пока не наткнется на искуснаго и хладнокровнаго деспота, который медленно усиливающимся гнетомъ тихо и незамѣтно заморозитъ всѣ проявленія народной пылкости и самодѣятельности.

XX.

Эччелино III свирѣпый.

Когда Эччелино II занялся спасеніемъ своей души и погрузился въ бездну еретическихъ заблужденій, его сыновья, Эччелино III и Альберикъ, стали усердно заботиться о дальнѣйшемъ

Digitized by Google

расширеніи своего могущества и о порабощеніи тѣхъ городовъ, возлѣ которыхъ находились ихъ крѣпкіе замки и обширныя помѣстья. Альберикъ сосредоточилъ свое вниманіе на Тревизѣ, а Эччелино посвятилъ свои труды Веронѣ.

Альберику удалось на нѣсколько времени подчинить Тревизу своему вліянію, но потомъ мѣстные гвельфы при содѣйствіи падуанцевъ одержали перевѣсъ надъ его партіей, и Тревиза присоединилась къ ломбардской лигѣ. Альберикъ до конца своей жизни остался богатымъ и сильнымъ помѣщикомъ, принималъ участіе во всѣхъ войнахъ, опустошавшихъ восточную Ломбардію, но не сдѣлалъ ничего такого, что могло бы выдвинуть его изъ толпы тогдашнихъ благородныхъ интригановъ и пріобрѣтателей.

Эччелино повелъ свои дѣла гораздо успѣшнѣе.

Въ первой четверти XIII вѣка Верона управлялась сенатомъ, состоявшимъ изъ восьмидесяти выборныхъ членовъ. На выборахъ 1225 года партія Монтекки, къ которой принадлежалъ Эччелино, одержала рѣшительную побѣду и наполнила сенатъ своими приверженцами. Вслѣдъ затѣмъ таже партія, заранѣе увѣренная въ полной безнаказанности, возбудила въ городѣ возстаніе и выгнала изъ Вероны графа Санъ-Бонифаціо, предводителя веронскихъ гвельфовъ. Сенатъ, составленный изъ гебелиновъ, одобрилъ эти насильственные поступки, и, чтобы упрочить торжество гибелинской партіи, провозгласилъ Эччелино *вождемъ народа* (capitano del popolo) и предоставилъ ему верховную власть надъ республикой. До этого времени титулъ capitano del popolo никогда не употреблялся; онъ былъ выдуманъ нарочно для Эччелино. Отъ Эччелино, какъ отъ главы торжествующей партіи, зависѣло опредѣлить отношенія новой должности ко всѣмъ остальнымъ государственнымъ учрежденіямъ веронской республики. Эччелино поступилъ такъ, какъ поступаютъ обыкновенно ловкіе и осторожные люди, захватывая власть; онъ оставилъ на мѣстѣ старыя формы и влилъ въ нихъ новое содержаніе, невинность котораго была ему достаточно извѣстна. Каждый годъ выбирались сенаторы; каждый годъ приглашался подеста; сенаторы по прежнему собирались и о чемъ-то разсуждали; подеста по прежнему судилъ и наказывалъ какихъ-то безпокойныхъ людей. Вліяніе capitano del popolo ограничивалось тѣмъ, что онъ направлялъ выборы къ благой цѣли и обращалъ вниманіе приглашеннаго подесты на тѣхъ гражданъ, которые обнаруживали неблагоразумное упрямство. Этого было достаточно. Сенаторы и подеста оказывались всегда покорными и услужливыми людьми; они смотрѣли въ глаза синьеру капитано, угадывали и предупреждали его желанія, произносили тѣ слова, которыя онъ имъ подсказывалъ, и всегда осуждали тѣхъ гражданъ, которыхъ онъ находилъ неудобными. Такъ шли дѣла впродолженіе восьми лѣтъ. Въ концѣ 1233 года неожиданный взрывъ народнаго восторга отдалъ Верону на нѣсколько недѣль въ полное распоряженіе доминиканцу Іоанну. Эччелино благоразумно уступилъ желанію народа, отодвинулся на самый задній планъ и нисколько не противодѣйствовалъ Іоанну даже тогда, когда онъ вздумалъ воротить въ Верону изгнаннаго графа Санъ-Бонифаціо. Но послѣ паденія Іоанна вліяніе Эччелино значительно усилилось. Гибелины были перепуганы возвращеніемъ Санъ-Бонифаціо и его гвельфовъ; гибелины видѣли, что народъ нисколько не проникнутъ страстями ихъ партіи; пользуясь тревожнымъ настроеніемъ своихъ сподвижниковъ, Эччелино могъ доказывать имъ съ величайшимъ успѣхомъ, что для прочнаго торжества гибелинизма необходимо принимать на будущее время такія строгія мѣры, которыя отучили бы глупый народъ отъ неприличныхъ взрывовъ восторга. Когда партія боится за свое существованіе, тогда она обыкновенно старается запугать массу насильственными мѣрами. Такъ случилось и въ Веронѣ. Встревоженные гибелины, сдвинувшись тѣснѣе прежняго вокругъ синьора капитано, снова выгнали графа Санъ-Бонифаціо и переполнили городскія тюрьмы тѣми гражданами, которые обратили на себя ихъ неблагосклонное вниманіе во время диктатуры Іоанна.

Въ это же самое время Эччелино сталъ убѣдительно приглашать императора въ сѣверную Италію, постоянно напоминая ему о дерзкихъ замыслахъ ломбардской лиги, которая повидимому рѣшительно намѣрена была оторваться отъ имперіи.—Ломбардскіе союзники своими поступками дѣйствительно придавали значительный вѣсъ обвиненіямъ Эччелино. Въ 1234 г. старшій сынъ императора, Генрихъ, взбунтовался въ Германіи противъ своего отца, находившагося въ то время въ сицилійскомъ королевствѣ. Миланцы немедленно вошли въ сношенія съ нѣмецкими мятежниками и предложили Генриху ломбардскую корону. Императоръ, конечно, не былъ расположенъ смотрѣть сквозь пальцы на такія серьезныя оскорбленія и, возстановивши спокойствіе въ Германіи, въ августѣ 1236 г. вступилъ съ войскомъ въ веронскую мархію. При свиданіи съ Фридрихомъ, Эччелино обратилъ его вниманіе на выгодное положеніе Вероны и очень легко убѣдилъ его въ необходимости занять этотъ городъ нѣмецкимъ гарнизономъ. Въ тоже время Эччелино доказалъ веронскимъ гибелинамъ, что присутствіе императорскаго войска будетъ чрезвычайно полезно для господства ихъ партіи. Фридрихъ довѣрилъ самому Эччелино начальство надъ тѣмъ отрядомъ, который расположился въ Веронѣ. Опираясь такимъ образомъ на военную силу, которая повиновалась ему одному, Эччелино сдѣлался совершенно независимымъ отъ своей соб-

Digitized by Google

ственной партіи и получилъ возможность угнетать безразлично и гвельфовъ, и гибелиновъ, и вообще всѣхъ гражданъ, сколько нибудь дорожившихъ своей умственной и нравственной самостоятельностью.

Фридрихъ опустошилъ территоріи Мантуи и Брешіи и потомъ захватилъ врасплохъ и разграбилъ городъ Виченцу. Въ это время новые безпорядки принудили его воротиться въ Германію. Уходя изъ Италіи, императоръ назначилъ Эччелино своимъ намѣстникомъ и присоединилъ къ его владѣніямъ завоеванный городъ, Виченцу. Взятіе Виченцы навело ужасъ на падуанцевъ, принадлежавшихъ къ ломбардскому союзу. Подестою Падуи былъ въ это время Рамбертъ Гизиліери изъ Болоньи. Не отставляя его отъ должности, падуанцы составили для спасенія республики комитетъ изъ шестнадцати знатнѣйшихъ мѣстныхъ дворянъ. Кромѣ того, они въ народномъ собраніи вручили маркизу Аццо VII д'Эсте главное знамя республики и предоставили ему неограниченную власть на все время военныхъ дѣйствій. Средневѣковые люди обладали вообще удивительной способностью устраивать въ одномъ государствѣ или даже въ одномъ городѣ по нѣсколько полновластныхъ правительствъ. При этомъ оправдывалась обыкновенно глубокомысленная пословица о ребенкѣ, теряющемъ глаза при семи нянькахъ. Обиліе нянекъ обошлось очень дорого падуанской республикѣ. Маркизъ д'Эсте уѣхалъ въ свои владѣнія и не сдѣлалъ ровно ничего для защиты Падуи; а члены комитета оказались даже тайными союзниками Эччелино; одинъ подеста добросовѣстно старался о спасеніи города; но подеста, какъ иногородецъ, не имѣлъ въ Падуѣ никакихъ связей и конечно не могъ справиться съ комитетомъ, который нарочно путалъ всѣ его распоряженія. Убѣдившись въ томъ, что его соправители, члены комитета, находятся въ перепискѣ съ непріятелями, Гизиліери рѣшился сдѣлать отчаянное усиліе. Онъ собралъ комитетъ и потребовалъ, чтобы его члены въ виду угрожающей опасности дали клятву исполнять безотлагательно всѣ приказанія подесты. Измѣнники исполнили требованіе подесты. Тогда Гизиліери приказалъ имъ всѣмъ отправиться завтра утромъ въ Венецію, представиться дожу и ожидать тамъ дальнѣйшихъ приказаній отъ падуанскаго правительства. Одинъ изъ членовъ повиновался буквально. Остальные пятнадцать разбѣжались по своимъ укрѣпленнымъ замкамъ и объявили открытую войну гвельфскому правительству Падуи.

Измѣнники, засѣдавшіе въ комитетѣ, были конечно гораздо опаснѣе враговъ. Сорвавши съ измѣнниковъ маски, Гизиліери очевидно оказалъ услугу республикѣ и улучшилъ ея положеніе. Но падуанцы взглянули на дѣло иначе. Имъ показалось, что Гизиліери оскорбилъ дворянъ своей недовѣрчивостью, и что по милости подесты республика потеряла самыхъ доблестныхъ своихъ защитниковъ. Народное собраніе отрѣшило Гизиліери отъ должности и пригласило на его мѣсто Марино Бадоэро изъ Венеціи. Въ это время полновластный защитникъ гвельфской партіи, маркизъ д'Эсте, заключилъ отдѣльный миръ съ Эччелино и даже выдалъ ему двѣсти человѣкъ падуанцевъ, составлявшихъ гарнизонъ нѣсколькихъ замковъ, которые по условію были отданы гибелинамъ. Такимъ образомъ главная нянька падуанской республики собственноручно выколола глазъ своему питомцу. Эччелино подошелъ съ императорскимъ войскомъ къ стѣнамъ Падуи; Бадоэро вышелъ къ нему на встрѣчу и отразилъ его. Но приверженцы бывшаго дворянскаго комитета усердно интриговали въ городѣ, выдумывали противъ подесты разныя небылицы и наконецъ довели дѣло до того, что Бодоэро принужденъ былъ удалиться. Дворяне, воевавшіе противъ падуанской республики, воротились въ Падую, захватили правленіе въ свои руки и вслѣдъ затѣмъ прислали въ городъ синьора Эччелино, взявъ съ него клятву, что свобода республики останется неприкосновенною, а что всѣ плѣнники будутъ выпущены на волю безъ выкупа. Эччелино поспѣшно принялъ всѣ условія, вошелъ въ Падую и въ порывѣ радости поцѣловалъ ворота города, который долженъ былъ сдѣлаться столицей его владѣній.

Когда падуанскіе гибелины пригласили въ свой городъ Эччелино, многіе мѣстные гвельфы вышли изъ Падуи, заняли укрѣпленный замокъ Монтаньяну и рѣшились защищаться до послѣдней возможности. Въ это время Эччелино составилъ въ Падуѣ правительственный совѣтъ изъ тѣхъ дворянъ и гражданъ, на которыхъ онъ могъ вполнѣ положиться. Члены этого импровизированнаго совѣта тотчасъ вошли въ свою роль, вообразили себя законными представителями падуанской республики и отъ ея имени попросили Эччелино назначить, по своему благоусмотрѣнію, падуанскаго подесту. Эччелино сталъ жеманиться и скромничать; онъ говорилъ, что не смѣетъ присвоивать себѣ право, принадлежащее цѣлому народу. Члены совѣта упрашивали и настаивали. Эччелино уступилъ ихъ пламенному желанію и назначилъ подестою одного изъ своихъ приверженцевъ, неаполитанскаго графа Театино. Любопытно замѣтить, что члены совѣта не осмѣлились поднести должность подесты самому Эччелино. Для него эта должность была уже слишкомъ ничтожна.

Вслѣдъ за назначеніемъ падуанскаго подесты, правительства трехъ республикъ, подчинившихся синьору Эччелино,— Вероны, Виченцы и Падуи,— рѣшили, по внушенію со стороны своего патрона, содержать постоянно на своемъ жалованьѣ для безопасности гибелинской партіи

Digitized by Google

по сту человѣкъ нѣмцевъ и по триста сарациновъ изъ императорской арміи. Это значило очевидно покупать себѣ униженіе и страданіе на свои собственныя деньги. Оружіе тѣхъ воиновъ, которыхъ обязались содержать республики, конечно должно было направляться исключительно противъ самихъ же гражданъ, выплачивающихъ жалованье.

Гвельфы, удалившіеся въ Монтаньяну, отразили армію Эччелино, составленную изъ нѣмцевъ и сарациновъ. Падуанскій подеста, Театино, показалъ видъ, что онъ боится возстанія со стороны тѣхъ гвельфскихъ семействъ, которыя остались въ Падуѣ. Поэтому онъ потребовалъ отъ нихъ заложниковъ; черезъ нѣсколько дней онъ пригласилъ къ себѣ всѣхъ самыхъ вліятельныхъ дворянъ и гражданъ города, принадлежащихъ къ обѣимъ партіямъ, и объявилъ имъ самымъ дружескимъ образомъ, что на ихъ счетъ ходятъ въ народѣ странные и тревожные слухи, что народъ ожидаетъ отъ нихъ, по своей глупости, сигнала къ возстанію, что онъ, подеста, съ своей стороны, вполнѣ увѣренъ въ ихъ совершенной благонамѣренности и непоколебимой вѣрности императору, но что для прекращенія всякихъ безсмысленныхъ слуховъ, волнующихъ глупую толпу, было бы особенно полезно, если бы они, вліятельные люди, удалились на нѣсколько дней изъ города въ ближайшіе замки падуанской территоріи. Подеста убѣдительно просилъ господъ дворянъ и гражданъ дать ему это доказательство своей неизмѣнной привязанности къ императору и къ законному порядку, водворенному въ Падуѣ трудами императорскаго намѣстника, синьора Эччелино III. Отказать подестѣ значило обнаружить свое недовѣріе или признать себя коноводомъ приготовляющагося возстанія. Отказывая подестѣ, надо было тотчасъ же поднять народъ и начать уличную войну. Но если желаніе произвести переворотъ и таилось въ душѣ нѣкоторыхъ гражданъ, то во всякомъ случаѣ этотъ переворотъ еще не былъ достаточно подготовленъ. Поэтому дворянамъ и гражданамъ, собравшимся у подесты, оставалось только исполнить его просьбу и осудить себя на добровольное изгнаніе. Человѣкъ двадцать знатнѣйшихъ Падуанцевъ удалились изъ города въ окрестные замки. Чрезъ нѣсколько дней Эччелино приказалъ арестовать всѣхъ этихъ господъ — и гвельфовъ и гибелиновъ— и безъ всякаго судебнаго изслѣдованія, размѣстилъ ихъ по различнымъ тюрьмамъ. Однихъ онъ похоронилъ заживо въ подземельяхъ своихъ наслѣдственныхъ замковъ; а другихъ отправилъ въ сицилійское королевство, гдѣ также нашлось для нихъ приличное помѣщеніе. Извѣстіе объ этихъ арестахъ пришло въ Падую и произвело тамъ паническій страхъ, подъ вліяніемъ котораго было конечно очень неудобно думать о вооруженномъ возстаніи. Гибелины увидѣли съ ужасомъ, что даже ихъ партія нисколько не можетъ разсчитывать на безопасность при томъ правительствѣ, которое они сами такъ старательно навязали своей родинѣ. Кто могъ бѣжать изъ Падуи, тотъ убѣжалъ; многіе падуанскіе дворцы опустѣли. Эччелино срылъ ихъ до основанія, конфисковалъ имущество бѣжавшихъ гражданъ и посадилъ въ тюрьму тѣхъ бѣглецовъ, которыхъ ему удалось настигнуть и захватить. Эччелино боялся монаха Джордано, проповѣди котораго имѣли сильное вліяніе на падуанскій народъ и который могъ произвести въ городѣ сильное волненіе. Однажды Эччелино послалъ къ Джордано нѣсколько человѣкъ своихъ рыцарей, которые очень вѣжливо попросили монаха пожаловать къ синьору намѣстнику для какихъ-то важныхъ совѣщаній. Джордано, къ которому Эччелино относился всегда съ глубокимъ уваженіемъ, спокойно сѣлъ на приготовленную для него лошадь. Его повезли не къ намѣстнику, а за городъ, въ укрѣпленный замокъ, гдѣ и оставили его въ качествѣ арестанта. Падуанскій народъ перенесъ этотъ ударъ съ примѣрной кротостью, и тогда Эччелино окончательно понялъ, что ему больше нечего бояться и незачѣмъ церемониться. Онъ набралъ себѣ сильный отрядъ изъ падуанскихъ юношей и сталъ поддерживать свою тиранію оружіемъ тѣхъ самыхъ людей, которыхъ онъ угналъ. Въ этомъ явленіи нѣтъ также ничего необыкновеннаго.

Осенью 1237 года Фридрихъ II снова вошелъ въ Ломбардію, разбилъ миланцевъ при Корте-Нуова, взялъ въ плѣнъ ихъ подесту, Петра Тіепола, сына венеціанскаго дожа, и казнилъ его, какъ преступника, вѣроятно для того, чтобы въ лицѣ беззащитнаго плѣнника оскорбить венеціанскую республику, которая дѣйствительно съ этой минуты объявила войну императору и приступила къ ломбардскому союзу.

Остатки разбитой миланской арміи нашли себѣ убѣжище во владѣніяхъ богатаго помѣщика, Пагано делла-Торре, за гостепріимство котораго миланская республика заплатила впослѣдствіи такъ дорого, что для нея было бы гораздо выгоднѣе, если бы делла-Торре совсѣмъ не оказалъ ей никакой услуги, и если бы вся армія, сражавшаяся при Корте-Нуова, погибла безъ остатка во время своего отступленія.

Въ 1238 году Фридрихъ осадилъ Брешію, простоялъ подъ ея стѣнами около трехъ мѣсяцевъ, но не могъ взять ее и въ октябрѣ былъ принужденъ снять осаду. Большую часть зимы на 1239 годъ онъ провелъ въ Падуѣ у Эччелино, котораго онъ постоянно любилъ и жаловалъ. Эччелино въ это время снова велъ войну съ маркизомъ д'Эсте. Но императоръ по очень естественному сочувствію ко всѣмъ врагамъ республиканской свободы хотѣлъ привлечь маркиза д'Эсте къ своей партіи и помирить его съ Эч-

Digitized by Google

челино Для этого онъ пригласилъ маркиза въ Падую и женилъ своего сына, Ринальдо, на Аделаидѣ, дочери Альберика ди-Романо. Эччелино не противился миролюбивымъ желаніямъ императора, но самъ постоянно держалъ за пазухою камень. Его шпіоны каждый день сообщали ему имена тѣхъ падуанцевъ, которые входили въ домъ маркиза д'Эсте. Послѣ отъѣзда императора изъ Падуи всѣ эти посѣтители отправились на плаху или на висѣлицу.

Въ началѣ 1239 года папа Григорій IX, желая поддержать ломбардскую лигу, снова отлучилъ императора отъ церкви. Фридрихъ, находившійся въ это время въ Падуѣ, собралъ въ общественный дворецъ падуанскихъ гражданъ, объявилъ имъ о состоявшемся отлученіи и потомъ приказалъ своему канцлеру, Петру де-Винеисъ, произнести передъ гражданами рѣчь, въ которой опровергались обвиненія, высказанныя въ папской буллѣ. Не смотря на всю убѣдительность защитительной рѣчи, произнесенной знаменитымъ канцлеромъ, Фридрихъ былъ увѣренъ, что папская булла поколеблетъ вѣрность тѣхъ гвельфскихъ дворянъ, которые, подобно маркизу д'Эсте и графу Санъ-Бонифацію, недавно помирились съ императорской партіей. Поэтому Фридрихъ потребовалъ отъ нихъ заложниковъ. Этими признаками недовѣрія онъ только ускорилъ развязку. Не только Эсте и Санъ-Бонифаціо снова сдѣлались его врагами, но даже и Альберикъ, родной братъ Эччелино, перешелъ въ гвельфскій лагерь.— Эччелино въ это время продолжалъ душить въ Падуѣ всѣхъ честныхъ гражданъ, сколько нибудь способныхъ поддерживать въ народѣ воспоминанія и сожалѣнія о потерянной республиканской свободѣ.

Положеніе веронянъ, вичентинцевъ и падуанцевъ было бы еще до нѣкоторой степени сносно, если бы жестокости Эччелино обусловливались исключительно политическимъ разсчетомъ. Въ такомъ случаѣ можно было бы надѣяться, что Эччелино угомонится и станетъ обращаться съ своими подданными по человѣчески, когда окончательно убѣдится въ томъ, что они покорились обстоятельствамъ и перестали думать о вооруженномъ возстаніи. Но эти скромныя надежды скоро оказались совершенно несбыточными. Дѣло пошло какъ разъ на оборотъ. Чѣмъ крѣпче чувствовалъ себя Эччелино на своемъ благопріобрѣтенномъ престолѣ, чѣмъ покорнѣе и безгласнѣе становились граждане трехъ порабощенныхъ республикъ,— тѣмъ откровеннѣе и смѣлѣе развертывался настоящій характеръ полновластнаго правителя, тѣмъ быстрѣе наполнялись обширныя и многочисленныя тюрьмы, и тѣмъ сильнѣе лились ручьи неповинной крови въ пыточныхъ застѣнкахъ и на эшафотахъ, украшенныхъ самыми замысловатыми орудіями казни. Эччелино обладалъ одною изъ тѣхъ рѣдкихъ и странныхъ организацій, для которыхъ человѣческія страданія составляютъ неисчерпаемый источникъ самыхъ любимыхъ наслажденій. По своему тѣлосложенію Эччелино III былъ совершенно не способенъ любить женщинъ. Онъ былъ кастратомъ отъ природы. Этотъ органическій порокъ составляетъ, по всей вѣроятности, основную причину его необыкновенной жестокости. Окруженный буйными и веселыми сверстниками, молодой Эччелино не могъ дѣлить съ ними радости любовныхъ похожденій; ему досадно было смотрѣть на ихъ проказы; ему больно и завидно было слушать ихъ хвастливую болтовню, въ которой онъ не могъ принимать никакого участія. Онъ чувствовалъ, онъ зналъ навѣрное, что его товарищи смѣются надъ его вынужденнымъ монашествомъ; онъ, быть можетъ, слышалъ отъ нихъ иногда добродушно-легкомысленныя соболѣзнованія, которыя больнѣе самыхъ злыхъ насмѣшекъ ложились на его гордую душу. Онъ держался, по всей вѣроятности, въ сторонѣ отъ своихъ сверстниковъ; онъ старался отталкивать отъ себя ледяною холодностью ихъ непрошенное участіе. Обрекая себя такимъ образомъ на добровольное уединеніе, молодой Эччелино пріучился наблюдать издали окружающихъ людей, глубоко обдумывать свои наблюденія и затаивать въ своемъ умѣ всѣ результаты своихъ серьезныхъ и печальныхъ размышленій. При такихъ условіяхъ властолюбіе юношескихъ лѣтъ должно было сдѣлаться его единственною страстью; его умственныя способности должны были развернуться, изощриться и закалиться до послѣднихъ предѣловъ своего естественнаго могущества; скрытность и притворство должны были сдѣлаться для него второю природой; ненависть къ людямъ должна была медленно всосаться во всѣ изгибы его озлобленной души. Когда тридцати-лѣтній Эччелино въ 1225 году сдѣлался правителемъ Вероны, въ немъ уже былъ готовъ тотъ безцѣльно-кровожадный тиранъ, который, пятнадцать лѣтъ спустя, началъ изумлять Италію своимъ звѣрствомъ. Онъ ненавидѣлъ мужчинъ такъ, какъ несчастный уродъ способенъ ненавидѣть всякое здоровое существо; онъ ненавидѣлъ женщинъ, потому что онѣ напоминали ему о наслажденіяхъ, которыя, не смотря на его могущество и блестящія умственныя способности, вѣчно должны были оставаться для него недоступными; онъ ненавидѣлъ дѣтей, потому что самъ никогда не могъ сдѣлаться отцомъ. Картины тихаго и святого семейнаго счастья, выраженія страстной любви, слезы женъ, сестеръ, матерей, крики грудныхъ дѣтей—все, что можетъ растрогать и обезоружить нормальнаго человѣка, напоминая ему о его собственныхъ, самыхъ драгоцѣнныхъ привязанностяхъ,—все это могло только бѣсить и ожесточать несчастнаго урода, потому что все это указывало ему на ту неизлечимую пустоту, которую онъ носилъ въ самомъ себѣ и которую нельзя было наполнить никакими по-

Digitized by Google

дѣдами надъ гвельфами и надъ республиканскими учрежденіями. Эччелино хотѣлъ мстить всему человѣчеству за свое уродство, такъ точно, какъ Францъ-Моръ въ «Разбойникахъ» Шиллера мститъ своему красивому брату Карлу за свое физическое безобразіе. Но Эччелино, подобно Францу-Моору, былъ очень уменъ и превосходно владѣлъ собою. Поэтому онъ отложилъ свое мщеніе до тѣхъ поръ пока ему уже нечего было бояться. Когда онъ убѣдился въ томъ, что добыча уже не можетъ вырваться изъ его рукъ, тогда онъ далъ полную волю всѣмъ своимъ затаеннымъ, болѣзненно-звѣрскимъ инстинктамъ. Онъ началъ мучить людей, для того чтобы натѣшиться ихъ страданіями. Онъ сталъ наказывать ихъ за то, что они могутъ и смѣютъ наслаждаться жизнью и возбуждать безсильную зависть своего властелина. Современные историки не замѣтили, чтобы Эччелино любилъ самъ смотрѣть на пытки и казни; онъ хотѣлъ только, чтобы во всѣхъ подвластныхъ ему городахъ лилась кровь и царствовалъ постоянный ужасъ, чтобы всѣ его подданные чувствовали себя глубоко несчастными и, оплакивая своихъ друзей, постоянно боялись бы за свою собственную жизнь. Тѣ города, въ которыхъ Эччелино не жилъ самъ, нисколько не были счастливѣе его резиденціи. Правители, назначенные тираномъ, старались угождать ему своею жестокостью и свирѣпствовали не хуже его самого. Особенно замѣчателенъ въ этомъ отношеніи его племянникъ Анседизій Гвидотти, котораго Эччелино, переѣхавшій въ 1248 году въ Верону, назначилъ правителемъ Падуи.

Утвердившись въ Падуѣ, Эччелино истребилъ почти все семейство Кампо-Санъ-Піетро, находившееся въ непримиримой враждѣ съ фамиліей Романо, съ тѣхъ поръ какъ Эччелино II женился на Чечиліи Риксо. Изъ всего семейства Кампо-Санъ-Піетро уцѣлѣлъ только одинъ ребенокъ, котораго Эччелино III взялъ въ плѣнъ въ 1228 г. и котораго онъ съ тѣхъ поръ воспитывалъ при своемъ дворѣ. Этотъ ребенокъ, Гуліельмо, приходился племянникомъ синьору Эччелино; не смотря на это родство, Эччелино въ 1240 году сталъ подозрѣвать молодого Гуліельмо въ какихъ то непозволительныхъ замыслахъ и приказалъ посадить его въ тюрьму. Четверо дядей Гуліельмо, синьоры Вадо, явились къ Эччелино и поручились ему за безукоризненное поведеніе своего молодого родственника. Эччелино принялъ ихъ поручительство и освободилъ Гуліельмо, а этотъ, по своей молодости и глупости, очутившись на свободѣ, тотчасъ бѣжалъ изъ Падуи въ свой замокъ Тривиліо и укрѣпился тамъ противъ Эччелино, который разумѣется тотчасъ арестовалъ добродушныхъ поручителей. Синьоры Вадо просидѣли нѣсколько лѣтъ въ тюрьмѣ, гдѣ они конечно не могли сдѣлать никакого новаго преступленія. Однажды Эччелино вспомнилъ о нихъ и приказалъ наглухо замуровать дверь ихъ темницы. Нѣсколько дней слышно было какъ они кричали и просили хлѣба. Потомъ все затихло. Когда разобрали стѣну, которою заложена была дверь, тогда въ тюрьмѣ оказались четыре скелета, обтянутые черною и сухою кожей.

Гуліельмо былъ до такой степени глупъ, что въ 1246 году попробовалъ помириться съ Эччелино, надѣясь смягчить его своею покорностью, и отдался въ его руки. Въ 1249 году Эччелино приказалъ ему развестить съ своей женой, семейство которой навлекло на себя его гнѣвъ какимъ-то мнимымъ преступленіемъ. Гуліельмо не послушался. Его посадили въ тюрьму и черезъ годъ казнили. Имущество его было конфисковано. Всѣ его родственники и друзья, безъ различія пола и возраста, отправились въ темницы, изъ которыхъ никто не возвращался на свѣтъ.

Эччелино держался постоянно того не измѣннаго правила, что всѣ родственники и друзья осужденнаго преступника становятся подозрительными людьми, и слѣдовательно должны подвергаться безсрочному тюремному заключенію. Средневѣковыя тюрьмы вообще строились противъ всѣхъ правилъ гигіены, но тюрьмы Эччелино были нарочно устроены такъ, чтобы тюремное заключеніе, по своимъ результатамъ, оказывалось равносильнымъ смертной казни и притомъ самой медленной и самой мучительной. Такъ какъ падуанская республика не имѣла никакого понятія о подозрительныхъ людяхъ и о необходимости морить медленною смертью отца, мать, жену, сестеръ, тетокъ, дядей, малолѣтнихъ дѣтей и племянниковъ казненнаго преступника,—то разумѣется существующія падуанскія тюрьмы не могли удовлетворить синьора Эччелино ни своей помѣстительностью, ни своимъ внутреннимъ устройствомъ. Эччелино началъ строить новыя тюрьмы. Одинъ изъ его придворныхъ чиновниковъ, желая угодить властелину, выпросилъ у него, какъ особенную милость, позволеніе завѣдывать постройкой и обязался сдѣлать изъ новой тюрьмы настоящую могилу, въ которую не проникнетъ ни одинъ лучъ дневного свѣта и ни одинъ глотокъ свѣжаго воздуха. Усердный лакей сдержалъ свое обѣщаніе, а баринъ, съ своей стороны, скоро отблагодарилъ его за оказанную услугу. Искусному строителю скоро пришлось испытать на собственной особѣ гигіеническія достоинства новой тюрьмы, въ которой онъ и умеръ отъ голода, отъ жажды, отъ духоты и отъ легіоновъ вшей и клоповъ.

Подобно всѣмъ умнымъ тиранамъ, Эччелино глубоко презиралъ и съ особеннымъ удовольствіемъ губилъ тѣхъ бездушныхъ негодяевъ, которые лизали ему ноги и становились пассивными орудіями его жестокости. У него не было ни любимцевъ, ни друзей; для него не существовало различія между гвельфами и гибеллинами. Онъ

Digitized by Google

совершенно безпристрастно истреблялъ тѣхъ и другихъ. Семейство Далесманини, отличавшееся богатствомъ и знатностью, принадлежало очень давно къ гибелинской партіи и находилось постоянно въ самомъ тѣсномъ союзѣ съ синьорами Романо. Вдругъ одна женщина изъ рода Далесманини, жившая въ Кремонѣ, послѣ смерти своего перваго мужа, вышла за одного дворянина, принадлежавшаго къ партіи графа Санъ-Бонифаціо. Узнавши объ этой свадьбѣ, Эччелино послалъ своему падуанскому намѣстнику, Анседизію Гвидотти, приказаніе арестовать и казнить всѣхъ Далесманини. Родной братъ Анседизія былъ женатъ на дѣвушкѣ изъ этой опальной фамиліи. Но Анседизій былъ слишкомъ исполнительнымъ агентомъ, чтобы смущаться такими мелочными соображеніями. Онъ боялся только, что поголовная казнь одного изъ знаменитѣйшихъ гибелинскихъ родовъ произведетъ въ городѣ опасное возмущеніе. Поэтому онъ, арестовавши всѣхъ осужденныхъ, для пробы отправилъ сначала на эшафотъ младшаго и самаго ничтожнаго изъ Далесманини. Все обошлось благополучно. Народъ не шевельнулся. Друзья и вассалы арестованныхъ молчали. Тогда Анседизій ободрился, и всѣ члены рода Далесманини—мужчины, женщины и дѣти — одинъ за другимъ погибли на эшафотѣ.

Каждое неосторожное слово наказывалось въ Падуѣ такъ же строго, какъ заговоръ или вооруженное возстаніе. При такихъ условіяхъ падуанцамъ былъ прямой разсчетъ взбунтоваться, потому что бунтъ могъ привести за собою освобожденіе, а покорность никому не доставляла полной безопасности. Но падуанцы были такъ запуганы ежедневными казнями, что не смѣли думать объ освобожденіи и въ тоже время не могли постоянно удерживаться отъ всякаго выраженія своего негодованія. Какой-то острякъ сочинилъ басню, въ которой говорилось о голубяхъ, выбравшихъ себѣ ястреба въ цари; оказывалось, что этотъ царь былъ для нихъ хуже злѣйшаго врага. Самъ авторъ или его пріятель вполголоса продекламировали эту басню своимъ знакомымъ въ общественномъ дворцѣ. Слушатели переглянулись и обмѣнялись между собою горькою улыбкой. Этого было достаточно. Шпіоны Эччелино подслушали и подмѣтили всю эту исторію. Анседизій отправилъ на эшафотъ декламатора и всѣхъ его слушателей—всего двѣнадцать человѣкъ. Родственники и друзья казненныхъ по обыкновенію кончили свою жизнь въ неподражаемыхъ падуанскихъ тюрьмахъ.

Эччелино не затруднялся отыскивать какой нибудь предлогъ, когда ему хотѣлось сжить человѣка со свѣта. Онъ просто приказывалъ арестовать его и отвести въ застѣнокъ. Тамъ его начинали пытать, требуя отъ него, чтобы онъ покаялся въ своихъ преступныхъ замыслахъ противъ правительства. Если паціентъ, побѣжденный невыносимою болью, признавался въ чемъ нибудь, т. е. взводилъ на себя какую нибудь напраслину, то желанный предлогъ былъ отысканъ. Уличеннаго преступника вели на площадь и казнили. Если же субъектъ упрямился до конца, то онъ всетаки ровно ничего не выигрывалъ; палачи продолжали встряхивать, сѣчь, пилить, ломать и коверкать его до тѣхъ поръ, пока онъ не превращался въ безжизненный кусокъ сырого мяса. Арестованному предоставлялось такимъ образомъ право выбирать непремѣнно одно изъ двухъ: смерть на площади, или смерть въ застѣнкѣ.

XXI.

ФРИДРИХЪ II.

Злодѣянія синьора Эччелино кладутъ несмываемое пятно на великое имя императора Фридриха II. Фридрихъ былъ всегдашнимъ покровителемъ Эччелино; Фридрихъ далъ ему титулъ императорскаго намѣстника, окружилъ его своими войсками, завоевалъ для него Виченцу, и самъ, въ свою очередь, во всѣхъ своихъ войнахъ постоянно пользовался его усерднымъ содѣйствіемъ; стало быть, на Фридриха падаетъ отвѣтственность за преступленія Эччелино. При этомъ однако не слѣдуетъ думать, чтобы Фридрихъ сочувствовалъ безумнымъ и отвратительнымъ жестокостямъ своего вѣрнаго вассала и намѣстника. Въ характерѣ Фридриха, полнокровнаго, здороваго, живого и страстнаго эпикурейца, умѣвшаго наслаждаться и женщинами, и виномъ, и поэзіей, и наукой, не было ни одной черты, способной сколько нибудь сблизить его съ тщедушнымъ Эччелино, который весь, какъ старая дѣва, былъ пропитанъ уксусомъ и желчью. Никто изъ современниковъ Фридриха не упрекаетъ его въ жестокости. Данте помѣщаетъ его въ адъ не за жестокость, а за невѣріе.

«Фридрихъ—говоритъ о немъ гибелинъ Николай Джамсилла—былъ человѣкомъ великой души; но его мудрость, которая была въ немъ не менѣе велика, умѣряла его великодушіе; такъ что сильная страсть никогда не обусловливала собою его поступковъ; онъ дѣйствовалъ всегда по зрѣлому размышленію. Онъ усердно занимался философіей; онъ любилъ ее для самого себя и распространялъ ее въ своихъ владѣніяхъ. Прежде счастливыхъ дней его царствованія, въ Сициліи трудно было найдти писателя, но императоръ открылъ въ своемъ королевствѣ училища для свободныхъ искусствъ и для всѣхъ наукъ, онъ призвалъ преподавателей изъ различныхъ странъ свѣта и предложилъ имъ щедрыя награды. Онъ не удовольствовался тѣмъ, что назначилъ имъ жалованье; онъ кромѣ того изъ своей собственной казны выплачивалъ стипендіи для содержанія самыхъ бѣдныхъ учениковъ, такъ чтобы во всѣхъ классахъ общества люди не были устра-

Digitized by Google

нены нищетою отъ изученія философіи. Онъ самъ далъ обращикъ своихъ литературныхъ талантовъ, которые были направлены преимущественно къ естественной исторіи; онъ написалъ книгу о природѣ и воспитаніи птицъ; изъ этой книги можно увидѣть, какіе успѣхи сдѣлалъ императоръ въ философіи. Онъ любилъ справедливость и уважалъ ее такъ сильно, что каждому человѣку позволено было вести тяжбы противъ императора, и при этомъ санъ монарха не давалъ ему никакого преимущества въ судѣ, и ни одинъ адвокатъ не колебался поддерживать противъ него права послѣдняго изъ его подданныхъ. Но не смотря на эту любовь къ справедливости, онъ иногда смягчалъ ея суровость своимъ милосердіемъ».

Этотъ портретъ конечно написанъ рукою страстнаго обожателя и заключаетъ въ себѣ значительную дозу идеализаціи. Но если такой портретъ не передаетъ намъ вполнѣ вѣрно дѣйствительныхъ чертъ историческаго характера, то онъ безъ всякаго сомнѣнія рисуетъ намъ по крайней мѣрѣ черты того идеала, къ которому стремился Фридрихъ II. Ужь и это много значитъ. Думать о равенствѣ гражданъ передъ закономъ въ половинѣ XIII вѣка—это почти неправдоподобно; и разумѣется, такая мысль могла родиться только въ головѣ геніальнаго человѣка. Другой Фридрихъ II—великій король Прусскій, жилъ пятью столѣтіями позднѣе, почти наканунѣ французской революціи, а между тѣмъ его панегиристы разславили по всему міру исторію о санъ-сусійскомъ мельникѣ, который отвѣчалъ королю, что въ Пруссіи есть судьи. Что же мы должны думать объ императорѣ, который во времена феодализма и кулачнаго права желалъ стоять передъ судомъ на одной доскѣ съ послѣднимъ изъ своихъ подданныхъ? Эта черта не можетъ быть выдумана Джамсиллою. Если бы эта черта не входила въ идеалъ геніальнаго императора, то историкъ побоялся бы этой вымышленной чертою унизить своего героя въ глазахъ тѣхъ аристократическихъ читателей, которые твердо вѣровали въ законность своихъ родовыхъ привиллегій и навсегда хотѣли оставаться выше простого человѣчества. Наконецъ дѣйствительность той черты, которую расхваливаетъ Джамсилла, доказывается всего лучше тѣми законами, которые Фридрихъ II. издалъ для своего сицилійскаго королевства. На счетъ покровительства наукамъ и стипендій для бѣдныхъ студентовъ надо сдѣлать только ту оговорку, что Фридрихъ воевалъ съ Болоньей и старался подорвать ея знаменитый университетъ. Этимъ желаніемъ объясняется большая часть тѣхъ щедротъ, которыми просвѣщенный императоръ осыпалъ университетъ, основанный имъ въ Неаполѣ. Но что Фридрихъ самъ дѣйствительно любилъ науку и понималъ ея пользу для общества — въ этомъ невозможно сомнѣваться.

Возьмемъ теперь другой портретъ, списанный съ того же лица страстнымъ гвельфомъ, флорентинскимъ историкомъ, Джіованни Виллани.

«Фридрихъ — говоритъ Виллани — былъ одаренъ великимъ мужествомъ и рѣдкими дарованіями; своей мудростью онъ былъ обязанъ столько же научнымъ занятіямъ, сколько и своему естественному благоразумію; свѣдущій во всякомъ дѣлѣ, онъ говорилъ на латинскомъ языкѣ, на нашемъ вульгарномъ (итальянскомъ), на нѣмецкомъ, на французскомъ, на греческомъ и на арабскомъ. Богатый добродѣтелями, онъ былъ великодушенъ, и къ этимъ дарованіямъ онъ присоединялъ еще изысканную вѣжливость. Какъ храбрый и мудрый воинъ, онъ былъ также очень страшенъ врагамъ. Но онъ слишкомъ жадно гонялся за чувственными наслажденіями; по обычаю сарациновъ, онъ держалъ множество наложницъ; подобно сарацинамъ, онъ окружалъ себя мамелюками; онъ предавался всѣмъ влеченіямъ чувствъ и велъ эпикурейскую жизнь, не признавая того, что какая-бы-то-ни было другая жизнь должна слѣдовать за этою. Именно это обстоятельство составляло главную причину, почему онъ сдѣлался врагомъ святой церкви».

Темныя черты обозначены въ этой характеристикѣ очень тщательно, а между тѣмъ о жестокости не сказано ни слова. Напротивъ того, Виллани именно хвалитъ его великодушіе и его рыцарскую вѣжливость (courtoisie). Весь тонъ этой характеристики, написанной страстнымъ гвельфомъ, показываетъ, что мы здѣсь имѣемъ дѣло съ личностью, выходящей изъ ряда вонъ и составлявшей гордость и украшеніе своего вѣка, съ такою грандіозной личностью, передъ которою преклонялись съ невольнымъ уваженіемъ даже ея политическіе противники. Папы не только отлучали Фридриха отъ церкви, но даже устроивали противъ него крестовые походы. Если бы можно было упрекнуть Фридриха въ жестокости, то конечно это обвиненіе красовалось бы на первомъ планѣ въ папскихъ буллахъ и воззваніяхъ. Папы всегда съ особеннымъ удовольствіемъ принимали на себя роль защитниковъ народной свободы, когда эта роль сколько нибудь согласовалась съ ихъ собственными выгодами. Но папскія буллы не упоминаютъ о жестокости Фридриха. Первое отлученіе, произнесенное въ 1227 году Григоріемъ IX, мотивировано тѣмъ, что императоръ нарочно, желая отдѣлаться отъ крестоваго похода, задержалъ крестоносцевъ въ самыхъ нездоровыхъ мѣстахъ южной Италіи, погубилъ ихъ заразительными болѣзнями и самъ притворился больнымъ, чтобы не ѣхать въ Палестину и свободно предаваться порочнымъ наслажденіямъ.

Второе отлученіе, произнесенное тѣмъ же Григоріемъ IX въ 1239 году, основано на томъ, что императоръ возбуждалъ въ Римѣ мятежи противъ папы, угнеталъ духовенство и преслѣдовалъ въ

Digitized by Google

своихъ владѣніяхъ нищенствующихъ монаховъ, обобралъ епископскія каѳедры, присвоилъ себѣ ихъ доходы и наконецъ подчинилъ себѣ земли, принадлежащія церкви.

Третье отлученіе произнесъ Иннокентій IV въ 1245 году на ліонскомъ соборѣ. Тутъ Фридриха обвиняли въ томъ, что онъ, будучи вассаломъ папы, въ качествѣ сицилійскаго короля, нарушилъ долгъ вѣрности въ отношеніи къ своему сюзерену, что онъ остановилъ нечестивымъ образомъ кардиналовъ и прелатовъ, отправлявшихся въ Римъ, на соборъ, что онъ не обращалъ вниманія на прежніе приговоры и отлученія и, слѣдовательно, провинился въ ереси, что наконецъ онъ ведетъ дружбу съ сарацинами и перенимаетъ ихъ обычаи.

Въ слѣдующемъ 1246 году папа послалъ въ сицилійское королевство двоихъ кардиналовъ съ порученіемъ возбудить возстаніе противъ Фридриха. Этимъ кардиналамъ были даны письма папы къ духовенству, къ дворянству, къ горожанамъ и къ поселянамъ королевства. «Многіе люди, писалъ папа въ своихъ воззваніяхъ, удивляются тому, что вы, подавленные позоромъ рабства, угнетенные въ вашихъ личныхъ и имущественныхъ правахъ, не стараетесь, подобно другимъ народамъ, добыть себѣ великое благо свободы. Но папскій престолъ извиняетъ васъ, принимая во вниманіе тотъ страхъ, который повидимому овладѣлъ вашими сердцами подъ господствомъ новаго Нерона; папа чувствуетъ въ отношеніи къ вамъ только состраданіе и отеческую нѣжность; онъ старается своимъ содѣйствіемъ облегчить ваши горести, или даже доставить вамъ радость полнаго освобожденія. Ищите съ вашей стороны, въ вашемъ сердцѣ, какимъ образомъ возможно было бы сбросить съ вашихъ рукъ цѣпь рабства, старайтесь, чтобы ваша община процвѣла въ свободѣ міра. Пусть распространится между народами молва, что ваше государство, отличающееся своимъ благородствомъ и своимъ восхитительнымъ плодородіемъ, при помощи божественнаго провидѣнія, соединяетъ также со всѣми остальными своими преимуществами славу обезпеченной свободы».

Тутъ папа называетъ Фридриха *новымъ Нерономъ* и проливаетъ слезы надъ страданіями его сицилійскихъ подданныхъ, но риторическое негодованіе и риторическій плачъ папы ровно ничего не доказываютъ, или доказываютъ только то, что папа хотѣлъ донимать императора и мытьемъ, и катаньемъ. Желая произвести возстаніе, папа, разумѣется, долженъ былъ съ ужасомъ говорить сицилійцамъ о цѣпяхъ рабства и о новомъ Неронѣ, но на самомъ дѣлѣ страданія сицилійцевъ были такъ мало замѣтны, что папа даже не упомянулъ о нихъ на ліонскомъ соборѣ, который однако же совѣщался о преступленіяхъ Фридриха всего за годъ до отправленія папскихъ революціонеровъ въ южную Италію. Въ жизни Фридриха встрѣчаются конечно такіе поступки, которые мы, съ нашей теперешней точки зрѣнія, должны признать жестокими, но въ которыхъ современники великаго императора видѣли мало предосудительнаго. Эти жестокіе поступки вытекали дѣйствительно не изъ звѣрскихъ свойствъ личнаго характера, а изъ ошибочности общепринятыхъ понятій. Человѣческая жизнь цѣнилась въ то время очень дешево. Уваженіе къ отдѣльной личности было очень слабо. Поэтому немудрено, что совершенно невинныя личности погибали очень часто за грѣхи своей партіи, или своего города. Такимъ образомъ, Фридрихъ казнилъ, какъ мы видѣли, Петра Тіеполо, миланскаго подесту, который самъ лично ни въ чемъ не былъ передъ нимъ виноватъ. Казнилъ онъ его не для того, чтобы потѣшиться его предсмертными мученіями или слезами его родственниковъ, а для того, чтобы наказать въ его лицѣ миланцевъ, на которыхъ онъ, Фридрихъ, былъ сердитъ за дѣло, и для того, чтобы оскорбить венеціанцевъ, которыми онъ также былъ недоволенъ. Когда Григорій IX въ 1240 году сталъ проповѣдывать противъ Фридриха крестовый походъ, то Фридрихъ за эту проповѣдь очень разсердился и на папу, и на всѣхъ его приверженцевъ. Въ пылу своего гнѣва императоръ приказалъ казнить смертью всякаго, кто попадется въ руки его солдатамъ съ крестомъ на одеждѣ. Приказаніе это конечно отзывается варварствомъ. Но мы, люди XIX вѣка, не имѣемъ никакого права указывать на него пальцами и вдаваться по этому случаю въ проявленія человѣколюбиваго негодованія. Такія же точно приказанія отдаются очень часто и выполняются съ буквальною вѣрностью даже въ наше просвѣщенное и любвеобильное время.

Каждое европейское правительство вмѣняетъ себѣ въ священную обязанность разстрѣливать или вѣшать на мѣстѣ преступленія каждаго мятежника, захваченнаго съ оружіемъ въ рукахъ. Если ямайскія событія возбудили во всей Европѣ и особенно въ Англіи самое искреннее неудовольствіе, то это произошло только отъ того, что на Ямайкѣ вѣшали, разстрѣливали и засѣкали до смерти безоружныхъ людей, которые никогда не были мятежниками. Если бы всѣ эти засѣченные, повѣшенные и разстрѣленные негры были дѣйствительно мятежниками, то никто изъ европейскихъ политиковъ и никто изъ писателей, кромѣ какихъ-нибудь заклятыхъ утопистовъ, не сказалъ бы ни одного худого слова—ни губернатору Эйру, ни его усерднымъ помощникамъ. Но вѣдь итальянскіе крестоносцы, поднявшіе оружіе противъ своего законнаго императора, были также мятежниками, и мятежъ ихъ былъ особенно опасенъ и заразителенъ именно потому, что онъ предпринимался

Digitized by Google

подъ покровительствомъ высшаго религіознаго авторитета. Знакъ креста, нашитый на платье, могъ считаться такою-же ясной уликой, какою считается въ наше время оружіе, захваченное въ рукахъ мятежника. Стало быть, вѣшая крестоносцевъ, Фридрихъ еще нисколько не обнаруживалъ въ себѣ такихъ наклонностей, за которыя его можно было бы назвать новымъ Нерономъ, или поставить рядомъ съ Эччелино III. Въ 1248 году Фридриху пришлось осаждать Парму, присоединившуюся въ это время къ гвельфской партіи. Какъ только разнеслось по сосѣднимъ городамъ извѣстіе о возмущеніи въ Пармѣ, такъ гибелины тотчасъ арестовали всѣхъ пармезановъ, служившихъ въ императорскомъ войскѣ и учившихся въ университетахъ гибелинскихъ городовъ. Всѣхъ этихъ людей, которые можетъ быть нисколько не сочувствовали парискому перевороту, обобрали до послѣдней нитки, заковали въ кандалы и отправили въ лагерь къ императору. Гибелины распорядились такимъ образомъ сами собою, безъ предварительнаго приказанія со стороны императора; мысль арестовать всѣхъ наличныхъ пармезановъ явилась разомъ у всѣхъ гражданъ нѣсколькихъ городовъ; эта мѣра всѣмъ казалась въ высшей степени простой, естественной и законной. Въ тогдашней политикѣ господствовалъ безъ малѣйшихъ ограниченій тотъ принципъ, что каждый гражданинъ, гдѣ бы онъ ни былъ и какъ бы онъ себя ни велъ, отвѣчаетъ своимъ имуществомъ и своей личностью за поведеніе своего отечества. Парма провинилась — значитъ всѣ пармезаны виноваты, и всѣхъ ихъ можно трактовать, какъ преступниковъ. Фридрихъ совершенно логично провелъ эту мысль дальше и началъ поступать съ колодниками, представленными въ его лагерь, такъ, какъ дѣдъ его, Барбаросса, поступалъ подъ стѣнами Тортоны съ тортонскими плѣнниками, подъ стѣнами Кремы съ кремскими заложниками. Онъ, въ виду осажденной Пармы, приказалъ казнить двоихъ парискихъ дворянъ и двоихъ простыхъ гражданъ, объявивъ при этомъ, что каждый день будутъ производиться такія же казни до тѣхъ поръ, пока осажденный городъ не согласится на безусловную сдачу. Но тутъ желѣзная логика императора столкнулась съ живымъ и горячимъ чувствомъ народной массы. Павійцы, служившіе въ арміи Фридриха, послали къ нему депутацію, которая выпросила у него помилованіе захваченныхъ пармезановъ. «Мы, говорили павійскіе воины, пришли драться съ пармезанами оружіемъ на полѣ сраженія, но мы не хотимъ сдѣлаться ихъ палачами». Фридрихъ не принялъ этой просьбы за бунтъ, и казни прекратились. Вотъ и всѣ жестокости, отмѣченныя исторіей въ царствованіе Фридриха II. Такія же точно жестокости можно найти и у Карла Великаго, и у Оттона Великаго, и у всѣхъ величайшихъ правителей, оставившихъ послѣ себя въ исторіи самую добрую память. Эти жестокости еще не объясняютъ намъ, почему Фридрихъ II оказывалъ постоянное покровительство такому образцовому негодяю, какъ Эччелино III.

Фридрихъ не любилъ мучить людей безъ надобности, но онъ въ значительной степени былъ одаренъ тѣмъ равнодушіемъ къ человѣческимъ страданіямъ, которое часто сопровождаетъ обширную политическую дѣятельность. Фридрихъ, подобно многимъ замѣчательнымъ полководцамъ и администраторамъ, привыкъ производить свои вычисленія и операціи надъ большими массами, въ которыхъ каждая отдѣльная личность со всѣми своими горестями и радостями тонула и исчезала, какъ незамѣтная пылинка. Для успѣха своего предпріятія, для того, чтобы одержать побѣду или взять осажденный городъ, Фридрихъ, какъ опытный и хладнокровный полководецъ, всегда готовъ былъ съ покойною небрежностью бросить на поле сраженія какую-нибудь лишнюю тысячу раздробленныхъ человѣческихъ головъ, отрубленныхъ рукъ и переломленныхъ ногъ. Для успѣха своихъ политическихъ спекуляцій, для того, чтобы разстроить интриги своихъ враговъ и сгруппировать вокругъ себя сильную партію, Фридрихъ, какъ многіе подобно ему умные и разсчетливые администраторы, точно также не прочь былъ, въ случаѣ надобности, поставить два, три десятка лишнихъ висѣлицъ, допустить несправедливое сооруженіе нѣсколькихъ костровъ, или уступить своимъ вѣрнымъ союзникамъ какую-нибудь ничтожную сотню темныхъ человѣческихъ существованій. Это опять-таки была не жестокость; это только сухая и холодная разсчетливость политическаго практика, разсчетливость, безъ которой самый геніальный администраторъ рискуетъ иногда остаться въ чистомъ проигрышѣ. Фридрихъ, котораго не мѣшало бы самого отдать подъ судъ и повести на костеръ за непочтительныя размышленія о неприкосновенныхъ истинахъ, Фридрихъ конечно зналъ очень хорошо, что еретиковъ не слѣдуетъ преслѣдовать и жарить; но могъ ли онъ въ самомъ дѣлѣ серьезно смущаться такою бездѣлицей, когда для него шло дѣло о высшихъ интересахъ, объ императорской коронѣ и о будущности его династіи? Что значили, въ сравненіи съ вопросомъ объ участи Гогенштауфеновъ, предсмертныя страданія двухъ, трехъ десятковъ, или сотенъ, или тысячъ невинныхъ и глубоко убѣжденныхъ чудаковъ? Если императоръ, осуждая ихъ на смерть, могъ на минуту поправить свое затруднительное положеніе и смыть съ себя упрекъ въ ереси, то позволительно ли было съ его стороны малѣйшее колебаніе?

Фридрихъ смотрѣлъ сквозь пальцы на па-

Digitized by Google

костныя продѣлки Эччелино по тому же самому побужденію, вслѣдствіе котораго многіе очень гуманные полководцы позволяли иногда своимъ солдатамъ грабить и разрушать до основанія взятые города. Полководецъ чувствовалъ, что солдаты ему необходимы, и поэтому старался иногда ублажать ихъ уступками, которыя, собственно говоря, находились въ сильнѣйшемъ разладѣ съ его личными убѣжденіями. То же самое можно сказать объ императорѣ Фридрихѣ и о его свирѣпомъ намѣстникѣ.

Чтобы отдать Фридриху полную справедливость, то есть, чтобы не взвести на него незаслуженно-тяжелаго обвиненія, надо принять въ разсчетъ то обстоятельство, что онъ, втеченіе всей своей жизни, находился почти постоянно въ самомъ затруднительномъ положеніи, боролся безъ отдыха за свою корону и удерживалъ ее на своей умной головѣ только безпрерывнымъ напряженіемъ своего непреклоннаго мужества и своихъ необыкновенныхъ дарованій. Гвельфскія республики Ломбардіи, подъ предводительствомъ Милана, подняли противъ него оружіе тогда, когда онъ, двадцатилѣтній юноша, находившійся подъ покровительствомъ папы Иннокентія III, своего бывшаго опекуна—только-что началъ добиваться императорскаго престола, ни въ чемъ не успѣлъ еще проявить свой характеръ и свой образъ мыслей и рѣшительно ничѣмъ не могъ оскорбить ломбардскихъ республиканцевъ. Гвельфскія республики ненавидѣли молодого Фридриха за грѣхи его дѣда, Барбароссы, котораго опустошительные походы были памятны всей Ломбардіи. Но Фридрихъ II конечно самъ не былъ виноватъ въ томъ, что его имя и его происхожденіе вызывали въ умѣ ломбардовъ мучительно-тяжелыя воспоминанія. Сдѣлавшись императоромъ, Фридрихъ также не подавалъ ни папѣ, ни ломбардамъ никакого серьезнаго повода къ неудовольствію. Въ сношеніяхъ съ папою онъ стоялъ на томъ, на чемъ стояли всѣ его предшественники, и папа былъ недоволенъ именно тѣмъ, что бывшій питомецъ Иннокентія III не позволяетъ духовной власти дѣлать новыя завоеванія и осуществлять теократическую мечту Гильдебранда. Въ своихъ сношеніяхъ съ ломбардами Фридрихъ никогда не нарушалъ констанскаго трактата, составлявшаго документальное основаніе тѣхъ правъ, которыми всего болѣе дорожили гвельфскія республики. Фридрихъ былъ даже такъ остороженъ, что, когда ему надо было короноваться, онъ пробрался изъ Германіи въ Римъ, не вступая на территорію тѣхъ республикъ, которыя были расположены къ нему враждебно. Въ этомъ случаѣ Фридрихъ дѣлалъ важную уступку, потому что констанскій договоръ положительно предоставлялъ выбранному императору право не только проходить черезъ земли итальянскихъ республикъ, но даже требовать съ нихъ, во время шествія въ Римъ, исправленія дорогъ, мостовъ и переправъ, и кормовыя деньги для арміи. Миланцы не обратили никакого вниманія на эту сдержанность новаго императора и, въ отвѣтъ на нее, сами рѣшительно нарушили констанскій договоръ, отказавшись выдать Фридриху желѣзную корону, на которую онъ, по всѣмъ основнымъ законамъ и установившимся обычаямъ, имѣлъ самое полное и безспорное право. Когда папа поссорился съ Фридрихомъ, тогда ломбарды окончательно закусили удила и по своей старой привычкѣ таскать изъ горячей золы каштаны для папскаго стола вступили въ непримиримую войну съ такимъ императоромъ, который не сдѣлалъ имъ ни малѣйшаго зла. Въ 1234 году они, завязавши сношенія съ мятежной партіей принца Генриха, нанесли императору такое оскорбленіе, котораго не простилъ бы имъ ни одинъ человѣкъ, находящійся на мѣстѣ Фридриха II. Въ 1236 году императоръ, какъ мы уже видѣли, вошелъ въ Ломбардію. Съ этого времени собственно и начинается постоянная война Фридриха съ республиканцами, тѣсный союзъ его съ Эччелино и быстрое возвышеніе послѣдняго, получившаго скоро возможность сбросить маску и запустить когти въ живое человѣческое тѣло. При всѣхъ своихъ дарованіяхъ Фридрихъ велъ войну съ республиканцами далеко не такъ счастливо, какъ это удавалось его дѣду. Фридрихъ II одержалъ, правда, двѣ важныя побѣды надъ своими врагами: одну въ 1237 году, при Кортенуова, гдѣ онъ лично самъ разбилъ миланцевъ,—другую въ 1241 году, на тосканскомъ морѣ, при Меларіи, гдѣ его приверженцы пизанцы одолѣли генуэзцевъ, которые везли на своихъ корабляхъ французскихъ прелатовъ въ Римъ, на соборъ, созванный папою Григоріемъ IX для торжественнаго суда надъ императоромъ, уже давно отлученнымъ отъ церкви. Но обѣ эти побѣды, очень важныя по своимъ послѣдствіямъ, не доставили Фридриху рѣшительнаго перевѣса надъ врагами, а только спасли его самого отъ паденія и позволили ему продолжать борьбу. Далѣе Фридриху удалось взять Виченцу, и его партія отворила ему ворота Падуи; но тутъ Эччелино, какъ хитрый шакалъ, выкралъ добычу изъ-подъ лапы могучаго льва. Взятіе Виченцы и Падуи повредило императору, потому что, значительно усиливъ его намѣстника, оно поставило Фридриха въ нѣкоторую зависимость отъ синьора Эччелино и принудило его одобрять или по крайней мѣрѣ пропускать безъ взысканія такія гнусности, на которыя онъ, при другихъ условіяхъ, не согласился бы смотрѣть благосклонно.

Кровавые подвиги Эччелино начинаются съ 1240 года, и съ этого же времени начинаются почти постоянныя неудачи Фридриха. Эти два

Digitized by Google

ряда явленій находятся въ причинной связи между собой. То есть, чѣмъ хуже шли дѣла императора, тѣмъ выше поднималъ свою скверную голову его намѣстникъ, тѣмъ свободнѣе онъ себя чувствовалъ и тѣмъ смѣлѣе давалъ онъ просторъ своей затаенной кровожадности. Въ послѣднее десятилѣтіе своего царствованія Фридрихъ дѣйствительно каждый годъ получалъ какой-нибудь ошеломляющій ударъ. Тутъ дѣйствительно было не до жиру, и если бы онъ въ это время вздумалъ укрощать своего намѣстника, то Эччелино, перескочивши въ лагерь его враговъ, могъ бы погубить его окончательно. А что Эччелино былъ въ высокой степени способенъ на самую черную неблагодарность и на самое безсовѣстное предательство, въ этомъ конечно не могъ сомнѣваться опытный и благоразумный человѣкъ, подобный Фридриху. У Эччелино была даже приготовлена постоянная лазейка въ гвельфскій лагерь, потому что его родной братъ, Альберикъ, былъ самъ новообращеннымъ гвельфомъ и поддерживалъ съ синьоромъ намѣстникомъ какія-то тайныя и чрезвычайно двусмысленныя сношенія, которыя, смотря по обстоятельствамъ, могли сдѣлаться очень опасными или для императора, или для гвельфовъ.

Положеніе Фридриха сдѣлалось особенно затруднительнымъ, начиная съ 1243 года, когда на папскій престолъ вступилъ Синибальдъ Фіеско, подъ именемъ Иннокентія IV. Домъ Фіеско, одинъ изъ знатнѣйшихъ въ Генуѣ, принадлежалъ постоянно къ гибелинской партіи, и Синибальдъ, будучи кардиналомъ, былъ вѣрнымъ и преданнымъ другомъ императора. Когда Фридрихъ узналъ о томъ, что Синибальдъ сдѣлался папой, онъ съ грустью сказалъ своимъ приближеннымъ: «я потерялъ усерднаго друга въ коллегіи кардиналовъ; вмѣсто него я вижу папу, который окажется моимъ злѣйшимъ врагомъ». Произнося эти слова, Фридрихъ обнаруживалъ поразительно вѣрное, тонкое и глубокое пониманіе людей вообще и данной эпохи въ особенности. Заранѣе отчаиваясь въ успѣхѣ переговоровъ, Фридрихъ употребилъ однакоже всѣ усилія, чтобы склонить новаго папу къ примиренію. Онъ даже попросилъ для своего старшаго сына руку одной изъ племянницъ Иннокентія. Но папа дѣйствительно былъ уже злѣйшимъ врагомъ императора; онъ не вѣрилъ его обѣщаніямъ, и въ то время, когда Фридрихъ велъ переговоры и соглашался на многія уступки, папа старался, черезъ своихъ нищенствующихъ монаховъ, составить заговоръ противъ его жизни. Заговоръ открылся. Фридрихъ поймалъ ту нить, которая однимъ концомъ своимъ находилась въ рукахъ папы. Иннокентій испугался за самого себя и рѣшился бѣжать изъ Италіи, боясь, чтобы его не потянули изъ Рима на очную ставку съ подосланными убійцами. 27 іюня 1244 г. папа, одѣвшись въ солдатское платье, сѣлъ на лошадь, выбрался тайкомъ изъ города Сутри поздно вечеромъ, и къ утру прискакалъ въ Чивитта-Веккію, сдѣлавши въ одну короткую лѣтнюю ночь слишкомъ сорокъ верстъ. Въ Чивитта-Веккіи онъ сѣлъ на приготовленныя генуэзскія галеры и поплылъ въ Геную. Изъ Генуи онъ поѣхалъ въ Ліонъ, подъ покровительство Людовика Святого, и тамъ созвалъ соборъ къ лѣту будущаго года. Этотъ необыкновенно-смѣлый и ловкій маневръ папы, убѣжавшаго верхомъ, съ чисто-юношеской быстротой и рѣшимостью, нанесъ Фридриху такой ударъ, отъ котораго онъ уже не могъ больше оправиться. Папа вдругъ сдѣлался непобѣдимымъ и неуязвимымъ. Изъ своего прекраснаго далека, недоступнаго для императорскихъ сарациновъ и нѣмцевъ, папа могъ, не подвергаясь ни малѣйшей опасности, волновать своими интригами и прокламаціями Италію и Германію, вооружать противъ Фридриха всѣхъ добрыхъ католиковъ, отвергать всѣ его мирныя предложенія и преслѣдовать его до тѣхъ поръ, пока онъ не откажется отъ престола за самого себя и за всю свою слишкомъ мужественную и даровитую династію. Пока папа жилъ во Франціи, у Фридриха не было никакихъ средствъ принудить его къ миру. Папскіе шпіоны и агенты, заговорщики и агитаторы, прикрытые монашескими рясами, свободно шныряли по всѣмъ владѣніямъ Фридриха, пробирались во всѣ закоулки его лагеря, вывѣдывали и разстроивали всѣ его планы, запугивали однихъ изъ его приверженцевъ, соблазняли и подкупали другихъ, портили все, что можно было испортить, и при этомъ оставались сами неуловимыми и неприкосновенными. Въ борьбѣ съ этими мелкими и тайными врагами у Фридриха опускались руки. Что онъ могъ съ ними сдѣлать? Махнуть на нихъ рукой и оставить ихъ безъ вниманія—тогда они, какъ термиты, источатъ и раскрошатъ всю его партію и отнимутъ у него всякую возможность защищаться. Преслѣдовать ихъ и выгнать изъ своихъ владѣній всѣхъ монаховъ—это будетъ хуже всего: тогда папа и гвельфы закричатъ на всю Европу, что императоръ отказался отъ католичества и перешелъ въ магометанство; и вся Европа повѣритъ имъ; повѣрятъ имъ даже сами гибелины, увидя, что католическое духовенство подвергается въ императорскихъ владѣніяхъ гуртовому преслѣдованію.

На ліонскомъ соборѣ главный повѣренный Фридриха, его любимецъ, его канцлеръ Петръ де-Винеисъ, не произнесъ ни слова въ защиту своего государя, котораго отцы собора поразили самыми торжественными проклятіями. Это загадочное молчаніе глубоко встревожило и огорчило Фридриха. Ему показалось, что измѣна прокрадывается къ нему во дворецъ и отни-

Digitized by Google

маетъ у него самыхъ полезныхъ и самыхъ надежныхъ его помощниковъ. Въ слѣдующемъ 1246 году Фридрихъ заподозрилъ Петра де-Винеисъ въ покушеніи на его жизнь, и старый канцлеръ, осужденный на казнь, разбилъ себѣ голову объ стѣну. Въ томъ же году открылся обширный заговоръ противъ жизни императора; въ него были замѣшаны знатнѣйшіе дворяне сицилійскаго королевства; почти всѣ эти заговорщики, идя на эшафотъ, сознались, что они дѣйствовали съ вѣдома и по желанію папы. Въ томъ же году нѣмецкіе князья, возбужденные папой, на мѣсто Фридриха, низложеннаго приговоромъ ліонскаго собора, выбрали себѣ въ короли Генриха, ландграфа тюрингенскаго, и новый король одержалъ побѣду надъ старшимъ сыномъ императора, Конрадомъ. Въ 1247 году Парма передалась гвельфамъ. Въ февралѣ 1248 года осажденные пармезаны сдѣлали такую отчаянную вылазку, что совершенно разбили императорскую армію, положили на мѣстѣ до 2000 сарациновъ и нѣмцевъ, захватили до 3000 плѣнниковъ, овладѣли всей казной Фридриха и сожгли городъ Витторію, который былъ основанъ Фридрихомъ во время осады. Въ это же самое время пришли изъ Германіи отъ Конрада самыя неутѣшительныя извѣстія. Генрихъ тюрингенскій былъ правда убитъ, но на его мѣсто нѣмецкіе гвельфы выбрали себѣ въ короли Вильгельма, графа голландскаго, который также дѣйствовалъ противъ Конрада очень искусно и удачно. Въ маѣ 1249 года болонцы разбили одну изъ императорскихъ армій при Фоссальтѣ и взяли въ плѣнъ начальника этой арміи, Энціо, побочнаго сына Фридриха, одного изъ самыхъ даровитыхъ его помощниковъ. Въ 1250 году Модена присоединилась къ гвельфской партіи. Наконецъ 13 декабря 1250 года Фридрихъ II умеръ, и папа перенесъ войну въ сицилійское королевство.

До какой степени плохо приходилось Фридриху въ послѣдніе годы его царствованія—это можно видѣть изъ тѣхъ предложеній, съ которыми онъ нѣсколько разъ безуспѣшно обращался къ Иннокентію IV.

Въ 1246 году Фридрихъ, въ присутствіи многихъ прелатовъ, подписалъ такое исповѣданіе вѣры, которое должно было снять съ него обвиненіе въ ереси. Это исповѣданіе было отправлено къ папѣ, но Иннокентій объявилъ, что онъ одинъ имѣетъ право изслѣдовать религіозныя убѣжденія императора, и что онъ готовъ его выслушать, если Фридрихъ, какъ кающійся грѣшникъ, явится самъ въ Ліонъ, къ папскому двору. Тутъ конечно имѣлось въ виду повтореніе Каносской сцены. Фридрихъ понималъ это, и однакоже согласился. Онъ отправился въ Ліонъ и уже доѣхалъ до Турина, какъ вдругъ до него дошло извѣстіе о возмущеніи Пармы. Тогда онъ поспѣшилъ назадъ, и свиданіе съ папой не состоялось. Еще прежде своей поѣздки въ Туринъ Фридрихъ предлагалъ папѣ миръ съ тѣмъ условіемъ, что онъ, императоръ, отправится со всѣми силами на востокъ для войны съ невѣрными. Когда папа не удовольствовался этимъ предложеніемъ, тогда Фридрихъ прибавилъ, что онъ обяжется никогда не возвращаться въ Европу и воевать съ невѣрными за моремъ до конца своей жизни. Фридрихъ желалъ только, чтобы его наслѣдство было упрочено за его дѣтьми; но при этомъ онъ соглашался, чтобы сицилійское королевство было отдѣлено отъ имперіи, такъ чтобы младшій его сынъ, Генрихъ, сдѣлался королемъ сицилійскимъ, а старшій, Конрадъ—королемъ германскимъ и императоромъ. Людовикъ Святой самымъ усерднымъ образомъ ходатайствовалъ передъ папой за императора и торжественно ручался папѣ за добросовѣстность Фридриха, но Иннокентій ничего не хотѣлъ слышать. Онъ смотрѣлъ на Фридриха такъ точно, какъ союзники въ 1815 году смотрѣли на Наполеона. Династія Гогенштауфеновъ должна была исчезнуть, такъ точно, какъ должна была исчезнуть династія Бонапарта.

Въ то самое время, когда Фридриха били на всѣхъ пунктахъ—его партія одерживала постоянныя побѣды только въ одномъ мѣстѣ, именно тамъ, гдѣ командовалъ Эччелино III. Этотъ человѣкъ, съ 1240 по 1250 годъ, совершенно обобралъ маркиза д'Эсте, взялъ у него неприступныя крѣпости Монтаньяну и Эсте, овладѣлъ родовымъ замкомъ Санъ-Бонифаціо, покорилъ города Фельтро и Беллуно, отнялъ нѣсколько укрѣпленныхъ мѣстечекъ у города Тревизы и вообще стеръ съ лица земли гвельфскую партію почти на всемъ пространствѣ веронской маркіи. Могъ ли же Фридрихъ подумать о томъ, чтобы огорчать слишкомъ тщательнымъ контролемъ такого драгоцѣннаго намѣстника? Да если бы онъ даже и захотѣлъ его контролировать, то хватило ли бы у него матеріальныхъ силъ на такое рискованное предпріятіе?—Вина Фридриха въ отношеніи къ несчастнымъ подданнымъ веронскаго тирана состоитъ въ томъ, что онъ, Фридрихъ, руководствуясь политическими разсчетами, взялъ къ себѣ въ помощники даровитаго негодяя, котораго онъ никогда не могъ уважать. Но когда начали развертываться ужасныя послѣдствія этой ошибки, тогда Фридрихъ уже врядъ ли былъ въ силахъ поправить дѣло.

Главная причина зла заключалась не въ личныхъ свойствахъ Фридриха, а въ томъ обстоятельствѣ, что у него, какъ у многихъ другихъ правителей, были свои личные интересы, которые могли идти и очень часто дѣйствительно шли въ разрѣзъ съ существенными потребностями его народовъ и съ общими интересами всего человѣчества. Его цѣль состояла въ томъ,

Digitized by Google

чтобы удержать корону и потомъ передать ее старшему сыну. Этою цѣлью оправдывались средства. А въ числѣ средствъ попадались и такія распоряженія, изъ которыхъ при благопріятныхъ условіяхъ могла развернуться грязная и безсмысленная тираннія Эччелино.

XXII.

Иннокентій IV.

Узнавши о смерти Фридриха II, Иннокентій громко выразилъ свою радость и тотчасъ протянулъ руку къ оставшемуся наслѣдству. «Да возрадуются небеса, и земля да возвеселится!— писалъ папа къ сицилійскому духовенству. — Громъ и буря, которыми всесильный Богъ грозилъ такъ долго вашимъ головамъ, смертью этого человѣка превратились въ прохладительные зефиры и въ оплодотворяющія росы». «Съ согласія нашихъ братьевъ кардиналовъ — писалъ папа вслѣдъ затѣмъ къ городу Неаполю — мы приняли ваши особы, ваше имущество и самый городъ вашъ подъ покровительство Святѣйшаго Престола, постановивъ, что онъ (городъ) останется на вѣчныя времена въ непосредственной зависимости отъ него (престола), и что церковь никогда не предоставитъ верховной власти или какихъ либо правъ надъ нимъ никакому императору, королю, герцогу, князю, или графу, или какому бы то ни было другому лицу».

Чтобы сколько нибудь понять эти размашистыя притязанія папы на Неаполь, надо припомнить, что норманны, завоевавшіе южную Италію, въ половинѣ XI вѣка взяли въ плѣнъ папу Льва IX, а потомъ, бросившись передъ нимъ на колѣни, добровольно признали себя вассалами папскаго престола.

Съ того времени прошло двѣсти лѣтъ и совершилось много перемѣнъ и въ Италіи, и въ Европѣ, но такъ какъ папы держатся того правила, что ихъ права на огнѣ не горятъ и въ водѣ не тонутъ, то они и считали себя постоянно законными собственниками сицилійскаго королевства и пожелали вступить во владѣніе, какъ только представился удобный случай.

Въ началѣ весны 1251 года Иннокентій IV отправился изъ Ліона въ Италію, чтобы осуществить свои завоевательныя фантазіи. Въ Генуѣ къ нему явились депутаты отъ всѣхъ гвельфскихъ городовъ Ломбардіи. Всѣ эти города убѣдительно просили папу заѣхать къ нимъ, чтобы они могли выразить ему всю свою признательность за то постоянство и мужество, съ которымъ онъ велъ борьбу противъ общаго врага церкви и свободы. Ломбардскіе гвельфы съ добродушнымъ восторгомъ благодарили и превозносили папу за то, что онъ хорошо защищалъ свои интересы и очень искусно пользовался ими, гвельфами, какъ орудіями для достиженія своихъ собственныхъ цѣлей. Папа очень милостиво принималъ выраженія ихъ восторженной признательности и благосклонно согласился показать свою особу жителямъ ломбардскихъ городовъ. Начался длинный рядъ торжественныхъ встрѣчъ, парадныхъ въѣздовъ, оглушительныхъ криковъ и великолѣпныхъ процессій. Миланцы, чтобы почтить папу чѣмъ нибудь совершенно необыкновеннымъ, приказали знатнѣйшимъ изъ своихъ дворянъ нести надъ Иннокентіемъ, во время его въѣзда, особаго рода навѣсъ, покрытый роскошными шелковыми матеріями. Эта выдумка понравилась папѣ, и съ этихъ поръ такой навѣсъ или *балдахинъ* сталъ употребляться при религіозныхъ церемоніяхъ. Миланцы два мѣсяца удерживали папу въ своемъ городѣ; старались выразить ему всевозможными демонстраціями силу и пламенность своего гвельфизма, и даже въ знакъ особеннаго уваженія предоставили Иннокентію право назначить имъ подесту на текущій годъ.

Папа принималъ всѣ эти любезности, какъ должное, съ невозмутимо-величественнымъ хладнокровіемъ, и самъ требовалъ, во имя церкви, болѣе существенныхъ доказательствъ покорности и благочестія. Уѣхавъ изъ Милана въ Брешію, онъ написалъ къ миланскому архіепископу, что подеста и городскіе совѣты нарушаютъ иногда права духовнаго сословія, и что архіепископъ долженъ поддерживать эти права съ неутомимой и неумолимой энергіей, поражая республику, въ случаѣ надобности, самыми тяжелыми духовными наказаніями. Одно изъ тѣхъ ужасныхъ злоупотребленій, противъ которыхъ Иннокентій приказывалъ архіепископу дѣйствовать проклятіями и интердиктами, состояло въ томъ, что городское начальство, разсчитывая на безкорыстіе монаховъ, поручало нѣкоторымъ изъ нихъ собирать установленныя пошлины у воротъ съ нѣкоторыхъ товаровъ. Призывая такимъ образомъ монаховъ къ общественной службѣ, миланцы показывали ясно, что они смотрятъ на нихъ, какъ на гражданъ; этого папа никакъ не могъ допустить; миланцы должны были преклоняться передъ монахами, какъ передъ избранными существами, воспарившими духомъ надъ всѣми мелкими заботами и трудами человѣческаго общества.

Ломбардскіе гибелины присмирѣли и пріуныли послѣ смерти императора. Городъ Лоди, стѣсненный оружіемъ миланцевъ, присоединился даже къ гвельфскому союзу. Павія заключила съ Миланомъ миръ, который впрочемъ продержался недолго. Никто изъ гибелиновъ не думалъ нападать на папу во время его разъѣздовъ по Ломбардіи. Если бы папѣ вздумалось заѣхать въ который нибудь изъ гибелинскихъ городовъ, то его приняли бы съ радостью и съ величайшимъ уваженіемъ. Но Иннокентій не хотѣлъ

Digitized by Google

оказывать такую честь такъ называемымъ врагамъ церкви Чтобы не прикоснуться своими священными подошвами къ нечестивой землѣ Кремоны и Піаченцы, папа сдѣлалъ большой крюкъ и поѣхалъ изъ Милана въ церковную область на Брешію, на Мантую, на Феррару и на Болонью. Земля Піаченцы очень недавно сдѣлалась нечестивою, именно съ той минуты, какъ Парма обратилась на путь истины. Эти два города ненавидѣли другъ друга очень давно, и никакъ не могли стоять вмѣстѣ подъ однимъ знаменемъ. Какъ только Парма передалась гвельфамъ, такъ Піаченца немедленно перескочила въ гибелинскій лагерь, изъ ненависти къ Пармѣ, и для того, чтобы по прежнему вести съ ней постоянную войну. Этотъ случай можетъ служить подтвержденіемъ тѣхъ мыслей, которыя были высказаны мною о гвельфахъ и гибелинахъ въ XVIII главѣ.

Когда ломбарды посмотрѣли вблизи на своего возлюбленнаго папу, тогда температура ихъ гвельфской восторженности понизилась на значительное число градусовъ. Они начали думать, что, хотя они и гвельфы, однако все-таки не слѣдуетъ же имъ одобрять безусловно теократическія фантазіи папы и содѣйствовать своимъ слѣпымъ усердіемъ осуществленію этихъ фантазій, къ которымъ они всегда чувствовали самое искреннее и непобѣдимое отвращеніе. Они видѣли, что папа принимаетъ въ отношеніи къ ихъ правительствамъ черезчуръ повелительный тонъ и слишкомъ ревностно заботится о такой свободѣ церкви, при которой клерикальная корпорація очутилась бы выше всякихъ законовъ и могла бы хозяйничать въ республикахъ по своему произволу. Эти наблюденія понемногу наводили гражданъ, дорожившихъ самостоятельностью родного города, на ту мысль, что гибелины, сопротивлявшіеся приказаніямъ римскаго первосвященника, могли быть въ то же время добрыми католиками и честными патріотами. Во время самой ожесточенной борьбы партій большинство народа состоитъ обыкновенно изъ такихъ людей, которымъ побѣда той или другой стороны не принесетъ ни личной выгоды, ни личнаго убытка. Это большинство не остается равнодушнымъ зрителемъ борьбы, но въ то же время не дѣлается также разъ навсегда заклятымъ приверженцемъ той или другой стороны. Это большинство заботится преимущественно о томъ, чтобы прожить на свѣтѣ безъ особенныхъ напастей и при этомъ не загубить души своей какимъ нибудь смертнымъ грѣхомъ. Во время политической борьбы это безцвѣтное большинство колеблется изъ стороны въ сторону, смотря по тому, которая изъ партій кажется ему въ данную минуту болѣе честной въ своихъ стремленіяхъ, болѣе способной упрочить общее благосостояніе и менѣе замаранной насильственными и несправедливыми поступками. Въ итальянскихъ городахъ масса никогда не принадлежала ни къ яростнымъ гвельфамъ, ни къ заклятымъ гибелинамъ, и также никогда не оставалась нейтральной. Масса очень добросовѣстно желала своей родинѣ всевозможнаго благополучія и всегда старалась дѣлать то, что казалось ей справедливымъ и честнымъ. Когда императоръ грозилъ республикѣ порабощеніемъ, или когда монахи кричали на всѣхъ перекресткахъ о невыносимыхъ страданіяхъ церкви, тогда масса, желая спасать свою родину и свою душу, со всего размаха кидалась въ необузданный гвельфизмъ. Потомъ, когда побѣда надъ императорской партіей оказывалась слишкомъ хорошо одержанной, когда опасность начинала угрожать со стороны папы, когда клерикалы и другіе коноводы гвельфской партіи старались раздавить своихъ побѣжденныхъ враговъ и подчинить республики своему полновластному господству,—тогда въ рядахъ побѣдившей стороны обнаруживалось колебаніе: масса пятилась назадъ отъ тѣхъ знаменъ, подъ которыми она недавно сражалась съ полнымъ усердіемъ; въ общественномъ мнѣніи совершался переворотъ: наступала реакція въ пользу униженныхъ гибелиновъ. Этими колебаніями воспитывались понемногу политическія убѣжденія массы, которая мало по малу выучивалась понимать, что ни римскій папа, ни германскій императоръ не могутъ считаться компетентными судьями при рѣшеніи вопроса о томъ, что для нея полезно и что вредно, что справедливо и что безчестно. Это отрезвленіе массъ покупалось очень дорогой цѣной, но за него стоило платить дорого, потому что безъ него невозможно никакое серьезное движеніе впередъ.

Въ Миланѣ, послѣ проѣзда папы, и въ особенности послѣ его внушительнаго письма къ архіепископу, гибелинская реакція приняла такіе значительные размѣры, что въ 1253 году миланцы признали на три года своимъ генералъ-капитаномъ усерднаго гибелина, маркиза Ланчіа Монферратскаго, съ тѣмъ чтобы онъ, для усиренія мѣстныхъ дворянъ, держалъ въ городѣ отрядъ изъ1000 иногородныхъ всадниковъ. Маркизъ Ланчіа самъ не пріѣхалъ въ Миланъ, но прислалъ требуемый отрядъ и втеченіе трехъ лѣтъ назначалъ каждый годъ подесту, который распоряжался въ Миланѣ отъ его имени.

Этотъ маркизъ Ланчіа былъ роднымъ дядей Манфреда, побочнаго сына императора Фридриха II. Послѣ императора осталось пятеро сыновей—двое законныхъ, Конрадъ и Генрихъ, и трое побочныхъ, Манфредъ, Фридрихъ и Энціо. По завѣщанію императора, Конрадъ долженъ былъ получить обѣ короны—германскую и сицилійскую. Если бы Конрадъ умеръ бездѣтнымъ, то обѣ короны должны были перейти

Digitized by Google

къ Генриху *), и еслибы Генрихъ также не оставилъ дѣтей, то ему долженъ былъ наслѣдовать Манфредъ.

Въ минуту смерти Фридриха II Конрадъ находился въ Германіи, а Манфредъ въ южной Италіи, гдѣ онъ очень искусно и успѣшно усмирялъ возстанія, возбужденныя въ разныхъ мѣстахъ сицилійскаго королевства папскими эмиссарами. Осенью 1251 года Конрадъ вошелъ въ Италію съ нѣмецкой арміей, объѣхалъ гибелинскіе города веронской мархіи, получилъ отъ синьора Эччелино сильное подкрѣпленіе, и, не желая пробиваться черезъ территоріи гвельфскихъ республикъ, поѣхалъ въ свое силиційское королевство по Адріатическому морю. Довершивъ усмиреніе южной Италіи, Конрадъ послалъ къ папѣ торжественное посольство, прося его назначить по собственному благоусмотрѣнію тѣ условія, на которыхъ онъ соглашается предоставить ему обѣ короны, сицилійскую и императорскую. Со стороны папы не воспослѣдовало никакого благоусмотрѣнія и никакихъ условій. Папа просто хотѣлъ взять себѣ сицилійское королевство и отнять германскій престолъ у швабской династіи. Послы Конрада ушли отъ папы ни съ чѣмъ. Тутъ и многіе гвельфы призадумались. Они никакъ не могли сообразить, въ чемъ виноватъ передъ папой молодой король, только-что вступившій на престолъ и заранѣе готовый принять всѣ условія его святѣйшества. Имъ также очень трудно было объяснить себѣ, какимъ это образомъ интересы католической религіи налагаютъ на папу священную обязанность завоевывать въ свою пользу сицилійское королевство.

Одними воззваніями и проповѣдями папа и его монахи никакъ не могли составить партію, способную побѣдить нѣмцевъ и сарациновъ, Конрада и Манфреда. Чтобы выгнать изъ южной Италіи дѣтей Фридриха II, надо было бросить сицилійскую корону какому нибудь иностранному искателю приключеній. Папа обратился къ брату англійскаго короля Генриха III, графу Ричарду Корнуэльскому. Ричардъ отказался на томъ основаніи, что младшій сынъ Фридриха II, Генрихъ, былъ по своей матери его роднымъ племянникомъ. Въ то время, когда шли эти переговоры между папой и Ричардомъ, племянникъ послѣдняго, молодой Генрихъ, скоропостижно умеръ. Папскіе агенты тотчасъ распустили слухъ, что его отравилъ Конрадъ. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ Конрадъ также умеръ. Папа въ этой смерти усмотрѣлъ также дѣйствіе яда и обвинилъ Манфреда. Чтобы раздавить швабскую династію въ общественномъ мнѣніи, пылкая фантазія клерикаловъ создала цѣлую сѣть самыхъ неправдоподобныхъ преступленій. Фридрихъ II, по ихъ словамъ, уморилъ двоихъ дѣтей своего старшаго сына Генриха, того, который потомъ бунтовалъ; Манфредъ задушилъ подушками своего отца Фридриха II, когда тотъ лежалъ больной въ постели, потомъ Конрадъ отравилъ своего брата Генриха младшаго, и наконецъ Манфредъ отправилъ Конрада. Тутъ опять папа, съ свойственной ему отважностью, пересолилъ и испортилъ все дѣло. Ужасовъ оказалось до такой степени много, что только однѣ старыя бабы приняли ихъ за чистую монету. Разсудительные-же люди пожали плечами, улыбнулись и приняли къ свѣдѣнію, что клерикалы умѣютъ преслѣдовать своихъ враговъ самыми неблаговидными средствами.

Послѣ Конрада остался трехлѣтній сынъ Конрадинъ. Опекунъ этого ребенка, маркграфъ фонъ-Гохбергъ, попробовалъ обратиться къ великодушію папы и постарался увѣрить его въ томъ, что трехлѣтній мальчикъ не могъ еще сдѣлать никакого преступленія, что у него не за что отнимать отцовское наслѣдство, что его можно будетъ воспитать, какъ прикажетъ самъ папа, и что, стало быть, онъ навѣрное будетъ самымъ благочестивымъ и покорнымъ изъ всѣхъ возможныхъ императоровъ и сицилійскихъ королей. Всѣ старанія Гохберга пропали даромъ: Иннокентія IV ничѣмъ нельзя было пронять. Онъ очень откровенно отвѣчалъ нѣмецкимъ посламъ, что беретъ себѣ сицилійское королевство, и что впослѣдствіи, когда Конрадинъ выростетъ, онъ, папа, самъ увидитъ и рѣшитъ, можно-ли будетъ оказать этому молодому человѣку какую-нибудь милость.

Въ это время у папы были завязаны переговоры насчетъ сицилійскаго королевства съ четырьмя претендентами—съ Ричардомъ Корнуэльскимъ, съ Эдмундомъ, сыномъ англійскаго короля Генриха III, съ опекуномъ Конрадина и съ братомъ Людовика Святого, Карломъ Анжуйскимъ, который впослѣдствіи дѣйствительно завоевалъ южную Италію и Сицилію. Всѣхъ этихъ просителей папа оставилъ ни при чемъ. Разсчитывая на ту путаницу, которую должна была произвести смерть Конрада въ только-что усмиренномъ королевствѣ, Иннокентій обратился къ неугасшему усердію гвельфскихъ республикъ Ломбардіи, Тосканы и анконской мархіи, набралъ отрядъ въ Генуѣ, и, составивъ наскоро довольно сильную армію изъ всевозможныхъ охотниковъ до грабежа и до дешевыхъ индульгенцій, самъ повелъ своихъ солдатъ въ непріятельскія области. Гохбергъ, не зная что дѣлать, передалъ верховную власть Манфреду. Манфредъ подумалъ, что всего благоразумнѣе будетъ покориться папѣ и потомъ, выждавъ удобный случай, взять назадъ сдѣланныя ему уступки. Манфредъ пошелъ на встрѣчу къ папѣ, выра-

*) Это не тотъ Генрихъ, который бунтовалъ противъ своего отца. Тотъ умеръ въ тюрьмѣ еще при жизни Фридриха II. А этотъ Генрихъ остался послѣ отца несовершеннолѣтнимъ.

Digitized by Google

зивъ ему свою полную покорность, порадовался тому, что законный сюзеренъ пріѣхалъ самъ осматривать свое королевство,—и собственноручно перевелъ лошадь папы черезъ рѣку Гарильяно, составлявшую сѣверную границу сицилійской территоріи. Папѣ и этого было мало. За нимъ ѣхали сицилійскіе магнаты, изгнанные изъ королевства при Фридрихѣ и при Конрадѣ. Эти господа смотрѣли на Манфреда черезъ плечо, не кланялись ему при встрѣчѣ и не скрывали своего намѣренія обращаться съ потомками и съ приверженцами Фридриха, какъ съ побѣжденными врагами католической церкви и законнаго правительства. Папа своими собственными поступками поддерживалъ всѣ надежды бывшихъ изгнанниковъ. Онъ отобралъ у Манфреда значительную часть его помѣстій и передалъ ихъ одному изъ возвратившихся эмигрантовъ, личному врагу Манфреда, Борелло д'Англоне.

Вскорѣ послѣ этого Манфредъ и Борелло встрѣтились на дорогѣ; оба были злы другъ на друга; у обоихъ оружіе было подъ рукою; у обоихъ была подъ начальствомъ толпа задорныхъ и храбрыхъ воиновъ; при встрѣчѣ началась перебранка, потомъ завязалась драка; потомъ Борелло, смертельно раненый, свалился съ лошади; дѣло вышло, по-тогдашнему, очень простое, совершенно извинительное и гораздо болѣе похожее на импровизованную дуэль, чѣмъ на убійство. Еслибы англійскимъ присяжнымъ предложили, по этому случаю, вопросъ: виновенъ-ли Манфредъ въ преднамѣренномъ убійствѣ? то они навѣрное отвѣтили бы: невиновенъ. Но папа объявилъ, что онъ будетъ судить Манфреда, какъ убійцу. Папа съ особеннымъ удовольствіемъ собирался вздернуть на висѣлицу сына Фридриха, отчасти для того, чтобы наглядно изобразить свое полное презрѣніе къ правамъ швабской династіи, отчасти же для того, чтобы этимъ ударомъ избавиться отъ самаго даровитаго и единственнаго опаснаго изъ своихъ противниковъ. Здѣсь опять Иннокентій зарвался слишкомъ далеко и своею непомѣрною горячностью испортилъ дѣло. Манфредъ не былъ расположенъ повиноваться папѣ до висѣлицы включительно. Манфредъ бѣжалъ отъ своихъ преслѣдователей и пробрался глухими проселками въ городъ Лучерію, къ сарацинамъ, которые боготворили память индифферентиста Фридриха и конечно не могли ожидать себѣ ничего хорошаго отъ папскаго правительства. Въ Лучеріи Манфредъ нашелъ и деньги, и армію. Черезъ нѣсколько дней послѣ своего прибытія къ сарацинамъ Манфредъ разсѣялъ двѣ папскія арміи, приблизившіяся къ Лучеріи. Но Иннокентій уже не получилъ извѣстія объ этихъ неудачахъ. Когда разбитые папскіе полководцы отступили къ Неаполю, они узнали, что папа, находившійся въ этомъ городѣ, недавно скончался. Манфредъ сдѣлался сицилійскимъ королемъ и процарствовалъ больше десяти лѣтъ, съ 1255 до 1266 года.

Иннокентія IV можно назвать однимъ изъ самыхъ замѣчательныхъ разрушителей средневѣковаго уклада. Съ тѣхъ поръ какъ онъ сѣлъ на папскій престолъ, вся его жизнь была постоянной, напряженной и неумолимой борьбой. Онъ не давалъ пощады ни раскаянію, ни покорности, ни даже младенческой невинности. Онъ преслѣдовалъ своихъ враговъ за предѣлами гроба. Онъ мстилъ дѣтямъ и внукамъ за грѣхи отцовъ и дѣдовъ. Онъ хватался безъ разбору за всѣ средства, какія только попадались ему подъ руку. Кровопролитная война, революціонныя воззванія, подкупъ, клевета, кинжалъ и ядъ заговорщиковъ или наемныхъ убійцъ — все шло въ дѣло, все было одинаково хорошо для папы, лишь бы только наносило сильный вредъ отверженной династіи Гогенштауфеновъ. Нравственная неразборчивость и неистощимая энергія Иннокентія IV расшатали до основанія старое зданіе священной римской имперіи и въ то же время значительно ускорили неизбѣжное паденіе папскаго могущества. Тѣ героическія средства, за которыя ухватился Иннокентій, вредили почти одинаково сильно и тому, противъ кого они были направлены, и тому, кто ими пользовался. Сдѣлавшись самымъ горячимъ и дѣятельнымъ коноводомъ партіи, главою сицилійскихъ мятежниковъ, подстрекателемъ заговорщиковъ, распространителемъ ложныхъ слуховъ—папа могъ одержать и дѣйствительно одержалъ надъ своими врагами нѣсколько важныхъ побѣдъ, которыя погубили династію Гогенштауфеновъ, но всѣ эти побѣды покупались цѣною того благоговѣнія, которое чувствовала католическая Европа къ своему первосвященнику и которое, разумѣется, составляло единственное возможное основаніе папскаго могущества.

Это благоговѣніе было значительнымъ капиталомъ, съ котораго папы, при нѣкоторой умѣренности, могли бы получать, изъ году въ годъ, втеченіе многихъ столѣтій, очень хорошіе проценты. Конечно, распространеніе знаній и возрастающая быстрота умственнаго движенія современемъ уничтожили бы этотъ капиталъ. Но если бы сами папы умѣли быть бережливыми, то они могли бы въ значительной степени замедлить умственное освобожденіе Европы и удержать за собой, на очень долгое время, огромное вліяніе на весь ходъ европейской политики и на все развитіе европейской мысли. Къ счастью, такая систематическая бережливость была невозможна. Папы выходили изъ того общества, которое давало всѣмъ своимъ страстямъ самый широкій просторъ. Какой-нибудь графъ Синибальдъ Фіеско смотрѣлъ на жизнь, на человѣческія общества и на текущую политику съ той же точки зрѣнія, на ко-

Digitized by Google

торой стоялъ какой-нибудь маркизъ д'Эсте или синьоръ ди-Романо. Становясь папой, онъ конечно не могъ вдругъ переродиться. Онъ оставался человѣкомъ своего времени, человѣкомъ страстнымъ, близорукимъ и глубоко убѣжденнымъ въ неистощимости того капитала, который отдавался въ его распоряженіе. Онъ наслаждался своей властью до самозабвенія. Онъ не умѣлъ и не хотѣлъ отличать капиталъ отъ процентовъ. Онъ тратилъ капиталъ такъ беззаботно и смѣло, какъ будто бы списокъ папъ долженъ былъ закончиться его именемъ. Онъ дѣлалъ это не изъ равнодушія къ судьбѣ папства, не по тому побужденію, вслѣдствіе котораго Людовикъ XV, чувствуя близость переворота, говорилъ съ пріятной улыбкой: Après moi le déluge! — Нѣтъ. Забіяка, сдѣлавшійся папой, нисколько не думалъ о далекомъ будущемъ, пребывая въ той утѣшительной и несокрушимой увѣренности, что это будущее, вплоть до самаго свѣтопреставленія, во всѣхъ своихъ существенныхъ чертахъ, будетъ неизмѣнно-вѣрнымъ повтореніемъ настоящаго. Волнуя всю католическую Европу проклятіями, интердиктами и крестовыми походами, изъ-за такихъ вопросовъ, которые не имѣли ничего общаго съ дѣйствительными потребностями религіи и церкви, желая превратить каждую свою прихоть въ общеобязательный законъ, буйные папы, подобные Иннокентію IV, были твердо увѣрены въ томъ, что ихъ преемники, вплоть до свѣтопреставленія, сохранятъ способность принимать такія же крутыя мѣры, наводить такой же ужасъ на цѣлыя государства проклятіями и интердиктами, собирать такія же многочисленныя толпы хищныхъ крестоносцевъ и такъ же безнаказанно предаваться удовлетворенію личныхъ прихотей. Имъ никогда не приходило въ голову, что самое острое и превосходно-закаленное оружіе можетъ притупиться и попортиться отъ слишкомъ частаго и безалабернаго употребленія. Въ жизни тогдашняго общества показывались уже такіе признаки, надъ которыми папамъ стоило призадуматься, но эти признаки, эти грозные *знаки времени* понимаются всегда совершенно превратно тѣми людьми, которымъ выгодно вѣрить въ вѣчную неподвижность человѣческой мысли.

Папамъ случалось замѣчать не разъ, что ихъ энергическія мѣры производятъ несовсѣмъ то впечатлѣніе, на которое они разсчитывали. Случалось напримѣръ, что отлученные отъ церкви, отъ которыхъ, по настоящему, каждый добрый католикъ долженъ былъ бѣжать, какъ отъ зачумленныхъ, возбуждали состраданіе и сочувствіе въ такихъ людяхъ, которыхъ невозможно было заподозрить ни въ еретическомъ образѣ мыслей, ни въ религіозномъ индифферентизмѣ. Если бы папа, въ пылу боевого задора, былъ способенъ восходить отъ частныхъ явленій къ общимъ причинамъ, то подобные факты, встрѣчавшіеся очень часто, должны были бы навести его на ту мысль, что папскія проклятія понемногу утрачиваютъ свою силу, и что, разсыпая ихъ слишкомъ щедрой рукой, можно окончательно уронить ихъ значеніе. Но папа останавливался всегда на частномъ явленіи и нисколько не принималъ его за симптомъ, указывающій на общее положеніе умовъ. Отлученіе не подѣйствовало—ну, значитъ надо пустить въ ходъ какое-нибудь другое средство, поэффектнѣе и посильнѣе; одна палка сломалась—такъ стоитъ ли разсуждать о томъ, отчего она сломалась, и что значитъ это происшествіе; надо поскорѣе взять другую палку потолще и покрѣпче. Главное дѣло — обработать непріятелю бока; а какой палкой это будетъ сдѣлано, и сколько палокъ будетъ на это истрачено—объ этомъ незачѣмъ задумываться. Понятно, что при такомъ исключительно-воинственномъ взглядѣ на дѣло, папы дѣйствовали какъ разъ наперекоръ тѣмъ указаніямъ, которыя они, при глубокомъ размышленіи, могли бы извлечь для себя изъ знаковъ времени. Эти знаки говорили имъ о необходимости сократить расходы и о возможности убить весь капиталъ католическаго благоговѣнія; а папы видѣли только, что въ данномъ случаѣ надо прикрикнуть и пріударить, то есть, усилить расходы для полученія желаемаго эффекта. При такой системѣ хозяйства, папы на всѣхъ парусахъ летѣли къ неизбѣжному банкротству, и мыслящій историкъ долженъ за это изъявлять свою искреннюю благодарность тѣмъ энергическимъ людямъ, которые подобно Иннокентію IV своими трудами и подвигами приближали минуту этого банкротства, необходимаго для умственнаго освобожденія Европы.

Однимъ изъ самыхъ выразительныхъ знаковъ времени, по обыкновенію непонятыхъ папою, было поведеніе благочестиваго французскаго короля, Людовика IX, котораго католическая церковь причислила къ лику святыхъ. По чистотѣ и пылкости своего католическаго усердія, Людовикъ IX, въ XIII столѣтіи, былъ тѣмъ, чѣмъ была въ XI вѣкѣ графиня Матильда, вѣрная союзница Григорія VII. Вся политика Людовика IX была подчинена чисто-нравственнымъ и религіознымъ соображеніямъ. Цѣль его жизни состояла въ томъ, чтобы всегда и вездѣ быть послушнымъ сыномъ церкви. Но, не смотря на всѣ старанія папы натравить его на императора Фридриха, Людовикъ IX во все время борьбы соблюдалъ самый строгій нейтралитетъ. Когда папа пріѣхалъ во Францію, Людовикъ принялъ его самымъ почтительнымъ образомъ и не помѣшалъ ему собирать въ Ліонѣ тотъ соборъ, на которомъ Фридриха отлучили отъ церкви. Но когда папа произнесъ этотъ приговоръ, Людовикъ не отшатнулся отъ импера-

Digitized by Google

тора, не прервалъ съ нимъ дружескихъ сношеній, и, не осуждая поведенія папы, ходатайствовалъ передъ нимъ постоянно за отлученнаго Фридриха, не смотря на то, что приговоръ Ліонскаго собора подвергалъ отлученію всѣхъ тѣхъ людей, которые будутъ оказывать императору какое бы то ни было содѣйствіе или доброжелательство. Заступничество Людовика было, правда, въ высшей степени скромно и почтительно; онъ ограничивался тѣмъ, что передавалъ папѣ миролюбивыя предложенія императора; но уже и того было довольно, что Людовикъ IX, этотъ послѣдній изъ крестоносцевъ, не считалъ возможнымъ для себя стать рѣшительно на сторону папы и сражаться за его дѣло всѣми силами своего оружія. Уже одно это обстоятельство могло показать папѣ, что его насильственными поступками возмущается совѣсть самыхъ честныхъ людей и самыхъ покорныхъ католиковъ его времени. Иннокентій не осмѣлился дѣйствовать противъ Людовика IX церковными проклятіями, но за то и не обратилъ никакого вниманія на тотъ урокъ, который заключался въ его нейтралитетѣ. Возмутивъ совѣсть святого короля неумолимымъ преслѣдованіемъ, направленнымъ противъ Фридриха, Иннокентій IV продолжалъ возмущать ее еще больше своими постоянными и разнообразными усиліями обобрать Конрада, Манфреда и трехлѣтняго Конрадина.

Другой знакъ времени, также очень выразительный, состоялъ въ томъ, что нѣкоторые французскіе магнаты, тронутые несчастіями императора Фридриха, обязались ограничить судебную власть духовенства и принимать подъ свое покровительство тѣхъ отлученныхъ, которые, по ихъ мнѣнію, окажутся невинными жертвами клерикальнаго властолюбія. Главными представителями этого возникающаго французскаго гибеллинизма были герцоги Бретанскій и Бургундскій, и графы Ангулемскій и Сенъ-Поль. Этотъ урокъ принесъ папѣ еще меньше пользы, чѣмъ предыдущій. Вмѣсто того, чтобы воздерживаться отъ такихъ приговоровъ, которые могли показаться несправедливыми, папа разразился проклятіями противъ членовъ антиклерикальной лиги, поднялъ противъ нихъ все французское духовенство, запугалъ однихъ своими угрозами, подкупилъ другихъ деньгами и бенефиціями, и дѣйствительно задавилъ на время возникшее движеніе, нисколько не устраняя постоянныхъ причинъ, порождавшихъ и поддерживавшихъ въ обществѣ негодованіе противъ злоупотребленій духовной власти.

Римляне также нашли возможность выразить папѣ Иннокентію IV, что они недовольны его поведеніемъ. У римлянъ, со временъ Арнольда Брешіанскаго, удержались республиканскія учрежденія; но въ началѣ XIII вѣка граждане, желая придать правительству больше силы, уничтожили сенатъ и вручили верховную власть одному выборному правителю, который получилъ титулъ сенатора. Эта перемѣна принесла народу мало существенной пользы. Сенаторъ выбирался обыкновенно изъ мѣстныхъ дворянъ и относился такъ добродушно къ безчинствамъ своихъ благородныхъ соотечественниковъ, что простые люди ни на одну минуту не могли быть спокойны за свою личность и за свою собственность. Римъ былъ усѣянъ сотнями дворянскихъ башень; большая часть древнихъ строеній была превращена въ крѣпости; по ночамъ предпріимчивые дворяне выходили изъ своихъ убѣжищъ, разбивали купеческія лавки и выгребали изъ нихъ до-чиста всѣ товары; не довольствуясь этой добычей, они врывались въ дома, захватывали въ плѣнъ мирныхъ гражданъ, и потомъ заставляли ихъ выкупаться на волю. Въ то время, когда Иннокентій IV жилъ въ Ліонѣ, римскіе дворяне разгулялись такъ широко, что терпѣніе народа истощилось. Граждане рѣшились призвать къ себѣ сенатора изъ чужого города и предложили эту должность, съ неограниченной властью, одному болонскому дворянину, Бранкалеоне д'Андало, графу Казалеккіо, извѣстному по своей неподкупной честности и неумолимой строгости. Бранкалеоне потребовалъ отъ римлянъ, чтобы они вручили ему диктаторскую власть на три года и на все это время отправили въ Болонью, ввидѣ заложниковъ, тридцать молодыхъ людей изъ самыхъ знатныхъ и, слѣдовательно, самыхъ буйныхъ римскихъ фамилій. Римляне исполнили эти требованія, и Бранкалеоне, въ началѣ 1253 года, пріѣхалъ въ Римъ судить и рядить. Онъ взялся за свое дѣло очень горячо и добросовѣстно. Ни одинъ насильственный поступокъ не оставался безнаказаннымъ; дворянскія крѣпости падали одна за другою передъ оружіемъ неумолимаго сенатора; хозяева этихъ крѣпостей, за вооруженное сопротивленіе правительству, подвергались смертной казни на мѣстѣ преступленія. Возстановивъ спокойствіе внутри города, Бранкалеоне задумалъ распространить господство Рима на мелкіе города, разбросанные по его окрестностямъ. Съ этой цѣлью сенаторъ послалъ письмо къ жителямъ Террачины, приглашая ихъ подчиниться римскому правительству. Иннокентій IV, жившій въ это время въ Ассизѣ, вступился за Террачину и отправилъ въ Римъ буллу, въ которой доказывалъ сенатору, что Террачина, находясь въ непосредственной вассальной зависимости отъ папскаго престола, не обязана подчиняться Риму, и что онъ, папа, будетъ всѣми своими силами поддерживать террачинскихъ гражданъ, если сенаторъ не оставитъ ихъ въ покоѣ. Тутъ Бранкалеоне, нисколько не испугавшись, принялся усмирять самого папу.

«Въ это самое время — говоритъ Матвѣй Парисъ — такъ какъ папа жилъ уже нѣсколько

Digitized by Google

мѣсяцевъ въ Ассизѣ, торжественное посольство предъявило ему, отъ имени римлянъ и сенатора Бранкалеоне, приказаніе возвратиться безъ замедленія въ тотъ городъ, въ которомъ онъ былъ пастыремъ и верховнымъ святителемъ. Римляне прибавили, что они удивляются, видя, какъ онъ шатается по разнымъ мѣстамъ, подобно бродягѣ или изгнаннику, и какъ онъ бѣгаетъ за деньгами, оставляя Римъ, свою святительскую резиденцію, и то стадо, за которое онъ обязанъ отдать строгій отчетъ Верховному Судьѣ. Сенаторъ и римскіе граждане объявили также ассизскому народу, что они запрещаютъ ему держать у себя дольше первосвященника, который получаетъ свое названіе отъ Рима, а не отъ Ліона, не отъ Перуджіи и не отъ Ананьи (тѣ мѣста, въ которыхъ долго жилъ папа). Они требовали, чтобы городъ Ассиза выслалъ его вонъ, если не желаетъ, чтобы его территорія была разорена на вѣчныя времена. Иннокентій понялъ тогда, что если онъ не воротится въ Римъ, то городъ Ассиза будетъ уничтоженъ раздраженными римлянами, такъ точно, какъ были подвергнуты разоренію Остія, Порто, Тускулумъ, Альба, Сабина и въ недавнее время Тиволи. Онъ явился въ Римъ поневолѣ и съ великимъ трепетомъ. Однакожъ, по приказаніямъ сенатора, его приняли съ почетомъ». (Sismondi, т. II, p. 313).

Посольство римлянъ къ Иннокентію было конечно чрезвычайно выразительнымъ знакомъ времени. Народу очевидно очень не нравился свѣтскій характеръ тѣхъ предпріятій, которымъ глава католической церкви посвящалъ всѣ свои силы. Римляне очень наглядно противупоставляли *бѣганье за деньгами* пастырскимъ заботамъ о спасеніи христіанскихъ душъ. Папѣ очень не трудно было замѣтить, что его дѣйствія начинаютъ подвергаться самой строгой критикѣ, что этой критикой занимаются уже не отдѣльныя личности, а цѣлыя народныя массы, и что возрастающее неудовольствіе налагаетъ на него, въ интересахъ самого-же папства, прямую обязанность соблюдать въ своихъ поступкахъ ту крайнюю осторожность, которую я выше называлъ бережливостью. Но папство изъ всего этого эпизода вынесло только то нравоученіе, что Бранкалеоне опасный человѣкъ, котораго слѣдуетъ какъ-нибудь устранить и задавить. Самому Иннокентію впрочемъ некогда было заняться этимъ дѣломъ. Онъ опять улизнулъ изъ Рима при первой возможности, отправился мутить воду въ сицилійскомъ королевствѣ и вслѣдъ затѣмъ умеръ въ Неаполѣ. Но его преемникъ, Александръ IV, помнилъ очень хорошо, что сенатора Бранкалеоне слѣдуетъ проучить.

Въ Римѣ было конечно много недовольныхъ. На сенатора были сердиты всѣ тѣ люди, которымъ неудобно было грабить и озорничать. При своихъ буйныхъ наклонностяхъ и привычкахъ эти недовольные были особенно способны произвести вооруженное возстаніе. Во главѣ недовольныхъ стала знатная дворянская фамилія Аннибальдески. Возстаніе вспыхнуло и разыгралось очень успѣшно. Сенатора выхватили изъ Капитолія и засадили въ тюрьму. Нашлось тотчасъ множество жалобъ на его притѣсненія. Новый сенаторъ, Эммануэль Маджи изъ Брешіи, началъ противъ него судебное преслѣдованіе, и всѣ были увѣрены, что графу Казалеккіо не сдобровать.

Бранкалеоне, при первыхъ признакахъ приближающагося возмущенія, успѣлъ отправить жену свою въ Болонью и поручилъ ей убѣдительно просить болонскій сенатъ, чтобы онъ ни подъ какимъ видомъ не выпускалъ изъ своихъ рукъ римскихъ заложниковъ, которые должны были ручаться собственными особами за личную безопасность и неприкосновенность римскаго правителя. Болонцы исполнили просьбу своего соотечественника и отправили въ Римъ депутацію, которая потребовала его освобожденія.

Въ это время папа Александръ IV обнаружилъ свое пламенное желаніе погубить арестованнаго сенатора. Онъ сталъ объяснять болонцамъ, что они заступаются за отъявленнаго гибелина, имѣющаго дерзость сочувствовать нечестивому Манфреду, отлученному отъ церкви. Онъ настоятельно потребовалъ отъ болонцевъ, чтобы они отпустили римскихъ заложниковъ; въ случаѣ неповиновенія онъ посулилъ имъ всѣ ужасы интердикта. Но болонцы, несмотря на свой ревностный гвельфизмъ, не поколебались ни аргументами папы, ни его просьбами, ни угрозами. Римскіе заложники остались подъ секвестромъ до тѣхъ поръ, пока римскіе аристократы не заблагоразсудили выпустить изъ тюрьмы бывшаго сенатора. Бранкалеоне благополучно выѣхалъ изъ Рима и, добравшись до Франціи, написалъ тамъ форменное отреченіе отъ тѣхъ правъ, которыя были предоставлены ему на три года волею римскаго народа. Безпорядки возобновились въ Римѣ, и два года спустя народъ снова обратился къ знаменитому усмирителю слишкомъ рѣзвыхъ дворянъ. Бранкалеоне воротился въ Римъ и исполнилъ свое дѣло по-прежнему. Фамилія Аннибальдески сразу почувствовала на себѣ тяжелую руку сенатора. Одни члены этого рода умерли на эшафотѣ; другіе отправились въ изгнаніе. Во время своего второго сенаторства графъ Казалеккіо срылъ до основанія сто сорокъ дворянскихъ башенъ. Александръ IV, огорченный до глубины души вторичнымъ возвышеніемъ нечестивца и всѣми его дерзостными распоряженіями, попробовалъ отлучить его отъ церкви. Но папское проклятіе не озадачило ни римлянъ, ни самого Бранкалеоне. Отлученный сенаторъ выгналъ изъ

Digitized by Google

Рима папу со всѣмъ его дворомъ. Потомъ Бранкалеоне напалъ на городъ Ананьи, родину Александра IV, и заставилъ тамошнихъ жителей подчиниться римскому правительству. Папа былъ принужденъ просить мира у сенатора и снять съ него опрометчиво брошенное проклятіе.

Въ 1258 году Бранкалеоне умеръ, и римскія дѣла скоро сбились въ свою старую колею.

XXIII.

Крестовый походъ противъ Эччелино III.

Къ чести Фридриха II надо замѣтить, что послѣ его смерти Эччелино почувствовалъ себя еще свободнѣе и сдѣлался еще свирѣпѣе. Послѣ 1250 года онъ буквально сталъ бросаться на людей, какъ бѣшеная собака. Пытки слѣдовали за пытками, казни за казнями, безъ причины, безъ цѣли и безъ смысла. Людей пытали не для того, чтобы вывѣдать отъ нихъ какую-нибудь тайну, а для того, чтобы переломать имъ кости; людей казнили не для того, чтобы отмстить имъ за какой-нибудь непонравившійся поступокъ, а для того, чтобы проливать на городскихъ площадяхъ человѣческую кровь. Эччелино преслѣдовалъ и истреблялъ въ своихъ подданныхъ все то, что́ обыкновенно обращаетъ на себя вниманіе, что̀ выдвигаетъ человѣка изъ толпы, что̀ возбуждаетъ въ людяхъ любовь и уваженіе. Онъ душилъ дворянъ за то, что они носили слишкомъ громкія имена; богатыхъ купцовъ—за то, что они слишкомъ успѣшно вели свои денежныя дѣла; ученыхъ юрисконсультовъ—за то, что они слишкомъ прилежно занимались наукой; благочестивыхъ прелатовъ, канониковъ и монаховъ—за то, что они слишкомъ усердно молились и постились; наконецъ даже красивыхъ молодыхъ людей — за то, что они были молоды и красивы.

Что́ побуждало тирана дѣйствовать такимъ образомъ—неутолимая ли зависть ко всякимъ человѣческимъ достоинствамъ и дарованіямъ, безпокойная ли подозрительность, заставлявшая его видѣть коновода будущаго возстанія во всякой сколько-нибудь замѣтной личности, слѣпая ли кровожадность, превратившаяся въ монополію—это я не берусь рѣшить. Надо быть Шекспиромъ, чтобы угадывать чувства и мысли такихъ исключительно-уродливыхъ субъектовъ, такихъ глубоко-больныхъ людей, какъ Эччелино III.

Послѣ смерти Фридриха II, Эччелино не боялся ничего на свѣтѣ и старался производить свои жестокости какъ можно публичнѣе и торжественнѣе. Когда узники умирали въ зараженномъ воздухѣ его темницъ, онъ отсылалъ ихъ трупы въ ихъ родные города, и палачи рубили имъ головы на городской площади. Иногда арестованныхъ людей выводили на площадь цѣлыми сотнями; на нихъ бросался въ аттаку кавалерійскій отрядъ, и черезъ нѣсколько минутъ все приведенное стадо было изрублено и раздавлено. Затѣмъ трупы разрѣзывались на куски и сжигались на приготовленныхъ кострахъ. Показывая своимъ подданнымъ такія яркія картины, Эччелино конечно не заботился о томъ, чтобы щадить ихъ слухъ; застѣнки, въ которыхъ производились пытки, были устроены такъ, что стоны и крики мучениковъ были слышны и на улицахъ, и въ домахъ. Эти крики ни днемъ, ни ночью не давали покоя жителямъ. Работа палачей шла безостановочно, и каждый гражданинъ Падуи, Вероны или Виченцы, прислушиваясь къ застѣночнымъ мелодіямъ, имѣлъ основаніе надѣяться, что и ему самому придется въ ближайшемъ будущемъ брать такія-же точно высокія и пронзительныя ноты. Такая жизнь доставляла гражданамъ мало удовольствія, такъ мало, что они готовы были бросить имущество, родину, даже семейство, и бѣжать, куда глаза глядятъ, на край свѣта, за полярный кругъ, къ какимъ-нибудь нехристямъ и басурманамъ, лишь-бы только вырваться изъ того ада, который былъ устроенъ для нихъ остроумнымъ и изобрѣтательнымъ ихъ повелителемъ. Но новелитель самъ зналъ очень хорошо, что отъ него всѣ подданные разбѣгутся и что онъ останется въ своихъ городахъ одинъ съ своими главными чиновниками, если не приметъ заблаговременно самыхъ строгихъ мѣръ для прекращенія выѣздовъ и побѣговъ. Поэтому всѣ владѣнія Эччелино были оцѣплены сильнѣйшимъ кордономъ пограничной стражи, которой было приказано никого не впускать и никого не выпускать. Когда этимъ караульщикамъ случалось изловить бѣглеца, тогда они, безъ дальнѣйшаго изслѣдованія, выкалывали ему глаза или рубили ногу, чтобы укрѣпить въ его прихотливомъ сердцѣ любовь къ отечеству и къ существующему порядку.

Въ 1253 году Эччелино, несмотря на свою шестидесятилѣтнюю опытность и осторожность, чуть-чуть не погибъ самымъ глупѣйшимъ образомъ. Къ нему привели въ Верону, для допросовъ и пытокъ, двухъ арестованныхъ дворянъ, братьевъ Монте и Аральдо ди-Монселиче. Эччелино сидѣлъ за обѣдомъ; поровнявшись съ его дворцомъ, плѣнники начали ругаться и кричать такъ громко, что Эччелино не выдержалъ и выскочилъ къ нимъ на улицу, чтобы тотчасъ подвергнуть ихъ какому-нибудь фантастически-ужасному истязанію. Въ недобрый часъ пришли эти измѣнники! прошипѣлъ Эччелино и съ этими словами подбѣжалъ къ нимъ такъ близко, что одинъ изъ нихъ, Монте, бросился на него и въ одну секунду смялъ его подъ себя,

Digitized by Google

прежде чѣмъ конвойные солдаты успѣли ухватить и остановить арестованнаго. Повалившись вмѣстѣ съ Эччелино на земь, Монте не терялъ даромъ времени; руками онъ обыскивалъ платье тирана, стараясь найти кинжалъ, а зубами грызъ физіономію своего врага, который начиналъ убѣждаться въ томъ, что часъ былъ дѣйствительно недобрый. Не найдя кинжала, Монте перенесъ руки туда-же, гдѣ дѣйствовали зубы, и превратилъ лицо своего повелителя въ одну сплошную рану. Солдаты въ это время конечно не стояли сложа руки. Одинъ изъ нихъ отрубилъ у Монте правую ногу; другіе изрубили Аральдо, увлеченнаго примѣромъ брата и бросившагося къ нему на помощь. Но Монте дошелъ уже до той степени изступленія, гдѣ человѣкъ перестаетъ чувствовать боль, забываетъ о самосохраненіи и сосредоточиваетъ всѣ физическія и нравственныя силы въ одномъ желаніи нанести врагу какъ можно больше вреда. Солдаты изрубили его въ куски, но онъ, какъ разъяренный бульдогъ, замеръ на своей добычѣ, и Эччелино, полумертвый отъ страха и отъ боли, высвободился изъ-подъ него только тогда, когда въ его тѣлѣ угасъ послѣдній остатокъ жизни. Синьору Эччелино долго пришлось оправляться отъ послѣдствій выдержанной борьбы.

Въ концѣ 1255 года надъ Эччелино собралась такая гроза, отъ которой было гораздо труднѣе уберечься, чѣмъ отъ зубовъ и ногтей арестованнаго дворянина.

Папа Александръ IV разослалъ ко всѣмъ епископамъ, магнатамъ и свободнымъ городамъ Ломбардіи циркулярныя посланія, направленныя спеціально противъ Эччелино. «Сынъ погибели—писалъ папа — человѣкъ крови, отвергнутый церковью, Эччелино ди-Романо, самый безчеловѣчный изъ сыновъ человѣческихъ, пользуясь безпорядками вѣка, захватилъ тираническую власть надъ несчастными жителями вашей страны. Онъ разрушилъ всѣ связи человѣческаго общества, всѣ законы евангельской свободы, ужасной казнью дворянъ, избіеніемъ плебеевъ. Но мы, заботясь о вашемъ спасеніи, особенно въ томъ, что относится къ Богу, мы облекли въ званіе нашего легата при васъ нашего возлюбленнаго сына архіепископа Равеннскаго, для того, чтобы онъ, исполняя наши обязанности въ вашихъ провинціяхъ, разогрѣвалъ усердіе вѣрующихъ и преслѣдовалъ духовнымъ и свѣтскимъ оружіемъ Эччелино и его коварныхъ сообщниковъ; чтобы онъ возлагалъ символъ креста на тѣхъ вѣрующихъ, которые вооружатся противъ Эччелино; чтобы онъ ободрялъ ихъ, предлагая имъ въ награду тѣ-же индульгенціи, которыя даются воинамъ, идущимъ освобождать Святую землю». Мѣсяца черезъ три послѣ разсылки папскихъ циркуляровъ архіепископъ Равеннскій, въ мартѣ 1256 года, явился въ Венецію и началъ проповѣдывать крестовый походъ противъ угнетателя веронской маркіи. Мѣсто для проповѣди было выбрано удачно. Въ Венеціи было много выходцевъ изъ Падуи и изъ другихъ городовъ, порабощенныхъ тираномъ. Эти выходцы, успѣвшіе убраться за границу, прежде чѣмъ Эччелино оцѣпилъ свои владѣнія кордономъ, постоянно хлопотали или по крайней мѣрѣ мечтали объ освобожденіи своей родины. Появленіе легата и его проповѣдь показали имъ, что ихъ мечта можетъ осуществиться. Само собой разумѣется, что выходцы, способные носить оружіе, собрались вокругъ архіепископа и приняли отъ него крестъ. Сами венеціанцы также давно искали случая погубить или по крайней мѣрѣ ослабить и унизить тирана, котораго жестокости были имъ хорошо извѣстны и котораго близкое сосѣдство казалось имъ очень неудобнымъ и даже опаснымъ. Чтобы окончательно расположить венеціанцевъ въ пользу крестоваго похода, падуанскіе выходцы выбрали себѣ въ подесты венеціанскаго дворянина, Марко Кверени, а легатъ провозгласилъ другого ясновельможнаго венеціанца, Марко Бадоэро—маршаломъ крестоносной арміи. Очень многіе венеціанцы приняли крестъ и доставили легату корабли для того, чтобы плыть къ Падуѣ вверхъ по рѣкѣ Брентѣ.

Маркизъ д'Эсте, у котораго Эччелино отнялъ значительную часть его владѣній, присоединился къ крестоносцамъ, увлекая за собой городъ Феррару, находившійся подъ его господствомъ. Графъ Санъ-Бонифаціо, управлявшій Мантуей, примкнулъ къ той-же священной лигѣ. Болонья также отправила къ папскому легату вспомогательный отрядъ.

Эччелино соединился съ маркизомъ Пелавичино и съ синьоромъ Буозо-да-Доара, которые оба господствовали въ Кремонѣ. Родной братъ Эччелино, Альберикъ, подчинившій себѣ Тревизу, былъ тайнымъ союзникомъ тирана, хотя и считался ревностнымъ гвельфомъ.

Неизвѣстно было, чью сторону приметъ Брешія. Въ этомъ городѣ гвельфы боролись съ гибелинами, но Эччелино надѣялся, что послѣдніе одолѣютъ и отдадутъ городъ въ его руки. Чтобы не пропустить рѣшительной минуты, Эччелино, весною 1256 года, повелъ свои войска въ мантуанскую область, сопредѣльную съ брешіанской территоріей. Занявшись опустошеніемъ мантуанскихъ окрестностей, Эччелино приказалъ въ то-же время своему помощнику, Анседизію Гвидотти, слѣдить за движеніями крестоносцевъ и не пропускать ихъ къ Падуѣ, черезъ рѣку Бренту.

Но Анседизій былъ годенъ только на то, чтобы мучить и вѣшать беззащитныхъ падуанскихъ жителей. Онъ оказался до такой степени неспособнымъ и трусливымъ полководцемъ, что

Digitized by Google

крестоносцы, находившіеся подъ начальствомъ папскаго легата, человѣка очень ограниченнаго и совершенно незнакомаго съ военнымъ дѣломъ, перешли преспокойно черезъ Бренту, взяли нѣсколько укрѣпленныхъ замковъ, подступили къ Падуѣ, сожгли деревянныя ворота города и наконецъ овладѣли самымъ городомъ, не встрѣтивъ нигдѣ никакого серьезнаго сопротивленія. Въ то время, когда крестоносцы входили въ Падую черезъ одни ворота, Анседизій поспѣшно уходилъ черезъ другія. Надо полагать, что падуанскіе выходцы составляли въ крестоносной арміи незначительное меньшинство. Только этимъ предположеніемъ можно объяснить себѣ то обстоятельство, что крестоносцы, взявши Падую, ограбили ее до-чиста, не смотря на то, что жители не думали сопротивляться и встрѣтили ихъ, какъ своихъ освободителей. Грабежъ продолжался цѣлую недѣлю.

Послѣ взятія города, папскій легатъ и новый падуанскій подеста, Марко Кверини, приказали отворить тюрьмы, въ которыхъ Эччелино держалъ подозрительныхъ людей. Всѣхъ тюремъ было восемь. Двѣ изъ нихъ, самыя большія, заключали въ себѣ по триста плѣнниковъ. Другія, поменьше, были также биткомъ набиты. Всѣхъ узниковъ оказалось отъ 1,500 до 2,000 человѣкъ. Въ томъ числѣ было много женщинъ и дѣтей. Многіе узники находились при послѣднемъ издыханіи; почти всѣ были заморены до такой степени, что едва держались на ногахъ. Десятки дѣтей были изувѣчены: у однихъ были вырваны глаза, у другихъ—вырѣзаны половыя части.

Разсматривая внутреннее устройство и содержаніе отворенныхъ темницъ, падуанскіе граждане принуждены были сознаться, что крестоносцы, ограбившіе ихъ городъ самымъ безсовѣстнымъ образомъ, все-таки оказали имъ великое благодѣяніе. Но счеты Падуи съ Эччелино III еще не были окончены. Въ арміи, стоявшей лагеремъ возлѣ Мантуи, подъ личнымъ начальствомъ тирана, было одиннадцать тысячъ падуанскихъ солдатъ. Этотъ отрядъ составлялъ слишкомъ третью часть всей арміи. Эччелино боялся со стороны этихъ падуанцевъ открытаго возстанія или, еще того хуже, измѣны во время сраженія. Онъ рѣшился уничтожить цѣлую треть своей арміи и обнаружилъ при этомъ всю свою находчивость, изворотливость и энергію. Какъ только онъ получилъ извѣстіе о взятіи Падуи, такъ тотчасъ же, не давая солдатамъ времени узнать о случившемся и сговориться, онъ повелъ свою армію форсированнымъ маршемъ въ Верону. Придя туда, онъ подъ какимъ-то предлогомъ приказалъ падуанцамъ сложить оружіе и собраться на площади, которую вслѣдъ затѣмъ окружили со всѣхъ сторонъ остальныя войска тирана. Но арестовать 11,000 людей, даже и безоружныхъ, было все-таки довольно трудно. Эти люди, доведенные до отчаянія, могли поднять такую возню, въ которой погибли-бы сотни или даже тысячи солдатъ, высланныхъ для ихъ арестованія или истребленія. А Эччелино, рѣшаясь отнять у себя треть арміи, долженъ былъ тѣмъ болѣе беречь остальныя двѣ трети, отъ которыхъ зависѣло его спасеніе въ дальнѣйшей борьбѣ съ крестоносцами. Эччелино постарался устроить такъ, что-бы падуанцы сами себя арестовали. Эччелино разсчитывалъ на человѣческую глупость и подлость, и этотъ разсчетъ оправдалъ блистательнымъ образомъ всѣ его ожиданія. Эччелино объявилъ собравшимся падуанцамъ, что онъ гнѣвается на Падую, и что справедливый гнѣвъ его требуетъ себѣ жертвы; чтобы заслужить себѣ прощеніе, падуанскіе солдаты сами должны выдать ему служащихъ въ арміи уроженцевъ мѣстечка Піеви-ди-Сакко, жители котораго передались врагамъ. Падуанцы очень обрадовались этому требованію, которое показывало имъ, что опасность, носившаяся надъ всѣми головами, обрушилась на одну отдѣльную группу ихъ товарищей. Тѣ, которые не были сами родомъ изъ Піеви-ди Сакко, благодарили Бога за свое спасеніе и находили, что Эччелино поступаетъ справедливо и великодушно. Уроженцы опальнаго мѣстечка смотрѣли на дѣло иначе, но они составляли ничтожное меньшинство. Ихъ схватили, связали и выдали тирану, который тотчасъ препроводилъ ихъ въ тюрьму. Быть можетъ многіе изъ нихъ сопротивлялись, но чѣмъ упорнѣе и кровопролитнѣе было ихъ сопротивленіе, тѣмъ больше удовольствія получалъ Эччелино, потому что весь трудъ схватыванія и связыванія былъ возложенъ на самихъ падуанцевъ, которые были обречены на поголовное истребленіе. Когда уроженцы Піеви-ди-Сакко оказались въ сохранномъ мѣстѣ, Эччелино потребовалъ себѣ гражданъ Читтаделлы на томъ основаніи, что это мѣстечко безъ боя отворило ворота крестоносцамъ. На площади повторилась прежняя сцена, и связанные читтадельцы отправились умирать въ тюрьмѣ. Тогда Эччелино пожелалъ получить всѣхъ поселянъ, родившихся въ окрестностяхъ Падуи, то есть всѣхъ, кромѣ уроженцевъ самаго города. Тутъ разумѣется уже не могло быть того единодушія, съ которымъ произошло хватаніе и связываніе прежнихъ опальныхъ. Во-первыхъ, число жертвъ, потребованныхъ тираномъ, было уже слишкомъ велико; а во-вторыхъ, онъ требовалъ уже въ третій разъ; стало быть, не очень трудно было напасть на ту мысль, что это третье требованіе не будетъ послѣднимъ. На площади долженъ былъ произойти серьезный раздоръ между тѣми, которые желали повиноваться до конца, и тѣми, которые требовали отчаяннаго сопротивленія. Этотъ раздоръ могъ только радовать Эччелино, потому что ссоры и драки вредили лишь однимъ падуанцамъ. Какъ-бы то

Digitized by Google

ни было, партія людей, желавшихъ выдать своихъ товарищей и надѣявшихся купить себѣ этой цѣной помилованіе, за которое было заплачено уже два раза,—одержала побѣду. Затѣмъ падуанскіе горожане бросились на поселянъ, одолѣли ихъ и передали ихъ съ рукъ на руки вооруженнымъ солдатамъ тирана. Эччелино объявилъ, что теперь надо выдать всѣхъ дворянъ. Опять ссоры, драки, отчаянная возня, и потомъ церемоніальное шествіе связанныхъ людей въ веронскія тюрьмы. На окруженной площади остались только простые граждане, уроженцы самаго города Падуи. Они, по всей вѣроятности, составляли половину того отряда, который былъ сначала приведенъ на площадь. Но при этомъ всѣ они были утомлены той борьбой, которую они должны были выдержать во время четырехъ арестованій и связываній, быстро слѣдовавшихъ одно за другимъ. Многіе изъ нихъ были, по всей вѣроятности, больно зашибены во время борьбы. Эччелино нашелъ, что не стоитъ съ ними дольше церемониться. На площадь вошли его вооруженные солдаты изъ помѣстья Педемонте, и началось связываніе тѣхъ самыхъ людей, которые въ одно утро четыре раза покупали себѣ прощеніе самыми неустрашимыми подвигами глупости и подлости.

Одиннадцать тысячъ человѣкъ столпились въ веронскихъ тюрьмахъ. Понятно, что они были набиты тамъ буквально какъ сельди въ бочонкахъ. Недостатокъ воздуха, голодъ и жажда быстро сдѣлали свое дѣло. Изъ всей этой арміи, составлявшей лучшій цвѣтъ падуанскаго населенія, уцѣлѣло какимъ-то чудомъ двѣсти человѣкъ. Надо признаться, что послѣ такой мастерской штуки, Эччелино III имѣлъ достаточное основаніе глубоко презирать человѣчество.

Изъ Падуи крестоносное воинство двинулось къ Виченцѣи, недоходя до этого города, остановилось лагеремъ у мѣстечка Лонгары. Главнокомандующій, Филиппъ, архіепископъ Равеннскій, занялся въ лонгарскомъ лагерѣ обжорствомъ и пьянствомъ, и солдаты его, охотно и усердно, по мѣрѣ силъ и возможности, стали подражать своему начальнику. Всѣ они ожидали чудесъ, и дѣйствительно нуждались въ чудесахъ для того, чтобы, при своемъ всестороннемъ убожествѣ, побѣдить опытнаго, искуснаго и неутомимо-дѣятельнаго Эччелино. Взятіе Падуи казалось имъ великолѣпнымъ началомъ тѣхъ сверхъестественныхъ успѣховъ, которые были имъ обѣщаны проповѣдниками, затянувшими ихъ въ крестовый походъ. Пропивая награбленныя деньги, крестоносцы ласкали себя той надеждой, что и на будущее время ихъ дѣла будутъ устроиваться такъ же легко и пріятно, и что стѣны Вероны и Виченцы распадутся передъ ихъ святыми легіонами почти такъ же, какъ распались въ древности стѣны Іерихона передъ еврейскими трубами и литаврами.

Пока крестоносцы баловали себя въ Лонгарѣ крѣпкимъ виномъ и пріятными мечтами о будущихъ побѣдахъ, къ нимъ въ лагерь пріѣхалъ Альберикъ ди-Романо, въ видѣ ревностнаго гвельфа, желающаго сражаться подъ священными знаменами церкви. Дворяне, находившіеся въ крестоносной арміи, какъ спеціалисты по части политическихъ интригъ, смотрѣли на пріѣздъ этого гвельфа съ величайшимъ недовѣріемъ и готовы были считать его за лазутчика, подосланнаго синьоромъ Эччелино. Но легатъ Филиппъ былъ слишкомъ тупъ, чтобы тревожить свою жирную особу такими хитрыми опасеніями, и слишкомъ увѣренъ въ собственной проницательности, чтобы обращать вниманіе на чужіе совѣты. Онъ принялъ грубую лесть Альберика за чистую монету и сталъ обращаться съ нимъ, какъ съ искреннимъ союзникомъ. Черезъ нѣсколько дней присутствіе Альберика принесло свои плоды: въ лагерѣ вспыхнуло возмущеніе; болонцы объявили, что не хотятъ служить безъ жалованья; вслѣдъ затѣмъ распространился слухъ, что Эччелино подходитъ къ лагерю, и вдругъ вся крестоносная армія шарахнулась, какъ табунъ перепуганныхъ лошадей, по дорогѣ къ Падуѣ. Впереди всѣхъ летѣлъ со своимъ отрядомъ Альберикъ, охваченный повидимому паническимъ страхомъ. Но падуанскій подеста, Марко Кверини, находившійся также при арміи, послалъ въ Падую гонца съ приказаніемъ запереть всѣ ворота и не впускать въ городъ ни одного человѣка изъ лонгарскаго лагеря. Этотъ гонецъ былъ отправленъ подестою при первыхъ признакахъ смятенія, которое было произведено въ лагерѣ стараніями Альберика и его низшихъ агентовъ, имѣвшихъ полную возможность ходить по палаткамъ и волновать своими розсказнями довѣрчивыхъ и своевольныхъ солдатъ. Только что гонецъ исполнилъ въ Падуѣ данное ему порученіе, къ городскимъ воротамъ прискакалъ Альберикъ съ своими сподвижниками. Ворота уже были заперты. Ревностный гвельфъ сталъ умолять, чтобы ему отперли. Онъ умолялъ именемъ подесты, именемъ легата, именемъ самого папы. Но всѣ его просьбы оказались безсильными. Онъ пошелъ стучаться въ другія ворота, потомъ въ третьи, въ четвертыя. Вездѣ было заперто. Тогда Альберикъ уѣхалъ тотчасъ къ себѣ въ Тревизу и больше не показывался въ лагерѣ крестоносцевъ. Планъ его, разстроенный предусмотрительностью подесты, состоялъ очевидно въ томъ, чтобы захватить измѣнническимъ образомъ Падую, въ которой, послѣ ухода крестоносцевъ, оставалось очень мало людей, способныхъ носить оружіе.

Черезъ нѣсколько дней самъ Эччелино явился осаждать Падую. Но у крестоносцевъ

Digitized by Google

былъ уже устроенъ впереди города укрѣпленный лагерь, въ которомъ имъ удалось отбиться отъ нападеній Эччелино. Послѣ нѣсколькихъ безплодныхъ схватокъ, Эччелино отступилъ и въ началѣ сентября распустилъ свою армію до будущаго года.

Весь слѣдующій 1257 годъ прошелъ безъ столкновеній. Обѣ стороны, легатъ и Эччелино, хлопотали о томъ, чтобы навербовать себѣ новыхъ союзниковъ. Легатъ ѣздилъ то въ Миланъ, то въ Брешію и старался помирить въ первомъ городѣ дворянъ съ народомъ, а во второмъ гибелиновъ съ гвельфами. Эччелино, напротивъ того, подзадоривалъ миланскихъ дворянъ и брешіанскихъ гибелиновъ и убѣдительно просилъ тѣхъ и другихъ принять его безкорыстное содѣйствіе. Безкорыстіе синьора Эччелино никому не внушало особенно-сильнаго довѣрія, и тѣ партіи, съ которыми онъ поддерживалъ сношенія, не торопились принимать его содѣйствіе.

Въ 1258 году брешіанскіе гвельфы одержали перевѣсъ надъ гибелинами и увлекли свою родину въ священную лигу, составленную противъ Эччелино. Въ то время, когда легатъ проповѣдывалъ и распоряжался въ Брешіи, онъ получилъ извѣстіе о томъ, что кремоняне, союзники Эччелино, двинулись къ рѣкѣ Оліо и осадили тамъ замки Волонго и Турричеллу. Легатъ пошелъ къ нимъ на встрѣчу, захвативъ съ собой всѣхъ своихъ крестоносцевъ и брешіанскихъ гвельфовъ. Вдругъ Эччелино появился сзади гвельфской арміи. Крестоносцы вообразили себѣ, что они отрѣзаны и окружены со всѣхъ сторонъ врагами. Все священное воинство бросилось въ разсыпную. О сопротивленіи никто и не думалъ. Солдатамъ Эччелино оставалось только ловить бѣглецовъ. Четыре тысячи брешіанцевъ, мантуанскій подеста, великое множество всякаго крестоноснаго сброда и даже самъ легатъ Филиппъ попались въ плѣнъ. Крестоносная армія совершенно исчезла послѣ этого пораженія.

Гвельфы, оставшіеся въ Брешіи, сдѣлались до крайности любезными съ мѣстными гибелинами, когда узнали объ уничтоженіи церковной арміи. Гибелины, попавшіе въ тюрьму послѣ побѣды гвельфской партіи, получили теперь свободу и даже доступъ ко всѣмъ общественнымъ должностямъ. Эти любезности нисколько не обезоружили гибелиновъ. Они хотѣли воспользоваться вполнѣ тѣмъ праздникомъ, который появился на ихъ улицѣ. Они хотѣли потѣшиться надъ своими врагами такъ точно, какъ эти враги въ свое время тѣшились надъ ними. Жажда мести и радость неожиданнаго торжества заставили ихъ забыть о томъ ужасѣ, который чувствовали передъ синьоромъ Эччелино даже его союзники и друзья. Чтобы насолить гвельфамъ, предводители брешіанскихъ гибелиновъ отворили городскія ворота побѣдоносной арміи веронскаго тирана.

Вмѣстѣ съ солдатами Эччелино въ Брешію вошли кремонскія войска подъ начальствомъ маркиза Пелавичино и Буозо-да-Доара. По условіямъ, заключеннымъ между этими тремя предводителями ломбардскихъ гибелиновъ, всѣ сдѣланныя завоеванія должны были составлять ихъ общую собственность. Но такія условія исполняются очень рѣдко; большею частью случается такъ, что союзники при дѣлежѣ добычи сначала завязываютъ между собою щекотливые переговоры, потомъ переходятъ къ взаимнымъ попрекамъ и наконецъ рѣшаютъ возникшія недоразумѣнія силою оружія Читатель, на глазахъ котораго разыгралась недавно исторія объ эльбскихъ герцогствахъ, не найдетъ вѣроятно ничего удивительнаго въ томъ, что Эччелино, Пелавичино и Доара никакъ не могли подѣлить между собой городъ Брешію. Эччелино, какъ сильнѣйшій, хотѣлъ все получить на свою долю, а чтобы эта операція присвоенія обошлась безъ хлопотъ, онъ попробовалъ перессорить между собою обоихъ кремонскихъ правителей. Маркизу Пелавичино онъ совѣтовалъ изъ-подъ руки отправить какъ нибудь Буозо на тотъ свѣтъ, чтобы сдѣлаться послѣ его смерти неограниченнымъ властелиномъ Кремоны. Въ это же самое время Эччелино разсыпалъ передъ Буозо самыя изысканныя выраженія своей любезности и даже нѣжности; онъ предлагалъ ему господство надъ Вероною, если онъ, Буозо, захочетъ отправиться туда въ качествѣ подесты. Но ни маркизъ, ни Буозо не были новичками, способными повѣрить сладкимъ рѣчамъ и заманчивымъ обѣщаніямъ синьора Эччелино. Оба держали себя съ нимъ очень осторожно, и когда кремоняне, въ началѣ 1259 года, захотѣли воротиться на родину, то ни Буозо, ни маркизъ не рѣшились остаться въ Брешіи послѣ ухода кремонской милиціи. Оба выѣхали изъ Брешіи вмѣстѣ съ кремонскими солдатами. Послѣ ихъ отъѣзда Эччелино объявилъ себя синьоромъ Брешіи и по своему всегдашнему обыкновенію началъ пытать, казнить и обирать жителей.

Когда маркизъ и Буозо узнали, что ихъ союзникъ присвоилъ себѣ Брешію, тогда имъ обоимъ сдѣлалось очень досадно. Они сблизились между собою подъ вліяніемъ этой общей досады и сообщили другъ другу тѣ конфиденціальныя бесѣды и деликатныя предложенія, которыми осчастливилъ ихъ Эччелино во время ихъ пребыванія въ Брешіи. Тутъ Буозо узналъ, что Эччелино натравливалъ на него маркиза въ то самое время, когда происходили дружескіе переговоры объ уступкѣ Вероны. Маркизъ узналъ въ свою очередь, что, разговаривая съ Буозо, Эччелино дѣлалъ довольно ясные намеки на возможность устранить его, маркиза, и подѣлить дружелюбно его наслѣдство. Кремонскіе синь-

Digitized by Google

оры рѣшили единогласно, что Эччелино такой безсовѣстный негодяй, съ которымъ даже и разбойничать вмѣстѣ не приходится, потому что онъ во всякую данную минуту способенъ всадить ножикъ въ спину каждаго изъ своихъ товарищей по грабежу, хотя бы эти товарищи по десяти разъ въ день выручали его изъ смертельной опасности. Подъ вліяніемъ той же досады, кремонскихъ синьоровъ обуяло умиленіе по поводу тѣхъ страданій, которыя терпѣла въ то время порабощенная Брешія. Маркизъ и Буозо, которые сами были немного ослабленными копіями съ синьора Эччелино, переполнились любовью къ страждущему человѣчеству, и проливая слезы крокодила, рѣшились избавить Италію отъ свирѣпаго чудовища, такъ безсовѣстно отжилившаго у нихъ Брешію. Оставаясь гибелинами, т. е. приверженцами швабской династіи, кремонскіе синьоры заключили союзъ съ маркизомъ д'Эсте, съ графомъ Санъ-Бонифаціо и тремя гвельфскими республиками, Мантуей, Феррарой и Падуей. Съ одной стороны союзники признали права Манфреда на сицилійское королевство, съ другой стороны, они обязались преслѣдовать до послѣдняго издыханія обоихъ братьевъ—Эччелино и Альберика ди-Романо. Магнаты обѣщали идти на войну лично, со всѣми своими вассалами; города условились выставить всѣ свои милиціи и кромѣ того нанять кавалерійскій отрядъ въ 1200 человѣкъ. Здѣсь появляется въ первый разъ наемная кавалерія, которая, какъ мы увидимъ ниже, имѣла впослѣдствіи самое рѣшительное вліяніе на судьбу ломбардскихъ республикъ. Всѣ союзники объявили наконецъ торжественно, что ни приказанія какого бы-то ни было будущаго императора, ни буллы папы не освободятъ ихъ отъ обязанности исполнить ту клятву, которою былъ скрѣпленъ ихъ союзъ.

Договоръ этой лиги, объявлявшей тирану непримиримую войну, былъ подписанъ въ Кремонѣ 11 іюня 1259 года. Въ это самое время Падуанцы взяли замокъ Фріолу, лежавшій въ вичентинской области; Эччелино бросился туда изъ Брешіи со всѣми своими войсками, и замокъ, вмѣстѣ съ падуанскимъ гарнизономъ, очень скоро очутился въ его рукахъ. Само собою разумѣется, что никому не было дано никакой пощады. Гарнизонъ и жители, міряне и духовенство, мужчины, женщины и дѣти—всѣ оказались виновными передъ судомъ Эччелино и всѣ получили на свою долю одно и то же наказаніе. Имъ всѣмъ выкололи глаза, отрѣзали носы и обрубили ноги. Потомъ ихъ пустили на всѣ четыре стороны, и тѣ, которые пережили эту операцію, расползлись по всѣмъ ломбардскимъ городамъ и своими изуродованными фигурами долго напоминали гражданамъ о той постоянной заботливости, съ которой они должны беречь и развивать свои учрежденія. Но ломбарды не угадывали того нравоученія, которое заключалось для нихъ въ ужасномъ видѣ фріольскихъ калѣкъ. Ломбарды подавали имъ милостыню, проклинали вмѣстѣ съ ними память Эччелино и сами продолжали бѣжать по тому пути, который привелъ Падую, Верону и Виченцу къ позорному и мучительному рабству.

Въ Миланѣ продолжалась вражда между народомъ и дворянами. Разлакомившись покореніемъ Брешіи, Эччелино въ 1259 году серьезно сталъ надѣяться, что и Миланъ не уйдетъ отъ его рукъ. Изъ-за такой богатой добычи стоило похлопотать, стоило даже и рискнуть. Въ концѣ августа 1259 года Эччелино дѣйствительно рискнулъ. Онъ собралъ всѣ свои силы и пошелъ по направленію къ Милану, надѣясь, что дворяне отворятъ ему ворота, если онъ неожиданно подойдетъ къ стѣнамъ ихъ города. Но въ это самое время въ Миланѣ произошелъ рѣшительный переворотъ; демократическая партія одолѣла; дворяне бѣжали изъ города въ лагерь къ своему покровителю. Предпріятіе Эччелино лопнуло, а между тѣмъ онъ забрался уже такъ далеко впередъ, что отступленіе сдѣлалось очень затруднительнымъ. За нимъ лежали уже двѣ большія рѣки, Оліо и Адда; впереди стояла миланская милиція подъ начальствомъ Мартино делла Торре; сзади подходилъ маркизъ д'Эсте; съ боку подвигались кремоняне; въ виду всѣхъ этихъ враговъ надо было переправляться черезъ двѣ рѣки для того, чтобы добраться до Брешіи. Рѣшительное сраженіе произошло 16 сентября 1259 года, при переправѣ Эччелино черезъ Адду. Въ самомъ началѣ битвы Эччелино, которому было слишкомъ шестьдесятъ пять лѣтъ, получилъ рану стрѣлою въ лѣвую ногу. Вслѣдъ за тѣмъ случилась новая бѣда: брешіанская кавалерія, вмѣсто того чтобы идти въ аттаку, какъ приказывалъ Эччелино, повернулась назадъ и поскакала домой. Союзники конечно не стали ее преслѣдовать, видя, что она не хочетъ сражаться за ихъ врага. За брешіанцами пошли на утекъ многіе другіе солдаты; остальные, вмѣстѣ съ Эччелино, медленно стали отступать по дорогѣ въ Бергамо; союзники напирали на нихъ со всѣхъ сторонъ; защитники тирана падали одинъ за другимъ. Наконецъ самому Эччелино проломилъ голову какой-то солдатъ, котораго родной братъ былъ изувѣченъ въ Фріолѣ. Эччелино свалился съ лошади, и его взяли въ плѣнъ. Вся непріятельская армія сбѣжалась смотрѣть на него. Его отвели въ палатку Буозода-Доара. Лекарямъ приказано было заботиться о его выздоровленіи, но онъ не хотѣлъ принимать никакой помощи, самъ разорвалъ ногтями свои раны и умеръ на одиннадцатый день послѣ того, какъ попался въ плѣнъ. Необыкновенная сила его характера не измѣнила ему до послѣд-

Digitized by Google

ней минуты. Онъ ни отъ кого не требовалъ и не принималъ пощады, такъ точно, какъ и самъ никому ея не оказывалъ.

Монархія Эччелино немедленно разсыпалась на свои составныя части, какъ только солдаты его разбитой арміи принесли къ себѣ на родину извѣстіе о томъ, что тиранъ окончательно побѣжденъ, опасно раненъ и взятъ въ плѣнъ. Намѣстники и чиновники Эччелино, которые всѣ были похожи на Анседизія, не пробовали даже сопротивляться взрыву народной ненависти ко всему, что напоминало собой господство побѣжденнаго тирана. Изъ этихъ намѣстниковъ и чиновниковъ ни одинъ не осмѣлился удерживать въ свою пользу ту власть, которая была вручена имъ синьоромъ Эччелино. Всѣ они старались только какъ нибудь скрыться, чтобы спасти отъ возмутившагося народа свою жалкую и опозоренную жизнь. Но и это удалось немногимъ. Бѣжать было некуда, потому что вездѣ были непримиримые враги. Часъ народной мести наступилъ, и всѣмъ ревностнымъ тюремщикамъ, шпіонамъ и палачамъ пришлось расплачиваться за старые грѣхи.

Всѣ города, порабощенные синьоромъ Эччелино, возвратились къ своей прежней республиканской жизни. Виченца призвала къ себѣ подесту изъ Падуи. Такъ-же точно поступилъ городокъ Бассано, составлявшій родовую собственность фамиліи Романо. Верона предоставила должность подесты одному изъ своихъ дворянъ— Мартино делла-Сколла. Республиканскія формы были возстановлены, но республиканскія понятія и привычки не могли воротиться по первому востребованію. Господство Эччелино надъ Вероною продолжалось тридцать четыре года, надъ Виченцою — двадцать три года и надъ Падуей—девятнадцать лѣтъ; въ это время преемственность республиканскихъ преданій была насильственнымъ образомъ прервана; самые горячіе, самые смѣлые и самые честные республиканцы были казнены или заморены въ тюрьмахъ; вліяніе постояннаго страха изуродовало характеръ того поколѣнія, которое выросло и возмужало во время тираніи. Это поколѣніе, запуганное казнями и совершенно неопытное въ политическомъ отношеніи, рѣшительно должно было оказаться неспособнымъ къ тому постоянному, внимательному и разумному контролю, безъ котораго всякое республиканское правительство очень скоро становится хуже деспотическаго.

Паденіе Эччелино скоро повлекло за собой гибель его брата, Альберика. Принужденный бѣжать изъ Тревизы, Альберикъ укрылся со всѣмъ своимъ многочисленнымъ семействомъ въ горной крѣпости Санъ-Зено. Въ 1260 году войска гвельфской лиги, подъ начальствомъ маркиза д'Эсте, осадили эту крѣпость и скоро довели Альберика до безусловной сдачи. Пощады не было. Альберикъ, его жена, шестеро сыновей и двѣ дочери были казнены. Ихъ трупы были разрѣзаны на части, и эти части разосланы въ тѣ города, надъ которыми господствовалъ домъ ди-Романо.

Эччелино погибъ, но его гибель дѣлаетъ очень мало чести республиканцамъ веронской маркіи. Онъ погибъ не отъ возмущенія тѣхъ людей, которыхъ онъ тиранилъ, а отъ ссоры со своими товарищами по грабежу. Если бы онъ не забылъ того золотого правила, что воронъ не долженъ выклевывать глазъ ворону, если бы онъ съумѣлъ во время подѣлиться съ добрыми товарищами, то благоденствіе его осталось бы ненарушеннымъ до конца его жизни. Во времена Фридриха Барбароссы веронская маркія вела себя иначе. Съ того времени до возвышенія Эччелино прошло шестьдесятъ лѣтъ, и въ эти шестьдесятъ лѣтъ мелкая и утомительная борьба партій и сословій успѣла убить, или по крайней мѣрѣ значительно ослабить въ гражданахъ прежнюю страстную и безкорыстно-чистую любовь къ отечеству и къ свободѣ.

XXIV.

Порабощеніе ломбардскихъ республикъ.

Ломбардія была многолюдна и богата, несмотря на то, что крупныя и мелкія войны тревожили ее почти постоянно. Населеніе Ломбардіи увеличивалось быстро; земледѣліе и мануфактурная промышленность развивались самымъ роскошнымъ образомъ; всѣ продукты, сырые и обработанные, всегда находили себѣ выгодный сбытъ въ Венецію и въ Геную, которыя въ то время держали въ своихъ рукахъ всемірную торговлю. Гражданамъ ломбардскихъ городовъ становилось тѣсно въ тѣхъ стѣнахъ, въ которыхъ жили ихъ отцы; они часто принуждены были ломать и перестроивать стѣны, чтобы вносить въ городскую черту новые участки земли; городскія хроники XIII вѣка наполнены извѣстіями о такихъ расширеніяхъ, которыя ясно указываютъ на процвѣтаніе городовъ и на быстрое возрастаніе народонаселенія. Тѣ же хроники говорятъ очень часто о сооруженіи роскошныхъ публичныхъ зданій и объ укрѣпленіи замковъ, принадлежавшихъ республикамъ.

Уже въ первой половинѣ XIII вѣка въ Ломбардіи набралось такъ много капиталовъ, что они полились за-границу. Въ 1226 году жители города Асти начали заниматься банкирскими дѣлами во Франціи и въ другихъ европейскихъ земляхъ, далеко отставшихъ отъ Ломбардіи на пути промышленнаго и торговаго развитія. Тридцать лѣтъ спустя, съ этими банкирами или ростовщиками случилось несчастіе,

Digitized by Google

которое даетъ намъ очень высокое понятіе о ихъ богатствѣ. 1-го сентября 1256 года французскій король приказалъ арестовать всѣхъ астійскихъ банкировъ, находившихся въ его владѣніяхъ, и конфисковалъ все ихъ имущество. Потери ихъ дошли въ этомъ случаѣ до восьми сотъ тысячъ тогдашнихъ ливровъ. Эта сумма, по мнѣнію Сисмонди, равняется двадцати семи съ половиной милліонамъ франковъ, что̀ составляетъ, на наши деньги, около семи милліоновъ рублей. Притомъ надо взять въ разсчетъ, во-первыхъ то, что не всѣ же астійскіе капиталисты собрались во Францію, а во-вторыхъ то, что Асти никогда не былъ первостепеннымъ городомъ и не могъ равняться, ни по своему богатству, ни по своему политическому могуществу, ни съ Миланомъ, ни съ Павіей, ни съ Кремоной, ни съ Брешіей, ни съ Падуей, ни съ Вероной, ни съ Болоньей. Если же этотъ незначительный городъ могъ потерять почти семь милліоновъ рублей, то можно себѣ вообразить, какими громадными суммами ворочали первокласные города Ломбардіи.—Начиная съ XIII вѣка, слово *ломбардъ* сдѣлалось во Франціи нарицательнымъ именемъ и стало обозначать собою всякаго банкира и ростовщика. Читатели конечно знаютъ, что это слово зашло и въ нашъ языкъ, съ тою только разницей, что у насъ оно прилагается не къ банкиру, а къ банку.

При всемъ своемъ богатствѣ, ломбарды въ XIII вѣкѣ вели самую простую жизнь, не позволяя себѣ никакой роскоши ни въ столѣ, ни въ одеждѣ, ни въ убранствѣ комнатъ. «Женщины, говоритъ Сисмонди, носили простыя полотняныя платья; кусокъ бѣлой холстины покрывалъ ихъ голову и обвязывался вокругъ шеи; золото и серебро не блистали на ихъ одеждѣ; столъ ихъ не украшался роскошными кушаньями; обѣдъ цѣлаго семейства состоялъ изъ одного блюда; одинъ факелъ изъ смолистаго дерева освѣщалъ внутренность домовъ; и вся пышность вѣка заключалась въ оружіи и въ лошадяхъ, въ башняхъ и въ крѣпостяхъ.» — Земледѣльцы, фабриканты, торговцы тратили постоянно свои доходы на увеличеніе своихъ промышленныхъ операцій и оборотовъ. Они нанимали себѣ новыхъ работниковъ и такимъ образомъ увеличивали каждый годъ число тѣхъ людей, которые находились отъ нихъ въ зависимости. Путемъ своихъ успѣшныхъ оборотовъ богатый хозяинъ, окружая себя сотнями своихъ подчиненныхъ, возвышался до политическаго могущества, становился въ своей республикѣ важнымъ и вліятельнымъ лицомъ и дорожилъ своимъ вліяніемъ гораздо больше, чѣмъ грубыми чувственными наслажденіями, которыя онъ могъ бы купить себѣ на свои деньги.

Но становясь политической силой, золото вездѣ встрѣчало себѣ до сихъ поръ упрямаго и дерзкаго соперника въ булатѣ, который, какъ извѣстно, на слова золота: *все куплю!* отвѣчаетъ съ своей стороны: *все возьму!* Люди булата, то есть феодальные дворяне, никакъ не могли ужиться и полюбовно размежеваться съ людьми золота, то есть съ разбогатѣвшими ремесленниками, промышленниками и купцами. Въ глазахъ дворянина милліонеръ былъ все-таки холопомъ, вырвавшимся на волю какимъ-то незаконнымъ образомъ и пробравшимся въ люди посредствомъ грязныхъ мошенническихъ продѣлокъ. Дворянинъ смотрѣлъ на милліонера съ тѣмъ комическимъ презрѣніемъ, съ которымъ храбрый разбойникъ относится къ благоразумному мазурику. Что же касается до народной массы, отъ которой зависѣло рѣшеніе распри между булатомъ и золотомъ, то она въ XIII вѣкѣ глубоко вѣрила, что милліоны пріобрѣтаются трудомъ и составляютъ награду за воздержаніе. Поэтому масса поддерживала милліонеровъ, какъ плоть отъ плоти своей и кость отъ костей своихъ. На сторонѣ дворянъ стояли только ихъ вассалы, но эта сторона, слабая числомъ, была очень сильна своей военной выправкой и тѣсной солидарностью, существовавшей между всѣми членами каждаго отдѣльнаго дворянскаго рода.

При своей сравнительной малочисленности, дворяне такъ крѣпко держались другъ за друга и умѣли дѣйствовать съ такимъ искуснымъ единодушіемъ, что имъ во всѣхъ ломбардскихъ городахъ удавалось по нѣскольку разъ сосредоточивать въ своихъ рукахъ всѣ общественныя должности, совершенно оттирая отъ нихъ богатыхъ и вліятельныхъ плебеевъ. Въ этихъ случаяхъ нахальство дворянъ скоро становилось невыносимымъ; отстраненные милліонеры разжигали всѣми силами народное неудовольствіе; вспыхивало возстаніе; начиналась уличная война; дворяне бѣжали изъ города; въ открытомъ полѣ перевѣсъ обыкновенно склонялся на ихъ сторону; послѣ нѣсколькихъ сраженій завязывались переговоры. Миръ заключался съ тѣмъ условіемъ, чтобы всѣ должности были раздѣлены поровну между дворянами и плебеями. Проходило нѣсколько лѣтъ, и должности снова сосредоточивались въ дворянскихъ рукахъ, послѣ чего вся исторія начиналась сызнова. Такъ шли дѣла и въ Брешіи, и въ Кремонѣ, и въ Миланѣ, и въ Піаченцѣ, и въ другихъ ломбардскихъ республикахъ.

Наученные горькими опытами, плебеи начали наконецъ понимать, что въ борьбѣ съ дворянами ничего нельзя сдѣлать разрозненными усиліями и безсвязными вспышками демократическихъ страстей. Они увидѣли, что для такой борьбы необходимы постоянная бдительность, хладнокровная послѣдовательность и спокойная настойчивость. Они сообразили, что

Digitized by Google

плоды одержанныхъ побѣдъ останутся въ ихъ рукахъ только въ томъ случаѣ, если они, послѣ заключенія выгоднаго мира, будутъ постоянно держаться на готовѣ для новой борьбы, постоянно наблюдать за всѣми движеніями своихъ недавнихъ враговъ, подмѣчать и отражать своевременно каждую ихъ попытку, клонящуюся къ нарушенію заключеннаго договора. Чтобы контролировать такимъ образомъ дѣйствія дворянъ и чтобы постоянно помогать другъ другу въ случаѣ какихъ нибудь притѣсненій, плебеи, богатые и бѣдные, стали заводить въ своемъ кругу ассоціаціи или братства, которыя должны были поддерживать и защищать всѣми силами каждаго изъ своихъ членовъ. Эти ассоціаціи сдѣлались для плебеевъ тѣмъ, чѣмъ были родовые союзы для дворянъ. Плебейскія ассоціаціи собирались въ опредѣленные сроки, обсуживали свои потребности, разсматривали жалобы своихъ членовъ и принимали мѣры для удовлетворенія обиженныхъ. Такая ассоціація составилась въ Брешіи въ самомъ началѣ XIII вѣка и приняла имя Bruzella. «Это имя, говоритъ Сисмонди, Bruzella или Brighella сохранилось до нашего времени: это одна изъ масокъ итальянскаго театра, брешіанскій плебей, дерзкій, храбрый и пронырливый». Около этого же времени плебейскія братства размножились въ Миланѣ. Замѣтивъ свою многочисленность, они вступили въ сношенія между собой, стали дѣйствовать общими силами и наконецъ слились въ два огромныя общества, Mota и Credenza, которыя втянули въ себя почти всю массу миланскаго населенія. Общество Mota было составлено изъ купцовъ и зажиточныхъ гражданъ; въ обществѣ Credenza господствовали ремесленники, поденщики и бѣдняки. Оба плебейскія общества старались дѣйствовать въ согласіи между собой, но это не всегда имъ удавалось. Какъ и слѣдовало ожидать, Mota отличалась осторожностью и дальновидностью, а Credenza —страстностью и рѣшительностью.

Въ 1240 году, во время войны ломбардской лиги съ Фридрихомъ II, произошло въ Миланѣ сильное столкновеніе между дворянами и народомъ. Во первыхъ, дворяне, по обыкновенію, захватили всѣ важнѣйшія должности въ государствѣ и въ церкви. Во-вторыхъ, они уклонялись отъ платежа налоговъ, которые, по случаю войны, были очень значительны. Чтобы не платить ничего, дворяне уѣзжали въ свои замки, куда конечно сборщикамъ податей неудобно было заглядывать. Въ-третьихъ, дворяне настоятельно требовали, чтобы ихъ судили за убійство по старымъ ломбардскимъ законамъ, въ силу которыхъ убійца могъ откупиться отъ всякаго наказанія небольшимъ денежнымъ штрафомъ, составлявшимъ на наши деньги меньше тридцати рублей серебромъ. Еслибы дворянамъ удалось возстановить эти старые законы, то они могли-бы покупать по дешевой цѣнѣ жизнь каждаго плебея, который имѣлъ-бы несчастіе обратить на себя ихъ недоброжелательное вниманіе. Эти старые законы были выгодны только для однихъ дворянъ—даже въ томъ случаѣ, еслибы они были распространены на всѣхъ гражданъ миланской республики. Человѣкъ, убившій дворянина, ни въ какомъ случаѣ не могъ откупиться денежнымъ штрафомъ, хотябы законъ предоставлялъ ему на это полное право. Каждый членъ того рода, къ которому принадлежалъ убитый, считалъ кровавую месть самой священной изъ своихъ нравственныхъ обязанностей и не находилъ возможнымъ отказаться отъ этой обязанности за какія-бы то ни было деньги. Противъ этого предразсудка законъ былъ такъ же безсиленъ, какъ онъ въ наше время безсиленъ противъ дуэли. Но этотъ предразсудокъ господствовалъ только въ дворянскомъ сословіи, для котораго частныя войны составляли любимое и привычное дѣло. Плебеи, занятые производительнымъ трудомъ или мирными коммерческими оборотами, почти всегда предоставляли закону и суду право и обязанность мстить за своихъ родственниковъ. Поэтому, если-бы ищеніе по закону ограничилось взысканіемъ тридцати рублей съ убійцы, то жизнь плебея очутилась-бы въ рукахъ каждаго богатаго буяна, имѣющаго возможность напустить на него шайку своихъ лакеевъ и потомъ выбросить изъ кармана штрафную сумму.

Mota и Credenza соединились противъ дворянъ, заставили ихъ отказаться отъ старыхъ ломбардскихъ законовъ, произвели новый дѣлежъ должностей, вытребовали отъ нихъ тѣ налоги, которыхъ они не хотѣли платить, и наконецъ провозгласили защитникомъ миланскаго народа синьора Пагано делла-Торре, того самаго, который спасъ остатки миланской арміи, разбитой при Корте-Нуова. Новое званіе защитника, созданное двумя частными обществами, которыя не имѣли въ республикѣ никакого оффиціально признаннаго положенія, тотчасъ стало рядомъ съ самыми важными общественными должностями. Весь миланскій народъ призналъ дѣйствительно синьора Пагано своимъ вождемъ, защитникомъ, покровителемъ и благодѣтелемъ; въ достоинствахъ этого джентльмена никому не позволялось сомнѣваться; недовѣріе къ синьору Пагано считалось тяжелымъ оскорбленіемъ народной чести; искренность и глубина демократическаго воодушевленія измѣрялись силою той привязанности, которую демократъ обнаруживалъ къ особѣ возлюбленнаго трибуна. Бросившись такимъ образомъ на колѣни передъ своимъ выборнымъ начальникомъ, плебеи не могли подумать о томъ, чтобы ограничивать его власть и принимать противъ него какія нибудь предосторожности. Къ чему онѣ,

Digitized by Google

эти бездушныя и оскорбительныя предосторожности? Развѣ Пагано делла-Торре можетъ обмануть народное довѣріе? Развѣ онъ можетъ употребить во зло свое могущество? Чѣмъ неограниченнѣе будетъ его власть, тѣмъ успѣшнѣе онъ будетъ защищать интересы народа. Усиливая своего вождя, народъ увеличиваетъ свое собственное благосостояніе. Такъ разсуждали миланцы, или по крайней мѣрѣ по такой программѣ складывались ихъ поступки. Эти разсужденія и эта программа не должны приводить въ изумленіе читателя, сколько нибудь знакомаго съ политическими доктринами славянофиловъ. Что возможно въ XIX вѣкѣ, того нельзя вмѣнять въ преступленіе людямъ XIII столѣтія; этимъ людямъ приходилось выдерживать отчаянную борьбу, и слѣдовательно имъ было очень неудобно слѣдить постоянно, съ одинаково напряженнымъ вниманіемъ, и за движеніями непріятеля, и за поступками собственнаго главнокомандующаго. Къ этому надо еще прибавить, что этотъ главнокомандующій былъ дѣйствительно человѣкъ честный и одаренный многими хорошими качествами. Можно ли, при такихъ условіяхъ, удивляться тому, что миланцы предоставили ему такую неопредѣленно-обширную власть, которой мудрено было ужиться съ республиканскими учрежденіями.

Пагано не позволилъ себѣ ни одного произвольнаго, несправедливаго или насильственнаго поступка, и вообще не сдѣлалъ съ своей стороны ничего для уничтоженія республиканскаго порядка. Но эта добросовѣстная умѣренность была опаснѣе самаго дикаго самовластія. Если-бы защитникъ народа вздумалъ дѣйствовать, какъ суровый деспотъ, то въ настроеніи миланскаго плебейства произошелъ бы очень скоро такой переворотъ, который положилъ-бы конецъ неограниченному господству выборнаго начальника. Но видя со стороны своего вождя постоянную благоразумную сдержанность, народъ привыкалъ къ повиновенію и убѣждался понемногу въ томъ, что, вручивъ свою судьбу выборному начальнику и сваливъ на его плечи всѣ политическія заботы, онъ, народъ, поступилъ очень умно и похвально. Утвердившись въ такомъ образѣ мыслей, народъ конечно становится уже неспособнымъ къ республиканскому существованію. Онъ теряетъ любовь къ свободѣ, а когда эта любовь потеряна, тогда народъ мирится очень легко и съ такими злоупотребленіями власти, которыя въ былое время подняли бы противъ себя разрушительную бурю народнаго гнѣва. Добрые деспоты прокладываютъ такимъ образомъ дорогу злымъ деспотамъ, которые своими административными трудами истребляютъ окончательно всѣ проявленія народнаго самосознанія и самоуваженія.

Во времена синьора Пагано миланцы были еще неспособны переносить кротко и терпѣливо всякія оскорбленія и притѣсненія. Администраторамъ надо было пользоваться очень осторожно тою властью, которую предоставлялъ имъ народъ. Если даже народъ вручалъ какому нибудь лицу неограниченное могущество, то и тогда было очень опасно вѣрить этому народу на-слово. Когда народу становилось тяжело, онъ поднимался во всемъ величіи своего гнѣва и не обращалъ никакого вниманія на полномочіе, данное имъ же самимъ въ минуту радостнаго восторга или неосторожной довѣрчивости. Силу своего гнѣва миланскій народъ обнаружилъ въ 1250 году надъ однимъ изъ своихъ правителей, Бено Гоццадини. Миланскіе финансы были совершенно истощены продолжительной войною ломбардской лиги съ Фридрихомъ II. Государственный долгъ миланской республики былъ такъ великъ, что правительство рѣшило отсрочить на восемь лѣтъ всѣ платежи по своимъ долговымъ обязательствамъ. Такъ какъ кредиторами республики были миланскіе капиталисты, то правительство, прекращая свои платежи, предоставило и всѣмъ частнымъ должникамъ ту самую отсрочку, которую оно взяло для себя. То есть правительство объявило своимъ кредиторамъ, что, покуда оно имъ не заплатитъ, до тѣхъ поръ и они, кредиторы, могутъ не платить своимъ заимодавцамъ, которые въ свою очередь освобождаются отъ обязанности платить по своимъ векселямъ. Понятно, что такая мѣра произвела коммерческій кризисъ, изъ котораго миланскимъ гражданамъ желательно было выпутаться какъ можно скорѣе. Чтобы выпутаться, надо было наполнить деньгами государственную казну. Миланцы пригласили изъ Болоньи финансиста Бено Гоццадини и уполномочили его придумывать и установлять въ Миланѣ всевозможные налоги, и прямые и косвенные, и съ капиталовъ, и съ доходовъ, и съ промысловъ, и съ предметовъ потребленія, и съ чего угодно. Бено Гоццадини, подобно всѣмъ первобытнымъ финансистамъ, болѣе смѣлымъ, чѣмъ опытнымъ, сразу навалилъ, по всей вѣроятности, огромные налоги на предметы первой необходимости—на хлѣбъ, на мясо, на соль, на овощи.

Разумѣется, эти налоги привлекли въ казну значительныя суммы денегъ, потому что отъ платежа такихъ налоговъ не могъ уклониться ни одинъ нищій. Но, разумѣется также, эти налоги возбудили величайшее неудовольствіе въ самомъ бѣдномъ и самомъ многочисленномъ классѣ миланскаго населенія. Однако цѣлые четыре года народъ платилъ и терпѣлъ. На пятый годъ партія богачей, для которой налоги были гораздо менѣе тягостны, чѣмъ пріостановка платежей по государственнымъ заемнымъ обязательствамъ, настояла на томъ, чтобы великій финансистъ Гоццадини получилъ должность миланскаго подесты. Богачи надѣялись, что въ качествѣ подесты Гоццадини будетъ внушать

Digitized by Google

народу больше уваженія и еще успѣшнѣе прежняго держать его на пищѣ св. Антонія во имя высшихъ интересовъ государственнаго казначейства и миланской торговли. Капиталисты ошиблись въ своихъ разсчетахъ. Бѣднымъ людямъ надоѣлъ такой порядокъ вещей, при которомъ каждый изъ нихъ работалъ за четверыхъ, а ѣлъ за половину человѣка.

Вспыхнуло всеобщее возстаніе, и Гоццадини погибъ подъ ударами мятежниковъ, не смотря на свое высокое званіе. Впрочемъ народъ поступилъ здѣсь со своей обыкновенной запальчивостью и недальновидностью. Выливши всю свою ярость на одну, почти невинную личность, работавшую по чужому заказу, народъ успокоился и почислилъ свое дѣло благополучно оконченнымъ, а между тѣмъ капиталисты, оправившись отъ своего испуга, потихоньку возстановили, подъ разными уважительными предлогами, почти всю финансовую систему убитаго Гоццадини.

Съ синьоромъ Пагано не случилось ничего похожаго на ту катастрофу, которая постигла слишкомъ усерднаго изобрѣтателя налоговъ. Пагано делла-Торре удержалъ свою должность до конца жизни, умеръ естественной смертью и оставилъ послѣ себя такую добрую память, которая пошла въ прокъ его младшимъ родственникамъ. Имя синьора делла-Торре было такъ дорого миланцамъ, что ихъ лѣтописцы, наперерывъ другъ передъ другомъ, стали придумывать для народнаго любимца такую генеалогію, которая своей древностью соотвѣтствовала бы блеску его прекрасныхъ качествъ. Многіе доводятъ списокъ предковъ синьора Пагано до временъ Амвросія Медіоланскаго; хроникеръ Каріо выводитъ фамилію делла-Торре отъ Франко, побочнаго сына Гектора, того самаго Гектора, который защищалъ Трою и былъ женатъ на Андромахѣ. Наконецъ одинъ монахъ перещеголялъ всѣхъ остальныхъ генеалогистовъ и прослѣдилъ линію знаменитыхъ предковъ Пагано вплоть до самого Адама, дальше котораго уже невозможно было идти писателю, желающему оставаться добрымъ католикомъ.

Послѣ смерти Пагано народнымъ любимцемъ и признаннымъ предводителемъ демократической партіи сдѣлался его племянникъ, Мартино делла-Торре. Во время господства этого Мартино во главѣ миланской республики появляется, впродолженіе трехъ лѣтъ (1253—1256), маркизъ Ланчіа Монферратскій, съ титуломъ генералъ-капитана и съ правомъ назначать каждый годъ мѣстнаго подесту. Чтобы понять, съ какой стати миланцы, всегда дорожившіе своей независимостью и принадлежавшіе къ гвельфской партіи, добровольно подчинились на три года чужеземному магнату и ревностному гибелину, надо бросить взглядъ на тогдашнее положеніе военнаго дѣла.

Во время Фридриха Барбароссы главную силу армій составляла пѣхота. Дворяне сражались обыкновенно верхомъ, но во-первыхъ ихъ всегда было не очень много, сравнительно съ общей массой войска, а во-вторыхъ, они были вооружены такъ, что пѣхота могла сопротивляться ихъ натиску и даже побѣждать ихъ. Тогдашніе кавалеристы еще не были закованы въ желѣзо съ ногъ до головы и не были вооружены тѣмъ длиннымъ и толстымъ копьемъ, которое впослѣдствіи наводило ужасъ на пѣхотинцевъ. Граждане итальянскихъ республикъ своими широкими и обоюдоострыми мечами рубили съ величайшимъ успѣхомъ и пѣхоту, и конницу Фридриха Барбароссы. Чтобы владѣть мечемъ, не надо было посвящать всю свою жизнь изученію военнаго дѣла. Каждый купецъ или ремесленникъ, если онъ былъ силенъ и неустрашимъ, оказывался отличнымъ воиномъ, способнымъ сражаться съ какими угодно закаленными ветеранами. Такіе купцы и ремесленники защищали Ломбардію впродолженіе двадцати двухъ лѣтъ, одержали знаменитую побѣду при Линьяно и вынудили у императора константскій миръ.

Но уже въ арміяхъ Фридриха Барбароссы находился зародышъ будущаго желѣзнаго рыцарства, передъ которымъ пѣхота должна была оказаться безсильной. Такъ называемые «жандармы» были покрыты желѣзомъ; стрѣлы арбалетчиковъ не могли ихъ поранить; наступательнымъ оружіемъ жандарма было длинное копье, которымъ онъ могъ колоть пѣхотинцевъ, не подвергая себя ударамъ ихъ мечей; даже и лошадь жандарма была защищена отъ непріятельскихъ стрѣлъ желѣзной кольчугой, покрывавшей ея грудь и бока. Жандармы дѣйствовали обыкновенно очень успѣшно вездѣ, гдѣ они появлялись; но ихъ было немного; нуженъ былъ особенный навыкъ для того, чтобы драться въ тяжеломъ желѣзномъ вооруженіи, нужна была также особенно сильная порода лошадей, для того чтобы выдерживать на спинѣ тяжесть желѣзнаго всадника и во весь духъ скакать съ этой тяжестью на полѣ сраженія. Кромѣ того жандармы были годны только для атаки на совершенно ровной мѣстности; малѣйшій бугорокъ, или ложбина, или ручей разстроивали ихъ боевой порядокъ и дѣлали ихъ нападеніе невозможнымъ. При всемъ томъ достоинства этой тяжелой кавалеріи были такъ поразительны, что всѣ военные люди того времени занялись ея усовершенствованіемъ. Каждому дворянину хотѣлось быть непобѣдимымъ и неуязвимымъ; каждый запасался для войны крѣпкой броней, каждый старался купить, вымѣнять или воспитать себѣ сильную боевую лошадь, которая могла бы грудью пробивать ряды непріятельской арміи; кто имѣлъ малѣйшую возможность вооружиться

Digitized by Google

по-жандарски, тотъ разумѣется не поступалъ добровольно ни въ легкую кавалерію, ни въ пѣхоту. Какая надобность была ему идти туда, гдѣ и лавровъ было меньше, и опасности больше?

Сосредоточивая на себѣ такимъ образомъ все вниманіе богатыхъ и знатныхъ спеціалистовъ военнаго дѣла, вооруженіе тяжелой кавалеріи постоянно улучшалось во всѣхъ своихъ частяхъ. Кираса дѣлалась толще, шлемъ—массивнѣе, щитъ—объемистѣе и надежнѣе, копье—длиннѣе и крѣпче. Наконецъ, благодаря этимъ неутомимымъ стараніямъ, вытекавшимъ изъ естественнаго чувства самосохраненія, голова, грудь, руки и ноги рыцарей покрылись во всѣхъ своихъ частяхъ толстыми слоями желѣза, отъ котораго отскакивали стрѣлы и по которому можно было сколько угодно стучать мечемъ, не подвергая ни малѣйшей опасности огромную улитку, забравшуюся въ эту металлическую раковину. Но надо было умѣть носить эту раковину, которая своей тяжестью подавляла непривычнаго къ ней человѣка; надо было въ этой раковинѣ выдерживать и лѣтній жаръ, и осеннюю сырость, и зимній холодъ; надо было, чтобы руки, закованныя въ желѣзные рукава и перчатки, махали полупудовымъ копьемъ, какъ наши руки машутъ гутаперчевыми хлыстиками или жиденькими стальными рапирами. Словомъ, подъ стать къ желѣзному вооруженію необходимы были почти такіе же желѣзные люди и лошади. Спеціалисты военнаго дѣла, феодальные дворяне, только объ этомъ и заботились впродолженіе цѣлыхъ столѣтій. Въ мирное время они постоянно развивали въ себѣ тѣлесную силу и ловкость то охотою, то турнирами, то разными играми, то гимнастическими упражненіями. Они пріучали все свое тѣло къ тяжелому вооруженію такъ точно, какъ китайская женщина пріучаетъ свои ноги къ крошечнымъ башмачкамъ. Они съ колыбели воспитывали своихъ сыновей такъ, чтобы эти сыновья въ свое время сдѣлались молодцами, способными вскакивать на лошадь въ полномъ вооруженіи, прямо съ полу, не касаясь ногой до стремени. Тѣмъ ребятамъ, которые были слабы и болѣзненны отъ природы, не было мѣста въ рядахъ желѣзнаго рыцарства; такимъ людямъ незачѣмъ было и вступать въ бракъ; ихъ направляли съ дѣтства въ монастырь, гдѣ они могли составить себѣ блестящую карьеру, несмотря на свою тщедушность.

Еще внимательнѣе и заботливѣе, чѣмъ своихъ сыновей, рыцари воспитывали своихъ породистыхъ жеребятъ, изъ которыхъ можно было сформировать великолѣпнаго боевого коня. Рыцарь берегъ и развивалъ силы своего боевого коня самымъ тщательнымъ образомъ. Для похода у него была другая лошадь (по-французски palefroi) менѣе строгаго закала; боевой конь (destrier) сохранялъ всѣ свои силы и всю свою горячность до той минуты, когда надо броситься на врага.

Въ XIII вѣкѣ тяжелая рыцарская кавалерія была уже настолько готова, что пѣхота не могла выдерживать ея натиска. Когда несостоятельность пѣхоты сдѣлалась несомнѣнной, тогда въ сухопутномъ строю произошелъ переворотъ, подобный тому, который совершился на нашихъ глазахъ въ морской тактикѣ. Ничтожные отряды тяжелой кавалеріи стали разгонять и истреблять цѣлыя тысячи пѣшихъ воиновъ такъ точно, какъ въ наше время одинъ мониторъ можетъ пустить ко дну цѣлыя эскадры деревянныхъ кораблей.

Пока дворяне съ систематическимъ упорствомъ превращали себя въ желѣзныхъ людей, пока они путемъ долговременныхъ и утомительныхъ упражненій срослись наглухо съ своими непроницаемыми бронями—народныя массы не только не совершенствовались въ военномъ отношеніи, но даже теряли понемногу и тѣ военныя достоинства, которыми онѣ обладали, находясь въ полудикомъ состояніи.

Плебеи также развивались, но только не въ томъ направленіи, въ которомъ происходило развитіе дворянъ. Плебеи превращались въ опытныхъ банкировъ, въ смышленныхъ негоціантовъ, въ искусныхъ ремесленниковъ, въ любознательныхъ грамотѣевъ, въ трудолюбивыхъ художниковъ. Этими превращеніями значительно увеличивалась масса народнаго капитала, умственнаго и вещественнаго. Но когда дѣло доходило до драки, когда надо было пускать въ ходъ грубую физическую силу—тогда всѣ коммерческія, ремесленныя, научныя и художественныя усовершенствованія оказывались не только безполезными, но даже и вредными. Всѣ разнообразныя занятія, которыми плебеи зарабатывали себѣ насущный хлѣбъ или увеличивали свое матеріальное благосостояніе, всѣ эти занятія или обрекали плебеевъ на сидячую жизнь, награждая ихъ за прилежаніе геморроемъ, сутуловатостью, слабостью легкихъ и атрофіей важнѣйшихъ мускуловъ, или по крайней мѣрѣ, развивали ихъ физическую силу самымъ одностороннимъ образомъ, такъ что напримѣръ крѣпкія руки соединялись съ тощими и слабыми ногами, или на оборотъ. Много ли силы можетъ развить въ себѣ купецъ за своимъ прилавкомъ, банкиръ въ своей конторѣ, сапожникъ, портной или ткачъ въ своей мастерской? Вообразите же себѣ теперь, что на цѣлую армію составленную изъ кроткихъ и жидкихъ лавочниковъ, портныхъ, сапожниковъ, столяровъ, слесарей, булочниковъ, летятъ во весь опоръ двѣ, три сотни ражихъ дѣтинъ, закованныхъ въ желѣзо отъ кончика носка до кончика носа, съ саженными копьями въ ру-

Digitized by Google

кахъ и на громаднѣйшихъ лошадищахъ, которыя, какъ шальныя, лѣзутъ прямо на человѣка. Разумѣется, должна произойти сцена, похожая на избіеніе младенцевъ. Если бы лавочники и ремесленники вздумали сами облачиться въ рыцарскіе доспѣхи, взять въ руки саженныя копья и взгромоздиться на колоссальныхъ боевыхъ коней, — то произошла бы другая сцена, гораздо болѣе комическая, но одинаково непріятная для плебеевъ. Они изнемогли бы подъ тяжестью собственной аммуниціи и погибли бы отъ лютости собственныхъ коней, съ которыми они не съумѣли бы справиться.

Чѣмъ дальше подвигается впередъ дѣло цивилизаціи, чѣмъ живѣе и разнообразнѣе становится промышленное и умственное движеніе, тѣмъ необходимѣе и неизбѣжнѣе оказывается раздѣленіе труда, которое почти совсѣмъ не существуетъ въ первобытныхъ человѣческихъ обществахъ и которое доводится до самыхъ уродливыхъ и вредныхъ крайностей въ громадныхъ мануфактурахъ современной Европы. Съ раздѣленіемъ труда постоянно шла до сихъ поръ рука объ руку односторонность физическаго развитія; чѣмъ строже проводился принципъ раздѣленія труда, тѣмъ уродливѣе становились работники, и слѣдовательно чѣмъ богаче дѣлались промышленные и торговые города, тѣмъ менѣе городскіе жители оказывались способными защищать собственными силами свое богатство отъ предпріимчивыхъ рыцарей, превратившихъ себя въ непобѣдимыхъ атлетовъ.

Но по мѣрѣ того, какъ развивается цивилизація, постоянно увеличивается число тѣхъ промышленныхъ занятій, которыя требуютъ очень мало физической силы. Слесарю нужно меньше силы, чѣмъ кузнецу; ювелиру и часовщику еще меньше, чѣмъ слесарю; столяру меньше, чѣмъ плотнику; рѣзчику и токарю еще меньше, чѣмъ столяру. Но понятно, что въ полудикомъ обществѣ только кузнецъ да плотникъ и могутъ найти себѣ работу; слесарь, ювелиръ, часовщикъ, столяръ, рѣзчикъ и токарь порождаются уже дальнѣйшимъ развитіемъ промышленнаго движенія и общественной жизни. Въ полудикомъ обществѣ, гдѣ каждое отдѣльное хозяйство готовитъ себѣ собственными средствами и одежду, и обувь, и посуду, и мебель— почти вся обработка сырого матеріала составляетъ обязанность женщинъ. Ткачей, портныхъ и сапожниковъ нѣтъ. Мужчины занимаются почти исключительно добываніемъ сырого матеріала.

Мужи пашутъ, жены рубы строятъ,

какъ говоритъ старая чешская пѣсня *о судѣ Любуши*. *Губы* значитъ рубахи, одежды. Понятно, что такіе мужи, которые только пашутъ, да косятъ, да рубятъ лѣсъ, да тешутъ бревна, да куютъ желѣзо, гораздо болѣе годны для исключительно-рукопашнаго боя, чѣмъ слесаря, ювелиры, сапожники, часовщики, портные, переплетчики и другіе трудолюбивые домосѣды, воспитанные усилившимся промышленнымъ движеніемъ. Значитъ, можно сказать положительно, что развитіе промышленности обезоружило народныя массы.

Конечно цивилизація несетъ въ себѣ самой лекарство для тѣхъ временныхъ болѣзней, которыя она порождаетъ своимъ развитіемъ. То самое движеніе, подъ вліяніемъ котораго дюжіе и воинственные варвары переродились въ тощихъ и кроткихъ ремесленниковъ, выработало для Европы и порохъ, и книгопечатаніе, и всѣ чудеса новѣйшей промышленной техники, и всѣ тонкости новѣйшаго военнаго искусства, и вообще все то, что осуждаетъ всякую аристократію на неминуемое паденіе. Но покуда всѣ эти прекрасные плоды цивилизаціи наливались и согрѣвали, масса все-таки оставалась безъ оружія, и желѣзная рыцарская аристократія громко и настойчиво выражала свое презрѣніе ко всѣмъ своимъ торгующимъ и работающимъ современникамъ.

И надо признаться, что претензіи рыцарей имѣли свое достаточное основаніе. Они были непобѣдимы. Они держали въ своихъ рукахъ судьбу всей Европы. Возможно-ли имъ было не презирать тѣхъ людей, которые не въ состояніи были имъ сопротивляться? Если-бы плебеи вздумали сказать дворянамъ: мы такіе-же люди, какъ и вы, то дворяне могли отвѣчать имъ съ саркастической улыбкой: докажите это на дѣлѣ!—Можно было чѣмъ угодно поручиться за то, что въ XIII вѣкѣ этотъ основной тезисъ демократической теоріи остался-бы недоказаннымъ.

Въ половинѣ XIII вѣка всѣ—и дворяне, и плебеи, были одинаково твердо убѣждены, во-первыхъ въ томъ, что никакая пѣхота не можетъ устоять противъ тяжелой кавалеріи, и во-вторыхъ въ томъ, что только одни дворяне способны пріучить себя къ непомѣрной тяжести полныхъ рыцарскихъ доспѣховъ.

Первое изъ этихъ убѣжденій поколебалось въ XIV вѣкѣ подъ вліяніемъ блестящихъ побѣдъ, одержанныхъ швейцарской пѣхотой надъ австрійскимъ и бургундскимъ рыцарствомъ.

Второе рухнуло также въ XIV вѣкѣ, когда многіе плебеи, привлеченные громадными выгодами военнаго ремесла, стали съ малыхъ лѣтъ приготовлять себя къ кавалерійской службѣ и выучились съ полнымъ успѣхомъ носить тяжелое вооруженіе.

Но эти два опроверженія были еще впереди. Прежде чѣмъ они состоялись, публика думала, что только дворяне могутъ побѣждать дворянъ въ открытомъ полѣ. Въ то время, когда гос-

Digitized by Google

подствовало это убѣжденіе, выведенное изъ длиннаго ряда дѣйствительныхъ фактовъ, многіе ломбардскіе города находились, подобно Милану, въ хронической враждѣ съ своими дворянами. Внутри города дворяне всегда терпѣли пораженія; какъ только начиналась тревога, улицы перегораживались рогатками, перерѣзывались баррикадами и становились непроходимыми для кавалеріи; въ то-же время изъ оконъ и съ крышъ сыпались на рыцарей камни, и рыцарямъ приходилось убѣгать изъ города со всевозможной поспѣшностью. Загородная война, разумѣется, оказывалась губительной для плебейства. Рыцари опустошали окрестности, морили горожанъ голодомъ и наносили имъ жестокія пораженія всякій разъ, какъ только горожане высовывали носъ за черту городской стѣны. Кромѣ того республика, лишенная своей тяжелой кавалеріи, была безоружна въ отношеніи ко всѣмъ своимъ сосѣдямъ. Чтобы защитить республику отъ постороннихъ враговъ и отъ ея собственныхъ дворянъ, оставалось только одно средство. Надо было нанять чужихъ дворянъ. Этотъ наемъ былъ очень возможенъ, потому что, при неугомонной борьбѣ партій и сословій, вся Италія была переполнена благородными изгнанниками и эмигрантами, которымъ нечего было ѣсть и которые превосходно знали всѣ тайны рыцарскаго искусства. Эти дворяне очень рады были получать за свою службу хорошія деньги отъ кого-бы то ни было, но такъ какъ дворянинъ, даже голодный, никакъ не можетъ забыть и уронить свое дворянское достоинство, то эти дворяне, отдавая себя въ наемъ, соглашались служить только подъ начальствомъ какого-нибудь магната, которому имъ не стыдно было-бы повиноваться. Тутъ являлось что-то похожее на наше мѣстничество, и республиканцы были принуждены нанимать какого-нибудь маркиза или графа, который, въ качествѣ подрядчика, обязывался поставить имъ за извѣстную цѣну опредѣленное количество вооруженныхъ рыцарей. Но если простые дворяне важничали и ломались надъ тѣми людьми, которые платили имъ жалованье, то разумѣется маркизъ или графъ ломался и важничалъ въ-десятеро больше. Ему мало было однихъ денегъ; ему нужны были громкіе титулы, ему нуженъ былъ почетъ, ему нужна была политическая власть. Теперь читатели понимаютъ вѣроятно, почему маркизъ Ланчіа Монферратскій сдѣлался генералъ-капитаномъ Милана, и почему миланцы на три года предоставили ему право назначать городского подесту. Ланчіа подрядился содержать въ Миланѣ тысячу человѣкъ тяжелой кавалеріи, и контрактъ былъ заключенъ на три года.

Въ то время, когда миланцы пригласили къ себѣ маркиза Ланчіа, въ Миланѣ не было открытой войны между дворянами и плебеями. Но такъ какъ обѣ партіи постоянно дулись и злились другъ на друга, то, не довѣряя своимъ доморощеннымъ кавалеристамъ, плебеи, по совѣту своего вождя, Мартино-делла-Торре, припасли себѣ на всякій случай тысячу чужихъ рыцарей, въ видѣ увѣсистаго камешка, положеннаго за пазуху. Генералъ-капитанство маркиза Ланчіа нисколько не помѣшало синьору Мартино оставаться по прежнему коноводомъ плебейства и главной двигательной пружиной миланской политики, тѣмъ болѣе, что Ланчіа даже совсѣмъ не пріѣзжалъ въ Миланъ, а только числился начальникомъ наемнаго отряда и каждый годъ присылалъ въ городъ подесту.

Около этого времени титулъ подесты пересталъ составлять исключительную принадлежность верховнаго судьи и правителя республики. Съ одной стороны дворяне, съ другой Mota и Credenza присвоили это названіе своимъ предводителямъ. Въ этомъ случаѣ слово служило вѣрнымъ выраженіемъ существующаго факта. Въ городѣ было дѣйствительно два лагеря и два полководца, и между ними балансировало кое-какъ оффиціальное правительство. Одинъ изъ этихъ полководцевъ назывался подестою дворянъ, другой—подестою народа, а третій, настоящій подеста — подестою республики, но что-же оставалось въ республикѣ за вычетомъ дворянства и народа?—Ничего или почти ничего. «Настоящій подеста—говоритъ Сисмонди, былъ иностранцемъ; онъ оставался на мѣстѣ не болѣе года; и законы, предоставляя ему обширныя прерогативы, обозначали однакоже ихъ границы. Напротивъ того, подеста дворянъ, Паоло-Сорезина, и подеста народа, Мартино делла-Торре, были облечены неограниченной и постоянной властью, потому что предѣлы этой власти не были обозначены, и потому что ей не было положено опредѣленнаго срока.» При такой отлично-выработанной организаціи партій, подеста республики, чтобы держаться на мѣстѣ, долженъ былъ непремѣнно опираться на ту или другую сторону, или, вѣрнѣе, превращать себя въ покорнѣйшаго слугу тѣхъ или другихъ сословныхъ страстей.

За подестою дворянъ, Паоло де-Сорезина, стоялъ настоящій коноводъ дворянской партіи, миланской архіепископъ, тотъ самый доминиканецъ, Левъ изъ Перего, который самъ призналъ себя достойнымъ занимать миланскую святительскую каѳедру. Все дѣлалось въ дворянскомъ лагерѣ по совѣту и по внушенію умнаго и смѣлаго архіепископа, а Сорезина былъ только подставнымъ лицомъ, выдвинутымъ впередъ потому, что прелату неудобно и совѣстно было стоять открыто во главѣ вооруженной партіи, которая ежеминутно грозила вовлечь республику въ кровавыя междуусобія.

Война разразилась въ 1257 году, вскорѣ послѣ того, какъ окончился срокъ контракта,

Digitized by Google

заключеннаго съ маркизомъ Ланчіа. Одинъ дворянинъ убилъ своего кредитора, пришедшаго къ нему за деньгами; народу не понравился такой способъ уплачивать долги; обѣ партіи взялись за оружіе, и дворянамъ вмѣстѣ съ архіепископомъ пришлось удалиться за-городъ. Народъ, подъ предводительствомъ делла-Торре, вышелъ изъ города съ своимъ каррочіо, чтобы доканать дворянъ, которые однакоже по обыкновенію за-городомъ стали дѣйствовать очень успѣшно. Дворянамъ помогали комаски. При ихъ содѣйствіи, дворяне отняли у республики нѣсколько укрѣпленныхъ замковъ и разбили плебеевъ въ нѣсколькихъ мелкихъ стычкахъ. Готовилось генеральное сраженіе, но тутъ явились въ оба лагеря посланники гвельфской лиги, которая въ это самое время старалась извести Эччелино III и разсчитывала на содѣйствіе Милана. Посланникамъ удалось помирить враговъ, и дворяне воротились въ городъ, обязываясь по обыкновенію вести себя добропорядочно. Въ началѣ слѣдующаго года обнаружились въ мирномъ договорѣ какія-то неясности и упущенія. Каждая изъ двухъ партій назначила отъ себя по тридцать по два уполномоченныхъ, и эти шестьдесятъ четыре довѣренныя особы составили новый трактатъ, въ которомъ всѣ права и всѣ взаимныя отношенія сословій были опредѣлены самымъ тщательнымъ образомъ, во всѣхъ своихъ мельчайшихъ частностяхъ и подробностяхъ. По этому трактату, право убивать кредиторовъ рѣшительно не было предоставлено благородному миланскому рыцарству. Трактатъ былъ подписанъ обѣими сторонами въ соборѣ св. Амвросія, 4 апрѣля 1258 года. Что дѣлало правительство республики въ то время, когда дворяне и плебеи ссорились, договаривались и мирились — этого рѣшительно невозможно опредѣлить. Правительство исчезало, стушевывалось, завертывалось въ свое безсиліе и предавалось всеобщему забвенію. Народъ, какъ мы видѣли, шелъ въ бой подъ предводительствомъ синьора Мартино и бралъ съ собою государственное знамя. А гдѣ былъ и что дѣлалъ настоящій подеста—этого никто не знаетъ, и объ этомъ нисколько не заботятся составители миланскихъ лѣтописей. Потомъ партіи вручаютъ законодательную власть шестидесяти четыремъ довѣреннымъ лицамъ; эти уполномоченные регулируютъ по своему благоусмотрѣнію всѣ общественныя и междусословныя отношенія, и правительство опять хранитъ самое глубокое и самое скромное молчаніе.

Такъ называемый миръ св. Амвросія продержался всего три мѣсяца. Въ концѣ іюня дворянъ опять погнали вонъ изъ города. Они отправились въ Комо и нашли тамъ такую же яростную борьбу между народомъ и дворянствомъ. Разумѣется, миланскіе дворяне стали помогать дворянамъ, а плебейское войско, пришедшее изъ Милана, соединилось съ плебеями. На улицахъ города Комо произошло сраженіе, въ которомъ дворяне были разбиты; вслѣдъ затѣмъ театръ военныхъ дѣйствій перешелъ въ окрестности Комо, и тутъ дворяне обоихъ городовъ одержали такую рѣшительную побѣду, что плебеи запросили мира и согласились на всѣ неумѣренныя требованія своихъ противниковъ.

Но побѣда дворянъ и заключенный миръ, на которомъ дворяне собирались построить гордое зданіе олигархическаго правленія, не могли имѣть никакого прочнаго значенія. Дворяне могли удерживать за собой перевѣсъ только въ открытомъ полѣ. Какъ только они, благодаря одержанной побѣдѣ, съ торжествомъ возвращались въ городъ, гдѣ ихъ тяжелая кавалерія не могла маневрировать, такъ плебеи немедленно подавляли ихъ своимъ численнымъ превосходствомъ. Такъ точно случилось и послѣ лѣтней кампаніи 1258 года, тѣмъ болѣе, что дворяне, незадолго до мира св. Амвросія, потеряли своего даровитѣйшаго руководителя, архіепископа Льва, скончавшагося въ 1257 году. Плебеямъ хотѣлось отмстить за испытанное пораженіе. Увлекаясь своимъ сословнымъ ожесточеніемъ, они готовы были опрокинуть всѣ республиканскіе порядки и ввести у себя тираннію, лишь бы только эта тираннія желѣзнымъ гнетомъ придавила къ землѣ гордыя головы безпокойнаго дворянства. Плебейская партія всѣми силами стремилась къ тому, чтобы превратить своего предводителя въ полновластнаго правителя республики. Въ 1259 году она рѣшила, что защитникъ или подеста плебеевъ будетъ называться *начальникомъ*, *старшиною* (Anziano) *и синьоромъ народа*. Оставалось рѣшить, кому будетъ ввѣрена эта новая должность. Здѣсь оба главныя плебейскія общества, Mota и Credenza, перессорились между собою. Креденца пылала неудержимымъ энтузіазмомъ къ семейству делла-Торре вообще, и къ синьору Мартино въ особенности. Мота обсуживала дѣло гораздо хладнокровнѣе и находила, что быстро возрастающее могущество синьора Мартино становится опаснымъ для республиканскихъ учрежденій. Между обоими обществами произошла кровопролитная стычка, послѣ которой Мота, состоявшая изъ богатыхъ буржуа, рѣшительно отложилась отъ демократической партіи и перешла почти цѣликомъ въ дворянскій лагерь, подъ начальство Гуліельмо де-Сорезина.

Креденца, которая, подобно всѣмъ чисто демократическимъ кружкамъ, не умѣла любить и ненавидѣть разсчетливо, настояла на своемъ, вознесла своего любимца выше облака ходячаго, и своими опрометчиво-восторженными дѣйствіями подтвердила ту старую истину, что демократія почти всегда сама посягаетъ на свое блестящее, но безалаберное существованіе.

Digitized by Google

Въ это время война крестоносцевъ противъ Эччелино еще продолжалась, и папскій легатъ, Филиппъ равеннскій, старался укрощать въ Ломбардіи всѣ междуусобныя распри, чтобы соединить всѣ силы городовъ и магнатовъ противъ тирана веронской мархіи. По совѣту легата, оффиціальный подеста Милана попробовалъ напомнить враждующимъ партіямъ о своемъ существованіи и приказалъ обоимъ вождямъ удалиться изъ города. Можно подивиться тому, что оба вождя, делла-Торре и Сорезина, исполнили приказаніе подесты. Надо полагать, что они не хотѣли ссориться съ легатомъ, который могъ навлечь на нихъ гнѣвъ своего владыки. Впрочемъ Мартино удалился не на долго. Черезъ нѣсколько дней онъ вернулся въ Миланъ; народъ прижалъ его съ восторгомъ къ своему пылающему сердцу и еще разъ торжественно провозгласилъ его своимъ Anziano и синьоромъ.

Мартино сталъ хозяйничать въ городѣ и въ области, какъ полновластный государь. Онъ подтвердилъ приговоръ изгнанія, направленный подестою противъ Сорезина, и выгналъ изъ Милана всѣхъ его приверженцевъ, то-есть всю дворянскую партію. Легатъ не сталъ гнѣваться на Мартино за его самовольное возвращеніе, вѣроятно на томъ основаніи, что побѣдителей не судятъ. Кромѣ того, изгнанные дворяне не замедлили учинить такую капитальную глупость, послѣ которой легату невозможно было брать ихъ подъ свое покровительство. При жизни архіепископа Льва, эта глупость конечно не была бы сдѣлана.

Дворяне пригласили къ себѣ на помощь синьора Эччелино, отъ котораго въ это время уже отвертывались съ ужасомъ и съ негодованіемъ даже подобные ему узурпаторы и тираны. Дѣла Эччелино находились далеко не въ блестящемъ положеніи. У него уже была отпята Падуя, и противъ него была составлена такая сильная лига, съ которой ему невозможно было управиться, тѣмъ болѣе, что его господство въ Брешіи было еще совершенно не упрочено. Ухватившись за окровавленную и уже ослабѣвающую руку веронскаго тирана, миланскіе дворяне немедленно втянули его въ пропасть, и вслѣдъ за нимъ полетѣли сами туда же. Обманутый ихъ несбыточными надеждами, Эччелино, какъ мы видѣли выше, сунулся къ Милану и попалъ въ западню. Послѣ пораженія и смерти веронскаго тирана, для его союзниковъ не могло быть спасенія. Ихъ ненавидѣла, ихъ презирала и отвергала вся Италія, которая въ это время на всѣхъ своихъ большихъ дорогахъ видѣла изнемогающія вереницы слѣпыхъ, безногихъ и безносыхъ фріольскихъ калѣкъ. Когда въ Миланѣ узнали о томъ, что дворяне хотѣли отдать республику въ руки веронскаго кровопійцы, тогда отъ дворянъ отшатнулась рѣшительно вся многочисленная группа осторожныхъ и предусмотрительныхъ республиканцевъ, которые соединились было съ ними для того, чтобы общими силами сопротивляться опасному возвышенію дома делла-Торре. Понятно, что вся выгода отъ этой реакціи досталось синьору Мартино, котораго значеніе еще гораздо болѣе увеличилось тѣмъ обстоятельствомъ, что онъ, во главѣ миланскихъ дружинъ, сильно содѣйствовалъ окончательному пораженію Эччелино. Обожатели Мартино, корыстные и безкорыстные, лукавые и простодушные, прославили его спасителемъ Ломбардіи, и городъ Лоди, въ припадкѣ восторженной благодарности, положилъ къ его ногамъ званіе синьора лодійской республики. Такимъ образомъ Мартино получилъ возможность, въ случаѣ возмущенія, поддерживать свою власть въ Миланѣ силами лодійцевъ, а въ Лоди – силами миланцевъ. Впрочемъ возмущенія никакого не предвидѣлось, потому что Мартино, подобно своему дядѣ Пагано, пользовался своей властью умѣренно и разсудительно. Народъ не считалъ нужнымъ замѣтить, что онъ нажилъ себѣ государя и потерялъ ту свободу, за которую его предки дрались при Линьяно и при Корте-Нуова. Были недовольны какіе нибудь завзятые республиканцы, но съ ними нетрудно было сладить, не поднимая шума и не возбуждая въ городѣ скандала.

Единственнымъ опаснымъ врагомъ Мартино была все-таки изгнанная дворянская партія, которая, не смотря на свои ошибки, могла поддерживать сношенія съ недовольными республиканцами и заготовлять понемногу матеріалы для новыхъ переворотовъ. Чтобы раздавить этихъ враговъ, нужна была тяжелая кавалерія. Мартино рѣшился нанять маркиза Пелавичино и заключилъ съ нимъ контрактъ на пять лѣтъ. Маркизу было предоставлено званіе миланскаго генералъ-капитана и ежегодное жалованье въ тысячу фунтовъ серебра. Пелавичино былъ такъ силенъ, что при его содѣйствіи было очень нетрудно уничтожить разстроенную партію миланскихъ дворянъ. Пелавичино уже давно господствовалъ въ Кремонѣ; послѣ смерти Эччелино, Брешія и Новара признали его своимъ генералъ-капитаномъ; затѣмъ миланская республика отдала себя на пять лѣтъ въ его распоряженіе; далѣе, Піаченца, Тортона и Александрія вручили ему верховную власть; наконецъ, посредствомъ своихъ многочисленныхъ приверженцевъ, онъ управлялъ городами Павіей, Пармой, Реджіо и Моденой. Такой сильный союзникъ могъ сдѣлаться для Мартино гораздо опаснѣе тѣхъ враговъ, противъ которыхъ была приглашена его тяжелая кавалерія. Роли очень легко могли перемѣниться: наемникъ могъ превратиться въ хозяина, а хозяинъ въ слугу или изгнанника. Но Мартино надѣялся конечно на любовь народа и разсчитывалъ на свою собственную по-

Digitized by Google

литическую ловкость. Эти разсчеты и надежды дѣйствительно не обманули его.

Въ 1261 году миланскія дружины и кавалерія маркиза Пелавичино загнали миланскихъ эмигрантовъ въ замокъ Табіаго и довели ихъ голодомъ и жаждою до безусловной сдачи. Плѣнниковъ оказалось около девяти сотъ человѣкъ. Ихъ заковали въ кандалы, нагрузили на телѣги и привезли въ Миланъ. Народъ требовалъ ихъ смерти, но великодушный Мартино помиловалъ ихъ—такъ, какъ обыкновенно милуютъ сильныя особы и счастливые побѣдители. Однихъ онъ поселилъ въ городскихъ тюрьмахъ; другихъ пристроилъ въ крошечныя кельи, находившіяся на вершинѣ башенъ и колоколенъ; третьихъ посадилъ, какъ дикихъ звѣрей, въ большія деревянныя клѣтки, на потѣху миланскимъ зѣвакамъ. Въ такомъ положеніи эти помилованные люди провели время до паденія дома делла-Торре, то есть до 1277 года.

Послѣ смерти Льва изъ Перего миланская архіепископская каѳедра слишкомъ пять лѣтъ оставалась незанятой. Въ миланскомъ капитулѣ, отъ котораго зависѣли выборы, боролись между собою тѣ же самыя партіи, которыя волновали республику. Плебеи предлагали въ архіепископы Раймунда-делла-Торре, племянника Мартино. Дворянская партія выдвигала впередъ другого кандидата. Папа былъ очень недоволенъ тѣмъ, что Мартино связался съ маркизомъ Пелавичино, который не только былъ ревностнымъ гибелиномъ, но даже оказывалъ явное покровительство ереси патариновъ и открыто сопротивлялся дѣйствіямъ священной инквизиціи. Чтобы наказать Мартино за союзъ съ нечестивыми и чтобы, въ то же время, напомнить миланскому капитулу о правахъ высшей духовной власти, папа забраковалъ обоихъ кандидатовъ и назначилъ самъ на миланскую каѳедру каноника Оттона Висконти, принадлежавшаго къ одной изъ самыхъ благородныхъ фамилій миланской республики. Мартино принялъ это назначеніе за личную обиду и, не желая болѣе церемониться съ папою, конфисковалъ почти всѣ имѣнія архіепископской каѳедры. Тогда Оттонъ Висконти, сильный покровительствомъ папы, собралъ вокругъ себя остатки разбитой дворянской партіи, и въ разныхъ углахъ Ломбардіи началась снова агитація противъ делла-Торре.

Въ 1263 году окончился срокъ контракту, заключенному городомъ Новарою съ маркизомъ Пелавичино. Новара отдалась синьору Мартино, и это обстоятельство повидимому нисколько не нарушило добраго согласія между обоими союзниками. Надѣясь упрочить свое положеніе въ Миланѣ на неопредѣленно-долгое время, маркизъ очевидно не хотѣлъ ссориться изъ-за бездѣлицы съ старшиною и синьоромъ миланскаго народа.

Въ томъ же 1263 году Мартино умеръ. Во время его предсмертной болѣзни миланскій народъ, по его просьбѣ, обѣщалъ ему передать его брату Филиппу титулъ и власть Anziano и синьора. Сдѣлавшись повелителемъ Милана, Филиппъ прожилъ только два года, но въ это время онъ успѣлъ подчинить своему господству города Комо, Верчелли и Бергамо. Всѣ эти завоеванія дѣлались безъ кровопролитія. «Во всѣхъ этихъ городахъ—говоритъ Сисмонди, а также и въ тѣхъ, которые покорились его брату, народъ не думалъ отказываться отъ своей свободы; онъ хотѣлъ выбрать себѣ не повелителя, а только покровителя противъ дворянъ, начальника военныхъ людей и верховнаго судью. Опытъ доказалъ ему слишкомъ поздно, что эти прерогативы, соединенныя въ однихъ рукахъ, производятъ монарха».

Въ 1264 году окончилось то пятилѣтіе, впродолженіе котораго Пелавичино долженъ былъ оставаться генералъ-капитаномъ Милана. Филиппу удалось около этого времени собрать въ своихъ городахъ достаточное количество рыцарей. Поэтому онъ расплатился съ маркизомъ и уволилъ его въ чистую отставку. Маркизъ, котораго честолюбивыя надежды и фантазіи заходили очень далеко, несказанно обидѣлся такимъ неожиданно скромнымъ исходомъ своего блистательнаго генералъ-капитанства. Съ досады онъ посадилъ подъ арестъ и обобралъ тѣхъ миланскихъ купцовъ, которые попались ему подъ руку въ его владѣніяхъ. Его разочарованіе и его гнѣвъ не повели за собой никакихъ дальнѣйшихъ послѣдствій.

Въ это время Карлъ Анжуйскій, братъ Людовика Святого, по приглашенію папы Урбана IV, приступилъ къ завоеванію Сицилійскаго королевства, въ которомъ съ 1254 года благополучно царствовалъ Манфредъ, побочный сынъ императора Фридриха II. Путь Карла лежалъ изъ Прованса вдоль по всей Италіи, съ сѣвера на югъ. Появленіе сильной французской арміи, совершенно преданной папскому престолу, оживило страсти партій и нарушило равновѣсіе, установившееся въ Ломбардіи между гвельфами и гибелинами. Филиппъ делла-Торе вступилъ въ союзъ съ Карломъ Анжуйскимъ и, въ знакъ своего особеннаго уваженія, позволилъ ему назначить въ Миланъ подесту изъ провансальцевъ. Города, въ которыхъ господствовали предводители гибелиновъ, маркизъ Пелавичино и Буозо-да-Доара, взбунтовались противъ нихъ одинъ за другимъ, такъ что маркизъ уже въ 1269 году остался только при своихъ наслѣдственныхъ замкахъ, а Буозо, изгнанный изъ Кремоны со всѣми своими приверженцами, и кромѣ того поссорившійся съ маркизомъ, умеръ въ совершенной нищетѣ.

Гибелины удержали за собой преобладаніе

Digitized by Google

только въ одной веронской маркіи, гдѣ Мартино делла-Скала довольно успѣшно старался сдѣлаться владѣтельной особой и возстановить въ свою пользу разрушившуюся монархію Эччелино III.

Въ началѣ 1266 года побѣда при Гранделлѣ и смерть Манфреда, убитаго въ этомъ рѣшительномъ сраженіи, открыли Карлу Анжуйскому дорогу къ сицилійскому престолу. Утвердившись въ своемъ благопріобрѣтенномъ королевствѣ, Карлъ задумалъ покорить сначала всю Италію, а потомъ Византійскую имперію. Въ 1268 году ему пришлось выдержать борьбу съ послѣднимъ представителемъ династіи Гогенштауфеновъ; 23 августа Карлъ разбилъ молодого Конрадина при Тальякоццо; спустя два мѣсяца послѣ этого сраженія, Конрадинъ, внукъ Фридриха II, взятый въ плѣнъ, сложилъ голову на плаху въ Неаполѣ, на городской площади. Партія гибелиновъ осталась безъ общаго предводителя.

Въ 1269 году Карлъ, стараясь усилить вліяніе на дѣла сѣверной Италіи, послалъ своихъ уполномоченныхъ въ Кремону и созвалъ туда на сеймъ представителей ломбардскихъ городовъ, принадлежавшихъ къ партіи гвельфовъ. На этомъ гвельфскомъ сеймѣ посланники Карла старались доказать, что для полнаго и прочнаго торжества надъ безбожными гибелинами слѣдуетъ придать управленію гвельфской лиги больше силы и единства, что для этого необходимо выбрать начальника всего союза и что никто, кромѣ сицилійскаго короля Карла, наполнившаго всю Европу шумомъ и блескомъ своихъ подвиговъ, неспособенъ вести гвельфскую лигу впередъ по славному пути побѣдъ и безукоризненнаго благочестія. Изъ этихъ пышныхъ рѣчей вытекало то практическое заключеніе, что всѣ ломбардскіе города должны назначить короля Карла своимъ синьоромъ. Ломбардія въ это время уже до такой степени привыкла безъ малѣйшей надобности бросать свою свободу подъ ноги первому встрѣчному, что многіе изъ депутатовъ, присутствовавшихъ на кремонскомъ сеймѣ, убѣжденные краснорѣчіемъ посланниковъ, тотчасъ же закабалили своихъ согражданъ королю Карлу. Піаченца, Кремона, Парма, Модена, Феррара и Реджіо признали надъ собой такимъ образомъ чужеземный протекторатъ, который, при благопріятныхъ условіяхъ, могъ превратиться въ очень тяжелое иго. Представители Милана, Комо, Верчелли, Новары, Александріи, Тортоны, Турина, Павіи, Бергамо, Волоньи и уполномоченные маркиза Монферратскаго отвѣчали, что они хотятъ быть союзниками и друзьями, но не подданными короля Карла. Этимъ отвѣтомъ не кончилось дѣло. Посланники Карла продолжали свои интриги, и въ концѣ того-же года миланцы и вслѣдъ за ними граждане нѣкоторыхъ другихъ городовъ присягнули на вѣрность Карлу, какъ безсмѣнному начальнику гвельфскаго союза.

Въ Миланѣ господствовалъ съ 1265 года Наполеонъ делла-Торре, племянникъ Филиппа и Мартино. Семейство делла-Торре свыклось уже съ своимъ высокимъ положеніемъ, перестало считать себя въ зависимости отъ народной любви и мало заботилось о томъ, чтобы пріобрѣтать себѣ популярность. Отношенія между народомъ и господствующимъ семействомъ охладѣли. Филиппъ и Наполеонъ были уже не любимыми вождями плебейской партіи, не кумирами толпы, не защитниками ея противъ дворянъ, а просто правителями государства, которымъ народъ повинуется равнодушно, на которыхъ онъ часто ропщетъ за тяжелые налоги и которыхъ онъ можетъ прогнать при первомъ удобномъ случаѣ. Любовь къ семейству бывшихъ денагоговъ охладѣвала вмѣстѣ съ той ненавистью, которую въ былое время внушала народу дворянская партія. Эта партія уже давно никому не вредила, никого не оскорбляла, никому не могла сдѣлаться опасной. Одни изъ ея коноводовъ и членовъ были въ могилахъ; другіе умирали медленной смертью въ тюрьмахъ и клѣткахъ, устроенныхъ для нихъ синьоромъ Мартино; третьи бродили по ломбардскимъ городамъ вмѣстѣ съ архіепископомъ Оттономъ, подвергаясь тѣмъ лишеніямъ и опасностямъ, которыми усѣяна жизнь политическаго изгнанника. Народныя массы забывчивы и великодушны. Имъ невозможно долго ненавидѣть такихъ людей, которые терпятъ преслѣдованія. Въ своихъ побѣжденныхъ врагахъ миланцы видѣли только несчастныхъ страдальцевъ. То упорное ожесточеніе, съ которымъ синьоры делла-Торре старались уничтожить послѣдніе остатки разбитой дворянской партіи, не встрѣчало себѣ со стороны народа ни малѣйшаго сочувствія. А между тѣмъ тяжкая партизанская война противъ Оттона Висконти и его приверженцевъ требовала денегъ, и эти деньги взыскивались съ народа, который вовсе не хотѣлъ войны. Народъ началъ понимать, что его интересы отдѣлились отъ частныхъ интересовъ фамиліи делла-Торре, и что главными его врагами, поглощающими его деньги и его силы, сдѣлались теперь тѣ самые люди, которые, по старой памяти, выдаютъ себя за его защитниковъ и выборныхъ начальниковъ. Но чувствуя и размышляя такимъ образомъ, народъ былъ уже неспособенъ освободиться собственными силами отъ такой власти, которая больше не соотвѣтствовала его наклонностямъ и потребностямъ. Республиканская энергія замерла подъ вліяніемъ тридцатилѣтняго господства неограниченныхъ правителей. Власть господствующей фамиліи стала украшаться ореоломъ какой-то законности, и хотя эта власть не нравилась почти никому, однако въ Миланѣ не оказывалось такого смѣльчака, который рѣшился-бы

Digitized by Google

выдвинуться впередъ и пригласить народную массу къ откровенному и настойчивому заявленію своихъ желаній, симпатій и антипатій. Миланъ ожидалъ себѣ толчка со стороны. Ему хотѣлось, чтобы какой-нибудь благодѣтель пришелъ освободить его. Разумѣется, можно было предвидѣть заранѣе, что этотъ великодушный освободитель усядется самъ на то мѣсто, съ котораго онъ прогонитъ синьоровъ делла-Торре.

Въ 1276 году Оттонъ Висконти собрался съ силами, заключилъ союзъ съ маркизомъ Монферратскимъ, взялъ нѣсколько укрѣпленныхъ замковъ, принадлежавшихъ синьорамъ делла-Торре, и въ началѣ 1277 года двинулся къ Милану. Наполеонъ делла-Торре выступилъ къ нему на встрѣчу и остановился на ночь съ своимъ войскомъ въ мѣстечкѣ Дезіо. Висконти напалъ на него ночью врасплохъ и такъ удачно, что захватилъ въ плѣнъ самого Наполеона вмѣстѣ съ пятью его родственниками. Эти шестеро плѣнниковъ попались въ руки комасковъ, которые были злы на Наполеона за то, что онъ держалъ въ клѣткѣ одного изъ ихъ соотечественниковъ. Знатныхъ плѣнниковъ препроводили въ Комо, и тамъ имъ отвели для жительства три желѣзныя клѣтки.

Двое синьоровъ делла-Торре оставались еще на свободѣ и командовали кавалерійскимъ отрядомъ, стоявшимъ въ Кантуріо и не принимавшимъ никакого участія въ неудачномъ дѣлѣ при Дезіо. Эти синьоры бросились въ Миланъ и стали умолять народъ, чтобъ онъ вооружился и отправился выручать ихъ плѣнныхъ родственниковъ. Но народъ былъ весь на сторонѣ счастливаго побѣдителя, грабилъ дворцы семейства делла-Торре, перерѣзывалъ улицы баррикадами и осыпалъ каменьями двойхъ синьоровъ, разсчитывавшихъ на его вооруженное содѣйствіе. Остатки торріанской партіи бѣжали изъ Милана сначала въ Лоди, потомъ въ Кремону. Оба эти города заперли передъ ними ворота, и повелители Ломбардіи, превратившіеся за ночь въ нищихъ изгнанниковъ, только въ Пармѣ нашли себѣ безопасное убѣжище.

Миланскій народъ уже не умѣлъ пользоваться свободой и защищать ее противъ всякаго посторонняго посягательства. Вліятельные граждане, въ минуту паденія старой династіи, думали только о томъ, какъ-бы раньше и искуснѣе другихъ преклониться передъ восходящей звѣздой новаго властелина. У всѣхъ миланскихъ политиковъ была на умѣ одна и та-же задушевная мысль; немудрено, что эта мысль выразилась въ словѣ и была тотчасъ-же поддержана сотнями усердныхъ восклицаній, которыя уже предназначались для чуткаго слуха новаго владыки, хотя этотъ владыка еще не показывался передъ стѣнами Милана. Граждане рѣшили, разумѣется, отправить къ архіепископу Оттону Висконти торжественную депутацію, которая вмѣстѣ съ радостными поздравленіями народа должна была поднести достопочтенному прелату титулъ пожизненнаго синьора и правителя миланской республики.

Такимъ образомъ возвысилась въ Миланѣ новая династія, которая съ перваго дня своего господства не имѣла уже ни малѣйшей надобности кокетничать съ народомъ и прикидываться усердной защитницей его интересовъ и его свободы. Республика, сама того не замѣчая, превратилась въ монархію.

ОБРАЗОВАННАЯ ТОЛПА.

(Сочиненія Ѳ. М. Толстого. Два тома).

I.

Книга, заглавіе которой мы здѣсь выписали, составляетъ въ нашей текущей литературѣ явленіе утѣшительное и даже до нѣкоторой степени замѣчательное. Автора этой книги не слѣдуетъ смѣшивать ни съ графомъ Л. Н. Толстымъ, написавшимъ «Дѣтство, Отрочество и Юность» и основавшимъ яснополянскую школу, ни съ графомъ А. К. Толстымъ, написавшимъ нѣсколько удачныхъ стихотвореній (напримѣръ, поучительный разговоръ Россіи съ царемъ Петромъ Алексѣевичемъ), «Князя Серебрянаго» и «Смерть Іоанна Грознаго». Если не ошибаемся, авторъ разбираемой нами книги—музыкантъ, композиторъ и музыкальный критикъ, писавшій свои музыкальныя рецензіи подъ псевдонимомъ *Ростиславъ*. Мы говоримъ: *если не ошибаемся*, потому что музыка для насъ закрытая область, и потому что мы, не умѣя отличать do отъ fa и бемоля отъ діеза, никогда не заглядывали въ сочиненія нашихъ музыкальныхъ критиковъ, и слѣдовательно никакъ не можемъ ручаться за тождественность котораго нибудь изъ этихъ недосягаемыхъ дѣятелей съ авторомъ разсматриваемыхъ нами двухъ томовъ.

Какъ-бы то ни-было, писалъ или не писалъ нашъ авторъ подъ псевдонимомъ Ростиславъ,

Digitized by Google

во всякомъ случаѣ остается достовѣрнымъ и несомнѣннымъ тотъ фактъ, что музыкальный элементъ далъ себя знать самымъ выразительнымъ образомъ въ повѣсти «Моргунъ—Капельмейстеръ-Самоучка», наполняющей большую часть второго тома. Подавленные непостижимыми разсужденіями о la majeur и do mineur, о smorzando и о прекрасныхъ качествахъ Бетховена, мы скромно проникаемся сознаніемъ нашего невѣжества и еще скромнѣе проходимъ всю повѣсть почтительнымъ молчаніемъ, тѣмъ болѣе, что основная мысль этой повѣсти—мысль о томъ, что крѣпостное право не всегда обходилось любовно и бережно съ богатыми дарованіями, прирожденными русскому простолюдину, не можетъ похвалиться особенно поразительной глубиной, новизной и смѣлостью.

Пройдемъ мы тѣмъ же смиреннымъ молчаніемъ драму «Пасынокъ», которая занимаетъ остальную часть второго тома. Эффекты этой драмы—распри между глупымъ старикомъ и глупымъ юношей, удушеніе перваго дурака вторымъ, угнетенная невинность, корыстолюбивый судья, тюремный замокъ, исхищеніе невинности изъ зіяющей бездны—могутъ приводить въ трепетъ или въ умиленіе добродушную публику, довершающую свое эстетическое образованіе въ залахъ столичныхъ и провинціальныхъ театровъ, но всѣ эти эффекты не могутъ навести читателя ни на одну плодотворную мысль, относящуюся къ жизни общества или отдѣльной человѣческой личности.

Раскланявшись такимъ образомъ со вторымъ томомъ, мы сосредоточиваемъ все наше вниманіе на первомъ, въ которомъ помѣщены двѣ замѣчательныя повѣсти: «Болѣзни воли» и «Ольга». Обѣ повѣсти замѣчательны, хотя и не въ одинаковой степени. Начнемъ съ «Ольги», какъ съ произведенія менѣе оригинальнаго, менѣе обширнаго и менѣе глубоко-задуманнаго.

Повѣсть «Ольга» вводитъ насъ въ благоухающій міръ блестящей петербургской молодежи, той веселой и беззаботной молодежи, которая въ умнѣйшихъ своихъ представителяхъ возвышается до онѣгинской пресыщенности и разочарованности, а въ глупѣйшихъ опускается довольно часто ниже точки замерзанія человѣческаго смысла и человѣческой совѣсти. Это—міръ рысаковъ, камелій, устрицъ и шампанскаго, загородныхъ гуляній, заимствованныхъ каламбуровъ, сладостныхъ комплиментовъ и неистощимыхъ разговоровъ на такія темы, о которыхъ непосвященный смертный не съумѣетъ произнести ни одного слова. Одинъ изъ молодыхъ людей, порхающихъ въ этомъ блестящемъ кругу, разсказываетъ своимъ сподвижникамъ эпизодъ изъ своей собственной жизни, и этотъ разсказъ составляетъ собою повѣсть «Ольга».

Этотъ разсказъ объясняетъ читателю, какія вліянія и обстоятельства могутъ превратить честную и образованную дѣвушку, гордость и украшеніе великосвѣтской гостиной—въ продажную женщину или, другими словами, въ роскошную и блистательную камелію. — Этому разсказу можно сдѣлать до нѣкоторой степени тотъ упрекъ, что онъ слишкомъ уменъ. Разсказчикъ самъ принадлежитъ къ тому веселому обществу, которое съ постоянно возрастающимъ успѣхомъ занимается изготовленіемъ очаровательныхъ женщинъ, способныхъ только пить шампанское и продавать съ аукціона свои поцѣлуи. Разсказчикъ самъ играетъ видную и дѣятельную роль въ слишкомъ обыкновенной исторіи Ольги. И однакожъ этотъ самый разсказчикъ ясно понимаетъ связь между причинами и слѣдствіями и бросаетъ на всѣ сообщаемые факты очень яркое, вѣрное и безпристрастное освѣщеніе. Онъ, дѣйствующее лицо, является неподкупнымъ судьей и не утаиваетъ ни отъ самого себя, ни отъ своихъ слушателей ни одной изъ тѣхъ подробностей, которыя кладутъ на его собственную личность достаточное количество темныхъ пятенъ. Читателю остается только недоумѣвать, какимъ это образомъ молодой человѣкъ, такъ вѣрно понимающій жизнь, можетъ играть въ этой жизни такую позорную и жалкую роль, или же—какимъ образомъ пустой и ничтожный человѣкъ можетъ возвышаться въ своемъ разсказѣ до такихъ спокойныхъ и обыкновенныхъ отношеній къ собственной личности. Авторъ, Толстой, очевидно надѣлилъ разсказчика своими собственными умственными качествами или, выражаясь точнѣе, авторъ ссудилъ разсказчика такой проницательностью и сообразительностью, которая нисколько не находится въ гармоніи со всѣми остальными аттрибутами блистательнаго юноши, изучающаго жизнь въ Излеровскомъ университетѣ. Толстой постоянно увлекается процессомъ психическаго анализа и, увлекаясь такимъ образомъ, влагаетъ нерѣдко въ уста своихъ дѣйствующихъ лицъ такія умныя рѣчи, которыя онъ долженъ былъ и могъ-бы произносить только отъ своего имени. Въ эту ошибку впадаютъ обыкновенно тѣ писатели, въ которыхъ мыслитель преобладаетъ надъ художникомъ. Этой погрѣшностью страдаютъ обыкновенно тѣ произведенія, въ которыхъ содержаніе преобладаетъ надъ формой. Но такъ какъ, съ одной стороны, всѣ литературы наводнены такими произведеніями, въ которыхъ ничтожность и мизерность мысли идетъ рука объ руку съ блистательной красотой выраженія, и такъ какъ, съ другой стороны, всѣ литературы до крайности бѣдны такими созданіями, въ которыхъ выражается замѣчательная и общеполезная идея, то мы чувствуемъ неотразимую потребность отнестись очень снисходительно къ тому недостатку, который можетъ быть подмѣченъ записнымъ эстетикомъ въ повѣстяхъ Толстого.

Digitized by Google

Мы позволимъ себѣ выразить предположеніе, что Толстой самъ чувствуетъ въ себѣ упомянутый недостатокъ. Онъ повидимому постоянно боится, что образы и сцены недостаточно ясно и осязательно выразятъ его идею; онъ постоянно старается дополнить впечатлѣніе отвлеченными разсужденіями и поясненіями; написавши рядъ картинъ, онъ вслѣдъ за тѣмъ самъ-же разсказываетъ читателю, съ какой цѣлью написаны эти картины, и какую именно идею желательно было въ нихъ провести. Съ точки зрѣнія неумолимаго эстетика, такой образъ дѣйствій заключаетъ въ себѣ двойное преступленіе; во-первыхъ, онъ обнаруживаетъ въ авторѣ недостаточное развитіе художественной виртуозности; во-вторыхъ, онъ указываетъ безспорно на предвзятую цѣль, на тенденціозность, на дидактичность даннаго произведенія, которое вслѣдствіе этого пятна теряетъ, по мнѣнію эстетика, всякое право называться художественнымъ. Напротивъ того, съ точки зрѣнія человѣка, относящагося съ горячей и дѣятельной любовью къ дѣйствительнымъ и осязательнымъ интересамъ общества и человѣческой личности, совершенство художественной техники имѣетъ второстепенное и служебное значеніе, а тенденціозность или дидактичность беллетристическаго произведенія оказывается не предосудительнымъ пятномъ, а необходимымъ оправданіемъ автора передъ читающей публикой. Мы должны сознаться съ достодолжной скромностью, что, по всему складу нашихъ убѣжденій, мы подходимъ гораздо ближе къ людямъ второй категоріи, чѣмъ къ заклятымъ эстетикамъ. Поэтому, встрѣчаясь съ тенденціознымъ произведеніемъ, мы не приходимъ въ безусловный ужасъ, не отлучаемъ провинившагося автора отъ сонма истинныхъ художниковъ, а только стараемся отвѣтить себѣ на вопросъ о томъ, каковы симпатіи и антипатіи даннаго писателя, что̀ именно защищается и что̀ опровергается его произведеніемъ. Дальнѣйшія наши отношенія слагаются сообразно съ тѣмъ отвѣтомъ, который получитъ себѣ нашъ вопросъ. Если мы подмѣтимъ въ авторѣ честную и сознательную любовь къ людямъ, если мы увидимъ въ его произведеніяхъ здоровый и вѣрный взглядъ на междучеловѣческія отношенія, то насъ нисколько не покоробитъ и не возмутитъ его стараніе договорить отвлеченными поясненіями ту мысль, которую онъ не съумѣлъ съ достаточной наглядностью воплотить въ свои образы и сцены. Это стараніе докажетъ намъ только, что писатель всей душой преданъ своему дѣлу, и что для успѣха этого дѣла онъ съ радостью пускаетъ въ ходъ даже такія средства, которыя могутъ внушить читателямъ сомнѣніе въ силѣ его художественной виртуозности.

II.

Своему разсказу «Ольга» Толстой предпосылаетъ нѣсколько размышленій, въ которыхъ онъ доказываетъ пользу и своевременность небольшихъ повѣствовательныхъ очерковъ, записанныхъ со словъ молодыхъ людей, совершенно неспособныхъ «приняться когда-либо за перо». Толстой говоритъ, что наша жизнь спѣшитъ и стремится куда-то впередъ, и что въ наше время «для наблюдательнаго глаза главное дѣло смотрѣть въ оба и не прозѣвать быстро мелькающихъ явленій жизни».

«Не видя большой пользы—продолжаетъ онъ—въ дидактическихъ пріемахъ для поученія нашей молодежи, я нахожу однакоже, что литература наша обязана изучать ея нравы, обычаи и стремленія. Называть однихъ нигилистами, другихъ кулигами, третьихъ просто фатами—сущее пустословіе; вѣдь есть же и другія категоріи. Дѣло литературы поглубже вникать—отчего у молодыхъ людей нашихъ составилось то или другое воззрѣніе, хоть напримѣръ на женщину. Это дѣло важное!»

Если мы вѣрно понимаемъ эти слова Толстого, то въ нихъ заключается энергическій протестъ противъ поверхностнаго и легкомысленнаго вписыванія живыхъ явленій, изумляющихъ мыслящаго наблюдателя своимъ безконечнымъ разнообразіемъ, въ очень ограниченное число рубрикъ и категорій, надъ которыми пришпилены разъ навсегда вывѣски и ярлыки, вовсе не соотвѣтствующіе внутреннему содержанію вписываемыхъ предметовъ. Произвольная классификація, любимый конекъ бездарныхъ тружениковъ, надѣлала много путаницы даже въ естественныхъ наукахъ, гдѣ изслѣдователи имѣютъ полную возможность относиться къ своему предмету спокойно, безстрастно и объективно. Въ тѣхъ отрасляхъ знанія и литературы, которыя разсматриваютъ явленія общественной жизни, всякая подобная классификація оказывается еще несравненно болѣе вредной, потому что здѣсь ярлыки и вывѣски пришпиливаются нарочно для того, чтобы возбудить въ массѣ читающихъ людей тѣ или другія, враждебныя или любовныя чувства къ разсматриваемому предмету. Каждая вывѣска становится непремѣнно или знакомъ отличія, или позорнымъ клеймомъ, смотря по тому, какая голова, дружеская или вражеская, потрудилась надъ ея измышленіемъ. Поэтому почти ни одна вывѣска не говоритъ намъ ровно ничего о дѣйствительныхъ свойствахъ того предмета, къ которому она прицѣплена. Однѣ изъ этихъ вывѣсокъ говорятъ прохожему: остановись, нахмурь свое чело, сдвинь брови и брось сюда молніеносный взглядъ, полный убійственнаго презрѣнія. Другія говорятъ тому-же прохожему: остановись, разгладь грозныя морщины твоего нахмуреннаго

Digitized by Google

чела и препроводи сюда самую очаровательную изъ твоихъ улыбокъ. А такъ какъ прохожіе по большей части отличаются сговорчивостью и податливостью, то приказанія вывѣсокъ исполняются буквально, свирѣпые взгляды и прелестныя улыбки летятъ куда слѣдуетъ въ роскошномъ изобиліи, и самосознаніе такъ называемаго образованнаго общества не дѣлаетъ ни шагу впередъ, потому что основательное знаніе всѣхъ измышленныхъ ярлыковъ и вывѣсокъ, ругательныхъ и хвалительныхъ, кажется этому образованному обществу весьма достаточнымъ удовлетвореніемъ его политической любознательности. Въ каждомъ образованномъ обществѣ есть, правда, мыслящіе люди, способные и желающіе усомниться въ безусловной вѣрности и характеристической выразительности общепринятыхъ вывѣсокъ и ярлыковъ. Эти люди возвышаютъ голосъ и стараются вразумить массу слишкомъ податливыхъ и сговорчивыхъ прохожихъ. Но многочисленные почитатели готовыхъ ярлыковъ и вывѣсокъ находятъ себѣ въ своихъ излюбленныхъ ярлыкахъ и вывѣскахъ самое сильное оружіе противъ непрошеныхъ вразумителей, нарушающихъ сладостную дремоту лѣнивыхъ и неразвитыхъ умовъ. Чтобы въ значительной степени подорвать вліяніе оригинальнаго мыслителя на общество, достаточно измыслить для него и для его единомышленниковъ какую-нибудь хулительную кличку или, еще того лучше, включить его, вмѣстѣ съ его послѣдователями, въ какую-нибудь изъ существующихъ и уже достаточно опозоренныхъ категорій. Если-бы, напримѣръ, какой-нибудь смѣлый чудакъ вздумалъ утверждать публично, что назвать человѣка какою нибудь кличкой еще не значитъ доказать неопровержимо его абсолютную негодность и зловредность, что подъ одной вывѣской могутъ находиться, по волѣ близорукихъ или недобросовѣстныхъ классификаторовъ, очень многіе предметы, другъ на друга очень не похожіе, и что наконецъ въ отношеніи къ самымъ безнадежнымъ негодяямъ надо все таки соблюдать извѣстное юридическое правило: audiatur et altera pars—то подобнаго чудака усмирили бы немедленно тѣ самые классификаторы. которыхъ онъ, чудакъ, старался уличить въ пристрастіи или близорукости. Надъ этимъ чудакомъ усердные классификаторы немедленно соорудили бы такую компрометтирующую вывѣску, которая въ самомъ скоромъ времени привлекла бы на его несчастную голову всѣ свирѣпые и презрительные взгляды всѣхъ податливыхъ и сговорчивыхъ прохожихъ.

Толстой вооружается совершенно справедливо противъ готовыхъ ярлыковъ и вывѣсокъ, посредствомъ которыхъ наши глубокомысленные классификаторы стараются рѣшить съ плеча самые сложные и запутанные вопросы общественной жизни. Толстой требуетъ изученія и анализа тамъ, гдѣ любители готовыхъ рубрикъ даютъ только ни на чемъ не основанныя сентенціи и резолюціи. Толстой старается спокойно и хладнокровно разсуждать съ той читающей публикой, которую наши классификаторы съ полнымъ успѣхомъ запугивали до сихъ поръ блистательнымъ арсеналомъ мудреныхъ иностранныхъ словъ, кончающихся на измъ и долженствующихъ изобразить собой всякую умственную нечистоту. Нельзя не жалѣть, и въ то же время трудно надѣяться, чтобы этотъ хорошій примѣръ, поданный Толстымъ, нашелъ себѣ многочисленныхъ подражателей.

Толстой совѣтуетъ литературѣ обратить вниманіе на тѣхъ молодыхъ людей, которымъ и въ голову не придетъ приняться когда либо за перо. Это—совѣтъ очень благоразумный. До сихъ поръ наша литература занималась преимущественно или даже почти исключительно тѣми, сравнительно не многочисленными молодыми людьми, которые размышляютъ или по крайней мѣрѣ стараются размышлять за все свое поколѣніе. Почти въ каждомъ романѣ и въ каждой повѣсти весь интересъ дѣйствія сосредоточивался вокругъ какой нибудь личности, которая по своему уму и развитію стояла выше всего окружающаго. Романъ или повѣсть очень часто стремились къ тому, чтобы доказать несостоятельность, фальшивость и искусственность всѣхъ убѣжденій, воодушевлявшихъ передового и развитого человѣка. Романистъ развѣнчивалъ и сводилъ съ пьедестала своего героя, но, даже вступая съ нимъ въ ожесточенную борьбу, онъ все-таки занимался почти исключительно имъ однимъ, какъ воплощеніемъ тѣхъ идей, которыя въ данную минуту занимали собой лучшіе и сильнѣйшіе умы, поставленные въ наиболѣе выгодное положеніе. Защищая или стараясь разбить тѣ или другіе идеалы, наша литература, въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей, въ значительной степени упускала изъ виду жизнь, понятія и стремленія тѣхъ очень многочисленныхъ людей, которые прозябаютъ со дня на день безъ всякихъ идеаловъ, безъ всякихъ умственныхъ тревогъ, подъ всеподавляющимъ вліяніемъ своихъ желудочныхъ побужденій и иныхъ инстинктовъ. Наши Чацкіе, Печорины, даже пожалуй Онѣгины, наши Рудины, Бельтовы, Базаровы, всѣ почти герои лучшихъ нашихъ беллетристическихъ произведеній, размышляютъ, сомнѣваются, волнуются, ищутъ себѣ въ жизни какой нибудь цѣли и смысла, или же, усвоивъ себѣ опредѣленный взглядъ на вещи, стараются доставить ему полную побѣду надъ тѣмъ, что они считаютъ человѣческими предразсудками и заблужденіями. Всѣ эти герои—или борцы за идею, или люди, тоскующіе о томъ, что они не умѣютъ сдѣлаться такими борцами. Фонъ тѣхъ картинъ, на которыхъ красуются эти герои, мыслящіе или старающіеся

Digitized by Google

мыслить, составленъ всегда изъ такихъ людей, которые спятъ непробуднымъ умственнымъ сномъ и живутъ по силѣ инерціи. Являясь въ качествѣ хористовъ и аксессуарныхъ принадлежностей, эти нетронутые мыслью люди оказываются до нѣкоторой степени сносными и приличными, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда романистъ старается разоблачить ложность идеаловъ, увлекающихъ за собой передового человѣка. Чтобы убѣдиться въ дѣйствительныхъ достоинствахъ этихъ нетронутыхъ людей, надо выпустить ихъ на первый планъ и подвергнуть тщательному анализу всѣ ихъ отношенія между собой. Этотъ полезный трудъ до сихъ поръ не былъ предпринятъ во всемъ своемъ объемѣ. Людей толпы, дюжинныхъ фланеровъ и виверовъ изображали и осмѣивали до сихъ поръ только фельетонисты и второстепенные художники, подобные Ивану Панаеву, художники, оставшіеся поверхностными фельетонистами даже въ обширнѣйшихъ своихъ романахъ. Пустые и ничтожные люди никогда не подвергались въ нашей литературѣ тому тщательному и разностороннему изученію, которому подвергались и подвергаются до сихъ поръ выдающіяся личности, способныя увлекаться идеалами и жить въ свѣтломъ и обширномъ мірѣ умственнаго труда. Отъ этого важнаго пробѣла въ нашей литературѣ произошло для насъ то неудобство, что мы слишкомъ строго и, слѣдовательно, несправедливо относимся къ нашимъ мыслящимъ людямъ.

Намъ не съ чѣмъ сравнивать этихъ людей; у насъ нѣтъ такой мѣрки, которая дала бы намъ точное понятіе объ ихъ дѣйствительной цѣнности. Типы различныхъ героевъ, смѣнявшихъ другъ друга втеченіе послѣднихъ трехъ или четырехъ десятилѣтій, извѣстны намъ вдоль и поперекъ. Зная во всѣхъ подробностяхъ, какъ они мыслятъ, какъ страдаютъ, какъ любятъ, какъ спотыкаются и падаютъ, мы можемъ пересчитать всѣ мельчайшія пятна ихъ жизни по тѣмъ документамъ, которые доставлены намъ лучшими нашими писателями. Людей толпы мы, напротивъ того, знаемъ только изъ нашихъ ежедневныхъ сношеній и столкновеній съ ними; но каждый изъ насъ охотно сознается, что ему никогда не удастся подмѣтить въ явленіяхъ жизни столько новыхъ и характерныхъ сторонъ, сколько способенъ уловить и фиксировать на бумагу великій поэтъ, подобный Диккенсу, Теккерею, Бальзаку или нашему Тургеневу. Отлично зная героевъ и плохо зная дюжинныхъ людей, мы не можемъ отдать себѣ ясный отчетъ въ томъ, насколько первые, во всѣхъ своихъ поступкахъ, оказываются выше, чище и разумнѣе послѣднихъ.

Типическія особенности мыслящихъ героевъ измѣняются сообразно съ обстоятельствами времени и мѣста; вмѣстѣ съ этими типическими особенностями измѣняются также и отношенія общества къ мыслящимъ героямъ. Бываютъ такія времена, когда общество относится къ этимъ людямъ особенно несправедливо; оно придирается съ близорукимъ злорадствомъ ко всѣмъ внѣшнимъ, мелкимъ и безвреднымъ шероховатостямъ ихъ характера; оно осмѣиваетъ и порицаетъ ихъ костюмъ, ихъ прическу, ихъ манеры, ихъ рѣзкій тонъ; въ каждой безразличной мелочи оно видитъ или подозрѣваетъ преступныя и разрушительныя тенденціи. Въ такія времена бываетъ особенно полезно обращать вниманіе общества на образъ жизни людей немыслящихъ; въ этомъ образѣ жизни, въ этихъ нравахъ и обычаяхъ, въ этихъ взглядахъ и понятіяхъ, сформировавшихся во мракѣ полуживотной безсознательности, находятъ себѣ объясненіе всѣ тѣ рѣзкости мыслящихъ героевъ, которыя возмущаютъ и скандализируютъ такъ называемое образованное общество. Разсматривая внимательно и безпристрастно понятія, стремленія и поступки безсознательнаго большинства, тѣ читатели, которые еще не утратили способности учиться и совершенствоваться, должны неизбѣжно придти къ тому убѣжденію, что мыслящіе люди, со всѣми своими странностями, рѣзкостями, угловатостями и крайними увлеченіями, стоятъ въ психологическомъ отношеніи все-таки неизмѣримо выше праздныхъ и неподвижныхъ коптителей неба. Повидимому это такая простая и очевидная истина, которую совѣстно не только доказывать, но даже и высказывать.

III.

Приступаемъ наконецъ къ разсказу «Ольга». Дѣло начинается съ того, что одинъ веселый молодой человѣкъ въ одинъ прекрасный лѣтній вечеръ цѣлуетъ *прямо въ суставчикъ подъ локтемъ* одну совершенно незнакомую ему молодую дѣвушку, которую онъ увидалъ у рѣшетки ея сада на Аптекарскомъ островѣ, и которую онъ принялъ по ошибкѣ за камелію. Въ тотъ же вечеръ молодой любитель *суставчиковъ* узнаетъ отъ своего собутыльника, князя Вольскаго, что мнимую камелію зовутъ Ольгой и что она воспитанница старой княгини Бецкой, при которой Вольскій, въ качествѣ внучатнаго племянника, состоитъ единственнымъ законнымъ наслѣдникомъ. Сообщивши эти свѣдѣнія своему предпріимчивому пріятелю, Вольскій немедленно предлагаетъ ему представить его старой княгинѣ, именно для того, чтобы пріятель могъ поволочиться за хорошенькой дѣвушкой и, въ случаѣ успѣха, соблазнить ее. Этотъ планъ кажется до нѣкоторой степени смѣлымъ и предосудительнымъ какъ самому пріятелю, объ интересахъ котораго заботится добрѣйшій Вольскій, такъ и другимъ товарищамъ Вольскаго, разсматривающимъ его пред-

Digitized by Google

ложеніе у Излера, за многими бутылками шампанскаго.

— Все-таки изъ этого ничего не выйдетъ, утверждаетъ отнѣкивающійся пріятель. (Такъ какъ у Толстого эта особа, разсказывающая всю исторію, оставлена безъ фамиліи, то мы такъ и будемъ называть его *пріятелемъ* во всей нашей рецензіи). Вѣдь не свататься же мнѣ.

— «Какой вздоръ! отвѣчалъ князь Вольскій, зачѣмъ свататься, и безъ того можетъ быть обойдется. Вотъ какъ мы вдвоемъ пріударимъ, такъ авось голубкѣ и не отвертѣться.» Воззрѣнія веселыхъ юношей на женщину обрисовываются весьма достаточно этимъ краткимъ, но выразительнымъ обмѣномъ идей. Одинъ говоритъ: вѣдь не свататься же мнѣ, а другой находитъ чистѣйшимъ вздоромъ даже самый легкій намекъ на сватовство. Въ томъ кругу, въ которомъ вращается *пріятель*, женитьба считается величайшей изъ всѣхъ возможныхъ человѣческихъ глупостей и оправдывается только настоятельной необходимостью поправить разстроенные финансы или пріобрѣсти могущественныя связи. Когда *пріятель*, познакомившись съ княгиней Вецкой, влюбился въ Ольгу по уши, тогда ему представилась слѣдующая дилемма: «или бѣжать изъ Петербурга, или рѣшиться переступить Рубиконъ, то есть просто жениться». «Какъ ни дико, продолжаетъ пріятель—какъ ни противно было мнѣ послѣднее средство, но послѣ нѣсколькихъ дней затворничества и глубокихъ думъ и разсужденій я уже мало-по-малу началъ свыкаться съ этой мыслью». «Всѣ эти думы, говоритъ далѣе тотъ-же пріятель, я хранилъ, разумѣется, про себя и ни съ кѣмъ не совѣтовался, потому что въ кругу моихъ знакомыхъ меня подняли-бы на смѣхъ, а изъ родныхъ моихъ никого подъ рукою не было».

И такъ жениться по любви на молодой, красивой, умной и образованной дѣвушкѣ, то есть завоевать себѣ самое живое, прочное и плодотворное изъ личныхъ наслажденій, доставить счастье милому существу и его счастьемъ наполнить и осмыслить собственную жизнь—все это, по мнѣнію веселыхъ юношей, дико, противно и достойно самаго безпощаднаго осмѣянія. Во имя какой-же идеи производится это ожесточенное отрицаніе семейной жизни, которая, по справедливому замѣчанію Толстого, «есть надежнѣйшій оплотъ государственной жизни?» Идеи нѣтъ никакой, а есть только непреодолимое отвращеніе ко всякому правильному и послѣдовательному труду; во имя этого отвращенія, всосаннаго веселыми юношами съ молокомъ матери, взлелѣяннаго въ нихъ домашними воспитателями, укрѣпленнаго примѣрами старшихъ товарищей, обратившагося наконецъ въ ихъ вторую природу,—процвѣтаютъ и плодятся во всѣхъ европейскихъ обществахъ старые брюзгливые холостяки, старыя сварливыя дѣвы, блистательно несчастныя и грязно несчастныя камеліи, побочныя дѣти, принужденныя христарадничать или воровать, воспитательные дома, поглощающіе милліоны рублей, франковъ или гиней, заразительныя болѣзни, отравляющія съ самой колыбели цѣлыя поколѣнія, и увеселительныя заведенія, отнимающія у безбородыхъ юношей деньги, силы, совѣсть и умъ. Отвращеніе къ труду, порождаемое умственной пустотой и въ свою очередь поддерживающее эту пустоту, заставляетъ веселыхъ юношей отплевываться и открещиваться отъ такихъ отношеній, которыя могутъ наложить на нихъ какія-бы то ни было обязанности и подвергнуть ихъ какой-бы то ни было нравственной отвѣтственности. Кто женится, тотъ почти навѣрняка подвергаетъ себя опасности сдѣлаться отцомъ. А дѣтей надо кормить, одѣвать, обувать, обмывать, учить, воспитывать, вывозить въ свѣтъ, выдавать замужъ, выводить въ люди, опредѣлять на службу. На все это необходимы деньги, а деньги—такая превосходная штука, на которую счастливый отецъ, если-бы онъ не былъ счастливымъ отцомъ, могъ-бы добывать собственно для своей особы весьма достаточное количество самыхъ свѣжихъ фленсбургскихъ устрицъ, самыхъ модныхъ французскихъ камелій, самыхъ изящныхъ продуктовъ современной промышленности. Да и однѣ-ли деньги требуются для того, чтобы поставить на ноги плаксивыхъ ребятишекъ и сдѣлать изъ нихъ приличныхъ джентльменовъ, способныхъ носить громкое имя, не позоря его ни какимъ нибудь вопіющимъ физическимъ уродствомъ, ни вульгарными манерами, ни безобразнымъ невѣжествомъ, ни черезчуръ грязной порочностью наклонностей и привычекъ? Надо не только нанимать, но еще и выбирать, и даже до нѣкоторой степени контролировать наставниковъ. Надо усовѣщивать, урезонивать, уговаривать рѣзваго отрока, желающаго раньше времени превратиться въ веселаго юношу и запустить предпріимчивую руку въ папашины карманы, уже достаточно опустошенные, сначала подвигами холостой жизни, а потомъ держаніемъ дома на приличной ногѣ. Надо сдерживать порывы пылкаго юноши авторитетомъ и поучительнымъ примѣромъ отца, а вѣдь это штука какая мудреная! Гдѣ ихъ возьмешь—примѣръ и авторитетъ? Въ какихъ магазинахъ счастливый отецъ пойдетъ покупать или заказывать себѣ эти вещи, когда онѣ ему понадобятся?

Невыгодная сторона брака, съ точки зрѣнія веселаго юноши, черезчуръ очевидна. Расходы, заботы, дѣтскій плачъ, мараніе шелковой мебели, женскія причуды, однообразіе супружескаго счастія—этого слишкомъ достаточно, чтобы превратить семейное счастье въ отвратительное страшилище, на которое человѣкъ можетъ броситься только очертя голову, подъ вліяніемъ

Digitized by Google

всепоглощающей страсти, или тѣснимый безвыходностью своего финансоваго положенія.

Привлекательная сторона супружеской жизни, съ той-же точки зрѣнія веселаго юноши, гораздо менѣе замѣтна. Можно даже сказать, что она совершенно исчезаетъ за сѣрымъ туманомъ заботъ и расходовъ. Любить жену и дѣтей — это повидимому такъ просто и естественно, что каждый самый дюжинный человѣкъ долженъ былъ бы въ этомъ отношеніи оказываться совершенно состоятельнымъ. Но дѣйствительная жизнь говоритъ намъ совсѣмъ другое: счастливыя супружества и нормальныя отношенія родителей къ дѣтямъ разсѣяны какъ крошечные оазисы въ цѣлой неизмѣримой Сахарѣ разнообразнѣйшихъ семейныхъ раздоровъ, которые начинаются обыкновенно съ затаенной взаимной антипатіи и кончаются нерѣдко грязными скандалами или даже уголовными преступленіями. Чтобы дѣйствительно любить жену и дѣтей, и чтобы этой любовью доставлять первой прочное счастіе, а вторымъ истинную пользу — надо быть высоко развитымъ человѣкомъ, или по крайней мѣрѣ надо жить постоянно въ здоровой и укрѣпляющей атмосферѣ честнаго труда. Мыслящій человѣкъ достоинъ быть другомъ своей жены и своихъ дѣтей; работникъ, добывающій свой насущный хлѣбъ цѣною тяжелыхъ и постоянныхъ усилій, способенъ также уважать въ своей женѣ добрую и расторопную помощницу, и воспитывать въ своихъ дѣтяхъ честныхъ и полезныхъ тружениковъ. Но тѣ люди, у которыхъ нѣтъ въ жизни ни опредѣленной цѣли, ни любимаго умственнаго труда, ни тяжелой необходимости заниматься ручной работой, тѣ люди, которые живутъ для того, чтобы платить оброкъ виноторговцамъ и содержателямъ увеселительныхъ заведеній — тѣ могутъ понимать женщину только со стороны ея пластической привлекательности и относиться къ своимъ дѣтямъ такъ, какъ иногіе старики и старухи относятся къ забавнымъ комнатнымъ звѣркамъ. Чего можетъ искать въ своей женѣ какой нибудь г. Вольскій или его пріятель, цѣлующій незнакомыхъ женщинъ въ разные суставчики? Какими мыслями или чувствами, желаніями или опасеніями могутъ такіе господа дѣлиться съ своими супругами?—Вольскій можетъ сообщать своей женѣ, хорошо или дурно улегся въ его желудкѣ воль-о-вантъ или маіонезъ, съѣденный имъ за домашнимъ обѣдомъ. Онъ можетъ высказать ей, что чувствуетъ головную боль послѣ слишкомъ усерднаго знакомства съ бутылкой коньяка или мараскина. Онъ можетъ открыть ей, что желаетъ пріобрѣсти новую пару сѣрыхъ или рыжихъ жеребцовъ. Онъ можетъ дѣлиться съ ней опасеніями на счетъ того, что мошенникъ староста не вышлетъ во-время изъ черноземной губерніи необходимое количество кредитныхъ билетовъ. Онъ могъ бы пожалуй, если бы дѣло пошло на откровенность, разсказать ей конфиденціально, что ему чрезвычайно понравилась нога такой-то балетной солистки, или роскошныя плечи такой-то камеліи. Но такъ какъ подобные разговоры вести съ женой не принято и даже не безопасно, то по всей вѣроятности дѣло на откровенность не пойдетъ, и ноги вмѣстѣ съ плечами будутъ исключены изъ репертуара супружескихъ разговоровъ. Надо сказать правду, репертуаръ этотъ не роскошенъ; истощить его нетрудно; и когда онъ окажется истощеннымъ, тогда томительная скука и взаимное презрѣніе усядутся за семейнымъ очагомъ, рядомъ съ фешенебельными супругами.

У Вольскаго и его веселыхъ товарищей, когда они имѣютъ неосторожность жениться по такъ называемой страстной любви, томительная скука начинается тотчасъ послѣ восторговъ медоваго мѣсяца. А такъ какъ люди этой категоріи могутъ доставлять себѣ подобные восторги по нѣскольку разъ въ годъ, нисколько не обременяя себя неразрушимыми обѣтами, то не трудно понять, почему господа Вольскіе чувствуютъ глубокое отвращеніе къ браку и предпочитаютъ покупать себѣ временныхъ подругъ жизни за наличныя деньги. Когда же слишкомъ частыя покупки подругъ доводятъ господъ Вольскихъ до позорнаго разоренія, тогда они въ свою очередь продаютъ себя богатой женщинѣ или дѣвушкѣ, также за наличныя деньги.

Такъ слагаются въ веселомъ обществѣ Вольскаго отношенія между мужчинами и женщинами; понятно, что это не тѣ отношенія, которыя, по замѣчанію Толстого, составляютъ «надежнѣйшій оплотъ государственной жизни».

Въ нашей литературѣ уже не разъ слышались вопли о томъ, что семейныя добродѣтели начинаютъ увядать въ нашемъ отечествѣ, и виновниками этого увяданія выставлялись, съ свойственною нашимъ литераторамъ догадливостью, какіе-то теоретики, открыто проповѣдующіе людямъ голый развратъ, во имя какихъ-то новыхъ идей.—Это предположеніе, дѣлающее очень много чести остроумію и добросовѣстности нашихъ литераторовъ, блистательно опровергается тѣмъ нравоученіемъ, которое безъ малѣйшей натяжки можетъ быть выведено изъ повѣсти «Ольга». Въ самомъ дѣлѣ процвѣтаетъ ли семейная жизнь въ веселомъ обществѣ Вольскаго, которое никогда не увлекалось никакими идеями, ни старыми, ни новыми? – Если не процвѣтаетъ, то стало быть ея процвѣтанію мѣшаютъ не зловредныя проповѣди какихъ нибудь двухъ, трехъ увлекающихся фантазеровъ, а тѣ или другія общія условія, засѣвшія очень глубоко въ нашу вседневную жизнь и подчиняющія себѣ все то, что пассивно увлекается

Digitized by Google

теченіемъ этой жизни. Семейныя добродѣтели вянутъ и гибнутъ не отъ умственныхъ заблужденій, которыя, доразвившись до абсурда, сами себя уничтожаютъ и, во всякомъ случаѣ, обогащаютъ общество новымъ запасомъ опытности.

IV.

Пріятель князя Вольскаго знакомится съ княгиней Бецкой, видится часто съ ея воспитанницей Ольгой, влюбляется въ нее и наконецъ, при всемъ своемъ отвращеніи къ женитьбѣ, уже рѣшается сдѣлать ей предложеніе, какъ вдругъ узнаетъ, что Ольга — крѣпостная дѣвушка, дочь лакея Петра, находящагося въ услуженіи у старой княгини. Сдѣлавъ это замѣчательное открытіе, пріятель пріѣзжаетъ къ Ольгѣ и съ особенно язвительнымъ намѣреніемъ называетъ ее по имени и по отчеству. Что веселый юноша старается такимъ лакейскимъ маневромъ оскорбить ту дѣвушку, въ которую онъ влюбленъ — это нисколько неудивительно. На то онъ и веселый юноша, на то онъ слушаетъ эстетическія лекціи въ Изларовскомъ университетѣ, на то онъ—пріятель Вольскаго, хладнокровно разсуждающаго о средствахъ погубить молодое и чистое существо! — Но удивительно и даже неправдоподобно то, что онъ, разсказывая всю исторію своимъ собутыльникамъ, самъ, безъ всякой надобности и съ особенной настойчивостью, упоминаетъ о своемъ мальчишескомъ стараніи уязвить бѣдную дѣвушку намекомъ на ея слишкомъ скромное происхожденіе. Это тѣмъ болѣе неправдоподобно, что вслѣдъ за глупой выходкой нашего пріятеля приводится длинное объясненіе его съ Ольгой, объясненіе, въ которомъ нелѣпость и мизерность его язвительныхъ стараній выставляется на видъ самымъ убѣдительнымъ образомъ. Вслѣдствіе этого его разсказъ о глупой выходкѣ превращается въ сознательное самообличеніе, до котораго, по нашему мнѣнію, веселые юноши рѣшительно не способны возвыситься. Веселымъ юношамъ даже до Гамлета щигровскаго уѣзда, какъ до звѣзды небесной, далеко.

Въ своемъ объясненіи съ пріятелемъ, къ которому она очень неравнодушна, Ольга высказываетъ очень вѣрный и спокойно объективный взглядъ на свое невыносимое положеніе. «Еслибы княгиня, говоритъ она между прочимъ, подумала о моей будущности, то она позаботилась-бы пристроить какъ нибудь моего отца и уволила-бы его отъ лакейской должности. Скажите, сообразно-ли это съ чѣмъ нибудь? Меня воспитываютъ, даютъ мнѣ образованіе, развиваютъ мои понятія и тутъ-же подъ бокомъ держатъ отца моего въ униженіи! Да это безнравственно въ высшей степени, подумайте, ради Бога! Чего-же хотѣли отъ меня? Чтобъ я отвернулась отъ отца, стала бы гнушаться, презирать его? Да они чуть и не добились этого! Когда я была маленькая, я избѣгала отца; но, благодаря Бога, съ развитіемъ разума, поняла, что онъ ни въ чемъ тутъ не виноватъ».

Почему именно умъ Ольги развился правильно въ такой атмосферѣ, гдѣ искажаются всѣ лучшіе человѣческіе инстинкты и гдѣ атрофируются всѣ благороднѣйшія человѣческія способности — это важная психологическая задача, которая у Толстого оставлена совершенно нетронутой. Въ этомъ замѣчательномъ фактѣ нѣтъ ничего абсолютно невозможнаго. Бываютъ въ жизни такія стеченія обстоятельствъ, вслѣдствіе которыхъ живая мысль прокрадывается въ самыя темныя убѣжища рутины. Но авторъ, по нашему мнѣнію, не въ правѣ оставлять читателя въ недоумѣніи, и читатель вовсе не обязанъ присочинять отъ себя то, что не договорено или не додумано авторомъ. Если читатель видитъ слѣдствія, то онъ долженъ видѣть и причины. Если онъ слышитъ умныя рѣчи отъ воспитанницы глупой и надутой барыни, княгини Бецкой, то онъ имѣетъ право требовать, чтобы ему показали главные моменты того процесса развитія, посредствомъ котораго молодая дѣвушка доработалась до вѣрнаго пониманія окружающихъ людей и своего собственнаго положенія.

Пріятель князя Вольскаго, слушая возлюбленную Ольгу, волнуется духомъ, проливаетъ слезы глупѣйшаго умиленія, припадаетъ къ рукамъ несчастной дѣвушки и, разумѣется, кончаетъ всѣ эти раздирательныя сцены тѣмъ, что прощается съ ней, потому что, въ самомъ дѣлѣ, не резонъ-же ему, ведущему хлѣбъ-соль съ великосвѣтскими фатами и напивающемуся каждый день въ самомъ отборнѣйшемъ обществѣ, вѣнчаться съ холопкой. Ольга разстается съ нимъ, какъ съ другомъ. По нашему мнѣнію, это обстоятельство составляетъ со стороны автора довольно важную психологическую ошибку, которая, правда, была необходима для того, чтобы Ольга впослѣдствіи могла разсказать веселому юношѣ окончаніе своей печальной исторіи, но которая все-таки нисколько не оправдывается этимъ соображеніемъ.

Если Ольга силами собственнаго ума доработалась до вѣрнаго и честнаго взгляда на междучеловѣческія отношенія, если она, блестящая барышня, не стыдится цѣловать въ обѣ щеки своего отца, перемывающаго княжескую посуду, то она должна смотрѣть съ глубокимъ презрѣніемъ на мужчину, который, имѣя полную возможность развиваться, совершенствоваться и бороться съ смѣшными заблужденіями общества, малодушно отступаетъ передъ фантастическимъ препятствіемъ, поставленнымъ людскою глупостью между нимъ и любимой дѣвушкой. «Чѣмъ болѣе я думаю», говоритъ Ольга своему обожателю, «тѣмъ бо-

Digitized by Google

лѣе убѣждаюсь, что для меня нѣтъ будущности». Невозможно понять, какимъ образомъ умная дѣвушка не видитъ, что будущность ея уничтожается не фальшивостью ея положенія, а просто нравственной дряблостью и умственной убогостью ея возлюбленнаго. Какъ бы то ни было, психологическая ошибка очевидна, и прямымъ слѣдствіемъ этой ошибки оказывается конфиденціальный разговоръ, веденный между Ольгою и пріятелемъ въ великолѣпной каретѣ, въ которой Ольга, сдѣлавшаяся блистательной лореткой или камеліей, везетъ своего бывшаго поклонника на Елагинъ островъ и обратно. Въ этомъ разговорѣ Ольга объясняетъ веселому юношѣ, какимъ путемъ она дошла до необходимости продавать свои поцѣлуи.

Смерть глупой графини Бецкой дала новый поворотъ всему существованію ея несчастной воспитанницы. Княгиня до послѣдней минуты осталась вѣрна своему характеру, то-есть завершила блистательной глупостью тотъ длинный рядъ нелѣпостей, которыми она отравила жизнь бѣдной Ольги съ самой колыбели. Желая обезпечить положеніе своей воспитанницы, она написала по-французски инструкцію своему единственному наслѣднику, князю Вольскому, и этого же самаго Вольскаго назначила своимъ душеприкащикомъ. Вольскій разумѣется поступилъ такъ, какъ долженъ поступить роскошный цвѣтокъ, распустившійся на грядкахъ Изеровскаго палисадника. Онъ употребилъ инструкцію своей бабушки на раскуриваніе сигары и предложилъ Ольгѣ сдѣлаться его любовницей за очень хорошую цѣну. Дѣлая ей это предложеніе, онъ говорилъ съ ней такъ, какъ приличному молодому человѣку подобаетъ говорить съ лакейскимъ отродьемъ. Онъ называлъ ее просто Ольгой и не баловалъ ее мѣстоименіемъ *вы*. Ольга, съ свойственною ея сословію безчувственностью и черной неблагодарностью, отвѣчала на почетное предложеніе великодушнаго князя горделивымъ и дерзкимъ отказомъ. Если за эту непристойную выходку ей не пришлось дорого поплатиться, то этимъ счастливымъ для нея обстоятельствомъ она обязана никакъ не предусмотрительности своей незабвенной благодѣтельницы и воспитательницы, а только тому случаю, что старая княгиня умерла уже послѣ реформы 19-го февраля 1861 года. Князь Вольскій съ своей стороны сдѣлалъ все, что̀ было въ его власти. Онъ немедленно выгналъ строптивую холопку изъ своего княжескаго дома.

Для Ольги началось мучительное исканіе честнаго труда. Она хотѣла ѣсть хлѣбъ свой въ потѣ своего лица, но это лицо было такъ красиво, что добрые люди никакъ не могли допустить, чтобы ея бѣлая и тонкая кожа покрывалась каплями грубаго и неизящнаго трудового пота.

Чтобы найти себѣ работу и отвадить отъ себя любителей продажныхъ наслажденій, Ольгѣ надо было залить себѣ лицо купоросным масломъ. Она не догадалась или не рѣшилась употребить это героическое средство. Послѣ долгой борьбы съ гнетущей нищетой, она продала себя и была вознаграждена за благоразумную уступчивость удобной квартирой, мягкой мебелью, быстрыми рысаками и всѣмъ тѣмъ, что̀ веселитъ сердце человѣка, неиспорченнаго завирательными идеями.

Этотъ очеркъ можетъ быть дополненъ еще двумя выразительными подробностями. Окончивъ свой разсказъ, отставной поклонникъ Ольги задаетъ своимъ веселымъ собесѣдникамъ вопросъ, какъ имъ держать себя съ Вольскимъ, который, какъ имъ извѣстно изъ разсказа, оказывается непристойнымъ пакостникомъ. Толпа погружается въ недоумѣніе, отъ котораго ее спасаетъ слѣдующій возгласъ одного изъ присутствующихъ: «можетъ и вретъ твоя прелестница?» Вся толпа съ единодушнымъ восторгомъ ухватывается за этотъ неожиданный выходъ изъ затруднительнаго положенія. Князь Вольскій по прежнему остается въ глазахъ своихъ товарищей веселымъ малымъ, отличнымъ собесѣдникомъ и душой общества.

Вторая выразительная подробность состоитъ вотъ въ чемъ. Молодой человѣкъ серьезной наружности, нѣчто въ родѣ Здравосуда старыхъ комедій, произноситъ послѣ окончанія разсказа сердитый монологъ. Въ этомъ монологѣ онъ отдѣлываетъ очень справедливо всѣхъ дѣятелей выслушаннаго разсказа: самого разсказчика за малодушіе, Вольскаго за воровство, Бецкую за младенческое незнаніе жизни, Ольгу за безхарактерность, побудившую ее продаться, чтобы спастись отъ нищеты. Въ монологѣ юнаго цензора нравовъ выразилось полнѣйшее презрѣніе ко всѣмъ понятіямъ того кружка, среди котораго онъ присутствовалъ; однакоже юный цензоръ самъ бражничаетъ съ разгромленными имъ негодяями, а оплеванные негодяи продолжаютъ обращаться съ нимъ, какъ съ милымъ товарищемъ. Они хорошо понимаютъ, что громъ не всегда бываетъ изъ тучи.

V.

Романъ «Болѣзни воли», напечатанный въ первомъ томѣ сочиненій Толстого, составляетъ начало цѣлаго ряда очерковъ, въ которыхъ авторъ хотѣлъ описать развитіе нѣкоторыхъ наиболѣе замѣчательныхъ нервныхъ или душевныхъ болѣзней. «По первоначальному плану, говоритъ Толстой, авторъ намѣренъ былъ написать подъ этимъ заглавіемъ четыре очерка. Первый, *правдоманія* (предметъ нынѣ перепечатываемой повѣсти изъ «Русскаго Вѣстника»

Digitized by Google

1859 года), второй *лжеманія*, или вѣрнѣе *манія лжи*, третій *пироманія* и четвертый *убійствоманія*».

Къ сожалѣнію, этотъ планъ остался невыполненнымъ, и въ печати появился до сихъ поръ только одинъ первый очеркъ. «Равнодушіе литературной нашей критики, продолжаетъ Толстой, къ первому очерку, о которомъ ни въ одномъ изъ журналовъ не было даже и упомянуто, заставило автора предположить, что несвоевременно еще вводить психіатрическія изслѣдованія въ область нашей беллетристики.»

Равнодушное молчаніе литературной критики можетъ конечно огорчить и обезкуражить талантливаго писателя, выбирающаго себѣ совершенно самостоятельную дорогу и старающагося поднять въ своихъ произведеніяхъ еще нетронутые психологическіе и общественные вопросы,—но тѣмъ не менѣе мы рѣшительно не считаемъ возможнымъ согласиться съ тѣмъ предположеніемъ, на которое навела Толстого невнимательность журнальныхъ рецензентовъ. Журнальная толпа молчала потому, что не знала, какимъ образомъ отнестись къ совершенно оригинальному явленію, а лучшіе люди литературы не замѣтили психіатрическаго очерка, потому что ихъ вниманіе было постоянно устремлено на самыя насущныя потребности народной жизни, на самые животрепещущіе общественные вопросы, рѣшеніе которыхъ въ то время встрѣчало себѣ множество явныхъ и тайныхъ препятствій.

Въ 1859 году еще надо было доказывать, что русскимъ крестьянамъ необходима земля; надо было отстаивать крестьянскую общину противъ инсинуацій московскихъ англоманові; надо было воспитывать въ русскихъ читателяхъ уваженіе къ человѣческой личности, надо было обучать русское общество азбукѣ политической и даже семейной нравственности; надо было анализировать самодурство во всѣхъ его разнообразныхъ проявленіяхъ; надо было наконецъ объяснить самой литературѣ, что, забавляя и усыпляя общество сладкими звуками, пестрыми картинами и самодовольными взглядами на собственныя прелести, она, литература, самымъ позорнымъ образомъ измѣняетъ своему высокому назначенію. Работы было много; работа не терпѣла отлагательства; а лучшіе люди были на-перечетъ, такъ что имъ невозможно было обнять и оцѣнить всѣ тѣ литературныя явленія, которыя стоили серьезной оцѣнки и которыя останавливали на себѣ вниманіе читателей. Въ лучшихъ нашихъ журналахъ критика никогда не гналась за полнотой обзора; писатели выбирали обыкновенно только то, что давало имъ поводъ развить въ печати самыя задушевныя свои убѣжденія и подѣлиться съ читателями самыми своевременными совѣтами. Отъ этихъ писателей, заваленныхъ общеполезной работой и боровшихся съ самыми серьезными трудностями, нельзя было требовать даже и того, чтобы они сами прочитывали всю массу беллетристическихъ произведеній, появлявшихся въ нашихъ журналахъ. Чтобы не осудить себя на вѣчное чтеніе и отыскиваніе работы, этимъ писателямъ необходимо было въ большей части случаевъ руководствоваться заглавіемъ повѣсти или романа, подписью автора, фирмой журнала, въ которомъ напечатано данное произведеніе, или отзывами своихъ знакомыхъ. Если-бы, напримѣръ, самъ Добролюбовъ прочиталъ «Болѣзни воли», то легко можетъ быть, что онъ по поводу этого романа написалъ-бы одну изъ лучшихъ своихъ критическихъ статей. Но по всей вѣроятности отношенія Добролюбова къ «Болѣзнямъ воли» ограничились тѣмъ, что онъ бросилъ бѣглый взглядъ на обертку «Русскаго Вѣстника» и потомъ быстро пробѣжалъ въ романѣ Толстого нѣсколько страницъ, которыя показали ему только, что дѣйствіе происходитъ въ сумасшедшемъ домѣ. Сдѣлавъ это открытіе, Добролюбовъ вѣроятно отложилъ книгу въ сторону и перешелъ къ другимъ занятіямъ.

Такимъ образомъ критика промолчала о «Болѣзняхъ воли», но публика замѣтила этотъ романъ и прочитала его со вниманіемъ. О немъ въ свое время много говорили, и люди, познакомившіеся съ нимъ семь лѣтъ тому назадъ, помнятъ его до настоящей минуты. Поэтому мы никакъ не можемъ найти особенно похвальнымъ то обстоятельство, что авторъ сложилъ руки и до сихъ поръ оставляетъ ненаписанными тѣ три очерка, которые входили въ составъ его первоначальнаго плана. Литература наша совсѣмъ не такъ богата умными и добросовѣстно обдуманными произведеніями, чтобы мы могли относиться со снисходительнымъ равнодушіемъ къ бездѣйствію даровитыхъ мыслящихъ писателей, подобныхъ Толстому. Это бездѣйствіе тѣмъ болѣе предосудительно, что его, въ данномъ случаѣ, нельзя объяснить отсутствіемъ сюжетовъ. Сюжеты готовы, планъ обдуманъ, остается только приняться за выполненіе, а между тѣмъ писатель сидитъ сложа руки и сѣтуетъ на равнодушіе критики, вмѣсто того чтобы бороться съ этимъ мнимымъ равнодушіемъ новыми подвигами живого творчества. Если предосудительное бездѣйствіе автора вызвано дѣйствительно невниманіемъ литературной критики къ прежнимъ его произведеніямъ, то мы, по мѣрѣ нашихъ силъ, постараемся отнять у этого бездѣйствія его единственное и далеко неудачное оправданіе.

Мы желали-бы именно, чтобы Толстой привелъ въ исполненіе тотъ планъ, который онъ называетъ *первоначальнымъ*. Мы требуемъ отъ него не повѣстей и романовъ вообще, а именно психіатрическихъ очерковъ. Мы совершенно несогласны съ его рискованнымъ предположе-

Digitized by Google

ніемъ, будто «несвоевременно еще вводить психіатрическія изслѣдованія въ область нашей беллетристики.» Авторъ самъ-же говоритъ въ концѣ того-же предисловія, что во многихъ случаяхъ психіатрія и криминалистика должны идти рука объ руку, и что психіатрическіе вопросы пріобрѣтаютъ особенно важное значеніе при новомъ уголовномъ судопроизводствѣ съ участіемъ присяжныхъ засѣдателей.

Это послѣднее мнѣніе мы признаемъ совершенно справедливымъ. Присяжные засѣдатели, не имѣющіе никакого понятія о душевныхъ болѣзняхъ, никогда не размышлявшіе надъ сложными психологическими и психіатрическими задачами, и твердо убѣжденные въ томъ, что сумасшедшій долженъ непремѣнно бѣсноваться, драться, кусаться и плеваться, орать, хохотать, безчинствовать и городить невыносимѣйшую чепуху,— такіе присяжные, разумѣется, рискуютъ произнести осужденіе надъ сотнями такихъ людей, которые нуждаются не въ наказаніи, а въ систематическомъ леченіи. Если эти присяжные захотятъ руководствоваться исключительно судебно-медицинскимъ изслѣдованіемъ подсудимыхъ, то остроги навѣрное присвоятъ себѣ то, что по всѣмъ правамъ принадлежитъ психіатрической лечебницѣ. Во-первыхъ, медицинское изслѣдованіе считается необходимымъ только тогда, когда въ преступленіи оказывается что-нибудь до крайности странное и нелѣпое, или когда подсудимый во время своего содержанія подъ стражей начинаетъ вести себя черезчуръ оригинально. Во-вторыхъ, это изслѣдованіе производится часто съ поверхностной формальностью, въ тѣхъ случаяхъ, когда оно ускользаетъ отъ внимательнаго и просвѣщеннаго контроля общественнаго мнѣнія. Въ третьихъ, каждый знающій и добросовѣстный медикъ сознается въ настоящее время, что въ очень многихъ случаяхъ помѣшательства мы, при самомъ внимательномъ изслѣдованіи, видимъ только слѣдствія, но не видимъ причинъ, то есть, другими словами, наблюдатель замѣчаетъ у паціента ненормальность въ процессѣ мышленія и въ образѣ дѣйствій, но при всѣхъ своихъ стараніяхъ не можетъ открыть въ его тѣлѣ никакого разстройства. Когда совершено преступленіе, тогда самый фактъ преступленія служитъ яснымъ доказательствомъ ненормальности въ процессѣ мышленія и въ образѣ дѣйствій; затѣмъ остается только найти причину этой ненормальности; причину отыскиваютъ посредствомъ медицинскаго изслѣдованія, а когда это изслѣдованіе не ведетъ къ открытію органическаго разстройства, тогда рѣшаютъ, что преступленіе совершено подсудимымъ сознательно, при полномъ обладаніи всѣми умственными способностями. Неосновательность такого разсужденія совершенно очевидна, и присяжные, чтобы не разсуждать такимъ образомъ и чтобы не наказывать больныхъ людей, должны подвергать тончайшему психологическому анализу всю длинную цѣпь поступковъ, раскрытыхъ судебнымъ слѣдствіемъ и завершившихся той катастрофой, которая привела человѣка на скамью подсудимыхъ. Но чтобы анализировать человѣческіе поступки съ психологической стороны, надо-же по крайней мѣрѣ знать приблизительно, что́ дѣлается здоровымъ человѣкомъ и что́ больнымъ, надо имѣть хоть какое-нибудь понятіе о томъ, гдѣ кончаются проявленія нормальной умственной дѣятельности, и гдѣ начинаются мысли, слова и поступки, подлежащіе вѣдѣнію психіатра. Эти общія понятія о границахъ нормальной душевной дѣятельности должны имѣть не судьи, не адвокаты, не прокуроры, а именно присяжные, то-есть люди, которые берутся для рѣшенія уголовныхъ дѣлъ изъ всѣхъ возможныхъ профессій и классовъ общества. Эти люди почерпаютъ свои знанія не изъ какой-нибудь одной учебной книги, не изъ лекцій какого-нибудь одного профессора, а изъ того общаго фонда свѣдѣній, взглядовъ и идей, который въ данный періодъ времени находится въ распоряженіи всей читающей массы. Не подлежитъ сомнѣнію, что беллетристическія произведенія находятъ себѣ наибольшее число читателей; и чѣмъ ниже стоитъ въ обществѣ уровень знаній и умственнаго развитія, тѣмъ значительнѣе разница, существующая всегда между числомъ читателей, преданныхъ одной беллетристикѣ, и числомъ читателей, посягающихъ также и на чисто научныя произведенія. У насъ эта разница чрезвычайно значительна; вслѣдствіе этого на нашей беллетристикѣ лежатъ такія важныя обязанности, которыя не могутъ быть выполнены за нее никакой другой отраслью литературы.

Одна беллетристика и съ нею вмѣстѣ ея неразлучная спутница, литературная критика могутъ пускать въ обращеніе такія идеи, которыя для пользы и успѣшнаго развитія націи должны становиться общимъ достояніемъ всей читающей массы. Только беллетристика и литературная критика могутъ указывать обществу на тѣ многочисленные пробѣлы, которые бросаются въ глаза каждому мыслящему наблюдателю въ такъ называемомъ общемъ образованіи. Пополнять эти пробѣлы—дѣло строгой науки. Но направлять вниманіе общества на тѣ пункты, гдѣ необходимы знанія и гдѣ ихъ не имѣется въ наличности, это можетъ дѣлать только самая распространенная и общедоступная отрасль литературы.

Въ томъ дѣлѣ, о которомъ мы говоримъ въ настоящую минуту, въ дѣлѣ расширенія и выясненія нашихъ взглядовъ на умственныя отправленія и душевныя болѣзни, беллетристика незамѣнима.

Превратить нашихъ присяжныхъ въ тонкихъ

Digitized by Google

психологовъ и опытныхъ психіатровъ беллетристика конечно не можетъ; это совсѣмъ не ея дѣло, да этого даже и не требуется. Но она дѣйствительно можетъ убѣдить каждаго добросовѣстнаго и неглупаго человѣка въ томъ, что всѣ психологическіе вопросы отличаются чрезвычайной сложностью и запутанностью, что вопросъ о преступности или непреступности провинившейся личности есть вопросъ чисто-психологическій, и слѣдовательно чрезвычайно сложный и запутанный, и что при рѣшеніи подобныхъ вопросовъ необходима самая строгая осмотрительность и самая тщательная точность умозаключеній.

Пробуждая въ читающихъ людяхъ мучительное сознаніе ихъ теперешней некомпетентности въ рѣшеніи сложныхъ психологическихъ вопросовъ, изъ которыхъ слагается еще болѣе сложный вопросъ о виновности или невиновности подсудимаго, беллетристика можетъ и должна привести общество къ тому убѣжденію, что въ программу общаго образованія необходимо ввести науку о человѣкѣ, о его умственныхъ отправленіяхъ и душевныхъ болѣзняхъ. Въ виду такой задачи, которую только беллетристика можетъ рѣшить удовлетворительно, мы считаемъ совершенно неосновательнымъ то предположеніе Толстого, «что несвоевременно еще вводить психіатрическія изслѣдованія въ область нашей беллетристики».

VI.

Душевныя болѣзни отличаются отъ многихъ другихъ человѣческихъ недуговъ тѣмъ, что въ нихъ есть одна сторона, интересная не только для медика-спеціалиста, но и для всякаго образованнаго человѣка, способнаго задумываться надъ явленіями общественной жизни. Душевныя болѣзни развиваются всегда подъ постояннымъ вліяніемъ тѣхъ отношеній, которыя существуютъ между даннымъ субъектомъ и окружающими его людьми и обстоятельствами. На развитіе какого-нибудь воспаленія въ легкихъ или въ мочевомъ пузырѣ общественныя условія не могутъ имѣть никакого прямого вліянія, но на развитіе тѣхъ или другихъ галлюцинацій, той или другой мономаніи дѣйствуетъ такъ или иначе каждое столкновеніе заболѣвающей личности съ родственниками, съ начальствомъ, съ друзьями и съ врагами, съ бѣдностью и заботами, съ чужими взглядами, интересами, странностями или заблужденіями. Поэтому, прослѣживая шагъ за шагомъ постепенное усиленіе помѣшательства, романистъ и, вслѣдъ за нимъ, критикъ могутъ навести внимательнаго читателя на длинный рядъ плодотворнѣйшихъ размышленій о характеристическихъ особенностяхъ общественной жизни въ данный періодъ времени. Первый и единственный изданный психіатрическій очеркъ Толстого посвященъ подробному описанію одного изъ самыхъ интересныхъ видовъ душевнаго разстройства. Герой романа, князь Пронскій, одержимъ непреодолимой страстью всегда и вездѣ говорить людямъ всю правду, и только правду. Его коробитъ, возмущаетъ и наконецъ доводитъ до изступленія всякая ложь, всякая неискренность, всякая несправедливость и недобросовѣстность, въ чемъ-бы она ни выразилась—въ словахъ, въ поступкахъ или въ цѣломъ строѣ междучеловѣческихъ отношеній. Такой больной, какъ Пронскій, въ высшей степени способенъ быть героемъ романа.

Съ перваго своего появленія на сцену этотъ неустрашимый и пылкій обожатель истины приковываетъ къ своей свѣтлой личности, надъ которой горитъ съ дѣтства вѣнецъ подвижника и мученика, всю любовь, всю нѣжность, все глубокое и до болѣзненности страстное сочувствіе неиспорченнаго и незасосаннаго тиной жизни читателя. Невольно складывается въ умѣ изумленнаго читателя нескромный вопросъ: на чьей-же сторонѣ находится заблужденіе? На сторонѣ-ли того безукоризненно-чистаго и хрустально-прозрачнаго Донъ-Кихота, который съ четырнадцати лѣтъ садится на коня, ломаетъ копья за свою возлюбленную красавицу Правду и наконецъ влетаетъ на своемъ Россинантѣ прямо въ сумасшедшій домъ, или-же на сторонѣ того общества, которое съ ужасомъ и съ негодованіемъ отворачиваетъ лицо и закрываетъ глаза передъ ослѣпительнымъ сіяніемъ Правды?

Вопросъ этотъ у большинства читателей остается безъ отвѣта. Съ одной стороны они не осмѣливаются сказать человѣку: ты виноватъ тѣмъ, что не хочешь и не умѣешь лгать. Съ другой стороны они не рѣшаются осудить общество за то, что оно, требуя отъ человѣка постоянной лжи, этимъ мучительнымъ и позорнымъ требованіемъ доводитъ его до помѣшательства и загоняетъ его въ сумасшедшій домъ. Мы не будемъ останавливаться на этомъ вопросѣ и не попробуемъ рѣшать его ни въ ту, ни въ другую сторону. Пронскаго свидѣтельствуютъ въ губернскомъ правленіи и признаютъ помѣшаннымъ; Пронскаго везутъ въ Петербургъ и сдаютъ съ рукъ на руки опытному и добросовѣстному психіатру, какъ человѣка, неспособнаго жить въ обществѣ и пользоваться гражданскими правами. Опытный и добросовѣстный психіатръ принимаетъ его въ свою лечебницу, какъ человѣка, дѣйствительно нуждающагося въ медицинской помощи. Этихъ фактовъ черезчуръ достаточно для того, чтобы признать Пронскаго дѣйствительно помѣшаннымъ. Признаемъ этотъ пунктъ; согласимся съ приговорами медицинскихъ и чиновныхъ авторитетовъ; примемъ на вѣру ихъ рѣшеніе и разсмотримъ внимательно, во всѣхъ подробностяхъ, какой рядъ

Digitized by Google

столкновеній съ обществомъ довелъ князя Пронскаго до невозможности жить на свободѣ.

Попавши въ лечебницу, Пронскій, по совѣту главнаго доктора Пусловскаго, пишетъ свои воспоминанія съ той минуты, какъ онъ началъ отдавать себѣ отчетъ въ своихъ собственныхъ ощущеніяхъ и во всемъ томъ, что вокругъ него происходило. Въ своихъ запискахъ Пронскій разсказываетъ очень толково всѣ важнѣйшія событія своей жизни и анализируетъ очень отчетливо и тонко всѣ главныя фазы своего внутренняго развитія. Читателя не должно изумлять и озадачивать то обстоятельство, что сумасшедшій пишетъ такъ складно, умно и послѣдовательно. Тѣ явленія, которыя мы еще до сихъ поръ сваливаемъ въ кучу, подъ одну общую надпись: *безуміе*, *сумасшествіе* или *помѣшательство*, отличаются безконечнымъ разнообразіемъ. Безумными, сумасшедшими или помѣшанными называются на нашемъ, до крайности неточномъ разговорномъ языкѣ и такіе субъекты, которые бросаются на людей, чтобы избить или искусать ихъ, и такіе, которые потеряли способность составлять въ головѣ своей самыя простыя понятія, и такіе, которые съ утра до вечера, безъ цѣли и безъ смысла, твердятъ какія-нибудь два-три слова, и такіе, которые создаютъ себѣ силой своего разыгравшагося воображенія цѣлый міръ, доступный имъ однимъ и переполненный сказочнымъ блескомъ и великолѣпіемъ, и наконецъ даже такіе, съ которыми вы можете не безъ пользы и не безъ удовольствія разсуждать и спорить впродолженіе цѣлыхъ часовъ о самыхъ головоломныхъ, запутанныхъ и отвлеченныхъ вопросахъ науки, политики и литературы. Къ этой послѣдней, самой интересной и трогательной категоріи помѣшанныхъ принадлежалъ и князь Пронскій. Вотъ какими красками самъ Пронскій рисуетъ свое душевное разстройство.

«Признаками помѣшательства, говоритъ онъ на первой страницѣ своего дневника, или болѣзненнаго состоянія разума почитаются менѣе или болѣе сильныя уклоненія отъ общепринятыхъ формъ, какъ въ дѣйствіяхъ, такъ и въ мышленіи. Абсолютное приложеніе этого афоризма повело бы къ весьма страннымъ результатамъ, а потому придумана слѣдующая оговорка: уклоненіе отъ общепринятыхъ формъ въ дѣйствіяхъ или мышленіи тогда только признается помѣшательствомъ, когда оно клонится ко вреду большинства членовъ гражданскаго общества. Такъ, напримѣръ, ложь оффиціальная можетъ иногда быть признана полезной, а правда—вредной. Положимъ, что общественный порядокъ дѣйствительно иногда этого требуетъ, но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы человѣкъ, увлекающійся правдою, былъ помѣшанный. Каждый безъ сомнѣнія испытываетъ по временамъ желаніе сказать пьяницѣ, что онъ пьяница; вору, что онъ мошенникъ; тупоумному, что онъ дуракъ; но воздерживается, то есть укрощаетъ это желаніе помощью таинственной пружины, называемой *волей*. Такъ вотъ въ чемъ дѣло! у меня попорчена пружина воли! Чтожъ толкуютъ о болѣзненномъ состояніи моего разума, тогда какъ у меня вполнѣ сохранилась способность мышленія? О люди, люди! Когда же будете вы называть предметы настоящимъ ихъ именемъ? Когда перестанете вы отвѣчать, какъ говоритъ Пигасовъ Тургенева, на вопросъ, сколько составляетъ дважды два,—стеариновая свѣчка?»

Говоря о *таинственной пружинѣ*, Пронскій повторяетъ подлинныя слова автора. Въ предисловіи къ «Болѣзнямъ воли» было сказано, что авторъ намѣревался цѣлымъ рядомъ очерковъ изобразить «тотъ малоизвѣданный еще душевный недугъ, при которомъ ослабѣваетъ таинственная пружина, называемая *волей*. Намъ кажется, что въ дѣлѣ князя Пронскаго незачѣмъ было останавливаться на таинственной пружинѣ. Здѣсь анализъ могъ бы пойти нѣсколько глубже, и таинственность, окружающая пружину, могла бы такимъ образомъ до нѣкоторой степени разсѣяться. Этотъ болѣе глубокій анализъ могъ быть произведенъ съ особеннымъ удобствомъ самимъ княземъ Пронскимъ, потому что онъ самъ, лучше всякаго посторонняго наблюдателя, можетъ отдать себѣ отчетъ въ тѣхъ побужденіяхъ, которыя заставляютъ его называть каждый предметъ его настоящимъ именемъ, то есть, пьяницу—пьяницей, вора—воромъ, и дурака—дуракомъ.

Когда впечатлительный человѣкъ, подобный князю Пронскому, встрѣчается съ какимъ нибудь нравственнымъ безобразіемъ, тогда въ немъ пробуждается отвращеніе и является потребность какъ можно скорѣе избавить себя отъ мучительнаго зрѣлища. Если бы нравственное безобразіе могло развертываться и обнаруживаться, не нанося никому ни боли, ни ущерба, то всякій князь Пронскій поступилъ бы при встрѣчѣ съ безобразіемъ такъ, какъ поступаемъ мы всѣ, наткнувшись гдѣ нибудь въ полѣ на разлагающуюся падаль. Онъ постарался бы пройти мимо ускореннымъ шагомъ, зажимая носъ, глаза или уши, смотря по тому, на который изъ этихъ органовъ данное безобразіе производитъ наиболѣе тягостное впечатлѣніе.

Но каждое нравственное безобразіе непремѣнно обрушивается такъ или иначе на какую нибудь жертву. Пьяница пропиваетъ деньги, въ которыхъ нуждается его семейство; воръ посредствомъ различныхъ хитростей отнимаетъ у другихъ людей продукты ихъ честнаго труда; дуракъ своей глупостью портитъ такія дѣла, отъ которыхъ зависитъ благосостояніе постороннихъ лицъ. Видя такимъ образомъ нравственное безобразіе, какъ причину, и физиче-

Digitized by Google

ское или нравственное страданіе, какъ неизбѣжное слѣдствіе, впечатлительный человѣкъ, подобный князю Пронскому, проникается неудержимымъ желаніемъ уничтожить или обезоружить безобразіе и прекратить ту пытку, которую терпитъ несчастная жертва. Въ этомъ желаніи нѣтъ еще ничего болѣзненнаго, ничего такого, что должно было бы открыть впечатлительному человѣку гостепріимныя двери сумасшедшаго дома. Но далѣе пути расходятся, и люди глубоко и тонко чувствующіе отдѣляются отъ массы людей прозябающихъ и ставящихъ выше всего интересы своего желудка и своего кармана. Рыцарское и пожалуй донъ-кихотское (Донъ-Кихотъ былъ очень честный человѣкъ) желаніе вступить въ смертельный бой съ нравственнымъ безобразіемъ и вырвать изъ его грязныхъ лапъ измученное имъ живое существо встрѣчаетъ себѣ нѣкоторое противодѣйствіе со стороны спокойнаго и хладнокровнаго размышленія на ту тему, что-молъ одолѣю ли я это гнусное чудовище, и не найдетъ ли оно себѣ многочисленныхъ и усердныхъ защитниковъ, и что скажутъ окружающіе зрители, и не намнутъ ли мнѣ самому мои рыцарственные бока.

Голосъ практической мудрости или, другими словами, животный инстинктъ самосохраненія въ огромномъ большинствѣ случаевъ одерживаетъ перевѣсъ надъ всѣми остальными влеченіями и соображеніями. Добрые люди опускаютъ глазки и стыдливо проходятъ мимо нравственнаго безобразія, причемъ въ ихъ скромныхъ душоночкахъ шевелится какое-то подобіе радости и благодарности, которое можетъ быть сформулировано такъ: слава тебѣ, Господи, за то, что въ настоящую минуту бьютъ и оскорбляютъ не меня, а одного изъ моихъ ближнихъ! Именно это малодушное желаніе соблюсти во что-бы то ни стало неприкосновенность собственныхъ боковъ и собственныхъ интересовъ дѣйствуетъ на *таинственную пружину* и даетъ ей такое положеніе, что языкъ человѣка, смотрящаго на безобразіе, прилипаетъ къ гортани, а губы, изъ которыхъ должно было вылетѣть слово *пьяница*, *воръ* или *дуракъ*, слагаются въ неопредѣленно-благодушную улыбку.

Человѣкъ *воздерживается*, но изъ этого еще не слѣдуетъ то заключеніе, что у него *таинственная пружина* крѣпче, чѣмъ у другого человѣка, который, вмѣсто того, чтобы воздержаться, разражается бурей негодованія. Фактъ воздержанія значитъ только то, что у даннаго субъекта чувство самосохраненія одерживаетъ верхъ надъ любовью къ ближнему, терпящему обиду отъ нравственнаго безобразія. Чтобы побѣдить въ себѣ это очень естественное чувство страха за собственную особу, надо сдѣлать надъ собой усиліе воли или, точнѣе, надо, чтобы таинственная пружина въ данномъ случаѣ попала подъ вліяніе сильнаго чувства, возбужденнаго видомъ чужого страданія. Таинственная пружина можетъ быть одинаково крѣпка и у того, кто воздерживается, и у того, кто бросаетъ въ глаза негодяямъ тѣ имена, которыя принадлежатъ имъ по праву. Вся разница между обоими людьми состоитъ въ томъ, что у перваго пружина подчиняется чувству робости, а у второго — чувству дѣятельной любви, которая побѣждаетъ и заглушаетъ въ рѣшительную минуту животный инстинктъ самосохраненія. Словомъ, воздерживается въ большей части случаевъ тотъ, кто любитъ ближняго вялой и хилой любовью, а разражается тотъ, кто способенъ любить глубоко и страстно.

Для людей послѣдней категоріи—для людей, недоступныхъ страху и способныхъ возвышаться до самаго чистаго героизма, существуетъ также возможность сдерживать взрывы великодушнаго негодованія.

Чтобы воздерживаться отъ мелкихъ, разрозненныхъ и совершенно безполезныхъ вспышекъ, имъ надо только знать общія и коренныя причины того нравственнаго безобразія, отдѣльныя проявленія котораго бросаются имъ въ глаза и возбуждаютъ противъ себя ихъ негодованіе. Когда общія причины зла изслѣдованы и приведены въ извѣстность, тогда не трудно сообразить, что надо дѣйствовать всѣми силами ума и всей энергіей таинственной пружины противъ этихъ причинъ, потому что, послѣ упраздненія причинъ, слѣдствія должны уничтожиться сами собой. Придя къ тому убѣжденію, что мелкая и безпорядочная война противъ мелкихъ и второстепенныхъ проявленій зла ведетъ только къ безполезному изнуренію самого бойца, человѣкъ, любящій своихъ ближнихъ, разсмотритъ какъ можно внимательнѣе положеніе общихъ и коренныхъ причинъ; увидитъ, какія главныя задачи представляются искреннимъ и неустрашимымъ противникамъ зла; пойметъ, что вся работа въ ея совокупности оказывается не по силамъ самому сказочному изъ всѣхъ сказочныхъ богатырей; попробуетъ свои способности на нѣсколькихъ различныхъ отрасляхъ предстоящей работы и наконецъ возьметъ себѣ на всю свою жизнь ту часть великаго труда, которая всего болѣе соотвѣтствуетъ складу его ума. Когда совершится этотъ выборъ, когда будетъ сдѣланъ этотъ важнѣйшій шагъ въ жизни мыслящаго мужчины, тогда уже безпорядочное разбрасываніе умственныхъ силъ и нравственной энергіи на шлифованіе мелкихъ житейскихъ шероховатостей становится невозможнымъ. Послѣ сдѣланнаго выбора, въ жизни человѣка есть смыслъ, есть цѣль, есть общественная задача, разрѣшеніе которой для него дороже самой жизни. Человѣкъ, сдѣлавшій разумный выборъ и идущій твердыми шагами по выбранной дорогѣ, можетъ при встрѣчѣ

Digitized by Google

съ пьяницей, съ воромъ, съ дуракомъ воздержаться отъ такихъ возгласовъ, которые былибы способны вовлечь его въ непріятную исторію, перессорить его съ обществомъ и поставить его въ затруднительное положеніе. Онъ воздержится не вслѣдствіе трусости, а вслѣдствіе горячей любви къ своей задачѣ. Онъ знаетъ, что передъ нимъ дѣйствительно находится пьяница, или воръ, или дуракъ, знаетъ онъ также и то, что эти уроды занимаютъ не то положеніе, которое приличествуетъ людямъ ихъ категоріи; онъ испытываетъ также свойственное честному человѣку желаніе опозорить и заклеймить негодяевъ. Но прежде чѣмъ былъ сдѣланъ его выборъ, онъ въ этомъ опозориваніи и наложеніи клейма на вредныхъ негодяевъ видѣлъ свою прямую обязанность и единственную доступную ему форму служенія человѣчеству. Отъ этого привлекательнаго занятія его могло удерживать только чувство самосохраненія, и онъ совершенно основательно не довѣрялъ этому чувству, которое дѣйствительно всего чаще вовлекаетъ человѣка въ подлость и въ самое грязное поруганіе собственнаго достоинства. Теперь, послѣ выбора, дѣло совсѣмъ другое. Теперь ему сдѣлалась доступной такая форма служенія, для которой онъ развилъ въ себѣ извѣстныя способности, пріобрѣлъ спеціальныя знанія, усвоилъ себѣ, путемъ болѣе или менѣе продолжительной работы, необходимую сноровку. Теперь онъ имѣетъ право проходить молча мимо подлости и глупости; его молчаніе не можетъ быть поставлено ему въ укоръ и принято за потворство или нравственное сообщничество; вся его жизнь — постоянная борьба противъ преобладанія глупости и подлости; онъ борется съ ними рѣшеніемъ своей спеціальной задачи, и этимъ образомъ дѣйствій онъ приноситъ людямъ гораздо больше пользы, чѣмъ сколько могло-бы имъ принести самое настойчивое и неустрашимое называніе всѣхъ воровъ—ворами, а всѣхъ дураковъ—дураками.

Намъ кажется поэтому, что все несчастіе князя Пронскаго состояло въ его неумѣньи найти себѣ въ жизни опредѣленную, общеполезную задачу. Его умственныя и нравственныя силы, не сосредоточенныя ни на чемъ, потратились на безсвязные подвиги мелкой борьбы, въ которой, при отсутствіи всякаго опредѣленнаго плана, успѣхъ былъ совершенно невозможенъ. Безуспѣшность борьбы довела пылкаго и впечатлительнаго молодого человѣка сначала до отчаянія, а потомъ до сумасшедшаго дома.

Всѣ отдѣльныя подробности романа подтверждаютъ эту общую мысль.

VII.

Князь Пронскій воспитывался въ богатомъ деревенскомъ домѣ своей доброй и глуповатой матери, подъ руководствомъ французскаго эмигранта, m-r de Livry, который внушалъ своему воспитаннику, «*что Богъ создалъ свѣтъ для дворянскаго сословія*», и что «*дворянинъ не долженъ лгать, даже если ему угрожаютъ смертью*». Рѣзвому и воспріимчивому мальчику вбивался въ голову кодексъ такихъ нравственныхъ понятій, необходимость и разумность которыхъ никогда не доказывается и никакимъ способомъ не можетъ быть доказана. Изъ всѣхъ поученій M-r de Livry всего глубже подѣйствовала на ребенка мысль о священной обязанности говорить всегда правду, но эту мысль ребенокъ принялъ на вѣру, нисколько не отдавши себѣ отчета въ томъ, почему именно правда необходима, а ложь вредна во всякомъ человѣческомъ обществѣ. Ребенокъ полюбилъ правду и возненавидѣлъ ложь инстинктивно; ему втолковали, что первое — хорошо, а второе—дурно, и онъ свыкся съ этими взглядами, онъ привязался къ нимъ, онъ поставилъ ихъ въ своей душѣ выше всякаго сомнѣнія.

Какъ бы ни были хороши сами по себѣ какія-нибудь правила нравственности, но если они преподаются догматическимъ тономъ ребенку, неспособному провѣрять ихъ силами собственнаго ума, то они могутъ сдѣлаться впослѣдствіи серьезнымъ препятствіемъ для его дальнѣйшаго умственнаго развитія. Вы говорите ребенку: не лги; вы сами никогда не лжете или никогда не попадаетесь во лжи, такъ, чтобы вашъ воспитанникъ могъ уличить васъ въ нарушеніи вашего собственнаго правила; когда вы узнаете о томъ, что кто-нибудь солгалъ, вы обнаруживаете такое негодованіе и отвращеніе, которое приводитъ въ ужасъ вашего воспитанника, наводя его на ту мысль, что и самъ онъ можетъ подвергнуться съ вашей стороны точно такому-же презрѣнію, если ему случится какъ-нибудь исказить истину. По ребяческой слабости характера, желая скрыть отъ васъ какую нибудь свою шалость, вашъ воспитанникъ говоритъ неправду, запутывается и выводится на свѣжую воду; вы отворачиваетесь отъ него и впродолженіе нѣсколькихъ дней обходитесь съ нимъ сухо, холодно и презрительно; ребенокъ переживаетъ всевозможныя истязанія, смотритъ на себя, какъ на обезчещеннаго и погибшаго человѣка, чувствуетъ мучительную потребность наплевать себѣ самому въ лицо и путемъ своихъ страданій приходитъ къ тому убѣжденію, что нѣтъ на свѣтѣ ничего позорнѣе и ужаснѣе лжи. Черезъ нѣсколько времени послѣ этого искуса кто-нибудь изъ товарищей вашего воспитанника впадаетъ въ ту-же погрѣшность; вашъ воспитанникъ, со всей ревностью новообращеннаго фанатика, оретъ, что онъ не хочетъ и не можетъ имѣть ничего общаго съ низкимъ, отвратительнымъ и безсовѣстнымъ лгуномъ. Такимъ образомъ, путемъ

Digitized by Google

ежедневныхъ мелкихъ житейскихъ столкновеній, совершающихся въ тѣсныхъ предѣлахъ дѣтской и классной, въ душѣ вашего воспитанника постепенно укореняется, растетъ, развертывается и зрѣетъ слѣпая, неразборчивая, неосмысленная и неумолимая ненависть ко всему, что сколько-нибудь похоже на ложь. Когда человѣкъ высказываетъ не то, что думаетъ и чувствуетъ, или когда онъ утаиваетъ отъ другого свои поступки, чувства и мысли, тогда въ душѣ вашего воспитанника начинаетъ бушевать ураганъ негодованія, во время котораго процессъ спокойнаго размышленія прекращается, и дрожащія губы выбрасываютъ въ лицо провинившейся особы ругательныя слова: лгунъ, лицемѣръ, негодяй, подлецъ! — Вашему воспитаннику нѣтъ дѣла ни до какихъ смягчающихъ обстоятельствъ; онъ не спрашиваетъ о томъ, повредила-ли кому-нибудь сказанная ложь; онъ не вникаетъ въ побужденія солгавшаго человѣка; фактъ лжи совершился, онъ дознанъ и поставленъ внѣ всякаго сомнѣнія. Этого совершенно достаточно, потому что вашъ воспитанникъ ненавидитъ не зло, причиняемое ложью, а самую ложь, совершенно независимо отъ тѣхъ хорошихъ или дурныхъ послѣдствій, которыя она можетъ за собою повести въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ. Вашъ воспитанникъ ненавидитъ ложь такъ точно, какъ иные люди ненавидятъ пауковъ, или крикъ пустушки, или жареную баранину, или запахъ дегтя. На вопросъ о причинахъ этой ненависти, всѣ эти люди, въ томъ числѣ и вашъ воспитанникъ, отвѣтятъ вамъ съ нарочитымъ жаромъ: потому что это (то есть ложь, пауки, крикъ пустушки, жареная баранина и запахъ дегтя) гадко, гнусно, противно, отвратительно! Вашъ воспитанникъ ко всѣмъ этимъ словамъ прибавитъ еще слово *безнравственно*, но эта прибавка, при всей своей эффектности, нисколько не измѣнитъ положенія вопроса, и не убѣдитъ ни одного здравомыслящаго человѣка въ томъ, что, напримѣръ, во избѣжаніе безнравственности, слѣдуетъ откровенно сообщать больному такое извѣстіе, которое можетъ убить его во время болѣзни, и которое онъ, послѣ своего выздоровленія, выслушаетъ совершенно спокойно.

Вашъ воспитанникъ скажетъ *безнравственно*, но не съумѣетъ и не захочетъ поставить вопросъ на положительную почву, то есть вычислить, для каждаго отдѣльнаго случая, количество осязательной пользы и осязательнаго вреда. Инстинктивное отвращеніе къ неправдѣ, воздѣланное въ его душѣ во времена далекаго дѣтства, когда его умъ еще не былъ въ состояніи переработывать и контролировать воспринимаемыя впечатлѣнія, это отвращеніе срослось съ его душой на всю его жизнь, сталкивается на каждомъ шагу съ его сознательными нравственными убѣжденіями и производитъ во всемъ его образѣ мыслей и во всѣхъ его поступкахъ неизлечимую путаницу. Вашъ воспитанникъ знаетъ обстоятельно, что̀ полезно и что̀ вредно для человѣческой личности и для общества; пользу или вредъ каждаго явленія онъ можетъ доказать съ математической строгостью; но эти знанія и эта сила анализа не могутъ дать ему такую руководящую нить, по которой онъ расположилъ бы всѣ свои поступки и весь строй своей жизни. Можетъ случиться и случается на каждомъ шагу, что къ полезному ведетъ извилистый путь хитрости и лукавства, и что съ другой стороны прямая дорога правды и откровенности приводитъ къ вреднымъ результатамъ. Тогда оказывается вдругъ, что полезное сдѣлалось отвратительнымъ, а вредное прекраснымъ. Вашего воспитанника одолѣваетъ паническій страхъ. Онъ бѣжитъ опрометью отъ ненавистнаго призрака лжи и дѣлаетъ одну за другой сотни глупостей, которыя всѣ приносятъ чувствительный вредъ ему самому, его друзьямъ и всему обществу.

Что же слѣдуетъ изъ всего этого разсужденія? То ли, что дѣтямъ не слѣдуетъ внушать съ самыхъ раннихъ лѣтъ любовь къ правдѣ? То-ли, что дѣтей надо исподоволь пріучать ко лжи? Нисколько. Изъ всего это разсужденія получается только тотъ практическій выводъ, что вообще ничѣмъ не слѣдуетъ поражать слишкомъ сильно дѣтское воображеніе и класть тѣмъ или другимъ способомъ на дѣтскую душу слишкомъ глубокія нарѣзки или зарубки. Надо, чтобы ребенокъ, дѣлаясь человѣкомъ, могъ самостоятельной умственной работой переформировать весь строй своихъ убѣжденій. А для этого надо, чтобы въ его душѣ было какъ можно меньше безотчетныхъ и неистребимыхъ симпатій и антипатій, приросшихъ къ ней наглухо со временъ ребяческой безсознательности. Любить правду и ненавидѣть ложь въ высшей степени похвально. Но кто любитъ и ненавидитъ *слѣпо* что̀ бы то ни было, тотъ никогда не сдѣлается мыслящимъ и полезнымъ человѣкомъ въ высшемъ и лучшемъ смыслѣ этого слова.

Вмѣсто того, чтобы озадачивать ребенка эффектными афоризмами вродѣ того, что дворянинъ никогда не долженъ лгать, даже подъ угрозой смерти, благоразумный воспитатель долженъ на дѣлѣ, при каждомъ отдѣльномъ случаѣ лжи, безъ мелодраматическихъ взрывовъ негодованія, безъ тирадъ и монологовъ, показывать своему воспитаннику, какимъ образомъ искаженіе или утаиваніе истины подрываетъ то взаимное довѣріе, которое необходимо во всякихъ отношеніяхъ между людьми вообще, и которое придаетъ особенную силу и прелесть отношеніямъ между друзьями. Тогда въ ребенкѣ воспитается та необходимая доза отвращенія ко лжи, которая, не ослабляя силы анализа

Digitized by Google

непреодолимыми симпатіями и антипатіями, заставитъ его въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ предпочитать прямой путь окольному, если только представляется возможность сдѣлать выборъ.

Вліяніе M-r de Livry, человѣка, принимавшаго свои сантиментальные максимы и сентенціи за убѣжденія, выработанныя умственнымъ трудомъ и житейскимъ опытомъ, человѣка, привыкшаго рѣшать всякіе нравственные и общественные вопросы готовыми французскими поговорками и прибаутками или цитатами изъ великихъ поэтовъ временъ великаго короля Людовика XIV— такое вліяніе могло быть только или ничтожно, или вредно для пылкаго и воспріимчиваго мальчика, довѣреннаго его просвѣщеннымъ заботамъ. Оно было бы ничтожно, если-бы въ гувернерѣ были какія-нибудь порочныя наклонности, замѣтныя для ребенка и способныя возбудить въ немъ недовѣріе и презрѣніе къ личности воспитателя и ко всѣмъ его премудрымъ размышленіямъ и изреченіямъ. Если бы M-r de Livry былъ обжорой или пьяницей, или льстецомъ, или сплетникомъ, или старымъ селадономъ, то его воспитанникъ очень скоро выработалъ бы себѣ скептическій взглядъ на своего наставника и оцѣнилъ бы по достоинству его попугайскую манеру рѣшать нравственные вопросы. Но вышло совсѣмъ иначе. M-r de Livry былъ старичокъ опрятный, приличный и прямодушный, держалъ себя съ достоинствомъ, ни въ комъ не заискивалъ, не пьянствовалъ, не заводилъ амуровъ съ горничными княгини Пронской и непритворно любилъ своего воспитанника. Маленькій Пронскій съ своей стороны любилъ и уважалъ своего воспитателя; видѣлъ въ немъ умнѣйшаго изъ окружающихъ людей, искалъ его совѣта въ трудныхъ случаяхъ своей дѣтской жизни и навсегда сохранилъ о немъ благодарное воспоминаніе. Вслѣдствіе всего этого де-Ливри былъ вполнѣ способенъ имѣть на Пронскаго самое вредное вліяніе, то есть заразить его надолго, если не навсегда, своимъ безтолковымъ методомъ мышленія.

Очень немногіе люди способны рѣшать важные вопросы жизни самостоятельной работой собственнаго ума. Огромное большинство страдаетъ умственной лѣностью и чувствуетъ свою умственную несостоятельность, хотя и старается всѣми силами скрывать ее даже отъ своихъ собственныхъ глазъ. Когда возникаетъ въ жизни человѣка, принадлежащаго къ этому убогому большинству, какой-нибудь вопросъ, требующій себѣ немедленнаго рѣшенія, тогда этотъ человѣкъ, удручаемый умственной лѣностью и тайнымъ сознаніемъ своей безпомощности, только обращаетъ свои тусклые взоры на толпу и старается подмѣтить, какимъ образомъ представившійся вопросъ рѣшается этой толпой. Если эти старанія увѣнчиваются успѣхомъ, то есть, если вопросъ принадлежитъ къ разряду такихъ, которые представляются всѣмъ и каждому и рѣшаются по заведенному образцу, то удрученный человѣкъ успокоивается, перестаетъ утруждать свою слабую голову несвойственными ей подвигами мышленія и радостно устремляется вслѣдъ за толпой. Баранъ прыгаетъ тамъ, гдѣ прыгнуло все стадо. Если, напротивъ того, для даннаго случая не припасено готоваго и общеизвѣстнаго рѣшенія, то человѣкъ толпы, во избѣжаніе невыносимыхъ умственныхъ мученій, сопряженныхъ съ трудомъ самостоятельнаго обсуживанія и размышленія—углубляется въ архивъ своихъ воспоминаній и старается получить оттуда справку, не было ли такого же мудренаго случая въ жизни кого-нибудь изъ знакомыхъ, и если такой случай дѣйствительно былъ, то какое воспослѣдовало рѣшеніе. Если въ архивѣ не оказывается ничего подходящаго, то несчастный человѣкъ начинаетъ терять голову. Какъ же быть, думаетъ онъ, нельзя ли какъ-нибудь рѣшить по пословицамъ, въ которыхъ, какъ извѣстно, сложенъ запасъ тысячелѣтней народной мудрости? Нѣтъ ли чего-нибудь въ этомъ родѣ въ тѣхъ романахъ, которые я читалъ съ такимъ наслажденіемъ. Не помогутъ ли мнѣ въ моемъ затруднительномъ положеніи *Опыты* Монтеня, *Размышленія* Паскаля, *Максимы* Ларошфуко, *Басни* Лафонтеня, или *Характеры* Лабрюйера? Наконецъ, когда ничто не беретъ, и когда вопросъ продолжаетъ съ прежней назойливостью торчать передъ носомъ несчастнаго барана, отбившагося отъ стада, тогда русское авось вступаетъ во всѣ свои права, и человѣкъ толпы, отчаявшись въ своемъ спасеніи, начинаетъ дѣлать съ плеча одну глупость за другой.

Какъ же формируются такіе люди толпы, для которыхъ самостоятельное размышленіе оказывается труднѣйшей изъ всѣхъ возможныхъ работъ и одной изъ самыхъ невыносимыхъ пытокъ? Неужели эти люди отъ природы лишены способности мыслить? Нисколько. Ихъ головы имѣютъ такую же правильную форму, какъ головы самыхъ смѣлыхъ мыслителей и самыхъ трудолюбивыхъ ученыхъ изслѣдователей. Бываетъ даже и такъ, что кабинетный работникъ, обогащающій свою науку новыми наблюденіями и размышляющій очень самостоятельно надъ своими фоліантами или ископаемыми костями, оказывается въ жизни очень робкимъ и умственно-лѣнивымъ рутинеромъ, прыгающимъ только тамъ, гдѣ прыгнуло все стадо. Людей толпы формируетъ преимущественно то несокрушимое довѣріе, которое они имѣютъ съ колыбели сначала къ кормилицѣ и нянькѣ, потомъ къ родителямъ и воспитателямъ, къ женѣ, къ друзьямъ и знакомымъ, и наконецъ ко всѣмъ особамъ, изъ которыхъ составляется приличная-одѣтая масса. Это несокрушимое довѣріе

Digitized by Google

другъ къ другу нисколько не мѣшаетъ людямъ толпы считаться другъ съ другомъ въ каждой копѣйкѣ и грызться между собой изъ-за каждой мельчайшей частицы житейскихъ выгодъ и грошовыхъ удовольствій. Это несокрушимое довѣріе состоитъ только въ томъ, что каждый изъ людей толпы старается перебросить на сосѣда трудъ размышленія о всякихъ нравственныхъ и житейскихъ вопросахъ, съ тѣмъ, чтобы потомъ воспользоваться для себя готовымъ рѣшеніемъ, нисколько не пускаясь въ обсуживаніе его пригодности и основательности. Что же касается до этого несокрушимаго довѣрія, то оно поддерживается совокупными усиліями всѣхъ тѣхъ людей старшаго поколѣнія, которые такъ или иначе, въ качествѣ родителей или воспитателей, стараются формировать подрастающее юношество по своему образу и подобію. Огромное большинство родителей и воспитателей заботятся прежде всего о томъ, чтобы довѣренныя имъ личности думали, чувствовали, говорили и поступали такъ, какъ думаютъ, чувствуютъ, говорятъ и поступаютъ *всѣ*. Кто эти *всѣ*, и чѣмъ такимъ особеннымъ они отличились, и почему необходимо стремиться имъ во слѣдъ — этого вопроса господа формирователи себѣ не задаютъ, по той причинѣ, что такого вопроса не задаютъ себѣ *всѣ*, и что, слѣдовательно, спасительность усерднаго подражанія *всѣмъ* не можетъ подлежать ни малѣйшему сомнѣнію. Когда ребенокъ становится человѣкомъ, тогда въ большей части случаевъ фраза: *такъ дѣлаютъ всѣ* получаетъ для него какую-то магически обязательную силу, и въ видѣ послѣдняго, неотразимаго аргумента заканчиваетъ собою всякія пренія. Но въ дѣтскомъ возрастѣ эта фраза не имѣетъ еще никакого значенія. На слова: *такъ дѣлаютъ всѣ* - мало мальски шустрый ребенокъ отвѣтитъ непремѣнно: «ну такъ чтожъ такое? А мнѣ что за дѣло?» — Этотъ дерзкій вопросъ или возгласъ переноситъ разсматриваемое дѣло на почву полезности и разумности, на такую почву, по которой большинство родителей и воспитателей не могутъ слѣдовать за своими предпріимчивыми птенцами. Убѣдить птенца становится очень трудно, отчасти потому, что требованіе старшаго не отличается ни полезностью, ни разумностью, а отчасти и потому, что, на случай недовѣрія со стороны птенца, у старшаго не припасено для него никакихъ убѣдительныхъ доказательствъ. Тутъ начинается со стороны старшаго дѣйствіе личнаго авторитета, которое очень часто оказывается совершенно удачнымъ. Если нельзя убѣдить птенца, то его почти всегда можно поймать на удочку ласковаго обращенія и чувствительныхъ изліяній. Птенецъ разнѣжится, поступитъ по вашему желанію, откажется въ угоду вамъ отъ своихъ возникающихъ сомнѣній, будетъ гордиться вашей дружбой и, благодаря вашимъ попеченіямъ, сдѣлается безукоризненно-плоскимъ человѣкомъ толпы. Все это произойдетъ только въ томъ случаѣ, если вы съумѣете овладѣть любовью и уваженіемъ птенца. А для этого вамъ необходимо быть добродушнымъ и честнымъ человѣкомъ въ томъ узкомъ смыслѣ, въ какомъ слово честность понимается образованной толпой. M-r de Livry обладалъ всѣми качествами, которыя необходимы воспитателю для того, чтобы опошлить и обезсмыслить молодое существо, довѣренное его заботамъ. Онъ самъ былъ вполнѣ человѣкомъ толпы. Онъ былъ на столько добродушенъ и честенъ, что могъ пріобрѣсти и дѣйствительно пріобрѣлъ себѣ довѣріе, любовь и уваженіе Пронскаго. Что же получилось въ результатѣ? Полнаго опошленія не получилось, потому что въ натурѣ мальчика было слишкомъ много пылкости, страстности и нервной раздражительности. Но получилось, если можно такъ выразиться, значительное засореніе молодого мозга самыми безтолковыми умственными пріемами и привычками. Выслушивая отъ стараго попугая разныя сентенціи и афоризмы, Пронскій принималъ ихъ сначала за аксіомы нравственной философіи. Эти аксіомы были для него крайними предѣлами, дальше которыхъ не смѣлъ идти его анализирующій умъ. Они были для него статьями закона, подъ которыя онъ только подводилъ свои и чужіе поступки. Пронскій любилъ и хранилъ эти статьи закона, потому что онѣ напоминали ему почтенную фигуру стараго воспитателя. Онъ былъ подкупленъ воспоминаніями дѣтства въ пользу сентенцій M-r de Livry. Когда пришлось поневолѣ отбросить то, въ чемъ слишкомъ явно обозначились предразсудки стараго эмигранта, Пронскій сохранилъ изъ своего запаса все, что̀ могло кое-какъ выдержать самую снисходительную критику. Онъ сохранилъ въ особенности, самъ того не замѣчая, ту манеру разсуждать, которой страдалъ M-r de Livry. Онъ продолжалъ подводить свои и чужіе поступки подъ статьи своего кодекса, не спрашивая въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, сколько пользы или вреда приноситъ данный поступокъ какой-нибудь человѣческой личности или цѣлому обществу.

VIII.

Пронскому было около четырнадцати лѣтъ, когда ему пришлось испытать первое серьезное столкновеніе съ житейской неправдой. Домъ его матери былъ переполненъ приживалками, между которыми первенствовала мелкопомѣстная дворянка, Аграфена Ивановна Бѣлова, дальняя родственница княгини. Эта Аграфена Ивановна, разумѣется, старалась всѣми силами угодить своей покровительницѣ, для того, чтобы попользоваться отъ нея земными благами, и старая

Digitized by Google

княгиня, по своей добродушной глупости, была твердо увѣрена въ томъ, что всѣ ласки и заискиванія госпожи Бѣловой вытекаютъ изъ полноты чистой и безкорыстной любви. Она цѣловалась и миловалась съ своей Аграфеной Ивановной, не спускала съ нея глазъ и любила сидѣть съ ней по цѣлымъ часамъ рука въ руку.

Во время продолжительной и опасной болѣзни старой княгини, когда Аграфена Ивановна, сдѣлавшаяся еще болѣе необходимой, съ неустрашимымъ постоянствомъ исполняла всѣ самыя утомительныя обязанности сидѣлки, молодому Пронскому случилось совершенно нечаянно подслушать конфиденціальный разговоръ, происходившій между этой самой Аграфеной Ивановной и ея мужемъ. Разговоръ начинается вопросомъ мужа: *подписано ли наконецъ завѣщаніе?* и ведется въ такомъ откровенномъ тонѣ, что госпожа Бѣлова произноситъ даже слѣдующій энергическій монологъ: «А ты думаешь, что мнѣ очень весело возиться съ этой дурищей? Ночи не спи, на полу валяйся. Перевертывай ее, ухаживай, да еще цѣлуй ее въ вонючую морду. Натерпѣлась я, нанюхалась я порядкомъ,—и при этомъ словѣ Бѣлова плюнула съ отвращеніемъ».

«Что́ бы ей ужъ поскорѣй отправиться на тотъ свѣтъ, прибавляетъ она далѣе—до смерти надоѣла». Любящему сыну, безъ сомнѣнія, очень тяжело и больно слушать такіе непочтительные и недоброжелательные отзывы о своей больной матери; но, если разсмотрѣть дѣло безпристрастно и хладнокровно, то надо будетъ сознаться, что ни въ словахъ, ни во всемъ поведеніи Аграфены Ивановны нѣтъ ничего особенно ужаснаго, ничего такого, за что образованная толпа имѣла бы право забросать ее каменьями. Рядомъ съ Аграфеной Ивановной вы смѣло можете поставить любимаго Пушкинскаго героя, Евгенія Онѣгина, къ которому люди образованной толпы конечно нисколько не расположены относиться съ негодованіемъ и презрѣніемъ. Не угодно ли вамъ будетъ припомнить, что «думалъ молодой повѣса, летя въ пыли на почтовыхъ».

По словамъ нашего великаго поэта, онъ думалъ вотъ что:

Но, Боже мой, какая скука
Съ больнымъ сидѣть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,
Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же чортъ возьметъ тебя!

Размышляя такимъ образомъ, *молодой повѣса*, *добрый пріятель* или любимецъ вѣка поэта *летитъ въ пыли на почтовыхъ* собственно для того, чтобы въ виду приближающагося наслѣдства предаваться *низкому коварству* у постели умирающаго дяди. Госпожа Бѣлова говоритъ: «что́ бы ей ужъ поскорѣй отправиться на тотъ свѣтъ», а Онѣгинъ собирается думать про себя: «Когда же чортъ возьметъ тебя!» Правда, одна уже говоритъ, а другой только еще собирается думать, но во-первыхъ, выраженія послѣдняго сильнѣе, чѣмъ выраженія первой, во-вторыхъ, есть достаточныя основанія предполагать, что Онѣгинъ, очутившись въ закупоренной спальнѣ своего дяди, быстро приведетъ въ исполненіе свой планъ усерднаго посыланія больного къ чорту, и наконецъ въ третьихъ, Онѣгинъ изображаетъ собою племянника, а Аграфена Ивановна всего только дальнюю родственницу. Принимая въ соображеніе всѣ эти обстоятельства, надо придти къ тому убѣжденію, что госпожа Бѣлова и господинъ Онѣгинъ взаимно уравновѣшиваютъ другъ друга, какъ со стороны гуманныхъ отношеній къ умирающимъ особамъ, такъ и въ дѣлѣ соблюденія своего собственнаго человѣческаго достоинства. Правда, *вонючая морда*, украшающая собой энергическую рѣчь госпожи Бѣловой, не находитъ себѣ ничего равносильнаго въ монологѣ *молодого повѣсы* и *добраго пріятеля*; но и тутъ приходится принимать въ разсчетъ кое-какія обстоятельства, имѣющія значительное вліяніе на постановку вопроса. Во-первыхъ, Онѣгинъ только еще летитъ въ пыли на почтовыхъ, и стало быть, совершенно неспособенъ составить себѣ достаточно яркое понятіе о букетѣ испытаній, отдѣляющихъ его отъ желаннаго наслѣдства. Мы еще не знаемъ, что́ бы онъ заговорилъ и какія бы онъ измыслилъ крѣпкія слова, если бы ему пришлось повозиться съ больнымъ старикомъ хоть десятую долю того времени, которое было потрачено неустрашимой Аграфеной Ивановной на воздѣлываніе княгини Пронской. Во-вторыхъ, Онѣгинъ такъ воспитанъ, что онъ даже морду своего бульдога способенъ назвать физіономіей, между тѣмъ какъ Аграфена Ивановна, по условіямъ своего воспитанія, способна даже свою собственную физіономію называть, смотря по вдохновенію, то рыломъ, то мордой, то харей, то рожей. Послѣ всего этого изслѣдованія мы имѣемъ полное право торжественно повторить, что Аграфена Ивановна и Евгеній Онѣгинъ ни въ чемъ не должны завидовать другъ другу.

Уравнявъ между собою эти двѣ личности, имѣющія повидимому мало общаго, спросимъ себя теперь, какимъ образомъ относится къ Онѣгину, и даже именно къ его размышленіямъ о больномъ дядѣ, огромное большинство людей, имѣющихъ болѣе или менѣе основательныя претен-

Digitized by Google

зіи на образованность. Намъ нѣтъ надобности ссылаться на сужденія, которыя произносятся иногда объ Онѣгинѣ въ салонахъ или будуарахъ обожателями и обожательницами поэзіи вообще и Пушкина въ особенности. Verba volant—слова летаютъ, уловить ихъ очень трудно; доказать, что они дѣйствительно были произнесены—еще труднѣе, и поэтому было бы совершенно безполезно распространяться о такихъ мысляхъ и умственныхъ направленіяхъ, которыя хотя и живутъ еще до сихъ поръ въ неподвижныхъ сферахъ нашего общества, но уже давно не могутъ найти себѣ соотвѣтственнаго выраженія въ текущей литературѣ. Намъ также незачѣмъ разсматривать, какимъ образомъ смотрѣлъ на Онѣгина самъ его творецъ, великій, дважды и трижды великій Пушкинъ. Уже давно извѣстно, что почти всѣ поэты, великіе и малые, отличаются, въ очень значительной степени, пріятной и красивой неопредѣленностью нравственныхъ убѣжденій. Рѣдкій поэтъ способенъ составить себѣ ясное и отчетливое понятіе о томъ, что̀ такое убѣжденіе и что̀ такое логическая послѣдовательность. Отсутствіе убѣжденій и неумѣнье размышлять вмѣняются даже въ особенную заслугу великимъ и малымъ поэтамъ и называются на языкѣ просвѣщенныхъ критиковъ высокой объективностью и всеобъемлющей любовью къ явленіямъ жизни. Поэтому оставимъ въ сторонѣ великаго поэта такъ точно, какъ мы отодвинули въ сторону міръ салоновъ и будуаровъ, преклоняющихся до настоящей минуты передъ неотразимой красотой онѣгинскаго типа.

Былъ у насъ одинъ критикъ, котораго дѣйствительно можно назвать великимъ, безъ малѣйшаго оттѣнка ироніи. Имя этого критика дорого каждому русскому человѣку, способному читать и думать. Двѣнадцать томовъ его сочиненій разошлись по всѣмъ концамъ Россіи. Ясное дѣло, что мы говоримъ о Бѣлинскомъ, съ которымъ можно и даже должно спорить о многихъ вопросахъ, но котораго нельзя не любить нѣжной, почтительной и страстно-благодарной любовью. Посмотримъ же теперь, что говоритъ Бѣлинскій объ отношеніяхъ Онѣгина къ умирающему дядѣ.

«Его дядя, разсуждаетъ Бѣлинскій, былъ ему чуждъ во всѣхъ отношеніяхъ. И что̀ можетъ быть общаго между Онѣгинымъ, который уже

. . . . . равно зѣвалъ
Средь модныхъ и старинныхъ залъ,

и между почтеннымъ помѣщикомъ, который въ глуши своей деревни

Лѣтъ сорокъ съ ключницей бранился,
Въ окно смотрѣлъ и мухъ давилъ?

Скажутъ, онъ его благодѣтель. Какой же благодѣтель, если Онѣгинъ былъ законнымъ наслѣдникомъ его имѣнія? Тутъ благодѣтель не дядя, а законъ, право наслѣдства. Каково же положеніе человѣка, который обязанъ играть роль огорченнаго, сострадущаго и нѣжнаго родственника при смертномъ одрѣ совершенно чуждаго и посторонняго ему человѣка? Скажутъ, кто обязывалъ его играть такую роль? Какъ кто? Чувства деликатности, человѣчности. Если, почему бы то ни было, вамъ нельзя не принимать къ себѣ человѣка, котораго знакомство для васъ и тяжело, и скучно,—развѣ вы не обязаны быть съ нимъ вѣжливы и даже любезны, хотя внутренно вы и посылаете его къ чорту? Что въ словахъ Онѣгина проглядываетъ какая-то насмѣшливая легкость, въ этомъ видѣнъ только умъ и естественность, потому что отсутствіе натянутой и тяжелой торжественности въ выраженіи обыкновенныхъ житейскихъ отношеній есть признакъ ума. У свѣтскихъ людей это даже не всегда умъ, чаще всего манера, и нельзя не согласиться, что это преумная манера. У людей среднихъ кружковъ, напротивъ, манера—отличаться избыткомъ разныхъ глубокихъ чувствъ при всякомъ сколько нибудь по ихъ мнѣнію важномъ случаѣ». Если въ словахъ Онѣгина: «когда же чортъ возьметъ тебя» *проглядываетъ какая-то насмѣшливая легкость*, признакъ ума и естественности, то въ словахъ Аграфены Ивановны «да еще цѣлуй ее въ вонючую морду» безъ всякаго сомнѣнія

Торжествуетъ мстительное чувство,
Догорая теплится любовь...

къ той лаконой подачкѣ, которая предполагается въ завѣщаніи княгини Пронской.

Не трудно понять, что все разсужденіе Бѣлинскаго фальшиво съ перваго слова до послѣдняго. Во-первыхъ, между Онѣгинымъ и его дядей очень много общаго. Зѣваніе перваго и созерцательная жизнь послѣдняго одинаково безполезны, безсмыслены, безтолковы и унизительны для человѣческаго достоинства. И Онѣгинъ, и его дядя коптятъ небо, живутъ сложа ручки, и съ невинностью, свойственной десятилѣтнему ребенку, поглощаютъ постоянно продукты чужого труда. Значитъ, они могутъ отъ всей души обнять и возлюбить другъ-друга. Во-вторыхъ, предположеніе Бѣлинскаго о томъ, что Онѣгину благодѣтельствуетъ законъ, а не дядя, совершенно произвольно. Не только дядя племянника, но даже отецъ сына можетъ лишать наслѣдства въ пользу болѣе отдаленныхъ наслѣдниковъ. Если-бы дядя передъ смертью прогнѣвался на Онѣгина, то *добрый пріятель* нашего поэта навѣрное не получилъ-бы имѣнія. Онѣгинъ ѣхалъ къ дядѣ именно для того, чтобы въ рѣшительную минуту скрѣпить съ нимъ дружелюбныя отношенія. На это указываютъ слова Онѣгина, что дядя

Digitized by Google

Всѣхъ уважать себя заставилъ
И лучше выдумать не могъ.

Онѣгину стоило только отказаться отъ наслѣдства, и тогда никто не обязывалъ-бы его *играть такую низкую роль*, и совсѣмъ не было-бы того положенія, о которомъ Бѣлинскій съ трагическимъ ужасомъ спрашиваетъ: *каково*? О чувствѣ деликатности и человѣчности тутъ совѣстно и заикаться. Если-бы Онѣгинъ собирался *полуживого забавлять* изъ чувства христіанской любви къ больному и умирающему ближнему, то ему незачѣмъ было-бы упрекать себя въ *низкомъ коварствѣ*, и также не было-бы особенной надобности обращаться къ содѣйствію чорта. Наконецъ, съ той мыслью Бѣлинскаго, что мораль свѣтскаго человѣка стоитъ все-таки выше морали лавочника, старающагося молотить рожь на обухѣ, мы готовы согласиться, но при этомъ мы должны замѣтить, что можетъ существовать и даже существуетъ еще мораль честнаго человѣка, стоящаго на собственныхъ ногахъ, живущаго собственнымъ трудомъ и не ожидающаго себѣ ни откуда великихъ и богатыхъ милостей, ни отъ своихъ, ни отъ чужихъ, ни отъ дяденьки, ни отъ тетеньки. Такой человѣкъ имѣетъ право бросать, съ высоты своего трудового величія, взгляды спокойнаго презрѣнія на грязныя продѣлки Евгенія Онѣгина и Аграфены Вѣловой.

IX.

Униженный и оскорбленный бесѣдой о *вонючей мордѣ*, юный Пронскій ищетъ себѣ совѣта и утѣшенія на лонѣ стараго попугая М-г de Livry. Попугай отверзаетъ уста свои и по обыкновенію выбрасываетъ изъ нихъ глупыя слова, которыя на первый взглядъ могутъ показаться умными. Изъ этихъ глупыхъ словъ мы передадимъ читателямъ только малую долю. «Теперь, говоритъ де-Ливри, приступимъ къ обсужденію вопроса: какъ поступить съ открытой вами тайной? Во-первыхъ, ваша матушка такъ еще слаба, что опасно потревожить ее подобнымъ сообщеніемъ. Во-вторыхъ, это лишитъ ее дорогого для нея самообольщенія, что̀ во всякомъ случаѣ непріятно, а тѣмъ болѣе въ настоящемъ положеніи вашей матушки. Наконецъ, къ чему-жъ это послужитъ? Да и навряд-ли княгиня повѣритъ подобному извѣщенію: дружба ея къ предательской родственницѣ слишкомъ укоренилась. Съ другой стороны, дать почувствовать виновнымъ въ лукавствѣ, что вамъ извѣстны ихъ замыслы, опасно и также, я думаю, ни къ чему не послужитъ. Повѣрьте, что они отрекутся отъ своихъ словъ, васъ же осудятъ въ клеветѣ или припишутъ показанія ваши разстроенному, больному дѣтскому воображенію. Все это, скажутъ они, приснилось вамъ въ бреду, это послѣдствія томительныхъ ночей, проведенныхъ у постели больной вашей матушки».

Позвольте, спрашиваетъ быть можетъ недоумѣвающій читатель. За что-же однако вы обзываете М-г de Livry старымъ попугаемъ? По моему мнѣнію, его устами говоритъ сама мудрость. Онъ подаетъ ребенку самый полезный, разумный и спасительный совѣтъ. Развѣ можно придумать что-нибудь болѣе практичное. Къ тому-же слова его, какъ видно изъ дальнѣйшаго хода событій, оказываются даже пророческими словами.

На это замѣчаніе читателя мы съ своей стороны скажемъ также: позвольте! Совѣтъ дѣйствительно недуренъ, но тутъ главное дѣло не въ совѣтѣ, а въ его мотивированіи. Случай самъ по себѣ такъ простъ и ясенъ, что дать противуположный совѣтъ могъ-бы только полоумный или ребенокъ. Сказать Пронскому: надо поступать такъ-то — еще ровно ничего не значитъ. Важно и необходимо было объяснить ему, почему именно слѣдовало поступить такъ, — и убѣдить его, что поступить иначе было-бы не только неудобно, но и безчестно. Ливри, напротивъ того, сдѣлалъ все, что̀ отъ него зависѣло, для того чтобы ослабить или даже совершенно уничтожить дѣйствіе своего совѣта. Какъ вамъ нравится это торжественное предисловіе: «теперь приступимъ къ обсужденію вопроса: какъ поступить съ открытой вами тайной?» Это предисловіе какъ будто нарочно разсчитано на то, чтобы въ глазахъ бѣднаго ребенка преувеличить до крайнихъ предѣловъ возможнаго размѣры и значеніе того крошечнаго факта, на который ему случилось наткнуться. Пронскій узнаетъ отъ своего мудраго наставника, что существуетъ въ ихъ домѣ какая-то тайна, и что онъ, Пронскій, открылъ ее, и что съ ней надо какъ нибудь поступить, и что тутъ возникаетъ вопросъ, къ разрѣшенію котораго надо приступать съ особенными прелиминаріями и предосторожностями. Продолженіе рѣчи соотвѣтствуетъ ея началу. Аграфена Ивановна получаетъ титулъ *предательской родственницы*, она и ея мужъ оказываются *виновными въ лукавствѣ*, этимъ виновнымъ приписываются *замыслы* и наконецъ обличеніе виновныхъ является сопряженнымъ съ какой-то *опасностью*.

Изъ всѣхъ этихъ медвѣжьихъ пріемовъ стараго француза становится яснымъ до очевидности то обстоятельство, что онъ не знаетъ ни дѣтей вообще, ни Пронскаго въ особенности. Самыми неукротимыми идеалистами и самыми смѣлыми фанатиками бываютъ обыкновенно дѣти и очень молодые люди, только-что переставшіе быть дѣтьми. Когда отрокъ составилъ себѣ понятіе о томъ, что такое обязанность, и когда онъ забралъ себѣ въ голову, что онъ обязанъ

Digitized by Google

*

поступить такъ-то, тогда его не заставитъ отступить никакое указаніе на тѣ опасности, трудности и практическія неудобства, съ которыми сопряжено выполненіе его намѣренія. Ну чтожъ за важность, отвѣтитъ онъ вамъ,—это значитъ только, что я долженъ трудиться, бороться, подвергаться опасностямъ, переносить лишенія и выдерживать страданія. Я на все готовъ, лишь-бы только мнѣ удалось исполнить мой долгъ. Если вы хотите сбить отрока съ его позиціи и отвратить его отъ задуманнаго поступка, то вы должны аргументировать съ нимъ во имя его собственнаго идеала и доказывать ему, что онъ *обязанъ* дѣйствовать не такъ, какъ онъ хотѣлъ, а совсѣмъ иначе. Если же самый идеалъ отрока ложенъ и одностороненъ, то вы должны поворотить всю вашу аргументацію противъ этого односторонняго идеала, который составляетъ первую причину нелѣпыхъ поступковъ. Разрушивъ этотъ идеалъ, вы производите цѣлый переворотъ въ умственной жизни молодого человѣка, и только этимъ спасительнымъ переворотомъ вы избавите его отъ тѣхъ опасностей и страданій, которымъ онъ хотѣлъ подвергаться. Въ томъ и въ другомъ случаѣ, критикуя практическіе выводы во имя принципа или доказывая нелѣпость основной идеи, вы непремѣнно должны выводить всѣ ваши доказательства противъ извѣстнаго поступка не изъ выгодъ данной личности, а изъ высокихъ обязанностей, налагаемыхъ на человѣка его естественнымъ назначеніемъ. Чисто утилитарная аргументація останется непонятной для вашего юнаго и малоразвитаго собесѣдника.

Изъ словъ стараго француза Пронскій увидалъ только то, что сдѣланное открытіе чрезвычайно важно, и что французъ труситъ и пятится назадъ передъ требованіями идеала, который онъ, французъ, самъ признаетъ вѣрнымъ и обязательнымъ для честнаго человѣка. Пронскій сказалъ себѣ разумѣется, что онъ будетъ смѣлѣе, честнѣе и послѣдовательнѣе робкаго старика. Онъ посмотрѣлъ на M-r de Livry сверху внизъ и рѣшился дѣйствовать по своему.

Но какъ же, спроситъ читатель, сталъ-бы говорить съ Пронскимъ умный человѣкъ, находящійся на мѣстѣ стараго француза? Намъ кажется, что между ребенкомъ и воспитателемъ могъ-бы тогда завязаться слѣдующій разговоръ.

Воспитатель. Вы передали мнѣ, другъ мой, отъ слова до слова разговоръ госпожи Бѣловой съ ея мужемъ. Что же именно въ этомъ разговорѣ волнуетъ и возмущаетъ васъ?

Ребенокъ. Какъ что? Помилуйте! Мою мать называютъ дурищей, говорятъ, что у нея вонючая морда, хотятъ, чтобы она поскорѣе умерла. Развѣ жъ этого мало?

— Нѣтъ, этого довольно. Когда мы любимъ кого-нибудь, то мы желаемъ, что-бы этого человѣка любилъ весь свѣтъ; когда говорятъ дурно о томъ человѣкѣ, котораго мы любимъ, то насъ коробитъ это злословіе. Я понимаю ваше неудовольствіе. Но будьте-же благоразумны, подумайте хладнокровно: не можете-же вы въ самомъ дѣлѣ требовать, чтобы всѣ смотрѣли на вашу матушку съ такой-же любовью, съ какой вы на нее смотрите. Вы можете только настаивать на томъ, что-бы въ вашемъ присутствіи никто не произносилъ объ вашей матушкѣ ни одного худого слова. Но вѣдь Аграфена Ивановна и ея мужъ конечно не знали, что вы лежите за перегородкой.

— Ахъ, да совсѣмъ не въ томъ дѣло. Мнѣ обидно то, какъ смѣетъ это говорить Аграфена Ивановна. Вѣдь посмотрѣть на нее, такъ подумаешь, что она души не слышитъ въ матушкѣ. Вѣдь стало быть вся ея любовь къ матушкѣ – все это притворство. И кто ее проситъ лицемѣрить? И кто ее заставляетъ цѣловаться съ моей матерью и сидѣть у ея постели?

— Изъ того разговора, который вы слышали, видно, что ее заставляетъ дѣйствовать такимъ образомъ желаніе получить отъ вашей матушки какой нибудь подарокъ или что нибудь по завѣщанію.

— Ну да? А развѣ-жъ это хорошо?

— А кто-же вамъ говоритъ, что это хорошо?

— Поэтому-то я волнуюсь; поэтому-то я и хочу вывести эту подлую Аграфену Ивановну на свѣжую воду. Я ей покажу, какъ шельмуютъ лицемѣровъ и негодяевъ.

— Понимаю. Вы разсердились на Аграфену Ивановну и хотите ей напакостить. Дѣло очень естественное. Но только вы напрасно считаете себя въ эту минуту рыцаремъ правды, и также напрасно думаете, что я буду вамъ сочувствовать въ вашемъ предпріятіи.

— Вы стало быть Аграфенѣ Ивановнѣ будете сочувствовать?

— Нѣтъ, не буду.

— Зачѣмъ же вы ее защищаете?

— И не думаю.

— Отчего же вы не хотите, чтобы я ее обличилъ?

— Во-первыхъ оттого, что ее не въ чемъ обличать, а во-вторыхъ потому, что я, любя и уважая васъ, не желалъ бы, чтобы вы мстили тѣмъ людямъ, на которыхъ вы сердитесь.

— Теперь я ужъ рѣшительно не понимаю, что́ вы такое хотите сказать. Объясните пожалуйста, какимъ это образомъ Аграфену Ивановну не въ чемъ обличать.

— Это длинная исторія. Прошу васъ слушать внимательно, если вы хотите понять меня. Вамъ придется подумать теперь обо многихъ такихъ вещахъ, о которыхъ вы до сихъ поръ ни разу не задумывались.—Вы знаете, по всей вѣроятности, что Аграфена Ивановна бѣдная женщина?

— Знаю.

Digitized by Google

— Хорошо, но вы врядъ ли понимаете, что такое бѣдность. Вы сами ни въ чемъ не нуждались съ минуты вашего рожденія. Вы никогда не видали, чтобы ваша матушка въ чемъ нибудь себѣ отказывала. Вы жили на всемъ на готовомъ, вы знали, что стоитъ только послать прикащика въ городъ для того, чтобы получить оттуда все, чего вы желаете, вы слыхали, что деньги лежатъ у маманіи въ шкатулкѣ и что ихъ тамъ всегда довольно, и вы никогда не спрашивали себя, откуда берутся эти деньги, и что случилось бы съ вами и съ маманіей, еслибъ эта шкатулка опорожнилась, и если-бы нечѣмъ было ее наполнить. Со многими другими людьми эта штука случается очень часто: имъ надо жить, надо ѣсть, надо одѣваться, надо топить печку, надо лечить больныхъ дѣтей, а денегъ нѣтъ ни въ шкатулкѣ, ни въ ящикѣ, ни въ сундукѣ. Чтоже тутъ дѣлать? Надо идти просить денегъ у богатаго сосѣда. Идетъ бѣднякъ съ замираніемъ сердца, боится, что ему откажутъ, старается выбрать счастливую минуту, льститъ самолюбію богача, высказываетъ свою покорнѣйшую просьбу въ самой вѣжливой и смиренной формѣ, улыбается, когда ему хочется плакать или кричать, и соглашается, когда ему хочется возражать и спорить. Когда вы находите, что какой-нибудь Ивановъ или Петровъ глупъ и достоинъ вашего презрѣнія, то вы обращаетесь съ нимъ сухо и холодно, и думаете про себя: какой молъ у меня откровенный и рыцарскій характеръ. Что я думаю и чувствую, то я прямо и выражаю своими поступками. А вѣдь въ сущности вся ваша рыцарская смѣлость и откровенность происходитъ отъ того, что у васъ въ шкатулкѣ есть деньги и что вамъ не зачѣмъ просить взаймы у Петрова и Иванова. Вы видите, что передъ этими господами ежится и улыбается какой нибудь человѣчекъ въ потертомъ сюртукѣ, и вы тотчасъ рѣшаете, что этотъ человѣчекъ — подлецъ и негодяй. А на повѣрку выйдетъ, можетъ быть, что этотъ человѣчекъ, уже погибшій въ вашемъ мнѣніи, работаетъ съ ранняго утра до поздней ночи, кормитъ своимъ трудомъ старуху мать и дюжину больныхъ сестеръ, отдаетъ имъ послѣдніе куски своего трудового хлѣба, и улыбается глупымъ остротамъ Иванова или Петрова единственно потому, что эти господа могутъ упрятать его въ долговое отдѣленіе и заморить голодомъ его семейство, пользуясь тѣми обязательствами, которыя онъ выдалъ имъ во время тяжелой и продолжительной болѣзни и по которымъ онъ, при всѣхъ своихъ усиліяхъ, не можетъ уплатить въ назначенный срокъ. Подумайте, хорошо-ли и честно-ли будетъ съ вашей стороны, если вы станете уличать такого человѣка въ гнусномъ притворствѣ и непростительномъ двоедушіи. Пріятно ли вамъ будетъ, если вамъ удастся доказать Иванову и Петрову, что человѣчекъ въ потертомъ сюртукѣ считаетъ ихъ за дураковъ и обходится съ ними вѣжливо и даже любезно только изъ корыстныхъ видовъ.

— Стало быть, Аграфена Ивановна то же, что человѣчекъ въ потертомъ сюртукѣ, а мать моя то же, что глупый Ивановъ или глупый Петровъ?

— Не торопитесь. Я васъ предупреждалъ, что исторія будетъ длинная. Изъ притчи о человѣкѣ въ потертомъ сюртукѣ вы можете вывести только то заключеніе, что не всякая личность, умалчивающая или даже искажающая истину, заслуживаетъ порицаніе, осмѣяніе и презрѣніе, и что въ нѣкоторыхъ случаяхъ усердный обличитель неправды можетъ оказаться гораздо гаже того мнимаго негодяя, котораго онъ старается вывести на свѣжую воду. Это вамъ не мѣшаетъ принять къ свѣдѣнію. Теперь слушайте дальше. Нашъ человѣчекъ на каждомъ шагу встрѣчаетъ вокругъ себя такихъ людей, которые такъ или иначе могутъ повредить ему въ средствахъ существованія; со всѣми этими людьми ему надо обращаться осторожно; у всѣхъ этихъ людей есть слабыя и смѣшныя стороны, которыя бросаются ему въ глаза, и которыя онъ однако-же долженъ проходить молчаніемъ, если не желаетъ нажить себѣ ожесточенныхъ и очень опасныхъ преслѣдователей. Со всѣми этими людьми онъ старается ладить, и ото всѣхъ этихъ людей онъ скрываетъ постоянно свои мысли и чувства. Всѣмъ имъ онъ, съ утра до вечера, каждый день и круглый годъ, говоритъ совсѣмъ не то, что онъ объ нихъ думаетъ. Онъ лжетъ постоянно, и вмѣстѣ съ нимъ лгутъ безъ умолку всѣ люди, находящіеся въ его зависимомъ и придавленномъ положеніи. Въ домѣ вашей матери, напримѣръ, лгутъ постоянно словами, движеніями, жестами, выраженіемъ лица всѣ нахлѣбники, всѣ приживалки и домочадцы. Кто сегодня солгалъ по необходимости, и завтра опять поставленъ въ необходимость солгать, и послѣ завтра также, тотъ наконецъ привыкаетъ ко лжи, теряетъ отвращеніе къ ней, сживается съ атмосферой притворства, и въ этой испорченной атмосферѣ чувствуетъ себя очень привольно и легко. Рождаются у него дѣти; онъ и ихъ пріучаетъ съ раннихъ лѣтъ лгать и притворяться; онъ приказываетъ имъ ласкаться къ богатому родственнику, чтобы получить отъ него десятирублевую бумажку на платьице или на курточку. Дѣти цѣлуютъ руки у такихъ людей, которыхъ они едва знаютъ въ глаза, и которые смотрятъ на нихъ, какъ на докучливыхъ нищихъ. Вы счастливѣе этихъ дѣтей: васъ никто не развращалъ въ дѣтствѣ; ваше человѣческое достоинство находилось въ полнѣйшей неприкосновенности; но вѣдь это великое счастье досталось вамъ даромъ, безо всякой заслуги съ вашей стороны. Это счастье лежитъ въ шкатулкѣ вашей маманіи. Пользуй-

Digitized by Google

тесь имъ, берегите ваше человѣческое достоинство, которое вы получаете незамаранным изъ рукъ вашихъ родителей и воспитателей. Но не давите же вашимъ презрѣніемъ и не преслѣдуйте вашими дешевыми обличеніями тѣхъ несчастныхъ дѣтей, которыхъ нравственныя качества не были охранены съ самой колыбели содержаніемъ мамашиной шкатулки. Повѣрьте, что другія дѣти хуже васъ только потому, что они бѣднѣе васъ и, слѣдовательно, несравненно чаще васъ принуждены сталкиваться съ грязными сторонами жизни.

— Да я и не думаю презирать этихъ несчастныхъ дѣтей. Я объ нихъ жалѣю. Но я только не понимаю, какимъ образомъ все, что вы говорите, можетъ относиться къ Аграфенѣ Ивановнѣ? Неужели же вы серьезно рѣшитесь утверждать, что ея поступки съ моей матерью не отвратительны? Если-бъ вы знали, какъ ее любитъ моя мать и какъ она увѣрена въ ея преданности. И вдругъ за всю эту любовь — дурища, вонючая морда и дай Богъ, чтобъ она умерла поскорѣй! Вы не говорите мнѣ о бѣдности, о притворствѣ, о несчастныхъ дѣтяхъ; вы возьмите фактъ, какъ онъ есть, и разберите его со всѣхъ сторонъ.

— Не забудьте, что тутъ сильно заинтересована ваша мать, и что мнѣ, быть можетъ, придется упомянуть о такихъ сторонахъ ея ума и характера, о которыхъ вамъ непріятно будетъ выслушивать мои замѣчанія.

— Ничего, говорите, говорите все! Я знаю, что вы не захотите оскорблять меня и мою мать, и скажете только то, что́ необходимо для разъясненія вопроса. Говорите! Правду я готовъ выслушивать о комъ бы то ни было.

— Все, что я говорилъ о бѣдности, о притворствѣ, о несчастныхъ дѣтяхъ, относится вполнѣ къ Аграфенѣ Ивановнѣ. Я не желалъ-бы имѣть съ этой женщиной никакого дѣла, я всегда буду тщательно уклоняться отъ всякихъ дружескихъ отношеній и даже отъ короткаго знакомства съ ней; я твердо увѣренъ, что эта женщина не можетъ пользоваться уваженіемъ честнаго человѣка, но въ то-же время я такъ ясно вижу тотъ путь, который привелъ ее къ глубокому нравственному паденію, я такъ отчетливо понимаю неотразимость тѣхъ вліяній, которыя толкали ее въ болото,—что я не считаю возможнымъ и справедливымъ наказывать ее публичнымъ ошельмованіемъ. Аграфена Ивановна родилась отъ бѣдныхъ и благородныхъ родителей; ей втолковали съ дѣтства, что женщинѣ ея сословія стыдно и неприлично пойти въ ученье къ портнихѣ и сдѣлаться бѣлошвейкой, но нисколько не стыдно и очень прилично выпрашивать себѣ у родныхъ и знакомыхъ надушенныя мантильи и шляпки. Такъ она и выросла съ этими понятіями, и теперь вы ихъ не выживете изъ ея дубовой головы никакими резонами. Съ этими-же самыми понятіями и съ двумя-тремя выпрошенными платьишками ее выдали замужъ за господина Бѣлова, о которомъ, разумѣется, говорили при ней, что онъ молодъ и не чиновенъ, но за то умная голова и далеко пойдетъ. Значеніе послѣднихъ словъ было ей хорошо понятно. Она знала, что Бѣловъ умѣетъ ладить съ просителями и всякій разъ приноситъ домой изъ должности полонъ карманъ пятаковъ и гривенниковъ. Бѣловъ самъ не прочь былъ похвалиться передъ своей невѣстой своей служебной даровитостью, и зналъ, что онъ за разсказы о своемъ высокомъ искусствѣ всегда можетъ получить отъ возлюбленной Груши нѣжный взглядъ или даже крѣпкій поцѣлуй. Вышла она замужъ; началось собираніе и откладываніе пятаковъ и гривенниковъ; пошли дѣти; нужда поминутно заглядывала въ ихъ грязную и сырую квартиру, не смотря на всю даровитость Бѣлова и на все попрошайничество Аграфены Ивановны. О стыдѣ, о нравственномъ благообразіи пришлось забыть окончательно. До стыда-ли тутъ, когда приходится топить печку черезъ день и готовить горячее кушанье всего раза по два въ недѣлю, чтобы кое-какъ сводить концы съ концами и одѣваться такъ, какъ того требуетъ амбиція благородныхъ людей. Въ видахъ попрошайничества Аграфена Ивановна ѣздитъ къ своей богатой родственницѣ и вдругъ начинаетъ замѣчать, что эта родственница съ искреннимъ удовольствіемъ выслушиваетъ ея сладкія рѣчи. «Постой, думаетъ Аграфена Ивановна, тутъ есть крупная пожива. Барыня-то, кажется, простовата и любитъ уши развѣшивать». Пробуетъ она пріѣхать погостить. Ее встрѣчаютъ ласково; собирается она домой, ее удерживаютъ. Что-жъ ей дѣлать? Не отвертываться-же ей отъ своего счастья. И не влюбиться-же ей въ вашу мамашу, на которую она во всякую данную минуту смотритъ только какъ на толстый денежный мѣшокъ. Живя въ домѣ у вашей матери, питаясь ея подаяніями, ожидая отъ нея великихъ милостей, она только и можетъ держать себя такъ, какъ она себя держитъ дѣйствительно. Сердиться на нее не за что, такъ-же точно, какъ несправедливо было бы осуждать вашу мать за ея младенческую довѣрчивость. Поступки обѣихъ личностей вытекаютъ самымъ неизбѣжнымъ образомъ изъ всего ихъ прошедшаго. Одна поступаетъ, какъ опытная пріобрѣтательница, привыкшая обивать чужіе пороги и цѣловать благодѣтельскія ручки; другая поступаетъ, какъ богатая барыня, никогда не видавшая дѣйствительной жизни и никогда ни о чемъ не размышлявшая. Одна притворяется и поддѣлывается; другая любитъ свою подругу и вѣритъ въ ея любовь. Повидимому послѣдняя должна быть въ чистомъ убыткѣ, потому что за свою настоящую

Digitized by Google

монету она получаетъ фальшивую. Но въ этомъ случаѣ фальшивая монета оказывается лучше настоящей. Въ дружбѣ вашей матери съ Аграфеной Ивановной на долю первой достаются всѣ выгоды и удовольствія. Кто пляшетъ по чьей дудкѣ? Кто кому заглядываетъ въ глаза? Чьи желанія угадываются и предупреждаются? Чьи привычки и прихоти возводятся въ обязательный законъ? Аграфена Ивановна пресыкается, Аграфена Ивановна льститъ, Аграфена Ивановна играетъ утомительную комедію, а матушка ваша только вдыхаетъ въ себя фиміамъ и предается сладостнымъ излія̀ніямъ дружбы. Положимъ, что фиміамъ оказывается очень низкаго достоинства, но вѣдь ваша матушка имъ довольна, а госпожа Бѣлова конечно не виновата въ томъ, что вкусъ ея благодѣтельницы до такой степени мало развитъ. Чѣмъ хуже былъ фиміамъ, тѣмъ сильнѣе госпожа Бѣлова убѣждена въ томъ, что ей должны за него заплатить, потому что тѣмъ труднѣе и непріятнѣе было его приготовлять. Если-бы Бѣлова въ самомъ дѣлѣ любила вашу матушку, то ей, Бѣловой, не за что было-бы платить; тогда всѣ ея заботы о спокойствіи и здоровьѣ вашей матери доставляли-бы ей самой живѣйшее наслажденіе; но теперь, именно теперь, когда вы знаете, что ея любовь—чистое притворство, теперь-то вы и должны заплатить ей щедрой рукой за всѣ ея труды и безпокойства. Эта щедрая расплата съ ней должна быть вашимъ единственнымъ мщеніемъ, потому что мстить Бѣловой чѣмъ нибудь другимъ значило-бы наказывать бѣднаго за то, что онъ бѣденъ, или урода за то, что онъ не похожъ на Аполлона Бельведерскаго.

X.

М-г de Livry ни въ чемъ не убѣдилъ нашего героя. Пронскій при первомъ удобномъ случаѣ объясняется съ своей матерью; мать ему не вѣритъ, Аграфена Ивановна становится его злѣйшимъ врагомъ и старается выжить его изъ дома. Дѣло кончается тѣмъ, что юнаго обличителя отправляютъ въ Петербургъ и помѣщаютъ тамъ въ учебное заведеніе. Въ этомъ заведеніи господствуетъ постоянная вражда между воспитанниками и воспитателями. Воюющія стороны съ утра до вечера хлопочутъ о томъ, чтобы какъ нибудь перехитрить, подкараулить, застигнуть врасплохъ и побольнѣе оскорбить другъ друга. Воспитанники шалятъ и безчинствуютъ преимущественно для того, чтобы разбѣсить воспитателей; воспитатели дѣлаютъ облавы на шалуновъ единственно для того, чтобы нанести этимъ врагамъ дисциплины и школьнаго спокойствія какъ можно больше физической боли. Каждый изъ двухъ лагерей имѣетъ своихъ перебѣжчиковъ; каждый изъ двухъ подсылаетъ въ противуположный лагерь своихъ лазутчиковъ. Великая война воспитанниковъ и воспитателей усложняется еще мелкими междуусобіями и партизанскими схватками, разыгрывающимися ежеминутно въ обоихъ лагеряхъ. «Вскорѣ я замѣтилъ, пишетъ Пронскій въ своемъ дневникѣ,—что ложь и лукавство—основныя начала всѣхъ отношеній не только что между товарищами, но даже между учителями и ихъ учениками, между начальниками и подчиненными. Ни одного дня не проходило безъ разительнаго какого нибудь примѣра въ этомъ отношеніи. То какой нибудь шалунъ свалитъ собственную вину на товарища; то учитель всѣми неправдами оградитъ щедраго любимца и выдастъ менѣе догадливаго или менѣе любимаго ученика головой на съѣденіе инспектору; то надзиратель засадитъ въ темную за малѣйшую папироску, а въ другой разъ не обратитъ вниманія на цѣлыя облака табачнаго дыма, судя по личностямъ и отношеніямъ».

На эту безсмысленную, но ожесточенную школьную войну Пронскій является, вооруженный афоризмомъ Ливри: «дворянинъ никогда не долженъ лгать, даже когда ему грозятъ смертью». Юное воображеніе Пронскаго разгорячено его неудачнымъ столкновеніемъ съ Аграфеной Ивановной; онъ понимаетъ, что его любовь къ правдѣ произвела охлажденіе между нимъ и его матерью; онъ считаетъ себя мученикомъ за правду и рѣшается мужественно нести свой терновый вѣнецъ. Понятное дѣло, что изъ этого скороспѣлаго и преждевременнаго героизма не получается ничего, кромѣ безсмыслицы. Пронскій постоянно всѣми своими поступками протестуетъ противъ той лжи, которая господствуетъ во всѣхъ проявленіяхъ школьной жизни. Но его протестъ никого за собой не увлекаетъ, никого не обращаетъ на путь истины и вообще не приноситъ ни малѣйшей пользы ни протестующему герою, ни его товарищамъ, ни его начальникамъ. Всѣ лгутъ по прежнему и смотрятъ на Пронскаго, какъ на дурака или какъ на выскочку, желающаго понравиться начальству своей напускной правдивостью.

Но начальство, къ которому Пронскій, по мнѣнію своихъ товарищей, подда̀лывается, нисколько не поощряетъ его откровенности и наказываетъ его за каждую шалость, не смотря на его чистосердечныя признанія. Лишнія наказанія со стороны начальства и нерасположеніе и недовѣріе товарищей—вотъ все, что получаетъ Пронскій за свою любовь къ правдѣ.

Тѣмъ лучше, скажетъ какой нибудь юный идеалистъ, читающій эти строки. Значитъ, онъ безкорыстно преданъ своей идеѣ и имѣетъ полное право считать себя мученикомъ своихъ убѣжденій. Значитъ, онъ съ ранней молодости уподобляется лермонтовскому пророку, въ котораго всѣ его ближніе

Бросали бѣшено каменья.

Digitized by Google

Если назначеніе честнаго и даровитаго человѣка состоитъ въ томъ, чтобы какъ можно рѣзче отдѣляться отъ массы другихъ людей и какъ можно красивѣе драпироваться въ свои добродѣтели, то конечно юный идеалистъ правъ, и Пронскій, съ своимъ безсмысленнымъ, слѣпымъ, но очень яркимъ протестомъ, рѣшаетъ задачу жизни самымъ удовлетворительнымъ образомъ, такъ что съ него должны брать примѣръ всѣ люди, способные и желающіе совершенствовать себя и другихъ. Но если великая задача жизни состоитъ въ томъ, чтобы по мѣрѣ силъ измѣнять къ лучшему тѣ невыгодныя условія, которыя мѣшаютъ людямъ дышать свободно и развиваться сообразно съ естественными законами, то подвиги правдолюбія, совершаемыя Пронскимъ, должны возбуждать въ насъ только чувство глубокаго состраданія къ несчастному герою, навсегда сбитому съ толку глупѣйшимъ домашнимъ воспитаніемъ. Безсмысленный протестъ всегда вреденъ, потому что онъ своей безсмысленностью подрываетъ въ массѣ окружающихъ людей уваженіе къ той вѣрной и святой идеѣ, во имя которой онъ совершается.

Ложь, безъ сомнѣнія, глубоко унижаетъ человѣческое достоинство и отравляетъ собой всѣ отношенія между людьми; но чтобы уничтожить эту ложь, надо очевидно устранить тѣ условія, которыя ее порождаютъ. Вмѣсто учителей, засыпающихъ на каѳедрахъ и отмѣчающихъ уроки ногтемъ въ учебной книгѣ, надо поставить людей, способныхъ приковывать къ своимъ словамъ вниманіе цѣлаго класса, составленнаго изъ самыхъ отъявленныхъ шалуновъ. Вмѣсто распредѣленія занятій, постоянно насилующаго всѣ естественныя наклонности дѣтскаго организма, надо составить новое распредѣленіе, строго соображенное со всѣми предписаніями гигіены. Когда дѣти убѣдятся въ томъ, что воспитатели дѣйствительно любятъ ихъ, что никто не распоряжается ихъ поступками изъ одного мелочнаго желанія помудрить и обнаружить свою важность, когда учебныя занятія овладѣютъ ихъ вниманіемъ, и когда умственный трудъ сдѣлается для нихъ сначала пріятнымъ, а потомъ просто необходимымъ— тогда имъ незачѣмъ будетъ лукавить, и ложь уничтожится сама собою, потому что правдивость не будетъ вести за собой никакихъ мучительныхъ слѣдствій. Но требовать правды, оставляя нетронутыми всѣ тѣ условія, которыя порождаютъ ложь—значитъ требовать, чтобы на немощеной улицѣ не было грязи, когда идетъ дождь.

Какъ для Пронскаго, такъ и для того общества, въ которомъ онъ впослѣдствіи могъ-бы быть полезнымъ дѣятелемъ, было-бы гораздо лучше, если-бы онъ во время своего пребыванія въ школѣ ничѣмъ не отличался отъ своихъ товарищей и за-одно съ ними неустрашимо лгалъ-бы разъ по пятнадцати въ сутки. Ребенокъ, какъ-бы онъ ни былъ чистъ душой, конечно не можетъ улучшить нравы своихъ соотечественниковъ; у него на это нѣтъ ни крѣпкихъ легкихъ, ни житейской опытности, ни обширныхъ знаній, ни зрѣлаго ума, словомъ ни одного изъ тѣхъ качествъ, которыя необходимы проповѣднику. Ученикъ, какъ-бы онъ ни былъ правдивъ и неустрашимъ, никогда не произведетъ въ своемъ училищѣ благодѣтельнаго переворота. Но ребенокъ можетъ впослѣдствіи сдѣлаться великимъ учителемъ нравственности, точно такъ, какъ ученикъ можетъ въ зрѣлыхъ лѣтахъ сдѣлаться замѣчательнымъ реформаторомъ. Надо только, чтобы ребенокъ выросъ и возмужалъ, и чтобы ученикъ усвоилъ себѣ какъ можно больше знаній. Въ этомъ все дѣло. Пусть ребенокъ ростетъ и здоровѣетъ, пусть ученикъ учится и развивается—это единственная и лучшая услуга, которую каждый изъ нихъ можетъ оказать обществу. Если же малолѣтки заберутъ себѣ въ голову, что имъ тоже надо носить терновые вѣнцы, геройствовать и протествовать противъ существующей неправды, то произойдетъ только печальная и смѣшная трата драгоцѣнныхъ силъ, трата, вслѣдствіе которой юные бойцы окажутся измученными и одряхлѣвшими людьми именно къ тому времени, когда для нихъ долженъ былъ-бы только начинаться періодъ разумной, серьезной и общеполезной работы.

Подвиги правдолюбія доводятъ наконецъ Пронскаго до необходимости выйти изъ училища. Дальнѣйшее крупное столкновеніе съ житейской неправдой происходитъ на поприщѣ гражданской службы. Двоюродный дядя Пронскаго, «завѣдывающій отдѣльнымъ управленіемъ на правахъ министра», опредѣляетъ его въ свою канцелярію и назначаетъ ему сразу значительное жалованье. Директоръ канцеляріи дружески жметъ руку своему новому подчиненному; сослуживцы Пронскаго обходятся съ нимъ подобострастно. Все это глубоко возмущаетъ нашего героя, и всему этому онъ имѣетъ наивность удивляться, точно будто всѣ эти частныя явленія сваливаются на землю, какъ аэролиты, а не развиваются самымъ естественнымъ и неизбѣжнымъ образомъ изъ общихъ причинъ, которыя всякій желающій можетъ разсматривать, ощупывать и изучать. Совершенное неумѣнье восходить въ своемъ процессѣ мышленія къ общимъ причинамъ заставляетъ Пронскаго выбрать себѣ такую среднюю дорогу, на которой нѣтъ возможности приносить обществу какую-бы то ни было пользу и на которой даже чрезвычайно трудно удержаться. Пронскій не отказывается отъ бюрократической дѣятельности, и въ то же время ни подъ какимъ видомъ не хочетъ помириться съ ея нравами

Digitized by Google

и обычаями. Онъ стремится служить, и въ то же время желаетъ оставить за собой право контролировать дѣйствія своихъ непосредственныхъ начальниковъ и возмущаться каждымъ ихъ поступкомъ, несоотвѣтствующимъ его собственнымъ нравственнымъ требованіямъ. Онъ не хочетъ и не умѣетъ понять, что передъ нимъ поставлена очень ясная дилемма: если хочешь служить, то повинуйся; а если хочешь мудрствовать и критиковать, то, по меньшей мѣрѣ, ступай вонъ и потомъ смотри со стороны на тотъ механизмъ, который ты желаешь анализировать. Служба требуетъ повиновенія и не допускаетъ вольнодумства; кто дожилъ до двадцати лѣтъ и не постигъ этой истины, великой въ своей простотѣ, тотъ никогда не сдѣлается общественнымъ дѣятелемъ и никогда не выберется изъ рокового разлада, существующаго между титаническими стремленіями и ничтожно-смѣшными результатами.

Возмущенный той протекціей, которую оказываетъ ему дядя, Пронскій переходитъ на службу въ другое вѣдомство и самоотверженно садится съ 1200 рублей годового жалованья на 300. На первыхъ порахъ Пронскій находитъ въ своемъ новомъ мѣстѣ служенія царство чистой справедливости. Директоръ обходится одинаково сурово со всѣми служащими, а Пронскому только того и надобно, чтобы его распекали наравнѣ съ другими. Мы не знаемъ, какъ скоро и съ какой стороны должно было воспослѣдовать для Пронскаго разочарованіе; не знаемъ также и того, какихъ размѣровъ и какого свойства оказалась-бы та польза, которую онъ, по всей вѣроятности, принесъ-бы отечеству своей усердной службой подъ начальствомъ правосуднаго директора. Къ сожалѣнію, авторъ прервалъ интересный опытъ въ самомъ началѣ. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ своего поступленія на новое мѣсто, Пронскій получилъ извѣстіе объ опасной болѣзни матери и, взявши отпускъ, поѣхалъ въ деревню. Мать его умираетъ за нѣсколько минутъ до его пріѣзда. Въ комнатѣ своей матери Пронскій находитъ письмо, въ которомъ покойница проситъ его передать деревню Выселки Аграфенѣ Ивановнѣ въ вѣчное и потомственное владѣніе. Послѣ того, какъ онъ прочиталъ это письмо, ему докладываютъ о пріѣздѣ уѣзднаго судьи, и онъ встрѣчается лицомъ къ лицу съ Бѣловымъ, мужемъ Аграфены Ивановны. Пронскій объявляетъ ему о желаніи покойницы, замѣчаетъ при этомъ, что письмо ея не имѣетъ никакой законной силы, и наконецъ обѣщаетъ Бѣлову подарить ему Выселки, если только онъ, Бѣловъ, признается, что жена его дѣйствительно, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, ругала старую княгиню дурищей и приписывала ей воняющую морду.

— Г. Бѣловъ, говоритъ Пронскій, умоляю васъ, успокойте меня, успокойте тѣнь матушки, признайтесь, ради самого Бога признайтесь.

Бѣловъ ни въ чемъ не признается, и Пронскій, чтобы положить конецъ тягостному разговору, соглашается безо всякихъ условій написать дарственную запись. Въ этомъ поступкѣ Пронскаго выражается уже съ поразительной ясностью такая умственная односторонность, которая чрезвычайно близко подходитъ къ помѣшательству. При всякомъ столкновеніи съ людьми Пронскій заботится только о томъ, чтобы не было лжи; сосредоточивая все свое вниманіе на одной этой сторонѣ дѣла, онъ упускаетъ изъ виду всѣ остальныя; онъ дѣйствуетъ такъ, какъ будто-бы въ человѣческой жизни не было никакого другого зла, кромѣ лжи. Вопросъ, который ему слѣдуетъ рѣшить, состоитъ въ томъ, отдавать или не отдавать деревню Выселки Бѣловой. Дѣло идетъ, стало быть, о судьбѣ двухъ сотъ душъ крестьянъ. Самъ Пронскій, въ разговорѣ съ Бѣловымъ, употребляетъ именно эту формулу. «Она желаетъ, говоритъ онъ, чтобы я отдалъ въ вѣчное и потомственное владѣніе супруги вашей 200 душъ, находящихся въ Выселкахъ.» Пронскій знаетъ, что Аграфена Ивановна женщина грубая и корыстолюбивая; если онъ составляетъ себѣ не совсѣмъ вѣрное понятіе о ея характерѣ, то ошибка можетъ состоять только въ томъ, что онъ преувеличиваетъ ея дурныя стороны. Значитъ, Пронскій, принимающій Аграфену Ивановну за олицетвореніе всякаго зла и за намѣстницу сатаны на нашей грѣшной землѣ, никакъ не можетъ себѣ воображать, что Аграфена Ивановна будетъ сколько нибудь сносной помѣщицей. Между тѣмъ нашему добродѣтельному и правдолюбивому герою даже не приходитъ въ голову вопросъ о томъ, хорошо-ли будетъ жить тѣмъ 200 душамъ, которыя онъ собирается отдать въ чужія и притомъ въ очень грязныя руки. Пронскому засѣла въ голову только та мысль, что этого желала его умирающая мать, и что оставить это желаніе неисполненнымъ, значитъ солгать передъ тѣнью покойницы, обмануть ея надежды и оскорбить ея память. Какой цѣной купится это исполненіе желаній и надеждъ, какимъ страданіямъ подвергнутся двѣ сотни живыхъ людей ради того, чтобы успокоить кости мертвеца—объ этомъ нашъ герой не умѣетъ подумать заранѣе, что впрочемъ не помѣшаетъ ему впослѣдствіи соболѣзновать объ участи подаренныхъ крестьянъ и принимать ихъ подъ свое покровительство, которое, разумѣется, не можетъ принести имъ ничего, кромѣ новаго горя. Но, забывая о судьбѣ, предстоящей двумъ сотнямъ человѣческихъ существъ, князь Пронскій помнитъ очень хорошо о томъ, что господа Бѣловы провинились во лжи, и что теперь, по поводу вопроса о Выселкахъ, ему, Пронскому,

Digitized by Google

представляется удобный случай довести виновныхъ до откровеннаго сознанія, которое, по его мнѣнію, должно загладить совершившееся беззаконіе и успокоить разгнѣванную тѣнь старой княгини. Впрочемъ эта попытка такъ и остается неудачной и безплодной попыткой, потому что Бѣловъ, какъ человѣкъ, проникнутый благородной амбиціей, ни въ чемъ не признается, а у Пронскаго, при всей его антипатіи къ Бѣловымъ, не хватаетъ духу обмануть послѣднія надежды умершей матери. Деликатность и правдивость Пронскаго обрекаютъ такимъ образомъ выселковскихъ мужиковъ на мучительное порабощеніе.

XI.

Совершивъ передачу Выселокъ, Пронскій выходитъ въ отставку, поселяется въ деревнѣ и начинаетъ заниматься хозяйствомъ, при чемъ, разумѣется, обнаруживаетъ блистательно не только свое незнаніе жизни, но еще кромѣ того свою совершенную неспособность узнать жизнь когда-бы то ни было. Онъ заводитъ школу и въ этой школѣ учреждаетъ музыкальный классъ для смягченія грубыхъ мужицкихъ нравовъ. Дворовыхъ обоего пола онъ собираетъ по вечерамъ въ просторную залу и тамъ заставляетъ ихъ дремать подъ звуки назидательнаго чтенія. Къ своимъ полямъ онъ примѣняетъ теоріи заграничныхъ агрономовъ такъ удачно, что хлѣбъ совсѣмъ перестаетъ родиться и что скотину приходится гонять на водопой черезъ засѣянныя поля. Зато поучительнымъ разговорамъ съ крестьянами нѣтъ конца; Пронскій собираетъ сходки чуть не каждый день и по нѣсколько часовъ подъ-рядъ умоляетъ мужиковъ возлюбить правду и возненавидѣть ложь. «Ложь, говоритъ онъ однажды для пущей убѣдительности,—исчадіе ада, у нея змѣиный языкъ и зеленые, огненные глаза». Здѣсь портретъ лжи срисованъ съ Аграфены Ивановны, у которой также были зеленые, огненные глаза и змѣиный языкъ, каждый разъ, когда она являлась Пронскому во снѣ; а мучительныя сновидѣнія эти посѣщали нашего героя послѣ каждаго сильнаго нервнаго потрясенія. Мы до сихъ поръ не говорили объ этихъ сновидѣніяхъ и галлюцинаціяхъ и вообще намѣрены говорить о нихъ очень мало, потому что мы не чувствуемъ себя способными разбирать повѣсть Толстого съ психіатрической точки зрѣнія. Похожденія Пронскаго и развитіе его болѣзни интересуютъ насъ настолько, насколько въ нихъ обрисовываются различныя стороны нашей общественной жизни и вліяніе этихъ сторонъ на очень впечатлительнаго и очень честнаго человѣка, у котораго чувство вездѣ и всегда преобладаетъ надъ мыслью. Нашъ анализъ до сихъ поръ постоянно приводилъ насъ къ тому убѣжденію, что такіе характеры не годятся для нашей жизни и что наша жизнь также для нихъ не годится. Мы не могли сочувствовать ни тѣмъ явленіямъ жизни, противъ которыхъ возставалъ Пронскій, ни самому протестующему герою. Мы сознавали очень хорошо, что этотъ протестъ честенъ и смѣлъ, но мы также видѣли очень ясно и старались показать читателю въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, что этихъ качествъ слишкомъ недостаточно для того, чтобы доставить протесту хотя малѣйшіе шансы успѣха. А безнадежный и, если можно такъ выразиться, мертворожденный протестъ противъ какого-бы то ни было нравственнаго или общественнаго зла приноситъ обществу всегда гораздо больше вреда, чѣмъ пользы. Чтобы быть успѣшнымъ, протестъ долженъ быть глубоко обдуманъ и приноровленъ самымъ искуснымъ образомъ къ существующимъ обстоятельствамъ мѣста и времени. Протестующая личность должна соединять въ себѣ голубиную кротость съ змѣиной мудростью. У бѣднаго князя Пронскаго не было ничего, кромѣ голубиной кротости, и поэтому каждое его доброжелательное предпріятіе заканчивалось какой-нибудь печально-комической неудачей.

Пронскій замѣтилъ, что крестьяне его живутъ бѣдно; голубиная кротость тотчасъ внушила ему ту мысль, что онъ можетъ улучшить ихъ положеніе; безо всякихъ дальнѣйшихъ размышленій, Пронскій собираетъ сходку и объявляетъ мужикамъ, что «мы всѣ дѣти одного отца, что всѣ мы созданы по образу и подобію Божьему и что должны все дѣлить, и горе, и нужды, пополамъ». Послѣ сходки мужики стали просить себѣ у барина того, что было необходимо каждому изъ нихъ для поправленія разстроеннаго хозяйства; баринъ никому не отказалъ, и съ тѣхъ поръ даровыя раздачи хлѣба, лѣса, коровъ и лошадей стали повторяться очень часто. Такъ какъ Пронскій требовалъ отъ мужиковъ полной откровенности и при этомъ пугалъ ихъ призракомъ лжи или фантастическимъ портретомъ Аграфены Ивановны, то мужики и бабы объявляли ему очень откровенно, что имъ тяжело работать цѣлые дни подъ палящими лучами іюльскаго или августовскаго солнца. Тронутый ихъ откровенностью, которая очевидно доказывала ему благодѣтельное вліяніе музыкальнаго класса и продолжительныхъ бесѣдъ на сходкахъ, Пронскій отпускалъ рабочихъ съ поля, предоставляя хлѣбу осыпаться или гнить на корню. Все это было добродушно и добродѣтельно, но такъ какъ Пронскій былъ удрученъ полнѣйшимъ отсутствіемъ змѣиной мудрости, то онъ и не умѣлъ предусмотрѣть и разсчитать заранѣе неизбѣжныя послѣдствія своихъ распоряженій. Онъ не сообразилъ того, что молва о его необычайномъ великодушіи разнесется по всему околодку, что сосѣдніе крестьяне будутъ невольно сравнивать свою тяжелую

Digitized by Google

участь съ тѣмъ веселымъ житьемъ, которое устроилъ Пронскій своимъ мужикамъ, и что окружающіе помѣщики, испуганные одной возможностью такого неудобнаго сравненія, поднимутъ такую тревогу, отъ которой ему, Пронскому, не удастся отсидѣться въ затишьѣ своего деревенскаго дома. Благодаря своему младенческому простодушію, Пронскій очень удивляется, когда исправникъ, заѣхавши къ нему въ имѣніе, заводитъ съ нимъ разговоръ о его домашнихъ дѣлахъ и подаетъ ему совѣтъ вести свое хозяйство менѣе эксцентричнымъ образомъ, такъ, чтобы не возбуждать неудовольствія и несбыточныхъ надеждъ въ крестьянахъ окружающихъ имѣній. Встрѣтившись съ упорной и злобной оппозиціей того общества, въ которомъ ему приходится жить и дѣйствовать, Пронскій, какъ человѣкъ, застигнутый врасплохъ, становится въ тупикъ. Онъ не ожидалъ сопротивленія, его изумляетъ вмѣшательство посторонннихъ людей въ его домашнія распоряженія, и на серьезныя замѣчанія исправника, высказанныя мягкимъ и осторожнымъ, но очень внушительнымъ тономъ, онъ не умѣетъ отвѣчать ни однимъ дѣльнымъ возраженіемъ, и ограничивается только очень рѣзкими и смѣшными выходками противъ Аграфены Ивановны. Когда исправникъ доводитъ до его свѣдѣнія, что г. Вѣловъ, исправляющій должность предводителя дворянства, обратилъ вниманіе на *вышеречennыя обстоятельства*, т. е. на оригинальныя отношенія, сложившіяся между помѣщикомъ и крестьянами, тогда Пронскій отвѣчаетъ, какъ разсердившійся десятилѣтній мальчикъ: «такъ скажите ему отъ меня, чтобъ онъ не осмѣливался вмѣшиваться въ мои дѣла, а смотрѣлъ бы получше за своей супругой, у которой змѣиный языкъ, чертовскіе глаза и кошачьи ногти, такъ и скажите. Слышите!» Ясное дѣло, что такого рода протестами противъ лжи, рутины и бездушнаго корыстолюбія нашъ добродѣтельный герой оказываетъ своимъ врагамъ драгоцѣнныя услуги и очень старательно прокладываетъ себѣ широкую дорогу въ сумасшедшій домъ.

Далѣе Пронскій совершенно запутывается въ неизбѣжныя послѣдствія своихъ добродѣтельныхъ поступковъ, въ такія послѣдствія, которыя всякій здравомыслящій человѣкъ могъ бы предвидѣть и которыя однако кажутся Пронскому очень удивительными и неожиданными. Онъ узнаетъ отъ своего прикащика, что Вѣловъ поступаетъ безчеловѣчно съ крестьянами подаренной деревни, «что онъ изнуряетъ ихъ работами, чинитъ всякія несправедливости и посягаетъ даже на народную нравственность». Было бы очень удивительно, если бы Вѣловъ поступалъ иначе. Если онъ, вмѣстѣ съ своей женой, добивался имѣнія впродолженіе нѣсколькихъ лѣтъ и готовъ былъ купить его цѣною всевозможныхъ заискиваній и униженій, то разумѣется имѣніе было ему нужно не для того, чтобы осыпать крестьянъ благодѣяніями. Но Пронскій никогда ничего не предвидитъ; онъ приходитъ въ неистовое негодованіе, отправляется въ Выселки, собираетъ сходку по праву бывшаго помѣщика и произноситъ мужикамъ слѣдующую поучительную рѣчь.

«Братцы, я виноватъ передъ вами, я уступилъ васъ извергу, посягающему на правду и попирающему всѣ обязанности христіанина и человѣка. На то была воля покойной моей матушки! Возвратить васъ всѣхъ подъ мое управленіе съ землей и угодьями я не въ правѣ; но пусть несчастные, притѣсненные, которые рѣшатся оставить родное свое пепелище, переходятъ въ мою вотчину. Каждый въ деревняхъ моихъ найдетъ надежное убѣжище, и я съумѣю защитить его отъ преслѣдованій недостойнаго помѣщика».

Послѣдствія этого протеста обрушиваются цѣликомъ на спины тѣхъ крестьянъ, которыхъ Пронскій берется защищать отъ преслѣдованій такъ называемаго изверга. Увлекшись краснорѣчіемъ нашего несчастнаго героя, тридцать душъ обоего пола переходятъ съ пожитками изъ Выселокъ въ деревню Пронскаго Красные Пруды. Начинаются розыски и преслѣдованія бѣглецовъ, и тутъ Пронскій запутывается до такой степени, что самъ начинаетъ лгать и обманывать. «Я упорствовалъ—пишетъ Пронскій въ своемъ дневникѣ, переводилъ преслѣдуемыхъ изъ одной деревни въ другую и укрывалъ ихъ по возможности». Если Пронскій укрывалъ бѣглыхъ крестьянъ, то ясное дѣло, что ему приходилось постоянно отвѣчать разными выдумками на запросы земской полиціи, которая конечно не могла оставлять его въ покоѣ, зная очень хорошо, что бѣглецы скрываются у него и что эти бѣглецы принадлежатъ уѣздному судьѣ Вѣлову, исправляющему должность предводителя дворянства. Такимъ образомъ получилось самое полное и неизлечимое внутреннее противорѣчіе. Желаніе говорить всегда правду во что бы то ни стало довело Пронскаго до необходимости лгать. И когда онъ рѣшился лгать, тогда было уже слишкомъ поздно. Его ложь могла только измучить его самого и подвести подъ усиленныя истязанія тѣхъ *братцевъ*, которыхъ онъ *уступилъ извергу*.

Въ то время, когда Пронскій живетъ въ деревнѣ, мудритъ надъ мужиками и дѣлаетъ одну глупость за другой, — разыгрывается эпизодъ его несчастной любви, несчастной потому, что призракъ лжи становится между Пронскимъ и его невѣстой. Нашъ герой знакомится съ семействомъ небогатаго помѣщика Голубова; онъ становится у него въ домѣ постояннымъ гостемъ и влюбляется въ его дочь; молодые люди сходятся между собой во вкусахъ и наклонностяхъ; оба любятъ природу, сельскую

Digitized by Google

тишину и спокойную семейную жизнь; Пронскій дѣлаетъ предложеніе, дочь и родители даютъ ему согласіе, убѣдившись въ томъ, что слухи о помѣшательствѣ нашего героя, пущенные въ ходъ господами Вѣловыми и ихъ пріятелями, совершенно неосновательны. Голубовы приглашаютъ къ себѣ гостей, чтобы торжественно объявить имъ о помолвкѣ; на этомъ званомъ вечерѣ Пронскій, требовавшій отъ своей невѣсты прежде всего правды и откровенности, усматриваетъ въ предметѣ своей любви непростительное коварство и убѣгаетъ изъ дома своего будущаго тестя, преслѣдуя по саду и по лѣсу призракъ лжи, одаренный чертами Аграфены Ивановны — огненными глазами и змѣинымъ языкомъ.

Чѣмъ же провинилась бѣдная дѣвушка передъ нашимъ неумолимымъ обожателемъ истины? Узналъ ли онъ, что она выходитъ за него замужъ по разсчету или по влеченію къ его княжескому титулу? Услышалъ ли онъ откровенный разговоръ ея съ подругами, въ которомъ она развивала свои мечты о шумной столичной жизни и осмѣивала деревенскія занятія и удовольствія? Дошло ли до него достовѣрное извѣстіе о какомъ нибудь ея дѣвическомъ проступкѣ, который тщательно скрывала отъ него дочь за-одно съ заботливыми родителями? Однимъ словомъ, убѣдился ли онъ въ томъ, что его ловили какъ выгоднаго жениха, что къ нему поддѣлывались и что для него были заготовлены парадныя маски, которыя, случайно свалившись на нѣсколько минутъ, обнаружили передъ нимъ нравственное безобразіе или умственную пустоту? Нѣтъ, ничего подобнаго не случилось. Вечеромъ, когда гости уже съѣхались, но когда невѣста еще не выходила въ гостиную, Пронскій вышелъ въ садъ за букетомъ цвѣтовъ и, проходя мимо оконъ той комнаты, гдѣ одѣвалась его Надя, услышалъ голоса нѣсколькихъ дѣвушекъ, которыя уговаривали Надю покрѣпче затягивать корсетъ. Надя отвѣчала имъ на это: «уфъ! мнѣ ужъ не до таліи, я просто задыхаюсь!»—Черезъ нѣсколько минутъ Надя вышла въ гостиную, и Пронскій началъ просить ее вполголоса, чтобы она перемѣнила платье, потому что оно ее душитъ. Надя съ неудовольствіемъ отвѣчала ему, что это вздоръ. Тогда Пронскій уже съ нѣкоторой тревогой началъ добиваться отъ нея признанія въ томъ, что платье ей узко. Надя не хотѣла ни въ чемъ признаваться, и тогда произошелъ взрывъ. Образъ Аграфены Ивановны сталъ дразнить Пронскаго змѣинымъ языкомъ, загорѣлись огненные глаза; слабая голова нашего героя пошла кругомъ, онъ бросился бѣжать, куда глаза глядятъ, и бѣжалъ по саду, потомъ по лѣсу до тѣхъ поръ, пока не упалъ безъ чувствъ. На другой день послѣ этого скандальнаго происшествія Надя написала къ своему полоумному жениху очень милое письмо, въ которомъ призналась ему откровенно, что платье было узко. Но Пронскій уже не принадлежалъ самому себѣ; надъ его волей, надъ его умомъ, надъ всѣми его чувствами господствовалъ нелѣпый призракъ лжи; онъ не могъ побѣдить себя, его невѣста сдѣлалась ему противной; онъ узналъ въ ея лицѣ черты Аграфены Ивановны, и свадьба окончательно и безвозвратно разстроилась.

Къ этому времени подоспѣла исторія о бѣглыхъ мужикахъ изъ Выселокъ; затѣмъ Пронскаго вздумали навѣстить Вѣловы, чтобы объясниться съ нимъ лично на счетъ его необычайныхъ дѣйствій и распоряженій. Пронскій, увидя Аграфену Ивановну, пришелъ въ неистовство и закричалъ изступленнымъ голосомъ: «не пускать, не пускать это чудовище; у нея огненные глаза, языкъ змѣиный, она матушку задушила: спустите собакъ, травите ее, стрѣляйте изъ ружей».

Дальше страшный пароксизмъ, потеря сознанія и длинный рядъ галлюцинацій, для которыхъ на языкѣ здоровыхъ людей не можетъ существовать соотвѣтственнаго описанія.

Дальше освидѣтельствованіе въ губернскомъ правленіи, гдѣ Пронскій произноситъ между прочимъ слѣдующій монологъ: «Нѣтъ, милостивый государь, я хотѣлъ водворить въ своемъ имѣніи законъ *правды*. Понимаете ли вы всю обширность значенія слова—правда! Смягчая нравы методической, а не безпорядочной музыкой, я укрощалъ дикія страсти и пріуготовлялъ сердца къ воспріятію божественнаго луча правды. Ложь губитъ Россію! ложь, гнусное исчадіе крѣпостного права, опутала, какъ паутиной, всѣ сословія...»

Мы не знаемъ, что еще ухитрился бы сказать несчастный безумецъ, но въ этомъ мѣстѣ его прервалъ губернаторъ, стараясь ему напомнить, что онъ говоритъ передъ зерцаломъ. Въ отвѣтъ на это основательное напоминаніе, Пронскій объявилъ губернатору, что онъ, губернаторъ, «человѣкъ добрый и достойный, но слабый и ограниченный». Затѣмъ послѣдовалъ новый монологъ: «Изъ подъ вашей руки дѣлаются всевозможныя гадости. Вы чувствуете, что есть множество людей, болѣе васъ способныхъ для управленія губерніей, вы не нуждаетесь въ вашемъ мѣстѣ... а не хотите оставить его въ надеждѣ получить синюю ленту къ свѣтлому празднику. Спрашивается, на что она вамъ, синяя лента? и можно-ли назвать службу, двигателемъ которой какая-нибудь лента или крестъ, служеніемъ правдѣ?»

— «Что до васъ касается, Василій Петровичъ—продолжалъ Пронскій, обратившись къ одному изъ предсѣдателей,—то вы поборникъ *правды*. Для васъ истина заключается въ золотомъ тельцѣ. Вы торгуете правосудіемъ, тор-

Digitized by Google

гуете честью вашихъ подчиненныхъ, честью жены вашей...»

Черезъ нѣсколько недѣль послѣ этой бурной сцены Пронскій жилъ уже на берегу Финскаго залива, въ великолѣпной психіатрической лечебницѣ доктора Пусловскаго.

Не давая себѣ права проникать въ неизвѣстную намъ область психіатрическихъ изслѣдованій, мы не будемъ слѣдить за похожденіями Пронскаго въ лечебницѣ и за различными фазами его болѣзни. Мы только обратимъ вниманіе читателей на тотъ замѣчательный пріемъ, посредствомъ котораго докторъ Пусловскій старался вылечить Пронскаго отъ излишней раздражительности и отъ болѣзненной страсти къ отвлеченной идеѣ правды.

Познакомившись съ его душевнымъ состояніемъ, прочитавши его дневникъ и убѣдившись въ томъ, что онъ не потерялъ ни способности мыслить, ни силы любить людей, Пусловскій въ одинъ прекрасный день предлагаетъ Пронскому сдѣлаться его помощникомъ по уходу и присмотру за больными. Пронскій изумляется этому неожиданному предложенію, и тогда докторъ даетъ ему слѣдующее объясненіе: «вамъ нужна полезная, здоровая дѣятельность. Химеры бѣгутъ, какъ отъ чумы, при появленіи въ человѣкѣ подобной дѣятельности. Положитесь на меня. Я васъ снабжу книгами, о которыхъ я упомянулъ, а между тѣмъ вамъ не худо было бы поближе ознакомиться съ нашимъ заведеніемъ. Вы почти еще никого здѣсь не знаете, а у насъ есть люди весьма замѣчательные. Лечебница наша настоящій микрокосмъ: въ ней, какъ въ зеркалѣ, отражаются всѣ страсти, слабости, стремленія и разумѣется заблужденія свѣтской жизни.»

Заставляя опытнаго психіатра произнести эти замѣчательныя слова, Толстой даетъ намъ поводъ думать, что онъ въ значительной степени раздѣляетъ нашъ взглядъ на причины душевной болѣзни, обрушившейся на Пронскаго. Мы говорили въ одной изъ предыдущихъ главъ, что очень впечатлительный и очень честный человѣкъ, неспособный поддаваться внушеніямъ мелкой своекорыстной робости, можетъ воздерживаться отъ безсвязныхъ, безплодныхъ и изнурительныхъ вспышекъ негодованія противъ различныхъ проявленій человѣческой глупости и подлости только тогда, когда ему, честному и впечатлительному человѣку, удалось найти себѣ ясно опредѣленную и несомнѣнно полезную дѣятельность, которая такъ или иначе уменьшаетъ общую сумму существующаго зла и горя. Этой спасительной дѣятельности не могъ или не умѣлъ найти себѣ нашъ герой, который въ то-же время былъ слишкомъ чистъ и нѣженъ, слишкомъ полонъ любви къ людямъ, чтобы удовлетвориться грязнымъ прозябаніемъ господъ Бѣловыхъ и людей, подобныхъ предсѣдателю Василію Петровичу. Въ этомъ неумѣньи отыскать правильный исходъ своимъ богатымъ и прекраснымъ силамъ заключается, по нашему мнѣнію, несчастіе Пронскаго; въ этомъ неумѣньи мы видимъ, какъ уже было сказано выше, настоящую причину его душевной болѣзни. Теперь оказывается, что докторъ Пусловскій смотритъ на дѣло съ той же точки зрѣнія. Если химеры бѣгутъ отъ здоровой и полезной дѣятельности, какъ отъ чумы, то позволительно предположить, что эти химеры не могутъ возникнуть и укорениться въ душѣ человѣка, посвятившаго такой дѣятельности всѣ свои умственныя силы. Если дѣятельность составляетъ превосходное лекарство, то мы имѣемъ достаточное основаніе думать, что та же самая дѣятельность была бы не менѣе превосходнымъ предохранительнымъ средствомъ.

Чтобы познакомить Пронскаго съ обществомъ лечебницы, докторъ ведетъ его въ вечернее собраніе, гдѣ паціенты обоего пола, снабженные пригласительными билетами, проводятъ время самымъ приличнымъ образомъ, занимаясь, смотря по желанію, чтеніемъ, музыкой, разговорами или игрою въ шашки, въ домино и въ карты. Изъ разговоровъ, происходившихъ между паціентами, мы считаемъ не лишнимъ привести здѣсь монологъ, который покажетъ читателю, что лечебницу дѣйствительно можно назвать микрокосмомъ, и что въ ней, какъ въ зеркалѣ, отражаются всѣ страсти, слабости, стремленія, и заблужденія свѣтской жизни.

— «Вы желаете вѣроятно—говоритъ сѣдовласый старецъ, воображающій себя очень важнымъ сановникомъ и украшенный розовой лентой и миніатюрными звѣздами,—молодой человѣкъ, служить подъ моимъ начальствомъ? Душевно былъ бы радъ, но въ настоящую минуту нѣтъ никакой возможности. Всѣ мѣста заняты, и кандидатовъ тьма тьмущая. Вы понимаете, что мнѣ весьма пріятно было бы видѣть у себя людей порядочныхъ, образованныхъ, со связями, но гг. аристократы вездѣ опаздываютъ, и я право не знаю, какъ это дѣлается, но большую часть видныхъ мѣстъ занимаютъ люди вовсе не аристократическаго происхожденія. Посмотрите, напримѣръ: всѣ лучшія квартиры въ казенныхъ домахъ кѣмъ заняты? Людьми безъ всякаго происхожденія! а между тѣмъ сколько аристократиковъ, которые съ удовольствіемъ бы пріютились въ казенныхъ помѣщеніяхъ! Это конечно происходитъ частію отъ ихъ безпечности, но частію и отъ своеволія и давленія журнализма. Вотъ видите-ли, молодой человѣкъ, всѣ эти попытки гласности къ добру не поведутъ. Я сорокъ пять лѣтъ служу въ качествѣ перваго, безконтрольнаго, можно сказать, министра, и кажется, нельзя сомнѣваться въ административной моей опытности. Публика наша вообще очень рѣчиста, любитъ пошалить языкомъ, пускай себѣ; но пера въ руки не

Digitized by Google

давайте! Вотъ что! Меня, напримѣръ, называли и тигромъ, и львомъ, пригвожденнымъ къ канцеляріи. Что же вышло? Покричали, покричали, да и замолкли, слова вѣтеръ унесъ! Но что написано перомъ, того не вырубишь топоромъ. Перо, милостивый государь, я вамъ скажу, это стрѣла пернатая, это, въ отношеніи единства и величія власти, въ сопровожденіи съ тождественностью порядка... Пожалуйте табачку!»

Этимъ монологомъ мы и закончимъ нашу длинную статью. Если намъ удалось дать читателю довольно ясное понятіе о богатомъ содержаніи разбираемаго романа, если намъ удалось возбудить въ читателѣ сожалѣніе о томъ, что Толстой не написалъ до сихъ поръ тѣхъ психіатрическихъ очерковъ, о которыхъ онъ упоминаетъ въ своемъ предисловіи,—то мы считаемъ нашу цѣль совершенно достигнутой.

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ. *)

(«Преступленіе и наказаніе», Ѳ. М. Достоевскаго. Двѣ части. 1867 г.).

I.

Приступая къ разбору новаго романа Достоевскаго, я заранѣе объявляю читателямъ, что мнѣ нѣтъ никакого дѣла ни до личныхъ убѣжденій автора, которыя, быть можетъ, идутъ въ разрѣзъ съ моими собственными убѣжденіями, ни до общаго направленія его дѣятельности, которому я, быть можетъ, нисколько не сочувствую, ни даже до тѣхъ мыслей, которыя авторъ старался, быть можетъ, провести въ своемъ произведеніи и которыя могутъ казаться мнѣ совершенно несостоятельными. Меня очень мало интересуетъ вопросъ о томъ, къ какой партіи и къ какому оттѣнку принадлежитъ Достоевскій, какимъ идеямъ или интересамъ онъ желаетъ служить своимъ перомъ, и какія средства онъ считаетъ позволительными въ борьбѣ съ своими литературными или какими-бы то ни было другими противниками. Я обращаю вниманіе только на тѣ явленія общественной жизни, которыя изображены въ его романѣ; если эти явленія подмѣчены вѣрно, если сырые факты, составляющіе основную ткань романа, совершенно правдоподобны, если въ романѣ нѣтъ ни клеветы на жизнь, ни фальшивой и приторной подкрашенности, ни внутреннихъ несообразностей; однимъ словомъ, если въ романѣ дѣйствуютъ и страдаютъ, борятся и ошибаются, любятъ и ненавидятъ живые люди, носящіе на себѣ печать существующихъ общественныхъ условій, то я отношусь къ роману такъ, какъ я отнесся-бы къ достовѣрному изложенію дѣйствительно случившихся событій; я всматриваюсь и вдумываюсь въ эти событія, стараюсь понять, какимъ образомъ они вытекаютъ одно изъ другого, стараюсь объяснить себѣ, насколько они находятся въ зависимости отъ общихъ условій жизни, и при этомъ оставляю совершенно въ сторонѣ личный взглядъ разсказчика, который можетъ передавать факты очень вѣрно и обстоятельно, а объяснять ихъ въ высшей степени неудовлетворительно.

Сюжетъ романа «Преступленіе и Наказаніе», по всей вѣроятности, извѣстенъ большинству читателей. Образованный молодой человѣкъ, бывшій студентъ, Раскольниковъ убиваетъ старуху процентщицу и ея сестру, похищаетъ у этой старухи деньги и вещи, потомъ впродолженіе нѣсколькихъ недѣль томится и терзается сильнѣйшей душевной тревогой и наконецъ, не находя себѣ покоя, самъ на себя доноситъ, послѣ чего, разумѣется, отправляется въ каторжную работу.

Раскольниковъ очень бѣденъ. Отца у него нѣтъ. Его мать получаетъ послѣ покойнаго мужа сто двадцать рублей пенсіона, и изъ этихъ денегъ старается тратить какъ можно меньше на собственную особу. Сестра Раскольникова живетъ въ гувернанткахъ. Самъ Раскольниковъ кое-какъ перебивается уроками и разными грошовыми работами, получаетъ изрѣдка субсидіи отъ матери, борется съ нищетой, старается при этомъ учиться, напрягаетъ всѣ свои силы, наконецъ изнемогаетъ въ непосильной борьбѣ, выходитъ изъ университета по совершенному недостатку средствъ и погружается въ то мучительное оцѣпенѣніе, которое обыкновенно овладѣваетъ утомленными, измученными и окончательно побѣжденными людьми. Романъ начинается тогда, когда Раскольниковъ совершенно задавленъ обстоятельствами. Онъ живетъ въ крошечной каморкѣ, болѣе похожей на шкафъ,

*) Первая половина этой статьи была помѣщена въ журналѣ «Дѣло» 1867 г. подъ заглавіемъ «Будничныя стороны жизни»; вторая появилась послѣ смерти автора, въ томъ-же журналѣ (1868 г. авг.) и озаглавлена «Борьбой за существованіе». Мы помѣщаемъ ее подъ тѣмъ заглавіемъ, подъ которымъ она находится въ рукописяхъ. *Изд.*

Digitized by Google

чѣмъ на комнату; онъ долженъ кругомъ хозяйкѣ квартиры и при каждой случайной встрѣчѣ съ нею принужденъ выслушивать кротко и почтительно напоминанія о платежѣ, жалобы и угрозы, на которыя ему приходится отвѣчать извиненіями, избитыми отговорками, стереотипными просьбами объ отсрочкѣ и торжественными, но неубѣдительными обѣщаніями уплатить сполна при первой возможности. Гардеробъ Раскольникова дошелъ до такого разстройства, что превратился въ лохмотья, въ которыхъ «иной, даже и привычный человѣкъ, по словамъ Достоевскаго, посовѣстился-бы днемъ выходить на улицу». Обѣдъ для Раскольникова не существуетъ; хозяйка двѣ недѣли не высылаетъ ему кушанья, чтобы принудить его голодомъ къ уплатѣ денегъ или къ очищенію квартиры; Раскольниковъ по цѣлымъ днямъ лежитъ у себя въ каморкѣ, на старомъ изорванномъ диванѣ, подъ старымъ изорваннымъ пальто и поддерживаетъ свое существованіе какими-то объѣдками, которые изъ состраданія приноситъ ему кое-когда кухарка Настасья, относящаяся къ нему съ добродушно-презрительной фамильярностью. Своими насущными дѣлами Раскольниковъ не занимается; у него нѣтъ и не можетъ быть никакихъ насущныхъ дѣлъ; чтобы давать уроки или поддерживать съ кѣмъ-бы то ни было дѣловыя сношенія, надо имѣть сколько-нибудь приличный костюмъ и быть увѣреннымъ въ томъ, что не упадешь въ обморокъ отъ пустоты въ желудкѣ и отъ истощенія силъ.

Существуютъ такія границы, за которыми бѣдность становится неприличной и невыносимой для глазъ благовоспитаннаго и состоятельнаго человѣка; кто имѣлъ несчастіе или неосторожность перешагнуть черезъ эти роковыя границы, тотъ теряетъ право искать себѣ работу и являться серьезнымъ претендентомъ на какое-бы то ни было вакантное мѣсто; оборванецъ, которому съ часу на часъ грозитъ голодная смерть подъ открытымъ небомъ, можетъ въ случаѣ удачи получить двугривенный отъ сострадательнаго прохожаго, такъ точно, какъ онъ получаетъ тарелку вчерашнихъ щей отъ добродушной Настасьи, но ему до крайности мудрено надѣяться на то, что какой-нибудь отецъ семейства довѣритъ ему обученіе своихъ дѣтей. Онъ оборванъ и голоденъ— слѣдовательно онъ чѣмъ-нибудь и какъ-нибудь виноватъ; онъ оборванъ и голоденъ—слѣдовательно онъ опасенъ, и всякій порядочный человѣкъ, при встрѣчѣ съ нимъ, долженъ тщательно наблюдать за его руками, чтобъ эти грязныя и дрожащія руки не посягнули какимъ-нибудь образомъ на благосостояніе порядочнаго человѣка. Такъ разсуждаютъ обыкновенно обезпеченные люди, когда ихъ спокойный и добродушный взоръ падаетъ на особу, перешагнувшую черезъ извѣстныя границы и унизившуюся до неимѣнія крѣпкаго платья и постояннаго обѣда: обезпеченнымъ людямъ пріятно и необходимо разсуждать такимъ образомъ, потому что, при такомъ способѣ разсужденія, обезпеченность оказывается сама по себѣ достоинствомъ и положительной заслугой передъ обществомъ; взглянувъ сострадательно на оборванца и снабдивъ его двугривеннымъ, обезпеченный человѣкъ обращаетъ свои взоры на самого себя и самодовольно размышляетъ о томъ, что онъ ни отъ кого не возьметъ двугривеннаго, что онъ, слѣдовательно, великъ и прекрасенъ, сравнительно съ жалкимъ паріей, получившимъ отъ него благодѣяніе, и что, вслѣдствіе этого величія и этой красоты, онъ обязанъ по возможности уклоняться отъ всякихъ сношеній съ такими подонками общества и протягивать руку помощи, то есть давать работу, только тому, кто еще кое-какъ соблюдаетъ правила благопристойности.

Итакъ Раскольниковъ растерялъ свои насущныя дѣла, и ему почти невозможно было обзавестись ими снова. Почему и какимъ образомъ онъ ихъ растерялъ, этого не сказано у Достоевскаго, но этотъ пробѣлъ очень легко можетъ быть пополненъ собственными соображеніями читателя. Какія нибудь двѣ-три самыя пустыя случайности, отъѣздъ семейства въ другой городъ, болѣзнь ребенка, готовящагося въ какое-нибудь учебное заведеніе, капризъ паценьки или маменьки—могутъ, въ одно прекрасное утро, оставить бѣднаго студента, живущаго уроками, безо всякихъ средствъ къ существованію. Въ самомъ счастливомъ случаѣ исканіе новыхъ работъ или уроковъ протянется недѣлю, двѣ-три; этотъ кризисъ можно какъ нибудь пережить, извертываясь прибереженными копѣйками, занимая у товарищей, пользуясь кредитомъ у хозяйки и у лавочниковъ, или обращаясь къ ростовщикамъ и закладывая у нихъ какія нибудь фамильныя драгоцѣнности, вродѣ серебряныхъ часовъ или золотыхъ пуговокъ. Но всего правдоподобнѣе, что кризисъ затянется на нѣсколько мѣсяцевъ, и тогда несчастный юноша, полный силъ и желанія работать, воодушевленный любовью къ наукѣ и къ людямъ, проникнутый самыми честными стремленіями, имѣющій право многаго требовать и многаго ожидать отъ жизни, попадетъ въ положеніе человѣка, медленно утопающаго въ грязномъ болотѣ. Скромныя сбереженія, если даже они и имѣлись, окажутся истраченными до послѣдней копѣйки; товарищи отдадутъ все, что они были способны дать, и дальнѣйшія обращенія къ ихъ братской помощи сдѣлаются невозможными; хозяйка заговоритъ объ уплатѣ денегъ и начнетъ жаловаться на шаромыжниковъ, за которыми пропадаетъ ея добро; послѣднія часишки пропадутъ въ закладѣ за какіе нибудь три цѣлковыхъ; а между тѣмъ сапоги начнутъ развали-

Digitized by Google

ваться отъ безполезной бѣготни по городу за трудовымъ кускомъ хлѣба; платье расползется по швамъ и по цѣлику и повиснетъ на плечахъ живописными лохмотьями; бѣлье загрязнится до послѣдней степени отвратительности; щеки поблекнутъ и ввалятся; въ глазахъ появится постоянное выраженіе тревожной и суетливой разсѣянности; и въ душу закрадется понемногу чувство холодной безнадежности и лихорадочной раздражительности; бѣготня будетъ еще продолжаться, но самъ бѣгающій субъектъ перестанетъ вѣрить въ ея практическую пригодность; все измѣнитъ человѣку разомъ: и послѣднія денежныя средства, и послѣдняя пара приличнаго платья, и физическія силы, и надежды на лучшую будущность, и вѣра въ жизнь, и желаніе работать, и способность отмахиваться отъ дурныхъ, опасныхъ и соблазнительныхъ мыслей. Человѣкъ забьется въ свою грязную конуру, изъ которой его выживаютъ голодомъ, холодомъ, бранью и полицейскими мѣрами, завалится на свою грязную постель, махнетъ рукой на свои любимые планы, на самого себя, на чистоту и святость своего внутренняго міра, и какъ безотвѣтная жертва отдастъ себя въ полное распоряженіе тѣхъ мрачныхъ и дикихъ мыслей, которыя порождаются отчаяніемъ, голодомъ, озлобленіемъ противъ людей, презрѣніемъ къ самому себѣ, какъ побѣжденному и раздавленному существу, горькимъ ощущеніемъ незаслуженной обиды и начинающейся болѣзнью, составляющей неизбѣжный результатъ всѣхъ испытанныхъ волненій и страданій.

Нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что Раскольниковъ, утомленный мелкой и неудачной борьбой за существованіе, впалъ въ изнурительную апатію; нѣтъ также ничего удивительнаго въ томъ, что во время этой апатіи въ его умѣ родилась и созрѣла мысль совершить преступленіе. Можно даже сказать, что большая часть преступленій противъ собственности устроивается въ общихъ чертахъ по тому самому плану, по какому устроилось преступленіе Раскольникова. Самой обыкновенной причиной воровства, грабежа и разбоя является бѣдность; это извѣстно всякому, кто сколько нибудь знакомъ съ уголовной статистикой. Далѣе, не трудно понять и не трудно даже доказать фактами, что воровать и грабить человѣкъ въ большей части случаевъ рѣшается только тогда, когда честный трудъ оказался для него недоступнымъ, или когда онъ убѣдился въ томъ, что честный трудъ составляетъ слишкомъ медленное и недостаточное лекарство противъ гнетущей бѣдности. Это значитъ, что человѣкъ, рѣшившійся воровать и грабить, искалъ труда и не нашелъ его, или нашелъ его въ такихъ нищенскихъ размѣрахъ, которые не покрываютъ его насущныхъ потребностей. За неудачными поисками должна послѣдовать апатія; во время апатіи должно сложиться убѣжденіе, что нѣтъ возможности оставаться честнымъ человѣкомъ, и что надо выбирать одно изъ двухъ: голодную смерть, или преступленіе. Затѣмъ должна слѣдовать борьба между инстинктомъ самосохраненія и отвращеніемъ къ грязному поступку; если побѣдитъ первый—человѣкъ сдѣлается хищнымъ животнымъ, и его ближніе станутъ травить его, какъ голоднаго волка; если побѣдитъ второе—человѣкъ заболѣетъ отъ недостатка здоровой пищи и по всей вѣроятности кончитъ свое печальное существованіе на койкѣ чернорабочей или какой нибудь другой больницы, въ отдѣленіи тифозныхъ или возвратногорячечныхъ больныхъ.

Итакъ, огромное большинство людей, отправляющихся на воровство или на грабежъ, переживаютъ тѣ самыя фазы, черезъ которыя проходитъ Раскольниковъ. Преступленіе, описанное въ романѣ Достоевскаго, выдается изъ ряда обыкновенныхъ преступленій только потому, что героемъ его является не безграмотный горемыка, совершенно неразвитый въ умственномъ и нравственномъ отношеніяхъ, а студентъ, способный анализировать до мельчайшихъ подробностей всѣ движенія собственной души, умѣющій создавать для оправданія своихъ поступковъ цѣлыя замысловатыя теоріи и сохраняющій во время самыхъ дикихъ заблужденій тонкую и многостороннюю впечатлительность и нравственную деликатность высоко-развитаго человѣка. Вслѣдствіе этого обстоятельства, колоритъ преступленія до нѣкоторой степени измѣняется, и процессъ его подготовленія становится болѣе удобнымъ для наблюденія, но его основная побудительная причина остается неизмѣнной. Раскольниковъ совершаетъ свое преступленіе не совсѣмъ *такъ*, какъ совершилъ-бы его безграмотный горемыка; но онъ совершаетъ его *потому же*, почему совершилъ-бы его любой безграмотный горемыка. Бѣдность въ обоихъ случаяхъ является главной побудительной причиной. При этомъ само собою разумѣется, что вліяніе бѣдности въ обоихъ случаяхъ выражается не въ одинаковыхъ формахъ. У человѣка, подобнаго Раскольникову, внутренняя борьба, возбужденная безнадежнымъ положеніемъ, проявляется очень рельефно, отчетливо и, если можно такъ выразиться, членораздѣльно. Раскольниковъ обсуживаетъ свое положеніе со всѣхъ сторонъ, взвѣшиваетъ свои силы, измѣряетъ величину тѣхъ препятствій, которыя онъ долженъ преодолѣть, чтобы остаться незамараннымъ человѣкомъ, ставитъ себѣ вопросы и отвѣчаетъ на нихъ, придумываетъ доказательства и опровергаетъ ихъ, словомъ, постоянно роется въ своихъ собственныхъ мысляхъ и ощущеніяхъ, ясно понимаетъ ихъ во всякую данную минуту и высказываетъ ихъ въ такихъ оживленныхъ и разнообразныхъ разговорахъ

Digitized by Google

съ самимъ собою, что развитіе опасной и соблазнительной мысли становится для насъ понятнымъ во всѣхъ своихъ подробностяхъ. У неразвитаго бѣдняка всѣ мысли и ощущенія, пережитыя Раскольниковымъ, оказались бы сиятыми и скомканными въ одну темную и безобразную кучу, которую самъ переживающій субъектъ былъ-бы еще менѣе способенъ разложить на ея составныя части, чѣмъ другіе люди, смотрящіе на дѣло со стороны. Онъ чувствовалъ-бы только, что ему тяжело и больно, гадко и пошло, что ему совѣстно встрѣчаться съ прежними товарищами, что ему противно думать о работѣ, которая его не кормитъ, и что какая-то сила, похожая на демона искусителя, подмываетъ и подталкиваетъ его на скверное дѣло, которое съ каждымъ днемъ кажется ему болѣе неизбѣжнымъ, и котораго возрастающая неизбѣжность наводитъ на него ужасъ и отвращеніе.

Никакихъ теорій тутъ конечно не могло бы быть; никакихъ философскихъ обобщеній, никакихъ высшихъ взглядовъ на отношенія личности къ обществу; ничего, кромѣ тупого страданія и неясной тревоги. Одинокая борьба неразвитаго бѣдняка съ самимъ собою была-бы, по всей вѣроятности, сокращена въ значительной степени сближеніемъ даннаго субъекта съ такими товарищами, которые залили-бы его послѣднія сомнѣнія хлѣбнымъ виномъ, завербовали-бы его въ свою компанію и указали-бы ему всѣ приступы и подходы къ первому нарушенію существующихъ законовъ. У Раскольникова, напротивъ того, борьба оставалась одинокой до самаго конца, т. е. до той минуты, когда дикая мысль превратилась въ кровавое дѣло; чѣмъ ближе Раскольниковъ знакомился съ своей дикой мыслью, чѣмъ яснѣе онъ видѣлъ, что это уже не фантазія, а серьезный планъ, тѣмъ тщательнѣе онъ избѣгалъ всякихъ сношеній съ людьми; онъ ни съ кѣмъ не могъ и не хотѣлъ дѣлиться своими планами и совѣтываться насчетъ своего предпріятія. Его прежніе товарищи и друзья конечно постарались-бы пристроить его въ домъ умалишенныхъ, еслибы онъ заикнулся имъ о томъ, какимъ образомъ онъ намѣревается отыскать себѣ выходъ изъ своего затруднительнаго положенія. А новыхъ товарищей—такихъ, которые могли-бы отнестись къ его замыслу съ дѣятельнымъ сочувствіемъ, Раскольниковъ не желалъ имѣть ни подъ какимъ видомъ. Онъ ненавидѣлъ, презиралъ и боялся такихъ товарищей; у него не было и не могло быть ни въ образѣ мыслей, ни въ желаніяхъ; ни во вкусахъ, ни въ привычкахъ ни одной точки соприкосновенія съ ворами и грабителями по ремеслу. Онъ хотѣлъ убить и ограбить, но такъ, чтобы на него не брызнула ни одна капелька пролитой крови, чтобы ни одинъ живой человѣкъ не могъ проникнуть его тайну, чтобы всѣ прежніе друзья и товарищи жали ему руку съ прежнимъ сочувствіемъ и уваженіемъ, и чтобы его мать и сестра болѣе, чѣмъ когда-бы то ни было, считали его своимъ ангеломъ-хранителемъ, сокровищемъ и утѣшеніемъ. Особенность преступленія, совершеннаго Раскольниковымъ, состоитъ именно въ томъ, что онъ самъ слѣдилъ очень внимательно за всѣми фазами того психологическаго процесса, которымъ оно подготовлялось, и, кромѣ того, обдумывалъ, устраивалъ и выполнялъ все одинъ, безъ всякихъ сообщниковъ, помощниковъ и повѣренныхъ. По поводу этого преступленія возникаютъ естественнымъ образомъ два главные вопроса: во-первыхъ, есть-ли основаніе считать Раскольникова помѣшаннымъ, и во-вторыхъ, есть-ли основаніе думать, что теоретическія убѣжденія Раскольникова имѣли какое-нибудь замѣтное вліяніе на совершеніе убійства. Мнѣ кажется, что на оба эти вопроса приходится дать отрицательный отвѣтъ.

Хотя слово *помѣшанный* или *сумасшедшій* до сихъ поръ не имѣетъ и при теперешнемъ положеніи медицинскихъ знаній вѣроятно еще не можетъ имѣть строго опредѣленнаго значенія, хотя, быть можетъ, въ природѣ даже совсѣмъ не существуетъ рѣзкой границы между здоровымъ и больнымъ состояніемъ организма вообще и нервной системы въ особенности, однако я осмѣливаюсь выразить то предположеніе, что Раскольникова невозможно считать помѣшаннымъ, и что ни одинъ мыслящій медикъ не подмѣтилъ-бы въ немъ такого разстройства умственныхъ способностей, при которомъ человѣкъ перестаетъ отдавать себѣ ясный отчетъ въ смыслѣ и значеніи своихъ собственныхъ поступковъ. Еслибы Раскольниковъ былъ помѣшанъ, то мнѣ кажется, что мы, люди, находящіеся въ здравомъ умѣ, не были-бы въ состояніи слѣдить за каждой его мыслью до самыхъ послѣднихъ ея изгибовъ и до тончайшихъ ея развѣтвленій. Многія изъ его мыслей должны были-бы казаться намъ неожиданными; многіе изъ его поступковъ должны были-бы поражать насъ своей безпричинностью; ставя себя на его мѣсто, каждый изъ насъ долженъ былъ-бы чувствовать, что онъ рѣшительно не былъ бы въ состояніи набрести на тѣ мысли, на которыя набрелъ Раскольниковъ; мы должны были бы замѣчать, что у Раскольникова въ процессѣ мышленія обнаруживаются какіе-то пробѣлы и перерывы, что среди ровнаго и плавнаго теченія мысли у него попадаются такіе зигзаги и скачки, такіе пируэты и вольтфасы, которые наша трезвая и здоровая мысль отказывается продѣлывать вслѣдъ за нимъ и для которыхъ необходимо предположить существованіе и дѣятельность особой причины, особаго фактора, называемаго умственной болѣзнью. Этого-то и нѣтъ. Каждая мысль и каждый поступокъ Раскольникова, въ

Digitized by Google

особенности до совершенія убійства, мотивированы въ высшей степени удовлетворительно. Мы видимъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, почему и зачѣмъ онъ дѣлаетъ тотъ или другой шагъ. Мы видимъ, что̀ именно толкаетъ его сзади, и что̀ именно манитъ его впереди. Онъ бросается стремглавъ въ лужу крови и грязи, что конечно довольно странно со стороны образованнаго и высоко-развитаго молодого человѣка; но бросается онъ вовсе не потому, что чувствуетъ къ этой крови и грязи непреодолимое влеченіе, которое конечно было-бы непонятно здоровому человѣку, и которое, слѣдовательно, можно было-бы объяснить только разстройствомъ умственныхъ способностей; бросается онъ въ лужу собственно и единственно потому, что сухая тропинка, прилегающая къ этой лужѣ, становится наконецъ невыносимо узкой. Бросается онъ въ лужу съ болью и со страхомъ, съ ужасомъ и съ отвращеніемъ, зажимая себѣ носъ и ротъ и собираясь долго и тщательно отмываться отъ нечистоты, какъ только ему удастся вынырнуть и взобраться снова на сухую и чистую дорожку.

Если вы хотите окончательно убѣдиться въ томъ, что Раскольниковъ не помѣшанный, сдѣлайте слѣдующее предположеніе. Наканунѣ убійства Раскольниковъ узнаетъ совершенно случайно, изъ разговора, услышаннаго имъ на Сѣнной, куда ему даже и незачѣмъ было ходить, что завтра, ровно въ семь часовъ вечера, старуха, которую требовалось убить и ограбить, останется дома одна. Послѣ этого разговора, «онъ вошелъ къ себѣ, какъ приговоренный къ смерти. Ни о чемъ онъ не разсуждалъ и совершенно не могъ разсуждать; но всѣмъ существомъ своимъ вдругъ почувствовалъ, что нѣтъ у него болѣе ни свободы разсудка, ни воли, и что все вдругъ рѣшено окончательно. Конечно, если-бы даже цѣлые годы приходилось ему ждать удобнаго случая, то и тогда, имѣя замыселъ, нельзя было разсчитывать навѣрное на болѣе очевидный шагъ къ успѣху этого замысла, какъ тотъ, который представился вдругъ сейчасъ. Во всякомъ случаѣ трудно было-бы узнать наканунѣ и навѣрно, съ большей точностью и съ наименьшимъ рискомъ, безъ всякихъ опасныхъ разспросовъ и разыскиваній, что завтра, въ такомъ-то часу, такая-то старуха, на которую готовится покушеніе, будетъ дома одна одинехонька». Мысль и рѣшимость созрѣли въ Раскольниковѣ на столько, что онѣ должны были немедленно, не дальше какъ на другой день, выразиться въ поступкѣ, послѣ котораго невозможенъ никакой поворотъ назадъ. Теперь вообразите же себѣ, что въ это самое время, когда уже все рѣшено, когда нашъ герой чувствуетъ себя приговореннымъ къ совершенію убійства, въ его каморку входитъ почтальонъ и подаетъ ему письмо и повѣстку, требуя себѣ, по обыкновенію, шесть копѣекъ. Раскольниковъ морщится, платитъ деньги изъ послѣднихъ своихъ рессурсовъ, полученныхъ за отцовскіе часы, и распечатываетъ полученныя бумаги; оказывается, что повѣстка объявляетъ ему о полученіи письма на его имя со вложеніемъ пятисотъ рублей; что же касается до простого письма, полученнаго вмѣстѣ съ повѣсткой, то оно написано рукою его матери и извѣщаетъ его о томъ, что ихъ семейству досталось совершенно неожиданнымъ образомъ наслѣдство тысячъ въ двадцать серебромъ, что мать вмѣстѣ съ сестрой ѣдутъ къ нему въ Петербургъ, и что ему уже выслано пятьсотъ рублей для немедленнаго поправленія его разстроенныхъ обстоятельствъ. Какъ вы думаете, что̀ предприметъ Раскольниковъ, получивши такія извѣстія? Будетъ-ли онъ по прежнему считать вопросъ о старухѣ безповоротно рѣшеннымъ и смотрѣть на самого себя, какъ на человѣка, окончательно приговореннаго къ отвратительному купанью въ грязной и кровавой лужѣ? Я не думаю, чтобы кто нибудь изъ читателей серьезно отвѣтилъ на этотъ вопросъ: *да*. Для такого отвѣта нѣтъ никакихъ матеріаловъ въ романѣ Достоевскаго.

Если же вы допустите, что письмо и повѣстка могли перевернуть всѣ планы и намѣренія Раскольникова въ то самое время, когда онъ уже готовился приступить къ ихъ выполненію, то вы тѣмъ самымъ лишите себя всякой возможности считать его помѣшаннымъ. Я понимаю очень хорошо, что порядочная сумма денегъ очень часто можетъ быть гораздо полезнѣе, необходимѣе и спасительнѣе всевозможныхъ лекарствъ, теплыхъ ваннъ и гимнастическихъ упражненій; но я до сихъ поръ никогда не слыхалъ, чтобы дѣйствительно существующее помѣшательство лечилось письмами и повѣстками изъ почтамта. Если Раскольникова можно было-бы вылечить радостнымъ извѣстіемъ и присылкою денегъ, то не трудно, кажется, сообразить, что корень его болѣзни таился не въ мозгу, а въ карманѣ. Онъ былъ бѣденъ, голоденъ, обезкураженъ и озлобленъ, но нисколько не помѣшанъ. Конечно, онъ размышлялъ не совсѣмъ такъ, какъ размышляютъ люди, находящіеся въ хорошемъ, ровномъ и спокойномъ расположеніи духа. Но что-же изъ этого слѣдуетъ? Когда человѣкъ чѣмъ-нибудь сильно обрадованъ, или огорченъ, или испуганъ, или взволнованъ, или озабоченъ, то мысль его непремѣнно работаетъ не совсѣмъ такъ, какъ это дѣлается въ спокойныя минуты его жизни. Если вы усилите какимъ-нибудь образомъ дѣйствіе той причины, которая произвела измѣненія въ процессѣ мышленія, то вмѣстѣ съ тѣмъ усилится и самое измѣненіе; если оно усилится въ очень значительныхъ размѣрахъ, то человѣкъ сдѣлается до нѣкоторой степени похожимъ на сумасшедшаго; онъ начнетъ заговариваться,

Digitized by Google

болтать чепуху, перебивать самого себя, смѣяться или плакать безъ видимой причины, задумываться, отвѣчать не впопадъ на самые простые вопросы и вообще вести себя такъ, что отъ него трудно будетъ добиться толку. Но признать его помѣшаннымъ было-бы все-таки въ высшей степени опрометчиво. Удалите причину, перепутавшую его мысли, и онъ немедленно сдѣлается снова совершенно разсудительнымъ человѣкомъ. Всякая страсть, всякое впечатлѣніе, всякое глубокое душевное движеніе нарушаютъ до нѣкоторой степени полное равновѣсіе и гармоническое дѣйствіе нашихъ умственныхъ способностей; но если бы каждое подобное нарушеніе считалось за помѣшательство, то, по всей вѣроятности, каждому изъ насъ пришлось-бы провести въ сумасшедшемъ домѣ бо́льшую часть своей жизни. Помѣшательствомъ можно назвать только такое нарушеніе равновѣсія, послѣ котораго нормальныя умственныя отправленія уже не возстановляются сами-собой.

Человѣкъ помѣшанный не можетъ отвѣчать за свои поступки. Съ него невозможно взыскивать за то зло, которое онъ дѣлаетъ себѣ и другимъ; его нельзя ни судить, ни наказывать. Этотъ принципъ въ настоящее время принятъ всѣми уголовными кодексами образованнаго міра. Доказать, что преступленіе совершено во-время помѣшательства, значитъ доказать, что преступленія вовсе не существуетъ и что вмѣсто преступника, подлежащаго извѣстному наказанію, судьи имѣютъ передъ собой больного, нуждающагося въ попеченіяхъ добросовѣстнаго и человѣколюбиваго медика. Поэтому, въ вопросѣ о томъ, помѣшанъ-ли Раскольниковъ, скрывается въ сущности другой вопросъ: на сколько Раскольниковъ былъ свободенъ и способенъ отвѣчать за свои поступки въ то время, когда онъ совершалъ свое преступленіе? Этотъ вопросъ имѣетъ очень важное и глубокое общественное значеніе. Такой вопросъ гораздо болѣе интересенъ для каждаго размышляющаго читателя, чѣмъ спеціально-психіатрическій вопросъ о томъ, можно ли назвать помѣшательствомъ то ненормальное настроеніе, въ которое погрузила Раскольникова его безвыходная нищета. Собственно говоря, именно этотъ вопросъ и предлагается каждымъ читателемъ, желающимъ знать, былъ-ли Раскольниковъ помѣшанъ, или нѣтъ. Отъ рѣшенія этого вопроса зависятъ тѣ отношенія, въ которыя читатель станетъ къ герою, совершившему грязное и отвратительное преступленіе. Читатель можетъ или презирать и ненавидѣть Раскольникова, какъ вреднаго и низкаго негодяя, для котораго уже нѣтъ и не должно быть мѣста въ гражданскомъ обществѣ; или же читатель можетъ смотрѣть на него съ почтительнымъ состраданіемъ, какъ на несчастнаго человѣка, свалившагося въ грязь подъ невыносимымъ гнетомъ такихъ суровыхъ и непобѣдимо-враждебныхъ обстоятельствъ, которыя могли-бы сломить даже очень твердую волю и отуманить даже очень свѣтлую голову. Отношенія читателя къ Раскольникову опредѣлятся такъ или иначе, смотря по тому, какъ рѣшится вопросъ о свободѣ Раскольникова и о его способности отвѣчать за свои поступки. Этотъ послѣдній вопросъ можно и должно совершенно отдѣлить отъ вопроса о его помѣшательствѣ. Можно признать тотъ фактъ, что Раскольниковъ не былъ помѣшанъ, и, въ то же время, можно доказать, что та доля свободы, которой пользовался Раскольниковъ, была совершенно ничтожна. Переберемъ одну за другой всѣ подробности той обстановки, при которой Раскольникову приходилось обдумывать свое положеніе и искать выхода изъ той ловушки, которую разставила ему жизнь; перечислимъ одно за другимъ впечатлѣнія, которыя ложились на его измученную нервную систему; взвѣсимъ и оцѣнимъ всѣ мелкія и мучительныя столкновенія съ грубостью и бездушностью окружающихъ людей, всѣ столкновенія, которыя направляли въ извѣстную сторону теченіе его мыслей,—и потомъ спросимъ себя, оставалась-ли за Раскольниковымъ свобода выбора, и въ его ли власти было придти или не придти къ тому дикому абсурду, которымъ закончилась его глухая и одинокая борьба.

Въ ту минуту, когда мы знакомимся съ Раскольниковымъ, онъ старается «*проскользнуть какъ-нибудь кошкой по лѣстницѣ*» мимо квартиры хозяйки, которой онъ долженъ, и *улизнуть*, *чтобы никто не видалъ*. При этомъ онъ чувствуетъ *какое-то болѣзненное и трусливое ощущеніе*, котораго стыдится и отъ котораго морщится. И это ощущеніе онъ принужденъ испытывать всякій разъ, когда выходитъ на улицу, потому что всякій разъ ему надо проходить по лѣстницѣ, мимо хозяйкиной двери, которая обыкновенно бываетъ отворена. Выходитъ онъ на улицу въ такомъ видѣ, который въ однихъ прохожихъ возбуждаетъ насмѣшку, въ другихъ отвращеніе, въ третьихъ праздное состраданіе. Онъ остается равнодушенъ къ тому впечатлѣнію, которое его лохмотья могутъ произвести на уличную публику. Но почему онъ равнодушенъ? Потому, какъ объясняетъ Достоевскій, что въ душѣ его накопилось уже достаточное количество *злобнаго презрѣнія*. Это злобное презрѣніе, составляющее для Раскольникова оборонительное оружіе противъ мелкихъ булавочныхъ уколовъ, которые добрые люди расточаютъ своимъ ближнимъ для препровожденія времени,—пріобрѣтается не легко, покупается не дешевой цѣной и изображаетъ собою такую почву, на которой могутъ укорениться и созрѣть самыя дикія, мрачныя и отчаянныя намѣренія. Это злобное презрѣніе еще недостаточно защищаетъ его отъ стыда за свою без-

Digitized by Google

помощность, когда ему случается встрѣтиться съ знакомыми или съ прежними товарищами. Онъ тщательно избѣгаетъ такихъ встрѣчъ. Дурной знакъ! Его молодое самолюбіе такъ глубоко изранено разнообразнѣйшими оскорбленіями, что уже нѣтъ той формы дружескаго участія, которая могла бы доставить ему пріятное ощущеніе и которая не показалась бы ему выраженіемъ обиднаго и высокомѣрнаго состраданія.

Раскольниковъ идетъ къ той старухѣ, которую онъ собирается убить; онъ идетъ закладывать серебряные часы и въ то же время осматривать мѣстность. Старуха даетъ ему за часы полтора рубля и беретъ съ него проценты за мѣсяцъ впередъ, по десяти процентовъ въ мѣсяцъ. Раскольниковъ видитъ и чувствуетъ на самомъ себѣ, какъ люди пользуются страданіями своихъ ближнихъ, какъ искусно и старательно, какъ аккуратно и безопасно они высасываютъ послѣдніе соки изъ бѣдняка, изнемогающаго въ непосильной борьбѣ за жалкое и глупое существованіе. Ненависть и презрѣніе приливаютъ широкими и ядовитыми волнами въ молодую и воспріимчивую душу Раскольникова въ то время, когда грязная старуха, паукъ въ человѣческомъ образѣ, тянетъ изъ него все, что можно вытянуть изъ человѣка, находящагося наканунѣ голодной смерти. Ненависть и презрѣніе одолѣваютъ его съ такой силой, что ему становится безконечно отвратительнымъ даже бить эту старуху, даже марать руки ея кровью и ея деньгами, въ которыхъ ему чуются слезы многихъ десятковъ голодныхъ людей, быть можетъ, даже многихъ покойниковъ, умершихъ въ больницѣ отъ истощенія силъ, или бросившихся въ воду, во избѣжаніе голодной смерти. На минуту все тонетъ для Раскольникова въ какомъ-то туманѣ непобѣдимаго отвращенія. Пропадай эта подлая старуха, пропадай ея грязныя деньги, пропадай я самъ съ моими глупыми страданіями и еще болѣе глупыми планами обогащенія. Наплевалъ бы на всю эту тину человѣческой гнусности, ушелъ бы куда нибудь, забылся бы, умеръ бы, если бы для этого достаточно было закрыть глаза и пожелать смерти.

Это чувство нравственнаго отвращенія усиливается еще и доводится до своего апогея простымъ ощущеніемъ физической тошноты. Раскольниковъ голоденъ до такой степени, что мысли путаются въ его головѣ. Онъ входитъ въ распивочную, выпиваетъ стаканъ холоднаго пива, и ему вдругъ становится веселѣе и легче; онъ самъ замѣчаетъ, что у него «крѣпнетъ умъ, яснѣетъ мысль, твердѣютъ намѣренія». Сознательная ненависть къ старухѣ и взглядъ на ея безчестно нажитыя деньги, какъ на средство выбраться изъ затрудненія, одерживаютъ перевѣсъ надъ инстинктивно сильнымъ отвращеніемъ къ грязному убійству. Раскольниковъ замѣчаетъ тотчасъ же, что этотъ поворотъ въ его мысляхъ произошелъ отъ стакана пива, и это простое наблюденіе заставляетъ его плюнуть и сказать: «какое все это ничтожество!»

Изъ этого наблюденія онъ видитъ, что онъ не властенъ надъ своими мыслями, что онъ не можетъ подавлять или вызывать ихъ по своему благоусмотрѣнію, и что ему надо будетъ, волей или неволей, идти туда, куда поведутъ его внѣшнія вліянія, дающія его мыслямъ то или другое направленіе. Въ распивочной Раскольниковъ встрѣчается съ горькимъ пьяницей, отставнымъ чиновникомъ Мармеладовымъ, который комически-витіеватымъ языкомъ разсказываетъ ему свою простую и глубоко-трагическую исторію. Бѣдность, голодныя дѣти, грязный уголъ, оскорбленія разныхъ нахаловъ, чахоточная жена, сохраняющая воспоминаніе о лучшихъ дняхъ и убивающая себя работой, старшая дочь, превратившаяся въ публичную женщину, чтобы поддерживать существованіе семейства — вотъ выдающіяся черты той жизни, панорама которой развертывается передъ Раскольниковымъ въ разсказѣ пьянаго Мармеладова. Самъ разсказчикъ нисколько не желаетъ себя выгораживать; съ смиреніемъ, свойственнымъ разговорчивому пьяницѣ, онъ неоднократно называетъ себя свиньей и скотомъ, и доказываетъ очень убѣдительно, что онъ въ самомъ дѣлѣ скотъ и свинья. Онъ объясняетъ Раскольникову, съ чувствомъ искренняго негодованія противъ себя, что пропилъ даже чулки своей жены, пропилъ косыночку изъ козьяго пуха, «*дареную, прежнюю, ея собственную*», пропилъ въ послѣдніе пять дней свое мѣсячное жалованье, укравши его изъ-подъ-замка у жены, вмѣстѣ съ жалованьемъ пропилъ форменное платье и послѣднюю надежду выбраться на чистую дорожку посредствомъ службы, которая была ему доставлена только по особому великодушію какого-то благодѣтеля, его превосходительства Ивана Афанасьевича, тронувшагося его слезными мольбами и взявшаго его на свою личную отвѣтственность. «Пятый день изъ дома, кончаетъ Мармеладовъ, и тамъ меня ищутъ, и службѣ конецъ, и вицъ-мундиръ въ распивочной у Египетскаго моста лежитъ, взамѣнъ чего и получилъ сіе одѣяніе... и всему конецъ».

До столкновенія съ Мармеладовымъ, Раскольниковъ зналъ коротко только тѣ физическія лишенія, которыя порождаются бѣдностью. Онъ могъ конечно дойти и по всей вѣроятности доходилъ путемъ теоретическихъ выкладокъ до того заключенія, что бѣдность, придавливая и пригибая человѣка къ землѣ, дѣлая его безотвѣтнымъ и беззащитнымъ, заставляя его ползать и пресмыкаться въ грязи у ногъ великодушныхъ благодѣтелей, медленно и безвозвратно убиваетъ въ немъ его человѣческое до-

Digitized by Google

стоинство; но доходить путемъ размышленія до того вывода, что какой нибудь фактъ возможенъ и дѣйствительно существуетъ, совсѣмъ не то, что встрѣтиться съ этимъ фактомъ лицомъ къ лицу, осмотрѣть его со всѣхъ сторонъ и вдохнуть въ себя весь его своеобразный ароматъ.

Раскольниковъ *никогда до сихъ поръ не входилъ въ распивочныя*, слѣдовательно никогда не видалъ вблизи тѣхъ образчиковъ нравственнаго паденія, которые изготовляются бѣдностью. Мармеладовъ и его разсказъ дѣйствуютъ на него такъ, какъ дѣйствуютъ обыкновенно на юнаго медицинскаго студента тѣ куски разлагающагося человѣческаго мяса, съ которыми онъ встрѣчается и принужденъ знакомиться самымъ обстоятельнымъ образомъ при первомъ своемъ вступленіи въ анатомическій театръ. Прошу читателей извинить меня. Мое сравненіе грѣшитъ тѣмъ, что оно слишкомъ слабо. Оно могло бы сдѣлаться вѣрнымъ только въ томъ случаѣ, если бы мы предположили, что въ анатомическомъ театрѣ производятся вивисекціи надъ самими медицинскими студентами, и что каждый изъ этихъ студентовъ, превратившись подъ ножомъ прозектора въ куски кроваваго и разлагающагося мяса, продолжаетъ втеченіе многихъ мѣсяцевъ страдать, стонать, метаться, чувствуя и сознавая свое собственное гніеніе. Допустивши это дикое предположеніе и вообразивъ себѣ, какое чувство долженъ испытывать студентъ, вступающій въ анатомическій театръ, знающій заранѣе ту судьбу, которая его ожидаетъ, и встрѣчающійся въ первый разъ съ живыми примѣрами тѣхъ метаморфозъ, которыя скоро должны совершиться надъ нимъ самимъ, мы составимъ себѣ довольно ясное понятіе о томъ, что̀ долженъ былъ передумать и перечувствовать Раскольниковъ, созерцая Мармеладова и выслушивая его пьяную исповѣдь. Всего ужаснѣе въ этой личности и въ этой исповѣди именно то, что Мармеладова невозможно презирать цѣликомъ, презирать такъ, чтобы къ этому презрѣнію не примѣшивалось никакого другого чувства. Глядя на него, Раскольниковъ не можетъ остановиться и успокоиться на томъ приговорѣ, что это дѣйствительно скотъ и свинья, и что въ этомъ скотѣ или въ этой свиньѣ никогда не было или по крайней мѣрѣ уже не осталось ничего чисточеловѣческаго, ничего такого, въ чемъ просвѣчивало бы его сродство съ самимъ Раскольниковымъ, и въ чемъ таились бы задатки безпредѣльнаго совершенствованія. Мармеладовъ любитъ свою жену и своихъ дѣтей, запоминаетъ всѣ оттѣнки ихъ страданій, и самъ страдаетъ за нихъ и вмѣстѣ съ ними въ то же самое время, когда онъ самъ, своими же собственными руками сталкиваетъ ихъ въ грязную яму безвыходной нищеты, которая уже разрѣшилась для его старшей дочери всѣми муками и пытками вынужденнаго разврата. Мармеладовъ способенъ сознательно уважать свою жену, способенъ оцѣнивать, понимать и прощать естественной деликатностью и чуткостью глубоко нѣжнаго характера (я бы сказалъ *сердца*, если бы не избѣгалъ этого неточнаго и до крайности опошленнаго выраженія) тѣ взрывы взбалмошной сварливости и несправедливой злости, которымъ подвержена эта измученная чахоточная женщина. «Лежалъ я тогда, говоритъ Мармеладовъ... ну да ужъ что! лежалъ пьяненькой-съ и слышу, говоритъ моя Соня (безотвѣтная она, и голосокъ у ней такой кроткій... бѣлокуренькая, и личико всегда блѣдненькое, худенькое), говоритъ: чтожъ, Катерина Ивановна, неужели же мнѣ на такое дѣло пойти? А ужъ Дарья Францовна, женщина злонамѣренная и полиціи многократно извѣстная, раза три черезъ хозяйку навѣдывалась. «А чтожь, отвѣчаетъ Катерина Ивановна въ пересмѣшку—чего беречь? Эко сокровище!» Но не вините, не вините, милостивый государь, не вините! Не въ здравомъ разсудкѣ сіе сказано было, а при взволнованныхъ чувствахъ, въ болѣзни и при плачѣ дѣтей неѣвшихъ, да и сказано болѣе ради оскорбленія, чѣмъ въ точномъ смыслѣ... Ибо Катерина Ивановна такого ужъ характера, и какъ расплачутся дѣти, хоть бы и съ голоду, тотчасъ же ихъ бить начинаетъ. И вижу я эдакъ часу въ шестомъ, Сонечка встала, надѣла платочекъ, надѣла бурнусикъ и съ квартиры отправилась, а въ девятомъ часу и назадъ обратно пришла. Пришла и прямо къ Катеринѣ Ивановнѣ, и на столъ передъ ней тридцать цѣлковыхъ молча выложила. Ни словечка при этомъ не вымолвила, хоть бы взглянула, а взяла только нашъ большой прадедамовый зеленый платокъ (общій такой у насъ платокъ есть, прадедамовый), накрыла имъ совсѣмъ голову и лицо и легла на кровать, лицомъ къ стѣнѣ, только плечики да тѣло все вздрагиваютъ... А я, какъ и давича, въ томъ же видѣ лежалъ-съ... И видѣлъ я тогда, молодой человѣкъ, видѣлъ я, какъ затѣмъ Катерина Ивановна, также ни слова не говоря, подошла къ Сонечкиной постелькѣ и весь вечеръ въ ногахъ у ней на колѣняхъ простояла, ноги ей цѣловала, встать не хотѣла, а потомъ такъ обѣ и заснули вмѣстѣ, обнявшись... обѣ... обѣ... да-съ... а я... лежалъ пьяненькой-съ...» Все разсказано просто, ясно и до послѣдней степени отчетливо. Приведены всѣ подробности, которыя могъ подмѣтить очевидецъ, глубоко заинтересованный въ совершавшемся событіи. Подмѣчено все, что могло бросить свѣтъ на характеры обѣихъ женщинъ, все, что могло объяснить и оправдать ихъ поступки, идущіе въ разрѣзъ съ правилами той нравственности, которую счастливые люди могутъ и должны считать для себя обязательной, и во имя которой они очень естественнымъ образомъ распо-

Digitized by Google

ложены судить и осуждать своихъ несчастныхъ ближнихъ. Видно изъ каждаго слова разсказа, что впечатлѣнія этого рокового вечера, какъ капли расплавленнаго свинца, падали въ мозгъ жалкаго пьяницы и оставляли въ немъ такіе слѣды, которыхъ не сотрутъ до конца его жизни никакіе винные пары. Все онъ понимаетъ, все объясняетъ, все прощаетъ и оправдываетъ—только для самого себя нѣтъ у него ни одного слова объясненія, прощенія и оправданія. И три раза встрѣчается въ его разсказѣ упоминаніе о томъ голомъ фактѣ, что онъ лежалъ пьяненькій, упоминаніе, похожее на похоронное пѣніе, пропѣтое человѣкомъ надъ самимъ собою. И съ этимъ-то яснымъ пониманіемъ своего глубокаго ничтожества, съ этимъ неизгладимымъ, яркимъ и жгучимъ воспоминаніемъ о событіяхъ рокового вечера онъ все-таки бѣжитъ въ кабакъ, укравши у жены свои трудовыя деньги, пьянствуетъ безъ просыпу пятеро сутокъ, губитъ всѣ послѣднія надежды своего семейства и въ довершеніе всѣхъ своихъ подвиговъ, спустивши въ кабакахъ все, что можно было спустить, идетъ выпрашивать у своей дочери, живущей по желтому билету, выпрашивать на послѣдній полуштофъ водки частицу тѣхъ денегъ, которыя она добываетъ отъ искателей легкой и дешевой любви, и которыя составляютъ единственное постоянное подспорье чахоточной женщины и троихъ вѣчно голодныхъ ребятишекъ.

Ясное дѣло, что Мармеладовъ—трупъ, чувствующій и понимающій свое разложеніе, трупъ, слѣдящій съ невыразимо-мучительнымъ вниманіемъ за всѣми фазами того ужаснаго процесса, которымъ уничтожается всякое сходство этого трупа съ живымъ человѣкомъ, способнымъ чувствовать, мыслить и дѣйствовать. Это мучительное вниманіе составляетъ послѣдній остатокъ человѣческаго образа; глядя на этотъ послѣдній остатокъ, Раскольниковъ можетъ понимать, что Мармеладовъ не всегда былъ такимъ трупомъ, какимъ онъ видитъ его въ распивочной, за полуштофомъ, купленнымъ на Сонины деньги. Этотъ остатокъ намекаетъ ему на то, что есть тропинка, ведущая къ Мармеладовскому паденію, и что есть возможность спуститься на эту скользкую тропинку даже съ той высоты умственнаго и нравственнаго развитія, на которую удалось взобраться ему, студенту Раскольникову. Не даромъ же Мармеладовъ обращается въ распивочной исключительно къ нему одному, и не даромъ же онъ самъ слушаетъ его разсказъ съ напряженнымъ вниманіемъ. Между ними есть точки соприкосновенія, между ними существуетъ возможность взаимнаго пониманія, и стало быть нѣтъ основаній ручаться за то, чтобы тѣ испытанія, которыя погубили Мармеладова, не обнаружили своего мертвящаго и разлагающаго вліянія надъ Раскольниковымъ. Мармеладова раздавила бѣдность, та самая бѣдность, которая давитъ Раскольникова и уже довела его до изнурительной апатіи и до дикихъ мыслей о грабежѣ и убійствѣ. Мармеладовъ не вынесъ своихъ страданій, осложненныхъ страданіями, продолжительными и разнообразными, то острыми, то хроническими страданіями тѣхъ людей, которые были ему дороги, и существованіе которыхъ онъ одинъ могъ и одинъ обязанъ былъ обезпечивать. Мармеладовъ не вынесъ и сталъ искать себѣ минутнаго забвенія; онъ *прикоснулся*, какъ онъ самъ выражался, и прикоснулся по тому самому побужденію, по которому человѣкъ, страдающій невыносимой зубной болью, кладетъ себѣ опіумъ или хлороформъ въ дупло больного зуба. Мармеладовъ сдѣлался врагомъ, разорителемъ и мучителемъ своего семейства, такъ не чувствительно и незамѣтно для самого себя, какъ человѣкъ, пристрастившійся къ леченію посредствомъ опіума, становится сознательно губителемъ собственнаго здоровья. Мармеладовъ не принималъ никакихъ противузаконныхъ и насильственныхъ мѣръ противъ своей нищеты; онъ просто падалъ, вязнулъ и тонулъ, потому что у него не хватало силъ стоять на ногахъ, и потому что его ноги не находили себѣ твердой точки опоры въ той бездонной трясинѣ, которая изъ году въ годъ поглощаетъ сотни и тысячи бѣдныхъ людей. Результатъ, къ которому онъ пришелъ путемъ этого краткаго и пассивнаго погруженія въ болото нищеты, разоблачился передъ Раскольниковымъ во всей наготѣ своего потрясающаго безобразія. При томъ направленіи, которое уже было дано мыслямъ Раскольникова, при томъ планѣ, по которому уже складывались и созрѣвали его намѣренія, видъ трупа, доведеннаго до разложенія собственной пассивностью и кротостью, долженъ былъ подѣйствовать на Раскольникова такъ, какъ можетъ подѣйствовать ударъ каленымъ желѣзомъ на бѣшеную лошадь, уже закусившую удила.

Личность Сони и ея образъ дѣйствій также наводятъ Раскольникова на такія размышленія, которыя могутъ только расчищать передъ нимъ дорогу къ преступленію. Во-первыхъ, у Раскольникова есть сестра, дѣвушка молодая, умная, образованная и красавица собою. Раскольниковъ любитъ свою сестру такъ же сильно, какъ Мармеладовъ любитъ свою старшую дочь. Но къ чему годится эта сильная любовь бѣднаго, задавленнаго и безсильнаго человѣка? Отъ чего можетъ защитить и куда можетъ привести такая любовь? Пользуясь этой любовью, Авдотья Романовна Раскольникова такъ же точно можетъ очутиться въ безотчетномъ распоряженіи уличныхъ ловеласовъ, какъ очутилась въ ихъ распоряженіи Софья Семеновна Мармеладова. Невозможно разсчитывать навѣрное

Digitized by Google

даже и на тотъ исходъ, что самоубійство спасетъ Авдотью Романовну отъ вынужденнаго разврата. Можетъ быть Софья Семеновна также съумѣла бы броситься въ Неву; но, бросаясь въ Неву, она не могла бы выложить на столъ предъ Катериной Ивановной тридцать цѣлковыхъ, въ которыхъ заключается весь смыслъ и все оправданіе ея безнравственнаго поступка.

Бываютъ въ жизни такія положенія, которыя убѣждаютъ безпристрастнаго наблюдателя въ томъ, что самоубійство есть роскошь, доступная и позволительная только обезпеченнымъ людямъ. Очутившись въ такомъ положеніи, человѣкъ научается понимать выразительную пословицу: куда ни кинь, все клинъ. Къ такому положенію оказываются непримѣнимыми правила и предписанія общепринятой житейской нравственности. Въ такомъ положеніи точное соблюденіе каждаго изъ этихъ превосходныхъ правилъ и предписаній приводитъ человѣка къ какому-нибудь вопіющему абсурду. То, что при обыкновенныхъ условіяхъ было бы священной обязанностью, начинаетъ казаться человѣку, попавшему въ исключительное положеніе, презрѣннымъ малодушіемъ или даже явнымъ преступленіемъ; то, что при обыкновенныхъ условіяхъ возбудило бы въ человѣкѣ ужасъ и отвращеніе, начинаетъ казаться ему необходимымъ шагомъ или геройскимъ подвигомъ, когда онъ находится подъ гнетомъ своего исключительнаго положенія. И не только самъ человѣкъ, подавленный исключительнымъ положеніемъ, теряетъ способность рѣшать нравственные вопросы такъ, какъ они рѣшаются огромнымъ большинствомъ его современниковъ и соотечественниковъ, но даже и безпристрастный наблюдатель, вдумываясь въ такое исключительное положеніе, останавливается въ недоумѣніи и начинаетъ испытывать такое ощущеніе, какъ будто бы онъ попалъ въ новый, особенный, совершенно фантастическій міръ, гдѣ все дѣлается навыворотъ, и гдѣ наши обыкновенныя понятія о добрѣ и злѣ не могутъ имѣть никакой обязательной силы.

Что вы скажете, въ самомъ дѣлѣ, о поступкѣ Софьи Семеновны? Какое чувство возбудитъ въ васъ этотъ поступокъ: презрѣніе или благоговѣніе? Какъ вы назовете ее за этотъ поступокъ: грязной потаскушкой, бросившей въ уличную лужу святыню своей женской чести, или великодушной героиней, принявшей съ спокойнымъ достоинствомъ свой мученическій вѣнецъ? Какой голосъ эта дѣвушка должна была принять за голосъ совѣсти—тотъ ли, который ей говорилъ: «сиди дома и терпи до конца; умирай съ голоду вмѣстѣ съ отцомъ, съ матерью, съ братомъ и съ сестрами, но сохраняй до послѣдней минуты свою нравственную чистоту»,— или тотъ, который говорилъ: «не жалѣй себя, не береги себя, отдай все, что у тебя есть, продай себя, опозорь и загрязни себя, но спаси, утѣшь, поддержи этихъ людей, накорми и обогрѣй ихъ хоть на недѣлю, во что бы то ни стало»? Я очень завидую тѣмъ изъ моихъ читателей, которые могутъ и умѣютъ рѣшать съ плеча, безъ оглядки и безъ колебаній, вопросы, подобные предыдущему. Я самъ долженъ сознаться, что передъ такими вопросами я становлюсь въ тупикъ; противуположныя воззрѣнія и доказательства сталкиваются между собою; мысли путаются и мѣшаются въ моей головѣ; я теряю способность оріентироваться и анализировать; начинается тревожное и мучительное исканіе какой нибудь твердой точки и какого нибудь возможнаго выхода изъ заколдованнаго круга, созданнаго исключительнымъ положеніемъ. Кончается-ли это исканіе какимъ нибудь положительнымъ результатомъ, нахожу-ли я точку опоры и удается-ли мнѣ замѣтить выходъ —объ этомъ я не скажу моимъ читателямъ ни одного слова.

Если здѣсь возможенъ какой нибудь положительный результатъ, то онъ во всякомъ случаѣ долженъ показаться читателямъ такой выдумкой, которая въ высшей степени похожа на абсурдъ или на парадоксъ. Но такъ какъ съ одной стороны бросать бисеръ передъ свиньями неразсчетливо и неблагоразумно, то съ другой стороны также неблагоразумно и нерасчетливо, и кромѣ того даже очень невѣжливо предлагать предметы, годные только для свиней, какъ-то желуди и отруби, такимъ особамъ, передъ которыми слѣдуетъ разсыпать чистый бисеръ. Поэтому, еслибы даже я имѣлъ несчастье добраться путемъ моихъ размышеній до обильнаго запаса желудей и отрубей, то я бы тщательно скрылъ отъ моихъ благовоспитанныхъ читателей мое неприличное открытіе. Это было бы тѣмъ болѣе удобно, что въ настоящемъ случаѣ насъ занимаетъ исключительно вопросъ о томъ: какимъ образомъ разсказъ Мармеладова о поступкѣ Сони долженъ былъ подѣйствовать на Раскольникова? Со стороны Раскольникова невозможно ожидать продолжительныхъ колебаній во взглядѣ на этотъ поступокъ. Раскольниковъ не могъ быть безпристрастнымъ наблюдателемъ. Раскольниковъ самъ былъ въ высшей степени ожесточенъ трудностями своего собственнаго положенія: на его душѣ накопилось, какъ мы уже видѣли выше, много злобнаго презрѣнія къ обществу, къ его законамъ и ко всѣмъ его установившимся нравственнымъ понятіямъ. Онъ самъ уже былъ коротко знакомъ съ той опасной мыслью, что бѣднякъ, которому общество отказываетъ въ работѣ и въ кускѣ хлѣба, долженъ поневолѣ вступить въ открытую войну съ этимъ обществомъ и вести эту войну всѣми правдами и неправдами, силою и хитростью, нарушая безбоязненно и безсовѣстно всѣ предписанія нравственнаго закона. То обстоятельство, что Соня шла наперекоръ общественному мнѣнію, должно

Digitized by Google

было подкупить Раскольникова въ пользу ея поступка. Въ этомъ поступкѣ онъ могъ видѣть только то высокое самоотверженіе, съ которымъ Соня рѣшилась надѣть мученическій вѣнецъ и выпить до дна чашу униженія и страданія. Онъ могъ только почувствовать къ Сонѣ восторженное уваженіе за то, что она подобно Курцію бросилась въ пропасть и согласилась сдѣлаться искупительной жертвой за цѣлое семейство. При этомъ разумѣется онъ долженъ былъ также сообразить, что пропасть, въ которую бросилась Соня, все-таки остается открытой, и что семейство, за которое принесена жертва, все-таки остается неискупленнымъ, такъ что младшія сестры Сони сохраняютъ за собой всѣ шансы отправиться въ свое время по ея слѣдамъ. Примѣръ Сони долженъ былъ съ одной стороны возбудить въ немъ соревнованіе, а съ другой—подѣйствовать на него, какъ предостереженіе. Съ одной стороны онъ долженъ былъ подумать: вѣдь вотъ въ самомъ дѣлѣ, эта Соня! Семнадцатилѣтняя дѣвушка, слабая, робкая, безотвѣтная, забитая, неразвитая, опутанная всякими рутинными понятіями и предразсудками—а какъ пришлось очень круто, такъ съумѣла же рѣшиться и нашла возможность дѣйствовать. Не осталась же она дома, чтобы сидѣть сложа руки, хныкать надъ пьянымъ отцомъ, надъ больной мачихой, надъ голодными ребятами, или въ тысячный разъ затыкать трудовыми копѣечками такую прорѣху, на которую очевидно требовались рубли, добытые какими бы то ни было средствами. Нѣтъ. Посидѣла, поплакала, надумалась, вышла на улицу, бросилась прямо въ грязь и выкопала изъ этой грязи тридцать рублей для семейнаго бюджета. А я то чего-же смотрю. Я-то, мужчина, сильный человѣкъ, свободный мыслитель, строгій судья существующихъ нелѣпостей! Развѣ я неспособенъ понять, что мое положеніе не поправляется грошовыми уроками? Развѣ я считать не умѣю? Или я можетъ быть боюсь столкновенія съ существующими понятіями, боюсь того, чего не побоялась Соня? Или я жду того, чтобы сестра Дуня приняла на себя обязанности искупительной жертвы за наше семейство и погибла-бы такъ-же безтолково и такъ-же безплодно, какъ погибла эта Соня? Или я просто на словахъ города беру, а на дѣлѣ поджимаю хвостъ передъ простымъ городовымъ?

Съ другой стороны онъ долженъ былъ подумать: не стоитъ мараться по мелочамъ и изъза пустяковъ. Ужъ если бросаться въ грязь, то бросаться не изъ-за тридцати цѣлковыхъ и ужъ конечно не такъ неразсчетливо, какъ бросилась эта Соня. Надо сильно рискнуть, чтобы много выиграть. Надо такъ — или панъ, или пропалъ! — А то ужъ лучше лежать дома на диванѣ, хлебать вчерашніе Настасьины щи, прятаться отъ хозяйки, бѣгать высуня языкъ за грошовыми уроками, какъ за кладомъ, который все не дается въ руки,—и при этомъ утѣшать себя пріятнымъ сознаніемъ своей незапятнанной честности. — Я убѣдительно прошу читателей не думать, что я сколько-нибудь одобряю эти размышленія Раскольникова; я нахожу напротивъ того, что его ироническія отношенія къ незапятнанной честности и къ упорному труду, получающему копѣечное вознагражденіе, въ высшей степени предосудительны; я вполнѣ убѣжденъ въ томъ, что его мысли — дурныя, вредныя и опасныя мысли. Я только осмѣливаюсь утверждать и стараюсь доказывать, что эти мысли были неизбѣжными продуктами его невыносимаго положенія; въ этихъ мысляхъ проявилась та болѣзнь, которая развилась въ немъ подъ вліяніемъ его лишеній и разнообразныхъ страданій, та болѣзнь, которую нельзя назвать помѣшательствомъ, но которая всетаки ведетъ и должна вести человѣка къ нелѣпымъ и безобразнымъ поступкамъ. При тѣхъ условіяхъ, которыя давили Раскольникова, у него не могло быть никакихъ другихъ мыслей. Поставьте на мѣсто Раскольникова какого-нибудь другого человѣка обыкновенныхъ размѣровъ, развившагося иначе и смотрящаго на вещи другими глазами, и вы увидите, что получится тотъ-же самый результатъ. Невыносимое положеніе воспитаетъ въ немъ ту-же самую болѣзнь, и всѣ его мысли примутъ тоже самое вредное и опасное направленіе. Онъ убѣдитъ себя въ томъ, что общество обращается съ нимъ, какъ съ голоднымъ волкомъ, и что ему остается только принять на себя эту странную роль со всѣми ея возможными послѣдствіями, со всѣми ея своеобразными правами и обязанностями, со всѣми ея удобствами и неудобствами.

Будемъ теперь слѣдить дальше за тѣми впечатлѣніями, которыя доставались на долю Раскольникова и могли обнаруживать на общее теченіе его мыслей то или другое вліяніе. На другой день послѣ посѣщенія распивочной, Раскольниковъ получаетъ письмо отъ своей матери. Видъ этого письма дѣйствуетъ на него очень сильно: «Письмо, говоритъ Достоевскій, дрожало въ рукахъ его; онъ не хотѣлъ распечатывать при ней (при Настасьѣ); ему хотѣлось остаться *наединѣ* съ этимъ письмомъ. Когда Настасья вышла, онъ быстро поднесъ его къ губамъ и поцѣловалъ, потомъ долго еще вглядывался въ почеркъ адреса, въ знакомый и милый ему мелкій почеркъ его матери, учившей его когда-то читать и писать. Онъ медлилъ; онъ даже какъ будто боялся чего-то». Если человѣкъ такимъ образомъ принимаетъ и держитъ нераспечатанное письмо, то вы можете себѣ представить, какъ онъ будетъ читать его и по строкамъ, и между строками, какъ онъ

Digitized by Google

будетъ всматриваться въ каждый оттѣнокъ и поворотъ мысли, какъ онъ въ словахъ и подъ словами будетъ отыскивать затаенную мысль, отыскивать то, что лежало быть можетъ тяжелымъ камнемъ на душѣ писавшей особы и что скрывалось самымъ тщательнымъ образомъ отъ пытливыхъ глазъ любимаго сына. Начинается чтеніе. Начинается одна изъ самыхъ утонченныхъ пытокъ, какія только могутъ выпасть на долю бѣднаго человѣка, еще не доведеннаго гнетущей нищетой до тупости, безчувственности и покорности разбитой и загнанной почтовой клячи. Изъ этихъ драгоцѣнныхъ строкъ, согрѣтыхъ кроткимъ и мягкимъ сіяніемъ безпредѣльной материнской нѣжности, сыплются на изнемогающаго Раскольникова такіе жгучіе удары, которые могутъ быть нанесены ему именно только рукой любящей матери. Письмо написано самымъ бодрымъ и веселымъ тономъ и наполнено самыми пріятными извѣстіями, и вслѣдствіе этого мучительность пытки становится еще болѣе утонченной.

Письмо начинается самыми горячими выраженіями любви: «ты знаешь, какъ я люблю тебя, ты одинъ у насъ, у меня и у Дуни, ты наше все, вся надежда, упованіе наше». Затѣмъ слѣдуютъ извѣстія о сестрѣ: «Слава тебѣ Господи, кончились ея истязанія, но разскажу тебѣ все по порядку, чтобы ты узналъ, какъ все было, и что мы отъ тебя до сихъ поръ скрывали». Такъ какъ Раскольникову пишутъ объ *окончившихся* истязаніяхъ, и при этомъ признаются, что отъ него *до сихъ поръ* скрывали многое, или даже все, то ему предоставляется полнѣйшее право думать, что теперь начинаются новыя истязанія, которыя также будутъ отъ него скрываться до тѣхъ поръ, пока они въ свою очередь не превратятся въ окончившіяся. Раскольниковъ конечно съ внимательностью, свойственной сильно любящему человѣку, наматываетъ себѣ на усъ это полезное указаніе и продолжаетъ чтеніе съ твердой рѣшимостью разглядѣть между радостными строками эти начинающіяся или уже начавшіяся истязанія. Касательно окончившихся истязаній въ письмѣ сообщаются слѣдующія подробности. Дуня поступила гувернанткой въ домъ господъ Свидригайловыхъ и забрала впередъ *цѣлыхъ сто рублей*, «болѣе для того, чтобы выслать тебѣ шестьдесятъ рублей, въ которыхъ ты тогда такъ нуждался и которые ты и получилъ отъ насъ въ прошломъ году». Закабаливъ себя такимъ образомъ на нѣсколько мѣсяцевъ, Дуня принуждена была переносить грубости Свидригайлова, стараго кутилы, трактирнаго героя и уличнаго донъ-Жуана, который, какъ сказано въ письмѣ, *по старой привычкѣ своей, находился часто подъ вліяніемъ Бахуса*. Отъ грубостей и насмѣшекъ Свидригайловъ перешелъ къ настойчивому ухаживанію и усиленно сталъ приглашать Дуню къ побѣгу заграницу. Супруга Свидригайлова, Марфа Петровна, влюбленная въ мужа по уши, въ высшей степени взбалмошная и ревнивая до крайности, подслушала *своего мужа, умолявшаго Дунечку въ саду*, перепутала въ своей убогой головѣ всѣ обстоятельства дѣла, выскочила изъ своей засады какъ бѣшеная кошка, собственноручно отколотила Дуню, «не хотѣла ничего слушать, а сама цѣлый часъ кричала и наконецъ приказала тотчасъ-же отвезти Дуню въ городъ, на простой крестьянской телѣгѣ, въ которую сбросили всѣ ея вещи, бѣлье, платья, все какъ случилось, неувязанное и неуложенное. А тутъ поднялся проливной дождь, и Дуня, оскорбленная и опозоренная, должна была проѣхать съ мужикомъ цѣлыхъ семнадцать верстъ въ некрытой телѣгѣ». Этимъ мщеніемъ не удовлетворилась разгнѣванная Юнона. Пріѣхавъ въ городъ, она стала такъ успѣшно звонить во всѣхъ домахъ о своихъ семейныхъ несчастіяхъ и о преступленіяхъ безстыжей дѣвки Авдотьи Раскольниковой, что мать и сестра нашего героя были принуждены запереться дома *отъ подозрительныхъ взглядовъ и шепталій*. Всѣ знакомые отъ нихъ отстранились, всѣ перестали имъ кланяться; шайка негодяевъ изъ купеческихъ прикащиковъ и канцелярскихъ писцовъ, всегда готовыхъ бить и оплевывать всякаго лежачаго, стремилась даже принять на себя роль мстителей за outrage à la morale publique и собиралась вымазать дегтемъ ворота того дома, въ которомъ жила коварная соблазнительница цѣломудреннаго Свидригайлова. Хозяева дома, пылая тѣмъ-же добродѣтельнымъ негодованіемъ и преклоняясь передъ непогрѣшимымъ приговоромъ общественнаго мнѣнія, коноводомъ котораго являлась постоянно бѣшеная дура Марфа Петровна, потребовали даже, чтобы госпожи Раскольниковы очистили квартиру отъ своего тлетворнаго и компрометирующаго присутствія.

Наконецъ дѣло разъяснилось. Свидригайловъ предъявилъ своей бѣсноватой супругѣ письмо Авдотьи Романовны, написанное за долго до трагической сцены въ саду и доказывавшее очевидно, что во всемъ былъ виноватъ только одинъ старый селадонъ. Изъ этого письма Марфа Петровна извлекла себѣ новыя и въ высшей степени драгоцѣнныя средства разнообразить, втеченіе нѣсколькихъ недѣль, безконечные досуги своей сытой и сонной жизни. Съ искреннимъ увлеченіемъ праздной и пустой женщины, которая со скуки готова съ одинаковымъ наслажденіемъ злословить и благотворить, клеветать и вышивать подвѣски къ паникадиламъ, устраивать концерты въ пользу бѣдныхъ и сѣчь на конюшнѣ беременныхъ горничныхъ— Марфа Петровна напустила на себя раскаянье, прискакала въ городъ, влетѣла въ квартиру

Digitized by Google

Раскольниковыхъ, наводнила эту квартиру потоками своихъ дешевыхъ слезъ, попробовала задушить Дуню и ея мать въ своихъ непрошенныхъ объятіяхъ и потомъ принялась бѣгать по городу и перезванивать по новому всю исторію, съ приличнымъ акомпаниментомъ вздоховъ, криковъ, рыданій, сморканій и пѣвучихъ проклятій, направленныхъ на коварнаго изверга и жестокаго тирана ея нѣжной и пылающей души. Почтенные обитатели города встрепенулись и обрадовались новому обороту дѣла, которое уже казалось покончennымъ,—обрадовались такъ-же безкорыстно и простодушно, какъ они обрадовались-бы извѣстію о томъ, что въ ихъ городѣ родился поросенокъ о двухъ головахъ, или что черезъ ихъ захолустье проѣдетъ въ скоромъ времени какое нибудь белуджистанское посольство. Нашлась для людей неожиданная возможность о чемъ-то говорить и прикидываться впродолженіе нѣсколькихъ дней, что они о чемъ-то думаютъ и чѣмъ-то озабочены.

Дунечка сдѣлалась героиней дня, то есть всѣ пошляки и негодяи города, всѣ сплетники и сплетницы, всѣ безмозглые и бездушные руководители и руководительницы такъ называемаго общественнаго мнѣнія присвоили себѣ право и вмѣнили себѣ въ священную обязанность заглядывать своими глупыми глазами въ душу оскорбленной дѣвушки, ходить своими грязными руками и ногами по всѣмъ закоулкамъ ея недавняго страданія и комментировать силами своихъ куриныхъ умовъ такіе оттѣнки чувства и проблески мысли, до которыхъ имъ самимъ удастся возвыситься только тогда, когда они съумѣютъ укусить собственный локоть. Дунечка сдѣлалась поводомъ для цѣлаго ряда литературныхъ чтеній. Марфѣ Петровнѣ «пришлось нѣсколько дней сряду объѣзжать всѣхъ въ городѣ, такъ какъ иные стали обижаться, что другимъ оказано было предпочтеніе, и такимъ образомъ завелись очереди; такъ что въ каждомъ домѣ уже ждали заранѣе и всѣ знали, что въ такой-то день Марфа Петровна будетъ тамъ-то читать это письмо, и на каждое чтеніе опять-таки собирались даже и тѣ, которые письмо уже нѣсколько разъ прослушали и у себя въ домахъ, и у другихъ знакомыхъ, по очереди». Къ довершенію благополучія и къ окончательному увѣнчанію оправданной добродѣтели, почтенный и солидный человѣкъ, *уже надворный совѣтникъ*, составившій себѣ капиталъ и раздѣляющій во многомъ, какъ онъ самъ выражается, *убѣжденія новѣйшихъ поколѣній нашихъ*, словомъ, ходячая квинтэссенція всей приличной и самодовольной пошлости, украшающей своимъ существованіемъ тотъ городъ, въ которомъ живутъ госпожи Раскольниковы, подноситъ Авдотьѣ Романовнѣ руку и сердце, видѣ высокой и торжественной награды за незаслуженныя страданія. Имя этого благодѣтеля—Петръ Петровичъ Лужинъ. Онъ дальній родственникъ Марфы Петровны, которая очень горячо мастеритъ это дѣло, потому что она женщина богатая, вліятельная, великодушная и подверженная припадкамъ внезапнаго вдохновенія, потому что она вольна казнить, вольна миловать ничтожество, подобное Дунѣ Раскольниковой, и еще потому, что это казненіе и милованіе, игриво чередуясь между собой, пріятно разнообразятъ идиллію ея сельской жизни. Все вниманіе Раскольникова сосредоточивается конечно на Петрѣ Васильевичѣ Лужинѣ; Раскольниковъ догадывается съ первыхъ словъ письма объ этомъ щекотливомъ сюжетѣ, что начинающіяся истязанія, о которыхъ ему разумѣется не пишутъ и не будутъ писать, какъ не писали о грубостяхъ и любезностяхъ Свидригайлова и о воинственныхъ подвигахъ его супруги—идутъ теперь отъ солиднаго человѣка, уже составившаго себѣ капиталъ и раздѣляющаго во многомъ убѣжденія новѣйшихъ поколѣній нашихъ.

Въ своемъ письмѣ мать Раскольникова, Пульхерія Александровна, говоря о Лужинѣ, носится между Сциллой и Харибдой. Съ одной стороны, ей необходимо расположить сына въ пользу Петра Петровича, чтобы состоялась свадьба, на которой основываются многія ея надежды. Съ другой стороны, ей надо соблюдать въ похвалахъ очень большую осторожность и умѣренность, потому что ея сыну предстоитъ въ ближайшемъ будущемъ личная встрѣча съ Петромъ Петровичемъ, встрѣча, которая, въ случаѣ сильнаго разочарованія со стороны молодого и пылкаго Раскольникова, можетъ кончиться неожиданнымъ и рѣшительнымъ разрывомъ. Дуня уже дала Петру Петровичу свое согласіе, и мать старается убѣдить себя, что ея дочь будетъ если и не совсѣмъ счастлива, то по крайней мѣрѣ и не слишкомъ несчастлива. Она видитъ ясно въ Лужинѣ черствость, мелочность, скаредность и тщеславіе; ее коробитъ отъ всѣхъ этихъ украшеній того человѣка, въ рукахъ котораго будетъ находиться жизнь ея дочери; она чувствуетъ, что Дуня добровольно и сознательно беретъ на себя очень тяжелый крестъ; но и мать, и дочь, обѣ дорожатъ предположеннымъ бракомъ и считаютъ его за счастье, потому что онъ даетъ имъ возможность, по крайней мѣрѣ, неопредѣленную надежду вытащить безцѣннаго Родю, то есть нашего героя, изъ болота нищеты на гладкую и твердую дорогу. Въ своемъ письмѣ Пульхерія Александровна старается говорить о Лужинѣ спокойно, весело и развязно; она старается показать, что онѣ съ дочерью не обманываютъ себя фантастическими надеждами, что онѣ видятъ ясно всѣ достоинства и недостатки жениха, всѣ удобства и неудобства предположеннаго брака, и что ихъ согласіе дано послѣ зрѣлаго и хладнокровнаго обсужденія вопроса

Digitized by Google

со всѣхъ возможныхъ точекъ зрѣнія. Но Раскольниковъ изъ письма своей матери выноситъ совсѣмъ не то впечатлѣніе, на которое разсчитывала Пульхерія Александровна. Раскольниковъ видитъ ясно, что тутъ не было никакого хладнокровія и никакого обсужденія; онъ видитъ, что все было рѣшено обѣими женщинами въ чаду самопожертвованія, и что онѣ обѣ, и мать и дочь, стараются поддерживать этотъ чадъ, занимаясь построеніемъ воздушныхъ замковъ, которые, разумѣется, всѣ безъ исключенія относятся къ участи Родіона Романовича Раскольникова. Въ письмѣ говорится, что Лужинъ *«и тебѣ можетъ быть весьма полезенъ, и что ты, даже съ теперешняго же дня, могъ-бы опредѣленно начать свою будущую карьеру и считать участь свою уже ясно опредѣлившеюся...* Дуня только и мечтаетъ объ этомъ... Дуня ни о чемъ кромѣ этого и не думаетъ. Она теперь, уже нѣсколько дней, просто въ какомъ-то жару и составила уже цѣлый проектъ о томъ, что впослѣдствіи ты можешь быть товарищемъ и даже компаніономъ Петра Петровича по его тяжебнымъ занятіямъ, тѣмъ болѣе, что ты самъ на юридическомъ факультетѣ».

То дѣйствіе, которое должно произвести на Раскольникова радостное письмо его матери о радостномъ событіи, случившемся съ его сестрой, такъ ясно и понятно, что о немъ нечего много распространяться. Параллель между Соней и Дуней сама собой напрашивается въ его голову; онъ думаетъ, что если только онъ позволитъ совершиться той жертвѣ, которая должна купить ему карьеру и обезпеченное существованіе, то онъ самъ упадетъ ниже отставного чиновника Мармеладова; у того есть по крайней мѣрѣ хоть несчастная страсть, которой объясняется его способность помириться съ чѣмъ-бы то ни было; у того есть по крайней мѣрѣ та отговорка, что онъ человѣкъ мало развитой и уже достаточно принюхавшійся ко всевозможной грязи; а Раскольникову приходится идти на компромиссы съ своей совѣстью въ то время, когда онъ видитъ насквозь, до послѣднихъ подробностей, всю отвратительность этихъ компромиссовъ, когда его нравственная зоркость и чуткость не притуплены ни пьянствомъ, ни обществомъ грязныхъ кутилъ и погибшихъ горемыкъ, ни лѣтами. Раскольниковъ рѣшаетъ, что онъ ни за что не пойдетъ на такіе компромиссы. «Не бывать этому браку, пока я живъ, говоритъ онъ, и къ чорту господина Лужина». Письмо его матери кладетъ конецъ той апатіи, которая давила его впродолженіе нѣсколькихъ недѣль. Онъ видитъ ясно, что ему необходимо дѣйствовать; но теперь, болѣе, чѣмъ когда-бы то ни было, онъ убѣждаетъ себя въ томъ, что честный трудъ, какъ-бы онъ ни былъ упоренъ, не приведетъ его ни къ чему. «Не бывать? говоритъ онъ самъ себѣ. А что-же ты сдѣлаешь, чтобы этому не бывать? Запретишь? А право какое имѣешь? Что ты имъ можешь обѣщать въ свою очередь, чтобы право такое имѣть? Всю судьбу свою, всю будущность имъ посвятить, *когда кончишь курсъ и мѣсто достанешь*? Слышали мы это, да вѣдь это *буки*, а теперь? Вѣдь тутъ надо теперь же что-нибудь сдѣлать, понимаешь ты это? А ты что теперь дѣлаешь? Обираешь ихъ-же. Вѣдь деньги-то имъ подъ сторублевый пенсіонъ, да отъ господъ Свидригайловыхъ подъ закладъ достаются. Отъ Свидригайловыхъ-то, отъ Афанасія-то Ивановича Вахрушина, чѣмъ ты ихъ убережешь, милліонеръ будущій, Зевесъ, ихъ судьбою располагающій? Черезъ десять-то лѣтъ? Да въ десять-то лѣтъ мать успѣетъ ослѣпнуть отъ косынокъ, а пожалуй что и отъ слезъ; отъ поста исчахнетъ; а сестра? Ну придумай-ка, что можетъ случиться съ сестрой черезъ десять лѣтъ, али въ эти десять лѣтъ? Догадался?».

Раскольниковъ находится въ такомъ положеніи, при которомъ всѣ лучшія силы человѣка поворачиваются противъ него самого и вовлекаютъ его въ безнадежную борьбу съ обществомъ. Самыя святыя чувства и самыя чистыя стремленія, тѣ чувства и стремленія, которыя обыкновенно поддерживаютъ, ободряютъ и облагораживаютъ человѣка, становятся вредными и разрушительными страстями, когда человѣкъ лишается возможности доставлять имъ правильное удовлетвореніе. Раскольникову хотѣлось во что бы то ни стало покоить и лелѣять свою старую мать, доставлять ей тѣ скромныя удобства жизни, которыя были ей необходимы, избавлять ее отъ томительныхъ заботъ о кускѣ насущнаго хлѣба; ему хотѣлось далѣе, чтобы сестра его была ограждена въ настоящемъ отъ дерзостей разныхъ Свидригайловыхъ, а въ будущемъ отъ участи, постигшей Соню Мармеладову, или отъ необходимости выдти замужъ безъ любви за какого-нибудь деревяннаго человѣка, подобнаго господину Лужину. Самый строгій моралистъ не найдетъ въ этихъ желаніяхъ ничего предосудительнаго или нескромнаго; самый строгій моралистъ даже похвалитъ Раскольникова за эти желанія и пожелаетъ, въ интересахъ его собственнаго нравственнаго совершенствованія, чтобы Раскольниковъ, втеченіе всей своей жизни, постоянно любилъ мать и сестру и самымъ ревностнымъ образомъ, не жалѣя силъ и энергіи, заботился объ ихъ участи. Моралистъ нашелъ-бы даже по всей вѣроятности, что Раскольниковъ поступилъ-бы очень дурно, если-бы сбавилъ что-нибудь изъ своихъ требованій, потому что сбавлять нечего, и всякая сбавка сопряжена съ очевиднымъ и неизбѣжнымъ ущербомъ для человѣческаго достоинства его матери и его сестры. Но эти требованія остаются законными, разумными и похвальными только до тѣхъ поръ,

Digitized by Google

пока у Раскольникова имѣются матеріальныя средства, которыми онъ дѣйствительно можетъ покоить свою мать и спасать отъ безчестія свою сестру. Пока Раскольниковъ обезпеченъ имѣніемъ, капиталомъ или трудомъ, до тѣхъ поръ ему предоставляется полное право и на него даже налагается священная обязанность любить мать и сестру, защищать ихъ отъ лишеній и оскорбленій, и даже въ случаѣ надобности принимать на самого себя тѣ удары судьбы, которые предназначаются имъ, слабымъ и безотвѣтнымъ женщинамъ. Но какъ только матеріальныя средства истощаются, такъ тотчасъ-же вмѣстѣ съ этими средствами у Раскольникова отбирается право носить въ груди человѣческія чувства, такъ точно, какъ у обанкротившагося купца отбирается право числиться въ той или другой гильдіи. Любовь къ матери и къ сестрѣ, желаніе покоить и защищать ихъ становятся противузаконными и противуобщественными чувствами и стремленіями съ той минуты, какъ Раскольниковъ превратился въ голоднаго и оборваннаго бѣдняка. Кто не можетъ по человѣчески кормиться и одѣваться, тотъ не долженъ также думать и чувствовать по человѣчески. Въ противномъ случаѣ человѣческія мысли и чувства разрѣшатся такими поступками, которые произведутъ неизбѣжную коллизію между личностью и обществомъ. Попавши въ свое исключительное положеніе, Раскольниковъ очутился на распутьѣ, очень похожемъ на то распутье, о которомъ говорится въ сказкахъ, и въ которомъ одна дорога обѣщаетъ гибель коню, другая—всаднику, а третья—обоимъ. Раскольникову казалось, что ему надо или отказаться отъ всего, что было ему дорого и свято въ себѣ самомъ и въ окружающемъ мірѣ, или вступить за свою святыню въ отчаянную борьбу съ обществомъ, въ такую борьбу, въ которой уже невозможно будетъ разбирать средствъ. «Или отказаться отъ жизни совсѣмъ, вскричалъ онъ вдругъ въ изступленіи,— послушно принять судьбу, какъ она есть, разъ навсегда и задушить въ себѣ все, отказавшись отъ всякаго права дѣйствовать, жить и любить!» Раскольникову казалось, что ему надо непремѣнно или сдѣлаться трупомъ, подобнымъ Мармеладову, или рѣшиться на преступленіе, и что необходимо сдѣлать выборъ немедленно, прежде чѣмъ Дуня успѣетъ, въ видахъ его карьеры, обвѣнчаться съ Лужинымъ. Въ размышленіяхъ Раскольникова замѣтна значительная недодуманность. Онъ повидимому не понимаетъ, что выходъ посредствомъ преступленія не можетъ ни въ какомъ случаѣ дѣйствительно вывести его изъ затрудненія. Онъ соображаетъ очень основательно, что для спасенія матери и сестры отъ нищеты и отъ всякихъ ея послѣдствій, воплотившихся въ Свидригайловыхъ и Лужиныхъ, необходимы деньги, и что честнымъ трудомъ невозможно ихъ достать въ необходимомъ количествѣ. Значитъ, заключаетъ онъ, остается только достать ихъ безчестнымъ средствомъ.

Заключеніе вѣрное. Кромѣ безчестныхъ средствъ не остается никакихъ. Но весь вопросъ въ томъ, дѣйствительно-ли безчестныя средства достигаютъ въ данномъ случаѣ той цѣли, къ которой стремится Раскольниковъ. Этого вопроса самъ Раскольниковъ вовсе себѣ не задаетъ. Положимъ, что ему удалось убить и ограбить процентщицу; положимъ, что онъ нашелъ у нея въ шкатулкѣ цѣлую Калифорнію; положимъ, что онъ благополучно схоронилъ всѣ концы; положимъ, слѣдовательно, что все дѣло сложилось по его желанію во всѣхъ своихъ мельчайшихъ подробностяхъ. Что-же дальше? Какимъ образомъ онъ пуститъ ихъ именно въ то предпріятіе, которое ему всего дороже и которое заставило его рѣшиться на преступленіе? Какъ онъ ухитрится провести эти деньги въ домашнюю жизнь матери и сестры такъ, чтобы эти деньги улучшили и обезпечили ихъ существованіе, и чтобы въ то-же время мать и сестра не замѣтили этого неожиданнаго прилива денегъ и не озадачили его настоятельными вопросами на счетъ ихъ происхожденія? Соблюдая должную осторожность и постепенность, Раскольниковъ могъ-бы ускользнуть отъ подозрѣній полиціи, но ему ни въ какомъ случаѣ не удалось-бы отвести глаза тѣмъ людямъ, которые сами должны наслаждаться плодами его преступленія и которые привыкли въ бѣдности считать каждый кусокъ и беречь каждую старую тряпку.

Это можно было и надо было предвидѣть заранѣе. Съ одной стороны, Раскольниковъ не могъ и подумать о томъ, что его мать и сестра согласятся когда-нибудь помириться съ его преступленіемъ, какъ съ совершившимся фактомъ, и спокойно проживать проценты съ капитала, облитаго кровью. Съ другой стороны, если Раскольниковъ считалъ возможнымъ постоянно обманывать мать и сестру, то ему необходимо было заранѣе придумать въ отношеніи къ нимъ цѣлый сложный и обширный планъ дѣйствій, цѣлую систему тонкихъ и стройныхъ манифестацій. Между тѣмъ въ романѣ мы не находимъ ни одного намека на существованіе такого плана или такой системы. Раскольниковъ просто не додумалъ до конца и рѣшилъ свою задачу, упустивъ изъ виду одинъ изъ важнѣйшихъ ея элементовъ. Онъ успѣлъ только понять, что той дорогой, по которой идутъ честные работники, онъ идти не можетъ, потому-что эта дорога совсѣмъ не приведетъ его, или приведетъ слишкомъ поздно, къ той цѣли, которую онъ имѣетъ въ виду; затѣмъ нить размышленій оборвалась, и онъ бросился стремглавъ, очертя голову, безъ оглядки и безъ дальнѣйшихъ разсчетовъ, въ противуположную сторону, на ту грязную дорогу, которая одна

Digitized by Google

казалась ему открытой, но которая на самомъ дѣлѣ ведетъ только въ бездну.

Послѣ письма, полученнаго отъ матери, всѣ мысли до такой степени перепутываются въ головѣ Раскольникова, что убійство превращается въ его глазахъ не только въ единственный выходъ, но даже въ какой-то неумолимый долгъ. Чтобы уклониться отъ исполненія этого долга, онъ ищетъ себѣ убѣжища въ своей слабости. «Нѣтъ, я не вытерплю, не вытерплю, говоритъ онъ. Пусть, пусть даже нѣтъ никакихъ сомнѣній во всѣхъ этихъ разсчетахъ, будь это все, что рѣшено въ этотъ мѣсяцъ, ясно, какъ день, справедливо, какъ ариѳметика. Господи! вѣдь я все-же равно не рѣшусь! Я вѣдь не вытерплю; не вытерплю!.. Чего-же, чего-же я до сихъ поръ!» Признавая слабостью то чувство, которое удерживаетъ его отъ проливанія человѣческой крови, Раскольниковъ въ то-же время радуется этой слабости и ухватывается за нее, какъ за спасительный якорь. Ему становится легко и весело, когда онъ чувствуетъ эту мнимую слабость, избавляющую его отъ исполненія такого-же мнимаго долга. Подъ вліяніемъ своей мнимой слабости онъ отказывается отъ мысли объ убійствѣ и при этомъ переживаетъ такое радостное, уже давно неиспытанное ощущеніе, какъ-будто «нарывъ на сердцѣ его, нарывавшій весь мѣсяцъ, вдругъ прорвался». Но на самомъ дѣлѣ нарывъ не прорвался; облегченіе было минутное. Въ немъ выразилось только послѣднее содроганіе человѣка передъ проступкомъ, совершенно противнымъ его природѣ.

Что случилось дальше и почему случилось такъ, а не иначе, объ этомъ я поговорю съ читателями въ слѣдующей главѣ.

II.

Всѣ колебанія Раскольникова прекратились въ ту минуту, когда онъ узналъ случайно, что старуха въ такомъ-то часу, въ такой-то день останется дома одна. За мгновеніе передъ тѣмъ, какъ онъ услышалъ разговоръ, заключавшій въ себѣ это извѣстіе, онъ чувствовалъ себя свободнымъ «*отъ этихъ чаръ, отъ колдовства, обаянія, отъ наважденія*, онъ отрекся отъ *проклятой мечты* своей» и смотрѣлъ на Неву и на яркій закатъ солнца съ той тихой радостью, съ которой обыкновенно смотритъ на всю окружающую природу человѣкъ, только-что оправившійся отъ тяжелой болѣзни и понемногу возвращающійся къ жизни здоровыхъ людей. Мгновеніе спустя, когда онъ, выслушавъ внимательно и понявъ ясно каждое слово разговора, происходившаго между какимъ-то мѣщаниномъ и сестрой старухи, «онъ всѣмъ существомъ своимъ вдругъ почувствовалъ, что нѣтъ у него болѣе ни свободы разсудка, ни воли, и что все вдругъ рѣшено окончательно»; онъ пошелъ домой, «какъ приговоренный къ смерти» Этотъ переворотъ произошелъ въ немъ оттого, что обстоятельства вдругъ назначили ему для совершенія его замысла опредѣленный срокъ. Пропустить этотъ срокъ значило или совсѣмъ отказаться отъ всего предпріятія, или по крайней мѣрѣ добровольно отнять у себя нѣсколько важнѣйшихъ шансовъ успѣха.

Но, чтобы навсегда отказаться отъ плана, воспитаннаго и взлелѣяннаго нѣсколькими недѣлями уединеннаго размышленія, надо было снова передумать все съ самаго начала и кромѣ того надо было пріискать какую-нибудь новую программу, на которой можно было-бы успокоиться. На такой умственный трудъ Раскольниковъ, измученный бѣдностью, праздностью, апатіей и безобразнымъ фантазерствомъ, уже не былъ способенъ. Въ его изнемогающемъ умѣ уже не было достаточно силъ на то, чтобы уничтожить *проклятую мечту* спокойнымъ и холоднымъ размышленіемъ. Онъ могъ только ужасаться, содрогаться и чувствовать припадки конвульсивнаго отвращенія къ тѣмъ гадостямъ, на которыя его наталкивала эта *проклятая мечта*. Ужасъ и отвращеніе могли иногда доходить въ немъ до такихъ размѣровъ, при которыхъ *проклятая мечта* начинала казаться ему совершенно неосуществимой и слѣдовательно неопасной. Въ такія минуты онъ могъ праздновать свое освобожденіе отъ чаръ и смотрѣть на природу и на самого себя глазами выздоравливающаго человѣка; но ужасъ и отвращеніе, какъ-бы они ни были сильны, не могли замѣнить ему спокойное размышленіе и передѣлать по новому плану то, что уже давно было построено упорной работой мысли, пошедшей по ложному и опасному пути. Какъ только обстоятельства притиснули его къ стѣнѣ рѣшительнымъ вопросомъ, требующимъ безотлагательнаго отвѣта, такъ онъ немедленно сдѣлался безотвѣтнымъ рабомъ своей проклятой мечты.

Во время своихъ послѣднихъ приготовленій къ убійству Раскольниковъ уже не чувствовалъ ни ужаса, ни отвращенія. Онъ потерялъ способность смотрѣть на свое дѣло со стороны. Хороша или дурна его цѣль — объ этомъ онъ уже не думалъ. Все его вниманіе было обращено на подробности выполненія и сосредоточено на борьбѣ съ препятствіями. Когда онъ услышалъ бой часовъ и чей-то возгласъ о томъ, что уже седьмой часъ — онъ испугался только той мысли, что можетъ опоздать. Когда онъ увидѣлъ невозможность утащить топоръ изъ хозяйской кухни—онъ почувствовалъ только *тупую, звѣрскую злобу* противъ этого препятствія, которое въ первую минуту показалось ему неодолимымъ. Когда онъ, вслѣдъ за тѣмъ, разглядѣлъ топоръ въ дворницкой и благополучно его спряталъ къ себѣ подъ пальто,

Digitized by Google

онъ почувствовалъ только радость удачи. Словомъ, *проклятая мечта* господствовала надъ всѣмъ его существомъ и обусловливала собой всѣ его отношенія къ мелкимъ случайностямъ, встрѣтившимся на его пути. Тѣ случайности, которыя благопріятствовали осуществленію *проклятой мечты*, казались ему счастливыми и возбуждали въ немъ радость; тѣ случайности, которыя могли помѣшать успѣху предпріятія, казались ему несчастными и доводили его до бѣшенства. Тутъ очевидно Раскольниковъ уже не думалъ и не хотѣлъ думать о томъ выздоровленіи, которое радовало его наканунѣ и даже возбуждало въ немъ потребность молиться. Освобожденіе отъ чаръ было невозможно, самъ очарованный возмущался противъ тѣхъ случайностей, которыя сколько-нибудь были способны произвести это освобожденіе. Идя на квартиру старухи, Раскольниковъ не могъ думать о томъ дѣлѣ, которое ему предстояло. Придя на квартиру и пристукнувъ старуху обухомъ топора, онъ потерялъ способность думать даже о мелкихъ подробностяхъ выполненія, на которыхъ до сихъ поръ сосредоточивалось его вниманіе. Онъ растерялся, засуетился, сталъ дѣлать одну глупость за другой и избавился отъ бѣды, то-есть не попался на мѣстѣ преступленія, только благодаря совершенно исключительному стеченію счастливыхъ случайностей.

Теперь я дошелъ до поворотнаго пункта въ романѣ. Главное дѣло, составляющее центръ и узелъ этого романа, уже сдѣлано. Я старался прослѣдить шагъ за шагомъ тѣ вліянія, которыя привели Раскольникова къ катастрофѣ. Говоря о причинахъ, подготовившихъ преступленіе, я до сихъ поръ не сказалъ ни одного слова объ убѣжденіяхъ Раскольникова, объ его образѣ мыслей, о его взглядахъ на важнѣйшіе вопросы частной и общественной нравственности. Это умолчаніе не было съ моей стороны ошибкой. Въ первой части моей рецензіи я уже замѣтилъ мимоходомъ, что теоретическія убѣжденія Раскольникова не имѣли никакого замѣтнаго вліянія на совершеніе убійства. Теперь, когда настоящія причины преступленія достаточно разъяснены, я считаю не лишнимъ развить эту мысль подробно и защитить ее противъ тѣхъ возраженій, которыя могутъ быть ею вызваны.

Раскольниковъ высказываетъ нѣкоторыя изъ своихъ убѣжденій въ разговорѣ съ слѣдственнымъ приставомъ, Порфиріемъ Петровичемъ. Дѣло идетъ объ одной статьѣ, написанной Раскольниковымъ и помѣщенной въ какой-то газетѣ. Раскольниковъ слѣдующимъ образомъ разъясняетъ своему собесѣднику основную мысль этой статьи:

«Я просто-за-просто — говоритъ онъ — намекнулъ, что необыкновенный человѣкъ имѣетъ право... то-есть, не оффиціальное право, а самъ имѣетъ право разрѣшить своей совѣсти перешагнуть... черезъ иныя препятствія и единственно въ томъ только случаѣ, если исполненіе его идеи (иногда спасительной, можетъ быть, для всего человѣчества) того потребуетъ... По-моему, если-бы Кеплеровы и Ньютоновы открытія, вслѣдствіе какихъ-нибудь комбинацій, ни коимъ образомъ не могли-бы стать извѣстными людямъ иначе, какъ съ пожертвованіемъ жизни одного, десяти, ста и такъ далѣе человѣкъ, мѣшавшихъ-бы этому развитію или ставшихъ-бы на пути какъ препятствіе, то Ньютонъ имѣлъ-бы право и даже былъ-бы обязанъ... устранить этихъ десять или сто человѣкъ, чтобы сдѣлать свои открытія извѣстными всему человѣчеству. Изъ этого впрочемъ вовсе не слѣдуетъ, чтобы Ньютонъ имѣлъ право убивать кого вздумается, встрѣчныхъ и поперечныхъ, или воровать каждый день на базарѣ. Далѣе, помнится мнѣ, я развиваю въ моей статьѣ, что всѣ... ну, напримѣръ, хоть законодатели и установители человѣчества, начиная съ древнѣйшихъ, продолжая Ликургами, Солонами, Магометами, Наполеонами и такъ далѣе — всѣ до единаго были преступники, уже тѣмъ однимъ, что, давая новый законъ, тѣмъ самымъ нарушали древній, свято чтимый обществомъ и отъ отцовъ перешедшій, и ужъ конечно не останавливались и передъ кровью, если только кровь (иногда совсѣмъ невинная и доблестно пролитая за древній законъ) могла имъ помочь. Замѣчательно даже, что большая часть этихъ благодѣтелей и установителей человѣчества были особенно страшные кровопроливцы. Однимъ словомъ, я вывожу, что и всѣ, не то что великіе, но и чуть-чуть изъ колеи выходящіе люди, то есть чуть-чуть даже способные сказать что нибудь новенькое, должны, по природѣ своей, быть непремѣнно преступниками — болѣе или менѣе, разумѣется. Иначе трудно имъ выйти изъ колеи, а оставаться въ колеѣ они конечно не могутъ согласиться, опять-таки по природѣ своей, а по моему, такъ даже и обязаны не соглашаться».

Всѣми этими запутанными и сбивчивыми разсужденіями Раскольниковъ старается доказать, что преступникъ дѣлается преступникомъ потому, что стоитъ выше окружающихъ его людей. Чтобы подстроить доказательства, Раскольниковъ всѣми правдами и неправдами раздвигаетъ рамки того понятія, которое въ общеупотребительномъ разговорномъ и литературномъ языкѣ связывается съ словомъ преступникъ. Расширивъ это понятіе и сдѣлавъ его по возможности неопредѣленнымъ, Раскольниковъ подводитъ подъ него все, что ему угодно, и облагораживаетъ дѣятельность воровъ и разбойниковъ, завербовывая въ ихъ компанію всѣхъ замѣчательныхъ людей, оставившихъ слѣды своего существованія и вліянія въ исторіи чело-

Digitized by Google

вѣчества. Натяжки, на которыхъ построена эта странная теорія, и бѣлыя нитки, которыми она сшита, бросаются въ глаза каждому сколько нибудь внимательному читателю. Изъ законодателей и установителей человѣчества очень многіе дѣйствительно были преступниками, то есть похитителями чужой собственности. Эти многіе дѣйствительно могутъ стоять рядомъ съ ворами и грабителями, но ихъ вступленіе въ это общество не приноситъ ни малѣйшей пользы ихъ болѣе мелкимъ товарищамъ и нисколько не облагораживаетъ ихъ общихъ занятій, которыя однимъ доставили безсмертіе, а другимъ—уголовныя наказанія. Эти многіе оказываются преступниками совсѣмъ не потому, что замѣнили древній законъ новымъ, а отъ того, что, по своей дикой прихоти, по своему корыстолюбію или властолюбію, раздавили на своемъ пути много человѣческихъ существованій и отняли у многихъ работниковъ продукты ихъ честнаго труда.

Что *большая часть этихъ благодѣтелей и установителей человѣчества были особенно страшными кровопроливцами*— это доказываетъ совсѣмъ не то, что проливаніе человѣческой крови очень похвально и полезно, а только то, что человѣчество, по простотѣ своей коллективной души и по своей извѣстной ребяческой слабости къ блеску и грохоту, къ яркимъ краскамъ и рѣзкимъ звукамъ, до сихъ поръ считаетъ своими благодѣтелями такихъ людей, которые очевидно причинили ему, этому добродушному и довѣрчивому человѣчеству, гораздо больше вреда, чѣмъ пользы. Что кровопролитіе бываетъ иногда неизбѣжно и ведетъ за собой самыя благодѣтельныя послѣдствія—это извѣстно каждому человѣку, умѣющему понимать причинную связь историческихъ событій. Но это обстоятельство ровно ничего не доказываетъ въ пользу того права, которое Раскольниковъ присваиваетъ необыкновеннымъ людямъ. Произвольное устраненіе живыхъ людей и безцеремонное шаганіе черезъ препятствія во всякомъ случаѣ остается дѣломъ очень вреднымъ, и слѣдовательно въ высшей степени преступнымъ, т. е. совершенно предосудительнымъ. Кровопролитіе становится неизбѣжнымъ вовсе не тогда, когда его желаетъ устроить какой нибудь необыкновенный человѣкъ; вовсе не тогда, когда какое нибудь живое препятствіе мѣшаетъ этому необыкновенному человѣку осуществить свою личную идею или фантазію, а только тогда, когда двѣ большія группы людей, двѣ націи или двѣ сильныя партіи рѣзко и рѣшительно расходятся между собой въ своихъ намѣреніяхъ и желаніяхъ. Когда этимъ двумъ противнымъ сторонамъ невозможно договориться до удовлетворительнаго результата, когда не остается никакой возможности покончить дѣло соглашеніемъ или полюбовнымъ размежеваніемъ столкнувшихся и перепутавшихся интересовъ, когда нѣтъ возможности разъяснить заблуждающейся сторонѣ посредствомъ спокойнаго научнаго анализа, въ чемъ состоятъ ея настоящія выгоды и въ чемъ заключается ошибочность и неосуществимость ея требованій—тогда разумѣется остается только начать драку и драться до тѣхъ поръ, пока правое дѣло не восторжествуетъ. Но и здѣсь, въ этихъ случаяхъ, роль необыкновенныхъ людей, правильно понимающихъ свое назначеніе, состоитъ совсѣмъ не въ томъ, чтобы порождать и поддерживать драку. Прежде, чѣмъ дѣло дойдетъ до кровопролитія, необыкновенные люди, то есть самые умные и самые честные люди даннаго общества, всѣми силами стараются о томъ, чтобы предупредить это кровопролитіе и чтобы произвести какъ можно спокойнѣе ту перемѣну, которой требуютъ обстоятельства, и которой необходимость уже чувствуется и даже сознается значительной частью заинтересованной націи.

Необыкновенные люди стараются открыть глаза своимъ соотечественникамъ и современникамъ, разъяснить имъ настоящее положеніе дѣлъ, направить ихъ къ мирному и безобидному выходу изъ затруднительнаго положенія и доказать имъ необходимость обширныхъ и добровольныхъ уступокъ тому теченію идей, которое называется духомъ времени и которое порождается общими причинами и условіями, а никакъ не выдумками и усиліями какихъ нибудь необыкновенныхъ людей. Честные и умные совѣты необыкновенныхъ людей очень часто остаются непонятыми или даже невыслушанными; страсти спорящихъ сторонъ разгораются; разрывъ становится неминуемымъ; и тогда необыкновенные люди, убѣдившись раньше массы въ неизбѣжности открытой борьбы, изъ роли благоразумныхъ совѣтниковъ переходятъ въ роль воиновъ и полководцевъ. Они становятся рѣшительно на ту сторону, стремленія которой совпадаютъ съ истинными выгодами данной націи и всего человѣчества, они группируютъ вокругъ себя своихъ единомышленниковъ, они организуютъ, дисциплинируютъ и воодушевляютъ своихъ будущихъ сподвижниковъ, и затѣмъ, смотря по обстоятельствамъ, выжидаютъ нападенія противниковъ, или наносятъ сами первый ударъ. Когда борьба начата, все вниманіе необыкновенныхъ людей устремляется на то, чтобы какъ можно скорѣе покончить кровопролитіе, но разумѣется покончить такъ, чтобы вопросъ, породившій борьбу, оказался дѣйствительно рѣшеннымъ, и чтобы условія примиренія не заключали въ себѣ двусмысленныхъ комбинацій и уродливыхъ компромиссовъ, способныхъ, при первомъ удобномъ случаѣ, произвести новое кровопролитіе. Ни передъ борьбой, ни во время борьбы, ни послѣ ея окончанія, необыкновенные люди, которыми можетъ и должно гордиться

Digitized by Google

человѣчество, не являются любителями и виновниками кровопролитія. Кровь льется не потому, что въ данномъ обществѣ, въ данную минуту дѣйствуютъ необыкновенные люди, а потому, что дѣятельность этихъ необыкновенныхъ людей не можетъ перевѣсить собою массу человѣческаго неблагоразумія, узкаго своекорыстія и близорукаго упрямства. Кровь льется совсѣмъ не для того, чтобы подвигать впередъ общее дѣло человѣчества; напротивъ того, это общее дѣло подвигается впередъ, *несмотря* на кровопролитія, а никакъ не *вслѣдствіе* кровопролитій; виновниками кровопролитій бываютъ вездѣ и всегда не представители разума и правды, а поборники невѣжества, застоя и безправія. Доказать, что какой нибудь историческій дѣятель былъ страшнымъ кровопроливцемъ, то есть что дѣйствительно кровь лилась по его личному желанію и распоряженію, а не вслѣдствіе тѣхъ обстоятельствъ, среди которыхъ онъ былъ поставленъ и надъ которыми онъ былъ властенъ, значитъ доказать тѣмъ самымъ, что этотъ дѣятель былъ врагомъ человѣчества, и что его примѣръ ни для кого и ни для чего не можетъ служить оправданіемъ.

Необыкновенные люди именно тѣмъ и необыкновенны, что они умѣютъ додумываться до такихъ истинъ, которыя еще остаются неизвѣстными ихъ современникамъ. Тѣ необыкновенные люди, которые всего больше желаютъ и умѣютъ оставаться вѣрными своему естественному назначенію, то есть приносить людямъ какъ можно больше пользы—должны только добывать новыя истины, доводить ихъ до всеобщаго свѣдѣнія, защищать ихъ противъ старыхъ заблужденій и убѣждать людей въ необходимости перестроивать жизнь сообразно съ новыми истинами. Идя по этому пути, необыкновенные люди никакъ не могутъ сдѣлаться страшными кровопроливцами; уклоняясь отъ этого пути и призывая насильственныя мѣры на помощь къ такимъ идеямъ, которыя могутъ и должны торжествовать силою своей собственной разумности и внутренней убѣдительности, необыкновенные люди въ значительной степени перестаютъ быть необыкновенными и начинаютъ обнаруживать ту нетерпѣливую близорукость, которой отличаются всѣ ихъ дюжинные современники. Рѣшаясь проливать кровь во имя идеи, необыкновенные люди измѣняютъ своему естественному назначенію, компрометируютъ свою идею, дискредитируютъ ее и замедляютъ ея успѣхи именно тѣми насильственными мѣрами, которыми они стараются доставить ей быстрое и вѣрное торжество.

Великіе дѣятели науки, по самому роду своихъ занятій, всего менѣе могутъ уклониться отъ естественнаго назначенія необыкновенныхъ людей и сбиться въ сторону на скользкую и опасную дорогу насильственныхъ мѣръ. Въ ихъ дѣятельности нѣтъ мѣста для кровопролитія; ихъ руки совершенно чисты и всегда останутся чистыми; они могутъ только убѣждать людей, а не приневоливать ихъ; съ той минуты, какъ великій мыслитель вздумалъ бы употреблять насильственныя мѣры противъ невѣжественныхъ и тупоумныхъ противниковъ своей доктрины, онъ пересталъ бы быть великимъ мыслителемъ, онъ сдѣлался бы врагомъ безпристрастнаго изслѣдованія и свободнаго мышленія, онъ сдѣлался бы преступникомъ противъ всего человѣчества, вреднѣйшимъ изъ вредныхъ негодяевъ и, по всѣмъ правамъ, занялъ бы въ исторіи почетное мѣсто рядомъ съ испанскими инквизиторами. Представить себѣ Ньютона или Кеплера въ такомъ положеніи, въ которомъ они, изъ любви къ идеѣ, обязаны были бы устранить хоть одного живого человѣка или пролить хоть одну каплю человѣческой крови—еще гораздо труднѣе, чѣмъ представить себѣ, что Кеплеръ и Ньютонъ, состоя въ чинѣ необыкновенныхъ людей, пользуются своими исключительными правами для того, чтобы убивать встрѣчныхъ и поперечныхъ, или воровать каждый день на базарѣ. Но Раскольникову до такой степени хочется превратить всѣхъ великихъ людей въ уголовныхъ преступниковъ и всѣхъ уголовныхъ преступниковъ въ великихъ людей, что онъ не останавливается даже и передъ самымъ невозможнымъ предположеніемъ.

Что Ньютонъ и Кеплеръ не сдѣлались уголовными преступниками, что они не стоили человѣчеству ни одной капли крови и ни одной слезы—это, по мнѣнію Раскольникова, счастливая случайность. Измѣните условія, при которыхъ они жили и дѣйствовали, поставьте ихъ въ другое положеніе, и вотъ сейчасъ эти самые Кеплеръ и Ньютонъ, оставаясь по прежнему великими мыслителями и благодѣтелями человѣчества, обзаведутся палачами или подкупными убійцами и сдѣлаются страшными кровопроливцами, старшими братьями рядовыхъ бандитовъ.—Этимъ предположеніемъ Раскольниковъ доказываетъ совсѣмъ не то, что онъ старается доказать. Этимъ предположеніемъ онъ доводитъ самого себя до очевиднѣйшаго абсурда и наноситъ смертельный ударъ своей странной теоріи. Стараясь придумать для благодѣтелей человѣчества такое положеніе, при которомъ они были бы принуждены рѣшиться на преступленіе, онъ показываетъ самымъ наглядным образомъ, что для настоящихъ благодѣтелей такое положеніе совершенно невозможно. Спрашивается, въ самомъ дѣлѣ, какимъ образомъ жизнь одного человѣка, или десяти, или ста человѣкъ, и такъ далѣе, можетъ помѣшать распространенію истинъ, открытыхъ Кеплеромъ и Ньютономъ? Предположите напримѣръ, что одинъ человѣкъ, или десять, или сто, занимаютъ такое высокое положеніе и располагаютъ

Digitized by Google

такимъ количествомъ матеріальной силы, что они могутъ совершенно запретить чтеніе лекцій и печатаніе книгъ, въ которыхъ излагаются доктрины Кеплера и Ньютона. Значитъ ли это, что именно этотъ одинъ человѣкъ, или десять, или сто мѣшаютъ распространенію спасительныхъ истинъ? Нисколько не значитъ. Распространенію истинъ мѣшаютъ все-таки не тѣ люди, которые сопротивляются чтенію лекцій и печатанію книгъ, а все-таки тѣ общія условія, благодаря которымъ такіе люди занимаютъ высокое положеніе и располагаютъ значительнымъ количествомъ матеріальной силы.

Если бы Кеплеръ и Ньютонъ рѣшились дѣйствовать по рецепту Раскольникова, и если бы имъ удалось устранить какое нибудь живое препятствіе, то на мѣстѣ этого благополучно устраненнаго препятствія тотчасъ появилось бы другое, на мѣстѣ другого — третье, потому что общія условія, порождающія такія препятствія, остались бы нетронутыми. Общими условіями оказываются въ подобныхъ случаяхъ невѣжество, умственная неподвижность, робкая безгласность и дикіе предразсудки массы. Противъ этихъ общихъ условій невозможно дѣйствовать насильственными средствами. Стало быть, пока общія условія дѣлаютъ возможнымъ существованіе и дѣятельность сильныхъ противниковъ научной истины, до тѣхъ поръ Кеплеры и Ньютоны должны дѣйствовать не противъ этого существованія, а противъ общихъ условій, которыя могутъ быть измѣнены только путемъ настойчиваго и неутомимаго проповѣдыванія той же самой научной истины. Изъ любви къ этой истинѣ, необыкновенные люди, подобные Кеплеру и Ньютону, становились иногда мучениками, но никакая любовь къ идеѣ никогда не могла превратить ихъ въ мучителей, по той простой причинѣ, что мученія никого не убѣждаютъ, и слѣдовательно, никогда не приносятъ ни малѣйшей пользы той идеѣ, во имя которой они производятся.

Какимъ путемъ Раскольниковъ могъ дойти до основныхъ положеній своей дикой теоріи? Откуда могла залетѣть въ его голову мысль о томъ, что въ каждомъ преступникѣ скрывается неудавшійся, недодѣланный или возникающій великій человѣкъ? Откуда взялась у него потребность дѣлить людей на обыкновенныхъ и необыкновенныхъ? Какія вліянія, какіе разговоры съ людьми, или какое чтеніе заставили его, съ одной стороны, дать необыкновеннымъ людямъ такія обширныя полномочія, въ которыхъ они даже вовсе не нуждаются, и съ другой стороны, осудить обыкновенныхъ людей на унизительную и мучительную роль пушечнаго мяса? Почему наконецъ ему понадобилось сдѣлать то уродливое предположеніе, которое завершаетъ и тотчасъ же опрокидываетъ собою его теорію — то предположеніе, что при извѣстныхъ условіяхъ Кеплеръ и Ньютонъ могли и даже обязаны были устранять живыхъ людей?

Мнѣ кажется, что Раскольниковъ не могъ заимствовать свои идеи ни изъ разговоровъ съ своими товарищами, ни изъ тѣхъ книгъ, которыя пользовались и пользуются до сихъ поръ успѣхомъ въ кругу читающихъ и размышляющихъ молодыхъ людей. Въ настоящее время нѣтъ ни одного замѣчательнаго мыслителя или свѣдущаго историка, который бы думалъ и доказывалъ публично, что какія бы то ни было личныя дарованія могутъ замедлить или ускорить, или поворотить назадъ, или свернуть въ сторону естественное теченіе историческихъ событій. Чѣмъ внимательнѣе вглядываются изслѣдователи въ смыслъ и послѣдовательное развитіе историческихъ фактовъ, тѣмъ сильнѣе и окончательнѣе убѣждаются они въ томъ, что отдѣльная личность, какими бы громадными силами она ни была одарена, можетъ сдѣлать какое нибудь прочное дѣло только тогда, когда она дѣйствуетъ за одно съ великими общими причинами, то есть съ характеромъ, образомъ мыслей и насущными потребностями данной націи. Когда она дѣйствуетъ на перекоръ этимъ общимъ причинамъ, то ея дѣло погибаетъ вмѣстѣ съ нею или даже при ея жизни. Когда же она, въ своей дѣятельности, сообразжается съ духомъ времени и народа, тогда она дѣлаетъ только то, что сдѣлалось бы непремѣнно и помимо ея воли, что настоятельно требуется обстоятельствами минуты, и что, при ея отсутствіи или бездѣйствіи, было бы въ свое время выполнено такъ же удовлетворительно какою нибудь другой личностью, сформировавшейся при тѣхъ же вліяніяхъ и воодушевленной тѣми же стремленіями. Человѣчество, по мнѣнію всѣхъ новыхъ и новѣйшихъ мыслителей, развивается и совершенствуется вслѣдствіе коренныхъ и неистребимыхъ свойствъ своей собственной природы, а никакъ не по милости остроумныхъ мыслей, зарождающихся въ головахъ немногихъ избранныхъ геніевъ. Человѣчество, по мнѣнію тѣхъ-же мыслителей, состоитъ изъ множества отдѣльныхъ личностей, очень неодинаково одаренныхъ природой, но ни одна изъ этихъ личностей, какими-бы богатыми дарами ни осыпала ее природа, не имѣетъ разумнаго основанія думать, что ея голова заключаетъ въ себѣ будущность всей ея породы, или по крайней мѣрѣ всей ея націи. Ни одна изъ этихъ личностей, какъ-бы она ни была геніальна, не имѣетъ разумнаго основанія, во имя этой будущности или во имя своей геніальности, разрѣшать себѣ такіе поступки, которые вредятъ другимъ людямъ и вслѣдствіе этого считаются непозволительными для обыкновенныхъ смертныхъ. Что́ хорошо въ простомъ человѣкѣ, то хорошо и въ геніи; что́ дурно въ первомъ, то

Digitized by Google

дурно также и въ послѣднемъ. Многое можетъ быть объяснено и даже оправдано силою тѣхъ страстей, которыя возбуждаются въ геніальномъ человѣкѣ ожесточеніемъ великой борьбы; но если, поддаваясь вліянію этихъ страстей, геніальный человѣкъ раздавилъ то, что могло и должно было жить, то историкъ въ этомъ рѣзкомъ и насильственномъ поступкѣ увидитъ все-таки проявленіе слабости, которое должно служить людямъ поучительнымъ предостереженіемъ, а никакъ не выраженіе геніальности и силы, долженствующее вызвать въ другихъ людяхъ восторженное соревнованіе. Словомъ, съ точки зрѣнія тѣхъ мыслителей, которыхъ произведенія господствуютъ надъ умами читающаго юношества, дѣленіе людей на геніевъ, освобожденныхъ отъ дѣйствія общественныхъ законовъ, и на тупую чернь, обязанную раболѣпствовать, благоговѣть и добродушно покоряться всякимъ рискованнымъ экспериментамъ, оказывается совершенной нелѣпостью, которая безвозвратно опровергается всей совокупностью историческихъ фактовъ. Знакомясь съ произведеніями этихъ мыслителей и пріучаясь смотрѣть на вещи съ ихъ точки зрѣнія, Раскольниковъ отнялъ-бы у себя всякую возможность проводить натянутыя параллели между уголовными преступниками и великими людьми. Онъ убѣдился-бы въ томъ, что эти параллели не принесутъ ни малѣйшей пользы уголовнымъ преступникамъ, во-первыхъ потому, что величіе тѣхъ великихъ людей, которые еслибъ и имѣли съ преступниками нѣкоторыя точки соприкосновенія, само по себѣ очень сомнительно, а во-вторыхъ потому, что тѣ стороны, которыми эти сомнительно великіе люди соприкасаются съ уголовными преступниками, все-таки составляютъ въ ихъ біографіяхъ самыя темныя и грязныя пятна. Читая мыслящихъ историковъ или разсуждая объ историческихъ фактахъ съ умными и работящими студентами-товарищами, Раскольниковъ въ особенности убѣдился-бы въ томъ, что люди, подобные Ньютону и Кеплеру, никогда не пользовались кровопролитіемъ, какъ средствомъ популяризировать свои доктрины, никогда не были поставлены въ необходимость устранять какихъ нибудь обскурантовъ, мѣшавшихъ распространенію ихъ идей, даже никогда не могли-бы попасть въ такое странное и унизительное положеніе, еслибы даже для нихъ нарочно была придумана и устроена какая-нибудь самая неправдоподобная комбинація.

Теорія Раскольникова не имѣетъ ничего общаго съ тѣми идеями, изъ которыхъ складывается міросозерцаніе современно развитыхъ людей. Эта теорія выработана имъ въ зловѣщей тишинѣ глубокаго и томительнаго уединенія; на этой теоріи лежитъ печать его личнаго характера и того исключительнаго положенія, которымъ была порождена его апатія. Раскольниковъ написалъ свою статью *о преступленіи* за полгода до того времени, когда онъ убилъ старуху, и вскорѣ послѣ того, какъ онъ вышелъ изъ университета по неимѣнію денежныхъ средствъ. Тѣ мысли, которыя выразились въ его статьѣ, были продуктами того самаго положенія, которое впослѣдствіи, истощивши по каплѣ всю его энергію и извративши его замѣчательныя умственныя способности, заставило его обдумать во всѣхъ подробностяхъ, тщательно приготовить и успѣшно выполнить грязное преступленіе. Когда Раскольниковъ рѣшился оставить университетъ, онъ уже, по всей вѣроятности, находился въ очень бѣдственномъ положеніи. Никакое трудолюбіе, никакая добросовѣстность въ исполненіи работъ, никакая затрата силы и энергіи не могли доставить ему ни такого обѣда, который покрывалъ-бы текущіе расходы его молодого организма, ни такого платья, которое достаточно защищало-бы его отъ холода, сырости и нечистоты, ни такого жилища, въ которомъ его легкія находили-бы себѣ достаточное количество свѣжаго воздуха.

Жизнь въ каждую данную минуту, на каждомъ шагу, въ каждомъ изъ его мельчайшихъ ощущеній, накладывала на него свою грубую и грязную руку, дразнила и щипала его, теребила и шпыняла его, словомъ, мучила и обижала его такъ, какъ толпа шаловливыхъ школьниковъ можетъ обижать и мучить новичка, только-что поступившаго въ училище и еще неуспѣвшаго зарекомендовать себя товарищамъ съ хорошей стороны. Раскольникову надо читать или писать — вдругъ у него въ подсвѣчникѣ гаснетъ послѣдній огарокъ, а купить свѣчи не на что; Раскольникову надо идти на урокъ куда-нибудь верстъ за пять — а на улицѣ проливной дождь, который пронизываетъ его до костей сквозь его тощую шинелишку, а подъ ногами такая непроходимая грязь, которая съ неудержимой силой врывается въ его ветхіе сапоги; приходитъ онъ съ этого урока домой голодный, утомленный десяти-верстовымъ путешествіемъ, измученный непонятливостью и капризами избалованнаго мальчишки, съ тяжелой головой, съ мокрыми, грязными и окоченѣвшими ногами — а дома свѣжо и холодно, печка не топлена, изъ окна дуетъ, за дверью бранятся какія-то кухарки или пищатъ чьи-то ребятишки, въ комодѣ или въ чемоданѣ нѣтъ ни одной пары чистыхъ носковъ; самовара не допросишься, да впрочемъ не зачѣмъ его и спрашивать, потому что уже дней пять тому назадъ истреблены послѣдняя щепотка чаю и послѣдній кусокъ сахару. Все это конечно мелочи; ко всему этому можно относиться издали съ великолѣпнѣйшимъ стоическимъ равнодушіемъ; въ отношеніи ко всему этому можно превосходнѣйшимъ образомъ рекомендовать другому человѣку великодушное терпѣніе и непоколебимое мужество. Но когда

Digitized by Google

вся жизнь состоитъ изъ такихъ мелочей, когда одна мучительная мелочь слѣдуетъ за другой мелочью, такой же мучительной, когда человѣкъ постоянно попадаетъ съ булавки на булавку, когда этимъ булавкамъ не предвидится конца и когда человѣкъ видитъ и понимаетъ, что, при ужаснѣйшемъ напряженіи всѣхъ своихъ силъ, онъ можетъ только поддерживать этотъ много-булавочный statusquo,—тогда...тогда невозможно разсчитать заранѣе, въ какихъ безумныхъ планахъ и въ какихъ безобразныхъ галлюцинаціяхъ выразится уныніе, озлобленіе, отчаяніе и бѣшенство этого человѣка, котораго люди и обстоятельства со всѣхъ сторонъ продолжаютъ колоть булавками въ его незажившія и незаживающія раны.

Какого-же рода мысли должны зарождаться въ головѣ Раскольникова, когда онъ, воротившись съ грошоваго урока, располагается у себя дома, въ своей тѣсной, сырой и душной берлогѣ? Вотъ онъ стащилъ съ себя свою загрязненную обувь и завалился на свой узкій и жесткій диванъ, который уже давно старается натереть ему мозоли на ребрахъ и на кострецахъ. Задаетъ онъ себѣ самый простой и естественный вопросъ: много-ли онъ получитъ за свою десятиверстную бѣготню, за промоченныя ноги, за испорченные сапоги и за полтора часа возни съ безтолковымъ мальчикомъ, который думаетъ о бабкахъ и о бумажномъ змѣѣ, когда ему надо размышлять о числителѣ и знаменателѣ и ловить съ почтительной благодарностью каждое слово добросовѣстнаго преподавателя. Оказывается, что получитъ онъ полтинникъ. Полтинникъ считается красной цѣной въ мірѣ тѣхъ студентовъ, которые по бѣдности бываютъ иногда поставлены въ необходимость на время выходить изъ университета. «Уроки выходили — говоритъ Раскольниковъ Сонѣ, доказывая ей, что, собственно говоря, онъ имѣлъ нѣкоторую возможность содержать себя работой. *По полтинничку предлагали*». Здѣсь о полтинникѣ говорится даже съ уваженіемъ: ужъ если по полтиннику предлагали, такъ значитъ и толковать нечего; ясное дѣло, что жить было можно и что уныніе было совершенно неумѣстно. Итакъ, получитъ онъ полтинникъ. Положимъ, что счастье улыбнется ему, и что судьба пошлетъ ему, круглымъ счетомъ, по такому-же уроку на каждый день; въ мѣсяцъ это составитъ тридцать уроковъ, а на деньги пятнадцать рублей. Дальше этого предѣла не могутъ простираться самыя смѣлыя и размашистыя его мечты. Уроки, даже такіе невыгодные, достаются съ трудомъ. На каждый урокъ имѣется по нѣскольку голодныхъ претендентовъ. Добыть урокъ значитъ одержать немаловажную побѣду надъ двумя, тремя менѣе счастливыми соперниками. Раскольниковъ, какъ особеннымъ счастіемъ, котораго онъ въ свое время не умѣлъ оцѣнить по достоинству,— хвалится тѣмъ, что ему *уроки выходили* и *по полтиннику предлагали*. Итакъ, пятнадцать рублей въ мѣсяцъ - Геркулесовы столбы доступнаго ему благосостоянія, такіе Геркулесовы столбы, до которыхъ онъ быть можетъ не доплыветъ втеченіе цѣлаго года, и на которыхъ ему придется, по всей вѣроятности, остановиться надолго, быть можетъ лѣтъ на пять или на шесть. И это лучшій изъ возможныхъ и правдоподобныхъ исходовъ. И при этомъ лучшемъ исходѣ онъ всетаки видитъ передъ собой необозримо длинный рядъ такихъ сѣрыхъ и темныхъ дней, въ которыхъ каждая минута будетъ отмѣчена какимъ-нибудь чувствительнымъ лишеніемъ, какой-нибудь крошечной болью, какимъ-нибудь мелкимъ столкновеніемъ, мучительно напоминающимъ гордому, страстному, умному и впечатлительному человѣку, что всѣ радости жизни, все то, что онъ умѣетъ понять и оцѣнить своимъ тонкимъ и гибкимъ умомъ, все то, чего онъ умѣетъ желать всѣми силами своего кипучаго темперамента, что всѣ эти радости и наслажденія существуютъ и почти навѣрное всегда будутъ существовать не для него.

А что же будетъ при менѣе счастливомъ исходѣ? И какъ возможенъ, какъ ужасно правдоподобенъ, какъ почти неизбѣженъ такой менѣе счастливый исходъ! Вотъ онъ чувствуетъ, какъ у него трещитъ голова и холодѣютъ промоченныя ноги и происходитъ въ горлѣ и въ груди что-то такое, предвѣщающее сильный простудный кашель. Что же это будетъ? Долго-ли выдержитъ его здоровье? Удастся-ли ему пересилить себя и переломить начинающуюся болѣзнь? Что тогда? Что будетъ, если онъ свалится недѣли на три? Какъ онъ потомъ снова поднимется на ноги и обзаведется новыми работами? И это жизнь! Голодать, зябнуть, задыхаться въ конурѣ, отказывать себѣ во всякомъ маломальски пріятномъ ощущеніи, тратить силы и время на безсмысленную, ненавистную и неблагодарную работу, и при этомъ еще каждую минуту бояться, что вотъ-вотъ все это подъ тобой подломится, и полетишь ты внизъ, въ какую-то темную пропасть, на днѣ которой тебя ожидаетъ мучительная голодная смерть. Такого рода размышленіямъ Раскольниковъ долженъ былъ предаваться каждый разъ, когда онъ оставался наединѣ съ самимъ собою. А оставался онъ наединѣ съ самимъ собою очень часто, потому что онъ, по основнымъ свойствамъ своего характера, не любилъ сближаться съ людьми. Чѣмъ мрачнѣе становилось его душевное настроеніе. чѣмъ ближе приступали къ нему нищета и отчаяніе, чѣмъ сильнѣе онъ нуждался въ дружеской помощи, въ братскомъ сочувствіи или даже просто въ веселомъ и беззаботномъ разговорѣ съ бодрыми и умными товарищами, въ такомъ разговорѣ, который заставилъ бы

Digitized by Google

его забыть на минуту булавки пастоящаго, мелочи душной конуры, хозяйской кухни и хозяйскаго ворчанья,— тѣмъ упорнѣе онъ отворачивался отъ людей, запирался въ своей берлогѣ и углублялся въ свои горькія размышленія, изъ которыхъ ничего не могло выйти, кромѣ безсмыслицы въ теоріи и грязнаго паденія на практикѣ. Исходной точкой для такихъ горькихъ размышленій могла служить каждая ничтожнѣйшая мелочь: то уличная грязь, напоминавшая Раскольникову, что калоши его давно разваливаются, то новая прорѣха, усмотрѣнная на сюртукѣ или на пальто, то кусокъ говядины, поданный ему на обѣдъ и похожій на связку мочалы, то заношенная рубашка, которую нечѣмъ было замѣнить. А въ результатѣ размышленій всегда получалось одно и то же бѣшеное проклятіе противъ такой жизни, которая не даетъ человѣку ничего, кромѣ горя и мучительнаго сознанія собственнаго безсилія. На этомъ результатѣ такой раздражительный и самолюбивый человѣкъ, какъ Раскольниковъ, не могъ остановиться навсегда. Мысль его непремѣнно должна была пойти дальше. Онъ долженъ былъ, въ припадкѣ бѣшенства и отчаянія, задать себѣ вопросъ: дѣйствительно ли онъ такъ безсиленъ, какъ это ему кажется? Не отъ того ли происходитъ его безсиліе, что онъ самъ считаетъ себя безсильнымъ? Не преувеличиваетъ ли онъ крѣпость тѣхъ заборовъ, которые отдѣляютъ его отъ теплаго и свѣтлаго міра матеріальнаго благосостоянія и разнообразно-полнаго наслажденія всѣми благами жизни? Не отъ того ли эти заборы кажутся ему такими высокими и крѣпкими, что ему никогда не приходило въ голову ни перепрыгнуть черезъ нихъ, ни проломить въ нихъ какую нибудь лазейку? Не отъ того ли его положеніе кажется ему безвыходнымъ, что онъ нарочно отвертывается отъ нѣкоторыхъ выходовъ, по недостатку рѣшимости и умственной смѣлости? Не подумать ли объ этихъ выходахъ? Не попробовать ли? Не рискнуть ли? Подумать во всякомъ случаѣ не мѣшаетъ. Человѣкъ долженъ быть неустрашимымъ въ области мысли, и кромѣ того отъ размышленій никакой бѣды произойти не можетъ.

Такимъ образомъ мысль Раскольникова вступила на новый путь изслѣдованія, на такой путь, который могъ открыться передъ ней только тогда, когда Раскольниковъ, озлобленный лишеніями и утомленный неблагодарной работой, отвернулся отъ своихъ товарищей, уединился въ свою конуру, гдѣ стѣны и потолки *тѣснятъ душу и умъ*, и распродалъ или забросилъ свои книги и тетради. Ни отъ товарищей, ни изъ книгъ Раскольниковъ не могъ добыть себѣ ту дикую мысль, что, кромѣ упорнаго труда, существуютъ еще какія нибудь другія удобныя средства выбиться изъ затруднительнаго положенія. Эта мысль, къ которой отнеслись-бы съ презрѣніемъ или съ насмѣшкой всѣ товарищи, эта мысль, въ которой и товарищи, и авторы книгъ, прочитанныхъ Раскольниковымъ, увидали-бы продуктъ болѣзненнаго настроенія, эта мысль могла созрѣть и укорениться только тогда, когда некому было смотрѣть на нее со стороны. Эта мысль была не продуктомъ той теоріи, которую я разсматривалъ выше, а напротивъ того, ея зародышемъ и основаніемъ. Вся теорія развилась изъ этой мысли, а эта мысль родилась въ Раскольниковѣ потому, что мучительность его положенія превышала размѣры его силъ и мужества.

Чѣмъ пристальнѣе Раскольниковъ вглядывался и вдумывался въ свое положеніе, тѣмъ ненавистнѣе становился ему правильный и упорный трудъ, цѣной котораго онъ могъ покупать себѣ только жалкое прозябаніе, переполненное всевозможными лишеніями, страданіями и униженіями. Вѣра въ спасительность труда была подорвана. Утомительный трудъ, съ его грошовымъ вознагражденіемъ, сталъ казаться Раскольникову печатью проклятья и отверженія, которую судьба кладетъ на тупоумныхъ и трусливыхъ людей, неумѣющихъ или нежелающихъ хватать насиліемъ или обманомъ то, что можетъ попасться имъ подъ руку и улучшить ихъ положеніе. Раскольниковъ началъ чувствовать и сознавать, что мысль о быстрой и легкой наживѣ какими-бы то ни было средствами силою врывается въ его умъ и овладѣваетъ всѣмъ его существомъ. На первыхъ порахъ эта мысль должна была удивить, озадачить и даже испугать нашего героя. Она должна была породить въ немъ мучительную внутреннюю борьбу. Раскольниковъ могъ почувствовать къ себѣ за эту мысль довольно сильное презрѣніе; онъ могъ сказать себѣ, что онъ просто не вынесъ тяжелой борьбы съ обстоятельствами, раскисъ, упалъ духомъ, опустился и позволилъ себѣ дойти до самаго края грязной пропасти. Этотъ взглядъ былъ-бы конечно единственнымъ правильнымъ взглядомъ. Но онъ былъ возможенъ только до тѣхъ поръ, пока у Раскольникова еще оставалось въ наличности достаточно умственной трезвости и силы характера, чтобы удержаться отъ окончательнаго паденія. За этимъ строгимъ и вѣрнымъ взглядомъ на самого себя должна была послѣдовать крутая реакція, вслѣдствіе которой лежаніе на диванѣ и размышленіе о быстрой наживѣ должны были смѣниться взрывомъ страстной любви ко всякой честной работѣ, какъ-бы ни была она утомительна, безсмысленна и неблагодарна. Но силы Раскольникова уже были истощены. Работа была ему противна. Мысль о легкой и быстрой наживѣ находила себѣ мало отпора въ его ослабѣвшемъ умѣ и легко одерживала одну побѣду за другой надъ тѣми возраженіями, ко-

Digitized by Google

торыя она встрѣчала себѣ въ остаткахъ его прежняго юношески-честнаго образа мысли. Но эта мысль все-таки была въ его головѣ чѣмъ-то совершенно новымъ и непривычнымъ, а Раскольниковъ былъ слишкомъ тонкимъ аналитикомъ, чтобы не замѣтить въ себѣ присутствія этого новаго и притомъ такого важнаго элемента. А замѣтивъ его, онъ непремѣнно долженъ былъ задать себѣ вопросъ о томъ, какъ-же ему относиться къ этому новому элементу, дружелюбно или враждебно, съ уваженіемъ или съ презрѣніемъ, со страхомъ или съ надеждой. Съ одной стороны, враждебныя отношенія Раскольникова къ этому новому элементу никакъ не могли установиться прочно и окончательно, потому что, ненавидя и презирая такую мысль, которая завоевала себѣ господство надъ всѣми его умственными способностями, Раскольниковъ былъ-бы поставленъ въ необходимость ненавидѣть и презирать самого себя. Съ другой стороны, эти враждебныя отношенія, на которыхъ умъ Раскольникова никакъ не могъ остановиться и успокоиться, были неизбѣжны въ началѣ его знакомства съ новой мыслью, именно потому, что эта мысль была уже черезчуръ нова и составляла слишкомъ рѣзкій и неожиданный диссонансъ со всѣмъ его прежнимъ юношескимъ и студенческимъ пониманіемъ жизни. Эти враждебныя отношенія были для Раскольникова настолько же мучительны, насколько и неизбѣжны; ему надо было во что бы то ни стало покончить въ самомъ себѣ тотъ внутренній разладъ, который былъ порожденъ естественной враждебностью его отношеній къ самой сильной и упорной изъ его задушевныхъ мыслей; разладъ этотъ можно было уничтожить, или уничтоживъ эту новую мысль, или передѣлавши тѣ понятія, которыми обусловливались враждебныя отношенія къ ней.

Первая изъ этихъ операцій была для Раскольникова неисполнима; новая мысль отличалась крѣпостью и живучестью; ее поддерживали каждый день и каждую минуту всѣ тѣ мучительныя мелочи, изъ которыхъ складывается вся жизнь бѣднаго человѣка. Вторая операція была полегче. Тонкій и гибкій умъ Раскольникова, закаленный въ школѣ уединеннаго размышленія и самаго внимательнаго психологическаго анализа, былъ въ высшей степени способенъ открывать въ людяхъ, въ предметахъ и въ понятіяхъ самыя неожиданныя, а пожалуй даже и совсѣмъ несуществующія стороны. Этимъ умомъ нетрудно было выстроить такіе эшафодажи, съ вершины которыхъ наблюдателю представляются совершенно новые и даже въ значительной степени фантастическіе ландшафты. Этотъ казуистическій умъ, пущенный въ ходъ и направленный въ извѣстную сторону какой-нибудь настоятельной внутренней потребностью хозяина, могъ съ изумительнымъ успѣхомъ изготовить на заказъ такую замысловатую зрительную трубу, такую сложную систему призмъ, цвѣтныхъ стеколъ и металлическихъ зеркалъ, благодаря которой черное могло показаться — бѣлымъ, зеленое—краснымъ, глупое—умнымъ, вредное — полезнымъ, вялое и слабое — сильнымъ и великимъ. — Какъ процессъ такой работы, которая должна была извратить такимъ образомъ очертанія и краски всѣхъ предметовъ, такъ и результаты ея были одинаково лестны для раздражительнаго и ненасытнаго самолюбія нашего героя. Если-бы во время процесса этой работы самъ Раскольниковъ вдругъ остановился и задалъ себѣ вопросъ: «что-же я дѣлаю теперь?» — то у него немедленно явился-бы такой отвѣтъ, который могъ-бы не только успокоить его, но даже пробудить въ немъ удивительно пріятное чувство гордости и самодовольства. Я, могъ онъ отвѣтить себѣ на свой недоброжелательный и недовѣрчивый вопросъ, я пересматриваю, провѣряю и переработываю силами собственнаго ума тѣ рѣшенія, которыми удовлетворялись до сихъ поръ самые умные и замѣчательные представители человѣчества. Я недоволенъ этими рѣшеніями и стараюсь дать себѣ добросовѣстный отчетъ въ причинахъ этого недовольства. Я чувствую въ себѣ присутствіе титаническихъ силъ, и эти силы побуждаютъ меня предпринять такую громадную и многосложную работу, которая никогда не грезилась ни одному изъ моихъ честныхъ, но недалекихъ товарищей.

Доведя работу до конца, то есть додумавшись до такихъ результатовъ, которые позволяли ему ненавидѣть упорный и неблагодарный трудъ и относиться съ любовью и съ уваженіемъ къ мысли о быстрой и легкой наживѣ, Раскольниковъ могъ скрестить руки на груди и насладиться тѣмъ чувствомъ восторженнаго самодовольства, съ которымъ художникъ осматриваетъ свое только-что оконченное и вполнѣ удавшееся произведеніе. Раскольникову это произведеніе было особенно дорого, потому что въ немъ заключалось оправданіе и превознесеніе его собственной личности. Если-бы Раскольникову пришлось остановиться на противуположныхъ результатахъ, если-бы онъ увидѣлъ себя въ необходимости осудить ту новую мысль, изъ которой родилась впослѣдствіи *проклятая мечта*, то ему надо было-бы во всякомъ случаѣ выпрашивать у себя прощенія и каяться передъ собой въ позорной слабости уже за одно то, что такая грязная мысль могла родиться въ его умѣ, обратить на себя его серьезное вниманіе и возбудить въ немъ смятеніе и внутреннюю борьбу. Кромѣ того ему надо было-бы сознаться, что онъ нуждается въ посторонней поддержкѣ, что ему необходимо обмѣниваться мыслями съ товарищами и подкрѣплять себя въ борьбѣ съ обстоятельствами ихъ дружескими совѣтами, ему надо было-бы убѣдиться

Digitized by Google

въ томъ, что одиночество можетъ сдѣлаться для него вреднымъ и даже опаснымъ. Напротивъ того, додумавшись до оправданія своей новой мысли, Раскольниковъ совершенно избавлялъ себя отъ всякихъ признаній и покаяній, невыносимыхъ для его щекотливаго самолюбія. Онъ могъ сказать себѣ, что онъ умнѣе и смѣлѣе всѣхъ своихъ товарищей, и что ему необходимо было уединиться отъ нихъ и сосредоточиться для того, чтобы отрѣшиться отъ ихъ предразсудковъ и возвыситься до болѣе вѣрнаго взгляда на самые важные вопросы частной и общественной нравственности.

Всю свою теорію Раскольниковъ построилъ исключительно для того, чтобы оправдать въ собственныхъ глазахъ мысль о быстрой и легкой наживѣ. Онъ почувствовалъ желаніе прибѣгнуть, при первомъ удобномъ случаѣ, къ безчестнымъ средствамъ обогащенія. Въ его умѣ родился вопросъ: чѣмъ объяснить себѣ это желаніе? Силой или слабостью? Объяснить его слабостью было-бы гораздо проще и вѣрнѣе, но за то Раскольникову было гораздо пріятнѣе считать себя сильнымъ человѣкомъ и поставить себѣ въ заслугу свои позорныя размышленія о путешествіяхъ по чужимъ карманамъ. Объясняя все дѣло слабостью и дѣлаясь такимъ образомъ для самого себя предметомъ презрительнаго и оскорбительнаго состраданія, Раскольниковъ нисколько не разошелся-бы во взглядахъ съ своими товарищами и поставилъ-бы себя въ необходимость уничтожить опасную мысль, чтобы не лишиться правъ на собственное уваженіе. Усматривая, напротивъ того, въ позывѣ къ преступленію признаки смѣлаго ума и сильнаго характера, Раскольниковъ пошелъ по совершенно оригинальной дорогѣ. Преступникъ, думалъ онъ, дѣлается преступникомъ потому, что чувствуетъ неудовлетворительность тѣхъ учрежденій, подъ господствомъ которыхъ ему приходится жить, тѣхъ законовъ, на основаніи которыхъ его будутъ судить, и тѣхъ общепринятыхъ понятій, во имя которыхъ общество вооружается противъ его поступка. Смѣшавши такимъ образомъ тѣ преступленія, которыя совершаются на основаніи поговорки *своя рубашка къ тѣлу ближе*, съ тѣми, на которыя человѣкъ рѣшается подъ вліяніемъ восторженной любви къ идеѣ—Раскольниковъ продолжалъ философствовать въ томъ-же направленіи, и доказалъ себѣ безъ особеннаго труда, что всякое движеніе впередъ, всякое усовершенствованіе въ области общественной жизни, само по себѣ, составляетъ преступленіе, потому что оно возможно только при нарушеніи существующаго закона. А такъ какъ родъ человѣческій давнымъ давно исчезъ-бы съ лица земли, еслибы онъ не подвигался впередъ и не улучшалъ постоянно своихъ учрежденій, то и выходитъ, что преступленія въ высшей степени полезны для человѣчества, и что преступники оказываются величайшими благодѣтелями существующихъ обществъ, которыя только ихъ усиліями спасаются отъ ужасныхъ послѣдствій губительнаго застоя. Всѣ преступники оказались до нѣкоторой степени великими людьми, всѣ великіе люди оказались до нѣкоторой степени преступниками, и оригинальная теорія завершилась тѣмъ блистательномъ маневромъ, посредствомъ котораго было доказано близкое и несомнѣнное родство Кеплера и Ньютона съ убійцами и грабителями.

Эту теорію никакъ нельзя считать причиной преступленія, такъ точно какъ галлюцинацію больного невозможно считать за причину болѣзни. Эта теорія составляетъ только ту форму, въ которой выразилось у Раскольникова ослабленіе и извращеніе умственныхъ способностей. Она была простымъ продуктомъ тѣхъ тяжелыхъ обстоятельствъ, съ которыми Раскольниковъ принужденъ былъ бороться, и которыя довели его до изнеможенія. Настоящей и единственной причиной являются все-таки тяжелыя обстоятельства, пришедшіяся не по силамъ нашему раздражительному и нетерпѣливому герою, которому легче было разомъ броситься въ пропасть, чѣмъ выдерживать, впродолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ или даже лѣтъ, глухую, темную и изнурительную борьбу съ крупными и мелкими лишеніями. Преступленіе сдѣлано не потому, что Раскольниковъ, путемъ различныхъ философствованій, убѣдилъ себя въ его законности, разумности и необходимости. Напротивъ того, Раскольниковъ сталъ философствовать въ этомъ направленіи и убѣдилъ себя только потому, что обстоятельства натолкнули его на преступленіе.

Теорія Раскольникова сдѣлана имъ на заказъ. Сооружая эту теорію, Раскольниковъ не былъ безпристрастнымъ мыслителемъ, отыскивающимъ чистую истину и готовымъ принять эту истину, въ какомъ-бы неожиданномъ и даже непріятномъ видѣ она ему ни представилась. Онъ былъ кляузникомъ, подбирающимъ факты, придумывающимъ натянутыя доказательства и подстроивающимъ искусственныя сопоставленія единственно для того, чтобы выиграть запутанный процессъ самаго сомнительнаго достоинства. Дѣйствуя такимъ образомъ, чувствуя надъ всѣмъ процессомъ своего мышленія неотразимое и подавляющее вліяніе предвзятой идеи, Раскольниковъ былъ расположенъ относиться къ своей теоріи съ крайнимъ недовѣріемъ. Ближайшія послѣдствія совершившагося убійства показали, до какой степени сильно и непобѣдимо было это недовѣріе. Когда Раскольниковъ, убивши старуху и ея сестру, чувствовалъ сильнѣйшую потребность успокоиться и ободриться, онъ уже и не подумалъ искать себѣ успокоенія въ своей теоріи. Когда онъ всего

Digitized by Google

больше нуждался въ дружескомъ сочувствіи, когда откровенный разговоръ съ близкимъ и надежнымъ человѣкомъ могъ поставить его на ноги и обновить всѣ его силы, ему даже и въ голову не приходило, что убійство, оправданное замысловатой теоріей, можетъ быть разсказано кому-бы то ни было изъ его товарищей, друзей или ближайшихъ родственниковъ. Онъ даже и не попробовалъ подѣлиться къ кѣмъ-бы то ни было своими мыслями объ убійствѣ и грабежѣ, какъ о грандіозномъ протестѣ противъ несовершенствъ общественной организаціи. Онъ никого не пробовалъ убѣждать въ томъ, что онъ, Раскольниковъ, въ качествѣ будущаго Наполеона или Ньютона, имѣетъ право, поговоривши наединѣ съ собственной совѣстью и получивши отъ нея или давши ей надлежащія разрѣшенія, шагать черезъ тѣ препятствія, которыя отдѣляютъ его отъ матеріальнаго благосостоянія и отъ блестящей карьеры. А между тѣмъ у него была сестра, которая въ значительной степени была похожа на него по складу ума и характера, и которая въ значительной степени способна понять и усвоить себѣ всякую новую истину. У него, кромѣ того, былъ товарищъ, готовый идти за него въ огонь и въ воду, и также способный откликнуться съ полнымъ сочувствіемъ на всякую свѣжую и вѣрную мысль. Еслибы Раскольниковъ сколько нибудь вѣровалъ самъ въ свою теорію, то онъ конечно сдѣлалъ бы по крайней мѣрѣ попытку просвѣтить и обратить на путь истины такихъ людей, какъ Дуня и Разумихинъ, тѣмъ болѣе, что открывшись имъ, убѣдивши ихъ, онъ могъ пріобрѣсти въ ихъ лицѣ драгоцѣнныхъ союзниковъ, нравственная поддержка которыхъ была для него въ высшей степени необходима. Но Раскольниковъ, послѣ совершенія убійства, держалъ себя совсѣмъ не какъ фанатикъ, увлекшійся ложной идеей и дошедшій въ своихъ поступкахъ до крайнихъ предѣловъ логической послѣдовательности, а просто какъ мелкій, трусливый и слабонервный мошенникъ, которому крупное злодѣяніе приходится не по силамъ, и который, желая во что бы то ни стало схоронить концы, ежеминутно теряется отъ страха и на каждомъ шагу выдаетъ себя встрѣчнымъ и поперечнымъ своей лихорадочной суетливостью.

Раскольниковъ убилъ старуху для того, чтобы ограбить ее. Однакоже эта послѣдняя цѣль осталась недостигнутой. Тотчасъ послѣ совершенія убійства, Раскольниковъ овладѣлъ ключами старухи и отправился въ ея спальню, но его волненіе было до такой степени сильно, что онъ ни за что не умѣлъ взяться, не ухитрился отпереть почти ни одного замка, набивъ себѣ карманы какими-то заложенными вещами, которыя потомъ ему пришлось бы сбывать за полцѣны съ громадной опасностью, и не нашелъ ни билетовъ, ни наличныхъ денегъ, которыхъ однако было очень много, и которыя преспокойно лежали въ верхнемъ ящикѣ комода. Какъ только убійство совершилось, Раскольниковъ рѣшительно забылъ о своемъ желаніи обогатиться, забылъ о томъ, что именно это желаніе заставило его взяться за топоръ, забылъ также о тѣхъ подвигахъ іезуитской изобрѣтательности и изворотливости, которые были имъ совершены для того, чтобы оправдать въ собственныхъ глазахъ это предосудительное желаніе. Всѣ его мысли, всѣ его усилія направились исключительно къ тому, чтобы избавить себя отъ преслѣдованій и скрыть всѣ слѣды преступленія. Въ общемъ результатѣ получилась, такимъ образомъ, возмутительная безсмыслица. Убійство оказалось совершенно безцѣльнымъ. На другой день послѣ убійства Раскольниковъ всѣми силами своего существа желалъ воротиться назадъ къ тому положенію, которое наканунѣ убійства казалось ему невыносимымъ. Онъ понималъ ясно, что это желаніе неисполнимо, и невыносимое положеніе, изъ котораго онъ отыскалъ себѣ такой оригинальный выходъ, стало представляться ему какимъ-то навсегда потерянным раемъ.

Послѣ убійства Раскольниковъ унесъ къ себѣ домой туго набитый замшевый кошелекъ и нѣсколько коробочекъ съ золотыми и серебряными вещами. Эти предметы были единственными плодами преступленія. Ими ограничивалась все добыча убійцы. Между тѣмъ Раскольниковъ, очнувшись на другой день утромъ отъ мучительнаго забытья, сталъ думать не о томъ, какъ воспользоваться скудными трофеями побѣды, а только о томъ, какъ бы ихъ выбросить поскорѣе и куда нибудь подальше. Онъ пошелъ къ Екатерининскому каналу съ твердымъ намѣреніемъ бросить въ воду все: и вещи, и кошелекъ, котораго онъ не раскрывалъ и котораго содержаніе оставалось ему совершенно неизвѣстнымъ. Не исполнилъ онъ этого намѣренія только потому, что на набережной и возлѣ самой воды было слишкомъ много народа. Кончилось тѣмъ, что онъ всю свою добычу сложилъ подъ камень, въ пустомъ огороженномъ мѣстѣ, гдѣ лежали какіе-то матеріалы. Освободившись отъ этой добычи, онъ почувствовалъ приливъ *сильной, едва выносимой* радости, точно будто эта добыча свалилась къ нему въ карманъ противъ его воли, какъ сваливается на человѣка неожиданное несчастіе, точно будто не онъ самъ добивался ея, точно будто онъ изъ за нея не морочилъ самого себя софизмами, не приневоливалъ себя къ отвратительному поступку и не подвергалъ себя самымъ серьезнымъ опасностямъ. Вышло что-то похожее на работу Пенелопы. Сначала человѣкъ старался и мучился, чтобы пріобрѣсти себѣ добычу; а потомъ, какъ только добыча оказалась у него въ рукахъ, онъ началъ стараться о томъ, чтобы какъ

Digitized by Google

нибудь избавиться отъ этой самой добычи. Это обстоятельство блистало такой яркой уродливостью, что оно бросилось въ глаза даже самому Раскольникову, не смотря на то, что всѣ его умственныя способности находились въ совершенномъ изнеможеніи. «Если дѣйствительно, подумалъ онъ, все это дѣло сдѣлано было сознательно, а не по дурацки, если у тебя дѣйствительно была опредѣленная и твердая цѣль, то какимъ же образомъ ты до сихъ поръ даже и не заглянулъ въ кошелекъ и не знаешь, что тебѣ досталось, изъ за чего всѣ муки принялъ и на такое подлое, гадкое, низкое дѣло сознательно шелъ? Да вѣдь ты въ воду его хотѣлъ сейчасъ бросить, кошелекъ-то, вмѣстѣ со всѣми вещами, которыхъ тоже еще не видалъ. Это какъ же?»

Раскольниковъ принужденъ сознаться, что все это дѣло было сдѣлано по дурацки. Онъ даже самъ не понималъ, зачѣмъ онъ его сдѣлалъ. Онъ видитъ только, что ему приходится, такъ или иначе, нести на себѣ всѣ послѣдствія этого дурацкаго дѣла. Эти послѣдствія оказываются очень мучительными. Подробная исторія этихъ мучительныхъ послѣдствій наполняетъ собой почти весь романъ Достоевскаго; она начинается со второй части и оканчивается только вмѣстѣ съ эпилогомъ. Я постараюсь теперь разобрать вопросъ: въ чемъ именно состоитъ мучительность этихъ послѣдствій?

Прежде всего Раскольниковъ просто боится уголовнаго наказанія, которое изломаетъ всю его жизнь, выброситъ его изъ общества честныхъ людей и навсегда закроетъ ему дорогу къ счастливому, респектабельному и комфортабельному существованію. Съ той самой минуты, какъ онъ увидѣлъ передъ собой на полу окровавленный и обезображенный трупъ старухи, ему кажется, что его подозрѣваютъ, что за нимъ слѣдятъ, что въ его квартирѣ немедленно станутъ производить обыскъ, что его самого схватятъ, посадятъ подъ арестъ и начнутъ судить. Зная за собой такое важное дѣло, которое должно возбудить толки во всемъ городѣ и поднять на ноги всю мѣстную полицію, Раскольниковъ понимаетъ, что ему необходимо соблюдать во всѣхъ своихъ поступкахъ и словахъ самую утонченную осторожность, необходимо взвѣшивать каждый шагъ, обдумывать каждое слово, контролировать движенія всѣхъ мускуловъ тѣла и лица, и устроивать все это такъ, чтобы никому не бросалась въ глаза эта сдержанность и разсчитанность, чтобы въ его хладнокровіи и спокойствіи никто не видалъ и не предполагалъ ничего искусственнаго и натянутаго, и чтобы вообще, во всей его личности и во всемъ его поведеніи не, было ничего похожаго на таинственность и загадочность, способную обратить на себя вниманіе опытныхъ наблюдателей. Эта задача, уже достаточно трудная сама по себѣ, усложняется тѣмъ обстоятельствомъ, что человѣкъ, находящійся въ положеніи Раскольникова, естественнымъ образомъ чувствуетъ непреодолимое влеченіе присматриваться ко всѣмъ окружающимъ людямъ и прислушиваться къ ихъ толкамъ съ той спеціальной цѣлью, чтобы заблаговременно увидать или услыхать подготовляющееся нападеніе и приближающуюся опасность.

Эту тревожную внимательность, эту болѣзненную чуткость къ извѣстнымъ разговорамъ, эту подозрительную способность принимать случайно брошенныя слова за зловѣщіе или оскорбительные намеки надо скрывать самымъ тщательнымъ образомъ, и скрывать такъ, чтобы это скрываніе также оставалось совершено незамѣтнымъ. На каждомъ шагу Раскольниковъ долженъ задавать себѣ вопросъ: что сдѣлалъ бы на моемъ мѣстѣ человѣкъ совершенно невинный, такой человѣкъ, которому нечего скрывать и нечего бояться? Какъ бы онъ понялъ такое-то слово? Почувствовалъ ли бы онъ въ этомъ словѣ что нибудь странное? Принялъ ли бы онъ его за неумѣстный намекъ на совершенно неизвѣстное ему событіе? Заинтересовался ли бы онъ этимъ намекомъ настолько, чтобы потребовать себѣ объясненія? Какимъ тономъ заявилъ бы онъ это требованіе—спокойно-недоумѣвающимъ, или сурово-обиженнымъ? Всѣ эти и многіе другіе вопросы надо было ставить и рѣшать ежеминутно, по поводу каждой ничтожнѣйшей встрѣчи, при каждомъ пустѣйшемъ разговорѣ. На постановку и рѣшеніе этихъ и другихъ подобныхъ вопросовъ отпускалось каждый разъ по секундѣ времени; эти операціи надо было производить, глядя прямо въ глаза любознательному и словоохотливому собесѣднику, не допуская на собственную физіономію выраженія задумчивости и озабоченности, поддерживая начатый разговоръ спокойными и толковыми репликами и совершенно свободно и естественно переходя изъ тона въ тонъ. Надо было тщательно воздержаться отъ фальшивыхъ нотъ, и при этомъ еще тщательнѣе скрывать тѣ страшныя усилія, цѣною которыхъ покупается это отсутствіе диссонансовъ. Раскольниковъ долженъ былъ, силами одного своего ума, вести постоянную борьбу съ цѣлымъ обществомъ, и вести ее такъ, чтобы самое ея существованіе оставалось совершенно незамѣтнымъ для его многочисленныхъ, опытныхъ и хладнокровныхъ противниковъ, которые сами не рисковали въ этой борьбѣ ничѣмъ, между тѣмъ какъ у него вся жизнь была поставлена на карту. Для Раскольникова такая борьба была труднѣе, чѣмъ для кого либо другого. Ему мѣшала именно его тонкая наблюдательность, его способность внимательно вглядываться въ людей и отгадывать ихъ затаенныя намѣренія.

Смотря внимательно на другихъ и пронизывая ихъ насквозь своимъ инквизиторскимъ взглядомъ, Раскольниковъ естественнымъ образомъ

Digitized by Google

былъ расположенъ думать, что и другіе смотрятъ или по крайней мѣрѣ могутъ смотрѣть такъ же внимательно на него самого и такъ же успѣшно пронизываютъ или по крайней мѣрѣ могутъ пронизать его самого своими инквизиторскими взглядами. Сказавши какое нибудь слово или сдѣлавши какое нибудь движеніе, Раскольниковъ въ ту же минуту становился на мѣсто своего собесѣдника, всматривался съ его точки зрѣнія въ сказанное слово или сдѣланное движеніе, подмѣчалъ въ нихъ все, что можно было признать искусственнымъ, ставилъ себѣ въ упрекъ то, что казалось ему ошибкой, считалъ себя до нѣкоторой степени скомпрометированнымъ, злился на себя за недостатокъ виртуозности въ выполненіи роли и, сосредоточивая такимъ образомъ свое вниманіе на подробной критикѣ того, что уже было сдѣлано, терялъ способность слѣдить съ необходимой внимательностью за тѣмъ, что дѣлалось въ текущую минуту и что надо было дѣлать въ ближайшее время. Такимъ образомъ онъ прорывался, дѣлалъ новую ошибку, гораздо болѣе крупную, чѣмъ предыдущую, опять ловилъ и казнилъ себя за опрометчивость, волновался и самъ первый замѣчалъ свое неумѣстное волненіе, доводилъ себя до изступленія этимъ вѣчнымъ подглядываніемъ за самимъ собою, и наконецъ, съ досады, съ горя, со страха, не зная чѣмъ поправить мелкія оплошности, замѣтныя только для его собственнаго, болѣзненно-зоркаго взгляда, дѣлалъ такую яркую эксцентричность, которая бросалась въ глаза самому близорукому и равнодушному свидѣтелю. Словомъ, Раскольниковъ былъ слишкомъ хорошимъ критикомъ, чтобы быть хорошимъ актеромъ. Превосходно понимая всѣ мельчайшіе недостатки своей игры, онъ требовалъ отъ себя съ этой стороны такого идеальнаго совершенства, которое по всей вѣроятности было недостижимо не только для него, но даже и для человѣка съ воловьими нервами. Видя, что это идеальное совершенство остается недоступнымъ, онъ начиналъ думать, что все пропало, и подъ вліяніемъ этой мысли обнаруживалъ такую тревогу, которая рано или поздно должна была обратить на себя общее вниманіе.

Способность къ микроскопическому анализу вредила Раскольникову не только потому, что онъ слишкомъ тщательно разбиралъ свои собственные поступки и слова, но также и потому, что онъ, пользуясь этой способностью на каждомъ шагу, подвергалъ такому-же тщательному разбору слова и поступки другихъ людей, со стороны которыхъ онъ могъ ожидать прямого или косвеннаго нападенія. Благодаря своему замѣчательному умѣнью объяснять, разбирать, комментировать, повертывать каждое слово; благодаря своей способности восходить отъ сказаннаго слова къ тому внутреннему побужденію, подъ вліяніемъ котораго оно было произнесено, Раскольниковъ очень часто извлекалъ изъ словъ своихъ собесѣдниковъ больше, чѣмъ сколько въ нихъ заключалось. Ему случалось видѣть намекъ самаго зловѣщаго свойства тамъ, гдѣ слово было произнесено безъ всякой задней мысли; случалось принимать оборонительныя мѣры противъ нападенія въ то время, когда собесѣдникъ и не думалъ о возможности сдѣлаться его противникомъ. Понятное дѣло, что при усиленной и совершенно излишней бдительности тревога Раскольникова должна была расти не по днямъ, а по часамъ и въ скоромъ времени доразвиться до такихъ размѣровъ, при которыхъ всякое самообладаніе становится невозможнымъ.

Борьба съ цѣлымъ обществомъ была особенно трудна и безнадежна для Раскольникова еще и потому, что его вѣра въ собственныя силы была уже подорвана. Онъ зналъ, что послѣ убійства у него не достало хладнокровія на то, чтобы ограбить старуху съ надлежащей внимательностью и систематичностью; онъ зналъ, что голова его кружилась, мысли путались, руки дрожали, что ключи, снятые съ убитой, не подходили къ замкамъ вслѣдствіе его растерянности и что весь онъ вообще былъ гораздо больше похожъ на десятилѣтняго мальчишку, котораго ведутъ сѣчь за кражу яблоковъ или орѣховъ, чѣмъ на Наполеона, устраивающаго свое 18-е брюмера. Онъ зналъ далѣе, что онъ чуть-чуть не бросилъ въ воду единственные плоды своего кроваваго подвига; онъ зналъ, что эти плоды зарыты въ землю, и предвидѣлъ, что у него никогда не хватитъ рѣшимости на то, чтобы вырыть ихъ оттуда и воспользоваться для своихъ потребностей похищенными деньгами. Совокупность этихъ свѣдѣній конечно давала Раскольникову очень невыгодное понятіе о силѣ его собственнаго характера. А Раскольниковъ, какъ умный человѣкъ, конечно понималъ, что для успѣшной борьбы съ цѣлымъ обществомъ сила характера требуется громадная. Поэтому онъ долженъ былъ предвидѣть, что эта борьба очень скоро кончится для него полнымъ пораженіемъ, и что онъ, по всей вѣроятности, будетъ принужденъ сдаться безъ всякихъ условій, то есть принести повинную голову въ ближайшее полицейское управленіе. Эта возрастающая безнадежность конечно должна была усиливать его тревогу, разбивать послѣдніе остатки его хладнокровія и доводить его такимъ образомъ до состоянія полнѣйшей беззащитности. Кто заранѣе считаетъ себя побѣжденнымъ, тотъ дѣйствительно побѣжденъ на половину до начала самой борьбы.

Мысль объ уголовномъ наказаніи, которое, какъ Дамокловъ мечъ, висѣло надъ головой Раскольникова и въ каждую данную минуту, при каждомъ его неосторожномъ движеніи, могло обрушиться на него всей своей тяжестью,

Digitized by Google

эта мысль сама по себѣ была достаточно мучительна, чтобы отравить всю его жизнь и сдѣлать ее невыносимымъ страданіемъ для несчастнаго преступника. Чувство страха составляетъ по всей вѣроятности самое мучительное изъ всѣхъ психическихъ ощущеній, доступныхъ человѣческой природѣ. Это чувство ужасно даже тогда, когда оно достается на нашу долю въ микроскопическихъ пріемахъ и продолжается всего нѣсколько секундъ. Извѣстны случаи, когда у здороваго и молодого человѣка бѣлѣли волосы втеченіе нѣсколькихъ минутъ, проведенныхъ въ смертельномъ страхѣ. Растяните такой или даже болѣе слабый страхъ на нѣсколько дней, и можно будетъ поручиться за то, что противъ испытанія не устоитъ человѣческій разсудокъ, и что человѣкъ, стараясь во что-бы-то ни стало избавиться отъ невыносимаго ощущенія страха, самъ, какъ шальной, какъ бѣшеный, полѣзетъ на ту опасность, отъ которой стынетъ кровь въ его жилахъ.

Тотъ видъ помѣшательства, который называется меланхоліей, состоитъ главнымъ образомъ въ томъ, что больной видитъ со всѣхъ сторонъ угрожающія ему опасности и испытываетъ постоянное ощущеніе смертельнаго страха. Меланхолики постоянно ищутъ смерти и стараются извести себя какими-бы-то ни было средствами именно потому, что они постоянно боятся за свою жизнь и что это хроническое чувство страха дѣйствительно составляетъ для человѣка самую невыносимую изъ всѣхъ возможныхъ пытокъ. Раскольникову пришлось переживать тѣ самыя мученія, которыя переживаются меланхоликами. Конечно бѣдствіе, ожидавшее Раскольникова, не было настолько ужасно, чтобы не было возможности помириться съ мыслью о его неизбѣжности; человѣкъ можетъ болѣе или менѣе привыкнуть ко всему, даже къ мысли о близкой и неминуемой смерти. Но дѣло здѣсь именно въ томъ, что ожиданіе бѣдствія бываетъ всегда гораздо ужаснѣе и невыносимѣе, чѣмъ самое бѣдствіе. Пока человѣкъ еще колеблется между страхомъ и надеждой, онъ томится и страдаетъ гораздо сильнѣе, чѣмъ тогда, когда онъ уже видитъ совершенно ясно, что для него уже не остается ни малѣйшей надежды и что ему приходится рѣшительно отказаться отъ борьбы, скрестить руки, стиснуть зубы и покориться неотразимой необходимости. Мучительность ожиданія заставляетъ человѣка всѣми силами стараться о томъ, чтобы какъ-нибудь сократить тотъ періодъ, когда страхъ борется съ надеждой. Человѣку всего труднѣе, въ виду серьезной опасности, сохранять выжидательное положеніе и оставаться неподвижнымъ. Человѣкъ обыкновенно или старается убѣжать отъ опасности, или очертя голову бросается къ ней на встрѣчу; въ первомъ случаѣ онъ поддается естественному и чисто животному инстинкту самосохраненія; во второмъ случаѣ онъ дѣлаетъ попытку покончить съ самимъ собой; въ обоихъ случаяхъ онъ старается убѣжать отъ мучительнаго чувства страха, которое отравляетъ его существованіе. То обстоятельство, что человѣкъ оказывается иногда способнымъ купить цѣной собственной жизни избавленіе отъ чувства страха, показываетъ ясно, что это чувство въ самомъ дѣлѣ очень мучительно и что оно, продолжаясь нѣсколько дней, можетъ дѣйствительно, само по себѣ, безъ отношенія къ тѣмъ причинамъ, которыми оно порождено, сдѣлаться исходной точкой тѣхъ разнообразныхъ страданій и полусумасшедшихъ поступковъ, которые Достоевскій приписываетъ своему герою.

Кромѣ уголовнаго наказанія, Раскольниковъ боится еще того ужаса, негодованія или отвращенія, съ которымъ посмотрятъ на его поступокъ всѣ дорогіе и близкіе ему люди. Онъ думаетъ, что онъ останется одинъ въ цѣломъ мірѣ живыхъ людей, когда преступленіе его сдѣлается извѣстнымъ. Онъ думаетъ, что открытіе ужасной истины убьетъ его мать и заставитъ всѣхъ его друзей, начиная съ его родной сестры, отшатнуться навсегда отъ погибшаго и замараннаго человѣка. Поэтому онъ не смѣетъ никому открыться; признаться одному человѣку, по его мнѣнію, все равно, что признаться всѣмъ или просто донести на самого себя по начальству. Онъ увѣренъ въ томъ, что первый человѣкъ, которому онъ откроется, тотчасъ оттолкнетъ его отъ себя, какъ грязную гадину, и немедленно сдѣлается его врагомъ и преслѣдователемъ, хотя-бы за минуту до его признанія этотъ самый человѣкъ любилъ и уважалъ его больше всего на свѣтѣ. Поглощенный этой несокрушимой увѣренностью, Раскольниковъ чувствуетъ необходимость хитрить и лицемѣрить со всѣми людьми безъ исключенія, съ родной матерью такъ-же точно, какъ съ слѣдственнымъ приставомъ, Порфиріемъ Петровичемъ. Вслѣдствіе этого онъ можетъ чувствовать себя свободнымъ, онъ можетъ отдыхать отъ своей утомительной роли, онъ можетъ снимать съ себя костюмъ и маску невиннаго человѣка, онъ можетъ выпускать на волю всю свою тревогу и все свое страданіе лишь тогда, когда онъ остается только одинъ. Для него уже не существуетъ своего круга, для него нѣтъ и не можетъ быть общества такихъ близкихъ людей, съ которыми онъ могъ-бы вести себя безъ церемоній и обращаться запросто. Чѣмъ ближе къ нему люди, чѣмъ они для него дороже, чѣмъ больше правъ они имѣютъ на его довѣріе и откровенность, чѣмъ нѣжнѣе ихъ ласки и заботливѣе ихъ разспросы, чѣмъ искреннѣе и трогательнѣе ихъ участіе,—тѣмъ невыносимѣе для него ихъ общество, потому-что тѣмъ труднѣе отклонить эти ласки, увертываться отъ этихъ

Digitized by Google

разспросовъ и отвергать это единственное и неизбѣжное участіе. Съ какимъ-нибудь Порфиріемъ Петровичемъ можно говорить сухо и холодно, можно держать себя осторожно и оффиціально вѣжливо, не приводя никого въ изумленіе и не возбуждая никакихъ неумѣстныхъ догадокъ. Но съ матерью и съ сестрой нѣтъ никакой возможности соблюдать дипломатическую осторожность и непроницаемость; холодный и вѣжливый тонъ или разговоръ о погодѣ и о текущихъ извѣстіяхъ, пересыпанный оффиціальными нѣжностями, приведетъ ихъ сначала въ изумленіе, потомъ въ негодованіе и наконецъ въ отчаяніе, изъ котораго они будутъ искать выхода и которое немедленно породитъ и воспитаетъ въ нихъ то убѣжденіе, что тутъ существуетъ какая-то серьезная и печальная загадка, настоятельно требующая себѣ разрѣшенія. О поддѣлкѣ такого тона, такой нѣжности, такой радости при свиданіи, такой искренности и довѣрчивости, которыя могли-бы обмануть зоркіе глаза и чуткія уши матери и сестры—нечего и думать. Обмануть такого человѣка, который васъ любитъ, который ловитъ глазами каждое ваше движеніе и жадно вслушивается въ каждое ваше слово—до такой степени трудно, что подобный подвигъ врядъ-ли удался-бы даже самому закоренѣлому злодѣю, самому бездушному негодяю, не чувствующему ни капли любви къ тѣмъ людямъ, предъ которыми онъ разыгрываетъ свою трогательную комедію. Тѣмъ менѣе могъ этотъ подвигъ притворства оказаться по силамъ Раскольникову.

Мы уже знаемъ достаточно, какъ сильно онъ любитъ мать и сестру. Мы легко можемъ себѣ представить, какъ сильна была въ немъ потребность броситься къ нимъ на встрѣчу, открыть имъ свои объятія и вознаградить себя откровеннымъ разговоромъ съ ними за три года томительной разлуки. Мы можемъ себѣ вообразить, какимъ оглушительнымъ ударомъ было для него то открытіе, что ему противны и невыносимы ихъ ласки, противны и невыносимы потому, что онѣ относятся уже не къ нему, а къ той маскѣ, которая до поры до времени скрываетъ отъ всѣхъ людей обезображенныя черты его измученнаго и опозореннаго лица. Разбитый этимъ ударомъ, Раскольниковъ не смѣлъ даже принимать отъ нихъ эти ласки; ему казалось, что онъ ихъ крадетъ почти такъ же, какъ онъ нѣсколько дней тому назадъ укралъ старухины деньги. Онъ старался отвертываться отъ этихъ выраженій нѣжности, насколько это было возможно. Они его мучили, какъ самыя живыя напоминанія о томъ раѣ, который, по его мнѣнію, былъ для него навсегда потерянъ, и котораго онъ во-время не умѣлъ цѣнить по достоинству. Выманивать себѣ эти ласки обманомъ, платить за это чистое золото любви мишурой и фальшивой монетой своей поддѣльной нѣжности, словомъ, обращаться съ матерью и съ сестрой, какъ съ полицейскими сыщиками и шпіонами, которымъ надо отводить глаза различными искусно подобранными фокусами—это значило сползти въ такую отвратительную грязь, о которой Раскольниковъ не въ состояніи былъ даже и подумать. Тутъ игра положительно не стоила свѣчей. Хроническое притворство съ матерью и съ сестрой было для него неизмѣримо мучительнѣе всякой каторги! Всякій разъ, какъ онъ сходился съ ними, онъ чувствовалъ, что маска сползаетъ съ его лица, и всякій разъ онъ уходилъ отъ нихъ, пугаясь того ужаса, который должно было возбудить въ нихъ открытіе истины.

Такимъ образомъ страхъ уголовнаго наказанія, страхъ презрѣнія со стороны близкихъ людей, необходимость таиться и притворяться на каждомъ шагу въ сношеніяхъ со всѣми людьми безъ исключенія и ясное предчувствіе того обстоятельства, что всѣ эти подвиги притворства окажутся рано или поздно совершенно безполезными—вотъ составные элементы тѣхъ душевныхъ страданій, которыя испытываетъ Раскольниковъ. Подъ вліяніемъ этихъ страданій въ Раскольниковѣ совершается съ изумительной и ужасающей быстротой такой внутренній процессъ, который можно назвать увяданіемъ ума и характера. Первая фаза этого процесса разыгралась еще до совершенія убійства и ознаменовалась сооруженіемъ замысловатой теоріи, уравнявшей Ньютона и Кеплера съ опустошителями чужихъ кармановъ. Вторая фаза разыгрывается послѣ убійства и оканчивается тѣмъ, что Раскольниковъ, отказавшись отъ права размышлять собственнымъ умомъ и поступать по собственному благоусмотрѣнію, отдаетъ себя подъ опеку очень добродушной, очень ограниченной и совершенно необразованной дѣвушки, Сони Мармеладовой, которая, подобно нимфѣ Эгеріи, соглашается подавать ему мудрые и спасительные совѣты. Убивши старуху и ея сестру, Раскольниковъ совершенно теряетъ способность остановиться на какомъ-бы то ни было опредѣленномъ желаніи. Ему хочется все разомъ покончить, т. е. отдаться добровольно въ руки слѣдователя; ему хочется также избавиться отъ наказанія и остаться на свободѣ; самъ онъ рѣшительно не въ состояніи опредѣлить, которое изъ этихъ желаній сильнѣе и которое изъ нихъ въ ближайшую минуту будетъ управлять его поступками.

На другой день послѣ убійства его требуютъ въ кварталъ по одному денежному дѣлу съ хозяйкой. Собираясь идти туда и не зная еще, зачѣмъ его требуютъ, онъ думаетъ: «скверно то, что я почти въ бреду... я могу соврать какую-нибудь глупость». Значитъ, не хочетъ погибать. Минуту спустя имъ овладѣваетъ другое настроеніе, и онъ, махнувъ рукой, го-

Digitized by Google

воритъ про себя: «только-бы поскорѣй». Подходя къ конторѣ, онъ думаетъ: «если спросятъ, я можетъ быть и скажу». Поднимаясь по лѣстницѣ въ четвертый этажъ, онъ уже совсѣмъ рѣшается: «войду, стану на колѣни и все разскажу».—Черезъ минуту опять новый поворотъ: «какая-нибудь глупость, думаетъ онъ, стоя уже въ конторѣ, какая-нибудь самая мелкая неосторожность, и я могу всего себя выдать». Затѣмъ, когда онъ узнаетъ, что дѣло, по которому его требовали, не имѣетъ ничего общаго съ вчерашнимъ убійствомъ, имъ овладѣваетъ бѣшеная радость, и онъ, подъ вліяніемъ этого чувства, пускается вдругъ въ неожиданныя и совершенно неумѣстныя объясненія съ квартальными насчетъ своихъ отношеній къ хозяйкѣ и къ ея покойной дочери. Эта судорожная и припадочная радость тутъ же въ конторѣ смѣняется черезъ минуту невыносимо тяжелымъ чувствомъ *мучительнаго, безконечнаго уединенія и отчужденія*. Ему вдругъ приходитъ въ голову подойти къ квартальному и разсказать ему все, до послѣдней подробности. Это желаніе исчезаетъ, когда онъ слышитъ, что квартальный въ это самое время разговариваетъ съ своимъ помощникомъ о вчерашнемъ убійствѣ. Является опять припадокъ страха. Раскольниковъ идетъ къ дверямъ и падаетъ въ обморокъ.

Изъ такихъ быстро-смѣняющихся колебаній состоитъ вся жизнь Раскольникова послѣ убійства. Въ немъ вспыхиваетъ энергія только тогда, когда все его вниманіе поглощается какимъ-нибудь постороннимъ дѣломъ. Когда онъ переноситъ раздавленнаго чиновника Мармеладова къ нему на квартиру, когда онъ старается успокоить его жену и облегчить ея положеніе, отдавая ей всѣ свои деньги, когда онъ въ тотъ же день говоритъ своей сестрѣ о томъ, что надо отказать Лужину, когда онъ на другой день окончательно выгоняетъ этого Лужина, когда онъ потомъ защищаетъ Соню Мармеладову, несправедливо обвиненную въ воровствѣ (все тѣмъ же Лужинымъ)—тогда онъ является какъ будто живымъ и свѣжимъ человѣкомъ, способнымъ интересоваться тѣмъ, что вокругъ него происходитъ, готовымъ откликнуться на чужое страданіе, заступиться за слабаго и обиженнаго человѣка, разстроить планы дерзкаго негодяя, подать умный совѣтъ, оказать дѣятельную помощь или рѣшиться во-время на смѣлый поступокъ. Но какъ только его перестаютъ развлекать сильныя постороннія впечатлѣнія, какъ только онъ остается наединѣ съ своими сбивчивыми мыслями о недавнемъ прошедшемъ и о ближайшемъ будущемъ, такъ тотчасъ же въ его душѣ начинается какая-то вьюга быстро возникающихъ, быстро исчезающихъ, безпорядочно сталкивающихся и переплетающихся ощущеній; умъ его гаснетъ; воля изнемогаетъ; онъ ни о чемъ не думаетъ, ничего не желаетъ и ни на что не можетъ рѣшиться. Онъ идетъ туда, куда ему совсѣмъ не хотѣлось идти; попадаетъ туда, куда онъ совсѣмъ не разсчитывалъ попасть; говоритъ и дѣлаетъ то, чего собственный его умъ нисколько не одобряетъ. Находясь въ такомъ положеніи, онъ безъ всякой надобности дразнитъ письмоводителя Заметова разговоромъ объ убійствѣ, и вслѣдъ затѣмъ отправляется въ квартиру убитой дергать звонокъ и разспрашивать у работниковъ, зачѣмъ кровь отмыли. Слѣдить за тѣми процессами мысли, которые вызываютъ подобные поступки, и вообще объяснять эти поступки какими-бы то ни было процессами мысли, доступными и понятными здоровому человѣку—я не вижу ни малѣйшей возможности. Тутъ можно сказать только, что человѣкъ ошалѣлъ отъ страха и дошелъ до какого-то сомнамбулизма, во время котораго онъ и ходитъ, и говоритъ, и какъ будто даже думаетъ. Существуетъ-ли такое психическое состояніе, и вѣрно-ли оно изображено въ романѣ Достоевскаго, объ этомъ пусть разсуждаютъ медики, если эти вопросы покажутся имъ достойными внимательнаго изученія.

Digitized by Google

1868.

РОМАНЫ АНДРЕ ЛЕО.

(1. Un mariage scandaleux. 2. Un divorce. 3. Jacques Galeron. 4. Une vielle fille. 5. L'idéal au village.)

Андре Лео—писательница, романы которой, появившіеся одинъ за другимъ втеченіе послѣдняго пятилѣтія, имѣли блестящій, прочный и вполнѣ заслуженный успѣхъ. Всѣ замѣчательнѣйшія французскія газеты, начиная отъ «Temps» и кончая какимъ-нибудь «Constitutionnel», отнеслись къ ея первому роману «Un mariage scandaleux», появившемуся отдѣльнымъ изданіемъ въ 1863 году, съ величайшимъ уваженіемъ. Одни понимали основную мысль романа, сочувствовали ей вполнѣ и видѣли въ авторѣ достойную соперницу или преемницу Жоржъ-Зандъ; другіе—считали болѣе удобнымъ распространяться о художественности выполненія и ставили въ заслугу автору то, что онъ этой художественностью съумѣлъ искупить парадоксальность основной идеи. И тѣ, и другіе почувствовали одинаково живо, что на литературное поприще выступила новая сила, которую невозможно игнорировать и на которую трудно смотрѣть свысока.

Появленіе романовъ Лео и ихъ успѣхъ составляютъ значительный симптомъ въ жизни современнаго французскаго общества. Этотъ успѣхъ не купленъ цѣной безнравственныхъ уступокъ ошибочнымъ понятіямъ, господствующимъ предразсудкамъ и общераспространеннымъ порокамъ соотечественниковъ и современниковъ. Въ романахъ Лео нѣтъ ни малѣйшей поблажки слабостямъ французской буржуазіи, самаго многочисленнаго и вліятельнаго класса читателей. Напротивъ того, въ этихъ романахъ преобладаетъ здоровое, строго-отрицательное отношеніе къ чопорной мелочности, къ лакированному тупоумію, къ близорукому скопидомству и къ низкой продажности, характеризующимъ современное мѣщанство высшаго и низшаго полета. И между тѣмъ романы эти имѣютъ успѣхъ. Значитъ во французскомъ обществѣ, несмотря на тѣ невыгодныя условія, которыя стѣсняютъ свободное развитіе его силъ, еще не замерла спасительная потребность самоосужденія. Послѣ болѣзненнаго оцѣпенѣнія, смѣнившаго собой напряженное литературное и общественное движеніе сороковыхъ годовъ, появляются снова признаки пробуждающейся мысли, готовой и способной подвергать строгому анализу существующія бытовыя формы и укоренившіяся понятія. На этихъ легкихъ признакахъ, на этихъ мимолетныхъ проблескахъ мудрено основывать какія-нибудь опредѣленныя надежды. Но отмѣчать эти проблески необходимо.

I.

Много было говорено и писано объ отношеніяхъ между отдѣльной личностью и обществомъ. Было высказано много серьезныхъ и вѣрныхъ, свѣтлыхъ и глубокихъ мыслей, съ одной стороны о такъ-называемомъ заѣдающемъ дѣйствіи среды, и съ другой стороны о томъ, какъ и почему великіе люди рѣдко оцѣниваются своими современниками и обыкновенно подвергаются съ ихъ стороны ожесточеннымъ преслѣдованіямъ. На обѣ эти темы было также разумѣется разъиграно достаточное количество варіацій, сбивающихся на переливаніе изъ пустого въ порожнее. Изъ всѣхъ самостоятельныхъ размышленій и безсодержательныхъ фразъ, вызванныхъ этими вопросами, можно кажется вывести тѣ общія заключенія, что каждая среда въ большей или меньшей степени обладаетъ заѣдающими свойствами, что каждая сильная и замѣчательная личность сильна и замѣчательна на столько, на сколько она хочетъ, можетъ и умѣетъ сопротивляться заѣдающему вліянію среды, что развитіе такихъ личностей совершается наперекоръ всему окружающему ихъ и составляющему общій, обыкновенно сѣроватый и грязноватый фонъ картины, и что вся жизнь этихъ личностей, отдѣляющихся отъ общаго фона, соотвѣтствуетъ ихъ развитію, то-есть бываетъ и должна быть постоянной, болѣе или менѣе тяжелой и мучительной борьбой за право думать, чувствовать и поступать сообразно съ естественными потребностями и здоровыми влеченіями собственнаго организма.

Эта вѣчная борьба между здоровыми личностями и темными, безличными, коллективными, медленно разлагающими силами среды въ каж-

Digitized by Google

дую данную эпоху и въ каждой данной мѣстности облекается въ новыя формы. Внимательное изученіе этихъ формъ составляетъ, безъ сомнѣнія, одну изъ важнѣйшихъ задачъ литературы, такую задачу, надъ которой постоянно должны работать общими силами даровитые романисты и серьезно размышляющіе критики. Та польза, которую приноситъ общественному сознанію хорошая беллетристика, состоитъ именно въ томъ, что она, беллетристика, приводитъ въ извѣстность количество и качество міазмовъ, распространяемыхъ средой, и въ тоже время поддерживаетъ въ читателѣ ту мужественную увѣренность, что обыкновенный человѣкъ, вооруженный нѣкоторымъ элементарнымъ знакомствомъ съ существующими міазмами, можетъ при нѣкоторой настойчивости и при серьезномъ уваженіи къ своему человѣческому достоинству предохранить себя отъ всякой заразы, остаться до конца своей жизни чистой, здоровой, сильной и дѣятельной личностью, и даже спасти отъ умственной и нравственной деморализаціи тѣхъ людей, съ которыми онъ находится въ постоянныхъ сношеніяхъ.

Если смотрѣть съ этой точки зрѣнія на романы Андре Лео, то ихъ необходимо будетъ признать очень замѣчательными и въ высокой степени полезными.

II.

Сюжетъ «Возмутительнаго брака» *) очень простъ. Двѣ здоровыя и сильныя личности, двадцати-двухлѣтній крестьянинъ Мишель и двадцатилѣтняя мѣщанка Люси Бертень съ успѣхомъ отстаиваютъ отъ темныхъ и грязныхъ силъ окружающей среды свои права на честное и разумное счастье, на свѣтлую и здоровую жизнь, наполненную упорнымъ трудомъ и взаимной любовью. Все противъ нихъ: и любящіе родители, и заботливые родственники, и друзья, и сосѣди, и кумушки, и общественное мнѣніе, и весь кодексъ установившихся понятій и обычаевъ, но они сами твердо стоятъ за себя, они крѣпко и довѣрчиво держатся другъ за друга, они молоды и сильны, они хотятъ жить, въ нихъ нѣтъ ни мелочнаго тщеславія, ни малодушнаго лукавства, ни трусливой уклончивости, и они, безо всякой особенной геніальности, оставаясь простыми и обыкновенными людьми, одерживаютъ полную побѣду надъ всѣми грудами мелкихъ препятствій; романъ заканчивается возмутительнымъ бракомъ, и Люси Бертень, правнучка именитыхъ мѣщанъ, Бурдоновъ и Таламбеновъ, родственница богачей, ведущихъ дружбу съ префектами и мѣтящихъ въ депутаты, становится простой мужичкой Мишелихой, сама ходитъ за коровой и стираетъ на рѣчкѣ бѣлье.

Интересъ романа сосредоточивается въ личности Люси. Сначала въ ней происходитъ внутренняя борьба, которая окончательно отрываетъ ее отъ среды и очищаетъ ее отъ всѣхъ узкихъ и мелочныхъ понятій и пристрастій, привитыхъ къ ней мѣщанскимъ воспитаніемъ. Затѣмъ начинается другая, внѣшняя борьба съ семействомъ и обществомъ. Первая борьба заканчивается тѣмъ, что Люси признается Мишелю въ своей любви; вторая—тѣмъ, что Люси становится женой Мишеля. И ту, и другую борьбу Люси принуждена была вести одна, безъ дѣятельнаго и прямого содѣйствія со стороны Мишеля. Понятно, что Мишель не могъ врываться въ процессъ ея мышленія, когда она рѣшала про себя вопросы: люблю-ли я его? Могу-ли я, должна-ли я, смѣю-ли я любить его? Что мнѣ дѣлать съ этой любовью? Отдаться-ли ей на всю жизнь, или давить ее въ себѣ всѣми доводами разсудка и всей энергіей воли? Понятно также, что мужикъ Мишель не могъ помогать своей невѣстѣ и въ той борьбѣ, которую она вела со своими родными и знакомыми. Эта борьба велась тогда, когда Мишель работалъ на поденщинѣ, и тамъ, куда Мишеля не пускали. Общественное мнѣніе формировалось и изрекало свои приговоры надъ позорной страстью легкомысленной дѣвушки въ такихъ кругахъ, на которые личность Мишеля, его достоинства, его умъ и характеръ не могли обнаруживать никакого вліянія.

Мишель, безъ сомнѣнія, принималъ важное участіе въ обѣихъ фазахъ борьбы и оказывалъ любимой дѣвушкѣ такое содѣйствіе, безъ котораго она конечно не могла-бы одержать побѣду ни надъ собою, ни надъ окружающими людьми. Но это содѣйствіе было пассивное; онъ помогалъ ей не своими поступками, а чистотой и твердостью своей личности; онъ не расчищалъ передъ ней дороги, не устранялъ препятствій, ничего не доказывалъ ни ей самой, ни ея родителямъ, не спорилъ о правахъ человѣка и гражданина съ мѣщанами и крестьянами своего мѣстечка; онъ только постоянно оставался самимъ собой, не измѣнялъ себѣ ни въ одномъ изъ мельчайшихъ случаевъ вседневной жизни, всегда и вездѣ уважалъ въ себѣ самъ и заставлялъ другихъ уважать его человѣческое достоинство, и этого было достаточно. Въ минуты тяжелаго раздумья, послѣ отчаянной схватки съ собственными мѣщанскими предразсудками или съ безнадежнымъ тупоуміемъ окружающихъ людей, Люси думала о немъ и не находила въ немъ ни одного пятна; она смотрѣла на него и видѣла во всемъ его существѣ спокойную силу, на которую можно положиться во всѣхъ случаяхъ жизни. Все въ этомъ человѣкѣ ручалось ей за то, что она будетъ очень счастлива, и это счастье манило ее къ себѣ, и она шла къ нему, не смущаясь неровностями дороги, и идя къ нему, она сама росла и крѣпла, становилась

*) Я буду приводить цитаты изъ этого романа по русскому переводу Марка Вовчка.

Digitized by Google

умнѣе и чище, выучивалась глубже и вѣрнѣе понимать жизнь и относиться съ кроткимъ и сострадательнымъ равнодушіемъ къ проявленіямъ человѣческой ограниченности.

Дѣйствіе романа происходитъ въ провинціальной глуши, въ деревнѣ, въ средней Франціи. Дѣйствуютъ мѣщане и крестьяне. Первые отличаются отъ послѣднихъ тѣмъ, что не носятъ мѣстныхъ костюмовъ, не придерживаются мѣстныхъ обычаевъ, считаютъ себя образованными людьми, презираютъ физическій трудъ и не безъ успѣха гоняются за казенными мѣстами. Послѣдніе стараются, по возможности, брать примѣръ съ первыхъ, но абсолютная необходимость работать и смотрѣть на работу, какъ на единственный источникъ пропитанія, въ значительной степени парализуетъ эти усилія. Бѣдные крестьяне, видя невозможность угоняться за мѣщанами или господами, покоряются своей участи и остаются работниками, проклиная свою горькую долю; богатые крестьяне пользуются своимъ достаткомъ преимущественно для того, чтобы вывести въ люди своихъ дѣтей, то-есть, чтобы выдать дочерей замужъ за мѣщанъ, или чтобы превратить сыновей въ полированныхъ тунеядцевъ, проживающихъ родительскія деньги, деньги, собранныя посредствомъ долговременнаго скряжничества, барышничества, ростовщичества и всевозможныхъ комерческихъ оборотовъ, болѣе или менѣе прибыльныхъ и болѣе или менѣе неопрятныхъ.

Мѣщане и крестьяне, богатые и бѣдные, всѣ бѣгутъ куда-то, къ какой-то цѣли, о которой никто изъ бѣгущихъ не составляетъ себѣ отчетливаго понятія; всѣ смотрятъ на трудъ, какъ на зло; кто можетъ, тотъ сбрасываетъ его такъ или иначе на чужія плечи. Затѣмъ, когда эта первая задача рѣшена, представляется вопросъ: чѣмъ наполнить жизнь? На этотъ вопросъ ни у кого нѣтъ удовлетворительнаго отвѣта, но никто и не нуждается въ такомъ отвѣтѣ, потому что никого не тревожитъ самый вопросъ, и даже почти никому онъ не приходитъ въ голову. Некогда задумываться надъ жизнью, надъ ея смысломъ, надъ тѣмъ содержаніемъ, которымъ она можетъ и должна быть наполнена. Она наполняется сама собой, наполняется и даже переполняется такъ, что будь въ сутках сорокъ-восемь часовъ вмѣсто двадцати-четырехъ, и будь люди избавлены отъ печальной необходимости спать, то на долю каждаго изъ этихъ сорока-восьми часовъ пришлось-бы слишкомъ достаточное количество заботъ, тревогъ, волненій и огорченій, и все такихъ, которыя имѣютъ очень мало общаго съ удовлетвореніемъ естественныхъ потребностей животнаго организма или высшихъ стремленій человѣческаго ума. Надо бѣжать туда, куда бѣгутъ всѣ; надо завидовать тѣмъ, кто бѣжитъ впереди; надо презирать тѣхъ, кто отстаетъ; надо топтать ногами тѣхъ, кто падаетъ на пути, и надо при этомъ лицемѣрить со всѣми, зная заранѣе, что ваше лицемѣріе никого не обманываетъ; надо тщательно затаивать зависть; надо преувеличивать презрѣніе и выражать его такъ, чтобы всѣ окружающіе принимали или могли принять его за роковой результатъ возвышенныхъ чувствъ и утонченныхъ привычекъ; надо проливать слезы состраданія надъ такими оплошностями ближнихъ, которыя возбуждаютъ чувство злобной радости и открываютъ широкій просторъ для напряженной дѣятельности топчущихъ ногъ.

Каковы-бы ни были тѣ причины, которыми порождается это переполненіе жизни искусственными заботами, тревогами, волненіями и огорченіями, въ чемъ бы ни коренились эти причины, въ неисправимой-ли слабости человѣческаго ума, или въ какихъ-нибудь политическихъ ошибкахъ, сдѣланныхъ предками и еще незамѣченныхъ потомками,—во всякомъ случаѣ это переполненіе существуетъ и даже составляетъ фактъ, дающій тонъ и колоритъ всѣмъ отправленіямъ общественной жизни во всѣхъ частяхъ цивилизованнаго міра. Толчокъ данъ сотни лѣтъ тому назадъ, и люди бѣгутъ, и поколѣніе за поколѣніемъ тратитъ въ этомъ бѣгѣ всѣ свои силы, не находя себѣ за всѣ свои старанія никакой другой награды, кромѣ мучительнаго утомленія и горькаго разочарованія.

Какая-же сила поддерживаетъ это движеніе и мѣшаетъ отдѣльнымъ личностямъ, составляющимъ бѣгущую толпу, остановиться, оглядѣться и сообразить свои дѣйствительные интересы? У каждой отдѣльной личности есть свои желанія, идущія въ разрѣзъ съ направленіемъ общаго бѣга; но каждая отдѣльная личность знаетъ, что въ ту минуту, когда она вздумаетъ отдѣлиться отъ толпы, вся эта толпа соединится противъ нея и забросаетъ ее безчисленнымъ множествомъ презрительныхъ взоровъ, лицемѣрно-сострадательныхъ гримасъ, оскорбительныхъ пересудовъ и лживыхъ выдумокъ. Эта боязнь очутиться въ изолированномъ положеніи, столкнуться лицомъ къ лицу съ мнѣніемъ всѣхъ, навлечь на себя всеобщее неблагосклоннов ниманіе, словомъ, эта трусость отдѣльной личности передъ толпой составляетъ тотъ цементъ, которымъ разнохарактерныя частицы связываются въ одну сплошную массу, направляющуюся къ одной извѣстной цѣли.

Люди, составляющіе толпу, не любятъ и не уважаютъ другъ друга; каждый изъ нихъ чувствуетъ, что въ случаѣ неудачи ему нечего ожидать себѣ отъ сосѣдей ни пощады, ни даже самой простой справедливости; каждый изъ нихъ знаетъ также про себя, что и онъ самъ поступитъ непремѣнно по той же программѣ съ каждымъ изъ своихъ оплошавшихъ сосѣдей; вмѣсто взаимной привязанности и соли-

Digitized by Google

дарности, существуетъ такимъ образомъ въ самой сильной степени взаимное недовѣріе и взаимная боязнь, и эти чувства, которыя повидимому могутъ только разрознивать людей, напротивъ того, соединяютъ ихъ между собой въ очень компактную массу. При этомъ не трудно себѣ представить, какую долю терпятъ въ этой массѣ отдѣльныя личности, связанныя между собой такимъ насильственнымъ образомъ.

Каждый видитъ въ своемъ сосѣдѣ, добромъ знакомомъ и пріятелѣ—будущаго доносчика, который при первомъ удобномъ случаѣ не задумается обвинить и даже оклеветать его передъ судомъ бѣгущей толпы, или такъ-называемаго общественнаго мнѣнія. Каждый видитъ въ своемъ ближнемъ цербера, котораго надо задобривать медовыми лепешками или запугивать увѣсистой дубиной. Отыскиваніе медовыхъ лепешекъ и увѣсистыхъ дубинъ составляетъ именно ту дѣятельность, которой предаются съ одинаковымъ усердіемъ, хотя и не съ одинаковымъ успѣхомъ всѣ члены бѣгущей и суетящейся толпы, и эта дѣятельность обусловливается преимущественно взаимной боязнью, воодушевляющей этихъ членовъ. Медовыя лепешки называются деньгами; увѣсистая дубина называется властью. Исканіе денегъ и власти наполняетъ жизнь всѣхъ людей, успѣвшихъ сбросить бремя физическаго труда и мучительныхъ заботъ о насущномъ хлѣбѣ, и не съумѣвшихъ привязаться къ какой-нибудь отрасли общеполезной умственной работы. Въ глазахъ бѣгущей толпы исканіе денегъ и власти составляетъ единственное позволительное, законное, разумное и похвальное человѣческое стремленіе. Толпа требуетъ отъ своихъ членовъ, чтобы они предавались этому исканію съ полнымъ самоотверженіемъ, и чтобы одна эта мысль господствовала безраздѣльно надъ всѣми ихъ поступками. Толпа оправдываетъ или обвиняетъ своихъ членовъ, признаетъ ихъ умными или глупыми, достойными или недостойными, великими или смѣшными, смотря по тому, насколько полно и ярко воплощается въ ихъ жизни единственная вполнѣ понятная ей идея, идея неуклоннаго стремленія къ деньгамъ и къ власти.

Въ жизни мѣщанъ и крестьянъ деревни Шаваньи, родины Мишеля и Люси Бертень, нѣтъ руководящихъ идей, кромѣ этой великой идеи, вполнѣ понятной всякой бѣгущей и суетящейся толпѣ. Этой идеѣ подчиняются и всѣ политическія понятія, и всѣ отношенія къ вопросамъ общаго міросозерцанія, и всѣ взгляды на различныя чувства, права и обязанности отдѣльной личности. Крестьяне не обнаруживаютъ въ романѣ Лео никакихъ политическихъ симпатій или антипатій; они повидимому не считаютъ правдоподобнымъ, чтобы та или другая форма правленія, или та или другая законодательная мѣра могла произвести въ ихъ матеріальномъ положеніи важную и чувствительную перемѣну къ лучшему. Имъ самимъ приходится разсмотрѣть и рѣшить одинъ крошечный мѣстный вопросъ, вопросъ о направленіи одной дороги, и пренія, вызванныя этимъ общимъ дѣломъ, показываютъ до нѣкоторой степени, подъ вліяніемъ какихъ страстей и соображеній обыватели Шаваньи стали бы обсуживать и рѣшать болѣе важные вопросы. Одинъ изъ крестьянъ говоритъ, что онъ ни за что не отдастъ подъ дорогу ни одного лоскута своей земли, что всѣ дороги только землю гадятъ, и что «ученые камень валятъ туда, гдѣ хлѣбъ растетъ». Другой жалуется, что для него ни одной дороги не проложили, хотя онъ «такой же муниципальный совѣтникъ, какъ и Бурдонъ».

Всѣ видятъ и понимаютъ, что Бурдонъ хлопочетъ о дорогѣ собственно для своихъ личныхъ выгодъ, и всѣ, пообѣдавши на фермѣ у Бурдона и распивши нѣсколько бутылокъ хорошаго вина, подаютъ голоса такъ, какъ того хочетъ Бурдонъ. Настоящую сущность дѣла превосходно выражаетъ Вуазонъ, тотъ самый крестьянинъ, который ратуетъ противъ дорогъ вообще: «за эту дорогу, говоритъ онъ, я только потому и подамъ голосъ, что, сдается мнѣ, ее все равно и безъ моего голоса построятъ. Префектъ съ генеральнымъ совѣтомъ не сидитъ въ рукавѣ у нашего брата-мужика. И еще потому я за эту дорогу подаю голосъ, что она не проходитъ черезъ мою землю». Равнодушіе къ рѣшаемому вопросу выходитъ такимъ образомъ изъ того убѣжденія, что мужику нѣтъ возможности отстоять и провести свое мнѣніе; еслибы этому самому мужику приходилось принимать участіе въ рѣшеніи болѣе важныхъ вопросовъ, и еслибы онъ видѣлъ, что его голосъ имѣетъ серьезное значеніе, то по всей вѣроятности и равнодушіе бы исчезло. Но при тѣхъ политическихъ условіяхъ, при которыхъ находилось въ 40-хъ годахъ и находится до сихъ поръ сельское населеніе, несмотря на знаменитое «suffrage universel», отстаиваніе собственнаго поля и угожденіе богатому сосѣду оказывается, при рѣшеніи общественныхъ вопросовъ, единственнымъ мотивомъ, доступнымъ разумѣнію и близкимъ сердцу большинства.

Мѣщане относятся менѣе равнодушно къ вопросамъ текущей политики: имъ доступна чиновническая карьера; они могутъ ожидать себѣ кое-какихъ щедротъ отъ правительства; ихъ могутъ наградить за преданность, и они стараются продавать эту преданность тѣмъ, кто желаетъ и способенъ дать за нее подходящую цѣну. Блестящій представитель мѣстнаго мѣщанства, богачъ и мудрецъ, царствующій въ деревнѣ Шаваньи, Антоненъ Бурдонъ, отличался преданностью къ правительству Бурбоновъ и шелъ быстрыми шагами къ высокимъ чинамъ и почестямъ, а потомъ, послѣ іюльской рево-

Digitized by Google

люціи, принужденный удалиться въ деревню, скромно и осмотрительно отложилъ въ сторону все то, чему служилъ и что любилъ благонамѣренной страстью въ прежнія времена. Онъ сдружился съ новыми властями и успѣлъ выпросить себѣ у нихъ стипендію для одного сына, протекцію для другого и полную благосклонность для себя и для всего своего семейства.

Въ религіозномъ отношеніи крестьяне по-видимому добрые католики; но съ одной стороны, вѣрныя хранительницы мѣстныхъ преданій, благочестивыя старушки, думаютъ, что для исцѣленія отчаянно больныхъ лучше обращаться къ колдуну или знахарю, чѣмъ къ святой Радегондѣ; а съ другой стороны, когда молодые господа, то есть мѣщане, пересмѣиваются въ церкви и дѣлаютъ другъ другу знаки, то крестьяне не находятъ въ этомъ ничего предосудительнаго и даже относятся къ этимъ глупостямъ съ почтительнымъ сочувствіемъ, потому что видятъ въ нихъ проявленіе городской развязности и великосвѣтскаго изящества.

Мѣщане въ дѣлѣ религіи, какъ и во всѣхъ прочихъ дѣлахъ, руководствуются модой; они отрицаютъ извѣстный строй понятій такъ, какъ они стали-бы отрицать прошлогодній покрой фрака; они ни во что не вѣрятъ, ни въ чемъ не сомнѣваются и ни надъ чѣмъ не задумываются; всѣ эти процессы слишкомъ утомительны для нихъ, вовсе не приняты въ хорошемъ обществѣ и нисколько не требуются для того, чтобы составить приличную карьеру, то есть захватить въ руки частицу власти, нажить маленькій капиталецъ и жениться на дѣвушкѣ хорошей фамиліи; твердыя убѣжденія въ дѣлѣ религіи, каковы-бы они ни были, положительныя или отрицательныя, могутъ быть только стѣснительны при жизни, когда приходится сталкиваться въ обществѣ съ людьми самаго различнаго образа мыслей, когда со всѣми этими людьми надо ладить и когда отъ каждаго изъ нихъ можно добиваться какой нибудь выгоды, рекомендаціи или протекціи. А когда придется умирать, тогда можно будетъ струсить во-время, покаяться въ грѣховномъ пристрастіи къ модному легкомыслію и съ должнымъ смиреніемъ прибѣгнуть къ всегда готовой помощи услужливаго и снисходительнаго патера.

Въ основаніяхъ своей житейской мудрости крестьяне сходятся съ мѣщанами: и тѣ, и другіе находятъ, что необходимо преклоняться предъ богатствомъ и обѣими руками ухватываться за всякое дозволенное законами средство обогащенія. Мѣщане и крестьяне осуждаютъ въ одинъ голосъ Мишеля и называютъ его чудакомъ за то, что онъ не захотѣлъ жениться на богатой дѣвушкѣ, объяснившейся ему въ любви. Иные находятъ его поступокъ до крайности неестественнымъ и даже выражаютъ то предположеніе, что онъ быть можетъ еще спохватится.

Однако на практикѣ мѣщане, какъ люди дрессированные и полированные, оказываются гораздо непоколебимѣе и послѣдовательнѣе крестьянъ въ дѣлѣ поклоненія золотому тельцу. Въ крестьянскомъ быту еще возможны и даже случаются довольно часто браки по любви; совершенно бѣдныя невѣсты находятъ себѣ совершенно бѣдныхъ женіховъ и, надѣясь только на свое трудолюбіе и на свои нерастраченныя силы, идутъ съ ними навстрѣчу всѣмъ невзгодамъ и опасностямъ суровой батраческой жизни. Въ мѣщанскомъ сословіи такіе браки или совсѣмъ невозможны, или составляютъ чрезвычайно рѣдкія исключенія, на которыя общественное мнѣніе смотритъ, какъ на сумасбродные и даже безнравственные поступки. Во всемъ своемъ поведеніи мѣщане гораздо менѣе крестьянъ поддаются внушеніямъ неблагоразумныхъ страстей. Любовь, ненависть, презрѣніе, гнѣвъ, негодованіе, жажда мщенія—все это такія чувства, которыя у крестьянъ вырываются иногда съ неудержимой силой, наперекоръ всѣмъ требованіямъ финансоваго положенія и всѣмъ соображеніямъ практическаго разсудка. У мѣщанъ, напротивъ того, всѣ эти чувства держатся на привязи и выпускаются на волю только тогда, когда ихъ шумное и эффектное появленіе не можетъ помѣшать достиженію серьезныхъ цѣлей, то-есть повредить интересамъ карьеры и кармана.

Это различіе между мѣщанами и крестьянами обнаруживается очень наглядно и съ разныхъ сторонъ въ исторіи молодого чиновника Гавеля и крестьянки Лизы Мурильонъ. Гавель соблазняетъ эту Лизу, дочь крестьянина, арендующаго ферму Бурдона. Лиза дѣлается беременной, и эта беременность становится извѣстной черезъ нѣсколько дней послѣ торжественнаго объявленія о томъ, что Гавель женится на Орели Бурдонъ, дочери того богача и мудраго политика, имя котораго уже встрѣчалось на предыдущихъ страницахъ. Встрѣтивъ Гавеля на берегу рѣки, гдѣ онъ прогуливается съ семействомъ своей невѣсты, Лиза требуетъ у него разговора наединѣ, уводитъ его за кусты и тамъ объявляетъ ему о своемъ положеніи. Съ ней находится въ эту минуту Жанъ, молодой работникъ ея отца, влюбленный въ нее; Гавель, переговорнвъ съ Лизой, подаетъ Жану золотую монету, приглашая его молчать обо всемъ, что онъ видѣлъ и слышалъ. Жанъ бросаетъ ему эту монету въ лицо. «Гавель чуть не схватилъ за горло мужика, но, вѣрный правиламъ осторожности, онъ удержался отъ этого, сдѣлавъ надъ собой страшное усиліе. Берегись! —сказалъ онъ съ угрожающимъ жестомъ и страшнымъ выраженіемъ лица; потомъ онъ быстро ушелъ. Обладая уже искусствомъ бороться съ человѣческими чувствами и волненіями, какъ собственными, такъ и чужими, онъ успѣлъ справиться съ

Digitized by Google

своими нервами въ тѣ пять минутъ, которыя ему понадобились, чтобы дойти до госпожи Бурдонъ; закипѣвшая кровь остыла въ немъ, и лицо его прояснилось».

Эта сцена достаточно выразительна. Мужикъ наноситъ жестокое личное оскорбленіе барину, нисколько не принимая въ соображеніе того вліянія, которое этотъ баринъ можетъ имѣть на его карьеру. А баринъ на оскорбленіе, равносильное пощечинѣ, отвѣчаетъ страшнымъ взглядомъ, угрожающимъ жестомъ, словомъ «берегись!» и быстрымъ отступленіемъ, сообразивши въ ту же секунду, что шумъ драки и громкій скандалъ могутъ разстроить его планы, и что гораздо благоразумнѣе будетъ проглотить обиду молча, какъ-бы ни была она сильна и унизительна. Между тѣмъ, съ одной стороны, Гавель можетъ нажаловаться на Жана своему будущему тестю, Бурдону, Бурдонъ можетъ сказать о немъ слово Мурильону, и Жанъ останется безъ мѣста. А съ другой стороны, какой-бы ужасный скандалъ ни произошелъ, какое-бы дурное мнѣніе не получили о Гавелѣ Бурдонъ, его семейство и всѣ жители деревни Шаваньи, Гавель не потеряетъ ни своего казеннаго мѣста, ни тѣхъ денегъ, которыя онъ, по всей вѣроятности, получаетъ на житье отъ своего отца, ни вообще какого бы то ни было изъ тѣхъ матеріальныхъ обезпеченій, которыя даютъ ему возможность играть роль провинціальнаго льва. Значитъ, мужикъ, увлеченный страстью, рискуетъ всѣмъ, что́ у него есть; а баринъ, въ которомъ ударъ по лицу долженъ былъ конечно разбудить сильнѣйшую и самую неукротимую изъ человѣческихъ страстей, не желаетъ рискнуть даже той выгодной спекуляціей, которая находится у него въ ходу, и которая, если даже лопнетъ окончательно, нисколько не подорветъ источниковъ его благосостоянія. Откуда же происходитъ такое различіе между этими двумя людьми? Пожалуй, можно было бы просто сказать: одинъ смѣлый человѣкъ, другой — разсчетливый трусъ; но это объясненіе было бы совершенно произвольно и кромѣ того само нуждалось бы въ объясненіи. Относительно Гавеля оно даже и невѣрно; по всѣмъ пріемамъ Гавеля видно, что онъ, при случаѣ, готовъ рискнуть жизнью, еслибы такой рискъ былъ абсолютно необходимъ для успѣха его житейскихъ предпріятій, то-есть, еслибы ему надо было, во что бы то ни стало, показать людямъ бѣгущей толпы, что онъ способенъ посмотрѣть въ глаза смерти. Но, разумѣется, онъ и жизнью сталъ бы рисковать не по страсти, а по разсчету, именно тогда, когда этого требуютъ его служебные или денежные интересы, и именно на столько, на сколько это для нихъ необходимо.

Объясненіе различія между поступками Жана и дѣйствіями Гавеля заключается, по моему мнѣнію, не въ ихъ личныхъ характерахъ, а въ ихъ положеніяхъ. Чѣмъ рискуетъ Жанъ? Мѣстомъ батрака. Велико сокровище! Поссорился онъ съ Мурильономъ, пошелъ къ другому хозяину, нанялся у него, и опять все пошло по старому. Жанъ знаетъ себѣ цѣну, и понимаетъ очень хорошо, что Мурильонъ даетъ за его трудъ то, что́ далъ бы и что́ дѣйствительно дастъ въ случаѣ надобности всякій другой покупщикъ, то-есть въ сущности гораздо меньше того, что этотъ трудъ стоитъ на самомъ дѣлѣ, то-есть гораздо меньше, чѣмъ то количество продуктовъ, которое можетъ быть добыто или передѣлано посредствомъ этого труда. Трудъ Жана имѣетъ свою рыночную цѣну, и чтобы получить за него эту цѣну отъ Мурильона или отъ кого-либо другого, Жанъ не нуждается ни въ какихъ вспомогательныхъ маневрахъ и подготовительныхъ комбинаціяхъ. Жанъ, оторванный отъ Мурильона, все тотъ же Жанъ, дюжій, работящій парень, и всѣ его качества и сноровки остаются при немъ, и продажная цѣнность его труда не понижается ни на одинъ сантимъ. Жанъ можетъ дѣйствовать смѣло, потому что онъ стоитъ не на какихъ нибудь хрупкихъ и хитрыхъ подмосткахъ, а на собственныхъ здоровыхъ ногахъ. Онъ беретъ за себя даже меньше того, что́ онъ на самомъ дѣлѣ сто́итъ, и умѣетъ довольствоваться этимъ малымъ. Поэтому ему нечего бояться, что онъ не найдетъ себѣ покупщиковъ. Поэтому онъ и можетъ себѣ позволить ту невинную роскошь, въ которой благоразумно отказываетъ себѣ блестящій Гавель.

Люди, подобные блестящему Гавелю, напротивъ того, получаютъ за себя, тѣмъ или другимъ путемъ, несравненно больше своей рыночной цѣны. Въ этомъ собственно и состоятъ всѣ выгоды ихъ привилегированнаго положенія. Вся коллективная политика этихъ людей клонится къ тому, чтобы удержать въ полной силѣ и развить надлежащимъ образомъ тѣ условія, благодаря которымъ получается эта непомѣрно высокая цѣна. Вся ихъ индивидуальная политика направлена къ тому, чтобы, комбинируя различными способами эти общія условія, брать за себя такую цѣну, которая нисколько не соотвѣтствуетъ ни ихъ личнымъ достоинствамъ, ни количеству справляемой ими полезной работы. Такъ напримѣръ, Гавель занимаетъ мѣсто инженера и получаетъ извѣстное жалованье. Занимаетъ онъ это мѣсто совсѣмъ не потому, что онъ болѣе всѣхъ своихъ сверстниковъ способенъ его занимать, а потому, что ему удалось получить выигрышный билетъ въ двухъ лотереяхъ. Во-первыхъ, онъ поступилъ въ училище и кончилъ въ немъ курсъ, между тѣмъ какъ многія тысячи его соотечественниковъ и ровесниковъ, вполнѣ способныхъ учиться, не

Digitized by Google

поступили ни въ какое училище и не кончили никакого курса. Это случилось съ Гавелемъ потому, что онъ родился на свѣтъ сыномъ такого человѣка, которому привилегированное положеніе давало возможность доставить своимъ дѣтямъ хорошее образованіе. Это обстоятельство, неимѣющее ничего общаго съ личными достоинствами Гавеля, составляетъ первый выигрышный билетъ. Далѣе Гавель, по выходѣ изъ училища, при помощи различныхъ рекомендацій, протекцій, связей и ходатайствъ, получилъ мѣсто, котораго навѣрное добивались вмѣстѣ съ нимъ другіе претенденты, одинаково компетентные и имѣющіе съ нимъ совершенно одинаковыя права. Это — второй выигрышный билетъ. Первый билетъ составляетъ чистую случайность, но второй взятъ на-вѣрняка. Гавель получилъ его, благодаря цѣлой искусно-пригнанной системѣ отношеній, благодаря тому, что его знаютъ, какъ сына такого-то, какъ племянника такой-то, какъ пріятеля такихъ-то, какъ милаго и образованнаго юношу, отлично умѣющаго держать себя въ гостиной и танцовать польку и вальсъ.

Чтобы удерживать за собой тѣ выгоды, которыя доставляетъ полученный выигрышный билетъ, и чтобы эти выгоды росли и множились въ его рукахъ, Гавель долженъ тщательно наблюдать за неприкосновенной цѣлостью той тонкой и замысловатой ткани отношеній, которой онъ себя опуталъ и которая поддерживаетъ его на извѣстной высотѣ. Онъ долженъ воздерживаться отъ всякаго быстраго и рѣзкаго движенія, которое могло бы прорвать эту ткань; чуть только въ этой ткани начнетъ обнаруживаться крошечная прорѣха, онъ долженъ зачинивать ее, не жалѣя ни времени, ни труда, ни лицемѣрныхъ улыбокъ, ни почтительныхъ поклоновъ, ни лживыхъ увѣреній. Гавель, оторванный отъ своихъ патроновъ и разобщенный съ той сферой, которая раздаетъ своимъ любимцамъ выгодныя должности, денежныя и почетныя награды, богатыя наслѣдства и руки богатыхъ невѣстъ — совсѣмъ не то, что Жанъ, оторванный отъ своего хозяина Мурильона. Если Гавель прогнѣваетъ своего папеньку, не съумѣетъ поддѣлаться къ богатой тетушкѣ, повздоритъ съ своимъ начальникомъ по службѣ, обратитъ на себя суровое вниманіе благовоспитаннаго общества какимъ нибудь яркимъ скандаломъ, если онъ, вслѣдствіе этихъ и другихъ подобныхъ причинъ, сорвется съ той ступеньки, на которой онъ держится, и полетитъ внизъ, то онъ сразу сдѣлается самымъ жалкимъ пролетаріемъ, обидчивымъ и раздражительно-самолюбивымъ, безъ воловьей силы, безъ способности и привычки къ тяжелымъ лишеніямъ и къ черной работѣ. Онъ упадетъ такъ низко, какъ Жанъ можетъ упасть только, напримѣръ, вслѣдствіе долгой изнурительной болѣзни. Гавель и люди ему подобные понимаютъ и чувствуютъ это постоянно въ каждую данную минуту. Боязнь попортить или порвать запутанную паутину общественныхъ связей и отношеній, боязнь подломить подъ собой высокія и хрупкія ходули, благодаря которымъ можно презирать простыхъ людей, мѣсящихъ грязь собственными ногами — эта боязнь управляетъ всѣми поступками Гавелей и становится для нихъ второй природой. Эта боязнь называется умѣньемъ жить съ людьми и держать себя въ обществѣ; она лежитъ въ основаніи всѣхъ безчестныхъ уступокъ и унизительныхъ компромиссовъ; она заставляетъ человѣка молча глотать оскорбленія, подавлять въ себѣ взрывы самаго законнаго негодованія и сгибаться въ дугу передъ сильнымъ или смѣлымъ обидчикомъ; она прививается и прирастаетъ такъ крѣпко ко всему нравственному существу человѣка; она пускаетъ такіе глубокіе и цѣпкіе корни въ его характеръ, что человѣкъ продолжаетъ бояться и дипломатизировать, сгибаться и извиваться, лгать передъ другими и передъ самимъ собой, насиловать и извращать лучшія и самыя естественныя движенія своей природы даже тогда, когда онъ навсегда застрахованъ противъ паденія въ грязную пропасть нищеты и когда онъ могъ бы прожить остатокъ дней своихъ въ полнѣйшей нравственной независимости.

То же различіе, которое я замѣтилъ между Жаномъ и Гавелемъ, замѣчается далѣе между Мурильономъ, отцомъ соблазненной дѣвушки, и Бурдономъ, отцомъ той дѣвушки, которая должна сдѣлаться законной супругой соблазнителя. Беременность Лизы перестаетъ быть тайной; о ней говорятъ и шутятъ въ деревенскомъ трактирѣ; Марильонъ, услышавъ эти толки, приходитъ въ неистовство и затѣваетъ драку; потомъ онъ бѣжитъ домой разспросить Лизу и застаетъ ее вмѣстѣ съ Гавелемъ, только что вручившимъ ей, въ видѣ утѣшенія, полный кошелекъ. Гавель убѣгаетъ, а Мурильонъ бросается на дочь и хочетъ ее убить. Мишель спасаетъ Лизу; Мурильонъ собирается убить Гавеля, потомъ бросаетъ эту мысль и хочетъ преслѣдовать его судебнымъ порядкомъ, потомъ убѣждается, что это ни къ чему не поведетъ, и наконецъ измученный безсонной ночью и безъисходными думами, рѣшаетъ къ утру, что мужику ничего нельзя сдѣлать путнаго, и что нѣтъ на свѣтѣ ни суда, ни правды, ни Господа Бога, и что остается только приниматься потихоньку за обыкновенную будничную тяжелую работу. Еслибы онъ могъ цѣной всего своего состоянія — я уже не говорю предотвратить или поправить случившуюся бѣду, — но даже только добиться того, чтобы Гавель былъ наказанъ, какъ низкій негодяй, то онъ не поколебался бы ни на одну минуту. При своемъ безсиліи онъ дѣлаетъ все, что можетъ. Онъ

Digitized by Google

*

отправляется къ Бурдону и разсказываетъ ему о поступкѣ Гавеля, надѣясь по крайней мѣрѣ разстроить его бракъ. Въ то самое время, когда Мурильонъ объясняется съ Бурдономъ, на дорогѣ происходитъ столкновеніе между Гавелемъ, съ одной стороны, и Жаномъ—съ другой.

Жанъ бросается на него съ топоромъ и наноситъ одну рану его лошади, а другую—ему самому. Лизины братья Каде и Мишель, рубившіе дрова вмѣстѣ съ Жаномъ, обезоруживаютъ его и спасаютъ Гавеля. Но при этомъ Каде полосуетъ Гавелю лицо кнутомъ, и Гавель, вынужденный появленіемъ постороннихъ лицъ, уѣзжаетъ въ городъ, задыхаясь отъ ярости и составляя самые несбыточные планы мщенія. Теперь наступаетъ для Бурдона время заявить не только то, съ какой точки зрѣнія онъ смотритъ на дѣйствія Гавеля, но еще и то, съумѣетъ ли онъ и пожелаетъ ли постоять за будущность своей собственной дочери. Бурдонъ нисколько не обманывается насчетъ Гавеля; онъ понимаетъ вполнѣ, что этотъ человѣкъ непремѣнно отравитъ жизнь его дочери и ни въ какомъ случаѣ не сдѣлаетъ ее счастливой. Онъ приходитъ въ негодованіе и хочетъ разорвать предположенный бракъ. «Человѣкъ, настолько безнравственный, говоритъ онъ своей женѣ, что соблазняетъ шестнадцатилѣтнюю горничную въ домѣ своей невѣсты, такой человѣкъ всегда будетъ необузданнымъ развратникомъ. Отказываясь отъ этого брака, я спасаю дочь!» Но госпожа Бурдонъ, послѣ продолжительнаго разговора, направленнаго къ тому, чтобы оправдать Гавеля или по крайней мѣрѣ включить его въ многочисленный разрядъ обыкновенныхъ и общераспространенныхъ мужей, напоминаетъ своему Антонену о паутинѣ тѣхъ отношеній, которыя необходимы ему для успѣха его предпріятій, и перечисляетъ тѣ нити этой паутины, которыя оборвутся въ случаѣ рѣзкаго отказа выгодному жениху. «Вся ея жизнь будетъ надломлена, говоритъ госпожа Бурдонъ о дочери. Можетъ быть также общественное мнѣніе будетъ къ ней до такой степени несправедливо, что она уже никогда не найдетъ тѣхъ выгодъ и связей, которыя представлялъ ей бракъ съ Гавелемъ. Наконецъ въ этомъ разрывѣ все на насъ обрушивается, все насъ губитъ. Теперь опять вся будущность Эмиля сдѣлается сомнительной; разумѣется, дядя Гавеля, обѣщавшій намъ мѣсто аудитора въ государственномъ совѣтѣ, возьметъ назадъ свое слово. И ты также теряешь поддержку супрефекта при выборахъ въ депутаты».

Соображенія о паутинѣ дѣйствуютъ; Бурдонъ покорно склоняетъ голову; великодушное негодованіе его испаряется; раздраженный отецъ становится трусливымъ и благовоспитаннымъ членомъ бѣгущей и суетящейся толпы. Съ нимъ происходитъ та-же исторія, которая совершилась съ Гавелемъ, когда, подъ вліяніемъ благоразумныхъ соображеній, намѣреніе схватить Жана за горло превратилось въ угрожающій жестъ, въ слово «берегись!» и въ быстрое отступленіе. Такія же благоразумныя соображенія побуждаютъ блестящаго, но побитаго Гавеля отказаться отъ плановъ мщенія и взять назадъ жалобу, поданную мировому судьѣ на Каде и на Жана, какъ на злодѣевъ, покушавшихся отнять жизнь у мирнаго и уважаемаго гражданина. Сойдясь между собой въ своемъ пристрастіи къ благоразумнымъ соображеніямъ, Гавель и Бурдонъ убѣждаются въ томъ, что они достойны другъ друга и что имъ не изъза чего ссориться. Послѣ приличной отсрочки, вызванной печальными событіями и непріятными деревенскими толками, Орели Бурдонъ становится супругой Гавеля, который въ качествѣ мужа сдерживаетъ вполнѣ все то, что онъ обѣщалъ въ качествѣ жениха.

III.

Въ такой средѣ, гдѣ все повинуется благоразумнымъ соображеніямъ, положеніе бѣдной дѣвушки оказывается очень безотраднымъ. У нея нѣтъ будущаго, нѣтъ надежды любить и жить полной жизнью, нѣтъ шансовъ найти себѣ спутника жизни, сдѣлаться женой и матерью; въ томъ обществѣ, гдѣ она живетъ, люди ищутъ себѣ приличныхъ партій; а она, бѣдная дѣвушка, можетъ быть только помѣхой и обузой, которую можетъ взять себѣ на шею только отъявленный сумасбродъ; но такіе сумасброды рѣдки въ наше благоразумное время, да и тѣ, которые имѣются въ наличности, по большей части, въ качествѣ сумасбродовъ, не умѣютъ добыть себѣ собственнымъ трудомъ кусокъ насущнаго хлѣба и поэтому, находясь въ совершенной экономической зависимости отъ заботливыхъ родителей или отъ благодѣтельныхъ родственниковъ, обезпечиваются ихъ приказаніями и запрещеніями отъ слишкомъ крупныхъ и непоправимыхъ увлеченій. Богатые люди ищутъ себѣ богатыхъ невѣстъ, потому что богатство даетъ имъ право многаго требовать и высоко поднимать свои претензіи; бѣдные также ищутъ богатыхъ невѣстъ, потому что желаютъ сдѣлаться богатыми, хотя быть можетъ и не имѣютъ на то достаточнаго, то-есть наслѣдственнаго права. Бѣднымъ дѣвушкамъ остается только увядать и медленно разлагаться въ безнадежномъ одиночествѣ.

Мы знакомимся съ Люси Бертень именно въ то время, когда извѣстіе о предстоящемъ бракѣ ея кузины, Орели Бурдонъ, заставляетъ ее, Люси, оглянуться на самое себя и задуматься надъ тѣмъ, что ожидаетъ ее въ будущемъ. Орели моложе Люси на два года, и однако уже успѣла отказать столькимъ женихамъ, что пер-

Digitized by Google

вая сплетница въ околоткѣ, ходячая лѣтопись всѣхъ деревенскихъ событій, мадемуазель Бокъ отказывается ихъ пересчитать. Сестра Люси, Клариса, напротивъ того, дожила до двадцатишести лѣтъ, «не слыхавши отъ роду ни слова любви, не видя и тѣни жениха у смиреннаго порога родителей». Самой Люси уже двадцать лѣтъ; она миловидна, граціозна, очень умна, очень добра, отлично ведетъ хозяйство въ домѣ родителей, посвящена во всѣ тайны женскаго рукодѣлья; словомъ, отличается всѣми достоинствами, которыя могутъ привлечь съ одной стороны пылкихъ юношей, съ другой стороны— солидныхъ и разсудительныхъ старыхъ холостяковъ, желающихъ имѣть въ женѣ пріятную и расторопную экономку, и однако же нѣтъ жениховъ и нѣтъ ни малѣйшаго основанія думать, что они когда-либо явятся. Люси вглядывается въ свое положеніе, оцѣниваетъ его съ этой стороны, видитъ пустоту въ настоящемъ, понимаетъ, что та-же холодная и мрачная пустота ожидаетъ ее въ будущемъ — и, оставшись наединѣ съ своими мыслями, подъ вліяніемъ горя и ужаса, заливается слезами. Эти мысли, это горе, этотъ ужасъ и въ особенности эти слезы, слезы о томъ, что нѣтъ и не предвидится женіховъ—способны навсегда погубить Люси Бертень въ глазахъ многихъ читательницъ, считающихъ себя развитыми дѣвушками или женщинами. Какой позоръ!—скажутъ развитыя читательницы.—Какое низкое малодушіе! Думать о женихахъ! Сокрушаться о томъ, что какіе-нибудь дрянные люди, какіе-нибудь пошляки не вздыхаютъ у ея ногъ и не дѣлаютъ ей предложенія! Изъ-за отсутствія женіховъ не видѣть въ жизни ничего, кромѣ мрачной и холодной пустоты! А работа общеполезная дѣятельность, жизнь мысли!

Я согласенъ съ развитыми читательницами насчетъ того, что когда человѣку не удалось найти себѣ въ жизни личнаго счастья, то-есть взаимной любви со всѣми радостями и страданіями, тогда ему надо во всякомъ случаѣ устроиться какъ-нибудь такъ, чтобы его существованіе было какъ можно менѣе обременительно для него самого, для близкихъ ему людей и для всего общества. Вмѣсто того, чтобы заниматься перетряхиваніемъ старыхъ воспоминаній, вмѣсто того, чтобы вздыхать и плакать надъ несбывшимися надеждами, надо пріискать себѣ полезныя занятія, которыя, доставляя человѣку честную самостоятельность, въ то-же время наполняли-бы его дни и часы, предохраняли-бы его отъ уныній, давали-бы здоровое упражненіе его умственнымъ силамъ и такимъ образомъ не позволяли-бы ему опуститься, отупѣть, измельчать и окислиться въ душной атмосферѣ хронической праздности, безплодной болтовни и завистливыхъ пересудовъ. Но во-первыхъ, найти такія занятія не всегда и не вездѣ легко, въ особенности дѣвушкѣ; большая часть тѣхъ занятій, которыя кое какъ поддерживаютъ жизнь работающихъ женщинъ, не требуетъ ни малѣйшаго напряженія умственныхъ способностей; оставаясь неприложенными къ дѣлу, эти способности понемногу вянутъ и извращаются; пока надъ ними совершается этотъ медленный процессъ разложенія, до тѣхъ поръ женщина томится, тоскуетъ и скучаетъ, а когда онъ приходитъ къ благополучному окончанію, тогда женщина превращается въ старую болтунью и злую сплетницу, поглощенную ничтожнѣйшими мелочами окружающей жизни. Во-вторыхъ, если даже полезныя занятія найдены, то человѣкъ все-таки можетъ сказать себѣ только, что онъ занятъ, что онъ не даромъ живетъ на свѣтѣ, что онъ никому не въ тягость, но онъ никакъ не можетъ назвать и признать себя счастливымъ человѣкомъ. Одна изъ самыхъ существенныхъ потребностей человѣка, потребность любить и быть любимымъ, все-таки останется навсегда неудовлетворенной, и если только человѣкъ захочетъ и рѣшится быть откровеннымъ съ самимъ собой, то онъ все-таки принужденъ будетъ сознаться, что его жизнь до нѣкоторой степени пуста и холодна, несмотря на всѣ высокія наслажденія, которыя доставляются ему успѣшнымъ ходомъ полезной работы. Онъ принужденъ будетъ подумать и почувствовать, что эту пустоту можно пожалуй замаскировать, но что уничтожить ее нельзя, потому что нѣтъ и никогда не будетъ такого суррогата, который замѣнилъ-бы вполнѣ отсутствующую любовь.

Представьте же теперь, что человѣкъ свѣжій, здоровый и только-что начинающій жить, смотритъ въ даль будущаго, на ту длинную вереницу лѣтъ, которую онъ, по всей вѣроятности, еще проживетъ на свѣтѣ. Смотритъ и видитъ, что это будущее отгорожено неразрушимой стѣной отъ всего, что въ его глазахъ составляетъ смыслъ, цѣль и красоту жизни; смотритъ и видитъ, что какъ-бы долго ни тянулось это будущее и какими-бы мелкими случайностями оно ни было испещрено, а все-таки стѣна остается стѣной, и холодная пустота жизни окажется роковымъ фактомъ, къ которому надо будетъ такъ или иначе привыкнуть и приноровиться. Вообразите себѣ, какой глубокій и леденящій ужасъ долженъ охватить человѣка, когда для него въ первый разъ сдѣлается до очевидности яснымъ, что его жизнь ни въ какомъ случаѣ не будетъ болѣе или менѣе удачной погоней за радостями и наслажденіями, за сильными, глубокими и плодотворными ощущеніями, а будетъ только медленнымъ и томительнымъ привыканіемъ къ неизбѣжному злу, къ неизлечимому, глухому страданію, которое исчезнетъ только съ послѣднимъ вздо-

Digitized by Google

хомъ, или съ послѣднимъ проблескомъ человѣческой сознательности и чувствительности. Конечно, люди проживаютъ съ такими страданіями десятки лѣтъ, и оглядываясь назадъ на пройденное поприще, говорятъ себѣ и другимъ: однако, вотъ уже двадцать, или тридцать, или сорокъ лѣтъ прошло! Но смотрѣть на допитую чашу совсѣмъ не то, что имѣть передъ собою полную чашу, и видѣть, какъ она велика, и чувствовать всю ея горечь, и знать, что къ ней надо будетъ прильнуть губами и пить, не отрываясь, до послѣдней капли. Чувствовать въ своей жизни пустоту и холодъ конечно тяжело и больно; но видѣть заранѣе, что пустота и холодъ неизбѣжны, и видѣть именно тогда, когда стремленіе къ свѣту и къ теплотѣ всего сильнѣе—это еще гораздо тяжелѣе и больнѣе. Тутъ даже самому мужественному человѣку не стыдно было-бы заплакать отъ ужаса, отчаянія и безсильной злости.

Въ ту минуту, когда Люси смотритъ въ безотрадную даль своего будущаго, во всемъ, что ее окружаетъ, нѣтъ ничего такого, на что она могла-бы опереться, на чемъ она могла-бы отдохнуть душой, что̀ могло-бы сколько-нибудь помирить ее съ жизнью. Ея семья состоитъ изъ жалкихъ людей, которые не умѣютъ ни выбиться изъ своей бѣдности какими-нибудь энергическими усиліями и ловко разсчитанными изворотами, ни нести свою бѣдность съ терпѣніемъ и съ достоинствомъ. Ея отецъ—безпечный и ограниченный лежебокъ; ея мать—старая мечтательница, навсегда попорченная съ-молоду чтеніемъ сантиментальныхъ романовъ; ея сестра—двадцати-шестилѣтняя дѣвушка, домучившая себя до чахотки постояннымъ пересчитываніемъ того, что̀ есть у другихъ, и чего нѣтъ и никогда не будетъ у нея; ея братъ—мелкій чиновникъ, усматривающій смыслъ жизни въ томъ, чтобы одѣться по модѣ, воткнуть въ галстухъ золотую булавку и при случаѣ съ скромной улыбкой хвастнуть подаркомъ, полученнымъ отъ любовницы. Люси умнѣе и крѣпче всѣхъ этихъ людей; она не можетъ ни любить, ни уважать ихъ; она стоитъ настолько выше ихъ, что ей даже въ голову не приходитъ дѣлиться съ ними своими впечатлѣніями и просить у нихъ совѣта и помощи въ трудныя минуты раздумья и горя. Всѣ они умѣютъ только плакаться на нищету, припоминая славу своихъ богатыхъ предковъ и утверждая, что жизнь обманула ихъ коварнѣйшимъ образомъ; всѣ они, относясь съ кровавой ироніей къ своему обѣду, къ похлебкѣ изъ луку и къ соусу изъ бобовъ, бросаютъ завистливые взгляды на чужіе достатки; всѣ они унижаются передъ богатыми родственниками, принимаютъ и выпрашиваютъ отъ нихъ подачку, и потомъ потихоньку бранятъ ихъ за то, что они дали слишкомъ мало и обнаружили недостатокъ сочувствія къ трагическому положенію людей, родившихся для лучшей доли и одаренныхъ отъ природы возвышенными стремленіями.

У Люси не только нѣтъ надежды наполнить жизнь взаимной любовью, но нѣтъ и друга, съ которымъ можно было-бы общими силами обсуживать и разрѣшать представляющіеся житейскіе вопросы. У нея нѣтъ также и яснаго понятія о томъ, какимъ разумнымъ содержаніемъ можно наполнить неудавшуюся жизнь. У нея есть только самородное влеченіе ко всему разумному и честному, истинному и неподдѣльно-доброму, ко всему, въ чемъ выражается сила и красота неиспорченной человѣческой природы. У нея есть также свойственная умнымъ людямъ способность отличать истину отъ лжи и оцѣнивать чуткимъ ухомъ всѣ фальшивыя ноты и вопіющіе диссонансы, внесенные въ междучеловѣческія отношенія узкими и мелкими разсчетами практическаго благоразумія. Судя по самой себѣ, она увѣрена, что есть на свѣтѣ люди, которыхъ наравнѣ съ нею тяготитъ ложь и мелочность господствующихъ условій, и которые вмѣстѣ съ ней не хотятъ и не могутъ размѣнивать на франки и на сантимы свой умъ, свою совѣсть и свою энергію. Она понимаетъ, что первый изъ такихъ людей, съ которымъ она сойдется, овладѣетъ всѣми ея помыслами, что найдя въ немъ вѣрный и полный откликъ на всѣ оттѣнки своихъ стремленій, она отдастъ ему всю свою душу, и что въ этомъ безраздѣльномъ отдаваніи своей души она перечувствуетъ всю полноту земного блаженства. Она понимаетъ, что быть счастливой значитъ полюбить такого человѣка и привлечь къ себѣ его любовь; она понимаетъ, что никакого другого счастья не бываетъ и не можетъ быть на свѣтѣ; и она желаетъ и требуетъ этого счастья, и не боится и не стыдится признаваться себѣ въ этомъ желаніи; она говоритъ себѣ: я хочу любить, какъ сказала-бы себѣ: я хочу ѣсть или пить, еслибы была голодна или чувствовала жажду. Видя, что любить некого, что никто къ ней не подходитъ, что не изъ чего выбирать, что некого сравнивать съ неяснымъ идеаломъ и отвергать во имя этого идеала, что и будущее не обѣщаетъ ничего похожаго на счастливую или даже несчастную любовь—она страдаетъ и плачетъ, и нисколько не утаиваетъ отъ самой себя настоящей причины своего горя и своихъ слезъ. «Такъ я никогда не выйду замужъ!» думаетъ она совершенно откровенно. «Что̀ же я буду дѣлать съ собой?» Такой откровенностью, такой способностью и рѣшимостью называть свои ощущенія ихъ настоящими именами и спокойно пронизывать ихъ взглядомъ до самаго дна обладаютъ немногіе люди, особенно немногія женщины. И кто обладаетъ этими свойствами, того смѣло можно назвать умнымъ и сильнымъ человѣкомъ.

Именно то обстоятельство, что Люси плачетъ

Digitized by Google

объ отсутствіи женіховъ и вполнѣ понимаетъ сама причину своихъ слезъ, именно это обстоятельство и ставитъ ее неизмѣримо выше тѣхъ развитыхъ читательницъ, которыя осуждаютъ ее за ея неприличныя размышленія и малодушное уныніе.

Первая встрѣча Люси съ Мишелемъ, старымъ товарищемъ ея дѣтскихъ игръ, происходитъ именно тогда, когда, наплакавшись досыта, чувствуя себя очень одинокою и невольно жалѣя о невозвратимыхъ годахъ веселой беззаботности, она въ высшей степени способна оцѣнить и принять съ глубокой признательностью всякое выраженіе добраго дружескаго участія. Мишель и Люси обмѣниваются нѣсколькими незначительными фразами, изъ которыхъ мы однако узнаемъ, что Мишель всегда былъ другомъ и покровителемъ Люси, и что онъ всегда обнаруживалъ къ ней самое очевидное пристрастіе. Онъ часто думаетъ о прошедшемъ; онъ находитъ, что это было славное время; онъ радъ тому, что и Люси вспоминаетъ прошлое, и, увлекаясь воспоминаніями, онъ обнаруживаетъ такое воодушевленіе, вслѣдствіе котораго рѣчь его становится даже немного безсвязной. «А вы, мадемуазель Люси, говоритъ онъ, вы были такъ добры и милы, что... лишь бы только быть съ вами вмѣстѣ... около васъ... и всякій доволенъ... и ничего больше не надо». Затѣмъ онъ вдругъ замѣчаетъ съ испугомъ, что Люси безъ сабо и рискуетъ промочить себѣ ноги. Онъ бѣжитъ опрометью за ея сабо, надѣваетъ ей ихъ на ноги, и тѣмъ кончается первое свиданіе. Люси приходитъ домой и видитъ, что безъ нея царствуетъ общій хаосъ, и что никто не умѣетъ ни приготовить ужинъ, ни успокоить больную Клариссу.

Она приводитъ все въ порядокъ и чувствуетъ при этомъ, хотя и не останавливается на этомъ впечатлѣніи, что ея домашніе какіе-то жалкіе недоросли, о которыхъ постоянно надо заботиться и отъ которыхъ невозможно ожидать никакой сильной поддержки и дѣятельной помощи. Уже въ то время, когда Мишель бѣгалъ за сабо, Люси подумала: «онъ всегда добръ. Никогда Гюставъ (ея братъ), никогда никто не былъ ко мнѣ такъ внимателенъ, какъ этотъ бѣдный Мишель». Сцена домашней безтолковости и безпомощности не заставляетъ Люси проводить какія-нибудь параллели между тѣмъ человѣкомъ, который внимателенъ къ ней, и тѣми людьми, къ которымъ она должна быть внимательна, но эта сцена составляетъ густую тѣнь, положенную рядомъ со свѣтлой полоской. Какъ-бы ни былъ человѣкъ далекъ отъ мысли и желанія производить сравненія, невыгодныя для темнаго пятна, какъ-бы ни былъ онъ проникнутъ тѣмъ сознаніемъ, что онъ связанъ съ этимъ пятномъ священнѣйшими узами и обязанъ относиться кротко и даже любовно къ его мрачному колориту, а все-таки отъ своего сосѣдства съ темнымъ пятномъ свѣтлая полоска становится замѣтнѣе и производитъ болѣе сильное и прочное впечатлѣніе на нервную систему воспріимчиваго наблюдателя.

IV.

Люси уже знаетъ, что Мишель къ ней добръ и внимателенъ, что въ немъ сохранилось живое и пріятное воспоминаніе о дѣтскихъ играхъ, что онъ съ радостью готовъ оказать ей услугу, но она еще совсѣмъ не знаетъ, что за человѣкъ этотъ Мишель, и она даже не можетъ себѣ представить, чтобы изученіе этой личности могло сдѣлаться для нея сколько-нибудь интереснымъ. Ея отношенія къ Мишелю измѣняются медленно, шагъ за шагомъ; ея чувство возникаетъ и растетъ на глазахъ у читателя. Авторъ соблюдаетъ здѣсь полнѣйшую постепенность и неподражаемую естественность переходовъ; тѣ мелкіе случаи вседневной жизни, въ которыхъ Мишель совершенно невольно и нечаянно обнаруживаетъ различныя стороны своего ума и характера, подобраны и сгруппированы такъ искусно, что самый строгій и недовѣрчивый читатель не замѣтитъ ни малѣйшей натяжки ни въ поведеніи Мишеля, ни въ томъ впечатлѣніи, которое его слова и поступки производятъ на Люси.

Изъ разговора Бертеня съ Каде Мурильономъ Люси узнаетъ случайно, что въ Мишеля влюбилась дочь очень богатаго крестьянина Мартена, за которую сватались безуспѣшно многіе мѣщане и даже «господчики изъ Пуатье», что ея отецъ былъ согласенъ выдать ее за Мишеля, что она сама призналась Мишелю въ любви, что Мишель рѣшительно не захотѣлъ на ней жениться, ушелъ отъ ея отца, у котораго жилъ въ работникахъ, и теперь никому не позволяетъ при себѣ говорить и шутить по поводу всей этой исторіи. Разговоръ между Каде и Бертенемъ заканчивается тѣмъ, что Бертень называетъ Мишеля великимъ чудакомъ. Это восклицаніе не возбуждаетъ въ Люси ни удивленія, ни негодованія; она не ожидала ничего другого; она привыкла видѣть въ окружающихъ людяхъ грубое непониманіе того, чѣмъ она восхищалась въ книгахъ и чего до сихъ поръ напрасно искала въ жизни; она привыкла невольно и инстинктивно причислять свою семью къ этимъ окружающимъ людямъ, не вглядываясь и не вдумываясь въ горькій и обидный смыслъ этого причисленія; она пропускаетъ мимо ушей восклицаніе отца и сосредоточиваетъ все свое вниманіе на томъ совершенно новомъ и ярко-отрадномъ для нея фактѣ, что есть люди, непохожіе на окружающихъ, и что такіе люди могутъ встрѣчаться въ ея родной деревнѣ, въ низшихъ и грубѣйшихъ слояхъ общества, среди ея давнишнихъ знакомыхъ. Мишель сразу ста-

Digitized by Google

новится для нея интересной загадкой, такой загадкой, разрѣшеніе которой можетъ измѣнить самымъ существеннымъ образомъ всѣ ея взгляды на жизнь, составившіеся въ значительной степени подъ вліяніемъ узкихъ сословныхъ предубѣжденій. Она заговариваетъ съ Мишелемъ уже не такъ, какъ говорила прежде; по выраженію автора, она точно робѣетъ передъ нимъ. Видя, что садъ Бертеней не вскопанъ и не засѣянъ, Мишель предлагаетъ Люси придти работать въ воскресенье утромъ, и Люси говоритъ: «хорошо». Ей приходитъ въ голову упомянуть о платѣ, но она боится оскорбить Мишеля и не смѣетъ ничего сказать о денежныхъ условіяхъ. Она разспрашиваетъ Мишеля о его занятіяхъ и наклонностяхъ; она узнаетъ, что онъ любитъ читать, что онъ тяготится своимъ невѣжествомъ, что его тревожатъ вопросы, на которые онъ не находитъ отвѣтовъ, что онъ во всей искренностью человѣка, нисколько неиспорченнаго дрессировкой, чувствуетъ и цѣнитъ красоту и свѣжесть сельской природы, что онъ плакалъ, какъ ребенокъ, надъ романомъ «Paul et Virginie», и даже довелъ свою мать до необходимости спрятать отъ него эту книгу, чтобы онъ не обезумѣлъ надъ ней.

Разговаривая съ Мишелемъ о разныхъ посторонніхъ предметахъ, Люси замѣчаетъ, что онъ умѣетъ думать собственнымъ умомъ. Такъ, напримѣръ, она спрашиваетъ у него, считаетъ ли онъ за колдуна крестьянина Мартена изъ Шато-Бернье, которому во всемъ околодкѣ приписывались сверхъестественныя знанія и силы.— «Нѣтъ, мамзоль Люси, отвѣчаетъ Мишель. Я въ томъ присягу готовъ принять: не колдунъ. Видите, я къ нему долго присматривался, какъ жилъ у него. Это насчетъ дождя или погоды, насчетъ града, либо мороза есть знатоки не хуже его, а все не колдуны. И что́ у него дѣлается, когда его дома нѣтъ, этого онъ тоже не знаетъ, все равно какъ и другіе. А онъ только смышленый человѣкъ и знаетъ людей, и отгадываетъ этакъ иной разъ, чего ему не говорили».

Люси немного озадачена тѣмъ, что Мишель такъ медленно и осмотрительно рѣшаетъ вопросъ о томъ, колдунъ или неколдунъ Мэртенъ изъ Шато-Бернье. Ей странно то, что Мишель считаетъ нелишнимъ подыскивать доказательства въ пользу своего мнѣнія. Она привыкла разговаривать съ мѣщанами или съ «господчиками изъ Пуатье», вообще съ людьми, у которыхъ всякіе вопросы рѣшаются во мгновеніе ока, съ легкостью изумительной, такъ, какъ будто бы они, въ качествѣ образованныхъ смертныхъ, уже давно были избавлены отъ скучной необходимости думать, и какъ будто бы эта черная работа, вмѣстѣ съ работами шитья, тканья и съ разными другими техническими процессами, была давно сложена на какія-нибудь паровыя машины особенно замысловатаго устройства. Еслибы Люси разговаривала не съ Мишелемъ, а съ «господчикомъ изъ Пуатье», то во-первыхъ, она врядъ-ли рѣшилась бы сдѣлать ему вопросъ о колдунѣ; она побоялась бы, что господчикъ приметъ этотъ вопросъ за оскорбленіе; во-вторыхъ, еслибы этотъ вопросъ, вырвался у Люси, то господчикъ отвѣчалъ бы взрывомъ смѣха и вопросомъ: да развѣ-жъ бываютъ на свѣтѣ колдуны? Затѣмъ было бы произнесено двѣ-три фразы о варварствѣ и суевѣріи— фразы, нисколько не относящіяся къ разбираемому дѣлу, но бросающія самый пріятный и выгодный свѣтъ на либеральный образъ мыслей господчика и въ особенности на его умѣнье поддержать разговоръ. Невольно сравнивая мыслительные пріемы Мишеля съ ухватками такого господчика, Люси сначала находитъ первые немного тяжеловѣсными; ей хочется, чтобы онъ отъ разсмотрѣнія и оцѣнки отдѣльнаго факта перешелъ поскорѣе къ обобщеніямъ, и она торопитъ его своимъ вопросомъ: «Коли вы такой проницательный, Мишель, такъ вы разумѣется не вѣрите, что бываютъ колдуны?»

Но Мишелю еще неизвѣстны паровыя машины, избавляющія человѣка отъ необходимости думать собственнымъ мозгомъ; его умъ идетъ своей дорогой, работаетъ съ свойственной ему степенью скорости надъ наличнымъ матеріаломъ, состоящимъ изъ собраннаго запаса фактовъ и наблюденій, и останавливается тамъ, гдѣ оканчивается этотъ запасъ; остановившись по недостатку фактическихъ знаній, его умъ уже не поддается никакимъ посторонннимъ подталкиваніямъ и подзадориваніямъ; тотъ ложный стыдъ, который на каждомъ шагу заставляетъ слабыхъ и ограниченныхъ людей произносить фразы, неимѣющія осязательнаго смысла ни для самого говорящаго, ни для его слушателей, не существуетъ для Мишеля. На вопросъ Люси онъ отвѣчаетъ съ величественной простотой и сдержанностью: «на счетъ тѣхъ, кого я не видалъ, мамзель Люси, я и разсуждать не могу».

Люси не сразу понимаетъ высокое достоинство этого отвѣта; она уже готова пожалѣть о суевѣріи бѣднаго мужика и о его неспособности возвыситься до той свободы духа, которой наслаждаются мѣщане и господчики; этой готовностью проникнутъ ея вопросъ: «какъ, вы можете предположить, что есть люди, одаренные сверхъестественными силами?» Люси Бертень— католичка, вполнѣ вѣрующая, хотя нисколько не экзальтированная; еслибы она дала себѣ трудъ заглянуть въ то міросозерцаніе, которое для нея обязательно и которое она еще не замѣнила никакимъ другимъ, то она-бы увидала, что въ предположеніи о людяхъ, одаренныхъ сверхъестественными силами, нѣтъ ничего особенно необыкновеннаго и неслыханнаго.

Но Люси жила постоянно среди такихъ людей, которые получили всѣ свои понятія въ го-

Digitized by Google

товомъ видѣ, кое-что отъ патера, кое-что отъ школьнаго учителя, иное изъ благочестивой книжки, иное изъ либеральной газеты; если между этими разнородными лоскутьями мысли существовали непримиримыя противорѣчія, то ихъ никто не замѣчалъ, на нихъ никто не останавливался, надъ ними никто не задумывался, ими никто не смущался, ихъ никто не усиливался объяснить или уничтожить. Всякій хотѣлъ только быть одного мнѣнія со всѣми; всякій видѣлъ зло только въ томъ, чтобы отдѣлиться отъ другихъ; всякому было несравненно пріятнѣе ошибаться вмѣстѣ съ другими, чѣмъ обладать истиной въ одиночествѣ; быть глупѣе всѣхъ или быть умнѣе всѣхъ—это были два равносильныя несчастія, которыя трудно было отличить одно отъ другого даже при самомъ внимательномъ разсмотрѣніи; вѣрность, логичность, основательность мнѣнія—все это были качества, неимѣющія никакого серьезнаго значенія; оригинальность мысли была качествомъ, достойнымъ строгаго порицанія; самостоятельность въ понятіяхъ и въ сужденіяхъ могла быть только доказательствомъ и плачевнымъ результатомъ недостаточнаго, небрежнаго или превратнаго воспитанія.

Люси втеченіе двадцати лѣтъ подвергалась гнету этой умственной атмосферы; она не хотѣла и не имѣла основаній быть позоромъ и мученіемъ своихъ родителей; поэтому она принимала съ полной покорностью то, что̀ ей говорили; она слышала, что колдуновъ нѣтъ и быть не можетъ, что въ колдуновъ способны вѣрить только безтолковые и необразованные люди, что ей, какъ благовоспитанной барышнѣ, вѣрить въ колдуновъ несвойственно, стыдно и смѣшно—и вопросъ о колдунахъ оказался для нея порѣшеннымъ, и она привыкла относиться съ пожиманіемъ плечей и съ сострадательной улыбкой къ несчастнымъ людямъ, допускающимъ въ колдунахъ присутствіе сверхъестественныхъ силъ; привычка замѣнила ей доказательства; привычка помѣшала ей требовать доказательствъ; привычка создала для нея ту мѣрку, которую она прикидывала къ людямъ и посредствомъ которой она судила объ умѣ и образованности своихъ собесѣдниковъ; но привычка не успѣла усыпить ея природнаго ума и, прислушавшись къ сужденіямъ другого умнаго человѣка, размышляющаго совершенно независимо отъ какихъ-бы то ни было общеобязательныхъ взглядовъ и установившихся привычекъ, Люси почувствовала наконецъ силу и прелесть самостоятельнаго мышленія и вдругъ поняла, какое громадное разстояніе отдѣляетъ человѣка, дѣйствительно работающаго умомъ, отъ господчиковъ, повторяющихъ вычитанныя и затверженныя сужденія. «Ахъ, мамзель Люси, отвѣчаетъ Мишель:—столько есть вещей, которыхъ я не знаю; и кабы я захотѣлъ рѣшать, что вотъ это есть, а вотъ этого нѣтъ, вѣдь я вышелъ-бы большой дуракъ. Меня ужъ и то бѣситъ, и того съ меня довольно, что я невѣжда.» Въ этой сдержанности сказывается большая и скромно-самоувѣренная сила. Тутъ видѣнъ человѣкъ, который не хочетъ и не умѣетъ шутить своими словами; что̀ онъ скажетъ, въ томъ онъ увѣренъ; и что̀ онъ сказалъ, то онъ положитъ и въ основаніе своихъ поступковъ; для него истина имѣетъ высокую цѣну; для него истина—то, что̀ соотвѣтствуетъ требованіямъ его разума; во имя истины онъ не побоится отдѣлиться отъ толпы и пойти наперекоръ ея сужденіямъ; изъ уваженія къ истинѣ онъ не рѣшается брать напрокатъ чужія мысли и отвѣчать да или нѣтъ, когда вопросъ для него еще недостаточно разъясненъ; изъ уваженія къ истинѣ онъ честно и прямо сознается въ своемъ невѣжествѣ; онъ не хочетъ казаться образованнымъ человѣкомъ, потому что въ самомъ дѣлѣ дорожитъ образованіемъ, какъ средствомъ водворить порядокъ и чистоту въ своемъ внутреннемъ мірѣ, какъ средствомъ выпутаться изъ хаоса сомнѣній и неразрѣшенныхъ вопросовъ; онъ хочетъ быть, а не казаться; онъ хочетъ мыслить, а не произносить готовыя сентенціи; онъ чувствуетъ, что по всей вѣроятности на всю жизнь останется невѣжественнымъ поденщикомъ, но твердо увѣренъ, что онъ ни въ какомъ случаѣ не будетъ профанировать знаніе, легкомысленно обращаясь съ его результатами и украшая свою рѣчь непонятными и непродуманными афоризмами. Вглядѣвшись въ его скромныя и простыя слова, можно сказать навѣрное, что если этотъ человѣкъ когда-нибудь рѣшитъ для себя отрицательно вопросъ о колдунахъ, то за этимъ отрицательнымъ рѣшеніемъ послѣдуетъ длинный рядъ другихъ, также отрицательныхъ рѣшеній, и что вся эта продолжительная и глубоко захватывающая работа приведетъ за собой радикальную перестройку всего міросозерцанія, всѣхъ взглядовъ на природу и на человѣческую жизнь.

Люси не отдаетъ себѣ яснаго отчета въ томъ, какая именно сила таится въ простыхъ словахъ откровеннаго невѣжды, но она чувствуетъ эту силу, чувствуетъ что-то такое, чего она до той минуты не знала, чего не бывало никогда въ легкомысленныхъ рѣчахъ тѣхъ людей, съ которыми ей случалось разговаривать о серьезныхъ матеріяхъ. Авторъ говоритъ просто, что ей «понравились откровенность и простодушіе этого молодого человѣка». Мнѣ кажется, что эти слова слишкомъ слабо и неполно выражаютъ произведенное впечатлѣніе. Это впечатлѣніе было такъ глубоко, что оно заставило Люси оглянуться на самое себя, замѣтить шаткость и недостаточность собственныхъ знаній, поспѣшность и опрометчивость собственныхъ сужденій, замѣтить то бездѣйствіе, на которое былъ осужденъ ея умъ, и отнестись недовѣр-

Digitized by Google

чиво и неодобрительно къ той средѣ, въ которой всѣ сплошь знали такъ-же мало, судили такъ-же опрометчиво, никогда ни о чемъ не размышляли и никогда не сомнѣвались въ непогрѣшимости своихъ умовъ.

Ея мысли, пробужденныя и направленныя словами Мишеля, быстро приводятъ ее къ заключеніямъ, очень нелестнымъ для мѣщанъ и для такъ-называемыхъ образованныхъ людей: «Увѣряю васъ, Мишель, говоритъ она, спустя нѣсколько минутъ послѣ разговора о колдунахъ:—мѣщане отъ крестьянъ отличаются больше словами, чѣмъ мыслями. А насчетъ мыслей крестьяне пожалуй еще лучше. Они покрайней мѣрѣ знаютъ, что не учились, отъ этого они какъ-то проще и добросовѣстнѣе»... «Вы вотъ думаете, говоритъ она далѣе, они очень умны, а съ ними рѣдко приходится вести занимательные разговоры. У моего дяди Бурдона, напримѣръ, почти никогда не говорятъ о серьезныхъ вещахъ, а когда и заговорятъ, такъ выходитъ, какъ будто смѣяться хотятъ».

Люси не была удовлетворена тѣмъ обществомъ, въ которомъ она жила; ей было скучно, она чувствовала пустоту; но дѣло такъ и останавливалось для нея на этомъ смутномъ недовольствѣ, котораго настоящія причины были ей самой недостаточно понятны; чтобы приступить къ сознательной оцѣнкѣ и строгой критикѣ этого пустого общества, ей необходима была точка опоры, и такой точкой сдѣлался для нея разговоръ съ Мишелемъ; она сначала готова была осудить его за суевѣріе и за умственную робость; потомъ непосредственное чувство ея здороваго ума сказало ей, что Мишель правъ; она возмутилась противъ своего перваго движенія; она увидѣла и поняла, откуда шло это первое движеніе; мысль ея отнеслась съ сознательной враждебностью къ самодовольному тупоумію окружающаго общества, и она въ первый разъ высказала отчетливо и громко свое мнѣніе о тѣхъ людяхъ, которыхъ Мишель, въ простотѣ своей честной души и своего большого ума, считалъ счастливыми обладателями истины.

V.

Люси вглядывается въ Мишеля съ возрастающимъ вниманіемъ; она сильно заинтересована этой личностью; она, по выраженію автора, «наклоняется надъ этой душой, стараясь заглянуть въ нее до самой глубины». Но любознательность ея совершенно безкорыстна и очень спокойна; она еще не можетъ себѣ представить, чтобы это изученіе могло обнаружить какое бы то ни было вліяніе на ея участь; ей не приходитъ въ голову смотрѣть на Мишеля, какъ на молодого человѣка, котораго она могла бы полюбить и которымъ она могла бы увлечься; она смѣло отдается мыслямъ о немъ, будучи вполнѣ увѣрена въ совершенной безвредности и безопасности этихъ мыслей; она проводитъ параллели между Мишелемъ и Каде, потомъ между Мишелемъ и Эмилемъ Бурдономъ такъ же беззаботно и беззастѣнчиво, какъ она могла бы, напримѣръ, сравнивать между собой два портрета или два характера, взятые изъ прочитанныхъ романовъ. Она отдаетъ Мишелю предпочтеніе сначала передъ Каде, потомъ передъ Эмилемъ; она рада тому, что знаетъ въ Мишелѣ умнаго, сильнаго и честнаго человѣка, но рада все-таки совершенно безкорыстно, рада потому, что знакомство съ такимъ человѣкомъ даетъ ей вообще лучшее понятіе о жизни и о людяхъ. Она желаетъ Мишелю счастья, она чувствуетъ къ нему уваженіе и дружеское расположеніе, она строитъ для него мысленно планы семейной жизни съ одной молодой крестьянкой, съ своей пріятельницей Женъ; Мишель ужѣ говорилъ ей, что онъ хочетъ жениться только на такой дѣвушкѣ, которую онъ могъ бы любить «такъ сильно, о, такъ, такъ сильно», и она ему тутъ же сказала, что ему бы годилась Женъ; припоминая эти слова Мишеля и тонъ голоса, которымъ они были произнесены, Люси воображаетъ себѣ, какъ онъ будетъ смотрѣть на ту женщину, которую онъ будетъ любить *такъ, такъ сильно*. Тутъ ей приходится вздохнуть и пожалѣть о томъ, что на нее, бѣдную дѣвушку мѣщанскаго сословія, никто никогда не будетъ смотрѣть такими глазами.

Но ея мысли такъ далеки отъ возможности эгоистическихъ видовъ на Мишеля, что ни этотъ вздохъ, ни это сожалѣніе не останавливаютъ на себѣ ея вниманія и не предостерегаютъ ея противъ приближающейся опасности. Она принимаетъ этотъ вздохъ и это сожалѣніе за простой результатъ такихъ мыслей, которыя напоминаютъ ей ея горькое одиночество; не желая грустить, она даетъ своимъ мыслямъ другой оборотъ и продолжаетъ думать о Мишелѣ, разыгрывая на эту основную тему другія варіаціи.

Она замѣчаетъ неровности и странности въ поведеніи Мишеля; говоря съ ней, онъ часто бываетъ взволнованъ; когда онъ подаетъ ей руку, рука эта горяча и дрожитъ; когда онъ смотритъ на нее, его глаза блестятъ такъ сильно, что она не выдерживаетъ его взгляда и чувствуетъ себя неловко. Все это не ускользаетъ отъ вниманія Люси, разсматривающей Мишеля, какъ интересное произведеніе природы, но Люси твердо увѣрена, что между ней и Мишелемъ лежитъ непроходимая бездна, и эта увѣренность такъ сильна, и бездна кажется до того непроходимой, что настоящая причина замѣчаемыхъ ею странностей и неровностей рѣшительно не приходитъ ей въ голову. Въ первый разъ мысль о томъ, что Мишель ее любитъ, приходитъ ей на умъ тогда, когда Мишель пред-

Digitized by Google

лагаетъ ей для праздничной обѣдни вербу, изукрашенную самымъ изящнымъ образомъ всѣми весенними цвѣтами. Чувство мѣщанской гордости возмущается въ ней противъ этой мысли. «Неужели, думаетъ она, я подвергаюсь опасности одерживать такія побѣды? О, это ужъ черезчуръ обидно». Затѣмъ здравый смыслъ, и природная доброта одерживаютъ побѣду надъ сословной чопорностью; Люси соображаетъ, что человѣкъ неволенъ въ томъ, чтобы любить или не любить; она припоминаетъ, что Мишель ничего не смѣлъ говорить ей о своемъ чувствѣ и что, слѣдовательно, на него не за что гнѣваться, если даже онъ осмѣливается любить ее, что впрочемъ еще далеко не доказано; наконецъ она успокаивается на тѣхъ соображеніяхъ, что, во-первыхъ, привязанность честнаго человѣка не можетъ быть оскорбительной и что, во-вторыхъ, Мишель, быть можетъ, просто чувствуетъ къ ней дружеское расположеніе и выражаетъ его, какъ умѣетъ, со всѣмъ простодушіемъ деревенскаго парня, неподозрѣвающаго возможности какихъ-бы то ни было лукавыхъ истолкованій.

Въ самый день Пасхи работа въ саду окончена, и Люси съ нѣкоторымъ замираніемъ сердца заводитъ рѣчь о платѣ. Поднимается буря. Мишель приходитъ въ волненіе, слезы дрожатъ въ его голосѣ и катятся по его щекамъ; онъ говоритъ, что на эту работу клалъ всю свою душу, что это не поденщина, что онъ отдыхалъ за этой работой, что онъ былъ глупъ, что онъ виноватъ, что онъ мечталъ о возможности чего-то похожаго на дружбу. Этотъ потокъ искренняго и кипучаго чувства застаетъ Люси врасплохъ и сбиваетъ ее съ несвойственной ей позиціи безукоризненно-приличной и благовоспитанной барышни. Люси теряется. Люси, умная и добрая дѣвушка, видитъ, что хорошій человѣкъ страдаетъ и что надо прекратить его страданія, что надо приласкать и успокоить его, что всѣ соображенія, способныя тянуть ея волю въ противуположную сторону, въ сущности такая мелочь и такая дрянь, на которой не стоитъ и даже невозможно серьезно останавливаться. Она протягиваетъ Мишелю руку и говоритъ ему, что ни въ чемъ онъ не виноватъ и что онъ вполнѣ достоинъ быть ея другомъ. Мишель не рѣшается прикоснуться къ ея рукѣ своей жесткой и запачканной рукой. Люси тогда съ законной гордостью работницы напоминаетъ Мишелю, что ея руки не избалованы бездѣйствіемъ. «Ужъ вы думаете, говоритъ она, я этими ручками ничего и не работаю? Эта рука, Мишель, совсѣмъ не барышня. Она сегодня съ утра тоже много дѣла сдѣлала». И тутъ она снова протянула руку. Мишель схватилъ эту руку съ восторгомъ, бросился на колѣни, и глаза его загорѣлись такимъ огнемъ, отъ котораго на одну минуту дрогнуло сердце молодой дѣвушки. «О, вы святая, вы... вы...» Онъ замолчалъ. Но всѣ черты его лица, и вся его поза выражали такое обожаніе, что Люси, растерявшись, вырвала у него руку, стараясь улыбнуться, и пробормотала: «О, Мишель, вы съ ума сходите!»

Люси взволнована этой сценой; она не знаетъ, какъ понять ее, и она не хочетъ понимать ее въ ея настоящемъ смыслѣ. Ей удается увѣрить себя въ томъ, что со стороны Мишеля тутъ не было любви: ей удается успокоить себя тѣмъ объясненіемъ, что у Мишеля странный характеръ, расположенный къ восторженности. Это объясненіе, при всей своей неудовлетворительности, даетъ ей возможность оставаться съ Мишелемъ въ прежнихъ добрыхъ отношеніяхъ, и она очень рада тому, что эти отношенія могутъ оставаться ненарушенными. Гордость и чопорность благовоспитанной барышни легли очень тонкимъ слоемъ на самую поверхность ея существа. Этотъ тонкій слой не приросъ къ ней наглухо; ее можно сравнить съ человѣкомъ, нарядившимся въ новое платье, которое мѣшаетъ ему свободно двигаться, тѣснитъ ему грудь, рѣжетъ подъ мышками и въ то-же время не доставляетъ ни выгодъ, ни удовольствій. Люси знаетъ, что если она въ своемъ новомъ платьѣ начнетъ валяться по травѣ или пустится бѣжать по пыльной дорогѣ, то платье запылится или запачкается, и всѣ это замѣтятъ, и всѣ станутъ на нее показывать пальцами, и всѣ закричатъ вокругъ нея: «вотъ какая негодная дѣвушка! вотъ какая безстыдница! Смотрите, на что она похожа! Полюбуйтесь, какъ она отдѣлала свое новое платье!» Съ другой стороны, Люси знаетъ и то, что если она постоянно будетъ гулять по выметеннымъ садовымъ дорожкамъ, медленно и чинно переступая съ ноги на ногу, и если на платьице ея не сядетъ ни одной пылинки, то окружающіе ее люди всетаки не придутъ отъ нея въ восторгъ и не станутъ пѣть ей хвалебные гимны, а только будутъ объ ней молчать, стараясь при этомъ во что-бы то ни стало замѣтить на ея костюмѣ какое-нибудь пятнышко и дополнить воображеніемъ то, чего нельзя сдѣлать терпѣливымъ изслѣдованіемъ и искуснымъ толкованіемъ дѣйствительныхъ фактовъ. Далѣе она чувствуетъ, что еслибы даже окружающіе люди отдали полную справедливость ея заслугамъ по части сохраненія платья, еслибы они стали превозносить ее, какъ невиданный образецъ благонравія и аккуратности, то и тогда она не была-бы счастлива, и жизнь ея не могла-бы наполниться признательнымъ и благосклоннымъ выслушиваніемъ похвалъ, которыя воспѣвались-бы ей хоромъ, составленнымъ изъ глупой сплетницы Бокъ, грязнаго барышника Горена, приличнаго негодяя Гавеля, переметной суммы Бурдона и нѣсколькихъ дюжинъ другихъ особъ, очень ограниченныхъ и въ достаточной степени безсовѣстныхъ.

Digitized by Google

Въ результатѣ получается такимъ образомъ тотъ фактъ, что платье даетъ нашей героинѣ много заботъ, грозитъ ей многими огорченіями, и за это не предоставляетъ ей никакихъ преимуществъ. Санъ барышни налагаетъ на нее обязанность смотрѣть на мужика, какъ на существо низшей породы, отдѣленное отъ нея непроходимой бездной; она, какъ барышня, всегда должна чувствовать къ мужику нѣкоторое презрѣніе, всегда должна держать его на почтительномъ отдаленіи, всегда должна избѣгать съ нимъ всякой дружеской короткости; она можетъ и даже должна обращаться съ нимъ вѣжливо, кротко, милостиво и даже, пожалуй, ласково; но въ ея обращеніи всегда должно чувствоваться, и она сама должна ощущать въ душѣ своей, что хотя она, по великодушію своему, охотно прощаетъ ему вину его низкаго происхожденія и не желаетъ колоть ему глаза его убожествомъ, но забыть его замаранность не въ состояніи кромѣ того вся ея снисходительность къ мужику и къ его худородію позволительна только до той минуты, пока мужикъ самъ знаетъ свое мѣсто и твердо помнитъ, что онъ, несмотря ни на какія декларацiи правъ человѣка и гражданина, не можетъ и не долженъ разсчитывать со стороны господъ ни на что, кромѣ благосклонной и незаслуженной терпимости.

Чуть только мужикъ возмнитъ себя полноправнымъ человѣкомъ, чуть только въ немъ шевельнется чувство, что ничто человѣческое ему не чуждо, что не чужда ему даже способность увлекаться физическимъ, умственнымъ и нравственнымъ изяществомъ барышни, относящейся къ нему кротко и милостиво—тотчасъ эта барышня, оставаясь кроткимъ ангеломъ, должна взмахнуть крылами и утонуть въ волнахъ того эѳира, въ который за ней могутъ слѣдовать только барышникъ Горенъ, негодяй Гавель и другіе, равносильные имъ ангелы. Люси знаетъ, что все это она, въ качествѣ барышни, должна дѣлать, и что малѣйшее упущеніе съ ея стороны навлечетъ на нее множество непріятностей; она даже и сама, по привычкѣ быть барышней и нести на себѣ обязанности своего званія, готова и способна упрекать себя за такія упущенія, какъ за неуваженіе собственнаго достоинства; по той же привычкѣ, она можетъ почувствовать себя оскорбленной, если какой-нибудь простолюдинъ отнесется къ ней теплѣе и искреннѣе, чѣмъ простолюдины относятся обыкновенно къ барышнямъ; но у нея нѣтъ личной живой наклонности къ отправленію обязанностей, связанныхъ съ ея саномъ; ей самой возможность смотрѣть на мужика сверху внизъ и считать себя существомъ высшаго разбора не доставляетъ удовольствія; жизнь, наполненная заботами о поддержаніи мѣщанскаго достоинства, кажется ей пустой, холодной и тяжелой жизнью; она еще не смѣетъ сбросить съ себя эти заботы, но онѣ тяготятъ ее, и она вовсе не прочь была-бы какъ-нибудь обойти ихъ; въ разговорѣ, вызванномъ хозяйственными затрудненіями, она высказываетъ матери свои мысли о томъ, что имъ слѣдовало-бы вести дѣла такъ, какъ ихъ ведутъ сосѣди ихъ, крестьяне; а когда мать напоминаетъ ей, что они не крестьяне и что имъ надо поддерживать свой санъ, то Люси говоритъ: «къ чему же, мама, если вмѣсто выгодъ этотъ санъ ничего намъ не доставляетъ, кромѣ лишеній и горя?» И далѣе она находитъ очень страннымъ, что вещь, признанная честной и хорошей, не можетъ дѣлаться потому только, что *непринято*! изъ опасенія что̀ скажутъ! Въ дѣлѣ Мишеля сословныя обязанности Люси приходятъ въ рѣзкое столкновеніе съ ея человѣческими чувствами и стремленіями; обязанности прямо приказываютъ ей прогнать Мишеля тотчасъ послѣ того, какъ онъ осмѣлился броситься передъ ней на колѣни; но она уважаетъ этого человѣка, она чувствуетъ къ нему дружескую симпатію и сознается себѣ въ ней; она находитъ себѣ отраду въ его обществѣ и въ разговорахъ съ нимъ; ей пріятно даже то сильное чувство, которое она ему внушаетъ; и она устраиваетъ компромиссъ между обязанностями, которыхъ она не смѣетъ прямо нарушить, и личными наклонностями, съ которыми ей тяжело и больно было бы разстаться. Вполнѣ признавая существованіе непроходимой бездны между барышней и мужикомъ, вполнѣ признавая невозможность, безсмысленность и возмутительное безобразіе любви между лицами, отдѣленными другъ отъ друга такой бездной, Люси именно эти догматы мѣщанской морали превращаетъ въ аргументы, выгодные для ея личныхъ наклонностей. Любовь, думаетъ она, была бы безсмысленна и безобразна, стало быть она и невозможна, стало быть ея и нѣтъ, и Мишель бросился на колѣни потому, что у него странный характеръ, и его не за что обижать нелѣпыми подозрѣніями, и незачѣмъ отнимать у него дружбу, которой онъ дорожитъ. Мѣщанская теорія такимъ образомъ, до поры до времени, остается нетронутой, но поступки ей не подчиняются, и Люси старается только устроить такъ, чтобы они ей не слишкомъ явно противорѣчили, или, вѣрнѣе, она старается увѣрить себя въ томъ, что они ей не противорѣчатъ.

Чѣмъ умнѣе человѣкъ, тѣмъ труднѣе ему обмануть себя. Чѣмъ онъ прямодушнѣе и энергичнѣе, тѣмъ тягостнѣе для него разладъ между убѣжденіями и поступками. При свойствахъ своего ума и характера, Люси не могла остаться въ томъ положеніи, въ которое ее поставила сцена съ Мишелемъ; она должна была скоро замѣтить, что разладъ существуетъ; за-

Digitized by Google

тѣмъ въ ней должна была родиться потребность и рѣшимость устранить этотъ разладъ такъ или иначе, то-есть, произвести пересмотръ поступковъ и убѣжденій, и переработать въ тѣхъ или въ другихъ то, что окажется несостоятельнымъ передъ судомъ разума.

VI.

Въ романѣ Лео мелкія событія быстро слѣдуютъ одно за другимъ, и каждое изъ нихъ подвигаетъ романъ къ развязкѣ, производя замѣтную, хотя и очень небольшую перемѣну во взаимныхъ отношеніяхъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Колѣнопреклоненіе Мишеля совершилось въ свѣтлое воскресенье утромъ; въ тотъ же день, послѣ обѣда, Люси видитъ, какъ онъ умѣетъ стоять за себя, отражать наносимыя ему обиды и защищать тѣхъ людей, которые ему довѣряются; на глазахъ у Люси происходитъ схватка между Мишелемъ и барышникомъ Гореномъ; послѣдній, полагаясь на то, что онъ баринъ, дѣлаетъ грубое нападеніе; Мишель поступаетъ съ нимъ такъ круто, какъ поступилъ-бы съ первымъ встрѣчнымъ мужикомъ, не останавливаясь даже и передъ тѣмъ, что Горенъ, въ качествѣ знакомаго, находится въ обществѣ Люси. На другой день утромъ Люси хочетъ дѣлать Мишелю выговоры за его рѣзкій поступокъ съ Гореномъ, но она поставлена въ необходимость признаться, что поступить иначе было невозможно и что Мишель былъ правъ; въ это-же утро Мишель говоритъ съ Люси о Гавелѣ, о его отношеніяхъ къ Лизѣ Мурильонъ и о томъ, что надо, во что-бы то ни стало, разстроить предположенный бракъ Орели Бурдонъ, потому что Гавель обманываетъ за-разъ двухъ женщинъ (Лизу и Орели) и бросаетъ своего ребенка. Здѣсь Мишель обнаруживаетъ такую силу негодованія, что Люси не можетъ сдержать порыва страстнаго уваженія къ нему и, тронутая до глубины души, вскрикиваетъ: «о, вы честный и справедливый человѣкъ, Мишель!» Затѣмъ она спрашиваетъ у Мишеля, что ей дѣлать и исполняетъ буквально его совѣтъ, потому что уже чувствуетъ «потребность заслужить уваженіе этого чистаго и смѣлаго человѣка».

Въ тотъ-же день, вечеромъ, деревенскій мэръ, богатый крестьянинъ Перроно, даетъ балъ, на которомъ присутствуютъ, въ качествѣ приглашенныхъ гостей, Мишель и Люси. Здѣсь они въ первый разъ встрѣчаются при такихъ условіяхъ, при которыхъ между ними дѣлается возможнымъ нѣкоторое равенство; Мишель танцуетъ съ Люси, беретъ ее за руку при всѣхъ, разговариваетъ съ ней, и Люси замѣчаетъ, что его самородное изящество ни въ чемъ не измѣняетъ ему; онъ держитъ себя такъ прилично и въ то-же время такъ просто, что Люси находитъ невозможнымъ даже сравненіе между Мишелемъ и сыномъ мэра, несмотря на то, что послѣдній воспитывается въ коллегіи и одѣтъ по послѣдней модѣ. Люси такъ увлекается проведеніемъ подобныхъ параллелей, что наконецъ, опомнившись и замѣтивъ свое возрастающее пристрастіе къ Мишелю, говоритъ себѣ: «да я съ ума сошла!» и старается думать о чемъ нибудь другомъ. Мишель, стоя неподвижно въ углу залы, долго смотрѣлъ на нее, забывая о существованіи всего окружающаго, и въ его взглядѣ сказывались такая глубокая грусть и такое страстное обожаніе, что она наконецъ поняла все и почувствовала совершенную невозможность успокоивать себя долѣе неопредѣленными предположеніями о странности и восторженности. Она окончательно убѣдилась въ томъ, что Мишель ее любитъ и что въ этой любви нѣтъ съ его стороны дерзости, потому что эта любовь свалилась на него нежданно-негаданно, какъ большое несчастіе, котораго человѣкъ не можетъ предвидѣть и отъ котораго ему невозможно уберечься. Она понимаетъ, что во взглядахъ Мишеля нѣтъ ни надежды, ни просьбы, ни желанія, что онъ просто созерцаетъ ее безъ цѣли, безъ мысли, безъ плановъ и мечтаній, созерцаетъ потому, что она здѣсь, передъ нимъ, и что для него нѣтъ въ жизни возможныхъ радостей, кромѣ этого обаятельно-мучительнаго созерцанія. Она понимаетъ, что жизнь Мишеля отравлена этой любовью, что онъ самъ это знаетъ, что онъ съ наслажденіемъ упивается этой отравой, что онъ боится какъ-бы добрые люди не замѣтили его безумія и не отняли у него возможности отравляться долѣе, и что однако несмотря на эту боязнь, онъ, находясь въ одной комнатѣ съ любимой дѣвушкой, забываетъ все, и добрыхъ людей, и самого себя, и всякую осторожность, и погружается въ такое восторженное созерцаніе, которое должно броситься въ глаза всей присутствующей публикѣ.

Понимая все это, читая въ первый разъ въ глазахъ Мишеля ни съ чѣмъ несравнимую поэму любви, Люси зачитывается и перестаетъ чувствовать себя одинокой: она становится живѣе обыкновеннаго и, не ломая себѣ головы вопросомъ о проходимости или непроходимости бездны, забываетъ на нѣсколько минутъ о томъ, что у нея есть какой-то санъ, о поддержаніи котораго она обязана заботиться. Конечно, она скоро опоминается и говоритъ себѣ: «да, я съ ума сошла!» но отъ этихъ минутъ сумасшествія остается то опасное воспоминаніе, что онѣ были упоительны и что въ ея сухой и бѣдной мѣщанской жизни нѣтъ и не будетъ ничего такого, что могло-бы выдержать сравненіе съ этими предосудительными минутами. Остается преступное желаніе украсть у скупой судьбы еще двѣ-три такія минуты, и чѣмъ сильнѣе то убѣжденіе, что счастье жизни тутъ невозможно

Digitized by Google

и немыслимо, тѣмъ мучительнѣе и неотразимѣе оказывается это желаніе; видя передъ собой жизнь, какъ необозримую ледяную пустыню и непроглядную полярную ночь, человѣкъ старается запастись огнемъ воспоминаній на всю эту темную и холодную жизнь, и хватаетъ огонь безъ разбора, вездѣ, гдѣ-бы онъ его ни встрѣтилъ. Жажда съумасшествія ростетъ по мѣрѣ того, какъ у судьбы крадутся такія минуты; желаніе, чтобы эти минуты разрослись въ часы и въ дни, чтобы изъ нихъ составились годы, чтобы ими наполнилась вся жизнь, перевѣшиваетъ всѣ остальныя соображенія; то, что сначала казалось и называлось съумасшествіемъ, превращается въ настоящую, полную, разумную и человѣчную жизнь, а сама дѣйствительность, все то, чего требуютъ понятія и привычки окружающихъ людей, все то, во имя чего осуждалось и преслѣдовалось такъ называемое съумасшествіе,—становится отвратительнымъ кошмаромъ, отъ котораго человѣкъ старается избавиться всѣми силами своего существа.

За минутами живого увлеченія и радостнаго безумія, возбужденнаго тѣмъ, что она чувствуетъ себя любимой, для Люси наступаетъ, тутъ-же на балѣ, полоса раздумья и грусти; она упрекаетъ себя въ томъ, что она была весела и жива, что вся ея фигура дышала ожиданіемъ какого-то счастья, что глаза ея, останавливаясь на Мишелѣ, блистали такимъ огнемъ, который могъ только увеличивать его мученія; эти мысли, это раскаяніе въ невольномъ движеніи кокетства нагоняетъ облако грусти на черты ея лица, и Мишель, танцующій съ ней кадриль въ эту минуту, тотчасъ замѣчаетъ это облако и съ нѣжной заботливостью спрашиваетъ у нея: «что съ вами?» Люси оцѣниваетъ всю нѣжность этого вопроса, всю чуткость и зоркость Мишеля ко всему, что до нея касается; она не находитъ словъ и, отвѣчая ему невольнымъ пожатіемъ руки, чувствуетъ, что сердце ея бьется тревожно, и сознаетъ, что ей будетъ тяжело и больно отталкивать и истреблять такую сильную, такую нѣжную, такую внимательную, бдительную и понятливую любовь.

Черезъ два дня, утромъ, Люси, укачивая у себя на рукахъ ребенка Мурильона, задумывается о Мишелѣ съ такой жгучей грустью, которая даже обезпокоиваетъ ее; она такъ дорожитъ своими грустными мыслями, что отгоняетъ прочь это безпокойство, отмахивается отъ внушеній практическаго благоразумія, усыпляетъ или, вѣрнѣе, душитъ свои опасенія словами: «о, нѣтъ! это не можетъ зайти слишкомъ далеко!» и даетъ полную волю своимъ мечтамъ.

Въ тотъ-же день разыгрывается исторія о нападеніи Жана на Гавеля; въ деревню пріѣзжаютъ жандармы, чтобы арестовать Каде, Жана и Мишеля; ихъ предупреждаютъ во-время, и они всѣ трое укрываются, потому что французскіе крестьяне считаютъ тюремное заключеніе несмываемымъ позорнымъ пятномъ, даже въ томъ случаѣ, когда процессъ оканчивается совершеннымъ оправданіемъ подсудимаго. Мишеля укрываетъ сама Люси. Въ это время, заботясь о его безопасности, принося ему украдкой пищу и книги, Люси уже почти признается самой себѣ, что она любитъ Мишеля. «Развѣ это не есть счастье любить?—размышляетъ она.—Я чувствую, что это счастье (проговорившись такимъ образомъ, удививъ и испугавъ себя этимъ неожиданнымъ признаніемъ, она спохватывается и старается взять его назадъ) не потому, чтобы я сама любила,—о, нѣтъ! Эти *жгучія ощущенія*, о которыхъ пишутъ въ романахъ, эта *непобѣдимая страсть* и эти *тайныя мученія*, я ихъ, благодаря Бога, не испытываю. Я счастлива—счастлива тѣмъ, что думаю о Мишелѣ, счастлива тѣмъ, что онъ думаетъ обо мнѣ, счастлива тѣмъ, что есть на свѣтѣ преданное, совершенно преданное мнѣ сердце—благородное и нѣжное сердце... Любить—думаетъ она далѣе—быть любимой такъ деликатно, съ такой страстью! Наслаждаться изрѣдка этими недолгими, сладкими свиданіями! Иногда услужить другъ другу! Подмѣтить другъ въ другѣ волненіе нѣжности.»

Тутъ уже сдѣланъ большой шагъ впередъ; любовь Мишеля окончательно признана, какъ существующій фактъ; ему уже вполнѣ разрѣшается любить; вопросы о томъ, какъ онъ смѣетъ, и не дерзость-ли это съ его стороны, стали казаться странными и неумѣстными; то обстоятельство, что барышня обязана возмущаться любовью мужика, забыто; вмѣсто того, чтобы чувствовать себя оскорбленной, Люси чувствуетъ и даже признаетъ себя счастливой; она принимаетъ преданность, совершенную преданность благороднаго и нѣжнаго сердца; у ней даже вырывается слово *любить;* она допускаетъ ту мысль, что и она будетъ наслаждаться недолгими, сладкими свиданіями, что и она будетъ обнаруживать, что и въ ней можно будетъ подмѣтить волненіе нѣжности.

На другой день послѣ этихъ размышленій Люси получаются въ деревнѣ достовѣрныя извѣстія о томъ, что Гавель согласился потушить начатое дѣло, и что слѣдовательно Мишель можетъ выдти изъ своего убѣжища, въ которомъ онъ просидѣлъ почти сутки. Мишель выходитъ на свободу и, чтобы узнать подробности дѣла, проситъ Люси придти поздно вечеромъ въ садовую бесѣдку. Такимъ образомъ Мишель назначаетъ Люси тайное свиданіе, въ ночное время, и Люси не возмущается его просьбой и буквально исполняетъ его желаніе. Въ бесѣдкѣ разговоръ скоро отрывается отъ мелкихъ практическихъ подробностей и переходитъ на вопросъ о пользѣ и выгодахъ образованія.

Digitized by Google

Любознательность Мишеля, его страстная охота работать надъ своимъ умственнымъ развитіемъ и его рѣшимость бороться со всякими трудностями, напрягая всѣ свои силы и посвящая скучному элементарному ученію каждую свободную минуту, наводятъ Люси на мысль давать ему уроки по воскресеньямъ. Мишель съ восторженной признательностью принимаетъ ея предложеніе.

Проходитъ три мѣсяца. Мишель каждое воскресенье проводитъ съ Люси часа по два за книгами и тетрадями. И учительница, и ученикъ относятся къ этимъ урокамъ съ полной добросовѣстностью Для обоихъ ученіе является не предлогомъ, а настоящей цѣлью. Авторъ говоритъ намъ, что ничего не было предосудительнаго или скрытнаго въ этихъ интимныхъ бесѣдахъ. Ни умышленнаго прикосновенія къ рукѣ, ни преднамѣреннаго пожатія. Оба серьезные, они занимались только ученіемъ, и еслибы не ихъ пылающія щеки, не ихъ влажные и блистающіе глаза, ихъ всякій принялъ бы за влюбленныхъ въ одну науку.

Кромѣ того они встрѣчаются каждый день по вечерамъ въ бесѣдкѣ. И тутъ опять они не говорятъ другъ другу ни слова о любви. Люси знаетъ давно, что Мишель ее любитъ, и давно уже ея отношенія къ нему составляютъ весь интересъ ея жизни. Мишель, напротивъ того, не только не подозрѣваетъ, что его тоже любятъ, но даже не можетъ себѣ представить, чтобы это когда-нибудь могло случиться. Онъ ни на что не надѣется и даже не осмѣливается ничего желать. Онъ живетъ со дня на день, отъ одного свиданія въ бесѣдкѣ до другого, и отъ одного воскреснаго урока до другого. Въ будущее онъ не заглядываетъ. Оно покрыто для него густымъ чернымъ занавѣсомъ, и онъ увѣренъ въ томъ, что за этимъ занавѣсомъ лежатъ разные ужасы, вродѣ разлуки съ Люси и томительной пустоты. Такъ какъ Мишель никогда не говорилъ Люси о своей любви къ ней, то онъ увѣренъ, что эта любовь составляетъ его тайну, и что о ея существованіи не догадывается ни одинъ человѣкъ въ цѣломъ мірѣ, и сама Люси меньше, чѣмъ кто-либо другой. Люси во всѣхъ отношеніяхъ видитъ яснѣе Мишеля настоящее положеніе дѣлъ. Она уже нисколько не сомнѣвается въ томъ, что любитъ Мишеля; она видитъ и то, что Мишель этого не подозрѣваетъ; о возможности счастливаго исхода она все еще не осмѣливается думать; для нея также будущее закрыто; она осмѣливается мечтать только о томъ, что̀ могло-бы быть, еслибы она была крестьянкой; она находитъ, что тогда было-бы очень хорошо, и поэтому санъ барышни становится для нея наконецъ ненавистнымъ бременемъ, уничтожающимъ самыя дорогія ея надежды и насильственно подавляющимъ самыя живыя ея стремленія. Она еще не считаетъ возможнымъ поправить зло, причиненное ей рожденіемъ; она думаетъ, что ей придется волей или неволей тащить до самой могилы проклятое ярмо мѣщанской неприступности, но она уже видитъ ясно, гдѣ радость жизни, и гдѣ ея горе, она уже отличаетъ безошибочно то, въ чемъ состоятъ ея собственныя потребности, отъ того, что̀ она дѣлаетъ въ угоду другимъ людямъ; она сама уже чиста отъ искусственныхъ желаній; она видитъ свое счастье въ томъ, что̀ дѣйствительно соотвѣтствуетъ только нормальнымъ требованіямъ богатой и роскошно развернувшейся, здоровой и сильной человѣческой природы. У нея недостаетъ теперь только рѣшимости протянуть руку за этимъ счастьемъ и ухватиться за него всѣми силами, не смотря на смѣхъ и слезы, на толки и пересуды, на вопли и гримасы всѣхъ окружающихъ. Эту необходимую рѣшимость порождаютъ въ ней своимъ вмѣшательствомъ тѣ самые люди, которые, по всѣмъ законамъ божескимъ и человѣческимъ, призваны наблюдать за безукоризненностью ея поведенія и которые вносятъ въ отправленіе своихъ обязанностей всѣ типическія черты общепринятаго мѣщанскаго образа мыслей. Еслибы уроки и свиданія продолжались своимъ чередомъ, то Люси, находя себѣ въ нихъ кое-какую отраду, считая полное счастье невозможнымъ и боясь требовать слишкомъ многаго, чтобы не потерять всего, оставалась бы еще, втеченіе многихъ мѣсяцевъ, въ какихъ-то неопредѣленныхъ отношеніяхъ къ Мишелю, къ своему чувству и къ своей будущности. Но добрые люди, заботясь о репутаціи Люси и смущаясь деревенскими сплетнями, вторгаются въ ея владѣнія и дѣлаютъ грубую попытку отнять у нея то, что̀ миритъ ее съ ея бѣдной и тяжелой жизнью.

Тутъ только Люси замѣчаетъ, какъ далеко она ужъ разошлась въ понятіяхъ и стремленіяхъ со всѣми окружающими; они уже не понимаютъ другъ друга; ея доводы не дѣйствуютъ на нихъ; ихъ аргументы не имѣютъ почти никакой убѣдительной силы для нея; она говоритъ матери: «Мама, онъ такъ успѣваетъ въ ученіи», а мать отвѣчаетъ ей на это: «Я не вижу, на что надобна Мишелю ученость. Ученость можетъ даже ему принести вредъ, можетъ внушить ему идеи... мысли, несоотвѣтствующія его званію». Еще недавно Люси понимала, что такое *мысли, несоотвѣтствующія его званію*. Она считала естественнымъ, чтобы Мишель былъ и чувствовалъ себя покорнымъ слугой каждаго мѣщанина, она готова была дѣлать ему выговоръ за крутое обращеніе съ Гореномъ; но теперь она не понимаетъ, почему знанія, возвышая въ Мишелѣ чувство собственнаго достоинства и давая ему возможность яснѣе понимать и энергичнѣе отстаивать свои права, помѣшаютъ ему быть честнымъ человѣкомъ и отлич-

Digitized by Google

нымъ работникомъ; она понимаетъ конечно, что тѣ люди, которые хотятъ помыкать мужикомъ и давать ему чувствовать свое мнимое превосходство, легче могутъ справляться съ круглыми невѣждами, чѣмъ съ образованными гражданами, но она уже не способна принимать сердечное участіе въ горестяхъ и радостяхъ такихъ людей, и рѣшать съ ихъ точки зрѣнія, какія идеи соотвѣтствуютъ и какія не соотвѣтствуютъ званію Мишеля. Далѣе она говоритъ матери: «неужели не дѣлать добра потому только, что есть на свѣтѣ злые люди?» а мать отвѣчаетъ: «твоя репутація прежде всего, дитя мое». Эта фраза называется отвѣтомъ, хотя она очевидно не имѣетъ никакого отношенія къ сдѣланному вопросу. Люси и госпожа Бертень только такъ и могутъ разговаривать между собой.

Для Люси слово *добро* имѣетъ живой смыслъ. Дѣлать добро—значитъ приносить пользу человѣку и наслаждаться этой пользой. Она не понимаетъ, какъ можно отказаться отъ такой обаятельной дѣятельности, доставляющей ей ея собственное уваженіе, отказаться въ угоду такимъ людямъ, которыхъ невозможно ни любить, ни уважать. Она хочетъ, чтобы ей показали необходимость и разумность такого отреченія; она требуетъ, чтобы ее убѣдили доводами, которые она сама могла бы передумать и перечувствовать вслѣдъ за говорящимъ и доказывающимъ лицомъ. Ея мать, напротивъ того, прожила свой вѣкъ на афоризмахъ, въ которые она никогда не вглядывалась и которыхъ она не умѣетъ анализировать. Если эти афоризмы сталкиваются между собой и противорѣчатъ другъ другу, она этимъ не смущается; если ея собесѣдникъ обращаетъ ея вниманіе на вопіющее противорѣчіе, она устраняетъ его возраженіе новымъ афоризмомъ на ту тему, что всѣ такъ думаютъ, или что человѣческая жизнь вся сплетена изъ роковыхъ противорѣчій. Она знаетъ, что дѣлать добро похвально; это одинъ изъ тѣхъ многихъ афоризмовъ, которыми она пробавляется; но у нея нѣтъ живого и сильнаго влеченія къ тѣмъ представленіямъ, которое возбуждаетъ въ ея умѣ слово добро; это слово даже и не возбуждаетъ въ ея умѣ никакихъ опредѣленныхъ представленій: она не рѣшается прямо сказать дочери, что добра дѣлать не слѣдуетъ; она не осмѣливается даже и произнести про себя такую безнравственную сентенцію; въ ея богатомъ запасѣ афоризмовъ нѣтъ ни одного такого, который прямо оправдывалъ бы подобные взгляды; она не умѣетъ также, посредствомъ внимательнаго анализа частностей и подробностей, отдѣлить тѣ случаи, когда слѣдуетъ дѣлать добро, отъ тѣхъ, когда дѣлать его не слѣдуетъ: убѣдить дочь какими бы то ни было доказательствами она не можетъ, потому что не имѣетъ даже самаго отдаленнаго понятія о томъ, что̀ такое доказательство, и еще потому, что ни она сама, ни кто-либо другой изъ благонравныхъ представителей мѣщанской среды не имѣютъ въ своемъ распоряженіи полнаго, въ самомъ себѣ разумнаго и послѣдовательно развитаго кодекса, во имя котораго можно было бы осудить поступки Люси; за неимѣніемъ доказательствъ, при невозможности подняться вмѣстѣ съ Люси къ основнымъ общимъ принципамъ человѣческой нравственности и спуститься оттуда, шагъ за шагомъ, къ оцѣнкѣ и осужденію разсматриваемыхъ поступковъ, мать просто старается зажать ротъ дочери афоризмомъ о репутаціи и ласкательнымъ словомъ *мое дитя*; дочь чувствуетъ, что ей зажимаютъ ротъ, и понимаетъ, что дальше тасованія и выбрасыванія афоризмовъ ея мать идти не можетъ.

Ставши лицомъ къ лицу съ грубымъ непониманіемъ своихъ ближайшихъ родственниковъ, съ ихъ неспособностью понимать что бы то ни было и съ ихъ откровеннымъ нежеланіемъ развивать въ себѣ такую способность, Люси чувствуетъ сильнѣе прежняго, какъ дорогъ ей Мишель, и какъ невыносимо пустой сдѣлается ея жизнь, если изъ нея придется вычеркнуть этого единственнаго сильнаго и понимающаго человѣка. Она однакоже пробуетъ покориться; она не хочетъ огорчать родителей; она не можетъ вступить съ ними въ борьбу, потому что еще сама не знаетъ, за что, за осуществленіе какой программы она станетъ съ ними бороться. Она еще не рѣшила, что̀ она сдѣлаетъ съ своей любовью къ Мишелю; она еще не видитъ будущности для своего чувства, а считая счастливый исходъ невозможнымъ, думая, что отношенія къ Мишелю не могутъ дать ей ничего, кромѣ мимолетныхъ волненій нѣжности, ничего, кромѣ свиданій въ бесѣдкѣ, оживленныхъ разговоровъ и обмѣна взглядовъ, Люси конечно не находитъ позволительнымъ и разумнымъ возмущать тишину домашняго очага, вокругъ котораго и безъ того собралось много лишеній, заботъ и огорченій.

Конечно жизнь у этого домашняго очага не даетъ и не дастъ ей никакого вознагражденія за эти свѣтлыя минуты, но все-таки то жизнь, а это—минуты, и Люси еще не дошла до той степени отчаянія, когда человѣкъ ломаетъ существующую форму жизни, не зная, чѣмъ онъ ее замѣнитъ, и даже сомнѣваясь въ томъ, чтобы можно было замѣнить ее чѣмъ-нибудь новымъ. Принужденная отказаться отъ вечернихъ прогулокъ и отъ свиданій съ Мишелемъ, Люси до жгучей боли чувствуетъ потребность его видѣть, и тутъ признается себѣ самой, что она его любитъ такъ сильно, какъ только вообще способна любить. Но что-же тутъ дѣлать? Надо все покончить, все разорвать, потому что, какъ разсуждаетъ сама Люси, сердце не умѣетъ довольствоваться дружбой, а идти дальше—было-бы преступленіе. И тутъ-же у нея вдругъ яв-

Digitized by Google

ляется желаніе броситься къ Мишелю и сказать ему: будемъ любить другъ друга. Желаніе это не приводится въ исполненіе, но, пробѣжавши молніей черезъ всю ея нервную систему, оно оставляетъ по себѣ неизгладимую борозду. Втеченіе цѣлаго мѣсяца Люси видается съ Мишелемъ только въ церкви, и тутъ они разумѣется не подходятъ другъ къ другу и не говорятъ другъ съ другомъ ни слова; ихъ взгляды иногда встрѣчаются, и Люси читаетъ въ глазахъ Мишеля столько любви, упрековъ и страданія, что въ ея собственной груди поднимается цѣлая буря мучительныхъ и обаятельныхъ ощущеній. Ея жизнь дробится между мечтой и дѣйствительностью. Какъ только она остается одна, какъ только ея умственныя силы не поглощены цѣликомъ работой или хозяйственными соображеніями, она начинаетъ строить воздушные замки, имѣющіе скромную форму чистой хижины, въ которой она живетъ и распоряжается вмѣстѣ съ Мишелемъ. Она не останавливается надъ вопросомъ объ осуществимости этихъ воздушныхъ замковъ; она просто отдается этимъ мечтамъ и упивается ими, потому что окружающая дѣйствительность наводитъ на нее невыносимую тоску и возбуждаетъ въ ней глухое, но непобѣдимое отвращеніе. Она иногда упрекаетъ себя въ безуміи, старается пристыдить себя, усиленно обращая свое вниманіе на то, что Мишель носитъ блузу и что у него жесткія, корявыя руки; но безуміе уже такъ сильно, что не поддается никакимъ внушеніямъ; ей совсѣмъ не стыдно; рядомъ съ блузой и съ жесткими руками Мишеля къ ней на умъ являются незваными и непрошенными воспоминанія о его добротѣ, великодушіи, справедливости, о его прямотѣ и откровенности, о его силѣ и смѣлости и о томъ выраженіи сдержанной страсти и безконечно глубокой нѣжности, которое она всегда читала въ его прекрасныхъ глазахъ. Изъ каждаго такого испытанія образъ Мишеля выступаетъ все болѣе чистымъ, свѣтлымъ и яркимъ.

Наконецъ терпѣніе Люси истощается. Случайный разговоръ съ одной знатной барышней, Изабеллой де-Пармальянъ, наноситъ послѣдній ударъ ея мѣщанскимъ предразсудкамъ. Эта барышня идетъ добровольно въ монастырь, потому что разстроенное состояніе не позволяетъ ей поддерживать въ свѣтѣ честь ея фамиліи. Ея рѣшимость отказаться отъ земныхъ радостей во имя ложнаго и искусственно созданнаго понятія сословной и фамильной чести приводитъ Люси въ ужасъ и въ негодованіе. Оцѣнивъ всю уродливость этой рѣшимости, Люси переноситъ результаты своихъ размышленій на свое собственное положеніе и убѣждается въ томъ, что она поступала и намѣрена была поступать въ будущемъ такъ-же глупо, какъ Изабелла, и можетъ быть даже еще глупѣе. Изабелла сама была проникнута до мозга костей мѣщанской гордостью и мѣщанскими понятіями; Изабелла не считала узколобыми и ограниченными тѣхъ людей, которые одобряли ея намѣреніе удалиться въ монастырь и сталибы осуждать ее въ случаѣ неровнаго брака; наконецъ Изабелла никого не любила; значитъ, она поступала по убѣжденію, повиновалась голосу общественнаго мнѣнія, которое она уважала, и наконецъ, удаляясь отъ міра, она не отказывалась отъ вѣрнаго счастья и не портила жизни любимаго человѣка. Этихъ трехъ оправданій Люси не могла привести въ свою пользу: она сама желала быть крестьянкой; она презирала пустоголовыхъ болтуновъ и сварливыхъ сплетницъ, голоса которыхъ составляли общественное мнѣніе ея деревни; и наконецъ она любила человѣка, вполнѣ достойнаго любви и уваженія. Слѣдовательно, отталкивая отъ себя это счастье, которое она сама признавала счастьемъ, она поступала такимъ образомъ только по слабости характера.

Тотчасъ послѣ разговора съ Изабеллой Люси встрѣчаетъ Мишеля и сама назначаетъ ему свиданіе вечеромъ въ бесѣдкѣ. Между этой встрѣчей и свиданіемъ проходитъ больше сутокъ. Это время проходитъ для Люси въ тревожныхъ размышленіяхъ, отъ которыхъ ее бросаетъ въ жаръ и въ холодъ. Два ряда сценъ и картинъ, взаимно противоположныхъ другъ другу, проносятся съ поразительной яркостью передъ ея воображеніемъ. Съ одной стороны она видитъ во всѣхъ подробностяхъ то счастье, которое достанется ей на долю, если она рѣшится начать борьбу и съумѣетъ одержать побѣду; съ другой стороны она измѣряетъ глазами то широкое и вязкое болото непріятностей, слезъ, криковъ, толковъ, насмѣшекъ и разнародныхъ оскорбленій, черезъ которое ей надо будетъ перебираться въ бродъ, чтобы дойти до Мишеля, схватить его за руку и торжественно назвать его своимъ мужемъ. Представляя себѣ обширность этого болота, его мутную и неизслѣдованную глубину, его гнилыя испаренія и міріады кровожадныхъ комаровъ, носящіяся надъ нимъ сплошными тучами, воображая себѣ, что вся тупая и безжалостная дрянь, составляющая отборное общество околотка, начнетъ точить и грызть ея доброе имя грязными предположеніями, намеками, остротами, гипотезами, заимствованными изъ области физіологіи и патологіи, какъ эти науки понимаются деревенскими кумушками, воображая себѣ, что всѣ эти комары накинутся и на ея родителей, и на ея сестру, и на Мишеля, и что за каждымъ укушеніемъ каждой мизернѣйшей мошки будутъ слѣдовать со стороны родителей и сестры вопли, вздохи, воздѣваніе рукъ къ небу или къ потолку, или по меньшей мѣрѣ кроткіе страдальческіе взгляды на жестокосердую дѣвушку,

Digitized by Google

потерявшую всякій стыдъ и разбивающую жизнь своихъ близкихъ, — составляя себѣ изъ всѣхъ этихъ черточекъ общую картину, Люси чувствуетъ, что голова ея идетъ кругомъ, что у нея холодѣютъ руки и ноги, что у нея исчезаетъ рѣшимость брать себѣ съ бою разумное счастье, и что даже свѣтлый и чистый образъ Мишеля, уходя въ неопредѣленную даль, превращается въ какое-то туманное пятно.

И точно-ли этотъ образъ такъ свѣтелъ и такъ чистъ, думаетъ она подъ вліяніемъ уныній, навѣяннаго предвкушеніемъ болота. Точно ли подъ мужицкой блузой нѣтъ у этого Мишеля ничего похожаго на грубые инстинкты или низкія наклонности? Каковъ онъ бываетъ у себя дома, весь на распашку, когда ему весело, когда ему не для кого стѣснять себя, когда каждая его шутка, какъ-бы она ни была груба или плоска, подхватывается дружнымъ хохотомъ двухъ-трехъ его пріятелей? Каковъ онъ бываетъ въ хозяйственныхъ своихъ разсчетахъ и распоряженіяхъ? Не прорывается-ли въ немъ тутъ мелочность и скаредность? Не оказывается-ли онъ тутъ кремнемъ и кулакомъ, какъ это часто бываетъ съ умными мужиками? Каковъ онъ наконецъ будетъ, когда ему придется столкнуться лицомъ къ лицу съ приговоромъ общественнаго мнѣнія? Не оплошаетъ-ли онъ тутъ, не сробѣетъ-ли, не растеряется-ли? Съумѣетъ-ли онъ прикрыть собой ту дѣвушку, которая, бросаясь въ его объятія, навлечетъ на себя и на него всю бурю мѣщанскаго негодованія и крестьянскихъ насмѣшекъ? Положимъ, что въ смѣлости его сомнѣваться невозможно. Но вѣдь надо различать два рода мужества: одно физическое или военное, заключающееся въ крѣпости нервовъ; другое умственное или гражданское, основанное на твердости и сознательной выработанности убѣжденій; бываютъ люди, которые ходятъ съ особеннымъ удовольствіемъ на медвѣдя безъ огнестрѣльнаго оружія, и въ то же время боятся сплетенъ, распускаемыхъ на ихъ счетъ беззубыми старухами, и лебезятъ передъ этими старухами, чтобы обезоружить ихъ, и позволяютъ глупымъ сплетнямъ имѣть серьезное и рѣшительное вліяніе на все направленіе ихъ поступковъ.

Двѣ схватки съ Гореномъ могли удостовѣрить Люси въ томъ, что боевой храбрости у Мишеля было довольно. На счетъ гражданскаго мужества Люси еще не знала ничего. Былъ даже одинъ маленькій фактъ, изъ котораго она могла вывести то предположеніе, что съ этой стороны окажется въ Мишелѣ нѣкоторый изъянъ. Мишель укрылся отъ жандармовъ и, въ случаѣ надобности, готовъ былъ даже отбиваться отъ нихъ силой, потому, какъ онъ самъ объяснялъ Люси, что иначе всякая каналья станетъ называть его острожникомъ. Значитъ, глупыя слова, ожидаемыя въ неопредѣленномъ будущемъ отъ всякой канальи, заставляли Мишеля рѣшиться на такія крутыя мѣры, которыя могли повести его прямо на галеры, а можетъ быть и на эшафотъ, еслибы драка съ жандармами окончилась смертоубійствомъ. Значитъ, глупыя слова такой-же канальи, потѣшающейся надъ Мишелемъ по поводу его женитьбы на барышнѣ, стали-бы, по всей вѣроятности, тревожить, печалить и даже терзать Мишеля; его терзанья стали-бы огорчать его жену; семейное счастіе было-бы отравлено, и рай, завоеванный смѣлостью Люси, переставъ бы быть раемъ.

Эти мысли представляются уму Люси въ неразвернутомъ видѣ, какъ неопредѣленныя сомнѣнія, какъ вопросы, которые человѣкъ хочетъ поставить и для которыхъ онъ еще не находитъ ясной и строго-соотвѣтственной формулы. Отъ этихъ невыяснившихся сомнѣній, обусловленныхъ просто недостаточнымъ знаніемъ любимаго человѣка, Люси переходитъ къ горькимъ упрекамъ самой себѣ; она обвиняетъ себя въ трусости и въ низкомъ малодушіи. «Я, думаетъ она, жертвую тому, что́ презираю, тѣмъ, кого люблю больше всего въ мірѣ». Эта внимательность къ мнѣнію людей, которыхъ она презираетъ, выражается еще въ слѣдующей формѣ: она желаетъ, чтобы ей сдѣлалъ предложеніе какой-нибудь блестящій юноша, вродѣ Гавеля, молодой, красивый и богатый, тогда-бы она ему отказала и затѣмъ на другой-же день вышла-бы замужъ за Мишеля; тогда по крайней-мѣрѣ не будутъ имѣть права говорить, что она пошла за мужика по неимѣнію другихъ жениховъ, и повинуясь настоятельнымъ требованіямъ своего темперамента. Тогда будутъ по-крайней-мѣрѣ знать, что она въ самомъ дѣлѣ полюбила Мишеля. Само собою разумѣется, что эти старанія Люси оградить святыню своего чувства отъ загрязняющихъ языковъ своихъ знакомыхъ и сосѣдей совершенно безплодны. Люди, одаренные способностью грязнить все то, о чемъ они говорятъ, всегда умѣютъ дать каждому факту то толкованіе, которое соотвѣтствуетъ ихъ намѣреніямъ; если же толкованія не достигаютъ своей цѣли, или если факты рѣшительно не поддаются надлежащему извращенію, то къ нимъ присочиняется какой-нибудь новый, крошечный фактикъ, который на всю совокупность дѣйствительно совершившихся фактовъ бросаетъ самое неожиданное и своеобразное освѣщеніе. Все остальное идетъ уже очень легко, и общественное мнѣніе убѣждается именно въ томъ, въ чемъ ему желательно убѣдиться.

Дѣвушку, вышедшую замужъ за мужика, слѣдуетъ, по мнѣнію общества и его коноводовъ, заподозрить, обвинять и уличить въ самыхъ позорныхъ наклонностяхъ и въ самыхъ унизительныхъ проступкахъ. Не подлежитъ никакому

Digitized by Google

сомнѣнію, что она будетъ заподозрѣна, обвинена и уличена, и ей никто не поставитъ въ заслугу то обстоятельство, что у нея были хорошіе женихи, и что она имъ отказала. Развѣ-жъ трудно придумать, почему она имъ отказала? Отказала потому, что ей невозможно было выдти замужъ за порядочнаго человѣка; а невозможно потому, что была у нея любовная интрига со всѣми своими послѣдствіями; вотъ и пришлось броситься на шею мужику, благо нашелся такой простофиля.

Желая себѣ богатаго жениха и думая, что такой женихъ облегчитъ и улучшитъ ея положеніе въ борьбѣ съ обществомъ и съ его предразсудками, Люси держится еще того ошибочнаго мнѣнія, что съ обществомъ, составленнымъ изъ глупыхъ и негодныхъ людей, можно и должно аргументировать, и что этому обществу есть возможность что-нибудь доказать. Она еще придаетъ нѣкоторую цѣну сужденіямъ этого общества, и еще не можетъ открыто бросить ему въ глаза свое полное презрѣніе.

Во время свиданія наступаетъ одна минута, когда Люси, потрясенная до глубины души страстнымъ порывомъ Мишеля, уже готова произнести то слово, которое должно связать ихъ на вѣки. *Да* и *нѣтъ*, по словамъ автора, какъ двѣ молніи, сталкиваются въ ея душѣ; замѣтивъ въ себѣ колебаніе, она рѣшаетъ тотчасъ, что не должна и не имѣетъ права говорить Мишелю о своей любви. Свиданіе кончается тѣмъ, что Люси дѣлаетъ Мишелю выговоръ за излишнюю восторженность, а Мишель проситъ прощенія и даетъ клятву вести себя благоразумно.

VII.

Вскорѣ послѣ свиданія одинъ простой случай кладетъ конецъ всѣмъ колебаніямъ Люси. Мишель работаетъ на дворѣ у Бурдона. Гости этого господина, въ томъ числѣ и Гавель, проходятъ черезъ дворъ. Увидѣвъ Мишеля, Гавель подходитъ къ нему и благодаритъ его за оказанную услугу. Мишель съ очевиднымъ презрѣніемъ отклоняетъ эту благодарность. Гавель, не замѣчая этого презрѣнія, или не желая его замѣтить, говоритъ Мишелю: «прошу васъ считать меня всегда и вездѣ вашимъ должникомъ», и протягиваетъ ему руку «съ развязностью и благородствомъ, которыми самъ въ себѣ любовался». Мишель блѣднѣетъ, нахмуриваетъ брови и своей руки не протягиваетъ. А на вопросъ Гавеля: «вы отказываетесь отъ пожатія моей руки», онъ отвѣчаетъ, не возвышая голоса, но совершенно отчетливо и явственно: «да, г. Гавель, я не могу подать вамъ руку, потому что это у меня знакъ пріязни и уваженія: я подаю руку только честнымъ людямъ». Этотъ отвѣтъ производитъ конечно общее смущеніе; цвѣтъ мѣстнаго мѣщанства ошеломленъ дерзостью мужика; священникъ говоритъ, что въ молодомъ поколѣніи утратилось всякое уваженіе къ власти; Орели полагаетъ, что «этотъ негодяй помѣшанъ»; раздавленный Гавель, отретировавшись къ своимъ спутникамъ, бормочетъ какую-то неправдоподобную дрянь о томъ, что вѣроятно и Мишель былъ заодно съ прочими негодяями, покушавшимися на его жизнь и желавшими его ограбить «подъ гнуснымъ предлогомъ»; Бурдонъ задыхается отъ бѣшенства и совсѣмъ ничего не говоритъ, проклиная въ душѣ «развязность и благородство» своего будущаго зятя. Люси, присутствовавшая при всей этой сценѣ, отдѣляется отъ остального общества, подходитъ къ Мишелю и говоритъ ему, что онъ «вправду сильный человѣкъ», что онъ «лучше ея». Этотъ разговоръ между Мишелемъ и Люси происходитъ тогда, когда остальное общество уже находится за оградой двора. Я считаю эту оговорку необходимой, потому что иначе читатель имѣлъ-бы право спросить, какимъ образомъ такая яркая демонстрація со стороны Люси не вызвала немедленно самаго рѣзкаго столкновенія между нашей героиней и ея родственниками.

Поступокъ Мишеля получаетъ въ глазахъ Люси значеніе факта, рѣшающаго весь вопросъ о ея будущихъ отношеніяхъ къ любимому человѣку. Поступокъ этотъ въ самомъ дѣлѣ очень замѣчателенъ. Онъ показываетъ, что Мишеля невозможно застать врасплохъ, что онъ въ каждую данную минуту, при какихъ-бы то ни было неожиданныхъ комбинаціяхъ, безо всякихъ предварительныхъ приготовленій и соображеній, оказывается вѣрнымъ себѣ и поступаетъ какъ человѣкъ безукоризненной, неподкупной и неустрашимой честности. Онъ не задаетъ себѣ вопроса: какъ мнѣ поступить? онъ не взвѣшиваетъ вѣроятныхъ послѣдствій своего поступка, выгодныхъ и невыгодныхъ; онъ не выбираетъ изъ многихъ возможныхъ путей того, который по тѣмъ или по другимъ причинамъ удобнѣе или честнѣе другихъ, для него не существуетъ выбора; очутившись въ томъ или въ другомъ положеніи, онъ въ одно мгновеніе, съ перваго взгляда, видитъ, что вотъ тутъ чистая правда, вотъ тутъ добро безо всякой примѣси, и этого для него довольно, и этимъ обусловливается его образъ дѣйствій. Онъ не лжетъ ни словами, ни поступками, потому что не можетъ, не хочетъ и не умѣетъ лгать. Для него не существуетъ никакихъ возможныхъ компромиссовъ съ ложью, ни подъ какимъ предлогомъ, ни подъ тѣмъ, что въ данномъ случаѣ полезно слукавить, ни подъ тѣмъ, что данный случай мелокъ и ничтоженъ, и что являться тутъ героемъ и защитникомъ правды значитъ впадать въ смѣшное донкихотство. Для Мишеля честность не мундиръ, который въ праздничные дни надѣвается, а въ будни виситъ въ шкафу; для него это—соб-

Digitized by Google

ственная кожа, которую онъ не снимаетъ никогда и съ которою онъ не могъ бы разстаться безъ самыхъ ужасныхъ мученій. Вслѣдствіе этого для Мишеля невозможны фальшивыя положенія; онъ не можетъ растеряться и оплошать, не можетъ остановиться въ нерѣшимости или сдѣлать уступку, о которой ему впослѣдствіи пришлось бы пожалѣть. Та дорога, по которой слѣдуетъ идти, всегда сразу бросается ему въ глаза такъ точно, какъ она бросается въ глаза и всякому другому. Но бо́льшая часть людей, всѣ тѣ, на кого дѣйствуетъ боязнь такъ-называемаго общественнаго мнѣнія, всѣ покорные слуги большинства и то́лпы, увидавъ прямую дорогу и зная навѣрное, что она точно прямая, останавливаются передъ нею въ раздумьѣ и спрашиваютъ себя: а куда она ведетъ, эта прямая дорога? И кто по ней ходитъ? И точно ли меня похвалятъ за то, что я по ней пойду? А ну какъ я по ней пойду, да увижу, что никто за мной идти не хочетъ, да узнаю, что по прямой дорогѣ совсѣмъ не принято ходить? А ну какъ всѣ кругомъ надо мной захохочутъ и скажутъ: «вотъ чудакъ, по прямой дорогѣ бѣжитъ, отличиться хочетъ, удивить насъ думаетъ, добродѣтель его одолѣла, за правду копья ломать захотѣлъ? Не лучше ли, не проще ли, не вѣрнѣе ли будетъ оглянуться на другихъ и поступить такъ, какъ они поступаютъ? А то въ самомъ дѣлѣ хорошо ли колоть слабымъ людямъ глаза своими совершенствами и катоновской непреклонностью своего характера? Не фарисейство ли это?

Такими размышленіями, въ которыхъ главной двигательной силой является болѣе или менѣе удачно замаскированная трусость, парализуется вліяніе перваго движенія, и вмѣсто прямой дороги, которую человѣкъ все-таки видитъ и даже цѣнитъ, выбирается запутанная система извилистыхъ тропинокъ, гдѣ фальшивыя положенія и унизительные компромиссы на каждомъ шагу, какъ грибы, выростаютъ подъ ногами боязливаго путника. Еслибы такой боязливый путникъ, скрѣпя сердце, бросился на прямую дорогу, то удручающая его боязнь, та мучительная тревога, съ которой онъ сталъ бы прислушиваться къ голосамъ и къ смѣху большинства, дѣйствительно придали бы ему самый комическій видъ и оправдали бы собою со стороны толпы взрывы самаго гомерическаго хохота. Толпа всегда презираетъ и осмѣиваетъ тѣхъ, кто ея боится; и толпа всегда съ удивительной чуткостью умѣетъ угадывать боязнь въ тѣхъ людяхъ, которые, стараясь отъ нея отдѣлиться и обнаруживая нѣкоторое нерѣшительное стремленіе къ умственной и нравственной самостоятельности, не смѣютъ отнестись съ полнымъ равнодушіемъ къ ея умствованіямъ и приговорамъ.

У Мишеля нѣтъ этой боязни, хотя онъ и раздѣляетъ кое въ чемъ предразсудки толпы; тюремное заключеніе онъ, какъ мы видѣли, считаетъ во всякомъ случаѣ позорнымъ, и поступаетъ сообразно съ этимъ ошибочнымъ мнѣніемъ, но не потому, что онъ боится криковъ и насмѣшекъ толпы, а только потому, что у него еще не было ни времени, ни средствъ подвергнуть тщательному разбору это ошибочное мнѣніе, укоренившееся въ его умѣ съ дѣтства. У Мишеля мало знаній, ему неизвѣстны тѣ методы изслѣдованія, которыми человѣкъ можетъ очистить свой умъ отъ предразсудковъ, поэтому онъ можетъ и долженъ во многомъ ошибаться и упорно держаться за многія ошибочныя понятія, занесенныя въ его голову вліяніемъ среды; но когда онъ упорствуетъ въ своихъ заблужденіяхъ, то онъ это дѣлаетъ не потому, что его сосѣди Туронъ и Люре поступаютъ точно такъ же, а потому, что онъ самъ считаетъ эти заблужденія за истины, и потому, что у него нѣтъ подъ руками пробнаго камня, на которомъ онъ бы могъ испытать ихъ достоинства.

Въ дѣлѣ съ Гавелемъ Мишель не побоялся ни того, что Гавель бросится на него съ кулаками, ни того, что Бурдонъ сдѣлается его смертельнымъ врагомъ и станетъ донимать его всѣми тѣми средствами, которыми богатый и вліятельный человѣкъ всегда и вездѣ можетъ притѣснить бѣдняка, ни того, что Люси осудитъ его за невѣжливость, подобно тому, какъ она старалась осудить его за схватку съ Горенонъ, ни того наконецъ, что мужики станутъ смѣяться надъ нимъ, какъ надъ жеманнымъ чудакомъ, боящимся замарать свою руку; ничего этого онъ не побоялся и ни о чемъ этомъ онъ не подумалъ, потому что вся исторія разыгралась въ двѣ минуты, и за минуту передъ тѣмъ, какъ Гавель подошелъ къ нему съ своими любезностями, ничего подобнаго невозможно было предвидѣть. Эта полная неразсчитанность и неприготовленность его поведенія окончательно уничтожаетъ всѣ сомнѣнія Люси; она убѣждается безповоротно, что тотъ человѣкъ, котораго она любитъ, ничего не боится и ни передъ чѣмъ не съеживается, всегда готовъ отдать себѣ и всему свѣту отчетъ въ каждомъ мельчайшемъ изъ своихъ поступковъ и всегда гордо и величественно готовъ нести полную отвѣтственность за всю совокупность своего поведенія. Она удостовѣряется въ томъ, что гражданское мужество Мишеля безпредѣльно, и что, когда ему придется завязать борьбу съ толпой, то не толпа его, а онъ толпу перевернетъ по своему. Она рѣшается сдѣлаться женой Мишеля. Внутренняя борьба для нея окончена, и собравшись съ силами, она объявляетъ Мишелю о результатахъ этой борьбы, то-есть о томъ, что она его любитъ и хочетъ выдти за него замужъ, какъ только ей удастся побѣдить

Digitized by Google

сопротивленіе родителей. Какъ она ему объявила все это, какія сцены любви происходили послѣ рѣшительнаго объясненія, и какъ сложились ея отношенія къ Мишелю во время борьбы съ родителями—обо всемъ этомъ я распространяться не буду. Все это читатель можетъ самъ найти и оцѣнить по достоинству въ самомъ романѣ. Цѣль моей статьи заключается не въ томъ, чтобы любоваться вмѣстѣ съ читателемъ красотами разбираемаго романа, а въ томъ, чтобы подробно прослѣдить развитіе его основной идеи. Теперь эта идея выяснилась достаточно. Она состоитъ въ самомъ безпощадномъ осужденіи самодовольнаго, трусливаго, тщеславнаго, корыстолюбиваго и легкомысленнаго мѣщанства; это мѣщанство портитъ и развращаетъ все, что подчиняется его вліянію; оно портитъ воспитаніемъ своихъ собственныхъ дѣтей; оно портитъ также своимъ примѣромъ, своими идеями и въ особенности меркантильнымъ направленіемъ всей своей дѣятельности тѣ слои народа, надъ которыми перевѣсъ матеріальныхъ средствъ и образованія доставляетъ ему преобладаніе. Сколько нибудь чистыми остаются только тѣ люди, которые по своей бѣдности или по какимъ бы то ни было другимъ причинамъ не принимаютъ живого участія въ спекуляціяхъ, интригахъ и увеселеніяхъ мѣщанства, которые не втягиваются съ дѣтскихъ лѣтъ въ мутный водоворотъ его жизни, и поэтому сохраняютъ возможность смотрѣть на его нравы со стороны и судить ихъ строгимъ судомъ неподкупленнаго и неизуродованнаго ума.

Люси Бертень—бѣдная дѣвушка, выросшая въ деревнѣ и неизбалованная жизнью; еслибы она была богатой мѣщанкой, еслибы она съ колыбели была окружена дорогими няньками и гувернантками, еслибы она кончила курсъ наукъ и искусствъ въ модномъ пансіонѣ, еслибы она затѣмъ закружилась въ вихрѣ баловъ, спектаклей и концертовъ, еслибы сладкорѣчивые старцы и разсчитанно-пылкіе юноши нажужжали ей въ уши несмѣтное количество тонкихъ и замысловатыхъ комплиментовъ, клонящихся къ полученію ея руки и приданаго—то, разумѣется, природный умъ Люси развернулся бы какъ-разъ на столько, на сколько это нужно, чтобы поддерживать и оживлять блестящимъ образомъ салонный разговоръ; никакихъ глубокихъ и смѣлыхъ размышленій о жизни и о человѣкѣ, о господствующей нравственности и о междусословныхъ отношеніяхъ не было бы произведено; никакія сближенія съ мужиками не могли бы имѣть мѣста; и Мишель, со всѣми своими рѣдкими и драгоцѣнными достоинствами, оказался бы для блистательной мадемуазель Бертень только дерзкимъ нахаломъ, забывающимъ свое настоящее мѣсто и проникнутымъ смѣшными претензіями.

Чтобы оставаться чистыми, чтобы развиваться и совершенствоваться, люди, неполучившіе почетнаго мѣста за столомъ пирующаго мѣщанства, должны стать въ сознательный и открытый антагонизмъ со всѣми понятіями и симпатіями мѣщанскаго общества. Еслибы Люси Бертень покорилась той участи, которая была ей приготовлена нравами, идеями и стремленіями ея общества, то ей пришлось бы или озлобиться на людей и на природу и умереть въ чахоткѣ, какъ это сдѣлала на двадцать-седьмомъ году своей жизни ея сестра Кларисса, или разбавить ядъ обманутыхъ ожиданій водой благопріобрѣтенной мелочности и тупости, съежиться въ умственномъ и въ нравственномъ отношеніяхъ, пристраститься къ сплетнямъ и къ чужимъ обѣдамъ, обезцвѣтиться, обезличиться и превратиться въ мадемуазель Бокъ.

Чтобы сохранить и развернуть полноту своихъ силъ, чтобы спасти себя отъ увяданія и разложенія, Люси должна была уйти въ другую среду, болѣе здоровую и просторную. Тутъ естественнымъ образомъ возникаетъ вопросъ: существуетъ ли такая среда? На этотъ вопросъ авторъ смѣло отвѣчаетъ: существуетъ; такая среда—простой народъ, тотъ народъ, который зарабатываетъ себѣ насущный хлѣбъ тяжелой черной работой. Затѣмъ рождается другой вопросъ: можно ли дѣйствительно уйти въ эту среду? То-есть, другими словами: уйдя въ эту среду, можно ли дѣйствительно найти себѣ въ ней жизнь болѣе полную, человѣчную, отрадную, здоровую и разумную, чѣмъ та жизнь, отъ которой пришлось бѣжать? Не похоже ли это удаленіе отъ образованнаго общества въ народъ на удаленіе съ моста, головой впередъ, въ самый омутъ глубокой и быстрой рѣки? На эти вопросы авторъ даетъ самый утѣшительный отвѣтъ; онъ находитъ, что среди народа возможна свѣтлая, разумная, вполнѣ человѣчная и даже изящная жизнь. При ближайшемъ разсмотрѣніи оказывается однако, что этотъ отвѣтъ не такъ утѣшителенъ, какъ это можно было подумать съ перваго взгляда. Въ этомъ отвѣтѣ нѣтъ никакихъ комплиментовъ народу. Въ немъ заключается только осужденіе мѣщанства. Свѣтлая и разумная жизнь возможна среди народа, но при какихъ условіяхъ? Вопервыхъ, съ Мишелемъ; а вовторыхъ, съ такимъ участкомъ земли, который, при тщательной обработкѣ, совершенно обезпечиваетъ земледѣльца и его семью; но большинство крестьянъ не имѣетъ даже отдаленнаго сходства съ Мишелемъ. Значитъ, при теперешнихъ условіяхъ свѣтлая и разумная жизнь среди народа составляетъ очень рѣдкое исключеніе и создается не понятіями, господствующими въ народѣ и принадлежащими всѣмъ и каждому, а только личными свойствами и усиліями людей, рѣзко отдѣляющихся отъ массы какъ мѣщанъ, такъ и чернорабочихъ. Такихъ людей очень мало, но такъ-

Digitized by Google

называемое образованное общество никакъ не должно думать, что ему одному, вмѣстѣ со множествомъ его различныхъ привилегій, принадлежитъ также привилегія формировать такихъ рѣдкихъ людей. Они одинаково возможны и одинаково рѣдки какъ въ образованномъ обществѣ, такъ и въ народѣ. Бѣдность, грубость и невѣжество такъ-же мало благопріятствуютъ ихъ развитію, какъ и привычка жить праздно, корыстолюбіе, тщеславіе и поверхностное образованіе. Рѣдкіе люди, то-есть свѣтлые умы и твердые характеры развиваются вопреки, а не благодаря тѣмъ общимъ условіямъ, которыя даютъ тонъ и колоритъ жизни мѣщанства и жизни народа. Этихъ рѣдкихъ людей можно назвать уцѣлѣвшими или устоявшими людьми. Они умѣютъ оцѣнивать и понимать другъ друга; они испытываютъ живую потребность сближаться между собой и вознаграждать другъ друга взаимнымъ уваженіемъ за то презрѣніе, которое они поневолѣ должны чувствовать ко всему окружающему. Они по природѣ своей равны между собой и достойны другъ друга; это естественное равенство, необходимое для искренняго и тѣснаго сближенія, уничтожаетъ то разстояніе, которое можетъ существовать между ними вслѣдствіе различія ихъ общественнаго положенія и даже образованія. Сохранившаяся въ нихъ естественная сила и свѣжесть человѣческой природы такъ драгоцѣнна, такъ обаятельна и порождаетъ между ними такое взаимное притяженіе, что разъединяющія ихъ искусственныя вліянія, привитыя къ нимъ самимъ или дѣйствующія въ окружающемъ мірѣ, оказываются совершенно безсильными и ничтожными.

Когда человѣкъ узнаетъ человѣка, когда онъ бросается къ нему на встрѣчу съ тѣмъ, чтобы протянуть ему руку или сжать его въ своихъ объятіяхъ, тогда всѣ мелкія соображенія о происхожденіи, званіи, чинѣ, костюмѣ, манерахъ и даже знаніяхъ человѣка откидываются въ сторону. Когда два человѣка, полные свѣжихъ дарованій и кипучей энергіи, убѣдились въ томъ, что оба они думаютъ и чувствуютъ съ одинаковой силой и руководствуются въ своихъ дѣйствіяхъ одинаковыми побужденіями, тогда между ними, смотря по обстоятельствамъ, зарождается дружба или любовь; и все, что мѣшаетъ развитію и полному удовлетворенію зародившагося чувства какъ въ самихъ заинтересованныхъ сторонахъ, такъ и вокругъ нихъ, истребляется и устраняется естественной силой взаимнаго притяженія. Барышня, въ которой дрессировка и пустая жизнь не заморили ума, чувства и энергіи, можетъ полюбить простого мужика, въ которомъ умъ, чувство и энергія также не заморены нуждой, зависимостью и воловьимъ трудомъ. Подъ вліяніемъ своего чувства эта барышня можетъ обновиться, переродиться, сбросить съ себя все то, что было приклеено къ ея уму и характеру стараніями родителей и окружающаго общества, и развернуть въ себѣ все то, что составляетъ силу и красоту здоровой человѣческой природы. Вотъ, по моему крайнему разумѣнію, основная мысль романа. Барышня можетъ полюбить мужика и найти себѣ въ своей любви самое полное и разумное счастье. Разумѣется, не первая встрѣчная барышня и не перваго встрѣчнаго мужика. Достоинство всего романа зависитъ очевидно отъ того, насколько ясно проведена и убѣдительно доказана эта основная мысль, насколько вѣрны и живы тѣ образы, въ которые она облечена.

Если мужикъ — не мужикъ, и барышня — не барышня, если оба они — блѣдные и тощіе идеалы, неимѣющіе никакихъ корней въ дѣйствительности, или если любовь барышни къ мужику возникаетъ и развивается такъ, что читатель не можетъ повѣрить ея существованію и принужденъ видѣть во всѣхъ сценахъ и картинахъ, проходящихъ передъ его глазами, только разнообразныя проявленія авторскаго произвола, то разумѣется романъ оказывается безсильной декламаціей, и та идея, которая была положена въ его основаніе, остается недоказанной. А такъ какъ центръ тяжести всего романа заключается именно въ вопросѣ: могла или не могла барышня Люси полюбить мужика Мишеля, то я и сосредоточилъ все свое вниманіе на этомъ вопросѣ и разобралъ его съ такой обстоятельностью, которая быть можетъ до нѣкоторой степени утомила читателя. Я былъ принужденъ разсказывать сущность всѣхъ важнѣйшихъ сценъ, происходившихъ между Люси и Мишелемъ; потому что только такимъ путемъ я могъ убѣдить читателя въ совершенномъ отсутствіи авторскаго произвола и въ той полной естественности, съ которой ведено развитіе чувства.

О борьбѣ Люси съ родителями и съ обществомъ распространяться не стоитъ. Такая борьба всегда кончается и должна кончиться полной побѣдой того лица, которое борется серьезно и настойчиво за свои дѣйствительные интересы и за свои естественныя и неотъемлемыя права. Если случается иначе, если побѣждаетъ не личность, а среда, то это значитъ только, что чувства и желанія, изъ-за которыхъ была завязана борьба, недостаточно сильны, глубоки и прочны. Люси одерживаетъ самую полную побѣду самыми легальными средствами; она не уходитъ отъ своихъ родителей, не вступаетъ съ Мишелемъ въ тайный бракъ и ни на одну минуту не перестаетъ быть самой почтительной и нѣжной дочерью, опорой всего хозяйства, утѣшительницей и неутомимой сидѣлкой умирающей сестры. Она не донимаетъ своихъ родителей преніями о равенствѣ всѣхъ людей, не дѣлаетъ имъ бурныхъ сценъ, не

Digitized by Google

старается уязвить или разжалобить ихъ убитымъ видомъ или горькими слезами, и даже сама ни разу не заводитъ съ ними разговора о Мишелѣ и его достоинствахъ. Вообще она не употребляетъ въ отношеніи къ нимъ никакой тактики; во всемъ ея поведеніи нѣтъ ничего разсчитаннаго и искусственнаго. Она только изо дня въ день, съ утра до вечера и въ каждую данную минуту, съ одинаковой силой и съ неизмѣннымъ постоянствомъ желаетъ одного и того-же. Эта постоянная дума о любимомъ человѣкѣ, это постоянное стремленіе къ одной цѣли придаетъ чертамъ ея лица выраженіе такой сосредоточенности и кладетъ на все ея поведеніе печать такой торжественной серьезности, которая внушаетъ ея родителямъ невольное уваженіе, въ то самое время, когда они напрягаютъ всѣ свои силы, чтобы преслѣдовать и наказывать ее своимъ презрѣніемъ. Люси терпитъ и ждетъ, и этимъ кроткимъ выжиданіемъ истощаетъ силы своихъ противниковъ; она не дѣлаетъ сама ни одного шагу впередъ и не высказываетъ никакихъ требованій, но всякій разъ, какъ ее вызываютъ на объясненія, она тихо, просто и откровенно заявляетъ совершенную неизмѣнность своихъ мыслей, чувствъ, намѣреній и желаній. Когда ея родители узнаютъ отъ постороннихъ людей о любви ея къ Мишелю и о свиданіяхъ въ садовой бесѣдкѣ, тогда разумѣется разражается буря удивленія и негодованія; начинается концертъ криковъ и стоновъ; чтобы не задушить преступную дочь собственными руками, Бертень, сжавъ кулаки, отскакиваетъ отъ нея въ противоположный уголъ комнаты и вслѣдъ затѣмъ бѣжитъ въ садъ разстрѣливать Мишеля; г-жа Бертень отталкиваетъ отъ себя Люси и говоритъ съ надлежащей дозой трагизма: оставь меня, ты мнѣ больше не дочь! Чахоточная Кларисса, злая и глупая, и вся насквозь тряпичная и деревянная, почти безъ чувствъ падаетъ въ кресло и произноситъ коснѣющимъ языкомъ: она съума сошла!

Люси страдаетъ отъ всѣхъ этихъ жестовъ и возгласовъ, страдаетъ въ особенности отъ той боли, которую испытываютъ эти люди во время своего ненужнаго жестикулированія и взываній, но страданія не обнаруживаютъ никакого ослабляющаго вліянія на ея любовь и рѣшимость. Какъ подѣйствовала первая бурная сцена, такъ точно дѣйствуютъ на нее и всѣ остальныя сцены, бурныя и слезливыя, раздирательныя и умилительныя; она не остается нечувствительной къ тяжелымъ впечатлѣніямъ; каждая грубая выходка отца, каждая слеза матери, каждый леденящій и страдальческій взглядъ больной сестры ложатся кровавыми рубцами на любящее сердце Люси; одно оскорбительное слово, произнесенное ея отцомъ, доводитъ ее даже до обморока, но сущность дѣла отъ ея страданій нисколько не измѣняется; она худѣетъ и блѣднѣетъ, она проводитъ безсонныя ночи, но и худая, и блѣдная, и съ воспаленными глазами, и съ жестокой головной болью она любитъ Мишеля попрежнему, и даже привязывается къ нему еще сильнѣе, потому что свѣтлый образъ составляетъ въ тяжелыя минуты ея единственное утѣшеніе.

Родители убѣждаются наконецъ въ томъ, что измучить свою дочь они могутъ, что при нѣкоторой настойчивости и неумолимости они пожалуй могутъ даже замучить ее до смерти, но что, пока она будетъ жива, до тѣхъ поръ она будетъ любить Мишеля, гордиться его любовью и стремиться къ тому, чтобы сдѣлаться его женой. Тогда оппозиція слабѣетъ и разлагается; надъ Люси испытываютъ послѣднее средство: ее отправляютъ въ Пуатье, ее вывозятъ на балы, ее стараются пристроить за какого-нибудь приличнаго джентльмена, но ничто на нее не дѣйствуетъ, и она возвращается въ деревню, неизмѣнно вѣрная своему Мишелю.

Смерть Клариссы наноситъ послѣдній ударъ ослабѣвшему сопротивленію родителей; Кларисса умираетъ, не узнавши жизни, не испытавъ любви и не возбудивъ ея ни въ комъ; въ минуту агоніи она перестаетъ быть деревянной куклой; въ ней пробуждается женщина, и она съ дикой и полоумной энергіей, нарушая всѣ приличія, громко упрекаетъ людей и судьбу въ томъ, что они обманули ея ожиданія, загубили ея молодость, испепелили ея свѣжія силы, и заставляютъ ее, подобно дочери Іеффая, «умирать, не бывши матерью». — «Мама, говоритъ она госпожѣ Бертень, схватывая ее за руку. смотри, чтобы Люси не умерла, какъ я».

Въ виду едва остывшаго трупа старшей дочери, умершей отъ холода и пустоты дѣвической жизни среди пошлаго и мелочно-бездушнаго общества, госпожа Бертень, старается стать выше предразсудковъ этого общества и обѣщаетъ своей младшей дочери, что она будетъ счастлива съ тѣмъ *прекраснымъ, благороднымъ человѣкомъ*, котораго она выбрала. Но у добродушной мѣщанки, пропитанной всѣми непослѣдовательностями и внутренними противорѣчіями, свойственными либераламъ ея сословія, не хватаетъ твердости ни на то, чтобы добровольно сложить оружіе и устоять въ своемъ обѣщаніи, ни на то, чтобы рѣшительнымъ отказомъ зарѣзать дочь на алтарѣ сословной и фамильной чести. Въ принципѣ уступка сдѣлана. Мишель, котораго хотѣли подстрѣлить въ саду, послѣ смерти Клариссы сталъ другомъ дома, видается съ Люси безпрепятственно и въ комнатѣ, и въ саду, и при родителяхъ, и наединѣ. Кажется, послѣ этого уже нечего больше скупиться, торговаться, тянуть канитель и откладывать дѣло въ долгій ящикъ. Разъ какъ сдѣлана такая уступка, изъ кото-

Digitized by Google

рой естественнымъ образомъ вытекаютъ всѣ остальныя, то надо уже волей или неволей идти до конца.

Родители Люси разсуждаютъ иначе. Когда Люси, почти черезъ полгода послѣ смерти Клариссы, заговариваетъ о томъ, что пора же наконецъ дать ей и Мишелю то счастье, которое было имъ торжественно обѣщано—тогда она, къ удивленію своему, узнаетъ, что она дурная дочь, что она огорчаетъ своихъ родителей и хочетъ уморить ихъ со стыда. Даже убѣдившись въ томъ, что ихъ сопротивленіе ни къ чему не можетъ повести, и что рано или поздно надо будетъ уступить, родители Люси все еще до послѣдней минуты продолжаютъ кривляться, гримасничать и хныкать. Люси начинаетъ убѣждать ихъ разумными доводами, они во всемъ съ ней соглашаются, и затѣмъ продолжаютъ вздыхать и плакать. Люси въ первый разъ въ своей жизни говоритъ имъ рѣзкое слово и рѣшительно требуетъ себѣ или полнаго человѣческаго счастья, или могилы сестры. Передъ этимъ взрывомъ энергическаго негодованія родители ея смиряются, именно потому, что Люси не пріучила ихъ къ такимъ взрывамъ и не растрачивала своей энергіи на мелкія вспышки безпричиннаго неудовольствія.

Люси съ согласія родителей становится женой Мишеля, и мы узнаемъ, въ самомъ концѣ романа, что, шесть лѣтъ спустя, родители благоденствуютъ и процвѣтаютъ по милости того самаго брака, въ которомъ они видѣли величайшее изъ своихъ семейныхъ несчастій. «Право — разсуждаетъ пріятельница Люси, Женъ Мурильонъ—надо быть глупымъ и слѣпымъ, чтобы еще теперь находить дурнымъ бракъ мадамъ Мишель. Все въ домѣ перемѣнилось. Прежде у нихъ только и было, что одно горе, а теперь все идетъ хорошо. Г-жа Бертень стала заниматься птичнымъ дворомъ и съ тѣхъ поръ перестала ныть и говорить мудреныя слова; напротивъ, она говоритъ съ вами о своихъ цыплятахъ, индѣйкахъ и уткахъ, какъ женщина разсудительная, и видно, что это ее забавляетъ. Даже самого Бертена, и того надоумило приняться за дѣло; онъ такъ подружился съ коровой Пижодъ, что никого къ ней не подпускаетъ, каждый день ходитъ гулять съ нею. Ну, да ужъ я вамъ говорю, что это счастливые люди, а по мнѣ этого довольно, потому счастливыхъ людей очень мало».

Мишель и Люси—счастливые люди. Картиной ихъ счастія заканчивается романъ. Это счастье состоитъ въ томъ, что у нихъ свой домикъ, и что въ этомъ домикѣ у нихъ есть все, что необходимо для удовлетворенія всѣхъ насущныхъ потребностей. Они любятъ другъ друга, любятъ своихъ дѣтей, покоятъ родителей, читаютъ по вечерамъ хорошія книжки—и, стало быть, счастливы. Въ ихъ жизни нѣтъ мѣста праздности и скукѣ; они работаютъ усердно и добросовѣстно, чтобы удерживать и увеличивать то благосостояніе, которымъ они уже пользуются. Такихъ счастливыхъ людей дѣйствительно очень мало, а между тѣмъ ихъ счастье, если вглядѣться и вдуматься въ него, все-таки нагоняетъ тоску и наводитъ тяжелое раздумье.

Это какое-то прѣсное и приторное счастье; въ этомъ счастьѣ нѣтъ той соли, которая мѣшаетъ людямъ испортиться; если подвергнуть человѣка дѣйствію такого счастья впродолженіе десяти или двадцати лѣтъ, то я право не знаю, какая сила предохранитъ его отъ ожиренія и притупленія, отъ безвозвратнаго мертвящаго погруженія въ копѣечныя заботы, разсчеты, спекуляціи и мечты, цѣликомъ направленныя къ тому, чтобы набрать дѣтямъ побольше франковъ, червонцевъ и банковыхъ билетовъ, сначала на ихъ воспитаніе, потомъ на первое обзаведеніе, потомъ на безбѣдное существованіе. Мишель и Люси работаютъ исключительно для того, чтобы кормиться и затѣмъ разживаться. То и другое имъ удается, но мы рѣшительно не видимъ, связываютъ-ли какія-нибудь нити ихъ лодочку съ «кормой большого корабля», имѣютъ-ли они понятіе о существованіи какихъ-нибудь общихъ цѣлей, и стремятся-ли они какимъ-бы то ни было путемъ къ достиженію какой-бы то ни было подобной цѣли. Такъ какъ въ романѣ Лео нѣтъ ни малѣйшаго указанія на какую-бы то ни было связь между жизнью этихъ счастливыхъ людей и общими великими интересами ихъ времени и ихъ народа, то мы можемъ и должны думать, что никакой подобной связи и не было. Отрицая эту связь, авторъ не дѣлаетъ никакой ошибки. Отсутствіе этой связи не можетъ быть также поставлено въ укоръ уму и характеру Мишеля и Люси. Очень вѣроятно, что ни Мишель, ни Люси не могли сдѣлаться общественными дѣятелями; ихъ образованіе было слишкомъ недостаточно; то захолустье, въ которомъ они родились и выросли, было слишкомъ вяло и мертво, участіе простого народа въ политическихъ и общественныхъ дѣлахъ слишкомъ ничтожно, всѣ силы ихъ ума и ихъ мускуловъ слишкомъ исключительно поглощены добываніемъ насущнаго хлѣба, имъ пришлось потратить слишкомъ много энергіи на завоеваніе личнаго счастья—всѣ эти причины, вмѣстѣ взятыя объясняютъ совершенно удовлетворительно, почему и какимъ образомъ они, перевѣнчавшись, могли почислить борьбу жизни оконченной и сосредоточить свои свѣжія силы на нарожденіи здороваго потомства и на усердномъ наживаніи движимаго и недвижимаго добра.

Но понимая причины какого-нибудь явленія, мы этимъ пониманіемъ не устраняемъ его послѣдствій. Мишель и Люси не виноваты въ

Digitized by Google

томъ, что не сдѣлались общественными дѣятелями, но такъ какъ они ими не сдѣлались, то они, рано или поздно, и скорѣе рано чѣмъ поздно, сдѣлаются нѣкоторымъ подобіемъ старосвѣтскихъ помѣщиковъ. Нѣкоторыя слабыя черты этого предстоящаго отяжелѣнія можно замѣтить уже въ послѣдней главѣ романа, хотя авторъ повидимому не имѣлъ намѣренія показывать читателю ахиллесову пятку своихъ героевъ, и хотя быть можетъ авторъ и самъ ея не видалъ. Вотъ какъ авторъ описываетъ Мишеля шесть лѣтъ спустя послѣ свадьбы:

«Силенъ и счастливъ—вотъ что можно сказать о Мишелѣ. Шесть лѣтъ спокойнаго счастья придали его стану здоровую полноту, а чертамъ его лица тихую безмятежность, которая не погасила огня его глазъ и не ослабила умнаго выраженія физіономіи». Если устранить отъ этой мысли смягчающую и скрадывающую грацію выраженій, то получится слѣдующій результатъ: Мишель раздобрѣлъ, но не поглупѣлъ. Не надо-ли будетъ во вторую часть фразы вставить слово *еще*, заключающее въ себѣ грозный намекъ на печальное будущее? Если *шесть лѣтъ не погасили* и *не ослабили*, то не погасятъ и не ослабятъ-ли двѣнадцать лѣтъ? Мишелю было двадцать-три года, когда онъ женился. Въ ту минуту, когда его описываетъ авторъ, ему двадцать девять лѣтъ. И онъ уже толстѣетъ, и о немъ уже надо говорить, въ похвалу ему, что онъ не поглупѣлъ. Значитъ, то обстоятельство, что онъ остановился въ своемъ развитіи, уже не подлежитъ сомнѣнію. А за остановкой въ развитіи долженъ слѣдовать регрессъ. И мнѣ кажется, что этотъ регрессъ начался, и что о немъ проговорился самъ авторъ.

Андре Лео говоритъ, что на слова жены «онъ ей отвѣтилъ такимъ взглядомъ, въ которомъ показался весь прежній Мишель». Значитъ, прежній Мишель не то, что̀ теперешній; онъ показывается только по временамъ изъ-за того тонкаго слоя жира, который образуетъ *здоровую полноту*. Дайте этой полнотѣ развернуться, дайте слою жира сдѣлаться потолще, и прежній Мишель будетъ показываться все рѣже и рѣже, а потомъ и совсѣмъ пропадетъ, и останется только, ввидѣ надгробнаго камня, рыхлая масса жира, которая своими неопредѣленными контурами будетъ только до нѣкоторой степени напоминать рѣзкія и выразительныя черты прежняго пылкаго, смѣлаго и титанически любознательнаго юноши.

Что̀ же такое Люси и что̀ такое Мишель? Они не типы; ни Люси не можетъ быть представительницей барышень, ни Мишель—представителемъ мужиковъ. Они также не идеалы. Нельзя сказать, глядя на Люси: вотъ чѣмъ должна быть современная женщина! или, глядя на Мишеля: вотъ образецъ современнаго мужчины. Они оба—просто люди неиспорченные, непропитавшіеся грязью корысти, неторгующіе умомъ и совѣстью. Но ни у него, ни у нея нѣтъ того, что обезпечиваетъ за человѣкомъ неувядаемую молодость ума и чувства, нѣтъ горячей любви къ общему дѣлу, нѣтъ чистаго и святого увлеченія великой идеей. Если ихъ образы кажутся намъ не только свѣтлыми, но даже лучезарными, то это доказываетъ только позорную неопрятность того общества, которое ихъ окружаетъ.

VIII.

Разобранный выше романъ: «Возмутительный бракъ» говоритъ читателю: счастье достается тому, кто умѣетъ и осмѣливается жить своимъ умомъ, кто сбрасываетъ съ себя ярмо господствующихъ понятій, кто неустрашимо плыветъ противъ общаго теченія, кто борется съ средой и своей настойчивостью побѣждаетъ ея сопротивленіе. Въ романѣ «Разводъ» (Un divorce) та же мысль показана съ обратной стороны. Кто покоряется, кто живетъ чужимъ умомъ, кто терпѣливо и кротко плыветъ по теченію, кто даетъ надъ собой неограниченную власть всѣмъ понятіямъ и стремленіямъ среды—тому портятъ, грязнятъ и ломаютъ жизнь, того теребятъ, унижаютъ, порабощаютъ и въ награду за безукоризненную покорность доводятъ или до отчаянія, или до отупѣнія.

Дѣйствіе происходитъ во французской Швейцаріи. Богатый собственникъ Гранво выдаетъ свою старшую дочь, красавицу Клару, замужъ за богатаго и красиваго молодого человѣка, Фердинанда Дефе. Клара—дѣвушка добрая и не глупая; она вполнѣ способна чувствовать и даже думать почеловѣчески; но она прожила до двадцати лѣтъ, не развернувши въ себѣ этой способности и не воспользовавшись ею. Въ то время, когда ея отецъ рѣшилъ отдать ея руку Фердинанду, ей начиналъ нравиться французъ, художникъ Камиль, человѣкъ безъ состоянія и слѣдовательно неспособный быть приличной партіей. Но это чувство только-что возникало, между молодыми людьми не было еще произнесено ничего похожаго на слово любви, и выразительные глаза Камиля не возбудили въ Кларѣ желанія и рѣшимости сопротивляться волѣ отца, или даже только протестовать жалобами и слезами. Она съ безропотной покорностью становится невѣстой Дефе; она даже не груститъ объ этомъ, она только какъ будто озадачена. Она говоритъ своей кузинѣ, Матильдѣ Саржá, дѣвушкѣ съ самостоятельнымъ образомъ мыслей: «Я никогда не старалась отличаться своими поступками отъ другихъ. Я вѣрю моимъ родителямъ и дѣлаю себѣ по просту то, что̀ они мнѣ приказываютъ». А когда Матильда замѣчаетъ, что по крайней

Digitized by Google

мѣрѣ надо было бы познакомиться покороче съ женихомъ, Клара говоритъ: «Конечно, мнѣ бы этого тоже хотѣлось, но отецъ говоритъ, что это невозможно. Господину Дефе, такъ какъ онъ теперь сдѣлался банкиромъ, надо жениться, обзавестись домомъ, чтобы его кліенты чувствовали къ нему больше уваженія.—Милая моя, если ему некогда ждать, надо его отпустить.—Чтожъ дѣлать? отвѣчаетъ Клара со вздохомъ: мой отецъ очень дорожитъ этимъ бракомъ. Онъ говоритъ, что лучше этой партіи я никогда не найду». Бракъ совершается по разсчету, по желанію родителей; но при этомъ онъ обставленъ самымъ привлекательнымъ образомъ: женихъ и невѣста оба молоды, хороши собой, неглупы и даже чувствуютъ другъ къ другу нѣжное влеченіе; отцу невѣсты не приходится употреблять даже нравственнаго насилія; съ его стороны нѣтъ ни угрозъ, ни упрашиваній, ни продолжительныхъ и настоятельныхъ внушеній; Клара вполнѣ убѣждается его доводами, и, разъ убѣдившись, скоро начинаетъ находить свое новое положеніе очень пріятнымъ и занимательнымъ. Красивый, здоровый и пылкій юноша смотритъ на нее влюбленными глазами, говоритъ ей сладкія рѣчи, беретъ ее за руку своими сильными и горячими руками, обнимаетъ ее за талію, цѣлуетъ ее въ щеку и въ губы – все это очень весело и ново, все это укрѣпляетъ въ ней довѣріе къ родительской мудрости, все это усиливаетъ ея расположеніе къ обязанностямъ послушной дочери и все это заставляетъ ее забыть, что пылкому юношѣ некогда ждать, потому что надо внушать уваженіе кліентамъ, надо обзавестись домомъ и къ этому дому пріискать подходящую жену. Къ тому времени, когда назначена свадьба, Клара оказывается уже совершенно влюбленной въ своего будущаго мужа, который, съ своей стороны, пожираетъ ее глазами и считаетъ дни, часы и минуты. Такимъ образомъ всѣ заинтересованныя стороны удовлетворены; публика апплодируетъ; всѣ говорятъ, что Гранво—умнѣйшій человѣкъ и примѣрный отецъ, что онъ такъ пристроилъ дочь, какъ лучше нельзя было ни желать, ни придумать. Дочь его совершенно соглашается съ публикой. Самъ Гранво совершенно соглашается съ дочерью; Фердинандъ Дефе соглашается со всѣми. Одна Матильда не соглашается ни съ кѣмъ; но Матильда – извѣстная чудачка, она философствуетъ, читаетъ *Критику чистаго разума*, и на ея странныя мнѣнія никто не можетъ и не долженъ обращать вниманія.

Молодые супруги счастливы; они проводятъ медовый мѣсяцъ въ горахъ Оберланда; Клара блаженствуетъ, Фердинандъ—тоже; потомъ они возвращаются въ Лозанну, въ тотъ домъ, который долженъ внушать уваженіе кліентамъ; начинается будничная жизнь. Клара любитъ мужа и старается любить его серьезно, жадно, поглощающимъ образомъ, такъ, чтобы ни у него, ни у нея не было, кромѣ взаимной любви, никакого дѣла и никакого развлеченія. Фердинандъ, напротивъ того, понимаетъ дѣло въ томъ смыслѣ, что онъ пріобрѣлъ себѣ для своего заново отдѣланнаго дома драгоцѣнное украшеніе, и что съ этимъ украшеніемъ надо было носиться втеченіе нѣсколькихъ недѣль, но что по прошествіи этихъ недѣль, посвящаемыхъ похвальнымъ и добродѣтельнымъ восторгамъ, все должно понемногу придти въ естественный порядокъ; по его мнѣнію, и конторскія дѣла, и продолжительныя бесѣды съ пріятелями за стаканомъ вина, и частыя посѣщенія кафе и клубовъ—все должно по прежнему оставаться ему нечуждымъ; а молодая жена его должна украшать его новый домъ, держать въ должномъ порядкѣ хозяйство, распространять вокругъ себя сіяніе тихой веселости, о поддержаніи которой ему нѣтъ надобности заботиться, и встрѣчать его съ кроткой улыбкой и съ радостнымъ восклицаніемъ, когда-бы ему ни заблагоразсудилось воротиться и какъ-бы продолжительна ни была его отлучка.

Характеръ Клары оказывается гораздо глубже и серьезнѣе, чѣмъ характеръ ея мужа; это различіе конечно обозначилось-бы и произвело-бы взаимное охлажденіе и разрывъ, еслибы молодая дѣвушка, не давая слова пылкому юношѣ, познакомилась съ нимъ покороче, какъ того требовала Матильда; но, во-первыхъ, надо было вѣрить родителямъ, повиноваться имъ и поступать такъ, какъ всѣ поступаютъ; а во-вторыхъ, Фердинанду Дефе некогда было ждать. Характеръ Клары слишкомъ глубокъ для того, чтобы она могла чувствовать себя удовлетворенной тѣмъ прозябаніемъ, которое отводится женщинѣ обычаями ея родины. Она не въ состояніи убивать время мелкими заботами и мелкими развлеченіями, не дающими пищи ни уму, ни чувству; она неспособна переходить съ пріятной улыбкой отъ размышленій надъ составомъ пуддинга къ разговорамъ о достоинствахъ и недостаткахъ новыхъ куафюръ; ей необходимъ въ жизни общій смыслъ и серьезный интересъ; у нея достало-бы ума на то, чтобы читать со смысломъ и съ толкомъ, учиться, размышлять, пріобрѣтать спеціальныя знанія и даже пользоваться ими, какъ рабочимъ орудіемъ; но ея образованіе не дало ей никакихъ матеріаловъ для того, чтобы приняться за какое-бы то ни было серьезное чтеніе, или даже представить себѣ возможность такого чтенія. Клара знаетъ, что женщину, читающую серьезныя книги, называютъ въ обществѣ синимъ чулкомъ, что на такую женщину смотрятъ съ насмѣшливымъ недоумѣніемъ и что банкиръ Дефе былъ-бы очень недоволенъ, еслибы на его жену пало подозрѣніе въ странномъ и смѣшномъ пристра-

Digitized by Google

стіи къ чтенію ученыхъ трактатовъ. Всѣ дороги къ основательному знанію чего-бы то ни было завалены для Клары обычаями и понятіями среды. Эти дороги расчистились-бы для нея только въ томъ случаѣ, еслибы она отдала свою любовь и свою жизнь въ руки человѣка, страстно преданнаго высшимъ умственнымъ наслажденіямъ. Этого съ ней не случилось, и ей пришлось искать въ другомъ мѣстѣ серьезнаго содержанія для своей жизни.

У нея достало-бы силы и глубины чувства на то, чтобы наполнить свою жизнь самой нѣжной, неутомимой и внимательной любовью къ мужу и къ дѣтямъ; она была-бы вполнѣ способна сдѣлаться образцовой женой и матерью и найти въ исполненіи этихъ обязанностей свое полное счастіе; но для этого ей необходимо было содѣйствіе мужа; ей необходимо было, чтобы этотъ человѣкъ по крайней мѣрѣ понималъ ея любовь, чтобы онъ былъ счастливъ этой любовью, чтобы онъ нуждался въ ея нѣжности и заботливости, чтобы любовь и для него самого была серьезнымъ и святымъ дѣломъ, чтобы, однимъ словомъ, бисеръ не разсыпался на полъ передъ существомъ, попирающимъ его ногами.

У Фердинанда Дефе характеръ, напротивъ того, стоитъ вполнѣ въ уровень съ требованіями его общества. Онъ не хуже и не лучше другихъ, не мельче и не глубже. Ему отсутствіе въ жизни серьезнаго и всепоглощающаго интереса и пестрое обиліе мелкихъ заботъ и мелкихъ развлеченій доставляетъ истинное удовольствіе. Ему очень пріятно обнять и поцѣловать красивую, молодую жену, но такъ же пріятно уйти отъ нея на нѣсколько часовъ и провести цѣлый вечеръ въ трактирѣ, истребляя съ пріятелями иворнское вино. Онъ не можетъ имѣть ни одного преданнаго друга, но за то у него множество добрыхъ пріятелей, и весь свѣтъ считаетъ его за отличнаго человѣка. Онъ никого не способенъ любить сильно, и его тяготитъ сильное чувство, когда онъ самъ внушаетъ его другому лицу. Онъ по своему любитъ жену: онъ цѣлуетъ ее съ неподдѣльнымъ увлеченіемъ; ему было-бы тяжело разстаться съ ней надолго; онъ-бы съ радостью увидѣлъ ее послѣ разлуки; ему хочется, чтобы она была весела и здорова и чтобы ей хорошо было жить на свѣтѣ; ему было-бы очень тяжело и, главное, до смерти досадно, еслибы она ему измѣнила; но онъ не дорожитъ каждой минутой, которую онъ можетъ провести съ ней наединѣ; онъ не думаетъ часто и упорно о томъ, чтобы доставить ей удовольствіе; онъ не старается угадывать и предупреждать ея желанія; и онъ желалъ-бы, чтобы жена, оказывая ему полное повиновеніе, соблюдая въ домѣ порядокъ и подавая ему на столъ отлично-приготовленныя блюда, любила его съ должной умѣренностью; проявленія сильнаго чувства съ ея стороны ему положительно непріятны; когда онъ, послѣ продолжительнаго засѣданія въ холостой компаніи, возвращается домой и застаетъ жену въ слезахъ, то эти слезы, вмѣсто того, чтобы тронуть его, какъ симптомъ ея нѣжной тревожной любви, раздражаютъ его, какъ нѣмой укоръ. Онъ хочетъ, чтобы жена умѣла обходиться безъ него, чтобы она веселилась сама по себѣ, болтая съ знакомыми дамами, чтобы, слѣдовательно, она любила его поменьше и силой своей любви не отравляла ему его собственныя увеселенія. Клара, какъ женщина искренняя, отдающая любимому человѣку всю свою душу, неумѣющая любить въ половину, неспособная отпускать выраженія своего чувства мѣрой и вѣсомъ, сообразуясь съ обстоятельствами и съ настроеніемъ своего властелина, Клара не можетъ долго нравиться такому человѣку, какъ Дефе. Ему нужна кокетка, умная и хитрая женщина, которая знала-бы его вдоль и поперекъ, понимала-бы его насквозь, видѣла-бы всѣ его слабыя стороны и умѣла-бы въ должное время натягивать и отпускать, затрогивать и подергивать, раздражать и успокоивать всѣ фибры его нервной системы, постоянно сохраняя при этомъ то хладнокровіе и присутствіе духа, посредствомъ котораго укротитель звѣрей господствуетъ надъ своими свирѣпыми питомцами.

Такая кокетка овладѣваетъ Фердинандомъ Дефе въ первый-же годъ послѣ его женитьбы. Для Клары начинаются жестокія мученія ревности. Она чувствуетъ себя совершенно несчастной, и ея страданія оказываются особенно сильными потому, что она не знаетъ на что рѣшиться и не умѣетъ держаться ясно обозначеннаго образа дѣйствій. Съ одной стороны, ей противны ласки мужа, съ тѣхъ поръ, какъ она узнала, что онъ ее обманываетъ; съ другой стороны—она боится скандаловъ и не смѣетъ уѣхать въ домъ своего отца, чтобы разомъ покончить ложныя и мучительныя отношенія; полное и откровенное примиреніе для нея невозможно; на разрывъ у нея не хватаетъ смѣлости и силы. Фердинандъ проситъ у нея прощенія, обѣщаетъ ей не видаться съ своей возлюбленной, и нарушаетъ свое обѣщаніе; Клара плачетъ, когда онъ проситъ прощенія, плачетъ, когда онъ, раздраженный ея слезами, уходитъ отъ нея—плачетъ и доводитъ себя до истерики, когда убѣждается въ непрочности или неискренности его раскаянія.

Клара съ двухъ сторонъ получаетъ взаимнопротивоположные совѣты: съ одной стороны, ея мать, дожившая до сѣдыхъ волосъ въ безропотной покорности и совершенно освоившаяся съ той мыслью, что мужчина долженъ господствовать, и что ему нельзя ставить въ строку всякую легкую шалость—совѣтуетъ ей быть ласковѣе съ мужемъ и утѣшаетъ ее тѣмъ, что

Digitized by Google

мужу надоѣстъ наконецъ дурная жизнь, и что онъ вернется къ ней, если будетъ видѣть съ ея стороны постоянную кротость, внимательность и заботливость; съ другой стороны, Матильда самымъ энергическимъ образомъ старается возбудить въ ней чувство собственнаго достоинства.

Клара колеблется изъ стороны въ сторону и своей нерѣшимостью устроиваетъ себѣ домашній адъ, изъ котораго она не осмѣливается вырваться; всѣ ея волненія происходятъ во время первой ея беременности; ребенокъ родится слабый, болѣзненный и до крайности раздражительный; Клара обращаетъ на него всю свою заботливую нѣжность; ея неутомимыя попеченія едва достаточны для того, чтобы поддерживать его жизнь; она проводитъ надъ его колыбелью безсонныя ночи; она успокоиваетъ его своими тихими ласками; Фердинандъ, разумѣется, по-прежнему ничего не понимаетъ и не цѣнитъ; ему досадно, что у него родился такой хилый ребенокъ; ему надоѣдаютъ его слезы и крики; бросая изрѣдка разсѣянный и высокомѣрный взглядъ на хлопоты и тревоги, совершающіяся въ дѣтской, не давая себѣ труда вникнуть въ дѣло и не умѣя убѣдиться въ томъ, что всѣ принимаемыя мѣры рѣшительно необходимы и вызваны дѣйствительными немощами ребенка, Фердинандъ даетъ себѣ право критиковать распоряженія молодой матери, относиться насмѣшливо къ ея самоотверженной нѣжности, и даже утверждать, что ребенка разслабляютъ и губятъ именно тѣми попеченіями, которыми поддерживается его слабо мерцающая жизнь.

Сталкиваясь на каждомъ шагу съ этимъ грубымъ и бездушнымъ непониманіемъ, Клара понемногу огораживаетъ отъ мужа свою внутреннюю жизнь, міръ своихъ материнскихъ радостей и огорченій, опасеній и надеждъ, такой стѣной, за которую не проникаетъ и не старается проникнуть никто, кромѣ ея матери и младшей сестры. Мужу нѣтъ дѣла до того, что́ думаетъ и чувствуетъ Клара; но, черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ первыхъ родовъ Клары, мужъ замѣчаетъ, что она очень поправилась и похорошѣла, и что ее опять можно обнимать и цѣловать съ немалымъ удовольствіемъ; къ тому-же у него въ это время происходитъ размолвка съ любовницей; онъ роняетъ нѣсколько милостивыхъ и ласковыхъ словъ, онъ проситъ Клару забыть все прошлое, и приходитъ въ сильнѣйшее негодованіе, видя, что Клара не считаетъ себя осчастливленной его возвращеніемъ къ ней и даже уклоняется отъ его распростертыхъ объятій. Начинаются ежедневныя семейныя непріятности. Мужъ мститъ женѣ за то, что она страдаетъ отъ нанесенныхъ ей оскорбленій и продолжаетъ страдать даже тогда, когда ему, властелину, угодно веселиться, милостиво любезничать и забыть тѣ оскорбленія, которыя онъ нанесъ. Энергія Клары истощается. Когда, послѣ нѣсколькихъ недѣль самыхъ непріязненныхъ отношеній, мужъ снова заговариваетъ съ ней ласково, она сдается на его примирительныя предложенія и пытается снова устроить себѣ семейное счастье. Изъ этихъ попытокъ ничего не выходитъ, и въ результатѣ ихъ получается только новая беременность. Затѣмъ Дефе снова сближается съ своей любовницей; неудовольствія между супругами ростутъ; Клара, доведенная до отчаянія, дѣлаетъ мужу сильную сцену въ его конторѣ, гдѣ она застаетъ его вмѣстѣ съ его любовницей; послѣ этой сцены супруги начинаютъ ненавидѣть другъ друга; въ ихъ домѣ водворяется мрачная и душная тишина; они перестаютъ говорить между собой; изрѣдка между ними происходятъ бурныя столкновенія, которыя пугаютъ впечатлительнаго ребенка и иногда доводятъ его до нервныхъ припадковъ; наконецъ Клара уѣзжаетъ къ отцу, съ тѣмъ, чтобы никогда не возвращаться въ домъ мужа. Общественное мнѣніе въ одно время и осуждаетъ, и оправдываетъ обоихъ супруговъ: Клара виновата въ томъ, что была слишкомъ требовательна и не умѣла сносить терпѣливо со стороны своего мужа такіе проступки, въ которые впадаетъ большинство мужчинъ и изъ-за которыхъ не стоило разрушать семейный союзъ и огорчать свѣтъ печальнымъ скандаломъ; но съ другой стороны, Клара до нѣкоторой степени права: ей нельзя было дольше терпѣть, ей необходимо было принять противъ мужа какія-нибудь рѣшительныя мѣры, потому что мужъ разорялся на свою Фонжалла и могъ затратить тѣ деньги, которыя онъ получилъ въ приданое за женой. Фердинандъ виноватъ именно тѣмъ, что разорялся; но съ другой стороны, и онъ тоже до нѣкоторой степени правъ: жена его — плакса, капризная, непокорная женщина; она не умѣла угождать ему, она ныла по поводу всякой мелочи, она дулась на мужа, вмѣсто того чтобы улыбаться ему, она не умѣла составить его счастье; поневолѣ онъ долженъ былъ искать на сторонѣ кое-какую замѣну того, чего онъ не находилъ у себя дома.

Такимъ образомъ общественное мнѣніе считаетъ серьезной и заслуживающей вниманія только ту сторону дѣла, гдѣ затрогиваются денежные интересы; все остальное — мелочи, неосязаемыя и невѣсомыя сантиментальности, о которыхъ можно съ удовольствіемъ поболтать для препровожденія времени, изъ-за которыхъ не стоитъ осуждать порядочнаго человѣка; измѣнилъ женѣ, обманулъ ея любовь, разбилъ ея счастье, измучилъ бѣдную женщину — все это чувствительныя фразы, къ которымъ разсуждающее мѣщанство относится съ самымъ солиднымъ и непобѣдимымъ недовѣ-

Digitized by Google

ріемъ. Чѣмъ-же онъ, въ самомъ дѣлѣ, измѣнилъ и обманулъ, когда онъ проводитъ ночи дома, когда онъ подходитъ къ женѣ съ ласками, и когда она же, напротивъ того, его отталкиваетъ? И чѣмъ несчастлива эта женщина? Развѣ ее бьютъ, развѣ она голодна, развѣ она ходитъ въ лохмотьяхъ, развѣ у нея отнимаютъ дѣтей? Развѣ наконецъ всякая другая на ея мѣстѣ не благословляла-бы Бога за ниспосланное ей счастье? И кромѣ того, если побивать камнями всякаго мужа, сдѣлавшаго женѣ маленькую невѣрность съ соблюденіемъ всѣхъ приличій, то скоро всѣ мужья будутъ побиты, и тогда кто-же будетъ защищать отечество?

Мужчины оправдываютъ Фердинанда Дефе потому, что видятъ въ немъ одного изъ своихъ, одного изъ господствующихъ, одного изъ тѣхъ, за кѣмъ должно быть упрочено право давать нѣкоторый просторъ человѣческимъ слабостямъ. Женщины тоже оправдываютъ его по тому чувству, по которому рабы, несмѣющіе взбунтоваться, помогаютъ своимъ господамъ усмирять другихъ рабовъ, менѣе терпѣливыхъ или болѣе предпріимчивыхъ. Мы-же повинуемся, думаютъ женщины. Мы же смотримъ снисходительно на шалости нашихъ господъ. Мы же не поднимаемъ воплей, не лѣземъ на стѣны и не считаемъ себя несчастными изъ-за всякой бездѣлицы. Изъ чего-же она-то шумитъ и убивается? Чѣмъ она лучше насъ? И какъ она смѣетъ быть недовольной тѣмъ, чѣмъ каждая изъ насъ была-бы довольна?

Мужчины и женщины, осуждающіе Клару, до нѣкоторой степени правы. Настоящая причина ея страданій заключается дѣйствительно не столько въ томъ, что̀ ее окружаетъ, сколько въ ней самой, въ ея характерѣ, въ роковой несоразмѣрности между ея нравственными потребностями и ея силами. Ее не удовлетворяетъ обыкновенное, рядовое, казенное счастье, то, что̀ называютъ счастьемъ ея знакомыя и подруги; такое счастье ее тѣснитъ; она видитъ и чувствуетъ въ немъ много горькой и грязной примѣси; ей нужно счастье гораздо болѣе чистое, полное, глубокое и разумное, а между тѣмъ у нея нѣтъ ни смѣлости, ни силъ на то, чтобы рѣшительно приняться за расширеніе и очищеніе своего существованія. Она чувствуетъ, что ей душно, и плачетъ отъ стѣсненія въ груди, но она не задаетъ себѣ вопроса: отчего мнѣ душно? что̀ именно мѣшаетъ мнѣ дышать? Когда отвѣтъ на этотъ непоставленный вопросъ самъ кидается ей въ глаза, она сейчасъ отскакиваетъ отъ него назадъ подъ прикрытіе своего долга, подъ защиту нравственныхъ сентенцій, втолкованныхъ маменькой и пасторомъ; развитіе свободной и освобождающей мысли подавляется въ зародышѣ, и Клара, продолжая страдать отъ духоты, продолжаетъ относиться съ неизмѣннымъ подобострастіемъ ко всѣмъ ея причинамъ.

Послѣ отъѣзда Клары отъ мужа, ея отецъ, взволнованный той опасностью, которая грозитъ ея приданому, начинаетъ хлопотать о разводѣ. Завязавшееся судебное дѣло осложняется тѣмъ обстоятельствомъ, что двое свидѣтелей, представленныхъ Фердинандомъ, разсказываютъ въ судѣ подслушанную и подсмотрѣнную ими нѣжную сцену, происходившую между Кларою и Камилемъ. Дѣло заканчивается разводомъ, съ тѣмъ, чтобы сынъ былъ отданъ отцу, а дочь осталась у матери. Клара отправляется къ своему бывшему мужу, упрашиваетъ его оставить ребенка у нея, и достигаетъ своей цѣли. Фердинандъ выговариваетъ себѣ только то условіе, чтобы она изрѣдка присылала дѣтей къ нему въ гости. Три года спустя Фердинандъ женится на госпожѣ Фонжалла и оставляетъ у себя своего сына, пришедшаго къ нему съ нянькой на нѣсколько часовъ. Клара напрасно напоминаетъ ему его обѣщаніе и умоляетъ возвратить ей ребенка, съ которымъ только она одна умѣетъ обращаться какъ слѣдуетъ. Фердинандъ остается неумолимымъ, и ребенокъ чахнетъ и слабѣетъ подъ руками отца и мачихи.

Чувствуя себя несчастной и одинокой, Клара выходитъ замужъ за Камиля, котораго она любитъ уже давно; но жизнь ея уже разбита; любовь Камиля не даетъ ей счастья; всѣ ея мысли направлены къ тому дому, гдѣ томится и изнываетъ ея сынъ; получивъ отъ своего бывшаго мужа извѣстіе объ опасной болѣзни маленькаго Фердинанда, она отправляется къ нему и проводитъ недѣлю у постели больного, въ домѣ, гдѣ хозяйничаетъ ея бывшая соперница. Ребенокъ умираетъ; мать уноситъ его трупъ къ себѣ; три дня держитъ его въ своихъ объятіяхъ и умираетъ тоже.

Клара умираетъ жертвой своей пассивности. Два событія имѣютъ рѣшительное и роковое вліяніе на ея жизнь: ея бракъ съ Фердинандомъ Дефе и ея разводъ, который запутываетъ дѣло, вмѣсто того, чтобы поправить его. Оба эти событія совершаются помимо ея воли; ея дѣйствіями управляетъ въ обоихъ случаяхъ мысль и воля ея отца; побудительной причиной являются въ обоихъ случаяхъ денежныя соображенія, т. е. такія, къ которымъ сама Клара почти равнодушна. Въ обоихъ случаяхъ у нея были личные интересы, шедшіе въ разрѣзъ съ тѣмъ рѣшеніемъ, которое она приняла, и въ обоихъ случаяхъ она безъ боя выдала эти интересы. Въ первомъ случаѣ у нея была зарождающаяся наклонность къ Камилю, но эта наклонность казалась ей до такой степени эксцентричной, беззаконной и лишенной всякой будущности, что она не дала себѣ труда оцѣнить тѣ шансы и задатки счастья, которые въ ней заключа-

Digitized by Google

лись. Во второмъ случаѣ, когда пришлось обсуживать вопросъ о разводѣ, у нея была любовь къ дѣтямъ и забота о ихъ участи. Но привычка жить чужимъ умомъ и подчиняться чужой волѣ была въ ней такъ сильна и неистребима, что она и тутъ положилась на своего отца, хотя не трудно было замѣтить, что въ его глазахъ вопросъ о томъ, будутъ ли его внучата обладать капиталомъ въ тридцать тысячъ франковъ, былъ неизмѣримо важнѣе вопроса: гдѣ эти внучата будутъ жить и воспитываться: у Фердинанда или у Клары.

— Мы потребуемъ въ то же время, говоритъ старикъ Гранво своей дочери: — чтобы дѣти были оставлены у тебя до конца процесса.

— До конца процесса! повторила она съ испугомъ.— Конечно, и послѣ тоже; это уже само собою. И на этихъ словахъ, произнесенныхъ мимоходомъ, на словахъ старика, въ глазахъ котораго денежный вопросъ покрываетъ всѣ остальные, Клара основываетъ всѣ свои надежды. Ей даже въ голову не приходитъ переговорить лично съ опытнымъ юристомъ и спросить у него обстоятельно, какъ можетъ разыграться и чѣмъ можетъ окончиться то дѣло, которое затѣваетъ ея отецъ, воодушевленный мыслью о спасеніи тридцати тысячъ франковъ. Полагаясь на эти слова: «и послѣ тоже», Клара отправляется въ судъ вмѣстѣ съ отцомъ, а потомъ, разумѣется, приходитъ въ отчаяніе, и послѣ рѣшенія дѣла предлагаетъ своему бывшему мужу несбыточный планъ, которымъ могъ бы увлечься только какой-нибудь восторженный и страстно влюбленный въ нее юноша.

«Послушай—говоритъ она ему—любовники, чтобы жить вмѣстѣ, бѣгутъ изъ отечества. Чтобы сохранить нашихъ дѣтей и религію нашего очага, убѣжимъ мы тоже. Въ другой странѣ мы забудемъ все то, что́ мучило насъ здѣсь. Мы найдемъ тамъ счастье, клянусь тебѣ, если это только зависитъ отъ меня. Мы начнемъ тамъ новую жизнь».

Все это она говоритъ любовнику госпожи Фонжалла, человѣку, который въ судѣ систематически, холодно и обдуманно клеветалъ на свою жену и подбиралъ противъ нея показанія подкупленныхъ домашнихъ шпіоновъ. Представьте себѣ, что охотникъ, отправившійся на медвѣдя, встрѣтившись съ нимъ лицомъ къ лицу, вдругъ бросаетъ ружье и рогатину, падаетъ на колѣни и произноситъ трогательную рѣчь о томъ, что онъ отецъ семейства, и что его ждутъ дома жена и дѣти, которыя безъ него погибнутъ отъ горя и отъ лишеній. Если въ результатѣ этой трогательной рѣчи получится трагическая смерть оратора и плачевная гибель жены и дѣтей, то врядъ-ли кто нибудь увидитъ въ этой развязкѣ что нибудь неожиданное и удивительное Далѣе, рѣчь охотника никому не покажется выраженіемъ его благороднаго образа мыслей и его непоколебимой вѣры въ силу добра, истины и красоты, а только послужитъ несомнѣннымъ доказательствомъ его безпредѣльной трусости. То же можно сказать и о Кларѣ. Ея предложеніе было смѣло и оригинально, но оно вовсе не свидѣтельствуетъ въ пользу ея энергіи и самостоятельности. Оно доказываетъ только, что она всегда и вездѣ умѣетъ лишь страдать, плакать и умолять. Захотятъ ее помиловать и осчастливить—она будетъ жить и радоваться, и смотрѣть добрыми и ласковыми глазами въ глаза великодушнаго человѣка, защитившаго и пригрѣвшаго ея убожество. Захотятъ ее раздавить—она поплачетъ и умретъ. Такихъ людей обыкновенно давятъ, потому что на свѣтѣ гораздо больше приличныхъ медвѣдей, подобныхъ Фердинанду Дефе, чѣмъ рыцарей безъ страха и упрека вродѣ Камиля.

Несмотря на всѣ усилія автора сдѣлать изъ этого Камиля живое и симпатичное лицо, онъ остается очень блѣдной и недорисованной фигурой безъ плоти и крови. Онъ просто *jeune premier*, и это все, что́ о немъ можно сказать. По профессіи—живописецъ, по идеямъ—либералъ, сочувствуетъ высокому и прекрасному, ведетъ себя, какъ настоящій джентльменъ, любитъ и страдаетъ, способенъ носить и хранить въ душѣ пламень безнадежной страсти, способенъ наслаждаться высокими радостями платонической любви, нѣженъ и пылокъ, не нарушая законовъ нравственности и не требуя отъ любимой женщины ничего противнаго ея цѣломудрію—вотъ все, что́ мы знаемъ о Камилѣ; очень многія и при томъ самыя важныя стороны этого характера остаются неразъясненными. Онъ стоитъ выше окружающей среды; авторъ противополагаетъ его Фердинанду, какъ настоящему продукту изображаемаго общества; но мы не видимъ, какая сила подняла и поддерживаетъ Камиля на той высотѣ, на которую автору угодно было его поставить; мы не видимъ ни того пути, которымъ Камиль пришелъ къ своему, болѣе вѣрному и глубокому взгляду на жизнь, ни того вліянія, которое этотъ взглядъ обнаруживаетъ на всю совокупность его поступковъ, ни даже самаго этого взгляда во всей его полнотѣ и ясности. Мы видимъ, что Камиль любитъ женщину и относится къ ней деликатно; но кто такой этотъ Камиль, и что́ онъ полюбилъ въ Кларѣ, и какъ возникло и развилось въ немъ чувство—этого мы совсѣмъ не видимъ.

Рядомъ съ романомъ Клары, Фердинанда и Камиля идетъ романъ Клариной сестры, Анны, и ея двоюроднаго брата, Этьенна Саржа. Два послѣдніе характера очерчены замѣчательно хорошо. Анна—одна изъ тѣхъ женщинъ, которыми любовь овладѣваетъ безраздѣльно и разъ навсегда. Анна можетъ полюбить человѣка только за то свойство, которое составляетъ са-

Digitized by Google

мое основаніе его характера; убѣдившись въ томъ, что это основаніе хорошо, свѣжо и чисто, почувствовавъ къ нему глубокое и сильное влеченіе, привязавшись къ человѣку за то хорошее, свѣжее и чистое, что́ она въ немъ открыла и оцѣнила, Анна прощаетъ ему всѣ его слабости, оплошности, унизительныя неудачи и позорныя паденія. Она беретъ характеръ любимаго человѣка со всѣми его пятнами и пробѣлами, видитъ и понимаетъ, что́ въ немъ дурно и слабо, и все-таки продолжаетъ любить его, несмотря на его недостатки, съ которыми она не мирится ни на одну минуту. Она употребляетъ всѣ усилія и пускаетъ въ ходъ все свое вліяніе, чтобы поднять любимаго человѣка на ноги, направить его на вѣрную дорогу и поддерживать его въ трудныя минуты борьбы и испытаній, но она не отвертывается отъ него и тогда, когда онъ слабѣетъ и падаетъ, когда онъ становится жертвой собственной шаткости и непослѣдовательности, и когда онъ такимъ образомъ всего больше нуждается въ поддержкѣ, въ ободреніи и въ согрѣвающей ласкѣ. Анна часто чувствуетъ состраданіе къ любимому человѣку, но въ этомъ состраданіи нѣтъ ничего оскорбительнаго; оно нисколько не унижаетъ того, кто становится его предметомъ; въ немъ нѣтъ ни малѣйшей примѣси презрѣнія; сама того не сознавая, Анна относится къ умственнымъ и нравственнымъ погрѣшностямъ человѣка такъ какъ всѣ здравомыслящіе люди относятся къ тѣлеснымъ болѣзнямъ. Она отъ всей души желаетъ больному человѣку выздоровленія, она всѣми силами старается содѣйствовать этому выздоровленію, но негодовать на человѣка или отвертываться отъ него за то, что онъ боленъ, отвертываться тогда, когда онъ еще не превратился въ трупъ и не началъ разлагаться, она рѣшительно не въ состояніи.

Человѣкъ, любимый Анной, Этьеннъ Саржа́, родной братъ рѣшительной и самостоятельной Матильды, дѣйствительно нуждается въ большомъ снисхожденіи. Его можно сравнить съ очень хорошимъ, но совсѣмъ не настроеннымъ инструментомъ; можно его также сравнить съ долговязымъ юношей, который, входя въ гостиную, не знаетъ, какъ распорядиться своими длинными руками и ногами, все задѣваетъ, за все цѣпляется, все опрокидываетъ, конфузится, краснѣетъ, извиняется, стараясь поправиться, еще неудачнѣе разбрасываетъ руки и ноги, творитъ новыя бѣды, смущается еще сильнѣе и наконецъ становится мученіемъ разсчетливой хозяйки и посмѣшищемъ собравшихся гостей.

Этьеннъ очень неглупъ, добръ и честенъ, но всякая его способность и всякая страсть можетъ вдругъ развернуться въ немъ съ неожиданной силой и вовлечь его въ цѣлый рядъ поступковъ, одинъ другого страннѣе и несообразнѣе. Онъ не можетъ сосредоточиться на какой бы то ни было одной опредѣленной цѣли; отъ главной дороги, по которой онъ хочетъ и долженъ идти, на каждомъ шагу отдѣляются вправо и влѣво заманчивыя тропинки, и почти каждая изъ этихъ тропинокъ соблазняетъ его и заводитъ въ непроходимую глушь. То ему покажется, что тропинка вправо представляетъ значительныя выгоды, что по ней можно скорѣе и вѣрнѣе дойти до главной цѣли; то его вдругъ потянетъ на тропинку влѣво, потому что она сама по себѣ кажется ему очень привлекательной. Такъ напримѣръ, любя Анну и любимый ею, Этьеннъ, по добротѣ душевной, навязываетъ себѣ на шею восемнадцатилѣтнюю нищую безъ рода и племени; эта нищая въ него влюбляется; онъ опять-таки по добротѣ, по безалаберности, по неумѣнью устоять противъ обаянія молодости, красоты и искренняго чувства, становится любовникомъ этой нищей, не любя ея нисколько, и доводитъ Анну, которую онъ любитъ больше всего на свѣтѣ, до нервной горячки. Потомъ онъ вдругъ увлекается предложеніемъ одного бахвала, Монадье, которому онъ самъ знаетъ цѣну, бросаетъ свою должность, доставляющую ему опредѣленное жалованье, и начинаетъ заниматься изготовленіемъ новой ваксы, такъ удачно составленной, что сапоги и башмаки отъ нея краснѣютъ, вмѣсто того, чтобы чернѣть.

Путемъ всѣхъ этихъ разнообразныхъ предпріятій, путемъ дѣланія негодной ваксы и путемъ приживанія дѣтей съ нищей, неполучившей никакого образованія и неумѣющей трудиться, добродушный Этьеннъ приходитъ все къ одному и тому же результату, именно къ неимовѣрно быстрому размноженію и приращенію своихъ долговъ. Достиженіемъ такого результата Этьеннъ конечно губитъ себя во мнѣніи общества, привыкшаго измѣрять достоинство человѣка успѣхомъ его денежныхъ спекуляцій; кромѣ того онъ ставитъ себя въ такія положенія, которыя дѣйствительно нельзя назвать ни удобными, ни почетными. Но Анна, несмотря на то, что она не можетъ противопоставить сужденіямъ окружающаго общества свою собственную, строго-выработанную и продуманную теорію, чувствуетъ однако, что можно запутаться, замотаться, разориться, задолжать, и все-таки остаться при этомъ человѣкомъ, вполнѣ способнымъ ко всему хорошему и вполнѣ достойнымъ любви и уваженія. Она прощаетъ все, даже и приживаніе дѣтей съ нищей бродягой, и Этьеннъ въ концѣ-концовъ оправдываетъ ея довѣріе. Онъ уходитъ изъ родного города, становится отличнымъ волонтеромъ въ арміи Гарибальди, отличается въ сраженіяхъ, потомъ возвращается домой, женится на Аннѣ, и при ея содѣйствіи дѣлается почти совершенно разсудительнымъ человѣкомъ.

Матильда Саржа́ составляетъ рѣшительную

Digitized by Google

противоположность Этьенна. Въ ней умъ рѣшительно преобладаетъ надъ чувствомъ. Она можетъ пристращаться только къ идеямъ. Человѣка она способна любить только тогда, когда онъ является чистымъ и сильнымъ представителемъ любимой ея идеи. Слабостей она не терпитъ ни въ самой себѣ, ни въ другихъ. Она воплощенная логика. Къ каждому вопросу въ жизни она подходитъ, какъ къ математической задачѣ; все она анализируетъ, взвѣшиваетъ, измѣряетъ, и результатомъ изслѣдованія оказывается обыкновенно смѣлое и рѣзкое рѣшеніе, которое она проводитъ въ жизнь, не смущаясь никакими препятствіями. Ей иногда случается разрубать узлы, вмѣсто того, чтобы ихъ развязывать, но ея угловатости и рѣзкости достаточно объясняются силой и упорствомъ тѣхъ предразсудковъ, съ которыми ей на каждомъ шагу приходится сталкиваться лицомъ къ лицу, чтобы отстаивать отъ ихъ напора самобытность своей умственной жизни. Вообще-же Матильда умнѣе, сильнѣе и образованнѣе всѣхъ женщинъ, появляющихся въ романѣ «Разводъ». Любопытно замѣтить, что для нея авторъ не находитъ достойнаго спутника жизни въ томъ обществѣ, которое ее окружаетъ. Авторъ, относясь впрочемъ не совсѣмъ доброжелательно къ ея рѣзкимъ выходкамъ, выписываетъ ей жениха издалека, изъ Россіи.

Въ Швейцарію пріѣзжаетъ воспитанникъ ея отца, графъ Дмитрій Черковъ, рѣшившійся посвятить всю свою жизнь прочному и радикальному освобожденію многихъ тысячъ своихъ крѣпостныхъ крестьянъ. Этотъ юный русскій графъ и радикалъ остается лицомъ еще гораздо болѣе туманнымъ, чѣмъ интересный *jeune premier* Камиль. О немъ мы только и узнаемъ, что онъ въ Швейцаріи, въ концѣ весны, носитъ какіе-то мягкіе сапоги (bottes molles), должно быть валенки, и мѣховую шапку (toque bordée de fourrures), что онъ все больше молчитъ и внимательно слушаетъ, и что онъ собирается дѣлать въ Россіи какія-то очень хорошія и очень опасныя дѣла, о которыхъ Андре Лео имѣетъ очевидно самыя смутныя и даже совершенно фантастическія понятія. Этотъ графъ Черковъ замѣчателенъ только какъ признаніе существующей потребности, которую покамѣсть нечѣмъ удовлетворить. Андре Лео чувствуетъ, что для разрушенія съузившихся и одряхлѣвшихъ формъ мѣщанской жизни требуется появленіе новаго типа общественнаго дѣятеля, а между тѣмъ вылѣпить этого дѣятеля изъ матеріала, имѣющагося подъ руками, не представляется ни малѣйшей возможности. Вотъ и выписывается загадочный и фантастическій дѣятель въ мѣховой шапкѣ изъ далекой и малоизвѣстной страны. Пріемъ точь-въ-точь такой-же, какой употребляли древніе поэты, когда они, мечтая о золотомъ вѣкѣ, воображали себѣ, что этотъ вѣкъ существуетъ въ странѣ гипербореевъ, на крайнемъ сѣверѣ, или у блаженныхъ эѳіоповъ, въ неизвѣданныхъ частяхъ тропической Африки.

IX.

Объ остальныхъ романахъ Лео я скажу всего по нѣсколько словъ. Они гораздо менѣе замѣчательны, чѣмъ «Возмутительный бракъ» и «Разводъ». Въ нихъ нѣтъ новыхъ и ярко выдающихся характеровъ, но отрицательное отношеніе къ мѣщанской средѣ строго выдержано во всѣхъ произведеніяхъ этого писателя. Вездѣ героевъ опутываетъ грязная сѣть глупыхъ и ядовитыхъ сплетенъ; вездѣ ихъ тяготитъ душная атмосфера праздной, жадной, тщеславной, завистливой и бдительной мѣщанской ограниченности. Въ «Старой Дѣвѣ» эта душная атмосфера внушаетъ умной молодой дѣвушкѣ, неимѣющей состоянія и слѣдовательно немогущей разсчитывать на жениховъ, странную мысль надѣть раньше времени старушечье платье и старушечій чепецъ, чтобы добрые сосѣди и знакомые почислили ея жизнь законченною и навсегда избавили ее отъ толковъ и соболѣзнованій о ея одиноко увядающей молодости. Въ «Жакѣ Галеронѣ» сплетни и интриги глупыхъ мѣщанъ и мѣщанокъ отнимаютъ мѣсто школьнаго учителя и насущный кусокъ хлѣба у честнаго и трудолюбиваго молодого человѣка. Въ романѣ «Идеалъ въ деревнѣ», въ которомъ завязка и главные характеры нисколько не замѣчательны, мы видимъ въ нѣсколькихъ второстепенныхъ эпизодахъ, какъ люди изъ народа по мѣрѣ силъ копируютъ мѣщанство и стремятся, вслѣдъ за нимъ, къ тѣмъ-же мелкимъ и суетнымъ цѣлямъ. Деревенская красавица, Роза Дешанъ, мечтаетъ только о томъ, чтобы сдѣлаться барыней, и старается продать себя въ законныя супруги богатому человѣку, котораго она не любитъ и который внушаетъ ей почти отвращеніе; и она старается объ этомъ въ то самое время, когда ей нравится другой.

Горшечникъ Патрисъ, обнаруживающій способности къ живописи, начинаетъ брать даровые уроки у заѣзжаго парижскаго художника, воображаетъ себя геніальнымъ человѣкомъ и, по праву генія, отказывается жениться на крестьянкѣ Маріеттѣ, объясняя ей при этомъ, что «геній — это пламя! демонъ! такая штука, что... наконецъ становишься гордымъ, великимъ, презираешь другихъ», и что наконецъ какъ-же можно будетъ генію, великому человѣку идти въ Парижѣ подъ руку съ женой-мужичкой.

Кухарка мадамъ Арсенъ, племянница камердинера князя Лихтенштейнскаго, поступаетъ на мѣсто къ людямъ, которыхъ она считаетъ богатыми, поступаетъ преимущественно изъ тщеславія, чтобы блескъ ихъ величія падалъ на

Digitized by Google

нее, и чтобы всѣ въ деревнѣ знали, что она служитъ богатымъ и знатнымъ людямъ; чтобы поддерживать ихъ блескъ, она ихъ разоряетъ каждый день на лишнія кушанья, которыхъ никто ей не заказываетъ, и потомъ, когда хозяйка рѣшительно приказываетъ ей ограничить расходы, она отходитъ съ негодованіемъ, какъ будто ей нанесено личное оскорбленіе. Ее смѣняетъ простодушнѣйшая мужичка, Дусета, ходившая до того времени за овцами и неумѣющая ни за что взяться. И эта Дусета, при всей своей неумѣлости, поддается вліянію цивилизаціи и просиживаетъ нѣсколько ночей напролетъ, чтобы соорудить себѣ безобразнѣйшій кринолинъ. Эти эпизоды, прямо выхваченные изъ жизни и насквозь проникнутые жизненной правдой, показываютъ достаточно ясно, какъ успѣшно мѣщанство проводитъ въ народъ свои чувства, понятія и стремленія, и какъ оно своимъ заразительнымъ вліяніемъ оттягиваетъ наступленіе того лучшаго будущаго, которое начнется тогда, когда народъ возвысится до самосознанія и до самоуваженія.

ПРИБАВЛЕНІЕ.

Теперь я долженъ еще сказать нѣсколько словъ о романѣ Андре Лео, котораго я не могъ достать, когда писалъ свою статью. Этотъ романъ: «Двѣ дочери г. Плишона» очень замѣчателенъ по своей идеѣ и читается съ большимъ интересомъ, несмотря даже на то, что форма для него выбрана самая неудачная и неблагодарная — форма переписки между двумя пріятелями.

Въ этомъ романѣ проводится параллель между двумя женскими характерами, изъ которыхъ одинъ составляетъ радость и гордость, а другой—стыдъ и огорченіе почтенной мѣщанской семьи. Герой романа—молодой человѣкъ, способный мыслить и чувствовать, любить людей, понимать природу, учиться и развиваться—молодой человѣкъ, свѣжій и сильный, неопошлившійся и неиспорченный, хотя и потратившій нѣсколько лѣтъ жизни на пустыя забавы, влюбляется сначала въ младшую дочь Плишона, Бланшъ, въ ту, которой гордятся родители, но потомъ разочаровывается и затѣмъ медленно, какъ-будто упираясь и дивясь на самого себя, привязывается всѣми силами своего существа къ старшей сестрѣ Эдитѣ, которую родители считаютъ своимъ наказаніемъ и позоромъ.

Герой сначала раздѣляетъ относительно Эдиты тѣ предубѣжденія, которыми проникнуты ея отецъ, ея сестра, ея тетка и даже, хотя и въ меньшей степени, ея мать. Эти предубѣжденія всѣ вытекаютъ изъ того обстоятельства, что Эдита нигдѣ, никогда, ни при какихъ условіяхъ и ни за что въ мірѣ не хочетъ выть съ волками, если она сама убѣждена, что волчье вытье несвойственно человѣческой природѣ и унижаетъ человѣческое достоинство. Герой Вильямъ де-Монсальванъ самъ вовсе не чувствуетъ влеченія къ волчьему вытью и къ подчиненію своей личной воли и мысли стаднымъ инстинктамъ и привычкамъ большинства. Онъ смотритъ сначала на Эдиту съ суровымъ недовѣріемъ собственно потому, что видитъ ея странное изолированное положеніе въ семействѣ, въ которомъ всѣ любятъ другъ друга и смыкаются въ одну граціозно-нѣжную группу.

Онъ думаетъ, что если она стоитъ одиноко, если она со всѣми своими ближайшими родственниками обращается сухо и холодно, и если эти родственники въ свою очередь съ трудомъ переносятъ ея присутствіе, то въ этомъ безъ сомнѣнія виновата она, а не родственники, простые и добрые люди, которые отъ души рады были-бы ее любить, лишь-бы она сама не разливала вокругъ себя леденящаго холода.

Эти предубѣжденія Монсальвана уничтожаются одно за другимъ. Поживши въ почтенной мѣщанской семьѣ, посмотрѣвъ поближе на простыхъ и добрыхъ людей, Монсальванъ начинаетъ цѣнить ихъ по достоинству. Онъ убѣждается въ томъ, что его возлюбленная невѣста, граціозная красавица Бланшъ Плишонъ—пустая, тупая, тщеславная дѣвушка, способная только украшать собой роскошную гостиную, кружиться въ бальной залѣ и развращать того мужчину, которому она будетъ принадлежать и который цѣной уступокъ, компромиссовъ и происковъ долженъ будетъ доставлять этому живому алмазу его драгоцѣнную оправу. Онъ убѣждается въ томъ, что его почтенный будущій тесть — пустой, тупой, тщеславный человѣкъ, никогда неимѣвшій никакихъ убѣжденій, никогда неимѣвшій понятія о томъ, что̀ такое убѣжденіе, никогда немыслившій, никого нелюбившій и всегда видѣвшій весь смыслъ жизни въ округленіи состоянія и въ пріобрѣтеніи мѣщанской респектабельности. Онъ убѣждается въ томъ, что его будущая тетушка—дряблая, сантиментальная старая дѣва, постоянно пробавляющаяся наивно-поддѣльными и приторно-мелкими чувствами, въ которыхъ нѣтъ ничего ни свѣжаго, ни сильнаго, ни искренняго. Онъ убѣждается въ томъ, что его будущая теща—хорошая женщина, привыкшая убирать все, что въ ней есть хорошаго, въ самые дальніе закоулки своей души, какъ старый и негодный хламъ, который неприлично показывать въ обществѣ и за который могутъ и должны осмѣять и осудить ее даже самые близкіе люди. Онъ убѣждается въ томъ, что эта милая женщина, всегда расположенная любить и прощать, и сама незнающая того, что она имѣетъ право про-

Digitized by Google

щать окружающихъ людей, что она одна любитъ и смутно понимаетъ гордую, чистую и глубоко страдающую душу Эдиты.

Изучивъ и осудивъ всю дрянь и мелочь почтенной мѣщанской семьи, понявъ и оцѣнивъ умъ и характеръ, силу и нѣжность Эдиты, Монсальванъ отдается ей безраздѣльно и безвозвратно, наполняетъ ея и свою жизнь полезнымъ трудомъ и становится вмѣстѣ съ ней вполнѣ хорошимъ и вполнѣ счастливымъ человѣкомъ.

Анатомія мѣщанской семьи, раскрываніе ея бездушной и подавляющей пошлости, наглядное и неотразимое доказываніе той истины, что сильный умъ и характеръ наводятъ ужасъ и возбуждаютъ ненависть въ нѣдрахъ добродѣтельной и чувствительной мѣщанской семьи именно потому, что они сильны и хороши — вотъ сюжетъ романа Лео.

Развитіе этого сюжета превосходно, но распространяться о подробностяхъ выполненія я не буду, во-первыхъ потому, что статья моя и безъ того очень велика, а во-вторыхъ потому, что редакція предполагаетъ помѣстить переводъ «Двухъ дочерей» въ «Отечественныхъ Запискахъ».

СТАРОЕ БАРСТВО.

(«Война и миръ». Сочиненіе графа Л. Н. Толстого. Томы I, II и III. Москва. 1868 г.).

I.

Новый, еще неоконченный романъ графа Л. Толстого можно назвать образцовымъ произведеніемъ по части патологіи русскаго общества. Въ этомъ романѣ цѣлый рядъ яркихъ и разнообразныхъ картинъ, написанныхъ съ самымъ величественнымъ и невозмутимымъ эпическимъ спокойствіемъ, ставитъ и рѣшаетъ вопросъ о томъ, что̀ дѣлается съ человѣческими умами и характерами при такихъ условіяхъ, которыя даютъ людямъ возможность обходиться безъ знаній, безъ мыслей, безъ энергій и безъ труда.

Очень можетъ быть, и даже очень вѣроятно, что графъ Толстой не имѣетъ въ виду постановки и рѣшенія такого вопроса. Очень вѣроятно, что онъ просто хочетъ нарисовать рядъ картинъ изъ жизни русскаго барства во времена Александра I. Онъ видитъ самъ и старается показать другимъ, отчетливо, до мельчайшихъ подробностей и оттѣнковъ, всѣ особенности, характеризующія тогдашнее время и тогдашнихъ людей, людей того круга, который всего болѣе ему интересенъ или доступенъ его изученію. Онъ старается только быть правдивымъ и точнымъ; его усилія не клонятся къ тому, чтобы поддержать или опровергнуть создаваемыми образами какую бы то ни было теоретическую идею; онъ по всей вѣроятности относится къ предмету своихъ продолжительныхъ и тщательныхъ изслѣдованій съ тою невольной и естественной нѣжностью, которую обыкновенно чувствуетъ даровитый историкъ къ далекому или близкому прошедшему, воскресающему подъ его руками; онъ быть можетъ находитъ даже въ особенностяхъ этого прошедшаго, въ фигурахъ и характерахъ выведенныхъ личностей, въ понятіяхъ и привычкахъ изображеннаго общества, многія черты, достойныя любви и уваженія. Все это можетъ быть, все это даже очень вѣроятно. Но именно оттого, что авторъ потратилъ много времени, труда и любви на изученіе и изображеніе эпохи и ея представителей, именно поэтому созданные имъ образы живутъ своей собственной жизнью, независимой отъ намѣренія автора, вступаютъ сами въ непосредственныя отношенія съ читателями, говорятъ сами за себя и неудержимо ведутъ читателя къ такимъ мыслямъ и заключеніямъ, которыхъ авторъ не имѣлъ въ виду, и которыхъ онъ, быть можетъ, даже не одобрилъ бы.

Эта правда, бьющая живымъ ключомъ изъ самихъ фактовъ, эта правда, прорывающаяся помимо личныхъ симпатій и убѣжденій разсказчика, особенно драгоцѣнна по своей неотразимой убѣдительности. Эту-то правду, это шило, котораго нельзя утаить въ мѣшкѣ, мы постараемся теперь извлечь изъ романа графа Толстого.

Романъ «Война и миръ» представляетъ намъ цѣлый букетъ разнообразныхъ и превосходно отдѣланныхъ характеровъ, мужскихъ и женскихъ, старыхъ и молодыхъ. Особенно богатъ выборъ молодыхъ мужскихъ характеровъ. Мы начнемъ именно съ нихъ, и начнемъ съ низу, то-есть, съ тѣхъ фигуръ, на счетъ которыхъ разногласіе почти невозможно, и которыхъ неудовлетворительность будетъ, по всей вѣроятности, признана всѣми читателями.

Первымъ портретомъ въ нашей картинной

Digitized by Google

галлереѣ будетъ князь Борисъ Друбецкой, молодой человѣкъ знатнаго происхожденія, съ именемъ и съ связями, но безъ состоянія, прокладывающій себѣ дорогу къ богатству и къ почестямъ своимъ умѣніемъ ладить съ людьми и пользоваться обстоятельствами. Первое изъ тѣхъ обстоятельствъ, которыми онъ пользуется съ замѣчательнымъ искусствомъ и успѣхомъ—это его родная мать, княгиня Анна Михайловна. Всякому извѣстно, что мать, просящая за сына, оказывается всегда и вездѣ самымъ усерднымъ, расторопнымъ, настойчивымъ неутомимымъ и неустрашимымъ изъ адвокатовъ. Въ ея глазахъ цѣль оправдываетъ и освящаетъ всѣ средства, безъ малѣйшаго исключенія. Она готова просить, плакать, заискивать, подслуживаться, пресмыкаться, надоѣдать, глотать всевозможныя оскорбленія, лишь бы только ей хоть съ досады, изъ желанія отвязаться отъ нея и прекратить ея докучливые вопли, бросили наконецъ для сына назойливо требуемую подачку. Борису всѣ эти достоинства матери хорошо извѣстны. Онъ знаетъ также и то, что всѣ униженія, которымъ добровольно подвергаетъ себя любящая мать, нисколько не роняютъ сына, если только этотъ сынъ, пользуясь ея услугами, держитъ себя при этомъ съ достаточной, приличной самостоятельностью.

Борисъ выбираетъ себѣ роль почтительнаго и послушнаго сына, какъ самую выгодную и удобную для себя роль. Выгодна и удобна она во-первыхъ потому, что налагаетъ на него обязанность не мѣшать тѣмъ подвигамъ низкопоклонства, которыми мать кладетъ основаніе его блистательной карьерѣ. Во-вторыхъ, она выгодна и удобна тѣмъ, что выставляетъ его въ самомъ лучшемъ свѣтѣ въ глазахъ тѣхъ сильныхъ людей, отъ которыхъ зависитъ его преуспѣваніе. Какой примѣрный молодой человѣкъ! должны думать и говорить о немъ всѣ окружающіе. Сколько въ немъ благородной гордости, и какія великодушныя усилія употребляетъ онъ для того, чтобы изъ любви къ матери подавить въ себѣ слишкомъ порывистыя движенія юной неразсчетливой строптивости, такія движенія, которыя могли бы огорчить бѣдную старушку, сосредоточившую на карьерѣ сына всѣ свои помыслы и желанія. И какъ тщательно, какъ успѣшно онъ скрываетъ свои великодушныя усилія подъ личиной наружнаго спокойствія! Какъ онъ понимаетъ, что эти усилія самымъ фактомъ своего существованія могли бы служить тяжелымъ укоромъ его бѣдной матери, совершенно ослѣпленной своими честолюбивыми материнскими мечтами и планами. Какой умъ, какой тактъ, какая сила характера, какое золотое сердце и какая утонченная деликатность!

Когда Анна Михайловна обиваетъ пороги милостивцевъ и благодѣтелей, Борисъ держитъ себя пассивно и спокойно, какъ человѣкъ, рѣшившійся разъ навсегда почтительно и съ достоинствомъ покоряться своей тяжелой и горькой участи, и покоряться такъ, чтобы всякій это видѣлъ, но чтобы никто не осмѣливался сказать ему съ теплымъ сочувствіемъ: «молодой человѣкъ, по вашимъ глазамъ, по вашему лицу, по всей вашей удрученной наружности я вижу ясно, что вы терпѣливо и мужественно несете тяжелый крестъ». Онъ ѣдетъ съ матерью къ умирающему богачу Безухову, на котораго Анна Михайловна возлагаетъ какія-то надежды, преимущественно потому, что «онъ такъ богатъ, а мы такъ бѣдны!» Онъ ѣдетъ, но даже самой матери своей даетъ почувствовать, что дѣлаетъ это исключительно для нея, что самъ не предвидитъ отъ этой поѣздки ничего, кромѣ униженія, и что есть такой предѣлъ, за которымъ ему можетъ измѣнить его покорность и его искусственное спокойствіе. Мистификація ведена такъ искусно, что сама Анна Михайловна боится своего почтительнаго сына, какъ вулкана, отъ котораго ежеминутно можно ожидать разрушительнаго изверженія; само собою разумѣется, что этой боязнью усиливается ея уваженіе къ сыну; она на каждомъ шагу оглядывается на него, проситъ его быть ласковымъ и внимательнымъ, напоминаетъ ему его обѣщанія, прикасается къ его рукѣ, чтобы, смотря по обстоятельствамъ, то успокоивать, то возбуждать его. Тревожась и суетясь такимъ образомъ, Анна Михайловна пребываетъ въ той твердой увѣренности, что безъ этихъ искусныхъ усилій и стараній съ ея стороны все пойдетъ прахомъ, и непреклонный Борисъ, если не прогнѣваетъ навсегда сильныхъ людей выходкой благороднаго негодованія, то по крайней мѣрѣ навѣрное заморозитъ ледяной холодностью обращенія всѣ сердца покровителей и благодѣтелей.

Если Борисъ такъ удачно мистифируетъ родную мать, женщину опытную и неглупую, у которой онъ выросъ на глазахъ, то разумѣется онъ еще легче и такъ-же успѣшно морочитъ постороннихъ людей, съ которыми ему приходится имѣть дѣло. Онъ кланяется благодѣтелямъ и покровителямъ учтиво, но такъ спокойно и съ такимъ скромнымъ достоинствомъ, что сильныя лица сразу чувствуютъ необходимость посмотрѣть на него повнимательнѣе и выдѣлить его изъ толпы нуждающихся кліентовъ, за которыхъ просятъ докучливыя маменьки и тетушки. Онъ отвѣчаетъ имъ на ихъ небрежные вопросы точно и ясно, спокойно и почтительно, не выказывая ни досады на ихъ рѣзкій тонъ, ни желанія вступить съ ними въ дальнѣйшій разговоръ. Глядя на Бориса и выслушивая его спокойные отвѣты, покровители и благодѣтели немедленно проникаются тѣмъ убѣжденіемъ, что Борисъ, оставаясь въ границахъ строгой вѣжливости и безукоризненной почтительности, ни-

Digitized by Google

кому не позволитъ помыкать собой и всегда съумѣетъ постоять за свою дворянскую честь. Являясь просителемъ и искателемъ, Борисъ умѣетъ свалить всю черную работу этого дѣла на мать, которая, разумѣется, съ величайшей готовностью подставляетъ свои старыя плечи и даже упрашиваетъ сына, чтобы онъ позволилъ ей устраивать его повышеніе. Предоставляя матери пресмыкаться передъ сильными лицами, Борисъ самъ умѣетъ оставаться чистымъ и изящнымъ, скромнымъ, но независимымъ джентльменомъ. Чистота, изящество, скромность, независимость и джентльменство, разумѣется, даютъ ему такія выгоды, которыхъ не могли бы ему доставить жалобное попрошайничество и низкое угодничество. Ту подачку, которую можно бросить робкому замарашкѣ, едва осмѣливающемуся сидѣть на кончикѣ стула и стремящемуся поцѣловать благодѣтеля въ плечико, до крайности неудобно, конфузно и даже опасно предложить изящному юношѣ, въ которомъ приличная скромность уживается самымъ гармоническимъ образомъ съ неистребимымъ и вѣчно-бдительнымъ чувствомъ собственнаго достоинства. Такой постъ, на который совершенно невозможно было бы поставить просто и откровенно пресмыкающагося просителя, въ высшей степени приличенъ для скромно-самостоятельнаго молодого человѣка, умѣющаго во-время поклониться, во-время улыбнуться, во-время сдѣлать серьезное и даже строгое лицо, во-время уступить или переубѣдиться, во-время обнаружить благородную стойкость, ни на минуту не утрачивая спокойнаго самообладанія и прилично почтительной развязности обращенія.

Патроны обыкновенно любятъ льстецовъ; имъ пріятно видѣть въ благоговѣніи окружающихъ людей невольную дань восторга, приносимую геніальности ихъ ума и несравненному превосходству ихъ нравственныхъ качествъ. Но чтобы лесть производила пріятное впечатлѣніе, она должна быть достаточно тонка, и чѣмъ умнѣе тотъ человѣкъ, которому льстятъ, тѣмъ тоньше должна быть лесть, и чѣмъ она тоньше, тѣмъ пріятнѣе она дѣйствуетъ. Когда же лесть оказывается на столько грубой, что тотъ человѣкъ, къ которому она обращается, можетъ распознать ея неискренность, то она способна произвести на него совершенно обратное дѣйствіе и серьезно повредить неискусному льстецу. Возьмемъ двоихъ льстецовъ: одинъ млѣетъ передъ своимъ патрономъ, во всемъ съ нимъ соглашается и ясно показываетъ всѣми своими дѣйствіями и словами, что у него нѣтъ ни собственной воли, ни собственнаго убѣжденія, что онъ, похваливши сейчасъ одно сужденіе патрона, готовъ черезъ минуту превознести другое сужденіе, діаметрально противоположное, лишь бы только оно было высказано тѣмъ же патрономъ; другой, напротивъ того, умѣетъ показать, что ему, для угожденія патрону, нѣтъ ни малѣйшей надобности отказываться отъ своей умственной и нравственной самостоятельности, что всѣ сужденія патрона покоряютъ себѣ его умъ силой своей собственной неотразимой внутренней убѣдительности, что онъ повинуется патрону во всякую данную минуту не съ чувствомъ рабскаго страха и рабской корыстолюбивой угодливости, а съ живымъ и глубокимъ наслажденіемъ свободнаго человѣка, имѣвшаго счастье найти себѣ мудраго и великодушнаго руководителя. Понятное дѣло, что изъ этихъ двоихъ льстецовъ второй пойдетъ гораздо дальше перваго. Перваго будутъ кормить и презирать; перваго будутъ рядить въ шуты; перваго не пустятъ дальше той лакейской роли, которую онъ на себя принялъ въ близорукомъ ожиданіи будущихъ благъ; со вторымъ, напротивъ того, будутъ совѣтоваться; его могутъ полюбить; къ нему могутъ даже почувствовать уваженіе; его могутъ произвести въ друзья и наперсники. Великосвѣтскій Молчалинъ, князь Борисъ Друбецкой идетъ по этому второму пути и разумѣется, высоко неся свою красивую голову и не марая кончика ногтей какой бы то ни было работой, легко и быстро доберется этимъ путемъ до такихъ извѣстныхъ степеней, до которыхъ никогда не доползетъ простой Молчалинъ, простодушно подличающій и трепещущій передъ начальникомъ и смиренно наживающій себѣ раннюю сутуловатость за канцелярскими бумагами. Борисъ дѣйствуетъ въ жизни такъ, какъ ловкій и расторопный гимнастъ лѣзетъ на дерево. Становясь ногой на одну вѣтку, онъ уже отыскиваетъ глазами другую, за которую онъ въ слѣдующее мгновеніе могъ бы ухватиться руками; его глаза и всѣ его помыслы направлены къ верху; когда рука его нашла себѣ надежную точку опоры, онъ уже совершенно забываетъ о той вѣткѣ, на которой онъ только-что сейчасъ стоялъ всей тяжестью своего тѣла и отъ которой его нога уже начинаетъ отдѣляться. На всѣхъ своихъ знакомыхъ и на всѣхъ тѣхъ людей, съ которыми онъ можетъ познакомиться, Борисъ смотритъ именно какъ на вѣтки, расположенныя одна надъ другою, въ болѣе или менѣе отдаленномъ разстояніи отъ вершины огромнаго дерева, отъ той вершины, гдѣ искуснаго гимнаста ожидаетъ желанное успокоеніе среди роскоши, почестей и атрибутовъ власти.

Борисъ сразу, проницательнымъ взглядомъ даровитаго полководца или хорошаго шахматнаго игрока, схватываетъ взаимныя отношенія своихъ знакомыхъ, и тѣ пути, которые могутъ повести его отъ одного уже сдѣланнаго знакомства къ другому, еще манящему его къ себѣ, и отъ этого другого къ третьему, еще закутанному въ золотистый туманъ величественной не-

Digitized by Google

доступности. Съумѣвши показаться добродушному Пьеру Безухову *милымъ*, *умнымъ и твердымъ молодымъ человѣкомъ*, съумѣвши даже смутить и растрогать его своимъ умомъ и твердостью въ тотъ самый разъ, когда онъ вмѣстѣ съ матерью пріѣзжалъ къ старому графу Безухову просить на бѣдность и на гвардейскую обмундировку, Борисъ добываетъ себѣ отъ этого Пьера рекомендательное письмо къ адъютанту Кутузова, князю Андрею Болконскому, а черезъ Болконскаго знакомится съ генералъ-адъютантомъ Долгоруковымъ и попадаетъ самъ въ адъютанты къ какому-то важному лицу.

Поставивъ себя въ пріятельскія отношенія съ княземъ Болконскимъ, Борисъ тотчасъ осторожно отдѣляетъ ногу отъ той вѣтки, на которой онъ держался. Онъ немедленно начинаетъ исподволь ослаблять свою дружескую связь съ товарищемъ своего дѣтства, молодымъ графомъ Ростовымъ, у котораго онъ живалъ въ домѣ по цѣлымъ годамъ, и мать котораго только-что подарила ему, Борису, на обмундировку пятьсотъ рублей, принятыхъ княгиней Анной Михайловной со слезами умиленія и радостной благодарности. Послѣ полугодовой разлуки, послѣ походовъ и сраженій, выдержанныхъ молодымъ Ростовымъ, Борисъ встрѣчается съ нимъ, съ другомъ дѣтства, и въ это же первое свиданіе Ростовъ замѣчаетъ, что Борису, къ которому въ это же время приходитъ Болконскій, какъ будто совѣстно вести дружескій разговоръ съ армейскимъ гусаромъ. Изящнаго гвардейскаго офицера Бориса коробитъ армейскій мундиръ и армейскія замашки молодого Ростова, а главное его смущаетъ та мысль, что Болконскій составитъ себѣ о немъ невыгодное мнѣніе, видя его дружескую короткость съ человѣкомъ дурного тона. Въ отношеніяхъ Бориса къ Ростову тотчасъ обнаруживается легкая натянутость, которая особенно удобна для Бориса именно тѣмъ, что къ ней невозможно придраться, что ее невозможно устранить откровенными объясненіями и что ее также очень трудно не замѣтить и не почувствовать. Благодаря этой тонкой натянутости, благодаря этому едва уловимому диссонансу, чуть-чуть царапающему нервы, человѣкъ дурного тона будетъ потихоньку удаленъ, не имѣя никакого повода жаловаться, обижаться и вламываться въ амбицію, а человѣкъ хорошаго тона увидитъ и замѣтитъ, что къ изящному гвардейскому офицеру, князю Борису Друбецкому, лѣзутъ въ друзья неделикатные молодые люди, которыхъ онъ кротко и граціозно умѣетъ отодвигать назадъ, на ихъ настоящее мѣсто.

Въ походѣ, на войнѣ, въ свѣтскихъ салонахъ—вездѣ Борисъ преслѣдуетъ одну и ту же цѣль, вездѣ онъ думаетъ исключительно или по крайней мѣрѣ прежде всего объ интересахъ своей карьеры. Пользуясь съ замѣчательной понятливостью всѣми мельчайшими указаніями опыта, Борисъ скоро превращаетъ въ сознательную и систематическую тактику то, что̀ прежде было для него дѣломъ инстинкта и счастливаго вдохновенія. Онъ составляетъ безошибочно вѣрную теорію карьеры и дѣйствуетъ по этой теоріи съ самымъ неуклоннымъ постоянствомъ. Познакомившись съ княземъ Болконскимъ и приблизившись черезъ него къ высшимъ сферамъ военной администраціи, Борисъ «ясно понялъ то, что̀ онъ предвидѣлъ прежде, именно то, что въ арміи, кромѣ той субординаціи и дисциплины, которая была написана въ уставѣ и которую знали въ полку и онъ зналъ, была другая, болѣе существенная субординація, та, которая заставляла этого затянутаго съ багровымъ лицомъ генерала почтительно дожидаться въ то время, какъ капитанъ князь Андрей для своего удовольствія находилъ болѣе удобнымъ разговаривать съ прапорщикомъ Друбецкимъ. Больше чѣмъ когда нибудь Борисъ рѣшился служить впредь не по той писанной въ уставѣ, а по этой неписанной субординаціи. Онъ теперь чувствовалъ, что только вслѣдствіе того, что онъ былъ рекомендованъ князю Андрею, онъ уже сталъ сразу выше генерала, который въ другихъ случаяхъ, во фронтѣ, могъ уничтожить его, гвардейскаго прапорщика».

Основываясь на самыхъ ясныхъ и недвусмысленныхъ указаніяхъ опыта, Борисъ рѣшаетъ разъ навсегда, что служить лицамъ несравненно выгоднѣе, чѣмъ служить дѣлу, и, какъ человѣкъ, нисколько несвязанный въ своихъ дѣйствіяхъ неразсчетливой любовью къ какой бы то ни было идеѣ или къ какому бы то ни было дѣлу, онъ кладетъ себѣ за правило всегда служить только лицамъ и возлагать всегда все свое упованіе никакъ не на свои какія-нибудь собственныя дѣйствительныя достоинства, а только на свои хорошія отношенія къ вліятельнымъ лицамъ, умѣющимъ награждать и выводить въ люди своихъ вѣрныхъ и покорныхъ слугъ.

Въ случайно завязавшемся разговорѣ о службѣ Ростовъ говоритъ Борису, что ни къ кому не пойдетъ въ адъютанты, потому что это «лакейская должность». Борисъ, разумѣется, оказывается на столько свободнымъ отъ предразсудковъ, что его не смущаетъ рѣзкое и непріятное слово «лакей». Во-первыхъ, онъ понимаетъ, что *comparaison n'est pas raison*, и что между адъютантомъ и лакеемъ огромная разница, потому что перваго съ удовольствіемъ принимаютъ въ самыхъ блестящихъ гостиныхъ, а второго заставляютъ стоять въ передней и держать господскія шубы. Во-вторыхъ, понимаетъ онъ и то, что многимъ лакеямъ живется гораздо пріятнѣе, чѣмъ инымъ господамъ, имѣющимъ полное право считать себя доблестными

Digitized by Google

слугами отечества. Въ-третьихъ, онъ всегда готовъ самъ надѣть какую угодно ливрею, если только она быстро и вѣрно поведетъ его къ цѣли. Это онъ и высказываетъ Ростову, говоря ему, въ отвѣтъ на его выходку объ адъютантствѣ, что «желалъ бы и очень попасть въ адъютанты, затѣмъ что уже разъ пойдя по карьерѣ военной службы, надо стараться сдѣлать, коль возможно, блестящую карьеру». Эта откровенность Бориса очень замѣчательна. Она доказываетъ ясно, что большинство того общества, въ которомъ онъ живетъ и мнѣніемъ котораго онъ дорожитъ, совершенно одобряетъ его взгляды на прокладываніе дороги, на служеніе лицамъ, на неписанную субординацію и на несомнѣнныя удобства ливреи, какъ средства, ведущаго къ цѣли. Борисъ называетъ Ростова мечтателемъ за его выходку противъ служенія лицамъ, и общество, къ которому принадлежитъ Ростовъ, безъ всякаго сомнѣнія нетолько подтвердило бы, но еще и усилило бы этотъ приговоръ въ очень значительной степени, такъ что Ростовъ, за свою попытку отрицать систему протекціи и неписанную субординацію, оказался бы не мечтателемъ, а просто глупымъ и грубымъ армейскимъ буяномъ, неспособнымъ понимать и оцѣнивать самыя законныя и похвальныя стремленія благовоспитанныхъ и добропорядочныхъ юношей.

Борисъ, разумѣется, продолжаетъ преуспѣвать подъ сѣнью своей непогрѣшимой теоріи, вполнѣ соотвѣтствующей механизму и духу того общества, среди котораго онъ ищетъ себѣ богатства и почета. «Онъ вполнѣ усвоилъ себѣ ту понравившуюся ему въ Ольмюцѣ неписанную субординацію, по которой прапорщикъ могъ стоять безъ сравненія выше генерала и по которой, для успѣха на службѣ, были нужны не усилія на службѣ, не труды, не храбрость, не постоянство, а нужно было только умѣнье обращаться съ тѣми, которые вознаграждаютъ за службу—и онъ часто удивлялся самъ своимъ быстрымъ успѣхамъ и тому, какъ другіе могли не понимать этого. Вслѣдствіе этого открытія его, весь образъ жизни его, всѣ отношенія съ прежними знакомыми, всѣ его планы на будущее—совершенно измѣнились. Онъ былъ небогатъ, но послѣднія свои деньги онъ употреблялъ на то, чтобы быть одѣтымъ лучше другихъ; онъ скорѣе лишилъ бы себя многихъ удовольствій, чѣмъ позволилъ бы себѣ ѣхать въ дурномъ экипажѣ или показаться въ старомъ мундирѣ на улицахъ Петербурга. Сближался онъ и искалъ знакомствъ только съ людьми, которые были выше его и потому могли быть ему полезны».

Съ особеннымъ чувствомъ гордости и удовольствія Борисъ входитъ въ дома высшаго общества; приглашеніе отъ фрейлины Анны Павловны Шереръ онъ принимаетъ за «важное повышеніе по службѣ»; на вечерѣ у нея онъ конечно ищетъ себѣ не развлеченій; онъ, напротивъ того, трудится по своему въ ея гостиной; онъ внимательно изучаетъ ту мѣстность, на которой ему предстоитъ маневрировать, чтобы завоевать себѣ новыя выгоды и заполонить новыхъ благодѣтелей; онъ внимательно наблюдаетъ каждое лицо и оцѣниваетъ выгоды и возможности сближенія съ каждымъ изъ нихъ. Онъ вступаетъ въ это высшее общество съ твердымъ намѣреніемъ поддѣлаться подъ него, то-есть укоротить и съузить свой умъ на столько, на сколько это понадобится, чтобы ничѣмъ не выдвигаться изъ общаго уровня и ни подъ какимъ видомъ не раздражить своимъ превосходствомъ того или другого ограниченнаго человѣка, способнаго быть полезнымъ со стороны неписанной субординаціи.

На вечерѣ у Анны Павловны, одинъ очень глупый юноша, сынъ министра князя Курагина, послѣ неоднократныхъ приступовъ и долгихъ сборовъ, производитъ на свѣтъ глупую и избитую шутку. Борисъ конечно настолько уменъ, что такія шутки должны коробить его и возбуждать въ немъ то чувство отвращенія, которое обыкновенно родится въ здоровомъ человѣкѣ, когда ему приходится видѣть или слышать идіота. Борисъ не можетъ находить эту шутку остроумной или забавной, но находясь въ великосвѣтскомъ салонѣ, онъ не осмѣливается выдержать эту шутку съ серьезной физіономіей, потому что его серьезность можетъ быть принята за молчаливое осужденіе каламбура, надъ которымъ, быть можетъ, сливкамъ петербургскаго общества угодно будетъ засмѣяться. Чтобы смѣхъ этихъ сливокъ не засталъ его врасплохъ, предусмотрительный Борисъ принимаетъ свои мѣры въ ту самую секунду, когда плоская и чужая острота слетаетъ съ губъ князя Ипполита Курагина. Онъ осторожно улыбается, такъ что его улыбка можетъ быть отнесена къ насмѣшкѣ или къ одобренію шутки, смотря по тому, какъ она будетъ принята. Сливки смѣются, признавая въ миломъ острякѣ плоть отъ плоти своей и кость отъ костей своихъ,—и мѣры, заблаговременно принятыя Борисомъ, оказываются для него въ высокой степени спасительными.

Глупая красавица, достойная сестра Ипполита Курагина, графиня Эленъ Безухова, пользующаяся репутаціей прелестной и очень умной женщины и привлекающая въ свой салонъ все, что блеститъ умомъ, богатствомъ, знатностью или высокимъ чиномъ—находитъ для себя удобнымъ приблизить красиваго и ловкаго адъютанта Бориса къ своей особѣ. Борисъ приближается съ величайшей готовностью, становится ея любовникомъ и въ этомъ обстоятельствѣ усматриваетъ не безъ основанія новое немаловажное повышеніе по службѣ. Если путь

Digitized by Google

къ чинамъ и деньгамъ проходитъ черезъ будуаръ красивой женщины, то разумѣется, для Бориса нѣтъ достаточныхъ основаній остановиться въ добродѣтельномъ недоумѣніи или поворотить въ сторону. Ухватившись за руку своей глупой красавицы, Друбецкой весело и быстро продолжаетъ подвигаться впередъ къ золотой цѣли.

Онъ выпрашиваетъ у своего ближайшаго начальника позволеніе состоять въ его свитѣ въ Тильзитѣ, во время свиданія обоихъ императоровъ, и даетъ ему почувствовать при этомъ случаѣ, какъ внимательно онъ, Борисъ, слѣдитъ за показаніями политическаго барометра и какъ тщательно онъ соображаетъ всѣ свои мельчайшія слова и дѣйствія съ намѣреніями и желаніями высокихъ особъ. То лицо, которое до сихъ поръ было для Бориса генераломъ Буонапарте, узурпаторомъ и врагомъ человѣчества, становится для него императоромъ Наполеономъ и великимъ человѣкомъ, съ той минуты, какъ, узнавъ о предположеніи свиданія, Борисъ начинаетъ проситься въ Тильзитъ. Попавъ въ Тильзитъ, Борисъ почувствовалъ, что его положеніе упрочено. «Его не только знали, но къ нему приглядѣлись и привыкли. Два раза онъ исполнялъ порученія къ самому государю, такъ что государь зналъ его въ лицо, и всѣ приближенные не только не дичились его, какъ прежде, считая за новое лицо, но удивились бы, ежели бы его не было».

На томъ пути, по которому идетъ Борисъ, нѣтъ ни остановокъ, ни свертковъ. Можетъ случиться неожиданная катастрофа, которая вдругъ изомнетъ и изломаетъ всю отлично-начавшуюся и благополучно продолжаемую карьеру; можетъ такая катастрофа застигнуть даже самаго осторожнаго и разсчетливаго человѣка; но отъ нея трудно ожидать, чтобы она направила силы человѣка къ полезному дѣлу и открыла широкій просторъ для ихъ развитія; послѣ такой катастрофы человѣкъ обыкновенно оказывается приплюснутымъ и раздавленнымъ; блестящій, веселый и преуспѣвающій офицеръ или чиновникъ превращается всего чаще въ жалкаго ипохондрика, въ откровенно-низкаго попрошайку, или просто въ горькаго пьяницу. Помимо-же такой неожиданной катастрофы, при ровномъ и благопріятномъ теченіи обыденной жизни, нѣтъ никакихъ шансовъ, чтобы человѣкъ, находящійся въ положеніи Бориса, вдругъ оторвался отъ своей постоянной дипломатической игры, всегда одинаково для него важной и интересной, чтобы онъ вдругъ остановился, оглянулся на самого себя, отдалъ себѣ ясный отчетъ въ томъ, какъ мельчаютъ и вянутъ живыя силы его ума, и энергическимъ усиліемъ воли перепрыгнулъ вдругъ съ дороги искуснаго, приличнаго и блистательно-успѣшнаго выпрашиванія на совершенно неизвѣстную ему дорогу неблагодарнаго, утомительнаго и совсѣмъ не барскаго труда. Дипломатическая игра имѣетъ такія затягивающія свойства и даетъ такіе блестящіе результаты, что человѣкъ, погрузившійся въ эту игру, скоро начинаетъ считать мелкимъ и ничтожнымъ все, что находится за ея предѣлами; всѣ событія, всѣ явленія частной и общественной жизни оцѣниваются по своему отношенію къ выигрышу или проигрышу; всѣ люди дѣлятся на средства и на помѣхи; всѣ чувства собственной души распадаются на похвальныя, то есть ведущія къ выигрышу, и предосудительныя, то есть отвлекающія вниманіе отъ процесса игры. Въ жизни человѣка, втянувшагося въ подобную игру, нѣтъ мѣста такимъ впечатлѣніямъ, изъ которыхъ могло-бы развернуться сильное чувство, не подчиненное интересамъ карьеры. Серьезная, чистая, искренняя любовь, безъ примѣси корыстныхъ или честолюбивыхъ разсчетовъ, любовь со всей свѣтлой глубиной своихъ наслажденій, любовь со всѣми своими торжественными и святыми обязанностями не можетъ укорениться въ высушенной душѣ человѣка, подобнаго Борису. Нравственное обновленіе путемъ счастливой любви для Бориса немыслимо. Это доказано въ романѣ графа Толстого его исторіей съ Наташей Ростовой, сестрой того армейскаго гусара, мундиръ и манеры котораго коробятъ Бориса въ присутствіи князя Болконскаго.

Когда Наташѣ было 12 лѣтъ, а Борису лѣтъ 17 или 18, они играли между собою въ любовь; одинъ разъ, незадолго передъ отъѣздомъ Бориса въ полкъ, Наташа поцѣловала его, и они рѣшили, что свадьба ихъ состоится черезъ четыре года, когда Наташѣ минетъ 16 лѣтъ. Прошли эти четыре года; женихъ и невѣста оба, если не забыли своихъ взаимныхъ обязательствъ, то по крайней мѣрѣ стали смотрѣть на нихъ, какъ на ребяческую шалость; когда Наташа уже въ самомъ дѣлѣ могла быть невѣстой и когда Борисъ былъ уже молодымъ человѣкомъ, стоящимъ, какъ это говорится, на самой лучшей дорогѣ—они увидѣлись и снова заинтересовались другъ другомъ. «Послѣ перваго свиданія, Борисъ сказалъ себѣ, что Наташа для него точно такъ-же привлекательна, какъ и прежде, но что онъ не долженъ отдаваться этому чувству, потому что жениться на ней, дѣвушкѣ почти безъ состоянія, была-бы погибелью его карьеры, а возобновленіе прежнихъ отношеній безъ цѣли женитьбы — было бы неблагороднымъ поступкомъ».

Несмотря на это благоразумное и спасительное совѣщаніе съ самимъ собою, несмотря на рѣшеніе избѣгать встрѣчъ съ Наташей, Борисъ увлекается, начинаетъ часто ѣздить къ Ростовымъ, проводитъ у нихъ цѣлые дни, слушаетъ пѣсни Наташи, пишетъ ей стихи въ аль-

Digitized by Google

бомъ и даже перестаетъ бывать у графини Безуховой, отъ которой онъ получаетъ ежедневно пригласительныя и укорительныя записки. Онъ все собирается объяснить Наташѣ, что никакъ и никогда не можетъ сдѣлаться ея мужемъ, но у него все не хватаетъ силъ и мужества на то, чтобы начать и довести до конца такое щекотливое объясненіе. Онъ съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе запутывается. Но нѣкоторая временная и мимолетная невнимательность къ великимъ интересамъ карьеры составляетъ крайній предѣлъ увлеченій, возможныхъ для Бориса. Нанести этимъ великимъ интересамъ сколько нибудь серьезный и непоправимый ударъ—это для него невообразимо, даже подъ вліяніемъ сильнѣйшей изъ доступныхъ ему страстей.

Стоитъ только старой графинѣ Ростовой перемолвить серьезное слово съ Борисомъ, стоитъ ей только дать ему почувствовать, что его частыя посѣщенія замѣчены и приняты къ свѣдѣнію—и Борисъ тотчасъ, чтобы не компрометировать дѣвушку и не портить карьеру, обращается въ благоразумное и благородное бѣгство. Онъ перестаетъ бывать у Ростовыхъ, и даже, встрѣтившись съ ними на балѣ, проходитъ мимо нихъ два раза и всякій разъ отвертывается.

Проплывъ благополучно между подводными камнями любви, Борисъ уже безостановочно, на всѣхъ парусахъ летитъ къ надежной пристани. Его положеніе на службѣ, его связи и знакомства доставляютъ ему входъ въ такіе дома, гдѣ водятся очень богатыя невѣсты. Онъ начинаетъ думать, что ему пора заручиться выгодной женитьбой. Его молодость, его красивая наружность, его презентабельный мундиръ, его умно и разсчетливо веденная карьера составляютъ такой товаръ, который можно продать за очень хорошую цѣну. Борисъ высматриваетъ покупательницу и находитъ ее въ Москвѣ.

Жюли Карагина, обладательница огромныхъ пензенскихъ имѣній и нижегородскихъ лѣсовъ, двадцати-семилѣтняя дѣвушка съ краснымъ лицомъ, съ влажными глазами и съ подбородкомъ, почти всегда обсыпаннымъ пудрой—покупаетъ себѣ Бориса. Передъ совершеніемъ запродажной сдѣлки, Борисъ ведетъ себя, какъ чистоплотный котъ, которому голодъ велитъ перебираться черезъ очень грязную улицу и которому въ то же время до смерти не хочется замочить и запачкать бархатныя лапки.

Бориса, какъ того-же чистоплотнаго кота, не смущаютъ никакія нравственныя соображенія. Обмануть дѣвушку, прикинувшись влюбленнымъ въ нее, взять на себя обязательство составить ея счастіе, и потомъ оказаться передъ нею позорно-несостоятельнымъ, разбить ея жизнь—все это такія мысли, которыя не приходятъ въ голову Борису и нимало его не озабочиваютъ. Еслибы только это—онъ не задумался-бы ни на минуту, такъ точно, какъ не задумался бы чистоплотный котъ стащить и съѣсть плохо-прибранный кусокъ мяса. Голосъ нравственнаго чувства, уже достаточно слабый въ 17-тилѣтнемъ мальчикѣ, благодаря урокамъ такой искусной матери, какова была княгиня Анна Михайловна—замолчалъ давно въ молодомъ человѣкѣ, создавшемъ себѣ цѣлую стройную теорію неписанной субординаціи. Но въ Борисѣ еще не умерла послѣдняя человѣческая слабость; его старческая мудрость еще не задавила въ немъ способности чувствовать физическое отвращеніе; его тѣло еще молодо, свѣжо и сильно; у этого тѣла есть свои потребности, свои влеченія, свои симпатіи и антипатіи; это тѣло не можетъ всегда и вездѣ быть послушнымъ и безропотнымъ орудіемъ духа, стремящагося къ упроченному положенію въ высшемъ обществѣ; тѣло возмущается, тѣло бунтуетъ, и морозъ подираетъ Бориса по кожѣ при мысли о той цѣнѣ, которую онъ долженъ будетъ заплатить за пензенскія имѣнія и нижегородскіе лѣса. Пройти черезъ будуаръ графини Безуховой, пройти черезъ него по разсчету для Бориса было легко и пріятно, потому что и самъ Наполеонъ, увидавъ графиню Безухову въ ложѣ эрфуртскаго театра, сказалъ объ ней: «c'est un superbe animal!» Но чтобы пройти черезъ спальню Жюли Карагиной къ той конторкѣ, въ которую кладутся доходы съ пензенскихъ имѣній, Борису понадобилось выдержать упорную и продолжительную борьбу съ мятежнымъ тѣломъ.

«Жюли уже давно ожидала предложенія отъ своего меланхолическаго обожателя и готова была принять его; но какое-то тайное чувство отвращенія къ ней, къ ея страстному желанію выйти замужъ, къ ея ненатуральности, и чувство ужаса передъ отреченіемъ отъ возможности настоящей любви еще останавливало Бориса... Каждый день, разсуждая самъ съ собою, Борисъ говорилъ себѣ, что онъ завтра сдѣлаетъ предложеніе. Но въ присутствіи Жюли, глядя на ея красное лицо и подбородокъ, почти всегда осыпанный пудрой, на ея влажные глаза и на выраженіе лица, выражавшаго всегдашнюю готовность изъ меланхоліи тотчасъ же перейти къ неестественному восторгу супружескаго счастья, Борисъ не могъ произнести рѣшительнаго слова, несмотря на то, что онъ уже давно въ воображеніи своемъ считалъ себя обладателемъ пензенскихъ и нижегородскихъ имѣній и распредѣлялъ употребленіе въ нихъ доходовъ».

Само собою разумѣется, что Борисъ выходитъ побѣдителемъ изъ этой мучительной борьбы, такъ же точно, какъ вышелъ побѣдителемъ изъ другой борьбы съ тѣмъ же прихотливымъ тѣломъ, тянувшимъ его къ Наташѣ Ростовой. Обѣ побѣды порадовали материнское сердце

Digitized by Google

Анны Михайловны; обѣ были бы безъ сомнѣнія рѣшительно одобрены приговоромъ общественнаго мнѣнія, всегда расположеннаго сочувствовать торжеству духа надъ матеріей.

Въ ту минуту, когда Борисъ, вспыхнувъ яркимъ румянцемъ, и платя этимъ румянцемъ послѣднюю дань своей молодости и человѣческой слабости, дѣлаетъ предложеніе Жюли Карагиной и объясняется ей въ любви, онъ утѣшаетъ и подкрѣпляетъ себя тѣмъ размышленіемъ, что «всегда можетъ устроить такъ, чтобы рѣдко видѣть ее».

Борисъ держится того правила, что въ торговомъ дѣлѣ поступаютъ на чистоту только безнадежно-глупые люди, и что ловкій обманъ составляетъ душу коммерческой операціи. И въ самомъ дѣлѣ, еслибы, продавъ самого себя, онъ вздумалъ выдать покупателю весь проданный товаръ, то какое же удовольствіе и какую пользу доставила бы ему устроенная сдѣлка?

II.

Займемся теперь молодымъ армейскимъ гусаромъ Николаемъ Ростовымъ.

Это совершенная противоположность Бориса. Друбецкой — разсчетливъ, сдержанъ, остороженъ, все размѣряетъ и взвѣшиваетъ, и во всемъ дѣйствуетъ по заранѣе составленному и тщательно обдуманному плану. Ростовъ, напротивъ того, смѣлъ и пылокъ, неспособенъ и не любитъ соображать, всегда поступаетъ очертя голову, всегда весь отдается первому влеченію, и даже чувствуетъ нѣкоторое презрѣніе къ тѣмъ людямъ, которые умѣютъ сопротивляться воспринимаемымъ впечатлѣніямъ и переработывать ихъ въ себѣ.

Борисъ, безъ всякаго сомнѣнія умнѣе и глубже Ростова. Ростовъ въ свою очередь гораздо даровитѣе, отзывчивѣе и многостороннѣе Бориса. Въ Борисѣ гораздо больше способности внимательно наблюдать и осторожно обобщать окружающіе факты. Въ Ростовѣ преобладаетъ способность откликаться всѣмъ своимъ существомъ на все, что проситъ и даже на то, что не имѣетъ права просить у сердца отвѣта. Борисъ, при правильномъ развитіи своихъ способностей, могъ-бы сдѣлаться хорошимъ изслѣдователемъ. Ростовъ, при такомъ-же правильномъ развитіи, сдѣлался бы по всей вѣроятности недюжиннымъ художникомъ, поэтомъ, музыкантомъ или живописцемъ.

Существенное различіе между обоими молодыми людьми обозначается съ перваго ихъ шага на житейскомъ поприщѣ. Борисъ, которому нечѣмъ жить, протискивается по милости своей пресмыкающейся матери въ гвардію и живетъ тамъ на чужой счетъ, чтобы только быть на виду и почаще приходить въ соприкосновеніе съ высоко-поставленными особами. Ростовъ, получающій отъ отца по 10,000 рублей въ годъ и имѣющій полную возможность жить въ гвардіи не хуже другихъ офицеровъ, идетъ, пылая воинственнымъ и патріотическимъ жаромъ, въ армейскую кавалерію, чтобы поскорѣе побывать въ дѣлѣ, погарцовать на ретивой лошади и удивить себя и другихъ подвигами лихого наѣздничества. Борисъ ищетъ прочной и осязательной выгоды. Ростовъ желаетъ прежде всего и во что-бы-то ни стало шума, блеска, сильныхъ ощущеній, эффектныхъ сценъ и яркихъ картинъ. Образъ гусара, какъ онъ летитъ въ атаку, машетъ саблей, сверкаетъ очами, топчетъ трепещущаго врага стальными копытами неукротимаго коня, образъ гусара, какъ онъ размашисто и шумно пируетъ въ кругу лихихъ товарищей, прокопченныхъ пороховымъ дымомъ, образъ гусара, какъ онъ, закручивая длинные усы, звеня шпорами, блистая золотыми снурками венгерки, своимъ орлинымъ взоромъ посѣваетъ тревогу и смятеніе въ сердцахъ молодыхъ красавицъ—всѣ эти образы, сливаясь въ одно смутно-обаятельное впечатлѣніе, рѣшаютъ судьбу юнаго и пылкаго графа Ростова, и побуждаютъ его, бросивъ университетъ, въ которомъ онъ, безъ сомнѣнія, находилъ мало для себя привлекательнаго, кинуться стремглавъ и окунуться съ головой въ жизнь армейскаго гусара.

Борисъ вступаетъ въ свой полкъ спокойно и хладнокровно, держитъ себя со всѣми прилично и кротко, но ни съ полкомъ вообще, ни съ кѣмъ-либо изъ офицеровъ въ особенности не завязываетъ никакихъ тѣсныхъ и задушевныхъ отношеній. Ростовъ буквально бросается въ объятія павлоградскаго гусарскаго полка, пристращается къ нему, какъ къ своей новой семьѣ, сразу начинаетъ дорожить его честью, какъ своей собственной, изъ восторженной любви къ этой чести дѣлаетъ опрометчивые поступки, ставитъ себя въ неловкія положенія, ссорится съ полковымъ командиромъ, кается въ своей неосторожности передъ синклитомъ старыхъ офицеровъ и при всей своей юношеской обидчивости и вспыльчивости покорно выслушиваетъ дружескія замѣчанія стариковъ, обучающихъ его уму-разуму и преподающихъ ему основныя начала павлоградской гусарской нравственности.

Борисъ норовитъ улизнуть какъ можно скорѣе изъ полка куда нибудь въ адъютанты. Ростовъ считаетъ переходъ въ адъютанты какой-то измѣной милому и родному павлоградскому полку. Для него это почти все равно, что бросить любимую женщину, чтобы по разсчету жениться на богатой невѣстѣ. Всѣ адъютанты, всѣ «штабные молодчики», какъ онъ ихъ презрительно называетъ, въ его глазахъ какіе-то бездушные и недостойные отступники, продавшіе своихъ

Digitized by Google

братьевъ по оружію за блюдо чечевицы. Подъ вліяніемъ этого презрѣнія онъ безо всякой уважительной причины, къ ужасу и досадѣ Бориса, въ квартирѣ послѣдняго заводитъ ссору съ адъютантомъ Болконскимъ, ссору, которая остается безъ кровопролитныхъ послѣдствій, только благодаря спокойной твердости и самообладанію Болконскаго.

Ростовъ, къ удивленію Бориса, бросаетъ подъ столъ рекомендательное письмо, выхлопотанное ему, Ростову, заботливыми родителями къ князю Багратіону; при этомъ онъ, какъ мы уже знаемъ, прямо называетъ адъютантскую службу лакейской. Онъ не задумывается надъ тѣмъ обстоятельствомъ, что адъютанты совершенно необходимы въ общемъ строѣ военнаго дѣла; онъ не останавливается на томъ соображеніи, что можно быть адъютантомъ, честно исполняя свои обязанности, принося постоянно истинную пользу общему ходу военныхъ дѣйствій и нисколько не унижая ни передъ кѣмъ своего личнаго человѣческаго достоинства. Онъ очевидно не въ состояніи уловить и опредѣлить различіе между писанною и неписанною субординаціей, между служеніемъ лицамъ и служеніемъ дѣлу. Онъ съ негодованіемъ отрицаетъ адъютанство для себя и презираетъ его въ другихъ просто потому, что павлоградскіе офицеры, принимая въ соображеніе его графскій титулъ и хорошее состояніе, на первыхъ порахъ заподозрили его въ намѣреніи выпрыгнуть изъ полка въ адъютанты, а онъ тотчасъ-же съ добродѣтельнымъ ужасомъ сталъ открещиваться и отплевываться отъ такого оскорбительнаго подозрѣнія въ безсердечности.

Борисъ не становится ни къ кому въ восторженно-подобострастныя ученическія отношенія; онъ всегда готовъ тонко и прилично льстить тому человѣку, изъ котораго онъ такъ или иначе надѣется сдѣлать себѣ дойную корову; онъ всегда готовъ подмѣтить въ другомъ, перенять и усвоить себѣ какую-нибудь сноровку, способную доставить ему успѣхъ въ обществѣ и повышеніе по службѣ; но безкорыстное и простодушное обожаніе кого-бы или чего-бы то ни было ему совершенно несвойственно; онъ можетъ стремиться только къ выгодамъ, а никакъ не къ идеалу; онъ можетъ только завидовать и подражать людямъ, обогнавшимъ или обгоняющимъ его по службѣ, но рѣшительно неспособенъ благоговѣть передъ ними, какъ передъ яркими и прекрасными воплощеніями идеала. У Ростова, напротивъ того, идеалы, кумиры и авторитеты, какъ грибы, на каждомъ шагу выростаютъ изъ земли. У него и Васька Денисовъ—идеалъ, и Долоховъ—кумиръ, и штабротмистръ Кирстенъ – авторитетъ. Вѣровать и любить слѣпо, страстно, безпредѣльно, преслѣдуя ненавистью фанатика тѣхъ, кто не преклоняетъ колѣнъ передъ воздвигнутыми идолами—это неистребимая потребность его кипучей природы.

Эта потребность проявляется особенно ярко въ восторженномъ взглядѣ на государя. Вотъ какими чертами графъ Толстой изображаетъ его чувства во время высочайшаго смотра въ Ольмюцѣ. Эти черты характеризуютъ и время, и тотъ слой общества, къ которому принадлежитъ Ростовъ, и личныя особенности самого Ростова.

«Когда государь приблизился на разстояніе 20-ти шаговъ, и Николя ясно, до всѣхъ подробностей, разсмотрѣлъ прекрасное, молодое и счастливое лицо императора, онъ испыталъ чувство нѣжности и восторга, подобнаго которому онъ еще не испытывалъ».

Увидавъ улыбку государя, «Ростовъ самъ невольно началъ улыбаться и почувствовалъ еще сильнѣйшій приливъ любви къ своему государю. Ему хотѣлось выказать чѣмъ-нибудь свою любовь къ государю. Онъ зналъ, что это невозможно, и ему хотѣлось плакать».

Когда государь заговорилъ съ командиромъ павлоградскаго полка, Ростовъ подумалъ, что умеръ-бы отъ счастія, ежели-бы государь обратился къ нему.

Когда государь сталъ благодарить офицеровъ, то «каждое слово слышалось Ростову, какъ звукъ съ неба», и онъ созналъ въ себѣ и сформулировалъ совершенно ясно страстное желаніе «только умереть, умереть за него».

Когда солдаты, «надсаживая свои гусарскія груди», закричали ура, то «Ростовъ закричалъ тоже, пригнувшись къ сѣдлу, что было его силъ, желая повредить себѣ этимъ крикомъ, только чтобы выразить вполнѣ свой восторгъ государю».

Когда государь постоялъ нѣсколько секундъ противъ гусаръ, какъ будто въ нерѣшимости, то «даже и эта нерѣшительность показалась Ростову величественной и обворожительной».

Въ числѣ господъ свиты Ростовъ замѣтилъ Болконскаго, припомнилъ свою ссору съ нимъ у Друбецкого, случившуюся наканунѣ, и задалъ себѣ вопросъ: слѣдуетъ или не слѣдуетъ вызывать его. «Разумѣется, не слѣдуетъ, подумалъ теперь Ростовъ... И стоитъ-ли думать и говорить про это въ такую минуту, какъ теперь? Въ минуту такого чувства любви, восторга и самоотверженія, что значатъ всѣ наши ссоры и обиды? Я всѣхъ люблю, всѣмъ прощаю теперь».

Когда полки проходятъ церемоніальнымъ маршемъ мимо государя, когда Ростовъ на своемъ Бедуинѣ самымъ эффектнымъ образомъ проѣзжаетъ вслѣдъ за своимъ эскадрономъ, и когда государь говоритъ: «молодцы, павлоградцы!» тогда Ростовъ думаетъ: «Боже мой, какъ-бы я счастливъ былъ, еслибы онъ велѣлъ мнѣ сейчасъ броситься въ огонь».

Всѣ эти черты собраны мной и перенесены сюда съ точностью со страницъ 70—73 перваго тома.

Digitized by Google

Три дня спустя, Ростовъ еще разъ видитъ государя и чувствуетъ себя счастливымъ, «какъ любовникъ, дождавшійся ожидаемаго свиданія». Онъ, *не оглядываясь, восторженнымъ чутьемъ* чувствуетъ приближеніе государя. Здѣсь краски, употребляемыя графомъ Толстымъ, вспыхиваютъ такой ослѣпительной яркостью, что я, боясь ослабить или какъ нибудь испортить то впечатлѣніе, которое онѣ должны произвести на читателя, считаю необходимымъ привести цитату во всей ея неприкосновенности.

«И онъ чувствовалъ это (приближеніе) не по одному звуку копытъ лошадей приближавшейся кавалькады, но онъ чувствовалъ это по тому, что по мѣрѣ приближенія все свѣтлѣе, радостнѣе и значительнѣе, и праздничнѣе дѣлалось вокругъ него. Все ближе и ближе подвигалось это солнце для Ростова, распространяя вокругъ себя лучи кроткаго и величественнаго свѣта, и вотъ онъ уже чувствуетъ себя захваченнымъ этими лучами, онъ слышитъ его голосъ—этотъ ласковый, спокойный, величественный и вмѣстѣ съ тѣмъ столь простой голосъ».

Фанатики-жрецы обыкновенно бываютъ болѣе исключительны въ своихъ страстяхъ, чѣмъ то божество, которому они служатъ. Пылая всепоглощающей и ослѣпляющей любовью къ своему божеству, эти жрецы доходятъ часто, путемъ этой любви, до такихъ крайнихъ, уродливыхъ и противоестественныхъ чувствъ, которыя могли бы только оскорбить, возмутить и прогнѣвить божество, еслибы оно узнало о ихъ существованіи.

Ростовъ видитъ государя на площади городка Вишау, гдѣ за нѣсколько минутъ до пріѣзда государя происходила довольно сильная перестрѣлка. На площади лежатъ еще неприбранныя тѣла убитыхъ и раненыхъ. Государь, «склонившись на бокъ, граціознымъ жестомъ держа золотой лорнетъ у глаза», смотритъ на раненаго солдата, лежащаго ничкомъ, безъ кивера, съ окровавленной головой. Государь очевидно соболѣзнуетъ о страданіяхъ раненаго; плечи его содрогаются, какъ бы отъ пробѣжавшаго мороза, и лѣвая нога его судорожно бьетъ шпорой бокъ лошади; одинъ изъ адъютантовъ, угадывая мысли и желанія государя, поднимаетъ солдата подъ руки, а государь, услышавъ стонъ умирающаго, говоритъ: «тише, тише, развѣ нельзя тише?» и при этомъ, по словамъ графа Толстого, видимо страдаетъ больше, чѣмъ самъ умирающій солдатъ. Слезы наполняютъ глаза государя и, обращаясь къ Чарторижскому, онъ говоритъ ему: «quelle terrible chose que la guerre!» Въ это же самое время Ростовъ, весь поглощенный своей восторженной любовью, преимущественно устремляетъ свое вниманіе на то обстоятельство, что солдатъ недостаточно опрятенъ, деликатенъ и великолѣпенъ, чтобы находиться вблизи государя и останавливать на себѣ его взоры. Въ солдатѣ Ростовъ видитъ въ эту минуту не умирающаго человѣка, не мученика, мужественно принявшаго страданіе также за дѣло государя, а только грязное, кровавое пятно, марающее ту картину, на которую обращены глаза государя, пятно, доставляющее государю непріятныя ощущенія, диссонансъ, способный до нѣкоторой степени разстроить нервы государя, наконецъ, такой предметъ, который виноватъ уже тѣмъ, что не можетъ почувствовать *восторженнымъ чутьемъ его приближеніе* и сдѣлаться по мѣрѣ этого приближенія *все свѣтлѣе, и радостнѣе, и значительнѣе, и праздничнѣе*. Вотъ подлинныя слова графа Толстого: «Солдатъ раненый былъ такъ нечистъ, грубъ и гадокъ, что Ростова оскорбила близость его къ государю». Государь, по всей вѣроятности, не остался бы доволенъ, еслибы могъ себѣ представить, что любовь къ нему побуждаетъ молодыхъ офицеровъ его вѣрной и храброй арміи смотрѣть съ отвращеніемъ и почти съ ненавистью на страданія умирающихъ солдатъ.

Борисъ тоже чувствуетъ особенное волненіе, когда приближается къ особѣ государя, но его волненіе совершенно непохоже на то, которое испытываетъ простодушный Ростовъ. Онъ волнуется потому, что чувствуетъ себя возлѣ источника власти, наградъ, почестей, богатства и вообще всѣхъ тѣхъ земныхъ благъ, добыванію которыхъ онъ твердо рѣшился посвятить всю свою жизнь. Онъ думаетъ: ахъ, еслибы мнѣ да пристроиться тутъ по близости, да утвердиться такъ, чтобы меня изо дня въ день постоянно пригрѣвали солнечные лучи! То корыстное волненіе, которое въ подобныхъ случаяхъ овладѣваетъ Борисомъ, только усиливаетъ его внимательность, расторопность и находчивость. Онъ исполняетъ совершенно удовлетворительно два порученія къ государю, данныя ему во время службы, и пріобрѣтаетъ себѣ даже въ глазахъ императора Александра репутацію смышленаго и рачительнаго офицера.

Волненіе, овладѣвающее Ростовымъ, когда онъ видитъ государя и приближается къ нему, отнимаетъ у него способность размышлять и обсуживать свое положеніе. Въ день аустерлицкаго сраженія, посланный съ порученіемъ, которое онъ, если не обязанъ, то по крайней мѣрѣ имѣетъ полное право, и даже уполномоченъ передать государю, Ростовъ встрѣчаетъ государя въ то время, когда битва окончательно и безвозвратно проиграна. Увидавъ государя, Ростовъ по обыкновенію чувствуетъ себя безмѣрно счастливымъ, отчасти потому, что видитъ его, отчасти и главнымъ образомъ потому, что убѣждается собственными глазами въ невѣрности распространившагося слуха о ранѣ государя. Ростовъ знаетъ, что онъ можетъ и

Digitized by Google

даже долженъ прямо обратиться къ государю и передать то, что ему было приказано. Но нахлынувшее на него волненіе отнимаетъ у него возможность во время рѣшиться; «какъ влюбленный юноша дрожитъ и млѣетъ, не смѣя сказать того, о чемъ онъ мечтаетъ ночи, и испуганно оглядывается, ища помощи или возможности бѣгства, когда наступила желанная минута и онъ стоитъ наединѣ съ ней: такъ и Ростовъ теперь, достигнувъ того, чего онъ желалъ больше всего на свѣтѣ, не зналъ, какъ подступить къ государю, и ему представлялись тысячи соображеній, почему это было неудобно, неприлично и невозможно».

Не рѣшившись на то, *чего онъ желалъ больше всего на свѣтѣ*, Ростовъ отъѣзжаетъ прочь, *съ грустью и съ отчаяніемъ въ сердцѣ*, и въ ту же минуту видитъ, что другой офицеръ, увидавъ государя, прямо подъѣзжаетъ къ нему, предлагаетъ ему свои услуги и помогаетъ ему перейти пѣшкомъ черезъ канаву. Ростовъ издали съ завистью и раскаяніемъ видитъ, какъ этотъ офицеръ долго и съ жаромъ говоритъ что-то государю, и какъ государь жметъ руку этому офицеру. Теперь, когда минута пропущена, Ростову представляются новыя тысячи соображеній, почему ему было удобно, прилично и необходимо подъѣхать къ государю. Онъ думаетъ про себя, что онъ, Ростовъ, могъ-бы быть на мѣстѣ того офицера, которому государь пожалъ руку, что его подрѣзала его собственная позорная слабость, и что онъ потерялъ единственный случай выразить государю свою восторженную преданность. Онъ поворачиваетъ лошадь, скачетъ къ тому мѣсту, гдѣ былъ государь—тамъ уже нѣтъ никого. Онъ уѣзжаетъ въ совершенномъ отчаяніи, и въ этомъ отчаяніи—какому-бы тонкому и тщательному анализу мы его ни подвергали—нѣтъ ничего сколько-нибудь похожаго на мысль о томъ вліяніи, которое разговоръ съ государемъ могъ-бы обнаружить на дальнѣйшій ходъ его службы. Это—простодушное и безкорыстное отчаяніе влюбленнаго юноши, у котораго, по милости его же собственной робости, остались тяжелымъ камнемъ на душѣ невысказанныя и давно накипѣвшія слова почтительной страсти.

Самъ Ростовъ неспособенъ анализировать свое чувство; онъ не можетъ задать себѣ вопросъ: почему я испытываю это чувство? не можетъ, во-первыхъ, потому, что вообще не привыкъ пускаться въ психологическія изслѣдованія и отдавать себѣ сколько-нибудь ясный отчетъ въ своихъ ощущеніяхъ; а во-вторыхъ потому, что въ этомъ вопросѣ ему совершенно справедливо чувствуется опасный зародышъ разлагающаго сомнѣнія. Спросить: почему я испытываю то или другое чувство? значитъ задуматься надъ тѣми причинами и основаніями, на которыхъ держится это чувство, приступить къ измѣренію, взвѣшиванію и оцѣнкѣ этихъ причинъ и основаній, и заранѣе подчиниться тому приговору, который, послѣ зрѣлыхъ размышленій, будетъ произнесенъ надъ ними голосомъ нашего собственнаго разсудка. Кто ставитъ себѣ вопросъ: почему? тотъ очевидно чувствуетъ необходимость указать своей страсти извѣстныя границы, на которыхъ она должна остановиться, чтобы не вредить интересамъ цѣлаго. Кто ставитъ вопросъ: почему? тотъ уже признаетъ существованіе такихъ интересовъ, которые для него важнѣе и дороже его чувства, и во имя которыхъ и съ точки зрѣнія которыхъ желательно потребовать у этого чувства отчета въ его происхожденіи. Кто ставитъ вопросъ: почему? тотъ уже обнаруживаетъ способность до нѣкоторой степени отрѣшаться отъ своего чувства и смотрѣть на него со стороны, какъ на явленіе внѣшняго міра, а между чувствами, совершенно неиспытавшими надъ собою этой операціи, и чувствами, на которыя мы хоть разъ, хоть на минуту, взглянули со стороны, взоромъ наблюдателя, *объективнымъ окомъ*, существуетъ огромная разница. Какъ-бы побѣдоносно наше чувство ни выдержало испытаніе, все-таки надъ нимъ неизбѣжно совершится одна существенно важная перемѣна: прежде оно, неизмѣренное и неизслѣдованное, казалось намъ необъятнымъ и безпредѣльнымъ, потому что мы не знали ни его начала, ни его конца, ни его возможныхъ послѣдствій, ни его дѣйствительныхъ основаній; теперь же оно, хотя и очень велико, однако введено въ свои границы, которыя намъ хорошо извѣстны. Прежде оно, само по себѣ, было цѣлымъ міромъ, ни съ чѣмъ несвязаннымъ, живущимъ своей самостоятельной жизнью, повинующимся только своимъ собственнымъ законамъ, которыхъ мы не знали, и неотразимо увлекающимъ насъ въ свою таинственную глубину, въ которую мы погружались съ трепетомъ мучительной радости и робкаго благоговѣнія; теперь оно сдѣлалось явленіемъ среди другихъ явленій нашего внутренняго міра, явленіемъ, на которое дѣйствуютъ многія другія, соприкасающіяся и сталкивающіяся съ нимъ чувства, мысли и впечатлѣнія—явленіемъ, которое подчиняется законамъ, существующимъ внѣ его, и вліяніямъ, дѣйствующимъ на него со стороны.

Очень многія и очень сильныя чувства совсѣмъ не выдерживаютъ испытанія. Вопросъ *почему?* становится ихъ могилою. Удовлетворительный отвѣтъ на этотъ вопросъ оказывается невозможнымъ.

Ростовъ не спрашиваетъ *почему?* не знаетъ почему, и не хочетъ этого знать. Онъ понимаетъ правильнымъ инстинктомъ, что вся сила его чувства заключается въ его совершенной непосредственности, и что самымъ твердымъ

Digitized by Google

оплотомъ служитъ этому чувству то постоянно-раскаленное настроеніе, вслѣдствіе котораго онъ, Ростовъ, всегда готовъ видѣть оскорбленіе святыни во всякой попыткѣ, своей или чужой, стать къ этому чувству или къ какимъ-бы то ни было его проявленіямъ въ сколько-нибудь спокойныя или разсудочныя отношенія.

«Я, говорилъ Людовикъ Святой,—никогда и ни за что не буду разсуждать съ еретикомъ; я просто пойду на него и мечомъ распорю ему брюхо». Такъ точно думаетъ и чувствуетъ Ростовъ. Онъ до послѣдней крайности щекотливъ ко всему, что сколько-нибудь отклоняется отъ тона восторженнаго благоговѣнія. Вотъ какая сцена разыгрывается возлѣ Вишау между Ростовымъ и Денисовымъ:

«Поздно ночью, когда всѣ разошлись, Денисовъ потрепалъ своей коротенькой рукой по плечу своего любимца Ростова.

— Вотъ, на походѣ не въ кого влюбиться, такъ онъ въ Ца'я влюбился, сказалъ онъ.

— Денисовъ, ты этимъ не шути, крикнулъ Ростовъ:—это такое высокое, такое прекрасное чувство, такое...

— Вѣ'ю, вѣ'ю, д'ужокъ, и 'аздѣляю и одоб'яю.

— Нѣтъ, не понимаешь!

И Ростовъ всталъ и пошелъ бродить между костровъ, мечтая о томъ, какое было-бы счастье умереть, не спасая жизнь (объ этомъ онъ не смѣлъ и мечтать), а просто умереть въ глазахъ государя».

На Денисова конечно не можетъ пасть подозрѣніе въ якобинствѣ. Въ этомъ отношеніи онъ стоитъ выше всякаго сомнѣнія, и Ростовъ это знаетъ, но, по своей щекотливости, не можетъ воздержаться отъ вскрикиванія, когда Денисовъ позволяетъ себѣ добродушную дружескую шутку. Въ этой шуткѣ Ростову чувствуется все-таки способность отнестись, хоть на минуту, спокойно и хладнокровно къ предмету его восторженнаго обожанія. Этого уже достаточно, чтобы вызвать съ его стороны вспышку негодованія. Поставьте на мѣсто лихого павлоградскаго гусара и отличнаго товарища Денисова какого-нибудь посторонняго человѣка, замѣните добродушную дружескую шутку словами, выражающими серьезное сомнѣніе, и вы тогда конечно получите въ результатѣ со стороны Ростова не вскрикиваніе, а какой-нибудь рѣзкій, насильственный поступокъ, напоминающій программу Людовика Святого.

Проходитъ два года. Вторая война съ Наполеономъ заканчивается пораженіемъ нашихъ войскъ при Фридландѣ и свиданіемъ императоровъ въ Тильзитѣ. Множество видѣнныхъ событій, политическихъ и неполитическихъ, множество воспринятыхъ впечатлѣній, крупныхъ и мелкихъ, задаютъ уму Ростова мучительную работу, превышающую его силы, и возбуждаютъ въ немъ рой тяжелыхъ сомнѣній, съ которыми онъ не умѣетъ управиться.

Пріѣхавъ въ свой полкъ весною 1807 года, Ростовъ застаетъ его въ такомъ положеніи, что лошади, безобразно худыя, ѣдятъ соломенныя крыши съ домовъ, а люди, не получая никакого провіанта, набиваютъ себѣ желудки какимъ-то сладкимъ Машкинымъ корнемъ, растеніемъ, похожимъ на спаржу, отъ котораго у нихъ пухнутъ руки, ноги и лицо. Въ столкновеніяхъ съ непріятелемъ Павлоградскій полкъ потерялъ только двухъ раненыхъ, а голодъ и болѣзни истребили почти половину людей. Кто попадалъ въ госпиталь—умиралъ навѣрное; и солдаты, больные лихорадкой и опухолью, несли службу, черезъ силу волоча ноги во фронтѣ, лишь бы только не идти въ больницу на вѣрную и мучительную смерть.

Въ обществѣ офицеровъ господствуетъ то убѣжденіе, что всѣ эти бѣдствія происходятъ отъ колоссальныхъ злоупотребленій въ провіантскомъ вѣдомствѣ, и это убѣжденіе поддерживается тѣмъ обстоятельствомъ, что всѣ подвозимые припасы оказываются самого дурного качества. Ужасное и отвратительное положеніе госпиталей и безпорядокъ въ подвозѣ провіанта также не могутъ быть объяснены никакими естественными бѣдствіями, независимыми отъ воли человѣка.

Васька Денисовъ, добродушный, честный и храбрый гусарскій майоръ, любитъ свой эскадронъ, какъ свою семью, и видитъ съ ожесточеніемъ, какъ на его глазахъ хирѣютъ и мрутъ его солдаты. Прослышавъ о томъ, что въ пѣхотный полкъ, стоящій по сосѣдству, идетъ транспортъ провіанта, Денисовъ ѣдетъ насильно отбивать эти припасы, и дѣйствительно выполняетъ свое намѣреніе, разсуждая такъ, что не умирать же, въ самомъ дѣлѣ, павлоградскимъ гусарамъ отъ голода и отъ сладкаго Машкина корня. Полковой командиръ, узнавъ объ этомъ подвигѣ Денисова говоритъ ему, что готовъ смотрѣть на это сквозь пальцы, но совѣтуетъ Денисову съѣздить въ штабъ и уладить дѣло въ провіантскомъ вѣдомствѣ.

Денисовъ ѣдетъ и начинаетъ объясняться съ провіантскимъ чиновникомъ, котораго онъ потомъ, въ разговорѣ съ Ростовымъ, называетъ оберъ-воромъ. Съ первыхъ же словъ Денисовъ говоритъ оберъ-вору, что «разбой не тотъ дѣлаетъ, кто беретъ провіантъ, чтобъ кормить своихъ солдатъ, а тотъ, кто беретъ его, чтобъ класть въ карманъ». Послѣ такого дебюта, полюбовное окончаніе дѣла становится невозможнымъ. По приглашенію оберъ-вора, Денисовъ идетъ росписываться у комиссіонера, и тутъ, за столомъ, видитъ уже настоящаго вора, бывшаго павлоградскаго офицера Телянина, укравшаго у него, Денисова, кошелекъ съ деньгами, уличеннаго въ этомъ Ростовымъ, выключеннаго

Digitized by Google

изъ полка и пристроившагося потомъ къ провіантскому вѣдомству. Тутъ разыгрывается сцена, которую самъ Денисовъ слѣдующимъ образомъ описываетъ Ростову:

«Какъ, ты насъ съ голоду моришь?!» Разъ, разъ по мордѣ, ловко такъ пришлось... «А... распротакой-сякой», и... началъ катать. — За то натѣшился, могу сказать, кричалъ Денисовъ, радостно и злобно изъ-подъ черныхъ усовъ оскаливая свои бѣлые зубы. — Я бы убилъ его, кабы не отняли».

Разумѣется, завязывается дѣло. Майора Денисова обвиняютъ въ томъ, что онъ, отбивъ транспортъ, безъ всякаго вызова, въ пьяномъ видѣ явился къ оберъ-провіантмейстеру, назвалъ его воромъ, угрожалъ побоями, и когда былъ выведенъ вонъ, то бросился въ канцелярію, избилъ двухъ чиновниковъ и одному вывихнулъ руку.

Пока тянется предварительная переписка по этому дѣлу, Денисовъ въ одной рекогносцировкѣ получаетъ рану и уѣзжаетъ въ госпиталь.

Послѣ Фридландскаго сраженія, во время перемирія, Ростовъ ѣдетъ провѣдать Денисова, и собственными глазами видитъ, какой уходъ достается на долю раненымъ героямъ. При самомъ входѣ докторъ предупреждаетъ его, что *тутъ домъ прокаженныхъ, тифъ; кто ни взойдетъ—смертъ*, и что здоровому человѣку не слѣдуетъ входить, если онъ не желаетъ тутъ и остаться. Въ темномъ коридорѣ Ростова охватываетъ такой сильный и отвратительный больничный запахъ, что онъ принужденъ остановиться и собраться съ силами, чтобы идти дальше. Ростовъ входитъ въ солдатскія палаты и видитъ, что тутъ больные и раненые лежатъ въ два ряда, головами къ стѣнамъ, на соломѣ или на собственныхъ шинеляхъ, безъ кроватей. Одинъ больной казакъ лежитъ навзничь, поперекъ прохода, раскинувъ руки и ноги, закативъ глаза и повторяя хриплымъ голосомъ: «испить—пить—испить!» Его никто не поднимаетъ, ему никто не даетъ глотка воды, и больничный служитель, которому Ростовъ приказываетъ помочь больному, только старательно выкатываетъ глаза и съ удовольствіемъ говоритъ: «слушаю, ваше высокоблагородіе», но не трогается съ мѣста. Въ другомъ углу Ростовъ видитъ рядомъ со старымъ безногимъ солдатомъ молодого мертвеца и узнаетъ отъ безногаго старика, что его сосѣдъ «еще утромъ кончился», и что его, несмотря на усиленныя и неоднократныя просьбы больныхъ, до сихъ поръ не убираютъ.

Денисовъ сначала горячо толкуетъ о томъ, что онъ выводитъ на чистую воду казнокрадовъ и разбойниковъ, и читаетъ впродолженіе часа слишкомъ Ростову свои ядовитыя бумаги, писанныя въ отвѣтъ на запросы военно-судной коммиссіи, но потомъ убѣждается, что *плетью обуха не перешибешь*, и вручаетъ Ростову большой конвертъ съ просьбой о помилованіи на имя государя.

Ростовъ ѣдетъ въ Тильзитъ, находитъ случай передать государю просьбу Денисова черезъ одного кавалерійскаго генерала и слышитъ собственными ушами, какъ государь отвѣчаетъ громко:

— Не могу, генералъ, и потому не могу, что законъ сильнѣе меня.

Въ Тильзитѣ Ростовъ видитъ радостныя лица, блестящіе мундиры, сіяющія улыбки, свѣтлыя картины мира, изобилія и роскоши—самую рѣзкую противоположность всего того, что онъ видѣлъ въ землянкахъ Павлоградскаго полка и на поляхъ сраженія, и въ томъ домѣ прокаженныхъ, въ которомъ изнываетъ раненый подсудимый Денисовъ.

Эта противоположность смущаетъ его, нагоняетъ къ нему въ голову вихри непрошенныхъ мыслей и поднимаетъ въ душѣ его тучи небывалыхъ сомнѣній. Борисъ сразу, безъ малѣйшей борьбы, призналъ генерала Буонапарте императоромъ Наполеономъ и великимъ человѣкомъ, и даже постарался устроить такъ, чтобы его готовность и старательность по этой части была замѣчена начальствомъ и вмѣнена ему въ достоинство. Борисъ такъ-же охотно и съ такой-же пріятной улыбкой призналъ-бы уличеннаго вора Телянина за честнѣйшаго человѣка и за доблестнѣйшаго патріота, ежели-бы такое признаніе могло понравиться начальству. Борисъ, безъ всякаго сомнѣнія, не позволилъ-бы себѣ разбойничьяго нападенія на свои же русскіе транспорты, чтобы доставить обѣдъ и ужинъ голоднымъ солдатамъ своей роты. Борисъ конечно не произвелъ-бы дикаго насилія надъ особой русскаго чиновника, какими-бы двусмысленными поступками не было наполнено прошедшее этого чиновника. Борисъ, разумѣется, охотнѣе протянулъ-бы руку Телянину, котораго начальство признаетъ честнымъ гражданиномъ, чѣмъ Денисову, котораго военный судъ будетъ принужденъ наказать, какъ грабителя и буяна.

Еслибы Ростовъ былъ способенъ усвоить себѣ беззастѣнчивую и неустрашимую гибкость Бориса, еслибы онъ разъ навсегда отодвинулъ въ сторону желаніе любить то, чему онъ служитъ, и служить тому, что онъ любитъ—то конечно тильзитскія сцены своимъ блескомъ произвели-бы на него самое пріятное впечатлѣніе, госпитальные міазмы заставили-бы его только покрѣпче зажимать себѣ носъ, а денисовское дѣло навело-бы его на поучительныя размышленія о томъ, какъ вредно бываетъ для человѣка неумѣнье обуздывать свои страсти. Онъ не сталъ-бы смущаться контрастами и противорѣчіями; довольствуясь той истиной, что существующее существуетъ и что для успѣшнаго прохожденія служебнаго поприща надо изучать требованія дѣйствительности и приноровляться къ нимъ, онъ не сталъ-бы настоятельно желать, чтобы все существующее было въ самомъ себѣ стройно, разумно и прекрасно.

Digitized by Google

Но Ростовъ не видитъ и не понимаетъ, за какія заслуги генералъ Бонапарте произведенъ въ императоры Наполеоны; онъ не видитъ и не понимаетъ, почему онъ, Ростовъ, сегодня долженъ любезничать съ тѣми французами, которыхъ онъ вчера долженъ былъ рубить саблей; почему Денисовъ за свою любовь къ солдатамъ, которыхъ онъ обязанъ былъ беречь и лелѣять, и за свою ненависть къ ворамъ, которыхъ ему никто не приказывалъ любить, долженъ быть разстрѣлянъ, или по меньшей мѣрѣ разжалованъ въ солдаты; почему люди, храбро сражавшіеся и честно исполнявшіе свой долгъ, должны подъ присмотромъ фельдшеровъ и военныхъ медиковъ умирать медленной смертью въ домахъ прокаженныхъ, въ которые опасно входить здоровому человѣку; почему негодяи, подобные исключенному офицеру Телянину, должны имѣть обширное и дѣятельное вліяніе на судьбу русской арміи.

Опытный человѣкъ на мѣстѣ Ростова успокоился бы на томъ соображеніи, что абсолютное совершенство недостижимо, что человѣческія силы ограничены, и что ошибки и внутреннія противорѣчія составляютъ неизбѣжный удѣлъ всѣхъ людскихъ начинаній. Но опытность пріобрѣтается цѣной разочарованій, а первое разочарованіе, первое жестокое столкновеніе блестящихъ ребяческихъ иллюзій съ грубыми и неопрятными фактами дѣйствительной жизни составляетъ обыкновенно рѣшительный поворотный пунктъ въ исторіи того человѣка, который его испытываетъ.

Послѣ этого перваго столкновенія, цѣльныя вѣрованія дѣтства въ легкое, неизбѣжное и всегдашнее торжество добра и правды, вѣрованія, вытекающія изъ незнанія зла и лжи— оказываются разбитыми; человѣкъ видитъ себя среди колеблющихся развалинъ; онъ старается прицѣпиться къ осколкамъ того зданія, въ которомъ онъ надѣялся благополучно провести всю свою жизнь; онъ ищетъ въ грудѣ разрушенныхъ иллюзій хоть чего нибудь крѣпкаго и прочнаго; онъ пытается построить себѣ изъ уцѣлѣвшихъ обломковъ новое зданіе, поскромнѣе, но за то и понадежнѣе перваго; эта попытка ведетъ за собой неудачу и порождаетъ новое разочарованіе. Развалины разлагаются на свои составныя части; обломки крошатся на мелкіе кусочки и превращаются въ тонкую пыль подъ руками человѣка, добросовѣстно старающагося удержать ихъ въ цѣлости. Идя отъ разочарованія къ разочарованіямъ, человѣкъ приходитъ наконецъ къ тому убѣжденію, что всѣ его мысли и чувства, напущенныя въ него неизвѣстно когда и выросшія вмѣстѣ съ нимъ, нуждаются въ самой тщательной и строгой провѣркѣ. Это убѣжденіе становится исходной точкой того процесса развитія, который можетъ привести человѣка къ болѣе или менѣе ясному и отчетливому пониманію всего окружающаго.

Мужественно выдержать первое разочарованіе способенъ не всякій. Къ числу этихъ неспособныхъ принадлежитъ и нашъ Ростовъ. Вмѣсто того, чтобы вглядѣться въ тѣ факты, которые опрокидываютъ его младенческія иллюзіи, онъ съ трусливымъ упорствомъ и съ малодушнымъ ожесточеніемъ зажмуриваетъ глаза и гонитъ прочь свои мысли, какъ только онѣ начинаютъ принимать черезчуръ непривычное для него направленіе. Ростовъ не только зажмуривается самъ, но также съ фанатическимъ усердіемъ старается зажимать глаза другимъ.

Потерпѣвъ неудачу по денисовскому дѣлу и насмотрѣвшись на тильзитскій блескъ, коловшій ему глаза, Ростовъ избираетъ благую часть, которая никогда не отнимется отъ нищихъ духомъ и богатыхъ наличными деньгами. Онъ заливаетъ свои сомнѣнія двумя бутылками вина и, доведя свою гусарскую лихость до надлежащихъ размѣровъ, начинаетъ кричать на двухъ офицеровъ, выражавшихъ свое неудовольствіе по поводу тильзитскаго мира.

— И какъ вы можете судить, что́ было бы лучше! закричалъ онъ съ лицомъ, вдругъ налившимся кровью.— Какъ вы можете судить о поступкахъ государя, какое мы имѣемъ право разсуждать?! Мы не можемъ понять ни цѣли, ни поступковъ государя!

— Да я ни слова не говорилъ о государѣ, оправдывался офицеръ, иначе, какъ тѣмъ, что Ростовъ пьянъ, не могущій объяснить себѣ его вспыльчивости.

Но Ростовъ не слушалъ его.

— Мы не чиновники дипломатическіе, а мы солдаты, и больше ничего, продолжалъ онъ:— умирать велятъ намъ — такъ умирать (этими словами Ростовъ разрѣшаетъ сомнѣнія, возбужденныя въ немъ *домомъ прокаженныхъ*). А коли наказываютъ, такъ, значитъ, виноватъ; не намъ судить (это — по денисовскому дѣлу). Угодно государю императору признать Бонапарте императоромъ и заключить съ нимъ союзъ, значитъ, такъ надо, (а это примиреніе съ тильзитскими сценами). А то, коли бы мы стали обо всемъ судить да разсуждать, такъ этакъ ничего святого не останется. Этакъ мы скажемъ, что ни Бога нѣтъ, ничего нѣтъ, ударяя по столу, кричалъ Николай, весьма некстати, по понятіямъ своихъ собесѣдниковъ, но весьма послѣдовательно по ходу своихъ мыслей.

— Наше дѣло исполнять свой долгъ, рубиться и не думать, вотъ и все, заключилъ онъ.

— И пить, сказалъ одинъ изъ офицеровъ, не желавшій ссориться.

— Да, и пить, подхватилъ Николай.—Эй ты! Еще бутылку! крикнулъ онъ.

Digitized by Google

Во-время выпитыя двѣ бутылки наградили молодого графа Ростова вѣрнѣйшимъ лекарствомъ противъ разочарованій, сомнѣній и всевозможной мучительной внутренней ломки и переборки. Кому посчастливилось во время первой умственной бури открыть спасительную формулу: *наше дѣло не думать*, и успокоить себя этой формулой, хотя бы на минуту, хотя бы при содѣйствіи двухъ бутылокъ—тотъ по всей вѣроятности всегда будетъ убѣгать подъ защиту этой формулы, какъ только въ немъ начнутъ шевелиться неудобныя сомнѣнія и его станетъ одолѣвать тревожный позывъ къ свободному изслѣдованію. *Наше дѣло не думать*—это такая неприступная позиція, которую не могутъ разбить никакія свидѣтельства опыта и передъ которой останутся безсильными всякія доказательства. Свободной мысли негдѣ высадиться и ей невозможно укрѣпиться на томъ берегу, на которомъ возвышается эта твердыня. Спасительная формула подрѣзываетъ ее при первомъ ея появленіи. Чуть только человѣкъ захватитъ самого себя на дѣлѣ взвѣшиванія и сопоставленія воспринятыхъ впечатлѣній, чуть только онъ подмѣтитъ въ себѣ поползновеніе размышлять и обобщать невольно собранные факты—онъ тотчасъ, опираясь на свою формулу и припоминая то чудесное успокоеніе, которое она ему доставила, скажетъ себѣ, что это грѣхъ, что это дьявольское навожденіе, что это болѣзнь, и пойдетъ лечиться виномъ, крикомъ, цыганами, псовой охотой и вообще той пестрой смѣной сильныхъ ощущеній, которую можетъ доставить себѣ плотно-сложенный и состоятельный русскій дворянинъ.

Если вы станете доказывать такому укрѣпившемуся человѣку, что его спасительная формула неразумна, то ваши доказательства пропадутъ даромъ. Формула и съ этой стороны обнаружитъ свою несокрушимость. Драгоцѣннѣйшее изъ ея достоинствъ состоитъ именно въ томъ, что она не нуждается ни въ какихъ разумныхъ основаніяхъ и даже исключаетъ возможность такихъ основаній. Въ самомъ дѣлѣ, чтобы доказывать разумность или неразумность формулы, чтобы нападать или защищать ее, надо думать, а такъ какъ *наше дѣло не думать*, то и всякаго рода доказыванія, сами по себѣ, независимо отъ тѣхъ цѣлей, къ которымъ они клонятся, должны быть признаны излишними и предосудительными.

Ростовъ остается неизмѣнно вѣренъ правилу, открытому въ тильзитскомъ трактирѣ, при содѣйствіи двухъ бутылокъ вина. Мышленіе не обнаруживаетъ никакого вліянія на всю его дальнѣйшую жизнь. Сомнѣнія не нарушаютъ больше его душевнаго спокойствія. Онъ знаетъ и хочетъ знать только свою службу и благородныя развлеченія, свойственныя богатому помѣщику и лихому гусару. Его умъ отказывается отъ всякой работы, даже отъ той, которая необходима для спасенія родового имущества отъ козней плутующаго, но очевидно малограмотнаго приказчика Митеньки.

Онъ съ большой энергіей кричитъ на Митеньку и очень ловко толкаетъ его ногой и колѣнкой подъ задъ, но послѣ этой бурной сцены Митенька остается полновластнымъ распорядителемъ въ имѣніи, и дѣла продолжаютъ идти прежнимъ порядкомъ.

Не умѣя даже привести въ порядокъ свои денежныя дѣла и унять домашняго вора, Ростовъ тѣмъ болѣе не умѣетъ и не желаетъ осмысливать свою жизнь какимъ-нибудь занятіемъ, требующимъ сколько-нибудь сложныхъ и послѣдовательныхъ умственныхъ операцій. Книги для него повидимому не существуютъ. Чтеніе кажется не занимаетъ въ его жизни никакого мѣста, даже какъ средство убивать время. Даже московская свѣтская жизнь представляется ему слишкомъ запутанной и мудреной, слишкомъ переполненной сложными соображеніями и головоломными тонкостями. Его удовлетворяетъ вполнѣ только жизнь въ полку, гдѣ все опредѣлено и размѣрено, гдѣ все ясно и просто, гдѣ думать рѣшительно не о чемъ и гдѣ нѣтъ мѣста для колебаній и свободнаго выбора. Ему нравится полковая жизнь въ мирное время, нравится именно тѣмъ, чѣмъ она невыносима человѣку, сколько-нибудь способному мыслить: нравится своей спокойной праздностью, невозмутимой рутинностью, сонливымъ однообразіемъ и тѣми оковами, которыя она налагаетъ на всевозможныя проявленія личной изобрѣтательности и оригинальности.

Такъ какъ міръ мысли закрытъ для Ростова, то развитіе его на двадцатомъ году жизни оказывается законченнымъ. Къ двадцати годамъ все содержаніе жизни для него уже исчерпано; ему остается только сначала грубѣть и глупѣть, а потомъ дряхлѣть и разлагаться. Это отсутствіе будущности, это роковое безплодіе и неизбѣжное увяданіе скрыты отъ глазъ поверхностнаго наблюдателя внѣшнимъ видомъ свѣжести, силы и отзывчивости. Глядя на Ростова, поверхностный наблюдатель скажетъ съ удовольствіемъ: какъ въ этомъ молодомъ человѣкѣ много огня и энергіи! Какъ смѣло и весело онъ смотритъ на жизнь! Какое въ немъ обиліе неиспорченной и нерастраченной юности!

На такого поверхностнаго наблюдателя Ростовъ произведетъ по всей вѣроятности отрадное впечатлѣніе, Ростовъ ему понравится, какъ онъ, безъ сомнѣнія, понравился многимъ читателямъ и даже быть можетъ самому автору романа. Поверхностному наблюдателю не придетъ въ голову, что въ Ростовѣ нѣтъ именно того, что составляетъ самую существенную и глу-

Digitized by Google

боко-трогательную прелесть здоровой и свѣжей молодости.

Когда мы смотримъ на сильное и молодое существо, то насъ волнуетъ радостная надежда, что его силы выростутъ, развернутся, приложатся къ дѣлу, примутъ дѣятельное участіе въ великой житейской борьбѣ, увеличатъ хоть немного массу существующаго на землѣ живительнаго счастья и уничтожатъ хоть частицу накопившихся нелѣпостей, безобразій и страданій. Мы еще не знаемъ той границы, на которой остановится развитіе этихъ силъ, и именно эта неизвѣстность составляетъ въ нашихъ глазахъ величайшую обаятельность молодого существа. Кто знаетъ?—думаемъ мы: — можетъ быть тутъ вырабатывается передъ нами что-то очень большое, чистое, свѣтлое, сильное и неустрашимое. Молодое существо, полное жизни и энергіи, составляетъ для насъ самую занимательную загадку, и эта загадочность придаетъ ему особенную привлекательность.

Именно этой обаятельной загадочности нѣтъ въ Ростовѣ, и только поверхностный наблюдатель можетъ, глядя на него, сохранять неопредѣленную надежду, что его нерастраченныя силы на чемъ-нибудь хорошемъ сосредоточатся и къ чему-нибудь дѣльному приложатся. Только поверхностный наблюдатель можетъ, любуясь его живостью и пылкостью, оставлять въ сторонѣ вопросъ о томъ, пригодится-ли на что-нибудь эта живость и пылкость

Поверхностный наблюдатель способенъ залюбоваться юношеской горячностью Ростова, напримѣръ во время псовой охоты, когда онъ обращается къ Богу съ мольбой о томъ, чтобы волкъ вышелъ на него, когда онъ говоритъ, изнемогая отъ волненія: «ну, что́ Тебѣ стоитъ сдѣлать это для меня? Знаю, что Ты великъ и что грѣхъ Тебя просить объ этомъ; но ради Бога сдѣлай, чтобы на меня вылѣзъ матерый и чтобы Карай, на глазахъ дядюшки, который вонъ оттуда смотритъ, влѣпился ему мертвой хваткой въ горло»,—когда онъ во время травли переходитъ отъ безпредѣльной радости къ самому мрачному отчаянію, съ плачемъ называетъ стараго кобеля Карая отцомъ и наконецъ чувствуетъ себя счастливымъ, видя волка, окруженнаго и разрываемаго собаками.

Кто не останавливается на веселой наружности явленій, того шумная и оживленная сцена охоты наведетъ на самыя печальныя размышленія. Если такая мелочь, такая дрянь, какъ борьба волка съ нѣсколькими собаками, можетъ доставить человѣку полный комплектъ сильныхъ ощущеній, отъ изступленнаго отчаянія до безумной радости, со всѣми промежуточными полутонами и переливами, то зачѣмъ же этотъ человѣкъ будетъ заботиться о расширеніи и углубленіи своей жизни? Зачѣмъ ему искать себѣ работы, зачѣмъ ему создавать себѣ интересы въ обширномъ и бурномъ морѣ общественной жизни, когда конюшня, псарня и ближайшій лѣсъ съ избыткомъ удовлетворяютъ всѣмъ потребностямъ его нервной системы?

Разборъ отношеній Ростова къ любимой женщинѣ, анализъ другихъ характеровъ, болѣе сложныхъ, именно: Пьера Безухова, князя Андрея Болконскаго и Наташи Ростовой, а также общіе выводы касательно всего общества, изображеннаго въ романѣ, я считаю необходимымъ отложить до выхода въ свѣтъ четвертаго тома.

МИСТИЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ.

(Spiritual Wives. By William Hepworth Dixon. In two volumes. London. 1868).

Уильямъ Гепвортъ Диксонъ, авторъ замѣчательной книги «Новая Америка», издалъ въ началѣ нынѣшняго года новую книгу, подъ заглавіемъ: «Spiritual Wives» (Духовныя жены). Въ этой книгѣ онъ описываетъ три религіозныя движенія, въ которыхъ женщины принимали дѣятельное участіе, играли видныя роли и становились къ мужчинамъ, управлявшимъ движеніемъ, въ совершенно своеобразныя отношенія такъ называемаго духовнаго супружества. Всѣ эти движенія относятся къ первой половинѣ текущаго столѣтія. Первое изъ нихъ произошло въ Восточной Пруссіи, второе—въ Англіи, третье—въ Америкѣ.

«Предметъ, говоритъ Диксонъ въ предисловіи къ своей книгѣ,—о которомъ я поведу рѣчь на этихъ страницахъ, настолько новъ, что врядъ-ли хоть одинъ изъ разсказанныхъ здѣсь фактовъ можетъ быть найденъ въ книгахъ. Человѣкъ въ своей высшей фазѣ до сихъ поръ врядъ-ли еще сдѣлался достояніемъ науки, и тѣ исторіи, въ которыхъ обнаружились его духовныя страсти, еще должны быть собираемы. Одна глава изъ одной такой исторіи предла-

Digitized by Google

гается не безъ робости въ теперешнемъ моемъ трудѣ.

«Я собиралъ мои факты въ разныхъ мѣстахъ, далеко отстоящихъ одно отъ другого: въ прибалтійскихъ провинціяхъ, въ западной Англіи, на берегахъ озера Онтаріо, въ городахъ Новой Англіи. Во всѣхъ этихъ случаяхъ я самъ видѣлся съ людьми и осматривалъ мѣста».

Факты, собранные Диксономъ, очень интересны и разсказаны съ той живостью и наглядностью, о которой читатели «Новой Америки» могли уже составить себѣ достаточно ясное понятіе. Къ сожалѣнію живые и очень интересные разсказы переплетены растянутыми и туманными разсужденіями о томъ, какъ росла и развивалась идея духовнаго супружества. Эти разсужденія не даютъ читателю никакихъ новыхъ знаній и не приводятъ его ни къ какому осязательному результату. Эти разсужденія никакъ не могутъ быть названы историческими изслѣдованіями. Это какіе-то историческіе арабески, которые чертитъ безъ малѣйшей надобности рука даровитаго писателя, хорошо владѣющаго языкомъ, получившаго блестящее литературное образованіе и беззаботно почерпающаго изъ готоваго запаса своихъ знаній разные слабо связанные между собой факты.

Духъ готической расы и вліяніе Испаніи на развитіе католическаго догмата, Гёте и Сведенборгъ, европейскіе коммунисты и американскіе поклонники свободной любви появляются и исчезаютъ въ этихъ разсужденіяхъ, привлекаютъ къ себѣ на минуту вниманіе читателя и затѣмъ оставляютъ его въ недоумѣніи и въ невозможности рѣшить вопросъ, зачѣмъ они вынырнули и зачѣмъ такъ скоро уступили свое мѣсто другимъ, столь-же мимолетнымъ явленіямъ.

Книга Диксона вообще растянута какъ въ литературномъ, такъ и въ типографскомъ отношеніи. Тотъ матеріалъ, который легко можно было втиснуть въ одинъ небольшой томикъ, разведенъ на двѣ толстыя книги. Русскій переводъ «Духовныхъ женъ», вызванный по всей вѣроятности успѣхомъ «Новой Америки», можетъ, какъ намъ кажется, быть признанъ излишнимъ. Все содержаніе новой книги Диксона, безспорно заключающей въ себѣ очень интересныя подробности по внутренней психологической исторіи новѣйшихъ сектъ, легко можетъ быть исчерпано въ журнальной статьѣ обыкновенныхъ размѣровъ.

Это я и постараюсь сдѣлать на слѣдующихъ страницахъ, но такъ какъ въ нашемъ журналѣ печатается отдѣльная, очень обстоятельная статья объ американскомъ сектаторствѣ, то я здѣсь перескажу читателю только то, что́ Диксонъ сообщаетъ о религіозныхъ движеніяхъ въ восточной Пруссіи и въ Англіи.

КЕНИГСБЕРГСКІЕ ПІЕТИСТЫ.

I.

У одного рослаго и красиваго гренадера, служившаго въ арміи Фридриха II, родился въ Мемелѣ въ 1771 году сынъ Іоаннъ-Генрихъ. Фамилія гренадера была Шёнгагенъ, но австрійцы, взявшіе его въ плѣнъ во время семилѣтней войны, прозвали его за красоту *Schönherr* (красивый господинъ), и это прозваніе замѣнило собой его фамилію.

Когда Іоанну-Генриху Шёнгерру минуло пятнадцать лѣтъ, родители отправили его въ Кенигсбергъ учиться ремеслу. Ученіе пошло неуспѣшно; вмѣсто того, чтобы заниматься работой, юноша сталъ ходить по церквамъ, слушать тогдашнихъ извѣстныхъ проповѣдниковъ, читать библію и задумываться надъ мудреными вопросами, которыхъ онъ не умѣлъ даже поставить, какъ слѣдуетъ. Въ Кенигсбергѣ, какъ и въ другихъ нѣмецкихъ университетскихъ городахъ, бѣдныхъ студентовъ всегда бываетъ довольно; ихъ было особенно много въ восьмидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія, когда лекціи Канта привлекали въ Кенигсбергъ любознательную молодежь изъ всѣхъ концовъ Германіи. Шёнгерру нетрудно было сойтись съ такими студентами и вызвать ихъ на философскіе разговоры, въ которыхъ восторженные слушатели Канта по всей вѣроятности приписывали своему обожаемому учителю много такого, въ чемъ онъ былъ неповиненъ и отъ чего онъ самъ не преминулъ-бы отказаться. Идеи Канта, проходя такимъ образомъ черезъ руки неприготовленныхъ популяризаторовъ, падали на дѣвственную почву молодого ума и, смѣшиваясь на этой почвѣ съ тирадами изъ проповѣдей и съ отрывками изъ библіи, производили совершенный хаосъ, изъ котораго врядъ-ли могло выработаться что-либо путное.

Шёнгерръ былъ очень любознателенъ; онъ быть можетъ былъ даже уменъ отъ природы, но впечатлѣнія, налетѣвшія на него съ разныхъ сторонъ въ Кенигсбергѣ, были такого рода, что его голова не могла переработать ихъ благополучно. Не имѣя никакихъ фактическихъ знаній, онъ сталъ задумываться о сущности вещей, о добрѣ и злѣ о назначеніи человѣка и о безсмертіи души. Свою мучительную любознательность, тревожную жажду своего ума онъ сталъ принимать за доказательство, что въ немъ дѣйствуютъ высшія силы, что онъ призванъ учить и спасать другихъ, и что два-три года прилежныхъ школьныхъ занятій снимутъ съ духовныхъ очей его всѣ завѣсы и облекутъ его на всю жизнь въ то всеоружіе истины, которымъ онъ будетъ покорять умы и сердца людей.

Digitized by Google

Окончательно бросивъ свое ремесло, Шёнгерръ поступилъ въ школу для бѣдныхъ, гдѣ воспитанниковъ нетолько учили даромъ, но и кормили. Учебники его конечно не удовлетворяли. Что общаго могли имѣть правила нѣмецкой грамматики или теоремы элементарной геометріи съ вопросами о сущности вещей и о загробной жизни человѣка? Шёнгерръ пробовалъ читать теологическіе трактаты, но при его круглом невѣжествѣ справляться съ ними было невозможно; онъ ихъ бросилъ, рѣшивъ про себя, что вся теологія сводится на пустую игру словами.

Доживъ до двадцати одного года и окончательно попортивъ свой умъ изнурительными и безплодными попытками сразу угадать смыслъ всего существующаго, Шёнгерръ сталъ ходить въ университетъ на лекціи философіи. Тамъ онъ по своему обыкновенію ничего не понялъ и также по своему обыкновенію скоро рѣшилъ, что нечего и понимать. Забраковавъ всю кенигсбергскую мудрость и ученость, онъ пошелъ пѣшкомъ искать себѣ умственнаго просвѣтлѣнія въ другихъ университетскихъ городахъ сѣверной Германіи, и также ничего не нашелъ Вездѣ онъ хотѣлъ начинать съ конца, вездѣ хотѣлъ, ничему не учившись, сразу узнать все, и преимущественно то, чего не знаетъ ни одинъ ученый въ мірѣ. Фокусъ этотъ нигдѣ ему не удавался, и Шёнгерръ, подъ вліяніемъ этихъ разочарованій, все глубже и глубже проникался тѣмъ убѣжденіемъ, что непремѣнно надо найти и возвѣстить людямъ неизвѣстную имъ истину.

Во время своихъ скитаній, сидя однажды на берегу пруда и глядя на водяныя растенія, Шёнгерръ вдругъ напалъ на то великое открытіе, за которымъ до сихъ поръ безуспѣшно бѣгалъ по Германіи. Онъ мгновенно сообразилъ, что вода и свѣтъ составляютъ основныя начала всего существующаго, что вода—женскій принципъ, а свѣтъ—мужской, и что эти два первичныя вещества, связанныя между собою узами вѣчнаго и необходимаго брака, достаточны для объясненія всего мірозданія. Это открытіе было такъ неожиданно и показалось Шёнгерру въ такой степени великимъ и замѣчательнымъ, что онъ приписалъ его внушенію свыше. Это внушеніе, какъ онъ думалъ, было сдѣлано для того, чтобы приготовить міръ ко второму пришествію Спасителя. А такъ-какъ это внушеніе было сдѣлано именно ему, Шёнгерру, то онъ принялъ себя за избранное орудіе этого приготовленія и объявилъ себя Параклетомъ, явившимся во плоти.

Что круглый невѣжда, одаренный пылкимъ воображеніемъ, сочинилъ нелѣпую теорію міра, что онъ самъ увѣровалъ въ эту теорію со всей слѣпой страстностью нетронутаго невѣжества, что онъ даже помѣшался на своей теоріи и въ припадкѣ помѣшательства объявилъ самого себя Богомъ—въ этомъ нѣтъ ничего особенно удивительнаго и замѣчательнаго: невѣжды часто создаютъ нелѣпыя теоріи, люди часто сходятъ съума, и выдумки сумасшедшихъ обыкновенно бываютъ въ высшей степени нескладны. Но удивительно и замѣчательно то, что, вооружившись своимъ безуміемъ, Шёнгерръ пошелъ проповѣдывать по городамъ и селамъ, и что проповѣдь его, въ вѣкъ Вольтера и Руссо, на родинѣ Канта и Гёте, Лессинга, Шиллера и Фихте, не осталась безплодной.

Правда, что одинъ деревенскій пасторъ, которому Шёнгерръ грозилъ немедленной смертью, если онъ не повѣритъ тотчасъ въ теорію воды и свѣта, сбросилъ съ лѣстницы непрошеннаго гостя; правда, что въ Лейпцигѣ одинъ доброжелатель параклета изъ человѣколюбія пристроилъ его въ мѣстной психіатрической лечебницѣ, въ которой Шёнгерръ, рѣшившись поститься сорокъ дней, чуть не уморилъ себя голодомъ. Но правда и то, что у него были вѣрующіе ученики и преданные поклонники. Одинъ изъ этихъ учениковъ спасъ его въ лечебницѣ отъ голодной смерти, подавъ ему ту мысль, что всѣ святые пророки ѣли медъ, и что онъ, Шёнгерръ, не нарушая своего поста, можетъ поддерживать свои силы этой небесной манной.

Ученикамъ удалось освободить его изъ съумасшедшаго дома. Онъ отправился въ Кёнигсбергъ. Тамъ о немъ уже слышали, и носившіеся слухи были на столько привлекательны, что, какъ только онъ появился, къ нему примкнули и въ него увѣровали трое молодыхъ теологовъ: Вильгельмъ Эбель, Германъ Ольсгаузенъ и Гейнрихъ Дистель.

Изъ своей теоріи воды и свѣта Шёнгерръ вывелъ какимъ-то образомъ то ученіе, что теперь время плотской любви прошло, и что въ обществѣ, обновленномъ вѣрою въ параклета, возможна только любовь духовная. Именно это ученіе повидимому и привлекло къ нему молодыхъ теологовъ.

Вильгельмъ Эбель, блестящій молодой человѣкъ, отлично кончившій курсъ въ университетѣ, занималъ видное мѣсто при одной изъ главныхъ кёнигсбергскихъ церквей. Уже бывши студентомъ, онъ съ успѣхомъ давалъ уроки закона божія въ знатныхъ домахъ и въ модныхъ женскихъ пансіонахъ. Пріобрѣтенныя такимъ образомъ связи разрослись въ значительной степени, когда проповѣди Эбеля стали привлекать въ альтштадтскую церковь всѣхъ набожныхъ кёнигсбергскихъ аристократовъ обоего пола и всякаго возраста. Эбель сдѣлался любимцемъ мѣстной знати; онъ могъ разсчитывать на самую блестящую карьеру; онъ обнаруживалъ желаніе и умѣнье воспользоваться всѣми выгодами своего положенія; и однакоже, когда въ Кенигсбергъ явился полоумный нищій, параклетъ Шёнгерръ, начитанный, даровитый и остроумный Эбель призналъ его своимъ учите-

Digitized by Google

лемъ и познакомилъ съ нимъ двоихъ изъ своихъ знатныхъ друзей, графа Каница и фрейлейнъ Минну фонъ-Дершау.

Шёнгерръ роздалъ всѣмъ своимъ новымъ адептамъ имена, взятыя изъ апокалипсиса. Эбеля онъ назвалъ первымъ свидѣтелемъ; Каница—ангеломъ; Минну фонъ-Дершау—невѣстою агнца; Дистеля—сломителемъ седьмой печати.

Благодаря своимъ новымъ знакомствамъ, Шёнгерръ могъ безпрепятственно проповѣдывать въ Кёнигсбергѣ по два раза въ недѣлю. Нѣкоторыя изъ своихъ проповѣдей онъ произносилъ въ полночь; гдѣ именно онъ проповѣдывалъ — этого Диксонъ намъ не сообщаетъ; впрочемъ вопросъ о мѣстѣ имѣетъ мало вліянія на сущность дѣла; во всякомъ случаѣ проповѣди его собирали вокругъ него толпу слушателей и производили сильное впечатлѣніе. Онъ самъ любилъ обращаться преимущественно къ низшимъ и бѣднѣйшимъ классамъ кёнигсбергскаго населенія; лодочники съ Прегеля, разные городскіе работники и крестьяне изъ подгородныхъ фермъ слушали его разсказы о приближеніи страшнаго суда съ простодушнымъ благоговѣніемъ, которое не мѣшало имъ пить дешевое пиво и покуривать трубки.

Въ 1809 году Эбель объявилъ публично, что онъ вѣруетъ въ ученіе Шёнгерра о двойственномъ началѣ всего существующаго. Духовному начальству не понравилось это объявленіе; были сдѣланы попытки взвести на Эбеля и Шёнгерра обвиненія въ ереси; были поданы доносы мѣстному архіепископу Боровскому; были приложены старанія повести Эбеля подъ судъ и выгнать Шёнгерра изъ Кёнигсберга; но всѣ эти усилія остались безплодными. Боровскій нашелъ, что Шёнгерръ безвредный энтузіастъ, котораго не стоитъ притѣснять; а нѣкоторыя духовныя лица, ознакомившись съ космогоническими идеями Шёнгерра, пришли даже къ тому убѣжденію, что онѣ гораздо ближе подходятъ къ библейской истинѣ, чѣмъ тѣ умствованія, которыя распространяетъ въ обществѣ испорченная и нечестивая свѣтская наука.

Связь Эбеля съ Шёнгерромъ не была порождена мимолетной вспышкой молодого увлеченія. Эта связь продолжалась нѣсколько лѣтъ, и съ годами повидимому крѣпла, вмѣсто того чтобы ослабѣвать. Въ 1816 году Эбель, которому тогда было тридцать два года и который по прежнему стоялъ на хорошей дорогѣ къ почестямъ и къ богатству, проникся такой неудержимой миссіонерской ревностью, что рѣшился принять на себя роль странствующаго проповѣдника, рискуя потерять все то, что онъ уже пріобрѣлъ, и все то, на что онъ могъ надѣяться въ будущемъ. Вмѣстѣ съ своимъ учителемъ и съ однимъ новообращеннымъ ремесленникомъ онъ отправился изъ Кёнигсберга пѣшкомъ, съ котомкой за плечами, съ палкой въ рукѣ. возвѣщать людямъ догматы новаго ученія. Питаясь милостыней, путники побывали въ Берлинѣ, въ Дрезденѣ, въ Бреславлѣ Успѣхъ ихъ проповѣди былъ не великъ. Проходя черезъ Силезію, они нашли себѣ пріютъ въ замкѣ графини фонъ-деръ-Гребенъ, пробыли подъ ея гостепріимной кровлей нѣсколько недѣль и въ лицѣ владѣтельницы замка пріобрѣли себѣ ревностную послѣдовательницу, скоро обнаружившую самое рѣшительное вліяніе на дальнѣйшую судьбу ихъ возникающей секты.

Графиня Ида фонъ-деръ-Гребенъ была младшей дочерью фонъ-Ауэрсвальда, оберъ-президента провинціи восточной Пруссіи. Одаренная рѣдкой красотой, получивъ блестящее свѣтское воспитаніе, впечатлительная, отзывчивая, нервно-раздражительная, легко увлекающаяся и смѣло отдающаяся тому, что ее увлекало - Ида фонъ - Ауэрсвальдъ свела съ ума всѣхъ молодыхъ аристократовъ и богачей восточной Пруссіи. потомъ вышла замужъ по страстной любви за молодого графа фонъ-деръ-Гребенъ и уѣхала съ нимъ изъ Кёнигсберга, гдѣ царилъ ея отецъ, въ силезское помѣстье мужа. Супруги были счастливы, но въ 1813 году началась война за освобожденіе Германіи. Ида отправила мужа въ дѣйствующую армію, и его убили въ сраженіи при Люценѣ. Молодая вдова вся отдалась своему горю; она не отказывалась отъ утѣшеній; по просьбѣ отца и родныхъ, она переѣхала въ Кёнигсбергъ и попробовала даже появляться въ обществѣ, въ которомъ она недавно гордо и весело занимала первое мѣсто. Но утѣшенія на нее не дѣйствовали; свѣтскія развлеченія были ей невыносимы; въ людскомъ обществѣ ей было еще тяжеле, чѣмъ наединѣ съ своимъ горемъ и своими воспоминаніями. Послѣ напрасныхъ усилій утѣшить, разсѣять и ободрить ее, родные и друзья оставили ее въ покоѣ; она уѣхала къ себѣ въ Силезію и прожила безвыѣздно три года въ томъ замкѣ, въ которомъ прошло счастливое время ея замужества.

Эту неутѣшную молодую вдову посѣтили въ ея уединеніи Шёнгерръ и Эбель. Вслушиваясь въ ихъ горячія рѣчи, вглядываясь въ ихъ оживленныя, красивыя лица, любуясь блескомъ ихъ огненныхъ глазъ, графиня Ида почувствовала, что она оживаетъ, что она молода и полна силъ, что въ ея жизни еще можетъ быть смыслъ и интересъ, и что впереди стоитъ великая цѣль, во имя которой надо подняться на ноги, собраться съ духомъ и воротиться въ общество живыхъ людей. У впечатлительныхъ женщинъ и вообще у художественныхъ натуръ, къ числу которыхъ принадлежала безъ сомнѣнія графиня Ида, личность проповѣдника служитъ обыкновенно самымъ вѣрнымъ ручательствомъ за достоинство проповѣди. Увлекаясь эффектной лич-

Digitized by Google

ностью, такія художественныя натуры обыкновенно воображаютъ себѣ и бываютъ непоколебимо увѣрены въ томъ, что ихъ фанатизируетъ идея.

Графиня Ида полюбила Эбеля, и любовь ея облеклась въ ту форму, въ которой она могла найти себѣ радушный пріемъ въ сердцѣ неутѣшной вдовы, упорно продолжавшей увѣрять себя въ томъ, что личное счастье для нея уже немыслимо. Графиня Ида увѣровала въ теорію воды и свѣта, прокляла вмѣстѣ съ Шёнгерромъ и Эбелемъ грѣховныя и низкія наслажденія плотской любви, рѣшилась посвятить всю свою жизнь, всѣ свои силы, все свое состояніе миссіонерскимъ подвигамъ и переѣхала вмѣстѣ съ Эбелемъ и Шёнгерромъ изъ тихаго силезскаго помѣстья въ Кёнигсбергъ, къ отцу.

Переворотъ, произведенный вліяніемъ Эбеля въ жизни графини Иды, доставилъ молодому проповѣднику почти репутацію чудотворца, и доставилъ ее именно въ тѣхъ высшихъ кружкахъ кёнигсбергскаго общества, которые всего сильнѣе могли содѣйствовать его повышенію. Ауэрсвальдъ говорилъ, что Эбель воскресилъ и возвратилъ ему его любимую дочь; родные и друзья молодой графини и ея покойнаго мужа разнесли славу воскресителя по всей провинціи; всѣ женщины съ разбитыми сердцами наперерывъ другъ передъ другомъ стали тѣсниться вокругъ благочестиваго и прекраснаго пастыря, исцѣляющаго всѣ душевныя раны своей живительной бесѣдой; всѣ набожные аристократы восточной Пруссіи, графы фонъ-Каницъ, фонъ-Финкенштейнъ, фонъ-Мюнховъ искали случая сдѣлаться полезными новому свѣтилу, появившемуся въ Кёнигсбергѣ. Эбель сдѣлался дорогимъ гостемъ и своимъ человѣкомъ во всѣхъ знатнѣйшихъ домахъ города, и рекомендація Ауэрсвальда скоро доставила ему санъ сначала діакона, потомъ архидіакона въ альтштадтской церкви.

Сближеніе Эбеля съ графиней фонъ-деръ-Гребенъ и его быстрое возвышеніе понемногу ослабило его связь съ Шёнгерромъ, который, къ великому неудовольствію новыхъ знатныхъ своихъ поклонниковъ, продолжалъ вести нищенскую жизнь, одѣваться грязно, таскаться по базарамъ и харчевнямъ и вербовать себѣ послѣдователей среди чернорабочихъ и оборванцевъ. На старости лѣтъ онъ влюбился въ Минну фонъ-Дершау — нареченную невѣсту агнца — и предложилъ ей сдѣлаться его женой, съ тѣмъ однакоже, чтобы любовь ихъ была исключительно духовная. Минна приняла его предложеніе и согласилась на всѣ условія; ея вѣра не знала сомнѣній и не смущалась ни препятствіями, ни нелѣпостями. Какимъ образомъ Шёнгерръ предполагалъ воспользоваться ея согласіемъ, какой церемоніей должно было ознаменоваться заключеніе духовнаго брака, и по какому плану сложилась бы жизнь супруговъ — это все остается намъ неизвѣстнымъ, потому что друзья невѣсты успѣли помѣшать этому браку, отвлекли Минну отъ Шёнгерра и перетянули ее въ болѣе аристократическій и повидимому менѣе сумасбродный кружокъ, начавшій въ это время группироваться около Эбеля. Самъ Шёнгерръ также измѣнилъ свои намѣренія насчетъ Минны и объявилъ своимъ послѣдователямъ, что предположенный бракъ отмѣняется по приказанію свыше.

Вмѣстѣ съ Минною фонъ-Дершау, отъ Шёнгерра отдѣлился графъ фонъ-Каницъ; ихъ примѣру послѣдовалъ Дистель. Разрывъ между Эбелемъ и Шёнгерромъ былъ произведенъ преимущественно вліяніемъ графини Иды; причиною его были не какія либо догматическія разногласія, а только различія во вкусахъ, привычкахъ и пріемахъ. Патриціи отдѣлились отъ плебеевъ; блестящіе салоны порвали духовную связь съ рынками и кабаками.

Въ своихъ послѣднихъ совѣщаніяхъ съ своимъ бывшимъ учителемъ, Эбель старался обратить его вниманіе на политическія неудобства такой проповѣди, которая, обращаясь къ низшимъ классамъ общества, волнуетъ ихъ неразвитые умы извѣстіями о приближающемся днѣ свѣтопреставленія и страшнаго суда. Но Шёнгерръ всегда былъ и остался до послѣдней минуты своей жизни совершенно искреннимъ фанатикомъ. Политическія соображенія были ему неизвѣстны. До практическихъ послѣдствій его проповѣди ему не было никакого дѣла. Онъ считалъ свои идеи безусловно истинными, и хотѣлъ во что бы то ни стало дѣлиться ими съ народомъ, съ которымъ онъ чувствовалъ себя неразрывно связаннымъ втеченіе всей своей тяжелой нищенской жизни. Онъ съ презрѣніемъ оттолкнулъ отъ себя свѣтскую мудрость Эбеля и прервалъ съ нимъ всякія сношенія. Впослѣдствіи, когда Шёнгерръ, по своему обыкновенію, очень нуждался, Эбель не разъ помогалъ ему деньгами, присылая ихъ отъ неизвѣстнаго, но Шёнгерръ до конца своей жизни не хотѣлъ принимать къ себѣ своего бывшаго ученика.

Въ послѣдніе свои годы Шёнгерръ, неимѣвшій никакого понятія о морской архитектурѣ, задумалъ построить на Прегелѣ корабль невиданной формы и неслыханныхъ достоинствъ; планъ и всѣ размѣры этого корабля были внушены ему свыше во время сна; онъ долженъ былъ называться «Лебедемъ», строиться силою вѣры, двигающей горы, плавать противъ вѣтра и теченія, двигаться безъ помощи парусовъ, веселъ и какой бы то ни было земной силы, и превосходить своей быстротой самые проворные клипера Балтійскаго моря. Не имѣя гроша денегъ въ карманѣ, Шёнгерръ нашелъ возмож-

Digitized by Google

ность выстроить свой корабль. Вѣрующіе купцы дали ему строевой лѣсъ; вѣрующіе плотники для спасенія своей души стали работать по его указаніямъ. Ковчегъ оснастили и спустили на воду; онъ сейчасъ же пошелъ ко дну и затонулъ въ грязи.

До конца своей жизни Шёнгерръ утверждалъ, что онъ никогда не умретъ, потому что онъ разъ уже умеръ и родился вновь. Съ этими словами на губахъ онъ скончался въ Юдиттенѣ, возлѣ Кёнигсберга, пятидесяти-пяти лѣтъ отъ роду.

II.

Эбель былъ повидимому одинъ изъ тѣхъ людей, которые должны постоянно почерпать извнѣ бо́льшую часть своей энергіи и постоянно находиться подъ чьимъ нибудь преобладающимъ вліяніемъ. Изъ-подъ вліянія Шёнгерра онъ перешелъ всецѣло подъ вліяніе красавицы графини фонъ деръ-Гребенъ, которая, чувствуя и обнаруживая въ отношеніи къ нему самое подобострастное обожаніе, сидя нѣкоторымъ образомъ у его ногъ и собирая, какъ манну небесную, всѣ поучительныя слова, исходящія изъ его устъ, въ то же время повернула по своему всю его жизнь и дѣятельность, подчинила его своему господству и наложила печать своихъ личныхъ вкусовъ и стремленій на всѣ особенности, привычки и пріемы того благочестиваго кружка, который сгруппировался вокругъ молодого архидіакона модной альтштадтской церкви.

Три блестящія красавицы, Ида фонъ-деръ-Гребенъ, Минна фонъ-Дершау и Эмилія фонъ-Шрётеръ составили изъ себя, подъ предводительствомъ и по иниціативѣ Иды, верховный комитетъ, который долженъ былъ наблюдать за нравственностью всѣхъ членовъ кружка и заботливо охранять обожаемаго архидіакона отъ всякой напасти, отъ всякаго огорченія, отъ всякаго жесткаго столкновенія съ людской испорченностью и вообще отъ всего, что́ такъ или иначе могло возмутить спокойствіе его прекрасной души. Тотъ человѣкъ, который былъ способенъ препоясать чресла вервіемъ и отправиться въ путь вслѣдъ за нищимъ фанатикомъ для распространенія новыхъ истинъ по всей Германіи, незамѣтно для самого себя и безропотно отдался въ руки бдительному комитету, составленному изъ прекрасныхъ и аристократически-изнѣженныхъ мечтательницъ. Дѣятельная пропаганда немедленно прекратилась. Судьба бѣднаго человѣчества, коснѣющаго въ безднѣ заблужденій и совершенно незнакомаго съ теоріей воды и свѣта и со всѣми ея практическими послѣдствіями, упущена изъ виду, оставлена безъ вниманія или по крайней-мѣрѣ отодвинута на самый задній планъ. Заботы о спасеніи душъ и о процвѣтаніи новой доктрины совершенно уступили свое мѣсто стараніямъ покоить и лелѣять архидіакона.

Эбель сознавалъ въ себѣ, какъ вредную и постыдную слабость, излишнюю наклонность къ смиренію, излишнюю скромность въ мнѣніяхъ о самомъ себѣ, слишкомъ сильное стремленіе покорно и стыдливо склонять голову передъ каждымъ ничтожнѣйшимъ человѣкомъ. По всей вѣроятности, графиня Ида подала ему мысль о томъ, что въ немъ существуетъ эта особенность, и что она составляетъ недостатокъ. Та же Ида вмѣстѣ съ своими сотрудницами взяла на себя обязанность оберегать архидіакона отъ его слабости и успѣла въ своемъ предпріятіи, окруживъ Эбеля со всѣхъ сторонъ атмосферой самой страстной, нѣжной и покорной любви. Чувствуя себя любимымъ, Эбель могъ чувствовать себя достаточно сильнымъ и гордымъ.

Женское вліяніе преобладало въ церкви Эбеля и давало себя чувствовать въ тѣхъ требованіяхъ, которыя ставились адептамъ. Все, что въ обществѣ аристократокъ считается дурнымъ тономъ, изгонялось изъ новой церкви и клеймилось именемъ грѣха. Мужчинамъ запрещалось, напримѣръ, курить и нюхать табакъ, пить вино и пѣть мірскія пѣсни. Все, что́ отзывалось разгульнымъ буршескимъ элементомъ, подвергалось строгому преслѣдованію.

Женщины приняли на себя въ новой церкви обязанности духовниковъ и обнаружили удивительную виртуозность въ дѣлѣ выпытыванія и выслѣживанія предосудительныхъ поступковъ, легкомысленныхъ словъ и даже грѣховныхъ помышленій. Онѣ выворачивали на изнанку душу кающагося, зондировали всѣ закоулки его совѣсти и съ особенной чуткостью вывѣдывали и прослѣживали всѣ психическія движенія, находившіяся въ какой-бы то ни было связи съ непозволительной плотской любовью.

Искусство этихъ сыщиковъ и инквизиторовъ женскаго пола развивало въ ихъ паствѣ замѣчательное умѣніе хитрить, лукавить, лицемѣрить и прикрывать самые обыкновенные свои поступки цѣлыми замысловато построенными эшафодажами софизмовъ.

Заботы о нравственности Генриха Дистеля лежали на Миннѣ фонъ-Дершау. Дистель былъ грубый и неотесанный буршъ, человѣкъ самаго дурного тона, весь заросшій бурьяномъ и чертополохомъ самыхъ непривлекательныхъ пороковъ. Полотье этой грязной души доставляло нѣжной и утонченно-чувствительной барышнѣ много непріятныхъ хлопотъ. Дистель нюхалъ табакъ, и нюхалъ его неопрятнѣйшимъ образомъ. Дистель пилъ и кутилъ, Дистель не отказывался отъ грубыхъ наслажденій плотской любви, и когда фрейлейнъ фонъ-Дершау выговаривала ему за его предосудительное поведеніе,

Digitized by Google

онъ ссылался на священный авторитетъ Лютера, которому, какъ извѣстно, приписывается слѣдующее легкомысленное двустишіе:

Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang,
Der bleibt ein Narr sein Lebenleng.

(Кто не любитъ вина, женщинъ и пѣсенъ, тотъ на всю жизнь останется дуракомъ).

Нюханье табаку Дистель ставилъ себѣ даже въ заслугу. Онъ говорилъ, что нюханьемъ смиряетъ свою гордость. Въ обыкновенное время онъ, имѣя въ виду свое высокое апокалиптическое призваніе, свой санъ сломителя седьмой печати, расположенъ ставить себя выше остального человѣчества. Тогда онъ беретъ въ руки табакерку, и, открывая ее, начинаетъ чувствовать себя слабымъ смертнымъ. Затѣмъ, когда онъ чихаетъ, душа его склоняется въ прахъ, подавленная сознаніемъ своей немощности. Духовная наставница Дистеля не удовлетворялась этими резонами, не обнаруживала никакого уваженія къ веселому двустишію Лютера и требовала исправленія. Дистель каялся, обѣщалъ исправиться, и потомъ, идя домой, покупалъ себѣ новый запасъ вещества, возбуждающаго чиханіе и смиряющаго человѣческую гордость.

Всѣ послѣдователи Эбеля должны были вести чистую и цѣломудренную жизнь; всѣ должны были считать себя братьями и сестрами, любить другъ друга святой любовью и обмѣниваться между собою такъ-называемымъ серафимовскимъ поцѣлуемъ; вступать въ бракъ и производить дѣтей считалось позорной слабостью; женатымъ людямъ, поступившимъ въ новую церковь, вмѣнялось въ обязанность вести себя такъ, какъ будто они не были связаны между собой узами брака; въ настоящей церкви святыхъ дѣйствіе естественныхъ законовъ было пріостановлено: никто не долженъ былъ въ ней ни рождаться, ни умирать.

Политическія стремленія новой церкви были строго-монархическія, и нетолько консервативныя, но даже въ значительной степени ретроградныя. Симпатіи графини фонъ-деръ-Гребенъ и ея сподвижницъ принадлежали тому времени, когда феодализмъ находился въ полномъ цвѣту. Аристократическія тенденціи эбеліанъ находились въ вопіющемъ разладѣ съ однимъ изъ основныхъ пунктовъ ихъ доктрины, именно съ тѣмъ ученіемъ, что конецъ міра близокъ, и что день страшнаго суда наступитъ скоро. Въ виду такого событія, которое должно было уничтожить всѣ общественныя неравенства, превратить всѣхъ людей въ подсудимыхъ и поставить послѣдняго пастуха на одну доску съ Фридрихомъ-Вильгельмомъ III, сословная чопорность и привязанность къ искусственно-созданнымъ перегородкамъ оказывались жалкимъ и безсмысленнымъ анахронизмомъ. Но ни Эбель, ни графиня Ида, ни другіе его ученики не отличались способностью къ логичному мышленію, не смущались внутренними противорѣчіями и располагали свою жизнь по своимъ привычкамъ, по прирожденнымъ и привитымъ инстинктамъ, по внушеніямъ капризнаго и разнузданнаго воображенія, нисколько не стѣсняясь требованіями той вѣрной или невѣрной идеи, которая лежала въ основѣ ихъ міросозерцанія. Эбелю нравилось общество высокорожденныхъ особъ, и онъ говорилъ самъ совершенно чистосердечно, что прокладываетъ въ области религіознаго мышленія дорогу, приспособленную для ногъ графовъ и графинь.

Взявъ для построенія своей церкви чисто-аристократическіе элементы, Эбель, вѣроятно по внушенію графини Иды и слѣдуя при этомъ естественному влеченію знатныхъ господъ къ чинамъ, почестямъ и отличіямъ, соорудилъ такое іерархическое зданіе, въ которомъ было множество степеней, возвышающихся одна надъ другой. Самъ Эбель былъ центромъ и главой маленькаго теократическаго государства. Комитетъ трехъ красавицъ составлялъ его государственный совѣтъ; ниже стоялъ болѣе обширный кружокъ, членами котораго были графиня фонъ-Финкенштейнъ, Эрнестина фонъ-Барделебенъ, старшая сестра графини Иды, фрейлейнъ Марія Консенціусъ, фрейлейнъ фонъ-Ларишъ и другія. Изъ мужчинъ ближе всѣхъ къ Эбелю стоялъ Дистель, потому что въ чистой теократіи духовенству должно принадлежать первое мѣсто, а Дистель, при всѣхъ своихъ порокахъ, былъ все-таки пасторомъ габербергской церкви. Затѣмъ слѣдовалъ молодой графъ Каницъ, энтузіастъ, обожавшій Эбеля и стремившійся только къ тому, чтобы быть его наперсникомъ. Далѣе стоялъ кружокъ первостепенныхъ магнатовъ, которые, подобно графамъ Финкенштейну и Мюнхову, своимъ вѣсомъ и вліяніемъ превращали новую церковь въ замѣтную общественную силу. Ниже шли дворяне менѣе знатные и вліятельные; потомъ ученые, которыхъ однако было очень немного; потомъ судьи, офицеры, чиновники, внизъ до бѣдныхъ пономарей и церковныхъ сторожей, которые, подметая полъ и протапливая печи въ альтштадтскомъ святилищѣ, имѣли, при всей скромности своего общественнаго положенія, нѣкоторое право пользоваться крупицами истины, падавшими со стола важныхъ господъ.

Когда богатый и знатный человѣкъ даетъ балъ, тогда ему незачѣмъ бѣгать по городу и упрашивать танцоровъ, чтобы они почтили его праздникъ своимъ присутствіемъ; ему стоитъ только разослать пригласительные билеты; онъ можетъ быть увѣренъ, что число желающихъ появиться въ его домѣ, посмотрѣть людей и показать себя, значительно превыситъ то число, которое онъ желаетъ у себя принять.

Digitized by Google

Эбель, какъ глава модной церкви, находился именно въ положеніи такого богатаго и знатнаго хозяина; ему незачѣмъ было улавливать людей сѣтями убѣдительной проповѣди и заманивать ихъ въ лоно церкви обольстительными обѣщаніями; люди сами бѣжали къ нему и упрашивали, чтобы ихъ уловили и пристроили къ такой компаніи, которая могла доставить своимъ знакомымъ и единомышленникамъ множество житейскихъ выгодъ и всевозможныя мелкія удовлетворенія личнаго самолюбія.

Такимъ образомъ, въ числѣ многихъ другихъ, прибѣжалъ къ архидіакону и заставилъ себя уловить молодой, гибкій и остроумный еврей, Лудвигъ-Вильгельмъ Саксъ. Отлично кончивъ курсъ по медицинскому факультету, обладая основательными и обширными научными свѣдѣніями, сознавая въ себѣ присутствіе свѣтлыхъ умственныхъ способностей, неутомимаго трудолюбія и увлекательнаго дара слова, Саксъ стремился къ профессорской каѳедрѣ, на которой онъ дѣйствительно могъ принести наукѣ и обществу самую существенную пользу. Но, по тогдашнимъ прусскимъ законамъ, еврей не могъ сдѣлаться профессоромъ. При встрѣчѣ съ препятствіями, люди, подобные Саксу, умѣютъ сгибаться и пролѣзать подъ ними, если нельзя ихъ сдвинуть съ мѣста.

«Человѣкъ безъ религіознаго чувства—говоритъ Диксонъ—почти безъ малѣйшаго проблеска нравственной мягкости—существо все изъ мозга и первовъ, холодное по природѣ, быстро соображающее, ѣдкое, насмѣшливое и угрюмое, онъ смотрѣлъ кругомъ себя и снималъ мѣрку съ тѣхъ людей, съ которыми ему приходилось имѣть дѣло. Въ медицинскомъ обществѣ Кёнигсберга, гдѣ боялись его языка и цѣнили его дарованія, онъ возвысился на столько, на сколько это было возможно для еврея—онъ дошелъ до степени доктора. Если онъ желалъ подняться еще выше, онъ долженъ былъ отречься отъ своихъ отцовъ и измѣнить своему вѣроисповѣданію. Въ свои позднѣйшіе годы профессоръ Саксъ былъ извѣстенъ подъ именемъ Мефистофеля и вполнѣ заслуживалъ это прозваніе своимъ дерзкимъ умомъ, циническимъ языкомъ и презрѣніемъ къ религіи. Онъ смѣялся надъ святыней. Въ университетской аудиторіи онъ прерывалъ часто анатомическую демонстрацію, чтобы излить свой ядъ на какое-нибудь изреченіе священнаго писанія. Во имя науки онъ возмущался, съ ѣдкой ироніей, противъ непостижимыхъ таинствъ религіи. Въ глубинѣ души онъ считалъ священниковъ злѣйшими врагами человѣчества, которымъ умные люди не должны давать никакой пощады. Опираясь на свидѣтельства своей медицинской практики, онъ утверждалъ, что студенты теологіи самые пропащіе изъ всѣхъ университетскихъ слушателей. Одинъ молодой человѣкъ съ совершенно разрушеннымъ здоровьемъ обратился къ нему за совѣтомъ. «Вы студентъ теологіи?» спросилъ Саксъ, съ своей обычной усмѣшкой. «Нѣтъ, господинъ профессоръ, отвѣтилъ юноша, я юристъ».– «Такъ я бы вамъ посовѣтовалъ перемѣнить профессію. Изъ васъ выйдетъ отличный богословъ».

«Обсуживая жизнь этого человѣка, мы должны, по всей вѣроятности, принять въ разсчетъ тѣ жертвы, которыя дурной законъ принудилъ его принести, прежде чѣмъ онъ могъ развернуть свои дарованія въ качествѣ преподавателя анатоміи.

«Въ Пруссіи министерство народнаго просвѣщенія завѣдуетъ всѣми дѣлами въ церквахъ и всѣми дѣлами въ коллегіяхъ; и такимъ образомъ оказалось, что та власть въ Берлинѣ, которая сдѣлала Эбеля архидіакономъ, могла сдѣлать Сакса профессоромъ. Какъ было Саксу добраться до барона фонъ-Альтенштейна, который тогда былъ министромъ въ Берлинѣ? Черезъ фонъ-Ауэрсвальда, оберъ-президента въ Кёнигсбергѣ. Но Саксъ не былъ знакомъ въ замкѣ. Это было не трудно уладить. Развѣ-жъ онъ не слыхалъ, что графиня Ида управляетъ своимъ отцомъ? Развѣ-же не шептали, даже въ Гроссъ-Глогау, что архидіаконъ былъ всѣмъ на свѣтѣ для графини Иды? Слѣдовательно, еслибы Саксу удалось овладѣть архидіакономъ, то не отыскалъ-ли бы онъ, Саксъ, одинъ конецъ цѣпи, другой конецъ которой лежалъ въ Берлинѣ, въ кабинетѣ министра фонъ-Альтенштейна, гдѣ говорится и дѣлается то, чѣмъ составляются человѣческія карьеры? Разумѣется, онъ зналъ, что прежде всего онъ долженъ быть рекомендованъ факультетомъ, и онъ вполнѣ могъ разсчитывать, что эта справедливость будетъ ему оказана; но, какъ человѣкъ свѣтскій, онъ зналъ, что научныя заслуги не всегда достаточны для полученія награды. Доброе слово со стороны оберъ-президента придало-бы значительный вѣсъ его достоинствамъ въ глазахъ занятаго министра въ Берлинѣ. Юный еврей составилъ себѣ, такъ сказать, прейсъ-курантъ. Дорого-ли онъ стоилъ? Главное дѣло, велика-ли была его цѣна въ глазахъ Эбеля? Онъ, Саксъ, былъ извѣстенъ, какъ еврей. Это составляло главный пунктъ въ его разсчетѣ. Безвѣстный обращенный имѣетъ нѣкоторую цѣнность; а за обращеніе извѣстнаго человѣка стоитъ заплатить хорошій кушъ. Стоитъ-ли за него, Сакса, дать мѣсто? Можетъ-ли онъ продать Моисея и пророковъ за профессорскую каѳедру?

«Имѣя циническій умъ, а также жену и дѣтей, онъ пошелъ къ архидіакону Эбелю, выслушалъ съ глубокимъ вниманіемъ его исторію о свѣтѣ и водѣ и затѣмъ предложилъ себя, вмѣстѣ съ мадамъ Саксъ и съ своимъ малолѣтнимъ сыномъ, для немедленнаго крещенія.

Digitized by Google

Обрядъ скоро совершился; Мефистофель сдѣлался членомъ альтштадтской церкви и затѣмъ, въ видѣ награды за свое преуспѣваніе въ благочестіи, Саксъ получилъ, по ходатайству графини Иды, мѣсто профессора медицины въ университетѣ.

«Саксъ по виду былъ очень милымъ юношей; каковъ онъ былъ при ближайшемъ знакомствѣ— этого Эбель еще не зналъ. Глядя на это нѣжное, какъ-бы дѣвическое лицо, архидіаконъ, недавно шалившій тайной половъ въ природѣ, вообразилъ себѣ, что видитъ въ немъ скорѣе отраженіе воды, чѣмъ свѣта. Эта фантазія понравилась архидіакону; онъ въ это время предавался той мечтѣ, что полъ, быть можетъ, не установившійся и законченный фактъ, а только фаза въ развитіи. Саксъ, говорятъ, поразилъ архидіакона, какъ существо женско-мужское, какъ мужчина, въ которомъ соединились оба основныя начала его вѣры; Эбель сталъ очень дорожить Саксомъ, и Саксъ также очень дорожилъ Эбелемъ».

III.

Саксъ въ одномъ мемуарѣ, подъ заглавіемъ: «Изображеніе піетистическихъ происковъ въ Кёнигсбергѣ», рисуетъ слѣдующими яркими красками отношенія графини Иды къ архидіакону:

«Эта женщина, эта поистинѣ благородная натура все увидала въ Эбелѣ, все нашла и получила, къ чему она только могла стремиться; онъ — ея возлюбленный, ея мужъ, ея спаситель, даже—что́ ни при какихъ другихъ условіяхъ не было-бы возможно — онъ ея богъ; онъ—ея содержаніе на землѣ и на небѣ; служить ему во времени и въ вѣчности—это для нея свобода; чтобы принести ему жертву, она не подорожила-бы кровью своего сердца; ей милѣе всего отдаваться ему, всецѣло, безъ сопротивленія; теряться въ немъ совершенно— это высшее ея назначеніе; какъ могла-бы она сама себя чувствовать и находить лучше и облагороженнѣе, чѣмъ въ немъ! И если-бы Эбель ей сказалъ: «Ида, поди, вонзи этому человѣку кинжалъ въ сердце! — она-бы только взглянула на него, чтобы увидать, что онъ говоритъ серьезно; и еслибы она въ этомъ убѣдилась, то она-бы пошла и сдѣлала такъ; развѣ-же онъ человѣкъ и способенъ ошибаться? Она даже сдѣлала-бы больше—больше по крайней мѣрѣ въ смыслѣ самопожертвованія; еслибы ей Эбель сказалъ: «Ида, поди, полюби этого человѣка и отдайся ему, какъ жена»—она и это исполнила-бы, быть можетъ со слезами, но безъ всякихъ сомнѣній и съ усерднѣйшей покорностью. Что это описаніе совершенно истинно и выражено самымъ умѣреннымъ образомъ, въ этомъ я твердо убѣжденъ, и къ этому убѣжденію я пришелъ путемъ самаго тщательнаго изученія этой личности.»

Но если графиня Ида по силѣ своей любви тонула въ личности любимаго человѣка, то по силѣ своего характера она была въ высшей степени способна поглотить этого человѣка и собой наполнить всю его жизнь. Считая и чувствуя себя его рабыней, гордая и счастливая этимъ рабствомъ, Ида не хотѣла и не могла допустить, чтобы кто-либо другой стоялъ ближе ея самой къ властелину и раздѣлялъ его съ ней. Ей была особенно опасна ея сотрудница по высшему женскому комитету, Минна фонъ-Дершау, едва уступавшая ей въ красотѣ и въ энергіи, связанная съ архидіакономъ узами болѣе давней дружбы и быть можетъ даже превосходившая Иду восторженностью своего характера. Эта восторженность заставила ее сдѣлать открытіе, отъ котораго разумѣется не отказалась-бы Ида, но которое однако пришло въ голову не ей, не Идѣ, а именно ея опаснѣйшей соперницѣ.

Однажды Минна пришла къ Идѣ сообщить ей великую и страшную тайну. Ее, Минну, какъ внушеніе свыше, озарила мысль, что Эбель— сынъ человѣческій, тотъ, чье второе пришествіе составляетъ предметъ ихъ благоговѣйнаго ожиданія. Ида почувствовала немедленно, что это— чистая правда. Обѣ женщины съ трепетомъ благоговѣнія открыли свою тайну Каницу, какъ первому свидѣтелю. Тотъ также почувствовалъ, что это правда. Рѣшено было хранить объ этомъ открытіи глубочайшее молчаніе до той великой минуты, когда все тайное сдѣлается явнымъ и когда истина будетъ провозглашаться съ крышъ домовъ и на всѣхъ стогнахъ града. Въ особенности было положено не говорить ни слова самому Эбелю, которому раскрытіе его инкогнито раньше времени могло быть неугоднымъ. Въ ихъ обращеніи съ архидіакономъ конечно выразилось то, что они считаютъ его божествомъ; но Эбель былъ уже до такой степени отуманенъ ѳиміамомъ благоговѣнія, среди котораго онъ жилъ уже впродолженіе многихъ лѣтъ, что ему мудрено было замѣтить какое-нибудь приращеніе въ количествѣ или измѣненіе въ качествѣ воскуряемаго ѳиміама.

Великое открытіе, сдѣланное Минною, произвело сильное и продолжительное волненіе въ кругу ближайшихъ поклонниковъ архидіакона. Возникли вопросы: кто будетъ ближе всѣхъ къ божеству? Кто станетъ выше всѣхъ? Кому изъ трехъ избранныхъ женщинъ достанется санъ мистической невѣсты? Чтобы оттѣснить отъ этого сана Минну, которая своей способностью дѣлать великія открытія показала ясно, до какой степени она опасна, Ида задумала выдать ее замужъ, такъ какъ замужняя женщина очевидно не можетъ быть невѣстой агнца. Въ женихи для своей соперницы она выбрала

Digitized by Google

Каница: по рожденію онъ былъ графъ, по характеру рыцарь безъ страха и упрека, по наружности красавецъ; кромѣ того, и это главное — ему въ кругу эбеліанъ была отведена высокая мистическая должность *перваго свидѣтеля*, должность, которую ему предстояло исправлять въ священную минуту второго пришествія. По всѣмъ этимъ причинамъ, онъ могъ считаться очень приличной партіей для фрейлейнъ фонъ-Дершау. Подчиняясь вліянію Иды, которой повидимому нечего было бояться никакихъ соперницъ, и которая дѣлала изъ своего властелина и бога, что́ хотѣла, Эбель возвѣстилъ обоимъ молодымъ людямъ волю неба и безъ труда убѣдилъ ихъ, что они созданы другъ для друга и что они оба вмѣстѣ — именно тѣ два свидѣтеля, которые должны общими силами пророчествовать втеченіе тысячи двухъ сотъ шестидесяти дней. Каницъ сдѣлалъ предложеніе, и Минна обнаружила ту же безропотную покорность велѣніямъ высшей силы, съ которой она, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, соглашалась сдѣлаться супругой бездомнаго фанатика Шёнгерра.

«Мѣсто Минны среди эбеліанъ, говоритъ Диксонъ, было теперь опредѣлено навсегда; во времени она была графиня фонъ-Каницъ, въ вѣчности она была *вторымъ свидѣтелемъ*, имѣвшимъ власть запирать небо и превращать воду въ кровь. Она больше никогда не могла стремиться къ тому, чтобы сдѣлаться *невѣстой*».

Пристроивъ свою соперницу, Ида нашла для себя удобнымъ женить самого архидіакона на доброй и простой женщинѣ, не посвященной въ тайны новой церкви и неспособной внушить ей, Идѣ, какія бы то ни было опасенія. Причины, почему Ида находила этотъ бракъ желательнымъ, не совсѣмъ отчетливо выяснены у Диксона. У него сказано просто, что жена Эбеля должна была служить точкой соединенія и сдѣлать домъ архидіакона нѣсколько болѣе открытымъ для его высокородныхъ друзей женскаго пола. Почему была нужна такая точка соединенія, и какимъ образомъ такой точкой могла служить непосвященная женщина, стоявшая отъ Эбеля несравненно далѣе той, которую надо было съ нимъ соединять — это совершенно непонятно. Далѣе трудно также сообразить, какъ могла такая смѣлая, страстно-влюбленная и ревнивая женщина, какъ графиня фонъ-деръ-Гребенъ, сама приблизить къ своему кумиру, въ качествѣ законной супруги, другую женщину, молодую и красивую, хотя и простую, приблизить только для того, чтобы въ глазахъ грѣховнаго свѣта, который она презирала, и который долженъ былъ подвергнуться скорой погибели—облагообразить свои частые и продолжительные визиты въ домъ архидіакона. Какъ бы ни были удовлетворительны или недостаточны объясненія, представленныя Диксономъ, во всякомъ случаѣ достовѣрно то, что Эбель женился, и что три женщины: вдова Ида фонъ-Гребенъ, законная супруга, госпожа Эбель, и дѣва Эмилія фонъ-Шрётеръ составили нѣкоторымъ образомъ одно духовное семейство, котораго центромъ былъ обожаемый архидіаконъ.

«Эбель, говоритъ Диксонъ, описывалъ слѣдующимъ образомъ свои отношенія къ этимъ тремъ молодымъ женщинамъ: графиня Ида была его первой женой, изображая собой принципъ свѣта (Lichtnatur); Эмилія фонъ-Шрётеръ была его второй женой, изображая принципъ темноты (Finsternissnatur); госпожа Эбель была его третьей женой, представляя принципъ соединенія (Umfassung). Въ этомъ тройномъ бракѣ архидіакона, простая жена должна была дѣйствовать, какъ легальная точка соприкосновенія. Графиня Ида и фрейлейнъ Эмилія полагали, что въ ней и чрезъ нее онѣ вошли въ свою мистическую связь съ своимъ супругомъ. Ида, какъ жена, изображавшая свѣтъ, имѣла полное основаніе думать, что она занимаетъ высокое положеніе *апокалиптической невѣсты*».

Госпожа Эбель оправдала тѣ надежды, которыя на нее возлагались. Онъ ничѣмъ не возбудила ревности въ старшихъ духовныхъ женахъ архидіакона. Она покорно замкнулась въ той скромной сферѣ матеріальныхъ заботъ, которая была ей предоставлена. Ея голосъ никогда не раздавался въ почтенномъ кругу святыхъ женщинъ, управлявшихъ церковью.

Когда новая церковь получила прочную организацію, тогда образовались тайныя доктрины, которыя оставались неизвѣстными массѣ адептовъ. Простые люди, неофиты, только-что примкнувшіе къ Эбелю, знали только, что Эбель вѣрующій проповѣдникъ, искренній и ревностный лютеранинъ, старающійся примѣромъ своей святой жизни и вліяніемъ своего увлекательнаго краснорѣчія возбудить въ сердцахъ своихъ современниковъ чувства живого благочестія, подавленныя сухими, холодными и мелкими разсчетами и заботами суетливаго, корыстнаго и бездушнаго вѣка. Когда неофитъ оказывался достойнымъ бо́льшаго довѣрія, ему говорили, что онъ принадлежитъ къ церкви избранныхъ, составляющей рай наслажденій для тѣла и для духа и спасающей всѣхъ своихъ вѣрующихъ членовъ отъ той гибели, которая скоро должна постигнуть весь грѣховный міръ. Далѣе, послѣ новаго, болѣе или менѣе продолжительнаго испытанія, ему открывали тѣ способы, которыми должно бороться съ дьяволомъ и побѣждать его. При новыхъ духовныхъ успѣхахъ со стороны вѣрующаго, его посвящали въ тайну свѣта и воды. Затѣмъ, если онъ обнаруживалъ требуемыя достоинства, его учили обрядамъ освященія. Если онъ былъ способенъ къ

Digitized by Google

дальнѣйшему повышенію, ему внушали, что Эбель — высшій типъ человѣческаго совершенства. Дальше этого уже никакой адептъ, какъ бы онъ ни былъ знатенъ и чистъ душой, не могъ идти. Великая и страшная тайна, открытая графинѣ фонъ-Каницъ, постоянно оставалась достояніемъ четырехъ лицъ — Иды, Эмиліи, Минны и ея мужа. Кажется, даже Дистель не зналъ этой тайны; во все время существованія секты, ни одно новое лицо не было принято въ этотъ высшій кружокъ. При этомъ, конечно, возникаетъ вопросъ, на который мы у Диксона не находимъ отвѣта. Если великую тайну эбеліанъ знали только четыре человѣка, и если никто изъ нихъ не измѣнилъ сектѣ, не сдѣлался ея сознательнымъ врагомъ и не проболтался нечаянно, то какимъ образомъ эта тайна появляется въ печати? Какимъ образомъ узналъ ее Саксъ, не принадлежавшій къ высшему кружку? Что́ сообщилъ онъ на счетъ существованія этой тайны въ своемъ мемуарѣ — свои-ли собственныя предположенія, или дѣйствительные, достовѣрно извѣстные ему факты? Всѣхъ этихъ вопросовъ Диксонъ не только не рѣшаетъ, но даже и не ставитъ. Во всей его книгѣ нѣтъ ни малѣйшаго указанія на то, чтобы кого-либо изъ членовъ высшаго кружка возможно было заподозрить въ случайной нескромности или въ умышленной измѣнѣ.

Обряды освященія были извѣстны довольно обширному кругу вѣрующихъ. Они клонились къ тому, чтобы уничтожить въ вѣрующихъ силу грѣховныхъ страстей и приготовить ихъ къ наступающему царству благодати и духовной свободы. «Кто хотѣлъ спасти свою душу — говоритъ Диксонъ — долженъ былъ подняться выше искушеній, попирать плоть ногами и побѣдоносно противиться дьявольской силѣ красоты. Въ присутствіи живой женщины онъ долженъ былъ чувствовать себя такъ, какъ будто онъ стоитъ передъ каменной стѣной. Его взглядъ долженъ оставаться холоднымъ, біеніе его пульса не должно ускоряться. Никакое лицо, какъ-бы оно ни было прекрасно, не должно зажигать огня въ его крови. Безъ содроганія сердца, онъ долженъ пожимать руку самой очаровательной сестры, или напечатлѣвать поцѣлуй на ея губы. Кто неспособенъ легко и свободно дѣлать все это, тотъ, по словамъ Эбеля, конечно не находится еще въ состояніи благодати».

Пріобрѣтеніе такихъ навыковъ требовало продолжительныхъ и разнообразныхъ упражненій, которымъ посвящались многія изъ частныхъ собраній секты, происходившихъ въ покояхъ графини Иды или въ домѣ графини Каницъ. Во время такого собранія, одна изъ вѣрующихъ красавицъ, по приглашенію высшаго духовнаго начальства, обнажала руку, ногу или плечо, такъ чтобы всѣ присутствующіе и въ особенности молодые, еще недостаточно испытанные и закаленные члены церкви, глядя на тѣ искушенія, которыми сатана губитъ слабое человѣчество, учились презирать эти вражескія козни и успѣшно сопротивляться имъ.

При той строгой постепенности, которая господствовала въ открываніи догматическихъ тайнъ, есть достаточныя основанія предположить, что въ обрядахъ освященія была своего рода высшая школа, которой существованіе было извѣстно немногимъ избраннымъ, и въ которую вступали люди, уже достаточно укрѣпившіе себя менѣе трудными, сложными и опасными испытаніями.

Въ чемъ состояли труднѣйшія и опаснѣйшія испытанія, какими упражненіями поддерживали и развивали въ себѣ святость члены высшаго кружка — это остается неизвѣстнымъ, но профессоръ Саксъ даетъ понять, что стремленія къ совершенству завели графиню фонъ-деръ-Гребенъ и Эмилію фонъ-Шрётеръ очень далеко.

IV.

Секта, которой главная причина существованія заключается въ близкости второго пришествія, не можетъ жить неопредѣленно долгое время неясными ожиданіями и благочестивыми приготовленіями. Умы вѣрующихъ неотступно заняты вопросомъ, когда-же наступитъ великій день; ихъ нетерпѣніе растетъ, ихъ вѣра можетъ ослабѣть, и осажденный ихъ вопросами и сомнѣніями, глава и основатель секты долженъ поневолѣ, рано или поздно, дать имъ какое-нибудь опредѣленное обѣщаніе.

Изучая пророчества Даніила, Эбель додумался до того убѣжденія, что второе пришествіе должно совершиться въ 1823 году, на святой недѣлѣ. День и часъ былъ точно опредѣленъ, и такъ-какъ назначенное время было уже близко, то вліятельныя лица секты стали совѣщаться о томъ, гдѣ и какъ имъ ожидать и встрѣтить Спасителя. Одни полагали, что надо собраться въ церкви, другіе предпочитали сойтись въ какомъ-нибудь домѣ. Большинство думало, что во всякомъ случаѣ слѣдуетъ быть въ сборѣ, чтобы Спаситель увидѣлъ свою церковь на землѣ. Далѣе вѣрующіе находили, что собраніе ни подъ какимъ видомъ не должно имѣть мрачнаго или печальнаго характера. «Ихъ богъ — говорили они — былъ Богомъ любви и свѣта. Радость шла вмѣстѣ съ нимъ, и веселье готовило ему путь». Нѣкоторые находчивые люди придумали, что всего лучше будетъ устроить въ этотъ день и часъ свадебное торжество. Этотъ планъ всѣмъ очень понравился, и рѣшено было привести его въ исполненіе. Нашли молодого человѣка, готоваго жениться на комъ угодно и когда угодно для пользы и славы церкви; этому молодому человѣку подыскали

Digitized by Google

достойную невѣсту. Всѣ мѣры были такимъ образомъ приняты заблаговременно, и женщины высшихъ круговъ стали ожидать назначеннаго дня съ благоговѣйнымъ нетерпѣніемъ и съ несокрушимой вѣрой въ осуществленіе сдѣланнаго предсказанія.

Нѣкоторые изъ мужчинъ, принадлежавшихъ также къ высшимъ кругамъ, почувствовали, что вѣра ихъ колеблется. Слишкомъ гласныя приготовленія къ великому дню приводили ихъ въ смущеніе. Они находили до нѣкоторой степени возможнымъ то предположеніе, что Эбель ошибся въ своихъ вычисленіяхъ, что великое событіе не совершится, что гости разъѣдутся со свадебнаго пира ни съ чѣмъ, и что ихъ всѣхъ жесточайшимъ образомъ поднимутъ на смѣхъ вольнодумцы всей провинціи, всего королевства, всей Германіи. Графъ фонъ-Финкенштейнъ, какъ лицо съ вѣсомъ, съ именемъ, съ положеніемъ въ обществѣ и со связями, чувствовалъ особенно сильно неудобства этого ожидаемаго осмѣянія, и поэтому старался по возможности обуздать пылкую и шумную вѣру своихъ духовныхъ братьевъ и особенно сестеръ. Но возможности не оказалось никакой. Женщины разразились жестокими упреками; Эбель сталъ презрительно улыбаться; Дистель сдѣлалъ выговоръ; благоразумный графъ почувствовалъ себя изобиженнымъ со всѣхъ сторонъ; даже родная сестра его, которую онъ очень любилъ, осудила его за малодушіе и позорное потворство мнѣніямъ грѣховнаго свѣта. Финкенштейнъ удалился изъ собранія съ большимъ неудовольствіемъ.

Наступилъ назначенный день. Собрались свадебные гости. Совершился обрядъ, въ которомъ профессоръ анатоміи Саксъ, заслужившій впослѣдствіи прозваніе Мефистофеля, принужденъ былъ принимать дѣятельное участіе и играть роль вѣрующаго и ожидающаго. Пиръ начался и окончился безо всякихъ сверхъестественныхъ событій. Гости принуждены были разойтись, не дождавшись второго пришествія. Начался тотъ продолжительный и обидный смѣхъ, котораго боялся предусмотрительный графъ. Пророчество Финкенштейна сбылось несравненно лучше пророчества Эбеля, и Финкенштейнъ немедленно испыталъ на самомъ себѣ вѣрность того изреченія, что никто не можетъ быть пророкомъ въ своей землѣ. Его стали преслѣдовать именно за то, что онъ слишкомъ удачно напророчилъ. Такъ-какъ непогрѣшимость Эбеля не могла подвергаться сомнѣнію, то вѣрующіе эбеліане рѣшили, что именно маловѣріе и малодушіе благоразумнаго графа испортили все дѣло. Дамы верховнаго комитета выражали свое негодованіе самымъ откровеннымъ и энергическимъ образомъ, и когда Финкенштейнъ попробовалъ оправдаться, его заставили молчать и ему погрозили публичнымъ изгнаніемъ изъ церкви. Финкенштейнъ испугался, смирился, сталъ просить прощенія и остался членомъ секты, но съ этого времени его отношенія къ ревностнымъ и вліятельнымъ эбеліанамъ сдѣлались въ высшей степени натянутыми.

Въ то самое время, когда вѣрующіе кружки были взволнованы напраснымъ ожиданіемъ второго пришествія, одинъ кёнигсбергскій пасторъ, Лудвигъ-Августъ Келеръ выпустилъ въ свѣтъ теологическій романъ «Филагатосъ», въ которомъ архидіаконъ и его послѣдователи были выведены на сцену и представлены въ самомъ непривлекательномъ видѣ. Въ этомъ романѣ разсказывалось между прочимъ, какъ одна молодая дѣвушка, довѣрившись своей подругѣ, отправляется въ собраніе мнимыхъ святыхъ; эти святые принимаютъ ее въ свой кружокъ и начинаютъ осыпать ее поцѣлуями; она сначала покоряется, но потомъ, видя, что къ ней подходитъ, съ цѣлью поцѣловать ее, одинъ юноша, пользующійся репутаціей величайшаго развратника въ городѣ, она въ ужасѣ поднимается, убѣгаетъ изъ собранія къ себѣ домой, бросается на колѣни передъ своими родителями и со слезами негодованія кается имъ въ томъ, что она видѣла, слышала и испытала.

Камень попалъ въ тотъ огородъ, куда онъ былъ пущенъ. Друзья и враги узнали Эбеля и его поклонниковъ. Сами эбеліане поняли какъ нельзя лучше, что обличительный романъ направленъ именно противъ нихъ. Но защищаться печатно имъ не было возможности. Въ романѣ не было ни подлинныхъ именъ, ни такихъ опредѣленныхъ указаній, къ которымъ можно было-бы придраться. Протестовать противъ клеветы по поводу этого романа значило-бы признаться въ томъ, что намеки могутъ быть поняты, что протестующіе имѣютъ нѣкоторое основаніе принять ихъ на свой счетъ, и что подъ преувеличеніями карикатуры, нарисованной враждебной рукой, все-таки есть возможность распознать дѣйствительныя черты живыхъ людей. Эбеліане молча перенесли ударъ, и впечатлѣніе, произведенное на читающую публику романомъ Келера, не получило себѣ никакого отпора. Это обстоятельство было тѣмъ болѣе непріятно для эбеліанъ, что обличительное произведеніе Келера, какъ теологическій романъ, обращалось преимущественно къ благочестивой части общества и слѣдовательно дискредитировало секту именно тамъ, гдѣ она могла разсчитывать на дѣятельное сочувствіе и гдѣ она желала его возбуждать и поддерживать.

Въ 1824 году эбеліанъ постигло новое несчастіе, болѣе серьезное и чувствительное, чѣмъ предыдущія. Оберъ-президентъ восточной Пруссіи, фонъ-Ауэрсвальдъ, отецъ графини Иды и ревностный покровитель секты, къ которой онъ самъ принадлежалъ—умеръ, и на его мѣсто поступилъ его зять, фонъ-Шёнъ, правая рука ми-

Digitized by Google

нистра-реформатора, барона фонъ-Штейна, либералъ и философъ, то-есть вольнодумецъ, отъ котораго никакіе мистики, фантазеры и энтузіасты не могли ожидать себѣ ни малѣйшей поддержки, несмотря даже на то, что онъ былъ женатъ на старшей сестрѣ графини фонъ-деръ-Гребенъ.

Профессоръ Саксъ немедленно замѣтилъ и понялъ перемѣну, происшедшую въ высшихъ административныхъ сферахъ, отшатнулся отъ альтштадтской церкви и сталъ понемногу развертывать тѣ стороны своей личности, которыми онъ, по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, пріобрѣлъ себѣ прозваніе Мефистофеля.

Въ это же время профессоръ теологіи Германъ Ольсгаузенъ, бывшій нѣсколько лѣтъ тому назадъ послѣдователемъ Шёнгерра, сталъ писать и проповѣдывать противъ эбеліанъ. Дистель взялся отвѣчать ему, пересыпалъ свой отвѣтъ ругательствами и личными выходками и обнаружилъ такую комическую ярость и такое полное презрѣніе ко всѣмъ литературнымъ приличіямъ, что скомпрометировалъ свою партію въ глазахъ того многочисленнаго класса людей которые, не желая и не умѣя оцѣнивать дѣло по существу, настоятельно требуютъ отъ спорящихъ сторонъ соблюденія извѣстныхъ правилъ и общепринятыхъ формъ.

Подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ огорченій и непріятностей, которыя очевидно служили только предвѣстниками болѣе серьезныхъ испытаній, въ сектѣ произошло то, что происходитъ обыкновенно при подобныхъ обстоятельствахъ. Энтузіазмъ искреннихъ фанатиковъ усилился—сдѣлался глубже, подозрительнѣе и исключительнѣе, а сомнительная ревность слабыхъ, колеблющихся и своекорыстныхъ натуръ ослабѣла; эти два явленія, идя параллельно, должны были взаимно усиливать другъ друга; фанатики чувствовали потребность сомкнуться тѣснѣе, пересчитать свои силы и окончательно убѣдиться въ томъ, что ихъ вѣра тверда и мужество несокрушимо; осторожные и разсчетливые видя мрачное воодушевленіе своихъ глубоко-убѣжденныхъ и совершенно неблагоразумныхъ товарищей, чувствовали съ своей стороны настоятельную и постоянно возрастающую потребность выбраться по добру по здорову изъ такого общества, которое съ минуты на минуту могло потянуть ихъ за собой въ дикія эксцентричности и поставить ихъ, людей положительныхъ и серьёзныхъ, дорожащихъ своимъ спокойствіемъ и чувствительныхъ къ приговорамъ общественнаго мнѣнія—либо въ комическое, либо даже—мало ли что можетъ случиться?—въ опасное положеніе.

Графъ фонъ-Финкенштейнъ, не могшій подавить въ себѣ голосъ свѣтскаго благоразумія даже въ виду такого событія, какъ второе пришествіе, конечно не могъ сдѣлаться фанатикомъ, когда піетизмъ пересталъ быть знаменемъ мѣстнаго правительства. Этого было достаточно, чтобы погубить его въ глазахъ фанатизированныхъ женщинъ верховнаго комитета. Его торжественно исключили изъ церкви, и его сестра прервала съ нимъ всякія сношенія.

Около этого времени умерла графиня Минна фонъ-Каницъ, умерла, несмотря на то, что она должна была, въ качествѣ *второго свидѣтеля*, присутствовать при тѣхъ великихъ событіяхъ, которыя Эбель обѣщалъ своимъ послѣдователямъ въ самомъ близкомъ будущемъ Счелъ ли Эбель необходимымъ представить членамъ высшихъ круговъ какія-нибудь объясненія по поводу этого неожиданнаго смертнаго случая, и въ чемъ состояли эти объясненія—этого мы не узнаемъ изъ книги Диксона. Не подлежитъ сомнѣнію только то, что если какія-нибудь объясненія были представлены, то они совершенно удовлетворили вѣрующихъ, такъ что преждевременная кончина графини Минны не породила ничего похожаго на смуту или ересь. По всей вѣроятности, эта смерть была объяснена нравственными несовершенствами покойницы, такими несовершенствами, вслѣдствіе которыхъ Минна была неспособна и недостойна исправлять высокую должность *второго свидѣтеля*. По крайней-мѣрѣ графиня Минна послѣ смерти своей подверглась разжалованію, и ея должность осталась вакантной, несмотря на то, что эта должность сначала была присвоена ей на всю вѣчность. На открывшуюся вакансію Эбель назначилъ сестру Финкенштейна; тогда *первый свидѣтель*, графъ фонъ-Каницъ, сдѣлалъ ей предложеніе; бракъ состоялся, и такимъ образомъ, оба свидѣтеля еще разъ оказались мужемъ и женой.

Новая графиня пожелала привлечь къ сектѣ одну изъ своихъ родственницъ, молодую, красивую и богатую дѣвушку, Зелину фонъ-Мирбахъ. Финкенштейнъ, въ качествѣ вліятельнаго родственника, написалъ къ Зелинѣ письмо, въ которомъ совѣтовалъ ей остерегаться графини фонъ-Каницъ и описывалъ самыми мрачными красками Эбеля, Дистеля и нравы ихъ послѣдователей. Зелина показала это письмо графинѣ фонъ-Каницъ, которая прочитала его съ величайшимъ негодованіемъ и объявила, что оно переполнено самой отвратительной ложью. Взявъ себѣ это письмо, графиня фонъ-Каницъ созвала верховный совѣтъ секты и сообщила ему все дѣло. Совѣтъ рѣшилъ, что прежде всего божественное спокойствіе возлюбленнаго архидіакона не должно быть возмущаемо такими недостойными дрязгами, что Финкенштейнъ за свое отвратительное письмо долженъ подвергнуться примѣрному и по возможности жестокому наказанію, что каждый изъ ревностныхъ членовъ секты долженъ наказывать преступника всѣми зависящими отъ него средствами, и что

Digitized by Google

письмо Финкенштейна слѣдуетъ передать Дистелю, какъ самому энергическому бойцу церкви, способному дать достаточно сильный отпоръ.

Зелина фонъ-Мирбахъ тотчасъ присоединилась къ піетистическому кружку. Графиня фонъ-Каницъ навсегда поссорилась съ своимъ братомъ и даже завела съ нимъ процессъ изъ-за какого-то имѣнія. Каницъ, въ одной клерикальной газетѣ, обвинилъ Финкенштейна въ безнравственномъ образѣ жизни, называя его при этомъ по имени и указывая на то, что его жена, графиня фонъ Финкенштейнъ, достойна почти такого же безпощаднаго осужденія. Наконецъ Дистель прислалъ Финкенштейну письмо на тринадцати листахъ большого формата, состоявшее сплошь изъ самыхъ оскорбительныхъ обвиненій и самыхъ отборныхъ ругательствъ.

Финкенштейнъ послалъ опроверженіе въ газету, помѣстившую нападеніе Каница, но не чувствуя себя способнымъ вести полемику съ Дистелемъ, представилъ его бранное письмо въ судъ. Судъ приговорилъ Дистеля къ денежному штрафу въ 200 талеровъ и затѣмъ освѣдомился о причинахъ рѣзкой переписки, завязавшейся между Дистелемъ и Финкенштейномъ. Обвиненія, заключавшіяся въ письмѣ Финкенштейна къ Зелинѣ фонъ-Мирбахъ, всплыли наверхъ, и судъ потребовалъ отъ Финкенштейна доказательствъ. Финкенштейнъ представилъ массу бумагъ, написанныхъ имъ и его женой и направленныхъ противъ Эбеля, Дистеля, Каница, графини Иды и покойной Минны фонъ-Каницъ. Тутъ было множество очень тяжелыхъ, но очень плохо доказанныхъ обвиненій въ самой отвратительной безнравственности. Такъ напримѣръ, было сказано, что Эбель, подъ видомъ совершенія благочестиваго обряда, дѣлалъ графинѣ фонъ-Финкенштейнъ предложенія, оскорбительныя для ея чести. Всѣ эти бездоказательныя обвиненія судъ оставилъ безъ вниманія; но такъ-какъ Финкенштейнъ указывалъ на то, что у эбеліанъ есть тайная доктрина, несогласная съ ученіемъ лютеранской церкви, то дѣло поступило на разсмотрѣніе кенигсбергской консисторіи.

Консисторія назначила слѣдователями по этому дѣлу Келера, автора «Филагатоса», и Зандера. Слѣдователи представили такой докладъ, что консисторія, впредь до окончанія дѣла, признала нужнымъ запретить Эбелю и Дистелю отправленіе пастырскихъ обязанностей и послала министру духовныхъ дѣлъ, барону фонъ-Альтенштейну, отчетъ обо всѣхъ раскрывающихся беззаконіяхъ. Послѣ довольно продолжительныхъ совѣщаній между министромъ и консисторіей, было рѣшено предать Эбеля и Дистеля уголовному суду, во-первыхъ, по обвиненію въ необыкновенной нравственной испорченности, и во-вторыхъ, по обвиненію въ попыткахъ основать новую религіозную секту.

По мѣрѣ того какъ разыгрывалось это дѣло, положеніе его перваго виновника, Финкенштейна, становилось все болѣе и болѣе затруднительнымъ. Эбеліане и въ особенности эбеліанки вредили ему и его женѣ всѣми утонченными и разнообразными средствами, какія только могутъ пріискать благочестивая ярость и женская изобрѣтательность. Чувствуя или, быть можетъ, воображая себѣ, что его честность подвергается сомнѣнію, что на его жену бросаютъ въ высшемъ обществѣ презрительные или насмѣшливые взгляды, Финкенштейнъ совсѣмъ потерялъ голову и придумалъ, для огражденія своего добраго имени, самую странную и нелѣпую комбинацію. Онъ сталъ ѣздить по домамъ своихъ старыхъ друзей, вліятельныхъ, богатыхъ и знатныхъ особъ, упрашивая ихъ подписать бумагу, въ которой было сказано, что графъ и графиня фонъ-Финкенштейнъ всегда отличались и продолжаютъ отличаться до настоящей минуты всѣми достоинствами, способными составить украшеніе прусскаго магната и его законной супруги. Понятное дѣло, что это собираніе похвальныхъ аттестатовъ окончательно сдѣлало бѣднаго графа посмѣшищемъ всей провинціи.

Уголовное преслѣдованіе, направленное противъ Эбеля и Дистеля, началось въ 1835 году. Дистель, призванный къ слѣдователю, наговорилъ ему сразу множество дерзостей и за это, въ самомъ началѣ процесса, попалъ на пять мѣсяцевъ въ крѣпость.

Въ числѣ другихъ свидѣтелей, слѣдователь вызвалъ графиню Иду. Отвѣтомъ на этотъ вызовъ былъ гордый и рѣшительный отказъ, мотивированный тѣмъ, что графиня ни за кѣмъ въ мірѣ не признаетъ права задавать ей вопросы, затрогивающіе дѣла ея совѣсти. Слѣдователь повторилъ свое приглашеніе, прибавивъ, что за неявку по закону полагаются штрафъ или тюремное заключеніе. Ида осталась непоколебимой. Съ нея взыскали двѣсти талеровъ штрафа; но и это не подѣйствовало. Графиня приказала передать слѣдователю, что она, пожалуй, готова отправиться и въ тюрьму, но что показаній, противорѣчащихъ ея совѣсти, отъ нея все-таки никто не добьется. Слѣдователь, приведенный въ недоумѣніе, отправилъ ея письмо къ ея родственнику, оберъ-президенту фонъ-Шёну, и попросилъ у него совѣта, какъ поступать. Шёнъ отвѣтилъ, что онъ хорошо знаетъ свою родственницу, и что, по его твердому убѣжденію, ни угрозы, ни истязанія, еслибы они были возможны, не заставятъ графиню Иду дѣйствовать наперекоръ внушеніямъ ея совѣсти. Поэтому онъ совѣтовалъ слѣдователю оставить ее въ покоѣ, чтобы безполезными рѣзкостями не ронять достоинство суда и не возбуждать общественное мнѣніе въ пользу подсудимыхъ. Министръ юстиціи, которому слѣдователь доложилъ о непобѣдимомъ упорствѣ графини, на-

Digitized by Google

шелъ также, что сажать ее въ тюрьму неприлично и безполезно, и приказалъ дать дѣлу такой оборотъ, чтобы ея показаніе было признано излишнимъ. Повинуясь этому приказанію, судъ призналъ взысканіе штрафа незаконнымъ и возвратилъ графинѣ Идѣ ея двѣсти талеровъ.

Главнымъ свидѣтелемъ противъ Эбеля и Дистеля выступилъ профессоръ Саксъ. Подсудимые рѣшительно отклонили его свидѣтельство и стали доказывать, что онъ—человѣкъ, незаслуживающій ни малѣйшаго довѣрія. Эбель сказалъ, что, въ качествѣ духовнаго лица, онъ, архидіаконъ, не можетъ обвинять своего ближняго; что подробности, извѣстныя ему о Саксѣ, дошли до него путемъ исповѣди, сдѣланной не ему лично, а другимъ особамъ; что открывать эти подробности онъ не можетъ и не будетъ; но что, зная Сакса такъ, какъ онъ его знаетъ, онъ, Эбель, торжественно протестуетъ противъ допущенія его въ свидѣтели.

Этотъ бездоказательный протестъ не могъ имѣть никакого серьезнаго значенія, но другой подсудимый, Дистель, не ограничился такимъ протестомъ и представилъ въ судъ двѣ подлинныя рукописи Сакса, скрѣпленныя его подписью. То были два большія письма, адресованныя къ покойной графинѣ фонъ-Каницъ и заключавшія въ себѣ полную и подробнѣйшую исповѣдь Сакса. Въ этой исповѣди профессоръ взводилъ на себя самыя грязныя и унизительныя обвиненія, такія обвиненія, которыя, дѣйствительно должны были отнять у судей всякую возможность полагаться на его слова и вѣрить его свидѣтельскимъ показаніямъ.

Судъ предъявилъ эти письма Саксу. Саксъ принужденъ былъ сознаться, что оба письма, съ первой строки до послѣдней, дѣйствительно писаны его собственной рукой.

— Стало быть, все, что̀ тутъ написано, чистая правда? спросилъ судъ.

— Нѣтъ, не правда, отвѣтилъ Саксъ.

— Но вѣдь вы-же говорите тутъ въ первомъ лицѣ, о самомъ себѣ, и сами подписываете эти показанія.

Саксъ согласился, что все это дѣйствительно такъ, и однакоже продолжалъ утверждать, что обвиненія, взведенныя на него этими письмами, совершенно невѣрны. Онъ самъ себя не помнилъ отъ горя, когда писалъ свою исповѣдь; онъ самъ не понималъ, что̀ говоритъ и что пишетъ; онъ совершенно подчинился вліянію Минны фонъ-Каницъ, которой было поручено заботиться о спасеніи и освященіи его души; Минна настоятельно, сурово, неотступно требовала отъ него признаній; она сама внушила ему, что̀ ему слѣдуетъ говорить, въ чемъ обвинять себя и каяться; онъ страстно желалъ пріобрѣсти и упрочить за собой ея благосклонность, и онъ исполнилъ всѣ ея требованія и добровольно очернилъ себя цѣлымъ длиннымъ спискомъ вымышленныхъ гнусностей; и эту сложную и замысловатую клевету противъ самого себя онъ нетолько высказалъ словесно, въ пылу увлеченія, подъ вліяніемъ присутствія, взглядовъ и увѣщаній своей руководительницы, но еще подтвердилъ и письменно, оставаясь наединѣ съ самимъ собою, въ тиши своего рабочаго кабинета.

Письма, представленныя Дистелемъ, были во всякомъ случаѣ тяжелымъ ударомъ для Сакса, и объясненіе ученаго профессора, какъ-бы ни посмотрѣли на него судьи, не могло въ достаточной степени оградить его репутацію. Судьи могли повѣрить этому объясненію, могли и не повѣрить. Если бы они ему не повѣрили, то они, стало быть, остановились-бы на томъ убѣжденіи, что Саксъ дѣйствительно виновенъ во всемъ, въ чемъ онъ письменно покаялся графинѣ фонъ-Каницъ, и что онъ теперь закончилъ длинный рядъ своихъ грязныхъ поступковъ торжественной, публичной, очень неправдоподобной и слѣдовательно тѣмъ болѣе безстыдной ложью. Въ этомъ случаѣ Саксъ является человѣкомъ обезчещеннымъ, и его свидѣтельство теряло всякую цѣну. Еслибы судьи новѣрили Саксу, то его положеніе едва-ли улучшилось бы. Повѣривъ ему на слово, по его собственному желанію, судьи должны были придти къ тому заключенію, что онъ, при тѣхъ или другихъ условіяхъ, подъ вліяніемъ тѣхъ или другихъ побужденій, уступая тому или другому давленію, оказался способнымъ гнуснѣйшимъ образомъ оклеветать самого себя. Тутъ неизбѣжно и немедленно должно было явиться то соображеніе, что человѣкъ, способный оклеветать самого себя, способенъ тѣмъ болѣе оклеветать другихъ, если представляются достаточно сильныя побудительныя причины. Слѣдовательно, и въ этомъ случаѣ полагаться на свидѣтельство Сакса было неудобно.

Но прусскіе судьи того времени были послушнымъ орудіемъ въ рукахъ администраціи. Фонъ-Шёнъ, какъ раціоналистъ, былъ врагомъ той сантиментальной безсмыслицы, въ пользу которой ратовалъ кружокъ Эбеля. Вліяніе его хорошо извѣстныхъ симпатій и антипатій заставило судей упустить изъ виду ту дилемму, которая каждому безпристрастному человѣку кажется неизбѣжной при разсмотрѣніи вопроса о свидѣтельствѣ Сакса. Это свидѣтельство было принято и послужило главнымъ основаніемъ для приговора.

Видя, что дѣло принимаетъ очень дурной оборотъ для подсудимыхъ, всѣ знатные послѣдователи и доброжелатели Эбеля—чуть не половина аристократовъ восточной Пруссіи—стали хлопотать о перенесеніи процесса въ Берлинъ, подальше отъ вліянія кенигсбергскаго оберъ-президента. Этими стараніями управляла отчасти дѣйствительная преданность архидіакону, отчасти желаніе многихъ важныхъ господъ огра-

Digitized by Google

дить свое собственное доброе имя, которое могло бы пострадать. еслибы ихъ наставникъ и руководитель оказался достойнымъ строгаго уголовнаго наказанія.

Дѣло перенесли въ Берлинъ, оно разрослось до громадныхъ размѣровъ, разрослось и въ ширину, и въ глубину; подсудимые, ихъ защитники, свидѣтели за и противъ представили въ судъ горы рукописей и печатныхъ сочиненій; судьямъ пришлось разбирать цѣлую библіотеку, не менѣе девяноста томовъ; пришлось читать трактаты по теологіи, логикѣ, церковной исторіи и метафизикѣ; пришлось ломать голову надъ вѣчно-спорными вопросами о благодати и добрыхъ дѣлахъ, о свободѣ человѣческой воли, объ искупляющей силѣ вѣры; пришлось становиться на точку зрѣнія мистиковъ, фантазеровъ и энтузіастовъ; все это продолжалось два года.

Въ 1839 году состоялся суровый приговоръ. Рѣшено было Эбеля и Дистеля лишить священническаго сана и гражданскихъ правъ, объявить неспособными къ какой бы то ни было государственной службѣ и затѣмъ продержать Эбеля въ заключеніи до тѣхъ поръ, пока онъ не исправится и не отречется отъ своихъ опасныхъ заблужденій.

Получивъ этотъ приговоръ, оберъ-президентъ фонъ-Шёнъ не зналъ, что съ нимъ дѣлать. Въ приговорѣ не было сказано, куда посадить Эбеля, и кому наблюдать за нимъ, и какими мѣрами лечить его отъ заблужденій. Начальникъ городскихъ тюремъ, призванный для совѣщаній по этому дѣлу, сказалъ фонъ-Шёну: «Вашему превосходительству надо будетъ принять на себя лично эту обязанность, потому что кромѣ васъ не найдется въ Кенигсбергѣ человѣка, кто бы отважился давать уроки архидіакону».

Пока фонъ-Шёнъ раздумывалъ, въ Берлинѣ произошла великая перемѣна. Король Фридрихъ-Вильгельмъ III умеръ, и его преемникъ Фридрихъ-Вильгельмъ IV самъ оказался піетистомъ, человѣкомъ, способнымъ вѣрить въ тайну свѣта и воды, заниматься астрологіей и отыскивать жизненный эликсиръ. На мѣсто министра Альтенштейна, умершаго въ это же самое время, былъ назначенъ піетистъ Эйхгорнъ.

Благодаря этимъ измѣнившимся обстоятельствамъ, друзьямъ Эбеля удалось добиться пересмотра его дѣла. Состоявшееся рѣшеніе въ началѣ 1842 года было кассировано. Подсудимые были признаны невиновными въ умышленномъ нарушеніи своихъ обязанностей и въ основаніи новой секты. Отнятыя гражданскія права были имъ возвращены, и тюремное заключеніе, на которое былъ осужденъ Эбель, отмѣнено. Но то рѣшеніе кёнигсбергскаго церковнаго суда, въ силу котораго Эбелю и Дистелю запрещено отправлять пасторскія обязанности, осталось нетронутымъ.

«Со времени своей апелляціи, говоритъ Диксонъ, архидіаконъ жилъ вдали отъ свѣта съ графиней Идой, своей ближайшей духовною женой. Они переѣзжали съ мѣста на мѣсто изъ восточной Пруссіи въ Силезію, изъ Саксоніи въ Виртембергъ. Ида, въ защиту своего учителя, написала книгу, подъ заглавіемъ *Die Liebe zur Wahrheit* (любовь къ правдѣ) и издала ее въ Штутгардтѣ, въ 1850 году. Они поселились въ прелестномъ городкѣ Лудвигсбургъ, близъ Штутгарта, и тутъ, въ 1861 году, архидіаконъ умеръ; но передъ смертью онъ увидѣлъ плоды своихъ трудовъ и огорченій; піетистическія общества возникли во многихъ изъ самыхъ просвѣщенныхъ и промышленныхъ городовъ Германіи — въ Галле и Гейдельбергѣ, въ Берлинѣ и Гановерѣ, въ Дрезденѣ и Штутгартѣ, въ Барменѣ и Эльберфельдѣ. Говорятъ, что старость его была спокойная, и что онъ скончался такъ, какъ будто просто заснулъ».

Въ ноябрѣ 1867 года Диксону, бывшему въ это время въ Кёнигсбергѣ, удалось видѣть одну изъ новѣйшихъ манифестацій піетизма, насажденнаго много лѣтъ тому назадъ Шёнгерромъ и Эбелемъ. Молодой проповѣдникъ, сынъ того самаго Дистеля, который смирялъ свою гордость нюхательнымъ табакомъ, собралъ толпу благочестивыхъ слушателей въ городской вокзалъ и сталъ бесѣдовать съ ними о близости второго пришествія. Піетисты, собравшіеся въ вокзалѣ, такъ воодушевились, что начали плакать и кричать отъ умиленія. Студенты, столпившіеся на улицѣ, отвѣчали на восторженные вопли піетистовъ насмѣшливыми восклицаніями. Потомъ, когда благочестивые крики въ вокзалѣ дошли до апогея, студенты потеряли терпѣніе, вломились туда толпами, и съ восклицаніями: «серафимовскіе поцѣлуи!» стали обнимать и цѣловать женщинъ и дѣвушекъ, кричавшихъ и плакавшихъ вмѣстѣ съ остальной публикой. Начался безпорядокъ. Завязались драки между студентами и покровителями оскорбляемыхъ женщинъ. Наконецъ явилась полиція, пришли солдаты генерала Фогеля фонъ-Фалькенштейна и положили конецъ какъ воодушевленію піетистовъ, такъ и безчинству вольнодумцевъ.

ПРИНСЕНИТЫ.

I.

Генри-Джемсъ Принсъ родился въ Батѣ, въ 1811 году. О профессіи и общественномъ положеніи его отца Диксонъ не сообщаетъ никакихъ подробностей. На развитіе мальчика отецъ не могъ имѣть никакого вліянія, потому что умеръ вскорѣ послѣ его рожденія. Вдова мистера Принса осталась въ Батѣ, въ собственномъ домѣ, съ нѣсколькими малолѣтними

Digitized by Google

дѣтьми и съ очень ограниченными денежными средствами.

Ея младшій сынъ, Генри-Джемсъ былъ очень слабый и болѣзненный ребенокъ. Онъ не любилъ и не могъ играть, бѣгать и рѣзвиться съ своими болѣе крѣпкими и веселыми сверстниками. Бо́льшую часть своего времени онъ проводилъ подъ покровительствомъ добродушной и благочестивой, уже немолодой дѣвушки, Марты Фриманъ, нанимавшей квартиру въ домѣ его матери.

Марта была католичка, но повидимому не находилась въ полной умственной зависимости отъ своего духовника и позволяла себѣ читать очень прилежно и внимательно библію, которую патеры, какъ извѣстно, считаютъ книгой недоступной и даже въ значительной степени опасной для мірянъ, и въ особенности для женщинъ. Пожилая дѣвушка, отказавшаяся отъ надежды на земное счастіе, и болѣзненный ребенокъ, естественнымъ образомъ расположенный къ тихой и грустной мечтательности, часто читали вмѣстѣ евангеліе, часто молились вмѣстѣ, оплакивали свои грѣхи, размышляя о будущей жизни, вполнѣ понимали другъ друга и воспитывали общими силами чувство взаимной привязанности, спокойной и прочной, какъ дружба, глубокой и нѣжной, какъ любовь.

Мистрисъ Принсъ хотѣла, чтобы ея младшій сынъ сдѣлался медикомъ. Шестнадцати лѣтъ отъ роду, Генри поступилъ въ ученики къ аптекарю и пробылъ въ ученіи около семи лѣтъ. Занимаясь аптекарскимъ дѣломъ, читая медицинскія книги, посѣщая лекціи, работая въ анатомическихъ театрахъ и въ госпиталяхъ, молодой Принсъ велъ постоянно самую чистую и строгую жизнь. Когда ему пришлось переселиться въ Лондонъ для довершенія своего медицинскаго образованія и для сдачи экзаменовъ, атмосфера столицы и встрѣча съ буйными и разгульными юношами не подѣйствовали на него развращающимъ образомъ. Онъ продолжалъ восторженно любить старую дѣву, усердно молиться и прилежно читать библію.

Выдержавъ экзамены и получивъ лекарскій дипломъ, онъ добылъ себѣ мѣсто ординатора при госпиталѣ въ Батѣ и втеченіе трехъ лѣтъ ревностно занимался отправленіемъ своихъ обязанностей, къ которымъ у него однако не лежало сердце, потому что чтеніе библіи и молитва продолжали составлять попрежнему настоящій центръ его душевной жизни. Въ 1835 г. онъ заболѣлъ, поѣхалъ въ Лондонъ совѣтоваться съ медицинскими знаменитостями, выдержалъ мучительную операцію, недѣль пять пролежалъ въ постели, и во время томительно безсонныхъ ночей, при содѣйствіи своей вѣрной пріятельницы Марты, додумался до того убѣжденія, что ему слѣдуетъ бросить медицину и обратиться къ тѣмъ занятіямъ, которыя могутъ сдѣлать его врачемъ и спасителемъ погибающихъ душъ.

Оправившись отъ операціи, Принсъ, по совѣту докторовъ, поѣхалъ въ Шотландію лечиться свѣжимъ горнымъ воздухомъ.

«Грубые жители сѣвера, говоритъ Диксонъ, озадачили добраго молодого человѣка изъ Бата. Они пили много, богохульствовали громко, дрались крѣпко. Взрослые мужчины любили своихъ ребятишекъ и колотили своихъ женъ. Немногіе изъ этихъ неотесанныхъ молодцовъ переступали за порогъ церкви; ихъ воскресныя утра уходили преимущественно на драки, которыми разрѣшались ссоры прошлой недѣли. Хозяева были не лучше простыхъ рабочихъ, хотя и предполагалось, что ихъ увеселенія менѣе грубы. Когда Принсъ отправлялся въ церковь, онъ слышалъ среди полей крики охотниковъ. Церковь—старая рига—была почти пуста. Вотъ стадо, думалъ Принсъ, которому безотлагательно нуженъ пастырь; и такъ было на сѣверѣ во многихъ мѣстахъ. Принсу сказали, что тутъ народъ ненавидитъ священниковъ; онъ видѣлъ, что эта ненависть дѣйствительно существуетъ, хотя у него передъ глазами возвышались соборныя башни и теологическія школы Дёргама; и ему особенно больно было то, что онъ въ душѣ своей не могъ объяснить эту ненависть непризнанными достоинствами пасторовъ. Это объясненіе было невозможно».

Убѣдившись въ жалкомъ нравственномъ положеніи стада и пастырей, Принсъ окончательно рѣшился посвятить свою жизнь подвигамъ евангельской проповѣди и для этого приготовиться къ священническому званію въ Дёргамской теологической школѣ. Марта, съ которой онъ постоянно совѣтовался, и которая, подъ вліяніемъ его наставленій, перешла изъ католическаго вѣроисповѣданія въ англиканское, совершенно одобрила его намѣреніе и пожелала только, чтобы онъ изучалъ теологію не въ Дёргамѣ, а гдѣ нибудь поближе отъ Бата. Училище, соотвѣтствовавшее всѣмъ желаніямъ Марты и ея друга, нашлось въ Лемпитерѣ, въ Кардиганшейрѣ, одномъ изъ южныхъ графствъ Княжества Уэльскаго.

Лемпитеръ былъ недалеко отъ Бата; воздухъ тамъ былъ здоровый, мѣстоположеніе—живописное; но люди, разумѣется, не удовлетворяли строгимъ требованіямъ Принса. Всѣ ихъ заботы и развлеченія казались благочестивому юношѣ мелочными и суетными. Профессора высматривали, нельзя ли гдѣ нибудь добыть себѣ приращенія доходовъ или перескочить куда нибудь на болѣе выгодное и блестящее мѣсто; студенты занимались со страстью рыбной ловлей, попойками, гимнастическими упражненіями и пикниками; кто изъ профессоровъ и студентовъ былъ поосновательнѣе и посерьезнѣе,

Digitized by Google

тотъ усердно читалъ книги по своей спеціальности; но и эти труды не находили себѣ помилованія въ глазахъ Принса. Юный энтузіастъ видѣлъ въ нихъ преимущественно продукты умственной кичливости, несовмѣстной съ истиннымъ благочестіемъ.

Что думалъ и чувствовалъ Принсъ, то онъ и высказывалъ безъ утайки. Его слова не пропадали даромъ. Нѣкоторые изъ его товарищей нашли въ его словахъ краснорѣчивое выраженіе своихъ собственныхъ духовныхъ потребностей, и вокругъ Принса скоро сгруппировалась небольшая кучка вѣрующихъ и благочестивыхъ студентовъ. Они назвали себя лемпитерскими братьями, стали собираться для чтенія священнаго писанія и для общей молитвы, пришли къ тому убѣжденію, что міръ вообще и ихъ училище въ особенности гибнутъ отъ нравственнаго очерствѣнія, и для спасенія погибающаго человѣчества рѣшились воспитать въ себѣ постомъ и молитвою и вынести съ собою изъ стѣнъ училища въ дѣятельную жизнь духъ глубокой, пламенной и неустрашимой религіозности.

Любимой книгой Лемпитерскихъ братьевъ была «Пѣснь пѣсней» Соломона. Роскошные и ярко чувственные образы поддерживали въ нихъ то неопредѣленно-восторженное настроеніе, къ которому они стремились и въ которомъ они видѣли высшую цѣль человѣческаго существованія. Самому Принсу «Пѣснь пѣсней» была особенно дорога, потому что его двѣ преобладающія страсти находили себѣ въ ней превосходное выраженіе. Принсъ чувствовалъ себя страстно влюбленнымъ въ Марту Фриманъ, и его любовь была тѣмъ сильнѣе, что Марта по своимъ лѣтамъ годилась ему въ матери, и что слѣдовательно Принсу невозможно было заподозрить и отыскать въ своемъ чувствѣ грѣховный элементъ плотскаго влеченія. Съ другой стороны, Принсъ такъ же страстно стремился къ полному духовному совершенству, къ побѣдѣ надъ всѣми человѣческими слабостями и пристрастіями, къ таинственному сліянію съ верховнымъ существомъ. Читая «Пѣснь пѣсней», вдумываясь въ каждое слово и стараясь прочувствовать каждый оттѣнокъ, Принсъ могъ понимать образы превосходной лирической поэзіи или въ буквальномъ, или въ аллегорическомъ смыслѣ. Если онъ понималъ ихъ буквально, какъ восторженное обращеніе влюбленнаго мужчины къ любимой женщинѣ, то передъ его глазами появлялась скромная, увядшая фигура Марты Фриманъ, и онъ съ гордой улыбкой страстнаго поклонника думалъ о томъ, на сколько духовныя совершенства этой пожилой дѣвушки, положившія свою печать на всѣ черты ея лица, выше, прекраснѣе и прочнѣе тѣхъ скоропреходящихъ прелестей юной восточной красавицы, которыя прославляетъ древній поэтъ. Если онъ прибѣгалъ къ аллегорическому истолкованію, то его суровый идеалъ возставалъ передъ нимъ во всей своей величественной красотѣ, и онъ бросался къ нему съ тѣмъ самозабвеніемъ знойной страсти, которымъ порождены и проникнуты громадно-преувеличенные образы азіатской поэмы. Находя передъ собой, при чтеніи любимыхъ строкъ, то Марту Фриманъ, то идеалъ духовнаго совершенства, видя, что въ Мартѣ онъ любитъ именно тѣ черты святости, къ которымъ онъ самъ стремится, и замѣчая такимъ образомъ, что обѣ его страсти, вмѣсто того, чтобы сталкиваться между собой, могутъ только взаимно поддерживать и усиливать другъ друга, Принсъ скоро довелъ себя до такого состоянія восторженной самонадѣянности, которое близко подходитъ къ помѣшательству и дѣйствуетъ заразительно-покоряющимъ образомъ на впечатлительные умы.

Въ первое время послѣ того, какъ Принсъ убѣдился въ силѣ своей любви къ Мартѣ, на него нападали мучительныя сомнѣнія. Онъ задавалъ себѣ вопросы, нѣтъ ли въ этой любви зерна грѣховной слабости, и будетъ ли онъ, Принсъ, въ состояніи побѣдить свое чувство и попрать его ногами, если это чувство когда нибудь и какимъ бы то ни было образомъ придетъ въ столкновеніе съ его обязанностями относительно Верховнаго Существа и съ высшими требованіями духовнаго совершенства.

Чѣмъ мучительнѣе были эти тревоги, тѣмъ торжественнѣе и радостнѣе оказалось наступившее за ними успокоеніе. Когда Принсу удалось убѣдить себя, что его единственная земная страсть находится и всегда будетъ находиться въ строгомъ согласіи съ велѣніями Верховнаго Существа, тогда Принсъ пришелъ къ тому убѣжденію, что у него нѣтъ страстей, способныхъ привести его къ нравственному паденію, что онъ вообще не можетъ и никогда не будетъ грѣшить, что человѣческое существо въ немъ умерло, что сліяніе его съ божествомъ совершилось, и что въ немъ мыслитъ, чувствуетъ и дѣйствуетъ святой духъ. Ему удалось убѣдить себя въ томъ, что всѣ мельчайшіе поступки въ его вседневной жизни обусловливаются внушеніями свыше.

«Если — говоритъ Диксонъ — онъ шелъ на прогулку, то онъ спрашивалъ у Бога, пойдетъ ли дождь. Если ему нуженъ былъ стулъ въ его комнату, онъ спрашивалъ у Духа позволенія купить его. Онъ безъ предварительной молитвы не рѣшался надѣть новый сюртукъ или взять дождевой зонтикъ. Онъ оставилъ привычку судить собственнымъ умомъ даже о самыхъ простыхъ вещахъ и сталъ слѣдовать тому, что онъ называлъ внушеніями Духа, даже когда они побуждали его дѣйствовать на перекоръ его видимому благу».

Кончивъ курсъ въ лемпитерскомъ училищѣ, Принсъ женился на Мартѣ Фриманъ и полу-

Digitized by Google

чилъ мѣсто викарія въ Чарлинчѣ, въ Сомерсетшейрѣ. И то, и другое было, разумѣется, сдѣлано по внушенію свыше.

Деревня Чарлинчъ лежала въ тихой и плодородной долинѣ, вдали отъ большихъ торговыхъ центровъ и отъ бойкихъ почтовыхъ трактовъ; землевладѣльцы не жили сами въ этой деревнѣ; фермеры и ихъ работники были простые и грубые люди; церковь была мала, бѣдна и запущена; невѣжественные обыватели рѣдко въ нее заглядывали; они впрочемъ, при всемъ своемъ невѣжествѣ и религіозномъ индиферентизмѣ, не были испорчены и развращены. Въ Чарлинчѣ никогда не бывало и нѣтъ до сихъ поръ ни одного кабака. Во время назначенія Принса, приходскій священникъ (rector) Чарлинча, Семюэль Стерки, былъ очень боленъ, и по совѣту врачей жилъ на островѣ Уайтѣ, такъ что всѣ заботы о духовныхъ нуждахъ прихода упали цѣликомъ на новаго викарія и на его жену.

Принсу, когда онъ пріѣхалъ въ Чарлинчъ, было подъ тридцать. Его женѣ, Мартѣ, было за пятьдесятъ. Она была уже сѣдая, слабая, болѣзненная старуха. Взаимная любовь обоихъ супруговъ оставалась послѣ брака такой-же платонической, какой она была во все время ихъ многолѣтняго знакомства. Настоящая цѣль ихъ брака состояла въ томъ, чтобы общими силами, словомъ и примѣромъ, наставлять ближнихъ на путь къ вѣчной жизни.

Втеченіе цѣлаго года религіозная пропаганда, веденная Принсомъ и его женой, оставалась безъ замѣтныхъ послѣдствій. Обитатели Чарлинча продолжали игнорировать церковную службу и заботиться только о земныхъ интересахъ самаго копѣечнаго достоинства. Только три человѣка, и то изъ другого прихода, навѣстили Принса и побесѣдовали съ нимъ о спасеніи души. Между тѣмъ Марта заболѣла отъ хлопотъ и огорченій, и ея мужъ повезъ ее въ Батъ, по внушенію святого Духа.

Въ это время Стерки лежалъ при смерти на островѣ Уайтѣ.

Доктора отъ него отказались. Сидѣлка сказала ему въ одно утро, что онъ не проживетъ до ночи.

«Въ полдень—разсказывалъ онъ Диксону—мнѣ принесли письмо съ почты изъ Бата отъ одного моего пріятеля пастора. Въ письмѣ лежалъ печатный листокъ, который онъ просилъ, если не будетъ слишкомъ поздно, прочитать мнѣ вслухъ передъ смертью. То была проповѣдь. Я нашелъ, что ея слова были нетолько полны благодати, но полны Бога. Они упали на мою душу, какъ дождь на сухую почву. Когда чтеніе окончилось, я спросилъ имя проповѣдника. И тутъ только я услышалъ, что это проповѣдь моего собственнаго викарія, Принса. Я поблагодарилъ Бога за то, что онъ послалъ моему стаду такого пастыря. Я чувствовалъ себя очень счастливымъ въ душѣ моей, сказалъ нѣсколько послѣднихъ словъ моей женѣ и дочери, и затѣмъ легъ опять, чтобы отойти въ мирѣ. Но я не могъ умереть. Пульсъ мой сталъ биться сильнѣе; языкъ мой разрѣшился; сила стала возвращаться къ моимъ членамъ и, черезъ нѣсколько недѣль послѣ этого призыва съ смертнаго одра, я былъ въ Чарлинчѣ, въ объятіяхъ моего викарія».

Стерки воротился въ Чарлинчъ вполнѣ убѣжденный, что его спасли отъ смерти и призвали на святое дѣло божественныя слова Принса, проникнутыя силою таинственной и чудотворной благодати. Считая свое выздоровленіе великимъ чудомъ, похожимъ на воскрешеніе мертвеца, Стерки сдѣлался вѣрующимъ послѣдователемъ своего викарія. Стерки былъ человѣкъ достаточный, хорошо образованный, уважаемый въ церкви и въ обществѣ. Его фамилія пользовалась давно-упроченнымъ вліяніемъ въ Сомерсетшейрѣ. Черезъ свою мать онъ находился въ дальнемъ родствѣ со многими перами Соединеннаго Королевства.

При содѣйствіи Стерки, проповѣдь Принса пошла успѣшнѣе, когда онъ, вмѣстѣ съ Мартой, воротился въ Чарлинчъ. Сомнѣнія объ участи души стали пробуждаться въ такихъ умахъ, которымъ до того времени были доступны только размышленія о полевыхъ работахъ и о выгодныхъ торговыхъ сдѣлкахъ. Въ короткое время человѣкъ тридцать почувствовали потребность бесѣдовать съ Принсомъ и молиться подъ его руководствомъ. Принсъ назначилъ вечернее молитвенное собраніе по вторникамъ, душеспасительное чтеніе—по пятницамъ, спеціальное молитвенное собраніе—по воскресеньямъ, утромъ, до начала церковной службы. Черезъ мѣсяцъ онъ пошелъ дальше и отвелъ на молитвенные подвиги по одной ночи въ недѣлю; самые ревностные изъ его послѣдователей стали собираться съ вечера и проводить вмѣстѣ всю ночь, занимаясь чтеніемъ молитвъ, пѣніемъ гимновъ, проливаніемъ обильныхъ слезъ и воссыланіемъ къ небу глубокихъ вздоховъ.

Всѣ эти проявленія горячаго религіознаго чувства потрясли такъ сильно еще неокрѣпшіе нервы Стерки, едва оправившагося отъ продолжительной и опасной болѣзни, что онъ на нѣсколько времени потерялъ способность отправлять обязанности своего званія. Въ одно воскресное утро онъ взошелъ на церковную каѳедру съ намѣреніемъ произнести проповѣдь. Вдругъ всѣ его мысли перемѣшались у него въ головѣ, и онъ замѣтилъ съ благоговѣйнымъ ужасомъ, что онъ не въ состояніи вымолвить ни одного путнаго слова. Слезы полились у него изъ глазъ, онъ съ рыданіями попросилъ недоумѣвающихъ прихожанъ простить его немощи и молить вмѣстѣ съ нимъ Всевышняго

Digitized by Google

о ниспосланіи духовнаго свѣта недостойному служителю алтаря. Человѣкъ пятьдесятъ вѣрующихъ пошли вслѣдъ за онѣмѣвшимъ священникомъ изъ церкви къ нему въ домъ, стали тамъ на колѣни и постарались облегчить свои переполненныя души усердными молитвами.

Даръ слова долго не возвращался къ разстроенному пастору. Нѣсколько воскресеній подърядъ Стерки всходилъ по обыкновенію на каѳедру, раскрывалъ книгу, чувствовалъ въ своей головѣ ту же мучительную неурядицу и, постоявъ нѣсколько минутъ, чтобы окончательно убѣдиться въ своей безсловесности, смиренно и печально отправлялся домой молиться и плакать. Изъ окрестныхъ селъ и городовъ въ Чарлинчъ собирались по воскресеньямъ толпы зѣвакъ поглазѣть на нѣмого проповѣдника и потолковать, съ шутками и насмѣшками, о его неслыханномъ и необъяснимомъ несчастіи.

Наконецъ нервы Стерки исподволь приноровились къ тѣмъ сильнымъ ощущеніямъ, которыя ему доставляло вліяніе Принса. Мысли его установились и пришли въ порядокъ. Въ одно воскресенье, стоя на каѳедрѣ, онъ почувствовалъ, что на него сошелъ свыше духъ молитвы. Онъ бросился на колѣни, и изъ его губъ, къ удивленію прихожанъ и постороннихъ зѣвакъ, полились рѣкой стройныя и трогательныя слова слезной молитвенной импровизаціи. Когда первый пылъ его воодушевленія схлынулъ, онъ поднялся на ноги, громко и внятно прочиталъ текстъ священнаго писанія и затѣмъ произнесъ такую проповѣдь, которая врѣзалась неизгладимыми чертами въ умы всѣхъ слушателей. Она, по словамъ Диксона, не отличалась блескомъ и громомъ высокаго человѣческаго краснорѣчія, но была мягка, печальна и торжественна, какъ жизнь и смерть; «пронзительна, какъ огонь, тяжела, какъ молотъ, и острѣе обоюдуостраго меча».

Трепетъ благоговѣйнаго страха прошелъ по толпѣ прихожанъ и зѣвакъ. Многіе изъ мужчинъ закрыли лица руками или задумчиво опустили головы. Почти всѣ женщины стали рыдать и взвизгивать.

Желая ковать желѣзо, пока оно было разгорячено неожиданно убѣдительной проповѣдью Стерки, Принсъ сталъ въ своихъ поученіяхъ громить и клеймить равнодушныхъ, маловѣрныхъ и слабыхъ. Онъ называлъ ихъ негодными плевелами и говорилъ, что ихъ надо отдѣлить отъ пшеницы. Эти поученія внесли тревогу и раздоръ во многія семейства. Бо́льшая часть мужей и отцовъ оказались плевелами, и пшеница, составленная изъ фанатизированныхъ женъ и дочерей, стала сомнѣваться въ законности семейной дисциплины и обнаруживать постоянно возрастающія наклонности къ самоуправленію. Мужья и отцы стали гнѣваться и относиться очень неодобрительно къ тѣмъ вліяніямъ, которыя возмущали подвѣдомственныя имъ державы. Многіе домозяева запретили своимъ женамъ, дѣтямъ и слугамъ ходить на утреннія и вечернія молитвенныя собранія. Жены закричали, что убѣгутъ изъ дома отъ такого тиранства. Мужья стали божиться, что заколотятъ женъ до смерти за такое дерзкое и явное неповиновеніе. Словомъ, поднялся въ тихой деревнѣ дымъ коромысломъ. Мужья перессорились на смерть съ женами, отцы съ дѣтьми, хозяева съ батраками. Принса конечно эти раздоры не могли ни огорчить, ни привести въ смущеніе. У него былъ подъ руками тотъ успокоивающій аргументъ, что онъ, подобно великому учителю, принесъ на землю не миръ, а мечъ. Онъ продолжалъ проповѣдывать и радовался возрастающему волненію, какъ вѣрному доказательству успѣха.

Слухи о возникающемъ религіозномъ движеніи скоро дошли до свѣдѣнія мѣстнаго епископа, и старому прелату, Джорджу-Генри Ло, вовсе не понравилось то обстоятельство, что подвѣдомственные ему клирики вздумали вносить мечъ въ его епархію. Принсу было послано изъ епископскаго дворца приказаніе замолчать. Вмѣстѣ съ тѣмъ ближайшіе совѣтники епископа дали Принсу добрый совѣтъ пріискать себѣ мѣсто въ какомъ-нибудь другомъ графствѣ и своимъ удаленіемъ успокоить взволнованные умы. Принсъ, какъ и слѣдовало ожидать, отвѣтилъ на этотъ совѣтъ, что онъ пришелъ въ Чарлинчъ не по собственной волѣ, а по велѣнію свыше, и что безъ такого велѣнія онъ не тронется съ мѣста. Тогда его отрѣшили отъ должности.

II.

Потерявъ свое оффиціальное положеніе въ Чарлинчѣ, Принцъ попробовалъ сначала сдѣлаться независимымъ проповѣдникомъ. Онъ нанялъ себѣ комнату и объявилъ, что будетъ проповѣдывать тѣмъ, кто пожелаетъ его слушать. Аудиторія его составилась на первый разъ изъ нѣсколькихъ фермеровъ. Но Принсъ скоро призналъ удобнымъ измѣнить свой образъ дѣйствій, который неминуемо долженъ былъ привести его къ открытому разрыву съ господствующей церковью. Повинуясь одному изъ тѣхъ велѣній свыше, которыми обусловливались всѣ его поступки, Принсъ принялъ предложенное ему мѣсто священника въ Стокѣ, близъ Гельстида, въ Восточной Англіи.

Обстоятельства складывались такъ, что это внушеніе свыше совпало повидимому съ голосомъ практическаго благоразумія. Принсу представлялась возможность дѣйствовать на умы, не прибѣгая еще къ крайнимъ мѣрамъ, то-есть, не разрывая связи съ англиканской церковью. Друзья и единомышленники Принса, лемпитерскіе братья,

Digitized by Google

продолжавшіе признавать его своимъ вождемъ, одинъ за другимъ получили приходы въ различныхъ мѣстностяхъ въ Англіи. Находясь съ ними въ перепискѣ, Принсъ могъ дѣйствовать съ нимъ заодно, пока онъ оставался членомъ установленной церкви. Если же онъ захотѣлъ бы сдѣлаться основателемъ отдѣльной секты, то ему предстояла необходимость или разорвать связи съ этими друзьями и единомышленниками, которыхъ содѣйствіе въ различныхъ пунктахъ Англіи могло въ значительной степени усилить успѣхъ религіозной пропаганды, или потянуть за собой въ возникающій расколъ всѣхъ этихъ ревностныхъ сотрудниковъ, которые въ такомъ случаѣ должны были отказаться отъ своихъ приходовъ и уступить свои каѳедры людямъ совсѣмъ другого образа мыслей.

Принявъ мѣсто въ Стокѣ, по внушенію свыше или по другимъ, болѣе осязательнымъ соображеніямъ, Принсъ на нѣсколько времени удалилъ необходимость разрыва со всѣми его послѣдствіями. Такъ какъ назначеніе преемника отставленному Принсу зависѣло отъ Стерки, совершенно подчинившагося вліянію своего бывшаго викарія, то мѣсто въ Чарлинчѣ было отдано одному изъ лемпитерскихъ братьевъ, Джорджу-Робинсону Томасу.

Въ то время, когда надъ Принсомъ сбиралась и разыгрывалась гроза со стороны епископской власти, въ его частной жизни произошла важная перемѣна. Старая и болѣзненная жена его, Марта, умерла, и Принсъ изумилъ всѣхъ своихъ друзей и знакомыхъ той необыкновенной быстротой, съ которой онъ, вслѣдъ за этимъ горестнымъ событіемъ, женился на второй женѣ. Этой второй женой сдѣлалась сестра чарлинчскаго пастора, Джулія Стерки.

Диксону случилось говорить съ Семюэлемъ Стерки объ этомъ второмъ бракѣ Принса. Диксонъ выразилъ своему собесѣднику, что всѣ порядочные люди были изумлены и непріятно поражены той поспѣшностью, которую обнаружилъ Принсъ.

— Вы не должны судить о поступкахъ Возлюбленнаго (Принса) по обыкновеннымъ правиламъ, отвѣтилъ на это Стерки. — Это было для него большое огорченіе, но онъ не могъ уклониться.

Замѣтивъ улыбку, промелькнувшую на губахъ Диксона, Стерки прибавилъ:

— Вы невѣрно его судите; онъ не могъ поступить иначе, потому что такова была воля Божія.

— Чтобы онъ во второй разъ женился?

— Это было сдѣлано для славы Бога, а не для выгодъ человѣка.

Но Диксонъ думаетъ, что и выгоды человѣка были соблюдены, потому что у самого Принса не было никакого состоянія, а у его второй жены было все-таки восемьдесятъ фунтовъ годового дохода.

— Я былъ возлѣ него, продолжалъ Стерки—во все время этого испытанія. Я видѣлъ, какъ онъ страдалъ тѣломъ и духомъ. Я страдалъ вмѣстѣ съ нимъ. Я страдалъ также и вмѣстѣ съ его женой, которая была моей сестрой и моей сидѣлкой, моимъ лучшимъ товарищемъ и самымъ дорогимъ другомъ. Никто изъ насъ не могъ этого измѣнить. Ни онъ, ни она не подчинились бы добровольно этому жестокому испытанію. Они сдѣлались мужемъ и женой не по собственному желанію, а просто потому, что такъ угодно было Богу.

Женившись на Джуліи Стерки, Принсъ уѣхалъ съ ней въ Стокъ. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ его переселенія, въ его новомъ приходѣ стало обнаруживаться то самое религіозное волненіе, изъ-за котораго Принсъ принужденъ былъ покинуть свое мѣсто въ Чарлинчѣ. Мѣстный епископъ, докторъ Эллентъ, обошелся съ ревностнымъ проповѣдникомъ очень ласково и попросилъ его вести дѣло религіозной пропаганды потише, такъ, чтобы интересы спасенія христіанскихъ душъ не становились въ слишкомъ явную противоположность съ требованіями общественнаго порядка и спокойствія. Принсъ конечно отнесся къ этимъ благодушнымъ совѣтамъ, продиктованнымъ трусливой и разсчетливой свѣтской мудростью, съ самымъ суровымъ презрѣніемъ. Кончилось тѣмъ, что епископъ Эллентъ, при всей мягкости своего характера, послѣдовалъ примѣру епископа Ло. Неугомоннаго проповѣдника, не слушавшаго никакихъ ласковыхъ внушеній, удалили изъ Стока, но ему и здѣсь удалось поставить на свое мѣсто одного изъ лемпитерскихъ братьевъ, Льюиса Прайса.

Новый опытъ, произведенный Принсомъ въ Стокѣ и окончившійся новымъ столкновеніемъ съ высшими духовными властями, показалъ до послѣдней степени очевидно несовмѣстимость лемпитерскихъ тенденцій и вообще всякаго слишкомъ восторженнаго и бурнаго благочестія съ консервативнымъ характеромъ и традиціонной осмотрительностью англиканской церкви. Съ разныхъ сторонъ стали получаться извѣстія, способныя служить новыми доказательствами этой несовмѣстимости. Семюэлю Стерки, продолжавшему дѣло Принса въ Чарлинчѣ, было запрещено отправлять обязанности священника. За Джорджемъ Томасомъ зорко слѣдили, и надъ нимъ скоплялась та же гроза. Льюисъ Прайсъ ссорился съ своими прихожанами за ихъ закоснѣлость въ грѣхѣ, и шумъ, возбуждаемый его проповѣдями, навлекалъ на него очень неблагосклонное вниманіе высшей духовной власти, дорожившей прежде всего тишиной и спокойствіемъ, хотя бы эти неоцѣненныя блага покупались полнымъ невѣжествомъ населенія и его совершеннымъ равнодушіемъ къ интересамъ религіи.

Digitized by Google

Члены гонимаго братства съѣхались для совѣщаній и порѣшили, что Принсъ и Стерки открыто отложатся отъ англиканской церкви и попробуютъ основать самостоятельную секту. Принсъ съ этой цѣлью отправился въ Брайтонъ, а Стерки въ Мелькомбъ-Реджисъ.

Проповѣдуя въ Брайтонѣ, Принсъ въ первый разъ сообщилъ своимъ слушателямъ то извѣстіе, что утѣшитель, обѣщанный міру слишкомъ 18 вѣковъ назадъ, уже явился на землю. На каѳедрѣ, имѣя передъ собой толпу профановъ, въ расположеніи и вѣрѣ которыхъ онъ могъ сомнѣваться, Принсъ высказывалъ это извѣстіе въ таинственной формѣ, прикрывая его загадочными образами и символическими выраженіями. Но въ болѣе конфиденціальныхъ бесѣдахъ съ такими людьми, которыхъ онъ уже признавалъ своими вѣрными послѣдователями, онъ выражался гораздо яснѣе и прямо указывалъ на самого себя, какъ на воплощеніе обѣщаннаго утѣшителя.

Чрезъ нѣсколько времени лемпитерскіе братья, подъ предсѣдательствомъ Принса, снова собрались для совѣщанія о религіозныхъ дѣлахъ. Собраніе постановило цѣлый рядъ резолюцій; Принсъ взялъ къ себѣ въ карманъ ту бумагу, на которой онѣ были написаны, и унесъ ее съ собой. Нѣсколько дней спустя, каждый изъ членовъ собранія получилъ списокъ правилъ, составленныхъ Принсомъ и значительно отличавшихся отъ принятыхъ резолюцій. Одинъ изъ лемпитерскихъ братьевъ, Рисъ, сошедшійся съ Принсомъ прежде всѣхъ другихъ студентовъ лемпитерской школы и усердно помогавшій ему въ составленіи братства, возмутился самымъ энергическимъ образомъ противъ той духовной диктатуры, которую явно старался присвоить себѣ его товарищъ. Принсъ попробовалъ зажать Рису ротъ тѣмъ неотразимымъ аргументомъ, что новыя правила, присланныя братьямъ, отъ перваго слова до послѣдняго, продиктованы ему, Принсу, святымъ духомъ.

Этотъ аргументъ не подѣйствовалъ. Рисъ охотно признавалъ превосходство Принса, преклонялся передъ его заслугами, платилъ должную дань уваженія его благочестію, его мужеству, его учености и краснорѣчію, но онъ не могъ видѣть въ немъ божество, признавать каждое его слово за велѣніе свыше и отречься разъ на всегда отъ всѣхъ правъ собственнаго разума во имя безпрекословнаго повиновенія его верховному авторитету. Уважая и любя Принса, какъ своего стараго друга, Рисъ, бывшій морякъ, человѣкъ прямодушный, откровенный и смѣлый, употребилъ всѣ усилія, чтобы образумить его и показать ему, къ какому страшному паденію его ведетъ духовная гордость, разыгравшаяся до границъ помѣшательства. Увѣщанія Риса нисколько не поколебали вѣры Принса въ свою божественность. Тогда Рисъ объявилъ торжественно, что онъ прерываетъ сношенія съ своимъ ослѣпленнымъ другомъ и съ его вѣрующими приверженцами.

Изъ разсказа Диксона можно заключить, хотя это нигдѣ не выражено у него совершенно ясно, что только одинъ Рисъ рѣшительно отказался признать Принса воплощеніемъ божества. По крайней мѣрѣ Диксонъ, кромѣ Риса, не называетъ по имени ни одного изъ этихъ отложившихся членовъ братства. Принсъ, Стерки, Томасъ и Коббъ остались неизмѣнно вѣрными послѣдователями Принса, выслушали безропотно всѣ его размашистыя притязанія, признали его слѣдовательно своимъ божествомъ и отнеслись съ благочестивымъ ужасомъ къ возстанію Риса.

Принсъ, какъ мы уже видѣли, проповѣдывалъ въ Брайтонѣ. Стерки вербовалъ прозелитовъ въ Уэймаутѣ, гдѣ у него былъ нанятъ домъ для благочестивыхъ собраній. Томасъ и Коббъ трудились въ Чарлинчѣ и успѣли устроить тамъ, послѣ удаленія Принса и Стерки, диссидентскую часовню, которая составила опасную конкуренцію приходской церкви. Всѣ эти соединенныя усилія могли бы положить основаніе могущественной сектѣ, но Принсу вдругъ заблагоразсудилось дать религіозному движенію такой поворотъ, при которомъ дальнѣйшая пропаганда сдѣлалась невозможной.

Изъ Брайтона Принсъ переѣхалъ въ Уэймаутъ, основалъ въ томъ домѣ, который нанималъ его тесть, Стерки, такъ-называемое *жилище любви* и произнесъ въ одной городской тавернѣ рядъ проповѣдей, въ которыхъ развернулъ безъ утайки всю свою доктрину. Онъ объявилъ своимъ слушателямъ, что второе пришествіе Спасителя близко, что погибель всего существующаго скоро наступитъ, что пришло время отдѣлить пшеницу отъ плевелъ, что спасутся только тѣ немногіе избранные, которые увѣровали въ него, Принса, какъ воплощеніе святого духа, что всѣ остальные люди, многіе милліоны людей, сдѣлаются добычей неугасимаго огня, что день милосердія и прощенія прошелъ, что день суда и мести насталъ, и что та дверь, которая была отворена для немногихъ избранныхъ, теперь закрылась навсегда, такъ-какъ всѣ избранные уже прошли черезъ нее въ царство вѣчной жизни и безконечнаго блаженства.

Принсъ самъ говорилъ Диксону, что у него въ тотъ день, когда онъ такимъ образомъ торжественно заперъ двери своего святилища, было всѣхъ послѣдователей обоего пола и всякаго возраста около пятисотъ человѣкъ.

Въ жилищѣ любви, основанномъ въ Уэймаутѣ, жили далеко не всѣ пятьсотъ послѣдователей, которыхъ насчитываетъ Принсъ. По всей вѣроятности, цифра пятьсотъ стоитъ гораздо выше дѣйствительной цифры. Кромѣ того, скромный домъ, нанятый Семюэлемъ Стерки, былъ слишкомъ малъ не только для пятисотъ, но даже

Digitized by Google

и для пятидесяти человѣкъ. Далѣе, среди толпы избранныхъ, которые всѣ считались святыми, выдѣлялись особенно избранные, люди близкіе къ Принсу, сановники его маленькаго теократическаго государства. Этихъ сановниковъ было немного, и жилище любви было основано именно для нихъ и для ихъ божественнаго повелителя. Въ этомъ жилищѣ братья и сестры жили подъ одной кровлей, ведя цѣломудренную жизнь, служа Господу и ожидая со дня на день его пришествія.

Уэймаутское жилище любви не удовлетворяло требованіямъ Принса и его придворныхъ. Оно было тѣсно, бѣдно, неудобно и во всѣхъ отношеніяхъ недостойно того сверхъестественнаго лица, которое въ немъ помѣщалось. Большой домъ вродѣ замка, тѣнистый садъ и роскошное помѣстье были необходимы для благодатнаго спокойствія Утѣшителя и его святыхъ послѣдователей. Томасъ и Коббъ стали расхваливать мѣстоположеніе деревни Спакстонъ, находящейся недалеко отъ Чарлинча. Тамъ было много холодныхъ ключей и прозрачныхъ ручьевъ. Холмы были покрыты густыми рощами каштановъ, дубовъ и сосенъ. Поля въ изобиліи рождали хлѣбъ. Лѣса были переполнены дичью. Жители были простодушны и миролюбивы. Ближайшій городъ Бриджватеръ лежитъ отъ этой деревни на разстояніи четырехъ миль, и дорога, пролегающая между городомъ и деревней, трудная, гористая, запущенная, такая, по которой никому нѣтъ охоты ѣздить безъ особенной надобности и по которой никуда дальше Спакстона нельзя проѣхать. Словомъ, всѣ требуемыя условія были даны, чтобы сдѣлать изъ окрестностей Спакстона самое удобное мѣсто для основанія тихаго и очаровательнаго убѣжища, въ которомъ самыя смѣлыя эксцентричности могли развертываться свободно, не опасаясь ни вмѣшательства нескромной гласности, ни грубыхъ выходокъ со стороны сосѣдей, ни докучливаго любопытства праздныхъ туристовъ.

Но ни у Принса, ни у его приверженцевъ не было земли въ окрестностяхъ Спакстона, а грѣшники, которымъ эта земля принадлежала, были привязаны къ своей собственности и вовсе нерасположены предлагать ее въ даръ Утѣшителю и его святымъ. Землю можно было только купить, и притомъ за очень хорошія деньги. Поэтому прежде всего надо было собрать какъ можно больше денегъ.

Направляясь къ этой цѣли, Принсъ и другіе проповѣдники стали внушать своимъ послѣдователямъ, что, въ виду приближающейся катастрофы, вѣрующіе и святые должны отречься отъ частной собственности, пренебречь всѣми тлѣнными земными благами, продать все свое имущество и сложить вырученныя деньги въ общее казнохранилище, чтобы стяжать себѣ такимъ образомъ неистощимыя сокровища въ открывшемся царствѣ благодати и вѣчной жизни. Подъ вліяніемъ этихъ поученій, въ рядахъ вѣрующихъ обнаружилось движеніе, повидимому совершенно несвойственное нашему разсчетливому и корыстолюбивому вѣку. Ремесленники стали продавать свои рабочіе инструменты, лавочники свой закупленный товаръ, крестьяне свои участки земли. У кого не было никакого имущества, тотъ жертвовалъ корзину яицъ, горшокъ молока или возъ соломы. Деньги стали такимъ образомъ стекаться въ руки Принса каплями и тоненькими ручейками. Вѣрующимъ нечего было заботиться о будущемъ. Становясь вѣрующимъ и святымъ, человѣкъ отказывался навсегда отъ семейной жизни и отъ всѣхъ родственныхъ связей. Съ той минуты, какъ онъ вступилъ въ церковь Принса, для него не существовало ни отца, ни матери, ни жены, ни дѣтей. Всѣ его единовѣрцы, всѣ святые, спасенные вмѣстѣ съ нимъ, были его братьями и сестрами, и всѣхъ ихъ онъ обязанъ былъ любить одинаково во имя той всепоглощающей любви, которую онъ долженъ былъ чувствовать къ Утѣшителю, составляющему живую и видимую связь между всѣми вѣрующими. Чувственная любовь не допускалась въ церкви Принса. Мужъ и жена, вступая въ эту церковь, должны были сдѣлаться другъ для друга братомъ и сестрой. Рожденію дѣтей не было мѣста въ обществѣ святыхъ.

Послѣ искорененія семейныхъ инстинктовъ, вѣрующему оставалась только забота о собственномъ пропитаніи, но и эта забота съ него снималась, когда онъ, продавъ все имущество, со включеніемъ рабочихъ инструментовъ, совершенно безсильный и безпомощный, весь цѣликомъ отдавался утѣшителю. Тогда онъ получалъ мѣсто за общимъ братскимъ столомъ и ѣлъ и пилъ со всѣми остальными святыми, уповая на Бога и не заботясь о завтрашнемъ днѣ.

Надо впрочемъ сознаться, что здѣсь въ разсказѣ Диксона чувствуется въ значительной степени недостатокъ подробностей. Въ умѣ читателя, сколько-нибудь внимательнаго, возникаютъ вопросы, на которые книга не даетъ отвѣтовъ. Спрашивается, всѣ ли вѣрующіе, отдавшіе Принсу все свое состояніе, получали право до конца своей жизни ѣсть и пить за братскимъ столомъ? Повидимому тутъ возможенъ только одинъ отвѣтъ: да, всѣ. Потому что, въ самомъ дѣлѣ, кто же согласится, даже въ виду приближающагося свѣтопреставленія, обрекать себя на голодную смерть ради благосостоянія такой общины, которая не пускаетъ его въ свою среду, и даже просто отказываетъ въ кускѣ хлѣба ему, человѣку, добровольно обобравшему и разорившему самого себя? Но, съ другой стороны, Принсу было чрезвычайно невыгодно принимать на свои хлѣба, на неопредѣленно-долгое время, такихъ людей кото-

Digitized by Google

рые, отдавая ему все свое состояніе и обнаруживая самую пламенную и несокрушимую вѣру въ его божественность, могли, при всемъ величіи своего самоотверженія, принести ему въ даръ только цѣну своихъ подержанныхъ рабочихъ инструментовъ или съѣстныхъ припасовъ, закупленныхъ для мелочной лавочки. Это было до такой степени невыгодно, что Принсъ, вмѣсто того, чтобы набрать денегъ для пріобрѣтенія помѣстья, рисковалъ разорить и пустить по міру такимъ кормленіемъ всѣхъ своихъ сколько-нибудь состоятельныхъ приверженцевъ. Какимъ образомъ онъ выпутывался изъ этого затруднительнаго положенія, случались ли столкновенія между его министерствомъ финансовъ и такими неимущими и смышленными вѣрующими, которые были не прочь за корзину яицъ или за бутылку молока купить себѣ готовый столъ и возможность сидѣть сложа руки до конца жизни, и чѣмъ разрѣшались подобныя столкновенія—этого мы отъ Диксона не узнаемъ, хотя разъясненіе этихъ сомнительныхъ пунктовъ въ высшей степени важно для характеристики Принса и его друзей и для опредѣленія той степени искренности, которую они вносили въ свою дѣятельность.

«Принсъ—говоритъ Диксонъ—сдѣлался обширнымъ банкиромъ и повѣреннымъ всѣхъ святыхъ, которыхъ онъ спасъ. Когда ему требовались деньги, онъ посылалъ за ними. «Сестра Дженъ—писалъ онъ—Господу нужно пятьдесятъ фунтовъ. Аминь», и сестра Дженъ посылала ему свой кошелекъ или чекъ. Нѣсколько большихъ и малыхъ суммъ было внесено въ эту сокровищницу Бога. Стерки положилъ тысячу фунтовъ. Джулія, вторая изъ пожилыхъ духовныхъ женъ Принса, предоставила Агнцу свой годовой доходъ въ восемьдесятъ фунтовъ. Готемъ Меберъ и четыре его сестры вложили вмѣстѣ не менѣе десяти тысячъ фунтовъ. Меберъ былъ, само собою разумѣется, однимъ изъ главныхъ свидѣтелей за Принса, и теперь онъ—ангелъ седьмой печати».

Читатель видитъ изъ этой цитаты, что показанія Диксона чрезвычайно сбивчивы. Если сестра Дженъ могла посылать Принсу по пятидесяти фунтовъ, когда Принсъ нуждался въ деньгахъ, то значитъ сестра Дженъ удержала за собой свою частную собственность, и только въ случаѣ надобности дѣлала добровольныя пожертвованія. Если Стерки, котораго Диксонъ называетъ очень состоятельнымъ человѣкомъ, внесъ въ общую кассу только тысячу фунтовъ, то значитъ даже Стерки, ближайшій другъ Принса, не пожертвовалъ всего своего имущества на общее дѣло. Слѣдовательно отреченіе отъ частной собственности не вмѣнялось вѣрующему въ непремѣнную обязанность, а только ставилось ему въ заслугу, когда онъ на него рѣшался въ порывѣ восторженнаго усердія.

Сдержанность и осмотрительность Стерки составляютъ не совсѣмъ понятный и совершенно не разъясненный контрастъ съ тѣмъ одушевленіемъ, подъ вліяніемъ котораго ремесленники продавали свои рабочіе инструменты и лавочники—свой запасъ товаровъ.

Добровольныя пожертвованія не могли доставить Принсу сумму денегъ, достаточную для покупки приличнаго помѣстья. Для наполненія кассы понадобились новыя и экстраординарныя внушенія свыше.

Когда Принсъ былъ викаріемъ въ Стокѣ, онъ познакомился съ однимъ богатымъ старымъ купцомъ, жившимъ по сосѣдству. У этого старика, котораго звали Джозіасъ Ноттиджъ, было пять незамужнихъ дочерей. Младшей изъ этихъ дѣвицъ было около сорока лѣтъ. Всѣ эти дѣвицы увлеклись проповѣдями Принса и увѣровали въ него, между тѣмъ какъ ихъ родители, напротивъ того, отнеслись къ нему съ крайнимъ недовѣріемъ и даже не захотѣли принимать его у себя въ домѣ. Старый Ноттиджъ умеръ въ то время, когда Принсъ, уже потерявъ свое мѣсто въ Стокѣ и отложившись отъ англиканской церкви, проповѣдывалъ въ Брайтонѣ. Каждая изъ пяти дочерей получила на свою долю послѣ смерти отца по шести тысячъ фунтовъ. Три изъ этихъ пяти сестеръ: Гарріетъ, Агнеса и Клара поѣхали въ Брайтонъ и поселились возлѣ той часовни, гдѣ проповѣдывалъ Принсъ. Когда утѣшитель переѣхалъ въ Уэймаутъ, сестры Ноттиджъ отправились вслѣдъ за нимъ. Въ Уэймаутѣ Принсъ собралъ святыхъ и объявилъ имъ свое намѣреніе переѣхать въ Спакстонъ и основать тамъ жилище любви. Повинуясь Принсу, святые вмѣстѣ съ нимъ тронулись въ путь, и дѣвицы Ноттиджъ конечно не отстали отъ утѣшителя. Денежныя средства для великаго дѣла еще не были собраны въ достаточномъ количествѣ, но именно во время путешествія Принсу пришла въ голову новая мысль, при содѣйствіи которой построеніе жилища оказалось возможнымъ.

Однажды утромъ въ городѣ Танпонѣ, гдѣ святые остановились отдыхать на нѣсколько дней, Принсъ потребовалъ къ себѣ старшую миссъ Ноттиджъ, Гарріетъ, и въ присутствіи своей жены, Семуэля Стерки и его супруги объявилъ ей, что для исполненія воли Божіей она, Гарріетъ, должна выдти замужъ за Льюиса Прайса. Гарріетъ, красивѣя, согласилась, и Принсъ благосклонно закончилъ аудіенцію, приказавъ до поры до времени держать все сказанное и рѣшенное въ строжайшей тайнѣ.

Вслѣдъ затѣмъ Принсъ послалъ за другой сестрой, Агнесой, и сказалъ ей:

— Агнеса, Богъ посылаетъ вамъ особое благословеніе; но прежде чѣмъ я вамъ скажу, въ чемъ оно состоитъ, вы должны дать мнѣ слово, что окажете повиновеніе Господу и при-

Digitized by Google

мете его даръ. Агнеса сначала замялась, но потомъ дала требуемое обѣщаніе.

— Въ такомъ случаѣ, сказалъ Принсъ:—вы черезъ нѣсколько дней будете соединены узами брака съ братомъ Томасомъ.

Агнеса застыдилась и стала просить объ отсрочкѣ, говоря, что надо будетъ посовѣтоваться съ родственниками и сдѣлать различныя предварительныя распоряженія.

— Ничего этого не нужно, возразилъ Принсъ:—вамъ въ этомъ дѣлѣ надо думать не о мірѣ, а о Богѣ.

— А мать моя? отпрашивалась Агнеса.

— Богъ вашъ отецъ и ваша мать, вразумлялъ ее Принсъ.

— Нужно время на переговоры съ юристами, продолжала Агнеса.

— На что вамъ юристъ, милая? спросила мистрисъ Стерки.

— Надо же упрочить положеніе дѣтей, отвѣтила дѣвица, совсѣмъ раскраснѣвшись.

— Дѣтей у васъ не будетъ, порѣшилъ Принсъ.—Вашъ бракъ съ вашимъ братомъ будетъ духовнымъ союзомъ. Ваша любовь къ вашему супругу будетъ чиста и согласна съ волей Господа.

Весь запасъ возраженій оказался истощеннымъ, и Агнеса покорилась.

Въ тотъ же день Принсъ пригласилъ обѣихъ просватанныхъ сестеръ къ себѣ обѣдать; у него за столомъ онѣ встрѣтились съ Прайсомъ и Томасомъ, и тутъ же произошла помолвка. Два дня спустя, третья сестра Клара согласилась выдти замужъ за Кобба.

Принсъ не далъ невѣстамъ никакой отсрочки и не позволилъ имъ ни съѣздить домой, ни повидаться и посовѣтоваться съ кѣмъ-либо изъ старыхъ друзей семейства, ни даже написать къ матери о предстоящихъ событіяхъ. Онъ увезъ ихъ въ Уэльсъ, ссылаясь по обыкновенію на волю Верховнаго Существа, и отпраздновалъ всѣ три свадьбы въ одинъ день въ городѣ Суенси.

Нѣсколько дней спустя все имущество Гарріетъ и Клары, двѣнадцать тысячъ фунтовъ, было передано Прайсомъ и Коббомъ въ руки Принса, и Принсъ немедленно купилъ красивый домъ, большой садъ и хорошее помѣстье для новаго *жилища любви*.

Агнеса была умнѣе, смѣлѣе и настойчивѣе своихъ сестеръ. Ей удалось спасти свои деньги отъ той конфискаціи, ради которой были устроены три неожиданныя свадьбы.

III.

Мистрисъ Агнеса Томасъ не хотѣла быть вѣрноподданной Принса и, оградивъ отъ него свои деньги, начала даже стараться о томъ, чтобы отвлечь отъ него своего мужа. Она убѣдила Томаса уѣхать съ ней изъ Уэймаута, гдѣ жилъ Принсъ съ своими святыми, дожидаясь окончанія строительныхъ работъ, предпринятыхъ въ Спакстонскомъ помѣстьѣ. Принсъ сразу отнесся недовѣрчиво къ отсутствію Томаса. «Братъ Томасъ, написалъ онъ къ нему—я приказываю вамъ встать и явиться въ Уэймаутъ. Аминь». Подчиняясь вліянію своей жены, которую онъ повидимому любилъ, несмотря на ея немолодыя лѣта, Томасъ повиновался Принсу не тотчасъ, а сначала проѣхалъ вмѣстѣ съ женой къ своей матери. Однако благоговѣйная привязанность его къ утѣшителю скоро одержала верхъ надъ всѣми противоположными побужденіями, и Томасъ пріѣхалъ въ Уэймаутъ также съ женой, которая кажется слѣдовала за нимъ неохотно въ такое мѣсто, гдѣ она за свою умственную гордость и строптивость должна была предвидѣть себѣ строгіе выговоры и крупныя непріятности. Агнесу тотчасъ послѣ ея пріѣзда обвинили въ преступномъ намѣреніи разлучить мужа съ Принсомъ. Святые обоего пола: Стерки, Прайсъ, Коббъ и ихъ жены стали единогласно порицать ея поведеніе. Родныя сестры напали на нее еще сильнѣе всѣхъ остальныхъ присутствующихъ. Принсъ сказалъ ей: «если вы осмѣлитесь внушать вашему супругу, чтобы онъ дѣйствовалъ наперекоръ моимъ приказаніямъ, то Богъ сокрушитъ васъ и сброситъ прочь съ дороги».

— Агнеса, закончилъ Томасъ:—я приказываю вамъ на будущее время повиноваться духу Божію, котораго велѣнія возвѣщаются мнѣ служителемъ Господа.

Вся эта сцена огорчила Агнесу, но не смирила ея. Узнавъ, что святые стараются привлечь въ *жилище любви* ея младшую сестру Лунзу, она сѣла писать къ ней письмо, въ которомъ совѣтовала ей не поддаваться. Это начатое письмо нашли въ ея комнатѣ и представили Принсу, который, разумѣется, не могъ въ своемъ теократическомъ государствѣ допускать уваженіе къ тайнамъ частной корреспонденціи. Агнесѣ еще разъ сдѣлали сильную сцену, и ея мужъ, котораго обыкновенно заставляли въ подобныхъ случаяхъ играть въ отношеніи къ ней роль палача, объявилъ ей съ приличной торжественностью, что она больше не войдетъ въ свой брачный покой, что ей отведена пустая комната и что ея новое возмущеніе противъ служителя Господа погубило ее окончательно и безвозвратно.

Вскорѣ послѣ того святые мужескаго пола уѣхали съ Принсомъ въ Спакстонъ, гдѣ строительныя работы быстро подвигались къ окончанію. Въ Спакстонѣ Принсъ получилъ странное и неожиданное извѣстіе, которое набросило густую тѣнь на добродѣтельную твердость брата Томаса. Принса увѣдомили, что Агнеса, почтенная сорокалѣтняя дама, беременна. Утѣ-

Digitized by Google

шитель пришелъ въ ярость. «Это, кричалъ онъ, отъ грѣха. Она нарушила вѣрность, она пала; ее надо исключить и прогнать».

Трудно себѣ представить, чтобы беременность сорокалѣтней Агнесы, любившей своего мужа ревнивой и неосмотрительной любовью, могла дѣйствительно быть результатомъ невѣрности. Гораздо правдоподобнѣе и проще то предположеніе, что ея слабый и безхарактерный мужъ, поддавшись на первыхъ порахъ ея вліянію, согрѣшилъ противъ тѣхъ заповѣдей Принса, по которымъ его бракъ долженъ былъ оставаться духовнымъ союзомъ, а потомъ, снова подчинившись Принсу, выдалъ свою жену головой и сдѣлалъ ее жертвой оскорбительныхъ подозрѣній, чтобы этимъ подвигомъ низости оправдать самого себя или по крайней мѣрѣ вымолить себѣ прощеніе.

Изъ Спакстона Томасъ послалъ своей женѣ приказаніе немедленно укладываться и ѣхать вонъ изъ Уэймаута. Агнеса уже больше не видалась съ своимъ мужемъ; она пріютилась въ домѣ своей матери и тамъ родила сына. Когда мальчику минуло четыре года, Стерки попробовалъ увезти его отъ матери. Значитъ ясно, что сами принсениты признавали его сыномъ Томаса и не считали Агнесу виновной въ невѣрности. Агнеса не уступила имъ своего ребенка и завела изъ-за него процессъ. Судъ рѣшилъ дѣло въ ея пользу, такъ-что мальчикъ остался въ ея рукахъ.

Младшая миссъ Ноттиджъ, Луиза, которой Агнеса хотѣла послать предостереженіе изъ Уэймаута, чувствовала постоянно возрастающее влеченіе къ кружку Принса и, желая ближе ознакомиться съ жизнью и нравами святыхъ, пріѣхала погостить въ ихъ Спакстонское помѣстье. Ея родственники, знавшіе хорошо, куда пошли деньги Гарріетъ и Клары, сдѣлали отчаянное усиліе въ пользу Луизы и ея шести тысячъ фунтовъ. Трое джентльменовъ, всѣ трое родственники миссъ Ноттиджъ, сѣли въ карету, пріѣхали въ Спакстонъ, ворвались въ домъ святыхъ черезъ черный ходъ, внезапно вошли въ комнату Луизы и пригласили ее ѣхать съ ними къ ея матери, которая, по ихъ словамъ, была опасно больна. Луиза отказалась ѣхать. Тогда они схватили ее и потащили за собой насильно. Она стала кричать и барахтаться, но никого изъ мужчинъ по близости не случилось, и родственники увезли ее, несмотря на ея вопли и отчаянное сопротивленіе. По дорогѣ похитители говорили, что везутъ помѣшанную, и всѣ встрѣчавшіеся имъ люди совершенно удовлетворялись этимъ объясненіемъ, и выслушавъ его, не обращали болѣе никакого вниманія на мольбы, жалобы, стоны и бѣшеные порывы увозимой жертвы. Доѣхавъ до Лондона, джентльмены пристроили свою родственницу въ домъ умалишенныхъ, и Луиза высидѣла тамъ въ заперти полтора года. Въ Спакстонѣ никто не зналъ, куда ее дѣвали; легко можетъ быть, что она умерла-бы въ сумасшедшемъ домѣ, къ полному удовольствію троихъ джентльменовъ, считавшихъ себя ея ближайшими наслѣдниками, еслибы ей не удалось случайно обмануть сторожей и вырваться на свободу. Очутившись за дверями своей тюрьмы, она немедленно повидалась съ Коббомъ и собралась ѣхать вмѣстѣ съ нимъ въ *жилище любви*, но на платформѣ желѣзной дороги ее узналъ, захватилъ въ плѣнъ и увезъ назадъ въ сумасшедшій домъ одинъ изъ тамошнихъ смотрителей.

Коббъ подалъ прошеніе въ то вѣдомство, отъ котораго зависитъ свидѣтельствованіе сумасшедшихъ. Луизу освидѣтельствовали, признали здоровой и выпустили на волю. Она тотчасъ поѣхала въ Спакстонъ, передала Принсу въ полную собственность все свое имущество, съ соблюденіемъ всѣхъ юридическихъ формальностей, поселилась въ *жилищѣ любви* и прожила тамъ спокойно и счастливо до самой своей смерти.

Разсматривая поступки Принса въ отношеніи къ дѣвицамъ Ноттиджъ и сопоставляя ту конечную цѣль, къ которой онъ стремился, съ тѣми средствами, которыя онъ пускалъ въ ходъ, читатель, по всей вѣроятности, уже давно пришелъ къ тому заключенію, что Принсъ просто ловкій и дерзкій шарлатанъ, увлекающій легковѣрныхъ и впечатлительныхъ мужчинъ и женщинъ потоками туманнаго краснорѣчія, котораго безсодержательность превосходно извѣстна ему, Принсу, и которое все клонится исключительно къ тому, чтобы ораторъ могъ спокойно и безбѣдно прожить жизнь насчетъ своихъ обманутыхъ, ослѣпленныхъ и нагло-обобранныхъ жертвъ. Такое заключеніе очень соблазнительно по своей простотѣ. Оно представляется прежде всякихъ другихъ толкованій, когда человѣкъ, смѣло и безпристрастно добивающійся истины, какова-бы она ни была, приступаетъ къ изученію того разряда явленій, къ которому относится дѣятельность Принса. Къ этому простому заключенію приходили и на немъ останавливались всѣ французскіе философы прошлаго столѣтія, когда они старались отдать себѣ отчетъ въ томъ, какъ возникали и упрочивали свое господство надъ человѣческими умами религіозныя ученія далекаго прошедшаго. Недостаточность этого взгляда и невозможность объяснить удачнымъ поповскимъ обманомъ великія религіозныя движенія, потрясавшія цѣлыя части свѣта, теперь уже не подвергаются сомнѣнію.

Всякій человѣкъ, имѣющій сколько нибудь здравыя понятія о всемірной исторіи и о ея двигательныхъ силахъ, знаетъ очень хорошо, что ни Будда, ни Магометъ, ни Лойола, ни Лютеръ, ни Кальвинъ, ни другіе основатели и преобразователи религій никогда не были мелкими обманщиками, эксплоатирующими легко-

Digitized by Google

вѣріе своихъ послѣдователей. Но чѣмъ ближе къ намъ стоитъ дѣятель, относящійся къ той-же категоріи, чѣмъ отчетливѣе мы можемъ разсмотрѣть границы его вліянія, чѣмъ менѣе его образъ теряется въ туманѣ прошедшаго, чѣмъ новѣе и буржуазнѣе покрой его платья, чѣмъ яснѣе мы различаемъ на этомъ платьѣ пятна и прорѣхи, за уничтоженіе которыхъ надо платить извѣстное количество хорошо извѣстныхъ намъ монетъ, чѣмъ короче мы можемъ познакомиться съ обѣдами и завтраками дѣятеля и съ цѣной каждаго блюда, появлявшагося на его столѣ, тѣмъ труднѣе намъ подавить въ себѣ то подозрѣніе, лестное для нашихъ собственныхъ человѣческихъ слабостей, что поступками дѣятеля управляли не идеи, въ вѣрности которыхъ онъ былъ чистосердечно и глубоко убѣжденъ, а именно пятна, которыя надо было выводить, прорѣхи, которыя слѣдовало зашивать, говядина, телятина и горошекъ, за которыми необходимо было посылать на рынокъ.

Въ отношеніи къ Принсу отъ такого подозрѣнія почти невозможно воздержаться. Многимъ читателямъ будетъ даже очень трудно предохранить себя отъ того, чтобы это подозрѣніе не разрослось въ совершенную увѣренность. Въ самомъ дѣлѣ, факты повидимому ясны, какъ день. Чего хотѣлъ Принсъ? Хотѣлъ купить себѣ домъ съ садомъ и помѣстьемъ. А что онъ для этого сдѣлалъ? Обморочилъ трехъ старыхъ дѣвъ и выманилъ у нихъ все ихъ состояніе. Кажется, просто и понятно. Гдѣ же тутъ остается мѣсто для сомнѣній?

Можно-ли однако въ самомъ дѣлѣ себѣ представить, чтобы человѣкъ, желающій купить себѣ домъ и готовый для этого пустить въ ходъ всякія средства, честныя и безчестныя, лишь-бы только они были дѣйствительны, составилъ себѣ слѣдующій планъ: пойду я въ такой-то залъ, зазову туда толпу слушателей, скажу имъ высокимъ и туманнымъ слогомъ, что я Богъ, увѣрю ихъ, что мнѣ непремѣнно надо жить въ большомъ домѣ съ садомъ, и попрошу у нихъ денегъ. Они мнѣ сейчасъ повѣрятъ и дадутъ денегъ, и дадутъ не по шиллингу съ человѣка, а дадутъ по нѣсколько тысячъ фунтовъ, такъ что я сдѣлаюсь богатымъ человѣкомъ и куплю себѣ домъ, садъ и помѣстье.

Такой планъ немыслимъ, и немыслимъ именно со стороны ловкаго шарлатана. Такой планъ такъ очевидно, такъ отчаянно нелѣпъ, такой прямой дорогой ведетъ своего автора въ домъ умалишенныхъ и представляетъ такъ ужасно мало шансовъ успѣха, что его не можетъ придумать и на немъ не можетъ серьезно остановиться ни на минуту тотъ умный и смѣлый фокусникъ, которому счастливыя дарованія и крѣпкіе нервы давали-бы возможность разыграть блистательнымъ образомъ, въ присутствіи многочисленной аудиторіи, трудную роль вдохновеннаго пророка. Кто можетъ выполнить этотъ планъ, тотъ не можетъ его задумать. Значитъ то, что сдѣлалъ Принсъ, можетъ сдѣлаться только само собой, только тогда, когда во всемъ рядѣ поступковъ, слѣдующихъ одинъ за другимъ и вытекающихъ одинъ изъ другого, нѣтъ ничего задуманнаго, разсчитаннаго и предусмотрѣннаго.

Здѣсь надо также обратить вниманіе и на то обстоятельство, что Принсъ дѣйствовалъ на своихъ слушателей исключительно силой проповѣди и тѣмъ общимъ впечатлѣніемъ, которое производила вся его личность. Онъ не дѣлалъ никакихъ чудесъ, не распускалъ никакихъ слуховъ о сдѣланныхъ чудесахъ и не подстроивалъ никакихъ сценическихъ эффектовъ. Онъ говорилъ просто: вѣрьте мнѣ, потому что вы должны мнѣ вѣрить; вѣрьте мнѣ, потому что я сдѣлался Богомъ; если повѣрите—будете спасены; если не повѣрите — погибнете. Онъ вызывалъ на бой невѣріе и насмѣшку, не имѣя въ рукахъ, для борьбы съ ними, никакого спеціальнаго оружія, никакого изумительнаго фокуса, ничего, кромѣ своего собственнаго упорнаго, глубокаго и дикаго убѣжденія. Шарлатаны такъ не дѣлаютъ.

Если Принсъ не шарлатанъ, то къ какому-же разряду людей слѣдуетъ его отнести?

Прежде, чѣмъ я попробую отвѣтить на этотъ вопросъ, я попрошу читателя припомнить, какъ одинъ изъ величайшихъ мыслителей нашего времени, одинъ изъ самыхъ сильныхъ, обширныхъ, глубокихъ и обработанныхъ умовъ нынѣшняго столѣтія, медленно, шагъ за шагомъ, безъ рѣзкихъ скачковъ и внезапныхъ поворотовъ, пришелъ къ тому, что провозгласилъ себя первосвященникомъ человѣчества, придумалъ цѣлый рядъ религіозныхъ празднествъ, молитвъ и обрядовъ, сталъ разсылать къ своимъ друзьямъ и знакомымъ, вмѣсто писемъ и записокъ, повелительные breve, и даже написалъ къ императору Николаю I письмо, въ которомъ приглашалъ его обратиться къ новой религіи и содѣйствовать ея распространенію. Когда творецъ положительной философіи, Огюстъ Контъ, предавался этимъ занятіямъ, онъ принималъ денежные подарки и пенсіи отъ знакомыхъ и незнакомыхъ людей, преклонявшихся передъ его прежними великими трудами; онъ находилъ совершенно естественнымъ, чтобы въ его пользу составлялись подписки; онъ даже настоятельно требовалъ такихъ подписокъ и публично, торжественно, печатно благодарилъ жертвователей, какъ людей, хорошо исполнившихъ свою обязанность.

Въ виду этихъ странныхъ и печальныхъ фактовъ, которые очень легко могутъ быть разсказаны игриво-насмѣшливымъ или презрительнымъ тономъ, ни одному благоразумному человѣку не придетъ однако въ голову недѣ-

Digitized by Google

ная и дрянная мысль предположить въ Огюстѣ Контѣ побужденія шарлатана, желающаго пожить сложа руки на счетъ обмороченныхъ простаковъ. Контъ оставался постоянно глубокоискреннимъ человѣкомъ; онъ постоянно хотѣлъ служить и служилъ только своей идеѣ; онъ не принѣшивалъ сознательно къ этому служенію никакихъ мелкихъ своекорыстныхъ видовъ и разсчетовъ. Любя свою идею, онъ измѣрялъ самого себя тѣми услугами, которыя онъ ей оказалъ; при этомъ способѣ измѣренія онъ находилъ совершенно справедливо, что сдѣлалъ много великаго и прекраснаго; созерцая величіе и красоту своихъ умственныхъ подвиговъ съ совершенно естественной и законной гордостью, упиваясь нѣсколько лѣтъ подъ-рядъ этимъ обаятельнымъ созерцаніемъ, онъ дошелъ шагъ за шагомъ, постепенно и незамѣтно, до самаго простодушнаго и добросовѣстнаго обоготворенія собственной личности. Слово *обоготвореніе* надо тутъ понимать не въ переносномъ, не въ приблизительномъ, а въ самомъ точномъ и строгомъ буквальномъ смыслѣ. Контъ совершенно упустилъ изъ виду то соображеніе, что онъ можетъ ошибаться, что его мысли могутъ быть предположеніями, которымъ ничто не соотвѣтствуетъ въ дѣйствительности, что его проекты могутъ оказаться неисполнимыми или что ихъ исполненіе можетъ принести человѣчеству больше вреда, чѣмъ пользы. Контъ, конечно не отдавая себѣ яснаго отчета, приписалъ себѣ мудрость, благость и всемогущество—три важнѣйшіе атрибута Верховнаго Существа. Все, что онъ думалъ, было по его мнѣнію, безусловно истинно. Все, что онъ рѣшалъ, было справедливо, хорошо и полезно. Все, что онъ говорилъ или писалъ, должно было, въ силу своей абсолютной разумности, сдѣлаться, для блага человѣчества, общепринятымъ и общеобязательнымъ закономъ. Еслибы все это было дѣйствительно такъ, какъ воображалъ себѣ Контъ, еслибы онъ дѣйствительно былъ не только основателемъ положительной философіи, но и существомъ абсолютно мудрымъ, благимъ и всемогущимъ, или, другими словами, если-бы люди его времени могли признать его такимъ существомъ, то ни его первосвященничество, ни его письмо къ императору Николаю, ни пенсіи и денежные подарки никому не стали-бы казаться ни странными, ни предосудительными. Допустивъ только законность обоготворенія, мы допускаемъ законность всѣхъ остальныхъ своеобразностей его поведенія. Точно такъ-же, признавъ искренность этого обоготворенія, мы признаемъ искренность всѣхъ затѣй, которыя изъ него вытекли, какъ бы ни были эти затѣи похожи съ перваго взгляда на мелкія продѣлки шарлатана, эксплоатирующаго довѣрчивость ближнихъ.

Контъ и Принсъ конечно совершенно не похожи другъ на друга. Первый—великій мыслитель, одно изъ свѣтилъ человѣчества; второй—жалкій и вредный мечтатель, способный только увеличить своей дѣятельностью массу гибельныхъ человѣческихъ заблужденій. Однако же, при всемъ крайнемъ несходствѣ двухъ личностей, къ нимъ можетъ и должна быть приложена одна и та же мѣрка съ той стороны, съ которой я разсматриваю ихъ теперь. Если Контъ могъ дойти до искренняго обоготворенія собственной личности и до всѣхъ нелѣпостей, вытекающихъ изъ этого основного абсурда, то для Принса этотъ искренній переходъ въ міръ вопіющей безсмыслицы представлялъ еще гораздо меньше затрудненій. Контъ, воспитанный съ ранней молодости въ строгой школѣ положительной науки, былъ расположенъ къ трезвому взгляду на міръ и на самого себя; онъ зналъ границы человѣческаго ума; онъ чуть не на каждой страницѣ своей положительной философіи напоминаетъ читателю о крайней слабости нашихъ познавательныхъ способностей; у него, стало быть, въ рукахъ и подъ руками было все, что можетъ предохранить человѣка отъ уродливыхъ крайностей самообожанія; и однакоже это все не помѣшало ему упиться до самозабвенія умственнымъ величіемъ собственной личности и растерять во время опьяненія все, что составляло собой это умственное величіе.

Принсъ, напротивъ того, всѣмъ своимъ воспитаніемъ былъ какъ будто нарочно подготовленъ ко всевозможнымъ заблужденіямъ. Онъ съ ранняго дѣтства мечталъ и сантиментальничалъ со старой замолившейся и зачитавшейся дѣвой. Онъ прикоснулся къ положительной наукѣ, или точнѣе къ ремеслу, основанному на положительной наукѣ—какъ разъ на столько, на сколько это было нужно, чтобы дать ему почувствовать непригодность его ума къ научнымъ занятіямъ, и чтобы дать ему поводъ относиться съ высокомѣрнымъ и сострадательнымъ презрѣніемъ къ положительному знанію, какъ къ такому дѣлу, котораго тщету и неудовлетворительность онъ достаточно извѣдалъ. Онъ сошелся съ кучкой молодыхъ мечтателей и сталъ вмѣстѣ съ ними горячить свое воображеніе «Пѣснью пѣсней» и твореніями старыхъ нѣмецкихъ мистиковъ. Онъ пропиталъ себя до мозга костей такимъ міросозерцаніемъ, которое не знаетъ границъ человѣческимъ силамъ, не имѣетъ понятія о незыблемыхъ естественныхъ законахъ и признаетъ за человѣкомъ способность возвыситься чистотой жизни и помысловъ до безконечнаго совершенства. Онъ расшаталъ всю свою нервную систему порывами платонической страсти къ старухѣ, такой страсти, для которой не могло быть нормальнаго исхода и которая одна, сама по себѣ, способна была довести здороваго человѣка до изступленія и до

Digitized by Google

помѣшательства. Наконецъ онъ выступилъ на такое поприще, гдѣ ему, чтобы дѣйствовать на воображеніе окружающихъ людей, надо было постоянно сочинять яркія картины, то-есть, постоянно работать воображеніемъ, постоянно поддерживать и развивать въ себѣ состояніе восторженнаго опьяненія.

Чтобы увѣровать въ самого себя, какъ въ Бога, Конту надо было дѣйствительно совершить въ области мысли много великаго, и у Конта, при его образованіи, была въ рукахъ неизмѣнная мѣрка для оцѣнки и измѣренія своихъ собственныхъ умственныхъ подвиговъ. Контъ могъ подвергать самого себя справедливой и даже строгой критикѣ. Принсъ, напротивъ того, не могъ требовать отъ своей дѣятельности никакихъ осязательныхъ плодовъ. Ея плоды должны были созрѣвать не на землѣ, а на небѣ. О достоинствѣ этихъ плодовъ не могли судить ослѣпленные грѣшники. Что, по ихъ мнѣнію, было безуміемъ, то могло оказаться въ лучшемъ мірѣ чистѣйшей мудростью. Что въ ихъ глазахъ было безнравственностью, въ томъ существа болѣе разумныя могли увидѣть задатки и проявленія высшей добродѣтели. Самая существенная, самая основная и важная часть дѣятельности Принса состояла въ томъ, чтобы расположить извѣстнымъ образомъ отношенія своего сознанія и своей воли къ своимъ собственнымъ инстинктамъ, влеченіямъ и страстямъ. Это была работа внутренней ломки и перестройки, работа, по самой сущности своей, недопускавшая никакой провѣрки, работа, за которой никто не могъ слѣдить со стороны. Хорошъ-ли, вѣренъ-ли, разуменъ-ли тотъ планъ, по которому Принсъ хотѣлъ расположить эти отношенія — объ этомъ никто не могъ судить, и въ этомъ вопросѣ Принсъ не призналъ-бы компетентнымъ судьей никого, кромѣ своей собственной совѣсти.

Успѣшно-ли подвигается внутренняя работа, насколько близко она подвинулась къ цѣли, насколько подробности выполненія соотвѣтствуютъ рисунку составленнаго плана — это опять такіе вопросы, которые могъ и долженъ былъ рѣшать безапелляціонно самъ Принсъ, и одинъ Принсъ, безъ всякихъ ассистентовъ и присяжныхъ. Но это еще не все. По мѣрѣ того, какъ подвигалась впередъ эта внутренняя работа, самъ Принсъ все больше долженъ былъ утрачивать способность контролировать ее, то-есть сличать спокойно то, что предположено было сдѣлать, съ тѣмъ, что дѣйствительно сдѣлано. Внутренняя работа состояла въ насильственномъ искорененіи, порабощеніи и извращеніи естественныхъ наклонностей и стремленій. Но въ человѣческомъ организмѣ всѣ отправленія такъ тѣсно связаны и переплетены между собой, что такія энергическія операціи, произведенныя надъ естественными инстинктами и влеченіями, не могутъ остаться безъ сильнаго вліянія на ту способность, которая направляетъ и контролируетъ эти операціи.

Умственныя способности Принса, на которыя Принсъ вовсе не хотѣлъ дѣйствовать, должны были искажаться и вырождаться вмѣстѣ съ тѣми инстинктами, которые онъ старался переработать. Искаженный и ослабленный умъ не могъ постоянно имѣть въ виду одинъ незыблемый идеалъ, и во имя этого идеала произносить ясно и отчетливо мотивированный приговоръ надъ производящейся внутренней работой. Отчетливость и сознательность во взглядѣ Принса на эту работу, отъ успѣха которой зависѣло его мнѣніе о собственной личности, скоро должны были сдѣлаться невозможными. Ясное сужденіе о томъ, хорошо или дурно, быстро или медленно подвигается впередъ эта работа, скоро должно было уступить мѣсто смутному, непосредственному ощущенію ея успѣшности или неуспѣшности, ощущенію, зависѣвшему отъ того, на сколько Принсъ чувствовалъ себя утомленнымъ, измученнымъ и изломаннымъ. Это чувство усталости, измученности и изломанности Принсъ ставилъ себѣ въ заслугу. «Я—говорилъ онъ самодовольно, описывая свое превращеніе въ божество—умираю ежедневно. Моя внутренняя жизнь подвергается постепенному разрушенію». Когда это чувство дошло до своего *максимума*, когда организмъ ослабѣлъ на столько, что пересталъ обнаруживать какія бы то ни было энергическія влеченія, и когда, вмѣстѣ съ тѣмъ, притупленный умъ потерялъ способность анализировать душевныя движенія и открывать въ нихъ неистребимое зерно эгоизма, свойственнаго всему живому—тогда самодовольство Принса разрослось до такихъ размѣровъ, что онъ съ полнымъ убѣжденіемъ провозгласилъ себя божествомъ.

Тутъ произошелъ крутой поворотъ въ отношеніяхъ Принса къ своимъ инстинктамъ и влеченіямъ. То, что раньше превращенія было достойно самаго строгаго осужденія и самаго неумолимаго преслѣдованія,—то послѣ совершившагося превращенія сдѣлалось предметомъ благоговѣйнаго культа. Пока Принсъ былъ человѣкомъ, онъ боролся съ самимъ собой; когда же онъ сдѣлался богомъ, тогда онъ, разъ навсегда помирившись съ собственной личностью, сталъ заботливо лелѣять и развивать въ себѣ неистребимые остатки тѣхъ самыхъ человѣческихъ слабостей и влеченій, которыхъ долговременное и систематическое подавленіе дало ему возможность возвыситься до сознанія своей божественности. Еслибы, оставаясь человѣкомъ, Принсъ почувствовалъ влеченіе къ хорошо-меблированнымъ комнатамъ большого дома и къ тѣнистымъ аллеямъ обширнаго сада, то онъ завязалъ бы съ этимъ влеченіемъ упор-

Digitized by Google

ную, истребительную войну. Но когда, сдѣлавшись богомъ, Принсъ почувствовалъ, что роскошная мебель, большія комнаты, живописное мѣстоположеніе, хорошій столъ могутъ доставить ему пріятныя ощущенія, тогда онъ съ полнымъ спокойствіемъ совѣсти потянулся ко всѣмъ этимъ земнымъ удобствамъ и безъ всякихъ нравственныхъ колебаній воспользовался тѣми средствами, которыя находились у него подъ руками и могли привести его къ цѣли.

Поселившись въ роскошномъ *жилищѣ любви*, избавившись навсегда отъ докучливыхъ матеріальныхъ заботъ, оградивъ себя отъ изнурительной борьбы съ самимъ собой установившимся сознаніемъ своей божественности, Принсъ, подъ вліяніемъ сытой, спокойной и правильной жизни, поздоровѣлъ, окрѣпъ и привелъ въ порядокъ свою нервную систему, такъ что наконецъ почувствовалъ и для себя возможность той грубой чувственной любви, которую онъ отрицалъ, проклиналъ и преслѣдовалъ во время своего стремленія къ сверхъестественному совершенству и во время своего увлеченія старой дѣвой, Мартой Фриманъ. Продолжая несокрушимо вѣровать въ свою божественность, Принсъ, разумѣется, отнесся къ этому пробужденію чувственности спокойно, почтительно и нѣжно, какъ онъ, со времени своего апоѳеоза, относился ко всѣмъ своимъ желаніямъ и влеченіямъ. Разъ, какъ въ немъ проявилась чувственность, значитъ она хороша, чиста и свята, значитъ ей должно быть отведено почетное мѣсто въ новомъ, слагающемся благодатномъ порядкѣ міра, значитъ надо оправданіемъ и освященіемъ чувственности дополнить и завершить откровеніе, данное святымъ обитателямъ спакстонскаго жилища.

Принсъ рѣшилъ, что восемнадцать столѣтій тому назадъ дѣло дьявола было уничтожено въ духѣ, и что теперь наступило время убить его господство надъ тѣломъ. Эта новая и послѣдняя фаза искупленія должна была совершиться путемъ особаго таинственнаго акта въ спакстонскомъ жилищѣ любви.

Этотъ таинственный актъ и его торжественное совершеніе говорятъ особенно громко и выразительно, какъ мы сейчасъ увидимъ ниже, въ пользу моего взгляда на личность и дѣятельность Принса. Придумать и совершить такое дикое, скандальное и ни на что не нужное дѣло могъ только фанатикъ, домечтавшійся до помѣшательства и заразившій своей мономаніей всѣхъ окружающихъ, а ужъ никакъ не искусный, дерзкій и корыстолюбивый шарлатанъ.

Въ числѣ святыхъ, переселившихся вмѣстѣ съ Принсомъ изъ Уэймаута въ Спакстонъ, была одна молодая вдова, мистрисъ Патерсонъ, съ дочерью, очень хорошенькой дѣвочкой, уже на возрастѣ. Вскорѣ послѣ переселенія мать умерла, а дѣвочка осталась въ жилищѣ любви, круглой сиротой и общей любимицей. Она выросла, сформировалась, и красота ея развернулась во всемъ своемъ блескѣ.

Въ это время, когда миссъ Патерсонъ была уже цвѣтущей красавицей, Принсъ особенно живо сталъ чувствовать недостаточность прежняго откровенія и безотлагательную необходимость произвести окончательное и торжественное примиреніе тѣла съ божествомъ. Принсъ объявилъ братьямъ и сестрамъ, что приблизилось время великихъ событій, что онъ, по волѣ Бога, долженъ скоро сдѣлать дѣву своей женой, какъ женихъ вступаетъ въ бракъ съ невѣстой, не въ страхѣ и стыдѣ, не въ тайномъ мѣстѣ и при затворенныхъ дверяхъ, а открыто, при полуденномъ свѣтѣ, въ присутствіи всѣхъ святыхъ мужескаго и женскаго пола, не совѣтуясь о своемъ выборѣ ни съ кѣмъ, кромѣ самого себя, не спрашиваясь ничьего согласія, и всего менѣе согласія той, которая окажется избранницей.

Братья и сестры выслушали Принса въ благоговѣйномъ недоумѣніи и стали ожидать обѣщанныхъ великихъ событій, не составляя себѣ еще о нихъ никакого опредѣленнаго понятія. Наступило, какъ говорила Диксону сестра Эллен, очень нѣжное и торжественное время. Святые читали, молились и пѣли; никто не зналъ, кому достанется великій санъ мистической невѣсты. Всѣ дѣвы, находившіяся въ жилищѣ любви, молодыя и старыя, красивыя и некрасивыя, держали себя въ трепетной готовности, не зная ни дня, ни часа, когда придетъ желанный женихъ.

Наконецъ Принсъ назначилъ день для таинственной церемоніи. Братья и сестры собрались изъ своихъ отдѣльныхъ комнатъ въ роскошный залъ, считавшійся ихъ церковью. Принсъ произнесъ имъ вдохновенную рѣчь о предстоящемъ искупленіи тѣла, съ которымъ духъ долженъ примириться и сочетаться торжественнымъ бракомъ. Затѣмъ онъ подошелъ къ миссъ Патерсонъ, взялъ ее за руку, далъ ей брачный поцѣлуй и объявилъ, что его связь съ ней будетъ знаменіемъ любви Бога къ тѣлу.

Далѣе произошло то, чему трудно найти подобіе въ длинной лѣтописи человѣческихъ заблужденій, нелѣпостей, увлеченій и безумій. Принсъ сдѣлалъ миссъ Патерсонъ своей женой тутъ-же, на мѣстѣ, среди бѣлаго дня, въ присутствіи нѣсколькихъ десятковъ мужчинъ и женщинъ, продолжавшихъ умиляться и благоговѣть. Въ числѣ присутствовавшихъ и благоговѣвшихъ находились жена Принса и ея братъ Стерки. Ихъ вѣра нисколько не поколебалась. Героиня торжества, «новая Мадонна», какъ называетъ ее Диксонъ, кротко и безропотно покорилась своей неслыханной участи.

Нѣкоторые изъ свидѣтелей церемоніи смутились однако и почувствовали сомнѣніе. Въ жи-

Digitized by Google

лищѣ любви послышались возгласы ужаса и негодованія. Начались толки, грозившіе повести за собой отпаденіе смущенныхъ и усомнившихся адептовъ. Эти толки усилились въ особенности тогда, когда Мадонна Патерсонъ забеременѣла, какъ самая обыкновенная женщина, и родила въ должное время дочь. Рожденіе ребенка оказалось для Принса громовымъ ударомъ. Оно доказало ему, что законы природы не отмѣнены и не пріостановлены для святыхъ обитателей спакстонскаго жилища. Оно на минуту колыхнуло всѣ его теоріи о томъ, что его тѣлесная жизнь окончена, и что въ немъ живетъ и дѣйствуетъ божество. Пораженный неумолимымъ дѣйствіемъ естественнаго закона, онъ нѣсколько времени не зналъ, что̀ думать о самомъ себѣ и о своей дѣятельности, которая шагъ за шагомъ привела его изъ лемпитерской теологической школы въ спактонское жилище любви. Ему, воплощенію божества, было невыносимо горько и тяжело, какъ простому смертному, принужденному въ раздумьѣ и въ тревогѣ, со стыдомъ и съ досадой, созерцать результаты надѣланныхъ ошибокъ.

«Вы бы стали плакать за него кровавыми слезами, говорила сестра Элленъ Диксону, если бы вы видѣли, какъ сильно онъ страдалъ. Онъ страдаетъ такъ глубоко, и еще принужденъ нести бремя за насъ всѣхъ».

Но Принсъ зашелъ уже слишкомъ далеко, чтобы ему было возможно, подъ вліяніемъ какихъ-бы то ни было испытаній, поворотить назадъ, отречься отъ своего прошедшаго и предать проклятію свои обаятельныя заблужденія, изъ которыхъ была составлена вся его внутренняя жизнь. Въ томъ мірѣ туманныхъ и произвольныхъ гаданій, въ которомъ виталъ умъ Принса, человѣкъ при нѣкоторой гибкости и наметанности ума и воображенія можетъ доказать себѣ все, что̀ только ему желательно, и подобрать для какихъ-бы то ни было осязательныхъ фактовъ самое удовлетворительное и пріятное объясненіе. Ребенокъ Мадонны Патерсонъ не могъ оказаться непреодолимымъ препятствіемъ, гибельнымъ для всего теологическаго эшафодажа, построеннаго Принсомъ. Достаточно потерзавшись сомнѣніями и тревогами, Принсъ, къ полному удовольствію своихъ святыхъ, рѣшилъ, что все это огорченіе, посѣтившее его обитель, было его послѣдней битвой съ дьяволомъ, и что несчастный ребенокъ, родившійся такъ некстати, былъ послѣднимъ прощальнымъ даромъ побѣжденнаго и низложеннаго врага.

Впрочемъ не всѣ святые остались довольны случившимся. Нѣкоторые братья отпали отъ Принса и удалились изъ жилища любви. Особенно чувствительно было удаленіе Льюиса Прайса, который увезъ съ собою свою жену Гарріетъ, урожденную Ноттиджъ, и ея шесть тысячъ фунтовъ.

Переживъ эти волненія и раздоры, Принсъ сдвинулъ тѣснѣе ряды своей духовной арміи и произвелъ своихъ непоколебимо вѣрующихъ сподвижниковъ въ тѣ высокіе чины, которые на всю вѣчность должны были оставаться ихъ неотъемлемымъ достояніемъ въ новомъ небѣ и на новой землѣ. Томасъ и Стерки были провозглашены первымъ и вторымъ показанниками. Маберъ — Ангеломъ Послѣдней Трубы. Семь святыхъ, которыхъ имена перечислять безполезно, названы семью свидѣтелями, вѣщающими послѣ звука седьмой трубы.

Всѣ эти сановники спакстонскаго неба вступили немедленно въ отправленіе своихъ обязанностей. Показанники прочитали дюжину поученій о тайнахъ семи звѣздъ и семи свѣтильниковъ. Маберъ затрубилъ въ свою трубу и произнесъ слѣдующую декларацію:

«Я объявляю, что Богъ призвалъ брата Принса къ славѣ Іисуса Христа на землѣ; и что тайну Господа составляетъ здѣсь оживленіе его смертнаго тѣла святымъ духомъ, какъ печать и вершина выполненія евангелія въ немъ; я объявляю также, что Іисусъ Христосъ призналъ дѣло своего собственнаго духа въ братѣ Принсѣ, когда онъ принялъ тѣло и пострадалъ чистый за нечистаго, поднявъ его, человѣка, котораго имя «Вѣтвь», одесную своей славы и давъ ему духъ славы».

Что понялъ изъ своей декларації самъ Ангелъ Послѣдней Трубы и что поняли изъ нея его благоговѣющіе слушатели—объ этомъ у Диксона свѣдѣній не имѣется.

Послѣ Мабера каждый изъ семи свидѣтелей проговорилъ въ свою очередь:

«Я свидѣтель, что въ познаніи Іисуса Христа, какъ Сына человѣческаго, заключается полное искупленіе духа, души и тѣла отъ проклятія паденія; и чтобы вы могли знать эту тайну божію, которая въ другіе вѣка, при другихъ завѣтахъ, не была извѣстна сынамъ человѣческимъ, какъ она теперь возвѣщена въ братѣ Принсѣ, я посылаю вамъ это откровеніе о человѣкѣ Христѣ Іисусѣ, какъ о воплощенномъ словѣ, какъ оно было дано мнѣ».

Когда эта фраза прозвучала въ жилищѣ любви въ седьмой и въ послѣдній разъ, тогда святые почислили всѣ дѣла свои благополучно оконченными и стали жить со дня на день безъ заботъ, безъ дѣятельности, безъ желаній и опасеній, безъ горя и радости, безъ цѣли и безъ плана.

— Что вы дѣлали съ тѣхъ поръ, какъ прозвучали эти трубы и были произнесены эти свидѣтельства? спросилъ Диксонъ у Семюэля Стерки.

— Не много, отвѣтилъ онъ, по крайней мѣ-

Digitized by Google

рѣ не много такого, что̀ вы признали бы работой. Въ 62 году мы сдѣлали наше послѣднее воззваніе; мы послали, черезъ иностранныя посольства, письма, каждое на ихъ собственномъ языкѣ, къ царямъ и народамъ земли, объявляя всѣмъ людямъ, что тѣло спасено отъ смерти. Если люди не хотятъ насъ слушать, что́-жъ намъ дѣлать?

— Вы учите?

— Нѣтъ.

— Проповѣдуете?

— Нѣтъ.

— Пишете?

— Нѣтъ.

— Читаете?

— Мало.

— Хозяйничаете?

— Нѣтъ.

— Кормите бѣдныхъ?

— Нѣтъ.

— Высылаете миссіи?

— Нѣтъ.

— Какъ вы проводите время?

— У насъ нѣтъ времени.

— Вы встаете на разсвѣтѣ, вы ложитесь спать, когда стемнѣетъ. Какъ вы употребляете промежутки?

— Мы ѣдимъ и пьемъ, мы разъѣзжаемъ, мы сравниваемъ наши испытанія, мы переписываемся съ нашими братьями.

— Много у васъ братьевъ, которые принадлежатъ къ вашему обществу, но не живутъ въ Жилищѣ?

— Да, много. Иные въ Уэймаутѣ, иные въ Брайтонѣ, кое-кто въ Сеффолькѣ и въ другихъ мѣстахъ; благочестивыя женщины и проповѣдники въ церкви—всего, быть можетъ, сотенъ шесть, многіе изъ духовнаго званія; но многіе связаны съ нами по духу, хотя и не носятъ нашего имени.

— Они живутъ по вашему?

— Да. Такъ дѣлаютъ истинно призванные. Они живутъ, какъ дѣвы; любовь дьявола выброшена вонъ изъ нихъ силою Бога.

— Вы не ищете другой дѣятельности?

— Мы ожидаемъ Бога. Не намъ торопить его шаги. Въ его урочное время, конецъ придетъ.

И это все? спрашиваетъ Диксонъ, приведя этотъ разговоръ съ однимъ изъ помазанниковъ. Какой урокъ для гордости благочестія и учености! Дюжина пылкихъ клириковъ, одержимыхъ страстью спасать души, способныхъ поражать силой и убѣждать ласковой мягкостью краснорѣчія, выдержавъ нѣсколько столкновеній съ міромъ, убѣгаютъ съ своихъ постовъ, запираются въ саду, фантазируютъ и мечтаютъ, окружаютъ себя прелестными женщинами, кушаютъ роскошные обѣды, утверждая, что страсти умерли, и ожидая, среди нѣги и праздности, что весь міръ подвергнется вѣчному проклятію!

И это все?

Нѣтъ. Это не все. Въ ожиданіи этого приговора достопочтенные джентльмены поигрываютъ на билліардѣ въ томъ мѣстѣ, которое прежде было ихъ церковью».

IV.

Диксонъ побывалъ въ жилищѣ любви очень недавно, уже послѣ своего возвращенія изъ Америки, отъ мормоновъ и шэкеровъ, то-есть, или въ 1866, или въ 1867 году. Онъ видѣлъ самъ, своими умными, пытливыми и внимательными глазами, всѣхъ главныхъ актеровъ и декораціи тѣхъ странныхъ сценъ, которыя были разсказаны на предыдущихъ страницахъ. Сообщаемыя имъ подробности, списанныя съ натуры, составляютъ, быть можетъ, самую яркую и занимательную часть его книги. Этими подробностями я и закончу теперь мою статью.

Въ живописной долинѣ лежитъ прихотливо разбросанная группа строеній; церковь съ недодѣланнымъ шпицемъ; садъ, густо усаженный развѣсистыми деревьями и цвѣтущими кустами; оранжерея, переполненная растеніями, обширный лугъ, перерѣзанный извилистыми тропинками; рядъ красивыхъ домиковъ на дорогѣ, другой рядъ въ саду; высокія ворота возлѣ церкви; путаница строеній впереди и позади; фермы, амбары, скотные дворы, всѣ багровые отъ вьющихся осеннихъ растеній. Въ такомъ видѣ представилась Диксону *Агапемоне* (греческое названіе жилища любви) съ ближайшаго холма, черезъ который пролегала ведущая туда дорога. Когда Диксонъ въѣхалъ въ открытыя ворота, къ нему вышелъ на встрѣчу изъ дома первый помазанникъ Томасъ, черезъ котораго Принсъ далъ Диксону письменное разрѣшеніе посѣтить его обитель. Томасъ—человѣкъ уже не молодой, высокаго роста, хорошо сложенъ; лицо у него умное; глаза голубые, задумчивые; одѣвается и держитъ себя какъ джентльменъ, всегда жившій въ хорошемъ обществѣ; каждая линія его выразительной физіономіи говорила Диксону, что Томасъ, котораго онъ зналъ до сихъ поръ только по скандальному процессу изъ-за денегъ Агнесы Ноттиджъ, пожилъ жизнью мысли, поработалъ надъ книгами и достаточно извѣдалъ на своемъ вѣку сильныя ощущенія оратора, старающагося съ церковной каѳедры потрясти и размягчить сердца слушающихъ грѣшниковъ.

Томасъ ввелъ Диксона въ главный залъ, въ которомъ Диксонъ тотчасъ узналъ церковь. Тутъ они застали трехъ дамъ; одна изъ нихъ играла на роялѣ; поклонившись гостю, эти дамы тотчасъ вышли изъ комнаты. Томасъ предложилъ Диксону, не хочетъ-ли онъ прямо пройти къ Принсу. Диксонъ попросилъ позволенія сдѣлать сначала нѣсколько вопросовъ. Томасъ изъявилъ согласіе, но ему было какъ-то неловко раз-

Digitized by Google

говаривать наединѣ съ постороннимъ человѣкомъ, его отвѣты были неясны и уклончивы и разговоръ, плохо вязавшійся, прерывался ежеминутно приходомъ которой-нибудь изъ сестеръ; сестра входила, прислушивалась къ неторопливой бесѣдѣ мужчинъ, и потомъ уходила; Диксонъ скоро замѣтилъ, что эти появленія сестеръ не были случайными результатами простого женскаго и затворническаго любопытства. Входя и прислушиваясь, сестры дѣйствовали по обязанности службы. Въ жилищѣ любви всѣ святые самымъ ревнивымъ и дѣятельнымъ образомъ наблюдаютъ другъ за другомъ. Диксону не случалось ни разу оставаться наединѣ съ мужчиной или съ женщиной впродолженіе четверти часа; его также не оставляли ни разу въ обществѣ, состоявшемъ изъ однихъ мужчинъ или изъ однѣхъ женщинъ. Въ окружавшихъ его группахъ всегда присутствовала по крайней мѣрѣ хоть одна женщина.

Поговоривъ съ гостемъ и, по возможности, ни въ чемъ не удовлетворивъ его любознательности, Томасъ вышелъ изъ зала, потомъ вернулся и предложилъ Диксону чего-нибудь поѣсть. Диксонъ сначала отказался, но вѣжливая и ласковая настойчивость Томаса показала ему, что это предложеніе имѣетъ, быть можетъ, какъ у арабовъ, символическое значеніе, и что отклонять его не годится. Онъ согласился выпить вина, и женщина тотчасъ внесла подносъ съ бисквитами и съ двумя графинами. Она поставила этотъ подносъ на столъ, и Диксона оставили въ церкви наединѣ съ хересомъ и портвейномъ.

«Да, въ церкви—говоритъ Диксонъ.— Я сидѣлъ на красномъ диванѣ, у яркаго огня, въ окрашенномъ свѣтѣ высокихъ стрѣльчатыхъ оконъ съ богатыми цвѣтными стеклами; подъ ногами у меня лежали мягкія подушки; направо отъ меня стоялъ бильіардъ; кругомъ меня церковная мебель и утварь, дубовая и бронзовая; надъ головой священный символъ агнца и голубя, окруженный по бокамъ и снизу рядами бильіардныхъ кіевъ.

«Я зналъ, что въ этой комнатѣ произошла великая манифестація, совершился тотъ мистическій обрядъ, которымъ, говорятъ, живое тѣло примирено съ Богомъ. Прелестна для глазъ, успокоительна для сердца—такова была, такова остается и до сихъ поръ эта комната. Цвѣтныя стекла оконъ совершенно отгораживаютъ ее отъ міра, не пропуская въ эти стѣны ничего менѣе эѳирнаго, чѣмъ лучи дневного свѣта. Богатый красный персидскій коверъ покрывалъ полъ, составляя контрастъ съ темнымъ коричневымъ дубовымъ потолкомъ. Красныя занавѣски драпировали окна, гдѣ на стеклахъ были нарисованы мистическія изображенія: агнецъ, левъ и голубь—левъ стоялъ на ложѣ изъ розъ, съ знаменемъ, на которомъ были написаны слова:

О, привѣтъ тебѣ, святая любовь!

«Наличникъ надъ каминомъ былъ изъ рѣзного дуба, очень тонкой работы, въ готическомъ вкусѣ, съ зеркалами. Арфа стояла въ одномъ углу залы; большой рояль—въ другомъ. На столахъ лежало нѣсколько книгъ, не очень часто бывшихъ въ употребленіи: «Ночныя мысли Юнга», «Галлерея Тернера», «Греція Уордсуорта» и еще тома два-три. Вдоль стѣнъ шли низкія книжныя полки, нагруженныя книгами религіознаго содержанія. Костяные шары еще лежали на зеленомъ сукнѣ бильіарда; должно быть сестры недавно играли. Весь залъ носилъ на себѣ печать тишины и величія, которая поражала воображеніе чѣмъ-то вродѣ страха. Какъ могъ я, сидя одинъ, не припомнить той мистической драмы, въ которой братъ Принсъ игралъ роль героя, а «мадонна» Патерсонъ роль героини?»

Черезъ полчаса къ Диксону пришелъ Томасъ, и они вмѣстѣ отправились къ Принсу. Комната, въ которую они вошли, была хорошо меблирована, какъ кабинетъ зажиточнаго землевладѣльца. Принсъ былъ въ черномъ платьѣ и въ широкомъ бѣломъ галстухѣ; у него было кроткое, серьезное лицо; онъ встрѣтилъ гостя у двери, привѣтливо поздоровался съ нимъ и усадилъ его въ покойное кресло возлѣ камина. Самъ онъ сѣлъ въ кругу своихъ избранниковъ. По лѣвую его сторону сидѣлъ Стерки, по правую—Томасъ. Возлѣ Стерки помѣщались сестра Элленъ и сестра Зоэ; возлѣ Томаса сестра Анни и сестра Сара.

Стерки по лѣтамъ былъ старше всѣхъ присутствующихъ. Ему—шестьдесятъ одинъ годъ. Онъ большой, полный мужчина съ бѣлыми волосами и кроткими голубыми глазами, которыхъ неопредѣленное, мечтательное выраженіе съ перваго взгляда напомнило Диксону физіономіи его американскихъ друзей шэкеровъ.

Двѣ изъ четырехъ присутствовавшихъ женщинъ были замѣчательно хороши собою. Сестра Анни была образцомъ свѣжей, здоровой, вполнѣ развернувшейся и созрѣвшей женской красоты. «Дородная, розовая, спѣлая — говоритъ Диксонъ—съ парой смѣющихся глазъ, съ полными румяными щеками и съ волнами темнокаштановыхъ волосъ».

О сестрѣ Зоэ Диксонъ отзывается даже съ какимъ-то трепетнымъ стономъ нѣжнаго и почтительнаго восторга. «То было — говоритъ онъ—одно изъ тѣхъ рѣдкихъ женскихъ созданій, которыя принуждаютъ поэтовъ пѣть, вгоняютъ живописцевъ въ отчаяніе и заставляютъ обыкновенныхъ смертныхъ отдавать душу за любовь. Вы видѣли, по прошествіи нѣкотораго времени, что эта женщина молода и стройна,

Digitized by Google

и одѣта съ безукоризненнымъ вкусомъ; но вы не могли увидѣть все это сразу; потому что, когда вы, быстро отворивъ дверь, вдругъ оказывались передъ ней, вы ничего не могли разглядѣть, кромѣ бѣлизны ея лба, мраморнаго спокойствія ея лица и удивительнаго свѣта ея большихъ голубыхъ глазъ. Она сидѣла, пріютившись возлѣ Принса, въ платьѣ изъ бѣлой шелковой матеріи съ фіолетовыми снурками и кружевами; тонкія цвѣтныя полоски какъ будто рѣзче выставляли на видъ молочную блѣдность ея щекъ. Изъ-за лучистаго свѣта ея глазъ, Гверчино могъ бы списать съ такой дѣвушки одного изъ своихъ задумчивыхъ и опечаленныхъ ангеловъ. Высокій лобъ, овальный обликъ, маленькій ротъ и подбородокъ, жемчужные зубы и эти лучезарные глаза! Я право не знаю, видѣлъ ли я когда-либо лицо болѣе полное высокой, ясной и счастливой мысли; и однако, когда я смотрѣлъ на ея сложенныя руки и святое чело, какой-то инстинктъ въ моей крови побуждалъ меня, совершенно наперекоръ моей волѣ, думать о ней въ связи съ той сценой, которая произошла въ близъ-лежащей церкви, съ этимъ дерзновеннымъ обрядомъ, самой странной тайной, быть можетъ самымъ чернымъ беззаконіемъ этихъ послѣднихъ дней, посредствомъ котораго Принсъ утверждаетъ и Томасъ свидѣтельствуетъ, что Богъ примирилъ съ собой живое тѣло и водворилъ на землѣ свой послѣдній завѣтъ».

Диксону было извѣстно, что фамильное имя Принсовой мадонны было Патерсонъ. Ему хотѣлось узнать, не была ли именно сестра Зоэ этой миссъ Патерсонъ. Когда сестра Зоэ заговорила съ нимъ въ кабинетѣ Принса, онъ спросилъ у нея, какимъ именемъ онъ долженъ называть ее въ разговорѣ съ нею.

— Зоэ, отвѣтила она.

— Но подумайте, настаивалъ Диксонъ, я свѣтскій человѣкъ, я вамъ чужой; какъ могу я употреблять эти ласковыя, дружескія имена?

— Пожалуйста, дѣлайте такъ, отвѣтила Зоэ. Это очень мило.

— Безъ сомнѣнія, если бы я пробылъ здѣсь мѣсяцъ; а покуда мнѣ было бы легче называть васъ миссъ...

— Зовите меня Зоэ, отвѣтила она съ терпѣливой улыбкой. Зоэ, просто Зоэ.

Я обратился къ Принсу.

— Люди, спросилъ я, поступая сюда къ вамъ, принимаютъ новыя имена, какъ монахи и монахини итальянскаго монастыря?

— Не какъ монахи и монахини, отвѣтилъ Принсъ.—Мы не отдаемся подъ покровительство нашихъ святыхъ. У насъ нѣтъ святыхъ. Мы просто отдаемъ себя Богу, котораго мѣстопребываніе въ этомъ домѣ. У наружныхъ воротъ мы оставляемъ міръ позади себя, его слова, его законы, его страсти; все это, по нашему, принадлежитъ къ царству дьявола. Живя въ Господѣ, мы слѣдуемъ Его руководящему свѣту даже въ простомъ дѣлѣ нашихъ именъ. Вы современемъ услышите ихъ всѣ. Меня зовутъ Возлюбленный. Я зову эту леди Зоэ, потому что мнѣ нравится этотъ звукъ. Вотъ Томаса я зову Моссу (Mossoo), потому что онъ такъ хорошо говоритъ по-французски.

Я никогда не могъ пойти со святыми дальше этого пункта. Когда я прощался со святыми, я сказалъ Зоэ, держа ея руку въ моей:

— Нельзя ли мнѣ услышать какое-нибудь слово, которымъ я буду поминать васъ, когда буду далеко?

— Да, Зоэ, сказала она и улыбнулась.

— Зоэ... а дальше?

Ея тонкія губы раскрылись, какъ бы для того, чтобы заговорить. Что она собиралась сказать? было ли то имя, которое поднималось къ ея губамъ—Патерсонъ... слово, не произносившееся уже нѣсколько лѣтъ въ жилищѣ любви? Кто знаетъ? Вмѣсто того, чтобы отвѣтить мнѣ, хотя ея пальцы были зажаты у меня въ рукѣ, она обратилась къ Принсу и прошептала своимъ пѣвучимъ голосомъ: «Возлюбленный!» Принсъ отвѣтилъ мнѣ за нее, съ оттѣнкомъ веселой нѣжности: «она Зоэ; вы должны думать о ней, какъ о Зоэ; ничего болѣе».

О самомъ Принсѣ Диксонъ сообщаетъ слѣдующія подробности:

«Тому джентльмену, котораго его послѣдователи называютъ Возлюбленнымъ, пятьдесятъ шесть лѣтъ; онъ худощавъ, средняго роста, и его блѣдныя, поблекшія щеки носятъ на себѣ слѣды многихъ огорченій и большой усталости. Его лицо очень кротко, его манеры очень мягки. Въ немъ есть какая-то женственная грація и прелесть. Его улыбка очень пріятна, и тонъ его голоса низкій. У него взглядъ человѣка, никогда не доходившаго до ярости и до борьбы. Въ его глазахъ, склонныхъ закрываться, вы какъ будто видите свѣтъ изъ какого-то другого міра. Онъ сидѣлъ въ центрѣ этого круга мужчинъ и женщинъ, погруженный въ собственныя мечты, въ которыя онъ снова впалъ съ той минуты, какъ мы присѣли у его теплаго и веселаго камина. Когда звукъ голосовъ вызвалъ его изъ задумчивости, онъ сложилъ руки на своемъ черномъ сюртукѣ, поставилъ на коверъ свои блестящіе башмаки и принялъ живое участіе въ моемъ первомъ длинномъ и замѣчательномъ разговорѣ съ святыми».

Вотъ главныя черты изъ этого разговора, гдѣ Диксонъ, разумѣется, разспрашивалъ, а святые отвѣчали:

— Много ли васъ въ Жилищѣ? спросилъ я у Томаса.

— Всего около шестидесяти душъ.

Въ эту минуту вошелъ въ комнату служитель, одѣтый въ скромное черное платье.

Digitized by Google

— Вы считаете въ томъ числѣ и прислугу?

— Да, отвѣтилъ Томасъ: — они всѣ члены нашей семьи и дѣлятъ ея благословенія.

— Что, вы по очереди исправляете службу, какая требуется въ домѣ, такъ, какъ это дѣлается у братьевъ и сестеръ на горѣ Ливанѣ?

Я увидѣлъ, что по лицу служителя скользнула слабая улыбка.

— О, нѣтъ, вмѣшалась сестра Элленъ.—Мы ничего такого не дѣлаемъ; наши люди намъ служатъ; но они все это дѣлаютъ въ любви.

— Вы хотите сказать, замѣтилъ я:—что они вамъ служатъ безъ жалованья?

На мой вопросъ не послѣдовало отвѣта; только леди засмѣялась, а слуга усмѣхнулся.

— На этихъ шестьдесятъ обитателей сколько приходится мужчинъ и сколько женщинъ? Сколько малолѣтнихъ, сколько взрослыхъ?

— Мужчинъ и женщинъ почти поровну, отвѣтилъ Томасъ:—дѣтей нѣтъ.

— Ни одного ребенка? спросилъ я, думая о великой манифестаціи и о томъ, что, какъ я слышалъ, отъ нея произошло.

— Вы не понимаете той жизни, которой мы живемъ здѣсь въ Господѣ. Мы не женимся и не выдаемъ замужъ. Кто былъ женатъ въ мірѣ, въ былое время, тѣ живутъ, какъ будто не было между ними брака. Мужчины помѣщаются отдѣльно отъ женщинъ и не знаютъ стремленія къ любви дьявола; они какъ ангелы на небѣ, живущіе вѣчной жизнью.

— Что вы называете любовью дьявола?

— Всякую любовь тѣлесную — всякую любовь, если она не святая, не духовная и не отъ Бога.

— Я, кажется, только-что сейчасъ видѣлъ: тутъ на лугу игралъ ребенокъ — маленькая дѣвочка.

— Она—оборванное звено въ нашемъ образѣ жизни; дитя позора, живой свидѣтель послѣдняго великаго торжества дьявола въ сердцѣ человѣка.

— Вы говорите о ребенкѣ миссъ Патерсонъ?

— Она исчадіе сатаны, дѣло сатаны въ тѣлѣ, сказалъ Томасъ съ глубокимъ волненіемъ.

Облако тоски омрачило всѣ ихъ лица, кромѣ лица сестры Зоэ, у которой кроткая ясность выраженія осталась ненарушенной.

— Дѣло этого времени, вставила сестра Элленъ:—было самое тяжелое, какое мнѣ только случалось испытать. Цѣлый годъ мы лежали въ тѣни смерти и близко къ аду; но Богъ выполнилъ въ насъ свое предначертаніе. Это было горькое время для всѣхъ, а особенно горько было нашему Возлюбленному.

— Ваше правило жизни подобно, стало быть, монашескому уставу—правило воздержанія?

— Правило ангеловъ, отвѣтилъ Принсъ:—правило чистаго наслажденія въ Господѣ. Наши братья и сестры живутъ въ любви, но не въ грѣхѣ; потому что грѣхъ—смерть, а намъ принадлежитъ вѣчная жизнь въ Господѣ.

— То-есть въ духѣ, въ другомъ мірѣ, какъ всѣ добрые люди надѣются жить?

— Мы понимаемъ одинаково въ тѣлѣ и въ духѣ, потому что тѣло теперь спасено и примирено съ Богомъ.

— Такъ вы принимаете физическое воскресеніе, какъ эта доктрина установлена въ англійской церкви?

— Нѣтъ; мы отвергаемъ эту доктрину. Мы сами воскресеніе; и въ этомъ мы — жизнь.

— Но вѣдь всѣ умираютъ?

— Да, сказалъ Томасъ:—такъ случалось съ большинствомъ; смерть была удѣломъ людей, и они умирали; но смерть подчинена Господу, въ которомъ мы живемъ. Мы не умремъ, если только онъ не захочетъ исключить насъ изъ числа спасенныхъ.

— Вы думаете умереть?

— Нѣтъ, никогда, сказалъ первый показанникъ,—у насъ нѣтъ такихъ мыслей.

— Но вѣдь нѣкоторые изъ васъ скончались; Луиза Ноттиджъ напримѣръ?

— Да, Господь совершилъ надъ ними свою волю; они погрѣшили, и они умерли; но многіе примѣры не составляютъ необходимаго правила. Родственники Иліи умерли въ плоти, но пророкъ живымъ былъ взятъ на небо. Хотя бы я увидѣлъ эту долину, переполненную десятками тысячъ труповъ, этотъ видъ не убѣдилъ бы меня въ томъ, что и я долженъ когда-нибудь умереть.

— Вы, кажется, презрительно смотрите на мертвыхъ?

— Мы видимъ въ нихъ людей, не вполнѣ спасенныхъ; они не исторгнуты изъ власти сатаны надъ тѣломъ. Кого Богъ спасъ, тѣ будутъ жить.

— Гдѣ вы хороните скончавшихся — на кладбищѣ, въ освященной землѣ, какъ другіе христіане, или въ какомъ-нибудь пустомъ полѣ, какъ шэкеры?

— Иные лежатъ у фермы, другіе тамъ, подъ зеленымъ лугомъ; у насъ нѣтъ освященной земли; мы думаемъ, что прахъ, неспасенный заживо, возвращается въ землю, откуда былъ взятъ.

— Видя, что всѣ вы старѣетесь и что нѣкоторые изъ васъ угасаютъ, вы должны допустить, что смерть можетъ придти?

— Нѣтъ, сказалъ Возлюбленный:—мы никогда не думаемъ о смерти; мы никогда ея не ожидаемъ. Мы знаемъ, что Богъ есть живой Богъ, и что мы живы въ немъ. Смерть — слово, принадлежащее времени.

— Но мы всѣ живемъ во времени.

— Вы живете во времени, сказалъ Возлюбленный:—мы—нѣтъ; и мы не имѣемъ о немъ понятія.

Digitized by Google

— У васъ нѣтъ чувства времени?

— Никакого, отвѣтилъ первый помазанникъ.—Это ваши слова, не божіи; вы ихъ придумали, чтобы изображать земные факты. Мы живемъ въ другомъ мѣстѣ.

— Вы видите, какъ солнце встаетъ и закатывается, доказывалъ я:—вы знаете, что вчера была пятница, что завтра будетъ воскресенье; что весна проходитъ, и что приближается время жатвы?

— Ну, да, сказалъ Возлюбленный сострадательнымъ тономъ:—мы чувствуемъ теченіе любви, которое вы приняли за вашу мѣрку времени; но это не признакъ перемѣны для насъ, потому что мы живемъ вѣчно въ живомъ Богѣ.

Читатель, вѣроятно, согласится, что исторія принсентовъ замѣчательна и наводитъ на поучительныя размышленія о вліяніи теологическаго метода мышленія на человѣческіе умы.

Читатель видитъ, что, подчиняясь этому методу, образованные и начитанные люди, выросшіе въ правилахъ оффиціальной доктрины, поддержаніе которой изъ года въ годъ уноситъ у государства милліоны фунтовъ, люди, принадлежащіе къ самому консервативному сословію самаго консервативнаго изъ европейскихъ обществъ—доходятъ, при самыхъ добросовѣстныхъ и неустрашимыхъ усиліяхъ отыскать чистую истину, до такихъ ярко-разрушительныхъ и нагло-безнравственныхъ результатовъ, какъ Великая Манифестація, мистическая драма, разъигранная, въ присутствіи спакстонскихъ святыхъ, братомъ Принсомъ и мадонною Патерсонъ.

ФРАНЦУЗСКІЙ КРЕСТЬЯНИНЪ ВЪ 1789 ГОДУ.

(Histoire d'un paysan 1789, par Erckman-Chatrian.)

I.

Лучшіе романы Эркмана и Шатріана уже извѣстны нашей публикѣ. «Тереза», «Воспоминанія рекрута 1813 г.», «Ватерло», «Юродивый Іегофъ» и «Записки пролетарія» были въ свое время — года три тому назадъ — переведены на русскій языкъ, помѣщены въ одномъ журналѣ, имѣвшемъ довольно обширный кругъ читателей, и потомъ выпущены въ свѣтъ отдѣльнымъ изданіемъ.

Во всѣхъ этихъ романахъ авторы преслѣдуютъ одну и ту-же задачу. Они стараются взглянуть на великія историческія событія снизу, глазами той обыкновенной безгласной и покорной массы, которая почти всегда и почти вездѣ молчитъ и терпитъ, платитъ налоги и отдаетъ въ распоряженіе міровыхъ геніевъ достаточное количество пушечнаго мяса. Такой взглядъ снизу рѣдко бываетъ возможенъ; обыкновенно масса не имѣетъ понятія о томъ, что дѣлается въ руководящихъ слояхъ общества; ей неизвѣстны ни имена, ни лица, ни поступки, ни взаимныя отношенія, ни мысли, ни желанія главныхъ актеровъ, занимающихъ въ данную минуту сцену всемірной исторіи; она ихъ не видитъ, не слышитъ и не понимаетъ; ей не приходитъ въ голову, чтобы могла существовать какая-нибудь живая связь между дѣйствіями этихъ актеровъ и ея собственными очень мелкими, но очень жгучими заботами, лишеніями и печалями; она не можетъ и не умѣетъ себѣ представить, чтобы среди этихъ блестящихъ и громко говорящихъ актеровъ у нея могли быть друзья и враги, которыхъ побѣда или пораженіе отзовется на ея собственной жизни увеличеніемъ или уменьшеніемъ прямыхъ и косвенныхъ налоговъ, рекрутской повинности и разнородныхъ стѣсненій, тормозящихъ свободное развитіе ея труда.

Не зная самыхъ крупныхъ фактовъ новѣйшей и современной исторіи, не имѣя тѣхъ простѣйшихъ элементарныхъ свѣдѣній, которыя должны служить фундаментомъ политическаго развитія, не умѣя разбирать тѣ буквы, которыми наполненъ листокъ газеты, не понимая тѣхъ словъ родного языка, которыя составлены изъ этихъ буквъ, не привыкнувъ слѣдить внимательно за сколько нибудь сложной и отвлеченной мыслью, развивающейся въ цѣломъ рядѣ предложеній и періодовъ, не имѣя возможности оторваться отъ тяжелаго скотскаго труда, который кормитъ ее въ-обрѣзъ, часто оставляетъ ее впроголодь и всегда мѣшаетъ ей возвыситься до какихъ бы то ни было соображеній и обобщеній—масса обыкновенно относится ко всѣмъ своимъ страданіямъ съ одинаково-угрюмой покорностью, не задавая себѣ вопроса о томъ, отчего они происходятъ, отъ тридцатиграднаго ли мороза, который, при данной географической широтѣ, совершенно неизбѣженъ, или отъ ненужной, разорительной и неискусно веденной войны, которую не трудно было бы предотвратить, или по крайней мѣрѣ повести искуснѣе

Digitized by Google

и окончить скорѣе Масса обыкновенно видитъ наказаніе Божіе и въ продолжительномъ отсутствіи дождя, обусловленномъ чисто-физическими причинами, и напримѣръ въ дороговизнѣ соли, произведенной искусственнымъ путемъ, посредствомъ неудачныхъ финансовыхъ мѣропріятій. Встрѣчаясь на каждомъ шагу съ такими наказаніями Божіими, масса не восходитъ къ ихъ причинамъ, не задумывается надъ средствами устранить или ослабить ихъ, а дѣйствуетъ въ разсыпную, то-есть такъ, что каждый отдѣльный человѣкъ старается сберечь свою жалкую жизнь и укрыться отъ наказанія въ первое попавшееся, надежное или ненадежное убѣжище. Случится голодъ вслѣдствіе засухи — масса бредетъ въ разсыпную побираться, и наблюдатель народной жизни замѣчаетъ болѣе или менѣе значительное приращеніе въ общемъ итогѣ случаевъ бродяжничества, нищенства, воровства и грабительства. Происходитъ дороговизна соли вслѣдствіе налога – масса поступаетъ точно такъ-же: она выдвигаетъ изъ своей среды, смотря по удобствамъ мѣстности, сотни или тысячи контрабандистовъ, которые конечно стараются не о томъ, чтобы устранить зло, тяготѣющее надъ народной жизнью, а о томъ, чтобы прожить и по возможности обогатиться при существованіи и даже при содѣйствіи этого зла.

Обыкновенно масса протестуетъ противъ разнородныхъ общественныхъ золъ, отравляющихъ ея жизнь—или своими страданіями, болѣзнями и вымираніемъ, или индивидуальными преступленіями. При обѣихъ этихъ системахъ протеста, которыя обыкновенно пускаются въ ходъ одновременно, масса принимаетъ гнетущее ее зло, какъ существующій фактъ и, не пускаясь въ анализъ его причинъ, не составляетъ себѣ никакого взгляда на породившія его лица и событія, и не воспитываетъ въ себѣ никакихъ политическихъ симпатій и антипатій.

Но не всегда и не вездѣ господствуетъ это полное отсутствіе взгляда снизу на великія историческія событія. Не всегда и не вездѣ масса остается слѣпа и глуха къ тѣмъ урокамъ, которые будничная трудовая жизнь, полная лишеній и горя, даетъ на каждомъ шагу всякому умѣющему видѣть и слышать. Если, съ одной стороны, только въ однихъ Сѣверо-американскихъ Соединенныхъ Штатахъ масса постоянно, изо-дня въ день и изъ года въ годъ, слѣдитъ за ходомъ своихъ собственныхъ дѣлъ съ одинаково-неусыпнымъ, просвѣщеннымъ и разумнымъ вниманіемъ, то, съ другой стороны, въ цивилизованной Европѣ трудно найти хоть одинъ уголокъ, въ которомъ самосознаніе массъ не обнаруживало бы, хоть мимолетными проблесками, самаго серьезнаго и неизгладимо-благодѣтельнаго вліянія на общее теченіе историческихъ событій.

Во Франціи такіе проблески народнаго самосознанія заявляли себя не разъ втеченіе восьми послѣднихъ десятилѣтій. Эркманъ и Шатріанъ стараются уловить въ своихъ романахъ именно эти проблески. Они берутъ людей народной массы въ тѣ торжественныя минуты, когда въ этой массѣ, подъ вліяніемъ многолѣтняго горя, начинаетъ созрѣвать неотложная потребность отдать себѣ строгій и ясный отчетъ въ томъ, что̀ мѣшаетъ ей жить здоровой человѣческой жизнью. Они стараются прослѣдить, какими путями и каналами въ народную массу медленно просачивается сознательное неудовольствіе, исподволь вытѣсняя и смѣняя собой ту неповоротливую и тупую угрюмость, которая является обыкновеннымъ результатомъ неосмысленнаго страданія и обыкновенно разрѣшается дикимъ запоемъ, безтолковыми драками и нелѣпыми преступленіями. Они пытаются угадать и показать, какая борьба мнѣній и взглядовъ разыгрывается въ великія минуты народнаго пробужденія у каждаго самаго скромнаго семейнаго очага и въ каждомъ самомъ убогомъ деревенскомъ трактирѣ. Они стараются ввести читателя въ ту таинственную лабораторію, почти недоступную для историка, гдѣ вырабатывается—изъ безчисленнаго множества разнороднѣйшихъ элементовъ, и подъ вліяніемъ тысячи содѣйствующихъ и препятствующихъ условій—тотъ великій *глас народа*, который дѣйствительно, рано или поздно, всегда оказывается *гласомъ Божіимъ*, то-есть опредѣляетъ своимъ громко произнесеннымъ приговоромъ теченіе историческихъ событій.

Романы Эркмана и Шатріана можно совершенно справедливо назвать историческими, потому что они рисуютъ очень яркими и хорошо подобранными чертами духъ того времени, изъ котораго взяты ихъ сюжеты. Но эти романы нисколько не похожи на тѣ сшивки изъ реляцій, мемуаровъ, дипломатическихъ нотъ, мирныхъ договоровъ и разныхъ другихъ историческихъ документовъ, которые также называются обыкновенно историческими романами и составляютъ, въ большей части случаевъ, одинъ изъ самыхъ безплодныхъ и непривлекательныхъ родовъ литературы. Въ романахъ Эркмана и Шатріана великіе историческіе дѣятели вовсе не выступаютъ на сцену. Въ ихъ романахъ, взятыхъ изъ временъ первой революціи, читатель не встрѣчается ни съ Робеспьеромъ, ни съ Дантономъ, ни съ королемъ Людовикомъ XVI, и вообще ни съ однимъ изъ тѣхъ лицъ, которыхъ имя сколько-нибудь извѣстно образованному человѣку. Въ романахъ изъ временъ первой имперіи мы не видимъ ни Наполеона, ни его маршаловъ, ни его враговъ. Эркманъ и Шатріанъ не позволяютъ себѣ ни отбивать хлѣбъ у историковъ, рисуя великія историческія фигуры на

Digitized by Google

основаніи матеріаловъ, сложенныхъ въ архивы и достаточно провѣренныхъ строгой критикой, ни дополнять смѣлыми догадками и произвольными порывами фантазіи то, что остается и навсегда должно оставаться въ этихъ фигурахъ неяснымъ и недорисованнымъ. Эркманъ и Шатріанъ не пробуютъ вводить читателя въ такіе кабинеты, въ которые никто изъ простыхъ смертныхъ не входилъ, подслушивать такія рѣчи, которыхъ въ свое время никто не могъ слышать и записать, угадывать такія мысли, желанія и душевныя движенія, которыя остались для всего міра глубочайшей тайной.

Нашихъ авторовъ занимаетъ не внѣшній очеркъ событій, а внутренняя сторона исторіи, та сторона, которой мыслящій историкъ дорожитъ чрезвычайно, но которая почти всегда въ очень значительной степени отъ него ускользаетъ, и всегда будетъ ускользать, потому что онъ рѣдко имѣетъ возможность черпать изъ устныхъ источниковъ, напримѣръ изъ разсказовъ стариковъ, не имѣетъ права довѣряться такимъ источникамъ, принужденъ, пользуясь ими, стирать съ нихъ все, что въ нихъ есть индивидуальнаго, то-есть именно самаго свѣжаго и характернаго, и наконецъ обязанъ сдерживать свое воображеніе въ такихъ тѣсныхъ границахъ, которыя не существуютъ для романиста. Нашихъ авторовъ интересуетъ не то, какъ и почему случилось то или другое крупное историческое событіе, а то, какое впечатлѣніе оно произвело на массу, какъ поняла его масса, и чѣмъ она на него отозвалась.

Внѣшняя и внутренняя стороны исторіи находятся между собой въ постоянномъ живомъ взаимнодѣйствіи. Войны, мирные трактаты, переходы областей изъ рукъ въ руки, смѣны династій, министерствъ и правительственныхъ системъ, законодательныя и административныя преобразованія — все это съ одной стороны, а съ другой стороны — размѣры и свойства лишеній, страданій, невѣжества и долготерпѣнія массы находятся очевидно въ самой тѣсной связи между собой, хотя далеко не всѣ видятъ, и далеко не всякій историкъ умѣетъ доказать и прослѣдить дѣйствительное существованіе этой неизбѣжной и неразрывной связи. Очевидно, что всякое крупное историческое событіе совершается или потому, что народъ его хочетъ, или потому, что народъ не можетъ и не умѣетъ ему помѣшать. Очевидно также, что всякое историческое событіе, которое дѣйствительно стóитъ называть и признавать крупнымъ, совершается или въ ущербъ народу, или на его пользу, а это значитъ, въ общемъ результатѣ, что оно или усыпляетъ, или, напротивъ того, живитъ и развиваетъ въ народѣ способность вѣрно понимать, сильно желать и твердо настаивать.

Эркманъ и Шатріанъ стараются въ своихъ романахъ уловить эту связь между внѣшней и внутренней стороной исторіи. Они стараются показать, какъ то или другое историческое событіе будило въ массѣ самосознаніе и самодѣятельность, и какъ это умственное и нравственное пробужденіе массы давало своеобразный оборотъ и сообщало живительный толчекъ дальнѣйшему теченію событій. Это стремленіе указать массѣ на ту роль, которая по всѣмъ правамъ принадлежитъ ей на сценѣ всемірной исторіи, и которая доставалась и всегда будетъ доставаться ей на долю всякій разъ, какъ только она съумѣетъ поразмыслить, вникнуть и во-время промолвить свое тяжеловѣсное слово, — это стремленіе, составляющее живую душу романовъ Эркмана и Шатріана, придаетъ этимъ романамъ важное и благотворное воспитательное значеніе.

Эти романы развиваютъ въ своихъ читателяхъ способность уважать народъ, надѣяться на него, вдумываться въ его интересы, смотрѣть на совершающіяся событія съ точки зрѣнія этихъ интересовъ, называть злóмъ все то, что̀ усыпляетъ, а добромъ все то, что будитъ народное самосознаніе. Когда эти романы читаются человѣкомъ, принадлежащимъ къ высшему или среднему классу общества, тогда они воздѣлываютъ въ немъ чувство спасительнаго смиренія, напоминая ему на каждомъ шагу, что настоящимъ фундаментомъ самыхъ великолѣпныхъ и замысловатыхъ политическихъ зданій всегда и вездѣ является народная масса, и что постоянная заботливость о благосостояніи этой массы составляетъ первую и самую священную обязанность всякаго, кому эта масса своимъ неутомимымъ трудомъ доставила возможность сдѣлаться мыслящимъ и образованнымъ человѣкомъ. Когда эти романы попадаются въ руки простому работнику, они внушаютъ ему чувство законнаго и разумнаго самоуваженія; онъ видитъ изъ нихъ, что ему нѣтъ ни малѣйшей необходимости быть пассивнымъ орудіемъ чужой прихоти и покорнымъ слугой чужихъ интересовъ; онъ видитъ, что люди той массы, къ которой онъ самъ принадлежитъ, и притомъ люди самыхъ обыкновенныхъ размѣровъ, способны не только думать по своему и обсуживать очень благоразумно свои общественныя дѣла, но и вліять на направленіе народной жизни. Когда французъ читаетъ эти романы, они помогаютъ ему цѣнить и любить въ прошедшемъ своего народа то, что̀ дѣйствительно достойно почтительной любви; они учатъ его гордиться тѣмъ, что, по всей справедливости, должно возбуждать гордость умнаго и честнаго патріота. Иностранцу эти романы показываютъ наглядно, въ живыхъ образахъ, то, чего онъ долженъ желать и добиваться для своего народа. Словомъ, кому бы

Digitized by Google

ни попались въ руки эти романы, всякаго они наведутъ на такія размышленія, которыя не останутся безплодными для его политическаго развитія.

Можно сказать безъ преувеличенія, что романы Эркмана и Шатріана составляютъ очень удачную попытку популяризировать исторію Франціи за послѣднія восемьдесятъ лѣтъ, и популяризировать именно такъ, какъ должна быть популяризирована исторія. Изъ этихъ романовъ читатель не узнаетъ конечно въ которомъ году родился, женился, вступилъ на престолъ и умеръ тотъ или другой король или императоръ французовъ, съ кѣмъ онъ воевалъ и мирился, изъ-за чего и на какихъ условіяхъ, по какому поводу и когда онъ мѣнялъ своихъ министровъ. Въ этомъ смыслѣ исторія достаточно популяризирована въ элементарныхъ и дешевыхъ учебникахъ, и дальше популяризировать ее нельзя и незачѣмъ. Но смыслъ главнѣйшихъ событій, то зло, или то добро, которое они внесли въ народную жизнь и которымъ народъ и его друзья должны ихъ поминать—выясняются этими романами такъ, какъ не могли бы ихъ выяснять для массы читателей никакіе учебники.

Что попытка популяризировать исторію Франціи, сдѣланная Эркманомъ и Шатріаномъ, не остается безплодной—это доказывается просто тѣмъ числомъ изданій, которое выдержали многіе изъ ихъ романовъ. «Тереза» до 1868 года выдержала 13 изданій; «Ватерло»—17; «Воспоминанія рекрута»—21. Когда книга въ три-четыре года выдерживаетъ больше десятка изданій, тогда очевидно ее читаютъ всѣ классы общества, читаютъ даже и простые работники, и читаютъ съ постоянно возрастающимъ удовольствіемъ, усердно расхваливая ее друзьямъ и знакомымъ, старательно вдумываясь въ нее и завязывая и выдерживая по ея поводу горячія и продолжительныя пренія. Если книга читается такимъ образомъ, то, значитъ, умы читающихъ людей, въ томъ числѣ и простыхъ работниковъ, направляются на тѣ предметы, о которыхъ эта книга трактуетъ. А этого послѣдняго условія совершенно достаточно, чтобы романы Эркмана и Шатріана обнаружили все свое образовательное вліяніе и принесли народному самосознанію всю ту пользу, которую они могутъ принести.

II.

Къ новому роману Эркмана и Шатріана, къ «Исторіи Крестьянина», вполнѣ прилагаются тѣ замѣчанія, которыя я высказалъ до сихъ поръ объ ихъ романахъ вообще. Въ «Исторіи Крестьянина» наши авторы стараются показать читателю, какъ жилось, что думалось и чувствовалось во французской деревнѣ, въ тотъ знаменательный годъ, когда правительство Людовика XVI, изнемогая подъ бременемъ постоянно возрастающаго дефицита, увидѣло себя принужденнымъ приступить наконецъ къ созванію государственныхъ чиновъ.

Въ этомъ романѣ разсказъ ведется отъ имени стараго крестьянина, который былъ молодымъ мальчикомъ въ 1789 году, помнитъ совершенно отчетливо, какъ жили его родители при господствѣ стараго порядка, и потомъ видѣлъ собственными глазами всѣ фазы политическаго движенія, уничтожившаго во Франціи всѣ остатки средневѣковаго общественнаго строя.

Дѣйствіе романа происходитъ въ Лотарингіи, недалеко отъ города Пфальцбурга. Нашимъ авторамъ, повидимому, особенно хорошо знакома эта мѣстность. Имя Пфальцбурга встрѣчается почти во всѣхъ ихъ романахъ. Гнѣздо ихъ героевъ почти всегда находится гдѣ-нибудь по близости этого города. Въ «Исторіи Крестьянина» есть даже прямое указаніе на одинъ изъ прежнихъ романовъ, на «Юродиваго Іегофа», въ которомъ разсказано нѣсколько эпизодовъ изъ народной войны противъ союзниковъ въ 1814 году. Деревенскій священникъ Кристофъ Матернъ, дѣйствующій въ «Исторіи Крестьянина, оказывается роднымъ братомъ Матерна, который въ «Юродивомъ Іегофѣ» является однимъ изъ храбрѣйшихъ и вліятельнѣйшихъ волонтеровъ. То обстоятельство, что почти всѣ романы нашихъ авторовъ прикрѣплены къ одной мѣстности, даетъ намъ право предположить, что тутъ очень многія подробности, лица и положенія прямо списаны съ натуры, и что мы имѣемъ передъ собой взглядъ снизу на историческія событія, не сочиненный талантливыми и просвѣщенными писателями, а просто, въ значительной степени, если не вполнѣ, подслушанный на мѣстѣ и записанный со словъ разсказчиковъ изъ среды самаго народа. Понятно, что это обстоятельство можетъ только увеличить достоинство и усилить занимательность этихъ романовъ.

Мишель Бастіанъ, крестьянинъ, ведущій разсказъ отъ своего имени—сынъ бѣднаго корзинщика, который, вмѣстѣ съ женой, долженъ кормить шесть человѣкъ дѣтей, не имѣя на это никакихъ средствъ, ни гроша денегъ, ни клочка земли, ни козы, ни курицы, ничего, кромѣ личнаго труда, обставленнаго множествомъ разнообразнѣйшихъ стѣсненій и подвергающагося множеству такихъ же разнообразныхъ поборовъ и вымогательствъ.

Изобрѣтательность средневѣковыхъ властей въ дѣлѣ эксплоатированія простыхъ и беззащитныхъ людей была, какъ извѣстно, неистощима. Вездѣ, гдѣ можно было поставить заставу и при ней посадить караульщика, обязаннаго брать дань съ проходящихъ и съ проѣзжающихъ, тамъ эта застава ставилась и караульщ-

Digitized by Google

щикъ сажался. Вездѣ, гдѣ можно было перехватить по дорогѣ товары, переходящіе изъ рукъ въ руки, и оторвать отъ нихъ кусочекъ въ видѣ налога или пошлины, тамъ товары, какъ-бы они ни были скромны, перехватывались и кусочекъ отрывался. Вездѣ, гдѣ можно было учредить монополію, разорительную для большинства и прибыльную только для самого вельможнаго учредителя, тамъ монополія была учреждена. Вездѣ, гдѣ можно было продать въ частныя руки какое-нибудь право, существенно необходимое каждому отдѣльному работнику, тамъ это право было продано, часто за поразительно дешевую цѣну, жадному и безсовѣстному откупщику. Накопляясь съ теченіемъ вѣковъ, эти чудеса финансовой геніальности превратились наконецъ въ такую чудовищную гору, которая совершенно придавила къ землѣ всю массу трудящагося населенія, такъ что этой массѣ представилась наконецъ альтернатива, или задохнуться подъ этой горой, или задуматься надъ вопросомъ: куда идутъ деньги, добываемыя такими энергическими и разнообразными средствами, и точно-ли они идутъ туда, куда имъ слѣдуетъ идти.

Задыхаться подъ горой финансовыхъ чудесъ—это было самое привычное дѣло для той массы, о которой разсказываетъ Мишель Бастіанъ. Рѣдкій крестьянинъ могъ осенью чувствовать себя увѣреннымъ, что ему достанетъ хлѣба до слѣдующей уборки. Рѣдкій работникъ имѣлъ достаточныя основанія надѣяться, что хлѣбъ среди зимы не сдѣлается для него предметомъ роскоши, совершенно недоступнымъ по своей дороговизнѣ. Зимой три четверти деревенскаго населенія отправлялись побираться. Капуцины и другіе нищенствующіе монахи жаловались начальству на это беззаконное обиліе конкурентовъ. Начальство, встревоженное неблагообразнымъ развитіемъ нищенства, старалось искоренить зло строгими законодательными и административными мѣрами. Нищихъ ловили, сажали въ тюрьмы и ссылали на галеры. На нищихъ дѣлались облавы. Противъ нищихъ выводили въ поле вооруженные отряды. Но голодъ былъ страшнѣе солдатскихъ штыковъ и того кнута, подъ которымъ работали каторжники, и число нищихъ росло, несмотря на жалобы капуциновъ и циркуляры начальства. Къ веснѣ, когда съѣстные припасы истощались во всей странѣ и когда каждый предусмотрительный хозяинъ сокращалъ поневолѣ размѣры подаяній, тогда многіе изъ уцѣлѣвшихъ нищихъ превращались съ голоду въ грабителей и бросались на проѣзжающихъ.

Начальство высылало войска и потомъ отправляло на висѣлицу десятки захваченныхъ преступниковъ. Такимъ образомъ гора финансовыхъ чудесъ буквально душила людей, доводя ихъ, путемъ нищенства, бродяжничества и преступленія, до каторги и до висѣлицы.

Задумываться надъ вопросомъ о тѣхъ причинахъ, которымъ гора финансовыхъ чудесъ обязана своимъ существованіемъ и возрастаніемъ, было конечно несравненно труднѣе, чѣмъ такъ или иначе задыхаться подъ этой горой. Если эта гора своимъ гнетомъ дѣлала серьезныя размышленія абсолютно-необходимыми для спасенія придавленнаго народа отъ одичанія и вымиранія, то эта-же самая гора, тѣмъ-же своимъ гнетомъ повидимому дѣлала такія размышленія совершенно невозможными. Въ самомъ дѣлѣ, разоренному, обобранному, истощенному, голодному и прозябшему человѣку, изнемогающему подъ тяжестью механическаго и неблагодарнаго труда, необходимо, болѣе чѣмъ всякому другому, вдуматься въ свое бѣдственное положеніе, обсудить его со всѣхъ сторонъ, изучить пытливымъ взглядомъ всѣ особенности окружающихъ условій, найти выходъ и немедленно воспользоваться сдѣланнымъ открытіемъ. Но такой человѣкъ именно потому, что онъ разоренъ, обобранъ, истощенъ, голоденъ, дрожитъ отъ холода и забитъ воловьимъ трудомъ—менѣе всякаго другого способенъ къ тѣмъ тонкимъ и сложнымъ умственнымъ операціямъ, для которыхъ требуется спокойствіе, досугъ, самоувѣренность, способность смотрѣть впередъ съ сознательной надеждой и относиться къ жизни съ разумной требовательностью.

Вглядываясь въ то положеніе, до котораго были доведены трудящіеся классы французскаго народа въ царствованія Людовиковъ XIV, XV и XVI, и принимая въ соображеніе ту общеизвѣстную истину, что невѣжество и умственная затхлость являются неразлучными и неизбѣжными спутниками крайней и безвыходной бѣдности—можно было-бы подумать, что французскому народу не оставалось въ концѣ прошлаго столѣтія никакихъ шансовъ спасенія и что онъ обнаружитъ совершенное политическое безсмыслiе и самую жалкую неспособность позаботиться о самомъ себѣ, когда его правительство, разоривъ его въ конецъ и очутившись передъ пустыми денежными сундуками, будетъ поставлено въ необходимость сложить съ себя на его плечи всю отвѣтственность за дальнѣйшее веденіе общественныхъ дѣлъ. Какъ и почему разоренный и забитый народъ могъ въ рѣшительную минуту развернуть и несокрушимую энергію, и глубокое пониманіе своихъ потребностей и стремленій, и такую силу политическаго воодушевленія, передъ которой оказались ничтожными всѣ происки и попытки внѣшнихъ и внутреннихъ, явныхъ и тайныхъ враговъ, какъ и почему замороженный и невѣжественный народъ съумѣлъ и смогъ подняться на ноги и обновиться радикальнымъ

Digitized by Google

уничтоженіемъ всего средневѣковаго беззаконія—это конечно одна изъ интереснѣйшихъ и важнѣйшихъ задачъ новой исторіи. Эркманъ и Шатріанъ подходятъ къ этой задачѣ съ той стороны, съ какой они могутъ къ ней подойти, оставаясь романистами. Они наводятъ читателя на поучительныя размышленія объ этой задачѣ и даютъ ему любопытные матеріалы для ея разрѣшенія.

Мишель Бастіанъ является до нѣкоторой степени представителемъ всего французскаго народа. Въ исторіи его личности отразилась судьба цѣлой націи. По всѣмъ даннымъ, надо было ожидать, что этотъ Мишель проведетъ всю свою жизнь въ бѣдности, въ грязи, въ невѣжествѣ, снимая шапку передъ каждымъ встрѣчнымъ бариномъ и даже солдатомъ, цѣлуя руку у каждаго грязнаго и пьянаго капуцина и не имѣя никакихъ сознательныхъ политическихъ убѣжденій, никакихъ общественныхъ симпатій и антипатій, пріобрѣтенныхъ самостоятельнымъ трудомъ собственной мысли. Между тѣмъ на дѣлѣ оказывается совсѣмъ другое. Въ 1789 году, восемнадцати лѣтъ отъ роду, Мишель читаетъ газеты, интересуется политикой, понимаетъ очень вѣрно, хотя конечно въ общихъ чертахъ, то, чего надо желать народу, принимаетъ близко къ сердцу его благо, знаетъ и ненавидитъ его враговъ, знаетъ и любитъ его друзей, словомъ, обнаруживаетъ въ себѣ величайшую способность сдѣлаться, при сколько нибудь благопріятныхъ условіяхъ, политическимъ дѣятелемъ самаго радикальнаго образа мыслей. Въ совершенной гармоніи съ политическими убѣжденіями Мишеля находятся и его собственныя, личныя, чисто человѣческія наклонности и стремленія. Свободная мысль и свободное чувство проникаютъ насквозь и облагораживаютъ все его существо. Воспитанный въ самой голодной нуждѣ, привыкши слышать съ дѣтства, что бѣдность величайшее зло, а богатство драгоцѣннѣйшее благо, бывши съ малыхъ лѣтъ свидѣтелемъ того, какъ его отецъ, за неимѣніемъ нѣсколькихъ франковъ, принужденъ былъ пресмыкаться передъ безсовѣстнымъ ростовщикомъ Робеномъ, величайшимъ негодяемъ во всемъ околоткѣ, Мишель однакоже влюбляется въ бѣдную дѣвушку, отдается всей душой своему чувству и остается совершенно равнодушенъ къ любезностямъ богатѣйшей невѣсты во всей деревнѣ. Получивъ о предѣлахъ родительской власти такія понятія, при которыхъ ему казалось совершенно естественнымъ, что его отецъ и мать, желая расплатиться съ ростовщикомъ Робеномъ, продаютъ въ рекруты его старшаго брата—Мишель тѣмъ не менѣе рѣшается въ томъ дѣлѣ, которое ему особенно дорого, дѣйствовать по собственному благоусмотрѣнію, прямо, наперекоръ волѣ матери, не отступая и не робѣя даже передъ угрозой проклятія. Онъ останавливаетъ свой выборъ на бѣдной дѣвушкѣ, да вдобавокъ еще на кальвинисткѣ, то-есть именно на той, кого родители его всего менѣе желали-бы сдѣлать своей невѣсткой. Проникнувшись въ родительскомъ домѣ привычкой благоговѣть и трепетать передо всякимъ начальствомъ, начиная съ послѣдняго сторожа и разсыльнаго, и покоряться безпрекословно всѣмъ самымъ неразумнымъ и явно противозаконнымъ требованіямъ этого начальства, Мишель въ 1879 году оказывается настолько свободнымъ отъ этой привычки, что грознымъ выраженіемъ своего лица обращаетъ въ бѣгство одного начальника, подошедшаго слишкомъ близко къ Маргаритѣ Шовель, съ цѣлью сдѣлать ей строгое внушеніе за излишнюю находчивость и неустрашимость.

Какія же обстоятельства, какія-же вліянія пересоздали внутренній міръ Мишеля и дали ему опредѣленныя мысли и смѣлыя желанія вмѣсто тѣхъ изношенныхъ формулъ трусливой покорности, мелкаго корыстолюбія и вялой безнадежности, которыя, въѣвшись въ убогія стѣны его родовой хижины, составляли втеченіе столѣтій всю умственную жизнь его несчастныхъ предковъ, всю ихъ хваленую житейскую мудрость?

Отвѣтъ на этотъ вопросъ задуманъ у нашихъ авторовъ такъ умно, что, вглядѣвшись внимательно въ этотъ отвѣтъ, мы будемъ въ состояніи объяснить себѣ до нѣкоторой степени, какимъ образомъ разрѣшается та важная и интересная историческая задача, на которую было указано выше.

III.

Вокругъ Мишеля группируются три типическія личности, имѣющія рѣшительное вліяніе на его умственное и нравственное развитіе: богатый кузнецъ, онъ же и деревенскій трактирщикъ, Жанъ-Леру, деревенскій священникъ Кристофъ Матернъ и кальвинистъ, разнощикъ книгъ и газетъ, Матюренъ Шовель. О каждой изъ этихъ личностей стоитъ поговорить подробно.

Жана Леру можно назвать хорошо выбраннымъ представителемъ той части французской буржуазіи, у которой связи съ народомъ не совсѣмъ разорваны, и которая въ свое время, безъ ущерба самой себѣ, оказала народу самыя существенныя услуги. Жанъ Леру принадлежитъ, съ одной стороны, къ привилегированнымъ классамъ, потому что онъ мастеръ кузнечнаго цеха, а званіе мастера и всѣ связанныя съ нимъ выгоды обыкновенно переходили отъ отца къ сыну такъ точно, какъ званіе и помѣстья герцога, графа или маркиза. Съ другой стороны, Жанъ Леру принадлежитъ къ народу, потому что онъ не на шутку и не для виду работаетъ у себя

Digitized by Google

въ кузницѣ рядомъ съ своими подмастерьями. У него руки черныя и жесткія, какъ у настоящаго ремесленника. По всѣмъ своимъ вкусамъ и привычкамъ онъ стоитъ гораздо ближе къ полуголоднымъ и безправнымъ рабочимъ, чѣмъ къ господамъ хорошаго тона, носящимъ бархатные кафтаны, шпагу на боку и пудру на головѣ. Онъ платитъ тяжелые налоги, отъ которыхъ эти господа свободны по праву рожденія или умѣютъ освободиться стараніями знатныхъ покровителей. Онъ принужденъ сгибаться въ дугу передъ каждымъ изъ тѣхъ многихъ мелкихъ чиновниковъ, къ которымъ господа относятся свысока и которые при каждомъ удобномъ случаѣ рады быть покорнѣйшими слугами этихъ господъ. Онъ расположенъ смотрѣть недоброжелательно на господъ съ бѣлыми руками и съ изящными манерами, во-первыхъ потому, что онъ подозрѣваетъ нѣкоторую связь между бѣлизной ихъ рукъ и изяществомъ ихъ манеръ съ одной стороны, и количествомъ тѣхъ налоговъ, которыми поправляется его благополучіе—съ другой стороны, а вовторыхъ и потому, что онъ совершенно справедливо предполагаетъ въ этихъ господахъ всегдашнюю готовность обойтись съ нимъ презрительно, грубо или даже жестоко, какъ съ безотвѣтнымъ и безчувственнымъ *roturier*, *manant* или *vilain*.

До поры до времени симпатіи Жана Леру принадлежатъ народу, но будутъ онѣ ему принадлежать только до тѣхъ поръ, пока развитіе народныхъ правъ будетъ въ какомъ-бы то ни было отношеніи усиливать или упрочивать благосостояніе мастеровъ кузнечнаго цеха и деревенскихъ трактирщиковъ. Жанъ Леру кричитъ противъ несправедливостей и желаетъ глубокихъ и обширныхъ преобразованій, но онъ перестанетъ кричать и желать въ ту блаженную минуту, когда несправедливости перестанутъ производиться въ ущербъ ему и когда осуществятся всѣ тѣ преобразованія, изъ которыхъ онъ можетъ извлечь себѣ непосредственную личную выгоду. Въ эту минуту онъ отодвинетъ отъ себя блюдо съ дальнѣйшими преобразованіями, скажетъ: я сытъ, порѣшитъ, что народъ тоже сытъ и доволенъ, и сдѣлается злѣйшимъ врагомъ всякаго шума и всякихъ толковъ, способныхъ нарушить процессъ его здороваго пищеваренія.

Въ борьбѣ народа за свои права и за свое человѣческое существованіе Жанъ Леру неспособенъ быть ни полководцемъ, ни солдатомъ. Но онъ можетъ принести значительную пользу въ качествѣ трубача, когда это дѣло не представляетъ серьезныхъ опасностей и хорошо оплачивается деньгами или почетомъ. Онъ неспособенъ въ минуту общаго замѣшательства сказать во-всеуслышаніе: вотъ что надо сдѣлать! Неспособенъ онъ также, услышавъ это вѣщее слово, броситься впередъ съ полнымъ самоотверженіемъ и сдѣлать, презирая всякую опасность, то, что соотвѣтствуетъ потребностямъ даннаго затруднительнаго положенія. Но онъ можетъ сообразить своимъ дюжимъ умомъ, что вѣщій голосъ сказалъ правду, и у него хватитъ смѣлости въ ту минуту, когда толпа еще колеблется, крикнуть своимъ здоровымъ басомъ: да, это точно надо сдѣлать! Поражая нервы недоумѣвающей толпы, здоровый басъ производитъ часто гораздо болѣе сильное впечатлѣніе, чѣмъ умное слово. А когда этотъ здоровый басъ принадлежитъ человѣку съ независимымъ состояніемъ и съ нѣкоторымъ положеніемъ въ обществѣ, тогда онъ пріобрѣтаетъ почти неотразимую убѣдительность, потому-что слушатели предполагаютъ совершенно основательно, что обладатель такого баса, состоянія и положенія не станетъ рисковать легкомысленно всѣми этими благами и увлекать за собой толпу на очень опасную дорогу. Когда люди вродѣ Жана Леру рѣшаются крикнуть: «да, это точно надо сдѣлать», тогда они почти навѣрное могутъ разсчитывать, что толпа двинется за ними и превознесетъ ихъ, какъ своихъ руководителей и благодѣтелей. Чтобы крикнуть, нужна все-таки нѣкоторая доза смѣлости, потому-что въ такихъ дѣлахъ шансы неудачи никогда не могутъ быть вполнѣ предусмотрѣны и совершенно устранены. Но смѣлости тутъ требуется именно столько, сколько требуется ея для того, чтобы пуститься въ выгодную спекуляцію. Жанъ Леру смѣлый и неглупый спекуляторъ. Что-бы онъ ни дѣлалъ, за какую-бы великую и общеполезную работу онъ ни принимался, онъ всегда остается спекуляторомъ, и именно въ качествѣ спекулятора онъ при извѣстныхъ условіяхъ можетъ оказать обществу нѣкоторыя услуги.

Слѣдующій эпизодъ превосходно освѣщаетъ личность Жана Леру. Разнощикъ Матюренъ Шовель, побывавши въ Германіи, приноситъ оттуда картофельныя шкурки и разсказываетъ, что если посѣять эти шкурки, то отъ нихъ родится неслыханное количество питательныхъ и вкусныхъ корней, которые навсегда могутъ застраховать страну отъ голода. Шовель самъ видѣлъ, какъ картофель, остававшійся до того времени неизвѣстнымъ во Франціи, сѣется и родится уже втеченіе нѣсколькихъ лѣтъ въ Германіи. Жанъ Леру давно знаетъ Шовеля и совершенно увѣренъ въ томъ, что Шовель, во-первыхъ, вполнѣ способенъ подмѣтить и понять тѣ вещи, на которыя онъ обращаетъ вниманіе, и во-вторыхъ, совершенно неспособенъ прикрашивать въ своемъ разсказѣ дѣйствительность блестящими вымыслами. Зная, что на слова Шовеля можно полагаться, какъ на свидѣтельство собственныхъ чувствъ, Леру беретъ у него шкурки, показываетъ ихъ всѣмъ своимъ сосѣдямъ и знакомымъ и совѣтуетъ имъ по-

Digitized by Google

сѣять ихъ для пробы. Тутъ онъ конечно поступаетъ не такъ, какъ поступилъ-бы жадный барышникъ. Тотъ взялъ-бы сразу всѣ шкурки себѣ и постарался-бы устроить такъ, чтобы картофель можно было покупать только у него. Но Леру, во-первыхъ, вовсе не желаетъ пріобрѣсти себѣ репутацію барышника, ростовщика и кровопійцы, обращающаго себѣ на пользу общественныя бѣдствія. А во-вторыхъ, для монополизированія картофеля потребовалось бы согласіе Шовеля, на которое совершенно невозможно было разсчитывать. Шовель принесъ изъ-за границы шкурки собственно для того, чтобы произвести опытъ, полезный для страны; онъ не торговалъ этими шкурками, а отдавалъ ихъ даромъ, потому что у него самого не было ни клочка земли и, стало быть, не на чемъ было устроить пробный посѣвъ. Къ такому человѣку было совершенно неудобно обращаться съ предложеніями въ барышническомъ вкусѣ. Кромѣ того, самая глубокая типическая черта въ людяхъ, подобныхъ Жану Леру, состоитъ именно въ томъ, что они стараются и обыкновенно успѣваютъ совмѣстить вещественные выгоды съ невещественными. Они не упускаютъ ни одного случая поживиться лишней копѣйкой, и въ то же время никто о нихъ не говоритъ и не думаетъ, что они съ неприличной жадностью гоняются за этими случаями. Всякій знаетъ, что они своихъ выгодъ не теряютъ изъ виду и не роняютъ изъ рукъ, но всякій приписываетъ это обстоятельство скорѣе силѣ ихъ ума и мужественной твердости ихъ характера, чѣмъ ихъ бездушности и мелкому пристрастію къ деньгамъ. Они богатѣютъ не по днямъ, а по часамъ, и въ то же время толпа ихъ согражданъ относится къ ихъ богатству и къ ихъ личности съ любовью и съ уваженіемъ, потому что видитъ въ первомъ, то-есть въ богатствѣ, достойную награду добродѣтелей, украшающихъ вторую, то-есть личность.

Сосѣди и знакомые, подзадоренные капуциномъ Бенедикомъ, встрѣчаютъ предложеніе Леру о сѣяніи картофельныхъ шкурокъ недовѣріемъ и насмѣшками. Тогда Леру рѣшается взять себѣ всѣ шкурки и засѣять ими весь свой огородъ. Леру оказывается такимъ образомъ умнѣе, предпріимчивѣе и смѣлѣе всѣхъ своихъ односельчанъ, но въ сущности чѣмъ же онъ рискуетъ? Въ случаѣ неудачи, онъ только потеряетъ тѣ овощи, которые родились бы въ этомъ году у него въ огородѣ, на пространствѣ четверти десятины. Потеря для него ничтожная, и шансы неудачи до крайности малы, потому что Леру знаетъ хорошо того человѣка, который рекомендуетъ ему сѣяніе новаго растенія. Значитъ, Леру просто схватываетъ новое вѣрное средство обогащенія, отъ котораго сторонятся его земляки. Схватывая это средство, онъ обнаруживаетъ несомнѣнно свое умственное превосходство надъ земляками и оказываетъ имъ важную услугу; но, чтобы оказать обществу такую услугу, не требуется очевидно никакихъ гражданскихъ и человѣческихъ доблестей.

До начала іюня, на землѣ, засѣянной шкурками, не показываются ростки. Вѣра Леру въ показанія Шовеля начинаетъ колебаться. Ему уже жалко потратить на опытъ нѣсколько франковъ. Онъ уже подумываетъ, не засѣять ли огородъ люцерной, чтобы земля не пропадала даромъ. Умъ и характеръ спекулятора сейчасъ даютъ знать, какъ только спекуляція начинаетъ принимать неблагопріятный оборотъ.

Однако успѣхъ опыта предупреждаетъ бѣгство спекулятора. Картофель начинаетъ расти, и Леру торжествуетъ. Во время уборки онъ говоритъ: «на будущій годъ надо будетъ засадить этими корнями мои двѣ десятины на берегу; а остальное мы продадимъ по хорошей цѣнѣ: что даютъ людямъ за безцѣнокъ, того люди и не цѣнятъ ни въ грошъ».

Этими словами Леру характеризуетъ себя какъ нельзя лучше. Картофель будетъ проданъ по хорошей цѣнѣ—значитъ, интересы кармана соблюдены. Эта продажа по хорошей цѣнѣ мотивирована удовлетворительно и объясняется человѣколюбивымъ желаніемъ Леру разрушить предразсудки, встрѣтившіе первое появленіе картофеля. Значитъ, рядомъ съ интересами кармана спасается и слава Леру, какъ просвѣтителя и благодѣтеля роднаго края.

Въ день уборки Жанъ Леру добродушно говоритъ Шовелю: «вы обѣдаете съ нами, Шовель, мы ихъ отвѣдаемъ, и коли они хороши на вкусъ, въ нихъ будетъ богатство Баракъ» (имя деревни). Такъ бываетъ всегда и вездѣ, въ большихъ и въ малыхъ дѣлахъ. Жаны Леру, люди, потрудившіеся выслушать чужую мысль и принять къ свѣдѣнію ея достоинства, забираютъ въ свою пользу выгоды и популярность, а Шовели, настоящіе изобрѣтатели, притащившіе на своихъ плечахъ тѣ негодныя шкурки, которыя превращаются въ новый источникъ народнаго богатства, Шовели получаютъ радушное приглашеніе на обѣдъ и радуются тому, что чужой картофель уродился превосходно.

Исторія о картофелѣ кончается тѣмъ, что «мастеръ Леру, котораго глупость людей очень разсердила, продалъ имъ свои сѣмена очень дорого».

Оказавъ своимъ землякамъ существенную услугу введеніемъ картофеля, Леру оказываетъ имъ другую, еще болѣе важную услугу, которая также ровно ничего ему не стоитъ. Когда приходитъ время выбирать депутатовъ отъ деревни, тогда Леру рекомендуетъ избирателямъ

Digitized by Google

Шовеля, который дѣйствительно оказывается превосходнѣйшимъ защитникомъ ихъ интересовъ. Если бы деревня Жана Леру должна была выбирать только одного депутата, и еслибы Леру въ этомъ случаѣ уступилъ Шовелю, какъ достойнѣйшему, то мѣсто, которое предлагалось ему, Жану Леру — тогда тутъ была бы по крайней мѣрѣ съ его стороны доблестная побѣда, одержанная надъ собственнымъ честолюбіемъ. Но и этого не было. Бараки высылали двоихъ депутатовъ; избиратели пришли предлагать Леру первое мѣсто и совѣтоваться съ нимъ насчетъ того, кому дать второе. Леру отвѣтилъ имъ, что онъ принимаетъ званіе депутата только съ тѣмъ непремѣннымъ условіемъ, чтобы другимъ депутатомъ былъ Шовель, кальвинистъ, на котораго избиратели, добрые католики, смотрѣли какъ на человѣка совершенно невозможнаго. Поступая такимъ образомъ, Леру, во-первыхъ, предписывалъ законы избирателямъ — значитъ, тѣшилъ свое самолюбіе, какъ только это было возможно, и, во-вторыхъ, обезпечивалъ себѣ въ собраніи деревенскихъ депутатовъ такого товарища, съ которымъ ему невозможно было стать въ тупикъ и осрамиться.

Фигуру Жана Леру можно было-бы дополнить множествомъ мелкихъ черточекъ, разбросанныхъ въ различныхъ мѣстахъ романа, но я нахожу, что ея основной смыслъ уже теперь достаточно ясенъ. Это одинъ изъ тѣхъ людей, которые отлично служатъ общему дѣлу, когда требованія этого дѣла совпадаютъ съ интересами ихъ личнаго матеріальнаго благосостоянія.

IV.

Чтобы читатели сразу поняли личность священника Кристофа Матерна, я приведу довольно большую выписку. Матернъ приходитъ вечеромъ, въ проливной дождь, въ трактиръ къ своему пріятелю, Жану Леру.

«— Я изъ Саверна, — говоритъ онъ. — Видѣлъ этого знаменитаго кардинала де-Рогана... Боже милостивый! Боже милостивый! И это кардиналъ, князь церкви!... Ахъ, какъ подумаешь!..

«Онъ негодовалъ. Вода текла по его щекамъ на воротникъ его рясы; онъ порывисто снялъ свои брыжи и положилъ ихъ въ карманъ, прохаживаясь изъ угла въ уголъ. Мы смотрѣли на него съ изумленіемъ; онъ какъ будто не видалъ насъ и говорилъ съ однимъ мастеромъ Жаномъ.

— Да, видѣлъ я этого князя, — кричалъ онъ: — видѣлъ этого великаго сановника, который обязанъ намъ подавать примѣръ доброй нравственности и всѣхъ христіанскихъ добродѣтелей, видѣлъ, какъ онъ самъ правилъ своими лошадьми и скакалъ во весь опоръ по большой Саверской улицѣ, посреди фаянсовой и глиняной посуды, разбросанной по землѣ, и хохоталъ, какъ настоящій безумецъ. Какой соблазнъ!..

«— Ты знаешь, что Неккера въ отставку? — спросилъ мастеръ Жанъ.

«— Какъ не знать! — сказалъ онъ съ презрительной улыбкой. - При мнѣ вѣдь настоятели всѣхъ Эльзасскихъ монастырей — пикпусы, капуцины, кармелиты, барнабиты, всѣ нищіе, всѣ босоногіе проходили церемоніальнымъ маршемъ черезъ переднія его высокопреподобія! Ха, ха, ха!

«Онъ крупными шагами ходилъ по комнатѣ. Онъ былъ въ грязи по поясницу, промоченъ до костей, но онъ ничего не чувствовалъ: его большая курчавая голова съ просѣдью вздрагивала; онъ говорилъ какъ будто съ самимъ собою:

«— Да, Кристофъ, да, вотъ они, князья церкви!.. Поди, попроси монсиньора заступиться за бѣднаго отца семейства; поди, пожалуйся тому, кто долженъ быть опорой духовенства; поди, скажи ему, что агенты фиска, якобы отыскивая контрабанду, забрались даже въ твой священническій домъ; что тебѣ пришлось отдать имъ ключи отъ твоего погреба и отъ твоихъ шкафовъ. Скажи ему, что это срамъ заставлять гражданина, кто-бы онъ ни былъ, днемъ и ночью отворять свою дверь вооруженнымъ людямъ безъ мундира, безъ всякаго знака, по чемъ-бы ихъ отличать отъ разбойниковъ; и этимъ людямъ вѣрятъ въ судѣ на слово! и не позволяется собирать никакихъ справокъ о ихъ жизни и нравственности, когда ихъ вводятъ въ должность и довѣряютъ ихъ опасному слову имущество, честь, иногда жизнь другихъ людей! Попробуй, скажи ему, что это дѣло его чести довести эти справедливыя жалобы до подножія престола и заставить выпустить на волю несчастнаго, засаженнаго въ тюрьму за то, что пристава нашли у него четыре фунта соли.. Сунься... сунься... славно тебя примутъ, Кристофъ!

«— Но, ради Бога, — сказалъ ему мастеръ Жанъ: - что съ тобой случилось?

«Тогда онъ остановился на двѣ минуты и сказалъ:

«— Я пошелъ туда пожаловаться на генеральный обыскъ, сдѣланный соляными приставами вчера, въ одиннадцать часовъ вечера, въ моей деревнѣ, и на арестованіе одного изъ моихъ прихожанъ, Якова Баумгартена. Это была моя обязанность Я думалъ, что кардиналъ это пойметъ, что онъ сжалится надъ несчастнымъ отцомъ семейства, купившимъ нѣсколько фунтовъ контрабандной соли, и велитъ его выпустить. Ну, во-первыхъ, мнѣ пришлось простоять два часа у воротъ этого великолѣпнаго замка, куда капуцины входили, какъ къ себѣ домой.

Digitized by Google

Они шли поздравлять монсиньора съ благополучной смѣной Неккера. Потомъ мнѣ позволили войти въ этотъ Вавилонъ, гдѣ кичливость шелка, золота и камней обнаруживается повсемѣстно, въ живописи и въ остальномъ! Наконецъ, меня тамъ продержали съ одиннадцати часовъ утра до пяти вечера, съ двумя бѣдными священниками съ горы. Мы слышали, какъ хохотали лакеи. Одинъ изъ нихъ, большой, весь въ красномъ, показывался на порогѣ, смотрѣлъ на насъ и кричалъ другимъ: «поповщина все тутъ!» Я терпѣлъ... Я хотѣлъ пожаловаться монсиньору; вдругъ одинъ изъ этихъ нахаловъ приходитъ и говоритъ намъ, что аудіенціи монсиньора отложены на недѣлю Мерзавецъ смѣялся.

«Съ этими словами священникъ Кристофъ, державшій въ рукахъ толстую палку, сломалъ ее, какъ спичку, и лицо его сдѣлалось ужасно.

«— Этой шельмѣ стоило-бы надавать пощечинъ—сказалъ мастеръ Жанъ.

«— Кабы мы были одни—отвѣтилъ священникъ—я взялъ-бы его за уши и отдѣлалъ-бы. Но тамъ я принесъ мое униженіе въ жертву Господу.

«Онъ опять сталъ ходить по комнатѣ. Мы всѣ его жалѣли. Катерина принесла ему хлѣба и вина; онъ поѣлъ стоя, и вдругъ гнѣвъ его схлынулъ. Но онъ сказалъ такія вещи, которыхъ я никогда не забуду. Онъ сказалъ:

«— Поруганіе справедливости повсемѣстно. Народъ все дѣлаетъ, а другіе только нахальничаютъ; они попираютъ ногами всѣ добродѣтели; они презираютъ религію. Сынъ бѣдняка ихъ защищаетъ; сынъ бѣдняка ихъ кормитъ; и также сынъ бѣдняка вотъ такой, какъ я, проповѣдуетъ уваженіе къ ихъ богатствамъ, къ ихъ почестямъ и даже къ ихъ безчинствамъ! Долго-ли это протянется? Я не знаю; но всегда продолжаться это не можетъ! это противно природѣ, это противно волѣ Божіей. Это безсовѣстно проповѣдывать уваженіе къ тому, что достойно позора! Это должно кончиться, и въ писаніи вѣдь сказано: «кто творитъ мои заповѣди, войдетъ въ мою обитель. Но извержены будутъ безстыдные, лжецы, идолослужители: всѣ, кто любитъ неправду и творитъ ее».

Кристофъ Матернъ—одинъ изъ тѣхъ людей, которые могутъ посвятить всю свою жизнь служенію узкой, односторонней идеѣ, но которые во всякомъ случаѣ вносятъ глубокую нравственную серьезность во все то, чему они себя посвящаютъ. Матернъ можетъ сдѣлаться ретроградомъ, обскурантомъ, гонителемъ и палачемъ, но какъ-бы онъ ни заблуждался, онъ всегда будетъ заблуждаться съ полной искренностью, постоянно прислушиваясь только къ голосу собственной совѣсти. Проповѣдывать по обязанности службы то, чему онъ по совѣсти не вѣритъ, или то, чему онъ вѣритъ въ половину, играть въ жизни какую-бы то ни было комедію, лицемѣрить и тартюфничать онъ рѣшительно не въ состояніи. Ему непонятно, какимъ образомъ можно по платью и по титулу быть кардиналомъ, а по жизни и по привычкамъ веселымъ кутилой. Онъ принимаетъ серьезно и совершенно буквально тѣ обязанности, которыя налагаетъ на человѣка его званіе. Отъ каждаго частнаго явленія онъ требуетъ, чтобы оно приближалось или по крайней мѣрѣ обнаруживало стремленіе приблизиться къ идеалу. Такія соображенія, что идеалъ слишкомъ высокъ, что совершенство недостижимо, что дорога къ идеалу усѣяна непобѣдимыми трудностями, что идеалъ, созданный для другого времени, сдѣлалъ свое дѣло и отошелъ въ область исторіи, такія соображенія для Кристофа Матерна не существуютъ. У него въ основѣ его мышленія и дѣятельности лежитъ такое правило: или добросовѣстно съ напряженіемъ всѣхъ силъ иди къ идеалу, или не смѣй имъ прикрываться и во имя его брать съ народа десятину и всевозможныя пожертвованія.

Личный характеръ Кристофа вполнѣ соотвѣтствуетъ его общественному положенію. То есть задатки, заключавшіеся въ природномъ складѣ его ума, болѣе крѣпкаго, чѣмъ гибкаго, должны были развернуться и закалиться тѣми отношеніями къ людямъ, въ которыя его поставило званіе деревенскаго священника.

Католическая церковь, какъ извѣстно, очень рано стала превращаться въ политическое учрежденіе. Папы сначала гнались за недостижимымъ призракомъ гильдебрандовской теократіи, а потомъ стали округлять свои владѣнія въ Италіи. Французская или галликанская церковь, желавшая сосредоточить всѣ силы королевства въ рукахъ короля, также точно имѣла свои *политическія* тенденціи, обыкновенно шедшія наперекоръ столь же *политическимъ* планамъ папъ. Это политическое направленіе, которое въ своей совокупности могло быть совершенно ясно только лицамъ, высоко поставленнымъ въ церкви, всегда возбуждало неудовольствіе въ людяхъ, искренно и глубоко вѣровавшихъ, въ тѣхъ многихъ людяхъ, которые требовали отъ пастырей церкви христіанскихъ добродѣтелей, а не административныхъ или дипломатическихъ талантовъ. Политическое направленіе, господствовавшее въ высшихъ слояхъ духовенства, никогда не могло проникать собой всю корпорацію сверху донизу. Монахи, образуя изъ себя строго-организованные и отлично дисциплинированные отряды, могли быть послушнымъ орудіемъ въ рукахъ своихъ генераловъ, посвященныхъ въ тайны высшей политики. Но деревенскіе священники, разбросанные среди свѣтскихъ людей

Digitized by Google

и живущіе одной жизнью со своими прихожанами, никакъ не могли слѣдить за изгибами и поворотами клерикальной политики; теряя способность понимать планы начальства и сознательно сочувствовать ему, относясь къ высшимъ политическимъ комбинаціямъ почти такъ, какъ относились наши становые къ запросамъ статистическихъ комитетовъ, деревенскіе священники должны были, смотря по своимъ личнымъ свойствамъ, пойти по одному изъ двухъ путей— или по пути набиванія кармановъ и желудковъ, или же по пути дѣятельнаго человѣколюбія. Священники, пошедшіе по этому второму пути, должны были, путемъ своей дѣятельной й честной жизни, возвыситься до очень яснаго и вѣрнаго поминанія того идеала, который они имѣли полное право считать для себя обязательнымъ. Во имя этого идеала, они должны были, при каждой встрѣчѣ, строго осуждать высшихъ сановниковъ церкви, окунувшихся съ головой въ темный омутъ политическихъ интригъ. Оппозиція незамѣтно росла такимъ образомъ въ средѣ одного изъ самыхъ привилегированныхъ сословій.

Въ XVII и XVIII столѣтіяхъ католицизмъ началъ сперва понемногу, а потомъ все быстрѣй и быстрѣй терять свое господство надъ умами. Ряды католической іерархіи стали пополняться людьми, равнодушными ко всякой религіи, не имѣющими никакихъ, ни философскихъ, ни политическихъ убѣжденій, способными только чваниться гербами и предками и усвоившими себѣ только то правило эпикурейской мудрости, что надо жить, пока живется. Въ высшихъ сферахъ католическаго духовенства стали понемногу утрачиваться даже и та серьезность и дѣловая озабоченность, которой отличались прежніе политическіе интриганы. Все чаще и чаще стали появляться такіе прелаты, у которыхъ въ жизни не было никакой другой цѣли, кромѣ полученія и проживанія громадныхъ доходовъ. Тогда глухой разладъ между высшимъ и низшимъ духовенствомъ сдѣлался еще болѣе непримиримымъ; богатые и веселые прелаты, проводящіе свою праздную жизнь среди такихъ же богатыхъ, праздныхъ и веселыхъ аристократовъ обоего пола, потеряли всякую нравственную связь съ бѣдными, трудящимися священниками, живущими среди бѣднаго, трудящагося народа. Первые стали чувствовать себя прежде всего магнатами, обязанными поддерживать всѣ привилегіи, всѣ монополіи, всѣ несправедливости стараго порядка, и противиться всему, что могло подать народу хоть отдаленную надежду на какое-бы то ни было облегченіе его участи. Вторые также почувствовали себя наконецъ прежде всего дѣтьми бѣдняковъ и стали не безъ удовольствія прислушиваться къ тому, что обѣщало этимъ бѣднякамъ освобожденіе изъ работы египетской. Замѣчая въ своемъ духовномъ начальствѣ, при отсутствіи всякихъ христіанскихъ добродѣтелей и всякой нравственной серьезности, холодную и систематическую вражду противъ еретиковъ и вольнодумцевъ, низшее духовенство, въ лицѣ лучшихъ своихъ представителей, познакомилось потихоньку съ мыслями этихъ гонимыхъ людей и убѣдилось, что эти люди въ сущности гораздо болѣе своихъ гонителей проникнуты духомъ христіанскаго ученія.

Въ «Исторіи Крестьянина» есть одна очень характерная сцена. Кристофъ Матернъ очень дружелюбно обѣдаетъ за однимъ столомъ съ Шовелемъ, продавцомъ запрещенныхъ книгъ и кальвинистомъ. Входя въ комнату, онъ даже въ шутку говоритъ громовымъ голосомъ, что предастъ еретиковъ и злоумышленниковъ въ руки правосудія и, разумѣется, этотъ громовой голосъ никого не пугаетъ. Жанъ Леру весело и радушно говоритъ священнику: садись, Кристофъ, будемъ обѣдать, а Шовель съ лукавой улыбкой спрашиваетъ: кто-жъ тогда будетъ поставлять Жанъ-Жаковъ господамъ горнымъ священникамъ? Мы узнаемъ такимъ образомъ, что католическій священникъ водитъ дружбу съ еретиками и читаетъ запрещенныя книги свободныхъ мыслителей. И дѣлаетъ онъ это не по легкомыслію, не по равнодушію къ религіи, а именно вслѣдствіе своего глубокаго уваженія къ основнымъ принципамъ той доктрины, которую онъ проповѣдуетъ. Какъ онъ понимаетъ свои обязанности, какъ онъ пользуется удобствами своего положенія среди крестьянъ, это обнаруживается во время того-же обѣда.

«— Слушай, Кристофъ — говоритъ Жанъ Леру, окончивъ супъ — скоро ты у себя въ школѣ ученіе начнешь?

«— Да, Жанъ, на будущей недѣлѣ—отвѣтилъ священникъ. — Я даже затѣмъ и отправился; иду въ Пфальцбургъ за бумагой и за книгами. Я было хотѣлъ начать 20-го сентября, да надо было кончить статую Св. Петра для Абершвиллерскаго прихода; тамъ церковь отстраивается. Я обѣщалъ, такъ хотѣлъ сдержать слово.

«— А, хорошо!.. Значитъ, на будущей недѣлѣ.

«— Да, съ понедѣльника и начнемъ.

«— Ты бы взялъ этого мальчика—сказалъ мой крестный отецъ (Леру), указывая на меня. — Это мой крестникъ, сынъ Жанъ-Пьера Бастіана. Я увѣренъ, что онъ съ радостью будетъ учиться.

«Услышавъ это, я весь покраснѣлъ отъ удовольствія, потому что мнѣ уже давно хотѣлось ходить въ школу.

«Г. Кристофъ повернулся ко мнѣ:

«— Ну—сказалъ онъ, кладя свою большую руку ко мнѣ на голову—взгляни на меня.

«Я посмотрѣлъ на него помутившимися глазами.

Digitized by Google

«— Тебя какъ зовутъ?

«— Мишель, г. священникъ.

«— Ну, Мишель, милости просимъ. Дверь моей школы для всѣхъ открыта. Чѣмъ больше приходитъ учениковъ, тѣмъ мнѣ пріятнѣе.

«— Чудесно—вскрикнулъ Шовель—такія рѣчи и слушать пріятно».

Еретикъ и католическій священникъ такимъ образомъ протягиваютъ другъ другу руки, когда дѣло идетъ о просвѣщеніи народа. Точно такъ-же они протягиваютъ другъ другу руки и тогда, когда дѣло идетъ о возвышеніи матеріальнаго благосостоянія того же народа. Кристофъ попалъ къ Жану Леру на обѣдъ въ день первой уборки картофеля. Отвѣдавъ этого новаго кушанья, Кристофъ говоритъ:

«— Слушайте, Шовель! Вы, тѣмъ, что принесли эти шкурки въ вашей корзинѣ, а ты, Жанъ, тѣмъ, что посадилъ ихъ въ своей землѣ, несмотря на насмѣшки капуциновъ и другихъ идіотовъ, вы больше сдѣлали для нашей страны, чѣмъ всѣ монахи трехъ епископствъ за цѣлыя столѣтія. Эти коренья будутъ хлѣбомъ бѣдняковъ».

Личность Кристофа Матерна никакъ не можетъ быть признана исключительнымъ явленіемъ. Не мало деревенскихъ священниковъ сидѣло на лѣвой сторонѣ въ учредительномъ собраніи и потомъ даже въ національномъ конвентѣ, рядомъ съ самыми искренними и неустрашимыми друзьями народа.

Чѣмъ ближе подходила рѣшительная минута, тѣмъ тѣснѣе становилась связь между лучшими изъ бѣдныхъ деревенскихъ священниковъ и лучшими изъ бѣдныхъ прихожанъ.

«Мастеръ Жанъ!—говорилъ Шовель—чѣмъ дальше, тѣмъ лучше идутъ дѣла; наши бѣдные приходскіе священники только и хотятъ читать, что «Савойскаго Викарія» Жанъ Жака; каноники, всякіе бенефиціаріи читаютъ Вольтера; начинаютъ проповѣдывать любовь къ ближнему и сокрушаются о народныхъ бѣдствіяхъ; собираютъ деньги на бѣдныхъ. Во всемъ Эльзасѣ и въ Лотарингіи только и слуху, что о добрыхъ дѣлахъ. Въ одномъ монастырѣ господинъ настоятель приказываетъ осушать пруды, чтобы дать работу крестьянамъ; въ другомъ на нынѣшній годъ прощаютъ малую десятину; въ третьемъ раздаютъ порціи супа. Лучше поздно, чѣмъ никогда! Всѣ добрыя мысли приходятъ къ нимъ сразу. Это люди тонкіе, очень тонкіе; они видятъ, что лодка потихоньку идетъ ко дну. Вотъ они и припасаютъ себѣ друзей, чтобъ потомъ было за что уцѣпиться».

Въ концѣ этого монолога Шовель указываетъ на дѣло лукаваго и корыстнаго милосердія, вынужденнаго неопредѣленнымъ и тоскливымъ предчувствіемъ надвигающейся грозы. Но въ началѣ рѣчи, гдѣ идетъ дѣло о бѣдныхъ приходскихъ священникахъ, читающихъ Жанъ-Жака, мы видимъ ясное и мѣткое указаніе на тотъ фактъ, что политическій радикализмъ сталъ находить себѣ искреннихъ адептовъ даже въ рядахъ духовенства.

V.

Матюренъ Шовель—вполнѣ герой, фанатикъ общественнаго блага, человѣкъ, не боящійся ни труда, ни лишеній, ни опасностей, ни боли, ни смерти. Онъ ненавидитъ зло, въѣвшееся въ народную жизнь, такою ненавистью, какою напримѣръ медикъ можетъ ненавидѣть болѣзнь, подрывающую силы его паціента, или математикъ можетъ ненавидѣть ошибку, вкравшуюся въ его вычисленіе. Понятно, что ни медикъ съ болѣзнью, ни математикъ съ ошибкой не могутъ вступать ни въ какіе переговоры, не могутъ идти ни на какія сдѣлки, не могутъ мириться ни на какихъ взаимныхъ уступкахъ. Понятно съ другой стороны, что ни медикъ не можетъ чувствовать никакой личной вражды къ тѣмъ частямъ тѣла, къ тѣмъ органамъ, въ которые засѣла болѣзнь, ни математикъ не можетъ гнѣваться на тѣ цифры или буквы, въ которыя закралась ошибка. Понятно также, что медикъ, въ случаѣ надобности, безо всякаго зазрѣнія совѣсти и безъ малѣйшаго колебанія будетъ дѣйствовать на зараженную часть тѣла острыми кислотами, шпанскими мушками, растравляющими мазями, ляписомъ, огнемъ и желѣзомъ, — и что математикъ, съ невозмутимымъ спокойствіемъ и съ совершенной ясностью духа проведетъ мокрой губкой по своей аспидной доскѣ, и сотретъ безъ слѣда тѣ цифры или буквы, которыя испортили его вычисленіе. Медикъ отказывается отъ званія медика, когда онъ перестаетъ вести истребительную борьбу съ болѣзнью; математикъ перестаетъ быть математикомъ, когда онъ отказывается преслѣдовать ошибку въ послѣднихъ ея убѣжищахъ. Такъ точно и Шовель пересталъ-бы быть самимъ собой, если-бы могъ отказаться отъ своей ровной, спокойной, холодной, зоркой и чуткой ненависти къ общественному злу.

Вотъ какія условія сдѣлали его неподкупнымъ и непримиримымъ врагомъ средневѣковаго беззаконія:

«Онъ никогда не горячился. Я помню, какъ онъ часто съ большимъ спокойствіемъ разсказывалъ о страданіяхъ своихъ предковъ: какъ ихъ выгнали изъ Ла-Рошеля; какъ у нихъ отняли землю, деньги, дома; какъ ихъ преслѣдовали по всей Франціи, отнимая у нихъ насильно дѣтей, чтобы воспитывать ихъ въ католической религіи; какъ впослѣдствіи, въ Ликсгеймѣ, на нихъ напускали драгуновъ, чтобы обращать ихъ въ католичество сабельными ударами; какъ отецъ убѣжалъ въ Грауфтальскіе лѣса, куда за нимъ

Digitized by Google

пошли на другой день мать и дѣти, отказываясь отъ всего, во имя своей религіи; какъ дѣда отправили на тринадцать лѣтъ на Дюнкирхенскія галеры, гдѣ нога у него днемъ и ночью оставалась прикованной къ гребецкой скамьѣ; начальникомъ у нихъ былъ тамъ настоящій злодѣй, который билъ ихъ такъ, что многіе изъ этихъ кальвинистовъ умирали; а когда происходило сраженіе, тогда эти несчастные галерники видѣли, какъ англичане направляли свои большія орудія, набитыя до самаго устья, въ разстояніи четырехъ шаговъ отъ нихъ, прямо на ихъ скамью. Они это видѣли, но не могли пошевельнуться, и фитиль опускался на затравку! Потомъ, когда проносились пули, гвозди и картечь, ихъ переломанныя ноги отрывались отъ цѣпи, ихъ самихъ бросали въ воду, и подметали, что̀ оставалось.

«Онъ разсказывалъ эти вещи, приводившія насъ въ трепетъ, растирая себѣ въ ладони понюшку табаку; и его маленькая Маргарита, вся блѣдная, молча смотрѣла на него своими большими черными глазами.

«Онъ всегда заканчивалъ такъ:

«— Да, вотъ чѣмъ Шовели обязаны Бурбонамъ, великому Людовику XIV и Людовику XV, Возлюбленному! Смѣшная штука — наша исторія, не правда-ли? И я самъ, до нынѣшняго дня, ни на что я негоденъ; нѣтъ у меня гражданскаго существованія. Нашъ добрый король, какъ и всѣ другіе, вступая на престолъ, среди своихъ епископовъ и архіепископовъ, поклялся насъ истреблять: «Я клянусь, что буду стараться искренно и всѣми силами объ истребленіи на всѣхъ подчиненныхъ мнѣ земляхъ всѣхъ еретиковъ, осужденныхъ церковью». Ваши священники, которые ведутъ списки и должны поступать одинаково со всѣми французами, отказываются записывать наши рожденія, браки и смерти. Законъ запрещаетъ намъ быть судьями, совѣтниками, школьными учителями. Мы можемъ только шататься по свѣту, какъ звѣри; у насъ подрѣзываютъ заранѣе всѣ корни, которыми люди прикрѣпляются къ жизни; и однако мы не дѣлаемъ зла, всѣ принуждены признавать нашу честность.

«Мастеръ Жанъ отвѣчалъ:

«— Это отвратительно, Шовель; но христіанское милосердіе?..

«— Христіанское милосердіе!.. Мы ему никогда не измѣняли — говорилъ онъ — къ счастью для нашихъ палачей! Еслибъ оно намъ измѣнило!.. Но все выплачивается съ процентами на проценты. Надо, чтобы все выплатилось!.. Коли не черезъ годъ, такъ черезъ десять лѣтъ; а не черезъ десять, такъ черезъ сто... черезъ тысячу... Все выплатится!

«Понятно послѣ этого, что Шовель неудовлетворился-бы, какъ мастеръ Жанъ, нѣкоторыми смягченіями, облегченіемъ въ налогахъ, въ милиціи. Стоило только взглянуть на его блѣдное лицо, на его маленькіе, живые черные глаза, на его тонкій горбатый носъ, на его тонкія, всегда сжатыя губы, на его сухую спину, согнувшуюся подъ тяжестью тюка, на его маленькія ноги и руки, крѣпкія, какъ желѣзные прутья — стоило только взглянуть на него, чтобы подумать:

«Этотъ маленькій человѣкъ хочетъ всего или ничего! У него терпѣнія достаточно; онъ тысячу разъ рискнетъ попасть на галеры, чтобы продавать книги по своимъ идеямъ; онъ ничего не боится, онъ ничему не довѣряетъ; когда представится случай, не хорошо будетъ съ нимъ столкнуться! И дочка его уже на него похожа; такая, что переломится, а ужъ не согнется!

«Я объ этомъ еще не думалъ — молодъ былъ слишкомъ — но я это чувствовалъ; я очень уважалъ отца Шовеля; я всегда снималъ передъ нимъ шапку и говорилъ про себя: онъ хочетъ добра крестьянамъ, мы съ нимъ заодно».

Постоянныя, многолѣтнія гоненія, среди которыхъ прошла жизнь Шовеля, должны были или убить его, или закалить во всѣхъ отношеніяхъ. Онъ занимался такимъ ремесломъ, которое каждый день могло повести его на галеры или даже на висѣлицу.

«Ба, это все ничего — говоритъ онъ въ дружеской бесѣдѣ Жану Леру — теперь это однѣ шутки. Лѣтъ десять, пятнадцать тому назадъ дѣло другое! Вотъ тогда меня преслѣдовали, тогда не надо было попадаться съ кельнскими или амстердамскими изданіями: я-бы однимъ прыжкомъ очутился изъ Баракъ на галерахъ; а нѣсколькими годами раньше, меня-бы прямо вздернули. Да, тогда было опасно; а если меня теперь арестуютъ, такъ не надолго; теперь мнѣ не будутъ ломать руки и ноги, чтобы я выдалъ моихъ сообщниковъ».

Для Шовеля не существуетъ ни презрѣніе къ работѣ, ни страхъ передъ работой. Чтобы служить тому дѣлу, которое онъ любитъ, онъ готовъ, смотря по требованіямъ данной минуты, браться съ одинаковой охотой за самую черную и за самую чистую работу, за самую трудную и за самую легкую, за самую простую и за самую сложную, за самую грубую и за самую тонкую. Когда ему нельзя было пристроиться ни къ какому другому дѣлу, онъ цѣлые десятки лѣтъ шатался по городамъ и селамъ съ сумкой книгъ и употреблялъ всѣ силы своего большого и гибкаго ума на то, чтобы ускользать отъ преслѣдованій полиціи и распространять въ массѣ читающей провинціальной публики сочиненія тѣхъ мыслителей, которые наложили печать своего вліянія на все умственное движеніе прошлаго столѣтія. Когда его сосѣди, по рекомендаціи Жана Леру, выбрали его въ депутаты деревни, онъ принялъ это званіе и на съѣздѣ деревенскихъ депутатовъ повелъ себя такъ, что его

Digitized by Google

выбрали въ депутаты округа. Въ окружномъ собраніи онъ опять такъ отличился, что его выбрали въ депутаты третьяго сословія въ собраніе государственныхъ чиновъ. И онъ принялъ свое новое званіе спокойно и съ достоинствомъ, какъ приглашеніе на важную и трудную работу, на которую онъ не хотѣлъ напрашиваться, которую онъ не старался отбивать у другихъ, болѣе способныхъ и лучше приготовленныхъ кандидатовъ, но предъ которой онъ не отступаетъ и не робѣетъ, когда голосъ его согражданъ объявилъ ему, что онъ стоитъ на очереди и что впереди его нѣтъ никого. Шовель, понимавшій давно, какое значеніе имѣетъ созваніе государственныхъ чиновъ, становится однимъ изъ законодателей Франціи такъ-же спокойно, какъ въ древности Цинциннатъ сдѣлался римскимъ диктаторомъ. Разнощику Шовелю не нужно ничего измѣнять, подчищать или подкрашивать въ своей личности, чтобы сдѣлаться депутатомъ Шовелемъ, и депутатъ Шовель не измѣнилъ ни одного оттѣнка въ своихъ отношеніяхъ съ тѣми людьми, съ которыми былъ знакомъ и близокъ разнощикъ. Эта пензмѣнность самаго человѣка при совершенной перемѣнѣ декорацій и положенія до такой степени характеризуетъ Шовеля, что дочь Шовеля, шестнадцатилѣтняя дѣвушка, Маргарита, даже не видавшись съ отцомъ послѣ выборовъ, говоритъ Мишелю съ полнымъ убѣжденіемъ:

«—Какъ, пріѣдемъ-ли мы? Да что жъ мы станемъ дѣлать, дурачина? Ты развѣ думаешь, мы тамъ разживемся?

«Она смѣялась.

«—Ну да, мы пріѣдемъ, и еще бѣднѣе теперешняго, повѣрь! Мы пріѣдемъ, можетъ быть, въ нынѣшнемъ году, а самое позднее на будущій годъ».

Шовель такъ воспитывалъ свою дочь, которая была его неразлучной спутницей во всѣхъ его скитаніяхъ, что ее уже не можетъ ослѣпить и ей не можетъ вскружить голову никакое земное величіе, какъ-бы оно ни было блистательно и неожиданно. Ея отецъ — избранникъ народа, выше этой чести она себѣ ничего не можетъ представить; она плачетъ отъ радости, и однако въ минуту величайшаго упоенія, уѣзжая изъ родной деревни въ Версаль, она безъ малѣйшей горечи предвидитъ совершенно ясно ту минуту, когда они вернутся бѣднѣе теперешняго и опять пойдутъ по проселочнымъ дорогамъ съ тяжелыми тюками книгъ за спиной.

По этой чертѣ въ характерѣ молодой дѣвушки можно судить о личности того человѣка, который ее сформировалъ.

VI.

Теперь надо разсмотрѣть, что же именно сдѣлала для Мишеля Бастіана каждая изъ трехъ личностей, очерченныхъ на предыдущихъ страницахъ.

Жанъ Леру, крестный отецъ Мишеля, оказалъ ему, по своему обыкновенію, нѣсколько важныхъ услугъ, которыя ему, Жану Леру, ровно ничего не стоили. Во-первыхъ, Жанъ взялъ къ себѣ въ пастухи своего крестника, чуть только послѣднему минуло восемь лѣтъ. Условія были такого рода: Жанъ кормилъ Мишеля и давалъ ему каждый годъ по парѣ башмаковъ. Ночевать Мишель ходилъ къ себѣ домой. Ясное дѣло, что Жану это было выгодно. Пастуха все равно надо было бы нанимать, а между тѣмъ бѣдный крестникъ, считая и чувствуя себя облагодѣтельствованнымъ, такъ усердно старался угодить благодѣтелю, отъ котораго онъ получалъ только пищу и пару башмаковъ, — что въ этомъ отношеніи съ нимъ конечно не могъ потягаться наемникъ.

Вовторыхъ, Жанъ доставилъ Мишелю случай страдать и бороться за дѣло прогресса и общественнаго блага. Мишель былъ еще совсѣмъ мальчишка, когда произошла разсказанная выше исторія съ картофельными шкурками. Покуда картофельные ростки не показывались, сверстники Мишеля дразнили его, какъ слугу полоумнаго человѣка, посѣявшаго какую-то дрянь у себя въ огородѣ. Мишель былъ насмѣшниковъ кнутомъ; насмѣшники въ свою очередь обработывали его общими силами, и Мишель, исполосованный кнутами молодыхъ рутинеровъ, могъ потомъ предаваться печальнымъ размышленіямъ о человѣческой глупости. Не трудно понять, что эта вторая услуга также ничего не стоила Жану и была оказана имъ невольно.

Въ-третьихъ, Жанъ, какъ мы уже видѣли выше, ввелъ Мишеля въ даровую школу Кристофа Матерна. Эта услуга имѣла для Мишеля неисчислимыя добрыя послѣдствія, но она также ровно ничего не стоила Жану Леру.

Кристофъ Матернъ выучилъ Мишеля читать и писать. Этимъ ограничивается его доля вліянія, но этого слишкомъ достаточно, чтобы ученикъ поминалъ его добромъ.

Шовель далъ Мишелю политическое образованіе. Мишель сначала слушалъ съ самымъ жаднымъ вниманіемъ, а потомъ читалъ самъ и вслухъ, и про себя газеты, которыя Шовель приносилъ своему пріятелю, Жану Леру. Шовель объяснялъ часто Мишелю то, чего послѣдній не понималъ, Шовель часто говорилъ о текущихъ дѣлахъ то съ самимъ Мишелемъ, то въ присутствіи Мишеля съ Жаномъ Леру, и великодушное негодованіе честнаго гражданина, горѣвшее спокойно-неугасимымъ пламенемъ въ груди Шовеля и звучавшее въ ироническомъ тонѣ его тихихъ рѣчей, переходило по немногу во все существо его молодого, даровитаго и впечатлительнаго слушателя.

Digitized by Google

Чтобы дать понятіе о томъ, какъ говорилъ Шовель, какъ просто и ясно онъ ставилъ вопросы, какъ онъ умѣлъ внушать самымъ неразвитымъ умамъ серьезное уваженіе къ основнымъ принципамъ разумной и честной политики, я приведу здѣсь его рѣчь, сказанную безъ приготовленія въ трактирѣ Жана Леру, на обѣдѣ деревенскихъ избирателей.

«Всѣ глаза обратились на Шовеля; всѣ хотѣли знать, что онъ отвѣтитъ. Онъ сидѣлъ спокойно, на почетномъ мѣстѣ, бумажный колпакъ его былъ прицѣпленъ къ спинкѣ стула; щеки его были блѣдны, губы сжаты, глаза какъ будто скошены; онъ, совсѣмъ задумавшись, держалъ свой стаканъ. Рибопьерское вино, должно быть, пораздражило его, потому что, не отвѣчая на заздравные клики другихъ, онъ сказалъ внятнымъ голосомъ:

«— Да, первый шагъ сдѣланъ! Но не будемъ еще пѣть побѣду; много намъ остается сдѣлать прежде, чѣмъ мы воротимъ себѣ наши права. Отмѣна привилегій, подушной, косвенныхъ налоговъ, соляной подати, внутреннихъ заставъ, барщины — это уже много значитъ. Тѣ не сразу выпустятъ изъ рукъ, что держатъ, нѣтъ! они будутъ бороться, попробуютъ защищаться противъ справедливости. Надо будетъ ихъ принуждать! Они призовутъ къ себѣ на помощь всѣхъ служащихъ, всѣхъ, кто живетъ своими мѣстами и думаетъ облагородиться. И это, друзья мои, только первый пунктъ; это еще самая малость; я думаю, что третье сословіе выиграетъ это первое сраженіе; народъ того хочетъ; народъ, на которомъ лежатъ эти неправедныя тягости, поддержитъ своихъ депутатовъ.

«— Да, да, до смерти!— закричали большой Летюмье, Кошаръ, Гюре, мастеръ Жанъ, сжимая кулаки.— Мы выиграемъ, мы хотимъ выиграть!..

«Шовель не шевелился. Когда они перестали кричать, онъ продолжалъ, какъ будто никто ничего не говорилъ.

«— Мы можемъ побѣдить въ дѣлѣ обо всѣхъ несправедливостяхъ, которыя чувствуетъ народъ; это—несправедливости слишкомъ вопіющія, слишкомъ ясныя; но къ чему же это насъ поведетъ, если впослѣдствіи, когда государственные чины будутъ распущены и деньги на уплату долга доставлены, графы да маркизы опять возстановятъ свои права и привилегіи? Это уже не въ первый разъ; у насъ вѣдь ужъ бывали и другія собранія государственныхъ чиновъ, и все, что они рѣшили въ пользу народа, уже давно не существуетъ. Послѣ уничтоженія привилегій, намъ нужна такая сила, которая помѣшала-бы ихъ возстановить. Эта сила въ народѣ; она въ нашихъ арміяхъ. Надо хотѣть не день, не мѣсяцъ, не годъ; надо хотѣть всегда. Надо такъ сдѣлать, чтобы негодяи и мошенники не возстановили медленно, потихоньку, окольными путями того, что опрокинетъ третье сословіе, опираясь на націю. Надо, чтобы армія была съ нами; а чтобы армія была съ нами, надо, чтобы послѣдній солдатъ, своимъ мужествомъ и умомъ, могъ повышаться въ чинахъ и пожалуй даже сдѣлаться маршаломъ и коннетаблемъ, такъ точно, какъ дворяне, понимаете?

«— За здоровье Шовеля—закричалъ Готье Куртуа.»

Теперь мы можемъ сообразить до нѣкоторой степени, какія вліянія подготовили французскій народъ къ его политическому пробужденію.

Во-первыхъ, были низшіе слои буржуазіи, были люди, которые, подобно Жану Леру, знали жизнь простого работника, понимали его горе и нужду, и въ то же время могли читать газеты, заглядывать въ запрещенныя книжки и задумываться надъ плачевной безтолковщиной текущихъ событій. Этимъ людямъ выгодно и пріятно было дѣлиться съ своими рабочими плодами своихъ размышленій, и ихъ фрондерскія рѣчи, падая на воспріимчивую почву, порождали въ ней такой процессъ броженія, дальнѣйшее развитіе котораго трудно было остановить или предугадать.

Во-вторыхъ, было низшее духовенство, возмущенное безумной роскошью и развратной жизнью прелатовъ. Оно сближалось съ простымъ народомъ, учило его грамотѣ и вносило такимъ образомъ въ его темную жизнь лучъ свѣта, который давалъ ему нѣкоторую возможность со временемъ осмотрѣться и распознать добро и зло, друзей и враговъ, правду и ложь.

Наконецъ были Матюрены Шовели, люди разоренные, ожесточенные, измученные нелѣпостями стараго порядка, люди, вредившіе этому порядку съ настойчивостью, свойственной непримиримымъ врагамъ, и съ полнымъ знаніемъ всѣхъ его слабыхъ сторонъ.

При такихъ наставникахъ, французскій народъ, даровитый и впечатлительный, какъ юный Мишель Бастіанъ, не могъ остаться неучемъ и недорослемъ въ политическомъ отношеніи.

Digitized by Google

Digitized by Google

MAY 15 '72

Digitized by Google